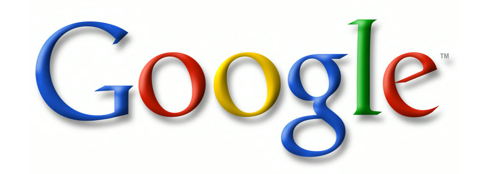


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



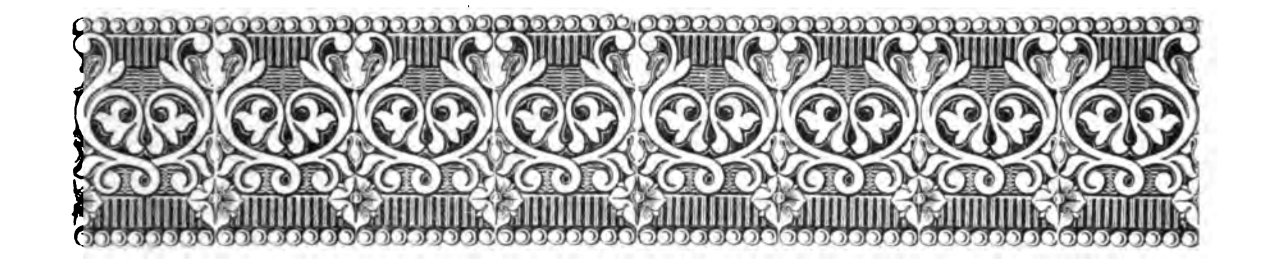





БИБЛІОТЕКА
ВЕЛИКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
С·А·ВЕНГЕРОВА
БАЙРОНЪ
Т. III.
Е. ЛАНСЕРЕ. 1900.
ИЗДАНІЕ
БРОКГАУЗА-ЕФРОНЪ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1905.

Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Прачешный пер., № 6.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 Августа 1904 г.



НЕБО и ЗЕМЛЯ.

I.

„Небо и земля“ тѣсно связаны съ „Каиномъ“. Всемірный потопъ, служащій лейтмотивомъ мистеріи Байрона, является естественнымъ слѣдствіемъ преступленія Каина и грѣховности его потомства. Однако потопъ врядъ-ли можетъ служить основною темою драматическаго произведенія. Борьба съ всепоглощающей стихіею немыслима; здѣсь нѣтъ мѣста для проявленія героизма, нравственной силы или, наоборотъ, глубокой преступности характера. Зритель, выйдя изъ театра, въ которомъ на сценѣ всѣ дѣйствующія лица тонутъ, врядъ-ли вынесетъ мотивъ для размышленія и никакого „катарсиса“ страстей произойти не можетъ. Потопъ есть тема живописи, эпики или лирики, но не драмы. Поэтому Байронъ въ свою мистерію, начинающуюся ожиданіемъ потопа и заканчивающуюся реальнымъ осуществленіемъ его, ввелъ романъ— любовь двухъ дѣвицъ изъ племени Каина къ двумъ ангеламъ неизвѣстнаго происхожденія. Въ двухъ дѣвицъ влюблены два сына Ноя, но само собою разумѣется, что они не могутъ конкуррировать на полѣ Эрота съ ангелами, посему нечего удивляться тому, что Ана и Аголибама предпочитаютъ Ираду и Іафету ангеловъ Саміаза и Азазіила. Неудовлетворенный любовный экстазъ даетъ поводъ Іафету къ произнесенію нѣскольких лирическихъ монологовъ, въ которыхъ больная душа автора находитъ яркое выраженіе.

II.

Байрона упрекали, не безъ основанія въ томъ, что у него нѣтъ таланта драматическаго; его геній чисто лирическій, по этому характеристики лицъ у него нѣтъ, а во всѣхъ дѣйствующихъ лицахъ всегда можно узнать самого автора. Этотъ упрекъ въ значительной мѣрѣ справедливъ, хотя въ драмѣ „Небо и земля“ замѣчается нѣкоторая противоположность характеровъ, особенно женскихъ персонажей. Аголибама— страстная женщина, умная реалистка (типъ страстной черноокой южанки), привязанная къ міру конечнаго бытія и желающая извлечь изъ него наивозможно большую пользу и удовольствіе для себя; страсть порабощаетъ ея умъ. Ана напротивъ (типъ голубоокой сѣверянки) идеалистка, нерѣшительная, рефлектирующая и испытывающая угрызенія совѣсти. Она любитъ своего ангела, но ей жаль и Іафета, съ которымъ она, по всей вѣроятности, была бы счастлива въ бракѣ, если бы не замѣшался ангелъ. Та же противоположность замѣчается и въ характеристикѣ мрачнаго Ирада и нѣжнаго, неэнергичнаго Іафета. Ирадъ и Аголибама, если бы имъ суждено было вмѣстѣ погибнуть во время потопа, навѣрное не стали бы понапрасну терять силъ и прямо пошли бы ко дну, въ то время какъ Ана и Іафетъ непремѣнно произнесли бы нѣсколько чувствительныхъ монологовъ и дуэтовъ, прежде чѣмъ нырнуть въ разъяренную пучину. Но четыремъ дѣйствую-

щимъ лицамъ мистеріи Байрона не суждено погибнуть; обѣ дѣвицы улетаютъ съ ангелами на небо, и дальнѣйшая судьба ихъ неизвѣстна; оба огорченные юноши прячутся въ ковчегъ, крѣпко сколоченный по всѣмъ правиламъ ветхозавѣтнаго кораблестроительнаго искусства. Старому Ною вовремя удалось извлечь своего сына Іафета изъ пещеры, ведущей къ центру земли и находящейся на горѣ Араратъ; въ этой пещерѣ обитаютъ злые духи, ненавидящіе человѣческій родъ, гибель котораго ихъ радуетъ. Ирадъ и Аголибама испытываютъ нѣкоторое презрѣніе къ слабовольнымъ Анѣ и Іафету; отчасти и въ самомъ авторѣ видно то же отношеніе къ этимъ двумъ персонажамъ. Кого зритель и читатель драмы можетъ пожалѣть, кому онъ можетъ сочувствовать? Развѣ только матери, которая тщетно, хотя и вполнѣ резонно умоляетъ Іафета спасти ея ребенка, и хору смертныхъ, который погибаетъ, въ то время какъ Іафетъ сидитъ, сложа руки, въ ковчегѣ, куда онъ подобралъ, неизвѣстно для какой цѣли, по два экземпляра разныхъ гадовъ.

Изобразить любовь ангеловъ, анатомія и психофизіологія которыхъ недостаточно обслѣдованы *), къ дѣвицамъ человѣческаго рода и племени, хотя бы и Каиниткамъ, заданіе весьма трудное. Ангелы являются не въ формѣ миѳологической — быка или золотого дождя, лебедя или облака, а въ весьма реальной формѣ молодыхъ и прекрасныхъ людей, отличающихся по имени (Саміазъ и Азазіилъ), но сходныхъ по характеру и мятежному духу. Чѣмъ они могли привлечь дѣвицъ—неизвѣстно; рѣчи ихъ не обличаютъ ни особенной глубины, ни даже страсти. Остается предположить, что дѣвицъ прельстило благородство происхожденія. Нельзя однако не отмѣтить, что благородные ангелы оказываются весьма нерадивыми служаками. На резонный вопросъ Іафета „что, ангелъ, ты здѣсь дѣлаешь теперь, когда ты въ небѣ долженъ пребывать“, Азазіилъ отвѣчаетъ; „Ужели ты не знаешь, иль забылъ, что это часть великой нашей службы—охраной быть твоей земли“. Какимъ образомъ, однако, любовныя интриги можно подвести подъ понятіе „усиленной охраны земли“? Оправданіе, которое даетъ Саміазъ, мало удовлетворительно и вполнѣ софистическое. „А развѣ человѣкъ не по подобію Бога сотворенъ? Развѣ Богъ не любитъ своего подобья въ насъ? Мы соревнуемъ только Его любви, любя его творенія“. Итакъ, ангелы не знакомы съ элементарными психологическими различіями любви платонической и любви плотской; они, повидимому, своего Бога представляютъ себѣ въ видѣ Зевса, обуреваемаго страстями къ дочерямъ смертныхъ и принимающаго ради удовлетворенія своихъ вожделѣній скотообразныя формы (напр. быка). Рафаилъ, „нѣжнѣйшій и наименѣе поддающійся соблазнамъ“ ангелъ сообщаетъ Саміазу и Азазіилу о рѣшеніи Господа покарать людей потопомъ, въ коемъ должны погибнуть всѣ, кромѣ Ноя и его семьи. Рафаилъ приглашаетъ ангеловъ вернуться на небеса и покинуть осужденную землю. Но ангелы на столько сильно увлечены своими возлюбленными, что предпочитаютъ подвергнуться изгнанію изъ небесъ и отлученію отъ Бога, лишь бы только не разставаться съ возлюбленными. Обѣ пары улетаютъ на отдаленную звѣзду, причемъ смертнымъ женщинамъ ангелы обѣщаютъ вѣчность. Рафаилъ грозитъ мятежнымъ ангеламъ Божіимъ гнѣвомъ, но ангелы, уповая на свое безсмертіе, повидимому не очень устрашены. Ной и Іафетъ, присутствовавшіе при переговорахъ трехъ ангеловъ и видящіе исчезновеніе ангеловъ, прихватившихъ съ собою дѣвицъ, остаются на землѣ въ весьма непріятномъ положеніи, при чемъ Іафетъ терзается еще и муками ревности. Оба удаляются въ свой ковчегъ, изъ коего созерцаютъ безпорядочное бѣгство людей и внимаютъ отчаяннымъ воплямъ матери, желающей спасти свою дочь, хора смертныхъ и погибающей женщины. Мистерія заканчивается словами Іафета, выражающаго сожалѣніе, что ему суждено пережить родъ людской.

III.

Мистерія Байрона въ цѣломъ врядъ-ли можетъ производить сильное впечатлѣніе на современнаго читателя, но во многихъ частяхъ своихъ она, несомнѣнно, можетъ нравиться и обнаруживаетъ яркій поэтическій геній автора. „Небо и земля“, какъ драма, не

*) Анатомія и психологія чорта изслѣдованы гораздо лучше. Ср. Graf. Geschichte d. Teufels. Въ сочиненіи Amoris effigies sive quid si amor нѣкоего Роберта Варинга (Londini 1671) о любви ангеловъ ничего не говорится, а въ сочиненіи Mario Equirola d'Alveto di Natura d'amore. Vinezia 1563 хоть и имѣется особая глава dell'amor angelico, но любовь имѣется въ виду не плотская, а совершенно иная.

захватываетъ читателя, ибо кульминаціонный ея пунктъ—отказъ ангеловъ повиноваться Богу — мало мотивированъ; современный читатель, привыкшій къ обвиненіямъ самого Господа со стороны пессимистовъ вродѣ Леопарди и Ришпена, видящихъ въ Богѣ — brutto poter che ascoso al commun danno impera—понялъ бы возмущеніе ангеловъ, если бы они протестовали противъ велѣнія Господа, находя его несправедливымъ, если бы ангелы, заступаясь за родъ людской, возстали противъ небесъ. Но ангелы не отрицаютъ справедливости божественнаго рѣшенія, они выбираютъ изгнаніе просто изъ любви къ возлюбленнымъ, съ которыми и возносятся на какую то звѣзду.

Въ Анѣ и Аголибамѣ нѣтъ ничего, что заставляло бы зрителя радоваться ихъ спасенію болѣе, чѣмъ спасенію кого либо иного изъ рода человѣческаго. Такимъ образомъ завязка и развязка драмы остаются зрителю одинаково чуждыми и малопонятными, почему и вся драма не можетъ произвести на зрителя глубокаго впечатлѣнія.

Но если въ цѣломъ драма Байрона не производитъ впечатлѣнія, то отдѣльныя мѣста и общій тонъ обличаютъ генія. Уже первый анонимный критикъ журнала „The Edinbourgh Review" (38 т. 1823 г.), сравнивая мистерію Байрона съ поэмой Мура, „Loves of the Angels", вышедшей нѣсколькими мѣсяцами раньше, говоритъ: „Мистерію „Небо и земля" можно прочесть, не краснѣя. Принимая во вниманіе особенности сюжета и темпераментъ автора—это большая заслуга". И дѣйствительно какую картину разнузданности нравовъ въ виду неминуемой гибели могъ бы написать Байронъ! Но онъ не послѣдовалъ по стопамъ Боккаччіо и написалъ свою мистерію въ мрачныхъ тонахъ отчаянія, ревности, безотчетной страсти, среди которыхъ оздоровляющимъ элементомъ являются негодованіе Рафаила и покорная резигнація Ноя.

Геніальной чертой, чисто индивидуальной и пережитой, является сомнѣніе Іафета въ томъ, что справедливость можетъ идти рука объ руку съ гнѣвомъ и местью *). Не ангелы, возмутившіеся противъ рѣшенія Бога, а смертный жалѣетъ о гибели людей и сомнѣвается въ справедливости рѣшенія. Вообще конецъ мистеріи прекрасно передаетъ приближеніе и наступленіе потопа и гибель людей. Точно такъ же нѣкоторые монологи Іафета и ангела Рафаила принадлежатъ къ лучшему, что можетъ дать поэзія всѣхъ временъ и народовъ. Рѣчи Рафаила вполнѣ оправдываютъ эпитетъ, который даетъ ему Саміазъ: „перваго и прекраснѣйшаго изъ сыновъ Божіихъ", ибо въ словахъ Рафаила чувствуется и божественная безмятежная ясность и непреклонность верховнаго судіи; напротивъ, въ рѣчахъ Іафета, въ которомъ авторъ изображаетъ самого себя и собственную израненную душу, слышится чисто человѣческое сомнѣніе, плодъ страданія.

*) «Какъ ярость съ правосудіемъ сочетать».

IV.

Всемірный потопъ и до Байрона служилъ темою поэтическаго изображенія. Въ средневѣковыхъ англійскихъ мистеріяхъ Ной являлся центральной фигурою и дѣйствіе довольно близко придерживается библейскаго разсказа; только въ древне-французской мистеріи изображенъ самый потопъ, при чемъ, однако, настроеніе людей изображено совсѣмъ иначе: у Байрона гибнущіе въ отчаяніи и стараются спастись, во французской мистеріи они покорно подчиняются рѣшенію Господа *). Въ англійскихъ мистеріяхъ (Chester Plays, Townelly Mysteries, Coventry Mysteries и York Plays) Богъ является на сцену, съ цѣлью объявить Ною о томъ, что родъ человѣческій долженъ погибнуть и только Ной и его семья спасутся. Богъ даетъ указаніе, какъ построить ковчегъ; жена Ноя считаетъ постройку ковчега предпріятіемъ нелѣпымъ и ее насильно приходится втаскивать въ ковчегъ. Изъ сравненія этихъ мистерій съ произведеніемъ Байрона видно, что Байронъ нисколько ими не пользовался и что если встрѣчаются какія либо сходства въ планировкѣ пьесъ, то это случайныя совпаденія, вызванныя общностью темъ.

V.

Мистерія Байрона начата въ Равеннѣ 9-го октября 1821 г.; Байронъ написалъ ее въ четырнадцать дней. Появилась въ свѣтъ мистерія въ 1822 г. во второмъ номерѣ

*) Ср. Rothschild «Le mistère du Viel Testament» Paris, 1878. Въ этой книгѣ указаны и нѣмецкія и итальянскія обработки этой ветхозавѣтной темы. Изъ русскихъ сочиненій можно указать на А. Медвѣдкова «Всемірный потопъ съ научной точки зрѣнія» СПБ., 1901.

журнала „Liberal,“ основаннаго по инициативѣ Байрона. Поэтъ послалъ свое произведеніе книгоиздателю Муррею, но этотъ осторожный человѣкъ не захотѣлъ напечатать мистерію. Переписка затянулась и поэма появилась лишь черезъ годъ. Байронъ собирался написать и вторую часть; планъ ея уже былъ составленъ, но поэтъ не выполнилъ своего намѣренія. Байронъ обыкновенно снабжалъ свои произведенія пояснительными предисловіями, но „Небо и земля“, особенно нуждающаяся въ поясненіяхъ, представляетъ въ этомъ отношеніи исключеніе. Байронъ вмѣсто предисловія помѣстилъ лишь указанія, что сюжетъ заимствованъ изъ 6-й главы книги Бытія, при чемъ слова „сыны божіи“ онъ понимаетъ въ томъ смыслѣ, что рѣчь идетъ объ ангелахъ. Съ библейскимъ текстомъ Байронъ обращается довольно свободно; такъ Іафетъ у Байрона оказывается холостымъ, Ирадъ фигурируетъ въ числѣ сыновей Ноя, въ то время какъ по библіи онъ сынъ Еноха. Ангелы и влюбчивыя Каинитки—изобрѣтеніе поэта; хотя имена этихъ дѣвицъ и встрѣчаются въ книгѣ Бытія, но Ана есть имя мужское: Ана имѣлъ дочь *Оливему* или Аголибаму. Имена ангеловъ Байронъ по всей вѣроятности заимствовалъ изъ англійскаго перевода книги Еноха, появившагося въ началѣ 1821 года; въ этой книгѣ упомянуты ангелы Самiазъ и Азазіилъ. Наконецъ, изъ писемъ Байрона видно, что третьяго ангела онъ первоначально думалъ назвать Михаиломъ, а потомъ передѣлалъ имя въ Рафаила, точно такъ же, какъ онъ „Аду“ передѣлалъ въ „Ану“.

VI.

Одновременно съ Байрономъ тѣмъ же самымъ сюжетомъ заинтересовались Томасъ Муръ и Томасъ Дель. Первый выпустилъ свою „The loves of Angels“ нѣсколькими мѣсяцами ранѣе, чѣмъ Байронъ свою мистерію. Почти одновременно съ Муромъ выпустилъ и Дель *) свой эпосъ „Ирадъ и Ада“ („A tale of the flood“). Уже первый критикъ въ „Edinbourg Review“ сопоставилъ поэмы Мура и Байрона и весьма правильно указалъ основное различіе ихъ. Муръ оптимистъ, тогда какъ Байронъ пессимистъ; муза Мура веселая, счастливая, остроумная; она проливаетъ лишь случайныя слезы, между тѣмъ какъ строгая муза Байрона полна желчи. Поэзія Мура по преимуществу поэзія фантазіи, муза Байрона по преимуществу муза страсти.

Скомпанована мистерія Байрона несомнѣнно удачнѣе, чѣмъ поэма Мура, ибо три разсказа, изъ которыхъ состоитъ произведеніе Мура, мало между собою связаны, въ то время какъ мистерія Байрона объединена настроеніемъ, вызваннымъ ожиданіемъ потопа, и въ немъ находитъ развязку, которая вполнѣ естественно, хотя и сверхъестественнымъ путемъ, заканчиваетъ все дѣйствіе. Точно такъ же и въ стилистическомъ отношеніи, въ выборѣ образовъ и по силѣ, простотѣ и сжатости стиля слѣдуетъ отдать Байрону преимущество передъ Муромъ.

Больше сходства представляетъ мистерія Байрона съ эпосомъ Деля. Оба произведенія имѣютъ своимъ предметомъ изображеніе потопа, въ обоихъ почти одни и тѣ же дѣйствующія лица, носящія одинаковыя имена; дѣйствіе развивается правда не одинаково, но есть сходство въ одномъ эпизодѣ, а именно—появленіе матери съ ребенкомъ, жалующейся на свою судьбу. Произведеніе Деля написано мѣстами блестяще и описаніе потопа производитъ сильное впечатлѣніе. Но въ настроеніяхъ обоихъ произведеній глубокое различіе. Байронъ скептикъ и пессимистъ, Дель, напротивъ, человѣкъ вѣрующій; поэтому-то эти поэмы вкладываютъ въ уста матери совершенно различныя рѣчи. Мать у Байрона жалуется на несправедливость Бога и выказываетъ отчаяніе. Мать у Деля плачетъ о томъ, что она будетъ, быть можетъ, разлучена съ ребенкомъ, который попадетъ въ царство Божіе, въ то время какъ ее захватитъ смерть навѣки. Отношеніе поэмы Деля къ мистеріи Байрона недостаточно выяснено литературной критикой; нѣкоторое воздѣйствіе первой на вторую возможно; но знакомство Байрона съ произведеніемъ Деля составляетъ лишь предположеніе, а не доказанное положеніе.

VII.

Мистерія „Небо и земля“ представляется въ цѣломъ мало удовлетворительнымъ драматическимъ произведеніемъ, но она въ различныхъ отношеніяхъ весьма интересна. Во-первыхъ, она содержитъ отдѣльныя превосходныя по силѣ выраженія мѣста, вслѣдствіе чего „Небо и земля“ всегда будетъ находить себѣ читателей. Во вто-

*) Mayn, Georg. Ueber Byron's «Heaven and Earth» Breslau, 1887.

рыхъ, какъ произведенiе генiальнаго поэта оно будетъ всегда привлекать вниманiе изслѣдователя, который въ немъ будетъ искать выраженiе постоянныхъ чертъ мiросозерцанiя поэта, а также тѣхъ временныхъ и мимолетныхъ настроенiй, подъ влiянiемъ которыхъ поэтъ написалъ свою мистерiю. „Небо и земля" въ цѣломъ—произведенiе, чуждое современному читателю, оно нуждается въ исторической перспективѣ, въ выясненiи культурныхъ условiй начала XIX вѣка для того, чтобы сдѣлаться произведенiемъ понятнымъ и значительнымъ; но съ своей стороны оно является любопытнымъ историческимъ документомъ, въ которомъ мы отчетливо можемъ усмотрѣть черты духовнаго склада „поэта революцiи", выразителя цѣлой эпохи, поэта столь сильно повлiявшаго на современниковъ, что Морлей могъ по справедливости говорить: „Только со времени Байрона континентальная Европа научилась цѣнить Шекспира и другихъ англiйскихъ писателей", а Маццини сорокъ лѣтъ спустя по смерти поэта могъ сказать, что придетъ день, когда демократiя вспомнитъ о томъ, чѣмъ она обязана Байрону.

Припомнимъ обстоятельства, при которыхъ Байронъ писалъ своего „Каина" и „Небо и землю". Онъ въ 1816 г., послѣ разрыва съ женою, уѣхалъ изъ Англiи и поселился сначала въ Женевѣ, а потомъ съ 1817-го года въ Венецiи. Въ Венецiи Байронъ, какъ нѣкогда Генрихъ III, герцогъ Анжуйскiй, окунулся въ море чувственныхъ удовольствiй; легкiе нравы, красота природы и людей, неблагопрiятныя экономическiя условiя ихъ и накопленная роскошь, оставшаяся еще со временъ величiя Венецiи, дѣлали этотъ городъ весьма пригоднымъ мѣстопребыванiемъ для лицъ, старающихся заглушить нравственныя раны и уязвленное самолюбiе жизнью изо дня въ день. Связь съ Марiаной Сегати—женою венецiанскаго купца, въ домѣ котораго жилъ Байронъ, продолжалась недолго и смѣнилась тоже непродолжительными, хотя и болѣе повлiявшими на поэта отношенiями къ Маргаритѣ Коньи, дѣвушкѣ изъ народа; послѣдняя любовь поэта къ молодой графинѣ Терезѣ Гвичiоли, урожденной Гамба, имѣла болѣе поэтическую окраску и длилась до смерти поэта. Графинѣ было 17 лѣтъ, она была прекрасна и влюбилась въ Байрона, какъ Ана въ своего ангела Азазiила. Въ характеристикѣ Аны, нѣжной, благородной и возвышенной, легко подмѣтить черты молодой графини, точно такъ же какъ въ Iафетѣ не трудно прослѣдить настроенiе самого поэта. Утверждать это мы имѣемъ право на основанiи подробной и нѣсколько педантичной характеристики поэта, опубликованной графинею въ 1868 г. (Lord Byron jugé par les temoins de sa vie 2 т.). Здѣсь (2-й томъ ст. 405) мы читаемъ: „Dans le travail intellectuel de lord Byron l'imagination avait beaucoup moins de part que l'observation, la refléxion et la méditation solitaire. Tout chez lui prenait sa source dans la réalité des faits". Такимъ образомъ весьма естественно предположить, что Ана есть не кто иная, какъ графиня Тереза Гвичiоли. Мистерiя „Небо и земля" написана въ Равеннѣ, куда Байронъ прiѣхалъ потому что его возлюбленная заболѣла и умоляла его прiѣхать. Байронъ еще всецѣло находился подъ обаянiемъ этой прекрасной женщины, онъ еще не успѣлъ охладѣть къ ней и еще не дѣлалъ попытокъ порвать опутавшiя его любовныя сѣти. Графиня Тереза имѣла бѣлокурые съ золотистымъ оттѣнкомъ волосы, какiе встрѣчаются у женщинъ на картинахъ Тицiана и Джорджоне, ея цвѣтъ лица отличался рѣдкой для южанки бѣлизною и нѣжностью. Тѣлосложенiе ея было прекрасно. Гентъ, писавшiй ея портретъ, утверждаетъ, что онъ никогда не видалъ болѣе красиваго носа и болѣе очаровательной улыбки. Муръ, посѣтившiй влюбленную парочку въ Венецiи, сохранилъ и послѣ смерти поэта добрыя отношенiя къ графинѣ и говоритъ о ней въ самомъ восторженномъ тонѣ, хотя впослѣдствiи Муръ и признавалъ, что графиня вовсе не была красавицей. Съ обаятельной внѣшностью графиня Гвичiоли соединяла нѣжное сердце и весьма недюжинныя умственныя способности *), къ тому же она была хорошо образована и любила литературу. Положенiе реальной графини Терезы во многомъ напоминаетъ положенiе Аны въ мистерiи Байрона. Подобно Анѣ, и Тереза терзается сомнѣнiями и колеблется между исполненiемъ долга и влеченiемъ страсти. Страсть въ обоихъ случаяхъ одерживаетъ верхъ надъ долгомъ. Съ другой стороны и въ словахъ Iафета слышны ревность и отчаянiе, которыя могъ въ дѣйствительности испытывать Байронъ въ то время, какъ разыгрывалась сложная и богатая перипе-

*) Ср. Rabbe Felix. Les maîtresses authentiques de Lord Byron. Paris. 1890.

тіями трагикомедія любви поэта къ молодой графинѣ.

Если вникнуть въ любовныя рѣчи, произносимыя Іафетомъ и Аною—(правда, рѣчи Аны обращены по большей части къ ангелу, а не къ Іафету), то намъ отчасти станутъ ясны и мотивы любви поэта къ итальянской графинѣ, а также и ея чувства. Іафетъ-Байронъ говоритъ:

Миръ—миръ! да, я искалъ его такъ жадно;
Искалъ въ любви, гдѣ онъ бы долженъ быть;
Искалъ любовью, можетъ быть, достойной
Найти его. И что жъ? взамѣнъ того,
Мнѣ посланы всѣ—всѣ мученья сердца—
Тоска, печаль, дни, полные тревогъ,
И ночи, не дающія покоя.

Въ результатѣ Байронъ не только не нашелъ мира, но и разочаровался въ самомъ средствѣ достиженія его:

Увы! Любовь! Но что она иное,
Какъ не печаль?

Весьма естественно поэтому, что Байронъ неоднократно повторялъ, прежде чѣмъ порвать съ Терезою:

Прощай же, Ана!
Какъ часто говорилъ я это слово!
Теперь же говорю, чтобъ никогда не повторять отнынѣ.

Въ любви молодой графини къ геніальному поэту, на котораго она смотрѣла, какъ на существо высшаго порядка, какъ на ангела, играли роль совершенно иные мотивы; въ ея нѣжной душѣ несомнѣнно звучала нотка благоговѣнія и тщеславія.

Читая рѣчи Аны, мы какъ бы слышимъ то, что думала въ одиночествѣ и что нашептывала Тереза влюбленному и тщеславному поэту:

А мысль о томъ, что онъ когда нибудь
Пріосѣнитъ безсмертными крылами
Могилу бѣдной дочери земли,
Могилу той, которой обожанье
Къ нему сильнѣй, чѣмъ обожаетъ онъ
Всевышняго,—мысль эта для меня
Смягчаетъ ужасъ смерти.

Или:

Вѣдь ты любилъ меня, я знаю,
И жить мнѣ велѣно судьбой,
Пока лишь вѣру сохраняю,
Что въ небесахъ небесъ порой
Ты думаешь еще о той,
Кто создана для смертнаго удѣла
И полюбить безсмертнаго посмѣла.
О! велика любовь должна быть тѣхъ
Кто побораетъ страхъ и грѣхъ
И любитъ подъ грозящими мечами.
Я жизнь мою готова бы отдать,
Чтобъ въ вѣчности тебѣ и часъ мученій
Не угрожалъ.

Когда же Тереза видѣла терзанія генія и тщету его усилій найти миръ, она, можетъ быть, восклицала:

Въ путь скорѣй!
И чтобъ тебѣ само воспоминанье
Когда нибудь мгновеннаго страданья
Не принесло средь вѣчности твоей—
Забудь о той, кому всѣ бездны моря
Не принесутъ сильнѣе горя,
Чѣмъ этотъ мигъ. Спѣши, спѣши летѣть,
Съ тобою врозь—мнѣ легче умереть.

Можетъ быть, и въ другихъ дѣйствующихъ лицахъ мистеріи воплотились черты родственниковъ нѣжной Терезы; можетъ быть, мрачный Ирадъ списанъ съ брата Терезы, заговорщика Пьетро Гамба; почтенный старецъ Ной—съ стараго супруга пылкой итальянки. Въ характерѣ Ноя, съ спокойствіемъ и съ покорностью взирающаго на гибель людского рода и въ то же время разсчетливо приготовляющаго все для путешествія, есть нѣчто, напоминающее стараго графа Гвичіоли, довольно спокойно взирающаго на не вполнѣ корректныя отношенія супруги къ прекрасному англичанину и старающагося занять у него 10000 рублей. Въ страстной Аголибамѣ слѣдуетъ, какъ кажется, признать Маргариту Коньи, молодую венеціанку изъ народа. Байронъ весьма увлекался силой ея характера. „Въ теченіе двухъ лѣтъ",—говоритъ поэтъ,—она сохраняла свое вліяніе надо мной; другія женщины пріобрѣтали власть надо мной, но никогда ея вліяніе не исчезало совершенно". „Еслибъ дать Маргаритѣ въ руку кинжалъ", говоритъ въ другомъ мѣстѣ поэтъ, „то она вонзитъ его въ кого угодно по моему указанію, и даже въ мою собственную грудь, еслибъ я оскорбилъ ее. Я люблю такія существа (animal) и я несомнѣнно предпочелъ бы Медею всякой другой женщинѣ". Когда поэтъ рѣшился отослать ее къ матери, она бросилась съ кинжаломъ на него и была едва едва удержана Флетчеромъ, присутствовавшимъ при этой сценѣ; тогда Маргарита бросилась въ воду, изъ которой была впрочемъ благополучно извлечена. Страстность Маргариты соединялась съ религіозностью. Въ глазахъ Байрона она имѣла еще одно неоцѣнимое качество - она не умѣла

ни читать, ни писать и, слѣдовательно, не могла преслѣдовать его письмами*)

Если сказанное справедливо, то мистерія Байрона, написанная въ такомъ возвышенномъ и патетическомъ тонѣ, въ дѣйствительности имѣетъ весьма реальную подкладку. Въ своемъ произведеніи Байронъ изобразилъ то, что онъ переживалъ, и такъ какъ любовь переносила его на небо, а счеты и разговоры съ старымъ графомъ приковывали къ землѣ, то и и самое заглавіе выбрано весьма удачно. Разница между настоящею жизнью поэта и фантазіей лишь въ томъ, что ангелъ улетаетъ на небеса со своею возлюбленною, Іафетъ спасается въ ковчегъ безъ возлюбленной, поэтъ же бѣжитъ отъ своей графини въ Грецію, разочарованный въ женщинахъ. Къ такому шагу побудило его рѣшеніе, вложенное поэтомъ въ уста Іафета: „Подобные союзы межъ ангеломъ и смертною не могутъ ни святы быть, ни счастливы. Вѣдь мы на нашу землю посланы трудиться и умирать; они же сотворены, чтобъ предстать Всевышнему“.

„Я былъ ихъ мученикомъ“, писалъ Байронъ Муррею 10 декаря 1819 г. изъ Венеціи, „вся моя жизнь была отдана имъ на жертву и была ихъ жертвою“. Наступилъ моментъ, когда онъ захотѣлъ пожертвовать собою ради безсмертныхъ идей...

Основной мрачный тонъ мистеріи „Небо и земля“ есть результатъ міровоззрѣнія, которое хорошо выражено въ словахъ Мефистофеля: „Und euch taugt einzig Tag und Nacht“. Дѣйствительно цѣль человѣческой жизни заключается въ страданіи и смерти. Печаль — наша стихія говоритъ Ана, а Аголибама того мнѣнія, что нашъ удѣлъ — умереть; вторитъ имъ и Іафетъ: „Мы посланы на землю трудиться и умереть“. Злые духи обитатели пещеры, находятъ, что „Ѣсть,



МАРГАРИТА КОНЬИ.

пить и жениться“ составляетъ сущность жизни. Тѣмъ не менѣе изслѣдователи Байрона, какъ напр. Элце, отмѣчаютъ не безъ основанія разницу въ настроеніи драмы „Каинъ“ и мистеріи „Небо и земля“. Основной тонъ „Каина“ совершенно безпросвѣтный, въ то время какъ въ разбираемой нами мистеріи къ основному мрачному тону примѣшивается струя колебанія, сомнѣнія и даже надежды. Такое измѣненіе, ослабленіе пессимизма, отнюдь не слѣдуетъ искать въ субъектив-

*) Байронъ подробно разсказалъ исторію своего знакомства съ Маргаритою и очертилъ ее въ письмахъ къ Муррею отъ 1-го августа 1819 г. изъ Равенны. Въ этомъ письмѣ встрѣчается слѣдующее любопытное мѣсто: «Она была чрезвычайно эгоистична и нетерпима къ другимъ женщинамъ, за исключеніемъ Сегати, которую она считала моей законной подругой; а такъ какъ я въ это время велъ довольно безпорядочную жизнь, то у насъ нерѣдко происходили потасовки (great confusion and demolition of head dresses and handkerchiefs)»

ныхъ перемѣнахъ сознанія поэта. Обстоятельства его жизни, на протяженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ отдѣляющихъ „Каина" отъ „Небо и земля", нисколько не измѣнились къ лучшему: его окружала все та же атмосфера нравственнаго гніенія, которая тяготила поэта, но порвать съ которой онъ еще не находилъ въ себѣ достаточной рѣшимости. Такимъ образомъ разницу въ настроеніи этихъ двухъ произведеній слѣдуетъ искать въ условіяхъ самого сюжета драмы: потопъ — мѣра весьма грозная и радикальная, но она касается не всего человѣческаго рода: потомки Ноя заселятъ землю болѣе благочестивымъ племенемъ, которому суждено видѣть появленіе Спасителя, уничтоженіе ада и осуществленіе блаженства на землѣ. Вѣра въ свѣтлое будущее совершенно ясно выражена въ словахъ Іафета, съ которыми онъ обращается къ пещерному духу: „Очищенная земля вновь вернетъ себѣ свою первоначальную красоту, человѣкъ не будетъ болѣе жертвою змѣя и будетъ жить въ вѣчномъ раю, и даже злой духъ измѣнитъ свой образъ мысли". Все это случится, когда явится Спаситель. Эта надежда Іафета настолько ясно выражаетъ настроеніе его, что всѣ скептическія замѣчанія и сомнѣнія должны быть отнесены на долю ревности и отчаянія. Эта вѣра въ возможность возрожденія въ дѣйствительности выражаетъ увѣренность самого поэта, что онъ найдетъ въ своемъ геніи достаточно духовной мощи и порветъ со всѣми путами, приковывающими его къ чувственному міру, чтобы выступить на путь свободнаго служенія идеѣ.

VIII.

Со смѣшанными чувствами читатель кончитъ чтеніе мистеріи Байрона. Читатель, можетъ быть, не согласится съ Гете, предпочитавшимъ „Небо и землю" „Каину", но творчество генія тронетъ его сердце словами ангела Рафаила, величественными картинами бѣдствій человѣческаго рода въ борьбѣ со стихіями и терзаніями самого автора, которыя отчетливо сквозятъ въ общемъ патетическомъ тонѣ. Смѣшеніемъ субъективныхъ и реальныхъ элементовъ съ объективными и идеальными объясняется, мнѣ кажется, то двойственное впечатлѣніе, которое оставляетъ въ читателѣ „Небо и земля". Эта мистерія приковываетъ и отталкиваетъ въ одно и то же время. Но конечнымъ мотивомъ служитъ примиряющій аккордъ—надежда. Геній не погибнетъ, онъ самъ выйдетъ на „новый путь" и другимъ поможетъ справиться съ „вопросами жизни".

Э. Радловъ.



НЕБО и ЗЕМЛЯ.

МИСТЕРІЯ,

основанная на слѣдующемъ мѣстѣ изъ книги Бытія, Глава VI, 1, 2:

Когда люди начали умножаться, сыны Божіи увидѣли дочерей человѣческихъ, что онѣ красивы, и брали ихъ себѣ въ жены, какую кто выбралъ.

Грусть женщины о демонѣ любимомъ.

Кольриджъ.

Дѣйствующія лица.

Ангелы.

Самиазъ.

Азазіилъ.

Рафаилъ-архангелъ.

Люди:

Ной и его сыновья.

Ирадъ.

Іафетъ.

Ана.

Аголибама.

Хоръ духовъ Земли. Хоръ смертныхъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Лѣсная и гористая мѣстность близъ горы Араратъ.— Полночь.

Входятъ АНА *и* АГОЛИБАМА.

АНА.

Отецъ нашъ спитъ; вотъ часъ, въ который тѣ,
Что любятъ насъ, къ намъ сходятъ сквозь туманы
Скалистой Араратской вышины.
Какъ бьется сердце у меня...

АГОЛИБАМА.

Пора;
Приступимъ къ призыванью.

АНА.

Звѣзды скрылись.
Я трепещу.

АГОЛИБАМА.

И я боюсь, но только
Того, что намъ придется, можетъ быть,
Ихъ долго ждать.

АНА.

Сестра, хоть я сильнѣе
Люблю Азазіила... ахъ! сильнѣй,
Чѣмъ Самого... Что это говорю я?
Мнѣ въ сердце входитъ грѣхъ.

АГОЛИБАМА.

Какой же грѣхъ
Небесныя созданія любить?

АНА.

Но я Творца люблю, Аголибама,
Не такъ уже съ тѣхъ поръ, какъ полюбилъ
Меня одинъ изъ ангеловъ Его.
Но праведно ли это? и хотя я
Не сознаю, что дѣлаю я злого,
Но тысячи боязней мнѣ не даромъ
Сжимаютъ грудь.

АГОЛИБАМА.

Тогда возьми себѣ
Кого-нибудь между сынами праха
И прахомъ будь. Тебя Іафетъ вотъ любитъ
И любитъ такъ давно уже: возьми
Его въ мужья и народи ему
Такой же прахъ.

АНА.

Ахъ! я Азазіила
Любила бы не меньше, если бъ онъ
И смертнымъ былъ. Но рада, что онъ ангелъ,
Вѣдь пережить его я не должна.
Но мысль о томъ, что онъ когда-нибудь
Пріосѣнитъ безсмертными крылами
Могилу бѣдной дочери земли,
Могилу той, которой обожанье
Къ нему сильнѣй, чѣмъ обожаетъ онъ
Всевышняго—мысль эта для меня
Смягчаетъ ужасъ смерти. И однако,
Мнѣ жаль его: печаль его должна
Быть вѣчною; моя, по крайней мѣрѣ,
Печаль о немъ была бы такова,

Когда бъ я серафимъ была, а онъ
Былъ сынъ земли.

АГОЛИБАМА.

Повѣрь, что онъ себѣ
Другую дочь земли найдетъ и будетъ
Ее любить не меньше, чѣмъ когда-то
Любилъ тебя.

АНА.

Будь это даже такъ;
Я бъ предпочла, чтобъ онъ былъ такъ же много
Любимъ другой, чѣмъ плакалъ обо мнѣ.

АГОЛИБАМА.

Будь я такихъ же мыслей о любви
Самьяза, я—хоть онъ и серафимъ,—
Презрѣньемъ бы ему лишь отвѣчала...
Но время къ призыванью.

АНА.

Серафимъ!
Ко мнѣ—ко мнѣ!
Въ какой бы неба глубинѣ
Ты ни сіялъ своею славой;
Хотя бы ты на стражѣ былъ
Въ числѣ „Семи“ предъ Богомъ силъ
Иль наблюдалъ, какъ въ путь свой величавый
Вставали солнца и текли—
Внемли!
О вспомни ту, кѣмъ ты любимъ,
Кто, можетъ быть, *ничто* передъ тобою,
Но для кого ты *все*, мой серафимъ,
Ты не былъ созданъ Еговою,
Чтобъ наши слезы раздѣлять,
(Ахъ, если бъ ни одно созданье,
Кромѣ меня, не вѣдало страданья!)
Съ годами ты не можешь увядать;
Твой взоръ не можетъ перестать
Сіять безсмертными лучами;
Ни въ чемъ нѣтъ близости межъ нами
Кромѣ любви... любви одной.
Но—въ этомъ, ангелъ дорогой,
Клянусь,—прахъ любящій такой
Не плакалъ никогда подъ небесами...
Ты правишь звѣздными мірами,
Ты видишь ликъ Того, Кто одарилъ
Тебя безсмертными крылами,
Меня жъ влачиться въ прахѣ осудилъ...
Да—да, я дочь земли.
Но, серафимъ, внемли!
Вѣдь ты любилъ меня, я знаю;
И жить мнѣ велѣно судьбой,
Пока лишь вѣру сохраняю,
Что въ небесахъ небесъ, порой,
Ты думаешь еще о той,
Кто создана для смертнаго удѣла,
И полюбить безсмертнаго посмѣла.
О, велика любовь должна быть тѣхъ,
Кто побораетъ страхъ и грѣхъ
И любитъ подъ грозящими мечами.
А я—права ль предъ небесами?
Но, серафимъ! Прости мнѣ этотъ стонъ;
Вѣдь я рожденье человѣка.
Печаль вѣдь нашъ удѣлъ отъ вѣка,
А наша радость только сонъ...
Мгновенный сонъ о сладкихъ кущахъ рая...
Обычный часъ ужъ наступилъ;
Ужель забыта я тобою?
Явися, мой Азазіилъ,
Сквозь тучъ надъ этою горою!
Ко мнѣ—ко мнѣ, мой милый серафимъ.
Оставь тѣ звѣзды имъ самимъ,

АГОЛИБАМА.

Мой Саміазъ! паришь ли ты
Теперь надъ звѣздными мірами,
Или свергаешь съ высоты
И гонишь мощными крылами
Враговъ надменныхъ Самого
Творца и Бога твоего;
Звѣзды ль заблудшейся теченье
Ты посланъ вновь установить,
И участь праха—разрушенье
Отъ ней на время отвратить;
Въ ряду ли съ низшими духами
Ты прославляешь Егову,—
Мой серафимъ! взмахни крылами,
Я жду тебя, люблю тебя, зову!
Ты мнѣ не Богъ, хоть смертное творенье
Могло бъ тебя боготворить;
Но если тайное межъ нами есть влеченье,
Приди мой жребій раздѣлить!
Хоть создана я изъ земли
Моимъ Творцомъ была вначалѣ,
Ты жъ—изъ лучей, какихъ струи
Эдемскихъ водъ не отражали,
Но можешь ли, хотя и серафимъ,
Любить ты больше, чѣмъ любимъ?
Есть лучъ въ груди моей,
Сіять до срока запрещенный,
Отъ одного огня зажженный
Съ природой Бога и твоей.
Пусть Евы-матери паденье
Насъ обрекло для смерти жить,
Пусть эта жизнь одно мгновенье,
Должно ль насъ это разлучить?
Нѣтъ! Я и ты—мы вѣчны оба;
Во мнѣ есть то, чего земли утроба—
Я чувствую—не можетъ поглотить,—
Что пламенно такъ хочетъ
И Смерть, и Время побѣдить,
И, какъ надъ бездной, громъ внутри меня грохочетъ:
„Ты вѣчно—вѣчно будешь жить!“



АНА и АГОЛИБАМА.
Рис. Франкъ Стонъ (Frank Stone), грав. Мотъ (H Mote).

На радость ли?—объ этомъ откровенья
Не получилъ ничтожный прахъ:
Вѣдь нашъ Податель бѣдъ и благъ
Свои о насъ опредѣленья
Отъ насъ скрываетъ въ облакахъ.
Пускай! Но Онъ уже не можетъ
Себѣ подобныхъ истребить;
Безсмертья онъ не уничтожитъ,
Хотя и можетъ измѣнить.
Все, все дѣлить готова я съ тобою,
Вѣка блаженства иль скорбей:
Ты *жизнь* мою смѣлъ раздѣлять со мною,
Я ль отступлю предъ вѣчностью твоей?
Нѣтъ, нѣтъ, хотя бъ тотъ змѣй проклятый
Насквозь мнѣ жаломъ трудь пронзилъ,
Хотя бъ ты самъ обвилъ меня трикраты,
Какъ этотъ змѣй, и кольцами душилъ,—
Я все бъ тебя не проклинала,
Но улыбалась и сжимала
Въ моихъ объятьяхъ горячѣй!
Но серафимъ! Скорѣй, скорѣй!
Приди, безсмертный! Испытай

Оставленный для смертныхъ рай.
Но если ты блаженъ и въ небесахъ,
Останься при твоихъ звѣздахъ.

АНА.

Сестра, сестра! взгляни на этотъ свѣтъ,
Что стелется по мраку полосою.

АГОЛИБАМА.

Да, это ихъ двойной блестящій слѣдъ
По тучамъ разгорается зарею.

АНА.

Боюсь,—отецъ увидитъ ихъ полетъ.

АГОЛИБАМА.

Внезапный свѣтъ къ лунѣ онъ отнесетъ,
Вообразивъ, что силой чародѣя
Ей велѣно сегодня встать скорѣе.

АНА.

Они спѣшатъ!.. Азазіилъ!

АГОЛИБАМА.

Идемъ встрѣчать; они ужъ надъ горою.
Ахъ, отчего намъ не дано ихъ крылъ,
Чтобъ мы могли взлетѣть до нихъ стрѣлою?

АНА.

Смотри,—ихъ свѣтъ весь западъ озарилъ,
Какъ будто бы вернулся часъ заката:
Вотъ разноцвѣтной радугой ихъ крылъ
Увѣнчана вершина Арарата!..
Гляди—гляди!—вотъ подъ навѣсомъ тучъ
Отъ ихъ пути послѣдній гаснетъ лучъ...
Вотъ мракомъ все по прежнему объято.
Такъ исчезаетъ пѣна съ гладкихъ водъ,
Поднятая игрой Левіаѳана,
Когда онъ вновь туда, гдѣ онъ живетъ,
Опустится,—въ пучины океана.

АГОЛИБАМА.

Идемъ же; Саміазъ!

АНА.

Азазіилъ! (*Уходятъ*).

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Входятъ ИРАДЪ *и* ІАФЕТЪ.

ИРАДЪ.

Не унывай; зачѣмъ печальной тѣнью
Бродить въ ночи? Что пользы подымать
Слезливые глаза на эти звѣзды?
Онѣ вѣдь не помогутъ.

ІАФЕТЪ.

Но онѣ
Смягчаютъ грусть. Она, быть можетъ, также,
Подобно мнѣ, глядитъ теперь на нихъ.
Не правда ли, прекрасное творенье,
Когда оно глядитъ на красоту,—
На красоту безсмертныхъ этихъ звѣздъ,
Должно еще прекраснѣй быть. О, Ана!

ИРАДЪ.

А между тѣмъ ты не любимъ.

ІАФЕТЪ.

Увы!

ИРАДЪ.

Мнѣ гордая Аголибама также
Презрѣньемъ отвѣчаетъ.

ІАФЕТЪ.

Я тебѣ
Сочувствую.

ИРАДЪ.

Оставимъ ей быть гордой.
Мнѣ самому сносить ея презрѣнье
Лишь гордость помогаетъ. Можетъ быть,
Ей слишкомъ отомститъ за это—время.

ІАФЕТЪ.

Ужель въ подобной мысли можешь радость
Ты находить?

ИРАДЪ.

Ни радости, ни горя.
Я такъ ее любилъ, и я любилъ бы
Не такъ еще, лишь будь любовь моя
Взаимною. Но пусть; предоставляю
Ей слѣдовать возвышеннымъ судьбамъ,
Когда онѣ ей кажутся такими.

ІАФЕТЪ.

Какимъ судьбамъ?

ИРАДЪ.

Она другого любитъ,
Какъ есть причины думать.

ІАФЕТЪ.

Ана?

ИРАДЪ.

Нѣтъ!
Ея сестра.

ІАФЕТЪ.

Кого другого?

ИРАДЪ.

Я
Пока еще не знаю; но ея
Лицо мнѣ говоритъ яснѣе словъ:
Она другого любитъ.

ІАФЕТЪ.

Но не Ана,
Что любитъ только Бога своего.

ИРАДЪ.

Кого бы ни любила—все равно,
Вѣдь не тебя. Тебѣ какая польза?

ІАФЕТЪ.

То правда,—никакой; но я люблю.

ИРАДЪ.

И я любилъ.



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Фрески Рафаэля въ Ватиканѣ.

ІАФЕТЪ.

Но вотъ теперь, когда
Ты разлюбилъ,—иль полагаешь только,
Что разлюбилъ,—ужель ты сталъ счастливѣй?

ИРАДЪ.

Я думаю.

ІАФЕТЪ.

А я тебя жалѣю.

ИРАДЪ.

Меня! За что?

ІАФЕТЪ.

За то, что ты счастливъ,
Не вѣдая того, что столько муки
Приноситъ мнѣ.

ИРАДЪ.

Ты отъ разстройства духа
Такъ говоришь. Чтобъ чувствовать, какъ ты,
Я не взялъ бы гораздо больше *шеклей*,
Чѣмъ могутъ дать стада моей семьи,
Когда бъ ихъ промѣнять на тотъ металлъ,
Тотъ желтый прахъ, что Каиновы дѣти
Пытаются намъ предлагать въ обмѣнъ;
Какъ будто ни къ чему ненужный соръ,
Хоть и блестящій, можно принимать
За молоко, за шерсть, плоды—за все,
Что намъ даютъ стада или долины.
А впрочемъ, продолжай вздыхать на звѣзды,
Какъ волки воютъ на луну. А я
Иду ко сну.

ІАФЕТЪ.

И я бы сдѣлалъ то же,
Когда бъ могъ спать.

ИРАДЪ.

Но все же ты къ шатрамъ
Держался бы поближе.

ІАФЕТЪ.

Нѣтъ, Ирадъ,
Мой путь теперь къ пещерѣ, что слыветъ
Проклятою, какъ дверь отъ преисподней,
Для выхода на землю изъ нея
Духамъ земли.

ИРАДЪ.

Чего жъ ты хочешь тамъ?

ІАФЕТЪ.

Печальнымъ видомъ душу усладить
Печальную: отверженное мѣсто
Отвергнутой душѣ—отрадный видъ.

ИРАДЪ.

Остерегись, тамъ непонятный гулъ
И странныя видѣнья наполняютъ
Все ужасомъ. Я провожу тебя.

ІАФЕТЪ.

Нѣтъ, нѣтъ, Ирадъ; я зла не помышляю,
Поэтому и не страшуся злыхъ.

ИРАДЪ.

Но злобныя созданія должны
Тѣмъ злѣйшими твоими быть врагами,
Что самъ ты не изъ ихъ числа. Вернемся,
Иль дай, и я пойду съ тобою.

ІАФЕТЪ.

Нѣтъ,
Я побреду одинъ.

ИРАДЪ.

Ну, миръ съ тобой. (*Уходитъ*).

ІАФЕТЪ (*одинъ*).

Миръ—миръ! да, я искалъ его такъ жадно;
Искалъ любовью, можетъ быть, достойной
Найти его. И что жъ? взамѣнъ того,
Мнѣ посланы всѣ—всѣ мученья сердца,
Тоска, печаль, дни, полные тревогъ,
И ночи, не дающія покоя.
Что значитъ миръ? Безмолвіе страданья
Иль тишина таинственныхъ лѣсовъ
И шопотъ ихъ вѣтвей передъ грозою?
Или покой отчаянья? Вотъ миръ
Обычный мой. Земля развращена,
И знаменья зловѣщія давно
Ей близкую превратность возвѣстили;
Ужасный приговоръ произнесенъ
Творенью беззащитному. О, Ана!
Въ тотъ страшный часъ, когда всѣ бездны водъ
Разверзнутся, вѣдь ты могла бъ припасть
На эту грудь, которую стихіи
Не разобьютъ, на эту грудь, что бьется
Такъ по тебѣ напрасно! и увы!
Тогда еще напраснѣй будетъ биться...
О, Боже, Боже! Гнѣву Твоему
Не подвергай ее, по крайней мѣрѣ!
Она была чиста средь развращенья,
Какъ та звѣзда, что въ темныхъ облакахъ
На время померкаетъ, но не гаснетъ.
О, Ана! Ана! какъ я обожать
Тебя бы могъ! Но ты не захотѣла.
О, какъ бы я спасти тебя хотѣлъ
И видѣть уцѣлѣвшею, когда
Земля найдетъ могилу въ океанѣ,—
И въ морѣ безъ мелей и береговъ,
Ставъ водяной вселенной властелиномъ,
Левіаѳанъ самъ будетъ изумленъ
Безмѣрностью владѣнья своего. (*Уходитъ*).

Входятъ НОЙ и СИМЪ.

НОЙ.

Гдѣ братъ твой... гдѣ Іафетъ?

СИМЪ.

Онъ говорилъ,
Что выйдетъ на обычное свиданье
Съ Ирадомъ, но, я думаю, скорѣе
Онъ путь избралъ къ палаткамъ этой Аны,



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Фрески Микель Анджело въ Сикстинской капеллѣ.

Гдѣ по ночамъ витать привыкъ, какъ голубь
Вкругъ разореннаго гнѣзда; не то,—
Свои шаги направилъ къ сторонѣ
Зіяющей пещеры Араратской.

НОЙ.

Что можетъ онъ тамъ дѣлать? Это мѣсто
Есть зло земли, хотя земля теперь
Вся стала зломъ. Онъ встрѣтитъ тамъ созданья
Порочнѣе, чѣмъ худшій изъ людей.
Онъ эту дщерь погибельнаго рода
Любить все продолжаетъ; а межъ тѣмъ
Онъ взять ее не могъ бы, если бъ даже
Любимымъ былъ; а онъ еще къ тому
И не любимъ. Увы! сердца людей
Несчастныя! Мой сынъ, мое рожденье,
Кому извѣстно зло сихъ страшныхъ дней,
И то, что близокъ самый день суда,
Такъ обуянъ любовью запрещенной!
Веди меня.

СИМЪ.

Отецъ, остерегись!
Іафета я могу найти одинъ.

НОЙ.

Не бойся за меня: созданья злыя
Не могутъ быть опасны для того,
Кто избраннымъ Господнимъ сталъ. Идемъ.

СИМЪ.

Къ родительскимъ палаткамъ двухъ сестеръ?

НОЙ.

Я говорю къ пещерѣ Араратской. (*Уходятъ*).

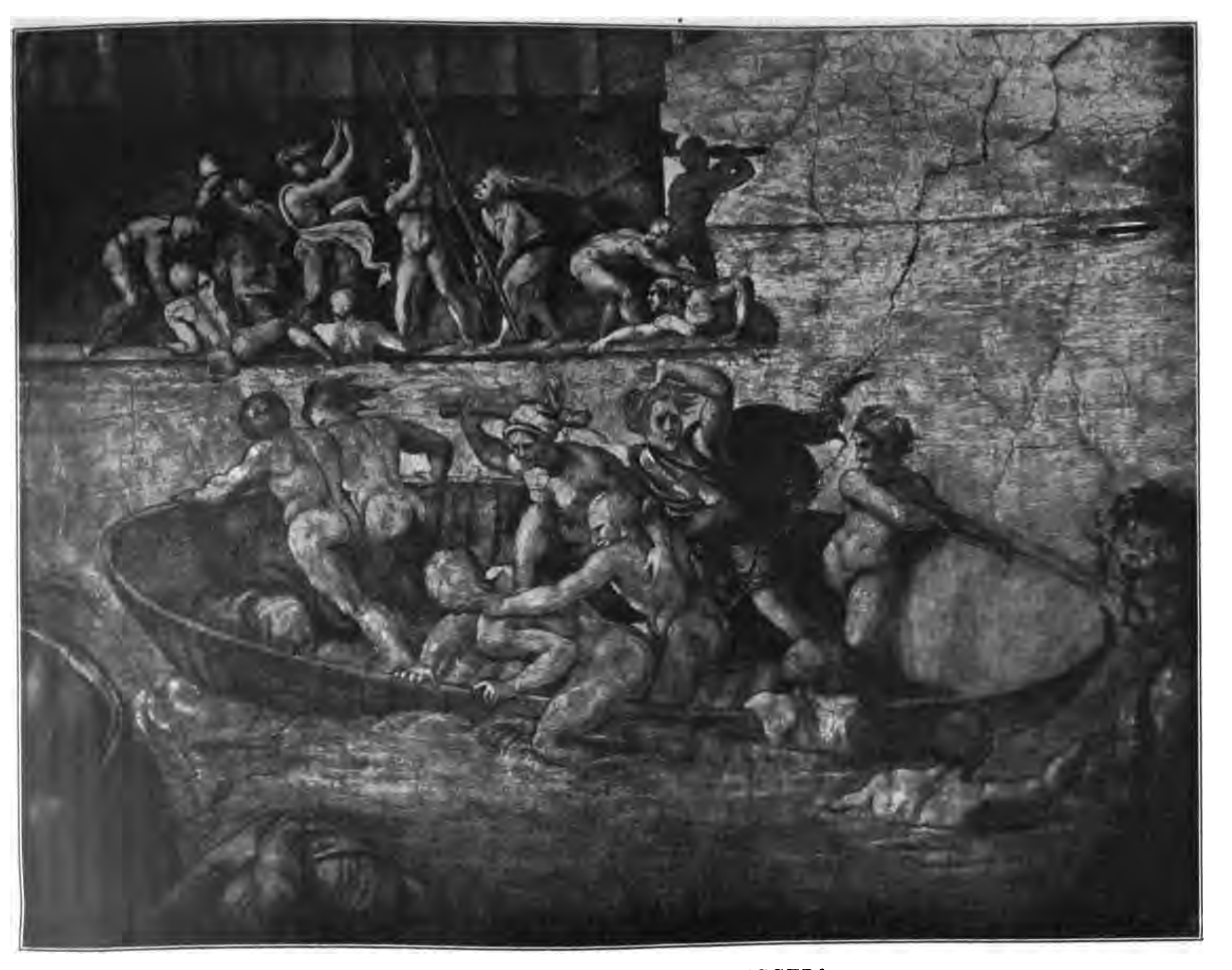
СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Горы. Араратская пещера.

ІАФЕТЪ (*одинъ*).

Вы, грозныя мѣста, которыхъ видъ
Напоминаетъ вѣчность; ты, пещера,
Что кажешься бездонною; вы, горы
Съ своей невыразимой красотой,
Съ величіемъ суровыхъ вашихъ скалъ,
Съ могучими деревьями на вашихъ
Отвѣсныхъ крутизнахъ, куда ничья
Нога не достигала, иль, достигнувъ,
Безъ трепета ступать не смѣла! Да,
Вы кажетесь мнѣ вѣчными!—И что же?
Черезъ немного дней и, можетъ быть,
Не дней—часовъ, вы будете съ корнями
Исторгнуты, разбиты, сметены
Громадой водъ. Та грозная пещера,
Ведущая какъ будто въ самый адъ,
Увидитъ преисподнюю свою
Свирѣпою волною наводненной;
Дельфинъ взыграетъ въ логовищѣ льва,
А человѣкъ... О люди! Люди-братья!
Кто вашу непомѣрную могилу
Рыданьемъ огласитъ, кромѣ меня,
Который остается, чтобы плакать?
Мои собратья! Лучшій ли удѣлъ
Назначенъ мнѣ, что я переживу васъ?
Что ожидаетъ милыя мѣста,
Гдѣ я бродилъ, пока имѣлъ надежду
Любимымъ быть? Иль тѣ, почти не меньше
Любезныя, куда-ходилъ съ моимъ
Отчаяньемъ? Ужель все это будетъ?
Та гордая вершина, что блеститъ
Далекою звѣздою,—неужели
Бушующія волны закипятъ
Поверхъ ея? Ужели никогда
На ней восходъ румяный не зажжется,
Чтобъ разогнать клубящійся туманъ
Съ ея чела? Ужель закатъ волшебный
Въ обычный часъ надъ нею никогда
Горѣть вѣнцомъ не будетъ многоцвѣтнымъ?
И маякомъ земли быть перестанетъ,
Гдѣ ангелы спускались какъ на мѣсто
Ближайшее, по высотѣ, къ звѣздамъ?
И это *никогда* ужель должно
Быть для „*нея*", для всѣхъ созданій міра,
Ужаснымъ приговоромъ, кромѣ насъ
И избранныхъ отъ тварей, сохраненныхъ
Моимъ отцомъ по волѣ Еговы?
Возможно ли? *Онъ* сохраняетъ тварей;
Я жъ лучшаго творенья на землѣ,
Милѣйшую изъ дѣвъ земныхъ, не властенъ
Предохранить отъ участи, которой
Избѣгнетъ даже змѣй съ своей змѣей,—
Избѣгнетъ для того, чтобъ уязвлять
Тотъ новый міръ, пока еще не вставшій
Изъ праха настоящаго,—тотъ міръ,
Котораго дымящееся сѣмя,
Надъ гноищемъ вселенной подымаясь,
Единственнымъ столбомъ могильнымъ будетъ
Служить для миріадъ... для миріадъ,
Теперь еще живыхъ пока. Какъ много
Дыханій будетъ вдругъ прекращено!
Прекрасный міръ, отмѣченный такъ рано
Для гибели! Съ разбитою душой
Слѣжу я день за днемъ и ночь за ночью
Исчисленные дни твои и ночи.
Я не могу спасти тебя; я даже
Спасти не властенъ ту, къ кому любовь
Мнѣ тайны красоты твоей открыла.
Но какъ частица праха твоего,
Я не могу иначе помышлять
Объ участи, висящей надъ тобою,
Какъ прахъ, твой прахъ.—Но, Боже, неужели...

(*Останавливается. Изъ пещеры раздается шумъ; слышны взрывы хохота; затѣмъ появляется духъ*).



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.
Деталь фрески Микель Анджело въ Сикстинской капеллѣ.

ІАФЕТЪ.

Во имя Неба, кто ты?

ДУХЪ.

Ха-ха-ха!

ІАФЕТЪ.

Всѣмъ тѣмъ, что есть святого на землѣ,
Я требую и заклинаю...

ДУХЪ.

Ха-ха!

ІАФЕТЪ.

Потопомъ, угрожающимъ землѣ,
Землею, обреченной океану!
Собраньемъ водъ неумолимой бездны,
Готовой отвориться! Этимъ Небомъ,
Грозящимъ облака свои въ моря
Преобразить! И тѣмъ, который создалъ
И рушитъ нашу землю!—Говори,
Ты грозное и мрачное видѣнье,
Безличное, но страшное: надъ чѣмъ
Такимъ ужаснымъ смѣхомъ ты смѣешься?

ДУХЪ.

А ты о чемъ рыдаешь?

ІАФЕТЪ.

О землѣ
И объ ея несчастныхъ дѣтяхъ.

ДУХЪ.

Ха-ха! (*Исчезаетъ*).

ІАФЕТЪ.

Какъ врагъ смѣется гибели вселенной,
Уничтоженью міра, гдѣ взойти
Не суждено, быть можетъ, завтра солнцу;
Межъ тѣмъ, земля и все, что есть на ней,
Спокойно спитъ! Спитъ наканунѣ смерти.
Ужель она проснется лишь затѣмъ,
Чтобъ умереть? Что я за тварей вижу?—
Онѣ глядятъ, какъ бы живая Смерть,
А говорятъ, какъ будто жили прежде,
Чѣмъ созданъ умирающій нашъ міръ.
Онѣ встаютъ, подобно облакамъ...
(*Изъ пещеры выходятъ духи разнаго вида*).

ДУХЪ.

Поемъ!
Тотъ родъ презрѣнный,
Что промѣнявъ Эдемъ блаженный
На знаніе съ его гнилымъ плодомъ,
На гибель обреченъ. Вотъ-вотъ—
Послѣдній часъ его идетъ.
Не отъ меча, сердечныхъ мукъ иль горя,
Не въ разноту—отъ времени и лѣтъ,
Погибнетъ онъ; нѣтъ! Чуть забрежжетъ свѣтъ—
Земля преобразится въ море,
Мгновенно смолкнетъ гамъ земной,
И только ураганъ выть будетъ на просторѣ
Надъ безпредѣльною волной.
Напрасно будутъ ангелы искать
Вершины, гдѣ бъ могли пристать.
Напрасно будетъ взоръ кругомъ кидать тоскливо
Отчаянный пловецъ, ища крутой скалы,
Гдѣ, прежде чѣмъ умретъ, онъ сталъ бы ждать отлива,
Межъ тѣмъ какъ грозные валы
Къ нему бъ все ближе подползали,
Пока бъ ему не доказали,
Что быть отливу не дано,
Что все на смерть обречено...
Изъ праха созданная тварь
Перестаетъ владѣть землею:
Надъ ней встаетъ стихійный царь,
Съ свирѣпою волною.
Утесы горъ сравняетъ онъ съ пескомъ,
Сосну и кедръ съ лежачимъ тростникомъ,
И все, что блещетъ пестротою,
Покроетъ синевою.
Холмы, утесы, люди, лѣсъ,
Въ одно съ долиною небесъ
Сольются властью всемогущей
Свирѣпыхъ волнъ.—Поемъ, поемъ!
На той волнѣ ревущей
Кто основать посмѣетъ домъ?

ІАФЕТЪ (*выступая впередъ*).

То будетъ мой отецъ!
Вѣдь сѣмя жизни сохранится;
Земля погибнетъ не въ конецъ,
Но лишь отъ зла освободится.
Прочь, демоны! Прочь это ликованье
О гибели того, что Вышній осудилъ;
Но что онъ истребить не попустилъ
Вамъ, злобныя, проклятыя созданья!
Сгинь, сгинь, кромѣшный родъ!
Въ свою пещеру, злое сѣмя!
Пока васъ грозная волна тамъ не найдетъ
И не изгонитъ ваше племя
Въ воздушный безграничный океанъ,
Чтобъ тамъ кружилъ васъ вѣчный ураганъ!

ДУХЪ.

Сынъ Ноя!
Когда земля и все земное
Добычей станетъ волнъ и будетъ спасена
Семья избранника одна,
Вы будете ль счастливѣй? Нѣтъ,
Отъ васъ родятся поколѣнья,
Наслѣдники грѣха и преступленья,
А потому наслѣдники и бѣдъ.
Они не будутъ жить по стольку лѣтъ,
Не будутъ такъ стройны и величавы,



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Картина Антоніо Караччи (Antonio Caracci, 1583—1618) въ Луврѣ.

Такъ красоты исполнены и славы,
Какъ исполины нынѣшней земли,
Какъ эти гордые, ходящіе межъ вами,
Сыны любви
Прекрасныхъ ангеловъ съ земными матерями.
Какихъ бы ни питалъ ты грезъ,
Но общаго съ прошедшимъ, кромѣ слезъ,
Не будетъ ничего у вашего рожденья.
И неужель ты можешь безъ зазрѣнья
Такъ, такъ все это пережить?
И будешь посягать и ѣсть потомъ, и пить?
Ужель такъ безсердеченъ ты и низокъ,
Чтобъ въ этотъ часъ, когда конецъ такъ близокъ
И роду твоему, и міру, гдѣ ты жилъ,
Не находить въ себѣ ни столько силъ,
Ни столько мужества и братственной печали,
Чтобъ броситься въ волну кипящую скорѣй,
Чѣмъ строить свой корабль, который бы качали
Тѣ волны, тѣ холмы могильные надъ всей
Вселенною твоей.
Кто пережить своихъ такъ можетъ братій,
Кромѣ раба, достойнаго проклятій?
Мой родъ
Съ твоимъ вражду ведетъ,
Какъ племенемъ намъ ненавистной сферы,
Но онъ стоитъ за свой.
Изъ насъ нѣтъ никого, кто бъ трона за собой
Не бросилъ въ небесахъ, чтобъ населить пещеры,
Подобныя вонъ той,
И слыть межъ васъ проклятымъ
Скорѣй, чѣмъ измѣнить поверженнымъ собратамъ.
Иди же, тварь, не опоздай
На свой ковчегъ и родъ свой распложай.
Когда же океанъ великій зареветъ
Надъ всѣмъ, что онъ въ своихъ похоронилъ пучинахъ,
То помяни объ исполинахъ,
О томъ, какъ погибалъ ихъ родъ,—
И прокляни отца, что могъ спастись одинъ,
И самого себя, отца такого сынъ!

ХОРЪ ДУХОВЪ (*выходящихъ изъ пещеры*).

Поемъ!

Отнынѣ нашего круженья
Въ пространствѣ голубомъ
Не возмутитъ ни дымъ куренья,
Ни вздохъ внезапный умиленья:
Порода рабская людей
Не будетъ строить алтарей.
А мы, что никогда не падали челомъ
Предъ вымогателемъ молитвъ и поклоненья,
Предъ Тѣмъ, Кто нерадѣнье
О закаланьи жертвъ назвалъ грѣхомъ,
Мы будемъ зрители того, какъ хляби водъ,
Открывшись, заревутъ и какъ одна стихія
Хаосомъ сдѣлаетъ другія;
Того, какъ погибать начнетъ несчастный родъ
И какъ по всѣмъ норамъ, ущельямъ,
Стремнинамъ горъ и подземельямъ
Его останки разнесетъ;
Того, какъ дикій звѣрь забудетъ воевать
Съ подобными себѣ и слабаго терзать;
Того, какъ оробѣвъ, какъ бы ягненокъ бѣдный,
Тигръ будетъ умирать вблизи овцы безвредной;
Того, какъ этотъ міръ вновь будетъ обращенъ
Въ хаосъ, носившійся надъ бездной,
Предъ тѣмъ, какъ былъ онъ сотворенъ.
И пусть настанетъ примиренье,
Пусть смерть захочетъ пощадить
Останки прошлаго творенья,
Чтобъ для себя ихъ снова расплодить.
Пусть солнце теплотой своею кипящей
Переваритъ тѣ сѣмена,
И новый міръ создастъ, обиліемъ кишащій
Создастъ иныя племена...
Поемъ!
Мы въ мірѣ томъ опять найдемъ
Тѣхъ самыхъ дѣлъ такое же теченье:
Труды, печали, потъ,
Болѣзни, преступленья,
Лишенья, слезы, гнетъ,
Пока все это...

ІАФЕТЪ (*прерывая*).

Пока отвѣта
Намъ даровать Господь не удостоитъ
О таинствѣ добра и зла,
Пока не соберетъ и вновь Онъ не устроитъ
Подъ сѣнью всемогущаго крыла
Своихъ раскаявшихся чадъ
И уничтожитъ самый адъ!
И на землѣ возстановленной,
Съ первосозданной красотой,
Вновь явится Эдемъ, гдѣ родъ нашъ обновленный,
Безгрѣшный, чистый и святой,
Не будетъ болѣе ни падать, ни грѣшить,
Гдѣ даже демоны не будутъ зла творить.

ДУХИ.

Когда жъ такое чудо наступить
Могло бы не во снѣ, а въ явѣ?

ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Картина Пуссена (Nicolas Poussin, 1593—1665) въ гравюрѣ Обера (M. Aubert 1700—1757).

ІАФЕТЪ.

Когда Обѣщанный придетъ насъ искупить
Сперва въ скорбяхъ, потомъ во славѣ.

ДУХИ.

Такъ жди, подавленный цѣпями,
Пока твой міръ, столь молодой,
Покрытъ не будетъ сѣдинами;
Веди напрасную борьбу съ самимъ собой,
Съ геенною и небесами.
Борись — не знай отдохновенья
И, не считая лѣтъ, вѣковъ,
Любуйся заревомъ кровавыхъ облаковъ
Отъ тысячей полей сраженья.
Другія времена наступятъ, поколѣнья,
Другіе люди будутъ жить,
Но слезы, зло и преступленья,
Мѣняя видъ, должны все тѣ же быть
И тѣхъ же бурь грозою дикой
Грядущій міръ вашъ будетъ истребленъ,
Какъ исполиновъ родъ великій,
Готовый стать добычей волнъ.

ХОРЪ ДУХОВЪ.

Поемъ, собратья!
Прощай, несчастный смертный родъ!
Чу-чу! намъ слышенъ гулъ поднятья
Свирѣпыхъ океанскихъ водъ.
Ужъ вѣтры, встрепенувшись, сторожатъ,
Ужъ тучи, переполнившись, кипятъ,
Великой бездны воды
Во всѣ ея отверстія стучатъ,
И небо распахнуть свои готово своды.
Пусть смертный, несмотря на знаменье временъ,
Ихъ страшнымъ языкомъ досель не вразумленъ,
Уже мы слышимъ гулъ собравшихся громовъ,
Лишь ожидающихъ послѣдняго велѣнья;
Мы видимъ на хребтахъ грозовыхъ облаковъ
Хоругви страшныя, для нашего лишь зрѣнья
Доступныя пока.
Рыдай, Земля, рыдай! Ты прожила мгновенье,
И уже къ смерти такъ близка.
Вы, горы, содрогнитесь! Океанъ
Надменныхъ вашихъ скалъ послѣднія верхушки
Дномъ сдѣлаетъ своимъ. Кавказскій великанъ
Подводнымъ будетъ камнемъ, и ракушки—
Послѣдній соръ морей — ракушки будутъ тамъ,
Гдѣ вьетъ орелъ гнѣздо своимъ птенцамъ.
Какъ надъ безжалостнымъ кричать онъ будетъ моремъ,
Какимъ отчаяньемъ и безполезнымъ горемъ
Онъ надъ орлятами своими будетъ выть,
Межъ тѣмъ какъ человѣкъ, подавленный безсильемъ,
Завидовать начнетъ его широкимъ крыльямъ,
Которыя ему не могутъ пособить!
Гдѣ сядетъ онъ, чтобъ отдохнуть имъ дать,
Когда надъ бездною не станетъ силъ летать?
Поемъ, собратья!
Напомнимъ вѣтровъ свистъ и вой!
Всѣ, всѣ умрутъ сыны проклятья;
Спасется лишь съ своей семьей
Одинъ потомокъ Сиѳа—Ной,
И то затѣмъ, чтобъ горе
Не все погибло въ морѣ.
Но вы, вы Каина сыны,
На гибель всѣ обречены!
Всѣ ваши дочери, съ ихъ славной красотой,
Осуждены найти могилы подъ водой,
Или надъ ней, между волнами,
Носясь съ размытыми косами,
Заставятъ даже насъ то небо укорить,
Что красоты такой могло не пощадить!
Но рѣшено!
Должны погибнуть всѣ созданья,
И шумъ всемірнаго рыданья
Смѣнить всемірное безмолвіе должно.
Въ послѣдній разъ—шумнѣй, шумнѣй!
И въ нашъ воздушный путь скорѣй!
Насъ громы ужъ сразили,
Людей должны сразить;
Мы Неба не молили,
А имъ не умолить.
Погибни-жъ родъ, вдвойнѣ презрѣнный,
Что былъ врагомъ небесъ и не былъ другъ геенны.

(*Духи поднимаются вверхъ и исчезаютъ*).

ІАФЕТЪ.

Господь изрекъ Землѣ свой приговоръ;
Ковчегъ отца давно его пророчилъ;
О немъ вопили демоны изъ темныхъ
Пещеръ своихъ; Еноховъ древній свитокъ
Задолго намъ предсказывалъ его
Въ безмолвіи страницъ своихъ, звучавшихъ
Сильнѣй громовъ для тѣхъ, кто слышать могъ.
Но люди не внимали и не внемлютъ.
И въ слѣпотѣ идутъ къ своей судьбѣ.
Она близка; но даже эта близость
Смущаетъ ихъ не больше, не сильнѣй,
Чѣмъ вопли ихъ послѣдніе смутятъ
Всевышняго, или Его велѣньямъ
Безжалостно-послушный океанъ.—
Но воздухъ чистъ, и я пока не вижу
Въ немъ знаменья: видъ этихъ облаковъ
Разсѣянныхъ—почти обыкновенный;
И солнце надъ послѣднимъ днемъ земли
Взойдетъ, какъ въ тотъ четвертый день творенья,



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.
Картина Шнора (Julius Schnorr von Karolsfeld, 1794—1872).

Когда Господь сказалъ ему: «Зажгись!»—
И первая заря взошла надъ міромъ—
Заря, не освѣтившая людей,
Тогда не сотворенныхъ, но заря—
Предшественница дня, когда впервые
Надъ юною землей раздался голосъ
Плѣнительный, сладчайшій голосъ птицъ,
Назначенныхъ летать по тверди неба,
Какъ ангелы, и съ каждою зарей,
Подобно имъ, предупреждать привѣты
Адамовыхъ сыновъ Іеговѣ.
Ихъ утро приближается; востокъ
Уже горитъ и близокъ день. Увы!
И ихъ удѣлъ ужасный такъ же близокъ—
И ихъ, и дня возлюбленнаго ихъ!
Онѣ должны погибнуть въ безднѣ моря,
Когда измѣнятъ силы имъ; а день,
Недолго такъ сіявшій надъ землею...
Онъ вновь взойдетъ. Но что онъ озаритъ?
Хаосъ, что былъ до сотворенья дня,
Вновь вызванный, чтобъ уничтожить время...
Вѣдь что безъ жизни могутъ значить дни,
Или часы? Не болѣе, чѣмъ вѣчность
Безъ Еговы. Но какъ же безъ Него
Она могла бы быть вообразима?
Такъ время, сотворенное для смертныхъ,
Со смертными должно и умереть
И такъ же утонуть въ своей пучинѣ,
Какъ этотъ міръ младенческій въ своей!..
Что вижу я?.. Земныхъ созданій вмѣстѣ
Съ небесными?.. Нѣтъ, это лишь одни
Небесныя. Мнѣ лицъ ихъ не видать,
Но какъ они легко скользятъ по ребрамъ
Сѣдой скалы, клубя ея туманъ!
Такихъ гостей увидѣть, послѣ стаи
Злыхъ демоновъ и ихъ злорадныхъ гимновъ,
Моей душѣ пріятно, какъ Эдемъ.
Они идутъ, быть можетъ, мнѣ сказать,
Что новая дана еще отсрочка
Моей землѣ несчастной—я о ней
Такъ часто вѣдь молился. Вотъ они!..
Я подойду къ нимъ ближе... Ана! Боже!
И въ обществѣ..

Входятъ САМІАЗЪ, АЗАЗІИЛЪ, АНА и АГОЛИБАМА.

АНА.

Іафетъ!

АЗАЗІИЛЪ.

А! Адамитъ!

САМІАЗЪ.

Что сынъ земли здѣсь дѣлаетъ теперь,
Когда ему подобные всѣ спятъ?

ІАФЕТЪ.

Что, ангелъ, ты здѣсь дѣлаешь теперь,
Когда ты въ небѣ долженъ пребывать?

АЗАЗІИЛЪ.

Ужели ты не знаешь иль забылъ,
Что это—часть великой нашей службы
Твоей земли быть стражей?

ІАФЕТЪ.

Но земля
Осуждена. Всѣ ангелы благіе
Ее уже оставили; съ нея
Бѣжали даже демоны, предвидя
Хаосъ, грозящій ей. О Ана, Ана!
Такъ долго, такъ напрасно, но досель
Такъ много мной любимая! Зачѣмъ
Ты съ этимъ духомъ водишься, въ то время,
Когда благимъ духамъ повелѣно
Оставить насъ?

АНА.

Іафетъ! я не могу...
Не нахожу, что отвѣчать; но... но
Прости меня.

ІАФЕТЪ.

Ахъ, если бы тебя
Могло простить и Небо, что такъ скоро
Прощать не будетъ болѣе. А ты
Въ опасности большого искушенья.

АГОЛИБАМА.

Иди къ своимъ шатрамъ, отродье Ноя!
А мы тебя не знаемъ.

ІАФЕТЪ.

Часъ придетъ,
Когда меня узнать ты можешь лучше.
Сестра твоя вотъ знаетъ обо мнѣ,
Что я все тотъ, какъ былъ.

САМІАЗЪ.

Сынъ патріарха,
Ходящаго предъ Богомъ въ правотѣ!
Какія бы ты ни имѣлъ печали
(А мнѣ слышна въ словахъ твоихъ печаль
И вмѣстѣ гнѣвъ),—какую нанесли
Азазіилъ иль я тебѣ обиду?

ІАФЕТЪ.

Обиду? О, тягчайшую! Но ты,
Безсмертный, правъ. Хотя она изъ праха
Сотворена, я не былъ и не могъ
Ея достоинъ быть. Прощай же, Ана!
Какъ часто говорилъ я это слово!
Теперь же говорю, чтобъ никогда
Не повторять отнынѣ. Ангелъ, или
Кто бъ ни былъ ты, иль скоро долженъ быть,
Имѣешь ли ты власть спасти мнѣ эту
Прекрасную... иль нѣтъ... прекрасныхъ этихъ
Созданій, дщерей Каина?

АЗАЗІИЛЪ.

Спасти?
Но отъ чего?

ІАФЕТЪ.

Возможно ли, чтобъ вы
И этого не знали? Ангелъ, ангелъ!
Вы раздѣляли съ человѣкомъ грѣхъ,
И, кажется, вамъ предстоитъ и кару
Съ нимъ раздѣлить, или, по крайней мѣрѣ,
Мою печаль.

АЗАЗІИЛЪ.

Печаль? До сей поры
Я никогда не думалъ, чтобы мнѣ
Могъ адамитъ загадки говорить.

ІАФЕТЪ.

Ужель вамъ ихъ не объяснилъ Всевышній?
Такъ, значитъ, вы уже осуждены,
Осуждены, какъ эти...

АГОЛИБАМА.

Что жъ, пускай!
Когда они такъ любятъ, какъ любимы,
Они должны не больше трепетать
Стать смертными, чѣмъ я страшусь безсмертныхъ
Мученій съ Саміазомъ.

АНА.

О, сестра!
Затѣмъ такъ говорить?

АЗАЗІИЛЪ.

Ужели Ана
Боится близъ меня?

АНА.

Да, за тебя
Я отдала бъ остатокъ краткій жизни,
Чтобъ хоть на часъ одинъ тебя избавить
Отъ муки злой.

ІАФЕТЪ.

Такъ это для *него!*
Такъ это ты меня для серафима
Оставила!.. Но это ничего,
Когда бъ ты не оставила и Бога
Изъ-за него. Подобные союзы
Межъ ангеломъ и смертною не могутъ
Ни святы быть, ни счастливы. Вѣдь мы
На нашу землю посланы трудиться
И умирать; они жъ сотворены,
Чтобъ предстоять Всевышнему. Но если
Онъ властенъ лишь спасти тебя, то часъ
Къ его небесной помощи прибѣгнуть
Почти уже приблизился.

АНА.

Ахъ, онъ
О смерти говоритъ!

САМІАЗЪ.

О смерти—намъ!
И тѣмъ, кто къ намъ такъ близки! Если бъ онъ
Такъ не былъ омраченъ своей печалью,
Я могъ бы улыбнуться.

ІАФЕТЪ.

Да! Но я
Не за себя боюсь или печалюсь;
Я буду сохраненъ; не потому,
Чтобъ самъ достоинъ былъ, но по заслугамъ
Родителя, который былъ всегда
Настолько правъ и праведенъ предъ Богомъ,
Чтобъ искупить дѣтей своихъ. Зачѣмъ
Онъ силой искупленья обладаетъ
Столь малою! Иль отчего я самъ
Не властенъ обмѣняться жизнью съ тою,
Съ кѣмъ жизнь моя съ одною лишь могла
Счастливой быть! Родъ Каина тогда
Хотя бы въ ней—послѣдней и безцѣнной
Красѣ его—могъ раздѣлить ковчегъ
Съ послѣднею семьей потомковъ Сиѳа.

АГОЛИБАМА.

Ужель ты можешь думать, чтобы мы,
Рожденные отъ первенца Адама,
Отъ Каина, зачатаго въ раю,
Могучаго, съ его горячей кровью,
Текущей въ нашихъ жилахъ,—чтобы мы
Могли сойтись съ сынами Сиѳа? Сиѳа,
Что завѣщалъ потомству своему
Печальный грузъ дней старческихъ Адама?
Нѣтъ, никогда! Ни за спасенье міра!—
(Будь міръ въ такой опасности). Нашъ родъ
Отъ твоего всегда вдали держался:
Такъ было изначала, такъ же будетъ
И до конца.

ІАФЕТЪ.

Я говорилъ въ отвѣтъ
Не на твои слова, Аголибама;
Ты слишкомъ унаслѣдовала кровь
Того, кѣмъ ты гордишься, кто былъ первый
Пролившій кровь, кровь брата своего.
Но, Ана, ты!.. Дозволь мнѣ не считать,
Тебя такой же чуждой для меня;
Я не могу сродниться съ этой мыслью,
Хотя не ты виной тому. Какъ часто
Твой видъ внушалъ мнѣ странныя мечты,
Что Авель, можетъ быть, оставилъ дочь
И что его кротчайшее потомство
Живетъ въ тебѣ. Такъ не похожа ты
На остальныхъ суровыхъ каинитокъ
Во всемъ, во всемъ кромѣ ихъ красоты.

АГОЛИБАМА (*прерывая его*).

Какъ смѣешь ты присвоивать ей чувства

Иль рабскій духъ врага ея отца?
Когда бы я ее такъ понимала,
Иль что-нибудь могла въ ней допустить
Отъ Авеля!... Прочь, прочь отъ насъ, сынъ Ноя!
Не поселяй раздора между нами.

ІАФЕТЪ.

Дочь Каина! такъ поступилъ отецъ твой.

АГОЛИБАМА.

Онъ Сиѳа твоего не убивалъ;
А что тебѣ до дѣлъ его другихъ?
Они должны остаться между нимъ
И Господомъ.

ІАФЕТЪ.

Ты хорошо сказала:
Его Господь давно ужъ осудилъ,
И я тебѣ дѣла его напомнилъ
Лишь потому, что ты гордишься *имъ*,
Не трепеща, какъ кажется, предъ *ними*.

АГОЛИБАМА.

Онъ былъ отцомъ отцовъ моихъ; старѣйшимъ
Изъ всѣхъ людей, рожденныхъ отъ жены;
Сильнѣйшимъ всѣхъ, грознѣйшимъ и изъ всѣхъ
Несчастнѣйшимъ; какъ я могу краснѣть,
Что бытіемъ моимъ отцу такому
Одолжена? Взгляни на наше племя,
На красоту сыновъ его, ихъ силу,
Отвагу, станъ, на долготу ихъ дней...

ІАФЕТЪ.

Ихъ дни уже исчислены.

АГОЛИБАМА.

Пускай!
Но такъ какъ имъ часы еще остались,
Я похвалюсь моимъ отцомъ и родомъ.

ІАФЕТЪ.

А мой отецъ и родъ мой о своемъ
Лишь Богѣ похваляются. Ты, Ана,
Что думаешь?

АНА.

Что ни судилъ нашъ Богъ—
Богъ Каина и Сиѳа—я должна
Покорной быть, и покорюсь съ терпѣньемъ.
Но если бъ я молиться смѣла въ этотъ
Ужасный часъ всемірной мести, я
Просила бъ не о томъ, чтобы остаться
Мнѣ жить одной изъ дома моего.
Сестра! Любимая сестра моя!
Что этотъ міръ, что всѣ міры, вся вѣчность,
Могли бъ мнѣ дать, съ утратою всего
Минувшаго: тебя—твоей любви—
Любви отца—тѣхъ лицъ и тѣхъ вещей,
Что на моемъ пути зажглись, какъ звѣзды,
И радостнымъ сіяніемъ своимъ
Надъ темнымъ бытіемъ моимъ свѣтили?
Ахъ, если къ намъ еще возможна милость,
Проси о ней, молись, Аголибама!
Я смерти ужасаюсь—потому,
Что ты умрешь.

АГОЛИБАМА.

Какъ, мою сестру
Могъ устрашить сновидецъ этотъ бѣдный,
Или смѣшной ковчегъ его отца,
Назначенный быть пугаломъ для міра!
Но развѣ насъ не любятъ серафимы?
Да если бъ не любили, развѣ мы
Могли бъ желать спасенья нашей жизни
Отъ Ноевыхъ сыновъ? О, нѣтъ! скорѣй...
Но это все безумныя мечтанья,
Безсвязный бредъ — плодъ безнадежной страсти
И долгаго скитанья по ночамъ.
Кто пошатнуть способенъ эти горы,
Иль землю потрясти, или водамъ
И этимъ облакамъ дать видъ иной,
Чѣмъ тотъ, какой въ своемъ теченьи вѣчномъ
Они въ глазахъ отцовъ моихъ имѣли?
Кто сдѣлаетъ все это?

ІАФЕТЪ.

Тотъ, Кто это
Своимъ единымъ словомъ сотворилъ
Изъ ничего.

АГОЛИБАМА.

Кто слышалъ это слово?

ІАФЕТЪ.

Вселенная, что закипѣла жизнью
Въ отвѣтъ ему. Ахъ, неужель твой смѣхъ
Не есть хула? Спроси у серафимовъ;
Когда они не скажутъ, что я правъ—
Они не ангелы.

САМІАЗЪ.

Аголибама,
Чти Бога твоего!

АГОЛИБАМА.

Я, Саміазъ,
Всегда творю обычныя хвалы
Предъ Господомъ, создавшимъ насъ обоихъ.
Но Онъ, вѣдь, Богъ любви, а не печали.

ІАФЕТЪ.

Увы! Любовь! Но что она иное,
Какъ не печаль? Самъ сотворившій землю,
Въ своей любви, былъ скоро огорченъ
И возскорбилъ надъ нею.

АГОЛИБАМА.

Да, объ этомъ
Такъ *сказано*.

ІАФЕТЪ.

Оно такъ *есть*.

Входятъ Ной и Симъ.

НОЙ.

Іафетъ!
Что дѣлаешь ты здѣсь съ дѣтьми проклятья?
Ужель ты не страшишься раздѣлить
Грозящую имъ участь?

ІАФЕТЪ.

Я, отецъ,
Не нахожу грѣха—искать спасенья
Созданьямъ земнороднымъ; и онѣ
Не могутъ быть изъ грѣшныхъ, если ихъ
Сопровождаютъ ангелы. Взгляни!

НОЙ.

Тѣ ангелы, что покидаютъ тронъ
Всевышняго и въ жены каинитокъ
Берутъ себѣ? Сыны небесъ, что ищутъ
И любятъ дѣвъ земныхъ, за красоту ихъ?

АЗАЗІИЛЪ.

Да, патріархъ.

НОЙ.

О горе, горе, горе
Общенію такому! Развѣ Богъ
Межъ нашею землей и вашимъ небомъ
Не положилъ границъ? Не отдѣлилъ
Отъ рода родъ?

САМІАЗЪ.

А развѣ человѣкъ
Не по подобью Бога сотворенъ?
И развѣ Богъ не любитъ своего
Подобья въ васъ? Мы соревнуемъ только
Его любви, любя его творенья.

НОЙ.

Я только человѣкъ, и я не созданъ
Судить людей; а Божіихъ сыновъ—
Тѣмъ болѣе. Но такъ какъ нашъ Господь
Меня своимъ общеньемъ удостоилъ
И мнѣ открылъ *суды* свои, то я
Скажу въ отвѣтъ: схожденье серафимовъ
Съ ихъ вѣчно-пребывающихъ небесъ
Въ погибельный и гибнущій, и больше,
Чѣмъ гибнущій,—почти погибшій міръ
Не есть добро.

АЗАЗІИЛЪ.

Хотя бъ они сошли
Спасти его?

НОЙ.

Нѣтъ, вамъ не искупить
И не спасти, со всею вашей славой,
Того, что осудилъ создавшій васъ
Столь славными. И если вы, навѣки—
Посланники спасенья, то для всѣхъ,
А не для двухъ прекрасныхъ этихъ дѣвъ...
Да, да, онѣ прекрасны, но онѣ
Осуждены.

ІАФЕТЪ.

Отецъ! не говори такъ.

НОЙ.

О сынъ мой, сынъ! страшися ихъ судьбы
И позабудь объ ихъ существованьи.
Ихъ часъ насталъ, а ты иного міра,
И лучшаго, назначенъ быть отцомъ.

ІАФЕТЪ.

Дозволь мнѣ съ *этимъ* умереть и съ *ними*.

НОЙ.

За эту мысль ты долженъ бы... Но Тотъ,
Кто можетъ все, тебѣ судилъ спасенье.

САМІАЗЪ.

Зачѣмъ скорѣй ему или тебѣ,
Чѣмъ той, кого твой сынъ бы спасъ цѣною
Обоихъ васъ?

НОЙ.

Спроси Того, Кто создалъ
Васъ *болѣе* великими, чѣмъ насъ,
Но столько же подвластными Его
Могуществу. Но вотъ Его кротчайшій
И высшій всѣхъ посланникъ передъ нами.

Входитъ архангелъ Рафаилъ.

РАФАИЛЪ.

Азазіилъ и Саміазъ!
Зачѣмъ не въ небѣ вижу васъ?
Съ какою службою высокой
Вы на землѣ, когда она
Быть одинокой
Теперь должна?
Скорѣй, скорѣй на небеса,
И слейте ваши голоса
Съ «семью», собратьями своими;
Вашъ долгъ быть съ ними.

САМІАЗЪ.

Но Рафаилъ!
Славнѣйшій всѣхъ межъ Божьими сынами,
Кто жъ ангеламъ законъ тотъ положилъ,
Чтобъ по землѣ имъ не ходить стопами,
По той землѣ, гдѣ есть еще тропы
Съ слѣдами Божіей стопы?
Не это ль міръ, любимый Еговой,
Куда, съ его сладчайшими судьбами,
Мы ревновали быть послами?
И не за этой ли звѣздой,
Юнѣйшею между звѣздами,
Мы всѣ съ заботою одной
Слѣдить любили, чтобъ она

Достойною была соблюдена
Ея Создателя и Бога?...
Но отчего чело твое такъ строго,
И рѣчь твоя угрозами полна?

РАФАИЛЪ.

Когда бъ Азазіилъ и Саміазъ
Своихъ небесъ не покидали,
Они бы въ этотъ грозный часъ
Не вопрошали
Меня о томъ,
Что въ небѣ писано огнемъ.
Но гдѣ паденіе и грѣхъ,
Тамъ померкаетъ лучъ познанья,
Таковъ законъ—одинъ для всѣхъ,
И херувимскія созданья
Его не могутъ избѣжать:
Умъ гордыхъ долженъ померкать,
Одни изъ ангеловъ благихъ,
Вы въ этомъ мірѣ развращенья
Вкушать остались упоенье
Любовью чуждой—дѣвъ земныхъ!
Но вамъ даровано прощенье...
Скорѣй къ Нему—скорѣй!
Въ ряды своихъ друзей!
Иль будьте вашимъ дѣвамъ
Вѣрны—
И вѣчнымъ гнѣвомъ
Поражены.

АЗАЗІИЛЪ.

А ты, архангелъ?.. Если намъ
Досель невѣдомымъ закономъ
Земля запрещена, ты самъ,
Являясь въ мірѣ запрещенномъ,
Не такъ же ли грѣшишь,
Какъ тѣ, которымъ ты грозишь?

РАФАИЛЪ.

Я присланъ къ вамъ, во имя Бога,
Къ Нему друзей моихъ призвать!
Друзья, друзья! съ которыми такъ много
Страшусь я въ небѣ потерять!
Не вмѣстѣ ль дружными крылами
Мы обтекали звѣзды съ вами?
О, будемъ вновь ихъ вмѣстѣ обтекать!
Да, этотъ міръ созрѣлъ для истребленья;
Земля умретъ и всѣ ея творенья
Погибнутъ съ ней. Но неужель она
Не можетъ быть ни создана,
Ни вновь въ хаосъ обращена,
Чтобы въ рядахъ небесныхъ ополченій
Не дѣлалось опустошеній?
Нашъ братъ надменный, Сатана,
Въ своемъ великомъ ослѣпленьи,
Дерзнулъ отвергнуть поклоненье;
Но и его глава опалена.
Вы менѣе могучи, серафимы,
Чтобъ подвергать чело свое громамъ.
И тѣ, кѣмъ вы любимы,—
Ужель онѣ замѣнятъ небо вамъ?
Я долго поборалъ
И я не прекращу боренья
Съ великимъ, гордымъ, что избралъ
Скорѣй геенну и мученья,
Чѣмъ признавать Того,
Кто далъ ему, какъ солнцу надъ лунами,
Сіять надъ серафимскими духами
И одесную отъ него
Велѣлъ своимъ архангеламъ стоять,
Чтобы въ его сіяньи исчезать.
Онъ былъ прекрасенъ—этотъ павшій,
Онъ былъ мнѣ другомъ и главой.
О небо! Если бъ не Создавшій,
Кто славою, величьемъ, красотой,
Иль властью могъ равняться съ Сатаной!
Когда бы часъ его паденья
Постигло вѣчное забвенье!
Желанье это грѣшное... Но вы,
Пока съ неопаленной головою,—
Предъ вами вѣчность: съ Сатаною
Или съ сынами Еговы.
Вамъ выбирать дано. Увы!
Онъ васъ не соблазнялъ и отъ его сѣтей
Природа ангеловъ давно ужъ безопасна.
Вашъ врагъ, о ангелы! сильнѣй;
Вѣдь женщина... Она прекрасна
И поцѣлуй ея опаснѣй жала змѣй.
Что змій? Онъ искусилъ лишь прахъ;
Она жъ грозитъ разстроить остальные
У Господа полки на небесахъ!
Но, нѣтъ! пока есть время,
Летимъ, летимъ!
Вѣдь все ихъ племя
Пройдетъ, какъ дымъ,
Межъ тѣмъ, какъ вы останетесь страдать
И небо воплями о прахѣ оглашать,
О немъ воспоминать, томиться,
Пока то солнце не затмится,
Что нѣкогда свѣтило на него,
И долѣе того...
Онѣ и вы! вѣдь вы созданья
Различныя отъ нихъ—во всемъ, кромѣ страданья:
Завидно ли наслѣдство раздѣлять
Тѣхъ, что должны во времени рождаться,
Съ теченіемъ мгновеній увядать,
Съ заботами къ могилѣ приближаться
И съ смертію, какъ призракъ, исчезать?
Да, ангелы, какихъ бы долгихъ дней
Вы имъ ни пожелали,
Онѣ бы все добычей праха стали,
Бывъ жертвою безчисленныхъ скорбей!



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Изъ цикла картоновъ Каульбаха «Всемірный потопъ». Картонъ № 10—Борьба съ драконами. (Wilhelm v. Kaulbach, Compositionen zur Sündfluth—Drachenkampf).

АГОЛИБАМА.

Спѣшите, ангелы, летѣть!
Мы всѣ должны, я слышу, умереть
Не такъ, какъ патріархи умирали,
Съ многостолѣтней сѣдиной.
Намъ говорятъ, что небеса собрали
Свои всѣ воды надъ землей;
Земной же безднѣ приказали
До нихъ подняться высотой.
Спастись, какъ кажется, немногимъ суждено
И каинитамъ не дано
Ждать отъ небесъ пощады иль прощенья.
Сестра! какъ скоро такъ и мщенье,—
Хотя оно продлится только часъ—
Должно, должно постигнуть насъ,
Достойны будемъ тѣхъ, кого мы обожали,
И встрѣтимся съ свирѣпою волной
Мы безъ волненья и печали,
Но съ безбоязненной душой.
Скорѣе жалки тѣ, что остаются жить
Безсмертными иль смертными рабами,
Чтобы оплакивать мирьяды тѣхъ, что сами
Не будутъ никогда ужъ больше слезы лить.
Направьте жъ, ангелы, полетъ
Скорѣй туда, въ вашъ вѣчный край родимый,
Гдѣ не грозитъ волна и вѣтеръ не реветъ;
Прощайте, серафимы!
Нашъ жребій—умирать, вашъ—вѣчно жить;
Что лучше? Можетъ разрѣшить
Лишь Тотъ Одинъ, Кто нашего желанья
Не спрашивалъ для нашего созданья.
Подобно намъ, смиритесь передъ Нимъ;
А я и одного мгновенья
Продолжить прахомъ быть такимъ
Не пожелала бы, противъ Его велѣнья.
Какъ не желала бъ я, чтобъ васъ
Постигнулъ гнѣвъ Его чрезъ насъ
За все Его благоволенье
Къ избраннику отъ Сиѳова рожденья.
Летите—близокъ часъ.
Но, воспаривъ надъ блѣдною землею,
О, помни, что моя любовь вслѣдъ за тобою
Восходитъ къ небу, Саміазъ.
И если я безъ слезъ *туда* воздѣну руки,
То знай, что ангела подруга эти муки
Безъ слабости перенесла.
Прощай!.. Теперь сгущайся, мгла!
Ты, бездна, хлынь изъ твоего жерла.

АНА.

Ужель спастись нѣтъ больше силъ?
Ужели самый часъ прощанья
Для насъ насталъ, Азазіилъ?
О сердце, сердце! предвѣщанья
Твои сбылись, хотя безмѣрность зла
Мои всѣ опасенья превзошла!
Но улетай!
Увы! помедли...
Нѣтъ, нѣтъ,—не внемли
Моимъ словамъ. Прощай!
Моя, вѣдь, мука будетъ скоротечна,
Твоя жъ была бы вѣчна, вѣчна,
Съ утратой неба твоего.
Ты слишкомъ забывалъ о немъ и безъ того
Для земнороднаго созданья!
Вѣдь нашъ удѣлъ—одни страданья,
Намъ суждено ихъ приносить
Самимъ духамъ, дерзнувшимъ насъ любить.
Тотъ первый, что посмѣлъ намъ знаніе открыть,
Утративъ тронъ почти Господній,
Былъ сверженъ въ міръ какой-то преисподній.
Но ты, Азазіилъ! Нѣтъ, нѣтъ,
Изъ-за меня ни мукъ, ни бѣдъ
Ты не узнаешь. Въ путь! Скорѣй!
И чтобъ тебѣ само воспоминанье
Когда нибудь мгновеннаго страданья
Не принесло средь вѣчности Твоей—
Забудь меня. Спѣши, спѣши летѣть;
Съ тобою врознь—мнѣ легче умереть.

ІАФЕТЪ.

Увы! не прогнѣвляй такъ Бога!
Отецъ! и ты, архангелъ, ты!
Какъ свѣтлое чело твое ни строго,
На немъ видна печать небесной доброты,—
Дозвольте имъ ковчегъ нашъ раздѣлить...
Или не дайте мнѣ ихъ пережить.

НОЙ.

Молчи, дитя грѣха и страсти!
Ты сердцемъ чистъ, но самымъ языкомъ
Не выходи изъ Божьей власти.
Живи, пока указано Творцомъ,
И умирай, когда Онъ повелитъ,
Но смертью праведныхъ,—не такъ, какъ каинитъ.
Твоя печаль должна быть молчаливой,
Остерегись слухъ Неба утомлять
Мольбой себялюбивой.
Возможно ль Богу согрѣшать?
А это бъ самое и было,
Когда бъ Его рѣшенья измѣнила
Печаль твоя... Будь мужъ и не слабѣй.
Неси удѣлъ Адамовыхъ дѣтей.

ІАФЕТЪ.

Да, да, отецъ! Но вотъ, когда они
Умрутъ, и мы одни
Останемся надъ синею пустыней,
И будемъ знать, что этою пучиной
Поглощены родимыя поля,
И что въ ея безмѣрной пасти
Погребены мои собратья и друзья—



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Изъ цикла картоновъ Каульбаха «Всемірный потопъ» Картонъ № 13—Умирающій вождь. (Wilhelm v. Kaulbach, Compositionen zur Sündfluth—Sterbender Häuptling).

Чьей, чьей тогда достанетъ власти
Рыданья намъ и вопли запретить?
Кто о терпѣньи намъ посмѣетъ говорить?
О Богъ! Будь Богъ!
И пощади, пока есть время,
Тобою созданное племя!
Ты былъ къ Адаму строгъ;
Но родъ нашъ былъ тогда одной четою.
Теперь же такъ умноженъ онъ,
Что капли всѣхъ ему грозящихъ волнъ
И всѣхъ дождей, висящихъ надъ землею,
Не превзошли бъ числа его могилъ,
Когда бъ могилъ онъ удостоенъ былъ!

НОЙ.

Безумный сынъ! Твои слова ужасны.
Но, ангелъ, онъ не разумѣетъ самъ,
Что говоритъ въ своей тоскѣ напрасной.

РАФАИЛЪ.

Онъ говоритъ такъ по своимъ страстямъ.
Но, серафимы, вы безстрастны;
Летимъ же къ нашимъ небесамъ!

САМІАЗЪ.

Я не могу быть больше тамъ,
Гдѣ эти осужденныя творенья
Не могутъ быть. Лети одинъ.

РАФАИЛЪ.

Азазіилъ! Твое рѣшенье?

АЗАЗІИЛЪ.

Онъ отвѣчалъ, а я скажу: аминь!

РАФАИЛЪ.

И ты? Тогда узнайте:
Вы съ часа этого осуждены;
Вы всей небесной власти лишены;
Вы чужды Господу. Прощайте!

ІАФЕТЪ.

Увы! гдѣ обитать имъ остается?
Чу-чу! гудитъ... подземный, тяжкій гулъ
Въ груди у Арарата раздается!..
Нигдѣ малѣйшій вѣтеръ не пахнулъ,
Но каждый листъ на деревѣ трясется;
Цвѣтъ, осыпаяся, летитъ;
Земля заколебалась и дрожитъ.

НОЙ.

Чу-чу! морскія птицы голосятъ!
Ихъ стаи осаждаютъ Араратъ
И вьются тамъ, гдѣ никогда доселѣ,—
Какъ ни была бъ родная имъ волна
Свирѣпости и ярости полна,—
Они искать прибѣжища не смѣли.
Но это ихъ теперь одинъ пріютъ,
Пока не будетъ мѣста имъ и тутъ.

ІАФЕТЪ.

Ахъ солнце, солнце!.. Но оно
Своихъ лучей ужъ лишено,
Какъ и всего, что въ немъ прекрасно.
Багровый шаръ его кругомъ
Весь чернымъ обведенъ кольцомъ;
И если что онъ озаряетъ ясно,
Такъ лишь одно, что для земли
Дни лучшіе ея прошли!
Вотъ, тучи почернѣли прежней тьмою...
Лишь мѣднокрасной полосою
Багровѣетъ то мѣсто въ облакахъ,
Откуда день къ намъ приходилъ въ лучахъ.

НОЙ.

Вотъ—вотъ! вдали блеститъ;
Предтеча грома, молнія горитъ.
Идемъ, мой сынъ. Пусть грозная стихія
Возьметъ свои всѣ жертвы злыя.
Скорѣй, скорѣе въ нашъ ковчегъ святой
Съ его несокрушимою кормой!

ІАФЕТЪ.

Отецъ! постой!
Не попусти, чтобъ жертвою волны
Была любимая мной Ана.

НОЙ.

Не всѣ ли грѣшники должны
Быть жертвой океана?
Идемъ, мой сынъ!

ІАФЕТЪ.

Иди одинъ.

НОЙ.

Такъ оставайся жъ съ ними умирать.
Какъ смѣешь ты взирать
На этотъ сводъ съ пророческой грозою
И помышлять, чтобы твоей мольбою
Смягчиться міръ стихійный могъ,
Иль въ правосудномъ гнѣвѣ Богъ?

ІАФЕТЪ.

Какъ ярость съ правосудьемъ сочетать?

НОЙ.

Какъ смѣешь ты, отступникъ, такъ роптать?

РАФАИЛЪ.

Смягчи свой гнѣвъ; будь, патріархъ, отцомъ;
Твой неразумный сынъ своимъ грѣхомъ
Не измѣнитъ того опредѣленья,
Чтобъ онъ былъ мужемъ правоты,
И благъ, и праведенъ, какъ ты.
А потому, онъ за свое паденье
Не будетъ жертвой горькихъ водъ,
Какъ опаленъ не будетъ Божьимъ гнѣвомъ
Подобно этимъ ангеламъ и дѣвамъ.

(*Ній уходитъ*).

АГОЛИБАМА.

Гроза идетъ!
Земля, въ союзѣ съ небесами,
На жизнь своихъ дѣтей ополчена!..
Борьба не можетъ быть равна
Межъ всемогуществомъ и нами.



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Изъ цикла картоновъ Каульбаха «Всемірный потопъ». Картонъ № 14 - Ковчегъ. (Wilhelm v. Kaulbach, Compositionen zur Sündfluth— Die Arche).

САМІАЗЪ.

А наша власть и наша сила?
Кто запретитъ намъ васъ умчать
Въ страну тѣхъ звѣздъ, на новое свѣтило
Нашъ новый жребій раздѣлять?
И только бъ о землѣ не плакала ты тамъ,—
Забыть о небесахъ я постараюсь самъ.

АГОЛИБАМА.

Родимый лугъ съ отцовскими шатрами,
Холмы, лѣса, ручьи!
Когда не будетъ васъ, иль я разстанусь съ вами,
Кто слезы осушитъ мои?

АЗАЗІИЛЪ.

То будетъ ангелъ, твой супругъ.
Повѣрь, владѣній нашихъ кругъ
Еще великъ. Мы властвуемъ мірами,
Откуда насъ не могутъ низвергать.

РАФАИЛЪ.

Мятежный духъ! ты можешь обольщать
Себя и ихъ безбожными словами!
Но этотъ мечъ васъ всюду будетъ гнать,
Какъ нѣкогда, въ моей рукѣ пылая,
Онъ первенца земли изгналъ изъ рая.

АЗАЗІИЛЪ.

Мечами можешь ты грозить
И объ изгнаньяхъ говорить
Созданьямъ уязвимымъ.
Но что мечи безсмертнымъ серафимамъ?

РАФАИЛЪ.

Ты скоро долженъ испытать
Тебѣ оставленныя силы
И наконецъ узнать,
Какъ безполезно возставать
Противъ того, что небеса судили.
Вы только вѣрой сильны были.

Входятъ СМЕРТНЫЕ, *бѣгущіе спастись.*

ХОРЪ СМЕРТНЫХЪ.

Земля смѣшалась съ твердью... Боже! предъ Тобою!
Въ чемъ грѣшны мы? Но пощади... Вотъ звѣри
Къ Тебѣ ревутъ съ отчаянной мольбою.
Драконъ не улежалъ въ пещерѣ
И въ ужасѣ мятется межъ людей,
Какъ будто онъ ягненокъ, а не змѣй.
Вотъ бѣдныхъ птицъ оторопѣлый гамъ,
Ихъ плачъ и крикъ, съ вопящею мольбою;
Іегова! о, сжалься надъ землею!
Внемли не намъ,—
Вселенной, созданной Тобою!

РАФАИЛЪ.

Прощай, земля! Вы, дѣти праха, вы!
Не отъ моей зависитъ воли
Избавить васъ отъ вашей доли,—
Таковъ законъ Іеговы. (*Улетаетъ*).

ІАФЕТЪ.

Однѣ изъ тучъ, какъ коршуны парятъ,
Другія неподвижны, будто скалы.
Чтобъ гнѣвные свои пролить фіалы,
Онѣ лишь знакъ послѣдній сторожатъ.
Лазурь небесъ! тебѣ ужъ не сіять!
Вамъ, звѣзды ночи! больше не вставать;
И ты, изъ всѣхъ славнѣйшее свѣтило!
Вотъ Смерть взошла—и будетъ окружать
Тотъ міръ, что ты доселѣ обходило.

АЗАЗІИЛЪ.

Все близостью хаоса обуяно;
Послѣднее мгновеніе пришло...
Простись съ своей земной отчизной, Ана,
И подъ мое приди надежное крыло.
Ты будешь здѣсь сохраннѣе зѣницы,
Какъ подъ крыломъ у матери орлицы
Ея птенецъ. Надъ грудой этихъ тучъ,
Что смертные считаютъ небесами,
Другихъ небесъ горитъ привѣтный лучъ
Надъ лучшими, блаженными мірами.
Тамъ бури не нарушатъ твой покой
И ты, какъ мы, тамъ будешь неземной.

(*Азазіилъ и Саміазъ улетаютъ, унося съ собою Ану и Аголибаму*).

ІАФЕТЪ.

Вотъ, и онѣ исчезли средь тумана;
И жить иль умереть имъ суждено,—
Мнѣ никогда не будетъ ужъ дано,
Ахъ, никогда, тебя увидѣть, Ана!

ХОРЪ СМЕРТНЫХЪ.

О, Ноевъ сынъ! Вѣдь мы—одно рожденье;
Ужель ты насъ оставишь всѣхъ—всѣхъ—всѣхъ,
Межъ тѣмъ какъ самъ средь этого крушенья
Взойдешь ты въ свой спасительный ковчегъ?

МАТЬ (*подавая своего ребенка Іафету*).

О, дай спастись съ тобой, сынъ Ноя,
Младенцу этому. Гляди,
Какъ онъ—дитя мое родное—
Прильнулъ къ моей груди.
Что сдѣлалъ онъ, въ чемъ согрѣшилъ,—
Птенецъ, питаемый сосцами?
Какими страшными дѣлами
Іегову онъ раздражилъ?
Зачѣмъ ему родиться было?



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ ВЪ ИСКУССТВѢ.

Рисунокъ Густава Доре (Gustave Doré).



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ.

Картонъ Ѳ. А. Бруни (Th. Bruni).



ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ.

Картонъ Ѳ. А. Бруни (Th. Bruni).

Что за проклятье или зло
Быть въ молокѣ моемъ могло,
Чтобъ смерть всѣ хляби отворила
И небесами землю возмутила
Противъ него,
Младенца моего?
Спаси его, спаси, сынъ Ноя!
Иль будь ты проклятъ,—ты и Тотъ,
Кто племя сотворилъ такое,
Какъ вашъ презрѣнный, низкій родъ!

ІАФЕТЪ.

Молчите. Должно вамъ молитвы возсылать,—
Не проклинать.

ХОРЪ СМЕРТНЫХЪ.

Молитвы? Но куда
Взойдутъ онѣ, когда
Громады тучъ до самыхъ горъ нагнулись
И прорвались,
Когда моря изъ береговъ рванулись
И ихъ водой пустыни напились?
Проклятье въ этотъ часъ
Тому, кто создалъ васъ!
Что проклинаемъ мы напрасно,
И что умремъ мы, все равно,
Мы знаемъ—знаемъ это. Но
Коль скоро мы своей ужасной
Судьбы не можемъ избѣжать,
Зачѣмъ бы мы, въ молитвенной печали,
Предъ Еговой неумолимымъ стали
Свои колѣна преклонять?
Онъ создалъ землю; но она
Ему безславьемъ быть должна:
Міръ сотворить для муки!... Вотъ!
Проклятый океанъ уже идетъ,
Чтобы своей стихійной силой
Вселенную всю сдѣлать вдругъ могилой!
Деревья нашихъ рощъ, что помнятъ часъ созданья,
Когда Эдемъ впервые возсіялъ
И отъ жены въ приданое познанья
Еще Адамъ не принималъ,
И первый рабскій гимнъ свой воспѣвалъ,—
Могучія, со всей ихъ красотою,
Одолѣваются волною.
Свирѣпый валъ плоды съ нихъ бьетъ,
А самъ межъ тѣмъ ростетъ — ростетъ— ростетъ.
Напрасно взоръ мы къ небесамъ возводимъ,—
Ихъ опускающійся сводъ
Сливается съ пустыней водъ—
И Бога въ нихъ мы не находимъ.
Бѣги, исчадье Ноево, скорѣй
На свой ковчегъ, колеблемый волнами;
Пресыть свой взоръ плывущими тѣлами
Товарищей дней юности твоей—
И тамъ воспой
Іегову своей хвалой.

СМЕРТНЫЙ.

Блаженъ, кто въ Богѣ опочилъ,
Кто въ Богѣ умираетъ!
Пусть море землю покрываетъ,
Но если такъ Господь судилъ—
Благословенъ да будетъ Онъ,
Да будетъ святъ Его законъ.
Онъ далъ мнѣ жизнь; мое дыханье
Не мнѣ—Ему принадлежитъ.
Пусть голосъ мой, съ молитвой обожанья
Къ Нему не долетитъ,—
Но до конца, пока во мнѣ есть сила,
Хвала—хвала Ему и честь!
За все, что было,
За все, что есть.
Вѣдь Онъ Творецъ всего
Изъ ничего;
Всего, что видимо и внятно,
Что безпредѣльно, необъятно,
Сей нашей жизни и другой,
Пространства, вѣчности самой,
Чему и самого названья
Языкъ людей не можетъ дать,—
Онъ сотворилъ и властенъ разрушать,
И я ль за мигъ одинъ дыханья
Дерзну роптать иль проклинать?
Нѣтъ, нѣтъ,—умру я съ вѣрою, какъ жилъ,
Хотя бы міръ разрушиться грозилъ!

ХОРЪ СМЕРТНЫХЪ.

Куда бѣжать? Съ крутыхъ высотъ
Ручьи съ свирѣпствомъ урагана,
Ревутъ на встрѣчу океана,
А океанъ на насъ идетъ!...
Идетъ по гибнущимъ холмамъ,
Грозя послѣднимъ высотамъ.

Входитъ ЖЕНЩИНА.

О, сжалься, сжалься надо мной!
Долина наша подъ водой.
Отецъ съ его шатрами,
Мои всѣ братья съ ихъ стадами,
Деревья, гдѣ мы въ полдень свой
Подъ кущами сидѣли
И гдѣ, вечернею порой,
Свои намъ пѣсни птицы пѣли,
Ручей прозрачный, столько лѣтъ
Поившій насъ своей струею—
Ихъ нѣтъ! Ихъ нѣтъ!..
Все это подъ водою.
Еще сегодня о зарѣ,



НЕБО И ЗЕМЛЯ.

Когда я на гору всходила,
Я оглянулась на горѣ,
Съ нея нашъ лугъ благословила.
Ничто не предвѣщало бѣдъ.
И вотъ—ихъ нѣтъ, ихъ нѣтъ!
Зачѣмъ я рождена на свѣтъ?

IАФЕТЪ.

Чтобъ умереть! и умереть такъ рано,
И все таки счастливѣй быть, чѣмъ тотъ,
Кто это все переживетъ,
Чтобъ созерцать пустыню океана,
И надъ погибшимъ мiромъ слезы лить!
Зачѣмъ его я долженъ пережить?

(*Вода все прибываетъ; люди бѣгутъ въ разныхъ направленiяхъ; многiе подхватываются волнами; хоръ смертныхъ разсѣивается по горамъ, въ поискахъ безопаснаго убѣжища; Iафетъ остается неподвиженъ на скалѣ; вдали виденъ плывущiй къ нему ковчегъ*).

Е. Заринъ.



АЗАЗIИЛЪ И САМIАЗЪ УЛЕТАЮТЪ,
уносясь съ собою Ану и Аголибаму.
Рис. Рихтеръ (H. Richter), грав. Портбэри (E. J. Portburry).

ВЕРНЕРЪ или НАСЛѢДСТВО.

Гете говорилъ, что съ нѣкотораго времени въ литературныхъ произведеніяхъ порочными стали изображаться преимущественно лица высшихъ сословій. Это замѣчаніе относится еще къ такъ называемой мѣщанской драмѣ сентиментальнаго направленія. Жестокость и безсердечіе сильныхъ міра и глухое забитое горе слабыхъ— вотъ, что стремились вызвать въ сознаніи драмы Дидро, Лессинга и множества другихъ вплоть до Гольдони съ одной стороны и Шиллера съ другой. Ужаснуть застарѣлой испорченностью и грубымъ насиліемъ однихъ и разжалобить добродѣтелью и страданіями другихъ—такова была поэтика драматическаго творчества временъ революціи.

Нѣсколько иной характеръ носятъ поэтическія произведенія, продолжающія въ ту же самую эпоху старую традицію разбойничьихъ романовъ. Тутъ та же диллемма становится сложнѣе. Да, сильные міра сего, эти благородные, какъ выражается Габоръ въ разбираемой драмѣ Байрона, „тысячами способовъ доѣзжаютъ бѣдняковъ", но на ихъ сторонѣ показная мораль; они считаются почтенными; ихъ жизнь проходитъ ровно и пороки ихъ скрыты, затушеванные блескомъ внѣшняго великолѣпія. А добродѣтель настоящая, возставая противъ сильныхъ міра сплошь да рядомъ должна пробиваться тернистымъ путемъ нарушенія законовъ. И вотъ, въ воображеніи поэтовъ начинаютъ возникать сильные люди, которыхъ, какъ „Корсара" Байрона, жизнь послала „въ школу разочарованія"; они „слишкомъ мудры въ рѣчахъ и слишкомъ сумасбродны въ дѣлахъ"; „слишкомъ тверды, чтобы идти на уступки и слишкомъ горды, чтобы подчиняться", они „проклинаютъ всѣ эти добродѣтели, какъ основную причину зла". Ихъ поэтическіе подвиги начались съ „Разбойниковъ" Шиллера. Съ этого времени разсказъ о благородномъ разбойникѣ, не трогающемъ бѣднаго, но безжалостномъ къ богатымъ, этотъ образъ когда-то, когда создавались баллады о Робинъ Гудѣ, имѣвшій строго соціальное значеніе, пріобрѣтаетъ скорѣе смыслъ моральнаго дерзанія и политическаго протеста. Оттого и интересъ сосредоточивается уже не на самыхъ похожденіяхъ, не на изворотливости и ловкости благороднаго разбойника вродѣ тѣхъ, съ кѣмъ встрѣтился Донъ Кихотъ въ извѣстной сценѣ освобожденія партіи каторжныхъ или вродѣ француза Картуша; интересъ теперь чисто психологическій. Воображеніе поэта привлекается самымъ обликомъ благороднаго разбойника, самой его трагической судьбой.

И эта частью моральная, частью политическая проблемма въ концѣ концовъ даже заслоняетъ собою соціальную. Покрывая его золотомъ своего воображенія, поэтъ, самъ воспитанный въ предразсудкахъ „благороднаго сословія", и своего героя начинаетъ видѣть уже вовсе не сыномъ народа, кровью отъ крови угнетенныхъ, какимъ былъ лихой вольный стрѣлокъ Робинъ Гудъ, и не представителемъ безправныхъ искателей приключеній, какъ герои испанскихъ романовъ пикареско, кеннингъ-катчеровъ Роберта Грина, или болѣе современныхъ Картушей,—поэтъ представляетъ себѣ своего героя отпрыскомъ древняго рода. Мы видимъ его при встрѣчахъ съ людьми сразу обнаруживающимъ, какъ Вернеръ, „рѣчь превосходящую его положеніе".

Такой герой не могъ не нравиться Байрону—онъ вполнѣ въ духѣ всѣхъ его болѣе раннихъ произведеній. Моральный и политическій протестъ недюжинной личности, мрачное презрѣніе къ людямъ, питающееся разочарованіемъ, противорѣчіе сословной гордыни и увлеченій давними доблестями высшаго сословія и тяготѣніе къ демократической доктринѣ, преслѣдуе-

мой наступившей во всей Европѣ реакціей, вотъ—основныя темы Байрона. Такова-же по облику ея главныхъ героевъ и его драма „Вернеръ".

Вернеръ, какъ называетъ себя центральный герой драмы графъ Зигедорфъ — потомокъ славныхъ богемскихъ рыцарей, и всѣ его стремленія сводятся только къ тому, чтобы вернуть себѣ наслѣдіе отцовъ. Но жизнь его почти вся цѣликомъ прошла въ бѣдности. Онъ потерялъ расположеніе своего суроваго отца и былъ изгнанъ изъ дома отчасти вслѣдствіе какого-то молодого увлеченія, но главнымъ образомъ потому, что онъ женился на итальянкѣ, дочери зажиточнаго тосканскаго горожанина, и отецъ его этотъ бракъ считалъ неравнымъ. Вернеръ такимъ образомъ одновременно и жертва высшихъ сословій съ ихъ предразсудками и прирожденной жестокостью, олицетворяющихся особенно въ коварномъ Штраленгеймѣ, и носитель тѣхъ чувствъ и понятій, какія распространены среди знати. Равнымъ образомъ и сынъ Вернера съ одной стороны достойный потомокъ рыцарства, а съ другой—неукротимый врагъ власть имущихъ; онъ „лѣсовикъ", и ему „вольно дышится лишь на вершинахъ горъ", и оттого его „духъ не убаюкиваютъ пиршества, обширныя залы замковъ и свѣтскія развлеченія". Его тянетъ къ „черной бандѣ" разбойниковъ, еще снующихъ по Богеміи, этихъ послѣднихъ пережитковъ воинства, создавшагося въ тридцатилѣтнюю войну и теперь, когда насталъ миръ, не находящихъ себѣ мѣста въ тихой и будничной обстановкѣ. Послѣдователенъ и единообразенъ съ точки зрѣнія той демократической струи, какая пронизываетъ нашу драму особенно въ первыхъ двухъ актахъ, только Габоръ, неизвѣстный венгерецъ, увлекшійся молодымъ Ульрихомъ и самъ также принадлежащій къ „черной бандѣ", но принадлежащій къ ней исключительно какъ старый солдатъ и врагъ установленнаго порядка, т.-е. произвола и своевластья знатныхъ.

Совершенно параллельно съ противорѣчіями въ соціальномъ положеніи отца и сына Зигедорфовъ—и ихъ нравственныя особенности, также осложненныя и запутанныя. Вернеръ въ первыхъ сценахъ представляется гордымъ бѣднякомъ, несправедливо гонимымъ и твердымъ въ своихъ принципахъ. Однако, когда черезъ потаенный ходъ, случайно найденный имъ въ толстой стѣнѣ замка, онъ проникаетъ въ комнату уснувшаго съ дороги Штраленгейма, онъ, не рѣшившись убить своего врага, всетаки крадетъ у него горсть червонцевъ. Онъ надѣялся при помощи этого золота спастись отъ бдительности своего преслѣдователя, теперь вновь случайно получившаго возможность наложить на него свою тяжелую руку. И въ этомъ гадкомъ и низкомъ преступленіи ему приходится сознаться передъ сыномъ въ первую же минуту ихъ встрѣчи послѣ долгихъ лѣтъ разлуки. Благородный Вернеръ, отказавшійся изъ гордости отъ помощи Габора, не рѣшившійся предательски умертвить человѣка, такъ подло и съ корыстной цѣлью преслѣдующаго его всю жизнь, оказывается преступникомъ. Онъ нравственно палъ. Его съ этого времени мучаютъ угрызенія совѣсти и украденное золото жжетъ его руку даже нѣсколько лѣтъ спустя—тогда, когда онъ жертвуетъ его на богоугодное дѣло. Вернеръ оказывается такимъ образомъ, человѣкомъ съ пошатнувшейся подъ вліяніемъ тяжелыхъ жизненныхъ обстоятельствъ нравственностью, но съ живымъ и ясно сохранившимся нравственнымъ сознаніемъ. Отсюда и его отношеніе къ Габору, котораго онъ спасаетъ отъ гнѣва своего сына въ послѣднемъ актѣ. По своему двойственъ и Ульрихъ. Кража отца вызываетъ въ немъ гадливое чувство и онъ не можетъ отъ него отдѣлаться до самаго конца. Но совѣсть мучаетъ также и его и не даетъ ему жениться на Идѣ Штраленгеймъ, потому что онъ убійца ея отца. Въ немъ также сильно развито и сыновнее чувство. Но въ то же время онъ предводитель „черной банды" и говоря о кражѣ отца онъ разсуждаетъ, какъ настоящій разбойникъ: убить и ограбить ему кажется дѣломъ чуть ли не благороднымъ. И особенно закоснѣлымъ оказывается Ульрихъ, когда такъ хладнокровно убиваетъ Штраленгейма по чисто практическимъ, утилитарнымъ соображеніямъ и еще болѣе когда по такимъ же соображеніямъ онъ хочетъ предательски умертвить и Габора. Его слова, что Штраленгейма онъ спасъ изъ разлившагося Одера и потому жизнь его принадлежитъ ему, Ульриху, конечно, не болѣе какъ преступная казуистика. Напротивъ, и въ нравственномъ отношеніи чистъ и благороденъ Габоръ. Подозрѣваніе его въ кражѣ денегъ приводитъ его въ неистовство. Зарѣзать человѣка, пробравшись въ его спальню, онъ также не способенъ и уже вполнѣ благородно поступаетъ онъ, когда соглашается

скрыть извѣстное ему преступленіе Ульриха. Габоръ такимъ образомъ единственный типичный благородный разбойникъ всей драмы.

Я постарался охарактеризовать этихъ трехъ дѣйствующихъ лицъ драмы—Вернера, Ульриха и Габора преимущественно съ точки зрѣнія тѣхъ чертъ, которыя должны были привлекать къ нимъ Байрона. Байроническимъ духомъ проникнута трагедія этихъ трехъ людей: Вернера, по самимъ условіямъ своей многострадальной жизни поглубже вдумавшагося въ психологію преступленія и поэтому немного больше знающаго о добрѣ и злѣ, чѣмъ обыкновенные люди; Ульриха, открыто вызывающаго на борьбу чуть ли не весь міръ, съ отвагой и дерзаніемъ въ сердцѣ и съ презрѣніемъ къ современной мирной жизни, гдѣ знать утратила рыцарскія свойства духа, чтобы замѣнить ихъ напыщенностью и своекорыстіемъ, и не останавливающагося и предъ настоящимъ злодѣяніемъ; и наконецъ Габора—этого болѣе блѣднаго, но болѣе послѣдовательнаго „благороднаго разбойника".

Однако исторія Вернера и его сына принадлежитъ воображенію не самого Байрона. Она заимствована имъ изъ „Повѣсти нѣмца или Крюицнера" госпожи Гарріэтъ Ли, напечатанной въ четвертомъ томѣ издававшихся обѣими сестрами Ли, Гарріэтъ и Софіей, „Кэнтерберійскихъ разсказовъ" (1797—1805) *). Еще за семь лѣтъ до выхода „Вернера" (1822), въ 1815 году Байронъ рѣшилъ передѣлать этотъ разсказъ въ драму, и до насъ дошелъ набросокъ первой редакціи, обнимающій еще только одинъ первый актъ. Передѣлывая разсказъ въ драму, Байронъ замѣнилъ собственныя имена, назвавъ Крюицнера Вернеромъ, можетъ быть потому, что это послѣднее имя напоминало гетевскаго Вертера, Конрада—Ульрихомъ, а безыменнаго венгерца—Габоромъ. Онъ кое что прибавилъ отъ себя и въ самомъ дѣйствіи. Вѣсь четвертый актъ, гдѣ развивается передъ нами сумрачный характеръ Ульриха, и его романъ съ Идой Штраленгеймъ созданъ самимъ Байрономъ; въ разсказѣ этотъ любовный мотивъ совершенно отсутствуетъ, а психологія Ульриха несравненно проще и грубѣе. Надъ Байрономъ тяготѣлъ однако самый остовъ разсказа и потому сквозь „Вернера" Байрона мѣстами такъ ярко сквозитъ „Крюицнеръ" г-жи Ли, что черты ихъ, сливаясь и сбиваясь, даютъ подчасъ нѣчто расплывчатое и неопредѣленное. И если „Вернеръ" долженъ быть причисленъ къ болѣе слабымъ произведеніямъ Байрона, то это и объясняется именно странной мыслью переложить въ стихи и придать драматическую форму такому сухому и даже почти плоскому разсказу, какъ „Крюицнеръ". Лишь введя романъ съ Идой Штраленгеймъ и накинувъ плащъ байронизма на Ульриха, поэтъ прибавилъ многое, если не почти все, что въ этомъ произведеніи заключается поэтически цѣннаго; на всемъ остальномъ висятъ лохмотья жалкаго и вымученнаго творчества г-жи Ли.

Центральнымъ моментомъ всего повѣствованія какъ у Байрона, такъ и у г-жи Ли надо, конечно, признать сцену встрѣчи отца и сына, тотъ ужасный моментъ, когда Вернеръ-Крюицнеръ говоритъ Конраду-Ульриху: „этотъ преступникъ—твой отецъ". Воображеніе Байрона было поражено этими словами, и онъ сохранилъ ихъ буквально. Но именно, исходя изъ этого драматическаго положенія, и видно всего яснѣе различие обоихъ преемственныхъ произведеній.

Г-жа Ли использовала столкновеніе отца съ сыномъ исключительно въ морализирующемъ смыслѣ. Сынъ пораженъ своимъ открытіемъ. Онъ споритъ съ отцомъ, слышитъ его казуистическую защиту своего преступленія, узнаетъ, что за человѣкъ Штраленгеймъ, каково его отношеніе къ несчастьямъ отца, и въ душѣ его, пошатнувшейся уже въ своей первоначальной чистотѣ, подъ вліяніемъ сыновняго чувства съ одной стороны и солидарности своихъ собственныхъ интересовъ съ интересами отца—съ другой, зарождается тогда еще большая преступность. Если отецъ его сталъ воромъ, то онъ, сынъ, станетъ убійцей и предателемъ. Конрадъ зарѣжетъ Штраленгейма, броситъ подозрѣніе въ кражѣ, совершенной его отцомъ, на венгерца, а потомъ постарается убить и этого венгерца, все по тѣмъ же побужденіямъ самозащиты и преслѣдованія своихъ интересовъ. „Коготокъ увязъ, всей птичкѣ пропасть", такъ гласитъ мораль „Разсказа нѣмца". Одно преступленіе, даже казалось бы извинительное, влечетъ за собой другое—большее, и гибель зіяетъ рано или поздно передъ тѣмъ, кто хоть разъ шагнулъ въ сторону отъ прямого пути—вотъ что хочетъ внушить г-жа Ли. И сообразно этому и развивается ея повѣствованіе до самого конца.

*) *Harriet et Sophia Lee*, Canterbury Tales. London. 1797—1805 vol I—V; the German's tale of Kruitzner, vol IV (1801).

Когда наконецъ венгерецъ открываетъ передъ его отцомъ преступленіе Конрада и старый Зигедорфъ спасаетъ его отъ руки сына, Конрадъ окончательно бѣжитъ въ „черную банду“, чтобы погибнуть въ стычкѣ съ регулярнымъ войскомъ, а Зигедорфъ умираетъ съ горя, не оставивъ послѣ себя потомства. Домъ Зигедорфовъ палъ и стерся цѣпью преступленій съ лица земли. Зигедорфъ-Крюицнеръ наказанъ и въ себѣ самомъ, и въ сынѣ, и въ своемъ чувствѣ главы древняго рода, который онъ хотѣлъ спасти, ставши на шаткій путь преступленія.

„Разсказъ нѣмца или Крюицнеръ“ такимъ образомъ не можетъ быть въ сущности даже названъ разбойничьимъ разсказомъ. Разбойничій сюжетъ тутъ только подробность. Авторъ лишь пользуется имъ. Морально-соціальное значеніе подобныхъ разсказовъ чуждо его замыслу. Мы находимъ въ немъ скорѣе нѣчто другое. Какъ въ „Предкѣ“ Грильпарцера, этой характернѣйшей трагедіи театра, слѣдующаго непосредственно за шиллеровскимъ, мы видимъ тутъ дѣйствіе справедливаго рока, тяготѣющаго надъ домомъ Зигедорфовъ. Этотъ родъ долженъ погибнуть. Гордость отца Зигедорфа-Крюицнера довела послѣдняго до преступленія, а это преступленіе разростается въ кровавой преступности его сына Конрада Зигедорфа.

И этотъ-то замыселъ, осложняя дѣйствіе и сбивая психологію, остался тяготѣть и надъ Байрономъ. Можетъ быть именно потому, что Байронъ не отдалъ себѣ отчета въ глубокомъ различіи пониманія героевъ его самого и г-жи Ли, и надо видѣть коренныя причины неудачности Вернера. Въ самомъ дѣлѣ. Все это заподозриваніе Габора въ кражѣ денегъ Штраленгейма, наполняющее собою второй актъ, и довѣріе Штраленгейма къ Ульриху, дѣлающее послѣдняго такъ неестественно какимъ-то сыщикомъ, все это вѣдь совершенно ненужно, все это—наростъ, пережитокъ коварнаго плана Конрада набросить подозрѣніе на венгерца, чтобы спасти отца. Совершенно ненужны и ничѣмъ не вызваны и слова Зигедорфа-Вернера, которыми заканчивается драма. Вѣдь до сихъ поръ мы ничего не слышали о тяготѣніи надъ нимъ проклятія отца. Это проклятіе было поводомъ цѣлаго ряда драматическихъ сцѣпленій, но вовсе не должно было играть рѣшающаго значенія. Исходя изъ словъ: „этотъ преступникъ—твой отецъ“, къ которымъ стремятся событія перваго акта, Байронъ самъ по себѣ шелъ по совершенно другому направленію. Онъ имѣлъ въ виду противоположеніе двухъ преступностей, а вовсе не ихъ преемственную связь. Его интересовало презрѣніе Ульриха къ жалкому и гадкому преступленію его отца, тѣсно связанное съ болѣе дерзающей, размашистой, гордой и, какъ явно хочетъ это представить Байронъ, красивой преступностью самого Ульриха.

Именно въ этомъ-то противоположеніи и заключается весь драматизмъ, созданный самимъ Байрономъ.

Зигедорфъ-Вернеръ страдаетъ до конца драмы отъ отчужденности сына. Онъ нашелъ сына, но въ то же время утратилъ его любовь и уваженіе. Рядомъ съ этимъ Зигедорфъ-Вернеръ терзается угрызеніями совѣсти. Онъ не убилъ Штраленгейма, но смутно чувствуетъ его кровь на своихъ рукахъ. Оттого, когда во время праздника мира въ Прагѣ на высотѣ своего наслѣдственнаго величія, уже казалось непоколебимаго, онъ встрѣчаетъ на себѣ взглядъ Габора, онъ терзается именно сомнѣніемъ о смерти Штраленгейма, и его тянетъ узнать всю правду отъ Габора. Оттого онъ хочетъ также женить сына на Идѣ Штраленгеймъ, которую онъ пригрѣлъ въ своемъ домѣ какъ родную дочь, несмотря на то, что она вѣдь дочь его злѣйшаго врага. Зигедорфъ-Вернеръ вообще существо скорѣе слабое, подверженное рефлексіи, колеблющееся, дерзающее какъ-то робко, какъ-то подневольно. Совсѣмъ другое дѣло Ульрихъ. Разъ дерзнувъ, онъ всталъ смѣло на путь протеста. Его чело сумрачно и въ душѣ его борьба, но кромѣ него никто не долженъ знать этого. Онъ перенесетъ, взлелѣетъ и возвеличитъ свое дерзновеніе. Онъ презираетъ людей и не боится ихъ. „Меня никто не ведетъ“, заявляетъ онъ. Онъ самъ прокладываетъ свой собственный страшный путь жизни и еще увлекаетъ за собой такихъ же смѣльчаковъ, такихъ же дерзновенныхъ. Сообразно этому драма Байрона и обрывается на уходѣ Ульриха. Онъ сталъ открыто въ ряды „черной банды“ и мы можемъ думать, что съ этого момента его жизнь будетъ жизнью, схожей съ похожденіями Корсара того-же Байрона. Будь Байронъ послѣдователенъ въ передѣлкѣ „Разсказа нѣмца“, онъ долженъ бы былъ поэтому измѣнить и самое заглавіе. „Ульрихъ“, а не „Вернеръ“ должна была бъ называться эта разбойничья драма и тогда она могла бы стать строго байронической.

И не запоздалымъ, не совершенно неумѣстнымъ воспоминаніемъ о проклятіи отца Зигедорфа-Вернера должна была бы оканчиваться эта драма, а скорѣе словами Ульриха. Уходъ Ульриха—вотъ настоящая развязка. Байрону слѣдовало-бы снова выдвинуть на первый планъ соціальные мотивы и политическій протестъ, заключающійся въ первыхъ двухъ актахъ, слѣдовало-бы заставить падать занавѣсъ на восклицаніи Ульриха, теряющемъ лучшую часть своего смысла именно потому, что ропотъ противъ Штраленгейма и ему подобныхъ забытъ, остался за воротами замка Зигедорфа.

Но если такъ, то зачѣмъ это преслѣдованіе Габора Ульрихомъ? При болѣе продуманномъ развитіи замысла самого Байрона его могла бы оправдать лишь измѣна Габора и самому Ульриху и всей „черной бандѣ"! Габоръ, этотъ вполнѣ законченный типъ „благороднаго разбойника", не сталъ другомъ Ульриха и, конечно, оттого, что Ульрихъ недостаточно вылупился изъ Конрада и байронизмъ не окончательно восторжествовалъ надъ морализированіемъ жалкаго „Разсказа нѣмца" г-жи Ли.

—— -

„Вернеръ", напечатанъ Мурреемъ въ самомъ концѣ 1822 года, а въ 1823 году по желанію Байрона продавался въ пользу греческаго возстанія. Впервые драма была поставлена на сцену только въ 1826 году и то лишь въ Нью-Іоркѣ. Въ Англіи онъ въ первый разъ былъ игранъ въ театрѣ Дрюри Ленъ 15 декабря 1830 года. Въ 1833 году драма была возобновлена и послѣ этого она нѣсколько разъ вновь появляется на театральныхъ афишахъ съ большими промежутками въ 40-ыхъ и 50-ыхъ годахъ. Но послѣ 1860 года наступаетъ болѣе долгій промежутокъ вплоть до 1887 года, когда на дневномъ представленіи „Лайсіума" 1-го іюня въ роли Вернера выступилъ знаменитый Ирвингъ; Элленъ Терри беретъ на себя роль Жозефины, а Алезандеръ роль Ульриха. Съ этого времени однако „Вернера" вновь забываютъ.

Сравнительная неудачность, какъ литературная, такъ и драматическая „Вернера" повела даже къ тому, что авторство Байрона стали отрицать. Въ „Nineteenth Century" (августъ 1899 года) появилась статья Левесона Гауэра, увѣрявшаго, что передѣланъ разсказъ г-жи Ли въ драму вовсе не Байрономъ, а бабушкой автора статьи Джорджіаной герцогиней Девонширской (1757—1806). Ея драма была, какъполагаетъ авторъ, написана еще въ 1801—1806 годахъ, около 1813 года она попала въ руки Байрона, который и издалъ ее подъ своимъ именемъ, при чемъ побужденіемъ къ этому плагіату было желаніе собрать деньги на греческое возстаніе. Что герцогиня Девонширская дѣйствительно передѣлала въ драму „Крюицнера"—повидимому несомнѣнно. Но это конечно доказываетъ только популярность взятой Байрономъ темы среди высшаго англійскаго общества. Вѣдь чтобы заподозрить авторство Байрона, надо еще найти доказательства для тожества драмы герцогини Девонширской и драмы Байрона. Прямыхъ доказательствъ этому однако нѣтъ и Левесонъ Гауэръ не могъ даже установить и того, что произведеніе герцогини попало въ руки Байрона. Между тѣмъ Шелли подъ 21 декабря 1821 года отмѣчаетъ, что Байронъ началъ трагедію на сюжетъ „Нѣмецкаго разсказа" г-жи Ли и проработалъ надъ ней весь день. Далѣе 8 января 1822 Шелли пишетъ: „Мэри прочитала намъ первые два акта „Вернера" лорда Байрона", а эта послѣдняя замѣтка въ свою очередь иллюстрируется данными одного еще не изданнаго документа, гдѣ говорится, что г-жа Шелли отъ 17 до 25 января 1822 переписывала это новое произведеніе знаменитаго друга ея мужа. Упоминаетъ о „Вернерѣ" и Медвинъ въ своихъ „Разговорахъ съ Байрономъ и Шелли". По его словамъ, Байронъ кончилъ свою драму въ 22 дня. Исторія и время написанія „Вернера" такимъ образомъ намъ вполнѣ извѣстны; она совершалась на глазахъ литературныхъ друзей Байрона. Авторство Байрона показываетъ и сопоставленіе цѣлаго ряда отдѣльныхъ мѣстъ „Вернера" съ другими созданіями Байрона. Такъ, напримѣръ, въ „Марино Фальеро" (актъ II стр. 2 строка 115) выраженіе „шелковичный червь" употребляется въ презрительномъ смыслѣ, что навѣяно итальянскимъ значеніемъ этого слова. Тотъ же итальянизмъ встрѣчается и въ „Вернерѣ" (актъ II сц. 2).

Евгеній Аничковъ.

ЗНАМЕНИТОМУ ГЕТЕ

ПОСВЯЩАЕТЪ ЭТУ ТРАГЕДІЮ

ОДИНЪ ИЗЪ ЕГО ПОЧТИТЕЛЬНѢЙШИХЪ ПОКЛОННИКОВЪ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Нижеслѣдующая драма заимствована цѣликомъ изъ книги „Крюицнеръ, повѣсть нѣмца", опубликованной много лѣтъ тому назадъ въ „Кентерберійскихъ повѣстяхъ" Ли. Какъ кажется, эти повѣсти написаны двумя сестрами, изъ которыхъ одной принадлежитъ „Крюицнеръ" и еще одинъ разсказъ, при чемъ обѣ эти вещи считаются лучшими изъ всего этого сборника. Я заимствовалъ оттуда дѣйствующихъ лицъ, общій планъ, а мѣстами даже самый текстъ. Характеры нѣкоторыхъ лицъ болѣе или менѣе измѣнены, вмѣсто нѣкоторыхъ именъ поставлены другія, а одно дѣйствующее лицо (Ида Штраленгеймъ) добавлено мною; въ остальномъ же я слѣдовалъ главнымъ образомъ оригиналу. Я въ первый разъ прочелъ эту повѣсть въ ранней молодости (мнѣ было, кажется, около 14 лѣтъ); она произвела на меня глубокое впечатлѣніе, и, право, я могу сказать, что она содержитъ въ себѣ зародышъ многихъ изъ моихъ произведеній. Не знаю въ точности, имѣла ли она когда либо крупный успѣхъ, и если имѣла, то успѣхъ этотъ съ тѣхъ поръ былъ во всякомъ случаѣ превзойденъ другими великими писателями въ томъ же родѣ; но я всегда убѣждался, что тѣ, которые прочли ее, соглашались со мною, цѣня въ этой повѣсти необыкновенную силу мысли и воображенія. Я именно сказалъ бы „мысли", а не выполненія, такъ какъ сюжетъ, вѣроятно, можно было бы развить удачнѣе. Среди тѣхъ, которые соглашались со мною относительно этой повѣсти, я могъ бы назвать нѣсколько весьма знаменитыхъ именъ, но въ этомъ нѣтъ необходимости, да оно и безполезно, такъ какъ каждый долженъ судить по своимъ собственнымъ впечатлѣніямъ. Я ссылаюсь на оригиналъ только для того, чтобы читатель могъ судить, насколько я изъ него заимствовалъ, и нисколько не обижусь, если чтеніе повѣсти доставитъ ему больше удовольствія, чѣмъ чтеніе драмы, основанной на ея содержаніи.

Я началъ писать драму на мотивъ этой повѣсти еще въ 1815 году; то была первая моя попытка въ драматическомъ родѣ, если не считать написанной мною въ четырнадцатилѣтнемъ возрастѣ драмы „Ульрихъ и Ильвина", которую я имѣлъ благоразуміе сжечь. Я тогда уже окончилъ одинъ актъ, но обстоятельства заставили меня прервать работу. Это начало находится гдѣ-то въ Англіи среди моихъ бумагъ; но такъ какъ его нельзя было найти, то я вновь написалъ первый актъ и прибавилъ остальные.

Пьесу эту я не имѣлъ намѣренія ставить на сцену, къ которой она вовсе и не приспособлена.

Пиза, февраль 1822 г.

Дѣйствующія лица:

Мужчины.

Вернеръ.
Ульрихъ.
Штраленгеймъ.
Иденштейнъ.
Габоръ.
Фрицъ.
Генрихъ.
Эрихъ.
Арнгеймъ.
Мейстеръ.
Рудольфъ.
Людвигъ.

Женщины.

Жозефина
Ида Штраленгеймъ.

Дѣйствіе происходитъ частію на границахъ Силезіи, частію въ замкѣ Зигедорфъ, близъ Праги.

Время дѣйствія въ концѣ тридцатилѣтней войны.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Зала въ обветшаломъ замкѣ, поблизости небольшого города на сѣверной границѣ Силезіи. Бурная ночь.

Вернеръ и жена его Жозефина.

ЖОЗЕФИНА.

Мой милый, успокойся!

ВЕРНЕРЪ.

Я спокоенъ.

ЖОЗЕФИНА.

По внѣшности, но вовсе не въ душѣ.
Твои шаги поспѣшны и неровны;
Никто не ходитъ быстро такъ, какъ ты,
По комнатѣ такой, какъ эта зала,
Когда спокойно сердце у него.
Будь то въ саду,—могла бы я подумать,
Что веселъ ты и что твои движенья
Подобны бойкой суетнѣ пчелы,
Летающей съ цвѣточка на цвѣточекъ;
Но *здѣсь!*

ВЕРНЕРЪ.

Здѣсь очень холодно: обои
Колеблются отъ вѣтра, пропуская
Его сюда. Застыла кровь моя.

ЖОЗЕФИНА.

О, нѣтъ!

ВЕРНЕРЪ (*улыбаясь*).

Но ты бъ хотѣла, чтобъ такъ было?

ЖОЗЕФИНА.

Хотѣла бъ я, чтобъ кровь твоя текла
Спокойною, здоровою струею.

ВЕРНЕРЪ.

Пускай себѣ струится какъ нибудь,
Пока не станетъ или не прольется;
Когда,—мнѣ это, право, безразлично.

ЖОЗЕФИНА.

Такъ я - ничто для сердца твоего?

ВЕРНЕРЪ.

Все, все.

ЖОЗЕФИНА.

Тогда не долженъ ты желать
Того, что мнѣ навѣкъ разбило бъ сердце.

ВЕРНЕРЪ (*медленно приближаясь къ ней*).

Лишь для *тебя* я былъ... чѣмъ,—все равно,
Но и добро и зло во мнѣ таилось;
Что я теперь,—ты знаешь; чѣмъ быть могъ бы,—

Не знаешь ты; но я тебя люблю
И насъ ничто не разлучитъ.

(*Снова начинаетъ быстро ходить и опять приближиется къ Жозефинѣ*).

Шумъ бури
Меня тревожитъ, можетъ быть; я слишкомъ
Сталъ ко всему чувствителенъ; притомъ
Недавно былъ я боленъ, какъ ты знаешь,
Мой другъ; ходя за мной, страдала ты,
Увы, сильнѣй, чѣмъ я!

ЖОЗЕФИНА.

Тебя вновь видѣть
Здоровымъ — было счастьемъ для меня;
Тебя счастливымъ видѣть..

ВЕРНЕРЪ.

Гдѣ жъ счастливыхъ
Ты видѣла? Пусть буду я несчастенъ,
Какъ прочіе.

ЖОЗЕФИНА.

Но вспомни, напримѣръ,
Какъ много есть такихъ, что въ эту бурю
Дрожатъ подъ вѣтромъ яростнымъ, подъ ливнемъ,
Который каждой каплею тяжелой
Какъ будто пригибаетъ ихъ къ землѣ;
У бѣдняковъ иного нѣтъ пріюта,
Какъ только тотъ, что будетъ подъ землей.

ВЕРНЕРЪ.

Что жъ, тотъ пріютъ не плохъ; къ чему забота
О комнатахъ? Покой, вѣдь, это—все.
Да, бѣдняки, которыхъ сердобольно
Ты вспомнила, страдаютъ; вѣтеръ воетъ
Вкругъ нихъ, и капли тяжкія дождя
Холодныя имъ въ кости проникаютъ,
Сжимая мозгъ. Я самъ солдатомъ былъ,
Охотникомъ и странникомъ; теперь же
Я нищій. То, о чемъ ты говоришь,
По опыту, конечно, знать я долженъ.

ЖОЗЕФИНА.

Но ты теперь отъ этихъ бѣдъ укрытъ.

ВЕРНЕРЪ.

Укрытъ отъ нихъ—и только.

ЖОЗЕФИНА.

Но и это,
Вѣдь, кое что.

ВЕРНЕРЪ.

О, да: для мужика.

ЖОЗЕФИНА.

Ужели жъ тѣ, кто знатенъ по рожденью,
Неблагодарны быть должны судьбѣ
За тотъ пріютъ, который, по привычкѣ
Къ излишеству былому, имъ, пожалуй,
Еще нужнѣй, чѣмъ даже мужику,
Когда отливъ измѣнчивой фортуны
Внезапно ихъ оставитъ на мели?

ВЕРНЕРЪ.

Не то, не то; ты этого не знаешь.
Несчастья мы сносили,—не скажу,
Чтобъ очень терпѣливо, исключая
Тебя,—но все жъ сносили ихъ.

ЖОЗЕФИНА.

Такъ что же?

ВЕРНЕРЪ.

Есть кое что помимо бѣдствій внѣшнихъ
(Хотя довольно было бъ ихъ однихъ,
Чтобъ душу намъ измучить), что терзало
Меня давно и, можетъ быть, *теперь*
Терзаетъ даже болѣе, чѣмъ прежде.
Вѣдь еслибъ не досадная болѣзнь,
Которая здѣсь, на границѣ этой
Несчастной, такъ некстати задержала
Меня, лишивъ не только силъ, но средствъ,—
То, можетъ быть... нѣтъ, это выше силъ!
Быть можетъ, я свое вернулъ бы счастье,
Тебя счастливой сдѣлать могъ бы я,
Блескъ сана поддержалъ бы, возвратилъ бы
Себѣ я имя моего отца,
И даже больше...

ЖОЗЕФИНА (*прерывисто*).

Сынъ мой... сынъ нашъ... Ульрихъ!
Его бъ я вновь въ объятья заключила,
Такъ долго не видавшія его,
И утолила бъ жажду материнства!
Двѣнадцать лѣтъ, какъ мы разстались съ нимъ!
Ему тогда, вѣдь, было только восемь.
Какъ онъ хорошъ былъ, какъ теперь прекрасенъ
Онъ долженъ быть, безцѣнный Ульрихъ мой!

ВЕРНЕРЪ.

Игрушкою судьбины слишкомъ часто
Я былъ; теперь настигнутъ ею я
И выхода мнѣ нѣтъ: я боленъ, бѣденъ
И одинокъ.

ЖОЗЕФИНА.

Ты одинокъ? Супругъ мой!

ВЕРНЕРЪ.

Иль даже хуже: всѣхъ, кого люблю,
Я вовлекалъ въ бѣду. Ужъ лучше было бъ
Мнѣ одинокимъ быть: будь я одинъ,—
Я умеръ бы, и разомъ все бы скрылось
Въ могилѣ безыменной.

ЖОЗЕФИНА.

Пережить
Тебя я не могла бы. Но мужайся;

Вѣдь долго мы боролись: тотъ, кто бодро
Ведетъ борьбу съ судьбою, наконецъ
Беретъ надъ нею верхъ, иль утомляетъ
Ее своимъ упорствомъ; то, къ чему
Стремился, онъ находитъ, или вовсе
Перестаетъ лишенья ощущать
Крѣпись же: сына мы найдемъ, быть можетъ.

ВЕРНЕРЪ.

Такъ близко быть отъ сына, отъ всего,
Что насъ вознаградило бъ за страданья,—
И обмануться такъ!

ЖОЗЕФИНА.

Но мы еще
Не обманулись.

ВЕРНЕРЪ.

Развѣ мы съ тобою
Не нищіе?

ЖОЗЕФИНА.

Богаты никогда
Мы не были.

ВЕРНЕРЪ.

Я былъ рожденъ въ богатствѣ,
Для знатности рожденъ я былъ, для власти;
Я ихъ имѣлъ, я ихъ любилъ... Увы!
Во зло я ихъ употребилъ, въ избыткѣ
Силъ юности; и вотъ, отцовскій гнѣвъ
Меня всего лишилъ... Но долгой скорбью
Я всѣ свои проступки искупилъ
И смерть отца мнѣ снова путь открыла,
Но западней грозитъ мнѣ этотъ путь.
Холодный, подлый родственникъ, который
Слѣдилъ за мною долго, какъ змѣя
За пташкою безпечной,—въ это время
Предупредилъ меня; мои права
Онъ захватилъ и завладѣлъ дарами,
Благодаря которымъ онъ по власти
И по владѣньямъ равенъ принцамъ сталъ!

ЖОЗЕФИНА.

Какъ знать? Быть можетъ, сынъ нашъ возвратился
Въ имѣнья дѣда и твои права
Онъ защититъ.

ВЕРНЕРЪ.

На это нѣтъ надежды.
Съ тѣхъ поръ, какъ странно онъ исчезъ, покинувъ
Домъ моего отца,—мои пороки
Наслѣдовавъ, быть можетъ,—нѣтъ вѣстей
О томъ, куда и какъ онъ путь направилъ.
Когда я съ нимъ разстался, оставляя
Его у дѣда,—тотъ мнѣ обѣщалъ,
Что мстить не будетъ въ третьемъ поколѣньи;
Но кажется, что Небо здѣсь вмѣшалось
Своею грозной волей, отягчивъ
И юношу отцовскими грѣхами.

ЖОЗЕФИНА.

Я все-таки на лучшее надѣюсь;
По крайней мѣрѣ мы до этихъ поръ
Избѣгли злой погони Штраленгейма.

ВЕРНЕРЪ.

Избѣгли бы, когда бы не болѣзнь
Проклятая,—гораздо хуже смерти:
Она не жизнь отнять грозитъ, а то,
Что въ жизни мнѣ единымъ утѣшеньемъ
Являлось! Я ужъ чувствую невольно
Себя въ тенетахъ жаднаго врага,
Который насъ ужъ выслѣдилъ, быть можетъ.

ЖОЗЕФИНА.

Но лично, вѣдь, не знаетъ онъ тебя;
Шпіоны же, которые такъ долго
Слѣдили за тобой, теперь остались
Тамъ, въ Гамбургѣ. Нежданный нашъ отъѣздъ
И перемѣна имени помогутъ
Отъ всякой намъ погони убѣжать.
И здѣсь никто не приметъ насъ, конечно,
Ни за кого, какъ лишь за тѣхъ, кѣмъ мы
Хотимъ казаться.

ВЕРНЕРЪ.

Мы—„хотимъ казаться"!
Но кажемся мы тѣмъ, что мы теперь
На дѣлѣ: просто нищими! Ха, ха!

ЖОЗЕФИНА.

Какъ смѣхъ твой горекъ!

ВЕРНЕРЪ.

Въ этомъ жалкомъ тѣлѣ
Кто заподозритъ духъ высокій сына
Фамиліи старинной, въ этомъ платьѣ—
Наслѣдника тѣхъ княжескихъ земель?
Кто въ этомъ чахломъ и потухшемъ взорѣ
Увидитъ гордость древности и знати?
Кто, видя эти сморщенныя щеки,
Изсохшее отъ голода лицо,—
Узнаетъ въ нихъ владѣльца залъ роскошныхъ,
Который каждый день давалъ пиры
Для тысячи вассаловъ?

ЖОЗЕФИНА.

Милый Вернеръ,
Не такъ цѣнилъ ты прелесть благъ мірскихъ,
Когда себѣ ты выбрать удостоилъ
Въ невѣсты дочь изгнанника скитальца.

ВЕРНЕРЪ.

Бракъ дочери изгнанника—и сына,

Лишеннаго наслѣдства—былъ какъ разъ
Бракъ равный. Впрочемъ, я имѣлъ надежду
Тебя возвысить въ санъ иной, достойный
Обоихъ насъ. Домъ твоего отца
Былъ благороденъ, хоть пришелъ въ упа-
докъ;
Твой родъ тягаться могъ бы съ нашимъ
родомъ.

ЖОЗЕФИНА.

Но твой отецъ иного мнѣнья былъ.
Однако, еслибъ я могла съ тобою
Помѣряться лишь знатностью своей,
То я объ этой знатности сказала,
Какая ей въ глазахъ моихъ цѣна.

ВЕРНЕРЪ.

Какая же?

ЖОЗЕФИНА.

Такая жъ, какъ и польза,
Которую она намъ принесла:
Она—ничто.

ВЕРНЕРЪ.

Какъ такъ—ничто?

ЖОЗЕФИНА.

Иль хуже:
Она—та злая язва, что точила
Тебя всегда; не будь ея,—могли бы
Мы примириться съ бѣдностью своей,
Какъ съ ней легко мирятся милліоны;
Когда бъ не зналъ ты призраковъ пустыхъ
Владѣтельныхъ отцовъ твоихъ, ты могъ бы
Себѣ свой хлѣбъ спокойно добывать,
Какъ тысячи трудами добываютъ;
Иль, еслибы ты это низкимъ счелъ,
Торговлей могъ бы ты добыть богатство
Иль чѣмъ нибудь инымъ, какъ гражданинъ.

ВЕРНЕРЪ (*съ ироніей*).

И быть купцомъ ганзейскимъ? Превосходно!

ЖОЗЕФИНА.

Чѣмъ хочешь, будь: ты для меня одинъ,
И ни законъ, ни санъ, какой угодно,
Въ моихъ глазахъ тебя не перемѣнитъ.
Ты—первый выборъ сердца моего;
Когда избрала я тебя,—не знала
Ни рода, ни надеждъ твоихъ, ни страсти
Твоей къ почету; знала лишь твои стра-
данья;
Пока они продлятся—раздѣлю ихъ;
Окончатся—и я свои печали
Окончу, съ ними вмѣстѣ иль съ тобой!

ВЕРНЕРЪ.

Мой добрый ангелъ! Ты всегда такою
Была со мной! Несдержанность иль сла-
бость
Характера меня не разъ вводила
Въ излишество, но никогда не думалъ
Обидѣть я тебя иль родъ твой. Ты
Судьбѣ моей ничѣмъ не повредила;
Нѣтъ, самъ во всемъ виновенъ я; мой
нравъ
Въ младые годы былъ таковъ, что могъ бы
Имперіи лишиться я, когда бъ
Она была моимъ наслѣдствомъ. Нынѣ жъ,
Очищенный страданьемъ, укрощенный,
Измученный, познавши самъ себя,—
Тоскую я, что для тебя и сына
Я ничего не оставляю! Вѣрь,
Что двадцати двухъ лѣтъ, въ расцвѣтѣ
полномъ
Весны моей, когда меня отецъ
Изгналъ изъ стѣнъ отеческаго дома,—
Хоть я тогда послѣдній отпрыскъ былъ
Семьи старинной,—я страдалъ не столько,
Какъ мучусь я теперь, когда я вижу,
Что мальчикъ мой, мать сына моего,
Невинные, лишаются навѣки
Того, что я утратилъ подѣломъ!
Но въ эти годы пламенныя страсти
Во мнѣ кружились, какъ живыя змѣи,
Какъ волосы Горгоны, обвивались
Вокругъ меня...

(*Раздается громкій стукъ въ дверь*).

ЖОЗЕФИНА.

Ты слышишь?

ВЕРНЕРЪ.

Слышу стукъ.

ЖОЗЕФИНА.

Кто могъ бы это быть такъ поздно? Гости
У насъ такъ рѣдки.

ВЕРНЕРЪ.

Къ бѣднякамъ никто
Не ходитъ въ гости; развѣ для того лишь,
Чтобъ ихъ еще бѣднѣе сдѣлать. Что жъ,
Я приготовленъ ко всему.

(*Кладетъ руку за пазуху, какъ бы ища
тамъ оружія*).

ЖОЗЕФИНА.

Не надо
Смотрѣть свирѣпо такъ. Я отворю;
Едва ли это можетъ быть опасно
Здѣсь въ этомъ мѣстѣ зимней тишины.
Сама пустыня служитъ здѣсь защитой
Для человѣка отъ другихъ людей.
(*Отворяетъ дверь. Входитъ* Иденштейнъ)

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Прекрасная хозяйка, добрый вечеръ!
Привѣтъ и вамъ, почтеннѣйшій... Какъ васъ
Зовутъ, мой другъ?

ВЕРНЕРЪ.

Меня вы не боитесь
Такъ спрашивать?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Бояться васъ? И впрямь,
Ей ей, боюсь: вы смотрите такъ грозно,
Какъ будто бъ я о чемъ нибудь получше
Спросилъ, чѣмъ ваше имя.

ВЕРНЕРЪ.

Что? Получше?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Получше иль похуже, вродѣ брака.
Что мнѣ сказать еще? Ужъ цѣлый мѣсяцъ
Вы здѣсь живете въ княжескомъ дворцѣ
(Положимъ, ужъ двѣнадцать лѣтъ оставленъ
На жертву крысамъ онъ и привидѣньямъ,—
Но какъ ни какъ, а все же онъ—дворецъ),—
А имени я вашего не знаю.

ВЕРНЕРЪ.

Зовусь я—Вернеръ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Имя недурное.
Оно достойно можетъ украшать
Обложку книгъ купеческой конторы.
Кузенъ мой служитъ въ Гамбургѣ, въ больницѣ:
Жена его носила это имя
Въ дѣвичествѣ. Онъ занимаетъ постъ
Помощника хирурга; есть надежда,
Что послѣ самъ хирургомъ будетъ онъ.
Не родственникъ ли вамъ онъ чрезъ супругу?

ВЕРНЕРЪ.

Какъ, намъ?

ЖОЗЕФИНА.

Да, намъ онъ родственникъ, но дальній.
(*Тихо Вернеру*).
Великъ ли трудъ поддакнуть болтуну,
Чтобъ вывѣдать, чего ему здѣсь нужно?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Вотъ, очень радъ! Признаться, я и самъ
Такъ думалъ: что то сердцу говорило,
Что мы сродни. Кровь, братецъ, не вода!
А потому винца подать прикажемъ
И выпьемъ вмѣстѣ, чтобъ узнать другъ друга
Поближе: надо родственникамъ быть
Друзьями!

ВЕРНЕРЪ.

Вы, мнѣ кажется, успѣли
Уже довольно выпить; если жъ нѣтъ,
То угостить виномъ васъ не могу я,—
Лишь развѣ вашимъ: бѣденъ я и боленъ,
Какъ видите, и видѣть вы могли бъ,
Что я желаю быть одинъ. Но къ дѣлу:
Зачѣмъ пришли вы?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я? Зачѣмъ пришелъ?

ВЕРНЕРЪ.

Что привело сюда васъ,—я не знаю,
Но, кажется, могу я угадать,
Что васъ отсюда выведетъ.

ЖОЗЕФИНА (*тихо*).

Терпѣнье,
Мой милый Вернеръ!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Значитъ, неизвѣстно
Вамъ, что у насъ случилось здѣсь?

ЖОЗЕФИНА.

Какъ знать намъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Рѣка, вѣдь, наша разлилась.

ЖОЗЕФИНА.

Къ несчастью,
Мы это знаемъ цѣлыхъ ужъ пять дней,
Ея разливъ насъ держитъ здѣсь.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Но вотъ что
Вамъ будетъ ново: знатный господинъ,
Желавшій переправиться чрезъ рѣку,
На зло разливу и презрѣвъ отважно
Трехъ ямщиковъ совѣты,—утонулъ
Пониже брода; вмѣстѣ съ нимъ погибли
Пять лошадей почтовыхъ, обезьяна,
Собака и лакей.

ЖОЗЕФИНА.

Ахъ, бѣдняки!
Да вѣрно ль это?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да, по крайней мѣрѣ
Погибли обезьяна и лакей,
И лошади, конечно; но погибъ ли
Его превосходительство,—навѣрно
Не знаемъ мы еще. Извѣстно всѣмъ,
Что знатные довольно трудно тонутъ,
Да этому и слѣдуетъ такъ быть.
Зато сомнѣнья нѣтъ, что нахлебался
Изъ Одера онъ столько, что хватило бъ
На двухъ здоровыхъ мужиковъ, и лопнуть
Пришлось бы имъ. Попутчики его—
Саксонецъ и венгерецъ—съ рискомъ жизни
Изъ волнъ свирѣпыхъ выхватить успѣли
Тонувшаго и вотъ прислали къ намъ
Просить ему пріюта или гроба,
Смотря по результату: оживетъ ли
Несчастный, или трупомъ будетъ онъ.

ЖОЗЕФИНА.

Но гдѣ жъ его вы примете? Быть можетъ,
Здѣсь, въ этомъ помѣщеньи? Я согласна.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Здѣсь? Нѣтъ; онъ слишкомъ благородный гость;
Его мы примемъ въ княжескихъ покояхъ.
Тамъ, правда, сыровато; вѣдь никто
Тамъ не живетъ, двѣнадцать лѣтъ стояли
Пустыми эти комнаты; но гость
Явился къ намъ изъ столь сырого мѣста,
Что тамъ едва ли зябнуть будетъ, если
Еще онъ можетъ зябнуть; если жъ нѣтъ,
То онъ себѣ найдетъ квартиру завтра
Еще сырѣй. Я, впрочемъ, приказалъ
Тамъ натопить и все привесть въ порядокъ
На худшій случай,—то есть, если онъ
Останется въ живыхъ.

ЖОЗЕФИНА.

Ахъ, бѣдный, бѣдный!
Отъ всей души желаю я, чтобъ живъ
Остался онъ.

ВЕРНЕРЪ.

Не знаете ль, хозяинъ,
Вы имени его? (*Тихо Жозефинѣ*).
Поди, мой другъ:
Я разспрошу болвана (*Жозефина уходитъ*).

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Имя? Боже!
Не до именъ теперь, когда, быть можетъ,
Онъ все уже утратилъ. Будетъ время
Объ имени спросить, когда отвѣтить
Онъ будетъ въ состояньи; если жъ нѣтъ,—
Его наслѣдникъ въ надписи надгробной
Намъ это имя скоро сообщитъ.
Не вы ль меня недавно побранили,
Когда я васъ объ имени спросилъ?

ВЕРНЕРЪ.

Да, это такъ; вы правы; я согласенъ.
(*Входитъ* ГАБОРЪ).

ГАБОРЪ.

Я не стѣсняю ль васъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, нѣтъ, нисколько!
Вѣдь здѣсь дворецъ; вотъ этотъ господинъ—
Такой же здѣсь чужой, какъ вы. Прошу васъ
Быть здѣсь, какъ дома. Но скажите: гдѣ же
Его превосходительство и какъ
Онъ чувствуетъ себя?

ГАБОРЪ.

Промокъ онъ сильно
И утомленъ, но все-таки спасенъ.
Остановился онъ неподалеку
Въ избушкѣ, чтобъ перемѣнить одежду
(Я сдѣлалъ то же и пришелъ сюда
Оттуда прямо). Отъ невольной ванны
Почти ужъ онъ оправился теперь
И скоро будетъ здѣсь.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Эй, вы! Живѣе!
Петръ! Германъ! Вейльбургъ и Конрадъ! Сюда!
(*Отдаетъ приказанія входящимъ слугамъ*).
Къ намъ ночевать пріѣдетъ знатный баринъ:
Смотрите жъ, чтобъ въ порядкѣ было все!
Чтобъ были въ красной комнатѣ, въ каминѣ
Горящія дрова! А самъ я въ погребъ
Иду сейчасъ. Постельное бѣлье
Фрау Иденштейнъ доставитъ гостю. (*Габору*).
Это—
Моя супруга. Правду вамъ сказать,—
На этотъ счетъ у насъ довольно скудно
Здѣсь во дворцѣ: вѣдь ужъ двѣнадцать лѣтъ,
Какъ насъ его сіятельство покинулъ.
Затѣмъ, конечно, ужинать захочетъ
Его превосходительство?

ГАБОРЪ.

Ей-ей,
Не знаю ничего. По мнѣ, пожалуй,
Ему постель хорошая теперь
По вкусу будетъ больше, чѣмъ вашъ ужинъ:
Ужъ слишкомъ вымокъ онъ у васъ въ рѣкѣ.
Но, чтобы ваши блюда не пропали,
Готовъ я самъ поужинать, а также
Пріятель мой навѣрное почтитъ
Вашъ столъ своимъ дорожнымъ аппетитомъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я все жъ вѣрнѣй хотѣлъ бы знать желанье
Его превосходительства... Какъ имя
Его?

ГАБОРЪ.

Не знаю.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какъ же такъ? Вы жизнь
Ему спасли!

ГАБОРЪ.

Помогъ я въ этомъ другу.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Довольно странно жизнь спасать тому,
Кого не знаешь.

ГАБОРЪ.

Нѣтъ, ничуть не странно;
Напротивъ, есть иные господа,

Которыхъ я какъ разъ спасать не сталъ бы,
Затѣмъ, что знаю ихъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

А вы, мой другъ,
Откуда родомъ?

ГАБОРЪ.

Изъ семьи венгерской.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какъ васъ зовутъ?

ГАБОРЪ.

Вамъ это безразлично.

ИДЕНШТЕЙНЪ (*въ сторону*).

Мнѣ кажется, весь свѣтъ сталъ безыменнымъ:
Никто не хочетъ мнѣ себя назвать! (*Громко*).
Большую ли съ собой имѣетъ свиту
Его превосходительство?

ГАБОРЪ.

Да, есть
Достаточно народу.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Сколько?

ГАБОРЪ.

Право,
Я не считалъ. Мы встрѣтились случайно
И подошли какъ разъ въ послѣдній мигъ,
Чтобъ вытащить черезъ окно кареты
Тонувшаго.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Чего бы не далъ я,
Чтобъ такъ спасти знатнѣйшую персону!
Конечно, вамъ заплатятъ крупный кушъ?

ГАБОРЪ.

Быть можетъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ну, а сколько же, примѣрно,
По вашему разсчету?

ГАБОРЪ.

Я еще
Не назначалъ себѣ цѣны продажной;
Покамѣстъ же дороже всѣхъ наградъ
Считалъ бы я Гохгеймера стаканчикъ
Зеленаго стекла, съ изображеньемъ
На немъ роскошныхъ гроздьевъ и съ девизомъ
Въ честь Бахуса, наполненный виномъ
Старѣйшаго изъ вашихъ всѣхъ запасовъ!
За это обѣщаюсь вамъ, когда
Вы будете тонуть (хотя, признаться,
Такая смерть изъ всѣхъ родовъ смертей
Для васъ едва ль не меньше всѣхъ возможна),—
Спасти васъ даромъ. Ну, дружокъ, живѣй!
Подумайте, что съ каждымъ изъ стакановъ,
Которые я въ глотку пропущу,
Одной волной надъ вами будетъ меньше!

ИДЕНШТЕЙНЪ (*въ сторону*).

Ну, этотъ малый мнѣ не по душѣ:
Онъ кажется сухимъ и скрытнымъ. Впрочемъ,
Подѣйствуетъ, быть можетъ, на него
Вино; а если это не поможетъ,—
Отъ любопытства ночь не буду спать!
(*Уходитъ*).

ГАБОРЪ (*Вернеру*).

Должно быть, этотъ церемоніймейстеръ—
Дворца смотритель. Недурное зданье,
Но, видимо, заброшено.

ВЕРНЕРЪ.

Покои,
Гдѣ тотъ, кого спасли вы, будетъ спать,
Содержатся въ достаточномъ порядкѣ,
Чтобъ пріютить больного.

ГАБОРЪ.

Почему жъ
Не выбрали вы ихъ? Судя по виду,
Вы тоже не совсѣмъ здоровы.

ВЕРНЕРЪ (*быстро*).

Сударь!..

ГАБОРЪ.

Прошу васъ извинить меня. Однако,
Что я сказалъ такого, что бъ могло
Обидѣть васъ?

ВЕРНЕРЪ.

О, ничего, но съ вами
Другъ другу мы чужіе.

ГАБОРЪ.

Потому то
Я и хотѣлъ къ сближенью приступить.
Мнѣ кажется, нашъ хлопотунъ хозяинъ
Сказалъ, что вы такой же въ замкѣ гость,
Невольный и случайный, какъ и наша
Компанія?

ВЕРНЕРЪ.

Да, совершенно вѣрно.

ГАБОРЪ.

Итакъ, въ виду того, что въ первый разъ
Мы встрѣтились и, можетъ быть, не будемъ
Встрѣчаться больше,—скрасить я хотѣлъ
(По крайней мѣрѣ для себя) суровость
Тюрьмы старинной этой, пригласивъ
Васъ раздѣлить со мною и съ другими
Нашъ ужинъ.

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ, прошу меня простить:
Я не совсѣмъ здоровъ.

ГАБОРЪ.

Какъ вамъ угодно.
Я прежде былъ солдатомъ,—потому,
Быть можетъ, грубъ немного въ обхожденьи.

ВЕРНЕРЪ.

Я самъ служилъ, а потому могу
Привѣтъ солдата встрѣтить по солдатски.

ГАБОРЪ.

Служили вы? Въ какихъ войскахъ? Въ имперскихъ?

ВЕРНЕРЪ (*быстро, затѣмъ прерывая самъ себя*).

Да, командиромъ былъ я... Нѣтъ, я просто
Служилъ... Но это было ужъ давно,
Когда впервые поднялись богемцы
На Австрію.

ГАБОРЪ.

Ну, это все прошло!
Царитъ повсюду миръ и много тысячъ
Сердецъ отважныхъ нынѣ не у дѣлъ:
Живутъ себѣ, кой какъ перебиваясь,
Чѣмъ могутъ, и,—по правдѣ вамъ сказать,
Немало ихъ пошло путемъ кратчайшимъ.

ВЕРНЕРЪ.

Какой же это путь?

ГАБОРЪ.

Хватаютъ все,
Что могутъ взять. Въ Силезіи повсюду,
А также и въ Лузаціи—лѣса
Полны бродячихъ шаекъ,—все остатки
Отъ прежнихъ войскъ: они берутъ харчи
Со всей страны. За крѣпкими стѣнами
Попрятались повсюду кастеляны;
Внѣ замковъ труситъ и баронъ спесивый,
И графъ богатый: всѣмъ грозитъ бѣда.
Я утѣшаюсь тѣмъ, что гдѣ бъ ни вздумалъ
Я странствовать,—немного мнѣ терять.

ВЕРНЕРЪ.

А мнѣ—такъ вовсе нечего.

ГАБОРЪ.

Такъ ваши
Дѣла еще похуже, чѣмъ мои.
Сказали вы, что были вы солдатомъ?

ВЕРНЕРЪ.

Да, былъ.

ГАБОРЪ.

И это видно по всему.
Солдаты—всѣ товарищи, иль нужно
Товарищами быть имъ, даже если
Они—враги; когда у насъ мечи
Извлечены,—мы скрещивать должны ихъ;
Нацѣливъ наши ружья,—мы должны
Другъ другу мѣтить въ сердце; но коль скоро
Настало перемирье или миръ,
Иль что нибудь иное сталь обратно
Въ ножны влагаемъ и не блещетъ искра,
Которою мы порохъ зажигаемъ
Въ своемъ ружьѣ,—тогда мы братья вновь!
Я вижу, вы больны и бѣдны; правда,
Я небогатъ, но я зато здоровъ
И ничего, въ чемъ могъ бы я нуждаться,
Не нужно мнѣ,—чего нельзя сказать,
Мнѣ кажется, о васъ. Такъ не хотите ль
Вотъ это раздѣлить? (*Предлагаетъ свой кошелекъ*).

ВЕРНЕРЪ.

Кто вамъ сказалъ,
Что нищій я?

ГАБОРЪ.

Вы сами: вы сказали,
Что вы солдатъ,—теперь же миръ какъ разъ.

ВЕРНЕРЪ (*смотритъ на него съ подозрѣніемъ*).

И вы меня не знаете?

ГАБОРЪ.

Не знаю
Я никого, ни даже самъ себя.
Какъ могъ бы знать я васъ, когда впервые
Я васъ увидѣлъ полчаса назадъ?

ВЕРНЕРЪ.

Благодарю васъ. Ваше предложеніе
Прекрасно было бъ, будь я вашимъ другомъ;
По отношенью жъ къ чуждому лицу,
Которое вамъ вовсе незнакомо,
Вы очень деликатны, хоть нельзя
Сказать, чтобъ вы разумно поступили.
Но все-таки я благодаренъ вамъ.
Я нищій, хоть еще не занимаюсь
Я нищенствомъ; когда же мнѣ придется
О помощи просить,—я обращусь
Къ тому, кто первый предложилъ безъ спроса
То, что порой такъ трудно получить
Путемъ весьма усердныхъ просьбъ. Простите.
(*Уходитъ*).

ГАБОРЪ.

Мнѣ кажется, онъ малый недурной,
Хотя изрядно пострадалъ, какъ видно,—
Какъ большинство порядочныхъ людей,—
Отъ разныхъ бѣдъ иль отъ веселой жизни,
Которыя намъ убавляютъ вѣкъ:
Не знаю, что изъ двухъ насъ больше губитъ.
Онъ лучшія, должно быть, времена
Знавалъ когда то,—можетъ быть, недавно?

4*

Но вотъ идетъ хозяинъ мудрый нашъ,
Неся вино: изъ-за вина, пожалуй,
Готовъ я виночерпія терпѣть.

(*Входитъ* Иденштейнъ).

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ну, вотъ вамъ это чудо! Двадцать лѣтъ
Ему сегодня стукнуло.

ГАБОРЪ.

Вотъ возрастъ,
Который юность женщинѣ даетъ,
Вино же старымъ дѣлаетъ! Какъ жалко,
Что въ двухъ такихъ прекраснѣйшихъ вещахъ
Вліянье лѣтъ настолько не согласно:
Одна изъ нихъ чѣмъ старше, тѣмъ милѣй,
Другую жъ годы портятъ. Ну, налейте!
Пью въ честь хозяйки: за здоровье вашей
Красавицы супруги! (*Беретъ стаканъ*).

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Признаюсь,—
Красавица! Желалъ бы я, чтобъ были
Въ винѣ такимъ же тонкимъ вы судьей,
Какъ въ красотѣ! А, впрочемъ, все же, выпьемъ.

ГАБОРЪ.

Какъ, развѣ та прекрасная особа,
Которую недавно встрѣтилъ я
Въ сосѣдней залѣ,—видомъ и фигурой
И блескомъ глазъ способная украсить
Вашъ замокъ въ тѣ блистательные дни,
Когда онъ процвѣталъ, хотя по платью
Она была подстать его упадку,—
Которая на низкій мой поклонъ
Привѣтливо отвѣтила,—не ваша
Супруга?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да, не отказался бъ я
Ее имѣть женой! Но вы ошиблись:
Она супруга гостя.

ГАБОРЪ.

А по виду
Она могла бы быть женою принца;
Хотя, конечно, времени рука
Ея коснулась,—все жъ она прекрасна
И много въ ней величья.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Это больше,
Чѣмъ я сказалъ бы о своей женѣ,
По крайней мѣрѣ если мы имѣемъ
Въ виду наружность; что же до величья,—
То въ ней его черты такія есть,
Которыхъ лучше бъ не было; но съ этимъ
Ужъ ничего не сдѣлаешь.

ГАБОРЪ.

Конечно.
Но кто же этотъ гость вашъ? Въ немъ есть что то
Какъ будто выше внѣшности его.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ну, съ этимъ я, пожалуй, не согласенъ.
Онъ нищъ, какъ Іовъ, а терпѣнья въ немъ
Гораздо меньше. Впрочемъ, кто бъ онъ ни былъ,
Я ничего не вѣдаю о немъ,
Узналъ лишь имя, да и то недавно:
Вотъ въ эту ночь.

ГАБОРЪ.

Какъ прибылъ онъ сюда?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Пріѣхалъ онъ въ коляскѣ — жалкой, старой,—
Тому теперь ужъ мѣсяцъ миновалъ,—
И сразу слегъ больнымъ. Онъ чуть не умеръ,
Да лучше бъ и взаправду умеръ онъ.

ГАБОРЪ.

И мило, и открыто! Почему же?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

На что намъ жизнь, когда намъ нечѣмъ жить?
Нѣтъ у него ни пфеннига.

ГАБОРЪ.

Но если
Такъ бѣденъ онъ, то удивляюсь я,
Что вы, по виду столь благоразумный,
Пустили въ этотъ благородный домъ
Такихъ людей погибшихъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Это вѣрно;
Но, знаете, порою жалость насъ
Невольно вовлекаетъ въ безразсудство.
Притомъ у нихъ еще въ то время было
Вещей немножко цѣнныхъ, и они
Могли кой-какъ платить. Я и подумалъ:
Пускай себѣ живутъ ужъ лучше здѣсь,
Чѣмъ гдѣ нибудь въ гостиницѣ ничтожной,
И въ самыхъ старыхъ комнатахъ отвелъ
Жилище имъ; они, по крайней мѣрѣ,
Провѣтрить ихъ немножко помогли,
Пока платить за топку были въ силахъ.

ГАБОРЪ.

Бѣдняги!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да, ихъ бѣдность велика.

ГАБОРЪ.

А между тѣмъ,—когда не ошибаюсь,—
Имъ бѣдность непривычна. Но куда жъ
Лежитъ ихъ путь?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, только Небо знаетъ,
Куда они поѣдутъ, если только
Не въ небо прямо. И еще недавно
Такъ обстояло дѣло, что мы всѣ
Считали путь на небо—самымъ вѣрнымъ
Для Вернера.

ГАБОРЪ.

А, Вернеръ! Я слыхалъ
Когда то это имя. Но, быть можетъ,
Оно подложно.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Очень можетъ быть.
Чу! Это что? Я слышу стукъ колесъ,
Шумъ голосовъ... и факелы сверкаютъ
Тамъ на дворѣ. Поклясться я готовъ:
Его превосходительство пріѣхалъ.
Спѣшить я долженъ къ моему посту.
Хотите ль вы идти со мною вмѣстѣ,
Чтобъ высадить его изъ экипажа
И долгъ почтенья принести въ дверяхъ?

ГАБОРЪ.

Его еще недавно изъ кареты
Я вытащилъ въ такой моментъ, когда
Свое охотно графство иль баронство
Онъ отдалъ бы, чтобъ только отдалить
Напоръ воды отъ глотки благородной,
Пускавшей пузыри. Теперь лакеевъ
Имѣетъ онъ довольно, а тогда
Они вдали на берегу стояли
И, хлопая намокшими ушами,
Ревѣли: „помогите!“,—но притомъ
Не шли на помощь сами. Въ это время
Мой долгъ исполнилъ я; теперь же вы
Идите *свой* исполнить: гните спину
И раболѣпствуйте!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какъ, что бы я
Сталъ раболѣпствовать?... Однако время
Бѣжитъ; пожалуй, упущу я случай...
Чортъ побери: успѣетъ онъ войти,
А я его и встрѣтить не успѣю! (*Поспѣшно уходитъ*).

ВЕРНЕРЪ (*возвращается*).

Я слышалъ шумъ колесъ и голосовъ.
Какъ всякій звукъ теперь меня волнуетъ!
(*Замѣчая Габора*).
Онъ здѣсь еще? Ужъ не шпіонъ ли это
Гонителей моихъ? Свой кошелекъ
Онъ предложилъ вдругъ, сразу,—мнѣ, чужому;
Не кроется ль подъ этимъ тайный врагъ?
Друзья на этотъ счетъ не такъ поспѣшны.

ГАБОРЪ.

Вы, кажется, задумались. Теперь
Какъ разъ совсѣмъ для этого не время.
Въ стѣнахъ старинныхъ этихъ скоро шумъ
Поднимется. Баронъ иль графъ — кто бъ ни былъ
Вельможа этотъ полу-утонувшій,—
Найдетъ себѣ въ заброшенномъ селѣ,
У жителей его, пріемъ получше,
Чѣмъ встрѣтилъ онъ въ бушующей рѣкѣ.
Вы слышали: пріѣхалъ онъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ (*за сценой*).

Здѣсь, ваше
Сіятельство, пожалуйте сюда!
Тихонько: наша лѣстница, признаться,
Ветха и темновата. Мы не ждали
Такихъ гостей высокихъ! Обопритесь,
Прошу васъ, на меня!

Входятъ Штраленгеймъ, Иденштейнъ *и слуги, принадлежащіе частью къ свитѣ Штраленгейма, частью тому имѣнію, которымъ управляетъ Инденштейнъ.*

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Здѣсь я хочу
Немного отдохнуть.

ИДЕНШТЕЙНЪ (*слугамъ*).

Эй, стулъ подайте!
Живѣй, канальи!

ВЕРНЕРЪ (*въ сторону*).

Это онъ!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Теперь
Мнѣ лучше стало. Кто, скажите, эти
Два незнакомца?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я прошу прощенья
У вашего сіятельства: изъ нихъ
Одинъ,—какъ говоритъ онъ,—вамъ немного
Знакомъ.

ВЕРНЕРЪ (*громко и быстро*).

Кто это вамъ сказалъ?
(*Всѣ смотрятъ на него съ удивленіемъ*).

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Конечно
Не вы! Никто о васъ не говоритъ;
Но вотъ лицо, которое, быть можетъ,
Ихъ свѣтлости не безызвѣстно.
(*Указываетъ на Габора*).

ГАБОРЪ.

Я
Не претендую утруждать собою
Ихъ память благородную.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да, онъ—
Одинъ изъ двухъ, которымъ я обязанъ
Своимъ спасеньемъ. Это—не другой? (*Указываетъ на Вернера*).
Въ моментъ, когда они меня спасли,
Я былъ въ такомъ ужасномъ состояньи,
Что можно извинить мнѣ, если трудно
Узнать мнѣ тѣхъ, кто спасъ меня.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, нѣтъ!
Онъ, ваша свѣтлость, самъ скорѣе могъ бы
Въ спасителяхъ нуждаться, чѣмъ спасать
Кого нибудь другого. Это странникъ,
Больной и бѣдный; онъ недавно только
Съ постели всталъ, съ которой и подняться
Почти надежды не имѣлъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Но ихъ,
Казалось, было двое.

ГАБОРЪ.

Правда, двое;
Но въ сущности одинъ лишь оказалъ
Услугу вашей свѣтлости; предъ вами
Здѣсь нѣтъ его. Онъ счастіе имѣлъ
Быть въ этомъ дѣлѣ первымъ и главнѣйшимъ.
Во мнѣ не меньше было доброй воли,
Но юностью и силою меня
Онъ превзошелъ; а потому не тратьте
Словъ благородныхъ для меня. Я радъ,
Что былъ вторымъ въ томъ дѣлѣ, гдѣ былъ первымъ
Столь благородный мужъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Но гдѣ же онъ?

ОДИНЪ ИЗЪ СЛУГЪ.

Онъ, ваша свѣтлость, ночевать остался
Въ избушкѣ той, гдѣ были вы сейчасъ,
И обѣщалъ, что будетъ завтра утромъ
Сюда.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Итакъ, пока онъ не пришелъ,
Могу я лишь благодарить словесно,
А послѣ...

ГАБОРЪ.

Что касается меня,—
Я не прошу себѣ другой награды,
Да и едва ль ее я заслужилъ.
Товарищъ мой самъ за себя отвѣтитъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*въ сторону, пристально смотря на Вернера*).

Не можетъ быть! И все-таки, мнѣ надо
Слѣдить за нимъ. Ужъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ
Я не видалъ его. Мои агенты
Съ него, положимъ, не спускали глазъ,
Но самъ я долженъ былъ вдали держаться
И осторожность соблюдать, чтобъ онъ,
Испуганный, не заподозрилъ плановъ
Моихъ. Зачѣмъ я въ Гамбургѣ оставилъ
Тѣхъ, кто теперь могли бы мнѣ сказать,
Онъ это или нѣтъ? Ужъ я рѣшеннымъ
Считалъ, что стану графомъ Зигендорфъ,
И поспѣшилъ въ дорогу, но стихіи
Возстали, какъ нарочно, на меня
И, можетъ быть, разливъ внезапный этотъ
Меня задержитъ плѣнникомъ, пока...
(*Онъ останавливается, смотритъ на Вернера, потомъ продолжаетъ*).
Да, надобно за этимъ человѣкомъ
Слѣдить. Конечно, если это онъ,
То онъ настолько сильно измѣнился,
Что еслибъ самъ отецъ изъ гроба всталъ,
То онъ прошелъ бы мимо, не узнавши
Его. Я долженъ осторожнымъ быть:
Ошибка здѣсь могла бы все испортить.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Вы погрузились въ думы, ваша свѣтлость.
Угодно ль вамъ теперь пройти къ себѣ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Отъ утомленья я кажусь серьезнымъ
И грустнымъ. Да, недурно бъ отдохнуть.

ИНДЕНШТЕЙНЪ.

Для васъ готовы принцевы покои
Во всемъ убранствѣ, какъ въ тѣ дни, когда
Въ послѣдній разъ здѣсь принцъ гостилъ.
(*Въ сторону*).
Положимъ,
Потрепано изрядно то убранство
И дьявольски тамъ сыро; но теперь,
При слабомъ свѣтѣ факеловъ, довольно
И этого великолѣпья. Пусть же
Вашъ благородный гербъ, несущій двадцать
Квадратовъ, удовольствуется здѣсь
Той пышностью, что мы ему предложимъ,
И пусть его владѣлецъ отдохнетъ
Подъ пологомъ, подобнымъ балдахину,
Который будетъ выситься надъ нимъ,
Когда заснетъ онъ вѣчнымъ сномъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*вставая*).

Прощайте жъ,
Друзья, спокойной ночи! (*Обращаясь къ Габору*).

Завтра утромъ
Надѣюсь съ вами разсчитаться я
За вашу помощь, а пока прошу васъ
Пожаловать за мною на минуту.

ГАВОРЪ.

Я слушаю.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*пройдя нѣсколько шаговъ, останавливается и обращается къ Вернеру*).

Любезный!

ВЕРНЕРЪ.

Сударь?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Сударь!..
О, Господи! Сказать бы надо: ваше
Сіятельство, иль ваша свѣтлость! Что вы!
Простите, ваша свѣтлость, бѣдняка
За этотъ недостатокъ воспитанья:
Онъ не привыкъ къ бесѣдѣ знатныхъ лицъ!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Молчите, кастелянъ!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, я безгласенъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*Вернеру*).

Давно ль вы здѣсь?

ВЕРНЕРЪ.

Давно ли?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я искалъ
Отвѣта, а не эхо.

ВЕРНЕРЪ.

Эти стѣны
То и другое вамъ дадутъ, а я
Не отвѣчаю тѣмъ, кого не знаю.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да? Въ самомъ дѣлѣ? Все жъ могли бы вы
По крайней мѣрѣ вѣжливо отвѣтить
На ласковый вопросъ.

ВЕРНЕРЪ.

Когда бъ я зналъ,
Что ласковъ онъ, то я бы и отвѣтилъ
Въ такомъ же тонѣ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Кастелянъ сказалъ,
Что вы больны; быть можетъ, вамъ полезенъ
Могу я быть,—попутчикомъ васъ взять?

ВЕРНЕРЪ (*поспѣшно*).

Мы съ вами ѣдемъ не одной дорогой.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Какъ можете вы это знать, не зная,
Куда я ѣду?

ВЕРНЕРЪ.

Есть одинъ лишь путь,
Который можетъ быть путемъ совмѣстнымъ
Богатому и бѣдному. Избѣгли
Вы этого пути совсѣмъ недавно,
А я—немного дней тому назадъ;
Съ тѣхъ поръ мой путь и вашъ—идутъ различно,
Хотя и къ той же цѣли мы придемъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Мнѣ кажется, мой другъ,—рѣчь ваша выше,
Чѣмъ ваше положенье.

ВЕРНЕРЪ (*съ горечью*).

Въ самомъ дѣлѣ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

По крайней мѣрѣ, выше эта рѣчь,
Чѣмъ ваше платье.

ВЕРНЕРЪ.

Что жъ, по крайней мѣрѣ
Мое не лучше платье, чѣмъ я самъ,
Какъ иногда случается намъ видѣть
У тѣхъ, кто слишкомъ хорошо одѣтъ.
Короче: что же отъ меня вамъ нужно?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*вздохнувъ*).

Какъ, мнѣ?

ВЕРНЕРЪ.

Да, вамъ! Меня совсѣмъ не зная,
Вы стали мнѣ вопросы задавать
И странно вамъ, что я не отвѣчаю,
Не зная, кто допросчикъ мой. Скажите,
Что нужно вамъ,—и постараюсь я
Отвѣтить такъ, чтобъ были вы довольны
Иль чтобы я доволенъ былъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Но я
Не зналъ, что вы имѣете причины
Скрываться.

ВЕРНЕРЪ.

Да, какъ многіе. У васъ
Такихъ причинъ, быть можетъ, нѣтъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Конечно;
По крайней мѣрѣ нѣтъ такихъ, какія
Для незнакомца важно было бъ знать.

ВЕРНЕРЪ

Позвольте же и мнѣ, какъ незнакомцу,
Притомъ же бѣдняку, имѣть желанье
Остаться незнакомцемъ для того,
Съ кѣмъ общаго ни въ чемъ я не имѣю.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Какъ вашъ капризъ мнѣ ни досаденъ, сударь,
Противорѣчить я не стану вамъ;
Я вамъ хотѣлъ лишь оказать услугу.

Затѣмъ—спокойной ночи! Кастелянъ,
Дорогу укажите! (*Габору*). Вы же, сударь,
Пожалуйте за мною!

(*Уходятъ Штраленгеймъ, слуги, Иденштейнъ и Габоръ*).

ВЕРНЕРЪ (*одинъ*).

Это онъ!
Сомнѣнья нѣтъ: попался я въ тенета.
Предъ тѣмъ, какъ я изъ Гамбурга уѣхалъ,
Мнѣ Джуліо, его дворецкій бывшій,
Далъ тайно знать, что онъ досталъ приказъ
Курфюрста Бранденбургскаго: сейчасъ же,
Какъ Крюйцнера (такъ звался я тогда)
Увидятъ на границѣ,—чтобъ аресту
Его подвергли. Только вольный городъ
Хранилъ мою свободу; не безумно ль
Я поступилъ, уйдя изъ вѣрныхъ стѣнъ!
Но думалъ я, что бѣдная одежда
И неизвѣстность, по какой дорогѣ
Поѣхалъ я, собьютъ ищеекъ съ толку.
Что жъ дѣлать мнѣ? Меня, положимъ, лично
Не знаетъ онъ; и я, не будь мой глазъ
Такъ изощренъ опасностью, конечно
Его бъ не могъ узнать: вѣдь двадцать лѣтъ
Другъ друга мы не видѣли, и прежде
Лишь изрѣдка встрѣчались и почти
Не говорилъ я съ нимъ. Но свита, свита!
Теперь венгерца щедрость мнѣ понятна:
Конечно, онъ—клевретъ его, шпіонъ,
Который обличить меня пытался
И задержать. А я—безъ всякихъ средствъ,
И боленъ я, и бѣденъ; какъ нарочно,
Еще и рѣки вздулись всѣ вокругъ
И переправа стала невозможной
Не только мнѣ, но даже богачу,
Который можетъ въ ходъ пустить всѣ средства,
За деньги даже жизнь людей купить!
На что же мнѣ надѣяться! За часъ лишь
Тому назадъ я клялъ свою судьбу
И находилъ, что хуже быть не можетъ;
Теперь же то, что было—сущій рай
Въ сравненьи съ настоящимъ. Сутки, двое,—
И пойманъ я,—какъ разъ теперь, когда
Стою я на порогѣ правъ, наслѣдства
И почестей, когда меня могла бъ
Горсть золота спасти,—спасти навѣки,
Давъ мнѣ возможность ускользнуть.

(*Входятъ* Иденштейнъ *и* Фрицъ, *разговаривая*).

ФРИЦЪ.

Немедля!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я говорю вамъ, это невозможно!

ФРИЦЪ.

И все жъ исполнить это вы должны.
Одинъ курьеръ потерпитъ неудачу,—
Другого шлите, третьяго,—пока
Къ намъ не придетъ отвѣтъ отъ коменданта
Изъ Франкфурта.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Конечно, что могу,
Я сдѣлаю.

ФРИЦЪ.

И помните: не надо
Жалѣть тутъ ни издержекъ, ни труда,—
Баронъ за все вамъ въ десять разъ заплатитъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Баронъ теперь изволитъ почивать?

ФРИЦЪ.

Теперь сидитъ онъ у камина въ креслѣ
И дремлетъ, отдыхая; какъ пробьетъ
Одиннадцать, войти къ нему велѣлъ онъ,
Не ранѣе,—тогда пойдетъ онъ спать.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Надѣюсь, часу не пройдетъ,—исполню
Все, что могу, чтобъ услужить ему.

ФРИЦЪ.

Смотрите жъ, не забудьте! (*Уходитъ*).

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Чтобы черти
Побрали этихъ знатныхъ всѣхъ особъ!
По мнѣнью ихъ, весь свѣтъ лишь существуетъ
Для нихъ однихъ. Придется мнѣ теперь
Съ полдюжины запуганныхъ вассаловъ
Поднять съ ихъ ложа бѣднаго и гнать ихъ
Въ опасный путь, во Франкфуртъ, черезъ рѣку.
Казалось бы, что господинъ баронъ
Самъ испыталъ еще совсѣмъ недавно,
Что значитъ этотъ путь; но нѣтъ: „такъ надо“,
И дѣло все съ концомъ. А, каково?
Вы здѣсь еще, герръ Вернеръ?

ВЕРНЕРЪ.

Что то скоро
Со знатнымъ гостемъ вы разстались.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да
Онъ дремлетъ и, мнѣ кажется, желаетъ,
Чтобъ тутъ никто вокругъ него не спалъ.
Послать велѣлъ пакетъ онъ къ коменданту
Во Франкфуртъ, презирая всякій рискъ
И не щадя издержекъ. Но, однако,

Никакъ нельзя мнѣ времени терять;
Спокойной ночи! (*Уходитъ*).

ВЕРНЕРЪ (*одинъ*).

Такъ! Пакетъ во Франкфуртъ;
Да, да! Бѣда назрѣла. Къ коменданту!
Все это согласуется вполнѣ
Съ его шагами прежними: я вижу,
Какъ этотъ врагъ, разсчетливо-холодный,
Стоитъ межъ домомъ моего отца
И мною. Да, онъ проситъ, безъ сомнѣнья,
Прислать отрядъ, чтобъ увести меня
И гдѣ нибудь тайкомъ упрятать въ крѣпость.
Но прежде, чѣмъ случится это, я...
(*Озирается и хватаетъ ножъ, лежащій въ ящикѣ стола*).
Теперь, по крайней мѣрѣ, я владыка
Самъ надъ собой. Чу, слышатся шаги!
Какъ знать, угодно ль будетъ Штраленгейму
Ждать этой внѣшней власти, чтобъ прикрыть
Свой произволъ? Что онъ подозрѣваетъ
Меня,—въ томъ нѣтъ сомнѣнья. Я—одинъ,
Съ нимъ—свита многолюдная; я слабъ,
А онъ могучъ и золотомъ, и саномъ,
Слугъ множествомъ, своимъ авторитетомъ;
Я имени лишенъ, иль у меня
Такое имя, что одни несчастья
Съ нимъ связаны, пока я не достану
Своихъ владѣній; онъ же гордо носитъ
Свой пышный титулъ, здѣсь, въ глухой деревнѣ,
Имѣющій для темной мелкоты
Значеніе огромнѣйшее,—больше,
Чѣмъ гдѣ нибудь. Опять шаги,—все ближе!
Не скрыться ль мнѣ въ тотъ тайный коридоръ,
Ведущій... Нѣтъ, все тихо... Шумъ мнѣ только
Почудился... Вотъ онъ, безмолвный мигъ
Межъ молніей и громомъ!.. Пусть молчитъ
Моя душа среди тревогъ... Да, лучше
Теперь я скроюсь, чтобы убѣдиться,
Остался ли невѣдомъ для враговъ
Тотъ тайный ходъ, который я недавно
Открылъ: онъ можетъ, въ случаѣ несчастья,
Мнѣ послужить, какъ норка для звѣрька,
На нѣсколько часовъ по крайней мѣрѣ.
(*Открываетъ потайную дверцу и уходитъ, закрывъ ее за собою. Входятъ* ГАБОРЪ *и* ЖОЗЕФИНА).

ГАБОРЪ.

Но гдѣ жъ вашъ мужъ?

ЖОЗЕФИНА.

Я думала, что *здѣсь* онъ;
Еще недавно въ комнатѣ онъ былъ
Со мною вмѣстѣ. Но покои эти
Имѣютъ много выходовъ; быть можетъ
Пошелъ за кастеляномъ онъ.

ГАБОРЪ.

Баронъ
Разспрашивалъ подробно кастеляна
О вашемъ мужѣ; право, очень жаль,
Но кажется, что мнѣнье онъ составилъ
О немъ едва ль хорошее.

ЖОЗЕФИНА.

Увы!
Что общаго межъ нимъ, барономъ знатнымъ,
И неизвѣстнымъ Вернеромъ?

ГАБОРЪ.

Вамъ лучше
Знать это.

ЖОЗЕФИНА.

Ну, а если это такъ,
То почему жъ о немъ у васъ забота,
А не о томъ, кому вы жизнь спасли?

ГАБОРЪ.

Въ опасности спасти его помогъ я,
Но я ему себя не отдавалъ
Въ помощники для угнетенья слабыхъ.
Отлично знаю этихъ я вельможъ,
Которые бѣднягъ ногами топчутъ
На тысячу ладовъ; моя душа
Кипитъ, когда я вижу притѣсненья
Съ ихъ стороны. Сочувствую я вамъ
По этой лишь одной причинѣ,—вѣрьте.

ЖОЗЕФИНА.

Вамъ трудно будетъ мужа убѣдить
Въ своихъ благихъ намѣреньяхъ.

ГАБОРЪ.

Настолько
Онъ недовѣрчивъ?

ЖОЗЕФИНА.

Не былъ онъ такимъ;
Но время и тяжелыя тревоги
Внушили подозрительность ему,
Какъ сами убѣдились вы.

ГАБОРЪ.

Жалѣю!
Такая подозрительность—оружье
Тяжелое: подъ бременемъ его
Тревогъ, пожалуй, больше, чѣмъ защиты.
Спокойной ночи! Я надѣюсь завтра
Съ нимъ встрѣтиться. (*Уходитъ*).
(*Возвращается* ИДЕНШТЕЙНЪ *съ нѣсколь-*

ким крестьянами. Жозефина уходитъ въ глубину сцены).

ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИНЪ.

А если утону?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Тебѣ за это хорошо заплатятъ.
Вѣдь много разъ ты больше рисковалъ,
Чѣмъ утонуть за этакую цѣну.

ВТОРОЙ КРЕСТЬЯНИНЪ.

А какъ же наши жены, наши семьи?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Что жъ, имъ не хуже будетъ, чѣмъ теперь,
А при удачѣ можетъ быть и лучше.

ТРЕТІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ.

Нѣтъ у меня ни женки, ни дѣтей,—
Пожалуй, я рискну.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Вотъ молодчина!
Годишься, право, ты солдатомъ быть.
Тебя я къ принцу въ гвардію зачислю,—
Въ томъ случаѣ, когда вернешься ты,—
И дамъ еще два талера блестящихъ.

ТРЕТІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ.

Не болѣе?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какъ? Это что за жадность?
Тебѣ, который такъ честолюбивъ,
Приличенъ ли порокъ такой позорный?
Послушай, другъ, что я тебѣ скажу:
Два талера, на мелочь размѣнявши,—
Вѣдь это будетъ цѣлый капиталъ!
Вѣдь ежедневно тысячи героевъ
Своей рискуютъ жизнью и душой
Изъ-за десятой доли этой платы!
Скажи, имѣлъ ли ты когда нибудь
Полталера?

ТРЕТІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ.

Имѣть то не имѣлъ я,
Но три хочу теперь имѣть,—никакъ
Не менѣе.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Такъ ты забылъ, мерзавецъ,
Чей ты вассалъ?

ТРЕТІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ.

Вассалъ, конечно, принца,
А не чужого барина.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Холопъ!
Когда нѣтъ принца,—я одинъ твой баринъ!
Баронъ же мнѣ приходится сродни;
Онъ такъ сказалъ мнѣ: „сдѣлай милость, братецъ,
Двѣнадцать душъ пошли ка мужичья!"
А потому вы, мужичье, сейчасъ же
Въ дорогу собирайтесь и—маршъ, маршъ!
И если только уголокъ пакета
Замочите,—такъ я вамъ покажу!
За каждый я листокъ сдеру съ васъ шкуру
И натяну ее на барабанъ,
Какъ кожу Жижки, чтобы бить тревогу
На страхъ другимъ вассаламъ непокорнымъ,
Которые не сдѣлаютъ того,
Что невозможно сдѣлать! Прочь отсюда,
Прочь, черви земляные!

(Уходитъ, гоня передъ собою крестьянъ).

ЖОЗЕФИНА *(выходя на авансцену).*

Тяжело
Мнѣ видѣть эти частыя здѣсь сцены
Тиранства феодальнаго надъ бѣднымъ
Народомъ! Не поможешь тутъ ничѣмъ;
Глаза бъ мои на это не глядѣли!
И даже здѣсь, въ глухомъ и безыменномъ
Мѣстечкѣ этомъ, даже и на картѣ
Едва ли обозначенномъ, царитъ
Насилье злое знати обѣднѣвшей
Надъ тѣми, кто еще беднѣй ея.
Царитъ надменность рабская сильнѣйшихъ
Надъ рабскою судьбою бѣдняковъ,
И въ нищетѣ порокъ, надувшись спесью,
Старается блистать въ своихъ лохмотьяхъ.
Не жалокъ ли порядокъ этотъ гнусный?
Въ моей Тосканѣ, въ солнечной странѣ,
Вся наша знать—купцы и горожане,
Какъ нашъ Козьма. Есть горе и у насъ,
Но не такое; пышныя долины,
Въ которыхъ всюду льется черезъ край
Обилье,—даже бѣдному приносятъ
Отраду въ жизни; каждая былинка
Сама въ себѣ питательность содержитъ;
Тамъ каждая лоза струитъ вино,
Которое вливаетъ въ сердце радость;
Тамъ солнце вѣчно знать себя даетъ
И даже если спрячется порою
За облаками, оставляетъ намъ
Тепло, на память о лучахъ блестящихъ;
Благодаря ему, тамъ и лохмотья,
И легкая одежда—намъ пріятнѣй,
Чѣмъ яхонты и пурпуръ королей.
А здѣсь, на этомъ сѣверѣ холодномъ,
Какъ будто хочетъ каждый деспотъ быть
Подобнымъ вѣтру ледяному, злобно
Терзая душу бѣдняка вассала,
Какъ мрачная стихія мучитъ тѣло!
И вотъ среди такихъ владыкъ бездушныхъ
Мой мужъ стремится мѣсто занимать!
И такъ сильна въ немъ эта спесь съ рожденья,
Что двадцать лѣтъ тяжелыхъ испытаній,
Какія врядъ ли могъ бы наложить

Другой отецъ, хотя бъ простого званья,
На сына,—не могли въ немъ измѣнить
Характера нисколько. По рожденью
Хотя сама принадлежу я къ знати,
Но не тому отецъ меня училъ.
Отецъ мой! Пусть твой духъ многострадальный,
Вкусившій миръ въ награду за труды,—
Воззритъ на насъ, на Ульриха родного,
На сына, долго жданнаго! Всѣмъ сердцемъ
Люблю его, какъ ты меня любилъ!
Что это? Вернеръ, ты? Въ какомъ ты видѣ?

(ВЕРНЕРЪ *входитъ поспѣшно, съ ножомъ въ рукѣ, черезъ потайную дверь, которую онъ быстро закрываетъ за собою*).

ВЕРНЕРЪ (*не узнавая ея сперва*).

А, я открытъ! Одинъ ударъ кинжала...
(*Узнавъ жену*)
А, Жозефина! Ты еще не спишь?

ЖОЗЕФИНА.

Куда тутъ спать? Что это значитъ? Боже!

ВЕРНЕРЪ (*показывая ей свертокъ*).

Вотъ золото! Вотъ деньги, Жозефина,
Которыя помогутъ намъ уйти
Отсюда, изъ тюрьмы проклятой!

ЖОЗЕФИНА.

Какъ же
Досталъ ты ихъ? Что значитъ этотъ ножъ?

ВЕРНЕРЪ.

Онъ не въ крови,—*пока*. Но прочь отсюда,
Къ намъ, въ комнату!

ЖОЗЕФИНА.

Откуда ты пришелъ?

ВЕРНЕРЪ.

Не спрашивай! Намъ надобно обдумать,
Куда намъ ѣхать (*показывая деньги*): это всѣ пути
Откроетъ намъ.

ЖОЗЕФИНА.

Не хочется мнѣ думать,
Что ты виновенъ въ чемъ нибудь безчестномъ.

ВЕРНЕРЪ.

Въ безчестномъ—я?

ЖОЗЕФИНА.

Да, это я сказала.

ВЕРНЕРЪ.

Спѣшимъ! Пускай здѣсь это будетъ намъ
Послѣдняя ночевка.

ЖОЗЕФИНА.

И, надѣюсь,
Не худшая.

ВЕРНЕРЪ.

„Надѣюсь!" Я увѣренъ,
Что это такъ. Но въ комнату скорѣй!

ЖОЗЕФИНА.

Лишь на одинъ вопросъ прошу отвѣтить:
Что сдѣлалъ ты?

ВЕРНЕРЪ (*со злобой*).

Не сдѣлалъ одного,
Что насъ могло бъ навѣкъ отъ бѣдъ избавить.
Идемъ!

ЖОЗЕФИНА.

Какъ жаль, что я принуждена
Въ тебѣ, мой другъ, такъ горько усомниться!
(*Уходятъ*).



ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

СЦЕНА I.

Зала въ томъ же замкѣ.

Входятъ Иденштейнъ *и другіе.*

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Вотъ славно! Вотъ прекрасно, благородно!
Барона обокрали въ замкѣ принца,
Гдѣ прежде грѣхъ такой неслыханъ былъ!

ФРИЦЪ.

Да мудрено здѣсь было и случиться
Покражѣ: развѣ крысы у мышей
Украли бы обоевъ старыхъ клочья.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, до чего я дожилъ! Навсегда
Погублена честь дома!

ФРИЦЪ.

Что же, надо
Виновнаго искать: баронъ не хочетъ
Безъ розысковъ оставить эти деньги.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

И я ихъ такъ оставить не хочу.

ФРИЦЪ.

Кого же вы могли бы заподозрить?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Кого? Да всѣхъ: вверху, внизу, внутри
И внѣ! Пусть Небо мнѣ поможетъ!

ФРИЦЪ.

Въ покои тѣ другого нѣтъ ли хода?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, нѣтъ, нигдѣ!..

ФРИЦЪ.

Увѣрены ль вы въ томъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Еще бы: я вѣдь съ самаго рожденья
Живу здѣсь и служу, и если бъ былъ
Подобный ходъ, о немъ бы, вѣрно, зналъ я
По слухамъ, или видѣлъ бы его.

ФРИЦЪ.

Такъ, значитъ, кто то прямо могъ проникнуть
Въ переднюю.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Конечно, это такъ.

ФРИЦЪ.

Тотъ человѣкъ, котораго зовете
Вы Вернеромъ, вѣдь бѣденъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да, онъ нищій;
Но онъ живетъ совсѣмъ, вѣдь, въ сторонѣ,
Во флигелѣ, который не имѣетъ
Со спальнею барона сообщенья.
Не можетъ быть, чтобъ это Вернеръ былъ.
А сверхъ того, какъ разъ я повстрѣчался
Съ нимъ въ отдаленной залѣ, отстоящей
Отъ этой спальни чуть не на версту,
И пожелалъ ему спокойной ночи
Какъ разъ въ то время, какъ, по всѣмъ разсчетамъ,
Случился этотъ мерзостный грабежъ.

ФРИЦЪ.

Такъ есть еще другой здѣсь иностранецъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Венгерецъ?

ФРИЦЪ.

Тотъ, который помогалъ
Изъ Одера извлечь барона.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Это
Довольно вѣроятно. Но постойте:
Быть можетъ воръ былъ кто нибудь изъ свиты?

ФРИЦЪ.

Какъ, сударь? Мы?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ну, нѣтъ, никакъ не *вы*,
Но кто нибудь изъ вашихъ подчиненныхъ.
Вы мнѣ сказали, что баронъ заснулъ
На мягкомъ креслѣ, бархатомъ обитомъ;
Онъ въ вышитой ночной сорочкѣ былъ,
Передъ собою разбросалъ онъ платье,
На платьѣ же стояла и шкатулка,
Въ которой были письма и бумаги,
А также свертки золота,—изъ нихъ
Исчезъ всего одинъ; при этомъ двери
Не заперты остались· доступъ былъ
Вполнѣ свободенъ.

ФРИЦЪ.

Но позвольте, сударь!
Вы черезчуръ поспѣшны: весь составъ
Служащихъ при баронѣ,—начиная

Съ дворецкаго, кончая поваренкомъ,—
Превыше подозрѣній; честь его
Всегда была безъ пятенъ, исключая
Безгрѣшныхъ развѣ кой какихъ доходовъ
По части разныхъ счетовъ, мѣры, вѣса,
Съѣстныхъ припасовъ, погреба, буфета,
Отправки писемъ, сбора разныхъ рентъ,
Устройства пиршествъ; также въ соглашенье
Съ поставщиками можемъ мы вступать,—
Но что до мелкой, откровенной кражи,
Дрянной и грязной,—то ее всегда,
Какъ деньги на харчи, мы презирали!
Когда бъ изъ нашихъ кто нибудь былъ воръ,
То не рискнулъ бы онъ своимъ затылкомъ
Для одного лишь свертка: онъ стащилъ бы
Все,—всю щкатулку,—если бъ могъ снести!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Пожалуй, эти доводы разумны...

ФРИЦЪ.

Нѣтъ, ужъ повѣрьте, сударь: это былъ,
Ручаюсь вамъ, не кто нибудь изъ нашихъ,
А лишь простой, несчастный, мелкій воръ,
Безъ генія, безъ всякаго искусства.
Вопросъ въ одномъ: кто бъ могъ туда войти
Свободно,—кромѣ васъ или венгерца?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Вѣдь не меня же обвините вы?

ФРИЦЪ.

Нѣтъ, я цѣню таланты ваши выше.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Надѣюсь, также правила мои?

ФРИЦЪ.

О, безъ сомнѣнья! Но довольно споровъ.
Что дѣлать намъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Что дѣлать? Ничего;
Но говорить мы можемъ очень много;
Вознагражденье можно предложить
За указанье вора; землю, небо
Встревожимъ мы, въ полицію пошлемъ
(Хоть ближе, чѣмъ во Франкфуртѣ, конечно,
Ея мы не найдемъ); развѣсимъ всюду
Побольше объявленій—рукописныхъ
(Вѣдь типографій близко нѣтъ у насъ);
Приказчика пошлю я—вслухъ читать ихъ
(Вѣдь грамотны здѣсь только онъ да я);
Пошлемъ вассаловъ забирать всѣхъ нищихъ,
Въ пустыхъ карманахъ шарить; всѣхъ бродягъ,
Всѣхъ, кто одѣтъ поплоше, жалокъ, блѣденъ,
Задерживать прикажемъ,—и тогда,
По крайней мѣрѣ, если не виновный,
То многіе другіе подъ арестомъ
Окажутся; а если денегъ все-жъ
Мы не отыщемъ, то баронъ получитъ
Утѣху въ томъ, что, вызывая духъ
Исчезнувшаго свертка, онъ истратитъ
Еще въ два раза больше. Вотъ лѣкарство,
Чтобъ утолить печаль!

ФРИЦЪ.

Нашелъ
Онъ лучшее.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какое же?

ФРИЦЪ.

Наслѣдство
Громадное. Графъ Зигендорфъ покойный—
Барону дальній родственникъ. Недавно
Скончался онъ въ своемъ роскошномъ замкѣ
По близости отъ Праги, и баронъ
Теперь вступить намѣренъ во владѣнье
Имѣньями его.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

А ближе нѣтъ
Наслѣдника?

ФРИЦЪ.

О, есть прямой наслѣдникъ,
Но онъ давно исчезъ отъ свѣтскихъ глазъ,
А, можетъ быть, совсѣмъ ушелъ со свѣта.
Онъ—блудный сынъ, отвергнутый отцомъ
Ужъ двадцать лѣтъ тому назадъ; сурово
Отказывалъ отецъ ему въ закланьи
Отборнаго тельца, а потому
Онъ, если живъ, кладетъ на полку зубы.
А, впрочемъ, еслибъ вновь явился онъ,
Баронъ всегда найдетъ, конечно, средства
Его привесть къ молчанью: онъ хитеръ
И при дворѣ кой гдѣ имѣетъ связи.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Везетъ ему!

ФРИЦЪ.

Еще есть, правда, внукъ,
Котораго когда то графъ покойный
Взялъ отъ отца, чтобъ воспитать его
Какъ своего наслѣдника; однако,
Права его довольно спорны.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какъ?

ФРИЦЪ.

А такъ, что впалъ отецъ его въ ошибку,
Женившись неразумно на какой-то
Въ Италіи особѣ черноокой,—
На дочери изгнанника; она,

Какъ говорятъ, породы тоже знатной,
Но не такой, чтобъ по плечу была
Такимъ, какъ Зигендорфы. Дѣдъ, конечно,
Бракъ этотъ не одобрилъ; взялъ онъ сына,
Родителей же знать не пожелалъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ну, если этотъ внукъ—молодчикъ бравый,
То можетъ онъ сплести такую сѣть,
Что вашему барону не распутать!

ФРИЦЪ.

Онъ, говорятъ, и точно молодецъ:
Удачно въ немъ соединились свойства
Отца и дѣда: какъ отецъ, онъ пылокъ
И столь же проницателенъ, какъ дѣдъ.
Но, что всего страннѣй, исчезъ онъ также
За нѣсколько недѣль тому назадъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

На кой же чортъ онъ сдѣлалъ такъ?

ФРИЦЪ.

Вы правы:
Безъ чорта, вѣрно, тутъ не обошлось;
Иначе кто жъ его бы надоумилъ
Внезапно скрыться и покинуть домъ
Въ такое время, чуть не наканунѣ
Кончины дѣда! Сердце старику
Разбилъ онъ этимъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Что же за причина?

ФРИЦЪ.

Предположеній много есть о томъ,
Но ни одно изъ нихъ не достовѣрно.
Одни твердятъ, что онъ пошелъ искать
Родителей; другіе увѣряютъ,
Что слишкомъ строго дѣдъ его держалъ
(Едва ль, однако, это такъ: безумно
Старикъ его любилъ); по мнѣнью третьихъ,
Онъ на войну отправился служить;
Но съ той поры о заключеньи мира
Узнали мы: вернулся бъ, вѣрно, онъ,
Когда бъ война его къ себѣ манила.
Четвертые, по добротѣ своей,
Напоминаютъ, что всегда въ немъ было
Довольно много странностей, и вотъ,
По прирожденной дикости натуры,
Примкнулъ онъ къ чернымъ бандамъ, что теперь
Лузацію у насъ опустошаютъ,
Въ горахъ богемскихъ и силезскихъ грабятъ
Съ тѣхъ поръ, какъ за послѣдніе года
Война какъ будто выродилась въ мелкій
Разбой, въ систему дракъ и грабежа,
Причемъ у каждой шайки свой начальникъ
И всѣ воюютъ противъ мирныхъ гражданъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Не можетъ быть! Чтобъ молодой наслѣдникъ,
Воспитанный въ богатствѣ, въ щегольствѣ,
Рискнулъ и добрымъ именемъ, и жизнью,
Связавъ свою судьбу съ толпой солдатъ
И сорванцовъ отчаянныхъ!

ФРИЦЪ.

Богъ знаетъ!
Бываютъ вѣдь натуры межъ людей
Съ такою дикой страстью къ приключеньямъ,
Что имъ опасность—слаще всѣхъ забавъ.
Я слышалъ, что нельзя ничѣмъ на свѣтѣ
Индійца къ мирной жизни обратить
Иль тигра усмирить, хотя бы съ дѣтства
Кормили ихъ лишь молокомъ и медомъ.
Да, наконецъ, вашъ Тилли, Валленштейнъ,
Густавъ и Баннеръ, Торстенсонъ и Веймаръ,—
Не точно ли такіе жъ сорванцы,
Но лишь въ большихъ размѣрахъ? Ихъ дѣянья
Покончены, и миръ провозглашенъ,
И тѣмъ, кто время проводить желаетъ
Такъ, какъ они, приходится теперь
За собственный свой счетъ стремиться къ цѣли.
Но вотъ идетъ баронъ, а съ нимъ саксонецъ,
Который главнымъ былъ ему вчера
Спасителемъ, но ночь провелъ въ избушкѣ
На Одерѣ, и къ утру лишь пришелъ.
(*Входятъ Штраленгеймъ и Ульрихъ*).

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Любезный чужестранецъ! Отказавшись
Отъ всякаго вознагражденья, кромѣ
Безплодной благодарности моей,
Вы этимъ даже и ее стѣснили,
Давъ мнѣ увидѣть всю ничтожность словъ
И устыдиться чувствъ моихъ безсильныхъ,
Которыя такъ жалки, если ихъ
Сравню я съ вашимъ подвигомъ отважнымъ.

УЛЬРИХЪ.

Оставимъ этотъ разговоръ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Быть можетъ,
Я чѣмъ нибудь могу вамъ услужить?
Вы молоды и весь вашъ складъ—геройскій;
Наружность ваша—выгодна; вы храбры:
Цѣною жизни это я узналъ;
И нѣтъ сомнѣнья, что, при этихъ данныхъ,
Вы встрѣтите взоръ огненной войны
Съ такою же горячей жаждой славы,
Какъ вы пошли навстрѣчу мраку смерти,
Чтобъ незнакомцу жизнь спасти въ волнахъ,

Среди стихіи грозной и опасной.
Вы созданы для службы; я и самъ
Служилъ: свое я создалъ положенье
Благодаря не только моему
Происхожденью, но и личной службѣ
Моей солдатской; я друзей имѣю,
Которые друзьями будутъ вамъ.
Конечно, въ настоящую минуту,
Когда повсюду миръ царитъ, для васъ
Не очень много шансовъ къ возвышенью;
Но можетъ ли продлиться этотъ миръ?
Сердца людей невольно жаждутъ спора;
Съ тѣхъ поръ, какъ битвы длились тридцать лѣтъ,
Теперь нашъ миръ—все та жъ война, лишь въ малыхъ
Размѣрахъ, какъ легко намъ видѣть въ каждомъ
Лѣсу; мы въ перемиріи, скорѣй,
И то въ вооруженномъ. Но не долго
Намъ ждать, чтобъ вновь война взяла свое;
Тогда вамъ постъ легко достаться можетъ,
Который къ повышеніямъ пути
Откроетъ вамъ, и при моемъ вліяньи,
Пойдетъ все хорошо. Я говорю
О Бранденбургѣ, гдѣ съ курфюрстомъ связи
Имѣю я; въ Богеміи я чуждъ,
Какъ вы; а въ настоящую минуту
Какъ разъ мы на ея границѣ.

УЛЬРИХЪ.

Я—
Саксонецъ, какъ вы видите, конечно,
По моему костюму; потому
Лишь своему я долженъ сюзерену
Служить, и мнѣ придется отклонить
Любезную услугу вашу, съ чувствомъ
Такимъ же, какъ предложена она.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Послушайте: вѣдь это—лихоимство!
Я вамъ обязанъ жизнію, а вы
Принять процентовъ даже не хотите
Отъ должника, чтобъ накопить на немъ
Такъ много долга, что совсѣмъ согнется
Бѣднякъ подъ грузомъ.

УЛЬРИХЪ.

Говорите такъ,
Когда отъ васъ потребую я платы.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Ну, что же дѣлать, если не хотите...
Вы благородны по рожденью?

УЛЬРИХЪ.

Такъ
Мнѣ говорили родственники.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Это
И по поступкамъ вашимъ видно. Можно ль
Теперь спросить мнѣ, какъ зовутъ васъ?

УЛЬРИХЪ.

Ульрихъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Фамилія же ваша?

УЛЬРИХЪ.

Не могу
Открыть ее, пока ея не буду
Достоинъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*въ сторону*).

Вѣроятно, онъ австріецъ,
Которому невыгодно открыть
Въ такое необузданное время
Свое родство,—притомъ еще въ глуши,
Здѣсь, на границѣ, для него опасной,
Гдѣ ненавидятъ родину его.
(*Громко, обращаясь къ Фрицу и Иденштейну*).
Ну, господа, какъ поиски?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Довольно
Успѣшны, ваша свѣтлость.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Что же,—значитъ,
Грабитель ужъ въ плѣну?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Гм! Не совсѣмъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Но онъ, по крайней мѣрѣ, заподозрѣнъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, подозрѣній много есть у насъ!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Кто жъ это могъ бы быть?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Вы, ваша свѣтлость,
Не знаете его?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Откуда знать мнѣ?
Я крѣпко спалъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я тоже крѣпко спалъ,
А потому о немъ не больше знаю,
Чѣмъ ваша свѣтлость знаете.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Болванъ!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Но какъ же быть? Вы сами, ваша свѣтлость,—
Лицо, надъ кѣмъ грабежъ былъ совершенъ,—
Не можете дать свѣдѣній о ворѣ;
Откуда жъ мнѣ, кого не грабилъ онъ,
Знать, кто былъ воръ? Позвольте доложить вамъ:

Въ толпѣ вашъ воръ имѣетъ тотъ же видъ,
Какъ прочіе, а можетъ быть и лучше;
Вотъ если привлекутъ его къ суду
Иль будетъ онъ въ тюрьмѣ сидѣть, — конечно,
Тогда разумный каждый человѣкъ
Въ лицо узнаетъ вора и, ручаюсь,
Найдутъ ли, что виновенъ онъ, иль нѣтъ,—
Лицо его всегда виновнымъ будетъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*Фрицу*).

Скажи мнѣ, Фрицъ, чего достигли вы
При поискахъ?

ФРИЦЪ.

По чести, ваша свѣтлость,
Немногаго: есть лишь однѣ догадки.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Убытокъ мой оставивъ въ сторонѣ
(Хотя теперь, признаться, онъ довольно
Мнѣ непріятенъ),—я бъ хотѣлъ поймать
Мерзавца-вора ради общей пользы.
Такой искусный воръ, который могъ
Пробраться незамѣтно межъ служащихъ,
Чрезъ столько комнатъ, ярко освѣщенныхъ,
Народа полныхъ, въ спальню и украсть
Мой свертокъ, чуть глаза успѣлъ сомкнуть я,—
Вѣдь этотъ воръ легко ограбить можетъ
Весь округъ вашъ, почтенный кастелянъ!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Такъ точно, ваша свѣтлость, если только
Найдетъ онъ здѣсь, что грабить.

УЛЬРИХЪ.

Что случилось?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Вы только утромъ прибыли сюда
И не слыхали, что сегодня ночью
Ограбили меня.

УЛЬРИХЪ.

Кой-что я слышалъ,
Когда вошелъ я въ замокъ, но не знаю
Подробностей.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да, странно это все;
Вотъ, кастелянъ поразсказать вамъ могъ бы...

ИДЕНШТЕЙНЪ.

О, съ радостью! Изволите ли видѣть...

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*нетерпѣливо*).

Вы лучше подождали бы болтать,
Еще не зная, станутъ ли васъ слушать.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

А вотъ сейчасъ узнаемъ это мы.
Изволите ли видѣть, сударь...

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*снова прерывая его и обращаясь къ Ульриху*).

Словомъ,
Заснулъ я въ креслѣ, предо мной была
Шкатулка, въ ней же золото,—на сумму
Изрядную, гораздо больше той,
Какую потерять легко мнѣ было бъ,
Хотя ея лишь часть я потерялъ;
И вотъ субъектъ какой то, очень ловкій,
Съумѣлъ искусно въ спальню проскользнуть,
Минуя многочисленную свиту
Мою и челядь замка; онъ унесъ
Изъ этихъ денегъ свертокъ въ сто дукатовъ,
Которые желалъ бы я вернуть.
Быть можетъ, вы (я самъ еще покуда
Довольно слабъ) возьмете на себя
Вчерашнюю великую услугу
Дополнить новымъ одолженьемъ мнѣ,
Не столь большимъ, но все же очень важнымъ,—
Поможете вотъ этимъ господамъ,
Которые не слишкомъ торопливы
Въ своихъ стараньяхъ,—вора отыскать?

УЛЬРИХЪ.

Весьма охотно и притомъ немедля.
Идемъ, мейнъ герръ! За мной!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Пожалуй, скоро—
Не будетъ спора.

УЛЬРИХЪ.

Если жъ будемъ мы
Стоять на мѣстѣ, толку ввѣкъ не будетъ.
Идемте же; а по дорогѣ мы
Поговоримъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Но...

УЛЬРИХЪ.

Покажите мѣсто,
А тамъ я буду съ вами говорить.

ФРИЦЪ.

Пойду я съ ними, если ваша свѣтлость
Позволите.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Иди за ними вслѣдъ
И стараго осла возьми съ собою.

ФРИЦЪ.

Идемъ!

УЛЬРИХЪ.

Иди, оракулъ старый мой,
И разъяснить загадку постарайся!

(*Уходитъ съ Иденштейномъ и Фрицомъ*).

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*одинъ*).

Отважный, добрый юноша, съ солдатской
Наружностью; красивъ, какъ Геркулесъ
Предъ первымъ изъ своихъ дѣяній слав-
ныхъ;
Его чело, когда спокоенъ онъ,
Несетъ слѣды глубокихъ думъ, серьезно
Не по годамъ; когда же на вопросъ
Отвѣтитъ онъ,—огонь во взорѣ блещетъ.
Его къ себѣ я радъ бы залучить;
Такихъ людей имѣть вокругъ не худо:
Наслѣдство—вещь, достойная борьбы.
Хоть я и не таковъ, чтобъ предъ борь-
бою
Я отступилъ,—не таковы и тѣ,
Кто между мной и этой цѣлью встанетъ.
Мнѣ говорили, что мальчишка храбръ,
Но онъ, какъ разъ, въ припадкѣ вздорной
дури,
Ушелъ куда то шляться и покинулъ
Права свои на произволъ судьбы.
Тѣмъ лучше. Что же до отца—за нимъ я
Давно слѣжу, какъ ловкая ищейка,—
Не на виду, но такъ, чтобъ по чутью
Всегда его найти я могъ. Покамѣстъ
Онъ ускользалъ отъ поисковъ моихъ;
За то теперь онъ *здѣсь*, и тѣмъ удобнѣй
Мнѣ захватить его. Увѣренъ я,
Что это онъ: все говоритъ за это,
И рѣчи беззаботныя людей,
Не знающихъ, къ чему свои разспросы
Веду я,—также это подтверждаютъ.
Да, все: онъ самъ, его манеры, тайна
И срокъ его прибытья; все, что я
Узналъ отъ кастеляна о супругѣ
Его, которой я не видѣлъ самъ,
И о ея наружности, достойной,
Но иностранной; тайная вражда,
Которую почувствовали оба
При встрѣчѣ мы, подобная тому,
Что львы и змѣи, пятясь другъ предъ
другомъ,
Невольно ощущаютъ: говоритъ
Инстинктъ имъ тайный, что они другъ
другу
Смертельные враги, хоть никогда
Естественной добычею не служитъ
Одинъ другому,—да, согласно все
Съ моей догадкой. Такъ или иначе,—
Борьба нужна. Чрезъ нѣсколько часовъ
Придетъ приказъ изъ Франкфурта; вотъ
только
Разливъ не помѣшалъ бы... Но погода
Такъ измѣнилась, что, надѣюсь я,
Вода спадетъ. Тогда его спокойно
Упрячу я въ тюрьму: пускай онъ тамъ
Свое откроетъ истинное имя
И званье. Если жъ плѣнникъ мой не тѣмъ
Окажется, кѣмъ я его считаю,
То это не бѣда. Покража эта
(Конечно, если денегъ не считать)
Мнѣ также будетъ въ пользу: онъ, вѣдь,
бѣденъ—
И это подозрительно; безвѣстенъ—
И, значитъ, беззащитенъ. Правда, нѣтъ
Въ рукахъ моихъ уликъ, что онъ вино-
венъ,—
Но какъ ему невинность доказать?
Въ другихъ бы обстоятельствахъ, конечно,
Будь безразличенъ онъ для дѣлъ моихъ,—
Скорѣй я сталъ бы обвинять венгерца,
Въ которомъ что то есть, что сразу мнѣ
Невольно не понравилось; къ тому же
Изъ всѣхъ ближайшихъ, кромѣ кастеляна
И слугъ моихъ и принца, онъ одинъ
Входилъ ко мнѣ свободно.
(*Входитъ* ГАБОРЪ).
А, пріятель!
Ну, какъ вы поживаете?

ГАБОРЪ.

Какъ всѣ,
Которые довольны, если могутъ
Поужинать и выспаться, безъ лишнихъ
Претензій на комфортъ. А ваша свѣтлость?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я отдохнуть успѣлъ, но кошелекъ
Мой пострадалъ. Ночевка обойдется
Мнѣ, какъ я вижу, дорого.

ГАБОРЪ.

Я слышалъ
О вашемъ горѣ; но такимъ, какъ вы,
Вѣдь это пустяки.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Когда бы деньги
У васъ пропали, вы бы говорили
Не то.

ГАБОРЪ.

Ни разу въ жизни не имѣлъ
Я столько денегъ,—потому мнѣ трудно
Судить объ этомъ. Я пришелъ за вами.
Курьеры ваши всѣ пришли назадъ:
Я обогналъ ихъ, возвращаясь въ замокъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Какъ такъ?

ГАБОРЪ.

Съ разсвѣтомъ вышелъ я къ рѣкѣ,
Надѣясь видѣть, что разливъ сталъ меньше
И что смогу свой путь я продолжать.
Но ваши всѣ посланцы обманулись
Въ своей надеждѣ такъ же, какъ и я:
Придется ждать, пока разливъ уймется.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Ахъ, чтобы псы ихъ съѣли! Почему жъ
Они, по крайней мѣрѣ, не пытались
Плыть черезъ рѣку? Я вѣдь приказалъ
Рискнуть на все?

ГАБОРЪ.

Когда бы вы велѣли,
Чтобъ Одеръ раздѣлился, ставъ стѣной,
Какъ Моисей продѣлалъ съ Краснымъ моремъ,
Которое едва ль краснѣе было,
Чѣмъ этотъ страшно вздувшійся потокъ,—
Тогда бъ они отважились, быть можетъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я самъ пойду, чтобъ посмотрѣть на нихъ.
Рабы! Канальи! Имъ влетитъ за это!
(*Уходитъ*).

ГАБОРЪ (*одинъ*).

Вотъ онъ, нашъ благородный феодалъ,
Баронъ нашъ своевольный, пережитокъ
Того, что намъ осталось отъ временъ
Когда то славныхъ рыцарей! Недавно,
Еще вчера—онъ радъ былъ уступить
Свои всѣ земли (если ихъ имѣетъ),
И, что еще дороже,—всѣ шестнадцать
Полей его баронскаго герба
За воздуха глоточекъ, хоть настолько,
Чтобъ имъ пузырь наполнить; задыхаясь,
Хлебая воду, высунулся онъ
Въ окно кареты, на боку лежавшей
И залитой водою; а теперь
Готовъ громить онъ дюжину несчастныхъ
За то, что жизнью такъ же дорожатъ
Они, какъ онъ! Ну что жъ,—онъ правъ, пожалуй:
Смѣшно своей имъ жизнью дорожить,
Когда онъ можетъ ихъ по произволу
Всегда послать на смерть! О жалкій міръ
Какая же печальная ты шутка!
(*Уходитъ*).

СЦЕНА II.

Комната Вернера въ замкѣ.

(*Входятъ* ЖОЗЕФИНА *и* УЛЬРИХЪ).

ЖОЗЕФИНА.

Стань здѣсь и дай взглянуть мнѣ на тебя!
Мой Ульрихъ, мой любимый! Ахъ, возможно ль:
Двѣнадцать лѣтъ ты былъ вдали отъ насъ!

УЛЬРИХЪ.

О матушка, безцѣнная!

ЖОЗЕФИНА.

Да, вижу,
Что сны мои исполнились! Мой сынъ,
Какъ ты хорошъ! Ты лучше, чѣмъ мечтала
Тебя я видѣть! Господи, прими
Ты благодарность матери и слезы
Ея блаженства! Вижу я Твой перстъ:
Явился онъ теперь, въ такое время,
Не только какъ нашъ сынъ, а какъ спаситель!

УЛЬРИХЪ.

Когда мнѣ эта радость суждена,
Вдвойнѣ я буду чувствовать отраду
И сердце облегчу отъ части долга
Сыновняго предъ вами,—не любви,
Которая всегда была для сердца
Легка,—но долга помощи. Прости:
Не я виной, что мы въ разлукѣ были
Такъ долго!

ЖОЗЕФИНА.

Да, я знаю; но теперь
Я не могу и думать о печали;
Мнѣ даже страннымъ кажется, что я
Страдала: такъ мнѣ радость ослѣпила
Мою всю память; все я, все забыла!
Мой сынъ!

(*Входитъ* ВЕРНЕРЪ).

ВЕРНЕРЪ.

Кто тутъ? Опять чужіе?

ЖОЗЕФИНА.

Нѣтъ!
Всмотрись: кто это?

ВЕРНЕРЪ.

Юношу я вижу—
И въ первый разъ...

УЛЬРИХЪ (*становясь на колѣна*).

Спустя двѣнадцать лѣтъ,
Отецъ мой!

ВЕРНЕРЪ.

Боже!

ЖОЗЕФИНА.

Ахъ, онъ чувствъ лишился!

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ, нѣтъ; я ужъ пришелъ въ себя. Мой Ульрихъ!
(*Обнимаетъ его*).

УЛЬРИХЪ.

Отецъ мой! Зигендорфъ!

ВЕРНЕРЪ (*вздрогнувъ*).

Тсъ, мальчикъ: стѣны
Услышатъ это имя...

УЛЬРИХЪ.

Ну, такъ что жъ?

ВЕРНЕРЪ.

Какъ что? А впрочемъ, послѣ мы объ этомъ
Поговоримъ; теперь прошу лишь помнить,
Что Вернеромъ зовусь я здѣсь. Приди,
Приди опять на грудь мою! Ты видомъ
Какъ разъ таковъ, какимъ я могъ быть прежде,
Но, къ сожалѣнью, не былъ. Жозефина!
Повѣрь ты мнѣ, что не отцовскимъ чувствомъ
Я ослѣпленъ: среди десятка тысячъ
Такихъ прекрасныхъ юношей отборныхъ—
Его бъ себѣ я выбралъ въ сыновья!

УЛЬРИХЪ.

Да, но меня вы все же не узнали.

ВЕРНЕРЪ.

Увы, въ душѣ такъ много накопилъ
Я горечи, что въ каждомъ человѣкѣ
На первый взглядъ я вижу лишь дурное.

УЛЬРИХЪ.

Что до меня, то память мнѣ служила
Гораздо лучше, и не позабылъ
Я ничего. Нерѣдко въ пышныхъ залахъ,
Въ великолѣпномъ замкѣ (не хочу
Я имени его назвать: какъ вижу,
Опасно это),—словомъ, во владѣньяхъ,
Принадлежавшихъ вашему отцу,—
Я наблюдалъ, какъ солнце заходило
За темные хребты богемскихъ горъ,
И тосковалъ, что день за днемъ уходитъ,
А горы эти высятся все время
Межъ мной и вами. Но теперь—конецъ:
Онѣ не будутъ раздѣлять насъ болѣ.

ВЕРНЕРЪ.

Я въ этомъ не увѣренъ. Ты вѣдь знаешь,
Что умеръ мой отецъ?

УЛЬРИХЪ.

О, Боже мой!
Его я бодрымъ старикомъ оставилъ,
Подобнымъ дубу старому, который,
Хоть пострадалъ подъ бременемъ годовъ,
Но твердо могъ противостать стихіямъ,
Въ то время, какъ валились вкругъ него
Деревья молодыя. Это было
Три мѣсяца всего тому назадъ.

ВЕРНЕРЪ.

Но почему же ты его покинулъ?

ЖОЗЕФИНА (*обнимая Ульриха*).

О, какъ ты можешь спрашивать о томъ!
Не *здѣсь* ли онъ, не съ нами ль?

ВЕРНЕРЪ.

Это правда;
Ушелъ онъ, чтобъ родителей искать,
И вотъ нашелъ ихъ. Но въ какомъ мы видѣ,
Въ какомъ мы положеньи!

УЛЬРИХЪ.

Это все
Исправимъ мы. Сейчасъ же мы предпримемъ
Все нужное для охраненья правъ
Моихъ,—вѣрнѣе вашихъ. Я охотно
Все уступаю, если вашъ отецъ
Не вздумалъ только такъ распорядиться,
Что всѣ свои обширныя владѣнья
Оставилъ мнѣ: тогда я долженъ буду
Мои права для формы предъявить;
Но думаю, что вамъ онъ все оставилъ.

ВЕРНЕРЪ.

Ты что нибудь слыхалъ о Штраленгеймѣ?

УЛЬРИХЪ.

Вчера его я спасъ; онъ здѣсь.

ВЕРНЕРЪ.

Ты спасъ
Змѣю, которой жало всѣхъ насъ сгубитъ!

УЛЬРИХЪ.

Признаться, это для меня загадка.
Что намъ онъ, этотъ Штраленгеймъ?

ВЕРНЕРЪ.

Онъ? Все!
Онъ хочетъ взять отцовскія владѣнья;
Онъ—дальняя родня и ближній врагъ.

УЛЬРИХЪ.

Мнѣ это имя стало лишь сегодня
Извѣстно. Правда, графъ мнѣ говорилъ,
Что, еслибъ родъ прямой нашъ прекратился
Есть родственникъ, который кое какъ
Претендовать бы могъ на наши земли,—
Но имени его онъ не сказалъ.
Но если бъ это былъ и онъ—такъ что же
Изъ этого? Права его, конечно,
Гораздо меньше нашихъ правъ.

ВЕРНЕРЪ.

Да, въ Прагѣ;
Но здѣсь—онъ всемогущъ. Разставилъ сѣти
Онъ твоему отцу, и если я
Еще въ нихъ не попался, то по счастью,
А не по добротѣ его.

УЛЬРИХЪ.

Васъ знаетъ
Онъ лично?

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ; но зорко онъ слѣдитъ
Вездѣ за мной, какъ я послѣдней ночью
Въ томъ убѣдился; можетъ быть, обязанъ
Я временной свободою своей

Единственно тому, что не увѣренъ
Онъ въ томъ, что это точно я.

УЛЬРИХЪ.

Прошу
Простить меня; мнѣ кажется невольно,
Что вы предъ нимъ неправы. Штраленгеймъ
Едва ли такъ коваренъ; если жъ вѣрно
Вы судите, то мнѣ обязанъ онъ
За прошлое и также въ настоящемъ.
Я спасъ его отъ смерти,—мнѣ онъ вѣритъ;
Затѣмъ недавно онъ ограбленъ былъ;
Больной и чужестранецъ, онъ не можетъ
Самъ негодяя отыскать, который
Его ограбилъ; я же предложилъ
Ему свои услуги. Исполняя
Свою задачу, я пришелъ случайно
Сюда,—и вотъ нежданно я нашелъ
Сокровище: отца и мать!

ВЕРНЕРЪ (*взволнованный*).

Откуда
Ты научился слову „негодяй"?

УЛЬРИХЪ.

Какое жъ имя—лучшее для вора?

ВЕРНЕРЪ.

Кто научилъ тебя клеймить того,
Кого не знаешь, именемъ ужаснымъ?

УЛЬРИХЪ.

Меня учило собственное чувство
Злодѣевъ звать по ихъ дѣламъ.

ВЕРНЕРЪ.

Откуда
Ты научился, юноша, такъ долго
Желанный нами и въ несчастный часъ
Отысканный,—что можешь ты такъ страшно
Отца родного оскорблять?

УЛЬРИХЪ.

Но я
О негодяѣ говорилъ. Что можетъ
Имѣть отецъ съ нимъ общаго?

ВЕРНЕРЪ.

Кой что!
Отецъ твой—этотъ негодяй!

ЖОЗЕФИНА.

О сынъ мой!
Не вѣрь ему! Но все таки... (*Голосъ отказываетъ ей*).

УЛЬРИХЪ (*вздрогнувъ и серьезно глядя на Вернера*).

И вы
Въ томъ признаетесь?

ВЕРНЕРЪ.

Слушай, Ульрихъ. Прежде,
Чѣмъ ты рѣшишься презирать отца,
Умѣй сперва обдумать хорошенько
И обсудить дѣла его. Ты молодъ,
Поспѣшенъ, жизни ты совсѣмъ не знаешь,
Воспитанъ въ нѣгѣ, въ роскоши. Тебѣ ль
Понять всю силу страсти, искушенья
Тяжелой нищеты? Но подожди
(Недолго ждать: приходитъ это скоро,
Какъ ночь смѣняетъ день); о, подожди,
Дождись поры, когда твои надежды
Поблекнутъ всѣ, погибнутъ, какъ мои;
Когда печаль и стыдъ въ твоемъ жилищѣ
Слугами станутъ, голодъ же и бѣдность—
Гостями за столомъ твоимъ убогимъ,
Отчаянье—собратомъ сновъ твоихъ,—
Тогда возстань,—не какъ отъ сна, но трезво,
Встань и суди! И если день придетъ,
Когда найдешь ты на своей дорогѣ
Коварную змѣю, своимъ кольцомъ
Обвившую все сердцу дорогое,
Все милое роднымъ твоимъ; когда
Она дремать передъ тобою будетъ,
Одна лишь къ счастью преграждая путь;
Когда злодѣй, который гложетъ имя,
Богатства, даже жизнь твою, во власти
Окажется твоей, благодаря
Судьбѣ; когда подъ кровомъ темной ночи
Ты обнажишь свой ножъ,—а вкругъ заснуло
Все, все на свѣтѣ, какъ твой злѣйшій врагъ,
Какъ будто самъ просящій смерти,—ибо
Подобенъ смерти сонъ; когда ты знаешь,
Что только смерть его тебя спасетъ,—
Благодари тогда ты Бога, если
Ты сможешь удовольствоваться кражей
Ничтожною—и отвернуться. Я
Такъ поступилъ.

УЛЬРИХЪ.

Однако...

ВЕРНЕРЪ.

Слушай, слушай!
Я голоса людского выносить
Не въ состояньи; выносить мнѣ трудно
Свой собственный, - не знаю, человѣку ль
Еще принадлежитъ онъ. Слушай, Ульрихъ!
Не знаешь ты злодѣя моего,
Я жъ изучилъ его вполнѣ: онъ низокъ,
Коваренъ, жаденъ! Молодъ ты и храбръ
И думаешь, что онъ ничѣмъ не можетъ
Вредить тебѣ; но знай: никто на свѣтѣ
Не застрахованъ отъ безумной злобы,
Отъ хитрости предательской врага!
Онъ, Штраленгеймъ, мой злѣйшій врагъ, забрался
Сюда, въ покои принца; въ креслѣ онъ
Спокойно спалъ; мой ножъ надъ нимъ былъ поднятъ;

Одинъ лишь мигъ, малѣйшее движенье,
Одинъ толчокъ,—и смелъ бы я его
Со свѣта прочь и съ нимъ мои всѣ страхи!
Онъ былъ въ моихъ рукахъ, мой ножъ надъ нимъ
Былъ обнаженъ,—но я ушелъ, и снова
Въ его я власти,—можетъ быть, и ты!
Какъ знать тебѣ, что онъ тебя не знаетъ?
Какъ знать, что не нарочно онъ сюда
Тебя завлекъ, чтобъ тутъ тебя прикончить
Иль бросить, какъ родителей твоихъ,
Въ темницу?... (*Останавливается*).

УЛЬРИХЪ.

Продолжайте, продолжайте!

ВЕРНЕРЪ.

Меня онъ зналъ всегда, за мной повсюду
Шелъ по слѣдамъ, при каждой перемѣнѣ
Временъ, судьбины, имени. А ты?
Ужель избавленъ отъ него? Ужели
Людей ты знаешь лучше? Сѣти онъ
Сплеталъ вокругъ меня; рептилій гнусныхъ
Разсѣялъ всюду на моемъ пути,
Которыхъ я, въ дни юности, конечно,
Ногой бы отшвырнулъ, не подпуская
Къ себѣ; теперь же каждый мой ударъ
Могъ наполнять ихъ только новымъ ядомъ.
Ужель ты будешь больше терпѣливъ,
Чѣмъ твой отецъ несчастный? Ульрихъ, Ульрихъ!
Бываютъ преступленья иногда
Простительны; бываютъ искушенья,
Которымъ нѣтъ въ насъ силъ противостать!

УЛЬРИХЪ (*смотритъ сперва на него, потомъ на Жозефину*).

О, мать моя!

ВЕРНЕРЪ.

Да! Такъ я и подумалъ:
Теперь изъ насъ, родителей, знать хочешь
Ты мать одну, а я равно утратилъ
Отца и сына. Я совсѣмъ одинъ!

(*Быстро уходитъ изъ комнаты*).

УЛЬРИХЪ.

Постойте!

ЖОЗЕФИНА.

Не ходи за нимъ, покуда
Волненье въ немъ не улеглось. Когда бъ
Съ нимъ говорить теперь полезно было,
Сама бъ за нимъ пошла я.

УЛЬРИХЪ.

Повинуюсь
Вамъ, матушка, хотя и противъ воли.
Я не хочу, чтобъ первый мой поступокъ
Непослушаньемъ былъ.

ЖОЗЕФИНА.

О, вѣрь, онъ добръ!
Не осуждай, прошу, отца сурово
По собственнымъ словамъ его; вѣрь мнѣ,
Которая перенесла съ нимъ вмѣстѣ
И для него—такъ много. Это только
Души его поверхность: въ глубинѣ
Хранитъ она хорошаго не мало!

УЛЬРИХЪ.

Такъ это—только правила отца?
Ихъ мать моя не раздѣляетъ?

ЖОЗЕФИНА.

Самъ онъ
Не мыслитъ такъ, какъ говоритъ. Увы!
Несчастій годы долгіе виной,
Что иногда таковъ онъ.

УЛЬРИХЪ.

Объясните жъ,
Что за права у Штраленгейма есть,
Чтобъ я, узнавъ въ подробностяхъ все дѣло,
Въ борьбу вступить могъ иль по крайней мѣрѣ
Отъ васъ пока опасность отстранить.
Я все берусь устроить; лишь жалѣю,
Что не пришелъ я нѣсколько часовъ
Тому назадъ!

ЖОЗЕФИНА.

О, если бы пришелъ ты!
(*Входятъ* Габоръ, Иденштейнъ *и* слуги).

ГАБОРЪ (*къ Ульриху*).

Я васъ искалъ, товарищъ! Вотъ она,
Моя награда!

УЛЬРИХЪ.

Что все это значитъ?

ГАБОРЪ.

Чортъ побери! До этихъ лѣтъ я дожилъ—
И вотъ чего дождался! (*Иденштейну*).
Если бъ только
Не ваша старость, ваша глупость...

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ай,
Спасите! Руки прочь! Не смѣйте трогать
Меня: я кастелянъ!

ГАБОРЪ.

Твой страхъ напрасенъ:
Тебя душить не буду я,—оставлю
Воронамъ глотку мерзкую твою,
Когда тебя повѣсятъ!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

За отсрочку
Благодарю, но, кажется, нужна
Другимъ она скорѣй, чѣмъ мнѣ.

УЛЬРИХЪ.

Скажите жъ,
Что это за нелѣпый споръ?

ГАБОРЪ.

Суть въ томъ,
Что нашъ баронъ былъ кѣмъ то обворо-
ванъ;
И вотъ, почтенный этотъ господинъ
Изволилъ удостоить подозрѣньемъ
Своимъ—меня, котораго увидѣлъ
Онъ въ первый разъ вчера!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Прикажешь ты,
Чтобъ я своихъ знакомыхъ заподозрилъ?
Такъ знай, что я компанію вожу
Получше!

ГАБОРЪ.

Да, и скоро, песъ злорадный,
Компанію найдешь еще получше,
Для всѣхъ людей послѣднюю: червей!
(*Хватаетъ его*).

УЛЬРИХЪ (*вмѣшиваясь*).

Нѣтъ, безъ насилья! Старъ онъ, безору-
женъ!
Прошу васъ успокоиться, Габоръ!

ГАБОРЪ (*выпуская Иденштейна*).

Вы правы,—слишкомъ глупо мнѣ сердиться
На дурака за то, что онъ считаетъ
Меня мерзавцемъ: это мнѣ лишь честь.

УЛЬРИХЪ (*Иденштейну*).

Что, какъ дѣла?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ахъ, помогите!

УЛЬРИХЪ.

Я вѣдь
Помогъ ужъ вамъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Нѣтъ, вы его убейте:
Тогда скажу, что вы мнѣ помогли!

ГАБОРЪ.

Спокоенъ я, живи себѣ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Тебѣ то
Не надо жить, коль скоро есть у насъ
Суды и судьи. Пусть баронъ рѣшаетъ!

ГАБОРЪ.

Что? Развѣ обвиненія твои
Поддержитъ онъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

А развѣ не поддержитъ?

ГАБОРЪ.

Тогда пускай онъ въ слѣдующій разъ
Идетъ ко дну скорѣе, чѣмъ я стану
Спасать его. Но вотъ идетъ онъ самъ!
(*Входитъ* ШТРАЛЕНГЕЙМЪ).

ГАБОРЪ (*подходитъ къ нему*).

Я, ваша свѣтлость, здѣсь!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Прекрасно, сударь.

ГАБОРЪ.

Вамъ ничего не нужно отъ меня?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Что жъ можетъ мнѣ отъ васъ быть нужно?

ГАБОРЪ.

Право,
Вы знать могли бы это, если только
Не вымыла вчерашняя вода
Всей памяти изъ васъ. Но это, впрочемъ,
Бездѣлица. Меня здѣсь обвиняетъ
Весьма опредѣленно кастелянъ
Въ покражѣ той, которой вы подверглись.
Откуда же исходитъ обвиненье,—
Отъ васъ иль отъ него?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я никого
Не обвиняю.

ГАБОРЪ.

Значитъ, я оправданъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Не обвинялъ я и не оправдалъ:
Я даже никого не заподозрилъ.

ГАБОРЪ.

Но вы должны по крайней мѣрѣ знать,
Кого *нельзя* подозрѣвать! Жестоко
Меня здѣсь челядь ваша оскорбила
И обратиться къ вамъ я принужденъ,
Чтобъ вы урокъ ей дали, какъ ей нужно
Вести себя! Ища воровъ, имъ прежде
Въ своей средѣ ихъ надо поискать!
Ну, словомъ, если есть здѣсь обвинитель,
То пусть меня достоинъ будетъ онъ.
Я равенъ вамъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Вы!

ГАБОРЪ.

Да! Еще, быть можетъ,
Повыше васъ: вѣдь неизвѣстно вамъ,
Кто я такой. Но обратимся къ дѣлу.
Не нужно мнѣ намековъ, ни догадокъ,
Ни оправданій, ни опроверженій;
Я знаю то, что сдѣлалъ я для васъ
И чѣмъ вы мнѣ обязаны; скорѣе
Я бъ могъ себѣ потребовать награды,
Чѣмъ сталъ бы самъ себя вознаграждать,
Когда бъ я жаденъ былъ до вашихъ де-
негъ.

Я знаю также, что, когда бъ я точно
Такимъ мерзавцемъ былъ, какимъ меня
Хотятъ ославить здѣсь,—моя услуга,
Которую я такъ еще недавно
Вамъ оказалъ, должна бъ вамъ помѣшать
Преслѣдовать меня такой смертельной
Обидою, иль стыдъ покрылъ бы васъ,
Щитъ вашего герба въ простую бляху
Онъ превратилъ бы! Впрочемъ, пустяки
Все это: я лишь требую немедля,
Чтобъ изрекли вы справедливый судъ
Надъ челядью несправедливой вашей;
Изъ вашихъ устъ услышать я хочу
Неодобренье злому ихъ нахальству!
Вотъ все, что вы обязаны исполнить
Для незнакомца: больше ничего
Не требуетъ отъ васъ онъ и не думалъ,
Что этого потребуетъ отъ васъ!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Вашъ тонъ таковъ, что, можетъ быть, вы точно
Невинны.

ГАБОРЪ.

Чортъ васъ побери! Кто жъ можетъ
Въ томъ сомнѣваться, кромѣ подлецовъ,
Какихъ еще на свѣтѣ не бывало.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Вы горячитесь, сударь.

ГАБОРЪ.

Вы хотите,
Чтобъ я сосулькой ледяною сталъ
Передъ дыханьемъ слугъ и господина?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Вамъ, Ульрихъ, этотъ человѣкъ извѣстенъ:
Нашелъ я въ вашемъ обществѣ его.

ГАБОРЪ.

Нѣтъ, *васъ* нашли мы въ Одерѣ! Жалѣю,
Что тамъ вы не остались.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я весьма
Вамъ благодаренъ, сударь.

ГАБОРЪ.

Благодарность
Я вашу испыталъ; пожалуй, больше
Мнѣ благодарны были бы другіе,
Когда бъ судьбѣ я предоставилъ васъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Вы, Ульрихъ, знаете его?

ГАБОРЪ.

Не больше,
Чѣмъ вы, когда ручательства не дастъ онъ
За честь мою.

УЛЬРИХЪ.

Ручаться я готовъ
За вашу храбрость и, насколько могъ я
Узнать васъ при знакомствѣ нашемъ краткомъ,—
За вашу честь.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Мнѣ этого довольно.

ГАБОРЪ (*съ ироніей*).

Легко же васъ онъ удовлетворилъ!
Но что жъ за чары въ этомъ утвержденьи,
Что вѣрите ему вы, а не мнѣ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я лишь сказалъ: мнѣ этого довольно;
Не значитъ это, чтобъ я васъ призналъ
Оправданнымъ.

ГАБОРЪ.

Опять! Скажите прямо:
Виновенъ я иль нѣтъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Ну, хорошо жъ;
Скажу я все,—вы слишкомъ ужъ нахальны.
Когда всѣ обстоятельства сложились
Такъ, что здѣсь всѣ подозрѣваютъ васъ,—
То развѣ я тому виной? Довольно,
Что не хочу я ставить и вопроса,
Виновны вы иль нѣтъ.

ГАБОРЪ.

Баронъ, баронъ!
Вѣдь это все дрянныя отговорки,
Пустой обманъ! Вполнѣ извѣстно вамъ,
Что здѣсь для всѣхъ вокругъ, для вашей свиты
Сомнѣнья ваши—та же достовѣрность,
Вашъ взглядъ—слова, а гнѣвъ вашъ—приговоръ.
Хотите вы воспользоваться силой
Своею надо мной, затѣмъ что вы
Имѣете ее; но берегитесь:
Вы хорошо не знаете еще,
Кого хотите раздавить.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Грозишь ты?

ГАБОРЪ.

Моя угроза менѣе дерзка,
Чѣмъ ваше обвиненье. Ваши рѣчи—
Извѣтъ презрѣнный; я же возражаю
Своимъ открытымъ предостереженьемъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Какъ сами вы сказали, я кой чѣмъ
Обязанъ вамъ; я вижу—вы хотите
Себя за это сами наградить.

ГАБОРЪ.

Не вашимъ кошелькомъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Пустымъ нахальствомъ!
(*Къ слугамъ и Иденштейну*).
Не трогайте его: пускай идетъ,
Куда онъ хочетъ. Ульрихъ, до свиданья!
(*Штраленгеймъ, Иденштейнъ и слуги уходятъ*).

ГАБОРЪ.

Иду за нимъ, и...

УЛЬРИХЪ (*заграждая путь*).

Далѣе ни шагу.

ГАБОРЪ.

Кто запретитъ мнѣ?

УЛЬРИХЪ,

Собственный вашъ разумъ.
Подумайте минутку.

ГАБОРЪ.

Мнѣ—снести
Обиду эту?

УЛЬРИХЪ.

Полно! Всѣ мы сносимъ
Надменность высшихъ. Высшіе не могутъ
Противиться господству сатаны,
А низшіе—его агентамъ низшимъ.
Я видѣлъ самъ: могли вы перенесть
Напоръ стихіи грозной, предъ которымъ
Червякъ тотъ шелковичный сбросилъ шкурку,—
Такъ отчего жъ вамъ не снести теперь
Немногихъ словъ насмѣшливыхъ и рѣзкихъ?

ГАБОРЪ.

Но воромъ я считаться не хочу!
Пускай еще меня бы называли
Разбойникомъ лѣснымъ,—нужна тутъ смѣлость;
Но чтобъ ограбить спящаго, взять деньги...

УЛЬРИХЪ.

Итакъ вы, сколько вижу, не виновны?

ГАБОРЪ.

Быть можетъ, я ослышался? Вы тоже?

УЛЬРИХЪ.

Я предложилъ лишь вамъ простой вопросъ.

ГАБОРЪ.

Когда бъ судья спросилъ, ему бъ я просто
Отвѣтилъ, „нѣтъ", а вамъ отвѣчу—*этимъ*.
(*Обнажаетъ мечъ*).

УЛЬРИХЪ (*обнажая мечъ*).

Готовъ отъ всей души!

ЖОЗЕФИНА.

Сюда скорѣй!
Спасите! Помогите! Убиваютъ!
(*Убѣгаетъ съ крикомъ*).

Габоръ и Ульрихъ сражаются. Габоръ обезоруженъ какъ разъ въ то время, когда входятъ Штраленгеймъ, Жозефина, Иденштейнъ *и другіе*).

ЖОЗЕФИНА.

Спасенъ онъ, слава Богу!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*къ Жозефинѣ*).

Кто?

ЖОЗЕФИНА.

Мой...

УЛЬРИХЪ (*останавливаетъ ее строгимъ взглядомъ и обращаясь къ Штраленгейму*).

Оба!
Большой бѣды не вышло.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Кто жъ виною
Всему?

УЛЬРИХЪ.

Вы сами, кажется, баронъ.
Но такъ какъ все окончилось безвредно,
То пусть оно не безпокоитъ васъ.
Габоръ, вотъ мечъ вашъ: если обнажите
Его вы впредь,—прошу, *не на друзей.*
(*Онъ произноситъ послѣднія слова медленно и выразительно, понизивъ голосъ и обращаясь къ Габору*).

ГАБОРЪ.

Я за совѣтъ вамъ благодаренъ больше,
Чѣмъ за пощаду.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Эти столкновенья
Должны имѣть конецъ.

ГАБОРЪ (*принимая мечъ*).

Сейчасъ конецъ
Имъ будетъ. Вы меня задѣли, Ульрихъ,
Недобрымъ мнѣньемъ хуже, чѣмъ мечомъ.
Я предпочелъ бы этотъ мечъ увидѣть
Въ груди моей, чѣмъ эти мысли—въ васъ.
Могу простить я этому вельможѣ
Безсмысленность нелѣпой клеветы:
Невѣжество и глупость подозрѣній
Онъ получилъ въ наслѣдство и удержитъ
Ихъ дольше, чѣмъ имѣнья всѣ свои.
Съ нимъ поквитался я теперь, но вами
Я побѣжденъ. Безумно было мнѣ
Бороться съ вами, видѣвши на дѣлѣ,
Что вамъ легко преодолѣть опасность
Поболѣе, чѣмъ есть въ моей рукѣ.
Быть можетъ, съ вами будемъ мы встрѣчаться,
Гдѣ бъ ни было,—но я всегда вашъ другъ.
(*Уходитъ*).

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Нѣтъ, больше я переносить не въ силахъ!

Обида эта, вмѣстѣ съ прежней бранью
И, можетъ быть, съ виновностью его,—
Должна вполнѣ, съ избыткомъ уничтожить
Немногое, чѣмъ я ему обязанъ
За всѣ его хваленыя услуги,
Которыя соединилъ онъ съ вашей,
Гораздо большей помощью. Онъ васъ
Не ранилъ, Ульрихъ?

УЛЬРИХЪ.

Даже нѣтъ царапинъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ (*Иденштейну*).

Послушайте: сейчасъ же, кастелянъ,
Примите мѣры, чтобы арестованъ
Былъ этотъ господинъ. Я не намѣренъ
Быть больше кроткимъ. Чуть спадутъ лишь воды,—
Послать его во Франкфуртъ подъ конвоемъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Арестовать его! Но онъ свой мечъ
Вѣдь получилъ обратно и, какъ видно,
Умѣетъ имъ владѣть; по ремеслу
Рубака онъ, а я вѣдь не военный.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Глупецъ! Толпа вассаловъ вѣдь за вами
Пойдетъ,—а ихъ довольно, чтобъ схватить
Хоть дюжину такихъ! За нимъ, живѣе!

УЛЬРИХЪ.

Баронъ, прошу васъ...

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я хочу, чтобъ мнѣ
Повиновались! И ни слова больше!

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Что дѣлать, если такъ. Ну, будь, что будетъ!
Вассалы, маршъ! Я предводитель вашъ,
А потому останусь въ арьергардѣ;
Благоразумный генералъ не долженъ
Своею цѣнной жизнью рисковать:
Вѣдь въ ней—залогъ всего. Я одобряю
Стратегію такую. (*Уходитъ вмѣстѣ со слугами*).

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Подойдите
Ко мнѣ поближе, Ульрихъ. Для чего
Здѣсь эта дама? А! Ее узналъ я:
Она—жена пріѣзжаго, который
Здѣсь носитъ имя Вернера.

УЛЬРИХЪ.

Его
Дѣйствительно зовутъ такъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Правда? Гдѣ же,
Сударыня, супругъ вашъ? Можно ль видѣть
Его?

ЖОЗЕФИНА.

Кто ищетъ мужа моего?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Пока—никто. Но я наединѣ
Поговорить хотѣлъ бы съ вами, Ульрихъ.

УЛЬРИХЪ.

Готовъ идти я съ вами.

ЖОЗЕФИНА.

Нѣтъ, зачѣмъ же?
Вы позже насъ пріѣхали сюда
И мѣсто вамъ должны мы предоставить.
(*Ульриху, тихо, проходя мимо него*).
Будь остороженъ, Ульрихъ; не забудь,
Какъ много ты неосторожнымъ словомъ
Намъ можешь повредить.

УЛЬРИХЪ (*ей, тихо*).

Не безпокойтесь.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Надѣюсь, Ульрихъ, что на васъ могу
Я положиться: вы меня отъ смерти
Спасли. Къ тому, кто сдѣлалъ намъ такъ много,
Невольно мы во всѣхъ дѣлахъ питаемъ
Довѣрье безграничное.

УЛЬРИХЪ.

Готовъ
Служить я вамъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Рядъ обстоятельствъ разныхъ,
Таинственныхъ, давнишнихъ (не могу
Теперь входитъ въ подробности объ этомъ)—
Привелъ къ тому, что этотъ человѣкъ
Мнѣ вреденъ, даже болѣе: опасенъ.

УЛЬРИХЪ.

Венгерецъ нашъ? Габоръ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Нѣтъ, этотъ „Вернеръ“
Съ его фальшивымъ именемъ и платьемъ.

УЛЬРИХЪ.

Какъ можетъ это быть? Вѣдь онъ бѣднякъ
Изъ бѣдняковъ и желтизна болѣзни
Сквозитъ въ его глазахъ, глубоко впавшихъ.
Онъ въ помощи нуждается!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Пусть такъ;
Мнѣ это все равно; но если только
Онъ тотъ, кѣмъ онъ мнѣ кажется (а это
Себѣ во всемъ находитъ подтвержденье,
Что насъ здѣсь окружаетъ, и во многомъ,
Чего здѣсь нѣтъ),—то надобно, чтобъ онъ
Былъ арестованъ раньше, чѣмъ полсутокъ
Пройдетъ.

УЛЬРИХЪ.

Но что жъ мнѣ дѣлать?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я послалъ

Во Франкфуртъ, къ губернатору,— пріятель
Онъ мнѣ (я власть имѣю это сдѣлать:
Имѣю я для этого бумагу
Отъ Бранденбургскаго двора),—чтобъ онъ
Прислалъ команду; но разливъ проклятый
Путь преградилъ, и нѣсколько часовъ
Теряю я.

УЛЬРИХЪ.

Вода уже спадаетъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Пріятно слышать.

УЛЬРИХЪ.

Я же тутъ причемъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Какъ тотъ, кто сдѣлалъ для меня такъ много,
Не можете вы равнодушны быть
Къ тому, что мнѣ еще важнѣе жизни.
Прошу *его* изъ глазъ не выпускать!
Меня теперь онъ избѣгаетъ, зная,
Что я его узналъ; такъ стерегите жъ
Его, какъ вепря дикаго охотникъ,
Съ рогатиной стоящій на посту!

УЛЬРИХЪ.

За что же такъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Стоитъ онъ между мной
И превосходнымъ княжескимъ наслѣдствомъ!
О, если бъ то имѣнье знали вы!
Но вы его увидите.

УЛЬРИХЪ.

Надѣюсь.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Изъ всѣхъ земель Богеміи богатой
Оно богаче всѣхъ. Пожаръ войны
Ему не повредилъ; оно такъ близко
Отъ гордой Праги, подъ ея защитой,
Что лишь слегка могли его коснуться
Огонь и мечъ; поэтому теперь,
И безъ того богатое, двойную
Оно имѣетъ цѣну, по сравненью
Со всею окружающей страной,
И вширь и вдаль въ пустыню превращенной.

УЛЬРИХЪ.

Его прекрасно описали вы.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да, если бъ вы увидѣли, сказали бъ,
Что это такъ! Но, повторяю, вы
Увидите его.

УЛЬРИХЪ.

Охотно вѣрю
Я предсказанью вашему.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Тогда
Потребуйте себѣ вознагражденья
Съ имѣнья и съ меня, притомъ такого,
Чтобъ могъ я вамъ достойно заплатить
За ваше все участье и услуги
Мнѣ и моей фамиліи.

УЛЬРИХЪ.

И онъ,—
Больной бѣднякъ, несчастный, одинокій,
Измученный путемъ далекимъ странникъ,—
Онъ на дорогѣ между вами сталъ
И этимъ дивнымъ раемъ? (*Въ сторону*).
Какъ межъ раемъ
И сатаной когда то сталъ Адамъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да, это такъ.

УЛЬРИХЪ.

Что жъ, онъ права имѣетъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Онъ? Никакихъ! Какъ безразсудный мотъ,
Онъ былъ лишенъ наслѣдства и позорилъ
Двѣнадцать лѣтъ свой благородный родъ
Различными постыдными дѣлами,
А главное—женитьбою своей
И тѣмъ, что жилъ среди мѣщанскихъ плутней,
Межъ торгашей и рыночныхъ жидовъ.

УЛЬРИХЪ.

Такъ онъ женатъ?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да; но вамъ было бъ больно,
Когда бъ пришлось вамъ матерью назвать
Жену его. Вы видѣли особу,
Которую женой своей зоветъ онъ.

УЛЬРИХЪ.

А развѣ не жена она ему?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Не болѣе, чѣмъ онъ для васъ—родитель.
Дѣвчонка итальянская она,
Отецъ ея—изгнанникъ; этотъ Вернеръ
Увлекъ ее, и съ нимъ она живетъ,
Дѣля съ нимъ бѣдность и любовь.

УЛЬРИХЪ.

Имѣютъ
Они дѣтей?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Былъ или есть у нихъ
Сынъ незаконный; дѣдъ-старикъ (обычно,
Вѣдь, старики внучатъ безумно любятъ)
Пригрѣлъ ребенка на груди своей,
Которая, къ могилѣ близясь, стала

Ужъ холодѣть; но дьяволенокъ мнѣ
Мѣшать не будетъ: онъ куда то скрылся;
Да если бы и былъ онъ налицо,
Права его не стоили бъ вниманья.
Но что же вамъ смѣшно?

УЛЬРИХЪ.

Вашъ страхъ пустой.
Больной бѣднякъ, который въ вашей власти,
И юноша, котораго рожденье
Сомнительно,—заставили дрожать
Вельможу!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Если ставишь все на карту,—
Всего боишься.

УЛЬРИХЪ.

Да; и чтобы кушъ
Достался намъ,—всѣ средства въ ходъ мы пустимъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Задѣли вы созвучную струну
Въ душѣ моей. Итакъ, на васъ могу я
Разсчитывать?

УЛЬРИХЪ.

Теперь ужъ поздно было бъ
Въ томъ сомнѣваться.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Только объ одномъ
Еще прошу: пустому состраданью
Не поддавайтесь; жалокъ онъ на видъ,
Но онъ злодѣй и столько же возможно,
Что *онъ* меня ограбилъ, какъ и тотъ,
Кого мы больше въ томъ подозрѣваемъ;
И только обстоятельства его
Оправдываютъ частью: въ отдаленной
Онъ комнатѣ живетъ и не имѣетъ
Она съ моею спальней сообщенья;
Притомъ, по правдѣ долженъ вамъ сказать,
Я о своихъ родныхъ имѣю мнѣнье
Высокое настолько, что мнѣ трудно
Предположить, чтобъ былъ способенъ онъ
На дѣйствіе такое; и къ тому же
Онъ былъ солдатъ, и храбрый, говорятъ,
Хоть слишкомъ торопливый.

УЛЬРИХЪ

А солдаты,
Какъ по себѣ вы знаете, баронъ,
Не станутъ грабить прежде, чѣмъ расквасятъ
Врагу мозги: тогда уже они
Не воры, а наслѣдники. Вѣдь мертвый
Не чувствуетъ, конечно, ничего
И потерять онъ ничего не можетъ,
А потому не можетъ быть ограбленъ,
И значитъ, вся добыча ихъ—наслѣдство,
Не болѣе.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Ну, ладно, вы шутникъ!
Скажите же: могу ль я быть увѣренъ,
Что будете его вы сторожить
И мнѣ дадите знать о всѣхъ попыткахъ
Его бѣжать иль скрыться.

УЛЬРИХЪ.

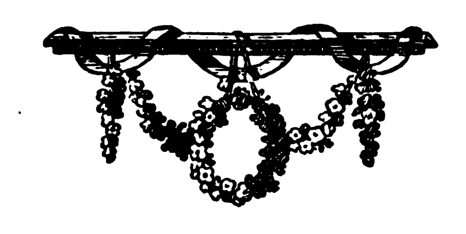
Успокойтесь:
Его самимъ вамъ такъ не уберечь,
Какъ буду я стеречь его.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Чрезъ это—
Я вашъ навѣкъ.

УЛЬРИХЪ.

Таковъ и мой разсчетъ.
(*Уходятъ*).



ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

СЦЕНА I.

Комната въ томъ же замкѣ, изъ которой идетъ потайной ходъ.

(*Входятъ* ВЕРНЕРЪ *и* ГАБОРЪ).

ГАБОРЪ.

Я все сказалъ вамъ, что хотѣлъ. Теперь
Убѣжище мнѣ дайте, если можно,
На нѣсколько часовъ, а если нѣтъ—
Тогда пойду себѣ искать я счастья
Въ другое мѣсто.

ВЕРНЕРЪ.

Ахъ, несчастный самъ,
Могу ли я давать пріютъ несчастью?
Въ убѣжищѣ скорѣй я самъ нуждаюсь,
Какъ на охотѣ загнанный олень.

ГАБОРЪ.

Иль, можетъ быть, какъ левъ, который ранёнъ
И жаждетъ скрыться у себя въ пещерѣ
Прохладной. Право, видъ у васъ таковъ,
Что вы способны въ крайности, пожалуй,
Внезапно обернуться на врага
И растерзать охотника.

ВЕРНЕРЪ.

А!

ГАБОРЪ.

Впрочемъ,
Такъ или нѣтъ, мнѣ это все равно;
Теперь я больше о себѣ забочусь.
Дадите ль вы пріютъ мнѣ? Я, какъ вы,
Гонимъ врагами, бѣденъ, опозоренъ...

ВЕРНЕРЪ (*отрывисто*).

Кто вамъ сказалъ, что опозоренъ я?

ГАБОРЪ.

Никто; и я не говорилъ объ этомъ:
Межъ мной и вами сходство—только бѣдность.
Я о своемъ позорѣ говорилъ;
Прибавлю лишь, по чести, что позора
Не заслужилъ я, такъ же, какъ и вы...

ВЕРНЕРЪ.

Опять! Какъ я?

ГАБОРЪ.

Какъ всякій честный малый.
Чего вамъ, къ чорту, нужно? Неужели
Виновнымъ въ этой мерзости меня
Вы станете считать?

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ, нѣтъ, не стану:
Я не могу.

ГАБОРЪ.

Да! Вотъ что значитъ честность!
Тотъ юный франтъ и кастелянъ нашъ тощій,
И толстый нашъ баронъ,—всѣ, всѣ меня
Подозрѣвали,—а за что? За то лишь,
Что хуже всѣхъ одѣтъ я да не знатенъ;
А будь окошко Мома въ нашемъ сердцѣ,
Моя душа его раскрыла бъ шире,
Чѣмъ ихъ душа. Но это все равно.
Вы черезчуръ безпомощны и бѣдны,
Пожалуй, даже болѣе, чѣмъ я.

ВЕРНЕРЪ.

Но какъ вы это знаете?

ГАБОРЪ.

Вы правы;
Я у того убѣжища прошу,
Кого я самъ безпомощнымъ считаю.
И если мнѣ откажете вы,—я
Лишь по заслугамъ получу. Однако
Вы, кажется, довольно испытали
Всю горечь жизни; потому у васъ
Сочувствія искалъ я: вы поймете,
Что всѣ тѣ груды золота, какими
Испанецъ, въ Новомъ Свѣтѣ ихъ награбивъ,
Похвастаться бы могъ,—не соблазнятъ
Того, кто цѣну ихъ прекрасно знаетъ
И взвѣсить все умѣетъ хорошо;
Въ одномъ лишь только случаѣ ихъ силу
Призналъ бы я (и чувствую ее),—
Когда бъ онѣ кошмаромъ не томили
Мнѣ сердце ночью.

ВЕРНЕРЪ.

Что хотите вы
Сказать?

ГАБОРЪ.

То, что я говорю,—не больше.

Ни вы, ни я—не воры; значитъ мы,
Какъ честные, должны помочь другъ другу.

ВЕРНЕРЪ.

Будь проклятъ этотъ свѣтъ!

ГАБОРЪ.

Не лучше будетъ
Въ чистилищѣ, какъ говорятъ попы,
А имъ на то, конечно, книги въ руки.
Поэтому намѣренъ я держаться
За этотъ свѣтъ: вѣдь мукъ я не ищу,
Притомъ еще и съ эпитафьей вора!
У васъ прошу я дать мнѣ лишь ночлегъ,
А утромъ попытаюсь, какъ голубка,
Летѣть черезъ потопъ: быть можетъ, къ утру
Вода спадетъ.

ВЕРНЕРЪ.

Спадетъ? Надежда есть
На то?

ГАБОРЪ.

Сегодня около полудня
Была уже надежда.

ВЕРНЕРЪ.

Ну, тогда
Спасемся мы.

ГАБОРЪ.

И вамъ грозитъ опасность?

ВЕРНЕРЪ.

Какъ всѣмъ, кто бѣденъ.

ГАБОРЪ.

Это знаю я
По опыту давнишнему. Быть можетъ,
Вы облегчите мнѣ мою бѣду?

ВЕРНЕРЪ.

Что? Вашу бѣдность?

ГАБОРЪ.

Нѣтъ, болѣзнь такую
Едва ли вы способны излѣчить;
Опасность,—вотъ въ чемъ дѣло; не имѣю
Я крова, вы жъ имѣете его:
Ищу я лишь убѣжища.

ВЕРНЕРЪ.

Вы правы.
Откуда бъ могъ такой бѣднякъ, какъ я,
Взять денегъ?

ГАБОРЪ.

Да, сказать по правдѣ, трудно
Вамъ было бъ честно ихъ достать; хотя
Желалъ бы я, чтобъ деньги вы имѣли
Баронскія.

ВЕРНЕРЪ.

И смѣете вы дерзко
Такъ намекать?

ГАБОРЪ,

На что я намекаю?

ВЕРНЕРЪ.

Вы знаете ль, съ кѣмъ говорите вы?

ГАБОРЪ.

Нѣтъ; не привыкъ объ этомъ я справляться.
(*За сценою слышится шумъ*).
Но слушайте: они уже идутъ!

ВЕРНЕРЪ.

Кто?

ГАБОРЪ.

Кастелянъ и съ нимъ людей вся свора.
Я ихъ бы встрѣтилъ, но напрасно было бъ
Ждать праваго суда отъ этихъ рукъ.
Куда жъ идти? Прошу васъ, укажите
Мнѣ мѣсто! Честью увѣряю васъ:
Невиненъ я! Подумайте: что, еслибъ
Случилось это съ вами!

ВЕРНЕРЪ (*въ сторону*)

Боже правый!
На томъ ли свѣтѣ адъ? Иль я—ужъ прахъ?

ГАБОРЪ.

Вы тронуты, я вижу; это очень
Достойно съ вашей стороны: хотѣлъ бы
Я жить, чтобъ вамъ за это отплатить!

ВЕРНЕРЪ.

Скажите: не шпіонъ вы Штраленгейма?

ГАБОРЪ.

Я? Нѣтъ! А еслибъ я шпіономъ былъ,
То для чего за вами мнѣ шпіонить?
Хоть я припоминаю, что меня
Онъ спрашивалъ о васъ неоднократно
И о супругѣ вашей, и внушить
Мнѣ подозрѣнье могъ; но вамъ извѣстно,
За что и почему я—злѣйшій врагъ
Барона.

ВЕРНЕРЪ.

Вы?

ГАБОРЪ.

Онъ за мою услугу
Такъ отплатилъ мнѣ, что ему навѣки
Я сталъ врагомъ и, если вы ему
Не другъ — вы мнѣ поможете.

ВЕРНЕРЪ.

Охотно.

ГАБОРЪ.

Но какъ?

ВЕРНЕРЪ.

Вотъ здѣсь есть скрытая пружина;
Ее открылъ я—помните—случайно
И пользовался ею лишь тогда,
Когда хотѣлъ спастись.

ГАБОРЪ.

Такъ поскорѣе
Откройте же; спастись хочу и я.

ВЕРНЕРЪ.

Я, какъ сказалъ, нашелъ тотъ ходъ случайно:
Онъ вдаль ведетъ сквозь повороты стѣнъ
(Ихъ толщина значительна настолько,
Что можетъ въ нихъ вмѣститься корридоръ,
Причемъ онѣ нисколько не теряютъ
Ни въ крѣпости, ни въ красотѣ); тамъ много
И келій есть пустыхъ, и темныхъ нишъ;
Куда ведетъ онъ, я и самъ не знаю,
Но васъ прошу далеко не ходить.
Вы это обѣщайте мнѣ.

ГАБОРЪ.

Излишне
И говорить объ этомъ: какъ найду
Дорогу я въ тѣхъ темныхъ корридорахъ
Сквозь лабиринтъ готическій въ стѣнахъ?

ВЕРНЕРЪ.

Да, это такъ; но какъ намъ знать, куда бы
Могла дорога та вести? Я самъ
Того не знаю,—помните! Быть можетъ.
Она въ покои вашего врага
Васъ приведетъ! Такъ странно замышлялись
Постройки эти въ старые года,
Во дни тевтонскихъ предковъ нашихъ! Стѣны
Защитою не столько отъ стихій
Служили имъ, какъ отъ сосѣдей близкихъ!
Я попрошу, чтобъ дальше вы не шли
Двухъ первыхъ поворотовъ; если жъ дальше
Пойдете вы (хоть самъ я не ходилъ),—
То ни за что я больше не ручаюсь.

ГАБОРЪ.

Согласенъ я. Благодарю стократъ!

ВЕРНЕРЪ.

Снутри пружина болѣе замѣтна,
И если выйти захотите вы,
Она уступитъ легкому нажатью.

ГАБОРЪ.

Итакъ, иду! Прощайте! (*Уходитъ въ потайную дверь*).

ВЕРНЕРЪ (*одинъ*).

Что я сдѣлалъ?
Ахъ, что я сдѣлалъ раньше,—оттого
И это для меня теперь ужасно!
Пусть хоть послужитъ извиненьемъ мнѣ.
Что этимъ я спасаю человѣка,
Чья гибель мнѣ полезна быть могла бъ.
Идутъ! Повсюду ищутъ! А предъ ними
Здѣсь тотъ, кого бы надобно искать!

(*Входятъ* Иденштейнъ *и другіе*).

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Здѣсь нѣтъ его? Такъ, значитъ, онъ исчезъ
Сквозь тусклыя готическія стекла
Съ благочестивой помощью святыхъ,
Изображенныхъ здѣсь въ цвѣтныхъ окошкахъ
На фонѣ красномъ или желтомъ, ярко
Сверкающихъ въ лучахъ зари вечерней,
Какъ будто утро озаряетъ ихъ.
Лучи горятъ на бородахъ жемчужныхъ,
Крестахъ кроваво-красныхъ, на жезлахъ,
Покрытыхъ позолотой, на скрещенномъ
Оружіи, на капюшонахъ, шлемахъ,
На арматурѣ сложной, на мечахъ,—
На всемъ, чѣмъ лишь фантазія снабдила
Окошки эти, затемняя ихъ
Фигурами святыхъ анахоретовъ
И рыцарей отважныхъ, поручая
Портреты ихъ и славу хрупкимъ стекламъ,
Которыя при каждомъ сильномъ вѣтрѣ
Напомнить намъ готовы бренность жизни
И славы .. Да! Однако онъ ушелъ.

ВЕРНЕРЪ.

Кого же вы здѣсь ищете?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Мерзавца.

ВЕРНЕРЪ.

Зачѣмъ же такъ далеко вамъ ходить?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Чтобъ отыскать того, кѣмъ былъ ограбленъ
Баронъ.

ВЕРНЕРЪ.

А вы увѣрены, что воръ
Извѣстенъ вамъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Настолько же увѣренъ,
Какъ въ томъ, что вы стоите здѣсь. Куда жъ
Ушелъ онъ?

ВЕРНЕРЪ.

Кто?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да тотъ, кого мы ищемъ.

ВЕРНЕРЪ.

Вы видите,—здѣсь нѣтъ его.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Но мы
Его до этой залы прослѣдили.
Вы съ нимъ не заодно ли? Иль, быть можетъ,
Вы чернокнижникъ?

ВЕРНЕРЪ.

Я всегда иду
Прямымъ путемъ; для многихъ, какъ я знаю,
Нѣтъ ничего чернѣе прямоты.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Быть можетъ, мнѣ вопросъ—другой придется
Вамъ предложить; но долженъ я пока
Искать другого.

ВЕРНЕРЪ.

Лучше бы къ допросу
Сейчасъ вамъ приступить: я не всегда
Такъ терпѣливъ бываю.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Откровенно
Скажите мнѣ: не тотъ ли вы, кого
Повсюду ищетъ Штраленгеймъ?

ВЕРНЕРЪ.

Безъ мѣры
Нахальны вы! Не сами-ль вы сказали:
Здѣсь нѣтъ его?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Да, *одного изъ двухъ;*
Но есть другой, кого еще прилежнѣй
Выслѣживаетъ онъ; и, можетъ быть,
Прибѣгнетъ онъ ко власти посильнѣе,
Чѣмъ власть барона и моя. Но въ путь!
Пойдемъ отсюда, парни: мы ошиблись!

(*Иденштейнъ и слуги уходятъ*).

ВЕРНЕРЪ.

Увы, въ какой ужасный лабиринтъ
Я вовлеченъ моей судьбою мрачной!
Тотъ мелкій грѣхъ, что я свершилъ, принесъ
Мнѣ больше зла, чѣмъ грѣхъ гораздо большій,
Котораго свершить я не рѣшился.
Умолкни, безпокойный бѣсъ, въ душѣ
Моей зашевелившійся! Ужъ поздно:
Не нужно ужъ мнѣ крови проливать!

(*Входитъ* УЛЬРИХЪ).

УЛЬРИХЪ.

Отецъ, я васъ искалъ.

ВЕРНЕРЪ.

Быть можетъ, это
Опасно?

УЛЬРИХЪ.

Нѣтъ, нисколько; Штраленгеймъ
О связи нашей не подозрѣваетъ;
И болѣе того: онъ поручилъ
Шпіонить мнѣ за вами. Положился
При этомъ онъ на преданность мою.

ВЕРНЕРЪ.

Что до меня,—я этому не вѣрю;
Мнѣ кажется, онъ лишь разставилъ сѣть,
Чтобъ заодно поймать отца и сына.

УЛЬРИХЪ.

По моему,—нельзя намъ праздно медлить,
Предъ каждой страшной мелочью дрожа,
Иль спотыкаться робко объ сомнѣнья,
Которыя внезапно вырастаютъ
Предъ нами, какъ терновникъ, на пути.
Пробиться нужно сквозь преграды эти,
Какъ сдѣлалъ бы крестьянинъ безоружный,
Когда бы въ чащѣ, гдѣ онъ рубитъ лѣсъ
Для пропитанья,—волкъ зашевелился.
Вѣдь сѣтью ловятъ лишь дроздовъ, орлы
Порвутъ ее иль пролетятъ надъ нею.

ВЕРНЕРЪ.

Какъ? Укажи!

УЛЬРИХЪ.

Какъ? догадаться вы
Не можете?

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ.

УЛЬРИХЪ.

Странно. Неужели
Въ *послѣднюю* ту ночь не приходила
Вамъ эта мысль?

ВЕРНЕРЪ.

Тебя я не пойму.

УЛЬРИХЪ.

Такъ никогда мы не поймемъ другъ друга.
Но перемѣнимъ разговоръ...

ВЕРНЕРЪ.

Ты хочешь
Сказать—*продолжимъ;* дѣло вѣдь идетъ
О нашей безопасности.

УЛЬРИХЪ.

Согласенъ;
Поправку вашу я готовъ принять.
Теперь все дѣло вижу я яснѣе,
И положенье наше стало мнѣ
Во всѣхъ чертахъ понятно. Ужъ спадаетъ
Вода, и черезъ нѣсколько часовъ
Придутъ сюда изъ Франкфурта мерзавцы,
И будете вы плѣнникомъ, быть можетъ—

И хуже; я же буду выгнанъ вонъ,
Объявленный отродьемъ незаконнымъ,
Стараньями барона, чтобъ ему
Открытъ былъ путь.

ВЕРНЕРЪ.

Такъ дай совѣтъ: что-жъ дѣлать?
Надѣялся сперва я ускользнуть
При помощи проклятыхъ этихъ денегъ;
Теперь же тронуть ихъ не смѣю я,
Ихъ показать, смотрѣть на нихъ не смѣю!
Мнѣ кажется невольно, что на нихъ
Стоитъ не надпись ихъ цѣны, а имя
Вины моей; не государя ликъ,
А голова моя на тѣхъ монетахъ
Виднѣется, въ вѣнцѣ изъ змѣй шипящихъ,
Обвившихся вокругъ моихъ висковъ,
Всѣмъ говоря: вотъ негодяй, смотрите!

УЛЬРИХЪ.

Ихъ не пускайте въ ходъ, по крайней мѣрѣ,
Теперь; возьмите это вотъ кольцо.

(*Даетъ Вернеру перстень*).

ВЕРНЕРЪ.

Въ немъ драгоцѣнный камень! Вспоминаю:
Его носилъ отецъ мой.

УЛЬРИХЪ.

А теперь
Оно, конечно, ваше. Подкупите
Имъ кастеляна: пусть къ восходу солнца
Онъ приготовитъ старую коляску
И лошадей, чтобъ съ матушкою вамъ
Пуститься въ путь.

ВЕРНЕРЪ.

А ты? Тебя насилу
Нашли мы и оставимъ вновь въ бѣдѣ?

УЛЬРИХЪ.

Не бойтесь ничего! Одно могло бы
Опасно быть: уѣхать вмѣстѣ всѣмъ.
Тогда связь наша стала бъ несомнѣнна.
Разливъ, однако, преградилъ лишь путь
Межъ Франкфуртомъ и этимъ замкомъ; это
Для васъ благопріятно. Та дорога,
Которая въ Богемію ведетъ,
Хоть и трудна, но все же проходима,
И если вы отправитесь впередъ
За нѣсколько часовъ,—тогда погоня
Тѣ жъ затрудненья встрѣтитъ, что и вы.
А чуть вы только перешли границу,—
Вы спасены.

ВЕРНЕРЪ.

Мой благородный сынъ!

УЛЬРИХЪ.

Потише, безъ восторговъ! Предадимся
Имъ въ замкѣ Зигендорфовъ. Деньги
спрячьте,
А перстень покажите Иденштейну
(Его душонку вижу я насквозь).
Тогда мы сразу двухъ достигнемъ цѣлей:
Вѣдь Штраленгеймъ лишь деньги потерялъ,
Не перстень; значитъ, перстень—не бароновъ;
А обладатель этого кольца
Едва ли будетъ заподозрѣнъ въ кражѣ
Столь мелочной, коль скоро могъ бы онъ,
Продавъ кольцо, имѣть гораздо больше,
Чѣмъ потерялъ баронъ во время сна
Послѣдняго. Не будьте слишкомъ робки,
Ни черезчуръ надменны въ обращеньи,—
И Иденштейнъ устроитъ все для васъ.

ВЕРНЕРЪ.

Во всемъ твоимъ послѣдую совѣтамъ.

УЛЬРИХЪ.

Я радъ бы васъ избавить отъ труда.
И самъ все сдѣлать; но тогда, пожалуй,
Всѣ поняли бъ, что я за васъ стою;
А еслибъ я вмѣшался въ вашу пользу
И сталъ бы этотъ перстень продавать,
То все бъ открылось.

ВЕРНЕРЪ.

Ангелъ мой хранитель!
Вознаграждаешь этимъ ты меня
За всѣ страданья прошлыя! Но что же
Безъ насъ ты будешь дѣлать?

УЛЬРИХЪ.

Штраленгеймъ
Не знаетъ, что мы родственники съ вами.
Я подожду здѣсь только день иль два,
Чтобъ успокоить всѣ его сомнѣнья,—
А тамъ къ отцу я присоединюсь.

ВЕРНЕРЪ.

Чтобъ никогда не разставаться больше!

УЛЬРИХЪ.

Не знаю, такъ ли; но, по крайней мѣрѣ,
Еще мы съ вами свидимся.

ВЕРНЕРЪ.

Мой мальчикъ,
Мой другъ, мой сынъ единственный, единый
Заступникъ мой,—не ненавидь меня!

УЛЬРИХЪ.

Отца—мнѣ ненавидѣть?

ВЕРНЕРЪ.

Ненавидѣлъ
Меня отецъ мой,—отчего жъ не сынъ?

УЛЬРИХЪ.

Не зналъ онъ васъ такимъ, какимъ я знаю.

ВЕРНЕРЪ.

Въ словахъ твоихъ таятся скорпіоны!
Меня ты знаешь? Но въ одеждѣ этой
Меня ты знать не можешь; не могу я

Быть самъ собой, пока я въ этомъ видѣ.
Не ненавидь меня: я скоро буду
Самимъ собою вновь.

УЛЬРИХЪ.

Я буду *ждать!*
Покамѣстъ же прошу я васъ повѣрить,
Что все, что только можетъ сдѣлать сынъ
Родителямъ,—я сдѣлаю.

ВЕРНЕРЪ.

Я вижу,
Я чувствую; но чувствую я тоже,
Что презираешь ты меня.

УЛЬРИХЪ.

За что?

ВЕРНЕРЪ.

Такъ повторить меня ты вынуждаешь
Мое уничиженье?

УЛЬРИХЪ.

Нѣтъ! я понялъ
И васъ, и вашъ поступокъ. Но довольно:
Не будемъ больше говорить о томъ,
Иль, если будемъ говорить, то послѣ,
Но не *теперь*. Ошибкою своей
Удвоили вы трудности, съ какими
Бороться нужно въ тайной той войнѣ,
Которую ведемъ мы съ Штраленгеймомъ.
Намъ нужно одолѣть его,—но какъ?
Я путь *одинъ* вамъ указалъ.

ВЕРНЕРЪ.

Путь этотъ —
Единственный, и я ему отдамся,
Какъ сыну, дать съумѣвшему отцу
И *самого себя* и *безопасность*,—
И все въ одинъ и тотъ же день!

УЛЬРИХЪ.

Конечно,
Вы *безопасность* будете имѣть;
Но можетъ врагъ нашъ, Штраленгеймъ, явиться
Въ Богемію: возможно ли ему
Оспаривать права мои иль ваши,
Коль скоро вступимъ во владѣнье мы
Своей землей?

ВЕРНЕРЪ.

При нашемъ положеньи,
Конечно, можетъ онъ затѣять споръ,
Хотя кто первый завладѣлъ, тотъ будетъ
Сильнѣй, какъ это видимъ мы всегда,
Особенно, когда по крови ближе
Къ наслѣдству мы.

УЛЬРИХЪ.

По *крови!* Это слово
Различно по значеніямъ своимъ...
Кровь въ жилахъ—вовсе не одно и то же,
Что кровь внѣ жилъ, и межъ единокровныхъ
(Какъ ихъ зовутъ) возможна отчужденность,
Какъ межъ Ѳиванскихъ братьевъ; если часть
Той крови не чиста, то, выпуская
Немного унцій, очищаемъ мы
Остатокъ.

ВЕРНЕРЪ.

Я тебя не понимаю.

УЛЬРИХЪ.

Быть можетъ, такъ... Хоть, кажется, понять
Могли бы вы... А впрочемъ... Но готовьтесь,
Чтобъ съ матушкой уѣхать въ эту ночь.
Вотъ кастелянъ идетъ: прошу пощупать
Его кольцомъ; мгновенно, какъ свинецъ,
Во глубину души его продажной
Пойдетъ оно, взмутитъ тамъ илъ и грязь,
И тину всю, какъ лотъ на днѣ нечистомъ;
За то мы сдвинемъ съ мели нашъ корабль.
На кораблѣ томъ —цѣнный грузъ и сняться
Мы во-время должны! Итакъ, прощайте:
Не ждетъ вѣдь время! Дайте руку мнѣ,
Отецъ мой!

ВЕРНЕРЪ.

Дай обнять тебя!

УЛЬРИХЪ.

Насъ могутъ
Увидѣть: постарайтесь ваши чувства
На время скрыть; держитесь отъ меня,
Какъ отъ врага, подальше.

ВЕРНЕРЪ.

О, будь проклятъ
Тотъ, чей приходъ велитъ намъ заглушить
Сладчайшія, прекраснѣйшія чувства,
Притомъ въ столь важный часъ!

УЛЬРИХЪ.

Такъ проклинайте:
Васъ это облегчитъ. Но вотъ и онъ,
Нашъ кастелянъ.

(*Входитъ* ИДЕНШТЕЙНЪ).

Ну, что, герръ Иденштейнъ?
Удачно ль вы искали? Не поймали
Мошенника?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Признаться, нѣтъ.

УЛЬРИХЪ.

Ну, что жъ!
Другихъ найдется болѣе, чѣмъ нужно.
Въ другой разъ будетъ, можетъ быть, охота
Удачнѣе. Но гдѣ баронъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Пошелъ

Онъ въ комнату свою. Да, вотъ я вспомнилъ:
Онъ съ нетерпѣньемъ, свойственнымъ вельможамъ,
Все спрашивалъ о васъ.

УЛЬРИХЪ.

Вельможамъ вашимъ
Все отвѣчай немедленно, какъ конь
Пришпоренный, взвивается мгновенно.
И хорошо, что кони есть у нихъ,
А то людей впрягали бы въ коляски,
Какъ, говорятъ, Сезострисъ королей
Впрягать любилъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какой Сезострисъ?

УЛЬРИХЪ.

Древній
Египтянинъ иль царственный цыганъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Египтянинъ, цыганъ—одно и то же.
Такъ онъ цыганъ былъ?

УЛЬРИХЪ.

Да, такъ слышалъ я...
Но я отправлюсь. Кастелянъ почтенный,—
Я вашъ слуга! (*Къ Вернеру пренебрежительнымъ тономъ*).
Вашъ, Вернеръ,—если точно
Такъ васъ зовутъ,—слуга покорный также.
(*Уходитъ*)

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Какой прекрасный юноша! Какъ складно
Онъ говоритъ, какъ ловко и тактично
Ведетъ себя! Вы видѣли, какъ онъ
Отдать умѣетъ первенство, гдѣ нужно!

ВЕРНЕРЪ.

Да, я замѣтилъ это и вполнѣ
Его тактичность одобряю, такъ же,
Какъ вашу.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Это очень хорошо!
Свое вы мѣсто знаете, я вижу.
Но знаю-ль я его,—какъ знать!

ВЕРНЕРЪ (*показывая ему перстень*).

Быть можетъ,
Вотъ это—ваши знанья увеличитъ?

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Ба! Это что? А, перстень!

ВЕРНЕРЪ.

Вашъ онъ будетъ,
Но при одномъ условьи.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Мой! А въ чемъ
Условье это?

ВЕРНЕРЪ.

Чтобы могъ я послѣ
Хоть за тройную цѣну, вновь у васъ
Купить его: фамильный это перстень.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Фамильный! Вашъ! Что за чудесный камень!
Духъ, право, занимается!

ВЕРНЕРЪ.

Затѣмъ
Должны вы мнѣ за часъ передъ разсвѣтомъ
Возможность дать покинуть этотъ замокъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Онъ не фальшивый? Дайте ка взглянуть!
Брильянтъ, и что за дивный!

ВЕРНЕРЪ.

Я вамъ ввѣрюсь:
Вы догадались, вѣрно, ужъ давно,
Что по рожденью я гораздо выше,
Чѣмъ я кажусь.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

По правдѣ, я не думалъ;
Теперь же вижу, что должно быть такъ.
Да! Это признакъ благородной крови!

ВЕРНЕРЪ.

Имѣю я причины, чтобъ желать
Отсюда въ путь уѣхать незамѣтно.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я понимаю: значитъ вы—тотъ самый,
Кого такъ ищетъ Штраленгеймъ?

ВЕРНЕРЪ.

О, нѣтъ!
Но если буду за того я принятъ,
Кого онъ ищетъ,—это поведетъ
Къ большимъ и непріятнымъ затрудненьямъ
Какъ для барона, такъ и для меня,
А потому я избѣжать желалъ бы
Всей путаницы этой.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Тотъ ли вы,
Иль нѣтъ—мнѣ это, право, безразлично;
Притомъ же, вѣрно, я не получу
И половины отъ того вельможи
Надменнаго и жаднаго: готовъ
Поднять онъ всю страну изъ-за какой то
Потерянной имъ мелочи, а что
За это дастъ,—сказать не хочетъ прямо.
А этотъ камень! Дайте посмотрѣть
Еще разокъ!

ВЕРНЕРЪ.

Разсматривайте смѣло;
Съ зарей онъ будетъ вашъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Источникъ дивный

Чарующаго блеска! Ты дороже,
Чѣмъ философскій камень: пробнымъ камнемъ
Ты служишь философіи самой!
Блестящій глазъ руды, звѣзда въ зенитѣ
Души людской! Магнитный дивный полюсъ,
Къ которому стремятся всѣ сердца,
Какъ къ сѣверу трепещущія стрѣлки
Компасовъ! Ты—духъ пламенный земли!
Ты, помѣстясь въ роскошной діадемѣ
Монарха, больше цѣну ей даешь,
Чѣмъ самое величество, подъ нею
Потѣющее, съ болью головной
Отъ той короны, тяжкой вѣнценосцу,
Какъ милліонамъ страждущихъ сердецъ,
Ей блескъ дающихъ! Какъ, ужель ты будешь
Моимъ? Я самъ ужъ маленькимъ монархомъ
Кажусь себѣ, алхимикомъ счастливымъ
Иль мудрымъ магомъ, дьявола себѣ
Искусно подчинившимъ, не продавши
Души своей ему! Пойдемте, Вернеръ,—
Иль какъ мнѣ звать васъ?

ВЕРНЕРЪ.

Вернеромъ пока;
Потомъ меня узнаете, быть можетъ,
Подъ именемъ знатнѣйшимъ.

ИДЕНШТЕЙНЪ.

Я вамъ вѣрю!
Вы—духъ, мнѣ часто снившійся въ одеждѣ
Невзрачной! Да, готовъ я вамъ служить;
Вы будете свободнѣе, чѣмъ вѣтеръ,
И рѣкъ разливъ не помѣшаетъ вамъ!
Я покажу, что честенъ я (ахъ, перстень!):
Я дамъ вамъ, Вернеръ, средства для побѣга
Такія, что, будь вы улитка, васъ
И птицы не обгонятъ! Ахъ, позвольте
Еще взглянуть на камень! У меня
Молочный братъ есть въ Гамбургѣ, торговецъ:
Онъ въ драгоцѣнныхъ камняхъ знаетъ толкъ.
Хотѣлъ бы знать я: сколько въ немъ каратовъ?
Пойдемте, Вернеръ: дамъ я крылья вамъ!

(*Уходятъ*).

СЦЕНА II.

Комната Штраленгейма.

Штраленгеймъ и Фрицъ.

ФРИЦЪ.

Ужъ все готово, ваша свѣтлость!

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Спать
Я не хочу, но все-таки я долженъ
Идти въ постель; мнѣ душу тяготитъ
Какое то невѣдомое бремя:
Чтобъ бодрствовать, мнѣ слишкомъ тяжело,
Для сна же я чрезмѣрно безпокоенъ.
Всю душу мнѣ покрылъ какой то мракъ,
Какъ туча заволакиваетъ небо,
Не пропуская солнечныхъ лучей
И, вмѣстѣ съ тѣмъ, дождемъ не разражаясь,
Нависшая зловѣщей пеленой
Межъ небомъ и землей, какъ злая зависть
Межъ двухъ людей, какъ тягостный туманъ.
Но лягу я въ постель.

ФРИЦЪ.

Надѣюсь, въ ней
Найдете вы покой.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Да, я хотѣлъ бы,
Но все-таки чего то я боюсь.

ФРИЦЪ.

Чего жъ бояться?

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Я и самъ не знаю,
Но тѣмъ сильнѣй мой страхъ; я описать
Не въ силахъ это чувство. Впрочемъ, это
Все вздоръ пустой. Перемѣнили ль вы
Замки отъ этой комнаты, какъ было
Приказано? То, что случилось въ ночь
Послѣднюю, показываетъ ясно,
Что это не излишне.

ФРИЦЪ.

Точно такъ:
Все сдѣлано, какъ велѣно; я лично
За тѣмъ слѣдилъ и молодой саксонецъ
Мнѣ помогалъ, отъ гибели васъ спасшій,
Котораго, какъ кажется, зовете
Вы Ульрихомъ.

ШТРАЛЕНГЕЙМЪ.

Какъ „кажется“ тебѣ!
Холопъ надменный! Надо бы построже
Твою плохую память наказать,
Чтобъ эта память стала попроворнѣй
И гордость бы и счастье находила
Въ запоминаньи имени того,
Кто господина твоего спаситель!
Вашъ долгъ—не только помнить—повторять
Вседневно это имя, какъ молитву!
Пошелъ отсюда! „Кажется“ ему!
А ты забылъ, какъ ты стоялъ, весь мокрый,
На берегу и вылъ, когда тонулъ я,

6*

А чужестранецъ бросился въ потокъ
И спасъ меня отъ смерти неминучей
На благодарность вѣчную ему
И на презрѣнье—вамъ? Извольте слышать:
„Какъ кажется" ему! Насилу можетъ
Онъ вспомнить имя! Прочь! Не стану больше
Съ тобою тратить словъ! И разбудить
Меня изволь пораньше.

ФРИЦЪ.

Доброй ночи!
Надѣюсь, вашу свѣтлость подкрѣпитъ
Спокойный сонъ и завтра вы проснетесь
Здоровы и спокойны, какъ всегда.

(*Занавѣсъ опускается*).

СЦЕНА III.

Потайной ходъ.

ГАБОРЪ (*одинъ*).

Четыре, пять, шесть, наконецъ, часовъ
Я насчиталъ, какъ часовой на стражѣ.
Ихъ возвѣстилъ мнѣ колоколъ, чей звонъ
Всегда невеселъ: онъ, языкъ гудящій
Временъ, хотя бъ и радость возвѣщалъ,
Всегда, съ ударомъ каждымъ, отнимаетъ
Часть радости. Хотя бы это былъ
Звонъ свадебный, онъ—похоронный звонъ:
Въ немъ, что ни звукъ,—одной надеждой меньше.
Хоронитъ онъ любовь безъ воскресенья
Во гробѣ обладанья; а когда
Раздастся онъ при погребеньи старыхъ
Родителей, то трижды отразится
Въ ушахъ дѣтей, какъ радостное эхо.
О, какъ вокругъ здѣсь холодно, темно!
Я, пробираясь ощупью, изранилъ
О стѣны пальцы; потерялъ я счетъ
Шагамъ своимъ; о балки головою
Разъ пятьдесятъ я стукался; вспугнулъ
Рать крысъ, мышей летучихъ растревожилъ;
Проклятый этотъ топотъ крысьихъ ногъ
И взмахи крыльевъ такъ ошеломили
Меня, что я совсѣмъ почти оглохъ.
Что это? Свѣтъ! Онъ кажется далекимъ
(Насколько можно, здѣсь, во тьмѣ, судить
О разстояньи); онъ вдали мерцаетъ
Сквозь щель, какъ будто въ скважинѣ замочной.
Положимъ, мнѣ ходить запрещено
Въ ту сторону; но я изъ любопытства
Пойду туда: нежданный лампы свѣтъ—
Событіе въ такой норѣ, какъ эта.
Молю я Небо не вести меня
Къ чему нибудь, что можетъ въ искушенье
Меня вовлечь; а если суждено
Быть этому, то пусть мнѣ Богъ поможетъ
Иль побѣдить, иль избѣжать бѣды!
Будь то звѣздою Люцифера, или
Онъ самъ въ ея лучахъ,—я не могу
Сдержать себя! Впередъ, но осторожно!
Здѣсь поворотъ... ахъ, нѣтъ... такъ, вотъ теперь
Свѣтъ ближе сталъ! Вотъ снова темный уголъ...
Вотъ миновалъ его я... Отдохну!...
Пусть я иду къ опасности, ужаснѣй,
Чѣмъ та, какой недавно я избѣгъ,—
Мнѣ все равно: то новая опасность,
А новыя опасности невольно,
Какъ новыя любовницы, влекутъ
Къ себѣ насъ, какъ магнитъ. Ну, будь, что будетъ!
На всякій случай есть со мной кинжалъ:
Онъ въ крайности окажетъ мнѣ защиту.
Гори, гори, мой крошка огонекъ,
Мой ignis fatuus, мой неподвижный
Огонь блудящій! Такъ, гори, гори!
Онъ слышитъ мой призывъ,—не угасаетъ!

(*Занавѣсъ падаетъ*).

СЦЕНА IV.

Садъ.

Входитъ ВЕРНЕРЪ.

ВЕРНЕРЪ.

Я спать не могъ, — и вотъ ужъ часъ насталъ;
Готово все; былъ Иденштейнъ исправенъ:
На городской окраинѣ, вдали,
Насъ у опушки лѣса ждетъ коляска.
Ужъ звѣздъ мерцанье блекнетъ въ небесахъ:
Въ послѣдній разъ я вижу эти стѣны
Ужасныя! Вовѣки никогда
Я не забуду ихъ! Несчастнымъ, нищимъ
Вступилъ я въ нихъ, но не лишенъ былъ чести;
Теперь, увы,—лежитъ на мнѣ пятно,—
Хотя и не на имени, но въ сердцѣ!
Въ немъ не умретъ вовѣки червь грызущій,
Котораго не сможетъ усыпить
Ни на минуту все великолѣпье
Имѣній, сана, власти Зигендорфовъ!
Необходимо средство мнѣ найти
Вернуть владѣльцу деньги; это частью
Мнѣ душу облегчило бы,—но какъ?
Какъ сдѣлать это, чтобы не открыться?

А все же долженъ сдѣлать это я.
Какъ только успокоюсь, — поразмыслю
О способахъ исполнить этотъ долгъ.
Меня безумье бѣдности повергло
Въ позоръ: такъ пусть раскаянье опять
Все возвратитъ и промахъ мой исправитъ.
Я не хочу, чтобъ на душѣ моей
Хоть что нибудь отъ Штраленгейма было,
Хоть онъ меня желалъ лишить всего,—
Земель, свободы, жизни! Вотъ теперь онъ
Спокойно спитъ, быть можетъ, какъ дитя,
На шелковыхъ подушкахъ, на постели
Раскинувшись, подъ пышнымъ балдахиномъ,
Какъ будто бы... Но чу! Что тамъ за шумъ?
Опять! Какъ будто вѣтка обломилась
И камни тамъ посыпались съ террассы...
(УЛЬРИХЪ *спрыгиваетъ съ террассы въ садъ*).
Ахъ, Ульрихъ, ты! Тебѣ всегда я радъ
И трижды радъ теперь! Поступокъ этотъ
Сыновній...

УЛЬРИХЪ.

Стойте! Прежде, чѣмъ ко мнѣ
Приблизитесь, скажите...

ВЕРНЕРЪ.

Какъ ты смотришь!

УЛЬРИХЪ.

Скажите мнѣ, кого я предъ собой—
Отца ли вижу, иль...

ВЕРНЕРЪ.

Кого?

УЛЬРИХЪ.

Убійцу?

ВЕРНЕРЪ.

Что это? Съумасшествіе иль дерзость?

УЛЬРИХЪ.

Прошу сейчасъ отвѣта, ради жизни
Моей иль вашей!

ВЕРНЕРЪ.

Но на что жъ отвѣтъ
Я долженъ дать?

УЛЬРИХЪ.

Вы иль не вы убили
Барона Штраленгейма?

ВЕРНЕРЪ.

Никогда
Не убивалъ я человѣка. Что же
Все это значитъ?

УЛЬРИХЪ.

Въ эту ночь опять
Вы, какъ тогда, скажите, не входили
Въ тотъ тайный ходъ и къ Штраленгейму въ спальню
Не проникали, чтобы...

ВЕРНЕРЪ.

Продолжай.

УЛЬРИХЪ.

Убить его?

ВЕРНЕРЪ.

О, Боже!

УЛЬРИХЪ.

Вы невинны!
Отецъ мой, вы невинны! Дайте васъ
Обнять! Вашъ тонъ, вашъ взоръ... Да, вы невинны!
Но, все-таки, *скажите* это мнѣ!—

ВЕРНЕРЪ.

Клянусь, что если въ сердцѣ иль разсудкѣ
Когда нибудь имѣлъ я эту мысль
И вновь ее сейчасъ же не старался
Обратно въ преисподнюю прогнать,
Когда она на краткій мигъ сверкала
Въ минуты раздраженья,—пусть тогда
Мнѣ небеса навѣки для спасенья
Закроются!

УЛЬРИХЪ.

Но Штраленгеймъ убитъ.

ВЕРНЕРЪ.

Ужасно это! Гнусно, ненавистно!
Но я причемъ тутъ?

УЛЬРИХЪ.

Цѣлы всѣ замки,
Слѣдовъ насилья нѣтъ нигдѣ! На тѣлѣ
Убитаго они замѣтны только...
Часть слугъ его ужъ подняла тревогу,
Но кастеляна дома нѣтъ, и я
Взялъ на себя заботу приглашенья
Полиціи. Сомнѣнья нѣтъ: убійца
Къ нему проникъ секретно... Извините,
Что мнѣ пришло, естественно, на умъ...

ВЕРНЕРЪ.

О сынъ мой, что за бездна тайныхъ бѣдствій
Скопилась, силой мрачною судьбы,
Какъ стая тучъ, надъ нашею семьею!

УЛЬРИХЪ.

Въ моихъ глазахъ невинны вы; но такъ ли
Разсудитъ свѣтъ? И что то скажетъ судъ?
Бѣжать, бѣжать вамъ слѣдуетъ, не медля!

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ! Обвиненье смѣло встрѣчу я!
И кто жъ меня рѣшится заподозрить?

УЛЬРИХЪ.

Скажите: къ вамъ въ тотъ вечеръ не входилъ

Никто,—ни посѣтители, ни гости?
Лишь вы, да мать, и больше ни души
Тамъ не было весь вечеръ?

ВЕРНЕРЪ.

Ахъ! Венгерецъ!

УЛЬРИХЪ.

Но онъ ушелъ! Еще не сѣло солнце,
Какъ онъ исчезъ.

ВЕРНЕРЪ.

Нѣтъ; я его укрылъ
Въ проклятой этой тайной галлереѣ.

УЛЬРИХЪ.

Тамъ я его найду. (*Хочетъ идти*).

ВЕРНЕРЪ.

О, нѣтъ: ужъ поздно.
Онъ вышелъ раньше изъ дворца, чѣмъ я
Ушелъ оттуда. Дверь въ тотъ ходъ секретный
Открытою нашелъ я, какъ и двери,
Ведущія въ ту залу. Я подумалъ,
Что въ тишинѣ воспользовался онъ
Благопріятнымъ случаемъ избѣгнуть
Клевретовъ Иденштейна, весь тотъ вечеръ
Гонявшихся за нимъ.

УЛЬРИХЪ.

Вы дверь закрыли?

ВЕРНЕРЪ.

Да, не безъ тайной горечи въ душѣ
И ужаса, что снова лишь случайно
Опасности успѣлъ я избѣжать.
Какъ могъ онъ такъ нелѣпо, безоглядно
Меня подвергнуть риску, что откроютъ
Пріютъ мой тайный!

УЛЬРИХЪ.

Вѣрно ли, что дверь
Закрыли вы?

ВЕРНЕРЪ.

Да, вѣрно.

УЛЬРИХЪ.

Слава Богу!
Но было бъ лучше, еслибы тотъ ходъ
Не превращали вы въ пріютъ...

ВЕРНЕРЪ.

Для вора,—
Хотѣлъ сказать ты? Что жъ, стерпѣть я долженъ
Такой упрекъ: его я заслужилъ.

УЛЬРИХЪ.

Отецъ, не будемъ говорить объ этомъ!
Теперь не время много размышлять
О преступленьяхъ мелкихъ; нужно думать,
Какъ мы могли бъ послѣдствій избѣжать
Грѣховъ другихъ, крупнѣйшихъ. Для чего же
Вы скрыли тамъ его?

ВЕРНЕРЪ.

Что жъ могъ я сдѣлать?
Мой злѣйшій врагъ преслѣдовалъ его;
Подвергся онъ позору за проступокъ,
Котораго виновникомъ былъ я;
Онъ жертвой былъ для моего спасенья
И у того, на комъ была вина,
На краткій срокъ убѣжища просилъ онъ!
Будь это волкъ,—я при такихъ условьяхъ
Его никакъ не могъ бы оттолкнуть.

УЛЬРИХЪ.

Какъ волкъ, онъ вамъ и отплатилъ за это.
Но поздно ужъ объ этомъ разсуждать:
Вамъ надобно уѣхать до разсвѣта;
А я останусь здѣсь и прослѣжу,
Кто былъ убійцей, если мнѣ удастся.

ВЕРНЕРЪ.

Но если такъ внезапно скроюсь я—
Не дамъ ли я Молоху лишній поводъ
Для подозрѣній? Будутъ жертвы двѣ
Взамѣнъ одной, когда бы я остался;
Изъ нихъ одна—венгерецъ убѣжавшій
И, кажется, виновный, а другая...

УЛЬРИХЪ.

Вамъ „кажется“,—но кто же могъ другой
Виновнымъ быть?

ВЕРНЕРЪ.

Не я, хоть сомнѣвался
Еще недавно собственный мой сынъ,
Не я ли это?

УЛЬРИХЪ.

А о томъ, кто скрылся,—
У васъ сомнѣній нѣтъ?

ВЕРНЕРЪ.

Мой мальчикъ, вѣрь:
Съ тѣхъ поръ, какъ палъ я въ бездну преступленья
(Хотя и не такого),—съ той поры,
Какъ видѣлъ я, что за меня невинный
Страдаетъ,—сомнѣваться я могу
Въ винѣ того, кто виноватъ. Ты сердцемъ
Свободенъ, чистъ; въ правдивомъ гнѣвѣ скоръ,
Ты смѣло обвиняешь, если внѣшность
Виновною находишь; ты готовъ
И тѣнь самой Невинности сурово
Привлечь къ суду за то, что это—тѣнь.

УЛЬРИХЪ.

Но если я таковъ, то что же скажутъ
Тѣ, кто не знаютъ васъ иль знали только
Лишь для того, чтобъ вамъ вредить? Нельзя
На случай полагаться вамъ! Спѣшите!
Я все для васъ устрою. Иденштейнъ

Не тронетъ васъ, себя оберегая
И свой брильянтъ; притомъ же въ вашемъ бѣгствѣ
Участникъ онъ и сверхъ того...

ВЕРНЕРЪ.

Бѣжать!
Но черезъ это съ именемъ венгерца
Свое свяжу я имя, иль, быть можетъ,
Я, какъ бѣднѣйшій, буду заподозрѣнъ
Еще сильнѣй, и ляжетъ на меня
Клеймо убійства!

УЛЬРИХЪ.

Полноте! Забудьте
Про это все; лишь помните о власти,
О знатности отца, о чудныхъ замкахъ,
Къ которымъ вы стремитесь такъ давно
И такъ безплодно! Что у васъ за имя?
Нѣтъ имени у васъ, когда пришлось
Вамъ выдумать его!

ВЕРНЕРЪ.

Все это правда;
Но не хочу, чтобъ въ памяти людской
Оно слѣдомъ кровавымъ начерталось,
Хотя бы въ этомъ жалкомъ городкѣ.
А сверхъ того—начнутъ искать...

УЛЬРИХЪ.

Ручаюсь,
Что устраню все то, что можетъ вамъ
Опасно быть. Вѣдь здѣсь никто не знаетъ,
Что вы—наслѣдникъ Зигендорфа. Если
Подозрѣваетъ это Иденштейнъ,—
То это, вѣдь, во-первыхъ, подозрѣнье,—
Не болѣе,—а во-вторыхъ онъ глупъ,
И глупости его такъ много дѣла
Найдется, что въ заботахъ о себѣ
Онъ Вернера безвѣстнаго забудетъ.
Что до законовъ (если въ эту глушь
Когда нибудь законы проникали),—
То всѣ они бездѣйствуютъ теперь:
Всеобщею войной тридцатилѣтней
Одни изъ нихъ раздавлены совсѣмъ,
Другіе же чуть силятся покамѣстъ
Изъ праха встать, куда втоптали ихъ
Тяжелые шаги суровыхъ армій.
А Штраленгеймъ, хотя и знаетъ онъ,
Значенья *здѣсь*, однако, не имѣетъ;
Его лишь, какъ вельможу вообще,
Здѣсь почитали, а земель и силы
Онъ въ государствѣ этомъ не имѣлъ,
И власть его вся вмѣстѣ съ нимъ погибла.
И вообще немногимъ суждено
Продлить свое вліянье послѣ смерти
Хоть на недѣлю, - развѣ ихъ родня
Его поддержитъ, если интересы
Ея задѣты; этого здѣсь нѣтъ.
Онъ умеръ здѣсь одинъ, всѣмъ неизвѣстный;
Могила одинокая въ глуши,
Какъ этотъ край безвѣстная и даже
Лишенная герба,—вотъ все, что онъ
Получитъ здѣсь: все прочее излишне
Ему теперь. Когда удастся мнѣ
Найти убійцу,—хорошо; а если
Я не найду, то, вѣрьте, не найдетъ
Его никто. Откормленная свита,
Пожалуй, будетъ громко выть надъ гробомъ,
Какъ выли всѣ, когда онъ утопалъ,—
Но пальцемъ, какъ тогда, никто не двинетъ.
Скорѣй же въ путь! Я слушать не хочу
Отвѣтовъ вашихъ! Посмотрите: звѣзды
Почти померкли, блѣдный свѣтъ зари
Ужъ серебрится въ черныхъ кудряхъ ночи.
Не отвѣчайте мнѣ, спѣшите въ путь!
Простите, если слишкомъ я настойчивъ;
Вѣдь это сынъ вашъ говоритъ, вашъ сынъ,
Котораго вы такъ давно лишились
И только что нашли! Зовите мать,
Безъ шуму и немедля собирайтесь,
А прочее все предоставьте мнѣ;
Я отвѣчаю за благополучный
Исходъ, насколько онъ коснется васъ,
А это мнѣ всего важнѣй,—мой первый,
Священный долгъ! Я въ замокъ Зигендорфъ
Пріѣду къ вамъ: пусть снова наше знамя
Взовьется гордо! Думайте объ этомъ,
А прочія оставьте думы мнѣ:
Я молодъ, мнѣ бороться съ ними легче.
Пусть счастье вашу старость осѣнитъ!
Спѣшите же! Еще разъ поцѣлую
Я мать свою—и помоги вамъ Небо!

ВЕРНЕРЪ.

Совѣтъ хорошъ, но честенъ ли вполнѣ?

УЛЬРИХЪ.

Спасти отца—честь высшая для сына.
(*Уходятъ*).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

СЦЕНА I.

Готическая зала въ замкѣ Зигендорфъ, близъ Праги.

Входятъ ЭРИХЪ *и* ГЕНРИХЪ, *слуги графа.*

ЭРИХЪ.

Ну, наконецъ, настали времена
Счастливыя: и новые владѣльцы
Для старыхъ стѣнъ, и новые пиры,—
Все то, чего мы долго дожидались!

ГЕНРИХЪ.

Что до владѣльцевъ,—обновленью ихъ,
Конечно, радъ, кто новое все любитъ,
Хоть для того, чтобъ ихъ сюда ввести,
Нужна была и новая могила;
Что жъ до пировъ,—графъ старый Зигендорфъ
Былъ, кажется, всегда гостепріименъ
Не менѣе любого принца въ нашей
Имперіи.

ЭРИХЪ.

Ну, да: вино и столъ
Мы у него имѣли въ изобильи,
Но развлеченій разныхъ и потѣхъ,
Которыя однѣ приправить могутъ,
Какъ слѣдуетъ, ѣду,—при немъ, признаться,
Совсѣмъ ужъ мало было.

ГЕНРИХЪ.

Старый графъ
Былъ, правда, не любитель шумныхъ оргій,
Но любитъ ли ихъ новый,—какъ намъ знать?

ЭРИХЪ.

Что жъ, до сихъ поръ онъ былъ всегда привѣтливъ
И щедръ, и всѣми онъ любимъ.

ГЕНРИХЪ.

Но онъ
Едва лишь годъ владѣетъ этимъ замкомъ;
Еще не справилъ онъ медовый мѣсяцъ,
Который длится цѣлый первый годъ
Владѣнья. Лишь позднѣе мы узнаемъ
Весь нравъ его.

ЭРИХЪ.

Дай Богъ, чтобъ онъ остался
Такимъ, какъ есть! А сынъ его, графъ Ульрихъ,—
Вотъ рыцарь то! Какъ жаль, что нѣтъ войны!

ГЕНРИХЪ.

Жаль? Почему?

ЭРИХЪ.

Ты на него взгляни-ка
И самъ отвѣть.

ГЕНРИХЪ.

Онъ, правда, очень молодъ
И крѣпокъ, и красивъ, какъ юный тигръ.

ЭРИХЪ.

Ну, это для вассала не совсѣмъ то
Приличное сравненье.

ГЕНРИХЪ.

Но зато
Оно, быть можетъ, вѣрно.

ЭРИХЪ.

Жаль, сказалъ я,
Что нѣтъ войны. Кто здѣсь себя ведетъ
Съ достоинствомъ такимъ, какъ нашъ графъ Ульрихъ?
Кто уваженье можетъ такъ внушить,
Не обижая никого? А въ полѣ,
Съ копьемъ въ рукѣ, кто превзойдетъ его,
Когда свирѣпый вепрь, клыки оскаливъ,
Направо и налѣво рветъ собакъ
И сквозь ихъ вой несется прямо въ чащу?
Кто такъ конемъ владѣетъ, носитъ мечъ
Иль сокола такъ держитъ граціозно?
На комъ пышнѣй колеблется плюмажъ?

ГЕНРИХЪ.

Онъ никому, конечно, не уступитъ,
Но ты не бойся: если ждать войны
Придется долго,—онъ такого сорта,
Что самъ войну устроитъ, если только
Ея ужъ не устроилъ.

ЭРИХЪ.

Что ты хочешь
Сказать?

ГЕНРИХЪ.

Вѣдь ты не станешь отрицать,
Что изъ числа его обширной свиты
(А въ ней почти вассаловъ нашихъ нѣтъ)
Такіе есть молодчики...

ЭРИХЪ.

Какіе?

ГЕНРИХЪ.

Какихъ война, столь милая тебѣ,
Живыми оставляетъ. Такъ нерѣдко
Родители нѣжнѣйшую любовь
Какъ разъ питаютъ къ дѣтямъ самымъ худшимъ.

ЭРИХЪ.

Вздоръ! Бравые все это молодцы,
Какихъ любилъ когда то старый Тилли.

ГЕНРИХЪ.

А кѣмъ любимъ былъ Тилли? Ты спроси
Хоть въ Магдебургѣ. Также Валленштейна
Любилъ ли кто? Они теперь ушли...

ЭРИХЪ.

Всѣ на покой. И что тамъ съ ними будетъ,—
О томъ не наше дѣло разсуждать.

ГЕНРИХЪ.

Недурно было бъ, если бъ удѣлили
Они покоя своего хоть часть
И намъ: страна теперь какъ будто въ мирѣ,
А между тѣмъ безчинства въ ней творятъ
Богъ знаетъ кто; чуть ночь,—они сейчасъ же
Ужъ тутъ, какъ тутъ; чуть день—ихъ снова нѣтъ;
И столько бѣдъ творятъ они повсюду,
Что этотъ миръ похуже, чѣмъ война.

ЭРИХЪ.

Но графъ то Ульрихъ тутъ при чемъ?

ГЕНРИХЪ.

Графъ Ульрихъ?
Онъ могъ бы это все предотвратить.
Ты говоришь, что онъ войну такъ любитъ;
Такъ отчего ему бы не пойти
Войною на грабителей?

ЭРИХЪ.

Объ этомъ
Его спросить ты можешь самого.

ГЕНРИХЪ.

Съ такою же охотой я спросилъ бы
У льва, зачѣмъ не пьетъ онъ молока.

ЭРИХЪ.

Но вотъ онъ самъ.

ГЕНРИХЪ.

Ахъ, чортъ возьми! Ты будешь
Держать языкъ на привязи?

ЭРИХЪ.

Ты что жъ
Такъ поблѣднѣлъ?

ГЕНРИХЪ.

Такъ, ничего; но только
Прошу молчать.

ЭРИХЪ.

О томъ, что ты сказалъ,
Готовъ молчать я.

ГЕНРИХЪ.

Честью увѣряю,
Что ничего сказать я не хотѣлъ
Серьезнаго; такъ, словъ игра, не больше.
Притомъ же онъ вступаетъ скоро въ бракъ
Съ прекрасной, доброй баронессой Идой
Фонъ Штраленгеймъ, наслѣдницей барона
Покойнаго; она смягчитъ, навѣрно,
Суровость нрава, свойственную всѣмъ,
Кого застало это злое время
Междоусобныхъ войнъ, а больше всѣхъ,
Конечно, тѣмъ, кто Божій свѣтъ увидѣлъ
Въ такіе дни, возросъ на страшномъ лонѣ
Смертоубійства, кровью окропленъ
Былъ при своемъ рожденьи. Но, прошу я,
Молчи объ этомъ!

(*Входятъ* УЛЬРИХЪ *и* РУДОЛЬФЪ).

Съ добрымъ утромъ, графъ!

УЛЬРИХЪ.

Любезный Генрихъ, здравствуйте. Что жъ, Эрихъ:
Готово ль для охоты все?

ЭРИХЪ.

Собаки
Въ лѣсъ посланы, вассалы ужъ пошли
Дичь загонять, и день вамъ обѣщаетъ
Успѣхъ во всемъ. Прикажете созвать
Всю свиту вашей свѣтлости? Какого
Коня угодно будетъ осѣдлать?

УЛЬРИХЪ.

Гнѣдого приготовьте мнѣ, Вальштейна.

ЭРИХЪ.

Боюсь, что онъ едва ли отдохнулъ
Отъ гонки понедѣльничной. Вотъ чудо
Была тогда охота! Четырехъ
Вы собственной рукою закололи.

УЛЬРИХЪ.

Ты правъ, любезный Эрихъ; я забылъ.
Такъ сѣраго тогда подайте, Жижку.
Онъ двѣ недѣли не былъ подъ сѣдломъ.

ЭРИХЪ.

Его сейчасъ же осѣдлаютъ. Сколько
Изъ вашихъ слугъ сопровождать васъ будутъ?

УЛЬРИХЪ.

Объ этомъ Вельбургъ все тебѣ разскажетъ,
Конюшій мой (*Эрихъ уходитъ*).

Рудольфъ!

РУДОЛЬФЪ.

Къ услугамъ, графъ.

УЛЬРИХЪ.

Я получилъ нерадостныя вѣсти
Отъ .. (*Рудольфъ указываетъ на Генриха*).
Генрихъ, ты что здѣсь торчишь?

ГЕНРИХЪ.

Я жду,
Графъ, вашихъ приказаній.

УЛЬРИХЪ.

Отправляйся
Сейчасъ отсюда къ моему отцу,
Ему поклонъ мой передай, а также
Спроси, не нужно ль отъ меня чего,
Пока я не уѣхалъ (*Генрихъ уходитъ*).
Непріятность
Произошла съ друзьями на границахъ
Франконіи, а также слышалъ я,
Что тотъ отрядъ, который противъ нашихъ
Былъ высланъ, будетъ скоро подкрѣпленъ.
Мнѣ надо ѣхать къ нимъ.

РУДОЛЬФЪ.

Не лучше ль выждать
Вѣстей дальнѣйшихъ, болѣе надежныхъ?

УЛЬРИХЪ.

Я полагаю такъ и самъ... Притомъ
Все это, точно мнѣ назло, случилось
Въ моментъ, какъ разъ невыгодный весьма
Для всѣхъ моихъ предположеній.

РУДОЛЬФЪ.

Трудно
Вамъ будетъ графу, вашему отцу,
Отъѣздъ свой объяснить.

УЛЬРИХЪ.

Да, это правда.
Но кой-какіе безпорядки въ нашихъ
Владѣніяхъ силезскихъ мнѣ дадутъ
Достаточный предлогъ для объясненья.
Когда охотой всѣ займемся мы,
Ты, отдѣлясь, отправишься съ отрядомъ
Десятковъ въ восемь человѣкъ,—съ тѣмъ самымъ,
Которымъ Вольфъ командуетъ. Держись
Лѣсной дороги; ты ее, вѣдь, знаешь?
Какъ зналъ ее въ ту ночь, когда...

РУДОЛЬФЪ.

Какъ зналъ ее въ ту ночь, когда....

УЛЬРИХЪ (*прерывая его*).

Теперь
О томъ не будемъ говорить: пусть прежде
Подобный вновь одержимъ мы успѣхъ.
Прибывъ туда, отдашь ты Розенбергу
Письмо вотъ это (*отдаетъ письмо*) и скажи ему,
Что посылаю я съ тобой и Вольфомъ
Подмогу небольшую къ нашимъ силамъ,
Чтобъ возвѣстить имъ скорый мой пріѣздъ;
Хотя, признаться, я желалъ бы очень,
Чтобъ съ ними не случилася бѣда
Какъ разъ теперь, когда отецъ мой хочетъ,
Чтобъ слуги всѣ здѣсь были при дворѣ,
Пока весь этотъ праздникъ будетъ длиться,
Вся эта свадьба, пиршества,—пока
Не отзвонимъ мы чепуху всю эту.

РУДОЛЬФЪ.

Я думалъ, фрейлейнъ Ида вамъ мила.

УЛЬРИХЪ.

Еще бы! Я люблю ее, конечно;
Но изъ того не слѣдуетъ, чтобъ я
Связалъ навѣки поясомъ дѣвицы,—
Будь то сама Венера,—годы славы
И юности, столь краткой и столь пылкой.
Ее люблю я, какъ любить должны
Мы женщину: люблю одну и крѣпко.

РУДОЛЬФЪ.

И постоянно?

УЛЬРИХЪ.

Думаю, что такъ;
Я не люблю другихъ, по крайней мѣрѣ.
Но некогда теперь распространяться
Объ этихъ всѣхъ любовныхъ пустякахъ:
Великое должны свершить мы вскорѣ.
Спѣши, спѣши, любезный мой Рудольфъ!

РУДОЛЬФЪ.

По возвращеньи баронессу Иду
Найду я ужъ графиней Зигендорфъ?

УЛЬРИХЪ.

Весьма возможно; такъ отецъ мой хочетъ.
Пожалуй, этотъ планъ его не плохъ;
Два отпрыска послѣдніе фамилій,
Враждебныхъ прежде, онъ соединитъ
Въ грядущемъ и прошедшее загладитъ.

РУДОЛЬФЪ.

Прощайте жъ.

УЛЬРИХЪ.

Нѣтъ, постой: останься съ нами,
Пока у насъ охота не начнется,
И отдѣлись тогда, какъ я сказалъ.

РУДОЛЬФЪ.

Охотно. Такъ вернемся къ разговору.
Вѣдь поступилъ прекрасно и любезно.
Отецъ вашъ, графъ, пославши въ Кенигсбергъ
За сиротой прекрасною барона
И пріютивъ ее, какъ дочь свою.

УЛЬРИХЪ.

Да, это удивительно любезно,
Тѣмъ болѣе, что не былъ друженъ онъ
Съ барономъ.

РУДОЛЬФЪ.
А баронъ отъ лихорадки
Скончался?

УЛЬРИХЪ.
Какъ могу я это знать?

РУДОЛЬФЪ.
Какіе то есть слухи, что то шепчтутъ
О томъ, что какъ то странно умеръ онъ,
И даже мѣсто смерти неизвѣстно.

УЛЬРИХЪ.
Какая то деревня на границѣ
Саксонской иль силезской.

РУДОЛЬФЪ.
И ни слова
Онъ не оставилъ? Завѣщанья нѣтъ?

УЛЬРИХЪ.
Мнѣ знать о томъ нельзя: я не священникъ
И не нотаріусъ.

РУДОЛЬФЪ.
Вотъ фрейлейнъ Ида.
(*Входитъ* ИДА ШТРАЛЕНГЕЙМЪ).

УЛЬРИХЪ.
Ты рано встала, милая кузина!

ИДА.
Не слишкомъ рано, если, Ульрихъ мой,
Тебѣ я не мѣшаю. Но зачѣмъ же
Кузиной ты зовешь меня?

УЛЬРИХЪ (*съ улыбкой*).
А развѣ
Ты не кузина мнѣ?

ИДА.
Кузина, да;
Но имя это какъ то не люблю я;
Оно звучитъ такъ холодно, какъ будто
Ты думаешь лишь о родствѣ, о томъ,
Что мы одной съ тобою крови.

УЛЬРИХЪ (*вздрогнувъ*).
Крови!

ИДА.
Что жъ кровь твоя отъ щекъ вдругъ оттекла?

УЛЬРИХЪ.
Да? Правда?

ИДА.
Правда! Впрочемъ, нѣтъ: вотъ быстрымъ
Потокомъ вновь она взвилась ко лбу.

УЛЬРИХЪ (*овладѣвая собою*).
А если вдругъ ей вздумалось бѣжать,
То это значитъ, что пустилась къ сердцу
Она, тебя увидѣвъ: это сердце
Вѣдь для тебя одной, кузина, бьется!

ИДА.
Опять „кузина"!

УЛЬРИХЪ.
Ну, скажу „сестра".

ИДА.
Ахъ, это мнѣ еще гораздо хуже!
О, если бы мы были не въ родствѣ!

Ульрихъ (*мрачно*).
Да, было бъ лучше!

ИДА.
Боже мой! Ты можешь
Желать, чтобъ это было такъ?

УЛЬРИХЪ.
Другъ, Ида!
Я повторилъ желанье лишь твое.

ИДА.
Да, Ульрихъ, но совсѣмъ не въ этомъ смыслѣ
Сказала я, да и едва ль сама
Я сознавала то, что говорила.
Пусть буду я тебѣ сестрой, кузиной,—
Лишь для тебя была бъ я чѣмъ нибудь.

УЛЬРИХЪ.
Ты будешь все мнѣ, все...

ИДА.
А ты *теперь* ужъ
Все для меня... Но я могу и ждать.

УЛЬРИХЪ.
Мой ангелъ, Ида!

ИДА.
Идою, да, Идой,
Своею Идой ты меня зови!
И не хочу я больше быть ничьею!
Да и кому жъ принадлежала бъ я,
Съ тѣхъ поръ, какъ бѣдный мой отецъ...

УЛЬРИХЪ.
Имѣешь
Ты *моего* отца, и самъ я *твой*.

ИДА.
О милый Ульрихъ, какъ бы я желала,
Чтобъ мой отецъ мое увидѣлъ счастье!
Для полноты его недостаетъ
Лишь этого!

УЛЬРИХЪ.
Да? Право?

ИДА.
Вы другъ друга
Любили бы: всегда вѣдь храбрецы
Другъ друга любятъ. Онъ казался людямъ
Холоднымъ, а душою онъ былъ гордъ,
Какъ это лицамъ знатнаго рожденья
Столь свойственно; подъ внѣшностью надменной
Таилъ, однако, онъ... О, еслибъ вы
Другъ друга знали! Если бы въ дорогѣ
Сопутствовалъ ему такой, какъ ты,

То, вѣрно, онъ не умеръ бы безъ друга,
Который бы смягчилъ ему минуты
Послѣднія,—не умеръ бы одинъ!

УЛЬРИХЪ.

Какъ знаешь ты?

ИДА.

Что?

УЛЬРИХЪ.

Что *одинъ* онъ умеръ?

ИДА.

Всѣ говорятъ объ этомъ такъ. Притомъ
Куда то слуги всѣ его исчезли,—
Не возвратился ни одинъ изъ нихъ.
Страшна была, должно быть, лихорадка,
Которая ихъ погубила всѣхъ.

УЛЬРИХЪ.

Ну, если слуги были съ нимъ, то, вѣрно,
Онъ не одинъ, не безъ ухода умеръ.

ИДА.

Увы, что значатъ слуги въ тотъ моментъ,
Когда, въ борьбѣ со смертью, ищутъ очи
Напрасно тѣхъ, кто сердцу милъ! Онъ умеръ,
Какъ говорятъ, отъ лихорадки злой.

УЛЬРИХЪ.

„Какъ говорятъ"! Но это такъ и было!

ИДА.

Порой иное вижу я во снѣ.

УЛЬРИХЪ.

Всѣ лживы сны!

ИДА.

Его я вижу ясно,
Какъ вижу я тебя теперь.

УЛЬРИХЪ.

Гдѣ? Какъ?

ИДА.

Во снѣ... Лежитъ онъ предо мною, блѣдный
И весь въ крови, а возлѣ, ножъ поднявъ,
Стоитъ другой...

УЛЬРИХЪ.

Лица его не видишь?

ИДА.

Нѣтъ, Боже мой! Ты видишь?

УЛЬРИХЪ.

Отчего
Спросила ты объ этомъ?

ИДА.

Ты такъ смотришь,
Какъ будто ты убійцу видишь.

УЛЬРИХЪ (*взволнованный*).

Ида!
Ребячество все это! Я стыжусь,
Что заразился слабостью твоею!
Но, такъ какъ я привыкъ съ тобой дѣлить
Всѣ чувства, то разстроился невольно.
Дитя, оставимъ этотъ разговоръ.

ИДА.

„Дитя"! Еще бы! Мнѣ пятнадцать лѣтъ!
(*За сценою раздается звукъ охотничьяго рога*).

РУДОЛЬФЪ.

Графъ, слышите? Трубятъ!

ИДА (*съ досадою*).

А вамъ ужъ нужно
Напоминать о томъ, какъ будто самъ
Не слышитъ онъ?

РУДОЛЬФЪ.

Простите, баронесса!

ИДА.

Нѣтъ, не прощу: сперва свою ошибку
Исправить вы должны и мнѣ помочь
Добиться, чтобъ графъ Ульрихъ отъ охоты
Сегодня отказался.

РУДОЛЬФЪ.

Баронесса,
Не надобно вамъ помощи моей.

УЛЬРИХЪ.

Я отказаться не могу.

ИДА.

Ты долженъ!

УЛЬРИХЪ.

Я долженъ?

ИДА.

Да, иль ты не рыцарь мой!
Ну, милый Ульрихъ, уступи мнѣ въ этомъ,
На этотъ разъ, на этотъ день! Погода
Такъ пасмурна, а ты такъ поблѣднѣлъ
И нездоровымъ кажешься.

УЛЬРИХЪ.

Ты шутишь?

ИДА.

Нѣтъ, право нѣтъ; спроси Рудольфа.

РУДОЛЬФЪ.

Правда;
Вы, графъ, за эти нѣсколько минутъ
Такъ измѣнились, какъ не измѣнялись
За цѣлые года.

УЛЬРИХЪ.

Вотъ пустяки!
Да если бы и такъ, то свѣжій воздухъ
Мои всѣ силы мигомъ возвратитъ.
Я—какъ хамелеонъ,—лишь атмосферой
Живу; всѣ ваши праздники, пиры
Въ дворцовыхъ залахъ — душу мнѣ стѣсняютъ
Люблю лѣса, люблю я крутизну
Высокихъ горъ; люблю я все, что любитъ
На свѣтѣ вольный, царственный орелъ!

ИДА.

Надѣюсь, только не его добычу.

УЛЬРИХЪ.

Другъ Ида, пожелай же мнѣ удачи—
И шесть головъ кабаньихъ я сложу
Къ твоимъ ногамъ прекраснымъ, какъ трофеи.

ИДА.

Такъ ты не хочешь здѣсь остаться? Нѣтъ,
Ты не уйдешь! Пойдемъ, тебѣ спою я.

УЛЬРИХЪ.

Ты, Ида, право, не годишься быть
Женой солдата.

ИДА.

Я и не желаю.
Надѣюсь я, что кончена война,
И мирно будешь жить въ своемъ ты замкѣ.
(*Входитъ старый* графъ Зигендорфъ—*бывшій Вернеръ*).

УЛЬРИХЪ.

Привѣтъ мой вамъ, отецъ! Мнѣ очень жаль,
Что долженъ съ вами я сейчасъ разстаться.
Вы слышали нашъ рогъ: вассалы ждутъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Пусть ждутъ себѣ. Мой другъ, ты забываешь,
Что завтра въ Прагѣ праздникъ предстоитъ
Возстановленья мира. Ты способенъ
Охотою увлечься до того,
Что не вернешься, можетъ быть, и къ ночи,
Иль будешь къ утру слишкомъ утомленъ,
Чтобъ стать въ ряды первѣйшей нашей знати.

УЛЬРИХЪ.

Отецъ, могли бъ вы, право, быть за двухъ:
Я не любитель этихъ церемоній.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, Ульрихъ, такъ совсѣмъ не хорошо;
Нельзя, чтобъ ты изъ знатной молодежи
Отсутствовалъ одинъ.

ИДА.

И самый знатный,
По рыцарской осанкѣ благородной!

ЗИГЕНДОРФЪ.

И это правда, милое дитя,
Хотя, пожалуй, слишкомъ откровенно
Для молодой дѣвицы. Вспомни, Ульрихъ,
Какъ мы недавно свой высокій санъ
Возстановили. Въ каждой изъ фамилій,—
А въ нашей больше всѣхъ, — замѣтно было бъ
Отсутствіе кого либо изъ членовъ
На видномъ мѣстѣ и въ столь важный часъ.
Притомъ же Небо, давшее намъ снова
Владѣнья наши въ самый тотъ моментъ,
Когда свой миръ Оно распространило
Надъ всѣми, можетъ требовать вдвойнѣ,
Чтобъ принесли Ему мы благодарность,
Во-первыхъ, за страну, а во-вторыхъ,
За то, что мы его благодѣянья
Здѣсь раздѣляемъ.

УЛЬРИХЪ (*въ сторону*).

Вотъ какой святоша!
(*Громко*) Извольте, графъ, я повинуюсь вамъ.
(*Слугѣ Людвигу*).
Иди и свиту распусти немедля. (*Людвигъ уходитъ*).

ИДА.

Вотъ, какъ ты скоро уступилъ отцу:
А я часами тщетно бы молила!

ЗИГЕНДОРФЪ (*улыбаясь*).

Прелестная мятежница! Ко мнѣ,
Надѣюсь, ты его не приревнуешь?
Хотѣла бъ ты, чтобъ былъ онъ непослушенъ
Кому угодно, только не тебѣ?
Не бойся: скоро будешь ты и твердо,
И сладостно ему повелѣвать!

ИДА.

Но управлять имъ я *теперь* хотѣла бъ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Поди, своею арфой управляй:
Она тебя ждетъ въ комнатѣ графини.
Графиня недовольна, что лѣниво
Ты заниматься музыкою стала.
Иди, тебя тамъ ждутъ.

ИДА.

Такъ до свиданья,
Любезные родные! Ульрихъ, ты
Придешь меня послушать?

УЛЬРИХЪ.

Да, сейчасъ же.

ИДА.

Та музыка получше, чѣмъ твой рогъ!
Такъ приходи жъ, и точенъ будь, какъ ноты.
Я короля Густава маршъ сыграю.

УЛЬРИХЪ.

А почему жъ не Тилли старика?

ИДА.

Маршъ этого чудовища? Нѣтъ, струны
Не музыкой, а плачемъ зазвучали бъ;
Нѣтъ, знать его моя не хочетъ арфа!

Скорѣе приходи; вѣдь мать твоя
Тебя, я знаю, очень хочетъ видѣть. (*Уходитъ*).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Съ тобой мнѣ, Ульрихъ, нужно глазъ на глазъ
Поговорить.

УЛЬРИХЪ.

Въ распоряженьи вашемъ
Мое все время. (*Тихо Рудольфу*). Ну, Рудольфъ, спѣши!
Все сдѣлай, какъ сказалъ я; постарайся
Отъ Розенберга принести отвѣтъ.

РУДОЛЬФЪ.

Графъ Зигендорфъ, быть можетъ, порученья
Изволите вы дать мнѣ? За границу
Я ѣду.

ЗИГЕНДОРФЪ (*вздрогнувъ*).

За границу? За какую?

РУДОЛЬФЪ.

Силезскую. Я путь направлю свой... (*тихо Ульриху*)
Куда сказать мнѣ?

УЛЬРИХЪ (*тихо Рудольфу*).

Въ Гамбургъ. (*Про себя*). Это слово,
Надѣюсь, всѣ разспросы оборветъ.

РУДОЛЬФЪ.

Направлюсь въ Гамбургъ.

ЗИГЕНДОРФЪ (*въ волненіи*).

Въ Гамбургъ! Нѣтъ, не нужно
Мнѣ ничего тамъ. Связей не имѣю
Я съ Гамбургомъ. Прощайте жъ, добрый путь!...

РУДОЛЬФЪ.

Прощайте, графъ! (*Уходитъ*).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Послушай, другъ мой, Ульрихъ!
Вотъ этотъ господинъ—одинъ изъ тѣхъ,
Въ чьемъ обществѣ тебя мнѣ видѣть странно.

УЛЬРИХЪ.

Графъ, по рожденью благороденъ онъ;
Фамилія его—одна изъ лучшихъ
Въ Саксоніи.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Не о происхожденьи
Я говорю,—о томъ, каковъ онъ самъ.
О немъ весьма дурные ходятъ слухи.

УЛЬРИХЪ.

Бранятъ, вѣдь, многихъ. Даже самъ монархъ
Не огражденъ отъ клеветы придворныхъ,
Отъ сплетенъ злыхъ послѣдняго слуги,
Котораго возвысилъ онъ и сдѣлалъ
Чрезъ то неблагодарнымъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Откровенно
Скажу тебѣ: о немъ не только ходятъ
Невыгодные слухи; говорятъ,
Что къ чернымъ бандамъ, грабящимъ границу,
Принадлежитъ онъ.

УЛЬРИХЪ.

И могли повѣрить
Вы слухамъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Въ этомъ случаѣ я вѣрю.

УЛЬРИХЪ.

По мнѣ,—*во всякомъ случаѣ* понять
Могли бы вы, что между обвиненьемъ
И осужденьемъ—надо различать.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Мой сынъ, я понялъ твой намекъ. Что дѣлать!
Судьба моя сплела вокругъ меня
Такую паутину, что всю жизнь
Я бьюсь, какъ муха бѣдная, не въ силахъ
Порвать ее. Но, Ульрихъ, берегись!
На мнѣ ты видѣть могъ, куда страстями
Я завлеченъ былъ; двадцать долгихъ лѣтъ,
Голодныхъ и несчастныхъ, искупленья
Не принесли и двадцать тысячъ лѣтъ
(Вѣдь циферблатъ отчаянья считаетъ
Минуты за года) не принесли бы
Забвенья и прощенья за грѣхи
Безумнаго, безчестнаго мгновенья!
Сынъ, пусть тебя остережетъ отецъ!
Меня, увы, не остерегъ отецъ мой,—
И видишь, чѣмъ я сталъ!

УЛЬРИХЪ.

Что жъ, вижу я
Счастливаго вельможу Зигендорфа,
Царящаго, какъ принцъ, среди любви,
Почтеннаго среди почтенной знати.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ахъ, какъ меня счастливымъ ты зовешь,
Когда боюсь я за тебя,—любимымъ,
Когда меня не любишь ты! Что пользы,
Когда любимъ я тысячью сердецъ,
А сердце сына—холодно!

УЛЬРИХЪ.

Кто смѣетъ
Сказать, что къ вамъ я холоденъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Никто,
Какъ я! Больнѣе, чѣмъ твой врагъ, который

Дерзнулъ бы такъ сказать, я ощущаю
Твой мечъ въ моей груди; и съ этой раной
Живетъ мое измученное сердце!

УЛЬРИХЪ.

Ошиблись вы: я, правда, не могу
По внѣшности быть нѣжнымъ; но что жъ дѣлать,
Когда съ отцомъ и матерью я былъ
Двѣнадцать лѣтъ въ разлукѣ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Развѣ такъ же
И я двѣнадцать лѣтъ, среди терзаній,
Съ тобой въ разлукѣ не провелъ? Но нѣтъ,
Излишне убѣждать тебя: природу
Не могутъ увѣщанья измѣнить.
Такъ перемѣнимъ разговоръ. Подумать
Прошу тебя о томъ, что эти люди,
Хоть знатные по громкимъ именамъ,
Но темные по темнымъ ихъ поступкамъ
(Да, чрезвычайно темнымъ, если правда
Все то, что имъ приписано молвой),—
Что эти люди, съ кѣмъ ты водишь дружбу,
Тебя невольно приведутъ...

УЛЬРИХЪ (*нетерпѣливо*).

Меня
Никто водить не будетъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Я надѣюсь,—
Такихъ людей не поведешь и ты.
Чтобъ избѣжать опасностей, къ которымъ
Твой гордый духъ и вѣтренная юность
Тебя невольно могутъ привести,—
Я и надумалъ, чтобы ты женился
На фрейлейнъ Идѣ; кажется, она
И нравится тебѣ.

УЛЬРИХЪ.

Я обѣщалъ ужъ
Повиноваться вашимъ приказаньямъ...
Будь то сама Геката,—я готовъ
На ней жениться. Что сказать вамъ можетъ
Сынъ бо́льшаго?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да и того, что ты
Сейчасъ сказалъ, пожалуй, слишкомъ много.
Не свойственно ни возрасту, ни крови,
Ни даже нраву твоему—судить
Такъ холодно, такъ мыслить беззаботно
О томъ, что счастья нашего иль цвѣтъ,
Иль гибель (ибо и подушка Славы
Даетъ лишь безпокойство, если къ ней
Любовь свои ланиты не склоняетъ).
Какое-то могучее стремленье
Влечетъ тебя; какой-то духъ враждебный
Тебѣ коварно служитъ, чтобъ увлечь
Несчастнаго, который хочетъ видѣть
Въ немъ лишь слугу, а между тѣмъ ему
Свои невольно думы подчиняетъ;
Иначе ты бы просто мнѣ сказалъ:
„Мнѣ фрейлейнъ Ида нравится, и радъ я
На ней жениться", или: „мнѣ она
Не нравится; нѣтъ силъ такихъ ни въ небѣ,
Ни на землѣ, чтобъ побудить меня
Въ нее влюбиться". Такъ бы я отвѣтилъ.

УЛЬРИХЪ.

Отецъ, вѣдь вы женились по любви.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, и любовь служила мнѣ въ несчастьяхъ
Единственнымъ прибѣжищемъ.

УЛЬРИХЪ.

Несчастій
Не знали бъ вы, когда бъ не увлеклись
Любовью этой.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Вотъ опять ты судишь
Ни съ возрастомъ, ни съ чувствомъ не согласно!
Кто такъ судилъ бы прежде въ двадцать лѣтъ?

УЛЬРИХЪ.

Не сами ль вы примѣръ свой приводили,
Меня желая тѣмъ предостеречь?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Что за софизмъ ребяческій! Ну, словомъ:
Ты фрейлейнъ Иду любишь, или нѣтъ?

УЛЬРИХЪ.

Что вамъ за дѣло, если я согласенъ
На ней жениться, какъ велите вы?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Для чувствъ твоихъ—мнѣ все равно, конечно,
Но для нея,—вѣдь въ этомъ ей вся жизнь!
Твоя невѣста молода, прекрасна,
Притомъ она тебя боготворитъ,
Одарена достоинствами всѣми,
Чтобъ счастье дать, чтобъ жизнь твою всю сдѣлать
Волшебнымъ сномъ, какого описать
Не въ силахъ всѣ поэты; дать блаженство,
Какое философія сама
Охотно бы взяла въ обмѣнъ за мудрость,
Когда бы къ добродѣтели любовь
Не составляла истинную мудрость.
Давая столько радостей, она
Взаимности твоей, конечно, сто́итъ.
Я не хотѣлъ бы сердце ей разбить
Для человѣка черстваго, который
Разбить не можетъ сердца своего,
Затѣмъ, что сердца вовсе не имѣетъ;
Я не хотѣлъ бы, чтобъ она увяла,
Какъ блѣдная покинутая роза

Въ восточной сказкѣ, если улетитъ
Та птичка, что она въ невинныхъ грезахъ
За соловья считала. Вѣдь она...

УЛЬРИХЪ (*перебивая*).

Дочь мертваго врага, дочь Штраленгейма;
И все-таки на Идѣ я женюсь,
Хотя, сказать по правдѣ, это время
Какъ разъ не таково, чтобъ я въ восторгъ
Пришелъ отъ этой связи.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ида любитъ
Тебя!

УЛЬРИХЪ.

Ну, что жъ: и я ее люблю,
А потому подумать долженъ *дважды*.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ахъ, прежде такъ не думала любовь!

УЛЬРИХЪ.

Такъ ей пора начать немножко думать;
Пускай она повязку сниметъ съ глазъ
И раньше, чѣмъ ей прыгать, пусть посмотритъ,
А то она все прыгала во тьмѣ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Но ты согласенъ?

УЛЬРИХЪ.

Да, какъ былъ и раньше.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Назначь же день.

УЛЬРИХЪ.

Обычай намъ велитъ—
И вѣжливость къ тому же побуждаетъ—
Невѣстѣ выборъ срока предложить.

ЗИГЕНДОРФЪ.

За Иду я ручаюсь.

УЛЬРИХЪ.

Я жъ не склоненъ
Ни за какую женщину ручаться.
Что я рѣшу, то видѣть я хочу
Незыблемымъ, пускай она отвѣтитъ,—
Тогда и я отвѣтъ свой сообщу.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Но все жъ ты самъ посвататься къ ней долженъ.

УЛЬРИХЪ.

Графъ, этотъ бракъ вѣдь дѣло вашихъ рукъ,
Такъ я прошу васъ—сами будьте сватомъ,
Но, чтобы сдѣлать угожденье вамъ,
Сейчасъ пойду я выразить почтенье
Сыновнее графинѣ; у нея,
Какъ знаете, сидитъ и фрейлейнъ Ида.
Чего жъ еще желать вамъ отъ меня?
Мужскихъ забавъ искать я собирался
Внѣ этихъ стѣнъ,—вы запретили мнѣ,
И я повиновался; вы хотите
Теперь, чтобъ сталъ угодникомъ я дамскимъ,
Чтобъ вѣера, перчатки или спицы
Вязальныя я дамамъ поднималъ,
Чтобъ слушалъ я ихъ музыку и пѣнье,
Ловилъ улыбки, милой болтовнѣ,
Смѣясь, внималъ бы, имъ въ глаза глядѣлъ бы,
Какъ будто это звѣзды, слишкомъ рано
Готовыя, какъ пожелаемъ мы,
Зайти поспѣшно на зарѣ побѣды
Надъ міромъ! Что же можетъ сдѣлать сынъ
Иль мужъ вамъ больше? (*Уходитъ*).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Это слишкомъ много!
Да, много чувства долга, а любви—
Чрезмѣрно мало! Онъ мнѣ платитъ щедро,
Не тою лишь монетой, какъ мнѣ нужно.
Да, такова жестокая судьба:
Я долгъ отца не въ силахъ былъ исполнить
До этихъ поръ; но все жъ обязанъ онъ
Любить меня: о немъ всегда я думалъ,
Мечталъ я со слезами, что увижу
Вновь сына! Вотъ—увидѣлъ я его,
Но какъ! Увы,—послушнымъ, но холоднымъ;
При мнѣ всегда почтительнымъ по виду,
Но вовсе не внимательнымъ ко мнѣ.
Какой-то тайной окруженъ, разсѣянъ,
Онъ отъ меня все держится вдали;
Частенько онъ отсутствуетъ подолгу,
И гдѣ—никто не знаетъ; онъ дружитъ
Съ первѣйшими по буйству и разврату
Повѣсами изъ знатной молодежи;
Хоть справедливость требуетъ признать,
Что онъ до ихъ вульгарныхъ удовольствій
Не унижался никогда, но есть
Межъ ними связь, которой я не въ силахъ
Разрушить. Эти люди на него
Глядятъ послушно, съ нимъ совѣты держатъ,
Толпятся вкругъ него, какъ вкругъ вождя;
Я жъ отъ него довѣрія не вижу!
Ахъ, какъ мнѣ ждать довѣрія, когда...
Увы, ужель отцовское проклятье
Простерлось и на сына моего?
Ужъ не придетъ ли вновь сюда венгерецъ,
Чтобъ снова кровь пролить, иль, можетъ быть
(О, если это такъ!), духъ Штраленгейма,
Ты бродишь здѣсь среди знакомыхъ стѣнъ,
Слѣдя за нимъ и за его родными?
Хотя тебя не убивали мы,
Но все жъ я дверь открылъ къ твоей кончинѣ!
Однако смерть твоя—вина не наша,
Нѣтъ, грѣхъ не нашъ: хотя ты былъ мнѣ врагъ,

Я пощадилъ тебя, себѣ на гибель,
Которая спала, когда ты спалъ,
И вновь съ твоимъ проснулась пробуж-
деньемъ;
Я только взять рѣшился у тебя...
О, золото проклятое, отравой
Въ рукахъ моихъ лежишь ты; я не смѣю
Тебя истратить, не могу съ тобой
Разстаться я; ты въ руки мнѣ попало
Такимъ ужаснымъ способомъ, что можешь
Ты запятнать всѣ руки, какъ мои!
Чтобъ искупить тебя, позорный свертокъ,
И смерть владѣльца твоего, хоть онъ
Не мной убитъ, не ближними моими,—
Я сдѣлалъ то, что сдѣлалъ бы, когда бъ
Онъ былъ мнѣ братъ: осиротѣлой Идѣ
Пріютъ я далъ, ее я обласкалъ,
Ее я принялъ, какъ дитя родное!

(*Входитъ* СЛУГА).

СЛУГА.

Священникъ, за которымъ ваша свѣтлость
Изволили послать, пришелъ: онъ здѣсь.
(*Уходитъ*).

(*Входитъ пріоръ* АЛЬБЕРТЪ).

ПРІОРЪ.

Миръ этому жилищу и всѣмъ людямъ,
Живущимъ въ немъ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Привѣтъ, привѣтъ мой вамъ,
Святой отецъ, и пусть молитву вашу
Услышитъ Небо! Каждый человѣкъ
Нуждается въ святыхъ молитвахъ, я же...

ПРІОРЪ.

Принадлежатъ вамъ первыя права
На то, чтобъ наша община молилась
О васъ: обитель нашу ваши предки
Построили, а дѣти ихъ всегда
Заботились о ней,

ЗИГЕНДОРФЪ.

О, да, отецъ мой!
Молитесь же, какъ прежде, каждый день
За насъ въ сей вѣкъ невѣрія и злобы,
Хотя Густавъ, враждебный шведъ - схиз-
матикъ,
Ужъ не грозитъ намъ.

ПРІОРЪ.

Онъ ушелъ туда
Гдѣ вѣчныя невѣрующихъ муки
Терзаютъ, вѣчный плачъ и скорбь царятъ,
Кровавыя имъ слезы исторгая,—
Въ тьму, гдѣ скрежещутъ грѣшники зубами,
Гдѣ огнь неугасимый ихъ сжигаетъ
И червь неумирающій грызетъ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Такъ, мой отецъ; и чтобы эти муки
Отъ одного изъ вѣрныхъ отвратить,
Который, хоть къ святѣйшей нашей церкви
Принадлежалъ, но умеръ безъ ея
Послѣдняго напутствія святого,
Которое проводитъ наши души
Скорѣе сквозь чистилище,—осмѣлюсь
Я предложить смиренный этотъ даръ,
Для поминальныхъ за него обѣденъ.

(*Отдаетъ золото, взятое имъ у Штраленгейма*).

ПРІОРЪ.

Графъ, если эти деньги я беру,
То потому лишь, вѣрьте, что я знаю,
Что мой отказъ обидѣть могъ бы васъ.
Всю эту сумму раздадимъ мы нищимъ,
Обѣдни жъ даромъ будемъ мы служить.
Нужды обитель наша не имѣетъ
Въ подобныхъ приношеньяхъ: безъ того
Одарена она довольно щедро
Отъ васъ и вашихъ, графъ; но мы должны
Во всемъ пристойномъ вамъ повиноваться.
Но за кого же мы должны обѣдни
Служить?

ЗИГЕНДОРФЪ (*заикаясь*).

За... за усопшаго.

ПРІОРЪ.

А имя
Его?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Хотѣлъ я душу, а не имя
Отъ гибели спасти.

ПРІОРЪ.

Я не желалъ
Проникнуть въ вашу тайну. Мы готовы
Молиться за безвѣстнаго не меньше,
Чѣмъ за вельможу.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Тайна! Тайны нѣтъ,
Но, можетъ быть, имѣлъ ее покойный
И завѣщалъ... Нѣтъ, онъ не завѣщалъ:
Я жертвую вамъ эту сумму ради
Благочестивыхъ цѣлей.

ПРІОРЪ.

Это дѣло
Прекрасное для памяти друзей
Скончавшихся!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, онъ былъ не другомъ,—
Смертельнымъ былъ, отъявленнымъ вра-
гомъ!

ПРІОРЪ.

Еще того прекраснѣй! Наши деньги

Пожертвовать, дабы душѣ врага
Доставить рай и вѣчное блаженство,—
Достойно тѣхъ, кто могъ врагу прощать,
Пока онъ жилъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, не простилъ его я!
Его я ненавидѣлъ до послѣдней
Минуты, такъ же, какъ и онъ меня!
Я и теперь любить его не въ силахъ,
Но...

ПРІОРЪ.

Лучше быть не можетъ ничего!
Вотъ чистая религія! Хотите
Вы душу ненавистную спасти
Отъ ада,—и на собственныя деньги!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Отецъ мой, эти деньги—не мои.

ПРІОРЪ.

Такъ чьи жъ онѣ? Вѣдь вы сказали сами,
Что не были завѣщаны онѣ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Вамъ все равно, чьи это деньги; знайте
Одно: что тотъ, кто ими обладалъ,
Нужды въ нихъ больше не имѣетъ, кромѣ
Той пользы, что могли бъ онѣ принесть
На вашихъ алтаряхъ. Онѣ отнынѣ
Принадлежатъ иль вамъ, иль алтарямъ.

ПРІОРЪ.

Но крови нѣтъ на нихъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, хуже крови:
Стыдъ вѣчный!

ПРІОРЪ.

Вашъ въ постели умеръ врагъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Увы, въ постели!

ПРІОРЪ.

Сынъ мой! Сожалѣя
О томъ, что онъ безкровной умеръ смертью,
Вы снова впали въ чувство мести.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ!
Онъ встрѣтилъ смерть въ бездонномъ морѣ крови!

ПРІОРЪ.

Въ постели жъ вѣдь онъ умеръ, не въ бою?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Онъ умеръ... Какъ,—я самъ не знаю точно...
Я вамъ открою... Ночью умеръ онъ...
Ударъ ножа сразилъ его въ постели.
Да, да! Смотрите на меня! Не я
Его убійца! Я могу спокойно
Въ глаза глядѣть вамъ такъ, какъ въ очи Бога
Глядѣть на Страшномъ буду я Судѣ!

ПРІОРЪ.

Не по желанью вашему, не вашимъ
Орудіемъ, не вашими людьми
Убитъ покойный?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, клянусь вамъ въ этомъ
Творцомъ, Который видитъ и казнитъ!

ПРІОРЪ.

Убійца неизвѣстенъ вамъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Я только
Подозрѣвать могу лишь одного.
Онъ мнѣ чужой, я съ нимъ ничѣмъ не связанъ,
Не поручалъ ему я ничего,
Узналъ его лишь въ день передъ убійствомъ,
А ранѣе не видѣлъ никогда.

ПРІОРЪ.

Такъ вы свободны отъ грѣха.

ЗИГЕНДОРФЪ (*горячо*).

О! правда?

ПРІОРЪ.

Вы сами такъ сказали; это знать—
Кому же лучше, какъ не вамъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Отецъ мой!
Я правду, только правду вамъ сказалъ,
Хотя не всю, быть можетъ; но скажите,
Что я невиненъ! Эта кровь на мнѣ
Лежитъ тяжелымъ бременемъ, какъ будто
Ея я пролилъ самъ, хотя, клянусь
Той Силой, что убійство запрещаетъ;—
Ея не только я не проливалъ,
Но даже пощадилъ врага однажды,
Когда я могъ, и можетъ быть, былъ долженъ
Убить его, насколько извинить
Самозащиту можно, отражая
Опаснаго и сильнаго врага.
Прошу, усердно за него молитесь
И за меня, какъ и за весь мой домъ;
Хотя, какъ я сказалъ вамъ, я невиненъ,
Но все-таки, не знаю, почему,
Мою невольно душу мучитъ совѣсть,
Какъ будто палъ онъ отъ меня иль близкихъ
Моихъ. Отецъ, молитесь за меня!
Мои молитвы были тщетны.

ПРІОРЪ.

Буду
За васъ молиться. Не тревожьтесь, графъ:
Невинны вы,—такъ будьте же спокойны,
Какъ свойственно невинности.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Увы!
Нѣтъ, не всегда невинности присуще
Спокойствіе,—я чувствую, что нѣтъ!

ПРІОРЪ.

Но такъ должно быть, если, обсуждая
Свои поступки, ясно видимъ мы
Ихъ истинную сущность. Не забудьте,
Какой великій праздникъ будетъ завтра;
Вы будете присутствовать на немъ
Среди знатнѣйшихъ всѣхъ особъ, и съ вами
Вашъ храбрый сынъ; примите жъ бодрый видъ
И посреди всеобщаго моленья
Къ Творцу за то, что благостью Своей
Онъ положилъ конецъ кровопролитью,—
Пусть эта кровь, которая не вами
Исторгнута, не отягчаетъ васъ,
Не омрачаетъ вашихъ думъ, какъ туча.
Иначе думать—значитъ быть чрезмѣрно
Чувствительнымъ. Забудьте этотъ страхъ:
Пусть угрызеньемъ мучится виновный.

(*Уходятъ*).

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Большая и великолѣпная готическая зала въ замкѣ Зигендорфъ, украшенная трофеями, знаменами и оружіемъ этой фамиліи.

Входятъ Арнгеймъ *и* Мейстеръ, *слуги графа* Зигендорфа.

АРНГЕЙМЪ.

Поторопись! Вернется скоро графъ,
А дамы ужъ у самаго подъѣзда.
Послалъ ли ты людей, чтобъ разыскать,
Кого велѣлъ намъ графъ найти?

МЕЙСТЕРЪ.

Повсюду
По Прагѣ мной разосланы гонцы;
Они снуютъ, ища, насколько можно
Узнать его по платью и лицу.
Чтобъ чортъ побралъ всѣ помпы и парады!
Все, что въ нихъ есть пріятнаго (а что
Въ нихъ можетъ быть пріятно?), достается
Лишь зрителямъ на долю, а изъ насъ
Никто не радъ имъ: въ этомъ я увѣренъ!

АРНГЕЙМЪ.

Ну, ладно! Вотъ графиня ужъ идетъ.

МЕЙСТЕРЪ.

Я предпочту день цѣлый на охотѣ
Трястись на скверной клячѣ, чѣмъ торчать
На этихъ глупыхъ празднествахъ и свиту
Вельможъ надутыхъ составлять!

АРНГЕЙМЪ.

Пошелъ!
Иди къ себѣ и тамъ ругайся вволю! (*Уходятъ*).

Входятъ графиня Жозефина Зигендорфъ *и* Ида Штраленгеймъ.

ЖОЗЕФИНА.

Ну, кончился спектакль—и слава Богу!

ИДА.

Какъ можете вы это говорить!
Мнѣ красота такая и не снилась!
Цвѣты, гирлянды, гордыя знамена,
Знать, рыцари, брильянты, платья, перья,
Веселость лицъ, прекраснѣйшіе кони,
Дымъ ѳиміама, солнца яркій свѣтъ,
Струившійся въ цвѣтныя стекла оконъ,
И тишина спокойная гробницъ,
И дивные, торжественные гимны,
Которые, казалось мнѣ, не столько
Стремились къ небу, сколько къ намъ сходили
Съ небесъ; органа рокотъ величавый,
Раскатами гремѣвшій въ вышинѣ,
Какъ гармоничный громъ; и бѣлизна
Одеждъ священныхъ, и толпы всей взоры,
Стремившіеся къ небу; миръ всеобщій,
Миръ каждаго и всѣхъ.... О, мать моя...

(*Обнимаетъ Жозефину*).

ЖОЗЕФИНА.

Любимое дитя мое! Надѣюсь,
Что скоро буду матерью тебѣ!

ИДА.

О, я ужъ ваша дочь! Какъ бьется сердце!
Послушайте!

ЖОЗЕФИНА.

Я чувствую, мой другъ!
Дай Богъ ему всегда лишь счастьемъ биться,
Не зная горя!

ИДА.

Горя? Никогда!
Что можетъ опечалить насъ, родная?
Какъ горевать мы можемъ, если любимъ
Другъ друга такъ всецѣло? Вы, графъ, Ульрихъ
И я, дочь ваша!

ЖОЗЕФИНА.

Бѣдный мой ребенокъ!

ИДА.

Какъ, вы меня жалѣете?

ЖОЗЕФИНА.

Нѣтъ, другъ мой,
Тебѣ я лишь завидую, но съ грустью,
Не въ смыслѣ грѣшной зависти,—порока
Всеобщаго людского, если только
Одинъ порокъ назвать всеобщимъ можно
Въ сравненіи съ другими въ этомъ мірѣ.

ИДА.

Я не хочу, чтобъ вы бранили міръ,
Гдѣ вы и Ульрихъ мой живете. Развѣ
Вы видѣли подобнаго ему?
Какъ гордо онъ межъ всѣми возвышался,
Какъ всѣ глаза смотрѣли на него!
Изъ всѣхъ окошекъ пышный дождь цвѣточный
Какъ сыпался къ ногамъ его,—обильнѣй,
Чѣмъ на другихъ! Вездѣ, гдѣ онъ ступалъ,
Цвѣты, казалось, сами вырастали,
И я готова клясться, что они
Растутъ еще и не увянутъ вѣчно!

ЖОЗЕФИНА.

Льстецъ маленькій! Ты Ульриха испортишь
Такими похвалами, если онъ
Услышитъ ихъ.

ИДА.

Нѣтъ, ихъ онъ не услышитъ!
Ему не смѣю столько я сказать:
Вѣдь я его боюсь.

ЖОЗЕФИНА.

Зачѣмъ же? Ульрихъ
Тебя такъ любитъ.

ИДА.

Да, но не могу
Въ бесѣдѣ съ нимъ я выразить словами
Всего того, что думаю о немъ.
Притомъ порой онъ трепетъ мнѣ внушаетъ.

ЖОЗЕФИНА.

Но почему жъ?

ИДА.

Какой то мрачной тучей
Взоръ голубыхъ очей его порой
Внезапно покрывается. При этомъ
Угрюмо онъ молчитъ.

ЖОЗЕФИНА.

У всѣхъ мужчинъ
Въ такое время смутное, какъ наше,
Есть много думъ.

ИДА.

А я имѣть не въ силахъ
Иныя думы, кромѣ думъ о немъ.

ЖОЗЕФИНА.

Есть много и другихъ, по мнѣнью свѣта,
Ничуть не хуже Ульриха, мой другъ.
Вотъ, напримѣръ, хоть молодой графъ Вальдорфъ.
Съ тебя онъ глазъ все время не спускалъ.

ИДА.

А я и не замѣтила: я только
На Ульриха смотрѣла. На него
Взглянули ль вы въ тотъ мигъ, когда колѣна
Всѣ преклонили? Прослезилась я,
Но, хоть глаза мнѣ слезы застилали,
Казалось мнѣ, что на меня съ улыбкой
Смотрѣлъ онъ.

ЖОЗЕФИНА.

Нѣтъ, я видѣла лишь небо,
Къ которому глаза я подняла,
Со всѣмъ народомъ вмѣстѣ.

ИДА.

Я на небѣ
Сама была душою, но смотрѣла
На Ульриха.

ЖОЗЕФИНА.

Пойдемъ теперь къ себѣ;
Сюда придутъ мужчины ждать обѣда,
А мы пока освободимся тамъ
Отъ пышныхъ перьевъ и отъ длинныхъ шлейфовъ.

ИДА.

Да и отъ драгоцѣнностей тяжелыхъ,
Давящихъ мнѣ и голову и грудь,
Сверкая въ діадемѣ и въ корсажѣ.
Иду я съ вами, дорогая мать.

(*Входятъ графъ* Зигендорфъ, *возвращающійся съ торжества, въ полномъ парадномъ костюмѣ, и* Людвигъ).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Что жъ, онъ еще не найденъ?

ЛЮДВИГЪ.

Ищутъ всюду

Старательно, и если въ Прагѣ онъ,
Его найдутъ навѣрное.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Гдѣ Ульрихъ?

ЛЮДВИГЪ.

Онъ кружною дорогою поѣхалъ
Съ толпою знатныхъ юношей, но ихъ
Оставилъ вскорѣ. Кажется, минуту
Тому назадъ графъ молодой проѣхалъ
Со свитою черезъ подъемный мостъ.

(*Входитъ* Ульрихъ *великолѣпно одѣтый*).

ЗИГЕНДОРФЪ (*Людвигу*).

Идите же, ищите неустанно
Того, о комъ я говорилъ (*Людвигъ уходитъ*).
Ахъ, Ульрихъ!
Какъ страстно видѣть я тебя желалъ!

УЛЬРИХЪ.

Исполнилось теперь желанье ваше;
Вотъ я: смотрите!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Я убійцу видѣлъ!

УЛЬРИХЪ.

Какого? Гдѣ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Венгерца видѣлъ я,
Убійцу Штраленгейма!

УЛЬРИХЪ.

Не во снѣ ли?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, на яву! Его я видѣлъ, слышалъ,
И онъ меня отважился назвать
По имени!

УЛЬРИХЪ.

По имени? Какъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Вернеръ!
Такое имя прежде я носилъ.

УЛЬРИХЪ.

Его ужъ нѣтъ,—забыть его должны вы.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, никогда; о, никогда! Сплелось
Съ моей судьбою тѣсно это имя:
Его не будетъ на надгробномъ камнѣ
Моемъ, но въ гробъ сведетъ меня оно!

УЛЬРИХЪ.

Но къ дѣлу! Что жъ венгерецъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Слушай, слушай!
Кишѣлъ народомъ храмъ; запѣли гимнъ
Te Deum, и казалось, въ общемъ кликѣ
„Хвалите Бога" голосъ всѣхъ народовъ,
Не только хоръ одинъ, гремѣлъ, какъ громъ,
Благодаря за день единый мира,
Наставшій послѣ тридцати годовъ,
Изъ коихъ каждый былъ кровопролитнѣй
Всѣхъ предыдущихъ. Какъ и всѣ вельможи,
Я всталъ и съ нашей пышной галлереи,
Среди гербовъ роскошныхъ и знаменъ,
Глядѣлъ я внизъ на поднятыя лица
Молящихся,—и вдругъ былъ пораженъ
Какъ будто вспышкой молніи (минуту,—
Не болѣе, продлился этотъ взглядъ):
Увидѣлъ я—и потерялъ способность
Все видѣть кромѣ этого,—лицо
Венгерца! Мнѣ невольно стало дурно.
Когда же я очнулся отъ тумана,
Сковавшаго мнѣ чувства, и опять
Внизъ посмотрѣлъ, — ужъ онъ куда то скрылся.
Окончился молебенъ, и пошла
Процессія обратно.

УЛЬРИХЪ.

Продолжайте.

ЗИГЕНДОРФЪ.

И вотъ на мостъ Молдавскій мы вошли.
На немъ толпа веселая шумѣла,
Безчисленныя лодки на рѣкѣ,
Полны народа въ праздничныхъ нарядахъ,
По весело сверкающимъ волнамъ
Неслись; убранствомъ улицы блистали,
Солдатъ шагали длинные ряды
И музыка торжественно гремѣла,
И доносился пушекъ дальній громъ,
Прощавшихся какъ будто всенародно
Съ великими дѣлами долгихъ войнъ.
И все жъ ничто,—ни гордыя знамена
Надъ головой моей, ни конскій топотъ,
Ни гулъ толпы, бѣжавшей мимо насъ,—
Ничто во мнѣ не заглушало мысли
Объ этомъ человѣкѣ, хоть его
Присутствія уже не ощущалъ я.

УЛЬРИХЪ.

Такъ болѣе его вы не видали?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Какъ, умирая, раненый солдатъ
Прохладной влаги жаждетъ, такъ я жаждалъ
Его увидѣть, и не могъ; но, вмѣсто
Его, одно я только видѣлъ...

УЛЬРИХЪ.

Что?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Султанъ твой, колебавшійся надъ всѣми,
Надъ самою высокой, самой милой
Изъ всѣхъ головъ, среди плюмажей пестрыхъ,
Стремившихся, какъ радостный потокъ,
Вдоль улицъ пышно разодѣтой Праги.

УЛЬРИХЪ.

Какое жъ тутъ къ венгерцу отношенье?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Большое: я, любуясь на тебя,
Почти ужъ забывать сталъ о венгерцѣ;
Но пушки смолкли, музыка играть
Вдругъ перестала; крикъ толпы смѣнился
Взаимными привѣтствіями; тутъ то
Услышалъ я, какъ позади меня
Какой то тихій и невнятный голосъ,—
Но для меня грознѣй и громче пушекъ,—
Вдругъ это слово—*Вернеръ*—произнесъ.

УЛЬРИХЪ.

Тотъ голосъ былъ...

ЗИГЕНДОРФЪ.

Его! Я оглянулся,—
Узналъ его—и въ обморокъ упалъ.

УЛЬРИХЪ.

Ну, вотъ! И это видѣли?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Сейчасъ же
Услужливой заботой окружавшихъ
Я изъ толпы былъ вынесенъ; они
Лишь видѣли мой обморокъ, причины жъ
Его не знали; ты же былъ вдали
(Въ процессіи насъ, старшихъ, отдѣлили
Отъ молодыхъ)—и мнѣ помочь не могъ ты.

УЛЬРИХЪ.

Зато теперь я помогу вамъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Въ чемъ?

УЛЬРИХЪ.

Въ томъ, чтобъ найти для васъ венгерца, или...
Но что мы будемъ дѣлать съ нимъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Не знаю.

УЛЬРИХЪ.

Такъ для чего же намъ его искать?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Затѣмъ, что я покоя знать не буду,
Пока не будетъ найденъ онъ. Судьба
Его, моя и Штраленгейма—тѣсно
Переплелась и намъ ее распутать
Нельзя, пока... (*Входитъ* СЛУГА).

СЛУГА.

Пріѣзжій вашу свѣтлость
Желаетъ видѣть.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Кто?

СЛУГА.

Онъ не сказалъ
Намъ имени.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ну, все равно: впустите.

(*Слуга вводитъ* ГАБОРА *и уходитъ*).

А!

ГАБОРЪ.

Это Вернеръ! Это онъ!

ЗИГЕНДОРФЪ (*надменно*).

Да, сударь:
Я тотъ, кого когда то знали вы
Подъ именемъ такимъ. Ну, что жъ?

ГАБОРЪ (*осматриваясь*).

Обоихъ
Я узнаю: какъ, кажется,—отецъ
И сынъ. Я слышалъ, графъ, что вы иль ваши
Служащіе меня искали. Я,
Какъ видите, пришелъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, васъ искали
И, наконецъ, нашли. Васъ обвиняютъ
Въ ужасномъ преступленьи; совѣсть вамъ
Должна сказать, въ какомъ.

ГАБОРЪ.

Въ какомъ? Скажите—
И я готовъ послѣдствія нести.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, и нести ихъ будете вы, если...

ГАБОРЪ.

Во-первыхъ, кто же обвиняетъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Все,
Хотя бы и не всѣ: всеобщій голосъ,
Все то, что самъ я видѣлъ, время, мѣсто,
Всѣ, словомъ, обстоятельства на васъ
Кладутъ пятно и взводятъ обвиненье.

ГАБОРЪ.

И только на меня? Не торопитесь
Съ своимъ отвѣтомъ; вспомните,—быть можетъ,
Замѣшанъ здѣсь и кто нибудь другой?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Какъ, негодяй, ты вздумалъ издѣваться?
Играть своею собственной виной?
Изъ всѣхъ созданій лучше всѣхъ ты знаешь,
Насколько тотъ невиненъ, на кого
Взвести ты хочешь свой извѣтъ кровавый!
Но долго я съ злодѣемъ толковать
Не стану; судъ имѣть съ нимъ будетъ дѣло.
Сейчасъ же, безъ увертокъ, отвѣчай:
Что на мое ты скажешь обвиненье?

ГАБОРЪ.

Оно невѣрно.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Чѣмъ же можешь ты
Его мнѣ опровергнуть?

ГАБОРЪ.

Настоящій
Убійца здѣсь находится межъ нами.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Такъ назови его!

ГАБОРЪ.

Но, можетъ быть,
Онъ имена различныя имѣетъ,
Какъ ваша свѣтлость въ дни былые.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Если
Меня имѣешь ты въ виду, то знай,
Что мнѣ твои извѣты не опасны.

ГАБОРЪ.

Да, вы могли бъ спокойно встрѣтить ихъ.
Но я убійцу знаю.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Гдѣ жъ онъ?

ГАБОРЪ (*указывая на Ульриха*).

Близко:
Онъ возлѣ васъ.

(*Ульрихъ бросается на Габора, но Зигендорфъ становится между ними*).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Злодѣй и лжецъ безстыдный!
Но ты убитъ не будешь: эти стѣны
Мои, и въ нихъ найдешь ты безопасность
(*Къ Ульриху*).
Опровергай же, Ульрихъ, клевету,
Какъ я ее опровергаю. Право,
Ложь эта такъ чудовищна, ужасна,
Что кажется не на землѣ рожденной;
Но успокойся: пусть она сама
Себя разрушитъ; а его не трогай.

(*Ульрихъ старается быть спокойнымъ*).

ГАБОРЪ.

Вы только, графъ, взгляните на него
И слушайте, что я скажу.

ЗИГЕНДОРФЪ (*взглядывая на Габора и потомъ на Ульриха*).

Я слушать
Тебя готовъ. (*Ульриху*). О Боже! Ты глядишь...

УЛЬРИХЪ.

Какъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Какъ глядѣлъ ты въ страшную ту ночь
Въ саду.

УЛЬРИХЪ (*дѣлая надъ собою усиліе*).

Пустое!

ГАБОРЪ.

Вы должны спокойно,
Графъ, выслушать меня. Сюда пришелъ я
Не васъ ища, а потому, что *вы*
Меня искали. Въ храмѣ, преклоняя
Свои колѣна посреди толпы,
Не думалъ я, что Вернера бѣднягу
Увижу межъ сенаторовъ и принцевъ;
Но вы меня призвали,—я пришелъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Прошу васъ продолжать.

ГАБОРЪ.

Сперва позвольте
Спросить: кому же выгодна была
Смерть Штраленгейма? Мнѣ? Но я, какъ прежде,
Такъ бѣденъ и теперь: еще бѣднѣе—
Отъ подозрѣній, павшихъ на меня!
Баронъ въ ту ночь не потерялъ ни денегъ,
Ни драгоцѣнностей,—утратилъ онъ
Лишь жизнь свою, которая мѣшала
Правамъ другихъ на титулъ и владѣнья,
Достойныя, пожалуй, и князей.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Намеки эти, вздорны и неясны,
Относятся и къ сыну, и ко мнѣ.

ГАБОРЪ.

Но что же съ этимъ я могу подѣлать?
Послѣдствія пусть лягутъ на того,
Кто чувствуетъ себя во всемъ виновнымъ.
Я обращаюсь къ вамъ, графъ Зигендорфъ,
Затѣмъ, что знаю вашу я невинность
И справедливымъ васъ считаю; но—
Предъ тѣмъ, какъ я разсказъ начну,—скажите:
Рѣшитесь ли вы защищать меня,
Рѣшитесь ли разспрашивать?

(*Зигендорфъ смотритъ сперва на венгерца, потомъ на Ульриха, который отстегнулъ свою саблю и чертитъ ею на полу, не вынимая ее изъ ноженъ*).

УЛЬРИХЪ (*взглянувъ на отца*).

Велите,
Чообъ продолжалъ онъ.

ГАБОРЪ.

Графъ, я безоруженъ:
Велите сыну саблю положить.

УЛЬРИХЪ (*презрительно предлагая Габору саблю*).

Я вамъ могу ее отдать.

ГАБОРЪ.

Нѣтъ, сударь;
Достаточно, чтобъ были безоружны
Мы оба. Мнѣ не хочется носить
Оружье, на которомъ больше крови,
Чѣмъ отъ сраженій быть могло на немъ.

УЛЬРИХЪ (*съ презрѣніемъ бросая саблю на полъ*).

Однако это самое (а, впрочемъ,

Быть можетъ, и подобное другое)
Оружье васъ когда то пощадило,
Сперва обезоруживъ и отдавъ
Во власть мою.

ГАБОРЪ.

Конечно, это правда,
И не забылъ я этого; но вы
Обдуманно меня щадили: съ цѣлью
Меня чужимъ безчестьемъ запятнать.

УЛЬРИХЪ.

Ну, продолжайте. Я не сомнѣваюсь,—
Разсказчикъ и разсказъ другъ друга стоятъ
Но слушать дальше—стоитъ ли отцу?

ЗИГЕНДОРФЪ (*взявъ сына за руку*).

О сынъ мой, я свою невинность знаю,
Не сомнѣваюсь также и въ твоей;
Но человѣку этому терпѣнье
Я обѣщалъ,—пускай доскажетъ онъ.

ГАБОРЪ.

Не буду васъ задерживать разсказомъ
О собственной моей особѣ; рано
Я началъ жить и сталъ такимъ, какъ свѣтъ
Меня образовалъ. Разъ зимовалъ я
Во Франкфуртѣ на Одерѣ; и вотъ
Въ одномъ изъ мѣстъ, гдѣ разный людъ сходился
И гдѣ бывалъ, хоть изрѣдка, и я,—
Пришлось разсказъ мнѣ слышать о событьи
Довольно странномъ, происшедшемъ тамъ
Въ послѣднихъ числахъ февраля. Былъ посланъ
Правительствомъ отрядъ солдатъ, который,
Бой выдержавъ серьезный, захватилъ
Грабителей отчаянную шайку,
Считавшихся сперва за мародеровъ
Изъ лагеря враждебнаго. И что жъ?
Совсѣмъ не такъ на дѣлѣ оказалось:
Бандиты эти были изъ лѣсовъ
Богеміи—обычнаго пріюта
Разбойниковъ; набѣгъ иль просто случай
Оттуда ихъ въ Лузацію завелъ.
Какъ говорятъ, межъ ними было много
Лицъ, знатныхъ по рожденью; ради нихъ
Военный судъ тогда умолкъ на время;
Позднѣе жъ были высланы они
Черезъ границу; вольный городъ Франкфуртъ
Потомъ судилъ гражданскимъ ихъ судомъ.
Что съ ними было послѣ,—я не знаю.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Причемъ же тутъ мой Ульрихъ?

ГАБОРЪ.

Между ними
Былъ, по разсказамъ, человѣкъ одинъ,
Природою чудесно одаренный:
Происхожденье, счастье, юность, силу
И красоту божественную, вмѣстѣ
Съ отвагой несравненной, приписала
Ему молва; притомъ такую власть
Вездѣ имѣлъ онъ надъ людьми,—не только
Среди своихъ товарищей, но даже
Надъ членами суда,—что объяснить
Могли все это только чародѣйствомъ:
Такъ велико его вліянье было!
Что до меня,—то мало вѣрю я
Въ магическія силы, кромѣ денегъ,
А потому подумалъ я, что просто
Весьма богатъ онъ. Но въ душѣ моей
Различныя тутъ чувства разыгрались
И страстно захотѣлось мнѣ найти
Такое диво, чтобъ его хоть видѣть.

ЗИГЕНДОРФЪ.

И что же—вы увидѣли его?

ГАБОРЪ.

Извольте слушать. Вскорѣ оказался
Благопріятный случай. Вышла ссора
На площади; сбѣжалась тутъ толпа;
То былъ одинъ изъ бурныхъ тѣхъ моментовъ,
Когда невольно люди весь свой нравъ,
Какой онъ есть, способны обнаружить
Поступками и выраженьемъ лицъ.
И тутъ, его увидѣвъ вдругъ, невольно
Я мысленно воскликнулъ: „это онъ!",
Хоть, какъ всегда, онъ окруженъ былъ знатью.
Я чувствовалъ, что не ошибся я;
Сталъ наблюдать внимательно и долго
За нимъ, его наружность изучилъ,
Походку, ростъ, движенья и манеры;
Но, несмотря на все, что было въ немъ
Хорошаго,—будь это отъ природы
Иль воспитанья,—мнѣ казалось, ясно
Въ немъ могъ я взоръ убійцы различить
И сердце гладіатора.

УЛЬРИХЪ (*смѣясь*).

Недурно

ГАБОРЪ.

А дальше будетъ лучше. Онъ казался
Однимъ изъ тѣхъ, предъ кѣмъ сама Фортуна
Склониться рада, какъ предъ смѣльчакомъ,
И отъ кого судьба людей нерѣдко
Зависитъ; и влекло меня къ нему
Какое то таинственное чувство,
Котораго никакъ я не могу
Вамъ описать: мнѣ думалось, что счастье
Найду я въ немъ; но въ этомъ я ошибся.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Какъ, можетъ быть, ошиблись и теперь.

ГАБОРЪ.

Я слѣдовалъ за нимъ, его вниманья
Хотѣлъ добиться,—въ этомъ я успѣлъ,
Но дружбы съ нимъ я не достигъ. Хотѣлъ онъ
Покинуть городъ тайно; съ нимъ мы вмѣстѣ
Ушли оттуда; вмѣстѣ мы дошли
До городка, гдѣ Вернеръ укрывался
И гдѣ спасенъ былъ Штраленгеймъ. Теперь
У цѣли мы... Отважитесь ли слушать,
Что было дальше?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Слушать долженъ я,
Иль слишкомъ много слушалъ я напрасно.

ГАБОРЪ.

Когда я васъ увидѣлъ, то сейчасъ
Понятно стало мнѣ, что ваше званье
Гораздо выше внѣшности. Хотя
Не мнилъ его найти я столь высокимъ,
Какъ нахожу теперь,—но очень рѣдко
Встрѣчалъ людей я, даже въ высшемъ свѣтѣ,
Съ такимъ умомъ возвышеннымъ, какъ вашъ.
Вы были нищій; жалкіе лохмотья
Имущество все ваше составляли;
Я предложилъ свой тощій кошелекъ,—
Но раздѣлить его вы отказались.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Надѣюсь я, что вашимъ должникомъ
Я черезъ тотъ отказъ не сталъ; зачѣмъ же
Напоминать объ этомъ?

ГАБОРЪ.

Все жъ вы мнѣ
Обязаны кой въ чемъ, хоть и не въ этомъ;
А я обязанъ вамъ своимъ спасеньемъ,
По крайней мѣрѣ кажущимся, въ ночь,
Когда за мной холопы Штраленгейма
Гнались, какъ будто я его ограбилъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, я тебя укрылъ; а ты, змѣя
Ожившая, меня и домъ мой губишь!

ГАБОРЪ.

Графъ, никого не обвиняю я,—
Я только защищаюсь. Вы же сами,
Какъ обвинитель, привлекли меня
Къ суду. Мое судилище—вашъ замокъ,
А ваше сердце—судъ мой; одного
У васъ прошу я: будьте справедливы;
Я жъ буду милосердъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ты—милосердъ?
Ты, низкій клеветникъ!

ГАБОРЪ.

Я! Это право
Останется за мной въ концѣ концовъ!
Меня укрыли вы въ проходѣ тайномъ,
Который былъ извѣстенъ вамъ,
Какъ вы сказали. Вотъ, глухою ночью,
Наскучивъ тамъ блужданьемъ въ темнотѣ,
Боясь, найду ль обратную дорогу,—
Вдали я вдругъ увидѣлъ слабый свѣтъ,
Пробившійся сквозь щель, едва мерцавшій;
Идя къ нему, до двери я дошелъ,
Которая была секретнымъ входомъ
Въ одну изъ комнатъ. Тихо, осторожно
Раздвинувъ щель запора, я взглянулъ—
И что жъ? Постель, всю красную, увидѣлъ,
На ней же Штраленгейма.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Какъ? онъ спалъ—
И ты убилъ его! Злодѣй!

ГАБОРЪ.

Лежалъ онъ
Уже убитый, весь въ крови, какъ жертва.
Тутъ у меня застыла въ жилахъ кровь.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Но онъ одинъ былъ? Никого другого
Тамъ не было? Не видѣлъ ты...

(Останавливается отъ волненья).

ГАБОРЪ.

Того,
Кого назвать вамъ страшно, мнѣ же — вспомнить,
Ужъ не было въ той комнатѣ.

ЗИГЕНДОРФЪ (*Ульриху*).

Мой мальчикъ!
Невиненъ ты! Когда то ты меня
Просилъ сказать тебѣ, что я невиненъ,—
Теперь скажи мнѣ это о себѣ!

ГАБОРЪ.

Постойте же! Теперь ужъ не могу я
Не разсказать всего, хотя бъ на насъ
Обрушились отъ гнѣва эти стѣны.
Вы помните, иль, можетъ быть, не вы,
А сынъ вашъ помнитъ,—что въ тотъ день послѣдній
Передъ убійствомъ въ комнатахъ барона
Перемѣнили всѣ замки; вашъ сынъ
За этимъ наблюдалъ. Онъ лучше знаетъ,
Какимъ путемъ къ барону онъ вошелъ, —
Но вотъ что я увидѣлъ тамъ: въ прихожей,
Куда была полуоткрыта дверь,
Стоялъ какой то человѣкъ и руки
Усердно мылъ, запачканныя кровью,
Причемъ суровый, безпокойный взглядъ
Оттуда онъ порой бросалъ на тѣло
Кровавое,—но трупъ недвиженъ былъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

О, Господи!

ГАБОРЪ.

Лицо его я видѣлъ
Настолько жъ ясно, какъ я вижу ваше;
Не ваше было то лицо, хоть сходство
Въ немъ было съ вами, — стоитъ лишь взглянуть
На молодого графа! Выраженье
Его теперь, конечно, не такое,
Но было и такимъ, когда недавно
Его я въ преступленьи обвинилъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Такъ, значитъ,..

ГАБОРЪ (*перебивая его*).

Нѣтъ, позвольте мнѣ докончить!
Все выслушать должны вы до конца.
Подумалъ я, что вы и сынъ вашъ (ясно
Мнѣ сдѣлалось, что есть межъ вами связь)
Меня нарочно завлекли въ ловушку,
Какъ будто дать желая мнѣ пріютъ,
Чтобъ на меня свалить свое злодѣйство.
Моею первой мыслью было мщенье,
Но я имѣлъ короткій лишь кинжалъ
(Меча со мною не было); притомъ же
Съ противникомъ не могъ равняться я
Ни силою, ни ловкостью, какъ въ этомъ
Я убѣдился утромъ. Повернувъ,
Я побѣжалъ—во тьмѣ; скорѣй случайность,
Чѣмъ ловкость, привела меня къ той двери,
Что въ комнату вела, гдѣ спали вы;
Застань я васъ не спящимъ,—Небо знаетъ,
Что подсказать могло бъ мнѣ подозрѣнье
И чувство мщенья, но такъ безмятежно,
Какъ Вернеръ спалъ, виновный спать не могъ.

ЗИГЕНДОРФЪ.

И все же сны ужасные я видѣлъ!
И какъ недолго спалъ я: не зашли
Еще и звѣзды, а ужъ я проснулся.
Зачѣмъ меня ты пощадилъ! Мнѣ снился
Отецъ мой, и теперь мой сонъ открытъ!

ГАБОРЪ.

Не я виной, что сонъ вашъ разгадалъ я.
Ну, хорошо; я убѣжалъ и скрылся,
И вотъ чрезъ много мѣсяцевъ судьбой
Я приведенъ былъ въ Прагу и увидѣлъ,
Что Вернеръ графомъ Зигендорфомъ сталъ.
Кого искалъ напрасно я въ лачугахъ,
Тотъ сталъ владѣльцемъ княжескихъ дворцовъ.
Узнавъ меня, искать меня вы стали
И вотъ нашли. Теперь я разсказалъ
Свою вамъ тайну и предоставляю
Ее вамъ оцѣнить.

ЗИГЕНДОРФЪ (*подумавъ*).

Да; это такъ.

ГАБОРЪ.

Что означаетъ это размышленье?
Въ немъ месть иль чувство правды говоритъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Не то и не другое; размышляю
Я лишь о томъ, что стоитъ вашъ секретъ.

ГАБОРЪ.

Легко узнать вамъ отъ меня объ этомъ.
Вы были бѣдны; я, хоть самъ былъ бѣденъ,
Но все-таки настолько былъ богатъ,
Что вы мнѣ позавидовать могли бы;
Я предложилъ свой кошелекъ,—вы помощь
Мою отвергли; я не буду съ вами
Такъ щепетиленъ. Вы теперь богаты,
Могущественны, знатны; ну, конечно,
Меня вы понимаетс?

ЗИГЕНДОРФЪ.

О, да!

ГАБОРЪ.

Но не совсѣмъ. Вы скажете, пожалуй,
Что я продаженъ и не слишкомъ прямъ;
Возможно, впрочемъ, что судьбина злая
Меня и вправду сдѣлала такимъ.
Вы мнѣ должны помочь; я вамъ помогъ бы.
Притомъ мое не разъ страдало имя
За васъ и сына вашего. Прошу
Теперь все это взвѣсить хорошенько.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Вы не боитесь нѣсколько минутъ
Здѣсь подождать, пока мы все обсудимъ?

ГАБОРЪ (*бросая взглядъ на Ульриха, который стоитъ, прислонясь къ колоннѣ*).

А если я рѣшусь?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Я поручусь
За вашу жизнь—своею. Удалитесь
Вотъ въ эту башню (*Открываетъ дверь, ведущую въ башню*).

ГАБОРЪ (*нерѣшительно*).

Во второй ужъ разъ
Пріютъ вы мнѣ даете „безопасный“.

ЗИГЕНДОРФЪ.

А развѣ первый былъ не таковымъ?

ГАБОРЪ.

Не знаю, право, какъ сказать... Но, впрочемъ,
Воспользуюсь вторымъ. Еще защита
Есть у меня: я въ Прагѣ не одинъ.
И, еслибы меня вдругъ захотѣли,
Какъ Штраленгейма, уложить,—найдутся
Здѣсь языки, которые забьютъ

Изъ-за меня изрядную тревогу.
Рѣшайте же скорѣе!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Постараюсь.
Еще одно: мое здѣсь слово свято
И нерушимо лишь средь этихъ стѣнъ;
За то, что внѣ ихъ будетъ,—не ручаюсь.

ГАБОРЪ

Достаточно и этого съ меня.

ЗИГЕНДОРФЪ (*указывая на саблю Ульриха, лежащую на полу*).

Возьмите также этотъ мечъ; я видѣлъ,
Что жадно вы смотрѣли на него
И съ недовѣріемъ на его владѣльца.

ГАБОРЪ (*беретъ*).

Беру и, если нужно, жизнь свою
Не дешево продамъ я. (*Уходитъ въ башню; Зигендорфъ закрываетъ за нимъ дверь*).

ЗИГЕНДОРФЪ (*подходя къ Ульриху*).

Ну, графъ Ульрихъ
(Тебя не смѣю сыномъ я назвать),—
Что скажешь ты?

УЛЬРИХЪ.

Онъ разсказалъ вамъ правду.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Чудовище! Какъ? Правду?

УЛЬРИХЪ.

Да, отецъ мой!
Правдивѣйшую правду! Хорошо,
Что выслушать его вы согласились:
Что знаемъ мы, то можемъ отразить!
Его должны мы привести къ молчанью.

ЗИГЕНДОРФЪ.

О, да, хотя бъ цѣною половины
Моихъ владѣній; если жъ онъ иль ты
Могли бы эту мерзость опровергнуть,—
Вторую половину уступить
Я былъ бы радъ.

УЛЬРИХЪ.

Отецъ, теперь не время
Для болтовни пустой и для притворства;
Я повторяю: правду онъ сказалъ,
И мы должны его молчать заставить.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Но какъ?

УЛЬРИХЪ.

Какъ Штраленгейма. Неужели
Такъ глупы вы, что не могли понять
Все это раньше? Въ ночь, когда въ саду я
Васъ встрѣтилъ,—какъ о смерти Штраленгейма
Я могъ бы знать и вамъ о ней сказать,
Не будь я самъ свидѣтелемъ той смерти?
И еслибъ челядь принца это знала,
Ужель она позволила бы мнѣ,
Чужому человѣку, обратиться
Къ полиціи? И развѣ самъ слоняться
Я сталъ бы тамъ? Вы сами, Вернеръ, вы
Предметъ вражды и страха для барона,
Ужель бѣжать нашли бы вы возможность
Иначе, какъ за нѣсколько часовъ
Предъ тѣмъ, какъ васъ могли бы заподозрить?
Испытывалъ я васъ и изучалъ,
Не зная, слабы ль вы, иль лицемѣрны,
И я нашелъ васъ слабымъ, но при этомъ
Вы были такъ довѣрчивы, что, право,
Я сомнѣвался, точно ль слабы вы.

ЗИГЕНДОРФЪ.

Простой убійца и отцеубійца!
Что сдѣлалъ я, что въ мысляхъ я имѣлъ
Такого, чтобъ ты могъ меня представить
Сообщникомъ злодѣйства твоего?

УЛЬРИХЪ.

Отецъ мой, лучше не будите бѣса,
Котораго унять не въ силахъ вы.
Теперь должны мы дѣйствовать согласно,
Теперь семейнымъ спорамъ мѣста нѣтъ!
Васъ мучили; что жъ, могъ я быть спокойнымъ?
Какъ думаете вы: ужель я могъ,
Не возмущаясь, слушать эти рѣчи?
Вы научили чувствовать меня
За васъ и за себя, и только,—больше
Ни за кого и ни за что; не такъ ли?

ЗИГЕНДОРФЪ.

О, вотъ отца покойнаго проклятье!
Теперь, я вижу, дѣйствуетъ оно!

УЛЬРИХЪ.

Пусть дѣйствуетъ: въ гробу оно и смолкнетъ!
Прахъ мертвыхъ—слабый врагъ; бороться съ нимъ
Гораздо легче, чѣмъ съ кротомъ, который
Подъ нашими ногами ходъ свой роетъ:
Онъ слѣпъ, но живъ. Послушайте жъ меня!
Меня вы осуждаете, но *кто* же
Училъ меня, чтобъ слушалъ я его?
Кто говорилъ, что могутъ преступленья
При случаѣ простительными быть,
Что страсть — природа наша, что даръ счастья
Предшествуетъ всегда дарамъ небесъ?
Кто доказалъ мнѣ, что одна лишь *нервность*
Могла его гуманность сохранить?
Кто у меня похитилъ всю возможность
Себя и родъ свой прямо защищать
При яркомъ свѣтѣ дня? Въ своемъ позорѣ
Кто, можетъ быть, меня запечатлѣлъ

Печатью незаконности, себя же—
Преступника клеймомъ? Тотъ человѣкъ,
Который слабъ и въ то же время пылокъ,
Другихъ лишь можетъ возбуждать къ дѣ-
ламъ,
Какія самъ бы сдѣлалъ, да не смѣетъ!
Вамъ странно, что дерзнулъ я *сдѣлать* то,
О чемъ вы только *думали*? Довольно жъ,
Покончили мы съ правдой и неправдой,—
Теперь пора о слѣдствіяхъ судить,
Не о причинахъ! Штраленгейма спасъ я,
Не знавъ его, невольно повинуясь
Минутному порыву: я бы спасъ
Вассала иль собаку такъ же точно.
Когда жъ его *узналъ* я, какъ врага,
То я его убилъ,—но не изъ мести.
Онъ просто былъ мнѣ камнемъ на пути
И, какъ рычагъ, его я отодвинулъ.
Не безъ причины такъ я поступилъ,
А потому, что онъ служилъ помѣхой
Для нашего прямого назначенья.
Его, когда онъ былъ для насъ чужой,
Я сохранилъ; онъ мнѣ *обязанъ* жизнью,—
Потомъ я *долгъ* потребовалъ назадъ;
Онъ, вы и я надъ пропастью стояли,
Куда толкнулъ я нашего врага.
Вы первый тотъ фитиль зажгли; *вы* первый
Путь показали! Покажите жъ мнѣ
Иной къ спасенью путь, иль предоставьте
Мнѣ дѣйствовать!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Покончилъ съ жизнью я!

УЛЬРИХЪ.

Покончимъ лучше съ тѣмъ, что жизнь намъ
портитъ:
Съ семейною враждой и съ обвиненьемъ
Во всемъ, чего нельзя ужъ измѣнить!
Намъ нечего ни узнавать, ни прятать;
Я ничего на свѣтѣ не боюсь
И здѣсь, у насъ въ стѣнахъ, найдутся люди,—
Хотя вы ихъ не знаете,—которымъ
Весьма легко отважиться на все.
Васъ обезпечитъ ваше положенье
Высокое; что здѣсь произойдетъ,
Большого любопытства не возбудитъ;
Храните жъ тайну, зоркимъ глазомъ вкругъ
Глядите, не волнуйтесь, не болтайте,—
А остальное предоставьте мнѣ:
Не нужно, чтобъ болтунъ межъ нами *третій*
Здѣсь путался. (*Уходитъ*).

ЗИГЕНДОРФЪ (*одинъ*).

Во снѣ ль я, на яву ли?
Какъ, это—залы моего отца?
А тотъ—мой сынъ? *Мой* сынъ! Его отецъ я!
Всегда отъ крови и отъ темныхъ дѣлъ
Бѣжалъ я, ненавидѣлъ ихъ,—и что же?
Весь погруженъ теперь я въ адѣ этомъ!
Скорѣй, скорѣй,—иль снова кровь прольется,
Венгерца кровь! Имѣетъ Ульрихъ здѣсь
Помощниковъ,—какъ я не догадался!
Безумецъ я! Вѣдь волки стаей рыщутъ!
Есть у него,—не только у меня,—
Отъ башни ключъ, отъ двери той, что въ
башню
Ведетъ, съ другой лишь стороны... Скорѣй,
Иль буду вновь отцомъ я преступленья,
Какъ сталъ уже преступника отцомъ.
Габоръ, Габоръ!

(*Уходитъ въ башню, запирая за собою дверь*).

СЦЕНА II.

Внутренность башни.

ГАБОРЪ И ЗИГЕНДОРФЪ.

ГАБОРЪ.

Кто здѣсь зоветъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Я, Зигендорфъ! Скорѣе
Возьми вотъ это и бѣги! Бѣги,
Минуты не теряя! (*Срываетъ съ себя бриллiантовую звѣзду и другія драгоцѣнности и суетъ ихъ въ руки Габору*).

ГАБОРЪ.

Что же дѣлать
Мнѣ съ этимъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Все, что хочешь: продавай
Иль береги и счастливъ будь,—но только
Спѣши, иль ты пропалъ!

ГАБОРЪ.

Вы поручились
За жизнь мою своею честью!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Правда;
Теперь я слово выкупилъ свое.
Бѣги скорѣй, теперь я не хозяинъ
Въ своемъ дворцѣ, не повелитель я
Слугъ собственныхъ, и даже эти стѣны
Ужъ не мои, а то я имъ велѣлъ бы
Обрушиться и раздавить меня.
Бѣги, иль будешь ты убитъ!

ГАБОРЪ.

А, вотъ какъ!
Прощайте же! Однако сами, графъ,
Вы этого свиданья рокового
Желали!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, но дважды роковымъ

Пускай оно не станетъ. Торопись же!

ГАБОРЪ.

Идти мнѣ тѣмъ путемъ, какъ я вошелъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да; этотъ путь еще пока свободенъ;
Но только въ Прагѣ долго не броди:
Не знаешь ты, съ кѣмъ ты имѣешь дѣло.

ГАБОРЪ.

Я это знаю слишкомъ хорошо,—
Зналъ ранѣе тебя, отецъ несчастный!
Прощайте же! (*Уходитъ*).

ЗИГЕНДОРФЪ (*одинъ, прислушиваясь*).

Онъ съ лѣстницы сошелъ...
А, вотъ я слышу: дверь за нимъ со стукомъ
Захлопнулась... Теперь спасенъ, спасенъ!
О, духъ отца! Мнѣ дурно...
(*Склоняется въ изнеможеніи на каменную скамью, стоящую около стѣны башни*).

(*Входитъ* УЛЬРИХЪ *и за нимъ* СЛУГИ, *всѣ съ обнаженнымъ оружіемъ*).

УЛЬРИХЪ.

Поспѣшите!
Онъ здѣсь.

ЛЮДВИГЪ.

Но это графъ!

УЛЬРИХЪ (*узнавая отца*).

Какъ? Это вы!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, это я. Нужна другая жертва,—
Такъ убивай.

УЛЬРИХЪ (*замѣчая, что у отца сорваны драгоцѣнности*).

Но гдѣ же тотъ злодѣй,
Который васъ ограбилъ? Эй, вассалы!
Сейчасъ его спѣшите разыскать!
Вы видите,—все такъ, какъ говорилъ я:
Злодѣй ограбилъ моего отца,
Взявъ кучу драгоцѣнностей, какія
Годились бы наслѣдьемъ принца быть!
Въ дорогу! Я сейчасъ пойду за вами!
(*Слуги уходятъ*)
Что это значитъ? Гдѣ же тотъ бездѣльникъ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ихъ *два*: о комъ изъ двухъ ты говоришь?

УЛЬРИХЪ.

Оставимъ этотъ вздоръ! Мы непремѣнно
Должны его найти. Да ужъ не вы ли
Ему возможность дали убѣжать?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да, онъ бѣжалъ.

УЛЬРИХЪ,

Черезъ потворство ваше?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Ему я самъ охотно въ томъ помогъ.

УЛЬРИХЪ.

Ну, такъ прощайте жъ! (*Хочетъ уйти*).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Стой! Тебѣ велю я!
Прошу, молю! О, Ульрихъ, неужели
Покинешь ты меня?

УЛЬРИХЪ.

Какъ, чтобы я
Остался здѣсь, былъ обвиненъ, быть можетъ,
Закованъ въ цѣпи,—все благодаря
Врожденной вашей слабости ничтожной,
Гуманности неполной и пустой,
Себялюбивымъ вашимъ угрызеньямъ
И жалости, не во-время готовой
Пожертвовать весь родъ нашъ, чтобъ спасти
Злодѣя?.. Чѣмъ же? Нашимъ разореньемъ!
Нѣтъ, графъ, у васъ отнынѣ сына нѣтъ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да ты и не былъ сыномъ, и напрасно
Названье это ты носилъ! Куда жъ
Уходишь ты? Безъ помощи оставить
Тебя я не хочу.

УЛЬРИХЪ.

Ужъ это дѣло
Мое! Я вовсе не одинъ; не только
Пустой наслѣдникъ я владѣній вашихъ.
Пойдутъ за мною тысячи, повѣрьте.
Да, десять тысячъ преданныхъ мечей,
Сердецъ и рукъ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Разбойники лѣсные,
Съ которыми во Франкфуртѣ тебя
Венгерецъ видѣлъ!

УЛЬРИХЪ.

Да, и эти люди
Достойны имени людей! Скажите
Сенаторамъ своимъ, чтобъ хорошенько
За Прагою смотрѣли! Черезчуръ
Ужъ рано что-то празднества въ честь мира
Затѣяли устраивать они!
Не всѣ еще погибли съ Валленштейномъ,
Немало безпокойныхъ есть умовъ!

Входятъ ЖОЗЕФИНА и ИДА.

ЖОЗЕФИНА.

Что слышу я? Ты здѣсь, мой Зигендорфъ,
Мой милый мужъ! Благодаренье Небу,—
Ты невредимъ, я вижу!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Невредимъ!

ИДА.

Да, дорогой отецъ!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Нѣтъ, не имѣю
Дѣтей я больше! Не зови меня
Отнынѣ этимъ именемъ злосчастнымъ!

ЖОЗЕФИНА.

Что это значитъ, мужъ мой?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Это значитъ,
Что жизнь дала ты демону.

ИДА (*беретъ Ульриха за руку*).

Кто смѣетъ
Такъ говорить объ Ульрихѣ?

ЗИГЕНДОРФЪ.

Стой, Ида!
Кровь на рукѣ его.

ИДА (*наклоняясь, чтобы поцѣловать руку Ульриха*).

Я поцѣлуемъ
Ту смою кровь, хотя бъ она моею
Была!

ЗИГЕНДОРФЪ.

Да; такъ и есть.

УЛЬРИХЪ.

Оставь же руку!
Кровь твоего отца на ней! (*Уходитъ*).

ИДА.

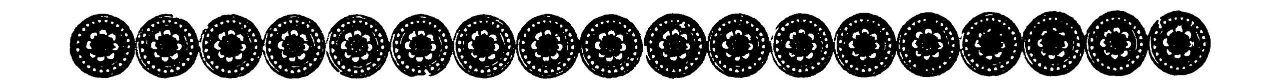
О Боже!
И мной любимъ былъ этотъ человѣкъ!
(*Падаетъ безъ чувствъ. Жозефина стоитъ въ безмолвномъ ужасѣ*).

ЗИГЕНДОРФЪ.

Злодѣй убилъ обоихъ! Жозефина!
Вновь одиноки мы теперь! О, еслибъ
Такими были мы всегда! Увы,
Все для меня покончено! Открой же,
Отецъ, свою могилу мнѣ: мой сынъ
Мнѣ углубилъ ее; твое проклятье
Исполнилось надъ головою сына!
Родъ Зигендорфовъ умеръ навсегда!

Н. Холодковскій.





Преображенный уродъ.

Фаустъ, проникнувшій въ самыя глубины человѣческаго знанія и разочаровавшійся въ ихъ совершенствѣ, продалъ свою душу ради жизни и любви. Арнольдъ Байрона — не Фаустъ. Онъ — не великій мыслитель, не геній. Онъ просто жалкій калѣка, горбатый и хромой, и пока мы видимъ его еще не преображеннымъ, онъ рубитъ дрова для своей семьи, несчастнымъ и загнаннымъ ея членомъ, не годнымъ ни на что другое. Но онъ дерзнулъ. Когда онъ повредилъ себѣ руку неловкимъ ударомъ топора, и даже эта работа стала ему больше недоступна, онъ рѣшилъ броситься на ножъ, чтобы прекратить свое бренное прозябаніе. И это-то дерзаніе и привело его къ общенію съ нечистымъ духомъ. Вслѣдъ за однимъ дерзновеніемъ естественно должно было послѣдовать другое. Арнольдъ посягнулъ сначала на жизнь своего тѣла, а потомъ и на жизнь души, и это дерзаніе и сдѣлало его изъ калѣки героемъ. Теперь въ тѣло Арнольда вселяется злой духъ, а самъ онъ становится и красивымъ, и смѣлымъ, и знатнымъ, такъ что передъ нимъ сразу открывается весь Божій міръ, обѣщающій ему и радость и успѣхъ.

Арнольдъ, такимъ образомъ, въ свою очередь, по своему преодолѣвъ страхъ передъ духомъ зла, также ринулся съ жадностью въ мятежный потокъ жизни, но только увлекли его на этотъ путь не метафизическія построенія, какъ гетевскаго Фауста, и не простое честолюбіе или даже корыстолюбіе, какъ Фауста народнаго, а то глухое и безысходное страданіе, какое причиняло ему его убожество, та гордость и смѣлость, что не дали ему примириться со своей участью.

„Deformed transformed“ переноситъ трагедію Фауста въ чисто личную психологію. Это драма строго лирическая, какъ почти всѣ произведенія Байрона. Не отношенія добра и зла, не проблема дерзанія, не попытка человѣка приподнять завѣсу дозволеннаго заинтересовали Байрона, а сама личность дерзновеннаго, отчаявшагося и посягнувшаго. И Арнольдъ по своему герой байроническій. Онъ принадлежитъ все къ той же семьѣ, что и Манфредъ и Каинъ, и Корсаръ, и Донъ-Жуанъ. Даже мало этого. Арнольдъ не только герой лирическій, онъ герой личный. Его трагедія есть трагедія самого Байрона. Тутъ отразились и привели къ поэтическому творчеству чисто личныя и даже сокровенныя чувства впечатлительнаго поэта-честолюбца, влюбленнаго въ себя и страдающаго отъ всякаго малѣйшаго неуспѣха, малѣйшей неудачи, малѣйшей недостаточности ниспосланныхъ судьбою благъ.

Байронъ разсказываетъ, что какъ-то разъ мать назвала его „хромоножкой“. Что онъ не забылъ и не простилъ матери этой злой выходки, въ высшей степени характерно. Какъ же больно должно было отдаваться въ его сердцѣ, когда, какъ пишетъ г-жа Шелли въ замѣткѣ на принадлежавшемъ ей экземплярѣ „Deformed transformed“, намеки на свою хромоту Байронъ встрѣчалъ и въ занимавшейся имъ такъ много періодической печати. Вотъ почему если первая сцена этой недоконченной драмы несомнѣнно,—это бросилось въ глаза еще Муру, — не что иное, какъ своеобразное поэтическое преувеличеніе упомянутой вспышки матери поэта, то Муръ былъ совершенно правъ, идя еще дальше и спрашивалъ себя: „не обязаны ли мы вообще появленію всей драмы только одному этому воспоминанію“ Байрона. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь самъ Байронъ, хромоногій красавецъ, морившій себя голодомъ, изъ боязни, что

отяжелѣвшее, ставшее тучнымъ тѣло его можетъ сдѣлать болѣе замѣтной его хромоту; Байронъ, постоянно заботившійся о своей физической силѣ и ловкости, залогѣ легкости походки, Байронъ, державшій даже въ Венеціи верховыхъ лошадей и изъ всѣхъ упражненій болѣе всего любившій плаванье, быть можетъ, именно потому, что тутъ—верхомъ на конѣ или неутомимымъ пловцомъ—онъ уже больше не чувствовалъ мучившей его хромоты, этотъ Байронъ въ сущности былъ самъ нѣчто вродѣ „превращеннаго извращеннаго".

Въ этомъ, а ни въ чемъ другомъ, вѣдь и заключается главный и основной смыслъ всѣхъ его увлеченій. Байронъ вообще хотѣлъ „превратить" себя въ героя своихъ мечтаній, преодолѣвъ всѣ внутреннія и внѣшнія препятствія, и для этого онъ всю жизнь неустанно старался пересилить, побороть, превозмочь, всѣ безъ исключенія малѣйшія помѣхи, причинявшія уколы его самолюбію. Онъ вѣдь былъ не только хромой красавецъ, онъ былъ еще и „бѣдный пэръ" въ странѣ, гдѣ состоянія считаются лишь сотнями тысячъ, и богатство неизмѣнно должно быть сопряжено съ знатностью. И вотъ мы и видимъ, что Байронъ, входитъ въ палату наслѣдственныхъ законодателей, несмотря на свою сравнительную бѣдность, а отсюда и недостаточную знатность, съ гордо поднятою головою и вызывающе противопоставляетъ ихъ высокопоставленности свои демократическія симпатіи, которыя онъ и обнаруживаетъ сразу же, занявши мѣсто на скамьѣ крайнихъ лѣвыхъ. И такъ же точно превозмочь свою бѣдность, замолчать ее и заставить и другихъ замолчать о ней стремился Байронъ безумной роскошью своего образа жизни и презрѣніемъ къ гонорару даже въ то время, когда продажа наслѣдственнаго „Ньюстэдскаго Аббатства" стала неизбѣжна. Эта черта вѣчнаго превозмоганія самого себя сказывается даже въ ребяческомъ стремленіи увѣрить себя и другихъ, что поэтическая работа ему ничего не стоитъ, что онъ пишетъ необыкновенно быстро и легко, безъ помарокъ и передѣлокъ, ради чего, по словамъ г-жи Шелли, Байронъ, раньше чѣмъ браться за перо, слагалъ свои стихи про себя и наизустъ.

Превзойти самого себя во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило, превзойти себя какъ хромого, какъ наслѣдника уже разореннаго состоянія, какъ плохого поэта съ юношескихъ „Часовъ досуга"—вотъ что составляло вѣчную заботу Байрона, вотъ въ чемъ причина большинства его дерзаній,—и политическихъ, и нравственныхъ, и художественныхъ, и философскихъ, и вотъ, что въ „Deformed transformed" привело къ созданію образа Арнольда, продавшаго свою душу чорту, чтобы изъ горбуна и бѣдняка, презираемаго даже своей собственной матерью, стать вровень съ Цезаремъ, Алкивіадомъ, Митридатомъ.

Но какъ ни личенъ и даже затаенно личенъ сюжетъ „Deformed transformed", онъ однако не составляетъ плода воображенія самого Байрона. Воображеніе Байрона навсегда осталось чисто лирическимъ. Придумывать онъ не умѣлъ. Это такъ ярко сказывается въ «Корсарѣ» и «Манфредѣ». Оттого цѣлая серія его драмъ—историческая, что впрочемъ было вполнѣ въ духѣ времени и даже считалось чуть не обязательнымъ для драматурга и оттого же, когда въ «Вернерѣ» историческій замыселъ почти отсутствуетъ, Байронъ драматизируетъ какой нибудь понравившійся ему разсказъ. Такой же разсказъ лежитъ въ основѣ и „Deformed transformed". И тутъ Байронъ лишь переложилъ въ драматическую форму чужое, но подошедшее къ его личному настроенію. И онъ самъ изъ страха, что литературные противники опять будутъ преслѣдовать его совершенно неосновательными обвиненіями въ плагіатахъ, прямо и указалъ въ предисловіи свой источникъ. Разсказъ „Три брата" написанъ Джошуа Пиккерстелемъ младшимъ и напечатанъ въ 1803 г. Арнольдъ здѣсь сынъ маркиза де Суврикура. Онъ восьми лѣтъ похищенъ разбойниками, а когда онъ вновь попадаетъ подъ отчій кровъ, онъ—калѣка, горбунъ съ уродливымъ, неправильнымъ плечомъ, и оттого его ждетъ уже не добрый пріемъ, а, напротивъ, самое враждебное отношеніе родныхъ. Сама мать говоритъ ему, что не только онъ долженъ желать смерти, но лучше было бы, если бы онъ никогда не появлялся на свѣтъ. И тогда-то, совершенно такъ же, какъ въ драмѣ Байрона, Арнольдъ думаетъ о самоубійствѣ. Но рѣшимости у него нѣтъ, и онъ самъ обращается къ нечистой силѣ, радостно идущей къ нему на помощь. Опять таки, какъ у Байрона, злой духъ проводитъ передъ Арнольдомъ извѣстнѣйшихъ красавцевъ, предлагая ему взять ихъ внѣшность себѣ. Арнольдъ увлеченъ особенно Митридатомъ, и вотъ въ рукѣ его оказывается магическій кинжалъ. Вонзивъ его себѣ въ

сердце, Арнольдъ превращается въ красавца. Построивъ первую часть своей драмы на этомъ разсказѣ, Байронъ во второй части вернулся однако къ историческимъ темамъ и превращенный Арнольдъ, о судьбѣ котораго мы ничего не знаемъ изъ „Трехъ братьевъ", становится сподвижникомъ Филиппа Бурбона при штурмѣ Рима въ 1527 г. Это событiе, упомянутое въ „Charles the Fifth" Робертсона (ed. 1798, II. pp. 313 — 329) подъ названiемъ Sacco di Roma, разсказанное Луиджи Гюччардини и Джакопо Буонапарте, воспѣтое въ „Lamento di Roma" и въ цѣломъ рядѣ итальянскихъ и французскихъ историческихъ пѣсенъ, было извѣстно Байрону давно, а здѣсь въ Италiи, гдѣ возникъ „Deformed transformed" особенно ласкало воображенiе.

Въ новой своей драмѣ, написанной въ Пизѣ въ 1822 г. Байронъ слилъ, такимъ образомъ, воедино всѣ четыре прiема своего драматическаго творчества. Лиризмъ личныхъ воспоминанiй сочетался здѣсь и съ воспоминанiями изъ литературы повѣстей и съ историческими знанiями, а все это вмѣстѣ было объединено общимъ замысломъ, навѣяннымъ гетевскимъ „Фаустомъ".

Байронъ увлекся „Фаустомъ" подъ влiянiемъ Шелли еще на Женевскомъ озерѣ, гдѣ жили вмѣстѣ оба поэта. По словамъ Медвина, не зная по нѣмецки, нашъ поэтъ читалъ однако „Фауста" лишь во французскомъ переводѣ, а еще больше слушалъ переводъ en regard болѣе образованнаго и литературнаго Шелли. И Гете сталъ на огромную высоту въ глазахъ Байрона. Поэтъ, не пожелавшiй склонить свою гордую голову даже предъ Шекспиромъ и въ своемъ протестѣ противъ этого всеобщаго кумира, такъ странно превозносившiй Попа, высказалъ полное уваженiе своему великому собрату изъ Веймара, посвятивъ ему „Сарданапала" и „Вернера". Арнольдъ долженъ былъ стать байроновскимъ Фаустомъ. Сдѣлать сообразно своимъ собственнымъ творческимъ прiемамъ и своимъ затаеннымъ поэтическимъ грезамъ то же самое, что создалъ Гете,—вотъ, къ чему стремился Байронъ своимъ „Deformed transformed".

Затѣя смѣлая и ей суждено было оказаться неудачной.

„Deformed transformed"—произведенiе слабое, что сознавалъ и самъ его авторъ. Это прямо сказалъ ему и Шелли, послѣ чего, замолчавъ существованiе второй рукописи, Байронъ бросилъ въ огонь написанныя уже двѣ части. Оттого драма эта увидѣла свѣтъ лишь въ 1824, изданная Джономъ Гэнтомъ. Появленiе ея, даже въ неоконченномъ видѣ, нельзя однако считать вполнѣ неудачнымъ. О ней съ симпатiей отозвался самъ Гете. Онъ призналъ, что „чортъ былъ навѣянъ его Мефистофелемъ", но самую драму Гете назвалъ „новой и оригинальной, полной генiя и остроумiя".

Этотъ отзывъ Гете можетъ быть и объясняется прежде всего симпатiей великаго поэта къ тому, кого онъ изобразилъ во 2-й части „Фауста" какъ сына Фауста и Венеры, но если вдуматься въ „Deformed transformed", въ снисходительности Гете несомнѣнно прiйдется увидѣть и реальное основанiе. Надъ первой частью еще слишкомъ тяготѣетъ неуклюжiй разсказъ „Три брата", во второй — историческая завязка совершенно не нужна, а остроумiе чорта тяжело и вяло. Однако вотъ началась завязка любовнаго характера и въ отрывкѣ третьей части нельзя не увидѣть зародыша интереснаго сюжета, оставшагося правда лишь чуть намѣченнымъ, но намекающаго на чисто личныя и даже глубокiя думы Байрона. Тутъ въ ненаписанной третьей части начинается все то, изъ-за чего Байрона влекло изобразить „извращеннаго превращеннымъ"; тутъ развивается его психологiя, эта родная Байрону психологiя отчаявшагося, посягнувшаго и дерзновеннаго. И только тутъ Арнольдъ начинаетъ жить. Только тутъ онъ впервые чувствуетъ себя и „превращеннымъ". Теперь только, видя постоянно передъ глазами свою жалкую плоть, онъ можетъ вдуматься и почувствовать свое истинное отношенiе къ плоти превращенной. Раньше, во второй части, на полѣ брани въ свитѣ Филиппа Бурбона подъ стѣнами Рима и послѣ въ самихъ его стѣнахъ, Арнольдъ вѣдь былъ слишкомъ упоенъ счастьемъ и успѣхомъ. Ему некогда было думать; его *я* какъ-бы дремало въ сладостномъ снѣ, упоенное радостнымъ сознанiемъ своей блестящей личности. Во второй части Арнольдъ— это какъ бы самъ Байронъ въ пору блестящаго успѣха „Чайльдъ-Гарольда", когда хромоножка, „бѣдный пэръ" и плохой рифмачъ превратился въ ласкаемаго первыми красавицами столицы свѣтскаго льва, отважнаго борца въ политикѣ и превознесеннаго до небесъ поэта.

То событiе, которое заставляетъ Арнольда впервые вдуматься въ свое странное положенiе, это—его любовь къ Олимпiи.

Любитъ ли она его? Онъ обладаетъ ею, но, можетъ быть, это только благодарность?

Да, она должна быть ему благодарна, но зачѣмъ эта благодарность? — да и существуетъ ли она?—Любви! Любви къ нему и не того, чтобы она „сносила покорно его любовь", а чтобы „она шла ей на встрѣчу", вотъ чего жаждетъ душа его, вотъ чего недостаетъ ему и что заставляетъ задуматься. И судя по одной только строчкѣ въ репликахъ Цезаря-чорта чувствуется, что эти сомнѣнія Арнольда и стоятъ въ центрѣ его внутреннихъ терзаній, какъ превращеннаго и раздвоившагося, послѣ того, какъ чортъ, назвавшись Цезаремъ, оживилъ брошенное за негодностью обличье Арнольда. Тутъ мы и подходимъ къ самой существенной и основной чертѣ замысла, только, увы, оставшейся не развитой, можетъ быть, изъ робости мысли, здѣсь впервые проявившейся у Байрона.

„Вы ревнуете", говоритъ Цезарь, „Къ кому"? спрашиваетъ Арнольдъ. „Можетъ быть къ себѣ самому", летитъ ему отвѣтъ отъ этого двойника-искусителя, не заботящагося „объ всевѣдѣніи", но знающаго то, что онъ хочетъ знать. Если Арнольдъ, сомнѣваясь въ любви Олимпіи, ревнуетъ къ самому себѣ, очевидно это Цезаря, вотъ кого полюбила его возлюбленная, — такъ странно женское сердце!—гораздо больше и сильнѣе, чѣмъ его, блестящаго „прекраснаго и храбраго" превращеннаго Арнольда. И вотъ тутъ-то начинается психологія раздвоенія; тутъ входимъ мы или вѣрнѣе должны бы были вступить въ трудныя дебри поэтическаго раздумья о двойственности человѣка. И тогда-то „Фаустовская драма" и должна была стать далеко не простымъ подражаніемъ великому Гете.

Мы подходимъ тутъ къ самому сокровенному, что захотѣлось выразить Байрону. Но онъ унесъ это отъ насъ въ могилу. Онъ не проговорился. Не исповѣдалъ онъ своей внутренней тоски въ эти годы полнаго самосознанія и полной зрѣлости, когда молодость прошла и Байронъ стоялъ „посрединѣ пути жизни".

Любитъ ли Олимпія Арнольда или Цезаря,—вѣдь это казалось бы все равно. Вѣдь какъ можетъ это быть, чтобы Олимпія полюбила урода-чорта вмѣсто красавца-человѣка? Если она любитъ Цезаря, Арнольдъ долженъ былъ бы радоваться, отдѣлиться отъ чорта, одѣть свое первое обличье и все было бы хорошо. Наружность Цезаря— его наружность. Это его, и его самого, не превращеннаго любитъ Олимпія! Одна, единая, не раздвоенная личность Арнольда отъ этого не можетъ страдать. Казалось бы, въ образномъ изображеніи такого страданья не можетъ быть ни малѣйшаго смысла. Мучиться такимъ страданьемъ, значитъ просто напрасно терзать себя. Не все ли равно, какую метаморфозу нашего *я* полюбила женщина? Ну, она полюбила только одну вотъ эту, а не другую: „ничего", любовь на лицо, она есть и несетъ свои радости. Но дѣло именно въ томъ, что не всякому „ничего". „Ничего!" Эти слова Цезаря заставляютъ думать, что и Байрону не было это „ничего". Онъ не хотѣлъ лгать самому себѣ. Вотъ въ чемъ новая черта того чисто личнаго, затаеннаго лиризма, какимъ проникнута драма, и этотъ лиризмъ глубже и важнѣе

Если Байронъ самъ былъ „извращенный превращенный", если онъ самъ превращалъ и превратилъ себя, то это заставляетъ думать, что и раздвоеніе на Цезаря и Арнольда было также раздвоеніе, испытанное имъ самимъ. Передъ нимъ самимъ стояли два образа его *я*, двѣ метаморфозы и едва ли ему было безразлично, какая должна была бы вызвать любовь. Мы какъ будто видимъ здѣсь Байрона, задумавшагося надъ тѣмъ, кто же выше, кто настоящій его герой—этотъ свѣтскій левъ и повѣса, красавецъ и силачъ, наслѣдственный законодатель, гордый и независимый и революціонеръ, поэтъ, въ „часы досуга" бросающій на бумагу строку за строкой свои непосредственно льющіяся, непринужденныя строфы, полныя огня и блеска,—или не онъ, а тотъ другой, упорно скрываемый, замалчиваемый, тотъ, кого Байронъ хотѣлъ бы, чтобы видѣлъ и зналъ только онъ одинъ, этотъ превосходимый, но не превзойденный, несмотря на все мишурное убранство, этотъ поэтъ, вовсе не Божіею волею, а упорнымъ трудомъ, этотъ красавецъ и силачъ, но калѣка, этотъ разоренный лордъ—наслѣдственный законодатель, отверженный великосвѣтскимъ судомъ чопорный родины, изгнанникъ и одинокій, возмутившійся и изстрадавшійся, а отсюда и отчаявшійся, посягнувшій и дерзновенный.

Евгеній Аничковъ.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящее произведеніе основано частью на повѣсти „Три Брата", много лѣтъ тому назадъ появившейся въ свѣтъ. Изъ этой-же повѣсти заимствовалъ М. Г. Льюисъ сюжетъ своего „Лѣсного Демона". Частью-же настоящее произведеніе основано на „Фаустѣ" великаго Гёте. Теперь появляются только первыя двѣ части и начальный хоръ третьей. Остальное можетъ быть появится когда-нибудь позднѣе.

Дѣйствующія лица:

Мужчины.

Неизвѣстный, потомъ—Цезарь.
Арнольдъ.
Герцогъ Бурбонскій.
Филибертъ.
Челлини.

Женщины.

Берта.
Олимпія.

Духи, солдаты, римскіе граждане, священники, крестьяне и другія лица.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Лѣсъ.

Входятъ Арнольдъ *и* Берта, *его мать.*

БЕРТА.

Прочь съ глазъ моихъ, горбунъ!

АРНОЛЬДЪ.

Вѣдь я родился
Такимъ на свѣтъ.

БЕРТА.

Прочь, пугало ночное!
Прочь, выкидышъ изъ семерыхъ дѣтей,
Рожденныхъ мной.

АРНОЛЬДЪ.

О, Боже, еслибъ я
Былъ выкидышемъ точно и не видѣлъ,
Что значитъ свѣтъ!

БЕРТА.

О, да! но такъ какъ ты,
Къ несчастью, увидалъ его, такъ прочь
По крайней мѣрѣ съ глазъ: ступай работать!
Когда твоя спина не шире прочихъ,
То выше ихъ и можетъ также гнуться
Подъ ношею.

АРНОЛЬДЪ.

Она ее несетъ!
Но сердце, къ сожалѣнію, не въ силахъ
Нести тяжелой ноши оскорбленій,
Которыми такъ горько удручаетъ
Его родная мать. Вѣдь, я люблю
Тебя, или любилъ по крайней мѣрѣ;
А кто же кромѣ матери способенъ
Откликнуться любовью къ существамъ,
Подобнымъ мнѣ. Вѣдь, ты меня кормила:
За что же убивать меня?

БЕРТА.

Кормила
Затѣмъ, что ты былъ первымъ изъ дѣтей,
Рожденныхъ мной, и я тогда не знала,
Пошлетъ ли Богъ ребенка мнѣ красивѣй,
Чѣмъ ты, негодный выбросокъ природы!
Прочь, говорю: ступай сбирать валежникъ!

АРНОЛЬДЪ.

Иду; но я молю тебя—не будь
Со мной жестока такъ, когда я снова
Вернусь съ работы. Если братья крѣпче,
Красивѣй и стройнѣй меня, коль скоро
Они вольны во всѣхъ своихъ движеньяхъ,
Какъ лани, за которыми въ лѣсу
Охотятся—не отвергай меня
Хотя за то, что всѣ питались мы
Одною грудью.

БЕРТА.

Да, такъ ежъ сосетъ

Украдкой ночью молоко у матки,
Когда-жъ работница поутру въ часъ обычный.
Къ истерзанной подходитъ для удоя—
Находитъ вдругъ сосцы ея пустыми
И истомленными. Не смѣй считать
Дѣтей моихъ за братьевъ, а меня
За мать твою! Родивъ тебя на свѣтъ,
Я сдѣлала такую же ошибку,
Какъ курица, когда ее посадятъ
На яица змѣи. Прочь! говорю я.

(*Уходитъ*).

АРНОЛЬДЪ.

О, мать моя!.. Она ушла—и я
Обязанъ дѣлать то, что мнѣ велѣли.
Охотно перенесъ бы я мой трудъ,
Когда бы могъ надѣяться за это
На слово ласки. Что же мнѣ начать?

(*Начинаетъ рубить сучья и порѣзываетъ себѣ руку*).

Ну, вотъ, теперь придется бросить все.
Проклятье этой крови, что течетъ
Такъ скоро и не кстати! За нее
Снести придется мнѣ проклятій вдвое,
Когда вернусь домой! Домой? Увы!
Нѣтъ у меня ни дома, ни отчизны,
Ни племени. Я сотворенъ не такъ,
Какъ прочіе: мнѣ не даны въ удѣлъ
Ихъ радости и счастье. Вправѣ ль даже
Истечь я кровью, какъ они? О, если бъ
Изъ каждой капли крови, что теперь
Теряю я, родилось по ехиднѣ,
Которыя изжалили бъ людей,
Какъ я изжаленъ ими! Если бъ дьяволъ,
Съ которымъ любятъ сравнивать меня,
Пришелъ на помощь мнѣ, его подобью!
Имѣя образъ демона, за что же
Лишенъ я власти демона? Иль нѣтъ
На то во мнѣ достаточно желанья
И твердости? А между тѣмъ, довольно
Одной ничтожной ласки той, что мнѣ
Дала увидѣть свѣтъ, чтобъ примирить
Меня съ моей наружностью. Займусь
Теперь моею раной.

(*Подходитъ къ ручью, чтобъ обмыть рану, и вдругъ останавливается, увидя въ водѣ свое отраженье*).

Да, они
Вполнѣ, я вижу, правы: этотъ образъ,
Что отражаетъ зеркало природы,
Показываетъ ясно мнѣ—какимъ
Я сдѣланъ ею. Нѣтъ, я не хочу
Смотрѣть на этотъ ужасъ и не въ силахъ
О немъ подумать даже! О, какъ гнусенъ
Я въ самомъ дѣлѣ съ виду! Самъ ручей
Смѣется, кажется, изображая
Мои черты. Подумать можно, будто
Тамъ въ глубинѣ таится страшный демонъ,
Приставленный пугать овецъ, когда
Онѣ приходятъ пить.

(*Помолчавъ немного*).

Ужели буду
Я жить еще, позоря и себя,
И самый свѣтъ? Жить на печаль и горе
Той, что дала мнѣ жизнь? Я вижу—кровь
Моя течетъ свободно изъ ничтожной
Царапины. Попробую открыть
Ей шире выходъ; пусть мои печали
Исчезнутъ вмѣстѣ съ нею! Пусть земля
Возьметъ назадъ ужасный этотъ образъ,
Составленный изъ атомовъ земли же!
Пускай они разсѣются въ свои
Первичныя стихіи и затѣмъ
Вновь примутъ видъ любого гада, лишь бы
Не быть—чѣмъ я теперь! Пускай родятся
Изъ этой персти миріады новыхъ
Ничтожныхъ червяковъ! Вотъ ножъ. Посмотримъ,
Съумѣетъ ли подрѣзать точно такъ же
Онъ жизнь мою, дрянной, засохшій стебель,
Какъ рѣзалъ въ рощѣ свѣжіе сучки.

(*Втыкаетъ ножъ въ землю остріемъ кверху*).

Ну, вотъ мой ножъ готовъ—и я готовъ
Упасть на остріе. Взгляну еще
Въ послѣдній разъ на свѣтлый день, который
Не освѣщалъ ни разу существа
Презрѣннѣе меня; взгляну на солнце,
Напрасно посылавшее съ привѣтомъ
Свою мнѣ теплоту. Съ какимъ весельемъ
Поютъ на волѣ птички! Пусть поютъ!
Я не хочу, чтобъ кто-нибудь жалѣлъ
О томъ, что я погибну. Пусть ихъ свѣжій
Веселый хоръ мнѣ будетъ погребальнымъ
Напутствіемъ, засохшіе листы
Мнѣ будутъ монументомъ, а ручей
Споетъ своимъ журчаньемъ надъ моей
Могилой пѣснь печали! Ну, мой ножъ,
Стой твердо предо мной, пока я брошусь.

(*Готовый броситься, онъ вдругъ останавливается, замѣтя внезапное волненіе въ ручьѣ*).

Ручей заволновался вдругъ безъ вѣтра!
Такъ что жъ—ужели это перемѣнитъ
Мое намѣренье? Вода опять
Задвигалась—и этому причина
Не въ воздухѣ: напротивъ, тутъ вмѣшалась
Какая-то таинственная сила
Въ подземной глубинѣ. Но что я вижу?
Туманъ—не болѣе?

(*Изъ ручья встаетъ туманъ, который, разсѣясь, обнаруживаетъ высокую, черную фигуру*).



БЕРТА ПРОКЛИНАЕТЪ СЫНА.
Рисов. Рихтеръ (H. Richter), грав. Кукъ (H. Cook).

Чего ты хочешь?
Ты духъ иль человѣкъ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Коль скоро въ людяхъ
Съединены и души, и тѣла,
То почему жъ не дать одно названье
Обоимъ имъ?

АРНОЛЬДЪ.

Ты съ виду человѣкъ,
Но можешь быть и дьяволомъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

На свѣтѣ
Не мало сыщется людей, которымъ
Даютъ названье это; потому
Ты можешь, не обидя никого,
Считать меня иль тѣмъ, или другимъ,
По выбору. Но, впрочемъ, къ дѣлу: ты
Рѣшился кончить жизнь самоубійствомъ.
Что жъ! продолжай!

АРНОЛЬДЪ.

Но ты мнѣ помѣшалъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Что жъ это за рѣшимость, коль возможно
Ей помѣшать? Будь дьяволъ я, какимъ
Ты, кажется, меня еще считаешь,
Намѣренье твое не преминуло бъ
Отдать тебя во власть мою; но ты
Спасенъ моимъ явленьемъ.

АРНОЛЬДЪ.

Я не думалъ
Считать тебя за дьявола; но образъ
Явленья твоего напоминалъ
Невольно дьявола.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Судить объ этомъ
Способенъ только тотъ, кому случалось
Бывать не разъ съ нимъ въ обществѣ; но ты
Не изъ такихъ. Когда жъ судить о видѣ
Его и о наружности, то стоитъ
Тебѣ взглянуть лишь въ зеркало ручья.
Тогда ты самъ увидишь—кто изъ насъ
Похожъ на кривоногое созданье,
Пугающее глупую толпу.

АРНОЛЬДЪ.

Ты смѣешь насмѣхаться надъ моимъ
Природнымъ безобразіемъ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Коль скоро бъ
Я вздумалъ посмѣяться надъ кривой
Ногой бизона иль надъ безподобнымъ
Горбомъ верблюда—оба эти звѣря
Сочли бъ мой смѣхъ навѣрно похвалой,
А между тѣмъ они, конечно, вдвое
Сильнѣй тебя и ловче; оба могутъ
Храбрѣе нападать и защищаться,
Чѣмъ большинство способнѣйшихъ существъ
Твоей породы. Ты сказалъ: твой образъ
Тебѣ дала природа; если такъ,
То надобно признаться, что она
Съ излишней добротою одарила
Тебя такими свойствами, какими
Приличнѣе бъ украсить было ей
Другія существа.

АРНОЛЬДЪ.

Дай силу мнѣ,
Съ какой бизонъ взрываетъ пыль копытомъ
Въ виду своихъ враговъ, иль одари
Меня терпѣньемъ корабля пустыни,
Покорнаго и ловкаго верблюда,
Чтобъ я сносилъ спокойно всѣ твои
Обидныя насмѣшки!

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Это я
Могу исполнить.

АРНОЛЬДЪ (*изумленный*).

Точно?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Да! Быть можетъ
Желаешь ты еще чего-нибудь?

АРНОЛЬДЪ.

Ты насмѣхаешься?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

О, нѣтъ! Что пользы
Смѣяться надъ тобой, надъ кѣмъ смѣются
На свѣтѣ всѣ. Подобная забава
Была бъ ничтожна слишкомъ. Ты не можешь
Меня понять на языкѣ моемъ—
И потому я выражусь иначе:
Узнай же, что охотники не ходятъ
Войной на жалкихъ кроликовъ,—имъ нужны
Львы, кабаны и волки; всю же мелочь
Они предоставляютъ горожанамъ,
Что разъ въ году поднимутся на ловлю,
Въ надеждѣ запасти себѣ для кухни
Такую дрянь. Мнѣ по плечу смѣяться
Надъ высшими,—такъ обращу ли я
Вниманье на тебя?

АРНОЛЬДЪ.

Къ чему же ты
Со мною тратишь время? Я тебя
Не призывалъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ты близокъ мнѣ по мыслямъ;
Не отсылай меня. Ушедши разъ,
Я не явлюся такъ легко обратно
На помощь вновь.

АРНОЛЬДЪ.

Но что же можешь сдѣлать
Ты для меня?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Съ тобой я обмѣняюсь
Наружностью, коль скоро образъ твой
Тебѣ такъ тягостенъ; ты жъ выбирай
Себѣ наружный видъ, какой захочешь.

АРНОЛЬДЪ.

О! если такъ, то ты навѣрно дьяволъ:
Онъ только можетъ согласиться быть
Похожимъ на меня.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Я покажу
Тебѣ прекраснѣйшихъ людей, какіе
Когда-либо существовали въ мірѣ;
Ты можешь выбирать.

АРНОЛЬДЪ.

Но на какихъ
Условіяхъ?

НЕИЗВѢСТННЫЙ.

Къ чему такой вопросъ?
Ты часъ назадъ готовъ отдать былъ душу,
Лишь только бъ стать похожимъ на другихъ;
Теперь же затрудняешься быть съ виду
Похожимъ на героя.

АРНОЛЬДЪ.

Нѣтъ, но я
Не смѣю и не долженъ погубить
За это душу.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Чья душа захочетъ
Жить въ этакой презрѣнной скорлупѣ?

АРНОЛЬДЪ.

Душа честолюбива, несмотря
На свой наружный образъ. Но какія жъ
Твои условія? Не должно ль мнѣ
Скрѣпить ихъ кровью?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Не твоей.

АРНОЛЬДЪ.

Какой же?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Объ этомъ мы поговоримъ потомъ.
Я, впрочемъ, требовать съ тебя не буду
Излишняго затѣмъ, что ты, какъ вижу,
Способенъ на великія дѣла.
Ты долженъ будешь дѣлать только то,

Что самъ захочешь: полная свобода
Въ твоихъ поступкахъ—вотъ мои условья.
Доволенъ ты?

АРНОЛЬДЪ.

На этомъ словѣ я
Ловлю тебя.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Такъ къ дѣлу.

(*Подходитъ къ ручью и затѣмъ говоритъ, обращаясь къ Арнольду*).

Дай теперь
Твоей мнѣ крови.

АРНОЛЬДЪ.

Для чего?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Я долженъ
Смѣшать ее съ волной ручья, чтобъ сдѣлать
Дѣйствительнѣе чары.

АРНОЛЬДЪ (*протягивая раненую руку*).

Вотъ возьми
Хоть всю ее.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Пока довольно капли.

(*Беретъ нѣсколько капель Арнольдовой крови и бросаетъ ихъ въ ручей*).

Явись вереницею дивной
Прекрасныхъ тѣней хороводъ!
Услышьте мой голосъ призывный!
Явитесь: вашъ часъ настаетъ!
Послушные зову, явитесь—
И въ свѣтлыхъ, лазурныхъ волнахъ
Воздушной струей пронеситесь,
Какъ призракъ на Гарцскихъ горахъ!
Явитесь, какими вы были,
Чтобъ обликъ вашъ прежній, земной,
Помогъ безъ трудовъ и усилій
Мнѣ васъ возсоздать предъ собой!
Возстаньте въ блестящемъ сіяньи
Изъ радужныхъ, свѣтлыхъ лучей,
Его исполняя желанья
И волѣ покорны моей!

(*Указываетъ на Арнольда*).

Могучее призраковъ племя,
Кѣмъ ни были бъ вы передъ тѣмъ,
Въ былое, далекое время,
Героемъ, софистомъ, вождемъ
Полковъ Македоніи, или
Однимъ изъ великихъ римлянъ,
Что всюду разгромъ приносили,
Гдѣ былъ разбиваемъ ихъ станъ—
Явись вереницею дивной,
Прекрасныхъ тѣней хороводъ!
Услышьте мой голосъ призывный,
Явитесь: вашъ часъ настаетъ!

(*Изъ волнъ появляются призраки и проходятъ передъ Неизвѣстнымъ и Арнольдомъ. Первымъ проходитъ призракъ Юлія Цезаря*).

АРНОЛЬДЪ.

Кого я вижу?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Предъ тобой стоитъ
Великій римлянинъ, съ орлинымъ носомъ
И черными глазами, что ни разу
Не встрѣтилъ побѣдителя себѣ
И не видалъ земли, не сдѣлавъ тотчасъ
Ее землею римской, между тѣмъ,
Какъ самый Римъ послушно покорялся
Ему и прочимъ цезарямъ, принявшимъ
Прославленное имя по наслѣдству.

АРНОЛЬДЪ.

Но онъ плѣшивъ; мнѣ жъ красота нужна;
Еще когда бъ я могъ принять съ его
Пороками и славу...

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Лобъ его
Былъ осѣненъ листвой изъ лавровъ больше,
Чѣмъ волосами. Цезарь предъ тобой!
Желаешь получить его наружность
Иль нѣтъ—скажи, но помни: я могу
Придать тебѣ его лишь образъ, слава жъ,
Которой онъ покрытъ, надолго будетъ
Еще предметомъ распрей межъ людьми.

АРНОЛЬДЪ.

Я драться радъ, но добиваться славы
Мнѣ Цезаря смѣшно. Пусть онъ исчезнетъ:
Видъ Цезаря, быть можетъ, и хорошъ,
Но мнѣ онъ не годится.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Значитъ, ты
Взыскательнѣе, чѣмъ сестра Катона,
Мать Брута или даже Клеопатра
Въ шестнадцать лѣтъ, когда любовь людей
Настолько же въ глазахъ, насколько въ сердцѣ.
Но будь по твоему,—исчезни, призракъ!

(*Тѣнь Цезаря исчезаетъ*).

АРНОЛЬДЪ.

Возможно ли, чтобъ такъ исчезъ безслѣдно
Тотъ человѣкъ, который потрясалъ,
Покуда жилъ, весь міръ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ты забываешь—
Какъ много онъ оставилъ за собой
Развалинъ и могилъ. Сіянье славы,
Которой онъ покрытъ, его спасетъ
Навѣки отъ забвенья; предъ тобой же
Лишь тѣнь его: она не больше значитъ,
Чѣмъ тѣнь твоя, отброшенная солнцемъ.

Она прямѣе и повыше: въ этомъ
Вся разница. Но вотъ, смотри, другая.

(*Является тѣнь Алкивіада*).

АРНОЛЬДЪ.

Кто это?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Самый храбрый и красивый
Аѳинянинъ. Вглядись ему въ лицо.

АРНОЛЬДЪ.

Онъ далеко изящнѣе, чѣмъ первый.
Какъ онъ хорошъ!

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Такимъ былъ на землѣ
Сынъ Клинія со свѣтлыми кудрями.
Желаешь ты имѣть его наружность?

АРНОЛЬДЪ.

О, если бъ мнѣ дала ее природа
Отъ самаго рожденья! Но, имѣя
Возможность выбирать, я посмотрю,
Что будетъ дальше.

(*Тѣнь Алкивіада исчезаетъ*).

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Такъ смотри!

(*Является тѣнь Сократа*).

АРНОЛЬДЪ.

Какъ! Этотъ
Сатиръ, съ широкимъ носомъ, темной кожей
И выпученнымъ взглядомъ! Съ виду онъ
Походитъ на Силена; ростъ—ничтоженъ
И ноги—кривы. Я согласенъ лучше
Остаться тѣмъ, чѣмъ былъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Однако, онъ
Былъ полнымъ воплощеньемъ на землѣ
Духовной красоты и обладалъ
Чистѣйшей добродѣтелью. Но ты
Имъ, вижу, недоволенъ.

АРНОЛЬДЪ.

Если бъ видъ
Его наружный могъ мнѣ дать съ тѣмъ вмѣстѣ
Его всѣ совершенства,—но иначе
Я не согласенъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Обѣщать тебѣ
Я этого не въ силахъ; впрочемъ, ты
Самъ можешь попытаться, чтобъ достигнуть
Желаннаго съ твоимъ ли видомъ или
Съ какимъ-либо инымъ.

АРНОЛЬДЪ.

Я не родился
Для философіи, хоть иногда
Нуждаюсь въ ней. Онъ можетъ удалиться.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Исчезни прахомъ, лакомка цикуты!

(*Тѣнь Сократа исчезаетъ. Является тѣнь Антонія*).

АРНОЛЬДЪ.

А это кто, съ курчавой бородой
И мужественнымъ взоромъ? О, по виду
Онъ былъ во всемъ бы сходенъ съ Геркулесомъ,
Когда бы взглядъ его не наводилъ
Скорѣй на мысль о Вакхѣ, чѣмъ о мрачномъ
Чистильщикѣ подземныхъ царствъ, кого
Намъ представляютъ съ сумрачнымъ лицомъ,
Опершимся, съ глубокой, строгой думой,
На палицу, какъ будто бъ онъ жалѣлъ
О суетномъ ничтожествѣ людей,
Въ чью пользу онъ сражался...

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Это тотъ,
Что проигралъ весь древній міръ на ставкѣ
Своей любви.

АРНОЛЬДЪ.

Я осуждать не вправѣ
Его за этотъ шагъ. Не самъ ли я
Готовъ поставить душу, чтобъ добиться
Того, за что онъ радъ былъ проиграть
Владычество надъ міромъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Если ты
Такъ сходенъ въ мысляхъ съ нимъ—бери его
Наружный видъ.

АРНОЛЬДЪ.

Нѣтъ, если ты позволилъ
Мнѣ выбирать—я становлюсь разборчивъ,
Хоть для того, чтобы не упустить
Подобный случай увидать героевъ,
Покинувшихъ подземный мрачный міръ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Исчезни, тріумвиръ: ступай назадъ
Въ объятья Клеопатры!

(*Антоній исчезаетъ. Является тѣнь Димитрія Поліоркета*).

АРНОЛЬДЪ.

Это кто,
Такъ схожій видомъ съ дивнымъ полубогомъ?
Румянецъ свѣжей юности въ щекахъ;
Со свѣтлыми кудрями, ростомъ онъ
Не выше прочихъ смертныхъ, но во всей
Его осанкѣ видно отраженье

Какой-то дивной граціи, которой
Онъ облитъ, точно солнечнымъ лучомъ.
Но какъ ни чуденъ онъ, его краса
Все жъ кажется лишь отблескомъ чего-то,
Еще гораздо высшаго. Ужели
Онъ только человѣкъ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ

Пускай объ этомъ
Повѣдаетъ земля, когда на ней
Осталась хоть малѣйшая частица
Его костей иль золота отъ урны,
Его скрывавшей пепелъ.

АРНОЛЬДЪ.

Кто же онъ.
Краса и слава поколѣнья смертныхъ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Онъ былъ позоромъ Греціи въ дни мира
И славою въ воинственные дни:
Димитрій, осаждатель городовъ,
Передъ тобой.

АРНОЛЬДЪ.

Посмотримъ на другихъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Вернись обратно къ Ламіи!

(*Тѣнь исчезаетъ; является призракъ Ахилла*).

Не бойся,
Любезный мой горбунъ: повѣрь, что я
Исполню, что обѣщано. Коль скоро
Наружность жившихъ прежде не довольно
Изящна для тебя, я оживлю
Хоть самый мраморъ статуй и найду
Въ концѣ концовъ такую оболочку,
Которой ты останешься доволенъ.

АРНОЛЬДЪ.

Мой выборъ сдѣланъ. Вотъ что нужно мнѣ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Хвалю твой выборъ: это дивный сынъ
Ѳетиды и Пелея. Посмотри,
Какъ онъ хорошъ, какъ на его челѣ
Волнуются льняныя пряди дивныхъ
Волосъ его, завѣщанныхъ по смерти
Рѣкѣ родной Сперхею! Какъ блестятъ
Рядами разноцвѣтныхъ переливовъ
Они сквозь волны, схожія по виду
Съ безцѣннымъ, свѣтлымъ янтаремъ, что скрытъ
Въ пескѣ золотоноснаго Пактола!
Таковъ онъ былъ въ былыя времена,
Когда стоялъ, держа въ своихъ рукахъ
Трепещущую руку Поликсены
Предъ брачнымъ алтаремъ, горя законной
И чистою любовью. Такъ смотрѣлъ
На юную троянскую подругу
И на ряду съ своей кипучей страстью
Терзался въ глубинѣ своей души
Невольной мыслью о слезахъ Пріама,
Которыя заставилъ проливать
Его при смерти Гектора. Такимъ
Онъ былъ во храмѣ. Погляди жъ теперь
На лучшаго изъ всѣхъ сыновъ Эллады,
Какимъ онъ былъ, когда предъ сонмомъ греков
Его сразилъ Парисъ.

АРНОЛЬДЪ.

Я на него
Смотрю, какъ будто бъ я уже сроднился
Съ душой его, чья форма скоро будетъ
И мнѣ наружнымъ видомъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Выборъ твой
Вполнѣ удаченъ. Верхъ уродства можно
Смѣнить лишь на избытокъ красоты,
Коль скоро справедливо говоритъ
Людская поговорка, что на свѣтѣ
Встрѣчаются лишь крайности.

АРНОЛЬДЪ.

Скорѣй:
Я ждать не въ силахъ больше.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ты похожъ
Съ подобнымъ нетерпѣньемъ на кокетку,
Что видитъ въ зеркалѣ не то, что есть,
А то, что ей хотѣлось бы увидѣть.

АРНОЛЬДЪ.

Такъ должно ждать?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Нѣтъ, это было бъ слишкомъ
Жестоко для тебя; но дай сказать
Мнѣ два-три слова. Ростъ Ахилла былъ
Двѣнадцать локтей; хочешь ты на столько
Быть выше расы нынѣшней и стать
Титаномъ межъ людьми, иль, говоря
Высокимъ слогомъ, сыномъ быть Анака?

АРНОЛЬДЪ.

Что жъ тутъ дурного?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Честолюбье это
Похвально—слова нѣтъ, и тѣмъ понятнѣй
Въ подобныхъ карликахъ. Тотъ, кто высокъ,
Какъ Голіаѳъ, желаетъ зачастую
Стать маленькимъ Давидомъ; ты же, кукла,
Вздыхаешь о размѣрахъ исполина
Еще сильнѣй, чѣмъ о его геройствѣ.
Когда ты хочешь, я исполню это
Желаніе, но помни, что людьми
Гораздо легче управлять, не бывши
Иного съ ними вида. Ставъ Ахилломъ

Съ его тогдашнимъ видомъ, ты накличешь
Погоню за тобой, какъ новый мамонтъ.
Людскія жъ пули, ядра и другія
Орудія проникнутъ сквозь броню
Великаго Ахилла нынѣ легче,
Чѣмъ прострѣлила мѣткая стрѣла
Париса—пятку, ту, что позабыла
Ѳетида окунуть оплошно въ Стиксъ.

АРНОЛЬДЪ.

Такъ дѣлай такъ, какъ самъ считаешь лучшимъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ты будешь силенъ, крѣпокъ и красивъ
Точь въ точь, какъ онъ, и сверхъ того...

АРНОЛЬДЪ.

Геройства
Я не прошу: уроды храбры всѣ.
У нихъ въ крови желаніе сравняться
Съ людьми во всемъ и даже, если можно,
Ихъ превзойти энергіей души
И мужествомъ. Ихъ постоянно что-то
Пришпориваетъ къ дѣлу, чтобъ достигнуть
Высокихъ свойствъ, отказанныхъ другимъ.
Они хотятъ вознаградить какъ будто
Такимъ стараньемъ то, въ чемъ отказала
Имъ мачеха-природа, добиваясь
Даровъ фортуны въ подвигахъ войны,
И какъ Тимуръ, хромой татаринъ, часто
Находятъ то, что ищутъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Хорошо
И вѣрно сказано! Повѣрь, что ты
Останешься въ душѣ, чѣмъ былъ доселѣ.
Теперь пускай исчезнетъ эта тѣнь,
Которая должна была служить
Лишь формою для новой оболочки
Твоей души, способной совершить
И безъ того довольно славныхъ дѣлъ.

АРНОЛЬДЪ.

Когда бы мнѣ никто не предложилъ
Смѣнить мою наружность на иную,
Я и тогда съумѣлъ бы проложить
Съ моей душой дорогу въ здѣшней жизни
Наперекоръ несчастному уродству,
Которое гнететъ мнѣ душу такъ же,
Какъ спину горбъ, и дѣлаетъ меня
Предметомъ ненавистнымъ взгляду прочихъ
Счастливыхъ смертныхъ. Я смотрѣлъ бы только
Со вздохомъ грусти—не любви—на женщинъ,
Чьи прелести считаются первѣйшимъ
И лучшимъ изъ сокровищъ на землѣ.
Я не искалъ нимало бы у нихъ
Взаимности, прекрасно понимая,
Что мнѣ онѣ не могутъ заплатить
Любовью за любовь, благодаря
Моей наружности, чьимъ приговоромъ
Я осужденъ прожить земной мой вѣкъ
Въ печальномъ одиночествѣ. Все это
Я снесъ бы терпѣливо; но меня
Отвергла мать. Медвѣдица—и та,
Какъ говорятъ, умѣетъ привести
Въ приличный видъ урода-медвѣженка,
Начавъ его лизать; но мать моя
Не видѣла возможности исправить
Меня ничѣмъ. Когда бъ она, подобно
Родителямъ спартанцевъ, погубила
Меня въ тотъ самый мигъ, какъ я родился,
Я былъ бы погребенъ теперь въ землѣ,
Не зная жизни и—не бывъ ничѣмъ—
Счастливѣй былъ бы больше, чѣмъ оставшись,
Чѣмъ я теперь. Но несмотря на все,
Будь даже я презрѣннѣйшимъ изъ смертныхъ,
Я чувствую, что могъ бы отличиться
Не хуже прочихъ, обладая духомъ,
Готовымъ на борьбу. Судьба такая
Не рѣдко выпадала существамъ,
Подобнымъ мнѣ. Ты видѣлъ самъ, что я
Готовъ былъ умертвить себя; а тотъ,
Кто можетъ такъ распоряжаться жизнью
Своею собственной—съумѣетъ, вѣрно,
Взять въ руки тѣхъ людей, которымъ смерть
Страшнѣй всего на свѣтѣ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Выбирай
Межъ чѣмъ ты былъ доселѣ и чѣмъ хочешь
Впредь сдѣлаться.

АРНОЛЬДЪ.

Мой выборъ сдѣланъ. Ты
Открылъ передо мной блестящій видъ,
Пріятнѣйшій глазамъ моимъ и сердцу.
Хотя я точно также бъ могъ достигнуть
Любви людей, ихъ страха, уваженья
И прочаго, оставшись и такимъ,
Какимъ я былъ; но не такихъ людей
Привѣтъ мнѣ дорогъ; близкіе бъ остались
Мнѣ также чужды. Ты позволилъ выбрать
Мнѣ внѣшній видъ—и такъ я выбираю
Тотъ образъ, что стоитъ передо мной.
Скорѣй! скорѣй!

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

А я? съ какимъ останусь
Я видомъ самъ?

АРНОЛЬДЪ.

Само собой, что тотъ,
Кто можетъ такъ располагать свободно
Наружностью, съумѣетъ выбрать видъ

Прекраснѣй даже самого Пелида.
Такъ, напримѣръ, ты можешь превратиться
Хотя въ Париса, что его убилъ,
Иль даже, наконецъ, въ отца и бога
Поэзіи—въ того, чья красота
Была сама поэзіей.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

О, нѣтъ,
Я удовольствуюсь гораздо меньшимъ,
Затѣмъ что я люблю разнообразье.

АРНОЛЬДЪ.

Твой видъ хотя и строгъ, но не лишенъ
Пріятности.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Я могъ, когда бъ хотѣлъ,
По выбору быть бѣлымъ или чернымъ,
Но черный цвѣтъ всегда мнѣ былъ пріятнѣй:
Онъ какъ-то откровеннѣй. Съ нимъ не будешь
Блѣднѣть отъ страха иль, наоборотъ,
Краснѣть отъ совѣсти. Но я его
Носилъ довольно долго и теперь
Возьму твою наружность.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ—мою?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Да! ты обмѣнишься наружнымъ видомъ
Съ Ѳетиды сыномъ; я-жъ намѣренъ быть
Арнольдомъ, сыномъ Берты. Всякій воленъ
Имѣть свой вкусъ. Останься ты съ своимъ,
А я съ моимъ.

АРНОЛЬДЪ.

Скорѣй! скорѣй!

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Сейчасъ.

(*Беретъ кусокъ земли и, покатавъ его по дерну, говоритъ, обращаясь къ тѣни Ахилла*).

Великая, славная тѣнь
Рожденнаго дивной Ѳетидой,
Что въ Троѣ сокрылся подъ сѣнь
Подземной пучины Аида.
Изъ красной земли изваялъ
Я форму твою, подражая
Тому, Кто Адама создалъ,
И къ персти бездушной взываю:
Возстань! оживи! цвѣтъ ланитъ
Зажгись лучезарнымъ сіяньемъ,
Какъ роза, что ярко горитъ
Предъ пышнымъ своимъ разцвѣтаньемъ!
Фіалокъ плѣнительный цвѣтъ
Въ глазахъ пусть сіяетъ, а влага
Зари, отразившая свѣтъ,
Стань кровью, кипящей отвагой!
Стебли гіацинтовъ, волной
Струимые въ воздухѣ, станьте
Кудрями и надъ головой
Его такъ же вольно воспряньте!
Пусть сердце свое закалитъ
Онъ тверже, чѣмъ эти каменья,
А голосъ его пусть звучитъ,
Какъ птичекъ невинное пѣнье!
Беру я для плоти твоей
Чистѣйшей земли, что питала
Цвѣты бѣлоснѣжныхъ лилей,
Какія роса окропляла.
Пускай красотою вездѣ
Себя онъ предъ всѣми отмѣтитъ,
А ловкостью членовъ нигдѣ
Соперниковъ равныхъ не встрѣтитъ.
Стихіи, взываю я къ вамъ!
Смѣшайтесь и въ немъ оживите,
Къ моимъ преклонившись словамъ!
Спѣшите! сказалъ я, спѣшите!
Живительный солнечный жаръ,
Пролейся на это созданье!
Готово. Дитя дивныхъ чаръ,
Онъ мѣсто нашелъ въ мірозданьи.

(*Арнольдъ падаетъ безъ чувствъ. Душа его переходитъ въ тѣло Ахилла, которое поднимается изъ земли. Призракъ мало по малу исчезаетъ*).

АРНОЛЬДЪ (*въ новой формѣ*).

Любовь! любовь! тебя я, наконецъ,
Почувствую—и самъ любить я буду!
О, дивный духъ!

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Постой: что станемъ дѣлать
Мы съ прежнею твоею оболочкой,
Съ уродствомъ этимъ, брошеннымъ тобой?

АРНОЛЬДЪ.

Не все ль равно! Пусть коршуны и волки
Сожрутъ его, когда лишь захотятъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ну, ежели они на то рѣшатся,
Не убѣжавъ со страхомъ прочь, то можно
Подумать, что всеобщій миръ вселился
У нихъ въ лѣсахъ и что добычи больше
Имъ не сыскать.

АРНОЛЬДЪ.

Пусть мертвый этотъ трупъ
Лежитъ, какъ знаетъ, что бы ни случилось
Съ нимъ далѣе.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Вѣдь это будетъ дурно
И неучтиво съ нашей стороны:
Какъ ни смотри, а это тѣло душу
Твою вмѣщало.

АРНОЛЬДЪ.

Да, оно похоже
На кучу мусора, въ которой былъ
Сокрытъ алмазъ, оправленный теперь,
Какъ должно, въ золотую оболочку.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Но если я умѣлъ тебя облечь
Въ иную форму, мы должны исполнить
Такую мѣну честно, а не тайнымъ
Постыднымъ воровствомъ. Кому дано
Творить людей безъ женщинъ, обладаетъ
Патентомъ на такое производство
И не позволитъ подрывать себя
Подобною поддѣлкой. Дьяволъ можетъ
Губить людей, но не имѣетъ власти
Ихъ дѣлать по желанью, хоть при этомъ
Позволено ему сбирать плоды
Начальнаго созданья. Мы должны
Найти кого-нибудь, кто согласится
Въ твое облечься тѣло.

АРНОЛЬДЪ.

Кто жъ захочетъ
Исполнить это?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Не могу придумать—
И потому рѣшусь на это самъ.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ! Ты?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Вѣдь я тебя предупреждалъ
Объ этомъ прежде, чѣмъ переселился
Ты въ новую обитель красоты.

АРНОЛЬДЪ.

Я все забылъ въ припадкѣ восхищенья
И радости, при видѣ этой дивной,
Безсмертной перемѣны.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Чрезъ минуту
Я сдѣлаюсь—чѣмъ былъ доселѣ ты,
И буду впредь съ тобою неразлученъ,
Какъ тѣнь твоя.

АРНОЛЬДЪ.

Желалъ бы я избѣгнуть
Такого счастья.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Неужели ты
Боишься въ новомъ естествѣ взглянуть
На прежнее?

АРНОЛЬДЪ.

Ну, поступай, какъ знаешь.

НЕИЗВѢСТНЫЙ (*обращаясь къ тѣлу Арнольда, лежащему на землѣ*).

Земля безъ души, но живая!
Тебя человѣкъ, избѣгая,
Со страхомъ кругомъ обойдетъ,
Безсмертный тебя изберетъ.
Пусть форма земли не одна—
Духамъ безразлична она.

Огонь лучезарный! изъ смертныхъ никто
Не можетъ прожить безъ тебя, и никто
Изъ этихъ существъ никогда не дерзаетъ
Бороться съ тобою; лишь только витаютъ
Однѣ саламандры въ пучинѣ твоей,
Да грѣшныя души умершихъ людей
Съ мольбою къ тому, кто не знаетъ прощенья,
О каплѣ воды, чтобъ прервать ихъ мученья.
Огонь! нѣтъ ни птицы, ни звѣря, кто бъ могъ
Тебя пересилить. Твой бурный потокъ
Все губитъ на свѣтѣ и развѣ что можетъ
Лишь червь ненасытный и злобный, что гложетъ
Весь міръ, быть тобой пощаженнымъ. Въ тебѣ
Находимъ мы смерть и защиту въ борьбѣ.
Огонь перворотный! О, сынъ разрушенья,
Въ тотъ мигъ, какъ готово исчезнуть творенье,
Къ тебѣ обращаюсь: мнѣ помощью будь
И жизни дыханье верни въ эту грудь!
Пусть мертвый, коснѣвшій доселѣ бездушно,
Возстанетъ опять намъ обоимъ послушный,
Малѣйшая искра его оживитъ
И душу мою онъ отнынѣ вмѣститъ.

(*Блуждающій огонь вспыхиваетъ въ лѣсу и спускается на голову тѣла Арнольда. Неизвѣстный исчезаетъ. Тѣло поднимается*).

АРНОЛЬДЪ (*въ прежнемъ видѣ Ахилла*).
О, ужасъ!

НЕИЗВѢСТНЫЙ (*въ прежнемъ видѣ Арнольда*).
Какъ! ужъ ты боишься?

АРНОЛЬДЪ.

Нѣтъ,
Я лишь вздрогнулъ. Куда дѣвалось тѣло,
Въ которомъ былъ ты прежде?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Испарилось
Въ страну тѣней, а мы пойдемъ блуждать
Въ странѣ живыхъ. Куда желаешь ты
Отправиться?

АРНОЛЬДЪ.

Ты развѣ долженъ всюду
Ходить за мной?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

А почему же нѣтъ?



ПОЯВЛЕНІЕ ТѢНИ АХИЛЛА.
Рис. Мадоксъ Броунъ (Ford Madox Brown).

Нерѣдко люди лучшіе, чѣмъ ты,
Бываютъ въ обществѣ далеко худшихъ.

АРНОЛЬДЪ.

Сказалъ ты: «лучшіе, чѣмъ я»?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ого!
Я вижу новый видъ твой ужъ успѣлъ
Вселить въ тебя кичливость. Впрочемъ, я
Тому сердечно радуюсь. Ты сталъ
Ко мнѣ неблагодарнымъ: въ добрый часъ!
Успѣхъ въ тебѣ замѣтенъ. Ты съумѣлъ
Въ единый мигъ преобразиться дважды.
Всесвѣтныя привычки скоро станутъ
Тебѣ вполнѣ извѣстны. Все же я
Совѣтую тебѣ не презирать
Меня напрасно. Я съумѣю быть
Тебѣ полезнымъ въ странствіяхъ по свѣту.
Рѣшай скорѣй—куда теперь итти.

АРНОЛЬДЪ.

Туда, гдѣ міръ тѣснѣе населенъ,
Чтобъ видѣть лучше подвиги людскіе.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Въ тотъ, значитъ, край, гдѣ царствуютъ война
И женщины. Что жъ? выбирай! Идемъ
Въ Испанію, въ Америку, пожалуй,
Въ Италію иль въ Африку, съ ея
Арабами: намъ выбирать не трудно.
Вѣдь родъ людской теперь, какъ и всегда,
Готовъ кусать и рвать въ клочки другъ друга

АРНОЛЬДЪ.

Я слышалъ много славныхъ дѣлъ о Римѣ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Прекрасный выборъ! Трудно было сдѣлать
Удачнѣйшій съ тѣхъ поръ, какъ палъ Содомъ.
Тамъ можно, сверхъ того, теперь найти
Отличную работу—франки, гунны
И вандалы, потомки иберійцевъ,
Теперь своею обливаютъ кровью
Прелестный садъ природы.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ съ тобою
Туда мы попадемъ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Какъ подобаетъ
Приличнымъ, храбрымъ рыцарямъ — верхомъ
На быстрыхъ скакунахъ. Эй! подавайте
Моихъ коней! Подобныхъ не бывало,
Увидишь ты, съ тѣхъ поръ, какъ Фаэтонъ
Низвергнутъ былъ въ пучину Эридана.
Эй! гдѣ мои пажи?

Два ПАЖА *вводятъ четырехъ вороныхъ лошадей.*

АРНОЛЬДЪ.

Вотъ скакуны
Прекрасные во всемъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ!

И чистой крови.
Попробуй отыскать подобныхъ имъ
Во всей Аравіи.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ чудно пышетъ
Горячій паръ изъ ихъ ноздрей, а искры,
Сверкающія вдоль волнистой гривы,
Напоминаютъ стадо комаровъ,
Что вьются вереницей при закатѣ
Надъ каждой лошадью.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Прошу садиться—
Они и я покорные вамъ слуги.

АРНОЛЬДЪ.

А эти черноглазые пажи?
Какъ ихъ зовутъ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Ты можешь окрестить ихъ...

АРНОЛЬДЪ.

Въ святой водѣ?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

А почему же нѣтъ?
Отъявленные грѣшники нерѣдко
Внезапно становилися святыми.

АРНОЛЬДЪ.

Мальчишки эти слишкомъ хороши,
Чтобъ быть чертями.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Съ этимъ я согласенъ:
Кто чортъ — тотъ гадокъ, кто жъ хорошъ собой,
Не будетъ чортомъ.

АРНОЛЬДЪ.

Пусть румяный этотъ
И съ рогомъ позолоченымъ зовется
Гюономъ: онъ лицомъ совсѣмъ тотъ мальчикъ
Что затерялся навсегда въ лѣсу.
Другого же, съ задумчивымъ лицомъ
И видомъ молчаливымъ, безъ улыбки,
Какъ тихая, таинственная ночь,
Я назову Мемнономъ—въ честь царя,
Чья статуя гремѣла трубнымъ звукомъ
Однажды въ день. Но какъ мнѣ звать тебя?

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Я обладаю тысячью именъ;
Число жъ моихъ прозваній—вдвое больше.
Но, разъ принявъ наружность человѣка,
Я назовусь и именемъ людскимъ.

АРНОЛЬДЪ.

Какое бъ ты ни принялъ имя—все же
Оно скорѣй напомнитъ человѣка,
Чѣмъ твой наружный видъ, хотя онъ прежде
И былъ моимъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Такъ называй меня
Отнынѣ Цезаремъ.

АРНОЛЬДЪ.

Названье это
Принадлежитъ властителямъ людей,
Родившимся на тронѣ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Тѣмъ приличнѣй,
Чтобъ взялъ его переодѣтый дьяволъ.
Вѣдь ты меня считаешь за него,
Коль скоро не захочешь принимать
Меня за папу.

АРНОЛЬДЪ.

Хорошо—будь Цезарь.
Что до меня, я буду называться
По прежнему—Арнольдомъ.

НЕИЗВѢСТНЫЙ.

Мы прибавимъ
Къ нему лишь графскій титулъ,—„графъ Арнольдъ“
Пріятнѣе звучитъ въ любовной пѣснѣ.

АРНОЛЬДЪ.

Оно звучитъ славнѣе и въ приказѣ
Итти на бой.

НЕИЗВѢСТНЫЙ (*поетъ*).

Впередъ! впередъ!
Мой конь бодрится и пылаетъ;
Скакунъ Аравіи—и тотъ
Такъ господина не узнаетъ.
Чѣмъ выше горы, тѣмъ скорѣй
На нихъ взлетитъ онъ быстрымъ махомъ.
Среди болотъ, среди степей
За нимъ дорога вьется прахомъ.
Онъ пить къ ручью не припадетъ;
Онъ не задохнется отъ бѣга;
Ноги о камни не споткнетъ;
Искать не станетъ онъ ночлега;
Безъ крылъ, какъ птица полетитъ,
Дурныхъ путей не разбирая;
Не счастье ль намъ судьба сулитъ,
Такой подарокъ посылая.
Отъ снѣжныхъ Альповъ до высотъ
Вдали стоящаго Кавказа
Скакунъ насъ борзый донесетъ,
Не давши намъ мигнуть ни раза.

(*Садятся на коней и исчезаютъ*).

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Лагерь подъ стѣнами Рима.

Арнольдъ и Цезарь.

ЦЕЗАРЬ.

Ты во-время явился.

АРНОЛЬДЪ.

На пути
Я встрѣтилъ горы труповъ—и забрызганъ
Я кровью съ ногъ до головы.

ЦЕЗАРЬ.

Отри же
Свои глаза и оглядись вокругъ.
Ты сталъ завоевателемъ и братомъ
По храбрости великаго Бурбона,
Того, что былъ доселѣ конетаблемъ—
Теперь же скоро будетъ властелиномъ
Столицы міра, города, который
Владѣлъ при императорахъ вселенной,
А нынѣ измѣнилъ свой прежній полъ,
Точь-въ-точь гермафродитъ—и старый міръ
Его своей владычицей призналъ.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ—„старый міръ"? Да развѣ есть еще
Иной—новѣйшій міръ?

ЦЕЗАРЬ.

О, да—для васъ;
И вы его узнаете, когда
Онъ явится съ новинками богатствъ
И новыми болѣзнями. Всѣ люди
Его звать будутъ новымъ. Вѣдь для васъ
Достаточно сомнительныхъ свидѣтельствъ
Людскихъ ушей и глазъ.

АРНОЛЬДЪ.

Я имъ хочу
И буду вѣрить.

ЦЕЗАРЬ.

Вѣрь, когда желаешь.
Они, вѣдь, надуваютъ васъ пріятно,
А это лучше, чѣмъ узнать дурную
И горестную истину.

АРНОЛЬДЪ.

Собака!

ЦЕЗАРЬ.

Что, человѣкъ?

АРНОЛЬДЪ.

Проклятый дьяволъ!

ЦЕЗАРЬ.

Твой
Покорнѣйшій и преданный слуга.

АРНОЛЬДЪ.

Скорѣй мой господинъ. Твоею властью
Я приведенъ сюда сквозь цѣпь убійствъ
И низкаго разврата.

ЦЕЗАРЬ.

Гдѣ же ты
Желалъ бы лучше быть?

АРНОЛЬДЪ.

Тамъ, гдѣ царитъ
Покой и миръ.

ЦЕЗАРЬ.

А гдѣ такое мѣсто
Ты сыщешь во вселенной? Все на свѣтѣ
Кипитъ въ движеньи вѣчномъ, начиная
Съ планетъ небесныхъ и кончая жалкимъ,
Послѣднимъ червякомъ. Движенье въ жизни
Граничитъ съ смертью. Звѣзды въ небесахъ
Вращаются, пока не превратятся
Въ бродячія кометы, разрушая
Всѣ прочія небесныя тѣла,
Какія встрѣтятъ на пути. Послѣдній
Червякъ—и тотъ старается поймать
Себѣ добычу на землѣ—и въ этомъ
Онъ правъ вполнѣ: онъ долженъ жить, какъ всѣ
Земныя твари, слѣпо повинуясь
Закону жизни, давшему ему
Земную жизнь невѣдомо зачѣмъ.
Ты долженъ точно такъ же подчиниться
Всеобщему закону, не пытаясь
Ему противиться ужъ потому,
Что всякая попытка безполезна.

АРНОЛЬДЪ.

А если бы попытка удалась?

ЦЕЗАРЬ.

Тогда ее не стали бъ называть
Сопротивленіемъ.

АРНОЛЬДЪ.

Удастся ль нынче—
Что мы хотимъ?

ЦЕЗАРЬ.

Бурбонъ велѣлъ готовить
На утро приступъ. Намъ довольно будетъ
Съ тобой работы.

АРНОЛЬДЪ.

Неужели долженъ
Погибнуть Римъ? Отсюда вижу я
Гигантскій куполъ истиннаго Бога
И вѣрнаго слуги его, Петра
Апостола. Онъ поднимаетъ къ небу
Свою вершину со святымъ крестомъ,
Какъ бы стремясь туда, куда Христосъ
Вознесся послѣ крестнаго мученья,
Оставивъ крестъ, омоченный Его
Святою кровью, намъ, въ залогъ блаженства,
Тотъ крестъ, который былъ орудьемъ пытки
Для Сына Божія и вмѣстѣ Бога,
Единаго прибѣжища для всѣхъ.

ЦЕЗАРЬ.

Они тамъ были и остались...

АРНОЛЬДЪ.

Что?

ЦЕЗАРЬ.

Кресты вверху на куполѣ я вижу,
Внизу же въ храмѣ алтари святые,
А, сверхъ того, повсюду кулеврины,
Пищали, топоры—ну, словомъ, все,
Что надобно, чтобъ убивать людей.
Считать же тѣхъ, кто будетъ убивать,
Равно какъ и убитыхъ,—я не буду.

АРНОЛЬДЪ.

Вотъ арки вѣчной прочности! Съ трудомъ
Повѣрить можно, что людскія руки
Ихъ создали! Вотъ Колизей, въ которомъ
Властители и ихъ рабы—такіе жъ
Римляне, какъ они—смотрѣли гордо
На бой звѣрей, царей лѣсовъ. Здѣсь львы
И дикіе слоны, до той поры
Никѣмъ не покоренные, послушно
Сражались на аренѣ. Римъ, казалось,
Потребовалъ, смиривши міръ, чтобъ звѣри
Ему несли такую жъ дань, сражаясь
Ему въ забаву. Воины-дакійцы
Здѣсь веселили сонмища гражданъ
Своею смертью! Палъ одинъ—толпа
Уже кричала: „подавай другого!"
Ужель остатки эти будутъ также
Разрушены?

ЦЕЗАРЬ.

Что—Колизей иль городъ,
Соборъ Петра или другія церкви?
Ты, кажется, смѣшалъ въ твоихъ понятьяхъ
Все, что передъ тобой, съ меня начавши.

АРНОЛЬДЪ.

Сигналъ на приступъ будетъ поданъ завтра,
Чуть крикнутъ пѣтухи.

ЦЕЗАРЬ.

И врядъ ли онъ
Окончится съ вечернею зарею,
Когда засвищутъ соловьи; иначе
Исторія большихъ осадъ и войнъ
Совсѣмъ измѣнится. Войска должны
Воспользоваться правомъ на добычу
За долгіе труды.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ ясно солнце
Склонилось къ западу! Едва ли былъ
Хорошъ такъ день, когда впервые Ромулъ
Перешагнулъ чрезъ первый римскій ровъ.

ЦЕЗАРЬ.

Я это видѣлъ.

АРНОЛЬДЪ.

Ты?

ЦЕЗАРЬ.

Да, милый мой!
Иль ты забылъ, что я былъ духъ, покуда
Не принялъ, вмѣстѣ съ маскою твоей,
Гораздо худшее прозванье: Цезарь—
И вмѣстѣ съ тѣмъ горбунъ! Что жъ, говорятъ,
Что будто Цезарь былъ плѣшивымъ;
Исторія жъ при этомъ прибавляетъ,
Что онъ гораздо больше придавалъ
Значенія лавровому вѣнку
Какъ парику, чѣмъ знаку славы. Вотъ
Каковъ нашъ міръ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ
Намъ быть веселыми. Я видѣлъ самъ,
Какъ Ромулъ вашъ зарѣзалъ брата Рема
За то, что тотъ перескочилъ чрезъ ровъ,
А оба были рождены межъ тѣмъ
Одною матерью. Великій Римъ
Въ то время не былъ окруженъ стѣнами:
Чтобъ ихъ сложить, была цементомъ первымъ
Кровь брата, пролитая братомъ. Если
Кровь жителей его прольется завтра
Широкою рѣкою до того,
Что воды Тибра покраснѣютъ такъ же,
Какъ были ранѣе онѣ желты,
И выступятъ изъ береговъ—все жъ это
Ничтожно будетъ, если посравнить
Рѣзню такую съ тѣмъ, что натворило
Потомство первыхъ кровожадныхъ братьевъ,
Облившее пурпурною рѣкой
И земли, и моря, гдѣ совершали
Они въ теченье множества столѣтій
Ихъ подвиги.

АРНОЛЬДЪ.

Но въ чемъ же виноваты
Теперешніе жители? Они
Живутъ въ полнѣйшемъ мирѣ, наслаждаясь
Спокойно яснымъ солнцемъ, въ тишинѣ
И добродѣтели.

ЦЕЗАРЬ.

А чѣмъ виновны
Народы тѣ, которыхъ раздавилъ
Могучій Римъ? Тсъ! слушай!

АРНОЛЬДЪ.

Это пѣсня
Веселая солдатъ. Они поютъ,
Быть можетъ, наканунѣ близкой смерти
Для каждаго.

ЦЕЗАРЬ.

Они должны бы пѣть
Пѣснь лебедей. Хоть, впрочемъ, если имъ
Прилично имя лебедей—то черныхъ.

АРНОЛЬДЪ.

Ты, вижу я, ученый.

ЦЕЗАРЬ.

Я силенъ
Дѣйствительно въ грамматикѣ. Вѣдь я
Себя готовилъ къ званію монаха
И, помнится, когда-то изучалъ
Настойчиво этрусскія сказанья.
Я могъ бы объяснить ихъ іероглифы
Съ такой же легкостью, какъ ваши книги.

АРНОЛЬДЪ.

Что жъ не займешься этимъ ты?

ЦЕЗАРЬ.

Я лучше
Готовъ заняться тѣмъ, чтобъ обращать
Теперешнія книги въ іероглифы.
Вѣдь это настоящее занятье
Всѣхъ вашихъ докторовъ, поповъ, ученыхъ,
Законниковъ, философовъ и прочихъ
Подобныхъ имъ. Весь этотъ родъ навѣрно
Успѣлъ гораздо больше натворить
Сумятицы въ понятьяхъ, чѣмъ толпа
Трудившихся надъ вавилонской башней:
Тѣ мирно разошлись, когда задача,
Затѣянная ими, не могла
Осуществиться. И когда посмотришь,
Изъ-за чего всѣ разошлись: одинъ
Не могъ понять другого. Нынче люди
Стакнулись лучше межъ собою въ жизни:
Невѣжество и глупость имъ не служитъ
Причиной разойтись; наоборотъ:
Такія качества лежатъ въ основѣ
Общественныхъ условій. Это людямъ
Коранъ, Талмудъ и Шибболетъ; они
На нихъ созиждутъ все!

АРНОЛЬДЪ.

Довольно лаять
Тебѣ на все, насмѣшникъ. Какъ пріятно
Звучитъ и пѣсня грубая солдатъ
На свѣжемъ, чистомъ воздухѣ. Точь-въ-точь
Спокойный гимнъ. Послушаемъ.

ЦЕЗАРЬ.

Бывало,
Я слышалъ пѣсни ангеловъ.

АРНОЛЬДЪ.

А также
Вой демоновъ?

ЦЕЗАРЬ.

Да—и людей въ придачу.
Послушаемъ: мнѣ музыка по сердцу.

ХОРЪ СОЛДАТЪ (*доносится издали*).

Чрезъ Альпы и тучи
Вожди насъ вели;
Съ Бурбономъ могучимъ
Мы По перешли:
Враговъ мы прогнали;
Король нами взятъ;
Мы страха не знали,—
Пусть пѣсни гремятъ!
Бурбонъ—наша слава;
Пока онъ вождемъ,
Съ врагомъ на расправу
Мы бодро пойдемъ.
Лишь утро займется,
Отрядъ нашъ—впередъ;
Въ ворота ворвется
И стѣны возьметъ.
Какъ будемъ въ разбитый
Мы городъ вступать,
Лишь можетъ убитый
При этомъ молчать.
Какъ Рима палаты
Бурбонъ нашъ возьметъ,
Добычей богатой
Никто не сочтетъ.
Впередъ, дѣти лилій!
Долой ключъ Петра!
Плодъ нашихъ усилій
Дастъ много добра.
Пусть Тибръ обагрится
Отъ крови враговъ!
Пусть храмъ огласится
Подъ звономъ шаговъ!
„Бурбонъ!" вотъ военный
Всегдашній нашъ крикъ.
Онъ весть неизмѣнно
Впередъ насъ привыкъ.
Съ когортой испанцевъ
Въ главѣ мы идемъ,
Литавры германцевъ
За ними несемъ.
Италіи племя
Возстало на мать,
А намъ пришло время
На братьевъ возстать.
Проникнутъ отвагой
Бурбонъ нашъ! За нимъ
Бездомной ватагой
Идемъ мы на Римъ!

ЦЕЗАРЬ.

Пріятною не будетъ эта пѣсня
Для осажденныхъ!

АРНОЛЬДЪ.

Да! но, вѣдь, они
Прислушались къ припѣву; но смотри:
Сюда идетъ начальникъ нашъ и съ нимъ
Его сподвижники. Признаться должно,
Что съ виду онъ достойный бунтовщикъ.

(*Отходятъ въ глубину сцены*).

Входятъ Коннетабль Бурбонъ, Филибертъ *и свита.*

ФИЛИБЕРТЪ.

Что съ вами, благородный герцогъ? Вы
Не веселы?

БУРБОНЪ.

Изъ-за чего же мнѣ
Веселымъ быть?

ФИЛИВЕРТЪ.

Но всякій былъ бы веселъ,
Напротивъ, наканунѣ славной битвы
И доблестной побѣды.

БУРБОНЪ.

Если бъ я
Увѣренъ былъ въ побѣдѣ!

ФИЛИБЕРТЪ.

Въ нашемъ войскѣ
Сомнѣнья нѣтъ. Когда бы стѣны были
Изъ чистаго алмаза—и тогда
Солдаты наши взяли бъ ихъ. Нѣтъ силы
Ужаснѣй голода.

БУРБОНЪ.

Они не дрогнутъ, точно—
Я въ томъ увѣренъ; да и какъ могли бы
Они, имѣя во главѣ Бурбона,
А также будучи истомлены
Мученьемъ голода, подумать только
Объ отступленіи? Будь эти стѣны
Высокими горами, тѣ же люди,
Что защищаютъ ихъ—богами древнихъ,
Я и тогда бъ увѣренъ былъ вполнѣ
Въ моихъ титанахъ. Все жъ, однако...

ФИЛИБЕРТЪ.

Мы
Имѣемъ дѣло вѣдь съ людьми—не больше.

БУРБОНЪ.

Я это знаю; но твердыни эти
Пережили вѣка великой славы
И видѣли героевъ. Вѣкъ минувшій
Могучихъ римлянъ полонъ весь тѣнями
Героевъ этихъ. Тѣни ихъ живутъ
И нынче средь потомковъ. На стѣнахъ
Мнѣ чудятся они, и, призывая
Меня окровавленными руками,
Велятъ оставить городъ.

ФИЛИБЕРТЪ.

Пусть велятъ!
Ужель бояться будете вы мертвыхъ?

БУРБОНЪ.

Они меня не думаютъ пугать;
Да я и самъ не струсилъ бы навѣрно,
Когда бъ грозилъ мнѣ даже самый Сулла.
Но тѣни эти, складывая руки,
Напротивъ, обращаются ко мнѣ
Съ покорною мольбой. Ихъ жалкій взглядъ
И блѣдныя, истерзанныя лица
Меня лишаютъ силъ. Смотри! смотри!

ФИЛИВЕРТЪ.

Я вижу только крѣпостныя стѣны.

БУРБОНЪ.

А тамъ—съ той стороны?

ФИЛИВЕРТЪ.

Тамъ не видать
Ни часового. Стража ихъ разумно
Разставлена внутри, чтобъ избѣжать
Внезапныхъ выстрѣловъ, когда бы наши
Стрѣлки задумали себѣ въ забаву
Пустить десятокъ пуль подъ темной мглой
Наставшихъ сумерекъ.

ВУРБОНЪ.

Ты слѣпъ.

ФИЛИБЕРТЪ.

Пожалуй,
Когда назвать возможно слѣпотой—
Не видѣть то, чего не существуетъ.

БУРБОНЪ.

Здѣсь жило поколѣніе героевъ
Въ теченье двадцати вѣковъ. Катонъ,
Зарѣзавшій себя затѣмъ, чтобъ только
Не пережить скончавшейся свободы
Отечества, которое хочу я
Завоевать—мнѣ чудится стоящимъ
На этихъ укрѣпленьяхъ. Цезарь самъ,
Съ блестящей свитой выигранныхъ имъ
Побѣдъ, проходитъ медленно по стѣнамъ..

ФИЛИБЕРТЪ.

Такъ завоюйте жъ городъ, за который
Сражался онъ: вы сдѣлаете этимъ
Себя славнѣе Цезаря.

БУРБОНЪ.

Я это
Исполню иль погибну.

ФИЛИВЕРТЪ.

Умереть
Въ подобномъ предпріятіи не значитъ
Погибнуть безъ слѣда. Такая смерть,
Напротивъ, зажигаетъ намъ зарю
Для жизни безконечной.

Графъ Арнольдъ *и* Цезарь *подходятъ.*

ЦЕЗАРЬ.

Тѣ же, кто
Простые только люди—неужели
Должны они потѣть подъ лучезарнымъ
Огнемъ подобной славы?

БУРБОНЪ.

А! нашъ славный
Красавецъ изъ красавцевъ и храбрѣйшій
Изъ воиновъ, а съ нимъ и злоязычный

Его горбунъ! Съ разсвѣтомъ мы найдемъ
Работу вамъ обоимъ.

ЦЕЗАРЬ.

Трудъ найдется
И вамъ навѣрно, герцогъ.

БУРБОНЪ.

Да, горбунъ,
Пришелъ бы только часъ—я докажу,
Что буду не послѣднимъ изъ рабочихъ.

ЦЕЗАРЬ.

Вы вправѣ называть меня горбатымъ:
Вы видѣли мой горбъ, когда въ сраженьи
Вы, въ качествѣ начальника, держались
За войскомъ, я жъ сражался впереди;
Но этого враги сказать не могутъ.

БУРБОНЪ.

Отвѣтъ хорошъ, и мнѣ онъ подѣломъ
За то, что мною вызванъ. Но, однако,
Я возражу, что грудь Бурбона также
Всегда готова встрѣтиться въ бою
Съ опасностью—и въ этомъ я поспорю
Съ тобой, будь ты хоть дьяволъ!

ЦЕЗАРЬ.

Будь я имъ,
Мнѣ было бъ незачѣмъ сюда являться.

БУРБОНЪ.

Но почему жъ?

ЦЕЗАРЬ.

Затѣмъ, что половина
Солдатъ достойныхъ вашихъ доброй волей
Достанется ему, а остальную
Отправите вы къ дьяволу еще
Скорѣе и вѣрнѣе.

БУРБОНЪ.

Графъ Арнольдъ,
Горбатый вашъ пріятель на словахъ
Не менѣе змѣя, чѣмъ и на дѣлѣ.

ЦЕЗАРЬ.

Вы, принцъ, неправы: первый змѣй былъ
льстецъ,
А я не льщу; что жъ до моихъ занятій,
То я кусаюсь лишь—когда бываю
Укушенъ кѣмъ-нибудь.

БУРБОНЪ.

Ты храбръ—мнѣ больше
Не надо ничего; ты не полѣзешь
Въ карманъ за словомъ, чтобъ отвѣтить—
это
Не меньшее достоинство. Я самъ
Не только что солдатъ, но и товарищъ
Моихъ солдатъ.

ЦЕЗАРЬ.

Подобное знакомство
Едва ли имъ понравится: оно,
Пожалуй, даже хуже, чѣмъ съ врагами,
Затѣмъ, что длится долѣе.

ФИЛИБЕРТЪ.

Эге!
Пріятель, ты однако жъ позволяешь
Себѣ ужъ слишкомъ много для шута.

ЦЕЗАРЬ.

Вы, значитъ, недовольны тѣмъ, что я
Правдивъ и откровененъ? Что жъ, пожа-
луй,
Я буду лгать: мнѣ въ этомъ нѣтъ труда.
Вы не осудите меня, конечно,
Коль скоро я васъ буду называть
Героемъ.

БУРБОНЪ.

Филибертъ, оставь его:
Онъ мужественъ. Мы видѣли всегда
Его горбатую фигуру въ битвѣ
Въ главѣ солдатъ; что жъ до умѣнья
твердо
Сносить лишенья—онъ намъ доказалъ
Способность и на это. На войнѣ
И въ лагерѣ дозволю я охотно
Порою развязать языкъ. Мнѣ даже
Пріятнѣй слушать дерзкія слова
Лихого, хоть и грубаго рубаки,
Чѣмъ хныканье трусливаго лѣнтяя,
Который спитъ и видитъ, чтобъ поѣсть
Да выспаться лишь только заведется
Въ его карманѣ пять иль шесть грошей.

ЦЕЗАРЬ.

Какъ хорошо, когда бъ подобной долей
Довольствовались также короли!

БУРБОНЪ.

Молчи!

ЦЕЗАРЬ.

Молчать я буду, но за то
Бездѣльничать не стану. Вамъ въ словахъ
И книги въ руки, хоть болтать, признаться,
Придется вамъ не долго.

ФИЛИБЕРТЪ.

Но чего же
Ты хочешь, грубіянъ?

ЦЕЗАРЬ.

Болтать, какъ всѣ
Пророки на землѣ.

БУРБОНЪ.

Оставь его;
У насъ дѣла найдутся посерьезнѣй.
Я самъ хочу принять начальство завтра
Надъ войскомъ, графъ Арнольдъ.

АРНОЛЬДЪ.

Я это слышалъ,
Достойный принцъ.

БУРБОНЪ.

Вы будете, конечно,
При мнѣ въ сраженьи?

АРНОЛЬДЪ.

Если только вы
Мнѣ не позволите ударить первымъ
На непріятеля.

БУРБОНЪ.

Чтобъ поддержать
Въ солдатахъ бодрость, я считаю нужнымъ,
Чтобъ ихъ начальникъ первымъ сталъ взбираться
По лѣстницѣ на приступъ, и притомъ—
Въ труднѣйшемъ мѣстѣ.

ЦЕЗАРЬ.

И, конечно, самомъ
Высокомъ изо всѣхъ. Онъ этимъ будетъ
Поставленъ на приличную ступень
Своимъ достоинствамъ и сану.

БУРБОНЪ.

Завтра,
Надѣюсь я, столица міра будетъ
У насъ въ рукахъ. Великій вѣчный городъ
Умѣлъ сберечь главенство надъ людьми
Во всѣ вѣка. Аларихъ занялъ въ немъ
Тронъ Цезаря и уступилъ его
Намѣстникамъ Петра; но кто бы ни былъ
Въ немъ властелиномъ—римляне иль готы,
Или попы, великій Римъ всегда
Умѣлъ остаться властелиномъ міра.
Центръ варварства, религіи иль древней
Цивилизаціи,—онъ оставался центромъ
Имперіи. Чередъ его прошедшихъ
Владыкъ минулъ—и наступаетъ нашъ.
Надѣюсь, мы сражаться будемъ такъ же
Отважно, какъ они, а управлять
Съумѣемъ лучше.

ЦЕЗАРЬ.

О, конечно! Лагерь
Всегда считался лучшей школой всѣхъ
Гражданскихъ доблестей. Но что же вы
Хотите сдѣлать съ Римомъ?

БУРБОНЪ.

То, чѣмъ былъ
Онъ прежде.

ЦЕЗАРЬ

Не во время ль Алариха?

БУРБОНЪ.

Нѣтъ, рабъ, — но тѣмъ, чѣмъ былъ во времена
Онъ Цезаря, чье имя носишь ты,
Какъ многія собаки!

ЦЕЗАРЬ.

Точно такъ же,
Какъ короли. Прекрасное названье
Для кровожадныхъ псовъ!

БУРБОНЪ.

Вотъ у кого
Языкъ змѣи! Неужли ты не можешь
Хоть слово вымолвить серьезно?

ЦЕЗАРЬ.

Нѣтъ!
Особенно предъ битвой! Это было бъ
Не по-солдатски: разсуждать прилично
Начальникамъ, а мы, пустая сволочь,
Должны смѣяться. Изъ чего же намъ
Заботиться? Начальство разсуждаетъ
За насъ за всѣхъ. Извѣстно, что солдату
Всего опаснѣй думать: вздумай войско
Заняться этимъ, вамъ итти пришлось бы
Однимъ на приступъ города.

БУРБОНЪ.

Ты можешь
Острить и злоязычничать въ награду
За то, что ты по счастью храбръ и смѣлъ.

ЦЕЗАРЬ.

Благодарю за лестную свободу!
Въ ней все, что я покуда получилъ
У васъ на службѣ.

БУРБОНЪ.

Завтра ты заплатишь
Себѣ за службу самъ. Награда ваша
За этимъ валомъ. Филибертъ, намъ надо
Однако же отправиться въ совѣтъ.
Вы съ нами, графъ Арнольдъ?

АРНОЛЬДЪ.

Въ совѣтѣ ль, въ битвѣ ль
Вы можете располагать вполнѣ
Мной какъ хотите, принцъ

БУРБОНЪ.

Повѣрьте, я цѣню
Глубоко вашу преданность и завтра
Поставлю васъ на очень важный постъ.

ЦЕЗАРЬ.

А я что долженъ дѣлать?

БУРБОНЪ.

Точно также
Итти впередъ со славой за Бурбономъ.
Прощайте!

АРНОЛЬДЪ (*Цезарю*).

Приготовь оружье къ битвѣ
И жди меня въ палаткѣ.

(*Бурбонъ, Арнольдъ, Филибертъ и свита уходятъ*).

ЦЕЗАРЬ.

Ждать въ палаткѣ?

Иль думаешь ты точно, что тебя
Я выпущу такъ просто и свободно
Изъ рукъ моихъ? Ты, кажется, не хочешь
Понять того, что если я взвалилъ
Себѣ на плечи плоть твою, то это
Единственно какъ маску. Вотъ такъ люди!
Вотъ каковы всѣ эти храбрецы,
Адамовы ублюдки! Вотъ что значитъ
Дать искру мысли плоти! Дрянь и персть,
Она всегда вращается въ хаосѣ
Лишь глупостей и выдаетъ свою
Природу каждый мигъ. Ну что жъ: я буду
Дурачиться съ толпою этихъ куколъ.
Для духа позволительно заняться
Въ свободный часъ такими пустяками;
Когда жъ наскучитъ это, мнѣ найдется
Довольно дѣла между звѣздъ, чей свѣтъ,
По мнѣнью жалкихъ смертныхъ, созданъ только
Въ утѣху имъ. Вѣдь стоило бы мнѣ
Лишь захотѣть, чтобъ тотчасъ же обрушить
Одну изъ звѣздъ на нихъ, спаливши разомъ
Ихъ муравейникъ. Поглядѣть тогда бы,
Какъ всѣ они забѣгали бъ кругомъ,
Точь-въ-точь какъ муравьи, забывъ свои
И ссоры, и заботы! Ха! ха! ха!

(*Уходитъ*).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Стѣны Рима. Войско наступаетъ съ лѣстницами къ стѣнамъ. Впереди Бурбонъ съ бѣлымъ шарфомъ на латахъ.

Хоръ духовъ въ воздухѣ.

1.

Заря, но солнце возстаетъ
Въ туманѣ мрачно и уныло;
Хоръ птичекъ въ рощѣ не поетъ.
Ужели точно настаетъ
Восходъ полдневнаго свѣтила?
На городъ сумрачно глядитъ
Оно средь шума громового,
Чей гулъ и мертвыхъ пробудитъ,
Спокойно спящихъ средь родного,
Святого города. Волна
Ихъ Тибра тихимъ плескомъ моетъ,
Но наступившая война
Могилы древнія разроетъ.
О! сдвиньтесь съ мѣста, семь холмовъ,
Въ защиту этихъ береговъ!

2.

Чу! слышенъ ровный звукъ шаговъ;
Ихъ грозный богъ войны считаетъ.
Идутъ, какъ мѣрный рядъ валовъ,
Когда луна ихъ направляетъ,
Идутъ на смерть, а между тѣмъ,
Волнамъ подобно, тихо, грозно,
Въ рядахъ незыблемыхъ ничѣмъ
Солдатъ съ другимъ не ступитъ розно.
Такъ океанъ, прорвавши рядъ
Плотинъ, не вѣдаетъ преградъ;
Вы слышите ль: бряцаютъ латы;
Глаза бойцовъ огнемъ горятъ;
На неприступные раскаты
Ужъ ставятъ лѣстницъ частый рядъ;
Ихъ перекладины сверкаютъ
И какъ спина змѣи сіяютъ.

3.

Зубчатыхъ стѣнъ высокій рядъ
Унизанъ храбрыми бойцами;
Рядами пушки такъ стоятъ,
При нихъ солдаты съ фитилями.
Изъ жерлъ глубокихъ смерть глядитъ;
Все то, что выдумали люди
Для ранъ и смерти,—здѣсь грозитъ
Такою массою орудій,
Что даже туча саранчи
Ничтожной тутъ бы показалась.
О, Рема тѣнь! Когда въ ночи
Подъ братнею рукой разсталась
Съ своимъ ты тѣломъ—эта ночь,
Борьбы и злобы дикой дочь,
Ужаснѣй быть могла бъ едва-ли!
Какъ въ Римѣ братья воевали,
Такъ точно христіане тутъ
На братьевъ кровныхъ возстаютъ!

4.

Идутъ впередъ. Подъ ихъ шагами
Земля трясется и дрожитъ.

Предъ бурей первыми волнами
Такъ глухо океанъ шумитъ,
Пока, возставъ съ могучей силой,
Онъ не разрушитъ скалъ преградъ;
Такъ точно войско проходило,
Какъ волнъ морскихъ кипучій рядъ.
О, вы, герои дней минувшихъ,
Вы, тѣни воиновъ, заснувшихъ
На древнихъ римскихъ берегахъ,
Сыны великаго народа,
Не знавшаго въ чужихъ земляхъ
Себѣ подобныхъ,—стѣны свода
Могилы будутъ ли давить
Васъ въ этотъ мигъ, когда скосить
Готова лавры вашей славы
Пришельцевъ рать? Кто величаво
Надъ Кареагеномъ слезы лилъ,
Который въ пепелъ обратилъ,
Пусть тотъ отретъ свои ланиты
И Риму будетъ вновь защитой.

5.

Мученья голода томятъ
Идущихъ въ бой; онъ ободряетъ
Готовыхъ ринуться солдатъ
И ихъ отвагу разжигаетъ.
Такъ волки дикіе спѣшатъ
На пиръ кровавый. О великій,
Могучій городъ! Горя клики
На мѣсто радости звучатъ
Въ твоихъ стѣнахъ. Скорѣй воспряньте,
Достойные сыны римлянъ,
И на защиту бодро встаньте
Своей отчизнѣ! Дикій станъ
Алариха ничто въ сравненьи
Съ ордой, которую привелъ
Съ собой Бурбонъ. Возстань для мщенья,
Великій городъ: часъ пришелъ!
Пусть городъ обратитъ въ кладбище
Скорѣй твоихъ же гражданъ злость,
Лишь только бы твое жилище
Не осквернилъ подобный гость!

6.

Смотрите, призракъ всталъ кровавый!
Защитникъ Трои умерщвленъ...
Въ семьѣ Пріама были нравы
Святѣй и чище. Тамъ сраженъ
Братъ не былъ братомъ вѣроломнымъ,
А здѣсь, родную мать забывъ,
Родного брата умертвивъ,
Покрылъ себя позоромъ темнымъ
Убійца Ромулъ. Вонъ паритъ
Гигантской тѣнью надъ стѣною
Убитый Ремъ. Гроза виситъ
Надъ Римомъ тяжкою бѣдою
Съ минуты той, когда свершилъ
Убійство братъ. Будь стѣны Рима
Хоть втрое выше—мщенье мимо
Не пронесется. Рокъ судилъ,
Что Ремъ потребуетъ отплату
И отомститъ убійцѣ-брату.

7.

Зажглася злоба, бой кипитъ,
Огонь объемлетъ стѣны Рима.
О, диво міра! Смерть царитъ
Въ тебѣ средь пламени и дыма.
Клинки звенятъ; со стѣнъ валовъ,
Ломаясь, лѣстницы валятся;
Кто разъ попалъ въ глубокій ровъ,
Тому ужъ больше не подняться.
Проклятья въ воздухѣ гремятъ,
Враги толпами наступаютъ,
Рядами мертвые лежатъ,
Но ихъ живыми замѣняютъ.
Все жарче, жарче грозный бой,
Европы кровь течетъ струями,
Когда бы камни стѣнъ рядами
Покрыли поле—кровь рѣкой
Пролитая могла бъ и камень
Оплодородить въ этотъ день.
Но пусть твоихъ пенатовъ сѣнь,
О, Римъ, разрушена, пусть пламень
Пожретъ тебя—все жъ будь собой
И съ прежней славой выйди въ бой!

8.

Пенаты-боги! не предайте
Себя инымъ богамъ во власть!
Героевъ тѣни, возставайте,
Чтобъ съ обновленной силой пасть
Въ святой борьбѣ съ Нерономъ новымъ.
Убійца матери губилъ
Вашъ древній Римъ, но онъ подъ кровомъ
Рожденъ былъ римскимъ. Все же былъ
Онъ римляниномъ. Пришелецъ Бреннъ
Не могъ разрушить римскихъ стѣнъ.
Возстаньте, боги храмовъ павшихъ,
Но и въ развалинахъ своихъ
Еще потомству дорогихъ!
Святыя души пострадавшихъ
За вѣру Божію—и васъ
Нашъ бодрый призываетъ гласъ
Возстать за родину! Придите

Возстановители святой
Единой вѣры, въ смертный бой
Съ врагами нашими вступите!
О, Тибръ! кипучею волной
Свой ужасъ вырази нѣмой!
Все, что живетъ, пускай возстанетъ
И, какъ могучій левъ, воспрянетъ
Навстрѣчу дерзкаго ловца!
Ужъ если Риму присудила
Судьба погибнуть—пусть могилой
Онъ римской будетъ до конца!

(Бурбонъ, Арнольдъ, Цезарь *и прочіе подступаютъ къ стѣнѣ. Арнольдъ хочетъ поставить лѣстницу; Бурбонъ его удерживаетъ*).

БУРБОНЪ.

Постой, Арнольдъ! я первый...

АРНОЛЬДЪ.

Нѣтъ, мой герцогъ,
Позвольте мнѣ.

БУРБОНЪ.

Остановись! сказалъ я!...
Я буду радъ, что по моимъ пятамъ
Взойдетъ храбрецъ, какъ ты, но не позволю
Себя опередить.

(*Ставитъ лѣстницу и начинаетъ взбираться*).

За мной, друзья!

(*Раздается выстрѣлъ; Бурбонъ падаетъ*).

ЦЕЗАРЬ.

И вотъ онъ на землѣ!

АРНОЛЬДЪ.

Великій Боже!
Враги теперь оправятся; но мы
Отмстить съумѣемъ.

БУРБОНЪ.

Это вздоръ! Подай
Свою мнѣ руку.

(*Опирается на руку Арнольда и хочетъ взойти на лѣстницу, но падаетъ снова*).

Нѣтъ! со мной, я вижу,
Все кончено. Не говорите войску,
Что я убитъ: тогда еще возможно
Поправить дѣло. Пусть накинутъ плащъ
Мнѣ на лицо: лишь только бы солдаты
Меня не видѣли.

АРНОЛЬДЪ.

Намъ должно васъ
Перенести, помочь вамъ...

БУРБОНЪ.

Нѣтъ, мой другъ:
Я чую смерть. Что, впрочемъ, за бѣда,
Что будетъ лишнимъ человѣкомъ меньше!
Душа Бурбона царствуетъ еще
Надъ арміей. Пускай они узнаютъ,
Лишь выигравъ сраженье, что Бурбонъ
Ужъ сталъ землей. Тогда распоряжайтесь,
Какъ знаете.

ЦЕЗАРЬ.

Быть можетъ, ваша свѣтлость
Желаетъ приложиться ко кресту?
Духовника здѣсь нѣтъ, но по нуждѣ
На то годится рукоятка шпаги.
Такъ поступилъ Баярдъ.

БУРБОНЪ.

Презрѣнный рабъ,
Ты смѣлъ напомнить мнѣ Баярда имя
Въ подобную минуту! Впрочемъ, я
Заслуживаю это.

АРНОЛЬДЪ (*Цезарю*).

Замолчи.
Насмѣшникъ злой!

ЦЕЗАРЬ.

Какъ! Неужель въ минуту
Кончины христіанина не вправѣ
Я предложить ему vade in pace?

АРНОЛЬДЪ.

Молчи! О какъ туманенъ этотъ взоръ,
Съ презрѣніемъ смотрѣвшій за минуту
На цѣлый міръ и не видавшій въ немъ
Себѣ подобнаго!

БУРБОНЪ.

Арнольдъ, когда
Ты вновь увидишь Францію... Но—т-съ!
Штурмъ начался опять! О, если бъ могъ я
Прожить еще хоть мигъ, чтобъ умереть
За этою стѣной! Спѣши, Арнольдъ,
А то войска ворваться могутъ въ городъ,
Пожалуй, безъ тебя.

АРНОЛЬДЪ.

Они ворвутся
Равно безъ васъ.

БУРБОНЪ.

О, нѣтъ! моя душа
Еще предводитъ ими. Пусть покроютъ
Плащемъ мой трупъ и скроютъ отъ солдатъ,
Что я убитъ. Иди теперь къ побѣдѣ.

АРНОЛЬДЪ.

Я не могу васъ бросить такъ.

БУРБОНЪ.

Ты долженъ!
Прощай, прощай! Побѣда будетъ наша!

(*Умираетъ*).

ЦЕЗАРЬ.

Теперь за дѣло, графъ.

АРНОЛЬДЪ.

Ты правъ: для слезъ

Найдется время послѣ.

(*Покрываетъ тѣло Бурбона и начинаетъ взбираться на лѣстницу съ крикомъ*).

Эй! впередъ,
Товарищи! Римъ будетъ нашъ!

ЦЕЗАРЬ.

Прощайте,
Достойный коннетабль! По правдѣ, онъ
Былъ человѣкомъ.

(*Идетъ за Арнольдомъ; лѣстница подламывается—они падаютъ*).

Славно кувырнулись!
Вы ранены?

АРНОЛЬДЪ.

О нѣтъ!

(*Поднимается вновь*).

ЦЕЗАРЬ.

Онъ храбръ, когда
Разгорячится; да и то сказать—
Здѣсь не игрушки. Какъ онъ славно рубитъ!
Теперь схватился за стѣну и держитъ
Ее такъ крѣпко, какъ святой алтарь.
Вонъ лѣзетъ дальше... Эй! что тутъ случилось?

(*Со стѣны одинъ изъ обороняющихся солдатъ падаетъ*).

Свалился римлянинъ! Вотъ первый птенчикъ,
Упавшій изъ гнѣзда. Ну, что, товарищъ?

РАНЕНЫЙ.

Воды! воды!

ЦЕЗАРЬ.

Отсюда вплоть до Тибра
Течетъ одна лишь кровь.

РАНЕНЫЙ.

Я палъ за Римъ.

(*Умираетъ*).

ЦЕЗАРЬ.

Равно какъ и Бурбонъ, хоть цѣли были
У васъ не одинаковы. О, вы,
Безсмертные герои, съ вашимъ глупымъ
Преслѣдованьемъ славы! Надо мнѣ
Однако посмотрѣть, что тамъ творитъ
Мой молодецъ. Онъ вѣрно взялъ ужъ Форумъ.

(*Взбирается по лѣстницѣ*).

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Улица въ Римѣ. Сраженье. Жители бѣгутъ въ безпорядкѣ.

ЦЕЗАРЬ.

Нигдѣ не могъ сыскать его: онъ, вѣрно,
Преслѣдуетъ съ толпой своихъ героевъ
Бѣгущихъ граждан иль дерется тамъ,
Гдѣ врагъ еще противится. Что это?
Два кардинала. Доблестнымъ отцамъ
Не кажется заманчивымъ сегодня
Смерть мучениковъ: славно удираютъ
На старыхъ красныхъ пяткахъ! Жаль, что имъ
Не удалось врагамъ въ добычу сбросить
Со шляпами штановъ. Тогда бы было
Одной приманкой меньше къ грабежу.
Но пусть бѣгутъ! вѣдь имъ не запятнать
Чулокъ въ крови: они у нихъ краснѣе,
Чѣмъ кровь сама.

(*Входитъ толпа сражающихся; впереди* АРНОЛЬДЪ).

ЦЕЗАРЬ.

Вотъ онъ! и держитъ бодро
Въ рукахъ двухъ близнецовъ: рѣзню и славу.
Эй! графъ!

АРНОЛЬДЪ.

Впередъ! Не допускайте ихъ
Оправиться.

ЦЕЗАРЬ.

Послушай, будь умнѣе!
Не увлекайся. Если врагъ бѣжитъ,
Мы можемъ для него построить мостъ
Хотя бъ изъ золота. Я далъ тебѣ
Красивый видъ съ защитой вѣрной противъ
Болѣзней тѣла, но не противъ смерти.
Ты тѣломъ—сынъ Ѳетиды, но при этомъ
Я не былъ въ состояньи окунуть
Тебя въ пучину Стикса. Противъ шпаги
Я защитить тебя не въ силахъ такъ же,
Какъ пятку Ахиллеса; потому
Держи себя умнѣй; не забывай,
Что ты покамѣстъ смертенъ.

АРНОЛЬДЪ.

Кто жъ захочетъ
Пойти на бой съ увѣренностью быть
Нетронутымъ? Какое малодушье!
Ты думаешь, что кто привыкъ ходить
Охотиться на льва, пойдетъ на зайца?

(*Бросается въ свалку*).

ЦЕЗАРЬ.

Вотъ истинный образчикъ всѣхъ людей!
Въ немъ кровь кипитъ. Потеря двухъ-трехъ капель
Порядкомъ поумѣритъ этотъ пылъ.

(*Арнольдъ нападаетъ на одного изъ римлянъ, тотъ отступаетъ*).

АРНОЛЬДЪ.

Сдавайся, трусъ! за это я тебѣ
Оставлю жизнь.

РИМЛЯНИНЪ.

Предложено недурно.

АРНОЛЬДЪ.

И будетъ такъ исполнено. Мои
Слова извѣстны всѣмъ.

РИМЛЯНИНЪ.

Мои же будутъ
Извѣстнѣе дѣла!

(*Дерутся*).

ЦЕЗАРЬ (*приближаясь*).

Арнольдъ! Арнольдъ!
Будь остороженъ—ты имѣешь дѣло
Съ художникомъ-скульпторомъ. Онъ умѣетъ
Однако же владѣть мечомъ не хуже,
Чѣмъ и рѣзцомъ. Стрѣляетъ точно также
Безъ промаха: вѣдь онъ убилъ Бурбона
Съ вершины стѣнъ.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ? это онъ? Ну, значитъ,
Онъ изваялъ послѣдній монументъ
Для самого себя.

РИМЛЯНИНЪ.

Я проживу
Еще, надѣюсь, столько, что успѣю
Надѣлать монументовъ для людей
Почище васъ.

ЦЕЗАРЬ.

Ты хорошо отвѣтилъ,
Мой славный Бенвенуто. Два искусства
Тебѣ равно извѣстны. Кто убьетъ
Тебя въ бою—свершитъ не меньшій трудъ,
Чѣмъ ты, когда обтесывалъ въ Каррарѣ
Обломки мрамора.

(*Арнольдъ обезоруживаетъ и слегка ранитъ Бенвенуто. Тотъ вынимаетъ изъ-за пояса пистолетъ и, выстрѣливъ въ Арнольда, быстро исчезаетъ въ толпѣ*).

ЦЕЗАРЬ.

Что—каково
Ты чувствуешь себя? Ты предвкусилъ
Отъ кубка на пиру Беллоны.

АРНОЛЬДЪ

Вздоръ!
Ничтожная царапина. Подай
Мнѣ перевязку... Я еще съ нимъ справлюсь.

ЦЕЗАРЬ.

Куда ты раненъ?

АРНОЛЬДЪ.

Въ лѣвое плечо;
Та сторона, которая владѣетъ
Мечомъ—цѣла: мнѣ этого довольно.
Но я хочу напиться. Принеси
Воды мнѣ въ шлемѣ.

ЦЕЗАРЬ.

Ты сказалъ: „воды"?
Она теперь въ хорошемъ спросѣ—только
Не такъ легко ее достать.

АРНОЛЬДЪ.

Мнѣ пить
Все больше хочется. Я потушу
Однако эту жажду въ битвѣ.

ЦЕЗАРЬ.

Да?
И вмѣстѣ съ тѣмъ потушишь самъ себя.

АРНОЛЬДЪ.

Тутъ жребіи равны—я выбираю
Какой придется. Но, однако, полно
Болтать напрасно. Торопись.

(*Цезарь перевязываетъ рану Арнольду*).

Скажи
При этомъ мнѣ, зачѣмъ ты отстаешь
Отъ прочихъ всѣхъ въ бою?

ЦЕЗАРЬ.

Я подражаю
Примѣру древнихъ мудрецовъ. Они
Смотрѣли на событія мірскія,
Какъ зрители на играхъ Олимпійскихъ.
Найдя себѣ награду по рукѣ,
Я сдѣлался бъ Милономъ..

АРНОЛЬДЪ.

И пошелъ
На битву съ дубомъ...

ЦЕЗАРЬ.

Даже съ цѣлымъ лѣсомъ,
Когда бы вздумалъ. Я сражаюсь съ массой,
Иль не дерусь совсѣмъ. Берись, однако,
За дѣло вновь свое, а я останусь,
Чѣмъ былъ—спокойнымъ зрителемъ. Вѣдь эти
Работники мнѣ снимутъ жатву даромъ.

АРНОЛЬДЪ.

Ты былъ и будешь дьяволомъ.

ЦЕЗАРЬ.

А ты
Остался человѣкомъ.

АРНОЛЬДЪ.

Это я
Немедля докажу...

ЦЕЗАРЬ.

Оставшись тѣмъ,
Чѣмъ люди вѣчно были.

АРНОЛЬДЪ.

Чѣмъ же?

ЦЕЗАРЬ.

Это
Ты чувствовать и видѣть можешь самъ.

(*Арнольдъ снова кидается въ битву, которая превращается въ рукопашную*).

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Внутренность собора Петра. Папа у престола; священники бѣгаютъ въ безпорядкѣ. Граждане, преслѣдуемые солдатами, ищутъ убѣжища.

Входитъ ЦЕЗАРЬ.

ИСПАНСКІЙ СОЛДАТЪ.

Бей ихъ, товарищи! Хватайте эти
Подсвѣчники! Долой сорвите шапку
Съ обритаго попа: на ней вѣнецъ
Изъ золота.

СОЛДАТЪ-ЛЮТЕРАНИНЪ.

Сначала—месть; добыча жъ
Придетъ потомъ. Вонъ, вонъ сидитъ анти-
христъ!

ЦЕЗАРЬ.

Чего жъ ты хочешь, еретикъ?

СОЛДАТЪ-ЛЮТЕРАНИНЪ.

Прогнать
Антихриста во имя христіанства:
Я христіанинъ.

ЦЕЗАРЬ.

Да, я это вижу.
Но основатель этой вѣры вѣрно
Отрекся бъ отъ тебя въ виду такихъ
Высокихъ подвиговъ. Ужъ лучше бъ ты
Занялся грабежомъ.

СОЛДАТЪ.

Я говорю
Тебѣ, что это дьяволъ.

ЦЕЗАРЬ.

Такъ молчи,
А то, пожалуй, онъ тебя признаетъ
За своего.

СОЛДАТЪ.

Ужъ ты не захотѣлъ ли
Спасать его? Онъ дьяволъ—это вѣрно,
Иль дьявольскій намѣстникъ на землѣ.

ЦЕЗАРЬ.

Вотъ потому и надобно его
Оставить намъ въ покоѣ. Ты иначе
Поссоришься съ своими же друзьями.
Не хлопочи напрасно: часъ его
Еще не наступилъ.

СОЛДАТЪ.

Сейчасъ увидимъ.

(*Бросается на папу; одинъ изъ гвардейцевъ стрѣляетъ; солдатъ падаетъ раненый къ подножію алтаря*).

ЦЕЗАРЬ.

Я говорилъ тебѣ.

СОЛДАТЪ.

Ты отомстишь?

ЦЕЗАРЬ.

И не сбираюсь: „Мщенье лишь отъ Бога"—
Ты это знаешь; а вѣдь Онъ не любитъ
Въ дѣлахъ своихъ посредниковъ.

СОЛДАТЪ (*умирая*).

О, если бъ
Мнѣ удалось убить его: я прямо
Попалъ бы въ рай, увѣнчанный короной
Нетлѣнной славы! Господи, прости
Мнѣ слабость рукъ, которыми не могъ
Я кончить съ нимъ! Открой, молю, врата
Мнѣ милосердія! Моя попытка
Похвальна все жъ. Грѣховный Вавилонъ
Поверженъ въ прахъ. Блудница замѣнила
Пурпуръ и злато—вретищемъ и пепломъ...

ЦЕЗАРЬ.

Съ твоимъ въ придачу. Въ немъ при
жизни было
Довольно вавилонскаго.

(*Стража папы дерется съ остервенѣніемъ. Самъ папа во время свалки скрывается черезъ Ватиканъ въ замокъ Св. Ангела*).

Такъ! такъ!
Дерутся хорошо! Солдатъ и попъ,
Два высшихъ званья, бьютъ другъ друга
въ ухо.
Я не видаль комичнѣй пантомимы
Съ тѣхъ поръ, какъ Титомъ взятъ Іеруса-
лимъ;
Но тамъ побѣда выпала римлянамъ,
Теперь—наоборотъ.

СОЛДАТЫ.

Онъ убѣжалъ!
Скорѣй за нимъ!

ОДИНЪ ИЗЪ СОЛДАТЪ.

Они загородили
Свою лазейку. Впрочемъ, здѣсь и такъ
Не выбраться сквозь трупы.

ЦЕЗАРЬ.

Я сердечно
Доволенъ тѣмъ, что папа убѣжалъ.
Онъ долженъ быть за это благодаренъ
Отчасти мнѣ. Я ни за что на свѣтѣ
Не согласился бъ уничтожить буллы:
Я имъ обязанъ половиной власти.
Вѣдь должно же его вознаградить
За индульгенціи! Нѣтъ, нѣтъ, его
Губить нельзя. Къ тому жъ, его спасенье
Послужитъ превосходнѣйшимъ предлогомъ,
Чтобъ доказать скорѣе догматъ папской
Непогрѣшимости.

(*Обращается къ испанскимъ солдатамъ*).

Ну, горлорѣзы,
Чего же вы стоите? Этакъ вамъ,
Пожалуй, не достанется ни крошки

Святого золота. Плохіе жъ вы
Католики! Ужели вы вернетесь
Къ себѣ домой съ такого пилигримства
Безъ амулета? Даже лютеране,
Какъ вижу я, благочестивѣй васъ:
Смотрите, какъ усердно обдираютъ
Они алтарь.

СОЛДАТЫ.

Клянусь святымъ Петромъ,
Онъ точно правъ! Еретики возьмутъ
Все, что получше.

ЦЕЗАРЬ.

Стыдно вамъ за это!
Ступайте же помочь имъ въ обращеньи.

(*Солдаты бросаются на грабежъ*).

Одни бѣгутъ, другіе вновь приходятъ.
Такъ за волной бѣжитъ волна того,
Что вѣчностью зовутъ созданья эти,
Себя самихъ волнами океана
Вообразивъ, не зная, что они
Лишь пузыри на пѣнѣ волнъ. Что это?

Вбѣгаетъ Олимпія, *преслѣдуемая тремя солдатами, и бросается къ алтарю.*

1-й СОЛДАТЪ.

Она моя!

2-й СОЛДАТЪ.

Неправда! лжешь! Я первый
Ее схватилъ—и не отдамъ тебѣ,
Хоть будь она племянницею папы.

(*Дерутся*).

3-й СОЛДАТЪ (*бросаясь къ Олимпіи*).

Деритесь вы, а я примусь за дѣло.

ОЛИМПІЯ.

Невольникъ дьявола, ты не получишь
Меня живой.

3-й СОЛДАТЪ.

Живой иль мертвой—это
Мнѣ все равно.

ОЛИМПІЯ

(*схватывая распятіе изъ массивнаго золота*).

Уважь хоть Бога, извергъ!

3-й СОЛДАТЪ.

О, я готовъ, когда онъ золотой!
Итакъ, пусть будетъ онъ твоимъ приданымъ!

(*Олимпія, сдѣлавъ усиліе, бросаетъ ему распятіе въ голову. Солдатъ падаетъ*).

3-й СОЛДАТЪ.

О, Господи!

ОЛИМПІЯ.

Ага! ты признаешь
Теперь Его?

3-й СОЛДАТЪ.

Мой черепъ раздробленъ?
Товарищи, на помощь! Все стемнѣло
Вокругъ меня.

(*Умираетъ*).

СОЛДАТЫ.

О! будь у ней сто жизней,
Мы все жъ ее убьемъ! Она убила
У насъ товарища.

ОЛИМПІЯ.

Такую смерть приму
Я съ радостью! Презрѣннѣйшій невольникъ—
И тотъ не согласился бы купить
У васъ спасенья жизни. Богъ-Спаситель!
Возьми меня во имя Пресвятого
Христа и Дѣвы-Матери! Возьми
Меня такой, какою я хотѣла
Къ Тебѣ прійти: достойною всѣхъ Васъ!

Входитъ Арнольдъ.

АРНОЛЬДЪ.

Что вижу я! Проклятые шакалы,
Ни съ мѣста!

ЦЕЗАРЬ (*въ сторону со смѣхомъ*).

Вотъ явилась, вижу я,
Юстиція. Вѣдь, кажется, у всѣхъ
Права равны. Посмотримъ, впрочемъ, чѣмъ
Все это кончится.

1-й СОЛДАТЪ.

Она убила,
Графъ, нашего товарища.

АРНОЛЬДЪ.

Какимъ
Оружіемъ?

1-й СОЛДАТЪ.

Крестомъ. Онъ былъ раздавленъ
Подъ тяжестью—и вотъ лежитъ, похожій
Скорѣй на червя, чѣмъ на человѣка.
Крестъ брошенъ ею.

АРНОЛЬДЪ.

Дивная душа,
Достойная любви однихъ героевъ!
Будь вы честнѣй—вы это оцѣнили бъ.
Ступайте прочь и помните, что васъ
Спасла лишь ваша низость. Если бъ вы
Коснулись волоска ея—я сдѣлалъ
У васъ въ строю бы болѣе прорѣхъ,
Чѣмъ вражье войско. Прочь, шакалы! Рвите
Остатки львиной доли, но сначала
Пусть левъ вамъ дастъ на это позволенье.

1-й СОЛДАТЪ (*про-себя, сквозь зубы*).

Такъ пусть же левъ одинъ и добываетъ
Себѣ свою добычу.

АРНОЛЬДЪ (*убивая его*).

Прочь, бездѣльникъ!

Бунтуй въ аду, но повинуйся здѣсь!
(*Солдаты нападаютъ на Арнольда*).
Ого! вотъ какъ! Я покажу вамъ всѣмъ,
Бездѣльники, какъ надо обращаться
Со сволочью, какъ вы! Я научу
Васъ знать людей, которые взбирались
Предъ вами на раскаты стѣнъ, пока
Вы прятались съ испуга, и явились
Лишь увидавъ, что мой значекъ стоитъ
Ужъ на валу! Иль храбрость ваша къ вамъ
Теперь вернулась снова?
(*Убиваетъ стоящихъ впереди солдатъ; остальные бросаютъ оружіе*).

СОЛДАТЫ.
Пощадите!

АРНОЛЬДЪ.
Щадить умѣйте сами! Вы узнали
Теперь того, подъ чьимъ начальствомъ взять
Могли вы Вѣчный городъ.

СОЛДАТЫ.
Мы забыть
Васъ не могли. Не осудите этотъ
Порывъ слѣпой горячности побѣды,
Къ которой сами насъ вы привели.

АРНОЛЬДЪ.
Ступайте прочь. Стоянка ваша будетъ
Въ дворцѣ Колонны.

ОЛИМПІЯ (*въ сторону*).
Домъ отца!

АРНОЛЬДЪ.
Оставьте
Оружье здѣсь: оно не будетъ больше
Сегодня нужно вамъ; да берегитесь
Давать рукамъ свободу, иль иначе
Я окрещу ослушниковъ водой
Краснѣй, чѣмъ были нынѣ волны Тибра.

СОЛДАТЫ (*кладя оружіе и уходя*).
Мы повинуемся.

АРНОЛЬДЪ (*Олимпіи*).
Теперь вамъ больше
Бояться нечего.

ОЛИМПІЯ.
Я бъ не страшилась—
Будь ножъ въ моихъ рукахъ. Но впрочемъ, смерть
Легко сыскать вездѣ. Я разобью
О мраморъ голову на этомъ самомъ
Священномъ алтарѣ, едва ты ступишь
Хоть шагъ ко мнѣ — и да проститъ Господь
Тебѣ твои злодѣйства!

АРНОЛЬДЪ.
Я желаю
Равно прощенье заслужить отъ Бога
И отъ тебя, хотя не оскорблялъ
Тебя ничѣмъ.

ОЛИМПІЯ.
Ничѣмъ? Ты лишь разграбилъ
Родной мой городъ, обративъ въ вертепъ
Домъ моего отца. Ты залилъ кровью
Священниковъ и римлянъ этотъ храмъ
И, наконецъ, надѣешься спасти
Меня лишь для того... Но это сдѣлать
Ты не успѣешь!
(*Поднимаетъ глаза къ небу, и, закутавшись въ складки своей одежды, хочетъ броситься съ алтаря*).

АРНОЛЬДЪ.
Стой! остановись!
Клянусь тебѣ!

ОЛИМПІЯ.
Не прибѣгай ко лжи
Предъ Господомъ. Ты сдѣлаешь свою
И безъ того погубленную душу
Презрѣнной даже аду. Ты извѣстенъ
Мнѣ хорошо.

АРНОЛЬДЪ.
Нѣтъ, ты меня не знаешь!
Я не изъ тѣхъ людей...

ОЛИМПІЯ.
Я о тебѣ
Сужу по подвигамъ твоихъ собратьевъ,
А осудить тебя возьмется Богъ.
Ты обагренъ невинной кровью римлянъ:
Возьми жъ мою въ придачу. Это все,
Что ты получишь отъ меня. Вотъ здѣсь,
На этомъ мраморѣ святого храма,
Гдѣ я была окрещена, пусть приметъ
Спаситель кровь мою, хотя не столько
Святую, какъ была свята вода,
Служившая для моего крещенья,
Но чистую не меньше, чѣмъ она!
(*Дѣлаетъ повелительный жестъ и бросается съ алтаря*).

АРНОЛЬДЪ.
О, Господи! Я, наконецъ, узналъ
Теперь ее! Скорѣй! скорѣй на помощь!
Она умретъ.

ЦЕЗАРЬ.
Я здѣсь.

АРНОЛЬДЪ.
Спаси ее.

ЦЕЗАРЬ.
Она сыграла роль свою открыто.
Ушибъ серьезенъ.

АРНОЛЬДЪ.
О, она не дышитъ!

ЦЕЗАРЬ.
Ну, если такъ, то я не въ силахъ ей
Помочь ничѣмъ. Мнѣ власти—воскрешать
Умершихъ не дано.

АРНОЛЬДЪ.
Презрѣнный рабъ!

ЦЕЗАРЬ.
Рабъ я иль господинъ—не стану спорить.
Но, впрочемъ, посмотрю—нельзя ль помочь
Ей парой добрыхъ словъ. Слова не могутъ
Принесть вреда.

АРНОЛЬДЪ.
Ты говоришь, что можешь
Ее спасти?

ЦЕЗАРЬ.
Попробую! Сначала
Не дурно покропить ее немного
Святой водой.
(Приноситъ въ шлемѣ воды).

АРНОЛЬДЪ.
Она красна отъ крови.

ЦЕЗАРЬ.
Сегодня не найдется въ цѣломъ Римѣ
Другой свѣтлѣй и чище.

АРНОЛЬДЪ.
Какъ она
Блѣдна и какъ прекрасна! Неужели
Въ ней жизни нѣтъ? Но все равно—живую
Иль мертвую, а я клянусь любить
Ее одну.

ЦЕЗАРЬ.
Ахиллъ любилъ такъ точно
Свою Пентезилею. Ты съ его
Наружностью усвоилъ и его
Всѣ качества. Онъ, впрочемъ, не былъ очень
Горячъ и нѣженъ сердцемъ.

АРНОЛЬДЪ.
Чу! она
Вздохнула, кажется! Иль это былъ
Лишь тотъ послѣднiй вздохъ, которымъ смерть
Осиливаетъ жизнь?

ЦЕЗАРЬ.
Она вздохнула.

АРНОЛЬДЪ.
Твоимъ словамъ я вѣрю.

ЦЕЗАРЬ.
Этимъ ты
Мнѣ воздаешь, что должно. Дьяволъ чаще
Вѣщаетъ правду, чѣмъ привыкли думать.
Жаль только, что ему нерѣдко надо
Болтать предъ дураками.

АРНОЛЬДЪ.
Въ ней забилось,
Я слышу, сердце вновь. О, почему
Судьба судила такъ, что это сердце,
Которое желалъ бы я заставить
Забиться для меня, теперь трепещетъ,
Сраженное убійцей?

ЦЕЗАРЬ.
Рѣчь умна,
Но только, жаль, немного запоздала.

АРНОЛЬДЪ.
Останется ль она въ живыхъ?

ЦЕЗАРЬ.
Насколько
Возможна жизнь для праха.

АРНОЛЬДЪ.
Это значитъ—
Она мертва?

ЦЕЗАРЬ.
Ба! ба! и самъ ты мертвъ,
Но этого не вѣдаешь. Она
Вернется къ жизни, иль къ тому, что вы
Зовете жизнью. Мы должны однако
Употребить для этого немедля
Земныя средства.

АРНОЛЬДЪ.
Отнесемъ ее
Въ дворецъ Колонны. Тамъ мой сборный пунктъ.

ЦЕЗАРЬ.
Идемъ! Бери ее.

АРНОЛЬДЪ.
Будь остороженъ.

ЦЕЗАРЬ.
Какъ слѣдуетъ быть съ мертвымъ, что, конечно,
Вы дѣлаете только потому,
Что онъ не чувствуетъ.

АРНОЛЬДЪ.
Но точно ль будетъ
Она жива?

ЦЕЗАРЬ.
Не бойся! Не забудь
Однакоже, что если впредь объ этомъ
Ты будешь сожалѣть, то не пеняй
За это на меня.

АРНОЛЬДЪ.
Мнѣ лишь бы только
Она была жива.

ЦЕЗАРЬ.

Дыханье жизни
Еще въ ней есть и можетъ вновь воскреснуть.
О, графъ! я былъ тебѣ слугой во всемъ,
Но ты мнѣ задаешь теперь иную
Обязанность. Я рѣдко упражнялся
Въ такихъ дѣлахъ — и потому ты можешь
Самъ посудить, какого пріобрѣлъ
Себѣ ты друга въ дьяволѣ. У васъ
Друзья бываютъ часто хуже чорта,
Но чортъ не покидаетъ такъ легко
Своихъ друзей. Ну, поднимай же нашу
Красавицу. Вотъ тѣло, гдѣ слились
Духъ съ дивной плотью. Я почти готовъ
Въ нее влюбиться, какъ влюблялись прежде
Въ земныхъ созданій ангелы.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ! ты?

ЦЕЗАРЬ.

Да, я! Не бойся, впрочемъ: я не буду
Тебѣ соперникомъ.

АРНОЛЬДЪ.

Соперникъ мнѣ?

ЦЕЗАРЬ.

И былъ бы страшнымъ. Впрочемъ, я отбросилъ
Интриги съ той поры, какъ умертвилъ
Мужей невѣсты Товія. Меня
Тогда прогнали ладаномъ. Игра
Не стоитъ свѣчъ — я въ этомъ убѣдился,
А главное, что трудно развязаться,
Затѣявши подобныя дѣла,
Особенно жъ для васъ.

АРНОЛЬДЪ.

Прошу — молчи!
Мнѣ кажется, глаза ея открылись
И губы шевелятся.

ЦЕЗАРЬ.

„Очи блещутъ“ —
Вотъ какъ сказать бы должно языкомъ
Венеры съ Люциферомъ.

АРНОЛЬДЪ.

Во дворецъ
Колонны, какъ условлено.

ЦЕЗАРЬ.

Дороги
Мнѣ въ Римѣ всѣ извѣстны.

АРНОЛЬДЪ.

Тише, тише!
(*Уходятъ и уносятъ Олимпію*).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Замокъ въ Аппенинскихъ горахъ. Пейзажъ дикій, но живописный. Хоръ деревенскихъ жителей поетъ передъ своими домами.

ХОРЪ.

1.

Прошла война,
Пришла весна,
Спѣшатъ невѣсты съ женихами,
Ликуютъ въ радости они,
А счастью ихъ и мы должны
Своими вторить голосами.

2.

Весна веселая проходитъ,
Фіялокъ нѣтъ ужъ на лугахъ;
Цвѣты зимы, онѣ наводятъ
На мысль о зимнихъ холодахъ.
Онѣ среди снѣговъ и бури
Блистаютъ яркостью лазури.

3.

Но только съ тысячью цвѣтовъ
Придетъ весна — цвѣтокъ небесный,
Во слѣдъ уходитъ холодовъ
Съ своею свѣжестью чудесной.

4.

Срывая прочіе цвѣты,
Не забывайте вы при этомъ
Предвѣстника ихъ красоты —
Фіялки цвѣтъ, безвѣстный лѣтомъ.
Она — предтеча долгихъ дней,
Тепла не трудно съ ней дождаться
И даже роза передъ ней
Свѣжѣй не можетъ показаться.

Входитъ ЦЕЗАРЬ, *напѣвая.*

Труды окончены войны,
На мѣстѣ стоя, рвутся кони;
Оружье спрятано въ ножны;
Заброшены безъ дѣла брони;
Бойцы на отдыхѣ живутъ,
Покрыты ржавчиной ихъ латы;
Зѣвая, ветераны пьютъ,
Вернувшись въ крѣпкія палаты
Своихъ высокихъ замковъ. Чѣмъ
Заняться больше, если шлемъ
И рогъ войны не нужны болѣ?
Съ виномъ хоть мыслямъ больше воли



ОЛИМПІЯ.
(Olympia).
Рис. Корбо (Miss F. Corbeaux), грав. Мотъ (W. H. Mote).

ХОРЪ.

Пора настала для охотъ:
Кабанъ въ дубравѣ черной рыщетъ,
Направивъ въ небо свой полетъ,
Добычи соколъ жадно ищетъ.
Вотъ онъ на рыцарской рукѣ
Сидитъ, готовый встрепенуться—
И птицы стаей вдалекѣ
Предъ нимъ со страхомъ робко вьются.

ЦЕЗАРЬ.

Въ охотѣ славы только тѣнь:
Она войны воспоминанье.
Не вноситъ слава день за день
Ее въ листки бытописанья.
Ея герой—одинъ Немвродъ,
Его лишь не забыло время;
Но онъ былъ дивный царь охотъ
И ужасомъ сразилъ все племя
Лѣсныхъ животныхъ. То былъ вѣкъ,
Когда со львами, ради славы,
Бросался гордо человѣкъ
Съ одной дубиной въ бой кровавый.
Онъ бегемота поражалъ,
Предъ нимъ и мамонты смирялись,
Но родъ людской ужъ измельчалъ
Съ тѣхъ давнихъ поръ, когда равнялись
Своею люди вышиной
Съ вершиной башни городской.
Природы первенцы въ тѣ годы
Равнялись силою съ природой.

ХОРЪ.

Прошла война,
Пришла весна,
Спѣшатъ невѣсты съ женихами,
А счастью ихъ и мы должны
Своими вторить голосами.

(*Уходятъ съ пѣснями*).

А. Соколовскій.

Отрывокъ изъ третьей части.

ХОРЪ.

Когда колокола звонятъ,
И весело поютъ крестьянки,
Когда весенній ароматъ
Цвѣтовъ несется отъ полянки,
И пчелы радостно летятъ
Сбирать душистый сокъ медвянки,
И рѣзво въ воздухѣ кружатъ
Малиновки и коноплянки,—
Земля ликуетъ и блеститъ,
Какъ мыльный шаръ, что вверхъ летитъ.
Хоть я его не создавалъ,
Но стоитъ дунуть,—онъ пропалъ.
Его я слишкомъ презираю,
И безъ досады наблюдаю,
Какъ рой тирановъ и рабовъ
Рѣзвится вкругъ своихъ гробовъ.

Входитъ графъ Арнольдъ. (*Замѣтка: Арнольдъ ревнуетъ Цезаря. Олимпія сначала не любила Цезаря,—а потомъ? Арнольдъ ревнуетъ ее къ самому себѣ въ своемъ прежнемъ видѣ, при которомъ успѣхъ является результатомъ силы интелекта и пр. и пр.*).

АРНОЛЬДЪ.

Вотъ какъ! Ты веселъ,—даже распѣваешь?

ЦЕЗАРЬ.

Мы здѣсь—въ отчизнѣ пѣсенъ, а тебѣ
Извѣстно, что когда-то псалмопѣвцемъ
Я былъ—по должности.

АРНОЛЬДЪ.

Тебя ничѣмъ
Смутить нельзя,—готовъ ты издѣваться
И надъ своимъ паденьемъ роковымъ!
Какъ низко палъ сынъ Утра! Какъ же можетъ
Еще смѣяться Люциферъ?

ЦЕЗАРЬ.

Не онъ,—
А тѣнь его. Или, тебѣ въ угоду
Нося прекрасный образъ этотъ, плакать
Я долженъ?

АРНОЛЬДЪ.

Ахъ, оставь меня въ покоѣ!

ЦЕЗАРЬ.

Ты грустенъ? что съ тобою?

АРНОЛЬДЪ.

Ничего.

ЦЕЗАРЬ.

Какъ ложь привычна смертнымъ! Вотъ, спроси
Придворнаго, насупившаго брови:
„Что съ вами?"—„Ничего!" Спроси красотку
Увядшую—зачѣмъ она грустить?
—„Такъ, ничего!" Наслѣдника спроси,
Когда родитель, при смерти лежавшій,
Нежданно исцѣлился отъ недуга:
„Что васъ такъ безпокоитъ?"—„Ничего!"
Спроси у короля, когда внезапно
Предъ нимъ раскрылась истина нагая,
И грозно онъ наморщилъ лобъ вѣнчанный:
„Что вызвало досаду и тревогу?"
—„О, ничего!"—И вѣчно „ничего"
И „ничего"!—Всѣ лгутъ одно и то же!
Вѣдь въ этихъ „ничего" на самомъ дѣлѣ
Заключено такъ много,—люди жъ часто,
Дѣйствительно, не стоятъ ничего!
Ну, что же значитъ „ничего" твое?
Въ немъ есть кой-что; въ чемъ дѣло?

АРНОЛЬДЪ.

Ты не знаешь?

ЦЕЗАРЬ.

Я знаю только то, что знать хочу.
Всевѣдѣнье не бѣгаетъ въ погоню
За призраками: что въ нихъ? Коль тебѣ
Нужна моя услуга,—говори;
А нѣтъ,—молчи и мыслями своими
Питайся до отвалу, до тѣхъ поръ,
Пока тобой начнутъ питаться черви.

АРНОЛЬДЪ.

Олимпія. .

ЦЕЗАРЬ

Такъ я и зналъ. Ну,—дальше?

АРНОЛЬДЪ.

Я думалъ, что она меня полюбитъ...

ЦЕЗАРЬ.

Блаженъ, кто вѣруетъ! Какой прекрасный
Христіанинъ могъ выйти изъ тебя!
Но кто же скептикъ злой, что эту вѣру
Разрушилъ и ея заставилъ „тѣло"
Пресуществиться снова въ „хлѣбъ"?

АРНОЛЬДЪ.

Никто,—
Но каждый день и часъ и каждый мигъ
Мнѣ говоритъ яснѣе и яснѣе:
„Она тебя не любитъ!"

ЦЕЗАРЬ.

Что жъ,—она
Противится тебѣ?

АРНОЛЬДЪ.

О, нѣтъ: спокойна,
Послушна мнѣ она, но молчалива
И холодна, и терпѣливо сноситъ
Любовь мою, но къ ней нейдетъ навстрѣчу.

ЦЕЗАРЬ.

Вотъ это странно: ты, вѣдь, такъ красивъ
И храбръ еще въ придачу. Красота
Нужна для страсти, храбрость—для тщеславья.

АРНОЛЬДЪ.

Я спасъ ей жизнь, спасъ жизнь ея отца,
Спасъ домъ ихъ отъ пожара!

ЦЕЗАРЬ.

Другъ,—все это
Не значитъ ничего: вѣдь благодарность —
Ни дать ни взять, что камень философскій:
Нельзя найти, чего на свѣтѣ нѣтъ.

АРНОЛЬДЪ.

И я не нахожу ея!

ЦЕЗАРЬ.

А былъ бы
Доволенъ ты, когда бъ ее нашелъ?
Отъ благодарности хотѣлъ бы ты
То получить, что страстью лишь дается?
Нѣтъ, нѣтъ! Ты хочешь быть любимымъ (такъ, вѣдь,
Зовете вы пріятное вамъ чувство?)—
Любимымъ ради самого себя,
Не за здоровье иль богатство, юность
Иль власть, иль санъ, иль красоту: за это
Васъ могутъ только грабить; но любимымъ
Какъ отвлеченное понятье,—ради
Невѣдомо чего: вѣдь такъ всегда
Всѣ скромные любовники желаютъ,
Такъ хочешь, другъ, и ты.

АРНОЛЬДЪ.

Когда бъ любимъ
Я былъ,—не сталъ бы спрашивать: за что?

ЦЕЗАРЬ.

Навѣрно—сталъ бы, и еще отвѣту
Не вѣрилъ бы. Я знаю: ты ревнуешь.

АРНОЛЬДЪ.

Къ кому?

ЦЕЗАРЬ.

Быть можетъ,—къ самому себѣ.
Вѣдь ревность—все равно, что тѣнь на солнцѣ.
Блестящій шаръ вамъ кажется могучимъ;
Для вашей маленькой вселенной слишкомъ
Великъ онъ; но при всемъ его величьѣ
Достаточно малѣйшей тучки, самыхъ
Ничтожныхъ испареній здѣшней влаги,—
И вы на небо смотрите ужъ гордо:
Его браните пасмурнымъ, затѣмъ,
Что взоръ вашъ на безоблачное небо
Взглянуть не смѣетъ: вѣдь ничто васъ, смертныхъ,
Такъ не слѣпитъ, какъ свѣтъ. Вотъ, и любовь
Для васъ—что солнце: высоко надъ вами
Царитъ она; земная жъ ваша ревность—
Что тучка, заслоняющая солнце,
Которая отъ васъ же поднялась.

АРНОЛЬДЪ.

Но не всегда жъ ревнуешь безъ причины?

ЦЕЗАРЬ.

Конечно: если атомы столкнутся,—
Вселенная въ опасности! Но я
Заговорилъ о томъ, что недоступно
Тебѣ. Вернемся лучше мы къ землѣ.
Итакъ,—прекрасная частичка праха,
Олимпія, что мраморная дѣва,
Кумиръ чудесный, но—увы!—холодный,
Не чувствуетъ твоей пожара страсти,
Не пламенѣетъ пламенемъ твоимъ?

АРНОЛЬДЪ.

Рабъ!

ЦЕЗАРЬ.

Въ Римѣ за побѣдной колесницей
Шелъ рабъ—затѣмъ, чтобъ правду говорить.
Ты—тріумфаторъ: рабъ—къ твоимъ услугамъ.

АРНОЛЬДЪ.

Скажи мнѣ: какъ любви ея достигнуть?

ЦЕЗАРЬ.

Покинь ее.

АРНОЛЬДЪ.

Я этого не въ силахъ!

ЦЕЗАРЬ.

Конечно: если бъ ты ее покинулъ,
То и болѣзнь въ лѣкарствѣ бъ не нуждалась.

АРНОЛЬДЪ.

Какъ ни несчастенъ я,—все жъ не отдамъ
Своей любви за все земное счастье!

ЦЕЗАРЬ.

Ты ею обладалъ и обладаешь;
Чего жъ еще?

АРНОЛЬДЪ.

Хочу я, чтобы мною
Она владѣла, чтобъ я въ сердцѣ жилъ
У ней, какъ у меня—она...

П. Морозовъ.





БРОНЗОВЫЙ ВѢКЪ.

Въ 1820 г. въ южно-романскихъ государствахъ на Пиренейскомъ и Апеннинскомъ полуостровахъ съ островомъ Сициліей произошло революціонное движеніе. Примѣръ былъ поданъ Испаніей, и этому примѣру послѣдовали королевства Обѣихъ Сицилией (т. е. Неаполь и Сицилія) и Португалія, а въ слѣдующемъ 1821 г. чуть-было не присоединился Пьемонтъ, бывшій главною частью королевства Сардинскаго. Эти революціи испугали государей Священнаго союза, которые въ 1820—1822 гг. собирались на конгрессы въ Троппау, въ Лайбахѣ и въ Веронѣ. На второмъ изъ этихъ съѣздовъ монарховъ и министровъ Австріи отъ имени всей Европы было поручено усмирить неаполитанскую революцію, что Австрія безпрепятственно и совершила, задѣвъ, такъ сказать, мимоходомъ и революцію въ Пьемонтѣ, а третій изъ названныхъ конгрессовъ—веронскій—уполномочилъ Францію сдѣлать то же самое и въ Испаніи, гдѣ революція между тѣмъ успѣла перейти въ настоящую гражданскую войну. Въ 1823 г. французскія войска подъ бѣлымъ знаменемъ Бурбоновъ произвели въ Испаніи реставрацію абсолютизма во исполненіе рѣшенія веронскаго конгресса.

Изъ біографіи Байрона извѣстно, какъ въ эти годы онъ относился къ революціонному движенію вообще и въ частности къ замысламъ и предпріятіямъ итальянскихъ патріотовъ. Извѣстно также и то, какъ онъ относился къ священному союзу и его реакціонной политикѣ. Общее его политическое настроеніе начала двадцатыхъ годовъ и отразилось на его „Бронзовомъ вѣкѣ", написанномъ по поводу веронскаго конгресса.

Первая мысль о насильственномъ подавленіи вспыхнувшей въ январѣ 1820 г. испанской революціи была высказана еще въ мартѣ того же 1820 г., за два съ половиной года до созыва веронскаго конгресса. Тогда инициатива принадлежала Александру I, но изъ четырехъ другихъ великихъ державъ ни Англія, ни Австрія, ни Пруссія не дали своего согласія на эту мѣру, опасаясь, что подавленіе испанской революціи только усилитъ франко-русское вліяніе на Пиренейскомъ полуостровѣ. Особенно возсталъ противъ предложенія русскаго императора Меттернихъ, но когда въ іюлѣ революція вспыхнула и въ Неаполѣ, и у австрійскаго министра явилось опасеніе, что движеніе, распространившись на всю Италію, сдѣлается опаснымъ для австрійскаго господства въ Ломбардо-Венеціанскомъ королевствѣ, самъ же онъ сталъ хлопотать, о томъ, чтобы отъ имени всей Европы дано было Австріи порученіе подавить неаполитанскую революцію. На конгрессѣ въ Троппау ему удалось даже достигнуть особаго соглашенія между тремя главными участницами Священнаго Союза, т. е. Австріей, Пруссіей и Россіей, въ силу котораго онѣ признавали за собою право вмѣшательства въ дѣла любого сосѣдняго государства во всѣхъ случаяхъ, когда этого потребовали бы безопасность и внутренній порядокъ того или другого изъ нихъ. Первымъ примѣненіемъ этого принципа и должна была быть австрійская экспедиція во владѣнія короля Обѣихъ Сицилій. Англійскій министръ Кэстльри, во всемъ слѣдовавшій обыкновенно реакціонной политикѣ Меттерниха, съ своей стороны ничего не имѣлъ противъ этой экспедиціи, но рѣшительно высказывался противъ возведенія идеи вмѣшательства на степень общаго принципа международной политики европейскихъ государствъ: сочувствуя австрійскимъ видамъ относительно Италіи, онъ продолжалъ отрицательно относиться

къ предложенію Александра I, касавшемуся Испаніи. Вотъ почему онъ протестовалъ противъ общаго постановленія, принятаго на конгрессѣ въ Троппау тремя державами. Къ его протесту присоединилась и Франція. Этотъ протестъ былъ, однако, чисто платоническимъ, и въ слѣдующемъ году конгрессъ въ Лайбахѣ окончательно уполномочилъ Австрію произвести экзекуцію въ Неаполитанскомъ королевствѣ.

Очередь не должна была миновать и Испаніи. Монархи, совершившіе возстановленіе абсолютизма въ Италіи, рѣшили собраться и въ слѣдующемъ году на новый конгрессъ для принятія мѣръ и противъ испанской революціи, такъ какъ пришли къ тому заключенію, что не будетъ спокойствія въ Европѣ, пока въ Мадридѣ будетъ дѣйствовать революціонная конституція. Особенно въ этой мысли ихъ укрѣпили внутренніе раздоры, приведшіе Испанію къ состоянію полной анархіи. Въ іюлѣ 1822 г. Фердинандъ VII съ помощью гвардіи задумалъ-было низвергнуть конституцію, но другія войска вооружились на ея защиту, и передъ королевскимъ дворцомъ было перебито множество гвардейцевъ, послѣ чего лицемѣрный монархъ разыгралъ комедію благодарности войскамъ, спасшимъ конституцію. Онъ перешелъ даже на сторону наиболѣе крайнихъ политическихъ дѣятелей, такъ называемыхъ „экзальтадовъ", но только для виду, на самомъ же дѣлѣ тайно сталъ склонять европейскія державы къ тому, чтобы онѣ вмѣшались и въ испанскія дѣла подобно тому, какъ это уже было сдѣлано по отношенію къ Италіи.

Александру I, какъ сказано, давно этого хотѣлось, и теперь онъ особенно хлопоталъ о томъ, чтобы склонить на свою сторону ближайшую сосѣдку Испаніи — Францію. Въ виду осложненій на Балканскомъ полуостровѣ русскій государь мечталъ о новыхъ пріобрѣтеніяхъ и предлагалъ французскому правительству принять участіе въ возможномъ дѣлежѣ турецкой добычи, но ни Ришелье, ни смѣнившій его въ министерствѣ Виллель не рѣшались запутывать свою политику на востокѣ, когда по сосѣдству, за Пиренеями, разыгрывалась испанская трагедія борьбы крайнихъ правыхъ съ крайними лѣвыми. Въ самой Франціи въ это время не было недостатка въ политическихъ заговорахъ, имѣвшихъ цѣлью низверженіе Бурбоновъ путемъ военной революціи, и ультра-роялисты, стоявшіе у власти, только о томъ и думали, какъ бы помѣшать революціи перешагнуть черезъ Пиренеи. Нужно было подавить „мятежъ" въ Испаніи, потому что имъ питались заговоры во Франціи, мѣшавшіе ей между прочимъ и въ ея внѣшней политикѣ: куда было затѣвать что-нибудь на востокѣ, когда странѣ грозила опасность революціи? Чтобы имѣть Францію на своей сторонѣ при осуществленіи своихъ восточныхъ плановъ, Александру I было необходимо освободить Францію отъ этой опасности, а средство было извѣстно, было уже испробовано,—конгрессъ и по его рѣшенію военная экзекуція.

Конгрессъ собрался въ Веронѣ въ серединѣ октября 1822 г. Кромѣ монарховъ Австріи, Пруссіи и Россіи на немъ присутствовали короли Сардиніи и Обѣихъ Сицилій, тосканскій великій герцогъ, пармская герцогиня и моденскій герцогъ, не считая дипломатовъ разныхъ государствъ и между ними представителей папы, Франціи и Англіи. Наиболѣе видными дѣятелями дипломатіи на конгрессѣ были Меттернихъ (Австрія), Монморанси и Шатобріанъ (Франція), Веллингтонъ (Великобританія), Гарденбергъ (Пруссія), Нессельроде и Поццо-ди-Борго (Россія). Съ самаго же начала русскій императоръ рѣшительнѣйшимъ образомъ заявилъ, что онъ скорѣе готовъ дожить въ Веронѣ до сѣдыхъ волосъ, чѣмъ вернуться домой, не сдѣлавъ ничего для успокоенія Испаніи. Эта постановка вопроса, въ концѣ концовъ грозившая Франціи превращеніемъ въ исполнителя велѣній Священнаго Союза, пришлась не по вкусу французскому первому министру Виллелю, который боялся и ссоры съ Англіей, и обременительности экспедиціи для финансовъ, и броженія въ арміи, мобилизація которой, по его мнѣнію, могла бы кончиться военной революціей. Въ этомъ отношеніи онъ расходился во взглядахъ съ господствующею партіей, среди которой было не мало лицъ, особеннымъ образомъ заинтересованныхъ въ испанскихъ дѣлахъ: это были именно кредиторы антиреволюціоннаго регентства, неуспѣхъ котораго былъ бы равносиленъ и потерѣ денегъ французскими его благожелателями. Самъ министръ иностранныхъ дѣлъ, Монморанси, долженствовавшій представлять Францію въ Веронѣ, былъ на сторонѣ русскаго государя, и вотъ, чтобы удержать Монморанси отъ опаснаго шага, Виллель далъ ему въ помощники Шатобріана, который, какъ извѣстно, былъ не только

писателемъ, но и государственнымъ человѣкомъ; въ данный моментъ онъ былъ французскимъ посланникомъ въ Лондонѣ. Виллелю тѣмъ болѣе нужно было считаться съ желаніями Англіи, что главный сторонникъ Священнаго Союза въ правительствѣ этой страны, Кэстльри, только что прекратилъ свои дни, зарѣзавшись перочиннымъ ножикомъ, а его преемникъ Каннингъ относился крайне недоброжелательно и къ Александру I, и въ особенности къ Меттерниху. Онъ и послалъ въ Верону Веллингтона, давъ ему инструкцію никоимъ образомъ не впутывать Англію въ задуманное предпріятіе. Виллель предполагалъ, что и французскій посланникъ въ Лондонѣ будетъ держаться той же линіи.

Монморанси, которому Виллель рекомендовалъ не дѣлать никакихъ шаговъ въ испанскомъ дѣлѣ, а только выжидать, что предложатъ другіе, поступилъ какъ-разъ наоборотъ, а Шатобріанъ, вмѣсто того чтобы противодѣйствовать его политикѣ, шедшей въ разрѣзъ съ видами главы правительства, поддался уговариваніямъ русской дипломатіи, открывавшей передъ нимъ широкіе политическіе горизонты въ случаѣ солидарнаго дѣйствія Франціи съ Россіей и съ имѣющею быть успокоенной Испаніей; къ этому присоединялись и виды на личное возвышеніе Шатобріана при осуществленіи франко-русско-испанскаго союза. Во все время переговоровъ Александръ I проявлялъ особую настойчивость: онъ предлагалъ въ помощь Франціи дать свои войска, а съ другой стороны, въ уклончивости парижскаго двора усматривалъ (и говорилъ объ этомъ) чуть не преступное сообщничество съ испанской революціей. Какъ бы то ни было, Монморанси и Шатобріанъ дали себя убѣдить и застращать, и отъ четырехъ великихъ державъ, т. е. всѣхъ, кромѣ Англіи, въ Мадридъ были посланы ноты, требовавшія, чтобы конституція 1812 г. была отмѣнена и былъ возстановленъ суверенитетъ власти, а въ случаѣ отказа посольства четырехъ державъ должны были покинуть испанскую столицу. Мало того, четыре державы заключили между собою особый договоръ, не только дававшій Франціи право, но даже вмѣнившій ей въ обязанность—при извѣстныхъ обстоятельствахъ—вести войну въ Испаніи, причемъ при опредѣленныхъ условіяхъ она могла и съ своей стороны требовать помощи отъ своихъ союзниковъ. Англія не захотѣла присоединиться къ этому соглашенію, но не обнаружила и намѣренія чѣмъ-либо помочь Испаніи; вся ея политика состояла въ томъ, чтобы, пользуясь европейскими комплинаціями и въ частности испанскими затрудненіями, обдѣлывать свои дѣла въ Америкѣ, гдѣ признаніе отложившихся отъ Испаніи колоній самостоятельными республиками сулило Англіи большія политическія и коммерческія выгоды. Какъ ни старался Виллель предотвратить войну, Франціи пришлось подчиниться рѣшенію Священнаго Союза, и особенно большія старанія убѣдить Виллеля въ необходимости идти заодно съ Россіей, Австріей и Пруссіей были сдѣланы Шатобріаномъ. Остальное извѣстно: въ Мадридѣ на ноты четырехъ державъ отвѣтили гордымъ отказомъ, вслѣдъ за чѣмъ посланники оставили Мадридъ. Это было въ январѣ 1823 г. уже послѣ закрытія конгресса, совершившагося въ серединѣ декабря.

Совѣщанія веронскаго конгресса длились два мѣсяца. Кромѣ испанскаго вопроса, его участники занимались и другими дѣлами. Англія подняла-было на немъ вопросъ о запрещеніи торговли неграми, но недовольные поведеніемъ этой державы монархи ограничились простой декларацией неодобренія торговлѣ невольниками. Грекамъ рѣшено было не оказывать никакой помощи, даже чисто моральной, и греческимъ делегатамъ было отказано въ пріемѣ. Папа, желая угодить Священному Союзу, заставилъ этихъ делегатовъ уѣхать изъ Анконы, гдѣ они ожидали отвѣта изъ Вероны на свою просьбу. Занимался конгрессъ и итальянскими дѣлами, но въ томъ же духѣ покровительства всему реакціонному. Всѣмъ своимъ рѣшеніямъ конгрессъ самъ подвелъ общіе итоги въ особомъ циркулярѣ трехъ сѣверныхъ державъ, въ которомъ осуждалось греческое возстаніе, какъ преступная революція, а Испанія выставлялась, какъ „прискорбный примѣръ неизбѣжныхъ послѣдствій всякаго покушенія на незыблемость вѣчныхъ законовъ нравственности", и вмѣстѣ съ тѣмъ заявлялось, что союзныя правительства не успокоятся до тѣхъ поръ, пока не сократятъ „лживыя и мрачныя банды", нарушающія порядокъ и въ Европѣ, и въ Америкѣ. Угроза слышалась въ этомъ документѣ не только по адресу народовъ, но и по адресу государей, которые не стали бы уважать „духа трактатовъ, составляющихъ основу европейской политической системы". Здѣсь главнымъ образомъ имѣлись въ виду нѣмецкіе государи,

и угроза шла отъ Австріи, желавшей установленія полнаго порядка въ Германскомъ союзѣ. Общественное мнѣніе, особенно въ Англіи и во Франціи, было крайне возмущено общимъ направленіемъ веронскаго конгресса и послѣдовавшей за нимъ французской экспедиціей въ Испанію. „Бронзовый вѣкъ“ Байрона является однимъ изъ отголосковъ этого возмущенія и по рѣзкости негодованія можетъ быть поставленъ рядомъ съ лучшими политическими мѣстами „Чайльдъ-Гарольда“, „Донъ-Жуана“, „Оды съ французскаго“, „Оды къ Венеціи“ и т. п.

Н. Карѣевъ.

БРОНЗОВЫЙ ВѢКЪ

или

CARMEN SECULARE ET ANNUS HAUD MIRABILIS

Impar Congressus Achilli.

I.

За „добрымъ старымъ временемъ“ вослѣдъ—
Вся быль—добро—дѣла текущихъ лѣтъ
Пошли; въ нихъ все зависитъ лишь отъ насъ;
Великое свершалось ужъ не разъ,
И бо̀льшаго возможно въ мірѣ ждать,
Лишь стоитъ людямъ тверже пожелать:
Великъ просторъ, безмѣрна даль полей
Для тѣхъ, кто полонъ замысловъ, затѣй.
Не знаю, плачутъ ангелы, иль нѣтъ,
Но человѣку—такъ устроенъ свѣтъ—
Не мало слезъ пришлось уже пролить.
Зачѣмъ?—Чтобъ снова плакать и тужить.

II.

Добро иль зло—все гибнетъ безъ слѣда.
Читатель! вспомни молодость, когда
Нашъ Питтъ былъ все, иль очень много,—такъ
Судилъ о немъ его соперникъ, врагъ.
Мы созерцали родъ богатырей,
Титановъ духа, въ распрѣ долгихъ дней,
Атосъ и Иду, съ моремъ звонкихъ словъ
Неистово гремѣвшимъ межъ борцовъ,
Какъ въ бурный часъ шумитъ Эгейскій валъ
Межъ греческихъ и межъ фригійскихъ скалъ.
Но гдѣ жъ борцы?.. Въ безмолвіи могилъ
Лишь слой земли ихъ кости раздѣлилъ.
Какъ смерть всегда спокойна и властна,
Смиряя все!.. Безбурная волна
Въ просторѣ міра. Смыслъ старинныхъ словъ
„Изъ праха—въ прахъ“ всегда и всюду новъ:
Въ нихъ вѣчный ужасъ смерти; передъ нимъ
Безсильно время; червь неутомимъ,
И гробъ хранитъ свой обликъ въ тишинѣ—
Различный сверху, тотъ же въ глубинѣ.
Сверкаетъ урна, прахъ - остылъ навѣкъ,
Пусть пепелъ Клеопатры пересѣкъ
Морской просторъ, по чьимъ волнамъ она
Антонія отъ царства увлекла;
Пусть урна Александра, скорбный прахъ,
Стоитъ теперь на чуждыхъ берегахъ,
Что онъ, рыдая, жаждалъ покорить,—
Какъ былъ безцѣленъ, если разсудить,
Весь этотъ плачъ, какъ горестно пуста
Была безумца алчная мечта!
Въ слезахъ, міровъ алкалъ онъ,—полземли
Не знаетъ, кто онъ, или только дни
Рожденья—смерти, скорбь и торжество
Опустошенья; въ мірѣ отъ него
Все, все осталось Греціи родной,
Что есть въ пустынѣ, только не покой.
Стяжать міры онъ горестно алкалъ—
Земли, и той не зная, какъ не зналъ,
Гдѣ этотъ островъ сѣверный лежитъ,
Что, чуждый царству, прахъ его хранитъ.

III.

Но гдѣ сильнѣйшій, витязь нашихъ дней,
Что, самъ не царь, обуздывалъ царей
Тотъ, чье ярмо низвергнувъ, короли,
Что новаго Сезостриса влекли,
Хотятъ парить, поправъ тотъ прахъ, гдѣ имъ

Пришлось плестись съ владыкою своимъ?
Гдѣ онъ, дитя,—оплотъ всему, что—бредъ,
Что—высь и низь, въ чемъ вѣщей мысли
свѣтъ?
Въ чьихъ играхъ въ царства ставкой былъ
престолъ;
Чьи кости—люди, міръ—игральный столъ?
Заплачь, взглянувъ на скорбный островокъ
Иль улыбнись,— въ немъ сведенъ весь
итогъ!
Вздохни при видѣ вольнаго орла,
Кого недоля къ клѣткѣ привела;
Взгляни съ улыбкой, какъ гроза племенъ
На вѣчный споръ о пищѣ осужденъ;
Заплачь надъ тѣмъ, какъ прежній власте-
линъ
Скорбитъ, что мало кушаній и винъ;
Взвѣсь мелкій споръ о жалкихъ мелочахъ,
Въ которомъ онъ томился и зачахъ.
Да онъ ли—тотъ, кто правящихъ казнилъ,
Кто съ ними часто кубокъ свой дѣлилъ?
А кто ему выноситъ приговоръ?..
Отчетъ хирурга, графа звонкій вздоръ!
Лишить ли книги, въ бюстѣ ль отказать
Достаточно, чтобъ началъ онъ страдать,
Чтобъ тотъ ни сна, ни отдыха не зналъ,
Предъ кѣмъ весь міръ безсонный трепе-
талъ!
Ужель то онъ, кто смять великихъ могъ,
А нынѣ—рабъ, съ кѣмъ каждый наглъ и
строгъ,—
И подлый стражъ, и сыщикъ, и чужой,
Что смѣетъ рыться въ книжкѣ записной?
Въ глухой тюрьмѣ онъ могъ бы быть ве-
ликъ;
Какъ межъ тюрьмой и замкомъ онъ по-
никъ,
На той межѣ, гдѣ рѣдкій понималъ,
Какую муку въ сердцѣ онъ скрывалъ!
Онъ ропщетъ тщетно: смыслъ закона
строгъ,
Онъ получалъ положенный паекъ...
Онъ боленъ — вздоръ! Изъѣзди цѣлый
свѣтъ,
Другой страны цѣлительнѣе нѣтъ;
И врачъ, что вѣрилъ жалобамъ его,
Лишился скоро мѣста своего
Но пусть онъ зналъ всю боль душевныхъ
мукъ,
Презрѣнье, наглость, длительный недугъ;
Пусть-сверхъ друзей—къ ногамъ его при-
никъ
Въ послѣдній часъ лишь мнимый свѣт-
лый ликъ,
Ему явившій милыя черты
Дитяти-сына, скоро сироты—
И пусть померкъ его нездѣшній умъ,
Плѣнившій міръ величьемъ вѣщихъ думъ,—
Ликуй—орелъ расторгъ свой душный плѣнъ
И лучшій міръ обрѣлъ себѣ взамѣнъ.

IV.

Но если въ горнихъ помнитъ духъ его
Померкшій отблескъ царства своего,
Съ какой улыбкой долженъ онъ взирать
На малость, чѣмъ онъ сталъ, иль думалъ
стать!
Пусть большій міръ повергло имя ницъ,
Чѣмъ честолюбье, часто безъ границъ;
Пусть, первый въ славѣ, рабъ въ упадкѣ
силъ,
Весь блескъ и горечь власти онъ вкусилъ;
И пусть тираннь чуждые ярму,
Теперь хотятъ быть равными ему;
Тотъ дальній гробъ ему теперь милѣй,
Живой маякъ въ безлюдіи морей!
И пусть тюремщикъ, строгій до конца,
Боясь повѣрить тяжести свинца,
На гробѣ надпись жалкую отвергъ,
Пять словъ о томъ, чей властный взоръ
померкъ;
Все жъ это имя островъ освятитъ,
Какъ талисманъ, чью святость міръ по-
чтитъ;
И, проходя со всѣхъ концовъ земли,
Съ высокой мачты, въ морѣ, корабли
Пошлютъ ему ликующій привѣтъ;
Колонна галльской славы и побѣдъ,
Какъ обелискъ Помпея, надъ землей
Едва-едва вздымаетъ остовъ свой,—
А тотъ пустынный дальній островокъ,
Гдѣ скорбный саванъ витязя облекъ,
Какъ бюстъ героя, гребнемъ грозныхъ
скалъ
Атлантику навѣки увѣнчалъ.
И вотъ ему, въ пустынѣ дальнихъ водъ;
Могучая природа воздаетъ
Стократъ—все то, чего въ часъ смерти
онъ
Былъ завистью разсчетливой лишенъ.
Но что ему? Смутитъ ли торжество
Свободный духъ иль плѣнный прахъ его?
О темномъ гробѣ мало онъ тужитъ—
Не все-ль равно, онъ живъ или-же
спитъ:
Прозрѣвшей тѣни слишкомъ все равно,
Въ пещерѣ ль темной тлѣть ему дано,
Иль прахъ его вкушаетъ вѣчный сонъ
Въ странѣ, гдѣ римскій · галльскій Пан-
теонъ.
Онъ чуждъ всему; родная же страна
Той малостью утѣшиться должна:
Достоинства и чести ради, ей

Нельзя не ждать назадъ его костей,
Чтобъ ихъ надъ грудой троновъ вознести;
Иль превратить, въ воинственномъ пути
Къ стяжанію все новыхъ царствъ и странъ,
Какъ кости Дюгеклена, въ талисманъ.
Пусть даже такъ—настанетъ нѣкій часъ,
И это имя, грозное не разъ,
Набатный звонъ надъ міромъ устремитъ
И барабаномъ Жижки загремитъ.

V.

О, мощь небесъ! Онъ былъ твой ликъ живой.
И ты, земля! Онъ—лучшій отпрыскъ твой.
И, островъ, ты! Тебѣ за то хвала,
Что ты взлелѣялъ юнаго орла.
Вы, Альпы, гдѣ онъ встрѣтилъ свой разсвѣтъ,
Взвиваясь гордо въ блескѣ ста побѣдъ!
Ты, Римъ, чей Цезарь въ славѣ умаленъ!
Зачѣмъ и онъ шагнулъ за Рубиконъ,
За Рубиконъ людскихъ возставшихъ правъ,
Въ ряды льстецовъ, монарховъ пошлыхъ ставъ?
Египетъ! въ чьихъ заброшенныхъ гробахъ
Угрюмо дрогнулъ фараоновъ прахъ,
Средь пирамидъ, въ глухой тиши своей,
Заслышавъ громъ Камбиза нашихъ дней;
Въ то время какъ у Нильскихъ береговъ
Стояло сорокъ призраковъ—вѣковъ,
Испуганныхъ гигантовъ темный строй,
Что съ пирамидъ, съ ихъ выси вѣковой,
Взиралъ, дрожа, какъ въ бѣшенствѣ вражды
Неслись въ пустынѣ шумныя орды,
Гдѣ кровь поила выжженный песокъ,
Чтобъ снова онъ стать тучной нивой могъ!
Испанія! Чей Сидъ забытъ на мигъ
И чей Мадридъ, увы, предъ нимъ поникъ!
Ты, Австрія! Чей вѣроломный тронъ
Былъ дважды взятъ и дважды пощаженъ,
Чтобъ ты, добыча славнаго орла,
Потомъ его въ паденьи предала!
Родъ Фридриха—чье съ Фридрихомъ родство
Лишь въ имени да лживости его,
Отнюдь не въ славѣ—ты, что былъ имъ смятъ
Подъ Іеною и—трепетомъ объятъ—
Въ Берлинѣ рабски ползалъ передъ нимъ,
Чтобъ, павъ, возстать, когда онъ былъ гонимъ!
И вы, чье племя скорбное живетъ
Въ странѣ Косцюшко, помня старый счетъ,
Долгъ вашей крови, щедро пролитой
Екатериной! Польша! Надъ тобой,
Какъ ангелъ мщенья грозно онъ виталъ,
Чтобъ вновь оставить тою жъ, какъ засталъ:
Съ пустынею заброшенныхъ полей,
Забывъ упорство жалобы твоей,
Расторгнутый на части твой народъ,
Чье даже имя больше не живетъ,—
Твой вздохъ о волѣ, слезы, весь твой крикъ,
Что грозно къ слуху деспота приникъ—
Косцюшко!.. Бранной жаждою горя,
Онъ ищетъ крови подданныхъ царя.
Соборы полуварварской Москвы
Свѣтло горятъ на солнцѣ, но, увы,
На нихъ уже вечерній лучъ зардѣлъ!
Москва, его величія предѣлъ!
Суровый Карлъ, какъ горько ни рыдалъ,
Тебя не видѣлъ, *онъ* же увидалъ—
Но какъ?—въ огнѣ, куда бросалъ солдатъ
Фитиль, бѣднякъ валилъ солому съ хатъ,
Торговецъ же—запасы многихъ лѣтъ,
Князь—свой дворецъ—и вотъ, Москвы ужъ нѣтъ!
Какой вулканъ! Что Этна предъ тобой?
Что грозный Геклы отблескъ вѣковой?
Везувій пошло блещетъ всякій разъ,
Какъ зрѣлище для сотенъ праздныхъ глазъ:
Ты заревомъ откинулась въ вѣка,
Не вѣдая соперницы, пока
Иной огонь весь міръ не озаритъ,
Что всѣ державы въ пепелъ превратитъ!
Ты, грозная стихія! Чей урокъ,
Безжалостный, воителямъ не въ прокъ!..
Морознымъ взмахомъ злобнаго крыла
Толпы враговъ дрожащихъ ты гнала,
Пока не падалъ, сломленный тобой,
Подъ каждою снѣжинкою—герой!
Какъ грозенъ клювъ, обхватъ твоихъ когтей,
Что цѣпенѣли полчища людей!
И тщетно Сена съ тихихъ береговъ
Зоветъ ряды родимыхъ смѣльчаковъ!
И тщетно въ виноградникахъ своихъ
Готовитъ кубокъ Франція для нихъ:
Имъ изъ него отвѣдать не дано,—
Ихъ кровь течетъ сильнѣе, чѣмъ вино;
Иль стынетъ тамъ, гдѣ ихъ угрюмый станъ
Раскинулся во льдахъ полярныхъ странъ!
Свѣтло лучамъ Италіи горѣть,
Но имъ сыновъ холодныхъ не согрѣть!—
Отъ всей добычи, собранной войной,
Что уцѣлѣло? Алчущій герой
Спѣшитъ въ свой домъ—о, горестный трофей!—
Съ разбитой колесницею своей!
Да съ сердцемъ не разбитымъ!.. Грянулъ вновь
Роландовъ рогъ—и снова льется кровь!
При Люценѣ гдѣ сломленъ славный шведъ,
Онъ побѣдилъ, но лишь не умеръ, нѣтъ!

Подъ Дрезденомъ еще бѣгутъ предъ нимъ
Три деспота—предъ деспотомъ своимъ;
Но, долгій спутникъ, счастье отъ него,
Съ измѣною при Лейпцигѣ, ушло.
Отъ льва Саксонскій вкрадчивый шакалъ
Къ лисѣ, къ медвѣдю, къ волку убѣжалъ!
И вотъ теперь могучій царь лѣсовъ
Спѣшитъ въ свое убѣжище, подъ кровъ
Отчаянья и горя своего,
Но въ мірѣ нѣтъ пріюта для него.
Вы всѣ! и каждый! Франція! Взирай,
Какъ вражьимъ плугомъ вспаханъ весь твой край,
Гдѣ, что ни шагъ, онъ велъ упорный бой
И былъ сраженъ измѣной лишь одной,
Глядѣвшею съ Монмартрской высоты
На твой Парижъ поруганный! И ты,
Убогій островъ, съ чьихъ твердынь видна
Этрурія, блаженная страна,—
Ты былъ пріютомъ гордости его,
Гдѣ только ждалъ онъ часа своего,
Чтобъ свидѣться на срокъ немногихъ дней
Съ тоскующей невѣстою своей!
О, Франція! Опять его приходъ
Восторженно встрѣчаетъ твой народъ!
Кровавое, безцѣльно, Ватерло,
Гдѣ только то сказаться и могло,
Что и глупцу счастливится порой,
Измѣной ли, ошибкой ли чужой.
И ты, Святой Елены мрачный край,
Съ безжалостнымъ тюремщикомъ, внимай,
Какъ Прометей, прикованный къ скалѣ,
Взываетъ къ морю, къ воздуху, къ землѣ,
И ко всему, что, въ славѣ, полный силъ
Онъ предъ собой склоняетъ иль склонилъ,
Чему въ вѣкахъ, въ безгранной смѣнѣ лѣтъ,
То имя въ мірѣ будетъ, какъ завѣтъ;
Его судьба имъ всѣмъ преподала
Пустой урокъ—урокъ не дѣлать зла!
Лишь шагъ къ добру, единый шагъ, и онъ
Плѣнилъ бы міръ, какъ славный Вашингтонъ;
Но шагъ ко злу, и властный чародѣй
Позорно сталъ посмѣшищемъ людей,
Игрушка счастья, въ царствѣ самъ—игрокъ,
Молохъ молвы иль властный полубогъ;
Отчизнѣ—Цезарь, міру—Ганнибалъ,
Безъ гордости, съ которою онъ палъ.
Самъ духъ тщеславья могъ бы указать,
Откуда славы долженъ былъ онъ ждать,
Въ писаніяхъ, безплодныхъ и смѣшныхъ,
На тысячи стяжателей земныхъ,
Возжаждавшихъ безсмертнаго вѣнца,
Лишь одного отмѣтивъ мудреца.
Тогда какъ Франклинъ, молнію смиривъ,
Въ людскихъ сердцахъ навѣки будетъ живъ,
Или снискавъ странѣ своей родной,
Что имъ горда, свободу и покой!
Кличъ „Вашингтонъ" свѣтло звучитъ навѣкъ,
Пока есть эхо, дышитъ человѣкъ!
И самъ испанецъ алчный позабылъ,
Чтя Боливара, кто Пизарро былъ!
Атлантика! Зачѣмъ твоя волна,
Свободная, теперь хранить должна
Прахъ деспота, его послѣдній кровъ—
Царя царей, невольника рабовъ,
Что гнетъ оковъ сегодня расторгалъ,
А завтра людямъ новыя ковалъ,
Поправъ законъ Европы, какъ и свой,
Чтобы витать межъ трономъ и тюрьмой?

VI.

Но нѣтъ!.. Смотрите — искра вспыхнетъ вновь!
Еще кипитъ въ испанскомъ сердцѣ кровь;
Тотъ гордый духъ, что маврамъ далъ отпоръ
Въ несчетныхъ битвахъ, плѣнный съ давнихъ поръ,
Возсталъ—и гдѣ?—Средь мстительныхъ людей,
Гдѣ былъ испанецъ тѣмъ же, что злодѣй,—
Край Кортеса, Пизарровыхъ побѣдъ,
Тотъ юный міръ по праву—*Новый Свѣтъ*!
Униженныхъ опять исполнилъ силъ
Тотъ *старый* духъ, что персовъ отразилъ
Отъ береговъ, гдѣ Греція *была*...
Нѣтъ! Греція вторично ожила!
Однимъ горятъ народы въ часъ борьбы,
Рабы Востока, Запада рабы;
На Атосѣ, на Андахъ вскинутъ въ высь
Все тотъ же стягъ: два міра въ немъ слились;
Аѳинянинъ, что въ душномъ рабствѣ росъ,
Опять свой мечъ Гармодія занесъ;
Чилійскій вождь отвергъ и поборолъ
Иноплеменной власти произволъ;
Спартанецъ снова вспомнилъ, что онъ—грекъ,
И въ Мексикѣ свободенъ человѣкъ.
Ужъ деспоты, слабѣя тамъ и тутъ,
Передъ волной Атлантики бѣгутъ.
Ужъ къ Гибралтару хлынулъ гнѣвный валъ,
У Франціи, притихшей, вновь взыгралъ
И, грянувъ вдоль Испаніи, готовъ
Авзонію исторгнуть изъ оковъ;
Но чуждый здѣсь—до срока!—валъ живой
Гремитъ въ Эгейскомъ морѣ, помня бой
При Саламинѣ... Здѣсь встаютъ валы,

Безсиленъ деспотъ—рвутся кандалы.—
Совсѣмъ одни, въ безвыходной нуждѣ
Забытые, въ гнетущей ихъ бѣдѣ
Не смѣя ждать опоры христіанъ,
Кому завѣтъ ихъ вѣры ими данъ...
Рядъ областей пустынныхъ, острововъ,
Обманъ въ рѣзнѣ смертельныхъ двухъ
враговъ,
Отказъ въ поддержкѣ, хуже, чѣмъ отказъ,—
Пустой обѣтъ, разсчитанный на часъ,
Когда удастся выгоду извлечь;
Великъ ихъ вопль! Теперь за ними рѣчь
И Грецiя въ свой трудный часъ пойметъ,
Что лучше врагъ, чѣмъ другъ, который
лжетъ.
Пусть такъ: лишь греки—Греціи своей
Должны вернуть свободу прежнихъ дней,
Не варваръ въ маскѣ мира. Царь рабовъ
Не можетъ снять съ народовъ гнетъ оковъ!
Не лучше ль иго гордыхъ мусульманъ,
Чѣмъ жить, вплетясь въ казацкій караванъ!
Не лучше ль трудъ свободнымъ отдавать,
Чѣмъ подъ ярмомъ у русской двери ждать—
Въ странѣ рабовъ, гдѣ весь народъ при
томъ,
Казна живая, мѣрится гуртомъ,
И гдѣ цари безпомощный свой людъ
По тысячамъ придворнымъ раздаютъ,
Его жъ владѣльцамъ снится только ширь
Пустыни дальней—мрачная Сибирь;
Нѣтъ, лучше въ мірѣ бѣдствовать однимъ,
Лицомъ къ лицу съ отчаяньемъ своимъ,
И гнать верблюда въ долѣ кочевой,
Чѣмъ быть медвѣдю горестнымъ слугой!

VII.

Не только тамъ, въ странѣ, гдѣ свѣтлый
крикъ
Свободы вмѣстѣ съ Временемъ возникъ,—
Не только тамъ, гдѣ Инковъ древній родъ
Изъ тьмы, какъ туча, сумрачно встаетъ,
Сверкнулъ разсвѣтъ: испанскій славный
мечъ
Разитъ врага, какъ въ годы древнихъ сѣчъ;
Не съ дикою Пунической ордой
Иль съ грознымъ Римомъ нынѣ грянулъ бой;
Не хищный вандалъ или злой вестготъ
Ея просторъ безчестью предаетъ;
Не кличъ Пелайо къ доблести отцовъ
Возвалъ теперь сквозь длинный рядъ вѣ-
ковъ:
Тотъ сѣвъ пожатъ, и развѣ мавръ о немъ
Вздохнетъ порою, вспомнивъ о быломъ.
Абенсеррагамъ звонкая хвала
Въ сказаньяхъ вѣщихъ долго прожила;
И Сегри, вмѣстѣ съ плѣнными, ушли
Къ роднымъ равнинамъ дикой ихъ земли.
Меча ихъ, вѣры, власти—больше нѣтъ,
Но врагъ грознѣй явился имъ вослѣдъ
Христовыхъ слугъ повергнуть въ новый
плачъ:
Ханжа-монархъ и злой монахъ-палачъ,
Лазутчикъ инквизиціи, а съ нимъ
Костеръ кровавый, съ топливомъ людскимъ,
Гдѣ возсѣдалъ, глухой на вопль и вздохъ,
Католиковъ безжалостный Молохъ,
Холодный взоръ съ любовію склоня
На дикій праздникъ смерти и огня.
Нравъ короля иль вялый иль крутой,
Что можетъ жить подчасъ въ груди одной;
Спесивецъ, гордый лѣностью своей:
Упадокъ знати славныхъ прежнихъ дней;
Униженный гидальго и бѣднякъ,
Что былъ не столь униженъ, сколько нагъ,
Безлюдный край; когда-то грозный флотъ,
Забывшій руль; испытанный оплотъ
Родному краю—дряхлыя войска;
Погасшій горнъ толедскаго клинка;
И золото, уплывшее давно
Не къ тѣмъ, чьей кровью куплено оно.
Языкъ забытый, бывшій всѣмъ своимъ—
Въ чемъ только Римъ и могъ бы спорить
съ нимъ...
Вотъ до чего Испанія дошла!
Но нѣтъ! Она такою лишь была!
Уже узналъ *домашній*, злѣйшій врагъ,
Что вскинутъ вновь Кастильскій древній
стягъ.
Тореадоръ! Возстань! Твой часъ насталъ!
Фаларскій быкъ недаромъ замычалъ;
Возстань, гидальго! Кличъ минувшихъ
дней
Раздался вновь;— „Испанія, дружнѣй!"
Да, да, дружнѣй! Сомкнитесь въ грозный
кругъ,
Создавъ живой стѣною изъ кольчугъ
Испаніи испытанный заслонъ,
Который въ ней нашелъ Наполеонъ:
Презрѣнье къ смерти въ яростныхъ бояхъ,
Безлюдіе въ заброшенныхъ поляхъ,
На улицахъ пустынныхъ городовъ
Однѣ лишь груды павшихъ храбрецовъ;
Въ Сіэррѣ дикой—столь же дикій строй
Гверильясовъ, всегда готовыхъ въ бой;
Подъ Сарагоссой стойкость стѣнъ глухихъ,
Величіе въ самомъ паденьи ихъ;
Неистовыхъ, какъ демоны, мужей
И дѣвъ, безсмертныхъ доблестью своей;
Толедскаго кинжала остріе
И славное кастильское копье;
Лихихъ стрѣлковъ и мѣткость ихъ огня
И дикій бѣгъ испанскаго коня;
Огнемъ Москвы охваченный Мадридъ;

Страну людей, гдѣ каждый духомъ—Сидъ...
Такъ было, есть, и будетъ впредь. Иди,
Смѣлѣй, смѣлѣе, Францiя! Дроби—
Не крѣпкiй шлемъ испанскихъ храбрецовъ,
А звенья тяжкихъ собственныхъ оковъ!

VIII.

Но вотъ—конгресъ! Тотъ кличъ, что Новый Свѣтъ
Освободилъ отъ рабства долгихъ лѣтъ!
Возможно ли того же ждать и намъ,
Европы дряхлой горестнымъ сынамъ?
На этотъ кличъ встаютъ — какъ Самуилъ
На страхъ Саулу—въ цвѣтѣ новыхъ силъ,
Грозя тиранамъ близкою бѣдой,
Глашатаи свободы молодой;
Упорный врагъ цѣпей, тюремныхъ стѣнъ,
Генри, въ лѣсахъ рожденный Демосѳенъ,
Предъ кѣмъ не разъ дрожалъ Филиппъ морей;
И Франклинъ, волей властною своей
Смирившiй въ небѣ молнiи полетъ;
И Вашингтонъ могучiй—насъ зоветъ
Стыдиться старыхъ деспотовъ своихъ
Или, возставъ, расторгнуть цѣпи ихъ.
Но *кто* жъ вошелъ въ тотъ маленькiй совѣтъ,
Чья цѣль—спасти отъ смуты цѣлый свѣтъ?
Кто это имя снова произнесъ,
Что, искупая горечь рабскихъ слезъ,
Звучало тамъ, гдѣ голосъ вѣчевой
Провозглашалъ свободнымъ родъ людской?
Кто нынѣ призванъ въ судьи дѣлъ чужихъ?
Святой Союзъ, замкнувшiй все—въ троихъ!
Подобной тройцѣ чуждъ небесный ликъ,
Какъ человѣкъ мартышкѣ не—двойникъ!
Единство, въ коемъ долженъ быть сложенъ
Изъ трехъ глупцовъ одинъ Наполеонъ!
Въ Египтѣ боги лучше: ихъ быки,
Ихъ псы, всегда разумны и кротки,
На псарняхъ, въ стойлахъ, знаютъ уголъ свой,
Гдѣ ждетъ ихъ пойло, должный кормъ дневной;
Тогда какъ нашимъ мало кормъ жевать—
Имъ нужно право тявкать и бодать;
Увы! Стократъ завиднѣй жребiй данъ
Эзоповымъ лягушкамъ!.. Ихъ чурбанъ
Недвиженъ былъ, у нашихъ онъ—живой,
Вѣнчанный грузъ, злорадно-подвижной,
Кому въ слѣпыхъ движеньяхъ власть дана
Давить тупымъ ударомъ племена,
Столь щедро сѣя бѣдствiя и гнетъ,
Чтобъ аистъ смуты мало зналъ хлопотъ.

IX.

Верона! Блескъ трехъ царственныхъ свѣтилъ
Тебя тройнымъ сiяньемъ осѣнилъ!
Какая честь! Тебѣ въ такихъ лучахъ
Прахъ Капулетти—просто жалкiй прахъ;
Скалиджери—на нихъ ли нынѣ спросъ!—
Что́ можетъ значить твой „Великiй Песъ",—
„Can Grande" (смѣю дать и переводъ),—
Предъ моськами столь царственныхъ породъ?
И твой Катуллъ, чьи лавры, чей вѣнецъ
Теперь воздѣлъ, увы, иной пѣвецъ;
И твой театръ, гдѣ Римъ рукоплескалъ;
Безсмертье стѣнъ, гдѣ кровъ себѣ снискалъ
Изгнанникъ Данте, добрый старецъ твой,
Что весь свой мiръ замкнулъ въ тебѣ одной.
Ахъ, еслибъ ты въ глухой тюрьмѣ своей
Могла замкнуть и царственныхъ гостей!
Поярче надпись! Громче рабскiй крикъ!
Пусть знаетъ Гнетъ, что мiръ подъ нимъ поникъ!
Театръ открытъ! Спѣшите! По мѣстамъ!
Но, помните, комедiя—не тамъ;
Избытокъ лентъ, и звѣздъ, и важныхъ лицъ...
На весь ихъ блескъ любуйтесь—изъ темницъ!
Рукоплещи, Италiя! Дружнѣй!
Настолько ты свободна отъ цѣпей!

X.

Блестящiй видъ! Вотъ щеголь - властелинъ,
Войны и вальсовъ вѣрный паладинъ!
Кого влечетъ, какъ царство, льстивый крикъ,
И бранный шлемъ, и женскiй нѣжный ликъ;
Умомъ—казакъ, съ калмыцкой красотой,
Великодушный,—только не зимой;
Въ теплѣ онъ мягокъ, полу-либералъ,—
Твердѣя, если зимнiй вихрь взыгралъ;
Онъ бы не прочь свободу уважать,—
Тамъ, гдѣ ненужно мiръ освобождать.
Какъ онъ красно о мирѣ говоритъ!
Какъ онъ по-царски Греции сулилъ
Свободу,—если греческiй народъ
Готовъ принять его державный гнетъ!
Онъ разрѣшилъ полякамъ сеймъ созвать,—
Велѣвъ сварливой Польшѣ замолчать!
Украину готовъ онъ ополчить,
Чтобы народъ испанскiй проучить!
Какой красой, стремясь всегда на югъ,

Въ Мадридѣ гордомъ вспыхнулъ бы онъ вдругъ!
Столь явной пользы въ мірѣ нѣтъ нигдѣ,
Какъ быть съ Москвою въ дружбѣ иль враждѣ...
Впередъ! Тебѣ то имя жребій далъ,
Что сынъ Филиппа славой увѣнчалъ,
Тебя Лагарпъ, твой мудрый коноводъ,
Твой Аристотель маленькій, зоветъ;
Снищи же, скиѳъ, средь Иберійскихъ селъ,
Что македонецъ въ Скиѳіи обрѣлъ;
Но не забудь, юнецъ немолодой,
Къ чему пришелъ у Прута предокъ твой;
Сзывай, какъ онъ, старухъ на свой совѣтъ,
Увы, средь нихъ Екатерины нѣтъ!
Въ Испаніи-жъ не мало скалъ и рѣкъ,
Глухихъ тѣснинъ, скрывающихъ ихъ бѣгъ,
Неудержимый въ бѣшенствѣ своемъ—
Какъ бы медвѣдь не встрѣтился со львомъ!
Далекій Хересъ славу готскихъ силъ
Въ своихъ равнинахъ знойныхъ схоронилъ;
Ужель ты хочешь тамъ воздвигнуть тронъ,
Гдѣ былъ поверженъ самъ Наполеонъ?
Не лучше-ль мечъ на плугъ перековать,
Не лучше ли пустынный край вспахать,
Омыть свои башкирскія орды,
Спасти свой людъ отъ рабства и нужды,
Чѣмъ ринуться въ опасный путь стремглавъ,
Кощунственно позоря святость правъ
Въ странѣ, гдѣ грянетъ гнусный твой обозъ.
Испаніи ненуженъ твой навозъ:
Въ ней дешевъ хлѣбъ, да только не на сбытъ
Ея врагу; въ ней коршунъ тоже сытъ;
Иль ты несешь добычу посвѣжѣй?—
Увы! Тебѣ не властвовать надъ ней.
Я—Діогенъ, я столь же мало радъ,
Кто всталъ межъ мной и солнцемъ миріадъ,—
Казакъ иль гуннъ; не будь я Діогенъ,
Я бы червемъ скорѣе сталъ взамѣнъ,
Чѣмъ Александромъ! Бей ему челомъ,
Кому охота въ мірѣ быть рабомъ,—
Надъ циникомъ не властенъ гнетъ оковъ;
Мудрецъ постигъ, что бочка — лучшій кровъ:
Онъ, съ фонаремъ блуждая средь людей,
На свѣтѣ ищетъ *честныхъ*, не царей.

XI.

Что жъ Галлія, разсадникъ, край родной
Всѣхъ крайнихъ *ne plus ultra*—съ ихъ толпой
Продажною? Что шумъ ея палатъ,
Гдѣ всѣ къ трибунѣ ревностно спѣшатъ,
Чтобы, добившись слова наконецъ,
Со всѣхъ сторонъ услышать крики: „лжецъ!“
Нашъ бриттъ порой вникаетъ въ смыслъ рѣчей,—
Здѣсь языковъ побольше, чѣмъ ушей;
Здѣсь самъ Констанъ, кончая говорить,
Свой выводъ долженъ шпагой подтвердить.
Французу легче драться, чѣмъ внимать,
Хотя бъ предъ нимъ была родная мать.
Не проще ли рѣшить въ бою, кто—правъ,
Чѣмъ слушать рѣчь, ни разу не прервавъ?
Положимъ, Римъ иначе разсуждалъ,
Гдѣ Туллій словомъ стѣны потрясалъ,
Но Демосѳенъ имъ далъ примѣръ иной,
Считая слово „дѣйствіемъ“, борьбой.

XII.

Но гдѣ жъ монархъ? Откушалъ? Или онъ
Своимъ плохимъ желудкомъ удрученъ?
Коварный супъ, мятежный ли пирогъ
Пошелъ владыкѣ Франціи не въ прокъ?
Мятежное ль движеніе въ войскахъ?
Иль *нѣтъ* движенья въ царственныхъ кишкахъ?
Да точно ль поваръ все предугадалъ?
Иль строгій врачъ діету предписалъ?
Боюсь—читая скорбь въ твоихъ очахъ,—
Что вся измѣна галловъ—въ поварахъ!
Классическій Людовикъ! Трудно скрыть,
Желательно ль тебѣ „Желаннымъ“ быть!
Зачѣмъ ты бросилъ мирный Хартвелль твой,
Лукулловъ столъ, и съ нимъ напѣвъ живой
Плѣнительныхъ Гораціевыхъ одъ,
Чтобъ управлять страною, гдѣ народъ
Правленія не хочетъ и скорѣй
Признаетъ плеть, чѣмъ волю королей?
Увы! тебѣ-ль, садиться на престолъ!
Такимъ, какъ ты, нужнѣй обильный столъ;
Твое призванье—мирно пировать,
Быть милымъ гостемъ, щедро угощать,—
Изъ книгъ поэта помнить десять главъ,
Знать списокъ *всѣхъ* подливокъ и приправъ...
Ты можешь быть ученымъ и порой
Сверкнуть ума нежданною игрой,—
Отнюдь не править судьбами людей,
Не справившись съ подагрою своей.

XIII.

Возможно-ли, чтобъ бриттомъ былъ лишенъ
Его похвалъ высокій Альбіонъ?
„Георгъ—искусства—слава—острова—
Любовь къ свободѣ — въ битвахъ ярость
льва—
Сокровища—твердыня бѣлыхъ скалъ—
Страна, гдѣ всѣ довольны,—старъ и малъ—
И Веллингтонъ, кичливый нашъ герой,
На чьемъ носу виситъ весь шаръ земной!
И Ватерло—торговля—и—(молчокъ!
Забудь долги,—ни слова про налогъ)—
И Кэстлери, милѣйшій изъ вельможъ,
Кого, увы, сразилъ карманный ножъ—
И „моряки, кому нестрашенъ штормъ"—
(Пока не грянулъ бурный валъ реформъ)".
На эти темы пѣли столько разъ,
Что я невольно впалъ бы въ пересказъ;
О нихъ была въ столь многихъ книгахъ
рѣчь,
Что ими здѣсь я вправѣ пренебречь.
Вѣдь кое что найдется и сверхъ нихъ,
Гдѣ больше смысла, звонче стройный
стихъ:
Твой геній, Каннингъ! Твой высокій умъ,
Хоть ты политикъ, полонъ вѣщихъ думъ,
Что даже въ глупомъ воздухѣ палатъ
Живымъ огнемъ поэзіи горятъ;
Твоимъ рѣчамъ единственнымъ,—привѣтъ!
У торіевъ тебѣ признанья нѣтъ;
Вглядись, читай въ ихъ сумрачныхъ
очахъ,—
Ты имъ внушаешь ненависть и страхъ.
Рогъ ловчаго скликаетъ стаю псовъ,—
Они бѣгутъ, покорные, на зовъ;
Но не считай любовію ихъ вой:
Ихъ визгъ предъ дичью вызванъ не хва-
лой;
Двуногой твари вовсе вѣры нѣтъ,—
Она легко теряетъ слабый слѣдъ.
Съ твоей подпругой врядъ ли будешь
цѣлъ,
И царскій конь съ годами захирѣлъ;
Онъ—неуклюжъ; свершая трудный путь,
Онъ можетъ вдругъ споткнуться иль ляг-
нуть,
И съ нимъ въ грязи увязнетъ и сѣдокъ!
Такъ что жъ?—скотина выдастъ свой по-
рокъ.

XIV.

Родимый край! Оплачетъ ли мой стихъ
Твоихъ лэндлордовъ, пасынковъ твоихъ,
Благословлявшихъ грозный гулъ войны,
Клянущихъ бремя мирной тишины?
Зачѣмъ они рождаются на свѣтъ?
Чтобъ выбирать въ палату иль совѣтъ?
Охотиться? Иль ждать подъема цѣнъ
На хлѣбъ?.. Но хлѣбъ, какъ все, что—
прахъ и тлѣнъ,
Цари, вожди, иная ль мощь и власть,
Въ своей цѣнѣ не можетъ не упасть.
И если колосъ, падая, увы!
Влечетъ и васъ,—зачѣмъ разбили вы
Тронъ Бонапарта? Взвѣсьте же,—зачѣмъ?
Вѣдь онъ же—вашъ великій Триптолемъ;
Онъ много царствъ разрушилъ, но взамѣнъ
Онъ вѣдь упрочилъ стойкость вашихъ цѣнъ,
Расширивъ то, чѣмъ каждый лордъ жи-
ветъ,—
Аграрную алхимію, доходъ.
Зачѣмъ тиранъ споткнулся о татаръ
И тѣмъ нанесъ всѣмъ житницамъ ударъ?
Зачѣмъ онъ чахъ въ изгнаніи? По мнѣ,
На тронѣ онъ полезнѣй былъ вдвойнѣ.
Богатства гибли, всюду кровь текла,—
Такъ что жъ? въ расплатѣ Галлія была;
Былъ дорогъ хлѣбъ, и каждый фермеръ
въ срокъ
Платилъ долги, проценты и оброкъ.
Гдѣ жъ нынѣ день разсчета? Эль хмельной?
Гдѣ откупщикъ съ набитою мошной?
Гдѣ прежній трудъ, посѣвъ изъ года въ
годъ?
Десятки миль воздѣланныхъ болотъ?
Гдѣ спросъ на землю? Прежній дружный
пиръ?
Доходъ сугубый? Что за чортовъ миръ!
Теперь безцѣльно преміи сулить;
Безцѣльно билль въ палатѣ проводить;
Къ народной пользѣ—(лучше, мнится мнѣ,
Народъ совсѣмъ оставить въ сторонѣ)—
Она не тамъ, гдѣ слышенъ скорбный крикъ,
Какъ бы достатокъ къ бѣднымъ не проникъ.
Повысьте курсъ! Утройте-же доходъ!
Иль министерство тотчасъ же падетъ,—
Патріотизмъ, столь чутко-подвижной,
Сейчасъ убавитъ въ вѣсѣ хлѣбецъ свой!
Не стало „рыбъ и хлѣба" давнихъ дней,
Закрылась печь, изсякла глубь морей,—
Отъ всѣхъ богатствъ, уплывшихъ съ бѣ-
гомъ лѣтъ,
Остался лишь воздержности завѣтъ;
Кому онъ чуждъ, тотъ вынулъ жребій свой
Изъ урны счастья, урны роковой,—
Ему воздастся мѣрой дѣлъ его,
Онъ самъ—строитель зданья своего.
Вотъ, Цинциннатовъ гнусная толпа,
Рабовъ войны, диктаторовъ цѣпа;
Наемный мечъ былъ плугомъ въ полѣ *ихъ*,
Гдѣ колосъ вскормленъ кровью странъ чу-
жихъ;

Когда стоналъ въ часъ брани весь народъ,
Они считали въ житницахъ доходъ!
Ихъ злая рать пила изъ года въ годъ
Чужую кровь и слезы—ихъ доходъ!
Они клялись, что каждый лордъ умретъ
За Англію, но лозунгъ ихъ: доходъ!
Имъ тяжекъ миръ, какъ черный недородъ;
Война для нихъ—кормилица, доходъ.
Любовь къ отчизнѣ, сказочный расходъ
Какъ оправдать? Повысивъ ихъ доходъ!
Ужель нельзя ускорить оборотъ?
Нѣтъ: къ чорту все! утройте лишь доходъ!
Ихъ счастье, свѣтъ, ихъ вѣра, цѣль заботъ,
Ихъ жизнь и смерть—*доходъ, доходъ, доходъ*!
Исавъ! Ты санъ на яства промѣнялъ;
Ты бъ меньше ѣлъ, иль въ сдѣлкѣ больше взялъ;
Но разъ ты ѣлъ, увы, смѣшонъ твой споръ;
Израиль твердо помнитъ уговоръ.
Смѣшно и вамъ, земельные дѣльцы,
Напившись крови, лаять на рубцы!
Ужель за васъ платиться всей казнѣ?
Понизить курсъ въ убытокъ всей странѣ,
Опустошая банки и народъ,
Лишь бы поднять упавшій вашъ доходъ?
Скорбитъ и Церковь:—вѣры больше нѣтъ,
И все скуднѣе пастырскій обѣдъ;
И вотъ прелатъ, молясь на Божій крестъ,
Спѣшитъ занять десятокъ хлѣбныхъ мѣстъ;
И Власть и Церковь спорятъ весь свой вѣкъ;
Потопъ ихъ вмѣстѣ бросилъ въ свой ковчегъ.
Стрижетъ епископъ шерсть своихъ овецъ,
За нимъ мѣняла, маклеръ и купецъ
Радѣютъ—строятъ новый Вавилонъ—
Твой часъ насталъ, печальный Альбіонъ!
А все зачѣмъ?—Кормить слѣпыхъ кротовъ,
Откармливать аграрныхъ муравьевъ!
Учись у нихъ, лѣнивецъ! Въ каждый мигъ
Дивись терпѣнью въ каждой жертвѣ ихъ,
Проникнись всей ихъ гордостью,—усвой
Налоговъ смыслъ и цѣль рѣзни людской;
А главное, любуясь на ихъ домъ,
Склонись душой предъ правымъ ихъ судомъ,
Что всѣхъ долговъ страны не признаетъ:—
Да кстати справься, *кто ихъ создаетъ*?

XV.

Но время плыть межъ новыхъ Симплегадъ,
Утесовъ грозныхъ—денежныхъ палатъ,
Гдѣ Мидасъ могъ бы нѣжиться вдвойнѣ:
Въ бумагахъ днемъ, и въ золотѣ—во снѣ.
Сокровищамъ Альчины нѣтъ числа;
Въ сравненьи съ ними Англія мала,
Будь вся она изъ самыхъ цѣнныхъ рудъ,
Гдѣ каждый атомъ—жемчугъ, изумрудъ.
Тамъ Счастье мечетъ, Слава карту бьетъ,
И міръ дрожитъ, когда проигранъ ходъ.
Какъ Англія богата! Не виномъ,
Рудою, миромъ, масломъ иль зерномъ;
Не млекомъ и не медомъ давнихъ дней,
Не деньгами (помимо векселей)—
Но гдѣ страна, подъ чей несчастный кровъ
Могло бы столько налетѣть жидовъ?
Король имъ Джонъ, бывало, зубы рветъ,—
Теперь *они* въ державный лѣзутъ ротъ.
Имъ каждый царь, весь пестрый рядъ племенъ
„Отъ полюса до Инда“ подчиненъ.
Бароны-братья-маклеры—вездѣ
Спѣшатъ помочь тиранамъ въ ихъ нуждѣ.
Еще не то! Колумбія свой кладъ,
Свои побѣды носитъ къ нимъ въ закладъ;
Израиля участливая длань
Изъ всѣхъ испанцевъ нищихъ выжметъ дань;
Безъ внуковъ Авраама, ихъ смолы,
Свой возъ не сдвинутъ русскіе волы;
Побѣдѣ алчной золото, не мечъ,
Вздымаетъ арки въ вихрѣ буйныхъ сѣчь.
Два избранныхъ еврея безъ труда
Вездѣ найдутъ отчизну:—два жида
Царятъ надъ Римомъ; въ ихъ рукахъ ключи
Отъ житницъ новой гуннской саранчи:
Отъ двухъ жидовъ—не двухъ самаритянъ—
Зависитъ міръ, все счастье многихъ странъ,
До счастья міра много-ль дѣла имъ?
Для нихъ Конгрессъ—„второй Іерусалимъ“,
Гдѣ легокъ путь къ баронствамъ, къ орденамъ—
Ты видишь ли, блаженный Авраамъ,
Своихъ сыновъ средь царственныхъ свиней,
Гдѣ, противъ правилъ добрыхъ старыхъ дней,
„На ихъ кафтанъ жидовскій“ не плюютъ,
Гдѣ имъ и честь и славу воздаютъ—
(Но гдѣ же, папа, острый твой носокъ,
Чтобы Іуда помнилъ твой пинокъ?
Иль ты боишься туфлю потерять?)
И вотъ въ отчизнѣ Шейлока опять
Они изъ сердца націи живой
Стремятся вырѣзать „фунтъ мяса“ свой.

XVI.

Чудной Конгресъ! Онъ долженъ слить въ одно

Все то, чему лишь въ розни жить дано.
Я не царей, не ихъ высокій санъ,
Имѣлъ въ виду—имъ всѣмъ одинъ чеканъ,
Но тѣхъ, кто куклы дергаетъ за нить,
Чей пестрый рой никакъ не примирить.
Обманщикъ—воинъ—жидъ—служитель музъ...
Дивись, Европа! Это ль не союзъ!
Вотъ трутень власти Меттернихъ; а вотъ
Нашъ Веллингтонъ, забывшій свой походъ;
Шатобріанъ, творецъ житій святыхъ;
И хитрый Грекъ, слуга татаръ слѣпыхъ,
И Монморанси, врагъ особыхъ правъ,
Представшій здѣсь, на шабашѣ державъ,
Какъ дипломатъ блестящій, чья судьба—
Строчить свои замѣтки для „Débats";
Пророкъ войны, онъ вѣдалъ часъ всего—
Не зная дня паденья своего.
Столь рѣдкій умъ любой державѣ честь!
Какъ можно миръ министру предпочесть?
Онъ палъ,—чтобъ вновь воспрянуть въ цвѣтѣ силъ,
„Легко какъ онъ испанцевъ покорилъ".

XVII.

Довольно ихъ—теперь иной позоръ
Влечетъ невольно музы скорбный взоръ.
Дочь кесаря, державная жена,
Что быть державной жертвою должна;
Мать первенца владыки всѣхъ царей,
Астіанакса Трои нашихъ дней;
Тотъ блѣдный призракъ первой изъ царицъ,
Что предъ собой склоняли Землю ницъ;
Добыча часа, призрачныхъ тревогъ,
Осколокъ власти, жалости предлогъ.
О, горькая насмѣшка!—Гдѣ жъ твой щитъ,
Мать Австрія? И то ли долгъ велитъ
Вдовѣ печальной Франціи? Она
Должна быть тамъ, гдѣ пѣнится волна
Святой Елены; скорбный вдовій тронъ—
Средь дальныхъ скалъ, гдѣ спитъ Наполеонъ.
Но, нѣтъ—взамѣнъ ей данъ престолъ смѣшной
Да камергеръ суровый,—Аргусъ злой,
Что наблюдаетъ—ахъ! не вò сто глазъ—
За той, чей блескъ такъ горестно погасъ.
Пусть отняты владѣнія, какихъ
И Карлъ Великій въ мірѣ не достигъ,
Тотъ славный жезлъ, что власть свою простеръ
Отъ стѣнъ Москвы до грани южныхъ горъ!
Но все жъ она подъемлетъ скипетръ свой
Надъ царствомъ сыра, нищею страной,
Въ чьей Пармѣ взоръ проѣзжаго манитъ
Ея двора смѣшной и важный видъ.
Но вотъ она! Въ Веронѣ! Безъ вѣнца,
Безъ всѣхъ лучей—сжимаются сердца!—
Хоть прахъ ея супруга не остылъ
Въ чужомъ краю, куда онъ изгнанъ былъ.
(Коль грозный прахъ способенъ охладѣть;—
Но нѣтъ,—онъ вспыхнетъ молніей и впредь);
Вотъ—Андромаха—(ахъ! не та, чей ликъ
Воспѣлъ Гомеръ,—предъ кѣмъ Расинъ поникъ)—
И рядомъ съ нею Пирръ!—Рука того,
Кѣмъ вдругъ разбиты въ вихрѣ Ватерло
Ея владыки скипетръ и мечта,
Предложена—и что же?—принята!
Ужель доступно большее рабу?
Иль меньшее?—А *онъ*—давно ль?!—въ гробу!
Безпечный взглядъ—иль ужасъ въ сердцѣ скрытъ?
Или съ вѣнцомъ утраченъ женскій стыдъ?
Столь грудь царей открыта для добра!
Щадить ли ихъ, разъ чувства ихъ игра?

XVIII.

Но, утомленъ безумьемъ дѣлъ чужихъ,
Я шелъ домой, сплетая въ очеркъ ихъ.
До слезъ томилась Муза, но—предъ ней
Предсталъ сэръ Кертисъ съ юбкою своей
Среди старшинъ шотландскихъ, что ему
Несли привѣтъ, какъ брату своему.
Вся Дума,—гелы, эрсовъ дружный хоръ,
Кричали зычно въ ратушѣ: Клейморъ!
При видѣ, какъ ихъ клѣтчатый тартанъ
Облекъ кольцомъ мясистый кельтскій станъ,
Забыла Муза прежній ужасъ свой:—
Раздался смѣхъ столь звонкій и живой,
Что, возгласомъ веселья увлеченъ,
Проснулся я—но это былъ *не* сонъ!
Теперь же мы, читатель, отдохнемъ:—
И если ты въ радѣніи своемъ
Не оскудѣлъ, то, знай, въ урочный часъ
Я, можетъ быть, продолжу свой разсказъ.

Ю. Балтрушайтисъ.



ОСТРОВЪ.

Первая пѣснь этой поэмы была окончена 10 января 1823 г., а въ концѣ послѣдней пѣсни выставлена неразборчивая дата, которую, по мнѣнію Кольриджа, слѣдуетъ читать: „14 февраля". Рукопись, отосланная Байрономъ въ Англію, Джону Гонту, вышла изъ печати 26 іюня 1823 г., отдѣльной брошюрой, подъ заглавіемъ: „Островъ, или Приключенія Христіана и его товарищей".

Въ своемъ коротенькомъ „предувѣдомленіи" авторъ указываетъ на два источника этого произведенія: на сочиненіе лейтенанта Вильяма *Блайя* (Bligh); „Разсказъ о возмущеніи на военномъ кораблѣ Bounty и о послѣдовавшемъ затѣмъ плаваніи шлюпки съ этого корабля отъ острова Тофоа, въ группѣ островов Дружбы, въ голландскую колонію Тиморъ въ Остъ-Индіи" (1790) и на сочиненіе Джона *Мартина*: „О туземцахъ островов Тонга", составленномъ по сообщеніямъ Вильяма Маринера (1817). Послѣднее изъ названныхъ сочиненій, заключающее въ себѣ, между прочимъ, подробныя описанія мѣстности и разсказы о народныхъ преданіяхъ жителей островов Дружбы, — особенно заинтересовало Байрона: по словамъ Джона Клинтона, поэтъ „постоянно разсказывалъ объ этомъ своимъ друзьямъ" и, въ концѣ концовъ, задумалъ написать на эту тему поэтическое произведеніе. Онъ воспользовался разсказомъ Блайя о мятежѣ только какъ рамкой или остовомъ для изображенія тропической природы и нравовъ. Разсказъ этотъ, въ его вольной передачѣ Байрономъ, послужилъ вступленіемъ—но не къ „приключеніямъ Христіана", о которыхъ говорилось въ подзаглавіи поэмы, а къ яркому описанію „острова", которому посвящены послѣднія три ея пѣсни. Въ своемъ описаніи Байронъ слѣдовалъ уже не источникамъ, а исключительно собственной фантазіи; онъ смѣло на мѣсто Таити поставилъ Тубонай, и, вдобавокъ, перемѣстилъ этотъ островъ изъ одного архипелага въ другой,—изъ группы Товарищества въ группу Дружбы. Что касается собственно мятежа на военномъ кораблѣ, то поэтъ, безъ всякихъ оговорокъ, признаетъ мятежниковъ безусловно виновными, а Блайя—совершенно правымъ. Это не вполнѣ отвѣчаетъ дѣйствительнымъ фактамъ и объясняется, повидимому, тѣмъ, что Байронъ зналъ только одну книгу Блайя и вовсе не былъ знакомъ съ довольно обширной оффиціальной и частной литературой, возникшей по поводу этого событія. Знакомство съ нею убѣдило бы поэта въ томъ, что симпатіи англійскаго общественнаго мнѣнія были въ свое время на сторонѣ Христіана, такъ какъ возмущеніе было почти исключительно вызвано грубымъ и деспотическимъ образомъ дѣйствій командира корабля по отношенію къ экипажу.

Исторія мятежа, въ короткихъ словахъ, слѣдующая.

Въ 1787 г. нѣсколько вестъ-индскихъ плантаторовъ и купцовъ, прибывшихъ въ Лондонъ, задумали перенести и акклиматизировать въ Вестъ-Индіи хлѣбное дерево, въ изобиліи ростущее на островѣ Таити и на другихъ островахъ Тихаго океана и обратились къ королю съ соотвѣтствующей петиціей. По королевскому приказу, въ декабрѣ того же года, снаряжено было для этой экспедиціи судно Bounty въ 215 тоннъ, подъ командою лейтенанта Блайя, плававшаго прежде съ Кукомъ. Экипажъ Bounty состоялъ изъ 44 человѣкъ. Въ концѣ октября 1788 г. экспедиція прибыла на Таити, и всѣ, въ теченіе полугода, проводили время „очень весело". Затѣмъ, окончивъ свою задачу и нагрузивъ судно нѣсколькими сотнями хлѣбныхъ деревьевъ,

пересаженныхъ въ горшки, бочки и ящики, Блэй, въ апрѣлѣ 1789 г., поднялъ паруса и двинулся на западъ. Сначала все шло благополучно; но затѣмъ, на четвертой недѣлѣ плаванія, одинъ изъ вахтенныхъ матросовъ, Флетчеръ Христіанъ, вмѣстѣ съ тремя другими, схватили капитана, связали его и принудили войти въ спущенную съ корабля шлюпку, куда перевели также и 18 человѣкъ изъ команды, оставшихся вѣрными своему командиру. Затѣмъ буксиръ былъ отданъ, и шлюпка оставлена на произволъ судьбы. Блэй съ 18-ю товарищами своими по несчастью поплыли къ западу и, пройдя съ различными приключеніями двѣсти лье, благополучно прибыли въ бухту Купангъ, на с.-з. берегу острова Тимора. Что же касается корабля „Bounty", то онъ, съ оставшеюся на немъ командою (25 человѣкъ), направился къ востоку и прибылъ сначала на Тубуай (Тубонай, островъ на югѣ группы Товарищества), оттуда — на Таити, (или Отаити) потомъ—опять на Тубуай и въ сентябрѣ—снова на Таити, гдѣ сошли на берегъ 16 человѣкъ, въ числѣ которыхъ находился мичманъ Джорджъ Стюартъ (у Байрона—„Торквиль"). Наконецъ, 21 сентября 1789 г., Христіанъ, вмѣстѣ съ остальными восемью человѣками изъ команды корабля, шестью туземцами и 12-ю женщинами, отплылъ далѣе на востокъ, къ неизвѣстнымъ берегамъ, и, какъ полагали, исчезъ навсегда. Лишь долгое время спустя стало извѣстно, что они бросили якорь у острова Питкэрна, сломали свой корабль и основали постоянную колонію.

Вернувшись въ Англію, въ мартѣ 1790 г., Блэй донесъ правительству о „жестокомъ разбойничьемъ и возмутительномъ поступкѣ" его команды, и фрегатъ „Пандора", подъ начальствомъ капитана Эдвардса, былъ отправленъ въ южныя широты для захвата мятежниковъ. Въ концѣ марта 1791 г. „Пандора" прибыла на Таити, а въ началѣ мая, захвативъ 14 человѣкъ изъ бывшаго экипажа „Bounty", отправилась въ обратный путь. Но 29 августа фрегатъ потерпѣлъ крушеніе близъ Квинсленда, причемъ четверо изъ арестантовъ, въ томъ числѣ и Джорджъ Стюартъ, находившіеся въ трюмѣ скованными, погибли, а остальные десять были доставлены въ Англію и преданы военному суду.

То, что разсказываетъ Байронъ во 2-й, 3-й и 4-й пѣсняхъ своей поэмы, можетъ быть, отчасти основано на смутныхъ преданіяхъ о происходившемъ на Таити до прибытія туда „Пандоры"; но въ общемъ все содержаніе этихъ пѣсенъ должно быть признано совершенно вымышленнымъ.

За исключеніемъ 15-й и 16-й пѣсенъ „*Донъ Жуана*", „Островъ" былъ послѣднимъ крупнымъ произведеніемъ Байрона, а потому самъ собою напрашивается вопросъ о сравнительныхъ достоинствахъ этой поэмы. На этотъ вопросъ отвѣчалъ самъ Байронъ. Въ письмѣ къ Ли Гонту, 25 янв. 1823 г., онъ выражаетъ надежду, что эта поэма „будетъ немножко повыше обычныхъ произведеній журнальной поэзіи", и что въ ней найдутся „мѣста, не совсѣмъ обыкновенныя". Современная поэту критика только отчасти согласилась съ этимъ мнѣніемъ, находя, что Байронъ, соединивъ въ этой поэмѣ два различные сюжета, ни одного изъ нихъ не развилъ вполнѣ, и что допущенное имъ смѣшеніе дѣйствительности съ вымысломъ оказалось на этотъ разъ менѣе удачнымъ, чѣмъ въ прежнихъ его поэмахъ; притомъ, по мнѣнію критиковъ, „Острову" недостаетъ и драматическаго эффекта.

П. М.





Настроенія поэмы „Островъ".

I.

Замыселъ произведенія.

Свободолюбіе Байрона своеобразно утверждается въ его послѣднемъ эпическомъ произведеніи, въ эпилліи „Островъ",—этой полу-были, полу-сказкѣ о „добытомъ преступленіемъ раѣ" („guilt-won paradise") на „миломъ", „зеленомъ", „благодатномъ" островѣ („gentle island", „green island", „genial soil") „младенческаго міра" („infant-word"), гдѣ „закона нѣтъ" („the happy shores without a law") и „никто не предъявляетъ владѣльческихъ правъ на поля, лѣса и рѣки",—гдѣ „царствуетъ золотой вѣкъ, не знающій золота";—о постигшей вину мести гражданственнаго міра и его законовъ, обезпечивающихъ имя и отрицающихъ душу свободы,—о пощадѣ, исторгнутой у судьбы подвигомъ вѣрнаго сердца, и о любви, все искупившей и завоевавшей любящимъ право гражданства на „островахъ любви" („loving isles").

Задумываясь надъ причинами, остановившими вниманіе поэта на этой темѣ въ пору его короткаго роздыха въ Генуѣ, въ эту пору относительнаго покоя и ясности душевной, послѣ разочарованій и горечи недавняго карбонарства и на рубежѣ послѣдняго, рокового поворота жизни, какимъ было принятое вскорѣ затѣмъ рѣшеніе плыть въ Грецію,—мы прежде всего различаемъ по внутреннимъ признакамъ, что поэма задумана была не въ творческой бурѣ, какъ большая часть Байроновыхъ твореній, а въ творческомъ затишьѣ. Она возникла какъ „parergon", какъ привычное наполненіе поэтическаго досуга, какъ пріятное занятіе неутомимой фантазіи, не могущей не видѣть со всею отчетливостью галлюцинаціи,—безъ особенно настойчиваго призыва Музы, безъ того накопленія геніальной энергіи, изъ котораго родятся внутренне необходимыя для ихъ творцовъ и какъ-бы неизбѣжныя созданія. Знакомство съ книгами, приводимыми въ качествѣ источниковъ самимъ поэтомъ въ краткомъ предисловіи къ „Острову", естественно должно было населить эти досуги образами глубоко сродной его таланту и отвѣтствующей настроенію фабулы. Пѣвецъ дерзновенія и мятежа поразился картиною корабельнаго бунта, значительнаго по своимъ послѣдствіямъ, яркаго по обстановкѣ, романтическаго по приключеніямъ, его сопровождавшимъ, и по участію въ немъ молодого мятежника, униженнаго потомка Стюартовъ. А утомленный Европой и людьми пессимистъ, мечтавшій о переселеніи въ Южную Америку, былъ увлеченъ образами тропической природы и быта океанскихъ дикарей. Наконецъ, поэтъ, испытавшій въ своемъ духовномъ развитіи рѣшительное вліяніе Жанъ-Жака Руссо и, вѣроятно, сжившійся съ дѣтства съ идилліей Бернардэна де С. Пьерра, въ эти дни усталости и душевнаго успокоенія не могъ не вспомнить и не вмѣстить въ рамки плѣнившаго его разсказа издавна дорогой ему грезы о дѣвственномъ мірѣ, о не затемненныхъ общественными условіями, не отравленныхъ „ядомъ гражданственности" отношеніяхъ первобытной свободы и первобытнаго братства,—объ этихъ „естественныхъ" отношеніяхъ между людьми, естественно добрыми и еще не отлученными отъ сосцовъ общей матери и кормилицы—природы, а потому способными снова „очеловѣчить" ожесточенныхъ своихъ братьевъ, озвѣрѣлыхъ въ гражданственномъ строѣ („civilize Civilisation's son").

Если именно въ „Островѣ" Байронъ обнаруживаетъ склонность отдаваться раннимъ воспоминаніямъ и впечатлѣніямъ первоначальнымъ („а дѣтства сонъ чтобъ намъ ни затемняло, все ищетъ взоръ, что дѣтскій взоръ плѣняло",—II, 12),—склонность вообще, впрочемъ, присущую его характеру [1]),—то мы едва-ли ошибемся, предположивъ, что въ его послѣднемъ эпосѣ вос-

[1]) Magnus Blümel, die Unterhaltungen Lord Byron's mit der Gräfin Blessington. Breslauer phil. Diss. 1:0), S. 59. Th. Moore, Life of Lord Byron, pp. 24. 33b.

кресли первые его сны о всемірномъ счастіи, что магія давняго, юношескаго увлеченія придала такую силу и яркость поздней мечтѣ „разочарованнаго“ поэта о вожделѣнномъ „островѣ“ полуденныхъ морей, гдѣ нѣтъ ни власти надъ людьми, ни суда и законнаго принужденія, ни собственности и полевыхъ межей, гдѣ земля — мірской садъ („general garden“) и общественная пустыня, („social solitudes“) по которой природа разсыпала свой рогъ изобилія, сдѣлавъ ненужными споры о дѣлежѣ вселенскаго богатства.

Эта послѣдняя сторона многообъемлющей темы развита поэтомъ со всею энергіей. Какъ показываетъ самое заглавіе, здѣсь-то и должно искать „идеи“ произведенія. „Островъ“ Байрона — своего рода „Утопія.“ И подобно тому, какъ слово „Утопія“ означаетъ страну, не имѣющую мѣста на землѣ,—символъ „острова“ вызываетъ въ насъ представленіе уединенной, изолированной области, потерянной въ даляхъ океана, исключенной изъ міра и исключительной, изъятой изъ сферы дѣйствія общихъ законовъ, подчиненной своимъ уставамъ и своей необходимости, какъ тѣ миѳическіе „острова блаженныхъ“, гдѣ обитали избранныя души, исхищенные изъ мірового круговорота жизни и смерти святые герои. Быть можетъ, припомнились поэту въ этой связи идей и „Пловучіе острова“ („les Isles flottantes“) аббата Морелли, гдѣ осуществляется мечта XVIII вѣка о коммунистическомъ общественномъ строѣ.

Такъ новые сны поэтической фантазіи роднились съ юношескими воспоминаніями, тоска по идеалу мужественной поры съ великодушными и трогательными порывами отрочества. И идиллическая греза, въ самыхъ корняхъ своихъ связанная съ глубоко серьезными исканіями блага вселенскаго, естественно должна была сочетаться съ вольнолюбивымъ паѳосомъ тогдашняго Байрона-Тиртея, Байрона—пѣвца и борца всемірной демократіи. Именно потому что Байронъ, создающій почти одновременно съ „Островомъ“ „Бронзовый Вѣкъ“ и пламенѣющій идеей греческаго освобожденія, не могъ не пѣть вольности прежде всего,—изъ утопической идилліи возникаетъ—быть можетъ, неожиданно для него самого—новое исповѣданіе правъ, и въ „Островѣ“ мы встрѣчаемъ одну изъ любопытнѣйшихъ формъ Байронова утвержденія свободы.

II.

Анархическая идея.

Въ другихъ своихъ произведеніяхъ Байронъ—то поборникъ народныхъ правъ и Гармодій гражданской вольности, то глашатай крайнихъ притязаній своеначальной личности, Геростратъ уединеннаго самоутвержденія. Дерзновенная независимость и самодовлѣніе полновластнаго *я* въ типахъ Корсара и Лары, Гарольда или Манфреда, Каина или Донъ Жуана, являетъ героя то какъ-бы мимовольно отчужденнымъ отъ міра общественнаго, то прямо враждебнымъ началу соборности, т. е. принципу внутренняго подчиненія личной воли чувствованію и попеченію вселенскому. Между народолюбцемъ-трибуномъ и индивидуалистомъ сверхчеловѣкомъ крылось въ Байронѣ глубокое противорѣчіе и противоборство. Другъ демоса и врагъ тирановъ, онъ самъ, подъ масками своего творчества, нерѣдко кажется тираномъ безъ демоса. Сомнительнымъ представляется, какъ разрѣшилъ бы онъ конфликтъ между героемъ и свободой: онъ, требовавшій отъ героя служенія свободѣ въ смыслѣ, если можно такъ выразиться, ея высвобожденія,—не сдѣлалъ ли бы свободу завоеванную—добычею „достойнѣйшаго“? Судьба не подвергла поэта свободы этому искусу Довольно того, что онъ провозгласилъ съ неслыханною силою лозунгъ: „да будетъ гордъ и воленъ человѣкъ!“—равно возлюбивъ гордость и вольность человѣка, не изслѣдуя рокового противорѣчія между обѣими, коренящагося въ еще глубже лежащей антиноміи человѣкобожества и богочеловѣчества...

Въ ту эпоху, когда Байронъ писалъ свою повѣсть о мятежѣ матросовъ Блэя, пожелавшихъ иной воли, чѣмъ та, какую знаетъ гражданственность,—онъ уже исчерпалъ поэтически свой паѳосъ индивидуализма, давъ ему окончательное выраженіе въ твореніяхъ безсмертной красоты, и съ такою же полнотой сказалъ все, что имѣлъ, въ защиту свободы, понимаемой какъ торжество демократической законности, какъ формальное осуществленіе политическаго народоправства. Оставалось развѣ только запечатлѣть это народолюбіе завершительнымъ подвигомъ борца — и, быть можетъ, мечтать о такомъ же воплощеніи притязаній царственнаго индивидуализма въ своихъ личныхъ судьбахъ. Тому и другому стремленію вскорѣ долженъ былъ представиться исходъ въ борьбѣ за незави-

симость Греціи, о которой пѣвецъ „Острова" не забываетъ и въ своихъ мысленныхъ скитаніяхъ по тихоокеанскому архипелагу. Но внутренній споръ двухъ противоположныхъ тяготѣній духа долженъ былъ смутно чувствоваться поэтомъ въ тѣ дни затишья, когда въ душѣ равно умолкла музыка личной гордости и музыка гражданскихъ гимновъ, когда въ ней воскресли плѣнительные напѣвы первоначальныхъ грезъ о дѣйствительномъ, не формальномъ только счастіи освобожденнаго человѣчества, когда въ глубоко неудовлетворенной душѣ все соблазнительнѣе сталъ звучать новый призывъ—оставить все и уйти самому въ дѣвственныя земли.

Эти вожделѣнія мира и блага истиннаго, эти настроенія временной отрѣшенности какъ-бы неяснымъ шепотомъ подсказали поэту едва нарождавшуюся въ мірѣ мысль о возможности примиренія личной воли и воли соборной въ торжествѣ безвластія или безначалія, идею синтеза обоихъ началъ — личнаго и соборнаго—въ общинѣ анархической.

Звучитъ—«на Отаити!»—общій крикъ.
Какъ странно сладокъ буйственный языкъ!..
Такъ вотъ что снилось морякамъ суровымъ...

Вотъ что снилось тогда поэту гордости и вольности!.. Къ этому анархическому синтезу дерзкій Байронъ приближается робко, неувѣренно и нецѣльно утверждаетъ новое начало. Въ письмѣ къ Ли Генту отъ 25-го января 1823 г. онъ говоритъ, что не хочетъ „выступать противъ царящей глупости" и опасается, какъ бы не сказали, будто онъ восхваляетъ мятежъ,- почему и старается „укрощать" себя.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ симпатіи поэта на сторонѣ дерзновенныхъ. Еще разрѣшительное слово не произнесено: роковое противорѣчіе между постулатомъ безвластія и правовымъ порядкомъ, какъ палладіумомъ свободы гражданственной, слишкомъ очевидно. Байронъ—слишкомъ націоналистъ, государственникъ, либералъ,—и отщепенцы должны быть наказаны, не потому только, что преступленіемъ завоевали себѣ иную, неслыханную свободу, но и за самое своеволіе своихъ темныхъ поисковъ, за самое отступничество отъ гражданственнаго, хотя и дурного, міра. Но все-же это были ихъ „лучшія чувства" („better feelings",—III, 2), все-же сладко звучало имя „Отаити" въ ихъ святотатственномъ кличѣ, все-же герой повѣсти добываетъ себѣ желанный рай первобытной воли.

Поэтъ, представляя конфликтъ между гражданскимъ и естественно-человѣческимъ самоопредѣленіемъ, какъ-бы дѣлаетъ насъ свидѣтелями судебнаго процесса, гдѣ выведенныя имъ лица являются подсудимыми, самъ онъ—вмѣстѣ обвинителемъ ихъ и защитникомъ, судьба — судьею и исполнителемъ приговора. Но приговоръ этотъ—вымыселъ, а не историческая дѣйствительность, и, какъ таковой, позволяетъ судить, каковыми представлялись поэту требованія того морально-эстетическаго императива, что зовется „поэтическою справедливостью". Мятежники, „грѣхомъ стяжавшіе то, въ чемъ отказано праведнымъ",— всѣ, кромѣ одного,—осуждены и сокрушены. Часть ихъ—герои—геройски гибнутъ. Смерть Христіана, отвѣтственнаго за все и за всѣхъ, „рожденнаго, быть можетъ, для лучшихъ дѣлъ", вмѣстѣ ожесточеннаго и сострадательнаго, благороднаго и злобноковарнаго, была бы героическою апоѳеозой, если бы не омрачена была осужденіемъ отечества и угрызеніями отягченной совѣсти. Но Торквиль—спасенъ (вопреки исторіи). И если на вѣсахъ поэтическаго правосудія естественная правота его стремленій перевѣсила условно-человѣческую неправоту дѣяній, это значитъ, что послѣднее слово поэта—оправданіе свободолюбиваго дерзновенія, что онъ не хочетъ оставить своихъ слушателей, плѣненныхъ грезою счастливаго „острова", не давъ имъ намека на возможность отраднаго чуда, не утѣшивъ ихъ надеждою на исполнимость невозможнаго. Гимнъ надеждѣ открываетъ послѣднюю часть поэмы, какъ уже въ первой части надежду возвѣщаетъ поразительный образъ радуги, какъ и въ концѣ третьей пѣсни поэтъ властительно пробуждаетъ въ насъ настроеніе упованія; и заключительныя строки, прославляющія спасеніе влюбленной четы и ликованіе ее пріемлющаго въ свою счастливую семью народа, содержатъ знаменательныя слова: „все было надежда".

„Надежда" — вотъ окончательный завѣтъ поэта, противопоставившаго неволѣ нашей дурной дѣйствительности мирный идеалъ тѣхъ невинныхъ, не запятнанныхъ грѣхами нашей культуры, природныхъ формъ общежитія, при которыхъ нѣтъ размежевки и тяжбы, нѣтъ собственности, нѣтъ повиновенія и самая война носитъ характеръ вольнолюбивый и героическій. Человѣку естественно желать этого „золо-

того безъ золота вѣка" (the goldless Age, where Gold disturbs no dreams"), этого безгрѣшнаго, непосредственнаго единенія съ Природой, готовой питать его, радостнаго и безпечнаго, у своихъ всегда обильныхъ грудей. Байронъ говоритъ намъ, подобно Руссо, о возвращеніи къ природѣ, но говоритъ по иному: онъ останавливается на первичномъ моментѣ общественной эволюціи по Руссо, предшествующемъ „договору" (договоръ уже предполагаетъ обязательство)—и какъ-бы замѣняетъ правильно разбитый садъ романской доктрины, по существу враждебной началу индивидуальной свободы, дикимъ англійскимъ паркомъ сѣвернаго варвара.

Анархическая идея—идея именно варварская, т. е. не эллинская и, слѣдовательно, внѣ-культурная по духу, какъ варварскій и геніальный индивидуализмъ новой Европы, не до конца понятный тѣмъ народностямъ, въ лонѣ которыхъ родилась идея гражданственности и гражданской общины (polis) и человѣкъ опредѣлилъ себя какъ „животное гражданственное" (politikon zoon). Правда, и эллины помнили доэллинскій миѳъ о золотомъ вѣкѣ анархическаго мира и всеобщаго счастія безъ законовъ. Но не отъ нихъ, отвергшихъ „анархію" во имя „эвноміи",—безначаліе во имя благоустройства и строя,—заразилась варварская Европа священнымъ безуміемъ грезы объ абсолютной волѣ.

Байрону, ближайшимъ и непосредственнымъ образомъ, могла она быть подсказана повѣствованіями путешественниковъ [1]), ихъ условными изображеніями анархіи счастливыхъ дикарей: варваръ могъ заразиться своимъ пророческимъ недугомъ отъ прикосновенія къ стихіи варварской. Такъ, идеи Рэйналя, автора „Философской Исторіи обѣихъ Индій" (1772), этого обвинительнаго акта противъ бѣлыхъ колонизаторовъ и диѳирамба первобытному состоянію человѣчества, во вкусѣ Тацитовой „Германіи", не могли остаться неизвѣстными пѣвцу „Острова". Но есть и другая возможность. На поэмѣ лежитъ отпечатокъ философскаго вліянія Шелли. Послѣдній, въ тѣхъ бесѣдахъ съ Байрономъ, въ которыхъ, по выраженію автора „Юліана и Маддало", наряду съ другими міровыми вопросами, обсуждалась поэтами и будущность человѣчества („all that earth has been or yet may be"),—могъ сообщить ему анархическія теоріи своего знаменитаго тестя, Вильяма Годвина [1]). Вѣроятность такого вліянія подкрѣпляется общностью основныхъ предпосылокъ у Годвина и Байрона: мысли о достаточности естественныхъ богатствъ для всеобщаго благополучія и вѣры въ естественную доброту человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, Байронъ, всегдашній пессимистъ,—онъ, и въ разговорахъ съ Шелли любившій выставлять на видъ тѣневую сторону („the darker side") созидаемыхъ воображеніемъ друга-идеалиста возможностей, — въ поэмѣ „Островъ" удивляетъ своимъ довѣріемъ къ природной святости и чистотѣ человѣческой души, не растлѣнной заразою цивилизаціи.

Конечно, этотъ антропологическій оптимизмъ въ значительной мѣрѣ обусловливалъ и соціальныя теоріи XVIII вѣка; и нельзя отрицать, что слѣдующія строки Руссо могли бы послужить эпиграфомъ къ „Острову": „Сколько преступленій, войнъ, бѣдствій и ужасовъ отвратилъ бы отъ человѣческаго рода тотъ, кто, вырвавъ шесты и засыпавъ канавы, закричалъ бы себѣ подобнымъ: берегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, разъ вы забудете, что плоды принадлежатъ всѣмъ, а земля никому... Пока люди довольствовались грубыми хижинами, пока они одѣвались въ звѣриныя шкуры, сшитыя рыбьими костями, украшались перьями и раковинами, расписывали тѣло красками,—они жили вольными, здоровыми, добрыми и счастливыми, поскольку къ тому способны отъ природы, и пользовались прелестью свободныхъ взаимныхъ отношеній".

Характеристично, во всякомъ случаѣ, что „Островъ" рисуетъ идеалъ не только политическаго безвластія, но и соціальнаго блага. Лежатъ ли въ основѣ этого интереса къ вопросу соціальному опять-таки старыя теоріи XVIII вѣка, коммунизмъ Мабли, мысль Руссо о нарушеніи естественнаго равновѣсія людскихъ отношеній первымъ возникновеніемъ собственности, — или же и новыя теченія мысли XIX вѣка, поставившія, напримѣръ, для старика Гете соціальный вопросъ въ центръ его обще-

[1]) Срв. Bligh, Narrative of the Mutiny, p. 10: «in the midst of plenty... where they need not labour».

[1]) Указаніемъ о возможности вліянія на Байрона идей В. Годвина чрезъ посредство Шелли пишущій эти строки обязанъ Н. А. Котляревскому, мнѣніемъ котораго онъ искалъ провѣрить свой взглядъ на анархическую тенденцію разбираемой поэмы.

философскихъ исканій, отразились (быть можетъ, именно чрезъ посредство Шелли) на общественныхъ воззрѣніяхъ Байрона?.. Замѣчательны въ этой связи строки одного его письма къ Томасу Муру: „Я очень упростилъ свою политику въ смыслѣ полной ненависти ко всѣмъ существующимъ правительствамъ. Первый моментъ общей республики обратилъ бы меня въ защитника деспотизма. Дѣло въ томъ, что *богатство—сила, а бѣдность—рабство.* По всей землѣ, тотъ или другой образъ правленія *для народа* не хуже, не лучше" [1]).

III.

Музыка и миѳъ „Острова".

Такое настроеніе, по справедливости могущее быть названо анархическимъ, сообщило поэмѣ „Островъ" ея этическій паѳосъ (ибо мораль „гражданина" и англичанина составляетъ не паѳосъ, а разсудочную сторону повѣствованія) и показало мечтателю природу въ ясномъ зеркалѣ довѣрчиво приникшаго къ ней человѣческаго духа, не знающаго посредниковъ между собой и душой міра. Отсюда — особенная нѣжность въ описаніяхъ природы и ея скрытой жизни въ „Островѣ" и, какъ музыкальное истолкованіе основной темы, глубокая пѣснь моря, звучащая изъ строфъ поэмы такъ, какъ—среди произведеній, вышедшихъ не изъ-подъ пера пѣвца Гарольда,—быть можетъ, въ одной „Одиссеѣ" немолчный шумъ свободной стихіи безсмѣнно слышится чрезъ гексаметры іонійскаго аэда.

Оттого эта поэма, одно изъ оригинальнѣйшихъ твореній Байрона, не оцѣненное по достоинству современной критикой и лишь отчасти оцѣненное критикою новѣйшей,— несмотря на нецѣльность замысла и двойственность полу-вдохновеннаго, полу-разсудочнаго отношенія поэта къ предмету его изображенія, несмотря на всѣ неровности и недостатки стороны чисто повѣствовательной, — кажется намъ свѣжею, какъ утро на морѣ, плѣнительною, какъ утро міра. Ея движеніе полно глубокой внутренней музыки; и эта широкая симфонія, сотканная изъ своенравной пѣсни волнъ, великолѣпныхъ гармоній природы и идиллическихъ мелодій естественнаго человѣческаго состоянія, съ мастерствомъ геніальнаго композитора разнообразится то воинственными brio мятежа и войны, то торжественными adagio мистическихъ созерцаній, то мгновенными молніями лирическаго гнѣва и смѣха, то болѣе длительными юморесками неожиданнаго бытового реализма, умѣстность которыхъ въ общей структурѣ музыкальнаго цѣлаго, вопреки сужденію многихъ, кажется намъ столь же очевидною, какъ и мастерство ихъ выполненія.

Если мы не ограничимся этою общею характеристикой лирическаго тона поэмы, то болѣе точное разсмотрѣніе музыкальныхъ идей ея обнаружитъ намъ наличность четырехъ основныхъ темъ. Идиллической темѣ приволья и счастія противопоставлена мрачная тема мятежа и мятежности (человѣческаго духа и океана), и въ соотвѣтствіи съ этими двумя темами намѣчены, также во взаимномъ противоположеніи, тема мести и тема надежды, — причемъ первая изъ четырехъ и послѣдняя преобладаютъ, сообщая цѣлому характеръ свѣтлый и радостный. Объ идеѣ надежды въ „Островѣ" сказано было выше; господствующій же элементъ лиризма—чувство приволья, отрадной довѣрчивости и удовлетворенности, счастливой полноты и мирной свободы — достигается постоянными сопоставленіями естественнаго благополучія человѣка на лонѣ любовной Природы и самодовлѣющей жизни другихъ, безгласныхъ чадъ ея—будь то дельфины или тюлень, молюскъ „ботикъ" или черепаха, летучія рыбы или вольныя охотницы пучины—морскія птицы. Этимъ божественнымъ привольемъ все упоено, все дышитъ; ибо живо все—Океанъ и Мракъ, „древній зодчій" подземныхъ гротовъ, прядающій къ морю ключъ и—дитя пучины—раковина, вынутая изъ влаги, и волна, плеснувшая въ глубину жадной пещеры, и вѣтеръ, играющій на вечеровой арфѣ, и закатное тропическое солнце, что́ „въ ярости, какъ бы на вѣкъ оно съ сіяющей землей разлучено, багряной внизъ кидается главой, какъ въ бездну прядаетъ стремглавъ герой". И когда гибнетъ человѣкъ, отступникъ природы, самъ онъ выходитъ изъ вѣчно свѣтлаго круга вселенскихъ радостей, и кругъ замыкается за нимъ, а „равнодушная" природа продолжаетъ сіять своею вѣчною красотой. Когда же онъ въ мирѣ съ цѣлымъ мірозданія, онъ или не менѣе счастливъ въ природѣ, чѣмъ любое изъ ея твореній, или же безконечно, неизреченно блаженъ, вы-

[1]) Н. Котляревскій, «Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и въ началѣ нашего вѣка». СПБ. 1898, стр. 186.

ростая въ духѣ до міробъятнаго экстаза божественныхъ созерцаній и таинственныхъ пріобщеній къ Единому и Вселикому [1])...

Такова лирическая гармонія „Острова", по раскрытіи которой намъ уже не представляются существенными для общей оцѣнки произведенія тѣ явныя несовершенства, отсутствіе которыхъ въ поэмѣ такого „несовершеннаго" при всей его геніальности художника, какимъ былъ Байронъ, явилось бы, несмотря на свою желательность, все-же аномаліей. Нельзя отрицать, что Христіанъ, напримѣръ, до извѣстной степени мелодраматиченъ; что изображеніе Блэя и условно, и далеко отъ исторической правды; что поэтъ, подробно излагающій „возможности", скрытыя въ характерѣ Торквиля (въ любопытной характеристикѣ „байроновскаго" героическаго типа, данной самимъ поэтомъ,—II, 8), не только не представляетъ ихъ въ осуществленіи, но и вообще обрекаетъ своего юнаго героя на роль исключительно пассивную, обидно зависимую. Наконецъ, наслажденіе плѣнительнымъ образомъ Ньюги отчасти испорчено для насъ узостью ея личнаго пристрастія къ возлюбленному и не достаточно оправданною беззаботностью объ участи другихъ товарищей.

Принимая эти недочеты, мы вознаграждены какъ красотой цѣлаго, какъ бы поглощающаго въ своемъ универсальномъ лиризмѣ отдѣльныя и личныя черты, такъ и блескомъ словесной и стихотворной формы, соединяющей крайнюю поэтическую сжатость съ яркостью, силой и чисто звуковою музыкальностью стиха, вылившагося изъ-подъ пера мастера, достигшаго полнаго обладанія своими техническими средствами,—стиха, обильнаго внутренними аккордами, и эффектами звуковой красочности, энергичнаго и неожиданнаго, звучнаго, какъ металлъ. Это — „героическій стихъ" (heroic verse) старинныхъ, отчасти архаическихъ образцовъ англійской поэзіи (Спенсеръ), только что использованный Байрономъ въ „Бронзовомъ Вѣкѣ",—стихъ вмѣстительный, отнюдь не исключающій тона шутки и въ особенности сатиры, но вообще приподнятый, удобный для лирическихъ подъемовъ и риторической пышности, могущій быть то гіератическимъ, то—качество важное для защиты точки зрѣнія государственной — въ мѣру оффиціальнымъ. Въ своей совокупности все вышеприведенное служитъ достаточнымъ оправданіемъ той самооцѣнки, какую мы находимъ въ упомянутомъ письмѣ Байрона къ Генту, гдѣ онъ говоритъ, что пишетъ нѣчто высшее обычнаго уровня журнальной поэзіи и что въ „Островѣ" будутъ мѣста отнюдь не банальныя („uncommon places").

Говоря объ отдѣльныхъ „мѣстахъ" поэмы, привлекающихъ вниманіе своею необычною красотой, нельзя не отмѣтить значенія „Острова", какъ одной изъ главныхъ сокровищницъ мистико-философскихъ прозрѣній, характерныхъ для поздней поры Байронова творчества. Источникомъ этой

---

[1]) Въ нижеслѣдующемъ представляемъ опытъ анализа музыкальнаго движенія поэмы:

Пѣснь первая. Мятежъ. I. Утро на морѣ; бѣгъ корабля (largo). II. Шумъ мятежа. Мелодія вожделѣннаго идилическаго міра. III—V. Полный взрывъ бунта. VI. Мотивы буйной вакханаліи; опять тема идилліи, прерываемая далекой угрозой мести. VII. Грусть отплытія товарищей Блэя. Идиллическое intermezzo о молюскѣ «ботикѣ». VIII. Драма предъ отплытіемъ. IX. Трагическія странствія Блэя. X. Звуки далекой мести смѣняются мелодіей идилліи. Финалъ: вольный бѣгъ корабля.

Пѣснь вторая. Идиллія. A.—Дѣтство міра:—I—III. Пѣсни островитянъ. IV. Контрастъ диссонансовъ гражданскато міра. V. Гармонія старины.—*B.* Любовь: VI. Идиллія любви, тропическаго дня, пещеры. Мистика любви. VII. Идиллическій образъ Ньюги; мистическое раздумье о рокѣ. VIII—IX. Образъ Торквиля («бурѣ свой,—дитя качалъ ея напѣвный вой»); фатумъ. X. Возвратъ къ мелодіи островитянъ XI. Гармонія бѣлаго и чернаго міровъ. XII. Она воплощается въ четѣ влюбленныхъ. Мелодія младенчества и горныхъ далей. XIII. Самозабвеніе любви. Сатирическое intermezzo противъ тирановъ. XIV. Ньюга—дитя пустыни; радуга. XV. Идиллическое забвеніе времени. XVI. Мистика самозабвенія въ міровомъ цѣломъ и единомъ. XVII Идиллія сумерекъ; напѣвъ раковины. XVIII. Музыку сумерекъ прерываютъ звуки дѣйствительности.—*C.*—Scherzo: XIX—XXI.—Финалъ: угроза отмщенія; героическая рѣшимость; заключительная шутка.

Пѣснь третья. Месть. I. Грозное затишье послѣ роковой бури. II. Трагическая жалоба; крикъ Тиртея. III. Бѣглецы у скалы. Музыка ручья. Трагическое молчаніе. IV—V. Героическіе аккорды переходятъ въ scherzo. VI. Драма Христіана. VII. Бурный прибой и освобожденіе. VIII IX. Восторги любящихъ на фонѣ отчаянія Христіана. X. Угроза и надежда. Бѣгство челновъ. «Ковчегъ любви, лети»...

Пѣснь четвертая. Пѣснь торжествующей любви. I. Пѣсня о надеждѣ. II. Идиллія природы. III. Преслѣдованіе. IV. Исчезновеніе преслѣдуемыхъ любовниковъ въ волнахъ. V—VI. Музыка морского дна. Гротъ. VII. Музыка грота. VIII—IX. Идиллія любви въ пещерномъ сумракѣ подъ гулы волнъ. X—XII. Тема угрозы. Eroica; битва по уступамъ скалъ; мятежникъ excelsior. Развязка. XIII Трагическое затишье. Гибель человѣка и идиллія равнодушной природы. XIV. Утро; надежда; счастье влюбленныхъ. XV. Финалъ: праздничное ликованіе, мелодія островитянъ.

метафизики должно признать преимущественно Шелли, какъ это съ убѣдительностью раскрыто въ диссертаціи Гилардона [1]). Послѣдній указываетъ на пантеистическую лирику 16-ой главы II-й пѣсни (сопоставляя это мѣсто съ 89 строфой III-ей пѣсни Гарольда и съ „Королевой Мабъ“ Шелли I, 264 сл.) и на мистику экстазовъ любви, дающей на землѣ предвкушеніе потусторонней жизни („и ихъ экстазы—смерть“...—II, 6), — чему прямо соотвѣтствуютъ въ сочиненіяхъ Шелли ст. 1123 и сл. „Розалинды и Елены“ и ст. 169 и сл. „Эпипсихидіона“. Міросозерцаніе Байрона, поскольку оно сказалось въ „Островѣ“, тѣмъ не менѣе вовсе не тожественно съ шелліанствомъ или спинозизмомъ. Религіозная настроенность, въ смыслѣ тяготѣнія къ христіанству, несомнѣнно чувствуется наряду со всегдашнимъ скептицизмомъ поэта. Такъ, онъ энергически подкрѣпляетъ свою мораль инстанціей верховнаго суда, но вмѣстѣ обнаруживаетъ какъ-бы неувѣренность въ вопросѣ о посмертныхъ судьбахъ человѣка, и болѣе чѣмъ загадочнымъ представляется ему общій смыслъ міровой смѣны возникновеній и уничтоженій („мы умираемъ, какъ умрутъ міры, чтобы на развалинахъ ихъ паденія поднялся и торжествовалъ нѣкій Духъ“). Преобладающимъ, однако, и наиболѣе роднымъ Байрону въ этотъ періодъ настроеніемъ является мистика самозабвенія въ мірообъемлющемъ восторгѣ (—сама любовь только путь къ этимъ верховнымъ переживаніямъ, наряду съ аскезой святого подвижника) — и блаженная утрата своего личнаго, тѣснаго *я* въ божественномъ единствѣ расширеннаго, вселенскаго *я*: тогда — „впервые въ насъ *я* лучшее свободно“; тогда природа становится царствомъ этого новаго *я* въ человѣкѣ, а любовь (Эросъ Платона)—его престоломъ („all Nature is his realm, and Love his throne“,—II, 16).

Къ выше раскрытымъ элементамъ эстетическаго дѣйствія присоединяются два другихъ, чтобы сдѣлать музыку и грезу „Острова“ равно проникновенными и плѣнительными: подлинные отголоски туземныхъ напѣвовъ, непосредственно сближающіе насъ съ оргійными восторгами дѣтей дубравы и моря, съ ихъ культомъ отшедшихъ героевъ и воинствующаго героизма,— и отголоски мірового миѳа объ исчезновеніи героя въ волнахъ морскихъ, его чудесномъ пребываніи въ подводныхъ обителяхъ и побѣдномъ возвратѣ изъ пучины, благодаря покровительству нѣжной богини моря.

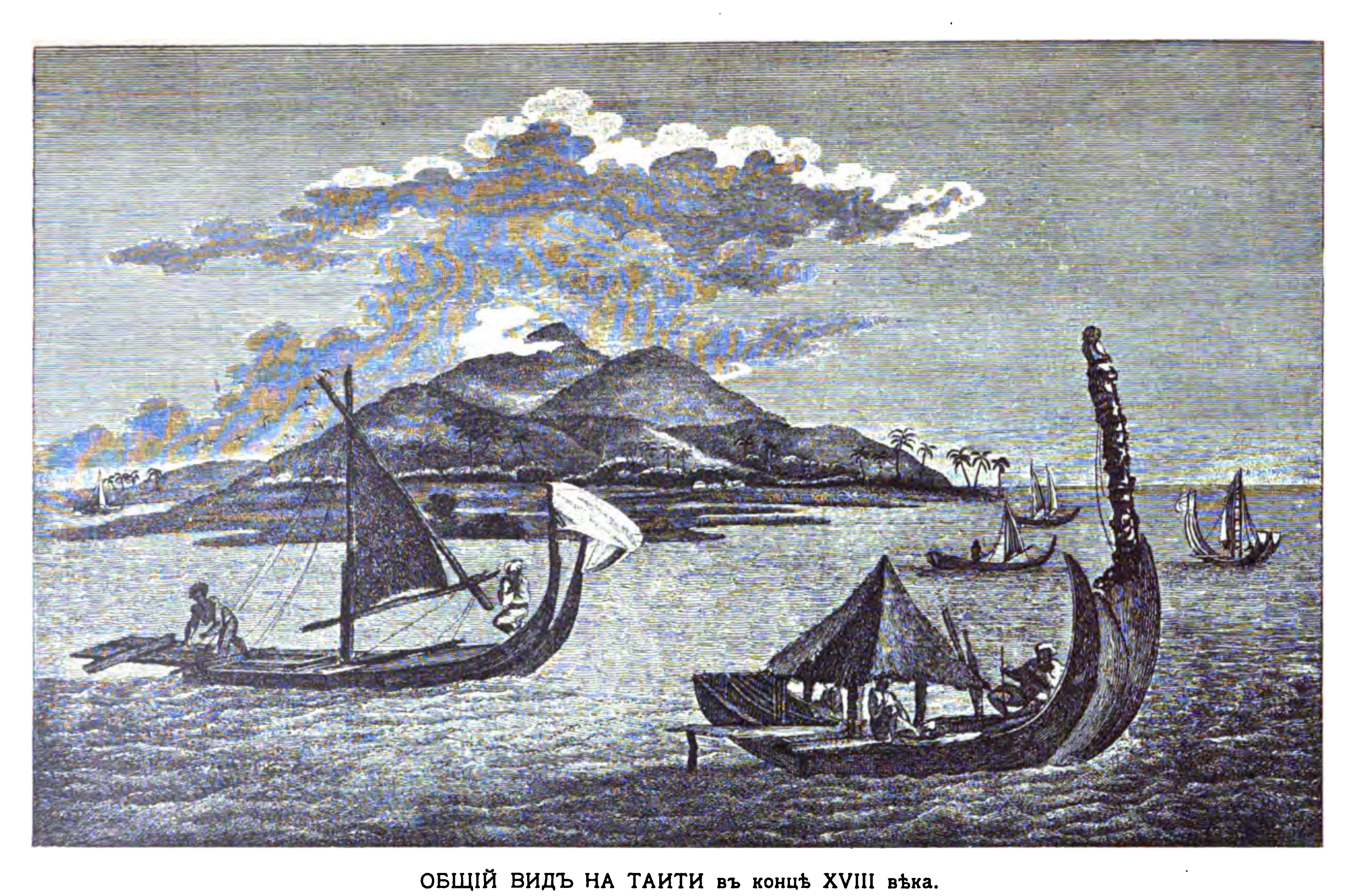
Пѣсни островитянъ, не безынтересныя для изслѣдователя религіи, обряда и обычая [1]), не придуманы Байрономъ,—онѣ заимствованы изъ достовѣрныхъ записей; Эпизодъ пребыванія влюбленныхъ въ пещерѣ, недоступной иначе какъ чрезъ потайной, подъ поверхностью моря скрытый ходъ, — построенъ на данныхъ мѣстнаго островного преданія, являющихъ несомнѣнныя черты переродившагося въ легенду миѳа. Знакомый съ исторіей миѳовъ не усомнится въ томъ, что князь, принятый дружинниками за призракъ при неожиданномъ появленіи своемъ изъ волнъ, долго таившихъ его отъ міра, и его спутница, сочтенная ими за одну изъ богинь океана, суть только личины первоначальныхъ реальностей народнаго вѣрованія — истиннаго героя или бога и истинной морской богини. Передъ нами, въ затемненномъ варіантѣ сказанія—вездѣсущій „Taucher“ всемірнаго миѳотворчества, знакомый грекамъ какъ Діонисъ, спасающійся отъ преслѣдованія на лоно Ѳетиды, или какъ Тезей, ныряющій въ море за вѣнцомъ Амфитриты,—новгородцамъ, какъ Садко-богатый гость.

Вячеславъ Ивановъ.

---

[1]) Heinrich Gillardon, Shelley's Einwirkung auf Byron. Karlsruhe 1898. S. 16; 50 ff.

[1]) Такъ, эти пѣсни живо рисуютъ, прежде всего культъ умершихъ, культъ героевъ. На ихъ могилахъ пышнѣе растительность: онѣ плодоносныя, подающія изобиліе злаковъ, благотворящія живымъ хтоническія силы. «Болотру» соотвѣтствуетъ, повидимому, Элизію грековъ. Пиршественная вечеря сопровождаетъ молитву героямъ; участники воспроизводятъ обрядовымъ пиромъ блаженную трапезу предковъ-духовъ въ мірѣ загробномъ. Кажется, что веселое купаніе въ морѣ имѣетъ цѣлью очищеніе вступившихъ въ общеніе съ мертвыми: такъ мисты въ Элевсинѣ выходили «къ морю». Увѣнчаніе цвѣтами, собранными на могилахъ, имѣетъ магическое значеніе, ясно выраженное: цвѣты являются проводниками героической силы, сообщаемой живымъ отшедшими и благорасположенными къ нимъ сильными. Пляска при факелахъ носитъ воинственно-экстатическій характеръ и служитъ продолженіемъ обряда.. Женщины участвующія въ празднествѣ, повидимому, также исполняютъ функціи религіозныя. Любопытно смутное упоминаніе о веселомъ Ливу·, населенномъ какъ-бы обособленными станами женщинъ—жрицъ любви, вакханокъ или нимфъ.



ОБЩІЙ ВИДЪ НА ТАИТИ въ концѣ XVIII вѣка.

Гравюра, заимствованная изъ описанія путешествій Кука, вышедшаго (in folio) въ Лондонѣ въ концѣ XVIII вѣка (безъ обозначенія года) подъ ред. Джорджа Андерсона.

ОСТРОВЪ

или

Христіанъ и его товарищи.

Нижеслѣдующій разсказъ основанъ отчасти на „Повѣствованіи о мятежѣ и захватѣ островов Товарищества въ Тихомъ Океанѣ, въ 1789 году", лейтенанта Блэя, отчасти на „Сообщеніяхъ Маринера объ островахъ Тонга".—Генуя, 1823.

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.

I.

Смѣнилась стража. Рѣя нивой влажной,
Корабль взрѣзалъ свой путь браздой протяжной
И разсыпалъ, какъ величавый плугъ,
Дробимыхъ волнъ предутренній жемчугъ.
Предъ нимъ—весь міръ безбрежья и свободы;
Тамъ, позади,—полуденныя воды
Съ ихъ плѣномъ островнымъ... И сумракъ, тая,
Рѣдѣлъ. Надъ зыбью смутной, разсвѣтая,
Являлась даль. Дельфиновъ прядалъ рой,
Зарю встрѣчая рѣзвою игрой.
А звѣзды робкія лучей бѣжали;
Въ лазурной мглѣ рѣсницы ихъ дрожали.
И груди бѣлыя день обличалъ
Раздутыхъ парусовъ. И вѣтръ крѣпчалъ.
И море багрецомъ отсвѣтнымъ рдѣло...
Не встанетъ солнце—какъ свершится дѣло!

II.

Довѣрясь стражѣ зоркой, капитанъ
Въ каютѣ спалъ, видѣньемъ обаянъ
Земли родимой, гдѣ вѣнецъ найдутъ
Отважный подвигъ и суровый трудъ.
Онъ память славную вписалъ въ скрижали
Тѣхъ, что на полюсъ бурный путь держали.
Утихли бури; день грядущій ясенъ;
Покой искупленъ; отдыхъ безопасенъ...
А палуба подъ яростной стопой
Надъ нимъ трещитъ. Руль буйною толпой
Захваченъ. Юныя горятъ сердца—
И лѣта алчутъ, лѣта безъ конца,
Съ улыбкой женщинъ солнечныхъ!.. Бродягъ
Бездомныхъ не манитъ родной очагъ.
Въ скитаньяхъ одичалымъ, имъ милѣй
Вертепы дикарей, чѣмъ стонъ морей.
Зоветъ ихъ рай избыточный плодовъ,
Лѣса, гдѣ не найдетъ чужихъ слѣдовъ
Охотникъ вольный,—тучныя поля,
И злакъ густой, и безъ межей земля.
Въ насъ голодъ древній все не укрощенъ—
Свой произволъ одинъ вмѣнять въ законъ!
Имъ снятся залежи, чей блещетъ кладъ
Не въ нѣдрахъ,—въявь очамъ: въ садахъ усладъ.
Тамъ—Воля: ей въ пещерѣ каждой—храмъ.
Тамъ—садъ мірской, доступный всѣмъ стопамъ!
Природа тамъ лелѣетъ у грудей
Родъ дико-рѣзвый радостныхъ дѣтей.
Плодъ, раковина—все богатство тамъ.
Ихъ утлый челнъ довлѣетъ ихъ путямъ.
Ихъ игры—травля да прибой зыбей;
Ихъ зрѣлище—ликъ бѣлый ихъ гостей...
Вотъ марево, что дерзкихъ обольстило!
За грезу явь жестокая отмстила.

III.

Встань, храбрый Блэй! Врагъ у дверей! Воспрянь!..
Но—поздно! Смута преступила грань!
Стоитъ у ложа наглый бунтовщикъ;
Къ твоей груди приставленъ острый штыкъ,—



ТИПЫ ОКЕАНІЙЦЕВЪ конца XVIII вѣка.

Слѣва—Пулао, король островов Товарищества; справа—женщина съ островов Тонгатабу.

Гравюра, заимствованная изъ описанія путешествій Кука, вышедшаго (in folio) въ Лондонѣ въ концѣ XVIII вѣка (безъ обозначенія года) подъ ред. Джорджа Андерсона.

И связанъ ты! Мятежъ провозглашенъ.
Кто устъ твоихъ дрожалъ, тѣмъ ты лишенъ
Свободы рукъ... Наверхъ влекутъ! И власть
Твоя безсильна! Имъ послушна снасть,
Имъ руль покоренъ... Злоба, что бодритъ
Отчаянье преступника, горитъ
Въ смущенныхъ взорахъ, что, въ тебя вперясь,—
Упорствуя, трепещутъ,—и ярясь...
Мы совѣсть подчинимъ ей чуждой власти,
Лишь яростью упившись—хмелемъ страсти.

IV.

Вотще предъ ликомъ смерти ты не смолкъ!
Ты вѣрныхъ звалъ: смѣялся буйный полкъ...
И выступить не смѣлъ, кто помнилъ долгъ...
„Изъ-за чего крамола?"... Твой вопросъ
Ревъ заглушилъ проклятій и угрозъ.
Передъ тобой сверкаетъ сталь клинка;
Примкнуто къ горлу остріе штыка;
И грудь твоя — мишень мушкетныхъ дулъ.
Ни разу видъ убійства не вдохнулъ
Въ жестокихъ трепета... Но ты дерзнулъ
На вызовъ, и вскричалъ: „Пали!.." Восторгъ—
Изъ душъ безжалостныхъ тотъ кликъ исторгъ.
Все своевольемъ втоптано во прахъ:
Но предъ вождемъ недавній ожилъ страхъ.
Тебя убить—нѣтъ гнѣва, ни отваги...
„Отдать его на прихоть шаткой влаги!.."

V.

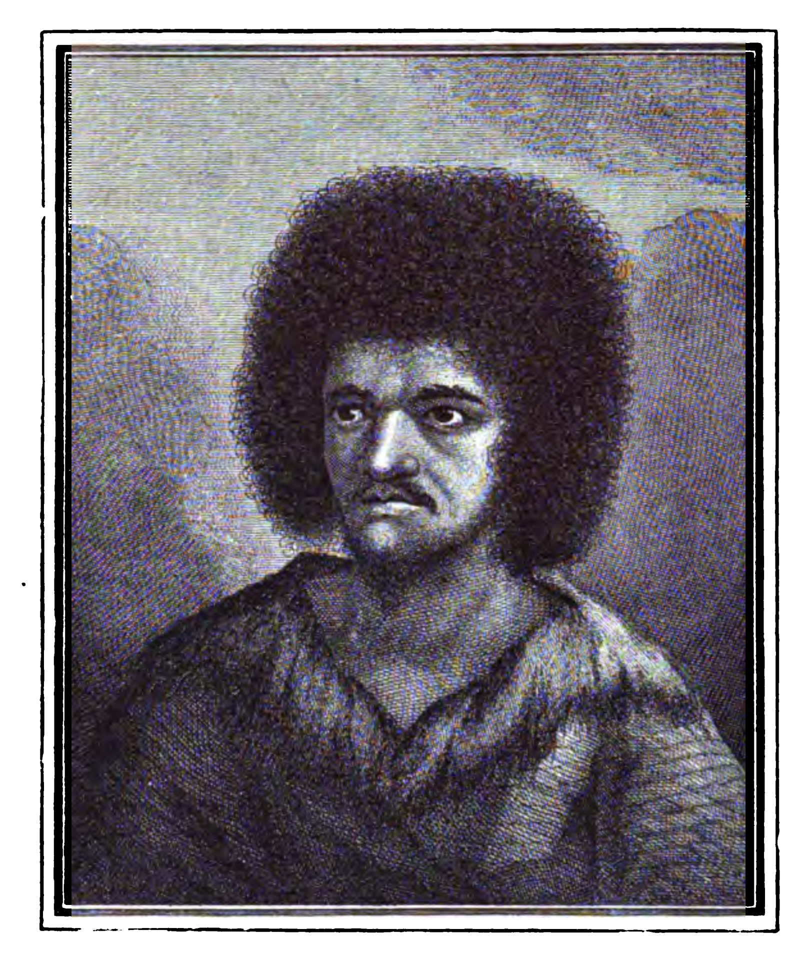
„Спустите шлюпку!" закричалъ глава.
Кто скажетъ Бунту „Нѣтъ!"—когда права
Смететъ самоуправство безначалій?
День пьяный брезжитъ вольныхъ Сатурналій!
Спускаетъ спѣшно злоба малый челнъ.
Его доска—твой щитъ отъ брани волнъ.
Скупы запасы: знать, на краткій срокъ
Продлить судилъ твою пощаду рокъ!
Воды и хлѣба вразъ—на мало дней
Въ бореньи жалкомъ умереть позднѣй.
Канатовъ и холстовъ снарядъ полезный,
Сокровище паломниковъ надъ бездной,
Уступленъ все-жъ пловцамъ, по ихъ мольбѣ,—
Оплотъ надеждъ въ неравной ихъ борьбѣ.
И, полюса рабъ чуткій, въ добрый часъ,
Духъ кормщика вожатый, данъ — компасъ.

VI.

Чтобъ ужасъ первый дѣла заглушить,
Вождь самозванный—кубокъ осушить
Товарищей зоветъ: и спѣхъ имъ—пить,
Спѣхъ—во хмелю сознанье утопить!
„Героямъ — водка!" — Бэркъ вскричалъ однажды;
Путь влажный къ славѣ вамъ, страдальцы жажды
Эпической!.. И такъ же общій толкъ
Рѣшилъ: въ гульбѣ разсудка споръ умолкъ.
Звучитъ „На Отаити!" дружный крикъ...
Какъ странно сладокъ буйственный языкъ!
Прекрасный островъ, изобильный міръ,
Пріязнь, вседневный праздникъ, вѣчный пиръ,
Дѣтей Природы кротость, нравъ пріятный,
Дары любви, избытокъ благодатный,—
Такъ вотъ что снится морякамъ суровымъ,
Всю жизнь гонимымъ каждымъ вѣтромъ новымъ,—
Присвоившимъ злодѣйскою рукой
То, въ чемъ благимъ отказано,—покой!
Такъ созданъ человѣкъ: дорогой разной
Мы къ цѣли всѣ спѣшимъ однообразной.
Богатства, рода, племени различье,
Удача, нравъ и бренное обличье—
Все глину мягкую въ насъ мнетъ властнѣй,
Чѣмъ страшный зовъ за гранью нашихъ дней.
Но шопотъ тайный будитъ все-жъ сердца
И въ кликахъ славъ, и въ кладовой скупца:
Жизнь—пеструю развертываетъ повѣсть,
А въ насъ не молкнетъ голосъ Бога—Совѣсть.

VII.

Челнъ хилый (скорбный видъ!) пловцами полнъ,
И не вмѣститъ всѣхъ вѣрныхъ грузный челнъ.
Невольникамъ не своего рѣшенья,
Имъ на доскахъ душевнаго крушенья—
На опостыломъ плавать кораблѣ!
Ладья родная сгинетъ въ бурной мглѣ!
Заранѣе злорадный мѣритъ взоръ
Пигмея-пàруса съ вѣтрами споръ.
И хрупкій Ботикъ, правящій средь волнъ—
Морякъ природный—раковинку-челнъ,—
Другъ мореходцевъ, океана фея,—
Плыветъ надежнѣй, и плыветъ вольнѣе.
Взметется ль шквалъ на молнійныхъ крылахъ,
Онъ въ глубь нырнетъ и спрячется въ валахъ.



ТИПЫ ОКЕАНІЙЦЕВЪ КОНЦА XVIII ВѢКА.

Отту, Король Отаити. (Ottoo, King of Otaheite).

Изъ 3-го изданія описанія путешествія Кука 1772—1775 гг., вышед. въ Лондонѣ въ 1779. - A Voyage towards the South Pole and round the world, performed in His Majesty's Ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774 and 1775. Written by *James Cook*. London MDCCLXXIX.

И что предъ нимъ побѣдныя армады,
Чьи вихрь, вскрутясь, размечетъ вдругъ громады?

VIII.

Все справлено; корабль на зовъ морей
Готовъ летѣть по знаку главарей.
Стражъ Блэя, рабъ ихъ воли безпощадной,
Являетъ трепетъ жалости досадной,
Умильнымъ взглядомъ взглядъ героя ловитъ,
Своимъ—нѣмой печалью прекословитъ,
Онъ сочный плодъ подноситъ робкимъ даромъ
Къ его губамъ, спаленнымъ жаднымъ жаромъ.
Едва замѣченъ—усланъ прочь матросъ...
Нѣтъ милости! Свирѣпый гнѣвъ возросъ!
Мятежникъ юный выступилъ (вождемъ
Обласканъ былъ онъ) и „Чего мы ждемъ?"—
Вскричалъ; чрезъ бортъ пловцамъ кричалъ, кичась:
„Вамъ промедленье — смерть! Отплыть сейчасъ!.."
И что жъ? Ставъ звѣремъ въ дикомъ произволѣ,
Вдругъ вспомнилъ онъ все, чѣмъ онъ жилъ дотолѣ,—

Чей онъ палачъ, предъ нимъ—чей благо-
дѣтель...
Единый былъ средь всѣхъ тому свидѣтель.
Съ укоромъ грознымъ молвилъ Блэй:
„Такъ вотъ
Вся мзда твоя любви моей, заботъ?
Надежда имя честное оставить
И вящей славой Англію прославить?..“
И дрогнулъ тотъ, и головой поникъ...
„Такъ! проклятъ я!“ шепталъ его языкъ.
Онъ Блэя къ борту, молча, увлекаетъ
И молча въ лодку тѣсную толкаетъ,—
Глядитъ, не въ силахъ словъ произнести...
Но многое сказалось въ томъ „Прости“!

IX.

Тропическое солнце надъ волнами;
Рѣзвится вѣтерокъ, повитый снами:
Онъ—что къ струнѣ Эоловой—къ волнѣ,
Струясь, прильнетъ—и никнетъ въ тиши-
нѣ.
Весломъ упорнымъ роетъ челнъ опальный
Къ утесамъ, еле виднымъ, путь печаль-
ный,
Что въ морѣ тучей стелютъ свой хре-
бетъ..
Судну съ ладьей отнынѣ встрѣчи нѣтъ!..
Не мнѣ повѣдать горестныя были
Тѣхъ, что страду путей едва избыли,
Въ опасности и страхѣ день и ночь,
Все духомъ утвердившись превозмочь,
Хоть плотью такъ изсохли, голодая,
Что сына бъ не узнала мать родная,—
Какъ выкралъ пропитанье рокъ у нихъ—
И лютый голодъ, истощась, сталъ тихъ;
Какъ поглотить пучина ихъ грозила,
То вдругъ спасала, и ладья скользила,
Полу-разбитая, стремленьемъ водъ,
Что, мощь круша, выносятъ къ брегу
плотъ;
Какъ ихъ гортань и внутренность горѣла,
И туча каждая, что въ небѣ зрѣла,
Надеждой зрѣла имъ,—и до костей
Мочилъ ихъ, благодарныхъ, штурмъ но-
чей,—
И капли, выжатыя изъ холста,
Какъ жизнь—впивали жаждущихъ уста;
Какъ бѣглецы отъ лютыхъ дикарей
Бросались вновь въ прибѣжище морей;
Какъ призраками встали изъ пучины—
Неслыханныя разсказать кручины,
Мрачнѣй всего, чѣмъ были о пловцахъ
Плачъ пробуждаютъ женъ, и дрожь въ
сердцахъ.

X.

Такъ участь *тѣхъ* свершалась. Міру вѣсть
Объ нихъ дошла, и за страдальцевъ месть
Возстала. Мщенья требуютъ уставы;
Поруганы преданій флотскихъ славы...
За буйнымъ мы послѣдуемъ полкомъ!
Еще имъ страхъ возмездья незнакомъ.
Они плывутъ надъ водною могилой,—
Чтобъ вновь хоть разъ увидѣть островъ
милый,
И въ жизни вольной воскресить хоть разъ
Недавней нѣги быстротечный часъ.
Тамъ беззапретная ихъ ждетъ свобода,
Земли богиня—женщина, природа!
Тамъ нивъ мірскихъ не откупать трудомъ,
Гдѣ зрѣетъ хлѣбъ на деревѣ—плодомъ.
Тамъ тяжбъ никто за поле не вчинаетъ.
Вѣкъ золотой,—что золота не знаетъ,—
Царитъ межъ дикарей—или царилъ,
Доколь Европы мечъ не умирилъ
Невинной вольности простыхъ уставовъ
И не привилъ заразы нашихъ нравовъ...
Прочь, эта мысль! Еще они вѣрны
Природѣ: съ ней чисты, и съ ней грѣшны...
„Ура! на Отаити!“—общій зовъ;
Ему послушенъ трепетъ парусовъ.
Вѣтръ потянулъ—живые встрепенулись,
Дыханьемъ бурнымъ выпукло надулись.
Корабль бѣжитъ, и мимо токъ течетъ,
И быстрый токъ крутая грудь сѣчетъ...
Такъ волнъ Эвксинскихъ дѣвственный
просторъ
Взрывалъ Арго́, — и все-же влекся взоръ
Пловцовъ въ ту даль, гдѣ скрылось ихъ
родное...
Ахъ, *эти*—прочь летятъ, какъ воронъ Ноя;
Но за любовью взмылъ и черный грай:
Гнѣздомъ голубки красенъ юный рай!



ТИПЫ ОКЕАНІЙЦЕВЪ конца XVIII вѣка.

Потато, вождь племени на Отаити. (Potatow, chief of Attahourou, in Otaheite)

Изъ 3-го изданія описанія путешествія Кука 1772—1775 гг., вышед. въ Лондонѣ въ 1779 —A Voyage towards the South Pole and round the world performed in His Majesty's Ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774 and 1775. Written by *James Cook*. London MDCCLXXIX.

ПѢСНЬ ВТОРАЯ.

I.

Пріятны Тубонайскіе напѣвы.
За рифъ коралла сходитъ солнце. Дѣвы
Заводятъ хоры легкихъ вечерницъ:
—„Уйдемъ подъ сѣнь, гдѣ сладкій щокотъ птицъ!
Чу, горлица воркуетъ изъ дубровы!
То не боговъ ли изъ Болотру зовы?..
Нарвемъ цвѣтовъ съ прославленныхъ могилъ:
Они пышнѣй, гдѣ воинъ опочилъ.
И сядемъ въ сумеркахъ: сквозь вѣтви туй
Ліются тихо чары лунныхъ струй...
Живыхъ вѣтвей таинственные шумы—
Печальныя взлелѣютъ нѣжно думы.
Потомъ на мысъ взбѣжимъ—слѣдить валы,
Дробимые о гордыя скалы!
Отпрянувши, столбами пѣны бѣлой
Они взлетаютъ въ воздухъ потемнѣлый.
Прекрасный бой! Счастливая судьба —
Глядѣть въ тиши, какъ ихъ стремитъ борьба!..
И море любитъ заводей разливы,
Гдѣ мѣсяцъ гладитъ космы влажной гривы“.

II.

„Цвѣтовъ нарвемъ на гробовыхъ порогахъ
И пиръ зачнемъ, какъ духи въ ихъ чертогахъ!
Потомъ—утонемъ въ рѣзвости прибоя!
Потомъ—отъ игръ стихійныхъ грудь покоя,
Возляжемъ, блеща влажными тѣлами,
На мягкій мохъ, умащены маслами,
Вѣнки свивая изъ цвѣтовъ могильныхъ,
Вѣнчаяся загробнымъ даромъ сильныхъ!...
Ночь пала... Вызываетъ Муа насъ!
Бой колотушекъ звученъ въ тихій часъ!
Ужъ факелы чертятъ багряный кругъ;
Ужъ ярость пляски топчетъ свѣтлый лугъ.
Туда, туда! Вспомянемъ времена,
Какъ пировала наша сторона,
Предъ тѣмъ что Фиджи въ раковину зовъ
Военный протрубилъ—и изъ челновъ
Всталъ врагъ!.. Съ тѣхъ поръ онъ цвѣтъ нашъ юный коситъ;
Глухая нива плевелы приноситъ;
Отвыкли мы знать въ жизни только радость
Любовныхъ ласкъ да лунной ласки сладость...
Пусть!.. Палицу насъ врагъ училъ взвивать
И въ чистомъ полѣ стрѣлы разсѣвать.
Своихъ посѣвовъ жатву онъ пожнетъ!
Намъ пиръ—всю ночь; война—чуть день блеснетъ!..
Кружися, пляска! Лейся въ кубки, кава!
Кому заутра смерть, заутра—слава!
Въ нарядѣ лѣтнемъ въ путь мы выйдемъ смѣло,
Одѣнемъ чресла тканью таппы бѣлой;
Увьемъ чела живой весной веселій,
А шеи—радугами ожерелій...
Какъ перси, посмуглѣвъ подъ ихъ пыланьемъ,
Вздымаются воинственнымъ желаньемъ!"

III.

„И пляска кончилась. Но не летите,
Подруги, прочь—и радости продлите!
На бой заутра Муа кличетъ насъ:
Вы намъ отдайте полный этотъ часъ!
Долинъ Лику младыя чаровницы,
Разсыпьте намъ цвѣтовъ своихъ кошницы!
Вашъ ликъ прекрасенъ! Вашихъ устъ дыханье
Насъ опьяняетъ, какъ благоуханье,
Что съ луговыхъ нагорій Маталоко
Надъ моремъ стелетъ теплый вѣтръ далеко!..
И насъ Лику чаруетъ и зоветъ...
Но тише, сердце! Намъ, съ зарей,—въ походъ!.."

IV.

Звучала такъ гармонія вѣковъ,
Пока злой вѣтеръ бѣлыхъ чужаковъ
Къ тѣмъ дикимъ не примчалъ. И одиноки—
Они творили зло: душѣ пороки
Прирождены. Вдвойнѣ порочны *мы*
Грѣхами просвѣщенія и тьмы;
И сочетаетъ *наше* лицедѣйство—
Ликъ Авеля и Каина злодѣйство...
И Старый ниже палъ, чѣмъ Новый Свѣтъ;
И Новый—старъ... Но все-жъ на свѣтѣ нѣтъ
Двоихъ такихъ, какъ два Свободы сына,
Колумбіей взрощенныхъ исполина.
Тамъ Чимборасо водитъ окрестъ взоръ:
Рабовладѣнья всюду смытъ позоръ.

V.

Такъ пѣлись славы стародавнихъ дней
И длили память доблестныхъ тѣней,
И подвиговъ завѣтныя преданья.
Въ ихъ вѣщія слагались очарованья.
Невѣрью вымыслъ—пѣсенная быль;
Но оживаетъ урнъ могильныхъ пыль
Тобой, Гармонія!.. Игрою струнной
Блескъ отчихъ дѣлъ затмить—приходитъ, юный
Къ пѣвцу-Кентавру ученикъ-Ахиллъ.
Ахъ! каждый гимнъ, что отрокъ выводилъ,
Съ прибоемъ слитый иль ручьемъ журчливымъ,
Иль въ долахъ эхомъ множимый пугливымъ,—
Вѣчнѣй въ сердцахъ отзывчивыхъ звенитъ,
Чѣмъ все, что столпный разсказалъ гранитъ.
Пѣснь—вся душа; вникаетъ мысль, одна,
Въ іероглифовъ темныхъ письмена.
Докученъ длинной лѣтописи лепетъ.
Пѣснь—почка чувства; пѣснь—сердечный трепетъ!..
Просты тѣ пѣсни были: пѣснь—простымъ!..
Но ввѣрясь ихъ внушеніямъ святымъ,
Въ челнахъ отважныхъ выплыли норманы...
Онѣ—всѣхъ странъ,—коль врагъ не внесъ въ тѣ страны
Гражданственности ядъ. И что поэмъ
Искусныхъ блескъ, когда онъ сердцу нѣмъ?

VI.

Тонула нѣга пѣсенъ простодушныхъ
Въ роскошной тишинѣ глубинъ воздушныхъ.
Ужъ умиряло солнце, дискъ клоня,
Пиръ пламенный тропическаго дня;

И міръ покоился, благоухая...
Чу, тронулъ вѣтеръ, пальмы колыхая,
Крыломъ беззвучнымъ сонную волну,—
И въ жаждущей пещеры глубину
Она плеснула... Тамъ, близъ милой дѣвы,
Чьи сладкіе лились въ тиши напѣвы,
Сидѣлъ влюбленный юноша; и страсть
Горѣла въ нихъ,—тотъ ядъ, чья губитъ власть
Неискушенныя сердца вѣрнѣй
И раздуваетъ изъ живыхъ огней
Костеръ, гдѣ имъ, какъ мученикамъ, радость
Пылать, и смерть—послѣдней нѣги сладость...
И ихъ экстазы—смерть! Всѣхъ жизни чаръ
Божественнѣй сей неземной пожаръ;
И всѣ надеждъ потусторонних сны
Любви пыланьемъ вѣчнымъ внушены.

VII.

Ужъ расцвѣла, межъ дикими цвѣтами,
Дикарка женщиной, хотя лѣтами
Была дитя, по нашихъ странъ счисленью,
Гдѣ рано зрѣть дано—лишь преступленью.
Дитя земли младенческой, мила
Красой невинно-знойной и смугла,
Какъ ночь въ звѣздахъ или вертепъ завѣтный,
Мерцающій рудою самоцвѣтной.
Ея глаза—языкъ. Она повита
Очарованіемъ, какъ Афродита,
Перлъ моря,—къ чьимъ ногамъ несетъ волна
Эротовъ рой. Какъ приближенье сна,
Что разымаетъ нѣгой,—сладострастна.
Но вся—движенье. Брызнуть своевластно
Кровь солнечная хочетъ изъ ланитъ
И въ шеѣ, темной, какъ орѣхъ, сквозитъ:
Такъ рдѣютъ въ сумеркахъ зыбей кораллы
И манятъ водолаза тѣнью алой.
Дитя морей полуденныхъ, волна
Гульливая сама,—она сильна
Ладью чужую радостей живыхъ
Безпечно мчать до граней роковыхъ.
Еще иного счастья не знавала
Она, чѣмъ то, что милому давала.
Въ ней страха нѣтъ; довѣрчива мечта.
Надежды пробный камень, что цвѣта
Стираетъ,—*опытъ* юности невѣдомъ;
Жизнь не прошла по ней тяжелымъ слѣдомъ.
И смѣхъ ея, и слезы мимолетны;
Такъ гладь озеръ расплещетъ вѣтръ залетный,—
Но вновь покой глубинъ встаетъ со дна,
И родники питаютъ лоно сна,—
Пока землетрясенье не нарушитъ
Дремы Наядъ, и въ нѣдрахъ не изсушитъ
Живыхъ ключей, и въ черный илъ болотъ
Не втопчетъ зеркала прекрасныхъ водъ...
Ея ль то жребій? Рокъ одинъ, отъ вѣка,
Мѣняетъ ликъ стихій и человѣка.
И насъ—быстрѣй! Мы гибнемъ, какъ міры,—
Твоей, о Духъ, игралища игры!

VIII.

Онъ—сѣвера голубоглазый сынъ,
Земли, пловцамъ извѣстной средь пучинъ—
И все-же дикой; гость свѣтловолосый
Съ Гебридъ, гдѣ шумный океанъ утесы
Бурунами вѣнчалъ; и бурѣ—свой:
Дитя качалъ ея напѣвный вой.
Глазамъ, на міръ открывшимся впервые,
Блеснула пѣна; и валы живые
Ему семейный замѣнили кругъ,
А друга—океанъ, гигантскій другъ.
Пѣстунъ, товарищъ мрачный, Менторъ тайный,
Онъ дѣтскій челнъ по прихоти случайной,
Играючи, кидалъ. Родныя саги
Да случай темный, поприще отваги,
Взлюбивъ, безпечный духъ позналъ мятежность
Всѣхъ чувствъ,—одно изъемля: безнадежность.
Въ Аравіи сухой родившись, онъ,
Вожакъ лихой разбойничьихъ племенъ,
Какъ Измаилъ бы жаждалъ, терпѣливый,
Сѣвъ на верблюда, челнъ пустынь качливый.
Онъ клефтомъ былъ бы въ греческихъ горахъ,
Кацикомъ—въ Чили. Въ кочевыхъ шатрахъ,—
Быть можетъ, Тамерланъ степной орды.
Но не ему державныя бразды!
Духъ необузданный, восхитивъ власть,
Чѣмъ утолитъ алканій новыхъ страсть?
Онъ долженъ низойти съ высотъ, иль пасть;
И, пресыщенный,—вновь алкать. Неронъ,
Когда бъ ему наслѣдьемъ не былъ тронъ
И жребій ограничилъ нравъ надменный,
Возславленъ былъ бы, какъ одноименный
Простой воитель, – и въ вѣкахъ забвенъ
Его позоръ безъ царственныхъ аренъ.

IX.

Ты улыбаешься? Слѣпитъ сближенье
Пугливое твое воображенье?

Мѣриломъ Рима и всесвѣтныхъ дѣлъ
Какъ измѣрять безвѣстный сей удѣлъ?
Что жъ? Смѣйся, если хочешь, безъ помѣхъ:
Поистинѣ, милѣй печали смѣхъ.
Такимъ онъ стать бы *могъ*. Къ мечтѣ высокой
Взвивался дерзко замыслъ огнеокій.
Героя духъ, тирана произволъ
И много славъ взростить, и много золъ
Могли бъ. Властнѣй, чѣмъ люди помышляютъ,
Созвѣздья насъ возносятъ, умаляютъ.
„Все это—сны. Кто-жъ былъ онъ, наконецъ?"
Кудрявый Торквиль, бунтовщикъ, бѣглецъ;
Свободенъ онъ, какъ пѣна водъ морскихъ;
И Тубонайской дѣвы онъ женихъ.

X.

Онъ зыбь слѣдитъ, и съ нимъ—его подруга,
Съ нимъ—солнцевѣтъ островитянокъ, Ньюга,
Изъ рода рыцарей,—хоть безъ герба
(Геральдикъ, смѣйся!). Древніе гроба
Гласятъ завѣтъ свободы и побѣды:
Въ нихъ гордо спятъ ея нагіе дѣды.
Близъ волнъ—гряда зеленая могилъ...
А насыпи твоей нигдѣ, Ахиллъ,
Я не сыскалъ!. Когда, подъемля громы,
Являлись гости, дикимъ незнакомы,
Въ ладьяхъ, перепоясанныхъ грозой,
Гдѣ мачтъ растетъ, какъ пальмы стройныхъ, строй
(Ихъ корни, мнится, въ морѣ; но содвинутъ
Ладьи свой лѣсъ и крыльевъ мощь раскинутъ,
Какъ облако—широкихъ,—и вода
Пловучіе уноситъ города):
Тогда она кидалася въ метель
Валовъ (въ снѣгахъ такъ прядаетъ газель),
Взгребая кипень, въ пляшущемъ челнѣ,
И Нереидой на сѣдомъ гребнѣ,
Скользя, дивилась, какъ бѣгутъ громады,
Ступая тяжко на крутыя гряды.
Но брошенъ якорь,—и корабль, какъ левъ,
На солнцѣ легъ, дремы не одолѣвъ;
А вкругъ челны снуютъ: такъ рой пчелиный
Въ полдневный зной жужжитъ у гривы львиной.

XI.

Причалилъ бѣлый! Сколько въ словѣ этомъ!
И Старому простерта Новымъ Свѣтомъ
Съ довѣрьемъ дѣтскимъ черная рука.
Дивятся оба; и недалека
Пріязнь. Радушны бронзовые братья,
И знойный женскій взоръ сулитъ объятья.
Вглядясь, взлюбили странники морей
Архипелага темныхъ дочерей.
Не видѣвшимъ снѣговъ въ своихъ предѣлахъ
Бѣлѣй примнился ликъ пришельцевъ бѣлыхъ...
Бѣгъ взапуски, охота и скитанье;
Гдѣ хижина—тамъ кровъ и пропитанье;
Сѣть, въ теплую закинутая влагу;
Въ челнѣ порханье по архипелагу,
Чьи острова—что звѣзды безднъ лазурныхъ;
Покой отъ игръ подъ сказку грезъ безбурныхъ—
И пальма (ей же нѣтъ Дріады равной;
Въ ней дремлетъ Вакхъ, младенецъ своенравный;
Гнѣздо орла не выше, чѣмъ шатеръ,
Что надъ своей бродильней Богъ простеръ);
Хмель кавы, что пьянѣе сока лозъ;
Плодъ, чаша, молоко заразъ—кокосъ;
И дерево-кормилецъ, чьи плоды—
Безъ пахотъ нива, жатва безъ страды,—
Воздушный пекарь дарового хлѣба,
Его пекущій въ жаркой печи неба
(Далече голодъ отъ него кочуетъ:
Онъ самобраннымъ яствомъ не торгуетъ),—
Весь тотъ избытокъ Божьихъ благостынь,
Тѣ радости общественныхъ пустынь
Смягчили нравъ согрѣтыхъ добротой
Одной семьи счастливой и простой:
Очеловѣчилъ темнокожій бѣлыхъ,
Въ гражданственномъ устройствѣ озвѣрѣлыхъ.

XII.

И многихъ сочетали тѣ мѣста.
Изъ нихъ не худшая была чета—
Мои островитяне: Торквиль, Ньюга.
Они вдали родились другъ отъ друга,
Но оба подъ одной звѣздой пучинъ;
Имъ ликъ земли отъ раннихъ лѣтъ—одинъ.
А дѣтства сонъ что бъ намъ ни затемняло,—
Все ищетъ взоръ, что дѣтскій взоръ плѣняло.
Чей первый взоръ тонулъ въ лазури горъ,
Всю жизнь тотъ любитъ горныхъ далей флёръ,



ТИПЫ ОКЕАНІЙЦЕВЪ конца XVIII вѣка.

Омаи, съ острововъ Товарищества.

Изъ 3-го изданія описанія путешествія Кука 1772—1775 гг. вышед. въ Лондонѣ въ 1779.—A Voyage towards the South Pole and round the world, performed in His Majesty's Ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774 and 1775. Written by *James Cook*. London MDCCLXXIX.

Въ горахъ чужихъ—знакомыхъ ищетъ линій,
Горитъ обнять, какъ друга, призракъ синій.
Я много лѣтъ въ плѣну чужбинъ сгубилъ;
Обóжилъ Альпы, Апеннинъ любилъ;
Парнассу поклонился; надъ пучиной
Зрѣлъ Иду Зевса, и Олимпъ вершинный.
Не всѣ ихъ чары были только сказка
Славъ древнихъ, да лучей и линій ласка.
Въ душѣ былъ живъ младенца первый жаръ:
Глядѣлъ на Трою съ Идой Лохнагаръ;
О кельтахъ мнѣ напомнилъ кряжъ фригійскій,
Шотландію—источникъ Касталійскій.
Гомеръ, тѣнь міровая! Фебъ,—прости
Фантазіи блуждающей пути!
Меня училъ, ребенка, Сѣверъ блѣдный
Предчуять и любить вашъ блескъ побѣдный!

XIII.

Любовь, все претворяющая въ радость,
Все радугой вѣнчающая младость,
Минувшая опасность—роздыхъ, милый
И тѣмъ, чья грудь мятежной дышитъ силой,—
И красота обоихъ (духъ надменный,
Лизнетъ, какъ сталь, ея перунъ мгновенный)—
Совмѣстной властью необорныхъ чаръ

Въ одинъ всепоглощающій пожаръ
Ихъ души дикія соединили.
Ужъ грозовымъ восторгомъ не манили
Питомца сѣчъ воспоминанья боя.
Духъ непосѣдный не мутилъ покоя,
Какъ нудитъ онъ орла въ его гнѣздѣ,
Далекимъ окомъ рыща, бдѣть вездѣ.
Изнѣженность иль элисейскій плѣнъ—
То былъ сей сонъ, когда душѣ забвенъ
Надменный лавръ надъ урною могильной:
Не вянетъ онъ, лишь кровію обильной
Вспоенъ. Но тамъ, гдѣ прахъ отжившихъ тлѣетъ,
Не такъ же ль миртъ усладной тѣнью вѣетъ?
Когда бъ, близъ Клеопатры, все забылъ
Любовникъ—Цезарь, Римъ бы воленъ былъ,
И воленъ міръ. Что сѣвъ его побѣдъ
Взростилъ? Стыда наслѣдье, жатву бѣдъ!
Тирановъ утвержденье,—слѣдъ заржавый
На старой цѣпи, были знакъ кровавой!..
Природа, слава, разумъ—все народы
Зоветъ исполнить *такъ* завѣтъ свободы,
Какъ Брутъ, одинъ, посмѣлъ,—велитъ дерзнуть
И самовластья обезьянъ стряхнуть
Съ высокихъ сучьевъ! Насъ пугаютъ совы,—
За соколовъ мы ихъ принять готовы.
Но пугала (гляди, ихъ корчитъ страхъ!)
Одинъ свободы кличъ смететъ во прахъ.

XIV.

Въ забвеньи сладостномъ о жизни, Ньюга,
Вся—женщина, вдали людского круга,
Что могъ бы новизной ее развлечь
Иль зоркою насмѣшкой подстеречь
И возмутить ея сердечный трепетъ,—
Вдали толпы, гдѣ пѣлъ бы пошлый лепетъ
Ей лесть, гдѣ бъ искушалъ развратный толкъ
Ея блаженство, славу, сладкій долгъ,—
Равно была нага душой и тѣломъ.
Такъ радуга на небѣ потемнѣломъ
Стоитъ, мѣняя зыбкіе цвѣта;
И вся сквозитъ живая красота,
Воздушнѣй млѣетъ, выспреннѣй паритъ;
И въ небѣ мракъ,—а вѣсть любви горитъ.

XV.

Въ пещерѣ, вырытой волной напѣвной,
Они таились въ рдяный жаръ полдневный.
Летитъ година, и полетъ временъ
Не мѣтитъ мѣди похоронный звонъ,
Что бѣдной мѣрой мѣритъ смертный вѣкъ
И надъ тобой смѣется, человѣкъ!
До дней былыхъ, грядущихъ, что за дѣло,
Коль настоящій мигъ душой всецѣло,
Владычный, овладѣлъ? Металла бой
Имъ замѣнилъ приливныхъ волнъ прибой
На отмели, да дискъ на башнѣ неба.
День—часъ одинъ, и числить не потреба.
Склонится ль онъ,—чу, не вечерній звонъ,—
Надъ розой пѣсни соловьиной стонъ!
Дискъ палъ: не такъ, какъ наше солнце, тлѣя,
Надъ моремъ тухнетъ, въ дрёмѣ тусклой рдѣя;—
Нѣтъ, въ ярости, какъ бы навѣкъ оно
Съ сіяющей землей разлучено,—
Багряной внизъ кидается главой,
Какъ въ бездну прядаетъ стремглавъ герой...
Вставъ, ищутъ оба въ небесахъ лучей,
Потомъ глядятъ другъ другу въглубь очей:
Въ нихъ свѣтъ горитъ, а міръ одѣла тѣнь...
Ужель промчался быстрокрылый день?

XVI.

И диво ль то? Плоть праведника долу,
Но духъ восхищенъ къ вышнему престолу;
Міры влачатся, и влачится время,—
Онъ упредилъ коснѣющее бремя.
Иль немощнѣй любовь? Она—дорога
Эѳирной славы въ ту-жъ обитель Бога.
Ей все завѣтное въ томъ мірѣ—сродно.
Впервые въ насъ *Я* новое свободно.
Въ его пыланьяхъ счастье намъ дано.
Возжегшій пламя—пламя съ нимъ одно.
Брамины,—двое, на костеръ священный
Восшедъ, сидятъ съ улыбкою блаженной
Въ пожарѣ погребальномъ... Иногда
Временъ мимотекущихъ череда
Душѣ забвенна въ общности природы:
Все—духъ одинъ,—долины, горы, воды!
Мертвъ лѣсъ? Безжизненъ хоръ свѣтилъ? Волны
Бездушенъ лепетъ? Въ лонѣ тишины
Безчувственно ль бѣжитъ слеза пещеры?
Всѣ души міра въ алчущія сферы
Нашъ духъ влекутъ, его сосудъ скудельный
Хотятъ разбить,—зовутъ насъ въ безпредѣльный
Вселенскій океанъ!.. *Я*—отметнемъ!
Кто не забылся, упоенъ огнемъ
Лазури сладкой? И кто мыслилъ, прежде
Чѣмъ предалъ мысль корысти и надеждѣ,
Въ дни юные—о низкомъ личномъ *Я*,—
Любовью царь надъ раемъ бытія?

XVII.

Влюбленные встаютъ. Въ пріютъ укромный
Сочится сумеречно день истомный.
Кристаллами отсвѣчиваетъ сводъ;
Выходитъ въ небо звѣздный хороводъ...
И къ хижинѣ подъ пальмами, во мглѣ,
Послушны вечерѣющей землѣ,
Бредутъ четой, счастливой и безгласной..,
О, миръ любви средь тишины согласной!..
Глухъ волнъ безсонныхъ одношумный ходъ,
Какъ раковины рокотъ, эхо водъ,
Что, отъ родныхъ сосцовъ отлучена,
Малютка безднъ глухихъ, не знаетъ сна
И молитъ дѣтскимъ неутомнымъ стономъ—
Не разлучать ея съ глубиннымъ лономъ.
Въ угрюмой дрёмѣ никнетъ тѣнь дубровъ,
И рѣетъ птица въ свой пещерный кровъ.
Разверзшихся небесъ поятъ озера
Святую жажду чающаго взора.

XVIII.

Чу,—звукъ межъ пальмъ,—не тотъ, что милъ влюбленнымъ,—
Не вѣтерокъ въ безмолвьи усыпленномъ...
То не былъ вѣтра вздохъ вечеровой,
Играющій на арфѣ міровой,
Когда струнамъ гармоній первыхъ—борамъ—
По доламъ эхо вторитъ страннымъ хоромъ.
То не былъ громкій кличъ тревоги бранной,
Рушитель чаръ, родной, но нежеланный.
Не филинъ то заплакалъ, одинокій,
Невидящій отшельникъ лупоокій,
Что жуткой жалобой поетъ въ тиши
Пустынную тоску ночной души.
То—долгій былъ и рѣзкій свистъ (морей
Такъ свищетъ птица),—свистъ питомца рей
И снасти смольной... Хриплый голосъ зова—
Чрезъ мигъ: „Эй, Торквиль! Гдѣ ты, братъ? Здорово!"
—„Кто здѣсь?..." И Торквиль ищетъ, чей привѣтъ
Ему звучитъ изъ мрака.—„Я!"—отвѣтъ.

XIX.

И потянулъ во мглѣ благоуханной,
Пришельца возвѣщая, запахъ странный.
Съ фіалкой ты смѣшать его бъ не могъ;
Нѣтъ, съ нимъ дружнѣй въ тавернахъ эль и грогъ!
Былъ выдыхаемъ онъ короткой, хрупкой,
Но Югъ и Сѣверъ пролымившей трубкой.
Отъ Портсмута до полюса свой дымъ
Она пускала въ носъ валамъ сѣдымъ
И всѣхъ стихій слѣпому произволу,—
Неугасимой жертвою Эолу
Къ смѣнявшимся вскуряясь небесамъ,
Всегда, повсюду... Кто же былъ онъ самъ,
Ея владѣлецъ?—Ясно то: морякъ
Или философъ... О табакъ, табакъ!
Съ востока до страны, гдѣ гаснетъ день,
Равно ты услаждаешь—турка лѣнь
И трудъ матроса. Въ нѣгахъ мусульмана
Соперникъ ты гаремнаго дивана
И опіума. Чтитъ тебя Стамбулъ;
Но любъ тебѣ и Странда спертый гулъ
(Хоть тамъ ты хуже). Сладостны кальяны;
Но и янтарь струитъ твои туманы
Плѣнительно. Къ тебѣ идутъ уборы;
Но все-жъ краса нагая тѣшитъ взоры
Милѣй: и твой божественный угаръ
Вполнѣ извѣдалъ лишь знатокъ—сигаръ!

XX.

И обнаружилъ полумракъ дубравный
Обличье пришлеца. Столь своенравный
И необычный онъ носилъ нарядъ,
Что могъ морской напомнить маскарадъ,
Разгульный праздникъ, дикій и нестройный,
Пловцовъ, встрѣчающихъ экваторъ знойный,—
Когда, подъ пьяный плясъ и говоръ струнъ,
На колесницѣ палубной Нептунъ
Въ личинѣ оживаетъ скоморошной,
И богъ, забытый въ пеленѣ роскошной
Родимыхъ волнъ, у сладостныхъ Цикладъ,
Хоть и въ моряхъ невѣдомыхъ—все радъ
Потѣшной ревности своихъ потомковъ
И славенъ вновь послѣднимъ изъ обломковъ
Священной славы... Куртка, вся въ дырахъ,
И трубка неугасная въ зубахъ,—
Станъ, какъ фокмачта, и, какъ парусъ, валкій,
Нетвердый шагъ, — то отблескъ, хоть и жалкій,
Достоинствъ прежнихъ. Голова въ тряпьяхъ,
Наверченныхъ чалмою второпяхъ,
Взамѣнъ штановъ, сносившихся такъ рано
(Шипы растутъ повсюду невозбранно),
Цыновки клокъ, скрѣпленный кое-какъ,—
Она жъ—и шаровары, и колпакъ;
Босыя ноги, обликъ загорѣлый—
Несвойственно то, мнится, расѣ бѣлой.
Оружье—знакъ, что бѣлымъ онъ сродни;
Воюемъ просвѣщенно мы одни.
Изъ-за широкихъ плечъ ружье глядѣло,
Ихъ службы флотской попригнуло дѣло,
Но мышцы, какъ у вепря, были все-жъ.
И безъ ноженъ висѣлъ булатный ножъ

(Къ чему ножны?). Какъ вѣрные супруги,
За поясомъ —два пистолета. (Други,
Насмѣшки нѣтъ въ сравненіи моемъ!
Хоть пустъ одинъ, все цѣлъ зарядъ въ другомъ).
Бывалый штыкъ (хранительной оправой
Не баловалъ вояка стали ржавой)
Его воинскій дополняетъ видъ...
Такимъ четѣ бродяга предстоитъ!

XXI.

„Бэнъ Бантингъ!"—Торквиль пришлецу вскричалъ:
„Что? Какъ дѣла?.." Тотъ головой качалъ.
—„И такъ, и сякъ. А новаго не мало.
Въ виду корабль"—„Корабль? И не бывало!
Я на морѣ не видѣлъ ничего".
—„Не могъ ты съ бухты услѣдить его.
Проклятый парусъ я завидѣлъ съ кряжа
Издалека: моя сегодня стража.
Былъ добрый вѣтръ, - да парусъ не къ добру"...
—„Такъ якорь здѣсь онъ бросилъ ввечеру?"
—„Нѣтъ; но пока не стихнулъ вѣтръ упорный,
На насъ онъ шелъ." — „Чей флагъ?"—„Трубы подзорной
Я, жаль, не взялъ. Но, судя по всему,
Намъ радоваться нечего ему".
—„Гость съ пушками?"—„Еще бъ! Поди, облаву
На насъ затѣютъ. Чуетъ звѣрь расправу".
—„Травить насъ станутъ? Что жъ? Намъ не бѣжать!
Мы не привыкли предъ врагомъ дрожать,
На мѣстѣ встрѣтить смерть мы, братъ, съумѣемъ".
—„Такъ! всѣ мы то, товарищъ, разумѣемъ".
—„Что Христіанъ?"—„Тревогу свистнулъ онъ.
Вездѣ оружье чистятъ. Припасенъ
Нарядъ готовый легкихъ двухъ орудій...
Тебя лишь нѣтъ!"—„Моей вамъ нужно груди?
Недосчитаться будетъ вамъ нельзя
Въ рядахъ меня. Намъ всѣмъ— одна стезя...
О, еслибъ, Ньюга, шелъ я одинокій
На смертный бой,на зовъ судьбы жестокой!
Удѣлъ мой дѣлишь—ты... Но не держи
Меня въ сей мигъ! Слезу заворожи!
Что бъ ни было, я--твой. И будь, что будетъ!.."
Тутъ Бэнъ: „Флотяга дѣла не забудетъ!"

ПѢСНЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Бой смолкъ, и смеркли молніи въ дыму,
Что кроетъ, гибель окрыливъ, во тьму
Гортани смерти. Сѣрный смрадъ оставилъ.
Лицо земли и небеса безславилъ;
И не будилъ пальбы раскатный громъ
Лѣсныхъ раздумій и долинныхъ дрёмъ.
Голодныхъ жерлъ отгрохотали ревы;
Насыщены отмстительные гнѣвы.
Мятежники сокрушены. Въ плѣну
Завидуютъ живые падшихъ сну.
Немногимъ, что попрятались въ дубравы,
Сталъ островъ милый—островомъ облавы.
Имъ нѣтъ пристанища. Въ кольцѣ морей,
Отступниковъ отчизны, какъ звѣрей,
Ихъ травятъ. Не дитя бѣжитъ къ родимой—
То ищутъ люди дебри нелюдимой;
Но отъ людей вѣрнѣй спасутъ берлоги
Волковъ и львовъ, чѣмъ жертвъ двуногихъ ноги.

II.

Простерлася незыблемой пятой
Скала далече въ море. Валъ крутой
По ней въ часъ бури, предводя бойцовъ,
На приступъ лѣзетъ, и стремглавъ съ зубцовъ
Въ глубь падаетъ, гдѣ полчища бушуютъ,
Подъ бѣлымъ знаменемъ утесъ воюютъ.
Но тихъ прибой. Томима жаждой злой,
Въ крови, безъ силъ, стѣснилась подъ скалой
Горсть бѣглыхъ,—но съ оружьемъ,—гордой волѣ
Не измѣнивъ и въ безысходной долѣ.
Не вовсе мужи разучились мыслить:
Спасительнѣй упорствовать, чѣмъ числить
Опасности, и что имъ суждено,
Они, дерзнувъ, предвидѣли давно.
Но въ нихъ жила надежда—не прощенья,
Забвенья только, или небреженья,—



ТИПЫ ОКЕАНІЙЦЕВЪ конца XVIII вѣка.

Эдиди, съ острова Балабола (группа о-въ Товарищества). (Oedide, a young man of Bolabola).

Изъ 3-го изданія описанія путешествія Кука 1772—1775 гг., вышед въ Лондонѣ въ 1779. - A Voyage towards the South Pole and round the world, performed in His Majesty's Ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774 oud 1775. Written by *James Cook*. London MDCCLXXIX.

Надежда, что ловецъ и не найдетъ
Ихъ логова въ дали пустынныхъ водъ.
Надежда пѣла—отошла забота
Послѣдняго съ отечествомъ разсчета.
Ихъ грѣшный рай, ихъ изумрудный скитъ
Святой ихъ воли—болѣ не таитъ.
Ихъ чувства лучшія на нихъ самихъ
Обрушились; день судный дѣлъ лихихъ
Насталъ. Гонимымъ и въ отчизнѣ новой,
Имъ каждый шагъ ко плахѣ путь готовый.
Лазейки нѣтъ. Дружины островныя
Сплотились съ ними за поля родныя,
Союзники,—съ копьемъ и булавой.
Но что доспѣхъ Геракла боевой
Межъ сѣрныхъ чаръ и волхвованій громныхъ,
До схватки бьющихъ воиновъ огромныхъ?
Какъ вѣянье чумы, дохнувъ, ихъ сила
Не храбрымъ лишь, но храбрости могила!
Полкъ бѣлый бился храбро. Свершено,
Что противъ силы слабому дано.
Свободнымъ пасть—вотъ вольности завѣтъ!
Все-жъ Ѳермопилъ другихъ въ Элладѣ нѣтъ...
Доднесь! Но изъ оковъ—окованъ мечъ:
Вновь грекамъ жить—или костьми полечь!

III.

Семьѣ подобясь загнанныхъ оленей,
Въ чьихъ взорахъ жаръ недужный и томленій

Тоска смертельная, но чьи рога
Еще алѣютъ кровію врага,—
Ихъ горсть укрылась подъ скалою мрачной.
Съ высотъ метнулся къ морю ключъ прозрачный
И прядалъ съ кручъ, надъ глубиной вися,
Въ соль горькую свой сладкій лучъ неся,
По срывамъ дикой стреми, свѣжій, чистый,
Какъ духъ невинный, нитью серебристой
Довѣрчиво ліясь въ живой просторъ:
Пугливая газель Альпійскихъ горъ
Такъ озираетъ съ края бездны синей
Застылый океанъ волнистыхъ линій.
Къ струѣ воды всѣ ринулись, всѣ жаждутъ
Унять пожаръ, которымъ груди страждутъ.
Какъ тѣ, что пьютъ въ послѣдній разъ, они,
Оружье кинувъ, залили огни
Сухихъ гортаней. Спекшуюся кровь
Недавнихъ ранъ отмыли (—не любовь
Повяжетъ ихъ, а злоба—кандалами).
И оглядѣлись. Мало подъ скалами
Стояло ихъ. Безмолвно обмѣнили
Взглядъ испытующій. Всѣмъ измѣнили
Уста. Всѣ нѣмы; смутенъ каждый ликъ.
Все умерло—и замеръ ихъ языкъ.

IV.

Стоялъ поодаль, полный черныхъ думъ,
Сжавъ руки на груди крестомъ, угрюмъ
И страшенъ, блѣдноликій Христіанъ.
Давно ль онъ былъ безпеченъ и румянъ,
И кудри русыя его вились?
Теперь онѣ, какъ змѣи, сплелись
Надъ бровью хмурой. Онъ, какъ изваянье,
Уста сомкнувъ, въ груди сдавивъ дыханье,
Приросъ къ скалѣ и, какъ утесъ прямой,
Стоитъ, застывъ угрозою нѣмой;
Ногой по мели топнетъ, разъяренъ,
И снова вдаль недвижный взоръ вперенъ.
И Торквиль тамъ же, сникнувъ на бугоръ
Челомъ окровавленнымъ, мутный взоръ
Окрестъ обводитъ. Рана не страшна,—
Болѣзненнѣй душа уязвлена;
Но мертвенъ ликъ, и алая роса
Златистые пятнаетъ волоса.
Не духъ въ немъ изнемогъ: отъ истощенья
Былъ обморокъ. Бэнъ-Бантингъ попеченья
Больному расточалъ; неповоротливъ—
Прямой медвѣдь, — какъ нѣжный братъ, заботливъ,—
То бережно онъ рану промываетъ,
То безмятежно трубку раздуваетъ,—
Трофей, что онъ изъ сотни битвъ спасалъ,
И тысячъ десяти ночей сигналъ.
Четвертый изъ товарищей все ходитъ
Взадъ и впередъ, покоя не находитъ,
Вдругъ глянетъ подъ ноги—голышъ отыщетъ,
Уронитъ, — вдругъ бѣжитъ и пѣсню свищетъ,—
Смятенно смотритъ въ лица, — видъ небрежный
Принявъ на мигъ, чрезъ мигъ въ тоскѣ мятежной
Вновь мечется... Какъ рѣчь долга! Пять, шесть
Прошло минутъ на отмели... Но есть
Въ безсмертье протяженныя мгновенья,
Цѣпь вѣчности вмѣщающія звенья.

V.

Джэкъ Скайскрэпъ (былъ подвиженъ онъ, какъ ртуть,—
Какъ вѣеръ — легокъ; и перепорхнуть
Чрезъ все гораздъ; не мужественъ, но смѣлъ;
Дерзнуть бы онъ и умереть съумѣлъ,
Но духомъ падалъ въ длительномъ бореньѣ)—
„God damn!“—нашъ Джэкъ воскликнулъ въ разъяреньѣ:
Два крѣпкихъ слога, корень всѣхъ красотъ
Британскаго витійства, и исходъ
Изъ всякихъ затрудненій! Исламиту
„Аллахъ!“ — какъ встарь „Proh Juppiter“ квириту—
Равно любезны... Въ затрудненьи Джэкъ,—
Онъ въ худшемъ не бывалъ за весь свой вѣкъ,—
И все, что могъ, сказалъ тѣмъ восклицаньемъ.
Сочувственнымъ отплюнулъ прорицаньемъ,
Ротъ оторвавъ на мигъ отъ чубука,
Мыслитель Бантингъ: глянулъ свысока—
И округлилъ двумя словами фразу...
Она не поддается пересказу.

VI.

Затихнувъ, какъ излившій гнѣвъ волканъ,
Былъ величавъ угрюмый Христіанъ.
Но тишину, какъ туча, облегло,
Глухими вспышками бороздя чело,
Души неуспокоенное горе.
Внезапно, съ мрачнымъ пламенемъ во взорѣ,
Онъ оглядѣлся, Торквиля примѣтилъ,—
Тотъ слабымъ восклоненіемъ отвѣтилъ,—
Вскричалъ: „Дитя! такъ жертвой сталъ и ты
Безумства моего и слѣпоты?“
И къ юношѣ, забрызганному кровью,
Ступилъ, взялъ руку слабую съ любовью,

Къ груди своей прижалъ—и отпустилъ,—
Пожать не смѣлъ.... Лишь Торквиль возвѣстилъ,
Что легче раненъ, чѣмъ ему примнилось,—
На мигъ чело страдальца прояснилось.
Онъ молвилъ: „Такъ! ждала насъ волчья яма:
Но мы не трусы, и падемъ безъ срама,
И дорого-жъ мы обойдемся имъ!
Пусть гибну я: какъ вамъ спастись однимъ?
Ужъ мало насъ: намъ не бороться болѣ.
Мнѣ вся забота—были бъ вы на волѣ!
Будь здѣсь хоть челнъ, хоть малая ладья—
Васъ съ упованьемъ отпустилъ бы я!
Мнѣ смерть—вѣнецъ моей желанной доли:
Не вѣдать страха, не терпѣть неволи"...

VII

Не кончилъ онъ—изъ-за скалы понурой,
Поникшей надъ волной громадой хмурой,
Въ дали морской означилось пятно;
Какъ чайки тѣнь, къ землѣ неслось оно.
Другое вслѣдъ,—то зримо, то сокрыто,—
Мелькнетъ на мигъ, на мигъ волной зарыто.
Все ближе... Двѣ ладьи... И взоръ открылъ
Въ нихъ темнокожій людъ... Какъ взмахи крылъ,
Въ пучинѣ весла быстрыя сверкаютъ,
Челны прибой вспѣненный разсѣкаютъ,
То вдругъ взлетятъ на завитокъ гряды,
То ухнутъ внизъ, въ гремящія бразды,
А глубь кипитъ и въ кипень влагу мелетъ,
Вверхъ мечетъ хлопьями, холстами стелетъ...
И прорвались чрезъ мощные валы,
Какъ малыхъ птицы двѣ изъ бурной мглы...
Товарищамъ зыбей второй природой
Искусство стало—биться съ непогодой.

VIII.

Не Нереиду вынесла волна
На раковинѣ: первой изъ челна
Порхнула, темной наготой сверкая
И взоромъ влажнымъ милаго лаская,
Свѣтла надеждой,—Ньюга!.. То она,
Любимая, испытанно-вѣрна!
Смѣясь и плача, тѣло къ тѣлу, Ньюга
Прильнула къ Торквилю, и держитъ друга,
Какъ бы не вѣря, что не грезитъ сонъ...
Дрожитъ: онъ раненъ!.. Но легко... Спасенъ
Возлюбленный!.. Смѣется, плачетъ вновь...
Ей, дочери бойца, не диво кровь,
И мужествовать дѣвѣ не впервые.
Мигъ полонъ. Что угрозы роковыя!
Восторгъ бѣжитъ изъ глазъ ея въ слезахъ,
Ей сердце сжалъ и замеръ на устахъ,
Рыданьемъ грудь спираетъ и колышетъ:
Рай первый чувства въ каждомъ вздохѣ дышитъ.

IX.

Гдѣ тотъ суровый, кто бы не былъ тронутъ,
Когда два сердца такъ въ блаженствѣ тонутъ?
Благословляетъ, затаивъ участье,
Самъ Христіанъ ихъ молодое счастье;
И съ горькимъ сномъ погибшихъ дней своихъ
Слилъ радость умиленную—за нихъ...
Послѣдній лучъ обманнаго огня
Его надеждъ—угасъ... „Изъ-за меня!"—
Проскрежеталъ онъ, отвернулся прочь,—
Но не глядѣть на тѣхъ ему не въ мочь:
Такъ левъ на львятъ косится изъ берлоги...
Потомъ застылъ—безъ грусти, безъ тревоги.

X.

Но кратокъ срокъ благихъ иль темныхъ думъ:
Слышны за мысомъ чрезъ стихійный шумъ
Удары вражьихъ веселъ. Кто сей звукъ
Угрозой смерти сдѣлалъ? Все вокругъ
Ихъ предаетъ,—одна спасаетъ дѣва!
Она, завидѣвъ, что дружины гнѣва
Плывутъ, грозя восполнить дѣло сѣчъ
И путь спасенья бѣглецамъ пресѣчь,—
Туземцамъ знакъ дала—спѣшить къ снастямъ
И даровать убѣжище гостямъ
Въ ладьяхъ крылатыхъ. Христіанъ, два друга,
Два вѣрныхъ, съ нимъ — сошли на доски. Ньюга
Разстаться съ Торквилемъ не хочетъ: челнъ
Другой ихъ приметъ... И по гребнямъ волнъ
Ладьи летятъ. И цѣль ихъ окрыленій —
Цѣпь островковъ, гдѣ логова тюленей
Да чайки водятся,—изъ мглы встаетъ.
Ладьи летятъ,—и врагъ не отстаетъ.
Вотъ-вотъ настигъ... избѣгнутъ... гонитъ снова...
Какъ ускользнуть отъ недруга лихого?
И разлучились бѣдные челны,
Въ двѣ разныхъ разлетѣлись стороны—
Смутить погоню... Мчитесь! Каждый взмахъ
Весла—вамъ жизнь!.. За жизнь ли только страхъ?
Ты, Ньюга, за любовь дрожишь! И хилъ
Твой челнъ для *этой* ноши. Въ немъ, кто милъ
Тебѣ,—съ тобой!.. Такъ цѣль близка пути,—
Такъ близокъ врагъ... Ковчегъ любви, лети!

ПѢСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Какъ бѣлый парусъ надъ пучиной бурной,
Когда въ ущербѣ дали блескъ лазурный
Межъ мракомъ волнъ и мутью черной тучъ,—
Надежды такъ послѣдній бьется лучъ.
И якорь сорванъ. Но чрезъ вихрь мятежный
Все взору свѣтитъ парусъ бѣлоснѣжный,
Хоть каждый валъ его уноситъ прочь
И сирый брегъ объемлютъ мгла и ночь.

II.

На Тубонайскомъ взморьѣ, острой грудью
Утесъ чернѣетъ, обреченъ безлюдью,
Свой рыбакамъ пернатымъ; гдѣ тюлень
Въ пещерѣ сонную лелѣетъ лѣнь,
Ютясь отъ бурь,—но солнце чуть проблещетъ,
Взыграетъ онъ и грузно влагу хлещетъ.
На скрипъ ладьи случайной птичій крикъ
Откликнется изъ скалъ, пугливъ и дикъ;
Тамъ грудью голой грѣетъ мать птенцовъ,
Пучины вольной хищниковъ-ловцовъ.
Гдѣ съ моря доступъ къ тѣсному ущелью,
Пески желтѣютъ въ устьѣ плоской мелью,
И черепашій выводокъ, въ бронѣ
Влачась тяжелой, тянется къ волнѣ;
Ихъ зной взростилъ, и влага благосклонно
Кормящее имъ простираетъ лоно.
Часть остальная—дикій адъ трущобъ,—
Сюда прибитымъ бурей—брегъ и гробъ.
Вздохнетъ спасенный, что подъ нимъ земля,
Не рухлые останки корабля...
Гостепріименъ не былъ кровъ убѣжный,
Изысканный для друга дѣвой нѣжной
Въ годину крайнюю. Но вѣдомъ ей
Тайникъ спасенья, скрытый отъ очей.

III.

Въ послѣдній мигъ она велитъ гребцамъ
Перешагнуть съ ладьи къ другимъ пловцамъ,
Чтобъ челнъ другой ихъ мышцы подкрѣпили
И бѣгство тѣхъ дружнѣе торопили.
Ей прекословить хочетъ Христіанъ;
Но знакъ надежный дѣвой свѣтлой данъ:
Она за все порукой; ускользнуть
Изъ волнъ съумѣютъ оба.—„Добрый путь!"
И челнъ пустился, окрыленъ подмогой,
Какъ въ небѣ катится своей дорогой
Звѣзда падучая. Его врагамъ
Ужъ не догнать... Къ угрюмымъ берегамъ
Гребетъ чета,—а врагъ не отступаетъ.
Но силѣ юноши не уступаетъ
Рука дѣвичья. На ладьи длину
Приблизились къ мѣстамъ, гдѣ въ глубину
Уходятъ глыбъ отвѣсныхъ основанья.
На сто челновъ, не болѣ разстоянья,
За ними недругъ. Неприступенъ брегъ.
Куда жъ они направятъ свой побѣгъ?
И юноша возвелъ съ нѣмымъ укоромъ
На дѣву взоръ, и вопрошаетъ взоромъ:
„На гибель ты, любовь, меня вела?
Гробницей намъ—пустынная скала!.."

IV.

Изъ рукъ упали весла. Ньюга встала,
На близкую погоню указала,—
„За мной!" сказала: „Торквиль, не робѣй!"—
И ринулась, и скрылась въ ночь зыбей.
Мигъ промедленья — и ловцамъ онъ ловъ;
Въ его ушахъ бряцанье кандаловъ.
Ему кричатъ, и съ мощію гребутъ,
По имени преступника зовутъ.
Рожденный водолазъ, въ пучину волнъ
Стремглавъ онъ прянулъ, темной вѣры полнъ;
Исчезъ изъ глазъ—и вновь не появился.
На зыбь глухую врагъ глядѣлъ, дивился,—
На скалы, скользкія, какъ гладкій ледъ:
Не вынырнулъ, не всплылъ бѣглецъ изъ водъ.
Вспухаетъ ровными валами хлябь,
И лишь, кругами расплываясь, рябь
Отъ тяжкихъ всплесковъ двухъ не замерла.
Да пѣна снѣжная по ней плыла,
Какъ бѣлое подобье саркофага
Надъ тѣми, чьей любви раскрылась влага
Могилою ревнивой и нѣмой.
Играла зыбь съ покинутой кормой,—
И болѣе ничто не выдавало,
Что здѣсь два сердца билось, изнывало
За мигъ единый. И безъ сихъ уликъ
Все было бъ призракъ, сонъ, что всталъ и сникъ



ТИПЫ ОКЕАНІЙЦЕВЪ конца XVIII вѣка.

Тина-Маи, молодая женщина съ острова Уліетеа (группа о-въ Товарищества).
(Tyna-Mai, a young woman of Ulietea).

Изъ 3-го изданія описанія путешествія Кука 1772—1775 гг., вышед. въ Лондонѣ въ 1779 .A Voyage towards the South Pole and round the world, performed in His Majesty's Ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 1773, 1774 and 1775. Written by *James Cook.* London MDCCLXXIX.

Марой морской... Еще глядятъ окрестъ—
И прочь спѣшатъ: уплыть отъ этихъ мѣстъ
Смущенныхъ гонитъ ужасъ суевѣрный...
Онъ не нырнулъ,—какъ огонекъ невѣрный
На кладбищѣ, онъ сгинулъ: такъ однимъ
Пригрезилось. Что свѣтомъ неземнымъ
Онъ весь свѣтился, людямъ не подобный,—
Другимъ примнилось. Блѣдности загробной
Всѣ видѣли печать въ его чертахъ...
Но, и плывя назадъ, во всѣхъ кустахъ
Плавучей водоросли ищутъ тѣла
Того, чья тѣнь, какъ пѣна водъ, истлѣла.

V.

Но гдѣ жъ онъ былъ, паломникъ глубины,
Съ вожатой Нереидой? Спасены
Отъ бѣдъ земли, на днѣ ли темно-аломъ
Они живутъ подъ сводчатымъ коралломъ?
Въ ревучія ли раковины дуютъ
Съ богами безднъ, что по валамъ кочуютъ?
Съ Наядами ли Ньюга косы чешетъ,
Что зыбь струитъ,—и лаской дѣву тѣшитъ
Не вѣтръ весны, а рѣянье волны?..
Иль въ сонъ безъ грезъ они погружены?

VI.

Поглощена сомкнувшейся волной,—
Какъ чадо струй, въ стихіи ей родной
Она неслась. За ней онъ плылъ умѣло.
Въ зеленой мглѣ отсвѣчивало тѣло,
Мерцалъ амфибіи волшебной слѣдъ,
Путеводя того, кто съ первыхъ лѣтъ,

Сынъ сѣверныхъ морей, былъ съ влагой
дружен,
Какъ сверстники его, ловцы жемчужинъ,
Таящихся на сумеречномъ днѣ.
Ему привольно въ смутной глубинѣ...
Она скользнула внизъ, въ глухія жерла,
Наверхъ рванулась, руки распростерла—
И вынырнула вдругъ изъ душной бездны
Въ глубокій сумракъ и подъ сводъ без-
звѣздный,
И шелкъ кудрей отъ пѣны осушала,
И смѣхомъ сводъ отзвучный оглашала.
Подъ ними — брегъ; надъ ними свой ша-
теръ
Не небосводъ, — пространный гротъ про-
стеръ.
Дробитъ порталъ подводный въ полдень
яркій
Лучъ, преломленный стрѣльчатою аркой,
Въ струяхъ зеленыхъ, гдѣ, какъ огоньки,
Игривыхъ рыбъ мерцаютъ плавники.
Ликъ милаго власами отираетъ
Дикарка юная. Онъ озираетъ
Вертепъ, дивясь. Она въ ладони бьетъ,
Къ норѣ Тритоновой его ведетъ,
Въ разсѣлину скалы. Со свода въ щели
День тусклый сходитъ въ тайну подземелій;
И, какъ церквей готическая сѣнь,
Сонмъ сѣрыхъ статуй прячетъ въ полу-
тѣнь,—
Всѣ очертанья въ ихъ пріютѣ новомъ
Полупрозрачнымъ скрадены покровомъ.

VII.

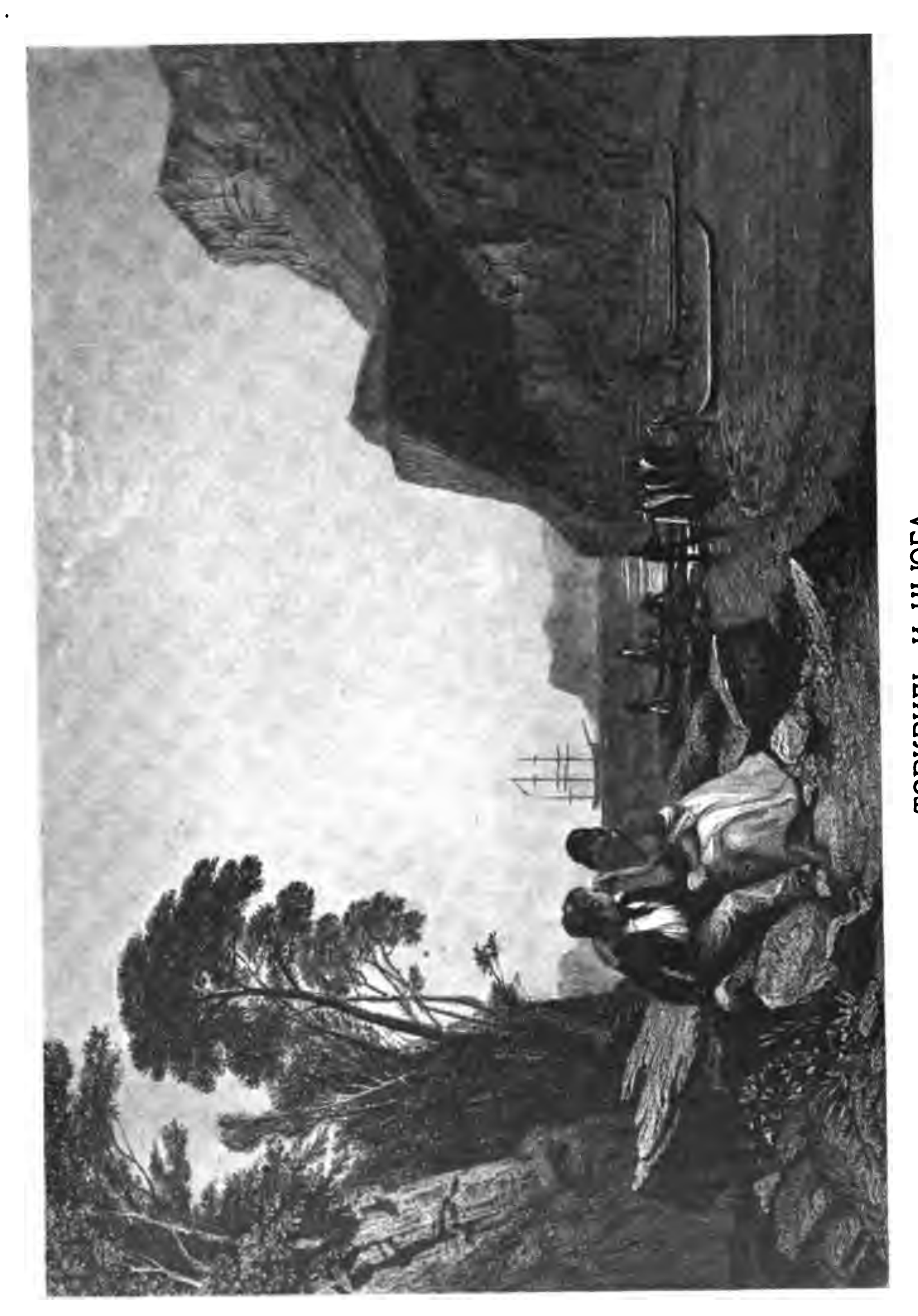
Въ листахъ банана скрытый, факелъ смоль-
ный
Привязанъ былъ на грудь дикарки вольной,
Повитъ гнату зеленымъ, чтобъ волной
Подмоченъ не былъ свѣточъ смоляной.
Кремень, сухія вѣтки были тожъ
Въ листахъ защитныхъ Торквиль далъ
свой ножъ:
Клинокъ въ кремень ударилъ, искра тлѣетъ,
Пещера яркимъ заревомъ свѣтлѣетъ.
То былъ чертогъ великій, гдѣ природа
Ваяла сѣнь готическаго свода
И смѣлыхъ дугъ сплетенья возвела.
Землетрясеній сила подняла
Надстолпія и выперла колонны
Изъ горныхъ нѣдръ, когда съ земного лона
Не сбылъ потопъ и трескалась кора.
Въ пожарищѣ всемірнаго костра
Стѣнъ первозданныхъ плавились опоры.
Тьма—древній зодчій—трапезу, притворы,
Рѣзной наметъ воздвигла. И коль ты
Не вовсе чуждъ внушенію мечты,—
Твой встрѣтитъ взоръ въ святилищѣ сихъ
мѣстъ
Алтарь, и тронъ, и балдахинъ, и крестъ.
И въ кружевныхъ капеллахъ, перевиты
Сквозною сѣнью, виснутъ сталактиты.

VIII.

И друга за руку она водила,
И пламенникомъ пылкимъ наводила
На своды день мгновенный, чтобъ узналъ
Онъ склепы тайные пещерныхъ залъ.
И милому съ весельемъ показала,
Что день за днемъ, заботясь, припасала
Въ пріютъ любви. Цыновка для ночлега,
Гнату—покровъ, елей сандала—нѣга
Тѣламъ продрогшимъ—оказались тамъ.
Къ обѣду—хлѣбный плодъ, кокосъ и ямъ.
Былъ скатертью банана листъ обширный,
А блюдомъ панцырь черепахи жирной
Съ ея-же мясомъ. И манитъ медовый
Бананъ, и тыква съ влагой родниковой.
Чтобъ жилъ огонь, вотъ смоль сухихъ лу-
чинъ.
Все — здѣсь. Пещера—домъ. Онъ—власте-
линъ.
И съ нимъ она, какъ призракъ ночи стра-
стной,
Чтобъ сдѣлать ночь желанной и прекрас-
ной...
Случайности судьбы непостоянной
Предвидѣла она, лишь гость незваный
На взморье выплылъ,—милому съ тѣхъ поръ
Готовя сей хранительный затворъ.
Съ зарей, плодами золотыми полнъ,
У черныхъ скалъ ея качался челнъ;
И ввечеру туда ладья скользила
И тайныя сокровища свозила...
И торжества не можетъ превозмочь
Сихъ странъ любви счастливѣйшая дочь!

IX.

Она признательность и удивленье
Прочла во взорѣ миломъ, и въ томленьѣ
Нетерпѣливой страсти обвила
Желаннаго, и къ персямъ привлекла,
И лепетала старое преданье
Любви (любовь стара, какъ мірозданье;
Но кто пришелъ и кто придетъ на свѣтъ,
Приходитъ обновить ея завѣтъ):
Какъ юный вождь—смѣнилось много лунъ
Съ тѣхъ дней — нырнулъ близъ этихъ
скалъ въ бурунъ,
Гонясь за черепахой, всплылъ въ пещерѣ
И такъ обрѣлъ подводной тайны двери;
Какъ послѣ, брань ведя, здѣсь отъ вра-
говъ



ТОРКВИЛЬ И НЬЮГА.

Рисов. Гардингъ. (I. D. Harding), грав. Вильморъ (I. T. Willmore).

Скрывалъ онъ дѣву ближнихъ береговъ,
Дочь недруга, спасенную для плѣна
Дружиной князя; какъ настала смѣна
Кровавыхъ дней, — и вождь, собравъ свой
кланъ
У скалъ завѣтныхъ, прыгнулъ въ океанъ—
И не вернулся; какъ дружина мнила,
Что въ немъ злой духъ, какъ за него молила
Акулу синюю, какъ мысъ вокругъ
Обрыскала, какъ изъ пучины вдругъ,
Когда рука гребцовъ грести устала,
Богиня (такъ имъ страхъ шепнулъ) возстала—
И, свѣтелъ, за русалкою-женой
Самъ витязь всплылъ изъ мглы заповѣдной,
Какъ явью призракъ сталъ, и трубный
зыкъ
И племени ликующаго крикъ
Чету встрѣчалъ на берегу родномъ...
„До гроба жили, счастливы, вдвоемъ...
Не то же ль намъ грядущее скрываетъ?“
Взрывъ юной страсти повѣсть прерываетъ
Въ пещерѣ дикой.. Здѣсь, пѣвецъ, молчи!
Одно скажи: въ могильной сей ночи
Любовь сильна, какъ въ склепѣ Абеляра,
Гдѣ двадцать лѣтъ почившій ждалъ удара
Кирки завѣтной, что соединитъ
Съ нимъ Элоизинъ прахъ; кирка звенитъ,—
Мертвецъ объятья страсти размыкаетъ...
Надъ брачнымъ ложемъ рокотъ не смолкаетъ
Глухихъ валовъ,—но сквозь ихъ гулъ и
звонъ
Милѣй любви прерывный шопотъ, стонъ...

X.

Но гдѣ собратья ихъ превратной доли,
Виновники ихъ сладостной неволи?
Спасенія товарищи лихіе
Отъ человѣка молятъ у стихіи.
Крутой ли валъ отъ недруга спасетъ?
Валъ гонитъ валъ—и недруга несетъ.
Добычей ускользнувшей разъяренъ,
За брошенной добычей рыщетъ онъ,
Какъ коршунъ, упустившій вѣрный ловъ.
Гнѣвъ множитъ мощь. Уже просторъ валовъ
Отрѣзанъ бѣглецамъ. Хотя бъ скала
Ихъ заслонила, бухта приняла
Въ затворъ глубокій!.. Выбирать нельзя:
Плывутъ, куда простерлась ихъ стезя.
Причалили—ступить въ послѣдній разъ
На землю и свой смертный встрѣтить
часъ—
Въ бою ль, на плахѣ ль... Отпустили дикихъ,
Готовыхъ стать за братьевъ блѣдноликихъ:
Самъ повелѣлъ имъ Христіанъ бѣжать,
Напрасной сѣчи жертвъ не умножать.
Что мѣткій дротъ съ колчаномъ каленыхъ
Пернатыхъ стрѣлъ—противу дулъ стальныхъ?

XI.

Природныя ступени голыхъ скалъ
Срывались къ полосѣ, гдѣ челнъ присталъ.
Хватаютъ ружья. Взоръ горитъ угрюмый,
Къ врагу прикованъ пристальною думой
О близкомъ неизбѣжномъ,—дикій взоръ,
Какимъ на палача глядитъ позоръ
И безнадежность... Такъ стоитъ ихъ трое,
Какъ древле триста,—Өермопилъ герои,—
Столь схожи съ тѣми, столь различны!
Цѣль
Рѣшитъ въ вѣкахъ, безславью ли, молвѣ ль
Восторженной наслѣдіемъ послужитъ
Смерть храбрецовъ. По этимъ тремъ не
тужитъ
Ихъ родина. Про ихъ послѣдній часъ,
Сквозь слезы улыбаясь, пересказъ
Не обновятъ въ далекой мглѣ столѣтій
Ихъ племени признательныя дѣти;
Герой не позавидуетъ борцамъ;
Нѣмъ будетъ звукъ ихъ имени сердцамъ.
Прорѣзавъ смертный облакъ, пламень
славы
Не озаритъ предъ міромъ бой кровавый...
Они то знали. Зналъ хотя бъ единый,
Кто ихъ паденья первой былъ причиной,
Кто,—можетъ быть, рожденъ для лучшихъ
дѣлъ,—
Поставилъ ставкой общій ихъ удѣлъ,—
И кость въ послѣдній разъ игрокъ кидаетъ,—
И жребій безпощадный выпадаетъ...
Пусть жизнь и честь проиграны! все гордъ
Стоитъ и ждетъ онъ,—и, какъ камень,
твердъ,
На коемъ сталъ, ружье нацѣливъ... Такъ
Стоитъ предъ солнцемъ грозной тучи
мракъ.

XII.

Причалилъ ратный людъ, свершить готовый
Безтрепетно и слѣпо долгъ суровый.
Такъ мчится вѣтръ въ осенній листопадъ,
Лѣсъ оголитъ—и не глядитъ назадъ.
И все-жъ, быть можетъ, легче было-бъ имъ
Мстить чужакамъ,—не родичамъ своимъ:

Пусть дерзкіе Британію забыли,—
Они Британіи сынами были...
Кричатъ: „сдавайтесь!" Тѣ молчатъ. Сверкнулъ
Въ лучѣ металлъ уставившихся дулъ.
Вновь тотъ же кликъ,—молчанье то-жъ въ отвѣтъ.
И громче третій зовъ,—отзыва нѣтъ,
Лишь по скаламъ грозящій отзвукъ грохнулъ
И въ пропастяхъ таинственныхъ заглохнулъ.
Вдругъ трескъ сухой... Мгновенный вспыхнулъ блескъ.
Все дымъ застлалъ. Въ ущельяхъ гулъ и трескъ,
Умноженный раскатнымъ эхомъ, грянулъ.
Градъ пуль отъ скалъ, расплюснутый, отпрянулъ.
Былъ данъ тогда единственный отвѣтъ,
Возможный тѣмъ, кому надежды нѣтъ:
Врагъ лѣзъ на приступъ; Христіанъ вскричалъ
Своимъ „пали!" Еще не замолчалъ
Отгулъ тѣснинъ, какъ два изъ строя пали.
По кручамъ остальные наступали,
Карабкаясь. Безуміемъ враговъ
Взбѣшенъ, отрядъ на крайнее готовъ,
Чтобъ кончить дѣло. Что ступень—то крѣпость,
Дробящая ихъ натиска свирѣпость.
Надъ бездной виснутъ. Христіанъ борцовъ
Твердынями обрывистыхъ зубцовъ
Ведетъ искусно. Ищутъ обороны
На высотахъ, гдѣ лишь орламъ притоны.
Ихъ каждый выстрѣлъ—смерть: за трупомъ трупъ,
Катяся въ глубь, съ уступа на уступъ,
Какъ раковина, падаетъ на мель.
Живыхъ стремитъ все выше бранный хмель.
Еще довольно смѣлыхъ. Окружаютъ
Отвсюду трехъ; повсюду угрожаютъ.
Ихъ, что живыми взять нельзя нигдѣ,
Смерть, какъ акулу, держитъ на удѣ.
Дралися храбро трое. И, *кто* палъ,—
О томъ врагу стонъ смертный не сказалъ.
Былъ дважды раненъ Христіанъ. Для жизни
Ужъ не нужна пощада; но отчизнѣ
„Прости" шепнуть онъ могъ въ предсмертный часъ.
Вождю предложена въ послѣдній разъ
Пощада. Онъ, какъ соколъ кручъ, лишенный
Птенцовъ, съ бедромъ разбитымъ, погруженный
Въ полузабвенье, ползъ. Заслыша зовъ,
Вдругъ ожилъ—и ближайшимъ изъ враговъ
Кивнулъ призывно. Тѣ бѣгутъ. Хватаетъ
Ружье,—нѣтъ пули,—мѣдную срываетъ
Съ камзола пуговицу, въ стволъ забилъ,
Прицѣлился, курокъ спустилъ,—убилъ
Врага, и улыбнулся,—и, какъ змѣй,
Повлекся къ срыву, гдѣ скала прямѣй
Глядитъ въ отчаянье. Туда ничкомъ
Подползъ онъ, оглянулся, кулакомъ
Сжалъ руку—и съ землей, грозясь, простился
Проклятіемъ... рванулся, покатился
Стремниной внизъ... и долу, трупъ безвидный,
Палъ,—коршуну добычей незавидной:
Раздранные останки такъ малы...
Дымился кровью подъ пятой скалы
Кудрявый скальпъ, да сталь вблизи чернѣла,
Съ которой длань его закоченѣла,—
Подъ брызгами прибоя ржавѣть ей...
Гдѣ остальное? Жизнь его частей
Хладѣла... А душа?.. О, кѣмъ извѣданъ
Души завѣтный путь? Намъ заповѣданъ
Долгъ хоронить усопшихъ, не судить.
Тебѣ судящему, не убѣдить
Тѣмъ грознаго судьи твоихъ дѣяній;
И ты—невольникъ вѣчныхъ воздаяній,—
И развѣ смертной мысли нищетой
Умилосердишь судъ сердецъ святой!

XIII.

Свершилось. Островъ пришлецомъ оставленъ.
Изъ вольницы—кто палъ, кто обезславленъ
Оковами. Понурою гурьбой
Стоятъ въ цѣпяхъ, укрощены борьбой,
На палубѣ, гдѣ доблестно служили.
Но униженья тѣ не пережили,
Что на скалѣ послѣдній бой вели.
Въ напитанной ихъ кровію пыли
Ихъ трупы тлѣли. Кралась къ нимъ, взмывая
На влажныхъ крыльяхъ, хищница морская
Съ голоднымъ крикомъ. А внизу шумѣла
Стихія равнодушная и пѣла
Свой гимнъ безсмертный. Тѣшились игрой
Стада дельфиновъ. Рыбъ летучихъ рой
Изъ волнъ на крыльяхъ кратколетныхъ прядалъ
И въ волны вновь для новыхъ взлетовъ падалъ.

XIV.

Еще востокъ предвѣстьемъ дня горитъ,
А Ньюга, какъ одна изъ Нереидъ,
Всплыла—стеречь хранительнымъ дозоромъ
Сонъ милаго. И видитъ: надъ просторомъ



ТОРКВИЛЬ и НЬЮГА въ пещерѣ. Рис. Рихтеръ (H. Richter), грав. Шентонъ (H. C. Shenton).

Лазурнымъ парусъ, парусъ вдругъ блеснулъ!
И тронулъ вѣтръ, и парусъ изогнулъ...
Ей трепетъ грудь стѣснилъ, чрезъ мигъ высоко
Восторгъ вздымаетъ перси: врагъ далеко!
Сомнѣнья нѣтъ: плыветъ онъ прочь. Развивъ
Всѣ паруса, минуетъ онъ заливъ.
Какъ тѣнь, мелькнулъ онъ! Пѣну моря съ вѣждъ
Она стираетъ: какъ залогъ надеждъ,
Какъ радугу небесъ, слѣдитъ вѣтрило,
Доколь его отъ взора не сокрыло
Морское лоно... Радость! радость!—пустъ
Широкій океанъ! Изъ милыхъ устъ
Сейчасъ услышитъ Торквиль вѣсть свободы!
Подъ вѣрные нырнула Ньюга своды;
Что чаяла, что знала, все ему
Повѣдала любовь. Свою тюрьму
Покинули счастливые. Изъ волнъ
Поднялись оба. Разыскали челнъ,
Въ скалахъ укрытый Ньюгой по уходѣ
Враговъ, когда онъ рѣялъ на свободѣ,
Гонимъ теченьемъ: въ пору догнала
Она ладью,—ладья любви цѣла...
Нѣтъ, никогда не выносилъ изъ волнъ
Такъ много счастья, счастья утлый челнъ!

XV.

И вновь изъ волнъ встаетъ ихъ островъ милый,
Не оскверненный вражескою силой.
Нѣтъ грознаго на взморьѣ корабля—
Тюрьмы плавучей. Мирная земля
Озарена надеждой. Ревомъ трубнымъ
Чету встрѣчаютъ и гремучимъ бубномъ
Челны родные. Племя и князья
Привѣтствуютъ, какъ нѣжная семья,
Дѣтей спасенныхъ. Женщины за Ньюгой
Тѣснятся и цѣлуются съ подругой,
Пытая: какъ спаслись? Полна чудесъ
Ихъ повѣсть. Ликованье до небесъ
Подъемлетъ кликъ. Слыветъ въ толпѣ туземной
„Пещерой Ньюги“ ихъ чертогъ подземный
Съ тѣхъ свѣтлыхъ дней. И тысячи огней
Сзываютъ людъ изъ дальнихъ куреней
На пиръ ночной въ честь близкихъ, уцѣлѣвшихъ
И подвигомъ любовь запечатлѣвшихъ.
Сіянье дней смѣнитъ веселый пиръ,—
Какими свѣтелъ колыбельный міръ.

Вячеславъ Ивановъ.



Поэма Байрона о Донъ Жуанѣ.

Въ ряду типичныхъ образовъ мірового творчества Донъ Жуанъ Байрона не можетъ занять выдающееся мѣсто: обрисовка его не отличается необходимою для того глубиною, объективностью и рельефностью и уступаетъ другимъ поэтическимъ изображеніямъ этого вѣковѣчнаго типа блестящаго, но мрачнаго эгоиста и безпокойнаго искателя новыхъ и новыхъ утѣшеній и откровеній въ женской любви [1]. Но, какъ поэма, выражающая съ особою силою, яркостью, разносторонностью и полнотою своеобразно-могучую личность и геній бурнаго и мятежнаго поэта, стоявшаго одинокимъ въ мірѣ, желавшаго свободно разсуждать обо всемъ [2] съ невиданною дотолѣ искренностью [3],—какъ заключительное слово его міровоззрѣнія и какъ исповѣдь его души великой, мятущейся и озлобленной, „Донъ Жуанъ“ Байрона, безспорно, занимаетъ одно изъ первыхъ, а по мнѣнію большинства даже первое мѣсто въ числѣ произведеній этого поэта по мастерству построенія и изложенія, по глубинѣ психологическаго анализа, а также въ силу общественныхъ идей, нашедшихъ здѣсь выраженіе. Во всякомъ случаѣ, „Донъ Жуанъ“—знаменитѣйшее и наиболѣе читаемое произведеніе Байрона.

Поэзія автора „Донъ Жуана“ вообще полна неудовлетворенности и тоски, сжимающей сердце, проистекающей изъ особо отзывчиваго воспріятія разлада и печальной дѣйствительности, наполняющихъ человѣческую жизнь. Вмѣстѣ съ тѣмъ разсматриваемая поэма исполнена гордыхъ порыванiй къ какому-то высшему счастью и лучшему будущему человѣчества. Какъ мощный вопль великой мятежной души, она сохранитъ надолго привлекательность и интересъ для читателей съ благородной душой, внимательныхъ и чуткихъ къ дисгармоніи человѣческаго міра, вѣчно гнетущей наши чувства и мысль. Къ Байрону можно примѣнить слова одного изъ дѣйствующихъ лицъ его трагедіи:

„I speak to Time and to Eternity“ [1]—я говорю къ современникамъ и къ вѣчности. Слова эти довольно вѣрно характеризуютъ двоякое—ближайшее и общечеловѣческое содержаніе его поэзіи и въ частности одного изъ самыхъ крупныхъ созданій послѣдней—„Донъ Жуана“.

Эта поэма принадлежитъ порѣ зрѣлаго творчества если не величайшаго, то во всякомъ случаѣ одного изъ самыхъ выдающихся и наиболѣе вліявшихъ на европейскую литературу англійскихъ поэтовъ XIX в., —порѣ, когда безпокойная мысль и поэзія Байрона начали вызрѣвать и испытывать переломъ. Въ тѣ годы Байронъ началъ отрѣшаться отъ преобладанія серьезнаго, идеалистическаго тона и романтической ме-

[1]) Новѣйшее и вмѣстѣ съ тѣмъ лучшее изданіе—въ The Works of Lord Byron. Poetry. Vol. VI. Ed. by E. H. Coleridge, Lond. 1903 г. Кромѣ характеристикъ этого произведенія, содержащихся въ общихъ трудахъ о Байронѣ, перечисленныхъ въ книгѣ А. Н. Веселовскаго, Байронъ, 1902 (по выходѣ этой книги явилась въ свѣтъ еще книга E. Koeppel, Byron, Berl. 1903), на русскомъ языкѣ имѣются еще спеціальныя статьи о Байроновомъ «Донъ Жуанѣ»: *М. Смирнова*, Два Донъ Жуана—(«Подъ знаменемъ науки». Юбилейный сборникъ въ честь Н. И. Стороженка, М. 1902, 682 и слѣд.); весьма интересенъ этюдъ проф. *А. Н. Гилярова* въ книгѣ о русскихъ переводахъ западно-европейскихъ поэтовъ, представляющій между прочимъ оцѣнку русскихъ переводовъ поэмы Байрона.

[2]) Психологическія очертанія этого типа см. у *Civello*, Studi critici, Pal. 1900, 127—130. Разборъ взгляда *Rauber*, Die Don Juansage im Lichte biologischer Forschung, Dorpat 1899, см. въ *J. Baumann*, Dichterische und wissenschaftliche Weltansicht, Gotha 1904, 171 u. fgde.

[3]) Don Juan, XVII, 5.

[1]) Marino Faliero V, 3.

ланхоліи „Чайльдъ Гарольда" и повѣствованій о другихъ, подобныхъ послѣднему гордыхъ индивидуалистахъ и склоняться одновременно къ натурализму, насмѣшкѣ, ироніи и веселому, легкому, фривольному тону „Донъ Жуана". Это согласовалось съ дѣйствительнымъ либо мнимымъ познаніемъ людей вообще, а не примѣнительно лишь къ самоанализу страдающей и озлобленной души одного изъ замѣчательнѣйшихъ индивидуалистовъ новѣйшаго времени, какимъ являлся поэтъ въ лицѣ героевъ большинства своихъ произведеній. Въ этихъ произведеніяхъ, предшествовавшихъ „Донъ Жуану", Байронъ придерживался возвышеннаго тона, становился чуть не сверхчеловѣкомъ, впадалъ въ титанство и занимался преимущественно индивидуумомъ. Типичная фигура Байрона, выступающая во всѣхъ его поэмахъ,—созданіе таинственнаго рока. Его герои рисуются какъ одиноко и обособленно стоящія личности, не понятыя окружающею средою, которую превосходятъ своимъ высшимъ душевнымъ складомъ, силою ума и воли, пониманіемъ всей неприглядности существующихъ порядковъ; они борятся съ ними, скорбятъ о мірѣ и предаютъ его проклятію. Во всемъ этомъ было много высокомѣрнаго пренебреженія, между тѣмъ какъ истинная мудрость, по Гёте, состоитъ не въ презрѣніи къ міру, а въ познаваніи его. Теперь Байрону казалось, что онъ изображаетъ людей точь въ точь такими, какими послѣдніе являются на дѣлѣ [1]), и поэтъ относился теперь къ міру не съ такимъ, какъ прежде, страстнымъ негодованіемъ и скорбію. Можно сказать даже, что поэмою о Донъ Жуанѣ, выразившею весьма ярко ту особенность Байронова генія, которую Тэнъ назвалъ «sombre manie belliqueuse", закончились [2]) исканія этой мятежной душой въ размышленіи о себѣ и о другихъ и изученіи жизни въ современномъ и ближайшемъ обществѣ отвѣта на вѣчные запросы человѣческаго духа. Выработался окончательный, болѣе примирительный, чѣмъ прежде, но все же весьма мало утѣшительный отвѣтъ на вопросы бытія.

Въ промежуткахъ между выходами въ свѣтъ отдѣльныхъ частей „Донъ Жуана" Байрономъ были написаны другія произведенія, дававшія такой же отвѣтъ и еще болѣе поразившія современниковъ. Но отчаяніе и глубокій трагизмъ „Манфреда"—по выраженію самого Байрона, произведенія „дикаго метафизическаго типа", душевный разладъ, титанство, идущій въ разрѣзъ съ установленною религіею и зовущій къ борьбѣ протестъ Каина, недаромъ вступившаго въ общеніе съ Люциферомъ, не могущаго примириться со зломъ въ мірѣ и не желающаго покланяться Богу, поставившему человѣка въ невыносимыя условія жизни и сдѣлавшаго его прахомъ, отпаденіе отъ Бога духовъ „Неба и земли",—всѣ эти мотивы получили новую, не разъ совершенно иную (нерѣдко комическую) параллель въ „Донъ Жуанѣ". Здѣсь нарисована полная безотрадности натуралистическая картина свѣта и людей. Главное дѣйствующее лицо отлично отъ другихъ Байроновыхъ героевъ. Оно почти лишено всякаго романическаго ореола. Сначала совсѣмъ нетвердо стоящій на ногахъ мальчишка, непрерывно съ юныхъ лѣтъ блуждающій по широкому свѣту и испытывающій множество неожиданныхъ, часто потѣшныхъ приключеній, горячій и необузданный Донъ Жуанъ, хотя отваженъ и исполненъ благородныхъ порывовъ, не выказываетъ крѣпкой воли [1]), а напротивъ плыветъ по теченію, отдаваясь своему необузданному темпераменту вопреки лучшимъ задаткамъ, присущимъ его душѣ, и попадаетъ всякій разъ въ новыя ловушки, изъ которыхъ самъ не умѣетъ выпутаться. Онъ почти всюду раздѣляетъ пороки общества, въ которомъ вращается, и въ то же время выказываетъ пренебреженіе къ нему и заявляетъ себя безпощаднымъ цинизмомъ. Въ отличіе отъ большинства прежнихъ произведеній Байрона, стоявшихъ болѣе или менѣе далеко отъ ближайшей современности, изображавшихъ сравнительно узкій кругъ эмоцій и менѣе всего реалистическихъ,

[1]) D. J., VII, 7; VIII, 89.

[2]) Байронъ занимался этой поэмой съ лѣта 1818 г., въ сентябрѣ котораго была закончена 1-я пѣсня «Донъ Жуана», до конца своей жизни. Говорятъ, что поэтъ продолжалъ работать надъ этимъ произведеніемъ еще въ Аргостоли на островѣ Кефалоніи до отъѣзда въ Мессолонги, но мы не имѣемъ подтвержденія извѣстія о томъ. Недавно изданное начало XVII-й пѣсни, за которое Байронъ принялся въ Италіи 8-го мая 1823 г. и на которомъ, сколько извѣстно, оборвалась нить повѣствованія, было найдено спутникомъ и сподвижникомъ Байрона въ Греціи Трелони послѣ смерти поэта въ Мессолонги. См. Poetical Works of Lord Byron, vol. VI, p. 608.

[1]) 1, 185: His temper notb eing under great command... Ср. XVII, 12. Въ концѣ XVI-й пѣсни Донъ Жуанъ очутился въ положеніи, которое давало ему возможность выказать твердость характера; восторжествовала однако необузданность.

въ поэмѣ о Донъ Жуанѣ находимъ уже рядъ бытовыхъ картинъ, обращеніе къ простымъ явленіямъ жизни, непосредственное соприкосновеніе поэта съ весьма многими сторонами современности и дѣйствительности, съ радостями и горестями жизни, съ соціальнымъ и политическимъ строемъ. При этомъ Байронъ, со свойственнымъ ему субъективизмомъ, откровенно и ничѣмъ не стѣсняясь, говоритъ всему свѣту и въ особенности своимъ соотечественникамъ, что̀ онъ думаетъ о нихъ. Крайній, непримиримый индивидуализмъ поэта, ополчавшійся противъ нравовъ и условностей современнаго ему европейскаго общества, сказался преимущественно въ многочисленныхъ выходкахъ и замѣчаніяхъ по поводу излагаемыхъ имъ внѣшнихъ фактовъ исторіи Донъ Жуана. Такимъ образомъ нѣтъ замѣтной внутренней связи въ поэмѣ, а есть внѣшнее сцѣпленіе. Рядъ всевозможныхъ картинъ и размышленій сосредоточивается около личности героя повѣствованія, который является связующимъ звеномъ характеристикъ и эпизодовъ. Въ этомъ отношеніи построеніе „Донъ Жуана“ являлось до извѣстной степени повтореніемъ пріемовъ поэмы о Чайльдъ-Гарольдѣ, въ особенности IV-й пѣсни послѣдней, гдѣ личность самого поэта заявляетъ себя постояннымъ вторженіемъ въ ходъ повѣствованія. Байронъ при этомъ имѣлъ въ виду не столько обрисовку самого Жуана, сколько предвзятое изображеніе лицъ, съ которыми соприкасался послѣдній, между прочимъ—и участницъ его любовныхъ приключеній. И за веселымъ и шутливымъ тономъ „Донъ Жуана“ скрывалась прежняя тоска поэта, недовольство міромъ и протестъ „печальнѣйшаго изъ людей“, какъ назвала однажды Байрона его жена, противъ устоевъ общественной и политической жизни, стѣснявшихъ свободное развитіе личности. За Донъ Жуаномъ, какъ и за другими героями Байрона, скрывался въ этомъ протестѣ самъ поэтъ, но--поэтъ, уже понаблюдавшій, пережившій и передумавшій весьма многое, познавшій свѣтъ, людей и себя, насколько то было возможно для его чрезмѣрнаго субъективизма и стремительнаго, страстнаго и пламеннаго темперамента.

Какъ увидимъ, Байронъ можетъ быть сближаемъ съ Донъ Жуаномъ менѣе, чѣмъ съ другими героями его творчества, но онъ не напрасно называлъ Донъ Жуана своимъ другомъ. Донъ Жуанъ Байрона—не беззаботный повѣса и грѣшникъ времени Возрожденія, какимъ являлся испанскій прототипъ этой личности и отчасти Мольеровскій снимокъ ея. Нѣтъ, это герой, также выношенный въ душѣ самого поэта, взлелѣянный ея болѣзненною чувствительностью, скорбнымъ скептицизмомъ, и вмѣстѣ сынъ своего времени, англійскаго общества времени Георга III. Это былъ также отчасти двойникъ поэта, отражавшій отношеніе послѣдняго къ міру и испытывавшій ту самую глубокую моральную болѣзнь, которая снѣдала самого поэта и порождала взрывы его смѣха. Эта болѣзнь развилась въ Донъ Жуанѣ приблизительно такъ же, какъ и въ его поэтѣ. Повѣствуя о начальныхъ годахъ жизни своего героя, Байронъ какъ бы вновь переживалъ воспоминанія своего дѣтства и дни своей молодости; излагая приключенія Донъ Жуана, Байронъ передавалъ впечатлѣнія, какія производили на него самого люди различныхъ странъ Европы и прежде всего англійское общество начала XIX вѣка.

Приключенія во время путешествія по Испаніи, предпринятаго Байрономъ, когда ему былъ всего 21 годъ, могли послужить зерномъ, которое развилось впослѣдствіи въ эпосъ о Донъ Жуанѣ [1]). А необузданная жизнь Венеціи, вновь открывшая поэту глубокіе просвѣты въ сторону человѣческой чувственности, противорѣчій и извращеній человѣческой натуры, окончательно вызвала наружу задатки новаго реалистическаго направленія, издавна таившіеся въ Байронѣ. Они проскальзывали и раньше какъ въ его перепискѣ такъ и творчествѣ [2]), но теперь достигли большей силы въ поэтѣ параллельно серьезно-идеалистическому пошибу его творчества, наилучше выразившемуся въ „Чайльдъ-Гарольдѣ“.

Потому-то Байронъ и избралъ Донъ Жуана героемъ одного изъ самыхъ крупныхъ и зрѣлыхъ своихъ произведеній, начатаго въ Венеціи въ 1818 г. Въ этомъ произведеніи Байронъ хотѣлъ дать эпосъ новаго времени, равный по значенію Илліадѣ [3]).

---

[1]) Такую догадку высказалъ Hoops.

[2]) Указываютъ на «Англійскихъ Бардовъ и Шотландскихъ Обозрѣвателей», въ особенности на «Чортову Поѣздку» (1813), какъ на первоначальный эскизъ, зерно изъ котораго развился «Донъ Жуанъ» (Kraeger, Der Byronsche Heldentypus, Münch. 1898, 98—99; ср. у Веселовскаго, 86).

[3]) Подъ конецъ Байронъ называлъ свое произведеніе «эпической сатирой» (D. J., XIV, 99), «безсвязными стихами» импровизатора (XV, 20). См. еще VIII, 138.

Канву Байронову эпосу доставило не оригинальное изобрѣтеніе, а заимствованіе изъ сказанія о любовныхъ приключеніяхъ знаменитаго испанскаго обольстителя Донъ Жуана. Поэтъ хотѣлъ въ общемъ слѣдовать этой фабулѣ до конца. Онъ обѣщалъ [1]) изобразить и конечную катастрофу съ Донъ Жуаномъ, о которой повѣствовало вѣковое преданіе, пріурочивавшее конецъ Донъ Жуана къ мести статуи убитаго имъ отца одной изъ его жертвъ. Очевидно, по первоначальному плану Байрона, Донъ Жуанъ, совершивъ круговое путешествіе, долженъ былъ изъ Англіи возвратиться въ Испанію и тамъ окончить свои дни.

Типъ легкомысленнаго, ненасытнаго и увлекательнаго обольстителя Донъ Жуана [2]), отличающагося необычайнымъ и утонченнымъ развитіемъ чувства, избыткомъ фантазіи, скептическимъ отношеніемъ къ догмамъ, цинизмомъ, отдающагося по преимуществу чувственнымъ удовольствіямъ, слагался издавна [3]), но окончательно выработался въ мірѣ романскихъ народностей Европы [4]). Онъ намѣчался, подобно второстепеннымъ элементамъ, вошедшимъ въ легенду о немъ [5]), уже въ средніе вѣка [1]) и во всякомъ случаѣ вызрѣвалъ, — быть можетъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ дѣйствительно существовавшихъ личностей, въ творческомъ представленіи корсиканцевъ и испанцевъ [2]) уже до той поры, какъ его художественно очертилъ, не позднѣе 1630 г., и вывелъ на театральныхъ подмосткахъ авторъ испанской піесы о Донъ Жуанѣ, носящей заглавіе „El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra“ [3]). Къ сожалѣнію, вопросъ объ источникахъ этого перваго драматическаго произведенія о Донъ Жуанѣ остается доселѣ не вполнѣ порѣшеннымъ.

Выведенный въ этой драмѣ севильскій гордый и необузданный грѣшникъ, безсовѣстный похотливецъ, питающій любовь къ самому себѣ и издѣвающійся надъ жертвами своей страсти, презираетъ мораль и добродѣтель, но еще не атеистъ [4]). Онъ только отлагаетъ покаяніе въ грѣхахъ, потому что для того „есть еще время“. Онъ жестоко ошибся, надѣясь избѣжать Божія наказанія, и подумалъ о раскаяніи и потребовалъ священника, когда было уже поздно. Этотъ испанскій гидальго, любящій удивлять своимъ мужествомъ, блестящій, смѣлый и предпріимчивый герой оканчиваетъ жизнь трагически, какъ титанъ грѣха плоти, въ духѣ испанскаго мистицизма и глубокой вѣры въ Божіе правосудіе. Онъ выказалъ себя настоящимъ испанцемъ своего времени и созданіемъ испанской культуры.

Но этотъ испанскій Донъ Жуанъ заключалъ въ своей личности столько общечеловѣческаго содержанія, что мало по малу уже съ XVII в. сталъ привлекательнымъ сюжетомъ для художественнаго творчества многихъ странъ и не перестаетъ увлекать до нашихъ дней. Этотъ типъ

---

[1]) D. J., I, 200: обѣщаніе дать со временемъ
A panoramic view of Hell's in training.
См. однако заявленіе Байрона въ письмѣ къ Murray (16 февраля 1821 г.), что онъ намѣревался заставить Донъ Жуана совершить туръ по Европѣ и окончить свои дни во время французской революціи. Дальнѣйшую выдержку изъ этого письма см. ниже въ текстѣ.

[2]) Литературу саги о Донъ Жуанѣ см. въ ст. *J. Bolte*, Der Ursprung der Don Juan Sage въ Ztschr. f. Vgl. Litt. Gesch. N. F., XIII., Heft. 4 u. 5, 374 и 375, въ ст. *A. Farinelli*, Cuatro palabras sobre Don Juan y la literatura Donjuanesca del porvenir (Homenaje á Menéndez y Pelayo, I, Madrid 1899, 206 п слѣд.) и въ книжкѣ *A. Steiger*, Thomas Shadwell's «Libertine». A Complementary Study to the Don Juan-literature, Berne 1904. Эти указанія можно бы еще пополнить. Новѣйшій этюдъ - *O. Fischer* Don Juan und Leontius — въ Studien z. vergl. Lit.-Gesch., V, 2 (1905).

[3]) *A. de Gubernatis* усматривалъ прототипъ Донъ Жуана въ народной индоевропейской повѣсти объ Иванѣ безстрашномъ. Мотивъ мщенія статуи оскорбленнаго мертваго указываютъ уже въ древне-греческой легендѣ о статуѣ Митиса (см. у Bolte 398), но тамъ мы встрѣчаемъ лишь одинъ изъ элементовъ, изъ которыхъ сложилась позднѣйшая сага о Донъ Жуанѣ.

[4]) *Farinelli*, Don Giovanni, въ Giorn. stor. d.letter. italiana, vol. XXVII (1896), 2, назвалъ Донъ Жуана южнымъ братомъ сѣвернаго Фауста. Въ дальнѣйшемъ (см. выше) этюдѣ онъ не разъ считаетъ Донъ Жуана родственнымъ Фаусту и приписываетъ легендѣ о первомъ такое-же міровое глубокое и символическое значеніе, какъ и сказанію о Фаустѣ.

[5]) Farinelli, Cuatro palabras. 214 - 215; Fischer; 243 fgde.

---

[1]) *Scheffler*, Die französische Volksdichtung und Sage, I, Leipz. 1883, 140 - 141—о баронѣ de Castera Гасконской пѣсни.

[2]) О томъ, что легенда о Донъ Жуанѣ не чисто испанскаго происхожденія и о найденной на островѣ Корсикѣ старинной версіи Донъ Жуановской легенды было недавно сообщено въ журналѣ «La Revue d'Europe».

[3]) Прежде авторомъ этой піесы считался Тирсо де Молина, какъ именовалъ себя для публики благочестивый авторъ монахъ, дѣйствительное имя котораго было Габріель Теллецъ. Теперь нѣкоторые ученые (Farinelli, Baist) отрицаютъ принадлежность драмы El Burlador Теллецу.

[4]) Въ Испаніи, впрочемъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, и въ Италіи, существовали піесы о Донъ Жуанѣ, именовавшія послѣдняго атеистомъ: El ateista fulminado, Atheista fulminato.

привлекъ вниманіе такихъ художниковъ, какъ Мольеръ, Гольдони, Моцартъ, Байронъ, Пушкинъ, Ленау, А. Толстой, Зорилья и др., проникъ также въ народную словесность, словомъ сталъ соперничать въ популярности съ Фаустомъ.

Испанскіе артисты занесли піесу о Донъ Жуанѣ въ Италію [1]), и тамъ изъ auto sacro, къ которому приближалась въ „El Burlador de Sevilla“, она превратилась въ арлекинаду, стала commedia dell'arte, а затѣмъ фигура Донъ Жуана, благодаря итальянскимъ комедіантамъ появилась на подмосткахъ Парижскихъ театровъ. Тамъ она такъ увлекала зрителей, что вызвала нѣсколько оригинальныхъ французскихъ пьесъ. Между прочимъ вслѣдъ за двумя другими драматургами величайшій французскій писатель комедій Мольеръ избралъ Донъ Жуана героемъ своей піесы „Dom Juan, ou le Festin de Pierre“, 1665), привнесши въ этотъ традиціонный образъ черты столь презираемаго великимъ драматургомъ вельможи Версальскаго двора Людовика XIV. Мольеръ надѣлилъ Донъ Жуана изяществомъ, искусствомъ „perdre des femmes, tenir l'épée ferme, ne pas payer ses dettes“ и сдѣлалъ его настоящимъ атеистомъ, между тѣмъ какъ прежде Донъ Жуанъ былъ лишь легкомысленнымъ и поверхностнымъ христіаниномъ. Руководясь моральною тенденціею, Мольеръ, слѣдовательно, сдѣлалъ шагъ дальше въ сторону антипатичнаго изображенія этой личности въ духѣ параллельной саги о богохульствующемъ вольнодумцѣ Леонтіи, отрѣшивъ Донъ Жуана отъ вульгарности итальянскихъ обработокъ, а также и отъ иныхъ изъ тѣхъ симпатичныхъ качествъ, которыя были хотя въ нѣкоторой степени присущи испанскому первообразу. Мольеровскій grand seigneur méchant homme чувствуетъ особое наслажденіе побѣждать сердца намѣченныхъ имъ красавицъ и доводить ихъ до желательнаго ему конца; въ этомъ конечная цѣль его стремленій.

Вообще, начиная съ итальянскихъ обработокъ сказанія о Донъ Жуанѣ послѣдній сдѣлался достояніемъ комедіи, не взирая на трагическій характеръ его исторіи. Пьеса Мольера послужила исходнымъ пунктомъ для цѣлаго ряда дальнѣйшихъ изображеній Донъ Жуана. Писавшіе вскорѣ послѣ Мольера Rosimond и Shadwell представили Донъ Жуана философствующимъ libertin'омъ XVII-го вѣка, т. е. вольнодумцемъ, атеистомъ и изящнымъ кавалеромъ.

[1]) Тамъ, вѣроятно, была уже въ ходу аналогичная пьеса о Леонтіи, котораго изслѣдователи считаютъ двойникомъ либо прототипомъ Донъ Жуана.

Великій Зальцбургскій артистъ Моцартъ, либретто для оперы котораго „Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni“ написалъ италіанскій аббатъ Da Ponte, напротивъ, подвинулъ творческій замыселъ, связанный съ личностью Донъ Жуана, въ противоположную сторону—болѣе благосклоннаго изображенія этого героя. То было неизбѣжно, разъ Донъ Жуанъ сталъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ лирическо-музыкальной драмы, какою являлась опера Моцарта. Къ такому изображенію вполнѣ подходилъ музыкальный характеръ „Донъ Жуана“.

Со времени появленія этой „оперы оперъ“ „музыкальнаго Шекспира“, какъ назвали Моцарта, начался новый періодъ въ исторіи существованія Донъ Жуана въ творчествѣ. Понятый съ болѣе привлекательной стороны — въ Фаустовскомъ смыслѣ постояннаго искателя - идеалиста, этотъ типъ, какъ весьма *драматичный*, не сходитъ вплоть до нашихъ дней со своего пьедестала и вызываетъ все новыя и новыя усилія поднять его выше и сдѣлать привлекательнѣе. Такъ Гофманъ въ 1814 г. понялъ Донъ Жуана какъ существо исключительное, какъ искателя идеала, какъ личность, гоняющуюся за „блаженствомъ любви“, отождествляемымъ съ божественнымъ и прочнымъ счастьемъ.

Байронъ въ своей комической поэмѣ занялъ срединное положеніе между этимъ идеализирующимъ направленіемъ въ пониманіи Донъ Жуана и Мольеровскимъ комическимъ изображеніемъ его, быть можетъ — отдавая себѣ строгій отчетъ въ томъ [1]). Въ любви Байроновскій Донъ Жуанъ, за исключеніемъ отношеній къ Доннѣ Юліи и въ особенности къ Гаидэ поддается порывамъ минуты. Онъ — не столько изящный гидальго, сколько надѣленный прекрасною наружностью, привле-

[1]) Байронъ, быть можетъ, видавшій Don Giovanni Моцарта, почти не ссылается на своихъ литературныхъ предшественниковъ въ обработкѣ сказанія о Донъ Жуанѣ (см. I, 203) и говоритъ лишь о народной пантомимѣ, которая была въ ходу въ Англіи, какъ и въ другихъ мѣстахъ. Объ англійской пантомимѣ, основанной на пьесѣ Shadwell'я см. Poetical. Works of Lord Byron, vol. VI, 1903, p XVI п 11, п. 2 Выдержку изъ статьи Кольриджа, характеризовавшую Донъ Жуана на подобіе Чайльдъ Гарольда или самого Байрона и могшую служить исходнымъ пунктомъ послѣдняго, см. тамъ же p. XVII—XVIII п 4, п. 1.

кательный сорви-голова, авантюристъ и насмѣшникъ, всюду отлично прилаживающійся къ окружающей обстановкѣ. Его побѣды объясняются такъ въ поэмѣ Байрона:

Мой вѣтреный герой, какъ всѣ герои,
Былъ знатенъ, юнъ, любовь вселялъ въ сердцахъ;
Понятно, что не могъ онъ быть въ покоѣ
Оставленъ [1].

Это былъ легкомысленный эпикуреецъ и вмѣстѣ мимовольный сердцеѣдъ, отличительная черта котораго—добродушіе. Но поэтъ такъ оправдываетъ легкомысліе своего героя въ любовныхъ увлеченіяхъ почти въ самомъ началѣ, сейчасъ же послѣ разлуки его съ предметомъ первой любви:

Но Джулію ужель могъ позабыть
Такъ скоро Донъ Жуанъ? Я въ затрудненьѣ
Вопросомъ тѣмъ поставленъ. Вы винить
Во всемъ должны луну, что безъ сомнѣнья
Всегда готова въ грѣхъ вводить;
А иначе найти ли объясненье
Тому, что предъ кумиромъ новымъ пасть
Всегда мы рады, прежнихъ свергнувъ власть!

Но я непостоянства врагъ заклятый;
Мнѣ жалки тѣ, что только чтутъ законъ
Своей мечты игривой и крылатой;
Я жъ вѣрности воздвигнулъ въ сердцѣ тронъ,
И мнѣ ея велѣнья только святы;
Однако я вчера былъ потрясенъ
Нежданной встрѣчей: обмеръ я отъ взгляда
Миланской феи въ вихрѣ маскарада.

Но мудрость мнѣ шепнула: «твердымъ будь!
Измѣну не оставлю безъ протеста»...

И я ей внялъ. Окончу разсужденье:
То чувство, что невѣрностью зовутъ,
Есть только дань восторговъ и хваленья,
Что красотѣ всѣ смертные несутъ,
Къ ней чувствуя невольное влеченье.
Такъ скульптора насъ восхищаетъ трудъ!
Пусть насъ хулятъ—объ этомъ мы не тужимъ:
Служа красѣ, мы идеалу служимъ [2].

Немного далѣе поэтъ уподобляетъ измѣнчивость сердца перемѣнчивости неба:

Какъ съ небомъ сердце наше схоже! Также въ немъ,
Какъ въ небесахъ, порой бушуютъ грозы,
Неся съ собою холодъ, мракъ и громъ [1]),

и ту же мысль повторяетъ и къ концу поэмы:

Зародыши измѣнъ въ себѣ несетъ
Любовь, вселяясь въ насъ. Понятно это:
Тѣмъ къ холоду быстрѣе переходъ,
Чѣмъ пламеннѣй любовью грудь согрѣта;
Сама природа въ томъ примѣръ даетъ:
Всегда ль сіяньемъ молніи одѣта
Лазоревая высь [2])?

Мы находимъ здѣсь въ шутливой оболочкѣ два основные тезиса, которыми Байронъ извинялъ легкомысліе въ любви своего героя, а въ сущности и свое. Другіе доводы въ защиту поведенія Донъ Жуана лишь примыкаютъ къ этимъ и являются ихъ варіаціями.

Оставимъ въ сторонѣ ссылки на природу и обратимся къ прямому выраженію взгляда на любовь, развиваемаго Байрономъ въ разсматриваемой поэмѣ.

По словамъ Байрона, и непостоянная любовь не что иное, какъ должное удивленіе передъ красотою, которою надѣляетъ природа; этотъ родъ обожанія реальнаго предмета есть лишь возвеличеніе прекраснаго идеала, воспріятіе прекраснаго, утонченное расширеніе нашихъ способностей, платоническихъ, универсальныхъ, чудесныхъ, воспринятыхъ съ небесъ; чувственная примѣсь при этомъ незначительна и лишь намекаетъ на то, что плоть составлена изъ огненнаго праха [3]).

Понятно при такомъ воззрѣніи увѣреніе поэта, что

Жуанъ душой былъ чуждъ всего дурного;
Въ любви, какъ на войнѣ, его вели
Чистѣйшія намѣренья. Вотъ слово,
Что люди, какъ оплотъ, изобрѣли [4]).

Но, конечно, врядъ ли можно принимать серьезно заявленіе поэта о Донъ Жуанѣ, что

. . . . . хоть онъ порой грѣшилъ,
Поддаться искушеніямъ готовый,
Но платонизмъ былъ чувствъ его основой [5]),

[1]) D. J., XI, 74. См. еще XV, 72 и 74 и XI, 47 и слѣд. Въ приведенной выдержкѣ, какъ и въ послѣдующихъ, пользуемся переводомъ П. А. Козлова, несмотря на недостаточную точность его во многихъ мѣстахъ.

[2]) II, 208—211. Ср. I, 62—63 и 102. Прозаическій переводъ 211-й строфы см. у А. Н. Гилярова, стр.132, и въ статьѣ г. Смирнова, Подъ знаменемъ науки, 687.

[1]) II, 214.

[2]) XIV, 94.

[3]) II, 211—212; прозаическій переводъ см. у А. Н. Гилярова, стр. 132.

[4]) VIII, 25.

[5]) X, 54. Байронъ, впрочемъ, говорилъ и о о себѣ (Чайльдъ Гарольдъ, IV), что въ глубинѣ сердца у него былъ Платонъ. О Платонѣ—I, 116.

да еще вдобавокъ „чистѣйшій“. Болѣе правдоподобно замѣчаніе поэта о любви Донъ Жуана и Гаидэ, что она была неизмѣнна въ радостяхъ, не знавшихъ пресыщенья, потому что души ихъ поднимались, никогда не будучи связываемы одною чувственностью; и то, что наиболѣе губитъ любовь,—обладаніе—у нихъ послѣ каждой ласки становилось милѣе [1]). Проведши своего героя черезъ нѣсколько пикантныхъ приключеній, далеко не платоническаго свойства, Байронъ опять говоритъ, что въ Донъ Жуанѣ обновились чувства, утраченныя имъ, либо очерствѣвшія въ послѣднее время:

Аврора воскресила въ немъ страданья
Минувшихъ дней; но дѣвственно чиста
Была такая страсть, что воплощала
Въ себѣ святую жажду идеала.

Такое чувство—свѣтлая любовь
Къ прекрасному, желанье лучшей доли;
Съ надеждой насъ оно сродняетъ вновь;
Съ нимъ жалокъ свѣтъ [2]).

Байронъ опять называетъ эти чувства Донъ Жуана божественными, потому что въ основѣ ихъ была любовь къ предметамъ высшимъ и къ лучшимъ днямъ. Вотъ какъ надо понимать платонизмъ Донъ Жуановой любви по Байрону. То было увлеченіе женской красотой съ эстетической точки зрѣнія:

Предъ красотой склонялся онъ ревниво
И даже въ часъ молитвы отъ Мадоннъ
Не отводилъ очей, любуясь ими
И не мирясь съ угрюмыми святыми [3]).

И этотъ платонизмъ не мѣшалъ совсѣмъ неплатоническимъ отношеніямъ. Полюбивъ Аврору, Донъ Жуанъ, тѣмъ не менѣе, врядъ ли памятовалъ о ней во время ночной встрѣчи съ герцогиней, послѣ чего на утро явился съ невиннымъ видомъ [4]).

Изъ всего этого можно вывести, что Донъ Жуанъ представленъ у Байрона человѣкомъ, чистосердечно увлекающимся, дѣйствующимъ постоянно съ увлеченіемъ, присущимъ молодости, а только молодости свойственны по Байрону романтическія чувства [5]), къ которымъ принадлежитъ и

[1]) IV, 16.
[2]) XVI, 107-108.
[3]) II, 149: ... Woman's face was never formed
in vain
For Juan.
[4]) XVII, 13: with his virgin face. Cp. XV, 28: he had an air of innocence, и VI, 73.
[5]) IV, 18.

любовь Донъ Жуана. Байронъ надѣлилъ послѣдняго способностью искренно любить, но глубины чувства не видно при этомъ, и любовь Донъ Жуана у Байрона поверхностна и мимолетна. Пушкинскій Донъ Жуанъ стоитъ въ этомъ отношеніи выше Байроновскаго. По Байрону, „кто любитъ—безумствуетъ“. Любовь—метеоръ подобно другимъ; идолы любви въ большинствѣ случаевъ съ теченіемъ времени отрѣшаются отъ чаръ. Если же любовь не безуміе, то—суета и себялюбіе отъ начала до конца [1]). Любовь Донъ Жуана — безуміе въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ ее Байронъ. Подобно Гофману и Байронъ говоритъ о „блаженствѣ чувствъ“, какое испытывалъ Донъ-Жуанъ въ любви. Въ ней можно узнать рай на землѣ, какъ то показываетъ примѣръ Гаидэ и Донъ Жуана [2]). Любовь—все, что оставила Ева своимъ дочерямъ послѣ изгнанія изъ рая [3]).

Такимъ образомъ, Байронъ отнесся весьма мягко къ поведенію Донъ Жуана, мало отличая идеализмъ отъ реализма въ любви [4]).

Было не мало основаній для такого нѣсколько обезцвѣчивающаго представленія Донъ Жуана подъ перомъ Байрона.

Вѣдь даже испанскій Донъ Жуанъ, въ ультракатолической Испаніи небрегшій о томъ свѣтѣ и искавшій наслажденій въ жизни настоящей, заключалъ въ себѣ столько элементовъ вольнодумнаго человѣка новаго времени, котораго хотѣлъ изобразить своею личностью, жизнью и творчествомъ Байронъ! Сверхъ того поэтъ долженъ былъ такъ снисходительно относиться къ проступкамъ, вызываемымъ страстью, какъ выраженіемъ природы, и являющимся въ то же время вызовомъ, бросаемымъ въ лицо обществу, руководящемуся предразсудками лицемѣрной добродѣтели! Байронъ, какъ и Донъ Жуанъ, всю жизнь жаждалъ и искалъ любви [5]) и относился довольно легко къ любовнымъ связямъ, какъ то показываютъ хотя бы его отношенія къ Дж. Клермонтъ. Понятно, что Донъ Жуанъ явился у Байрона родовитымъ, милымъ, искренно влю-

[1]) Ch. Har, IV, 123 и слѣд. D. J., VII, 1; IX, 73.
[2]) II, 193 и слѣд.
[3]) II, 189.
[4]) Самъ поэтъ (X, 20) заявилъ, что «real or ideal,—both are much the same»; ср. XVI, 107:
... feelings which, perhaps ideal,
Are so divine, that I must deem them real.
[5]) Ср. стихотвореніе, написанное Байрономъ незадолго до кончины, когда ему исполнилось 36 лѣтъ.

бленнымъ побѣдителемъ сердецъ, мало похожимъ на свой старый прототипъ искуснаго и рыцарственнаго обольстителя.

Изъ стараго сказанія были удержаны имя, знатность происхожденія, очаровательность [1]), да общія очертанія типа, принципіальное пренебреженіе къ общепризнанному нравственному закону и наклонность къ любовнымъ приключеніямъ. При этомъ искреннее и сильное увлеченіе послѣдними замѣчается лишь въ первыхъ четырехъ пѣсняхъ. Разлукой съ Гаидэ оканчиваются вполнѣ искреннія любовныя увлеченія Донъ Жуана.

У Байрона Донъ Жуанъ получилъ совсѣмъ новое назначеніе—быть либо прямымъ носителемъ, либо поводомъ къ выраженію нѣкоторыхъ изъ самыхъ излюбленныхъ идей своего автора. Главная задача поэмы Байрона заключалась не въ той или иной творческой обрисовкѣ личности Донъ Жуана, а въ сатиризмѣ, скептицизмѣ и пессимизмѣ, какіе можно связать съ разсказомъ о цѣломъ рядѣ разнообразныхъ приключеній Донъ Жуана. Въ этомъ отношеніи удобство рамки повѣствованія о Донъ Жуанѣ было весьма важно для поэта, который предположилъ заставить своего героя, не ограничиваясь Испаніею, много странствовать по свѣту [2]), между прочимъ и по Востоку, очаровывавшему Байрона въ годы его юности своею красотою и поэтичностью. Чувственность востока какъ нельзя болѣе подходила къ характеру Донъ Жуана.

Такъ, кажется, можно истолковать съ наибольшею правильностью знаменитый отзывъ Гёте о разсматриваемомъ произведеніи, какъ о самомъ безнравственномъ и, съ другой стороны, какъ объ эпосѣ безгранично геніальномъ [3]).

Критикою и провѣркою этого сужденія,

---

[1]) IX, 83:
Though modest, on his unembarrassed brow
Nature had written «Gentleman!» He said
Little, but to the purpose; and his manner
Flung hovering graces o'er him like a banner.

[2]) Байронъ подпалъ при этомъ вліянію Вольтеровскаго Кандида и вообще Вольтеровскихъ нападковъ на ложь и лицемѣріе, которыя были такъ ненавистны и Фернейскому отшельнику. Не остался Байронъ и безъ воздѣйствія Руссо. Указываютъ еще на книгу де-Монброна «Le cosmopolite ou le citoyen du monde» 1753, очень понравившуюся Байрону. Наконецъ, находятъ въ «Донъ Жуанѣ» послѣднюю формацію также дышащаго вольтеріанствомъ Гётевскаго Мефистофеля (Kraeger, Der Byronsche Heldentypus, Münch. 1898, 99).

[3]) «Das Unsittlichste was jemals die Dichtkunst hervorgebracht»; «ein grenzenlos geniales Werk».

думаю, можно исчерпать почти всѣ существенные вопросы, возникающіе при разсмотрѣніи поэмы Байрона о Донъ Жуанѣ.

Остановимся прежде всего на первой половинѣ сужденія Гёте, въ которой послѣдній сошелся съ большинствомъ современниковъ-соотечественниковъ Байрона [1]).

Обвиненіе ими поэмы Байрона о Донъ-Жуанѣ въ безнравственности вполнѣ понятно: оно объясняется рѣзкимъ отклоненіемъ поэта отъ англійской морали и его радикализмомъ [2]).

Къ такому отклоненію располагалъ уже самый сюжетъ поэмы, фривольный и чисто романскій [3]): нѣсколько предрасполагала и усвоенная Байрономъ романская манера эпическаго изложенія въ ottava rima [4]), впервые внесеннаго имъ въ обработку сказанія о Донъ-Жуанѣ, отливавшагося дотолѣ преимущественно въ драматическую форму. Недаромъ первыя пѣсни „Донъ-Жуана" были начаты въ разгульной Венеціи, городѣ, въ семейномъ бытѣ котораго играли такую видную роль „cavalieri serventi".

Съ такимъ характеромъ является поэзія Байрона уже въ начатой въ октябрѣ 1817 г. юмористической поэмѣ „Беппо". Байронъ, къ 1814-му, году уже довольно хорошо ознакомившійся съ итальянскою поэзіею и начавшій подпадать ея вліянію съ 1816 г. [5]), во время пребыванія въ Италіи много читалъ ея знаменитыхъ скептическихъ, насмѣшливыхъ и бурлескныхъ эпиковъ эпохи Возрожденія—Пульчи, Боярдо, Аріосто [6]) и Берни, и позднѣйшихъ (Касти)

---

[1]) См. IV, 7. Отзывы современной Байрону англійской критики были не разъ собираемы издателями его поэмы. Подруга Байрона, графиня Гвиччіоли, также была недовольна цинизмомъ «Донъ Жуана». Совсѣмъ иного мнѣнія былъ Шелли. Выслушавъ одну изъ пѣсенъ поэмы, Шелли писалъ: «она ставитъ его не только выше, но далеко выше всѣхъ современныхъ поэтовъ. Каждое слово носитъ отпечатокъ безсмертія». Вполнѣ благосклонно отнесся къ «Донъ Жуану» и Вальтеръ Скоттъ.

[2]) *Pughe*, Studien über Byron und Wordsworth, Heidelb. 1902, пришелъ, подобно нѣкоторымъ другимъ изслѣдователямъ, къ выводу, что на неблагопріятныя сужденія о Байронѣ въ Англіи вліяло полное соціальное преобразованіе, представителемъ котораго былъ Карлейль, и противоположное эстетическое теченіе, начатое Вордсвортомъ и Китсомъ.

[3]) Въ развитіи его англійской литературѣ принадлежитъ весьма малая доля участія: Steiger, Thomas Shadwell's «Libertine», 6—9.

[4]) IV, 6: To the kind reader of our sober dime
This way of writing will appear exotic.

[5]) См. *L. Fuhrmann*, Die Belesenheit d. jungen Byron, Friedenau bei Berl., 1903, S. 98. Прибавимъ Эразма.

[6]) О раннемъ знакомствѣ Байрона съ поэмою Аріосто см. тамъ же. 99. Защищаясь отъ нападковъ

и вслѣдъ за своимъ другомъ (J. H. Frere'омъ, авторомъ Whistlecraft) усвоилъ ихъ манеру небрежной, веселой и, казалось съ перваго взгляда, беззаботной ироніи, быстрыхъ переходовъ къ неожиданнымъ для читателя настроеніямъ, отъ трагическаго и возвышеннаго стиля къ комическому, отъ торжественности къ смѣху.

Поэма „Беппо" была небольшимъ и одностороннимъ опытомъ въ томъ родѣ творчества, въ которомъ крупнымъ созданіемъ явился „Донъ Жуанъ" [1]). Отсюда, изъ тѣхъ же литературныхъ пріемовъ скептическаго итальянскаго эпоса и изъ такъ называемой романтической ироніи, первостепеннымъ мастеромъ которой явился Байронъ[2]), проистекли особенности „вѣчно измѣняющагося стихотворенія" [3]) Байрона, частая смѣна тоновъ повѣствованія „De rebus cunctis et quibusdam aliis" [4]), неожиданныя замѣчанія, которыя кажутся будто диссонансами съ общимъ характеромъ извѣстнаго эпизода и поражаютъ своею неожиданностью [5]), но въ общемъ поддерживаютъ художественное единство тона. Такое же единство тона замѣчается и въ разговорѣ блестящаго собесѣдника о самыхъ разнородныхъ предметахъ. А Байронъ, по свидѣтельству его друзей, Шелли и Вальтеръ-Скотта, былъ именно самымъ восхитительнымъ собесѣдникомъ [1]). Какъ авторъ „Донъ Жуана", онъ выказываетъ тѣ же качества: онъ умѣетъ заинтересовывать читателя, переносить его въ извѣстное настроеніе и затѣмъ какъ бы обдавать его холодной водою; сюда же надо отнести неожиданныя сопоставленія разнородныхъ предметовъ съ цѣлью комическаго воздѣйствія. Все становится предметомъ насмѣшки:

Но все жъ свои оплакивать страданья,
И такъ какъ жизнь—лишь горестный обманъ,
Что можетъ привести въ негодованье,
И выставка пустая, то не грѣхъ
Дарить всему на свѣтѣ только смѣхъ [2]).

Очевидно, авторъ поэмы не преслѣдовалъ цѣли вполнѣ серьезнаго по тону и трогательнаго въ тѣхъ или иныхъ частностяхъ повѣствованія, и не въ одной лишь передачѣ таковыхъ усматривалъ смыслъ своего произведенія:

За отступленья сердится читатель
И осуждать меня за нихъ готовъ;
Но это мой обычай. Я—мечтатель,
Не признающій никакихъ оковъ;
Отмѣтивъ мысль, не спрашиваю, кстати ль
Я посвятилъ ей рядъ стиховъ;
Моя поэма—лишь мечты забава,
Что обо всемъ писать даетъ мнѣ право [3]).

Смыслъ поэмы Байрона заключался, главнымъ образомъ, въ скептицизмѣ и ироніи, наполняющихъ почти все произведеніе. Горизонтъ „Донъ Жуана" не шире Аріостовскаго, но контрасты, оттѣняющіеся на немъ, рѣзче, а иронія несравненно шире и охватываетъ не военные лишь подвиги и любовныя приключенія. Аріосто также безотрадно глядѣлъ на фантасмагорію

на «Донъ Жуана», Байронъ указывалъ въ своихъ письмахъ на примѣръ Аріосто, Пульчи и кромѣ того на Свифта, Раблэ и Вольтера. Но кромѣ сатиризма Свифта, реализмъ Байроновскаго «Донъ Жуана» имѣлъ и другихъ предшественниковъ въ англійской литературѣ какъ XVIII, такъ и XIX вѣка (Фильдингъ и Смоллетъ, Hookham). См J. Schmidt и Koeppel; Pughe, Studien etc. 136 ff, отмѣтилъ связи «Донъ Жуана» съ плутовскими романами и другими англійскими романами XVIII в., и указалъ, какъ Байронъ примыкалъ къ декламаторскому стилю и литературѣ разсудка и остроумія, культивированной Попомъ и его послѣдователями и ставившей своею задачею the enunciation of thoughts и критику жизни, что́ такъ удобно было осуществить въ комическомъ эпосѣ (см. S. 10—11). Самъ Байронъ приравнивалъ свою поэму къ Донъ Кихоту и Морганте. На Пульчи онъ указалъ въ IV, 6, на Берни—въ письмѣ къ Murray отъ 25 марта 1818 г.

[1]) Тожественность стиля и манеры обоихъ произведеній отмѣтилъ самъ Байронъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (19 сент. 1818); признавалъ ее и Шелли, нашедшій при этомъ, что «Донъ Жуанъ» «безконечно лучше».

[2]) Байрону подражалъ въ томъ Гейне. См. *E. Schalles*, Heines Verhältnis zu Shakespeare (Mit einem Anhang über Byron), Berl. 1904, S. 63.

[3]) VII, 2.

[4]) XVI, 3. См. еще VIII, 138:
Reader! ... You have now
Had sketches of Love—Tempest—Travel—
War.

[5]) Напр., во II-й пѣснѣ ужасныя картины кораблекрушенія и послѣдующей голодовки передаются шутливо и насмѣшливо, какъ самыя забавныя происшествія, сопровождаясь циничными сентенціями вродѣ слѣдующей (II. 34):
Всего вѣрнѣй религія и ромъ
Дарятъ душѣ покой.
О техникѣ «Донъ Жуана» см. у Kraeger'a, 100 fgdc

[1]) «Онъ веселъ, откровененъ и остроуменъ», писалъ Шелли. «Его болѣе серьезный разговоръ—своего рода упоеніе; люди охватываются имъ какъ бы въ силу чаръ».

[2]) VII, 2: To laugh at *all* things... IV, 4: I laugh at any mortal thing. Въ письмахъ Байрона читаемъ: «It is... meant to be a little quietly facetious upon every thing» (19 сент. 1818); «a work never intended to be serious» (12 авг. 1819).

[3]) См. еще III, 96 и сл. XIV, 7:
This narrative is not meant for narration;
But a mere airy and fantastic basis
To build up common things with common places.

міра и поражалъ неожиданностью картинъ въ изображеніи міра рыцарства, жившаго любовными грезами и проявлявшаго въ нихъ нерѣдко безуміе, несмотря на свою доблесть. Байронъ въ похожденіяхъ своего героя, совсѣмъ легкомысленнаго въ любви, съ ослѣпительнымъ остроуміемъ и съ еще болѣе поразительною неожиданностью размышленій и настроеній постоянно оттѣняетъ контрасты, представляющіе ему „рыцарей и дамъ", какихъ выдвинули новыя времена (XV, 25) въ мірѣ, пестромъ не менѣе Аріостова, и противорѣчія въ понятіяхъ о нравственности [1]). При этомъ романтически-субъективная иронія Байрона подобно Вольтеровской преисполнена не разъ презрѣнія и гнѣва [2]). Байронъ достигалъ въ ней эффектовъ, удивительныхъ при трудностяхъ, какіе, казалось бы, представляетъ англійскій языкъ для смѣлой игры звуками, образами, чувствованіями и настроеніями. Неожиданные переливы во всемъ этомъ у Байрона еще сильнѣе дѣйствуютъ, чѣмъ у Аріосто: Байронъ еще въ большей степени, чѣмъ Аріосто, обладалъ острымъ взоромъ, охватывавшимъ разныя стороны предметовъ, возвышенныя и комическія.

Такого рода способъ повѣствованія превосходно согласовался съ самымъ сюжетомъ —смѣною разнообразнѣйшихъ приключеній во время странствованій Донъ Жуана и сообщалъ болѣе невинный видъ фривольнымъ похожденіямъ послѣдняго. Въ то же время онъ выдвигалъ тѣмъ рельефнѣе соотвѣтственный приключеніямъ легкомысленный характеръ главнаго дѣйствующаго лица.

Герой поэмы „Донъ Жуанъ" какъ будто и съ самого начала былъ предназначенъ авторомъ для обрисовки легкомысленнаго, можно сказать, безпутнаго отношенія къ жизни. Называя Донъ Жуана самымъ безнравственнымъ поэтическимъ произведеніемъ, какое только зналъ, Гёте разумѣлъ не самыя по себѣ любовныя похожденія его героя, выходящія, конечно, изъ всякихъ предѣловъ, полагаемыхъ „нравственностью", а что-то другое. Вѣроятно Гёте имѣлъ въ виду, что чувственность Байронова Донъ Жуана не столь наивна, какъ у испанскаго Донъ Жуана, а сопряжена съ издѣвательствомъ. Она исходитъ подчасъ изъ безнравственности, возведенной въ принципъ, и изъ мрачно-скептическаго міровоззрѣнія, не имѣющаго никакихъ опоръ въ самомъ себѣ, а лишь идущаго въ разрѣзъ со сложившимся нравственнымъ міропорядкомъ, который признавалъ и Гёте несмотря на то, что также былъ не особенно строгъ въ любовныхъ похожденіяхъ.

Но и признавая все это, не слѣдуетъ впадать вотъ въ какую ошибку: хотя самъ Донъ Жуанъ безнравственъ, и описанія его любовныхъ приключеній иногда столь же циничны, какъ и самыя эти приключенія, съ нимъ нельзя всецѣло отождествлять автора, какъ отождествляли Байрона съ Чайльдъ Гарольдомъ и другими его героями. Донъ Жуанъ, разумѣется, нѣсколько напоминаетъ Байрона, это внѣ спора. Оба они—скитальцы вдали отъ родной земли и космополиты, пренебрежительно относящіеся къ морали родины. Но какъ міровую скорбь, воплощавшуюся въ герояхъ перваго періода дѣятельности Байрона, нельзя всецѣло усвоять самому поэту и надлежитъ удѣлять въ ней кое-что поэтическому преувеличенію, если желательно составить правильное понятіе о личности и воззрѣніяхъ Байрона, такъ надо кое-что убавить изъ фривольности Донъ Жуана, чтобы составить себѣ правильное понятіе объ авторѣ поэмы. Байронъ въ глубинѣ своего сердца и думъ не былъ такъ легкомысленъ, какъ то могло казаться и казалось инымъ на основаніи его похожденій. Ища безпрестанно любви и охватывая своею любовью весь полъ женщинъ (VI, 27), Байронъ столь же интенсивно жилъ стремленіемъ къ справедливости, свободолюбивыми мечтами и порывами въ высь къ познанію истины. И хотя Байронъ замѣтилъ о своемъ героѣ, что его улыбка переходила въ язвительное зубоскальство, этого нельзя сказать о самомъ поэтѣ, несмотря на все его высокомѣріе, раздражительность и склонность язвить. Не слѣдуетъ, разумѣется, упускать изъ виду, что муза Байрона, какъ справедливо замѣчено [1]), отражала страсти души „по ту сторону добра и зла", далекія отъ всякой мѣры и самообладанія. Но для правильности сужденія, слѣдуетъ помнить, что Байронъ, былъ англичанинъ и ему слишкомъ хорошо была извѣстна истинная цѣна англійскаго морализированія. Англичане болѣе чѣмъ какой-либо другой изъ европейскихъ народовъ стоятъ за ригоризмъ въ религіи и морали, но кто больше ихъ повиненъ въ напускной pruderie и ханжествѣ [2]). По-

[1]) I, 167; XV, 87—88. Прозаическій переводъ послѣдней строфы см. у Гилярова 118.
[2]) Ср. XVI, 3.

[1]) Pughe, 45.
[2]) Ср. XI, 86.

зволяя себѣ втихомолку жить, какъ захочется, англичанинъ громогласно отстаиваетъ только консервативныя начала и формы. Потому и протестъ противъ такой условной „нравственности" долженъ былъ проявиться въ поэзіи гораздо рѣзче и страстнѣе, чѣмъ то было бы подъ перомъ поэта иной національности. Быть можетъ, и въ своей личной жизни Байронъ нарочно выставлялъ на видъ свое безпутство для оттѣненія контраста англійской лицемѣрной добродѣтели, какъ мы это видимъ, напр., въ мѣсяцы житья въ Венеціи, когда зародился „Донъ Жуанъ".

Обратимся теперь къ опредѣленію того, въ чемъ же состоитъ безграничная геніальность, которую Гёте находилъ въ поэмѣ о Донъ Жуанѣ?

Невольно приходитъ на мысль искать этой геніальности въ мастерской и глубокой ироніи поэмы. У Байрона получилась удивительно богатая содержаніемъ и проникающею послѣднее мыслью картина міра, охватывающая безконечныя видоизмѣненія жизни [1]). Въ силу этого иные называютъ поэму Байрона образцовымъ эпосомъ новаго времени [2]) въ противоположность эпосамъ древнему и новому. Но надо постоянно помнить, что поэма Байрона—въ значительной степени эпосъ субъективный и насмѣшливый. Иногда ее согрѣваетъ теплота и неподдѣльная сердечность, какъ мы это видимъ, напр., въ эпизодѣ съ Гаидэ, но еще чаще читателя поражаетъ иронія. Послѣдняя тѣмъ горьче, что основа ея—скептицизмъ философски-романтическаго субъективизма, основанный на противоположеніи *я*, мыслящаго и протестующаго субъекта, остальному міру *не я*; скептицизмъ, полный романтической печали и ужасающій своею безотрадностью, если въ него вдуматься поглубже, но съ перваго взгляда скрывающійся за легкостью тона.

Смѣюсь я надъ всѣмъ, чтобъ слезъ не лить, говоритъ поэтъ [3]). Дѣло въ томъ, что, изображая судьбу своего увлекающагося и легкомысленнаго героя, Байронъ съ большимъ искусствомъ по поводу ея перипетій постоянно поднимаетъ вѣковѣчные вопросы о жизни, смыслѣ наполняющихъ ее увлеченій, порядковъ, противорѣчій и находитъ неразрѣшимыми возникающіе при

[1]) XV, 19.
[2]) *H. C. Muller*, Lectures on the science of literature, first series, Haarlem 1904, 72 и слѣд.
[3]) IV, 4.

этомъ недоумѣнія и сомнѣнія. Здѣсь они сильнѣе, чѣмъ въ болѣе раннихъ произведеніяхъ Байрона, потому что исходятъ изъ болѣе или менѣе зрѣлой мысли поэта и введены въ широкую рамку человѣческой жизни вообще почти во всевозможныхъ ея проявленіяхъ. Такимъ образомъ, въ этой поэмѣ болѣе, чѣмъ во многихъ другихъ своихъ произведеніяхъ, Байронъ является, говоря его собственными словами, однимъ изъ пловцовъ по вѣчности:

> . . . . wanderers o'er Eternity
> Whose bark drives on and on, and anchor'd ne'er shall be [1]).

Они шли противъ вѣтра—

> Я также противъ вѣтра плылъ и волнъ;
> Бороться и донынѣ продолжаю;
> Про землю позабывъ, отваги полнъ,
> По океану вѣчности блуждаю;
> Средь грозныхъ волнъ плыветъ мой утлый челнъ,
> А бѣшенымъ валамъ не видно краю!

говоритъ поэтъ [2]) — „пилигримъ вѣчности", какъ назвалъ его Шелли въ 1821 г. Понимать эти образы и выраженія надо такъ, что Байронъ затрагивалъ въ рамкѣ похожденій своего героя основные вопросы жизни, долженствующіе интересовать всѣхъ и каждаго [3]). Поэтъ хвалится тѣмъ, что его яликъ

> . . . . Несясь впередъ, проходитъ тамъ,
> Гдѣ гибель бы грозила кораблямъ [4]).

Это произошло отъ того, что поэтъ ставитъ основные вопросы, но не рѣшаетъ ихъ и указываетъ, что мыслящему человѣку приходится постоянно оставаться съ неудовлетворенностью сомнѣнія. Въ разсматриваемой поэмѣ Байронъ приступалъ къ обзору и уясненію жизни преимущественно съ точки зрѣнія разсудочной критики, при чемъ въ немъ здѣсь сравнительно рѣдко говорила сердечность, скорбь объ участи человѣка, въ особенности—въ низшихъ сферахъ человѣческой жизни.

[1]) Child Harold, III, 70.
[2]) D. J, X, 3 4,
[3]) VI, 63: My tendency is to philosophise
On most things...
О фазисахъ мысли Байрона см. въ книжкѣ *J. O. E. Donner*, Lord Byrons Weltanschauung, Helsingfors 1897 (Acta societatis scientiarum Fennicae, t. XXII, № 4). Глава VII-я этой книжки посвящена позднѣйшему скептицизму Байрона—въ «Донъ Жуанѣ».
[4]) VI, 4.

Критика Байрона начиналась съ самоуничтоженія субъекта и признанія его ничтожества:

Какъ много есть вопросовъ безъ отвѣта!
Намъ не провѣдать тайны роковой.
Откуда мы, что скажетъ намъ могила?—
Вопросовъ тѣхъ неотразима сила [1]).

Тѣмъ таинственннѣе и неразрѣшимѣе вопросы о вѣчности [2]). Байронъ повторяетъ слова трагедіи о Гамлетѣ:

Зачѣмъ на свѣтѣ люди? Нѣтъ отвѣта;
Грядущее жъ темно [3]).

Въ виду настоятельности этихъ вопросовъ поэтъ ищетъ ихъ рѣшенія, но постоянно остается въ безпомощности. На нашу умственную дѣятельность такъ вліяетъ желудокъ [4]). Метафизическія рѣшенія не могутъ удовлетворить Байрона:

... бредни метафизики сходны
Съ лѣкарствами, что слабаго больного
Отъ злой чахотки вылѣчить должны,
А потому оставлю ихъ...
Другъ друга пожираютъ ихъ системы;
Такъ ѣлъ Сатурнъ дѣтей, какъ знаемъ всѣ мы [5]).

Не помогаетъ Байрону и психологія, потому что она не знаетъ, что такое наша душа и нашъ умъ [6]). Нашимъ чувствамъ нельзя довѣрять [7]). Единства личности нѣтъ [8]). Слѣдовательно, мы не можемъ почерпнуть увѣренности ни изъ великой природы, ни изъ собственной пучины мысли:

О, если бъ мы могли изъ нѣдръ природы
Иль изъ себя лучъ истины извлечь,
На правый путь вступили бы народы,
котораго ощущаютъ недостатокъ [9]).

Такъ что же такое дѣйствительность?

. . . . . Who has its clue?
Philosophy? No; she too much rejects.
Religion? *Yes*; but which of all her sects? [10])

Признаніе истины въ утвержденіяхъ религіи, хотя бы въ принципѣ, уже выводитъ изъ состоянія полной безпомощности. Такъ Байронъ, ставшій тогда пантеистомъ, какъ будто преодолѣвалъ иногда скептицизмъ и пессимизмъ и вполнѣ не чуждался религіозности, по крайней мѣрѣ религіи природы (natural piety) [1]), оставаясь отъявленнымъ врагомъ христіанства, какъ государственной религіи.

Но и помимо религіи и философскихъ системъ, можно пріобрѣсти кое-какую долю познанія, и Байронъ не одобряетъ скептицизма Сократа, утверждавшаго, что все наше знаніе сводится къ признанію того, что ничто не можетъ быть познано [3]). По крайней мѣрѣ, сомнѣваясь во всемъ, нельзя предаваться и отрицанью:

Тому, кто сомнѣвается во всемъ,
Предаться отрицанью невозможно [3]).
Такъ сбивчивы и шатки наши мнѣнья
Что сомнѣваться можно и въ сомнѣньѣ [4]).
Съ Пиррономъ мнѣ скитаться не съ руки;
По безднѣ мысли плавать безразсудно:
Опасности отъ бурь тамъ велики;
Нагрянетъ шквалъ - какъ разъ потонетъ судно;
Всѣ мудрецы—плохіе моряки;
Такъ плавать утомительно и трудно;
Не лучше ли пріютъ на берегу,
Гдѣ отдохнуть средь раковинъ могу? [5]).

Конечный выводъ тотъ, что все для насъ проблема [6]).

Наиболѣе вѣроятно наше познаніе лишь въ вопросѣ о смерти, но и въ утвержденіи о ней нельзя ручаться за полную достовѣрность и безошибочность:

. . . . можетъ быть и это станетъ ложно,
Коль вдругъ опора вѣчности блеснетъ.
Мы ужаса полны, на смерть взираемъ,
Однако жъ сну треть жизни посвящаемъ [7]).

Смерть именуется въ этой строфѣ „такъ

---

[1]) VI, 63: What are we? and whence came we? hat shall be etc.
[2]) X, 20; XI, 3 4.
[3]) XV, 99.
[4]) V, 32.
[5]) XI, 5; XII, 52; XII, 72.
[6]) VI, 23
[7]) XIV, 2.
[8]) XVII, 11.
[9]) XIV, 1.
[10]) XV, 89.

[1]) О Байроновой религіи природы см. въ книгѣ Pughe главу: Die Natur und Weltanschauung Byron's im Verhältnis zu derjenigen Wordsworth's und seiner Zeitgenossen, въ особенности стр. 73; см. затѣмъ 82—83.
[2]) См. VII, 5 и примѣчаніе у Donner'a, 129—130; ср. Poetical Works, 1899, II, 103, п. 2.
[3]) XV, 88. Ср. XIV, 3. For me, I know nought; nothing I deny, Admit-reject—contemn...
[4]) IX, 17.
[5]) IX, 18.
[6]) XVII, 13: I have the thing a problem, like all things.
[7]) XIV, 3: Death, so called, is a thing which makes men weep, And yet a third of Life is passed in sleep.

называемой". Поэтъ, слѣдовательно, не вѣрилъ въ то, что она—настоящая смерть; онъ не отличаетъ ея отъ жизни, потому что жизнь кажется ему иногда также смертью [1]). Смерть—какъ бы высшая ступень жизни: она открываетъ путь къ дѣйствительному познанію и истинному существованію [2]).

Существованіе же настоящее—„жизнь таинственнѣй загадки" —вызываетъ въ Байронѣ не мало горечи. Въ „Донъ Жуанѣ" постоянно проглядываетъ мысль, что все прекрасное на землѣ—какъ бы бредъ опьяненія, которое разрушается сомнѣніемъ.

Въ концѣ концовъ, счастливѣй тотъ, конечно,
Кто крѣпче спитъ, тоски не зная вѣчной [3]).

Какъ мышленіе есть сомнѣніе, такъ жизнь есть опьяненіе. По Байрону усматриваніе красы въ мірѣ—послѣдствіе своего рода упоенья:

Для мыслящихъ существъ въ винѣ есть сладость;
Даритъ намъ упоеніе оно,
Какъ слава, страсть, богатство. Жизнь не радость,
Коль поле жизни въ степь превращено.
Безъ радостныхъ утѣхъ безцвѣтна младость;
Итакъ, совѣтъ даю я пить вино,
Хоть голова болѣть съ похмелья можетъ
Но средство есть, что отъ того поможетъ [4]).

* * *

Вольтеръ намъ говоритъ, но это—шутка,
Что, лишь поѣвши, сладость свѣтлыхъ думъ
Вкушалъ Кандидъ. Вольтеръ неправъ: желудка
Не можетъ гнетъ не дѣйствовать на умъ;
Лишь тотъ, кто пьянъ, лишается разсудка [5]).

За каждымъ опьяненіемъ слѣдуетъ похмелье. Бракъ самое худшее похмелье.— „Король нами повелѣваетъ, врачъ насъ мучитъ, священникъ наставляетъ, и такъ наша жизнь даетъ немножко дыханія, любви, вина, честолюбія, славы, борьбы, благочестія, праха,—быть можетъ имени" [6]).

Смерть глядитъ на жизнь, которая въ лучшихъ своихъ отрадахъ является опьяненіемъ, и на мышленіе, которое есть вѣчное сомнѣніе,—и смѣется надъ ихъ безплодной гоньбой.

[1]) IX, 16: I sometimes think that Life is Death.
[2]) Cp. Pughe, 86 87.
[3]) IX, 15.
[4]) II, 179; ср. II, 169 и XVI86.
[5]) V, 31.
[6]) II, 4.

Байронъ доходитъ до грандіозности Шекспировской концепціи, внушая трезвое отношеніе къ жизни:

Смѣется смерть своимъ беззвучнымъ смѣхомъ,
И жизнь примѣръ съ нея должна бы брать;
Она могла бъ, служа ей вѣрнымъ эхомъ,
Всѣ призрачныя блага попирать,
Глумясь надъ славой, властью и успѣхомъ.
Ничтожества на насъ лежитъ печать.
Ничтожны мы, какъ капли въ бурномъ морѣ
Да и земля лишь атомъ въ звѣздномъ хорѣ [1])

Байронъ разоблачаетъ тщету славы, человѣческихъ надеждъ, любви. Правитъ ли разумъ міромъ? Сомнительно:

Запри весь міръ, но дай свободу тѣмъ,
Которые въ Бедламѣ. Будь увѣренъ,
Что все пойдетъ по старому затѣмъ;
Давно людьми ужъ здравый смыслъ потерянъ.
Будь свѣтъ уменъ, то̀ ясно было бъ всѣмъ;
Съ глупцами жъ въ споръ вступать я не намѣренъ [2]).

Мотивы людскихъ дѣяній въ большинствѣ случаевъ низменны: они кроются въ страстяхъ и той или иной подкупности [3]). Своими насмѣшливыми замѣчаніями о возвышеннѣйшихъ состояніяхъ и порывахъ человѣческаго духа Байронъ только усиливаетъ колоритъ реализма и натурализма, присущій всей поэмѣ. Люди—псы и даже хуже [4]). Міръ подвластенъ милліонамъ [5]). Не страсть, а злато царствуетъ надъ всѣмъ.

. . . . Мальтусъ научаетъ
Безъ денегъ женъ не брать. Любви Эдемъ
И тотъ металлъ презрѣнный созидаетъ [6]).

Однако Эдемъ Донъ Жуана въ идиллической исторіи любви послѣдняго и Гаидэ созданъ не тѣмъ. Но самъ поэтъ не вѣритъ собственному сердцу:

Я только сердцемъ жилъ, но безъ пощады
Его разбила жизнь. Прости любовь! [7]).

Вообще въ „Донъ Жуанѣ" Байронъ склонялся къ дуалистическому представленію о человѣческой природѣ и ея дисгармоніи.

[1]) IX, 13; I, 218—220; II, 199—200.
[2]) XIV, 84. Ср. о томъ, что люди не внемлютъ разуму, V, 48.
[3]) V, 25 и 27.
[4]) VII, 7.
[5]) XII, 5.
[6]) XII, 14.
[7]) I, 215: No more—no more—Oh! never more, my heart,
Canst thou be my sole world, my universe!

Пренебреженіе къ призрачнымъ благамъ, проповѣдуемое поэтомъ, не означаетъ отрицанія:

Хоть отъ него, порой, несносна боль,
Все жъ идеалъ — небесный алкоголь [1]).

Но небо есть вино, съ трудомъ переносимое нашимъ мозгомъ.

Столь много печальныхъ истинъ о преходимости міра и ничтожествѣ человѣческаго существованія и дѣйствованія повѣдалъ намъ Байронъ въ своей холодной анатоміи человѣка, безпощадно, съ полною искренностью и откровенностью разоблачающей всякія иллюзіи. Различно опредѣляютъ это міровоззрѣніе Байрона. Современникъ и противникъ Байрона, Соути назвалъ этого поэта главою „Сатанинской школы“ „людей больного сердца и развращеннаго воображенія, работающихъ надъ тѣмъ, чтобы сдѣлать и другихъ столь же несчастными, какъ они сами, заражая ихъ моральнымъ ядомъ, въѣдающимся въ душу“. Новѣйшіе изслѣдователи выражаются мягче. Они говорятъ, что Байронъ впалъ въ „фривольно-нигилистическое направленіе“ [2]), проникся „цинически-нигилистическимъ міропониманіемъ“, перерядился Мефистофелемъ [3]), что онъ дошелъ до „горькаго, даже циничнаго пессимизма“, что его міровоззрѣніе непрактично-пессимистично [4]), отличается нездоровымъ характеромъ и т. п. [5]).

Какъ бы ни относиться къ міровоззрѣнію, выражаемому „Донъ Жуаномъ“, нельзя не признать, что остроумно-шутливый тонъ скрашиваетъ многіе изъ парадоксовъ и чрезмѣрныхъ необузданностей поэта. Разлагающій анализъ поэта, благодаря сопровождающему его юмору, по временамъ убаюкиваетъ читателя, въ особенности—когда разсужденія поэта сливаются съ глубокимъ личнымъ чувствомъ. Говоря обо всемъ блестяще и остроумно, Байронъ выказалъ геніальное умѣнье ставить такъ сомнѣніе во всемъ, что исчезаетъ иногда и самое сомнѣніе [6]), и мы остаемся безъ прочнаго опорнаго пункта. Все быстро смѣняется, а быстрѣе всего проносятся чувствованія, настроенія и мысли поэта. Байронъ самъ въ концѣ концовъ приравниваетъ свои пѣсни къ дѣтской игрѣ [7]), но его игра чрезвычайно остроумно освѣщаетъ молніеносными проблесками непроглядную мглу жизни.

Такъ, подобно разростанію концепціи „Донъ-Кихота“, постепенно расширились объемъ, задача и смыслъ поэмы Байрона. Первоначально же она предназначалась быть только „a playful satire“—сатирой, въ области которой Байронъ также выказалъ себя первостепеннымъ мастеромъ, какъ то видно еще изъ „Видѣнія Суда“. „Я вознамѣрился, писалъ Байронъ 16 февраля 1821 г. къ своему издателю Murray'ю, сдѣлать Донъ Жуана Cavalier Servente въ Италіи, виновникомъ развода въ Англіи, а въ Германіи сентиментальнымъ человѣкомъ съ физіономіею Вертера, чтобы такимъ образомъ въ каждой изъ этихъ странъ выставить различныя смѣшныя стороны общества; (я хотѣлъ) постепенно, по мѣрѣ того какъ онъ становился старше, показать его gâté (испорченнымъ) и blasé (усталымъ), какъ то естественно. Я только не вполнѣ еще рѣшилъ, покончить ли съ нимъ въ аду, или же въ несчастномъ супружествѣ, не зная, что тяжелѣ“. Очевидно, Байронъ первоначально хотѣлъ дать длинный рядъ сатирическихъ картинъ, и Ю. Шмидтъ справедливо считалъ первую пѣсню, содержащую множество ядовитыхъ насмѣшекъ и намековъ на обстановку, окружавшую поэта въ Англіи, классическою въ этомъ смыслѣ по силѣ выдержанности тона, всецѣло соотвѣтствующаго содержанію. Сюжетъ, какой содержится въ этой пѣснѣ, уже нельзя было изложить болѣе пріятно, увлекательно и остроумно. Много мастерскихъ картинъ содержитъ и послѣдующее изложеніе, и Байрона справедливо называютъ Ювеналомъ XIX в.

Мало по малу первоначальная рамка поэмы разрослась, благодаря болѣе широкой идеѣ, введенной въ нее. Поэтъ задумалъ выставить на видъ сатирически и насмѣшливо всевозможныя стороны, странныя, противорѣчивыя и смѣшныя явленія новѣйшей культуры. Байронъ пожелалъ вразумить свое время и свой народъ, и началъ думать, что затѣянная имъ борьба противъ сложившихся воззрѣній послужитъ на „пользу человѣчеству“ [1]), выясняя извращенія основныхъ началъ жизни и нравственности, данныхъ природою [2]), истинною нашею ру-

[1]) XI.
[2]) Hoops, 78.
[3]) Kraeger, 98.
[4]) Zdziechowski, Byron i jego wiek, I, 131.
[5]) Pughe, 17.
[6]) См. выше, стр. 204, столбецъ 2, прим. 3 и 4.
[7]) XIV, 8.

[1]) XII, 39: My Muse by exhortation means to mend
All people, at all times, and in most places...
[2]) XV, 3; II., 191; ср. однако II, 75.

ководительницею. Искусственные обычаи и нравы [1])—созданіе людей и не должны имѣть руководящаго значенія, между тѣмъ какъ теперь наоборотъ: нравы создаютъ людей [2]). Благодаря этому, въ противоположность благамъ состоянія, близкаго къ природѣ, цивилизація надѣлила насъ своими „великими радостями", „милыми послѣдствіями разростанія общества", каковы война, жажда славы [3]) и т. п. Байронъ желалъ освѣщать (окрашивать) природой искусственные обычаи и возводить частное въ общее [4]). Ратуя за природу и преподнося современникамъ неприглядный образъ ихъ, Байронъ явился, несмотря на вольность, даже цинизмъ нѣкоторыхъ изъ нарисованныхъ имъ картинъ [5]), суровымъ моралистомъ, производившимъ сильное впечатлѣніе на современное ему общество, въ особенности на англичанъ, съ ужасомъ увидѣвшихъ язвительное изображеніе многихъ личностей и порядковъ. Такимъ образомъ, Байронъ примыкаетъ къ фалангѣ моралистовъ, издавна сообщившихъ особый отпечатокъ англійской литературѣ, отличаясь отъ нихъ методой. Подобно Боккаччіо, оправдывавшему Декамеронъ моральною задачей, и Schadwell'ю, и Байронъ (вопреки рѣзкимъ критикамъ) считалъ Донъ Жуана „самой моральной изъ всѣхъ поэмъ" [6]).

Высказано мнѣніе, что основная цѣль соціальной сатиры „Донъ Жуана"—„не въ глумленіи или ѣдкомъ цинизмѣ, а въ призывѣ къ терпимости, гуманности, справедливости". До извѣстной степени это вѣрно [7]), но, повидимому, Байронъ хотѣлъ выразить по преимуществу оппозицію новѣйшей мысли противъ всѣхъ консервативныхъ элементовъ общества [1]).

При этомъ многое въ воззрѣніяхъ и чувствованіяхъ автора „Донъ Жуана" напоминаетъ уже мрачный реализмъ и пессимизмъ Мопассана и концепцію позднѣйшаго періода дѣятельности послѣдняго, но въ душѣ Байрона на дѣлѣ еще не водворялся такой мракъ, какой находимъ въ „Sur l'eau" и „La vie errante" Мопассана.

Міръ полонъ зла и безотрадныхъ явленій въ мірѣ политической и соціальной, а равно и личной жизни, но есть въ немъ не мало и прекраснаго. Байронъ страстно любилъ это прекрасное въ жизни.

Первое мѣсто въ этомъ прекрасномъ занимаетъ природа, которая полна гармоніи [2]).

Какъ хороша природа! Сколько силы
И красоты во всѣхъ ея явленьяхъ!

говоритъ Манфредъ. И въ „Донъ Жуанѣ" находимъ такія же прелестныя картины великаго колориста, какъ и въ другихъ произведеніяхъ Байрона. Чудный гимнъ природѣ [3]), навѣянный знаменитой Дантовской картиной и свидѣтельствующій о религіозномъ, все еще нѣсколько пантеистическомъ, не

---

[1]) XV, 25.

[2]) XV, 26.

[3]) VIII, 68.

[4]) XV, 25: The difficulty lies in colouring
With Nature manners which are artificial,
And rend'ring general that which is especial.

[5]) См., напр., VIII, 130 — 132 — о вдовахъ и старыхъ дѣвахъ. Предыдущая редакція этихъ строфъ — въ «Чертовой поѣздкѣ» ср. замѣчаніе въ The Athenaeum 1904, № 3995. Вслѣдствіе такого рода подробностей отчасти «Донъ Жуанъ» считается произведеніемъ, опаснымъ въ моральномъ отношеніи, и, напр., St. Gwynn, The masters of English Literature, Lond. 1904, замѣтилъ, что это произведеніе «is likely to deprave. It would be cant to say that it is healthy reading for the sexually impressionable...»

[6]) I, 207; XII, 86, 39. Вмѣстѣ съ тѣмъ Байронъ готовъ былъ признать, что его поэма «слишкомъ вольна» для его весьма скромнаго времени, что она «тамъ и сямъ сладострастна».

[7]) Во имя этихъ началъ Байронъ явился въ ряду поэтовъ однимъ изъ самыхъ страстныхъ противниковъ войны и военной славы, какъ то показываютъ «Видѣніе Суда», гдѣ говорится о «crowning carnage, Waterloo», и VII и VIII пѣсни «Донъ Жуана», содержащія сатирическое изображеніе взятія Суворовымъ крѣпости Измаила, причемъ Байронъ забылъ, что Суворовъ воевалъ съ тѣми самыми турками, противъ которыхъ выступилъ въ концѣ своихъ дней и самъ поэтъ; Суворовъ въ сущности подкапывалъ тираннію турокъ и, слѣдовательно, подготовлялъ освобожденіе народовъ, подвластныхъ послѣднимъ. Байронъ признавалъ лишь войны за свободу и справедливость, отдавалъ должное подвигамъ Леонида и Вашингтона, а нечестиваго завоевателя заклеймилъ позоромъ. Такъ же строго отнесся онъ и къ Веллингтону (см. начало IX-й пѣсни). Во имя тѣхъ же высшихъ началъ Байронъ безпристрастно указывалъ на всѣ несимпатичныя стороны и дѣянія своихъ соотечественниковъ (X, 66—67) и предостерегалъ ихъ относительно грозящей имъ участи, подобной участи другихъ морскихъ государствъ, уже лишившихся своего могущества.

[1]) XII, 40: I mean to show things really as they are,
Not as they ought to be...

H. C. Muller, Lectures, 31, справедливо называетъ «Донъ Жуана» мастерскимъ произведеніемъ новѣйшей европейской мысли и чувства, продуктомъ новѣйшаго духа міровой литературы, охватывающаго весь свѣтъ, поэтическимъ протестомъ XIX-го вѣка противъ всего лицемѣрія общества.

[2]) XV, 5: There's Music in all things, if men had ears...

[3]) III, 102--104.

взирая на совершившійся въ Байронѣ поворотъ къ Богу [1]), обожаніи вселенной, стóитъ множества всякихъ другихъ описаній.

Наша жизнь нераздѣльна съ природой. Воображеніе Байрона не разъ манила жизнь вдали отъ людныхъ городовъ, въ уединеніи среди прекрасной природы и въ сліяніи съ нею, и въ этомъ отношеніи онъ приближался къ Руссо и Вордсворту [2]). Эпизодъ о Гаидэ не находился ли въ нѣкоторой связи съ лелѣянными Байрономъ планами поселиться на одномъ изъ прекраснѣйшихъ острововъ греческаго архипелага? Этотъ эпизодъ — настоящая идиллія. Вспомнимъ еще строфы, посвященныя генералу Буну, предпочитавшему жизнь среди красотъ природы всякому другому существованію:

Изъ всѣхъ людей, прославленныхъ молвою,
Счастливѣйшимъ считаю Буна я... [3]).

Красота той или иной личности въ ея цѣломъ очаровывала поэта, какъ, напр., это показываетъ образъ чуднаго дитяти природы, пылкой Гаидэ, превозносимый почти всѣми критиками, или второй дочери природы, мистически настроенной Авроры [4]).

Увлекали Байрона и великіе порывы души въ ея свободолюбивыхъ стремленіяхъ [5]). Вѣдь самъ поэтъ былъ революціоннымъ борцомъ за свободу личности и народовъ противъ угнетателей мысли и противъ „всякаго деспотизма во всѣхъ странахъ". Я хочу, чтобы люди были одинаково свободны какъ отъ толпы (и отъ демагоговъ), такъ и отъ королей, отъ васъ, какъ и отъ меня [6]), говорилъ Байронъ. Не разъ въ его поэмѣ находимъ возгласы и заявленія ненависти къ тираннамъ. Этими своими идеями Байронъ всюду снискивалъ пламенныхъ поборниковъ, ставъ интернаціональнымъ поэтомъ въ силу своихъ интернаціональныхъ симпатій.

Европа, въ томъ числѣ и Англія, превратилась въ царство ханжества и раболѣпія (ср. D. J., Dedic., XVI). Но и въ культурномъ мірѣ есть уголки, гдѣ, по мнѣнію Байрона, жизнь построена на лучшихъ началахъ, чѣмъ въ старомъ свѣтѣ. Такимъ уголкомъ Байронъ представлялъ себѣ Америку, убѣжище свободы, куда онъ и намѣревался переселиться [1]). Подобнымъ же пріютомъ долго казалась Америка и другимъ пылкимъ мечтателямъ XIX вѣка, пока не открылось всемогущество доллара и въ ея жизни.

Итакъ, въ поэмѣ о Донъ Жуанѣ, которая является лебединою пѣснью Байрона наряду со стихотвореніемъ: „Сегодня мнѣ исполнилось 36 лѣтъ...", поэтъ попытался охватить весь міръ человѣческой жизни со всѣмъ его разнообразіемъ. Байронъ вступилъ съ полной смѣлостью и искренностью въ борьбу съ политическою, общественною и всевозможною ложью, несомнѣнно выказалъ въ высокой степени мужественныя чувства и явился со свойственною ему энергіею и силой пѣвцомъ освобожденія человѣчества отъ политическихъ золъ и моральныхъ предразсудковъ. Но, по словамъ Гёте, „Байронъ великъ, пока остается поэтомъ, а когда разсуждаетъ, то уподобляется ребенку" своею наивностью. Сила Байрона—въ описаніяхъ и глубокомъ чувствѣ. Отчетливаго воплощенія положительныхъ идеаловъ, прочныхъ руководительныхъ началъ жизни и мысли лишена и поэма о „Донъ Жуанѣ", какъ и вся его поэзія. Признаемъ все значеніе Байроновой ироніи, основанной на поэтическомъ оттѣненіи контрастовъ человѣческой жизни и разлада между голой, чувственно-эгоистическою, ограниченною натурою человѣка и ея безграничными стремленіями, выраженнаго Байрономъ съ особенною силой. Однако, хотя бы и геніальнаго, „дьявольскаго темперамента", какой признавалъ въ себѣ самъ Байронъ [2]), еще мало для полноты обаянія. Конечно, скептицизмъ, оппозиція ради оппозиціи, язвительная критика неудовлетворительныхъ современныхъ общественныхъ отношеній, ѣдкій политическій сатиризмъ до извѣстной степени благотворны. Пѣсни о свободѣ заманчивы. Мечта о вполнѣ непринужденномъ, гордомъ и свободномъ развитіи человѣчества прекрасна, но въ своемъ отрѣшеніи отъ наглядныхъ формъ, въ своей безплотности при непризнаніи поэтомъ никакихъ ограниченій свободы, она рискуетъ оставаться безплодной и неосуществимой утопіею. Мечтательныхъ указаній человѣчеству неяснаго идеала въ туманной дали и въ жизни среди природы по идеямъ Руссо и его послѣдователей, при постоянныхъ противорѣчіяхъ въ мысли

[1]) Kraeger, 98 и слѣд.
[2]) Объ отношеніи Байрона къ Руссо см. *O. Schmidt*, Rousseau und Byron.
[3]) VIII, 61 и слѣд.
[4]) XV, 45; XVI, 48.
[5]) VIII, 135 и слѣд.
[6]) IX, 24 - 25.

[1]) См. *Kraeger*, Lord Byrons Beziehungen zu Amerika.—Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1897, № 58.
[2]) См. письмо Байрона къ миссисъ Ли объ Аллегрѣ.

поэта, соотвѣтствующихъ противорѣчіямъ въ его характерѣ и настроеніяхъ, при неполной продуманности построеній его мысли и творчества, недостаточно для возведенія автора на *высшую* ступень геніальности. Истинно геніальныя эпопеи человѣческой жизни дали человѣчеству такіе поэты цѣльнаго міровоззрѣнія, какъ Данте въ „Божественной Комедіи", Шекспиръ въ великихъ трагедіяхъ и символическихъ драмахъ, Сервантесъ въ „Донъ-Кихотѣ", Гете въ „Фаустѣ". „Донъ-Жуанъ" Байрона не принадлежитъ къ числу такихъ *величайшихъ* созданій художественнаго творчества, какъ ни ярка сама по себѣ печать геніальности, лежащая на этой поэмѣ и сколь великими достоинствами ни отличается она въ отдѣльныхъ частяхъ.

Н. Дашкевичъ.

Посвященіе.

1.

Бобъ Соути, ты поэтъ, вѣнкомъ лавровымъ
Увѣнчанный и межъ поэтовъ тузъ,
Хоть измѣнилъ и дѣломъ ты и словомъ
Своимъ друзьямъ, ставъ торіемъ. Дивлюсь,
Съ какимъ искусствомъ ты съ порядкомъ новымъ
Миришься. Заключилъ ли ты союзъ
Съ лекистами при мѣстѣ иль безъ мѣста,
„Гнѣздомъ дроздовъ, что запеченныхъ въ тѣсто,

2.

Предъ королемъ поставили? Пирогъ
Разрѣзали, и птицы всѣ запѣли".
Какъ этой старой пѣсни смыслъ глубокъ!...
Когда льстецы успѣха не имѣли?
Запѣлъ и Кольриджъ съ ними, но не могъ
Намъ разъяснить своей завѣтной цѣли:
Его такъ объясненіе темно,
Что безъ ключа немыслимо оно.

3.

Ты, Бобъ, смѣлѣй! Напрасныя усилья
Не хочешь дѣлать ты, чтобъ пѣть одинъ
Въ завидномъ пирогѣ. Обрѣзать крылья
Другимъ дроздамъ, конечно, нѣтъ причинъ;
И вотъ, желая скрыть свое безсилье,
Ты до такихъ возносишься вершинъ,
Что падаешь стремглавъ съ отвѣсной кручи,
Блеснувъ мгновенье рыбкою летучей.

4.

Вордсвортъ огромный томъ, страницъ въ пятьсотъ,
Недавно издалъ, съ новою системой,
Что мудреца и то съ ума сведетъ.
Хоть назвалъ онъ свой жалкій трудъ поэмой,
Поэзіи никто въ немъ не найдетъ;
Понять его не легкая проблема;
Тотъ можетъ, для кого понятенъ онъ,
Докончить столпъ, что строилъ Вавилонъ.

5.

Вниманія на свѣтъ не обращая,
Вы въ Кексвикѣ составили кружокъ,
Гдѣ, лишь себя съ любовью восхваляя,
Рѣшили, что лавровый свой вѣнокъ
Для васъ однихъ поэзія святая
Готовитъ. Какъ отъ истины далекъ
Подобный взглядъ! Вамъ не найти оплота:
За океанъ вы приняли болото!

6.

Стремленья ваши жалки и смѣшны...
Ихъ участь—возбуждать одно злорадство!
Пускай мѣста вамъ теплыя даны,
И вамъ достались слава и богатство,
Въ продажныхъ мнѣньяхъ все-же нѣтъ цѣны,
Позорнымъ я считаю ваше братство,—
Вамъ чужды убѣжденія и честь,
Но все же въ васъ таланта искра есть.

7.

Вы скрыли подъ лавровыми вѣнками
И наглость вашихъ лбовъ, и тайный стыдъ;
Я зависти къ вамъ не питаю; съ вами
Тотъ не пойдетъ, кто честь и совѣсть чтитъ.

Вы гонитесь за славой и хвалами,
Но славы храмъ и для другихъ открытъ.
Скоттъ, Роджерсъ, Кэмпбель, Муръ и Краббъ велики:
Не заглушатъ ихъ голосъ ваши крики.

8.

Я не могу нестись за вами вслѣдъ:
Я пѣшъ, а вашъ Пегасъ имѣетъ крылья;
Желаю вамъ успѣховъ и побѣдъ,
Пусть ваши увѣнчаются усилья,
Но знайте: срама нѣтъ, когда поэтъ
Другихъ заслуги хвалитъ. Знакъ безсилья—
Встрѣчать все современное хулой;
Къ безсмертію приводитъ путь иной.

9.

Какъ ни старайтесь вы,—все нѣтъ причины,
Чтобъ вамъ вѣнецъ безсмертія былъ данъ;
Предъ славою вы тщетно гнете спины,
Потомства не введете вы въ обманъ.
Случается, что изъ морской пучины
Великій мужъ всплываетъ, какъ титанъ,
Но большинство безслѣдно исчезаетъ;
Куда?—одинъ лишь Богъ про это знаетъ.

10.

Когда, сраженный гнусной клеветой,
Къ суду потомства Мильтонъ обратился,—
Его призналъ великимъ судъ людской,
И предъ его величьемъ міръ склонился;
Но Мильтонъ не умѣлъ кривить душой
И съ ложью полноправной не мирился;
Чтобъ сыну льстить, онъ не клеймилъ отца
И былъ врагомъ тирановъ до конца.

11.

Когда-бъ старикъ слѣпой, суля тиранамъ
Погибель и позоръ, воспрянуть могъ,
Какъ Самуилъ, карающимъ титаномъ;
Будь онъ какъ прежде бѣденъ и убогъ,—
Все не упалъ бы ницъ передъ султаномъ,
Карая зло, преслѣдуя порокъ,
И предъ скопцомъ духовнымъ, чуждымъ чести,
Не сталъ бы расточать позорной лести!

12.

О, Кэстельри! предатель и злодѣй!
Ты обагрилъ кровавыми ручьями
Ирландію и родины своей
Сталъ палачомъ. Преступными дѣлами
Ты тираніи служишь и людей
Держать ты хочешь, связанныхъ цѣпями;
Но кандалы не скованы тобой:
Ты сыплешь ядъ, но это ядъ чужой.

13.

Ты власти рабъ и злѣйшій бичъ свободы
Льстецы и тѣ твоихъ пустыхъ рѣчей
Хвалить не въ состояньи. Всѣ народы
Твои враги. Насмѣшкою своей
Они язвятъ тебя. Трудяся годы,
Ты не достигъ почтенья у людей.
Съ тобою Иксіона жерновъ сходенъ:
Твой вѣчный трудъ безцѣленъ и безплоденъ.

14.

Конгрессы ты сзываешь, чтобъ кумиръ
Воздвигнуть рабству! Нравственный калѣка,
Лишь палачамъ устраиваешь пиръ;
Преслѣдуя и мысли человѣка,
Ты былъ бы радъ поработить весь міръ
И чинишь кандалы иного вѣка.
Гнетутъ тебя, поборника цѣпей,
И Божій гнѣвъ, и ненависть людей.

15.

Ты—жалкій рабъ и хочешь, чтобъ рабами
Другіе стали. Доблесть, умъ и честь
Невѣдомы тебѣ. Передъ царями
Ты, какъ Евтропій, расточаешь лесть,
Руководимый алчными мечтами.
Ты, правда, смѣлъ; но развѣ въ льдинѣ есть
Хоть легкій слѣдъ душевнаго волненья?
Въ тебѣ и храбрость—зло и преступленье.

16.

Куда бѣжать? Кругомъ царитъ обманъ.
Когда отъ тираніи насъ избавятъ?
Италіи былъ мигъ свободы данъ,
Но и ее теперь оковы давятъ;
Пусть цѣпь ея и кровь ирландскихъ ранъ
Сильнѣе словъ преступника безславятъ!
Оковы рабства тяжко давятъ свѣтъ,
И что же? Соути—жалкій ихъ поэтъ.

17.

Тебѣ, продажный бардъ, свое творенье
Я посвящаю. Честь—мой идеалъ;
Мнѣ святы дней минувшихъ убѣжденья;
Я ихъ любилъ и имъ не измѣнялъ;
Такая твердость—рѣдкое явленье,
Когда поэтъ и тотъ продажнымъ сталъ;
Не такъ-ли, Юліанъ Отступникъ новый,
Что тори сталъ, чтобъ воспѣвать оковы?

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.

I.

Героя я ищу... не странно-ль это,
Когда у насъ что мѣсяцъ, то герой!..
Кому кадитъ и сборникъ, и газета;
Затѣмъ, увы! является другой,
Чтобъ доказать непостоянство свѣта;
Въ такихъ я не нуждаюсь; выборъ мой
Падетъ на Донъ Жуана, что до срока
Погибъ по волѣ демона и рока.

II.

Принцъ Фердинандъ, Гаукъ, Кеппель, Го,
Вернонъ,
Бургойнъ, Гранби, Вольфъ, Кумберлэндъ—
украдкой
Блеснули часъ, какъ въ вѣкъ нашъ Веллингтонъ.
Узнавъ хвалу друзей, враговъ нападки,
Они прошли какъ мимолетный сонъ,
Какъ „девять поросятъ единой матки"
Видѣнья Банко. Ихъ простылъ и слѣдъ.
Ужъ Дюмурье и Бонапарта нѣтъ!

III.

Исчезли, испытавъ судьбы измѣны,
Дантонъ, Маратъ, Барнавъ, Клотцъ, Мирабо
И прочіе. Свѣтъ любитъ перемѣны.
Жуберъ, Марсо, Гошъ, Ланнъ, Десэ, Моро,
Побѣдами блеснувъ, сошли со сцены;
Какъ много, много рвется подъ перо
Такихъ именъ, что увѣнчались славой.
Но трудно ихъ вмѣстить въ мои октавы.

IV.

Когда-то Нельсонъ богомъ былъ войны.
Но лавры Трафальгара позабыты
И вмѣстѣ съ нимъ въ землѣ погребены,
Въ его гробницѣ вмѣстѣ съ нимъ зарыты.
Солдаты морякамъ предпочтены;
Въ опалѣ флотъ, когда-то знаменитый;
Король не любитъ флота своего:
Забыты Джервисъ, Нельсонъ, Дунканъ, Го.

V.

Великъ Агамемнонъ, но сколько Летой
Вождей, какъ онъ, потоплено волной!
О нихъ не прозвучала пѣснь поэта,
И спятъ они, забытые молвой.
Я никого не поношу за это—
Но такъ какъ вѣкъ нашъ, жалкій и пустой,
Мнѣ не даетъ героя для романа,
Я выбираю просто Донъ Жуана.

VI.

Бывало погружались въ *medias res*
Поэты, эпопею начиная
(Горацій такъ училъ). Въ тѣни древесъ
Съ возлюбленной, о прошломъ вспоминая,
Сидѣлъ герой. Пещера или лѣсъ
Скрывали ихъ; порою кущи рая
Имъ замѣняли ресторанъ собой,
И о быломъ разсказывалъ герой.

VII.

Такъ дѣйствовать привычка заставляла.
Но я иного мнѣнья. Мой разсказъ
Я поведу (таковъ мой нравъ) съ начала.
Хотябъ сидѣть надъ каждой строчкой часъ,—
Съ дороги той, что Муза разъ избрала,
Не поверну я въ сторону. Держась
Заранѣе обдуманнаго плана,
Съ родителей начну я Донъ Жуана.

VIII.

Онъ родился въ Севильѣ. Тамъ живетъ
Красавицъ рой, тамъ сладки апельсины;
Пословица гласитъ: „злосчастенъ тотъ,
Кто не былъ въ ней". Роскошнѣе картины
Въ Испаніи наврядъ ли кто найдетъ,
Лишь Кадиксъ съ ней сравнится, но при-
чины
Впередъ бѣжать не вижу. Мы о немъ
Поговорить успѣемъ и потомъ.

IX.

Отъ готтовъ велъ свое происхожденье
Отецъ Жуана—Хозе, гордый донъ,
Гидальго чистокровный, безъ сомнѣнья,
Чей древній родъ, съ давно былыхъ вре-
менъ,
Ни съ мавромъ, ни съ жидомъ не зналъ
общенья.
Наѣздникъ былъ весьма искусный онъ.
Итакъ на свѣтъ онъ произвелъ Жуана,
Который самъ... но знать объ этомъ рано.

14*

X.

Предметы всѣ, что можетъ лишь назвать
Мужъ преданный наукѣ, изучила
Жуана добродѣтельная мать;
Лишь качествамъ ея равнялась сила
Ея ума, что могъ бы міръ обнять;
Такъ всѣхъ она собой превосходила,
Такъ славилась ученостью своей,
Что всѣ кругомъ завидовали ей.

XI.

Стиховъ она на память кучу знала;
Такая память сущій былъ рудникъ;
Она бы роль актеру подсказала,
Когда на сценѣ тотъ бы сталъ втупикъ.
Способностей такихъ примѣровъ мало,
Фейнэгль предъ ней бы прикусилъ языкъ.
Увы! предъ этой памятью богатой
Мнемоники ничтожны результаты.

XII.

Ей алгебра особенно далась;
Она великодушіе любила;
Аттическимъ умомъ блеснуть не разъ
Случалось ей; такъ мысли возносила,
Что рѣчь ея была темна подъ-часъ,
Но все-жъ она за чудо свѣта слыла;
Любила свѣтъ; въ нарядахъ знала толкъ,
Носила дома шерсть, а въ людяхъ шелкъ,

XIII.

Читать молитву по-латыни знала,
И греческій букварь ей былъ знакомъ;
Романъ-другой французскій прочитала,
Владѣя плохо этимъ языкомъ;
Нарѣчіемъ роднымъ пренебрегала,
Невнятно выражаяся на немъ;
И превращала, обсуждая тему,
Слова въ загадку, мысли въ теорему.

XIV.

Цитируя слова священныхъ книгъ,
Она всегда отстаивала мнѣнье,
Что съ англійскимъ еврейскій схожъ языкъ;
Пускай отброситъ тотъ свои сомнѣнья,
Кто въ тайники завѣтныхъ строкъ проникъ:
Беру въ примѣръ ея же выраженье:
„Какъ странно, что еврейское: god am—
Имѣетъ сходство съ англійскимъ: God damn!"

XV.

Инымъ не жаль рѣчей напрасныхъ трата;
Она жъ морщиной лба, движеньемъ вѣкъ
Могла учить; была ума палата;
Какъ Ромильи, ученый человѣкъ,
Законовъ стражъ, всезнаніемъ богатый,
Что такъ нежданно жизнь свою пресѣкъ.
Еще признанье суетности свѣта!
(Но, впрочемъ, судъ назвалъ „безумьемъ" это).

XVI.

Она была какъ бы ходячій счетъ,
Ходячій сборникъ нравственныхъ уроковъ,
Оставившій на время переплетъ;
Она не знала совѣсти упрековъ;
Завистника коварный глазъ—и тотъ
Въ ней не съумѣлъ бы отыскать пороковъ;
Она могла ихъ видѣть лишь въ другихъ,
Сама жъ (что хуже) не имѣла ихъ.

XVII.

Предъ нею слава женъ святыхъ блѣднѣла;
Ея не соблазнилъ бы сатана;
Такъ много совершенствъ она имѣла,
Что ангела-хранителя она
Лишилась: онъ соскучился безъ дѣла.
Съ часами жизнь ея была сходна;
Ей въ цѣломъ мірѣ не нашлась бы пара,
Равнялось ей лишь масло Макассара.

XVIII.

Такая святость свѣту не съ руки.
Въ немъ тайну ласкъ, утративъ кущи рая,
Познали наши праотцы. Ихъ дни
Текли въ раю, невинностью сіяя.
(Хотѣлъ бы знать, что дѣлали они,
Докучливое время коротая?)
Достойный Евы сынъ Донъ Хозе былъ
И рвать запретный плодъ тайкомъ любилъ.

XIX.

Онъ смертный былъ веселый и безпечный;
Ученыхъ избѣгалъ; я не таю,
Что правилъ имъ всегда порывъ сердечный;
Не очень-то онъ чтилъ жену свою;
И жалкій свѣтъ, расположенный вѣчно
Мутить и государство, и семью,
Шепталъ, что онъ любовницу имѣетъ
И даже двухъ. (Зло и одна посѣетъ).

XX.

Достоинствъ кучу зная за собой,
Высокое о нихъ имѣла мнѣнье
Жена Донъ Хозе; надо быть святой,
Чтобъ терпѣливо несть пренебреженье;
Ей святости хватало, но порой
Ей правдою казались подозрѣнья...
Съ супруга не спуская зоркихъ глазъ,
Накрыть его случалось ей не разъ.

XXI.

Мужьямъ, какъ онъ, попасть впросакъ не диво.
Онъ, чуждый осторожности, не могъ
Удерживать сердечнаго порыва.
Минуты есть, когда застать врасплохъ
И хитреца легко женѣ ревнивой;
Тогда сшибить и вѣеръ можетъ съ ногъ.
Порою вѣеръ роль меча играетъ;
Но почему? зачѣмъ? никто не знаетъ.

XXII.

Зачѣмъ берете вы людей простыхъ
Себѣ въ мужья, всезнающія жены?
Зачѣмъ вашъ выборъ падаетъ на нихъ,
Когда имъ чуждъ и скученъ міръ ученый?
Я скроменъ и безбраченъ,—словъ моихъ
Не обратить поэтому въ законы...
Но вы, мужья разумницъ, кайтесь въ томъ,
Что вы у нихъ всегда подъ башмакомъ.

XXIII.

Донъ Хозе часто ссорился съ женою.
За что? про это знать никто не могъ,
Но многіе старались стороною
Узнать причину ссоры. Я далекъ
Отъ дѣлъ чужихъ и любопытство мною
Считается за пагубный порокъ;
Но, самъ не испытавъ семейной ссоры,
Люблю друзей улаживать раздоры.

XXIV.

Увы! попытка мнѣ не удалась
Ихъ примирить. Напрасное старанье!
Все ускользалъ желанной встрѣчи часъ,
Такъ и не могъ добиться я свиданья.
(Ихъ сторожъ мнѣ признался, впрочемъ, разъ...)
Но это что! есть хуже испытанья:
Ихъ сынъ Жуанъ, какъ въ домъ стучался я,
Ведро помоевъ вылилъ на меня.

XXV.

Такого шалуна найти не скоро...
Кудрявый мальчуганъ, кумиръ семьи,
Въ родителяхъ не находилъ отпора
И исполнялъ всѣ прихоти свои;
Забывъ свои семейные раздоры,
Гораздо-бъ лучше сдѣлали они,
Когда-бъ его отправили въ ученье
Иль высѣкли, давая наставленья.

XXVI.

Они печально вѣкъ влачили свой,
Развода не ища, но все желая
Другъ другу смерти. Грустною чредой
Ихъ дни текли. Приличья свѣта зная,
Они скрывали распрю предъ толпой
Знакомыхъ и друзей; но жизнь такая
Продлиться не могла, и часъ насталъ,
Когда пожаръ семейный запылалъ.

XXVII.

Она врачамъ вдругъ заявила мнѣнье,
Что мужъ ея сошелъ съ ума. Затѣмъ
Она просила, видя ихъ сомнѣнья,
Признать его порочнымъ, но совсѣмъ
Не привела уликъ для обвиненья,
Что показалось очень страннымъ всѣмъ;
Лишь молвила: „любя людей и Бога,
Я не могла съ нимъ поступить не строго“.

XXVIII.

Она журналъ его грѣшковъ вела
И на показъ достала писемъ ворохъ;
Всѣмъ жалуясь, защитниковъ нашла
Она толпу. Во всѣхъ семейныхъ ссорахъ
Поддержкою ей бабушка была,
Что путалась порою въ разговорахъ
Отъ старости. Законно или нѣтъ,
Но за нее горою сталъ весь свѣтъ.

XXIX.

Она свою судьбу переносила,
Какъ истая спартанка, что обѣтъ,
Случайно овдовѣвъ, произносила
Забыть на вѣки мужа. Тьма клеветъ
Злосчастнаго Донъ Хозе поразила,
И честь его пятналъ со злобой свѣтъ;
Она-жъ на все глядѣла съ равнодушьемъ,
И это свѣтъ считалъ великодушьемъ.

XXX.

Когда бѣда нагрянетъ — пробудить
Въ друзьяхъ участье трудно, какъ извѣстно;
Но своего добиться и прослыть
Притомъ великодушнымъ — очень лестно.
Гдѣ-жъ въ этомъ malus animus? Отмстить
Порою самому и неумѣстно;

Но развѣ я, скажите, виноватъ,
Коль за меня другіе мстить хотятъ?

XXXI.

Моя-ль вина иль ваша, если ссора,
При помощи одной иль двухъ клеветъ,
Старинные грѣхи изъ кучи сора
Забытыхъ дрязгъ выводитъ вновь на свѣтъ?
Къ тому-жъ скандалъ, воскресшій для разбора,
Весьма нравоучительный предметъ;
Объ этомъ наша нравственность не тужитъ;
Вѣдь ей порокъ контрастомъ лучшимъ служитъ.

XXXII.

Сначала хоръ друзей, потомъ родня
Мирили ихъ, совѣтами богаты;
Но ссора все росла. (Не знаю я,
Возможны ли иные результаты,
Когда мирятъ родные иль друзья?)
Разводъ имъ предлагали адвокаты.
Увы! имъ улыбнулся гонораръ:
Донъ Хозе умеръ вдругъ, хоть былъ нестаръ.

XXXIII.

Итакъ, Донъ Хозе бѣднаго не стало,
Во цвѣтѣ лѣтъ его похитилъ рокъ—
И такъ некстати. Смерть его прервала
Процессъ преинтересный, какъ я могъ
Понять изъ словъ юристовъ, хоть не мало
Неясностей ихъ испещряетъ слогъ;
Когда онъ палъ, — забывъ вражды причину,
Слезами свѣтъ почтилъ его кончину.

XXXIV.

Несчастный мужъ, заснувъ могильнымъ сномъ,
Печаль друзей и адвокатовъ плату
Унесъ съ собой. Его былъ проданъ домъ;
Любовницы его, забывъ утрату,
Утѣшились: одна сошлась съ жидомъ,
Съ попомъ другая (слухъ молвы крылатой);
Третичной лихорадкой пораженъ,
Жену съ ея враждой оставилъ онъ.

XXXV.

А все-жъ его напрасно очернили:
(Я хорошо съ Донъ Хозе былъ знакомъ);
Коль надъ собой не дѣлалъ онъ усилій,
Чтобъ нравъ сдержать и былъ страстнѣй притомъ,
Чѣмъ Нума, по прозванію Помпилій,
Его винить несправедливо въ томъ:
Онъ съ дня рожденья жолчи былъ подверженъ
И къ этому былъ въ дѣтствѣ дурно держанъ.

XXXVI.

Да, много, много выстрадалъ бѣднякъ,
Когда, тоской тяжелою объятый,
Глядѣлъ на свой разрушенный очагъ
И на свои разбитые пенаты.
Признаюсь въ томъ. Теперь не можетъ врагъ
Возликовать, узнавъ его утраты!
Онъ выбрать могъ лишь смерть или разводъ;
И выбралъ смерть, что лучшій былъ исходъ.

XXXVII.

Донъ Хозе не оставилъ завѣщанья,
И Донъ Жуанъ наслѣдовалъ одинъ.
Какъ опекунша, мужа состоянье
Инесса прибрала къ рукамъ, чтобъ сынъ
Богаче сталъ, какъ кончитъ воспитанье.
Не ввѣрить сына матери причинъ,
Конечно, нѣтъ: вѣдь, рѣдко неумѣло
Берется мать за воспитанья дѣло.

XXXVIII.

Жуана мать, умнѣйшая изъ женъ
И даже вдовъ, воспитывать ребенка,
Какъ гранда, стала. (Хозе, знатный донъ,
Кастилецъ былъ, она же арагонка).
Онъ былъ стрѣльбѣ, фехтовкѣ обученъ,
Чтобъ трону стать опорою, и тонко
Онъ изучилъ все то, что надо знать,
Чтобъ женскій монастырь иль крѣпость брать.

XXXIX.

На нравственность Инесса напирала:
Учителямъ наказъ былъ строгій данъ,
Чтобъ въ дѣлѣ воспитанья выступала
Высокая мораль на первый планъ.
Она сама тѣ книги выбирала,
Что долженъ былъ выучивать Жуанъ.
И онъ всему учился, что морально,—
Исторіи не зналъ лишь натуральной.

XL.

Преподаванью древнихъ языковъ
Приписывалось важное значенье.
Науки, безъ практическихъ основъ,
Искусства, что не знаютъ примѣненья,
Онъ изучалъ и не жалѣлъ трудовъ;
Но свѣдѣнья о тайнахъ размноженья
Ни отъ кого не могъ онъ почерпнуть:
Боялись всѣ порокъ въ него вдохнуть.

XLI.

Но, изучая древности поэтовъ,
Какъ скрыть боговъ амурныя дѣла?

Рѣзвясь безъ панталонъ и безъ корсетовъ,
Надѣлали они не мало зла,
Вполнѣ чуждаясь нравственныхъ совѣтовъ.
Инесса миѳологію кляла,
И защищать не разъ пришлось предъ нею
Какъ Энеиду, такъ и Одиссею.

XLII.

Мораль порой Овидій мало чтитъ;
Не отнесусь къ Катуллу съ одобреньемъ;
Анакреонъ — распутный сибаритъ;
Сафо я не хвалю, хоть съ увлеченьемъ
О ней извѣстный Лонгинъ говоритъ;
Одинъ Виргилій чистъ, за исключеньемъ
Эклоги той безнравственной, гдѣ онъ
Поэтъ: „Formosum pastor Corydon".

XLIII.

Безвѣріе Лукреція опасно
Для молодыхъ умовъ. Согласенъ я,
Что Ювенала цѣль всегда прекрасна,
Но все жъ его хвалить вполнѣ нельзя:
Онъ слишкомъ откровененъ въ рѣчи страстной
И не умѣетъ сдерживать себя.
Еще скажу, что вижу толку мало
Въ соленыхъ эпиграммахъ Марціала.

XLIV.

Жуанъ ихъ въ томъ изданьи прочиталъ,
Откуда мудрый цензоръ всѣ творенья,
Что дышутъ непристойностью, изгналъ,
Но чтобъ свое загладить преступленье
И чтобъ поэтъ не очень пострадалъ,
Ихъ въ полномъ сборѣ въ видѣ приложенья,
Въ концѣ изданья вставилъ и совсѣмъ
Ненужнымъ указатель сдѣлалъ тѣмъ.

XLV.

Толпѣ солдатъ подобно ихъ собранье;
Не надо ихъ искать по всѣмъ листкамъ,
Когда они всѣ въ сборѣ. Въ назиданье
Учащимся, они пробудутъ тамъ,
Пока не выйдетъ новаго изданья,
Гдѣ ихъ разставятъ снова по мѣстамъ.
Они жъ теперь, пугая наготою,
Какъ божества садовъ, стоятъ толпою.

XLVI.

Рисунковъ рядъ, далеко не святыхъ,
Молитвенникъ стариннаго ихъ рода
Собою красилъ. Текстъ священныхъ книгъ
Такъ испещрять была когда-то мода.
(Какъ могъ молиться тотъ, кто видѣлъ ихъ?)
Его, для своего лишь обихода,
Оставила Инесса, чтобъ Жуанъ
Не зналъ о немъ; ему жъ другой былъ данъ.

XLVII.

Инессою во всемъ руководимый,
Не мало слышалъ онъ проповѣдей
И словъ святыхъ. Читалъ Іеронима
И Златоуста; зналъ Четьи-Минеи,
Но Августинъ святой, высокочтимый,
На правды путь наводитъ всѣхъ вѣрнѣй,
Себя бичуя, хоть (признаться больно!)
Его грѣхамъ завидуешь невольно.

XLVIII.

Жуану не давали книгъ такихъ;
И правильно, коль хорошо потуже
Держать дѣтей. Инесса глазъ своихъ
Съ Жуана не спускала. Что есть хуже
Служанокъ выбирала, и у нихъ
Однѣ старухи жили. Такъ при мужѣ
Она еще привыкла поступать;
Съ нея примѣръ должны бъ всѣ жены брать.

XLIX.

Предъ нимъ лежала свѣтлая дорога:
Онъ лѣтъ шести былъ и красивъ, и милъ;
Одиннадцати лѣтъ учился много
И не жалѣлъ для дѣла юныхъ силъ.
Казалось, онъ лишь будетъ жить для Бога;
Молясь, полдня онъ въ церкви проводилъ:
Затѣмъ сидѣлъ за книгой иль урокомъ,
Добру учась, подъ материнскимъ окомъ.

L.

Онъ въ дѣтствѣ былъ красивый мальчуганъ;
Когда подросъ, въ немъ страсть къ труду созрѣла;
Онъ былъ сперва порядочный буянъ,
Но нравъ его исправить мать съумѣла—
И тихъ, и скроменъ сдѣлался Жуанъ,—
Такъ всѣмъ казалось. Съ гордостью глядѣла
На юнаго философа она,
Хваля его вездѣ, любви полна.

LI.

Не вѣрилъ я, да и не вѣрю нынѣ,
Что могъ Жуанъ сломить характеръ свой,
Что справилися съ нимъ, по той причинѣ,
Что Хозе нравъ имѣлъ весьма крутой.
Вы скажете, что по отцу о сынѣ
Нельзя судить; къ тому жъ всегда съ женой
Онъ ссорился — коварная догадка!
Я замолчу: по мнѣ, злословье гадко.

LII.

Итакъ я замолчу, но если бъ сынъ
Былъ у меня — нравоученьямъ мѣру
Я зналъ бы и скажу, не безъ причинъ
Ея бы не послѣдовалъ примѣру;
Наскучитъ катехизисъ все одинъ;
Нельзя преподавать одну лишь вѣру.
О, нѣтъ! мой сынъ попалъ бы въ школу; въ ней
Позналъ я жизнь, науку и людей.

LIII.

Увы! я позабылъ языкъ Эсхила,
Но все жъ скажу, что школа—сущій кладъ.
Тамъ созрѣваетъ мысль, тамъ крѣпнетъ сила;
Хоть есть грѣшки за ней, но verbum sat.
Все то, что знаю я, мнѣ подарила
Родная школа. Пусть я не женатъ,
Однако (утверждаю это смѣло),
Такъ мальчика воспитывать не дѣло.

LIV.

Вотъ минуло ему шестнадцать лѣтъ —
И въ юношѣ красивомъ и высокомъ
Младенчества исчезъ послѣдній слѣдъ.
Но мать за нимъ, какъ прежде, зоркимъ окомъ
Слѣдила. Преждевременный расцвѣтъ
Казался ей ужаснѣйшимъ порокомъ;
Скажи ей кто-нибудь, что онъ созрѣлъ,
Навѣрное въ ней гнѣвъ бы закипѣлъ.

LV.

Инесса добродѣтельная зналась
Лишь только съ тѣмъ, кто правдой былъ богатъ;
Къ ней часто Донна Джулія являлась.
Назвавъ ее звѣздой, о ней наврядъ
Понятье дамъ. Съ ней красота сравнялась,
Какъ съ моремъ соль, съ цвѣтами ароматъ,
Съ Венерой поясъ, съ Купидономъ стрѣлы.
(Послѣднія сравненья слишкомъ смѣлы).

LVI.

Ея прелестныхъ глазъ восточный пылъ
Присутствіе въ ней крови мавританской
Доказывалъ. (Не очень-то цѣнилъ
Такую кровь аристократъ испанскій).
Когда, рыдая, скрылся Боабдилъ,
Гренаду сдавъ, на берегъ африканскій
Переселились мавры. Изъ числа
Оставшихся въ Испаніи была

LVII.

Ея прабабка. Странными судьбами
Она, плѣнивъ гидальго красотой,
Съ нимъ сочеталась брачными цѣпями.
Въ Испаніи позорнымъ бракъ такой
Считался. Тамъ гордилися связями
И на родныхъ женилися порой,
Чтобъ не утратить чистокровность рода,
Чѣмъ часто ухудшалася порода.

LVIII.

И ожилъ родъ съ поддержкой новыхъ силъ;
Кровь стала хуже, но красивѣй лица.
Заглохшій корень вновь ростки пустилъ;
Исчезли: сынъ уродъ и дочь тупица;
Про бабушку, однако, слухъ ходилъ
(Но это, я увѣренъ, небылица),
Что незаконныхъ иногда дѣтей
Въ свою семью вводить случалось ей.

LIX.

Съ годами все природа улучшалась;
Какимъ путемъ, зачѣмъ намъ это знать?
Но дни текли, и вотъ лишь дочь осталась
Отъ цѣлой расы: нужно ли сказать,
Что рѣчь идетъ о Джуліи? Досталась
Ей красота. Свои дары, какъ мать,
Предъ ней повергла щедрая природа;
Ей двадцать три всего лишь было года.

LX.

Въ ея глазахъ, и черныхъ, и большихъ,
Огонь сверкалъ. Любовь и гордость чаще,
Чѣмъ ненависть и гнѣвъ читались въ нихъ.
(Не знаю я, что глазъ прелестныхъ слаще!)
Порою сквозь рѣсницъ ея густыхъ
Просвѣчивалъ желанья лучъ палящій,
Но угасалъ съ мгновенной быстротой:
Она имѣла даръ владѣть собой.

LXI.

Змѣей вилась коса ея густая;
Какъ радуга ея сгибалась бровь;
Дышала въ ней восторженность живая;
Какъ молнія, въ ней пробѣгала кровь,
Прозрачный блескъ на ликъ ея бросая;
Прильетъ, горя, и вотъ отхлынетъ вновь.
Сложенье, статность, ростъ — все въ ней плѣняло
(Сложенныхъ дурно женщинъ чту я мало).

LXII.

Пятидесяти лѣтъ былъ мужъ у ней...
(Слѣпой судьбы плачевная услуга!)

Ей лучше бъ взять двухъ молодыхъ мужей
Чтобъ замѣнить почтенныхъ лѣтъ супруга;
Такая перемѣна тѣмъ нужнѣй,
Чѣмъ ярче свѣтъ бросаетъ солнце юга;
Я замѣчалъ, что самыхъ честныхъ дамъ
Невольно тянетъ къ молодымъ мужьямъ.

LXIII.

Все это очень грустно, безъ сомнѣнья,
Но въ этомъ солнца свѣтъ виновнѣй всѣхъ,
Людскую кровь приводитъ онъ въ волненье,
А мало ли на свѣтѣ есть утѣхъ?
Ни постъ не помогаетъ, ни моленья:
Слабѣетъ плоть и душу вводитъ въ грѣхъ.
Гдѣ свѣтитъ югъ, тамъ не считаютъ чудомъ,
Что свѣтъ зоветъ интригой, небо—блудомъ.

LXIV.

Счастливѣй люди въ сѣверныхъ странахъ,
Гдѣ стынетъ кровь, гдѣ стужей мѣры взяты,
Чтобъ грѣхъ вредить не могъ. (Въ своихъ грѣхахъ
Святой Антоній, стужею объятый,
Покаялся). Караемый въ судахъ,
Тамъ каждый грѣхъ обложенъ крупной платой.
Прелюбодѣя не щадитъ законъ:
Коль согрѣшилъ — по таксѣ платитъ онъ.

LXV.

Альфонсо — звали Джуліи супруга.
Онъ былъ и бодръ, и свѣжъ для лѣтъ своихъ;
Его жена въ немъ ни врага, ни друга
Не видѣла. Какъ много паръ такихъ!
Не ссориться—для нихъ и то заслуга
(Вѣдь розны взгляды и желанья ихъ!)
Альфонсо былъ ревнивъ, скрывая это
(Вѣдь ревность любитъ прятаться отъ свѣта).

LXVI.

Какъ Джулія съ Инессою сошлась,—
Не знаю я. Въ нихъ сходства было мало;
За просвѣщеньемъ донна не гналась
И никогда трактатовъ не писала;
Но говорятъ (все это ложь: не разъ
Молва пустые слухи распускала),
Что мужъ ея Инессой былъ любимъ
И что она была въ интригѣ съ нимъ.

LXVII.

Что будто бы ихъ связь годами длилась
И, наконецъ, характеръ приняла
Невинности. Такъ въ Джулію влюбилась
Инесса, что она ее взяла
Подъ крылышко свое и не скупилась
На ласки и хвалы. Свои дѣла
Вести она съ такимъ умѣньемъ стала,
Что и злословья притупилось жало.

LXVIII.

Была ль для донны тайной—болтовня
Пустой молвы, иль не имѣла вѣса
Въ ея глазахъ — про то не знаю я;
Не виденъ ходъ душевнаго процесса.
Но все жъ, свое спокойствіе храня,
Она, какъ прежде, видѣлась съ Инессой.
У ней, и безупречна, и скромна,
Съ Жуаномъ познакомилась она.

LXIX.

Встрѣчаясь часто съ мальчикомъ красивымъ,
Она его ласкала; толку нѣтъ,
Что ласки въ этомъ возрастѣ счастливомъ
Невинны. (Что жъ,—ей было двадцать лѣтъ,
Ему жъ тринадцать). Нѣжнымъ ихъ порывамъ,
Увѣренъ я, дивиться сталъ бы свѣтъ,
Постарше будь они хоть на три года.
Сильна въ развитьи южная природа!

LXX.

Ихъ отношенья стали холоднѣй,
Когда Жуанъ подросъ. Въ минуту встрѣчи
Онъ на нее не поднималъ очей;
Изъ устъ его несвязно лились рѣчи;
Я думаю, понятны были ей
Любви святой невинныя предтечи,
Но чувствъ своихъ не понималъ Жуанъ:
Не видѣвъ бурь, кто знаетъ океанъ?

LXXI.

Сочувствію открывъ порой объятья,
Она гнала свой холодъ напускной—
И вотъ, дрожа, онъ чувствовалъ пожатье
Ея руки. Сравнивъ его съ мечтой,
О легкости его не дашь понятья;
Оно, блаженство принося съ собой,
Лишь длилось мигъ; но сладость этой ласки
Ему казалась сномъ волшебной сказки.

LXXII.

Холодностью дышалъ ея привѣтъ;
Въ ея лицѣ не теплилась улыбка,
Но взоръ ея хранилъ унынья слѣдъ
И отъ волненья сердце билось шибко.
Невинность, обмануть желая свѣтъ,
Не прочь лукавить; можно впасть въ ошибку,
Судя лишь по наружности одной:
Любовь, какъ лицемѣръ, хитритъ порой.

LXXIII.

Но заглушишь ли страсти голосъ милый!
Чѣмъ неба сводъ угрюмѣй и мрачнѣй,
Тѣмъ буря разразится съ большей силой;
Сильна любовь; борьба напрасна съ ней.
Она не разъ, чтобъ сердце тайну скрыло,
Являлась подъ личиною страстей
Ей чуждыхъ: гнѣва, ненависти, мщенья,—
Но слишкомъ поздно, чтобъ убить сомнѣнья.

LXXIV.

На днѣ души храня любовь, какъ кладъ,
Она носила равнодушья маску;
Лишь легкій вздохъ, порою томный взглядъ,
Что съ жадностью Жуанъ ловилъ, какъ ласку,
Участье обличали. Невпопадъ
При встрѣчѣ съ нимъ ее бросало въ краску.
Все это были признаки любви,
И у него огонь пылалъ въ крови.

LXXV.

Тревогъ сердечныхъ чувствуя обилье,
Она, бѣдняжка, сдѣлать надъ собой
Рѣшилась благородное усилье,
Чтобъ честь спасти. Предъ твердостью такой
Тарквиній самъ, сознавъ свое безсилье,
Втупикъ бы сталъ. Къ Владычицѣ Святой
Она съ мольбой свои простерла руки...
Кто женщины утѣшитъ лучше муки?

LXXVI.

Не видѣться съ Жуаномъ давъ обѣтъ,
Она зашла къ Инессѣ на мгновенье.
Дверь скрипнула. Не онъ ли? Къ счастью, нѣтъ.
Владычицѣ воздавъ за то хваленье,
Она вздохнула, но унынья слѣдъ
Разсѣяло Жуана появленье.
Боюсь, что въ эту ночь она съ мольбой
Не обращалась къ Дѣвѣ Пресвятой.

LXXVII.

Она затѣмъ рѣшила, что постыдно
Отъ зла бѣжать; что женщина должна
Бороться съ искушеньемъ. Мысль обидна,
Что можетъ пасть въ борьбѣ со зломъ она.
Въ невинномъ предпочтеніи не видно
Опасности. Коль женщина вѣрна
И долгу, и себѣ, добромъ богата,
Грѣшно ль мужчину ей любить какъ брата?

LXXVIII.

Случится, правда, можетъ (силенъ бѣсъ!),
Что сердцу трудно справиться съ соблазномъ;
Тогда надъ нимъ побѣда большій вѣсъ
Еще имѣетъ. Просьбамъ неотвязнымъ,
Что дышатъ страстью, можно наотрѣзъ
Отказывать, смѣясь надъ бредомъ празднымъ.
Я дамамъ молодымъ даю совѣтъ
Такъ дѣйствовать: методы лучше нѣтъ.

LXXIX.

Къ тому же есть любовь святая,
Что ангеловъ плѣняетъ и матронъ,
Что душу, чудный свѣтъ въ нее бросая,
Живитъ. Кумиръ воздвигнулъ ей Платонъ.
„Въ моей груди горитъ любовь такая",
Она шептала, вѣря въ свѣтлый сонъ.
Будь я замѣченъ ею, безъ сомнѣнья,
Одобрилъ бы такія размышленья.

LXXX.

Любовь такая дѣвственно чиста;
Ей можно предаваться безъ опаски;
Сначала ручку, а затѣмъ уста
Цѣлуютъ нѣжно; робко строятъ глазки;
Но это ужъ предѣльная черта
Такой любви; ея мнѣ чужды ласки,—
Предупредить, однако, долженъ всѣхъ,
Что за чертой условной встрѣтишь грѣхъ.

LXXXI.

Любовь святую совѣсть не осудитъ;
Зачѣмъ же бѣдной сдерживать себя?
Она любить Жуана свято будетъ;
Любовь, желанья грѣшныя губя,
Въ немъ только грезы свѣтлыя пробудитъ;
Онъ многому научится, любя.
Чему? не могъ бы я найти отвѣта,
Да и для ней загадкой было это.

LXXXII.

Рѣшивъ, что путь, ей выбранный, ведетъ
Къ благимъ цѣлямъ,—защищена бронею
Невинности своей,—принявъ въ разсчетъ,
Что можно честь ея сравнить съ скалою,
Отбросила она тяжелый гнетъ
Докучнаго контроля надъ собою.
Впослѣдствіи придется намъ узнать,
Могла ль она съ задачей совладать.

LXXXIII.

Поставленный въ счастливыя условья,
Прекраснымъ ей казался этотъ планъ.
Пускай себѣ клевещутъ на здоровье,
Коль такъ хотятъ. (Шестнадцать лѣтъ Жуанъ
Всего имѣлъ). Безсиленъ ядъ злословья
Предъ духомъ правды. (Жгли же христіанъ
Другіе христіане съ убѣжденьемъ,
Что слѣдуютъ апостольскимъ ученьямъ!)

LXXXIV.

Но если бъ вдругъ ей овдовѣть пришлось?..
Какое наущенье вражьей силы!
Возможно ли поднять такой вопросъ!
Ей горе пережить бы трудно было.
Но, полагая только inter nos...
(Я entre nous сказалъ бы съ донной милой,
Ей нравился французскій рѣчи складъ,—
Да съ риѳмою мой стихъ не шелъ бы въ ладъ).

LXXXV.

Съ годами будетъ партіей серьезной
Жуанъ. Измѣны отъ него не жди...
Не все жъ ихъ цѣли въ жизни будутъ розны;
Коль мужъ ея окончитъ дни свои
Лѣтъ черезъ семь—еще не будетъ поздно:
Вся жизнь передъ Жуаномъ впереди.
Пускай его согрѣетъ лучъ участья!
(Все рѣчь идетъ лишь о невинномъ счастьи!)

LXXXVI.

Къ Жуану перейдемъ. Тоской томимъ,
Не вѣдалъ онъ, что грудь его согрѣта
Огнемъ любви. Въ страстяхъ неукротимъ,
Какъ миссъ Медея римскаго поэта,
Онъ думалъ, что случилось чудо съ нимъ,
Вполнѣ необъяснимое для свѣта.
Не вѣдалъ онъ, что много свѣтлыхъ чаръ
Любовь съ собой приноситъ часто въ даръ.

LXXXVII.

Объятый и унылемъ, и волненьемъ,
Среди лѣсовъ бродилъ въ тоскѣ Жуанъ
(Скрываться — скорбь считаетъ наслажденьемъ);
Не сознавалъ онъ сердца жгучихъ ранъ.
И я порой мирюсь съ уединеньемъ,
Но только не какъ схимникъ,—какъ султанъ,—
Я не нуждаюсь въ схимниковъ примѣрѣ,—
И съ нимъ мирюсь въ гаремѣ, не въ пещерѣ.

LXXXVIII.

Любовь! богиня ты въ такой глуши,
„*Гдѣ слиты безопасность съ упоеньемъ;*
Тамъ свѣтлый рай для любящей души".
Доволенъ былъ бы я стихотвореньемъ,
Мной приведеннымъ здѣсь, не напиши
Поэтъ вторую строчку. Съ удивленьемъ
Смотрю на сочетанье странныхъ словъ
Что затемняютъ смыслъ его стиховъ.

LXXXIX.

Мнѣ кажется, что онъ имѣлъ желанье,
Безъ задней мысли, возвѣстить о томъ,
Что мы не любимъ въ свѣтлый часъ свиданья,
Иль сидя за обѣденнымъ столомъ,
Когда насъ безпокоятъ. Мы молчаньемъ
И „слитье" съ „упоеньемъ" обойдемъ,—
Понятна этихъ словъ живая страстность,—
Но безъ замка возможна ль „безопасность"?

XC.

Близъ свѣтлыхъ струй ручья, угрюмъ и нѣмъ,
На темный лѣсъ взирая, какъ на друга,
Жуанъ любилъ мечтать, не зная, чѣмъ
Разсѣять мракъ душевнаго недуга.
Въ тѣни лѣсовъ сюжеты для поэмъ
Поэты ищутъ; тамъ же въ часъ досуга
Стихи читать мы любимъ, коль они
Вордсворта виршамъ только не сродни.

XCI.

Ища уединенія охотно,
Жуанъ душой возвышенной своей
Гнался за каждой думой мимолетной.
Такъ много въ немъ рождалося идей,
Что, наконецъ (конечно, безотчетно),
Онъ сталъ смотрѣть на свѣтъ и на людей,
Умѣривъ гнетъ тоски своей тяжелой,
Какъ метафизикъ Кольриджевой школы.

XCII.

О многомъ онъ мечталъ, бродя одинъ:
О блескѣ звѣздъ, о тайнахъ міозданья,
О шумѣ битвъ; о томъ, что властелинъ
Надъ міромъ человѣкъ; о разстояньи,
Что до луны отъ насъ; искалъ причинъ
Въ ихъ слѣдствіяхъ. Повергнутъ въ созерцанье,
Мечталъ, какъ свѣтъ премудро сотворенъ;
О глазкахъ милой также думалъ онъ.

XCIII.

Такъ мудро разсуждая, голосъ муки
Онъ заглушалъ, и сладость находилъ
Въ такихъ мечтахъ. Отраденъ свѣтъ науки;
Блаженъ, кто ей всѣ думы посвятилъ.
Но странно, если юноша безъ скуки
Мечтаетъ о теченіи свѣтилъ.
Вы скажете, что это плодъ ученья,
А я беру въ разсчетъ и возбужденье.

XCIV.

Задумчиво глядѣлъ онъ на цвѣты;
Въ порывахъ вѣтра слышалъ вздохъ участья;
Онъ къ нимфамъ обращалъ порой мечты,
Къ богинямъ, что дарили смертнымъ счастье,
Являясь къ нимъ въ сіяньи красоты.
Въ немъ смутно пробуждалось сладострастье,
Невидимо летѣлъ за часомъ часъ,
И онъ обѣдъ прогуливалъ не разъ.

XCV.

Боскана онъ читалъ иль Гарсиласса
И былъ готовъ во прахъ предъ ними пасть;
Къ поэзіи душа его рвалася;
Внимая ей, въ немъ клокотала страсть.
Такъ по вѣтру листы летятъ, клубяся.
Казалося, надъ нимъ простерлась власть
Волшебника, что въ звуки сыплетъ чары,
Какъ я читалъ въ какой-то сказкѣ старой.

XCVI.

Напрасно въ лѣсъ онъ направлялъ свой путь;
На думы все жъ не находилъ отвѣта;
Отрады не могли въ него вдохнуть
Ни сладкія мечты, ни пѣснь поэта;
Онъ жаждалъ ласкъ, главу склонить на грудь,
Въ которой сердце нѣжностью согрѣто;
Онъ, можетъ быть мечталъ и о другомъ,
Но я покуда умолчу о томъ.

XCVII.

Отъ глазъ красивой Джуліи кручина,
Что въ даръ любовь Жуану принесла,
Не скрылась; тайныхъ мукъ его причина
Была понятна ей. Но какъ могла
Инесса у единственнаго сына
Не разузнать причинъ такого зла?
Не знаю, какъ понять ея молчанье;
Что видѣть въ немъ: притворство иль незнанье?

XCVIII.

Хитрецъ случайно ловится иной
Такъ мужъ ревнивый жалкую услугу
Себѣ готовъ оказывать порой,
Желая уличить свою супругу
Въ несоблюденьи заповѣди той,
Что ставитъ цѣломудріе въ заслугу
(Которая она—нейдетъ на умъ;
Ее жъ назвать боюсь я наобумъ).

XCIX.

Мужъ опытный ревнивъ, но онъ порою
Въ обманъ вдается, страстью увлеченъ;
Преслѣдуетъ того, кто чистъ душою,
Коварнаго же друга вводитъ онъ
Въ свою семью. Сойдется ль другъ съ женою,
Несчастный мужъ, бѣдою пораженъ,
Винитъ во всемъ, забывъ благоразумье,
Порочность ихъ, а не свое безумье.

C.

Отцовъ недальновидныхъ иногда
Случается, что дочери проводятъ
И достигаютъ цѣли безъ труда.
Что толку въ томъ, что съ дочерей не сводятъ
Родные глазъ? Случится ли бѣда—
Отцы въ негодованіе приходятъ
И, не виня оплошности своей,
Готовы проклинать своихъ дѣтей.

CI.

Инессы непонятное молчанье,
Увѣренъ я, скрывало лишь обманъ;
Притворство принимало видъ незнанья;
Ей, можетъ быть, хотѣлось, чтобъ Жуанъ
Окрѣпъ душой, узнавъ любви страданья,
А можетъ быть она имѣла планъ
Открыть глаза Альфонсу, въ той надеждѣ,
Что онъ жену не будетъ чтить, какъ прежде.

CII.

Однажды... Это было лѣтнимъ днемъ...
Весна, какъ май наступитъ, словно лѣто
Волнуетъ кровь, что въ жилахъ бьетъ ключомъ;
Потоки ослѣпительнаго свѣта,
Что солнце щедро льетъ, виновны въ томъ.
Душа мечтами страстными согрѣта;
Томится грудь; огонь горитъ въ крови.
Мартъ—мѣсяцъ зайцевъ, май—пора любви.

CIII.

Въ шестой іюня день... Не вижу прока
Въ неточности, а потому всегда
Я числа выставляю и глубоко
Чту хронологію. По мнѣ года —
Тѣ станціи, гдѣ колесница рока,
По всѣмъ странамъ носяся безъ слѣда,
Мѣняетъ упряжь, какъ воспоминанья
Лишь оставляя числа для преданья.

CIV.

О Джуліи я поведу разсказъ.
Какъ я уже сказалъ, въ началѣ лѣта,
Въ седьмомъ часу она сидѣла разъ
Въ саду, достойномъ гурій Магомета
Иль тѣхъ богинь, что восхищаютъ насъ
Въ твореньяхъ сладкогласнаго поэта
Анакреона-Мура. Дай-то Богъ,
Чтобъ насъ плѣнять еще онъ долго могъ!

CV.

Но Джулія въ тѣни душистой сада
Сидѣла не одна. Какимъ путемъ
Устроилось свиданье? Не надо
Все говорить, что знаемъ, и о томъ
Я умолчу: злословье хуже яда.
Вдали отъ всѣхъ Жуанъ съ ней былъ вдвоемъ;
Они бы поступили осторожно,
Закрывъ глаза, но развѣ это можно?

CVI.

Лицо ея горѣло отъ стыда,
Но все она себя не признавала
Виновною. Любовь хитритъ всегда
И вводитъ въ заблужденье. Ей не мало
Причинено страданій и вреда;
Близъ бездны Донна Джулія стояла,
Готовая совсѣмъ въ нее упасть,
А все грѣха не признавала власть.

CVII.

Она была собой вполнѣ довольна;
Такъ юнъ Жуанъ, что вѣрности обѣтъ
Не трудно ей сдержать; смѣшно и больно
Бояться зла, когда соблазна нѣтъ.
Въ то время ей припомнилось невольно,
Что мужъ ея пятидесяти лѣтъ.
Жаль, что она объ этомъ думать стала:
Любовь такіе годы цѣнитъ мало.

CVIII.

Коль говорятъ: „въ пятидесятый разъ
Я вамъ твержу", то это признакъ ссоры;
Когда поэты, музою гордясь,
О ней порой заводятъ разговоры—
Стиховъ полсотню вамъ прочтутъ какъ разъ;
Когда ихъ пятьдесятъ, опасны воры;
Не жди любви, какъ стукнетъ пятьдесятъ,
Тогда гиней полсотни просто кладъ.

CIX.

Защищена невинностью святою,
Она грѣха бояться не могла;
Рѣшивъ, что ей легко владѣть собою,
Она Жуана за руку взяла;
Разсѣянность была тому виною:
Она Жуана руку приняла
За собственную руку; въ заблужденье
Ее ввело душевное волненье.

CX.

Она затѣмъ склонилась головой
Къ другой его рукѣ, что утопала
Средь темныхъ волнъ косы ея густой,
Она его съ любовью созерцала,
Вся отдаваясь страсти молодой.
Зачѣмъ однихъ Инесса оставляла
Неопытныхъ дѣтей? Увѣренъ я,
Не такъ бы поступила мать моя.

CXI.

Жуанъ ей руку жалъ. Ей сладко было
Ему на ласку лаской отвѣчать;
Ея рука, казалось, говорила:
„Меня ты можешь нѣжить и ласкать;
Твоей руки пожатіе мнѣ мило".
Но Джулія, когда бъ могла понять,
Что есть опасность въ томъ, отъ зла ушла бы,
Какъ отъ змѣи иль ядовитой жабы.

CXII.

Жуанъ, въ которомъ клокотала кровь,
Къ ея рукѣ, въ порывѣ увлеченья,
Прильнулъ устами. Первая любовь
Всегда робка, и онъ пришелъ въ смятенье.
Но Джулія, не хмуря гнѣвно бровь,
Лишь покраснѣла. Тайное волненье
Она хотѣла отъ Жуана скрыть,
Къ тому жъ была не въ силахъ говорить.

CXIII.

Луна взошла. Опасное свѣтило
Напрасно цѣломудреннымъ зовутъ;
Въ ея лучахъ таинственная сила;
Они, блестя, на путь грѣха ведутъ.
Луна не мало бѣдствій причинила;

Ея лучи тревогу въ душу льютъ,
Въ ней пробуждая страстныя желанья;
Невиннѣе безъ мѣры дня сіянье.

CXIV.

Въ тотъ сладкій часъ, когда природа спитъ,
Одѣтая волшебнымъ блескомъ ночи,
Когда луна деревья серебритъ,
И звѣзды, какъ безчисленныя очи,
Глядятъ съ небесъ на этотъ чудный видъ,
Душѣ съ собою справиться нѣтъ мочи;
Она собой владѣть перестаетъ,
Но не покой ей этотъ мигъ даетъ.

CXV.

Жуанъ былъ рядомъ съ Джуліей, въ волненьи
Охватывая станъ ея рукой...
Когда бъ она имѣла опасенья,
Не трудно было бъ ей уйти домой.
Но вѣроятно это положенье
Имѣло даръ ее плѣнять собой...
Затѣмъ... но ужъ меня терзаетъ совѣсть,
Что началъ я писать такую повѣсть.

CXVI.

Платонъ! людей не мало ты сгубилъ
Теоріей своей, что будто можно
Умѣрить силой воли сердца пылъ
И страсть сдержать. Твое ученье ложно,
Ты людямъ больше зла имъ причинилъ,
Чѣмъ всѣ поэты вмѣстѣ. Непреложно,
Что ты и фатъ, и шарлатанъ, и лжецъ,
Опасный сводникъ любящихъ сердецъ.

CXVII.

Когда она очнулась, слезы градомъ—
Увы! не безъ причины—потекли
Изъ глазъ ея. Возможно ли, чтобъ рядомъ
Когда-нибудь любовь и разумъ шли!
Трудна борьба съ соблазна тонкимъ ядомъ.
Намѣренья благія не спасли
Ея отъ зла. Ей твердость измѣнила;
Она шепнула: „нѣтъ!"—и уступила.

CXVIII.

За новую утѣху Ксерксъ сулилъ,
Какъ говорятъ, богатыя награды;
За выдумку онъ много бъ заплатилъ.
На этотъ счетъ мои съ нимъ розны взгляды.
Въ любви всегда я счастье находилъ
И новыхъ наслажденій мнѣ не надо;
Я старыми довольствуюсь вполнѣ,
Лишь бы они не измѣнили мнѣ.

CXIX.

Ты часто губишь насъ, о наслажденье!
Но въ душу проливаешь яркій свѣтъ;
Покинуть путь грѣха и заблужденья
Я каждую весну даю обѣтъ;
Но къ Вестѣ мало чувствуя влеченья,
Я все грѣшу—и въ клятвахъ прока нѣтъ;
Все жъ мысль моя осуществиться можетъ;
Зимой исправлюсь,—стужа мнѣ поможетъ.

CXX.

Здѣсь маленькую вольность разрѣшить
Я долженъ музѣ. Не страшись, читатель!
Повѣрь, не въ состояньи оскорбить
Твою стыдливость нравственный писатель.
Но правиламъ я долженъ измѣнить,
Которыхъ я глубокій почитатель...
Когда предъ Аристотелемъ грѣшу,
Въ своей винѣ сознаться я спѣшу.

CXXI.

Не разъ поэтамъ такъ грѣшить случалось,
И вотъ вообразить прошу я васъ,
Что полгода почти съ тѣхъ поръ промчалось,
Какъ Джуліи съ Жуаномъ въ первый разъ
Запретный плодъ любви вкусить досталось
Въ іюньскій чудный вечеръ. Пронеслась,
Какъ сонъ, весна; настала осень злая...
Мы въ ноябрѣ; не помню лишь числа я.

CXXII.

Отрадно созерцать блестящій рой
Далекихъ звѣздъ, внимая плеску моря,
Когда оно, сребримое луной,
Лѣниво катитъ волны, пѣснѣ вторя,
Что гондольеръ поетъ въ тиши ночной,
Забывъ тяжелый гнетъ тоски и горя.
Не мало навѣваетъ свѣтлыхъ думъ
И сладкій ропотъ волнъ, и листьевъ шумъ.

CXXIII.

Отрадно, возвращаясь издалеча,
Погладить пса, что стережетъ нашъ дворъ;
Отрадно, если въ мигъ желанной встрѣчи
Отъ радости сіяетъ милый взоръ;
Пріятны слуху ласковыя рѣчи,
Жужжанье пчелъ и птицъ веселый хоръ;
Невольно насъ приводитъ въ сладкій трепетъ
И нѣжный голосъ дѣвъ, и дѣтскій лепетъ.

CXXIV.

Какъ сладокъ винограда алый сокъ,
Когда сбираютъ гроздья! Наслажденье—
Забиться лѣтомъ въ мирный уголокъ
Отъ города вдали. Отрадно мщенье,
Особенно для женщины. Мѣшокъ
Съ червонцами приводитъ въ восхищенье
Скупца. Отецъ рожденью сына радъ,
Морякъ—добычѣ, плѣннику—солдатъ.

CXXV.

Пріятно, коль достанется наслѣдство
Отъ дяди или тетки, что давно
Отъ старости глубокой впали въ дѣтство,
Дыша на ладанъ. Тѣмъ милѣй оно,
Чѣмъ больше истощились наши средства,
Чѣмъ дольше ждать намъ было суждено
Желанныхъ благъ, долговъ надѣлавъ кучи...
Увы, какъ старики порой живучи!

CXXVI.

Стяжать отрадно кровью иль перомъ
Вѣнокъ лавровый; сладко помириться;
Порой пріятно ссориться съ глупцомъ;
Порой виномъ недурно насладиться;
Всегда отрадно выступить бойцомъ
За жертву, что не можетъ защититься;
Намъ школа дорога; ей, можетъ быть,
Забыты мы, ее жъ нельзя забыть.

CXXVII.

Но замѣнить ничто не въ состояньи
Восторговъ, что даритъ намъ страсти пылъ;
Когда Адамъ, отвѣдавъ плодъ познаній,
Изъ свѣтлаго Эдема выгнанъ былъ,
Не могъ онъ проклинать своихъ страданій:
Узнавъ любовь, онъ новый рай открылъ.
Сравниться съ нею можетъ свѣтлый пламень,
Что Прометей вселилъ въ бездушный камень.

CXXVIII.

Престранное созданье человѣкъ!
Онъ гонится за тѣмъ, что только ново;
Открытьями богатъ нашъ жалкій вѣкъ,
Но лишь одинъ разсчетъ всему основой;
Обманъ дорогу правды пересѣкъ;
Нажива—вотъ магическое слово,
Которое съ любовью шепчетъ міръ,
Какъ встарь воздвигнувъ золоту кумиръ.

CXXIX.

Открытій цѣлый рядъ нашъ вѣкъ прославитъ;
Ихъ породили геній съ нищетой;
Одинъ носы искусственные ставитъ,
А гильотину выдумалъ другой;
Одинъ съ большимъ искусствомъ кости правитъ,
Другой ломаетъ ихъ — контрастъ смѣшной!
Болѣзнь, что насъ гнетъ, смѣняя новой,—
Мы прививаемъ оспу отъ коровы.

CXXX.

Картофель въ хлѣбъ мы стали превращать;
О гальванизмѣ цѣлые трактаты
Писали мы, но все жъ должны признать,
Что опытовъ ничтожны результаты.
Машинъ теперь такая благодать,
Что за труды бѣднякъ лишился платы.
Мы спасены отъ оспы, говорятъ,
Когда жъ ея исчезнетъ старшій братъ?

CXXXI.

Америка дала ему рожденье;
Когда же онъ воротится домой?
Тамъ сильно возрастаетъ населенье;
Пора бы моромъ, голодомъ, войной
И прочими дарами просвѣщенья
Его умѣрить ростъ. Вопросъ иной,
Что порождаетъ больше злыхъ послѣдствій—
Заразы ядъ иль гнетъ тяжелыхъ бѣдствій.

CXXXII.

Порой изобрѣтенья намъ вредятъ;
Но все-жъ ихъ цѣль гуманна и прекрасна;
Полезенъ былъ бы Дэви аппаратъ
Да жаль, онъ слишкомъ сложенъ; не напрасно
Полярныхъ странъ мы изучали хладъ;
Намъ Тимбукту далекое подвластно;
Все это людямъ пользы принесло
Не меньше, чѣмъ рѣзня при Ватерло.

CXXXIII.

Феноменъ человѣкъ и жизнь загадка;
Мнѣ только жаль, что въ наслажденьи грѣхъ,
Когда, сознаюсь въ томъ, грѣшить такъ сладко!
Какъ ни живи—одинъ конецъ для всѣхъ:

Все смерть придетъ съ своей улыбкой гадкой;
Ее ни власть, ни деньги, ни успѣхъ
Прогнать не могутъ. Что-жъ затѣмъ? Не знаю.
Вы также? Такъ прощайте. Продолжаю.

CXXXIV.

Мы—въ ноябрѣ, когда ужъ неба сводъ
Утратилъ блескъ своей лазури нѣжной,
И горы, испытавъ ненастья гнетъ,
Свой синій плащъ смѣнили ризой снѣжной;
Когда бушуетъ море и реветъ,
Стараясь поглотить утесъ прибрежный
Клокочущими волнами, и день
Часамъ къ пяти смѣняетъ ночи тѣнь.

CXXXV.

Царила ночь надъ спящею землею;
Луну скрывали тучи. Вкругъ огня,
Внимая вѣтра жалобному вою,
Сидѣла, грѣясь, не одна семья.
Камина сладкій свѣтъ! Какъ схожъ съ тобою
Волшебный блескъ безоблачнаго дня!
Въ вечерній часъ люблю я свѣтъ камина,
Веселый смѣхъ и пѣнистыя вина...

CXXXVI.

Насталъ полночный часъ. Отрадный сонъ,
Какъ надо думать, Джулія вкушала;
Въ глубокій мракъ давно былъ погруженъ
Ея альковъ. Она вдругъ услыхала
Такой ужасный шумъ, что мертвыхъ онъ
Поднять бы могъ. Служанка въ дверь стучала,
Испуганно крича: „стряслась бѣда!..
Сударыня, вашъ мужъ идетъ сюда!

CXXXVII.

Скорѣе отоприте, ради Бога!
Полгорода за нимъ стремится вслѣдъ;
Могу сказать: нежданная тревога...
Я стерегла, моей вины тутъ нѣтъ...
На лѣстницѣ они; еще немного—
И будутъ здѣсь; готовьтесь дать отвѣтъ;
Онъ, можетъ быть, еще успѣетъ скрыться,
Прыгнувъ въ окно; да надо торопиться"...

CXXXVIII.

Дѣйствительно, съ толпой друзей и слугъ,
Въ рукахъ державшихъ факелы и свѣчи,
Ворвался въ домъ разгнѣванный супругъ;
Чтобъ зло карать, съ женой искалъ онъ встрѣчи;
Возможно-ль допустить, чтобъ даромъ съ рукъ
Женѣ сходилъ обманъ? О томъ и рѣчи
Не можетъ быть. Одну не наказать,
Съ нея примѣръ другія будутъ брать.

CXXXIX.

Какимъ путемъ вселились подозрѣнья
Въ Альфонсо, не берусь я объяснить.
Но все-жъ его постыдно поведенье,—
Какъ можно въ спальню женину входить,
Безъ всякаго о томъ предупрежденья,
Съ толпой вооруженной! Грустно быть
Обманутымъ; но развѣ легче горе,
Когда трубишь о собственномъ позорѣ?

CXL.

Близъ Джуліи, что плакала навзрыдъ,
Ея служанка вѣрная стояла
И дѣлала такой неловкій видъ,
Какъ будто бы сейчасъ съ кровати встала;
Въ лицѣ ея читались гнѣвъ и стыдъ
Я, право, не пойму, зачѣмъ желала
Доказывать собравшимся она,
Что донна почивала не одна...

CXLI.

Могло-ль казаться страннымъ, что съ служанкой
Она спала, боясь быть одной?
(Когда для мужа оргія—приманка,
Иной женѣ приходится порой
Такъ поступать. Конечно, перебранка—
Ночного кутежа исходъ прямой;
Но мужъ, щадя жены ревнивой нервы,
Ей говоритъ: „я ужинъ бросилъ первый!")

CXLII.

Атаку Донна Джулія сама
Вдругъ повела. „Глазамъ своимъ не вѣрю!
Вы вѣрно пьяны иль сошли съ ума!..
За что досталась я такому звѣрю?..
Милѣе смерть, отраднѣе тюрьма,
Чѣмъ съ вами жизнь. Кто тамъ стоитъ за дверью?
Я подозрѣнья ввѣкъ вамъ не прощу...
Ищите же!" Онъ молвилъ: „Поищу!"

CXLIII.

И вотъ онъ сталъ пытливо шарить всюду;
Искали и они по всѣмъ угламъ;
Все перерыли: платья и посуду,
Искали по комодамъ и шкафамъ—
И что-жъ нашли?—бѣлья и кружевъ груду
И пропасть тѣхъ вещей, что красятъ дамъ;



МАТЬ ДОНЪ ЖУАНА (Donna Inez).
Рис. Д. Льюисъ (I. E. Lewis), грав. Ф. Льюисъ (F. C. Lewis).

Гребенокъ, щетокъ, склянокъ, притираній,
Но все успѣхъ ихъ не вѣнчалъ стараній.

CXLIV.

Иные заглянули подъ постель,
Но тамъ нашли не то, чего желали;
Ломали все, чтобъ видѣть, нѣтъ ли гдѣ-ль
Слѣдовъ близъ дома, ставни отворяли;
Но все—увы!—не достигалась цѣль.
Ихъ лица выражать смущенье стали...
Какъ странны иногда дѣла людей:
Искали подъ постелью, а не въ ней!

CXLV.

Ихъ въ это время Джулія язвила.
„Ищите же!—кричала имъ она.—
Лишь въ гнусныхъ оскорбленьяхъ ваша сила;
Должно быть, я за то посрамлена,
Что тяжкій крестъ безропотно носила;
Но чашу мукъ я выпила до дна,—
И бѣдной жертвы скоро стихнутъ стоны,
Когда у насъ есть судьи и законы!

CXLVI.

Быть вашею женою за позоръ,
Считаю я. Вамъ безразлично это,—
Вы мужъ лишь по названью. Дѣлать вздоръ,—
Скажите,—не постыдно-ль въ ваши лѣта?
Конечно, дряхлость старцу не укоръ,
Но можно-ль стать посмѣшищемъ для свѣта!...
Какъ смѣете, тиранъ, наглецъ, злодѣй,
Вы сомнѣваться въ вѣрности моей!

CXLVII.

Глухого старика, грѣховъ не зная,
Я избрала себѣ духовникомъ;
Его терпѣть не стала бы другая...
Такъ непорочна я, что онъ съ трудомъ
Въ мое замужство вѣритъ. Жизнь такая
Несносна мнѣ; пойду инымъ путемъ,—
Прошла пора терпѣнья и уступокъ...
Возможно-ль вамъ простить такой поступокъ?

CXLVIII.

Что-жъ, кромѣ зрѣлищъ, баловъ и церквей,
Ставъ чуть ли не затворницей въ Севильѣ,
Я видѣла? Кто изъ моихъ друзей
Играетъ роль кортехо? Всѣ усилья,
Чтобы смутить покой души моей,
Плодовъ не принесли. За что-жъ насилье?
Самъ графъ О'Рельи, храбрый генералъ,
Что взялъ Алжиръ, моею жертвой сталъ.

CXLIX.

Шесть мѣсяцевъ вздыхалъ пѣвецъ Каццани
У ногъ моихъ. „Изъ всѣхъ испанскихъ дамъ
Лишь непорочны вы", графъ Корніани
Такъ говорилъ.—За что же этотъ срамъ?
Графъ Строгановъ писалъ мнѣ рядъ посланій;
Осталась я глуха къ его мольбамъ.
Ирландскій пэръ, что былъ отвергнутъ мною,
Себя убилъ... (Онъ умеръ отъ запою).

CL.

Двухъ грандовъ я совсѣмъ лишила сна;
Епископовъ сводить съ ума умѣла...
За что же безупречная жена
Должна страдать? Я утверждаю смѣло,
Что вы—лунатикъ. Я удивлена,
Что кулаковъ вы не пустили въ дѣло...
Какъ жалки вы съ оружіемъ въ рукахъ!
Вы смѣхъ лишь возбуждаете, не страхъ.

CLI.

Внимая наущеньямъ прокурора,
Въ далекій путь какъ будто снарядясь,
Вы скрылись, говоря: „вернусь не скоро"...
Онъ отъ стыда поднять не можетъ глазъ!
Обоимъ вамъ не смыть съ себя позора.
Но прокуроръ еще подлѣе васъ:
Не вашу честь онъ охранялъ ревниво,—
Нѣтъ, цѣль его была одна нажива.

CLII.

Когда онъ хочетъ здѣсь составить актъ,
Пусть пишетъ: вотъ чернила и бумага;
Признать ему придется грустный фактъ,
Что безъ причинъ вся эта передряга...
Коль вами не совсѣмъ утраченъ тактъ,
Пусть удалится сыщиковъ ватага,
Чтобъ дать одѣться горничной моей,
Что плачетъ оттого, что стыдно ей.

CLIII.

Ищите и въ передней, и въ уборной!
Прошу, переверните все вверхъ дномъ!
Тамъ—дверь чулана; здѣсь—каминъ просторный:
Какъ знать, быть можетъ спрятался онъ въ немъ.
Но не шумѣть, я васъ прошу покорно,—
Я спать хочу... Все спитъ еще кругомъ.
Умѣрьте пылъ до отысканья клада;
Его сама я буду видѣть рада.

CLIV.

За что такъ поступаете со мной?
Вашъ образъ дѣйствій просто непонятенъ.
О, храбрый витязь! кто жъ любовникъ мой?...
Надѣюсь, онъ уменъ и родомъ знатенъ?
Какъ звать его? Красивъ ли онъ собой?
Онъ вѣрно въ цвѣтѣ лѣтъ, высокъ и статенъ?
Коль запятнать мою рѣшились честь,
На то у васъ причины вѣрно есть.

CLV.

Я думаю, онъ все же васъ моложе;
А если онъ шестидесяти лѣтъ,—
Вамъ, рыцарю, губить его за что же?
И ревновать причины даже нѣтъ.
(Воды, воды скорѣй!) Какъ горько, Боже,
Что скрыть нельзя рыданій грустный слѣдъ!

О, мать моя! могло ль тебѣ присниться,
Что съ извергомъ я буду вѣкъ томиться!...

CLVI.

Къ Антоніи, прислужницѣ моей,
Быть можетъ ваша ревность ужъ готова
Придраться? Мы вѣдь спали вмѣстѣ съ ней;
Въ томъ, кажется, нѣтъ ничего дурного.
Я васъ прошу: стучитесь у дверей,
Когда ворваться вздумаете снова,
Чтобъ время дать, приличія любя,
Намъ что нибудь накинуть на себя!

CLVII.

Я кончила. Душевная тревога
Мѣшаетъ мнѣ всѣ счеты съ вами свесть;
Но ясно вамъ, какъ сердце можетъ много
Безропотно страданій перенесть...
Предъ совѣстью своей отвѣтить строго
Придется вамъ. Ея ужасна месть...
Мнѣ васъ не жаль,—томитесь и страдайте!
(Антонія, платокъ скорѣй подайте!)“

CLVIII.

Она въ подушки бросилась; сквозь слезъ
Ея сверкали очи. Такъ порою
Дождь падаетъ при блескѣ вешнихъ грозъ.
Невольно поражая бѣлизною,
Изъ-подъ ея распущенныхъ волосъ
Сквозили плечи. Черною косою
Ихъ оттѣнялся блескъ еще сильнѣй.
Волненье говорить мѣшало ей.

CLIX.

Альфонсо былъ въ смущеніи. Сердито
Антонія шагала, гнѣвный взглядъ
На барина съ опѣшенною свитой
Бросая. Кто же былъ скандалу радъ?
Лишь прокуроръ, съ улыбкой ядовитой,
Не унывалъ: кто правъ, кто виноватъ—
Былъ для него вопросъ совсѣмъ неважный,—
Лишь о наживѣ думалъ плутъ продажный.

CLX.

Онъ зорко за Антоніей слѣдилъ,
Поднявши носъ и щуря глазъ лукаво;
Онъ счастье лишь въ процессахъ находилъ,
Не дорожа ничьею доброй славой;
Ни красоту, ни юность не цѣнилъ,
И по его понятьямъ были правы
Лишь тѣ, что ублажить съумѣли судъ,
Хотя бъ и ложь, и подкупъ были тутъ.

CLXI.

Злосчастный мужъ стоялъ совсѣмъ сконфуженъ
И былъ, конечно, жалокъ и смѣшонъ:
Фактъ преступленья не былъ обнаруженъ;
На сторонѣ жены стоялъ законъ;
Невинностью ея обезоруженъ,
Въ своей винѣ раскаивался онъ..
Растерянъ и въ смущеніи глубокомъ,
Безмолвно онъ внималъ ея упрекамъ.

CLXII.

Онъ началъ извиняться передъ ней,
Но отъ нея напрасно ждалъ отвѣта,—
Лишь плакала она. Порой мужей
Такимъ путемъ сживаютъ жены съ свѣта;
Онъ Іова жену сравнилъ съ своей:
Не хуже той язвить умѣла эта.
„Мнѣ будетъ мстить вся женина родня“,
Подумалъ онъ, поступокъ свой кляня.

CLXIII.

Пробормотать онъ словъ успѣлъ немного;
Антонія его прервала рѣчь,
Сказавъ: „скорѣй уйдите, ради Бога,
А то синьорѣ въ гробъ придется лечь!“
Она притомъ на всѣхъ взглянула строго.
Альфонсо, что хотѣлъ скандалъ пресѣчь
И мало пользы ждалъ отъ разговора,—
Ругнувъ жену, изъ спальни вышелъ скоро.

CLXIV.

За нимъ ушелъ и сонмъ его гостей,
Довольный тѣмъ, что кончилъ перебранку;
Лишь прокуроръ толкался у дверей;
Онъ думалъ, какъ бы дѣло наизнанку
Перевернуть ехидностью своей;
Его нахальство взорвало служанку,—
Она сутягу вытолкала вонъ,
Въ его лицѣ обидѣвши законъ.

CLXV.

О, грѣхъ и срамъ! Лишь всѣ исчезли... Что же?
Какъ тяжело мнѣ продолжать романъ!
Иль слѣпъ весь міръ и небо слѣпо тоже,
Что можетъ правды видъ принять обманъ?
Для женщины вѣдь честь всего дороже.
Я продолжаю нехотя. Жуанъ,
Лишь только двери заперетъ успѣли,
Почти лишенный чувствъ, вскочилъ съ постели.

CLXVI.

Онъ спрятанъ былъ; но это — тщетный трудъ
Вамъ объяснять, какъ онъ отъ взоровъ скрылся;
Жуанъ былъ очень молодъ, гибокъ, худъ
И въ уголку постели пріютился;
Задохнуться легко онъ могъ бы тутъ;
Но еслибъ онъ и умеръ, я бъ стыдился
Его жалѣть: такъ слаще кончить путь,
Чѣмъ въ бочкѣ, словно Кларенсъ, утонуть.

CLXVII.

Жалѣть его не сталъ бы я, конечно,
И потому, что былъ преступенъ онъ.
Прелюбодѣйство осуждаютъ вѣчно
И нравственность, и церковь, и законъ.
Въ года любви относятся безпечно
Къ такимъ грѣхамъ, — вѣдь бѣсъ тогда силенъ,—
Но въ старости, когда разсчетовъ время,
Какъ тяжело грѣховъ прошедшихъ бремя!

CLXVIII.

Изъ Библіи сравненіе я дамъ,
Что можетъ пояснить его мытарство:
Когда Давидъ изнемогалъ, врачамъ
Пришло на умъ престранное лѣкарство:
Они ему послали, какъ бальзамъ,
Красавицу и ожилъ онъ для царства;
Но иначе пріемъ былъ вѣрно данъ:
Хоть царь воскресъ, чуть не погибъ Жуанъ.

CLXIX.

Альфонсо возвратиться долженъ снова;
Ему гостей не долго проводить;
Бѣда опять обрушиться готова;
Что дѣлать, чтобъ опасность отвратить?
Ужъ близокъ день, а можно ль безъ покрова
Глубокой тьмы успѣшно тайну скрыть?
Антонія въ смущеніи молчала,
А Джулія Жуана обнимала.

CLXX.

Онъ волосы ей гладилъ. Ихъ уста
Сливались въ сладострастное лобзанье;
Въ тотъ сладкій мигъ влюбленная чета
Забыла и опасность, и страданья.
Но время уносилось, какъ мечта...
Антонія пришла въ негодованье:
„Намъ не до шутокъ!—молвила она.—
Я, сударь, въ шкапъ васъ запереть должна.

CLXXI.

Бѣда еще виситъ надъ головою,
А вамъ на умъ идетъ одна любовь;
До смѣха ли? Какъ справитесь съ грозою,
Коль баринъ встрѣтитъ васъ, вернувшись вновь?
Все это пахнетъ шуткою плохою:
Того и жди, что будетъ литься кровь,—
Онъ васъ убьетъ, я мѣсто потеряю,
А барыня спасется ли—не знаю.

CLXXII.

Сударыня, я, право, вамъ дивлюсь!
(Прошу идти скорѣй!) Соблазна много
Въ мужчинѣ зрѣлыхъ лѣтъ, но что за вкусъ
Къ смазливому ребенку! (Ради Бога
Проворнѣе влѣзайте!) Я боюсь,
Что баринъ насъ накроетъ. Вотъ тревога!
(До утра потерпите какъ нибудь,
А тамъ... Да вы не вздумайте заснуть!)"

CLXXIII.

Тутъ Донъ Альфонсо прервалъ назиданья
Антоніи, войдя на этотъ разъ
Совсѣмъ одинъ. Онъ распустилъ собранье
И ей велѣлъ, немедля, скрыться съ глазъ...
Могли ль теперь помочь ея старанья?
Какъ не исполнить данный ей приказъ?
И вотъ, взглянувъ на барина нахально,
Она, задувъ свѣчу, ушла изъ спальной.

CLXXIV.

Онъ помолчалъ немного и потомъ
Пустился въ извиненья: онъ сознался,
Что предъ женою виноватъ кругомъ
И что совсѣмъ онъ въ дуракахъ остался,
Сказавъ, что клевета виновна въ томъ;
Но до причинъ поступка не касался,
И рѣчь его, пустой и жалкій вздоръ,
Была лишь фразъ безсмысленныхъ подборъ.

CLXXV.

Жена молчитъ, хотя отвѣтить ловко
Она могла бъ и мужа осадить.
(У женщинъ есть особая сноровка,
Чтобъ изъ воды сухими выходить.
Надъ мужемъ верхъ всегда беретъ плутовка,—
Ей развѣ трудно въ ходъ и ложь пустить?
За связь одну жена упреки ль слышитъ—
Ихъ мужу три она сейчасъ припишетъ).

CLXXVI.

Дѣйствительно, она бъ легко могла
Супруга пристыдить преступной связью
Съ Инессою,—вѣдь эта связь была
Извѣстна всѣмъ; смѣшать Альфонсо съ грязью
Ей, можетъ быть, стыдливость не дала...
(Но впрочемъ нѣтъ,—пропуститъ ли оказью
Жена язвить супруга!). Можетъ-быть,
Хотѣлось ей для сына мать щадить.

CLXXVII.

Еще могла другая быть причина:
Изъ ревности Альфонсо поднялъ шумъ,
Но никого онъ, съ хитростью змѣиной,
Не назвалъ; можетъ быть, и наобумъ
Онъ дѣйствовалъ; отъ матери до сына
Дойти легко (хитеръ ревнивый умъ!);
А потому, чтобъ имя скрыть счастливца,
Она безмолвно слушала ревнивца.

CLXXVIII.

Намекъ одинъ, и обнаруженъ фактъ,
Что надо скрыть; въ минуту затрудненья
Почти всегда спасаетъ женщинъ тактъ.
(Для рифмы только это выраженье
Я въ ходъ пускаю). Съ правдою контрактъ
Зачѣмъ имъ заключать? Воображенье
Имъ замѣняетъ истину собой;
Къ тому жъ онѣ такъ мило лгутъ порой.

CLXXIX.

Мы вѣримъ имъ, когда стыдливой краски
На ихъ ланитахъ виденъ легкій слѣдъ.
Къ чему борьба? Слезой заблещутъ глазки,
И для борьбы у насъ ужъ силы нѣтъ.
Сознаюсь въ томъ, неотразимы ласки,—
Къ чему же споръ? У дамъ всегда отвѣтъ
На все готовъ; имъ здравый смыслъ не нуженъ:
Признай ихъ власть, затѣмъ... садись за ужинъ.

CLXXX.

Прощенья мужъ просилъ. Жена нашла,
Что лучше миръ, и тайный гнѣвъ скрывая,
Окончить брань согласіе дала.
Но на него эпитимья большая
Супругою наложена была:
Съ нимъ сходенъ былъ Адамъ, лишенный рая.
Онъ не жалѣлъ ни просьбъ, ни нѣжныхъ словъ—
Вдругъ... наступилъ на пару башмаковъ..

CLXXXI.

Что жъ въ башмакахъ? Какое въ нихъ значенье?
Онъ вѣрно ничего бы не сказалъ,
Да въ немъ проснулись страшныя сомнѣнья:
Мужскіе башмаки онъ въ нихъ призналъ.
(Я чуть дышу отъ страха и волненья!)
Ихъ въ бѣшенствѣ Альфонсо въ руки взялъ
И, убѣдившись въ вѣрности догадки,
За шпагою помчался безъ оглядки.

CLXXXII.

Къ Жуану въ страхѣ бросилась она,
Шепнувъ ему; „скорѣй спасаться надо!
Отъ дома дверь едва притворена.
По лѣстницѣ спустись. Вотъ ключъ отъ сада.
Ты проскользнуть успѣешь. Ночь темна;
Прохожихъ нѣтъ; все тихо за оградой;
Ты скроешься во тьмѣ. Бѣги, бѣги!..
Я слышу мужа гнѣвнаго шаги!"

CLXXXIII.

Совѣтъ недуренъ былъ, все вѣрно это,
Да слишкомъ поздно былъ онъ принесенъ.
(Такъ опытность дается намъ въ тѣ лѣта,
Когда ужъ насъ не тѣшитъ счастья сонъ).
Еще прыжокъ—и возлѣ кабинета
Жуанъ спастись бы могъ. Къ несчастью, онъ
Столкнулся впопыхахъ съ Альфонсо ярымъ
И съ ногъ его свалилъ однимъ ударомъ.

CLXXXIV.

Потухла принесенная свѣча.
Антонія и Джулія въ испугѣ
По комнатѣ забѣгали, крича;
Но, какъ на грѣхъ, не появлялись слуги.
Отъ бѣшенства, какъ дикій звѣрь рыча,
Альфонсо жаждалъ мщенья; отъ натуги
И отъ борьбы Жуанъ разсвирѣпѣлъ,
Быть жертвою онъ вовсе не хотѣлъ.

CLXXXV.

Альфонсо совершенно растерялся;
Упавъ, онъ шпагу выронилъ изъ рукъ
И только кулаками защищался.
Когда бы на нее наткнулся вдругъ
Жуанъ,—въ живыхъ не долго бы остался
Злосчастный и озлобленный супругъ...
О, женщины! какъ часто ваша страстность
Влюбленнымъ въ васъ сулитъ одну опасность!..

CLXXXVI.

Жуанъ, чтобы скорѣе кончить бой,
Схватилъ врага въ желѣзныя объятья...
У Донъ Альфонсо изъ носу струей
Кровь брызнула отъ этого пожатья;
Ударомъ довершилъ онъ подвигъ свой
И вырвался на волю, бросивъ платья,
Какъ нѣкогда Іосифъ. Сходство съ нимъ
Лишь этимъ выражается однимъ.

CLXXXVII.

Вотъ слуги освѣтили мѣсто схватки...
Безъ чувствъ лежала Джулія, блѣдна,
Какъ смерть сама; Антонія въ припадкѣ;
Альфонсо, весь избитый, у окна
Стоялъ дрожа. Лохмотья въ безпорядкѣ
Вездѣ валялись; кровь была видна...
Тѣмъ временемъ Жуанъ, калитку сада
Толкнувъ проворно, скрылся за оградой.

CLXXXVIII.

Я кончилъ пѣснь. Зачѣмъ вамъ объяснять,
Въ какомъ ужасномъ видѣ, скрытый тьмою,
Что всякій грѣхъ готова поощрять,
Жуанъ пришелъ домой? Отъ васъ не скрою,
Что вся Севилья стала толковать
Объ этомъ происшествіи. Съ женою
Супругъ рѣшилъ покончить чрезъ разводъ,
И вотъ процессъ пустилъ Альфонсо въ
ходъ.

CLXXXIX.

Имъ занялась вся английская пресса;
Во всѣхъ газетахъ можете прочесть
Подробности скабрезнаго процесса;
На этотъ счетъ редакцій много есть,
Что, безъ сомнѣнья, полны интереса,
Хоть всѣхъ ихъ разнорѣчій и не счесть;
Однако жъ лучше всѣхъ отчетъ Гернея,
Что ѣздилъ въ судъ, чтобъ все узнать
вѣрнѣе.

CXC.

Инесса, чтобы Божій гнѣвъ отвлечь
Отъ сына за скандалъ, имъ учиненный,
Дала обѣтъ (обѣтомъ пренебречь
Она была не въ силахъ!) предъ Мадонной—
Во всѣхъ церквахъ поставить массы свѣчъ.
Затѣмъ, чтобъ шумъ, процессомъ возбу-
жденный,
Немного стихъ и сыну дать вздохнуть,
Отправила его въ далекій путь.

CXCI.

Чтобы Жуанъ свои исправилъ нравы,
Онъ посланъ былъ въ далекіе края,
Въ надеждѣ той, что новыя забавы,
Его душѣ невинной миръ даря,
Убьютъ въ немъ страсти жгучія отравы.
А Джулія въ стѣнахъ монастыря
Влачила вѣкъ унылый. Вотъ посланье,
Что выяснитъ вполнѣ ея страданья:

CXCII.

„Вы ѣдете; такъ надо, можетъ быть...
Я жертвой остаюсь; но сердца муку
Я не хочу, не въ силахъ даже скрыть;
Свои права теряю я съ разлукой;
Возможно ли сильнѣй меня любить?
Волненье въ дрожь мою приводитъ руку.
Но не ищите слезъ унылый слѣдъ:
Мои глаза горятъ, но слезъ въ нихъ нѣтъ.

CXCIII.

Все въ жертву принесла я; васъ любила,
Люблю еще,—чиста любовь моя;
Какъ свѣтлый сонъ, прошедшее мнѣ мило;
Мнѣ жертвъ не жаль; пусть свѣтъ клей-
митъ меня:
Свою вину давно я осудила
И, каясь, не оправдываюсь я.
Не ждите просьбъ; зачѣмъ теперь упреки?
Но я томлюсь, и льются эти строки.

CXCIV.

Вся наша жизнь любви посвящена;
Она жъ для васъ минутная забава
Минутной вспышки. Ваша жизнь полна
Заботъ, тревогъ; вы гонитесь за славой,
Вы ищете борьбы; не зная сна,
Порою честолюбія отравы
Вкушаете; а намъ дана лишь страсть, —
Надъ женщиной ея всесильна власть.

CXCV.

Еще не разъ любви взаимной сладость
И нѣжность ласкъ придется вамъ вкусить,
Со мной же на землѣ простилась радость;
Страдать могу, но не могу забыть.
Въ слезахъ, въ тоскѣ моя увянетъ мла-
дость.
Прощайте же! Напрасно, можетъ быть,
Но васъ прошу любить меня, какъ прежде;
Пусть давитъ скорбь—все мѣсто есть на-
деждѣ.

CXCVI.

Я не имѣла, не имѣю силъ
Бороться съ сердцемъ. Да, борьба напрасна,—
Могу ль умѣрить я душевный пылъ?
Дыханью бурь теченье волнъ подвластно;
Моей душѣ одинъ лишь образъ милъ,
Къ одной мечтѣ я рвуся думой страстной.
Такъ пунктъ одинъ, все къ сѣверу стремясь,
Указываетъ стрѣлкою компасъ.

CXCVII.

Все сказано, а кончить жаль посланье.
Я вся горю; дрожитъ моя рука;
Разбита грудь; въ душѣ одно страданье;
Не убиваетъ горькая тоска,
Коль пережить минуту разставанья
Могла я. Смерть глуха къ мольбамъ. Пока
Въ груди моей все сердце будетъ биться,
Я буду, васъ любя, за васъ молиться!"

CXCVIII.

Короною украшенный листокъ,
Съ обрѣзомъ золотымъ, она избрала
Для начертанья этихъ нѣжныхъ строкъ;
Печатая письмо, она сдержала
Горючихъ слезъ нахлынувшій потокъ.
Красивая печать изображала
На сургучѣ геліотропъ въ цвѣту
Съ такимъ девизомъ: „Elle vous suit partout".

CXCIX.

Вотъ первое Жуана приключенье,
Читатели! Теперь покину васъ.
Когда услышу ваше одобренье,
Современемъ продолжу свой разсказъ.
(Увы! толпы непостоянно мнѣнье,—
Она капризна; ладить съ ней подчасъ
Не легкій трудъ.) Коль вы довольны мною,
Опять вернусь я къ своему герою.

CC.

Я написать хочу двѣнадцать книгъ;
Моя поэма будетъ эпопея.
Не мало опишу въ стихахъ моихъ
Картинъ и сценъ; предъ властью не робѣя,
И королей не пощадитъ мой стихъ.
Беря во всемъ примѣръ съ пѣвца Энея,
Геенну воспою. Свой трудъ назвавъ
Эпическимъ, какъ видите, я правъ.

CCI.

Все изложу я съ соблюденьемъ правилъ,
Что Аристотель издалъ какъ законъ.
Онъ на ноги поэтовъ часто ставилъ,
Но и глупцовъ не мало создалъ онъ.
Иныхъ поэтовъ бѣлый стихъ прославилъ,
А я въ куплеты съ риѳмами влюбленъ.
Не въ инструментѣ, а въ артистѣ дѣло.
Мой планъ готовъ, — за трудъ примуся смѣло.

CCII.

Есть разница, однако, между мной
И бардами эпическихъ твореній;
Я не пойду избитою тропой
И въ этомъ я достоинъ предпочтенья.
Но не одною этою чертой
Надѣюсь заслужить я одобренье:
Разсказъ ихъ лживъ съ начала до конца;
Не лучше ль трудъ правдиваго пѣвца?

CCIII.

Что я правдивъ, не сомнѣвайтесь въ этомъ;
Грѣшно меня въ неправдѣ укорять;
Не вѣрите—къ журналамъ и газетамъ
Вы обратитесь: имъ нельзя солгать.
Не разъ и музыкантамъ, и поэтамъ
Жуана приходилось воспѣвать,
И вся Севилья видѣла со мною,
Какъ онъ погибъ, похищенъ сатаною.

CCIV.

Когда бъ разстался съ музой я своей
И къ прозѣ обратился, я бъ оставилъ
Для назиданья рядъ заповѣдей,
Которыми себя бы я прославилъ,
Всѣхъ изумилъ бы смѣлостью идей.
Благодаря собранью этихъ правилъ,
Поэтамъ я открылъ бы новый путь,—
Совсѣмъ хоть Аристотеля забудь!

CCV.

Вѣрь въ Мильтона и Попа! Безъ вниманья
Вордсворта, Соути, Кольриджа оставь!
Читать ихъ вирши—просто наказанье;
Господь тебя отъ этого избавь...
Бороться съ Краббомъ—тщетное старанье;
Чти Роджерса, а Кемпбеля не славь;
Хоть Мура сладострастьемъ дышитъ муза,
Съ ней не ищи грѣховнаго союза.

CCVI.

Съ поэтомъ Сотби сходства не ищи;
Изъ зависти не говори, что гадки
Его стихи; смотри, не клевещи!
(Есть дамы, что на это очень падки).
Пиши, какъ я велю, и не взыщи,
Коль на тебя посыплются нападки
За то, что не согласенъ ты со мной;
Смирись иль гнѣвъ ты испытаешь мой!

CCVII.

Не думайте, что правиламъ морали
Я чуждъ. Покуда не задѣлъ я васъ,
Не поднимайте шума. Если бъ стали
Поэму, безпристрастія держась,
Разсматривать,—такой упрекъ едва ли
Я бъ заслужилъ. Порой игривъ разсказъ,
Но все же я моралью строгой связанъ
И будетъ грѣхъ въ концѣ труда наказанъ.

CCVIII.

Найдетъ ли кто, меня не ставя въ грошъ,
Впадая непонятно въ заблужденье,
Что планъ моей поэмы нехорошъ
И что мое безнравственно творенье,—
Духовному скажу я: это—ложь;
Но если одного съ нимъ будетъ мнѣнья
Иль храбрый воинъ, или критикъ злой,—
Скажу, что взглядъ ошибоченъ такой.

CCIX.

Нельзя не похвалить мои октавы,—
Въ нихъ цѣлый ворохъ нравственныхъ идей;
Учу шутя, мораль смѣшавъ съ забавой.
(Кладутъ въ лѣкарства сахаръ для дѣтей).
Гоняся за эпическою славой,
Журналу „Brittisch" бабушки моей
Я взятку далъ, чтобъ заслужить хваленья
И тѣхъ, что вѣрятъ лишь въ чужія мнѣнья.

CCX.

Издателю пришлось мнѣ заплатить
Не мало. Мнѣ, любезно отвѣчая,
Онъ обѣщалъ стихи мои хвалить.
Не удивитъ угодливость такая...
А если станетъ онъ меня бранить,
Потоки меда жолчью замѣняя,
И поднесетъ мнѣ грозный приговоръ,—
Скажу ему, что онъ—презрѣнный воръ.

CCXI.

Благодаря „священному союзу",
Что заключилъ я, не боюся бѣдъ
И за свою не опасаюсь музу.
Мнѣ до другихъ изданій дѣла нѣтъ.
Я на себя не принималъ обузу—
Протекцію искать другихъ газетъ;
Къ тому жъ отъ нихъ напрасно ждать пощады,
Лишь только ихъ не раздѣляешь взгляды.

CCXII.

Я повторять съ Гораціемъ готовъ:
Non ego hoc ferrem Calida juventa
Consule Planco. Приведенныхъ словъ
Вотъ смыслъ: когда путь жизненный, какъ лента,
Передо мной лежалъ и свѣтлыхъ сновъ
Я видѣлъ рой; когда струилась Брента
Далеко отъ меня,—и бодръ, и смѣлъ,
Всѣ отражать удары я умѣлъ.

CCXIII.

Теперь простилась молодость со мною;
Мнѣ тридцать лѣтъ, а я и сѣдъ, и хилъ.
Прожилъ еще я раннею весною
Все лѣто дней моихъ. Во мнѣ остылъ
Душевный жаръ; я сознаю съ тоскою,
Что для борьбы ужъ не имѣю силъ;
Всѣ блага расточивъ съ безумствомъ мота,
Теперь дошелъ я съ жизнью до разсчета.

CCXIV.

Больное сердце вновь не оживетъ,—
Оно тоской глубокою объято;
Безъ свѣтлыхъ грезъ тяжеле жизни гнетъ,
Надежда улетѣла безъ возврата;
Съ цвѣтовъ и я сбиралъ, какъ пчелы, медъ.
Ужель въ цвѣтахъ нѣтъ больше аромата?
О, нѣтъ, все свѣжъ и все душистъ цвѣтокъ,
Но для другихъ хранитъ свой сладкій сокъ.

CCXV.

Я только сердцемъ жилъ, но безъ пощады
Его разбила жизнь. Прости любовь!
За муки отъ судьбы не жду награды.
Былые сны мнѣ не волнуютъ кровь.
Источникомъ проклятій и отрады,
О, сердце! для меня не будешь вновь.
Мнѣ опытность собою замѣнила
Рой свѣтлыхъ грезъ, но жизнь мнѣ отравила.



ПЕРВЫЯ ГРЕЗЫ ДОНЪ ЖУАНА.
Рис. Рихтеръ (H. Richter), грав. Ролсъ (C. Rolls).

CCXVI.

Прошла моя цвѣтущая весна:
Ни женщины, ни дѣвушки, ни вдовы
Не могутъ моего тревожить сна;
Не для меня святой любви оковы...
Я не могу, какъ прежде, пить вина
И долженъ обратиться къ жизни новой...
Чтобъ какъ нибудь еще грѣшить я могъ,
Не выбрать ли мнѣ скупость, какъ порокъ?

CCXVII.

До дна испилъ я чашу наслажденья,
И что жъ?—меня не манитъ жизни пиръ;
Въ душѣ одни тревоги и сомнѣнья;
Я говорю, какъ Бэкона кумиръ:
„Неудержимо времени теченье".
Я молодость сгубилъ и сердца миръ,—
Ихъ воскресить я не имѣю власти!
Мой умъ сгубили риѳмы, сердце—страсти.

CCXVIII.

Что слава?—жалкій звукъ, пустой обманъ.
Она сходна съ высокою горою;
Гора крута, а наверху туманъ.
Хоть часто смерть она несетъ съ собою,
Не мало причиняя жгучихъ ранъ,—
За нею люди гонятся толпою...
Что жъ остается?—жалкій шумъ газетъ,
Негодный бюстъ или плохой портретъ.

CCXIX.

Когда жъ въ обманъ надежды не вводили?
Хеопсъ, гордяся славою своей,
Чтобъ царскій прахъ столѣтья пощадили,
Воздвигнулъ пирамиду-мавзолей.
Когда вошли въ гробницу, даже пыли
Отъ муміи не сохранилось въ ней.
Возможно ль намъ укрыться отъ забвенья,
Когда и самъ Хеопсъ сталъ жертвой тлѣнья?

CCXX.

Философа я все твержу слова:
„Гдѣ жизнь цвѣтетъ, тамъ для нея оковы
Готовитъ смерть. Мы, смертные, трава,
Что въ сѣно превращаетъ рокъ суровый.
Хотя бъ могла явиться юность снова,
Все не утратитъ смерть свои права.
Будь благодаренъ, что не прожилъ хуже,
Молись, а свой карманъ держи потуже".

CCXXI.

Милѣйшій покупщикъ моихъ стиховъ,
Почтенный мой читатель, на прощанье
Тебѣ я руку жму безъ лишнихъ словъ!
Коль мы поймемъ другъ друга — до свиданья;
А если нѣтъ, поэму я готовъ
Не дописать. Достоинъ подражанья
Такой примѣръ; но, къ горю твоему,
Не многіе послѣдуютъ ему.

CCXXII.

„Лети, мой трудъ! Подъ свѣтлою звѣздою
Ты родился и принесешь мнѣ честь;
Не скоро свѣтъ разстанется съ тобою!"
Коль Вордсвортъ сталъ понятенъ, если есть
Читатели у Соути,—съ похвалою
Свои стихи могу я перечесть...
Стихи въ ковычкахъ—Соути: это знайте,—
Съ моими ихъ, прошу васъ, не смѣшайте.

ПѢСНЬ ВТОРАЯ.

I.

О вы, всѣхъ странъ извѣстныхъ педагоги!
Учениковъ не забывайте сѣчь,
Ихъ кожи не жалѣя; будьте строги!
Вѣдь боль отъ зла ихъ можетъ уберечь.
О томъ, какъ Донъ Жуанъ съ прямой дороги
Оригинально сбился, велъ я рѣчь;
А лучшая изъ матерей не мало
О воспитаньи сына хлопотала.

II.

Будь въ школу, въ третій иль четвертый классъ
Онъ помѣщенъ,—серьезныя занятья
Его бы удержали отъ проказъ.
Такъ было бы на сѣверѣ; изъятье,
Быть можетъ, въ этомъ случаѣ какъ разъ
Испанія; все жъ не могу понять я,
Какъ юноша-шалунъ въ шестнадцать лѣтъ
Могъ натворить нежданно столько бѣдъ!

III.

Но головы ломать не надо много,
Чтобъ стало ясно все: Жуана мать
Умомъ стремилась въ даль, а педагога,
Что былъ при немъ, не грѣхъ осломъ назвать;
Къ тому жъ красотка встрѣтилась дорогой
(Безъ этого скандалу бъ не бывать!);
Помогъ и старый мужъ, съ женой пригожей
Не ладившій; помогъ и случай тоже.

IV.

Что жъ дѣлать! Міръ вкругъ оси осужденъ
Вращаться. Съ нимъ и мы всегда въ движеньи;
Среди заботъ проходитъ жизнь, какъ сонъ.
Соображаясь съ силою волненья,
Мы паруса мѣняемъ; чтимъ законъ;
Насъ мучитъ врачъ; святыя наставленья
Даетъ намъ попъ; любовь, вино, борьба,
Порой успѣхъ—вотъ смертнаго судьба.

V.

Жуанъ былъ посланъ въ Кадиксъ. (Добрымъ словомъ
Его всегда я помянуть готовъ!)
Въ былые дни онъ центромъ былъ торговымъ,
Покамѣстъ Перу не порвалъ оковъ.
Красавицъ цѣлый рой живетъ подъ кровомъ
Его жилищъ. Не нахожу я словъ,
Чтобъ о походкѣ дамъ вамъ дать понятья—
Подобье ей не въ силахъ и прибрать я.

VI.

Арабскій конь, воздушная газель,
Лѣсной олень... Какое изобилье
Сравненій! Все жъ не попадаю въ цѣль.
Упомяну ль о юбкѣ и мантильѣ?
Остановиться тутъ не лучше мнѣ ль,

Не то всю пѣснь, безъ всякаго усилья,
Имъ посвящу. О муза, перестань,
Волнуясь, имъ платить хваленій дань!

VII.

Могу ль не говорить я о вуали,
Что донна бѣлоснѣжною рукой
Отбрасываетъ, взоръ острѣе стали
Вонзая въ васъ. Увидѣвъ взглядъ такой,
Вы развѣ, истомяся, не страдали?
Забыть нельзя край страсти огневой,
Гдѣ изъ-подъ дымокъ, схожихъ съ фацціоли,
Глаза красавицъ жгутъ сердца до боли.

VIII.

Но вновь къ разсказу! Въ Кадиксъ посланъ былъ
Жуанъ, но мать ему велѣла строго
Не оставаться въ немъ. Кто не грѣшилъ
На сушѣ, гдѣ соблазновъ всякихъ много?
Надѣялась она, что сердца пылъ
Остудитъ въ немъ далекая дорога.
На кораблѣ, отъ шашней удаленъ,
Могъ плавать, какъ въ ковчегѣ Ноя, онъ.

IX.

Напутствіе прослушалъ мой повѣса
И, денегъ взявъ, укладываться сталъ.
Грустила, разставаясь съ нимъ, Инесса
(Онъ на четыре года уѣзжалъ).
Безъ слезъ разлуки нѣтъ; но фактъ, что бѣса
Сынокъ отгонитъ—донну утѣшалъ.
Съ инструкціей (что, впрочемъ, не прочелъ онъ)
Жуанъ сѣлъ на корабль, унынья полонъ.

X.

Инесса между тѣмъ, съ сынкомъ простясь,
Устроила воскресныя собранья,
Чтобъ отучать мальчишекъ отъ проказъ;
Имъ строгія давая назиданья,
Она пребольно сѣкла ихъ не разъ.
Такъ удалось Жуана воспитанье,
Что поколѣнье новое отъ зла
Спасти—ей мысль блестящая пришла.

XI.

Корабль понесся въ даль. Вокругъ бурливо
Клубились волны; сильный вѣтеръ дулъ;
На свѣтѣ нѣтъ ужаснѣе залива;
Его ревущихъ волнъ знакомъ мнѣ гулъ.
Чрезъ бортъ обдать васъ пѣной имъ не диво.
Жуанъ съ тоской на родину взглянулъ.
Ему прощаться съ нею было ново,
Но милый край увидитъ ли онъ снова?

XII.

Невольная тоска сжимаетъ грудь,
Когда родимый край скрываетъ лоно
Безбрежныхъ водъ. Въ дни юности взглянуть
На этотъ грустный видъ нельзя безъ стона...
Когда я уѣзжалъ въ далекій путь,
Мнѣ помнится, что берегъ Альбіона
Пятномъ казался бѣлымъ. Прочихъ странъ
Цвѣтъ съ моря синеватый, какъ туманъ.

XIII.

Жуана грудь отъ мукъ рвалась на части;
Скрипѣлъ корабль, что волны въ даль несли;
Свирѣпо вѣтеръ дулъ, трещали снасти;
Какъ точка, Кадиксъ виденъ былъ вдали.
Морской болѣзни хуже нѣтъ напасти;
Чтобъ съ нею вы знакомства не свели,
Рекомендую бифштексъ, какъ лѣкарство:
Онъ васъ спасетъ отъ этого мытарства.

XIV.

Испанскій берегъ канулъ въ бездну водъ
И въ сердцѣ Донъ Жуана, мукой сжатомъ,
Заныла скорбь. Тяжелъ разлуки гнетъ!
Присуще это чувство и солдатамъ,
Что въ дальній снаряжаются походъ;
Какъ сердце чутко къ горестнымъ утратамъ!
Съ мѣстами нелюбимыми подчасъ
Разлука опечаливаетъ насъ.

XV.

А Донъ Жуанъ и съ матерью, и съ милой
Разстался (не съ законною женой)!
Поэтому понятно, что уныло
Прощался онъ съ родимою страной.
Когда и тѣ, что даже намъ постылы,
Насъ заставляютъ слезы лить порой,
О милыхъ какъ не плакать! (Мы готовы
Тужить о нихъ, пока нѣтъ скорби новой).

XVI.

У вавилонскихъ рѣкъ, тоской томимъ,
Рыдалъ еврей, скорбя о дняхъ счастливыхъ;
Такъ плакалъ и Жуанъ. Я бъ плакалъ съ нимъ,
Да муза-то моя не изъ слезливыхъ!
Все жъ для забавы людямъ молодымъ
Не дурно путешествовать. Снабдивъ ихъ
Инструкціей такой, въ ихъ чемоданъ,
Надѣюсь, попадетъ и мой романъ.

XVII.

Взволнованный Жуанъ стоялъ, сливая
Соль жгучихъ слезъ страданья съ солью водъ...
„Прелестное къ прелестному!“ Питая
Къ цитатамъ страсть, пустилъ я эту въ ходъ.
Такъ королева говоритъ, рыдая,
Когда на гробъ Офеліи кладетъ
Цвѣты. Жуанъ, убитый горькой долей,
Поклялся, что грѣшить не будетъ болѣ.

XVIII.

„Прости, мой край родной! Быть можетъ, мнѣ
Тебя не видѣтъ вновь и безнадежно
Скитальцемъ я въ далекой сторонѣ
Умру, стремясь къ тебѣ душой мятежной.
Гвадалквивиръ! привѣтъ твоей волнѣ!..
Прости, о мать, и ты, мой ангелъ нѣжный!
(Тутъ Джуліи посланье, полнъ тоски,
Онъ перечелъ, не пропустивъ строки).

XIX.

Тебя ль забыть? твой рабъ я до могилы!
Скорѣе испарится океанъ,
Скорѣй земля, подъ гнетомъ вражьей силы,
Преобразится въ воду иль туманъ,
Чѣмъ изгоню изъ сердца образъ милый!
Неизлѣчима боль сердечныхъ ранъ!“
(Тутъ качка началася и съ испугомъ
Онъ счеты сталъ сводить съ морскимъ недугомъ).

XX.

„О Джулія! (припадокъ сталъ сильнѣй)
Къ тебѣ взываю каждую минуту!
(Баттиста, Педро, эй, вина скорѣй!
Немедленно свести меня въ каюту!)
О Джулія! ты страсть души моей!
(Гдѣ жъ Педро? Ну, достанется же плуту!)
Услышь меня!“ (Припадокъ тошноты
Тутъ разомъ всѣ смутилъ его мечты).

XXI.

Тотъ сердца гнетъ (скорѣе гнетъ желудка),
Которому не можетъ врачъ помочь,
Онъ ощущалъ. Утрата, злая шутка,
Измѣна, что порой черна какъ ночь,
Его раждаютъ. Силою разсудка
Не отогнать такую тяжесть прочь!
Жуанъ сильнѣе выразилъ бы горе,
Не будь такимъ ужаснымъ рвотнымъ море.

XXII.

Любовь, съ капризами дружна;
Легко мирясь съ недугомъ благороднымъ,
Боится жабъ и насморковъ она,
Къ нимъ относясь съ презрѣніемъ холоднымъ.
Любовь слѣпа, а все же ей вредна
Простуда глазъ; въ порывѣ сумасбродномъ
Она укажетъ тоже вамъ порогъ,
Когда, чихнувъ, прервете нѣжный вздохъ.

XXIII.

Но злѣйшіе враги ея—не скрою—
Желудка боль и рвота. Хмуря бровь,
Она отъ нихъ стремится вдаль, стрѣлою.
При случаѣ она прольетъ и кровь,
Припарка же ей смерть несетъ съ собою!
Какъ видите, сильна-жъ была любовь
Жуана, если, корчась отъ недуга,
Все помнилъ онъ оставленнаго друга.

XXIV.

Понесся Донъ-Жуанъ на кораблѣ,
Носившемъ имя Santa Trinitada,
Въ Ливорно. (Этотъ портъ всегда въ числѣ
Тѣхъ мѣстъ, что посѣтить туристу надо).
Тамъ, поселившись на чужой землѣ,
Давно ужъ жилъ испанскій домъ Монкадо.
Къ нему Жуанъ, съ нимъ связанный родствомъ,
Отправленъ былъ съ привѣтомъ и письмомъ.

XXV.

При Донъ Жуанѣ были три лакея
И гувернеръ Педрилло, что хоть зналъ
Не мало языковъ, теперь слабѣя
Отъ тошноты, безъ языка лежалъ.
Онъ къ сушѣ рвался мысленно, блѣднѣя
И проклиная каждый новый валъ;
Вода при этомъ, къ ужасу Педрилло,
Къ нему попавъ, постель его смочила.

XXVI.

Его недаромъ мучила тоска:
Еще подулъ сильнѣе вѣтеръ къ ночи!
(Не устрашаетъ буря моряка,
Тому жъ, кто свыкся съ сушею, нѣтъ мочи
Волненья скрыть, когда она близка).
Сгущалась тьма; отъ молній слѣпли очи;
Матросамъ паруса убрать пришлось,
Чтобъ шквалъ, въ порывѣ яромъ, мачтъ не снесъ.

XXVII.

Въ часъ ночи шквалъ нагрянулъ рьянъ и гнѣвенъ;
Корабль онъ съ трескомъ на бокъ повалилъ;
Ударясь въ бортъ, разрушилъ ахтеръ-штевенъ,
И съ нимъ старнъ-постъ, все расшатавъ разбилъ;

Видъ корабля и такъ ужъ былъ плачевенъ,
А тутъ и руль валами сорванъ былъ;
Къ тому жъ вода вливалась въ трюмъ. Насосы
Съ отчаяньемъ пустили въ ходъ матросы.

XXVIII.

Одни качали воду; суетясь,
За бортъ другіе лишній грузъ бросали;
Вотъ, наконецъ, пробоина нашлась,
Но отъ крушенья имъ спастись едва ли!
Вода, какъ прежде, съ ревомъ въ трюмъ лилась...
Въ пробоину совать товары стали,
Ковры, рубашки, куртки, чтобъ пресѣчь
Потопъ,—увы! не унималась течь.

XXIX.

А все они трудились бы напрасно
И все жъ бѣда надъ ними бы стряслась,
Когда бъ насосы, дѣйствуя прекрасно,
Не выручали ихъ. Они не разъ
Спасали моряковъ въ моментъ опасный.
Насосы, что выбрасываютъ въ часъ
Тоннъ пятьдесятъ воды—оплотъ безцѣнный.
Ихъ производитъ мистеръ Мэннъ почтенный.

XXX.

Къ разсвѣту буря стала утихать.
Хоть три еще работали насоса,—
Явилася надежда течь прервать;
Но предаваться радости пришлося
Не долго. Буря, заревѣвъ опять,
Порвала цѣпи пушекъ; началося
Волненье и, зловѣщихъ полонъ силъ,
Корабль на бимсы вѣтеръ повалилъ.

XXXI.

Корабль, разбитый бурей, безъ движенья
Лежалъ. Лилась на палубу вода
Изъ трюма. Видъ унылый разрушенья
Нельзя забыть. Тяжелая бѣда,
Пожары, битвы, бури и крушенья
Намъ до могилы памятны всегда.
Не любятъ ли пловцы и водолазы,
Спасясь отъ бурь, вести о нихъ разсказы?

XXXII.

Срубили и форъ-стеньги, и бизань,
Чтобъ облегчить корабль, но онъ, уныло
Накренясь и недвиженъ, какъ чурбанъ,
Лежалъ средь волнъ. Ему бѣда грозила;
И вотъ срубить бушпритъ приказъ былъ данъ,
А также и фокъ-мачту. Съ страшной силой
Тогда корабль, что облегченъ былъ тѣмъ,
Воспрянулъ вдругъ, а ужъ тонулъ совсѣмъ!

XXXIII.

Легко понять, что въ этотъ часъ опасный
Сердца пловцовъ щемили страхъ и боль;
Мириться съ перспективою ужасной—
Быть поглощеннымъ волнами—легко ль!
Иные моряки, когда напрасны
Надежды на спасенье, алкоголь
И ромъ тянуть готовы, льнутъ и къ грогу,
Чтобъ смѣло встрѣтить дальнюю дорогу.

XXXIV.

Всего вѣрнѣй религія и ромъ
Дарятъ душѣ покой. Тутъ, съ смертью въ спорѣ,
Кто спиртъ тянулъ, кто распѣвалъ псаломъ,
Кто грабилъ. Басомъ въ этомъ грозномъ хорѣ
Былъ океанъ, а вѣтеръ дискантомъ.
Страхъ вылѣчилъ больныхъ. Ревѣло море
И вторило, вздымаясь къ небесамъ,
Проклятьямъ, воплямъ, стонамъ и мольбамъ.

XXXV.

Безъ мятежа не обошлось бы дѣло,
Когда бы, съ пистолетами въ рукахъ,
Жуанъ не спасъ вина. Оторопѣла
Толпа, а лучше ль умирать въ волнахъ,
Чѣмъ отъ огня? Толпа хоть и шумѣла,
Но удержалъ ее невольный страхъ;
Предъ тѣмъ, чтобъ утонуть въ пучинѣ моря,
Ей утонуть въ винѣ хотѣлось съ горя.

XXXVI.

Народъ ревѣлъ: „Дай грогу! Черезъ часъ
Мы все равно погибнемъ отъ крушенья!"
—„Пускай,—сказалъ Жуанъ,—меня и васъ
Ждетъ скоро смерть и не найти спасенья,
Людьми умремъ, не какъ скоты!" Отказъ
Его былъ строгъ и смолкли всѣ въ смущеньи;
Умѣрилъ онъ и гувернера прыть,
Дерзнувшаго стаканъ вина просить.

XXXVII.

Глубоко старикашка былъ взволнованъ,
Молился, плакалъ, каялся въ грѣхахъ,
Божился, что исправиться готовъ онъ;
Что если только минетъ этотъ страхъ,
Отъ Саламанки, къ ней душой прикованъ,
Всю жизнь не отойдетъ онъ ни на шагъ
И въ роли Санхо-Пансо съ Донъ Жуаномъ
Не будетъ ѣздить вновь по разнымъ странамъ.

XXXVIII.

Надежды лучъ ихъ снова озарилъ;
Къ разсвѣту вѣтеръ стихъ; хоть прибывала

По прежнему вода, корабль все плылъ,
Лишенъ снастей; вотъ солнце засіяло...
Опять за дѣло, полны новыхъ силъ,
Всѣ принялись, но течь одолѣвала;
Кто былъ сильнѣй, тотъ въ ходъ пускалъ насосъ,
А слабымъ паруса сшивать пришлось.

XXXIX.

Подъ киль поддѣли парусъ и казалось,
Что съ этимъ течь какъ будто унялась;
Надежды все же мало оставалось;
Но хорошо прожить и лишній часъ:
Когда же слишкомъ поздно смерть являлась?
Хоть умирать приходится лишь разъ,
Совсѣмъ не обязательно, повѣрьте,
Попавъ въ заливъ Ліонскій, рваться къ смерти.

XL.

Туда-то ихъ корабль и загнанъ былъ
По волѣ волнъ. Онъ несся на просторѣ
Безъ мачты, безъ руля и безъ вѣтрилъ,
А не до чинки было: какъ на горе,
Безъ перерывовъ гнѣвно вѣтеръ вылъ
И, гибель имъ суля, ревѣло море;
Всѣхъ приводилъ корабль разбитый въ дрожь:
Онъ, правда, плылъ, но съ уткой не былъ схожъ.

XLI.

Немного вѣтеръ стихъ, но такъ ихъ судно
Разбито было бурей, что на немъ
Держаться дольше было безразсудно;
Къ тому жъ судьба съ другимъ опаснымъ зломъ
Имъ стала угрожать борьбою трудной:
Запасъ воды все таялъ съ каждымъ днемъ,
О берегѣ жъ и не было помину;
Лишь ночь плыла и вѣтеръ злилъ пучину,

XLII.

Вода врывалась въ трюмъ со всѣхъ сторонъ
А все пловцы боролися съ судьбою;
Но вотъ разбитыхъ помпъ раздался звонъ..
Безпомощно корабль поникъ кормою.
По милости лишь волнъ держался онъ;
А милость ихъ имѣетъ сходство съ тою,
Что проявлять привыкъ изъ вѣка въ вѣкъ
Въ борьбѣ междоусобной человѣкъ.

XLIII.

Въ то время къ капитану плотникъ старый
Приблизился и объявилъ, въ слезахъ,
Что не спастись отъ этого удара.
Старикъ, что часто плавалъ на судахъ
И велъ не разъ борьбу съ стихіей ярой—
Тутъ слезы лилъ, но ихъ плодилъ не страхъ:
Бѣднякъ имѣлъ семью. Какая мука
Для гибнущаго съ милыми разлука!

XLIV.

Корабль склонилъ корму и сталъ тонуть.
Смѣшалось все; здѣсь слышались моленья,
Обѣты тамъ. (Когда ужъ конченъ путь,
Какая польза въ нихъ)? Ища спасенья,
Иные стали ялъ къ водѣ тянуть.
Тутъ кто-то у Педрилло отпущенья
Грѣховъ просилъ,—но, и въ смущеньи строгъ,
Его отправилъ къ чорту педагогъ.

XLV.

Кто къ койкѣ льнулъ; кто, скрежеща зубами,
Рвалъ волосы и день рожденья клялъ;
Кто въ даль глядѣлъ безумными очами;
Иной нарядъ богатый надѣвалъ;
Тѣ, что бодрѣе были, надъ ладьями
Трудились. Если не нагрянетъ шквалъ,
Бороться съ моремъ можетъ долго лодка,
Средь разъяренныхъ волнъ несяся ходко.

XLVI.

Грозила морякамъ еще бѣда:
Въ то время, какъ они боролись съ моремъ,
Припасы ихъ попортила вода.
Сравнится ль что нибудь съ подобнымъ горемъ!
Вѣдь голодъ насъ пугаетъ и тогда,
Когда мы безнадежно съ смертью споримъ;
Двѣ бочки сухарей и масла—вотъ
Все то, что имъ пришлося бросить въ ботъ.

XLVII.

Попытка въ трюмъ сойти имъ удалася:
Они достали хлѣба, что подмокъ,
Съ водою прѣсной бочку для баркаса,
Свинины также небольшой кусокъ.
(Такого не могло бъ хватить запаса
На завтракъ даже имъ!) Среди тревогъ
Про ромъ они, однако, не забыли:
Его боченокъ цѣлый прикатили.

XLVIII.

Двѣ шлюпки раньше шквалъ еще разбилъ,
На нихъ нагрянувъ съ силой небывалой;
Баркасъ же не вполнѣ надеженъ былъ:
Ему весло, что юнга, ловкій малый,
Удачно сбросилъ, мачтою служилъ;
Роль паруса играло одѣяло;

Къ тому жъ въ баркасъ и ялъ могла по-
пасть
Команды небольшая только часть.

XLIX.

Спустилась ночь надъ гнѣвною пучиной,
Какъ занавѣсъ. За нимъ, казалось, скрытъ
Зловѣщій врагъ, что съ злобою змѣиной,
Отъ взоровъ прячась, жертву сторожитъ.
Одѣлись мракомъ тяжкія картины
Отчаянья—пловцовъ былъ страшенъ видъ!
Двѣнадцать дней объятьями своими
Душилъ ихъ ужасъ; смерть теперь предъ
ними.

L.

Пытались сколотить изъ бревенъ плотъ;
Въ иное время выдумка такая
Всѣхъ разсмѣшила бъ, а теперь лишь тотъ
Смѣяться могъ, кто пьянъ. Не понимая
Опасности, какъ жалкій идіотъ,
Хохочетъ пьяный, ужасъ нагоняя
Своимъ безумнымъ смѣхомъ. Только Богъ
Въ тотъ мигъ пловцовъ спасти бы чудомъ
могъ!

LI.

Боченки, доски, реи—все спустили,
Что только можетъ въ крайности помочь;
Въ глаза бросалась тщетность всѣхъ уси-
лій,—
Надежду все жъ они не гнали прочь;
Въ часу девятомъ лодки отвалили;
Лишь тусклымъ блескомъ звѣздъ сіяла
ночь;
Корабль, кормою внизъ, нырнулъ и вскорѣ,
Разъ только всплывъ, безслѣдно скрылся
въ морѣ.

LII.

Тогда отъ моря къ небу возлетѣлъ
Прощальный вопль; храбрецъ стоялъ без-
молвный;
Стоналъ лишь трусъ; иной, что смерть
хотѣлъ
Предупредить, бросался, муки полный,
Въ пучину, проклиная свой удѣлъ;
Зіяющую пасть разверзли волны
И въ схваткѣ съ ними сгинулъ въ безднѣ
водъ
Корабль, какъ вождь, что съ смертью
смерть несетъ.

LIII.

Раздался общій вопль, пучинѣ вторя,
Онъ какъ ударъ пронесся громовой;
Затѣмъ утихло все, лишь съ ревомъ моря
Сливался урагана дикій вой,
Отдѣльный крикъ отчаянья и горя;
Еще кой-гдѣ во тьмѣ звучалъ порой
Унылый крикъ пловца, что съ горькой
долей,
Лишившись силъ, не могъ бороться болѣ.

LIV.

Грозила смерть и тѣмъ, что пересѣсть
Успѣли въ лодки. Буря не стихала
И вѣтеръ дулъ. До берега добресть
По прежнему надежды было мало.
Хоть всѣхъ пловцовъ не трудно было счесть
(Ихъ горсть была), все жъ мѣста не хва-
тало
Для нихъ въ ладьяхъ. Баркасъ въ себѣ
вмѣщалъ
До тридцати пловцовъ, а девять—ялъ.

LV.

Душъ до двухсотъ разстались съ тѣлами!
Нѣтъ смерти для католика страшнѣй;
Въ чистилищѣ, преслѣдуемъ чертями,
Онъ жарится, пока подъ нимъ углей
Попъ не зальетъ усердными мольбами.
А скоро ль о крушеньи до людей
Домчится вѣсть? Безъ панихидъ, что де-
негъ
Не мало стоятъ, къ раю путь трудненекъ.

LVI.

Жуану удалося сѣсть въ баркасъ;
Онъ помѣстилъ туда же педагога
И, въ ментора нежданно превратясь
(Съ Педрилло помѣнявшись ролью), строго
Держалъ его. Старикъ, всего боясь,
Лишь жалобно стоналъ, объятъ тревогой.
Баттистъ, слуга Жуана, въ океанъ
Свалился съ корабля, напившись пьянъ.

LVII.

Насчетъ вина и Педро тѣхъ же правилъ
Держался. Онъ въ баркасъ не могъ по-
пасть
И, утонувъ, вино водой разбавилъ.
Хоть близъ ладьи ему пришлось упасть,
Его спасти кто бъ мысли не оставилъ,
Когда пучина, разверзая пасть,
Ихъ всѣхъ втянуть въ свои стремилась
нѣдра?
Да и въ ладьѣ не помѣстился бъ Педро.

LVIII.

Собачка, что Жуанъ съ собою везъ,
Погибель чуя, лаяла и выла.
(Природой данъ собакамъ чуткій носъ!)
Разстаться съ ней Жуану грустно было:
Его отцу когда то вѣрный песъ
Принадлежалъ. (Въ воспоминаньяхъ сила!)
И вотъ предъ тѣмъ, чтобы спрыгнуть въ ладью,
Въ нее швырнулъ собачку онъ свою.

LIX.

Часть денегъ захватилъ Жуанъ съ собою
Другую жъ сунулъ пѣстуну въ карманъ;
Педрилло, смятый горькою судьбою,
Казалось, превратился въ истуканъ
Отъ страха и унынья. Подъ грозою
Не унывалъ лишь юный Донъ Жуанъ
И вѣря, что поправить можно дѣло,
Отъ смерти спасъ и пса, и дядьку смѣло.

LX.

Баркасъ бѣжалъ по гребнямъ волнъ сѣдыхъ,
А вѣтеръ дулъ съ такой зловѣщей силой,
Что паруса лишиться каждый мигъ
Опасность имъ тяжелая грозила.
Нещадно обливали волны ихъ,
Встрѣчаяся съ кормой, что леденило
Надежды и тѣла! Злосчастный ялъ
Средь бурныхъ волнъ у нихъ въ глазахъ пропалъ.

LXI.

Погибло девять душъ съ крушеньемъ яла;
Баркасъ же продолжалъ нестися въ даль;
Но съ парусомъ плохимъ изъ одѣяла,
Прибитаго къ веслу, онъ могъ едва ль
Спастись. Хоть смерть, какъ прежде, угрожала
Пловцамъ, имъ жертвъ крушенья стало жаль;
Ихъ также опечалилъ фактъ плачевный,
Что сухари погибли въ безднѣ гнѣвной.

LXII.

Надъ мрачной бездной огненнымъ шаромъ
Вставало солнце, бурю предвѣщая;
Имъ оставалось думать лишь о томъ,
Чтобъ плыть по вѣтру, волнъ не разсѣкая.
По чарочкѣ пловцамъ былъ розданъ ромъ
(Полунагихъ скитальцевъ буря злая
Лишила силъ); а хлѣба, что подмокъ,
Едва достался каждому кусокъ.

LXIII.

Ихъ было тридцать; такъ они столпились,
Что пальцемъ шевельнуть никто не могъ;
Поочередно спать одни ложились
На мокромъ днѣ ладьи; полны тревогъ,
Другіе въ это время съ бурей бились.
Ихъ обдавало съ головы до ногъ
Водой. Какъ въ лихорадкѣ всѣхъ знобило;
Имъ покрываломъ небо только было.

LXIV.

Продлить мы можемъ жизнь желаньемъ жить;
Извѣстно, что и трудные больные
Встаютъ съ одра, когда ихъ съ свѣта сжить
Не ищутъ—другъ, супруга иль родные;
Отъ ножницъ Паркъ спасаетъ жизни нить
Надежда; ей не знаю и цѣны я!
Отчаянье—врагъ жизни; человѣкъ
Въ его когтяхъ кончаетъ скоро вѣкъ.

LXV.

Живетъ всѣхъ дольше тотъ, кто обезпеченъ
Пожизненнымъ окладомъ. Фактъ такой
Необъяснимъ, но онъ давно замѣченъ;
Такъ смертный радъ пожить на счетъ чужой,
Что дѣлается тотчасъ долговѣченъ;
Жидъ-ростовщикъ—тому примѣръ прямой:
Съ жидами я имѣлъ дѣла когда-то;
Но съ ними, какъ всегда, трудна расплата!

LXVI.

Хоть цѣлый міръ лишеній, бѣдъ и зла
Въ удѣлъ пловцамъ достался; хоть покоя
Лишилъ ихъ рокъ,—имъ жизнь была мила;
Утесъ боится ль волнъ, межъ ними стоя?
Всѣхъ мореходовъ доля тяжела;
Припомните судьбу ковчега Ноя,
Ему не мало мыкаться пришлось;
Не мало бѣдъ и Арго перенесъ.

LXVII.

Всѣ люди плотоядны; имъ и сутки
Прожить безъ пищи тягостно. Они,
Какъ кровожадный тигръ, къ добычѣ чутки;
Акулы имъ, по жадности, сродни.
Хоть такъ у нихъ устроены желудки,
Что ѣсть могли бы овощи одни,
Но людъ рабочій только съ мясомъ друженъ
И кормъ иной ему совсѣмъ не нуженъ.



ДЖУЛІЯ (Donna Julia).
Рис. Льюисъ (J. E. Lewis), грав. Райолъ (H. T. Ryall).

LXVIII.

На третій день внезапный штиль насталъ
И улеглись ревѣвшихъ волнъ громады,
Пловцы, какъ черепахи возлѣ скалъ,
Заснули мертвымъ сномъ, полны отрады;
Когда жъ отъ сна очнулись и ихъ сталъ
Зловѣщій голодъ мучить безъ пощады,
Они, съ благоразуміемъ простясь,
Весь порѣшили свой запасъ.

LXIX.

Что жъ,—угадать послѣдствія не трудно!
Спастися имъ ужъ было мудрено;
Возможно ли надѣяться на судно,
Когда съ однимъ плохимъ весломъ оно?
Они же истребили безразсудно
Всю пищу, что имѣли, и вино,
Себя пустой надеждою дурача,
Что скоро улыбнется имъ удача.

LXX.

Четвертый день... А океанъ дремалъ,
Какъ на груди у матери малютка.
Вотъ пятый день! Все мертвый штиль стоялъ,
Висѣлъ какъ тряпка парусъ, къ вѣтру чуткій.
Лѣниво вдаль катился синій валъ...
(Съ однимъ весломъ имъ приходилось жутко!)
А голодъ моряковъ все крѣпъ и росъ;
Тутъ съѣденъ былъ Жуана вѣрный песъ.

LXXI.

Питалъ своею шкурой экипажъ онъ
Весь день шестой. Жуану песъ былъ милъ
И съ гнѣвомъ онъ отъ тѣхъ отпрянулъ брашенъ.
Но день спустя рѣшенье измѣнилъ;
Его терзавшій голодъ былъ такъ страшенъ,
Что лапку пса онъ съ дядькой раздѣлилъ.
Педрилло въ мигъ кусокъ упряталъ гадкій,
Жалѣя, что пришлось дѣлить остатки.

LXXII.

Седьмой ужъ день! Ни вѣтра нѣтъ, ни тучъ;
Они лежатъ какъ трупы безъ движенья;
Тѣла ихъ жжетъ палящій солнца лучъ;
Безъ вѣтра нѣтъ надежды на спасенье,—
А вѣтеръ спитъ и океанъ пѣвучъ!
Ихъ дикихъ взглядовъ страшно выраженье;
Въ нихъ ясно виденъ думъ ужасныхъ слѣдъ:
Гдѣ прежде былъ морякъ—тамъ людоѣдъ.

LXXIII.

Какое-то чудовищное мнѣнье
Чуть слышно кто-то высказалъ. Оно
Ихъ облетѣло всѣхъ въ одно мгновенье:
Всѣхъ та же мысль ужъ мучила давно!
Раздался хриплый шопотъ одобренья,
И кинуть жребій было рѣшено,
Чтобъ рокъ намѣтилъ жертву, чье закланье
Имъ средство дастъ продлить существованье.

LXXIV.

Но прежде чѣмъ до этого дойти,
Они и обувь съѣли, и фуражки;
Хоть не легко подобный крестъ нести,
Все жъ наступилъ моментъ расплаты тяжкій;
Но такъ какъ не могли они найти
Для ярлыковъ и лоскутка бумажки,—
Насильственно (я Музы слышу стонъ!)
Жуанъ записки милой былъ лишенъ.

LXXV.

Вотъ жребіи всѣ смѣшаны и взяты;
Всѣ онѣмѣли въ этотъ страшный мигъ,
И ужасомъ, и трепетомъ объяты;
Казалось, что въ нихъ голодъ даже стихъ;
Они ль въ злодѣйствѣ этомъ виноваты!
Нѣтъ! голодъ жертвы требовалъ отъ нихъ;
Они жъ предъ нимъ склонялися, блѣднѣя.
Такъ жаждалъ крови коршунъ Прометея.

LXXVI.

Педрилло бѣдный рокомъ выбранъ былъ..
Въ несчастьи твердъ, онъ выразилъ желанье,
Чтобъ медикъ, бывшій тутъ, ему пустилъ
Изъ жилы кровь—и умеръ безъ страданья.
Онъ ревностнымъ католикомъ почилъ.
Распятью давъ съ молитвою лобзанье,
Ученый мужъ, религіей согрѣтъ,
Подставилъ кисть и шею подъ ланцетъ.

LXXVII.

Врачу за тяжкій трудъ досталось право
Какой угодно взять себѣ кусокъ;
Но, жажду утоливъ струей кровавой
Изъ жилы трупа, ѣсть ужъ онъ не могъ;
Дрожавшею отъ голода оравой
Разсѣченъ былъ на части педагогъ;
Акулы поживились лишь кишками,
Пловцы все остальное съѣли сами.

LXXVIII.

Лишь два иль три пловца, смутясь душой
(Хоть всѣмъ имъ приходилось очень туго),
Отъ трапезы отпрянули такой,
Полны и отвращенья и испуга.
Въ числѣ послѣднихъ былъ и мой герой.
Провизіей къ столу не могъ онъ друга
И ментора считать! Онъ даже псомъ,
Какъ знаете, лишь закусилъ съ трудомъ.

LXXIX.

И что жъ? Онъ спасся тѣмъ: отъ пресыщенья
Наѣвшійся въ неистовство впадалъ;
Изъ устъ его лились богохуленья;
Катаясь въ корчахъ, залпомъ онъ глоталъ
Морскую воду; полонъ озлобленья,
Онъ, скрежеща зубами, тѣло рвалъ;
Ревѣлъ, какъ звѣрь, и, обливаясь пѣной,
Прощался съ жизнью съ хохотомъ гіены.

LXXX.

Скосила многихъ смерть; но какъ была
Оставшихся въ живыхъ плачевна участь!

Иныхъ такая жизнь съ ума свела;
Сгубила ихъ лишеній тяжкихъ жгучесть;
Другихъ все голодъ мучилъ. (Полонъ зла,
Онъ проявлялъ тревожную живучесть!)
И, несмотря на грустный опытъ, вновь
Хотѣлось имъ пролить людскую кровь!

LXXXI.

Теперь у нихъ былъ шкиперъ на примѣтѣ:
Онъ всѣхъ жирнѣе былъ. Хоть ихъ зубамъ
Работу дать онъ не имѣлъ въ предметѣ,
Но тучностью такъ угодилъ пловцамъ,
Что врядъ ли долго пожилъ бы на свѣтѣ,
Когда бъ его не спасъ подарокъ дамъ;
Подарокъ тотъ вручили по подпискѣ
Ему тѣ дамы, что съ нимъ были близки.

LXXXII.

Еще не весь обглоданъ былъ мертвецъ
Но на него всѣ съ ужасомъ взирали
И имъ питаться рѣдкій могъ пловецъ.
Жуанъ, чтобы сноснѣе муки стали,
Что голодъ причинялъ, сосалъ свинецъ.
Когда жъ пловцы нечаянно поймали
Двухъ птицъ морскихъ, тогда они совсѣмъ
Питаться перестали трупомъ тѣмъ.

LXXXIII.

Васъ въ дрожь приводитъ страшная картина!
Но вспомните, какъ, кончивъ повѣсть, радъ
Былъ грызть врага въ гееннѣ Уголино;
Когда въ аду враговъ своихъ ѣдятъ,
То на морѣ найдется ли причина
Не ѣсть друзей, особенно коль складъ
Запасовъ пустъ и нѣтъ ужъ провіанта?
Чѣмъ хуже эта быль разсказа Данта?

LXXXIV.

Въ ночь сильный дождь пошелъ. Подставивъ ротъ,
Ловилъ его такъ жадно путникъ каждый,
Какъ пьетъ земля струи небесныхъ водъ
Въ палящій зной. Кто безъ воды однажды
Среди пустыни дѣлалъ переходъ,
Кто умиралъ на кораблѣ отъ жажды,
Тотъ, воду чтя, не разъ о томъ жалѣлъ,
Что съ истиной въ колодцѣ не сидѣлъ.

LXXXV.

Обильный дождь все шелъ безъ перерыва;
Чтобъ пользу онъ принесъ, куски холстинъ
Пловцы достали; воду бережливо
Всѣ стали выжимать изъ нихъ въ кувшинъ.
Хотя съ напиткомъ этимъ кружку пива
Рабочій не сравнилъ бы ни одинъ,—
Тотъ даръ судьбы безцѣнный и нежданный
Казался морякамъ небесной манной.

LXXXVI.

Какъ нектаръ благодатный дождь смочилъ
Ихъ горла, раскаленныя, какъ горны,
И раны устъ опухшихъ освѣжилъ;
Такъ языки страдальцевъ были черны,
Какъ у скупца, что жалобно просилъ
Въ аду хоть каплю влаги благотворной,
Но получилъ отъ нищаго отказъ.
(По вкусу ль богачамъ такой разсказъ?)

LXXXVII.

Тамъ были два отца межъ жертвъ крушенья,
И каждый по сынку съ собою везъ;
Тотъ мальчикъ, что былъ крѣпкаго сложенья,
Тяжелыхъ мукъ борьбы не перенесъ
И первымъ палъ. „То воля Провидѣнья“,
Сказалъ отецъ сурово и безъ слезъ
Смотрѣлъ, какъ трупъ единственнаго сына
Навѣки скрыла мрачная пучина.

LXXXVIII.

Другой ребенокъ блѣденъ былъ съ лица;
Онъ былъ и худъ, и слабъ; но въ горькой долѣ
Съ судьбою злой боролся до конца;
Ему не измѣняла сила воли;
Онъ все глядѣлъ съ улыбкой на отца,
Желая скрыть мучительныя боли,
Желая утаить, что близокъ мигъ,
Когда судьба навѣкъ разлучитъ ихъ.

LXXXIX.

Отецъ не отводилъ отъ сына взгляда
И пѣну съ блѣдныхъ губъ его стиралъ;
Когда жъ дождя нежданная прохлада
Ребенка, что въ мученьяхъ угасалъ,
Мгновенно оживила и отрадой
Померкшій взоръ страдальца засіялъ,
Въ его уста воды онъ влилъ немного,
Но ужъ пришла не во-время подмога.

XC.

Ребенокъ умеръ. Блѣдный трупъ схватилъ
Отецъ въ свои объятья и, безмолвный.
Все отъ него очей не отводилъ.
Онъ долго такъ стоялъ, страданья полный,
Не находя для разставанья силъ;
Когда жъ безгласный трупъ умчали волны—
Безпомощно, какъ молніей сраженъ,
Отъ муки корчась, разомъ рухнулъ онъ.

XCI.

Вдругъ радуга блеснула надъ пловцами;
Она, прорѣзавъ тучи, обвилась
Вкругъ неба дивной лентой и концами
Въ лазурь пучины зыбкой уперлась.
Она сіяла чудными цвѣтами,
Лучеобильнымъ знаменемъ носясь;
Затѣмъ, увы! согнулась свѣтлой аркой
И скрылась, только мигъ блеснувши ярко.

XCII.

Исчезъ небесныхъ сферъ хамелеонъ,
Что созданъ испареньями и свѣтомъ,
Что въ золото и пурпуръ облаченъ,
Блеститъ какъ серпъ луны надъ минаретомъ;
Въ своихъ лучахъ соединяетъ онъ
Всѣ краски и цвѣта. Съ нимъ сходенъ въ этомъ
Подбитый боксомъ глазъ. (По временамъ
Приходится безъ маски драться намъ).

XCIII.

Та радуга была хорошимъ знакомъ;
Мы знаменьями въ горѣ дорожимъ;
До нихъ и грекъ, и римлянинъ былъ лакомъ:
Надежды лучъ душѣ необходимъ;
Коль нѣтъ его, она одѣта мракомъ.
Какъ древніе, мы предсказанья чтимъ;
Калейдоскопъ небесъ, блеснувъ нежданно,
Сроднилъ пловцовъ съ надеждою желанной.

XCIV.

Въ то время птица бѣлая, кружась
Надъ головами путниковъ, хотѣла
На мачту сѣсть, хоть полонъ былъ баркасъ.
(Похожая перомъ на голубь бѣлый,
Она отъ стаи, видно, отдѣлясь,
За нею слѣдомъ къ берегу летѣла).
До ночи все она кружилась такъ,
Что было сочтено за добрый знакъ.

XCV.

Найдя, что мачта ихъ не такъ надежна,
Какъ шпицъ церковный, голубь улетѣлъ;
Онъ поступилъ умно и осторожно:
Не то его бъ плачевенъ былъ удѣлъ;
Такъ голодъ мучилъ путниковъ безбожно,
Такъ ихъ томилъ, что если бъ съ вѣткой сѣлъ
Къ нимъ даже голубь Ноя—скоро очень
Онъ ими бъ былъ и съ вѣткою проглоченъ.

XCVI.

Настала ночь и вѣтеръ сталъ сильнѣй;
На небесахъ заискрились свѣтила
И лодка понеслась. Такъ много дней
Томилися пловцы, что жизни сила
Въ нихъ гасла вмѣстѣ съ мыслью. Средь зыбей
Однимъ вдали виднѣлся берегъ милый;
Кто залпы пушекъ слышалъ; кто прибой;
Другіе жъ лишь качали головой.

XCVII.

Къ разсвѣту вѣтеръ стихъ; вдругъ часового
Раздался крикъ: „Земля, земля видна!
Пусть родины мнѣ не увидѣть снова,
Коль это только выдумка одна!"
Ихъ описать восторгъ безсильно слово;
Вмигъ къ берегу ладья обращена;
Дѣйствительно ихъ ослѣпили взоры
Прибрежныхъ скалъ туманные узоры.

XCVIII.

У многихъ слезы брызнули изъ глазъ;
Одни со страхомъ берегъ озирали,
Надеждѣ свѣтлой ввѣриться боясь;
Другіе въ этотъ мигъ молиться стали
(То дѣлая, быть можетъ, въ первый разъ).
На днѣ баркаса трое сладко спали;
Ихъ всячески прервать старались сонъ,—
Но непробуднымъ оказался онъ.

XCIX.

Лишь день предъ тѣмъ имъ посланъ былъ судьбою
Отрадный даръ: имъ удалось поймать
Большую черепаху, что собою
Ихъ цѣлый день питала; въ нихъ опять
Воскресъ упавшій духъ: всѣмъ неземною
Такая показалась благодать;
Пловцы, уйдя отъ смерти неминучей,
Не вѣрили, что спасъ ихъ только случай.

C.

Къ скалистымъ берегамъ ихъ вѣтеръ несъ
И эти берега росли замѣтно
По мѣрѣ приближенья къ нимъ. Утесъ,
Что поражалъ ихъ массою безцвѣтной,
Легко могъ представлять собой Родосъ
Иль Кандію, иль Кипръ; могъ быть и Этной;
Такъ прихотливъ и вѣтеръ былъ, и валъ,
Что той страны никто изъ нихъ не зналъ.

CI.

Межъ тѣмъ пловцовъ къ землѣ теченьемъ
гнало;
Ладью Харона, везшую тѣней
Собою лодка ихъ напоминала;
Лишь уцѣлѣло четверо людей,
И въ тѣхъ ужъ было силы слишкомъ мало,
Чтобъ сбросить мертвыхъ съ лодки; а за
ней
Давно гналися двѣ акулы смѣло,
Ихъ обдавая пѣной то-и-дѣло.

CII.

Удары всевозможные судьбы—
Лишенья, голодъ, жажда, зной, кручина—
Ихъ довели до страшной худобы;
Межъ ними мать съ трудомъ узнала бъ
сына.
Лишь четверо спаслись изъ всей гурьбы;
Трупъ ментора былъ главною причиной
Ихъ смертности: кто имъ питался—пилъ
Морскую воду и лишался силъ.

CIII.

Все ближе берегъ; все яснѣй узоры
Прибрежныхъ скалъ; ужъ слышенъ ароматъ
Густыхъ лѣсовъ, что покрываютъ горы
И сладкій отдыхъ путнику сулятъ;
Восторженно на нихъ покоя взоры,
Пловецъ предмету всякому былъ радъ,
Что заслонялъ зловѣщія картины
Безбрежной, мрачной, бѣшеной пучины.

CIV.

Селеній не виднѣлося вдали
И берегъ былъ пустыненъ и безлюденъ;
Но поскорѣй добраться до земли
Хотѣлось имъ; хоть къ ней былъ доступъ
труденъ,
Они къ землѣ прямымъ путемъ пошли;
Поступокъ моряковъ былъ безразсуденъ:
На острый рифъ баркасъ наткнулся ихъ
И вдребезги разбился въ тотъ же мигъ.

CV.

Жуанъ въ своемъ родномъ Гвадалквивирѣ
Купаться съ юныхъ лѣтъ былъ пріученъ
И какъ пловецъ наврядъ ли въ цѣломъ
мірѣ
Соперника бъ нашелъ. Я убѣжденъ,
Что Геллеспонтъ, его громадной шири
Не устрашась, могъ переплыть бы онъ.
(Такую одержать пришлось побѣду
Леандру, мнѣ и мистеръ Экенгеду).

CVI.

Больной Жуанъ тутъ стариной встряхнулъ
И въ бой вступилъ съ волнами океана;
Его не устрашалъ ихъ грозный гулъ
И къ берегу направился онъ рьяно;
Все жъ гибель угрожала отъ акулъ,
Но жертвой ихъ товарищъ сталъ Жуана;
Пловцы другіе плавать не могли
И только онъ добрался до земли.

CVII.

Но если бы волна не подкатила
Къ нему весла разбитаго въ тотъ мигъ,
Когда ему ужъ измѣняла сила,
Онъ никогда земли бы не достигъ;
Съ волнами вновь бороться можно было,
И несмотря на грозный натискъ ихъ,
То вплавь, то вбродъ, съ прибоемъ гнѣв-
нымъ споря,
Полуживой онъ выбрался изъ моря.

CVIII.

Тогда, чтобъ новый валъ его не могъ
Унесть съ собой, почти лишенъ дыханья,
Онъ руки врылъ въ береговой песокъ;
Безъ силъ, изнемогая отъ страданья,
На мѣстѣ, гдѣ былъ выброшенъ, онъ легъ,
И если сохранялъ еще сознанье,
То лишь настолько, чтобъ жалѣть о томъ,
Что не погибъ въ пучинѣ съ кораблемъ.

CIX.

Онъ встать хотѣлъ, собравъ остатокъ силы,
Но, руки и колѣна въ кровь разбивъ,
Упалъ опять. Затѣмъ онъ взглядъ унылый
На мрачный берегъ бросилъ, еле живъ;
Хотѣлъ онъ видѣть тѣхъ, что отъ могилы
Спаслись, какъ онъ; но былъ безлюденъ
рифъ:
На немъ лежалъ одинъ лишь трупъ без-
гласный
Пловца, что кончилъ вѣкъ въ борьбѣ на-
прасной.

CX.

Увидѣвъ трупъ, Жуанъ поникъ въ тоскѣ;
Все вихремъ передъ нимъ кружиться стало
И онъ лишился чувствъ, держа въ рукѣ
Весло, что въ лодкѣ мачту замѣняло.
Лежалъ онъ неподвижно на пескѣ,
Какъ лилія, что злая буря смяла;
Такъ блѣденъ былъ Жуанъ, такъ слабъ и
хилъ,
Что жалость онъ и въ камнѣ бъ пробудилъ.

CXI.

Жуанъ не зналъ, какъ долго продолжалось
Такое забытье, что превозмочь
Онъ силы не имѣлъ; ему казалось,
Что въ мракѣ утопали день и ночь
И что земля навѣки съ нимъ разсталась.
Но вотъ тяжелый сонъ умчался прочь
И жизни услыхалъ онъ сладкій голосъ,
Хоть съ нею смерть со злобою боролась.

CXII.

Открывъ глаза, онъ ихъ закрылъ опять;
Картины бѣдъ, отчаянья, крушенья
Все продолжали мысль его терзать;
Томясь въ бреду, онъ клялъ свое спасенье.
Но понемногу бредъ сталъ утихать;
Глаза открылъ онъ снова на мгновенье
И увидалъ, смутясь, передъ собой
Прелестный ликъ дѣвицы молодой.

CXIII.

Она надъ нимъ склонялася уныло;
Несчастнаго спасти хотѣлось ей;
Она водой его виски мочила
И терла грудь, чтобъ съ жертвою своей
Разсталася зловѣщая могила,
Чтобъ не могла его во цвѣтѣ дней
Похитить смерть; и что же? Стонъ больного
Далъ знать, что къ жизни онъ вернулся снова.

CXIV.

Морскую воду выжала она
Изъ локоновъ его рукою бѣлой,
Для подкрѣпленья давъ ему вина
И юноши полунагое тѣло
Покрывъ плащомъ. Участія полна,
Она его своимъ дыханьемъ грѣла
И, внявъ влеченью сердца своего,
Встрѣчала вздохомъ каждый вздохъ его.

CXV.

Съ служанкою, что менѣе красива,
Чѣмъ барыня была, но посильнѣй,
Онѣ вдвоемъ Жуана торопливо
Перенесли въ пещеру. Скоро въ ней
Огонь былъ разведенъ; пещеру живо
Онъ освѣтилъ игрой своихъ лучей,
Обрисовавъ на темномъ фонѣ ясно
Островитянки юной ликъ прекрасный.

CXVI.

Уборомъ головнымъ служили ей
Монеты золотыя, что сверкали
Среди ея каштановыхъ кудрей;
Тѣ кудри сзади косами спадали,
Касаясь пятъ ея волной своей;
А выше ростомъ женщина едва ли
Могла бъ найтись. Царицу этихъ странъ
Являли въ ней осанка, поступь, станъ.

CXVII.

Ея жъ глаза чернѣе смерти были
И черныя рѣсницы, бахромой
Скрывая ихъ, завѣсой имъ служили;
Когда же изъ-подъ нихъ сверкалъ порой
Молніеносный взглядъ, онъ безъ усилій
Вонзался въ душу острою стрѣлой
И сходенъ былъ съ проснувшимся вдругъ гадомъ,
Что смерть несетъ, и силою, и ядомъ.

CXVIII.

Былъ блѣденъ лобъ ея, а цвѣтъ лица
Напоминалъ румяный лучъ заката;
Ея пурпурный ротикъ жегъ сердца;
Краса такая, правдою богата,
Была достойна кисти иль рѣзца.
Но скульпторовъ цѣню я маловато:
Ихъ жалки идеалы,—лица есть,
Что не подъ силу имъ воспроизвесть.

CXIX.

Такое мнѣнье высказалъ я прямо,
Но высказалъ его не безъ причинъ:
Я былъ знакомъ съ одной ирландской дамой,
Чей бюстъ не могъ художникъ ни одинъ
Воспроизвесть. Искусства узки рамы!
Когда она отъ лѣтъ и отъ морщинъ
Поблекнетъ, свѣтъ разстанется съ красою,
Несписанною смертною рукою.

CXX.

Такою жъ обладала красотой
Явившаяся въ гротъ островитянка
Въ одеждѣ, поражавшей пестротой;
Совсѣмъ не такъ наряжена испанка:
Ея костюмъ плѣняетъ простотой,
Но для любви услада и приманка
Мантилья, что блаженство въ душу льетъ.
(Надѣюсь, эта мода не пройдетъ!)

CXXI.

Имѣлъ съ такимъ костюмомъ сходства мало
Красавицы причудливый нарядъ;
Изъ разноцвѣтныхъ тканей состояла
Ея одежда; камней цѣнныхъ рядъ
Блестѣлъ въ ея кудряхъ, а покрывало
Ея изъ кружевъ было. Да, богатъ
Былъ тотъ костюмъ, но странно то немножко,
Что безъ чулка являлась въ туфлѣ ножка.

CXXII.

Нарядъ другой дѣвицы былъ скромнѣй;
Не золото, а серебро блестѣло
(Приданое ея) во мглѣ кудрей;
Вуаль она дешевую имѣла,
И вообще осанкою своей
Не поражала гордою и смѣлой;
Ея коса была не такъ длинна;
Имѣла меньше и глаза она.

CXXIII.

Съ любовью за больнымъ онѣ ходили;
Онъ ими былъ накормленъ и одѣтъ.
(Въ сердечности—чтобъ тамъ ни говорили—
Соперниковъ на свѣтѣ дамамъ нѣтъ!)
И вотъ онѣ бульонъ ему сварили.
(Не понимаю, почему поэтъ
Не воспѣваетъ супа, взявъ примѣромъ
Ахилла пиръ, что былъ воспѣтъ Гомеромъ!)

CXXIV.

Чтобъ этихъ дамъ за сказочныхъ принцессъ
Вы не могли принять, сниму съ нихъ маску;
Писатели, давая тайнѣ вѣсъ,
Пускаютъ въ ходъ туманную окраску,
Чтобъ возбуждать къ героямъ интересъ.
Но я романъ не превращаю въ сказку:
Вы видите теперь передъ собой
Прислужницу съ своею госпожей.

CXXV.

Ея отецъ былъ рыбакомъ когда-то,
Но занялся другимъ онъ ремесломъ
И выступилъ на поприщѣ пирата,
Контрабандистомъ былъ же онъ притомъ.
Прошли года и зажилъ онъ богато,
Набивъ карманы краденымъ добромъ.
Ведя дѣла съ искусною сноровкой,
Онъ милліонъ піастровъ нажилъ ловко.

CXXVI.

Пиратъ ловилъ не рыбу, а людей,
Какъ Петръ-апостолъ. Множилъ онъ удары
И каждый годъ не мало кораблей
Захватывалъ; сбывалъ затѣмъ товары,
Не забывая выгоды своей;
Рабами онъ турецкіе базары
Снабжалъ притомъ. Такое ремесло
Богатство очень многимъ принесло.

CXXVII.

Такъ старый грекъ награбилъ денегъ много,
Что выстроилъ на островѣ одномъ
Цикладскаго прибрежья родъ чертога
И, плавая въ довольствѣ, зажилъ въ немъ.
Никто не зналъ, конечно, кромѣ Бога,
Какъ много крови стоитъ этотъ домъ!
Разбойникъ старый былъ свирѣпъ и злобенъ,
Но домъ богатъ, роскошенъ и удобенъ.

CXXVIII.

Единственную дочь пиратъ имѣлъ;
Гайдэ была невѣстою завидной;
Но блескъ ея приданаго блѣднѣлъ
Передъ ея улыбкой миловидной.
Искателей ея руки удѣлъ
Плачевенъ былъ: ихъ ждалъ отказъ обидный;
Красавица гнала нещадно ихъ:
Явиться и получше могъ женихъ.

CXXIX.

Гуляя по прибрежью въ часъ заката,
Случайно у подножья мрачныхъ скалъ
Увидѣла Жуана дочь пирата;
Полунагой, онъ на пескѣ лежалъ,
Лишенный чувствъ; смущеніемъ объята,
Она уйти хотѣла; но страдалъ
Красивый незнакомецъ, и невольно
Проснулась жалость въ дѣвѣ сердобольной.

CXXX.

Гайдэ его, однако, въ отчій домъ
Не привела; она бы тѣмъ сгубила
Бѣднягу: мышь нельзя сводить съ котомъ;
Обмершаго не воскреситъ могила.
Старикъ былъ полнъ νοῦς (нусъ). Ему притомъ
Араба добродушье чуждо было.
Онъ принялъ бы его, лѣчить бы сталъ,
Но на базаръ затѣмъ его бъ послалъ.

CXXXI.

Гайдэ, окончивъ съ Зоей совѣщанье
(Совѣтъ служанки часто дѣвѣ милъ),
Жуана въ гротъ ввела. Прійдя въ сознанье,
Когда онъ очи черныя открылъ,
Такой порывъ живого состраданья
Сердца островитянокъ охватилъ,
Что, вѣрно, рай имъ отворилъ ворота:
Вѣдь къ раю путь—о страждущихъ забота.

CXXXII.

Онѣ костеръ немедленно зажгли;
На берегу валялося не мало
Разбитыхъ мачтъ и веселъ. Корабли
Тутъ гибли то-и-дѣло, и лежала
Обломковъ масса, гнившая въ пыли.
Имъ потому могло бы матерьяла
И на двадцать хватить костровъ такихъ:
Досокъ не мало было тамъ гнилыхъ!

CXXXIII.

Свою соболью шубу превратила
Гайдэ въ постель, чтобъ сладостенъ и тихъ
Былъ сонъ его, и юношу накрыла
Большимъ платкомъ, что сняла съ плечъ своихъ.
Чтобъ сыростью его не охватило,
Ему по юбкѣ каждая изъ нихъ
Оставила и съ пищей для Жуана
Условились онѣ явиться рано.

CXXXIV.

Затѣмъ онѣ ушли и мертвымъ сномъ
Заснулъ Жуанъ. (Кто знаетъ, кромѣ Бога,
Проснутся ль тѣ, что съ жизненнымъ путемъ
Разсталися, простясь съ земной тревогой?)
Забылъ Жуанъ о горестномъ быломъ,
Забылъ, что бѣдъ и мукъ онъ вынесъ много,
А грезы сна порой такъ мучатъ насъ,
Что плачемъ мы и въ пробужденья часъ!

CXXXV.

Жуанъ заснулъ безъ грезъ и сновидѣній;
Гайдэ же, покидая темный гротъ,
Остановилась вдругъ, полна волненья:
Ей чудится, что онъ ее зоветъ
По имени. Игра воображенья:
И сердце, какъ языкъ, порою лжетъ.
Она забыла, вѣря чувствъ обману,
Что имя то невѣдомо Жуану.

CXXXVI.

Гайдэ домой задумчиво пошла
И Зою обо всемъ молчать просила;
Но Зоя и сама все поняла,
Сама желанье то предупредила.
Она была постарше, а порой
Два лишнихъ года въ молодости—сила!
Успѣла Зоя изучить людей:
Служила мать-природа школой ей.

CXXXVII.

Взошла заря. Жуанъ все спалъ упорно;
Царило вкругъ молчанье; солнца свѣтъ
Не освѣщалъ лучами гротъ просторный;
Такъ много перенесъ тяжелыхъ бѣдъ
Несчастный Донъ Жуанъ, что въ снѣ безспорно
Нуждался онъ и въ отдыхѣ. Мой дѣдъ,
Оставивъ намъ свои „повѣствованья“,
Въ нихъ описалъ такія же страданья.

CXXXVIII.

Гайдэ уснуть спокойно не могла;
Ей снилися крушенья, бури, мели,
На берегу красивыя тѣла,
Что съ злобой волны поглотить хотѣли.
И вотъ она, едва заря взошла,
Свою служанку подняла съ постели
И разбудила всѣхъ отцовскихъ слугъ:
Такой капризъ въ нихъ пробудилъ испугъ.

CXXXIX.

Она сказала имъ, что встала рано,
Чтобъ посмотрѣть на солнечный восходъ;
Дѣйствительно, какъ волны океана
И небо хороши, когда встаетъ
Блестящій Фебъ! Въ лучахъ зари румяной
Щебечутъ птички. Мглы тяжелый гнетъ
Природа сбросить съ плечъ тогда такъ рада,
Какъ трауръ, что носить по мужу надо.

CXL.

Не разъ случалось мнѣ встрѣчать разсвѣтъ,
Не спавши ночь. Отъ доктора не ждите
За то похвалъ; но я даю совѣтъ,
Когда здоровье вы сберечь хотите,
А также кошелекъ,—вставать чѣмъ свѣтъ.
Затѣмъ, достигнувъ старости, велите
На памятникѣ начертать своемъ,
Что на зарѣ вы разставались съ сномъ.



ДЖУЛІЯ и ДОНЪ ЖУАНЪ.

Рис. Паррисъ (E. T. Parris), грав. Смитъ (S. S. Smith)

CXLI.

Гайдэ, при встрѣчѣ съ утренней зарею,
Ее затмила свѣжестью своей;
Отъ страстнаго волненья кровь струею
Къ ея лицу стремилась, щеки ей
Румяня; такъ встрѣчаясь со скалою,
Струи сливаетъ въ озеро ручей,
Катясь съ Альпійскихъ горъ; такъ въ Красномъ морѣ...
Оно не красно только—вотъ въ чемъ горе.

CXLII.

Гайдэ съ горы спустилася стремглавъ
И, грезъ полна, пошла къ пещерѣ шибко.
За юную сестру ее принявъ,
Ее лобзала съ нѣжною улыбкой
Аврора. Ихъ обѣихъ увидавъ,
За свѣтлую богиню вы ошибкой
Легко бы дѣву горъ принять могли,
Но съ красотой и тѣло бы нашли.

CXLIII.

Она вошла въ пещеру. Безтревожно,
Съ ребенкомъ схожъ, все спалъ еще Жуанъ;
Съ испугомъ (сонъ за смерть принять вѣдь можно!)
Она къ нему свой наклонила станъ;
Накрыла друга шубкой осторожно,
Чтобъ повредить ему не могъ туманъ;
Затѣмъ, сходна съ могилою безмолвной,
Въ него вперила взоръ, участья полный.

CXLIV.

Какъ херувимъ надъ праведнымъ, она
Надъ нимъ склонялась, сонъ его покоя;
Вокругъ него царила тишина;
Едва былъ слышенъ легкій шумъ прибоя;
Въ то время, хлопотливости полна,
На берегу варила завтракъ Зоя:
Не трудно догадаться было ей,
Что пища будетъ имъ всего нужнѣй.

CXLV.

Она прекрасно знала, что въ немъ голодъ
Пробудится, какъ только сонъ пройдетъ;
Ее къ тому жъ тревожилъ утра холодъ

(Влюбленныхъ только грѣетъ страсть!)—
и вотъ,
Душистый кофе тутъ же былъ ей смолотъ
И свaренъ. Вина, рыбу, яйца, медъ
Она съ собою также захватила;
Любовь все это даромъ подносила.

CXLVI.

Жуана собралась она будить,
Когда все было къ завтраку готово,
Но поспѣшила пальчикъ приложить
Гайдэ къ губамъ, чтобъ сладкій сонъ больного
Прервать она не смѣла. Ей сварить
Пришлося для Жуана завтракъ новый.
Межъ тѣмъ его все продолжался сонъ
И безконечнымъ имъ казался онъ.

CXLVII.

Лежалъ спокойно юный чужестранецъ;
Но на его худомъ лицѣ игралъ
Зловѣщій лихорадочный румянецъ;
Такъ золотитъ заря вершины скалъ.
Не мало тяжкихъ мукъ узналъ страдалецъ;
Лишенный силъ въ пещерѣ онъ лежалъ;
Его же волоса слѣды носили
Соленыхъ волнъ и сырости и пыли.

CXLVIII.

Такъ тихо передъ ней лежалъ Жуанъ,
Какъ спитъ ребенокъ съ матерью родною;
Спокойно, какъ уснувшій океанъ;
Унылъ, какъ листъ, оторванный грозою;
Красивъ, какъ пышный розанъ южныхъ странъ;
Какъ юный лебедь чистъ; того не скрою,
Что видъ онъ привлекательный имѣлъ,
Да жаль, что исхудалъ и пожелтѣлъ!

CXLIX.

Жуанъ открылъ глаза неторопливо
И вѣрно погрузился бъ снова въ сонъ,
Когда бъ островитянки ликъ красивый
Не увидалъ, смутясь душою, онъ;
Предъ красотой склонялся онъ ревниво
И даже въ часъ молитвы отъ Мадоннъ
Не отводилъ очей, любуясь ими
И не мирясь съ угрюмыми святыми.

CL.

На локоть приподнявшись, въ стройный станъ
И блѣдный ликъ островитянки милой
Вперилъ глаза взволнованный Жуанъ.
Она, краснѣя, съ нимъ заговорила
По-гречески, съ акцентомъ южныхъ странъ
И, съ нѣжностью во взорѣ, объяснила,
Что блѣденъ онъ и слабъ, и потому
Не говорить, а надо ѣсть ему.

CLI.

Та рѣчь лилась, какъ птички щебетанье;
Хотя Жуанъ ея понять не могъ,
Но нѣжный голосъ, полный обаянья,
Его своими чарами увлекъ.
Такіе звуки будятъ въ насъ рыданья;
Струится безъ причины слезъ потокъ,
Что вторитъ, упоенье пробуждая,
Мотивамъ, словно льющимся изъ рая.

CLII.

Такъ иногда отрадной грезой сна
Намъ кажется волшебный звукъ органа,
Но насъ не долго радуетъ она:
Привратникъ на лицо—и нѣтъ обмана.
О, Боже! какъ дѣйствительность скучна!
Невыносимъ слуга, что утромъ рано
Нашъ прерываетъ сонъ: ночной порой
И звѣздъ, и женщинъ краше свѣтлый рой.

CLIII.

Прервалъ всѣ грезы моего героя
Проснувшійся въ немъ голодъ; сладокъ былъ
Видъ вкусныхъ блюдъ, что, на колѣняхъ стоя,
Передъ костромъ (онъ кухнею служилъ)
Готовила съ большимъ искусствомъ Зоя.
Жуанъ всѣ мысли къ пищѣ устремилъ
И сталъ мечтать, отъ жадности трясяся,
О томъ, какъ бы достать кусочекъ мяса.

CLIV.

Но мясо—рѣдкость тамъ; на островахъ,
Что гнѣвно точатъ волны океана,
Понятья не имѣютъ о быкахъ;
Тамъ водятся лишь овцы да бараны,
Что лакомствомъ считаютъ въ тѣхъ краяхъ;
Безлюдны и убоги эти страны;
Но острова и побогаче есть;
Къ нимъ надо островокъ Гайдэ отнесть.

CLV.

И въ древности быковъ здѣсь было мало...
Невольно къ Пазифаѣ мысль летитъ;
Она коровью шкуру надѣвала—
И что жъ? Царицу бѣдную язвитъ
За развращенный вкусъ злословья жало.
Но въ баснѣ этой смыслъ глубокій скрытъ:

Въ героевъ превратить критянъ желая,
Пеклась о скотоводствѣ Пазифая.

CLVI.

Безъ ростбифа—то знаетъ цѣлый свѣтъ—
Существовать не могутъ англичане;
Они къ тому же любятъ громъ побѣдъ;
Теперь у нихъ война на главномъ планѣ,
Хоть эта страсть плодитъ не мало бѣдъ;
Любили это также и критяне,
Поэтому мой выводъ не смѣшонъ,
Что Пазифаи чтутъ они законъ.

CLVII.

Но далѣе. Видъ пищи былъ такъ сладокъ
И представлялъ такъ много благъ собой,
Что голода мучительный припадокъ
Почувствовалъ немедля мой герой.
На завтракъ, несмотря на силъ упадокъ,
Накинулся онъ съ жадностью такой,
Что не могли бъ тягаться, думать смѣю,
Ни попъ, ни щука, ни акула съ нею.

CLVIII.

Гайдэ съ Жуаномъ няньчилась, какъ мать,
И юношу на славу угощала:
Онъ продолжалъ всѣ блюда уплетать,
Надъ пищею дрожа: но Зоя знала
По слухамъ (не случалось ей читать!),
Что голодавшимъ надо ѣсть сначала
Давать немного, иначе они
Отъ лишней пищи могутъ кончить дни.

CLIX.

Тутъ Зоя принялась за дѣло рьяно
И, вмѣсто словъ, пустила руки въ ходъ;
Она, тарелку вырвавъ у Жуана,
Сказала, что, объѣвшись, онъ умретъ,
А госпожа ея такъ встала рано
И столько ей надѣлалъ онъ хлопотъ;
Когда бы лошадь даже столько съѣла,
И та бы отъ обжорства заболѣла.

CLX.

Его костюмъ былъ бѣденъ и убогъ;
Болтался онъ лохмотьями на тѣлѣ,
Но ни скрывать, ни грѣть его не могъ.
Онѣ сожгли тѣ тряпки и одѣли
Жуана сами съ головы до ногъ,—
Костюмъ былъ ими сшитъ для этой цѣли.
Хоть былъ Жуанъ безъ туфель и чалмы,
Принять его могли бъ за турка мы.

CLXI.

Одѣвъ его, Гайдэ болтать съ нимъ стала;
Жуанъ не понималъ ея рѣчей,
Но, этимъ не смущаяся ни мало,
Съ участіемъ живымъ внималъ онъ ей;
Она же съ protégé своимъ болтала,
Любуяся огнемъ его очей,
Но все же убѣдилась, хоть не скоро,
Что онъ ея не понялъ разговора.

CLXII.

При помощи улыбокъ, знаковъ, глазъ,
Тогда въ лицѣ Жуана, полномъ пыла,
Она читать какъ въ книгѣ принялась.
И что жъ? Гайдэ въ ней все понятно было!
Не мало задушевныхъ, теплыхъ фразъ
Она прочла въ той книгѣ, сердцу милой;
Ей выражалъ понятій цѣлый рядъ
Жуана каждый мимолетный взглядъ.

CLXIII.

Жуанъ усердно повторялъ за нею
Слова, съ ея сродняясь языкомъ;
Очей Гайдэ—я скрыть того не смѣю—
Не выпускалъ онъ изъ виду притомъ;
Сравнитъ ли звѣзды съ книгою своею
Любующійся небомъ астрономъ?
Такъ съ азбукой, безъ книгъ и безъ указокъ,
Сроднилъ Жуана блескъ прелестныхъ глазокъ.

CLXIV.

Пріятно изучать чужой языкъ
Посредствомъ глазъ и губокъ милой. Надо
Притомъ, чтобъ были юны ученикъ
И менторъ. О, тогда урокъ отрада!
Ошибся ль ты?—привѣтливъ милый ликъ;
А нѣтъ – пожатье рукъ тебѣ награда;
Въ антрактахъ поцѣлуй звучитъ порой.
Что знаю я—такъ выучено мной.

CLXV.

Испанскихъ и турецкихъ словъ я знаю
Пять, шесть; но, не имѣвъ учителей,
По-итальянски я не понимаю;
Наврядъ ли въ языкѣ страны моей
Могу считаться сильнымъ: изучаю
Его я лишь путемъ проповѣдей,
Поэтовъ же родныхъ я въ грошъ не ставлю
И ихъ читать себя я не заставлю.

CLXVI.

Покинувъ свѣтъ, гдѣ былъ я моднымъ львомъ,
Не помню дамъ (мои остыли страсти!),
Съ которыми я прежде былъ знакомъ;
Забылъ и тѣхъ, которыхъ рвалъ на части:
Все это лишь преданья о быломъ.
Мнѣ не страшны теперь судьбы напасти,
Ни дамы, ни друзья—все это сонъ,
И для меня ужъ не вернется онъ.

CLXVII.

Займусь опять Жуаномъ; онъ прилежно
Твердилъ свои слова, участіемъ согрѣтъ;
Но чувства есть, что выйти неизбѣжно
Должны наружу. Можно ль солнца свѣтъ
Отъ взоровъ скрыть? Таить огонь мятежный
И у монахинь даже силы нѣтъ.
Въ Жуанѣ страсть проснулась ураганомъ,
И въ чувствѣ томъ Гайдэ сравнялася съ Жуаномъ.

CXVIII.

Съ тѣхъ поръ она, что день, въ разсвѣта часъ
Въ пещеру къ Донъ Жуану приходила;
Онъ долго спалъ; Гайдэ, надъ нимъ склонясь,
Съ любовью сонъ больного сторожила.
Она съ него не отводила глазъ
И ручкою ласкала локонъ милый,
Едва дыша; такъ, нѣженъ и легокъ,
Играетъ съ розой южный вѣтерокъ.

CLXIX.

Совсѣмъ воскресъ Жуанъ, больной и хилый,
И съ каждымъ днемъ все дѣлался свѣжѣй,
Здоровье и бездѣлье страсти милы:
Для пламени любви они елей,
Что придаетъ огню такъ много силы.
Церера тоже съ жатвою своей
И Бахусъ со своей блестящей свитой
Помощники и слуги Афродиты.

CLXX.

Когда огнемъ Венера сердце жжетъ
(Безъ сердца счастье можемъ ли найти мы?),
Церера намъ свои дары несетъ
(Они любви, какъ намъ, необходимы),
Струи вина въ нашъ кубокъ Бахусъ льетъ
(И устрицы, и яйца страстью чтимы).
Но кто жъ даритъ всѣ эти блага намъ?
Нептунъ ли, Панъ иль Громовержецъ самъ?

CLXXI.

Жуанъ, проснувшись, видѣлъ предъ собою
Гайдэ, которой не опишетъ глазъ,
И вмѣстѣ съ ней смазливенькую Зою;
Но это я ужъ говорилъ не разъ
И надоѣсть боюсь. Вернусь къ герою
Моей поэмы. Въ морѣ, въ ранній часъ,
Купался онъ; затѣмъ, оставивъ волны,
Онъ завтракалъ съ Гайдэ, восторга полный.

CLXXII.

Купался онъ при ней, но такъ была
Невинна дочь полуденнаго края,
Что въ этомъ ей не снилось даже зла!
Жуанъ былъ для нея видѣньемъ рая,
Той свѣтлой грезой сна, что не могла
Она не полюбить, о ней мечтая.
Безъ нѣжнаго участья счастья нѣтъ:
Оно явилось двойнею на свѣтъ.

CLXXIII.

Она въ него впивалась страстнымъ взглядомъ;
Любви полна, къ нему склоняла станъ:
Когда онъ находился съ нею рядомъ,
Ей міръ казался раемъ. Донъ Жуанъ
Ея богатствомъ былъ, безцѣннымъ кладомъ,
Что подарилъ ей въ бурю океанъ;
Ея и первой, и послѣдней страстью;
Жизнь безъ него была для ней напастью.

CLXXIV.

Такъ мѣсяцъ пролетѣлъ; хоть каждый день
Гайдэ зарею друга посѣщала,
Никто не зналъ на островѣ, что сѣнь
Пещеры иностранца укрывала.
Густыхъ лѣсовъ ихъ охраняла тѣнь.
Но отбылъ въ даль пиратъ. Какъ встарь бывало,
Онъ не за свѣтлой Іо гнался вслѣдъ:
Нѣтъ, страстью къ грабежу онъ былъ согрѣтъ.

CLXXV.

Оставилъ онъ свой островъ для захвата
Трехъ изъ Рагузы плывшихъ кораблей
Съ богатымъ грузомъ въ Хіосъ. Дочь пирата
Свободы дождалась отрадныхъ дней;
Нѣтъ у нея ни матери, ни брата;
Никто теперь мѣшать не можетъ ей:
У христіанъ свободны жены; рѣдко
Ихъ охраняетъ запертая клѣтка.



МУЖЪ ДЖУЛІИ НАХОДИТЪ МУЖСКОЙ БАШМАКЪ.
Рис. Вестоль (Rich. Westoll R. A.), грав. Гизъ (Ch. Heath).

CLXXVI.

Къ Жуану чаще стала приходить
Гайдэ, когда осталася одною;
Настолько онъ успѣлъ ужъ изучить
Ея языкъ, что пригласилъ съ собою
Ее гулять. Изъ грота выходить
Онъ прежде только могъ ночной порою.
И вотъ они пошли въ вечерній часъ
Смотрѣть, какъ лучъ заката въ морѣ гасъ.

CLXXVII.

На берегъ дикій, пѣною покрытый,
Ревя и злясь, обрушивался валъ.
Почти весь годъ тамъ вѣтеръ дулъ сердитый;
Утесы, мели, рядъ подводныхъ скалъ
Тому служили острову защитой;
Лишь лѣтомъ ревъ пучины утихалъ,
Тогда волна ласкала съ пѣснью нѣжной,
Какъ зеркало блестя, песокъ прибрежный.

CLXXVIII.

У берега кипѣвшая волна
Была сходна съ клокочущею влагой
Шампанскаго. Что сладостнѣй вина?
Его струи съ надеждой и отвагой
Сродняютъ насъ. Какъ проповѣдь скучна,
Когда отрадны намъ земныя блага!
Все жъ буду воспѣвать, хоть это грѣхъ,
Вино, красавицъ, пиршества и смѣхъ.

CLXXIX.

Для мыслящихъ существъ въ винѣ есть сладость;
Даритъ намъ упоеніе оно,
Какъ слава, страсть, богатство. Жизнь не радость,
Коль поле жизни въ степь превращено.
Безъ радостныхъ утѣхъ безцвѣтна младость;
Итакъ, совѣтъ даю я пить вино,
Хоть голова болѣть съ похмелья можетъ,
Но средство есть, что отъ того поможетъ.

CLXXX.

Рейнвейнъ смѣшайте съ содовой водой
И дивнымъ вы питье найдете это;
Утѣхи Ксерксъ и тотъ не зналъ такой!
Въ жару—струи холоднаго шербета;
Студеная волна—въ степи сухой;

Бургонское, что словно лучъ разсвѣта
Блеститъ, по вкусу приходяся всѣмъ,
Все это меркнетъ предъ напиткомъ тѣмъ.

CLXXXI.

Вернусь къ разсказу. Берегъ, небо, море
Въ тотъ часъ объяты были сладкимъ сномъ;
Песокъ лежалъ недвижно; на просторѣ
Не злился вѣтеръ; смолкло все кругомъ;
Лишь иногда дельфинъ, съ волною въ спорѣ,
Плескался и, чуть двигая крыломъ,
Бросала птица крикъ, да, сна не зная,
Лизала скалы бездна голубая.

CLXXXII.

Уѣхалъ за добычею пиратъ,
Оставивъ дочь, что вольной птичкой стала;
Мѣшать ей не могли ни мать, ни братъ,—
При ней одна лишь Зоя состояла
Служанкой; ей готовила нарядъ
Да по утрамъ ей косы заплетала,
У госпожи своей прося порой
Поношенныхъ одеждъ за трудъ такой.

CLXXXIII.

Былъ тихій часъ, когда лучи заката
Скрываются за синею горой;
Когда природа сонная объята
Спокойствіемъ, прохладою и мглой;
Когда высокихъ горъ крутые скаты
Сливаются съ безбрежною водой
И въ розовыхъ лучахъ зари далеко
Вечерняя звѣзда блеститъ, какъ око.

CLXXXIV.

По раковинамъ хрупкаго песка
И камешкамъ идетъ Гайдэ съ Жуаномъ;
Въ его рукѣ дрожитъ ея рука;
Она идетъ, къ нему склоняясь станомъ.
Замѣтя темный гротъ издалека,
Подземный залъ, что вырытъ океаномъ,
Они въ него вошли и тамъ, сплетясь
Руками, не спускали съ неба глазъ.

CLXXXV.

Какъ розовое море, разстилался
Надъ головами ихъ небесный сводъ;
Всходившій мѣсяцъ въ волнахъ отражался
И словно выплывалъ изъ лона водъ;
Чуть слышно вѣтеръ съ волнами шептался;
Горя, ихъ взоры встрѣтились—и вотъ,
Въ порывѣ страсти, пламенномъ, могучемъ,
Слилися ихъ уста въ лобзаньи жгучемъ.

CLXXXVI.

Слились въ томъ поцѣлуѣ огневомъ
Пылъ юности, краса и обожанье,
Какъ въ фокусѣ, и отразилось въ немъ
Огня небесъ волшебное сіянье.
Лишь молодость со свѣтомъ и тепломъ
Плодитъ такія жгучія лобзанья,
Когда, какъ лава, въ жилахъ льется кровь
И, какъ пожаръ, горитъ въ груди любовь.

CLXXXVII.

Порывы страсти сдерживать напрасно,
Тѣмъ больше измѣрять. Безъ фразъ пустыхъ
Все для Гайдэ съ Жуаномъ стало ясно,
И ихъ уста слилися въ тотъ же мигъ;
Къ цвѣтамъ не такъ ли пчелы рвутся страстно,
Чтобъ свѣтлый медъ высасывать изъ нихъ?
Но только тутъ сердца цвѣтами были
И для влюбленныхъ медъ любви точили.

CLXXXVIII.

Ихъ не томилъ уединенья гнетъ,
Мучительный для узника. Внимая
Таинственному плеску сонныхъ водъ,
Что въ даль неслись, свѣтила отражая;
Глядя на берегъ, небо, море, гротъ,
Они, другъ друга страстно обнимая,
Весь забывали міръ: жизнь сферъ земныхъ
Казалась имъ заключена лишь въ нихъ.

CLXXXIX.

Ихъ не страшила тьма; враговъ опасныхъ
Пустынный край въ себѣ таить не могъ;
Любовь сжигала ихъ; порывовъ страстныхъ
Былъ выраженьемъ только нѣжный вздохъ,
Что замѣнялъ потокъ рѣчей напрасныхъ;
Любви онъ и оракулъ, и залогъ!
Съ тѣхъ поръ, какъ змій разъединилъ насъ съ раемъ,
Мы слаще ничего любви не знаемъ.

CXC.

Гайдэ, святой невинности полна,
Не требовала клятвъ и не давала
Сама обѣтовъ вѣрности. Она
Не вѣдала, что страсть плодитъ не мало
Опасностей. Одной любви вѣрна,
Она, какъ птичка нѣжная, встрѣчала
Любовника, ему отдавшись въ плѣнъ.
Къ чему обѣты, если нѣтъ измѣнъ?

CXCI.

Она любила искренно и нѣжно,
И Донъ Жуанъ ее боготворилъ;
Когда бы могъ огонь любви мятежной
Сжигать сердца и души, страстный пылъ
Ихъ въ пепелъ превратилъ бы неизбѣжно.
Когда порой ихъ страсть лишала силъ,
Лишь краткій мигъ оцѣпенѣнье длилось—
Одна любовь Гайдэ съ Жуаномъ снилась.

CXCII.

Увы! они такъ были хороши
И молоды! Имъ съ страстною тревогой
Бороться было трудно. Для души
Соблазновъ всевозможныхъ въ свѣтѣ много;
Не трудно заблудиться ей въ глуши
И въ адъ тогда прямая ей дорога;
Тамъ вмѣстѣ съ злыми будутъ жечь и тѣхъ,
Что ублажали ближнихъ, холя грѣхъ.

CXCIII.

Увы! грѣхопаденье угрожало
Четѣ влюбленной, а ея милѣй
Не видѣлъ міръ съ тѣхъ поръ, какъ Ева
пала,
Сгубивъ своею жадностью людей.
Гайдэ не разъ о демонахъ слыхала
И вѣчныхъ мукахъ ада; тутъ-то ей
О нихъ со страхомъ надо помнить было,—
Она жъ, отдавшись страсти, все забыла.

CXCIV.

Сверкали очи ихъ. Гайдэ рукой
Его держала голову; дыханье
Сливалось ихъ. Покрытъ ея косой,
Жуанъ склонялся къ милой; замиранье
Чету сродняло съ счастьемъ и порой
Влюбленные лишалися сознанья;
Они, съ античной группою сходны,
Другъ къ другу льнули, трепета полны.

CXCV.

Когда утихли бури сладострастья,
Онъ сладко на груди заснулъ у ней;
Она жъ, не зная сна, полна участья,
Лелѣяла его рукой своей;
То къ небу взоръ ея влекло отъ счастья,
То, съ милаго не отводя очей,
Она имъ любовалась, утопая
Въ блаженствѣ и границъ ему не зная.

CXCVI.

Ребенокъ, что любуется огнемъ;
Дитя, что спитъ; ханжа, что ждетъ при-
частья;
Морякъ, что въ битвѣ справился съ вра-
гомъ;
Арабъ, что гостю выразилъ участье;
Скупецъ, что надъ своимъ дрожитъ до-
бромъ,—
Быть можетъ, и вкушаютъ сладость счастья,
Но всѣхъ счастливѣй тотъ, кто, упоенъ,
Предмета думъ оберегаетъ сонъ.

CXCVII.

Найдется ль что-нибудь на свѣтѣ краше?
Онъ тихо спитъ, не зная, что даетъ
Другому пить блаженство полной чашей;
Его тревогъ, волненій, думъ, заботъ
Не знаемъ мы, а слита съ жизнью нашей
Вся жизнь его. Сонъ безмятежный тотъ
Со смертью схожъ, но въ немъ лишь ды-
шитъ сладость;
Не ужасъ онъ плодитъ, а только радость.

CXCVIII.

Подъ ропотъ волнъ такъ нѣжно стерегла
Гайдэ Жуана сонъ, покорна власти
Любви, что въ душу ей восторгъ влила;
Убѣжище надежное для страсти
Среди песковъ и скалъ она нашла;
Тамъ не могли имъ угрожать напасти,
И вѣдалъ только звѣздъ дрожащій свѣтъ,
Что ихъ счастливѣй въ мірѣ смертныхъ
нѣтъ.

CXCIX.

Любовь для женщинъ—мука и отрада;
Но все жъ игра опасная—любовь:
Со счастьемъ имъ навѣкъ проститься надо,
Когда она измѣнитъ, хмуря бровь;
Вотъ отчего ихъ месть страшнѣе ада
И имъ мила она, какъ тигру кровь;
Вѣдь мука ихъ всегда сильнѣй удара,
Что, мстя, онѣ врагу наносятъ яро.

CC.

Ихъ мстительность понятна и вражда;
Когда же къ нимъ мужчины справедливы?
Съ измѣнами сродняетъ ихъ среда;
Какъ рѣдко бракъ встрѣчается счастливый!
Что жъ ждетъ ихъ впереди? Почти всегда
Неблагодарный мужъ, любовникъ лживый,
Наряды, дѣти, сплетни, ханжество
И кромѣ лжи и скуки—ничего.

CCI.

Однѣ себѣ любовниковъ заводятъ;
Тѣ втихомолку пьютъ; тѣ ѣздятъ въ свѣтъ;
Иныя въ ханжествѣ свой вѣкъ проводятъ;

Другія,
Себя пс
И ужъ
Такія ж
Романы

Родясь

Гайдэ (
Она лк
Ея луч
И лиш
Кто из
За стр
Одни з

Какъ с
Въ пр
Ни со
Ни му
Такъ
Что я
Какъ
Не об

Сверı
Свид
Свѣча
Приб
Ихъ
А бра

Весь
Какъ

Любс

Рабо
Овид
Чулк
Не
(Ея
Любі
Все

Она,
Ихъ
Как
И М
Весı





Отецъ не отводилъ отъ сына взгляда.
Пѣснь II, стр. LXXXIX.

Рис. Вестоль (Rich. Westall, R. A.) грав. Гизъ (Ch. Heath).

Такъ скульптора насъ восхищаетъ трудъ!
Пусть насъ хулятъ—объ этомъ мы не тужимъ:
Служа красѣ, мы идеалу служимъ.

CCXII.

Въ томъ чувствѣ пышетъ неподдѣльный жаръ
Любви къ тому, что чисто и прелестно;
Оно небесъ и звѣздъ волшебный даръ;
Какъ безъ него на свѣтѣ было бъ тѣсно!
Оно полно неотразимыхъ чаръ,
И если плоть, волнуясь неумѣстно,
Порой въ общеньи съ нимъ—причина та,
Что плоть разжечь способна и мечта.

CCXIII.

Невольно чувство то и скоротечно,
Но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ тягостно оно!
О, еслибъ все одинъ и тотъ же вѣчно
Любить предметъ намъ было суждено,
Какъ много тратъ и горести сердечной
Могло бы этимъ быть сбережено!
Мы экономій сдѣлали бъ не мало,
И печени, и сердцу легче бъ стало.

CCXIV.

Какъ съ небомъ сердце схоже! Такъ же въ немъ,
Какъ въ небесахъ, порой бушуютъ грозы,
Неся съ собою холодъ, мракъ и громъ.
Въ насъ будятъ страхъ ихъ гнѣвныя угрозы,
А все жъ онѣ кончаются дождемъ:
Такъ и отъ бурь сердечныхъ льются слезы...
(Коснувшись непогоды и дождей,
Я вспомнилъ климатъ родины моей).

CCXV.

Врачъ желчи печень, но она не можетъ
Успѣшно роли выполнить своей:
Страсть первая такъ долго насъ тревожитъ,
Что прочія къ ней льнутъ, какъ кучи змѣй,
И, въ ней киша, ея страданья множатъ;
Гнѣвъ, зависть, злоба, мщенье, ревность—въ ней
Всѣ сплетены. Нѣтъ грани ихъ порывамъ
И взрывъ ихъ схожъ съ землетрясенья взрывомъ.

CCXVI.

Я болѣе двухсотъ вамъ далъ октавъ,
И здѣсь кладу перо,—мнѣ отдыхъ нуженъ;
Въ поэмѣ будетъ всѣхъ двѣнадцать главъ,
А можетъ быть дойду и до двухъ дюжинъ;
Затѣмъ, поклонъ читателю отдавъ,
Анализы прерву, хоть съ ними друженъ.
Коль за себя успѣшно постоятъ
Жуанъ съ Гайдэ—тому я буду радъ.

ПѢСНЬ ТРЕТЬЯ.

I.

О Муза! и такъ далѣе... Съ Жуаномъ
Разстались мы, уснувшимъ на груди
Гайдэ. Любовь сродняетъ насъ съ обманомъ
И много мукъ готовитъ впереди;
Съ ней надо дань платить сердечнымъ ранамъ;
Безъ горестныхъ тревогъ любви не жди!
Она, губя и молодость и грезы,
Кровь сердца превращаетъ часто въ слезы.

II.

Любовь! твои обманчивы мечты!
Зачѣмъ въ гирлянды чуднаго убора
Унылый кипарисъ вплетáешь ты,
Одни лишь вздохи, вмѣсто разговора,
Пуская въ ходъ? Душистые цвѣты,
Приколотые къ платью, вянутъ скоро.
Такъ пылъ любви врывается къ намъ въ грудь,
Чтобъ въ ней затѣмъ безслѣдно потонуть.

III.

Лишь тотъ плѣняетъ женщину сначала,
Кто въ ней любовь впервые пробудилъ;
Затѣмъ, когда любовь привычкой стала,
Ей нравится лишь страсти жгучій пылъ;
Она ужъ не стѣсняется ни мало;
Сначала ей одинъ любовникъ милъ,
Потомъ не счесть ея любовныхъ шашенъ:
Ей длинный рядъ любовниковъ не страшенъ!

IV.

Кого винить за горестный исходъ?
Отвѣтить не могу я, но не скрою,
Что женщина, любви вкусивши плодъ,
Когда не суждено ей стать ханжею,
Прямымъ путемъ ужъ больше не пойдетъ.
Она сначала дышитъ лишь одною
Любовью, но, съ дороги сбившись разъ,
Не мало натворитъ затѣмъ проказъ.

V.

Вотъ грустный фактъ, что служитъ вѣрнымъ знакомъ
Порочности и слабости людей:
Не въ состояньи страсть ужиться съ бракомъ,
Хоть онъ идти бы долженъ рядомъ съ ней;
Безнравственность весь міръ одѣла мракомъ!
Любовь, какъ только съ нею Гименей,
Теряетъ вкусъ, лишаясь аромата:
Такъ кислый уксусъ былъ виномъ когда-то.

VI.

Противорѣчье явное царитъ
Межъ чувствами, что мы питаемъ къ милой
До брака и потомъ. Мѣняя видъ,
Любовь насъ не волнуетъ съ прежней силой;
И вотъ—обманъ сердечный намъ грозитъ!
Такъ страсть сулитъ влюбленному успѣхъ,
А проявляясь въ мужѣ, будитъ смѣхъ.

VII.

Нельзя же вѣчно нѣжничать съ женою;
То мужу пріѣдается подчасъ.
Хоть тяжело съ случайностью такою
Встрѣчаться намъ—мечтою вдохновясь,
Нельзя весь вѣкъ плѣняться ей одною.
Межъ тѣмъ лишь смерть освобождаетъ насъ
Отъ брачныхъ узъ. Легко ль терять супругу
И въ трауръ облекать по ней прислугу?

VIII.

Порывовъ страсти чуждъ семейный бытъ.
Поэтъ, любовь описывая ярко,
О радостяхъ супружества молчитъ.
Кого жъ интересуетъ, если жарко
Жену цѣлуетъ мужъ и ей даритъ
Весь пылъ своей любви? Ужель Петрарка
Сонетовъ рядъ Лаурѣ бъ посвятилъ,
Когда бы онъ ея супругомъ былъ?

IX.

Въ трагедіяхъ героевъ ждетъ могила;
Въ комедіяхъ ихъ цѣпи брака ждутъ;
Но продолженье авторамъ не мило,—
Они на томъ оканчиваютъ трудъ
И, чувствуя, что измѣняетъ сила,
Во власть поповъ героевъ отдаютъ;
Грядущее всегда у нихъ во мракѣ:
Они молчатъ о смерти и о бракѣ.

X.

Геенну, рай и прелесть брачныхъ узъ
Лишь двое — Дантъ и Мильтонъ — воспѣвали;
Но имъ самимъ супружескій союзъ
Пошелъ не впрокъ: не мало бѣдъ узнали
Они, къ нему свой проявивши вкусъ.
Поэтому наврядъ ли съ женъ писали
Они портреты героинь своихъ.
За это упрекать возможно ль ихъ?

XI.

Иные видятъ въ Беатриче Данта
Эмблему богословья. Этотъ вздоръ,
По моему, лишь вымыселъ педанта,
Что далъ своей фантазіи просторъ.
О фикціи, что силою таланта
Поддерживать нельзя—напрасенъ споръ.
Сказать вѣдь можно (рѣчь идетъ о дичи!),
Что алгебры эмблема—Беатриче.

XII.

Читатель! за героевъ я своихъ
Передъ тобой отвѣтствовать не стану;
Моя ль вина, что въ злополучный мигъ
Гайдэ въ объятья бросилась Жуану?
Когда ты возмущенъ безбрачьемъ ихъ,
Не возвращайся больше къ ихъ роману;
А то, пожалуй, грѣшная любовь
Моей четы—твою взволнуетъ кровь!

XIII.

Согласенъ я, грѣху она служила,
Но утопала въ счастьи. Съ каждымъ днемъ
Все дѣлаясь смѣлѣй, Гайдэ забыла,
Что счеты свесть придется ей съ отцомъ.
(Любовныхъ чаръ неотразима сила,
Когда въ груди пылаетъ страсть огнемъ!)
Пока пиратъ гонялся за товаромъ,
Гайдэ минуты не теряла даромъ.

XIV.

Хоть для него не писанъ былъ законъ,
Читатели, къ нему не будьте строги!
Его захваты (будь министромъ онъ)
Сошли бы, безъ сомнѣнья, за налоги;
Но не былъ честолюбьемъ увлеченъ
Лихой пиратъ и не искалъ дороги
Къ отличіямъ. Какъ прокуроръ морей
Онъ хлопоталъ лишь о казнѣ своей.

XV.

Задержанъ въ морѣ былъ старикъ почтенный
Противными вѣтрами; грозный шквалъ
Лишилъ его притомъ добычи цѣнной
И наверстать убытокъ онъ желалъ.
Съ командою не церемонясь плѣнной,
Всѣхъ жертвъ своихъ онъ въ цѣпи заковалъ,
По нумерамъ ихъ раздѣливъ для сбыта.
(Такъ книга на главы всегда разбита).

XVI.

Онъ выгодно друзьямъ-майнотамъ сбылъ
Часть груза возлѣ мыса Матапана;
Другую часть тунисскій бей купилъ,—
Пиратъ въ своихъ дѣлахъ не зналъ изъяна;
Одинъ старикъ, негодный къ сбыту, былъ
При этомъ сброшенъ въ волны океана;
Кто выкупъ могъ платить—былъ подъ замкомъ;
Другихъ же сбылъ онъ въ Триполи гуртомъ.

XVII.

Не мало на левантскіе базары
Отправилъ онъ награбленныхъ вещей,
Но для себя лишь сохранилъ товары,
Что цѣнны дамамъ: пропасть мелочей,
Наряды, кружева, духи, гитары,
Гребенки, щетки, шпильки, рядъ сластей...
Нѣжнѣйшій изъ отцовъ, окончивъ сдѣлки,
Везъ дочери въ подарокъ тѣ бездѣлки.

XVIII.

Мартышки, обезьяны были тутъ,
Два попугая, кошка и котята.
Корабль давалъ и терьеру пріютъ;

Британцу онъ принадлежалъ когда-то,
Что кончилъ дни въ Итакѣ. Бѣдный людъ,
Кормившій пса изъ жалости, пирата
Имъ наградилъ. Въ одинъ чуланъ звѣрей
Всѣхъ заперъ онъ, чтобъ ихъ сберечь вѣрнѣй.

XIX.

Его корабль сталъ требовать починки;
И потому походъ окончить свой
Рѣшилъ пиратъ. Онъ крейсеровъ на рынки
Далекіе послалъ, а самъ домой
Повезъ свои гостинцы и новинки,
Спѣша къ Гайдэ, что страсти роковой
Въ то время предавалась безразсудно;
Но вотъ и портъ: на якорь стало судно.

XX.

Лихой морякъ былъ высадиться радъ.
Гдѣ нѣтъ ни карантиновъ, ни таможенъ,
Что путника вопросами томятъ,
Тамъ высадки процессъ весьма не сложенъ.
Чинить корабль немедленно пиратъ
Велѣлъ; такой приказъ былъ неотложенъ,
И тотчасъ стали выгружать тюки,
Балластъ, товары, пушки—моряки.

XXI.

Пиратъ пошелъ знакомою дорогой.
Взойдя на холмъ, въ свой домъ, смутясь душой,
Онъ взоръ вперилъ. Всегда объятъ тревогой
Пришлецъ, что дальній путь кончаетъ свой.
Вѣдь перемѣнъ могло случиться много
Въ отсутствіе его, прійдя домой,
Найдетъ ли милыхъ онъ? И, полонъ муки,
Онъ вспоминаетъ тяжкій мигъ разлуки.

XXII.

Супруга иль отца заботъ не счесть,
Когда домой онъ ѣдетъ издалека;
Его понятенъ страхъ: семейства честь
Въ рукахъ жены иль дочери. (Глубоко
Я женщинъ чту, но имъ противна лесть,
И потому не вижу въ лести прока).
Обманывать жена порой не прочь
И можетъ убѣжать съ лакеемъ дочь.

XXIII.

Найдется ль мужъ, что сходенъ съ Одиссеемъ?
Кто Пенелопу новую найдетъ?
Иной супругъ, почтенный мавзолеемъ,
Явясь домой, со страхомъ узнаетъ,
Что лучшій другъ его женой лелѣемъ;
Семья же съ каждымъ годомъ все растетъ;
И Аргусъ самъ ему не лижетъ руки,
А только рветъ его пальто и брюки.

XXIV.

Бываетъ также жертвой холостякъ:
Найти онъ можетъ, что его невѣста
Съ богатымъ старикомъ вступила въ бракъ.
Въ такой бѣдѣ занять супруга мѣсто
Онъ можетъ пожелать, попавъ въ просакъ.
Коварныя измѣны безъ протеста
Порой не оставляютъ женихи,
И „Козни женъ" караютъ ихъ стихи.

XXV.

О вы! liaisons имѣющіе въ свѣтѣ,
Бичи мужей, послушайте меня:
Пусть ширмы бракъ, а крѣпки связи эти,—
Отлучекъ все же бойтесь, какъ огня;
Хорошаго не мало въ томъ совѣтѣ:
Случается, что васъ въ теченье дня
(Хоть крѣпче узъ не существуетъ въ мірѣ),
Обманываютъ раза по четыре.

XXVI.

Пиратъ Ламбро (такъ назывался онъ),
Увидя вновь знакомыя картины
И дымъ родной трубы, былъ восхищенъ.
Онъ чувствъ своихъ не понималъ причины
И не былъ въ метафизикѣ силенъ,
Но дочь свою любилъ и, полнъ кручины,
Онъ пролилъ бы не мало горькихъ слезъ,
Когда бъ ему разстаться съ ней пришлось.

XXVII.

Свой домъ онъ видѣлъ съ садомъ, полнымъ тѣни;
Вдали журчалъ знакомый ручеекъ;
И лай собакъ былъ слышенъ въ отдаленьи;
Гуляющихъ въ лѣсу онъ видѣть могъ
И блескъ оружья ихъ. (Въ вооруженьи,
Гордяся имъ, является Востокъ).
Какъ крылья мотылька, плѣняя взоры,
Одеждъ пестрѣли яркіе узоры.

XXVIII.

Пиратъ, картиной праздности смущенъ,
Съ высокаго холма спустился шибко;
Не музыку небесъ услышалъ онъ—
О, нѣтъ!—вдали визжала только скрипка.
Старикъ былъ тѣмъ глубоко потрясенъ;

Ужъ не введенъ ли онъ въ обманъ ошибкой?
Чу! громкій хохотъ! Вѣрить ли ушамъ?
И барабанъ и флейты слышны тамъ.

XXIX.

Пиратъ, чтобъ разсмотрѣть, какъ на досугѣ,
Богъ вѣсть съ чего, бѣснуется народъ,
Кусты рукой раздвинулъ и въ испугѣ
Увидѣлъ, что, не двигаясь впередъ,
Какъ дервиши, его вертѣлись слуги,
Собравшись въ оживленный хороводъ.
Пиррійскіе узналъ онъ тотчасъ танцы,
Къ которымъ такъ привержены левантцы.

XXX.

Тамъ дальше во главѣ подругъ своихъ
Платкомъ гречанка юная махала;
Ихъ группа рядъ жемчужинъ дорогихъ,
Въ сплетеніи своемъ, напоминала;
На плечи ниспадали косы ихъ.
Такихъ красивыхъ дѣвъ на свѣтѣ мало.
Одна поетъ; ей вторитъ хоръ подругъ,
Что пляшетъ въ ладъ напѣва, слившись въ кругъ.

XXXI.

За трапезой часть созваннаго люда
Сидѣла, ноги подъ себя поджавъ;
Вино лилось рѣкой; мясныя блюда
Дымилися и соченъ былъ пилавъ;
Шербетъ въ себя вмѣщала съ льдомъ посуда;
Какихъ тамъ только не было приправъ!
Дессертъ же красовался въ кущахъ сада:
Гранаты, сливы, гроздья винограда.

XXXII.

Съ бараномъ бѣлымъ рой дѣтей игралъ,
Его рога цвѣтами украшая;
Ихъ шумный смѣхъ его не устрашалъ;
Изъ рукъ малютокъ пищу принимая,
Онъ ихъ любилъ и рѣдко наклонялъ
Рога, какъ будто ихъ бодать желая;
Почтенный патріархъ былъ дѣтямъ радъ
И, попугавъ ихъ, отступилъ назадъ.

XXXIII.

Краса ихъ лицъ, нарядъ ихъ пестроватый,
Движеній граціозность, блескъ очей,
Румянецъ, сходный съ пурпуромъ гранаты,
Плѣняли око прелестью своей,
Дни юности невинностью богаты.
Глядя на восхитительныхъ дѣтей,
Философъ скрыть своей тоски не можетъ:
Вѣдь время и на нихъ печать наложитъ.

XXXIV.

Тамъ занималъ усердно карликъ-шутъ
Курившихъ трубки старцевъ именитыхъ;
Разсказывалъ о силѣ вражьихъ путъ,
О кладахъ, чародѣями зарытыхъ,
О скалахъ, гдѣ волшебники живутъ,
О тайнахъ чаръ и вѣдьмахъ знаменитыхъ,
Умѣвшихъ превращать мужей въ скотовъ.
(Такой легендѣ вѣрить я готовъ).

XXXV.

На островѣ царило оживленье;
Душѣ и тѣлу сладко было тамъ;
Вино и танцы, музыка и пѣнье,
Забавы всевозможныя—гостямъ
Сулили и восторгъ, и упоенье.
Сердился лишь пиратъ, своимъ очамъ
Довѣриться боясь. Онъ былъ скупенекъ,
А пиръ такой не мало стоитъ денегъ.

XXXVI.

Ничтоженъ человѣкъ! Какъ много бѣдъ
Ему грозятъ въ теченье жизни краткой!
Ему весь вѣкъ отъ мукъ спасенья нѣтъ,
А счастья лучъ сіяетъ лишь украдкой;
Съ сиреной схожъ его волшебный свѣтъ:
Чтобъ гибель несть, поетъ сирена сладко.
Пиратъ смутить всѣхъ видомъ могъ своимъ,—
Такъ пламя тушатъ войлокомъ сырымъ.

XXXVII.

Онъ словъ своихъ не тратилъ попустому:
Желая удивить пріѣздомъ дочь,
Нарочно онъ тайкомъ подкрался къ дому.
(Всегда онъ отъ сюрпризовъ былъ не прочь,
Но въ морѣ равнозначащъ былъ разгрому
Его сюрпризъ). Ему сдержать не въ мочь
Волненья было. Съ думою тяжелой
Слѣдилъ онъ за компаніей веселой.

XXXVIII.

Не зналъ Ламбро, что слухъ былъ пущенъ въ ходъ
О гибели его. (Какъ люди лживы,
Въ особенности греки!) Развѣ мретъ
Злодѣй, что дышитъ кровью и наживой!
По немъ носили трауръ, но чередъ
Насталъ эпохѣ болѣе счастливой;
Гайдэ отерла слезы и дѣла
По своему въ порядокъ привела.

XXXIX.

Вотъ пиршества роскошнаго причина,
Вотъ отчего всѣ ѣли съ мясомъ рисъ,
Веселью предаваяся, и вина
Струею искрометною лились.
Ужъ о пиратѣ не было помина;
Служители и тѣ перепились,
Но дѣва, пиръ устроивъ пресловутый,
Не отняла у страсти ни минуты.

XL.

Не думайте, однакожъ, что, попавъ
На этотъ пиръ, вспылилъ старикъ суровый,
Жестокости врожденной волю давъ;
Что въ ходъ пустилъ онъ пытки и оковы,
Кровавою расправой тѣша нравъ,
И бросился впередъ, разить готовый,
Доказывая лютостью своей,
Что въ ярости неукротимъ злодѣй.

XLI.

О, нѣтъ—ничуть! Преслѣдуя упрямо
Свой планъ, пиратъ умѣлъ владѣть собой;
Тягаться съ нимъ ни дипломатъ, ни дама
Въ притворствѣ не могли бъ. Кривя ду-
шой,
Онъ никогда не мчался къ цѣли прямо.
Какъ жаль, что увлекалъ его разбой:
Въ гостиныя являясь джентельмэномъ,
Онъ общества полезнымъ былъ бы чле-
номъ.

XLII.

Онъ подошелъ къ одной изъ группъ кутилъ
И грека, что сидѣлъ къ нему спиною,
Съ улыбкою зловѣщею спросилъ
(Коснувшись до плеча его рукою),
Чѣмъ этотъ пиръ богатый вызванъ былъ.
Но грекъ былъ пьянъ и не владѣлъ собою;
Онъ, не узнавъ того, кто рѣчь держалъ,
Виномъ наполнить только могъ бокалъ.

XLIII.

Черезъ плечо и позы не мѣняя,
Ему напитокъ подалъ пьяный грекъ,
Пробормотавъ: „мнѣ болтовня пустая
Не по нутру“, и разговоръ пресѣкъ.
— „У насъ теперь хозяйка молодая, —
Сказалъ другой,—нашъ старецъ кончилъ
вѣкъ“.
— „Онъ умеръ—молвилъ третій,—ну такъ
что-же?
У насъ теперь, хозяинъ есть моложе“.

XLIV.

Кутилы тѣ здѣсь были въ первый разъ
И старика не знали. Взоръ суровый
Его сверкнулъ, и буря поднялясь
Въ его душѣ, но, наложивъ оковы
На гнѣвъ и равнодушнымъ притворясь,
Онъ ихъ спросилъ съ улыбкой:—„Кто же
новый
Хозяинъ вашъ, что, глухъ къ чужой бѣдѣ,
Изъ дѣвы въ даму превратилъ Гайдэ?“

XLV.

— „Откуда онъ и кто?—не знаю; мнѣ то,—
Отвѣтилъ пьяный гость,—не все ль равно?
Да и кого жъ интересуетъ это?
Обѣдъ хорошъ; рѣкой течетъ вино;
О чемъ тужить? Но если ты отвѣта
Другого ждешь, тогда ужъ заодно
Къ сосѣду обратись: въ разсказахъ точенъ,
Все знаетъ онъ и сплетни любитъ очень“.

XLVI.

Пиратъ такъ много такта проявилъ,
Такъ сдержанности много и терпѣнья,
Что онъ француза бъ даже удивилъ.
(А кто съ французомъ выдержитъ сравненье
Въ учтивости!) Хоть гнѣвъ его душилъ,
Хоть грудь его рвалася отъ мученья—,
Онъ молча снесъ насмѣшки слугъ своихъ,
А вѣдь его жъ добромъ кормили ихъ!

XLVII.

Кого не удивитъ, что въ состояньи
Порывы гнѣва сдерживать и тотъ,
Кто властвовать привыкъ; чьи приказанья
Законы; кто пустить и пытки въ ходъ,
И казни можетъ, чуждый состраданья?
Кто чуду объясненіе найдетъ?
Но человѣкъ, который такъ спокоенъ
И твердъ душой, какъ Гвельфъ, вѣнца
достоинъ.

XLVIII.

Ламбро бывалъ порою дикъ и яръ;
Но въ случаяхъ серьезныхъ съ гнѣвнымъ
нравомъ
Умѣлъ справляться бѣшеный корсаръ
И, сходный съ притаившимся удавомъ,
Безмолвно наносилъ врагу ударъ.
Молчалъ зловѣще онъ, къ дѣламъ кро-
вавымъ
Готовясь. Разомъ онъ кончалъ съ врагомъ,
Въ ударѣ не нуждаяся второмъ.

XLIX.

Разспросы онъ дальнѣйшіе оставилъ
И къ дому своему, тоской объятъ,
Тропинкой потаенной путь направилъ.
Никѣмъ въ пути не узнанъ былъ пиратъ.
Любя Гайдэ, не знаю, если ставилъ
Онъ ей въ вину поступковъ странныхъ рядъ,
Но могъ ли онъ мириться съ мыслью тою,
Что праздникъ трауръ замѣнялъ собою!

L.

Когда бъ прервали мертвыхъ вѣчный сонъ
(Храни насъ Богъ отъ этого явленья!)
И воскресили бъ вдругъ мужей и женъ,
Нашедшихъ отъ тревогъ успокоенье,—
Такой бы поднялся и плачъ, и стонъ,
Какихъ не видѣлъ свѣтъ! Ихъ воскресенье
Не меньше слезъ бы вызвало, чѣмъ день,
Когда укрыла ихъ могилы сѣнь.

LI.

Онъ въ домъ вошелъ, но въ домъ ему
постылый;
Чужимъ ему казалося все тамъ;
Отраднѣй слышать смерти зовъ унылый,
Чѣмъ пережить такую муку намъ!
Увидѣть свой очагъ, что сталъ могилой,
Сказать „прости!“ надеждамъ и мечтамъ
Возможно ли безъ трепета и боли?
Бобыль спасенъ отъ этой горькой доли.

LII.

Онъ этотъ домъ своимъ считать не могъ:
Гдѣ любятъ насъ—лишь тамъ очагъ ро-
димый.
Не встрѣченный никѣмъ, онъ свой порогъ
Переступилъ и, горестью томимый,
Увидѣлъ, что онъ въ мірѣ одинокъ.
Здѣсь прежде возлѣ дочери любимой,
Любуясь ей, онъ воскресалъ душой
И послѣ сѣчъ и бурь вкушалъ покой.

LIII.

Онъ человѣкъ былъ страннаго закала:
Манерами пріятенъ, нравомъ лютъ,
Во всемъ умѣренъ—ѣлъ и пилъ онъ мало;
Въ несчастьи твердъ, любилъ борьбу и
трудъ
И благородство въ немъ порой дышало.
Онъ спасся бъ, можетъ быть, отъ вражьихъ
путъ
Въ другой странѣ; но, проклиная долю
Раба, другимъ онъ сталъ сулить неволю.

LIV.

Такимъ онъ сталъ, страстямъ отдавшись
въ плѣнъ,
Гоняяся за властью и наживой,
Состарившись средь бурь и мрачныхъ сценъ;
Всегда къ борьбѣ стремясь нетерпѣливо.
Не мало перенесъ онъ злыхъ измѣнъ
И тяжкихъ бѣдъ, идя кровавой нивой.
Пиратъ былъ вѣрнымъ другомъ, но какъ
врагъ
Въ противникахъ будилъ, являясь, страхъ.

LV.

Геройскій духъ, что Грецію прославилъ
Въ давно былые годы, въ немъ горѣлъ;
Тотъ духъ, что смѣлыхъ выходцевъ на-
правилъ
Въ Колхиду, имъ безсмертье давъ въ удѣлъ;
Но блескъ былой преданья лишь оставилъ.
Пиратъ же бредилъ славой громкихъ дѣлъ
И мстилъ за униженіе отчизны,
Кровавыя по ней свершая тризны.

LVI.

Изящества и мягкости печать
Клалъ на него роскошный климатъ юга;
Артистъ въ душѣ, онъ музыкѣ внимать
Иль пѣнью волнъ любилъ въ часы досуга;
Любилъ красу природы созерцать,
Въ ней видя и наставника, и друга;
Ея покой его душѣ былъ милъ:
Онъ охлаждалъ ея мятежный пылъ.

LVII.

Но только страстью къ дочери согрѣта
Была душа пирата. Только дочь
Его смягчала сердце, волны свѣта
Бросая въ душу, черную какъ ночь.
Въ немъ было свято только чувство это;
О, если бы оно умчалось прочь—
Онъ превратился бъ, ни во что не вѣря,
Въ циклопа разъяреннаго иль звѣря.

LVIII.

Тигрица, что лишилася дѣтей,
Для пастуховъ ужасна и для стада;
Опасенъ океанъ для кораблей,
Когда близъ скалъ бушуетъ волнъ громада;
Но утихаетъ ярость ихъ скорѣй,
Чѣмъ сердца злая скорбь. Чужда пощада
Объятіямъ ея; ей нѣтъ конца;
А съ чѣмъ сравнить нѣмую скорбь отца!

LIX.

Какъ грустно на дѣтей терять вліянье!
Намъ рисовали прошлое они,
Вмѣстивъ въ себѣ всѣ наши упованья;
Когда жъ во меракѣ гаснутъ наши дни,
Насъ покидаютъ милыя созданья;
Но все жъ мы остаемся не одни,
А въ обществѣ, терзающихъ насъ яро,
Подагры, ревматизма иль катарра.

LX.

Все жъ жизнь въ семьѣ отрадна (если въ ней
Не донимаютъ дѣти пискотнею);
Прелестна мать, вскормившая дѣтей
(Коль отъ того не высохла). Толпою
Къ ней дѣти нѣжно льнутъ. (Вкругъ алтарей
Такъ ангелы тѣснятся). Мать съ семьею—
Какъ золотой средь мелочи блеститъ,—
Растрогаетъ и грѣшника тотъ видъ.

LXI.

Алѣлъ закатъ, когда трясясь отъ злости,
Пиратъ вошелъ въ свой опустѣлый домъ;
Въ то время пировали сладко гости;
Жуанъ съ Гайдэ сидѣли за столомъ,
Украшеннымъ рѣзьбой изъ цѣнной кости;
Рабы сновали съ блюдами кругомъ;
Роскошный столъ посуда украшала
Изъ перламутра, золота, коралла.

LXII.

На пирѣ красовалось до ста блюдъ:
Съ фисташками ягненокъ, супъ шафранный,
Рядъ рѣдкихъ рыбъ, что сибариты чтутъ;
Напитки подавались безпрестанно
(Ихъ перечесть не легкій былъ бы трудъ!)
Являлись и шербетъ благоуханный,
И соки фруктъ. (Для вкуса тамъ всегда
Чрезъ корку выжимаютъ сокъ плода).

LXIII.

Блестѣлъ хрусталь граненый, взоръ плѣняя;
Десертъ всю роскошь края проявилъ;
Душистый мокка, въ чашкахъ изъ Китая,
Дымясь, благоуханье сладко лилъ.
(Вкругъ чашекъ филиграна золотая
Спасала отъ обжоговъ). Кофе былъ
Съ шафраномъ сваренъ, съ мускусомъ, съ гвоздикой...
По моему, такъ портить кофе дико!

LXIV.

Окаймлены бордюромъ дорогимъ,
Вдоль стѣнъ висѣли бархатныя ткани;
Шелками были вышиты по нимъ
Цвѣты различныхъ видовъ и названій,
А на бордюрахъ шелкомъ голубымъ
По фону золотому—рядъ воззваній,
Сентенцій и излюбленныхъ стиховъ
Персидскихъ моралистовъ и пѣвцовъ.

LXV.

Тѣ надписи—особенность Востока.
Онѣ должны доказывать гостямъ
Тщету суетъ. Такъ въ древности глубокой
Въ Мемфисѣ прибѣгали къ черепамъ,
Чтобъ украшать пиры; такъ гласъ пророка
Встревожилъ Вальтасара; только намъ
Не идутъ въ прокъ совѣты моралистовъ,—
Такъ къ суетѣ порывъ людей неистовъ.

LXVI.

Красавица въ чахоткѣ, человѣкъ
Съ талантомъ, ставшій пьяницей, кутила,
Который въ ханжествѣ кончаетъ вѣкъ
(Ханжѣ названье методиста мило),
Ударъ, что альдермэна дни пресѣкъ,—
Все это намъ доказываетъ съ силой.
Что бдѣнье, страсть къ вину и рядъ проказъ
Не менѣе обжорства губятъ насъ.

LXVII.

Жуанъ съ Гайдэ сидѣли на диванѣ,
Что занималъ три части залы той.
Подъ ихъ ногами былъ изъ цѣнной ткани
Коверъ пунцовый съ синею каймой.
Дискъ солнечный горѣлъ на первомъ планѣ
Среди софы. Искусною рукой
Онъ на подушкѣ вышитъ былъ красивой.
Ей даже тронъ украсить бы могли вы.

LXVIII.

Фарфоръ, посуда, мраморъ и хрусталь
Являлись средь роскошной обстановки;
Персидскіе ковры, что было жаль
Ногою мять; индійскія цыновки;
Тамъ были негры, карлики (та шваль,
Что добываетъ хлѣбъ черезъ уловки
И униженье), серны и коты.
Тамъ былъ базаръ иль рынокъ суеты.

LXIX.

Повсюду зеркала плѣняли взоры;
Столы, гдѣ инкрустацій дорогихъ
Пестрѣли многодѣльные узоры
Изъ перламутра, кости и другихъ
Богатыхъ матерьяловъ. Были горы
И винъ, и яствъ навалены на нихъ,



ДОНЪ ЖУАНЪ, ВЫБРОШЕННЫЙ НА ОСТРОВЪ ПИРАТА.

Рис. Бентли (C. Bentley), грав. Вильморъ (I. T. Wilmore).

Чтобъ каждый гость имѣлъ обѣдъ готовый,
Когда бъ ни появился онъ въ столовой.

LXX.

Я опишу костюмъ Гайдэ одной:
Въ двухъ джеликахъ была пирата дочка,
Одинъ былъ ярко-желтый, а другой
Пунцовый съ золотою оторочкой,
Съ жемчужными запястьями; волной,
Подъ легкой полосатою сорочкой
Вздымалась грудь ея, а чудный станъ
Такъ газъ скрывалъ, какъ свѣтъ луны—туманъ.

LXXI.

Ей кисти рукъ прелестныхъ обвивали
Широкіе браслеты безъ замковъ;
Нуждаться въ нихъ они могли едва ли:
Такъ гибокъ былъ металлъ, что онъ готовъ
Былъ всѣмъ движеньямъ вторить. Не спадали
Тѣ украшенья съ рукъ; о томъ нѣтъ словъ,
Что никогда нѣжнѣе кожи этой
Не видывали цѣнные браслеты.

LXXII.

Такіе жъ замѣчалися у ней
Браслеты на ногахъ. (То выражало
Достоинство и званье). Рядъ перстней
На пальцахъ красовался и сверкала
Въ ея кудряхъ парюра изъ камней;
Прикалывалъ къ одеждѣ покрывало
Аграфъ жемчужный, моря цѣнный даръ.
Оранжевый былъ цвѣтъ ея шальваръ.

LXXIII.

Какъ водопадъ альпійскій въ часъ восхода,
До пятъ катилась яркою волной
Ея коса; будь ей дана свобода,
Она все тѣло дѣвы молодой
Прикрыла бы; ища себѣ прохода,
Рвалися кудри изъ тюрьмы глухой
И развѣвались словно опахало,
Когда дыханье вѣтра ихъ ласкало.

LXXIV.

Предъ нею молкла ложь и клевета;
Гайдэ, какъ благодѣтельная фея,
Лила и жизнь, и свѣтъ, сама чиста,
Какъ до паденья юная Психея.
Ей всякая порочная мечта
Была чужда. Предъ ней благоговѣя,
Никто не могъ сводить съ нея очей,
Но идола никто не видѣлъ въ ней.

LXXV.

У ней чернѣе ночи были брови,
Подъ слоемъ угля. (Краска въ краѣ томъ—
Одно изъ непремѣннѣйшихъ условій
Для красоты). Глаза жъ Гайдэ огнемъ
Горѣли безъ того. Ногтямъ цвѣтъ крови
Давала генна, портя ихъ притомъ:
Такъ розовъ былъ ея красивый ноготь,
Что краскою его не слѣдъ бы трогать!

LXXVI.

Чтобъ выступила кожи бѣлизна,
Не мало надо класть на ногти генны;
Гайдэ въ томъ не нуждалася: она
Тягаться съ бѣлизною несравненной
Снѣговъ вершинъ могла. Видѣньемъ сна
Казался ликъ ея благословенный.
Шекспиръ сказалъ: безсмысленно бѣлить
Лилею иль червонецъ золотить!

LXXVII.

Такъ былъ прозраченъ плащъ Жуана бѣлый,
Что блескъ камней сквозь складки проходилъ;
Они подъ нимъ сверкали то-и-дѣло;
Такъ сквозь туманъ мерцаетъ лучъ свѣтилъ.
Запястье изумрудное блестѣло
Среди его чалмы; къ ней также былъ
Прицѣпленъ рогъ луны; на темной ткани
Жегъ очи блескъ его алмазной грани.

LXXVIII.

Ихъ забавлялъ танцовщицъ легкій рой;
Смѣшили карлы, негры, лицедѣи;
Тутъ былъ поэтъ, прославленный молвой,
Что въ деньги обращалъ свои идеи;
Онъ, по заказу, то сатирой злой
Гремѣлъ, то льстилъ властямъ, стихомъ владѣя,
И былъ изъ тѣхъ, какъ говоритъ псаломъ,
Что тужатъ о мамонѣ лишь своемъ.

LXXIX.

Онъ, вопреки обычаю, сурово
Прошедшее хулилъ и восхвалялъ,
Чтя выгоду свою, лишь то, что ново;
Онъ даромъ и строки бъ не написалъ;
Поэтъ въ былые дни громилъ оковы;
Теперь же, округляя капиталъ,
Встрѣчалъ султана громкою хвалою,
Какъ Соути или Крашо чистъ душою.

LXXX.

Съ магнитной стрѣлкой схожъ, онъ безъ труда
Мѣнялъ свой путь, не мало бѣдъ извѣдавъ;
Вертлява и полярная звѣзда
Была поэта. Горькаго отвѣдавъ,
Лишь къ сладкому онъ льнулъ: острилъ всегда
(За исключеньемъ дней дурныхъ обѣдовъ)
И съ жаромъ лгалъ, играя роль льстеца.
Вотъ идеалъ придворнаго пѣвца!

LXXXI.

Онъ былъ уменъ, а пыль въ глаза бросая,
Всегда умѣетъ умный ренегатъ
Просунуться впередъ; преградъ не зная
Какъ Vates irritabilis, онъ радъ
Встрѣчать хвалу. (И не плутамъ такая
Присуща страсть!) Но оглянусь назадъ;
Описывалъ влюбленныхъ я забавы
И дальнихъ мѣстъ обычаи и нравы.

LXXXII.

Поэтъ при всей вертлявости своей
Въ компаніи веселой былъ пріятенъ,
Плѣняя остроуміемъ людей;
Хотя на немъ не мало было пятенъ,
Его любили всѣ; его жъ рѣчей
Порою смыслъ былъ вовсе непонятенъ;
Но тотъ, кого молва превознесла,
Не знаетъ самъ, за что ему хвала.

LXXXIII.

И принятъ, и обласканъ высшимъ кругомъ,
Предъ властью онъ склонялъ теперь главу;
А прежде былъ свободы лучшимъ другомъ,
Но заглушать старался ту молву,
Оглядывая прошлое съ испугомъ.
Однако на пустынномъ острову
Онъ ложь откинулъ прочь и, льстя народу,
Попрежнему сталъ воспѣвать свободу.

LXXXIV.

Ему пришлось не мало изучить
Людей и націй; вѣчно лицемѣренъ,
Онъ всякому былъ мастеръ угодить;
Всегда, вездѣ онъ правилу былъ вѣренъ,
„Что въ Римѣ надо римляниномъ быть".
Для барда не былъ трудъ такой потерянъ,—
Онъ лепты получалъ со всѣхъ сторонъ;
Такихъ же правилъ тутъ держался онъ.

LXXXV.

Благодаря натурѣ даровитой,
Искусная велася имъ игра:
„God save the king!" онъ сталъ бы пѣть у бритта,
Пріѣхавъ же къ французу: „Ça ira!"
Ища товару выгоднаго сбыта,
Онъ то хвалилъ сегодня, что вчера
Громилъ нещадно. Пѣлъ же Пиндаръ скачки:
Такъ могъ и нашъ поэтъ быть съ лестью въ стачкѣ.

LXXXVI.

Во Франціи, веселымъ удальцомъ,
Онъ воспѣвалъ бы въ пѣсенкахъ свободу;
У насъ онъ накропалъ бы толстый томъ
Стиховъ тяжелыхъ публикѣ въ угоду;
У нѣмцевъ бралъ бы Гете образцомъ;
Въ Испаніи онъ сочинилъ бы оду;
Въ Италіи его плѣнялъ бы Дантъ,
А здѣсь онъ такъ свой проявлялъ талантъ:

1.

Привѣтъ островамъ той священной земли,
Гдѣ Сафо любила; гдѣ сладко ей пѣлось;
Гдѣ, свѣтъ удивляя, искусства цвѣли;
Гдѣ Фебъ родился и воздвигнулся Делосъ!
Васъ солнце, какъ прежде, лучомъ золотитъ,
Но, въ мракъ погрузившись, все прочее спитъ.

2.

Теосская муза и пѣсни слѣпца
Хіосскаго стали для міра усладой;
Здѣсь только все мертво,—и арфа пѣвца,
И лютня героя забыты Элладой;
Тѣ дивныя пѣсни звучатъ для другихъ;
Моя лишь отчизна не вѣдаетъ ихъ!

3.

Виднѣется съ горныхъ вершинъ Мараѳонъ,
А онъ созерцаетъ лазурныя воды.
Не разъ здѣсь стоялъ я, мечтой упоенъ,
Что Греція снова добьется свободы:
Я, персовъ гроба попирая ногой,
Не въ силахъ мириться былъ съ рабской судьбой!

4.

Когда-то владыка далекой земли
Сидѣлъ на вершинѣ скалы Саламинской;

Съ нея созерцалъ онъ свои корабли,
Любуяся ратью своей исполинской;
Зарею свои корабли онъ считалъ,—
Съ лучами заката и слѣдъ ихъ пропалъ!

5.

Что сталося съ ними? Что сталось съ тобой,
Эллада родная? Умолкли напѣвы
Отважныхъ героевъ, стремившихся въ бой...
Герои отчизны, откликнитесь: гдѣ вы?
Ужель неумѣлой рукою дерзну
Божественной лиры я тронуть струну?

6.

Отрадно и то, что средь звона оковъ
Не въ силахъ мириться я съ рабскою долей.
Мнѣ больно и стыдно глядѣть на рабовъ;
Геройскаго духа не видно въ нихъ болѣ;
Поэтъ! не пробудишь ихъ лирой своей:
О Греціи плача, за грековъ краснѣй!

7.

Но краска стыда, но слеза или вздохъ
Помогутъ ли? Предки борьбою кровавой
Спасались отъ бѣдъ. О, могила! хоть трехъ
Верни намъ спартанцевъ, увѣнчанныхъ славой,
И, полны надеждъ, вдохновенья и силъ,
Сроднимся мы съ громомъ другихъ Ѳермопилъ!

8.

Воззванье напрасно! Кругомъ всѣ молчатъ...
Отвѣтствуютъ только исчадья могилы;
Ихъ голосъ реветъ, какъ вдали водопадъ:
„Пускай хоть одинъ съ пробудившейся силой
Возстанетъ—и всѣ мы на помощь придемъ!"
Молчатъ только греки, объятые сномъ...

9.

Къ другимъ обратиться я долженъ струнамъ.
Наполните кубокъ самосскою влагой!
Оставимъ сраженья турецкимъ ордамъ;
Намъ кровь винограда замѣнитъ всѣ блага.
О, Боже! весь край отозваться готовъ
На этотъ безславный вакхическій зовъ!

10.

Хоть танцы пиррійскіе сладостны вамъ,
Фаланги пиррійской ужъ нѣтъ знаменитой!
Пустое занятье отрадно рабамъ,
А лучшее ими позорно забыто.
Вамъ нѣкогда Кадмъ письмена подарилъ...
Ужель для рабовъ онъ трудился и жилъ?

11.

Наполните кубки самосскимъ виномъ!
Оно вамъ замѣнитъ свободы утрату;
Оно воспѣвалось теосскимъ пѣвцомъ,
Который тирану служилъ Поликрату;
Въ тѣ дни передъ властью дрожалъ человѣкъ,
Но срама не вѣдалъ: тираномъ былъ грекъ.

12.

Тиранъ Херсонеса, герой Мильтіадъ,
Былъ другомъ храбрѣйшимъ и лучшимъ свободы;
Такому владыкѣ, кто не былъ бы радъ?
Къ героямъ навстрѣчу несутся народы!
Пускай заковалъ бы онъ въ цѣпи людей—
Такихъ не срываютъ народы цѣпей!

13.

Наполните кубки самосскимъ виномъ!
На Паргскомъ прибрежьѣ, на скалахъ Сулійскихъ
Не вымерли люди, что борются съ зломъ;
Ихъ матери—жены героевъ дорійскихъ;
Въ нихъ льется священная кровь Гераклидъ:
Они не снесутъ безъ отмщенья обидъ!

14.

Надежды на галла васъ грѣютъ лучи;
Но онъ обнажитъ ли продажную шпагу?
Надѣйтеся только на ваши мечи;
Надѣйтеся только на вашу отвагу;
Латинскія плутни и мощь мусульманъ
Откроютъ вамъ тайны мучительныхъ ранъ.

15.

Самосскую влагу мнѣ въ кубокъ налей!
Въ тѣни безмятежно танцуютъ гречанки;
Любуюсь я блескомъ ихъ черныхъ очей
И граціей дивной ихъ гордой осанки;
Увы!—неутѣшно я плакать готовъ
При мысли, что вскормятъ онѣ лишь рабовъ.

16.

Меня отведите къ Сулійскимъ скаламъ!
Тамъ, глядя на волны, я выплачу горе
И съ пѣснью, какъ лебедь, скончаюся тамъ,—
Свидѣтелемъ будетъ лишь бурное море!
Въ отчизнѣ могу ль оставаться рабомъ?
Разбейте мой кубокъ съ самосскимъ виномъ!



ВЫБРОШЕННЫЙ НА БЕРЕГЪ ДОНЪ ЖУАНЪ.
Рис. Мадокса Броуна (Ford Madox Brown).

LXXXVII.

Такъ долженъ пѣть, патріотизмомъ грѣемъ,
Въ эпоху скорби греческій поэтъ;
Конечно, не сравню его съ Орфеемъ,
Въ его стихахъ все жъ виденъ чувства слѣдъ,
А доля чувства жизнь даетъ идеямъ,
Волненіемъ охватывая свѣтъ.
Какъ лгутъ пѣвцы: они какой угодно
Малюютъ краской, съ малярами сходно.

LXXXVIII.

Но въ словѣ—мощь, когда его изрекъ
Великій мужъ. Чернила—мысли сѣмя,
Звено, что сочетаетъ съ вѣкомъ вѣкъ
И не тягчитъ годовъ бѣгущихъ бремя.
Какъ жалокъ и ничтоженъ человѣкъ:
Его дѣла, гробницу губитъ время,
А писанная геніемъ строка
Переживаетъ царства и вѣка.

LXXXIX.

Когда жъ истлѣетъ онъ въ своей гробницѣ,
Да и она безвѣстно пропадетъ,
Когда въ хронологической таблицѣ
Оставитъ только слѣдъ его народъ,
Пергамента поблекшія страницы
Иль надпись, что случайно міръ найдетъ,
Былое воскрешаютъ, и предъ міромъ
Забытый геній вновь блеститъ кумиромъ.

XC.

Надъ славою смѣется моралистъ.
Она мечта, шумъ вѣтра, плескъ прибоя,
Ее плодитъ историкъ, что рѣчистъ,
Совсѣмъ не подвигъ доблестный героя.
Такъ мистеръ Гоэль обезсмертилъ вистъ,
Такъ славою Гомера дышитъ Троя.
Почти совсѣмъ забытъ ужъ Мальбро былъ,
Но Коксъ его сказаньемъ воскресилъ.

XCI.

Хоть Мильтона стихи тяжеловаты,
Въ главѣ поэтовъ нашихъ онъ стоялъ;
Почтенный мужъ, познаньями богатый,
Былъ независимъ, вѣрилъ въ идеалъ
И не терпѣлъ ни козней, ни разврата;
Но Джонсонъ жизнь его намъ описалъ,
И свѣтъ узналъ, что домъ держалъ онъ туго,
И что его покинула супруга.

XCII.

Такимъ путемъ узналъ не мало міръ
Курьезныхъ фактовъ: Цезаря и Тита
Продѣлки; что оленей кралъ Шекспиръ,
Что славный Бэконъ взятки бралъ открыто,
Что Бернсъ кутилъ, любя веселый пиръ.
Все это, можетъ быть, путемъ добыто
Изслѣдованій точныхъ, но по мнѣ
Такія сплетни лишнія вполнѣ.

XCIII.

Не всѣ же моралисты съ Соути сходны,
Что *Пантизократію* написалъ;
Какъ Вордсворту, не всѣмъ измѣны сродны
(На жалованьи прежній либералъ!),
Не всѣ кадятъ двору въ газетѣ модной,
Какъ Кольриджъ, что клевретомъ знати
сталъ
(Ни онъ, ни Соути не были льстецами
Въ эпоху свадьбъ ихъ съ батскими швеями).

XCIV.

Ботани-бей моральный имъ создать
Теперь легко: ихъ имена позорны;
Біографу работу можетъ дать
Сказаніе объ ихъ измѣнѣ черной.
Ахъ, кстати! Вордсвортъ томъ пустилъ въ
печать;
Такой поэмы жалкой и снотворной
Доселѣ не видалъ я: что за слогъ!
Ее никакъ осилить я не могъ.

XCV.

Темна его поэма и убога;
Наврядъ ли онъ читателей найдетъ.
Такъ нѣкогда сектантовъ было много,
Что вѣрили въ пророчицу Суткотъ
И ждали отъ нея рожденья бога;
Но отшатнулся отъ нея народъ:
Не божество сроднилось съ старой дѣвой,
Лишь водяная ей вздымала чрево!

XCVI.

Покаюсь въ томъ: мнѣ болтовня мила;
И здѣсь, и тамъ моя мечта порхаетъ,
Въ поэмѣ отступленьямъ нѣтъ числа
И муза о герояхъ забываетъ.
Не такъ ли тронной рѣчью всѣ дѣла
До сессіи грядущей отлагаетъ
Король? Не такъ ли, музою согрѣтъ,
За мыслью Аріосто гнался вслѣдъ?

XCVII.

У насъ не существуетъ выраженья:
Longueurs (такъ у французовъ говорятъ).
Но вещь сама—обычное явленье;
Примѣръ: созданій Соути длинный рядъ.
Когда полны *longueurs* стихотворенья,
Читатель, вѣроятно, имъ не радъ,
Но доказательствъ пропасть мы имѣемъ,
Что свойственна снотворность эпопеямъ.

XCVIII.

„Гомеръ",—гласитъ Горацій,—„спалъ по-
рой".
Но Вордсвортъ бдитъ и съ музою своею
Насъ водитъ вкругъ озеръ. Его герой
Возница. Совершая одиссею,
Сначала онъ плѣняется „ладьей";
Не по морю, по воздуху онъ съ нею
Желаетъ плыть; затѣмъ беретъ онъ челнъ
Слюна жъ поэта роль играетъ волнъ.

XCIX.

Когда его гнететъ желанья бремя
Свершить, паря, по воздуху полетъ,
А слабъ его Пегасъ, что жъ онъ на время
Дракона у Медеи не займетъ?
Но сѣдока, что потеряетъ стремя
(А онъ плохой сѣдокъ!), погибель ждетъ.
Такъ что жъ, любя небесныя дороги,
Въ воздушный шаръ не сядетъ бардъ
убогій?

C.

О, Попъ и Драйденъ! жалкіе пѣвцы
(Поэзіи и смысла Джэки Кэды)
Срываютъ съ васъ лавровые вѣнцы,
Свои пустыя празднуя побѣды;
Поэзіи великіе отцы!
Пигмеи васъ клеймятъ. Такія бѣды
Легко ль переносить? Архитофель,
Съ дороги прочь!.. У васъ есть Питеръ
Бэль!

CI.

Но далѣе. Оконченъ пиръ богатый;
Альмеи, карлы скрылися толпой;
Умолкъ поэтъ; молчаньемъ все объято;
Не тѣшитъ слухъ арабскихъ сказокъ рой;
Влюбленные одни; лучомъ заката
Любуются они въ тиши ночной...
Ave Maria! сладокъ и спокоенъ
Твой часъ волшебный; онъ тебя достоинъ!

CII.

Благословенъ тотъ часъ, когда заря
Бросаетъ, угасая, лучъ прощальный
И раздается, миръ душѣ даря,
Вечерній звонъ на колокольнѣ дальней;
Когда звучитъ въ стѣнахъ монастыря
Молитвенныхъ напѣвовъ гласъ печальный
И въ розовомъ сіяніи небесъ —
Хоть тихо все—молитвѣ вторитъ лѣсъ!





ДОНЪ-ЖУАНЪ ВЪ ПЕЩЕРѢ.

Рис. М. Зичи. (M. Zichy).

CIII.

Ave Maria! свѣтлый часъ моленья!
Ave Maria! сладкій часъ любви!
Пролей на насъ свое благословенье
И къ Сыну своему насъ призови!
Я созерцаю, полный умиленья,
Твой ликъ, глаза склоненные Твои!
Ужель нѣмой картинѣ жизнь я придалъ?
Нѣтъ! предо мной дѣйствительность — не идолъ.

CIV.

Безбожникъ я—вотъ грозный приговоръ
Ханжей, что на меня взираютъ строго;
Но имъ со мною выдержать ли споръ?
Прямѣе къ небесамъ моя дорога;
Мнѣ алтарями служатъ: выси горъ,
Свѣтила, море, твердь—созданья Бога,
Что человѣка надѣлилъ душой
И душу ту опять сольетъ съ Собой.

CV.

Какъ часто лучъ зари благословенный
Лишь средь зеленыхъ пиннъ я созерцалъ
Въ окрестностяхъ плѣнительныхъ Равенны,
Гдѣ нѣкогда шумѣлъ Адрійскій валъ
И вѣчною угрозой для вселенной
Оплотъ послѣдній цезарей стоялъ;
Мнѣ милъ тотъ лѣсъ, всегда листвой одѣтый,
Боккаччіо и Драйденомъ воспѣтый.

CVI.

Безмолвныхъ рощъ былъ тихъ и сладокъ сонъ;
Цикадъ лишь раздавалось стрекотанье;
Мой конь храпѣлъ, да колокола звонъ,
Сквозь листья доносясь, будилъ молчанье.
Во тьмѣ ко мнѣ неслись со всѣхъ сторонъ
Моей мечты игривыя созданья:
Охотникъ-призракъ съ стаею своей
И свѣтлая толпа воздушныхъ фей.

CVII.

О, Гесперъ! сколько ты несешь отрады!
Усталымъ—отдыхъ; тѣмъ, что ѣсть хотятъ,
Желанный ужинъ; птичкамъ, въ часъ прохлады,
Пріютъ гнѣзда; воловъ ведешь назадъ
Въ покойный хлѣвъ; все то, чему мы рады,
Чѣмъ нашъ очагъ и свѣтелъ, и богатъ,
Приносишь ты. Всѣхъ тѣша, безъ изъятья,
Дитя ведешь ты къ матери въ объятья.

CVIII.

Въ тотъ свѣтлый часъ, душою умиленъ,
Пловецъ клянетъ тяжелый гнетъ разлуки
И вспоминаетъ милыхъ сердцу онъ;
Съ любовью простираетъ къ небу руки
Усталый путникъ, слыша дальній звонъ,—
О днѣ, что гаснетъ, плачутъ эти звуки.
Мнѣ кажется, что кто бъ ни кончилъ путь,
А ужъ о немъ льетъ слезы кто-нибудь.

CIX.

Когда Неронъ погибъ по волѣ рока,
И, чествуя свободу, ликовалъ
Спасенный Римъ; когда среди потока
Проклятій и хуленій Цезарь палъ,
Какой-то другъ, скрываясь въ тьмѣ глубокой,
Цвѣтами склепъ злодѣя осыпалъ.
Быть можетъ, проявилося на тронѣ
Къ кому-нибудь участье и въ Неронѣ.

CX.

Опять прямой мнѣ измѣняетъ путь,
И я побрелъ окольною дорожкой;
Имѣютъ ли съ Нерономъ что-нибудь
Мои герои общаго! Немножко
Я утомленъ; пора и отдохнуть;
Не сдѣлался ль я „деревянной ложкой"
Поэзіи? (Такъ въ Кэмбриджѣ зовутъ
Студентовъ, что не очень цѣнятъ трудъ).

CXI.

Эпично, но не въ мѣру отступленье;
Поэтому здѣсь пѣсню пополамъ
Я перервать хочу. Нововведенья
Никто бы не замѣтилъ, если бъ самъ
Не сдѣлалъ я объ этомъ заявленья;
Все жъ радоваться нечему врагамъ:
Такъ учитъ Аристотель, и поэтамъ
Прямой законъ внимать его совѣтамъ.

ПѢСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Въ поэзіи всего труднѣй начало;
Но не легко и завершить разсказъ;
Не разъ поэту сила измѣняла,
И съ кручи внизъ летѣлъ его Пегасъ.
Такъ Сатана выноситъ мукъ не мало
За гордость, что гнѣздится также въ насъ,
Поэта занося въ такія сферы,
Гдѣ гибнетъ онъ, утративъ чувство мѣры.

II.

Но время убѣждаетъ и людей,
И бѣса, что надежды голосъ милый
Обманчивъ; что борьбу съ судьбой своей
Нельзя вести; что слабы мы и хилы;
Въ дни юности, когда игра страстей
Волнуетъ кровь, мы вѣримъ въ наши силы,
Но сознаемъ, узнавъ тщету борьбы,
Что мы безсилья вѣчные рабы.

III.

Была пора, когда, въ свой вѣря геній,
Желалъ я, чтобъ предъ нимъ склонялся міръ;
И что жъ? добился я его хваленій
И передъ нимъ сіяю, какъ кумиръ;
Меня жъ гнететъ тяжелый рядъ сомнѣній
И болѣе не манитъ жизни пиръ:
Мои мечты поблекли, словно листья,
И вмѣсто пѣсенъ въ ходъ пускаю свистъ я.

IV.

Смѣюсь я для того, чтобъ слезъ не лить,
И плачу потому, что грудь не льдина;
Какъ можетъ сердце прошлое забыть,
Не окунувшись въ Лету? Въ немъ кручина,
Гнѣздяся, не даетъ ему остыть.
Ѳетида въ Стиксѣ выкупала сына;
А въ Летѣ бы должна дѣтей купать,
Спасая ихъ отъ бѣдъ, земная мать.

V.

Меня язвятъ со злобой лицемѣры;
Ихъ злая брань несется, какъ потокъ;
По-ихнему, я—врагъ заклятый вѣры
И чествую въ своихъ стихахъ порокъ.
Нападки наглецовъ не знаютъ мѣры.
Клянусь, отъ этихъ цѣлей я далекъ;
Безъ всякихъ заднихъ мыслей, для забавы,
Шутя, пишу игривыя октавы.

VI.

У насъ же не въ чести шутливый тонъ;
Такъ Пульчи пѣлъ, и я его романовъ
Поклонникъ; воспѣвалъ игриво онъ
Волшебниковъ, шутовъ и великановъ,
Міръ жалкихъ Донъ Кихотовъ тѣхъ временъ,
Безгрѣшныхъ дамъ и королей-тирановъ.
Весь этотъ міръ исчезъ (лишь деспотъ цѣлъ);
Такъ можно ль пѣть теперь, какъ Пульчи пѣлъ?

VII.

Желая наложить на мысль оковы,
Орава злая нравственныхъ калѣкъ
Кричитъ, что потрясаю я основы;
Зачѣмъ мнѣ спорить съ нею! Человѣкъ
Всегда воленъ идти дорогой новой:
Свободна мысль въ нашъ либеральный вѣкъ!
Но Аполлонъ зоветъ меня къ разсказу,
И я готовъ внимать его указу.

VIII.

Жуанъ съ подругой нѣжною своей
Наединѣ остался. Время злое,
Что врагъ любви и не щадитъ людей,
Жалѣло тронуть ихъ своей косою.
Имъ было суждено во цвѣтѣ дней
Погибнуть, не узнавъ, какъ все земное
Измѣнчиво; пока ихъ грѣла страсть,
Надъ ними не успѣвъ утратить власть.

IX.

Съ годами кровь въ ихъ не остынетъ жилахъ;
Не созданы ихъ лики для морщинъ;
Измѣнъ любви имъ не узнать унылыхъ,
Какъ не узнать ихъ волосамъ сѣдинъ.



ГАЙДЭ (Haidée).

Рис. Чэлонъ (A. E. Cholon, R. A.), грав. Артлетъ (R. A. Artlett).

Они уснутъ подъ звуки пѣсенъ милыхъ
Весеннихъ дней. Ихъ можетъ въ мигъ одинъ
Сразить гроза, но неземнымъ созданьямъ
Не суждено сродняться съ увяданьемъ.

X.

Они одни; имъ сладко лишь вдвоемъ;
Какъ сильно страсть клокочетъ въ человѣкѣ!
Могучій дубъ, сраженный топоромъ;
Лишенные своихъ истоковъ рѣки;
Ребенокъ, въ домѣ брошенный пустомъ
И разлученный съ матерью навѣки,—
Обречены на гибель: такъ моихъ
Влюбленныхъ бы сразилъ разлуки мигъ.

XI.

Нѣтъ въ мірѣ ничего сильнѣй влеченья
Сердецъ, что каждый жизненный толчокъ
Разбить на части можетъ. Тронуть тлѣнье
Безсильно ихъ. Имъ не узнать тревогъ
Тяжелаго житейскаго томленья
И долго ихъ терзать не можетъ рокъ.
Увы! какъ часто жизненная сила
Не гаснетъ въ томъ, кому мила могила.

XII.

„Кто любъ богамъ, тотъ долго не живетъ",
Сказалъ мудрецъ. Онъ милыхъ не хоронитъ;
Его бѣгущихъ лѣтъ не давитъ гнетъ
И, вѣря въ страсть, онъ отъ измѣнъ не стонетъ.
Въ концѣ концовъ насъ все жъ могила ждетъ,
И что ни дѣлай—въ мракѣ жизнь потонетъ,—
Такъ умирать не лучше ль въ цвѣтѣ лѣтъ,
Хоть о кончинахъ раннихъ плачетъ свѣтъ!

XIII.

Влюбленные о смерти не мечтали;
Казалось, міръ достался имъ въ удѣлъ;
Они за то лишь время укоряли,
Что слишкомъ быстро каждый часъ летѣлъ.
Какъ зеркала ихъ очи отражали
Тотъ пламень, что, пылая, въ нихъ горѣлъ;
А счастье, какъ алмазъ, лучи бросая,
Сроднило души ихъ съ блаженствомъ рая.

XIV.

Пожатье рукъ, краснорѣчивый взоръ,
Невольное, при встрѣчѣ, содраганье—
Имъ замѣняли длинный разговоръ.
Напоминаетъ пташекъ щебетанье
Волшебный лепетъ страсти; сущій вздоръ,
Отрывки фразъ—дарятъ очарованье
Влюбленнымъ. Тотъ, кто страстью не согрѣтъ,
Конечно, видитъ въ этомъ только бредъ.

XV.

Они любовью тѣшились, какъ дѣти,
И вѣчно бы осталися дѣтьми;
Коварный міръ ихъ не поймалъ бы въ сѣти;
Имъ ладить трудно было бы съ людьми;
Лишь свѣтлыми богами жить на свѣтѣ
Они могли, всѣ помыслы свои
Любви даря и забывая годы
Среди объятій дѣвственной природы.

XVI.

Луна луной смѣнялась; день за днемъ
Безслѣдно проходилъ; а то же счастье
Ихъ озаряло трепетнымъ лучомъ.
Ихъ не могло пресытить сладострастье,
Хотя оно ихъ жгло своимъ огнемъ—
Въ союзѣ съ нимъ являлось и участье;
Съ нимъ пресыщенье, страсти злѣйшій врагъ,
Любви не охлаждало въ ихъ сердцахъ.

XVII.

Въ ихъ жилахъ кровь струилась жгучей лавой;
Любовь ихъ жгла огнемъ своихъ лучей;
Такой любви не знаетъ свѣтъ лукавый,
Что поражаетъ пошлостью своей,
Гдѣ поле для интригъ, гдѣ жалки нравы,
Гдѣ часто освѣщаетъ Гименей
Позоръ блудницы избраннаго круга,
Позоръ лишь скрытый для ея супруга!

XVIII.

Все сказанное мною не мечта,
А горькая дѣйствительность! Не знала
Минуты скуки юная чета;
Ее отъ пресыщенья охраняла
Невинности святая чистота,
Дарившая ей жажду идеала.
Мы эти чувства бреднями честимъ,
Завидуя, однако, втайнѣ имъ.

XIX.

Любовь порой, играя роль дурмана,
Искусственно вселяется въ иныхъ;
Ее плодитъ иль чтеніе романа,
Иль чувственности пылъ; но чуждъ такихъ
Наитій былъ серьезный нравъ Жуана;
Гайдэ же вовсе не читала книгъ;
Внезапно охватилъ ихъ пылъ мятежный;
Такъ голуби весной воркуютъ нѣжно.

XX.

Заката лучъ вдали, блѣднѣя, гасъ.
Они его съ любовью созерцали;
Онъ имъ напоминалъ тотъ свѣтлый часъ,
Когда они, объяты страстью, пали
Въ объятія другъ друга и слилась
Ихъ жизнь навѣки. Такъ они стояли,
Глядя другъ другу въ очи и мечтой
Стремясь невольно къ радости былой.

XXI.

Но въ этотъ часъ таинственный и милый
Внезапный страхъ смутилъ блаженство ихъ;
Такъ вѣтеръ будитъ арфы звонъ унылый
Иль пламя наклоняетъ. Въ этотъ мигъ
На нихъ нахлынулъ вдругъ съ зловѣщей силой,
Ихъ миръ смутивъ, потокъ предчувствій злыхъ.
Жуанъ вздохнулъ, какъ будто въ сердце раненъ,
И взоръ Гайдэ слезой былъ отуманенъ.

XXII.

Пророческій она бросала взглядъ
На горизонтъ, съ трудомъ скрывая муку;
Казалось ей, что гаснувшій закатъ
Сулилъ имъ съ счастьемъ вѣчную разлуку;
Жуанъ, тяжелой думою объятъ,
Стоялъ въ тоскѣ, ея сжимая руку;
Казалось, онъ готовъ былъ несть отвѣтъ
За то, что скрыть не могъ унынья слѣдъ.

XXIII.

Съ улыбкой, полной горькаго сомнѣнья,
Гайдэ взглянула на него, но силъ
Хватило у нея, чтобъ скрыть мученье,
Хоть тайный страхъ ей душу леденилъ.
Когда Жуанъ о странномъ ихъ смущеньи
Полушутя съ Гайдэ заговорилъ,
Она сказала: „Если сердце вѣще,
Разлуки мнѣ не пережить зловѣщей!"

XXIV.

О томъ же онъ заговорилъ опять,
Но ротъ ему зажала поцѣлуемъ
Гайдэ, стараясь тѣмъ тоску унять;
Такое средство мы рекомендуемъ.
Иной, однако, любитъ прибѣгать
Къ вину, когда невзгодою волнуемъ;
Въ концѣ концовъ, насъ все жъ страданья ждутъ:
Боль сердца тамъ, боль головная тутъ.

XXV.

За каждый мигъ отрады иль веселья
То дамамъ, то вину мы дань несемъ;
Что сладостнѣе: женщина иль зелье?—
Не въ силахъ я дать свѣдѣній о томъ.
Равно хвалю и женщину, и хмель я;
Тѣхъ свѣтлыхъ благъ возможно ль быть врагомъ?
Къ обоимъ льнуть отраднѣй, безъ сомнѣнья,
Чѣмъ ни съ однимъ изъ нихъ не знать общенья.

XXVI.

Какимъ-то упоеньемъ неземнымъ
Влюбленная чета была объята;
Не выразить его! Сроднялась съ нимъ
Привязанность ребенка, друга, брата.
Оно влекло ихъ къ помысламъ святымъ.
Такою чистотой была богата
Ихъ страсть, что не могла не освящать
Избытка чувствъ живую благодать.

XXVII.

Ни слезъ они не вѣдали, ни муки...
Зачѣмъ они не умерли въ тотъ мигъ!
Имъ не по силамъ былъ бы гнетъ разлуки;
Имъ чуждъ былъ свѣтъ, что полонъ козней злыхъ.
Какъ пѣсенъ Сафо пламенные звуки,
Дышали жгучей страстью души ихъ.
Та страсть была ихъ жизнью, и казалось,
Что неразлучно съ ней она сроднялась.

XXVIII.

Имъ надо было жить не средь людей,
Гдѣ царство лжи, коварства и порока,
А въ тишинѣ лѣсовъ, какъ соловей,
Что распѣваетъ пѣсни одиноко.
Живутъ попарно, прячась средь вѣтвей,
Пѣвцы лѣсовъ; орелъ, паря высоко,
Всегда одинъ; лишь вороны, сплотясь
Какъ люди, стаей ждутъ добычи часъ!

XXIX.

Щека къ щекѣ, Жуанъ съ подругой милой
Заснулъ; но не глубокъ былъ этотъ сонъ;
Предчувствіе бѣды его томило
И, какъ въ бреду, во снѣ метался онъ.
Гайдэ склоняла голову уныло;
Изъ устъ ея порой стремился стонъ,
Лицо жъ ея всѣ отражало грезы,
Навѣянныя сномъ. Такъ листья розы

XXX.

Колеблетъ вѣтерокъ иль бороздитъ
Нѣмыхъ озеръ поверхность. Насъ сознанья
Лишаетъ сонъ и надъ душой царитъ
Помимо воли нашей. (Прозябанье
Имѣетъ все же смутный жизни видъ).
Не странно ли такое состоянье,
Когда мы зримъ, хоть не имѣемъ глазъ,
И чувствуемъ, хоть чувства дремлютъ въ насъ?

XXXI.

Ей снилось, что, полна нѣмой кручины,
Стоитъ къ скалѣ прикована она
И двинуться не можетъ. Ревъ пучины
Ее глушитъ, и за волной волна
Несется къ ней. Она до половины
Ужъ залита, а, ярости полна,
Пучина все растетъ и гнѣвно стонетъ;
Гайдэ дышать не можетъ, но не тонетъ.

XXXII.

Затѣмъ, освободившись отъ цѣпей
И волнъ, Гайдэ несется по дорогѣ;
Ея колѣни гнутся; рядъ камней,
Что остры, какъ ножи, ей рѣжетъ ноги.
Какой-то призракъ въ саванѣ предъ ней;
Она дрожитъ, но, полная тревоги,
Его ловя, должна бѣжать за нимъ,
А призракъ, какъ мечта, неуловимъ.

XXXIII.

Смѣнился сонъ. Предъ нею гротъ безмолвный,
Гдѣ блещутъ сталактиты, дѣти грозъ;
Тамъ плещутся моржи и льються волны;
Вода струей съ ея спадаетъ косъ
И очи дѣвы слезъ горючихъ полны;
Тѣ слезы тихо льются на утесъ,
Мгновенно превращаяся въ кристаллы,
Что тѣшатъ взоръ красою небывалой.

XXXIV.

У ногъ ея, безжизненно склонясь,
И холоденъ, и бѣлъ, какъ пѣна моря,
Лежитъ Жуанъ, не открывая глазъ.
Гайдэ напрасно хочетъ, съ смертью споря,
Согрѣть его дыханьемъ—онъ угасъ...
Съ сиреной сходны, волны пѣсню горя
Вокругъ нея поютъ; ихъ пѣснь—что сонъ...
Увы! какъ вѣчность длится этотъ сонъ.

XXXV.

Гайдэ, объята горькою тоскою,
Безпомощно глядитъ на мертвеца,
И вдругъ, съ непостижимой быстротою,
Мѣняются черты его лица;
Все явственнѣй онѣ—и предъ собою
Гайдэ въ испугѣ видитъ ликъ отца.
Она, дрожа, проснулась. Боже правый!
Предъ ней пирата образъ величавый.

XXXVI.

Гайдэ, поднявшись съ воплемъ, съ воплемъ вновь
Упала. Радость, страхъ, надежда, горе
Читались въ ней; ее влекла любовь
Къ отцу, что всѣ считали жертвой моря,
Но милаго пролить онъ можетъ кровь!
Всѣ чувства эти, межъ собою въ спорѣ,
Ея давили грудь. Ужасный мигъ!
Никто забыть не въ силахъ мукъ такихъ.

XXXVII.

Услышавъ крикъ Гайдэ, одной рукою
Ее схватилъ взволнованный Жуанъ
И быстро со стѣны сорвалъ другою
Невдалекѣ висѣвшій ятаганъ.
На юношу взглянувъ съ улыбкой злою,
Ламбро такъ молвилъ, гнѣвомъ обуянъ:
„Оружье брось! Сказать мнѣ слово стоитъ—
И сотня сабель пылъ твой успокоитъ!"

XXXVIII.

„То мой отецъ!—за друга ухватясь,
Воскликнула Гайдэ, полна волненья,
—Падемъ къ его ногамъ, и вѣрно насъ
Утѣшитъ онъ, даруя намъ прощенье.
Отецъ! ужель въ нежданный встрѣчи часъ
Ты презришь бѣдной дочери моленья?
Когда жъ не трону сердца твоего,
Рази меня, но пощади его!"

XXXIX.

Не двигаясь, стоялъ старикъ суровый;
Спокойствіемъ онъ тайный гнѣвъ скрывалъ;
Взглянувъ на дочь украдкой, онъ ни слова
На всѣ ея мольбы не отвѣчалъ
И обратился къ юношѣ. Готовый
Къ отпору, передъ нимъ Жуанъ стоялъ,
Отъ внутренней борьбы въ лицѣ мѣняясь;
Онъ умереть рѣшился, защищаясь.

XL.

„Оружье брось!“—вновь молвилъ тотъ.—„Пока
Свободенъ я,—сказалъ Жуанъ,—безъ бою
Врагамъ не сдамся!“ Щеки старика
Тутъ блѣдностью покрылись гробовою
Но не отъ страха. „Что жъ! моя рука
Тебя убьетъ; не я тому виною!“
Отвѣтилъ онъ и, осмотрѣвъ замокъ
И мушку пистолета,—взвелъ курокъ.

XLI.

Тяжелый мигъ! Невольно насъ тревожитъ
Унылый звукъ взведеннаго курка,
Когда на разстояньи близкомъ можетъ
Насъ поразить противника рука;
Минута ожиданья трепетъ множитъ;
Расправа пистолета коротка.
Дуэли притупляютъ чуткость слуха:
Тогда и взводъ курка не рѣжетъ уха.

XLII.

Мгновенье—и погибъ бы мой герой!
Но тутъ Гайдэ Жуана заслонила
И вскрикнула: „Убей меня! виной
Лишь я всему... Его я полюбила,
Клялась въ любви; обѣтъ нарушу ль свой?
Обоихъ насъ не разлучитъ могила;
Ты глухъ къ мольбамъ, ты жалость гонишь прочь,
Но если ты кремень,—кремень и дочь!“

XLIII.

Лишь мигъ предъ тѣмъ она, ребенкомъ нѣжнымъ,
Склонивъ главу, стояла вся въ слезахъ;
Теперь же, духомъ полная мятежнымъ,
Ждала грозу, гоня съ презрѣньемъ страхъ.
Станъ выпрямивъ, въ томленьи безнадежномъ,
Какъ статуя блѣдна, съ огнемъ въ очахъ,
Она ждала свершенья приговора,
Съ отца не отводя, въ волненьи, взора.

XLIV.

Невѣроятно было сходство ихъ!
Дышали той же твердостью ихъ лица
И тотъ же пылъ горѣлъ въ глазахъ большихъ,
Въ которыхъ лютый гнѣвъ сверкалъ зарницей.
Отцу, какъ ей, былъ сладокъ мщенья мигъ;
Грозна, разсвирѣпѣвъ, ручная львица!
Отецъ и дочь сходилися во всемъ:
И кровь его въ ней вспыхнула огнемъ.

XLV.

Доказывала крови благородство
Краса ихъ рукъ. Въ осанкѣ и чертахъ
Разительно ихъ проявлялось сходство;
Различье было въ полѣ и лѣтахъ.
Межъ тѣмъ они въ порывѣ сумасбродства
(Какъ люди необузданны въ страстяхъ!)
Другъ другу въ гнѣвѣ дѣлали угрозы,
А лить должны бъ при встрѣчѣ счастья слезы!

XLVI.

Ламбро подумалъ мигъ и опустилъ
Свой пистолетъ; затѣмъ, пронзая взоромъ
Гайдэ, сказалъ: „Пришельца заманилъ
Сюда не я; кровавымъ приговоромъ
Другой давно бъ свое безчестье смылъ.
Могу ль мириться я съ своимъ позоромъ?
Исполню долгъ, не я причина бѣдъ,—
За прошлое должна ты несть отвѣтъ!

XLVII.

Пусть онъ сейчасъ свое оружье сложитъ,
Не то—отца клянуся головой,
Что онъ свою на мѣстѣ здѣсь положитъ
И что она, какъ шаръ, передъ тобой
Покатится! Упрямство не поможетъ!“
Тутъ свистнулъ онъ, и грозною толпой
Нахлынули враги, звѣрей свирѣпѣй.
Ламбро имъ крикнулъ: „Франку смерть иль цѣпи!“

XLVIII.

Немедленно Жуанъ былъ окруженъ
Пиратовъ кровожадною оравой,
Нахлынувшей туда со всѣхъ сторонъ.
Ламбро въ то время съ силою удава
Схватилъ Гайдэ и тѣмъ бороться онъ
Лишилъ ее возможности. Расправа
Съ Жуаномъ началась; но первый врагъ,
Что налетѣлъ, былъ имъ повергнутъ въ прахъ.

XLIX.

Успѣлъ нанесть онъ и другому рану;
Но третій, что былъ опытенъ и старъ,
Искусно подскочить съумѣлъ къ Жуану
И отразилъ ножомъ его ударъ.
Тутъ справиться не трудно было стану,
Что направлялся въ бой свирѣпъ и яръ,
Съ однимъ бойцомъ,—и, кровью отуманенъ,
Упалъ Жуанъ, въ плечо и руку раненъ.

L.

Старикъ Ламбро тутъ подалъ знакъ рукой,
И раненаго юношу связали;
Онъ отнесенъ на берегъ былъ морской
Пиратами; тамъ корабли стояли,
Готовые къ отплытью. Мой герой
Ладьею, что гребцы усердно мчали,
На бригъ пирата былъ перевезенъ
И на цѣпи былъ въ трюмъ посаженъ онъ.

LI.

Превратности судьбы для насъ не диво;
Къ нимъ свѣтъ привыкъ; но кто бъ подумать могъ,
Что юноша богатый и красивый
Пройдетъ чрезъ столько горестныхъ тревогъ?
Онъ долженъ былъ идти стезей счастливой,
А вдругъ его взыскалъ такъ злобно рокъ!
Лежалъ онъ въ заточеньи, раненъ, связанъ—
И тѣмъ любви красотки былъ обязанъ.

LII.

Здѣсь съ нимъ прощусь, чтобъ впасть мнѣ не пришлось
Въ излишній паѳосъ. Часто возбуждаемъ
Такой экстазъ китайской нимфой слезъ,
Богиней, что зовутъ зеленымъ чаемъ.
Богео пью, когда я роемъ грезъ,
Что шлетъ она, невмоготу смущаемъ.
Увы! болѣю я отъ тонкихъ винъ,
А чай и кофе нагоняютъ сплинъ,

LIII.

Когда коньякъ, наяда Флегетона,
Не оживляетъ ихъ своей струей,
Но печень отъ нея не можетъ стона
Сдержать. Увы! всѣ нимфы родъ людской
Болѣзнями томятъ! Во время оно
Любилъ я пуншъ, но онъ въ враждѣ со мной;
Меня онъ головною болью мучитъ;
Кого жъ она отъ пунша не отучитъ?

LIV.

Жуанъ страдалъ отъ ранъ; но не могла
Нести сравненья жгучесть этой боли
Съ той, что Гайдэ нещадно душу жгла,
Лишивъ ея сознанія и воли;
Она не изъ такихъ существъ была,
Что потуживъ, съ своей мирятся долей.
Была изъ Феца мать Гайдэ младой,
А тамъ—иль рядъ пустынь, иль рай земной.

LV.

Сокъ амбры тамъ въ цистерны льютъ оливы;
Цвѣты, плоды и зерна, безъ преградъ
Изъ нѣдръ земли стремясь, скрываютъ нивы;
Но тамъ деревья есть, что точатъ ядъ;
Тамъ ночью львы рычатъ нетерпѣливо,
А днемъ пески пустынь огнемъ горятъ,
Порою караваны засыпая;
Тамъ съ почвою сходна душа людская.

LVI.

Да, Африка, край солнечныхъ лучей!
Добро и зло тамъ силой роковою
Одарены; земля и кровь людей
Пылаютъ, вторя солнечному зною.
У матери Гайдэ огонь страстей
Сверкалъ въ глазахъ; въ удѣлъ любовь съ красою
Достались ей; но этотъ жгучій пылъ
Съ сномъ льва близъ волнъ студеныхъ сходенъ былъ.

LVII.

Гайдэ была подобна серебристымъ
И свѣтлымъ облакамъ, что въ лѣтній зной
Блестятъ прозрачной тканью въ небѣ чистомъ;
Они жъ, сплотясь, проносятся грозой
Надъ міромъ съ трескомъ, грохотомъ и свистомъ,
При блескѣ молній путь свершая свой;
Такъ и въ Гайдэ, подъ взрывомъ думъ унылыхъ,
Самумомъ кровь забушевала въ жилахъ.

LVIII.

Въ ея глазахъ Жуанъ главой поникъ,
Сраженный, обезсиленный и сирый;
Увидя кровь его и блѣдный ликъ,
Гайдэ, лишась надежды, счастья, мира,
Вдругъ бросила унынья полный крикъ
И, словно кедръ могучій подъ сѣкирой—
Она, что все боролась до конца,
Склонилася безъ чувствъ на грудь отца.

LIX.

Отъ страшныхъ мукъ въ ней порвалася жила,
Изъ устъ ея кровь брызнула ручьемъ;
Гайдэ уныло голову склонила,
Какъ лилія, что никнетъ подъ дождемъ.
Толпа рабынь съ слезами положила
Ее на одръ; послали за врачомъ;



ГАЙДЭ СПАСАЕТЪ ДОНЪ-ЖУАНА.
(Haydé et Don-Juan).
Рис. Зичи (M. Zichy).

Но тщетно рядъ лѣкарствъ пускалъ онъ въ дѣло:
Хоть смерть не шла, съ ней сходство жизнь имѣла.

LX.

Такъ нѣсколько Гайдэ лежала дней
Безъ чувствъ, объята холодомъ могилы;
Ея не бился пульсъ, но розъ свѣжѣй
Ея уста алѣли. Жизни силы,
Казалось, не совсѣмъ угасли въ ней,
Не замѣчался тлѣнья слѣдъ унылый
И все надежды лучъ не гасъ въ сердцахъ:
Боролся до конца со смертью прахъ.

LXI.

Въ ней виденъ былъ недвижный слѣдъ страданья,
Что могъ казаться созданнымъ рѣзцомъ:
Такъ Афродитѣ чуждо увяданье,
Такъ вѣчно смерть витаетъ надъ бойцомъ
И вѣчно вызываетъ состраданье
Лаокоонъ страдальческимъ лицомъ.
Кипятъ въ тѣхъ изваяньяхъ жизни силы,
Но эта жизнь сходна съ нѣмой могилой.

LXII.

Но вотъ Гайдэ очнулась наконецъ.
Ужасенъ пробужденья мигъ желанный
Былъ для нея! На зовъ родныхъ сердецъ
Отвѣтила она улыбкой странной;
Какой-то гнетъ, тяжелый какъ свинецъ,
Давилъ ей грудь, и грезою туманной
Казались ей страданья прежнихъ дней.
Увы! не возвращалась память къ ней.

LXIII.

Она вокругъ блуждающіе взоры
Бросала, неподвижна и нѣма;
Ей чужды были ласки и укоры;
Загадкой, непонятной для ума,
Казалася ей жизнь; лишась опоры,
Она поблекла: въ ней вселилась тьма;
Гайдэ хранила вѣчное молчанье,
Въ ней обличало жизнь одно дыханье.

LXIV.

Изъ прежнихъ слугъ никто ей не былъ милъ,
Никто не могъ привлечь ея вниманья;
Отецъ, что отъ нея не отходилъ,
Присутствіемъ своимъ ея страданья
Усугублялъ; въ ней гасъ остатокъ силъ.
Однажды привели ее въ сознанье,
Но цѣлый адъ тогда проснулся въ ней;
Всѣхъ испугалъ огонь ея очей.

LXV.

Къ ней привели арфиста; лишь коснулась
Его рука къ рокочущей струнѣ,
Гайдэ, сверкнувъ очами, отвернулась,
Пытаясь вспомнить прошлое, къ стѣнѣ;
Отъ звуковъ струнъ въ ней буря чувствъ проснулась.
Вотъ понеслася пѣснь о старинѣ,
О свѣтлыхъ дняхъ, когда, цѣпей не зная,
Тонула въ счастьи Грецiя родная.

LXVI.

Гайдэ смутилъ волшебной арфы звонъ;
Она ловила жадно эти звуки
И пальцемъ била тактъ. Напѣва тонъ
Смѣнилъ арфистъ. Онъ о тоскѣ разлуки
И о любви запѣлъ. Какъ страшный сонъ,
Воскресли передъ ней былыя муки—
И ницъ она склонилась, вся въ слезахъ;
Такъ падаетъ дождемъ туманъ въ горахъ.

LXVII.

Сознанье къ ней вернулося, но скоро
Померкъ навѣкъ огонь его лучей;
Усталый мозгъ не выдержалъ напора
Тяжелыхъ думъ, и мысль угасла въ ней.
Не разверзая устъ, полна задора,
Она бросаться стала на людей,
Какъ на враговъ. Гайдэ, глядя сурово,
Ни одного не проронила слова.

LXVIII.

Порой ей искра свѣта душу жгла;
Такъ, тайному внушенью чувствъ послушна,
Себя она принудить не могла
Взглянуть въ лицо отца. Ей было душно
И тѣсно въ этомъ мірѣ, полномъ зла.
Гайдэ чуждалась пищи, равнодушна
И къ людямъ, и къ себѣ. Не зная сна,
Двѣнадцать дней томилася она.

LXIX.

Она все угасала постепенно
И въ вѣчность отошла; ни стонъ, ни вздохъ
Не возвѣстилъ о томъ; съ ней жизнь мгновенно
Разсталась, и никто сказать не могъ,
Когда тотъ мигъ насталъ благословенный,
Что спасъ ее отъ муки и тревогъ.
Читалась смерть лишь въ взорѣ, тьмой одѣтомъ;
Какъ страшенъ мракъ, что былъ когда-то свѣтомъ!

LXX.

Гайдэ разсталась съ жизнью въ цвѣтѣ дней,
Но не одна; нѣмая смерть сгубила
Зародышъ новой жизни вмѣстѣ съ ней;
Безгрѣшный плодъ грѣха свой вѣкъ уныло
Окончилъ, не видавъ дневныхъ лучей;
И стебель, и цвѣтокъ взяла могила!
Росой ихъ тщетно будутъ небеса
Кропить: ихъ вновь не оживитъ роса.

LXXI.

Такъ умерла Гайдэ. Въ борьбѣ безсильно
Съ ней оказалось горе. Нѣтъ! она
Для горькой жизни, бѣдами обильной,
Для долгихъ мукъ была не создана;
Ее во цвѣтѣ лѣтъ скрылъ сводъ могильный,
Но жизнь ея была любви полна;
И спитъ она, съ судьбою ужъ не споря,
На берегу любимаго ей моря.

LXXII.

Безлюденъ островъ сталъ. Стоятъ однѣ,
Близъ скалъ, отца и дочери могилы;
Но мѣсто отыскать, гдѣ спятъ они,
Теперь нельзя; гробницы нѣтъ унылой
Надъ прахомъ ихъ; чредой промчались дни,
И время тайны лѣтъ минувшихъ скрыло;
Поетъ лишь море пѣсню похоронъ
Надъ той, чья жизнь прошла, какъ свѣтлый сонъ.

LXXIII.

Но греческія дѣвы въ пѣснѣ страстной
Съ любовью возвращаются не разъ
Къ Гайдэ и рыбаки порой ненастной
О подвигахъ Ламбро ведутъ разсказъ.
Онъ былъ герой, она была прекрасна.
Ей стоилъ жизни свѣтлый счастья часъ...
За каждый грѣхъ насъ ожидаетъ кара
И мстить сама любовь умѣетъ яро.

LXXIV.

На этомъ кончу свой разсказъ;
Прибавить больше нечего къ роману;
Прослыть за съумасшедшаго боясь,
Описывать безумье перестану.
Къ тому жъ, какъ эльфъ, то здѣсь, то тамъ носясь,
Моя капризна муза. Къ Донъ Жуану
Пора вернуться намъ. Полуживой
Пиратами былъ схваченъ мой герой.

LXXV.

Безъ чувствъ лежалъ онъ долго. На просторѣ
Летѣлъ корабль, когда очнулся онъ,
Вокругъ него, клубясь, шумѣло море
И вдалекѣ былъ виденъ Иліонъ.
Въ иное время съ радостью во взорѣ
Онъ на него бъ взглянулъ; но, потрясенъ
Тяжелою невзгодою и скованъ,
Сигейскимъ мысомъ не былъ онъ взволнованъ.

LXXVI.

Средь бѣдныхъ хатъ тамъ на горѣ крутой
Курганъ Ахилла виденъ знаменитый.
(Его ль тотъ холмъ? мы гипотезой той
— Такъ утверждаетъ Бріантъ — съ толку сбиты).
Вдали стоитъ еще курганъ другой,
Но доблестныхъ вождей, что въ немъ зарыты,
Назвать не можемъ. Будь въ живыхъ они,
Мы за свои бы опасались дни!

LXXVII.

Скамандръ (коль это онъ) вершина Иды;
Безплодныя долины, цѣпи горъ,
Безъ надписей курганы—вотъ тѣ виды,
Въ которые туристъ вперяетъ взоръ;
Тамъ кровь лилась по волѣ Немезиды;
Но и теперь для брани тамъ просторъ!
Исчезли Иліонскія твердыни,
На мѣстѣ жъ ихъ пасутся овцы нынѣ.

LXXVIII.

Въ горахъ ютится селъ убогихъ рядъ;
На иностранца, ищущаго Трою,
Невольнымъ изумленіемъ объятъ,
Глядитъ пастухъ. (Парисъ, того не скрою,
Съ нимъ не былъ сходенъ!) Турки возлѣ хатъ,
Куря кальянъ, пускаютъ дымъ струею.
Вотъ Фригія давно минувшихъ дней,
Но только не найти фригійца въ ней.

LXXIX.

Лишь здѣсь Жуанъ съ тюрьмой разстался душной
И понялъ, что неволи злой удѣлъ
Ему на долю выпалъ; равнодушно
Могилы онъ героевъ оглядѣлъ,
Что пали, славы голосу послушны;
Такъ Донъ-Жуанъ отъ раны ослабѣлъ,
Что онъ не могъ разспросовъ дѣлать много
И несся въ даль невѣдомой дорогой.



ГАЙДЭ У ВХОДА ВЪ ПЕЩЕРУ ДОНЪ ЖУАНА (Haidée entering the Cave).

Рис. Эд. Корбу (Edw. Corbould), грав. Гизъ (T. Heath).

LXXX.

Съ пѣвцами итальянскими онъ плылъ;
Они, благодаря измѣнѣ черной,
Попались въ плѣнъ. Антрепренеръ ихъ сбылъ
Пирату по дорогѣ изъ Ливорно
Въ Сицилію. Артистовъ захватилъ
Пиратъ всѣхъ разомъ. Этотъ торгъ позорный
Ему принесъ не мало выгодъ въ даръ,
Хоть дешево онъ продалъ свой товаръ.

LXXXI.

Одинъ изъ потерпѣвшихъ, буффъ веселый,
Жуану эту повѣсть разсказалъ;
Хотя его сразилъ ударъ тяжелый,
Въ бѣдѣ, казалось, онъ не унывалъ.
(Мириться не легко съ такою школой:
Турецкій рынокъ—горестный финалъ).
Все жъ видъ имѣлъ онъ менѣе смущенный,
Чѣмъ теноръ, тосковавшій съ примадонной.

LXXXII.

Не многословенъ былъ его разсказъ:
„Съ Маккіавелемъ схожъ, нашъ impressario
Условный подалъ знакъ, и тотчасъ насъ
Забрали въ плѣнъ. Corpo di caio Mario!
Перенесли артистовъ всѣхъ за-разъ
На этотъ бригъ, при томъ же безъ salario!
Но если любитъ пѣніе султанъ,
Еще возможность есть набить карманъ.

LXXXIII.

Хоть примадонна наша истаскалась
И съ ней давно простилася весна,
Все жъ нѣсколько у ней еще осталось
Пріятныхъ нотокъ. Тенора жена
Красива, но безъ голоса. Случалось
И ей производить фуроръ. Она
Въ Болоньѣ графа юнаго съумѣла
Отбить у принчипессы престарѣлой

LXXXIV.

Прелестенъ нашъ балетный персоналъ:
Талантомъ и лицомъ плѣняетъ Нини;
Пятьсотъ цехиновъ въ прошлый карнавалъ
Съумѣла заработать Пелегрини
Но у нея растаялъ капиталъ;
Вотъ и Гротеска: къ этой балеринѣ
Мужчины такъ и льнутъ; не трудно ей
Съ ума сводить ихъ страстностью своей,

LXXXV.

Не мало лицъ у насъ красивыхъ видно,
Но фигуранто въ похвалю не всѣхъ;
Иныхъ далеко участь не завидна,
И ихъ продать на рынкѣ бы не грѣхъ.
Одна изъ нихъ стройна и миловидна,
Она легко могла бъ имѣть успѣхъ,
Да силы нѣтъ у ней. Танцуя вяло,
Она плѣнять имѣетъ шансовъ мало,

LXXXVI.

У насъ пѣвцовъ хорошихъ нѣтъ совсѣмъ;
У режиссера труппы голосъ сходенъ
Съ разбитою кастрюлькой. А межъ тѣмъ
Пѣвецъ злосчастный (путь предъ нимъ свободенъ!)
Могъ поступить бы евнухомъ въ гаремъ.
Для опернаго пѣнья рѣдко годенъ
Пѣвецъ, что представляетъ средній родъ.
А мало ль папа ихъ пускаетъ въ ходъ!

LXXXVII.

У тенора надорванъ голосъ слабый
Излишней аффектаціей. Нашъ басъ
Реветъ, какъ быкъ; его прогнать пора бы,—
Имъ примадонна наградила насъ;
Мы не терпѣли бъ неуча, когда бы
Онъ не былъ ей роднею. Каждый разъ,
Когда поетъ онъ, можно думать смѣло,
Что музыка съ осломъ имѣетъ дѣло.

LXXXVIII.

Себя хвалить, конечно, средства нѣтъ:
Могу ль я о своемъ кричать талантѣ?
Но вы, синьоръ, видали модный свѣтъ,
И вѣрно вамъ извѣстенъ Рококанти.
Я это самъ. Примите мой привѣтъ.
Чрезъ годъ въ театрѣ Луго вы достаньте
Себѣ абонементъ; я буду тамъ,
И пѣньемъ угодить надѣюсь вамъ.

LXXXIX.

Нашъ баритонъ—курьезное явленье:
Хоть голосокъ его и слабъ, и хилъ,
Все жъ о себѣ высокаго онъ мнѣнья,
Себя относитъ онъ къ числу свѣтилъ,
А созданъ лишь для уличнаго пѣнья!
Въ немъ нѣтъ души. Когда же страсти пылъ
Выказывать бѣдняга силы множитъ,
Показывать онъ зубы только можетъ“.

XC.

Тутъ интересный прерванъ былъ разсказъ;
Всѣмъ плѣннымъ, что на палубѣ стояли,
Пиратами былъ строгій данъ приказъ
Спуститься въ мрачный трюмъ. Полны печали,
Несчастные, съ лазурью волнъ простясь,
Что сводъ небесъ, сіяя, отражали,
Направились къ дверямъ своей тюрьмы,
Гдѣ блескъ небесъ смѣнило царство тьмы.

XCI.

Близъ Дарданеллъ они на якорь стали.
Здѣсь надобно заботиться о томъ,
Чтобъ получить фирманъ, хотя едва ли
Нельзя пробраться и другимъ путемъ.
Мужчинъ и женщинъ парами сковали
Для вѣрности. Ихъ привезли гуртомъ
Въ Константинополь, гдѣ всегда товару
Удобенъ сбытъ, благодаря базару.

XCII.

Но женщинъ было меньше и пришлось
Сковать мужчину съ дамою (сопрано
Съ прекраснымъ поломъ крестъ тяжелый несъ,
Служа красивымъ спутницамъ охраной:

Къ числу мужчинъ причины не нашлось
Его отнесть), и потому Жуана
По жребію (сюрпризовъ жизнь полна!)
Съ вакханкой сочетала цѣпь одна.

XCIII.

Сковали буффа съ теноромъ. Съ той злобой,
Что театральный міръ плодитъ порой,
Они глядѣли другъ на друга. Оба
Дышали безпредѣльною враждой.
Ругаясь, каждый цѣпь тянулъ особо,
Сосѣдомъ больше мучимъ, чѣмъ судьбой.
Безъ ссоръ не проходило ни минуты.
Arcades ambo! то-есть: оба плуты.

XCIV.

Съ Жуаномъ вмѣстѣ скована была
Красивая романка изъ Анконы;
Ея побѣдамъ не было числа;
Достойная названья bella donna,
Она очами огненными жгла,
Стараясь всѣмъ предписывать законы
И головы кружить. Съ красой лица
Кокеткѣ трудно ль страсть вселять въ сердца!

XCV.

Теперь она успѣха не имѣла:
Жуанъ въ такую скорбь былъ погруженъ,
Что жгучесть взоровъ дивы не согрѣла
Его души. Хотя касался онъ
Ея руки и стана то и дѣло,
Все жъ хмелемъ страсти не былъ увлеченъ.
Безъ учащенья бился пульсъ Жуана:
Тому виной была отчасти рана.

XCVI.

Зачѣмъ причины фактовъ разбирать,
Когда имѣютъ факты лишь значенье.
Такое постоянство благодать,
Тѣмъ больше, что извѣстно изреченье:
„О льдахъ Кавказа можно ль помышлять,
Огонь въ рукахъ имѣя?“ Искушенье
Съ повѣсою не справилось моимъ
И вышелъ онъ изъ боя невредимъ.

XCVII.

Умѣлъ и я быть твердымъ. Мнѣ легко
То доказать, но продолжать не буду,—
Боюсь зайти ужъ слишкомъ далеко.
Издатель мой и такъ трубитъ повсюду,
Что легче чрезъ игольное ушко
(Совсѣмъ сконфуженъ я!) пройти верблюду,
Чѣмъ пѣснямъ музы вѣтреной моей
Попасть въ читальни англійскихъ семей.

XCVIII.

Пускай шипятъ, я не вступаю въ споръ;
Какъ видите, уступчивъ сталъ теперь я;
Вотъ Фильдингъ, Прайоръ, Смоллетъ. Громкій хоръ
Хваленій ихъ встрѣчаетъ. За безвѣрье
И вольности лишь я несу укоръ;
Въ былые дни я маску съ лицемѣрья
Любилъ срывать, вступая съ ложью въ бой,
Теперь же не гонюся за борьбой.

XCIX.

Мнѣ бранный хмель былъ въ юности забавой,
Теперь я мира жажду и готовъ
Забыть вражду. Предоставляю право
Другимъ разить, а самъ щажу враговъ.
Мнѣ все равно — со мной простится ль слава,
Пока я живъ, пройдетъ ли даль вѣковъ:
Подъ громъ хвалы, подъ вѣтра вой унылый
Трава растетъ все такъ же надъ могилой.

C.

Жизнь для пѣвца, что славенъ и могучъ,
Является частицею пустою
Его существованья. Славы лучъ,
Даря безсмертье, грѣетъ ли собою?
Такъ снѣжный комъ, катясь съ отвѣсныхъ кручъ,
Становится громадною горою,
Что, раздуваясь, крѣпнетъ и растетъ,
А все жъ гора такая—только ледъ.

CI.

Мужей великихъ часто ждетъ забвенье;
Безъ отзвуковъ смолкаетъ громъ похвалъ;
Кто можетъ прахъ спасти отъ разрушенья?
Кто, за безсмертьемъ мчась, не погибалъ?
Законъ природы—вѣчное движенье.
Ахилла прахъ ногой я попиралъ,
А многіе считаютъ миѳомъ Трою.
Не будетъ ли и Римъ забытъ толпою?

CII.

Предъ временемъ склоняется все ницъ,
Могила вытѣсняется могилой;
Вѣка бѣгутъ; забвенью нѣтъ границъ:
Событій рядъ оно похоронило;
Стираются и надписи гробницъ.
Забвеніе немногихъ пощадило;
Межъ тѣмъ не счесть прославленныхъ именъ,
Что скрылись безъ слѣда во мглѣ временъ!

CIII.

Не разъ видалъ я холмъ уединенный,
Гдѣ де-Фуа погибъ во цвѣтѣ дней:
Онъ слишкомъ долго жилъ съ толпой презрѣнной,
Но рано для тщеславія людей
Окончилъ дни. Въ честь бойни подъ Равенной
Воздвигнута колонна-мавзолей;
Но памятникъ оставленъ безъ призора,
И бремя лѣтъ его разрушитъ скоро.

CIV.

Хожу къ гробницѣ Данта я порой;
Ее воздвигнувъ люди были правы:
Здѣсь чествуемъ пѣвецъ, а не герой!
Придетъ пора, когда и лавръ кровавый,
И пѣснь пѣвца исчезнутъ, скрыты тьмой,
Какъ сгинули безслѣдно пѣсни славы,
Что воспѣвали подвиги тѣхъ лѣтъ,
Когда еще не зналъ Гомера свѣтъ.

CV.

Для той колонны цементомъ служила
Людская кровь. Не разъ осквернена
Была толпой воителя могила;
Къ побѣдамъ чернь презрѣнія полна.
Ничтоженъ лавръ, добытый грубой силой.
Толпа клеймить презрѣніемъ должна
Людей, что превращали міръ (успѣшно
Гонясь за славой) въ Дантовъ адъ кромѣшный.

CVI.

Все жъ барды будутъ пѣть. Пускай твердятъ,
Что слава дымъ: онъ—ѳиміамъ для свѣта;
Страданья и любовь пѣвцовъ плодятъ;
Волна, клубяся, пѣною одѣта,
Когда нельзя ей одолѣть преградъ;
Такъ страсти заставляютъ пѣть поэта;
Поэзія—невольный взрывъ страстей.
(Возможно ли мириться съ модой ей?)

CVII.

Вы правы, люди, силясь сбить съ дороги
Пѣвца, что цѣлый вѣкъ страстямъ служилъ
Что, испытавъ сердечныхъ бурь тревоги
И боль душевной муки, получилъ
Отъ неба даръ печальный и убогій,
Какъ въ зеркалѣ, страстей мятежный пылъ
Волшебно отражать; но черезъ это
Лишаетесь вы славнаго поэта!

CVIII.

О, синіе чулки! вашъ строгій судъ
Готовитъ ли парнасское крушенье
Моимъ стихамъ? Ужель имъ дастъ пріютъ
Пирожникъ, превративъ мое творенье
Въ обертку? Удостоите ль мой трудъ
Вы словомъ „imprimatur“? Я въ волненьи;
Кастальскій чай вы льете всѣмъ пѣвцамъ,
Забытъ лишь я; за что? не знаю самъ.

CIX.

Ужель я пересталъ быть львомъ салоновъ,
Любимцемъ дамъ, поэтомъ высшихъ сферъ,
Что средь улыбокъ, вздоховъ и поклоновъ
Всѣхъ восхищалъ изяществомъ манеръ?
Коль болѣе не чтутъ моихъ законовъ,
Я съ Вордсворта, сердясь, возьму примѣръ:
Забытый бардъ сталъ увѣрять, клянусь я,
Что синіе чулки—гнѣздо безвкусья.

CX.

„О, синій цвѣтъ, тобой я восхищенъ!“
Такъ говорилъ, любуясь небесами,
Какой-то бардъ.—Синклитъ ученыхъ женъ!
Къ вамъ обращаюсь съ тѣми же словами.
Повсюду странный слухъ распространенъ,
Что ваши ноги синими чулками
Украшены; но это ложь молвы:
Такихъ мнѣ не показывали вы.

CXI.

Мои стихи читать во время оно
Любили вы; тогда и я читалъ,
Какъ въ книгѣ — въ вашихъ взорахъ. Обороной
Вы были мнѣ; теперь я жертвой сталъ;
Все жъ не бѣгу отъ женщины ученой,
Что часто совершенства идеалъ;
Одну я зналъ: она была прекрасна,
Мила, невинна,—но глупа ужасно!

CXII.

Не мало въ мірѣ видимъ мы чудесъ.
Извѣстье есть, что Гумбольдтомъ (не знаемъ,
Возможно ль дать тому извѣстью вѣсъ)
Какой-то аппаратъ приспособляемъ
Для измѣренья синевы небесъ
(Названіе его позабываемъ).
О, лэди Дафна! имъ измѣрить васъ
Мнѣ дайте разрѣшенье въ добрый часъ.

CXIII.

Прерву здѣсь нить идей своеобразныхъ.
Корабль на пропускъ получилъ фирманъ,



ДОНЪ ЖУАНЪ И ГАЙДЭ.

Рис. Рихтеръ (H. Richter), грав. Э. Финденъ (E. Finden).

На немъ болѣзней не было заразныхъ,
И высадить рабовъ приказъ былъ данъ.
На площади не мало было разныхъ
Красивыхъ представительницъ всѣхъ странъ:
Черкешенокъ, татарокъ и грузинокъ
Былъ полонъ, какъ всегда, стамбульскій рынокъ.

CXIV.

За цѣну баснословную пошла
Кавказа дочь, черкешенка-красотка,
Съ ручательствомъ въ невинности. Была
Та дѣвочка для знатоковъ находка;
Надбавка цѣнъ въ унынье привела
Покупщиковъ; товаръ шелъ слишкомъ ходко.
Имъ отойти пришлось на задній планъ:
Красавицу самъ покупалъ султанъ.

CXV.

Двѣнадцать негритянокъ юныхъ тоже
Купцу не мало дали барышей;
Цвѣтной товаръ на рынкахъ сталъ дороже
Съ тѣхъ поръ, какъ негры ходятъ безъ цѣпей.
Къ тому жъ порокъ, свои забавы множа,
Любого короля всегда щедрѣй.
Не любитъ добродѣтель денегъ трату,
Но удержу въ расходахъ нѣтъ разврату.

CXVI.

Что сталось съ итальянцами? Къ пашамъ
Одни пошли, другихъ жиды купили;
Тѣ были причтены къ простымъ рабамъ,
Тѣ ренегатствомъ участь облегчили;
По одиночкѣ раскупили дамъ,

Затѣмъ ихъ по гаремамъ размѣстили;
Несчастныя не знали, что ихъ ждетъ—
Погибель, бракъ иль просто рабства гнетъ.

CXVII.

Здѣсь пѣснь свою окончить я намѣренъ,—
Она длинна и утомила васъ;
Несносно многословье; я увѣренъ,
Что вы меня бранили ужъ не разъ;
Что жъ дѣлать, я своей природѣ вѣренъ!
Здѣсь кончу и дальнѣйшій свой разсказъ
Я отложу до пятаго „Дуана".
(То слово занялъ я у Оссіана).

ПѢСНЬ ПЯТАЯ.

I.

Поэты, что сбираютъ риѳмы въ пары,
Какъ голубковъ Венера, мать утѣхъ,
Чтобъ пѣть любви и сладострастья чары,
Плодятъ развратъ и сѣютъ зло и грѣхъ.
Ихъ тѣмъ неотразимѣе удары,
Чѣмъ ихъ стиховъ блистательнѣй успѣхъ,
Овидій—въ томъ примѣръ, Петрарка тоже,
Когда судить мы станемъ ихъ построже.

II.

Я лютый врагъ безнравственныхъ поэмъ,
И если допускаю сочиненья,
Которыхъ я не одобряю темъ,
То чтобы рядомъ шло нравоученье
Съ ошибками, и требую затѣмъ,
Чтобъ грѣхъ наказанъ былъ для настав-
ленья.
Итакъ, коль не измѣнитъ мнѣ Пегасъ,
Я удивлю моралью строгой васъ.

III.

Дворцовъ прибрежныхъ чудные узоры,
Святой Софіи куполъ золотой,
Плывущій флотъ, синѣющія горы,
Олимпъ высокій въ шапкѣ снѣговой,
Двѣнадцать островов, что тѣшатъ взоры—
Вотъ чудная картина, что собой
Когда-то Мэри Монтэгю плѣнила.
Такихъ картинъ неотразима сила!

IV

Люблю я имя Мэри. Много грезъ
И цѣлый рядъ несбывшихся мечтаній
Въ моей душѣ съ тѣмъ именемъ слилось;
Оно еще мнѣ мило, хоть страданій
Не мало я тяжелыхъ перенесъ...
Отраденъ свѣтлый міръ воспоминаній!
Однако я впадаю въ грустный тонъ,
Но не къ лицу моей поэмѣ онъ.

V.

Уныло вѣтеръ дулъ; ревѣло море;
Съ „Могилы Великана"—чудный видъ,
Когда бушуютъ волны на просторѣ,
Когда весь берегъ пѣною покрытъ.
Опасна непогода на Босфорѣ:
Она пловцу погибелью грозитъ.
Картина бури сладостна для взора,
Но моря нѣтъ опаснѣе Босфора.

VI.

Лазурь небесъ скрывалась въ облакахъ;
Былъ день осенній, мрачный и ненастный.
Порой осенней бури въ тѣхъ краяхъ
Для жизни моряковъ всегда опасны...
Пловецъ, въ часъ бури, кается въ грѣхахъ,
Исправиться клянется, но напрасно:
Утонетъ ли—и въ клятвѣ прока нѣтъ;
Когда жъ спасется онъ—забытъ обѣтъ.

VII.

Рабы всѣхъ странъ на площади стояли,
Ихъ привели для торга безъ цѣпей.
Нѣмую скорбь ихъ лица выражали,
Имъ было жаль отчизны и друзей.
Лишь негры въ сонмѣ ихъ не унывали:
Они мирились съ участью своей
И уживались съ тяжкою неволей,
Какъ угорь со своей злосчастной долей.

VIII.

Жуанъ былъ въ цвѣтѣ лѣтъ. Надеждъ и
силъ
Еще не могъ утратить онъ избытокъ,
Но видъ его былъ мраченъ и унылъ
И слезъ скрывать не дѣлалъ онъ попытокъ.
Невѣрный рокъ его всего лишилъ:
Не мало вынесъ онъ душевныхъ пытокъ,
И милую, и деньги потерялъ,
Къ тому жъ рабомъ татаръ презрѣнныхъ
сталъ.

IX.

И стоикъ бы навѣрно растерялся
Отъ стольких бѣдъ, отъ стольких жгучихъ
ранъ.
Однакожъ онъ съ достоинствомъ держался.
Его нарядъ богатый, стройный станъ
Въ глаза бросались. Рѣзко отличался
Отъ остальныхъ невольниковъ Жуанъ;
Его наружность всѣхъ собой плѣняла.
Онъ барышей купцу сулилъ не мало,

X.

Базаръ былъ сходенъ съ шахматной доской;
На площади его пестрѣли рядомъ
И бѣлые, и черные толпой.
Ихъ привели для сбыта, жалкимъ стадомъ.
Одинъ невольникъ, статный и лихой,
Лѣтъ тридцати, съ суровымъ, гордымъ
взглядомъ,
Въ числѣ другихъ на торгъ былъ приведенъ;
Съ Жуаномъ находился рядомъ онъ.

XI.

Британца въ немъ признать не трудно было:
Онъ былъ румянъ и бѣлъ, въ плечахъ
широкъ;
Его чело высокое носило
Слѣды глубокихъ думъ иль злыхъ тревогъ;
Его судьба невзгодой не сломила,—
На все глядѣть онъ съ равнодушьемъ могъ.
Онъ раненъ въ руку былъ; струей багряной
Пятнала кровь его надвязку раны.

XII.

Къ Жуану, что немного пріунылъ,
Но все же, не теряя самовластья,
Достоинство и гордость сохранилъ,
Проснулось въ немъ горячее участье.
Невольно онъ сочувствіе дарилъ
Товарищу ихъ общаго несчастья,
А самъ онъ на плачевный свой удѣлъ
Съ полнѣйшимъ безучастіемъ глядѣлъ.

XIII.

Онъ такъ сказалъ Жуану: „Мы не схожи
Съ толпою этихъ жалкихъ дикарей,
Что окружаютъ насъ. Лишь въ цвѣтѣ кожи
Различье ихъ. Порядочныхъ людей
Лишь вы да я имѣю видъ пригожій.
Знакомство мы должны свести скорѣй.
Откуда вы? Я буду радъ, какъ другу,
Вамъ оказать и ласку и услугу“.

XIV.

Жуанъ сказалъ:—„Испанецъ родомъ я“.
—„Такого ждалъ я именно отвѣта:
Не можетъ подлый грекъ держать себя
Такъ гордо. Ваша пѣснь еще не спѣта;
Надежды до конца терять нельзя.
Смотрите,—перемѣнится все это;
Мы всѣ фортуны жалкіе рабы,
Но я привыкъ къ превратностямъ судьбы“.

XV.

— „Позвольте васъ спросить, хоть и не-
ловко:
Что привело нежданно васъ сюда?“
— „Отвѣтъ простой: шесть турокъ и ве-
ревка“.
— „Но мнѣ узнать хотѣлось бы, когда
И какъ васъ взяли въ плѣнъ?“—„Коман-
дировку
Мнѣ далъ Суворовъ... Только въ томъ бѣда,
Что приступомъ не могъ я взять Виддина
И самъ былъ взятъ: вотъ бѣдъ моихъ при-
чина“.

XVI.

— „А есть у васъ друзья?“—„Въ невзгоды
часъ
Отыскивать ихъ—тщетное старанье.
Отвѣтилъ я на все; прошу и васъ
Мнѣ разсказать свои воспоминанья“.
—„Унылъ и длиненъ будетъ мой разсказъ“.
— „А если такъ, то лучшее—молчанье:
Когда пространна повѣсть и грустна,
Длиннѣе вдвое кажется она.

XVII.

Но все жъ не унывайте. Въ ваши лѣта
Фортуна, что обманчива порой,
Васъ не оставитъ; тѣмъ вѣрнѣе это,
Что вамъ нельзя считать ее женой;
Бороться съ ней никто не дастъ совѣта,—
Былинкѣ гдѣ же справиться съ косой?
Тотъ часто въ заблужденіи глубокомъ,
Кто думаетъ, что можетъ править рокомъ“.

XVIII.

— „Печалюсь я не о судьбѣ своей,—
Сказалъ Жуанъ: —мнѣ жаль того, что было;
Я лишь скорблю о счастьи прежнихъ дней;
Я былъ любимъ, и—нѣтъ подруги милой".—
Тутъ онъ замолкъ, и тихо изъ очей
Слеза скатилась.—„Счастье измѣнило...
Но все же я со страхомъ незнакомъ.
И если плачу—плачу о быломъ.

XIX.

Я твердъ душой, но тяжкій гнетъ разлуки
Мнѣ не по силамъ".—Тутъ онъ замолчалъ,
Въ отчаяньи свои ломая руки,
И голову склонилъ.—„Я такъ и зналъ,
Что женщина—причина вашей муки.
Понятна ваша скорбь. Я самъ рыдалъ,
Когда прощался съ первою женою,
А также, какъ былъ брошенъ и второю.

XX.

Но третья..."—„Какъ,—сказалъ Жуанъ:— у васъ
Есть три жены?"—„Въ живыхъ лишь двѣ осталось.,.
Чему тутъ удивляться?.. Вѣдь не разъ
Инымъ вступать три раза въ бракъ случалось".
— „Что жъ третья? Продолжайте свой разсказъ...
Надѣюсь, вамъ она вѣрна осталась
И не ушла?"—„О, нѣтъ!—тотъ отвѣчалъ:
—Отъ третьей самъ я въ страхѣ убѣжалъ".

XXI.

—„Вы смотрите однако хладнокровно
На жизнь",—сказалъ Жуанъ.—„Я смятъ борьбой.
На вашемъ небѣ и свѣтло, и ровно
Сіяетъ радугъ много; ни одной
Не свѣтитъ мнѣ. Лишь въ юности любовно
Насъ грѣетъ лучъ надежды золотой,
Но время наши мысли измѣняетъ:
Такъ кожу каждый годъ змѣя мѣняетъ.

XXII.

Сначала эта кожа и яснѣй,
И лучше первой, но потомъ тускнѣетъ
И съ каждымъ днемъ становится блѣднѣй.
Насъ въ юности любовь живитъ и грѣетъ,
Затѣмъ мы узнаемъ другихъ страстей
Тяжелый гнетъ и сердце леденѣетъ:
Иной честолюбивъ и скупъ другой,
А третій дышитъ местью лишь одной".

XXIII.

Жуанъ сказалъ: — „Вы, можетъ быть, и правы,
Но все жъ судьба тяжелая насъ ждетъ;
Слова мы тратимъ только для забавы".
— „Не много прока въ нихъ"—отвѣтилъ тотъ.
— „Но если мнѣнья правильны и здравы,
Страданье учитъ насъ. Такъ, рабства гнетъ
Узнавъ, не станемъ мы тѣснить народа,
Когда намъ вновь достанется свобода".

XXIV.

Жуанъ сказалъ, скрывая грустный вздохъ:
— „Какъ побывать хотѣлъ бы я на волѣ,
Чтобъ мстить злодѣямъ!... Да поможетъ Богъ
Несчастнымъ, побывавшимъ въ этой школѣ!"
— „Довольно испытали мы тревогъ
И долго ждать намъ не придется болѣ:
Вотъ черный евнухъ съ насъ не сводитъ глазъ;
Хотѣлъ бы я, чтобы купили насъ!

XXV.

Конечно, грустно наше положенье,
Но лучшихъ мы дождаться можемъ дней:
Всѣ смертные, почти безъ исключенья,
Рабы своихъ желаній и страстей.
Холодный свѣтъ не знаетъ сожалѣнья;
Онъ глухъ къ мольбамъ безпомощныхъ людей.
Жить для себя, вполнѣ чуждаясь чувства,
Вотъ безсердечныхъ стоиковъ искусство!"

XXVI.

Въ то время подошелъ поближе къ нимъ
Сераля стражъ безполый, евнухъ хилый;
Въ осмотрѣ ихъ онъ былъ неутомимъ;
Онъ оцѣнилъ ихъ ростъ, наружность, силы.
Нѣтъ, никогда съ вниманіемъ такимъ
Любовникъ не оглядываетъ милой,
Сукно—портной, проценты—ростовщикъ
Барышникъ—лошадей, какъ покупщикъ—

XXVII.

Невольника. Должно-быть, есть отрада—
Существъ себѣ подобныхъ покупать.
Но, впрочемъ, всѣ продажны; только надо
Покупности и вѣсъ, и мѣру знать;
Кого плѣняетъ мѣсто иль награда,
Кого успѣхъ; все жъ долженъ я сказать,
Что дѣйствуетъ всего успѣшнѣй злато...
За власть, какъ за пинки, по таксѣ плата.



ЗОЯ (Zoe).

Рис. Бостокъ (I. Bostock), грав. Райоль (H. T. Ryall).

XXVIII.

Ихъ осмотрѣвъ съ вниманьемъ, наконецъ,
Сначала одного, затѣмъ обоихъ,
Сталъ евнухъ торговать. Кричалъ купецъ;
Кричалъ и онъ, словъ не жалѣя строгихъ;
Торгуютъ такъ коровъ, свиней, овецъ
На ярмаркахъ. Такое брало зло ихъ,
Такой враждой пылалъ ихъ гнѣвный взоръ,
Что всѣмъ казалось,—драка кончитъ споръ.

XXIX.

Но шумъ утихъ, и евнухъ съ грустной миной
Свой вынулъ кошелекъ и заплатилъ.
Купецъ пересмотрѣлъ всѣ до единой
Монеты, что въ уплату получилъ
(А то и пары сходятъ за цехины).
Всѣ деньги получивъ, онъ настрочилъ
Расписку и съ довольнымъ выраженьемъ
Сталъ думать объ обѣдѣ съ наслажденьемъ.

XXX.

Но могъ ли аппетитъ проснуться въ немъ
И могъ ли онъ свершить пищеваренье
Безъ всякой боли? Я увѣренъ въ томъ,
Что совѣсти онъ слышалъ угрызенья
За то, что безконтрольно, какъ скотомъ,
Людьми распоряжался. Безъ сомнѣнья,
На свѣтѣ ничего ужаснѣй нѣтъ,
Какъ дурно переваренный обѣдъ.

XXXI.

Вольтеръ намъ говоритъ, но это—шутка,
Что, лишь поѣвши, сладость свѣтлыхъ думъ
Вкушалъ Кандидъ. Вольтеръ неправъ: же-
лудка
Не можетъ гнетъ не дѣйствовать на умъ;
Лишь тотъ, кто пьянъ, лишается разсудка
И дѣйствуетъ, конечно, наобумъ.
Воззрѣніе мое узнать хотите ль?
Великій сынъ Филиппа—мой учитель.

XXXII.

Вотъ мнѣнье Александра: „Намъ вдвойнѣ
Напоминаетъ смерть процессъ питанья
Съ другими жизни актами". По мнѣ,
Коль пища можетъ радость иль страданье
Въ насъ возбуждать, то лишніе вполнѣ
Таланты, умъ, искусства и познанья;
Кто станетъ имъ оказывать почетъ,
Когда надъ всѣмъ желудокъ верхъ беретъ?

XXXIII.

Дней шесть тому назадъ я собирался
По городу пройтись; вдругъ близъ меня
Стрѣльбы необычайный звукъ раздался.
Съ поспѣшностью изъ дома вышелъ я.
Народъ шумѣлъ; на лицахъ страхъ читался.
Израненный, молчаніе храня,
На площади лежалъ старикъ почтенный,
Начальникъ войска города Равенны.

XXXIV.

Несчастный! Чтобы счеты съ нимъ свести,
Въ него пять пуль безжалостно всадили
И бросили. Его перенести
Къ себѣ велѣлъ я. Тщетно мы ходили
За нимъ всю ночь; ужъ пользы принести
Не въ силахъ всѣ старанья наши были.
Пять вѣскихъ пуль и старое ружье
Съ нимъ порѣшили. Месть взяла свое.

XXXV.

Я зналъ его и съ вздохомъ сожалѣнья
Глядѣлъ на хладный трупъ. Не разъ видалъ
Я мертвыхъ, но такого выраженья
Спокойствія я прежде не встрѣчалъ
На блѣдномъ ликѣ жертвы разрушенья.
Казалось, онъ не умеръ—только спалъ.
(Изъ ранъ его кровь не лилась струею).
Я на него глядѣлъ, объятъ тоскою.

XXXVI.

„Что жизнь и смерть?"—у трупа я спро-
силъ.
Но онъ молчалъ,—безмолвна смерть нѣмая...
„Возстань!" Но онъ лежалъ, лишенный
силъ.
Еще вчера, отвагою пылая,
Войсками храбрый вождь руководилъ,
Имъ гордо приказанья отдавая;
Теперь же онъ безпомощно лежалъ,
И барабанъ литавры замѣнялъ.

XXXVII.

Исполнены унынья и печали,
Вокругъ вождя, что пролилъ кровь свою,
Въ послѣдній, но не въ первый разъ, стояли
Соратники его. Давно ль въ строю
Они, дрожа, словамъ его внимали?
И что жъ?.. Герой, прославленный въ бою,
Побѣдными украшенный вѣнками,
Погибъ—убитъ продажными руками!

XXXVIII.

Близъ старыхъ ранъ, которыми стяжалъ
Онъ славу и почетъ, виднѣлись рядомъ
И новыя. Невольно ужасалъ
Контрастъ такой. Смущеннымъ, робкимъ
взглядомъ
Я раны полководца озиралъ.
Отъ мертвеца несло могильнымъ хладомъ.
Глядя на этотъ трупъ, старался я
Умомъ постигнуть тайну бытія.

XXXIX.

Но тайною осталась тайна эта.
Насъ окружаетъ вѣчный мракъ тюрьмы.
Что ждетъ насъ за могилой?—Нѣтъ отвѣта.
Сегодня—жизнь, а завтра—царство тьмы.
Желаннаго намъ не дождаться свѣта.
А міръ безсмертенъ, только смертны мы.
Но мудрствовать я болѣе не стану
И вотъ перехожу опять къ роману.

XL.

Британца и Жуана покупщикъ
Сѣлъ со своей поклажею живою
Въ роскошно-позолоченный каикъ,
Что по волнамъ понесся съ быстротою.
Друзья смутились, страхъ въ ихъ грудь
проникъ:
Трудна борьба съ невѣдомой судьбою...
Вотъ у стѣны, въ тѣни деревъ густыхъ,
Въ концѣ залива, стала лодка ихъ.

XLI.

Лишь проводникъ у двери постучался—
Раскрылась дверь желѣзная. За нимъ
Невольники пошли; онъ подвигался
Съ большимъ трудомъ по зарослямъ густымъ.
Ложилась тѣнь и ночи мракъ сгущался.
Идти труднѣй все становилось имъ.
Гребцы исчезли съ лодкой, скрыты мра-
комъ,—
Ихъ евнухъ удалилъ условнымъ знакомъ.

XLII.

Сквозь чащу померанцевыхъ деревъ
Они съ трудомъ дорогу пролагали.
(Природу юга былъ бы я готовъ
Описывать, да всѣ поэты стали
Ей посвящать плоды своихъ трудовъ!
Такихъ поэмъ не мало вы читали
Одинъ поэтъ гостилъ у турокъ разъ,—
Съ тѣхъ поръ метода эта принялась).

XLIII.

Жуанъ слѣдилъ за евнухомъ въ волненьи.
Вдругъ мысль ему блестящая пришла.
И вамъ, и мнѣ, въ подобномъ положеньи,
Такая мысль легко прійти бъ могла.
„Убить проводника одно мгновенье,—
Шепнулъ Жуанъ:—„не вижу въ этомъ зла;
Скорѣй нанесть ударъ, чѣмъ молвить слово,
И мы затѣмъ свободны будемъ снова!"

XLIV.

Товарищъ возразилъ:—„И что жъ потомъ?
Какъ ухитримся дверь раскрыть снаружи?
Мы, можетъ быть, и кожи не спасемъ
(Вареоломея вспомните!). Намъ хуже,
Конечно, будетъ завтра подъ замкомъ
Въ глухой тюрьмѣ. Я голоденъ къ тому же
И, не жалѣя первородства правъ,
Ихъ продалъ бы за бифштексъ, какъ Исавъ.

XLV.

Конечно, домъ находится за садомъ;
Не сталъ бы этотъ негръ, увѣренъ я,
Идти одинъ съ невольниками рядомъ,
Когда бъ не зналъ о близости жилья.
Лишь крикнетъ — многочисленнымъ отря-
домъ
Сюда сбѣгутся въ мигъ его друзья.
Но посмотрите: вотъ дворецъ предъ нами.
Какъ онъ красивъ и залитъ весь огнями!"

XLVI.

Дѣйствительно, дворецъ весь расписной
Представился ихъ изумленнымъ взглядамъ;
Онъ поражалъ отдѣлкой золотой
И ярко разукрашеннымъ фасадомъ.
Турецкій стиль богатъ лишь пестротой,
Но гдѣ жъ ему идти съ искусствомъ рядомъ!
Всѣ виллы вдоль Босфора и дворцы—
Лишь ширмъ иль декорацій образцы.

XLVII.

Когда друзья къ роскошному жилищу
Приблизились, ихъ сладко поразилъ
Отрадный запахъ яствъ. Глядя на пищу,
Жуанъ свое рѣшенье отложилъ,
Подумавъ: „Путь себѣ потомъ прочищу"...
Голодному лишь запахъ пищи милъ.
Британецъ молвилъ:—„Намъ теперь лишь
нуженъ
Часъ отдыха и вкусный, сытный ужинъ".

XLVIII.

Совѣтуютъ, чтобъ убѣждать людей—
На ихъ разсудокъ дѣйствовать и страсти.
Послѣднее мнѣ кажется вѣрнѣй:
Вѣдь умъ ничьей не поддается власти.
Одинъ ораторъ плачетъ, чтобъ сильнѣй
Подѣйствовать, другой сулитъ напасти:
Желаетъ всякій тронуть, убѣдить,
Но ни одинъ не хочетъ краткимъ быть.

XLIX.

Я твердо вѣрю въ силу убѣжденья
И красоты; порой полезна лесть,
Порою и угрозы; нѣтъ сомнѣнья,
Что въ золотѣ не мало силы есть.
Но все жъ людей въ такое умиленье
Ничто не въ состояніи привесть,
Въ такой восторгъ, какъ сладкій звонъ къ
обѣду,
Что славитъ плоти надъ душой побѣду.

19*

L.

Хоть въ Турціи къ обѣду не звонятъ,
Но трапеза и тамъ на первомъ планѣ.
Лакеи не стояли чинно въ рядъ,
И колоколъ не возвѣщалъ заранѣ
О томъ, что столъ накрытъ; все жъ ароматъ
Дымящихся и сочныхъ яствъ въ Жуанѣ
Будилъ неотразимый аппетитъ...
Планъ мщенья былъ отложенъ и забытъ.

LI.

Ихъ проводникъ увѣренно и смѣло
Шелъ впереди. Несчастный и не зналъ,
Что жизнь его на волоскѣ висѣла.
Остановивъ невольниковъ, онъ сталъ
Стучаться въ домъ. Мгновенье пролетѣло,—
Съ воротъ глухихъ затворы сторожъ снялъ,
И ихъ глазамъ представилася зала,
Что въ роскоши восточной утопала.

LII.

Я въ описаньяхъ силенъ, но о ней
Не стану говорить. Теперь такъ много
Туристовъ развелось, что ихъ статей
Не перечесть. Мнѣ съ ними—не дорога:
Все только описанья, но идей
Не требуйте отъ нихъ, тѣмъ больше слога.
Цѣль авторовъ—чтобъ ихъ замѣтилъ свѣтъ,
А до природы имъ и дѣла нѣтъ.

LIII.

Вдоль стѣнъ, почти недвижно, возсѣдали
Сыны пророка, ноги подъ себя
Поджавъ. Иные въ шахматы играли;
Другіе, разговоровъ не любя,
Изъ мундштуковъ янтарныхъ дымъ пускали;
Здѣсь спалъ одинъ, свернувшись какъ змѣя;
А тамъ другой, объ ужинѣ мечтая,
Къ нему приготовлялся, ромъ глотая.

LIV.

Ни толковъ ни разспросовъ никакихъ
Не вызвало гяуровъ появленье;
Разсѣянно оглядывали ихъ,—
И лицъ не измѣнилось выраженье.
Такъ, мимоходомъ, на коней лихихъ
Глядятъ, цѣня ихъ силы и сложенье.
Иные негру отдали поклонъ,
Но ни о чемъ разспрошенъ не былъ онъ.

LV.

Оставивъ турокъ сонное собранье,
Невольниковъ повелъ онъ за собой
По ряду пышныхъ залъ. Вездѣ молчанье
Царило, только въ комнатѣ одной
Фонтана раздавалося журчанье.
Да кое-гдѣ изъ-за портьеръ порой
Выглядывали женскія головки,
Что новизна смущала обстановки.

LVI.

Довольно лампъ вдоль стѣнъ горѣло въ рядъ,
Чтобъ освѣщать ихъ путь, но слишкомъ мало,
Чтобъ роскошь этихъ царственныхъ палатъ
Во всемъ своемъ величьи выступала.
Тяжелою печалью я объятъ,
Когда передо мной пустая зала,
Гдѣ не видать кругомъ души живой.
Унылъ ея торжественный покой!

LVII.

Близъ скалъ сѣдыхъ, что злобно точатъ волны,
Въ пустынѣ иль въ лѣсу,—не страшно намъ
Уединенье. Пусть они безмолвны—
Просторъ и тишь душѣ отрадны тамъ.
Но если мрака и молчанья полны
Палаты, гдѣ веселью свѣтлый храмъ
Воздвигнутъ, тяжекъ этотъ видъ унылый—
Онѣ тогда сходны съ нѣмой могилой.

LVIII.

Веселый ужинъ, ласки и привѣтъ,
Подруги милой образъ идеальный,
Уютный уголокъ и—горя нѣтъ,
И часъ за часомъ мчится безпечально.
Эффектнѣе, конечно, яркій свѣтъ,
Что газъ бросаетъ въ залѣ театральной;
Но мнѣ просторъ пустынныхъ залъ милѣй.
Вотъ отъ чего тоска въ душѣ моей!

LIX.

Безцѣльны зодчихъ пышныя затѣи:
Чѣмъ больше зданье, тѣмъ виднѣе намъ,
Какъ жалокъ человѣкъ. Зачѣмъ пигмеи
Соборы воздвигаютъ къ небесамъ?
Дворцы, чертоги, храмы, мавзолеи—
Къ чему они съ тѣхъ поръ, какъ палъ Адамъ?
Какъ не умѣритъ эти вожделѣнья
Разительный примѣръ столпотворенья!..

LX.

Великъ былъ Вавилонъ, что всѣхъ давилъ
Богатствами и силой. Величаво
Навуходоносоръ надъ нимъ царилъ,
Пока не сталъ пастись въ тѣни дубравы;
Со львами тамъ справлялся Даніилъ,
Съ Пирамомъ Тизба увѣнчались славой
И тамъ жила, собой плѣняя свѣтъ,
Семирамида, жертва злыхъ клеветъ.

LXI.

Всѣ лѣтописцы, злобною толпою,
Пристрастіемъ къ коню ее клеймятъ.
(Любовь, какъ и религія, порою
Впадаетъ въ ересь!) Но такой развратъ
Невѣроятенъ; жалкой клеветою
Все это отзывается. Наврядъ
Могло такъ быть, и я иного мнѣнья:
Скакунъ имѣлъ *курьера* тамъ значенье.

LXII.

Иной, пожалуй, скажетъ: „Вавилонъ—
Лишь миѳъ пустой!" (Безвѣріе—не чудо
Въ нашъ вѣкъ). Но скептикъ будетъ обли-
ченъ:
У насъ есть доказательствъ вѣрныхъ груда.
Сэръ Ричъ нашелъ, гдѣ былъ построенъ
онъ,
И нѣсколько камней привезъ оттуда;
Къ тому жъ о немъ есть въ Библіи раз-
сказъ.
А Библіи слова—законъ для насъ.

LXIII.

Пусть вспомнятъ тѣ, что воздвигаютъ зданья,
Лишь думая о радостяхъ земныхъ,
Горація прелестное воззванье:
„Вы строите дворцы; а васъ въ живыхъ
Не будетъ скоро, жалкія созданья!"
Какою правдой дышитъ грустный стихъ:
„Et sepulchri immemor struis domos!"
Насъ манитъ жизнь, а смерти слышенъ
голосъ.

LXIV.

Невольниковъ все за собою велъ
Ихъ проводникъ. Объятый нѣгой, сонный
Дворецъ молчалъ; вотъ съ ними негръ во-
шелъ
Въ созданье фей, покой уединенный,
Гдѣ роскоши воздвигнутъ былъ престолъ.
Природа созерцала удивленно
Красу и блескъ въ немъ собранныхъ вещей,
Не зная, какъ съ искусствомъ ладить ей.

LXV.

Навалены богатствъ тамъ были горы,
А цѣлый рядъ покоевъ былъ такихъ.
Диваны красотой плѣняли взоры;
Казалось, страшно даже сѣсть на нихъ.
Ковровъ пестрѣли пышные узоры;
Любуясь рядомъ тканей дорогихъ,
Хотѣлось, чтобы ихъ не смять ногою,
По нимъ скользить, ставъ рыбкой золотою.

LXVI.

Но этотъ блескъ не изумлялъ ничуть
Проводника, тогда какъ отъ волненья
У путниковъ его вздымалась грудь;
Они неслись на крыльяхъ вдохновенья,
Какъ будто бы подъ ними млечный путь
Весь въ звѣздахъ разстилался. Въ углу-
бленьи
Одной изъ стѣнъ виднѣлся шкафъ большой.
(Надѣюсь, вамъ разсказъ понятенъ мой,

LXVII.

А если нѣтъ, я не повиненъ въ этомъ).
Негръ отперъ шкафъ, въ немъ былъ наря-
довъ складъ,
Что разнились и формою, и цвѣтомъ;
Надѣть ихъ всякій турокъ былъ бы радъ,
Чтобы блеснуть изящнымъ туалетомъ.
Хоть выборъ былъ роскошенъ и богатъ,
Но все же для гяуровъ негръ угрюмый
По вкусу своему избралъ костюмы.

LXVIII.

Британцу онъ нарядъ богатый далъ:
Широкій плащъ, какъ носятъ кандіоты,
И пышныя шальвары; шаль досталъ
Тончайшаго узора и работы,
Прибавивъ туфли и большой кинжалъ,
Чеканенный и съ яркой позолотой.
Британецъ въ одѣяніи такомъ
Выглядывалъ вполнѣ турецкимъ львомъ.

LXIX.

На нихъ глядя внушительно и строго,
Баба, ихъ проводникъ, себѣ далъ трудъ
Имъ объяснить, какъ ждетъ ихъ выгодъ
много,
Когда они безропотно пойдутъ
Судьбою имъ указанной дорогой;
Своимъ онъ долгомъ счелъ прибавить тутъ,
Что согласись они на обрѣзанье—
Похвалъ ихъ удостоятъ и вниманья.

LXX.

Онъ такъ окончилъ рѣчь:—„Я былъ бы радъ
Въ васъ видѣть мусульманъ, но принужденья
Не пустятъ въ ходъ, чтобъ вы святой обрядъ
Свершили надъ собой".—Благодаренье
Воздавъ ему за то, что знать хотятъ
Объ этакой безделицѣ ихъ мнѣнье,
Британецъ, чтобъ смиренье заявить,
Турецкіе порядки сталъ хвалить.

LXXI.

Онъ къ этому прибавилъ, что питаетъ
Къ обычаямъ похвальнымъ мусульманъ
Большое уваженье и желаетъ,
Чтобъ для отвѣта срокъ ему былъ данъ;
Принять онъ предложенье полагаетъ,
Поужинавъ. — О, срамъ! — вскричалъ Жуанъ,—
Возможно ль стать посмѣшищемъ для свѣта!
Скорѣй умру, чѣмъ соглашусь на это.

LXXII.

Пусть голова скорѣй свалится съ плечъ!"
Британецъ возразилъ:—„Еще два слова,
Вѣдь я еще свою не кончилъ рѣчь".
Тутъ къ евнуху онъ обратился снова:
—„Поѣмъ сперва, затѣмъ пойду прилечь...
Рѣшусь ли обратиться къ жизни новой.
Потомъ скажу; но все надѣюсь я,
Что принуждать не станете меня".

LXXIII.

—„Вамъ также передѣться будетъ надо",—
Сказалъ Жуану евнухъ и такой
Досталъ нарядъ, что было бы отрадой
Его надѣть красавицѣ любой;
Жуанъ же оттолкнулъ его съ досадой
Своею христіанскою ногой
И такъ одѣться отказался прямо,
Сказавъ; „Почтенный старецъ, я—не дама".

LXXIV.

—„Какой вашъ полъ,—съ разсерженнымъ лицомъ
Отвѣтилъ негръ,—мнѣ это все едино;
Но все же я поставлю на своемъ".
—„Какая же,—спросилъ Жуанъ, причина
Такой продѣлки? Что вамъ толку въ томъ,
Что женщиной нарядится мужчина?";
—„Немного потерпите. и затѣмъ
Поймете все; но я останусь нѣмъ".

LXXV.

—„Я требую!"—сказалъ Жуанъ нахально.
—„Прошу, — замѣтилъ негръ, — умѣрить пылъ;
Такая смѣлость можетъ быть похвальна,
Но для борьбы у васъ не хватитъ силъ;
Она для васъ окончится печально".
—„Что жъ, съ платьемъ я свой полъ не измѣнилъ!"
Воскликнулъ тотъ.—„Коль къ мѣрамъ я тяжелымъ
Прибѣгну, вы совсѣмъ проститесь съ поломъ.

LXXVI.

Я пышный предлагаю вамъ костюмъ,—
Негръ продолжалъ.—Что женскій онъ, нѣтъ спора,
Но есть на то причина. Крикъ и шумъ
Напрасны,—въ этомъ убѣдитесь скоро!"
Жуанъ стоялъ и мраченъ и угрюмъ.
—„Вотъ лоскутокъ отъ женскаго убора.
Что дѣлать съ нимъ?—„Жуанъ, сердясь, спросилъ.
(Такъ кружево онъ цѣнное честилъ).

LXXVII.

Затѣмъ Жуанъ шальвары цвѣта тѣла
Надѣлъ ворча и не скрывая гнѣвъ;
Свой легкій станъ, рубашкой скрытый бѣлой,
Онъ поясомъ стянулъ невинныхъ дѣвъ.
Впередъ успѣшно подвигалось дѣло,
Но юбка подвела: ее надѣвъ,
Онъ оступился, въ складкахъ утопая.
Неловкость извинительна такая.

LXXVIII.

Жуанъ, сердясь, урокъ свой первый бралъ,
Какъ одѣваться женщиною; ясно,
Что всѣхъ уловокъ дамскихъ онъ не зналъ.
Когда же наступалъ моментъ опасный,
Баба ему усердно помогалъ,
Чтобъ съ модою все шло вполнѣ согласно;
Самъ платье на Жуана онъ надѣлъ,
Затѣмъ нарядъ съ вниманьемъ осмотрѣлъ.

LXXIX.

Все было хорошо, но вотъ досада:
Прическа дамы требуетъ волосъ,
Жуанъ же былъ остриженъ; но изъ склада
Баба досталъ запасъ фальшивыхъ косъ;
Пригладивъ ихъ душистою помадой,
Убрать Жуана дамой удалось.
Прическа, что и такъ красой плѣняла,
Съ алмазами еще роскошнѣй стала.

LXXX.

Посредствомъ ножницъ, щипчиковъ, бѣлилъ
Жуана совершилось превращенье,—
На дѣвушку вполнѣ онъ походилъ.
Баба сказалъ, исполненъ восхищенья:
—„За мной идите, сударь. Ахъ забылъ,
Сударыня. Возможно ли сомнѣнье?“
Тутъ хлопнулъ онъ рукой, и въ тотъ же мигъ
Четыре негра стали возлѣ нихъ.

LXXXI.

—„Васъ ужинъ ждетъ. Вотъ стража для надзора,—
Британцу такъ Баба сказалъ: „А вы
За мной идите, робкая синьора;
Но выкинуть прошу изъ головы
Пустую блажь,—я не терплю задора.
Не опасайтесь, здѣсь не рыщутъ львы.
Дворецъ султана—рая Магомета
Преддверье; мудрецу понятно это.

LXXXII.

„Не бойтесь: зла вамъ сдѣлать не хотятъ“.
—„Тѣмъ лучше,—былъ отвѣтъ:—я за обиду
Отмстить съумѣю. Тотъ не будетъ радъ,
Кто оскорбитъ меня. Я слабъ лишь съ виду.
Теперь я тихъ; но если мой нарядъ
Въ обманъ введетъ, я изъ терпѣнья выйду
И защитить свою съумѣю честь.
Повѣрьте мнѣ, моя опасна месть!“

LXXXIII.

Когда Баба далъ снова приказанье
Идти за нимъ, Жуанъ прощаться сталъ
Съ товарищемъ. Глядя на одѣянье,
Что юношѣ видъ женщины давалъ,
Тотъ скрыть улыбку былъ не въ состояньи.
—„Здѣсь край чудесъ!—ему Жуанъ сказалъ.
—„Мы взяты въ рабство чернымъ чародѣемъ:
Я дѣвой сталъ, а вы—турецкимъ беемъ.

LXXXIV.

Прощайте!“—„Если встрѣтимся опять,—
Отвѣтилъ тотъ,—хоть я пойду налѣво,
Направо вы,—о многомъ разсказать
Придется намъ. Безропотно, безъ гнѣва
Судьбы велѣнья надо принимать.
Но сохраните честь, хоть пала Ева!“
—„Меня не соблазнитъ и самъ султанъ,
Руки не предложивъ“,—сказалъ Жуанъ.

LXXXV.

Разстаться для друзей пора настала.
По анфиладѣ залъ и галлерей
Баба провелъ Жуана. У портала,
Что поражалъ массивностью своей,
Они остановились. Все дышало
Здѣсь святостью и миромъ алтарей;
Вездѣ носились волны ѳиміама.
Они, казалось, были возлѣ храма.

LXXXVI.

Порталъ-колоссъ, украшенный рѣзьбой,
Весь вылитъ былъ изъ бронзы позлащенной;
На немъ изображался лютый бой:
Здѣсь побѣдитель шелъ, тамъ побѣжденный
Лежалъ въ пыли, и плѣнныхъ за собой
Велъ тріумфаторъ. Эры отдаленной,
Когда Востокомъ кесарь управлялъ,
Созданьемъ былъ роскошный тотъ порталъ.

LXXXVII.

Въ концѣ онъ помѣщался пышной залы.
Какъ бы служа контрастомъ тѣмъ дверямъ,
Два карлика, уродства идеалы,
Стояли на часахъ по ихъ бокамъ.
Такъ жалкіе пигмеи были малы,
Что ихъ никто бъ и не замѣтилъ тамъ,—
Порталъ, что возлѣ нихъ стоялъ стѣною,
Ихъ подавлялъ своей величиною.

LXXXVIII.

Кто наступалъ на нихъ почти совсѣмъ,
Тотъ только могъ, съ невольнымъ отвращеньемъ,
Ихъ разглядѣть черты. Къ уродамъ тѣмъ
Всѣ относились съ злобой и презрѣньемъ;
Къ тому жъ изъ нихъ былъ каждый глухъ и нѣмъ,
И цвѣтъ ихъ лицъ былъ всѣхъ цвѣтовъ смѣшеньемъ.
Границъ не знало безобразье ихъ,
За то и денегъ стоило большихъ.

LXXXIX.

Они большою обладали силой.
Держать всегда тѣ двери подъ замкомъ
Ихъ главною обязанностью было;
Но отворять имъ было нипочемъ
Гарема дверь, что плавно такъ скользила,
Какъ плавенъ стихъ у Роджерса. Притомъ
И казни ими тайно совершались:
Для дѣлъ такихъ всегда нѣмые брались.

XC.

Имъ знаки замѣняли разговоръ.
Когда Баба предъ ними появился
И приказалъ скорѣе снять затворъ,
Такъ на Жуана строго устремился
Чудовищей нѣмыхъ змѣиный взоръ,
Что онъ невольно струсилъ и смутился.
Казалось, имъ въ удѣлъ достался даръ
Опутывать людей посредствомъ чаръ.

XCI.

Не мало далъ Жуану наставленій
Баба предъ тѣмъ, чтобъ подойти къ дверямъ:
— „Не дѣлайте порывистыхъ движеній,
Старайтесь подражать походкѣ дамъ;
Когда мы не разсѣемъ подозрѣній
Живыми не уйти отсюда намъ;
Примите видъ взволнованный и томный,
Какъ это долгъ велитъ дѣвицѣ скромной.

XCII.

Остерегайтесь карликовъ: ихъ взоръ
Пронижетъ васъ; онъ бдителенъ и зорокъ;
Въ обманъ ввести старайтесь ихъ надзоръ,
Коль только солнца свѣтъ вамъ милъ и дорогъ;
Не то—въ мѣшкѣ забросятъ насъ въ Босфоръ
И никакихъ не примутъ отговорокъ;
Таковъ обычай мѣстный, и какъ разъ,
Безъ лодки въ даль угонятъ волны насъ".

XCIII.

Съ напутствіемъ такимъ Жуана ввелъ онъ
Въ покой, что убранъ былъ еще пышнѣй,
Чѣмъ прочіе. Онъ былъ настолько полонъ
Невѣроятной роскоши затѣй,
Что глазъ, такою пышностью уколонъ,
Не зналъ, на что глядѣть. Игра камней
Сливалася вездѣ съ сіяньемъ злата;
Все было тамъ и пышно, и богато.

XCIV.

Въ дворцахъ Востока роскошь колетъ глазъ,
Но никогда она тамъ не являлась
Въ соединеньи съ вкусомъ. Мнѣ не разъ
На Западѣ бывать въ дворцахъ случалось—
И тамъ безвкусье поражало васъ,
Хоть менѣе богатства замѣчалось.
Нѣтъ средства перечислить, сколько въ нихъ
Картинъ и статуй видѣлъ я плохихъ.

XCV.

Въ той комнатѣ, объятой полумракомъ,
Султанша возсѣдала, на диванъ
Облокотясь. Предупрежденный знакомъ,
Предъ нею на колѣни палъ Жуанъ,
Что до поклоновъ вовсе не былъ лакомъ.
Его смущали нравы этихъ странъ.
Передъ султаншей также евнухъ черный
Упалъ во прахъ, склонивъ главу покорно.

XCVI.

Венерой, разстающейся съ волной,
Она возстала, ихъ окинувъ взглядомъ,
Что затмѣвалъ и блескомъ, и красой
Сокровища, лежавшія тутъ рядомъ.
Кивнувъ надменно евнуху рукой,
Плѣнявшей нѣжной прелестью и складомъ,
Она его къ себѣ подозвала.
Какъ лунный свѣтъ рука ея бѣла.

XCVII.

Онъ, край ея пурпуроваго платья
Поцѣловавъ, шептаться съ нею сталъ.
Красы ея не въ силахъ описать я,
И лучше—я стихомъ бы ослѣплялъ:
Словами невозможно дать понятья
О совершенствѣ. Свѣтлый идеалъ
Лишь можетъ рисовать воображенье,
А потому и слово безъ значенья.

XCVIII

Хоть съ ней давно простилася весна
(Лѣтъ двадцать шесть ей въ это время было),
Но все жъ она была красы полна:
Иныхъ и лѣтъ не побѣждаетъ сила,—
Надъ временемъ имъ свыше власть дана.
Шотландская Марія сохранила
Красу весь вѣкъ и время не могло
Умалить блескъ Нинонъ де-Ланкло.

XCIX.

Съ величіемъ царицы, приказанье
Прислужницамъ султанша отдала.
Всѣхъ одинако было одѣянье,
Жуанъ по платью былъ изъ ихъ числа.
Казалось, такъ невинно ихъ собранье,
Что каждую изъ нихъ бы взять могла
Себѣ въ подруги чистая Діана;
Но не скрывалъ ли взглядъ такой обмана?



СМЕРТЬ ГАЙДЕ.
(The death of Haydèe).
Рис. Герберть, (I Herbert). грав. Робинзонъ (H. Robinson).

C.

Прислужницы, почтительный поклонъ
Отдавъ Гюльбеѣ, скрылися толпою,
Минуя дверь, въ которую введенъ
Былъ Донъ-Жуанъ. Богатствомъ и красою
Той пышной залы восхищался онъ.
Мнѣ жалокъ тотъ, кто, полный лишь собою,
Не признаетъ ничьихъ законныхъ правъ,
Nil admirari—лозунгомъ избравъ.

CI.

„Коль ищете вы счастья,—удивленье
Гоните прочь!“ Муррея вотъ совѣтъ
И Крича; но слова ихъ—повторенье:
Горацій, вдохновеніемъ согрѣтъ,
Давно распространялъ такое мнѣнье;
Съ нимъ Попе заодно; но если бъ свѣтъ
Не дѣлалъ мощнымъ геніямъ овацій,
Не пѣли бы ни Попе, ни Горацій.

CII.

Когда ушли прислужницы, Баба
Согнуть колѣни вновь велѣлъ Жуану
И приложиться, съ подлостью раба,
Къ ея ногѣ; но словно истукану
Онъ говорилъ.—„Грустна моя судьба!—
Вскричалъ Жуанъ во гнѣвѣ,—но не стану
Ни передъ кѣмъ достоинства ронять:
Лишь туфлю папы можно цѣловать".

CIII.

Баба, конечно, дерзостью отвѣта
Былъ возмущенъ и петлю посулилъ;
Но предъ самой невѣстой Магомета
Жуанъ бы ни за что не уронилъ
Достоинства. Законамъ этикета
Подвластны всѣ; ихъ свѣтъ всегда цѣнилъ;
Они не для одной среды придворной,—
И въ захолустьяхъ люди имъ покорны.

CIV.

Отъ бѣшенства сверкалъ Жуана взоръ;
Кастильскихъ предковъ духъ въ немъ пробудился;
Унизиться считалъ онъ за позоръ
И съ арміей скорѣе бы сразился,
Чѣмъ уступилъ. Признавъ напраснымъ споръ,
Баба уступку сдѣлать согласился
И для того, чтобъ сразу кончить бой,
Придумалъ ногу замѣнить рукой.

CV.

Успѣхомъ увѣнчалось предложенье:
Не поступилъ бы лучше дипломатъ.
Тутъ съ евнухомъ, немедля, въ соглашенье
Вступилъ Жуанъ, что былъ условью радъ.
Онъ молвилъ:—„Всякой дамѣ уваженье
Оказывать приличья намъ велятъ,
И мы всегда—такъ принято ужъ это—
Подходимъ къ ручкѣ для привѣта".

CVI.

И вотъ Жуанъ, не торопясь ничуть,
Къ рукѣ султанши подошелъ небрежно;
А врядъ ли видѣлъ онъ когда-нибудь
Такой руки породистой и нѣжной.
Восторженно устами къ ней прильнуть
Желалъ бы всякій. Ручки бѣлоснѣжной
Надъ смертными неотразима власть:
Коснешься къ ней—и въ сердцѣ дышитъ страсть.

CVII.

Окинувъ взглядомъ юношу, Гюльбея
Велѣла гордо негру скрыться съ глазъ,
И евнухъ, ей противиться не смѣя,
Исполнилъ тотчасъ данный ей приказъ,
Сказавъ Жуану тихо:—„Не робѣя,
Приблизьтесь къ ней: васъ ждетъ блаженства часъ!"
Собой довольный, евнухъ вышелъ смѣло,
Какъ будто совершилъ благое дѣло.

CVIII.

Лишь вышелъ негръ, и вмигъ она покой
Утратила, волненьемъ объята;
Кровь прилила багряною струей
Къ ея лицу. Такъ яркій лучъ заката
На облака вечернею порой
Бросаетъ отблескъ пурпура и злата.
Огонь сверкнулъ въ ея глазахъ большихъ:
И страсть, и гордость смѣшивались въ нихъ.

CIX.

Ея краса была неоспорима,
Но сатана съ ней, вѣрно, сходенъ былъ,
Когда онъ принялъ образъ херувима,
Чтобъ Еву обольстить, и тѣмъ открылъ
Неправды путь, столь смертными любимый...
Въ ней гордость охлаждала сердца пылъ;
Рабы могли идти за нею слѣдомъ,
Но рабства гнетъ ей былъ самой невѣдомъ.

CX.

Во всѣхъ ея поступкахъ и словахъ
Гордыня проявлять себя умѣла;
Всѣ предъ Гюльбеей падали во прахъ;
На шеѣ цѣпь у всякаго висѣла
Въ присутствіи ея; но развѣ страхъ—
Надежная опора? Можно тѣло
Поработить, но духъ свое возьметъ:
Онъ лишь одну свободу признаетъ.

CXI.

Ея улыбка, что красой плѣняла,
Была высокомѣрія полна;
Привѣтствіе ея—и то дышало
Надменностью; ни передъ кѣмъ она
Своей главы покорно не склоняла;
Обычаю восточному вѣрна,
За поясомъ она кинжалъ носила.
(Съ такой женой мнѣ бъ трудно ладить было!)

CXII.

Она не знала удержу ни въ чемъ.
Предъ волею ея благоговѣя,
Толпа рабовъ лишь думала о томъ,
Чтобы ея малѣйшая затѣя
Исполнена была. Такимъ путемъ—
Будь только христіанкою Гюльбея—
Открыли бъ для нея—я въ этомъ убѣжденъ—
И вѣчнаго движенія законъ.

CXIII.

Богатства ей безумно расточались
И прихотямъ ея платили дань;
Ей деньги никогда въ разсчетъ не брались:
Чего бъ ни пожелала, все достань.
Но все жъ охотно ей повиновались,
Хотя она и деспотизма грань
Переступала; женщины порою
Мирились съ нимъ, но не съ ея красою.

CXIV.

Нечаянно Жуана увидавъ,
Она его немедленно велѣла
Купить. Баба, что подлъ былъ и лукавъ,
Съ охотою взялся за это дѣло.
Могла ль она обуздывать свой нравъ?
Но хитрый негръ свой планъ обдумалъ зрѣло,
И для того, чтобъ лучше скрыть обманъ,
Дѣвицей былъ наряженъ Донъ Жуанъ.

CXV.

Возможно ли такое приключенье?
Вы странностью его поражены;
Но вами возбужденныя сомнѣнья
Султанши сами разрѣшить должны.
Скажите, развѣ рѣдкое явленье—
Обманутый монархъ? Въ глазахъ жены
Онъ только мужъ, какихъ на свѣтѣ много,
И все идетъ обычною дорогой.

CXVI.

Такихъ примѣровъ горестныхъ полна
Исторія. Но вновь вернусь къ разсказу:
Гюльбея въ томъ была убѣждена,
Что все пойдетъ какъ будто по заказу.
Вѣдь юношу пріобрѣла она
И думала, что ей удастся сразу
Его простымъ вопросомъ побѣдить;
„Христіанинъ, умѣешь ли любить?"

CXVII.

Могло бъ такъ быть; но образъ сердцу милый
Еще Жуанъ носилъ въ груди своей:
Онъ не забылъ Гайдэ, и съ новой силой
Его сдавила сердце мысль о ней;
Онъ вспомнилъ нѣжной дѣвы ликъ унылый,
Ея любовь, и—снѣга сталъ бѣлѣй.
Какъ бы пронзенный острыми стрѣлами,
Онъ залился горючими слезами.

CXVIII.

Такія слезы грудь на части рвутъ:
Ихъ горечь отравляетъ хуже яда.
Онѣ свинцомъ расплавленнымъ текутъ.
Чтобъ слезы лилъ мужчина, сердце надо
И жизнь его разбить. Тѣ слезы жгутъ.
А въ нихъ и облегченье, и отрада
Для женщинъ; мукъ онѣ смываютъ слѣдъ,—
Для насъ же безпощаднѣй пытки нѣтъ!

CXIX.

Она его утѣшить бы хотѣла,
Но какъ—совсѣмъ не знала. Съ юныхъ лѣтъ
Она съ рабами лишь имѣла дѣло,
Встрѣчая только ласки и привѣтъ.
Предъ нею проявляться скорбь не смѣла,
Ей и во снѣ не представлялось бѣдъ:
Лелѣяли ее лишь счастья грезы—
И вдругъ предъ нею проливались слезы!

CXX.

Но женщина сердечную печаль
Всегда не прочь утѣшить, и кручина
Въ ней будитъ состраданіе. Едва ль
Одну найдешь, которой сердце—льдина.
Гюльбеѣ Донъ-Жуана стало жаль.
Хоть непонятна ей была причина
Его рыданій, ими смущена,—
Невольно вдругъ заплакала она.

CXXI.

Но свѣтъ не знаетъ вѣчнаго мученья,
И, какъ всему, есть и слезамъ предѣлъ.
Жуанъ унялъ душевное волненье
И смѣло на Гюльбею посмотрѣлъ.
Въ глазахъ исчезъ послѣдній лучъ смятенья;
Хоть онъ предъ красотой благоговѣлъ,
Но все жъ не могъ переносить безъ боли
Сознанья, что онъ—жертва злой неволи...

CXXII.

Гюльбеѣ приходилось въ первый разъ
Встрѣчать отпоръ. Она весь вѣкъ внимала
Лишь лести и мольбамъ; ея приказъ
Закономъ былъ и все предъ ней дрожало;
Ей жизни стоить могъ блаженства часъ...
И что жъ? Ее опасность не смущала;
А время уносилось безъ слѣда,
Не принося желаннаго плода.

CXXIII.

Здѣсь ваше обращаю я вниманье
На то, что въ взглядахъ Сѣверъ и Востокъ
Расходятся: для нѣжнаго признанья
На Сѣверѣ дается дольше срокъ,
А тамъ одна минута колебанья
Иль замедленья—пагубный порокъ;
Мгновенно тамъ должна рождаться страстность,
Иль осрамиться вамъ грозитъ опасность.

CXXIV.

Жуанъ бы не ударилъ въ грязь лицомъ.
Но о Гайдэ онъ думалъ и страданье
Другія чувства заглушало въ немъ;
Гюльбею онъ оставилъ безъ вниманья;
Его жъ своимъ считала должникомъ
Султанша за опасное свиданье.
То вспыхнувъ вдругъ, а то какъ смéрть блѣдна,
Стояла рядомъ съ юношей она.

CXXV.

Затѣмъ она дрожащею рукою
Его схватила руку, страстный взоръ
Бросая на него съ нѣмой мольбою;
Просила ласкъ, но встрѣтила отпоръ.
Подавлена душевною борьбою,
Она сдержала гнѣвъ, и лишь укоръ
Сверкнулъ въ очахъ; но страсть въ ней бушевала,
И вотъ она въ его объятья пала.

CXXVI.

Насталъ моментъ опасный; но Жуанъ
Былъ защищенъ броней сердечной боли
И гордости; онъ выпрямилъ свой станъ
И вырвался изъ плѣна: въ рабской долѣ
Томительнѣе боль сердечныхъ ранъ.
Онъ такъ сказалъ:—„Когда орелъ въ неволѣ,
Не ищетъ онъ подруги, скорбь тая;
Разврату дань платить не буду я!...

CXXVII.

Умѣю ль я любить, ты знать хотѣла?
Суди о томъ, какъ чту любви законъ,
Коль страсть твоя мнѣ сердца не согрѣла!
Я—рабъ; нарядъ мой жалокъ и смѣшонъ;
Любовь лишь для свободныхъ; если тѣло
Поработить порою можетъ тронъ,
Заставить ползать, сдерживая страсти,
Все жъ онъ надъ сердцемъ не имѣетъ власти“.

CXXVIII.

Жуанъ сказалъ лишь правду; но границъ
Гюльбеи своеволіе не знало;
По ней, лишь для царей и для царицъ
И ихъ утѣхъ земля существовала.
Могли ль предъ нею не склоняться ницъ
Рабы, когда она повелѣвала?
Легитимизмъ до выводовъ такихъ
Доводитъ всѣхъ сторонниковъ своихъ.

CXXIX.

Къ тому жъ ее природа надѣлила
Такой красой, что нищей будь она,—
Безспорно бы надъ смертными царила,
Поклонниковъ толпой окружена.
Такой красы—неотразима сила,
А ей и власть была въ удѣлъ дана:
Вѣнецъ царицы украшалъ Гюльбею!
Кто жъ могъ не преклоняться передъ нею?

CXXX.

О, юноши! прошу припомнить васъ,
Какъ необузданъ гнѣвъ старухи страстной,
Просящей ласкъ, когда она отказъ
Встрѣчаетъ: месть ея всегда опасна;
О томъ вы, вѣрно, слышали не разъ.
Гюльбея же была вполнѣ прекрасна;
Что жъ чувствовать красавица могла,
Когда на зовъ отвѣта не нашла?

CXXXI.

Припомните, какъ поступила строго
Пентефрія супруга, Федры месть
Иль лэди Бури; жаль лишь, что немного
Въ исторіи такихъ примѣровъ есть.
На этотъ счетъ уроки педагога
Не мало пользы могутъ вамъ принесть.
Опасенъ женскій гнѣвъ; не въ силахъ дать я
О бѣшенствѣ Гюльбеи вамъ понятья.

CXXXII.

Ужасенъ гнѣвъ тигрицы, коль у ней
Дѣтенышей возьмутъ; но безъ сравненья
Бываетъ ярость женщины сильнѣй,
Что привести не можетъ въ исполненье
Облюбленныхъ желанiй и затѣй!
Терять дѣтей—тяжелое мученье;
Утрату же возможности имѣть
Ихъ въ будущемъ—еще труднѣй стерпѣть.

CXXXIII.

Страсть къ размноженью — вотъ законъ природы;
Она присуща уткамъ, тиграмъ, львамъ;
Всѣ размножать хотятъ свои породы.
Вы посѣщали ль дѣтскiя?—И тамъ
Ужасный визгъ дѣтей. Въ младые годы
Ихъ вѣчный крикъ отраденъ матерямъ.
Что жъ, этотъ фактъ наглядно подтверждаетъ,
Какъ сильно чувство, что его рождаетъ.

CXXXIV.

Сказалъ бы я, что молнiи металъ
Гюльбеи взоръ, но въ этомъ толку мало:
Въ ея очахъ всегда огонь сверкалъ.
Сказалъ бы, что лицо ея пылало,—
Но этимъ бы понятья я не далъ
О томъ, какъ кровь въ ней сильно бушевала.
Предъ ней впервые не склонялись ницъ,
За то и гнѣвъ ея не зналъ границъ!

CXXXV.

Ужасный гнѣвъ продлился лишь мгновенье,
А то ее навѣрно бъ онъ убилъ;
Не можетъ долго длиться изступленье;
Зловѣщiй этотъ мигъ соединилъ
Въ ея душѣ всѣ адскiя мученья;
Ревущiй океанъ съ ней сходенъ былъ,
Когда онъ точитъ скалы съ злобой фурiй;
Она жъ была одушевленной бурей.

CXXXVI.

Такую ярость съ вспышкой не сравнить,
Какъ ураганъ съ дыханiемъ зефира;
Все жъ не луну хотѣлось ей схватить,
Какъ Готспуру безсмертнаго Шекспира.
Хотѣлось ей „убить, убить, убить!“
(Припомните слова сѣдого Лира).
Но пылъ ея въ концѣ концовъ угасъ
И слезы градомъ хлынули изъ глазъ.

CXXXVII.

Грозой въ ней гнѣвъ проснулся и грозою
Безъ словъ пронесся мимо. Женскiй стыдъ
Впервые пробудился въ ней рѣкою,
Что прорвала плотину и шумитъ;
Ея онъ душу наводнилъ собою,
Невыносима боль такихъ обидъ.
Хоть раны ихъ и жгучи и глубоки,
Полезны и царямъ порой уроки.

CXXXVIII.

Они напоминаютъ имъ про связь,
Что сочетаетъ смертныхъ, и понятье
Даютъ о томъ, что все же мы—не грязь,
Хоть созданы изъ праха; что, какъ братья,
Горшки и урны сходны; что, гордясь
Породой или саномъ, отъ объятiй
Зловѣщей смерти все же не уйдешь...
Какъ иногда такой урокъ хорошъ!

CXXXIX.

Сперва ей мысль пришла убить Жуана,
Затѣмъ въ себѣ любовь къ нему убить,
Затѣмъ, не одобряя эти планы,
Ей захотѣлось зло его язвить,
Затѣмъ улечься спать, хоть было рано,
Потомъ кинжаломъ грудь себѣ пронзить—
Потомъ дать порку негру, въ знакъ привѣта;
Но лишь слезами кончилось все это.

CXL.

Убить себя хотѣлось ей съ тоски,
Да подъ бокомъ она кинжалъ носила,
А на Востокѣ ткани такъ легки,
Что въ мигъ одинъ ее бы сталь пронзила;
Убить Жуана было бъ ей съ руки,
И что жъ?—она рѣшенье измѣнила:
Вѣдь средство плохо, что ни говорить,
Снять голову, чтобъ сердце побѣдить.

CXLI.

Жуанъ былъ сильно тронутъ; съ горькой долей
Мирился онъ и въ томъ былъ убѣжденъ,
Что свѣта дня ужъ не увидитъ болѣ
И что въ мученьяхъ жизнь окончитъ онъ.
Грѣшить онъ могъ, своей согласно волѣ;
Ее лишь признавая какъ законъ,
Онъ презрѣлъ бы и пытки, и угрозы;
Но женщины его смутили слезы.

CXLII.

Онъ потерялъ рѣшимость и, во всемъ
Себя виня, отказу сталъ дивиться
(Но почему, не знаю). Онъ о томъ
Сталъ думать, какъ бы съ нею помириться;
Жалѣлъ онъ, что пошелъ такимъ путемъ,
Какъ инокъ, что обѣтомъ тяготится,
Иль женщина замужествомъ своимъ.
Сдержать обѣтъ тогда возможно ль имъ?

CXLIII.

Онъ смутно бормотать сталъ извиненья,
Но въ этихъ обстоятельствахъ слова—
Пустые звуки, чуждые значенья;
Поэзія и та свои права
Утратила бъ въ подобномъ положеньи.
Гюльбея стала таять; но едва
Клониться къ примиренью стало дѣло,
Вошелъ Баба смущенно и несмѣло,—

CXLIV.

„Подруга солнца и сестра планетъ",—
Такъ евнухъ ей сказалъ, потупя взоры,—
Передъ тобой склоняется весь свѣтъ,
Свѣтилъ и тѣхъ тебѣ послушны хоры.
Отъ солнца я тебѣ несу привѣтъ,
Оно само появится здѣсь скоро.
Какъ свѣтлый лучъ, я посланъ имъ впередъ.
Надѣюсь, своевременъ мой приходъ".

CXLV.

Она сказала:—„На его сіянье
Лишь завтра мнѣ хотѣлось бы взглянуть.
Ну, что жъ, зови альмей; пусть ихъ собранье
Вокругъ меня блеститъ, какъ млечный путь;
А ты, гяуръ, коль есть въ тебѣ желанье
Проступокъ свой загладить чѣмъ-нибудь,
Устройся такъ, чтобъ между ними скрыться,—
Султанъ идетъ и надо торопиться".

CXLVI.

Дворецъ, что былъ какъ будто пустъ и нѣмъ,
Вдругъ ожилъ, облитой горячимъ свѣтомъ;
Явились одалиски и затѣмъ
Всѣ евнухи; согласно съ этикетомъ,
Султанъ, когда свой посѣщалъ гаремъ,
Заранѣе предупреждалъ объ этомъ.
Гюльбею изъ своихъ законныхъ женъ
Любилъ и баловалъ всѣхъ больше онъ

CXLVII.

Султанъ былъ строгъ и видъ имѣлъ надменный;
Крамолой возведенный въ санъ священный,
Не брился онъ и не снималъ чалмы;
На тронъ вступилъ онъ прямо изъ тюрьмы.
Онъ смертный былъ вполнѣ обыкновенный
(Да въ Турціи назвать не можемъ мы
Ни одного великаго султана,
За исключеньемъ развѣ Солимана).

CXLVIII.

Обряды всѣ онъ свято исполнялъ,
Какъ долгъ велитъ намѣстнику Пророка;
Визирь же государствомъ управлялъ,—
Въ занятіяхъ султанъ не видѣлъ прока.
Онъ женами обманутъ ли бывалъ,
Намъ не узнать: по правиламъ Востока,
Разводовъ нѣтъ; считая ихъ за срамъ,
Въ повиновеньи держатъ женщинъ тамъ.

CXLIX.

Онѣ идутъ указанной дорогой.
Когда жъ порой случается грѣшокъ,
О преступленьи говорятъ не много:
Скрываютъ тайну море и мѣшокъ.
Хоть тамъ не существуетъ прессы строгой,
Безжалостно бичуется порокъ;
Напрасно будетъ онъ искать защиты,—
И грѣхъ наказанъ да и рыбы сыты.

CL.

Что мѣсяцъ—шаръ, султанъ былъ убѣжденъ;
Но о землѣ онъ былъ иного мнѣнья.
Могуществомъ своимъ гордился онъ,
Хотя не зналъ границъ своихъ владѣній;
Возстаньями порой бывалъ смущенъ,
Но ихъ считалъ лишенными значенья,—
Вѣдь никогда съ тѣхъ поръ, какъ онъ царилъ,
До „Семи Башенъ" врагъ не доходилъ.

CLI.

Въ ту крѣпость лишь порою попадали
Посланники воюющихъ державъ,
За то, что много лишняго болтали,
Не признавая Порты вѣскихъ правъ;
Ихъ мѣрами крутыми пріучали
Свой сдерживать неукротимый нравъ;
Сажали ихъ въ твердыню „Семи Башенъ"
Для прекращенья всякихъ смутъ и шашенъ.

CLII.

Султанъ отцомъ громадной былъ семьи;
Десятками его дѣтей считали;
Принцессъ въ дворцахъ держали взаперти
До свадьбы; за пашей ихъ выдавали;
Иныхъ вѣнчали даже лѣтъ шести.
Вы этому повѣрите едва ли,
Но важная на то причина есть:
Богатый даръ обязанъ зять принесть.

CLIII.

Тамъ принцевъ крови незавидна доля:
Они свой вѣкъ влачатъ въ тюрьмѣ глухой;
Что ждетъ ихъ— тронъ, веревка иль неволя—
Про то извѣстно лишь судьбѣ одной;
Ихъ ничему не учатъ; лѣнь—ихъ холя;
И если взвѣсить, то изъ нихъ любой
(Такъ хороша имъ пройденная школа)
Равно достоинъ петли иль престола.

CLIV.

Войдя, его величество султанъ
Привѣтствовалъ жену съ церемоньяломъ,
Что требовалъ ея высокій санъ
Она къ нему съ радушьемъ небывалымъ
Пошла навстрѣчу. Ласкою обманъ
Жена желаетъ скрыть. Ей покрываломъ
Притворство служитъ. Грѣшная жена
Всегда къ супругу нѣжности полна.

CLV.

Султанъ окинулъ взглядомъ все собранье
И на Жуана въ сонмѣ юныхъ женъ
Невольно обратилъ вниманье;
Онъ этимъ видомъ не былъ пораженъ,
Но у Гюльбеи замерло дыханье.
„Я вижу,—такъ женѣ замѣтилъ онъ,—
„Что у тебя есть новая служанка;
Мнѣ жаль, что такъ красива христіанка!"

CLVI.

Султана необычная хвала
Какъ громомъ все собранье поразила
И взоры всѣхъ къ Жуану привлекла;
Любезность эта и его смутила:
Чѣмъ дочь гяура въ честь попасть могла?
Волненье всѣхъ невольно охватило
И если бъ не придворный этикетъ,
Гаремъ бы поднялъ шумъ, сомнѣнья нѣтъ.

CLVII.

Отчасти турки дѣлаютъ прекрасно,
Что держатъ взаперти своихъ супругъ;
Свобода тамъ для женщины опасна,
Гдѣ яркіе лучи бросаетъ Югъ;
На Сѣверѣ такъ поступать напрасно:
Тамъ каждый смертный нравственности другъ
И бѣлъ, какъ снѣгъ; но жгучія отравы,
Что Югъ вливаетъ въ жилы, губятъ нравы.

CLVIII.

Вотъ почему Востокъ неумолимъ
И бѣдныхъ женщинъ держитъ въ черномъ тѣлѣ;
Свобода даже и не снится имъ;
Тамъ цѣпи брака—цѣпи въ самомъ дѣлѣ.
Такихъ воззрѣній вредъ неоспоримъ;
Гаремъ своей не достигаетъ цѣли,
И многоженство этому виной,—
Ну, то ли жить съ одной женой!

CLIX.

Здѣсь отдохнуть немного я намѣренъ;
Хоть бодръ еще и силенъ мой Пегасъ,
Но правиламъ эпическимъ я вѣренъ,
Вѣдь классики такъ дѣлали не разъ.
Какъ видите, примѣръ ихъ не потерянъ.
Вздохнувъ, опять примуся за разсказъ.
Такъ отдыхать случалось и Гомеру,
И я его послѣдую примѣру.



Предисловіе къ пѣонямъ VI, VII и VIII.

Подробности осады Измаила въ двухъ изъ нижеслѣдующихъ пѣсенъ (т. е. въ VII-й и VIII-й) взяты изъ французской книги—„Histoire de la Nouvelle Russie". Нѣкоторые эпизоды изъ приключеній Донъ-Жуана, происходили въ дѣйствительности, какъ, напримѣръ, спасеніе малютки. Это случилось съ покойнымъ герцогомъ Ришелье, въ то время волонтеромъ на русской службѣ, а позже основателемъ и благодѣтелемъ Одессы, гдѣ его имя и память всегда будутъ окружены почетомъ.

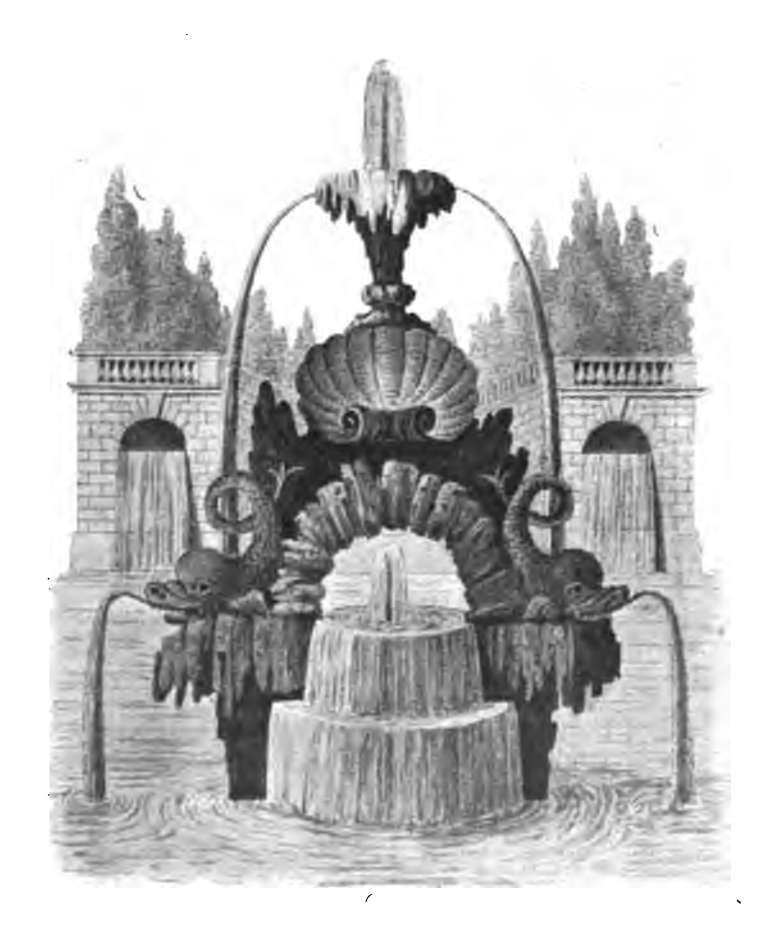
Одна или двѣ строфы въ этихъ пѣсняхъ относятся къ покойному маркизу Лондондери; но онѣ были написаны за нѣсколько времени до его смерти. Если бы олигархія маркиза умерла съ нимъ, я бы выпустилъ эти строфы; но я не вижу въ обстоятельствахъ его смерти или его жизни ничего такого, что должно помѣшать свободно выражать общее мнѣніе всѣхъ, порабощеніе которыхъ составляло цѣль всей его жизни. Можетъ быть, въ частной жизни онъ былъ милымъ человѣкомъ, хотя возможно, что онъ и не былъ таковымъ, но до этого обществу нѣтъ дѣла. Оплакивать же его смерть будетъ достаточно времени, когда Ирландія перестанетъ скорбѣть о его рожденіи. Что касается его дѣятельности какъ министра, то я, вмѣстѣ со многими милліонами людей, считалъ его самымъ деспотичнымъ въ своихъ замыслахъ и самымъ слабымъ по уму изъ всѣхъ тирановъ. Дѣйствительно, впервые со времени норманновъ, Англія терпѣла обиды отъ министра, неумѣвшаго даже говорить по-англійски, и парламентъ подчинялся приказамъ, отданнымъ на языкѣ Шеридановской м-ссъ Малапропъ.

О смерти его можно только сказать, что если бы какой нибудь несчастный радикалъ, какъ, напр., Вадингтонъ или Ватсонъ, перерѣзалъ себѣ горло, то его бы просто зарыли на перекресткѣ. Но министръ былъ изящнымъ безумцемъ—чувствительнымъ самоубійцей; онъ только перерѣзалъ себѣ сонную артерію (да будетъ благословенна ученость!), и его хоронятъ съ почестями въ Вестминстерскомъ аббатствѣ! Газеты полны скорбныхъ стенаній, коронеръ произноситъ хвалебную рѣчь надъ окровавленнымъ тѣломъ умершаго (вотъ Антоній, достойный такого Цезаря), и раздаются тошнительныя лицемѣрныя рѣчи заговорщиковъ противъ всего искренняго и честнаго. Смерть его была такова, что законъ долженъ былъ считать его однимъ изъ двухъ—или преступникомъ или сумасшедшимъ,—и въ томъ и въ другомъ случаѣ панегирики ему были неумѣстны. Въ жизни своей онъ былъ—тѣмъ, что всѣ знаютъ и что половина міра будетъ чувствовать еще много лѣтъ, если только его смерть не послужитъ урокомъ для оставшихся въживыхъ европейскихъ Сеяновъ. Утѣшительно, по крайней мѣрѣ, что гонители народа не всегда бываютъ счастливыми людьми и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ они сами осуждаютъ свои дѣла и предвосхищаютъ приговоръ человѣчества. Забудемъ объ этомъ человѣкѣ; и пусть Ирландія извлечетъ прахъ своего Гратана изъ Вестминстера. Неужели патріотъ человѣчества долженъ покоиться рядомъ съ Вертеромъ политики!!!

Что касается до другого рода неудовольствій, возбужденныхъ уже изданными пѣснями настоящей поэмы, то я удовольствуюсь двумя цитатами изъ Вольтера:—„Цѣломудріе покинуло сердца и пріютилось на устахъ"... „Чѣмъ болѣе падаютъ нравы, тѣмъ сдержаннѣе становится выраженіе: люди

возмѣстить скромностью рѣчи утрату добродѣтели".

Эти слова вполнѣ примѣнимы къ низкимъ лицемѣрамъ, отравляющимъ современное англійское общество, и это единственный отвѣтъ, котораго они заслуживаютъ. Избитая и щедро расточаемая кличка богохульника, вмѣстѣ съ кличками радикала, либерала, якобинца и т. д., ежедневно повторяется продажными писаками, и прозвища эти должны быть пріятны всѣмъ, кто помнитъ, къ кому они первоначально примѣнялись. Сократъ и Іисусъ Христосъ были казнены за богохульство, и вслѣдъ за ними были и будутъ осуждаемы за ту же вину многіе, осмѣлившіеся возстать противъ попранія имени Господня и насилія надъ человѣческими чувствами. Но преслѣдованіе не означаетъ опроверженія и даже торжества: „несчастный еретикъ", какъ его называютъ, вѣроятно, счастливѣе въ своей тюрьмѣ, чѣмъ самый надменный изъ его преслѣдователей. Я не касаюсь его убѣжденій — они могутъ быть вѣрны или ложны, но онъ за нихъ страдалъ, и самое страданіе во имя совѣсти привлекаетъ больше прозелитовъ деизму, чѣмъ примѣръ иновѣрныхъ прелатовъ—сторонниковъ христіанству, чѣмъ самоубійство государственныхъ дѣятелей создастъ приверженцевъ насилія, чѣмъ примѣръ преуспѣвающихъ человѣкоубійцъ привлечетъ союзниковъ безбожному союзу, который оскорбляетъ міръ, присвоивъ себѣ названіе „Священнаго". Я вовсе не хочу попирать обезчещенныхъ или мертвыхъ людей, но было бы хорошо, если бы представители классовъ, изъ которыхъ эти люди вышли, нѣсколько умѣрили свое ханжество; оно составляетъ самое позорное пятно нашего неискренняго, лживаго времени себялюбивыхъ хищниковъ и... Но я кончаю на этотъ разъ. Пиза, іюль, 1822.



ПѢСНЬ ШЕСТАЯ.

I.

„Минуты есть прилива и отлива
Въ дѣлахъ людей“ — такъ говоритъ Шекспиръ
Воспользуйся минутою счастливой—
И жизнь ты превратишь въ роскошный пиръ;
Но пропустить ее инымъ не диво.
Сознаться надо, странно созданъ міръ:
Одинъ конецъ имѣетъ лишь значенье;
Гдѣ думаешь погибнуть, тамъ—спасенье.

II.

Приливы и отливы тоже есть
Въ дѣлахъ и жизни женщинъ. Это—море,
Котораго теченій и не счесть;
Довѣриться ему—бѣда и горе.
Мужчиной правятъ воля, умъ и честь;
А женщина съ разсудкомъ часто въ ссорѣ,
Она лишь сердцу щедро платитъ дань;
Кто прихотямъ ея укажетъ грань?

III.

Красавица, что жертвовать готова
Вселенной, трономъ, жизнью, чтобы пасть
Лишь къ милому въ объятья; что оковы
Не признаетъ и вѣритъ только въ страсть—
Опасна всѣмъ: ея всесильны ковы;
Съ ней демона сравниться можетъ власть,
Коль демонъ есть; когда она полюбитъ,—
Отдавшись ей, кто душу не погубитъ!..

IV.

Не разъ страдалъ отъ честолюбцевъ свѣтъ
И кровь, по ихъ винѣ, лилась рѣкою;
Когда же страсть—причина тяжкихъ бѣдъ,
Мириться съ зломъ готовы мы порою.
Безсмертіе не славою побѣдъ
Стяжалъ Антоній; жертвуя собою
Для Клеопатры, власть утратилъ онъ,
Но славенъ сталъ, хоть былъ и побѣжденъ.

V.

Мнѣ жаль, что сорокъ лѣтъ тогда ей было,
Да и Антоній былъ довольно старъ.
Любовь лишь въ цвѣтѣ лѣтъ—восторгъ и сила;
Цѣной всѣхъ царствъ ея не купишь чаръ,
Какъ молодость пройдетъ. Я отдалъ милой,
За неимѣньемъ царствъ, безцѣнный даръ:
Я отдалъ ей всѣ грезы первой страсти;
Ихъ воскресить, увы, не въ нашей власти!

VI.

Даръ юности такъ примется ль отъ насъ,
Какъ лепта отъ вдовицы—неизвѣстно;
Но все скажу, что безъ любви прикрасъ
На свѣтѣ было бъ холодно и тѣсно.
„Богъ есть любовь“,—твердили намъ не разъ,
Но и любовь вѣдь тоже богъ прелестный;
По крайней мѣрѣ имъ она была,
Когда земля не знала слезъ и зла.

VII.

Оставилъ я въ опасномъ положеньи
Героя, хоть совсѣмъ не жалокъ онъ.
Запретный плодъ вкушать вѣдь наслажденье,
Но горе, коль проступокъ уличенъ:
Султаны не имѣютъ снисхожденья
Къ такимъ грѣхамъ. Не такъ судилъ Катонъ:
Прославленный герой любезно другу
На время уступилъ свою супругу.

VIII.

Я не могу Гюльбею не хулить,
Хотя бъ хула сулила мнѣ напасти;
Но я привыкъ лишь правду говорить.
Гюльбеи умъ былъ слабъ, а сильны страсти;
Вотъ почему, быть можетъ, измѣнить
Она рѣшилась мужу. Мало власти,—
Нужна любовь. Султанъ же много женъ
Имѣлъ, притомъ ужъ былъ немолодъ онъ.

IX.

Коль вычисленья я себѣ позволю,
Плачевны будутъ выводы мои:
Султанъ былъ старъ, а женъ имѣлъ онъ вволю;

Имъ—каждой—доказательства любви
Лишь выпадали изрѣдка на долю...
Такъ плохо жить, когда огонь въ крови.
Гюльбея щедро страсти дань платила,
А сердцу постоянство только мило.

X.

Въ любви у женщинъ нравъ неукротимъ;
Ревниво защищать свои владѣнья
Онѣ всегда готовы. Горько имъ
Сносить такой позоръ, какъ нарушенье
Ихъ вѣскихъ правъ, и уступать другимъ
Хоть часть того, что въ ихъ распоряженьи.
Невыносима боль такихъ обидъ,
И женщина всегда за нихъ отмститъ.

XI.

Востоку тоже не легко измѣны
Переносить; нерѣдко жены тамъ
Изъ ревности готовы дѣлать сцены
Не въ мѣру расходившимся мужьямъ.
Конечно, нѣтъ у нихъ такой арены
Для дѣйствій, какъ у христіанскихъ дамъ,
Но все жъ ихъ страсти сильны и глубоки.
Кровавыхъ драмъ не мало на Востокѣ.

XII.

Гюльбею больше всѣхъ изъ женъ своихъ
Любилъ султанъ; но было ль ей пріятно
Съ нимъ ложе раздѣлять въ числѣ другихъ?
Мнѣ многоженство просто непонятно;
Не мало отъ него послѣдствій злыхъ,
Не говоря о скукѣ необъятной,
Что порождаетъ горечь вѣчныхъ смутъ.
Съ одной женой и то справляться трудъ.

XIII.

Великій падишахъ... (Подобострастно
Къ монархамъ относиться всякій радъ;
Предъ ними преклоняться всѣ согласны,
Пока червякъ, голодный демократъ,
Ихъ въ кормъ не обратитъ). Съ улыбкой страстной
Султанъ, любовью пламенной объятъ,
Приблизился къ Гюльбеѣ. Онъ за это
Ждалъ отъ нея и ласки и привѣта.

XIV.

Но здѣсь оговорюсь я; дѣло въ томъ,
Что ласкамъ можемъ вѣрить не всегда мы,—
Въ нихъ часто ложь. Со шляпой иль чепцомъ,
Что въ видѣ украшенья носятъ дамы,
Онѣ сходны,—вѣдь сбросить нипочемъ
Уборъ, что только роль играетъ рамы:
Онъ къ головѣ нисколько не пришитъ;
Такъ и при ласкахъ часто сердце спитъ.

XV.

Стыда румянецъ, трепетъ сладострастья,
Что женщина готова скрыть скорѣй,
Чѣмъ выказать, невольный вздохъ участья—
Вотъ признаки любви; ихъ нѣтъ вѣрнѣй;
Для женщины тогда свиданье—счастье;
Кривить душой тогда къ чему же ей?
Для истинной любви всегда опасность—
Излишняя холодность, также страстность.

XVI.

Притворный пылъ на скользкій путь ведетъ;
Но если жаръ излишній и неложенъ,
Не можетъ длиться онъ—всегда разсчетъ
На чувственность и плохъ, и ненадеженъ.
Такого капитала переходъ
Въ другія руки съ легкостью возможенъ
При малой скидкѣ. Также неумны
Тѣ женщины, что слишкомъ холодны.

XVII.

Холодности насъ сердитъ видъ унылый;
Кто не лелѣетъ свѣтлую мечту—
Забросить искру страсти въ сердце милой?
Сердечный холодъ губитъ красоту;
Иной отдать готовъ и жизнь, и силы,
Чтобы найти взаимность „Medio tu
Tutissimus ibis"—такъ гласитъ Горацій;
Его слова—девизъ любви всѣхъ націй.

XVIII.

Здѣсь слово „tu" излишне, но мой стихъ
Нуждался въ немъ, и, не имѣя права,
Его вклеилъ я: вышла изъ плохихъ
Съ гекзаметромъ вставнымъ моя октава.
Просодія не признаетъ такихъ
Погрѣшностей, что для стиха отрава
Но все жъ въ цитатѣ нравственный урокъ;
Читателю пойти онъ можетъ въ прокъ.

XIX.

Гюльбея ловко справилась съ задачей.
Успѣхъ вѣнчаетъ дѣло; нуженъ онъ
Въ любви, какъ въ туалетѣ; все—въ удачѣ!
Увы, неправдѣ міръ воздвигнулъ тронъ!
Лгутъ дамы; намъ же поступать иначе
Порой нельзя. Но всѣмъ любовь—законъ;

Страсть къ размноженью насъ весь вѣкъ тревожитъ
И въ насъ ее убить лишь голодъ можетъ.

XX.

Итакъ, пусть спятъ султанша и султанъ.
Кровать—не тронъ; имъ можетъ сладко спаться.
Но на яву какъ горестенъ обманъ,
Гдѣ мы мечтали жизнью наслаждаться!..
Житейскихъ неудачъ тяжелъ изъянъ;
Намъ съ легкими порой труднѣй справляться,
Чѣмъ съ крупными; ихъ губитъ душу ядъ;
Такъ камень пробиваетъ капель рядъ.

XXI.

Сварливая жена; упрямый съ дѣтства
Ребенокъ-неслухъ; конь, что захромалъ;
Жидовскій долгъ, что заплатить нѣтъ средства;
Шалунъ капризный; песъ, что боленъ сталъ;
Старуха, что лишила насъ наслѣдства,
Другимъ отдавъ желанный капиталъ,—
Все это вздоръ; но можно ль безъ страданья
Переносить такія испытанья?

XXII.

Людей, скотовъ, а также векселя
Я отправляю къ чорту, какъ философъ;
Конечно, исключаю женщинъ я
Изъ этихъ добровольныхъ чорту взносовъ.
Въ мечты погружена душа моя;
Но что душа и мысль?—Такихъ вопросовъ
Не разрѣшить,—ихъ смыслъ сокрытъ для всѣхъ,—
И ихъ отправить къ чорту бы не грѣхъ.

XXIII.

Все проклинать я изъявилъ согласье.
Но что мои проклятья?—Звукъ пустой.
Анаѳема святого Аѳанасья—
Вотъ образецъ, какъ попирать ногой
Лежачаго врага. Читалъ не разъ я
Съ глубокимъ умиленьемъ трудъ святой;
Въ молитвенникахъ всѣхъ творенье это—
Какъ радуга блеститъ во время лѣта.

XXIV.

Заснулъ султанъ, но не его жена.
Какъ тяжелы для женъ преступныхъ ночи!
Ихъ страсть томитъ, онѣ не знаютъ сна,
И свѣта ждутъ усталыя ихъ очи.
А ночь все длится, призраковъ полна,
Которыхъ отогнать—увы!—нѣтъ мочи;
Онѣ лежатъ въ жару, боясь къ тому жъ,
Чтобъ не проснулся нелюбимый мужъ...

XXV.

Ни мягкій пухъ подушки бѣлоснѣжной,
Ни балдахинъ изъ ткани дорогой
Отъ муки не спасаютъ неизбѣжной,
Когда проснется страсти роковой
Въ груди жены преступной пылъ мятежный.
Какъ трудно ей владѣть собой!..
Супружество, конечно, лотерея,
И въ этомъ вамъ живой примѣръ Гюльбея.

XXVI.

Вотъ удалиться всѣмъ сигналъ былъ данъ.
Красавицы, поклонъ отвѣсивъ низкій,
Направились къ сералю. Донъ Жуанъ,
Къ нимъ, какъ извѣстно, по одеждѣ близкій,
Пошелъ въ гаремъ, какъ приказалъ султанъ.
Безмолвно удалились одалиски,
А жажда страсти ихъ вздымала грудь.
Такъ птичка въ клѣткѣ къ волѣ ищетъ путь.

XXVII.

Калигула—что за злодѣй, о Боже!—
Жалѣлъ, что не съ одною головой
Весь міръ, чтобъ отрубить ее... Я тоже,
Какъ онъ, томился странною мечтой
Въ другомъ лишь родѣ (былъ я помоложе);
Желалъ я, чтобы женщинъ свѣтлый рой
Имѣлъ одни уста, чтобъ въ упоеньи
Расцѣловать ихъ всѣхъ въ одно мгновенье.

XXVIII.

Завидую тебѣ, о Бріарей,
Коль у тебя такъ разныхъ членовъ много,
Какъ рукъ и главъ; но все женой твоей
Не суждено моей быть музѣ строгой,—
Женою стать Титана страшно ей;
Къ тому жъ намъ въ Патагонью не дорога.
Итакъ, примуся снова за разсказъ
И къ лилипутамъ вновь верну я васъ.

XXIX.

Жуанъ оставилъ царскія палаты
И двинулся съ толпою юныхъ женъ
Къ гарему, сладкимъ трепетомъ объятый.
Конечно, рисковалъ не мало онъ...
(Вѣдь за безчестье въ Турціи нѣтъ платы,

И такса только въ Англіи законъ!)
Жуанъ, забывъ опасность, страстнымъ взглядомъ
Впиваться сталъ въ альмей, съ нимъ шедшихъ рядомъ.

XXX.

Но роли онъ не забывалъ своей.
Въ сопровожденьи евнуховъ, толпою
По анфиладѣ залъ и галлерей
Шли чинно одалиски. За собою
Начальница вела ихъ. Передъ ней
Дрожалъ гаремъ. За нравовъ чистотою
Ей наблюдать былъ строгій данъ приказъ.
Она въ гаремѣ „матерью" звалась.

XXXI.

„Мать дѣвъ" въ дворцѣ султана—титулъ лестный
(Де-Тотъ и Кантемиръ вамъ указать
На это могутъ), все жъ мнѣ неизвѣстно,
Была ль старуха въ самомъ дѣлѣ мать,
И было ли притомъ вполнѣ умѣстно
Названье дѣвъ дѣвицамъ тѣмъ давать.
Старуха ихъ держала въ черномъ тѣлѣ,
Чтобы онѣ пошаливать не смѣли.

XXXII.

Нетрудно было ей исполнить долгъ,—
Затворы помогали ей и стѣны
И евнуховъ усердныхъ цѣлый полкъ.
Коль нѣтъ мужчинъ, возможны ли измѣны?
Тогда въ такомъ надзорѣ есть ли толкъ?
Въ гаремѣ дни неслись безъ перемѣны.
Въ Италіи такъ въ кельяхъ жизнь течетъ;
Для страсти тамъ одинъ исходъ.

XXXIII.

Какой же?—Благочестье съ чистотою.
Нескромны вы, такой вопросъ мнѣ давъ.
Я продолжаю. Тихою стопою
Альмеи шли, свой сдерживая нравъ;
Такъ лиліи уносятся рѣкою.
Но вѣдь рѣка быстра, и я неправъ:
Онѣ шли тихо. Съ озеромъ, что нѣмо,
Сходнѣе было шествіе гарема.

XXXIV.

Когда онѣ къ себѣ домой пришли
И стража скрылась,—какъ мальчишки въ школѣ,
Какъ волны, что плотину унесли,
Какъ птички, какъ безумные на волѣ,
Какъ жены, что свободу обрѣли,
Иль какъ ирландцы на базарномъ полѣ,—
Онѣ всѣ разомъ, словно сговорясь,
Запѣли вдругъ, танцуя и смѣясь.

XXXV.

Конечно, занялись всѣ безъ изъятья
Подругой новой. Толки любитъ свѣтъ:
Нашли онѣ, что не къ лицу ей платье,
Что у нея безспорно вкуса нѣтъ,
Что о серьгахъ у ней нѣтъ и понятья;
Не всѣмъ она казалась въ цвѣтѣ лѣтъ;
Нашли, что ростъ мужской она имѣла,
Жалѣя, что лишь въ этомъ сходствѣ дѣло.

XXXVI.

Однако же всѣ согласились въ томъ,
Что новая пришелица прекрасна;
Что въ Грузіи красивѣе лицомъ
Отыскивать невольницу напрасно;
Смѣшно вводить такихъ красавицъ въ домъ,—
То можетъ для Гюльбеи быть опасно:
Въ султанѣ къ ней остыть вѣдь можетъ страсть;
Тогда другой онъ дастъ любовь и власть.

XXXVII.

Всего страннѣй, что, осмотрѣвъ подругу,
Ея не разнесли и въ пухъ, и въ прахъ;
Такого безпристрастія въ заслугу
Нельзя не ставить имъ. Во всѣхъ странахъ
Несправедливы женщины другъ къ другу;
На то причины: ревность, зависть, страхъ.
Красивыхъ лицъ онѣ не переносятъ
И красоту всегда, вездѣ поносятъ.

XXXVIII.

Гаремъ, что на хвалы не тратилъ словъ,
Себѣ позволилъ сдѣлать исключенье;
Но вѣрно есть симпатіи половъ,—
Къ Жуану непонятное влеченье
Я объяснить такимъ путемъ готовъ.
Что эта сила: вражье навожденье
Иль магнетизмъ?.. Предметъ мнѣ незнакомъ,
И спора я не подниму о томъ.

XXXIX.

Симпатіей ихъ грудь была объята
Къ подругѣ юной. Дружбою святой
То чувство было новое богато;
Инымъ хотѣлось звать ее сестрой;
Другимъ въ ней было бъ лестно видѣть брата,
Что предпочли бъ въ странѣ своей родной
И самому намѣстнику Пророка,—
Красавца какъ не полюбить глубоко!..

XL.

Изъ юныхъ женъ, что помѣщалъ гаремъ,
Она троимъ понравилась всѣхъ болѣ
И головы вскружила имъ совсѣмъ:
Дуду роскошной, Катенькѣ и Лолѣ.
Краса въ удѣлъ досталася имъ всѣмъ,
Но даже въ незначительнѣйшей долѣ
Никто бы сходства въ нихъ найти не могъ;
Лишь дружбы пылъ сойтися имъ помогъ.

XLI.

Смугла и горяча, какъ индіанка,
Казалась Лола. Въ Катенькѣ собой
Плѣняла ножка, гордая осанка
И глазокъ голубыхъ огонь живой,
Что для любви услада и приманка.
Ей Грузія была родной страной.
Въ Дуду дышали лѣнь и сладострастье.
Кто не нашелъ бы съ ней восторговъ счастья!

XLII.

Съ Венерою заснувшею сходна
Была Дуду; но всякій, я увѣренъ,
Любуясь ей, лишиться могъ бы сна.
Красѣ античный типъ ея былъ вѣренъ.
Быть можетъ, черезчуръ была полна
Дуду, но все жъ я вовсе не намѣренъ
Ее хулить и, право, бы не могъ
Въ ней отыскать какой-нибудь порокъ.

XLIII.

Въ ней не было большого оживленья,
Но утромъ мая вѣяло отъ ней;
Въ ея лицѣ читалося томленье
И нѣга умѣряла блескъ очей.
На умъ пришло мнѣ новое сравненье:
Со статуей, что создалъ Прометей,
Когда въ ней жизнь впервые закипѣла,
Мою Дуду могу сравнить я смѣло.

XLIV.

—„А какъ,—спросила Лола,—звать тебя?"
—„Жуанною".—„Какъ мило имя это!"
—„Откуда ты?"—сказала Катя.—„Я—
Испанка".—„Но въ какой же части свѣта
Испанія?" „О, милая моя,
На твой вопросъ позорно ждать отвѣта!
Испанія—то островъ, что лежитъ
Близъ Африки. Того не вѣдать—стыдъ!"

XLV.

Въ невѣжествѣ такъ Катю укоряла
Язвительная Лола. Томныхъ глазъ
Дуду съ Жуанны милой не спускала;
Рукой ей кудри гладила не разъ,
Играя молча тканью покрывала.
Притомъ вздыхать случалось ей подчасъ
По добротѣ; ей было жаль бѣдняжки,
Которой крестъ нести достался тяжкій.

XLVI.

Начальница къ дѣвицамъ подошла.
—„Пойти на отдыхъ намъ теперь бы кстати,—
Она сказала:—Жаль, что не могла
Я для Жуанны отыскать кровати.
Конечно, завтра справлю всѣ дѣла
(Гаремъ, едва дыша, ловилъ слова тѣ)...
Но все жъ грѣху мнѣ слѣдуетъ помочь,
И съ ней должна провесть я эту ночь".

XLVII.

На это Лола молвила:—„Мамаша!
Я въ вѣкъ не допущу, чтобъ кто нибудь
Васъ безпокоить сталъ: здоровье ваше
Изъ слабыхъ; не придется вамъ заснуть.
Я лягу, такъ и быть, съ подругой нашей;
Сейчасъ же укажу ей къ спальнѣ путь".
Тутъ Катенька вдругъ закричала:—„Что же,
И я готова раздѣлить съ ней ложе.

XLVIII.

Къ тому же спать боюся я одна.
Когда я въ спальнѣ, страхъ мнѣ сердце гложетъ:
Мнѣ чудится, что комната полна
Уродливыхъ чертей; меня тревожитъ
Ихъ сонмъ; порой совсѣмъ не знаю сна.
Заснуть подруга вѣрно мнѣ поможетъ".
—„Коль это такъ—старуха ей въ отвѣтъ,—
Не спать Жуаннѣ, въ томъ сомнѣнья нѣтъ!

XLIX.

„Нѣтъ, не отправлю Лолу я съ Жуанной",
Сказала мать:—„на то причины есть.
У Катеньки привычки тоже странны
И всѣхъ ея причудъ не перечесть...
Дуду скромнѣе всѣхъ, съ ней сонъ желанный
Жуаннѣ, я увѣрена, обрѣсть!"
Дуду на то не молвила ни слова:
Она молчать всегда была готова.

L.

Дуду старуху чмокнула межъ глазъ;
А Катеньку и Лолу—въ обѣ щеки;
Затѣмъ она, съ подругами простясь,
Съ Жуанною ушла въ покой далекій,

Гдѣ спалъ гаремъ. Старухи злой приказъ,
Конечно, возбудить бы могъ упреки
И юныхъ женъ неудержимый гнѣвъ,
Но строгостью смиряли пылкихъ дѣвъ.

LI.

Дуду съ Жуанной очутились въ „одѣ“,
Роскошной залѣ, гдѣ кроватей рядъ
Стоялъ (то — спальня въ нашемъ переводѣ).
Во всѣхъ гаремахъ дамы вмѣстѣ спятъ.
Въ гаремахъ я бывалъ и, что тамъ въ модѣ,
Я изучилъ и описать вамъ радъ.
Все въ „одѣ“ есть, что только дамамъ мило:
Съ Жуанною и лишнее тамъ было.

LII.

Дуду красой не поражала глазъ,
Но прелести была неизъяснимой
Она полна. Все въ ней плѣняло васъ,
Все къ ней влекло; никто пройти бы мимо
Не могъ, красѣ подобной не дивясь.
Такая красота неуловима,
И съ лицъ такихъ порою средства нѣтъ
Художнику похожій снять портретъ.

LIII.

Дуду собой ландшафтъ напоминала,
Гдѣ тишь и гладь видны со всѣхъ сторонъ.
Душевныхъ бурь она совсѣмъ не знала.
Со счастьемъ сходенъ свѣтлый сердца сонъ.
Въ страстяхъ кипучихъ, вѣрьте, толку мало:
Не разъ встрѣчалъ я въ жизни бурныхъ женъ,
Не разъ видалъ и бури на просторѣ,
И что жъ?—По мнѣ, не такъ опасно море.

LIV.

Дуду была задумчива порой,
Но не грустна (она серьезна съ дѣтства
Всегда была); порочною мечтой
Смутить ее наврядъ нашлось бы средство.
Такъ мало занималася собой
Дуду, такъ мало было въ ней кокетства,
Что, хоть семнадцать лѣтъ ужъ было ей,
Не сознавала красоты своей.

LV.

Зато она была добромъ богата,
Какъ вѣкъ, что называютъ золотымъ,
Хоть человѣкъ тогда не вѣдалъ злата
(Мы часто противъ логики грѣшимъ:
Отъ non lucendo слово lucus взято),
Но я не прочь въ нашъ вѣкъ путемъ такимъ
Все затемнять. Такъ мнѣнья наши шатки,
Что и для чорта въ нихъ однѣ загадки.

LVI.

Я думаю, что смертныхъ жалкій родъ
Составленъ изъ коринескаго металла,
Который смѣсью разныхъ былъ породъ,
Но гдѣ, однако, мѣдь преобладала.
Опять пустилъ я отступленье въ ходъ.
Прости меня, читатель: я не мало
Передъ тобою грѣшенъ, но свой нравъ
Я не сдержу, хотя бъ ты былъ и правъ.

LVII.

Пора подумать снова о романѣ.
Итакъ, опять къ разсказу перейду:
Подробно Донъ Жуану, иль Жуаннѣ,
Въ гаремѣ показала все Дуду.
Не тратя словъ ни для похвалъ, ни брани,
Для молчаливой женщины найду
Сравненье, что быть можетъ неудобно:
Она грозѣ безъ отзвуковъ подобна.

LVIII.

Затѣмъ Дуду о нравахъ этихъ странъ
Жуаннѣ постаралась дать понятье.
(Все у меня Жуанною Жуанъ:
Причина та, что онъ былъ въ женскомъ платьѣ)
Сказала, какъ неумолимъ султанъ,
Какъ всѣ должны въ гаремѣ, безъ изъятья,
Невинности святой блюсти законъ,—
Тѣмъ бдительнѣй надзоръ, чѣмъ больше женъ.

LIX.

Все разсказавъ своей подругѣ новой,
Дуду ее поцѣловала. Что жъ,
Въ томъ видѣть ничего нельзя дурного;
Какъ поцѣлуй, когда онъ чистъ, хорошъ!
Въ лобзаньяхъ дамъ нѣтъ смысла никакого;
Въ ихъ поцѣлуяхъ часто дышитъ ложь...
Въ стихахъ „лобзай“ и „рай“, конечно, риѳмы,
Но въ ихъ союзѣ часто видимъ миѳъ мы.

LX.

Дуду передъ подругою своей,
Чужда опаски, стала раздѣваться.

Невинность въ ней дышала дѣтства дней;
Она, какъ дочь природы, заниматься
Собою не старалась. Рѣдко ей
Предъ зеркаломъ случалось оправляться.
Такъ, увидавъ себя въ ручьѣ, олень
Испуганно дубравы ищетъ сѣнь.

LXI.

Дуду раздѣть подругу предложила,
Но отъ нея услышала отказъ,—
Въ стыдливости большая, вѣрно, сила.
Что жъ, ей самой пришлось на этотъ разъ
Булавки вынимать; совсѣмъ не мило
Занятье, что страшитъ увѣчьемъ васъ:
Себѣ Жуанна исколола руки,—
Булавки существуютъ лишь для муки.

LXII.

Онѣ въ ежа свободно превратятъ
Любую даму. Трудная задача
Бороться съ ними; право. сущій адъ
Ихъ вынимать. Случится ль неудача—
И дѣло вовсе не пойдетъ на ладъ...
Не разъ чесалъ я дамъ, объ этомъ плача,
И имъ булавки всаживалъ туда,
Гдѣ это не проходитъ безъ слѣда.

LXIII.

Мудрецъ глядитъ съ презрѣньемъ на все это.
Но мудрствовать я самъ не прочь порой;
Въ наукѣ я искалъ тепла и свѣта,
Но не нашелъ я истины святой.
Какъ много есть вопросовъ безъ отвѣта!
Намъ не провѣдать тайны роковой.
Откуда мы, что скажетъ намъ могила?—
Вопросовъ тѣхъ неотразима сила.

LXIV.

Гаремъ почилъ въ нѣмыхъ объятьяхъ сна.
Вдоль стѣнъ лампады теплились. Въ жилищѣ
Султанскихъ женъ царила тишина.
Картины не создать милѣй и чище.
Коль духи есть, привычка ихъ смѣшна
Лишь посѣщать руины да кладбища;
Имъ выбрать бы, какъ сборище, гаремъ,—
Они свой вкусъ бы доказали тѣмъ.

LXV.

Та зала чудный садъ напоминала,
Гдѣ все благоухаетъ и цвѣтетъ;
Всѣхъ странъ красавицъ было тамъ не мало,—
Не трудно потерять имъ было бъ счетъ.
Одна съ косой распущенной лежала,
Склонивъ главу; такъ вѣтку зрѣлый плодъ
Влечетъ къ землѣ. Сквозь розовыя губки,
Какъ жемчуга, ея сверкали зубки.

LXVI.

Другая раскраснѣвшейся щекой
Покоилась на ручкѣ бѣлоснѣжной;
По лбу и груди черною волной
Ея катились локоны небрежно,
Она спала съ улыбкой; такъ порой
Сквозь облако луна сіяетъ нѣжно.
Съ нея покровы спали, и она
Покоилась полуобнажена.

LXVII.

А третья, въ сонъ погружена глубокій,
Вздыхала и уныла, и блѣдна;
Ей снился край любимый и далекій,
Что навсегда утратила она.
Ея вздымалась грудь и слезъ потоки
Текли изъ глазъ, не прерывая сна;
Такъ темный кипарисъ въ тѣни лучистой
Блеститъ, одѣтъ росою серебристой.

LXVIII.

Четвертая, какъ мрамора кусокъ,
Покоилась, объятая дремотой;
Съ ней сходенъ былъ застывшій ручеекъ
Иль снѣгъ Альпійскихъ горъ. Съ женою Лота,
Что превратилась въ соль, еще бы могъ
Ее сравнить иль съ статуей. Безъ счета
Сравненья сыплю я и, можетъ быть,
Однимъ изъ нихъ съумѣлъ вамъ угодить.

LXIX.

Гаремъ я представляю вамъ въ портретахъ.
Вотъ пятая. Она „извѣстныхъ лѣтъ",
Что въ переводѣ значитъ просто „въ лѣтахъ".
Мнѣ въ женщинѣ лишь милъ весны расцвѣтъ;
Года жъ, гдѣ думать о такихъ предметахъ
Приходится, какъ о тщетѣ суетъ
Иль о грѣхахъ прошедшихъ,—безотрадны;
Мнѣ даже вспоминать о нихъ досадно.

LXX.

Дуду въ то время кто опишетъ сны?
Они порой бываютъ крайне сложны;
Въ догадки мы пускаться не должны,—
Предположенья могутъ быть и ложны.
Но вотъ... среди полночной тишины,
Когда явленья призраковъ возможны,



КАТИНЬКА (Katinka).

Рис. Востокъ (J. Bostock) грав. Мотъ (W. H. Mote).

Когда едва-едва горитъ ночникъ,—
На весь гаремъ Дуду раздался крикъ.

LXXI.

Вся „ода" поднялась въ мгновенье ока;
Всѣ заметались, словно какъ въ чаду.
Что вдругъ могло такъ потрясти жестоко
Невинную и скромную Дуду?
Ея испугъ всѣхъ изумилъ глубоко;
Я самъ ему причины не найду.
Кругомъ сновали дамы, страха полны.
Такъ въ морѣ, въ часъ ненастья, мчатся волны.

LXXII.

На крикъ Дуду сбѣжалися толпой
Ея подруги. Очи ихъ горѣли
Отъ любопытства; полныя красой,
Тѣла полунагія ихъ бѣлѣли.
Такъ метеоръ блеститъ во тьмѣ ночной.
Дуду, дрожа, сидѣла на постели;
Ея лицо пылало, и въ глазахъ,
Блуждавшихъ дико, сказывался страхъ.

LXXIII.

Но шумъ, толпою дѣвъ произведенный,
Жуанны не разсѣялъ крѣпкій сонъ:
Такъ мужъ храпитъ, когда съ женой законной
Супружеское ложе дѣлитъ онъ.
Невинностью дышалъ Жуанны сонной
Прелестный ликъ... Когда жъ, со всѣхъ сторонъ,
Толпа ее будить насильно стала,
Она, зѣвая сладко, сонъ прервала.

LXXIV.

Строжайшій начался тогда допросъ;
Онѣ, волнуясь, разомъ всѣ кричали,
И за вопросомъ сыпался вопросъ.
И умный, и муракъ втупикъ бы стали,
Когда бъ на судъ такой идти пришлось!
Дуду (то нужно объяснить едва ли),
Не бывшая „ораторомъ, какъ Брутъ",
Не сразу поняла, въ чемъ дѣло тутъ.

LXXV.

Вотъ, наконецъ, она, полна тревоги,
Сказала имъ, что страшный, темный лѣсъ
Приснился ей. (Въ такомъ лѣсу съ дороги
Разъ сбился Дантъ, въ года, когда ужъ бѣсъ
Не силенъ и мы къ нравственности строги,
Когда для женщинъ страсть теряетъ вѣсъ
И на признанье имъ наткнуться—чудо!)...
Въ лѣсу густомъ плодовъ виднѣлась груда.

LXXVI.

Тамъ въ самой чащѣ яблоня росла
Съ большими золотистыми плодами.
До нихъ она добраться не могла
И только пожирала ихъ очами.
Тогда ей мысль внезапная пришла—
Околотить тѣ яблоки камнями,
Чтобъ хоть одно схватить. Но, какъ на грѣхъ,
Ея усилій не вѣнчалъ успѣхъ.

LXXVII.

Она совсѣмъ терять надежду стала,
Какъ вдругъ, непостижимо почему,
Съ высокой вѣтки яблоко упало
Къ ея ногамъ; но лишь она къ нему
Коснулася, пчелы ужасной жало
Вонзилось въ сердце ей. Всю кутерьму
Надѣлалъ крикъ, что ею, противъ воли,
Былъ брошенъ отъ испуга и отъ боли.

LXXVIII.

Дрожа и заминаясь, свой разсказъ
Окончила Дуду. Сердилась „ода"...
Но вѣдь чинить допросы съ сонныхъ глазъ—
Вы согласитесь—странная метода!
Есть сны, что правдой поражаютъ насъ.
Ихъ объяснять теперь явилась мода—
Во избѣжанье бредней и мечтательствъ—
„Счастливымъ совпаденьемъ обстоятельствъ".

LXXIX.

Узнавъ, что безъ причины вся тревога,
Ворчливо расходиться сталъ гаремъ,
А „мать", что сонъ безъ всякаго предлога
Прервала, разсердилася совсѣмъ
И на Дуду накинулася строго.
Бѣдняжка же вздыхала между тѣмъ
И, чуть не плача, въ томъ себя винила,
Что глупымъ крикомъ „оду" разбудила.

LXXX.

—„Не разъ я на вѣку слыхала вздоръ,—
Сказала ей старуха,—но такого
Не слыхивала я до этихъ поръ.
Всѣхъ безпокоить изъ-за сна пустого
О яблокѣ и о пчелѣ—позоръ!
Ты нервами, должно быть, нездорова,
И врачъ султана завтра скажетъ намъ,
Что за причина этимъ страннымъ снамъ.

LXXXI.

Жуанны сонъ ты пробудила сладкій;
Она пріютъ впервые здѣсь нашла.
Понравятся ль такіе ей порядки?
За скромность всѣмъ тебя я предпочла,
А у тебя какіе-то припадки!
Стыдись! Должно-быть, ты съ ума сошла!
Чтобъ сонъ Жуанны не тревожить болѣ
Теперь ее препоручу я Лолѣ".

LXXXII.

Отъ радости заискрились глаза
У Лолы отъ такого предложенья,
А у Дуду стекла съ щеки слеза.
Она въ разлукѣ видѣла мученье,
И вотъ, надѣясь, что пройдетъ гроза,
Она просила жалобно прощенья
За первую вину и поклялась,
Что во второй не провинится разъ...

LXXXIII.

Просила извинить то безпокойство,
Что причинилъ испугъ ея пустой;
Прибавила, что нервное разстройство,
Постигшее ее, всему виной;
Но легкая болѣзнь такого свойства,
Что отдохнуть немного—часъ, другой—
И будетъ вновь она совсѣмъ здорова
И никогда кричать не будетъ снова.

LXXXIV.

Тутъ принялась подругу защищать
Жуанна и начальницѣ сказала,
Что ей съ Дуду прекрасно было спать,
Что крикъ ея она и не слыхала.
Во время шума сонъ ея прервать
Съ трудомъ могли—то подтвердитъ вся зала;
Грѣшно Дуду лишь укорять за то,
Что ей приснился сонъ „mal à propos".

LXXXV.

Дуду, смутясь, ловила эти рѣчи,
Припавъ на грудь къ подругѣ молодой,
Чтобъ скрыть лицо. Ея горѣли плечи
И шея отъ стыда. Въ саду весной
Такъ розаны алѣютъ издалеча.
Какъ объяснить испугъ ея пустой
И странную стыдливость, я не знаю:
За вѣрность фактовъ только отвѣчаю.

LXXXVI.

Итакъ, пускай ихъ вновь лелѣютъ сны!
Но ужъ пѣтухъ пропѣлъ и утро скоро.
Блеститъ на минаретахъ рогъ луны,
Алѣютъ волны синяго Босфора,
Вершины Кафскихъ горъ вдали видны,
Владѣнья курдовъ явственны для взора
И, тихо пробираясь сквозь туманъ,
Въ далекій путь несется караванъ.

LXXXVII.

Когда лучи денницы заалѣли,
Гюльбея, не смыкавшая очей,
Вскочила, истомленная, съ постели.
Есть басня, что влюбленный соловей,
Пронзенный въ грудь, выдѣлываетъ трели,
Вздыхая нѣжно о любви своей...
Но боль его блѣднѣетъ передъ тою,
Что создается страстью и тоскою.

LXXXVIII.

Какъ видите, читатели, мораль
Всегда мной добросовѣстно воспѣта,
Но правды не дождусь отъ васъ. Мнѣ жаль,
Что вы готовы, чтобъ не видѣть свѣта,
Закрыть глаза; отъ авторовъ едва ль
Я заслужу похвалъ. Понятно это:
Такая бездна расплодилась ихъ,
Что имъ нѣтъ дѣла до трудовъ чужихъ.

LXXXIX.

Хотя Гюльбеи было мягко ложе,
Но ей оно не даровало сна:
Любовь и гордость, грудь ея тревожа,
Боролись въ ней. Разстроена, блѣдна,
На статую она была похожа.
Вотъ наскоро одѣлася она...
Такая мука сердце ей щемила,
Что въ зеркало взглянуть она забыла.

XC.

Султанъ, спустя немного, тоже всталъ...
Онъ и не зналъ границъ своимъ владѣньямъ,
Весь мусульманскій міръ предъ нимъ дрожалъ,
А на него жена съ пренебреженьемъ
Смотрѣла! Ей онъ ненавистенъ сталъ.
Но ненависть жены блѣдна значеньемъ
Въ странѣ, гдѣ мужъ имѣетъ много женъ;
Не то—гдѣ лишь съ одною жить законъ!.

XCI.

Султанъ, минутнымъ прихотямъ послушный,
На тайны сердца холодно смотрѣлъ.
Къ любви онъ относился равнодушно
И для того большой запасъ имѣлъ
Красивыхъ женъ, чтобъ время шло не скучно,
Когда искалъ онъ отдыха отъ дѣлъ.
Но, впрочемъ, больше всѣхъ любя Гюльбею,
Онъ ласковъ былъ и даже нѣженъ съ нею.

XCII.

Когда султанъ былъ вымытъ и одѣтъ,
Согласно съ предписаньями Пророка,
Онъ, кофе выпивъ, собралъ свой совѣтъ.
Войну онъ велъ съ Россіей и глубоко
Былъ опечаленъ громомъ тѣхъ побѣдъ,
Что возмутили сладкій сонъ Востока.
Екатерины опасался онъ,
Славнѣйшей изъ правительницъ и... женъ.

XCIII.

О пышный внукъ прославленной царицы!
Мои стихи, быть можетъ, долетятъ

Когда-нибудь и до твоей столицы.
(Пускай далекъ туманный Петроградъ, —
Въ нашъ вѣкъ стихи летятъ быстрѣе птицы).
Въ стихахъ порой пророчества звучатъ,
И огласитъ, быть можетъ, пѣснь свободы
Твоихъ морей рокочущія воды.

XCIV.

Но есть черта, которую поэтъ
Переступать не долженъ бы... Потомки
За предковъ не должны нести отвѣтъ;
Былыхъ временъ печальные обломки
Въ исторіи лишь оставляютъ слѣдъ.
Кому пріятенъ былъ бы титулъ громкій,
Когда бъ потомки отвѣчать должны
За темныя дѣянья старины!

XCV.

Но грустно то, что прошлаго уроки
Намъ пользы не приносятъ. Какъ законъ,
Мы не хотимъ признать ихъ смыслъ глубокій,—
И что жъ?—Зіяетъ смерть со всѣхъ сторонъ
И крови льются цѣлые потоки!
Царица и султанъ, я убѣжденъ,
Всегда бъ могли найти вѣрнѣе средство
Для примиренья, чѣмъ пословъ посредство.

XCVI.

Султанъ, что день, то собиралъ совѣтъ,
Отъ недуговъ страны ища лѣкарство.
Царица, что умомъ дивила свѣтъ,
Въ конецъ его все расшатала царство;
Онъ растерялся отъ ея побѣдъ
И проходилъ чрезъ всякія мытарства,
Глубоко сожалѣя, что не могъ
Придумать хоть еще одинъ налогъ.

XCVII.

Гюльбея, чтобы скрыть свое волненье
И безотраднымъ думамъ дать отпоръ,
Въ свой кабинетъ, пріютъ для наслажденья,
Ушла... Въ немъ все плѣняло сладко взоръ:
Здѣсь искрились рѣдчайшіе каменья;
Тамъ драгоцѣнный видѣлся фарфоръ;
Въ той комнатѣ, гдѣ было все богато,
Цвѣты бросали волны аромата.

XCVIII.

И мраморъ, и порфиръ блестѣли въ ней;
Въ роскошныхъ клѣткахъ птички щебетали;
Цвѣтныя стекла блескъ денныхъ лучей,
Таинственно сіяя, умѣряли.
Не описать всѣхъ роскоши затѣй,
Что уголокъ волшебный наполняли,
А потому прошу вообразить,—
Что я перомъ не могъ изобразить.

XCIX.

Желая знать, что сталося съ Жуаномъ,
Къ себѣ Баба Гюльбея позвала.
Къ султанскимъ женамъ онъ попалъ обманомъ...
Удачно ли поведены дѣла,
И суждено ль ея завѣтнымъ планамъ
Осуществиться! Для нея была,
Конечно, интереснѣйшей—проблема,
Какъ ночь провелъ Жуанъ въ стѣнахъ гарема.

C.

Ея вопросы падали какъ градъ
На евнуха: ихъ затруднился бъ счесть я!
Предъ ней стоялъ, смущеніемъ объятъ,
Баба, слуга порока и нечестья.
Въ глаза бросалось, что онъ скрыть бы радъ
Какія-то тревожныя извѣстья.
Сконфуженно чесалъ затылокъ онъ,
Какъ всякій, кто взволнованъ и смущенъ.

CI.

Въ удѣлъ Гюльбеѣ не далось терпѣнье:
Всегда ея желанье или спросъ
Мгновенно приводились въ исполненье...
И что же?—Вдругъ отвѣта ждать пришлось!
Чѣмъ болѣе росло Баба смущенье,
Она тѣмъ строже дѣлала допросъ.
Вся покраснѣвъ отъ вспыхнувшей въ ней крови,
Она сидѣла, грозно хмуря брови.

CII.

Лукавый негръ, предчувствуя бѣду,
Просилъ ее не гнѣваться; признался,
Что Донъ-Жуанъ былъ порученъ Дуду;
Все къ лучшему устроить онъ старался—
И этого не могъ имѣть въ виду.
Кораномъ и святымъ верблюдомъ клялся;
Что онъ не виноватъ въ бѣдѣ такой
И безупречно долгъ исполнилъ свой.

CIII.

Жуанъ былъ ввѣренъ строгому надзору
Смотрительницы. Евнухъ сожалѣлъ,

Что по ея винѣ такъ много вздору
Нежданно вышло;—права не имѣлъ
Онъ посѣщать гаремъ въ ночную пору.
Къ тому же, если бъ онъ посмѣлъ
Начальницѣ перечить, безъ сомнѣнья
Проснуться въ ней могли бы подозрѣнья.

CIV.

Но все жъ Баба былъ твердо убѣжденъ,
Что Донъ Жуанъ держалъ себя примѣрно.
А иначе въ мѣшокъ попалъ бы онъ!
Кто побѣжитъ на встрѣчу смерти вѣрной?
Однако про Дуду тревожный сонъ
Въ теченье ночи евнухъ лицемѣрный
Гюльбеѣ не рѣшился разсказать:
Въ огонь зачѣмъ же масло подливать?

CV.

Баба не умолкалъ, но уже даромъ
Лились его слащавыя слова:
Она его не слушала. Пожаромъ
Въ ней пробудилась страсть; она едва
Дышала, пораженная ударомъ;
Какъ вихрь, ея кружилась голова,
Холодный потъ—роса сердечной муки—
Ей орошалъ и блѣдный лобъ, и руки.

CVI.

Хотя была энергіи полна
Султанша, все же евнуху казалось,
Что въ обморокъ она упасть должна...
Ея лицо отъ муки искажалось;
Въ конвульсіяхъ томилася она.
Инымъ не разъ испытывать случалось
Такое чувство отъ нежданныхъ бѣдъ,
Но дать о немъ понятье—средства нѣтъ.

CVII.

Какъ Пиѳія въ минуту вдохновенья,
Она стояла. Грудь ея рвалась
На части отъ тяжелаго мученья;
Въ глазахъ, блуждавшихъ дико, пламень гасъ.
Но стало проходить оцѣпенѣнье—
И вотъ, безъ силы, на диванъ склонясь,
Она главу, что злая скорбь томила,
Безпомощно въ колѣни схоронила.

CVIII.

Лицо скрывали пряди длинныхъ косъ,
Что падали на мраморныя плиты,
Какъ вѣтви ивы. Страшенъ сердца грозъ
Стремительный порывъ! Отъ муки скрытой
Вздымалась грудь ея... Такъ на утесъ
Несутся волны, пѣною покрыты;
Разбившись, въ даль стремится бурный валъ
И вновь, шумя, бѣжитъ къ подножью скалъ.

CIX.

Коса ея, вуалію густою,
Ея лицо и наклоненный станъ
Скрывала, на полъ падая волною,
Ея рука держалась за диванъ,
Напоминая мраморъ бѣлизною.
Перо—не кисть... О, если бъ мнѣ былъ данъ
Художника талантъ, а не поэта,
Какъ хороша картина вышла бъ эта!

CX.

Баба, что нравъ ея вполнѣ постигъ,
Стоялъ, храня упорное молчанье,
Онъ, устрашась грозы, совсѣмъ притихъ.
Гюльбеѣ стало легче; замиранье;
Давившее ей грудь, продлилось мигъ,
И стало утихать ея страданье,
Но еще гнѣвомъ искрились глаза.
Такъ въ морѣ—стонъ, хоть пронеслась гроза.

CXI.

По комнатѣ Гюльбея заходила
То медленно, то быстро, что всегда—
Волненья признакъ. Бурь душевныхъ сила
Не можетъ проявляться безъ слѣда.
Походка—духа вѣрное мѣрило.
Саллюстій говоритъ, что никогда
Не могъ ходить спокойно Катилина.
Борьба страстей была тому причина!

CXII.

Гюльбея, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ,
Остановилась и привесть велѣла
Къ себѣ двухъ провинившихся рабовъ...
Баба смекнулъ немедленно въ чемъ дѣло,
Но сдѣлалъ видъ, что тайну этихъ словъ
Не понимаетъ, и спросилъ несмѣло:
Какихъ рабовъ угодно видѣть ей,
Чтобъ безъ ошибки ихъ привесть скорѣй?

CXIII.

Гюльбея еле слышно отвѣчала:
—„Грузинку... и любовника ея!..
У двери потайной... чтобъ лодка ждала,
А остальное—дѣло ужъ твое!..“

Отчаянье въ словахъ ея звучало.
У негра было тонкое чутье:
Замѣтивъ въ ней борьбу и колебанье,
Онъ сталъ просить отмѣны приказанья.

CXIV.

Гюльбеѣ евнухъ далъ такой отвѣтъ:
— „Услышать, что исполнить—это то же!
Я въ вѣрности тебѣ принесъ обѣтъ,
И для меня слова твои дороже,
Чѣмъ всѣ земныя блага! Но совѣтъ
Даю—помедлить... Юноша пригожій,
Быть можетъ, неповиненъ предъ тобой...
Ты приговоръ должна отсрочить свой!

CXV.

Казнить легко! Свидѣтели безмолвны!
Не мало тайнъ на темномъ днѣ своемъ
Близъ этихъ стѣнъ похоронили волны!
Не разъ здѣсь гибли въ сумракѣ ночномъ
Сердца, что бились, жгучей страсти полны.
Ты о рабѣ вздыхаешь молодомъ:
Убить его—всего одно мгновенье,
Но отъ любви найдешь ли ты спасенье?"

CXVI.

— „Какъ смѣешь ты о чувствахъ разсуждать,
Презрѣнный червь!"—такъ молвила Гюльбея.
—„Твой долгъ лишь приказанья исполнять!
Уйди скорѣй!"—Баба стоялъ, робѣя.
Онъ зналъ, что споръ опасно поднимать:
Чужой дороже собственная шея.
Чтобы исполнить данный ей приказъ,
Онъ молніи быстрѣе скрылся съ глазъ.

CXVII.

Баба ушелъ, но скрыть своей досады
Онъ не былъ въ силахъ. Бѣшенствомъ объятъ,
Всѣхъ женщинъ поносилъ онъ безъ пощады
За ихъ причуды, козни и развратъ.
Онъ порицалъ ихъ прихоти и взгляды,
Особенно султаншу, и былъ радъ,
Что, средній родъ собою представляя,
Могъ мирно жить, страстей не признавая.

CXVIII.

И вотъ созвалъ собратій онъ своихъ,
Чтобъ юныхъ дѣвъ вести къ женѣ султана;
Онъ причесать велѣлъ получше ихъ
И пріодѣть, хотя и было рано.
Такой пріемъ необычайный вмигъ
Веселость и покой смутилъ Жуана.
Струхнула и Дуду... Но кто жъ бы могъ
Найти для ослушанія предлогъ?

CXIX.

Итакъ, они должны явиться вскорѣ
Къ султаншѣ... Но я здѣсь прерву разсказъ...
Свиданье съ нею—радость или горе
Имъ принесло, иль, просто разсердясь,
Она ихъ утопить велѣла въ морѣ,—
То тайною останется для васъ.
Впередъ бѣжать себѣ я не позволю,
Угадывая женъ капризныхъ волю.

CXX.

Хоть тяжкій крестъ моимъ героямъ данъ,
Желая имъ удачи и спасенья,
Надѣюсь, что отъ рыбъ уйдетъ Жуанъ,
Хотя его плачевно положенье.
Разнообразить долженъ я романъ
И буду пѣть иныя приключенья.
Простившись здѣсь съ Жуаномъ и Дуду,
Рѣчь о войнѣ въ той пѣснѣ поведу.



ПѢСНЬ СЕДЬМАЯ.

I.

Любовь и слава—шаткія опоры.
О нихъ твердятъ, но рѣдко предъ собой
Мы видимъ ихъ; онѣ, какъ метеоры,
Проносятся, плѣняя насъ красой;
Мы тщетно обращаемъ къ небу взоры,
Чтобъ видѣть ихъ, и путь свой ледяной,
Мгновенье озаренный ихъ лучами,
Мы продолжаемъ, скованы цѣпями.

II.

Какъ жизнь, разнообразенъ мой романъ;
Съ нимъ сходенъ свѣтъ полярнаго сіянья,
Ласкающаго ледъ далекихъ странъ.
Не все жъ свои оплакивать страданья
И такъ какъ жизнь — лишь горестный обманъ,
Что можетъ привести въ негодованье,
И выставка пустая, то не грѣхъ
Дарить всему на свѣтѣ только смѣхъ.

III.

И что жъ? Меня, творца поэмы этой,
Со всѣхъ сторонъ озлобленно язвятъ
За то, что я не вѣрю правдѣ свѣта
И зло во всемъ какъ будто видѣть радъ;
Безжалостно на части рвутъ поэта.
Я не пойму, чего они хотятъ:
О томъ же Данте говорилъ со стономъ
И Сервантесъ съ премудрымъ Соломономъ

IV.

Земную жизнь не цѣнятъ высоко
Платонъ, Свифтъ, Лютеръ, Тилотсонъ и Весли,
Руссо, Маккіавель, Ла-Рошфуко...
Меня и ихъ винить возможно ль, если
Съ судьбою намъ мириться не легко?
Коль правы мы, отвѣтъ за это несть ли?
Къ тому жъ ни вамъ, ни мнѣ не разрѣшить.
Что лучше: вѣкъ окончить или жить.

V.

Сократъ сказалъ, что наши всѣ познанья
Лишь шаткость ихъ доказываютъ намъ;
Поэтому имѣемъ основанье
Всѣхъ мудрецовъ приравнивать къ осламъ;
Великій Ньютонъ, тайны мірозданья
Открывшій людямъ, сознается самъ,
Что къ правдѣ путь для смертныхъ не проложенъ
И что предъ ней онъ жалокъ и ничтоженъ.

VI.

Екклезіастъ гласитъ: „все суета".
Духовные отцы не разъ на дѣлѣ
Доказывали намъ, что не мечта
Подобный взглядъ. Поэмы часто пѣли
О томъ, что жизнь ничтожна и пуста,
И мудрецы согласны съ ними. Мнѣ ли
Поэтому, во избѣжанье ссоръ,
Скрывать о жизни строгій приговоръ!

VII.

О, люди или псы! (За честь считайте,
Что мною вы со псами сравнены:
Вы хуже ихъ!) Въ моей поэмѣ, знайте,
Что по заслугамъ вы оцѣнены;
На музу, сколько вамъ угодно, лайте:
Ей ваши крики вовсе не страшны,
Какъ волчій вой лунѣ. Все муза свѣтитъ
И вашей злобы даже не замѣтитъ.

VIII.

„Я вдохновленъ любовью и войной".
(Цитата не вѣрна; боясь споровъ,
Въ томъ сознаюсь, но смыслъ ея такой).
И вотъ съ обоихъ не свожу я взоровъ
И васъ прошу послѣдовать за мной
Въ тотъ городъ осажденный, что Суворовъ
Со всѣхъ сторонъ искусно обложилъ.
Какъ альдерманъ мозги, онъ кровь любилъ.

IX.

Построенный на отмели Дуная,
Въ восточномъ стилѣ, городъ Измаилъ
Стоялъ, весь лѣвый берегъ защищая,
И крѣпостью перворазрядной былъ.
Но крѣпость ту постигла участь злая,
Разбивъ враговъ, ее Суворовъ срылъ.
Верстъ шесть считалось крѣпостного вала;
Она жъ отъ моря въ ста верстахъ стояла.

X.

Предмѣстье помѣщалось съ нею въ рядъ,
Хотя фортификаціи законы
Такъ размѣщать построекъ не велятъ.
Въ защиту стѣнъ какой то грекъ ученый
Возвелъ искусно массу палисадъ
И тѣмъ ослабилъ средства обороны.
Онъ ими наносилъ лишь вредъ себѣ,
Врагамъ давая перевѣсъ въ стрѣльбѣ.

XI.

Плохой Вобанъ для правильной защиты
Не въ силахъ былъ принять надежныхъ мѣръ;
Онъ не съумѣлъ устроить „путь прикрытый",
Постройкамъ надлежащій дать размѣръ;
Форпосты были имъ совсѣмъ забыты
(Простите, что пишу какъ инженеръ);
Но стѣны были крѣпки и высоки,
А рвы вкругъ нихъ, какъ океанъ, глубоки.

XII.

Еще одинъ громадный бастіонъ,
Съ проходомъ узкимъ, возвышался съ края;
Въ себѣ вмѣщалъ двѣ батареи онъ;
Одна была съ барбетомъ, а другая
Стояла въ казематахъ; съ двухъ сторонъ
Онѣ громили берега Дуная;
А справа, на горѣ крутой редутъ
Орудьямъ крѣпостнымъ давалъ пріютъ.

XIII.

Все жъ Измаилъ открытымъ оставался
Со стороны Дуная. Этотъ входъ
Оберегать никто и не старался:
Вѣдь тамъ не могъ явиться русскій флотъ.
Когда жъ онъ на Дунаѣ показался,
Неисправимъ былъ промахъ: гдѣ же бродъ
Найти въ рѣкѣ глубокой? Полны страха,
На помощь турки стали звать Аллаха.

XIV.

Хочу воспѣть, войны и славы богъ,
Я храбрыхъ русскихъ, къ приступу готовыхъ.
Я былъ бы радъ, коль описать бы могъ
Дѣла людей, въ цивилизацьи новыхъ.
Ахиллъ, въ крови отъ головы до ногъ,
Не могъ страшнѣе быть бойцовъ суровыхъ,
Чьи имена полны слоговъ такихъ,
Что невозможно выговорить ихъ.

XV.

Все жъ назову иныхъ, чтобъ васъ плѣнили
Созвучья этихъ мелодичныхъ словъ
Съ двѣнадцатью согласными. Тутъ были:
Арсеньевъ, Майковъ, Львовъ и Чичаговъ,
И о другихъ газеты говорили.
Я многихъ бы еще назвать готовъ,
Но славы не хочу тревожить слуха:
У ней труба, такъ вѣрно есть и ухо.

XVI.

Поэтому именъ прервалъ я нить,
Которыхъ даже молвить трудъ чертовскій;
Подумайте: легко ль въ стихи вклеить
Фамиліи на: *ишкинъ*, *ускинъ*, *овскій*!
Все жъ объ иныхъ я долженъ говорить.
Шихматовъ, Шереметевъ, Разумовскій,
Куракинъ, Мусинъ-Пушкинъ были тамъ,
Погибель и позоръ суля врагамъ.

XVII.

То были люди чести и совѣта,
Которымъ былъ извѣстенъ къ славѣ путь;
Ни муфтіевъ они, ни Магомета,
Конечно, не страшилися ничуть
И были бы готовы—вѣрно это—
Ихъ шкурой барабаны обтянуть,
Явися вдругъ нужда въ телячьей кожѣ
Иль при покупкѣ стань она дороже.

XVIII.

Здѣсь находились люди разныхъ странъ,
Которыхъ страсть къ добычѣ привлекала;
Дрались они, чтобъ свой набить карманъ
Иль крупный чинъ схватить, заботясь мало
О тронѣ и отчизнѣ; англичанъ
При русскомъ войскѣ масса состояла;
Вы Томсоновъ могли бъ шестнадцать счесть
И девятнадцать Смитовъ въ списокъ внесть.

XIX.

Всѣ Томсоны, въ честь славнаго поэта,
Носили имя Джемми, чѣмъ судьба
Ихъ крайне обласкала; имя это
Казалось имъ почетнѣе герба.
Сюда стеклась со всѣмъ окраинъ свѣта
Почтенныхъ Смитовъ цѣлая гурьба.



ДУДУ (Dudù)

Рис. Мидоусъ (Meadows), грав. Артлетъ (Artlet).

Одинъ изъ нихъ былъ тотъ полковникъ бравый,
Что въ Галифаксѣ увѣнчался славой.

XX.

По именамъ всѣхъ Смитовъ перечесть
Я не берусь. Петры межъ ними были
(О трехъ изъ нихъ у насъ извѣстья есть);
Затѣмъ встрѣчались Джэки, Вили, Били.
Въ реляціяхъ вы можете прочесть
О Смитахъ, что отличья получили.
Славнѣйшаго изъ нихъ родной отецъ
Извѣстный въ Кумберлэндѣ былъ кузнецъ.

XXI.

Хоть къ Марсу отношуся я съ почтеньемъ,
Но не могу блестящій аттестатъ
Достаточнымъ признать вознагражденьемъ
За то увѣчье, что нанесъ снарядъ;
Шекспиръ вполнѣ съ моимъ согласенъ мнѣніемъ;
Изъ драмъ его цитаты—сущій кладъ:
За нихъ — такъ любимъ мы Шекспира драмы—
Патентъ на умъ готовы дать всегда мы.

XXII.

При арміи была французовъ рать,
Красивыхъ, остроумныхъ и веселыхъ.
Но смѣю ль я о нихъ упоминать?
Пожалуй, доживешь до дней тяжелыхъ!
Французовъ вѣдь привыкъ на части рвать
Джонъ-Буль; и разъ что за враговъ онъ
счелъ ихъ,
Пусть миръ давно ужъ съ ними заключенъ,
Съ враждебностью на нихъ все смотритъ
онъ.

XXIII.

Преслѣдовали русскіе двѣ цѣли:
На островѣ построивъ бастіонъ,
Они, во-первыхъ, Измаилъ хотѣли
Орудьями громить со всѣхъ сторонъ,
Ни зданій не щадя, ни цитадели.
Амфитеатромъ былъ построенъ онъ,
А потому легко до основанья
Они могли его разрушить зданья.

XXIV.

Еще у нихъ коварный былъ разсчетъ
Воспользоваться города пожаромъ,
Чтобъ въ щепки обратить турецкій флотъ.
На якорѣ, теряя время даромъ,
Безпечно онъ стоялъ близъ этихъ водъ,
Сраженный непредвидѣннымъ ударомъ;
При этомъ врагъ легко бы сдаться могъ,
Не будь онъ только бѣшенъ какъ бульдогъ.

XXV.

Не слѣдуетъ пренебрегать врагами.
За то погибли Чичисковъ и Смитъ,
Одинъ изъ тѣхъ, что ужъ воспѣты нами,
Чье имя дружно съ риѳмами на „итъ";
Вездѣ вы Смитовъ видите толпами,
И мысль меня совсѣмъ не удивитъ,—
Такъ много ихъ разбросано по свѣту,—
Что самъ Адамъ носилъ фамилью эту.

XXVI.

Неудалась постройка батарей,
Воздвигнутыхъ войсками недалеко
Отъ крѣпости. Старались поскорѣй
Устроить ихъ, а въ спѣшкѣ мало прока.
(Стихи, и тѣ врага встрѣчаютъ въ ней).
Пришлося приступъ отложить до срока;
Тяжелъ былъ для вождя такой ударъ:
Одна рѣзня приноситъ славу въ даръ.

XXVII.

Отсрочка боя—грустное событье;
Ошибся ли въ разсчетахъ инженеръ,
Хотѣлъ ли уменьшить кровопролитье
Подрядчикъ непринятьемъ нужныхъ мѣръ,
Спасая этимъ душу,—объяснить я
Вамъ не берусь, но батарей размѣръ
Мѣшалъ громить враговъ, стѣнами скры-
тыхъ,
И съ каждымъ днемъ расло число убитыхъ.

XXVIII.

Флотъ тоже мало пользы приносилъ;
Стрѣлялъ онъ неудачно, хоть и рьяно;
Два брандера погибли въ цвѣтѣ силъ;
Ихъ фитили сгорѣли слишкомъ рано,
И взрывъ среди рѣки не причинилъ,
Конечно, ни малѣйшаго изъяна
Противникамъ. Съ зарей раздался взрывъ,
Отъ сна, однакожъ, ихъ не пробудивъ.

XXIX.

Лишь въ семь часовъ, въ минуту пробуж-
денья,
Замѣтили они плывущій флотъ,
Что продолжалъ отважное движенье
Въ виду всѣхъ вражьихъ силъ. Несясь
впередъ,
Онъ къ девяти часамъ безъ затрудненья
На якорь сталъ близъ крѣпости, и вотъ
Бомбардировку начала эскадра
И ей въ отвѣтъ посыпалися ядра.

XXX.

Полдня ее громилъ турецкій станъ,
Но и она отстрѣливалась ловко
И, мѣтко поражая мусульманъ,
Давила ихъ геройскою сноровкой;
Однако отступить приказъ былъ данъ,—
Нельзя взять верхъ одной бомбардировкой;
Къ тому же непріятель захватилъ
Одинъ корабль, другой же взорванъ былъ.

XXXI.

И мусульмане также—вскользъ замѣчу—
Здѣсь понесли значительный уронъ;
Но, видя, что враги бросаютъ сѣчу,
Накинулись на нихъ со всѣхъ сторонъ;
Тутъ графъ Дамасъ понесся къ нимъ на
встрѣчу
И столькихъ потопилъ въ Дунаѣ онъ,
Что описаньемъ жаркой схватки этой
Наполнить можно бъ цѣлый листъ газеты.

XXXII.

„Я исписалъ бы нѣсколько томовъ,
Передавая подвиги флотильи",—
Гласитъ историкъ. „Русскихъ удальцовъ
Успѣхомъ увѣнчалися усилья".
О русскихъ онъ не тратитъ много словъ,
За то приводитъ громкія фамильи
Тѣхъ иностранцевъ, что сражались тамъ,
И называетъ Ланжерона намъ

XXXIII.

Съ Дамасомъ и де-Линемъ. Безпристрастья
Примѣръ историкъ долженъ подавать;
Имъ очень помогло его участье,
А то объ нихъ могли бъ вы не слыхать.
Какъ видно, и для славы нужно счастье.
Но, впрочемъ, принцъ де-Линь пустилъ въ печать
Записки, что полны самохваленья,
Чѣмъ, можетъ быть, онъ спасся отъ забвенья.

XXXIV.

Героевъ много видѣлъ этотъ день;
Но многихъ ли въ вѣнкахъ, изъ лавровъ свитыхъ,
Укрыла отъ забвенья славы сѣнь?
Не счесть именъ, напрасно позабытыхъ;
Забвенія на всѣхъ ложится тѣнь.
И много ль ихъ согражданъ именитыхъ,
Героевъ современныхъ эпопей,
Что слѣдъ оставятъ въ памяти людей?

XXXV.

Не привела блестящая атака
Къ желанной цѣли; крѣпость не сдалась;
Чтобъ врагъ не видѣлъ въ томъ безсилья знака,
Взять приступомъ ее старикъ Рибасъ
Совѣтовалъ. Съ нимъ многіе, однако,
Заспорили, на штурмъ не согласясь,
Произнесли рѣчей при этомъ кучу,
Но повтореньемъ ихъ вамъ не наскучу.

XXXVI.

Тогда жилъ мужъ, по силѣ Геркулесъ,
За это безпримѣрно отличенный;
Какъ метеоръ блеснулъ онъ и исчезъ.
Внезапною болѣзнью пораженный,
Одинъ въ степи, подъ куполомъ небесъ,
Онъ кончилъ вѣкъ въ странѣ, имъ разоренной.
Такъ гибнетъ саранча среди полей,
Безжалостно опустошенныхъ ей.

XXXVII.

То былъ Потемкинъ. Въ этотъ вѣкъ отличья
Стяжались чрезъ убійство и развратъ;
Когда чины даютъ въ удѣлъ величье,
Онъ былъ великъ и славою богатъ.
Хоть попиралъ онъ совѣсть и приличья,
А всякій былъ предъ нимъ склоняться радъ.
Своей царицы былъ онъ вѣрнымъ другомъ,
Она жъ людей цѣнила по заслугамъ.

XXXVIII.

Пока совѣтъ рѣшалъ, какъ поступить,
Рибасъ послалъ къ Потемкину курьера
И князя онъ съумѣлъ уговорить
Одобрить имъ предложенныя мѣры.
Не знаю я, чѣмъ это объяснить.
Межъ тѣмъ, подъ грохотъ пушекъ, инженеры
Воздвигли, чтобы крѣпость взять вѣрнѣй,
На берегу рядъ новыхъ батарей.

XXXIX.

Отвѣтъ пришелъ почти чрезъ двѣ недѣли,
Когда ужъ съ частью войска флотъ отплылъ
И отступить отъ крѣпости хотѣли.
Полученный указъ воспламенилъ
Бойцовъ, что отличиться не успѣли:
Назначенъ былъ вождемъ всѣхъ русскихъ силъ
Любимецъ битвъ и врагъ интригъ и споровъ—
Фельдмаршалъ, знаменитый князь Суворовъ.

XL.

Ему письмо Потемкинъ написалъ,
Достойное спартанца. Долгъ тяжелый
Когда бы то письмо продиктовалъ
Въ защиту воли, родины, престола,—
Оно бы удостоилось похвалъ.
Но срамъ ему, какъ чаду произвола!
„Во что бы то ни стало,"—такъ гласилъ
Потемкина указъ,—„взять Измаилъ!"

XLI.

Богъ рекъ: „Да будетъ свѣтъ"—и съ тьмою въ спорѣ
Свѣтъ озарилъ весь міръ. „Чтобъ кровь лилась!"—
Рекъ смертный—и ея пролилось море.
Сынъ ночи молвилъ: „Fiat"—и стряслась
Нежданная бѣда, рождая горе

21*

И сѣя зло. Какъ буря проносясь,
Все вкругъ себя война нещадно губитъ
И не одни сучки, но корни рубитъ.

XLII.

Увидѣвъ уходящія войска,
Обрадовались турки непомѣрно.
Но какъ была ихъ радость коротка!
Побѣду надъ врагомъ считая вѣрной,
Мы на него взираемъ свысока,
И часто результатъ выходитъ скверный.
Не долго ликовалъ турецкій станъ,
Принявшій за дѣйствительность обманъ.

XLIII.

Разъ увидали мчавшихся дорогой
Двухъ всадниковъ вдали. Наружность ихъ
Величія являла такъ немного,
Что ихъ сочли за казаковъ простыхъ.
Въ поту, въ пыли, снаряжены убого,
Они неслися на коняхъ лихихъ,
Безъ багажа, въ нарядѣ небогатомъ:
То ѣхалъ самъ Суворовъ съ провожатымъ.

XLIV.

Джонъ Буля, друга всякихъ крѣпкихъ винъ,
Иллюминацій радуетъ сіянье;
Глядя на нихъ, онъ забываетъ сплинъ;
Любя душой народныя гулянья,
Впадать въ печаль не видитъ онъ причинъ
И радъ лишиться денегъ и сознанья
И даже вѣчной глупости своей,
Чтобъ блескъ увидѣть праздничныхъ огней.

XLV.

Увы, Джонъ Буль, совсѣмъ лишившись зрѣнья,
Ужъ проклинать своихъ не можетъ глазъ:
Въ долгахъ онъ видѣть сталъ обогащенье;
Въ налогахъ всевозможныхъ — счастье массъ;
Ничѣмъ не истощить его терпѣнья.
Пусть голодъ въ дверь стучится: не страшась
Тѣхъ бѣдъ, что грозный гость прольетъ безъ мѣры,
Джонъ Буль твердитъ, что голодъ—сынъ Цереры.

XLVI.

Но вновь къ разсказу! Лагерь ликовалъ;
Перомъ не описать такой картины!
Суворовъ славы вѣстникомъ предсталъ.
Какъ метеоръ, что свѣтитъ надъ трясиной
И манитъ въ топь, фельдмаршалъ засіялъ
Предъ войскомъ и восторговъ былъ причиной:
Всѣ вѣрили, что онъ непобѣдимъ,
И были рады слѣдовать за нимъ.

XLVII.

Лишь появился вождь, одушевленье
Неудержимо охватило всѣхъ;
Все измѣнило видъ; воскресло рвенье;
Войскамъ предсталъ давно желанный брегъ.
Къ атакѣ начались приготовленья,
Съ надеждою на славу и успѣхъ;
Все привели немедленно въ порядокъ;
Тяжелый трудъ порой бываетъ сладокъ.

XLVIII.

Великій человѣкъ толпу ведетъ
И безконтрольно управляетъ ею.
Такъ стадо за быкомъ всегда идетъ;
Такъ за собачкой маленькой своею
Ползетъ слѣпецъ; такъ вѣтру лоно водъ
Послушно, съ нимъ въ борьбу вступить не смѣя;
Такъ, потрясая колокольчикъ свой,
Баранъ ведетъ овецъ на водопой.

XLIX.

Воскресшій лагерь, въ радостномъ порывѣ,
Казалось, свадьбу весело справлялъ,
(Метафоры нельзя найти счастливѣй;
Мнѣ кажется, въ ошибку я не впалъ,—
Гдѣ свадьба, тамъ и ссора въ перспективѣ).
Геройскій духъ все войско обуялъ.
Переворота кто же былъ виною?—
Старикъ, умѣвшій управлять толпою.

L.

Весь лагерь былъ въ работу погруженъ,
Приготовляясь къ штурму. Бредя славой,
Отрядъ передовой, изъ трехъ колоннъ,
Лишь знака ждалъ, чтобъ въ бой вступить кровавый.
Вторымъ отрядомъ былъ поддержанъ онъ
Такого же значенья и состава;
Затѣмъ отряда третьяго полки
Готовились атаку весть съ рѣки.

LI.

По возведеньи новыхъ укрѣпленій,
Совѣтъ военный тотчасъ созванъ былъ;
На этотъ разъ, безъ личностей и преній,
Онъ все единогласно утвердилъ.

(Плодитъ единогласіе рѣшеній
Лишь крайность). Все Суворовъ обсудилъ,
Все взвѣсилъ и, готовясь къ битвѣ славной,
Училъ солдатъ штыкомъ владѣть исправно.

LII.

Училъ онъ рекрутъ, какъ простой капралъ,
Нигдѣ минуты не теряя;
Водилъ ихъ черезъ рвы и пріучалъ
Къ огню, ихъ въ саламандры превращая;
По лѣстницамъ ихъ лазить заставлялъ,
Готовясь къ штурму. (Лѣстница такая—
Сказать ли надо?—не сходна вполнѣ
Съ той, что Іаковъ увидалъ во снѣ).

LIII.

Убравъ рядъ фашинъ алыми чалмами,
Приказывалъ солдатамъ онъ своимъ
Тѣ чучела атаковать штыками,
Вступая въ бой, какъ бы съ врагомъ самимъ.
Онъ шелъ къ побѣдѣ разными путями.
Иные мудрецы, труня надъ нимъ,
Усматривали въ этомъ лишь нелѣпость.
Суворовъ прервалъ споры, взявши крѣпость.

LIV.

Насталъ канунъ атаки. Лагерь стихъ.
Не слышалось ни возгласовъ, ни шума;
Когда борьбы тяжелый близокъ мигъ,
Предчувствуя успѣхъ, молчатъ угрюмо
Тѣ, что хотятъ цѣной всѣхъ силъ своихъ
Побѣду одержать; за думой дума
Къ нимъ крадется. Былые вспомнивъ дни,
О милыхъ сердцу думаютъ они.

LV.

Молясь, остря, весь преданный причудамъ,
То ловкій шутъ, то демонъ, то герой,
Суворовъ былъ необъяснимымъ чудомъ.
За всѣмъ слѣдя, онъ планъ готовилъ свой
И ничего не оставлялъ подъ спудомъ.
Какъ арлекинъ, носясь передъ толпой,
Онъ міръ дивилъ то шуткой, то погромомъ,
И былъ сегодня Марсомъ, завтра—Момомъ.

LVI.

Недалеко отъ русскихъ батарей,
Разъ казаки наткнулися дорогой
На кучку подозрительныхъ людей.
То было наканунѣ штурма. Строго
Къ нимъ отнесясь, схватили ихъ скорѣй.
Одинъ изъ плѣнныхъ говорилъ немного
По-русски и кой-какъ имъ объяснилъ,
Что въ арміи когда-то онъ служилъ.

LVII.

Немедленно съ товарищами вмѣстѣ
Его препроводили въ русскій станъ.
(Чинить допросъ удобнѣе на мѣстѣ).
Хотя въ одеждѣ истыхъ мусульманъ
Они явились, все жъ, скажу безъ лести,
Легко признать въ нихъ было христіанъ.
Обманчива бываетъ часто внѣшность,
Судя по ней, не трудно впасть въ погрѣшность.

LVIII.

Суворовъ въ это время, горячась,
Въ одномъ бѣльѣ производилъ ученье.
Уча рѣзнѣ, надъ трусами глумясь,
Онъ расточалъ и брань, и наставленья.
Смотря на плоть людскую, какъ на грязь,
Съ горячностью отстаивалъ онъ мнѣнье,
Что смерть, когда причиной ей война,
Отставкѣ съ полной пенсіей равна.

LIX.

Суворовъ, не спуская съ плѣнныхъ взгляда,
Когда они предстали передъ нимъ,
Спросилъ: „Откуда вы?"—„Мы изъ Царьграда,—
Одинъ изъ нихъ отвѣтилъ,—и бѣжимъ
Отъ турокъ"—„Кто же вы?"—„Объ этомъ надо
Насъ разспросить точнѣе вамъ самимъ".
Должно быть зналъ прибывшій, что Суворовъ
Не терпитъ фразъ и долгихъ разговоровъ.

LX.

„Какъ васъ зовутъ?"—„Я Джонсонъ, а со мной
Жуанъ, что мнѣ товарищъ. Съ нами тоже
Двѣ женщины и евнухъ".—„За собой
Таскать балластъ излишній не пригоже",—
Замѣтилъ вождь.—Но вы мнѣ не чужой:
Васъ помню, а того, что помоложе,
Я вижу въ первый разъ. Да вы никакъ
Служили въ гренадерахъ?"—„Точно такъ".

LXI.

—„Вы были подъ Виддиномъ?"—„Былъ".—„Ходили
На приступъ?"—„Да".—„Что жъ дѣлали потомъ?"
—„Не знаю, право, самъ".—„Въ Виддинъ не вы ли
Вступили первымъ?"—„Шелъ я на-проломъ,

Не отставая отъ другихъ".—„Гдѣ были
Затѣмъ?"—„Я въ плѣнъ захваченъ былъ
врагомъ,
Когда отъ раны впалъ въ изнеможенье".
—„Отмстимъ за васъ, и страшно будетъ
мщенье.

LXII.

Гдѣ жъ вы теперь намѣрены служить?"
—„Мнѣ все равно".—„Я знаю, что вы рады
Врагамъ за оскорбленья отплатить
И будете громить ихъ безъ пощады.
Но какъ же съ этимъ юношей намъ быть?"
— „Объ немъ вамъ безпокоиться не надо:
Коль будетъ онъ въ бою имѣть успѣхъ
Такой же, какъ въ любви, затмитъ насъ
всѣхъ".

LXIII.

„Такъ пусть же въ штурмѣ приметъ онъ
участье!"
Жуанъ поклономъ выразилъ привѣтъ.
Суворовъ продолжалъ: „На ваше счастье,
Вашъ полкъ въ атаку бросится чѣмъ свѣтъ;
На крѣпость до зари хочу напасть я
И произнесъ торжественный обѣтъ,
Что Измаила ужъ не будетъ болѣ:
Его твердыни превращу я въ поле!

LXIV.

Увѣренъ я, васъ много ждетъ наградъ!"
Затѣмъ Суворовъ, крѣпкими словцами
Приправивъ рѣчь, сталъ вновь учить
солдатъ
И, зная, какъ овладѣвать сердцами,
Достигъ того, что каждый былъ объятъ
Желаньемъ въ грозный бой вступить съ
врагами,
Чтобъ ихъ за то нещадно разгромить,
Какъ смѣли въ споръ съ царицею вступить.

LXV.

Къ Суворову, что продолжалъ ученье,
Рѣшился Джонсонъ снова подойти,
Замѣтивъ, что его расположенье
Съумѣлъ снискать и у него въ чести.
— „Насъ радуетъ,- сказалъ онъ, позволенье
Пасть первыми; но гдѣ жъ намъ путь найти?
Пристроивъ насъ къ мѣстамъ, и мнѣ, и другу
Вы этимъ оказали бы услугу".

LXVI.

— „Вы правы; я совсѣмъ забылъ о томъ.
Вернитесь къ прежней службѣ. Путь сча-
стливый!
Васъ подвезутъ къ полку, что подъ ружьемъ,
Чтобъ постъ занять немедленно могли вы;
А вы въ распоряженіи моемъ
Должны остаться, юноша красивый.
Здѣсь женщинамъ, конечно, мѣста нѣтъ.
Ихъ отвести въ обозъ иль лазаретъ!"

LXVII

Но женщины сопротивляться стали,
Хотя гаремъ ихъ пріучить бы могъ
Къ повиновенью. Тамъ онѣ едва ли
Нашли бъ для ослушанія предлогъ.
Съ слезами на глазахъ онѣ возстали,
Подъ тяжкимъ гнетомъ горестныхъ тревогъ;
Такъ курица свои вздымаетъ крылья,
Когда цыплятъ спасаетъ отъ насилья.

LXVIII.

Онѣ защиты ждали отъ друзей,
Которыхъ удостоилъ разговоромъ
Славнѣйшій изъ громившихъ міръ вождей.
О, люди, люди! долго ль вашимъ взорамъ
Все будетъ любъ свѣтъ призрачныхъ лучей,
Что слава льетъ, носяся метеоромъ,
И долго ль моремъ будетъ литься кровь,
Чтобъ къ мнимой славѣ чувствовать любовь?

LXIX.

Суворовъ видѣлъ слезъ и крови море
И былъ привыченъ къ горестямъ людскимъ,
Однако жъ съ сожалѣніемъ во взорѣ
Взглянулъ на женъ, рыдавшихъ передъ нимъ.
Не трогаетъ вождя народовъ горе,
Онъ можетъ быть къ толпѣ неумолимъ;
Но случай единичнаго мученья
Порой въ немъ пробуждаетъ сожалѣнье.

LXX.

Бывалъ, внѣ боя, и Суворовъ слабъ.
Онъ ласково сказалъ: „Эхъ, Джонсонъ,
право,
На кой вы чортъ пригнали этихъ бабъ?
Возиться съ ними вовсе не забава...
Чтобъ имъ грозить опасность не могла бъ,
Ихъ удалю отъ мѣстъ борьбы кровавой.
Солдатъ съ женой въ бою—плохой солдатъ,
Коль года нѣтъ еще, что онъ женатъ!"

LXXI.

— „Не наши, а чужія это жены,—
Суворову тутъ Джонсонъ возразилъ,
— Не допускаютъ строгіе законы,
Чтобъ на войнѣ съ женою воинъ былъ.
И мнѣ ль переступать черезъ препоны,
Что съ мудростью законъ установилъ?

Когда жена, какъ шмель, жужжитъ надъ ухомъ,
Храбрѣйшій воинъ можетъ падать духомъ.

LXXII.

Тѣ женщины—турчанки. Не боясь
Опасности для жизни и гоненій,
Онѣ съ слугой спасли отъ смерти насъ
И слѣдуютъ за нами. Рядъ лишеній
Случалось мнѣ испытывать не разъ,
А имъ не перенесть такихъ мученій.
Чтобъ съ добрымъ духомъ драться мы могли,
Мы просимъ, чтобъ вы ихъ поберегли".

LXXIII.

Въ унынье впали дочери гарема,
Утративъ вѣру въ власть своихъ друзей.
Для нихъ былъ непонятною проблемой
Старикъ, пугавшій внѣшностью своей,
Который простоту избравъ системой,
Чуждался всякихъ пышностей, затѣй,
А между тѣмъ вселялъ не меньше страха,
Чѣмъ гнѣвный взоръ любого падишаха.

LXXIV.

Вполнѣ имъ было ясно, что онъ могъ
Распоряжаться полнымъ властелиномъ,
А въ ихъ глазахъ былъ жалокъ и убогъ.
Султанъ ихъ пріучилъ къ инымъ картинамъ:
Весь въ золотѣ, держась какъ нѣкій богъ,
Являлся онъ сіяющимъ павлиномъ.
Дивило ихъ не мало, что попасть
Въ такую обстановку можетъ власть.

LXXV.

Не понимавшій нѣжностей Востока,
Ихъ вздумалъ Джонсонъ утѣшать сперва;
Жуанъ же поклялся мечомъ пророка,
Что къ нимъ съ зарей придетъ; свои права
Онъ отстоитъ иль разгромитъ жестоко
Всю армію. И что жъ? Его слова
Мгновенно принесли имъ утѣшенье—
Такъ женщины склонны на увлеченье.

LXXVI.

Съ слезами и со вздохами простясь,
Онѣ ушли. Начаться скоро бою!
(Ту силу, что рѣшаетъ участь массъ,
Назвать ли Провидѣніемъ, судьбою
Иль случаемъ? Неразрѣшимъ для насъ
Вопросъ, что міру не даетъ покою).
Занять мѣста друзьямъ пора пришла,
Чтобъ городъ сжечь, не сдѣлавшій имъ зла.

LXXVII.

Суворовъ, чтобы выиграть сраженье,
Не пожалѣлъ бы арміи своей;
Онъ частностямъ не придавалъ значенья,
Была бъ лишь цѣль достигнута вѣрнѣй,
И, смерть неся, смотрѣлъ безъ сожалѣнья
На гибель странъ и бѣдствія людей.
Такъ Іова страданье столь же мало
Его жену и близкихъ огорчало.

LXXVIII.

Онъ за ничто двухъ женщинъ скорбь считалъ.
Межъ тѣмъ подготовлялась канонада.
Гомеръ бы намъ такую жъ описалъ,
И скрасилась бы ею Иліада,
Когда бы о мортирахъ онъ слыхалъ,
Но не о Троѣ говорить мнѣ надо:
О пушкахъ, бомбахъ, ядрахъ и штыкахъ,
На музу нагоняя этимъ страхъ.

LXXIX.

Гомеръ! прошли безчисленные годы,
А міръ все полонъ славою твоей,
Ты описалъ, воспѣвъ царей походы,
Оружье, поражавшее людей;
Въ нашъ вѣкъ надъ нимъ трунятъ враги свободы
И порохомъ хотятъ ея друзей
Повергнуть въ прахъ. Пускай, ей яму роя,
Осадой ей грозятъ: она не Троя.

LXXX.

Гомеръ безсмертный! греческій листокъ,
Откуда черпалъ ты свои извѣстья,
Такихъ ужасныхъ дѣлъ и знать не могъ,
Какія собираюсь перечесть я.
Увы, я предъ тобою, что потокъ
Предъ океаномъ! Все жъ, въ нашъ вѣкъ нечестья,
Хоть древнимъ уступаемъ мы вполнѣ
Въ поэзіи, мы ихъ сильнѣй въ рѣзнѣ.

LXXXI.

Все дѣло въ фактахъ. Истина святая
Лишь въ фактахъ проявляетъ образъ свой,
Но бѣдной музѣ, ихъ передавая,
Иные скрыть приходится порой.
Близка, однакожъ, схватка роковая!
Съумѣю ли воспѣть я грозный бой?
Героевъ тѣни ждутъ побѣдныхъ пѣсенъ,
Чтобъ славу ихъ вѣковъ не скрыла плѣсень.

LXXXII.

Къ тебѣ взываю я, кумиръ молвы,
Наполеона призракъ величавый!
Къ вамъ, греки, что сражалися, какъ львы,
Когда васъ Леонидъ велъ въ бой кровавый!
Къ вамъ, «Комментарьи» Цезаря, чтобъ вы
Своею увядающею славой
И краснорѣчьемъ пламенныхъ рѣчей
На помощь къ бѣдной музѣ шли моей!

LXXXIII.

Да, увядаетъ славное былое!
Такъ выразиться право я имѣлъ:
У насъ, что годъ, то новые герои;
Ихъ всѣхъ не счесть, а слава—ихъ удѣлъ;
Какіе жъ благодатные устои
Наслѣдьемъ намъ отъ этихъ громкихъ дѣлъ?
Увы! они безплодны, да и сами
Герои наши сходны съ мясниками.

LXXXIV.

Отличья всевозможныя должны
Нестись къ героямъ длинной вереницей;
Сроднились съ ними ленты и чины,
Какъ пурпуръ съ вавилонскою блудницей.
Награды честолюбцамъ такъ нужны,
Какъ юношѣ мундиръ, какъ вѣеръ львицѣ.
Но что жъ такое слава? Право, нѣтъ
Возможности на это дать отвѣтъ.

LXXXV.

Сравнивъ ее съ свиньей, что рыщетъ въ полѣ,
Я вамъ бы, можетъ быть, не угодилъ.
Такъ съ шхуною, что носится на волѣ,
Не лучше ли, чтобъ я ее сравнилъ
Иль съ бригомъ? Но сравненій нужно ль болѣ?
Здѣсь кончу, чтобъ не выбиться изъ силъ.
Когда опять займусь своей поэмой,
Кровавый штурмъ моею будетъ темой.

LXXXVI.

Вы слышите? Какой-то шумъ глухой
Тревожитъ ночи грозное молчанье:
То крадутся войска и, скрыты мглой,
Къ стѣнамъ подходятъ, затаивъ дыханье;
Едва замѣтно, сквозь туманъ ночной,
Проглядываетъ тусклыхъ звѣздъ мерцанье;
Но скоро ихъ затмитъ зловѣщій дымъ,
Все застилая облакомъ густымъ.

LXXXVII.

Не долго ждать—и громъ орудій грянетъ.
Сигналъ дадутъ, и грозная пора
Борьбы на жизнь и смерть для войскъ настанетъ.
Они сплотятся, какъ съ горой гора.
Сольется вмѣстѣ, лишь разсвѣтъ проглянетъ,
Съ Аллахомъ турокъ русское ура!
И павшихъ стоны, вопли и молитвы
Безъ отзвука потонутъ въ шумѣ битвы.

ПѢСНЬ ВОСЬМАЯ.

I.

Увѣчья, грохотъ пушекъ, бой кровавый—
Слова не благозвучныя вполнѣ,
Но съ ними сплетены всѣ грезы славы,
Что проситъ жертвъ; и такъ какъ я войнѣ
Намѣренъ посвятить свои октавы,
Ихъ повторять придется часто мнѣ.
Но что слова! Назвавъ войну Беллоной,
Тѣмъ не спасете край, ей разоренный.

II.

Какъ вышедшій изъ логовища левъ,
Шла армія въ безмолвіи суровомъ.
Она ждала (до крѣпости успѣвъ
Добраться незамѣтно, подъ покровомъ
Глубокой тьмы), чтобъ пушекъ грозный ревъ
Ей подалъ знакъ къ атакѣ. Строемъ новымъ
Безстрашно замѣщая павшій строй,
Людская гидра вступитъ въ смертный бой.

III.

Когда сочтемъ тѣ страшныя затраты,
Что золотомъ и кровью дѣлалъ свѣтъ
На войны, какъ ничтожны результаты
Окажутся одержанныхъ побѣдъ!
Онѣ одною славою богаты,
Но сколько расплодили горькихъ бѣдъ!
Слезу страданья осушить съ любовью
Славнѣе, чѣмъ весь міръ забрызгать кровью.

IV.

Да, благодатны добрыя дѣла,
Тогда какъ слава тягостна народу;
Онъ—въ нищетѣ, а жертвамъ нѣсть числа,
Что приносить онъ долженъ ей въ угоду.
Лишь честолюбцы въ ней не видятъ зла.
Война священна только за свободу,
Когда жъ она—лишь честолюбья плодъ,
Кто бойнею ея не назоветъ?

V.

Борьба за волю только—подвигъ громкій!
Зато и Леонидъ, и Вашингтонъ
Безсмертны, и позднѣйшіе потомки
Не позабудутъ славы ихъ именъ.
О нихъ гласятъ не жалкіе обломки
Разрушенныхъ міровъ, не плачъ и стонъ
Порабощенныхъ, но дары свободы,
Что черезъ нихъ пріобрѣли народы.

VI.

Зловѣщая царила тьма вокругъ.
Лишь пушки, искры грозныя бросая,
Свои огни сливали въ яркій кругъ,
Что отражался волнами Дуная,
Какъ адскимъ зеркаломъ. Тревожа слухъ,
Пальба не прерывалась роковая.
Огня небесъ страшнѣй огонь земной:
Одинъ—щадитъ, безжалостенъ другой.

VII.

Едва успѣлъ, подъ сѣнью тьмы безмолвной,
До стѣнъ добраться посланный отрядъ,
Какъ мусульмане разомъ, злобы полны,
Стрѣляя мѣтко, вышли изъ засадъ.
Земля и воздухъ, крѣпость, горы, волны—
Все превратилось вмигъ въ кромѣшный адъ;
Вся мѣстность стала огненнымъ вулканомъ,
Какой-то Этной, взорванной титаномъ.

VIII.

Въ то время, словно громъ, раздался крикъ
„Аллахъ!“ и, потрясая тучи дыма,
Шумъ битвы заглушилъ, свирѣпъ и дикъ.
Какъ вызовъ онъ звучалъ неумолимый,
Суля погибель,—всюду онъ проникъ,
Какъ ураганъ, несясь неудержимо.
Чу!.. въ крѣпости, въ волнахъ, на берегу,
Вездѣ звучатъ: „Аллахъ!“ и „Алла-гу!“

IX.

Врасплохъ не захватили оборону,—
Давно ужъ крѣпость приступа ждала.
Огонь ужасный встрѣтилъ ту колонну,
Что отъ рѣки атаку повела.
Она подверглась тяжкому урону
И вся почти на мѣстѣ полегла.
Командовалъ безстрашно частью тою
Арсеньевъ—вождь, прославленный молвою.

X.

Въ колѣно принцъ де-Линь былъ пораженъ.
У графа Шапо-Бра, въ началѣ дѣла,
Лишь началось движеніе колоннъ,
Межъ головой и шляпой пролетѣла
Шальная пуля. Чудомъ спасся онъ.
Аристократа ль пощадить хотѣла
Та пуля, или вѣдала о томъ,
Что лобъ свинцовый не пробить свинцомъ?.

XI.

Маркòвъ хотѣлъ, во что бы то ни стало,
Чтобъ раненнаго принца унесли,
Хотя кругомъ простыхъ солдатъ не мало
Безпомощно валялось тутъ въ пыли.
Ихъ стоны не смущали генерала,—
Онъ думалъ лишь о принцѣ; но пошли
Ему не впрокъ заботы о вельможѣ:
Вертясь предъ нимъ, Марковъ былъ ра-
ненъ тоже.

XII.

Десятки тысячъ ружей, словно громъ,
Тремъ стамъ орудіямъ вторили, смятень
Внося въ ряды. (Вѣрнѣй всего свинцомъ
Гдѣ нужно, возбуждать кровотеченье!)
О, люди, вы знакомы съ тяжкимъ зломъ
Что причиняютъ голодъ, моръ, лишенья,
Но какъ значенье слабо бѣдъ такихъ,
Коль съ полемъ битвы вы сравните ихъ!

XIII.

Тамъ налицо ужаснѣйшія муки.
Онѣ вездѣ, куда ни бросишь взглядъ:
Здѣсь раненый, крича, ломаетъ руки;
Другіе, закативъ глаза, лежатъ
И видны лишь бѣлки ихъ; скорби звуки
И стоны къ небу жалобно летятъ.
Инымъ лишь смерть отъ ранъ приноситъ
слава;
Другимъ, быть можетъ, дастъ на крестикъ
право.

XIV.

Но все жъ меня волнуютъ славы сны:
Не сладко ли, убравшись сѣдинами,
Безбѣдно проживать на счетъ казны?
Кто не стремится къ пенсіямъ мечтами?

Герои для того еще нужны,
Чтобъ ихъ дѣянья воспѣвать стихами.
Итакъ, чтобъ въ пѣснь попасть, схвативши кушъ,
Нерѣдко въ бой стремится храбрый мужъ.

XV.

Межъ тѣмъ впередъ пустились гренадеры,
Чтобъ брустверъ взять (онъ ихъ одолѣвалъ),
И въ прокъ пошли ихъ храбрости примѣры:
Другой отрядъ за ними не отсталъ.
Какъ дѣти рвутся къ матери, такъ съ вѣрой
Въ успѣхъ всползли они на скользкій валъ
И, не волнуясь, словно на парадѣ,
Мгновенно очутились въ палисадѣ.

XVI.

Невѣроятенъ подвигъ былъ такой!
Вулканъ нанесъ бы меньше злыхъ увѣчій,
Бросая лаву огненной струей,
Чѣмъ встрѣтившій героевъ градъ картечи.
Треть офицеровъ пала подъ грозой;
Ужъ о побѣдѣ не было и рѣчи:
Когда охотникъ падаетъ, никакъ
Въ порядокъ привести нельзя собакъ.

XVII.

Здѣсь перейду я къ своему герою,
Другихъ бойцовъ оставивъ въ сторонѣ;
Я подвиговъ его отъ васъ не скрою,
Но каждаго бойца возможно ль мнѣ
Привѣтствовать хвалебною строфою,
Хотя бъ ее онъ заслужилъ вполнѣ?
Героевъ списокъ сдѣлался бъ длиннѣе,
Но и поэма тоже, что грустнѣе.

XVIII.

Газета вамъ подробно перечтетъ
Всѣ подвиги героевъ жаркихъ схватокъ,
При этомъ и убитыхъ назоветъ,
И перечень такой не будетъ краткокъ,
Какъ ясно вамъ. О, трижды счастливъ тотъ,
Чье имя попадетъ безъ опечатокъ
Въ реляцію! Такъ Гросъ, что въ битвѣ палъ,
Въ побѣдномъ бюллетенѣ Гровомъ сталъ.

XIX.

Жуанъ и Джонсонъ, удержу не зная,
Съ своимъ отрядомъ смѣло шли впередъ,
Работая штыкомъ или стрѣляя;
Ихъ кровь кипѣла; съ лицъ струился потъ;
Они неслись, преграды разрушая,
Не вѣдая, куда ихъ приведетъ
Опасный путь, и отличились оба;
Къ наградамъ ихъ представили особо.

XX.

Они то подвигалися съ трудомъ
Къ углу редута, цѣли всѣхъ усилій,
То, страшнымъ остановлены огнемъ,
Скользя по лужамъ крови, отходили;
Все обливая огненнымъ дождемъ,
Казалось, силы ада замѣнили
Собою небо. Гдѣ колонна шла,
Въ крови лежали грудами тѣла.

XXI.

Хотя Жуанъ былъ новичокъ неловкій,
Но велъ себя какъ истинный герой,
Попавъ на штурмъ безъ всякой подготовки.
Отвагу пробуждаетъ въ насъ порой
Торжественность блестящей обстановки;
Но, стоя подъ ружьемъ, средь мглы сырой,
Подъ гнетомъ тяжкихъ думъ, Жуанъ смутился,
И хоть струхнулъ немного, все жъ не скрылся.

XXII.

Онъ, убѣжавъ, не удивилъ бы насъ;
Порой герою воля непокорна;
Великій Фридрихъ, выстрѣловъ боясь,
Подъ Мольвицемъ одинъ бѣжалъ позорно;
Но это съ нимъ всего случилось разъ.
Конь, соколъ, дѣва борются упорно
Предъ тѣмъ, чтобы вступить на новый путь,
Затѣмъ съ него ужъ не хотятъ свернуть.

XXIII.

На языкѣ пуническомъ картинно
Скажу, что Донъ Жуанъ былъ „духомъ живъ“.
(Ирландіи богатъ языкъ старинный,
Но онъ для насъ загадоченъ, какъ миѳъ.
Откуда онъ? Ученыхъ споры длинны
На этотъ счетъ. Иные, изучивъ
Всѣ тонкости его, такого мнѣнья,
Что Африка дала ему рожденье.

XXIV.

Быть можетъ, справедливъ подобный взглядъ,
Хотя и оскорбляетъ патріота).
Жуанъ, огнемъ поэзіи объятъ,
Не понималъ холоднаго разсчета;

Влеченью чувствъ онъ былъ поддаться радъ,
Тяжелыхъ думъ не ощущая гнета,
И въ обществѣ веселыхъ удальцовъ
Онъ съ радостью подраться былъ готовъ.

XXV.

Жуанъ душой былъ чуждъ всего дурного;
Въ любви, какъ на войнѣ, его вели
Чистѣйшія намѣренья. Вотъ слово,
Что люди, какъ оплотъ, изобрѣли.
Всегда съ нимъ оправданіе готово;
Герой, дѣлецъ, блудница—на мели
Не остаются съ нимъ; но вспомнить надо,
Что такъ мостилась мостовая ада.

XXVI.

Намѣреньямъ чистѣйшимъ хоть не вѣрь!
Ея дѣла, однакожъ, идутъ вяло;
Мнѣ думается даже, что теперь
Та мостовая сильно пострадала;
Попрежнему геенны настежь дверь,
Но ужъ благихъ намѣреній такъ мало,
Что нечѣмъ и чинить ее. Она
Съ Поль-Моль навѣрно сдѣлалась сходна.

XXVII.

Въ то время, какъ Жуанъ шаги направилъ
Къ турецкой батареѣ, вдругъ одинъ
Остался онъ; отрядъ его оставилъ.
(Такъ, годъ спустя по свадьбѣ, безъ причинъ,
Жена иная, самыхъ честныхъ правилъ,
Развода на себя беретъ починъ).
Жуанъ, когда отрядъ безслѣдно скрылся,
Одинъ средь поля битвы очутился.

XXVIII.

Я затрудняюсь это объяснить:
Должно быть, большинство убито было,
А прочіе рѣшились отступить,
Когда имъ сила воли измѣнила.
Бѣгущихъ не легко остановить:
Разъ бѣгство римлянъ Цезаря смутило;
Схвативши щитъ, къ врагамъ помчался онъ
И тѣмъ вернулъ бѣжавшій легіонъ.

XXIX.

Жуанъ, что не былъ Цезарь безъ сомнѣнья,
Да и щита нигдѣ бы не нашелъ,
Смущенъ, остановился на мгновенье,
Затѣмъ впередъ рванулся, какъ оселъ.
(Читатель, не волнуйся: то сравненье
Гомеръ пригоднымъ для Аякса счелъ;
Жуанъ, въ сравненьи не нуждаясь новомъ,
Воспользоваться можетъ и готовымъ).

XXX.

Итакъ, впередъ онъ бросился къ огнямъ,
Что ярче солнца освѣщали мѣстность.
Отважно онъ направился къ холмамъ,
Не бросивъ даже взгляда на окрестность,
Надѣясь свой отрядъ увидѣть тамъ.
Конечно, онъ не могъ привесть въ извѣстность
Его потерь, а также знать не могъ,
Что весь отрядъ почти на мѣстѣ легъ.

XXXI.

Не видя ни начальства, ни отряда,
Котораго исчезъ и самый слѣдъ,
Жуанъ впередъ помчался. (Мнѣ не надо
Вамъ объяснять, какъ, въ цвѣтѣ силъ и лѣтъ,
Жуанъ, что о бояхъ мечталъ съ отрадой,
Любовью къ славѣ движимъ и согрѣтъ,
Могъ забѣжать впередъ, заботясь мало
О томъ, что войско отъ него отстало).

XXXII.

Какъ юноша-наслѣдникъ, что свою
Еще дорогу ищетъ, чуждъ разсчета;
Какъ путникъ, что блудящему огню
Ввѣряется, чтобъ выйти изъ болота;
Какъ выброшенный на берегъ къ жилью
Стремится,—такъ, лишившися оплота,
Жуанъ пошелъ туда, гдѣ жарче бой,
Влекомъ любовью къ славѣ и судьбой.

XXXIII.

Онъ шелъ, своимъ лишь довѣряясь силамъ,
Пальбою безпрерывной потрясенъ.
Въ немъ молніей струилась кровь по жиламъ,
Онъ шелъ любовью къ славѣ вдохновленъ;
Охваченный неудержимымъ пыломъ,
Дыша съ трудомъ, къ мѣстамъ стремился онъ,
Гдѣ Бэкона излюбленное чадо
Окрестность превращало въ нѣдра ада.

XXXIV.

И вотъ наткнулся на отрядъ лихой,
Колонны Ласси жалкіе остатки.
Ее такъ уменьшилъ кровавый бой,
Что героизма славные осадки
Она могла лишь представлять собой.
(Изъ толстыхъ книгъ экстракты—лишь тетрадки).
Жуанъ примкнулъ съ достоинствомъ къ бойцамъ,
Что, храбрости полны, неслись къ врагамъ.

XXXV.

Тутъ Джонсонъ, „совершившій отступ-
ленье“,
Къ нимъ подошелъ. (Желая бѣгство скрыть,
Употребляемъ это выраженье).
Онъ зналъ, гдѣ силъ не слѣдуетъ щадить,
И вмѣстѣ съ тѣмъ не упускалъ мгно-
венья,
Когда свою умѣрить можно прыть.
Такъ всѣ его пріемы были ловки,
Что бѣгству видъ онъ придавалъ уловки.

XXXVI.

Когда былъ перебитъ его отрядъ,
Чтобы собрать предъ схваткой роковою
Тѣхъ, что страшилъ „долины смерти
хладъ“,
Онъ отступилъ. Жуанъ, хранимъ судьбою,
Все лѣзъ въ огонь и съ нимъ идти назадъ
Не согласился бъ. Юному герою
Опасность и не снилась. Такъ въ борьбѣ
Невинность вѣритъ лишь одной себѣ.

XXXVII.

Съ бойницъ и казематовъ цитадели,
Съ засадъ, валовъ, редутовъ, батарей
Безъ перерывовъ выстрѣлы летѣли;
Всѣ зданья стали рядомъ крѣпостей,
Гдѣ турки, полны ярости, засѣли.
Отъ выстрѣловъ спасаясь, егерей,
Разстроенныхъ кровавою борьбою,
Вдругъ Джонсонъ увидалъ передъ собою.

XXXVIII.

Онъ кликнулъ ихъ, и всѣ на зовъ пришли
Немедленно, не такъ какъ духи ада,
Что Готспуръ вызывалъ изъ нѣдръ земли,
Но чьи отвѣты ждать съ терпѣньемъ надо.
Боясь, чтобъ ихъ за трусовъ не сочли,
Явились тотчасъ егеря. Какъ стадо,
Послушно люди идутъ за вождемъ
Въ вопросахъ вѣры иль въ борьбѣ съ
врагомъ.

XXXIX.

Клянуся, Джонсонъ не былъ лицемѣромъ
И, видитъ Зевсъ, онъ могъ бы быть срав-
ненъ
Съ героями, воспѣтыми Гомеромъ.
Рубя враговъ, не волновался онъ
И постоянства могъ служить примѣромъ;
Какъ безпрерывно дующій муссонъ,
Не зная суетливости напрасной,
Онъ шелъ съ покойнымъ духомъ въ бой
опасный.

XL.

Планъ бѣгства зрѣло былъ обдуманъ имъ.
Онъ зналъ, что, отойдя лишь недалеко,
Немедленно примкнетъ къ частямъ такимъ,
Что временно разстроилъ бой жестокій.
Не всѣ герои слѣпы, хоть инымъ
Смежить глаза приходится до срока.
Когда имъ смерть грозитъ, они уйти
Порой спѣшатъ, чтобъ духъ перевести.

XLI.

Но Джонсонъ скрылся только на мгновенье;
Энергіей своей онъ далъ толчокъ
Отряду, что ужъ началъ отступленье
Въ порывѣ страха. (Такъ магнитный токъ
Заставить можетъ трупъ придти въ дви-
женье).
Своимъ примѣромъ онъ солдатъ увлекъ
И смѣло ихъ повелъ дорогой тою,
Что Гамлетъ называетъ „роковою“.

XLII.

Они въ огонь полѣзли, не смутясь,
Хоть встрѣтили пріемъ, вполнѣ похожій
На тотъ, что ихъ заставилъ въ первый
разъ
Покинуть бой и жизнь признать дороже
Всѣхъ обольщеній славы, что подчасъ
Войска ведетъ. (И жалованье тоже —
Хорошій стимулъ!) Въ настоящій адъ
Попалъ пришедшій съ Джонсономъ отрядъ.

XLIII.

Въ безформенную массу превращая
Войска, снаряды сыпались дождемъ,
Все предъ собой губя и разрушая.
Какъ спѣлые колосья подъ серпомъ,
Какъ подъ грозою жатва золотая,
Какъ подъ косой трава,—такъ подъ огнемъ
Убійственнымъ безчисленныхъ орудій,
Купаяся въ крови, валились люди.

XLIV.

Какъ пѣну съ волнъ уноситъ ураганъ,
Такъ цѣлыя шеренги вырывали
Изъ строя пули ярыхъ мусульманъ
(Ихъ крѣпостныя стѣны укрывали);
Но рокъ, что не щадитъ и цѣлыхъ странъ,
Пришелъ на помощь къ Джонсону; едва ли
Не первымъ, сквозь густой и смрадный
дымъ,
До вала онъ добрался невредимъ.

XLV.

Сначала двое къ валу подскочило,
Затѣмъ толпа отважныхъ все росла;
Подмога съ каждымъ мигомъ подходила.
Огонь, какъ подожженная смола,
Со всѣхъ сторонъ лился съ такою силой
И причинялъ врагамъ такъ много зла,
Что смерть отставшимъ такъ же угрожала,
Какъ тѣмъ, что ужъ вскарабкались до вала.

XLVI.

Но случай спасъ ворвавшійся отрядъ,
Ученый грекъ, на удивленье свѣта,
Устроилъ рядъ ненужныхъ палисадъ
Какъ разъ по серединѣ парапета.
Хоть очевиденъ вредъ такихъ преградъ,
Но русскимъ впрокъ пошла ошибка эта.
Конечно, иностранный инженеръ
Не принялъ бы такихъ зловредныхъ мѣръ.

XLVII.

Широкій парапетъ, какъ оказалось,
Тѣмъ палисадомъ ровно пополамъ
Разрѣзанъ былъ, и мѣста оставалось
Довольно, чтобъ могла сомкнуться тамъ
Та кучка храбрыхъ, что на валъ взобралась
Предъ тѣмъ, чтобъ снова кинуться къ врагамъ.
Такъ были слабы эти укрѣпленья,
Что ихъ войска снесли безъ затрудненья.

XLVIII.

Кто первымъ влѣзъ, о томъ напрасенъ споръ,—
О первенствѣ вопросы щекотливы;
Они плодятъ не мало жгучихъ ссоръ
И даже между странами разрывы;
Какой моліеносный броситъ взоръ
На васъ Джонъ-Буль, пристрастно-терпѣливый,
Коль скажете ему, что Веллингтонъ
Въ бою при Ватерло былъ побѣжденъ!

XLIX.

А пруссаки отстаиваютъ мнѣнье,
Что если бъ Блюхеръ, Бюловъ, Гнейзено
Не подошли тогда въ сопровожденьи
Богъ знаетъ сколькихъ лицъ на *овъ* и *но*,
То было бы проиграно сраженье,
И Веллингтонъ, которому оно
Такъ много принесло отличій разныхъ,
Не получалъ бы пенсій безобразныхъ.

L.

Но все жъ и короля, и королей
Храни, Господь! Имъ въ тягостные годы
Не сдобровать безъ помощи Твоей!
Мнѣ чуется, что верхъ возьмутъ народы;
Брыкается и кляча, если ей
Невмоготу. Народъ, ища свободы,
Устанетъ наконецъ, забитъ и сѣръ,
Брать съ Іова въ терпѣніи примѣръ.

LI.

. . . .

LII.

Но будемъ продолжать: какъ я сказалъ,
Не первымъ, но однимъ изъ перыхъ, ловко
Нашъ юный другъ Жуанъ вскочилъ на валъ;
Держался онъ съ искусною сноровкой
Героя, что не разъ въ бояхъ бывалъ,
И новой не смущался обстановкой.
Какъ женщина красивъ и чистъ душой,
Онъ, бредя только славой, несся въ бой.

LIII.

Какъ эта обстановка сходства мало
Имѣла съ той, къ которой онъ привыкъ!
Его досель одна любовь плѣняла;
Онъ съ дѣтства понималъ ея языкъ;
Его душа отъ счастья трепетала,
Когда надъ нимъ склонялся милый ликъ;
Не могъ онъ, какъ Руссо, въ измѣны вѣрить
И слишкомъ честенъ былъ, чтобъ лицемѣрить.

LIV.

Жуанъ лишь подъ давленіемъ судьбы
Могъ измѣнить горячему участью;
Теперь же былъ онъ тамъ, гдѣ, какъ рабы,
Склонялись люди въ прахъ предъ грозной властью
Желѣза и огня. Въ пылу борьбы
Впередъ онъ несся съ бѣшеною страстью;
Такъ, чуя шпоры, чистокровный конь
Бросается и въ воду, и въ огонь.

LV.

Какъ спортсмэнъ, что, опасность забывая,
Несется черезъ рвы мечты быстрѣй,
Такъ, на пути препятствія встрѣчая,
Жуанъ, волнуясь, къ цѣли шелъ своей;
Борьба, дурныя страсти разжигая,

Безжалостными дѣлаетъ людей;
Но на него вліянья не имѣла:
Его душа въ бою не очерствѣла.

LVI.

Нежданною подмогой подкрѣпленъ,
Вздохнулъ свободнѣй Ласси, что борьбою
Разстроенъ былъ; его со всѣхъ сторонъ
Враги тѣснили грозною толпою.
Жуана, что стоялъ съ нимъ рядомъ, онъ
За помощь сталъ благодарить. Не скрою,
Что дворянинъ изъ прибалтійскихъ странъ
Не лучше былъ бы встрѣченъ, чѣмъ Жуанъ.

LVII.

Съ нимъ по-нѣмецки, самымъ мягкимъ тономъ,
Заговорилъ почтенный генералъ;
На эту рѣчь безмолвнымъ лишь поклономъ
Жуанъ ему учтиво отвѣчалъ.
Съ нѣмецкимъ, какъ съ санскритскимъ, лексикономъ
Онъ мало былъ знакомъ, но понималъ,
Регальи созерцая генерала,
Что онъ имѣлъ значенія не мало.

LVIII.

Ихъ разговоръ лишь длился мигъ одинъ.
Но могутъ ли слова имѣть значенье
Средь душу раздирающихъ картинъ,
Что представляетъ смерть и разрушенье,—
Когда среди дымящихся руинъ
Проклятья, вопли, стоны и моленья
Уныло раздаются, какъ набатъ,
И, слухъ тревожа, жалобно звучатъ?

LIX.

Всѣ звуки битвы въ ревъ сливались дикій;
Казалось, адъ всѣ силы въ бой стянулъ;
Такъ были общій шумъ и трескъ велики,
Что даже громъ безслѣдно бъ потонулъ
Средь шума битвы. Стоны, вопли, крики,
Сливаясь, пушекъ затмевали гулъ.
Но вотъ минута страшная настала:
Ударъ судьбы свершился—крѣпость пала.

LX.

„Богъ создалъ свѣтъ, а смертный—города“,
Такъ Куперъ говоритъ; но какъ ихъ много
Съ теченьемъ лѣтъ исчезло безъ слѣда!
Гдѣ Тиръ и Ниневія? Гдѣ дорога,
Что въ Вавилонъ ведетъ? Прошли года
И смыли слѣдъ столицы и чертога.
Развалины повсюду; можетъ быть,
Въ лѣсахъ придется снова людямъ жить.

LXI.

Изъ всѣхъ людей, прославленныхъ молвою,
Счастливѣйшимъ считаю Буна я
(За исключеньемъ Суллы, что судьбою
До смерти былъ хранимъ). Въ глуши живя,
Охотой занимался онъ одною,
Людей рѣзней напрасно не дивя,
И, духомъ бодръ, въ лѣсахъ страны далекой
Достигъ безъ горя старости глубокой.

LXII.

Душою чистъ, онъ прожилъ долгій вѣкъ.
Уединенью только грезы милы;
И жизнь его до срока не пресѣкъ
Недугъ,—лишь трудъ поддерживаетъ силы;
Живя въ столицахъ душныхъ человѣкъ
Доказываетъ тѣмъ, что сѣнь могилы
Ему милѣе жизни. Вѣкъ трудясь,
Съ улыбкой встрѣтилъ Бунъ кончины часъ.

LXIII.

И что жъ? Почтенный мужъ себя прославилъ,
Хоть массами не убивалъ людей,
И всюду память добрую оставилъ;
Завидна слава лишь въ союзѣ съ ней!
И злость, и зависть онъ молчать заставилъ,
Не прибѣгая къ помощи цѣпей.
Отшельникъ Россы и дитя природы,
Онъ прожилъ вѣкъ поборникомъ свободы.

LXIV.

Соггражданъ Бунъ чуждался и отъ нихъ
Онъ уходилъ туда, гдѣ воздухъ чище;
Любя просторъ и тишь лѣсовъ густыхъ,
Къ нимъ рвался онъ. (Гдѣ скучены жилища,
Себя стѣсняя, мы тѣснимъ другихъ).
Бунъ не былъ мизантропомъ: если нищій
Ему порой встрѣчался на пути,
Къ нему на помощь онъ спѣшилъ придти.

LXV.

Но жилъ онъ не одинъ: дѣтей природы
Вкругъ Буна племя цѣлое расло;
Душевныхъ бурь тяжелыя невзгоды
Невѣдомы имъ были; ихъ чело
Морщинъ не знало; свѣтлый духъ свободы
Ихъ оживлялъ; имъ чуждо было зло.
Свободно взросшій лѣсъ, что ихъ взлелѣялъ,
Одну любовь къ добру въ ихъ души сѣялъ.

LXVI.

Заботъ не зная, стройны и сильны,
Они въ странѣ привольной процвѣтали;
Какъ городовъ тщедушные сыны
Предъ ними жалки! Тяжкій гнетъ печали
Не отравлялъ ихъ сладостные сны;
Ихъ моды въ обезьянъ не превращали;
Просты, хотя не дики,—изъ-за ссоръ
Они борьбу считали за позоръ.

LXVII.

Веселость ихъ всегда сопровождала;
Поденный трудъ ихъ не томилъ ничуть;
Среда развратъ въ ихъ души не вливала;
Въ тѣни лѣсовъ свободно дышитъ грудь.
Гнетъ роскоши, распутства злое жало
Не направляли ихъ на ложный путь:
Подъ свѣтлой сѣнью дѣвственнаго лѣса
Нужда и горе не имѣютъ вѣса.

LXVIII.

Довольно о природѣ. Мы должны
Опять вернуться къ благамъ просвѣщенья:
Къ пожарамъ и чумѣ, плодамъ войны,
Къ картинамъ смерти, бѣдъ и разрушенья,
Что жаждою побѣдъ порождены.
Чтобы себѣ доставить развлеченье,
Пролить хоть море крови деспотъ радъ:
Взять Измаилъ велѣли, и—онъ взятъ.

LXIX.

Палъ Измаилъ. Одинъ отрядъ сначала
Въ немъ проложилъ кровавый путь. За нимъ
Другой ворвался слѣдомъ. Смерть зіяла,
И острый штыкъ, какъ рокъ неумолимъ,
Въ толпу врѣзался. Все кругомъ стонало;
Какъ облако, носился сѣрный дымъ,
Тяжелымъ смрадомъ воздухъ отравляя.
А турки все дрались, не отступая.

LXX.

Кутузовъ, что при помощи снѣговъ
Впослѣдствіи отпоръ далъ Бонапарту,
Съ солдатами попалъ въ глубокій ровъ,
Благодаря излишнему азарту.
Предъ другомъ и врагомъ онъ былъ готовъ
Всегда шутить и, ставя жизнь на карту,
Острилъ надъ всѣмъ, веселый тѣша нравъ:
Но тутъ онъ пріунылъ, въ бѣду попавъ.

LXXI.

Безумною отвагою согрѣтый
И храбрости желая дать примѣръ,
Онъ бросился къ подножью парапета;
Но турки смяли храбрыхъ гренадеръ,
Что съ нимъ пошли въ атаку. Въ схваткѣ этой
Въ числѣ убитыхъ былъ и Рибопьеръ,
Что палъ, оплаканъ всѣми въ русскомъ станѣ.
Загнали въ ровъ обратно мусульмане

LXXII.

На парапетъ взобравшихся солдатъ;
Но ихъ спасла нежданная подмога:
Какой-то заблудившійся отрядъ,
Что проплуталъ невѣдомой дорогой,
Пришелъ на помощь къ нимъ, а то наврядъ
Подъ градомъ пуль ихъ уцѣлѣло бъ много,
И храбрый весельчакъ Кутузовъ—самъ
Съ колонною своей погибъ бы тамъ.

LXXIII.

Отрядъ прибывшій, послѣ жаркой схватки,
Оплотомъ овладѣлъ турецкихъ силъ.
Когда бѣжали турки въ безпорядкѣ,
Провелъ онъ за собою въ Измаилъ
Килійскими воротами остатки
Отряда, что Кутузовъ погубилъ.
Во рву, среди кроваваго болота,
Пріютъ нашла разбитая пѣхота.

LXXIV.

Казàки иль, пожалуй, казаки
(На правильность и точность удареній
Мнѣ обращать вниманье не съ руки,
Лишь избѣгаю фактовъ искаженій)
Всѣ полегли, изрублены въ куски.
Незнатоки по части укрѣпленій,
Привыкшіе сражаться лишь верхомъ,
Не въ силахъ были справиться съ врагомъ.

LXXV.

Хоть ихъ огонь преслѣдовалъ жестоко,
Толпой они вскарабкались на валъ
И думали, покорны волѣ рока,
Что грабежа отрадный мигъ насталъ;
Но зубъ порой нейметъ, хоть видитъ око:
Предъ ними непріятель отступалъ



ГУЛЬБЕЯ (Goulbeyaz).

Рис. Медоусъ (Meadows), грав. Райолъ (H. T. Ryall).

Въ стихахъ, какъ въ прозѣ, лгать заслуги нѣтъ;
Поэтъ, что долженъ быть лишь правдой связанъ,
Грѣшитъ, красою фразъ мороча свѣтъ.
Поэту срамъ, когда во лжи погрязъ онъ:
Неправду сатана пускаетъ въ ходъ,
Какъ бы приманку, чтобъ губить народъ.

LXXXVII.

Нѣтъ, не сдались твердыни Измаила,
А пали подъ грозою. Тамъ ручьемъ,
Алѣя, кровь свои струи катила;
Безъ страха передъ смертью и врагомъ
Валились турки. Верхъ брала лишь сила.
Хоть все, пылая, рушилось кругомъ,
Они не прекращали обороны,
Побѣды крики превращая въ стоны.

LXXXVIII.

Штыки вонзались, длился смертный бой;
И здѣсь, и тамъ людей валились кучи.
Такъ осенью, уборъ теряя свой,
Въ объятьяхъ бури стонетъ лѣсъ дремучій.
Руины представляя лишь собой,
Палъ Измаилъ; онъ палъ, какъ дубъ могучій,
Взлелѣянный вѣками великанъ,
Что вырвалъ съ корнемъ грозный ураганъ.

LXXXIX.

Описывать лишь ужасы—въ систему
Я вовсе не намѣренъ возвести;
Хоть выбралъ благодарную я тему,
Къ другимъ картинамъ надо перейти.
Разнообразить долженъ я поэму:
Чего-то нѣтъ на жизненномъ пути!
А потому представлю, міръ рисуя,
Его и безобразья, и красу я.

XC.

Нашъ фарисей, любитель звонкихъ фразъ
И вычурно слащавыхъ выраженій,
Навѣрно бы сказалъ: „чаруетъ насъ
Отрадный фактъ средь массы преступленій".
Я о такомъ хочу повесть разсказъ.
Мой стихъ, что опаленъ въ пылу сраженій
(Всегда вѣдь эпосъ битвами богатъ),
Я освѣжить такимъ разсказомъ радъ.

XCI.

Валялась въ взятомъ шанцѣ, взоръ пугая,
Убитыхъ женщинъ куча; перейти
Онѣ сюда спѣшили, убѣгая
Отъ смерти и надѣясь тутъ найти
Убѣжище. Свѣтла, какъ утро мая,
Малютка, лѣтъ не больше десяти,
Живою межъ тѣлами оказалась
И скрыться возлѣ нихъ, дрожа, старалась.

XCII.

Два казака, свирѣпѣе медвѣдей,
Накинулись на дѣвочку; ихъ лики
Вселяли страхъ жестокостью своей;
Не менѣе страшны ихъ были крики...
Что можетъ порождать такихъ звѣрей?
Кто этому виной? Ихъ нравъ ли дикій,
Иль тѣ, что, получивъ отъ Бога власть,
Въ сердцахъ людей лишь къ злу вселяютъ страсть?

XCIII.

Надъ маленькой головкой засверкало
Оружье ихъ. Дрожавшее дитя
Лицо свое межъ трупами скрывало.
(Оно перепугалось не шутя).
Жуана это зрѣлище взорвало.
Что онъ сказалъ, волненью дань платя,
Не повторю—приличьями я связанъ,—
Но что онъ сдѣлалъ, я сказать обязанъ.

XCIV.

Онъ налетѣлъ на нихъ, свирѣпъ и рьянъ,
И, съ ними не вступая въ разговоры,
Имъ нѣсколько нанесъ тяжелыхъ ранъ;
Затѣмъ, карая звѣрство, безъ призора
Оставилъ ихъ. Тоской объятъ, Жуанъ
На груды тѣлъ кровавыхъ бросилъ взоры
И дѣвочку, что только чудомъ рокъ
Помогъ спасти, изъ ихъ среды извлекъ.

XCV.

Какъ трупы тѣ былъ блѣденъ ликъ унылый
Малютки. Мечъ, что мать ея убилъ,
Скользнулъ по ней; о близости могилы
Зловѣщій шрамъ невольно говорилъ.
Со всѣми, что ей въ жизни были милы,
Тотъ крови слѣдъ послѣдней связью былъ;
Но не была опасна эта рана.
Дитя, дрожа, взглянуло на Жуана.

XCVI.

Они другъ съ друга не спускали глазъ.
Читались въ немъ надежда, сожалѣнье,
Восторгъ, что онъ дитя отъ смерти спасъ,
За бѣдную малютку опасенье;
Она жъ въ него глазенками впилась,

И радость выражая, и смятенье,
Притомъ была прозрачна и блѣдна,
Какъ ваза, что внутри освѣщена.

XCVII.

Въ то время подошелъ къ нимъ Джонсонъ. (Право,
Я Джекомъ не могу его назвать:
Въ такой моментъ торжественный октава
Должна приличья строго соблюдать).
За нимъ неслася цѣлая орава
Солдатъ. „Я счастливъ друга увидать,—
Сказалъ Жуану онъ.—Скорѣй за дѣло!
Разсчитывать на крестъ мы можемъ смѣло.

XCVIII.

Намъ надо брать послѣдній бастіонъ;
Онъ держится еще, хоть это чудо.
Паша, что не сдается, окруженъ
И помощи не ждетъ ужъ ни откуда.
Сидя въ дыму, спокойно куритъ онъ,
Хоть вкругъ него кровавыхъ труповъ груда;
Все жъ онъ картечь еще пускаетъ въ ходъ:
Такъ старая лоза роняетъ плодъ.

XCIX.

Итакъ, мой другъ Жуанъ, впередъ за мною!"
— „Я спасъ дитя,—сказалъ Жуанъ въ отвѣтъ.—
Нельзя малютку бросить здѣсь одною.
Какъ уберечь ее, дай мнѣ совѣтъ,
И всюду я помчуся за тобою!"
— „Ты правъ, конечно",—жалостью согрѣтъ,
Отвѣтилъ Джонсонъ,—бросить безразсудно
Дитя, но какъ тутъ быть, придумать трудно!"

C.

—„Я не уйду,—сказалъ Жуанъ,—пока
Дитя не будетъ въ безопасномъ мѣстѣ".
—„Но вѣдь вездѣ опасность велика".
Товарищъ возразилъ ему.—„Такъ вмѣстѣ
Пускай раздавитъ насъ судьбы рука,
Но я останусь вѣренъ долгу чести.
Ребенокъ этотъ ввѣренъ мнѣ судьбой;
Онъ сирота, а потому онъ мой!"

CI.

— „Жуанъ!—воскликнулъ Джонсонъ: ни мгновенья
Терять нельзя. Ребенокъ очень милъ,
Но славѣ долженъ дать ты предпочтенье
Предъ чувствомъ. Коль разграбятъ Измаилъ,
Всѣ оправданья будутъ безъ значенья.
Мнѣ ждать нельзя: атаки часъ пробилъ.
Ты слышишь крики? Каждый мигъ намъ дорогъ,
А время мы теряемъ въ разговорахъ".

CII.

Жуанъ былъ непреклоненъ. Чтобъ скорѣй
Уладить дѣло, Джонсонъ постарался
Двухъ провожатыхъ выбрать повѣрнѣй
И ввѣрилъ имъ малютку. Онъ поклялся,
Что если что-нибудь случится съ ней,
То разстрѣляетъ ихъ, но обѣщался
Не пожалѣть значительныхъ наградъ,
Когда они ребенка сохранятъ.

CIII.

За Джонсономъ тогда, сквозь тучи дыма
И выстрѣловъ неумолкавшій громъ,
Пошелъ Жуанъ. Хоть смерть неутомимо
Людей косила, царствуя кругомъ,
Войска впередъ неслись неустрашимо.
Герой добычи проситъ и, влекомъ
Любовью къ ней, всегда дерется съ жаромъ.
Гдѣ тотъ герой, что будетъ драться даромъ?

CIV.

Увы, какъ много есть людей такихъ,
Чьи ужасаютъ гнусныя дѣянья!
Зачѣмъ людьми мы называемъ ихъ?
И надо бы другое дать названье,
Тѣмъ отличая праведныхъ отъ злыхъ.
Но снова перейду къ повѣствованью.
Въ редутѣ атакованномъ засѣвъ,
Одинъ татарскій ханъ дрался, какъ левъ.

CV.

Старикъ съ *пятью* своими сыновьями
(Гаремъ всегда плодитъ бойцовъ толпой!),
Не вѣря въ то, что городъ взятъ врагами,
Отчаянно дрался за край родной.
Титана ли хочу воспѣть стихами?
Ахиллъ иль Марсъ стоятъ ли предо мной?
О, нѣтъ! Лишь старца я воспѣть намѣренъ
Который палъ съ дѣтьми, отчизнѣ вѣренъ.

CVI.

Когда герой въ бѣдѣ, ему помочь
Толпа отважныхъ витязей готова;
Но иногда имъ гнѣвъ сдержать не въ мочь;
Ихъ души—смѣсь и добраго, и злого;
Они въ борьбѣ то жалость гонятъ прочь,
То ихъ сердца она смягчаетъ снова
И властвуетъ надъ черствою душой;
Такъ вѣтерокъ колеблетъ дубъ порой.

CVII.

Хотѣли завладѣть упрямцемъ старымъ,
Щадя его; но не сдавался ханъ;
Ударъ имъ наносился за ударомъ;
Старикъ рубилъ нещадно христіанъ,
И сыновья его дралися съ жаромъ,
Не мало нанося тяжелыхъ ранъ.
Сочувствіе къ нимъ русскихъ охладѣло;
Ему, какъ и терпѣнью, есть предѣлы.

CVIII.

Жуанъ и Джонсонъ тщетно въ разговоръ
Вступали съ старикомъ. Забрызганъ кровью,
Онъ не хотѣлъ умѣрить свой задоръ;
Неумолимъ, какъ докторъ богословья,
Со скептикомъ вступившій въ жаркій споръ,
Онъ съ гордостью всѣ отвергалъ условья
И расправлялся такъ съ толпой друзей,
Какъ гнѣвный мальчикъ съ нянькою своей.

CIX.

Онъ страхъ внушалъ своимъ суровымъ ликомъ;
Имъ раненъ былъ британецъ и Жуанъ;
Тогда Жуанъ со вздохомъ, Джонсонъ съ крикомъ
Напали на него. Упрямый ханъ,
Съ дѣтьми, сражался въ изступленьи дикомъ.
На нихъ грозой обрушился весь станъ;
Но не страшны пескамъ пустыни тучи:
И подъ грозою сухъ песокъ сыпучій.

CX.

Но, наконецъ, погибли всѣ они:
Сраженный пулей, сынъ второй палъ мертвый;
Изрубленъ саблей, третій кончилъ дни;
Пронизанный штыкомъ, погибъ четвертый,
Отца любимецъ и кумиръ семьи;
А пятый, нелюбимый и затертый,
Гречанки сынъ, что былъ отцомъ гонимъ,
Его спасти желая, палъ предъ нимъ.

CXI.

Глубоко назареевъ презирая,
Былъ истымъ туркомъ хана старшій сынъ;
Онъ видѣлъ предъ собою кущи рая,
Гдѣ воинъ, павшій въ битвѣ, властелинъ,
И гурій передъ нимъ толпа густая
Носилась. Кто взглянулъ хоть разъ одинъ
На райскихъ дѣвъ, тотъ къ нимъ пылаетъ страстью,
Склоняясь ницъ предъ ихъ волшебной властью.

CXII.

Какъ отнеслися гуріи къ нему,
Не знаю и не въ силахъ отгадать я;
Но, право, ясно сердцу и уму,
Что имъ милѣе юноши объятья,
Чѣмъ стараго героя; потому
За истину тотъ взглядъ готовъ признать я,
Что старцы рѣдко падаютъ въ огнѣ,
А юноши все гибнутъ на войнѣ.

CXIII.

Тѣ гуріи увлечь всегда готовы
Недавно обвѣнчавшихся мужей,
Когда въ разгарѣ мѣсяцъ ихъ медовый;
Когда о жизни холостой своей
Они еще не тужатъ, съ жизнью новой
Мирясь и даже наслаждаясь ей.
Какъ видно, райскимъ дѣвамъ лишь отрада
Срывать цвѣты; плодовъ же имъ не надо.

CXIV.

Забывъ и женъ, и собственный гаремъ,
Красивый ханъ стремился къ волнамъ свѣта,
Скрывающимъ и гурій, и Эдемъ.
Надеждою увидѣть ихъ согрѣтый,
Пророка сынъ не дорожитъ ничѣмъ,
Какъ будто только въ небѣ Магомета
Возможно свѣтлый миръ душѣ обрѣсть.
Межъ тѣмъ небесъ, какъ слышно, семь иль шесть.

CXV.

Игрою увлеченъ воображенья,
Почувствовавъ въ груди конецъ копья,
Онъ прошепталъ. „Аллахъ!"—и въ то жъ мгновенье
Предъ нимъ сверкнула вѣчности заря,
И рай предъ нимъ, какъ свѣтлое видѣнье,
Предсталъ, огнями яркими горя.
Пророки, дѣвы, ангелы, святые
Ему явились, свѣтомъ облитые.

CXVI.

И умеръ онъ съ сіяющимъ лицомъ.
Тутъ старый ханъ, что на дѣтей молился,
Лишь о потомствѣ думая своемъ,
Когда послѣдній сынъ его свалился,
Какъ мощный дубъ, сраженный топоромъ,
Борьбу прервалъ на мигъ и наклонился
Надъ первенцемъ. Лишившись разомъ силъ,
Онъ тусклый взоръ на блѣдный трупъ вперилъ

CXVII.

Прервали бой немедленно солдаты,
Надѣясь, что онъ сдастся; но старикъ,
Тоскою безысходною объятый,
О нихъ забылъ. Его былъ мертвенъ ликъ;
Надломленный тяжелою утратой,
Герой, не знавшій страха, какъ тростникъ
Вдругъ задрожалъ: одинъ, исполненъ горя,
Остался онъ средь жизненнаго моря.

CXVIII.

Но дрожь лишь длилась мигъ. Однимъ прыжкомъ
Онъ бросился на штыкъ окровавленный.
Такъ мотылекъ, плѣняемый огнемъ,
Въ немъ погибаетъ, пламенемъ спаленный.
Попавъ на штыкъ, старикъ повисъ на немъ,
Чтобъ умереть скорѣй; насквозь пронзенный,
Онъ бросилъ на дѣтей прощальный взглядъ
И кончилъ жизнь, отчаяньемъ объятъ.

CXIX.

Когда же смерть глаза на вѣкъ смежила
Отважнаго и гордаго бойца,
Въ солдатахъ, хоть война ихъ пріучила
Къ кровавымъ схваткамъ, дрогнули сердца.
Пускай слеза, скатившись, не смочила
Ни одного суроваго лица,—
Всѣхъ тронулъ этотъ старецъ величавый,
Погибшій, презирая жизнь, со славой.

CXX.

Хотя на уцѣлѣвшій бастіонъ
Всѣхъ русскихъ силъ обрушилась громада,
Паша все не сдавался, окруженъ,
И длилася, какъ прежде, канонада;
Но, наконецъ, спросить рѣшился онъ,
Успѣшно ль подвигается осада,
И, получивъ въ отвѣтъ, что городъ взятъ,
Сдался, спасая этимъ свой отрядъ.

CXXI.

Спокойно онъ сидѣлъ во время боя,
Куря кальянъ, невозмутимъ и строгъ
(Такихъ бойцовъ не видѣла и Троя!),
Все защищаясь, хоть почти полегъ
Его отрядъ. Глядя на ликъ героя,
Подумать бы, конечно, всякій могъ,
Что разрѣшилъ онъ трудную задачу—
Къ тремъ бунчукамъ три жизни взять въ придачу!

CXXII.

Въ крови купаясь, рухнулъ Измаилъ...
И рогъ луны, утратившій значенье,
Пурпурный крестъ собою замѣнилъ;
Но не была символомъ искупленья
Та кровь, которой бой его покрылъ.
Въ волнахъ луны сіяетъ отраженье:
Такъ кровью, что стеклась со всѣхъ сторонъ,
Пожара блескъ былъ грозно отраженъ.

CXXIII.

Все то, что умъ придумать можетъ злого,
Что плоть дурного можетъ совершить,
Все зло, что поражать людей готово,
Всѣ бѣдствія, что можетъ адъ излить,
Все то, что описать безсильно слово,
Всѣ ужасы, что можетъ породить
Въ союзѣ съ властью давящая сила,—
Все это здѣсь, свирѣпствуя, царило.

CXXIV.

Хоть доброта сердечная порой
Себя дѣяньемъ добрымъ проявляла,
Но смыслъ она теперь теряла свой,
Когда война все кровью затопляла
И разрушала все передъ собой.
О, вы, Парижа модные нахалы
И Лондона зѣваки, вы должны
Подумать о послѣдствіяхъ войны!

CXXV.

Подумайте, цѣною сколькихъ жизней
Дается людямъ чтеніе газетъ!
Подъ тяжестью долговъ легко ль отчизнѣ!
Какъ много крови стоитъ громъ побѣдъ!
Придется помянуть намъ скоро въ тризнѣ
Ирландію,—предъ нею чаша бѣдъ.
Голодный край сдержать не можетъ стона;
Насытится ль онъ славой Веллингтона?

CXXVI.

Все жъ люди бредятъ славой и войной.
Такъ воспѣвай ихъ, муза! Смертный холодъ
Пусть не смущаетъ гимнъ побѣдный твой!
Пускай нужда дробитъ народъ, какъ молотъ,
И разоренье жадной саранчей
Летитъ къ нему,—не доберется голодъ
До трона. Если голоденъ Эринъ,
Худѣть Георгу все же нѣтъ причинъ!

CXXVII.

Но кончить тороплюсь я; крѣпость сдалась,
И зарево пылающихъ домовъ
Въ Дунаѣ, полномъ крови, отражалось.
Гремѣлъ побѣдный крикъ, но пушекъ ревъ
Среди развалинъ смолкъ. Въ живыхъ осталась
Лишь горсть людей, а тысячи бойцовъ
Въ кровавомъ снѣ лежали распростерты,
Съ лица земли рукою смерти стерты.

CXXVIII.

Теперь коснуся я, читатель мой,
Сюжета щекотливаго. Старанья
Я приложу, чтобъ вкусъ изящный твой
Не оскорбить, цѣня твое вниманье.
Усталость ли была тому виной,
Зима, иль недостаточность питанья,—
Не вѣдаю; но русскимъ честь отдамъ:
Насилій приключилось мало тамъ.

CXXIX.

Лишь къ грабежу наклонность обнаружа,
Щадить прекрасный полъ былъ воинъ радъ.
Французы поступили бъ вѣрно хуже,
Но ихъ кумиръ, какъ знаютъ всѣ,—развратъ.
Отчасти я приписываю стужѣ
Примѣрную воздержанность солдатъ.
Хоть были исключенья (ихъ всегда мы
Встрѣчаемъ),—мало пострадали дамы.

CXXX.

Во mракѣ потерпѣть пришлось такимъ,
Что храбреца бы обратили въ труса
При блескѣ дня. Винить за это ль дымъ,
Что ѣлъ глаза? Отсутствіе ли вкуса,
Иль свѣта, что всегда необходимъ,
Поспѣшность ли?—рѣшить я не беруся.
Отъ гренадеръ такъ натерпѣлись бѣдъ
Шесть одалискъ семидесяти лѣтъ.

CXXXI.

Иныхъ почтенныхъ дѣвъ—того не скрою—
Холодность опечалила солдатъ.
Готовыя пожертвовать собою
(Одинъ бы рокъ остался виноватъ!),
Надѣялись онѣ, мирясь съ судьбою,
Союзы заключить безъ всякихъ тратъ,
Какъ римляне съ сабинками. Легко ли
Все въ дѣвствѣ обрѣтаться противъ воли!

CXXXII.

Смущалися и вдовы зрѣлыхъ лѣтъ;
Бросая вопросительные взгляды,
Онѣ кричали: что жъ насилій нѣтъ?
И не могли скрывать своей досады;
Съ отвагою несясь навстрѣчу бѣдъ,
Онѣ просить не стали бы пощады;
Но принесла ль погоня за врагомъ
Желанный плодъ—нѣтъ свѣдѣній о томъ.

CXXXIII.

Суворовъ побѣдилъ, затмивъ собой
Тимура. Лишь пальбы умолкли громы,
Онъ написалъ кровавою рукой,
Въ виду домовъ, горѣвшихъ, какъ солома,
Императрицѣ первый рапортъ свой,
Ей сообщая результатъ погрома:
„Благодаренье Богу, слава Вамъ",
Писалъ онъ: *„крѣпость взята, и я тамъ."*

CXXXIV.

Ужасныя слова! Лишь изреченье,
Что прочиталъ на пирѣ Даніилъ,
Съ словами тѣми выдержитъ сравненье;
Хоть смыслъ его иной, конечно, былъ:
Пророкъ, читая Божье откровенье,
Надъ бѣдствіемъ народа не трунилъ,
Тогда какъ русскій вождь, съ Нерономъ пара,
Острилъ въ стихахъ при заревѣ пожара.

CXXXV.

Подъ звуки стоновъ гимнъ побѣды громкій
Онъ написалъ. Тѣхъ ужасовъ забыть
Не можетъ міръ. Кровавые обломки
И камни я заставлю говорить
О гнетѣ зла, чтобъ вѣдали потомки,
Что власть не всѣхъ могла поработить;
Что мы стояли за права народа,
Хоть намъ была невѣдома свобода.

CXXXVI.

Ея мы не дождемся; но они,
Узнавъ ея волшебное сіянье,
Пусть проклинаютъ тягостные дни,
Плодившіе подобныя дѣянья!
Не лучше ли оставить ихъ въ тѣни,
Чтобъ сгинуло о нихъ воспоминанье!
Героя не сравню я съ дикаремъ:
Расписанъ онъ, но крови нѣтъ на немъ.

CXXXVII.

Читая съ страхомъ лѣтопись разврата,
О, внуки! на героевъ прежнихъ лѣтъ
Смотрите, изумленіемъ объяты.
Какъ смотримъ мы на мамонта скелетъ,
Дивясь тому, что могъ онъ жить когда-то;
Какъ созерцаетъ пирамиды свѣтъ,
Желаніемъ объятъ—хотя бъ случайно
Понять ихъ смыслъ и разгадать ихъ тайны.

CXXXVIII.

Читатели, сознаться вы должны,
Что я свои исполнилъ обѣщанья.
Любовныхъ сценъ и бури, и войны
Подробныя я сдѣлалъ описанья;
Къ эпическимъ должны быть причтены
Моей мечты правдивыя созданья;
Пою я безыскусственно вполнѣ,
Но Фебъ порою помогаетъ мнѣ.

CXXXIX.

Съ такой опорой твердою, украдкой
Могу я забавляться и шутить,
Но здѣсь съ моей поэмою-загадкой
Разстанусь и прерву разсказа нить;
Я утомленъ войной, и отдыхъ сладкій
Хочу себѣ на время разрѣшить;
Съ моимъ героемъ встрѣчусь я въ столицѣ
Куда курьеромъ посланъ онъ къ царицѣ.

CXL.

За храбрость и за подвигъ громкій свой
Такой онъ удостоился награды;
Насытившись и кровью и рѣзней,
Хвалить поступокъ добрый люди рады,
Желая скрыть жестокость добротой.
Жуану данъ былъ орденъ; но отрады
Ему дарила больше во сто разъ
Та мысль, что онъ дитя отъ смерти спасъ.

CXLI.

Дитя осталось съ нимъ. Его лишила
Война родныхъ и крова. Цѣлый свѣтъ
Сталъ для него пустынею. Уныло
Молчалъ среди развалинъ минаретъ.
Глядя на блѣдный призракъ Измаила,
Жуанъ былъ потрясенъ и далъ обѣтъ
Не покидать невиннаго созданья,
И данное сдержалъ онъ обѣщанье.

ПѢСНЬ ДЕВЯТАЯ.

I.

О, Веллингтонъ! Благодаря французамъ,
Что съ радости и съ горя все острятъ,
Ты прозванъ Vilain-ton; но ты союзомъ
Съ всемірною извѣстностью богатъ;
Хоть пенсіи твои тяжелымъ грузомъ
На злополучной родинѣ лежатъ.
Тебя вездѣ и всюду превозносятъ
И грязи ко мъ тебѣ въ лицо не бросятъ.

II.

Однакожъ ты безчестно поступилъ
Съ Кинердомъ, не оставшись слову вѣренъ;
Къ тому же ты не разъ душой кривилъ;
Но сплетенъ повторять я не намѣренъ.
Себя ты предъ потомствомъ очернилъ,
А судъ его не будетъ лицемѣренъ!
Хоть ты достигъ весьма преклонныхъ лѣтъ,
Давно ль тебя призналъ героемъ свѣтъ?

III.

Британіи неимовѣрны траты,
Чтобъ наградить тебя; скажи, не ты ль,
Чиня Европы старыя заплаты,
Легитимизма вновь скрѣпилъ костыль?
Твоихъ дѣяній жалки результаты;
Поддерживать напрасно тлѣнъ и гниль!
Хоть Ватерло—блестящая эпоха,
Что жъ подвигъ твой такъ воспѣваютъ плохо?

IV.

Безспорно, ты „головорѣзъ“ лихой
(Тѣмъ прозвищемъ обязанъ ты Шекспиру),
Но пользу ли принесъ кровавый бой—
О томъ судить не королямъ, а міру;
Одинъ кружокъ лишь возвеличенъ твой
Да ты, что уподобился кумиру;
Другимъ же причинила только зло
Нещадная рѣзня при Ватерло.

V.

Я лести врагъ и замѣчаю пятна,
А ты съ ея ужъ свыкся языкомъ
И любишь восхваленья, что понятно:
Тебѣ пріѣлся вѣчный схватокъ громъ;
Одна лишь похвала тебѣ пріятна;
Ты радъ, когда тебя зовутъ притомъ
Спасителемъ народовъ неспасенныхъ
И другомъ странъ досель порабощенныхъ.

VI.

Я высказалъ, что думалъ. Безъ заботъ
Садись за столъ; отъ трапезы богатой
Ты часовымъ, стоящимъ у воротъ,
Пошли подачку; и они когда то
Сражались, но нужды ихъ давитъ гнетъ;
Народъ безъ хлѣба; хоть не даромъ плата
Взимается тобою,—на мой взглядъ
Ты часть пайка отдать бы могъ назадъ.

VII.

Я надъ твоею не глумлюся славой,
Да можно ли тебя критиковать?
Другія времена, другіе нравы:
Примѣръ тебѣ не съ Цинцинната брать.
Ты, какъ ирландцы, любишь ѣсть приправы
Съ картофелемъ, но не тебѣ жъ пахать!
Ты полмильона взялъ,—сознаться надо,
Что черезчуръ ужъ велика награда.

VIII.

Въ былые дни наградъ не зналъ герой:
На похороны денегъ не оставилъ
Эпаминондъ, окончивъ путь земной;
Великій Вашингтонъ себя прославилъ,
Свободу даровавъ странѣ родной,
Но онъ иныхъ, чѣмъ ты, держался правилъ;
Хоть разорилъ свою отчизну Питтъ,
Но онъ вполнѣ былъ безкорыстный бриттъ.

IX.

Въ рукахъ имѣлъ ты власть, и, безъ сомнѣнья,
Спасти Европу могъ бы отъ цѣпей
И заслужить ея благословенья.
Что жъ сдѣлалъ ты для страждущихъ людей?
Такъ мало, какъ никто. За что жъ хваленья?
Не гимновъ ли отъ музы ждешь моей?
На Англію обрушились всѣ бѣды,—
Глядя на нихъ, кляни свои побѣды!

X.

Въ своихъ стихахъ я зло карать привыкъ;
Мнѣ сладкій голосъ лести ненавистенъ;
Внимая мнѣ, твой омрачится ликъ:
Въ газетахъ не прочтешь подобныхъ истинъ;
Дѣлами, но не духомъ ты великъ,
Къ тому же далеко не безкорыстенъ.
Стремиться къ высшей цѣли ты не могъ,
И міръ, какъ прежде, бѣденъ и убогъ.

XI.

Смѣется смерть...Порвавъ съ землей оковы,
Намъ оставляетъ жизнь нѣмой скелетъ.
(Такъ скрывшееся солнце съ силой новой
Другимъ странамъ даритъ тепло и свѣтъ).
Надъ чѣмъ въ тоскѣ мы слезы лить готовы,
Смѣется смерть; отъ ней пощады нѣтъ.
Скелета ротъ безъ губъ и безъ дыханья
Невольно насъ приводитъ въ содроганье.

XII.

Смотрите, какъ скелетъ, что глухъ и нѣмъ,
Смѣется съ злой гримасою надъ нами
И злобно издѣвается надъ тѣмъ,
Чѣмъ былъ недавно самъ. Когда крылами
До насъ коснется смерть, ея ничѣмъ
Не удалишь; костлявыми руками
Со всѣхъ содрать придется кожу ей.
(А кожа всякихъ платьевъ намъ цѣннѣй).

XIII.

Смѣется смерть своимъ беззвучнымъ смѣхомъ,
И жизнь примѣръ съ нея должна бы брать;
Она могла бъ, служа ей вѣрнымъ эхомъ,
Всѣ призрачныя блага попирать,
Глумясь надъ славой, властью и успѣхомъ.
Ничтожества на насъ лежитъ печать.
Ничтожны мы, какъ капли въ бурномъ морѣ,
Да и земля лишь атомъ въ звѣздномъ хорѣ.

XIV.

„Быть иль не быть—вопросъ лишь только въ томъ",
Сказалъ Шекспиръ. Мечтой неуловимой
Я никогда не тѣшился, влекомъ
Любовью къ славѣ призрачной и мнимой.
Отраднѣй быть здоровымъ бѣднякомъ,
Чѣмъ Цезаремъ больнымъ; неоспоримо,
Что счастья дать не можетъ громъ побѣдъ,
Когда нельзя переварить обѣдъ.

XV.

O, dura ilia messorum! Надо
Латинской фразы сдѣлать переводъ
Для жертвъ катарра, что страшнѣе яда:
„Желудкомъ здравъ трудящійся народъ".
Инымъ добыть насущный хлѣбъ отрада;

Другихъ же только радуетъ доходъ.
Въ концѣ концовъ, счастливѣй тотъ, конечно,
Кто крѣпче спитъ, тоски не зная вѣчной.

XVI.

Быть иль не быть?—такъ ставится вопросъ.
А жизнь, по мнѣ, таинственнѣй загадки;
Не мало мнѣній слышать мнѣ пришлось,—
И что жъ?—о ней понятія такъ шатки,
Что, право, всѣ они туманнѣй грезъ:
То ей хвалы, то на нее нападки;
Иные рады руки къ ней простерть;
Она же—если взвѣсить—та же смерть.

XVII.

Que sais-je?—девизъ Монтэня. Аксіомой
Считаютъ, что намъ чуждъ познаній свѣтъ,
Что съ бреднями однѣми мы знакомы
И что ни въ чемъ увѣренности нѣтъ;
Чужое принимаемъ за свое мы;
Познанья наши—только дѣтскій бредъ:
Такъ сбивчивы и шатки наши мнѣнья,
Что сомнѣваться можно и въ сомнѣньѣ.

XVIII.

Съ Пиррономъ мнѣ скитаться не съ руки;
По безднѣ мысли плавать безразсудно!
Опасности отъ бурь тамъ велики;
Нагрянетъ шквалъ—какъ разъ потонетъ судно;
Всѣ мудрецы—плохіе моряки;
Такъ плавать утомительно и трудно;
Не лучше ли пріютъ на берегу,
Гдѣ отдохнуть средь раковинъ могу?

XIX.

Съ тѣхъ поръ, какъ насъ, со всѣмъ животнымъ царствомъ
Сгубила Ева жадностью своей,
Молитва намъ должна служить лѣкарствомъ
Отъ всякихъ бѣдъ: такъ обратимся къ ней,
Чтобы найти исходъ своимъ мытарствамъ.
Безъ воли неба даже воробей
Не гибнетъ; но его проступки, гдѣ вы?
Ужъ не видалъ ли онъ паденья Евы?

XX.

Какъ часто грезы тѣшатъ насъ однѣ!
Что значитъ теогонія, о Боже?
Постичь и космогонію вполнѣ
Я не могу,—и филантроповъ тоже;
Что значитъ мизантропъ? скажите мнѣ!
Къ ихъ сонму причислять меня за что же?
Въ ликантропіи вижу только толкъ:
Такъ часто человѣкъ свирѣпъ, какъ волкъ!

XXI.

Я съ Меланхтономъ схожъ и Моисеемъ
Терпимостью и кротостью своей;
Никто меня не назоветъ злодѣемъ,
Хоть я порой не сдерживалъ страстей
И ходъ давалъ всегда своимъ идеямъ,
Но безъ причинъ не задѣвалъ людей.
За что жъ въ поэтѣ мизантропа видятъ?
За то, что люди правду ненавидятъ.

XXII

Но вновь пора приняться за разсказъ.
Что онъ хорошъ—не сомнѣваюсь въ этомъ;
Хоть не совсѣмъ понятенъ онъ для васъ,
Все жъ остаюсь правдивымъ я поэтомъ.
Когда нибудь пробьетъ желанный часъ,
Когда онъ будетъ понятъ цѣлымъ свѣтомъ.
Теперь, его изгнаніе дѣля,
Одинъ его красой любуюсь я.

XXIII.

Герой моей поэмы (вашъ онъ тоже,
Надѣюсь я) отправленъ въ Петроградъ,
Что создалъ Петръ Великій, силы множа,
Чтобъ тьмою не былъ край его объятъ.
Хвалить Россію въ модѣ, но за что же?
Мнѣ жаль, что самъ Вольтеръ кадить ей радъ;
Но въ этомъ брать примѣръ съ него не стану
И деспотизмъ карать не перестану.

XXIV.

Я выступить всегда готовъ бойцомъ,
Не только на словахъ, но и на дѣлѣ,
Замысль и за свободу. Съ тяжкимъ зломъ,
Что рабство создаетъ, мириться мнѣ ли?
Борьбу я увѣнчаю ль торжествомъ—
Не вѣдаю,—наврядъ достигну цѣли;
Но все, что человѣчество гнететъ,
Всегда во мнѣ противника найдетъ.

XXV.

Я вовсе не намѣренъ льстить народу;
Найдутся демагоги безъ меня,
Готовые всегда, ему въ угоду,
Все разрушать, толпу къ себѣ маня,
Чтобъ властвовать надъ ней. Зову свободу,
Но къ демагогамъ не пристану я;
Чтобъ равныя права имѣли всѣ мы,
Веду борьбу. (Увы, теперь всѣ нѣмы!)

XXVI.

Я всякихъ партій врагъ, и оттого
Всѣ партіи озлоблю, безъ сомнѣнья;
Но непритворны мнѣнія того,
Кто держится противнаго теченья.
Ничѣмъ не связанъ я, и никого
Я не боюсь. Пусть, полны озлобленья,
Шакалы рабства поднимаютъ вой,—
Въ ихъ хорѣ не раздастся голосъ мой.

XXVII.

Съ шакалами, что близъ руинъ Эфеса
Стадами мнѣ встрѣчались, я сравнилъ
Противниковъ свободы и прогресса,
Которымъ голосъ лести только милъ;
(Они безъ власти не имѣютъ вѣса);
Не я шакаловъ этимъ оскорбилъ;
Шакалы кормятъ льва, тогда какъ эти
Для пауковъ лишь разставляютъ сѣти.

XXVIII.

Народъ, очнись отъ сна! Не дай себя
Опутать ихъ зловѣщей паутиной;
Иди впередъ, тарантуловъ губя!
Бояться ихъ не будетъ ужъ причины;
Борись со зломъ, свои права любя!
Когда жъ протестъ раздастся хоть единый?
Теперь одно жужжанье тѣшитъ слухъ
Пчелъ Аттики и злобныхъ шпанскихъ мухъ.

XXIX.

Жуанъ курьеромъ посланъ былъ въ столицу
И важныя депеши везъ съ собой:
Въ нихъ посвятилъ шутливую страницу
Борьбѣ кровавой русскихъ силъ герой.
Побѣдою онъ радовалъ царицу,
Что на войну какъ на пѣтушій бой
Взирала, о потеряхъ не жалѣя,
Когда успѣхъ вѣнчалъ ея затѣи.

XXX.

Жуанъ въ кибиткѣ ѣхалъ. Хуже нѣтъ
Такой ѣзды. Когда дороги тряски,
Натерпишься не мало всякихъ бѣдъ;
Ѣзда такая стоитъ доброй таски.
Жуанъ, надеждой свѣтлою согрѣтъ,
Все видѣлъ только въ розовой окраскѣ;
Жалѣлъ, что не несетъ его Пегасъ,
Но о рессорахъ онъ вздыхалъ не разъ.

XXXI.

Жуанъ глядѣлъ съ заботливостью нѣжной
На спутницу свою. Тяжелый путь
Ее совсѣмъ разбилъ. Пустыней снѣжной
Толчки вамъ мнутъ бока и давятъ грудь;
Подъ гнетомъ ихъ страданья неизбѣжны.
О путникахъ не думаютъ ничуть;
Одна природа чинитъ здѣсь дорогу,
Все прочее принадлежитъ лишь Богу.

XXXII.

Онъ въ полномъ смыслѣ фермеръ этихъ странъ;
У насъ же въ эти тягостные годы
Злосчастный фермеръ скрылся, какъ туманъ.
Церера, у него отнявъ доходы
И власть опустошивъ его карманъ,
Погибла съ Бонапартомъ въ часъ невзгоды.
Смѣшной контрастъ на умъ приходитъ мнѣ:
Палъ Цезарь—и овесъ упалъ въ цѣнѣ.

XXXIII.

Жуанъ смотрѣлъ на дѣвочку съ любовью.
Онъ спасъ ее; блестящъ такой трофей:
Онъ жало притупляетъ и злословью!
По мнѣ, Жуанъ за подвигъ свой славнѣй,
Чѣмъ шахъ Надиръ, что міръ забрызгалъ кровью
И всѣхъ дивилъ жестокостью своей.
(Желудкомъ онъ страдалъ и, злобы полный,
Любилъ смотрѣть, какъ крови льются волны).

XXXIV.

Отраднѣй жизнь цвѣтущую спасти,
Даря участье долѣ сиротливой,
Чѣмъ, смерть неся, за лаврами идти,
Взрощенными залитой кровью нивой.
Душѣ не можетъ счастья принести
Похвалъ незаслуженныхъ голосъ льстивый:
Что слава, если совѣсть не чиста?—
Лишь звукъ пустой, лишь жалкая мечта!

XXXV.

Писатели! къ вамъ всѣмъ безъ исключенья
Я обращаюсь съ рѣчью,—къ тѣмъ изъ васъ,
Которые, продавъ заранѣ мнѣнья,
Въ налогахъ разныхъ видятъ счастье массъ,—
И къ бардамъ, сытымъ громомъ обличенья,
Которые, обидѣть не боясь
Стоящихъ у кормила, всюду трубятъ,
Что полъ-страны нужда и голодъ губятъ.

XXXVI.

Писатели!.. Но à propos de bottes
Я мысль свою забылъ! (И съ мудрецами
Не разъ такой случался эпизодъ!)
Хотѣлось мнѣ искусными словами
Всѣхъ успокоить—власти и народъ,

Миря лачуги съ пышными дворцами.
Я вѣрно бы безцѣнный далъ совѣтъ,
Но знаю, что его не приметъ свѣтъ.

XXXVII.

Когда нашъ міръ, изъ хаоса рожденный,
Вторично будетъ въ хаосъ превращенъ;
Когда онъ, на погибель обреченный,
Исчезнетъ въ мракѣ будущихъ временъ,
Разрушенный, раздавленный, сожженный,
И допотопнымъ міромъ станетъ онъ,—
Быть можетъ, къ удивленію потомковъ,
Мой трудъ найдутъ среди другихъ обломковъ.

XXXVIII.

Въ томъ ничего несбыточнаго нѣтъ.
(Къ трудамъ Кювье питаю я почтенье).
Разсматривать служившій намъ предметъ
Грядущія такъ будутъ поколѣнья,
Какъ смотримъ мы на мамонта скелетъ,—
Какъ смотримъ мы, полны недоумѣнья,
На остовы гигантовъ прежнихъ дней
И крокодиловъ сгинувшихъ морей.

XXXIX.

Георгъ Четвертый, найденный нежданно,
Всѣхъ изумитъ фигурою своей
Вопросъ, какъ добывалъ онъ кормъ желанный,
Чтобъ сытымъ быть, займетъ тогда людей,
Что карликами будутъ. Безпрестанно
Мельчаетъ въ мірѣ все съ теченьемъ дней,
И человѣкъ—хоть видятъ въ немъ кумира—
Лишь гробовой червякъ иного міра.

XL.

Когда народъ появится опять
И будетъ, снова не жалѣя силы,
Съ трудомъ свой хлѣбъ насущный добывать,
Пахать, молоть и жать,—съ тоской унылой,
Какъ мы, платить налоги, воевать,
Найдя случайно старыя могилы,
Не приметъ ли онъ за чудовищъ насъ,
Скелеты наши ставя на показъ?

XLI.

Увы! я философствую не въ мѣру,
Но „время соскочило съ колеи",
И я его послѣдовалъ примѣру:
Порывы не могу сдержать свои
И въ путь прямой давно утратилъ вѣру;
Все то, что можетъ мнѣ на умъ придти,
Въ свои стихи вношу я безъ отсрочки,
Не зная тайны слѣдующей строчки.

XLII.

Хоть я блуждалъ не мало, перейти
Спѣшу, однакожъ, къ своему роману.
Героя я оставилъ на пути;
Но длинный путь описывать не стану.
(У многихъ описанія въ чести;
Мнѣ жъ—не до нихъ!) Я возвращусь къ Жуану,
Не тратя безполезно много словъ,
Въ столицѣ пышной крашеныхъ снѣговъ.

XLIII.

И вотъ, въ одной изъ залъ дворца, съ толпою
Чиновъ двора и дамъ Жуанъ стоитъ,
Въ мундирѣ аломъ съ черною каймою;
Мундиръ ему даетъ блестящій видъ.
Чулки его плѣняютъ бѣлизною;
Надъ шляпою его султанъ дрожитъ,
Какъ рваный парусъ, бурею задѣтый;
Въ рейтузахъ онъ топазоваго цвѣта.

XLIV.

Какъ вылитый, мундиръ сидитъ на немъ.
Портной, какъ чародѣй, всегда представить
Имѣетъ рѣдкій даръ товаръ лицомъ,
Иглой, какъ бы жезломъ, умѣя править.
Жуаномъ всѣ любуются кругомъ.
Прошу на пьедесталъ его поставить,
И тотчасъ же предъ вами Купидонъ
Въ артиллериста будетъ превращенъ.

XLV.

Повязка, съ глазъ упавъ, послушна магу,
На шеѣ станетъ галстукомъ; колчанъ
Въ ножны преобразится, стрѣлы—въ шпагу,
Что ихъ острѣе; луку будетъ данъ
Видъ треуголки; крылышки, давъ тягу,
Вернутся эполетами. Въ обманъ,
Наряженъ такъ, введетъ онъ и Психею,
И за Амура будетъ принятъ ею.

XLVI.

Императрица улыбнулась. Дворъ
Смутился. Дамы всѣ пришли въ волненье;
Любимецъ дня склонилъ уныло взоръ.
(Не помню, кто тогда имѣлъ значенье).
Такихъ не мало видѣли съ тѣхъ поръ,
Какъ началось блестящее правленье
Царицы. Всѣ временщики тогда
Большого роста были господа.

XLVII.

Жуанъ безъ бороды, и худъ, и строенъ,
Совсѣмъ не подходилъ фигурой къ нимъ;
Но онъ отличій всякихъ былъ достоинъ
И только по лицу былъ серафимъ.
Въ глаза бросалось, что онъ храбрый воинъ,
Притомъ же и въ страстяхъ неукротимъ.
Царица, схоронившая Ланского,
Такимъ, какъ онъ, могла увлечься снова.

XLVIII.

Щербатова, Мамонова, ну словомъ
Кого нибудь на *овъ* или на *инъ*—
Мысль испугала и—не безъ причинъ,
Что бъ въ сердцѣ томъ—не черезчуръ суровомъ
Не вспыхнула любовь пожаромъ новымъ.
Смутился духомъ рослый властелинъ,
Чтó занималъ въ тѣ времена въ столицѣ
„Высокій постъ довѣрья" при царицѣ.

XLIX.

Легко понять, что взволновался тотъ,
Кто занималъ „довѣрья постъ высокій".
Какъ этой фразы сдѣлать переводъ?
О, дамы, если смыслъ ея глубокій
Не ясенъ вамъ, не Кэстельри найдетъ
Загадки ключъ; рѣчей его потоки—
Пустой подборъ витіеватыхъ фразъ,
Что съ толку сбить легко съумѣютъ васъ.

L.

Совсѣмъ намъ сфинкса этого не надо
Котораго загадочны слова,
Но дѣйствія ясны! Ему отрада
Лишь попирать священныя права,
Которыя для смертнаго награда.
Не даромъ же клеймитъ его молва!
И безъ него найду я объясненье.
Вотъ анекдотъ, что не лишенъ значенья.

LI.

У итальянской дамы какъ-то разъ
Шутя спросила англійская дама:
— Скажите, въ чемъ обязанность у васъ
Каваліеръ-сервенте, что упрямо
Съ синьоръ замужнихъ не спускаетъ глазъ?"
Такъ итальянка отвѣчала прямо:
— „Чтобъ отношенья эти уяснить,
Вы ихъ должны себѣ вообразить".

LII.

Прошу и васъ, читатели, теперь я
Себѣ вообразить, что дѣлалъ тотъ,
Кто занималъ „высокій постъ довѣрья",
Дававшій деньги, силу и почетъ.
Не дорожить имъ—было бъ лицемѣрье:
Легко ль терять своей удачи плодъ?
И потому достигнувшіе цѣли
Со страхомъ на соперниковъ глядѣли.

LIII.

Наружностью Жуанъ былъ вѣрно схожъ
Съ Парисомъ, злымъ виновникомъ погрома
Злосчастной Трои. Свѣтъ черезъ него жъ
Узналъ судовъ бракоразводныхъ громы...
Кого они не приводили въ дрожь?
Исторія разводовъ мнѣ знакома.
Она гласитъ, что гибель Трои—счетъ,
Уплаченный впервые за разводъ.

LIV.

Царица все любила; исключенье—
Супругъ ея, что сердцу нѐ былъ милъ
И потому отправленъ въ заточенье.
Гигантовъ, полныхъ мужества и силъ,
Она предпочитала, но влеченье
Къ изящному въ ней было, и служилъ
Тому Ланской, столь милый ей, примѣромъ,
Хотя плохимъ онъ былъ бы гренадеромъ.

LV.

О, ты всѣхъ belli teterrima causa!
Таинственная дверь небытія
И жизни—неба вѣчная угроза,
Ты и закатъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ заря!
Постичь тебя—несбыточная греза;
Какъ смертный палъ, того не знаю я,
Но ты съ тѣхъ поръ причина, безъ сомнѣнья,
Погибели его и возвышенья.

LVI.

Зовутъ тебя причиной всякихъ бѣдъ.
Воззрѣніе такое непонятно;
Мы чрезъ тебя рождаемся на свѣтъ
И отъ тебя къ тебѣ жъ идемъ обратно;
Міры ты населяешь; спора нѣтъ,
Все безъ тебя погибло бъ безвозвратно;
На почвѣ міра скудной и сухой
Ты—океанъ, несущій жизнь съ собой.

LVII.

Императрица миромъ и войною
Располагать по прихоти могла,—
И юношу, сіявшаго красою,
Съ почетомъ и радушьемъ приняла;
Когда же увидала предъ собою
Колѣнопреклоненнаго посла,
Остановилась вдругъ, не вскрывъ пакета,
Къ нему лучомъ сочувствія согрѣта.

LVIII.

Лишь мигъ на немъ остановивъ свой взоръ,
Она затѣмъ съ величіемъ царицы,
Скрывая чувствъ нахлынувшихъ напоръ,
Прочла депешъ хвалебныя страницы.
За ней слѣдилъ съ подобострастьемъ дворъ,
И вотъ съ ея улыбкою всѣ лица
Мгновенно прояснились. Красоты
Печать носили царскія черты.

LIX.

Она прочла о взятьи Измаила,
И слава торжествующимъ лучомъ
Ея лицо волшебно озарила;
Такъ тонетъ море въ блескѣ золотомъ
Восхода; но довольно ли ей было
Одной побѣды? Сухъ и подъ дождемъ
Песокъ нѣмыхъ пустынь; въ рѣкѣ кровавой
Готовъ купаться тотъ, кто жаждетъ славы.

LX.

Прочтя стихи Суворова, она
Невольно улыбнулася при этомъ.
(Фельдмаршала кровавая война
И груды труповъ сдѣлали поэтомъ!)
Количествомъ потерь потрясена,
Она на мигъ смутилась, но предъ свѣтомъ
Смятеніе свое съумѣла скрыть
И разомъ грустныхъ думъ прервала нить.

LXI.

Весь дворъ ея улыбка освѣтила,
И онъ расцвѣлъ, надеждою согрѣтъ,
Какъ послѣ злыхъ засукъ цвѣтникъ унылый,
Отъ ливня увидавшій снова свѣтъ.
Когда жъ императрица, что любила
Прекрасное не менѣе побѣдъ,
Окинула юнца привѣтнымъ окомъ,
Всѣ замерли въ волненіи глубокомъ.

LXII.

Грозна въ минуты гнѣва, съ пышнымъ станомъ,
Но величавой граціи полна,
Въ дни свѣтлые плѣняла всѣхъ она,
Кто видитъ прелесть въ сочномъ и румяномъ.
Въ дѣлахъ сердечныхъ чуждая обманамъ,
Сочувствіемъ за все платя сполна,
Она и векселя божка Эрота
Немедля предъявляла для учета.

LXIII.

Преградъ не допуская, ни помѣхъ,
Она прямымъ путемъ стремилась къ цѣли
И щедрою рукой дарила тѣхъ,
Которые ей угождать умѣли;
Кого хоть разъ увѣнчивалъ успѣхъ,
Того въ пути ужъ не страшили мели;
Хоть гнѣвъ ея народовъ не щадилъ,
Въ ней человѣкъ опору находилъ.

LXIV.

Загадки непонятныя—мужчины,
А женщины—подавно. Въ головѣ
У нихъ бушуютъ вихри и пучины,
Опасныя во всемъ ихъ существѣ;
Мѣняются ихъ мысли безъ причины,
Какъ вѣтеръ, шелестящій по травѣ...
Законъ для нихъ—одинъ порывъ сердечный!
Избиты эти истины, но вѣчны.

LXV.

Какъ трудно услѣдить за ходомъ думъ!
Сначала мысль о взятьи Измаила
Екатерины охватила умъ;
Затѣмъ она награды обсудила,
Не признавая дѣйствій наобумъ,
И, наконецъ, вниманье обратила
На юнаго гонца, что ей принесть
Былъ удостоенъ счастья эту вѣсть.

LXVI.

Жуанъ стоялъ въ тревожномъ ожиданьи
У ногъ Екатерины. Ею былъ
Замѣченъ онъ. Цѣня ея вниманье,
Съ надеждою онъ взоръ къ ней устремилъ.
Стоящимъ на горѣ среди сіянья
Меркурія Шекспиръ изобразилъ.
Найди Жуанъ надежную опору,
Взобраться бы и онъ съумѣлъ на гору.

LXVII.

Когда любви мы слышимъ сладкій гласъ
Не исподволь, а сразу сердцу милый,
Волшебный зовъ порабощаетъ насъ.
(Такъ разомъ спиртъ огонь вливаетъ въ жилы).
Сочувствіе, нежданно появясь,
Всѣ поглощаетъ жизненныя силы,
Другія чувства отгоняя прочь;
Лишь слезы осушить ему не въ мочь.

LXVIII.

Когда же самолюбіе при этомъ
Утѣшено отличьемъ, и для всѣхъ
Мы зависти становимся предметомъ,
Сочувствіе растетъ; намъ льститъ успѣхъ;
Быть отличеннымъ передъ цѣлымъ свѣтомъ
Не мало самолюбію утѣхъ
Приноситъ въ даръ, и хорошо ли, худо ль—
Намъ выказать свою отрадно удаль.

LXIX.

Жуанъ былъ въ тѣхъ годахъ, когда намъ милъ
Призывъ любви; когда, съ разсудкомъ въ ссорѣ,
Борьбу со львами весть, какъ Даніилъ,
Готовы мы, съ отвагою во взорѣ,
И внутренно сжигающій насъ пылъ
Тушить готовы въ первомъ встрѣчномъ морѣ;
Такъ солнце гаситъ свѣтъ въ пучинѣ водъ,
Когда къ Ѳетидѣ свѣтлый богъ идетъ.

LXX.

И выгодно, и вмѣстѣ лестно было
Къ царицѣ въ милость случаемъ попасть;
Нещадно лишь враговъ она разила,
Но щедро награждать умѣла страсть.
Плѣнясь ея чарующею силой,
Къ ея ногамъ готовъ былъ всякій пасть,
И тотъ, кого царица отличала,
Вкушалъ лишь медъ, пчелы не слыша жала.

LXXI.

Она была во всемъ расцвѣтѣ лѣтъ;
Всѣхъ сѣрые глаза ея плѣняли;
Мы знаемъ, какъ всесиленъ этотъ цвѣтъ;
Такими же глазами обладали
Шотландская Марія и побѣдъ
Любимецъ, Бонапартъ. Мы всѣ слыхали,
Что и Минерва, чтобъ плѣнять людей,
Такой же цвѣтъ избрала для очей.

LXXII.

Императрицы лестное вниманье,
Ея красы чарующій расцвѣтъ,
Съ величіемъ и властью въ сочетаньѣ,
Ея обворожительный привѣтъ,
Къ Жуану обращенный, средь собранья,
Гдѣ налицо былъ всей столицы цвѣтъ,—
Все это (я скрывать того не стану)
Совсѣмъ вскружило голову Жуану.

LXXIII.

Другого и не надо для любви;
Она лишь эгоизма проявленье
И самолюбья, легкій жаръ въ крови,
Что, угасая, губитъ увлеченье;
Порою предъявлять права свои
Готова страсть; но это исключенье,
И потому любовь признать нельзя
За главную пружину бытія.

LXXIV.

Любви разнообразныхъ видовъ много;
Есть та любовь, что выдумалъ Платонъ;
Одна насъ заставляетъ жить для Бога;
Другая... (Но я риѳмою стѣсненъ—
Увы! поэта риѳма держитъ строго;
Гонясь за ней, онъ часто принужденъ
Грѣшить и противъ смысла). Въ заключенье
Есть чувственности страстныя стремленья.

LXXV.

Кто чувственности пламенемъ объятъ,
Тотъ къ женщинѣ стремится, какъ къ богинѣ,
Онъ передъ ней во прахъ склоняться радъ,
Уподобляя милую святынѣ.
Заря любви свѣтла, ея жъ закатъ
Уныло въ мракѣ тонетъ; жаль, что въ глинѣ,
Какъ плѣнница, душа заключена,
Когда волшебныхъ грезъ она полна!

LXXVI.

Я чту любовь, что чествуетъ каноны
(Духовныхъ лицъ доходныя статьи).
Любви безгрѣшной также чту законы;
Но есть еще и третій родъ любви,
Которому извѣстныхъ лѣтъ матроны
Дарятъ усердно помыслы свои
И, сохраняя прежніе союзы,
Къ нимъ подбавляютъ тайныхъ браковъ узы.

LXXVII.

Иду опять проселочнымъ путемъ,
Но больше философствовать не стану;
Анализовъ довольно; перейдемъ
Теперь опять, читатели, къ роману.
Царицы неожиданный пріемъ,
Какъ вамъ извѣстно, голову Жуану
Совсѣмъ вскружилъ; она жъ смутила дворъ,
На юношу привѣтный бросивъ взоръ.

LXXVIII.

Во всѣхъ углахъ шептаться дамы стали;
У старыхъ обозначились яснѣй
Морщины, что бѣлила прикрывали;
Съ улыбочками дамы въ цвѣтѣ дней
Другъ другу эту вѣсть передавали;
Не мало привела она людей
Въ отчаянье; отъ зависти и злобы
Заплакали и важныя особы.

LXXIX—LXXX.

О томъ: кто этотъ юный новичекъ?—
Посламъ всѣхъ странъ пришлось освѣдомляться.
Возвыситься онъ могъ въ короткій срокъ.
Жизнь коротка, чему же удивляться?
Имъ грезился уже рублей потокъ,
Что̀ долженъ въ сундукахъ его скопляться,
Помимо орденовъ, наградъ иныхъ
А также—многихъ тысячъ крѣпостныхъ.

LXXXI.

Царица, добротой всегда согрѣта,
Ее умѣла проявлять во всемъ;
Какъ передъ ней блѣдна Елизавета,
Скупая и бездушная притомъ,
Которая, любимца сживъ со свѣта,
Старухой умерла, скорбя о немъ!
Ея и злость, и скаредность, понятно,
На санъ ея и полъ бросаютъ пятна.

LXXXII.

Окончился пріемъ, и вмигъ особы,
Посланники всѣхъ европейскихъ странъ
Столпились съ поздравленьями—еще бы!
Вокругъ того, кому высокій санъ
Въ ближайшемъ безъ сомнѣнья будетъ данъ
И зашуршали шелковыя робы:
Вѣдь наши дамы любятъ красоту,
Ведущую къ высокому посту.

LXXXIII.

Всеобщаго вниманія предметомъ,
Причинъ тому не зная, сталъ Жуанъ;
Спокойно относился онъ къ привѣтамъ,
Какъ будто съ малолѣтства важный санъ
Его ужъ пріучилъ царить надъ свѣтомъ;
Ему самой природою былъ данъ
Тотъ свѣтскій лоскъ, что принадлежность знати.
Не много говорилъ Жуанъ, но кстати.

LXXXIV.

Затѣмъ императрицею самой
Былъ порученъ особому вниманью
Высокихъ лицъ поручикъ молодой,—
И свѣтъ, ея послушенъ приказанью,
Къ нему отнесся съ лаской и хвалой.
Непостояненъ свѣтъ; его вліянью
Опасно поддаваться; жалокъ тотъ,
Кто въ немъ обрѣсть надѣется оплотъ.

LXXXV.

Здѣсь отдохну, и вотъ остановилъ я
Пегаса; до ужасной высоты
Добрался онъ, но тяжкія усилья
Измучили его; отъ дурноты
Кружится голова; какъ мельницъ крылья,
Пестрѣютъ предо мной мои мечты;
Чтобъ мозгъ и нервы привести въ порядокъ,
Спущусь въ луга—тамъ отдыхъ будетъ сладокъ.

ПѢСНЬ ДЕСЯТАЯ.

I.

Увидѣвъ разъ, какъ яблоко упало,
Смущенный тѣмъ явленіемъ, Ньютонъ
Открылъ (хоть я ученымъ вѣрю мало)
Всемірный тяготѣнія законъ.
Когда молва не ложь распространяла,
То со временъ Адама первый онъ
Съумѣлъ найти звено соединенья
Межъ яблокомъ и слѣдствіемъ паденья.

II.

Отъ яблокъ пали мы; но этотъ плодъ
Возвысилъ снова родъ людской убогій
(Коль вѣренъ приведенный эпизодъ).
Проложенная Ньютономъ дорога
Страданій облегчила тяжкій гнетъ;
Съ тѣхъ поръ открытій сдѣлано ужъ много,
И вѣрно мы къ лунѣ когда-нибудь,
Благодаря парамъ, направимъ путь.

III.

Вы спросите: зачѣмъ вступленье это?
А потому, что въ сердцѣ пышетъ жаръ
И вдохновеньемъ грудь моя согрѣта.
Я міру не принесъ открытій въ даръ
И ниже тѣхъ, что, къ удивленью свѣта,
Изобрѣли и телескопъ, и паръ,
И противъ вѣтра шли; но къ ихъ союзу
Хочу пристать, призвавъ на помощь музу.

IV.

Я также противъ вѣтра плылъ и волнъ;
Бороться и до нынѣ продолжаю;
Про землю позабывъ, отваги полнъ,
По океану вѣчности блуждаю;
Средь грозныхъ волнъ плыветъ мой утлый челнъ,
А бѣшенымъ валамъ не видно краю!
Но онъ, несясь впередъ, проходитъ тамъ,
Гдѣ гибель бы грозила кораблямъ.

V.

Вернусь къ Жуану. Свѣтлая дорога
Лежала передъ нимъ; онъ лишь вкушалъ
Завидный плодъ веселаго пролога,
Но злой судьбы превратностей не зналъ.
О, музы! (мнѣ всегда ихъ служитъ много)
За нимъ нейдите дальше пышныхъ залъ!
Скажу лишь, что Жуанъ, годами юный,
Осыпанъ былъ щедротами фортуны.

VI.

Но счастью можно ль ввѣриться вполнѣ?
Какъ птичка, упорхнуть оно готово.
Давидъ поетъ: „О, крылья дайте мнѣ,
Чтобъ, улетѣвъ, покой нашелъ я снова!"
Кто въ старости не плачетъ о веснѣ?
Кому не милы отзвуки былого?
И кто бъ не промѣнялъ, когда бы могъ,
Хрипъ старости на юношескій вздохъ?

VII.

Но молкнетъ вздохъ, хотя судьба коварна;
Слезъ (даже вдовьихъ) грустные слѣды
Стираются. Такъ затопляетъ Арно
Весною всю окрестность, а воды
Въ ней лѣтомъ нѣтъ. На почвѣ благодарной
Людского горя—сочные плоды;
Они всегда обильны: счесть ихъ гдѣ же?
Но пахари работаютъ не тѣ же.

VIII.

Однакожъ многихъ губитъ жизни путь;
Былыя муки этому причиной;
Не вздохъ любви, а кашель сушитъ грудь
И раннія являются морщины.
Приходится глаза навѣкъ сомкнуть
До срока многимъ; тяжкій гнетъ кручины
Въ могилу сводитъ ихъ. О, счастливъ тотъ,
Кто кончилъ съ жизнью тягостный разсчетъ!

IX.

Но смерть Жуану вовсе не грозила;
Случайно возвеличенный судьбой,
Онъ ликовалъ; его и не страшила
Непрочность всякой радости земной;
За холодъ, что декабрь несетъ уныло,
Возможно ль презирать іюньскій зной?
Умнѣе запастись, конечно, лѣтомъ
На холодъ злой зимы тепломъ и свѣтомъ.

X.

Притомъ, Жуанъ былъ качествъ полнъ таких,
Что женщинъ среднихъ лѣтъ въ восторгъ приводятъ,
Но не дѣвицъ. Увы! любовь для нихъ
Загадка. Мысли ихъ въ туманѣ бродятъ;
Онѣ о страсти знаютъ лишь изъ книгъ
И томно глазъ своихъ съ небесъ не сводятъ.
По солнцу и годамъ нельзя, по мнѣ,
Ихъ возрастъ исчислять, а по лунѣ.

XI.

Измѣнчива луна и непорочна;
Вотъ почему такъ выразился я;
Причины не найдете вы побочной;
Но въ сказанномъ (правдивость не цѣня)
Всѣ будутъ тайный смыслъ искать нарочно,
Чтобъ такъ, какъ Джеффри, уязвить меня.
Но онъ—мой другъ, я мстить ему не стану;
Зачѣмъ же растравлять больную рану?

XII.

Когда сталъ другомъ врагъ — безчестенъ онъ,
Вновь уязвляя стрѣлами своими;
Я злобою такою возмущенъ.
Какъ съ чеснокомъ, съ людьми ужиться злыми
Нельзя. Враговъ нѣтъ хуже новыхъ женъ
И отставныхъ любовницъ. Вмѣстѣ съ ними
Грѣшно идти тому, кто пересталъ
Быть недругомъ и клятву въ дружбѣ далъ.

XIII.

Гдѣ не клеймятъ отступничествъ позорныхъ?
Бобъ Соути, перебѣжчикъ, лжецъ,—и тотъ,
Попавъ въ вонючій хлѣвъ пѣвцовъ придворныхъ,
Къ противникамъ наврядъ ли перейдетъ.
Нигдѣ измѣнъ не переносятъ черныхъ
И флюгеровъ вездѣ презрѣнье ждетъ;
Постыдно наносить тогда удары,
Когда лишился силъ противникъ старый.

XIV.

Не оставляя ничего въ тѣни,
Юристъ и критикъ видятъ только пятна;
Живя людскими распрями, они
Все замѣчаютъ и имъ все понятно.
Мы, большинство, свои проводимъ дни,
Не видя жизни стороны обратной;
Юристъ же, какъ хирургъ, ища изъянъ,
Старается извѣдать тайны ранъ.

XV.

Юристъ всегда въ грязи, того не скроемъ;
Какъ нравственности жалкій трубочистъ,
Всегда покрытъ онъ сажи толстымъ слоемъ;
Смѣнивъ бѣлье, онъ все жъ не будетъ чистъ;
Онъ превращенъ въ змѣю житейскимъ строемъ;
Но вы, о Джеффри, праведный юристъ
И носите (величья въ васъ такъ много!)
Плащъ адвоката цесарскою тогой.

XVI.

Теперь, загладивъ старые грѣхи,
Съ былымъ врагомъ, въ меня метавшимъ громы
(Насколько могутъ ссорить насъ стихи
И критика озлобленные томы),
Хочу я выпить за былые дни,
За Auld Lang Syne. Мы съ вами незнакомы;
Быть можетъ и не встрѣчусь съ вами я,
Но вашу честность не хвалить нельзя.

XVII.

Хотя не прочь поддаться я желанью
Васъ чествовать, но посвятилъ не вамъ
Мечты объ Auld Lang Syne,—воспоминанью.
На половину я шотландецъ самъ
По крови и совсѣмъ—по воспитанью.
Скептически прошу къ моимъ словамъ
Не отнестись,—я не шучу ни мало;
Мысль о быломъ мнѣ душу взволновала.

XVIII.

Когда слова завѣтныя звучатъ,
Шотландіи родной мнѣ снятся горы;
Ея потоковъ свѣтлыхъ шумный рядъ;
Балгунскій мостъ надъ бездною; уборы
Красивыхъ дѣвъ и пестрый ихъ нарядъ;
Въ прошедшее я устремляю взоры,
И много дѣтскихъ грезъ и нѣжныхъ тайнъ
Мнѣ въ памяти рисуетъ Auld Lang Syne.

XIX.

Хотя, въ припадкѣ риемъ и озлобленья,
Шотландцамъ (юность мстительна всегда!)
Тяжелыя нанесъ я оскорбленья,—
Не въ силахъ мимолетная вражда
Въ насъ заглушить былыя впечатлѣнья;
Въ себѣ шотландца ранилъ я тогда,
Но не убилъ его, и съ прежнимъ пыломъ
О „краѣ рѣкъ и горъ" мечтаю миломъ.

XX.

Отчасти былъ идеалистъ Жуанъ,
Но на реальной почвѣ. Трудно очень
Намъ распознать, что—правда, что—обманъ;
Межъ тѣломъ и душой союзъ непроченъ.
Одной душѣ удѣлъ безсмертья данъ,
А человѣкъ и тѣломъ озабоченъ.
Что ждетъ его, узнать желаетъ онъ,
Но скрыты тайны будущихъ временъ.

XXI.

Жуана шло успѣшно обрусенье.
(Вотъ вамъ примѣръ слѣпой судьбы игры!)
Кто устоитъ предъ силой искушенья,
Когда она обильные дары
Несетъ съ собой? Двора увеселенья,
Побѣды, танцы, выходы, пиры!
Безъ счета деньги—для него все это
Ледъ превращали въ рай и холодъ—въ лѣто.

XXII.

Его ласкалъ, какъ прежде, Дворъ и свѣтъ;
Хоть постъ, имъ занимаемый, порою
И утомлялъ его—бѣды въ томъ нѣтъ;
Легко мириться юношѣ съ судьбою,
И трудъ не въ трудъ, когда мы въ цвѣтѣ лѣтъ;
Тогда мы бредимъ славой и войною,
Любви невольно признавая власть;
Лишь въ старости въ насъ дышитъ къ деньгамъ страсть.

XXIII.

Средь молодежи праздной и развратной
Герой мой жизнь разгульную повелъ;
Губя въ насъ свѣжесть чувства безвозвратно,
Такая жизнь плодитъ не мало золъ;
На нравственность она бросаетъ пятна,
Будя въ насъ эгоизмъ и произволъ
Даря страстямъ. Душа тогда забыта
И какъ улитка въ раковинѣ скрыта.

XXIV.

О нѣжной связи дамы среднихъ лѣтъ
Съ поручикомъ красивымъ я не стану
Распространяться долго. Средства нѣтъ
Спастися отъ тяжелаго изъяна
Бѣгущихъ дней; царямъ покоренъ свѣтъ,
Одной природѣ дѣла нѣтъ до сана;
Гдѣ жъ демократовъ вы найдете злѣй
Морщинъ, враговъ и лести, и цѣпей?

XXXV.

Смерть — царь царей и вмѣстѣ Гракхъ вселенной.
Ея законъ, не признающій кастъ,
Равняетъ всѣхъ. Бѣднякъ, трудомъ согбенный,
И властелинъ—въ земли ничтожный пластъ
Обращены ей будутъ неизмѣнно;
И тотъ клочокъ земли лишь жатву дастъ,
Когда ихъ совершится разложенье.
Смерть—радикалка, въ этомъ нѣтъ сомнѣнья.

XXVI.

Межъ тѣмъ Жуанъ веселый тѣшилъ нравъ,
Ища повсюду только наслажденій;
Случайно въ край медвѣжьихъ шкуръ попавъ,
Кружился онъ средь вихря развлеченій
И суеты. Хоть я и не лукавъ
И не терплю напрасныхъ осужденій,
Но думаю, что шкуры медвѣдей
Пугаютъ взоръ средь роскоши затѣй.

XXVII.

Ту жизнь, что велъ Жуанъ, боясь укора,
Не опишу, хоть съ нею я знакомъ,
Но я, увы! добрался ужъ до „бора",
Что Дантъ воспѣлъ. Кто очутился въ немъ,
Тотъ съ юностью проститься долженъ скоро
И, проливая слезы о быломъ,
Стремиться долженъ къ старости убогой,
Идя съ трудомъ пустынною дорогой.

XXVIII.

Поменьше разсуждать себѣ зарокъ
Я далъ; мнѣ философія постыла;
Но мнѣ такой обѣтъ пойдетъ ли впрокъ?
Порою думъ неотразима сила;
Къ намъ мысль бѣжитъ, какъ къ матери щенокъ,
Какъ травы льнутъ къ скаламъ, какъ къ губкамъ милой
Льнетъ поцѣлуй... Но такъ какъ жажду я
Читателей найти,—сдержу себя.

XXIX

Ухаживать всѣ стали за Жуаномъ;
Лишь онъ не увивался за толпой;
Какъ въ скакунѣ породистомъ и рьяномъ,
Въ немъ чистокровность видѣлась. Красой
И юностью плѣнялъ онъ, стройнымъ станомъ,
Отвагою, одеждой дорогой,
Но важный постъ, имъ занятый недавно,
Его успѣховъ былъ причиной главной.

XXX.

Онъ написалъ въ Испанію роднымъ.
Узнавъ, что онъ въ блестящемъ положеньи
И очень пригодиться можетъ имъ,
Они отвѣтъ, ни медля ни мгновенья,
Ему послали. Снилась ужъ инымъ
Въ Россію эмиграція. Въ волненьи
Они твердили: „шубу заведешь—
И Петербургъ съ Мадридомъ станетъ схожъ!"

XXXI.

Жуана мать, узнавъ, что денегъ мало
У своего банкира сынъ беретъ
(Расходы умѣряя), написала,
Что свой привѣтъ ему за это шлетъ.
Отъ тратъ она его остерегала
И прибавляла, что уменъ лишь тотъ,
Кто, бурныхъ удовольствій избѣгая,
Живетъ, безумно денегъ не мотая.

XXXII.

Мадоннѣ и Христу о немъ молясь,
Его просила въ папу вѣрить свято,
Отнюдь, однакожъ, явно не глумясь
Надъ ересью, соблазнами богатой.
Сказавъ, что вновь семьей обзавелась,
Поздравила его съ рожденьемъ брата;
Затѣмъ царицу стала восхвалять
За то, что обошлася съ нимъ какъ мать.

XXXIII.

Она ее за то вѣнчала славой,
Что молодежи ходъ она даетъ,
За Донъ Жуана не боялась нравы
Заботливая мать. Гдѣ солнце жжетъ,
Тамъ страсть порою льетъ свои отравы;
Въ странѣ жъ такой, гдѣ холодно весь годъ,
Гдѣ никогда почти не таютъ льдины,
И нравственности таять нѣтъ причины.

XXXIV.

Хотѣлъ бы лицемѣрье я хвалить
(Прибѣгнувъ даже къ лести самой грубой),
Какъ добродѣтель—пасторы. Имъ чтить
Лишь на словахъ ее, конечно, любо.
Для этого желалъ бы я добыть
Архангеловъ иль серафимовъ трубы
Иль даже старой тетушки рожокъ;
Чтобъ громъ хвалы пойти могъ людямъ впрокъ.

XXXV.

Не зная лицемѣрья, безъ сомнѣнья,
Старушка въ рай попала безъ труда.
Межъ праведными райскія селенья
Раздѣлятся въ день страшнаго суда.
Такъ раздробилъ саксонскія владѣнья
Вильгельмъ Завоеватель. Онъ тогда
Всѣ разомъ раздѣлилъ чужія земли,
Мольбамъ людей ему служившихъ внемля.

XXXVI.

Однако же не мнѣ тужить о томъ!
Мои два предка множество угодій
Себѣ пріобрѣли такимъ путемъ.
Сдирать въ тѣ годы шкуру было въ модѣ,
Не церемонясь съ попраннымъ врагомъ;
Мои жъ два предка при большомъ доходѣ
Съ имѣній тѣхъ церквей воздвигли рядъ,
Чѣмъ оправдали сдѣланный захватъ.

XXXVII.

Жуанъ и въ счастьѣ сходенъ былъ съ мимозой,
Прикосновеній не терпя ничьихъ.
(Такъ королямъ стихи тошнѣе прозы,
Когда не Соути славный авторъ ихъ!)
Возможно, что наскучили морозы
Герою моему; въ мечтахъ своихъ,
Быть можетъ, онъ стремился къ солнцу юга
И бредилъ красотой въ часы досуга.

XXXVIII.

Быть можетъ... Но догадокъ скуденъ плодъ,
Лишь въ фактахъ дѣло. Рѣдкій гость отрада;
Могильный червь всегда свое возьметъ;
Увы! ему невѣдома пощада.
Въ концѣ концовъ судьба представитъ счетъ;
Сердись иль нѣтъ, а заплатить все надо;
Безъ горя и тревогъ нельзя прожить:
То давитъ скорбь, то надо долгъ платить.

XXXIX.

Но вдругъ... (не знаю, какъ случилось это)
Слегъ Донъ Жуанъ, къ смятенію Двора.
Придворный врачъ, мужъ дѣла и совѣта,
(Который прежде пользовалъ Петра),
Упадокъ силъ считая злой примѣтой,
Рѣшилъ, что онъ опасенъ. Доктора
Удвоили микстуры; Дворъ смутился
И ликъ царицы скорбью омрачился.

XL.

Въ догадкахъ всѣ терялись. Слухъ прошелъ,
Что Донъ Жуанъ Потемкинымъ отравленъ.
Болтали, что онъ самъ себя извелъ,
Всѣ силы истощивъ (трудомъ подавленъ,
Что для него былъ черезчуръ тяжелъ);
Иными же былъ иначе поставленъ
Вопросъ: по увѣреньямъ тѣхъ господъ,
Его сгубилъ Суворовскій походъ.

XLI.

Вотъ какъ врачи пеклися о Жуанѣ:
Sodae sulphat. ℨvj. ℨss. Mannae optim.
Aquae fervent. f. ℥iss. ℨij. Tinctura Sennae
(Тутъ врачъ ему поставилъ банокъ рядъ).
℞. Pulv. Com. gr. iij. Ipecacuanhae
(Сердить врача порой Жуанъ былъ радъ).
Bolus Potassae sulphurat. Sumendus
Et haustus ter in die capiendus.

XLII.

Такъ лѣчатъ и порою губятъ васъ
Врачи, secundum artem. Мы надъ ними
Посмѣиваться любимъ и не разъ
Язвили ихъ насмѣшками своими;
Когда же раздается смерти гласъ
И Лета насъ волнами роковыми
Готова поглотить, мы въ тотъ же мигъ
Къ себѣ на помощь призываемъ ихъ.

XLIII.

Жуану не на шутку смерть грозила,
Но крѣпкая натура верхъ взяла,
И сталъ онъ выздоравливать, но сила
Къ нему вернуться разомъ не могла,
И блѣдность лика ясно говорила,
Что не совсѣмъ болѣзнь его прошла.
(Врачи нашли, замѣтя ту истому,
Что южный зной необходимъ больному).

XLIV.

Среди снѣговъ—увы!—не можетъ цвѣсть
Привыкшее къ теплу растенье юга.
Царицу огорчила эта вѣсть,
Но, видя, что онъ гаснетъ отъ недуга
И климата не можетъ перенесть,
Рѣшилась, наградивъ его заслуги,
Торжественно его отправить въ даль,
Хоть бросить ей любимца было жаль.

XLV.

Какъ разъ тогда, уловками богаты,
Какой то разбирали договоръ
Межъ Англіей и Русью дипломаты.
Торговые вопросы жаркій споръ
Межъ ними возбуждали и трактаты
О плаваньи причиной были ссоръ.
Морей мы никому не уступаемъ
И „uti possidetis“ только знаемъ.

XLVI.

И вотъ Жуанъ назначенъ былъ посломъ,
Чтобъ какъ-нибудь уладить это дѣло.
Блеснуть своимъ могуществомъ притомъ
Царица горделивая хотѣла.
Ему чрезъ день назначенъ былъ пріемъ.
(Любимцевъ отличать она умѣла!)
Особою инструкціей снабженъ,
Жуанъ былъ ею щедро награжденъ.

XLVII.

Во всѣхъ дѣлахъ ей улыбалось счастье;
Но счастіе—удѣлъ вѣнчанныхъ женъ.
Какъ объяснить слѣпой судьбы пристрастье—
Не знаю, но таковъ судьбы законъ.
Открыто выражать свое участье
Царица не могла: безстрастенъ тронъ;
Но такъ ее смутилъ отъѣздъ больного,
Что постъ его не вдругъ былъ занятъ снова.

XLVIII.

Но время—лучшій утѣшитель въ мірѣ
Забвеніе съ собою принесло,
И крѣпкій сонъ она вкусила въ мирѣ
Когда прошло часа двадцать четыре.
До сорока восьми межъ тѣмъ дошло
Ея вниманья жаждущихъ число.
Она не торопясь ничуть избраньемъ,
Лишь любовалась ихъ соревнованьемъ.

XLIX.

Жуанъ готовъ; карета подана
Изящнаго и царственнаго вида;
Царица, съ Ифигеніей сходна,
Въ ней посѣтила нѣкогда Тавриду.
Жуану ей она подарена;
И вотъ онъ скоро скроется изъ виду,
Россію покидая. Экипажъ
Своимъ гербомъ герой украсилъ нашъ.

L.

Въ каретѣ, не враждуя межъ собою,
Съ нимъ были; чижъ, бульдогъ и горностай;
Животныхъ онъ любилъ, того не скрою.
(Кто хочетъ, эту странность объясняй!)
Такъ любятъ дѣвы старыя порою
Котятъ и птицъ, которымъ съ ними рай.
Но сходствомъ тѣмъ язвить его за что же?
Онъ не былъ старъ и дѣвой не былъ тоже.

LI.

Въ другихъ каретахъ чинно размѣстясь
(Секретарей и слугъ не мало было),
Жуана свита вслѣдъ за нимъ неслась.
Съ нимъ рядомъ помѣщалася Леила
(Малютку чудомъ онъ отъ смерти спасъ
Въ зловѣщій день погрома Измаила).
Хоть съ Музою не мало я бродилъ,
Жемчужины Востока не забылъ.

LII.

Серьезна и нѣжна была красотка;
Такіе типы поражаютъ насъ,
Какъ, по словамъ Кювье, дивитъ находка
Средь мамонтовъ костей погибшихъ расъ;
Опасно въ жизнь вступать съ душою кроткой
И любящей—судьба заѣстъ какъ разъ.
Но десять лѣтъ всего малюткѣ было:
Невѣдома въ тѣ дни страданій сила.

LIII.

Любимый ей, Жуанъ ее любилъ.
Конечно, было свято чувство это,
Но рѣдко мы такой встрѣчаемъ пылъ;
Къ роднымъ другой любовью грудь согрѣта.
Чтобъ быть отцомъ, онъ слишкомъ молодъ былъ;
Въ своей семьѣ же братскаго привѣта
Онъ не встрѣчалъ. Жуанъ, сестру имѣй,
Какъ горько бъ тосковалъ въ разлукѣ съ ней!

LIV.

Жуанъ былъ чистъ душою, хоть не тѣломъ,
И думъ въ себѣ порочныхъ не таилъ.
(Развратникъ только льнетъ къ плодамъ незрѣлымъ,
Чтобъ возбуждать въ крови остывшій пылъ;
Такъ щелочи ключомъ вскипаютъ бѣлымъ
Отъ кислоты). Хоть онъ порой грѣшилъ,
Поддаться искушеніямъ готовый,
Но платонизмъ былъ чувствъ его основой.

LV.

Какъ патріоты любятъ край родной,
Такъ онъ любилъ невинное творенье,
Гордяся тѣмъ, что отъ неволи злой
Спасъ дѣвочку. Онъ думалъ путь спасенья
Ей указать при помощи святой
Благочестивыхъ лицъ. Предположенья
Порою и ошибочны: вѣрна
Традиціямъ осталася она

LVI.

Никакъ не соглашалася Леила
Перемѣнить религіи своей;
Увы! святую воду мало чтила
И съ ужасомъ глядѣла на ханжей;
На исповѣдь къ аббатамъ не ходила
(Грѣховъ, быть можетъ, не было за ней)
И, относясь презрительно къ урокамъ,
Все Магомета славила пророкомъ.

LVII.

Она чуждалась назэреевъ злыхъ;
Лишь для Жуана дѣлала изъятье;
Онъ замѣнилъ ей близкихъ и родныхъ,
Ей спасши жизнь,—и онъ свои объятья
Какъ братъ ей открывалъ. Хоть годы ихъ
И разнились, а также и понятья,—
Отсутствіе межъ ними всякихъ узъ
Еще сильнѣй скрѣпляло ихъ союзъ.

LVIII.

Чрезъ Польшу, что подъ тяжкимъ стонетъ игомъ,
Въ Курляндію свой путь направилъ онъ;
Тамъ герцогомъ, благодаря интригамъ,
Бездушный Биронъ былъ провозглашенъ.
(Искусство въ томъ, чтобъ пользоваться мигомъ!)
Дорогой той же шелъ Наполеонъ,
Чтобъ въ дѣйствіе привесть свои угрозы;
Но взяли верхъ надъ кесаремъ морозы.

LIX.

„О, гвардія моя!"—низринутъ въ прахъ,
Такъ восклицалъ богъ, слѣпленный изъ глины.
Тотъ ореолъ, что онъ стяжалъ въ бояхъ,
Похоронили снѣжныя равнины.
Но жизнь порой таится и въ снѣгахъ:
Кто видѣлъ Польши свѣтлыя картины,
Тотъ знаетъ, что рождаетъ пламя ледъ,
Какъ только о Косцюшкѣ рѣчь зайдетъ.

LX.

Въ богатый Кенигсбергъ, что Кантъ прославилъ,
Затѣмъ попалъ мой вѣтреный герой;
Но онъ, сознаюсь въ томъ, ни въ грошъ не ставилъ
Философовъ, и путь дальнѣйшій свой
Въ Германію, безъ отдыха, направилъ,—
Страну, гдѣ полный умственный застой,
Гдѣ гражданъ, все переносить готовыхъ,
Такъ шпоритъ власть, какъ жалкихъ клячъ почтовыхъ.

LXI.

Проѣхавъ черезъ Дрезденъ и Берлинъ,
Добрался онъ до древнихъ замковъ Рейна.
Какъ чуденъ видъ готическихъ руинъ!
Все дышитъ въ нихъ и прелестью, и тайной,
Кто бъ не хотѣлъ, глядя на рядъ картинъ,
Плѣняющихъ красой необычайной,
Узнать легенды этихъ мшистыхъ плитъ!—
И въ глубь временъ невольно мысль летитъ.

LXII.

Жуанъ Мангеймъ увидѣлъ величавый
И посѣтилъ затѣмъ красивый Боннъ,
Гдѣ Драхенфельсъ стоитъ, какъ призракъ славы,
Какъ грозный призракъ рыцарскихъ временъ.
(Но недосугъ мнѣ посвящать октавы
Тѣмъ временамъ). Былъ въ Кельнѣ также онъ;
Одиннадцати тысячъ дѣвъ невинныхъ
Тамъ кости спятъ на кладбищахъ старинныхъ.

LXIII.

Оттуда онъ въ Голландію попалъ
И видѣлъ Гаги пестрыя постройки.
Тамъ, что ни шагъ, плотина иль каналъ;
Народъ безъ можжевеловой настойки
Не можетъ дня прожить; но я слыхалъ,
Что запретить ему хотятъ попойки;
Какъ перенесть ему такой запретъ?
Чѣмъ будетъ онъ насыщенъ и согрѣтъ?

LXIV.

Сѣвъ на корабль, вотъ къ острову свободы
Понесся Донъ Жуанъ, судьбой гонимъ;
Подъ кораблемъ, шумя, клубились воды
И вѣтеръ дулъ съ стенаніемъ глухимъ.
Морской недугъ, столь дружный съ непогодой,
Замучилъ всѣхъ. Жуанъ же свыкся съ нимъ;
На палубѣ бродя, онъ край желанный
Старался разглядѣть въ дали туманной.

LXV.

Вотъ заблестѣлъ какой то бѣлый валъ,
И мѣловыя скалы Альбіона
Жуанъ, смутясь, въ туманѣ увидалъ
На сѣроватомъ фонѣ небосклона.
Онъ видѣть торгашей давно желалъ,
Которые товары и законы
Повсюду разсылаютъ и съ морей
Взимаютъ дань, гордясь казной своей.

LXVI.

Я Англіи обязанъ лишь рожденьемъ,
И у меня причинъ особыхъ нѣтъ
Ее любить; но вижу съ сожалѣньемъ,
Что гибнетъ славный край, дивившій свѣтъ
И силою своею и значеньемъ.
Въ разлукѣ съ нимъ живу я много лѣтъ
И, позабыть успѣвъ вражду былую,
Жалѣю отъ души страну родную.

LXVII.

О, еслибъ только знать она могла,
Какъ за ея коварство всѣ народы
Ее клеймятъ! Проклятья безъ числа
Ей дружно шлютъ, надѣясь въ часъ невзгоды
Вонзить ей въ сердце ножъ; она жъ была
Когда то свѣтлой вѣстницей свободы;
Теперь не то: ей милъ лишь звонъ цѣпей;
Сковать и мысль отрадно было бъ ей.

LXVIII.

Ее, порабощенную, едва ли
Свободною назвать рѣшимся мы;
Всѣ націи въ оковахъ; не она ли—
Зловѣщій сторожъ мрачной ихъ тюрьмы,
Опора тѣхъ, что кандалы сковали?
Свобода жаждетъ свѣта, а не тьмы;
Тюремщика жъ плачевна такъ же доля,
Какъ и того, чью жизнь гнететъ неволя.

LXIX.

Корабль присталъ; кипѣла жизнь вокругъ;
Жуанъ увидѣлъ Дувра *дорогого*
Таможню; зданій свѣтлый полукругъ;
Пакботы, что ограбить васъ готовы;
Отель съ толпой снующихъ всюду слугъ
И, наконецъ... (увы, не можетъ слово
О немъ понятья дать!) длиннѣйшій счетъ,
Что въ день отъѣзда кельнеръ подаетъ.

LXX.

Хотя Жуанъ былъ не скупого нрава
И о богатой не тужилъ казнѣ,
Но счетъ отеля (плодъ мечты лукавой)
Его смутилъ. Съ нимъ не мирясь вполнѣ,

Все жъ долженъ былъ онъ расплатиться. Право
Дышать свободнымъ воздухомъ въ странѣ,
Гдѣ свѣтлый солнца лучъ хоть и рѣденекъ,
Конечно, если взвѣсить, стоитъ денегъ.

LXXI.

Эй, лошадей! Въ Кентербери впередъ!
Какъ кони быстро мчатся по дорогѣ!
Въ Германіи совсѣмъ не то васъ ждетъ;
Тамъ путника везутъ, какъ возятъ дроги
Съ покойникомъ; къ тому жъ, возница пьетъ
Все время шнапсъ; и какъ ни будьте строги,
Ферфлухтеромъ язвя его не разъ,
Быстрѣе все жъ не повезетъ онъ васъ.

LXXII.

Какъ красный перецъ вкусъ даетъ приправамъ,
Такъ кровь волнуетъ быстрая ѣзда,
Восторгъ и упоеніе даря вамъ.
Когда впередъ не горькая нужда
Васъ гонитъ, сладко пользоваться правомъ
Летѣть стремглавъ, не вѣдая куда,
И тѣмъ для насъ отраднѣй та утѣха,
Чѣмъ менѣе важна причина спѣха.

LXXIII.

Въ Кентербери соборъ имъ показалъ
Церковный стражъ, держась обычныхъ правилъ:
Плиту, гдѣ Бекетъ, другъ свободы, палъ,
И шлемъ, что Черный Принцъ въ бояхъ прославилъ.
Какой же результатъ громъ славы далъ?
Какіе по себѣ слѣды оставилъ?
Чредой промчались годы, и затѣмъ
Остался лишь скелетъ да ржавый шлемъ.

LXXIV.

Жуану шлемъ отважнаго героя
И Бекета унылый мавзолей
Напомнили великое былое;
За то погибъ служитель алтарей,
Что, міръ отъ зла спасая и застоя,
Хотѣлъ права умѣрить королей.
Леила, обративъ на храмъ вниманье,
Спросила: „для чего такое зданье?“

LXXV.

Сказали ей, что это Божій домъ;
Она нашла, что помѣщенье Бога
Красиво, но дивилася, что въ немъ
Невѣрныхъ терпитъ онъ, мечетей много
Разрушившихъ; жалѣла и о томъ,
Что Магометъ не взялъ того чертога,
Который брошенъ (такъ казалось ей),
Какъ жемчугъ передъ сонмищемъ свиней.

LXXVI.

Впередъ къ лугамъ! Живая зелень луга
Влечетъ къ себѣ. Поэтъ ей больше радъ,
Чѣмъ роскоши плѣнительнаго юга,
Что свѣтлыми картинами богатъ.
На лугъ, подобный саду, какъ на друга,
Глядитъ поэтъ и, нѣжностью объятъ,
Забыть готовъ, на немъ покоя взоры,
Снѣга, вулканы, пропасти и горы.

LXXVII.

О кружкѣ пива я бы вспомнить могъ;
Но нѣтъ,—боюсь заплакать! Съ быстротою
Летитъ впередъ Жуанъ, красой дорогъ
Любуясь и свободною толпою,
Снующею по нимъ. Тотъ уголокъ
Какъ не назвать прекраснѣйшей страною?
И если злой зоилъ ее бранитъ,
То самъ себѣ онъ этимъ лишь вредитъ.

LXXVIII.

Люблю шоссе. Безъ всякаго мученья
И за свои не опасаясь дни,
Сходны съ орломъ парящимъ, въ упоеньи
Вы мчитесь по нему. Будь искони
Устроенъ этотъ путь, тамъ, безъ сомнѣнья,
Катаясь, Фебъ лучи бы лилъ свои!
Но васъ въ пути ждетъ легкая отрава:
Surgit amari aliquid — застава.

LXXIX.

Для всякаго расплата—острый ножъ.
Маккіавель, всѣхъ правящихъ учитель,
Гласитъ: „тяжелъ повинностей платежъ!
Вы съ подданнымъ не ссорясь жить хотите ль—
Его казны не трогайте. И что жъ?
Убей его семью, родныхъ властитель,—
Простить все это подданный бы могъ,
Но денежный онъ не проститъ налогъ“.

LXXX.

Ложилась тѣнь, когда объятъ волненьемъ,
Жуанъ на холмъ взобрался, что глядитъ
На Лондонъ (имъ гордяся иль съ презрѣньемъ—
Загадку эту кто жъ намъ разъяснитъ?).
Жуанъ смотрѣлъ съ невольнымъ упоеньемъ
На Лондона необычайный видъ,
Дивясь его могуществу и силѣ...
О, гордый бриттъ! Жуанъ на Шутерсъ-Гиллѣ!

LXXXI.

Какъ изъ вулкана гаснущаго, дымъ
Надъ городомъ носился чернымъ паромъ.
Столицу съ видомъ сумрачнымъ своимъ
„Гостиной Сатаны" зовутъ не даромъ!
Хотя Жуанъ былъ въ Англіи чужимъ,
Но онъ не могъ не относиться съ жаромъ
Къ народу, что часть міра разгромилъ,
Другую часть лишивъ отъ страха силъ.

LXXXII.

Рядъ темныхъ крышъ, кирпичныхъ зданій кучи;
Гарь, копоть, грязь, царящія кругомъ;
Высокихъ мачтъ на Темзѣ лѣсъ дремучій,
Гдѣ парусъ скрытъ отъ взоровъ даже днемъ;
Огромный куполъ, цвѣта мрачной тучи,
Что схожъ вполнѣ съ дурацкимъ колпакомъ
На головѣ шута; рядъ темныхъ башенъ—
ВотъЛондонъ, что всегда унылъ и страшенъ.

LXXXIII.

Но не таковъ былъ Донъ Жуана взглядъ:
Онъ находилъ, что эти тучи дыма
Вселенной благоденствіе сулятъ;
Что польза ихъ вполнѣ неоспорима;
Хоть солнца свѣтъ онѣ собой мрачатъ
И копоть ихъ порой невыносима,—
Онъ находилъ (счастливый оптимистъ!),
Что воздухъ свѣжъ, здоровъ и даже чистъ.

LXXXIV.

Какъ мой герой, здѣсь на минуту стану.
(Такъ дѣлаетъ команда корабля,
Готовя залпъ). Но скоро вновь къ роману
Вернусь; отчизнѣ время удѣля,
Ей много истинъ выскажу. Обману
И клеветѣ служить не въ силахъ я;
Язвить же буду всѣхъ лишь правдой голой,
Какъ миссисъ Фрей, но лишь другого пола.

LXXXV.

О, миссисъ Фрей! ошибоченъ разсчетъ
Учить добру преступниковъ Ньюгета;
Гораздо больше пользы принесетъ
Разоблаченье тайнъ большого свѣта.
Идея переучивать народъ
Безсмысленна вполнѣ, поймите это;
Сначала (не теряя даромъ словъ)
Его исправить надо вожаковъ.

LXXXVI.

Скажите имъ, что грѣшныя забавы
Одинъ позоръ приносятъ старикамъ;
Что время имъ свои исправить нравы,
Не предаваясь юношескимъ снамъ;
Что съ толку ихъ сбиваетъ сонмъ лукавый
Наемщиковъ продажныхъ; что шутамъ,
Фальстафамъ жалкимъ сгорбленнаго Галя,
Ввѣряться стыдно, родину печаля.

LXXXVII.

Скажите имъ, что надо позабыть
Тщеславіе, когда ужъ смерть готова
Похитить ихъ, и для добра лишь жить.
Скажите имъ... однакожъ, вы ни слова
Не скажете, а я ужъ, можетъ быть,
И лишнее сказалъ; но скоро снова
Раздастся голосъ мой, правдивъ и строгъ,
Какъ въ Ронсево Роланда мощный рогъ!

ПѢСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ.

I.

Епископъ Берклей былъ такого мнѣнья,
Что міръ, какъ духъ, безплотенъ. Лишній трудъ
Опровергать то странное ученье
(Его и мудрецы-то не поймутъ!);
Но я готовъ, посредствомъ разрушенья
Свинца, алмаза, разныхъ глыбъ и рудъ,
Доказывать вездѣ безплотность свѣта
И, голову нося, не вѣрить въ это.

II.

Во всей природѣ видѣть лишь себя,
Ее за духъ считая—толку мало;
Но ереси не вижу въ этомъ я;
Свести сомнѣнье надо съ пьедестала,
Чтобъ, вѣры въ духъ и правды не губя,
Оно насъ не лишало идеала.
Хоть отъ него, порой, несносна боль,
Все жъ идеалъ—небесный алкоголь.

III.

Понятья наши сбивчивы и шатки;
Къ тому жъ, душа съ большимъ трудомъ идетъ
За тѣломъ вслѣдъ; ей грезы только сладки;
Какъ Аріэля, даль ее влечетъ,
А плоть гнетутъ болѣзней злыхъ припадки;
Глядя на смѣсь понятій и породъ,
Мы дѣлаемся жертвами сознанья,
Что жалкая ошибка—мірозданье.

IV.

Согласно ли Писанью созданъ свѣтъ?
Явилась ли вселенная случайно?
Объ этомъ даже спорить средства нѣтъ:
Для насъ неразъяснима эта тайна.
Быть можетъ, смерть желанный дастъ отвѣтъ,
И намъ ея приходъ необычайный
Глаза откроетъ... Кончивъ путь земной,
Быть можетъ, мы обрящемъ лишь покой.

V.

Безплодныя прерву я размышленья
И, прекративъ вполнѣ напрасный споръ,
Хочу отбросить въ сторону сомнѣнья;
Но дѣло въ томъ, что съ нѣкоторыхъ поръ
Я чувствую чахотки приближенье
(Мнѣ, вѣрно, вреденъ воздухъ мѣстныхъ горъ);
Когда болѣзнь гнететъ меня не въ мѣру,
Она во мнѣ нежданно будитъ вѣру.

VI.

. . . .

VII.

Вернусь къ разсказу. Тотъ, предъ кѣмъ Эллада
Развертывала свѣтлый рядъ картинъ,
Кто любовался видами Царьграда
И ѣздилъ въ Тимбукту или Пекинъ,
Кто видѣлъ акропольскихъ скалъ громады
И въ Ниневіи мрачный рядъ руинъ,
Тотъ Лондонъ посѣтитъ безъ удивленья,
Но, годъ спустя, иного будетъ мнѣнья.

VIII.

На Лондонъ, этотъ долъ добра и зла,
Съ вершины Шутерсъ-Гилля въ часъ заката
Жуанъ взглянулъ. На все ложилась мгла;
Столица, лихорадкою объята,
Имѣла видъ кипящаго котла,
И суетой, и грохотомъ богата;
Носившійся надъ нею шумъ глухой
Жужжанье пчелъ напоминалъ собой.

IX.

Жуанъ, весь погруженный въ созерцанье,
Шелъ за своей каретою пѣшкомъ
И не скрывалъ, въ порывѣ ликованья,
Отрадныхъ чувствъ, что пробуждались въ немъ.
„Здѣсь"—говорилъ онъ—„мѣстопребыванье
Законности! Ни пыткой, ни мечомъ
Нельзя попрать священныхъ правъ народа!
Его удѣлъ—законность и свобода!

X.

Здѣсь жизнь патріархальна и чиста;
Незыблемы законы; жены строги;
Коль дорого все здѣсь, причина та,
Что деньги нипочемъ. Народъ налоги
Лишь платитъ тѣ, что хочетъ. Не мечта,
Что безопасны въ Англіи дороги!"
Тутъ крикъ: „God damn! иль жизнь, иль кошелекъ!"
Его живыхъ рѣчей прервалъ потокъ.

XI.

Жуанъ, за экипажемъ шедшій сзади,
Наткнулся вдругъ, нежданно изумленъ,
На четырехъ разбойниковъ въ засадѣ
И ими былъ немедля окруженъ.
Бѣда, коль путникъ струситъ! О пощадѣ
Не можетъ быть и рѣчи; разомъ онъ
Лишиться можетъ жизни, денегъ, платья
На островѣ, гдѣ бѣдность—лишь изъятье.

XII.

По-англійски Жуанъ лишь зналъ: „God damn!"
И думалъ, что такое выраженье
У англичанъ привѣтственный *селямъ*:
„Пошли вамъ Богъ свое благословенье!"
Я это мнѣнье раздѣляю самъ;
Я—полубриттъ, къ несчастью, по рожденью,
И сотни разъ случалось слышать мнѣ
То слово, какъ привѣтъ, въ родной странѣ.

XIII.

Жуанъ ихъ сразу понялъ; не робѣя,
Онъ свой карманный пистолетъ досталъ
И весь зарядъ пустилъ въ животъ злодѣя,
Который ближе всѣхъ къ нему стоялъ.

Отъ раны задыхаясь и слабѣя,
Какъ быкъ, свалился онъ и застоналъ,
Барахтаясь въ грязи родного края.
Товарищамъ онъ крикнулъ, умирая:

XIV.

„Меня французъ проклятый уходилъ!"
Испуганные воры безъ оглядки
Пустилися бѣжать. Ихъ слѣдъ простылъ,
Когда Жуана свита, въ безпорядкѣ
И проявляя безполезный пылъ,
Явилась впопыхахъ на мѣсто схватки.
Межъ тѣмъ злодѣй кончалъ въ мученьяхъ вѣкъ;
Жуанъ жалѣлъ, что дни его пресѣкъ.

XV.

„Быть можетъ" — думалъ — „и въ самомъ дѣлѣ
Такъ иностранцевъ принято встрѣчать;
Не такъ ли содержатели отелей
Съ пріѣзжими привыкли поступать?
Они съ поклономъ низкимъ идутъ къ цѣли,
А тѣ съ ножомъ хотятъ васъ обобрать.
Грабежъ все тотъ же! Раненаго вора
Нельзя же тутъ оставить безъ призора!"

XVI.

Когда хотѣли вору помощь дать,
Онъ тихо простоналъ: „Я скоро сгину;
Не трогайте меня; ужъ мнѣ не встать;
Изъ жалости стаканъ мнѣ дайте джину!"
Теряя кровь, онъ сталъ ослабѣвать,
И вотъ, предвидя скорую кончину,
Съ распухшей шеи онъ сорвалъ платокъ.
„Отдайте это Салли",—только могъ

XVII.

Онъ прошептать и умеръ въ то жъ мгновенье;
Кровавый даръ къ ногамъ Жуана палъ;
Но онъ не могъ понять его значенья.
Лихой гуляка, щеголь и нахалъ,
Когда-то Томъ, любившій развлеченья,
Съ друзьями беззаботно пировалъ;
Когда жъ его поранили карманы,
Свихнулся онъ и самъ погибъ отъ раны.

XVIII.

Затѣмъ Жуанъ направилъ въ Лондонъ путь
(Окончивъ объясненія съ судьею);
Отъ боли у него сжималась грудь
И не давала мысль ему покою,
Что долженъ былъ на жизнь онъ посягнуть
Свободнаго британца, отъ разбою
Себя спасая. Сильно потрясенъ
Убійствомъ этимъ былъ, конечно, онъ.

XIX.

Убитый былъ мошенникъ очень ловкій,
Извѣстный по искусству и уму;
Онъ шулеровъ зналъ тонкія уловки
И грабилъ, не боясь попасть въ тюрьму,
Дивя воровъ искусною сноровкой;
Въ любезности и юморѣ ему
Соперникъ отыскался бы едва ли,
Когда онъ пировалъ съ красивой Салли.

XX.

Но Томъ погибъ; что жъ говорить о немъ
Не вѣчно у героевъ сердце бьется,
И большинство изъ нихъ (нѣтъ горя въ томъ!)
До срока съ этимъ свѣтомъ разстается.
О, Темза! свой привѣтъ тебѣ мы шлемъ.
Вдоль береговъ ея Жуанъ несется;
Чрезъ Кенсингтонъ (здѣсь всякихъ „тоновъ" всласть)
Торопится въ столицу онъ попасть.

XXI.

Вотъ и сады, гдѣ тѣни и прохлады
Нельзя найти. (Такъ non lucendo—тьма
Рождаетъ lucus — свѣтъ). Вотъ Холмъ Отрады,
Гдѣ нѣтъ отрады, даже нѣтъ холма.
Вотъ рядъ кирпичныхъ хатъ, гдѣ безъ пощады
Васъ душитъ пыль (ихъ можно брать съ найма).
А тамъ кварталъ, носящій имя „Рая".
(Съ нимъ Ева бы разсталась, не вздыхая!)

XXII.

На улицахъ и шумъ, и толкотня:
Колеса вихремъ движутся предъ вами;
Порой мальпостъ, по мостовой звеня,
Проносится. Вся залита огнями,
Стоитъ таверна, пьяницу маня.
Въ цирюльняхъ видны куклы съ париками.
Солдатъ-фонарщикъ масло въ лампу льетъ
(Въ то время газъ не освѣщалъ народъ).

XXIII.

Такъ Лондонъ представляется вамъ съ виду,
Когда вы въ этотъ новый Вавилонъ
Въѣзжаете. Я упустилъ изъ виду
Не мало бытовыхъ его сторонъ,

Но не хочу подрыва дѣлать „Гиду“.
Тонулъ во мракѣ ночи небосклонъ,
Когда чрезъ мостъ, безспорно знаменитый,
Жуанъ перебрался съ своею свитой.

XXIV.

Плѣняя слухъ, тамъ Темза волны льетъ;
Но вѣчный крикъ и брань толпы лукавой
Унылый заглушаютъ ропотъ водъ.
Глядите—вотъ Вестминстеръ величавый!
Въ сіяніи предъ вами онъ встаетъ,
Собой изображая призракъ славы,
Бросающій на зданье яркій свѣтъ.
Въ Британіи священнѣй мѣста нѣтъ!

XXV.

Одинъ „Стонъ-Генджъ“ свидѣтель дней прошедшихъ,
Но гдѣ жъ лѣса друидовъ? Вотъ Бэдлэмъ,
Гдѣ въ кандалахъ содержатъ съумасшедшихъ,
Чтобъ не могли вредить они ничѣмъ;
Вотъ королевскій судъ для дурно ведшихъ
Свои дѣла. Вотъ ратуша затѣмъ,
Дивящая громадностью своею,
Но можно ли сравнить Вестминстеръ съ нею?!

XXVI.

Весь городъ залитъ массами огней;
Въ Европѣ нѣтъ такого освѣщенья;
Тягаться съ нами въ этомъ трудно ей:
Грязь съ золотомъ не выдержитъ сравненья.
Парижъ не зналъ когда-то фонарей;
Когда же ихъ ввели въ употребленье,
Къ нимъ, вмѣсто лампъ (нежданный переходъ!),
Измѣнниковъ сталъ прицѣплять народъ.

XXVII.

. . . .

XXVIII.

Когда бы Діогенъ пошелъ искать,
Какъ въ дни былые, мужа честныхъ правилъ
Средь Лондона, гдѣ свѣта благодать,—
И поиски бъ напрасные оставилъ,
Не мракъ за то пришлось бы обвинять!
Всю жизнь себѣ задачею я ставилъ—
Безъ устали искать людей такихъ,
Но прокуроровъ лишь встрѣчалъ одныхъ.

XXIX.

Въ вечерній часъ, когда толпа густая
Расходится, и лампъ дрожащій свѣтъ
Блеститъ, лучи денные замѣняя,
Когда въ дворцахъ садятся за обѣдъ,—
Жуанъ, свой путь столицей продолжая,
Среди снующихъ кэбовъ и каретъ,
Пронесся мимо набережной Темзы,
Домовъ игорныхъ и дворца Сентъ-Джемса.

XXX.

И вотъ отель. Въ ливреѣ дорогой
Его лакеи встрѣтили у входа;
По улицамъ голодною гурьбой
Сновали нимфы ночи, имъ свобода,
Когда одѣтъ стыдливый Лондонъ тьмой.
Иные пользу видятъ для народа
Отъ этихъ жрицъ паѳосскихъ, что подчасъ,
Какъ Мальтусъ, склонность къ браку будятъ въ насъ.

XXXI.

Жуану номеръ отвели богатый
Въ отелѣ, полномъ роскоши затѣй;
Все хорошо въ немъ было, кромѣ платы,
Доступной для однихъ лишь богачей;
Въ немъ зачастую жили дипломаты
(Что дѣлало его притономъ лжей).
Но временно здѣсь жили эти лица,
Ища квартиръ достойнѣй ихъ въ столицѣ.

XXXII.

Жуанъ не настоящимъ былъ посломъ,
Хоть тайное имѣлъ онъ порученье,
Но въ Англіи провѣдали тайкомъ,
Что миссія его не безъ значенья,
Что онъ уменъ, красивъ, богатъ, притомъ
Особое имѣетъ положенье,
И прибавляли шопотомъ, что онъ
Самой императрицей отличенъ.

XXXIII.

Пронесся слухъ, толпою повторенный,
Что онъ сердецъ плѣнитель и герой;
А такъ какъ англичанки очень склонны
Дѣйствительность прикрашивать мечтой
И, головой влекомы воспаленной,
Теряютъ даже здравый смыслъ порой,—
Жуанъ сталъ моднымъ львомъ, а для народа,
Что много мыслитъ, страсти стоитъ мода.

XXXIV.

Безстрастны ли онѣ? Наоборотъ;
Но бурныя ихъ страсти—лишь созданья
Не сердца, а ума. Принявъ въ разсчетъ,
Что тотъ же результатъ, къ чему старанья—
Узнать, какая сила ихъ влечетъ?
Не въ томъ вопросъ. Понятно лишь желанье
Достичь завѣтной цѣли поскорѣй;
Зачѣмъ намъ знать, какъ мы дошли до ней?

XXXV.

Жуанъ представилъ грамоты царицы
И встрѣтилъ подобающій пріемъ
Отъ всѣхъ великихъ міра. Эти лица,
Почти еще ребенка видя въ немъ,
Рѣшили, что красавецъ блѣднолицый
Ихъ не минуетъ рукъ. Имъ нипочемъ
Обманывать (политиковъ замашка)!
Такъ соколу дается въ жертву пташка.

XXXVI.

Но старички осѣклись. Не могу
Съ двуличностью политиковъ мириться!
Они весь вѣкъ на каждомъ лгутъ шагу,
Но лгать открыто даже имъ не снится.
Отъ женской лжи я только не бѣгу;
Безъ лжи не могутъ дамы обходиться;
Но такъ у нихъ плѣнительна она,
Что правда передъ ней блѣднѣть должна.

XXXVII.

Но что такое ложь? Лишь правда въ маскѣ.
На всемъ мы видимъ фальши грустный
слѣдъ.
Нѣтъ факта безъ обманчивой окраски,
Исчезли бъ лѣтописецъ и поэтъ
И все у насъ бы превратилось въ сказки,
Когда бъ блеснулъ желанной правды свѣтъ!
(Мы только вѣрить стали бы въ пророковъ
Не безъ провѣрки ихъ пророчествъ сроковъ)!

XXXVIII.

Да здравствуютъ лжецы! Теперь за что жъ
Ко мнѣ какъ къ мизантропу обращаться,
Когда въ стихахъ я воспѣваю ложь
И всѣхъ учу предъ властью пресмыкаться,
Дрожа предъ ней, и тѣхъ не ставлю въ
грошъ,
Что не хотятъ позорно унижаться?
Намъ въ подлости Эринъ даетъ урокъ,
Но гербъ его отъ этого поблекъ.

XXXIX.

Жуанъ представленъ былъ; своею миной
И платьемъ всѣмъ онъ головы вскружилъ;
Его костюмъ тому ли былъ причиной,
Иль видъ—не знаю, право. Всѣхъ плѣнилъ
Алмазъ огромный, даръ Екатерины,
Который Донъ Жуанъ всегда носилъ.
За тяжкіе труды, сознаться надо,
Ему въ удѣлъ досталась та награда.

XL.

Ему оказанъ былъ большой почетъ.
Съ нимъ обошлись съ любезностью
примѣрной
Сановники. (Пуская ласки въ ходъ,
Они такимъ путемъ лишь долгу вѣрны:
Любезничать съ посломъ—прямой разсчетъ).
Заискивали въ немъ и субалтерны,
Что исключенье въ Англіи; писецъ
Всегда у насъ и пройда, и наглецъ.

XLI.

Всегда грубятъ чернильныя піявки;
Лишь въ томъ должна ихъ служба состоять!
Бѣда насчетъ иль паспорта, иль справки
Ихъ просьбами своими утруждать!
Какъ не дадутъ имъ разомъ всѣмъ отставки?
Отъ дармоѣдовъ можно ль прока ждать?
Какъ злѣе нѣтъ собакъ болонокъ-крошекъ,
Такъ хуже тварей нѣтъ тѣхъ мелкихъ
сошекъ!

XLII.

Вездѣ съ „радушьемъ" принятъ былъ
Жуанъ,
Avec empressement. То выраженье
Придумали французы. Даръ имъ данъ
Вселять въ слова условное значенье;
У нихъ запасъ готовыхъ фразъ; въ карманъ
Имъ за словомъ не лѣзть. Мы, безъ
сравненья,
Грубѣй. Не море ль грубости виной?
Торговки рыбой въ томъ примѣръ прямой.

XLIII.

Все жъ англійское damme не безъ соли;
Съ нимъ не сравнить другихъ народовъ
брань;
Аристократъ своей измѣнитъ роли,
Прибѣгнувъ къ ней; приличіямъ есть грань.
Объ этомъ говорить не буду болѣ.
Дразнить гусей, о, Муза, перестань!
Все жъ damme, хоть въ немъ дышитъ
духъ цинизма,
Экстрактъ всѣхъ клятвъ съ оттѣнкомъ
платонизма.

XLIV.

Мы откровенно грубы. Чтобъ найти
Изысканность манеръ и выраженій,
Намъ надо черезъ море перейти:
Французы доки въ этомъ отношеньи;
Намъ въ свѣтскомъ лоскѣ ихъ не превзойти!
Но къ дѣлу! Врагъ я праздныхъ
размышленій.
Въ поэмахъ надо строго соблюдать
Единство; мнѣ ль о томъ напоминать?

XLV.

Жуанъ вращаться сталъ средь львицъ и
францовъ
Вестъ-Энда; имъ вельможи всѣ сродни;
Ихъ тысячи четыре; ни талантовъ,
Ни умницъ нѣтъ межъ ними. Ночи въ дни
Преобразуя, съ тупостью педантовъ
На міръ глядятъ презрительно они.
Вотъ то, что называютъ „высшимъ
свѣтомъ“!
Жуанъ какъ свой въ кругу былъ принятъ
этомъ.

XLVI.

Онъ холостъ былъ, а для дѣвицъ и дамъ
Тотъ фактъ имѣетъ важное значенье;
Однѣ неравнодушны къ женихамъ,
Другихъ же увлекаютъ приключенья,
Когда ихъ не удерживаетъ срамъ.
Съ женатымъ связь вселяетъ опасенья:
Что, если свѣтъ провѣдаетъ о ней?
И грѣхъ тяжеле, и скандалъ сильнѣй!

XLVII.

Жуанъ, сроднившись съ новой обстановкой,
Нашелъ себѣ арену для побѣдъ:
Онъ обладалъ искусною сноровкой
Всѣмъ нравиться: какъ Моцарта дуэтъ,
Онъ нѣжностью плѣнялъ; все дѣлалъ ловко
И, хоть былъ юнъ, ужъ много видѣлъ свѣтъ,
Котораго и козни, и интриги
Ошибочно описываютъ книги.

XLVIII.

Дѣвицы, съ нимъ вступая въ разговоръ,
Смущались и краснѣли, дамы тоже,
Но ихъ румянецъ, словно метеоръ,
Не исчезалъ: чтобъ быть на видъ моложе,
Онѣ румяна клали. Дочекъ хоръ
Одеждою плѣнялъ Жуанъ пригожій,
А хоръ мамашъ тайкомъ разузнавалъ,
Есть братья ль у него и капиталъ.

XLIX.

Модистки, отпускавшія наряды
Инымъ дѣвицамъ въ долгъ, съ условьемъ
тѣмъ,
Чтобъ счетъ уплаченъ былъ въ часы отрады,
Когда еще для мужа бракъ—Эдемъ,
Ловя Жуана въ сѣть, нашли, что надо
Кредитъ удвоить. Не одинъ затѣмъ
Злосчастный мужъ сидѣлъ, унынья полонъ:
Модистки счетъ былъ въ полномъ смыслѣ
солонъ.

L.

Накинулись и синіе чулки
На Донъ Жуана. Жалкіе сонеты
Съ ума свести ихъ могутъ; ихъ башки—
Конспектъ статей прочитанной газеты.
Хоть плохо имъ даются языки,
Онѣ всегда желаніемъ согрѣты
Коверкать ихъ. О книгахъ дальнихъ странъ
Вопросами засыпанъ былъ Жуанъ.

LI.

Экзаменомъ синклита женъ ученыхъ
Онъ былъ втупикъ поставленъ. Мой герой
Не много думалъ о вещахъ мудреныхъ
И лишь любовью бредилъ и войной.
Отъ Ипокрены береговъ зеленыхъ
Давно ужъ онъ оторванъ былъ судьбой,
Ихъ цвѣтъ теперь ему казался синимъ.
(Упрекъ за то ученымъ женамъ кинемъ).

LII.

Хоть наобумъ, но бойко (бойкость вѣсъ
Даетъ словамъ) онъ отвѣчалъ матронамъ
И свелъ съ ума почтенныхъ поэтессъ.
Миссъ Смитъ (что въ мірѣ славилась
ученомъ
И рьяно книгу „*Рьяный Геркулесъ*“
Перевела почти ребенкомъ) тономъ
Съ нимъ самымъ нѣжнымъ стала рѣчь
вести,
Спѣша его слова въ альбомъ внести.

LIII.

Жуанъ владѣлъ прекрасно языками
И всѣ свои таланты въ ходъ пускалъ;
Ведя бесѣды съ синими чулками,
Онъ этихъ дамъ вполнѣ очаровалъ.
И, еслибъ онъ умѣлъ писать стихами,
Онѣ ему воздвигли бъ пьедесталъ.
Миссъ Мэнишъ съ лэди Фрицки—обѣ
страстно
Желали, чтобъ воспѣлъ ихъ грандъ пре-
красный.

LIV.

Онъ всѣми былъ обласканъ и любимъ,
Всѣ съ радостью его къ себѣ тянули,
И десять тысячъ авторовъ предъ нимъ,
Какъ тѣни передъ Банко, промелькнули.
(Не меньше ихъ; за то мы постоимъ).
Онъ видѣлъ также (сочинять могу ли?)
Всѣхъ „восемьдесятъ главныхъ риѳмачей“.
У каждаго журнала свой пигмей.

LV.

У насъ, что десять лѣтъ, всегда на сцену
Является „извѣстнѣйшій поэтъ"
И долженъ, для борьбы избравъ арену,
Доказывать, какъ уличный атлетъ,
Свои права. (А кто ихъ знаетъ цѣну?)
Я, самъ того не чуя, много лѣтъ,
Хоть шутовскимъ владѣть нелестно тро-
номъ,
Считался въ царствѣ риѳмъ Наполеономъ.

LVI.

Но „Донъ Жуанъ" моею былъ Москвой,
„Фальеро"—грустнымъ Лейпцигомъ зову я,
А „Каинъ"—Ватерло плачевный мой.
На льва, что палъ, глупцы глядятъ, ликуя;
Коль я паду,—паду, какъ мой герой;
Лишь самодержцемъ царствовать могу я,—
Не то пустынный островъ мнѣ милѣй,
Гдѣ Соути будетъ Ло тюрьмы моей.

LVII.

Пока не появился я, на тронѣ
Сидѣлъ, любимый всѣми, Вальтеръ-Скоттъ;
Теперь царятъ въ сіяющей коронѣ
Муръ съ Кэмпбелемъ; но иначе поетъ
Въ нашъ вѣкъ поэтъ; витая на Сіонѣ,
Онъ псалмопѣвцемъ сталъ, уча народъ,
Какъ пасторъ. Этотъ духъ хвалить могу ли,
Когда Пегасъ поставленъ на ходули?

LVIII.

Есть у меня двойникъ, какъ говорятъ,
Но болѣе моральный; въ этой роли
Не осѣчется ль бѣдный мой собратъ?
И у Вордсворта есть два-три, не болѣ,
Льстеца. Иные Кольриджу кадятъ;
Кадятъ и Соути; но не видятъ, что ли,
Что онъ не лебедь, а гусакъ простой,
Забитый въ грязь безмысленной хвалой?

LIX.

Джонъ Китсъ погибъ. Къ нему отнесся
строго
Злой критикъ и убилъ его статьей.
Хотя надеждъ онъ подавалъ немного,
Еще стиховъ туманныхъ томъ большой,
Быть можетъ, накропалъ бы бардъ, убого
Окончившій до срока путь земной...
Не странно ли, что умъ, исчадье свѣта,
Способна погубить статьей газета?

LX.

Должны бы поумѣрить свой задоръ
Тѣ, что такъ рьяно гонятся за славой:
Когда потомство дастъ свой приговоръ,
Въ могилахъ будутъ правый и неправый.
Безъ насъ рѣшится этотъ жгучій споръ,
А кандидатовъ—цѣлыя оравы!
Тираны, опозорившіе Римъ,
Его повергли въ прахъ числомъ своимъ.

LXI.

Но мы у преторьянцевъ. Это царство
Нахаловъ, укрѣпившихъ лагерь свой.
Черезъ какія тяжкія мытарства
Проходитъ тотъ, кто осужденъ судьбой
Ихъ восхвалять и козни, и коварства!
Будь дома я, гремя сатирой злой,
Я показалъ бы этимъ янычарамъ,
Какую силу можно дать ударамъ!

LXII.

Мой вѣренъ глазъ, я попадаю въ цѣль,
И ихъ задѣть съумѣлъ бы за живое.
Но весть борьбу съ бездѣльниками мнѣ ль?
Не лучше ли оставить ихъ въ покоѣ?
Меня не отуманиваетъ хмель
Порывовъ желчныхъ. Музѣ чуждо злое;
Она одной улыбкою разитъ,
Затѣмъ, присѣвъ, уйти отъ зла спѣшитъ.

LXIII.

Жуана въ положеніи тяжеломъ
Оставилъ я средь бардовъ и матронъ,
Но онъ не долго шелъ безплоднымъ доломъ;
Ареопагъ ученый бросилъ онъ,
Не подвергаясь злымъ его уколамъ,
Отдѣлавшись отъ хора мудрыхъ женъ,
Жуанъ попалъ къ свѣтиламъ настоящимъ
И между ними сталъ лучомъ блестящимъ.

LXIV.

Жуанъ дѣламъ все утро посвящалъ;
Отъ нихъ подчасъ рождается досада;
Ни отъ кого имъ не слыхать похвалъ!
Они, какъ платье Несса, полны яда.
Кто мелкихъ срочныхъ дѣлъ не прокли-
налъ,
Когда не объ отчизнѣ думать надо!
Но идутъ ли о ней заботы впрокъ?
О, нѣтъ,—какъ это я замѣтить могъ.

LV.

Онъ дѣлалъ послѣ завтрака визиты,
Окончивъ неотложныя дѣла
Затѣмъ въ Гайдъ-Паркъ стремился знаменитый,
Гдѣ съ голоду пчела бы умерла,
Гдѣ тоще все, куда ни погляди ты.
Тамъ дамы ищутъ свѣта и тепла.
Все жъ въ этомъ жалкомъ паркѣ воздухъ чище,
Чѣмъ въ Лондонѣ, гдѣ скучены жилища.

LXVI.

Затѣмъ Жуанъ, перемѣнивъ костюмъ,
Обѣдать ѣхалъ, пышно разодѣтый.
Тогда въ разгарѣ жизнь; повсюду шумъ;
Какъ метеоры, въ упряжи кареты
Мелькаютъ; мѣста нѣтъ для грустныхъ думъ;
Огни горятъ; налощены паркеты,
И словно въ рай—въ палаты богачей
Толпа вступаетъ избранныхъ гостей.

LXVII.

Хозяйка, стоя, сколько бъ ихъ ни было,
Встрѣчаетъ ихъ, весь вечеръ не присѣвъ;
Играютъ вальсъ; своей волшебной силой
Онъ научаетъ думать юныхъ дѣвъ;
Его намъ недостатки даже милы.
Всѣ гости, уже съѣхаться успѣвъ,
Биткомъ набили залы; нѣтъ прохода;
А лѣстница еще полна народа.

LXVIII.

Блаженъ, кто въ тихій уголъ попадетъ,
Что въ сторонѣ, но съ бальной залой рядомъ,
Откуда пестрыхъ массъ водоворотъ
Во всей красѣ является предъ взглядомъ;
Восторга полный—иль, наоборотъ,
Съ улыбкою, пропитанною ядомъ,
Слѣдить онъ можетъ за игрой страстей,
Сидя въ обсерваторіи своей.

LXIX.

Нѣтъ въ поискахъ за мѣстомъ часто толку!
Тому жъ, кто сталъ случайно моднымъ львомъ,
Еще труднѣй пробраться; втихомолку
Нестись онъ долженъ опытнымъ пловцомъ
Средь моря кружевъ, лентъ, алмазовъ, шелку,
Чтобъ завладѣть желаннымъ уголкомъ,
Порою въ вальсъ втираясь ловко—или
Въ фигуры оживленныя кадрили.

LXX.

Кто не танцоръ, а былъ бы радъ плѣнить
Богатую невѣсту или съ дамой—
Замужнею сиреной—въ связь вступить,
Тому идти опасно къ цѣли прямо;
Свою игру отъ всѣхъ онъ долженъ скрыть,
Боясь неудачи или драмы.
Декорумъ намъ во всемъ необходимъ:
Серьезно мы и глупости творимъ.

LXXI.

Старайтесь, не спуская съ милой взора,
За ужиномъ поближе къ ней подсѣсть;
Съ предметомъ думъ минута разговора
Отъ радости съ ума насъ можетъ свесть.
Такой волшебный мигъ забыть не скоро!
Въ мечтѣ о немъ и то отрада есть.
Какъ много балъ порой приноситъ горя
Иль счастья, насъ съ судьбой миря иль ссоря!

LXXII.

Учу лишь тѣхъ, которые борьбы
Не въ состояньи выдержать со свѣтомъ
И передъ нимъ трепещутъ, какъ рабы,—
Лишь тѣ должны внимать моимъ совѣтамъ:
Къ чему они для баловней судьбы?
Имъ лишнее стѣсняться этикетомъ,
Когда умомъ иль массою заслугъ
Обворожить съумѣли высшій кругъ.

LXXIII.

Мой вѣтреный герой, какъ всѣ герои,
Былъ знатенъ, юнъ, любовь вселялъ въ сердцахъ;
Понятно, что не могъ онъ быть въ покоѣ
Оставленъ. Говорятъ, какъ о вещахъ
Ужаснѣйшихъ, объ умственномъ застоѣ,
О бѣдности, болѣзняхъ и стихахъ;
Но что бъ сказали люди, Боже правый,
Узнавъ, какъ нашихъ лордовъ жалки нравы!

LXXIV.

Да, наши лорды, молодость сгубивъ,
Красивы, но изношены; богаты,
Но безъ гроша (имѣнья заложивъ
Жидамъ); игрой, попойками измяты,
Они на доблесть смотрятъ какъ на миѳъ.
Порою, съ изумленіемъ, палаты
Внимаютъ ихъ рѣчамъ. Затѣмъ финалъ—
И новый лордъ въ фамильный склепъ попалъ!

LXXV.

„Гдѣ свѣтъ, въ которомъ человѣкъ родился?"
Такъ Юнгъ взывалъ восьмидесяти лѣтъ;
А я спрошу: куда же испарился
Лѣтъ семь тому существовавшій свѣтъ?
Увы! какъ шаръ стеклянный онъ разбился;
Онъ прахомъ сталъ; его погибъ и слѣдъ:
Министры, полководцы, королевы,
Ораторы, поэты, дэнди—гдѣ вы?

LXXVI.

Гдѣ Бонапартъ великій?—средь тѣней!
Гдѣ Кэстельри ничтожный?—взятъ могилой;
Гдѣ Граттанъ, Керренъ, съ массою людей,
Дивившихъ насъ и мудростью, и силой?
Гдѣ королева съ горестью своей?
Гдѣ дочь ея, что Англія любила?
Гдѣ жертва биржи—рента? Гдѣ доходъ,
Что прежде обезпечивалъ народъ?

LXXVII.

Гдѣ Веллеслей и Бруммель? — смертью стерты
Съ лица земли. Гдѣ Ромильи?—зарытъ.
Гдѣ Третій нашъ Георгъ, судьбой затертый?
(Кто смыслъ его духовный разъяснитъ?)
Гдѣ птица царской крови, Фумъ Четвертый?
Ему теперь Шотландія кадитъ,
И онъ туда поѣхалъ, чтобъ на мѣстѣ
Отвѣдать ѳиміамъ народной лести.

LXXVIII.

Гдѣ вы, милорды, лэди, мистриссъ, миссъ?
Забытыя толпой, однѣ въ разбродѣ;
Другія вышли замужъ, развелись
И снова обвѣнчались (это въ модѣ).
Гдѣ клики, что въ Ирландіи неслись?
Гдѣ лондонскіе вопли о свободѣ?
Гдѣ Гренвили?—все скроменъ ихъ удѣлъ.
Гдѣ виги?—такъ, какъ прежде, не у дѣлъ.

LXXIX.

О, „*Morning Post*", почтенная газета,
Оракулъ и изящества, и модъ!
Я отъ тебя жду точнаго отвѣта:
Скажи, какъ жизнь на родинѣ течетъ?—
Львы лѣтъ былыхъ сошли со сцены свѣта:
Иные съ жизнью кончили разсчетъ,
Другіе жъ дни влачатъ на континентѣ,
Проклятья посылая павшей рентѣ.

LXXX.

Иныя миссъ, искавшія связей,
Давно разстались съ свѣтлыми мечтами;
Однѣ, какъ я сказалъ, нашли мужей,
Другія стали только матерями;
Однѣ простились съ свѣжестью своей,
Другихъ плуты опутали сѣтями;
Всѣхъ смѣнъ не перечтешь; лишь то дивитъ,
Какъ быстро свѣтъ свой измѣняетъ видъ.

LXXXI.

Такъ много перемѣнъ въ семь лѣтъ случилось,
Что, право, всякій можетъ стать втупикъ.
Съ трудомъ пересчитаешь, сколько скрылось—
Не только лицъ извѣстныхъ, но владыкъ;
Все въ это время въ мірѣ измѣнилось.
Но, впрочемъ, къ перемѣнамъ я привыкъ:
И люди измѣняются, и страсти,—
Лишь виги все достичь не могутъ власти!

LXXXII.

Наполеонъ, игравшій въ мірѣ роль
Юпитера, былъ обращенъ въ Сатурна.
Нашъ Веллингтонъ преобразился въ ноль,
За то, что велъ дѣла страны такъ дурно;
Я видѣлъ, какъ освистанъ былъ король
Толпою разъяренною и бурной;
Затѣмъ, какъ стали всѣ ему кадить.
(Что лучшее изъ двухъ—не мнѣ рѣшить).

LXXXIII.

Лэндлордовъ разоренныхъ слышалъ стоны;
Палату видѣлъ, что давала вѣсъ
Однимъ налогамъ; на шутахъ—короны;
Несчастной королевы злой процессъ;
Пророчицу Суткотъ; въ стѣнахъ Вероны
Дышавшій лишь неправдою конгрессъ;
Случалось видѣть также въ эти годы
Свое ярмо свергавшіе народы.

LXXXIV.

Прозаиковъ я видѣлъ и гурьбы
Поэтиковъ; ораторовъ безцвѣтныхъ,
Хотя рѣчистыхъ; грустный плодъ борьбы
Имѣній съ биржей; наглость лжей газетныхъ,
Я видѣлъ, какъ надменные рабы
Въ грязь втаптывали гражданъ безотвѣтныхъ,
И слышалъ, какъ Джонъ Буль сознался самъ,
Что можетъ быть причисленъ къ дуракамъ.

LXXXV.

Живи Жуанъ, но carpe, carpe diem!
Насъ завтра жъ смѣнитъ новый сонмъ людей,
Покорный тѣмъ же бѣшенымъ стихіямъ.
„Пустая пьеса жизнь: своихъ ролей
Въ ней не бросайте жъ, плуты!“ Хитрымъ зміемъ
Предъ свѣтомъ ползай и скрывать умѣй
Намѣренья! Не разставаясь съ маской,
Все затемняй фальшивою окраской!

LXXXVI.

Въ странѣ, что мы „моральнѣйшей изъ странъ“
Зовемъ, но гдѣ морально все лишь съ виду,
Вращаться долженъ будетъ Донъ Жуанъ.
Боясь создать вторую *Атлантиду*,
Не допишу, быть можетъ, свой романъ.
Мои слова сочтутся за обиду,
Все жъ я скажу (хоть это не секретъ
Для англичанъ): въ нихъ нравственности нѣтъ!

LXXXVII.

Всегда приличья строго соблюдая,
Я опишу, что видѣлъ мой герой,
Что дѣлалъ; но пою, предупреждая,
Что мой романъ—лишь плодъ мечты одной.
Хотя иныхъ писакъ орава злая
Намековъ будетъ въ немъ искать порой,
Мнѣ дѣла нѣтъ до злобныхъ ихъ упрековъ:
Въ глаза я правду рѣжу безъ намековъ.

LXXXVIII.

Впослѣдствіи узнаете о томъ,
Что сдѣлаетъ любезный мой повѣса:
Помчится ль онъ за золотымъ тельцомъ,
Иль женится на дѣвушкѣ безъ вѣса,
Любовью къ размноженію влекомъ;
Иль, наконецъ, покоренъ воли бѣса,
Интрижку заведетъ ли въ свѣтѣ онъ,
За что караетъ праведный законъ.

LXXXIX.

Лети жъ, моя поэма! Всѣ на части
Тебя, какъ я предвижу, будутъ рвать.
Ну что жъ!—тѣмъ лучше. Пусть клокочутъ страсти,—
Все жъ бѣлое не можетъ чернымъ стать;
Но злыя не страшатъ меня напасти:
Пусть буду одинокимъ я стоять,
Пусть тучи надъ главой моей повисли—
За тронъ не измѣню свободѣ мысли!

ПѢСНЬ ДВѢНАДЦАТАЯ.

I.

Изъ среднихъ всѣхъ вѣковъ, сознаться надо,
Что человѣка средніе года—
Эпоха колебаній и разлада—
Всего на свѣтѣ хуже. Мы тогда
Чего хотимъ—не знаемъ и съ досадой
О юности, погибшей безъ слѣда,
Мечтаемъ. Злобный рокъ, насколько могъ онъ,
Насъ измѣнилъ и ужъ сребритъ нашъ локонъ.

II.

Лѣтъ въ тридцать пять еще не стары мы,
Но съ молодежью намъ нельзя рѣзвиться,
А старость насъ страшитъ, какъ мракъ тюрьмы.
Возможно ль съ этимъ возрастомъ мириться?
Сознаться надо, сумерки зимы
Ужасны! Слишкомъ поздно, чтобъ жениться;
Другихъ связей не признаемъ ужъ власть,
А къ деньгамъ въ насъ еще не дышитъ страсть.

III.

Скупецъ въ насъ пробуждаетъ сожалѣнье.
А между тѣмъ онъ счастливъ и богатъ
И, обладая якоремъ спасенья,
Изъ рукъ не выпускаетъ тотъ канатъ,
Что можетъ притянуть всѣ наслажденья.
По-нищенски скупецъ питаться радъ;
Намъ жаль его, а для него побѣда,
Когда сберегъ онъ корку отъ обѣда.



ЕКАТЕРИНА II. (Catherine II).

Портретъ работы придворнаго живописца Эриксена (Erichsen † 1772).

Изъ коллекцiи П. Я. Дашкова.

Портретъ воспроизводится впервые.

... роман... лишь плодъ мечты
... ихъ ... сраба зла
... овъ будетъ въ немъ ...
... до злобныхъ ихъ ...
... а я ... бѣжу безъ ...

...

... утраченіе о томъ.
... мой ...

...

... на ...
... будут ...
... кло
... страст.

... не ...
... е стра ... мен...
... ... ять,
... ... мей
... ... одѣ ...

ДВѢНАДЦАТАЯ.

... насъ ... ть, ... ь
... юрь
... мири.
... рки ...
... дно, ... жеч
... е

... задли
... а,
... лько

... ждаст ... кал
... бога
... ка...

ЕКАТЕРИНА II. (Catherine II).

Портретъ работы придворнаго живописца Эриксена (Ericksen † 1772).

Изъ коллекціи П. Я. Дашкова.

Портретъ воспроизводится впервые.



IV.

Терзаютъ честолюбца много мукъ;
Любовь и пьянство разслабляютъ тѣло;
А страсть къ азартнымъ играмъ даромъ съ рукъ
Намъ никогда не сходитъ. То ли дѣло—
По горсточкамъ класть золото въ сундукъ,
Своей мечтѣ предавшися всецѣло!
О, золото! сравню ли я съ тобой
Бумаги, что такъ падаютъ порой?

V.

Кто равновѣсье міра охраняетъ
И на конгрессахъ властвуетъ одинъ?
Кто въ бой дескамизадосъ направляетъ,
Возстанья взявши на себя починъ?
Кто міръ то въ скорбь, то въ радость повергаетъ,
Надъ биржею царя какъ властелинъ?
Кто велъ борьбу съ самимъ Наполеономъ?
Жидъ Ротшильдъ. Міръ подвластенъ милліонамъ.

VI.

Банкиры—олигархи въ наши дни!
Ихъ капиталы намъ даютъ законы:
То укрѣпляютъ націи они,
То ветхіе расшатываютъ троны;
Республикамъ готовя западни,
Они и имъ тяжелые уроны
Порой наносятъ жадностью своей:
Такъ Перу обобралъ одинъ еврей.

VII.

За что жъ къ скупцу относимся мы строго?
Воздержанность похвальна и въ святомъ,
И въ циникѣ. Отшельниковъ есть много,
Что святости украсились вѣнцомъ
За то, что шли такою же дорогой,
Умѣя отказать себѣ во всемъ.
За что жъ клеймить скупца? Ужъ не за то ли,
Что жертва онъ своей лишь доброй воли?

VIII.

Богатства, восхищающія свѣтъ,
Въ его рукахъ. Хотя скупца причуды
Вамъ странны, все же онъ въ душѣ поэтъ:
Ему лучи дарятъ алмазовъ груды
И слитки золотые, много лѣтъ
Дремавшіе въ землѣ; а изумруды
Его ласкаютъ нѣжностью своей,
Бросая тѣнь на блескъ другихъ камней.

IX.

Владѣніямъ его не видно края!
Ему везутъ богатые дары
Изъ Индіи, Цейлона и Китая;
Ему подвластны цѣлые міры;
Повсюду зрѣетъ жатва золотая
Лишь для него. Онъ задавать пиры
И королямъ бы могъ; но онъ безстрастенъ,
Хоть, какъ монархъ, могучъ и полновластенъ.

X.

Кто знаетъ цѣль его? Быть можетъ, онъ
Создать больницу, храмъ иль школу хочетъ
(Скупого бюстъ тамъ будетъ помѣщенъ,
Чѣмъ за собой безсмертье онъ упрочитъ);
Быть можетъ, онъ мечтою увлеченъ—
Страдальцамъ, что нужда и горе точитъ,
Тѣмъ золотомъ помочь, а можетъ быть,
Лишь міръ сокровищъ хочетъ накопить.

XI.

Покорные поклонники рутины,
Глупцы на нихъ глядятъ какъ на больныхъ,
Хоть никакой на это нѣтъ причины.
Скажите, чѣмъ же лучше страсти ихъ?
Пусть гнутъ они свои усердно спины,—
Какой же толкъ отъ жалкихъ ихъ интригъ?
Наслѣдники! вопросъ вы не рѣшите ль:
Кто былъ умнѣй—скупецъ иль расточитель?

XII.

На свѣтѣ ничего прелестнѣй нѣтъ
Сверкающихъ червонцевъ высшей пробы;
Невольно насъ чаруетъ блескъ монетъ,
Но для того необходимо, чтобы
На каждой ясно виденъ былъ портретъ
Какой-нибудь владѣтельной особы:
Портретъ смѣшонъ, но дорогъ золотой,—
Съ нимъ лампа Аладина подъ рукой.

XIII.

„*Какъ небо есть любовь, любовь есть небо;*
Въ дворцахъ, дубравахъ, лагеряхъ она
Царитъ". Такъ пѣлъ поэтъ, любимецъ Феба;
Но мысль его мнѣ не совсѣмъ ясна.
(Поэзія осталась бы безъ хлѣба
Когда бы стала ясности вѣрна).
„Дубрава" для любви пріютъ прекрасный,
Но „лагерь" и „дворецъ" ей не подвластны.

XIV.

Не страсть, а злато царствуетъ надъ всѣмъ
И рощу на дрова порой срубаетъ.
Дворецъ бы смолкъ и лагерь сталъ бы нѣмъ—
Исчезни деньги. Мальтусъ научаетъ
Безъ денегъ женъ не брать. Любви Эдемъ,
И тотъ металлъ презрѣнный созидаетъ.
Не соглашусь съ поэтомъ я никакъ,
Что небо есть любовь; нѣтъ, небо—бракъ!

XV.

Законъ святой даетъ намъ только право
На брачную любовь; хотя она
Порой для насъ ужасная отрава;
Лишь ей одной душа внимать должна;
А иначе насъ ждетъ худая слава.
Любовь иная намъ запрещена,
И всякій мужъ почтенный, безъ сомнѣнья,
Усмотритъ въ ней и срамъ, и преступленье.

XVI.

Поэтому „дворецъ“ и „лѣсъ густой“,
И „лагерь“—всѣ должны дрожать предъ бракомъ;
И если въ нихъ найдется мужъ такой,
Который до плодовъ запретныхъ лакомъ,
То пѣснь поэта смыслъ утратитъ свой:
Безнравственность ее одѣнетъ мракомъ.
А Джеффри мнѣ благой совѣтъ даетъ:
Уйдя отъ зла, писать какъ Вальтеръ-Скоттъ.

XVII.

Найду ль успѣхъ? Но мнѣ его не надо!
Я насладиться имъ успѣлъ вполнѣ
Въ томъ возрастѣ, когда успѣхъ—отрада:
Улыбки онъ дарилъ моей веснѣ;
Съ нимъ я стяжалъ желанныя награды,
И блага тѣ принадлежали мнѣ.
Хоть не одну нанесъ онъ сердцу рану,
Я все же проклинать его не стану.

XVIII.

Иные, недовольные толпой,
Къ суду потомства обращаютъ взоры
(Къ суду, что вѣкъ еще не началъ свой)
И будущихъ судей ждутъ приговоры.
Могу ли раздѣлять я взглядъ такой?
По моему, слабѣе нѣтъ опоры;
Для насъ потомство—это царство тьмы;
Предъ нимъ въ такой же роли будемъ мы.

XIX.

Подумайте, вѣдь, мы—потомство тоже,
А предковъ ста именъ не назовемъ,—
Споткнемся на двадцатомъ; такъ за что же
Потомство, тѣмъ же шествуя путемъ,
Сочтетъ за долгъ къ намъ отнестися строже?
Плутархъ намъ рядъ сказаній о быломъ
Оставилъ; въ нихъ наперечетъ всѣ лица,
А ложью дышитъ каждая страница.

XX.

Теперь серьезенъ буду, видитъ Богъ,
И, выходокъ чуждаясь слишкомъ смѣлыхъ,
Какъ Вильберфорсъ и Мальтусъ, буду строгъ.
Нашъ Веллингтонъ рабами сдѣлалъ бѣлыхъ,
Тогда какъ неграмъ Вильберфорсъ помогъ:
Великій мужъ освободить съумѣлъ ихъ.
О Мальтусѣ скажу, что онъ въ дѣлахъ
Далеко не такой, какъ на словахъ.

XXI.

Серьезенъ я, какъ на бумагѣ всѣ мы
Серьезны; что жъ не выступить впередъ,
Когда въ нашъ вѣкъ труднѣйшія проблемы
Рѣшаютъ люди, паръ пуская въ ходъ
И конституцій сложныя системы;
Когда отъ брака отклонять народъ
Стараются философы, въ надеждѣ,
Что нищихъ будетъ менѣе, чѣмъ прежде.

XXII.

Подобный взглядъ возможно ли хвалить?
Намъ всѣмъ присуща „жажда размноженья“.
(Конечно, я бы могъ употребить
Весьма легко другое выраженье,
Но я хочу вполнѣ приличнымъ быть).
Итакъ, я осуждаю это мнѣнье:
Не грѣхъ ли охлаждать тотъ жгучій пылъ,
Который намъ присущъ и вѣчно милъ?

XXIII.

Но къ дѣлу я вернуться долженъ снова.
Жуанъ, вращаясь въ избранномъ кругу,
Живетъ въ странѣ, гдѣ для него все ново,
Гдѣ юношей на каждомъ ждутъ шагу
Ловушки, гдѣ не скажутъ даромъ слова;
Звать новичкомъ Жуана не могу,
Но Лондонъ, гдѣ царитъ наружный глянецъ,
Постичь вполнѣ не можетъ иностранецъ.

XXIV.

По климату и признакамъ инымъ
Страну любую могъ бы описать я,
Не насмѣшивъ людей трудомъ моимъ;
Для Англіи лишь дѣлаю изъятье:
О странностяхъ ея путемъ такимъ
Не дашь и приблизительно понятья.
Въ другихъ странахъ и львы, и львицы есть;
Въ звѣринцѣ жъ нашемъ всѣхъ звѣрей не счесть.

XXV.

Но продолжать мнѣ бъ, право, не мѣшало!
Средь свѣтскихъ волнъ Жуанъ искусно плылъ,
Мелей не опасаяся нимало;
Порою шашни въ свѣтѣ заводилъ
Съ кокетками, что пыткою Тантала
Готовы насъ терзать, по мѣрѣ силъ;
Онѣ, хотя невинно строятъ глазки,
Боятся не порока, но огласки.

XXVI.

Но такъ какъ совершенства въ мірѣ нѣтъ,
Порой и согрѣшитъ иная дама,
И всякій разъ приходитъ въ ужасъ свѣтъ;
Заговори ослица Валаама—
Она бъ не натворила столько бѣдъ!
Дѣваться просто некуда отъ гама;
Всѣ кумушки вопятъ: „каковъ скандалъ!
О, Боже! кто бы это ожидалъ!“

XXVII.

На всѣ затѣи Запада Леила
Бросала равнодушья полный взглядъ
(Она себѣ и здѣсь не измѣнила:
Востокъ невозмутимостью богатъ);
Но свѣтъ глубоко этимъ поразила;
Онъ праздненъ и новинкѣ всякой радъ;
И вотъ она, замѣченная свѣтомъ,
Всѣхъ разговоровъ сдѣлалась предметомъ.

XXVIII.

О ней различны были мнѣнья дамъ,—
Онѣ вѣдь любятъ споры и шумливы;
О, дамы! не съ хулой иду я къ вамъ:
Что васъ люблю—замѣтить ужъ могли вы,
Но, признаюсь (какъ видите, я прямъ),
Что иногда вы черезчуръ болтливы.
Вопросъ: какъ дочь Востока воспитать,
Понятно, долженъ бурю былъ поднять.

XXIX.

Онѣ нашли, что всякая пэресса
(Лишь въ томъ единогласью дань платя)
Тѣхъ лѣтъ, когда не страшны шашни бѣса,
Съумѣетъ лучше воспитать дитя,
Чѣмъ юный Донъ Жуанъ. Легко повѣса,
Жемчужиной любуясь, не шутя
Современемъ увлечься можетъ ею.
Кто въ силахъ съ страстью справиться своею?

XXX.

Засуетился, споря, дамскій кругъ;
Вопросовъ много есть второстепенныхъ,
Которыхъ не рѣшить, конечно, вдругъ.
И вотъ, не мало давъ совѣтовъ цѣнныхъ,
Явились съ предложеніемъ услугъ
Шестнадцать вдовъ и десять дѣвъ почтенныхъ.
(Ихъ всѣхъ къ эпохѣ средневѣковой
Причислить бы историкъ могъ любой).

XXXI.

Еще два-три затертыя созданья,
Покинутыя жены зрѣлыхъ лѣтъ,
Взялись Леилы кончить воспитанье
И, *въ ходъ ее пуская*, вывезть въ свѣтъ,
Уча ее на раутъ, балъ, собранье
Смотрѣть какъ на арену для побѣдъ.
При деньгахъ, впрочемъ (этотъ фактъ замѣченъ),
Успѣхъ дѣвицы въ свѣтѣ обезпеченъ.

XXXII.

И франтъ безъ средствъ, и обнищавшій мотъ
Вокругъ невѣсты съ деньгами искусно
Порхаютъ, тьму интригъ пуская въ ходъ,
Чтобъ ихъ не миновалъ кусочекъ вкусный.
(Такъ привлекаетъ мухъ голодныхъ медъ).
Для этихъ хватовъ всякій способъ гнусный
Хорошъ: будь это ложь, обманъ иль лесть,—
Чтобъ къ барышнѣ богатой въ душу влѣзть.

XXXIII.

Сестрицы, тетки, маменьки, кузины,
Желая имъ помочь, снуютъ окрестъ.
Я дамъ знавалъ, что съ хитростью змѣиной
Искали для любовниковъ невѣстъ.
Tantaene!—воспѣвать не безъ причины
Мы можемъ добродѣтель здѣшнихъ мѣстъ,
Гдѣ иногда—такъ всѣхъ бояться надо—
Дѣвица и приданому не рада.

XXXIV.

Иныхъ легко поймать; такія жъ есть,
Что заставляютъ зубы класть на полку
Всѣхъ жениховъ; отказовъ ихъ не счесть!
За это ихъ язвятъ порою колко:
„Зачѣмъ вамъ было съ Фрэдомъ шашни вести?
Зачѣмъ его всегда сбивали съ толку?
Казалось „да" пророчитъ вашъ привѣтъ,
И вдругъ сегодня говорите: „нѣтъ!"

XXXV.

Вотъ за любовь достойная награда!
Онъ самъ богатъ; за что такой отказъ?
Ему чужого золота не надо:
О немъ вы пожалѣете не разъ!
Но впрочемъ это легкая досада,—
Онъ партію найдетъ приличнѣй васъ;
Отказъ ему теперь развяжетъ руки;
Да это все маркизы старой штуки!"

XXXVI.

Военный, пэръ, блестящій дипломатъ—
Всѣ ею оставляются за флагомъ;
Но вѣчный съ жизнью тягостенъ разладъ;
Дорога все несноснѣй съ каждымъ шагомъ;
Приходитъ часъ, когда желанный кладъ
Берется въ плѣнъ искуснымъ свѣтскимъ магомъ;
Вотъ выбранъ мужъ, и недовольныхъ хоръ
Спѣшитъ о немъ дать строгій приговоръ.

XXXVII.

Назойливой нахальностью своею
Иные побѣждаютъ господа;
Какъ выигрышъ, что краситъ лотерею,
Богатая невѣста иногда
Тому дается въ руки, кто за нею
Совсѣмъ и не ухаживалъ. Всегда
Везетъ вдовцамъ лѣтъ сорока и болѣ.
Скажите, бракъ—не лотерея, что ли?

XXXVIII.

Вотъ свѣжій фактъ: правдивъ, но грустенъ онъ;
Я двадцати усерднымъ волокитамъ
Былъ дамою одною предпочтенъ,
Хоть былъ не юнъ и празднымъ сибаритомъ
На свѣтѣ жилъ, мечтой лишь вдохновленъ.
Съ той дамою въ разрывѣ я открытомъ,
Но нахожу, что, мой успѣхъ назвавъ
Чудовищнымъ, добрѣйшій свѣтъ былъ правъ.

XXXIX.

Поэму не бросая, отступленья
Простите мнѣ; вѣдь, мой кумиръ—мораль,
Что мнѣ необходима, какъ моленье
Предъ трапезой. Мнѣ грѣшныхъ смертныхъ жаль
И потому даю имъ наставленья,
Какъ тетушка-ханжа, какъ скучный враль,
Какъ проповѣдникъ или менторъ важный,
И мой Пегасъ несется въ бой отважно.

XL.

Однакожъ, поневолѣ я впаду
Въ безнравственность; личину снявъ съ порока,
Я рядъ печальныхъ фактовъ приведу;
Коль почву зла не пропахать глубоко
И ложь людскую не предать суду,
Какая жъ польза будетъ отъ урока?
Покуда жалкій свѣтъ и глухъ, и слѣпъ,
Не упадетъ въ цѣнѣ нечестья хлѣбъ.

XLI.

Сперва найдемъ Леилѣ помѣщенье.
Чиста какъ лучъ денницы иль какъ снѣгъ
(Увы, старо послѣднее сравненье!)
Была она. Хоть снѣгъ и чистъ, утѣхъ
Намъ мало онъ сулитъ, и наслажденья
Иныхъ людей сравнить бы съ нимъ не грѣхъ.
Жуанъ искалъ для дѣвочки опору,—
Нельзя жъ дитя оставить безъ надзору.

XLII.

Онъ счастливъ былъ, что мысль его нашла
Поддержку: предложеній было много.
У „Общества для упраздненья зла",
Спросивъ совѣтъ, онъ съ лэди Пинчбэкъ строгой
Сошелся, и Леила ей была
Поручена. Чуждъ роли педагога,
Онъ не хотѣлъ за выборъ несть отвѣтъ
И строгій соблюдалъ нейтралитетъ.

XLIII.

Старушка, свято чтившая приличья,
Была честнѣйшихъ правилъ, хоть о ней
Коварный свѣтъ шепталъ... Но злоязычья
Я вынесть не могу; что сплетенъ злѣй?
Какъ терпятъ ихъ, не въ силахъ и постичь я;
Онѣ, скотами дѣлая людей,
Являются въ позорной роли жвачки.
Такому злу нельзя давать потачки.

XLIV.

Тѣ дамы, что рѣзвились въ цвѣтѣ лѣтъ
(Я наблюдать всегда любилъ немножко),
Хорошій въ состояньи дать совѣтъ,
При случаѣ окольною дорожкой
Отъ пропасти отвесть и знаютъ свѣтъ;
Тѣ жъ дамы, что знакомы лишь съ обложкой
Житейской книги и страстей чужды,
Предостеречь не могутъ отъ бѣды.

XLV.

Тогда какъ свѣта злыя недотроги—
Бичи немилосердные страстей
Невѣдомыхъ, хотя желанныхъ—строги
Къ порокамъ и шипятъ не хуже змѣй;
Тѣ, что порой сбивалися съ дороги,
Являться любятъ въ роляхъ добрыхъ фей
И, чуждыя жеманности суровой,
На выручку придти всегда готовы.

XLVI.

Не потому ли дочери тѣхъ дамъ,
Что свѣтъ не по однимъ печатнымъ книгамъ
Старались изучать, а, внявъ страстямъ
И имъ служа, по собственнымъ интригамъ,
Пригоднѣе къ супружескимъ цѣпямъ
И менѣе ихъ тяготятся игомъ,
Чѣмъ дочери безчувственныхъ ханжей,
Дивившихъ свѣтъ холодностью своей?

XLVII.

Когда-то лэди Пинчбэкъ уязвляла
Молва, что рада молодость хулить;
Но у злословья притупилось жало,
И хоромъ стали всѣ превозносить
И умъ ея, и качества. Не мало
Она добра старалася творить;
Къ тому жъ была супругою примѣрной
(Съ которыхъ поръ—никто не зналъ навѣрно).

XLVIII.

Въ своемъ кругу любезна и мила,
Она средь высшихъ сферъ держалась чинно;
Къ ошибкамъ снисходительна была.
(Когда же молодежь въ нихъ не повинна?)
Когда бъ ея всѣ добрыя дѣла
Я перечелъ, то черезчуръ ужъ длинной
Поэма вышла бъ. Нѣжности полна,
Съ Леилой стала няньчиться она.

XLIX.

Старушка полюбила и Жуана
За то, что онъ не очерствѣлъ душой,
Хоть жертвою коварства и обмана
Бывалъ не разъ. Увы, гонимъ судьбой,
Превратности ея узналъ онъ рано,
Но не былъ смятъ тяжелою борьбой.
Другой бы, злому року не противясь,
Къ дурнымъ страстямъ давно бъ попалъ на привязь.

L.

Въ дни юности, коль горе сушитъ грудь,
Его считая достояньемъ общимъ,
Миримся съ нимъ. Страданье—къ правдѣ путь;
Въ годахъ же зрѣлыхъ, скорбь узнавъ, мы ропщемъ;
Но можно ль мигъ спокойно отдохнуть?
Мы вѣчно тяжкій путь страданья топчемъ
И опытъ—этотъ горькій даръ судьбы—
Лишь плодъ лишеній, горя и борьбы.

LI.

Жуанъ былъ радъ, что дѣло воспитанья
Леилы обезпечено впередъ:
Старушка, обративъ на все вниманье,
Ей передастъ, полна о ней заботъ,
Свои всѣ совершенства и познанья.
Такъ свой корабль лордъ-мэръ передаетъ;
Но есть и поэтичнѣе примѣры:
Передается такъ ладья Цитеры.

LII.

Такимъ путемъ дѣвицамъ цѣлый рядъ
Передается качествъ и талантовъ;
Иныя вальсомъ головы кружатъ;
Бренча, другія корчатъ музыкантовъ;
Однѣ умомъ и граціей блестятъ;
Другія принимаютъ видъ педантовъ;
Случается и на такихъ напасть,
Что признаютъ однѣхъ истерикъ власть.

LIII.

Но дѣло въ томъ, что всѣ таланты эти
(Такая масса ихъ, что всѣхъ не счесть!)
Всегда одно имѣютъ лишь въ предметѣ—
Ихъ нѣжныхъ обладательницъ привесть
Къ той цѣли, что всѣ барышни на свѣтѣ
Преслѣдуютъ: супруга пріобрѣсть.
Пускай порой ихъ жребій крайне жалокъ,
Скорѣе выйти замужъ—цѣль весталокъ.

LIV.

Вернусь къ своей поэмѣ; вѣрно свѣтъ,
Язвя меня, о томъ подниметъ толки,
Что до сихъ поръ какъ слѣдуетъ въ
сюжетъ
Я не вошелъ (упреки эти колки!),
Хоть цѣлый рядъ ужъ пѣсенъ мною спѣтъ.
Настраивая лиру, только колки
Я закрѣплялъ, но мигъ ужъ настаетъ,
Когда пущу и увертюру въ ходъ.

LV.

Пою, но мнѣ успѣхъ совсѣмъ не нуженъ!
Хочу „великій нравственный урокъ"
Преподнести. Я думалъ, что двухъ дюжинъ
Мнѣ грозныхъ пѣсенъ хватитъ, чтобъ
порокъ
Склонился въ прахъ, совсѣмъ обезоруженъ;
Но я, увы, отъ истины далекъ!..
Такой размѣръ мнѣ въ полномъ смыслѣ
тѣсенъ:
Спою, коль Фебъ позволитъ, до ста пѣсенъ.

LVI.

Вернувшись вновь къ герою моему,
Я „свѣтъ большой" описывать вамъ буду;
Онъ малъ, но на ходуляхъ, потому
Онъ кажется большимъ простому люду,
Который повинуется ему,
Какъ рукояти мечъ. Царя повсюду
И въ рукояти видя образъ свой,
Онъ властвуетъ надъ робкою толпой.

LVII.

Героя моего, безъ исключенья,
Ласкали всѣ; хотя сердечный тонъ
Не подкрѣплялъ такія отношенья,
Жуанъ встрѣчалъ и отъ мужей, и женъ
Привѣтъ, радушья полный. Приглашенья
Къ нему, что день, неслись со всѣхъ
сторонъ.
Такъ пышный свѣтъ свои утѣхи множитъ,
Что эта жизнь плѣнить на время можетъ.

LVIII.

Холостяку, при средствахъ, въ томъ кругу
Вращаться не легко. Игру, что въ свѣтѣ
Ведутъ, съ „игрой въ гуська" сравнить
могу:
У каждаго навѣрно на примѣтѣ
Особый планъ; на всякомъ васъ шагу
Хотятъ поймать въ раскинутыя сѣти;
Дѣвицы страстно рвутся къ женихамъ,
Межъ тѣмъ ловить мужчинъ—забота дамъ.

LIX.

Нѣтъ правила, конечно, безъ изъятья;
Иныя дѣвы стойче всякихъ стѣнъ,
Но грустный фактъ обязанъ все жъ
признать я,
Что большинство забрать насильно въ плѣнъ
Старается мужчинъ, въ свои объятья
Маня съ искусствомъ опытныхъ сиренъ.
Съ одной изъ нихъ, разъ шесть иль семь,
не болѣ,
Поговоривъ,—готовьтесь къ брачной долѣ!

LX.

То маменька вамъ объяснить спѣшитъ,
Что дочку вы ея плѣнить съумѣли;
То нѣжный братъ, принявши грозный видъ,
Приходитъ къ вамъ, желая ваши цѣли
Узнать вѣрнѣй; вамъ въ ротъ кладутъ,
что стыдъ
Не сдѣлать предложенья; вы бъ хотѣли
Спастись отъ нихъ, бѣжать куда-нибудь,
Но къ отступленью ужъ отрѣзанъ путь.

LXI.

Не разъ такъ налагались цѣпи брака:
Подобныхъ свадьбъ я знаю цѣлый рядъ,
Но храбрецы такіе есть, однако,
Которыхъ, что ни дѣлай, не страшатъ
Ни пройда-мать, ни братецъ-забіяка—
И что жъ?—боясь скандала, ихъ щадятъ;
А жертвы, хоть ихъ сердце и разбито,
Товару все, какъ прежде, ищутъ сбыта.

LXII.

Для новичковъ еще опасность есть.
Хоть передъ нею менѣе я трушу,
Чѣмъ передъ той, что можетъ къ браку
весть.
Узнавъ ее, все жъ выбраться на сушу
Изъ волнъ порой возможно. Счеты свесть
Намѣренъ я, тѣмъ облегчая душу,
Съ амфибіей баловъ, couleur de rose,
Которой царство полно мукъ и слезъ.

LXIII.

Чужда любви, бездушная кокетка,
Боясь промолвить „нѣтъ", не шепчетъ „да",
Она то рай сулитъ, то шуткой ѣдкой
Терзаетъ васъ. Ея тріумфъ—когда
Разбито ваше сердце. Такъ нерѣдко
Со сцены свѣта сходитъ безъ слѣда
Рядъ Вертеровъ, ей сгубленныхъ до срока.
Такъ что жъ?—зато она чужда порока!

LXIV.

(О, боги, какъ я дѣлаюсь болтливъ!)
Когда жъ, объята страстью роковою,
Свихнется дама, долгу измѣнивъ,—
Здѣсь надъ ея не сжалятся судьбою
И съ гордымъ свѣтомъ ей грозитъ разрывъ.
Въ другихъ странахъ прощаютъ грѣхъ порою,
Но здѣсь проступокъ съ яростью клеймимъ
Паденье Евы меркнетъ передъ нимъ!

LXV.

Въ странѣ, гдѣ всякихъ низостей такъ много,
Въ странѣ процессовъ, сплетенъ и клеветъ,
Мгновенно поднимается тревога,
Когда хоть что-нибудь замѣтитъ свѣтъ.
Малѣйшій грѣхъ преслѣдуется строго,
И вотъ, чтобъ переполнить чашу бѣдъ,
Пускаютъ въ ходъ процессъ, что ваши нравы
Чернитъ, служа читателямъ забавой,

LXVI.

Кто опытенъ, тому въ такой капканъ
Нельзя попасть, и все жъ грѣшкамъ нѣтъ счета!
Но вѣчно лицемѣрье и обманъ
Спасаютъ грѣшницъ высшаго полета;
Судьбою имъ завидный жребій данъ:
Онѣ царятъ, и въ томъ ихъ вся забота,
Чтобъ скрыть концы. Какой печальный фактъ:
Имъ добродѣтель замѣняетъ тактъ.

LXVII.

Любви святой лишь чары признавая,
Себя легко Жуанъ могъ уберечь
Отъ пыла чувствъ поддѣльныхъ. Не желая
Насмѣшкой на себя вашъ гнѣвъ навлечь,
Все жъ не скрываю язвъ родного края,
Гдѣ столько бѣлыхъ скалъ и бѣлыхъ плечъ,
Чулковъ и глазокъ синихъ, шашней разныхъ,
Процессовъ и налоговъ безобразныхъ.

LXVIII.

Покинувъ знойный край сердечныхъ грозъ,
Гдѣ за измѣну часто ждетъ могила,
А не процессъ, исполненный угрозъ,
Жуанъ попалъ въ страну, гдѣ въ деньгахъ сила,
Гдѣ увлеченье—модный лишь вопросъ,
И потому въ немъ тихо сердце стыло;
Къ тому жъ, на первый взглядъ (о стыдъ и срамъ!)
Онъ не былъ пораженъ красою дамъ.

LXIX.

Здѣсь тороплюся сдѣлать заявленье,
Что я сказалъ: „на первый только взглядъ".
Впослѣдствіи перемѣнилъ онъ мнѣнье
И въ Англіи нашелъ красавицъ рядъ;
Выходитъ, что поспѣшныя сужденья
Порою противъ истины грѣшатъ,
Доказывая общества готовность
Закономъ вкуса признавать условность.

LXX.

Я не видалъ ни африканскихъ рѣкъ,
Ни Тимбукту, что для Европы диво,
Хоть странствовалъ не мало цѣлый вѣкъ.
(Тѣхъ странъ не знаемъ мы; какъ волъ, лѣниво
Въ глубь Африки плетется человѣкъ);
Но если бъ я попалъ въ тотъ край счастливый,
Сказали бы мнѣ тамъ, сомнѣнья нѣтъ,
Что цвѣтъ красы—безспорно черный цвѣтъ.

LXXI.

Я на вѣтеръ бросать не стану зеренъ
И утверждать, что черное бѣло;
Но дѣло въ томъ, что цвѣтъ-то бѣлый черенъ.
Слѣпецъ рѣшитъ нашъ споръ. Склонивъ чело,
Сознаетесь, что взглядъ такой не вздоренъ:
Не вѣдая о томъ, что днемъ свѣтло,
Слѣпецъ знакомъ съ однимъ лишь чернымъ цвѣтомъ,
А вы и тусклый лучъ зовете свѣтомъ.

LXXII.

Но бредни метафизики сходны
Съ лѣкарствами, что слабаго больного
Отъ злой чахотки вылѣчить должны,
А потому оставлю ихъ и снова
Къ жемчужинамъ родимой стороны
Я обращу привѣтливое слово.
Онѣ блестятъ, какъ солнце, но притомъ,
По холоду, сходны съ полярнымъ льдомъ.

LXXIII.

Еще могу подобье имъ прибрать я:
Съ сиренами—полрыбами—ихъ всѣхъ
Сравнить бы надо. Хладны ихъ объятья.
И если даже ими правитъ грѣхъ,

То это лишь изъ правила изъятье
(Такъ русскіе изъ бани лѣзутъ въ снѣгъ);
Онѣ всегда раскаяться готовы,
На днѣ души клеймя грѣха оковы.

LXXIV.

По виду чувствъ британки не узнать!
Она строга, и для нея отрада
Достоинства свои отъ глазъ скрывать,
Поклонниковъ щадя, какъ думать надо.
Она не штурмомъ сердце хочетъ брать,
А исподволь къ нему прокрасться рада;
Но, кладомъ завладѣвъ, что дорогъ ей,
Съ добычей не разстанется своей.

LXXV.

Съ ней поступью сравнится ль дочь Гре-
надм,
Когда она идетъ молиться въ храмъ,
Иль аравійскій конь? Носить наряды
Съ изящной простотой французскихъ дамъ
Возможно ль ей? Не жгутъ британки взгляды;
Ей не пропѣть бравурныхъ арій вамъ.
(Въ семь лѣтъ со мной сдружиться не
могли вы,
Италіи бравурные мотивы!)

LXXVI.

Ей многаго того недостаетъ,
Что привлекаетъ общее вниманье;
Она улыбкамъ ходу не даетъ
И ужъ навѣрно въ первое свиданье
Интригу до конца не доведетъ.
Надъ нею верхъ лишь время да старанья
Берутъ. За то обильные плоды—
Впослѣдствіи награда за труды.

LXXVII.

Дѣйствительно, ее сдержать нѣтъ средства,
Когда въ ней страсть кипитъ; почти всегда
Ея любовь—капризъ, мечта, кокетство;
Минутный пылъ, что создаетъ вражда
Къ соперницѣ; привычка съ малолѣтства
Игрушкой забавляться; но когда
Въ ней вспыхнетъ страсть могучимъ ура-
ганомъ,
Предѣловъ нѣтъ ея порывамъ рьянымъ.

LXXVIII.

Понятно это: свѣтскій приговоръ
Богинь за грѣхъ преобразуетъ въ парій.
(Вѣдь свѣтъ то самъ бѣлѣе, чѣмъ фарфоръ!)
Къ тому же грязь газетныхъ комментарій
Усугубляетъ тяжкій ихъ позоръ.
Такъ выгнанъ былъ изъ Карѳагена Марій.
Здѣсь женщинъ честь—такой же Карѳа-
генъ,
Что возсоздать не могъ упавшихъ стѣнъ.

LXXIX.

Вполнѣ неправы праведники свѣта,
Пуская въ ходъ карающій законъ,
Когда Господь, не признавая это,
Сказалъ блудницѣ: „Грѣхъ тебѣ прощенъ!"
Въ другихъ странахъ съ улыбкою привѣта
Встрѣчаетъ свѣтъ раскаявшихся женъ,
И, по моимъ понятьямъ, преступленье—
Отрѣзывать для грѣшницъ путь спасенья.

LXXX.

Какъ строгъ бы ни былъ праведный юристъ,
Насильственно нельзя исправить нравы;
Лишь по виду будетъ свѣтъ душою чистъ;
Порока разновидныя отравы
Не въ силахъ уничтожить скорбный листъ
Казненныхъ жертвъ. Нѣтъ, палачи неправы,
Отчаянье вселяя въ душу тѣхъ,
Что искупить могли бъ случайный грѣхъ!

LXXXI.

Но не было Жуану вовсе дѣла
До нравственныхъ уроковъ, и притомъ
Толпа красивыхъ лэди не съумѣла
Разжечь любви отрадный пламень въ немъ;
Его немного сердце очерствѣло;
Онъ утомленъ былъ пройденнымъ путемъ
И, не забывъ утѣхъ былого счастья,
Чуждался упоеній сладострастья.

LXXXII.

Къ тому жъ, не мало видѣлъ онъ вещей,
Что приковали все его вниманье;
Въ парламентѣ провелъ онъ рядъ ночей,
Внимая преньямъ бурнаго собранья
(Когда то сила пламенныхъ рѣчей
Европу приводила въ содроганье).
Но онъ свѣтилъ палаты не видалъ:
Въ гробу былъ Питтъ, а Грей еще мол-
чалъ.

LXXXIII.

Однажды тамъ онъ чудною картиной
Былъ пораженъ: король, на тронъ садясь,
Предсталъ во всемъ величьи властелина;
Священно и для сердца, и для глазъ
То зрѣлище; но этому причина
Не блескъ его, красой дивящій насъ;
Причина та, что, чуждо лицемѣрья,
Его плодитъ народное довѣрье.

LXXXIV.

Въ парламентѣ встрѣчался онъ порой
И съ юнымъ принцемъ, въ полномъ смыслѣ сходнымъ
Съ богатою надеждами весной.
Платя лишь дань порывамъ благороднымъ
(То было прежде!), юный принцъ, собой
Чаруя всѣхъ, кумиромъ былъ народнымъ;
Притомъ, сердца всѣ забирая въ плѣнъ,
Онъ съ ногъ до головы былъ джентельмэнъ.

LXXXV.

Жуанъ какъ свой былъ принятъ высшимъ кругомъ,
Вездѣ встрѣчалъ онъ ласку и привѣтъ;
Всѣ обращались съ нимъ какъ съ добрымъ другомъ.
Талантами обворожилъ онъ свѣтъ,
Что всѣхъ цѣнить умѣетъ по заслугамъ.
Понятно, что, обласканъ и пригрѣтъ,
Жуанъ подвергся искушеньямъ разнымъ,
Хоть поддаваться не хотѣлъ соблазнамъ.

LXXXVI.

Но наскоро поговорить о нихъ
Не въ силахъ я. Моральные уроки
Давая всѣмъ, читателей своихъ
Заставлю лить я горькихъ слезъ потоки.
Ихъ потрясетъ дышащій скорбью стихъ:
Я памятникъ воздвигну ей высокій,
Какъ тотъ, что Александръ возвесть хотѣлъ,
Чтобъ обезсмертить славу громкихъ дѣлъ.

LXXXVII.

Двѣнадцатую пѣсню предисловья
Кончаю здѣсь. Самой поэмы планъ
Почти готовъ. Я уличу злословье,
Васъ введшее насчетъ ея въ обманъ,
Хоть не могу поставить, какъ условье,
Чтобъ вы прочли правдивый мой романъ.
Искать презрѣнья мощный умъ не станетъ,
Но на него всегда безъ страха взглянетъ.

LXXXVIII.

Хоть не всегда пороки я громилъ,
Но сколько ужъ раскинулъ передъ вами
Картинъ ужасныхъ! Съ вами въ бурю плылъ
И васъ знакомилъ съ грозными боями.
Ростовщику и то бъ я угодилъ!
Но впереди все лучшее: стихами
Созвѣздья опишу я и потомъ
Васъ приведу въ восторгъ какъ агрономъ.

LXXXIX.

Такъ сдѣлаю я публикѣ въ угоду,—
Она въ нашъ вѣкъ иныхъ не любитъ темъ;
Не дурно бъ указать притомъ народу,
Какъ чрезъ преграды, сгнившія совсѣмъ,
Ему пойти, чтобъ пріобрѣсть свободу.
Мой планъ—секретъ, но угожу я всѣмъ,
А вы читайте мудрые трактаты
О томъ, какъ сократить долги и траты.

ПѢСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ.

I.

Преступенъ смѣхъ!—твердитъ нашъ вѣкъ серьезный
И шутокъ надъ порокомъ даже онъ
Не переноситъ, ихъ бичуя грозно;
Поэтому приму я важный тонъ
(Исправиться вѣдь никогда не поздно);
Хочу признать серьезность какъ законъ.
И храмъ напомнятъ вамъ мои октавы—
Разрушенный, но все же величавый.

II.

Милэди Амондвиль была знатна
И древностью могла гордиться рода
(Ихъ родъ извѣстенъ былъ въ тѣ времена,
Когда норманны дѣлали походы).
Красавицей считалася она
Въ странѣ, гдѣ красота—законъ природы.
(Здѣсь каждый патріотъ увѣренъ въ томъ,
Что совершенна Англія во всемъ).

III.

Пусть будетъ такъ; считаю споръ напраснымъ;
Предъ красотой склоняется весь свѣтъ;
Предъ нею наблюдателемъ безстрастнымъ,
Конечно, оставаться средства нѣтъ;
Прекрасный полъ останется прекраснымъ,
И вѣрить мы должны до зрѣлыхъ лѣтъ,—
О, дочери плѣнительныя Евы,—
Что красотою свѣтъ дивите всѣ вы!

IV.

Но жизнь течетъ; доживъ до грустныхъ дней,
Когда въ насъ нѣтъ ужъ прежняго задора
И равнодушье гаситъ пылъ страстей,
Не отдаемъ мы сердца безъ разбора
И разсуждаемъ, дѣлаясь умнѣй.
Но все жъ нельзя съ годами вынесть спора;
Они на насъ кладутъ свою печать,
И молодежи надо мѣсто дать.

V.

Есть люди, принимающіе мѣры,
Чтобъ скрыть отъ всѣхъ гнетущій ихъ разладъ;
Но ихъ желанья—жалкія химеры:
Дни юности нельзя вернуть назадъ;
Но можно орошать струей мадеры
Сухую степь, гдѣ гаснетъ нашъ закатъ;
Есть также и другія утѣшенья:
Парламентъ, сходки, выборы и пренья

VI.

Религія, налоги, миръ, война
Занять собою могутъ наше время;
Порою (страсть къ отличіямъ сильна!)
Честолюбивыхъ думъ насъ давитъ бремя.
Да, наконецъ, намъ ненависть дана;
Когда ея запало въ душу сѣмя,
Лишь ей одною дышитъ человѣкъ;
Онъ любитъ мигъ, а ненавидитъ вѣкъ.

VII.

„Люблю лишь тѣхъ, что ненавидятъ смѣло!"
Такъ Джонсонъ, критикъ грубый, но прямой,
Служенью правдѣ преданный всецѣло,
Открыто говорилъ въ сатирѣ злой.
Шутилъ ли онъ, мнѣ до того нѣтъ дѣла;
Я не актеръ, а зритель лишь простой,
Такой же, какъ у Гете Мефистофель:
Увидѣвъ ликъ, желаю зрѣть и профиль.

VIII.

И пылъ любви, и ненависти ядъ
Въ моей душѣ изгладились съ годами;
Смѣюся я, но правдой смѣхъ богатъ;
Къ тому жъ съ моими свыкся онъ стихами.
Въ бѣдѣ помочь я былъ бы людямъ радъ,
Хотѣлъ бы зло искоренить словами,
Но что такой ошибоченъ разсчетъ—
Намъ доказалъ безсмертный Донъ Кихотъ.

IX.

Печальнѣе романа нѣтъ на свѣтѣ,
Тѣмъ болѣе, что онъ толпу смѣшитъ:
Герой его имѣетъ лишь въ предметѣ
Борьбу со зломъ; пороки онъ клеймитъ
И хочетъ, чтобы сильный былъ въ отвѣтѣ,
Когда неправъ. Безуменъ лишь на видъ
Другъ чести, Донъ Кихотъ! Грустнѣй морали
Той эпопеи сыщемъ мы едва ли.

X.

Карать несправедливость, слабыхъ женъ
Поддерживать; спасать отъ угнетенья
Народы, признавая какъ законъ
Лишь правду—вотъ высокія стремленья!
Ужели доблесть—только свѣтлый сонъ,
На дѣлѣ жъ—миѳъ иль свѣтлое видѣнье
Изъ царства грезъ? Ужель Сократъ—и тотъ
Лишь мудрости злосчастный Донъ Кихотъ?

XI.

Духъ рыцарства сатира Сервантеса
Въ Испаніи сгубила. Ѣдкій смѣхъ
Направилъ бѣдный край на путь прогресса,
Но въ немъ—увы!—героевъ вывелъ всѣхъ.
Какъ только романтизмъ лишился вѣса,
Исчезла доблесть. Дорого успѣхъ
Писателя его отчизнѣ стоилъ:
Насмѣшкою онъ жизнь ея разстроилъ.

XII.

Опять призналъ я отступленій власть;
Однакожъ вновь займусь той милой дамой,
Съ которою пришлось Жуану пасть.
Не удалося имъ спастись отъ ямы,
Что вырыли для нихъ судьба и страсть.
(Судьбу жестокосердую всегда мы
Винимъ во всемъ: всесильна вѣдь она).
Я не Эдипъ, но съ сфинксомъ жизнь сходна.

XIII.

Скрывая фактовъ тайныя причины,
Я за разсказъ примуся—„Davus Sum".
Склонялись всѣ предъ лэди Аделиной;
Превознося ея красу и умъ,
Къ ней съ льстивыми рѣчами шли мужчины;
А женщины, полны тревожныхъ думъ,
Нѣмѣли передъ ней. Явленье это,
Конечно, рѣдкость въ лѣтописяхъ свѣта.

XIV.

Злословье прикусило язычокъ,
Она была примѣрною женою,
Супругъ ея, невозмутимъ и строгъ,
Доволенъ былъ и ею, и собою;
Онъ важенъ былъ и холоденъ, но могъ,
Разгорячившись, дѣйствовать съ душою,
Обоихъ свѣтъ лелѣялъ и ласкалъ
И не жалѣлъ для нихъ своихъ похвалъ.

XV.

Жуана съ лордомъ сблизили сношенья
Служебныя. Съ нимъ видясь какъ съ посломъ,
Надменный лордъ, не знавшій увлеченья,
Былъ восхищенъ талантами, умомъ
И ловкостью Жуана. Уваженье
Къ искусному послу вселилось въ немъ.
Затѣмъ пріязнью это чувство стало.
(Не разъ пріязнь намъ дружбу замѣняла).

XVI.

Надмененъ былъ и крайне сдержанъ лордъ;
Въ него съ трудомъ вселялось убѣжденье;
Но, взглядъ себѣ составивъ, онъ былъ твердъ,
И для него былъ вовсе безъ значенья
Вердиктъ молвы общественной. Кто гордъ,
Тотъ никогда не измѣняетъ мнѣнья
И, повинуясь взгляду своему,
Въ любви и злобѣ вѣренъ лишь ему.

XVII.

Въ сужденіяхъ излишнюю поспѣшность
Лордъ Генри гналъ, и потому въ обманъ
Его ввести была безсильна внѣшность;
Незыблемъ въ мнѣньяхъ, какъ законъ мидянъ,
Онъ въ собственную вѣрилъ непогрѣшность
И ставилъ произволъ на первый планъ;
Припадковъ лихорадочныхъ пристрастья
Не вѣдалъ онъ, даря свое участье.

XVIII.

„Семпроній! намъ судьба даритъ успѣхъ,
Но ты схитри; не будь его достоинъ!"
И удивишь своей удачей всѣхъ;
Терпи и унижайся; будь спокоенъ;
Лови моментъ и не считай за грѣхъ
Предъ силой отступать. Кто жъ въ полѣ воинъ,
Когда одинъ? О совѣсти забудь;
Ей выправкой укажешь правый путь.

XIX.

Первенствовать лордъ Генри, безъ сомнѣнья,
Любилъ; да кто жъ бѣжитъ отъ льстивыхъ словъ?
Тѣ даже, чье ничтожно положенье,
Стараются найти себѣ льстецовъ;
Гнетъ гордости тяжелъ въ уединеньи
И потому гордецъ всегда готовъ
Имъ подавлять, среди кантатъ побѣдныхъ,
Верхомъ катаясь, пѣшеходовъ бѣдныхъ.

XX.

Какъ лордъ, богатъ и знатенъ былъ Жуанъ
И съ нимъ былъ равенъ саномъ и чинами;
Но лордъ считалъ славнѣйшею изъ странъ
Британію, гордясь ея правами;
Кто въ мірѣ былъ свободнѣй англичанъ?
Къ тому жъ онъ старше былъ его годами
И славился пространностью рѣчей
(Парламентъ оставлялъ онъ всѣхъ позднѣй).

XXI.

Гордился лордъ и тѣмъ, что зналъ не мало
Интригъ придворныхъ (онъ министромъ былъ);
Съ дворцовыхъ тайнъ срывая покрывало,
О нихъ распространяться онъ любилъ
И думалъ, что ничто не ускользало
Отъ зоркости его; трудовъ и силъ
Онъ не жалѣлъ, чтобъ родинѣ оплотомъ
Служить, и былъ горячимъ патріотомъ.

XXII.

Его плѣнилъ серьезностью своей
Любезный Донъ Жуанъ; въ пустые споры
Онъ не вступалъ, касаясь мелочей,—
И съ знаньемъ дѣла велъ переговоры
Безъ рѣзкости. Лордъ Генри зналъ людей
И юность не лишалъ своей опоры
За промахи, не видя въ этомъ бѣдъ.
Созрѣетъ хлѣбъ – глядишь – и плевелъ нѣтъ.

XXIII.

Они вели бесѣды межъ собою
О тѣхъ странахъ, гдѣ безъ контроля власть
И гдѣ рабы покорною толпою
Всегда готовы въ прахъ предъ нею пасть;
О скачкахъ рѣчь вели они порою;
Къ ѣздѣ верхомъ питалъ лордъ Генри страсть;
Жуанъ же управлялъ конемъ такъ смѣло,
Какъ деспотъ, что съ рабомъ имѣетъ дѣло.

XXIV.

Они встрѣчались всюду; съ каждымъ днемъ
Ихъ дружба все росла. Усвоивъ взгляды
И тонъ большого свѣта, моднымъ львомъ
Сталъ Донъ Жуанъ; всѣ были видѣть рады
Посла, что красотою и умомъ
Всѣ головы кружилъ. Сознаться надо,
Что всякій могъ вельможу въ немъ признать,
И потому къ Жуану льнула знать.

XXV.

Близъ площади Трехъ Звѣздъ... Я изъ приличья
Не назову той улицы, боясь
Присущаго всѣмъ людямъ злоязычья:
А то, пожалуй, къ сплетникамъ какъ разъ
Меня причтутъ, не дѣлая различья
Межъ фикціей и правдой. Мой разсказъ
Любовныхъ тайнъ коснется, и нарочно
Я лорда Генри не далъ адресъ точно.

XXVI.

Еще причина есть не называть
Той улицы: безъ крупнаго скандала
Сезонъ проходитъ рѣдкій; наша знать
Семейныхъ драмъ ужъ видѣла не мало.
Случайно скверъ могу я указать,
Гдѣ приключился грѣхъ, злословья жало
Какъ будто въ ходъ пуская. Чтобъ ничѣмъ
Не заслужить хулы—останусь нѣмъ.

XXVII.

На Пикадилли, не прибѣгнувъ къ лести,
Я могъ бы указать. Невинность тамъ
Царитъ; но умолчу объ этомъ мѣстѣ.
(Причинъ на то не сообщу я вамъ).
Когда бъ я уголъ зналъ, гдѣ можно бъ Вестѣ
Воздвигнуть, чтя невинность, свѣтлый храмъ,—
Конечно, я бъ не скрылъ его отъ свѣта;
Но самъ не знаю я, гдѣ мѣсто это.

XXVIII.

Итакъ скажу, что лорда Генри домъ
Собою красилъ площадь „Безъ названья".
Жуанъ, какъ другъ, всегда былъ принятъ въ немъ.
Въ томъ кругѣ обращаютъ лишь вниманье
На знатность и богатство. Кто притомъ
Взлелѣянъ модой—свѣтскаго собранья
Всегда кумиръ. Тамъ рѣдкій гость — талантъ
И всюду первенствуетъ модный франтъ.

XXIX.

Премудрый Соломонъ сказалъ когда-то,
Что тѣмъ дѣла успѣшнѣе идутъ,
Чѣмъ болѣе совѣтниковъ. Палата
Прямой примѣръ того, а также судъ.
Не оттого ли Англія богата,
Не оттого ль всѣ блага къ ней текутъ,
И счастлива она, что безъ стѣсненья
Въ ней царствуетъ общественное мнѣнье?

XXX.

Полезно многолюдство и для дамъ;
Когда слѣдятъ за женщиною строго,
Ей страшенъ грѣхъ, и выборъ труденъ тамъ,
Гдѣ налицо поклонниковъ есть много.
Съ опаскою несется по волнамъ
Пловецъ, когда невѣдомой дорогой
На скрытый рифъ наткнуться можетъ онъ;
Вздыхателей толпа—охрана женъ.

XXXI.

Но добродѣтель лэди Аделины
Въ такомъ щитѣ нуждаться не могла;
Опасность представляютъ ли мужчины
Для дамы твердыхъ правилъ? Козней зла
Бояться ей, конечно, нѣтъ причины;
Пустая лесть и жалкая хвала
Для гордой лэди были безъ значенья:
Ужъ ей давно прискучили хваленья.

XXXII.

Ея привѣтъ былъ холодно-учтивъ;
Даря инымъ порой свое вниманье,
Ей чуждъ былъ сердца пламенный порывъ,
И видъ ея средь пышнаго собранья
Всегда былъ величавъ и горделивъ.

Ея привѣтъ былъ лестное признанье
Какихъ-нибудь заслугъ, но въ немъ, увы!
Искать души напрасно стали бъ вы.

XXXIII.

Какъ слава тяжела! Одни мученья—
Удѣлъ молвой прославленныхъ людей;
Что слава имъ приноситъ? — лишь гоненья.
Они вкушаютъ ядъ, сроднившись съ ней;
Взгляните и на тѣхъ, что исключенье
Изъ правила: средь солнечныхъ лучей,
Которые ихъ обливаютъ свѣтомъ,
Увидите вы тучи въ блескѣ этомъ.

XXXIV.

Была еще особенность одна,
Сроднившаяся съ нравомъ Аделины:
Равно скрывать имѣла даръ она
И радость торжества, и гнетъ кручины
(Въ безстрастіи порядочность видна).
Такъ держатся въ Китаѣ мандарины,
Не удивляясь ничему. Примѣръ
Не съ нихъ берутъ ли люди высшихъ сферъ?

XXXV.

Признавъ „nil admirari" тайной счастья,
На тотъ же путь Горацій насъ ведетъ.
(Увы! артистамъ чуждо безпристрастье
И разны мнѣнья ихъ на этотъ счетъ).
Опасно выражать свое участье,
И сдержанность порой прямой разсчетъ;
Къ тому же „свѣтъ" твердитъ, исполненъ чванства,
Что энтузіазмъ — лишь нравственное пьянство.

XXXVI.

Но холодъ лэди былъ лишь напускной.
Такъ иногда (избитое сравненье!)
Подъ снѣгомъ лава огненной струей
Проносится. (Вулкана изверженье
Воспѣто ужъ въ поэмѣ не одной,
А мнѣ всегда противны повторенья).
Вулканъ, мнѣ жаль тебя! Твой вѣчный дымъ,
Встрѣчаяся въ стихахъ, невыносимъ!

XXXVII.

Старинное сравненіе отбросьте;
Другое есть и лучше, и новѣй:
Шампанскаго бутылку заморозьте,
И вы найдете *выморозки* въ ней;
Вкушая ихъ, въ восторгъ приходятъ гости:
Напитка нѣтъ пріятнѣй и цѣннѣй;
Клокочетъ онъ подъ ледяной корою,
Сверкая искрометною струею.

XXXVIII.

Тѣ капли—квинтъ-эссенція вина
Искусно замороженной бутылки.
Такъ иногда лишь съ виду холодна
Красавица, ея же чувства пылки;
Подъ маскою скрываетъ ихъ она,
И ледъ играетъ только роль настилки.
Кто раздробить съумѣетъ этотъ ледъ,
Тотъ драгоцѣнный кладъ подъ нимъ найдетъ.

XXXIX.

Однакожъ не легко сквозь эти льдины
Найти проходъ, чтобъ въ душу заглянуть.
Обманчивы опасныя пучины:
Носясь по нимъ, не трудно утонуть!
Ввѣряться имъ, конечно, нѣтъ причины.
Такъ, къ полюсу отыскивая путь,
Ужъ не одинъ корабль терпѣлъ крушенье;
Средь вѣчныхъ льдовъ возможно ли спасенье?

XL.

Лишь въ юности легко крейсировать
По океану страсти; скрыться надо
Въ надежный портъ, когда на васъ печать
Кладетъ сѣдое время; хуже яда
Fuimus дней промчавшихся спрягать,
Когда въ быломъ лишь теплится отрада,
Когда подагра скоро скоситъ васъ,
Наслѣдникамъ даря блаженства часъ.

XLI.

Но небу нужны тоже развлеченья;
Что жъ дѣлать, если тягостенъ ихъ гнетъ!
Людская жизнь все жъ стоитъ изреченья,
Что „къ лучшему на свѣтѣ все идетъ".
Доктрина персовъ—странное ученье
О двухъ началахъ жизни—не даетъ
Намъ на вопросы жгучіе отвѣта;
Но не темнѣй другихъ доктрина эта.

XLII.

Прошла зима; прощаемся мы съ ней
Въ іюлѣ, чтобъ къ ней въ августѣ вернуться.
То время—сущій рай для почтарей.
Въ свои помѣстья всѣ тогда несутся,
Почтовыхъ не жалѣя лошадей.
Вѣдь люди о себѣ однихъ пекутся.
(Отцы порой жалѣютъ и сынковъ,
Но если нѣтъ у нихъ большихъ долговъ).

XLIII.

Въ іюлѣ—иногда еще позднѣе—
Конецъ условной лондонской зимы;
Клянусь, я правъ! барометра вѣрнѣе,
Чѣмъ сессіи палатъ, не знаемъ мы.
Пусть радикалъ, отъ злости пламенѣя,
Парламентъ называетъ царствомъ тьмы
И объ его плачевной долѣ тужитъ,—
Онъ все жъ намъ альманахомъ лучшимъ
служитъ.

XLIV.

Во всѣ концы, лишь кончится сезонъ,
Летятъ фургоны, кэбы и кареты;
Густая пыль летитъ со всѣхъ сторонъ;
Не рыщутъ львы, по модѣ разодѣты,
На Ротенъ-Ро: отъѣздъ для всѣхъ законъ;
Купцы снуютъ, надеждою согрѣты
По счетамъ получить; но въ этотъ мигъ
Длиннѣе длинныхъ счетовъ лица ихъ.

XLV.

Платить долги намъ вовсе нѣтъ охоты
И къ чорту отсылаютъ торгашей,
А вмѣстѣ съ ними дутые ихъ счеты.
Безъ денегъ, въ ожиданьи лучшихъ дней,
Приходится имъ посвящать заботы
Дисконту долгосрочныхъ векселей.
Одно ихъ утѣшаетъ въ этомъ горѣ,
Что длинные ихъ счеты съ правдой въ ссорѣ.

XLVI.

„Впередъ, впередъ! давайте лошадей!"
Всѣ, суетясь, спѣшатъ въ свои усадьбы,
И лошади мѣняются быстрѣй,
Чѣмъ пламенныя чувства послѣ свадьбы.
Всѣхъ щедро награждаютъ почтарей,
Издержекъ не жалѣя,—только гнать бы
Во весь опоръ, несясь стрѣлой впередъ,
Что для возницъ и конюховъ доходъ.

XLVII.

Подачки баръ ихъ оживляютъ лики;
Въ дормезѣ ѣдетъ лордъ съ своей женой,
А сзади камердинеръ—плутъ великій—
Съ служанкою, вострушкой продувной,
Сидятъ. „Cosi viaggino i ricchi!"
Слова я иностранныя порой
Пускаю въ ходъ, чтобъ публика узнала,
Что въ жизни я пространствовалъ не мало.

XLVIII.

Кончалася столичная зима,
И вмѣстѣ съ ней ужъ проходило лѣто;
Скажите, развѣ городъ не тюрьма,
Когда природа пышно разодѣта?
Пустымъ рѣчамъ, безъ проблесковъ ума,
Легко ль внимать и нестъся въ вихрѣ свѣта,
Тогда какъ соловей въ саду поетъ?
(Но лорды не спѣшатъ; вѣдь нѣтъ охотъ

XLIX.

До осени). Простите отступленье.
Опять вернусь къ разсказу. Высшій свѣтъ
Отправился искать уединенья,
Слугъ тридцать взявъ съ собой и на обѣдъ
Гостей сзывая столько жъ. Приглашенья
Мы щедро разсылаемъ; спора нѣтъ,
Что радуютъ насъ гости, но не очень
Ихъ качествомъ британецъ озабоченъ.

L.

Лордъ Амондвиль былъ знатенъ и богатъ;
Въ свой замокъ родовой, согласно съ модой,
Уѣхалъ онъ. Тамъ предковъ длинный рядъ
Напоминалъ, что древняго онъ рода;
Вблизи отъ тѣхъ готическихъ палатъ
Дубовый лѣсъ, что пощадили годы,
Стоялъ какъ славы памятникъ нѣмой:
Въ немъ каждый дубъ надгробной былъ
плитой.

LI.

Отъѣздъ вельможи занялъ всѣ газеты;
Вотъ современной славы жалкій плодъ,
Что быстро поглощаютъ волны Леты;
О насъ трубятъ, а насъ забвенье ждетъ!
Самъ „Morning Post", кумиръ большого
свѣта,
О фактѣ томъ подробный далъ отчетъ.
„Лордъ Амондвиль — гласило такъ из-
вѣстье—
Уѣхалъ съ лэди А. въ свое помѣстье.

LII.

Обширный кругъ знакомыхъ и друзей
Почтенный лордъ созвалъ въ свое имѣнье
И въ пышной резиденціи своей
Всю осень проведетъ. Ужъ приглашенья
Разосланы. Въ числѣ другихъ гостей,
Охотничьи дѣля увеселенья,
Тамъ будетъ герцогъ Д. На весь сезонъ
Посланникъ русскій также приглашенъ".

LIII.

Въ извѣстья „Morning Post'a" вѣрить твердо,
Какъ въ догматъ англиканскій, мы должны;
Итакъ, Жуанъ въ роскошномъ замкѣ лорда,
Плѣняя всѣхъ, пробудетъ до весны
Средь свѣтской знати, чопорной и гордой.
Не странно ль, что въ тяжелый годъ войны
Газеты объ обѣдахъ толковали
Пространнѣй, чѣмъ о тѣхъ, что въ битвахъ пали?

LIV.

Вотъ вамъ примѣръ: „Въ четвергъ большой обѣдъ
Давалъ графъ X.". Затѣмъ на полъ-страницѣ
(Вѣдь всѣхъ интересуетъ высшій свѣтъ!)
Перечтены всѣ бывшія тамъ лица.
А ниже—точно намъ и дѣла нѣтъ
До тѣхъ, что не находятся въ столицѣ —
Лишь въ двухъ строкахъ передаетъ журналъ,
Что полкъ какой-то сильно пострадалъ.

LV.

Въ свой замокъ, бывшій нѣкогда аббатствомъ,
Уѣхалъ лордъ. Готическихъ временъ
Исчадьемъ замокъ былъ. Своимъ богатствомъ
И красотой плѣнялъ туристовъ онъ.
Построенный благочестивымъ братствомъ,
Не на горѣ онъ былъ расположенъ.
Монахи, вѣроятно, не хотѣли,
Чтобъ вѣтра вой тревожилъ миръ ихъ келій.

LVI.

Стоялъ тотъ замокъ сумраченъ и тихъ,
Въ долинѣ живописной. Онъ лѣсами
Былъ окруженъ. Дубы, временъ иныхъ,
Шептали о друидахъ и вѣтвями
Стремились въ небеса. Изъ чащи ихъ
Олень-самецъ съ вѣтвистыми рогами
Предъ стадомъ выбѣгалъ, на водопой
Къ волнамъ ручья его ведя, зарей.

LVII.

Предъ самымъ замкомъ озеро красиво,
Сверкая, разстилалось. Съ нимъ смѣшавъ
Свои струи, что въ даль неслись бурливо,
Рѣка смирялась, силу потерявъ.
Мирьяды птицъ ютились суетливо
Среди прибрежныхъ зарослей и травъ.
До озера спускался лѣсъ дремучій,
Волшебно отраженъ волной пѣвучей.

LVIII.

Изъ озера стремглавъ неслася внизъ
Рѣка съ зловѣщимъ грохотомъ и трескомъ;
Какъ водопадъ, струи ея лились,
Чаруя взоръ молніеноснымъ блескомъ;
Затѣмъ рѣка, какъ дѣвочки капризъ,
Смиряла гнѣвъ и дальше съ тихимъ плескомъ
Среди лѣсовъ струилась,—неба сводъ
И зелень отражая въ лонѣ водъ.

LIX.

Развалины готическаго храма
Виднѣлись въ сторонѣ. Одинъ лишь сводъ
Отъ зданья уцѣлѣлъ и велъ упрямо
Борьбу со схваткой лѣтъ и непогодъ.
Среди руинъ одинъ стоялъ онъ прямо,
Удерживая времени полетъ.
Невольно этотъ памятникъ искусства
Будилъ въ артистѣ горестныя чувства.

LX.

Рядъ нишъ пустыхъ виднѣлся вдоль стѣны.
Тамъ изваянья нѣкогда стояли
Двѣнадцати святыхъ, но въ дни войны,
Когда Стюарта лорды защищали,
Ихъ въ прахъ повергли. Вѣрные сыны
Престола кровь напрасно проливали
За короля, что, потерявши власть,
Ни править не умѣлъ, ни съ славой пасть,

LXI.

Не тронута войною и годами,
Мадонна уцѣлѣла лишь одна
Какимъ-то чудомъ. Съ этими мѣстами,
Ихъ освятивъ, сроднилася она.
Когда руины храма передъ нами,
Душа благочестивыхъ чувствъ полна.
Религіозность, суевѣрье ль это—
Я не могу дать точнаго отвѣта.

LXII.

Въ былые дни огромное окно
Блестѣло въ храмѣ стеклами цвѣтными;
Теперь зіяло пропастью оно;
Не оглашался гимнами святыми
Разрушенный тотъ храмъ, гдѣ ужъ давно
Лишь мракъ царилъ подъ сводами нѣмыми,
И замѣняли пѣніе псалмовъ
Унылый вѣтра вой и крики совъ.

LXIII.

Когда жъ луна таинственно сіяла
И вѣтеръ дулъ съ извѣстной стороны,

Руина вдругъ какъ будто оживала:
Грустна, какъ тихій стонъ иль плескъ волны,
Тамъ дивная мелодія звучала;
Иные говорили, что слышны
Лишь отзвуки далекаго каскада
И что другихъ причинъ искать не надо.

LXIV.

Народъ же былъ глубоко убѣжденъ,
Что мѣстный духъ, носяся по руинѣ,
Молчанье ночи будитъ. Такъ Мемнонъ,
Согрѣтый солнцемъ пламеннымъ пустыни,
Зарею издаетъ протяжный стонъ.
Тотъ грустный стонъ я помню и донынѣ;
И я хоть много разъ внималъ ему,
Но все жъ его причины не пойму.

LXV.

Фонтанъ среди двора своей структурой
Шепталъ о вѣкѣ, что давно угасъ;
Его и украшенья, и контуры
Причудливостью формъ кололи глазъ.
Изъ странныхъ ртовъ гранитныя фигуры
Въ бассейнъ бросали воду, что, дробясь,
Вся въ брызги разлеталась; такъ безслѣдно
Минутной славы гибнетъ призракъ блѣдный.

LXVI.

Слѣды давно забытой старины
Кой-гдѣ въ огромномъ зданьи уцѣлѣли;
Мѣстами были ясно въ немъ видны
Остатки комнатъ, трапезы и келій.
Удары лѣтъ и бѣдствія войны
Все жъ не вполнѣ своей достигли цѣли:
Часовня сохраняла видъ былой,
Среди руинъ сіяя красотой.

LXVII.

Но не изящность древняго строенья
Дивила всѣхъ, а колоссальность залъ.
(Глядя на великана, безъ сомнѣнья,
Никто, любуясь имъ, въ разсчетъ не бралъ
Естественно ль подобное явленье?)
Такъ всякаго невольно поражалъ
Массивностью своихъ громадныхъ рамокъ
Готическихъ временъ старинный замокъ.

LXVIII.

Портреты предковъ въ рамкахъ золотыхъ
Служили украшеньемъ галлереи:
Здѣсь рыцари въ доспѣхахъ боевыхъ;
Тамъ рядъ вельможъ съ подвязкою на шеѣ;
Красавицы, въ костюмахъ дней иныхъ,
Блистали между ними, словно феи;
Богато разодѣтыхъ старыхъ дамъ
Не мало также видѣлося тамъ.

LXIX.

Пестрѣли тутъ и судьи съ строгимъ взоромъ
Въ обшитыхъ горностаемъ епанчахъ;
Встрѣчались вы и съ мрачнымъ прокуроромъ,
Который цѣлый вѣкъ, внушая страхъ,
Давалъ лишь ходъ тяжелымъ приговорамъ;
Тамъ красовались также на стѣнахъ
Духовные отцы, которыхъ нравы
Мирились плохо съ пастырскою славой;

LXX.

Бароны тѣхъ эпохъ, когда булатъ
Одерживалъ побѣды надъ врагами,
А не свинецъ; военные безъ латъ,
Но въ парикахъ напудренныхъ, съ косами
Мальбруковскихъ временъ; придворныхъ рядъ
Съ ключами золотыми иль жезлами.
Встрѣчался и угрюмый патріотъ,
Вкушавшій неудачъ унылый плодъ.

LXXI.

Картины Карло Дольче, Тиціана,
Плѣняя взоръ, встрѣчались также тамъ;
Амуры сладострастные Альбана
Съ улыбками неслись навстрѣчу вамъ;
Вернета кисти—волны океана
Рвались, покрыты пѣной, къ берегамъ;
А вотъ и Спаньолетто; онъ съ любовью
Живописалъ не красками, а кровью!

LXXII.

Тутъ и пейзажъ, что подписалъ Лорренъ;
Здѣсь Рембрандтъ тѣни смѣшиваетъ съ свѣтомъ;
Тамъ Караваджъ, любитель мрачныхъ сценъ,
Является съ сѣдымъ анахоретомъ;
А дальше, лѣтъ не знающій измѣнъ,
Теньеръ веселымъ тѣшитъ васъ сюжетомъ;
Такъ симпатиченъ видъ его пивныхъ,
Что пить весь вѣкъ я былъ бы счастливъ въ нихъ.

LXXIII.

Условій надо выполнить не мало,
Чтобъ заслужить читательскій дипломъ.
(Опять дорогу муза потеряла
И понеслась проселочнымъ путемъ!)



ЛЭДИ ПИНЧБЭКЪ (Lady Pinchback)

Рис. Боксоль. (W. Boxall), грав. Эдкокъ. (J. Adcock).

Для этого читайте все съ начала
И пропусковъ не дѣлайте при томъ;
А если вы начнете съ заключенья,
Все жъ до начала доводите чтенье!

LXXIV.

Читатель! длинной описью своей
Я надоѣсть успѣлъ тебѣ не въ мѣру.
Смутилъ и Феба тонъ моихъ рѣчей:
Въ оцѣнщика, перемѣнивъ карьеру,
Не превратился ль я на склонѣ дней?
Хоть перечни присущи и Гомеру,
Все жъ я тебя, читатель, пощажу:
Объ утвари ни слова не скажу.

LXXV.

Настала осень; жатва золотая
Давно вся убрана; гостей синклитъ

Ужъ съѣхался, чтобъ, время убивая,
Охотиться. Не мало лѣсъ таитъ
Звѣрей и птицъ; ягдташъ свой наполняя,
Охотникъ за собакою спѣшитъ.
Но вы не попадайтесь, браконьеры!
Холопамъ съ баръ опасно брать примѣры.

LXXVI.

Хотя у насъ не зрѣетъ виноградъ,
Какъ въ солнечныхъ странахъ, гдѣ климатъ жарокъ,
Но погребъ англичанина богатъ
И клэретомъ, и ромомъ лучшихъ марокъ.
(Мѣнять товаръ на деньги кто жъ не радъ?)
Пусть не дала природа намъ въ подарокъ
Пурпурныхъ гроздій—плакать нѣтъ причинъ:
Сравнится ль виноградникъ съ складомъ винъ?

LXXVII.

Увы! не щеголяетъ наша осень
Тепломъ и яркимъ свѣтомъ южныхъ странъ;
Деревьевъ обнаженныхъ, мрачныхъ сосенъ
Печаленъ видъ; невыносимъ туманъ,
Гнетущій насъ, и вѣчный дождь несносенъ.
Все это такъ—за то намъ комфортъ данъ;
А онъ миритъ насъ съ скучнымъ желтымъ цвѣтомъ,
Что зелень замѣняетъ намъ и лѣтомъ.

LXXVIII.

Сезонъ охотъ веселіемъ богатъ;
Такъ хороша у насъ villeggiatura,
Что ею и святой увлечься бъ радъ;
Нимвродъ, не устрашенъ погодой хмурой
И облачивши Мельтона нарядъ,
Явиться бъ могъ, покинувъ степи Дура.
Нѣтъ кабановъ у насъ въ лѣсахъ густыхъ,
Но всякой *дичи* много и безъ нихъ.

LXXIX.

Изъ высшихъ сферъ лишь избранныя лица
Въ старинный зáмокъ съѣхались толпой.
Въ гостяхъ у лорда былъ весь цвѣтъ столицы.
Изяществомъ плѣняя и красой,
Блистали тамъ чарующія львицы,
И нѣжныхъ миссъ носился свѣтлый рой.
(Иную миссъ, что агнца видъ имѣла,
Вы съ козлищемъ сравнить могли бы смѣло!)

LXXX.

Я не могу назвать по именамъ
Семейства графовъ, герцоговъ, бароновъ
И важныхъ лицъ, въ то время бывшихъ тамъ.
То были сливки лондонскихъ салоновъ.
Я умолчу о прошломъ милыхъ дамъ;
Ихъ свѣтъ ласкалъ. Рабамъ его законовъ
Не угрожаетъ тяжкій приговоръ;
Ихъ въ свѣтѣ ждетъ почетъ, а не позоръ.

LXXXI.

Нашъ высшій свѣтъ похожъ на фарисея:
Кто лицемѣръ, тотъ у него въ чести.
Всегда великосвѣтская Медея
Себѣ Язона можетъ завести—
Пріятное соединять умѣя
Съ полезнымъ—и приличья соблюсти.
Такъ думаетъ Горацій; такъ же—Пульчи.
„Omne tulit punctum quae miscuit utile dulci“:

LXXXII.

Порою свѣтъ пустячную вину
Безжалостно клеймитъ, какъ преступленье;
Я видѣлъ безупречную жену,
Которую втоптали въ грязь гоненья;
Притомъ знавалъ матрону не одну,
Что, несмотря на странность поведенья,
Какъ Сиріусъ, блестя, свершала путь,
Насмѣшками не смущена ничуть.

LXXXIII.

(Еще о многомъ могъ бы передать я,
Да не о всемъ, что знаешь, говори!)
Всѣ гости лорда были, безъ изъятья,
Брамины модъ и высшихъ сферъ цари;
Но не о всѣхъ вамъ ясное понятье
Могу я дать,—ихъ было тридцать-три!
Въ числѣ особъ, гостившихъ у вельможи,
Два-три абсентеиста было тоже.

LXXXIV.

Тутъ Паррольсъ былъ—законовѣдъ-наглецъ,
Всѣхъ изумлявшій наглостью запросовъ,
Хоть трусости являлъ онъ образецъ.
Тутъ былъ и Рэккеймъ,—мало цѣнныхъ взносовъ
Поднесшій музамъ юноша-пѣвецъ;
Былъ и лордъ Парро, критикъ и философъ,
А также—забулдыга и буянъ—
Сэръ Поттельдипъ, что рѣдко былъ не пьянъ.

LXXXV.

Былъ герцогъ Дэшъ, что съ головы до пятокъ
Былъ герцогомъ; тамъ всякій знатный пэръ
Носилъ происхожденья отпечатокъ,

Собой являя доблести примѣръ.
Шесть юныхъ миссъ (мой перечень не кратокъ!)
Всѣхъ поражали скромностью манеръ,
Но жениховъ имѣли лишь въ предметѣ
Поймать въ искусно брошенныя сѣти.

LXXXVI.

Почтенныхъ лицъ (рѣшить я не берусь,
Заслуженно ль встрѣчали ихъ съ почетомъ)
Не мало было тамъ. Одинъ французъ,
Извѣстный по уму и по остротамъ,
Все общество смѣшилъ. Маркизъ де-Рюзъ,
Однако, не любилъ платить по счетамъ
И въ клубахъ онъ успѣха не имѣлъ,
Играя и словами, и на мѣлъ.

LXXXVII.

Тамъ были вольнодумцы-сибариты;
Ученый, давшій самъ себѣ дипломъ;
Тамъ былъ и проповѣдникъ знаменитый,
Что съ грѣшниками больше, чѣмъ съ грѣхомъ,
Боролся; тамъ же, лаврами увитый,
Былъ спортсмэнъ, онъ на скачкахъ слылъ царемъ;
Тамъ лордъ Плантаджeнетъ, виверъ опасный,
Блисталъ въ пари своей любовью страстной.

LXXXVIII.

Тамъ былъ одинъ гвардеецъ-великанъ
И старый генералъ, военный геній,
Но на словахъ почтенный ветеранъ
Разилъ враговъ успѣшнѣй, чѣмъ въ сраженьи.
(Сопротивляться могъ ли вражій станъ!)
Тамъ былъ судья, охотникъ до глумленій
И прибаутокъ; такъ онъ былъ остеръ,
Что юморомъ смягчалъ свой приговоръ.

LXXXIX.

Какъ съ шахматной доскою жизнь людская
Сходна! Въ ней короли и пѣшки есть,
Шуты и королевы; но слѣпая
Судьба должна тѣ куклы къ цѣли весть.
О, муза! ты, какъ бабочка порхая,
Для отдыха нигдѣ не можешь сѣсть;
Будь у тебя при крыльяхъ также жало—
Какъ отъ тебя бы зло затрепетало!

XC.

Я позабылъ—а это, право, грѣхъ!—
Оратора, что заслужилъ хваленья
За первый свой дебютъ; его успѣхъ
Газеты подтвердили; впечатлѣнье
Онъ произвелъ громадное на всѣхъ;
Изъ рѣчи той явились извлеченья,
И всѣми „образцовою“ она
Была единогласно названа.

XCI.

Утѣшенъ цицероновскою славой,
Онъ былъ всегда порисоваться радъ
И видъ имѣлъ надменно-величавый;
Хоть не былъ онъ познаньями богатъ,
Но былъ увѣренъ, что имѣетъ право
Ученостью гордиться. Рядъ цитатъ
Онъ помнилъ наизусть и зачастую
Ихъ вклеивалъ усердно въ рѣчь пустую.

XCII.

Два юныхъ адвоката было тамъ,
Что рознились по взглядамъ и по мнѣньямъ;
Одинъ былъ сдержанъ, холоденъ и прямъ,
Другой лишь жилъ однимъ воображеньемъ;
Но всѣ внимать любили ихъ рѣчамъ;
Одинъ бы смѣло выдержалъ сравненье
Со скакуномъ; другой же былъ Катонъ:
Краснорѣчивъ, но холоденъ былъ онъ.

XCIII.

Одинъ изъ нихъ былъ сходенъ съ фортепьяно,
Съ эоловою арфою—другой;
Одинъ всегда впередъ стремился рьяно,
Другого былъ невозмутимъ покой;
Извѣстность имъ въ удѣлъ досталась рано.
И свѣтъ встрѣчалъ ихъ съ лаской и хвалой.
Они не шли дорогою избитой
И были безусловно даровиты.

XCIV.

Быть можетъ вы найдете, что гостей
Въ деревнѣ собралось уже не въ мѣру;
Но скучный tête-à-tête еще скучнѣй.
Всѣ измѣнили нравы, тонъ, манеру;
Прошла пора, когда смѣшить людей
Конгреву удавалось и Мольеру
Обильемъ типовъ глупости людской;
Теперь—увы!—всѣ на одинъ покрой.

XCV.

Конечно, дураковъ еще не мало,
Но стороны смѣшныя отошли
На задній планъ; такъ жизнь плетется вяло,
Что дни обильныхъ жатвъ давно прошли;
Все въ обществѣ однообразнымъ стало,
И люди до того теперь дошли,
Что на два вида ихъ дѣлить сподручно:
На скучныхъ и на тѣхъ, которымъ скучно.

XCVI.

Приходится — такъ скуденъ жизни путь—
Довольствоваться колосомъ помятымъ;
Читатель! ты на нивѣ жизни будь
Воозомъ, благодѣтелемъ богатымъ,
Мнѣ жъ Руѳью быть не совѣстно ничуть.
Къ инымъ придти я могъ бы результатамъ,
Но не хочу, приличія любя,
Смутить излишней смѣлостью тебя!

XCVII.

За неимѣньемъ зеренъ, и соломой
Довольствоваться надо. Все жъ извлечь
Изъ мелкихъ крохъ должны добро свое мы;
Опять о замкѣ поведу я рѣчь:
Забытый мной, одинъ болтунъ знакомый
Старался всѣхъ вниманіе привлечь,
И для того, чтобъ быть на первомъ планѣ,
Свои bon-mots готовитъ онъ заранѣ.

XCVIII.

Но какъ неблагодаренъ трудъ такой!
Вѣдь нуженъ остряку удобный случай,
Чтобъ выступить съ готовой остротой,
Всѣхъ удивляя фразою трескучей.
Онъ часто даромъ трудъ теряетъ свой—
И вмѣсто лавровъ только тернъ колючій
Сжинаетъ.—Въ дни иные, какъ на грѣхъ,
Его не хочетъ радовать успѣхъ.

XCIX.

Я могъ бы дать вамъ описанье пира;
Лордъ Генри каждый день своихъ гостей
Банкетомъ угощалъ; поэта лира
Никакъ не пала бъ въ мнѣніи людей,
Обѣды воспѣвая. Счастье міра,—
Съ тѣхъ поръ какъ Ева жадностью своей
Сгубила насъ, запретный плодъ отвѣдавъ,—
Какъ знаютъ всѣ—зависитъ отъ обѣдовъ.

C.

Не потому ль евреямъ Богъ сулилъ
„Кипящую и молокомъ, и медомъ"
Богатую страну? Намъ тоже милъ
Звонъ золота. Старѣя съ каждымъ годомъ,
Забывъ любовь, утративъ свѣжесть силъ,
Мы равнодушно къ жизненнымъ невзгодамъ
Относимся; но можно ли тебя,
О, золото! лишиться не скорбя?

CI.

Охотились мужчины утромъ рано,
Стараясь отъ ennui себя спасать;
Пусть скука—плодъ британскаго тумана,
Названье ей мы не съумѣли дать.
Хотя она мучительна какъ рана
И, духъ гнетя, мѣшаетъ даже спать,
Однако, чтобы дать о ней понятье,
Французскій терминъ долженъ былъ прибрать я.

CII.

Иные занимались чтеньемъ книгъ
Иль о картинахъ важно разсуждали;
Другіе же въ тѣни аллей густыхъ,
Любуясь садомъ, медленно гуляли;
Однихъ газеты тѣшили; другихъ
Оранжереи замка занимали;
Но всякій былъ идти къ обѣду радъ:
Вѣдь въ шесть часовъ въ деревнѣ ѣсть хотятъ.

CIII.

Никто не зналъ малѣйшаго стѣсненья;
Лишь звономъ возвѣщавшійся обѣдъ
Служилъ для всѣхъ звеномъ соединенья;
Свободно вы могли вставать чуть свѣтъ
Иль въ поздній часъ; искать уединенья
Иль общества; свой дѣлать туалетъ
По усмотрѣнью; двигаться безъ цѣли
И завтракать, когда и какъ хотѣли.

CIV.

Верхомъ катались дамы по утрамъ,
Когда была хорошая погода;
А въ дождь онѣ читали по угламъ
Иль пѣли; чинно обсуждали моды;
Учили новый па иль язычкамъ
Давали волю; пользуясь свободой,
Писали письма длинныя порой,
Рисуясь и являя юморъ свой.

CV.

Когда вамъ дама пишетъ, пламенѣя
Отъ страсти, иль какъ другъ посланье шлетъ,
Всегда васъ обойти въ виду имѣя,
Загадочность она пускаетъ въ ходъ.
Со свистомъ вѣроломнымъ Одиссея,
Сгубившаго Долона, грустный плодъ
Ея интригъ сравнить, конечно, можно.
Отвѣтъ всегда пишите осторожно!

CVI.

У лорда Амондвиля для гостей
Не мало было всякихъ развлеченій:
Бильярдъ и карты въ дождь (игра костей
Находитъ только въ клубахъ примѣненье);
Коньки въ морозъ; въ теченье теплыхъ дней

Ѣзда, катанье въ лодкахъ иль уженье.
(Послѣднее, по моему, порокъ,
Являющій, какъ человѣкъ жестокъ!)

CVII.

За ужиномъ шутили и смѣялись
(Тамъ розами былъ устланъ жизни путь);
По вечерамъ дуэты раздавались...
Кому они не волновали грудь!
Порой двѣ миссъ на арфахъ отличались,
Чѣмъ случай представлялся имъ блеснуть,
При исполненьи модуляцій нѣжныхъ,
Красою плечъ и ручекъ бѣлоснѣжныхъ.

CVIII.

Когда же не случалося охотъ,
По вечерамъ усердно танцовали;
Любезный мадригалъ пускался въ ходъ,
И дамы съ граціозностью порхали;
Но бальныхъ дней—увы!—былъ кратокъ счетъ:
До танцевъ ли мужчинамъ, что устали
Отъ травли и ѣзды? Къ прискорбью дамъ,
Всѣ расходились къ девяти часамъ.

CIX.

Политикъ, гдѣ-нибудь въ углу, подробно
Воззрѣнье развивалъ; острякъ иной
Старался уловить моментъ удобный,
Чтобъ помѣстить bon-mot готовый свой;
Но это для терпѣнья камень пробный!
Какъ рѣдко мигъ является такой...
Но вотъ онъ наступаетъ, все готово,
А тутъ-то прерываютъ острослова!

CX.

Условна, монотонна, холодна
Въ средѣ великосвѣтской жизнь неслася,
По внѣшности плѣнительной сходна
Съ роскошнымъ изваяньемъ Фидіаса.
Тамъ увлеченій дама ни одна
Не знала. Ужъ давно перевелася
Порода забулдыгъ и легкихъ львицъ:
Мы сборища лишь видимъ строгихъ лицъ.

CXI.

Въ деревнѣ раньше луннаго захода
Всѣ дамы расходились по угламъ,
Заботясь о здоровьи. Только мода
Въ столицѣ не ложиться по ночамъ;
Но хуже яда жизнь такого рода.
Нѣтъ ничего полезнѣе для дамъ,
Живыхъ цвѣтовъ, какъ спать ложиться рано.
Вѣдь сонъ здоровый—лучшія румяна.

ПѢСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

I.

О, если бъ мы могли изъ нѣдръ природы
Иль изъ себя лучъ истины извлечь,
На правды путь вступили бы народы,
Но сколько бы пришлось трактатовъ сжечь!
Философы отъ тягостной невзгоды
Себя не въ силахъ были бъ уберечь.
Другъ друга пожираютъ ихъ системы;
Такъ ѣлъ Сатурнъ дѣтей, какъ знаемъ всѣ мы.

II.

Проглатывалъ и камни онъ порой.
Но тутъ своихъ отцовъ съѣдаютъ дѣтки,
Съ трудомъ справляясь съ пищею такой.
Не больше знаемъ мы, чѣмъ наши предки;
Туманъ одѣлъ былое пеленой.
А въ наши дни ошибки развѣ рѣдки?
Не вѣрить и себѣ—всего вѣрнѣй;
Но къ правдѣ что же приведетъ людей?

III.

По моему, нѣтъ правды непреложной;
Я ничего не знаю и въ разсчетъ
Беру, что въ этомъ мірѣ все возможно.
А что извѣстно вамъ? — Что смерть насъ ждетъ?
Но, можетъ быть, и это станетъ ложно,
Коль вдругъ эпоха вѣчности блеснетъ.
Мы, ужаса полны, на смерть взираемъ,
Однако жъ сну треть жизни посвящаемъ

IV.

Когда устали мы, какъ сонъ хорошъ,
Безъ всякихъ сновидѣній, сонъ глубокій!
А вѣчный сонъ людей приводитъ въ дрожь...
Самоубійца даже, долгъ до срока
Платящій (что нерѣдко острый ножъ
Для кредиторовъ), гибнетъ одиноко,
Стеня съ тоской,—но не о жизни стонъ:
Кончая путь, боится смерти онъ.

V.

Со всѣхъ сторонъ разинутою пастью
Намъ каждую минуту смерть грозитъ;
Ее считая карой и напастью,
Навстрѣчу къ ней, однако жъ, міръ спѣшитъ,
Порабощенъ ея всесильной властью.
Насъ поражаетъ бездны мрачный видъ:
Когда клокочетъ пропасть подъ ногами,
Въ нее хотимъ мы погрузиться сами.

VI.

Съ испугомъ мы бѣжимъ отъ бездны прочь,
Но позабыть былое впечатлѣнье
Не въ силахъ мы; холодной смерти ночь
Манила насъ; тревожное стремленье
Проникнуть въ міръ незримый превозмочь
Намъ было не легко... одно мгновенье—
И тайну бытія узнали бъ мы!
Но для живущихъ это царство тьмы.

VII.

За отступленья сердится читатель
И осуждать меня за нихъ готовъ;
Но это мой обычай. Я—мечтатель,
Не признающій никакихъ оковъ;
Отмѣтивъ мысль, не спрашиваю, кстати ль
Я посвятилъ ей рядъ стиховъ;
Моя поэма—лишь мечты забава,
Что обо всемъ писать даетъ мнѣ право.

VIII.

„Пустите вверхъ соломинку; она
Укажетъ тотчасъ вѣтра направленье“—
То Бэкона слова. Какъ съ ней сходна
Поэзія! По волѣ вдохновенья
Она летитъ, отрадныхъ грезъ полна;
Но для меня иное въ ней значенье,
Не славы я ищу—пою шутя;
Игрушкою такъ тѣшится дитя.

IX.

Весь свѣтъ передо мной или за мною;
Достаточно его я изучилъ,
Чтобъ не забыть его; страстямъ порою
Не мало я мирволилъ и служилъ,
За что былъ встрѣченъ яростной хулою.
(Друзьямъ своимъ я этимъ угодилъ).
Я славенъ былъ, но самъ же славу эту
Разрушилъ тѣмъ, что льстить стыдился свѣту.

X.

Толпа и духовенство цѣлый рядъ
Мнѣ посвящали пасквилей суровыхъ;
Но смѣло все пишу я, хоть наврядъ
Читателей себѣ добуду новыхъ;
А старымъ пріѣдается мой ядъ;
Но мыслей не могу держать въ оковахъ.
Въ дни юности душа была полна
Надеждъ и грезъ; теперь хандритъ она.

XI.

Такъ для чего жъ печатать? Ждать ли славы
И пользы, если васъ на части рвутъ?
Легко вамъ доказать, что вы неправы:
Отъ скуки вѣдь играютъ въ карты, пьютъ
Иль чтенью предаются. Для забавы
Пишу и я, бросая въ рѣку трудъ.
Пойдетъ ли онъ ко дну, всплыветъ ли смѣло—
Мнѣ до того нѣтъ никакого дѣла.

XII.

Я написать не могъ бы и строки,
Когда бы я въ успѣхѣ былъ увѣренъ;
Пускай паду—бороться мнѣ съ руки,
Но музѣ я своей останусь вѣренъ;
Мы съ нею отъ уступокъ далеки,
Я отступать предъ силой не намѣренъ.
И выигрышъ, и проигрышъ—дары
Отрадные случайностей игры.

XIII.

Къ тому жъ, воюя съ ложью и порокомъ,
Я факты лишь одни пускаю въ ходъ,
Давая волю нравственнымъ урокамъ;
А свѣтъ не любитъ правды и клянетъ
Мои стихи... нападкамъ и упрекамъ,
Что мнѣ дарятъ, я потерялъ ужъ счетъ.
Гонись за славой я—другія темы
Легко бы могъ избрать я для поэмы.

XIV.

Новпрочемъ (въ томъ сознаться мы должны)
Въ моемъ трудѣ разнообразья много;
Любовь, картины бури и войны
Даютъ уму занятія; дорогой
Мы съ музой никогда не стѣснены;
Но если приговоръ раздастся строгій
И мой романъ въ обертку превратятъ—
Служить хоть тѣмъ торговлѣ буду радъ.

XV.

Никто не воспѣвалъ большого свѣта.
Увы! однообразностью своей
Втупикъ поставить можетъ онъ поэта;
Хоть много драгоцѣнныхъ въ немъ камней
И мантій горностаевыхъ—сюжета
Для описанья не найти скучнѣй:
Все въ немъ рутинно, чопорно, условно.
Возможно ль отнестись къ нему любовно?

XVI.

Въ немъ царствуютъ и пустота, и мракъ;
Онъ сердце подчинить умѣетъ волѣ;
Его грѣшки прикрылъ блестящій лакъ,
Въ его рѣчахъ искать напрасно соли.
Бездушенъ свѣтъ; онъ искренности врагъ
И лишь твердитъ заученныя роли.
Характеры, манеры, взгляды, тонъ,
Все въ цвѣтъ одинъ окрашиваетъ онъ.

XVII.

Но и ему порой свободы надо,
Хоть мигъ онъ служитъ ей, а вѣкъ цѣпямъ.
Такъ, отдохнувъ немного въ день парада,
Солдаты вновь бѣгутъ къ своимъ мѣстамъ.
Конечно, нѣтъ блестящѣй маскарада,
Но скоро онъ надоѣдаетъ вамъ;
Я никогда не уживался съ свѣтомъ
И пропадалъ съ тоски въ Эдемѣ этомъ.

XVIII.

Кто кончилъ счеты съ страстью и съ игрой,
Кто надышался атмосферой бальной,
Кто видѣлъ дѣвъ продажныхъ цѣлый рой
И много жалкихъ свадьбъ съ подкладкой сальной,
Тотъ можетъ лишь скучать, своей хандрой
Другимъ надоѣдая; вотъ печальный
Удѣлъ отцвѣвшихъ львовъ; у нихъ нѣтъ силъ
Забыть тотъ свѣтъ, который ихъ забылъ.

XIX.

Всѣ говорятъ, что въ описаньяхъ блѣденъ
Выходитъ свѣтъ, что мало онъ знакомъ
Писателямъ; изъ розсказней переденъ
Они имѣютъ свѣдѣнья о немъ;
Талантами къ тому жъ синклитъ ихъ бѣденъ
И слогъ твореній ихъ такъ грубъ при томъ,
Что въ васъ закрасться можетъ подозрѣнье—
Не горничныхъ ли это разсужденья?

XX.

Но какъ несправедливъ подобный взлгядъ!
Писатели на пышныя собранья
Являются и въ обществѣ блестятъ;
Они вступаютъ даже въ состязанье
Съ военными, и свѣтъ ихъ видѣть радъ.
Такъ почему жъ такъ блѣдны описанья
Великосвѣтскихъ сферъ? Причина та,
Что вѣрно въ нихъ царитъ лишь пустота.

XXI.

Haud ignara loquor. Все это: „*Nugae*.
Quarun pars parva fui. Во сто разъ
Описывать мнѣ легче на досугѣ
Гаремы, бури, битвы, чѣмъ разсказъ
Вести о томъ, что въ модѣ въ высшемъ кругѣ;
Но почему?—то скрою я отъ васъ.
„*Vetabo Cereris sacrum qui vulgarit*"—
Не всякій кормъ желудокъ черни варитъ.

XXII.

Штрихи шероховатые смягчать
Всегда, какъ вамъ извѣстно, мнѣ отрада,
И мистицизмъ кладетъ свою печать
На всѣ мои творенья. Хуже яда
Есть истины; ихъ долгъ велитъ скрывать.
Иныя тайны черни знать не надо,—
Поэтому порой необходимъ
Непосвященнымъ ключъ къ словамъ моимъ.

XXIII.

Всѣ женщины, съ тѣхъ поръ какъ Ева пала,
Ей подражать готовы; для борьбы
У нихъ нѣтъ силъ; но какъ отрады мало
Имъ жизнь даетъ, по прихоти судьбы!
Какъ часто ихъ язвитъ злословья жало!
Онѣ мужей—то жертвы, то рабы;
Къ тому же роды мучатъ ихъ жестоко.
(Такъ бриться мы должны по волѣ рока).

XXIV.

(Бритье, что каждый день терзаетъ насъ,
Родовъ, положимъ, стоитъ!) Женской доли
Все жъ съ нашей не сравнить: жена подчасъ
Игрушка эгоизма; въ жалкой роли
Рабы она являлася не разъ;
Ея краса, таланты, сила воли
Какія же права даруютъ ей?
Быть ключницей и расплoжать дѣтей.

XXV.

Роль женщинъ не легка. Судьба безъ счета
Имъ муки посылаетъ съ дѣтскихъ дней;
Съ оковъ ихъ скоро сходитъ позолота.
Въ врагахъ подчасъ привѣтствуя друзей,
Онѣ не знаютъ твердаго оплота...
Спросите даму (если только ей
Лѣтъ тридцать), чѣмъ быть лучше: королевой
Иль школьникомъ? Мужчиной или дѣвой?

XXVI.

Мириться „съ властью юбки“ средства нѣтъ
И тѣмъ, что знаютъ рабства злыя муки;
Упреки въ томъ тяжеле всякихъ бѣдъ,
Отъ нихъ бѣгутъ, какъ караси отъ щуки;
Но такъ какъ изъ-подъ юбки мы на свѣтъ
Являемся—къ ней простираю руки,
Платя всегда ей уваженья дань;
Одежды той мнѣ безразлична ткань.

XXVII.

Я къ ней стремлюсь мечтою легкокрылой;
Сокровища, что въ ней затаены,
Влекутъ къ себѣ съ неотразимой силой;
Она клинка дамасскаго ножны;
Любовное письмо съ печатью милой;
Бальзамъ, дарящій сладостные сны;
Въ присутствіи ея хандра проходитъ.
(Что скрыто отъ людей—съ ума ихъ сводитъ).

XXVIII.

Когда сирокко гнѣвенъ и могучъ
Проносится, бушуя на просторѣ,
Когда не виденъ солнца свѣтлый лучъ,
Когда густой туманъ скрываетъ море,
И насъ пугаетъ сонмъ зловѣщихъ тучъ,
Когда всѣ межъ собой стихіи въ ссорѣ,—
Тогда и ликъ крестьянки молодой
Пріятно увидать передъ собой.

XXIX.

Вернуться не мѣшаетъ мнѣ, однако,
Къ своимъ героямъ. Я оставилъ ихъ
Въ странѣ, гдѣ мало знаки зодіака
Имѣютъ вѣса, гдѣ слагаетъ стихъ
Съ трудомъ поэтъ средь копоти и мрака,
Гдѣ небо въ темной ризѣ тучъ густыхъ
Лишь нагоняетъ тягостныя думы,
Имѣя кредитора видъ угрюмый.

XXX.

Тамъ жизнь въ семьѣ поэзіей бѣдна;
Внѣ дома дождь и слякоть; вдохновляться
Тамъ нечѣмъ барду; роль его трудна;
Идти впередъ все жъ долженъ онъ стараться;
Справляться съ дѣломъ муза такъ должна,
Какъ духъ привыкъ съ матеріей справляться:
Пускай борьбу стихіи съ нимъ ведутъ—
Все жъ до конца онъ свой доводитъ трудъ.

XXXI.

Вращаясь при дворѣ, въ глуши селенья,
На кораблѣ иль направляясь въ бой,
Со всѣми одинаковъ въ обращеньи,
Всегда Жуанъ доволенъ былъ судьбой.
Равно любя и трудъ, и развлеченья,
Не унывалъ и въ горѣ нашъ герой,
И хоть побѣдъ одерживалъ не мало—
Не корчилъ онъ ни фата, ни нахала.

XXXII.

Нетрудно новичку впросакъ попасть,
Гоняясь на охотѣ за лисою:
Смѣша людей, легко съ коня упасть;
Но Донъ-Жуанъ случайностью такою
Не могъ быть озадаченъ; съ дѣтства страсть
Питалъ онъ къ всякимъ спортамъ и ѣздою
Похвастаться бы могъ; при томъ былъ смѣлъ
И ловко управлять конемъ умѣлъ.

XXXIII.

Всѣ на Жуана обращали взоры,
Когда онъ на охотѣ гарцовалъ;
Чрезъ рвы, плетни, канавы и заборы
Онъ съ ловкостью наѣздника скакалъ,
Порою обгоняя даже своры
Борзыхъ собакъ. Высокій идеалъ
Охотника онъ представлялъ собою,
Хоть противъ правилъ и грѣшилъ порою.

XXXIV.

Всѣхъ удивлялъ охотниковъ Жуанъ,
Несясь, какъ вихрь, къ побѣдному трофею;
Онъ изумлялъ и ловчихъ, и крестьянъ.
Другой себѣ сломалъ навѣрно бъ шею,
Рискуя такъ; онъ старыхъ англичанъ
Съ ума сводилъ отвагою своею:
Вѣдь и они такъ отличались встарь!
Хвалилъ Жуана даже главный псарь.



АВРОРА (Aurora Raby).
Рис. Вудъ. (E. Wood), грав. Э. Финденъ. (E. Finden).

XXXV.

Хоть онъ трофеи забиралъ безъ счета,
Охотясь,—все же Честерфильда взглядъ
Онъ раздѣлялъ вполнѣ. (Фальшивой нотой
Такія мнѣнья въ Англіи звучатъ.)
Почтенный лордъ, въ концѣ одной охоты,
Гдѣ одержалъ побѣдъ блестящихъ рядъ,
Сказалъ: „Ужель не согласится каждый,
Что средства нѣтъ такъ забавляться дважды:"

XXXVI.

Въ Жуанѣ было качество одно,
Что рѣдкость въ томъ, кто каждый день съ зарею
Привыкъ вставать; плѣняетъ дамъ оно;

Охотно занимаясь болтовнею,
Имъ нуженъ собесѣдникъ: все равно,
Святой ли онъ, иль съ грѣшною душою.
Тѣмъ качествомъ герой мой обладалъ:
Онъ, пообѣдавъ, никогда не спалъ.

XXXVII.

Напротивъ, въ оживленномъ разговорѣ
Блистать онъ остроуміемъ любилъ;
Умѣлъ болтать о всякомъ модномъ вздорѣ,
И былъ всегда внимателенъ и милъ,
Не горячась напрасно въ легкомъ спорѣ;
Хоть на лету онъ промахи ловилъ,
Но дамамъ расточалъ однѣ улыбки,
На видъ не выставляя ихъ ошибки.

XXXVIII.

Искусно танцовалъ притомъ Жуанъ,
А танцы—это камень преткновенья
Для грубыхъ и серьезныхъ англичанъ:
Они отстали въ этомъ отношеньи
Отъ модныхъ селадоновъ прочихъ странъ.
Безъ вычуровъ, но съ пыломъ увлеченья
Жуанъ порхалъ, какъ левъ придворныхъ сферъ,
Плѣняя всѣхъ изяществомъ манеръ.

XXXIX.

Въ немъ замѣчались грація и сила;
Чуть до земли касаясь, несся онъ,
Танцуя, какъ воздушная Камилла;
Природой вѣрнымъ слухомъ одаренъ,
Онъ несся въ тактъ съ изысканностью милой.
Всѣмъ нравился его изящный тонъ...
Кто видывалъ блестящѣй кавалера?
Онъ былъ одушевленное болеро.

XL.

По граціи сравнить я могъ бы съ нимъ
Аврору дивной кисти Гвидо-Рени.
(Она одна могла бъ прославить Римъ;
Не много свѣтъ видалъ такихъ твореній).
Художника талантъ необходимъ,
Чтобъ передать изящество движеній;
Перо — не кисть; безъ красокъ средства нѣтъ
Создать вполнѣ законченный портретъ.

XLI.

Онъ сталъ любимцемъ всѣхъ—понятно это—
И такъ умно повелъ свои дѣла,
Что дама цѣломудренная свѣта
(А грѣшница подавно) съ нимъ могла
Весть дружбу, не боясь за то отвѣта
Нести; и вотъ съ нимъ шашни завела,
Шутя, супруга герцога Фицъ-Фолька,
Молвы и сплетенъ не боясь нисколько.

XLII.

Весь высшій кругъ ужъ не одинъ сезонъ
Она своей изящностью плѣняла
И красотой, давая модѣ тонъ;
О ней ходило розсказней не мало,
Но сплетнями всегда я возмущенъ;
Вѣдь ложь молва не разъ распространяла.
Судя по слухамъ, лордъ Плантадженетъ
Ея любви послѣдній былъ предметъ.

XLIII.

Нахмурилися гнѣвно брови лорда,
Когда Жуана ясенъ сталъ успѣхъ;
Но вольности такого рода твердо
Переносить обязанность для всѣхъ;
Скрывая скорбь, любовникъ долженъ гордо
Себя держать; не то случится грѣхъ.
Разсчитывать смѣшно на вѣрность дамы;
Вспыливъ—отвѣтъ за то несемъ всегда мы.

XLIV.

Отъ шутокъ перешелъ къ насмѣшкамъ злымъ
Лукавый свѣтъ; шушукались дѣвицы,
А дамы явно гнѣвались; инымъ
Чудовищнымъ поступокъ модной львицы
Казался; какъ мириться было съ нимъ!
Однѣ считали сплетню небылицей;
Другія жъ сожалѣли отъ души,
Что лорда такъ дѣла нехороши.

XLV.

Но странно, что никто о бѣдномъ мужѣ
Во время этихъ бурь не вспоминалъ;
Онъ, впрочемъ, былъ въ отлучкѣ и къ тому же
Женѣ свободу полную давалъ,
Глядя на все сквозь пальцы; какъ же, вчужѣ,
Ехидный свѣтъ смѣлъ поднимать скандалъ,
Супруговъ ухудшая отношенья?
Но труденъ тамъ разрывъ, гдѣ нѣтъ сближенья.

XLVI.

Моя Діана, лэди Амондвиль,
Къ подругѣ также отнеслася строго,
Замѣтивъ, что глухихъ проселковъ пыль
Милѣе ей, чѣмъ торная дорога;
Такъ поступать всѣ дамы не должны ль,
Карая зло. Объятая тревогой,
Она къ подругѣ стала холоднѣй.
(Сочувствіе обманчиво друзей).

XLVII.

А все безъ дружбы грустно жить на свѣтѣ:
Участья вздохъ намъ сладостенъ подчасъ,
Притомъ нѣжнѣе кружевъ дружбы сѣти.
За промахи въ тяжелый жизни часъ,
Имѣя нашу пользу лишь въ предметѣ,
—Не будь друзей—кто укорялъ бы насъ?
Кто повторялъ бы намъ всегда при этомъ:
„Зачѣмъ не вняли вы моимъ совѣтамъ?"

XLVIII.

У Іова два друга было. Намъ
И одного довольно въ часъ невзгоды;
Друзья тогда подобны докторамъ,
Которыхъ знанья меньше, чѣмъ доходы;
Они подобны блекнущимъ листамъ,
Что въ даль несетъ дыханье непогоды;
Свои дѣла поправьте—и другихъ,
Зайдя въ любой кафе, найдете въ мигъ.

XLVIII.

Къ несчастью, такъ не дѣлалъ я, и что же?
Не мало мукъ я въ жизни испыталъ,
Но черепахой не былъ крѣпкокожей,
Что утонуть не можетъ даже въ шквалъ.
Жить сердцемъ было мнѣ всего дороже.
Кто жъ виноватъ, что я весь вѣкъ страдалъ?
Тотъ проживетъ счастливѣе, конечно,
Кто на людей взираетъ безсердечно.

L.

Ужаснѣе, чѣмъ вѣтеръ или крикъ совы
Той фразы ядовитые упреки,
Которые не разъ слыхали вы:
„Вѣдь я вамъ говорилъ!" Друзья—пророки
Прошедшаго; ихъ пѣсни не новы,
Но какъ порой докучны ихъ уроки,
Что замѣняютъ помощь иль совѣтъ!
До вашихъ нуждъ друзьямъ и дѣла нѣтъ.

LI.

Обрушилась суровость Аделины
Не на одну подругу; ей хвалить
И Донъ Жуана не было причины;
Какъ могъ онъ глазъ съ кокетки не сводить,
Ея опутанъ хитростью змѣиной!
Все жъ въ гнѣвѣ не могла она забыть,
Что еще зеленъ онъ и молодъ тоже.
(Дней на сорокъ онъ былъ ея моложе).

LII.

Заботиться о юношѣ, какъ мать,
Что любитъ сына, право ей давало
Такое старшинство. Оберегать
Отъ козней злыхъ она за долгъ считала
Жуана; но года свои скрывать
Во цвѣтѣ лѣтъ ей было толку мало;
Разлуки съ днями молодости срокъ
Отъ лэди Аделины былъ далекъ.

LIII.

Для женщимъ злая старость хуже яда;
Ихъ возраста предѣлъ тридцатый годъ.
Затѣмъ скрывать до нельзя дама рада
Свои года. Останови полетъ,
О, время! И тебѣ вздохнуть бы надо,
Чтобъ поточить косу; потомъ впередъ
Опять ты полетѣло бъ съ рвеньемъ новымъ,
Косцомъ все оставаясь образцовымъ.

XLIV.

Зимы бояться лэди не могла,
Сіяя лучезарною весною,
Но опытна не по лѣтамъ была
И знала свѣтъ, что такъ лукавъ порою,
Въ которомъ столько зависти и зла.
Я возраста ея отъ васъ не скрою;
Когда ея года хотите счесть,
Изъ двадцати семи откиньте шесть.

VL.

Въ шестнадцать лѣтъ ей „свѣтъ" открылъ объятья;
Она, явясь, очаровала всѣхъ.
Въ семнадцать не могу вамъ дать понятья
О томъ, какъ былъ великъ ея успѣхъ.
Побѣдъ ея не въ силахъ сосчитать я!
Въ восьмнадцать лѣтъ она изъ сонма тѣхъ,
Что таяли предъ ней, избравъ супруга,—
Царицей своего осталась круга.

LVI.

Съ тѣхъ поръ и безупречна, и чиста
Она три года въ обществѣ блестѣла;
Ее не смѣла жалить клевета:
Безъ пятнышка былъ этотъ мраморъ бѣлый,
Котораго плѣняла красота.
Блистая всюду, лэди все жъ успѣла
Среди своихъ тріумфовъ и побѣдъ
Наслѣдника произвести на свѣтъ.

LVII.

Вокругъ нея, какъ мухи, шумнымъ роемъ
Кружилась молодежь; но пустота
Всѣхъ модныхъ львовъ—мы этого не скроемъ—
Претила ей. Имъ былъ бы не чета
Счастливецъ, ею выбранный героемъ!
Не все ль равно, коль женщина чиста,
Что создаетъ ея принциповъ твердость—
Холодность, добродѣтель или гордость?

LVIII.

Неблагодарный трудъ—разузнавать
Причины фактовъ. Такъ въ душѣ досада,
Когда вы пить хотите, а достать
Нельзя вина; такъ грустно послѣ стада,
Что мимо васъ прогнали, пыль глотать,
Такъ въ трепетъ васъ приводитъ, если надо
Внимать стихамъ продажнаго пѣвца
Иль слушать рѣчь оратора-льстеца

LIX.

Когда я вижу дуба исполина,
Что зеленью роскошною одѣтъ,
Зачѣмъ мнѣ знать, что жолудь—та причина,
Благодаря которой онъ на свѣтъ
Явился? Что мнѣ тайныя пружины,
Когда не измѣняется предметъ?
Въ томъ мудрый Оксенштирна, я увѣренъ,
Васъ убѣдитъ; я жъ спорить не намѣренъ.

LX.

Чтобъ Донъ Жуанъ въ ловушку не попалъ,
Ставъ грустной жертвой ухищренья злого,
И для того, чтобъ прекратить скандалъ,
Милэди въ бой была вступить готова.
(Какъ иностранецъ, мой герой не зналъ,
Что въ Англіи относятся сурово
Къ грѣхамъ любви. Присяжныхъ приговоръ
Сулитъ и разоренье и позоръ).

LXI.

Она вредить рѣшилась герцогинѣ,
Лишь думая о прекращеньи зла,—
И не боялась бѣдъ по той причинѣ,
Что въ свѣтѣ и наивна и смѣла
Всегда невинность. Лэди Аделинѣ.
Явиться мысль, конечно, не могла
Прибѣгнуть къ плутнямъ тѣмъ, что за-
частую
Отъ бѣдъ спасаютъ грѣшницу любую.

LXII.

Не герцога боялася она—
Онъ дѣла не довелъ бы до развода
И верхъ надъ нимъ всегда бъ взяла жена.
Нѣтъ, у нея заботъ иного рода
Не мало было,—прелести полна
Была ея подруга и свободой
Располагала; къ довершенью бѣдъ
Затѣять ссору могъ Плантадженетъ.

LXIII.

Къ тому же интриганкою опасной
Была ея подруга; мучить всѣхъ
Поклонниковъ она любила страстно;
Имъ обходился дорого успѣхъ.
Любовникъ передъ ней былъ рабъ без-
гласный
Ея безумныхъ прихотей; за грѣхъ
Она его тиранить не считала,
Но жертвъ своихъ изъ рукъ не выпускала.

LXIV.

Такъ создаются Вертеры порой;
Ихъ въ гробъ кладетъ тяжелая кручина;
Легко понять, что отъ судьбы такой
Спасти хотѣла друга Аделина;
Отраднѣе, чѣмъ связь съ сиреной злой,
Женитьба, даже ранняя кончина:
Какъ не бѣжать отъ ядовитыхъ женъ!
Иная bonne fortune совсѣмъ не bonne.

CXV.

И вотъ, чужда коварства и обмана,
Рѣшилась безупречная жена
Супруга упросить, чтобъ онъ Жуана
Совѣтомъ спасъ. Хоть цѣль была ясна,
Не могъ одобрить онъ такого плана,
Найдя, что непрактична и смѣшна
Затѣя эта. Лордъ въ недоумѣнье
Привелъ жену, отстаивая мнѣнье.

LXVI.

Онъ такъ отвѣтилъ: „Только королю
Даю совѣты я и не намѣренъ
Другихъ учить; я сплетенъ не люблю:
Не всякій слухъ бываетъ достовѣренъ.
Жуанъ уменъ, хоть юнъ, и роль свою
Сыграетъ безъ суфлера, я увѣренъ.
Кому жъ совѣты нужны? Пусть хорошъ
Чужой совѣтъ—его не ставятъ въ грошъ!"

LXVII.

Чтобъ подтвердить такое заключенье,
Онъ добрый далъ совѣтъ женѣ своей
Оставить это дѣло. „Увлеченье
Само собой пройдетъ съ теченьемъ дней.
Жуанъ вѣдь не монахъ; къ тому жъ гоненья
Усиливаютъ только пылъ страстей.
Опасно прибѣгать къ тяжелымъ мѣрамъ".
Тутъ рядъ депешъ онъ получилъ съ курье-
ромъ.

LXVIII.

Къ себѣ ушелъ, принявъ серьезный видъ
Лордъ Генри, членъ Верховнаго совѣта.
(Пусть будущій Титъ Ливій разъяснитъ,
Какъ уменьшилъ онъ дефицитъ бюджета
И на ноги поставилъ нашъ кредитъ).

Я не читалъ депешъ—причина эта
Мѣшаетъ мнѣ ихъ сущность передать;
Узнавъ ее, пущу ее въ печать.

LXIX.

Еще двѣ-три инструкціи, рутиной
Внушенныя, женѣ лордъ Генри далъ;
Затѣмъ, раскрывъ депеши съ важной миной,
Онъ, уходя, жену поцѣловалъ.
Спокойно онъ разстался съ Аделиной;
Глядя на нихъ, никто бъ не отгадалъ,
Что онъ ей мужъ; сестеръ, ужъ лѣтъ извѣстныхъ,
Цѣлуютъ такъ, но не супругъ прелестныхъ.

LXX.

Гордился лордъ и саномъ, и родствомъ,
Принадлежа всецѣло высшимъ сферамъ;
Изящества такъ много было въ немъ,
Что онъ, казалось, созданъ камергеромъ,
Чтобъ во дворцѣ блестѣть предъ королемъ;
По тону, по фигурѣ и манерамъ
Ему была присуща эта роль.
Онъ вѣрно бъ ключъ имѣлъ—будь я король.

LXXI.

Хоть рѣдкой для мужчины красотою
Онъ обладалъ и былъ какъ тополь прямъ,
Того, что называется „душою"
На языкѣ условномъ милыхъ дамъ,
Недоставало въ немъ. Владѣть собою
Всегда онъ могъ; житейскимъ мелочамъ
Не придавая лишняго значенья,
Не вѣдалъ онъ, что значитъ увлеченье.

LXXII.

Но это je ne sais quoi, что не имѣлъ
Лордъ Генри—цѣнный даръ, того не скрою;
Достанься Менелаю онъ въ удѣлъ,
Не повезло бъ дарданскому герою,
Елену онъ увлечь бы не съумѣлъ,
И воспѣвать Гомеръ не сталъ бы Трою.
Да, измѣняли женщины не разъ,
Когда „души" не находили въ насъ.

LXXIII.

Кто скажетъ намъ, къ чему стремиться надо,
Ища любовь? Что горе для однихъ,
То для другихъ блаженство и отрада.
Но чувственность пл[illegible]яетъ только мигъ;
А платонизмъ—лишь жалкая услада,
Хоть дольше держитъ насъ въ сѣтяхъ своихъ;
Когда жъ они въ союзъ вступаютъ нѣжный,
Съ такимъ Центавромъ гибель неизбѣжна.

LXXIV.

Всѣ женщины мечтаютъ лишь о томъ,
Чтобъ сердцу дать занятье; но легко ли
Найти любовь со свѣтомъ и тепломъ?
Ихъ утлый челнъ несется безъ буссоли
Среди пучинъ, дыханьемъ бурь влекомъ.
Бороться нѣтъ у нихъ ни силъ, ни воли;
Когда-нибудь найдетъ же пристань челнъ!
Но вотъ утесъ, и гибнетъ онъ средь волнъ.

LXXV.

Цвѣтокъ *„Любовь отъ праздности"* Шекспиру
Обязанъ появленіемъ на свѣтъ,
И съ той поры онъ сталъ извѣстенъ міру.
Но мнѣ ль въ саду пѣвца похитить цвѣтъ!
Не прикоснусь къ британскому кумиру—
На это у меня отваги нѣтъ;
Но я съ Руссо способенъ взять реваншъ
И съ нимъ воскликну: Voilá la Pervenche!

LXXVI,

Eureka! но прошу слова мои
Какъ слѣдуетъ понять. Я не намѣренъ
Доказывать, что праздность—мать любви,
Но съ ней она въ союзѣ, я увѣренъ.
Не вспыхнетъ въ томъ минутный жаръ въ крови,
Кто трудится, своимъ занятьямъ вѣренъ.
Въ одной Медеѣ не утихла страсть,
Хоть въ кормчіи случилось ей попасть.

LXXVII.

Beatus ille qui procul negotiis),
Сказалъ поэтъ, хоть вѣриться съ трудомъ
Такому мнѣнію. Noscitur a sociis—
Вотъ строгій стихъ, но сколько правды въ немъ!
Опасные соблазны и эмоцьи
Даритъ намъ праздность, спорить ли о томъ?
О, трижды счастливъ тотъ, могу сказать я,
Кто любитъ трудъ и у кого занятья.

LXXVIII.

Когда на пашню райскіе сады
Смѣнилъ Адамъ,—костюмъ скроила Ева
Изъ листьевъ. Вотъ тѣ первые плоды,
Что людямъ принесло познанья древо.
Отъ мукъ и бѣдъ спасаютъ лишь труды;
Всегда зависитъ жатва отъ посѣва:

Коль свѣтскимъ дамамъ скучно цѣлый день,
То потому, что имъ трудиться лѣнь.

LXXIX.

Вотъ почему такъ дамы пусты наши
И „свѣтъ" пропитанъ скукою одной.
Нельзя жъ всегда пить счастье полной чашей:
Довольство пресыщеніе съ собой
Приноситъ людямъ. Жизнь лишеній краше,
Чѣмъ эта жизнь съ блестящей мишурой,
Гдѣ психопатки съ *синими чулками*
Царятъ, дивя насъ жалкими страстями.

LXXX.

Клянуся! я романовъ не читалъ
Такихъ, какъ мнѣ случалось видѣть въ свѣтѣ;
Когда бъ ихъ описать, какой скандалъ
Произвели бъ разоблаченья эти!
Въ глаза бъ сказали мнѣ, что я солгалъ.
Прослыть лжецомъ могу ль имѣть въ предметѣ?
Чтобъ правду не язвила клевета,
Пускаю въ ходъ лишь общія мѣста.

LXXXI.

„И устрицы въ любви несчастье знаютъ!"
Причина та, что дни онѣ влачатъ
Въ бездѣйствіи и подъ водой вздыхаютъ,
Вкушая вѣчной лѣни горькій ядъ.
Имъ въ келіяхъ монахи подражаютъ;
Но съ праздностью нейдетъ молитва въ ладъ;
Такъ трудно имъ нести бездѣлья бремя,
Что часто эти злаки идутъ въ сѣмя.

LXXXII.

О, Вильберфорсъ, великій человѣкъ,
Чьи подвиги воспѣть безсильна лира!
Ты рабство негровъ въ Африкѣ пресѣкъ
И низверженьемъ грознаго кумира
Прославилъ *черной* славою свой вѣкъ.
Но ты забылъ другія части міра:
Ты чернымъ далъ свободы свѣтлый лучъ,—
Теперъ же бѣлыхъ ты запри на ключъ!

LXXXIII.

Союзниковъ запри, любимцевъ славы,
Чтобъ въ мигъ одинъ всѣ счеты съ ними свесть,
Имъ доказавъ, что подъ одной приправой
И гуся, и гусыню можно съѣсть.
Запри и саламандръ, что для забавы
Изъ-за гроша въ огонь готовы лѣзть;
Запри не короля, а павильоны:
Они странѣ ужъ стоятъ милліоны!

LXXXIV.

Запри весь міръ, но дай свободу тѣмъ,
Которые въ Бедлэмѣ. Будь увѣренъ,
Что все пойдетъ по старому затѣмъ;
Давно людьми ужъ здравый смыслъ потерянъ.
Будь свѣтъ уменъ, то ясно было бъ всѣмъ;
Съ глупцами жъ въ споръ вступать я не намѣренъ.
И такъ какъ у меня опоры нѣтъ,
Я поступлю какъ мудрый Архимедъ.

LXXXV.

Свободно было сердце Аделины:
Оно ничью не признавало власть;
Въ немъ не съумѣлъ поклонникъ ни единый
Оставить слѣдъ и пробудить въ немъ страсть.
Для слабыхъ незначительной причины
Достаточно, чтобъ ихъ заставить пасть;
Но гибельно, какъ взрывъ землетрясенья,
Для сильныхъ духомъ каждое паденье.

LXXXVI.

Привѣтливый она бросала взоръ
На мужа; но старалася напрасно
Его любить. Идти наперекоръ
Природѣ и безцѣльно, и опасно.
Скалы Сизифа вынесть ли напоръ?
Они, однако жъ, жить могли согласно,
И свѣтъ считалъ примѣрнымъ ихъ союзъ,
Хоть льдомъ несло отъ этихъ брачныхъ узъ.

LXXXVII.

Межъ ними не случалось столкновеній,
Хоть рознились ихъ мнѣнія. Сравнить
Ихъ жизнь могу съ спокойствіемъ движеній
Двухъ звѣздъ, которыхъ связываетъ нить
Одной орбиты. Вотъ еще сравненье:
Не можетъ Леманъ съ Роной волны слить;
Они текутъ, не смѣшиваясь, рядомъ,
Какъ ленты двухъ цвѣтовъ, блестя предъ взглядомъ.

LXXXVIII.

Хоть лэди Аделина и была
Увѣрена въ себѣ, но увлеченье
Могло ей причинить не мало зла;
Опредѣляя силу впечатлѣнья,
Она легко въ ошибку впасть могла,
Тѣмъ болѣе, что сладость упоенья
Вторгалась въ душу ей какъ горный ключъ,
Спадающій стремглавъ съ отвѣсныхъ кручъ.

LXXXIX.

Когда порой опасность ей грозила,—
На выручку двуличный демонъ къ ней
Являлся; въ часъ успѣха эта сила
Зовется *властью духа* у людей,—
Упрямствомъ, если счастье измѣнило.
Героевъ, полководцевъ, королей—
То губитъ эта сила, то спасаетъ;
Но все жъ никто границъ ея не знаетъ.

XC.

Когда бъ при Ватерло Наполеонъ
Побѣду одержалъ, за силу воли
Молвою былъ бы онъ превознесенъ;
Теперь онъ выступаетъ въ жалкой роли
Упрямца. Случай намъ даетъ законъ;
Условность—злая язва нашей доли;
Но не хочу объ этомъ разсуждать
И къ Аделинѣ обращусь опять.

XCI.

Я чувствъ ея описывать не стану;
Могу ль ихъ знать, когда загадка въ нихъ
Была и для нея? Она къ Жуану
Питала лишь симпатію и вмигъ
Съумѣла бъ положитъ конецъ роману,
Явись опасность вдругъ отъ чувствъ иныхъ.
Ей иностранцу-юношѣ, какъ другу,
Хотѣлось оказать въ бѣдѣ услугу.

XCII.

Къ Жуану—такъ воображалось ей—
Она лишь дружбу нѣжную питала;
Стараясь брать примѣръ съ мужчинъ-друзей,
Она, чиста душой, не признавала
Опасныхъ платоническихъ затѣй,
Сгубившихъ бѣдныхъ женщинъ ужъ не мало,
И, въ дружбѣ той не замѣчая зла,
Безъ страха предаваться ей могла.

XCIII.

Въ подобной дружбѣ видно безъ сомнѣнья
Вліяніе различія половъ;
Но если чуждо страсти то влеченье
(Бичъ дружбы—страсть!) и отъ любви оковъ
Подобныя свободны отношенья—
Нѣтъ лучше друга женщины. Таковъ
Мой взглядъ; но, чтобъ вполнѣ союзъ былъ тѣсенъ,
Не надо другу пѣть любовныхъ пѣсенъ.

XCIV.

Зародыши измѣнъ въ себѣ несетъ
Любовь, вселяясь въ насъ. Понятно это:
Тѣмъ къ холоду быстрѣе переходъ,
Чѣмъ пламеннѣй любовью грудь согрѣта;
Сама природа въ томъ примѣръ даетъ:
Всегда ль сіяньемъ молніи одѣта
Лазоревая высь? Любовь нѣжна,—
Такъ можетъ ли не хрупкой быть она?

XCV.

Нерѣдко тотъ, кто отдавался страсти,
Жалѣлъ, что признавалъ ея законъ;
За то, что былъ ея покоренъ власти,
Въ глупца преобразился Соломонъ.
Любовь сулитъ тяжелыя напасти;
Встрѣчать случалось мнѣ примѣрныхъ женъ,—
И что жъ? Онѣ мужей сживали съ свѣта,
За это не боясь нести отвѣта.

XCVI.

Друзей нѣтъ лучше женщинъ; въ дни, когда
Меня и на чужбинѣ, и въ отчизнѣ
Язвила безпощадная вражда,
Лишь женщины-друзья отрадой жизни
Являлися моей. Онѣ всегда,
Не вѣря ни хулѣ, ни укоризнѣ,
На помощь шли ко мнѣ, вступая въ бой
Съ шипящею змѣею-клеветой.

XCVII.

Впослѣдствіи о дружбѣ Аделины
Съ Жуаномъ рѣчь пространнѣй поведу;
Теперь я пѣснь кончаю и причины
Прервать разсказъ удачнѣй не найду.
Пускай предъ неоконченной картиной
Стоитъ читатель. У меня въ виду
Тотъ фактъ, что чѣмъ загадочнѣй интрига,
Тѣмъ интереснѣй дѣлается книга.

XCVIII.

Гуляли ли, катались ли они?
Читали ль по-испански „Донъ-Кихота"?
(Отраднѣй нѣтъ занятья въ наши дни!)
Могли ль они себя спасти отъ гнета
Тяжелыхъ думъ средь свѣтской болтовни?
Мириться съ ней была ль у нихъ охота?
На эти всѣ вопросы вамъ поэтъ
Быть можетъ дастъ талантливый отвѣтъ.

XCIX.

Серьезный тонъ въ сатиру-эпопею
Введу я съ новой пѣсни: чтобъ въ обманъ
Вамъ не пришлося впасть, просить васъ
смѣю
Впередъ въ мой не заглядывать романъ.
Грѣшатъ всегда предвзятостью своею
Догадки. Аделина и Жуанъ
Невинны; если жъ имъ грозитъ паденье—
Отъ гибели имъ не найти спасенья.

C.

Бездѣлица порой плодитъ напасть.
Вотъ дней давно-былыхъ воспоминанье,
Что пустяковъ доказываетъ власть:
Я отъ любви лишился разъ сознанья.
Но что раздуло вдругъ такую страсть?
Вы отгадать никакъ не въ состояньи—
Держу пари хотя бъ на милліардъ:
Меня сгубила партія въ бильярдъ.

CI.

Вамъ можетъ показаться страннымъ это,
Но дѣло въ томъ, что вымыселъ блѣднѣй,
Чѣмъ истина. Вы не узнали бъ свѣта,
Явись возможность высказаться ей.
Подъ маской добродѣтели—привѣта
Порочность ждать не стала бъ отъ людей,
И зло совсѣмъ исчезло бы, конечно,
Открой Колумбъ дорогу къ правдѣ вѣчной.

CII.

„*Таинственныхъ пещеръ, пустынь нѣмыхъ*“
Не мало бъ усмотрѣли наши взоры
Въ дышащихъ только зломъ сердцахъ
людскихъ,
Гдѣ вмѣсто чувствъ лишь ледяныя горы;
Явися правда къ намъ, хотя на мигъ,—
Замучили бъ насъ совѣсти укоры,
И Цезарь самъ, такъ много видя бѣдъ,
Бояться бъ сталъ за славу несть отвѣтъ

ПѢСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ.

I.

Ахъ! Что должно тутъ слѣдовать—не знаю;
Но пусть меня сомнѣнье не смутитъ:
Все à propos; итакъ я продолжаю,
Какъ будто мысль, свободная летитъ
Само собой. Вся наша жизнь земная
Изъ междометій разныхъ состоитъ:
Въ ней „ха, ха, ха!“ иль „охъ!“—печаль иль
радость—
Но „тьфу“ вѣрнѣй рисуетъ эту гадость

II.

Все это вмѣстѣ—лишь волненья слѣдъ;
Волненье—пѣна жизненнаго моря
И въ маломъ видѣ вѣчности портретъ;
Оно насъ оживляетъ, съ скукой споря,
И, часто отстраняя чашу бѣдъ,
Даруетъ намъ блаженство вмѣсто горя.
Когда оно сродняется съ душой,—
Успѣшно свѣтъ бороться можетъ съ тьмой.

III.

Отраднѣй волноваться, чѣмъ подъ маской
Скрывать слѣды томящихъ насъ тревогъ.
Все затемнять фальшивою окраской
Привыкли мы, и въ сердцѣ уголокъ
Всегда есть для притворства. Правда сказ-
кой
Намъ кажется. Отъ истины далекъ
Лукавый свѣтъ, и потому понятно,
Что ложь хвалить ему всегда пріятно.

IV.

Возможно ль позабыть минувшихъ дней
Погибшія мечты и увлеченья?
Не вычеркнуть изъ памяти своей
Былые сны и прошлыя волненья;
Хоть Лета умѣряетъ пылъ страстей,
Все жъ не даритъ намъ полнаго забвенья.
Порой нашъ кубокъ полнъ—и что же?—
въ немъ
Всегда осадокъ времени найдемъ.

V.

Что жъ до любви касается мятежной...
Но къ Аделинѣ вновь вернуся я;
Не правда ли, какъ имя это нѣжно?
(Есть музыка въ журчаніи ручья
И въ колыханьи заросли прибрежной;
Гармоніи полна природа вся;



ГЕРЦОГИНЯ ФИТЦЪ-ФОЛЬКЪ.
(The Duchess of Fitzfulke).
Рис. Бостокъ (Bostock), грав. Мотъ (W. H. Mote).

Объ этомъ лишь одни глухіе спорятъ:
Мелодьямъ сферъ земные звуки вторятъ).

VI.

Увы! опаснымъ лэди шла путемъ!
Вѣдь женщины не знаютъ твердыхъ пра-
вилъ,
И многія изъ нихъ сходны съ виномъ
Испорченнымъ. Кого втупикъ не ставилъ
Обманчивый ярлыкъ? Мечтой влекомъ,
Прекрасный полъ когда же не лукавилъ?
Броженіе до старости—законъ
Не только для вина, но и для женъ.

VII.

Когда съ виномъ сравню я Аделину,
Въ такомъ винѣ былъ лучшихъ гроздій
сокъ;

По чистотѣ алмазу иль рубину
Красавицу я бъ уподобить могъ;
Сатурнъ и тотъ сгибалъ предъ нею спину,
А онъ для всѣхъ безжалостенъ и строгъ;
На свѣтѣ нѣтъ счастливѣй кредитора:
Онъ въ должникѣ найти не можетъ вора!

VIII.

О, смерть! ты кредиторъ лукавый нашъ!
Ты робко въ нашу дверь стучишь сначала,
Какъ знатныхъ баръ боящійся торгашъ;
Затѣмъ стучишь сильнѣй; терпѣнья мало
Тебѣ дано; пощады ты не дашь,
Когда тебѣ прійти пора настала;
Людскія просьбы ты не ставишь въ грошъ:
Тебѣ лишь милъ немедленный платежъ.

IX.

Все въ плѣнъ бери, но сжалься надъ красою!
Она рѣдка, а ты по горло сытъ
И безъ нея. Она грѣшитъ порою,
Такъ что жъ?—ей потому и нуженъ щитъ.
Обжорливый скелетъ! весь міръ тобою
Порабощенъ; умѣрь свой аппетитъ!
Героевъ пожирай съ зловѣщей силой,
Но красоту цвѣтущую помилуй!

X.

Какой-нибудь мечтой увлечена,
Дурныхъ страстей не признавая жгучесть,
Ей лэди Аделина, грезъ полна,
Всецѣло отдавалась. Это участь
Восторженныхъ натуръ. Притомъ она,
Держась надменно, вѣрила въ живучесть
Тѣхъ правилъ, что ведутъ на правый путь;
Однимъ добромъ ея дышала грудь.

XI.

Молва, газета сплетенъ, протрубила
О похожденьяхъ юноши; и что жъ?
Не разсердилась лэди; дамамъ мило
Порою то, что насъ приводитъ въ дрожь;
Но многое въ Жуанѣ измѣнила
Жизнь въ Англіи. Съ Алкивіадомъ схожъ,
Онъ въ край чужой не шелъ съ своимъ уставомъ
И примѣняться могъ ко всякимъ нравамъ.

XII.

Онъ увлекалъ, не думая увлечь,
Привѣтливою искренностью тона;
Безъ вычуровъ его лилася рѣчь;
Онъ изъ себя не корчилъ Купидона,
Который хочетъ всѣ сердца привлечь,
Не вѣря, что возможна оборона.
Мечтая о побѣдахъ, фатъ пустой
Лишь думаетъ, что съ нимъ немыслимъ бой.

XIII.

Но можетъ ли къ успѣху тонъ нахальный
Кого-нибудь привесть? Прямой отказъ—
Вотъ способа такого плодъ печальный!
Жуанъ былъ чуждъ искусственныхъ прикрасъ,
Къ тому жъ имѣлъ онъ голосъ музыкальный;
Изъ стрѣлъ, что ловко бѣсъ пускаетъ въ насъ,
Неотразимѣй всѣхъ пріятный голосъ.
Гдѣ дама, что успѣшно съ нимъ боролась?

XIV.

Жуана не испортила среда;
Хоть робокъ не былъ онъ, но видно было,
Что ложь ему противна и чужда;
Казался скромнымъ онъ, а скромность—сила;
Она, какъ добродѣтель иногда,
Въ себѣ самой награду находила.
Отсутствіе претензій краситъ всѣхъ
И часто въ даръ приноситъ намъ успѣхъ.

XV.

Въ весельи тихъ, безъ лести милъ, онъ ловко
Всѣ слабости людскія примѣчалъ,
Скрывая то съ искусною сноровкой.
Онъ съ гордыми былъ гордъ и цѣну зналъ
Себѣ и имъ. Картинной позировкой
Морочить свѣтъ онъ вовсе не желалъ
И шелъ впередъ, не увлеченъ мечтою
Первенствовать надъ чопорной толпою.

XVI.

Для дамъ же мой герой былъ сущій кладъ:
Онъ съ ихъ всегда соображался мнѣньемъ
И взглядамъ ихъ былъ подчиняться радъ;
Онѣ живутъ однимъ воображеньемъ,
Ему жъ предѣловъ нѣтъ... но verbum sat.
Давая ходъ своимъ „Преображеньямъ",
Имъ нипочемъ и Санціо затмить.
Кто скажетъ намъ, чѣмъ ихъ умѣрить прыть?

XVII.

Глядя на міръ сквозь грань условной призмы,
Легко въ ошибку впасть, а, оступясь
Надъ бездною, стремглавъ несемся внизъ мы.

Въ такой бѣдѣ спасетъ ли опытъ насъ?
Философовъ безцѣнны афоризмы,
Но голосъ мудрецовъ—„въ пустынѣ гласъ":
Глупцамъ пойти не могутъ впрокъ уроки,
Которыхъ имъ невнятенъ смыслъ глубокій.

XVIII.

Великій Бэконъ, Локкъ и ты, Сократъ!
Какъ люди васъ за трудъ вознаграждали?
Какихъ ты удостоился наградъ,
Божественный Учитель, чьи скрижали
Надъ міромъ словно свѣточи горятъ?
Не разъ твое ученье искажали,
Чтобъ зло творить. Примѣровъ много есть,
Но въ цѣломъ томѣ ихъ не перечесть.

XIX.

Моя скромнѣе роль; я съ возвышенья
Слѣжу за тѣмъ, что можетъ видѣть глазъ;
Затѣмъ вношу въ поэму наблюденья,
За славою нисколько не гонясь.
Мои стихи текутъ безъ затрудненья,
И я пишу безъ вычуръ и прикрасъ,
Какъ сталъ бы разговаривать я съ другомъ,
Гуляя съ нимъ и пользуясь досугомъ.

XX.

Большой талантъ не нуженъ, чтобъ писать
Шутливый вздоръ; все жъ трудъ мой не безплоденъ;
Къ тому жъ люблю порою поболтать;
Хотя мой стихъ игривъ и сумасброденъ—
Подобострастья въ немъ не отыскать;
Пою, съ импровизаторами сходенъ,
И все, что мнѣ порой взбредетъ на умъ,
Вношу въ октавы я безъ дальнихъ думъ.

XXI.

„Omnia vult belle Matho dicere—dic aliquando"...
И прочее,—какъ молвилъ Марціалъ
Но глупость превратитъ ли въ умъ команда?
Бездарности воздвигнутъ пьедесталъ,
И для того нужна ли пропаганда,
Чтобъ родъ людской нелѣпости болталъ?
Безъ глупыхъ фразъ прожить не можетъ свѣтъ:
Я жъ былъ бы радъ тотъ примѣнить совѣтъ.

XXII.

Могу ль нагляднѣй скромность проявить?
Но въ скромности я черпаю значенье
И силу, хоть умѣю гордымъ быть.
Ужасно разрослось мое творенье...
Когда бъ хотѣлъ я деспотизму льстить
И слушаться зоиловъ—безъ сомнѣнья,
До крайности я бъ трудъ свой обкорналъ,
Но не сдаюсь: борьба—мой идеалъ.

XXIII.

Къ тому жъ всегда я защищаю бѣдныхъ
И слабыхъ; но случись паденье тѣхъ,
Что давятъ міръ теперь въ вѣнкахъ побѣдныхъ,
Я измѣнилъ бы фронтъ; пускай мой смѣхъ
Язвить бы сталъ позоръ пигмеевъ вредныхъ—
Ихъ защищать не счелъ бы я за грѣхъ.
Я всякой тираніи врагъ заклятый,
Хотя бы и царили демократы.

XXIV.

Я былъ бы славнымъ мужемъ, но—увы!—
Теперь о томъ не можетъ быть и рѣчи...
О, цѣпи брака, мнѣ знакомы вы!
Постричься бъ могъ, но манятъ жизни сѣчи;
Къ тому жъ ломать не сталъ бы головы
Надъ риѳмами, грамматику калѣча,
Когда бъ во время оно злой зоилъ
Знакомства съ музой мнѣ не запретилъ.

XXV.

Laissez aller! Пусть воспѣваетъ лира
Встрѣчающихся рыцарей и дамъ!
Нужна ль тутъ помощь мужа изъ Стагира
Иль Лонгина? Не выходить изъ рамъ
Должна, однако жъ, всякая сатира,
И не легко условнымъ нравамъ намъ
Придать какое надо освѣщенье,
При этомъ обобщая исключенья!

XXVI.

Насъ жизнь гнететъ условностью своей;
Когда-то люди создавали нравы,
Теперь же нравы создаютъ людей;
Ихъ съ овцами сравнивъ, мы будемъ правы.
Всѣ люди межъ собою съ дѣтскихъ дней
Вполнѣ сходны. Ждать можете ль добра вы
Отъ новыхъ описаній старыхъ лицъ,
Когда однообразью нѣтъ границъ?

XXVII.

Идти не все жъ прійдется степью голой.
Итакъ, впередъ! О, муза, ты порхай,
Когда летать не можешь; будь тяжелой
Иль ѣдкою (министрамъ подражай),
Коль дивные тебѣ чужды глаголы!

Непочатой еще отыщемъ край.
При помощи флотильи небогатой
Америку открылъ Колумбъ когда-то.

XXVIII.

Участье Аделины съ каждымъ днемъ
Къ Жуану все росло. Ея волненье
Отчасти виновато было въ томъ,
Отчасти же и друга положенье.
Казалось ей, невинность дышитъ въ немъ,
Что и невинность вводитъ въ искушенье.
Не любятъ дамы жалкихъ полумѣръ,
И Аделина въ томъ дала примѣръ.

XXIX.

И вотъ она, любя его какъ брата,
Рѣшилась дать ему благой совѣтъ.
(За лучшіе лишь благодарность плата:
Дешевле на землѣ товара нѣтъ!)
Заботливостью нѣжною объята,
Она, обдумавъ тщательно предметъ,
Дала совѣтъ жениться Донъ Жуану,
Чтобъ разомъ положить конецъ роману.

XXX.

Жуанъ сказалъ, что бракъ глубоко чтитъ
И былъ бы радъ сродниться съ жизнью новой,
Но Аделинѣ выставилъ на видъ,
Что съ нимъ судьба обходится сурово,
Что та, къ которой страстью онъ горитъ,
Къ несчастію, давно жена другого,
Возможно ли, чтобъ онъ сгубилъ себя
И въ бракъ вступилъ, подругу не любя?

XXXI.

Свою судьбу устроивъ чрезъ интриги,
Затѣмъ судьбу дѣтей, сестеръ, кузинъ,
И размѣстивъ ихъ какъ на полкѣ книги,
Всѣ женщины охотно на мужчинъ
Накладываютъ брачныя вериги,
Устраивая свадьбы; нѣтъ причинъ
Ихъ осуждать за то: хоть бракъ и страшенъ,
Но онъ спасаетъ насъ отъ грѣшныхъ шашенъ.

XXXII.

У всякой дамы свадьбы планъ готовъ—
Вѣдь жениховъ не мало на примѣтѣ!
(Не тѣшатъ свадьбы только старыхъ вдовъ
И старыхъ дѣвъ). Забота дамы: въ сѣти
Поймать холостяка—и бракъ готовъ!
Въ восторгѣ всѣ, но сколько видятъ въ свѣтѣ,
Благодаря супружествамъ такимъ,
И мелодрамъ, и жалкихъ пантомимъ!

XXXIII.

У дамъ подобныхъ, кстати мы замѣтимъ,
Всегда женихъ богатый припасенъ;
Какъ возятся онѣ съ счастливцемъ этимъ!
Лордъ Джорджъ хорошъ; недуренъ и сэръ Джонъ.
Гдѣ счастье этихъ лицъ въ виду имѣть имъ!
Лишь былъ бы бракъ скорѣе заключенъ;
Что жъ,—отъ грѣха счастливый мужъ отпрянетъ,
А дѣло за невѣстами не станетъ.

XXXIV.

У этихъ дамъ запасъ невѣстъ не малъ;
Для одного богатую дѣвицу
Готовятъ; для другого—идеалъ
Невинности, для этого—пѣвицу...
Одну невѣсту краситъ капиталъ,
Другую—связи; третья же столицу
Своими совершенствами дивитъ,
Не увлекаться ею просто стыдъ!

XXXV.

Извѣстный Раппъ, супружество не чтущій,
Колонію сектантовъ основалъ,
И стала та колонія цвѣтущей.
Скажите—развѣ это не скандалъ?
Въ безбрачьи жизнь влачить не грѣхъ ли сущій?
Колонію „Согласьемъ" онъ назвалъ.
Какой абсурдъ! замѣчу безъ прикрасъ я:
Гдѣ брака нѣтъ—смѣшно искать согласья.

XXXVI.

Онъ вѣрно посмѣяться лишь хотѣлъ
Надъ бракомъ и согласьемъ, такъ сурово
Ихъ раздѣливъ. Я вовсе не имѣлъ
Намѣренья трунить надъ сектой новой;
Завиденъ и блестящъ ея удѣлъ.
Религія и нравственность основой
Ей служатъ. Не надъ ней смѣялся я,—
Названья лишь ея хвалить нельзя.

XXXVII.

Но съ Раппомъ несогласны тѣ матроны,
Которыя, надъ Мальтусомъ смѣясь,
Лишь размноженья чествуютъ законы;
Ихъ торжество приводитъ въ трепетъ насъ;
Вы эмигрантовъ слышите ли стоны?
Вотъ результаты размноженья массъ.
Неурожай картофеля и страсти
Приносятъ въ даръ тяжелыя напасти.

XXXVIII.

Читала ль лэди Мальтуса? Увы!—
Не знаю самъ. Онъ заповѣдь оставилъ:
„Безъ денегъ не женитесь". Это вы
Въ трудѣ прочтете, что его прославилъ.
Его воззрѣнья смѣлы и новы;
Но какъ мириться съ смысломъ этихъ правилъ?
Теорія его, разсчета плодъ,
Насъ прямо къ аскетизму приведетъ.

XXXIX.

Супружество Жуану безъ опаски
Сулила лэди. Будучи богатъ,
Онъ могъ всегда къ разводу, какъ къ развязкѣ,
Прибѣгнуть, если бъ встрѣтилъ дома адъ;
Коль можно положить семейной пляскѣ
Конецъ, то цѣпи брака не страшатъ.
Припомните Гольбейна „Пляску смерти";
Семейныхъ узъ она портретъ, повѣрьте.

XL.

Чтобъ друга уберечь отъ вражьихъ путъ,
Его женить рѣшила Аделина.
Не мало было миссъ прелестныхъ тутъ;
За выборомъ лишь дѣло. Нѣтъ причины
Всѣхъ называть: такой безцѣленъ трудъ,
Одно лишь я скажу: всѣ до единой
Его достойны были и съ любой
Обрѣсть онъ могъ бы счастье и покой.

XLI.

Миссъ Мильпондъ, въ сонмѣ ихъ лучи бросая,
Была съ густыми сливками сходна,
По снятіи которыхъ смѣсь плохая
Простой воды и молока видна
Съ оттѣнкомъ сизымъ. Бракъ не страсть лихая:
Ему такая жидкость не вредна;
Хоть морщась, но ее вкушайте смѣло;
Молочная діэта лѣчитъ тѣло.

XLII.

Богатая миссъ Шустрингъ все гналась
За мужемъ съ синей лентой иль съ звѣздою;
Но рѣдки стали герцоги у насъ;
Къ тому жъ попытка ихъ увлечь собою
Несчастной миссъ вполнѣ не удалась;
И вотъ она, гонимая судьбою,
За русскаго иль турка (въ этомъ нѣтъ
Различья) вышла бъ замужъ, бросивъ свѣтъ.

XLIII.

Хоть перечни въ стихахъ неблагодарны,
Не вправѣ я миссъ Рэби позабыть:
Она такой звѣздою лучезарной
Блестѣла, что ей зеркаломъ служить,
Хотя бъ и тусклымъ, свѣтъ не могъ коварный.
Недавно ей досталось въ свѣтъ вступить.
Сходна съ нераспустившеюся розой,
Она казалось воплощенной грезой.

XLIV.

Она была сиротка; много благъ
Сулилъ ей свѣтъ, предъ ней широко двери
Свои раскрывъ; но грусть въ ея очахъ
Всегда читалась; въ счастіе не вѣря,
Она вступала въ жизнь; въ чужихъ дворцахъ
Вдвойнѣ невыносимѣе потеря
Родного очага. Какъ грустенъ свѣтъ,
Когда въ живыхъ намъ сердцу близкихъ нѣтъ!

XLV.

Ребенокъ и по виду, и годами,
Она была грустна какъ серафимъ,
Который, обливаяся слезами,
Сочувствуетъ страданіямъ людскимъ,
Земными опечаленный грѣхами;
Мы свѣтлаго съ ней ангела сравнимъ,
Что у дверей потеряннаго рая
Стоитъ въ тоскѣ, объ изгнанныхъ вздыхая.

XLVI.

Тверда въ вопросахъ вѣры и строга,
Католицизмъ миссъ Рэби свято чтила,
И вѣра та была ей дорога:
Традиціямъ служить ей было мило;
Послѣдняя изъ рода, что врага
Не устрашась и не склонясь предъ силой,
Религіи не измѣнилъ своей,—
Миссъ Рэби, предковъ чтя, гордилась ей.

XLVII.

Блестящій свѣтъ казался ей пустыней;
Она въ уединеніи росла,
Какъ нѣжное растенье; въ свѣтской тинѣ
Красавица завязнуть не могла.
Она казалась свѣтлою богиней
Какихъ-то высшихъ сферъ. Не зная зла,
Она спокойно шла къ завѣтной цѣли,
И въ свѣтѣ всѣ предъ ней благоговѣли.

XLVIII.

Хоть изъ дѣвицъ, тамъ бывшихъ, ни одна
Не обладала даже половиной
Достоинствъ миссъ Авроры—все жъ она
Не значилася въ спискѣ Аделины.
За что она была исключена,
Безъ всякой уважительной причины,
Изъ списка тѣхъ, что въ бракъ могли вступить,
Я, право, не берусь вамъ объяснить.

XLIX.

Смущенъ былъ Римъ, не видя бюста Брута
Въ процессіи Тиверія. Жуанъ,
Замѣтивъ, что миссъ Рэби почему-то
Забыта, изумленьемъ обуянъ,
Спросилъ: за что съ ней поступили круто?
И вотъ ему такой отвѣтъ былъ данъ:
„О дѣвочкѣ угрюмой и жеманной
Весть разговоръ по меньшей мѣрѣ странно".

L.

Жуанъ сказалъ: „Мы вѣры съ ней одной,
Жениться мы могли бъ безъ затрудненья;
Межъ тѣмъ я не добьюсь на бракъ съ другой
Ни матери, ни папы разрѣшенья".
Но Аделинѣ чуждъ былъ взглядъ такой;
Она свои лишь признавала мнѣнья—
И, вѣрная теоріи своей,
Лишь повторила сказанное ей.

LI.

Чѣмъ дурны повторенья? Почему же
Къ ихъ помощи не прибѣгать подчасъ?
Хорошій аргументъ не станетъ хуже,
Хотя бъ онъ въ ходъ пускаемъ былъ не разъ.
Несносны пререканья даже вчужѣ;
Упрямствомъ часто побѣждаютъ насъ;
Коль къ цѣли насъ привелъ извѣстный доводъ,
Трунить надъ нимъ, скажите, есть ли поводъ?

LII.

Чѣмъ вызвало прелестное дитя
Предубѣжденья лэди горделивой?
Я не могу, признаюсь не шутя,
На тотъ вопросъ отвѣтить щекотливый;
Всегда великодушью дань платя,
Она была добра и справедлива,
А тутъ такъ измѣнила странно тонъ.
Увы! капризъ для женщины законъ.

LIII.

Быть можетъ, показалось ей обидно,
Что равнодушно къ свѣтскимъ мелочамъ
Относится Аврора. (Не завидна
Судьба пустыхъ великосвѣтскихъ дамъ!)
Мы внѣ себя, когда намъ ясно видно,
Что тѣ, которыхъ взглядъ на вещи прямъ,
Хотятъ нашъ умъ унизить. (Шуткой ѣдкой
Антонія такъ Цезарь злилъ нерѣдко.)

LIV.

Проснулась ли нежданно зависть въ ней?
(Такой вопросъ позоритъ Аделину!)
Мутило ли ее, шипя, какъ змѣй,
Презрѣнье? Но легко ль найти причину,
Чтобъ презирать ребенка въ цвѣтѣ дней!
Была ли это ревность?—И помину
О ней быть не могло! Какъ на бѣду,
Названья чувству лэди не найду.

LV.

Аврорѣ и не снилось, что съ враждою
И завистью за нею свѣтъ слѣдилъ;
Она жъ была чистѣйшею волною
Среди потока знатныхъ юныхъ силъ,
Который ярко отражалъ собою
Блескъ времени. Ее бы удивилъ
Нежданный споръ. Одной улыбкой кроткой
На вызовъ злой отвѣтила бъ красотка.

LVI.

Аврору пышной внѣшностью своей
И блескомъ Аделина не плѣнила.
Увидя свѣтляка среди вѣтвей,
Она бы къ небу взоры обратила,
Чтобъ посмотрѣть на блескъ иныхъ лучей.
Хотя Жуанъ былъ яркое свѣтило,
Она его души не поняла,
Ее жъ увлечь лишь внѣшность не могла.

LVII.

Своею соблазнительною славой
(Такая слава въ роли сатаны
Вливаетъ въ сердце женщины отравы
И ей даритъ мучительные сны)—
Не могъ онъ съ толку сбить разсудокъ здравый
Авроры милой. Чинно холодны
Ихъ были отношенья; мы не скроемъ,
Что не былъ Донъ Жуанъ ея героемъ.

LVIII.

До этого онъ не встрѣчалъ нигдѣ
Такого типа. Сходства не имѣла

Съ Авророю погибшая Гайдэ,
Въ которой клокотала и кипѣла
Бушующая кровь. Въ иной средѣ
Аврора и сложилась, и созрѣла;
Гайдэ была цвѣтокъ, что тѣшитъ глазъ;
Она же—драгоцѣннѣйшій алмазъ.

LIX.

Такое давъ прелестное сравненье,
Къ разсказу я вернуться бъ смѣло могъ
Пуская въ ходъ (то Скотта выраженье)
„Сзывающій на брань походный рогъ".
Читая Скотта дивныя творенья,
Переживаешь жизнь былыхъ эпохъ;
Не существуй Вольтера и Шекспира,
Писателемъ онъ былъ бы первымъ міра.

LX.

Итакъ, на помощь музу вновь зову,
Чтобъ свесть неправду свѣта съ пьедестала.
Когда-то *снилось* мнѣ, что наживу
Поэмою своей враговъ не мало;
Теперь я это вижу *наяву*.
Но никогда меня не устрашала
Людская злость. Пусть негодуетъ свѣтъ—
Я все жъ, безспорно, истинный поэтъ.

LXI.

Конгрессъ иль разговоръ Жуана съ лэди,
Какъ всѣ конгрессы, кончился ничѣмъ,
Но горечь примѣшалась къ ихъ бесѣдѣ:
Не уважала лэди спорныхъ темъ
И, не щадя враговъ, рвалась къ побѣдѣ.
Но дѣло не испортилось совсѣмъ:
Къ обѣду звонъ какъ будто по заказу
Раздался и прервалъ бесѣду сразу.

LXII.

Сраженье, гдѣ играютъ роль щитовъ
Серебряныя вазы, а приборы
Оружьемъ служатъ, я воспѣть готовъ.
(Бѣда съ Гомеромъ встрѣтиться, который
Такъ силенъ въ описаніи пировъ!)
Дерзну ли обратить я къ музѣ взоры?
Въ нашъ вѣкъ такъ сложны всѣ рецепты блюдъ,
Что можетъ не по силамъ выйти трудъ.

LXIII.

Обѣдъ былъ въ полномъ смыслѣ объяденье;
Potage Beauveau и Supe à la bonne femme
Сперва явились. (Ихъ приготовленья
Кто передать съумѣетъ тайну намъ?)
О, Господи, какъ трудно продолженье
Обжорливой строфы!.. Затѣмъ гостямъ
Индѣйку съ трюфелями предложили;
Притомъ, конечно, рыбу не забыли.

LXIV.

Но съ описаньемъ долженъ я скорѣй
Покончить, чтобъ брюзги меня не съѣли!
Я врагъ гастрономическихъ затѣй,
А потому ихъ славословить мнѣ ли?
Рѣзвиться же я съ музою своей
Порой не прочь, идя отважно къ цѣли;
Но я однообразія боюсь
И съ шутками поэтому мирюсь.

LXV.

Тамъ подавались: дичь и лососина,
Volailles à la Condé; окорока,
Достойные Апиція, а вина,
Способныя увлечь и знатока,
Могли бъ опять лишить Аммона сына.
(Явись онъ вновь—мнѣ бъ жить съ нимъ не рука!)
Шампанское бѣлѣло, пѣнясь дружно,
Какъ Клеопатры даръ—растворъ жемчужный.

LXVI.

Отъ описаній блюдъ à l'espagnole,
A l'allemande, Timballes, съ начинкой чудной,
Читатель, пожалѣвъ меня, уволь!
Всѣ яства и припомнить даже трудно.
Salmis и Entremets играли роль;
Но былъ вѣнцомъ затѣи многолюдной
Изъ куропатокъ трюфельный рагу,—
За что Лукулла похвалить могу.

LXVII.

Предъ этимъ блюдомъ вянетъ лавръ побѣды!
Онъ—тряпка, прахъ. Дѣла минувшихъ дней
Забыты, какъ прошедшіе обѣды.
Они, увы! изъ памяти людей
Изгладились, какъ бы исчадья бреда.
А вы, герои нашихъ эпопей,
Оставите ль малѣйшій отпечатокъ,
Хотя бы лишь рагу изъ куропатокъ?

LXVIII.

Теперь опять займетъ меня обѣдъ.
Не спорю: трюфелей поѣсть не худо,
Особенно, когда за ними вслѣдъ

Идутъ petits puits d'amcur. На это блюдо,
Какъ говорятъ, совсѣмъ рецепта нѣтъ:
По вкусу всякій ихъ готовитъ. Чудо,
Какъ хороши petits puits! Въ нихъ сладость есть:
Ихъ даже безъ варенья можно ѣсть.

LXIX.

Не мало міръ потратилъ размышленій,
Чтобъ выдумать, обжорливость цѣня,
Рядъ цѣлый кулинарныхъ изощреній!
Адама примитивная стряпня,
Служа для многихъ темой вдохновеній,
Въ искусство превратилась. Для меня
Проблема, какъ въ науку было можно
Преобразить ѣды процессъ несложный!

LXX.

Работали уста, звенѣлъ хрусталь,
Отъ жадности дрожали гастрономы;
Но дамъ такъ угощать, конечно, жаль;
Онѣ съ любовью къ яствамъ незнакомы.
И юноши мечтой стремятся въ даль;
До пищи ль имъ? Надеждою влекомы,
Они лишь бредятъ сладостью побѣдъ.
Для старца жъ рай изысканный обѣдъ!

LXXI.

Увы! не могъ я дать вамъ описанья
(Хотя стихи я посвятилъ стряпнѣ)
Всѣхъ тонкихъ блюдъ обѣда: ихъ названья
Вклеить въ октавы было бъ трудно мнѣ;
Съ капустою и ростбифъ безъ вниманья
Оставилъ я. Приличенъ я вполнѣ.
Теперь бекаса даже я бы не далъ
Себѣ труда воспѣть; я отобѣдалъ!

LXXII.

О фруктахъ я ни слова не сказалъ
И о десертѣ тоже. Всѣхъ обѣдовъ—
Увы!—подагра горестный финалъ.
Блаженъ, кто вѣкъ свой прожилъ, не извѣдавъ
Тѣхъ мукъ, что свѣтъ черезъ нее узналъ!
Какъ мучила она отцовъ и дѣдовъ,
Помучить ей сподручно и дѣтей.
О, какъ огня, знакомства бойтесь съ ней!

LXXIII.

Молчать ли объ оливкахъ, что при винахъ
Необходимы? Да, хотя онѣ
Въ Испаніи, и въ Луккѣ, и въ Аѳинахъ
Обѣдомъ много разъ служили мнѣ,
Закусывалъ я ими на вершинахъ
Гимета или Синія, вполнѣ
Подобенъ Діогену, чьи воззрѣнья
Всегда во мнѣ встрѣчали одобренье.

LXXIV.

Разсѣлись гости шумною гурьбой
Вокругъ стола, гдѣ красовались груды
Тончайшихъ яствъ, украшенныхъ рукой
Волшебника. Жуанъ сѣлъ возлѣ блюда
„A l'espagnole“. Сіяло красотой
И прелестью убранства это чудо
Искусства кулинарнаго. Оно
Могло бъ какъ разъ быть съ дамой сравнено.

LXXV.

Жуанъ межъ Аделиной и Авророй
Сидѣлъ, что неудобно, если вы
Хотѣли ѣсть; къ тому же разговоры
Его съ милэди были таковы,
Что онъ совсѣмъ терялся. Часто взоры
Бросая на Жуана (не новы
Пріемы тѣ!) она слѣдила строго
За нимъ, хотя не говорила много.

LXXVI.

Я не одинъ могу примѣръ привесть
Того, что глазъ не хуже слышитъ уха.
Внимать рѣчамъ у дамъ способность есть
И тѣмъ, что ихъ достичь не могутъ слуха;
Чужія мысли трудно ль имъ прочесть?
(Такъ пѣсни сферъ, прибѣгнувъ къ мощи духа,
Мы можемъ услыхать). Лишь кинуть взоръ—
И дамѣ ясенъ всякій разговоръ.

LXXVII.

Сочувствія хотя бъ малѣйшій атомъ
Жуанъ къ себѣ въ Аврорѣ не нашелъ,
Легко ль съ такимъ мириться результатомъ?
Обидно, если насъ прекрасный полъ
Холодностью язвитъ. Хоть не былъ фатомъ
Мой вѣтреный герой, но злой уколъ
Его смутилъ. Корабль, затертый льдами,
Съ нимъ, сходенъ былъ, скажу я между нами.

LXXVIII.

Отрывисто и на него едва
Бросая взоръ, Аврора отвѣчала
На всѣ Жуана острыя слова
И даже ихъ улыбкой не встрѣчала;
Ужели выходило, что права
Милэди, говорившая, что мало
Въ миссъ Рэби привлекательныхъ сторонъ!
Жуанъ былъ и взволнованъ, и смущенъ.

LXXIX.

Побѣда жъ восхищала Аделину;
Она съ трудомъ скрывала свой успѣхъ;
Но плохо подстрекать порой мужчину:
Такъ можно натолкнуть его на грѣхъ,
Когда бъ о немъ и не было помину
Безъ этого; догадки тѣшатъ всѣхъ,
Но мы нежданно дѣлаемся строги,
Когда намъ станутъ поперекъ дороги.

LXXX.

Задѣтый за живое, мой герой,
Чтобъ овладѣть вниманіемъ Авроры,
Сталъ рѣчью остроумной и живой
Сосѣдку занимать. Ея онъ скоро
Задумчивость разсѣялъ болтовней;
Ея нежданно оживились взоры...
И, слушая шутливыя слова,
Аврора улыбнулась раза два.

LXXXI.

Она (случалось это съ нею рѣдко!)
Къ вопросамъ отъ отвѣтовъ перешла;
Уже ль Жуана милая сосѣдка
Растаяла, какъ ледъ? Уже ль была
Миссъ Рэби, какъ другія, лишь кокетка?
Миләди волноваться начала;
Сливаются жъ контрасты при движеньи!
Но тщетны были эти опасенья.

LXXXII.

Смиреньемъ гордымъ (если только есть
Смиреніе такое) и сноровкой
Себя сдержать—Жуанъ могъ въ душу
влѣзть
Какой угодно дамы. Въ свѣтѣ ловко
Пускалъ онъ въ ходъ то шуточку, то лесть,
Всегда соображаясь съ обстановкой;
Людей на откровенность вызывать
Имѣлъ онъ даръ, хоть то умѣлъ скрывать.

LXXXIII.

Себѣ о немъ превратное понятье
Составила Аврора. Видѣть въ немъ
Ей не хотѣлось свѣтлаго изъятья,
Онъ ей казался свѣтскимъ болтуномъ,
Что занятъ лишь покроемъ моднымъ платья,
Какъ прочіе, но тронута умомъ,
А также задушевностью Жуана,
Себя признала жертвою обмана.

LXXXIV.

Къ тому жъ онъ былъ весьма красивъ
собой,
А женщины теряютъ хладнокровье,
Невольно увлекаясь красотой;
Замужнихъ же въ тяжелыя условья
Случается ей ставить; хоть порой
Обманчива она безъ прекословья,—
Ей женщины внимаютъ и для нихъ
Она краснорѣчивѣй всякихъ книгъ.

LXXXV.

Успѣшнѣе Аврора молодая
Читала въ книгахъ, чѣмъ въ сердцахъ
людей,
Минерву больше Грацій уважая
(Особенно въ эстампахъ); но и въ ней
Могла заволноваться кровь живая.
Сократъ признался разъ на склонѣ дней,
Что нѣжность къ красотѣ въ немъ не
угасла
И жжетъ его, въ огонь вливая масло.

LXXXVI.

Когда Сократъ семидесяти лѣтъ
Такимъ мечтамъ могъ посвящать свой
геній
(Платонъ, любовью къ истинѣ согрѣтъ,
Ихъ описалъ въ одномъ произведеньи),—
Какой резонъ дѣвицамъ въ цвѣтѣ лѣтъ
Такихъ же не испытывать волненій,
Лишь скромность признавая какъ законъ?
Условье то мое sine qua non.

LXXXVII.

Противорѣчье, въ этомъ, безъ сомнѣнья,
Вы рады усмотрѣть. Когда предметъ
Мнѣ высказать два разныя сужденья
Далъ случай,—не смущайтесь. Спора нѣтъ,
Что лучшее всегда второе мнѣнье.
Когда бъ вполнѣ логиченъ былъ поэтъ,
Какъ ухитрился бъ онъ воспѣть на лирѣ
Весь тотъ сумбуръ, что существуетъ въ
мірѣ?

LXXXVIII.

Противорѣчья царствуютъ кругомъ,
Но мнѣ ль вступить на путь безспорно ложный?
Тому, кто сомнѣвается во всемъ,
Предаться отрицанью невозможно.
Могла бы правда свѣтлымъ бить ключомъ,
Но люди поступаютъ съ ней безбожно,
Ее мѣшая съ грязью; потому
Теперь мы видимъ въ ней не свѣтъ, а тьму.

LXXXIX.

Параболы и басни, и поэмы
Стремятся свѣтъ неправдой обмануть;
Безъ свѣточа идемъ во мракѣ всѣ мы.
Кто къ истинѣ укажетъ свѣтлый путь?
Есть многія зловѣщія проблемы,
Что не даютъ свободно намъ вздохнуть,
Но разрѣшенья жизненныхъ вопросовъ
Не дастъ ни проповѣдникъ, ни философъ.

XC.

Мы въ вѣчномъ заблужденіи живемъ.
Пробьетъ ли часъ, когда мы будемъ правы?
Мы тщетно проявленья правды ждемъ,
Вкушая лишь безвѣрія отравы.
Пора бы небесамъ съ царящимъ зломъ
Вступить въ борьбу; исчезъ бы духъ лукавый
И палъ бы торжествующій порокъ,
Явись къ намъ, небомъ посланный пророкъ.

XCI.

Завязнулъ въ метафизикѣ я снова,
Хотя боюся споровъ, какъ огня;
Къ несчастію, судьба готова
На уголъ лбомъ наталкивать меня
Въ вопросахъ, потрясающихъ основы;
Но всѣмъ равно добра желаю я—
И тирскимъ полководцамъ, и троянцамъ,
(Всегда я былъ въ душѣ пресвитерьянцемъ).

XCII.

Хотя отъ крайнихъ мнѣній я бѣгу,
Хотья безпристрастенъ я и безкорыстенъ,
Но для Джонъ-Буля свято берегу
Значительный запасъ печальныхъ истинъ.
Мириться съ деспотизмомъ не могу
И произволъ всегда мнѣ ненавистенъ;
Какъ Гекла клокочу, когда народъ
Безропотно свой переноситъ гнетъ.

XCIII.

Не для того порокъ громилъ не разъ я,
Преслѣдуя тирановъ и ханжей,
Чтобъ достигать въ стихахъ разнообразья;
Нѣтъ я обязанъ исправлять людей
И смѣло обличаю безобразья
Для восхваленья нравственныхъ идей:
Теперь, чтобъ всѣ довольны были мною,
Загробный міръ предъ вами я открою.

XCIV.

Всѣ доводы оставивъ въ сторонѣ,
Пойду впередъ, чуждаясь жалкихъ бреденъ.
Я поклялся исправиться вполнѣ;
За что жъ поэтъ живьемъ врагами съѣденъ?
Я вовсе не опасенъ, вѣрьте мнѣ,—
Какъ многіе другіе, я безвреденъ,
Однако не язвятъ поэтовъ тѣхъ:
Хоть ихъ и больше трудъ—слабѣй успѣхъ.

XCV.

Читатель, ты встрѣчался ль съ привидѣньемъ?
А если нѣтъ, то ты слыхалъ не разъ,
Что духи есть. Вооружись терпѣньемъ,—
Теперь о нихъ я поведу разсказъ.
Не думай, что къ чудесному съ глумленьемъ
Я отнесусь. Насмѣшекъ не боясь,
Признаться долженъ я, что вѣрю духамъ
Вполнѣ по убѣжденью,—не по слухамъ.

XCVI.

Причины есть,—серьезныя притомъ...
Читатель! ты смѣешься; но съ тобою
Смѣяться я не буду; въ страшный домъ,
Гдѣ духи появляются порою,
Тебя привесть я могъ бы, но о немъ
Забыть стараюсь я: *„Лишить покою Ричарда могутъ духи“*. Міръ тѣней
Не разъ смущалъ меня въ тиши ночей.

XCVII.

Темна глухая ночь; ея покровы
Одѣли міръ. Пою лишь ночью я;
Вокругъ меня кричатъ уныло совы;
Съ старинныхъ стѣнъ портреты на меня
Бросаютъ взглядъ угрюмый и суровый.
Все спитъ кругомъ; въ каминѣ нѣтъ огня,
Лишь угли тлѣютъ, искорки бросая.
Меня приводитъ въ трепетъ ночь глухая.

CXVIII.

Я слишкомъ засидѣлся, спать пора;
Хоть днемъ я не пишу стихотвореній
(Тогда другимъ я занятъ)—до утра
Сдержу потокъ кипучихъ вдохновеній;
Меня страшитъ полночная пора;
Того гляди, явиться могутъ тѣни.
Читатель, на мое ты мѣсто стань—
И самъ заплатишь суевѣрью дань.

XCIX.

На грани двухъ міровъ, средь тьмы и свѣта
Мерцаетъ жизни тусклая звѣзда.
Зачѣмъ на свѣтѣ люди? Нѣтъ отвѣта;
Грядущее жъ темно. Бѣгутъ года;
Безжалостно насъ въ даль уноситъ Лета;
Въ ея волнахъ мы гибнемъ безъ слѣда;
Вѣка проходятъ длинной вереницей;
Наслѣдье жъ ихъ—лишь павшихъ царствъ гробницы.

ПѢСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ.

I.

Учили персовъ встарь: стрѣлять изъ лука,
Владѣть копьемъ и гнать сурово ложь.
Взрощенъ былъ славный Киръ такой наукой;
Сроднилась съ ней и наша молодежь;
Но только ей коня загнать не штука
И для нея тогда лишь лукъ хорошъ,
Когда съ двойной онъ сдѣланъ тетивою;
Всѣ лгутъ притомъ, но спины гнутъ дугою.

II.

„Печальный фактъ немыслимъ безъ причинъ",
Но недосугъ мнѣ заниматься ими.
Хотя грѣшокъ за мною не одинъ,
Хоть я бродилъ проселками глухими,
Все жъ мною созданъ цѣлый рядъ картинъ,
Что поражаютъ красками своими;
Притомъ всегда я искренность цѣнилъ
И велъ борьбу со зломъ по мѣрѣ силъ.

III.

Я въ мнѣньяхъ твердъ; что сказано, то свято.
Всегда я къ цѣли смѣло шелъ впередъ,
И пѣснь моя лишь правдою богата,
Хоть желчь я подливалъ порою въ медъ,
Но горечи, однако, маловато
Въ моихъ словахъ, коль примете въ разсчетъ,
Что съ музой говорить мы не стѣснялись
De rebus cunctis et quibusdam aliis.

IV.

Провозгласилъ не мало истинъ я,
Но будетъ всѣхъ безспорнѣй, безъ сомнѣнья
Та, о которой рѣчь пойдетъ моя.
Вы вѣрить не хотите въ привидѣнья,—
Но знаете ль вы тайны бытія?
Необъяснимы многія явленья.
Я докажу, что призраки—не дымъ;
Колумбъ былъ правъ, а кто жъ не спорилъ съ нимъ?

V.

Иные вѣрятъ хроникамъ Тюрпина
И Монмута; а всѣхъ сказаній ихъ
Чудесное—основа и причина.
Сомнѣнья всѣ разсѣять можетъ вмигъ
Авторитетъ святого Августина,
Онъ, что вполнѣ религію постигъ,
Чудесное условьемъ вѣры ставитъ
И „quia impossibile" лишь славитъ.

VI.

Итакъ всему, что невозможно, свѣтъ
Обязанъ смѣло вѣрить. Это ясно;
Къ тому же вѣрить на-слово совѣтъ
Я всѣмъ даю. Есть темы, что напрасно
Оспаривать; отъ преній толку нѣтъ;
Вопросы есть, что поднимать опасно;
Чѣмъ яростнѣй нападки, тѣмъ сильнѣй
Пускаетъ корни ложь въ сердца людей.

VII.

Замѣтьте, что ужъ шесть тысячелѣтій
Въ явленья духовъ вѣритъ родъ людской;
Хоть здравый смыслъ, бичуя бредни эти,

Воюетъ съ ними—тщетенъ жаркій бой:
Все жъ суевѣрье царствуетъ на свѣтѣ;
Навѣрно, что-то сильное горой
Стоитъ за духовъ, имъ служа защитой—
Такъ какъ же ихъ преслѣдовать открыто?

VIII.

И танцамъ, и веселой болтовнѣ
Насталъ конецъ; порядкомъ всѣ устали
И разошлись, мечтая лишь о снѣ;
Оконченъ пиръ; ужъ рѣчи нѣтъ о балѣ;
Какъ облако, что таетъ въ вышинѣ,
Послѣдняя исчезла дама; въ залѣ
Все смолкло; только были въ ней видны
Блескъ догоравшихъ свѣчъ и свѣтъ луны,

IX.

Конецъ пировъ веселыхъ схожъ съ бокаломъ,
Что пѣной серебристой неодѣтъ;
Съ системой философскою, что жаломъ
Язвитъ сомнѣнье злое, тяжкій вредъ
Тѣмъ нанося завѣтнымъ идеаламъ;
Иль съ зельтерской водой, гдѣ газа нѣтъ;
Иль съ волнами, что послѣ бури стонутъ,
Хоть небеса въ лазури яркой тонутъ.

X.

И опіумъ съ нимъ сходенъ. Таково
И сердце человѣка. Дать понятья
О немъ нельзя. Сравненья для него
Не въ состояньи даже и прибрать я—
Такъ намъ никто не скажетъ, изъ чего
Приготовлялся тирскій пурпуръ. Платья
Онъ украшалъ тирановъ. Дай то Богъ,
Чтобъ такъ, какъ онъ, ихъ слѣдъ исчезнуть могъ!

XI.

Несносно одѣваться! скучно тоже
Снимать нарядъ; печаленъ нашъ удѣлъ!
Халатъ, хотя съ нимъ платье Несса схоже,
Нашъ вѣрный другъ и намъ не надоѣлъ;
Въ часы хандры онъ намъ всего дороже.
О днѣ, погибшемъ даромъ, Титъ скорбѣлъ,
А дней такихъ какъ много въ жизни нашей!
(Бываютъ, впрочемъ, ночи, что ихъ краше).

XII.

Прійдя къ себѣ, взволнованъ былъ Жуанъ;
Невольно онъ все думалъ объ Аврорѣ;
Чтобъ облегчить судьбу сердечныхъ ранъ,
Онъ могъ бы философствовать, чѣмъ въ горѣ
Намъ утѣшаться легкій способъ данъ;
Но дѣло въ томъ, что мы всегда съ нимъ въ ссорѣ,
Когда онъ оказать бы помощь могъ.
Жуанъ вздыхалъ, но часто грустенъ вздохъ.

XIII.

Итакъ, вздыхалъ онъ томно, взоръ бросая
На полную луну. Какъ часто въ ней
Подругу находила скорбь нѣмая!
Луна—всѣхъ вздоховъ грустный мавзолей;
Слова: „О, ты" безсчетно повторяя,
Онъ отъ нея не отводилъ очей
И былъ готовъ ей посвятить посланье, —
Луна вѣдь любитъ нѣжныя признанья.

XIV.

Любовникъ, астрономъ, поэтъ, пастухъ
На лунный свѣтъ глядятъ съ любовью нѣжной;
Онъ ихъ живитъ и укрѣпляетъ духъ.
(При этомъ и простуды неизбѣжны).
Онъ нѣжныхъ тайнъ повѣренный и другъ;
Мечты людей и океанъ безбрежный
Ему подвластны; также свой законъ
Даетъ сердцамъ (коль вѣрить пѣснямъ) онъ.

XV.

Жуанъ не спалъ, плѣненъ мечтой игривой;
Подъ сводами готическихъ палатъ
Былъ ясно слышенъ ропотъ волнъ залива;
Заснувшій міръ молчаньемъ былъ объятъ.
Какъ водится, дрожа, шумѣла ива
Подъ окнами; вдали ревѣлъ каскадъ
И, освѣщенный блѣдною луною,
То вспыхивалъ, то вновь сливался съ тьмою.

XVI.

Горѣла на столѣ въ тотъ поздній часъ
У Донъ-Жуана лампа. (Въ самой спальной,
Въ уборной ли,—не знаю; мой разсказъ
Всегда правдивъ и точенъ). Взоръ печальный
Вдаль устремляя, къ нишѣ прислонясь,
Стоялъ Жуанъ. Красой монументальной,
Рѣзьбой и рядомъ стеколъ расписныхъ
Она являла слѣдъ временъ былыхъ.

XVII.

Дверь настежь отворивъ, хоть было поздно,
Жуанъ прошелся рядомъ галлерей,
Любуясь ночью ясной, но морозной.
Портреты дамъ и доблестныхъ вождей
Глядѣли непривѣтливо и грозно
При тускломъ блескѣ мѣсячныхъ лучей.
(Портреты мертвыхъ въ сумракѣ туманномъ
Пугаютъ взоръ невольно видомъ страннымъ).

XVIII.

Когда луна бросаетъ тусклый свѣтъ,
Живыми представляются намъ лики
Героевъ и святыхъ минувшихъ лѣтъ;
Намъ чудится, что мы ихъ слышимъ крики,
Что призраки бѣгутъ за нами вслѣдъ,
Носясь въ пространствѣ, сумрачны и дики,
И шепчутъ: „Что же сонъ бѣжитъ отъ васъ?
Теперь для мертвыхъ только бдѣнья часъ!"

XIX.

Улыбки дамъ, что стерло время злое
Съ лица земли, румянецъ ихъ ланитъ
И взглядовъ выраженіе живое
На полотнѣ—все это говоритъ
О царствѣ вѣчной тьмы. Портретъ, былое,
Все быстро въ мірѣ измѣняетъ видъ;
Еще картина въ раму не попала,
А прежняго ужъ нѣтъ оригинала.

XX.

О суетности жизни мой герой
Мечталъ, а можетъ быть о глазкахъ милой,
Что, впрочемъ, очень сходно. Тишиной
Объятъ былъ замокъ мрачный и унылый.
Какой то шорохъ вдругъ, смутясь душой,
Онъ услыхалъ; не мышь ли полъ точила?
Шумъ мыши за обоями не разъ
Смущалъ своей таинственностью насъ.

XXI.

Нѣтъ! мыши не избрали мѣстомъ сходки
Ту залу. Тихо шелъ по ней монахъ,
Пугая взоры странностью походки.
Завѣшенъ капюшономъ, онъ въ рукахъ
Перебиралъ, храня молчанье, четки;
Онъ шелъ, купаясь въ мѣсячныхъ лучахъ;
Когда жъ съ Жуаномъ очутился рядомъ,
Его окинулъ онъ сверкавшимъ взглядомъ.

XXII.

Жуанъ на мѣстѣ замеръ. Онъ слыхалъ,
Что въ замкѣ бродитъ тѣнь; но въ это чудо
Не вѣрилъ онъ. Когда же свѣтъ не лгалъ?
Лишь правду трудно вырвать изъ-подъ спуда.
(Такъ рѣдокъ въ обращеніи металлъ,
А между тѣмъ бумажныхъ денегъ груда).
Жуанъ стоялъ взволнованъ и смущенъ—
Ужель тотъ странный призракъ былъ не сонъ?

XXIII.

Три раза духъ прошелся предъ Жуаномъ,
Который не спускалъ съ него очей
И сходенъ былъ съ безмолвнымъ истуканомъ;
На головѣ его, какъ груда змѣй,
Сплетались волоса. Какъ бы арканомъ
Его душило что то. Безъ рѣчей
Стоялъ онъ передъ духомъ, страхомъ скованъ;
Не могъ сорвать съ себя его оковъ онъ.

XXIV.

Три раза духъ являлся. Безъ слѣда
Затѣмъ исчезло въ мракѣ привидѣнье;
Исчезло незамѣтно—но куда?
Дверей тамъ было много; безъ сомнѣнья,
Не только духъ—и смертный безъ труда
Уйти бы могъ, не возбудивъ смятенья;
Но Донъ Жуанъ, попавъ въ волшебный кругъ,
Не могъ понять, какъ скрылся мрачный духъ.

XXV.

Недвижно онъ стоялъ какъ изваянье,
Вперяя взоръ туда, гдѣ духъ предсталъ.
Какъ долго продолжалось ожиданье—
Жуанъ, объятый ужасомъ, не зналъ.
Казался вѣкомъ мигъ. Прійдя въ сознанье,
Себя хотѣлъ увѣрить онъ, что спалъ,—
Нѣтъ, наяву онъ увидалъ монаха!
И въ свой покой ушелъ, исполненъ страха.

XXVI.

Какъ прежде, лампа тамъ бросала свѣтъ,
Но не было въ немъ синяго отлива,
Чѣмъ духовъ обнаруживался слѣдъ
Во время оно. Очи торопливо
Протеръ Жуанъ и, пачку взявъ газетъ,
Двѣ-три статьи прочелъ безъ перерыва.
Въ одной изъ нихъ встрѣчали власть хулой;
Рекламу ваксѣ дѣлали въ другой.

XXVII.

Дѣйствительность опять предъ нимъ предстала,
Но руки продолжали все дрожать;
Онъ заперъ дверь; еще статью журнала
О Тукѣ прочиталъ и легъ въ кровать;
Прижался онъ къ подушкѣ; одѣяло
Накинулъ на себя и сталъ мечтать
О видѣнномъ. Хоть опіумъ, безъ спора,
Вѣрнѣй нагналъ бы сонъ — заснулъ онъ скоро.

XXVIII.

Чуть свѣтъ Жуанъ проснулся и не зналъ,
Какъ поступить: повѣдать ли о тѣни,
Таинственно бродившей въ mракѣ залъ,
Иль умолчать о ней? Онъ рядъ сомнѣній
Боялся возбудить; иной нахалъ
Могъ осмѣять разсказъ; въ недоумѣньи,
Жуанъ не зналъ, какъ лучше поступить;
Но вотъ слуга пришелъ его будить.

XXIX.

Съ обычнымъ прилежаніемъ не могъ онъ
Одѣться; быстро платье онъ надѣлъ;
На лобъ его небрежно падалъ локонъ;
Предъ зеркаломъ минуты не сидѣлъ
Въ тотъ день Жуанъ; казалося, поблекъ онъ
За эту ночь и такъ оторопѣлъ,
Что галстукомъ себя совсѣмъ сконфузилъ:
Былъ на боку его мудреный узелъ.

XXX.

За чайный столъ усѣлся онъ смущенъ
И вѣрно бъ не замѣтилъ чашки чая,
Что передъ нимъ стояла, если бъ онъ
Ей не обжегся. Блѣдность гробовая
Его лица, его унылый тонъ—
Всѣхъ тотчасъ поразили; но какая
Была причина тѣхъ его тревогъ—
Никто, конечно, угадать не могъ.

XXXI.

Внезапно Аделина поблѣднѣла,
Замѣтивъ, что Жуанъ унылъ и нѣмъ;
Въ то время лордъ нашелъ, что неумѣло
Тартинки приготовлены; межъ тѣмъ
Молчала герцогиня и глядѣла
Все время на Жуана; онъ никѣмъ
Не занимался, занятъ тайной думой;
Смутилъ Аврору видъ его угрюмый.

XXXII.

Замѣтя, что надъ нимъ стряслась бѣда,
Здоровъ ли онъ?—спросила Аделина.
Жуанъ, вздохнувъ, отвѣтилъ: „нѣтъ и да".
(Была жъ его волненію причина).
Домашній врачъ, что въ замкѣ жилъ всегда,
Испуганный Жуана грустной миной,
Его пощупать пульсъ ужъ былъ готовъ,
Но Донъ Жуанъ поклялся, что здоровъ

XXXIII.

Собравшійся кружокъ былъ чрезвычайно
Его противорѣчьями смущенъ;
Коль даже онъ не боленъ, все же крайне
Какимъ нибудь событьемъ потрясенъ;
Всѣ поняли, что у него есть тайна,
Скрываемая имъ; что если онъ
Нуждаться въ чьей нибудь и можетъ лептѣ,
То ужъ никакъ не въ докторскомъ рецептѣ.

XXXIV.

Тартинки съѣвъ, что раньше похулилъ,
И шоколадъ откушавъ, лордъ замѣтилъ,
Что Донъ Жуанъ болѣзненно унылъ,
Хоть нѣтъ дождя и день при этомъ свѣ-
телъ.
Затѣмъ у герцогини онъ спросилъ,
Что герцогъ на ея письмо отвѣтилъ;
Подагрою страдалъ ея супругъ.
(Подагра любитъ мучить высшій кругъ).

XXXV.

Затѣмъ къ Жуану обратился снова
Лордъ Генри и сказалъ: „Глядя на васъ,
Подумать могутъ всѣ,—даю вамъ слово,—
Что къ вамъ чернецъ являлся въ поздній
часъ!"
— „Я чернеца не знаю никакого",
Сказалъ Жуанъ, какъ будто удивясь.
Онъ видъ спокойный принялъ, въ той на-
деждѣ,
Что скроетъ страхъ, но сталъ блѣднѣй,
чѣмъ прежде.

XXXVI.

„Какъ, о монахѣ не слыхали вы?"
— „Нѣтъ, никогда".—„Я удивленъ не мало;
Такъ я вамъ повторю разсказъ молвы,
Что, впрочемъ, ложь не разъ распростра-
няла.
(Обычаи такіе не новы!)
Однако тѣнь являться рѣже стала,
Не знаю почему. Быть можетъ, ей
Отвага измѣнила прежнихъ дней.

XXXVII.

Въ послѣдній разъ явился инокъ черный"...
Тутъ лэди прервала разсказа нить,
Замѣтя, что Жуанъ молчитъ упорно
И страха своего не въ силахъ скрыть.
„Прервать разсказъ я васъ прошу покорно,—
Такъ молвила она: —коль вы шутить
Хотите, лучше темы есть для шутокъ;
Несносно повторенье старыхъ утокъ".

XXXVIII.

—„Въ годъ нашей свадьбы духъ явился
намъ;

Вы знаете, что говорю серьезно".
—„Зачѣмъ же, волю давъ своимъ мечтамъ,
О прошлыхъ дняхъ вы вспомнили такъ
поздно?
Я звуками легенду передамъ".
Тутъ лэди, какъ Діана граціозна,
Надъ арфою склонилась и съ душой
Сыграла пѣсню: *Жилъ монахъ сѣдой.*

XXXIX.

„Безъ словъ"—замѣтилъ лордъ—„темна
баллада;
Вы сочинили къ музыкѣ слова,
И, право, ихъ теперь вамъ спѣть бы надо!"
Какъ только до гостей дошла молва,
Что муза посѣщать милэди рада,
На славу барда ей даря права,
Всѣмъ захотѣлось слышать въ то жъ мгно-
венье
Ея игру, ея стихи и пѣнье.

XL.

Не соглашалась долго пѣть она
(Такъ принято, жеманство дамамъ мило;
Разстанется ли съ нимъ хотя бъ одна!),
Затѣмъ глаза милэди опустила
И, чувства неподдѣльнаго полна,
Запѣла, арфѣ вторя, съ дивной силой
И простотой, что рѣдкость въ наши дни:
Мы въ свѣтѣ видимъ вычуры одни.

БАЛЛАДА.

I.

Невольный страхъ внушаетъ черный инокъ!
Въ полночный часъ, во мглѣ,
Твердя слова таинственныхъ поминокъ,
Сидитъ онъ на скалѣ.
Лордъ Амондвиль старинную обитель
Повергъ когда-то въ прахъ,
Съ тѣхъ поръ остался въ ней, какъ вѣч-
ный житель,
Одинъ нѣмой монахъ.

2.

Явился лордъ, за тѣнь сопротивленья
Суля огонь и мечъ.
(Онъ, короля имѣя разрѣшенье,
Могъ убивать и жечь).
Но не ушелъ одинъ лишь инокъ гордый
И часто по ночамъ
Сталъ посѣщать и древній замокъ лорда,
И опустѣвшій храмъ.

3.

Для всѣхъ загадка: радость или горе
Сулитъ его приходъ.
Въ чертогѣ Амондвилей, съ свѣтомъ-въ
ссорѣ,
Всегда монахъ живетъ.
У брачнаго ихъ ложа, въ день вѣнчанья,
Витаетъ эта тѣнь,
Являясь—но чужда слезамъ страданья—
И въ ихъ кончины день.

4.

Когда у нихъ въ семьѣ наслѣдникъ новый,
Монаха слышенъ стонъ;
А если скорбь ихъ посѣтить готова,
По замку бродитъ онъ.
Беззвучно онъ скользитъ по мрачнымъ
заламъ
Средь мѣсячныхъ лучей;
Не виденъ ликъ его подъ покрываломъ,
Лишь ярокъ блескъ очей.

5.

Но это—очи призрака.. Безспорно,
Живя среди руинъ,—
Таинственный монахъ въ одеждѣ черной
Здѣсь властвуетъ одинъ.
Здѣсь только днемъ владыки—Амондвили,
А ночью онъ царитъ;
Его права столѣтья освятили—
Предъ нимъ кто не дрожитъ?

6.

Всегда хранитъ молчанье призракъ стран-
ный;
Людскіе голоса
Не слышитъ онъ, являяся нежданно,
Какъ на травѣ роса.
Кто бъ ни былъ этотъ блѣдный гость мо-
гилы,
Духъ свѣта или тьмы,—
За упокой души его унылой
Должны молиться мы!

XLI.

Умолкла Аделина; рокотъ нѣжный
Звенѣвшихъ струнъ съ пѣвицею утихъ;
Всѣ замерли; но вотъ насталъ мятежный
Восторженныхъ рукоплесканій мигъ.
(Въ салонахъ одобренья неизбѣжны;
Плодитъ порой одна учтивость ихъ).
Стихи, игра и голосъ Аделины
Овацій бурныхъ сдѣлались причиной.

XLII.

Талантъ, плѣнявшій силою своей,
Въ ея глазахъ имѣлъ значенья мало;
Онъ ей служилъ забавой, но друзей
Она порою голосомъ плѣняла;
Казалось всѣмъ, что нѣтъ претензій въ ней,
Въ душѣ жъ она тщеславіе скрывала
И доказать была всегда не прочь,
Что всякій трудъ легко ей превозмочь.

XLIII.

Не такъ ли (не сердитесь за сравненье,
Что крайне педантично) циникъ разъ
Хотѣлъ Платона вывесть изъ терпѣнья,
Надъ гордостью философа глумясь?
Коверъ его испортивъ въ озлобленьи,
Свою гордыню только на показъ
Онъ выставилъ; сконфуженный не мало,
„Аттической пчелы" узналъ онъ жало.

XLIV.

То Аделина дѣлала шутя,
Что дѣлаютъ, рисуясь, дилетанты,
Которые, тщеславью дань платя,
Готовы превращать свои таланты
Въ профессію. Не вправѣ ль это я
Сказать, когда дѣвицы-музыканты
Немилосердно слухъ терзаютъ нашъ,
Тѣмъ приводя въ восторгъ своихъ мамашъ.

XLV.

О вечера съ дуэтами и тріо,
Какъ безконечно длинны вы подчасъ!
Всѣ эти „Mamma mia", „Amor mio"
Намъ доводилось слушать сотни разъ;
Забыть ли и дрожащее „addio"?
Мы португальцевъ пѣснь „Tu mi chamass"
Готовы пѣть; міръ итальянскихъ пѣсенъ
Для меломановъ-бриттовъ вѣрно тѣсенъ.

XLVI.

Бравурныхъ арій бріо и задоръ
Передавать любила Аделина;
Она любила также пѣсни горъ
Шотландіи и свѣтлаго Эрина;
Напѣвы тѣ, слезой туманя взоръ
Изгнанника, знакомыя картины
Рисуютъ передъ нимъ. Увы! онѣ
Ему являться могутъ лишь во снѣ.

XLVII.

Она порою тѣшилась стихами,
Но не всегда записывала ихъ;
Какъ водится, смѣялась надъ друзьями,
Ихъ въ эпиграммахъ не щадя своихъ;
Но не якшалась съ синими чулками
И Попа (къ удивленію иныхъ)
Считала замѣчательнымъ поэтомъ,
Публично признаваться смѣя въ этомъ.

XLVIII.

Аврора же, мнѣ кажется, была
Во всемъ значеньи слова типъ Шекспира:
Она средь сферъ, казалося, жила,
Что далеки отъ суетнаго міра,
И потому, душой чуждаясь зла,
Здѣсь не могла создать себѣ кумира.
Ея былъ всеобъемлющъ свѣтлый умъ,
Но свѣтъ не зналъ ея глубокихъ думъ.

XLIX.

Съ ней герцогиня Фицъ-Фолькъ сходства мало
Имѣла. Эта Геба среднихъ лѣтъ
Свой умъ лишь въ оживленьи проявляла.
Ея лицо ума являло слѣдъ,
Ея языкъ язвилъ порой, какъ жало.
Такъ что же въ томъ? Безъ яда дамы нѣтъ;
Не будь ехидствомъ женщинъ свѣтъ терзаемъ,
Земля могла бъ намъ показаться раемъ.

L.

Къ поэзіи и музамъ холодна,
Она читала „Батскій Гидъ" порою
И трудъ Гайлея: „Кроткая жена",
Къ той книгѣ относясь всегда съ хвалою;
Какъ въ зеркалѣ, въ ней видѣла она
Всѣ муки, что ей бракъ принесъ съ собою;
Стихи жъ она лишь признавала тѣ,
Что дань ея платили красотѣ.

LI.

Зачѣмъ свою балладу лэди спѣла,
Замѣтивъ, что таинственную связь
Тревога Донъ Жуана съ ней имѣла?
Желала ли она, надъ нимъ смѣясь,
Его сконфузить выходкою смѣлой,
Иль можетъ быть, наоборотъ какъ разъ,
Желала, чтобъ онъ вѣрилъ въ привидѣнье?
Не разрѣшить мнѣ вашего сомнѣнья.

LII.

Однако жъ, моментально мой герой
Пришелъ въ себя, простясь съ своей тревогой;
Кто занимаетъ общество собой —
Обязанъ съ нимъ идти одной дорогой.

Съ ханжами въ свѣтѣ надо быть ханжой,
Подчасъ шутить, подчасъ держаться строго;
Безъ маски лицемѣрья трудно намъ
Не вывесть изъ себя капризныхъ дамъ.

LIII.

Жуанъ, совсѣмъ оправясь отъ смятенья,
Сталъ уязвлять насмѣшками тѣней;
Не придавала призракамъ значенья
И герцогиня. Знать хотѣлось ей
Обычаи и нравы привидѣнья,
Когда оно средь мрака галлерей
Является, покорно вражьей силѣ,
Въ дни свадебъ и въ дни смерти Амондвилей.

LIV.

Но все ужъ было сказано о немъ;
Одни считали духа небылицей
И жалкимъ суевѣрія плодомъ;
Другіе же держалися традицій
И вѣрили, что въ сумракѣ ночномъ
Порою бродитъ призракъ блѣднолицый.
Не нравился Жуану этотъ споръ
И онъ замять старался разговоръ.

LV.

Но пробилъ часъ, и расходиться стало
Все общество; къ бездѣлію однихъ,
Другихъ же къ дѣлу утро призывало;
Для нѣкоторыхъ утро длилось мигъ,
Для прочихъ же шло медленно и вяло.
Заводскій конь со стаею борзыхъ
Скакалъ въ тотъ день, и большинство собранья
Пошло смотрѣть на это состязанье.

LVI.

Еще торгашъ пріѣхалъ. Онъ привезъ
Картину Тиціана, что дивила
Красою всѣхъ художниковъ. Хоть спросъ
Былъ на нее большой (вѣдь, геній—сила!)
Но даже королю не удалось
Ее купить. На это не хватило
Тѣхъ денегъ, что король, страну любя,
Съ нея беретъ, чтобъ содержать себя.

LVII.

Картины той счастливый обладатель,
Узнавъ, что лордъ — знатокъ и меценатъ
И рѣдкостей извѣстный собиратель,
Привезъ ему свой драгоцѣнный кладъ;
Ему цѣнитель милъ—не покупатель;
И дивную картину онъ бы радъ
Такому знатоку отдать безъ денегъ,
Не будь теперь карманъ его пустенекъ.

LVIII.

Тамъ архитекторъ былъ: пріѣхалъ онъ,
Чтобъ привести въ исправность тѣ постройки,
Что тронули года; со всѣхъ сторонъ
Аббатство осмотрѣвъ, строитель бойкій
Рѣшилъ, что замокъ долженъ быть снесенъ, —
Не лучше ль, бросивъ къ чорту перестройки,
Готическій чертогъ воздвигнуть вновь?
(Вотъ къ памятникамъ древности любовь!)

LIX.

Потребуются жалкія затраты...
(Такъ зодчіе всегда намъ говорятъ,
Но какъ ихъ смѣтъ плачевны результаты!
Лишь шагъ впередъ—и тысячи летятъ).
Прославятъ лорда пышныя палаты,
Что красотою прежнія затмятъ.
Всѣхъ удивитъ готическое зданье —
Гиней британскихъ гордое созданье.

LX.

Тамъ были два дѣльца; они заемъ,
Залогомъ обезпеченный, хотѣли
Устроить для милорда и притомъ
Двѣ тяжбы завести въ виду имѣли,
Чтобъ руки понагрѣть. Какъ агрономъ,
Преслѣдуя хозяйственныя цѣли,
Лордъ Генри въ замкѣ выставку открылъ—
Улучшенныхъ породъ: онъ скотъ любилъ.

LXI.

Захваченные констэблемъ суровымъ,
Два браконьера были также тамъ
Съ крестьянкой молодой въ плащѣ пунцовомъ.
(Не любъ мнѣ тотъ нарядъ, признаюсь вамъ;
Меня онъ въ грѣхъ вводилъ, а съ добрымъ словомъ
Не отношуся я къ былымъ грѣхамъ!)
Тотъ алый плащъ, развернутый случайно,
Двухъ лицъ въ одномъ порой являетъ тайну.

LXII.

(Подобный фактъ вполнѣ необъяснимъ;
Его лицо мы видимъ наизнанку;
Рѣшить предоставляю я другимъ,
Какъ мотовило можно всунуть въ стклянку).
Лордъ Генри былъ судьею мировымъ
И строгій констэбль Скутъ, поймавъ крестьянку
Въ любовномъ браконьерствѣ, чтя законъ,
Ее привелъ (о нравахъ пекся онъ).

LXIII.

Сознаться надо,—судьямъ дѣла много;
Ихъ попеченьямъ просто нѣтъ границъ;
Они и дичь оберегаютъ строго,
И охраняютъ нравственность дѣвицъ,
Стараясь ихъ вести прямой дорогой.
Легко ль оберегать звѣрей и птицъ,
Не забывая дѣвушекъ красивыхъ?
Заботы тѣ изъ самыхъ щекотливыхъ.

LXIV.

Казалось, у виновной на щекахъ
Не краски жизни видны, а бѣлила;
Межъ тѣмъ всѣ лица свѣжи въ деревняхъ
И блѣдны только модныя свѣтила
(Въ минуту пробужденья); робость, страхъ
Дышали въ ней; бѣдняжкѣ стыдно было—
Вотъ почему она была блѣдна;
Краснѣть умѣетъ только знать одна.

LXV.

Она склоняла долу взоръ печальный,
Чтобъ слезы скрыть, что капали изъ глазъ;
И плаксой не была сантиментальной,
Что выставляетъ чувства на показъ;
Не будучи достаточно нахальной,
Чтобъ зломъ платить за зло, она, трясясь
Отъ страха и тяжелаго томленья,
Ждала съ тоской судебнаго рѣшенья.

LXVI.

Конечно, лица, собранныя тамъ,
Далеко находились отъ гостиной,
Гдѣ раздавался говоръ милыхъ дамъ;
Дѣльцы сидѣли въ кабинетѣ чинно;
Крестьянамъ, браконьерамъ и быкамъ
Обширный дворъ обители старинной
Давалъ пріютъ; въ пріемной помѣстясь,
Торгашъ и зодчій ждали счастья часъ.

LXVII.

Въ то время, какъ сидѣлъ за кружкой эля
Суровый Скутъ (онъ пива не любилъ
За то, что въ томъ напиткѣ мало хмеля,
И только съ крѣпкимъ элемъ друженъ былъ),
Несчастная крестьянка, еле-еле
Живая и почти лишившись силъ,
Ждала въ огромной залѣ, чтобъ безъ фальши
Судья рѣшилъ, что бѣдной дѣлать дальше.

LXVIII.

Какъ видите, лордъ, не жалѣя силъ,
Трудился, помышляя о побѣдѣ
На выборахъ. Кому успѣхъ не милъ!
Въ тотъ самый день весь округъ на обѣдѣ
Присутствовать у лорда долженъ былъ;
Землевладѣльцы крупные сосѣдей
Сбираютъ у себя въ недѣлю разъ;
Такъ искони заведено у насъ.

LXIX.

Не будучи приглашены заранѣ
(Разъ навсегда ужъ каждый званъ сосѣдъ),
Являлись къ лорду мѣстные дворяне
Въ извѣстный день недѣли на обѣдъ,
Чтобъ всласть поѣсть, не забывая дани,
Что Бахусъ радъ принять. Въ тѣ дни бесѣдъ
Мотивъ всегда былъ тотъ же: злы и колки,
О выборахъ шли за обѣдомъ толки.

LXX.

Лордъ Генри въ ходъ пускалъ уловокъ тьму,
Чтобъ одержать побѣду, но затраты
Значительныя дѣлалъ потому,
Что съ нимъ тягался знатный и богатый
Шотландскій графъ, съ нимъ равный по уму
И дружный съ оппозиціей палаты.
(Хоть личный эгоизмъ для всѣхъ законъ,
Былъ фракціи ему враждебной онъ).

LXXI.

Вотъ почему лордъ Генри мелкимъ бѣсомъ
Предъ всѣми разсыпался и душой
Казался преданъ мѣстнымъ интересамъ:
Однихъ привлечь стараясь добротой,
Протекціей другихъ (вѣдь, лордъ былъ съ вѣсомъ),
Онъ рядомъ обѣщаній округъ свой
Задабривалъ и дѣлалъ ихъ такъ много,
Что даже имъ не могъ подвесть итога.

LXXII.

Землевладѣльцевъ и свободы другъ,
Онъ преданъ былъ правительству съ тѣмъ вмѣстѣ;
Положимъ, службѣ онъ дарилъ досугъ
И находился при доходномъ мѣстѣ, —
Но могъ ли онъ лишать своихъ услугъ
Монарха? Не заботясь о протестѣ
Противниковъ и съ ними на ножахъ,
Почтенный лордъ былъ всякихъ новшествъ врагъ.

LXXIII.

Лордъ Генри нападалъ на нихъ съ отвагой
И находилъ, что къ нимъ опасна страсть;
Готовый всѣмъ пожертвовать для блага
Родной страны и видя въ нихъ напасть,
Онъ долженъ былъ вести борьбу съ ватагой,

Что рада бы въ странѣ низринуть власть;
Не мѣсто жъ онъ оберегалъ, конечно,
Что денегъ не даетъ, а мучитъ вѣчно.

LXXIV.

Онъ говорилъ, что знаетъ только Богъ,
Какъ противъ воли службою онъ связанъ,
Какъ рвется сердцемъ къ жизни безъ тре-
вогъ;
Но короля онъ защищать обязанъ,
Когда мятежъ готовитъ демагогъ,
Идя путемъ, который не указанъ, —
Когда порвать тѣ цѣпи хочетъ онъ,
Что связываютъ лордовъ, чернь и тронъ.

LXXV.

Пусть будетъ лагерь красныхъ недоволенъ,
Все жъ мѣсто онъ оставитъ за собой,
Пока не будетъ форменно уволенъ.
Онъ хочетъ только долгъ исполнить свой
Безъ помысловъ корыстныхъ. Обездоленъ,
Конечно, будетъ край его родной,
Коль должности всѣ уничтожатъ разомъ;
Но Англію считаетъ онъ алмазомъ.

LXXVI.

Онъ все же независимѣе тѣхъ,
Которыхъ не удерживаетъ плата;
Такое мнѣнье выразить не грѣхъ:
Вѣдь новобранецъ стараго солдата
Не стоитъ; такъ блудницу ждетъ успѣхъ,
Когда коснется дѣло до разврата;
Министръ, когда его надмененъ видъ,
Съ лакеемъ схожъ, что нищаго язвитъ.

LXXVII.

За исключеньемъ фразъ строфы послѣдней,
Все это лордъ въ собраньяхъ повторялъ.
Увы, для насъ не новость эти бредни!
Правительству служащій либералъ
Ихъ повторяетъ въ залѣ и передней..
Но чу! звонокъ къ обѣду прозвучалъ,
Псаломъ прочтенъ, и мнѣ бъ молиться надо,
Да слишкомъ опоздалъ я — вотъ досада!

LXXVIII.

То былъ большой обѣдъ, достойный дней,
Когда гордилась Англія пирами.
(Какъ будто можно жадностью людей
Гордиться и накрытыми столами!)
Что можетъ быть такихъ пировъ скучнѣй?
Отдѣлываясь общими мѣстами,
Безъ оживленья гости рѣчь ведутъ.
Яствъ много, но не счесть простывшихъ
блюдъ.

LXXIX.

Въ тѣ дни мелкопомѣстные сосѣди
Развязно-чинный тонъ пускаютъ въ ходъ;
Съ вниманіемъ относятся къ нимъ лэди
И лорды (верхъ надъ всѣмъ беретъ раз-
счетъ).
Не по себѣ и слугамъ на обѣдѣ;
Оплошность съ рукъ имъ даромъ не сойдетъ:
Вѣдь могутъ за неловкія услуги
Лишиться мѣстъ и господа, и слуги.

LXXX.

Охотниковъ и спортсмэновъ лихихъ
Порядкомъ было тамъ; одни хвалили
Своихъ коней; другіе — псовъ своихъ,
Не мало всѣмъ въ глаза пуская пыли.
Дородные пасторы, благъ земныхъ
Усердные поклонники, тамъ были;
Но не псалмы на умъ пасторамъ шли—
Однѣ лишь пѣсни грѣшныя земли.

LXXXI.

У лорда остроумье проявляли
Весельчаки сосѣднихъ деревень;
Встрѣчались тамъ и дэнди, что вздыхали
О городѣ, гдѣ легче холить лѣнь,
Гдѣ по утрамъ они такъ сладко спали;
Сидѣлъ со мною рядомъ въ этотъ день
Викарій Питъ, что крикомъ на обѣдѣ
Всѣхъ оглушалъ испуганныхъ сосѣдей.

LXXXII.

Находчивъ и остеръ, онъ былъ въ чести
У знати. Роль играя лизоблюда,
Искусно онъ умѣлъ дѣла вести
И въ ходъ пошелъ, что далеко не чудо.
Но Промысла невѣдомы пути;
Не знаемъ мы, что хорошо, что худо:
Приходъ онъ получилъ въ странѣ болотъ,
Гдѣ лихорадки царствуютъ весь годъ.

LXXXIII.

Шутя онъ проповѣдывалъ и шутку
Порою въ наставленье превращалъ;
Но тамъ его bon mot иль прибаутку
Народъ неразвитой не понималъ.
Увы! пришлося краснобаю жутко;
Ни отъ кого не слышалъ онъ похвалъ,
И для того, чтобъ нравиться народу,
Кривляться долженъ былъ ему въ угоду.

LXXXIV.

Есть разница—такъ пѣсня учитъ насъ—
Межъ гордой королевой и холопкой.

Хотя съ женой вѣнчанною подчасъ
Обходятся грубѣй, чѣмъ съ нищей робкой.
Простой горшокъ не стоитъ цѣнныхъ вазъ
И ростбифа съ спартанскою похлебкой
Сравнить нельзя, хоть не одинъ герой
Былъ вскормленъ этой пищею простой.

LXXXV.

Однако же ничто такъ не различно,
Какъ городъ и деревня. Кто ведетъ
Интриги и на жизнь глядитъ практично;
Кто хочетъ честолюбья горькій плодъ
Вкусить, идя дорогою обычной, —
Тотъ, безъ сомнѣнья, городъ предпочтетъ,
Гдѣ легче скрыть мучительныя раны
И выполнить свои удобнѣй планы.

LXXXVI.

Эроту скучны шумные пиры;
Въ кругу друзей и Вакха, и Цереры
Плоды намъ сладки. Къ смертному добры
Тѣ боги и притомъ — друзья Венеры;
Шампанское и трюфеля — дары,
Которые ей любы. Чувство мѣры
Отрадно ей, но, не мирясь съ постомъ,
Она его считаетъ тяжкимъ зломъ.

LXXXVII.

Былъ скуки полнъ пріемъ офиціальный,
Хоть лязгъ ножей на битву походилъ;
Всегда шумливъ обѣдъ провинціальный.
Жуанъ сидѣлъ, разсѣянъ и унылъ,
Какой-то занятъ думою печальной.
Ужъ дважды рыбы у него просилъ
Одинъ субъектъ, что рядомъ съ нимъ обѣдалъ,
Но все жъ Жуанъ сосѣду рыбы не далъ.

LXXXVIII.

Какъ въ третій разъ тарелку протянулъ
Къ нему сосѣдъ съ замѣтною досадой,
Жуанъ, прійдя въ себя, на всѣхъ взглянулъ.
И что жъ? Надъ нимъ смѣялись. Хуже яда
Для умныхъ смѣхъ глупцовъ. Свирѣпо ткнулъ
Онъ ложкой въ блюдо рыбы (промахъ надо
Поправить свой!) и, не жалѣя силъ,
Сосѣду онъ полъ-рыбы отвалилъ.

LXXXIX.

Сосѣдъ сказалъ ему за то спасибо:
Онъ былъ обжора; но проснулась злость
Въ другихъ, когда имъ улыбнулась рыба.
(Не очень-то глодать пріятно кость!)
Къ тому жъ Жуанъ такого былъ пошиба,
Что цѣнъ не зналъ базарныхъ. Вотъ такъ гость!
За то, что лордъ зоветъ юнцовъ незрѣлыхъ,
Онъ трехъ шаровъ въ тотъ день лишился бѣлыхъ.

XC.

Вѣдь не могли, конечно, гости знать,
Что Донъ Жуанъ отъ призрака въ смущеньи;
Да это ихъ и не могло бъ занять:
Одинъ разсчетъ имѣлъ для нихъ значенье
И клалъ на лица ихъ свою печать.
Глядя на нихъ, являлось подозрѣнье,
Что нѣтъ у нихъ души, а если есть —
Какой ей крестъ тяжелый надо несть!

XCI.

Жуана непонятная тревога
Интриговала сквайровъ и ихъ женъ:
Извѣстно было имъ, что въ свѣтѣ много
Одерживалъ побѣдъ блестящихъ онъ.
Вѣдь мелкота слѣдитъ за знатью строго,
Лишь признавая высшихъ сферъ законъ.
Все то, что въ замкѣ дѣлалось, не мало
Всѣхъ этихъ мелкихъ сошекъ занимало.

XCII.

Жуана не печалилъ неуспѣхъ:
Въ такой средѣ онъ былъ ему не нуженъ,
Но, увидавъ Авроры милой смѣхъ,
Онъ этимъ былъ взволнованъ и сконфуженъ.
(Причину смѣха скрыть не въ власти тѣхъ,
Съ которыми онъ въ жизни рѣдко друженъ).
Хоть отъ Авроры Донъ Жуанъ любви
Не ждалъ,— огонь пылалъ въ его крови.

XCIII.

Онъ покраснѣлъ невольно отъ досады,
Утративъ власть надъ волею своей;
А уязвлять могли ль Авроры взгляды?
Онъ жалость въ нихъ прочесть бы могъ скорѣй,
Чѣмъ осужденье; полонъ былъ отрады
Тотъ свѣтлый фактъ, что онъ замѣченъ ей.
Ему бы это бросилося въ очи,
Не будь испуганъ онъ видѣньемъ ночи.

XCIV.

Но горе въ томъ, что, не смутясь ничуть,
Она, какъ Донъ Жуанъ, не покраснѣла;
Пришлося все жъ ей въ сторону взглянуть:
Она, волнуясь, блѣдность скрыть хотѣла.

Не безпокойство ль ей сдавило грудь?
Не знаю; мнѣ до этого нѣтъ дѣла...
Но впрочемъ яркихъ красокъ никогда
Въ ея лицѣ не видѣлось слѣда.

XCV.

Усердно занимала Аделина
Своихъ гостей; любезна и мила,
Имъ предлагая кушанья и вина,
Она ихъ всѣхъ совсѣмъ съ ума свела,
Но важная на то была причина:
Она устроить мужнины дѣла
Старалась; чтобъ на выборахъ скандала
Не вышло, всѣхъ она равно ласкала.

XCVI.

Она въ глаза бросала ловко пыль
И роль играла съ легкостью такою,
Съ какой протанцовала бы кадриль,
Вполнѣ своей довольная судьбою;
Но по душѣ прійтися ей могли ль
Труды такіе? Бѣглый взглядъ порою
Лишь выдавалъ ее, и Донъ Жуанъ
Подумать могъ, что ей присущъ обманъ.

XCVII.

Умѣніе разыгрывать всѣ роли—
По мнѣнью многихъ—знакъ, что сердца
нѣтъ;
Но ложенъ взглядъ такой; порою воли,
А не искусства въ этомъ виденъ слѣдъ;
Напраслиной не разъ глаза кололи;
Сливаются жъ порою мракъ и свѣтъ!
И тотъ, кто впечатлѣнью мига вѣренъ—
По моему, никакъ не лицемѣренъ.

XCVIII.

Поэтовъ, дипломатовъ, болтуновъ
Нерѣдко это свойство создавало;
Героевъ иногда, но мудрецовъ,
Конечно, нѣтъ. Мужей великихъ мало,
А много умныхъ знаемъ мы головъ;
Ораторовъ когда же не хватало?
А финансисты рѣдки въ наши дни;
Лишь цифрами морочатъ насъ они.

XCIX.

Поэты ариѳметики задачи
По своему рѣшаютъ. Доказать
Они способны, такъ или иначе,
Что дважды два даетъ въ итогѣ пять.
Намъ дорого ихъ стоятъ неудачи:
Четыре въ три умѣя превращать,
Они на части рвутъ доходы наши,
А все жъ намъ жизнь отъ этого не краше.

C.

Шалунья герцогиня, между тѣмъ,
Не подавая виду, подмѣчала
Всѣ стороны смѣшныя и за всѣмъ
Слѣдила, но скрывать умѣла жало.
Для свѣтскихъ пчелъ такой цвѣтникъ—
Эдемъ;
Онъ меду въ даръ приноситъ имъ не мало.
Собравъ его въ количествѣ большомъ,
Онѣ имъ наслаждаются потомъ.

CI.

Въ роскошномъ замкѣ день прошелъ от-
лично;
Вотъ поданъ кофе; кончился обѣдъ.
Присѣвъ, какъ присѣдать въ глуши при-
лично,
Простились дамы; гости ждутъ каретъ.
Раскланявшись съ неловкостью обычной,
За женами ушли супруги вслѣдъ,
Хваля любезность лорда на обѣдѣ
И въ полномъ восхищеньи отъ миледи.

CII.

Ея сердечность, тактъ хвалили всѣ,
Такъ искренность въ ея лицѣ дышала,
Какъ солнца лучъ играетъ на росѣ;
Она по праву мѣсто занимала;
Ея уму дивились и красѣ;
Предъ ней и зависть голову склоняла;
Хвалили также всѣ ея нарядъ,
Что былъ такъ простъ и вмѣстѣ съ тѣмъ
богатъ.

CIII.

Межъ тѣмъ она доказывать старалась,
Что вѣренъ взглядъ уѣхавшихъ гостей;
У нихъ въ долгу она не оставалась:
За скуку, что пришлось извѣдать ей,
Ихъ чествуя, порядкомъ всѣмъ досталось.
Смѣшныхъ припомнивъ много мелочей,
Отдѣлала милэди безъ пощады
Прически ихъ, манеры и наряды.

CIV.

Она сама атаку не вела,
За то другихъ къ насмѣшкамъ подбивала.
(Такъ Адиссона „робкая хвала"
Хвалимыхъ имъ порою убивала.)
Остротамъ, шуткамъ не было числа.
Когда меня язвитъ злословья жало,
Друзья, прошу не защищать меня:
Защиты я боюся, какъ огня.

CV.

Не принималъ участья въ этомъ хорѣ
Забавныхъ эпиграммъ и шутокъ злыхъ
Лишь Донъ Жуанъ; а также и Аврорѣ,
Казалось, вовсе дѣла нѣтъ до нихъ.
Любя блистать въ веселомъ разговорѣ,
Не отставалъ онъ прежде отъ другихъ;
А тутъ сидѣлъ унылый и угрюмый,
Какой то удрученъ тревожной думой.

CVI.

За то, что онъ не расточаетъ брань
Заочно и—въ порывѣ озлобленья—
Злословію, какъ всѣ, не платитъ дань,
Онъ заслужилъ Авроры одобренье.
(Должна же быть и злоязычью грань).
Хоть не имѣло этого значенья
Его молчанье—все жъ Жуанъ былъ радъ,
Что встрѣтить могъ Авроры добрый взглядъ.

CVII.

Итакъ могильный гость, печать молчанья
Жуану наложивши на уста,
Помогъ ему добиться той вниманья,
Къ которой все рвалась его мечта;
Аврора воскресила въ немъ страданья
Минувшихъ дней; но дѣвственно чиста
Была такая страсть, что воплощала
Въ себѣ святую жажду идеала.

CVIII.

Такое чувство—свѣтлая любовь
Къ прекрасному, желанье лучшей доли;
Съ надеждой насъ оно сродняетъ вновь;
Съ нимъ жалокъ „свѣтъ". Намъ тяжекъ гнетъ неволи,
Когда оно намъ согрѣваетъ кровь.
Любимый взглядъ даритъ намъ счастья болѣ,
Чѣмъ обольщенья славы. Если страсть
Клокочетъ въ насъ, какъ ихъ ничтожна власть!

CIX.

Хоть меркнутъ и лучи и дни безъ счета,
Хоть времени на всемъ видна печать,
Не перестанетъ міръ, ища оплота,
Къ Венерѣ страстной руки простирать.
Одинъ Анакреонъ стрѣлу Эрота
Могъ свѣжимъ миртомъ вѣчно украшать.
А все жъ, усердно чествуя Венеру,
Не въ силахъ мы въ нее утратить вѣру.

CX.

Когда настала полночь, въ свой покой
Ушелъ Жуанъ. Мы смѣло думать можемъ,
Что не ко сну стремился мой герой,
Не макъ, а ивы вѣяли надъ ложемъ
Жуана. Грезъ его баюкалъ рой;
Онъ былъ такими думами тревожимъ,
Что въ скептикѣ лишь пробуждаютъ смѣхъ,
Влюбленнымъ же готовятъ рядъ утѣхъ.

CXI.

Луна, какъ въ ночь прошедшую свѣтила.
Жуанъ—по платью сущій sans-culotte—
Сидѣлъ въ одномъ халатѣ. Трудно бъ было
Костюмъ придумать легче. Только тотъ,
Кто сталкивался въ жизни съ вражьей силой—
Жуана положеніе пойметъ.
Онъ ожидалъ, конечно, не безъ страха
Вторичнаго явленія монаха.

CXII.

Онъ ожидалъ не тщетно... Чу! слышны,
Вселяя страхъ, глухіе звуки гдѣ-то...
Не крадется ли призракъ вдоль стѣны?
Ахъ! чортъ ее побралъ бы—кошка это!
Ея шаги чуть слышные сходны
Съ походкою жильца иного свѣта
Иль барышни, что ночью въ первый разъ
Спѣшитъ на rendez-vous, всего боясь.

CXIII.

Опять!.. То появленье ль силы вражьей,
Иль просто вѣтеръ? Съ мѣрностью стиховъ
(Мѣрнѣе виршъ поэтовъ новыхъ даже)—
Идетъ монахъ таинственъ и суровъ.
Все спитъ кругомъ; темно во всемъ этажѣ;
Глухая ночь бросаетъ свой покровъ;
Алмазами свѣтилъ лишь небо блещетъ;
Жуанъ глядитъ на духа и трепещетъ.

CXIV.

На скрипъ стекла, что мокрымъ пальцемъ трутъ,
На шумъ дождя, что раздается глухо,
Похожъ былъ рѣзкій звукъ, который тутъ
Нежданно до его донесся слуха.
Смутился онъ, и это всѣ поймутъ:
Кого не потрясетъ явленье духа?
Кто даже слѣпо вѣритъ въ міръ иной—
Боится съ нимъ вступать въ союзъ прямой.

CXV.

Съ открытымъ ртомъ, глаза раскрывши тоже,
Стоялъ Жуанъ. Отъ страха смертный нѣмъ,
А ротъ онъ раскрываетъ, и похоже,
Что рѣчь сказать намѣренъ. Между тѣмъ
Все приближался, страхъ Жуана множа,
Могильный гость. Глаза и ротъ совсѣмъ
Раскрывъ, стоялъ Жуанъ; въ немъ сердце билось,
А вотъ и дверь таинственно раскрылась.

CXVI.

И шумъ, и скрипъ въ зловѣщій гулъ слились,
Напоминая Данта стихъ тревожный:
„Входя сюда, съ надеждою простись!“
Предъ силою безплотной какъ ничтожна
Земная плоть! Герой, какъ ни храбрись,
Тебѣ бороться съ духомъ невозможно!
Вѣдь плоти нѣтъ защиты отъ тѣней,—
Вотъ почему при нихъ такъ страшно ей.

CXVII.

Со скрипомъ дверь скользить на петляхъ стала
И растворилась тихо. Все кругомъ,
Одѣто тьмой, таинственно молчало;
Двѣ свѣчи у Жуана хоть огнемъ
Горѣли яркимъ, все жъ свѣтили мало.
И вотъ у двери, въ сумракѣ ночномъ,
Явился инокъ въ черномъ капюшонѣ,
Играя роль пятна на темномъ фонѣ.

CXVIII.

Сначала испугался Донъ Жуанъ,
Затѣмъ въ немъ пробудилося сомнѣнье;
Что если этотъ призракъ—лишь обманъ?
Стыдясь своей ошибки, въ то жъ мгновенье
Онъ, бодръ душою, выпрямилъ свой станъ
И, всякія отбросивъ опасенья,
Рѣшился доказать, что плоть съ душой
Не могутъ быть слабѣй души одной.

CXIX.

Испугъ его сталъ гнѣвомъ. Свирѣпѣя,
Жуанъ къ дверямъ направился. Монахъ
Попятился немного; не робѣя,
Жуанъ пошелъ за нимъ, отбросивъ страхъ;
Узнать хотѣлъ онъ правду. Пламенѣя,
Въ немъ кровь струилась; гнѣвъ сверкалъ въ очахъ;
Монахъ, что отступалъ, грозясь рукою,
Остановился, встрѣтившись съ стѣною.

CXX.

Онъ въ статую, казалось, превращенъ;
Жуанъ хотѣлъ схватить его руками,
Но до стѣны лишь дотронулся онъ,
Стѣны, одѣтой лунными лучами.
Онъ этимъ былъ испуганъ и смущенъ.
Но можно ль—посудите только сами—
Не испугаться чуда? Міръ тѣней
Пугаетъ насъ безплотностью своей.

CXXI.

А призракъ все не двигался. Могила,
Не потушивъ огонь его очей,
Его дыханье даже пощадила
И золотистый шелкъ его кудрей.
Когда жъ луна волшебно озарила
Его лицо игрой своихъ лучей,
Какъ жемчуга его сверкнули зубки;
Ихъ обрамляли розовыя губки.

CXXII.

Тогда Жуанъ рѣшился протянуть
Вторично руки къ призраку. Волненье
Его росло, и вотъ онъ тронулъ грудь
Упругую и теплую; біенье
Подъ ней онъ сердца слышалъ и ничуть
Не вѣяло могилой отъ видѣнья.
Жуану стало ясно, что смутясь,
Онъ глупый промахъ сдѣлалъ въ первый разъ.

CXXIII.

То былъ ли духъ? Сомнѣнья неизбѣжны:
Безплотность вѣдь для призраковъ законъ;
А этотъ призракъ съ шейкой бѣлоснѣжной
Казался полонъ жизни; также онъ
Душою обладалъ живой и нѣжной;
Но вотъ свалился черный капюшонъ,
И герцогини Фицъ-Фолькъ шаловливой
Жуанъ, смутясь, увидѣлъ ликъ красивый...

Павелъ Козловъ.

ПѢСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ.

I.

Міръ—полонъ сиротъ. Первые—всѣ тѣ,
Кто сирота въ прямомъ значеньи слова
(Дубъ, что одинъ растетъ на высотѣ—
Крупнѣй деревьевъ лѣса молодого);
И тотъ еще подобенъ сиротѣ,
Кто не терялъ мать и отца родного,
Но самъ лишенъ былъ ихъ любви святой,
И потому сталъ сердцемъ сиротой.

II.

Не сироты-ль—„единственныя дѣти"?
Пословица едва-ли не права,
Гласящая, что жертвы баловства—
Дѣтьми на-вѣкъ пребудутъ дѣти эти;
Тамъ, гдѣ любви иль строгости права
Преступлены—тамъ старшіе въ отвѣтѣ:
Съ душевной иль съ сердечной пустотой—
Становится ребенокъ сиротой.

III.

Намъ сироты въ прямомъ значеньи слова
Рисуются то щепкою средь водъ,
То въ образѣ младенца чуть живого,
Питомца школы, что открылъ приходъ,
Предметомъ состраданія людского;
Зоветъ ихъ въ Римѣ *мулами* народъ,
Но въ глубь смотря, мы всѣ придемъ къ
тому-же:
Что сиротамъ богатымъ—въ жизни хуже.

IV.

Они самостоятельны съ пеленокъ,
Опекуновъ отцамъ подобныхъ—нѣтъ,
Совѣта опекунскаго ребенокъ,
Порой—дѣвица къ довершенью бѣдъ
(Беру я для сравненія предметъ)—
Не вскормленный ли курицей утенокъ,
Что погружаясь въ воду съ головой,
Насѣдкѣ страхъ внушаетъ роковой?

V.

Избитый доводъ, но умы—лукавы,
И противъ новой истины привыкъ
Его легко употреблять языкъ.
„Ты правъ—тогда другіе всѣ неправы!"
Перевернуть возможно это вмигъ,
Отстаивая прежніе уставы:
„Другіе правы, если ты неправъ".
Но въ мірѣ кто поистинѣ былъ правъ?

VI.

Чтобъ не попасть въ подобную ловушку,
Свободы слова я прошу во всемъ.
При смѣнѣ каждый вѣкъ коритъ другъ
дружку
За то, что въ тупоуміи своемъ
Тотъ ложемъ счелъ съ булавками подушку,
Что̀ парадоксомъ нынче мы зовемъ—
Основу въ томъ найдетъ, быть можетъ,
вѣра:
Вы Лютера возьмите для примѣра.

VII.

Имъ таинства до двухъ сокращены,
А вѣдьмы—до нуля: хоть поздновато,
И жечь старухъ мы больше не должны
(Ту, что въ семейной распрѣ виновата—
Такихъ я знаю иль знавалъ когда-то,
Поджарилъ-бы съ одной я стороны),
Но вѣкъ призналъ такихъ поступковъ
странность,
Хоть сэръ Мэтью и въ немъ явилъ гуман-
ность.

VIII.

Остановившій солнце Галилей—
Лишенъ былъ солнца. Онъ за утвержденье,
Что движется земля—въ землѣ своей
Былъ самъ лишенъ возможности движенья.
Онъ умиралъ, когда среди людей
Въ томъ, что онъ правъ—мелькнуло по-
дозрѣнье.
Теперь все это—истина сама,
Чѣмъ прахъ его утѣшенъ былъ весьма.

IX.

Какъ всѣмъ скучны Локкъ, Пиѳагоръ, Со-
кратъ
Казалися въ ихъ вѣкъ—примѣръ бывалый,
Объ ихъ судьбѣ говорено стократъ
И выйдетъ изъ разсказовъ томъ не малый.
Мудрецъ опережаетъ вѣкъ отсталый,
За это претерпѣвъ напастей рядъ,
За то—едва отъ мукъ земныхъ избавленъ—
Бываетъ заднимъ онъ числомъ прославленъ

X.

Ума гигантовъ доля такова;
Должны въ пылу житейской мелкой сшибки
Мы всѣ—породы мелкой существа
Быть болѣе выносливы и гибки.
Я слишкомъ желченъ и въ умѣ едва
Рѣшу я (съ тѣмъ, чтобъ избѣжать ошибки),
Что totus, teres, стоикъ я, мудрецъ—
Подуетъ вѣтеръ,—и всему конецъ!

XI.

Спокоенъ я, но раздраженье выдамъ,
Я скроменъ, но цѣнить себя привыкъ,
Измѣнчивъ я, но вмѣстѣ semper idem,
Я веселъ, но разстраиваюсь вмигъ,
Я терпѣливъ, но гнетъ мной ненавидимъ,
Я добръ, но въ гнѣвѣ я бываю дикъ,
Какъ Геркулесъ; боюсь, что по натурѣ
Въ двухъ-трехъ, а не въ одной хожу я шкурѣ.

XII.

Въ шестнадцатой главѣ на долгій срокъ
При лунномъ свѣтѣ былъ герой оставленъ;
Верхъ мужества физическаго могъ
Иль нравственнаго быть при томъ проявленъ.
Добро-ли побѣдило, иль порокъ—
(Онъ пылокъ былъ)—да буду я избавленъ
Отъ объясненья, если красота
Не разомкнетъ лобзаньемъ мнѣ уста.

XIII.

Оставимъ ихъ, завѣсъ не раскрывая.
Настало утро, чай обычный ждетъ,
Всѣ пьютъ его, его не воспѣвая;
Толпа гостей, чью знатность, блескъ, почетъ
Я пѣлъ, на лирѣ струны обрывая,
Здороваться съ хозяйкою идетъ.
Послѣднимъ съ герцогинею въ гостиной
Жуанъ явился съ миною невинной.

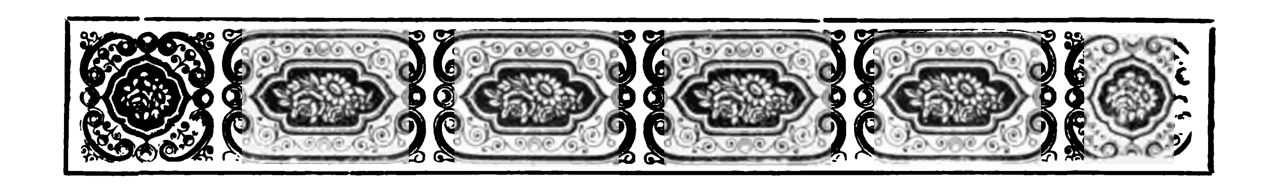
XIV.

Духъ иль не духъ былъ гость его ночной,—
Не съ нимъ однимъ имѣлъ, казалось, дѣло
Нашъ Донъ Жуанъ; усталый видъ имѣло
Лицо его, и рѣзалъ свѣтъ дневной
Ему глаза; и также поблѣднѣло
Лицо у герцогини, дрожь волной
По тѣлу пробѣгала, словно очи
Сомкнуть ей не пришлось втеченье ночи.

О. Чюмина *).



*) «Донъ Жуанъ» остался неоконченнымъ. До самого послѣдняго времени были извѣстны только 16 пѣсенъ, которыя и переведены Павломъ Козловымъ. Недавно найденное начало 17 пѣсни впервые напечатано въ изданіи Кольриджа и Протеро.



„ЧАСЫ ДОСУГА“.

Юношескимъ произведеніямъ Байрона, извѣстнымъ подъ названіемъ „Часовъ досуга“,—хотя это заглавіе они получили не сразу,—выпала на долю довольно печальная и далеко не вполнѣ заслуженная ими судьба. Въ пору ихъ появленія они были встрѣчены значительною частью критики или очень сурово, или довольно равнодушно; многимъ они показались любительскими упражненіями неопытнаго и недостаточно самостоятельнаго дебютанта, жаждущаго въ то же время посвятить читателей во всѣ подробности своей личной жизни, привязанностей, дружескихъ отношеній,—считая все это безусловно интереснымъ для всѣхъ [1]). Проблески несомнѣннаго дарованія, поэтическаго чувства, искренности, неподдѣльной грусти какъ-то ускользали отъ вниманія „строгихъ цѣнителей и судей“ того времени, испортившихъ юношѣ-поэту столько крови. Но, съ другой стороны эти же нападки косвенно содѣйствовали тому, что молодой поэтъ съ еще большею настойчивостью, энергіей и увлеченіемъ отдался литературной дѣятельности, желая посрамить и блистательно опровергнуть не въ мѣру придирчивую критику. Въ оправданіе тѣхъ, кто такъ враждебно отнесся къ раннимъ опытамъ великаго поэта, можно только привести то, что отнюдь не легко было тогда же предугадать дальнѣйшую эволюцію таланта Байрона, основываясь на этомъ сборникѣ юношескихъ стихотвореній. Здѣсь много слабыхъ вещей, хотя, наряду съ этимъ, въ немъ уже попадаются чисто байроновскіе мотивы, которые заслуживали бы совершенно другой оцѣнки. Разбирать „Часы досуга“ ретроспективно, конечно, гораздо легче; разъ мы знаемъ, какое направленіе принялъ далѣе талантъ поэта, какіе мотивы съ теченіемъ времени одержали верхъ въ его творчествѣ, мы безъ особеннаго труда можемъ, изучая его юношескіе опыты, отмѣтить, между прочимъ, первые проблески того, что съ годами развилось и достигло пышнаго расцвѣта. Теперь то ясно, что даже ранніе шаги Байрона на литературномъ поприщѣ уже находились въ извѣстной связи съ тѣмъ, что ему предстояло создать, были весьма интересною, хотя и не вполнѣ удавшеюся, быть можетъ, попыткою будущаго геніальнаго поэта выбиться на свою настоящую дорогу. Для того, чтобы въ эпоху появленія „Часовъ досуга“ уже понять, какія дарованія таились въ авторѣ этихъ нѣсколькихъ стихотвореній, преимущественно субъективнаго, даже интимнаго характера, въ значительной степени связанныхъ съ различными деталями школьной жизни, нужно было обладать большою прозорливостью.

Какъ бы то ни было, несмотря на то, что отдѣльныя замѣчанія первыхъ критиковъ „Часовъ досуга“ были справедливы,—въ общемъ юношескія вещи Байрона, несомнѣнно, были разобраны слишкомъ сурово. У критики не было никакого желанія поддержать молодого писателя, выдѣлить все то, что отличало его книжку отъ такихъ же сборниковъ стихотвореній, выпускавшихся въ ту пору дюжинными, лишенными настоящаго дарованія авторами, дать ему благожелательные совѣты и указанія. Отчасти въ этомъ случаѣ былъ виноватъ самъ поэтъ, дѣлавшій видъ, что онъ выпускаетъ первое и послѣднее собраніе своихъ стихотвореній, желавшій себя изобразить дилетантомъ, который только случайно вступилъ на литературное поприще и готовъ теперь проститься со своею музою навсегда,

[1]) Было, впрочемъ, и нѣсколько благопріятныхъ отзывовъ о книгѣ,—напр., въ журналѣ «The Critical Review».

чтобы заняться какимъ нибудь *дѣломъ*. По справедливому замѣчанію одного изъ біографовъ Байрона, это заявленіе поэта объ его нежеланіи заниматься и въ будущемъ литературною дѣятельностью,—заявленіе, высказанное сгоряча, впослѣдствіи неоднократно имъ повторявшееся,—должно было отбить даже у наиболѣе расположенныхъ критиковъ охоту предаваться гаданіямъ относительно его будущаго. Не хотѣлось думать о томъ, что можетъ выработаться изъ поэтическаго творчества человѣка, повидимому, стремившагося быть только случайнымъ, мимолетнымъ гостемъ въ области литературы и не смотрѣвшаго особенно серьезно на свои поэтическіе опыты.

Но если суровое или равнодушное отношеніе къ „Часамъ досуга", какое обнаруживала критика безъ малаго сто лѣтъ тому назадъ, можетъ быть все же если не оправдано, то объяснено тѣми или другими обстоятельствами,—то въ наши дни юношескій сборникъ Байрона, казалось, долженъ былъ бы дождаться вполнѣ справедливой и объективной оцѣнки. Теперь мы имѣемъ возможность сравнивать ранніе опыты поэта съ болѣе зрѣлыми его созданіями, отмѣчать связь между отдѣльными эпизодами его біографіи и нѣкоторыми изъ его „juvenilia", или то вліяніе, какое на него оказывали писатели старшаго поколѣнія. Наконецъ, мы въ состояніи оцѣнить по достоинству художественныя красоты нѣкоторыхъ вещей, которыя, безспорно, поднимаются выше общаго уровня „Часовъ досуга" и предвѣщаютъ, хотя бы въ главныхъ чертахъ, тѣ созданія Байрона, на которыхъ основывается его міровая слава. Но, странное дѣло! Несмотря на то, что существуетъ рядъ прекрасныхъ работъ о Байронѣ, излагающихъ его жизнь или анализирующихъ его творчество,—и значеніе его главныхъ вещей, казалось бы, прочно установлено,—для „Часовъ досуга" все еще не вполнѣ настала пора справедливой, свободной отъ всего предвзятаго и шаблоннаго оцѣнки!.. Сравненіе съ лучшими поэмами Байрона, которыя, конечно, стоятъ неизмѣримо выше, заставило многихъ современныхъ критиковъ и историковъ литературы быть несправедливыми по отношенію къ злополучнымъ „Hours of idleness". Они обречены такимъ образомъ, даже по прошествіи длиннаго ряда лѣтъ послѣ ихъ появленія, все еще оставаться въ пренебреженіи, — какъ будто это не были созданія того же поэта, который написалъ „Чайльдъ Гарольда", „Донъ Жуана", „Манфреда".

Многія сужденія объ юношескомъ сборникѣ Байрона, конечно, повторяются въ наши дни просто по традиціи, какъ бы съ чужого голоса, и не подвергаются должной провѣркѣ или пересмотру. Но любопытно, что мы ихъ встрѣчаемъ иногда въ очень солидныхъ, обстоятельныхъ работахъ, отнюдь не основанныхъ только на готовыхъ чужихъ мнѣніяхъ и приговорахъ. Такъ, Эльце, въ своей извѣстнѣйшей книгѣ о Байронѣ, высказываетъ тотъ взглядъ, что „Часы досуга" отнюдь не предвѣщаютъ генія поэта, что поэтическій горизонтъ ихъ ограниченъ внутренними и внѣшними явленіями школьнаго міра, что они несравненно ниже юношескихъ произведеній Попа, и т. д. Это не мѣшаетъ, правда, Эльце признать извѣстное значеніе юношескихъ вещей Байрона для исторіи постепенной эволюціи его дарованія [1]). Во многихъ другихъ книгахъ о Байронѣ мы встрѣчаемъ не менѣе рѣзкіе и категорическіе отзывы о „Часахъ досуга". Укажемъ для примѣра на новѣйшій біографическій очеркъ проф. Кеппеля,—изъ серіи „Geisteshelden", — гдѣ попадаются, между прочимъ, слѣдующія строки: „Общій эстетическій приговоръ надъ этими juvenilia Байрона не будетъ слишкомъ строгимъ, если мы скажемъ, что *ни одно изъ этихъ стихотвореній не предвѣщаетъ будущаго значенія ихъ автора*, что *всѣ эти ранніе опыты*, конечно, очень цѣнные для біографа или историка литературы, могли бы быть вычеркнуты изъ его творчества безъ всякаго ущерба для его славы" [2]).

Странно было бы, конечно, впадать и въ противоположную крайность, превознося ранніе поэтическіе опыты Байрона, ставя ихъ наравнѣ съ тѣмъ, что онъ впослѣдствіи подарилъ человѣчеству наиболѣе сильнаго, высокаго, благороднаго, самобытнаго, находя непремѣнно въ каждомъ изъ нихъ какія-то особенныя красоты. Постараемся лишь вполнѣ объективно и спокойно разобрать содержаніе „Часовъ досуга", ихъ значеніе, какъ матеріала для біографіи поэта, художественныя достоинства нѣкоторыхъ стихотвореній, ихъ связь съ позднѣйшимъ періодомъ творчества Байрона.

[1]) Lord Byron», von Karl Elze; Berlin; 1886; стр 77—78.

[2]) Lord Byron», von Emil Koeppel; Berlin 1903; стр. 17.

Названіемъ „*Часы досуга*“ принято вообще обозначать самый ранній сборникъ стихотвореній Байрона, съ котораго ведетъ свое начало исторія его поэтическаго творчества. Собственно, въ этомъ случаѣ допускается нѣкоторая неточность: первая книжка стиховъ, выпущенная Байрономъ и по своему содержанію предвѣщавшая „Часы досуга“, которые имѣютъ съ нею девятнадцать общихъ стихотвореній, *еще не носила этого заглавія*. Она названа была поэтомъ „Fugitive pieces“ и была выпущена безъ имени автора въ очень ограниченномъ числѣ экземпляровъ; только подъ двумя стихотвореніями стояла подпись *Байронъ*. Впослѣдствіи это изданіе было уничтожено авторомъ, и два уцѣлѣвшихъ экземпляра составляютъ библіографическую рѣдкость. Въ началѣ 1807 г. появилось, опять безъ обозначенія имени автора, второе изданіе его стихотворныхъ опытовъ, названное имъ „Стихотворенія на различные случаи“ (Poems on varions occasions) и выпущенное въ количествѣ ста экземпляровъ. Въ составъ этой книги вошли всѣ стихотворенія изъ перваго сборника, за исключеніемъ двухъ,—причемъ къ нимъ прибавлено было двѣнадцать новыхъ вещей. Наконецъ, въ 1807 г. вышелъ въ свѣтъ сборникъ „*Часы досуга, собраніе стихотвореній оригинальныхъ и переводныхъ*“ (Hours of Idleness; a series of poems original and translated). Здѣсь мы находимъ только тридцать девять вещей, причемъ лишь двадцать семь взяты были изъ двухъ предыдущихъ сборниковъ, а остальныя напечатаны были въ первый разъ. Эта книга была уже надписана именемъ „Джорджа Гордона, лорда Байрона, несовершеннолѣтняго“. Но и эта редакція не была окончательною; въ слѣдующемъ 1808 г. появилось второе изданіе „Часовъ досуга“, носящее, однако, другое заглавіе („Оригинальныя и переводныя стихотворенія“) и по составу своему далеко не однородное съ первымъ; достаточно сказать, что въ него вошло пять новыхъ вещей, а число перепечатокъ изъ первыхъ двухъ сборниковъ уменьшилось [1]).

Нужно замѣтить, наконецъ, что рядъ стихотвореній, написанныхъ Байрономъ въ ту же раннюю пору, почему-то не былъ имъ включенъ ни въ одинъ изъ его юношескихъ сборниковъ; нѣкоторыя стихотворенія были, напр., напечатаны только въ 1830 или 1832 г., послѣ смерти поэта („L'amitié est l'amour sans ailes“, „Прощаніе“, „Къ моему сыну“ и нѣк. др.); иныя были имъ написаны уже послѣ появленія четвертой редакціи его juvenilia и поэтому не вошли въ нее, но по общему характеру ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ, которыя мы находимъ въ „Часахъ досуга“.

Въ настоящее время принято ради удобства обозначать именемъ „Часовъ досуга“ всѣ вообще юношескія стихотворенія Байрона, какъ появившіяся въ четырехъ его сборникахъ, такъ и посмертныя,—хотя въ новѣйшемъ и лучшемъ изданіи сочиненій Байрона (подъ ред. Кольриджа) эти стихотворенія все же расположены нарочно въ хронологическомъ порядкѣ, съ дѣленіемъ на „Fugitive pieces“, „Poems on various occasions“ и т. д.,—чтобы можно было прослѣдить исторію возникновенія перваго цикла поэтическихъ произведеній Байрона [1]). Въ дальнѣйшемъ, говоря о „Часахъ досуга“, мы также будемъ все время имѣть въ виду все, что поэтъ написалъ въ самые молодые годы, хотя бы иныя вещи были напечатаны только послѣ его смерти.

Анализируя содержаніе „Часовъ досуга“, нельзя, разумѣется, не замѣтить тотчасъ же, что нѣкоторыя стихотворенія начинающаго поэта теперь не могутъ представить для насъ интереса по существу, да и въ пору ихъ появленія не давали настоящаго понятія о внутреннемъ мірѣ юноши. Къ числу ихъ принадлежатъ, между прочимъ, и различные стихотворные переводы изъ древнихъ авторовъ, вышедшіе изъ-подъ пера Байрона въ школьные годы. Среди вполнѣ оригинальныхъ или только навѣянныхъ знакомствомъ съ тѣми или другими авторами произведеній мы находимъ вдругъ переводы [2]) изъ Эврипида, Эсхила (отрывокъ изъ „Скованнаго Прометея“), Катулла („Ad Lesbiam“, „Lugete Veneres Cupidinesque“, Тибулла, Горація, Анакреона (оды 1, 3, 5),

---

[1]) См. предисловіе библіографическаго характера, предпосланное «Часамъ досуга» въ изданіи Кольриджа; т. I (1898); стр. XI XIII. Ср. также Алексѣя Веселовскаго, «Байронъ . стр. 25 26.— Свѣдѣнія о подготовкѣ «Часовъ досуга» къ печати, продажѣ изданія и пр можно найти въ письмахъ Байрона, напр., къ Риджу, г-жѣ Пиготъ и др.

[1]) Порядка изданія Кольриджа и Протеро придерживается и настоящее изданіе. Въ изд. Гербеля изъ «Часовъ Досуга» взято лишь нѣсколько стихотвореній.

Ред.

[2]) Эти прямые переводы, само собою разумѣется, не включены въ настоящее изданіе, но мы дали переводы *подражаній* Байрона древнимъ.

Ред.

Виргилія (большой отрывокъ изъ девятой пѣсни „Энеиды"). Подобные переводы, очень мало дающіе, конечно, даже если обратить вниманіе на выборъ отдѣльныхъ вещей, для характеристики молодого Байрона, представляютъ, однако, нѣкоторый интересъ, знакомя насъ съ его школьными занятіями и выясняя степень его начитанности въ сферѣ античныхъ литературъ. Вопросъ объ отношеніи Байрона къ римской и греческой словесности въ пору его пребыванія въ школѣ Гарро неоднократно затрагивался въ его біографіяхъ и характеристикахъ [1]). Что особенной склонности къ изученію древнихъ авторовъ у него не было, и что познанія, имъ пріобрѣтенныя въ этой области, были не слишкомъ обширны, это не подлежитъ сомнѣнію! Немаловажную роль сыграла въ данномъ случаѣ необходимость изучать сочиненія классиковъ, прежде всего,—какъ извѣстный грамматическій матеріалъ, занимаясь болѣе формою, чѣмъ внутреннимъ содержаніемъ... Это естественно, должно было отбить у юнаго Байрона значительную долю интереса къ латинскимъ и греческимъ писателямъ, которыхъ къ тому же успѣшно прививали школьникамъ, въ ущербъ родной словесности, отнюдь не занимавшей подобающаго ей мѣста. Не слѣдуетъ, однако, преувеличивать несочувственнаго отношенія мальчика къ творчеству лучшихъ представителей античныхъ литературъ и его недостаточнаго знакомства съ нимъ, — какъ это было сдѣлано нѣкоторыми изслѣдователями. Относительно „Прометея" Эсхила у насъ есть, напримѣръ, свидѣтельство самого Байрона, удостовѣряющаго, что онъ увлекался этою пьесою, которая въ Гарро читалась три раза въ годъ. Иногда утверждали, что въ частности къ латинскимъ писателямъ Байронъ относился очень холодно и враждебно; но если трудность стихотворнаго размѣра дѣйствительно приводила иногда мальчика въ отчаяніе, то, съ другой стороны, въ позднѣйшихъ письмахъ Байрона старательными изслѣдователями найдено было сорокъ цитатъ изъ латинскихъ авторовъ или ссылокъ на нихъ. Замѣтимъ кстати, что для опредѣленія степени знакомства поэта съ античными литературами имѣютъ значеніе не только переводы, включенные въ „Часы досуга", но и эпиграфы къ нѣкоторымъ стихотвореніямъ изъ Платона (къ „Эпитафіи любимому другу"), Горація, Анакреона.

„Часы досуга" заключаютъ въ себѣ, однако, матеріалъ и для рѣшенія болѣе общаго и болѣе интереснаго вопроса—о степени начитанности молодого Байрона и о томъ направленіи, какое принимали въ ту пору его литературные вкусы [1]). Вмѣстѣ съ его письмами, относящимся къ тому же времени, юношескія стихотворенія его содержатъ въ себѣ много весьма цѣнныхъ указаній. Яснаго, цѣльнаго, опредѣленнаго впечатлѣнія мы, правда, не получаемъ,—но это происходитъ оттого, что самъ Байронъ въ эту пору еще колебался между различными теченіями и оттѣнками, могъ одновременно увлекаться писателями, у которыхъ было въ сущности очень мало общаго. Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ его произведеній, входившихъ еще въ составъ „Fugitive Pieces", есть упоминаніе о Шекспирѣ и его героинѣ—Джульеттѣ, а послѣдній куплетъ стихотворенія „Къ М." (1806) навѣянъ тремя шекспировскими стихами. Стихотвореніе „Къ женщинѣ" заканчивается строкою, взятою изъ „Діаны" Монтемайора; „Стансы къ одной дамѣ" лишній разъ указываютъ на знакомство Байрона съ творчествомъ Камоэнса, произведеніями котораго онъ въ ту пору зачитывался. Въ первомъ куплетѣ стихотворенія „Granta" упоминается о Лесажѣ и его „Хромоногомъ бѣсѣ". Носящее романтическую окраску стихотвореніе „Oscar of Alva" представляетъ собою обработку мотива, взятаго изъ „Духовидца" Шиллера, а одно мѣсто въ немъ нѣсколько навѣяно опять Шекспиромъ,—именно его „Макбетомъ". Знакомство съ поэмами Макферсона заставило Байрона написать „Смерть Кальмара и Орлы, подражаніе *Оссіану* Макферсона" и перевести „Обращеніе Оссіана къ солнцу".

Въ „Монологѣ барда" (1806), говоря о враждебномъ отношеніи, какое встрѣчаютъ его первые опыты, Байронъ утѣшается воспоминаніемъ о цѣломъ рядѣ другихъ, болѣе извѣстныхъ, составившихъ себѣ имя писателей, которымъ также приходилось

[1]) См., напр., Frank Allan Millidge, «Byrons Beziehungen zu seinen Lehrern und Schulkameraden, und deren Einfluss auf seine litterarische Tätigkeit» (1903, стр. 16—18).

[1]) Этому вопросу посвящено спеціальное изслѣдованіе, полное фактовъ, хотя и очень сухое по формѣ: Ludvig Fuhrmann «Die Belesenheit des jungen Byron» (1903).

многое выносить со стороны несправедливыхъ, придирчивыхъ критиковъ: онъ вспоминаетъ о Попѣ, Греѣ, Драйденѣ. Прибавимъ, что изъ Грея взятъ эпиграфъ къ извѣстному юношескому стихотворенію Байрона „Слеза"; сверхъ того, по справедливому замѣчанію Кеппеля, то стихотвореніе, въ которомъ юный поэтъ прощается со своимъ любимымъ деревомъ на кладбищѣ въ Гарро, напоминаетъ „Сельское кладбище" Грея, а другое стихотвореніе, въ которомъ описывается общій видъ на Гарро, можетъ быть сопоставлено съ „Ode on a distant prospect of Eton College", того же Грэя [1]). Съ другой стороны, „Молитва природы" Байрона носитъ нѣкоторые слѣды вліянія „Всеобщей молитвы" (Universal prayer) Попа, которымъ увлекался начинающій поэтъ. Всѣ эти факты производятъ впечатлѣніе чего то довольно разнороднаго, смѣшаннаго, слишкомъ пестраго,—но для исторіи постепенной эволюціи таланта и литературныхъ симпатій Байрона они все же весьма цѣнны.

Значеніе „Часовъ досуга", какъ біографическаго матеріала, несомнѣнно значительно. Нельзя, конечно, приписать все то, что Байронъ говоритъ о своемъ дѣтствѣ и школьныхъ годахъ, безъ всякихъ оговорокъ, безъ сопоставленія съ другими показаніями, вообще безъ должной провѣрки; но несомнѣнно, что многія подробности его жизни въ эту раннюю пору отразились весьма ярко въ его первыхъ опытахъ. Нужно только имѣть въ виду, что на извѣстномъ отдаленіи, какъ это часто случается, многое стало казаться Байрону гораздо болѣе привлекательнымъ, отраднымъ, безмятежнымъ... Въ такихъ стихотвореніяхъ, какъ „Я хотѣлъ бы быть снова беззаботнымъ ребенкомъ", навсегда промелькнувшее дѣтство изображается, напр., счастливою порою, о которой можно вспоминать только съ искреннимъ сожалѣніемъ. Между тѣмъ мы знаемъ, что въ дѣйствительности дѣтство поэта отнюдь не было такимъ безмятежнымъ и онъ далеко не былъ доволенъ своей судьбою въ эту пору, когда дѣтскія впечатлѣнія еще не отошли въ область воспоминаній о невозвратномъ, и потому именно—вдвойнѣ миломъ прошломъ. Какъ бы то ни было, въ „Часахъ досуга" отразились многія детали, относящіяся къ дѣтскимъ годамъ поэта, начиная съ общаго характера тѣхъ мѣстностей, гдѣ ему приходилось бывать или жить подолгу. Съ неподдѣльною любовью говоритъ поэтъ о тѣхъ пейзажахъ, которые ему приходилось видѣть въ дѣтствѣ, о живописныхъ горахъ, по которымъ онъ блуждалъ, еще не зная тревогъ и невзгодъ жизни („Lachin y Gair" и др.). Два стихотворенія посвящены Ньюстэдскому аббатству, сыгравшему замѣтную роль въ жизни поэта, молодые годы котораго были тѣсно связаны съ этимъ древнимъ монастыремъ, перестроеннымъ затѣмъ въ замокъ, но всею своею внѣшностью неизмѣнно напоминавшимъ объ отдаленномъ прошломъ. Въ одномъ изъ нихъ— „При разставаніи съ Ньюстэдскимъ аббатствомъ" (1803) поэтъ упоминаетъ, между прочимъ, о своихъ предкахъ—крестоносцахъ, хотя на участіе представителей его рода въ крестовыхъ походахъ въ исторіи нѣтъ никакихъ указаній. Обширнуя (болѣе 150 стиховъ) „Эллегію, посвященную Ньюстэдскому аббатству" Кольриджъ сопоставляетъ съ однимъ письмомъ молодого Байрона къ матери (1809), гдѣ также говорится о Ньюстэдѣ.

Всего больше матеріала даютъ „Часы досуга" для ознакомленія съ ученическими годами Байрона, съ его пребываніемъ въ Гарро. Нельзя не замѣтить, что и здѣсь дѣло не обошлось безъ нѣкоторой идеализаціи и пріукрашенія заднимъ числомъ. Мы знаемъ, напримѣръ, что вначалѣ школа Гарро отнюдь не производила на Байрона особенно благопріятнаго впечатлѣнія,—даже больше: онъ долго не могъ съ нею свыкнуться и вполнѣ освоиться въ ея стѣнахъ. Если же полагаться на позднѣйшія стихотворенія изъ цикла „Часы досуга", съ ихъ ретроспективною оцѣнкою школьныхъ лѣтъ, можно подумать что это была исключительно пора веселыхъ продѣлокъ, шалостей, идеальнаго товарищества, ничѣмъ не стѣсняемыхъ молодыхъ порывовъ. Отдѣльныя указанія на нѣкоторыя тѣневыя стороны этого „золотого вѣка" почти не могутъ ослабить общаго впечатлѣнія. Между тѣмъ тотъ же поэтъ, коснувшись въ двухъ случахъ Кэмбриджа и своего пребыванія въ Trinity College, нашелъ только отрицательныя стороны въ англійскомъ университетскомъ мірѣ и не скрылъ своего несочувственнаго отношенія къ общему духу высшихъ учебныхъ заведеній [1]). Во вся-

[1]) Кеппель l. c., стр. 16.

[1]) Этотъ отзывъ о Кэмбриджѣ можно сопоставить съ тѣмъ, что Байронъ говорилъ въ ту же пору объ университетской жизни въ своихъ *письмахъ* (къ Августѣ Байронъ, Джону Гэнсону и друг.).

комъ случаѣ изъ „Часовъ досуга“ можно узнать много интересныхъ данныхъ, — иногда лишь подтверждающихъ, правда, то, что намъ извѣстно изъ другихъ источниковъ,—для характеристики образа жизни, товарищескихъ отношеній, симпатій и антипатій мальчика, такъ какъ, несмотря на отмѣченную выше подрисовку, въ основѣ воспоминаній поэта лежали все же подлинные факты.

Очень ясно и рельефно выступаетъ, напр., въ раннихъ юношескихъ стихотвореніяхъ сочувствіе Байрона руководителю школы въ Гарро, д-ру Друри, котораго онъ обозначалъ нарочно псевдонимомъ *Probus*, тогда какъ для его преемника, Бэтлера, онъ подыскалъ псевдонимъ *Pomposus*. Въ стихотвореніи „На перемѣну учителей въ большой публичной школѣ“ (1805) поэтъ очень опредѣленно выражаетъ свою скорбь и негодованіе по случаю замѣны Друри — Бэтлеромъ, какъ ему казалось, грозившей полнымъ упадкомъ школы, въ которую прежній педагогъ вложилъ столько труда и знаній. Совершенно такъ же въ обширномъ стихотвореніи „Дѣтскія воспоминанія“, которое представляетъ выдающійся интересъ, какъ біографическій матеріалъ, поэтъ даетъ весьма нелестную характеристику Бэтлера, изображая его типомъ сухого и напыщеннаго педанта, который достоинъ молчаливаго презрѣнія. Эта оцѣнка, несомнѣнно, была слишкомъ сурова и пристрастна, и объяснялась главнымъ образомъ тою симпатіей, какую мальчикъ питалъ къ Друри, которому онъ навсегда остался благодаренъ за его теплое, полное участія и ласки отношеніе. Впослѣдствіи самъ Байронъ созналъ свою ошибку, примирился съ Бэтлеромъ и хотѣлъ замѣнить во второмъ изданіи „Часовъ досуга“,—еслибы оно вышло въ свѣтъ, — относящіяся къ нему строки совершенно другими... [1]) Но юношескія стихотворенія вполнѣ точно передаютъ взглядъ *юнаго* Байрона,—все равно, справедливый или неосновательный,—на одного изъ педагоговъ, съ которымъ ему пришлось имѣть дѣло въ Гарро [2]).

Отъ противопоставленія двухъ руководителей школы, любимаго и антипатичнаго, перейдемъ теперь къ нѣкоторымъ другимъ отголоскамъ школьныхъ лѣтъ, сохранившимся въ „Часахъ досуга“. Поэту представлялось иногда, что онъ положительно не въ состояніи воспѣть или описать всѣ свѣтлые отрадные эпизоды, какіе были связаны съ его пребываніемъ въ Гарро. Въ „Дѣтскихъ воспоминаніяхъ“, посвятивъ школьной жизни болѣе 360 стиховъ, онъ все же скорбитъ о томъ, что тема его не исчерпана, много друзей оставлено имъ безъ вниманія, иныя сцены школьнаго быта такъ и не были имъ воспѣты. Въ томъ же стихотвореніи онъ вспоминаетъ о „веселомъ отрядѣ“ товарищей, который избралъ его своимъ вождемъ и послушно исполнялъ его приказанія, всегда обращаясь къ нему первому за совѣтомъ и видя въ немъ свою послѣднюю опору. Весьма интересны указанія на успѣхъ, выпадавшій на долю молодого Байрона, когда онъ выступалъ въ стѣнахъ школы въ роли декламатора, произносящаго съ воодушевленіемъ и паѳосомъ отрывки изъ тѣхъ или другихъ драмъ. Поэтъ вспоминаетъ о томъ, какъ онъ декламировалъ, напр., монологъ Занги надъ трупомъ сраженнаго имъ Алонзо — изъ пьесы Юнга „Месть“ (The revenge) или потрясающій монологъ короля Лира, „лишеннаго своими дочерьми королевства и разсудка“ (обращеніе къ бурѣ). Въ обоихъ этихъ случаяхъ знаки одобренія были настолько единодушны, что молодой дебютантъ, какъ онъ самъ въ этомъ сознается, готовъ былъ вообразить себя выдающимся декламаторомъ, соперникомъ Генри Моссопа, лучшаго исполнителя роли Занги, или вторымъ Гаррикомъ.

Дружескія отношенія занимаютъ особенно видное мѣсто среди тѣхъ мотивовъ, которые были разработаны Байрономъ въ юношескомъ циклѣ его стихотвореній. Этому, конечно, нельзя удивляться. Въ ту пору дружба была окружена въ глазахъ Байрона особенно свѣтлымъ ореоломъ; она еще казалась чѣмъ то возвышеннымъ, идеальнымъ, безкорыстнымъ,—хотя въ отдѣльныхъ мизантропическихъ выходкахъ и тогда не было недостатка. Извѣстно его любимое опредѣленіе дружбы, ставшее заглавіемъ одного изъ его юношескихъ стихотвореній: „L'amitié est l'amour sans ailes“,— дружба, это—любовь безъ крыльевъ. Что-то восторженное, пылкое, страстное всегда примѣшивалось къ дружескимъ чувствамъ мальчика, который самъ вполнѣ сознавалъ этотъ неукротимый и слишкомъ экспансивный характеръ своей дружбы. По справедливому замѣчанію Эльце, немаловажную роль играло въ этомъ случаѣ желаніе мо-

[1]) Изд. Кольриджа, стр. 88, прим.; Elze l. c., стр. 40.

[2]) Объ отношеніи Байрона къ Друри и Бэтлеру—см. Millidge, l. c. III, 1; Elze, стр. 37—41.

лодого Байрона выступать въ роли покровителя и защитника своихъ друзей, проявлять свое великодушіе, благородство, смѣлость... Недаромъ онъ всегда любилъ дружиться съ мальчиками, которые были моложе его годами и слѣдовательно скорѣе нуждались въ покровительствѣ и помощи. Иныя дружескія связи впослѣдствіи ослабѣли и не играли роли въ жизни поэта; другія, наоборотъ, долго оставались неизмѣнными и косвенно заставляли Байрона еще болѣе идеализировать, на извѣстномъ отдаленіи, свои ученическіе годы. Любопытно отмѣтить, съ другой стороны, что нѣкоторые изъ школьныхъ товарищей поэта умерли очень молодыми: Лонгъ въ 1809-мъ году, Вингфильдъ—въ 1811-мъ, Татерсалль—въ 1812-мъ и т. д. причемъ иные изъ нихъ стали жертвами какого либо несчастнаго случая (паденія съ лошади, кораблекрушенія, эпидемической болѣзни). Очень немногіе изъ нихъ, притомъ—не самые близкіе къ Байрону, вродѣ, напр., Роберта Пиля, составили себѣ впослѣдствіи крупное, выдающееся имя [1]). Но даже имена тѣхъ товарищей поэта, которые не совершили съ теченіемъ времени ничего особенно замѣтнаго или полезнаго для общества, сохранились въ памяти потомства,—или по крайней мѣрѣ тѣхъ лицъ, которыя интересуются творчествомъ Байрона и изучаютъ его,—исключительно благодаря тому, что въ „Часахъ досуга" поэтъ воздвигнулъ нерукотворный памятникъ, между прочимъ, и дружескимъ отношеніямъ, скрашивавшимъ ему школьные годы.

Въ „Дѣтскихъ воспоминаніяхъ" передъ нами проходитъ цѣлая портретная галлерея товарищей и друзей Байрона, которыхъ онъ нарочно обозначилъ псевдонимами, преимущественно -- въ античномъ духѣ,—подъ стать къ „Пробусу" и „Помпозусу" въ сферѣ педагогики. Весьма характерно для Байрона то, что онъ долго не могъ рѣшить, кому изъ своихъ друзей отдать предпочтеніе, кого признать самыхъ близкимъ и симпатичнымъ. Въ названномъ выше стихотвореніи мы находимъ обращеніе къ „Алонзо", лучшему, самому дорогому изъ моихъ друзей, причемъ подъ Алонзо подразумѣвается лордъ Клэръ, съ которымъ Байронъ дѣйствительно былъ очень близокъ, причемъ эта близость не прекратилась и впослѣдствіи; но когда то же самое стихотвореніе еще входило въ составъ „Poems on varions occasions", тѣ же сочувственныя, даже прямо восторженныя строки относились къ *Іоанну*,—псевдонимъ, которымъ поэтъ обозначалъ вовсе не Клэра, а другого своего друга, Вингфильда!.. За „Алонзо" слѣдуютъ другіе силуэты друзей,—Davus (Татерсалль), котораго авторъ благодаритъ за спасеніе его жизни, Lycus (графъ Клэръ), Euryalus (графъ Делавэрръ), Cleon (Эдуардъ Ноэль Лонгъ).

Съ именами этихъ лицъ, уже не скрытыми античнымъ псевдонимомъ, намъ приходится встрѣчаться и въ дальнѣйшихъ стихотвореніяхъ изъ „Часовъ досуга". Такъ, отдѣльное посланіе посвящено графу Делавэрру, причемъ поэтъ вспоминаетъ, какъ дороги они были другъ для друга: Делавэрръ любилъ его, какъ брата, и встрѣчалъ съ его стороны такую же любовь; онъ зналъ, что душа, сердце, все существованіе Байрона, еслибы представилась какая либо опасность, были всецѣло въ распоряженіи его друга, что ни годы, ни разлука не могли измѣнить его чувствъ, какъ человѣка, всецѣло преданнаго только любви и дружбѣ... Это стихотвореніе весьма типично для творчества молодого Байрона и оттѣняетъ тотъ восторженный, неуравновѣшенный, пылкій характеръ, какой, какъ мы знаемъ, нерѣдко принимало въ его душѣ столь спокойное и сдержанное у другихъ чувство дружбы. Въ другомъ стихотвореніи, — съ эпиграфомъ изъ Горація, — Байронъ обращается съ дружескими рѣчами къ Лонгу, котораго онъ всегда высоко ставилъ за чистоту и благородство его души, и опять вспоминаетъ промелькнувшіе дни ранней молодости, пригрезившейся ему ночною порою, когда все кругомъ объято было сномъ.

Упомянемъ также о стихотвореніи „Къ герцогу Дорсету" (1805), гдѣ поэтъ, вспоминая снова, передъ отъѣздомъ изъ Гарро, объ ученическихъ годахъ, о той порѣ, когда они съ Дорсетомъ часто проводили время вмѣстѣ, причемъ послѣдній, какъ младшій, въ силу школьнаго обычая, находился у него въ извѣстномъ подчиненіи,—вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ ему совѣты, относящіеся къ будущему, убѣждаетъ его никогда не прислушиваться къ голосу лести, не обращать вниманія на „молодыхъ паразитовъ", которые такъ и льнутъ къ богатымъ и знатнымъ людямъ, даже если это ихъ товарищи, и стараются вліять на нихъ въ самую дурную сторону, побуждая ихъ не заниматься слишкомъ много книгами, не

[1]) О друзьяхъ и товарищахъ Байрона и ихъ позднѣйшей судьбѣ—см. у Millidge, III, 2.

утруждать себя, какъ это дѣлаютъ простые смертные, не допускать, чтобы кто либо разбиралъ и строго оцѣнивалъ ихъ поступки. Любопытно, что это стихотвореніе довольно характерное для міросозерцанія и житейскихъ взглядовъ молодого Байрона, не попало, по свидѣтельству самого поэта, въ руки Дорсета. Оно вначалѣ оставалось не напечатаннымъ и было включено только въ четвертую редакцію юношескихъ стихотвореній (1808), когда авторъ случайно нашелъ его въ своихъ бумагахъ. Наконецъ, графу Клэру посвящено въ „Часахъ досуга" особое стихотвореніе, съ эпиграфомъ: tu semper amoris sis memor, et cari comitis ne abscedat imago"; нѣкоторыя строфы его носятъ необыкновенно восторженный и нѣжный характеръ; такъ, въ одномъ случаѣ поэтъ выражаетъ пожеланіе, чтобы жизненный путь его друга былъ усыпанъ розами, чтобы его слезы всегда были только слезами радости, и т. д.

Таковъ былъ Байронъ въ эпоху созданія и появленія „Часовъ досуга", какъ пѣвецъ нѣсколько мечтательной, бурной, неуравновѣшенной, но зато вполнѣ искренней и неподдѣльной дружбы... Еще интереснѣе вопросъ о томъ, какъ въ эту раннюю пору онъ уже выступалъ во многихъ случаяхъ въ роли поэта любви и страсти,—онъ, который впослѣдствіи долженъ былъ такъ много любить и такъ ярко, поэтично, пламенно изливать подчасъ все то, что испытываетъ любящее или охваченное страстью сердце. Извѣстно, что сердечная жизнь началась для Байрона очень рано, когда онъ былъ еще ребенкомъ, и въ продолженіе его ученическихъ лѣтъ влюбленность играла большую роль въ его личной жизни. Увлеченіе Мэри Дэфъ (въ Абердинѣ) смѣнилось поклоненіемъ Маргаритѣ Паркеръ, которой Байронъ посвятилъ свои первые стихи, настолько она вдохновила и очаровала его; а за двумя этими юными женскими образами показывается третій, оставившій еще болѣе яркій слѣдъ въ біографіи поэта и въ исторіи его творчества—Мэри Чавортъ, имя которой тѣсно связано съ эпохою его пребыванія въ Гарро [1]). Въ виду того субъективнаго колорита, какой носятъ „Часы досуга", можно было бы а priori предположить, что любовныя стихотворенія, съ разнообразною окраскою, займутъ въ нихъ очень видное мѣсто. Такъ оно и оказывается на дѣлѣ. Просматривая „Часы досуга", мы находимъ въ нихъ прежде всего рядъ стихотвореній, озаглавленныхъ „Къ Каролинѣ", „Къ Эммѣ", „Къ Мэри", „Къ Лесбіи", „Къ Аннѣ", „Къ Элизѣ", „Къ Гарріэтъ", и т. п., наконецъ просто— „Къ женщинѣ", „Къ одной дамѣ". Намъ попадаются здѣсь и стихотворенія, затрагивающія общіе вопросы, опять—связанные съ любовью и страстью: „Первый поцѣлуй любви", „Послѣднее *прости* любви".

Не всѣ эти вещи одинаковаго достоинства; нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ собою только довольно несовершенные опыты молодого дебютанта, желающаго попробовать свои силы въ эротическомъ жанрѣ, повѣдать, если не міру, то по крайней мѣрѣ заинтересованнымъ въ этомъ лицамъ, о томъ, что онъ испыталъ и выстрадалъ, беззавѣтно отдаваясь чувству любви... Кое гдѣ сказывается недостатокъ самобытности, склонность повторять, за неимѣніемъ собственныхъ, вполнѣ самостоятельно придуманныхъ образовъ, сравненій, эпитетовъ, то, что было вычитано изъ книгъ соотвѣтствующаго содержанія—напр., античныхъ— и показалось достойнымъ заимствованія. Иногда насъ не вполнѣ удовлетворитъ, наконецъ, и самая внѣшняя форма стиха, который въ подобныхъ случаяхъ хотѣлось бы видѣть болѣе музыкальнымъ и гибкимъ, какъ и риѳмы—болѣе богатыми. Но это замѣчаніе относится далеко не ко всѣмъ эротическимъ произведеніямъ юнаго Байрона; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сказывается искреннее чувство, поэтично выраженное, мѣстами уже подернутое едва уловимою дымкою грусти...

Изъ всей этой категоріи стихотвореній слѣдуетъ выдѣлять, напримѣръ, еще очень несовершенную по формѣ (такъ что авторъ счелъ нужнымъ оговорить или объяснить въ особомъ примѣчаніи ея включеніе въ „Fugitive pieces"), но весьма правдивую и прочувствованную элегію на смерть Маргариты Паркеръ, озаглавленную „На кончину молодой дѣвушки, двоюродной сестры автора, которая была очень дорога ему". Здѣсь отражается непритворная скорбь мальчика Байрона (элегія написана была въ 1802 году) при мысли о томъ, что молодая, красивая, изящная дѣвушка стала добычей смерти, была похищена „царемъ ужаса", не знающимъ состраданія и жалости. На-

[1]) См. письмо Байрона къ матери (сентябрь 1803 г.), а также письмо послѣдней къ Гэнсону относящееся къ той же порѣ и затрагивающее вопросъ о любви поэта къ Мэри.

прасно старается авторъ утѣшить себя мыслями о томъ, что любимое имъ существо находится теперь въ блаженной обители, среди лучезарнаго сіянія, ангельскихъ хоровъ и вѣчныхъ радостей... Могила Маргариты все же вызываетъ у него скорбь и тоску, слезы выступаютъ у него на глазахъ, его сердце не можетъ такъ скоро забыть ту, къ которой оно было привязано.

Рано или поздно, время должно было, однако, взять свое, молодая душа не могла долго оставаться безъ привязанности и любви,—особенно такая пылкая и страстная душа, какая была у юнаго Байрона! Отъ элегіи на смерть Маргариты Паркеръ мы теперь должны перейти къ стихотвореніямъ, навѣяннымъ любовью къ Мэри Чавортъ, временно овладѣвшею всѣми мыслями, ощущеніями и порывами молодого поэта, который серьезно думалъ о томъ, чтобы сдѣлать Мэри своею женою. Портреты Мэри (приложенные къ настоящему тому) даютъ извѣстное представленіе о красотѣ и изяществѣ ея лица, хотя,—по справедливому замѣчанію новѣйшаго біографа Байрона,—конечно, не могутъ вполнѣ передать и объяснить намъ того обаянія, какое она производила на своего поклонника, всецѣло отдавшагося одно время своему чувству. Стихотворенія, посвященныя Мэри,—тѣмъ болѣе, если ихъ сопоставить съ другими свѣдѣніями, находящимися въ нашемъ распоряженіи,—опредѣленно свидѣтельствуютъ о томъ, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ чѣмъ то болѣе серьезнымъ и глубокимъ, чѣмъ тѣ мимолетныя увлеченія, которыя отразились въ многочисленныхъ эротическихъ вещицахъ, вошедшихъ въ „Часы досуга“. Вмѣстѣ съ большинствомъ біографовъ поэта, нельзя не высказать предположенія, что его жизнь сложилась бы, вѣроятно, совершенно по другому, и его характеръ вылился бы въ иную форму, еслибы Мэри Чавортъ не отвергла любви „хромоногаго мальчика“, къ которому она чувствовала только чисто братское расположеніе, не допуская и мысли о чемъ либо болѣе глубокомъ и захватывающемъ, хотя и польщенная его поклоненіемъ [1]). Замужество Мэри было одною изъ первыхъ серьезныхъ драмъ въ жизни Байрона; напускное спокойствіе, съ какимъ онъ выслушалъ извѣстіе объ этомъ событіи изъ устъ своей матери, совѣтовавшей ему предварительно „вынуть носовой платокъ, такъ какъ онъ можетъ ему понадобиться“, не имѣетъ серьезнаго значенія и не передаетъ того, что происходило въ это время въ душѣ юноши...Печальная развязка отнюдь не шаблоннаго романа молодого Байрона производитъ тѣмъ болѣе удручающее впечатлѣніе, что дальнѣйшая жизнь Мэри, отвергнувшей Байрона, чтобы устроить свою судьбу по другому, сложилась очень неудачно: семейный разладъ, отсутствіе всякаго духовного единенія супруговъ, потомъ душевная болѣзнь, сравнительно ранняя смерть (но уже послѣ кончины Байрона),—вотъ что выпало ей на долю. Но, подобно тому, какъ имена самыхъ близкихъ друзей Байрона не забыты до сихъ поръ, имя Мэри Чавортъ знакомо всѣмъ, кто интересуется жизнью и творчествомъ поэта, особенно благодаря тѣмъ стихотвореніямъ изъ „Часовъ досуга“, въ которыхъ увѣковѣченъ ея чарующій образъ [1]).

Байронъ вспоминаетъ о Мэри въ двухъ строфахъ изъ стихотворенія „Слеза“, вообще носящаго грустную, пессимистическую окраску. Здѣсь мы узнаемъ, что любимая дѣвушка для него потеряна навсегда, что пропало то время, когда она отвѣчала слезою участія на его пламенные обѣты; она принадлежитъ другому—и онъ долженъ со вздохомъ отказаться отъ того, что уже считалъ своимъ, продолжая все же искренно желать ей счастья и относиться къ ней съ уваженіемъ. Еще болѣе замѣчательно въ данномъ случаѣ стихотвореніе „Къ одной дамѣ“ (въ позднѣйшей редакціи: „Къ—“), носящее чисто автобіографическій характеръ. Характерны уже самыя первыя слова: „О, еслибы моя судьба была связана съ твоею“... Словно предугадывая то, что онъ долженъ былъ сказать впослѣдствіи, испытавъ длинный рядъ разочарованій и невзгодъ, поэтъ представляетъ себѣ, каковъ онъ былъ бы, еслибы возлѣ него находилась горячо имъ любимая женщина, способная благотворно вліять на него. Онъ избѣгнулъ бы многихъ заблужденій, неразумныхъ шаговъ, былъ бы лучше, нравственнѣе и чище душою. Вѣдь когда то „моя душа была чиста подобно твоей“... Тогда миръ его души еще не былъ нару-

[1]) Самъ Байронъ высказывалъ подобную мысль значительно позднѣе этой поры, незадолго до смерти (1822 г). «Если-бы я женился на ней, быть можетъ, вся моя жизнь сложилась бы по другому».

[1]) Ср. Elze, стр. 36—37, 47—51; А. Веселовскій, «Байронъ», стр. 17—18, 27.

шенъ, отчаяніе еще не закрадывалось въ нее. Но послѣ того, какъ Мэри стала женою другого, онъ точно переродился, — только не къ лучшему! Онъ началъ искать забвенія, чтобы заглушить скорбь сердца и, какъ онъ выражается въ порывѣ откровенности, постараться найти во многихъ то, что когда то онъ думалъ найти въ ней одной. Всѣ тѣ наслажденія, которымъ онъ теперь отдается, чтобы не думать и не вспоминать постоянно о своемъ горѣ, были бы ему чужды, еслибы Мэри не отвергла его, потому что онъ искренно хотѣлъ испытать спокойныя семейныя радости... При всемъ томъ, ради любимой женщины, поэтъ соглашается относиться безъ ненависти къ своему счастливому сопернику.

Двѣ маленькія вещицы, относящіяся къ 1805—6 годамъ, отражаютъ въ очень сжатой, но все-же яркой и характерной формѣ ту же скорбь осиротѣвшаго поэта. Первая изъ нихъ представляетъ собою „Отрывокъ"—(второй) его обращеніе къ тѣмъ мѣстамъ, вродѣ Эннсли, которыя еще такъ недавно были ему дороги, потому что улыбка Мэри дѣлала ихъ подобными небеснымъ обителямъ,—а теперь кажутся ему суровыми и непривѣтливыми! Вторая, озаглавленная „Воспоминаніе", еще любопытнѣе: здѣсь поэтъ прощается съ любовью, надеждою, радостью, говоритъ, что счастье его покинуло,—и сожалѣетъ только о томъ, что не можетъ отрѣшиться и отъ воспоминаній... Въ 1807 г. Байронъ снова вспоминаетъ о Мэри въ одной изъ строфъ стихотворенія „The adieu" (Прощаніе), а къ 1808-му относится замѣчательное и по содержанію, и по формѣ, стихотвореніе. „Итакъ, ты счастлива", интересное и въ чисто психологическомъ отношеніи, какъ любопытный „человѣческій документъ", дающій намъ возможность заглянуть въ самую глубину потрясеннаго и страдающаго сердца. Послѣ извѣстнаго промежутка, поэтъ увидѣлъ ту дѣвушку, которую онъ любилъ, уже замужнею женщиною, матерью, говорилъ съ ея мужемъ, ласкалъ ея ребенка и невольно отдался мыслямъ о томъ, что могло бы быть, еслибы сбылись его мечты. Недаромъ онъ такъ боялся этой минуты, волновался, ожидая этого свиданія; но онъ все же взялъ себя въ руки, съ наружнымъ спокойствіемъ вынесъ устремленный на него пристальный взглядъ Мэри,— и только безмолвное, вѣчно застывшее, чуждое всего мятежнаго отчаяніе отразилось на его лицѣ... Наконецъ, въ 1809 г, поэтъ пишетъ свои „Стансы, къ одной дамѣ, при отъѣздѣ изъ Англіи", которые мѣстами можно сопоставить съ прощаніемъ Чайльдъ-Гарольда. Здѣсь опять говорится объ одиночествѣ и душевномъ сиротствѣ, о жаждѣ забвенія, которая заставила поэта мечтать объ отъѣздѣ изъ родныхъ краевъ, гдѣ все ему слишкомъ напоминало о прекрасной, но оттолкнувшей его дѣвушкѣ. Тщетно старался онъ утѣшиться или разсѣяться,— *„потому что я могу любить только одну!"*... Не забудемъ, что семь лѣтъ спустя, въ 1816 году, Байронъ написалъ въ Швейцаріи стихотвореніе „Сонъ", возсоздающее заново исторію его несчастной любви.

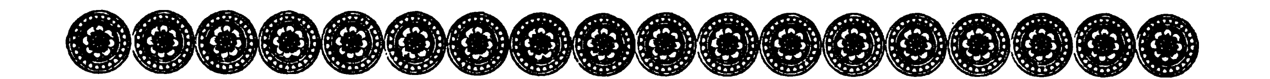
Нѣкоторыя изъ стихотвореній, относящихся къ Мэри Чавортъ, принадлежатъ къ наиболѣе красивымъ по формѣ и поэтичнымъ произведеніямъ, какія только можно найти въ „Часахъ досуга". Нельзя вообще достаточно протестовать противъ мнѣнія, будто въ юношескомъ циклѣ Байрона попадаются только весьма несовершенныя, не вполнѣ отдѣланныя вещи, которыя не имѣютъ никакой связи съ зрѣлыми произведеніями поэта. Во многихъ случаяхъ эта связь опредѣленно бросается намъ въ глаза; иногда то или другое стихотвореніе является какъ бы эмбріономъ или первымъ наброскомъ другого, болѣе поздняго и поэтому болѣе зрѣлаго произведенія. Въ примѣрахъ недостатка не будетъ. Сатирическое, мѣстами—очень рѣзкое стихотвореніе „Мысли, внушенныя экзаменомъ въ коллэджѣ" предвѣщаетъ позднѣйшія сатирическія нападки Байрона, начиная съ „Англійскихъ бардовъ". Эльце сопоставилъ выходки юнаго Байрона противъ Кэмбриджа съ тѣмъ, что мы встрѣчаемъ впослѣдствіи по этой части въ его поэмѣ „Беппо". Въ стихотвореніи, посвященномъ Бичеру (1806 г.), уже отражается, быть можетъ, нѣсколько преждевременное, еще не вполнѣ пережитое и перечувствованное, но все же—замѣчательно характерное для Байрона гордое разочарованіе, которое должно было впослѣдствіи стать отличительною чертою его творчества. Поэтъ говоритъ здѣсь о томъ, что онъ *„не хочетъ спускаться въ міръ, который онъ презираетъ"*, преклоняться передъ надменными, привѣтствовать глупцовъ; только благодарность потомства и громкая слава какого нибудь Фокса еще могли бы привлечь его! „Мнѣ немного лѣтъ,—между тѣмъ, я уже чувствую, что этотъ міръ не для меня", восклицаетъ поэтъ въ стихотвореніи „Я

хотѣлъ бы быть снова беззаботнымъ ребенкомъ"; онъ уже испытываетъ желаніе бѣжать отъ людей, жалуется на непрочность дружбы и любви, съ ужасомъ вспоминаетъ о томъ, какъ неприкрашенная дѣйствительность смѣнила собою мечты и фантастическія грезы, показавъ ихъ несостоятельность.

Чисто байроновскіе мотивы звучатъ въ „Молитвѣ природы", о которой мы упоминали выше; „Отецъ свѣта, великій небесный Богъ,—такъ начинается эта своеобразная молитва,—*слышишь ли Ты возгласы отчаянія?*" Въ слѣдующей строфѣ мы читаемъ: „Отецъ свѣта, къ Тебѣ я взываю! Ты видишь, какъ мрачна моя душа!" Любопытно, что эти строки были почти дословно повторены поэтомъ въ другомъ стихотвореніи, также весьма грустномъ по общему тону — „Прощаніе". Разочарованіемъ дышитъ и стихотвореніе „Къ—", полное рѣзкихъ выходокъ противъ женщинъ („я не скажу, чтобы у васъ не было души, - нѣтъ она у васъ есть, и очень темная" и т. д.) и заканчивающееся словами: „Женщина! можетъ быть, у тебя есть душа,—но гдѣ же скрыли демоны твое сердце?!" Здѣсь можно было бы вспомнить и дышащую мизантропіей „Эпитафію Нью-фаундлэндской собакѣ", и необыкновенно поэтичное стихотвореніе „Такъ плакать ты будешь, когда я умру", и отмѣченные выше „Стансы къ одной дамѣ", съ ихъ гарольдовскимъ пессимизмомъ. Въ общемъ, юношескія произведенія Байрона, уступая, конечно, его лучшимъ, наиболѣе зрѣлымъ и сильнымъ вещамъ, все же подготовляютъ насъ къ славной и плодотворной порѣ его литературной дѣятельности и служатъ переходомъ къ ней.

Юрій Веселовскій.





ЧАСЫ ДОСУГА.

Сборникъ оригинальныхъ и переводныхъ стиховъ.

Virginibus puerisque canto.—*Horat.*, lib. III, od. I.
Μήτ ἄρ με μάλ' αἴνεε μήτε τι νείκει, *Homer*. Jliad. X. 249.
He whistled as he went, for want of thought. *Dryden.*

ФРЕДЕРИКУ, ГЕРЦОГУ КАРЛЭЙЛЮ,

Рыцарю Подвязки и пр. и пр. посвящаетъ второе изданіе стиховъ

благодарный ему воспитанникъ и преданный родственникъ

Авторъ.

Предисловіе.

Выпуская въ свѣтъ нижеслѣдующій сборникъ, я долженъ бороться съ трудностями, выпадающими на долю всѣхъ пишущихъ стихи, и кромѣ того еще, быть можетъ, буду обвиненъ въ дерзости за то, что я навязываю свои чувства міру, когда несомнѣнно могъ бы въ моемъ возрастѣ сдѣлать нѣчто болѣе полезное.

Эти стихи—плодъ досуга юноши, которому недавно минуло девятнадцать лѣтъ. Такъ какъ въ нихъ ясно сказывается юношеская незрѣлость, то быть можетъ лишнее упоминать о возрастѣ автора. Нѣкоторые стихи были написаны во время болѣзни и вызваны упадкомъ духа; подъ вліяніемъ болѣзни написаны въ особенности „Отроческія воспоминанія“. Это обстоятельство хотя и не можетъ вызвать похвалъ, но по меньшей мѣрѣ можетъ смягчить рѣзкость осужденія. Значительная часть настоящихъ стиховъ была напечатана не для продажи, а въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ, для моихъ друзей—по ихъ просьбѣ. Я знаю, что пристрастныя и часто несправедливыя похвалы кружка друзей не могутъ служить мѣркой для оцѣнки поэтическаго дарованія, но для того, чтобы многое совершить, нужно на многое отважиться, и я поэтому поставилъ на карту мои чувства и мою репутацію, выпуская въ свѣтъ эту книжку. „Я перешагнулъ Рубиконъ“, и восторжествую или паду—какъ рѣшитъ жребій. Въ послѣднемъ случаѣ я не буду роптать, ибо, хотя меня и тревожитъ судьба этихъ изліяній, я не возлагаю на нихъ большихъ надеждъ. Возможно, что смѣлость моя была велика, а заслуги ничтожны, потому что, какъ говоритъ Коуперъ,—„совершенно иное дѣло нравиться друзьямъ, расположеннымъ въ нашу пользу, чѣмъ написать то, что понравится всякому; тѣ, которые не имѣютъ никакого отношенія къ автору и даже не знаютъ его, навѣрное будутъ придираться и отыскивать въ немъ недостатки“. Я впрочемъ не вполнѣ согласенъ съ этимъ: напротивъ того, я увѣренъ, что издаваемыя мною мелочи не встрѣтятъ несправедливаго отношенія. Если въ нихъ есть что-нибудь хорошее, это будетъ охотно признано; ихъ многочисленные недостатки, съ другой стороны, не могутъ разсчитывать на снисхожденіе, въ которомъ отказываютъ болѣе зрѣлымъ писателямъ, болѣе установившимся и безконечно болѣе искуснымъ, чѣмъ я.

Я не стремился къ исключительной оригинальности, но и не подражалъ какому-

нибудь опредѣленному образцу: въ сборникѣ есть нѣсколько переводовъ, многіе изъ которыхъ скорѣе передѣлки. Въ оригинальныхъ стихотвореніяхъ могутъ иногда встрѣтиться совпаденія съ авторами, произведенія которыхъ я часто читалъ; но я не совершалъ намѣренныхъ плагіатовъ. Создать нѣчто совершенно новое въ эпоху, столь обильную поэтами, было бы геркулесовскимъ подвигомъ, такъ какъ всѣ сюжеты разработаны и почти исчерпаны. Но поэзія не составляетъ моего главнаго призванія; только желаніе разсѣяться въ грустные часы болѣзни или заполнить чѣмъ-нибудь часы досуга побудило меня свершить этотъ „грѣхъ"; чего же можно ожидать отъ такой мало обѣщающей музы? Вѣнокъ, который я теперь сплетаю—конечно, очень скромный—останется единственнымъ; я никогда не буду пытаться замѣнять его падающіе листья новыми, или сорвать хотя бы еще одну только добавочную вѣтку въ рощахъ, гдѣ я въ лучшемъ случаѣ, только непрошенный гость. Хотя я и привыкъ въ юности безпечно бродить по шотландскимъ горамъ, но въ позднѣйшіе годы я не вдыхалъ столь чистаго воздуха и не жилъ на высотахъ; поэтому я не могу соперничать съ истинными пѣвцами, которые пользовались этими благами. Но они пріобрѣли громкую славу, а нѣкоторые даже не меньшую матеріальную выгоду своими произведеніями. Я же искуплю мою необдуманность тѣмъ, что навѣрное не достигну славы, и по всей вѣроятности извлеку лишь весьма мало выгоды изъ моихъ стиховъ. Я предоставляю другимъ „virum solitare per ora" и обращаюсь къ тѣмъ немногимъ, которые терпѣливо прослушаютъ мое „dulce est dissipere in loco". Знаменитымъ поэтамъ я предоставляю безъ всякой зависти надежду на безсмертіе, а самъ удовлетворюсь не особенно блестящей перспективой—т.е. тѣмъ, что меня причислятъ къ толпѣ „пишущихъ джентельмэновъ знатнаго происхожденія". Пусть мои читатели рѣшатъ, можно ли будетъ прибавить къ этому „пишущихъ легко", и удостоюсь ли я чести быть названнымъ послѣ смерти въ „Catalogue of Royal and noble Authors". — Эта книга сослужила большую службу англійскому царству: многія длинныя, звучныя и древнія имена были извлечены ею изъ мрака неизвѣстности въ который, къ сожалѣнію, погружены нѣкоторыя объемистыя произведенія ихъ знатныхъ носителей.

Я выпускаю въ свѣтъ эту первую и послѣднюю литературную попытку съ нѣкоторымъ страхомъ и очень слабыми надеждами. Юное честолюбіе толкаетъ иногда на еще болѣе преступныя и столь же нелѣпыя дѣянія. Многихъ моихъ сверстниковъ содержаніе сборника быть можетъ заинтересуетъ. Надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что его найдутъ безвреднымъ. Въ высшей степени сомнительно, въ виду моего положенія и моихъ жизненныхъ цѣлей, чтобы я вторично навязывалъ мои произведенія публикѣ; даже если—что едва-ли можетъ случиться—ко мнѣ отнесутся на этотъ разъ благосклонно, все же это не соблазнитъ меня совершить въ будущемъ такой же проступокъ. По поводу поэзіи одного моего знатнаго родственника д-ръ Джонсонъ писалъ слѣдующее.—„Если аристократъ выступаетъ, какъ писатель, то онъ по крайней мѣрѣ заслуживаетъ признанія своихъ достоинствъ". Слова эти не имѣютъ вѣса у тѣхъ, которые критикуютъ устно,—а тѣмъ болѣе въ печати. Но если бы это и не было такъ, все-же я не хотѣлъ бы пользоваться подобной привилегіей; я предпочелъ бы самую рѣзкую критику, скрываясь подъ псевдонимомъ, почестямъ, отдаваемымъ только титулу.





НА РАЗСТАВАНІЕ СЪ НЬЮСТЭДТСКИМЪ АББАТСТВОМЪ.

(On leaving Newstead Abbey)

«Зачѣмъ воздвигаешь ты чертогъ, сынъ крылатыхъ дней? Сегодня ты глядишь съ твоей башни; но пройдетъ немного лѣтъ, налетитъ вѣтеръ пустыни и завоетъ въ опустѣломъ дворѣ». Оссіанъ.

Ньюстэдтъ, въ башняхъ твоихъ свищетъ вѣтеръ глухой,
Домъ отцовъ, ты пришелъ въ разрушенье!
Лишь омела въ садахъ да репейникъ сѣдой
Пышныхъ розъ заглушаютъ цвѣтенье.

Отъ бароновъ, водившихъ вассаловъ на бой
Изъ Европы въ поля Палестины,
Лишь остались гербы да щиты, что порой
Треплетъ вѣтръ, оглашая равнины.

Старый Робертъ замолкъ; не споетъ больше онъ
Намъ подъ арфу воинственныхъ пѣсенъ;
У стѣны Аскалонской спитъ Джонъ Гористонъ;
Смертный одръ менестреля такъ тѣсенъ.

При Кресси спитъ и Павелъ съ Губертомъ; они
За Эдварда и Англію пали.
Васъ оплакала родина, предки мои,
И преданія васъ воспѣвали.

Вмѣстѣ съ Рупертомъ четверо братьевъ въ бою
Смѣло отдали жизнь при Марстонѣ
За права короля, за отчизну свою
И за вѣрность законной коронѣ.

Тѣни храбрыхъ! Потомокъ вамъ шлетъ свой привѣтъ,
Отчій домъ навсегда покидая!
Сохранитъ онъ въ душѣ память вашихъ побѣдъ
Вдалекѣ отъ родимаго края.

Свѣтлый взоръ при разлукѣ затмится слезой,—
Но не страха,—слезой сожалѣнья;
Ѣдетъ вдаль онъ, горя постоянной мечтой
Удостоиться съ вами сравненья.

Не унизитъ потомокъ вашъ доблестный родъ
Ни позорнымъ поступкомъ, ни страхомъ...
Онъ, какъ вы, будетъ жить, и какъ вы, онъ умретъ,
И смѣшаетъ свой прахъ съ вашимъ прахомъ!

В. Мазуркевичъ.

КЪ Э—.
(To E—).

Пускай глупцы съ неодобреньемъ
Надъ нашей дружбою острятъ.
Почту я доблесть уваженьемъ
Скорѣй, чѣмъ пышность и развратъ!

И если такъ судьба рѣшила,
Что я рожденъ тебя знатнѣй,—
Не въ знатномъ родѣ, другъ мой, сила,
Цѣннѣе кладъ въ груди твоей.

Союзъ живой для насъ пріятенъ,
Онъ не унизитъ честь мою;
Хоть мой достойный другъ не знатенъ,
Не меньше я его люблю.

С. Ильинъ.

НА СМЕРТЬ КУЗИНЫ АВТОРА, ДОРОГОЙ ЕГО СЕРДЦУ.
(On the death of a young lady, Cousin to the author, and very dear to him).

Стихъ вѣтерокъ... не тронетъ тишь ночную;
Зефиръ въ лѣсахъ не шевелитъ листы;
Я на могилу вновь иду родную;
Я Маргаритѣ вновь несу цвѣты...

Тамъ прахъ ея печальный холодѣетъ,
А жизнь давно-ль ключомъ кипѣла въ ней...
Царь тьмы теперь добычею владѣетъ,
Ничто его не избѣжитъ когтей.

Когда-бъ знавалъ царь грозный сожалѣнье,
Когда-бъ рѣшенье рокъ мѣнялъ свое,
Печальное здѣсь не звучало-бъ пѣнье,
И муза здѣсь не славила-бъ ее..

Не нужно слезъ. Ея душа святая
Въ сіяньѣ дня небеснаго паритъ,
И ангелы ее по стогнамъ рая
Ведутъ туда, гдѣ радость лишь царитъ.

Судить-ли намъ благое Провидѣнье?
Роптать-ли намъ въ безуміи своемъ?
Нѣтъ, никогда! Прочь, дерзкое сомнѣнье,
Я въ прахъ готовъ упасть передъ Творцомъ!

Но образъ живъ ея души кристальной,
Не умерли прелестныя черты,
Она—родникъ моей слезы хрустальной,
О ней мои всѣ лучшія мечты...

С. Ильинъ.

КЪ Д—.
(To D).

Когда я прижималъ тебя къ груди своей,
Любви и счастья полнъ и примиренъ съ судьбою,
Я думалъ: только смерть насъ разлучитъ съ тобою;
Но вотъ разлучены мы завистью людей!

Пускай тебя навѣкъ, прелестное созданье,
Отторгла злоба ихъ отъ сердца моего;
Но, вѣрь, имъ не изгнать твой образъ изъ него,
Пока не палъ твой другъ подъ бременемъ страданья!

И если мертвецы пріютъ покинутъ свой
И къ вѣчной жизни прахъ изъ тлѣнья возродится,
Опять чело мое на грудь твою склонится:
Нѣтъ рая для меня, гдѣ нѣтъ тебя со мной!

А. Плещеевъ.



ВИДЪ НА НЬЮСТЭДСКОЕ АББАТСТВО. (Newstead Abbey).

Рис. Вестоль (W. Westall), грав. Э. Финденъ (E. Finden).

КАРОЛИНѢ.

(To Caroline).

Ужели ты вѣришь, что могъ я взирать
На слезы твои безъ волненья
И вздохамъ твоимъ безучастно внимать,
Глубокимъ и полнымъ значенья?

Ты горькія, жгучія слезы лила
Любви и надежды разбитой —
Но грудь моя также тѣснима была
Такой же тоской ядовитой.

И чужды мы были всѣхъ мыслей другихъ,
Уста въ поцѣлуѣ сливались,
И слезы мои незамѣтно въ твоихъ
Обильныхъ слезахъ растворялись.

Но щекъ моихъ пламень тебя не обжогъ,
Ты ихъ охлаждала слезами;
Языкъ твой назвать мое имя не могъ,
Его ты сказала очами...

Напрасно ты такъ изнываешь душой!
Забудемъ всѣ прежнія грезы,
Вѣдь память о нихъ принесетъ намъ съ тобой
Однѣ безконечныя слезы.

Прощай же, должны мы другъ другу сказать,
Оставь о быломъ сожалѣнье,
О счастьи минувшемъ оставь вспоминать,
Забыть все—вотъ наше спасенье!...

Н. Брянскій.

КАРОЛИНѢ.

(To Caroline).

Ты говоришь: люблю, но взора твоего
Вполнѣ спокойно выраженье;
Ты говоришь: люблю, но отчего
Въ тебѣ и тѣни нѣтъ волненья?

Ахъ, еслибы огнемъ пылала грудь твоя,
То было бъ счастья намъ порукой;
Была бъ ты счастлива со мной, какъ счастливъ я,
Какъ я, терзалась бы разлукой.

Когда встрѣчаюсь я съ тобой, — огнемъ любви
Мое лицо тотчасъ пылаетъ,
Но у тебя, мой другъ, волненья нѣтъ въ крови,
Твой взоръ на мой не отвѣчаетъ.

Про страсть мнѣ говоритъ одинъ лишь голосъ твой,
Мое онъ имя шепчетъ нѣжно,—
Но все же любишь ты любовью не такой,
Какъ я—безумно и мятежно.

Твои уста всегда покрыты словно льдомъ,
И, отвѣчая на лобзанья,
Отвѣтнымъ не горятъ они огнемъ,
Не дышатъ нѣгою желанья.

Ужели только словъ достойна страсть моя?
Ихъ звукъ пустой меня тревожитъ!
Я съ болью чувствую: такая, какъ твоя —
Любовь правдивой быть не можетъ!

Встрѣчаешь ты меня холодностью очей,
Ты не вздохнешь, со мной прощаясь,—
О, какъ любовь моя отлична отъ твоей,
Какъ я страдаю, разставаясь!

Душа моя полна тобой, одной тобой,
Весь день лишь ты въ воображеньи,
Когда жъ забудусь сномъ, то вновь передъ собой
Твой образъ вижу въ сновидѣньи.

Тогда уста твои, мой другъ, не холодны,
Они огнемъ любви пылаютъ,
Прильнувъ къ устамъ моимъ, желанія полны,
Мнѣ поцѣлуй мой возвращаютъ..

О, еслибъ этотъ мигъ еще продлиться могъ!
Увы! обманутъ я мечтою...
Чу! голосъ твой! ахъ нѣтъ, то легкій вѣтерокъ
Колышетъ сонною листвою.

Когда же наяву, любовію томимъ,
Тебя съ восторгомъ обнимаю,
То чувствую, увы, что я къ устамъ моимъ
Холодный мраморъ прижимаю!

Но если, холодомъ сковавъ твои уста,
Ты счастье мнѣ всей жизни губишь —
Ты, можетъ быть, разумна и чиста,
Пусть такъ!..—но ты меня не любишь!..

Н. Брянскій.

ЭММѢ.

(To Emma).

О Эмма! близокъ часъ разлуки,
Пора сказать мечтамъ прости;
Еще одной, послѣдней муки
Мы гнетъ должны перенести.

Да, страшенъ этотъ мигъ жестокій,
Судьба велитъ разстаться намъ,
И вы, мой ангелъ свѣтлоокій,
Умчитесь къ дальнимъ берегамъ.

Мы знали счастье, дорогая,
Мы сохранимъ его привѣтъ,
О старомъ замкѣ вспоминая,
Пріютѣ отроческихъ лѣтъ,—

Гдѣ разстилались передъ нами
Долина, паркъ и гладь озеръ;
Отъ нихъ наполненный слезами
Мы оторвать не въ силахъ взоръ.

Вотъ тѣ мѣста, гдѣ мы играли,
Гдѣ вы, въ тѣни деревъ густой,
На грудь мнѣ голову склоняли,
Насытясь рѣзвой бѣготней;

Гдѣ, страстью нѣжною волнуемъ,
Съ васъ мухъ сгонять я забывалъ,
Но самъ къ ихъ смѣлымъ поцѣлуямъ
Я зависть тайную питалъ.

А вотъ и онъ челнокъ нашъ скорый,
Мы въ немъ носились по водамъ;
Вотъ кленъ могучій, на который
Взбирался я въ угоду вамъ.

Тѣ дни прошли, увяла радость,
И паркъ и замокъ опустѣлъ...
Гдѣ нашихъ встрѣчъ веселыхъ сладость?
Ихъ свѣтлый геній отлетѣлъ...

Какъ тяжела моя утрата
Пойметъ лишь тотъ, кто пережилъ,
Когда теряешь безъ возврата
Все то, что пламенно любилъ.

Не въ силахъ я тотъ мигъ печальный
Безъ горькихъ слезъ перенести,
Въ немъ, какъ любви аккордъ прощальный,
Звучитъ послѣднее прости.

Н. Брянскій.

СТАНСЫ,

написанныя въ «Письмахъ итальянской монахини и англичанина Ж. Ж. Руссо, основанныхъ на фактахъ».

(Lines, written in «Letters of an Italian Nun and an english gentlemen, by J. J. Rousseau: founded on facts»).

„Прочь, изощренное искусство!
Лги тѣмъ, кто слѣпо вѣритъ въ чувство,
Осмѣй тоску сердечныхъ ранъ,
Они-жъ оплачутъ твой обманъ".

Отвѣтъ на предыдущее, обращенный къ миссъ:

О, дѣва милая, напрасно
Такъ осмотрительно и страстно
Ты бдишь надъ женскою душой!
Коварной лести изощренья—
Плодъ твоего воображенья
И призракъ, созданный тобой!
Кто восхищенными очами
Въ прелестный ликъ хоть разъ взглянулъ,
Тотъ льстивой рѣчи похвалами,
Повѣрь, тебя не обманулъ!
Взгляни хоть въ зеркало подолѣ:
Въ немъ отраженъ тотъ идеалъ,
Что будитъ зависть въ вашемъ полѣ,
Отъ насъ-же требуетъ похвалъ.
Тотъ, кто воздастъ чистосердечно
Твоей красѣ хвалу и честь,
Воздастъ лишь должное; конечно,
Онъ скажетъ правду, а не лесть!

В. Мазуркевичъ.

НА ПЕРЕМѢНУ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ.

(On a change of Masters at a great public school).

Гдѣ, Ида, слава та, которой ты блистала
Въ тѣ дни, когда рѣчамъ ты Пробуса внимала?
Когда могучій Римъ въ безславьи низко палъ,
На мѣсто Цезаря онъ варвара призвалъ,—
Съ тобой такая же теперь метаморфоза:
На мѣсто Пробуса сажаешь ты Помпоза.
Съ душою узкою и съ узкимъ же умомъ
Помпозъ гнететъ тебя надзоромъ, какъ ярмомъ.
Гражданскихъ доблестей и тѣни не имѣя,
Онъ типъ тщеславнаго, пустого лицедѣя.
Съ шумихой глупыхъ словъ онъ много правилъ ввелъ,
Еще неслыханныхъ среди англійскихъ школъ.
Онъ педантизмъ призналъ системой просвѣщенья,
И правитъ, самъ себѣ давая одобренья...
Но жребій роковой, постигшій древній Римъ,
О Ида, долженъ быть отнынѣ и твоимъ:
Отъ всѣхъ твоихъ наукъ, взамѣнъ ихъ процвѣтанья,
Тебѣ останется, увы, одно названье! .

Н. Брянскій.

ЭПИТАФІЯ ДРУГУ.

(Epitaph on a beloved friend).

„Αστηρ πριν μὲν ἔλαπες ἐνι ζωοῖσιν εφος".—

Laertius.

О другъ, любимый другъ, навѣки дорогой!
Какъ много тщетныхъ слезъ мы лили надъ тобой,
Какими стонами тебѣ мы отвѣчали
На твой предсмертный вздохъ, исполненный печали!
Когда бы слезъ потокъ смерть удержать съумѣлъ,

А стонъ нашъ — притупить всю ярость смертныхъ стрѣлъ,
Когда-бы Красота тира́на—смерть смягчила,
А юность—призракъ злой отъ жертвы отвратила,—
Ты, гордость всѣхъ друзей, ты жилъ бы до сихъ поръ
И радовалъ собой страдающій мой взоръ!
О, если кроткій духъ твой безъ земного страха
Еще витаетъ здѣсь, вблизи нѣмого праха,—
Въ моей душѣ прочтетъ такую скорбь твой взоръ,
Которую-бъ не смогъ изобразить скульпторъ.
Не мраморъ надъ твоей могилой роковою—
Живыя статуи рыдаютъ надъ тобою
И не притворная склоняется Печаль,
Нѣтъ, Горю самому погибшей жизни жаль.
Пусть плачетъ твой отецъ надъ угасаньемъ рода,—
Моя печаль сильнѣй и тяжелѣй невзгода.
Не ты утѣшишь грусть родительскихъ сѣдинъ,
Но всеже у отца остался младшій сынъ,
А кто-жъ въ моей душѣ тебя, мой другъ, замѣнитъ,
Кто дружбой новою былую обезцѣнитъ.
Современемъ отецъ отъ слезъ осушитъ взглядъ,
Утѣшится въ твоей кончинѣ младшій братъ,
Для всѣхъ былая скорбь покажется далекой,
Останется моя лишь дружба одинокой!

В. Мазуркевичъ.

ОТРЫВОКЪ.

(A Fragment).

Когда помчится духъ мой ввысь, въ чертогъ отцовъ,
Услышавъ радостно ихъ долгожданный зовъ,
И будетъ пролетать мой призракъ чрезъ поляны,
Иль по откосамъ горъ спускаться сквозь туманы,
Пускай надгробныхъ урнъ не видитъ тѣнь моя,
Гласящихъ, что землѣ здѣсь предана земля,
Ни списка дѣлъ моихъ, ни хартіи похвальной,
Лишь имя быть должно мнѣ надписью прощальной!
Коль именемъ моимъ не буду славенъ я,
Пускай другихъ наградъ не знаетъ жизнь моя!
Пусть лишь оно твердитъ о мѣстѣ погребенья—
Въ немъ иль безсмертіе, иль вѣчный мракъ забвенья!

В. Мазуркевичъ.

КАРОЛИНѢ.

(To Caroline)

Когда-же скорбь мою могила успокоитъ,
И духъ мой отъ земли направитъ свой полетъ?!
Жизнь въ настоящемъ—адъ, грядущее-жъ удвоитъ
Всю горечь прошлаго ярмомъ дневныхъ заботъ.

Въ устахъ проклятій нѣтъ; изъ глазъ не льются слезы;
Я не прогналъ враговъ блаженства моего.
О жалкая душа, ты можешь безъ угрозы
Лишь сѣтовать въ тоскѣ безсилья своего!



КАРОЛИНА (Caroline).

Рис. Корбо (Miss F. Corbeaux), грав. Голь (B. Holl).

Но если-бы мой взоръ сверкалъ огнемъ кровавымъ
И съ устъ лился потокъ неукротимыхъ словъ,
Я-бъ молніи металъ въ лицо врагамъ неправымъ
И гнѣву-бъ языка дать волю былъ готовъ!

Теперь-же тщетно все! И жалобы, и муки
Мучителей моихъ утѣшить бы могли;
При видѣ нашихъ слезъ въ послѣдній часъ разлуки
Ихъ злобныя сердца восторгомъ бы цвѣли!

Но если-бъ даже мы смирилися покорно—
Ликующимъ лучомъ жизнь больше не блеснетъ:

Любовь не принесетъ утѣхи благотворной,
Надежда умерла,—одна боязнь живетъ!

Когда-жъ они меня схоронятъ, дорогая?!
Любви и дружбы нѣтъ!.. Лишь горе безъ конца...
Но если обниму опять въ гробу тебя я,
Быть можетъ, тамъ они не тронутъ мертвеца!

В. Мазуркевичъ.

КАРОЛИНѢ.

(To Caroline).

Не подумай, что страстнымъ признаньямъ въ отвѣтъ
Я скажу, что любви я не вѣрю твоей;
Лишь взгляну на тебя—и сомнѣнія нѣтъ,
Такъ правдивъ этотъ блескъ твоихъ ясныхъ очей.

Но, любя, не могу не страдать я душой,
Что, какъ листьямъ, увянуть любви суждено,
Что промчатся года—будемъ плакать съ тобой
Мы о юности нашей, минувшей давно.

Что настанетъ пора—и каштановыхъ косъ
Вѣтерку не придется ласкать на тебѣ,
И серебряный цвѣтъ порѣдѣвшихъ волосъ
Намъ напомнитъ объ общей печальной судьбѣ.

Вотъ о чемъ я грущу, дорогая моя,
Не дерзая на Бога душою роптать,
Что настанетъ твой часъ, — и лишусь я тебя,
Что на свѣтѣ всему суждено умирать.

Такъ пойми же причину волненій моихъ,
Недовѣрчивый другъ мой! Тебя я люблю,
Нѣтъ сомнѣній на сердцѣ моемъ никакихъ,
Каждый взглядъ твой, улыбку — я жадно ловлю.

Но настанетъ чередъ роковой и для насъ,
И горѣвшія пылкой любовью сердца
Будутъ спать на кладбищѣ, пока трубный гласъ
Не разбудитъ всѣхъ мертвыхъ по волѣ Творца.

О, такъ выпьемъ же чашу блаженства до дна,
Пока льется оно къ намъ кипучей струей,
Будемъ пить, пока чаша благая полна
Дивнымъ нектаромъ нашей любви молодой!

Н. Брянскій.

ПРИ ВИДѢ ИЗДАЛИ ДЕРЕВНИ И ШКОЛЫ ВЪ ГАРРОУ-НА-ХОЛМѢ.

(On a distant view, of the village and school of Harrow-on the-Hill).

Oh mihi praeteritos referat si Juppiter annos!

Vergilius.

О дѣтства картины! Съ любовью и мукой
Васъ вижу, и съ нынѣшнимъ горько сравнить
Былое! Здѣсь умъ озарился наукой,
Здѣсь дружба зажглась, чтобъ недолгою быть;

Здѣсь образы ваши мнѣ вызвать пріятно,
Товарищи-други веселья и бѣдъ;
Здѣсь память о васъ возстаетъ благодатно
И въ сердцѣ живетъ, хоть надежды ужъ нѣтъ.

Вотъ горы, гдѣ спортомъ мы тѣшились славно,
Рѣка, гдѣ мы плавали, лугъ, гдѣ дрались;
Вотъ школа, куда колокольчикъ исправно
Сзывалъ насъ, чтобъ вновь мы за книжки взялись.

Вотъ мѣсто, гдѣ я, по часамъ размышляя,
На камнѣ могильномъ сидѣлъ вечеркомъ;
Вотъ горка, гдѣ я, вкругъ погоста гуляя,
Слѣдилъ за прощальнымъ заката лучомъ.

Вотъ вновь эта зала, народомъ обильна,
Гдѣ я, въ роли Занги, Алонзо топталъ,
Гдѣ хлопали мнѣ такъ усердно, такъ сильно,
Что Моссопа славу затмить я мечталъ.

Здѣсь, бѣшеный Лиръ, дочерей проклиная,
Гремѣлъ я, утративъ разсудокъ и тронъ;
И гордъ былъ, въ своемъ самомнѣньи мечтая,
Что Гаррикъ великій во мнѣ повторенъ.

Сны юности, какъ мнѣ васъ жаль! Вы безцѣнны!
Увянетъ ли память о милыхъ годахъ?
Покинутъ я, грустенъ; но вы незабвенны:
Пусть радости ваши цвѣтутъ хоть въ мечтахъ.

Я памятью къ Идѣ взываю все чаще;
Пусть тѣни грядущаго Рокъ развернетъ —
Темно впереди; но тѣмъ ярче, тѣмъ слаще
Лучъ прошлаго въ сердцѣ печальномъ блеснетъ.

Но еслибъ средь лѣтъ, уносящихъ стремленьемъ,
Рокъ новую радость узнать мнѣ судилъ,—
Ее испытавъ, я скажу съ умиленьемъ:
„Такъ было въ тѣ дни, какъ ребенкомъ я былъ".

Н. Холодковскій.

МЫСЛИ, ВНУШЕННЫЯ ЭКЗАМЕНОМЪ ВЪ КОЛЛЕДЖѢ.

(Thougths suggested by o college examination).

Среди коллегъ величіемъ блистая,
На креслѣ Магнусъ съ важностью сидитъ,
Какъ нѣкій богъ; студентовъ юныхъ стая
На ментора съ тревогою глядитъ;
Безмолвствуетъ толпа головъ поникшихъ,
Его лишь голосъ потрясаетъ залъ,
Браня глупцовъ несчастныхъ, непостигшихъ
Великихъ математики началъ.
Блаженъ юнецъ! Онъ объ Эвклидѣ слышитъ,
Но свѣдѣній почти лишенъ другихъ;
По англійски двухъ строчекъ не напишетъ,
А греческій скандуетъ бойко стихъ;
Не знаетъ онъ, какъ кровью истекали
Отцы его въ усобицѣ родной,
Какъ велъ Эдвардъ полки въ блестящей стали,
Какъ Генрихъ стиснулъ Францію пятой;
Онъ удивленъ при словѣ Magna Charta,
Но скажетъ вамъ, какъ управлялась Спарта;
Ликурга мудрость онъ прославитъ вамъ,
А Блэкстонъ спитъ подъ толстымъ слоемъ пыли;
Онъ греческихъ не мало знаетъ драмъ,
А объ Эвонскомъ бардѣ всѣ забыли.
Да; таковы юнцы, которыхъ ждутъ
Чины, медали, должности, награды;
Иные жъ взять, пожалуй, были-бъ рады
За краснорѣчье призъ,—когда дадутъ.
Но знайте, что серебряной той чаши
Оратору *простому* не добыть,—
Не потому, чтобъ надо было быть
Витіей, чтобъ *главы* плѣнились наши:
Стиль Туллія иль Демосѳена пылъ
Тутъ совершенно-бъ безполезенъ былъ.
Намъ ясности и пылкости не надо:
Вѣдь рѣчью мы не убѣждать хотимъ;
Такой успѣхъ другимъ мы отдадимъ,
Кому въ томъ есть и гордость, и отрада;
Стремясь себѣ лишь нравиться самимъ,
Мы не хотимъ увлечь людское стадо.
Рѣчь тѣмъ серьезнѣй, чѣмъ невнятнѣй звукъ;
То взвизгнемъ мы порой, то взвоемъ вдругъ;
Красивымъ жестамъ подражать опасно;
Декана тѣмъ обидимъ мы напрасно;
Нѣтъ, аспирантъ недвижно долженъ врать
И ни съ кого примѣра въ томъ не брать.
Кто о завѣтномъ кубкѣ мыслью занятъ,
Тотъ стой столбомъ и вверхъ смотрѣть не смѣй;
Затѣмъ болтай безъ устали, скорѣй —
О чемъ нибудь: вѣдь кто-же слушать станетъ?
Мели живѣй: поспѣшность тутъ не грѣхъ;
Кто всѣхъ быстрѣй трещитъ, тотъ лучше всѣхъ;
Кто въ краткій срокъ всѣхъ больше мелетъ вздора,
Тотъ болтунамъ пріятнѣй всѣхъ, безъ спора.
Сыны науки, за столь славный трудъ,
Лѣниво въ кущахъ Гранты проживаютъ,
На брегѣ Кэма мирно почиваютъ,
Живутъ безвѣстно и въ забвеньи мрутъ;
Настолько жъ тупы, какъ изображенья,
Висящія въ ихъ залахъ по стѣнамъ,—
Они дошли, глупцы, до убѣжденья,
Что знанья всѣ засѣли только тамъ;
Въ манерахъ грубы, въ пошлыхъ формахъ точны
И къ новому въ своемъ презрѣньи прочны,—
Бэнтлея, Брунка, Порсона отчетъ
Они одобрятъ безъ большихъ заботъ
О тѣхъ стихахъ, что критики предметомъ
Явились: имъ и горя нѣтъ объ этомъ!
Они тщеславны, тяжелы, какъ эль,
Съ больнымъ умомъ, съ противными рѣчами;
Невѣдомы имъ дружбы смыслъ и цѣль,
Но все-жъ они чувствительны сердцами,
Когда велитъ имъ церковь или власть,
И въ ханжество всегда готовы впасть.
Могучимъ лордамъ льстятъ они безбожно,—
Будь это Питтъ иль Пэтти въ данный часъ,—
Они предъ нимъ гнутъ спину каждый разъ,
Какъ только митру получить имъ можно;
Но чуть лишь лордъ немилостью сметенъ,—
Бѣгутъ къ другому, кѣмъ онъ замѣщенъ.
Вотъ кто хранитъ сокровища науки!
Вотъ ихъ дѣла, вотъ плата за ихъ штуки!
И кажется, что мы не погрѣшимъ,
Сказавъ: по платѣ имъ цѣна самимъ.

Н. Холодковскій.



ПОРТРЕТЪ МЭРИ. (Mary. A Portrait).
Рис. Чэлонъ (A. E. Chalon. R. A.) грав. Кукъ (H. Cook).

КЪ МЭРИ,
ПРИ ПОЛУЧЕНIИ ЕЯ ПОРТРЕТА.
(To Mary, on receiving her picture).

Твоей красы здѣсь отблескъ смутный,—
Хотя художникъ мастеръ былъ,—
Изъ сердца гонитъ страхъ минутный,
Велитъ, чтобъ вѣрилъ я и жилъ.

Для золотыхъ кудрей, волною
Надъ бѣлымъ вьющихся челомъ,
Для щечекъ, созданныхъ красою,
Для устъ,—я сталъ красы рабомъ.

Твой взоръ,—о, нѣтъ! Лазурно-влажный
Блескъ этихъ ласковыхъ очей
Попыткѣ мастера отважной
Недостижимъ въ красѣ своей.

Я вижу цвѣтъ ихъ несравненный,
Но гдѣ тотъ лучъ, что, нѣги полнъ,
Мнѣ въ нихъ сiялъ мечтой блаженной,
Какъ свѣтъ луны въ лазури волнъ?

Портретъ безжизненный, безгласный,
Ты больше всѣхъ живыхъ мнѣ милъ

Красавицъ,—кромѣ той, прекрасной,
Кѣмъ мнѣ на грудь положенъ былъ.

Даря тебя, она скорбѣла,
Измѣны страхъ ее терзалъ,—
Напрасно: даръ ея всецѣло
Моимъ всѣмъ чувствамъ стражемъ сталъ.

Въ потокѣ дней и лѣтъ, чаруя,
Пусть онъ бодритъ мечты мои,
И въ смертный часъ отдамъ ему я
Послѣдній, нѣжный взоръ любви!

Н. Холодковскій.

НА СМЕРТЬ МИСТЕРА ФОКСА

(On the death of Mr. Fox).

Въ газетѣ „Morning Post" появился слѣдующій непристойный экспромтъ:

Враговъ страны смерть Фокса безпокоитъ,
А Питта смерть была пріятна имъ;
Пусть Смыслъ и Правда чувства тѣ раскроютъ,—
Мы-жъ должное заслугамъ воздадимъ.

На это авторъ послалъ въ „Morning Chronicle" слѣдующій отвѣтъ:

О гадина! Ты ядовитымъ зубомъ
И мертваго язвишь, въ стремленьи грубомъ
Ко лжи! Враговъ страны скорбятъ сердца,
Плѣненныя величьемъ мертвеца,
А языки лжецовъ клеймятъ лукаво
Того, чье имя увѣнчала слава!
Питтъ умеръ въ цвѣтѣ мощи, въ блескѣ силъ,
Хоть неуспѣхъ закатъ его мрачилъ,—
И жалости росистыми крылами
Онъ былъ покрытъ; въ комъ благородство есть,
Тотъ воевать не станетъ съ мертвецами.
Друзья, воздавъ хвалу ему и честь,
Простились съ нимъ въ печали, со слезами,
И всѣ его ошибки, вмѣстѣ съ нимъ,
Покоятся подъ кровомъ гробовымъ.
Онъ палъ, какъ Атласъ: надорвались плечи
Подъ бременемъ борьбы противорѣчій;
И вотъ явился Фоксъ, какъ Геркулесъ,
И съ нимъ нашъ строй разрушенный воскресъ,
Но палъ и онъ, кому свой жребій бритты
Вручили,—вновь надежды всѣ разбиты,
И не одинъ великій нашъ народъ
Печаленъ: вся Европа скорбь несетъ.
„Пусть Смыслъ и Правда чувства тѣ раскроютъ",
Чтобъ честь воздать тому, кто чести стоитъ!
Такъ пусть же злая Клевета молчитъ,
Пусть мужа государственнаго дѣло
Не омрачаетъ! Фоксъ, кого такъ чтитъ
Весь міръ и чье безжизненное тѣло
Во мраморной гробницѣ мирно спитъ,
Оплакано друзьями и врагами,—
Фоксъ, чей талантъ враги признали сами,
Въ исторіи британской заблеститъ,
Какъ патріотъ, не менѣе, чѣмъ Питтъ!
И Питта, только Питта, чтитъ хвалою
Лишь Зависть, подъ личиной чести злою!

Н. Холодковскій.

Дамѣ, которая подарила автору локонъ своихъ волосъ, переплетенныхъ съ его собственными и назначила ему декабрьскую ночь для свиданія въ саду.

(To a lady, who presented to the author a lock of hair braided with his own, and appointed a night in December to meet him in the garden).

Вашъ локонъ, нѣжно перевитъ
Съ моимъ,—насъ крѣпче съединитъ,
Чѣмъ всѣ пустыя словопренья
И клятвъ надутыхъ увѣренья.
Любовь крѣпка въ насъ; измѣнить
Ни въ чемъ не могутъ это чувство
Ни срокъ, ни мѣсто, ни искусство;
Зачѣмъ же намъ судьбу винить,
На что намъ вздохи, плачъ кручины,
Пустая ревность безъ причины,
Причудъ и праздныхъ словъ обманъ,—
Чтобъ только былъ у насъ романъ?
Къ чему, какъ лэди Плакса, горе
Изобрѣтать и слезъ лить море?
Къ чему избранникъ вашъ, застывъ,
Томиться будетъ, еле живъ,
Въ саду, въ ночь зимнюю? Едва ли
Удачно мѣсто вы избрали.
Съ тѣхъ поръ, положимъ, какъ Шекспиръ
Увлекъ своимъ разсказомъ міръ,—
Съ тѣхъ поръ, какъ пылкая Джульетта
Для встрѣчи своего предмета
Избрала садъ,— для нѣжныхъ встрѣчъ
Удобнѣй мѣстъ не представлялось;
Но если бъ Муза вдохновлялась,
Когда предъ ней топилась печь,
Иль нашъ поэтъ писалъ бы драму
На Рождествѣ, въ большой морозъ,
И къ намъ любовника и даму
Въ британскій холодъ перенесъ,—
Онъ далъ бы имъ, изъ состраданья,
Иное мѣсто для свиданья.

Въ Италіи, не спорю: тамъ
Тепло довольно по ночамъ
И ночью тамъ мечтать отраднѣй,
Но здѣсь, на сѣверѣ, прохладнѣй
Сама любовь, а потому
На этотъ разъ отъ подражанья
Умѣстно было бъ воздержанье;
Пріятнѣй сердцу моему
При солнцѣ было бы свиданье,
А если ночью,—на дому.
При ледяной такой погодѣ
Тамъ ласки слаще на свободѣ;
Всѣхъ рощъ аркадскихъ, что мечтамъ
Рисуются, пріятнѣй тамъ!
И если страстію своею
Я угодить вамъ не съумѣю,—
Тогда ближайшую всю ночь
Насквозь промерзнуть я не прочь;
Свой смѣхъ навѣкъ тогда забуду
И проклинать свой жребій буду.

Н. Холодковскій.

ПРЕКРАСНОМУ КВАКЕРУ.

(To a beautiful Quaker).

Лишь разъ мы встрѣтились съ тобой,
Но я той встрѣчи не забуду;
Безъ новой встрѣчи, ангелъ мой,
Твою красу я помнить буду.
Я не скажу, что я влюбленъ,
Но чувство съ волей не согласно,
И, думой о тебѣ смущенъ,
Тебя забыть стремлюсь напрасно.
Я подавляю вздохъ, но вновь
Другой родится непремѣнно,
Быть можетъ, это не любовь,
Но мнѣ та встрѣча—незабвенна!

Молчали мы; краснорѣчивъ
Былъ только взоръ, хотя безгласенъ...
Языкъ бываетъ часто лживъ
И съ нашимъ чувствомъ несогласенъ;
Уста измѣну шлютъ, грѣша,
И слово съ сердцемъ рѣдко дружно;
Въ глазахъ же свѣтится душа,
Имъ фальши сдержанной не нужно.
Когда нашъ взоръ намъ все открылъ
И чувства всѣ понять заставилъ,
Насъ *духъ* внутри не осудилъ;
Скажу скорѣй,—„духъ нами правилъ"!
Я чувство подавилъ въ себѣ,
Но ты его—я вѣрю—знаешь,
И, какъ я помню о тебѣ,
Такъ обо мнѣ ты вспоминаешь.
Что до меня, то образъ твой
И днемъ и ночью предо мною:
Во снахъ—съ улыбкою живой,
Въ мечтахъ—когда глаза открою.
Я въ грезахъ сладостныхъ тону,
Часы летятъ, минутъ короче,
И лучъ Авроры я кляну,
И я желалъ бы вѣчной ночи.
Что бъ ни сулила мнѣ судьба,—
Бѣда ль иль радость ждетъ повсюду,
Влечетъ любовь, грозитъ борьба,—
Твой образъ ввѣкъ я не забуду.

Ахъ, не сойтись ужъ намъ съ тобой,
Не говорить ужъ взглядомъ взгляду!
Могу лишь жаркою мольбой
Излить душевную я страду:
„Хранима будь навѣкъ отъ зла,
Мой милый квакеръ, небесами!
Миръ, радость, честь и похвала
Да будутъ дней твоихъ вѣнцами!
Пусть тотъ счастливецъ, съ кѣмъ, любя,
Ты заключишь союзъ священный,
Вседневно радуетъ тебя,
Какъ мужъ, любовникъ неизмѣнный!
Пусть скорбь вовѣкъ тебя не ждетъ,
Пусть горе вѣчно не тревожитъ,
Которымъ тяжко страждетъ тотъ,
Кто позабыть тебя не можетъ!

Н. Холодковскій.

КЪ ЛЕСБІИ.

(To Lesbia).

Разстались, Лесбія моя,
Съ тобою мы, и страсть остыла;
Ты пишешь, что не тотъ ужъ я,
А ты—вѣрна. Но въ томъ ли сила?

Твой лобъ—все такъ же гладокъ онъ;
Я также юношей остался
Съ тѣхъ поръ, какъ робко былъ влюбленъ
И, осмѣлѣвъ, въ любви признался.

Шестнадцать лѣтъ лишь было намъ!
Съ тѣхъ поръ прошли два долгихъ года,
Я отдаюсь инымъ мечтамъ
И въ даль влечетъ меня свобода.

Да, да! во всемъ - моя вина;
Одинъ измѣнникъ я,—не спорю;
Твоя грудь милая вѣрна,
Лишь мой капризъ—причина горю!

Другъ! Вѣрю вѣрности твоей,
Далекъ отъ ревности позорной!
Чиста была страсть юныхъ дней,
Въ ней нѣтъ слѣда измѣны черной!

И я не ложно былъ влюбленъ;
О, я любилъ чистосердечно!
И хоть умчался дивный сонъ,
Но чтить тебя я буду вѣчно.

Ужъ не сойтись въ бесѣдкѣ намъ,
Скитанье мнѣ милѣе стало;
Но старше, крѣпче насъ сердцамъ
Однообразье досаждало.

Румянецъ щекъ твоихъ цвѣтетъ
Красою дивной, несравнимой,
И взоръ твой молніи куетъ
Для битвъ любви непобѣдимой;

Сильна краса твоя! Предъ ней
Судьбина многихъ пасть принудитъ;
Быть можетъ, будутъ тѣ вѣрнѣй,
Но врядъ ли страсть ихъ жарче будетъ.

Н. Холодковскій.

КЪ ЖЕНЩИНѢ.

(To woman).

О женщина! Весь опытъ мой
Твердитъ, что всякій, кто судьбою
Сведенъ съ коварною тобою,—
Въ тебя влюбленъ съ минуты той.
Пусть опытъ учитъ не тревожно,
Что ты всегда клянешься ложно:
Твоей красою вдохновленъ,—
Я все забылъ, я вмигъ влюбленъ!
Воспоминанье—даръ прекрасный
Для тѣхъ, кому надежда льститъ,
Кто наслаждался въ нѣгѣ страстной;
Но, какъ проклятье, тяготитъ
Оно того, кто чуждъ надеждѣ,
Въ комъ больше нѣтъ любви, какъ прежде.
О женщина, прекрасный лжецъ,
Юнцовъ довѣрчивыхъ ловецъ!
Какъ бьется пульсъ, когда впервые
Мы встрѣтимъ блескъ лазурныхъ глазъ,
Иль глазки черные, живые,
Лучомъ любви плѣняютъ насъ!
Какъ всѣмъ мы клятвамъ вѣримъ скоро,
Какъ принимаемъ ихъ безъ спора,
Навѣки видя въ нихъ оплотъ,—
А въ тотъ же день измѣна ждетъ!
И тщетно мудрость вѣковая,
Веля не вѣрить налегкѣ,
Гласитъ, что „женщина, давая
Обѣты, пишетъ на пескѣ".

Н. Холодковскій.

СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЛОГЪ,

составленный авторомъ передъ постановкою на сценѣ частнаго театра пьесы „Колесо фортуны".

(An occasional prologue).

Извѣстно всѣмъ, что вѣкъ нашъ утонченный
Изгналъ со сцены фарсъ безцеремонный;
Нѣтъ вкуса къ грубымъ шуткамъ съ этихъ поръ
И авторовъ тѣхъ шутокъ ждетъ позоръ.
Рядъ чистыхъ сценъ мы здѣсь вамъ представляемъ
И Красоту краснѣть не заставляемъ,
И наша Муза скромно напередъ,
Хотя не славы,—снисхожденья ждетъ.
Но не одной ей страшно ваше мнѣнье,
Другимъ еще нужнѣе снисхожденье.
Вѣдь „ветерановъ Росція" здѣсь нѣтъ,
Которымъ сталъ привыченъ рампы свѣтъ,
Ни Кэмбль, ни Кукъ не встанутъ передъ вами,
Не будетъ Сиддонсъ умилять слезами:
Зародышей-актеровъ здѣсь дебютъ
И новую вамъ драму поднесутъ!
Едва расправивъ крылья, какъ актеры,
Мы просимъ насъ щадить: птенцы безперы,
И если въ первый, робкій свой полетъ
Они падутъ,—навѣкъ ихъ гибель ждетъ.
Здѣсь не одинъ трусишка, полнъ тревоги,
Надѣется услышать судъ вашъ строгій,—
Вся „дѣйствующихъ лицъ" семья дрожитъ
И ожидаетъ, что судьба рѣшитъ.
Не торгаши мы: платы намъ не надо,
Апплодисменты—вотъ намъ вся награда;
Для нихъ любой „герой" стараться радъ
И „героини" ради нихъ дрожатъ.
Къ послѣднимъ, вѣрно, судъ помягче будетъ:
Кто жь слабый полъ безжалостно осудитъ?
Кому Краса и Юность—вѣрный щитъ,
Тѣхъ и строжайшій цензоръ пощадитъ.
Но если мы вамъ угодить не властны
И наши всѣ усилія напрасны—
То, если жалость есть въ груди у васъ,
Не одобряйте, но простите насъ.

Н. Холодковскій.

КЪ ЭЛИЗѢ.

(To Eliza).

О, Элиза! Не глупъ ли законъ мусульманъ,
Что всѣхъ женщинъ лишаетъ онъ жизни загробной?
На тебя бы взглянули: забыли-бъ коранъ,
Отреклись-бы всѣ вмигъ отъ доктрины подобной.



ЛЕСБІЯ (Lesbia).

Рис. Корбо. (Miss F. Corbeaux), грав. Кукъ (H. Cook).

Будь пророкъ ихъ не вовсе разсудка лишенъ,
Никогда не изгналъбы онъ женщинъ изъ рая;
Въ небѣ гурій не сталъ бы выдумывать онъ:
Всебы женщинамъ отдалъ,—отъ края до края.

Но и этого мало казалось ему,
Что душѣ онъ изъ васъ приказалъ удалиться;
Онъ по нѣскольку женъ мужу далъ одному!
Пусть душъ нѣтъ,– такъ и быть; но зачѣмъ же дѣлиться?

Этой вѣрой нельзя никому угодить:
Мужу трудно, а женамъ обиднѣе смерти;
Хоть пословицей можно бъ ее подтвердить,
Что „всѣ женщины—ангелы, жены-же —черти".

Эту истину намъ и Писанье твердитъ.
Новобрачные! Слушайте, благоговѣя,
Что Евангелье вамъ въ искупленье сулитъ
Во второй и двадцатой главѣ отъ Матѳея:

На землѣ намъ довольно страданій отъ женъ,
Чтобъ еще и на небѣ намъ мучиться; тамъ ужъ
(Такъ вѣщаетъ апостолъ священный азконъ)
Браковъ нѣтъ и никто не выходитъ тамъ замужъ.

И мы вправѣ сказать: если въ рай бы попасть
Удалось со святыми ихъ женамъ—всѣмъ хоромъ,
И забралибы жены, какъ въ жизни, всю власть,—
Все бы небо подпало семейнымъ раздорамъ.

Столько былобы споровъ, тревогъ и заботъ,
Что—со мной согласятся Матѳей, Маркъ и Павелъ,—
Тутъ одно было-бъ средство: всеобщій разводъ,
Чтобы общій мятежъ не нарушилъ всѣхъ правилъ.

Да, разводъ для супруговъ—желанный конецъ;
Но мужчинѣ безъ женщины жить невозможно.
Мы, всѣ цѣпи порвавъ, не стѣсняя сердецъ,
Будемъ вѣчно любить васъ, безъ узъ, но не ложно.

Пусть глупцы и мерзавцы твердятъ свой разсказъ,
Что души у васъ нѣтъ: будь хоть вы съ тѣмъ согласны,—
Не повѣрю! Такъ много небеснаго въ васъ,
Что безъ васъ весь увялъ бы садъ рая прекрасный!

Н. Холодковскій.

СЛЕЗА. (The Tear).

O lachrymarum fons, tenero sacros
Ducentium ortus ex animo; quater
Felix! in imo qui scatentem
Pectore te, pia Nympha, sensit.
Gray.

Если Дружба манитъ
Иль Любовь насъ плѣнитъ
И намъ Искренность смотритъ въ глаза,—
Могутъ ложью увлечь
И улыбка, и рѣчь,
Но знакъ вѣрный пріязни—слеза.

Часто злобу иль страхъ
На фальшивыхъ устахъ
Прикрываетъ улыбки краса;
Пусть грудь нѣжно вздохнетъ,
Взоръ любовью блеснетъ
И слеза въ немъ сверкнетъ, какъ роса.

Милосердія жаръ,
Смертныхъ сладостный даръ,
Очищаетъ отъ варварства насъ;
Въ сердцѣ чувство горитъ
И, гдѣ милость царитъ,—
Исторгаются слезы изъ глазъ.

Тотъ, кто плыть принужденъ,
Какъ помчитъ аквилонъ,
По гребнямъ Атлантическихъ водъ,—
Наклоняясь къ волнѣ,
Чуя смерть въ глубинѣ,—
Блестки слезъ въ синей влагѣ найдетъ.

Ради славы солдатъ
Жизнью жертвовать радъ,
Твердъ и смѣлъ предъ военной грозой;
Но когда врагъ сраженъ,—
Радъ поднять его онъ
И кропитъ его раны слезой.

Если жъ кончивъ походъ,
Гордо къ милой придетъ,
Бросивъ мечъ, обагренный въ крови,—
Нѣтъ награды славнѣй,
Какъ съ прекрасныхъ очей
Снять, цѣлуя, слезинку любви.

Милый кровъ, гдѣ текли
Годы дѣтства мои,
Отъ любви до любви гдѣ я росъ,—
Я, покинувъ тебя
Оглянулся, скорбя,—
Но твой шпицъ былъ чуть виденъ сквозь слезъ.

Ужъ не шлю я привѣтъ
Милой Мэри,—о нѣтъ,—
Милой Мэри, кого такъ любилъ,—
Но я помню тотъ садъ,
Гдѣ ловилъ ея взглядъ,
Гдѣ слезой ея взысканъ я былъ.

Хоть другому она
Навсегда отдана,
Миръ ей! Буду всегда ее чтить.
Отъ обманчивыхъ сновъ
Я отречься готовъ
И, въ слезахъ, ей измѣну простить.

Дорогіе друзья!
Какъ покинулъ васъ я.—
Я судьбину молилъ объ одномъ:
Если вновь встрѣчу васъ,—
Пусть въ тотъ радостный часъ,
Какъ въ прощальный, слезу мы прольемъ.

Если-жъ духъ бѣдный мой
Улетитъ въ міръ иной,
И засну я въ гробу, въ тишинѣ,—
Вы, бродя въ тѣхъ мѣстахъ,
Гдѣ тлѣть будетъ мой прахъ,
Уроните слезу обо мнѣ.

И пускай мавзолей
Надъ могилой моей
Суетой не плѣняетъ глаза;
Славы я не ищу
И хвалы не хочу,
Все, что нужно мнѣ,—только слеза.

Н. Холодковскій.

Отвѣтъ на нѣкоторыя стихотворенія Дж. М. Б. Пигота — эсквайра относительно жестокости его возлюбленной.

Зачѣмъ, Пиготъ, въ отчаянномъ волненьѣ
На эту дѣву ропщете? Пройдетъ
Хоть цѣлый годъ, но вздохъ вашъ и моленье
Холодную кокетку не пройметъ.
Вы научить любви ее хотите,—
Такъ вѣтреннымъ кажитесь передъ ней:
Она нахмуритъ брови; но уйдите,
И улыбнется. О, тогда смѣлѣй
Ее цѣлуйте! Таково притворство
Красавицъ; всѣ онѣ убѣждены,
Что поклоненье—долгъ нашъ. Ихъ упорство
Колеблется, когда мы холодны.
Таите боль и цѣпи удлиняйте.
Пусть думаетъ, что гордость вамъ не жаль.
Тогда кокетка ваша, такъ и знайте,
Отвѣтитъ благосклонно на печаль.
Но если все-жъ изъ ложнаго порыва
Она страданья ваши осмѣетъ,
Уйдите прочь. Другой отдайтесь живо
И надъ кокеткой смѣйтесь въ свой чередъ.
Что до меня,—я двадцать ихъ иль болѣ
Боготворю. Но и плѣненный, все жъ
Я ихъбы всѣхъ оставилъ поневолѣ,
Будь на нее характеръ ихъ похожъ.
Довольно вздоховъ! Слушайте совѣтъ:
Прорвитесь сквозь утонченную сѣтку,—
Довольно слезъ! Пути иного нѣтъ,
Какъ бросить и забыть свою кокетку.
И прежде, чѣмъ погибнете вполнѣ,
Разбейте эту сумрачную клѣтку,
Чтобъ не пришлось въ сердечной глубинѣ
Вамъ проклинать бездушную кокетку.

А. Ѳедоровъ.

ГРАНТА.

(Попурри).
(Granta. A medley).

'Αργυρέαισλόγχαισι μάχου και πάντα Κρατήσαισ

Когда бъ Лесажа хитрый демонъ
Моимъ желаньямъ могъ помочь,—
Меня бъ вознесъ надъ домомъ всѣмъ онъ
На шпицъ Маріи въ эту ночь.

Раскрывъ всѣ крыши старой Гранты,
Онъ могъ бы въ залахъ показать,
Какъ спятъ и видятъ тамъ педанты
За голосъ—лугъ иль лавку взять.

И Пальмерстона бы, и Пэтти
Увидѣлъ я въ числѣ ловцовъ,
Влекущихъ въ выборныя сѣти
Какъ можно больше голосовъ.

Вотъ избиратели всѣ кучей
Лежатъ, толпа усыплена;
Имъ благочестье—щитъ могучій
И совѣсть ихъ не будитъ сна.

Лордъ Г.—тотъ быть спокоенъ можетъ;
Не глупы парни: ясно имъ,
Что къ производству онъ предложитъ
Ихъ одного лишь за другимъ.

Всѣ знаютъ: выгодныхъ мѣстечекъ
Большой у канцлера запасъ;
„Вотъ мнѣ бы"—мыслитъ человѣчекъ
И ухмыляется сейчасъ.

Но ночь бѣжитъ; сномъ безмятежнымъ
Пусть спятъ себѣ лѣнтяи тамъ;
Я обращусь къ твоимъ прилежнымъ,
О alma mater, сыновьямъ.

Ища наградъ колледжа честно,
Вотъ кандидатъ долбитъ урокъ;
Полночный часъ; въ каморкѣ тѣсно;
Онъ рано всталъ и поздно легъ.

Сомнѣнья нѣтъ: цѣной стараній
Онъ всѣ награды заслужилъ;
Для безполезныхъ разныхъ знаній
Потратилъ онъ не мало силъ;

Онъ стихъ аттическій скандуетъ,
Не зная отдыха,—хоть плачь;
Подъ тяжкимъ бременемъ тоскуетъ
Математическихъ задачъ;

То вздоромъ Силя умъ свой мучитъ,
То въ треугольникъ углубленъ,
Обѣдовъ сносныхъ не получитъ,
Въ латыни-жъ варварской силенъ.

Для исторической-же Музы
За то всегда онъ глухъ весьма:
Ему квадратъ гипотенузы
Важнѣй ученаго письма.

А впрочемъ онъ одинъ лишь, бѣдный,
Страдаетъ отъ такихъ трудовъ;
Зато вдвойнѣ забавы вредны
Другихъ—отчаянныхъ головъ.

Пиры ихъ взору нестерпимы,
Развратъ съ позоромъ слитъ вполнѣ,
Игра и пьянство тамъ любимы,
И разумъ топится въ винѣ.

Иное дѣло—методисты:
Реформы на умѣ у нихъ;
Они поютъ, смиренны, чисты,
И молятъ за грѣхи другихъ.

Одно у нихъ пришло въ забвенье:
Что гордость духа, лишній пылъ—
Все ихъ хваленое смиренье
Лишаютъ большей части силъ.

Но вотъ ужъ утро.. Отвращая
Отъ нихъ свой взоръ, что вижу я?
Въ одеждахъ, бѣлыхъ поспѣшая,
Чрезъ лугъ бѣжитъ людей семья;

Часовни колоколъ ихъ рьяно
Зоветъ... Вотъ смолкъ онъ.. Въ тишинѣ
Небесной пѣснью звукъ органа
Волнами стелется ко мнѣ,

И вмѣстѣ съ нимъ несется звучно
Трель королевскаго пѣвца:
Но эту пѣсню слушать скучно,
Кто разъ прослушалъ до конца.

Нашъ хоръ,—онъ ниже снисхожденья:
Изъ новичковъ составленъ онъ
И стоитъ только осужденья,
Какъ грѣшныхъ карканье воронъ.

Когда бъ Давидъ услышалъ пѣнья
Своихъ псалмовъ въ такихъ устахъ,—
Псалмы бъ онъ отнялъ, безъ сомнѣнья,
И разорвалъ бы ихъ въ сердцахъ.

Евреямъ плѣннымъ на Евфратѣ
Тирановъ власть велѣла пѣть
О безконечной ихъ утратѣ
И о бѣдѣ своей скорбѣть.

О, еслибъ бъ *такъ* они запѣли,—
Со страха-ль, умъ ли бъ подсказалъ,—
Они бъ легко достигли цѣли:
Самъ чортъ ихъ слушать бы не сталъ!

Но что жъ пишу я? Скучно стало...
Кой чортъ начнетъ меня читать?
Перо скрипитъ, чернилъ ужъ мало...
Конечно, мнѣ пора кончать.

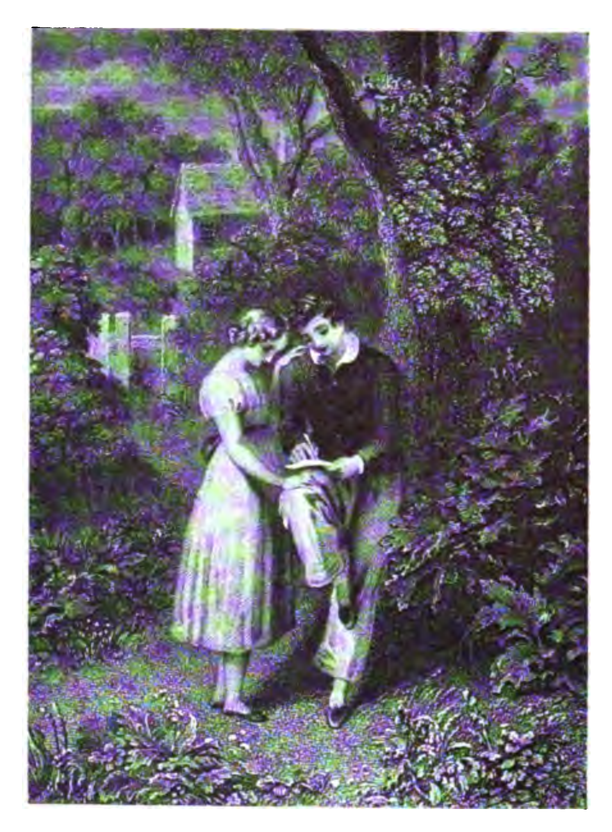
Прощай же. Гранта! Налеталась,
Какъ Клеофасъ, душа моя;
Отъ темы Муза отказалась,
Усталъ читатель,—да и я.

Н. Холодковскій.

ВЗДЫХАЮЩЕМУ СТРЕФОНУ.

(To the sighing strephon).

Прощенья у васъ хоть тысячу разъ
За риѳмы молю, изливаюсь.
Изъ дружбы одной я духъ вашъ больной
Старался разсѣять и каюсь.
Съ тѣхъ поръ, какъ она вамъ такъ предана,
Мнѣ ваше безумье не горе.
Въ ней прелесть мечты, алтарь красоты,
Я чту ее съ вѣрой во взорѣ,
Но долженъ сказать, что трудно узнать
Изъ риѳмъ вашихъ образъ завидный.
Я такъ васъ жалѣлъ: вашъ духъ такъ горѣлъ
Предъ скрытностью этой обидной.



Взгляните,—вотъ чета! Любовью сплетены
Ей розы счастія въ восторгахъ и сіяньѣ.
(„Любви послѣднее прощанье").

Рис. Рихтеръ (H. Richter), грав. Финденъ (W. Finden).

Уста ея вамъ волшебный бальзамъ,
Ея поцѣлуй васъ мгновенно
Вознесъ до небесъ, весь міръ въ немъ исчезъ.
Ничто мой совѣтъ—несомнѣнно.
„Когда я брожу, любви не служу",
Сказали вы. Это понятно.
И я въ старину любилъ не одну,
Но мнѣ перемѣна пріятна.
Я вамъ предлагать не стану плѣнять
Красавицъ, какъ пишутъ въ романѣ.
Улыбка мнѣ льститъ, но сумрачный видъ
Мнѣ то же, что буря въ стаканѣ.
Покуда въ крови—огонь, для любви
Я врагъ платонизма упорный.
Безумнымъ меня считала-бъ твоя
Любовница,—выводъ безспорный.
Всѣхъ женщинъ забыть, одну лишь любить,
Ей сердце отдать во владѣнье,
О ней лишь вздыхать, ее лишь ласкать...
Но это другимъ оскорбленье.
Теперь, о, Стрефонъ, послѣдній поклонъ.
Любовь ваша вся безтолкова,
Но, правда,—чиста: она вѣдь влита
Въ одно только праздное слово.

А. Өедоровъ.

СЕРДОЛИКЪ

(The Cornelian).

Не блескомъ милъ мнѣ сердоликъ!
Одинъ лишь разъ сверкалъ онъ ярокъ,
И рдѣетъ скромно, словно ликъ
Того, кто мнѣ вручилъ подарокъ.

Но пусть смѣются надо мной,
За дружбу подчинюсь злословью:
Люблю я все же даръ простой
За то, что онъ врученъ съ любовью!

Тотъ, кто дарилъ, потупилъ взоръ,
Боясь, что дара не приму я,
Но я сказалъ, что съ этихъ поръ
Его до смерти сохраню я!

И я залогъ любви поднесъ
Къ очамъ—и лучъ блеснулъ на камнѣ,
Какъ блещетъ онъ на капляхъ росъ...
И съ этихъ поръ мила слеза мнѣ!

Мой другъ! хвалиться ты не могъ
Богатствомъ или знатной долей,—
Но дружбы истинной цвѣтокъ
Взростаетъ не въ садахъ, а въ полѣ!

Ахъ, не глухихъ теплицъ цвѣты
Благоуханны и красивы,
Есть больше дикой красоты
Въ цвѣтахъ луговъ, въ цвѣтахъ вдоль нивы!

И еслибъ не была слѣпой
Фортуна, еслибъ помогала
Она природѣ,—предъ тобой
Она дары бы расточала.

А еслибъ взоръ ея прозрѣлъ
И глубь души твоей смиренной,
Ты получилъ бы міръ въ удѣлъ,
Затѣмъ что стоишь ты вселенной!

Валерій Брюсовъ.

КЪ М—.

(To M—).

Когда бъ твой взоръ, взамѣнъ огней,
Свѣтился кроткою красою,—
Не жегъ бы онъ сердца людей,
Но грѣлъ любовью неземною!

Ты такъ небесно хороша,
Но подъ твоимъ палящимъ взглядомъ
Тобой плѣненная душа
Отравлена сомнѣнья ядомъ.

Когда бы небеса могли,
Красой плѣненныя твоею,
Тебя похитить у земли—
Они назвали бы своею!

И вотъ, всѣмъ ангеламъ на страхъ,
Природы творческая сила
Въ твоихъ божественныхъ очахъ
Сонмъ яркихъ молній затаила.

Твой взоръ всѣхъ духовъ устрашитъ
Своимъ полуденнымъ сверканьемъ,
Онъ всѣхъ красой обворожитъ,
Но кто рискнетъ любви признаньемъ?

Коль Вереники волоса
Блестятъ, какъ неба украшенье,
Они тебя на небеса
Во вѣкъ не пустятъ, безъ сомнѣнья.

Когда бъ глаза твои въ лучахъ
На небосводѣ засверкали,
То даже солнце въ небесахъ
Померкло бы въ лазурной дали!...

Н. Брянскій.

СТРОКИ, ОБРАЩЕННЫЯ КЪ МОЛОДОЙ ЛЭДИ.

(Lines, adressed to a young lady).

(Въ то время, когда авторъ разряжалъ свои пистолеты въ саду, двѣ лэди, проходившія поблизости, были испуганы свистомъ пули, пролетѣвшей около нихъ. Одной изъ нихъ и были написаны стансы, появившіеся на другое утро на свѣтъ).

—

Красавица! Сомнѣнья нѣтъ,—свинецъ,
Свистѣвшій надъ твоею головою,
Несущій дивнымъ прелестямъ конецъ,
Наполнилъ грудь тревогою живою.
Самъ демонъ, вѣрно, видѣлъ какъ нибудь
Твою красу и съ завистью тлетворной
Онъ измѣнилъ свинца невинный путь
И на тебя рукой направилъ черной.
Да, въ этотъ часъ, едва не роковой,
Повиновалась пуля ковнямъ ада,
Но небеса послали вѣтеръ свой,
И смерть умчалась въ сторону изъ сада.
Но, можетъ быть, слеза, сверкнувъ въ глазахъ,
На грудь твою скатилась каплей чистой.
Я безъ вины виновенъ тѣмъ, что страхъ
Ея исторгъ изъ келіи лучистой.
О, милая! Скажи, какъ искупить
Невольную обиду? Обвиненный
Твоей красой, не знаю, какъ мнѣ быть
И кары жду, колѣнопреклоненный.
Когда-бъ я могъ исполнить долгъ судьбы
Твой приговоръ я встрѣтилъ бы въ надеждѣ,
Что ты возьмешь то сердце безъ борьбы,
Которое къ тебѣ рвалось и прежде.
Еще ничтожнѣй искупленье—стать
Твоимъ рабомъ, дышать одной тобою
И внѣ тебя ни счастія не знать,
Ни радостей, дарованныхъ судьбою.
Но ты отвергнешь, можетъ быть, теперь
Моей вины невольной искупленье.
Такъ избери иное и, повѣрь,
Будь это смерть,—легко повиновенье.
Жестокая, что хочешь мнѣ назначь,
Перенесу я молча наказанье.
Но лишь одно, одно лишь слово спрячь,—
Пусть будетъ все, но только не изгнанье.

А. Федоровъ.

ПОДРАЖАНІЕ ТИБУЛЛУ.

(Jmitation to Tibulus).

„Sulpicia ad Cerinthum"—lib. 4.

Серинеъ жестокій! Ты-ль невѣрнымъ сердцемъ радъ
Мученьямъ безъ числа, что грудь мою язвятъ.
Увы! Стремилась я лишь муку утишить,
Чтобъ снова для любви и для тебя мнѣ жить.
Но плакать надъ судьбой я больше не должна,
И ненависть твою излѣчитъ смерть одна.

Александръ Блокъ.

ПОДРАЖАНІЕ КАТУЛЛУ.

Еленѣ.

(Jmitated from Catullus. To Ellen).

О, только-бъ огонь этихъ глазъ цѣловать,—
Я тысячи разъ не усталъ бы желать!
Всегда погружать мои губы въ ихъ свѣтъ,
Въ одномъ поцѣлуѣ прошло бы сто лѣтъ!
Но развѣ душа утомится, любя?
Все льнулъ бы къ тебѣ, цѣловалъ бы тебя.
Ничто бъ не могло губъ отъ губъ оторвать;
Мы все бъ цѣловались опять и опять;
И пусть поцѣлуямъ не будетъ числа,
Какъ зернамъ на нивѣ, гдѣ жатва спѣла.
И мысль о разлукѣ не стоитъ труда:
Могу-ль измѣнить?—Никогда,—никогда!

Александръ Блокъ.

КЪ М. С. Г.

To M.S. G.

Когда гляжу я на уста твои,
Я страстно жажду поцѣлуя,
Но я гоню желанія мои,
Нѣтъ, нѣтъ, тебя не оскорблю я!

Мечтаю ли я о груди твоей,
Объ этой ткани бѣлоснѣжной,
Я вмигъ кладу предѣлъ мечтѣ моей,
Мечтѣ коварной и мятежной.

Живитъ надеждой блескъ очей твоихъ,
Но вдругъ душа полна боязнью,
И я скрываю пламя чувствъ моихъ
И трепещу, какъ передъ казнью.

Да, я таилъ любовь мою, но ты
Ее твоимъ открыла взглядомъ;
И мнѣ ль раскрыть тебѣ мои мечты,
Чтобъ рай души твоей сталъ адомъ?

Нѣтъ, никогда не мыслимъ нашъ союзъ
Я о вѣнцѣ мечтать не смѣю,
Но лишь цѣной священныхъ этихъ узъ,
Мой другъ, могла бъ ты стать моею.

Такъ пусть ничто твой не смущаетъ взоръ,
Мой тайный пламень загашу я...
И самъ себѣ я вынесъ приговоръ,
На пылъ преступный негодуя.

Ужель купить я счастіе рѣшусь
Цѣною твоего покоя?
Я отъ мечты тщеславной откажусь,
Я уступлю тебя безъ боя!..

Не для меня устамъ твоимъ цвѣсти,
До дна я выпью скорби чашу:
Я шлю тебѣ послѣднее прости
И тѣмъ спасу невинность нашу!

Не для меня и нѣжныхъ чувствъ твоихъ,
И ласкъ безцѣнныхъ упоенье,—
Упрекъ во всемъ я снесъ бы изъ-за нихъ,
Но не упрекъ въ твоемъ паденьи!..

Пусть будутъ помыслы твои чисты,
Пусть ты не слышишь порицаній,
Пусть мукъ любви во вѣкъ не знаешь ты,
Пусть я несу весь гнетъ страданій!..

Н. Брянскій.

СТАНСЫ.

(При посылкѣ поэмы Камоэнса).

(Stanzas to a lady, with the Poems of Camoens).

Дитя мое, тебя, быть можетъ, тронетъ
Залогъ святого чувства моего:
Онъ о любви поетъ; а кто-же гонитъ
И презираетъ пѣсни волшебство!
Кто, кромѣ низкой зависти и старыхъ
Отцвѣтшихъ дѣвъ, жеманницъ и ханжей,
Воспитанныхъ въ условьяхъ лживо-ярыхъ
И обреченныхъ вянуть безъ страстей.
Дитя мое, прочти-же со вниманьемъ!
Ты никогда не станешь имъ близка.
Не обойдешь ты свѣтлымъ состраданьемъ
Несчастнаго поэта-бѣдняка.
Поэтъ онъ Божьей милостью. Пусть пламя
Побѣдное любви его въ борьбѣ
Тебя спасетъ, какъ царственное знамя,
Но оградитъ отъ сходства съ нимъ въ судьбѣ.

А. Өедоровъ.

КЪ М. С. Г.

(To M. S. G).

Если вижу во снѣ, что я вами любимъ,—
Не сердитесь, простите за сонъ;
Та любовь—лишь во снѣ; сонъ умчится какъ дымъ,—
И я плачу, что счастья лишенъ.

О Морфей! Захвати же меня въ свою мочь,
Сладость нѣги, забвенье мнѣ дай!
Если то же увижу, что въ прошлую ночь,—
Что за рай ждетъ меня, что за рай!

Говорятъ, сонъ – братъ смерти; что онъ бытію
Тамъ, за гробомъ, подобенъ, какъ братъ;
Если сонъ мой—подобье блаженства въ раю,—
О, какъ жизнь я отдать буду радъ!

Но не хмурьтесь, мой другъ, и не морщите лба:
Я не слишкомъ блаженъ,—не скажу;
Ужъ за сонъ тотъ меня покарала судьба:
Вѣдь на счастье я только гляжу!

Хоть порой вы во снѣ улыбались бы мнѣ,—
Я довольно наказанъ, мой другъ:
Пробудится безъ васъ, увидавъ васъ во снѣ,—
Это, вѣрьте мнѣ, мука изъ мукъ.

Н. Холодковскій.

ПЕРВЫЙ ПОЦѢЛУЙ ЛЮБВИ.

(The first Kiss of love).

А барбитъ въ струнами
Звучитъ мнѣ про Эрота.
Анакреонъ.

Мнѣ сладкихъ обмановъ романа не надо,
Прочь вымыселъ! Тщетно души не волнуй!
О, дайте мнѣ лучъ упоеннаго взгляда
И первый стыдливый любви поцѣлуй!

Поэтъ, воспѣвающій рощу и поле!
Спѣши,—вдохновенье свое уврачуй!
Стихи твои хлынутъ потокомъ на волѣ,
Лишь вкусишь ты первый любви поцѣлуй!

Не бойся, что Фебъ отвратитъ свои взоры,
О помощи музъ не жалѣй, не тоскуй.
Что Фебъ музагетъ! что парнасскіе хоры!
Замѣнитъ ихъ первый любви поцѣлуй!

Не надо мнѣ мертвыхъ созданій искусства!
О, свѣтъ лицемѣрный, кляни и ликуй!
Я жду вдохновенья, гдѣ вырвалось чувство,
Гдѣ слышится первый любви поцѣлуй!

Созданья мечты, гдѣ пастушки тоскуютъ,
Гдѣ дремлютъ стада у задумчивыхъ струй,
Быть можетъ, плѣнятъ, но души не взволнуютъ,—
Дороже мнѣ первый любви поцѣлуй!

О, кто говоритъ: человѣкъ, искупая
Грѣхъ праотца, вѣчно рыдай и горюй!
Нѣтъ! цѣлъ уголокъ недоступнаго рая:
Онъ тамъ, гдѣ есть первый любви поцѣлуй!

Пусть старость мнѣ кровь безпощадно остудитъ,
Ты, память былого, мнѣ сердце чаруй!
И лучшимъ сокровищемъ памяти будетъ—
Онъ—первый стыдливый любви поцѣлуй!

Валерій Брюсовъ.

ОТРОЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНЬЯ

(Childish Recollections).

«Что это было все я не могу не помнить,
И было дорого такъ сердцу моему».
Макбетъ.

Когда недугъ медлительный томитъ
И въ жилахъ кровь страданьемъ леденитъ,
Когда здоровье, тая съ каждымъ днемъ,
Уносится весеннимъ вѣтеркомъ,—
Тогда и умъ, болѣзненно стѣсненъ
Не только мукамъ тѣла обреченъ:
Нѣтъ! Призраки ужасные толпой
Его страшатъ развязкой роковой,
И онъ за жизнь готовъ вести борьбу,
Хоть нѣтъ надеждъ предотвратить судьбу.
Но облегчаетъ дивной силой васъ
Воспоминанье въ этотъ грозный часъ,
Зоветъ тѣ дни, когда кипѣла кровь,
И съ Красотой плѣняла насъ Любовь;
Иль нарисуетъ вамъ еще живѣй
Картину свѣтлыхъ, отроческихъ дней...

Какъ въ лѣтнюю грозу проглянетъ вдругъ
Сквозь пологъ тучъ неясный солнца кругъ
И тускло надъ равниною блеститъ
И дождевыя капли золотитъ,—
Такъ въ дни, когда грядущее темно,
Былое вновь во мнѣ озарено

Воспоминанья солнцемъ; въ немъ ужъ нѣтъ
Живого блеска прежнихъ юныхъ лѣтъ,
Все жъ надъ умомъ оно царитъ моимъ,
Сливая настоящее съ былымъ.
Упорной, неотвязчивой мечтой
Все та же мысль овладѣваетъ мной,
И образы фантазіи встаютъ
И властно такъ въ свой міръ меня зовутъ,
Стремясь къ тѣмъ днямъ далекимъ унести,
Которымъ я давно сказалъ: прости!
Вотъ тѣ мѣста, гдѣ вдохновлялся я,
Утраченные мной навѣкъ, друзья.
Иныхъ такъ рано въ вѣчность рокъ унесъ,
Ихъ вспоминать не въ силахъ я безъ слезъ;
Иные, съ вѣрой въ блескъ и мощь наукъ,
Себя замкнули въ этотъ тѣсный кругъ
И, состязуясь въ ревности своей,
Уже достигли высшихъ степеней...
Такъ образы несмѣтные толпой
Мнѣ оживляютъ взоръ усталый мой.
О Ида! ты,—науки свѣтлый храмъ!
Я былъ въ тебѣ когда-то свѣтелъ самъ!
Я вижу ясно твой высокій шпицъ,
Я снова тамъ, въ кругу знакомыхъ лицъ.
Какъ живо все! Я слышу, какъ сейчасъ,
Весь этотъ шумъ ребяческихъ проказъ;
Среди аллей, въ тѣни деревъ густыхъ,
Я вижу вновь товарищей моихъ,
Мѣста былыхъ мечтаній и бесѣдъ,
Друзей, враговъ минувшихъ школьныхъ лѣтъ;
Забылъ я рознь, но дружбы не забылъ...
Привѣтъ друзьямъ, враговъ же—я простилъ.
Дни юности, дни дружбы золотой!
Любя другихъ, я счастлвъ былъ тобой!...
Вы, узы дружбы свѣтлыхъ юныхъ лѣтъ,
Когда въ душѣ слѣда притворства нѣтъ,
И каждый сердца юнаго порывъ
Не знаетъ лжи, свободенъ и правдивъ,
Когда скрывать невѣдомо сердцамъ
Къ друзьямъ любовь и ненависть къ врагамъ...
Да, чуждые всей мудрости отцовъ,
Не знали мы блестящихъ, лживыхъ словъ;
Вѣдь юношѣ, въ комъ живъ душевный жаръ,
Невѣдомъ лицемѣрья тонкій даръ;
Когда жъ пора стать мужемъ, наконецъ,
Ему внушитъ заботливый отецъ
Всю мудрость лжи, какъ надо скрытнымъ быть,
Умѣть молчать, пріятно говорить,
Со старшими согласнымъ быть во всемъ...
За эту ложь награда ждетъ потомъ!
Кто жъ не согласенъ мысль свою сдержать,
Чтобы карьерѣ тѣмъ не помѣшать?
Хоть чувствуетъ неправду сердцемъ онъ
И духъ его глубоко возмущенъ.

Прочь эту тему! Жаломъ колкихъ словъ
Не мнѣ срывать личину лжи съ льстецовъ;
Другимъ пѣвцамъ оставимъ ядъ сатиръ,
Мою же пѣснь иной плѣняетъ міръ.
Одинъ лишь разъ въ ней вспыхнулъ злобный жаръ,
Врагу въ отвѣтъ готовился ударъ;
Когда жъ тотъ врагъ изъ страха иль стыда,—
Не знаю я,—но скрылся навсегда,
Предупрежденный другомъ, можетъ быть,
Я тотчасъ же рѣшилъ ему простить;
Мой слабый врагъ мнѣ только жалокъ былъ,
И злобу я невольно позабылъ.
Подвергнутъ былъ еще ударамъ лозъ
Въ моихъ стихахъ невѣдомый Помпозъ.
Нашъ выскочка мнѣ страха не внушалъ
Но палку самъ пусть чувствуетъ капралъ
Еще порой, въ избыткѣ юныхъ силъ,
Надъ слабостями Гранты я шутилъ.
Но это я давно успѣлъ забыть,
И больше мнѣ не суждено грѣшить:
Навѣкъ умолкнетъ вскорѣ пѣснь моя,
И мирнымъ сномъ усну въ могилѣ я.

Привѣтъ тебѣ, веселый нашъ кружокъ,
Я, лидеръ твой, тобой гордиться могъ;
Мои продѣлки ты со мной дѣлилъ,
Я былъ твой другъ и твой совѣтчикъ былъ;
Не страшны были рѣзвости твоей
Ни мантія, ни хмурый взглядъ очей
Педанта-выскочки, который къ намъ
Вошелъ невѣждой грубымъ въ Иды храмъ
Взамѣнъ того, кто былъ всему душой,
Минувшихъ лѣтъ наставникъ дорогой.
О Пробусъ, гордость Иды!... Ахъ, зачѣмъ
Ты для нея теперь на вѣки нѣмъ?
Мы съ нимъ читали древнихъ мастеровъ,
Онъ страхъ внушалъ и вмѣстѣ съ тѣмъ любовь;
И вотъ, свершивъ свой долгій, честный трудъ,
Онъ отдохнуть нашелъ себѣ пріютъ.
Теперь сидитъ на каѳедрѣ Помпозъ...
Ахъ, вновь его я имя произнесъ!
Презрѣнье, молча, пусть его клеймитъ,
Пусть будетъ всѣми онъ навѣкъ забытъ,
Я больше имъ мой стихъ не оскверню,
Ему вполнѣ я отдалъ дань мою.

Среди тѣнистыхъ вязовъ и ракитъ
Прекрасной Иды зданіе стоитъ;

Съ любовью смотритъ свѣтлый храмъ наукъ
На сѣнь лѣсовъ, на ширь полей вокругъ,
Какъ въ нихъ рѣзвится, шумный и живой,
Въ свободный часъ питомцевъ юныхъ рой.
Разсыпавшись къ любимымъ уголкамъ,
Рядъ разныхъ игръ вмигъ затѣваютъ тамъ.
Вотъ тѣ бѣгутъ... кто первый? кто быстрѣй?..
И, не страшась полуденныхъ лучей
Съ веселымъ крикомъ, красны какъ кумачъ,
Ударомъ ногъ швыряютъ кверху мячъ;
А эти всѣ уйти туда спѣшатъ,
Гдѣ воды Бренты свѣтлыя журчатъ;
Иныя ищутъ тѣнь густыхъ вѣтвей,
Чтобы спастись отъ солнечныхъ лучей;
Вонъ тѣ завидѣли издалека
Идущаго вдоль нивы простака
И рядъ остротъ пускаютъ парню вслѣдъ,
И никому отъ нихъ пощады нѣтъ.
Случалось такъ, что на мѣстахъ проказъ
Слагалась даже лѣтопись не разъ:
„Здѣсь съ парнями былъ принятъ нами бой,
Онъ выигранъ жестокой былъ цѣной;
Здѣсь нашъ отрядъ числомъ былъ побѣжденъ;
Здѣсь жаркій бой былъ вновь возобновленъ".
И вотъ, въ разгаръ веселья шалуновъ,
Звучитъ вдали вдругъ колокола зовъ;
Такъ незамѣтно часъ забавъ пройдетъ,
Наука вновь въ свой мирный храмъ зоветъ.
Нѣтъ громкихъ фразъ на пышныхъ плитахъ тамъ,
Лишь записи чернѣютъ по стѣнамъ;
Смотрите, здѣсь глубоко рядъ именъ
Питомцевъ всѣхъ на вѣкъ запечатлѣнъ;
Отцамъ и дѣтямъ мѣсто здѣсь дано,
Однимъ—недавно, для другихъ—давно;
Ихъ имена жить долго будутъ тутъ,
Когда отецъ и сынъ давно умрутъ;
Быть можетъ эта надпись для иныхъ —
Единственный нагробный камень ихъ,
Межъ тѣмъ какъ порастутъ въ землѣ чужой
Могилы ихъ безвѣстныя травой...
Вотъ рядъ именъ столь близкихъ съ юныхъ дней:
Мое и всѣхъ былыхъ моихъ друзей...
Еще смѣшатъ проказы наши тѣхъ,
Кто, въ свой чередъ здѣсь замѣстилъ насъ всѣхъ,
Кто былъ порядку строго подчиненъ,
Кому начальства голосъ былъ законъ,
И кто теперь порядокъ тотъ ведетъ,
Забравъ бразды правленья въ свой чередъ.
Но иногда, подъ стоны зимнихъ вьюгъ,
Они проказы наши вспомнятъ вдругъ:
„Такъ вотъ какая въ наши времена
Велась съ юнцами этими война!
Разъ на стѣну вдругъ вздумали взлѣзать,—
Ничѣмъ нельзя ихъ было удержать!..
Здѣсь Пробусъ, помнимъ, рознялъ драчуновъ,
А здѣсь сказалъ привѣтъ прощальныхъ словъ...
Разъ ночью вдругъ они ушли гулять,
И не рѣшился ихъ Помпозъ искать..."
Есть срокъ всему; о нихъ,какъ и о насъ,
По именамъ лишь вспомнятъ въ поздній часъ,
Еще немного лѣтъ—и въ тьмѣ временъ
О нашемъ царствѣ миѳъ похороненъ..

Кидаю я послѣдній долгій взглядъ
На то, что было много лѣтъ назадъ...
Друзья, васъ нѣтъ! Но слышу я вашъ кликъ
И плачу я, хоть плакать не привыкъ.
Въ блестящемъ мірѣ пошлой суеты,
Среди забавъ и шумной пустоты
Лишь одного забвенья я искалъ
(Все что, утратилъ, то забыть желалъ).
Напрасно все! Когда, среди суетъ,
Какой нибудь товарищъ школьныхъ лѣтъ
Со мной о прежней дружбѣ говорилъ,
Я сердцемъ вновь веселый отрокъ былъ!
Я забывалъ весь шумный, пышный кругъ,
Когда былъ найденъ дѣтства милый другъ.
Красы улыбки—(мнѣ-ль, увы, не знать
Какъ сердцемъ силѣ страсти уступать!)
Красы улыбки, полныя огня,
Едва въ тотъ часъ могли плѣнять меня:
Я съ другомъ былъ! Съ взволнованной душой
Я рощи Иды видѣлъ предъ собой,
Я видѣлъ вновь себя въ кругу друзей,
Въ тѣни густой знакомыхъ мнѣ аллей...
Такъ прежнихъ чувствъ душа моя полна,
Такъ дружбою любовь побѣждена.

Но почему съ волненьемъ столь живымъ
Я обращаюсь къ школьнымъ днямъ моимъ?
Ужель меня въ восторгъ такой привелъ
Обычный дѣтства свѣтлый ореолъ?
Нѣтъ, сердце такъ трепещетъ потому,
Что дружба дорога вдвойнѣ тому,
Кто, не найдя любви въ землѣ родной,
Скитальцемъ сталъ навѣкъ въ странѣ чужой.
О Ида! свѣтлый лучъ въ моей судьбѣ!

Мой домъ, мой міръ, мой рай—въ одной
тебѣ!
Суровой смертью я еще съ пеленъ
Отцовской нѣжной ласки былъ лишенъ.
Ужель наставникъ можетъ замѣнить
Любовь отца и имъ ребенку быть?
Иль то, что съ дѣтскихъ лѣтъ я могъ
быть гордъ,
Узнавъ, что я—богатый, знатный лордъ?
Ахъ, дружбу брата зналъ ли въ дѣтствѣ я?
Сестра меня ласкала ли, любя?
Какъ безотрадно-грустенъ отдыхъ мой!
Не вижу я нигдѣ души родной!..
И вотъ, какъ часто въ мимолетномъ снѣ
Улыбки близкихъ грезятся вдругъ мнѣ;
Я ихъ спѣшу прижать къ груди моей
Я слышу много ласковыхъ рѣчей,
Я въ радости глаза мои открылъ,—
Но то, увы, не брата голосъ былъ...
Отшельникъ средь толпы—я одинокъ,
Хотя кругомъ кипитъ людской потокъ,
На дождь вѣнковъ вокругъ меня гляжу,
Но для себя цвѣтка не нахожу...
Что жъ дѣлать мнѣ? Въ толпѣ чужой
искать
Себѣ друзей—иль одному вздыхать?
И я спѣшу, чтобъ облегчить мнѣ грудь,
Питомцамъ Иды руку протянуть.

Алонзо! лучшій изъ моихъ друзей!
Могу гордиться дружбою твоей!
Не мнѣ прославить дружбою тебя.
Могу прославить ею лишь себя!
Ты въ юности такъ много обѣщалъ,
И, если ты надежды оправдалъ,
Ты долженъ быть поэтами воспѣтъ,
И славу тѣмъ создастъ себѣ поэтъ.
Сердечный другъ и первый въ спискѣ
тѣхъ,
Кто далъ мнѣ столько счастья и утѣхъ!
О, какъ наука насъ къ себѣ влекла!
Какъ наша жажда знанія росла!
И въ часъ досуга, съ преданной душой,
Вездѣ всегда ты вмѣстѣ былъ со мной.
Бросать ли мячъ — ты мой помощникъ
былъ,
И туторъ нашъ насъ вмѣстѣ находилъ;
Съ тобой въ союзѣ въ крикетъ я игралъ,
Иль ловлю рыбы вмѣстѣ затѣвалъ;
Бывало, прыгнувъ въ воду на скаку,
Переплывалъ съ тобою я рѣку;
И, неизмѣнно дружные во всемъ,
Какъ близнецы, являлись мы вдвоемъ.

Ты не забытъ, веселый мальчикъ мой,
О Давусъ, вѣстникъ радости живой!
Ты—первый нашъ проказникъ и шутникъ,
Каламбуристъ столь острый на языкъ!
Какъ, помню я, ты нравиться хотѣлъ,
И какъ при томъ застѣнчиво робѣлъ!
Однако въ мигъ опасный, роковой
Ты сердцемъ былъ безтрепетный герой.
Не шуточный примѣръ тобой былъ данъ:
Въ одной изъ свалокъ кто-то изъ кресть-
янъ,
Схвативъ ружье, убить меня хотѣлъ;
Былъ страшный мигъ—онъ взялъ ужъ на
прицѣлъ,
(Межъ тѣмъ съ другимъ я занятъ былъ
борьбой
И не видалъ угрозы роковой).
Тутъ вырвался у всѣхъ невольный крикъ
Но ты безстрашно бросился—и въ мигъ,
Схвативъ ружье, ударъ остановилъ
И дикаря на землю повалилъ.
Чѣмъ я могу за подвигъ отплатить?
Ужель въ стихахъ тебя благодарить?
О, если я забуду подвигъ тотъ,
Пусть это сердце кровью истечетъ!..

Ты многаго могъ ждать бы отъ меня,
О Ликусъ! Ты—свѣтлѣй и краше дня!
Коль дань отдать достоинствамъ твоимъ,
Мой стихъ бы полонъ былъ тобой однимъ!
Ты проявлялъ, смиряя преній шумъ,
Спартанца мощь, Аѳинянина умъ,
И, если даръ тотъ расцвѣтетъ въ тебѣ,
То лавръ твоей готовится судьбѣ.
Коль умъ высокій знаньемъ окрыленъ
Какъ много обѣщать намъ долженъ онъ!
Когда раздастся смѣлый голосъ твой,
Какъ будутъ пэры жалки предъ тобой!
Свободный умъ, источникъ свѣтлыхъ силъ,
Съ душою честной ты соединилъ.

А Эвріалъ ужели мной забытъ?
Въ немъ древнихъ, славныхъ предковъ
кровь кипитъ.
Хоть разойтись со мной пришлось ему,
Но все жъ онъ дорогъ сердцу моему;
Оно трепещетъ, вспомнивши о немъ,
И вновь согрѣто дружескимъ огнемъ.
Вѣдь нашей ссорѣ зависть лишь виной,
Онъ помирится, прежній другъ, со мной!
Ты—красоты высокій идеалъ,
Какъ сердца чистотой ты насъ плѣнялъ!
Но не тебѣ въ палатахъ возсѣдать,
Иль славы въ бранныхъ подвигахъ искать;
Оставивъ ихъ въ удѣлъ земнымъ сердцамъ,
Душою ты стремишься къ небесамъ.
Ты при дворахъ, конечно, могъ блистать,
Но твой языкъ не знаетъ слова: лгать;
Потокъ привѣтствій, вычурный поклонъ,
Весь царедворца лживо-льстивый тонъ—

Въ тебѣ негодованье лишь зажжетъ,
И блескъ двора тебя не привлечетъ.
Семейнымъ счастьемъ будешь ты согрѣтъ,
Гдѣ лишь любовь, гдѣ ненависти нѣтъ,
Ты—всѣмъ примѣръ. друзьямъ—ты идеалъ;
Лишь рабъ тщеславья лучшаго бъ искалъ.

Вотъ и Клеонъ стоитъ передо мной
Съ его открытой, честною душой;
Она свѣтла, нѣтъ пятнышка на ней;
Онъ былъ одинъ изъ преданныхъ друзей.
Въ одинъ и тотъ же день вошли мы въ классъ,
Работа тѣсно связывала насъ,
И вмѣстѣ мы курсъ кончили наукъ;
Въ успѣхахъ былъ соперникъ, мнѣ мой другъ,
Но намъ пришлось ихъ поровну дѣлить,
Мы не могли другъ друга побѣдить;
Когда мы рѣчь держали, дружно залъ
Обоимъ намъ всегда рукоплескалъ.
Какъ независтливъ честный былъ Клеонъ!
Свой лавръ дѣлить со мной готовъ былъ онъ;
Но, сознаюсь, мнѣ сердце говоритъ,
Что лишь ему тотъ лавръ принадлежитъ.

Друзья мои! О призракъ юныхъ дней!
Послѣдній вздохъ фантазіи моей
Тѣ дни спѣшитъ съ любовью начертать,
Которыхъ мнѣ ужъ больше не видать.
Воспоминанье! ты еще живешь!
Ты утѣшенье въ горести даешь!
Передо мной вся юность расцвѣла,
И дѣтскій лавръ вкругъ моего чела;
Вотъ Пробусъ хвалитъ мнѣ мой первый стихъ,
Я первымъ сталъ средь сверстниковъ моихъ;
Вотъ первой рѣчи памятный успѣхъ...
Я Пробусу обязанъ больше всѣхъ!
Какой я благодарностью пылалъ
Къ нему въ тотъ мигъ! О славѣ какъ мечталъ!
Коль мнѣ ее стяжала пѣснь моя,
То лишь ему обязанъ этимъ я.
О, если бъ я моею лирой могъ
Подняться выше этихъ блѣдныхъ строкъ,
Ему бы я отдалъ души порывъ!
Пусть сгибнетъ пѣснь, но онъ въ ней будетъ живъ!
Но для чего ему ненужный стихъ?
Ему ль искать похвалъ себѣ пустыхъ?
Сынами Иды онъ благословленъ,
И въ каждомъ сердцѣ встрѣтитъ отзвукъ онъ;
Онъ этимъ высшихъ почестей достигъ,
Къ чему жъ тогда толпы продажной кликъ?..

Не кончилъ я моихъ любимыхъ грезъ,
Послѣднихъ словъ еще не произнесъ;
Я многихъ не назвалъ еще друзей
И не воспѣлъ такъ много дѣтскихъ дней...
Но пусть замолкнетъ отзвукъ дней былыхъ,
Послѣдній мой, столь милый сердцу стихъ!
Умолкну я.. О, какъ отрадно мнѣ
Мечтать о дняхъ минувшихъ въ тишинѣ!
Пуста и мрачна будущность моя,
Могу мечтать о прошломъ только я;
Да, лишь къ нему стремлюсь моей душой,
Оно стоитъ, какъ призракъ, предо мной.

О Ида! свѣточъ средь житейскихъ волнъ!
Правь, гордо правь впередъ твой быстрый челнъ!
Пусть чтитъ тебя питомецъ юный твой
И плачетъ, разставаяся съ тобой;
Быть можетъ въ жизни, въ дни суровыхъ грезъ,
Ему не лить нѣжнѣе этихъ слезъ!...

Вы, для кого ужъ близокъ мракъ могилъ,
Остатокъ жалкій прежнихъ юныхъ силъ.
Вы, чьи друзья, какъ рой цвѣтовъ весны,
Давно осенней бурей сметены,—
Вы вспомните о юности своей,
Когда не знали жизненныхъ цѣпей!
Скажите мнѣ, ужель ея привѣтъ
Вамъ не затмитъ послѣдующихъ лѣтъ?
Ужель тщеславье дать способно вамъ
Такой благой, цѣлительный бальзамъ?
Богатствами ль для мотовъ-сыновей,
Улыбкою ль привѣтной королей,
Добытымъ ли убійствами вѣнкомъ,
Иль блескомъ звѣздъ, иль золотымъ шитьемъ
(Игрушками для стариковъ-дѣтей)
Замѣните вы чары юныхъ дней?
О нѣтъ! Раскрывъ дрожащею рукой
Страницы книги жизни прожитой,
Глядите вы на мрачные листы,
Гдѣ только дни младенчества чисты,
Гдѣ яркость чувствъ скрывалъ покровъ стыда,
Гдѣ съ правдой вы простились навсегда,—
И строки тѣ, съ сердечною тоской,
Пятнаете раскаянья слезой...

Благословите жъ дивный свитокъ тотъ,
Гдѣ въ строкахъ утро свѣтъ отрадный льетъ,
Гдѣ Истины для васъ открытъ былъ храмъ,
Гдѣ Дружба улыбалась юнымъ днямъ...

Н. Брянскій.



МЭРІОНЪ (Marion).

Рис. Корбо (Miss Corbeaux), грав. Томсонъ (I. Thomson).

Отвѣтъ на прекрасную поэму, написанную Монгомери, авторомъ „Швейцарскаго странника“ и озаглавленную „Общій жребій“.

(Answer to a beautiful poem, written by Montgomery, author of „The wanderer of Switzerland“ etc, entitled „The Common Lot“.)

Ты правъ, Монгомри, рукъ людскихъ
Созданье—Летой поглотится;
Но есть избранники, о нихъ
Навѣки память сохранится.

Пусть неизвѣстно, гдѣ рожденъ
Герой-боецъ, но нашимъ взорамъ
Его дѣла изъ тьмы временъ
Сіяютъ яркимъ метеоромъ.

Пусть время всѣ слѣды сотретъ
Его утѣхъ, его страданья,
Все жъ имя славное живетъ
И не утратитъ обаянья.

Борца, поэта бренный прахъ
Взятъ будетъ общею могилой,
Но слава ихъ въ людскихъ сердцахъ
Воскреснетъ съ творческою силой.

Взоръ полный жизни перейдетъ
Въ застывшій взоръ оцѣпенѣнья,
Краса и мужество умретъ
И сгинетъ въ пропасти забвенья.

Лишь взоръ поэта будетъ лить
Намъ вѣчный свѣтъ любви, сіяя;
Въ стихахъ Петрарки будетъ жить
Лауры тѣнь, не умирая.

Свершаетъ время свой полетъ,
Сметая царства чередою,
Но лавръ поэта все цвѣтетъ
Неувядающей красою.

Да, всѣхъ сразитъ лихой недугъ,
Всѣхъ ждетъ покой оцѣпенѣнья,
И старъ, и младъ, и врагъ, и другъ—
Всѣ будутъ, всѣ—добычей тлѣнья.

Всего дни жизни сочтены,
Падутъ и камни вѣковые,
Отъ гордыхъ храмовъ старины
Стоятъ развалины нѣмыя.

Но если есть всему чередъ,
Но если мраморъ здѣсь не вѣченъ,—
Безсмертія заслужитъ тотъ,
Кто искрой божеской отмѣченъ.

Не говори жъ, что жребій всѣхъ—
Волной поглотится суровой;
То участь многихъ, но не тѣхъ,
Кто смерти разорвалъ оковы.

Н. Брянскій

Строки, адресованныя Дж. Т. Бичеру въ отвѣтъ на его совѣтъ автору чаще посѣщать общество.

(Lines, adressed to the Rev. I. T. Becher, on his advising the author to mix more with society).

Милый Бичеръ! Вы дали мнѣ мудрый совѣтъ
Быть въ общеньи съ людскою толпою.
Но мой умъ съ одиночествомъ свыкся... А свѣтъ
Презираю я всею душою.

Пусть на подвигъ война иль сенатъ позовутъ,—
Честолюбье мой духъ растревожитъ;
Лишь когда испытанія дѣтства пройдутъ,
Стану славить я родъ мой, быть можетъ.

Тамъ незримо бурлитъ въ тайникахъ глубины
Пламя Этны въ пылающей страсти;
Но прорвались потоки, грозны и страшны,—
И смирить ихъ нѣтъ силы, нѣтъ власти.

Такъ бурлитъ жажда славы въ груди у меня,
Чтобъ она средь потомковъ окрѣпла,
Чтобъ, какъ фениксъ, взлетая на крыльяхъ огня,
Возродился я снова изъ пепла,

Много-бъ снесъ я тревогъ, чтобъ прославить себя
Жизнью Фокса иль смертью Чатама;
Не была ихъ кончина концомъ бытія,
Блещетъ слава ихъ въ очи намъ прямо.

Для чего-же сходиться мнѣ съ модной толпой,
Преклонясь предъ ея вожаками,
Славословить нелѣпость трусливой душой
И завязывать дружбу съ глупцами?!

ЧАСЫ ДОСУГА.

Испыталъ я и сладость и горечь любви,
Рано искренней дружбѣ повѣрилъ,
Осуждаютъ матроны порывы мои
И узналъ я, что другъ лицемѣрилъ.

Что богатство?! Оно уничтожится въ день
По желанью тирана иль Рока;
Что мнѣ титулъ—могущества лживая тѣнь;
Только славы я жажду глубоко!

Чуждъ я лжи, не умѣю еще до сихъ поръ
Правду я покрывать лакомъ моды,
Такъ зачѣмъ-же терпѣть ненавистный надзоръ
И на глупость растрачивать годы.

В. Мазуркевичъ.

ЛЮБВИ ПОСЛѢДНЕЕ ПРОЩАНЬЕ.

(Lovés last adieu).

'Αεὶ, δ'ἀει με φευγει—Anacreon.

Цвѣты любви цвѣтутъ и красятъ жизни садъ;
Средь сорныхъ травъ цвѣтутъ они до увяданья;
Но время ихъ сожнетъ; всѣ листья облетятъ;
Ихъ оборветъ любви послѣднее прощанье.

Напрасно ласками смиряемъ мы печаль
И вѣрность сохранять приносимъ обѣщанье;
Случайность навсегда умчать насъ можетъ вдаль
И смерть шепнетъ любви послѣднее прощанье.

Надежда насъ живитъ, спокойствіемъ дыша,
И говоритъ: „опять настанетъ часъ свиданья";
Утѣшится на мигъ печальная душа
Отъ горечи любви послѣдняго прощанья.

Взгляните,—вотъ чета! Любовью сплетены
Ей розы счастія въ восторгахъ и сіяньѣ;
Но мигъ пришелъ... и вотъ,—онѣ охлаждены
Морозами любви послѣдняго прощанья.

О, лэди милая! Ужель вы не могли-бъ
Смягчить свою тоску, унять свои страданья?!
Но что-же спрашивать?! Разсудокъ вашъ погибъ,
Ставъ жертвою любви послѣдняго прощанья.

Кто этотъ мизантропъ, бѣгущій отъ людей
Изъ городовъ въ лѣса, чтобъ тамъ свои стенанья
Пересказать вѣтрамъ, ловя среди степей
Всѣ отзвуки любви послѣдняго прощанья.

Смѣнила ненависть теперь былую страсть,
И сердце, знавшее мятежныя желанья,
Злорадно думаетъ, какъ сбросить эту власть
И прошептать любви послѣднее прощанье.

Завидуетъ оно одѣвшимъ сердце въ сталь,
Не знающимъ утѣхъ, но также и страданья,
Кто скуки чуждъ, кого не трогаетъ печаль
И не страшитъ любви послѣднее прощанье.

Проходитъ молодость; жизнь улетаетъ съ ней,
И меркнутъ на любовь былыя упованья;
Уносится оно на крыльяхъ прежнихъ дней
Подъ саваномъ любви послѣдняго прощанья.

Астрея говоритъ, что каждый свѣтлый мигъ
Мы искупить должны цѣною покаянья;
Кто алтаря любви, блаженствуя, достигъ,
Познаетъ грусть любви послѣдняго прощанья.

Тотъ, кто склонялся ницъ предъ этимъ алтаремъ
Пускай наложитъ тамъ, какъ знакъ воспоминанья,
Миртъ—благодатный даръ за радости въ быломъ,—
И кипарисъ—любви послѣднее прощанье.

В. Мазуркевичъ.

Отвѣтъ на нѣсколько изящныхъ стиховъ, присланныхъ автору другомъ, жаловавшимся, что одно изъ его описаній было слишкомъ страстно написано.

(Answer to some elegant verses sent by a friend to the author, complaining that one of his descriptions was rather too warmly drawn).

Когда-бъ старушка, миссъ, иль врагъ, иль даже попъ
Меня за новое изданье осудили,
Эхидны-жъ добрыя работу разбранили,
Могу-ли я дерзнуть щолчокъ дать музѣ въ лобъ?

Anstey, New Bath guide. p 169.

Чистосердечіе заставило меня
Хвалить, о, Бичеръ, стихъ, что, истину цѣня,
Сливаетъ критика съ своимъ надежнымъ другомъ.
Правдивъ вашъ приговоръ и строгъ онъ по заслугамъ.
Я, нерадивый, самъ причиной золъ такихъ.
За звуки дикіе, за путаницу ихъ
Прошу прощенія, надѣюсь, не напрасно.
Иной разъ мудрецы теряются ужасно,—
Легко-ли юношѣ внушенья сердца смять?
При осторожности не трудно обуздать
Волненія души, но тяжелѣй провѣрить.
Когда горячій умъ любовь спѣшитъ измѣрить,
Хромая сдержанность далеко отстаетъ.
Напрасно хилый фатъ спѣшитъ ея полетъ
Ускорить. Молодой и старый, побѣжденный
И побѣдитель,—всѣ въ цѣпи идутъ скрѣпленной.
Пусть, кто избѣгъ ея, осудитъ этотъ стихъ,
Пусть, чья душа цѣпей гнушалася такихъ,
Несчастной жертвѣ шлетъ пустыя порицанья.
Какъ ненавижу я ихъ пѣсенъ завыванье,
Толпу протянутыхъ за пошлой риѳмой рукъ
И въ ледяныхъ стихахъ пустое эхо мукъ,
Невѣдомыхъ для нихъ, назойливыхъ для міра.
Священный Геликонъ мой — молодость, а лира —
Все сердце. Истина—вотъ муза. Умъ дѣвицъ

Я не могу смутить. Среди моихъ страницъ
Соблазнъ неопытнымъ я не внушу преступно.
И дѣвушка, чья грудь лукавству недоступна,
Чьи свѣтлыя мечты въ улыбкѣ разлиты,
Чей взоръ кокетства чуждъ и пошлой суеты,
При добродѣтели—не строгая безбожно,
Она, которую изящество надежно
Ведетъ къ могуществу, моимъ стихомъ она
Не будетъ никогда преступно смущена.
Но нимфа, въ чьей груди желаніе всецѣло
Огнемъ грѣховнымъ жжетъ и растравляетъ тѣло,
Падетъ и безъ сѣтей, которыхъ не нашла,
Хотя-бы никогда ни строчки не прочла.
Что до меня, хочу я угодить немногимъ,
Чьи души ввѣрены природы чувствамъ строгимъ,
Пусть дѣтскій стихъ щадятъ и не отвергнутъ вновь
И риѳмы легкія и легкую любовь.
Въ безчувственной толпѣ я не желаю славы,
Рукоплесканья ихъ я вовсе не цѣню
Насмѣшки ихъ и судъ презрѣніемъ казню.

А. Ѳедоровъ.

ЭЛЕГІЯ НА НЮСТЕДСКОЕ АББАТСТВО.

(Elegy on Newstead Abbey).

Это голосъ тѣхъ лѣтъ, что прошли; они стремятся предо мной со всѣми своими дѣяніями.

Оссіанъ.

Полуупавшій, прежде пышный храмъ!
Алтарь святой! монарха покаянье!
Гробница рыцарей, монаховъ, дамъ,
Чьи тѣни бродятъ здѣсь въ ночномъ сіяньѣ.

Твои зубцы привѣтствую, Нюстедъ!
Прекраснѣй ты, чѣмъ зданья жизни новой,
И своды залъ твоихъ на ярость лѣтъ
Глядятъ съ презрѣньемъ, гордо и сурово.

Вѣрны вождямъ, съ крестами на плечахъ,
Здѣсь не толпятся латники рядами,
не шумятъ безпечно на пирахъ,—
Безсмертный сонмъ!—за круглыми столами!

Волшебный взоръ мечты, въ дали вѣковъ,
Увидѣлъ бы движенье ихъ дружины,
Въ которой каждый—умереть готовъ
И, какъ паломникъ, жаждетъ Палестины.

Но нѣтъ! не здѣсь отчизна тѣхъ вождей,
Не здѣсь лежатъ ихъ земли родовыя:
Въ тебѣ скрывались отъ дневныхъ лучей,
Ища спокойствія, сердца больныя.

Отвергнувъ міръ, молился здѣсь монахъ
Въ угрюмой кельи, подъ покровомъ тѣни,
Кровавый грѣхъ здѣсь пряталъ тайный страхъ,
Невинность шла сюда отъ притѣсненій.

Король тебя воздвигъ въ краю глухомъ,
Гдѣ шервудцы блуждали, словно звѣри,
И вотъ въ тебѣ, подъ чернымъ клобукомъ,
Нашли спасенье жертвы суевѣрій.

Гдѣ, влажный плащъ надъ перстью неживой,
Теперь трава струитъ росу въ печали,
Тамъ иноки, свершая подвигъ свой,
Лишь для молитвы голосъ возвышали.

Гдѣ свой невѣрный летъ нетопыри
Теперь стремятъ сквозь сумраки ночные,
Вечерню хоръ гласилъ въ часы зари,
Иль утренній канонъ святой Маріи!

Года смѣняли годы, вѣкъ—вѣка,
Аббатъ—аббата; мирно жило братство.
Его хранила вѣры сѣнь, пока
Король не посягнулъ на святотатство.

Былъ храмъ воздвигнутъ Генрихомъ святымъ,
Чтобъ жили тамъ отшельники въ покоѣ.
Но даръ былъ отнятъ Генрихомъ другимъ,
И смолкло вѣры пѣніе святое.

Напрасны просьбы и слова угрозъ,
Онъ гонитъ ихъ отъ стараго порога
Блуждать по міру, средь житейскихъ грозъ,
Безъ друга, безъ пріюта,—кромѣ Бога!

Чу! своды залъ твоихъ, въ отвѣтъ звуча,
На зовъ военной музыки трепещутъ,
И, вѣстники владычества меча,
Высоко на стѣнахъ знамена плещутъ.

Шагъ часового, смѣны гулъ глухой,
Веселье пира, звонъ кольчуги бранной,
Гудѣнье трубъ и барабановъ бой
Слились въ напѣвъ тревоги безпрестанной.

Аббатство прежде, нынѣ крѣпость ты,
Окружена кольцомъ полковъ невѣрныхъ.
Войны орудья съ грозной высоты
Нависли, гибель сѣя въ ливняхъ сѣрныхъ.

Напрасно все! Пусть врагъ не разъ отбитъ,—
Передъ коварствомъ уступаетъ смѣлый,
Защитниковъ—мятежный сонмъ тѣснитъ,
Развивъ надъ ними стягъ свой закоптѣлый.

Не безъ борьбы сдается имъ баронъ,
Тѣла враговъ пятнаютъ долъ кровавый;
Непобѣжденный мечъ сжимаетъ онъ.
И есть еще предъ нимъ дни новой славы.

Когда герой уже готовъ снести
Свой новый лавръ въ желанную могилу,—
Слетаетъ добрый геній, чтобъ спасти
Монарху—друга, упованье, силу!

Влечетъ изъ сѣчъ неравныхъ, чтобъ опять
Въ иныхъ поляхъ отбилъ онъ приступъ злобный,
Чтобъ онъ повелъ къ достойнымъ битвамъ рать,
Въ которой палъ Фалкландъ богоподобный.

Ты, бѣдный замокъ, преданъ грабежамъ!
Какъ реквіемъ звучатъ сраженныхъ стоны,
До неба всходитъ новый ѳиміамъ
И кроютъ груды жертвъ долъ обагренный.

Какъ призраки, чудовищны, блѣдны,
Лежатъ убитые въ травѣ священной.
Гдѣ всадники и кони сплетены,
Грабителей блуждаетъ полкъ презрѣнный.

Истлѣвшій прахъ исторгнутъ изъ гробовъ,
Давно травой, густой и шумной, скрытыхъ:
Не пощадятъ покоя мертвецовъ
Разбойники, ища богатствъ зарытыхъ.

Замолкла арфа, голосъ лиры стихъ,
Вовѣкъ рукой не двинетъ минстрель блѣдный,
Онъ не зажжетъ дрожащихъ струнъ своихъ,
Онъ не споетъ, какъ славенъ лавръ побѣдный.

Шумъ боя смолкъ. Убійцы, наконецъ,
Ушли, добычей—сыты въ полной мѣрѣ.
Молчанье вновь надѣло свой вѣнецъ,
И черный Ужасъ охраняетъ двери.

Здѣсь Разореніе содержитъ мрачный дворъ,
И что за челядь славитъ власть царицы!
Слетаясь спать въ покинутый соборъ,
Зловѣщій гимнъ кричатъ ночныя птицы.

Но вотъ исчезъ анархіи туманъ
Въ лучахъ зари съ родного небосвода,
И въ адъ, ему родимый, палъ тиранъ,
И смерть злодѣя празднуетъ природа.

Гроза привѣтствуетъ предсмертный стонъ,
Встрѣчаетъ вихрь послѣднее дыханье,
Принявъ постыдный гробъ, что ей врученъ,
Сама земля дрожитъ въ негодованьѣ.

Законный кормчій снова у руля
И челнъ страны ведетъ въ спокойномъ морѣ.
Вражды утихшей раны исцѣля,
Надежда вновь бодритъ улыбкой горе.

Изъ разоренныхъ гнѣздъ, крича, летятъ
Жильцы, занявшіе пустыя кельи.
Опять свой ленъ принявъ, владѣлецъ радъ;
За днями горести—полнѣй веселье!

Вассаловъ сонмъ въ привѣтливыхъ стѣнахъ
Пируетъ вновь, встрѣчая господина.
Забыли женщины тоску и страхъ,
Посѣвомъ пышно убрана долина.

Разноситъ эхо пѣсни вдоль дорогъ,
Листвой богатой боръ веселый пышенъ.
И чу! въ поляхъ взываетъ звонкій рогъ,
И окликъ ловчаго по вѣтру слышенъ.

Луга подъ топотомъ дрожатъ весь день...
  О, сколько страховъ! радостей! заботы!
Спасенья ищетъ въ озерѣ олень...
  И славитъ громкій крикъ конецъ охоты!

Счастливый вѣкъ, ты долгимъ быть не могъ,
  Когда лишь травля дѣдовъ забавляла!
Они, презрѣвъ блистательный порокъ,
  Веселья много знали, горя—мало!

Отца смѣняетъ сынъ. День ото дня
  Всѣмъ Смерть грозитъ неумолимой дланью.
Ужъ новый всадникъ горячитъ коня,
  Толпа другая гонится за ланью.

Нюстедъ! какъ грустны нынѣ дни твои!
  Какъ видъ твоихъ раскрытыхъ сводовъ страшенъ!
Юнѣйшій и послѣдній изъ семьи
  Теперь владѣтель этихъ старыхъ башенъ.

Онъ видитъ ветхость сѣрыхъ стѣнъ твоихъ,
  Глядитъ на кельи, гдѣ гуляютъ грозы,
На славныя гробницы дней былыхъ,
  Глядитъ на все, глядитъ, чтобъ лились слезы!

Но слезы тѣ не жалость будитъ въ немъ:
  Исторгло ихъ изъ сердца уваженье!
Любовь, Надежда, Гордость—какъ огнемъ,
  Сжигаютъ грудь и не даютъ забвенья.

Ты для него дороже всѣхъ дворцовъ
  И гротовъ прихотливыхъ. Одиноко
Бродя межъ мшистыхъ плитъ твоихъ гробовъ,
  Не хочетъ онъ роптать на волю Рока.

Сквозь тучи можетъ солнце просіять,
  Тебя зажечь лучемъ полдневнымъ снова.
Часъ славы можетъ стать твоимъ опять,
  Грядущій день — сравняться съ днемъ былого!

Валерій Брюсовъ.

ГЕОРГУ, ГРАФУ ДЕЛАВАРУ.

(To George, Earl Delaware).

  О да, я признаюсь, мы съ вами близки были;
Связь мимолетная для дѣтскихъ лѣтъ—вѣчна;
Намъ чувства братскія сердца соединили,
И намъ была любовь взаимная дана.

  Но краткій мигъ смететъ, что создано годами,—
Такъ дружбы легкая непостоянна власть:
Какъ Страсть, она шумитъ воздушными крылами,
Но гаснетъ въ мигъ одинъ, когда не гаснетъ Страсть.

  По Идѣ нѣкогда бродили мы весною,
И, помню, юныхъ дней блаженны были сны.
Какъ твердь была ясна надъ нашей головою!
Но бури хмурыхъ зимъ теперь намъ суждены.

  И память милая, соединясь съ печалью,
Намъ дѣтство воскрешать не будетъ съ этихъ поръ;
Пусть гордость закалитъ мнѣ сердце твердой сталью,
Что было мило мнѣ,—отнынѣ мой позоръ.

  Но избранныхъ моихъ, я, другъ, не унижаю,—
Я васъ, попрежнему, я долженъ уважать,—
Насъ случай раздѣлилъ, но тотъ же случай, знаю,
Заставитъ васъ назадъ обѣтъ невѣрный взять.

  Остывшую любовь во мнѣ не смѣнитъ злоба.
И жалобную боль я въ сердце не впущу:
Спокойно мыслю я,—что мы неправы оба,
И вамъ легко простить,—какъ я легко прощу.

Вы знали — жизнь моя всегда горячей кровью
На первый вашъ призывъ откликнуться ждала;
Вы знали, что душа, вспоенная любовью,
Пространства и года преодолѣть могла.

Вы знали,—но къ чему напрасно вспоминая,
Разорванную цѣпь стараться удержать!
Вамъ поздно, надъ былымъ печально поникая,
О другѣ прежнихъ лѣтъ томительно вздыхать.

Разстанемся,—я жду, мы вновь сойдемся вмѣстѣ;
Пусть время и печаль соединятъ насъ вновь;
Я требую отъ васъ—одной защиты чести:
Пусть распрю разрѣшитъ прошедшая любовь.

Александръ Блокъ.

ДАМЕТЪ.

(Damoetas).

Безправный, какъ дитя, и мальчикъ по лѣтамъ,
Душою преданный убійственнымъ страстямъ,
Не вѣдая стыда, не вѣря въ добродѣтель,
Обмана бѣсъ и лжи сочувственный свидѣтель,
Искусный лицемѣръ отъ самыхъ раннихъ дней,
Измѣнчивый, какъ вихрь на вольности полей,
Обманщикъ скромныхъ дѣвъ, друзей неосторожныхъ,
Отъ школьныхъ лѣтъ знатокъ условій свѣта ложныхъ,—
Даметъ извѣдалъ путь порока до конца
И прежде остальныхъ достигъ его вѣнца:
Но страсти, до сихъ поръ терзая сердце, властно
Велятъ ему вкушать подонки чаши страстной;
Пронизанъ похотью, онъ цѣпь за цѣпью рветъ
И въ чашѣ прежнихъ нѣгъ свою погибель пьетъ.

Александръ Блокъ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МЭРІОНЪ.

(To Marion).

Что ты, Мэріонъ, такъ грустна?
Или жизнью смущена?
Гнѣвъ нахмуренныхъ бровей
Не къ лицу красѣ твоей.
Не любовью ты больна,
Нѣтъ, ты сердцемъ холодна.
Вѣдь любовь—печаль въ слезахъ,
Смѣхъ, иль ямки на щекахъ,
Или склонъ рѣсницы томной,—
Ей противенъ холодъ темный.
Будь же свѣтлой какъ была
Всѣмъ попрежнему мила,
А въ снѣгахъ твоей зимы
Холодны, бездушны мы.

Хочешь вѣрности покорной—
Улыбайся, хоть притворно.
Суждено ль—и въ грустный часъ
Прятать прелесть этихъ глазъ?
Что ни скажешь,—все напрасно:
Ихъ лучей игра прекрасна,
Губы... но, чиста, скромна,
Муза пѣть ихъ не должна:
Она краснѣетъ, хмуритъ брови,
Велитъ бѣжать твоей любови,
Вотъ разсудокъ принесла,
Сердце во-время спасла.
Такъ одно сказать могу
(Чтобъ ни думалъ я—солгу):
Губы нѣжныя таятъ



КЛАДБИЩЕ ВЪ ГАРРО. (The churchyard of Harrow).

Рис. Стэнфильдъ (Stanfield, A. R. A.), грав. Э. Финденъ (E. Finden).

Не одной насмѣшки ядъ.
Такъ, въ совѣтахъ безпристрастныхъ
Утѣшеній нѣтъ опасныхъ;
Пѣснь моя къ тебѣ проста,
Лесть не просится въ уста;
Я, какъ братъ, учить обязанъ,
Сердцемъ я съ другими связанъ;
Обману ли я тебя,
Сразу дюжину любя?
Такъ, прости! Прими безъ гнѣва
Мой совѣтъ немилый, дѣва;
А чтобъ не былъ мнѣ въ упрекъ
Мой докучливый урокъ,
Опишу тебѣ черты
Властной женской красоты:
Какъ ни сладостна для насъ
Алость губъ, лазурность глазъ,
Какъ бы локонъ завитой
Ни прельщалъ насъ красотой,
Все же это плѣнъ мгновенный,—
Какъ насъ свяжетъ неизмѣнно
Легкій очеркъ красоты?
Нѣтъ въ немъ строгой полноты.
Но открыть ли, что насъ свяжетъ,
Что пажамъ васъ чтить прикажетъ
Королевами всего?
Сердце,—больше ничего.

Александръ Блокъ.

ОСКАРЪ АЛЬВСКІЙ.

(Oscar of Alva).

Луна плыветъ на небесахъ,
Сребрится берегъ Лоры,
Въ туманныхъ, дикихъ красотахъ
Вдали чернѣютъ горы.
Умолкло все; окрестность спитъ.
Промчалось время боевъ:
Въ чертогахъ Альвы не гремитъ
Оружіе героевъ.
Какъ часто звѣздные лучи
Изъ тучъ, въ часы ночные,
Сребрили копья и мечи
И панцыри стальные,
Когда, презрѣвши тишину,

Пылая духомъ мести,
Они летѣли на войну
Искать трофеевъ чести!

Какъ часто въ бездны этихъ скалъ,
Вѣками освященныхъ,
Воитель мощный увлекалъ
Героевъ побѣжденныхъ!
Быстрѣе сыпало тогда
Свой блескъ свѣтило ночи,
И муки смерти навсегда
Смежали храбрыхъ очи.

Въ послѣдній разъ на милый свѣтъ
Изъ тьмы они взирали,
Въ послѣдній разъ лунѣ привѣтъ,
Вздыхая, посылали:
Они любили—имъ луна
Бывала утѣшеньемъ;
Они погибли—имъ она
Отрадой и мученьемъ.

Исчезла слава прежнихъ лѣтъ—
И сильные владыки,
И замокъ Альва, храмъ побѣдъ—
Добыча павилики.
Въ забвеньи сладостныхъ пѣвцовъ
И воиновъ чертоги,
И бродятъ лани вкругъ зубцовъ
И серны быстроноги.

Въ тяжелыхъ шлемахъ и щитахъ
Героевъ знаменитыхъ,
Въ пыли висящихъ на стѣнахъ
И лаврами обвитыхъ,
Гнѣздится дикая сова
И вѣтръ пустынный свищетъ;
На полѣ битвъ растетъ трава
И вепрь свирѣпый рыщетъ.

О, древній Альва! миръ тебѣ,
Ничтожности свидѣтель!
Со славой отдалъ долгъ судьбѣ
Послѣдній твой владѣтель.
Погасъ его могучій родъ:
Нѣтъ ужаса народовъ!
И звукъ мечей не потрясетъ
Твоихъ желѣзныхъ сводовъ.

Когда зажгутся небеса,
Разстелются туманы,
И громъ, и вихри, и гроза
Взбунтуютъ океаны,
Какой-то голосъ роковой,
Какъ бури завыванье,
Иль голосъ тѣни гробовой,
Твое колеблетъ зданье.

Оскаръ! вотъ, чу! твой мѣдный щитъ,
Воюющій съ громами,
Носясь по воздуху звучитъ
Надъ альвскими стѣнами!
Вотъ твой колеблется шеломъ
На тѣни раздраженной,
Какъ ночью черною, крыломъ
Орлинымъ осѣненной.

Ходили чаши по рукамъ
Въ рожденіе Оскара;
Взвивался пламень къ облакамъ
Веселаго пожара:
Владыка Альвы ликовалъ
Въ кругу своихъ героевъ,
И бардъ избранный воспѣвалъ
И громъ, и вихри боевъ.

Ловецъ пернатою стрѣлой
Разилъ въ стремнинахъ ланей,
И рогъ гремящій, боевой
Сзывалъ питомцевъ браней.
Призывный рогъ плѣнялъ ихъ слухъ,
И арфы золотыя
Восторгомъ зажигали духъ,
Какъ дѣвы молодыя.

„О, будь невинное дитя",
Пророчилъ старый воинъ,
„Могучъ безтрепетенъ, какъ я,
Будь Ангуса достоинъ!
Да будутъ дѣвы прославлять
Копье и мечъ Оскара!
Да будетъ злобный трепетать
Оскарова удара!"

Проходитъ годъ—и снова пиръ:
У Ангуса два сына;
И веселъ онъ при звукѣ лиръ,
И радостна дружина.
Копье ли учатъ ихъ метать—
Ихъ дикій вепрь трепещетъ;
Стрѣлу ли мѣткую пускать—
Никто вѣрнѣй не мещетъ.

Еще младенцы по лѣтамъ—
Они въ рядахъ героевъ:
По грознымъ, пагубнымъ мечамъ
Ихъ знаютъ въ вихрѣ боевъ.
Кто первый грянулъ на враговъ?
Чьихъ странъ герои эти?
То цвѣтъ Морвеновыхъ сыновъ,
То Ангусовы дѣти.

Чернѣе вранова крыла,
Съ небрежной красотою,
Вокругъ Оскарова чела
Власы вились волною;

Ихъ вѣтръ вздымалъ на раменахъ
Угрюмаго Аллана.
Оскаръ былъ—мѣсяцъ въ облакахъ;
Алланъ—какъ тѣнь тумана.

Оскаръ съ безтрепетной душой
Чуждался зла и мести.
Всегда волнуемый тоской,
Алланъ былъ склоненъ къ мести.
Оскаръ, какъ искренность, не зналъ
Притворствовать искусства;
Алланъ въ душѣ своей скрывалъ
Завистливыя чувства.

Съ блестящей утренней звѣздой
Въ лазури небосклона
Равнялась гордой красотой
Царица Сутганнона.
И не одинъ герой искалъ
Супругомъ быть прекрасной—
И къ дѣвѣ милой запылалъ
Оскаръ любовью страстной.

Кеннетъ и царственный вѣнецъ—
Приданымъ къ сочетанью,
И, въ думѣ радостной, отецъ
Внималъ его желанью;
Ему пріятенъ былъ союзъ
Съ колѣномъ Гленнальвона:
Онъ мнилъ посредствомъ брачныхъ узъ
Соединить два трона.

Я слышу рокоты роговъ
И свадебные клики,—
То сонмы старцевъ и пѣвцовъ
Ликуютъ вкругъ владыки.
Персты летаютъ по струнамъ,
Пылаетъ дубъ столѣтній,
И ходитъ быстро по рукамъ
Стаканъ отцовъ завѣтный.

Въ одеждахъ пышныхъ и цвѣтныхъ
Герои собралися,
И въ Альвѣ пѣсни дѣвъ младыхъ
И цитры раздалися.
Кипитъ въ сердцахъ восторгъ живой:
Всѣ пьютъ веселья сладость—
И Мора въ ткани золотой
Таитъ невольно радость.

Но гдѣ Оскаръ? Ужъ меркнетъ день,
Клубятся въ небѣ тучи,
Покрыла лѣсъ и горы тѣнь:
Приди, ловецъ могучій!
Луна ліетъ дрожащій свѣтъ
Изъ облака тумана;
Невѣста ждетъ—и нѣтъ ихъ, нѣтъ
Оскара и Аллана.

Пришелъ Алланъ, съ невѣстой сѣлъ
И въ думу погрузился.
И вотъ отецъ его узрѣлъ:
— „Куда Оскаръ сокрылся?
Гдѣ были вы во тьмѣ ночной?"
— „Гоняя лютыхъ вепрей,
Давно разстался онъ со мной
Въ кустахъ дремучихъ дебрей.

Гроза реветъ; быть можетъ, онъ
Зашелъ далеко въ горы:
Ему пріятнѣй звѣря стонъ
Руки прелестной Моры?"
— „Мой сынъ! любезный мой Оскаръ!"
Вскричалъ отецъ унылый:
„Гдѣ ты? гдѣ ты? какой ударъ
И мнѣ, и Морѣ милой!

Скорѣй, о воины-друзья,
Искать его спѣшите!
Не возражать! Въ тревогѣ я...
Оскара приведите!
Ступай, Алланъ—ищи его;
Пройди лѣса, долины!
Отдайте сына моего,
Мнѣ вѣрныя дружины!"

Въ смятеньи все. „Оскаръ, Оскаръ!"
Взываютъ звѣроловы,
И грозно вторитъ имъ ударъ
Въ поднебесьи громовый.
„Оскаръ!" отвѣтствуютъ лѣса,
„Оскаръ!" грохочутъ волны,
И воютъ буря и гроза—
И все опять безмолвны.

Денница гонитъ мракъ ночной,
Сводъ неба прояснился.
Проходитъ день, прошелъ другой—
Оскаръ не возвратился.
Приди, Оскаръ! невѣста ждетъ,
Ждутъ дѣвы молодыя!
И нѣтъ его—и Ангусъ рветъ
Власы свои сѣдые.

— „Оскаръ! предметъ моей любви!
Оскаръ, мой свѣтлый геній!
Ужели ты съ лица земли
Спустился въ царство тѣней?
О, гдѣ ты, сына моего
Убійца потаенный?
Открой его, открой его,
Властитель надъ вселенной!

Быть можетъ, жертва злобы, онъ
Лежитъ безъ погребенья —
И трупъ героя обреченъ
Звѣрямъ на расхищенье;

Быть можетъ, змѣй въ его костяхъ
Бѣлѣющихъ таится,
И на скалѣ Оскаровъ прахъ
Луною серебрится.

Не съ честью онъ, не въ битвѣ палъ,
Но отъ руки поносной:
Сразилъ могучаго кинжалъ—
Не мечъ побѣдоносный.
Никто слезой не оросить
Оскаровой могилы
И славы холмъ не посѣтитъ
Въ часъ полночи унылой.

„Оскаръ, Оскаръ! смежилъ ли ты
Плѣнительные взоры?
Правдивы ль Ангуса мечты
И Вышнему укоры?
Погибъ ли ты, сынъ милый мой,
Души моей отрада?
Сдружися, смерть, сдружись со мной,
Небесъ благихъ награда!"

Такъ старецъ, мучимый тоской,
Излилъ свое волненье—
И чуждъ души его покой,
И чуждо утѣшенье.
Повсюду горестный влачитъ
Губительное бремя,
И рѣдко духъ его живитъ
Цѣлительное время.

„Оскаръ мой живъ!" онъ льститъ себя
Надеждою пріятной
И снова мнитъ: „Несчастенъ я,—
Погибъ онъ невозвратно!"
Какъ звѣзды яркія во мглѣ
То меркнутъ, то пылаютъ,—
Печаль съ отрадой на челѣ
У Ангуса сіяютъ.

Бѣгутъ за днемъ другіе дни
Чредою постоянной,
И кроютъ будущность они
Завѣсою туманной.
Плыветъ луна; проходитъ годъ—
„Оскаръ не возвратится!"
И рѣже старецъ слезы льетъ,
И менѣе крушится.

Оскара нѣтъ; Алланъ при немъ:
Онъ дней его опора
И тайнымъ, пламеннымъ огнемъ
Къ нему пылаетъ Мора.
Подобный брату красотой
И - дѣвъ очарованье
Привлекъ онъ Моры молодой
Летучее вниманье.

— „Оскара нѣтъ, Оскаръ убитъ—
И ждать его напрасно",
Стыдливо дѣва говоритъ,
Сгарая нѣгой страстной:
„Когда жъ онъ живъ, то, можетъ быть,
Я—жертвою обмана...
Люблю его, клянусь любить
Прекраснаго Аллана!"

— „Алланъ и Мора! годъ одинъ",
Имъ старецъ отвѣчаетъ:
„Продлите годъ: погибшій сынъ
Мнѣ сердце сокрушаетъ!
Чрезъ годъ и ваши и мои
Исполнятся желанья:
Я самъ назначу день любви
И бракосочетанья".

Проходитъ годъ. Ночная тѣнь
Туманитъ лѣсъ и горы—
И вотъ насталъ желанный день
Для юноши и Моры.
Пышнѣе на небѣ блеститъ
Свѣтило золотое;
Быстрѣй во взорахъ ихъ горитъ
Веселіе живое.

Я слышу рокоты роговъ
И свадебные клики:
То сонмы старцевъ и пѣвцовъ
Ликуютъ вкругъ владыки.
Персты летаютъ по струнамъ,
Пылаетъ дубъ столѣтній
И ходитъ быстро по рукамъ
Стаканъ отцовъ завѣтный.

Въ одеждахъ пышныхъ и цвѣтныхъ
Герои собралися,
И въ Альвѣ пѣсни дѣвъ младыхъ
И цитры раздалися.
Забыта горесть прежнихъ дней:
Всѣ пьютъ блаженства сладость—
И, средь торжественныхъ огней,
Таитъ невѣста радость.

Но кто сей мужъ? Невольный страхъ
Черты его вселяютъ:
Вражда и месть въ его очахъ,
Какъ молніи, сверкаютъ.
Незнаемъ онъ, не Альвы сынъ,
Свирѣпый и угрюмый...
И сѣлъ отъ всѣхъ вдали одинъ,
Исполненъ тяжкой думы.

Окрестъ раменъ его обвитъ
Плащъ черный и широкій;
Перо багровое сѣнитъ
Шеломъ его высокій.

Слова его—какъ гулъ вдали.
Какъ громъ передъ грозою;
Едва касается земли
Онъ легкою стопою.

Ужъ полночь. Гости за столомъ;
Живѣе арфы звуки;
И кубокъ съ дѣдовскимъ виномъ
Изъ рукъ летаетъ въ руки.
Желаютъ счастья молодымъ,
Поютъ во славу Моры,
Стремятся радостные къ нимъ
Привѣтствія и взоры.

И вдругъ, какъ бурная волна,
Воспрянулъ неизвѣстный—
И воцарилась тишина,
И трепетъ повсемѣстный.
Умолкъ веселый шумъ рѣчей
И свадебные клики;
И страхъ проникъ въ сердца гостей,
И Моры, и владыки.

— „Старикъ", сказалъ онъ: „вкругъ тебя,
Какъ звѣзды вкругъ тумана,
Пируютъ вѣрные друзья
И славятъ бракъ Аллана.
Я пилъ за здравіе его—
Счастливаго супруга:
Пей ты за здравье моего
Товарища и друга.

Скажи мнѣ, старецъ, для чего
Оскаръ не раздѣляетъ
Веселья брата своего?
Зачѣмъ не поминаетъ
Никто о доблестномъ ловцѣ?
Гдѣ Альвы украшенье?
Зачѣмъ не здѣсь онъ—при отцѣ?
Рѣши мое сомнѣнье!"

—„Оскаръ гдѣ?" Ангусъ отвѣчалъ,
И сердце въ немъ забилось,
И въ золотой его бокалъ
Слеза изъ глазъ скатилась.
„Давно, мой другъ, Оскара нѣтъ!
Гдѣ онъ—никто не знаетъ;
Лишь онъ одинъ на склонѣ лѣтъ
Меня не утѣшаетъ".

—„Лишь онъ одинъ тебя забылъ?"
Съ улыбкою ужасной
Свирѣпый воинъ возразилъ:
„А можетъ быть напрасно
Ты плачешь каждый день о немъ—
И намъ бы о героѣ
Бесѣдовать, какъ о живомъ,
Въ пиру, при шумномъ роѣ.

Наполни кубокъ свой виномъ—
И пусть онъ переходитъ
Изъ рукъ въ другія за столомъ:
Оскара онъ приводитъ
На память любящимъ его.
Итакъ, провозглашаю:
За здравье друга моего
Оскара выпиваю!"

— „Я пью", отвѣтствуетъ старикъ,
„За здравіе Оскара!"
И загремѣлъ всеобщій кликъ:
„За здравіе Оскара!"
— „Оскаръ въ душѣ моей живетъ",
Сказалъ старикъ, „какъ прежде,
И если живъ онъ, то придетъ:
Я вѣрю сей надеждѣ".

— „Придетъ иль нѣтъ—но что жъ Алланъ
Не пьетъ вина со мною,
И держитъ полный свой стаканъ
Дрожащею рукою?
И отчего, Оскаровъ братъ,
Въ лицѣ твоемъ смущенье?
Иль ты не можешь и не радъ
Исполнить предложенье?

Какой тебя волнуетъ страхъ?
Мы пили—не робѣли?"
И быстро розы на щекахъ
Аллана помертвѣли.
Течетъ съ лица холодный потъ;
На всѣхъ взоръ дикій мещетъ;
Къ устамъ подноситъ и не пьетъ—
И въ ужасѣ трепещетъ.

— „Чего не пьешь, Алланъ?—И такъ
Любви весьма не лестной
Ты показалъ намъ явный знакъ!"
Воскликнулъ неизвѣстный.
„Я вижу—хочешь честь воздать
Геройскому ты праху;
Но на челѣ твоемъ печать
Не радости, а страха".

Алланъ невѣрною рукой,
Предъ воиномъ грозящимъ,
Подноситъ кубокъ круговой
Къ устамъ своимъ дрожащимъ.
— „Я пью", сказалъ, „за моего
Любезнаго Оскара!"
И кубокъ палъ изъ рукъ его,
Какъ будто отъ удара.

— „Я слышу голосъ: это онъ—
Братоубійца злобный!"
Раздался вдругъ протяжный стонъ
И вопль громоподобный.

„Убійца мой!“ отозвалось
По всѣмъ концамъ собранья,
И съ страшнымъ гуломъ потряслось
Стремительно все зданье.

Померкъ румяный свѣтъ огней,
Загрохотали громы,
И сталъ незримъ въ кругу гостей
Чудесный незнакомый,
И отвратительный фантомъ,
Въ молчаніи суровомъ,
Предсталъ, одѣянный плащомъ
Широкимъ и багровымъ.

Изъ подъ полы огромный мечъ,
Кинжалъ и рогъ блистаютъ,
И перья чудныя до плечъ
Съ шелома упадаютъ;
Зіяетъ рана на его
Груди окровавленной,
И страшны блѣдное чело
И взоръ окамененной.

Съ привѣтомъ хладнымъ и нѣмымъ
На старца онъ взираетъ,
И, взоръ осклабивъ, передъ нимъ
Колѣно преклоняетъ,
И грозно кажетъ на груди
Запекшуюся рану
Безъ чувствъ простертому, среди
Друзей своихъ, Аллану.

Вновь громы въ мрачныхъ облакахъ
Надъ Альвой загремѣли:
Щиты и латы на стѣнахъ
Протяжно зазвенѣли—
И тѣнь въ ужасной красотѣ,
Одѣянная тучей,
Взвилась и скрылась въ высотѣ,
Какъ метеоръ летучій.

Разстроенъ пиръ; соборъ гостей
Умолкъ, безмолвенъ въ страхѣ.
Но кто—не Ангусъ ли—кто сей,
Поверженный во прахѣ?
Нѣтъ, дни владыки спасены:
Онъ жить не перестанетъ;
Но дни Аллана сочтены:
Онъ болѣе не встанетъ.

Безъ погребенья брошенъ былъ
Убійцей трупъ Оскара,
И вѣтръ власы его носилъ
Въ долинѣ Глентанара.
Не въ битвѣ жизнь окончилъ онъ,
Не мощною рукою,
Вѣнчанный славой, пораженъ,
Но братнею стрѣлою.

Какъ въ лѣтній зной увядшій цвѣтъ.
Онъ палъ, войны питомецъ;
Ему и памятника нѣтъ.
Ужасный незнакомецъ,
Никѣмъ неузнанный, исчезъ.
Другое привидѣнье,
Какъ было признано—съ небесъ
Оскарово явленье.

Прошли твои златые дни,
Невѣста гроба, Мора!
Не узрятъ болѣе они
Имъ пагубнаго взора.
Живи, снѣдаема тоской,
Печальна и уныла!
Взгляни сюда: сей холмъ крутой—
Алланова могила!

Какіе барды воспоютъ
На арфѣ громогласной
И позднимъ лѣтамъ предадутъ
Конецъ его ужасный?
Какой возвышенный пѣвецъ
Возвышенныхъ дѣяній
Возложитъ риторскій вѣнецъ
На урну злодѣяній?

Пади вѣнокъ поэта въ прахъ!
Ты—не награда злобѣ:
Одно добро живетъ въ вѣкахъ.
Порокъ истлѣетъ въ гробѣ.
Напрасно жалости злодѣй
У менестреля проситъ:
Проклятье брата и людей
Мольбы его разноситъ.

А. Полежаевъ.

ЛАКИНЪ-И-ГЭРЪ.

(Lachyn-y-Gair).

Прочь, мирные парки, гдѣ преданы нѣгамъ
Межъ розъ отдыхаютъ поклонники моды!
Мнѣ дайте утесы, покрытые снѣгомъ,
Священны они для любви и свободы!
Люблю Каледоніи хмурыя скалы,
Гдѣ молній бушуетъ стихійный пожаръ,
Гдѣ, пѣнясь, реветъ водопадъ одичалый:
Суровый и мрачный люблю Локъ-на-Гаръ!

Ахъ, въ дѣтскіе годы тамъ часто блуждалъ я,
Въ шотландскомъ плащѣ и шотландскомъ беретѣ,
Героевъ, погибшихъ давно, вспоминалъ я,

Межъ сосенъ сѣдыхъ, въ вечерѣющемъ свѣтѣ.
Пока не затеплются звѣзды ночныя,
Пока не закатится солнечный шаръ,
Блуждалъ, вспоминая легенды былыя,
Разсказы о дѣтяхъ твоихъ, Локъ-на-Гаръ!

„О тѣни умершихъ! не ваши-ль призывы
Сквозь бурю звучали мнѣ хоромъ незримымъ?"
Я вѣрю, что души геройскія живы
И съ вѣтромъ летаютъ надъ краемъ родимымъ.
Царитъ здѣсь Зима въ ледяной колесницѣ,
Морозный туманъ разстилая, какъ паръ,
И прадѣдовъ тѣни восходятъ къ царицѣ—
Почить въ грозовыхъ облакахъ Локъ-на-Гаръ!

„Несчастные воины! развѣ видѣній,
Пророчащихъ гибель вамъ, вы не видали?"
Да! вамъ суждено было пасть въ Кулоденѣ,
И смерть вашу лавры побѣдъ не вѣнчали!
Но все же вы счастливы! Пали вы съ кланомъ,
Могильный вашъ сонъ охраняетъ Брэмаръ,
Волынки васъ славятъ по весямъ и станамъ!
И вторишь ихъ пѣнію ты, Локъ-на-Гаръ!

Давно я покинулъ тебя, и не скоро
Вернусь на тропы величаваго склона,
Лишенъ ты цвѣтовъ, не плѣняешь ты взора,
И все жъ мнѣ милѣй, чѣмъ поля Альбіона!
Ихъ мирныя прелести сердцу несносны:
Въ зіяющихъ пропастяхъ больше есть чаръ!
Люблю я утесы, потоки и сосны,
Угрюмый и грозный люблю Локъ-на-Гаръ!

Валерій Брюсовъ.

КЪ МУЗѢ ВЫМЫСЛА.

(To Romance).

Царица сновъ и дѣтской сказки,
Ребяческихъ веселій мать,
Привыкшая въ воздушной пляскѣ
Дѣтей послушныхъ увлекать!
Я чуждъ твоихъ очарованій,
Я цѣпи юности разбилъ,
Страну волшебную мечтаній
На царство Истины смѣнилъ!

Проститься не легко со снами,
Гдѣ жилъ я дѣвственной душой,
Гдѣ нимфы мнятся божествами,
А взгляды ихъ какъ лучъ святой!
Гдѣ властвуетъ Воображенье,
Все въ краски дивныя одѣвъ,
Въ улыбкахъ женщинъ—нѣтъ умѣнья,
И пустоты—въ тщеславьи дѣвъ!

Но знаю: ты лишь имя! Надо
Сойти изъ облачныхъ дворцовъ,
Не вѣрить въ друга какъ въ Пилада,
Не видѣть въ женщинахъ боговъ!
Признать, что чуждъ мнѣ лучъ небесный,
Гдѣ эльфы водятъ легкій кругъ,
Что дѣвы лживы, какъ прелестны,
Что занятъ лишь собой нашъ другъ.

Стыжусь, съ раскаяньемъ правдивымъ,
Что прежде чтилъ твой скиптръ изъ розъ.
Я нынѣ глухъ къ твоимъ призывамъ
И не парю на крыльяхъ грезъ!
Глупецъ! любилъ я взоръ блестящій
И думалъ: правда скрыта тамъ!
Ловилъ я вздохъ мимолетящій,
И вѣрилъ дѣланнымъ слезамъ.

Наскучивъ этой ложью черствой,
Твой пышный покидаю тронъ.
Въ твоемъ дворцѣ царитъ Притворство
И въ немъ Чувствительность—законъ!
Она способна вылить море—
Надъ вымыслами—слезъ пустыхъ,
Забывъ дѣйствительное горе,
Рыдать у алтарей твоихъ!

Сочувствіе, въ одеждѣ черной
И кипарисомъ убрано,
Съ тобой пусть плачетъ непритворно
За всѣхъ кровь сердца льетъ оно!
Зови поплакать надъ утратой
Дріадъ: ихъ пастушокъ ушолъ.
Какъ вы, и онъ пылалъ когда-то,
Теперь же презрѣлъ твой престолъ.

О нимфы! вы безъ затрудненья
Готовы плакать обо всемъ,
Горѣть въ порывахъ изступленья,
Воображаемымъ огнемъ!
Оплачете-ль меня печально,
Покинувшаго милый кругъ?
Не вправѣ-ль пѣсни ждать прощальной
Я, юный бардъ, вашъ бывшій другъ?

Чу! близятся мгновенья Рока...
Прощай, прощай, безпечный родъ!
Я вижу пропасть недалеко,
Въ которой васъ погибель ждетъ.
Васъ властно гонитъ вихрь унылый,
Шумитъ забвенія вода,
И вы съ царицей легкокрылой
Должны погибнуть навсегда!

Валерій Брюсовъ.

СМЕРТЬ КАЛЬМАРА И ОРЛЫ.

Подражаніе Оссіану Макферсона.

(The death of Calmar ond Orla).

Благодатны дни юности. Старость любитъ возвращаться памятью къ нимъ сквозь туманъ времени. Старецъ вспоминаетъ въ сумеркахъ о солнечныхъ часахъ утра. Онъ поднимаетъ копье дрожащей рукой и говоритъ: „Не такъ слаба была моя рука, когда я обнажалъ клинокъ передъ лицомъ моихъ отцовъ". Исчезло племя героевъ. Но слава ихъ воскресаетъ въ звукахъ арфъ. Души ихъ носятся на крыльяхъ вѣтровъ. Они слышатъ звуки сквозь стоны бурь и радуются въ своихъ облачныхъ замкахъ. Такъ и Кальмаръ. Сѣрый камень отмѣчаетъ его тѣсное жилище. Онъ глядитъ внизъ съ высоты несущихся бурь, онъ обвивается вихрями и несется на горныхъ вѣтрахъ.

Въ Морвенѣ жилъ вождь — гроза для Фингала. Шаги его по полю были отмѣчены кровавыми слѣдами. Сыны Лохлина бѣжали отъ его гнѣвнаго меча; но кротокъ былъ взоръ Кальмара; мягко струились его свѣтлые кудри, подобные метеору ночи. Не о дѣвѣ вздыхала его душа: всѣ помыслы его отданы были дружбѣ — темноволосому Орлѣ, покорителю героевъ. Равны были ихъ копья въ бою; но грозенъ и гордъ былъ Орла — и только съ Кальмаромъ онъ былъ нѣженъ. Они жили вдвоемъ въ пещерѣ ойтонской.

Изъ Лохлина Сваранъ пустился по синимъ волнамъ. Сыны Эрина подчинились его власти. Фингалъ поднялъ своихъ вождей на битву. Ихъ судна покрыли океанъ. Ихъ полчища толпились на зеленыхъ холмахъ. Они пришли на помощь Эрину.

Ночь наступила облачная. Мракъ окутывалъ арміи; только пылающіе дубы свѣтились въ долинѣ. Сыны Лохлина спали: имъ снилась кровь. Имъ грезится, что едва они поднимутъ копья, и Фингалъ бѣжитъ. Не то было съ воинами изъ Морвена. На сторожевомъ посту стоялъ Орла. Кальмаръ стоялъ подлѣ него. Въ рукахъ они держали копья. Фингалъ призвалъ своихъ вождей: они стали вокругъ него. Король сталъ посрединѣ. Кудри его были сѣдые, но сильна была рука короля. Старость не ослабила его мощи. „Сыны Морвена", сказалъ герой, „завтра мы сразимся съ врагомъ. Но гдѣ Кутулинъ, оплотъ Эрина? Онъ отдыхаетъ въ замкѣ Тура и не знаетъ о нашемъ приближеніи. Кто быстро направится черезъ Лохлинъ къ герою и призоветъ вождя къ оружію? Путь ведетъ мимо копій враговъ. Но у меня много героевъ, подобныхъ громамъ войны. Скажите, вожди, кто пойдетъ?"

„Сынъ Тренмора, да будетъ это дѣло моимъ", сказалъ темноволосый Орла, „только моимъ. Что мнѣ смерть? Я люблю сонъ мощныхъ витязей, но опасность не велика. Сыны Лохлина спятъ. Я пойду къ Кутулину, котораго носятъ на креслѣ. Если я паду, пусть заговоритъ пѣснь бардовъ обо мнѣ—и похорони меня у струй Любара".— „Неужели ты хочешь пасть одинъ?" возразилъ свѣтлокудрый Кальмаръ. „Неужели ты хочешь оставить своего друга? Вождь ойтонскій—рука моя не слаба въ бою. Могъ ли бы я видѣть твою смерть и не поднять копье? Нѣтъ, Орла. Мы вмѣстѣ охотились на дикихъ козъ,—пойдемъ же вмѣстѣ по пути опасностей. Мы жили вмѣстѣ въ пещерѣ ойтонской,—раздѣлимъ же и узкое жилище на берегахъ Любара". „Кальмаръ", сказалъ вождь ойтонскій, „зачѣмъ твоимъ свѣтлымъ кудрямъ покрываться пылью Эрина? Дай мнѣ пасть одному. Мой отецъ живетъ въ своемъ облачномъ замкѣ: онъ обрадуется своему сыну. Но синеокая Мора готовитъ пиръ для своего сына въ Морвенѣ. Она прислушивается къ шагамъ охотника на полянѣ и думаетъ, что это шаги Кальмара. Не слѣдуетъ, чтобы онъ сказалъ: „Кальмаръ палъ отъ копья сына Лохлина, онъ умеръ вмѣстѣ съ суровымъ Орлой, вождемъ съ мрачнымъ лицомъ. Не слѣдуетъ, чтобы слезы затуманили голубые глаза Моры. Не нужно, чтобы она посылала проклятія Орлѣ, погубившему Кальмара. Живи, Кальмаръ. Живи, чтобы поставить на моей могилѣ мшистый камень поросшій мхомъ; живи, чтобы отомстить за меня, проливъ кровь Лохлина. Присоединись къ пѣнію бардовъ надъ моей могилой. Сладостно будетъ замогильное пѣніе Орлѣ изъ устъ Кальмара. Мой духъ улыбнется, внимая славословію". „Орла", отвѣтилъ сынъ Моры. „Развѣ я бы могъ пѣть похоронную пѣснь моему другу? Развѣ я могъ бы пѣть

и разносить по вѣтру твою славу? Нѣтъ, сердце мое говорило бы только вздохами—слабы и надломлены звуки скорби. Орла, души наши вмѣстѣ будутъ слышать надгробныя пѣсни. Одно и то же облако покроетъ насъ въ вышинѣ и барды объединятъ имена Орлы и Кальмара".

Они вышли изъ круга вождей. Ихъ шаги направляются къ войску Лохлина. Умирающее пламя дубовъ мерцаетъ въ ночи. Сѣверная звѣзда указываетъ путь къ Туру. Сваранъ, король, отдыхаетъ на своемъ уединенномъ холмѣ. Здѣсь войско смѣшано. Воины хмурятся во снѣ. Они подложили щиты подъ головы. Ихъ копья блестятъ куччками на разстояніи. Огни потухаютъ, зола разсѣивается въ дымѣ. Все смолкло—только буря стонетъ на утесахъ вверху. Легко пробираются герои черезъ ряды спящихъ Полпути уже сдѣлано, какъ вдругъ Матонъ, отдыхающій на своемъ щитѣ, останавливаетъ на себѣ взоръ Орлы. Глаза Орлы горятъ огнемъ и сверкаютъ въ темнотѣ. Его копье поднято.—„Почему ты наклонилъ голову, вождь ойтонскій? — спрашиваетъ свѣтлокудрый Кальмаръ — Мы въ самой срединѣ вражескаго стана. Развѣ теперь время медлить?" — „Теперь время свершить месть,—отвѣчаетъ Орла съ пасмурнымъ челомъ. — „Матонъ изъ Лохлина спитъ, видишь его копье? Остріе его потускнѣло отъ крови моего отца. Кровь Матона должна дымиться на моемъ копьѣ. Но убить ли мнѣ его спящимъ, скажи, сынъ Моры? Нѣтъ. Я хочу, чтобы онъ почувствовалъ свою рану: мою славу я не хочу добыть кровью спящаго. Встань, Матонъ, поднимись. Тебя зоветъ сынъ Конны. Твоя жизнь принадлежитъ ему; встань, чтобы сразиться съ нимъ". Матонъ воспрянулъ отъ сна—но развѣ онъ поднялся одинъ? Нѣтъ. Собравшіеся со всѣхъ сторонъ вожди бросаются на поляну.—„Бѣги, Кальмаръ, бѣги—сказалъ темнокудрый Орла.—Матонъ принадлежитъ мнѣ. Я умру съ радостью: но весь Лохлинъ столпился вокругъ насъ. Бѣги во мракѣ ночи". Орла поворачивается. Шлемъ Матона расколотъ; его щитъ падаетъ съ руки: онъ содрагается, обливаясь кровью, и скатывается къ корнямъ сверкающаго дуба. Струмонъ видитъ, какъ онъ палъ, и въ немъ вспыхиваетъ гнѣвъ. Мечъ ого сверкаетъ надъ головой Орлы—но копье пронзаетъ ему глазъ. Его мозгъ выливается изъ раны и дымитъ на копьѣ Кальмара. Какъ волны океана мчатся на два мощныхъ сѣверныхъ судна, такъ кинулись воины Лохлина на вождей. Какъ сѣверныя судна, разрѣзая волны и покрывая ихъ пѣной, гордо идутъ впередъ, такъ поднимаются вожди морвенскіе на разбросанныя силы Лохлина. Бряцаніе оружія дошло до ушей Фингала. Онъ ударяетъ въ свой щитъ. Сыновья его собираются толпой вокругъ него. Со всѣхъ сторонъ несутся люди на поляну. Радостно спѣшитъ вооруженный Оскаръ—потрясая копьемъ. Орлиное крыло Филана развѣвается по вѣтру. Страшенъ звонъ смерти. Много вдовъ будетъ въ Лохлинѣ. Морвенъ одерживаетъ верхъ.

Утро мерцаетъ на холмахъ. Живыхъ враговъ не видно, но много спящихъ лежатъ угрюмые на Эринѣ. Вѣтеръ съ океана развѣваетъ ихъ кудри, но они не просыпаются. Коршуны кричатъ надъ своей добычей.

Чьи свѣтлыя кудри развѣваются на груди одного изъ вождей? Яркія, какъ золото чужестранцевъ, онѣ переплетаются съ темными волосами его друга. Это Кальмаръ: онъ лежитъ на груди Орлы. Ихъ кровь течетъ одной струей. Мраченъ взглядъ угрюмаго Орлы. Онъ еще дышитъ, око его еще пламенѣетъ. Оно глядитъ въ лицо смерти не смыкаясь. Его рука въ рукѣ Кальмара: но Кальмаръ еще живъ, хотя слабъ.—„Встань,—сказалъ король,—встань сынъ Моры. Мое дѣло исцѣлять раны героевъ. Кальмаръ еще будетъ прыгать на холмахъ Морвена".

— „Никогда болѣе Кальмаръ не будетъ охотиться въ Морвенѣ вмѣстѣ съ Орлой,—сказалъ герой.—Что для меня охота, когда я одинъ? Кто раздѣлитъ трофеи битвъ съ Кальмаромъ? Орла почилъ. Суровая была у тебя душа, Орла, но ко мнѣ она была нѣжна, какъ утренняя роса. Для другихъ твой взоръ сверкалъ какъ молнія,—для меня онъ былъ какъ серебряный лучъ ночного свѣта. Отдайте мой мечъ синеокой Морѣ, пусть онъ виситъ въ моемъ пустынномъ залѣ. Кровь на немъ есть—но онъ не могъ спасти Орлу. Положите меня рядомъ съ моимъ другомъ. Пусть запоютъ пѣсню, когда мракъ покроетъ меня".

Ихъ обоихъ положили у струй Любара. Четыре сѣрыхъ камня отмѣчаютъ жилище Орлы и Кальмара. Когда Сварана связали, наши судна поднялись на синія волны, вѣтеръ помчалъ ихъ къ Морвену; барды завели пѣсню:

„Чей образъ поднимается изъ грохота тучъ? Чей мрачный духъ сверкаетъ на красныхъ потокахъ бурь? Голосъ его грохочетъ среди громовъ. Это Орла, темный вождь

ойтонскій. Онъ не имѣлъ равныхъ себѣ въ бою. Миръ твоей душѣ, Орла. Твоя слава не исчезнетъ. И твоя тоже, Кальмаръ. Ты былъ прекрасенъ, сынъ синеокой Моры,—но не безвреденъ былъ твой мечъ. Онъ виситъ въ твоей пещерѣ. Духи Лохлина съ крикомъ носятся вокругъ его клинка. Слушай твою хвалу, Кальмаръ. Ее поютъ голоса мощныхъ властителей. Имя твое повторяетъ эхо въ Морвенѣ. Распусти свои прекрасные кудри, сынъ Моры. Раскидай ихъ по своду радуги и улыбнись сквозь слезы бури". Зин. Венгерова.

Къ Эдварду Ноэлю Лонгу, эсквайру.

(To Edward Noel Long, Esq.).

Nil ego contulerim jocundo sanus amico.

Horatius.

Мой милый Лонгъ! Въ уединеньи,
Когда вокругъ во снѣ затихъ
Весь міръ,—встаютъ въ воображеньи
Дни нашихъ радостей былыхъ.
Такъ посреди грозящей бури,
Когда намъ тучи свѣтъ мрачатъ
И искажаютъ блескъ лазури,—
Небесной радугѣ я радъ;
Я радъ въ ней видѣть миръ грядущій
И знакъ конца войны гнетущей.
Хоть въ настоящемъ—лишь печаль,
Я все надѣюсь, что вернутся
Тѣ дни, умчавшіеся въ даль;
И если даже вдругъ ворвутся
Въ спокойный міръ моей души,
Въ меланхолической тиши,
Боязнь и страхъ съ грозой своею,
Чтобъ перервать златые сны
Моей душевной глубины,—
Врага гоню я силой всею
И все мечту свою лелѣю!
Хоть больше намъ не суждено
Внимать, какъ было то давно,
Сухихъ педантовъ поученьямъ
Въ долинѣ Гранты, иль блуждать
По рощамъ Иды и мечтать,
Отдавшись радостнымъ видѣньямъ,—
Хотя на розовыхъ крылахъ
Умчалась Юность, и съ годами,
Неся грозу, въ своихъ правахъ
Возстало Мужество предъ нами,—
Но все еще надежда есть,
Что будетъ намъ и радость цвѣсть.

Хочу я вѣрить, что, свершая
Ширококрылый свой полетъ,
Намъ Время, сердце утѣшая,
Весны росинки принесетъ;
Но если острою косою
Оно подрѣжетъ тѣ цвѣты,
Которыхъ пышною красою
Веселой юности мечты
Свои бесѣдки украшали,
Гдѣ радость свѣтлая живетъ,—
И если старость къ намъ придетъ,
Неся угрозы и печали,
Контроль холодный наложивъ
На каждый нашъ души порывъ,—
Застудитъ слезы сожалѣнья,
Симпатій вздохи заглушитъ
И всѣ несчастья, всѣ мученья
Спокойно видѣть мнѣ велитъ,
Свое лишь горе ощущая,—
О, пусть не буду никогда я
Способенъ, вѣтренность забывъ,
Смирять сочувствія приливъ,
Чужое горе забывая!
Пусть буду я, какъ въ тѣ года,
Когда ты зналъ меня,—къ которымъ
Воспоминанья нѣжнымъ взоромъ
Мы обращаемся всегда,—
Несдержанъ, буенъ, дикъ, какъ львенокъ,
Хоть старъ, но сердцемъ все жъ ребенокъ!

Воздушныхъ призраковъ семья
Меня далече, другъ, умчала;
Но для тебя все тотъ же я,
Все тотъ, какимъ я былъ сначала.
Да, я несчастенъ былъ не разъ;
Свѣтъ прежнихъ радостей мнѣ гасъ,—
Но прочь часы моей печали!
Вашъ мракъ прошелъ, его ужъ нѣтъ;
Я, ради счастья дѣтскихъ лѣтъ,
Забуду все, чѣмъ вы терзали!
Такъ, если зимній вихрь утихъ
И спитъ въ глухой пещерѣ съ миромъ,—
Мы ужъ не помнимъ бѣдъ своихъ
И сладко дремлемъ подъ зефиромъ.

Въ тѣ дни я часто о любви
Пѣвалъ, подъ звуки лиры сладкой;
Изсякли темы тѣ мои,—
Я только вздохи шлю украдкой;
Нимфъ прежнихъ нѣтъ: Э.— ужъ жена,
А К.—ужъ мать, и (о судьбина!)
Другому Мэри отдана;
Одна вздыхаетъ Каролина;
А Коры взоръ,—хоть обѣщалъ
Любовь мнѣ, но отъ взора Коры
Я, право, во-время бѣжалъ:
Вѣдь всѣмъ ея сверкали взоры.
Хоть солнце всѣмъ сіяетъ намъ
Животворящими лучами,

И тѣ же солнца—взоры дамъ,—
Но пусть привѣтными очами
Онѣ сіяютъ одному:
Полуднемъ сердце не согрѣто,
Коль солнце шлетъ весну и лѣто
Другимъ настолько жъ, какъ ему;
Тутъ гаснетъ прежнее желанье
И страсть сама—одно названье.
Когда огонь почти погасъ,
То все, что прежде раздувало
И силу пламени давало,—
Лишь тушитъ искры всѣ какъ разъ;
Такъ и любовь (припомнить могутъ
Не мало юношей и дѣвъ),
Когда порывы изнемогутъ,
Подъ пепломъ гаснетъ, ослабѣвъ.

Ужъ полночь. Сумракъ небо кроетъ,
Межъ тучъ скрывается луна,—
Ее описывать не стоитъ:
Стократъ воспѣта ужъ она;
Что жъ мнѣ топтать дорожку эту,
Путь торный каждому поэту?
Но прежде, чѣмъ тройной свой кругъ
Пройдетъ сребристая лампада,
Гоня полночный мракъ вокругъ,—
Съ тобой мы свидимся, мой другъ,
И будетъ намъ съ тобой отрада,
И мы увидимъ лунный ликъ
Надъ мирнымъ мѣстомъ, гдѣ возникъ
Союзъ нашъ вѣрный съ малолѣтства,
И всѣ сберутся други дѣтства
Веселой праздничной толпой,
И въ смѣхѣ, межъ бесѣдъ сердечныхъ
О временахъ былыхъ, безпечныхъ,
Часы промчатся чередой;
И будутъ литься мощно, живо
Потоки думъ безъ перерыва,
Пока, узрѣвъ во мглѣ востокъ,
Не поблѣднѣетъ лунный рогъ.

Н. Холодковскій.

КЪ ЛЭДИ.

(To a lady).

Когда бъ была слита съ твоей судьба моя,
Въ чемъ былъ залогъ мнѣ данъ тобою,—
О, не творилъ тогда моихъ безумствъ бы я,
Спокоенъ былъ бы я душою!

Тебѣ обязанъ я грѣхами юныхъ дней,
Тебѣ—всеобщимъ осужденьемъ;
Чѣмъ вызванъ мой порокъ—не знаетъ судъ людей;—
Онъ вызванъ—клятвопреступленьемъ!

Вѣдь помыслы мои всѣ были такъ чисты,
Я побѣждалъ страстей истому,
Но данный мнѣ обѣтъ сама забыла ты,
Онъ данъ тобой теперь другому.

Я могъ бы отравить покой его души,
Похитить счастье поцѣлуя,—
Нѣтъ, пусть соперникъ мой блаженствуетъ въ тиши;
Изъ-за тебя его щажу я!

Съ тѣхъ поръ, какъ я навѣкъ утратилъ образъ твой,
Во мнѣ нѣтъ требованій строгихъ,
И то, что я искалъ тогда въ тебѣ одной,
Теперь стремлюсь найти во многихъ.

Прощай же навсегда, обманчивый кумиръ!
Напрасны были бъ сожалѣнья;
Мнѣ пямять о тебѣ не дастъ душевный миръ,
Лишь гордость дастъ покой забвенья!

Вся эта трата чувствъ и лучшихъ юныхъ дней,
Безумныхъ оргій призракъ блѣдный,
Весь этотъ чадъ любви и страхи матерей—
Все, все исчезло бы безслѣдно,

Когда бы только ты, мой другъ, была моей!..
Я бъ не горѣлъ, изнеможенный
Огнемъ мучительныхъ, болѣзненныхъ страстей,
Но цвѣлъ бы, счастьемъ упоенный.

Я нѣкогда плѣненъ былъ сельской тишиной,
Кругомъ природа улыбалась,
И сердце, что жило во мнѣ одной тобой,
Обмана низкаго гнушалось.

Теперь я радостей ищу себѣ иныхъ;
Я избѣгаю размышленья;
Среди развратниковъ и глупыхъ и пустыхъ
Я побѣдить стремлюсь мученья.

Но мысли о тебѣ и здѣсь не заглушить,
Напрасно все мое старанье...
О, и въ моихъ врагахъ я могъ бы пробудить
Къ моей потерѣ состраданье!..

Н. Брянскій.

КОГДА Я КАКЪ ГОРЕЦЪ...

(When I roved a young highlander).

Когда я, какъ горецъ, бродилъ по вершинамъ,
О Морвенъ, топталъ твою снѣжную высь,
И мимо потоки сбѣгали къ долинамъ,
И тучи внизу подо мною неслись,—
Въ душѣ, не отравленной знаньями, смѣлой,
Суровой, какъ горъ мнѣ родные хребты,
Одно только чувство упорно горѣло:
О, милая Мэри, мнѣ помнилась—ты!

Любви въ эти дни я не зналъ и названья...
Ребенка ли сердцу испытывать страсть?
Но снова въ груди моей то же страданье,
И чувствамъ былымъ отдаюсь я во власть!
Любилъ свои хмурыя скалы тогда я,
Къ иной красотѣ не стремились мечты,
Я жилъ, упоенъ, ничего не желая,
Чисты были грезы, и въ нихъ была—ты!

На зарѣ я вставалъ и съ собакой всѣ дни я
Со скалы на скалу между горъ кочевалъ;
Или грудью боролся я съ волнами Дія,
А пастушій рожокъ издалека взывалъ.
Когда жъ я дремалъ за случайнымъ порогомъ,
Твой образъ, о Мэри, слеталъ съ высоты,
И духъ мой въ восторгѣ склонялся предъ Богомъ,
И къ первой молитвѣ влекла меня—ты!

Я покинулъ мой домъ и видѣнье уплыло,
И горы исчезли и юности нѣтъ,
И, въ родѣ послѣдній, я вяну уныло:
Все счастье мнѣ—память промчавшихся лѣтъ!
Пусть роскошнѣе жизнь, но не весело жить мнѣ,
И больше я знаю въ быломъ красоты;
Хоть погибли надежды, но ихъ не забыть мнѣ;
Хоть и холодно сердце, но все же въ немъ—ты!

Увижу ли холмъ я, до тучъ возстающій,
Вспоминаю—Кольбинъ, великана межъ горъ,
Увижу ли взоръ я лазурный, зовущій,
Вспоминаю, о Мэри, твой благостный взоръ!
Мнѣ встрѣтятся ль локоны съ яснымъ отливомъ,
Вспоминаю твои неземныя черты:
Золотистыя кудри надъ ликомъ стыдливымъ,
Эти кудри, какими владѣешь лишь—ты!

Быть можетъ, опять дни свиданья настанутъ,
И горы, одѣтыя снѣжнымъ плащемъ,
Все тѣ же, какъ прежде, предъ взорами встанутъ,—
Но встрѣтитъ ли Мэри меня, какъ въ быломъ?
О нѣтъ! Такъ разстанусь я съ Морвеномъ снова!
Прощайте навѣкъ снѣговые хребты!
Я въ долинахъ родныхъ не найду себѣ крова:
Мнѣ родина, Мэри, тамъ только, гдѣ—ты!

Валерій Брюсовъ.

ГЕРЦОГУ ДОРСЕТУ.

(To the duke of Dorset).

Дорсетъ, который въ юности со мною
Всѣ тропки въ рощахъ Иды исходилъ,
Кому, защитникъ, преданный душою
Я больше другомъ, чѣмъ тираномъ былъ,
Хотя обычай грубый въ нашей школѣ
Тебя моей всецѣло ввѣрилъ волѣ,—
Ты, чей удѣлъ черезъ немного лѣтъ—
И даръ богатствъ, и власти пышный цвѣтъ,—
Ты и теперь ужъ именемъ прославленъ:
Немного ниже трона ты поставленъ.
Но это пусть не соблазнитъ тебя
Презрѣть науку иль бѣжать контроля,
Хотя бы воспитатели, любя
Покой и лѣнь, во всемъ тебѣ мирволя,
Боясь обидѣть знатнаго сынка,
Чья власть въ грядущемъ будетъ велика,—
На герцогскія шалости смотрѣли
Сквозь пальцы и бранить тебя не смѣли.

Когда же юныхъ паразитовъ рой,
Которымъ былъ не ты,—кумиръ златой
(И въ юности, на самомъ дней разсвѣтѣ,
Готовы льстить рабы дрянные эти),—
Когда они внушать тебѣ начнутъ,
Что почести однѣ тебя лишь ждутъ,
Что ты къ величью избранъ отъ рожденья,
Что лишь глупцы корпятъ въ тискахъ ученья
Надъ книгами, что благородный духъ
Къ морали общей можетъ быть и глухъ,—
Не вѣрь: они влекутъ на путь позора,
Честь имени ты съ ними сгубишь скоро!
Нѣтъ, обратись къ немногимъ тѣмъ друзьямъ,
Которыхъ въ Идѣ ты узналъ сызмала,
Иль, если даже не найдешь и тамъ
Такихъ, чья смѣлость правду бы сказала
И осудить дурное все дерзала,—

Спроси свое ты сердце: пусть гласитъ
Оно, какъ твой совѣтникъ и свидѣтель;
Оно тебѣ, мой мальчикъ, вѣрный щитъ,
И вѣрю,—въ немъ таится добродѣтель.

Да, за тобою долго я слѣдилъ;
Но рокъ зоветъ: я осужденъ къ уходу...
Въ твоей душѣ я силы находилъ,
Которыя, созрѣвъ, людскому роду
Благословеньемъ были-бъ. Ахъ, я самъ
Дикъ по природѣ, слишкомъ гордъ, упрямъ;
Я безразсудства, точно, сынъ любимый;
Но если такъ во многомъ грѣшенъ я,—
Пусть это все падетъ лишь на меня,
Пусть я одинъ паду, неукротимый;
Но все-жъ цѣнить умѣю я вполнѣ
Тѣ доблести, которыхъ нѣтъ во мнѣ.

Достаточно ль,—межъ прочими сынами
Могущества, на краткій часъ блеснуть,
Какъ метеоръ, украсивъ именами
Страницы пэрства, жизненный свой путь
Отмѣтивъ только спесью передъ нами?
Такому общій жребій рокъ сулитъ;
При жизни знатенъ, а въ гробу забытъ,
Не отличенъ отъ смертнаго простого
Ничѣмъ, какъ только камнемъ гробовымъ
Съ гербомъ полуразрушеннымъ надъ нимъ,
Да свиткомъ геральдическимъ, чье слово
Напыщенно, но пусто. Такъ спитъ лордъ,
Безвѣстенъ, нѣмъ, хоть именемъ онъ гордъ;
Такъ мирно спятъ могилы средь забвенья,
А въ нихъ—тѣла, безумства, прегрѣшенья
Тѣхъ, чей отмѣченъ въ лѣтописяхъ родъ,
Хоть запись ту едва ли кто прочтетъ.

Хотѣлъ бы я, хоть въ будущемъ далекомъ,
Пророческимъ тебя увидѣть окомъ
Межъ мудрецовъ и добрыхъ, въ ихъ средѣ;
Хотѣлъ бы, чтобъ въ успѣхѣ неустанномъ
Талантомъ ты блисталъ, не только саномъ,
И чтобъ ты былъ прославленный вездѣ,
Порокомъ не запятнанъ ни единымъ,
Фортуны не любимцемъ—лучшимъ сыномъ!

Взоръ обрати въ анналы прежнихъ лѣтъ:
Блистателенъ твоихъ тамъ предковъ слѣдъ.
Одинъ, хоть царедворецъ былъ извѣстный,
Жилъ, какъ достойный человѣкъ и честный,
И,—о хвала!—подвинулъ онъ впередъ
Родную драму, твой прославивъ родъ.
Другой умомъ межъ всей былъ славенъ знати,—
И при дворѣ, и въ войскѣ, и въ сенатѣ;
Въ бою отважный, Музъ любимецъ, онъ
Во всѣхъ дѣлахъ былъ блескомъ окруженъ.
Средь мишуры сверкалъ онъ величаво,—
Всѣхъ принцевъ—гордость, всѣхъ поэтовъ—слава.
Такихъ великихъ предковъ ты имѣлъ,
Храни же славу ихъ великихъ дѣлъ,
Старайся унаслѣдовать, по праву,
Не только имя предковъ, но и славу!

Но близокъ часъ; дни краткіе бѣгутъ,
И я покину тѣсный тотъ пріютъ,
Гдѣ радости я видѣлъ и печали;
Мнѣ бой часовъ гласитъ, что надо мнѣ
Покинуть кровъ, гдѣ душу въ тишинѣ
Надежда, миръ и дружба утѣшали;
Надежда пестрой радугой цвѣла,
Минутъ летящихъ крылья золотила;
Душевный миръ тревога не мутила
О дняхъ грядущихъ, полныхъ бѣдъ и зла;
А дружба дѣтства,—о, зачѣмъ такъ кратко
Дано любить, когда такъ любятъ сладко!
Прости, прости!.. Но полно,—силы нѣтъ
Всѣмъ милымъ сценамъ посылать привѣтъ.
Изгнанникъ такъ, отчизну покидая,
Привѣтствуетъ тотъ берегъ, гдѣ онъ росъ,
И землю даль скрываетъ голубая,
И взоръ нѣмой печаленъ, но безъ слезъ.

Прощай, Дорсетъ. Не жду участья къ горю
Въ душѣ, столь юной, какъ твоя,—о, нѣтъ!
Въ тебѣ ужъ завтра, чуть лишь встрѣтишь зорю,
Моей сотрется памяти весь слѣдъ.
Быть можетъ, мы въ грядущемъ, въ полной мѣрѣ
Созрѣвъ, съ тобой въ одной сойдемся сферѣ;
Въ сенатѣ, въ преньяхъ, наряду съ тобой
Подамъ и я, быть можетъ, голосъ свой,
И мы сидѣть съ тобою будемъ рядомъ,
Встрѣчаясь лишь холоднымъ, чуждымъ взглядомъ;
И буду я тебѣ ни врагъ, ни другъ,
Твоихъ не зная радостей и мукъ;
Не предаюсь я радостной надеждѣ
Съ тобою вспомнить все, что было прежде;
Не буду снова близокъ я съ тобой
И лишь въ толпѣ услышу голосъ твой;
Но, если чувствъ своихъ я не умѣю
Иль, можетъ быть, не долженъ утаить,
То,—до конца дай пѣсню мнѣ излить,—
Надѣюсь я, увѣренность лелѣю,
Что ангелъ твой хранитель вознесетъ
Тебя во славѣ, какъ высокъ твой родъ.

Н. Холодковскій.

ГРАФУ КЛЭРУ

(To the earl of Clare).

Tu semper amoris
Sis memor et cari comitis ne abscedat imago.

Valerius Flaccus.

Когда, о другъ моей весны,
Бродили мы, любви полны
Другъ къ другу всей душой,—
Блаженство было намъ дано,
Какое рѣдко суждено
Въ юдоли намъ земной.

И память самая тѣхъ дней
Всѣхъ прочихъ радостей милѣй,
Когда тѣ дни —вдали;
Отрадна даже скорбь по нимъ,
Когда, вздохнувъ, мы говоримъ:
Увы, тѣ дни—прошли!

Ахъ, вспоминать велитъ печаль,
Чего ужъ нѣтъ, чего намъ жаль,
Чего такъ дорогъ слѣдъ...
Кругъ свѣтлый юности свершенъ,
И сѣръ вечерней жизни сонъ,
И не сойтись намъ—нѣтъ!...

Какъ часто общій ключъ даетъ
Для двухъ ручьевъ одинъ исходъ,—
Вотще съединены,
Они, сейчасъ же расходясь,
Журча, бѣгутъ, теряя связь,
Вплоть до морской волны.

Такъ нашей жизни два ручья
Хоть были близки,—ихъ струя,
Раздѣльно все жъ течетъ;
Свѣтла ль, мутна ль, тиха ль, быстра ль,—
Она туда стремится въ даль,
Гдѣ смерть, какъ море, ждетъ.

Желаньемъ каждымъ мы съ тобой
Дѣлились, каждою мечтой,—
Но разошлись пути:
Деревни ты не хочешь знать,
Ты хочешь при дворѣ блистать,
Въ анналахъ модъ цвѣсти;

Я жъ трачу время на любовь,
О ней пою все вновь и вновь,
Разставшися съ умомъ:
По мнѣнью критиковъ, поэтъ,
Когда влюбленъ онъ,—глупъ, и нѣтъ
Ни капли мысли въ немъ.

Бѣдняжка Литтль, любви пѣвецъ,
Изруганъ критикой въ конецъ:
Ему укоровъ тьма!
Любви науку славилъ онъ
И вотъ—кричатъ, что онъ лишенъ
Морали и ума.

И все жъ, хвалитель красоты,
Любимецъ музъ пѣвучій,—ты
Не бойся бѣдъ своихъ!
Повѣрь, стихи твои прочтутъ,
Когда хулители умрутъ
И всѣ забудутъ ихъ.

Но я цѣню судей иныхъ,
Бранящихъ рѣзко скверный стихъ
И всѣхъ плохихъ писакъ;
Хоть, можетъ быть, я первый самъ
Для ихъ сарказмовъ поводъ дамъ,—
Я имъ не смертный врагъ.

Они, быть можетъ, правы въ томъ,
Что обрываютъ лирный громъ
Строптиваго юнца:
Кто вреденъ въ девятнадцать лѣтъ,
Тотъ къ тридцати,—сомнѣнья нѣтъ,—
Напортитъ безъ конца!

Но долженъ я, Клэръ милый мой,
Къ тебѣ вернуться: предъ тобой
Я, право, виноватъ;
Меня фантазіи полетъ
То здѣсь, то тамъ парить влечетъ,—
Я отступленьямъ радъ.

Я для тебя желалъ всегда,
Чтобъ при дворѣ ты былъ—звѣзда,
Любимецъ короля;
И, если благороденъ тронъ,
Тебя всегда оцѣнитъ онъ,
Приблизиться веля.

Но дворъ опасностью богатъ,
Вокругъ соперники кишатъ,—
Святыми будь хранимъ!
Дари любовь и свой союзъ
Лишь тѣмъ, кто стоитъ этихъ узъ,—
Не близкимъ лишь роднымъ.

Ни на моментъ не уклонись
Съ дороги Правды; не стремись
Къ соблазнамъ; чистъ живи;
По розамъ путь свой продолжай,
Изъ слезъ—лишь слезы счастья знай,
Улыбки—лишь любви.

О, если хочешь вѣчно быть
Счастливымъ, вѣчно сохранить
Всѣхъ доблестей черты,—
Будь чистъ во всѣ свои года,
Какимъ тебя я зналъ всегда,
Каковъ и нынѣ ты!

И, хоть на склонѣ дней моихъ
Себѣ хвалы за звучный стихъ
Я пожелать бы могъ,—
Но ближе мнѣ судьба твоя:
Поэта славу бъ отдалъ я,
Чтобъ былъ я здѣсь—пророкъ!

Н. Холодковскій.

ХОЧУ Я БЫТЬ РЕБЕНКОМЪ ВОЛЬНЫМЪ.

(I would I were a careless child).

Хочу я быть ребенкомъ вольнымъ
И снова жить въ родныхъ горахъ,
Скитаться по лѣсамъ раздольнымъ,
Качаться на морскихъ волнахъ.
Не сжиться мнѣ душой свободной
Съ саксонской пышной суетой!
Милѣе мнѣ—надъ зыбью водной
Утесъ, въ который бьетъ прибой!

Судьба! возьми назадъ щедроты
И титулъ, что въ вѣкахъ звучитъ!
Жить межъ рабовъ—мнѣ нѣтъ охоты,
Ихъ руки пожимать мнѣ стыдъ!
Верни мнѣ край мой одичалый,
Гдѣ зналъ я грезы раннихъ лѣтъ,
Гдѣ реву Океана—скалы
Шлютъ свой безтрепетный отвѣтъ!

О! я не старъ! Но міръ, безспорно,
Былъ сотворенъ не для меня!
Зачѣмъ же скрыты тѣнью черной
Примѣты рокового дня?
Мнѣ прежде снился сонъ прекрасный,
Видѣнье дивной красоты...
Дѣйствительность! ты рѣчью властной
Разогнала мои мечты.

Кто былъ мнѣ другъ—въ краю далекомъ,
Кого любилъ—тѣхъ нѣтъ со мной.
Уныло въ сердцѣ одинокомъ,
Когда надеждъ исчезнетъ рой!
Порой надъ чашами веселья
Забудусь я на краткій срокъ...
Но что мгновенный бредъ похмелья!
Я сердцемъ, сердцемъ—одинокъ!

Какъ глупо слушать разсужденья,
О, не друзей и не враговъ!
Тѣхъ, кто по прихоти рожденья
Сталъ сотоварищемъ пировъ.
Верните мнѣ друзей завѣтныхъ,
Дѣлившихъ трепетъ юныхъ думъ,
И брошу оргій доразсвѣтныхъ
Я блескъ пустой и праздный шумъ.

А женщина!—Тебя считалъ я
Надеждой! утѣшеньемъ! всѣмъ!
Какимъ же мертвымъ камнемъ сталъ я,
Когда твой ликъ для сердца нѣмъ!
Дары судьбы, ея пристрастья,
Весь этотъ праздникъ безъ конца
Я отдалъ бы за каплю счастья,
Что знаютъ чистыя сердца!

Я изнемогъ отъ мукъ веселья,
Мнѣ ненавистенъ родъ людской,
И жаждетъ грудь моя ущелья,
Гдѣ мгла нависнетъ надъ душой!
Когда бъ я могъ, расправивъ крылья,
Какъ голубь къ радостямъ гнѣзда,
Умчаться въ небо безъ усилья,
Прочь, прочь отъ жизни—навсегда!

Валерій Брюсовъ.

Строки, написанныя подъ вязомъ на кладбищѣ въ Гарроу.

(Lines written beneath an elm in the churchyard of Harrow).

Мѣста родимыя! Здѣсь вѣтви вздоховъ полны,
Съ безоблачныхъ небесъ струятся вѣтра волны:
Я мыслю, одинокъ, о томъ, какъ здѣсь бродилъ
По дерну свѣжему я съ тѣмъ, кого любилъ,
И съ тѣми, кто сейчасъ, какъ я,—за синей далью—
Быть можетъ, вспоминалъ прошедшее съ печалью:
О, только бъ видѣть васъ, извилины холмовъ!
Любить безмѣрно васъ я все еще готовъ;
Плакучій вязъ! Ложась подъ твой шатеръ укромный,
Я часто размышлялъ въ часъ сумеречно-скромный;

По старой памяти, склоняюсь подъ тобой,
Но, ахъ! уже мечты бывалой нѣтъ со мной:
И вѣтви, простонавъ подъ вѣтромъ — предъ ненастьемъ—
Зовутъ меня вздохнуть надъ отсіявшимъ счастьемъ,
И шепчутъ, мнится мнѣ, дрожащіе листы:
„Помедли, отдохни, прости, мой другъ, и ты!"
Но охладитъ судьба души моей волненье,
Заботамъ и страстямъ пошлетъ успокоенье,
Такъ часто думалъ я,—пусть близкій смертный часъ
Судьба мнѣ усладитъ, когда огонь погасъ;
И въ келью тѣсную, иль въ узкую могилу—
Хочу я сердце скрыть, что медлить здѣсь любило;
Съ мечтою страстной мнѣ отрадно умирать,
Въ излюбленныхъ мѣстахъ мнѣ сладко почивать;
Уснуть навѣки тамъ, гдѣ всѣ мечты кипѣли,
На вѣчный отдыхъ лечь у дѣтской колыбели;
Навѣки отдохнуть подъ пологомъ вѣтвей,
Подъ дерномъ, гдѣ, рѣзвясь, вставало утро дней;
Окутаться землей на родинѣ мнѣ милой,
Смѣшаться съ нею тамъ, гдѣ грусть моя бродила;
И пусть благословятъ—знакомые листы,
Пусть плачутъ надо мной—друзья моей мечты;
О, только тѣ, кто былъ мнѣ дорогъ въ дни былые,—
И пусть меня во вѣкъ не вспомнятъ остальные.

Александръ Блокъ.

ОТРЫВОКЪ.

(Fragment).

(Написанъ вскорѣ послѣ замужества миссъ Чаворть).

Безплодныя мѣста, гдѣ былъ я сердцемъ молодъ,
Аннслейскіе холмы!
Бушуя, васъ одѣлъ косматой тѣнью холодъ
Бунтующей зимы!

Нѣтъ прежнихъ свѣтлыхъ мѣстъ, гдѣ сердце такъ любило
Часами отдыхать
Вамъ небомъ для меня въ улыбкѣ Мэри милой
Уже не заблистать.

Александръ Блокъ.

ВОСПОМИНАНІЕ.

(Remembrance).

Конецъ! Все это сномъ лишь было,
Луча надежды больше нѣтъ...
Жизнь рѣдко счастье мнѣ дарила;
Подъ зимнимъ дуновеньемъ бѣдъ
Померкъ, поблекъ ея разсвѣтъ.
Любовь, веселье, упованье—
Шлю вамъ „прости" всѣмъ вамъ равно!
О, еслибъ было мнѣ дано
Прибавить: и воспоминанье.

Н. Щербина.



ВОСПОМИНАНІЕ (Р[illegible]

[illegible] Carbonnier, [illegible]



ВОСПОМИНАНІЕ (Remembrance).

Рис. Корбо (F. Corbaux), грав. Мотъ (W. H. Mote).

Къ лэди, подарившей автору бархатную ленту, которой были связаны ея косы.

(To a lady, who presented the author with the velvet band which bound her tresses).

Ты съ прядью кудрей золотистыхъ
Мнѣ ленту въ даръ преподнесла,
Чтобъ чувствъ любви благихъ и чистыхъ
Она залогомъ мнѣ была.

О, этой лентой голубою
Съ тобой я связанъ навсегда
И, какъ съ реликвіей святою,
Съ ней не разстанусь никогда.

Не такъ звукъ сладкій поцѣлуя
Мнѣ дорогъ нѣжныхъ устъ твоихъ:
Въ немъ длить блаженство не могу я,
Восторгъ блеснулъ—и вмигъ затихъ...

Но лента—мнѣ воспоминанье
Навѣкъ о счастьи сохранить,
Былыхъ цвѣтовъ благоуханье
Мнѣ съ нею память воскресить.

Н. Брянскій.

КУЧКѢ НЕВЕЛИКОДУШНЫХЪ КРИТИКОВЪ.

(To a knot of ungenerous critics).

Бранись, бранись, ватага злая!
Для васъ не пѣлъ вѣдь никогда я.
Раскрылась Злость: давай бранить
Стихи, которыхъ оцѣнить
Она не можетъ! Ей сродни вы,—
Зовите жъ злобные мотивы
На помощь жалу, что насквозь
Съ душою вашею срослось!
Надежды юности давите,
Насколько вашихъ хватитъ силъ;
Душою лживою кривите,
Но Правды голосъ не зовите:
Кто ей пѣвцомъ природнымъ былъ,
Того казнить она не будетъ,
Жреца поддержитъ своего
Хоть за намѣренья его,
А васъ отвергнетъ и осудитъ!
Ко Лжи ступайте: польщена,
На пестрый свой алтарь моленье
Принявъ, какъ жрицамъ, вамъ она
Пошлетъ свое благословенье.
Смотрите: вотъ она стоитъ
Съ волшебнымъ зеркаломъ, въ которомъ
Рядъ образовъ, мѣняя видъ,
Проходитъ передъ нашимъ взоромъ;
Склонясь, примите талисманъ:
Онъ вамъ поможетъ плесть обманъ;
Блестящій даръ, онъ вамъ умѣстенъ:
Пусть будетъ публикѣ извѣстенъ!
Чтобъ не случилася бѣда,
У всѣхъ злой ликъ прикрытъ личиной
(А Правда, мой оплотъ единый,
Бѣды не труситъ никогда).
„Вотъ имя дѣвы въ искаженьи,
А вотъ—поэта грѣшный пылъ;
Какъ фосфоръ, тлѣетъ онъ въ томленьи,
Но быстро гаснетъ, хоть грозилъ".
А Правда молвитъ: „вздоръ, нимало
Не страшно! Пусть кометы видъ
Васъ, дѣвы, праздно не страшитъ;
Вѣдь это—зеркало скандала;
Блестящій этотъ метеоръ
Обманомъ лишь пугаетъ взоръ;
Приблизьтесь, троньте,—остается
Холоднымъ онъ; блеститъ, не жжется".
И мигомъ зеркала ужъ нѣтъ;
Поблекъ обмана блескъ и цвѣтъ;
А слуги Лжи предъ Правдой, грозно
Возставшею, бѣгутъ, но поздно:
Итуріилово копье,
Поднявъ, велитъ лицо свое
Врагамъ она открыть, забрало,
Срывая съ нихъ, чтобъ ихъ предать
Позору. Что же намъ предстало?
Пока сбираются бѣжать,—
Всѣ видъ свой приняли природный;
И вотъ, какъ вождь толпы негодной,
Предъ нами женщина одна
Стоитъ, дородна и полна;
Ужасной яростью пылая,
Зоветъ ко мщенію она;
Почтенный возрастъ свой желая
Отъ искушеній уберечь,
Она, приличье забывая,
Ведетъ несдержанную рѣчь.
Какое дѣтище родное
Хранить должна она, какъ мать,
И чью невинность охранять?
Иль горе, можетъ быть, большое
Ей въ томъ, что юноша иной
Утратитъ миръ свой и покой?
Чѣмъ ей любовный стихъ опасенъ?
Ея года прошли: любовь
Ея ужъ не коснется вновь
И страхъ ея совсѣмъ напрасенъ;
Не прилетитъ Амуръ, увы,
Чтобъ виться вкругъ ея главы.
Ея ужъ солнце близъ заката
И меркнетъ, тучами объято;
Стремился съ пѣснею моей
Я къ тѣмъ, кто чувствуетъ,—не къ ней.
Отдѣльный стихъ мой безтолково
Схвативъ, не дочитавъ притомъ,

Она непрошеннымъ судомъ
Сейчасъ казнитъ меня сурово.
Да! За единый стихъ поэтъ
Ужъ осужденъ,—пощады нѣтъ!
Хотя меня она не знаетъ,
Едва увидѣвъ, проклинаетъ.
Безмѣрной гордостью рожденъ,
Подобный судъ—что значитъ онъ?
Умомъ обиженной матронѣ
Судить умѣстно ль въ этомъ тонѣ?
А остальной толпы составъ,
Цензурнымъ ражемъ воспылавъ,
Во всемъ ей вѣренъ и покоренъ,
Правдивъ ли судъ ея иль вздоренъ.
Какъ сталь пера мнѣ отточить,
Чтобъ эту банду проучить,
Что, словъ своихъ сказать не смѣя,
Ей вторитъ, правды не жалѣя?
Бранись, бранись, бездушный сбродъ,
Ея внушеньямъ поддаваясь
И за щитомъ ея скрываясь:
Кто что посѣялъ, то пожнетъ!
Напрасно терній на дорогу
Вы мнѣ спѣшите накидать:
Я благодарность вамъ воздать
Обязанъ; вы мнѣ на подмогу
Явились; брань такихъ, какъ вы,
Усилитъ только шумъ молвы;
Заблещетъ ярче солнце славы,
Затмитъ свѣтъ критики лукавый,
Разгонитъ зависти весь мракъ!
Впередъ смѣлѣй,—вашъ каждый шагъ
Полезенъ мнѣ: чѣмъ злоба жарче,
Тѣмъ краски всѣ сіяютъ ярче.
Да! Трудъ напрасенъ вашъ вполнѣ;
Успѣха вамъ онъ не доставитъ.
И только лишь меня прославитъ.
Цензура—вамъ, а слава—мнѣ!

Н. Холодковскій.

МОНОЛОГЪ ПОЭТА ВЪ ДЕРЕВНѢ.

(Soliloquy of a bard in the country).

Ужъ полночь бьетъ; заснуло все кругомъ;
Риѳмачъ лишь бѣдный со своимъ перомъ
Не спитъ; онъ кличетъ Музъ поочередно;
Но Музы, какъ всѣ женщины, порой
Капризны. Вотъ, девятую безплодно
Позвавъ къ себѣ, онъ говоритъ съ тоской:
„Къ чему мой трудъ? Зачѣмъ мнѣ изливаться
То въ эпосѣ, то съ лирой бѣсноваться?
Пусть кое кто похвалитъ мой напѣвъ,—
Но каркнетъ вдругъ цензура старыхъ дѣвъ.
Къ чему болтать, коль слушать васъ не станутъ,
Писать, когда въ забвенье строчки канутъ?
Пусть дѣвушки иль юноши прочтутъ,—
Въ любой деревнѣ критикъ тутъ, какъ тутъ!
Но съ этимъ Муза скромная мирится;
Пусть пэры пишутъ и стишки плетутъ,
Въ помѣщикахъ пусть критика ярится,
Пускай мальчишки о любви поютъ,
Матроны жъ гнѣвный изрекаютъ судъ;
И если бѣдный попикъ въ общемъ хорѣ
Патрону вторитъ, силясь удружить,—
Мирюсь и съ тѣмъ: невелико тутъ горе;
Попамъ, какъ прочимъ людямъ, надо жить.
Пусть онъ бранится: въ немъ гласитъ не злоба
Не добродѣтель,—тощая утроба;
Въ рукахъ патрона хлѣбъ его всегда:
Не подадутъ,—попу совсѣмъ бѣда.
Что жъ до матронъ,—люблю я полъ прекрасный
Настолько, что стерплю и судъ пристрастный;
Пусть льютъ потоки гнѣва своего,
Хотя не знаютъ сердца моего;
Пусть за одинъ нескромный стихъ мнѣ строго

Кричатъ, что Вильмотъ нравственнѣй былъ много.
Въ такой войнѣ ни биться, ни бѣжать
Я не могу, чтобъ дамъ не обижать,
За ними поле битвы: я слабѣю,
На Красоту я рукъ поднять не смѣю!
Но если зоркій лѣкарь мечетъ громъ,
Живя однимъ скандаломъ и враньемъ,
Дневныхъ событій вѣстникъ повсемѣстный,
Искусный враль и выдумщикъ извѣстный,
Кормящійся за ложь съ чужихъ столовъ,—
Когда онъ, этотъ С., моихъ стиховъ
Не прочитавъ, кричитъ, меня ругая,
Съ апломбомъ наглымъ фатовъ-пошляковъ,
Что стихъ хорошъ, но въ немъ мораль плохая,—
Ужель за Правду я не отомщу,
Ужель его съ обѣда отпущу
Безъ наказанья? Это слишкомъ будетъ!
Пускай онъ прежде хоть прочтетъ, чѣмъ судитъ!
Нѣтъ, пощажу: чтобъ такъ я унижалъ
Перо свое? Вѣдь кормъ ему—скандалъ;
За хлѣбъ и платье лжетъ онъ, лицемѣритъ;
Его лѣкарствъ боятся, сплетнямъ—вѣрятъ;
Чѣмъ вреденъ онъ? Пускай бранитъ и лжетъ;
Пусть ѣстъ себѣ, хотя бъ на мой же счетъ.
Союзникъ тѣхъ, кто правды не жалѣетъ
И своего сужденья не имѣетъ,
Отъ нихъ хвалу онъ можетъ получить,
Все можетъ дѣлать,—только не лѣчить.
Хоть онъ костюмъ Галена гордо носитъ,
Но паціентовъ меньше у него,
Чѣмъ лѣтъ ему, иль вовсе никого;
Пусть лучше вовсе практику онъ броситъ,
Успѣховъ онъ не дѣлалъ весь свой вѣкъ,
Какъ медикъ, юнъ, хоть старъ, какъ человѣкъ.
Довольно жъ! Лѣкарь, дамы, попъ—въ союзѣ
По силамъ всѣ моей вредите Музѣ,
Глумясь надъ скромной пѣснею моей,
Надъ юношей: побѣды нѣтъ славнѣй!
Пусть здѣсь и тамъ неопытныя дѣвы
Хвалить готовы струнъ моихъ напѣвы,
Ихъ слушать вновь и вновь; пусть здѣсь и тамъ
Я нравился чувствительнымъ сердцамъ;
Пусть люди вкуса, люди жизни честной
Мой первый опытъ похвалою лестной
Почтили,—вашей санкціи мнѣ нѣтъ,
Протекціи у васъ лишенъ поэтъ!
Чье жъ одобренье славу мнѣ присудитъ?
Чей голосъ мнѣ, увы, закономъ будетъ?
Защиты нѣтъ, и я погибъ вполнѣ:
Несчастной жертвѣ, нѣтъ спасенья мнѣ!
Такъ Керль и Деннисъ Попа погубили,
Такъ Грэй и Мэзонъ жертвой Лойда были,
Такъ отъ руки Мельбурна Драйденъ палъ,
Такъ сгину я, въ сравненьи съ ними малъ;
Такъ Фабій палъ и съ нимъ на полѣ чести
Не мало знатныхъ римлянъ пали вмѣстѣ".

Н. Холодковскій.

L'amitié est l'amour sans ailes.

Къ чему скорбѣть больной душою,
Что молодость ушла?
Еще дни радости со мною;
  Любовь не умерла.
И въ глубинѣ былыхъ скитаній,
Среди святыхъ воспоминаній—
  Восторгъ небесный я вкусилъ;
Несите-жь, вѣтры золотые,
Туда, гдѣ пѣлось мнѣ впервые:
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Въ мимолетящихъ лѣтъ потокѣ
Моимъ былъ каждый мигъ!
Его и въ тучѣ слезъ глубокихъ
  И въ свѣтѣ я постигъ;
И что бъ судьба мнѣ ни судила,—
Душа былое возлюбила,
  И мыслью страстной я судилъ:
О, Дружба! чистая отрада!
Міровъ блаженныхъ мнѣ не надо:
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Гдѣ тисы вѣтви чуть колышатъ,
  Подъ вѣтромъ наклонясь,—
Душа съ могилы чутко слышитъ
  Ея простой разсказъ;
Вокругъ нея рѣзвится младость,
Пока звонокъ, спугнувшій радость,
  Изъ школьныхъ стѣнъ не прозвонилъ;
А я, средь этихъ мѣстъ печальныхъ,
Все узнаю въ слезахъ прощальныхъ:
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Передъ твоими алтарями,
  Любовь, я далъ обѣтъ!
Я твой былъ—сердцемъ и мечтами,—
  Но стертъ ихъ легкій слѣдъ:
Твои, какъ вѣтеръ, быстры крылья,
И я, склонясь надъ дольней пылью,
  Одну лишь ревность уловилъ.
Прочь! Улетай, призракъ влекущій!
Ты посѣтишь мой часъ грядущій,
  Быть можетъ, лишь безъ этихъ крылъ!

О, шпили дальнихъ колоколенъ!
  Какъ сладко васъ встрѣчать!
Здѣсь я пылать, какъ прежде, воленъ,
  Здѣсь я—дитя опять.
Аллея вязовъ, холмъ зеленый;
Иду, восторгомъ упоенный,—
  И вѣнчикъ—каждый цвѣтъ открылъ;
И вновь, какъ встарь, при ясной встрѣчѣ,
Мой милый другъ мнѣ шепчетъ рѣчи:
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Мой Ликусъ! Слезъ не лей напрасныхъ,
  Вѣрна тебѣ любовь;
Она лишь грезитъ въ снахъ прекрасныхъ,
  Она проснется вновь.
Недолго, другъ, намъ быть въ разлукѣ,
Какъ будетъ сладко жать намъ руки!
  Моихъ надеждъ какъ жарокъ пылъ!
Когда сердца такъ страстно юны,—
Одно поютъ разлуки струны:
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Я силѣ горькихъ заблужденій
  Предаться не хотѣлъ.
Нѣтъ,—я далекъ отъ угнетеній
  И жалкаго презрѣлъ.
И тѣмъ, кто въ дѣтствѣ былъ мнѣ вѣренъ,
Какъ братъ, душой нелицемѣренъ,—
  Сердечный жаръ я возвратилъ.
И, если жизнь не прекратится,
Тобой лишь будетъ сердце биться,
  О, Дружба! нашъ союзъ безъ крылъ!

Друзья! душою благородной
  И жизнью—съ вами я!
Мы всѣ—въ одной любви свободной—
  Единая семья!
Пусть королямъ подъ маской лживой,
Въ одеждѣ пестрой и красивой—
  Языкъ медовый Лесть точилъ;
Мы, окруженные врагами,
Друзья, забудемъ ли, что съ нами—
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Пусть барды вымыслы слагаютъ
  Пѣвучей старинѣ;
Меня Любовь и Дружба знаютъ,
  Мнѣ лавры не нужны;
Все, все, чего бѣжала Слава
Стезей волшебной и лукавой,—
  Не мыслью—сердцемъ я открылъ;
И пусть въ душѣ простой и юной
Простую пѣснь рождаютъ струны:
  „Союзъ друзей—Любовь безъ крылъ!"

Александръ Блокъ.

МОЛИТВА ПРИРОДЫ.

(The prayer of Nature).

О Царь небесный! Отче свѣта!
Услышь отчаянный мой зовъ:
Вина—возможна ль безъ отвѣта?
Мольба—спасенье ль отъ грѣховъ?

О Боже свѣта! Непривѣтно,
Темно въ душевной глубинѣ;
Тебѣ и пташки смерть замѣтна:
За грѣхъ не дай же сгинуть мнѣ!

Мнѣ храмъ не нуженъ секты новой,—
Ищу лишь правды! Признаю
Твой всемогущій судъ суровый:
Прости жъ грѣхъ юности, молю!

Ханжи пусть строятъ храмъ огромный,
Пусть суевѣры имъ кадятъ,
Пускай жрецы для власти темной
Обманъ мистическій твердятъ;

Ужель въ готическомъ соборѣ
Творецъ быть можетъ заключенъ?
Твой храмъ—сіянье дня, а море,
Земля и небо—вотъ твой тронъ!

Повинны ль люди адской мести
За то, что ихъ обрядъ—иной?
Ужель за одного—всѣ вмѣстѣ
Погибнутъ въ бурѣ роковой?

Ужели тотъ достоинъ рая,
Кто братьевъ аду осудилъ
За то, что вѣра ихъ—иная,
Что имъ уставъ нестрогій милъ?

Ужель, въ угоду смутнымъ взглядамъ,
Пойдемъ мы къ казни иль къ вѣнцу?
Ужель извѣстно жалкимъ гадамъ
Все, что угодно ихъ Творцу?

Кто для себя лишь жилъ, безпечный,
Въ грѣхи вседневно погруженъ,—
Ужель достоинъ жизни вѣчной
И будетъ вѣрою спасенъ?

Отецъ! Я не ищу пророка,
Законъ въ природѣ вижу я,
Я слабъ и малъ, въ сѣтяхъ порока,
Но я молюсь: услышь меня!

Ты звѣздъ теченьемъ управляешь.
И путь имъ кажешь сквозь эѳиръ;
Стихій боренье ты смиряешь,
Твой перстъ земной нашъ видитъ міръ;

Ты, кто велѣлъ мнѣ жить въ юдоли,
Кто можетъ взять отсель меня,—
Перстомъ своей могучей воли
Руководи меня, храня!

Тебя, Господь, Тебя зову я!
Привольно ль, тяжко ль будетъ мнѣ,
Паду ль, возстану ль я, ликуя,—
Тебѣ ввѣряюсь я вполнѣ!

И если. праху прахъ оставивъ,
Душа на крыльяхъ возлетитъ,—
Какую пѣснь, тебя прославивъ,
Мой слабый голосъ возгласитъ!

Но еслибъ смерть душѣ велѣла
Совмѣстно съ плотью жизнь отдать
Молюсь, пока трепещетъ тѣло,
Хотя бъ изъ мертвыхъ мнѣ не встать.

О Боже! пѣснію смиренной
Тебя за милость славлю я
И вѣрю, что изъ жизни тлѣнной
Къ тебѣ придетъ душа моя!

Н. Холодковскій.

PIGNUS AMORIS.

(Залогъ любви).

Не можетъ счастье длиться вѣчно,—
Таковъ небесъ законъ святой;
Но мнѣ всего милѣй сердечно
Картины радости былой.

Лишь ради нихъ, лелѣя свято,
Храню вещицу эту я,
Какъ память друга, что когда то
Любилъ меня—лишь для меня.

Въ ней есть, что рѣдко видѣть можно,
Что бъ ни твердили всѣ вокругъ:
Залогъ, гласящій мнѣ неложно,
Что у меня былъ вѣрный другъ.

Пусть много лѣтъ ушло,—мнѣ станетъ
Любимый даръ еще милѣй;
И вотъ слеза мой взоръ туманитъ,
Какъ очи памяти моей.

Смѣясь, сухая Старость спроситъ,
Откуда чувствъ такой приливъ,—
Но камень въ насъ напрасно броситъ:
Союзъ нашъ юнъ былъ и правдивъ.

Одно есть время въ жизни—младость,
Когда услада есть безъ зла,
Когда невинна наша радость
И жизнь безгрѣшно весела.

Пусть тѣмъ, въ комъ нѣтъ любви сердечной,
Смѣшна чувствительность моя;
За то пойметъ меня, конечно,
Кто такъ же чувствовалъ, какъ я.

Итакъ, носить, лелѣя свято,
Я буду милый талисманъ,
И та любовь пусть будетъ плата
За то, что онъ съ любовью данъ.

Н. Холодковскій.

О, ЭТОТЪ ЛОКОНЪ ЗОЛОТИСТЫЙ.

(A woman's hair).

О, этотъ локонъ золотистый,
Что дорогъ такъ моимъ мечтамъ,
Клянусь косой твоей волнистой,
За цѣлый міръ я не отдамъ!..

Нѣтъ, нѣтъ! хоть локоны другіе
Твоихъ волосъ еще милѣй
Блистаютъ, ярко золотые
Какъ снопъ полуденныхъ лучей.

Н. Брянскій.

СТАНСЫ КЪ ДЖЕССИ.

(Stanzas to Jessy).

Есть жизни нить, съ моей глубоко
Соединенная навѣкъ,—
И даже ножъ Судьбы жестокой
Ихъ только вмѣстѣ бы разсѣкъ.

Есть образъ, чьей красѣ дивиться
Очамъ такъ любо день денской,
Что послѣ онъ всю ночь имъ снится,
Во снѣ возсозданный душой.

Есть голосъ, нѣжный и любимый,
Который такъ меня плѣнилъ,
Что, если бъ пѣли серафимы,
Ихъ хоръ его бъ не замѣнилъ.

Есть щечки, чей румянецъ страстно
Любовной нѣгою горитъ,
Чья блѣдность громко, хоть безгласно,
О ней въ разлукѣ говоритъ.

Есть губки, чьимъ лобзаньемъ рьянымъ
Я осчастливленъ первый былъ,
Которымъ, пламенно румянымъ,
Вдвойнѣ лобзаньями платилъ.

Есть грудь, на чьей подушкѣ зыбкой
Дремалъ я, голову склоня;
Есть ротикъ—для меня съ улыбкой,
Глаза съ слезой—лишь для меня.

Два сердца есть, что бьются ладно
Всегда другъ другу въ унисонъ,
И вторитъ пульсу пульсъ отрадно
И вмѣстѣ встрѣтятъ вѣчный сонъ.

Есть двѣ души, чьи два теченья
Слились; спокойна ихъ волна,
И, разлучась,—нѣтъ, разлученья
Имъ нѣтъ: тѣ двѣ души—одна!

Н. Холодковскій.

ПРОЩАНЬЕ.

(The Adieu).

(Написано подъ впечатлѣніемъ, что автору предстоитъ скоро умереть).

Прости, мой холмъ, гдѣ цвѣлъ въ игрѣ
Румянецъ дѣтскихъ щекъ,
Гдѣ школа рѣзвой дѣтворѣ
Внушаетъ свой урокъ!
Вы, каждый другъ иль врагъ тѣхъ лѣтъ
Участникъ радостей иль бѣдъ,—
Проститесь всѣ со мной!
Ужъ мнѣ не бѣгать по лѣсамъ,—
Уйду я въ келью, чьимъ жильцамъ
Не виденъ свѣтъ дневной.

Прощай и ты, сѣдой чертогъ,
Чьи башни высоки,
Гдѣ черенъ цвѣтъ ученыхъ тогъ
И блѣденъ ликъ тоски;
И вы, товарищи въ пирахъ,
Кто жилъ въ классическихъ стѣнахъ,
Гдѣ зеленъ Кэма брегъ,—
Пока я въ памяти у васъ,
Простите. Знаю, близокъ часъ:
Забудете на вѣкъ!..

Простите, горы милыхъ странъ,
Отрада юныхъ лѣтъ,
Гдѣ Лохнагаръ, какъ великанъ,
Стоитъ, въ снѣга одѣтъ!
Ахъ, для чего такъ рано я
Покинулъ милые края,
Чтобъ жить межъ гордецовъ,—
Покинулъ горы, брегъ и долъ,
И милый сѣверъ, и ушелъ
На югъ, подъ чуждый кровъ?

Ты, замокъ предковъ! Нѣтъ, лишенъ
Тебя не буду я!
Здѣсь прозвучитъ прощальный звонъ,
Могила здѣсь моя!
Здѣсь пѣлъ несмѣлый мой языкъ,
Какъ ты былъ славенъ и великъ,—
Та пѣснь со мной уснетъ;
Но лира струны сохранитъ
И тихимъ стономъ зазвенитъ,
Когда Эолъ дохнетъ.

Поля, лежащія окрестъ!
Примите отъ меня
Привѣтъ прощальный! Милыхъ мѣстъ
Забыть не въ силахъ я.
Ручья прозрачнаго потокъ,
Когда я въ бѣгѣ рѣзвыхъ ногъ
Въ полдневный зной спѣшилъ
И прыгалъ въ волны съ высоты,—
Меня ужъ не омоешь ты,—
И нѣтъ тѣхъ юныхъ силъ!

Забыть могу ли образъ тотъ,
Любимый всей душой?
Пусть цѣпи горъ, пусть бездны водъ
Межъ родиной и мной,—
Твоя, о Мэри, красота
Мнѣ вѣчно свѣтитъ, какъ мечта
Чарующей любви!
Пока есть жизнь въ моихъ устахъ,
Пока не сталъ я тлѣнъ и прахъ,—
Въ груди моей живи!

И ты, мой другъ, чью нѣжность я
Всѣмъ сердцемъ оцѣнилъ!
Какъ дорога любовь твоя,—
Сказать—нѣтъ словъ, нѣтъ силъ.
На сердцѣ даръ ношу я твой,
Ты окропилъ его слезой,—
Изъ перловъ перлъ она!
Не знатенъ ты, но мнѣ, клянусь,
Душою равенъ: нашъ союзъ
Осудитъ Спесь одна.

Увы, все грустно, все темно!
И призракамъ любви
Вновь оживить не суждено
Восторгъ и пылъ въ крови.
И даже грезъ о славѣ нѣтъ,
Не буду ими я согрѣтъ,
Вѣнца не жду себѣ;
Безславенъ краткій вѣкъ мой былъ,
Во прахъ склонюсь я, слабъ и хилъ,
Покорствуя судьбѣ.

О Слава, божество мое!
Кто вознесенъ тобой,
Тому и Смерти злой копье
Притупитъ пламень твой!
Меня-жъ къ себѣ зоветъ она,
А я безвѣстенъ, жизнь темна,—
Пустой и краткій сонъ;
Въ толпѣ, въ ничтожествѣ я жилъ,
Надежды въ саванъ схоронилъ
И Летѣ обреченъ.

Когда въ землѣ сокроюсь я
И ляжетъ надо мной
Тотъ дернъ, который я, дитя,
Рѣзвясь, топталъ ногой,—
Лишь тучи ночи, дождь и градъ
Слезами жалости почтятъ
Печальный мой пріютъ;
Никто изъ смертныхъ не придетъ,
Слезъ о безвѣстномъ не прольетъ,
Чей гробъ зароютъ тутъ.

Забудь сей міръ, духъ бурный мой,
И къ Небу устремись!
То путь единый и прямой,
Чтобъ отъ грѣховъ спастись.
Чуждаясь сектъ и ханжества,
Склонись къ престолу Божества,
Отъ сердца полноты!
Всесильный благъ и справедливъ;
Молись: Онъ слышитъ твой призывъ,
Какъ ни ничтоженъ ты.

Отецъ, намъ давшій Свѣтъ! Изъ тьмы
Мольбу къ Тебѣ я шлю!
Передъ Тобой—какъ пташки мы;
Спаси меня, молю!
Ты водишь звѣздъ великій хоръ,
Стихій смиряешь грозный споръ,
Твоя одежда—тверды!
Словамъ мольбы моей внемли,
Прости грѣхи мнѣ и пошли
Спокойную мнѣ смерть.

Н. Холодковскій.

КЪ ....

(То—).

О, я васъ знаю, хитрый родъ
Лукавыхъ дочекъ рѣзвой Евы!
Пусть ревность мучитъ насъ, грызетъ,—
Намъ не поможете нигдѣ вы!

Любовь иль жалость вамъ чужда,
Вамъ пламя чувства неизвѣстно;
Одно тщеславье васъ всегда
Влечетъ и водитъ повсемѣстно.

Вы не бездушны, но у васъ
Душа черна; ея забота—

Устроитъ хитростей запасъ,
Чтобъ простаковъ увлечь въ тенета.

Но вамъ не ввѣрюсь я душой:
Игрушка сердца не привяжетъ;
Я отъ одной пойду къ другой,
Мѣняя васъ, какъ прихоть скажетъ.

Я бъ былъ дитя, когда бъ вздыхалъ,
Что женскій умъ меня дурачитъ.
Но если Богъ вамъ душу далъ,—
Гдѣ-жъ ваше сердце дьяволъ прячетъ?

Н. Холодковскій.

ГЛАЗА МИССЪ А. Г.

(On the eyes of Miss A. — H.).

Прелестный взоръ ея очей
Какъ въ небѣ солнышко сіяетъ
И щедрый свѣтъ своихъ лучей
Равно повсюду разливаетъ.

Пусть всѣ сомнѣнья замолчатъ
Предъ тихой радостью привѣта.
Всегда намъ этотъ ясный взглядъ
Несетъ чарующее лѣто.

С. Ильинъ.

КЪ ТЩЕСЛАВНОЙ ЛЭДИ.

(To a vain lady).

Другимъ охотно ты всегда
Смыслъ рѣчи тайной повѣряешь.
Зачѣмъ? Смотри, придетъ бѣда,
Ты слезы горькія узнаешь.
Когда-жъ гроза надъ головой
Вдругъ грянетъ—будутъ за глазами
Враги смѣяться надъ тобой
И надъ тщеславными рѣчами.
Грозитъ тебѣ печаль и срамъ.
Ты такъ легко не довѣряйся
Своихъ поклонниковъ словамъ
И яда лести опасайся.
Ты всѣмъ готова повторять
Весь вздоръ, что шепчутъ лицемѣры.
Чтобъ миръ души не потерять,
Не придавай рѣчамъ ихъ вѣры.
Когда ты средь подругъ своихъ
Передаешь слова влюбленныхъ,
Не видишь развѣ ты у нихъ
Въ глазахъ улыбокъ затаенныхъ?
Не повторяй ихъ никогда,
Себя посмѣшищемъ не дѣлай;
Кто-жъ можетъ вспомнить безъ стыда
О фразахъ лести неумѣлой!
Всѣ будутъ вправѣ презирать
Тщеславье дѣвы легковѣрной,
Что помѣшало ей понять
Прозрачность шутки лицемѣрной.
Рѣчей фальшивыхъ звонъ пустой
Передаешь ты въ восхищеньи...
Ужель болтливости мужской
Ты придаешь всегда значенье?
Такъ образумься хоть теперь.
Не ревность мною руководитъ:
Гдѣ есть тщеславье, тамъ, повѣрь,
Любовь пріюта не находитъ.

С. Ильинъ.

КЪ АННѢ.

(To Anne).

Я такъ жестоко былъ обиженъ вами.
Казалось, гнѣвъ мой уничтожитъ васъ,—
Но при свиданьи весь мой пылъ погасъ.
Власть женщины смѣется надъ сердцами.
Я презирать хотѣлъ васъ всей душой,
Но пережить не могъ и дня разлуки;
Увидѣлъ васъ—и всѣ сомнѣнья муки
Прогнали вы улыбкою одной.
Я клятву далъ, въ пылу негодованья,
Ужъ никогда вамъ впредь не довѣрять.
Увидѣлъ васъ—и вновь готовъ рыдать,
Къ вамъ вновь летятъ мои мечты, желанья.
Моя душа борьбой истомлена;
Я становлюсь смиренно на колѣни
И лишь молю не думать объ измѣнѣ,
Пока моя любовь къ вамъ такъ нѣжна.

С. Ильинъ.

ВСЕ О СЕБѢ

(Письмо Дж. Т. Бичеру).

(Egotism. A letter to J. T. Becher).

Ἑαυτὸν Βύρων ἀείδει.

Назначь мнѣ завтра рокъ кончину
(Авось длиннѣй срокъ дней моихъ),—
Скажу, что радость и кручину
Я видѣлъ за десятерыхъ.

Я жилъ, какъ всѣ живутъ обычно,
Пожалуй, даже веселѣй;
И, доведись мнѣ жить вторично,—
Я то же дѣлалъ бы, ей-ей.

А, впрочемъ, есть и исключенья:
Хоть больно въ томъ сознаться мнѣ,—
Я, несмотря на увѣренья,
Не разъ обманутъ былъ вполнѣ.



МОРА (Оскаръ и Альва).
Рис. Корбо (E. Corbaux), грав. Джибсъ (M. Gibbs).

На судъ мамашъ высокомѣрный
Попавъ, я посланъ прямо въ адъ;
По мнѣнью жъ дочекъ,—„онъ хоть скверный,
Но—дебютанта не бранятъ".

Любилъ я многихъ: это знаютъ
Не мало дамъ, да и стихи
Мои о томъ напоминаютъ
(Иные видятъ въ нихъ грѣхи).

Толпой старухъ (морали славной,
Коль вѣрить слухамъ, трибуналъ)
Я взятъ подъ слѣдствіе недавно;
Какъ жаль, что я ихъ не призналъ!

Голубоглазыхъ двухъ лишь ласки
Я зналъ (вѣдь въ этомъ нѣтъ вины);
У прочихъ кари были глазки;
Всѣ были, впрочемъ, недурны.

Но здѣсь всѣмъ скромнымъ описаньямъ
Конецъ; о злобѣ жъ умолчу:
Всего надежнѣй, вѣдь, молчаньемъ
Я любопытство излѣчу.

Друзей я съ сотню зналъ; охотно
Любой знакомый лѣзъ въ друзья;
Тотъ лгалъ, тотъ грабилъ безотчетно:
Какъ другъ, имъ выгоденъ былъ я.

Я въ школѣ, какъ другія дѣти,
Свой умъ не слишкомъ просвѣтилъ:
Романъ увлекъ ребенка въ сѣти
И здравый смыслъ во мнѣ смутилъ.

Въ сѣтяхъ искусныхъ ухищренья,
Почти изъ страсти къ нимъ, я росъ;
И все жъ остатокъ размышленья
Мальчишку вылѣчилъ отъ грезъ.

Клянусь, скорѣй я, устрашенный,
Лишусь всей радости земной,
Чѣмъ вновь пойду въ ту сѣть, спасенный
Оттуда небомъ и судьбой.

Друзей почтенныхъ и надежныхъ
Я все жъ имѣю и цѣню,
И ради всѣхъ богатствъ возможныхъ
Я дружбѣ ихъ не измѣню.

Какъ пастырь, Бичеръ, ты сомнѣнья
Мои, подумавъ, разрѣши:
Поститься ль мнѣ за прегрѣшенья,
Молиться ль, просто, для души?

Конечно, грѣшникъ я мятежный,
Хоть и не столь большой руки;
Но все жъ безъ женской ласки нѣжной
Я скоро умеръ бы съ тоски.

Что губки дамъ—для поцѣлуя,—
Философъ можетъ подтвердить;
Клянусь любовью, не могу я
Безъ нихъ въ странѣ проклятой жить!

Скажи, другъ Бичеръ, что прощенью
Я подлежу.—иль пропадать
Придется мнѣ: вѣдь искушенью
Не въ силахъ я противостать!

Н. Холодковскій.

КЪ АННѢ.

(To Anne).

Не говорите, что жестокій рокъ
Предназначаетъ мнѣ разлуку съ вами:
На муки-бъ онъ всю жизнь мою обрекъ,
Всегда-бъ лишь къ вамъ стремился я мечтами.

Одной лишь вамъ дана на свѣтѣ власть
Суровостью убить восторгъ мой чистый,
Разбить мечты, разсѣять въ сердцѣ страсть
И вызвать вновь одной улыбкой быстрой.

Какъ дубъ съ плющемъ природой сплетены,
Чтобъ дружно встрѣтить бури грозной силу,
Любовь и жизнь во мнѣ обречены,
Чтобъ встрѣтить вмѣстѣ радость и могилу.

Такъ не пугайте-же, что рокъ слѣпой
Въ тиши готовитъ мнѣ разлуку съ вами.
Пока горитъ въ груди огонь живой,
Лишь къ вамъ стремлюсь я легкими мечтами.

С. Ильинъ.

АВТОРУ СОНЕТА, НАЧИНАЮЩАГОСЯ СЛОВАМИ: „МОЙ СТИХЪ ПЕЧАЛЕНЪ".

(To the author of a sonnet, beginning „Sad is my verse, you say, and yet no tear").

Хотя сонетъ твой, безъ сомнѣнья,
Скорѣй печаленъ, чѣмъ уменъ,
Но развѣ слезы сожалѣнья
У насъ способенъ вызвать онъ?
Мое сочувствіе сильнѣе
Къ себѣ другой бѣднякъ влечетъ,
Чья скорбь горитъ еще больнѣе:
Кто на бѣду твой стихъ прочтетъ.
О, этотъ стихъ безъ чаръ едва-ли
Возможно вновь перечитать.
Въ немъ больше смѣха, чѣмъ печали,
Ума-же вовсе не сыскать.
Коль хочешь ты, чтобъ намъ страданье
Заледенило въ жилахъ кровь,
То дай скорѣе обѣщанье
Свои стихи прочесть намъ вновь.

С. Ильинъ.

ПО ПОВОДУ НАХОДКИ ВѢЕРА.

(On finding a fan).

При этомъ встарь въ душѣ моей
Воскресла-бъ снова страсть былая,
А нынѣ—мракъ и холодъ въ ней,
Моя душа теперь иная.
Большое пламя вѣтерокъ
Еще сильнѣе раздуваетъ,
Но чуть замѣтный огонекъ
Его дыханье убиваетъ.
Вотъ такъ и съ пламенемъ любви:
Всѣ знаютъ, кто хоть разъ былъ молодъ,
Какъ безъ надеждъ огонь въ крови
Вдругъ переходитъ въ смерти холодъ.
И если-бы еще могла
Любовь изъ искры возродиться,
То ужъ погасшая зола
Огнемъ былымъ не загорится.

Когда-же снова, какъ и встарь,
Нежданно сердце запылаетъ,
То, помня прежнее, алтарь
Оно иной ужъ выбираетъ.

С. Ильинъ.

ПРОЩАНІЕ СЪ МУЗОЙ.

(Farewell to the muse).

Прости навѣкъ, прекрасная богиня,
Прелестное созданіе мечты!
Лети, мой гимнъ, на крыльяхъ вѣтра нынѣ,
Въ послѣдній разъ меня услышишь ты.
Въ груди моей давно погасла радость,
Всѣ струны тамъ давно ужъ порвались...
Какъ твой полетъ моя любила младость!
Теперь мои надежды унеслись.
И всѣ герои робкихъ пѣснопѣній
Ужъ не вернутся болѣе назадъ;
Ужъ нѣтъ вокругъ меня толпы видѣній,
Во тьмѣ ничьи мнѣ взоры не горятъ.
Коль наслажденья чаша опустѣла,
Что радость жизни можетъ возвратить?
И если въ милой чувство охладѣло,
Что пѣснь любви поможетъ мнѣ продлить?
Она-бъ теперь осталась безъ отвѣта...
Могу ли пѣть о прежней страсти я
И о минувшей радости привѣта,
Коль эта радость больше не моя?
Могу-ль я пѣть о дружбѣ благородной—
Хоть лучшей темы пѣснѣ не найти—
И посвящать друзьямъ свой гимнъ свободный,
Коль ихъ не встрѣчу на пути?
Иль воспѣвать мнѣ грозныя сраженья,
Дѣла отцовъ и славу прежнихъ дней?
Но слабъ мой голосъ, робко вдохновенье,
Здѣсь надо лиру громче и смѣлѣй.
Лети-жъ по вѣтру, говоръ струнъ незвучныхъ,
Замолкни, лиры простодушной гласъ!
Простите ей печаль напѣвовъ скучныхъ:
Она звенитъ теперь въ послѣдній разъ.
Заглохнутъ звуки пѣсни сиротливой;
Огня былого нѣтъ въ моей крови.
Считалъ бы я свою судьбу счастливой,
Когда-бъ послѣднимъ былъ мой первый гимнъ любви.
Прости, о Муза! Хоть не часто лиру
Настраивалъ я слабою рукой,
Но, можетъ быть, отрадно будетъ міру
Въ послѣдній разъ услышать голосъ мой.

С. Ильинъ.

НЬЮСТЭДСКОМУ ДУБУ.

(To an oak at Newstead).

Когда сажалъ тебя я дѣтскою рукою,
Я думалъ, какъ твой стволъ меня переживетъ,
Какъ въ ширь раскинешься ты темною листвою,
Какъ юный плющъ тебя гирляндой обовьетъ.
Такъ отлетѣвшихъ дней младенческія грезы
Лелѣяли твой ростъ въ землѣ моихъ отцовъ.
О, пусть теперь изъ глазъ сильнѣе льются слезы
Надъ гибелью твоей средь зелени луговъ.
Тебя покинулъ я. Тотъ день былъ днемъ несчастья...
Надъ замкомъ съ этихъ поръ чужой пришлецъ царитъ.
Мой возрастъ юнъ. Я не имѣю власти,
Пришельца же рука твой ростъ не укрѣпитъ.
Лишь небольшой уходъ — и сила молодая
Зазеленѣла бы въ твоей вершинѣ вновь,
Всѣ раны на корѣ чудесно заживляя...
Но въ чуждомъ сердцѣ спитъ забота и любовь.
Дубокъ мой дорогой! Не поникай вѣтвями:
Земля небесный кругъ двухъ разъ не совершитъ,
Какъ вновь твой господинъ привычными руками
Увядшую листву и корни освѣжитъ.
Воспрянь, завѣтный дубъ! Надъ сорною травою
Высоко вознесись вершиною своей.

Вѣдь сокъ еще течетъ въ стволѣ живой струею,
Такъ воскреси же вновь красу своихъ вѣтвей.
Столѣтія пускай промчатся надъ тобою,
Пока въ могилѣ прахъ мой будетъ истлѣвать.
Ты твердо устоишь предъ вихремъ и грозою
И будетъ солнца лучъ съ листвой твоей играть.
И здѣсь, гдѣ твой шатеръ раскинулся зеленый,
Пусть кости отдохнутъ уставшія мои.
Ты намъ прохладу дашь своей густой короной,
Коль посидѣть придетъ сюда глава семьи.
Порою онъ придетъ къ тебѣ съ дѣтьми своими
И шопотомъ шаги замедлить имъ велитъ.
Въ ихъ памяти живой мое воскреснетъ имя
И тихая печаль могилу осѣнитъ.
Они промолвятъ: здѣсь, на утрѣ жизни бурной,
Быть можетъ пѣснь слагалъ задумчивый поэтъ.
Пускай онъ мирно спитъ, пока въ дали лазурной
Сверкающаго дня не засіяетъ свѣтъ.

С. Ильинъ.

НА ПОСѢЩЕНІЕ ГАРРО.

(On revisiting Harrow).

Здѣсь надпись встарь плѣняла взоры,
Какъ символъ Дружбы молодой.
Она жестокаго Раздора
Была зачеркнута рукой.
Но уничтожить все до слова
Слѣпая вспышка не могла,
И, разъ вернувшись, Дружба снова
Значенье буквъ разобрала.

Возстановило Сожалѣнье
Черты ихъ вновь своимъ рѣзцомъ,
И тихо нѣжное Прощенье
Поцѣловало ихъ потомъ.
Онѣ зажглись красою новой,
Какъ вдругъ, Надеждѣ вопреки,
Рукою Гордости суровой
Вновь стерты буквы той строки.

С. Ильинъ.

КЪ МОЕМУ СЫНУ.

(To my son).

И ленъ кудрей, и блескъ въ глазахъ,—
Все мать въ тебѣ напоминаетъ;
Улыбка, ямки на щекахъ
Мнѣ счастьемъ душу наполняютъ.
Картины радости былой
Вновь вижу я, малютка мой.
Лепечешь имя ты отца...
Твоимъ не будетъ это имя,
Но искуплю я до конца
Свой грѣхъ заботами своими,
И призракъ дѣвы молодой
Проститъ меня, малютка мой.
Надъ ней давно растетъ трава,
Чужая грудь тебя вскормила
И равнодушная молва
Твое рожденье заклеймила...
Что намъ до нихъ? Всегда съ тобой
Всѣмъ сердцемъ я, малютка мой!

Иль мнѣ бѣжать священныхъ правъ
По волѣ свѣта прихотливой?
Браните-жъ мой порочный нравъ!
Дитя любви моей счастливой,
Залогъ блаженства дорогой,
Люблю тебя, малютка мой.
Потомъ, когда ужъ я пройду
Свой путь земной наполовину,
Въ тебѣ одномъ заразъ найду
Я брата милаго и сына.
Я буду мыслью жить одной,
Чтобъ ты былъ счастливъ, крошка мой!
Хоть молодъ я, но чувства пылъ
Живая юность не остудитъ.
Хотя бъ тебя я не любилъ,
Въ тебѣ жить образъ милый будетъ,
И я не брошу, мальчикъ мой,
Залога страсти молодой.

С. Ильинъ.

ВОПРОСЫ КАЗУИСТАМЪ.

(Queries to Casuists).

„Любовь есть грѣхъ!"—твердитъ намъ
хоръ ханжей,
Изъ вѣка въ вѣкъ твердятъ они про это;
Но вѣдь любовь—источникъ жизни всей:
Скажите, безъ любви что жъ было бъ это?
Доказываютъ съ жаромъ вкривь и вкось,
Хотя легко и опровергнуть это;
Но Гименей съ Венерой землю брось—
Скажите, кто откликнулся бъ на это?

В. С. Лихачовъ.

РОМАНСЪ.

(Song).

Нѣжнѣй струись, дыханье ночи,
Шепчи тихонько надъ водой:
Дремá смежила Фанни очи,
А ей такъ надобенъ покой!
Иль пой Эоломъ, похищая
Напѣвъ у брезжащихъ свѣтилъ, —
Чтобъ онъ, ей чуткій слухъ лаская,
Въ видѣньяхъ душу усыпилъ.
Пусть, вѣтерокъ, твой вздохъ утонетъ
Въ глубокомъ сумракѣ вѣтвей;
Крыло зефира пусть не тронетъ
Ея каштановыхъ кудрей.
Ночного вѣянія стужу
Отъ бѣлоснѣжныхъ вѣждъ умчи:
Лишь утру вызвать дай наружу
Подъ ними скрытые лучи.
Уста и очи, да витаютъ
Надъ вами сонмы свѣтлыхъ грезъ:
Уста пусть вздоховъ не узнаютъ,
Пусть не узнаютъ очи слезъ!

В. С. Лихачовъ.

КЪ ГАРРІЭТЪ.

(To Harriet).

Гарріэтъ! Въ томъ нѣтъ сомнѣнья,—
Каждой дѣвушкѣ при чтеньѣ
Осторожной надо быть.
Съ старыхъ дѣвъ примѣръ брать можно:
Не мѣшаетъ осторожно
Поступать и говорить.

Но скажу, однако, смѣло,
Что могло-бы это дѣло
Много лучше обстоять,
Если-бъ въ поискахъ морали
Дамы дѣвушкамъ внушали
Осторожнѣй и писать.

В. Мазуркевичъ.

БЫЛА ПОРА... ЧТО ГОВОРИТЬ О НЕЙ...

(There was a time, I need not name).

Была пора... Что говорить о ней...
Она не можетъ быть забыта...
Моя душа стремилася къ твоей,
И чувство съ чувствомъ было слито.

Съ минуты той, когда твои уста
Въ отвѣтъ шепнули мнѣ признанье,
Меня томила грустная мечта,
Нераздѣленное страданье.

Съ тѣхъ поръ запала въ сердце мысль о
томъ,
Что поцѣлуй твой лицемѣрилъ,
И что любовь промчалась краткимъ сномъ,
Которому я страстно вѣрилъ.

Но легче все-жъ теперь душѣ моей,
Когда услышалъ отъ тебя я,
Что дорожишь ты счастьемъ прошлыхъ дней,
Воспоминанья сохраняя.

О да, жестокая, но дорогая мнѣ,
Меня ты не полюбишь снова,
Но сладостно сознаніе вдвойнѣ,
Что не забыла ты былого.

Сознаньемъ тѣмъ душа моя горда,
Страданье сердца онѣмѣло...
Не любишь ты... Но все-жъ былъ мигъ,
когда
Моею ты была всецѣло.

В. Мазуркевичъ.

ТАКЪ СЛЕЗЫ ТЫ ПРОЛЬЕШЬ...

(And wilt thon weep when I an low).

Такъ слезы ты прольешь, когда меня не
будетъ?
О, женщина! обѣтъ свой милый повтори!
Но если онъ печаль въ душѣ твоей разбу-
дитъ:
Мнѣ счастье дорого твое—не говори.

Я цѣловалъ, сдержавшій вздохъ невольный
О томъ, что на отца онъ походилъ,
Но у него твой взглядъ—и мнѣ довольно
Ужъ этого, чтобъ я его любилъ.

Прощай! пока ты счастлива, ни слова
Судьбѣ въ укоръ не посылаю я.
Но жить гдѣ ты... Нѣтъ, Мэри, нѣтъ! иль снова
Проснется страсть мятежная моя.

Глупецъ! я думалъ, юныхъ увлеченій
Пылъ истребятъ и гордость и года:
И что жъ: теперь надежды нѣтъ и тѣни—
А сердце такъ-же бьется, какъ тогда.

Мы свидѣлись. Ты знаешь, безъ волненья
Встрѣчать не могъ я взоровъ дорогихъ:
Но въ этотъ мигъ ни слово, ни движенье
Не выдали сокрытыхъ мукъ моихъ.

Ты пристально въ лицо мнѣ посмотрѣла;
Но каменнымъ казалося оно.
Быть можетъ, лишь прочесть ты въ немъ успѣла
Спокойствіе отчаянья одно.

Воспоминанье—прочь! Скорѣй разсѣйся
Рай свѣтлыхъ сновъ, сновъ юности моей!
Гдѣ жъ Лета? пусть они погибнутъ въ ней!
О, сердце, замолчи или разбейся!

А. Плещеевъ.

НАДПИСЬ НА МОГИЛѢ НЬЮФАУНДЛЭНДСКОЙ СОБАКИ.

(Inscription on the monument of a Newfoundland dog).

Когда надменный Крезъ, безславный, но вельможный,
Заснетъ послѣднимъ сномъ подъ мраморной плитой,
Услужливый рѣзецъ кудрявой похвалой
Вѣнчаетъ прахъ его ненужный и ничтожный,
И приглашаетъ всѣхъ роскошный мавзолей
Почтить усопшаго слезою лицемѣрной.
А бѣдный добрый песъ, привѣтливый и вѣрный,
Самоотверженный, нѣжнѣйшій изъ друзей,
Всю жизнь отдавшій намъ—безвѣстнымъ погибаетъ;
Забвенье ждетъ его и здѣсь и въ небесахъ,
Гдѣ жалкій человѣкъ, одушевленный прахъ,
Пріема пышнаго по праву ожидаетъ.
О, человѣкъ! Смѣшной и извращенный родъ,
Раздутый гордостью, объятый ослѣпленьемъ!
Ты—масса, гдѣ одно ничтожество живетъ;
Кто разъ узналъ тебя — бѣжитъ тебя съ презрѣньемъ;
Твои слова—обманъ, твоя улыбка—ядъ,
Фразистая любовь—безстыдство и развратъ.
Природы вѣчной царь, вѣнецъ и перлъ творенья,
Ты, пребывающій въ безумномъ ослѣпленьи,
Ты, гордый разумомъ, — передъ любымъ скотомъ
Краснѣть бы долженъ ты, горя нѣмымъ стыдомъ.
Не преклоняйтесь же съ печалью лицемѣрной
Надъ этой урною; въ ней нѣту никого,
Надъ кѣмъ бы плакать вамъ; лежитъ тутъ другъ мой вѣрный:
Я одного лишь зналъ—здѣсь тлѣетъ прахъ его.

Ф. Червинскій.

СТАНСЫ.

Посвящается лэди, спросившей меня, зачѣмъ я весной покидаю Англію.

(To a lady, on being asked my reason for quitting England in the srping).

Когда окинулъ кущи рая
Прощальнымъ взоромъ человѣкъ,
Картины счастья вспоминая,
Онъ проклялъ свой грядущій вѣкъ.

Потомъ, блуждая въ отдаленьѣ,
Покорно крестъ онъ свой сносилъ;
Порой, скорбя о наслажденьѣ,
Въ трудѣ онъ отдыхъ находилъ.

О, Мэри! Вдаль я убѣгаю
Отъ чаръ всесильной красоты.
Я близъ тебя сильнѣй страдаю,
Лелѣя прежнія мечты.

Я удалюсь, чтобъ искушенье
Меня коснуться не могло:
Эдема чистое видѣнье
Всегда-бъ мечту мою влекло.

С. Ильинъ.



МЭРИ ЧАВОРТЪ.

(Mary Chawort).

Я ц
О том
Но у
Ужъ

Пр
Судьб
Но ж

Прос

Гл
Пылъ
И чт
А се

Мы
Встр
Но в
Не в

Ты
Но н
Быт

Спо

Во
Рай
Гдѣ
О, с

НА.

(Ins

К

Зас

Ус
Въ
И п
По
А

Са
Вс

За
Гд
Пр



НАПОЛНИМЪ ОПЯТЬ НАШИ КУБКИ!..

ПѢСНЯ.

(Fill the goblet again. A song).

Наполнимъ опять наши кубки виномъ,
Восторгъ озаряетъ мнѣ душу огнемъ.
Что-жъ, пьемъ! Кто не пьетъ?.. Жизнь—измѣнчивый кругъ,
Одно лишь вино не обманетъ, какъ другъ.

Я многое пережилъ въ жизни моей,
Я грѣлся въ сіяньѣ сверкавшихъ очей,
Любилъ,—кто не любитъ,—и жгучая власть
Въ груди пробуждала блаженство и страсть.

Въ дни юности въ сердцѣ дышала весна,
Я грезилъ, что дружба мнѣ будетъ вѣрна;
Друзей кто не знаетъ, — ошибся я въ нихъ;
Вино! Ты куда постояннѣе ихъ!

Возлюбленной сердце похитилъ другой,
Измѣнчива дружба, какъ солнце зимой...
Вино, ты старѣешь, — кто-жъ нѣтъ? — но притомъ
Растутъ совершенства въ тебѣ съ каждымъ днемъ.

Когда предъ возлюбленной склонитъ другой
Колѣни, пылаемъ мы ревностью злой.
Но кто не ревнивъ?.. У вина-же, ей-ей,
Чѣмъ больше поклонниковъ, тѣмъ веселѣй.

Пусть юность промчится съ ея суетой,
Въ винѣ подъ конецъ обрѣтемъ мы покой,
Повѣривъ,—не правда-ль,—сѣдой старинѣ,
Что истина скрыта въ бокалѣ на днѣ.

Когда-то былъ ящикъ Пандоры раскрытъ,
Съ тѣхъ поръ надъ землею несчастье царитъ;
Надежда,—не такъ-ли,—намъ въ горѣ дана,
Но нѣтъ намъ нужды въ ней за чашей вина.

Привѣтъ винограду! Пусть лѣто пройдетъ,—
Подъ старость онъ все-же веселье несетъ,—
Умремъ мы,—да кто-жъ не умретъ? — но и тамъ
Пусть въ небѣ льетъ Геба струю твою намъ.

В. Мазуркевичъ.

СТАНСЫ,

написанные при оставленіи Англіи.

(Stanzas to a lady, on leaving England).

Готово! Вѣтерокъ подулъ,
Корабль мой парусъ развернулъ,
Крѣпчая, вѣтеръ мачту гнетъ
И пѣсню громкую поетъ.
Покинуть долженъ я страну,
Гдѣ я любилъ, любилъ *одну*.

Но еслибъ могъ я быть, чѣмъ былъ,
И видѣть то, чѣмъ взоръ мой жилъ,
Прильнуть, припасть къ груди одной,—
То не разстался бъ со страной,
Черезъ морскую глубину
Не поплылъ бы, любя одну.

Давно не видѣлъ я тѣхъ глазъ,
Гдѣ черпалъ радость столько разъ;
Но тщетно ихъ хочу забыть,
О нихъ не думать, разлюбить:
Хоть я изъ Англіи бѣгу,
Но лишь одну любить могу.

Какъ безъ подруги голубокъ,
Я грустнымъ сердцемъ одинокъ;
Вокругъ себя съ тоской гляжу,
Но милыхъ лицъ не нахожу
Въ толпѣ, куда я ни взгляну:
Могу любить я лишь одну.

И поплыву я по волнамъ
Къ чужимъ, далекимъ берегамъ,
И буду плавать безъ конца,
Пока прекраснаго лица
Не позабуду... Мнѣ ль забыть?
Я буду вѣкъ одну любить!

Послѣдній нищій, тамъ иль тутъ,
Находитъ ласковый пріютъ,
Любви иль дружбы теплый свѣтъ;
Но у меня подруги нѣтъ,
Моя любовь пошла ко дну,—
Но все же я люблю одну.

Въ какой бы ни былъ я странѣ,
Никто не станетъ обо мнѣ
Лить слезъ, и не вздохнешь и ты,
Разбившая мои мечты,
О чемъ я горько вспомяну,
Любя тебя, тебя одну.

Воспоминанье горькихъ дней
Сердца̀, что мягче и слабѣй,
Способно горемъ сокрушить;
Мое жъ—ударъ не могъ разбить,
Оно живетъ, какъ въ старину,
И вправду любитъ лишь одну.

ЧАСЫ ДОСОГА.

Никто не знаетъ—кто она,
Мнѣ дорогая, та *одна*;
Что вынесла любовь моя,
То знаешь ты, да знаю я
И чувствую всю глубину
Моей любви, любя одну.

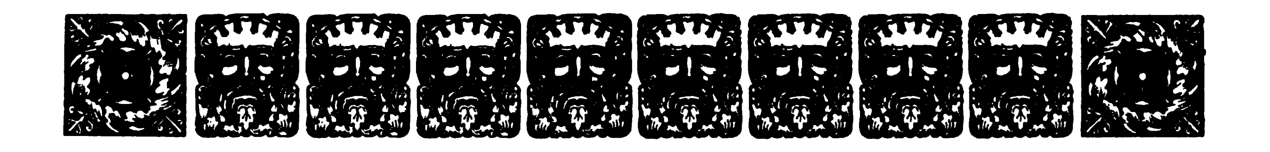
Не разъ другихъ я узъ искалъ,
Другихъ красавицъ я встрѣчалъ,
Пытался столько жъ ихъ любить;
Но чаръ не могъ я побѣдить,
Мѣшавшихъ чувствовать къ другой
Хоть тѣнь того, что къ той одной.

Отрадно бъ для души моей
Въ послѣднiй разъ проститься съ ней;
Но слезы увидать боюсь
Въ ея глазахъ, и я стремлюсь,
Бросая все, чрезъ глубину...
Но все жъ люблю, люблю одну!

Д. Михаловскiй.



Виньетка къ соч. Байрона Мадокса Броуна
(Ford Madox Brown).



Англійскіе Барды и Шотландскіе Обозрѣватели.

Появленіе въ печати перваго сборника стихотвореній Байрона „Часы досуга“ вызвало въ англійскихъ журналахъ болѣе или менѣе обстоятельныя рецензіи, изъ которыхъ однѣ отнеслись къ молодому автору сдержанно или благосклонно, другія враждебно или насмѣшливо. Въ первыхъ къ поэту обращались съ просьбой измѣнить якобы принятое имъ рѣшеніе не писать ничего больше, и выражалось желаніе, чтобы онъ „доставилъ публикѣ удовольствіе какимъ нибудь новымъ сочиненіемъ какъ можно скорѣе“. Въ „Critic Review“ Байрона (по его собственнымъ словамъ) „вознесли до небесъ“ и предсказывали ему блестящую будущность. Въ очень авторитетномъ и распространенномъ журналѣ „Monthly Review“ указывалось на „легкость, силу, энергію, жаръ“ многихъ стихотвореній, въ авторѣ усматривались и умственное могущество и полетъ мыслей, заставляющіе искренне желать, чтобъ онъ былъ разумно направленъ по своему житейскому пути. Въ нѣсколькихъ другихъ журналахъ были помѣщены отзывы въ такомъ же родѣ.

Изъ рецензій враждебныхъ особенно выдались своею рѣзкостью помѣщенная въ „Satiric“, гдѣ, по словамъ Байрона, его „страшно разнесли“, и главнымъ образомъ статья въ „Edinburgh Review“, послужившая, какъ увидимъ ниже, стимуломъ къ его первому сатирическому произведенію. „Стихотворенія этого молодого лорда—писалъ рецензентъ—принадлежатъ къ тому классу произведеній, который совершенно справедливо проклинается людьми и богами. Дѣйствительно, мы не помнимъ, чтобы когда нибудь попадался намъ на глаза сборникъ стиховъ, такъ мало, какъ этотъ, удаляющійся отъ того, что мы называемъ вообще посредственностью. Произведенія эти смертельно плоски, не повышаются и не понижаются и остаются всегда на одномъ уровнѣ, какъ остается на немъ стоячая вода.“. Ѣдко смѣется рецензентъ надъ авторскимъ подчеркиваніемъ своего несовершеннолѣтія и своего аристократическаго происхожденія, и даетъ совѣтъ „совсѣмъ оставить стихотворство и съ большею пользою примѣнять на дѣлѣ свои дарованія,. которыя не малы...“; критикъ не признаетъ въ юномъ авторѣ никакого поэтическаго жара и воображенія, никакой оригинальности и самостоятельности; упрекаетъ въ прямомъ подражаніи Грею, Роджерсу и другимъ поэтамъ... „Но какого бы мнѣнія — иронически заканчивается статья — ни были мы на счетъ стихотвореній этого несовершеннолѣтняго аристократа, надо принять ихъ такими, какія они есть, и довольствоваться ими, ибо это будутъ его *послѣднія* произведенія. Нѣтъ вѣроятности, чтобы онъ—и по своему общественному положенію, и по ожидающимъ его впереди занятіямъ—удостоилъ сдѣлаться писателемъ. Возьмемъ же то, что онъ намъ предлагаетъ, и будемъ благодарны. По какому праву намъ, бѣднякамъ, быть придирчивыми и недовольными? Намъ слѣдуетъ радоваться уже тому, что мы получили столько отъ человѣка такого сана, который не живетъ на чердакѣ (это ссылка на слова Байрона въ предисловіи къ „Часамъ досуга“), а обладаетъ ньюстедскимъ аббатствомъ. Повторяемъ—будемъ благодарны. Какъ честный Санчо, будемъ благословлять Бога за то, что намъ даютъ, и не станемъ смотрѣть въ зубы даровому коню“.

Всякому, знакомому съ сборникомъ сти-

хотвореній, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, кидается въ глаза полная несправедливость отзыва; при появленіи рецензіи, эту несправедливость замѣтили и осудили такіе выдающіеся люди, какъ В. Скоттъ, который намѣревался даже писать юному поэту, чтобы выразить ему свое сочувствіе и утѣшеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ она обличаетъ и явное пристрастіе рецензента, хотя онъ и увѣряетъ, что въ журналѣ дано мѣсто такому подробному разбору только для того, чтобы исполнить упоминаемое авторомъ въ предисловіи къ „Hours of Idleness" мнѣніе Джонсона на счетъ литературныхъ произведеній *аристократовъ*. Но очевидно, что причина тутъ иная. Это—не равнодушно снисходительное отношеніе могущественнаго журнала къ первымъ произведечіямъ даровитаго юноши; тутъ чуть не въ каждой строкѣ слышится сердитое раздраженіе; такъ относятся къ произведеніямъ, которымъ во всякомъ случаѣ придаютъ выдающееся значеніе съ той или другой стороны. Вотъ почему изъ всѣхъ предположеній о томъ, кто былъ авторъ этой статьи—самое вѣроятное, что онъ лицо, прикосновенное къ Кембриджскому университету, и что такимъ образомъ рѣзкій отзывъ—отплата за сатирическое изображеніе этого университета въ „Hours of Idleness".

Уже до появленія рецензіи „Edinburgh Review" и въ ожиданіи ея Байронъ, въ виду авторитетнаго значенія, которымъ пользовался въ англійскомъ обществѣ и литературномъ мірѣ этотъ журналъ, находился въ тревожномъ состояніи. „Я сдѣлался— писалъ онъ Бичеру въ 1808 г.—такимъ важнымъ лицомъ, что противъ меня готовится жестокое нападеніе въ ближайшемъ номерѣ „Edinburgh Review".. Вамъ извѣстно, что система этихъ Эдинбургскихъ господъ состоитъ въ нападеніи на всѣхъ. Они не хвалятъ никого, и ни публика, ни авторъ не могутъ ожидать ихъ похвалъ. Но быть цитированнымъ ими все-таки уже составляетъ нѣчто, ибо они, по ихъ собственнымъ заявленіямъ, разбираютъ только тѣ сочиненія, которыя достойны общаго вниманія".

Напечатанная статья произвела на автора „Hours of Idleness" сильное, потрясающее впечатлѣніе. „Не получили ли вы вызова на дуэль?"—спросилъ его при встрѣчѣ одинъ пріятель немедленно послѣ появленія рецензіи; „и дѣйствительно — говоритъ Т. Муръ — столь подвижное лицо Байрона должно было въ подобномъ кризисѣ выражать ужасающую энергію. Гордости его была нанесена сильная рана, честолюбіе его было унижено,— но это чувство униженія просуществовало всего нѣсколько минутъ. Живая реакція его ума противъ несправедливаго нападенія пробудила въ немъ полное сознаніе своего дарованія и горделивая увѣренность въ успѣхѣ своего мщенія заставила его забыть стыдъ и тяжелое чувство, причиненное оскорбленіемъ".

Это мщеніе—„Англійскіе Барды и Шотландскіе Обозрѣватели"—сатира, появившаяся въ мартѣ 1809 г. безъ имени автора, т. е. черезъ четырнадцать мѣсяцевъ послѣ напечатанія рецензіи, а въ октябрѣ того же года вышедшая вторымъ изданіемъ, и уже не анонимно. Сатира была впрочемъ вызвана не исключительно статьею „Edinburgh Review": началъ Байронъ писать ее уже прежде, а нѣкоторая часть была даже написана въ промежуткѣ между первымъ и вторымъ изданіемъ; и тутъ имъ руководило не личное чувство, а образовавшееся въ немъ и еще не провѣренное солиднымъ критическимъ анализомъ непріязненное отношеніе къ современной поэзіи въ большинствѣ ея представителей. Уже въ 1807 г., слѣдовательно за два года до сочиненія „Англійскихъ Бардовъ", составивъ списокъ прочитанныхъ имъ до того времени книгъ, онъ сдѣлалъ къ нему такое примѣчаніе: „Я избѣгалъ здѣсь упоминанія о нашихъ живыхъ еще поэтахъ; между ними нѣтъ ни одного, который переживетъ свои произведенія. Вкусъ угасаетъ между нами. Еще столѣтіе—и наше могущество, наша литература и наше имя сотрутся съ лица земли и будутъ составлять только незамѣтную точку на страницахъ исторіи человѣчества". Рецензія эдинбургскаго журнала послужила только стимуломъ къ окончанію сатиры и несомнѣнно была причиною ея усиленной и въ большей части совершенно неосновательной рѣзкости. Но дѣйствуя въ этомъ случаѣ подъ впечатлѣніемъ личнаго раздраженія, Байронъ не хотѣлъ, однако, выйти на бой голословно, не имѣя подъ собой фактической почвы, не вооружась, такъ сказать, съ ногъ до головы. Только почву эту выбралъ онъ не совсѣмъ удачно: главнымъ образцомъ для изощренія себя въ сатирическомъ родѣ онъ взялъ любимца своего Попа съ его, правда, остроумной, но вычурной и искусственной „Дунціадой", усердно изучая вмѣстѣ съ тѣмъ и другихъ сатириковъ.

Темой для нападенія на современную поэзію послужили для Байрона, по его словамъ, „дураки". На нихъ учиняетъ онъ свою „травлю", *дичью* въ которой служатъ ему спеціально „писаки". Но Ювеналовская жилка была слишкомъ сильна въ будущемъ авторѣ „Донъ Жуана", чтобы онъ ограничился однимъ литературнымъ міромъ. Попутно клеймитъ его сатира и то, чего литературная, на его взглядъ, испорченность составляла только часть; то, что впослѣдствіи дало такую пищу его „Донъ Жуану" и многимъ другимъ произведеніямъ—испорченность англійскаго общества, „чудовищные пороки" того времени, времени, когда „торжествующій порокъ кичится своимъ могуществомъ, видя преклоненными передъ собою тѣхъ, которые умѣютъ только преклоняться; когда безуміе, часто предшествующее преступленію, украшаетъ свою дурацкую шапку колокольчиками всевозможныхъ цвѣтовъ; когда глупцы и мерзавцы, заключивъ между собою союзъ, становятся во главѣ всего и чинятъ судъ и расправу на золотыхъ вѣсахъ..." Въ современномъ обществѣ нашъ сатирикъ усматриваетъ множество явленій, дающихъ ему обильный матеріалъ, множество „дураковъ, спины которыхъ требуютъ бича",— и затѣмъ вступаетъ въ ту область, которая собственно и составляетъ предметъ его изображенія.

Сперва онъ останавливается на современной критикѣ, конечно, имѣя въ виду главнымъ образомъ рецензію въ „Edinboruh Review", и тутъ, при отношеніи довольно пристрастномъ къ *своимъ* рецензентамъ, дѣлаетъ нѣсколько мѣткихъ и справедливыхъ замѣчаній относительно англійской критики вообще, отлично характеризуя ту критику, которая есть не что иное, какъ пасквиль. Вслѣдъ за этимъ производится генеральный смотръ всѣхъ современныхъ поэтовъ (исключительно стихотворцевъ), и присутствующій на немъ читатель, маломальски знакомый съ исторіею англійской литературы, съ недоумѣніемъ выслушиваетъ сожалѣніе автора о славномъ прошедшемъ этой поэзіи—но прошедшемъ не Шекспировскомъ, не Бернсовскомъ, а Драйдена, Попа, въ сравненіи съ которыми современные автору поэты—„жалкіе барды". „тупоумные конкуренты разныхъ школъ, оспаривающіе другъ у друга пальму первенства". Кто же эти писаки, стихоплеты съ точки зрѣнія молодого, только что вступившаго на литературное поприще Байрона? Вальтеръ Скоттъ, Соути (въ ту пору еще не опозорившій себя доносами на Байрона и „сатанинскую школу"), Вордсвортъ, Кольриджъ, Томасъ Муръ! И ужъ если таково отношеніе сатирика къ писателямъ, игравшимъ въ современной англійской литературѣ первую роль, то понятно, какъ достается отъ него дѣятелямъ второстепеннымъ и третьестепеннымъ! И затѣмъ наносятся удары драматургамъ, на которыхъ, по его убѣжденію, лежитъ вина „позорнаго упадка англійской прославленной сцены" и критикамъ—особенно критикамъ!—между которыми вызываютъ самое сильное озлобленіе автора дѣятели шотландской школы (уже потому, впрочемъ, что она, олицетворившаяся въ „Edinburgh Review", стояла во главѣ англійской критики), эти „сѣверные волки, не перестающіе грабить въ ночной темнотѣ, подлыя твари съ адскимъ инстинктомъ, кидающіяся на все встрѣчное: молодое и старое, живое и мертвое, безпощадныя гарпіи, которыя должны жрать во что бы то ни стало!"

Если въ рецензіи „Edinburgh Review" нельзя не усмотрѣть ничего, кромѣ несправедливости и пристрастія, то никто не станетъ, конечно, оспаривать присутствіе этихъ же недостатковъ и въ сатирѣ Байрона. Объясняемое—если не оправдываемое—личнымъ раздраженіемъ по отношенію къ критикамъ, оно представляется непонятнымъ относительно поэтовъ, несомнѣнно талантливыхъ и занимающихъ въ исторіи литературы почетное мѣсто. Никакого личнаго раздраженія тутъ быть не могло. Причину, слѣдовательно, нужно видѣть или въ слабомъ критическомъ чувствѣ Байрона, или въ несогласіи его міровоззрѣнія съ міровоззрѣніемъ этихъ поэтовъ (на что въ сатирѣ есть указаніе), или, наконецъ, въ свойственной такимъ натурамъ, какъ Байронъ, въ ихъ молодые годы, граничащей съ заносчивостью самонадѣянности, вытекающей, можетъ быть, изъ тайнаго и естественнаго сознанія, что скоро блескъ всѣхъ этихъ именъ потускнѣетъ передъ его именемъ. Какъ бы то ни было, такъ или иначе, но сатира „Англійскіе Барды и Шотландскіе Обозрѣватели", какъ оцѣнка дѣятельности упоминаемыхъ въ ней писателей, не выдерживаетъ критики,—и Байронъ самъ скоро пришелъ къ такому-же заключенію. Сатиру свою онъ напечаталъ передъ первымъ путешествіемъ за границу; въ его отсутствіе она выдержала еще два изданія, а когда онъ вернулся, то неме-

дленно же рѣшился навсегда изъять изъ печати это произведеніе, искренне раскаиваясь въ его сочиненіи. Раскаяніе его было тѣмъ сильнѣе, что нѣкоторые изъ оскорбленныхъ имъ поэтовъ не только простили ему за неслыханную дерзость, но даже, при возвращеніи его изъ-за границы, съ восторгомъ привѣтствовали, какъ геніальнаго творца только что написанныхъ двухъ первыхъ пѣсенъ „Чайльдъ Гарольда". Онъ скупилъ остававшіеся въ продажѣ экземпляры, сжегъ ихъ, и когда девять лѣтъ спустя нашелъ у Меррея единственный уцѣлѣвшій экземпляръ, то написалъ на немъ: „Эта книга—собственность другого, и это единственная причина, мѣшающая мнѣ сжечь этотъ жалкій памятникъ слѣпого гнѣва и несправедливаго озлобленія". Тутъ же на поляхъ противъ разныхъ мѣстъ сдѣлалъ онъ замѣтки въ родѣ „несправедливо", „слишкомъ свирѣпо", „скверно, потому что имѣетъ личный характеръ", и т. п. „Я искренне желалъ бы,—написано имъ въ концѣ этого экземпляра,—чтобы большая часть этой сатиры никогда не была написана—не только вслѣдствіе несправедливостей многихъ отзывовъ и личнаго раздраженія, но и потому, что я не могу одобрить ни тона, ни духа ея". И еще позднѣе, въ разговорѣ съ Медвиномъ, Байронъ заявилъ, что употреблялъ всѣ усилія, чтобы это произведеніе никогда больше не издавалось ни въ Англіи, ни въ Ирландіи.

Но при этихъ, сознаваемыхъ каждымъ свѣдущимъ и безпристрастнымъ читателемъ, равно какъ и самимъ авторомъ, недостаткахъ, сатира Байрона обладаетъ, безспорно, независимо отъ нихъ и громадными достоинствами, обличающими уже теперь будущаго великаго поэта: мѣткостью многихъ характеристикъ, несмотря на преувеличенную рѣзкость, блестящимъ остроуміемъ, порывистой силой негодованія тамъ, гдѣ онъ клеймитъ общественные пороки, благородствомъ тона въ тѣхъ случаяхъ, когда въ немъ говоритъ искреннее и глубокое чувство, гармоническимъ соединеніемъ лирическаго и сатирическаго элементовъ. Наконецъ, немаловажное, думаемъ, значеніе имѣетъ и самостоятельная смѣлость, съ которой 21-лѣтній поэтъ выступилъ противъ давно и прочно установившихся литературныхъ авторитетовъ своего отечества.

Петръ Вейнбергъ.



Англійскіе барды и шотландскіе обозрѣватели.

САТИРА.

«J had rather be a kitten and cry mew!
Than one of these same meter ball d-mongers».—*Shakespeare.*

«Such shameless bards we have, and yet it is true,
There are as mad, abandon'd critics too». *Pope.*

ПРЕДИСЛОВІЕ*).

Всѣ мои друзья, ученые и неученые, убѣждали меня не издавать этой сатиры подъ моимъ именемъ. Если бы меня можно было „отвратить отъ влеченій моей музы язвительными насмѣшками и бумажными пулями критики“, я бы послушался ихъ совѣта. Но меня нельзя устрашить руганью и запугать критиками, вооруженными или безоружными. Я могу смѣло сказать, что не нападалъ ни на кого, кто раньше не нападалъ на меня. Произведенія писателя — общественное достояніе: кто покупаетъ книгу, имѣетъ право судить о ней и печатно высказывать свое мнѣніе, если ему угодно; поэтому авторы, отмѣченные мною, могутъ отвѣтить мнѣ тѣмъ же. Я полагаю, что они съ большимъ успѣхомъ съумѣютъ осудить мои писанія, чѣмъ исправить свои собственныя. Но моя цѣль не въ томъ, чтобы доказать, что и я могу хорошо писать, а въ томъ, чтобы, если возможно, научить другихъ писать лучше.

Такъ какъ моя поэма имѣла гораздо больше успѣха, чѣмъ я ожидалъ, то я постарался въ этомъ изданіи сдѣлать нѣсколько прибавленій и измѣненій для того, чтобы моя поэма болѣе заслуживала вниманія читателей.

Въ первомъ анонимномъ изданіи этой сатиры четырнадцать стиховъ о Попѣ Боульса были присочинены и включены въ нее по просьбѣ одного моего остроумнаго друга, который теперь собирается издать въ свѣтъ томъ стиховъ. Въ настоящемъ изданіи они выкинуты и замѣнены нѣсколькими моими собственными стихами. Я руководствовался при этомъ только тѣмъ, что не хотѣлъ печатать подъ моимъ именемъ что-либо, не вполнѣ мнѣ принадлежащее; я полагаю, что всякій другой поступилъ бы точно такъ же.

Относительно истинныхъ достоинствъ многихъ поэтовъ, произведенія которыхъ названы или на которыхъ есть намеки въ нижеслѣдующихъ страницахъ, авторъ предполагаетъ, что мнѣніе о нихъ приблизительно одинаковое въ общей массѣ публики; конечно, они при этомъ, какъ и другіе сектанты, имѣютъ каждый свою особую общину поклонниковъ, преувеличивающихъ ихъ таланты, не видящихъ ихъ недостатковъ и принимающихъ ихъ метрическія правила за непреложный законъ. Но именно несомнѣнная талантливость нѣкоторыхъ писателей, критикуемыхъ въ моей поэмѣ, заставляетъ еще болѣе жалѣть о томъ, что они торгуютъ своимъ дарованіемъ. Бездарность жалка; въ худшемъ случаѣ надъ ней смѣешься и потомъ забываешь о ней, но злоупотребленіе талантомъ для низкихъ цѣлей заслуживаетъ самаго рѣшительнаго порицанія. Авторъ этой сатиры болѣе чѣмъ кто либо желалъ бы, чтобы какой-нибудь извѣстный талантливый писатель взялъ роль обличителя на себя. Но м-ръ Джифордъ посвятилъ себя Массинджеру, и за отсутствіемъ настоящаго врача нужно предоставить право деревенскому фельдшеру въ случаѣ крайней надобности прописывать свои доморощенныя средства для пресѣченія такой пагубной эпидеміи—конечно, если въ его способѣ лѣченія нѣтъ шарлатанства. Мы предлагаемъ здѣсь нашъ адскій камень, такъ какъ, повидимому, ничто кромѣ прижиганія не можетъ излѣчить многочисленныхъ паціентовъ, страдающихъ очень распространеннымъ и пагубнымъ „бѣшенствомъ стихотворства“. Что касается эдинбургскихъ критиковъ, то эту гидру смогъ бы одолѣть только Геркулесъ; поэтому, если бы автору удалось размозжить хотя бы одну изъ головъ змѣи, и хотя бы при этомъ сильно пострадала его рука, онъ былъ бы вполнѣ удовлетворенъ.

---

*) Къ 2-му, 3-ьему и 4-му изданіямъ.



ФИТЦЪ-ДЖЕРАЛЬДЪ (Fitz-Gerald).

Англійскіе барды и шотландскіе обозрѣватели.

Что-жъ, долженъ я лишь слушать и молчать?
А Фитцъ-Джеральдъ тѣмъ временемъ терзать
Нашъ будетъ слухъ, въ тавернахъ распѣвая?
Изъ трусости молчать я не желаю!
Пусть критики клевещутъ и бранятъ,
Глупцамъ я посвящу сатиры ядъ.

Перо мое, природы даръ безцѣнный!
Ты—разума слуга неоцѣненный.
Ты вырвано у матери своей,
Чтобъ быть орудьемъ немощныхъ людей,
Служить, когда мозгъ мучится родами
И даритъ міръ то прозой, то стихами.
Любовь обманетъ, щелкнетъ критикъ злой,
Обиженный утѣшится съ тобой.
Тебѣ своимъ рожденіемъ поэты
Обязаны, но волнъ холодной Леты
Не избѣгаешь ты... А смотришь: вслѣдъ
Забытъ и самъ пѣвецъ. Таковъ ужъ свѣтъ!
Тебя-жъ, перо, вновь призванное мною,
Какъ Сидъ Гаметъ я въ лаврахъ успокою!
Что брань глупцовъ? Товарищемъ моимъ
Всегда ты будешь. Смѣло воспаримъ
И воспоемъ—не смутное видѣнье,
Не пылкихъ грезъ Востока порожденье,—
Нѣтъ, путь нашъ будетъ гладкій и прямой,
Хоть встрѣтятся намъ терніи порой.

О, пусть мои стихи свободно льются!
Когда Пороку жертвы воздаются
И надъ людьми онъ жалкими царитъ;
Когда дурацкой шапкою гремитъ
Безуміе, братъ старшій преступленья;
Когда глупецъ, съ мерзавцемъ въ единеньѣ,
Царя повсюду, правду продаетъ—
Любой смѣльчакъ насмѣшекъ не снесетъ;
Неуязвимый, страха онъ не знаетъ,
Но предъ стыдомъ публичнымъ отступаетъ;
Свои грѣшки скрывать онъ принужденъ:
Смѣхъ для него страшнѣе, чѣмъ законъ.
Вотъ дѣйствіе сатиры. Я далекъ
Отъ дерзкой мысли быть бичомъ порока:
Сильнѣйшая тутъ надобна рука,—
Не столь моя задача широка.
Найдется мелкихъ глупостей довольно,
Гдѣ будетъ мнѣ охотиться привольно;
Пусть кто-нибудь со мной раздѣлитъ смѣхъ.

И большихъ мнѣ не надобно утѣхъ.
На риѳмоплетовъ я иду войною!
Отнынѣ шутки плохи вамъ со мною,
Вы, эпоса жрецы, элегій, одъ
Кропатели! Впередъ, Пегасъ, впередъ!
Принесъ я тоже музамъ даръ невольный,
Кропалъ стихи въ періодъ жизни школьной,
И, хоть они не вызвали молвы,
Печатался, какъ многіе, увы,
Теперь средь взрослыхъ къ этому стремятся...
Себя въ печати каждому, признаться,
Пріятно видѣть: книга, хоть она
Пуста, все-жъ книга. Ахъ, осуждена
Она забвенью съ авторомъ бываетъ!
Ихъ громкое заглавье не спасаетъ,
Именъ блестящихъ не щадитъ провалъ
То Лэмъ съ своими фарсами позналъ...
Но онъ все пишетъ, позабытый свѣтомъ;
Невольно бодрость чувствуя при этомъ,
Хочу и я кой-что обозрѣвать.
Себя съ Джеффреемъ я боюсь равнять,
Но, какъ и онъ, судьею быть желаю
И самъ себя въ сей санъ опредѣляю.

Все требуетъ и знанья, и труда,
Но критика, повѣрьте, никогда.
Изъ Миллера возьмите шутокъ прѣсныхъ,
Цитируя, бѣгите правилъ честныхъ,
Погрѣшности умѣйте отыскать
И даже ихъ порой изобрѣтать;
Обворожите щедраго Джеффрея
Тактичностью и скромностью своею,
Онъ дастъ десятокъ фунтовъ вамъ за листъ.
Пусть вашъ языкъ отъ лжи не будетъ чистъ,
За ловкача вы всюду прослывете
И, клевеща, вы славу наживете
Опаснаго и остраго ума.
Но помните: отзывчивость—чума.
Лишь погрубѣй умѣйте издѣваться,—
Васъ ненавидѣть будутъ, но бояться.

И вѣрить этимъ судьямъ! Боже мой!
Ищите лѣтомъ льду и розъ зимой,
Иль хлѣбнаго зерна въ мякинѣ пыльной;
Довѣрьтесь вѣтру, надписи могильной,
Иль женщинѣ, повѣрьте вы всему,
Но лишь не этихъ критиковъ уму!
Сердечности Джеффрея опасайтесь
И головою Лэма не плѣняйтесь...
Когда открыто дерзкіе юнцы
Одѣли вкуса тонкаго вѣнцы,
А всѣ кругомъ, склонившися во прахѣ,
Ждутъ ихъ сужденья въ малодушномъ страхѣ
И, какъ законъ, его ревниво чтутъ,—
Молчаніе не кстати было-бъ тутъ.
Стѣсняться-ль мнѣ съ такими господами?



ВАЛЬТЕРЪ СКОТЪ (Sir Walter Scott).

Съ портрета Лэндсира (Ed. Landseer, R. A.) въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

Но всѣ они смѣшались передъ нами,
Всѣ—какъ одинъ, и трудно разобрать,
Кого средь нихъ хвалить, кого ругать.

Зачѣмъ пошелъ безсмертными стопами
Я Джиффорда и Попа? Передъ вами

Лежитъ отвѣтъ. Читайте, коль не лѣнь,
И все вамъ станетъ ясно, словно день.
„Постойте",— слышу я, — „вашъ стихъ не вѣренъ,
Здѣсь риѳмы нѣтъ, а тамъ размѣръ потерянъ".
— А почему-жъ, скажу я на упрекъ,
Такъ ошибаться Попъ и Драйденъ могъ?
„Зато такихъ ошибокъ нѣтъ у Пая".
— Я вмѣстѣ съ Попомъ врать предпочитаю!

А было время, жалкой лиры звукъ
Не находилъ себѣ покорныхъ слугъ.
Свободный умъ въ союзѣ съ вдохновеньемъ
Дарилъ сердца высокимъ наслажденьемъ.
Рождалися въ источникѣ одномъ
Все новыя красоты съ каждымъ днемъ.
Тогда на этомъ островѣ счастливомъ
Внимали Попа нѣжнымъ переливамъ...
Честь Англіи и барду создала
Культурнаго народа похвала.



СОУТИ (R. Souttey).

Съ портрета Ганкока (Robert Hancock) въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

На ладъ иной свою настроивъ лиру,
Тогда гремѣлъ великій Драйденъ міру,
И сладкозвучный умилялъ Отвэй,
Плѣнялъ Конгривъ веселостью своей.
Народъ нашъ чуждъ тогда былъ вкусовъ дикихъ...
Зачѣмъ теперь тревожить тѣнь великихъ,
Когда смѣнилъ ихъ жалкихъ бардовъ рядъ?
Ахъ, взглядъ нашъ отдохнуть на прошломъ радъ.
Но гдѣ-жъ они, тѣ дивныя созданья,
Что приковали общее вниманье?
Не мало ихъ, признаться должно намъ.
Нѣтъ отдыха наборщикамъ, станкамъ;
Тамъ эпосъ Соути лавки наводняетъ,
Тутъ, что ни день, книженка выползаетъ
Съ поэмой Литтля. Въ мірѣ, говорятъ,
Нѣтъ новаго... Новинокъ длинный рядъ
Проносится межъ тѣмъ передъ глазами,
И чудеса идутъ за чудесами:
Прививка оспы, гальванизмъ и газъ
Толпу волнуютъ, чтобъ потомъ за разъ
Вдругъ съ трескомъ лопнуть, какъ пузырь надутый.
Плодятся школы новыя и въ лютой
Борьбѣ за славу гибнетъ бардовъ рой;
Но удается олуху порой
Торжествовать среди провинціаловъ,
Гдѣ знаетъ каждый клубъ своихъ Вааловъ,
Гдѣ уступаютъ геніи свой тронъ
Ихъ идолу, телецъ-ли мѣдный онъ,
Негодный Стотъ, иль Соути, бардъ надменный.

Вотъ риѳмоплетовъ вамъ кортежъ презрѣнный.
Какъ каждый хочетъ выскочить впередъ
И шпоры старому Пегасу въ бокъ даетъ!
Вотъ бѣлый стихъ, вотъ риѳмы, здѣсь сонеты,
Тамъ оды другъ на дружкѣ, тамъ куплеты
Глупѣйшей страшной сказки; безъ конца
Снотворные стихи... Что-жъ, для глупца
Пріятенъ трескъ всей этой пестрой чуши:
Онъ, не понявъ, совсѣмъ развѣситъ уши...
Средь бури злой „Послѣдній Менестрель"
Разбитой арфы жалостную трель
Подноситъ намъ, а духи той порою
Пугаютъ барынь глупой болтовнею;
Джильпиновской породы карликъ-бѣсъ
Господчиковъ заманиваетъ въ лѣсъ
И прыгаетъ, Богъ знаетъ, какъ высоко,
Дѣтей стращая, Богъ вѣсть чѣмъ, жестоко;
Межъ тѣмъ милэди, запретивъ читать
Тому, кто буквъ не можетъ разбирать,
Посольства на могилы отправляютъ
Къ волшебникамъ и плутовъ защищаютъ.
Вотъ выѣзжаетъ на конѣ своемъ
Мармьонъ спесивый въ шлемѣ золотомъ,
Подлоговъ авторъ, витязь онъ удалый,
Не вовсе плутъ, не вовсе честный малый.
Идетъ къ нему веревка и война,
Съ величіемъ въ немъ подлость сплетена.
Напрасно, Скоттъ, тщеславьемъ зараженный,
Старьемъ ты мучишь слухъ нашъ утомленный.
Что изъ того, что Миллеръ и Муррей
Въ полкроны цѣнятъ взмахъ руки твоей?
Коль торгашемъ сынъ звучной музы станетъ,
Его вѣнокъ лавровый быстро вянетъ;
Поэта званье пусть забудетъ тотъ,
Кого не слава,—золото влечетъ.
Пусть, ублажая хладнаго Мамона,
Онъ не услышитъ золотого звона:
Для развращенной музы торгаша
Награда эта будетъ хороша.
Такого мы поэта презираемъ,
Мармьону-жъ доброй ночи пожелаемъ.

Вотъ кто хвалу стремится заслужить!
Вотъ захотѣлъ кто музу покорить!
Сэръ Вальтеръ Скоттъ священную корону
Отнялъ у Попа, Драйдена, Мильтона...

О, музы юной славные года!
Гомеръ, Виргилій пѣли намъ тогда.
Давало намъ столѣтій протяженье
Всего одно великое творенье,
И, какъ святыню, чтили племена
Божественныхъ поэтовъ имена.
Въ вѣкахъ безслѣдно царства исчезали,
И предковъ рѣчь потомки забывали,—
Никто тѣхъ пѣсенъ славы не достигъ,
И избѣжалъ забвенья ихъ языкъ.
А наши барды пишутъ, не умѣя
Всю жизнь отдать единой эпопеѣ.
Такъ, жалкій Соути, дѣлатель балладъ:
Онъ вознестись орломъ надъ міромъ радъ;
Уже Камоэнсъ, Тассъ, Мильтонъ судьбою
Обречены. Беретъ онъ славу съ бою
И, какъ войска, свои поэмы шлетъ.
Вотъ Жанну Д'Аркъ онъ выпустилъ впередъ,
Бичъ англичанъ и Франціи спасенье.
Бедфордомъ низкимъ дѣвы сей сожженье
Извѣстно всѣмъ, а между тѣмъ она
Поэтомъ въ славы храмъ помѣщена.
Поэтъ ея оковы разбиваетъ,
Какъ феникса изъ пепла возрождаетъ...
Вотъ Талаба, свирѣпое дитя
Аравіи пустынной; не шутя,
Домданіэля въ прахъ онъ повергаетъ,
Всѣхъ колдуновъ на свѣтѣ истребляетъ.
Соперникъ Тумба! Побѣждай враговъ!
Цари на радость будущихъ вѣковъ!
Ужъ въ ужасѣ бѣгутъ тебя поэты,
Послѣднимъ въ родѣ будешь на землѣ ты.
Пусть геніи возьмутъ тебя съ собой,—
Ты съ честью вынесъ съ здравымъ смысломъ бой.
Мадока образъ высится гигантскій;
Уэльскій принцъ и кацикъ мексиканскій,
Плететъ онъ вздоръ о жизни странъ чужихъ;
Мандвиль правдивѣй въ сказочкахъ своихъ.
Когда-же, Соути, будетъ передышка?
Ты въ творчествѣ доходишь до излишка.
Довольно трехъ поэмъ. Еще одна,
И мы погибли; чаша ужъ полна.
Ты мастерски перомъ своимъ владѣешь,
Такъ докажи, что и щадить умѣешь.
Но если ты, наперекоръ мольбамъ,
Свой тяжкій плугъ потащишь по полямъ
Поэзіи и будешь, не жалѣя,
Ты чорту отдавать матронъ Берклея—
То ужъ пугай поэзіей своей
Еще на свѣтъ невышедшихъ дѣтей.
Благословенъ пусть будетъ твой читатель,
И помогай обоимъ вамъ Создатель!
Вотъ, противъ правилъ риѳмы бунтовщикъ,
Идетъ Вордсвортъ, твой скучный ученикъ.



ВОРДСВОРТЪ (Wordsworth).

Съ портрета Ганкока (Rob. Hancock) въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

Нѣжнѣйшія, какъ вечеръ тихій мая,
Наивныя поэмы сочиняя,
Онъ учитъ друга книжекъ не читать,
Не знать заботъ, упорно избѣгать
Волненій жизни бурной, въ опасеньѣ,
Что духъ его потерпитъ раздвоенье.
Онъ, разсужденьемъ и стихомъ за разъ,
Настойчиво увѣрить хочетъ насъ,
Что проза и стихи равны для слуха,
Что грубой прозы часто жаждетъ ухо,
Что тотъ постигъ высокій идеалъ,
Кто сказочку стихами передалъ.
Такъ, разсказалъ о Бетти Фой онъ нынѣ
И объ ея тупоголовомъ сынѣ,
Лунатикѣ; онъ, сущій идіотъ,
Своей дороги вѣчно не найдетъ;
Какъ самъ поэтъ, онъ ночь со днемъ мѣшаетъ.
Пѣвецъ съ такимъ намъ паѳосомъ вѣщаетъ
Объ идіота жалкаго судьбѣ,
Что, кажется, онъ пишетъ о себѣ.

Здѣсь о Кольриджѣ дамъ я отзывъ скромный.
Своей надутой музы данникъ томный,
Невинныхъ темъ любитель онъ большой,



КОЛЬРИДЖЪ (F. Coleridge).
Съ портрета Ганкока (Rob. Hancock) въ лондонской національной портретной галлерећ (National Portrait Gallery).

Но смыслъ не прочь окутать темнотой.
Съ Парнасомъ у того лады плохіе,
Кто вмѣсто нѣжной музы взялъ Пиксію.
Зато пойдетъ по праву похвала
Къ его стихамъ прелестнымъ въ честь осла.
Воспѣть осла Кольриджу такъ пріятно,
Сочувствіе герою здѣсь понятно...

А ты, о Льюисъ, о поэтъ гробовъ!
Парнасъ кладбищемъ сдѣлать ты готовъ.
Вѣдь въ кипарисъ ужъ лавръ твой превратился;
Ты въ царствѣ Аполлона подрядился
Въ могильщики... Стоишь-ли ты, поэтъ,
А вкругъ тебя, покинувъ вышній свѣтъ,
Толпа тѣней ждетъ родственныхъ лобзаній,
Или путемъ стыдливыхъ описаній
Влечешь къ себѣ сердца невинныхъ дамъ,—
Всегда, о членъ парламента, воздамъ
Тебѣ я честь! Рождаетъ умъ твой смѣлый
Рой призраковъ ужасныхъ, въ саванъ бѣлый
Закутанныхъ... Идутъ на властный зовъ
И вѣдьмы старыя, и духи облаковъ,
Огня, воды, и сѣренькіе гномы,
Фантазіи разстроенной фантомы,—
Все, что дало тебѣ такой почетъ,
За что съ тобой прославленъ Вальтеръ Скоттъ.

Коль въ мірѣ есть друзья такого чтенья
Святой Лука взорветъ и ихъ терпѣнье;
Не сталъ-бы жить съ тобой самъ Сатана,
Такъ безднъ твоихъ ужасна глубина!

Кто, окруженъ внимательной толпою
Прекрасныхъ дѣвъ, поетъ имъ? Чистотою
Невинности ихъ взоры не блестятъ
Румянцемъ страсти лица ихъ горятъ
То Литтль, Катуллъ нашъ. Въ звукахъ лиры томной
Передаетъ онъ намъ разсказъ нескромный.
Его не хочетъ муза осудить,
Но какъ пѣвца распутства ей хвалить?
Она къ инымъ привыкла приношеньямъ,
Нечистыхъ жертвъ бѣжитъ она съ презрѣньемъ,
Но снисхожденьемъ къ юности полна,
„Ступай, исправься“, говоритъ она.

Странгфордъ! Поэтъ съ златистыми кудрями,
Чужую пѣснь снабдившій бубенцами,
Плѣняешь дѣвъ ты ясностью очей
И музою плаксивою своей;
Зачѣмъ ты смысла подлинникъ лишаешь
И стихъ чужой своимъ ты подмѣняешь?
Улучшатся-ль Камоэнса стихи
Отъ этой пустозвонной чепухи,
Отъ этой пестрой, вычурной одежды?
Ужель на то питаешь ты надежды?
Исправь свой вкусъ, Странгфордъ, исправь себя,
Люби, пылай, но чистымъ будь, любя,
Отвыкни лгать безстыдно предъ толпою
И распрощайся съ лирой воровскою,
И Лузіады славнаго пѣвца
Избавь скорѣй отъ Мурова вѣнца.

Смотрите! Вотъ поэзія Гейлея!
Стишки его, что далѣ, то пустѣе.
Комедійку-ль онъ въ риѳмахъ пробренчитъ.
Иль похвалу Чистилищу строчитъ,—
Равно безцвѣтенъ слогъ его сонливый
На склонѣ лѣтъ и въ юности бурливой.
„Побѣдой терпѣливости“ своей
Мое терпѣнье побѣдилъ Гейлей.
Зато „Побѣду музыки“ едва-ли
Въ его стихахъ хоть разъ вы отыскали.

Моравскихъ братьевъ набожный синклитъ
Скорѣй поэта пусть благодаритъ:
То Граммъ, пѣвецъ субботнихъ развлеченій,
Даетъ плоды высокихъ вдохновеній
Въ уродской прозѣ. Риѳма—пустяки,
Сойдетъ и такъ Евангелье Луки!

Залѣзть порой онъ въ „Пятикнижье" любитъ,
Крадетъ „Псалмы", „Пророковъ" бѣдныхъ губитъ.

Въ „Симпатіи" сквозь дымку легкихъ грезъ,
Виднѣется погибшій въ морѣ слезъ
Кислѣйшихъ бардовъ принцъ косноязычный...
Вѣдь ты ихъ принцъ, о Боульсъ мой мелодичный?
Всегда оракулъ любящихъ сердецъ,—
Поешь-ли царствъ печальный ты конецъ,
Иль смерть листа осеннею порою,
Передаешь-ли съ нѣжной простотою
Колоколовъ Оксфордскихъ перезвонъ,
Колоколовъ Остендэ мѣдный стонъ...
Къ колокольцамъ когда-бъ колпакъ прибавить,
Они могли-бъ сильнѣй тебя прославить!
О, милый Боульсъ! Ты міръ обнять-бы радъ,
Плѣняя всѣхъ, особенно ребятъ.
Ты съ скромнымъ Литтлемъ славу раздѣляешь
И пылъ любви у нашихъ дамъ смиряешь.
Льетъ слезы миссъ надъ сказочкой твоей,
Пока она не вышла изъ дѣтей.
Но лѣтъ тринадцать минетъ,—прѣсныхъ пѣсенъ
Тоскливый рокотъ ей неинтересенъ,
И бѣдный Боульсъ, посмотришь, ужь забытъ,
Стыдливый Литтль предъ дѣвою раскрытъ.
Но иногда ты самъ находишь скучной
Такую тему: лирѣ благозвучной
Достойно ввѣрить лучшія мечты.
„Проснись, о пѣснь!" взываешь громко ты.
И точно, пѣснь вселяетъ изумленье.
Чего въ ней нѣтъ? Въ ней всѣ изобрѣтенья,
Какія дѣлалъ мудрый человѣкъ
Со дня, когда застрялъ въ грязи ковчегъ,
Отъ капитана Ноя и до Кука!
Читателей не кончилась здѣсь мука:
Поэтъ, едва успѣвшій отдохнуть,
Со вздохами свой продолжаетъ путь;
То будитъ сказкой нѣжной состраданье,
То повѣствуетъ,—барышни, вниманье!—
Какъ поцѣлуй, раздавшись въ первый разъ
Въ лѣсахъ Мадеры, островъ весь потрясъ.
О Боульсъ, марай сонетами страницы,
Но тутъ поставь фантазіи границы!
Когда-же вновь родившійся капризъ
Иль впереди мелькнувшій крупный призъ
Одушевятъ вдругъ мозгъ твой недозрѣлый;
Когда поэтъ, бичъ тупоумья смѣлый,
Лежитъ въ землѣ, достойный лишь похвалъ;



ЛЬЮИСЪ (M. G. Lewis).

Съ портрета въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

Когда нашъ Попъ, чей геній побѣждалъ
Всѣхъ критиковъ, нуждается въ глупѣйшемъ.—
Тогда дерзай! При промахѣ малѣйшемъ
Ликуй! Поэтъ вѣдь тоже человѣкъ...
Въ той кучѣ, что оставилъ прошлый вѣкъ,
Ищи ты перловъ, съ Фанни совѣщайся
И съ Курлемъ также; вытащить старайся
Скандалы всѣ давно прошедшихъ лѣтъ;
Бросай съ фальшивой кротостью ихъ въ свѣтъ
И зависть скрой подъ маскою смиренной,
И, какъ Святымъ Іоанномъ вдохновленный,
Пиши изъ злобы такъ-же, какъ Маллетъ
Писалъ для звона подлаго монетъ!
Ахъ, если-бъ ты родился въ вѣкъ достойный,
Когда несъ вздоръ Деннисъ и Ральфъ покойный,
И если-бъ дать совмѣстно съ ними могъ
Больному льву ослиный свой пинокъ,
Позналъ-бы ты за подвигъ свой награду,
Попавши вмѣстѣ съ ними въ Дунціаду!

Вотъ снова эпосъ! Кто, злодѣй, готовъ
Насъ утопить въ обиліи стиховъ?
То Коттль, Бристоля гордость. Онъ сбираетъ

Изъ Камбріи всю ветошь и сплавляетъ
Ее на рынокъ.—Что угодно вамъ?
Стиховъ не надо-ль? Дешево отдамъ
Всѣ сорокъ тысячъ строкъ, всѣ двадцать пѣсенъ!
Изъ Ипокрены рыбка! Вкусъ чудесенъ!
Кому угодно?—Лишь не мнѣ, прошу,
Я прѣсныхъ блюдъ совсѣмъ не выношу!
Хотя купецъ набить мошну умѣетъ,
Но отъ торговли мозгъ его тупѣетъ,—
Пусть броситъ Коттль надежду на вѣнецъ,
Несчастнаго поэта образецъ,
Спокойно жилъ онъ, книги продавая,
Теперь строчитъ, отъ мукъ изнемогая!
О, Амосъ Коттль! Какъ это прозвучитъ,
Когда труба намъ славу возвѣститъ!
О, Амосъ Коттль! Прямой ущербъ, бѣдняга,
Тебѣ даютъ чернило и бумага!
Поэзіи, я вѣрю, преданъ ты,
Но кто-жъ прочтетъ безславные листы?
Къ чему пера, къ чему бумаги порча?
Но если-бъ Коттль, писателя не корча,
Сидѣлъ-бы въ лавкѣ, иль когда-бъ умѣлъ,
Рожденный скромно для житейскихъ дѣлъ,
Выдѣлывать бумагу, не марая,
Или работать, поле расчищая,
Или грести, Уэльса онъ пѣвцомъ
И не былъ-бы, и я-бъ не пѣлъ о немъ.

И, какъ Сизифъ, свой камень вверхъ катящій,
Такъ Морисъ намъ пытается томящій
Громадный грузъ рифмованныхъ томовъ
Втащить на верхъ смѣющихся холмовъ
Твоихъ, о Ричмондъ! Какъ кусокъ громадный
Скалы, плодъ тяжкій музы безотрадной,
Окаменѣлость тощаго ума
Летитъ назадъ съ высокаго холма.

Вы видите-ль печальнаго Алкея?
Въ долинѣ бродитъ, смерти онъ блѣднѣе,
Съ разбитой лирой... Гдѣ-жъ его цвѣты?
Злой Нордъ развѣялъ гордыя мечты...
И Каледоніи холодной грозы
Убили имъ взлелѣянныя розы.
О, бѣдный Шеффильдъ! Пусть оплачетъ онъ
Поэта своего столь ранній сонъ!

Но неужели долженъ бардъ оставить
Мечты себя когда-нибудь прославить?
Ужель всегда поникнетъ головой,
Коль сѣверныхъ волковъ услышитъ вой?
Во тьмѣ блуждаетъ подлая ихъ стая,
Все на пути свирѣпо пожирая.
Ничто отъ гарпій жадныхъ не уйдетъ;
Ни сѣдина, ни юность не спасетъ
Отъ злобы ихъ. Зачѣмъ-же эта свора
Нигдѣ не встрѣтитъ дружнаго отпора?
Зачѣмъ-же всѣ, завидя ихъ клыки,
Становятся послушны и робки,
И кровожадныхъ этихъ тварей сносятъ,
И ихъ назадъ, къ Артуру, не отбросятъ?

О, нашъ Джеффрей безсмертный! Помнюя,—
Въ Британіи великой былъ судья;
И именемъ онъ сходенъ былъ съ тобою,
И нѣжною, правдивою душою.
Какъ будто чортъ разстался со своей
Добычею и вновь среди людей
Пустилъ гулять судью, чтобъ вдохновенье,
Какъ родъ людской, казнилъ онъ безъ стѣсненья.
И хоть душа Джеффрея не сильна,
Зато едва-ль не болѣе черна,
И такъ-же пытку любитъ. Онъ учился
При трибуналѣ; тамъ онъ навострился
Въ сужденіяхъ ошибки находить;
Изъ школы взялъ умѣнье поострить
Надъ партіей, а самъ въ другой остаться.
Захочетъ чортъ—онъ можетъ въ судъ пробраться.
Нашъ Даніилъ взойдетъ на трибуналъ
За то, что всѣхъ онъ бѣшено ругалъ!
Какъ весело тогда Джеффризу станетъ,
Преемнику веревку онъ протянетъ
И скажетъ такъ: „Наслѣдникъ милый мой,
Съ такою же правдивою душой
И отъ меня усвоившій сноровку
Судить людей! Прими сію веревку,
Ей пользуйся, на страхъ своимъ врагамъ,
И наконецъ на ней повисни самъ!"

Такъ здравствуй-же, Джеффрей нашъ благородный,
Цвѣти въ долинѣ Файфа плодородной!
Да не падешь ты жертвою войны,—
Такъ рвутся къ ней поэзіи сыны...
Кто позабылъ изъ васъ тотъ день ужасный,
Когда стволъ пистолета безопасный
Въ рукахъ у Литтля мрачно заблисталъ
И сорванцамъ Боу-Стритта поводъ далъ
Къ насмѣшкамъ злымъ? Ахъ, въ этотъ день печальный
Затрясся самъ Дундэнъ фундаментальный.
И прокатилась, ужасомъ полна,
По глади Форта темная волна.
Завыли въ страхѣ сѣверныя бури,
Твидъ раздѣлилъ струи своей лазури:
Слезой горячей сдѣлалась одна,
Другая вдаль катилась холодна.
Артуръ къ землѣ вершиною пригнулся,
Толбутъ угрюмый тяжко покачнулся,—
Вѣдь хладный камень чувствуетъ порой:

И старый замокъ сознавалъ съ тоской:
Коль не въ тюрьмѣ Джеффрея смерть случится,
Тюрьма алмаза лучшаго лишится.
Обрушился шестнадцатый этажъ,
Гдѣ въ славный день герой родился нашъ,
И дрогнула печальная Эдина;
Всю Кэнонгетъ,—о, чудная картина,—
Усѣяли бумажки, словно снѣгъ;
Разлитье началось чернильныхъ рѣкъ!
Былъ какъ бумага блѣденъ лобъ героя,
Былъ какъ чернила черенъ онъ душою;
Въ сліяніи эмблемъ чудесныхъ двухъ
Явилъ себя героя смѣлый духъ.
Но Каледоніи любезной фея
Отъ злобы Мура сберегла Джеффрея:
Изъ ихъ стволовъ свинецъ она беретъ,
Его любимцу въ голову кладетъ;
Какъ дождь златой восприняла Даная,
Такъ мозгъ свинецъ воспринялъ, помышляя,
Что онъ теперь богатой жилой сталъ,
Гдѣ драгоцѣнный кроется металлъ.
— „Забудь про кровь, про дуло пистолета",—
Сказала фея,—„сынъ мой, брось все это!
Возьми перо, надъ музой вознесись,
Въ политикѣ побѣдно воцарись,
Будь гордостью страны своей родимой!
Пока британцы цѣнятъ справедливый
Твой приговоръ, пока шотландскій вкусъ
Законы пишетъ для англійскихъ музъ,—
До той поры ты властвуй безъ стѣсненья,
Встрѣчая всюду страхъ и уваженье.
Поклонниковъ послушныхъ цѣлый рой
Тебя сочтетъ всѣхъ критиковъ главой.
Смотри! проходитъ съ первыми рядами
Самъ Эбердинъ, аѳинянинъ, предъ нами;
Вотъ Гербертъ тяжкимъ Тора молоткомъ
Готовъ взмахнуть, чтобъ поддержалъ потомъ
Ты похвалою стихъ его топорный.
Нарядный Сидней, словно рабъ покорный,
Мечтаетъ пищу дать твоимъ строкамъ
И съ нимъ любитель Греціи Галламъ.
Тебѣ и Скоттъ въ поддержкѣ не откажетъ,
И сплетни про друзей Пиллансъ разскажетъ,
И преданный анаѳемѣ пѣвецъ,
Лэмъ, Таліи прекрасной жалкій жрецъ,
Теперь отмститъ товарищамъ жестоко.
Слухъ о тебѣ пусть прогремитъ далеко!
Пусть безгранично власть твоя растетъ,
И пусть за трудъ пирами воздаетъ
Тебѣ, Голландъ, признательные-жъ бритты
Сбираютъ лавръ для низкой лорда свиты,
Для знанія неистовыхъ враговъ...
Но до того, какъ будетъ въ свѣтъ готовъ
Пуститься томъ стиховъ твоихъ лазурный,



ДЖЕФРИ (Francis, Lord Jeffrey).

Съ бюста Парка (Patrick Park) въ лондонской національной портретной галлерев (National Portrait Gallery).

Смотри, чтобъ Брумъ, невѣжливый и бурный,
Не помѣшалъ продажѣ быстрой ихъ,
Чтобъ не испортилъ кушаній твоихъ,
Изъ мяса хлѣбъ не сдѣлалъ, и цвѣтную
Капусту чтобъ не обратилъ въ простую!"—
Богиня, кончивъ, сына обняла,
И скрыла вновь ее сырая мгла.

Да здравствуетъ Джеффрей! Средь своры дикой
Любимецъ ты Шотландіи великой!
Большой успѣхъ стяжалъ правдивый Скоттъ,
Тебя-же, другъ, двойная слава ждетъ!
Твои труды Эдина украшаетъ,
Вечерними цвѣтами осыпаетъ,
Даетъ страницамъ тонкій ароматъ,
А голубымъ обложкамъ—ихъ нарядъ.
Вотъ дѣвственная нимфа Итчъ... Пылая
Любовью страстной, землю забывая,
Она къ тебѣ прильнула. До другихъ
Ей дѣла нѣтъ, ей дорогъ твой лишь стихъ.

Милордъ Голландъ! Отдавши дань клевретамъ,

Ужель забыть о немъ самомъ при этомъ
И Генрихѣ Петти, что за спиной
Его торчитъ, о ловчемъ стаи той!
Да здравствуютъ-же пиршества Голланда,
Гдѣ дружно ѣстъ шотландцевъ вѣрныхъ банда,
Гдѣ критики межъ ними вволю пьютъ!
Подъ этой кровлей много, много блюдъ
Съѣдятъ еще Грубъ-Стрита мародеры.
Вы на Галлама обратите взоры:
Онъ, бросивъ вилку и схвативъ перо,
Добромъ платить желаетъ за добро
И творчество милорда критикуетъ,
Его таланта вовсе не бракуетъ,
Но говоритъ, набивши полный ротъ:
„Милордъ намъ далъ прекрасный переводъ!"
Гордись, Дунденъ, своихъ дѣтей стараньемъ!
Они для чрева пишутъ и писаньемъ
Они умѣютъ чреву угодить.
Но чтобъ порой въ печать не пропустить
Внушенной Вакхомъ мысли шаловливой,
Вогнать способной въ краску полъ стыдливый,
Милэди пѣну съ каждаго листа,
Пока не будетъ нравственность чиста,
Умѣетъ снять, ошибки поправляя
И ароматъ души своей вливая.

Теперь чередъ за драмой... Что за видъ!
Здѣсь тьма чудесъ взоръ робкій удивитъ.
И шуточки, и принцъ, сидящій въ бочкѣ,
И глупости Дибдиновой цвѣточки...
Насытитесь новинками вы всласть.
Хотя Рошіомановъ пала власть,
Хоть есть у насъ актеры съ дарованьемъ,—
Къ чему они со всѣмъ своимъ стараньемъ,
Коль критика все терпитъ этотъ вздоръ,
Коль шлетъ Рейнольдсъ ругательствъ дикій хоръ:
„Чортъ васъ дери", „Проклятье", „Лѣшій съ вами",
Смыслъ здравый портя общими мѣстами;
Коль Кенни „Міръ",—гдѣ Кенни умъ живой?—
Едва журчитъ предъ сонною толпой;
Коль „Каратачъ" Бомоновъ похищаютъ
И въ глупый фарсъ безстыдно превращаютъ!
Кто слезъ своихъ надъ сценой не прольетъ?
Ея упадокъ съ каждымъ днемъ растетъ.
Иль геніевъ ужъ нѣтъ подъ небесами,
Или исчезла совѣсть между нами?
Да гдѣ-же ты, таланта яркій свѣтъ?
Увы, средь насъ его давно ужъ нѣтъ!
Проснитесь-же, Джорджъ Кольманъ благородный
И Кумберландъ! Будите духъ народный!
Пусть вашъ набатъ прогонитъ глупость вонъ.
О, Шериданъ, возстанови-же тронъ
Комедіи, и пусть не знаетъ сцена
Германской школы тягостнаго плѣна.
Отдай ты тѣмъ Пизарра переводъ,
Кому Господь таланта не даетъ,
И драмой насъ порадуй на прощанье;
Оставь ее потомкамъ въ завѣщанье
И нашу сцену вновь переустрой.
Доколь, съ поднятой гордо головой,
На тѣхъ подмосткахъ глупость будетъ править,
Гдѣ Гаррикъ нашъ умѣлъ искусство славить,
Гдѣ Сиддонсъ волновала намъ сердца?
Доколь черты презрѣннаго лица
Посмѣетъ фарсъ скрывать подъ маской смѣха?
Когда-же эта кончится потѣха?
Доколь мы будемъ громко хохотать
Надъ тѣмъ, какъ Гукъ пытается сажать
Своихъ героевъ въ бочки? Режиссерамъ
Доколь не надоѣстъ насъ пичкать вздоромъ
То Скеффингтона, Гуза, то Шерри?
А Массинджеръ, Отвэй, Шекспиръ внутри
Своихъ шкаповъ доколь-же позабыты
И плѣсенью отъ времени покрыты?
Объ аргонавтахъ славы взапуски
Межъ тѣмъ кричатъ газетные листки.
Гузъ съ Скеффингтономъ славу раздѣляютъ...
Ихъ призраки Льюиса не пугаютъ!
Чтожъ, похвалы достоинъ Скеффингтонъ:
Прославился равно повсюду онъ
Костюмами и тощимъ вдохновеньемъ;
И самъ Гринвудъ своимъ воображеньемъ
Ему порой никакъ не угодитъ...
Въ пяти бравурныхъ актахъ онъ гремитъ,
Пока Джонъ Буль слѣдитъ съ нѣмымъ вопросомъ
За тѣмъ, что происходитъ передъ носомъ.
Но покупныхъ апплодисментовъ шумъ
Его выводитъ изъ глубокихъ думъ,
Онъ отъ себя сонливость отгоняетъ,
Со всѣми вмѣстѣ хлопать начинаетъ.

Такъ вотъ, друзья, нашъ вѣкъ теперь каковъ!
Какъ больно вспомнить намъ про жизнь отцовъ.
Убило-ль совѣсть въ бриттахъ вырожденье?
Всегда-ли глупость встрѣтитъ поклоненье?
Я не могу всецѣло нашу знать
За восхищенье Нольди обвинять,
За щедрыя ихъ итальянцамъ дани,
Иль панталонамъ славнымъ Каталани.
Что-жъ дѣлать имъ, когда даютъ у насъ
Для мысли—смѣхъ, для смѣха—рядъ гримасъ.

Пусть нравы намъ Авзонія смягчаетъ,
Пускай сердца искусно развращаетъ,
Своими пусть безумствами дивитъ,
Хваля порокъ, приличій не щадитъ.
Пусть нашихъ дамъ блестятъ восторгомъ глазки
При видѣ формъ Дегэ, сулящихъ ласки,
Пусть тѣшитъ видъ Гайтоновскихъ прыжковъ
Мальчишекъ знатныхъ, знатныхъ стариковъ.
Любуются пусть снобы въ упоеньѣ
На формы Прэль, презрѣвшія стѣсненье
Несносной ткани. Пусть,—о дивный видъ,
Анджіолини бюстъ свой обнажитъ,
И такъ красиво ручки округляетъ,
И граціозно ножки выставляетъ.
Пускай Коллини прелестью руладъ
Влюбленныхъ пѣсенъ разливаетъ ядъ,—
Но вы, пророки грозные, молчите!
Своей косы разящей не точите.
Гонители пороковъ нашихъ всѣхъ,
Для коихъ кружка пива въ праздникъ—грѣхъ,
Какъ въ воскресенье—помощь брадобрѣя;
Непочатыхъ бутылокъ батарея,
Небритой бороды густая тѣнь—
Вотъ знакъ, какъ чтите вы субботній день.

Хвала отцу распутниковъ Гревилю
И капищу безумія—Арджилю!
Отель громадный блещетъ красотой
И переполненъ пестрою толпой.
Вотъ впереди—Петроній современный,
Тамъ евнухи, тамъ гесперійскій хоръ,
Тамъ нѣжной лютни тихій разговоръ
И сладострастной лиры рокотанье;
Французскихъ танцевъ тамъ очарованье,
Тамъ музыка Италіи, ночей
Безумныхъ вихрь, безумныхъ блескъ очей.
Улыбки дамъ, винъ разныхъ изобилье,
Все собралось туда въ одномъ усильѣ
Чтобъ развлекать фатишекъ, дураковъ,
Распутниковъ, мерзавцевъ, игроковъ—
И нашихъ лордовъ! Каждый выбираетъ
Себѣ тамъ все, что только пожелаетъ:
Иль музыку, иль кости, иль вино,
Или жену сосѣда—все равно!
Коммерціи сыны о разореньѣ
Намъ плачутся и ищутъ сожалѣнья...
Не сами-ли виной они тому?
О бѣдности ихъ праздному уму
Чужда бываетъ мысль. Подъ солнцемъ счастья
Рожденные не знаютъ о ненастьѣ.
Лишь иногда захочется шуту
И выскочкѣ представить нищету;
Онъ дѣдушкины тряпки одѣваетъ
И средь толпы со смѣхомъ выступаетъ.



ДЖИФФОРДЪ (William Gifford).

Съ портрета Гоппера (John Hoppner, R. A.) въ лондонской національной портретной галлерсь (National Portrait Gallery).

Вотъ занавѣсъ упала. Настаетъ
Для зрителей безумствовать чередъ!
Тамъ шествуютъ богатыя вдовицы,
Тамъ носятся раздѣтыя юницы,
Отдавшись вальса сладостной волнѣ.
Походкой плавной движутся однѣ,
Гордятся членовъ гибкостью другія.
Однѣ, чтобы ирландцы удалые
Могли попасть скорѣй въ ихъ сладкій плѣнъ,
Косметиками побѣждаютъ тлѣнъ
Ихъ прелестей. Съ любовными сѣтями
Охотятся другія за мужьями
И узнаютъ, гоня стыдливость прочь,
Что узнается въ брачную лишь ночь.

Пріютъ грѣха, убѣжище разврата,
Гдѣ лишь любви искусство только свято!
Гдѣ дѣвушки нечистыми полны
Мечтаньями, а юноши вольны
Уроки брать, какъ властвовать сердцами!
Вотъ тамъ сейчасъ смѣшался съ игроками
Испаніи далекой юный гость..
Вотъ карты взялъ, вотъ онъ бросаетъ кость

Она гремитъ... „Ну, сколько? Семь! Въ надбавку
Пусть тысяча теперь идетъ на ставку!“
А коль душа потерей сражена
И жизнь тебѣ ужъ больше не нужна,
Ты выбираешь Поуля пистолеты
Иль женихомъ становишься Поджеты.
Вотъ жизни плодъ, въ безумьѣ начатой
И конченной позорной нищетой!
Тебя никто любовью не окружитъ,
Безстрастная рука тебѣ послужитъ,
Наемникъ будетъ раны обмывать,
Послѣднее дыханье принимать.
Въ забвеніи, осмѣянный врагами,
Погубленный безумными пирами,
Какъ Клодіусъ, ты въ свѣтѣ проживешь
И какъ Фалкландъ въ міръ лучшій отойдешь.

Ѳ истина! Создай ты намъ поэта
И дай ему ты вырвать язву эту!
Вѣдь я изъ этой шайки озорной
Едва-ль не самый членъ ея шальной,
Умѣющій въ душѣ цѣнить благое,
Но въ жизни часто дѣлавшій другое.
Я, помощи не знавшій никогда,
Столь надобной въ незрѣлые года,
Боровшійся съ кипучими страстями,
Знакомый съ тѣми чудными путями,
Что къ наслажденью завлекаютъ насъ,
Дорогу тамъ терявшій каждый разъ—
Ужъ даже я свой голосъ возвышаю
И въ развращеньѣ нравовъ обвиняю
Всѣхъ тѣхъ господъ. Насмѣшливый мой другъ
Съ коварною улыбкой скажетъ вдругъ:
„Да чѣмъ-же ты ихъ лучше, съумасшедшій“.
Надъ перемѣной, чудно происшедшей
Въ моихъ рѣчахъ, подивятся друзья.
Пусть такъ! Когда поэта встрѣчу я,
Который, какъ Джиффордъ, съ душою рѣдкой
Соединитъ талантъ къ сатирѣ ѣдкой
И станетъ защищать отъ зла добро,
Тогда свое я положу перо.
Я подниму лишь голосъ, чтобъ привѣтомъ
Его почтить, хоть и меня при этомъ,
Какъ всѣхъ другихъ, онъ будетъ бичевать
И со стези порока совлекать.

А что до мелкихъ рыбокъ въ мутномъ илѣ,
Отъ Гафиза до Боульса-простофили,
То пусть онѣ сидятъ всѣ по норамъ,
Пусть знаютъ свой Сентъ-Джильсъ и Тоттенгамъ,
Иль, такъ какъ нынѣ знать большого свѣта
Пустилась взапуски кропать сонеты,
Пускай свой знаютъ Скверъ иль свой Бондъ-Стритъ.
Кому, сказать по правдѣ, повредитъ,
Коль человѣкъ съ вліяньемъ, съ положеньемъ,
Порой метнетъ въ печать стихотвореньемъ?
Пускай, не внемля критиковъ мольбѣ,
Сэръ Т. читаетъ стансы самъ себѣ.
Пусть Мильсъ Андрюсъ съ куплетами хлопочетъ,
Безсмертія достичь въ прологахъ хочетъ,
Хоть онъ творецъ мертворожденныхъ драмъ!
Зачѣмъ-же въ это вмѣшиваться намъ?
Средь лордовъ также мы порой встрѣчаемъ
Поэта. Что-жъ? Его мы восхваляемъ
За то одно, что можетъ онъ писать.
Ахъ, былъ-бы вкусъ, кто захотѣлъ-бы взять
Ихъ титулы, совмѣстно съ ихъ стихами!
Гдѣ Роскоммонъ, Шефильдъ? Ужъ ихъ вѣнками
Никто себя не смѣетъ украшать!..
Какая-жъ муза можетъ награждать
Карлейлево разслабленное пѣнье?
Коль школьнику прощаютъ увлеченье,
Когда грѣшитъ онъ рифмою порой,
То старику съ сѣдою головой
Нельзя простить стиховъ, что все глупѣютъ,
Пока поэта волосы сѣдѣютъ.
Какихъ-какихъ чиновъ у лорда нѣтъ!
Пэръ, памфлетистъ, франтишка и поэтъ!
Его творенья, глупыя въ началѣ,
Несносныя подъ старость, наводняли
Театръ нашъ бѣдный, здравый вкусъ губя
Пока „довольно съ насъ уже тебя“
Дирекція въ сердцахъ не закричала
И пичкать насъ милордомъ перестала.
Оставимъ-же вельможу хохотать
Надъ судьями, дадимъ переплетать
Тома стиховъ своихъ телячьей кожей,
Съ его талантомъ столь забавно схожей!
Сорвите, сэръ, сафьянный переплетъ:
Телячья кожа больше къ вамъ идетъ.

А вы, друиды съ мѣдной головою,
Пѣвцы для хлѣба! Огорчать войною
Я не желаю вовсе васъ пока!
Вѣдь тяжкая Джиффордова рука
Недавно стаю вашу разогнала.
Вы можете завистливыя жала
Въ талантъ теперь свободно запускать,
Васъ алчный голодъ можетъ оправдать.
Крыломъ своимъ васъ жалость прикрываетъ;
Въ честь Фокса гимнъ пускай васъ услаждаетъ,
Пусть будетъ плащъ Мельвиля—вашъ покровъ,
Васъ Лета ждетъ, кропатели стиховъ!
Миръ вамъ навѣкъ—вотъ лучшая награда
За весь вашъ трудъ. Но если-бъ было надо

Безсмертье вамъ,—для этого годна
Лишь Дунціада славная одна.
Ну, а теперь вы всѣ забыты нами
Съ достойными другими именами.
Бранить я Розу также не хочу,
Надъ прозою ея не хохочу,
И надъ ея поэзіей невнятной,
Едва-ль изъ насъ кому-нибудь понятной.
Хотя изъ школы Круска молодцы
Не наводняютъ болѣе столбцы
Журналовъ нашихъ, старыя ухватки
Кой-гдѣ живутъ, кой-гдѣ бываютъ схватки
Средь инвалидовъ Бэлля: все кричитъ
Матильда наша, все Гафизъ пищитъ,
И, съ подписью О. P. Q. неразлучный,
Метафорой пугаетъ Мерри скучный.

Коль подмастерье броситъ молодой
И мастерскую и прилавокъ свой;
Когда, забывъ про Криспина Святого,
Оставитъ шило для пера тупого,
Чтобы для музъ сандаліи тачать,—
Какъ будутъ всѣ ему рукоплескать!
Писатели въ конецъ его захвалятъ
И дамы также; если-же ужалитъ
Его порой сатирикъ,—то бѣда:
Завистникомъ зовутъ его тогда!
Вѣдь мнѣнье свѣта выше всякихъ мнѣній,—
Всѣ за него,—ужели онъ не геній?
Самъ Кэпель Лофтъ въ восторгѣ отъ него!
О, ремесла простого своего
Счастливые сыны! Бросайте, други,
Свои вы пашни, заступы и плуги!
Вѣдь Блумфильдъ, Борнсъ, самъ Джиффордъ, нашъ герой,
Всѣ родились подъ тусклою звѣздой
Въ сословьѣ низкомъ, но, съ своей судьбою
Не помирившись, счастье взяли съ бою...
Вотъ вамъ какой примѣръ прекрасный данъ!
Чѣмъ Блумфильду уступитъ братъ Натанъ?
Иль Фебъ ему откажетъ въ одобреньѣ?
Зажглось въ Натанѣ—коль не вдохновенье,
То рвеніе къ рифмованнымъ строкамъ.
Священный пылъ больнымъ его мозгамъ
Всецѣло чуждъ, хоть умъ его затмился...
Крестьянина-ль вѣкъ горькій прекратился,
Иль кто-нибудь огородилъ свой лугъ,—
Хвалебной оды тотчасъ слышенъ звукъ!
Ну что-жъ, когда британская натура
Такъ воспріяла яркій свѣтъ культуры,—
Пусть властвуетъ поэзія въ сердцахъ,
И въ мастерскихъ цвѣтетъ, и въ деревняхъ.
Смѣлѣе въ путь, башмачники-поэты!
Тачайте стансы такъ-же, какъ штиблеты!
Вы музою плѣните милыхъ дамъ,
А кстати сбытъ найдете башмакамъ.
Пусть вдохновеньемъ неучъ-ткачъ кичится,



КЭМПБЕЛЬ (Campbell).

Съ портрета Гранта (Sir Francis Grant, P. R. A.) въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

И пусть портной въ стихахъ распространится
Свободнѣе, чѣмъ въ счетахъ. Свѣтскій франтъ
Вознаградитъ живой его талантъ
И за стихи ему заплатитъ сразу,
Лишь за свои расплатится заказы.

Воспѣвъ поэтовъ славныхъ, я готовъ
Парнаса чтить непризнанныхъ сыновъ.
Раскрой, Камбель, свое намъ дарованье!
Къ безсмертію святое притязанье
Кто, коль не ты, осмѣлится имѣть?
А ты, Роджерсъ! Умѣлъ ты раньше пѣть
Такъ сладко намъ... Припомни блескъ былого
И вдохновись воспоминаньемъ снова...
Дай намъ услышать нѣжный голосъ твой
И Феба возведи на тронъ пустой!
Будь славенъ самъ, прославь свою отчизну.
Не вѣчно-жъ муза будетъ править тризну
Передъ могильнымъ Коупера холмомъ,
Переходя въ отчаяньѣ нѣмомъ
Плести вѣнокъ надъ скромною могилой,
Гдѣ Борнсъ лежитъ, ея поклонникъ милый?
Не вѣчно, нѣтъ! Хоть презираетъ Фебъ

Пѣвцовъ, которыхъ манитъ только хлѣбъ,
Которымъ глупость служитъ вдохновеньемъ,
Все-жъ видитъ онъ порою съ утѣшеньемъ,
Какъ бардъ иной безъ вычурныхъ гримасъ
Безхитростною пѣсней тронетъ насъ.
Въ свидѣтели Джиффорда вызываю,
Съ нимъ Макнэйля и Сотби приглашаю!

„Зачѣмъ Джиффордъ не пишетъ ничего?" —
Мы слышали не разъ. Теперь его
Хотимъ и мы спросить о томъ-же самомъ.
Иль некого покрыть публичнымъ срамомъ?
Иль больше нѣтъ на свѣтѣ дураковъ,
Чьи спины ждутъ живительныхъ рубцовъ
Отъ твоего бича? Сатиры геній
Ужъ не найдетъ достойныхъ преступленій
Для смѣха своего? Или дорогъ
Не наводнилъ ликующій порокъ?
Или всегда удастся нашимъ лордамъ
Распутствовать повсюду съ видомъ гордымъ,
Отъ правосудья вѣчно ускользать
И музъ святого гнѣва избѣгать?
Ужель они не будутъ маяками
Зловѣщими блистать передъ вѣками,
Указывать грѣха опасный путь?
Проснись, Джиффордъ! Въ обѣтахъ честенъ будь,
Исполни долгъ, безумцевъ исправляя,
Иль краску въ нихъ смущенья вызывая.

О, бѣдный Уайтъ! Была твоя весна
Еще благоуханна и ясна
И музы юной только крѣпли силы,
Когда тебя отъ насъ взяла могила!
Замолкнулъ лиры благородной звукъ,
Палъ жертвою науки знанья другъ...
Межъ нами сердца чуткаго не стало:
Тебѣ наука щедро разсыпала
Свои дары—познанья сѣмена, —
Но жатва ихъ была обречена
Безстрастной смерти. Геній прихотливый
Самъ погасилъ огонь души пытливой
И рану растравилъ въ груди больной.
Такъ падаетъ настигнутый стрѣлой
Степной орелъ и, распростертъ въ долинѣ,
Чтобъ съ тучами ужъ не парить отнынѣ,
Въ перѣ, принесшемъ злое остріе,
Съ отчаяньемъ вдругъ узнаетъ свое!
И тягостнѣй тѣлеснаго страданья
Ему въ то время жгучее сознанье,
Что отдалъ онъ безжалостнымъ врагамъ
Оружіе, что выростилъ онъ самъ!
Давно-ли клалъ въ гнѣздо свое съ любовью
Онъ то перо пропитанное кровью...

Случалось слышать мнѣ, что въ наши дни
Лишь призраки блестящіе одни,
Лишь вымыслы одни воображенья
Влекутъ къ себѣ поэтовъ вдохновенье.
Художники и прозы, и стиха
И впрямь теперь, какъ смертнаго грѣха,
Чураются словца „обыкновенный";
Но иногда свой лучъ проникновенный
Въ пѣвца захочетъ правда заронить,
Очарованье пѣснѣ сообщить...
Пускай, цѣня высоко добродѣтель,
Докажетъ это мой живой свидѣтель,
Мой Краббъ любезный, музы сельской жрецъ,
Природы лучшій, преданный пѣвецъ.

Пусть Ши теперь вниманьемъ овладѣетъ.
Перомъ и кистью онъ творить умѣетъ,
И живопись съ поэзіей-сестрой
Смѣняясь водятъ быстрою рукой.
То онъ блеснетъ прелестными стихами,
То оживитъ вдругъ краски передъ нами.
Вполнѣ достоинъ онъ двойныхъ наградъ,
Соперникъ барду, живописцу братъ!

Какъ безконечно счастливъ бардъ, могущій
Проникнуть въ тѣ таинственныя кущи,
Гдѣ нѣкогда родились музы намъ!
Какъ счастливъ тотъ, чьимъ удалось стопамъ
Попрать ту землю, чьимъ глазамъ случилось
Тѣ страны зрѣть, гдѣ столько народилось
Поэтовъ и героевъ, гдѣ досель
Свою ласкаетъ слава колыбель,
Досель паритъ надъ берегомъ ахеянъ!
Вдвойнѣ тотъ счастливъ, въ чьей душѣ взлелѣянъ
Огонь любви къ классической странѣ,
Кто намъ поетъ о славной старинѣ,
Кто, какъ художникъ, смотритъ на руины,
Кто разорвалъ, какъ дымку паутины,
Вуаль вѣковъ... О, Райтъ! Ты могъ смотрѣть
На тѣ брега, ты ихъ умѣлъ воспѣть!
Героевъ и боговъ страны чудесной
Прославить бы не могъ писатель прѣсный.
А вы, друзья, диковинныхъ камней
Сокрытый блескъ предъ свѣтомъ нашихъ дней
Раскрывшіе! Сотрудники-витіи,
Вплетавшіе въ гирлянды Іоніи
Изъ Аттики цвѣтовъ прелестныхъ рядъ!
Какъ сладокъ ихъ тончайшій ароматъ,
Какъ онъ языкъ родной нашъ украшаетъ!
Вашъ благородный геній пріучаетъ
Къ мелодіямъ эллинскимъ нашъ Парнасъ,—
Но чуждыхъ намъ не надобно прикрасъ!

Ахейскую цѣвницу золотую
Оставьте вы—и вспомните родную!
Вотъ имъ-то честь должна принадлежать
Поэзіи законъ возстановлять;
Но только бардовъ этихъ пѣснопѣнье
Пусть не напомнитъ пошлыя творенья
Намъ Дарвина, сонливаго пѣвца,
Стиховъ пустыхъ великаго творца.
Вся мишура кимваловъ позлащенныхъ
Не веселитъ очей намъ утомленныхъ,
А пѣнье ихъ нашъ слухъ не веселитъ;
Сначала затмевалъ ихъ гордый видъ
Простыя лиры, но потомъ съ годами
Открылась мѣдь подъ золотомъ мѣстами,
И растворился легкихъ сильфовъ рой
Въ сравненіяхъ, въ болтливости пустой.
Пусть барды той манеры избѣгаютъ,
Пусть съ Дарвиномъ тѣ формы умираютъ:
Фальшивый блескъ сначала тѣшитъ насъ,
Но вслѣдъ за тѣмъ усталый рѣжетъ глазъ.
Пусть не идутъ они стезей вульгарной
Вордсвортовой поэзіи бездарной,
Что кажется намъ лепетомъ дѣтей,
А Лэму съ Ллойдомъ кажется нѣжнѣй
Мелодіи небесной. Но—молчанье!—
Мои права столь малы на вниманье,
И безъ меня талантъ свой путь найдетъ
И бардовъ пѣснь къ Олимпу вознесетъ.

О, Вальтеръ Скоттъ, пусть твой оставитъ геній
Кровавую поэзію сраженій
Ничтожествамъ! Пусть ожиданье мзды
Ихъ вдохновляетъ жалкіе труды!
Талантъ вѣдь самъ всегда себя питаетъ.
Свои сонеты Соути пусть кропаетъ,
Хотя къ веснѣ и такъ ужъ каждый годъ
Его обильной музы зрѣетъ плодъ.
Вордсвортъ поетъ пусть дѣтскія рулады,
Пускай Кольриджа милыя баллады
Груднымъ младенцамъ навѣваютъ сны;
Льюисовой фантазіи сыны
Въ читателей пускай вселяютъ трепетъ;
Пусть стонетъ Муръ, а Мура сонный лепетъ
Пускай Странгфордъ безсовѣстно крадетъ
И съ клятвою Камоэнсомъ зоветъ.
Пускай Гейлей плетется хромоногій,
И Монгомери бредъ несетъ убогій,
И Граммъ-ханжа пускай громитъ грѣхи,
И полируетъ Боуль свои стихи,
Въ нихъ до конца и плача и вздыхая;
Карлейль, Матильда, Стоттъ,—вся банда злая,
Что населяетъ сплошь теперь Грубъ-Стритъ
Или Гросвеноръ-Плэсъ—пускай строчитъ,
Покуда смерть отъ нихъ насъ не избавитъ



КИРКЪ УАЙТЪ (Kirke White).

Съ портрета въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

Иль здравый смыслъ молчать ихъ не заставитъ.
Ужель къ тебѣ, нашъ славный Вальтеръ Скоттъ,
Языкъ ничтожныхъ рифмачей идетъ?
Ты слышишь-ли призывъ проникновенный?
Давно ужъ звуковъ лиры ждутъ священной
И девять музъ, и вся твоя страна,—
А лира та тебѣ вѣдь вручена!
Иль Каледоніи твоей преданья
Тебѣ съумѣли дать для воспѣванья
Лишь похожденья клана молодцовъ,
Мошенниковъ презрѣнныхъ и воровъ,
Иль, сказочекъ достойныя Шервуда
И подвиговъ геройскихъ Робинъ Гуда,
Лишь темныя Мармьоновы дѣла?
Шотландія! Хотя твоя хвала
Пѣвца цѣннѣйшимъ лавромъ украшаетъ,
Но все-жъ его безсмертьемъ увѣнчаетъ
Весь міръ, не ты одна. Нашъ Альбіонъ
Разрушится, въ сонъ мертвый погруженъ.
Но не умретъ пѣвецъ нашъ вдохновенный!
О славѣ той страны благословенной,
Объ Англіи потомкамъ онъ споетъ
И передъ міромъ честь ея спасетъ.

Что-жъ заразитъ пѣвца одушевленьемъ,
Чтобъ на борьбу отважиться съ забвеньемъ?
Безъ удержу течетъ рѣка временъ
Со смѣною и націй, и племенъ;
Всегда кумиръ возносится толпою
И новому гремитъ хвала герою...
Но смѣнитъ сынъ отца, а дѣда внукъ—
И гдѣ-жъ поэтъ, гдѣ громкой лиры звукъ?
Ото всего, что раньше такъ цѣнилось,
У насъ лишь имя смутно сохранилось!
Когда трубы побѣдной смолкнетъ громъ,
Смолкаетъ все, спитъ эхо крѣпкимъ сномъ.
Какъ фениксъ на кострѣ, вдругъ слава вспыхнетъ,
Свой позднiй ароматъ отдастъ—и стихнетъ...

А гдѣ-же Гранты черные сыны,
Любители научной глубины
И каламбуровъ пошлыхъ? Неужели
И эти къ музѣ подойти посмѣли?
Но нѣтъ, смотри: отъ нихъ она бѣжитъ,
Ситоновъ призъ ее не поразитъ,
Хотя теперь печатными станками
Владѣетъ Горъ съ позорными стихами
И жалкій Гойль... (не тотъ, что такъ помогъ
Картежникамъ: для тѣхъ не важенъ слогъ!)
Кого-же слава Гранты соблазняетъ,
Тотъ пусть ея Пегаса осѣдлаетъ;
Клянусь, оселъ достопочтенный сей
Вполнѣ достоинъ матери своей.
О, Гранта, вѣрь: твой Геликонъ безводный
Темнѣй, чѣмъ Кэмъ съ его волной холодной.

Вотъ тратитъ Кларкъ свой безполезный трудъ,
Чтобъ нравиться,—забывъ, что не ведутъ
Его стихи къ ученому диплому!
Въ сатирика играя попустому,
Даетъ намъ шутъ—что мѣсяцъ, то памфлетъ,
Онъ, поставщикъ скандаловъ для газетъ;
Тамъ пасквиль тиснетъ, слухъ тамъ пуститъ ложный,—
На родъ людской самъ пасквиль онъ ничтожный.

Вандальской расы мрачное жилье,
Науки гордость, горькій срамъ ея!
Ты ужъ давно далекимъ Фебу стало,
Годжсона стихъ тебѣ поможетъ мало,
Гьюсона пѣснь тебѣ не пособитъ!
Но тамъ, гдѣ волны чистыя струитъ
Прозрачная Изида,—тамъ порою
Играетъ муза съ рѣзвою волною
И въ тишинѣ зеленыхъ береговъ
Вѣнки сплетаетъ изъ лѣсныхъ цвѣтовъ,
Чтобъ увѣнчать пѣвца за посѣщенье
Ея священныхъ рощъ съ зеленой сѣнью.

Вотъ тамъ Ричардсъ огонь свой почерпалъ
И про дѣла намъ предковъ разсказалъ.

Коль я сказалъ, не слыша приглашенья,
Все, что давно извѣстно, безъ сомнѣнья;
Коль объявилъ жестокую войну
Я олухамъ, позорящимъ страну,—
Виной тому любовь моя къ народу,
Любимцу музъ, влюбленному въ свободу...
О, Англія! Когда-бъ пѣвцы твои
Съ тобой равняли доблести свои!
Являешься предъ изумленнымъ міромъ
Аѳинами въ наукахъ, въ славѣ—Тиромъ,
Въ военной силѣ—Римомъ ты всегда!
Тебѣ покорны суша и вода..
Но гдѣ-жъ теперь премудрыя Аѳины?
О славѣ Рима помнятъ лишь руины,
Колонны Тира скрылись подъ водой...
Чтобъ не случилось этого съ тобой,
О, Англія,—чтобъ мощь не расшаталась,
И чтобъ ты въ прахъ съ вѣками не распалась!..
Но я молчу. Зачѣмъ мнѣ продолжать?
Кассандру мнѣ къ чему изображать?
Вѣдь слишкомъ поздно мнѣ, какъ ей, повѣрятъ;
Пусть наши барды съ родиной раздѣлятъ
Ея средь странъ и славу и почетъ—
Лишь къ этому ихъ пѣснь моя зоветъ.

Несчастная Британія! Богата
Мужами ты, что гордость для сената—
Потѣха для толпы. Живутъ они
Тебѣ на славу долгіе пусть дни
Ораторы пусть фразы разсыпаютъ,
О здравомъ смыслѣ пусть заботъ не знаютъ,
Пусть Каннинга пилятъ за умъ, и спитъ
Въ томъ креслѣ Портландъ, гдѣ сидѣлъ нашъ Питтъ!

Теперь прощай, покуда вѣтръ прибрежный
Не натянулъ мой парусъ бѣлоснѣжный.
Брегъ Африки мой встрѣтитъ скоро взоръ,
Кельпэ напротивъ цѣпь откроетъ горъ,
Затѣмъ луна Стамбула засіяетъ.
Но путь туда корабль мой направляетъ,
Гдѣ красоту впервые міръ позналъ,
Гдѣ надъ громадой величавой скалъ
Возноситъ Каффъ корону снѣговую...
Когда-жъ я вновь узрю страну родную,
Ничей станокъ меня не соблазнитъ,—
Что видѣлъ я—дневникъ мой сохранитъ.
Пусть свѣтскій франтъ свои замѣтки съ жаромъ
Печатаетъ, соперничая съ Карромъ;
За славою пусть гонится Эльджинъ,
Ее въ обломкахъ ищетъ Эбердинъ!

Пусть деньгами сорятъ они безъ счета
На статуи лже-Фидьевой работы
И изъ своихъ пускай они дворцовъ
Устроятъ рынокъ древнихъ образцовъ.
Иные пусть въ бесѣдѣ диллетантской
О башнѣ намъ повѣдаютъ троянской;
Топографомъ пусть будетъ старый Джель,
Хвала ему! Зато моя свирѣль
Не истерзаетъ вкусъ вашъ прихотливый,
По крайней мѣрѣ,—прозой кропотливой.

Разсказъ спокойно я кончаю свой,
Готовый встрѣтить гнѣвъ задѣтыхъ мной.
Трусливостью позорной не страдая,
Сатиру эту я своей признаю;
Не приписалъ никто ее другимъ.
Мой смѣхъ знакомъ на родинѣ инымъ:
Вѣдь голосъ мой вторично ужъ раздался,
Отъ словъ своихъ ужель я отпирался?
Такъ прочь-же, прочь, таинственный покровъ!
Пусть на меня несется стая псовъ!
Пугать меня—напрасныя старанья,
Я не боюсь Мельбурнскаго оранья,
Мнѣ ненависть Галлама не страшна,
Какъ Лэма гнѣвъ, Голландова жена,
Невинные Джеффрея пистолеты,
Эдины пылкой дюжіе атлеты,
Ея молніеносная печать!
Не такъ легко со мной имъ совладать!
Тѣ молодцы, въ плащахъ, получатъ то же,
Почувствуютъ, что ихъ живая кожа
Нѣжнѣе, чѣмъ резиновая ткань.
Отдамъ и я, быть можетъ, битвѣ дань,
Но постою, покуда хватитъ силы.
А были дни,—ни разу не сходила
Язвительность съ невинныхъ губъ моихъ,—
Вѣдь желчь потомъ ужъ пропитала ихъ!
И не было вокругъ меня творенья,
Что-бъ вызвало во мнѣ одно презрѣнье.
Я зачерствѣлъ... теперь не тотъ ужъ я,
Безслѣдно юность канула моя;
Я научился думать справедливо
И говорить, хоть рѣзко, но правдиво.
Я критика съумѣю осмѣять,
Безжалостно его колесовать
На колесѣ, что мнѣ онъ назначаетъ;
Коль цѣловать мнѣ плетку предлагаетъ



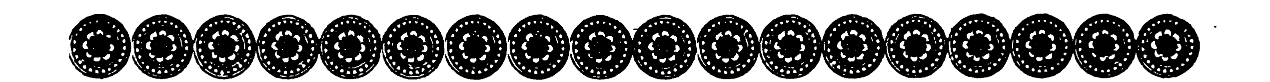
КРАБЪ (Crabbe).

Съ портрета Чэнтри (Sir Francis Chantrey, R. A.) въ лондонской національной портретной галлереѣ (National Portrait Gallery).

Какой-нибудь трусливый рифмоплетъ,
Отпоръ живой онъ у меня найдетъ.
Пренебрегать привыкъ я похвалами,
Пускай сидятъ съ нахмуренными лбами
Соперники-поэты. Я бы могъ
Теперь свалить изъ нихъ любого съ ногъ!
Во всеоружьѣ, со спокойнымъ взоромъ,
Бросаю я перчатку мародерамъ
Шотландіи и англійскимъ осламъ!

Вотъ что сказать осмѣлился я вамъ.
Безстрастное другіе скажутъ мнѣнье,—
Нанесено-ль здѣсь вѣку оскорбленье;
Пусть въ публикѣ стихи мои найдутъ
Безжалостный, но справедливый судъ!..

С. Ильинъ.



На тему изъ Горація.

(Hints from Horace).

Подражаніе эпистолѣ „Ad Pisones, de arte poëtica" и продолженіе „Англійскихъ бардовъ и шотландскихъ обозрѣвателей".

Ergo fungar vice cotis, acutum
Reddere quae ferrum valet, exsors ipsa secundi.
Horatius, De arte poëtica, II. 304, 305.

Стихи—трудная вещь; это упрямая вещь, сэръ.
«Амелія», Фильдинга. Т. III, книга и глава V.

Когда бы Лауренсъ, даръ свой унижая,
Любымъ портретомъ пачкалъ полотно,
И кисть его, природу обижая,
Кентаврами людей изображая,
Кривлялась бы,—всѣмъ было бы смѣшно.
Иль если бы, рисуя миньятюру
И фрейлины изобразивъ фигуру,
Художникъ къ ней придѣлалъ рыбій хвостъ;
Иль если бы безсовѣстный Дюбостъ,—
Какъ это мы и видѣли недавно,—
Сердитой кистью гнусно и безславно
Созданья Божьи вздумалъ унижать,—
То никакая вѣжливость сужденья,
Щадя глупцовъ и всѣ ихъ заблужденья,
Насъ не могла бъ отъ смѣха удержать.
Повѣрь мнѣ, Мосхосъ, что такой картины
Ничѣмъ не лучше книга, гдѣ поэтъ
Свалилъ нескладно въ кучу всякій бредъ,
Нагромоздивъ безъ связи, безъ причины
Больной кошмаръ, наборъ нелѣпыхъ словъ
И образы безъ ногъ иль безъ головъ.

Поэты и художники, безспорно,
Имѣютъ право, лукъ напрягши свой,
Пускать стрѣлу упругой тетивой;
Я самъ прошу у публики покорно
Прощенья въ томъ, что радъ простить другимъ,
Но пусть всегда приличье мы хранимъ
И здравый смыслъ; пусть изъ прелестной дамы
Не сдѣлаемъ урода никогда мы,
Ни птицамъ — змѣй рождать, ни тиграмъ злымъ—
Ягнятъ невинныхъ няньчить не велимъ.

Солидныя и длинныя вступленья,
Какъ патріотовъ рѣчи, заурядъ
Плохимъ концомъ читателя дарятъ,
А вычурность и пышность изложенья—
Безсмыслицу скрываетъ; такъ порой
Нахальство путь прокладываетъ свой
Подъ маскою законной. Напрягая
Свои всѣ силы, стихотворцевъ стая
Спѣшитъ воспѣть лепечущій ручей,
Долину Гранты, замокъ королей,
Цвѣтныя окна, стрѣльчатые своды
И Кема быстро льющіяся воды,
Иль радугу вдругъ славитъ въ рядѣ строкъ,
Иль даже—Темзы царственный потокъ.

Вы дерево нарисовать, быть можетъ,
Съумѣете; но если кто предложитъ
Вамъ написать крушенье корабля,—
То, зрителю картину посуля,
Дадите вы мазню—нельзя плачевнѣй,
Лишь годную на вывѣску въ харчевнѣ.
Рисуете ль вы вазу,—все невпрокъ:
Совсѣмъ не ваза выйдетъ, а горшокъ.
Въ концѣ концовъ, забытый и голодный,
Бѣжитъ въ Гребъ-Стритъ поэтъ нашъ превосходный,
Осмѣянный журналами, чей судъ
Опасенъ лишь—когда они не лгутъ.

Да! Что ни нарисуйте, что ни дайте,—
Лишь простоту и цѣльность наблюдайте.

У большинства поэтовъ есть бѣда
(Прислушайся, мой другъ: вѣдь иногда
Строчилъ и ты),—какой-то рокъ ихъ странно
Отъ цѣли отвлекаетъ безпрестанно,

НА ТЕМУ ИЗЪ ГОРАЦІЯ.

Заботится ль о краткости поэтъ,—
Такъ ясности въ его поэмѣ нѣтъ;
Старается ль парить въ высокой сферѣ,—
Становится надутымъ въ высшей мѣрѣ;
Изяществомъ иной блеснуть бы радъ,—
Лишь дѣланность и сухость—результатъ;
Иной, боясь лишиться почвы вѣрной,
Плететъ разсказъ съ подробностью чрезмѣрной;
Иной украсить хочетъ свой разсказъ
Разнообразьемъ,—и, глядишь, какъ разъ
Ошибся: рыбъ въ лѣсу онъ поселяетъ,
Кабанъ же—въ морѣ у него гуляетъ!

Чей умъ не изощренъ, въ комъ такта нѣтъ,—
Тому и осторожность лишь во вредъ:
Нѣтъ полноты ни въ чемъ, вездѣ пробѣлы;
Такъ шьетъ портной бездарный, неумѣлый:
Онъ шаровары сдѣлаетъ кой-какъ,
Но осрамится, если нуженъ фракъ.
Нескладное такое сочиненье
Не то же ли,—скажу свое я мнѣнье,—
Какъ еслибъ дивный Аполлоновъ станъ
Къ твоимъ ногамъ приставили, Вулканъ,
Иль еслибы атлетъ, черноволосый
И черноглазый, былъ притомъ—курносый?
Писатели! Касайтесь темъ своихъ
По силамъ, взвѣсивъ суть и важность ихъ!
Обдумайте, снесутъ ли ваши плечи
То, что избрали вы предметомъ рѣчи.
Лишь тотъ поэтъ, чей выборъ былъ уменъ,
Въ своихъ созданьяхъ будетъ награжденъ
Всѣхъ ясныхъ мыслей стройностью, порядкомъ
И остроумьемъ, въ упоеньи сладкомъ;
Изященъ онъ въ полетѣ думъ своихъ,
Простъ слогъ его и музыкаленъ стихъ.

Пусть скажетъ тактъ ему, чтобъ, мѣру зная,
Пополнить онъ всѣ пропуски умѣлъ;
Одно вводя, другое отклоняя,
Чтобъ въ выборѣ онъ былъ не слишкомъ смѣлъ;
А если скажетъ новое онъ слово,—
Его одобрить общество готово.
И вообще не бойтесь новыхъ словъ,
Иль терминовъ, извѣстныхъ очень мало,
Иль старыхъ словъ, которыхъ не бывало
Въ употребленьи много ужъ годовъ.
Примѣръ намъ — Питтъ: онъ далъ намъ два-три слова,
Которыя для словарей—обнова;
Вводите же и вы обновы въ свѣтъ,—
Не слишкомъ часто только, мой совѣтъ.

Теперь словъ новыхъ много вводятъ разомъ,
Къ французскимъ ихъ пристегивая фразамъ.
Что дѣлалъ Чосеръ, Спенсеръ,—отчего бъ
Того не сдѣлалъ Драйденъ или Попъ?
Что сдѣлалъ Питтъ и Вальтеръ-Скоттъ,— къ тому же
Способны и другіе, ихъ не хуже;
Скоттъ—риѳмами, Питтъ зычностью рѣчей
Обогатилъ языкъ земли своей,
И что парламентъ признаётъ законнымъ,—
То не сочтетъ писатель запрещеннымъ.

Какъ опадаетъ осенью листва,
Такъ отцвѣтутъ и модныя слова;
Настанетъ срокъ, когда—увы—и сами
Исчезнемъ мы съ дѣлами и словами!
Пусть для торговли, волей королей,
Смиряемъ мы ревущихъ рѣкъ стремнины,
Пусть осушаемъ влажныя равнины,
Чтобъ изъ болотъ создать красу полей;
Пусть гаваней хлопочетъ рать живая,
Суда отъ волнъ свирѣпыхъ укрывая,—
Все, все погибнетъ! Письменность одна
Едва хранитъ былыя времена.
Такъ многому упадокъ неминучій
Грозитъ, иное—снова оживетъ,—
Какъ повелитъ обычай: онъ, могучій,
Мѣняетъ рѣчь, мѣняетъ жизни ходъ.

Безсмертныя межъ ангеловъ сраженья
Не разсказалъ ли въ пѣсняхъ нашъ Мильтонъ?
Высокій намъ примѣръ изображенья
Вещей священныхъ въ нихъ оставилъ онъ.
Любовный плачъ, пригодный для романсовъ,
Иль скорбь о другѣ — вотъ предметъ для стансовъ;
Но что, скажите, лучше: бѣлый стихъ,
Иль риѳма? Что, по вашему, изъ нихъ
На Геликонѣ рангомъ выше будетъ?
Пускай объ этомъ критика разсудитъ,
Шумя и ссорясь; столь же щекотливъ
Вопросъ подобный, какъ къ суду призывъ.

Что до стиховъ сатиры, полныхъ яда,
То ихъ источникъ—личная досада.
Порукой въ этомъ—слава нашихъ странъ:
Попъ, Драйденъ, славный Дублинскій деканъ.

Стихъ бѣлый сталъ,—хоть пишутъ имъ немного,—
Стихомъ трагедій съ нѣкоторыхъ поръ.
Въ дни Драйдена безумный Альманзоръ
Безъ риѳмъ не могъ промолвить монолога,
А нынѣ нѣтъ примѣра, чтобъ герой

Надсаживалъ, риѳмуя, голосъ свой.
Комедія, по скромности натуры
Стихи совсѣмъ покинувъ, завела
На мѣсто ихъ смѣшные каламбуры
И къ самой плоской прозѣ перешла;
Не то, чтобъ наши Бэны и Бомоны,
Боясь стиховъ, въ нихъ видѣли препоны,—
Но Таліи такъ вздумалось. И вотъ
Бранятъ бѣдняжку разъ по двадцать въ годъ!

Во всякой сценѣ надо помнить ясно,
Чтобъ вашъ герой, что ни сказалъ бы онъ,
Рѣчь велъ бы съ ходомъ дѣйствія согласно:
Порою нужно свой протяжный стонъ
Унять на время Мельпоменѣ грозной,
А Таліи шутливой—быть серьезной;
И помните, чтобъ также Тонли злой
Лишь во-время возвысилъ голосъ свой.
У самого Шекспира въ каждой драмѣ
Рѣчь королей изложена стихами,
Простыя жъ вещи—прозою простой;
И рѣзвый Галь передъ отцомъ вѣнчаннымъ
Иль Го́тспоромъ, отвагой обуяннымъ,
„Кричащимъ въ ухо" вызовъ боевой,—
Съ достоинствомъ рѣчь держитъ, какъ герой.

Поэты! Мало, если только гладки
Стихи у васъ: плѣнительны и сладки
Должны быть ваши пѣсни; гласъ пѣвца
Глубоко долженъ трогать намъ сердца.
Читателя печальте иль смѣшите,—
Все, что угодно: лишь не спалъ бы онъ.
Грустить готовъ я, только—не взыщите—
Сперва пусть авторъ будетъ удрученъ.

Когда бъ Ромео, удалясь послушно
Въ изгнанье, скорбь намъ выразилъ свою
Лишь пѣсней въ родѣ „баюшки-баю",—
Смѣялся бъ я иль спалъ бы равнодушно.
Печальной рѣчи свойственъ грустный видъ,
Затѣмъ, что грусть людей не веселитъ.
Двусмысленность улыбку вызываетъ,
Чувствительность—мечты намъ навѣваетъ;
Міръ внутренній природа намъ дала:
Воспроизвесть его—актера дѣло,
Чтобъ душу намъ игра его зажгла,
Чтобъ сердце въ насъ восторгомъ пламенѣло,
То до небесъ порывъ вздымая свой,
То въ бездну горя падая съ тоской.
Чтобъ чувствамъ дать возможность выраженья,
Дала природа средство намъ,—языкъ,
Который, впрочемъ, въ силу увлеченья
Нерѣдко мѣру забывать привыкъ
И здравый смыслъ (театръ я разумѣю);
И вотъ смѣшитъ онъ часто галлерею,
Партеръ и ложи, вызвавъ шумъ и громъ
Апплодисментовъ,—только не умомъ.

Пусть авторъ помнитъ (въ томъ его умѣнье),
Гдѣ дѣйствіе идетъ: въ средѣ простой
Иль при дворѣ, улыбкой иль слезой
Произвести онъ хочетъ впечатлѣнье;
Не все равно для сцены, кто на ней
Является: „Лиръ", или „Лгунъ лакей",
Юнецъ кутила, иль мудрецъ степенный,
Простой Джонъ Буль иль „Перегринъ" почтенный;
Но если въ нихъ естественность видна,
То всѣ успѣхъ имѣютъ превосходный,—
Ирландецъ ли, шотландецъ ли природный,
Вэльсъ или Вильтсъ родная ихъ страна.

Иль слѣдуйте преданьямъ, иль умѣло
Давайте намъ и выдумку порой.
Толпѣ, до зрѣлищъ жадной, что за дѣло,—
Жилъ или нѣтъ сценическій герой?
Одинъ рецептъ всегда приводитъ къ цѣли:
Пишите такъ, какъ быть могло бъ на дѣлѣ.

Положимъ, что герой вашъ—Дрокенсэръ;
Такъ пусть же онъ собою дастъ примѣръ
Неистовства превыше всякой мѣры;
Иль нуженъ вамъ типъ женщины-мегеры:
Тогда Макбета гордая жена,
Какъ образецъ прекрасный, вамъ годна.
Такъ для всего легко найти примѣры:
Для слезъ, коварства, для добра и зла—
Констанція, злой Ричардъ, принцъ несчастный
Гамлетъ и Дьяволъ — типовъ рядъ прекрасный;
Но если мысль вамъ новая пришла
И прочь свернули съ торной вы дороги,—
Тогда къ своимъ героямъ будьте строги,
Чтобъ выдержать, съ начала до конца,
Типъ и характеръ каждаго лица.

Хоть мудрено тягаться съ корифеемъ
И старой темой вновь увлечь умы,
Но лучше взять старье, чѣмъ если мы,
Взявъ новое, съ нимъ сладить не съумѣемъ.
Но подражать совѣтую я вамъ
Не слишкомъ близко,—мыслямъ, не словамъ,
Не частностямъ, а общему, умѣя
Лишь выбрать то, что лучше и цѣннѣе.

Ты, юный бардъ, кому судьба грозитъ,
Быть можетъ, тѣмъ, чего боимся всѣ мы:
Увидѣть, что, прочтя твоей поэмы
Десятокъ строфъ, уже читатель спитъ,—
Храни тебя Создатель отъ вступленья
Такого, какъ у Бо́ульса; онъ поетъ:

НА ТЕМУ ИЗЪ ГОРАЦІЯ.

„Проснись, о духъ высокій пѣснопѣнья!"
А дальше что хорошаго даетъ
Мозгъ воспаленный? Падаетъ онъ сразу,
Уподобляясь плоскому разсказу
Во вкусѣ Соути: здѣсь и тамъ, глядишь,
Гора всегда рождаетъ только мышь!
Не такъ будилъ когда-то вдохновенный
Великій мастеръ лиры звукъ священный
И сладко пѣлъ про райскіе сады,
„Грѣхопаденье и его плоды".
Поетъ—и вторитъ пѣснѣ несравненной
Земля, и адъ, и небо всей вселенной;
И прямо къ дѣлу насъ ведетъ поэтъ,
Безъ предисловій,—въ нихъ нужды намъ нѣтъ.
Отброшено все то, что не прекрасно
Иль съ грандіознымъ планомъ не согласно;
Не фейерверкъ дымящій видимъ мы,
А яркій свѣтъ, струящійся изъ тьмы,
И вымыселъ великій повсемѣстно
Слитъ съ правдою нераздѣлимо тѣсно.

Чтобъ угодить толпѣ, вы знать должны,
Что любо слуху гидры многоглавой.
Плѣнились вы апплодисментовъ славой
Въ тотъ мигъ, когда, спускаясь съ вышины,
Внизъ занавѣсъ стремится? Чтобы это
Вамъ заслужить,—послушайтесь совѣта:
Природу наблюдайте,—всѣхъ людей,
Всѣхъ возрастовъ черты до мелочей.
Разнообразье міра безконечно,
И сказка жизни, хоть пуста, мала
И много разъ разсказана была,—
Но будетъ вновь разсказываться вѣчно.
Сперва картина дѣтства свѣтлыхъ дней,
Игръ и проказъ, и сверстниковъ-друзей;
Тамъ—молодость и поздніе уроки
Расплаты злой за ранніе пороки.
Вотъ новичекъ ужь больше не кряхтитъ
Подъ бременемъ „чертовской" Энеиды
И собственныхъ стиховъ; ему претитъ
Наука, съ чувствомъ скуки и обиды
Онъ поученья слушаетъ,—и вотъ,
Тебя покинувъ, Тэвелль, онъ идетъ
Кутить себѣ, а Тэвелль нашъ, бѣдняга,
Несчастенъ! Что ни день, то передряга:
То бойся дракъ среди птенцовъ своихъ,
То вдругъ медвѣдь живетъ въ гостяхъ у нихъ!
Ни туторы, ни штрафы, ни задачи
Не укротятъ юнцовъ народъ горячій:
Имъ выше всѣхъ занятій и заботъ
Вопросъ о псахъ, дни скачекъ и охотъ.
Со старшимъ грубъ, со сверстникомъ мятеженъ,
Съ мерзавцемъ вѣжливъ, съ кошелькомъ небреженъ,
Игрѣ да дѣвкамъ вѣренъ лишь всегда
(Хоть и на нихъ проклятье иногда
Онъ изрыгаетъ: горя, вѣдь, не мало
Ему порой отъ нихъ перепадало),
Невѣжественъ (онъ книгу лишь беретъ,
Когда болѣзнь къ постели прикуетъ),
Кругомъ въ долгахъ, ограбленъ, одураченъ,—
Вотъ отбылъ онъ весь срокъ, какой назначенъ,
И, если раньше онъ не выгнанъ былъ,
Глядишь—магистра степень получилъ!
Какой почетъ! Какъ щеголять имъ любо
Въ глазахъ гулякъ притона или клуба!

Вступая въ жизнь, огонь растративъ свой,
Со своего отца онъ обезьянитъ;
Женясь на деньгахъ, знатныхъ руку тянетъ
И туго вѣритъ банкамъ нашъ герой;
Онъ молчаливъ и любитъ лишь бесѣду
Тогда, когда онъ приглашенъ къ обѣду;
Въ сенатѣ онъ сидитъ, по временамъ
Вотируетъ; наслѣдника и сына
Шлетъ въ Гàрро, ибо самъ учился тамъ;
А сынъ его—отличнѣйшій дѣтина:
Плутяга, вѣрно, пэромъ будетъ самъ!

Вотъ онъ ужъ старъ; дрожатъ его колѣна;
Со сцены сходитъ онъ (вѣрнѣе—сцена
Уходитъ отъ него); онъ жаденъ сталъ
И увеличить хочетъ капиталъ:
Теперь лишь въ этомъ всѣ его стремленья.
Не выдастъ пенни онъ безъ сожалѣнья,
Съ улыбкой сотню къ сотнѣ онъ кладетъ
И тщетно злится, если срокъ придетъ
Платить долги сынка—надежды рода;
То онъ продастъ, то купитъ для дохода;
Во всемъ онъ свѣдущъ, кромѣ одного:
Что хоронить пора уже его.
Сварливъ и желченъ, мыслей полнъ суровыхъ,
Всѣ времена онъ хвалитъ, кромѣ новыхъ;
Дрянной брюзга, забытъ, покинутъ,—вотъ
Ужъ умеръ онъ,—и пусть себѣ гніетъ!

Но возвратимся къ драмѣ. Въ дополненье
Свое подробнѣй разовью я мнѣнье,
Хоть, можетъ быть, и надоѣлъ я вамъ.
Конечно, легче вызвать слезы дамъ
И грубыя сердца привесть въ волненье
Посредствомъ зрѣлищъ, чѣмъ посредствомъ словъ;
Но все же я настаивать готовъ,
Что многіе сюжеты превосходны
Для повѣсти, для сцены жъ—непригодны.
Что сносно слуху, то порой для глазъ

Мучительно и вызываетъ въ насъ
Не жалость ужъ, а страхъ и отвращенье.
Я—кровный бриттъ, но здѣсь, какъ исключенье,
Готовъ я быть французомъ: кровь должна
Со сцены быть совсѣмъ исключена,
И битвы гладіаторовъ на сценѣ,
Пожалуй, также подлежатъ отмѣнѣ;
Интрига нашъ не оскорбляетъ взглядъ,
Убійства же и раны—намъ претятъ.
Злодѣй Макбетъ хоть въ ужасъ насъ приводитъ,
Убійство все жъ за сценой происходитъ;
Вотъ выжечь Губертъ сумрачный грозитъ
Глаза малюткѣ бѣдному Артуру...
Что жъ, развѣ намъ не страшенъэтотъ видъ,
Не оскорбляетъ нашу онъ натуру?
Разъ героиню Джонсонъ захотѣлъ
Повѣсить и веревку ей надѣлъ:
Тутъ мы спасти съумѣли жизнь Ирены,
Но пьесу чуть не выгнали со сцены.
Хвала Творцу! Такъ кротокъ и терпимъ
Нашъ новый вѣкъ, что, кромѣ пантомимъ,
На сценѣ даже нѣтъ и превращеній;
И самъ Льюисъ, съ толпою привидѣній,
Хоть смѣлость онъ и доказалъ свою,
Рискнетъ ли негра превратить въ змѣю?
Будь дѣйствіе печально, будь пріятно,—
Лишь только было бъ не невѣроятно!
Но авторовъ, однако, знаю я,
Которые—Создатель имъ судья—
Согласны даже, чтобъ ихъ героини,
Эффекта ради, были цвѣтомъ сини!

А главное, почтеннѣйшій поэтъ,
Прошу васъ,—излагайте свой предметъ
Съ участьемъ только смертнаго народа;
Не призывайте призраковъ,—иль вамъ
Бѣжать придется къ потайнымъ дверямъ
Для быстраго невольнаго ухода.
Но изъ всего, что я бы запретилъ,
Еще сильнѣй, чѣмъ Деннисъ,—отвращенье
Я къ оперѣ имѣю: свыше силъ
Мнѣ слушать это злыхъ и добрыхъ пѣнье,
Въ которомъ есть и радость, и печаль,
Любовь, вражда, все—только не мораль!
Хвалю декретъ послѣдній иностранный,
Въ Гесперіи и въ Галліи желанный!
Конечно, твой эдиктъ, Наполеонъ,
Не помѣшаетъ съ пользой вывезть вонъ
Шпіоновъ, дѣвокъ и пѣвцовъ. Безъ мѣры
Расширилась столица наша; скверы
Пестрѣютъ тамъ, гдѣ сѣялись хлѣба
Крестьянами (теперь же ихъ судьба—
Молить о хлѣбѣ); но, хоть зломъ обиленъ
Нашъ Лондонъ, — онъ настолько щепетиленъ,
Что развлеченій онъ не признаетъ,
Которыя не вводятъ насъ въ расходъ.
Вотъ юркій купчикъ, заплативъ изрядно,
Оркестру внемлетъ: уши у него
Болятъ, но „bis“ кричитъ онъ безпощадно,
Чтобъ срокъ продлить мученья своего;
Вотъ въ переулкѣ Фопа между франтовъ
Толчется робко нашъ судья талантовъ
И бережетъ то шляпу, то сапогъ,
Чтобъ бѣдному не отдавили ногъ.
И такъ страдаетъ онъ безъ облегченья
Почти всю ночь и терпѣливо ждетъ,
Когда окончатся его мученья
И занавѣсъ, спускаясь, упадетъ.
Зачѣмъ же онъ страдаетъ такъ безплодно?
Затѣмъ, что это дорого и модно!

Такъ процвѣтаютъ цѣлые полки
Этрусской школы евнуховъ. Добавьте
Къ нимъ скрипачей, а тамъ имъ предоставьте
Играть и пѣть: найдутся дураки!
До той поры, когда монахи были
Актерами (что въ томъ? Вѣдь самъ Давидъ
Плясалъ передъ ковчегомъ, какъ гласитъ
Преданье намъ), какъ святки приходили,
Потѣшиться любилъ простой народъ
Обильемъ плясокъ, масокъ и остротъ.
Современемъ явились улучшенья,—
Веселый Пончъ и мистриссъ Джонъ занимъ:
Она съ безстыдствомъ прыгала такимъ,
Что странно, какъ избѣгла запрещенья
Со стороны Бенволіо она.
Лордъ-запретитель! Власть тебѣ дана
Пороки всѣ карать безъ исключенья:
Брань, драки, бѣдность,—все казнитъ твой судъ,
Лишь рауты и скачки пусть цвѣтутъ.

Вотъ фарсъ смѣнилъ комедію: вѣкъ Фута,
Смѣющагося вѣчно, тутъ насталъ.
Головорѣзъ! Осмѣивая люто
Не только то, что глупо и надуто,—
Онъ надъ серьезнымъ также хохоталъ.
Не избѣжали злыхъ насмѣшекъ яда
Ни армія, ни церковь, ни чины,
Ни судъ, ни моды новыя наряда.
Увы! Теперь тебя мы лишены,
Бѣдняжка Іорикъ! Прахъ нѣмой твой тлѣетъ...
Кто любитъ смѣхъ, о Футѣ пожалѣетъ.

Но кто бъ отъ смѣха удержаться могъ,
Высокопарный слыша діалогъ
Межъ двухъ шутовъ, одѣтыхъ королями,
Иль видя, какъ торжественно предъ нами
Идетъ на смерть Хрононхотонтологъ

И какъ Артуръ, грудь выпятивъ надменно,
Величествомъ быть хочетъ непремѣнно?
О Мосхосъ! Внозь съ тобой надѣюсь я
Еще сидѣть, какъ прежде, и смѣяться
Надъ глупостью, когда уже нельзя
Дѣйствительно смѣшныхъ остротъ дождаться!
Другъ, для тебя охотно бы, повѣрь,
Я бросилъ келью циника теперь
И, взявъ девизомъ Свифта изреченье,
Златое „Vive la bagatelle!“, опять
Я странствія готовъ бы предпринять
Въ краяхъ Эгея,—тамъ, гдѣ вдохновенье
Съ веселымъ мы умѣли съединять.
Пусть, жизнь твою лелѣя, Евфросина
Благословитъ и часъ послѣдній твой
И, если вдругъ сразитъ тебя кончина,
Пусть подъ твоей подушкой, милый мой,
Какъ у Платона, въ этотъ часъ тяжелый
Найдутъ о Мимахъ манускриптъ веселый!

Но къ драмѣ вновь! Лежитъ она безъ силъ:
Увы, ее вигъ Вальполь поразилъ!
И подѣломъ: такъ драма ослабѣла,
Что опера съ балетомъ одолѣла.
Но Честерфильдъ, чье бойкое перо
Громило смѣхъ, сражался за свободу
Для нашихъ пьесъ, хотя и не въ угоду
Вельможнымъ лбамъ, и тѣмъ творилъ добро
Въ ущербъ тупицѣ лорду-камергеру.
Но развѣ смѣхъ дозволенъ только пэру?
Нѣтъ, пусть на сцену вновь вернется смѣхъ:
Довольно горя дома есть у всѣхъ.
Пусть „Селлену“ рога вновь „Арчеръ“ ставитъ,
А „Эстифонья“ съ „Копперомъ“ лукавитъ;
Мораль плохая, но бѣды въ томъ нѣтъ;
Не все жъ мораль,—забавы ищетъ свѣтъ!
А если пьеса сгубитъ иль исправитъ
Кого нибудь,—тогда, конечно, онъ
Безъ Виллиса не могъ бы быть спасенъ.
Примѣръ Макхита? Полноте, онъ воромъ
Не сдѣлалъ никого: воръ раньше былъ
Такой, какъ есть. Пусть пуритане хоромъ
Бранятъ театръ, какъ Колльеръ имъ внушилъ:
Не лучше станутъ люди и не хуже
Изъ-за театра,—все придетъ къ тому же!
Оставьте жъ, методисты, вашъ походъ
И пусть нашъ Дрюри снова расцвѣтетъ!

Но ждать ли толку отъ ханжей, съ мозгами,
Которые навѣкъ изсушены?
Вѣдь кротости, внушенной небесами,
Небесъ земные слуги лишены!
Какъ патеры, такъ пуританъ отряды
Вернуть костры и пытки были бъ рады;
Какъ нѣкогда Сервета сжегъ Кальвинъ,
Такъ и теперь сгорѣлъ бы не одинъ.
Чу! Слышенъ звукъ Солимскаго напѣва:
Грѣха защитникъ, бойся вѣрныхъ гнѣва!
Слуга небесъ, любя, казнитъ народъ:
Насъ Бэкстеръ „тычетъ“, Симеонъ же—бьетъ.

Тотъ, чьимъ перомъ руководитъ природа,
Понятно пишетъ каждому уму;
Простакъ прочтетъ—и кажется ему:
Самъ написалъ бы вещь такого жъ рода!
Но если ногти авторъ нашъ грызетъ,
Въ чернилахъ пальцы пачкаетъ, изводитъ
Стопу бумаги,—то простой народъ
Въ его писаньяхъ смысла не находитъ.

Вѣкъ пасторали кончился: кто бъ могъ
Равняться Попу прелестью эклогъ?
Но все жь его и Филипса ошибки
(Одинъ, хоть былъ естественъ, грубымъ былъ,
Другой—во всемъ искусственность любилъ)
Легко покажутъ намъ, насколько зыбки
Усилья наши—холя красоту,
Съ ней наравнѣ хранить и простоту.

Въ нашъ вѣкъ изящныхъ вкусовъ, безъ сомнѣнья,
Писакъ вульгарныхъ ждетъ удѣлъ презрѣнья;
Что нравилось въ былыя времена,
Въ дни Свифта,—грязь и грубость выраженья,
Теперь толпа одобрить не склонна:
Не только людямъ свѣтскимъ и приличнымъ,—
Противна грязь и дворникамъ столичнымъ.

Но миръ ошибкамъ Свифтовымъ! Онъ спасъ
Своимъ умомъ всю грубость въ изложеньи
Своихъ сатиръ, и въ этомъ отношеньи
Ихъ выше лишь чудесный Гудибрасъ,
Чей авторъ первый, дѣло взвѣсивъ строго,
Нашъ длинный стихъ урѣзалъ на два слога,
И мы не меньше имъ увлечены,
Чѣмъ строчками значительной длины
На первый взглядъ въ стихѣ, лишь восьмисложномъ,
Намъ кажется едва-едва возможнымъ
Осуществить серьезныхъ думъ полетъ:
Казалось бы, онъ годенъ лишь для одъ;
Но Скоттъ съумѣлъ вопросы высшей сферы
Вмѣстить искусно въ краткіе размѣры,—

И вотъ узнали скоро всѣ о томъ,
Что краткій стихъ, въ разнообразьи вѣчномъ,
Взялъ верхъ надъ героическимъ стихомъ,
Особенно въ призывѣ боевомъ
Иль въ гимнѣ страсти, нѣжномъ и сердечномъ,
Гдѣ, въ колебаньи мѣрномъ, какъ волна,
Почаще риѳма слухъ ласкать должна.

Но большинство отвергло съ отвращеньемъ
Неправильность стиха: она мила
Немногимъ лишь. Съ извѣстнымъ снисхожденьемъ
Она бы быть допущена могла;
Но снисхожденье, вѣдь, всегда обидно:
Искать его британскимъ бардамъ стыдно.

Прилично ль, если пылкихъ думъ полетъ
Поэтъ, боясь цензуры, оборветъ?
Иль скромничать предъ критикой намъ надо,
Чтобъ „быть корректнымъ"? Жалкая награда!
Иль чтобъ поэтъ фразъ смѣлыхъ избѣгалъ,
Боясь ошибокъ, не ища похвалъ?
Кто о чистѣйшихъ образцахъ мечтаетъ,
Тотъ дни и ночи грековъ пусть читаетъ,
Хоть наши предки и не знали ихъ,
Язычниковъ, по простотѣ тогдашней
Довольствуясь поэзіей домашней;
И если кто былъ грамотенъ изъ нихъ,
То былъ доволенъ Чосеромъ иль Бэномъ.
То, что казалось вкусу ихъ отмѣннымъ,
Довольно было грубо, безъ прикрасъ
И безъ претензій, съ сальностью подчасъ;
Хорошъ ли былъ ихъ вкусъ,—рѣшать намъ трудно;
Сказать, что глупъ онъ—было бъ безразсудно,
Хоть вы и я, чей вкусъ развитъ, всегда
Изящество и пошлость безъ труда
Съумѣемъ разграничить; безъ сомнѣнья,
Когда хромаетъ складъ стихотворенья,
Не только ухо чувствуетъ разладъ,—
На ощупь даже стихъ шероховатъ.

Но какъ рѣшить, — о томъ возможны споры,—
Кто были наши первые актеры?
Возилъ ли ихъ, какъ Ѳесписа, фургонъ,
Пока театромъ не смѣнился онъ?
Но блескъ всегда любила наша сцена:
Такъ ввелъ Шекспиръ и такъ велитъ Джонъ Буль;
У насъ на тронъ не всходитъ Мельпомена
Безъ позолоты, перьевъ и ходуль.

Старинныя комедіи имѣютъ
Успѣхъ донынѣ, хоть и не совсѣмъ
Онѣ приличны въ обработкѣ темъ;
На сценѣ, впрочемъ, сглаживать умѣютъ
Излишнюю нескромность вольныхъ мѣстъ
И пропускать—гдѣ слово, а гдѣ жестъ.

Но ежели всѣ промахи оставимъ
Мы въ сторонѣ,—увидимъ, что у насъ
Поэты—очень дѣятельный классъ,
И выборъ темъ у нихъ богатъ. Прославимъ
Мы больше всѣхъ, конечно, тѣхъ изъ нихъ,
Которые въ созданіяхъ своихъ
Британскихъ темъ держались; предоставимъ
Тѣмъ, въ комъ изобрѣтательности нѣтъ,
У нѣмцевъ брать дѣйствительный сюжетъ,
Иль слѣдовать трескучему французу,
Тѣмъ унижая англійскую Музу.
Гдѣ, изъ живыхъ нарѣчій, хоть одно,
Которое намъ было бы равно
Въ поэзіи иль въ философскомъ дѣлѣ,
Когда бъ у насъ писатели умѣли
Отдѣлывать свой слогъ, не торопясь,
Какъ дѣлалъ Попъ, поэтовъ нашихъ князь?

Вы, критики, которые такъ падки
Разыскивать въ поэтахъ недостатки
И слишкомъ рѣзки въ строгости своей!
Самъ Демокритъ былъ васъ стократъ добрѣй:
Онъ думалъ лишь, что люди безтолковы,
А вы и впрямь съ ума насъ свесть готовы!

Сказать по правдѣ,—жалокъ и поэтъ
У насъ частенько: плохо онъ одѣтъ
И по недѣлямъ бороды не брѣетъ,
Ногтей остричь порядкомъ не умѣетъ;
На чердакѣ живетъ онъ, нелюдимъ
И бродитъ лишь по улицамъ глухимъ.

Немножко риѳмъ, хоть капелька разсудка,
И вы—поэтъ! Легко оно, какъ шутка!
Съ тѣхъ поръ пропала ваша голова:
Не исцѣлитъ васъ ни одна трава!
Какъ Вордсвортъ, міръ созданьями дивите,
Въ согласьи съ нимъ у озера живите,
Рости оставьте кудри безъ заботъ
И не ходите къ Блэку цѣлый годъ;
И вотъ—ужъ вамъ печатать книгу можно.
Явитесь въ городъ: тутъ, скажу не ложно,—
Въ одинъ моментъ узнавъ поэта въ васъ,
Мальчишки васъ начнутъ травить сейчасъ.
Но прежде, чѣмъ стихи писать, поэту
Не надобно ль послѣдовать совѣту,
Какъ дѣлалъ Бэйсъ, чтобъ просвѣтить свой умъ,—

НА ТЕМУ ИЗЪ ГОРАЦІЯ.

Слабительнымъ умѣрить тяжесть думъ?
Мнѣ, вѣрно, желчь смягчило бъ средство это,
Иль злѣй меня на свѣтѣ нѣтъ поэта.
Но—пусть слыву капризнымъ,—все стерплю,—
Такой цѣной я славы не куплю;
Нѣтъ, лучше скромно, какъ точильный камень,
Я притуплюсь, но навострю другихъ,
Особенно поэтовъ молодыхъ,
Чтобъ разгорѣлся въ нихъ искусства пламень;
Я сочинять совсѣмъ не буду самъ,
Но образцы и правила лишь дамъ:
Горацій намъ покажетъ, что прекрасно,
А мой примѣръ,—что плохо; это ясно.

Вопервыхъ, прежде, чѣмъ писать, всегда
Подумайте; у насъ о томъ не слишкомъ
Заботятся, судя по новымъ книжкамъ.
Затѣмъ—никакъ не будетъ вамъ вреда
Отъ изученья книгъ на тѣ же темы,
Какія вы избрали для поэмы.

Кто твердо знаетъ долгъ священный свой
Предъ родиной и ближними, умѣетъ
Прощать врагамъ и даръ притомъ имѣетъ
Всѣхъ радовать привѣтливой душой,—
Будь это братъ, отецъ иль гость чужой;
Кто принимаетъ просто съ чувствомъ мѣры,
Законы наши, судъ и форму вѣры,
Какъ есть они, и глотки не деретъ,
Чтобъ наградить реформами народъ;
Кто склоненъ къ дѣлу, не къ рѣчамъ фразистымъ,
Кто не устами мудръ, а сердцемъ чистымъ,—
Тотъ пусть для васъ послужитъ образцомъ:
Достоинъ онъ прославленъ быть пѣвцомъ.

Порою шутка рѣзвая, живая,
Безхитростна, красива и проста,
Прочнѣй царитъ въ умахъ, въ нихъ вызывая
Веселость, чѣмъ иная острота,
Которая искусна, но пуста.
О Греція, теперь ты такъ несчастна!
Но въ древности сыны твоей земли
Сынами музъ назваться бы могли:
Ихъ благородныхъ душъ, мечтавшихъ страстно
Лишь о дѣлахъ искусства и войны,
Мысль о наживѣ гнусной не тѣснила;
А наши дѣти (если не должны
Въ общественныхъ учиться школахъ, сила
Которыхъ въ томъ, чтобъ, выучась едва
Читать, была готова голова
Къ любому дѣлу)—этой язвой злою
Больны сызмальства. Не даетъ покою
Отецъ сынку и все ему поетъ:
„Ты помни: рубль копѣйка бережетъ!"
Ну, дитятко мѣщанское, рѣши-ка:
Дано шесть пенсовъ; мы отнимемъ треть,—
Что жъ остается? „Будемъ гротъ имѣть".
„Ай, молодецъ!" папаша хвалитъ Дика:
„Какъ вижу, малый мой не лыкомъ шитъ:
Полсотни тысячъ въ сотню превратитъ!"

Конечно, если эта грязь покроетъ
Младую душу съ первыхъ дней,—она
Къ чему угодно можетъ быть годна,
Поэзія жъ гроша для ней не стоитъ.
Не даромъ-же Локкъ одобрялъ отцовъ,
Стихи всегда держащихъ подъ запретомъ,
Дабы дѣтей не подпустить къ поэтамъ;
Въ глазахъ его и прочихъ мудрецовъ
Лирическій экстазъ поэтовъ вреденъ;
Притомъ и храмъ Дельфійскій нынѣ бѣденъ:
Ни золота тамъ нѣтъ, ни серебра;
Да и Парнассъ, хоть славная гора,
Но изъ всѣхъ горъ, какія есть въ Европѣ,
Бѣднѣй онъ Ира иль ирландской копи.
Иль нравиться, иль нравы исправлять,
Иль то и это вмѣстѣ,—вотъ тѣ цѣли,
Которыя писателю подъ стать.
Но если нужно, чтобъ запечатлѣли
Мы въ памяти своей мораль стиховъ,—
То будьте кратки; изобилье словъ
Для памяти такая же обуза,
Какъ для спины—большой излишекъ груза.

Чѣмъ ближе къ правдѣ выдумка у васъ,
Тѣмъ лучше: сказки нравятся лишь дѣтямъ.
Введя чудесъ избытокъ въ свой разсказъ,
Довѣрія вы не добьетесь этимъ:
Одинъ Іона только, побывавъ
Въ китовомъ чревѣ, вышелъ живъ и здравъ.

Для юношей о внѣшности красивой
Заботьтесь: имъ она всего важнѣй;
А кто постарше,—смысла ищетъ въ ней.
Ну, словомъ, наиболѣе счастливый
Изъ всѣхъ поэтовъ—тотъ, кто съединилъ
Съ образованьемъ умъ; его журналы
Привѣтствуютъ, ему и клерикалы
Поддержку рады дать по мѣрѣ силъ;
Ему и Лонгменъ—щедрый покровитель
(Доходныхъ книгъ, вѣдь, онъ большой любитель);
И вотъ во вкусахъ Лондона царитъ
Его поэма долгихъ три недѣли,
А тамъ—о ней извѣстья полетѣли
Въ Ирландію, а также и за Твидъ.

Но отъ ошибокъ, — здѣсь сказать умѣстно,—
И онъ не застрахованъ; всѣмъ извѣстно,
Что струны арфъ и скрипокъ могутъ вдругъ
Безъ видимой причины оборваться;
Иль тамъ, гдѣ нужно пѣнью раздаваться,
Вдругъ голосъ дастъ невольно хриплый звукъ;
Иль на охотѣ песъ чутье теряетъ,
Сталь о кремень безъ искры ударяетъ,
Двустволка жъ, какъ на мушку ни смотри,
Бьетъ мимо цѣли, чортъ ее дери!
Когда красотъ въ стихотвореньи много,
За пару кляксъ мы не осудимъ строго:
Возможенъ промахъ,—всѣмъ понять пора, —
Для автора и для его пера.
Но если авторъ вѣчно безъ вниманья
Всѣ оставляетъ наши указанья,
Звуча все той же лживою струной,—
Тогда пусть гибнетъ: самъ тому виной!
Такъ палъ и Гавардъ за свои затѣи,
Когда однажды пьесу написалъ,
Которую нашъ средній театралъ
Не могъ понять по смѣлости идеи.
Сперва народъ не зналъ, что это онъ
Былъ авторъ пьесы; послѣ жъ, какъ открылось,
Что авторъ —Гавардъ, онъ былъ осужденъ:
Звѣзда его навѣки закатилась.
Хоть мы не любимъ, чтобъ дремалъ Мильтонъ,
Но, утомясь, привѣтствуемъ и сонъ.

Поэмы—что картины: имъ подобно,
Однѣ вблизи красой ласкаютъ глазъ
И не боятся критики подробной;
Другія—лучше издали для насъ;
Тѣмъ нуженъ свѣтъ, а тѣмъ — въ тѣни удобно;
Иныя, даже если десять разъ
Ихъ привлечетъ знатокъ на судъ суровый,
Насъ каждый разъ красой плѣняютъ новой.
О странники, которыхъ цѣль—Парнасъ,
Кого талантъ иль случая услуга
Влекутъ туда, чтобъ Музъ послушать гласъ,—
Пока не поздно, выслушайте друга!
Взойдутъ туда немногіе изъ васъ!
Не мало есть посредственнаго люда
Межъ тѣхъ, кто служитъ церкви иль казнѣ,
Среди придворныхъ или на войнѣ:
Въ успѣхахъ ихъ никто не видитъ чуда;
Не только Эрскинъ за носъ водитъ судъ:
И простаки впередъ себѣ идутъ!
Поэзія жъ не терпитъ середины:
Иль первымъ, иль послѣднимъ будь поэтъ!
Писатель средній—пасынокъ судьбины:
Онъ жертва неба, свѣта и газетъ.

Другъ Джеффри! Здѣсь тебя я вспоминаю
И чувствую, при имени твоемъ,
Что вновь горю привычнымъ мнѣ огнемъ,
Какимъ горятъ и каледонцы, знаю,
Когда южане выступаютъ въ путь,
Чтобъ колесо ихъ критики свернуть,
Какимъ пылаютъ въ ревности священной
И кроткіе эклектики, когда
Враги хотятъ, какъ турокъ злыхъ орда,
Отнять у бѣдной „вѣры“, столь почтенной,
Даръ „добрыхъ дѣлъ“. Таковъ-то пламень тотъ,
Что возбудилъ ты, Джеффри несравненный!
Добычи мелкой соколъ мой не бьетъ.
О ты, среди всей дичи Денедина
Крупнѣйшая, сильнѣйшая скотина!
Къ тебѣ свой путь направилъ мой Пегасъ;
Прими мой вызовъ, иль въ послѣдній разъ
Грожу перомъ такому великану!
Пока тебя я не сразилъ, не стану
Сражаться противъ „жалкихъ мужиковъ“.
Свирѣпый Саксъ, ужели ты таковъ,
Что эту музу, это сердце смѣло
Отвергнешь ты, хотя они всецѣло
Посвящены тебѣ? Ты осмѣялъ
Мой дѣтскій опытъ, пѣсни музы школьной;
Ужель теперь, когда я мужемъ сталъ,
Мой вызовъ ты отвергнешь, недовольный?
Ты, безъ причины ранившій меня,
Отвѣтишь ли теперь на оскорбленья?
Вѣдь ты враговъ разилъ безъ сожалѣнья!
Какъ? Ты молчишь? Иль слишкомъ низокъ я?
Иль гнѣвъ и злость остыть въ тебѣ успѣли,
Иль у тебя нѣтъ больше умныхъ словъ
Для знати, какъ наслѣдственныхъ глупцовъ?
Иль надъ юнцами шутки надоѣли,
Равно какъ и коверканье именъ?
Иль брани весь запасъ ужъ истощенъ?
Зачѣмъ же я мечталъ объ этомъ спорѣ
Подъ Троею, Гомера позабывъ,
И на Эгейскомъ и на Черномъ морѣ
Лелѣялъ лишь вражды къ тебѣ приливъ?
Э, полно! Тщетно гнѣвъ въ груди клокочетъ:
Алексисъ Коридона знать не хочетъ!
Мой стихъ напрасенъ: врагъ мой безъ заботъ,
Не выказавъ досады, отойдетъ.
Ну, что жъ? Родитъ когда нибудь Эдина
Вновь тощаго, какъ онъ, и злого сына,
Чтобъ написалъ онъ рядъ сердитыхъ строкъ,
Которыхъ здѣсь я вынудить не могъ.
Быть можетъ, будетъ болѣе онъ честенъ,
Хоть и ругатель, и не столь извѣстенъ.
На столъ нельзя подать извѣстныхъ блюдъ,—

Ну, напримѣръ, лягушку вмѣсто рыбы;
Пусть на прованскомъ маслѣ подадутъ
Жаркое намъ: стерпѣть мы не могли бы;
Такъ къ пирожкамъ совсѣмъ некстати макъ;
Для насъ все это—чуть не преступленье;
Тѣмъ болѣе въ стихахъ обязанъ всякъ
Разнообразьемъ красить изложенье.
Нельзя гостямъ лишь мясо преподнесть:
Такъ и стихами можно надоѣсть.

Кто птицу въ летъ не бьетъ, — стрѣлокъ неважный;
Пловецъ—теченье долженъ побороть,
И прежде, чѣмъ пуститься въ боксъ отважный,
У Джексона уроки надо брать.
Какое бъ мы оружье ни имѣли,—
Кулакъ, рапиру, булаву, кастетъ,—
Чтобъ имъ владѣть и достигать имъ цѣли,
Намъ упражняться надо много лѣтъ;
Но пятьдесятъ болвановъ, всѣмъ на диво,
Намъ двадцать тысячъ строкъ сриѳмуютъ живо.
Гнилого я мѣстечка депутатъ,
И чтобъ въ стихахъ не высказалъ свой взглядъ?
Я тотъ, чьи предки также всѣ когда-то
Сидѣли здѣсь и жили такъ богато,
Оставивъ мнѣ въ наслѣдство свору псовъ,
Конюшню, домъ и множество долговъ,
И древній гербъ; съ такою видной ролью
Мнѣ ль не блеснуть аттическою солью?

Такъ мнятъ „джентльмэны"; но для васъ, друзья,
И геній—не послѣдняя статья.
Проникнитесь вы этой мыслью здравой,
Не такъ, какъ Соути со своей оравой,
Блинъ за блиномъ пекущіе. Иль нѣтъ:
Быть можетъ, онъ намъ отдыхъ предоставитъ
И насъ отъ новой „Тàлабы" избавитъ
На срокъ по крайней мѣрѣ въ девять лѣтъ.
Послушай, Соути! Дамъ тебѣ совѣтъ
(Не злись,—безъ шутокъ, это превосходно):
Изъ пьесъ твоихъ хоть по три ежегодно
Сжигай, и намъ хоть этимъ помоги,
И новыхъ пьесъ хоть половину жги!
Но поздно ужъ: нѣтъ пользы отъ совѣта:
Какъ книги вышли,—такъ ихъ пѣсня спѣта:
Къ пирожникамъ сейчасъ онѣ пойдутъ,
А тѣ листовъ назадъ не отдадутъ!
А впрочемъ „Мэдокъ" съ „Дѣвой" могутъ просто,
Играя роль зловреднаго нароста,
Какъ трутовикъ гнилой на старомъ пнѣ,
Уплыть спокойно въ Квито на бревнѣ.

Какъ говорятъ Овидій съ Лампріеромъ,
Орфей, когда на арфѣ онъ игралъ,
Всѣхъ бестій, кромѣ женщинъ, усмирялъ;
Когда бъ и въ наши дни такимъ манеромъ
Игралъ онъ, то увидѣли бы вы,
Какъ въ Тоуэрѣ несутся въ вальсѣ львы.
И Амфіонъ,—такіе менестрели
Въ то время пѣсни сладостныя пѣли,—
Безъ помощи искусной Рэна, вмигъ
Святому Павлу церковь бы воздвигъ.
Въ стихахъ былъ судъ, и Греціи поэты
Искуснѣе констэблей миръ блюли;
Съ мужьями женъ мирили ихъ совѣты;
Они въ собраньяхъ смѣло рѣчь вели
И проводили новые законы,
Чтобъ вынудить реформы у короны;
Хранили также церкви миръ и чинъ,
Не требуя за это десятинъ.
Съ тѣхъ поръ въ Элладѣ, какъ и на Востокѣ,
Поэтъ былъ жрецъ, поэты—и пророки;
Ихъ властный голосъ всюду судъ чинилъ,
И благо душъ, и царства онъ хранилъ.
Пришелъ Гомеръ, воинственно-глубокій
Князь эпоса, и пѣть о битвахъ сталъ;
За нимъ Тиртей спартанцевъ въ бой жестокій
(Какъ вождь—хромой, но какъ пѣвецъ—высокій)
Своей могучей лирой возбуждалъ;
Крѣпка была Иѳома, билась смѣло,
Но сила пѣсни крѣпость одолѣла.

Былъ вѣкъ, когда оракулъ былъ въ чести
И Аполлонъ рѣшенья вышней воли
Вѣщалъ въ стихахъ; подумайте: легко ли
Вамъ было бы тогда стихи плести,
Чтобъ божествамъ ущербъ не нанести?

Подобно смертной дѣвѣ, Муза хочетъ,
Чтобъ нѣжно ей служили. То она,
Какъ дѣвушка, стыдлива и скромна,
То, какъ вакханка страстная, хохочетъ;
То, какъ невѣста, дерзкихъ гонитъ прочь,
То, какъ она же на вторую ночь,
Уступчива; то вновь съ ней перемѣна:
Супруга лорда или ольдермэна
Въ ней гордости могла бъ найти примѣръ;
То вся къ услугамъ, то, какъ гренадеръ,
Свирѣпа; взоръ любовь сулитъ, пылая,
А въ сердцѣ—ложь спокойная и злая;
Въ толпѣ, какъ ледъ, холодная на видъ,
Наединѣ, какъ лава, вся кипитъ.
Когда поэтъ старательно составитъ
Свой стихъ,—природа прочее добавитъ;
Но быть должна и генія печать:
Поддѣльный пылъ намъ гадко подмѣчать.

Искусство и природа всемогущи,—
Лишь мы съ друзьями только портимъ
пуще.
Хоть юность любитъ скачки, бѣгъ, игру,
Но пусть, не морщась, терпитъ и лишенья,
И, хоть сидѣть пріятнѣй на пиру,
Пусть и на трудъ идетъ безъ принужденья,
И,—что стерпѣть не всякому дано,—
Пускай покинетъ женщинъ и вино.

Пѣвицы (рѣчь идетъ о тѣхъ, конечно,
Которыя предъ публикой поютъ)
Наукѣ пѣнья годы отдаютъ;
А риѳмоплеты хвастаютъ безпечно:
„Я создалъ пьеску и въ печать сдаю!"
И пьесу онъ печатаетъ свою.
Ихъ тысячи стремятся на арену,
И еслибъ чортъ послѣдняго хваталъ,
Все новые являлись бы на смѣну.
И вотъ купецъ бросать прилавокъ сталъ,
Помѣщикъ—свору и коней; дѣвицы
Въ провинціи и жители столицы,
И войскъ вожди, и баронетовъ родъ,—
Всѣ, всѣ въ чернильный бросились походъ;
И касса даже ихъ не укрощаетъ:
У Полліона на текущій счетъ
Самъ Аполлонъ бумаги помѣщаетъ;
И не живые только,—мертвыхъ рать,
Возставъ изъ гроба, стала роль играть
Краснорѣчивѣй головы Орфея;
При жизни всѣ, успѣха не имѣя,
Въ загонѣ были,—ихъ творенья жгли,—
А мертвые вдругъ славой процвѣли!
Какъ далеко пошла зараза эта,—
Любой журналъ разскажетъ иль газета,
Гдѣ страстотерпцевъ риѳмы длинный рядъ
Именъ толпою грѣшною пестрятъ!
Ахъ, изъ-за нихъ нельзя читать безъ сплина
Ни Морнингъ-Постъ, ни Монсли-Магазина!
Тамъ—первые дебюты всѣхъ пѣвцовъ;
А вслѣдъ, глядишь,—in quarto ужъ готовъ!
Пирожники доскажутъ остальное.
Кто поумнѣй, останьтесь же въ покоѣ:
Спѣшить вамъ съ лирой надобности нѣтъ,
Какъ полоумный лордъ иль баронетъ,
Иль сельскіе Криспэны (устарѣли
Теперь, положимъ, эти менестрели),—
И пусть у нихъ дорійскую свирѣль
Дорическій настраиваетъ эль.
Чу! Вотъ поютъ сапожники, что взяты
Добрѣйшимъ Кэпель-Лоффтомъ въ лауре-
аты!
Напѣвъ ихъ сладкій нагоняетъ сонъ,
А новый Мидасъ такъ имъ восхищенъ,
Что у него, отъ напряженья слуха,
Длиной въ аршинъ ужъ стали оба уха!
Живетъ себѣ межъ насъ одинъ друидъ;
Въ защиту онъ отъ будущихъ обидъ
Заранѣе стишки свои кропаетъ;
Измучивъ память бѣдную, чуть живъ,
Всѣ силы жалкой Музы истощивъ,
Онъ, наконецъ, съ поэмой выступаетъ.
Она плоха, кишатъ ошибки въ ней,
Но снисхожденья ждетъ онъ отъ друзей;
Хотя не дружба,—самоуваженье
Должно бъ велѣть поправить изложенье,
Но умыселъ безстыдника одинъ:
Потѣшиться и разогнать свой сплинъ.
Порой внезапно онъ воображаетъ,
Что кто нибудь его не уважаетъ,
Иль, сдѣлавъ глупость, встрѣтитъ онъ от-
поръ,
Иль кто нибудь дерзнетъ вступить съ нимъ
въ споръ,—
Тутъ злость его не вѣдаетъ предѣла;
Всю ненависть, какая накипѣла
Въ душѣ его, и желчи весь запасъ
Онъ въ пасквилѣ спѣшитъ излить сейчасъ.
Нахмуриться ль на дерзость вы посмѣли,
Иль съ пьесою своей успѣхъ имѣли,—
Тогда бѣда! Пусть небо вамъ проститъ,
А онъ навѣкъ останется сердитъ.
Пусть будетъ такъ; пусть хоть цвѣтутъ
въ сатирѣ
Тѣ лавры, что его хвалебной лирѣ
Не удались; пусть хоть со дна болотъ
Вновь выплывутъ пропавшія творенья,
Гдѣ масса ихъ давно уже гніетъ,
Зловонныя давая испаренья;
Гнуснѣйшія изъ травъ по берегамъ
Печальной Леты, пусть, на диво намъ,
Они не только процвѣтутъ, но даже
Получатъ сбытъ (возможно ль?) и въ про-
дажѣ!

Пускай богатый деньгами поэтъ
(Пожалуй, впрочемъ, въ наше время нѣтъ
Такихъ чудовищъ) иль риѳмачъ придвор-
ный,
Иль лордъ, трагедій поставщикъ упорный,
Какихъ у насъ не мало знаетъ свѣтъ,—
Пусть бѣднаго попа простого сана
(Который бы зѣвоту капеллана
Не замѣчалъ)—въ свой замокъ призовутъ
И вечеркомъ читать ему дадутъ
Послѣднюю изъ драмъ своихъ. Покорно
Начнетъ онъ перевертывать проворно
Листъ за листомъ; нисколько не умнѣй,
Чѣмъ проповѣдь его,—зато длиннѣй
Во много разъ злосчастное творенье;
Но онъ, въ виду имѣя повышенье
(Ему обѣщанъ выгодный приходъ,
Какъ только старшій батюшка умретъ),—
Не пожалѣетъ легкихъ для карьеры.

НА ТЕМУ ИЗЪ ГОРАЦІЯ.

И вотъ, пыхтя и брызгаясь безъ мѣры,
„Великолѣпно! Браво! Восхищенъ!“
На каждой строчкѣ восклицаетъ онъ
До хрипоты (такъ платитъ похвалами
Бѣднякъ за горькій хлѣбъ свой), и ногами
Онъ топаетъ, и каблукомъ стучитъ
Съ усердіемъ такимъ, что полъ трещитъ.
Затѣмъ, садясь, косится: старшій въ чинѣ
Не умеръ ли, не близокъ ли къ кончинѣ?
Притворщикъ вѣчно хватитъ черезъ край
И чувства отъ него не ожидай.
Создатели „высокихъ пѣснопѣній“!
Не вѣрьте всѣмъ, кто хвалитъ вашъ „подъемъ“,
И если другъ вамъ скажетъ безъ стѣсненій:
„Вотъ это выбрось вовсе, а вотъ въ томъ
Поправки сдѣлай“,—выслушавъ спокойно,
Исправьте все, что плохо иль нестройно;
А если въ пьесѣ нечего сберечь
И другъ ее совѣтуетъ вамъ сжечь,—
Безъ дальнихъ словъ, услышавъ это мнѣнье,
Въ огонь бросайте ваше сочиненье.
Но если (только истинный поэтъ
Едва ли это сдѣлаетъ) съ презрѣньемъ
Отвергнете вы дружескій совѣтъ,
Пренебрегая всякимъ исправленьемъ,
Отродье мозга вашего храня,—
То добрыхъ словъ не ждите отъ меня.

Кто дорожитъ идеей интересной,
Какъ добрый критикъ или авторъ честный,—
Тотъ другу все прощаетъ,—нужды нѣтъ,
Что онъ страницу за страницей херитъ
И въ красоту различныхъ мѣстъ не вѣритъ!
Пусть лучше другъ смѣется, чѣмъ весь свѣтъ.
Онъ выяснитъ неясныхъ мѣстъ значенье,
Гдѣ теменъ стихъ, тамъ дастъ онъ освѣщенье;
Какъ Джонсонъ, не потерпитъ онъ въ стихахъ
Безсмыслицы, хотя бы въ пустякахъ:
Отъ пустяковъ бываетъ вредъ серьезный,
Когда ихъ грызть захочетъ критикъ грозный.

Какъ отъ шотландской скрипки, взбѣшены,
Какъ отъ вліянья вреднаго луны,—
Такъ отъ писакъ, чрезмѣрно говорливыхъ,
Бѣгутъ всѣ прочь; лакеевъ терпѣливыхъ—
И тѣхъ изъ клубной залы гонитъ вскачь
Своимъ протяжнымъ воемъ Фицъ-риѳмачъ.
Скучнѣйшее, какъ проповѣдь прелата,
Противное, какъ рѣчи бюрократа,
Вотъ длится чтенье десять ужъ минутъ,
Которыя такъ медленно текутъ,
Какъ годъ послѣдній предъ возобновленьемъ
Аренды: деньги вышли, скучно жить
И кутежей нельзя не отложить.
Когда такой поэтъ, съ одушевленьемъ
Болтающій намъ вздоръ, гулять пойдетъ
Въ глухихъ мѣстахъ и въ яму попадетъ
И зареветъ, что силы есть, въ испугѣ:
„Веревку! Гибну! Помогайте, други!“—
Тогда никто, могу увѣрить я,—
Будь то мужчина, женщина, дитя,—
Не двинется къ нему: одни съ досады,
Другіе для потѣхи,—очень рады,
Что гибнетъ онъ. Подобная бѣда
Дѣйствительно бываетъ иногда
Съ поэтами. Скажу вамъ, для примѣра,
Какъ Бэджелля окончилась карьера.
Онъ, Бэджелль, былъ бродяга, риѳмоплетъ
И негодяй,—такъ говоритъ народъ.
Запутавшись въ долгахъ, онъ очень скоро
Придумалъ средство избѣжать позора:
Рѣшивъ погибнуть, „какъ погибъ Катонъ“,
Прыжокъ отважный въ Темзу сдѣлалъ онъ.
Итакъ, поэты могутъ удавиться,
Ядъ выпить, въ воду броситься: дивиться
Тутъ нечему. Но если кто спасетъ
Самоубійцу противъ воли,—тотъ
Напрасно къ жизни возвратитъ бѣднягу,
Который отъ нея хотѣлъ дать тягу.
Сказать по правдѣ,—было бы и грѣхъ
Лишать его послѣдней изъ утѣхъ:
Той славы, что онъ умеръ добровольно.
А можетъ быть и совѣсть очень больно
Иныхъ поэтовъ мучитъ: ихъ стихи
На нихъ лежатъ проклятьемъ, какъ грѣхи.
Поэтъ, быть можетъ, пьянымъ въ воскресенье
Былъ найденъ, или въ церкви уличенъ
Въ прелюбодѣйствѣ; вотъ, взбѣсившись, онъ
Стихи все пишетъ, страшенъ всѣмъ сосѣдямъ;
Всѣ передъ нимъ дрожатъ, какъ предъ медвѣдемъ,
Изъ клѣтки убѣжавшимъ; мудрецу
Онъ столько же ужасенъ, какъ глупцу;
А если кто, несчастный, попадется
Во власть его,—бѣда! Ему придется
До самой смерти слушать дикій вздоръ:
Съ него всю шкуру спуститъ живодеръ,
Сверлитъ его и колетъ, какъ булавка,
Сосетъ его, какъ стряпчій или пьявка!

Н. Холодковскій.

ПРОКЛЯТІЕ МИНЕРВЫ.

(The Curse of Minerva).

Pallas te hoc vulnere Pallas
Jmmolat et poenam scelerato ex sanguine sumit.
Aenid., lib. XII, 947, 948.

Милѣй и ярче въ свой прощальный часъ
Въ горахъ Мореи лучъ послѣдній гасъ.
То не былъ лучъ странъ сѣверныхъ, унылый,
Но яркій лучъ, согрѣтый жизни силой.
Янтарнымъ блескомъ въ морѣ онъ сквозилъ
И гребни волнъ зеленыхъ золотилъ.
Въ немъ счастья богъ привѣтъ дарилъ прощальный
Эгинскихъ горъ скаламъ и Гидрѣ дальней;
Той сторонѣ, гдѣ, подъ защитой скалъ,
Его алтарь поруганный стоялъ...
Но тѣни горъ коснулись торопливо
Ужъ, Саламинъ, до твоего залива.
Ихъ синій цвѣтъ подъ взоромъ огневымъ
Вдали зардѣлся пурпуромъ живымъ.
На высяхъ горъ онъ яркими лучами
Еще горѣлъ и вспыхивалъ мѣстами;
Но, наконецъ, померкнулъ небосклонъ.
И за скалой Дельфійской скрылся онъ.

Въ такой же часъ лучъ солнца блѣдноликій
Сверкнулъ тебѣ, Аѳинъ мудрецъ великій!
Ученики съ тоской встрѣчали часъ,
Когда Сократъ отравленный угасъ...
Свѣтила дня послѣднее сіянье
Какъ бы щадило грустный мигъ прощанья;
Его лучей не видѣлъ мутный взоръ;
Незримъ ему былъ отблескъ милыхъ горъ.
Съ небесъ спускалось грусти покрывало
На край родной, гдѣ прежде все сіяло.
И чуть успѣлъ померкнуть Киѳеронъ,
Былъ смертоносный кубокъ осушенъ!
Высокій духъ, не вѣдавшій сомнѣнья,
Вознесся въ высь, въ небесныя селенья!
Онъ страха въ жизни низкаго не зналъ
И жизнью всей примѣръ намъ дивный далъ.

Но вотъ съ Гимета царственной вершины
Пролился свѣтъ на мирныя долины.
Пронзивъ гряду густыхъ и мрачныхъ тучъ,
Сверкнулъ вдали царицы ночи лучъ.
Не страшенъ былъ серебряной лазури
Ея туманъ—предвѣстникъ близкой бури;
Въ лучахъ ея ласкающихъ повисъ
Колонны бѣлой мраморный карнизъ;
Двурогій серпъ съ вершины минарета
Горѣлъ огнемъ полунощнаго свѣта;
Виднѣлась группа царственныхъ оливъ
Тамъ, гдѣ блестѣлъ Кефиса волнъ приливъ;
У вратъ мечети кипарисъ печальный
Стоялъ, кіоскъ закрывъ пирамидальный.
Тезея храмъ печально осѣня,
Дремала пальма, голову склоня.
Плѣняло взоръ здѣсь все! Одинъ бездушный
На этотъ видъ взглянулъ бы равнодушно.
Не слышенъ былъ прибой Эгейскихъ водъ;
Ихъ дикій плескъ смирилъ луны восходъ;
Лишь море, волны тихо колыхая,
Лежало, гладью золотой сверкая,
И темный профиль дальнихъ острововъ
Мрачилъ одинъ лазурь его валовъ.

На этотъ видъ, исполненный отрады,
Взиралъ я въ храмѣ царственной Паллады
Одинъ стоялъ на мѣстѣ я пустомъ,
Гдѣ прежде славы раздавался громъ,
Гдѣ въ дни былые подвиги свершались,
А нынѣ пѣсни лишь о нихъ остались!
Мой взоръ искалъ священный этотъ храмъ.
Людьми поруганный, родной богамъ!
Передо мной былое воскресало
И въ прежней славѣ Греція вставала!
Часы летѣли, и ужъ полпути
Діаны дискъ давно успѣлъ пройти,
А я все мѣрилъ бодрыми шагами
Пустынный храмъ, покинутый богами,
Паллады храмъ! Гекаты блѣдный свѣтъ
Бросалъ на мраморъ бѣлый грустный слѣдъ,
И звукъ шаговъ носился, замирая,
Какъ эхо смерти душу надрывая...
Возстановить старался я въ мечтахъ
Народъ тотъ славный, доблестный въ бояхъ!
Возстановить старался по обломкамъ,
Оставшимся въ наслѣдіе потомкамъ,
Какъ вдругъ гигантскій призракъ мнѣ предсталъ!

Я предъ собой Палладу увидалъ!
Минерва то была; но не такая,

ПРОКЛЯТІЕ МИНЕРВЫ.

Какой она, оружіемъ сверкая,
Явилась въ славѣ воинской своей
Среди Дарданскихъ доблестныхъ полей.
И славный Фидій мощною рукою
Ее когда то создалъ не такою!
Отважный взоръ врагамъ не угрожалъ;
Горгоны ликъ щита не украшалъ.
Не страшенъ былъ для смертныхъ шлемъ косматый;
Былъ сломанъ мечъ, въ разгромѣ битвъ измятый.
Печально вяла въ царственной рукѣ
Оливы вѣтвь въ безпомощной тоскѣ.
Лазурь очей—Олимпа честь и слава—
Покрылась слезъ смертельною отравой!
Сова, надъ шлемомъ медленно кружась,
Ночной порой для жизни пробудясь,
Богини, мнилось, понимала горе,
Ему своимъ зловѣщимъ крикомъ вторя.

„О смертный,—молвила она,—черты
Твои не лгутъ мнѣ, что британецъ ты.
Да, славное когда-то было племя!
Разбито имъ впервые рабства бремя.
Но стало, павъ теперь въ глазахъ людей,
Оно презрѣнно и душѣ моей.
Коль скоро ты причинъ не понимаешь
Моей вражды и ихъ узнать желаешь,
То оглянись: въ пожарахъ и войнѣ
Тирановъ смерть случалось видѣть мнѣ.
Успѣли готовъ свергнуть мы оковы,
Избѣгли турокъ власти мы суровой.
И чтожъ теперь?—изъ стороны твоей
Пришелъ грабитель хуже ихъ и злѣй!
Взгляни на храмъ, поруганный, забытый!
Сочти обломки славы пережитой!
Все, что Кекропсъ когда то созидалъ,
Все, что Периклъ съ любовью украшалъ
Иль что возникло Адріана волей
Въ упадка дни,—гдѣ это все? Нѣтъ болѣ
Ужъ ничего! Аларихъ могъ одинъ
Гордиться-бъ тѣмъ—его затмилъ Эльджинъ!
Здѣсь на стѣнѣ, вѣкамъ на поруганье,
Описано презрѣнное дѣянье,
Его виновника Паллада чтитъ:
Эльджина память вѣчно сохранитъ
Съ его поступкомъ доблестнымъ и славнымъ
Она затѣмъ, чтобы почетомъ равнымъ
Могли прославиться, вѣкамъ въ примѣръ,
Владыка готовъ и шотландскій пэръ!
Побѣды правомъ первый заручился
И грабежемъ второй обогатился,
Похитивъ низко то, что до него
Завоевалъ другой, смѣлѣй его!
Такъ, если левъ добычу покидаетъ—
Ее шакалъ голодный подбираетъ;
И если первый кровь живую пьетъ,
Послѣдній—кости смрадныя грызетъ.
Но получилъ Эльджинъ вознагражденье!
Его позорное постигло мщенье:
У всѣхъ въ виду, на Фризѣ, рядомъ съ нимъ,
Храмъ оскверненъ здѣсь именемъ другимъ.
Его Діана чистая стыдится
И посмотрѣть на имя то боится.
Чѣмъ не могла Паллада отплатить,
Взялась Венера за нее отмстить".

Она замолкла, бровь нахмуря снова.
Рѣшился я тогда промолвить слово:
„Дозволь, дочь Зевса, какъ британцу, мнѣ
Защитникомъ родной быть сторонѣ.
Не обвиняй Британіи напрасно:
Не въ ней увидѣлъ свѣтъ твой врагъ злосчастный,
Вѣрь, это такъ! разсказъ не ложенъ мой,
Шотландецъ былъ грабитель низкій твой!
Съ Филейскихъ стѣнъ окинь державнымъ взоромъ
Беотію. Чувствительнымъ укоромъ
Была она съ древнѣйшихъ поръ для васъ.
Укоръ такой Шотландія для насъ.
Богиня мудрости разсудка силой
Страны отверженной не надѣлила.
Изъ почвы скудной не даетъ плодовъ
Земля тупыхъ, подавленныхъ умовъ.
Репейникъ чахлый, плодъ скупой природы,
Эмблемой служитъ этого народа;
То міръ софизма, низости и смутъ!
Великихъ чувствъ тамъ люди не поймутъ;
Съ ихъ мрачныхъ горъ, съ болотистой равнины
Дыханьемъ смраднымъ вѣетъ на долины;
Пропитанъ имъ порочный мозгъ людей!
Своихъ снѣговъ родныхъ онъ холоднѣй!
Тьма плановъ гордыхъ, злыхъ и неразумныхъ
Влекутъ ихъ всюду, выходцевъ безумныхъ,
Изъѣзженъ ими западъ и востокъ,
Наживы страсть—вотъ низкій ихъ порокъ.
Такъ будь-же проклятъ этотъ день презрѣнный,
Когда къ тебѣ, какъ воръ, шелъ Пиктъ надменный!—
Но и въ Шотландіи есть имена,
Какія вправѣ превознесть она.
Вѣдь и своей Беотіи бездарной
Вы за Пиндара вѣчно благодарны!..
Пускай же горсть великихъ тѣхъ людей,
Поэтовъ, гражданъ, доблестныхъ мужей,
Отрясши прахъ отъ родины постылой,
Въ иныхъ странахъ своею блещутъ силой.
Довольно честныхъ было десяти
Чтобъ городъ злой отъ гибели спасти".

Тутъ снова голосъ дѣвы синеокой
Прервалъ меня: „Своей странѣ далекой
Снеси, о смертный, мой ты приговоръ
Хоть пала я; хоть мой великъ позоръ;—
Но все-жъ могу лишить я вдохновенья
Страну твою!.. Мое въ томъ будетъ мщенье!
Внемли жъ теперь тому, что я скажу;
Внемли и вѣрь—обѣты я держу!
Пусть поразитъ жестокое проклятье
Виновника дурного предпріятья.
Пускай потомки глупые его
Бездарнѣй предка будутъ своего,
И даже, если какъ нибудь родится
Средь нихъ одинъ, которому случится
Краснѣть заставить предковъ со стыда
Тѣмъ, что умнѣй онъ, чѣмъ они,—тогда
Въ томъ будетъ знакъ, что кровь его славнѣе,
Что онъ не отпрыскъ гнуснаго злодѣя!
Пускай художниковъ наемныхъ рядъ
Съ нимъ объ искусствѣ праздно говорятъ;
Пусть лесть глупцовъ его вознаграждаетъ
За то, что Мудрость грозно порицаетъ;
Къ наживѣ жъ страсть презрѣнную его
Пускай возносятъ болѣе всего.
Изъ почвы родины своей безплодной
Всосалъ ядъ страсти онъ неблагородный
И къ торгу вкусъ. Пускай забвенья тѣнь
На долгій срокъ щадитъ тотъ подлый день,
Когда купить правительство заставилъ,
Какъ истый воръ, не зная чести правилъ,—
Онъ то, что подло обобралъ у насъ
И чѣмъ теперь обогащаетъ васъ.
Сѣдой вашъ Вестъ, Европы шутъ, чтобъ гору
Сокровищъ этихъ изучить, разбору
Ихъ посвятитъ, по крайней мѣрѣ, годъ
И все же ихъ значенья не пойметъ;
Когда жъ сравнить искусство будетъ надо
Съ природою—борцовъ Сентъ Жильскихъ стадо
Пусть созовется въ „лавочку камней"
На радость свѣтлыхъ лордовыхъ очей.
За ними вслѣдъ притащится, зѣвая,
Болтая вздоръ, столичныхъ фатовъ стая,
И томныхъ барышенъ пытливый взоръ
При видѣ ихъ изобразитъ укоръ,—
Взглянувши вскользь на статуи той эры,
Онѣ поймутъ ихъ дивные размѣры
И, настоящее съ былымъ сравнивъ,
Шепнутъ невольно: „какъ былъ грекъ красивъ!"
Какъ не сравнить намъ, бросивъ компромиссы,
Своихъ друзей съ любовникомъ Лаисы?
Гдѣ жъ современной барышнѣ найти
Такихъ красавцевъ на своемъ пути?
Сэръ Гарри очень милъ, хоть и повѣса;
Но далеко жъ ему до Геркулеса!"—
Во всей толпѣ зѣвающихъ пройдетъ
Всего одинъ, быть можетъ, кто пойметъ
Величье тѣхъ похищенныхъ твореній!
Исполненъ грустныхъ, горькихъ размышленій,
На нихъ уставитъ онъ печальный взоръ,
И какъ презрѣненъ станетъ ему воръ.
Да, да, презрѣнье—вотъ ему награда!
Зови его кощунства дѣломъ ада!
Пускай его преслѣдуетъ оно
И послѣ смерти. Злобою полно,
Его потомство на ряду поставитъ
Съ тѣмъ, кто сожегъ Эфесса храмъ! Ославитъ
Ихъ имена: Эльджинъ и Геростратъ!
Однимъ проклятьемъ люди заклеймятъ
Поступки ихъ. Обоимъ нѣтъ прощенья,
Но все жъ Эльджина больше преступленье!
Въ своей странѣ презрѣнный навсегда,
Пусть онъ стоитъ какъ статуя стыда!
Но не ему я только мстить сбираюсь!
Съ его страной я тоже посчитаюсь.
Въ ея дѣлахъ онъ почерпалъ примѣръ.
Ей подражалъ коварный лицемѣръ.
Взгляни: среди балтійскихъ волнъ пылаетъ
Огонь войны. Союзникъ проклинаетъ
Коварный бой. Паллада на него
Вамъ не дала бъ согласья своего,
Она-бъ союзъ расторгнуть не польстилась
И дать совѣтъ безчестный не рѣшилась.
И вотъ ушла, оставивъ за собой
Съ Горгоной щитъ—даръ страшный, роковой!
Онъ обратилъ все въ камень въ дни несчастья;
Убилъ во всѣхъ къ Британіи участье!

Вотъ Немезида грознымъ мятежемъ
Мститъ за сыновъ, погибшихъ подъ ножомъ!
Въ долинѣ Ганга сумрачное племя
Давно мечтаетъ свергнуть ваше бремя.
Изъ обагренныхъ кровью Индскихъ водъ
Давно къ расплатѣ голосъ васъ зоветъ.
Звала я Англію, давъ ей свободу,
Быть справедливой къ слабому народу.
Испанія хотя вамъ руку жметъ,
Но ненавидитъ вашъ тяжелый гнетъ.
Къ себѣ она войти васъ не пускаетъ.
И гонитъ васъ—о томъ Баросса знаетъ,
Ея полямъ извѣстно, чьи сыны
Со славой пали жертвами войны.
Хоть Лузитанія, сказавши строго,
Бойцовъ хорошихъ вамъ дала немного
И бѣглецовъ, но все жъ ея поля
Прославились, какъ храбрая земля,

Съ которой, голодомъ въ конецъ сраженный,
Галлъ отступилъ, въ бояхъ изнеможенный.
Но славы намъ (будь дѣло даже такъ)
Не можетъ дать вѣдь отступившій врагъ!
Не наградитъ рядъ вражьихъ отступленій
За стыдъ своихъ проигранныхъ сраженій.
Взгляни на жизнь страны твоей родной
(Вы рѣдко ей дарите взглядъ такой):
Она полна отчаянья нѣмого;
Въ столицѣ вашей бездна горя злого.
Сквозь крики оргіи въ ней слышенъ стонъ!
Голодныхъ хищниковъ она притонъ.
Въ ней плачутъ всѣ; постигла всѣхъ утрата.
Добро страны уходитъ безъ возврата,
Надъ сундукомъ владѣлецъ не дрожитъ:
Кладъ настоящій больше въ немъ не скрытъ.
Кредитъ бумажный!.. Кто теперь рѣшится
Хвалить его? Свинцомъ вѣдь онъ ложится,
Свинцомъ тяжелымъ на руки людей,
Забывшихъ стыдъ въ подкупности своей!
И хоть Паллада уши прожужжала
Министрамъ, всѣмъ—ничто не помогало!
Не захотѣвъ внимать людскимъ рѣчамъ,
Они остались глухи и къ богамъ.
Изъ нихъ одинъ лишь, гибель сознавая,
Призвалъ меня на помощь, но пылая
Къ другому Ментору, онъ внялъ ему,
Хоть тотъ далекъ былъ сердцу моему.
Пускай внимаютъ ваши всѣ палаты
Его рѣчамъ,—остались не богаты
Онѣ умомъ, какъ были и всегда.
Въ нихъ чванства много, мало лишь стыда!
Какъ встарину лягушекъ государство
Себѣ чурбанъ поставило на царство,
Иль какъ Египетъ божествами звалъ
Головки лука,—такъ теперь избралъ
Сенатъ достойнаго вамъ властелина...
Въ лицѣ кого-жъ? Убогаго кретина!

Прощаюсь съ вами! доживайте день!
Ловите тщетно прежней власти тѣнь;
По славѣ дней прошедшихъ лейте слезы.
Въ васъ силы нѣтъ! Довольство ваше грезы!
Въ странѣ исчезло золото давно,
Въ рукахъ пиратовъ искрится оно.
И войскъ наемныхъ жадныя ватаги
Не продаютъ свои вамъ больше шпаги.
Въ безлюдныхъ пристаняхъ купецъ съ тоской
Товаръ непроданный считаетъ свой.
На корабли его не нагружаютъ,
На берегу онъ медленно сгниваетъ.
Забросилъ свой ремесленникъ станокъ,
Не зная, что ему готовитъ рокъ.
Парламентъ вашъ въ упадкѣ. Укажите,
Гдѣ человѣкъ, котораго вы чтите!
Трибуна, гдѣ текла свободно рѣчь,
Стремится слово правды лишь пресѣчь.
Умолкла партій жизнь: онѣ, не споря,
Чуть держатся въ странѣ тоски и горя.
Но фанатизмъ нелѣпыхъ сектъ борьбой
Грозитъ сгубить весь островъ вашъ родной!
Онѣ живутъ и, поднимая знамя
Слѣпой вражды, костровъ питаютъ пламя.

Судьбы свершился грозный приговоръ!
Паллады рѣчь сочли вы за укоръ;
Такъ фурій рой смѣнитъ ее жестокій.
Онѣ, проникнувъ вглубь страны далекой,
Рукой свирѣпой грудь ей разорвутъ,
И по лицу земли костры зажгутъ!
Вамъ Рокъ отмститъ еще инымъ ударомъ:
Льетъ слезы Галлія свои недаромъ,
Моля увидѣть въ рабствѣ Альбіонъ.
Военный блескъ, побѣдный легіонъ,
Нарядъ блестящій воинскаго стана,
Трубы призывный звукъ, громъ барабана,
Врагу несущій вызовъ боевой,
На зовъ войны стремящійся герой;
Иль смерть его увѣнчанная славой,—
Все это сердцу юному забавой
Желанной кажется, и грозный видъ
Кровавыхъ битвъ съ веселіемъ миритъ!..
За лавры смерть—желанная награда,
Но есть бѣда ужаснѣй пытокъ ада:
Пылъ варварства! Онъ битвой не смиренъ!
Въ разгарѣ битвъ безвредно дремлетъ онъ,
Но чуть побѣда громкая рѣшится
И алой кровью поле обагрится—
Вотъ часъ, когда его проснется духъ!
О звѣрствахъ войнъ извѣстенъ вамъ лишь слухъ.
Убійство пахаря, разгромъ селенья,
Безчестье женъ, хозяйства разоренье—
Все это скорбь, невѣдомая вамъ,
Не несшимъ дань покорности врагамъ!
Но какъ-то взглянутъ гражданъ вереницы
На дымъ густой пылающей столицы?
На яркій отблескъ огненныхъ костровъ
Съ опустошенныхъ Темзы береговъ?
Не возмущайся-жъ, племя Альбіона,
Увидя то! Ты въ злобѣ непреклонной
Воздвигла шумъ военныхъ непогодъ
Отъ Рейна вплоть до Тахо тихихъ водъ.
Суди жъ тогда, не платишь ли страданьемъ
За свой ты грѣхъ правдивымъ воздаяньемъ.
Гласятъ законъ небесный и земной,
Что кровь за кровь всегда течетъ рѣкой!
Не можетъ ждать отъ братьевъ сожалѣнья
Кто самъ зажегъ огонь вражды и мщенья!»...

А. Соколовскій.

ВАЛЬСЪ.

Хвалебный гимнъ, сочиненный эсквайромъ Горасомъ Горнэмъ.

Qualis in Eurotae ripis aut per juga Cynthi
Exercet Diana choros.
Vergilius, Aeneis, I, 502.

Письмо къ издателю.

Сэръ!

Я—помѣщикъ изъ средней Англіи. Я могъ бы засѣдать въ парламентѣ, какъ представитель нашего округа, такъ какъ получилъ на общихъ выборахъ въ 1812 г. столько же голосовъ, какъ генералъ Т. *) Но я всегда стремился къ тихому семейному счастью; и вотъ, 15 лѣтъ тому назадъ, посѣтивъ Лондонъ, я женился на дѣвицѣ среднихъ лѣтъ изъ хорошаго семейства. Мы счастливо жили въ Горнэмъ-Голлѣ до послѣдняго сезона, когда жена моя и я были приглашены графинею Вальсъ - Вертись (дальняя родственница моей супруги) провести зиму въ городѣ. Такъ какъ я не видѣлъ въ этомъ ничего дурного и такъ какъ наши дочери достигли такого возраста, что онѣ, какъ говорится, на выданьи; такъ какъ кромѣ того, я имѣю въ городѣ давнишнее судебное дѣло по нашему фамильному имѣнію, то мы и пріѣхали въ нашей старинной коляскѣ (къ слову сказать, черезъ недѣлю жена моя стала такъ стыдиться этого экипажа, что пришлось купить подержанный кабріолетъ; жена говоритъ, что я могу сидѣть на козлахъ, если желаю править, но никогда не долженъ садиться рядомъ съ нею, такъ какъ это мѣсто предназначено для господина Августа Цыпочкина, ея постояннаго кавалера, который сопровождаетъ ее въ оперу). Будучи много наслышанъ объ искусствѣ мистриссъ Горнэмъ въ танцахъ

*) Именно 5.

(она особенно отличалась въ святочныхъ минуэтахъ въ концѣ прошлаго столѣтія), я нарядился и прибылъ на балъ къ графинѣ, ожидая увидѣть контрдансы, и въ крайнемъ случаѣ, котильоны, риль и другіе извѣстные старые танцы подъ новую музыку. Но представьте себѣ мое изумленіе, когда я увидѣлъ, что моя бѣдная, милая мистриссъ Горнэмъ на половину обняла какого-то гусара огромнаго роста, господина, котораго я до тѣхъ поръ ни разу не видалъ; а онъ—я говорю правду—обхватилъ ее почти вокругъ всей таліи, — и давай вертѣть, вертѣть, вертѣть, причемъ они раскачивались подъ звуки какого-то чертовскаго мотива, напоминающаго одну изъ нашихъ деревенскихъ пѣсенекъ, но болѣе „affettuoso", такъ что у меня сдѣлалось головокруженіе и я только удивлялся, какъ это и у нихъ голова не закружится. Затѣмъ они пріостановились и я думалъ, что они сядутъ или упадутъ, — но нѣтъ; мистриссъ Горнэмъ положила руку на его плечо, „quam familiariter" (какъ говорилъ Теренцій, когда я былъ въ училищѣ *),—и они около минуты гуляли, а затѣмъ опять начали вертѣться, какъ два майскіе жука на одной булавкѣ. Я спросилъ, что все это значитъ, и дѣвочка, не старше нашей Виль-

*) Я совсѣмъ позабылъ латынь (если можно забыть то, чего никогда не помнилъ). Эпиграфъ къ своему гимну я заимствовалъ у одного католическаго священника за бумажку въ три шиллинга, послѣ того, какъ я долго упрашивалъ его уступить мнѣ эти строчки за полшиллинга. Я неохотно отдалъ деньги паписту, хорошо помня Персеваля и его «Долой папства» и очень сожалѣя о паденіи папы, такъ какъ мы уже не можемъ сжечь его.

гельмины (я нигдѣ не встрѣчалъ этого имени, кромѣ „Векфильдскаго священника“, но жена увѣряетъ, что мать назвала ее по имени принцессы Шваппенбахъ), отвѣтила мнѣ съ громкимъ смѣхомъ: „Боже мой, неужели вы не видите, что они вальсируютъ?“ (или вальсуютъ,—я забылъ, какъ она сказала); затѣмъ она, ея мать и сестры отошли и разсказывали это окружающимъ до самаго ужина. Теперь я знаю, что это такое, и полюбилъ вальсъ болѣе всего на свѣтѣ, какъ и мистриссъ Горнэмъ (хотя я, практикуясь какъ-то утромъ, четыре раза уронилъ служанку моей жены и сломалъ себѣ ногу). Въ самомъ дѣлѣ, вальсъ мнѣ такъ понравился, что, имѣя даръ писать стихи и испытавъ свои силы въ нѣсколькихъ избранныхъ балладахъ и въ пѣсняхъ въ честь нашихъ побѣдъ (въ послѣднемъ отношеніи я, впрочемъ, имѣлъ мало практики),—я засѣлъ за писанье и, съ помощью эсквайра Вильяма Фицъ-Джеральда и нѣсколькихъ указаній доктора Бесби (я очень люблю слушать его декламацію и ужасно одобряю тотъ способъ, который онъ примѣнилъ для чтенія рѣчи своего отца въ Дрюри-Лэнскомъ театрѣ съ огромнымъ успѣхомъ) — я сочинилъ нижеслѣдующій гимнъ, чтобы довести мои чувства до свѣдѣнія публики, которую я, впрочемъ, отъ души презираю, равно какъ и всѣхъ критиковъ.

Примите и проч.

Горасъ-Горнэмъ.

ВАЛЬСЪ.

О Терпсихора, муза быстрыхъ ногъ!
(Положимъ, нынѣ свѣтъ нашелъ предлогъ,
Чтобъ руки, какъ и ноги, принимали
Участье въ чарахъ танцевъ). Ты всегда
Дѣвицею считалась, хоть едва-ли
Не по ошибкѣ (сущая бѣда—
Дѣвицей называться: какъ нарочно,
Названье это черезчуръ непрочно);
Такъ или нѣтъ, — безстыдствомъ съ давнихъ поръ,
Какъ и красой, сіяешь ты спокойно
И имени весталки ты достойна
Всѣхъ менѣе изъ Девяти Сестеръ.
Къ чему тебѣ и пляски легкимъ жрицамъ
Жеманиться, быть строгимъ, какъ дѣвицамъ?
Пусть васъ бранятъ: всѣхъ побѣдите вы;
Пускай смѣются: что вамъ до молвы?
Порхай смѣлѣй: весь міръ тебѣ награда,—
Укороти лишь юбки, сколько надо;
На грудь твою тебѣ не нуженъ щитъ:
Лишь былъ бы лифъ достаточно открытъ!
Танцуй! *Почти* предъ всѣми непреклонна,
Снимай „доспѣхи“, выходя на бой;
Усынови и въ свѣтъ введи съ собой
Твой „вальсъ“, рожденный не совсѣмъ законно.

Тебѣ, воздушной нимфѣ, мой привѣтъ!
Тебѣ въ угоду, несмотря на шпоры,
Воители и рьяные танцоры,
Всю ночь гусары мчатся въ вальсѣ! Свѣтъ
Такихъ чудесъ не видѣлъ, безъ сомнѣнья,
Отъ древнихъ тѣхъ временъ, когда Орфей
Своею лирой укрощалъ звѣрей.
О вальсъ, будь славенъ! Ты до помраченья
Доводишь умъ! Подъ властію твоей
Герой новѣйшій, ради новой моды,
Въ Гонслоускихъ рощахъ совершалъ походы
И, славу Вэльсли взявъ за идеалъ,
Куражился, стрѣлялъ,—и не попалъ,
Но цѣли все жъ достигъ. О Муза страсти!
Красавица, твоихъ исполнясь чаръ,
Что можетъ, все тебѣ приноситъ въ даръ,
А прочее—вручаетъ нашей власти.
Во имя вашихъ выспреннихъ рѣчей,
О Фицъ и Бесби,—вѣрности твоей,
Нашъ Фицъ, твоихъ остротъ, нашъ Бесби славный,—
Хвалю тебя, о Беліалъ державный,
И танецъ твой хвалю еще сильнѣй!

Вальсъ царственный! Къ намъ завезенъ ты съ Рейна,
Изъ края винъ и родословныхъ древъ.
Являйся къ намъ, страною завладѣвъ,
Безпошлинно; ты намъ важнѣй рейнвейна!
Кой въ чемъ, однако, сходствуете вы:
Рейнвейнъ хорошій—погребъ прославляетъ,
А вальсъ—породу нашу исправляетъ;
Вино—опасный ядъ для головы,

Тебѣ жъ, напротивъ, головы не надо:
Ты льешь струю изысканнаго яда
Намъ въ сердце; вдоль по жиламъ онъ течетъ
И тѣло все къ безумію влечетъ.

Германія! Ты многимъ насъ снабдила;
Тому самъ Питтъ свидѣтель, неба сынъ.
Но вотъ въ союзъ проклятый ты вступила,—
И Франція теперь твой властелинъ,
А намъ остались отъ тебя въ наслѣдство
Долги да танцы. Даромъ наши средства
Потративъ на субсидіи тебѣ,
Въ Ганноверѣ лишились мы владѣнья;
Но мы за то обязаны судьбѣ
Георгомъ Третьимъ: лучшій, безъ сомнѣнья,
Изъ королей, онъ тѣмъ уже намъ милъ,
Что скоро насъ „Четвертымъ" наградилъ!
Германскія высочества мильоновъ
Намъ стоили,—но развѣ не отъ нихъ
Мы получаемъ королевъ своихъ?
Иль мало мы беремъ съ нѣмецкихъ троновъ?
Изъ Брауншвейга и изъ прочихъ мѣстъ
Пришло къ намъ мало-ль принцевъ и невѣстъ?
За кровь простую кровью ихъ породы
Не платятъ ли германскіе заводы?
Германія! Ты дюжину дала
Намъ герцоговъ, и королей не мало,
И королеву даже намъ прислала,
Чтобъ грѣхъ покрыть, — и вальсъ намъ принесла!

Богъ съ нею, впрочемъ! Съ ней и съ ними будетъ,
Конечно, такъ, какъ Бонапартъ разсудитъ.
Вернуться къ темѣ долженъ я скорѣй.
Скажи мнѣ, Муза страсти и движенья:
Какъ этотъ вальсъ, дитя любви твоей,
Проникъ сюда въ британскія владѣнья?

Гиперборейскій вихрь его примчалъ
Изъ Гамбурга (оттуда приходила
Въ то время почта, и не нужно было
Молвѣ ползти межъ Готенбургскихъ скалъ
И засыпать среди снѣговъ, иль, съ дрожью
Внезапно пробудившись, рынокъ твой,
О Гельголандъ, снабжать пустою ложью;
Намъ присылались вѣсти и Москвой,
Которая еще не погорала
Отъ своего же друга генерала;
И вотъ пришла къ намъ истины молва,
И съ нею вальсъ, и полная кошница
Депешъ; газетъ правдивыя слова
И радостная вѣсть изъ Аустерлица:
Ни Moniteur, ни Morning Post вѣстей
Во вѣкъ не приносили равныхъ ей!
Подъ тяжестью столь славныхъ извѣщеній
Пришли, едва влача свою судьбу,
Десятки пьесъ и сказокъ Коцебу,
Шесть музыкальныхъ разныхъ сочиненій,
Затѣмъ посольскихъ писемъ цѣлый рядъ
И все, чѣмъ Франкфуртъ съ Лейпцигомъ дарятъ
Насъ каждый годъ, какъ это всѣмъ знакомо;
Трудъ Мейнера,—четыре толстыхъ тома
О женщинахъ (служа не для того-ль,
Чтобъ разыграть лапландской вѣдьмы роль,
Попутный вѣтеръ судну сообщая?);
Творенья Брунка,—тоже вещь большая,—
Пошли въ балластъ, и Гейне къ нимъ примкнулъ,—
Настолько, чтобъ корабль не потонулъ.

Такъ нагруженъ (и въ грузѣ томъ, не скрою,
Красавецъ вальсъ всего цѣннѣе былъ),
Корабль къ родному берегу приплылъ
И встрѣченъ былъ прелестныхъ дамъ толпою.
Ни самъ Давидъ, когда онъ ликовалъ
И предъ ковчегомъ соло танцовалъ,—
Ни донъ-Кихотъ, въ фанданго пылъ чрезмѣрный
Явившій, какъ замѣтилъ Санчо вѣрный,—
Ни ты, Иродіада, хоть, увы,
Твой дивный танецъ стоилъ головы,—
Ни Клеопатра на своей галерѣ,
То ногу въ большей или меньшей мѣрѣ,
То шею оголяя на показъ,—
Никто не сталъ такъ славенъ, всѣмъ на диво,
Какъ ты, сладчайшій вальсъ, когда у насъ
Ты закружился мѣрно и красиво
Подъ музыку нѣмецкаго мотива!

Къ вамъ, о мужья, чьей свадьбѣ—десять лѣтъ,
Чьи лбы болятъ, давно уже рогаты;
Къ вамъ, новички, которые женаты
Едва лишь годъ и у которыхъ нѣтъ
Большихъ роговъ, а только ихъ начала,
Какъ украшенья мѣднаго металла
Лбовъ вашихъ (хоть дополненъ тотъ металлъ
Тѣмъ, что законъ въ приданое вамъ далъ);
Къ вамъ, о матроны, чьей души стремленья
Въ томъ, чтобъ судьбу устроить дочерямъ,
А сыновьямъ испортить; также къ вамъ,
О барышни,—всегда произведенья
Своихъ мамашъ и рѣдко ихъ мужей;
Къ вамъ, женихи, которымъ Гименей
Дней на семь радость, на всю жизнь—мученья



Воители и рьяные танцоры
Всю ночь гусары мчатся въ вальсѣ!
Рис. Степановъ (I. Stephanoff), грав. Смитъ (S. S. Smith).

Сулитъ, когда способствуетъ своихъ
Невѣстъ ловить иль отбивать чужихъ,—
Къ вамъ въ гости, къ вамъ явился вальсъ прелестный,
На всѣхъ балахъ владыка повсемѣстный!

О нѣжный вальсъ! Совсѣмъ затмилъ твой тонъ
Ирландскій джигъ и древній ригодонъ;
Шотландскій риль и модныя кадрили,—
Всѣ, всѣ тебѣ, пришельцу, уступили;
Вальсъ, вальсъ одинъ привлечь искусно могъ
Къ участью въ танцахъ руки, кромѣ ногъ;
Ногамъ дана изрядная свобода,
А волѣ рукъ—предѣла вовсе нѣтъ;
Рука заходитъ, на глазахъ народа,
Куда захочетъ. Поубавьте свѣтъ:
Онъ слишкомъ ярокъ для такого риска!
Иль, можетъ быть, стою я слишкомъ близко?
Нѣтъ, нѣтъ, я слышу,—вальсъ намъ шепчетъ такъ:
„Во тьмѣ всего вѣрнѣй мой скользкій шагъ!“
Краснѣя, муза это замѣчаетъ
И вальсу юбку длинную вручаетъ.

Вы, зоркіе туристы всѣхъ временъ!
Вы, разныхъ странъ in quarto описанья!
Скажите мнѣ, мои расширивъ знанья:
Съ чѣмъ вальсъ прекрасный можетъ быть сравненъ?
Ромайки знойной скучное круженье,
Прыжки болеро съ юркостью своей,
Фанданго ли крутящійся, какъ змѣй,
Иль танцы группъ египетскихъ альмей,
Для зрителя прямое искушенье,—
Иль колумбійцевъ танецъ боевой
Подъ дикій и воинственный ихъ вой,—
Отъ береговъ Камчатки до Капъ-Горна
Все, что изъ танцевъ разныхъ странъ отборно,—
Съ тобою, вальсъ, сравнится ли? Ахъ, нѣтъ!
Всѣ, кто объѣздилъ этотъ бѣлый свѣтъ,
Морейръ, и Гальтъ, и всѣ туристы въ мірѣ,—
О вальсѣ пишутъ, какъ объ ихъ кумирѣ!

Красавицы дней прежнихъ, чей расцвѣтъ
Пришелъ съ Георгомъ Третьимъ или ранѣй,
Чьи внучки ужъ достигли взрослыхъ лѣтъ,—
Изъ гроба вставъ, войдите въ залъ собраній!

Пусть ваши души видятъ на балахъ,
Что самый рай въ сравненьи съ баломъ—
прахъ!
Фальшиво пудра дамъ не украшаетъ
И любопытнымъ пальцамъ не мѣшаетъ
Лифъ, туго накрахмаленный, дѣвицъ;
Ни париковъ нѣтъ больше, ни косицъ,
А вмѣсто нихъ—мужчинъ женоподобныхъ
Козлиныя бородки; никогда
У насъ не дурно дамѣ отъ стыда
Въ тискахъ объятій не совсѣмъ удобныхъ:
Чѣмъ больше ласкъ, тѣмъ дамѣ веселѣй!
Не нужно намъ ни капель, ни солей
Для укрѣпленья нервовъ: превосходно
Всесильный вальсъ все лѣчитъ, что угодно.

О вальсъ! Хотя на родинѣ твоей
Тебя самъ Вертеръ звалъ полу-развратнымъ,
Но Вертеръ самъ считалъ развратъ пріятнымъ,
Хоть былъ свободенъ отъ его цѣпей
(Не слѣпъ, хоть и не чуждъ былъ ослѣпленья);
Хоть о тебѣ былъ жаркій споръ, и пренья
Жестокія и страстныя велись
Межъ бойкой Сталь и скромницей Жанлисъ,
Которая изгнать тебя хотѣла
Съ баловъ парижскихъ,—мода одолѣла,
И, всюду бальной залой овладѣвъ,
Ты отъ графинь дошелъ до королевъ,
А за дверьми, усвоивъ баръ затѣи,
Танцуютъ вальсъ служанки и лакеи;
Раздвинувъ кругъ своихъ волшебныхъ силъ,
Всѣмъ вертишь ты, всѣмъ головы вскружилъ!
Въ кругу мѣщанскомъ, какъ ни неуклюже,
Любитель танцевъ тянется къ тому же;
Среди бродягъ – и тамъ охота есть
Къ тому, чье имя имъ не произнесть;
А я? Я такъ увлекся въ этомъ гимнѣ,
Что риѳмы такъ и просятся въ стихи мнѣ!

Въ удачный мигъ вальсъ сдѣлалъ свой дебютъ:
Дворъ, регентъ, вальсъ,—всѣ сразу были новы:
Рядъ новыхъ формъ гвардейцамъ дали тутъ,
Среди друзей явился новый людъ,
Рядъ новыхъ мѣръ возсталъ на вражьи ковы;
И новые законы, чтобъ бродягъ,
Просящихъ хлѣба, вѣшать навѣрнякъ,
И новыя монеты, на замѣну
Исчезнувшихъ иль потерявшихъ цѣну,
И новыя побѣды,—рядъ утѣхъ,—
Хоть Дженки самъ не вѣритъ въ свой успѣхъ,—
Явились войны новыя на сцену,
Хотя и въ прежнихъ войнахъ мы удачъ
Имѣли столько, что отъ нихъ хоть плачь,
Завидуя попавшимъ подъ удары;
И новыя метрессы (хоть и стары
Онѣ, но ново, что мы знаемъ ихъ),—
Все ново, ново, кромѣ кой-какихъ
Старинныхъ плутней: новы офицеры,
Жезлы, чины и метлы, кавалеры
И ленты ихъ; новъ конницы нарядъ
И ренегатовъ свѣжихъ цѣлый рядъ;
Такъ шепчетъ Муза на ухо поэта;
Другъ:— что сказалъ бы ты на это?

Да, славно выбрать время вальсъ съумѣлъ
И воцарился сразу, гордъ и смѣлъ!
Златое время! Всѣ на моду падки,
Нѣтъ больше фижмъ, отъ юбокъ — лишь остатки;
Долой мораль и чинный менуэтъ!
Вашъ вѣкъ прошелъ, о пудра и корсетъ!
Вотъ балъ открытъ: при входѣ въ двери зала
Привѣтствуетъ гостей хозяйка бала
Иль дочь ея. Принявъ веселый видъ,
Какъ Кентъ, иль видъ задумчиво-серьезный,
Какъ Глостеръ,—вотъ съ манерой граціозной
За талію взять дамочку спѣшитъ
Сіятельство иль свѣтлость; смотришь — танецъ
На щечкахъ дамы вызвалъ ужъ румянецъ
(Будь это встарь,—сказали бъ, что она
Стыдится); грудь у ней обнажена,—
И вотъ—отъ мѣста, гдѣ въ былые годы
Велѣлъ бы сердцу быть законъ природы,
До таліи, ища себѣ утѣхъ,
Рука мужчины бродитъ безъ помѣхъ,
А дама нѣжной ручкой,—мягче пуха,—
Гуляетъ вдоль сіятельнаго брюха.
Блаженствуя, скользятъ они вдвоемъ,
Одна рука—на таліи, другая
Вверхъ, на плечо взошла и, возлегая,
Плѣнительна въ довѣріи своемъ;
Лицомъ къ лицу, кружась, они несутся—
И вдругъ замрутъ,—и ноги остаются
На мигъ въ покоѣ, но не руки: имъ
Покою нѣтъ во время остановки.
Такъ, tour à tour, несутся быстры, ловки
Графъ Звѣздочка и лэди Псевдонимъ,
И сэръ Такой-то,—словомъ, знатныхъ стая,
Чьи имена находимъ мы, читая
Газету „Morning Post"; а если тамъ
Не суждено явиться именамъ,
То, мѣсяцевъ чрезъ шесть отъ этой даты,
Навѣрно ихъ намъ скажутъ адвокаты.
За парой пара, то замедливъ ходъ,
То вновь ускоривъ, мимо насъ плыветъ,

И женщина съ мужчиною, взаимно
Соприкасаясь тѣсно и интимно,
Невольно возбуждаютъ въ насъ вопросъ,
Который какъ то слышать довелось
Отъ турка: „танецъ этимъ, вѣроятно,
Не кончится?" Такъ, честный мой Мирза!
Всегда скажу и повторю стократно:
Ты правъ, сказалъ ты правду намъ въ глаза!
Повѣрь поэту: будетъ продолженье,
Когда придетъ удобное мгновенье!
Чья грудь готова быть обнажена,
Предъ кѣмъ угодно, въ залѣ иль въ гостиной,—
Та женщина ужели такъ сильна,
Чтобъ устоять наединѣ съ мужчиной?
О вы, Фицъ-Патрикъ, Шериданъ и всѣ
Любимцы нашихъ бабушекъ въ дни оны!
И ты, мой принцъ, кому въ своей красѣ
По вкусу были старыя матроны,—
Духъ Квинсбери! Всѣ знаютъ, какъ и я,
Какой въ дѣлахъ разврата ты судья!
Пусть сатана твои избавитъ очи
Отъ зрѣлища нераздѣленной ночи!
Скажите мнѣ: въ расцвѣтѣ вашихъ дней
Такой успѣхъ имѣлъ ли Асмодей?
Умѣлъ ли онъ распутныхъ думъ уроки
Въ румянцѣ нѣжномъ вызывать на щеки,
Высказывать во взорѣ томныхъ глазъ,
Чтобъ сердце млѣло, тѣло на показъ
Сквозило бы восторгомъ вожделѣнья,
Едва скрывая грѣшныя стремленья,
Пока природа верха не возьметъ,
Осиливъ волю, сбросивъ всякій гнетъ?
Когда такъ сильно чувство въ насъ задѣто,
Кто скажетъ намъ, чѣмъ кончится все это?

А вы, кому стыдливость не нужна,
А чистота и нравственность смѣшна,
Кто радъ сорвать лишь плодъ, упасть готовый;
Прельщаться ль вамъ побѣдой столь дешевой?
Та, кто готова каждому свой станъ,
Который пыломъ страсти обуянъ,
Для жаркаго подставить обниманья,—
Ужель для васъ полна очарованья?
Работѣ рукъ приличныхъ гдѣ предѣлъ
При неприличной близости двухъ тѣлъ?
Да, если такъ,—откажемся навѣчно
Отъ той любви, которой прелесть—въ томъ,
Что рукъ пожатье, нѣжно и сердечно,
Дается намъ безъ мысли о другомъ,
А милый взоръ всегда съ обидой встрѣтитъ
Взоръ глазъ чужихъ, когда въ немъ страсть замѣтитъ;
Пусть, если такъ, намъ будетъ суждено
Лобзать уста, которыя давно
Осквернены,—быть можетъ, не лобзаньемъ,
Но близостью преступной! Если ты
Доступенъ чарамъ этой красоты,
То не люби,—веди съ такимъ созданьемъ
Счетъ денежный! Души въ ней больше нѣтъ,
Достоинства исчезъ въ ней всякій слѣдъ!
Вальсъ сладостный! Какъ смѣлъ слова укора
Я произнесть? Вѣдь ты мнѣ тему далъ
Не для упрековъ, только для похвалъ!
Прости меня, прости, о Терпсихора!
На всѣхъ балахъ теперь моя жена
Танцуетъ вальсъ, и дочь плясать должна;
Мой сынъ (иль нѣтъ,—молчокъ на этомъ мѣстѣ:
Не надо вдругъ распространять всѣ вѣсти;
Когда нибудь и онъ, какъ я, свой плодъ
Для родословной нашей принесетъ),—
Танцуя вальсъ, онъ внуковъ, безъ сомнѣнья
Мнѣ дастъ, друзьямъ наслѣдниковъ имѣнья!

Н. Холодковскій.



Шутки, Эпиграммы и Стихотворенія на случай.

1797—1824 гг.

Эпиграмма на одну старую даму, которая имѣла странныя представленія о лунѣ.

(Epigram on an old lady who had some curious notions respecting the soul).

Въ Ноттингэмѣ, близъ Свэнъ-Грина, дама старая живетъ;
Ничего противнѣй въ мірѣ мнѣ никто не назоветъ;
Эта дама твердо вѣритъ, что, когда умретъ она—
(Что, надѣюсь, будетъ скоро), пріютитъ ее—луна!

Н. Холодковскій.

Эпитафія Джону Адамсу, носильщику изъ Сотвелля, умершему отъ пьянства.

(Epitaph on Iohn Adams, of Southwell, a carrier, who died on drunkennes).

Джонъ Адамсъ здѣсь лежитъ, Сотвелльскаго прихода
Носильщикъ; онъ *носилъ* ко рту стаканчикъ свой
Такъ часто, что потомъ *несли* его домой;
Ничья бы пробъ такихъ не *вынесла* природа!
Такъ много жидкости онъ въ жизни похлебалъ,
Что *вынести* не могъ; на *выносъ* самъ попалъ!

Н. Холодковскій.

СТРОФЫ М—РУ ГОДГСОНУ.

(Писано на Лиссабонскомъ пакетботѣ).

(Lines to Mr Hodgson).

Браво, Годгсонъ! Отплываетъ
Нашъ корабль чрезъ полчаса.
Вѣтръ попутный раздуваетъ
Надъ снастями паруса.
Чу! надъ вышкою сигнальной
Прогремѣлъ салютъ прощальный.
Запахъ дегтя, женскій крикъ—
Говорятъ, что близокъ мигъ.
Шарятъ стражи,
Средь поклажи—
Все вверхъ дномъ. У сундука
Сняли крышку...
Спрятать мышку
Не оставятъ уголка...
Для таможенныхъ работа
До отхода пакетбота.

—

Къ весламъ всѣ! Гребите дружно.
Нагруженъ уже баркасъ.
Долго ждать намъ недосужно.
Якорь поднятъ. Въ добрый часъ.
— Осторожнѣй: это вина...
— Я больна... Назадъ къ землѣ!..
— Это—бѣдствій половина,
Вся бѣда—на кораблѣ.
Въ суматохѣ
Крики, охи
Женъ, мужей, лакеевъ, баръ.
Въ кучу сбиты,
Всѣ набиты
Вмѣстѣ въ лодку, какъ товаръ.
И у всѣхъ—своя забота
По пути до пакетбота.

—

Вотъ и онъ! Черезъ минуту
Капитанъ, любезный Киддъ,
Провожаетъ насъ въ каюту.
Тотъ ворчитъ, того тошнитъ.
Боже! какъ мала каюта!
Въ ней—лишь три квадратныхъ фута.
Помѣститься въ ней могла-бъ
Лишь одна царица Мабъ.
— Сэръ, за что же?...
Здѣсь вельможи—
Цѣлыхъ двадцать помѣщались.
— Правый Боже!

Отчего же
Здѣсь они и не остались?
Я бъ оставилъ безъ хлопотъ
Лиссабонскій пакетботъ.

—

Флетчеръ, Бобъ и Меррей! Въ лежку!
Уподобились бревну...
Эй, вставайте понемножку,
Иль канатомъ васъ хлестну!
Въ люкъ скатясь, неблагородно
Гобгоузъ адски насъ клянетъ,
То съѣстнымъ—поочередно—
То его стихами рветъ.
— Это станцы
Въ честь Браганцы...
Ой!..—Куплетъ?... Нѣтъ, кипятку!..
Нѣтъ ли чашки?
Боли тяжки
И въ печенкѣ и въ боку...
Коль живыми быть охота—
Избѣгайте пакетбота.—

—

Мы плывемъ къ турецкимъ странамъ
И, Богъ вѣсть, когда назадъ.
Волны съ дикимъ ураганомъ
Намъ крушеніемъ грозятъ.
Но вся жизнь—во многомъ шутка,
Говоритъ философъ намъ.
И чтобъ не было намъ жутко—
Смѣйтесь, какъ смѣюсь я самъ:
Дома, въ морѣ,
Въ счастьи, въ горѣ,
Надъ великимъ и пустымъ!
Если пьется—
Всякъ смѣется.
Къ чорту жизнь со всѣмъ инымъ!
Есть вино, коль пить охота,—
И въ каютѣ пакетбота!

О. Чюмина.

ДАЙВСУ.

(Отрывокъ).

(To Dives. A fragment).

Несчастный Дайвсъ! Ты сталъ, по волѣ рока,
Природѣ вопреки, добычею порока.
Въ немилость нынче ты и у Фортуны впалъ,
Излившей на тебя проклятія фіалъ.
Предъ блескомъ и умомъ твоимъ склонялся каждый.
Какою свѣтлою была заря твоя!
Но несказаннаго грѣха нечистой жаждой
Томился ты, и вечеръ бытія
Влачить въ презрѣніи — нѣтъ горестнѣе доли—
И въ одиночествѣ полнѣйшемъ противъ воли.

О. Чюмина.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПРОСЬБА КЪ ДЖ. К. Г., ЭСКВАЙРУ.

(Farewell petition to J. C. H. Esq.).

О ты, Кэмъ Гобгоузъ для профановъ стада,
Для остряковъ же—византійскій Бэнъ!
Двойнымъ симъ титломъ—съ главнаго фасада
И съ корешка—твой томъ запечатлѣнъ!
Себя и томъ ты морю предоставилъ,
А Грецію мнѣ съ Флетчеромъ оставилъ;
Запомни жъ грустной музы рѣчь: она
За Флетчера и за меня—одна.

Во-первыхъ, въ „замокъ" этого бѣдняги
Доставь письмо, которое я дамъ;
И, если спроситъ Пенелопа тамъ,
Гдѣ и когда, въ какія передряги
Попалъ ея Вильямъ,—не пожалѣй
Ни выспреннихъ, ни жалостныхъ рѣчей,
Чтобъ расписать все, что ея герою
Пришлось увидѣть, вынести, взять съ бою.
Цыплята жестки, эля отродясь
Здѣсь нѣтъ; въ горахъ—все камни, въ долахъ—грязь;
Приправа—все чеснокъ къ любому блюду;
Страшитъ чесотка, вши грозятъ повсюду;
Въ пальто тутъ мерзнешь, шляпа — такъ ветха;
Непрочная кровать—совсѣмъ плоха!
И отъ страны къ странѣ, отъ цѣли — къ цѣли
Несносный голодъ, изгнанный отъ Сэлли,
Брюзжащаго супруга шлетъ и шлетъ!
Пусть вѣрное ребро его пойметъ,
Насколько это все ему не сладко!
Пиши ей складно, говори ей гладко!

Исполнивъ это, кое-что и мнѣ
По дружбѣ сдѣлай ты въ родной странѣ.
Но дай обдумать, прежде, чѣмъ назначу
Тебѣ мою противную задачу.

Во-первыхъ — сборникъ! Въ Сотвелль томикъ свой
По почтѣ къ мистриссъ Пиготъ поскорѣе
Пошли: въ продажѣ пусть успѣхъ большой
Имѣетъ онъ; пусть будутъ подобрѣе
Всѣ критики къ нему; твоимъ строкамъ
Пусть улыбнется даже Лонгмэнъ самъ!

Привѣтствуй также Мэтьюса! Смиренно
Стопы его почтенныя обмой
И передай поклонъ сердечный мой
Методы мужу! Мнѣ онъ неизмѣнно
Руководитель, и мудрецъ, и другъ;

Любить меня не можетъ онъ, исправить
Не хочетъ онъ страстей моихъ недугъ;
Но ты скажи, что я хочу заставить
Себя—на „нашъ старинный вѣрный путь
Горація“ серьезно повернуть
И быть (тутъ прозой риѳмы недостатокъ
Пополнишь ты) отъ головы до пятокъ
Ничуть не хуже лучшихъ тѣхъ людей,
Что въ лучшій вѣкъ живали въ жизни сей.

На этомъ кончу, продолжать не стану:
Пѣвца я пѣснью мучить перестану.
О ты, не выпускающій изъ рукъ
Пера! Ты, за грѣхи свои извѣстный,
Какъ „авторъ смѣсей“, исполнитель чест-
ный
Издательскихъ велѣній, вѣрный другъ
Для Гёрста, Орма, Лонгмэна и Риса!
Ты въ ихъ конторы прямо обратися!
Увы, тебѣ патроны не велятъ
Въ двѣнадцатую долю взять форматъ,
Хоть къ путевымъ онъ письмамъ такъ
подходитъ:
Онъ не тяжелъ, въ карманъ удобно входитъ!
Возьмись опять за новый родъ письма:
Рядъ анекдотовъ, крошечка ума;
И пусть мамаши строгія, читая,
Смягчатся; пусть отцы тебѣ простятъ,
Сынки же, въ вѣрномъ долгѣ подрастая
И процвѣтая, пусть себѣ строчатъ!

Н. Холодковскій.

МОЯ ЭПИТАФІЯ.

(My epitaph).

Природа, юность, Зевсъ смягченный—
Хранили свѣточъ, мной зажженный,
Но Романелли, полный силъ,
Его на зло имъ загасилъ.

О. Чюмина.

ВЗАМѢНЪ ЭПИТАФІИ.

(Substitute for an epitaph).

Читатель, плачь иль нѣтъ—здѣсь Чайльдъ-
Гарольдъ лежитъ,
Но эпитафіи быть также надлежитъ.
Въ Вестминстерѣ смотри: ихъ много—пре-
восходныхъ,
Равно ему, какъ и тебѣ пригодныхъ.

О. Чюмина.

ЭПИТАФІЯ ДЖОЗЕФУ БЛЭККЕТУ, ПОЭТУ И САПОЖНИКУ.

(Epitaph for Ioseph Blacket, late poet and shoemaker)

О, странникъ, здѣсь—хотя несхожи—
Слились духъ книжный съ духомъ кожи,
И уцѣлѣвъ съ его кончиной,
Его останки—за витриной.
Пѣвца работа—безъ изъяна:
Есть переплеты изъ сафьяна.
Касайся легкою стопою
Земли, гдѣ прахъ поэта стынетъ,
Тебѣ искусною рукою
Поэтъ подметокъ не подкинетъ.
Но въ смерти счастливъ онъ, конечно,
И стихъ его, и обувь—вѣчно.
Онъ за работу славилъ небо,
И до конца былъ другомъ Феба.
О немъ сказать рѣшится кто же,
Что знатокомъ онъ былъ лишь въ кожѣ?
Хоть съ ваксой дѣло онъ имѣлъ—
Но кто чернить его посмѣлъ?

О. Чюмина.

НА НОВЫЙ ОПЕРНЫЙ ФАРСЪ ИЛИ ФАРСОВУЮ ОПЕРУ МУРА.

(On Moore's last operatic farce or farcical opera)

Съ талантомъ рѣдки сочиненья
И Муръ даетъ намъ рядъ каррикатуръ,
Со славою его пошло на умаленье:
Что Муръ есть „малый“ — не было со-
мнѣнья,
Узнали мы, что онъ—и „малый Муръ“.

О. Чюмина.

Р. С. ДАЛЛАСУ.

(R. C. Dallas).

Да, мудрость свѣтится въ лицѣ его и взглядѣ,
Самой богинѣ мудрости Палладѣ
Такъ полюбился-бъ онъ, что и она какъ разъ
Любимицѣ совѣ бы измѣнила
И птицей родственной ее бы замѣнила,
По имени: Р. С. Далласъ.

О. Чюмина.

ОДА

авторамъ билля, направленнаго противъ разрушителей станковъ.

(An ode to the framers of the Frame Bill).

Лордъ Эльдонъ, прекрасно; лордъ Райдеръ, чудесно!
Британія съ вами какъ разъ процвѣтетъ.
И Гоксбѐри съ Горроби правятъ совмѣстно.
Лѣкарство поможетъ, но раньше—убьетъ.
Ткачи-негодяи готовятъ возстанье:
О помощи просятъ. Предъ каждымъ крыльцомъ
Повѣсить у фабрикъ ихъ всѣхъ въ назиданье!
Ошибку исправить и—дѣло съ концомъ.

—

Въ нуждѣ негодяи, сидятъ безъ полушки,
А песъ, голодая, на кражу пойдетъ.
Ихъ вздернувъ за то, что сломали катушки—
Правительство деньги и хлѣбъ сбережетъ.
Ребенка скорѣе создать, чѣмъ машину,
Чулки—драгоцѣннѣе жизни людской,
И висѣлицъ рядъ оживляетъ картину,
Свободы расцвѣтъ знаменуя собой.

—

Идутъ волонтеры, идутъ гренадеры,
Полковъ двадцать два—на мятежныхъ ткачей,
Полиціей всѣ принимаются мѣры,
Двумя мировыми, толпой палачей.
Изъ лордовъ не всякій отстаивалъ пули,
О судьяхъ взывали. Потраченный трудъ!
Согласья они не нашли въ Ливерпулѣ,
Ткачамъ осужденіе вынесъ не судъ.

—

Не странно-ль, что если является въ гости
Къ намъ голодъ, и слышится вопль бѣдняка—
За ломку машины ломаются кости,
И цѣнятся жизни дешевле чулка?
А если такъ было—то многіе спросятъ:
Сперва не безумцамъ ли шею свернуть,
Которые людямъ, что помощи просятъ—
Лишь петлю на шеѣ спѣшатъ затянуть?

О. Чюмина.

КЪ М-ССЪ ДЖОРДЖЪ ЛЭМЪ.

(To the Hon. M-rs George Lamb).

Та пѣснь, что пѣла ты—священна,
Какъ память устъ, мнѣ дорогихъ.
Дивлюсь, что столь же вдохновенно
Звучитъ она въ устахъ другихъ.

—

Но *взоръ* и *голосъ* столь прелестный
Равно обѣимъ вамъ даны,
Что мнится: изъ страны небесной
Мнѣ оба вмигъ возвращены.

—

И невозвратное видѣнье
Тобою такъ воплощено,
Что о погибшемъ сновидѣньѣ
Жалѣть почти не дастъ оно.

О. Чюмина.

LA REVANCHE.

Надеждъ я не питаю болѣ,
Страшиться нечего тебѣ,
И если вырвется крикъ боли—
Глухою будешь ты къ мольбѣ.

Зачѣмъ цѣнилъ любовь твою?
Изъ-за тебя я слезы лью?
Нѣтъ, о тебѣ воспоминанье—
Глухое, мертвое молчанье.

Когда льстецы въ теченье лѣтъ
Бѣгутъ предъ роемъ думъ не льстивыхъ,
Припомнивъ какъ страдалъ поэтъ
И жертвой сталъ обѣтовъ льстивыхъ—
Ты каждый часъ забытыхъ лѣтъ
Слезой своею отсчитаешь
И въ каждой каплѣ ихъ познаешь
Воспоминаній жгучій слѣдъ.

О. Чюмина.

ТОМАСУ МУРУ.

(Написано вечеромъ наканунѣ посѣщенія м-ра Ли Гѣнта въ тюрьмѣ, мая 19-го 1813 г.).

(To Thomas More. Written the evening before his visit to Mr. Leigh Hunt in Horsemonger Lane Gaol, May 19, 1813).

О ты, Томъ Браунъ, Литль, Томъ Муръ, Анакреонъ...
(Какое предпочтешь ты изъ своихъ именъ?)
Уступитъ ли „сумѣ двухпенсовой почтовой"—
(Не знаю, хоть повѣсь!..) in quarto двухфунтовый?

—

Но перейду къ письму, что на твое—отвѣтъ.
Заутра потрудись одѣться ты чуть свѣтъ,
Дабы пуститься въ путь, какъ въ этомъ дали слово,
Чтобъ навѣстить въ тюрьмѣ собрата-острослова.
Дай Фебъ, чтобъ въ тотъ же домъ въ неосторожный часъ

Политика въ стихахъ—не привела бъ и насъ!
Сегодня свѣтскаго ты навѣщаешь скрягу:
На „Синихъ“ промѣнялъ ты Роджерса, бѣднягу.
А я, хотя чуть живъ отъ колотья въ боку—
Я натяну штаны и буду „на току“.
Но завтра къ четыремъ дадимъ подобье Скурры;
Катулломъ будешь ты, правителемъ Мамурры.

О. Чюмина.

ПО ПОВОДУ ПОЭМЪ ЛОРДА ТЮРЛО.

(On lord Thurlow's poems).

Когда прислалъ намъ Тюрло этотъ вздоръ
(Надѣюсь, мой не рѣзокъ приговоръ),—
Никто не могъ понять его съ тѣхъ поръ.
И даже тѣмъ, что Роджерса онъ славилъ,
Своимъ словамъ онъ смысла не доставилъ;
Зачѣмъ же онъ стихи въ печать направилъ?
Великій Фебъ! Ты лиру мнѣ настрой
Гермильды пѣснью первой и второй;
Я въ путь пускаюсь съ новою сумой:
Чтобъ та сума наполнилась прилично,
Свои съ чужими лавры сплесть—логично;
Другъ Тюрло,—дай и ты свои мнѣ лично!

Н. Холодковскій.

КЪ ЛОРДУ ТЮРЛО.

(To Lord Thurlow).

Свою я лавра вѣточку даю—
И такъ пусть каждый принесетъ свою,—
И Фебовъ я вѣнокъ изъ нихъ совью.
(*Стихи лорда Тюрло къ Роджерсу*).

Тобою „лавра вѣточка“ дана?
Что ты укралъ,—тебѣ ужели мало?
И еслибъ вѣтка та принадлежала
Тебѣ,—нужна ли Роджерсу она?
Оставь свой жалкій прутъ себѣ въ забаву,
Иль докторъ Доннъ пускай возьметъ его,
Иль подѣлите межъ собой по праву:
Ему—кой-что, тебѣ же—ничего.

И „Фебовъ ты вѣнокъ“ пѣвцу свиваешь?
Прекрасно: вить ты можешь такъ иль сякъ,—
Всегда совьешь дурацкій лишь колпакъ.
Когда опять ты въ Дельфахъ побываешь,
Спроси своихъ товарищей, дружокъ:
Они тебѣ разскажутъ, безъ сомнѣнья,
Что Фебомъ данъ ужъ Роджерсу вѣнокъ
За много лѣтъ до твоего рожденья.

„Свою пусть каждый вѣтку“ всѣ несутъ?
Когда въ Ньюкэстль съ углемъ пойдутъ подводы,
А совъ въ Аѳины повезутъ народы,
И Регента съ супругой разведутъ,
И Ливерпуль свой грѣхъ увидитъ въ горѣ,
И съ вигами не будутъ грызться тори,
И Кэстлери сынка родитъ жена,—
Тогда, быть можетъ, день такой настанетъ,
Что Роджерсъ насъ просить о лаврахъ станетъ,—
Но ты запасъ свой сохранишь сполна.

Н. Холодковскій.

ПОѢЗДКА ДЬЯВОЛА.

(The Devil's Drive).

Дьяволъ, въ адъ возвратясь къ двумъ часамъ, просидѣлъ
У себя до пяти: отдыхалъ и обѣдалъ.
Онъ рагу изъ убійцъ съ аппетитомъ поѣлъ,
„По ирландски“ мятежника также отвѣдалъ,
И, покушавъ сосисекъ изъ мяса жида,
Что убилъ самъ себя,—сталъ онъ думать: „Куда
Я отправлюсь теперь? Не проѣхаться ль, что ли?
Я все утро ходилъ: дай, проѣзжу всю ночь!
Тьму сыны мои любятъ: взглянуть я не прочь,
Какъ любимцы мои поживаютъ въ юдоли“.

„Но, — промолвилъ тутъ Люциферъ,— какъ же, на чемъ
Я поѣду? Чтобъ вкусъ свой потѣшить, охотно
Я въ повозку для раненыхъ сѣлъ бы бочкомъ
И глядѣлъ бы на кровь, хохоча беззаботно.
Но, вѣдь, раненыхъ будетъ довольно всегда;
Я же долженъ спѣшить то туда, то сюда:
Всѣ владѣнья свои, вѣдь, объѣхать мнѣ надо
Да смотрѣть, чтобы душъ не украли у ада.

Въ Карльтонъ-Гоузѣ карета стоитъ у меня,
Въ Сэймуръ-Плэсъ я тележку имѣю;
Но ихъ далъ на прокатъ двумъ пріятелямъ я,
Чтобы ѣздить любимой дорожкой моею.
Ловко правятъ они, откровенно скажу;
Я за это впослѣдствіи ихъ награжу.
Ну, на счастье, впередъ и скорѣе за дѣло!“
И, взлетѣвъ на поверхность земли, онъ прыжкомъ

Отъ Москвы перенесся до Франціи смѣло,
И, шагнувъ черезъ море потомъ,
Онъ коснулся почтоваго тракта копытомъ,
По сосѣдству съ епископомъ нѣкимъ маститымъ.

Впрочемъ, нѣтъ; позабылъ я: замедлилъ на мигъ
Онъ полетъ свой, какъ только равнины достигъ,
Гдѣ подъ Лейпцигомъ было сраженье;
Сѣрнымъ блескомъ онъ былъ такъ плѣненъ,
И такъ сладокъ ему былъ отчаянья стонъ,
Что на груду изъ тѣлъ онъ присѣлъ на мгновенье.
Онъ смотрѣлъ, какъ та груда росла и росла:
Это рѣдкое зрѣлище было!
Вполовину бы такъ удавались дѣла,—
Такъ была бы довольна нечистая сила!
Вся равнина дымилась, отъ крови красна,
Точно волны кровавыя ада.
Съ громкимъ хохотомъ дико вскричалъ сатана:
„Здѣсь, пожалуй, меня имъ не надо!"

И, любуясь, смотрѣлъ онъ на рати всѣхъ странъ.
Въ рукопашную бились солдаты:
И австрійцы, и галлы, и рать москвитянъ,
И (мнѣ риѳму найди, какъ находишь всегда ты,
Муза Фица!) сражался и прусскій ландверъ.
То-то радость превыше всѣхъ мѣръ!
Всѣ монархи земли, всѣ державы
Приготовили здѣсь, на особый манеръ,
Для волковъ, для червей и для птицъ—пиръ кровавый!

Повернувшися, чортъ чрезъ холмы посмотрѣлъ
Вдоль рѣки—и съ восторгомъ немалымъ
Онъ разрушенный мостъ тамъ узрѣлъ,
Кстати взорванный нѣкимъ капраломъ.
Императоръ, конечно, того не хотѣлъ,—
Чортъ, однако, призналъ презабавнымъ скандаломъ
И опять засмѣялся, довольный вполнѣ,
Увидавъ, какъ князь Понъ, „на горячемъ конѣ",
Номеръ первый, подхваченъ потокомъ,
Захлебнулся въ теченьи глубокомъ,
А съ собой и толпу утопилъ въ глубинѣ.

Но пріятнѣй нигдѣ не услышалъ онъ звука,
Какъ отчаянный вздохъ безутѣшной вдовы;
Слаще зрѣлища онъ не увидѣлъ, чѣмъ мука
И застывшія слезы среди синевы
Перепуганныхъ глазъ нѣжной дѣвы, обнявшей
Друга милаго трупъ и вокругъ разметавшей
Кудри длинныя, взоръ устремивъ къ небесамъ,
Точно, чтобы спросить, есть ли Богъ еще тамъ?
У лачугъ разоренныхъ глядѣлъ онъ, жестокій,
На потухшія очи, на впалыя щеки
Умиравшихъ отъ голода жалкихъ дѣтей;
Онъ глядѣлъ, какъ убійство губить начинало,
Гдѣ противиться силъ ужъ не стало,
И спастись не могли бѣглецы отъ мечей.

Видѣлъ городъ онъ, взятый осадой упорной;
Не заботясь, кто былъ побѣдитель въ тотъ разъ,
Онъ замѣтилъ лишь старую дѣву. Покорно
Пряжу бросивъ и зеркало взявши сейчасъ,
У прохожаго дѣва спросила проворно:
„Скоро ль будутъ насиловать женщинъ у насъ?"

Прилетѣлъ сатана къ нашимъ бѣлымъ утесамъ.
Что жъ онъ тутъ увидалъ,—обращусь къ вамъ съ вопросомъ?
Если зорокъ онъ былъ, то, конечно, средь тьмы
То же видѣлъ онъ ночью, что днемъ видимъ мы;
Впрочемъ, всѣмъ тѣмъ событьямъ, что въ ночь промелькнули,
Велъ онъ запись подробно въ различныхъ мѣстахъ;
Послѣ продалъ ее онъ торговцамъ въ „рядахъ":
Заплатили недурно, но все же надули!

Вотъ сперва онъ увидѣлъ, какъ будто мальпостъ,—
Такъ былъ кучеръ одѣтъ, что ту везъ колесницу.
На манеръ пистолета прицѣливъ свой хвостъ,
Ухватилъ чортъ за горло возницу.
„А,—воскликнулъ онъ,—кто тутъ таковъ?"
„Старый пэръ, но зато экипажъ у насъ новъ".
Чортъ его посадилъ тутъ на козлы обратно
И велѣлъ не тревожиться, крѣпче свой кнутъ
И поводья держать, пиво пить аккуратно,
Посвящать и вертепу не мало минутъ.

„Впрочемъ, лорда, — прибавилъ онъ, — видѣть пріятно
Мнѣ скорѣе въ палатѣ, чѣмъ тутъ“.

Нанялъ чортъ таратайку съ клячонкой негодной,
Посулилъ деньги послѣ внести
И рога заложилъ за парикъ новомодный,
Чтобы выкупить ихъ на обратномъ пути.
Замурлыкалъ онъ вальсъ или джигъ нашъ народный
И велѣлъ себя быстро везти.

Чу! На первой же станціи—пѣнье псалмовъ
Въ методистской часовнѣ. При этомъ напѣвѣ
Чортъ взыгралъ: „Не слыхалъ я пріятнѣе словъ
Съ той поры, какъ далъ яблочко Евѣ!
Тамъ, гдѣ вѣра есть все,—и дѣла, и дѣльцовъ
Покорю я себѣ: поручиться готовъ!“

Мимо Томми Тирвитта, ходячей потѣхи,
Страстотерпца отъ принцевыхъ думъ и остротъ,
Онъ проѣхалъ. При общемъ, особенномъ смѣхѣ
Бѣдный Томми съ „Подвязкой“ пустился въ походъ.
„Вотъ посольство,—сказалъ сатана,—вотъ отрада!
Мнѣ забавы другой въ эту ночь и не надо!
Если „орденъ заслуги“ приличенъ кому,—
То, конечно, Тирвитту,—и только ему!“

У трактира онъ слѣзъ и, усѣвшись въ буфетѣ,
Развернулъ номеръ „Таймса“; и что же? Въ газетѣ
Видитъ Vetus'a письма: такія слова
Отъ преступниковъ явныхъ онъ слышалъ едва!
„Сомнѣваюсь,—сказалъ онъ, — чтобъ авторъ въ сраженьи
Былъ хоть разъ, иль былъ раненъ, хоть хвалитъ войну.
Впрочемъ, самъ онъ не ждетъ, какъ я славить начну
Эти письма: издамъ ихъ въ „горячемъ“ тисненьи,
Въ переплетъ ихъ отдамъ я сафьянный „d'enfer“,
Въ заголовкѣ жъ поставлю его „nom de guerre!“

Чортъ отправился дальше. Въ Вестминстеръ въѣзжая,
Тамъ Палату онъ Общинъ хотѣлъ посѣтить,
Но услышалъ, что сессія лордовъ большая
Собралась. Случай онъ не хотѣлъ упустить
Видѣть лордовъ, хоть слушать ихъ было бъ некстати.
Такъ какъ нѣкогда дьяволъ и самъ былъ „изъ знати“,
То въ палату онъ смѣло вошелъ, какъ свой братъ:
Даже къ трону онъ близко стоялъ, говорятъ.

Тамъ былъ лордъ Ливерпуль, — этотъ умникъ наглядный,—
Вестморлэндъ, столь извѣстный за олуха всѣмъ,
И Норфолькскій жокей,—парень, ростомъ изрядный,—
И на Билли-дружка столь похожій Чэтэмъ.
Видѣлъ чортъ, какъ лордъ Эльдонъ точилъ свои слезы,—
Все о томъ, что возстанья католиковъ нѣтъ,
Несмотря на мольбы, прорицанья, угрозы.
Вдругъ услышалъ онъ грубый отвѣтъ:
Даже самъ сатана ужаснулся,
Какъ одинъ предсѣдатель суда вдругъ ругнулся.
„Ну, — сказалъ онъ, — отсюда убраться я радъ;
Мы, внизу, не потерпимъ такую повадку:
Если станетъ ругаться онъ такъ, придя въ адъ,—
Будетъ другомъ Молохомъ онъ призванъ къ порядку“.

Чортъ направился къ Нижней Палатѣ скорѣй;
Здѣсь была ему столь же знакома дорога,
Какъ для крысы—дорога къ норѣ ея; дней
Онъ провелъ въ этой залѣ достаточно много;
Голосовъ онъ и душъ здѣсь не мало поддѣлъ
И унесъ изъ прихожей достаточно дѣлъ.
Собралась тутъ отборныхъ ораторовъ стая,
Лоскомъ шляпъ и сапогъ и штиблетовъ блистая;
Издержались иные,—но, въ полной красѣ,
Были хуже лакеевъ одѣты здѣсь всѣ!

Каннингъ былъ за войну, Витбрэдъ—мира сторонникъ,
Всякій несъ, что хотѣлъ, — но у всѣхъ одинъ толкъ:
Что обязанъ рости государственный долгъ.
Только Фрэнсисъ одинъ, демагогъ и законникъ,
Несогласенъ былъ: этакій плутъ!

Какъ Вестминстеръ избралъ его вновь, чтобъ онъ тутъ
Оскорблялъ, какъ народа радѣтель,
Столь почтенныхъ господъ добродѣтель!
Чортъ сидѣлъ до зари,—освѣтила она
Лорда Кэстлери рѣчь и могущество сна;
Полъ-палаты ушло; всталъ и чортъ; всѣмъ, вѣдь, нуженъ
Отдыхъ: сонному — сонъ, а голодному — ужинъ.
Такъ скучна была разныхъ рѣчей канитель,
Что и чорта тянуло въ геенну,—въ постель.

Видѣлъ онъ Джорджа Роза; но Джорджъ, молчаливый,
Только мысленно лгалъ въ этотъ разъ;
Дьяволъ могъ лишь себя утѣшать перспективой
Слышать въ будущемъ лжи его полный запасъ.
Лживъ языкъ его, самъ же онъ—парень правдивый:
Если бъ правду сказалъ,—обманулъ бы онъ васъ.
Да! Природа должна бъ возсоздать его снова,
Чтобы сердцемъ, лицомъ, языкомъ иль перомъ
Понялъ, выразилъ, молвилъ, черкнулъ онъ три слова,—
И они бъ оказались не ложью потомъ.

Вотъ по арміи дьяволъ приказъ прочиталъ;
Смотритъ,—новый фельдмаршалъ назначенъ.
Но, увидѣвъ, что принцъ Кумберлэндскій имъ сталъ,
Чортъ порядочно былъ озадаченъ.
„Будь для мелкихъ придирокъ не слишкомъ я гордъ,—
Онъ сказалъ,—или будь я не чортъ,—
Я нашелъ бы, что это довольно пристрастно.
Всѣмъ, вѣдь, въ мірѣ извѣстно прекрасно,
Что сей воинъ былъ раненъ лишь разъ,—да и то
Раненъ—Богъ знаетъ кѣмъ, ранилъ—чортъ знаетъ кто".

Затесался онъ въ залъ королевскаго бала
И гаремъ сѣдовласый весь видѣлъ сполна.
Глядь,—Коринна де Сталь вдругъ предстала:
Методисткой и тори явилась она.
„Эге-ге!—молвилъ дьяволъ,—всегда такъ бываетъ,
Если умникамъ слава претить начинаетъ!
Что жъ, спасибо за слабость; скорбѣть отъ того
Я не стану: измѣна милѣй мнѣ всего.
Nota bene: кого совратить я желаю,
Въ школу Канта того поскорѣй посылаю;
А чтобъ скрасить намъ всю философіи ложь,—
Комментаріи къ ней настрочитъ Макинтошъ".

Чортъ почувствовалъ слабость при видѣ святоши
И ему захотѣлось поѣсть.
Пажъ шелъ мимо, несъ блюдо,—и вотъ съ этой ноши
Поспѣшилъ ветчины онъ кусочекъ уплесть,—
Такъ, отъ нечего дѣлать („друзья", что здѣсь были,
Аду души свои ужъ давно заложили),
И, глотая ее, онъ желалъ быть жидомъ,
Чтобы лишнимъ себя обезпечить грѣхомъ:
Грѣхъ, вѣдь, самъ по себѣ, лишь одно развлеченье,
Если послѣ него не грозитъ осужденье.

Дьяволъ вдругъ обернулся: услышалъ онъ звукъ,
Для его даже уха обидный.
Смотритъ,—въ вальсѣ вверху, и внизу, и вокругъ
Учениць его носится хоръ миловидный.
„Ну,—сказалъ онъ,—хоть это ко мнѣ—premier pas,
Но отъ этого пусть стережется толпа!
Принеси я въ свой адъ этотъ танецъ,—повѣрьте,
Слишкомъ плотскими стали бы юные черти;
И хоть плоть я люблю, не хотѣлось бы мнѣ,
Чтобы въ царствѣ моемъ духъ подпалъ ей вполнѣ".

Дьяволъ былъ бы не прочь, еслибъ было не поздно,
Посмотрѣть, какъ отстроился вновь Дрюри-Лэнъ;
Но, пожалуй, онъ могъ разсердиться серьезно,
Увидавъ, что не стоило ждать перемѣнъ;
Если жъ тамъ Норджабадъ посѣтилъ бы онъ лично,
То навѣрно туда не пришелъ бы вторично.
И довольно обидно казалось ему,
Что могли приписать Норджабадъ одному
Изъ знакомыхъ его, чьи труды хоть дурными
Онъ считалъ, но не столь ужь дряными.
Эта книга—изъ тѣхъ, о которыхъ сказалъ
Іовъ, мучимъ терзаньями злыми:
„Пусть бы злѣйшій мой врагъ эту книгу писалъ!"

Наконецъ чортъ увидѣлъ писакъ шестьдесятъ,
Заключенныхъ въ отдѣльныя кельи.
Удивился онъ: что эти люди творятъ?
Точно мелкіе дьяволы въ мелкій свой адъ
Эти странныя лица засѣли
И на ближнихъ проклятья строчатъ.
Хоть бумага, коробясь, края закрутила,—
До того горячи ихъ чернила,—
Хладнокровнымъ зовется ихъ критики взглядъ!
Вотъ одинъ изъ нихъ „мы" написалъ. „Безъ сомнѣнья,—
Молвилъ чортъ,—онъ подъ этимъ себя и меня
Разумѣетъ; прибавлю издателя я,—
Вотъ и выйдетъ насъ Троица, въ духѣ ученья
Аѳанасія; догматы крѣпко храня,
Люди съ вѣрою скажутъ: вотъ сколько сложилось,
Чтобъ одно непонятное въ суммѣ явилось!"

Н. Холодковскій.

ВИНДЗОРСКАЯ ПІИТИКА.

(Windsor Poetics).

Стихи, написанные на случай, когда авторъ видѣлъ его королевское высочество принца регента стоящимъ между гробницами Генриха VIII и Карла I, въ королевскомъ склепѣ въ Виндзорѣ.

Священныхъ узъ попраніемъ суровымъ
Извѣстные, въ гробницахъ здѣсь лежатъ
Бездушный Генрихъ съ Карломъ безголовымъ.
Межъ ними видитъ третьяго мой взглядъ:
Онъ живъ, царитъ, вершитъ свои желанья,—
Во всемъ король онъ, кромѣ лишь названья.
Карлъ для народа, Генрихъ для жены
Тираномъ былъ, а въ немъ воскрешены
Тѣ два тирана вмѣстѣ: Смерть и Право
Напрасно въ немъ свой прахъ смѣшали, право!
Два царственныхъ вампира, съединясь,
Возстали вновь и царствуетъ ихъ сила;
Безсильна смерть: извергла намъ могила
Опять въ лицѣ Георга кровь и грязь.

(Другая версія первыхъ 6-ти стиховъ).

Королевское посѣщеніе склепа (или открытіе Цезаремъ Карла I и Генриха VIII въ одномъ и томъ же склепѣ).

Гражданской и семейной распрей вѣчной
Извѣстные, въ гробницахъ здѣсь лежатъ
Карлъ безголовый, Генрихъ безсердечный;
Межъ ними видитъ третьяго мой взглядъ;
Онъ, скиптроносецъ, живъ; онъ — повелитель;
„Въ немъ каждый дюймъ — король", сказалъ бы зритель

Н. Холодковскій.

ICH DIEN.

Какъ девизъ твой съ эмблемою этой несходенъ:
Человѣкъ для страны, гербъ—для принца пригоденъ.

Н. Холодковскій.

Сочувственное посланіе Саррѣ, графинѣ Джерсей, по поводу того, что принцъ регентъ возвратилъ ея портретъ м-ссъ Ми.

(Condolatory Address to Sarah Countess of Jersey on the prince-regent's returning her picture to M-rs Mee).

Когда торжественно тщеславный кесарь Рима,
Предъ кѣмъ склонялась чернь съ враждой непримиримой,
Открылъ передъ толпой святыню славныхъ дней,
Всѣ статуи святыхъ и доблестныхъ мужей,—
Что болѣе всего приковывало зрѣнье?
Что взорамъ пристальнымъ внушало изумленье
При этомъ зрѣлищѣ? Чьихъ чертъ не видно тутъ?
Нѣтъ изваянія того, чье имя—Брутъ!
Всѣ помнили его,—толпа его любила,
Его отсутствіе—залогомъ правды было;
Оно вплело въ вѣнецъ, для славы, больше розъ,
Чѣмъ могъ вплести гигантъ и золотой колоссъ.

Такъ точно, если здѣсь, графиня, наше зрѣнье

Твоихъ прекрасныхъ чертъ лишилось въ изумленьи,
Въ прелестномъ цвѣтникѣ красавицъ остальныхъ,
Чья красота блѣдна предъ солнцемъ чертъ твоихъ;
Когда сѣдой старикъ—по истинѣ, наслѣдникъ
Отцовскаго вѣнца и королевскихъ бредней,—
Когда развратный взоръ и вялый духъ слѣпца
Отвыкли безъ труда отъ твоего лица,—
Пусть на его плечахъ позоръ безвкусья; рамы,—
Гдѣ тьма красивыхъ лицъ, и нѣтъ прекрасной дамы!
Насъ утѣшаетъ мысль,—когда ужь лучше нѣтъ,—
Мы сохранимъ сердца, утративъ твой портретъ.

Подъ сводомъ залъ его—какая намъ отрада?
Въ саду, гдѣ всѣ цвѣты,—и нѣтъ царицы сада;
Источникъ мертвыхъ водъ, гдѣ нѣтъ живыхъ ключей;
И небо звѣздное, гдѣ Діаны нѣтъ лучей.
Ужъ не плѣниться намъ такою красотою,
Не глядя на нее, летимъ къ тебѣ мечтою;
И мысли о тебѣ насъ больше восхитятъ,
Чѣмъ все, что можетъ здѣсь еще плѣнить нашъ взглядъ.

Сіяй же красотой въ небесной выси синей,
Всей кротостью твоей и правильностью линій,
Гармоніей души и прелестью свѣтла,
И взоромъ радостнымъ, и ясностью чела,
И темнотой кудрей — подъ сѣнью ихъ смолистой
Еще бѣлѣй чела сіяетъ очеркъ чистый,—
И взорами, гдѣ жизнь играетъ и влечетъ
И отдыха очамъ плѣненнымъ не даетъ,
И заставляетъ вновь искать за ихъ узоромъ
Все новыя красы—награду долгимъ взорамъ;
Но ослѣпительна, быть можетъ, и ярка
Такая красота для зрѣнья старика;
Такъ,—долго нужно ждать, чтобъ цвѣтъ поблекъ весенній,
Чтобъ нравиться ему—больной и хилой тѣни,
Больному цинику, въ комъ скуки хладъ слѣпой,
Чей взоръ завистливо минуетъ образъ твой,
Кто жалкій духъ напрягъ, соединивъ въ себѣ
Всю ненависть слѣпца къ свободѣ и къ тебѣ.

Александръ Блокъ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ТОМАСУ МУРУ.

(Fragment of an epistle to Thomas Moore).

„Что же дальше?“ Мнѣ прозой писать надоѣло:
„Всѣхъ размѣровъ“ я мастеръ, другъ Томъ,—вотъ въ чемъ дѣло!
Дѣло въ томъ, чтобы риѳмы, какъ рядъ пузырей,
Рѣку времени намъ переплыть поскорѣй
Помогли; если жъ тяжесть бы насъ потопила,—
Такъ глотнемъ мы, по крайности, славнаго ила,
Гдѣ надутыхъ писакъ вся толпа ужъ лежитъ,
Гдѣ и Соути послѣдній пэанъ сладко спитъ!
Этотъ Felo de se, съ Мамси сильно хлебнувшій,
Выплылъ все же со дна и, въ спокойныхъ моряхъ
Заблудившись, поетъ онъ свой гимнъ, затянувши
„Слава Богу“ въ недавно скроенныхъ стихахъ,
Коимъ равныхъ не видѣлъ никто, всеконечно,
Съ той поры, какъ Томъ Стэрнгольдъ задохся навѣчно.
Изъ газетъ ты ужъ знаешь, конечно, о томъ,
Какъ былъ пышенъ у насъ этихъ русскихъ пріемъ:
Шумъ, пиры и зѣваки, и царская свита,
Въ коей все замѣчательно, все знаменито,—
Кучеръ столь же, какъ гетманъ; какъ самъ онъ, къ тому жъ,
Величавъ, плосколицый великій сей мужъ!
На послѣдней недѣлѣ пришлось мнѣ двукратно
На балахъ и на выѣздѣ видѣть царя;
Для монарха, пожалуй, чрезмѣрно пріятно
Обращенье его: по душѣ говоря,
Мы привыкли иное встрѣчать обращенье.
. . . .
Царь, признаться, красивѣй, бодрѣе на взглядъ;
Только, жаль, бакенбардами онъ не богатъ.
Въ синемъ фракѣ онъ былъ, безъ звѣзды, въ панталонахъ

Гитарами онъ грянетъ,
Милѣйшій Томасъ Муръ!

Н. Холодковскій.

КЪ М-РУ МУРРЕЮ.

(To Mr Murray).

Чтобъ подцѣпить читателя, Муррей,
Рѣшились вы печатать „Маргариту
Анжуйскую“; едва ль, однако, ей
Сужденъ успѣхъ, и скорому тутъ сбыту
Едва ли быть! Затѣмъ, чтобъ доканать
Читателя, безжалостно опять
Вы „Ильдеримъ“ пустили въ свѣтъ; смотрите,
Чтобъ вы въ долги не впали, милый мой!
Вѣдь если вы, пожалуй, прогорите,—
То эти книги вамъ—залогъ плохой!
Остерегайтесь также въ высшей мѣрѣ,
Чтобъ не попали въ „Morning Post“ иль къ Пэрри
Стихи всѣ эти: это для меня
Была бы, право, прямо западня!
Во-первыхъ, мнѣ бъ пришлось, питая вѣру
Въ мой утлый челнъ, атаковать галеру,
И, если ассирійца я побью,
То рыцарь-дама мнѣ грозитъ въ бою;
Наткнусь, пожалуй, на ея иголку:
Въ подобной смерти мало будетъ толку!

Н. Холодковскій.

ВИРШИ.

(Versicles).

Читалъ я „Кристабель“:
Пѣвуча, какъ свирѣль;
Читалъ „Миссіонера“:
Прекрасенъ, внѣ примѣра;
Слегка потрогалъ „Ильдеримъ“:
А... гимъ!
Минутку посвятилъ „Анжуйской Маргаритѣ“:
Не говорите!
Перевернулъ страницу „Ватерло“:
Не повезло!
На бѣлоснѣжную взглядъ бросилъ „Рильстонъ Доэ“:
Лежи себѣ въ покоѣ!
И пр. и пр. и пр.

В. Лихачовъ.

QUEM DEUS VULT PERDERE PRIUS DEMENTAT.

Безумитъ Богъ того, кто врагъ свой злѣйшій—самъ:
Безумье или смерть онъ шлетъ на выборъ намъ.

В. Лихачовъ.

КЪ ТОМАСУ МУРУ.

(To Thomas Moore).

Стоитъ у пристани ладья.
Пускаясь нынѣ въ свѣтъ,
Тебѣ, о другъ, съ любовью я
Прощальный шлю привѣтъ.

Я о друзьяхъ своихъ вздохну
И улыбнусь врагамъ.
За рокъ свой бросить не дерзну
Упрека небесамъ.

Что мнѣ до волнъ, до бури злой,
Коль въ сердцѣ—тишина?
Не страшенъ мнѣ пустыни зной,
Коль на душѣ весна.

Послѣднихъ капель ароматъ
Изъ родника души
Я за твое здоровье радъ
Теперь допить въ тиши.

Я пью сокъ сердца пополамъ
Съ играющимъ виномъ.
Пусть солнце ярко свѣтитъ намъ
И порознь и вдвоемъ!

С. Ильинъ.

ПИСЬМО ОТЪ МИСТЕРА МУРРЕЯ ДОКТОРУ ПОЛИДОРИ.

(Epistle from Mr. Murray to Dr. Polidori).

Съ большимъ вниманьемъ, докторъ милый,
Прочелъ я пьесу до конца.
Она чудесна; съ дивной силой
Она волнуетъ намъ сердца.
А подъ конецъ, въ приливѣ горя,
Читатель тяжело вздохнетъ,
Горячихъ слезъ прольетъ онъ море
И въ нихъ душою отдохнетъ.
Финалъ, завязка—все отлично
И смыслъ морали очень строгъ,

И такъ все дѣйствіе сценично,
И остроуменъ діалогъ,
Кричатъ герои такъ ужасно
И такъ умѣютъ умереть,
Все такъ на мѣстѣ, такъ прекрасно,
Все стоитъ слушать и смотрѣть.
Но напечатать, къ сожалѣнью,
Я вашу пьесу не берусь,
Хоть отъ нея и нахожусь
Я въ безпрерывномъ восхищеньѣ.
Вѣдь драмъ, мой докторъ, въ наши дни
Никто какъ есть не покупаетъ,
Убытки чистые одни
Мой Манюэль мнѣ причиняетъ.
И Созби горестный „Орестъ"
Лежалъ такъ долго—чтожъ лукавить,—
Что я собрался было крестъ
Уже совсѣмъ на немъ поставить.
Прошу, взгляните въ магазинъ:
Стоитъ на ящикѣ тамъ ящикъ,
Тамъ „Айвэнъ", „Айна", — хламъ одинъ,
Не даромъ плачетъ мой приказчикъ.
И Байронъ что-то мнѣ прислалъ,
Не знаю, драму иль поэму,
Такъ, въ родѣ „Дарнлэй" иль „Кэхемы".
Въ Венеціи онъ побывалъ
И весь талантъ тамъ растерялъ.

. . . .

Короче, сэръ, прошу прощенья,
Я не могу такъ рисковать.
Ахъ, какъ мѣшаетъ мнѣ писать
Докучной улицы движенье!
А комнату такой содомъ
Со всѣхъ сторонъ здѣсь наполняетъ.
Вотъ Гукгэмъ съ Джиффордомъ вдвоемъ
Вслухъ чью-то рукопись читаютъ.
Эхъ, жаль не можете вы дать
Намъ ѣдкій отзывъ иль сатиру:
Вы о Святой Еленѣ міру
Могли-бъ тогда поразсказать...
О чемъ бишь я? Да, многимъ бардамъ
Есть мѣсто въ комнатѣ моей,
Вотъ Краббъ и Кэмпбэль, Крокэръ съ Вардомъ;
Но не одни поэты въ ней.
Предъ джентльмэномъ я открою
Охотно дверь и буду радъ,
Будь гость банкиръ иль дипломатъ.
Кой-кто ужъ обѣщалъ со мною
Сегодня раздѣлить обѣдъ.
Тутъ Гамильтонъ, Малькольмъ съ Чэнтреемъ:
Всѣмъ очень радъ я, кто на свѣтъ
Не появился ротозѣемъ.
Теперь вниманіе гостей
Смерть Сталь несчастной привлекаетъ.
На книгу спросъ; всю правду въ ней
Нашъ вѣкъ о Франціи узнаетъ.
За Рокка выйти, говорятъ,
Она немного запоздала:
Ужъ было ей подъ пятьдесятъ,
Когда въ родахъ она лежала.
Она предъ смертью, слышалъ я,
Себя паписткой объявила;
Что-жъ, видно Шлегелей семья
Свои старанья приложила
На сердце страхъ ей навести,
А послѣ смазала елеемъ.
Но, впрочемъ, Богъ ее прости!
Ея талантъ мы пожалѣемъ,
Предъ полкой книгъ своихъ, въ тиши
Порой вздохнетъ о ней издатель,
Её оплачетъ отъ души
Таланта каждый почитатель...
Но что до пьесы... Огорчать
Мнѣ стыдно васъ своимъ отказомъ,
Но прогорю я съ нею разомъ,
(Коль какъ О'Нейль не поступать).
Простите, рвутъ меня на части;
Въ несчастной головѣ моей
Сплошной хаосъ... Весь въ вашей власти
Слуга покорный

Джонъ Муррей.

С. Ильинъ.

ПОСЛАНІЕ КЪ МИСТЕРУ МУРРЕЮ.

(Epistle to Murray).

Чортъ возьми, какъ вы спѣшите,
Милый Муррей, коль хотите
    Эту пѣснь пустить въ печать!
Вамъ ее, скажу заранѣ,
Мистеръ Гобгозъ въ чемоданѣ
    Взялся въ цѣлости прислать.
Безъ сомнѣнія, вы правы,
Сдѣлавъ мнѣ намекъ лукавый,
    Что меня лишь ждетъ журналъ.
Я прислалъ-бы вамъ безъ спора
Хоть кусочекъ „Беппо" скоро,
    Кабъ его переписалъ.
А пока у васъ есть Галли.
Можетъ быть, его-бъ назвали
    Вы порядочнымъ глупцомъ.
Прочитавши „Аластора";
Ну, такъ онъ напишетъ скоро
    Вамъ о чемъ нибудь другомъ.
Есть и Сетби приключенья,—
Вещь неважнаго значенья,—
    Хуже несчего начать.
Въ языкахъ познанья шатки
У него, и по догадкѣ
    Больше онъ привыкъ писать.

Хоть не знаетъ по нѣмецки,
Но рѣшился молодецки
Путь направить на Парнассъ.
Всѣхъ убивъ своей плохою
Переводной чепухою
И сказавъ: „такъ пишетъ Тассъ".
Но у васъ есть не плохіе
Литераторы другіе,—
Сонмъ поэтовъ, остряковъ.
Вѣрьте, ихъ произведенья—
Для журнала украшенье,
Поручиться я готовъ.
Если Спенса издадите,
Вы убытокъ возмѣстите:—
Эту книгу ждетъ успѣхъ.
Письма юной королевы
Или Вистлкрафта напѣвы
Побѣдятъ, навѣрно, всѣхъ.
Иль Гордонъ? Гордонъ великій
Московитскому владыкѣ
Мечъ продавшій, чтобы тотъ
Просвѣтилъ народъ столь темный,
Что считалъ бѣдой огромной
Для себя бритье бородъ.
А о „бѣдномъ и лукавомъ"
Я скажу вамъ съ полнымъ правомъ,
Что его перо и даръ
Вы въ Венеціи ищите,
Лишь, пожалуйста, скажите
Сэръ, каковъ вашъ гонораръ.
А теперь мы поболтаемъ,
Всѣ новинки разузнаемъ,—
Что съ друзьями, что съ семьей;
Съ умнымъ Кеннингомъ, съ Вельмотомъ
Этимъ низкимъ идіотомъ,
Пресмыкающейся вшей.
По разсудку и по модѣ
Онъ при всемъ честномъ народѣ
Всюду ползаетъ, какъ гадъ.
Онъ подобенъ насѣкомымъ
И по всѣмъ его пріемамъ
Умъ его опредѣлятъ.

В. Мазуркевичъ.

НА РОЖДЕНІЕ ДЖОНА ВИЛЬЯМА РИЦЦО ГОПНЕРА.

(On the birth of John William Rizzo Hoppner).

Пусть прелесть матери съ умомъ отца
Въ немъ навсегда соединится,
Чтобъ жилъ онъ въ добромъ здравьи до конца
Съ завиднымъ аппетитомъ Риццо.

Александръ Блокъ.

E NIHILO NIHIL

или

ЗАЧАРОВАННАЯ ЭПИГРАММА.

Риѳмъ написалъ я семь томовъ
Для Джона Мурея столбцовъ.
Немного было переводовъ
Для галльскихъ и другихъ народовъ;
Для нѣмцевъ два,—но ихъ языкъ
Мнѣ чуждъ: къ нему я не привыкъ.
Страсть воспѣвалъ я вдохновенно,
(Что нынче пѣть несовременно),
Кровосмѣшеніе, развратъ
И прочихъ развлеченій рядъ,
На сценахъ услаждавшихъ взгляды
И персовъ, и сыновъ Эллады.
Да, романтиченъ былъ мой стихъ,
И пылокъ, по словамъ другихъ.
Чистосердечно иль притворно,
Но многіе твердятъ упорно,
Что въ подражаньяхъ древнимъ,—имъ
Стиль классиковъ не выносимъ.
Но я къ нему давно привыченъ,—
И,—какъ ни какъ,—теперь классиченъ,
Но промахъ я уразумѣлъ
И, чтобъ исправиться, запѣлъ
О дѣлѣ болѣе достойномъ—
Подобномъ славнымъ, древнимъ войнамъ.
Слагалъ я пѣсни, какъ Неронъ,—
И Риццо пѣлъ,—какъ Римъ пѣлъ онъ.
Я пѣлъ и чтожъ?... Скажу безъ лести
Великой вдругъ добился чести:
Четыре первые стиха,
(Хотя они не безъ грѣха)
Намѣтили для переводовъ
Четырнадцать чужихъ народовъ!
Такъ меркнетъ блескъ семи томовъ
Предъ славой четырехъ стиховъ.
Я эту славу посвящаю
Ринальдо повѣсти моей.
Въ ней „аппетитъ" я воспѣваю
А переводчикъ—(о, злодѣй!)
Съ развязностью до-нельзя милой
Его вдругъ замѣняетъ „силой".
О Муза, близокъ твой полетъ,
Такъ дай-же, Риццо, мнѣ доходъ!

В. Мазуркевичъ.

КЪ МИСТЕРУ МУРРЕЙ.

(To Mr. Murray).

Стрэхенъ, Линто былыхъ временъ,
Владыка риѳмъ и музъ патронъ,
Ты бардовъ шлешь на Геликонъ,
О, другъ Муррей!

Въ безмолвномъ страхѣ предъ судьбой
Стихи проходятъ предъ тобой...
Ты сбытъ находишь имъ порой,
О, другъ Муррей!

„Quarterly" книжечка давно
Стола украсила сукно,
А „Обозрѣнье"? Гдѣ жъ оно,
О, другъ Муррей?

На полкахъ книгъ чудесныхъ рядъ:
Съ „Искусствомъ стряпать" тамъ стоятъ
Мои стихи... Чтожъ, очень радъ,
О, другъ Муррей!

Замѣтки, очерки есть тамъ,
Морской листокъ и всякій хламъ,
Что только ближе къ барышамъ,
О, другъ Муррей!

Хоть жаль бумагу мнѣ марать,
Но какъ,—разъ сталъ перечислять,
О „Долготѣ" мнѣ умолчать,
О, другъ Муррей!

С. Ильинъ.

БАЛЛАДА.

(Ballad to the tune of «Salley in our alley»)

Изъ всѣхъ поэтовъ безъ числа,
Пѣвцовъ британскихъ стана
(Вѣнецъ ихъ—пуддингъ иль хвала
Съ оклейкой чемодана),
Изъ всѣхъ пѣвцовъ, кѣмъ славенъ край
Отъ Гребъ-Стритъ до Фоксъ-Элли,
Гордись, о Муза, міръ, узнай:
Нѣтъ знаменитѣй Гэлли.

Онъ пишетъ лучше всякихъ миссъ
Поэмы и экспромты,
Онъ—въ барышахъ, ты—устыдись,
Коль съ ними не знакомъ ты.
Въ годъ десять тысячъ у него
(Не лгу изъ низкихъ цѣлей),
Грошъ за стихи даютъ всего;
Отдай ихъ даромъ, Гэллей.

Пусть заявленье подтвердитъ
Тебѣ мое, читатель,
Коль предъ тобой онъ не схитритъ—
Джонъ Муррей, нашъ издатель.
Въ продажу сколько ихъ идетъ—
Печатныхъ сихъ издѣлій?
Не созерцай, разинувъ ротъ,
Златообрѣзный переплетъ
Поэмъ, что издалъ Гэллей.

Сталъ Энтонъ цирковый пѣвецъ,
Фитцджеральду неймется:
Онъ—собственныхъ твореній чтецъ,
Хоть критикъ и смѣется.
Съ „Сауломъ" Сотби—Гольфордъ съ „Пегъ"—
Достигли славныхъ цѣлей,
И въ мелочной кончаютъ вѣкъ,
А вмѣстѣ съ ними—Гэллей.

Онъ у верблюда на спинѣ
Проѣхалъ мало-ль, много-ль,
Но страждетъ по его винѣ
Горбомъ пустыни щеголь.
Онъ тугъ на риѳму, но была
Какъ рядъ песчаныхъ мелей
Иль степь Аравіи—гола
И муза Генри Гэллей.

Богатъ, парламента онъ членъ,
Его сложенье тучно,
И могъ бы—мирный джентльмэнъ—
Онъ жить благополучно.
Но честолюбье безъ конца
Творитъ для разныхъ цѣлей
Порой—пѣвца, порой глупца.
Мы знаемъ *что*—нашъ Гэллей.

Кто на скандалы любитъ лѣзть,
Кто выходя съ пирушки—
За шиворотъ дозорныхъ сгресть,
Подъ грохотъ колотушки.
Иные въ лодкѣ любятъ гресть,
А я, скажу къ примѣру,
Лишь къ одному стремлюсь: привесть
Куда хочу „галеру".

О. Чюмина.

ДРУГАЯ ПРОСТАЯ БАЛЛАДА.

(Another simple Ballad).

Миссисъ Вильмотъ піесу строчила,
Мистеръ Сотби потѣлъ за спиной у нея,
Но обоихъ затмила ихъ пѣсня твоя,
О, Гэлли-точило!

Къ переплетчику книги я несъ,
Но минуту судьба улучила:

И твою на обертку пирожникъ унесъ,
О, Гэлли-точило!

Зажигалъ я однажды свѣчу
(Гдѣ служанка листки получила?..)
Я не зналъ, что свѣчу я тобой засвѣчу,
О, Гэлли-точило!

Я „удобства" искалъ и близъ трона его—
(Вотъ гдѣ слава твоя опочила!)
Я увидѣлъ творенья пера твоего,
О, Гэлли-точило.

Позабудемъ Гомера-слѣпца.
Въ даръ отчизна моя получила
Въ полномъ смыслѣ *слѣпого* другого пѣвца,
О, Гэлли-точило.

Слѣпо мчится за славой бѣднякъ,
Но поэта она огорчила:
И поймать эту славу не можетъ никакъ
Мой Гэлли-точило.

Поощряли его и родные, и мать,
Даже критика оды строчила,
Оказался онъ славѣ одной не подстать,
До тебя ей рукой не достать,
О, Гэлли-точило.

О. Чюмина.

ЭПИГРАММА.

(Съ французскаго).

(Epigram. From the French of Rulhières).

Хоть за золото монетъ
Безобразныхъ красныхъ пятенъ
На лицѣ у васъ ужъ нѣтъ,—
Видъ его не сталъ пріятенъ:
Суждено съ такимъ лицомъ
Быть уродства образцомъ!

С. Ильинъ.

ЭПИЛОГЪ.

(Epilogue).

Есть прокъ и въ глупости осла
И въ неразуміи болвана!
Я не встрѣчалъ со школьныхъ дней
Кого-нибудь, кто былъ глупѣй,
Чѣмъ Вильямъ Вордсвортъ,—безъ обмана!

Такъ глупъ онъ,-что любой глупецъ
Уступитъ Вильяму Вордсворту,—
И я бъ хотѣлъ, чтобъ „Питеръ Белль"
И авторъ онаго отсель
За глупость улетѣли къ чорту!

Малюткѣ слишкомъ десять лѣтъ!
Увидѣлъ свѣтъ онъ въ девяносто
Восьмомъ году, и мнитъ, что могъ
Затмить Шекспира,—очень просто!

Онъ міру чудный даръ принесъ;
Виль Вордсвортъ,—слушайся совѣта:
Доволенъ мѣстомъ будь своимъ
И похвалой, которой чтимъ
Ты отъ Бьюмонта-баронета!

В. Мазуркевичъ.

НА ДЕНЬ МОЕЙ СВАДЬБЫ.

(On my Wedding-Day).

Разъ Новый годъ принесъ мнѣ много бѣдъ,
Чистосердечно долженъ въ томъ открыться;
Пусть Богъ пошлетъ мнѣ много новыхъ лѣтъ,—
Тотъ „Новый годъ" пусть вновь не повторится.

С. Ильинъ.

ЭПИТАФІЯ ВИЛЛІАМУ ПИТТУ.

(Epitaph for William Pitt).

Отъ смерти когтей не избавленъ,
Подъ камнемъ холоднымъ онъ тлѣетъ;
Онъ ложью въ палатѣ прославленъ,
Онъ л о ж е въ аббатствѣ имѣетъ.

Н. Холодковскій.

ЭПИГРАММА.

(Epigram).

Томъ Пэнъ! Тревожа ваши кости,
Коббэтъ былъ правъ, какъ говорятъ:
Вы здѣсь къ нему явились въ гости,
А онъ зайдетъ къ вамъ послѣ въ адъ.

С. Ильинъ.

ЭПИТАФІЯ.

(Epitaph).

Другой могилы—сей, по доблести, подъ стать—
Потомкамъ нашимъ не видать.
Здѣсь прахъ покоится Кестльри: остановись,
Идущій мимо...

В. С. Лихачовъ.

ЭПИГРАММА.

(Epigram).

Весь міръ подобенъ сѣна стогу,
А люди—множеству ословъ;
Всѣ тянутъ,—мало иль по многу,—
Джонъ Буль же—всѣхъ крупнѣй скотовъ.

Н. Холодковскій.

МОЙ МАЛЬЧИКЪ ГОББИНЬКА.

(My boy Hobbie O).

Какъ вы попали подъ арестъ,
Мой мальчикъ Гоббинька пригожій?
„Я гнать велѣлъ палату съ мѣстъ:
Имъ хорошо, молъ, и въ прихожей".

А что жъ палата вамъ въ отвѣтъ,
Мой милый Гоббинька малютка?
„Меня отправили въ Ньюгэтъ,
А тамъ сидѣть—совсѣмъ не шутка".

Кто жъ представляетъ тамъ народъ,
Скажите, милый мальчикъ Гобби?
„Лишь я съ Бердеттомъ изъ господъ,
Изъ сорванцовъ же—Гѣнтъ и Кобби".

Составъ палаты глупъ, нелѣпъ:
Зачѣмъ же, Гобби, шли туда вы?
„Я реформирую вертепъ
И буду членъ отъ черни бравый".

Чѣмъ такъ задѣли виги васъ,—
Скажите, милый мальчикъ Гобби?
„Имъ вѣчно хочется проказъ,
Какъ было при Вальполѣ Бобби".

А Кэмбриджъ? Юные года
Мы съ вами, Гобби, проводили;
Насколько помню, вы тогда
Для виговъ клубъ тамъ учредили.

Держа свою предъ черныо рѣчь,
Что дѣлать, Гобби, вамъ заранѣ,
Чтобъ отъ нея вы уберечь
Могли часы свои въ карманѣ?

Но этихъ мелочныхъ невзгодъ
Бояться, Гобби, вамъ не стоитъ;
Итакъ, пусть Богъ хранитъ народъ,
А королей всѣхъ въ адъ пристроитъ!

Н. Холодковскій.

Стихи, адресованные Байрономъ м-ру Гобгоузу, по случаю его избранія депутатомъ отъ Вестминстера.

Хотите въ палату попасть безъ хлопотъ,
Скорѣй, чѣмъ вигъ Чарли, по вѣрному входу?
Пускай васъ парламентъ въ тюрьму отошлетъ,
Тюрьма же въ парламентъ пошлетъ на свободу.

Н. Холодковскій.

ТОМЪ ВЗДОРА.

(A volume of nonsense).

(Письмо къ м-ру Муррею).

Въ „Томъ вздора" вы просите пьесу. Ужели
У авторовъ вашихъ исчерпанъ запасъ?
Давно ль вамъ наврать они массу успѣли?
И вѣрно еще настрочили бъ для васъ.
Но я вспоминаю: особаго склада
Вамъ надобенъ вздоръ,—посмѣшнѣе вамъ надо
Какихъ нибудь пьесъ! Вы могли бъ безъ вреда
Трагедіи Сотби печатать тогда;
Съ отличнымъ успѣхомъ вы также бъ избрали
Экскурсію въ Сирію пошлаго Галли;
А если бы женъ предпочли вы взамѣнъ
Мужей,—вамъ отлично поможетъ Гименъ.

Н. Холодковскій.

СТАНСЫ.

(Stanzas).

Чтожъ, если ты вступить не можешь въ бой
За собственный очагъ, — борись за домъ сосѣда,
За Греціи права, за Рима блескъ былой...
Пусть ждетъ тебя иль смерть, или побѣда.
Кто можетъ за другихъ животъ свой положить,
Тотъ духомъ рыцарскимъ безспорно обладаетъ.
Не все ль равно, за чью свободу кровь пролить,
За чью свободу лавръ твое чело вѣнчаетъ?...

С. Ильинъ.

ПЕНЕЛОПѢ.

(2 января 1821 г.).

(To Penelope. January 2, 1821).

Несчастнѣй дня, скажу по чести,
Въ ряду другихъ не отыскать:
Шесть лѣтъ назадъ мы стали вмѣстѣ,
И стали порознь—ровно пять!

С. Ильинъ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛЪ.

(The Charity Ball).

О скорби мужа ей заботы мало;
Въ чужомъ краю пускай тоскуетъ онъ.
Вѣдь Небо за нее! Со всѣхъ сторонъ
Несутся похвалы царицѣ бала!
Ей дѣла нѣтъ, что скорбною душой
Такъ глубоко онъ все переживаетъ,
Что ложь его такъ страстно возмущаетъ:
Вѣдь балъ ея одобрилъ самъ святой!

С. Ильинъ.

ЭПИГРАММА

на адресъ мѣдниковъ, который общество ихъ намѣревалось поднести королевѣ Каролинѣ, одѣвшись въ мѣдныя латы.

(Epigram on the brazier's adress).

Есть слухъ, что мѣдники, одѣвшись въ мѣдь, поднесть
Желаютъ адресъ свой. Парадъ излишній, право!
Куда они идутъ, тамъ больше мѣди есть
Во лбахъ, чѣмъ принесетъ съ собой вся ихъ орава.

Н. Холодковскій.

НА ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ ГОДЪ МОЕГО РОЖДЕНЬЯ.

(22 января 1821 г.).

(On my thirty-third birthday).

Дорогой жизни, грязной и невзрачной,
До тридцати трехъ лѣтъ добрелъ я мрачно;
Что жъ тѣ года оставили,—смотри!
Да ничего: лишь цифру тридцать три.

Н. Холодковскій.

МАРЦІАЛЪ.

(Martial, Lib. I, Epig. I).

Hic est, quem legis, ille, quem requiris
Toto notus in orbe Martialis, etc.

О, другъ читатель! Марціала
Тебѣ давно извѣстно жало!
Творца веселыхъ эпиграммъ
Вѣнчай лавровыми вѣнками,
Пока онъ живъ, пока онъ съ нами,—
Ненуженъ мертвымъ фиміамъ!

С. Ильинъ.

БОУЛЬСЪ И КЭМПБЕЛЛЬ.

(Арія на мотивъ изъ «Beggar's Opera»).

(Bowles ond Campbell).

Боульсъ.

Что это, дерзкій Томъ?
Да какъ вы это смѣли?
Я тисну цѣлый томъ
О мистерѣ Кэмпбеллѣ!
Дерзкій Томъ!

Кэмпвелль.

Вы, Билли Боульсъ, нахалъ!
Попъ выпилъ,—въ томъ нѣтъ спора!
(*Къ публикѣ*).
А вы, чтобъ чортъ васъ взялъ!
Не смѣйте слушать вздора!
Билли Боульсъ!

Н. Холодковскій.

Э Л Е Г І Я.

(Elegy).

Благослови судьбу свою, поэтъ:
Твои стихи бранятъ, а лэди Ноэль—нѣтъ!

Н. Холодковскій.

ДЖОНЪ КИТСЪ.

(John Keats).

Кто Джона Китса погубилъ?
„Я,—молвитъ „Quarterly" открыто
И смотритъ дико и сердито,—
Я этотъ подвигъ совершилъ!"
А кто стрѣлу въ него пустилъ?
„Кто? Мильманъ, попъ-поэтъ бѣдовый,
Людей убить всегда готовый,
Иль Соути то, иль Барро былъ".

Н. Холодковскій.

СЪ ФРАНЦУЗСКАГО.

(From the French).

Красавица Эгла—поэтъ; но есть у ней два недостатка:
Лицо свое можетъ отдѣлать, но стихъ не отдѣлать ей гладко.

Н. Холодковскій.

КЪ МИСТЕРУ МУРРЕЮ.

(To Mr. Murray).

За Орфорда и Вальдегрэва плата
У васъ щедрѣй, чѣмъ плата мнѣ когда то:
Прилична ли для васъ такая трата,
Мой другъ Муррей?

Всѣ говорятъ, что песъ живой дороже,
Чѣмъ мертвый левъ въ его роскошной кожѣ,
Такъ лордъ живой двухъ мертвыхъ стоитъ тоже,
Мой другъ Муррей!

Вѣдь держится весь міръ такого мнѣнья:
Дешевле проза, чѣмъ стихотворенья;
Платить мнѣ надо больше, безъ сомнѣнья,
Мой другъ Муррей!

Листокъ почти наполнилъ я стихами;
Вѣдь не срамиться жъ мнѣ,—судите сами!
А не хотите,—ну, тогда чортъ съ вами,
Мой другъ Муррей!

Н. Холодковскій.

НАПОЛЕОНОВА ТАБАКЕРКА.

(Napoleon's Snuff-Box).

Примите, лэди, эту табакерку,
Героя даръ,—не вѣрьте пустяку:
Семь скучныхъ строфъ, а суть ихъ, на повѣрку,—
Вся въ томъ, чтобъ вамъ не нюхать табаку!

Н. Холодковскій.

НОВЫЙ ВИКАРІЙ ГОРОДА БРЭ.

(The new Vicar of Bray).

Не извѣстенъ ли вамъ докторъ Ноттъ,
Съ преплохой репутаціей,—тотъ,
Что семь лѣтъ у принцессы старался
Въ завѣщанье поправку внести,
Но, споткнувшись на этомъ пути,
До епископства все жъ не добрался?

Оказалось, что докторъ не могъ
Оправдать себя, какъ педагогъ,
И былъ признанъ не слишкомъ почтеннымъ.
Выгнанъ прочь, какъ дуракъ или плутъ,
Не отчаялся докторъ и тутъ:
Проповѣдникомъ сталъ онъ отмѣннымъ.

Кротко шкуру овечью надѣвъ
(Подъ которой скрывался не левъ),
Захотѣлъ онъ судьей быть народа;
Сталъ орать онъ о злѣ и добрѣ
И викаріемъ сдѣлался въ Брэ,
Чтобъ брехать, не лишаясь дохода.

„Вольнодумцевъ,—реветъ онъ, какъ звѣрь,
Не пускайте никакъ въ вашу дверь,
Иль душой вашей адъ завладѣетъ!"
Въ этомъ вторить готовъ я ему:
Кто захочетъ быть гостемъ въ дому,
Гдѣ пріютъ святокупство имѣетъ?

Пусть священникъ, который не прочь
Былъ надуть государеву дочь,
Чтобы мерзостью сдѣлать карьеру,—
Пряча въ шкурѣ овечьей свой санъ,
Проповѣдуетъ паствѣ обманъ
И позоритъ священство и вѣру.

Безъ сомнѣнья, такіе, какъ онъ,
Потрясаютъ и церковь, и тронъ;
Церковь средствомъ избрать они рады
Для нечистой наживы своей
И отъ Господа ждутъ пожирнѣй
Для себя—за защиту—награды.

Не слыхали-ль вы, докторъ, порой
Поговорки народной такой:
„У кого въ окнахъ стекла большія,
Тотъ каменья бросать берегись!"
Вотъ грѣшки и за вами нашлись:
Такъ судить ли дѣла вамъ чужія?

Но, быть можетъ, вы правы, есть слухъ,
Что побиты ужъ стекла всѣ въ пухъ
Въ вашемъ домѣ: погромъ онъ извѣдалъ.
Говорятъ, что и самый вашъ нравъ
Осуждаютъ повсюду, узнавъ,
Что вамъ Регентъ стекольщика нѐ далъ.

Пышныхъ ризъ не надѣнете вы,
Какъ епископъ, и митра—увы!—
Не награда за ваши таланты;
Но за то, проповѣдуя всласть,
Удалось вамъ, безспорно, попасть
Не въ прелаты,—такъ хоть въ сикофанты.

Н. Холодковскій.

ЛЮСЬЕТТА. ОТРЫВОКЪ.

(Lucietta. A fragment).

Люсьетта, голубка,
Твою прелесть живую
Создавали одни поцѣлуи;
Но въ любви, безъ сомнѣнья,
Есть страннѣй положенья:
Я знаю—другая
Мнѣ близкая, злая,
Лукавой приманкой,
Чародѣйной осанкой—
То дразнитъ и мститъ мнѣ,
То сладкую муку даритъ мнѣ.

Caetera desunt.

Александръ Блокъ.

ЭПИГРАММЫ.

(Epigram).

О, Кэстльри! Смертію ужасной
Свершилъ ты подвигъ, какъ Катонъ:
За славу Рима умеръ онъ,
Ты смертью спасъ нашъ край несчастный.

—

Себѣ онъ перерѣзалъ горло? Вотъ досада!
Со своего ему давно начать-бы надо.

—

Итакъ, онъ умеръ! Кто? О комъ шумитъ молва?
Да тотъ, кто умертвилъ свою страну сперва.

С. Ильинъ.

ПОБѢДА

(The Conquest).

Пою дитя любви, вождя войны кровавой,
Кѣмъ Бриттовъ отдана Нормандіи земля,
Кто въ родѣ царственномъ своемъ—отмѣченъ славой
Завоевателя—не мирнаго царя.
Онъ, осѣненъ крыломъ своей побѣды гордой,
Вознесъ на высоту блистательный вѣнецъ:
Бастардъ держалъ, какъ левъ, свою добычу твердо,
И Бриттовъ побѣдилъ въ послѣдній разъ—храбрецъ.

Александръ Блокъ.

ЭКСПРОМТЪ.

(Impromptu).

Подъ взглядомъ лэди Блэссингтонъ
Рай новый будетъ обращенъ,
Какъ прежній, въ мирную обитель.
Но если наша Ева въ немъ
Вздохнетъ о яблокѣ тайкомъ,—
Какъ счастливъ будетъ соблазнитель!

С. Ильинъ.

ИЗЪ ДНЕВНИКА ВЪ КЕФАЛОНІИ.

(Journal in Cephalonia).

Встревоженъ мертвыхъ сонъ — могу ли спать?
Тираны давятъ міръ—я-ль уступлю?
Созрѣла жатва—мнѣ ли медлить жать?
На ложѣ—колкій тернъ; я не дремлю;
Въ моихъ ушахъ, что день, поетъ труба,
Ей вторитъ сердце...

Александръ Блокъ.

ПѢСНЬ КЪ СУЛІОТАМЪ.

(Song to the Sulliotes).

Дѣти Сули! Киньтесь въ битву,
Долгъ творите, какъ молитву!
Черезъ рвы, черезъ ворота:
Бауа! Бауа! Суліоты!
Есть красотки, есть добыча,
Въ бой! Творите свой обычай!

Знамя вылазки святое,
Разметавшей вражьи строи,
Вашихъ горъ родимыхъ знамя,
Знамя вашихъ женъ надъ вами,
Въ бой, на приступъ, Стратіоты,
Бауа! Бауа! Суліоты!

Плугъ нашъ—мечъ: такъ дайте клятву
Здѣсь собрать златую жатву;
Тамъ, гдѣ брешь въ стѣнѣ пробита,
Тамъ враговъ богатство скрыто:
Есть добыча—слава съ нами—
Такъ впередъ, на споръ съ громами!

Александръ Блокъ.

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ.

(Love and Death).

Я на тебя взиралъ, когда нашъ врагъ шелъ мимо,
Готовъ его сразить, иль пасть съ тобой въ крови,
И, еслибъ пробилъ часъ,—дѣлить съ тобой, любимой,
Все, вѣрность сохранивъ свободѣ и любви.

Я на тебя взиралъ въ моряхъ, когда о скалы
Ударился корабль въ хаосѣ бурныхъ волнъ,
И я молилъ тебя, чтобъ ты мнѣ довѣряла;
Гробница—грудь моя, рука—спасенья челнъ.

Я взоръ мой устремлялъ въ больной и мутный взоръ твой,
И ложе уступилъ и, бдѣньемъ истомленъ,
Прильнулъ къ ногамъ, готовъ землѣ отдаться мертвой,
Когда-бъ ты перешла такъ рано въ смертный сонъ.

Землетрясенье шло и стѣны сотрясало,
И все, какъ отъ вина, качалось предо мной.
Кого я такъ искалъ среди пустого зала?
Тебя. Кому спасалъ я жизнь? Тебѣ одной.

И судорожный вздохъ спирало мнѣ страданье,
Ужъ погасала мысль, уже языкъ нѣмѣлъ,
Тебѣ, тебѣ даря—послѣднее дыханье,
Ахъ, чаще, чѣмъ должно, мой духъ къ тебѣ летѣлъ.

О, многое прошло; но ты не полюбила,
Ты не полюбишь, нѣтъ! Всегда вольна любовь.
Я не виню тебя, но мнѣ судьба судила—
Преступно, безъ надеждъ, — любить все вновь и вновь.

Александръ Блокъ.

ПОСЛѢДНІЯ СЛОВА О ГРЕЦІИ.

(Last words on Greece).

Что мнѣ твои всѣ почести и слава,
Народъ-младенецъ, прежде или впредь,
Хотя за нихъ отдать я могъ бы, право,
Все, кромѣ лавровъ,—могъ бы умереть?
Въ тебя влюбленъ я страстно! Такъ плѣняя,
Влечетъ бѣдняжку птичку взоръ змѣи,—
И вотъ спустилась пташка, расправляя
Навстрѣчу смерти крылышки свои...
Всесильны ль чары, слабъ ли я предъ ними,—
Но побѣжденъ я чарами твоими!...

Н. Холодковскій.

ПОСЛѢДНЕЕ СТИХОТВОРЕНІЕ БАЙРОНА.

(On this day J complet my thirty-sixth year).

(написанное имъ въ Миссалонги 22 января 1824 г., въ день 36-тилѣтней годовщины его рожденія).

То сердце быть должно-бъ невозмутимымъ,
Что въ грудь другихъ не можетъ чувства влить;
Но если я быть не могу любимымъ,
Все-жъ я хочу любить!

Всѣ дни мои какъ желтый листъ увяли,
Цвѣты, плоды исчезли,—и на днѣ
Моей души гнѣздится червь печали:
Вотъ что осталось мнѣ!

Незримо грудь мнѣ пламя пожираетъ,
Но то волканъ на островѣ пустомъ
И свѣточей ничьихъ не зажигаетъ
Оно своимъ огнемъ.

Прошла пора надеждъ, волненій, власти,
Огня любви,—все это въ сторонѣ,
И раздѣлить мнѣ не съ кѣмъ пламя страсти;
Но цѣпь ея—на мнѣ!

Но пусть меня тревоги не смущаютъ
Подобныхъ думъ—теперь, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ лавры гробъ героя украшаютъ
Или чело вѣнкомъ.

Вокругъ меня—оружіе, знамена;
Я въ Греціи,—мнѣ-ль это позабыть?
И на щитѣ боецъ Лакедемона
Не могъ свободнѣй быть.

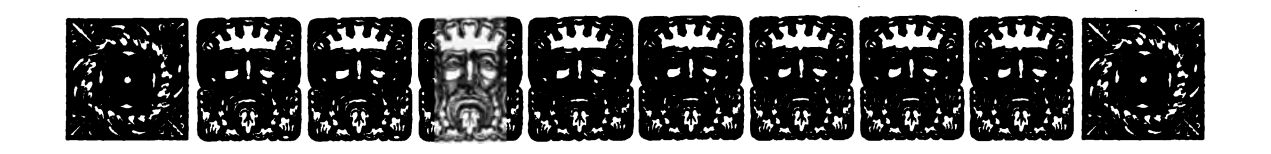
Возстань! (не ты, Эллада,—ты возстала)—
Возстань мой духъ! Въ минувшемъ прослѣди,—
Откуда кровь твоя беретъ начало,
И въ битву выходи!

Уйми въ себѣ всплывающія страсти
И побори: не молодъ больше ты,
И надъ тобой должны лишиться власти
Гнѣвъ иль улыбка красоты.

И если ты о юности жалѣешь,
Зачѣмъ беречь напрасно жизнь свою?
Смерть предъ тобой—и ты ли не съумѣешь
Со славой пасть въ бою?

Ищи-жъ того, что часто поневолѣ
Находимъ мы; вокругъ себя взгляни,
Найди себѣ могилу въ бранномъ полѣ—
И въ ней навѣкъ усни!

Д. Михаловскій.



ПАРЛАМЕНТСКІЯ РѢЧИ.

I. Обсужденіе билля о ткацкихъ станкахъ въ Палатѣ Лордовъ, 27 февраля 1812 года.

Милорды, предметъ, впервые представленный теперь на ваше усмотрѣніе, хотя онъ и новъ для этой Палаты, далеко не новъ для всей страны. Я думаю, что онъ уже вызывалъ на самое серьезное размышленіе лицъ разныхъ категорій, раньше чѣмъ на него обратило вниманіе это законодательное учрежденіе, которое, однако, одно только и могло, въ данномъ случаѣ, помочь дѣлу. Я чужой не только самой этой Палатѣ, но даже почти что всѣмъ ея членамъ въ отдѣльности. Тѣмъ не менѣе, будучи въ нѣкоторомъ смыслѣ связанъ съ пострадавшимъ графствомъ, я буду просить васъ, господа лорды, и даже домогаться отъ васъ, чтобы мои замѣчанія были выслушаны. Я долженъ сознаться, что вопросъ этотъ меня глубоко интересуетъ.

Входить въ разсмотрѣніе подробностей было бы излишне: Палата уже достаточно освѣдомлена; совершены всевозможныя преступныя дѣянія, почти доходившія до смертоубійства. Владѣльцы прядильныхъ станковъ, ненавистныхъ мятежникамъ, и всѣ другія лица, которыя подозрѣвались въ тѣсномъ общеніи съ ними, были подвергнуты всевозможнымъ оскорбленіямъ и насиліямъ. За то короткое время, что я недавно провелъ въ Ноттингамширѣ, не проходило дня безъ извѣстія о новомъ актѣ насилія; а въ тотъ самый день, когда я покидалъ графство, мнѣ сообщили, что еще сорокъ станковъ было сломано, какъ разъ наканунѣ вечеромъ, и, какъ всегда, не вызвавъ никакого сопротивленія или ареста.

Таково было состояніе графства и таковымъ, я имѣю основаніе думать, оно осталось и до сихъ поръ. Но если приходится признать, что такія преступныя дѣянія достигли самыхъ тревожныхъ размѣровъ, едва ли можно не согласиться со мной, что обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ они возникли, представляютъ собою положеніе вещей безпримѣрно горестное: самое упорство этихъ несчастныхъ людей въ ихъ поступкахъ, казалось бы, ясно показываетъ, что только крайняя нужда могла толкнуть значительное количество людей, вообще честныхъ и трудолюбивыхъ, къ совершенію подобныхъ излишествъ, опасныхъ какъ для нихъ самихъ, такъ и для ихъ семействъ и общинъ. Въ то время, о которомъ я говорю, и города и графства были заполнены огромнымъ количествомъ войскъ; полиція была на ногахъ, магистратура созвана; но всѣ эти мѣропріятія, военныя либо гражданскія, не привели ни къ чему. Не было ни одного случая, чтобы былъ арестованъ хоть одинъ истинный виновникъ, взятый на мѣстѣ преступленія, противъ котораго было бы выставлено очевидное по своей доказательности обвиненіе. Однако, полиція, хотя и безполезная, далеко не была бездѣятельна. Напротивъ, цѣлый рядъ преступниковъ подвергся заточенію; все это люди несомнѣнно провинившіеся, но эта несомнѣнная ихъ вина—ихъ бѣдность; это люди, провинившіеся въ томъ, что у нихъ есть дѣти, содержать которыхъ, благодаря условіямъ нынѣшнихъ временъ, они не въ состояніи. Владѣльцы названныхъ станковъ понесли очень крупные убытки. Машины эти были для нихъ источникомъ большихъ выгодъ. Они избавляютъ отъ необходимости нанимать многихъ рабочихъ, остающихся вслѣдствіе этого безъ куска хлѣба. Особенно, при

условіи пользованія однимъ опредѣленнымъ образцомъ станковъ, одинъ человѣкъ можетъ исполнить работу нѣсколькихъ, предоставляя имъ, такимъ образомъ, умирать съ голоду. Надо, однако, замѣтить, что работа, совершенная подобнымъ способомъ, по качеству хуже; она уже не находитъ сбыта на мѣстѣ и должна быть направляема исключительно для вывоза. Въ торговомъ обиходѣ она извѣстна подъ именемъ „паутинной работы". Оставшіеся безъ дѣла рабочіе въ ослѣпленіи своего невѣжества, вмѣсто того, чтобы радоваться такому улучшенію въ этомъ полезномъ для человѣчества ремеслѣ, признали себя принесенными въ жертву усовершенствованіямъ механизма. Въ безуміи своихъ сердецъ, они подумали, что поддержаніе существованія трудоспособныхъ, но бѣдныхъ ремесленниковъ гораздо важнѣе, чѣмъ обогащеніе отдѣльныхъ личностей посредствомъ такихъ ухищреній, которыя выкидываютъ работника на улицу и обезцѣниваютъ его трудъ. Несомнѣнно, что хотя вообще введеніе улучшенныхъ машинъ, даже при теперешнемъ состояніи торговли, могло бы быть выгодно хозяевамъ безъ вреда для рабочихъ, тѣмъ не менѣе въ настоящихъ условіяхъ производства, когда продукты его гніютъ на складахъ безъ надежды на вывозъ и при значительномъ уменьшеніи спроса, какъ на работу, такъ и на рабочихъ, описанные мною ткацкіе станки совершенно естественно ведутъ только къ одному увеличенію бѣдствія и усиленію недовольства разочаровавшихся страдальцевъ. Но истинная причина всѣхъ этихъ бѣдствій, а отсюда и безпорядковъ лежитъ глубже. Когда намъ говорятъ, что эти люди образовали сообщество для уничтоженія не только своего благосостоянія, но и самихъ средствъ къ нему, можемъ ли мы забыть, что сдѣлала это вѣдь, въ сущности, не что иное, какъ наша горькая политика, разрушительная война этихъ послѣднихъ восемнадцати лѣтъ! Это она уничтожила ихъ благосостояніе, ваше благосостояніе, всеобщее благосостояніе. Это — политика, родившаяся вмѣстѣ съ положеніемъ „нѣтъ больше великихъ государственныхъ умовъ". Она пережила мертвецовъ, чтобы лечь печатью проклятія на живущихъ, и такъ въ третье и четвертое поколѣніе! Эти люди вѣдь никогда раньше не ломали своихъ ткацкихъ станковъ; они работали на нихъ, пока они не становились негодными къ употребленію; даже болѣе чѣмъ негодными, — пока они не превращались въ непреодолимыя препятствія для работы, а стало быть и для пріобрѣтенія насущнаго хлѣба. Что же тутъ мудренаго, что въ такія времена, какъ теперь, когда банкротство, злостное мошенничество и наглый обманъ встрѣчаются на каждомъ шагу даже въ такомъ общественномъ положеніи, которое, право, господа лорды, немного ниже вашего, самая низшая, хотя когда-то и самая полезная часть населенія могла забыть свой долгъ, при своемъ бѣдственномъ положеніи, ставши, однако, все таки менѣе преступной, чѣмъ кто либо изъ представителей высшихъ классовъ. Но вотъ пока знатный виновникъ находитъ средства обходить законъ, придумываются новыя, вящшія наказанія, разставляются новыя убійственныя ловушки для этой несчастной физической силы, которая доголодалась до преступленія! Эти люди хотѣли взрыхлить поле, но заступъ оказался не въ ихъ рукахъ. Они готовы были даже просить милостыню, но никто не подавалъ ея. Ихъ собственныя средства къ существованію были отняты, не къ чему было приложить трудъ свой. Такъ можно ли удивляться произведеннымъ ими насиліямъ, какъ бы мы ни оплакивали ихъ и не осуждали?

Есть указаніе на то, что лица, въ рукахъ которыхъ находились станки, потворствовали ихъ разрушенію; если бы это было установлено при разслѣдованіи дѣла, эти соучастники преступленія должны были бы первыми подвергнуться наказанію. Но я надѣялся, что мѣры, предложенныя правительствомъ Его Величества на ваше, господа лорды, рѣшеніе, въ основѣ своей будутъ примирительными; или, если на это никакъ нельзя надѣяться, то пусть по крайней мѣрѣ будетъ признано необходимымъ особое предварительное разслѣдованіе или обсужденіе. Мнѣ казалось, что мы не будемъ призваны сразу, не изучивъ подробно всѣхъ обстоятельствъ, а потому и безъ твердыхъ основаній, перейти къ массовымъ приговорамъ и къ подписанію смертныхъ приговоровъ, слѣпо изданныхъ. Положимъ, что эти люди не имѣли никакихъ основаній жаловаться; положимъ, что ихъ недовольство было такъ же безпричинно, какъ и недовольство самихъ предпринимателей, что они были достойны еще худшей доли, — но какая глупость, какая безсмыслица сказалась въ способахъ подавленія безпорядковъ! Что это? Неужели войска были вызваны только для того, чтобы надъ

ними смѣялись? И зачѣмъ вообще было вызывать войска? Оставивши въ сторонѣ разницу во времени года, они вѣдь только пропарадировали лѣтнимъ походомъ, какъ хотѣлось маіору Стерджену. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ мѣропріятія, и гражданскія, и военныя, оказались не чѣмъ инымъ, какъ именно воспроизведеніемъ проекта маіора и Ррррадской корпораціи. Столько маршировокъ и взадъ и впередъ!.. Изъ Ноттингама въ Бульвель, изъ Бульвеля въ Банфордъ, изъ Банфорда въ Мансфильдъ! А когда, наконецъ, отряды дошли до мѣста своего назначенія „со всей важностію и помпой, со всѣмъ, что сопутствуетъ славной войнѣ", они пришли только для того, чтобы стать свидѣтелями нанесенныхъ убытковъ и засвидѣтельствовать бѣгство насильниковъ, чтобы собрать „spolia opima" въ видѣ поломанныхъ станковъ и затѣмъ вернуться назадъ на свои квартиры, при насмѣшкахъ старыхъ бабъ и радостныхъ крикахъ дѣтей. Ну, что же? Хотя въ свободной странѣ и желательно, чтобы войска наши не были бы угрозой, особенно для насъ самихъ, я не могу признать политичнымъ, что ихъ поставили въ смѣшное положеніе. Мечъ самый скверный изъ всѣхъ аргументовъ, оттого онъ долженъ быть и послѣднимъ. Въ данномъ случаѣ онъ былъ первымъ аргументомъ, оставшись, впрочемъ, въ ножнахъ. Теперешняя мѣра, правда, обнажитъ его, однако, если бы наше засѣданіе имѣло мѣсто въ самомъ началѣ безпорядковъ, если бы недовольство этихъ людей и ихъ хозяевъ (потому что и хозяева также имѣли причины быть недовольными) были взвѣшены и справедливо обсуждены, я твердо вѣрю, что были бы найдены мѣры для удержанія рабочихъ и для успокоенія графства. Теперь графство одновременно страдаетъ и отъ находящихся тамъ праздныхъ солдатъ и отъ голодающаго населенія. Почему намъ было навязано такое бездѣйствіе, что только теперь палата оффиціально извѣщена объ этихъ волненіяхъ? Все это происходило въ 130 миляхъ отъ Лондона. Однако мы „люди добрые были такъ увѣрены, что зрѣетъ наше величіе" и мы возсѣдали, радуясь нашимъ внѣшнимъ тріумфамъ посреди домашнихъ невзгодъ. Но, вѣдь, всѣ города, которые вы взяли, всѣ арміи, которыя отступали передъ вашими вождями, все это жалкая причина для самоуслажденія, когда на вашей родинѣ люди идутъ другъ на друга и ваши драгуны должны быть посылаемы противъ своихъ согражданъ.—Вы называете этихъ людей чернью отчаянной, опасной и невѣжественной, и вы, кажется, думаете, что единственный способъ успокоить „Bellua multorum capitum" это срубить нѣсколько ненужныхъ головъ. Но даже чернь можно гораздо лучше вернуть къ благоразумію нѣкоторымъ взаимодѣйствіемъ твердости и примиренія, чѣмъ совершенно лишнимъ раздраженіемъ и усиленными наказаніями. Ясно ли мы отдаемъ себѣ отчетъ въ томъ, насколько мы обязаны этой самой черни? Вѣдь эта чернь работаетъ на вашихъ поляхъ и прислуживаетъ въ вашихъ домахъ; она управляетъ вашими кораблями и изъ нея набирается ваше войско; оттого именно она-то и даетъ вамъ возможность угрожать всему міру; но зато она же, когда пренебреженіе ея интересами и ея бѣдствія повергнутъ ее въ отчаяніе, можетъ и угрожать вамъ! Вы называете народъ чернью, но вы не должны забывать, что чернь всегда выразительница народныхъ чувствъ. Я считаю своимъ долгомъ замѣтить вамъ, что вы съ удивительной поспѣшностью бросаетесь на помощь вашимъ политическимъ союзникамъ, а обездоленныхъ вашей собственной страны вы оставляете попеченію только Провидѣнія... или прихода. Когда португальцы страдали подъ игомъ франціи, сколько рукъ протянулось къ нимъ, сколько рукъ оказалось щедрыми, отъ широкихъ даровъ богача до скромной лепты вдовицы; сколько жертвъ приносилось для того, чтобы вновь отстроить ихъ разрушенныя деревни и наполнитъ ихъ пустыя житницы? И вотъ въ этотъ то самый моментъ, когда тысячи заблудшихся, но глубоко несчастныхъ соотечественниковъ, изнываютъ въ борьбѣ со всѣми превратностями и голодомъ, неужели ваша благотворительность, начавшаяся съ чужихъ краевъ не должна была бы сосредоточиться у себя дома? Гораздо меньшія суммы, всего только десятая доля пожертвованнаго въ Португалію, даже если эти люди (чего я никакъ не могу допустить безъ особаго разслѣдованія) не могли бы вернуться къ своему ремеслу, сдѣлало бы совершенно ненужною нѣжную заботливость штыка и плахи. Но очевидно наши друзья обременены слишкомъ большими иностранными обязательствами, чтобы допустить возможность помощи у себя дома, хотя никогда помощь эта не была необходимѣе болѣе, чѣмъ теперь. Я объѣхалъ театръ воен-

ныхъ дѣйствій на Пиринейскомъ полуостровѣ, я побывалъ въ нѣсколькихъ наиболѣе угнетенныхъ провинціяхъ Турціи, но нигдѣ подъ гнетомъ самаго деспотическаго и измѣнническаго правительства я не видѣлъ такой горестной бѣдноты, какъ со времени моего возвращенія въ самое сердце этой христіанской страны. И каковы же средства, которыя вы предлагаете? Послѣ мѣсяцевъ бездѣйствія и стольнихъ же мѣсяцевъ дѣятельности еще гораздо худшей, чѣмъ бездѣйствіе,—вотъ выступаетъ великое лѣкарство—это все исцѣляющее зелье всѣхъ государственныхъ врачей отъ временъ Дракона вплоть до нашихъ дней. Пощупавъ пульсъ и покачавъ головой надъ больнымъ, прописавъ ему этотъ обыденный рецептъ: теплую водицу и кровопусканіе,—теплую водицу вашей смѣхотворной полиціи и кровопусканіе ланцетомъ вашего войска,—эти врачи воображаютъ, что сдѣлали свое дѣло. Но имъ остается еще одно: наблюдать, какъ конвульсіи больного превращаются въ смерть, естественное послѣдствіе политическихъ Санградо. Я оставляю въ сторонѣ вопіющую несправедливость и несомнѣнную безполезность билля. Но развѣ нѣтъ въ нашихъ статутахъ достаточныхъ наказаній, развѣ такъ мало крови въ нашемъ уголовномъ кодексѣ, что теперь ее должно быть пущено уже цѣлымъ фонтаномъ, бьющимъ къ небу, какъ будто для того, чтобы вопіять противъ васъ? Какъ проведете вы вашъ билль въ жизнь? Развѣ можете вы превратить въ тюрьму цѣлое графство? Вы хотите воздвигнуть плахи на всѣхъ поляхъ и вѣшать людей, какъ копченую рыбу? Или вы хотите (и вамъ нѣтъ другого исхода при осуществленіи этого мѣропріятія) казнить каждаго десятаго, объявить графство на военномъ положеніи, разогнать все населеніе и уничтожить все кругомъ васъ? Вы хотите, можетъ быть, возстановить Шервудскій лѣсъ въ его прежнемъ состояніи, какъ мѣсто для королевской охоты и притона для объявленныхъ внѣ закона бѣглецовъ? И это мѣры, предлагаемыя для голодающаго и отчаявшагося населенія? Когда смерть оказывается единственнымъ избавленіемъ, которое вы имъ даете, неужели вы воображаете, что ваши драгуны сдѣлаютъ ихъ спокойными? Или то, чего не могли сдѣлать ваши гренадеры, совершатъ ваши палачи? Если вы дѣйствуете законодательными формами, гдѣ очевидность ихъ пользы? Тѣ, кто отказались засвидѣтельствовать преступныя дѣянія, когда единственнымъ наказаніемъ за нихъ была ссылка, едва ли захотятъ показывать на судѣ, выносящемъ теперь смертные приговоры. При всемъ моемъ уваженіи къ благороднымъ лордамъ, сидящимъ напротивъ меня, я думаю, что небольшое разслѣдованіе, нѣкоторое изученіе предмета и ихъ заставитъ измѣнить свое намѣреніе. Эта излюбленная государственная мѣра, такъ часто творившая чудеса и не разъ пригодившаяся и за это послѣднее время—вылеживаніе дѣла въ канцеляріи,—здѣсь особенно умѣстна. Когда дѣлается предложеніе объ освобожденіи и смягченіи, вы вѣдь всегда колеблетесь, вы обсуждаете цѣлые годы, вы даете дѣлу вылежаться и тщательно испытываете относительно него умы людей. А билль о смертныхъ приговорахъ долженъ пройти, какъ-то не покладая рукъ, безъ мысли о послѣдствіяхъ. Судя по всему тому, что я слышу и что я видѣлъ, я вынесъ глубокую увѣренность, что провести билль при всѣхъ теперешнихъ обстоятельствахъ, безъ всякаго предварительнаго разслѣдованія и безъ преній, значитъ прибавить несправедливость къ слѣпому гнѣву и варварство къ преступному бездѣйствію. Авторы этого билля должны гордиться тѣмъ, что они унаслѣдовали славу того аѳинскаго законодателя, узаконенія котораго были написаны не чернилами, а кровью. Но представьте себѣ, что билль прошелъ. Вообразите себѣ одного изъ этихъ людей такимъ, какимъ я ихъ видѣлъ,—онъ отощалъ съ голоду, его грызетъ отчаяніе, онъ равнодушенъ къ жизни, которую вы, господа лорды, можетъ быть, оцѣните сейчасъ стоимостью станка для вязанія чулокъ. Вообразите себѣ этого человѣка, окруженнаго дѣтьми, для которыхъ онъ не въ состояніи достать кусокъ хлѣба, даже рискуя своей жизнью; вотъ теперь ему угрожаетъ быть взятымъ отъ семьи, которую онъ такъ недавно содержалъ мирнымъ ремесломъ своимъ и которую теперь не по своей винѣ онъ содержать болѣе не можетъ. Вообразите себѣ его, а ихъ десять тысячъ такихъ, изъ которыхъ вамъ предстоитъ избрать себѣ жертвы,—вотъ его тянутъ къ суду, вотъ на него сыпятся новыя бѣдствія; однако недостаетъ еще двухъ вещей, чтобы посадить его въ тюрьму и осудить его. По моему мнѣнію, это двѣнадцать мясниковъ на мѣстахъ присяжныхъ засѣдателей и Джефрей въ креслахъ судьи.

II. Обсужденіе предложенія герцога Доноѵора о назначеніи коммиссіи для изслѣдованія неудовольствій католиковъ. 21 апрѣля 1812 года.

Милорды! Вопросъ, который предстоитъ разрѣшить теперь палатѣ, обсуждался уже такъ часто, такъ полно и съ такимъ искусствомъ, и можетъ быть никогда раньше онъ не подвергался такому мастерскому разсмотрѣнію, какъ въ сегодняшній вечеръ. Трудно поэтому прибавить тутъ еще новые аргументы за или противъ; и съ каждымъ возобновленіемъ преній устранялись препятствія, возраженія отбрасывались, и многіе изъ прежнихъ оппонентовъ эмансипаціи католиковъ, наконецъ, склонились къ необходимости удовлетворить петиціонеровъ. При такой уступчивости возникло, однако, новое возраженіе: теперь, говорили намъ, не время, или теперь неподходящее время, или для этого еще много времени впереди. До извѣстной степени и я согласенъ съ тѣмъ, что теперь не время, но я думаю, что время для этого прошло. Гораздо лучше было бы для страны, если бы католики уже обладали извѣстной долей нашихъ привилегій, если бы ихъ дворянство имѣло соотвѣтственный вѣсъ въ нашихъ собраніяхъ. Тогда намъ уже не пришлось бы теперь обсуждать ихъ нужды. Право, лучше было бы.

Non tempore tali
Cogere concilium cum muros obsidet hostis.

Кругомъ насъ врагъ, а внутри бѣдствія. Слишкомъ поздно входить во всѣ подробности религіозной доктрины, когда мы должны сосредоточиться на вещахъ, гораздо болѣе важныхъ, чѣмъ церковныя церемоніи. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ это не странно? Мы сошлись для обсужденія не Бога, которому мы поклоняемся, потому что въ этомъ мы всѣ согласны; не короля, которому мы подчиняемся, потому что ему мы всѣ одинаково вѣрны; но того, каково собственно различіе въ богослужебныхъ церемоніалахъ, какой минимумъ, и, замѣтьте, отнюдь не максимумъ вѣры (потому что именно максимумъ можетъ быть поставленъ въ вину католикамъ), какой избытокъ благочестія своему Богу дѣлаютъ нашихъ соотечественниковъ неспособными служить своему королю.

Очень много было говорено и здѣсь, и тамъ, за дверьми палаты, о церкви и государствѣ; эти почтенныя слова слишкомъ часто проституировались для самыхъ жалкихъ интересовъ партій. Мы не должны поэтому вновь безъ мѣры повторять ихъ; я думаю, что здѣсь мы всѣ приверженцы церкви и государства,—церкви Христовой и государства Великобританіи. И, конечно, не государства исключительности и деспотизма, а церкви вѣротерпимой, и не воинствующей, которая сама оказалась бы повинной во всемъ томъ, что говорилось противъ римскаго вѣроисповѣданія, и даже въ большей степени, потому что католики только настаиваютъ на ея благодати (и даже это сомнительно), а наша церковь, или вѣрнѣе наши священники, не только отказываютъ католикамъ во всѣхъ благодѣяніяхъ духа, но и во всѣхъ по-сю-стороннихъ, земныхъ благахъ. Въ этихъ самыхъ стѣнахъ или, вѣрнѣе, въ тѣхъ стѣнахъ, гдѣ тогда собирались лорды, великій лордъ Петерборо замѣтилъ, что онъ стоитъ за конституціоннаго короля и за конституцію въ этомъ парламентѣ, но ни въ коемъ случаѣ не считаетъ это собраніе парламентомъ Бога или религіи. На разстояніи цѣлаго столѣтія эти слова не потеряли силы. Въ самомъ дѣлѣ, пора оставить, наконецъ, эти споры о маленькихъ подробностяхъ, эту лилипутскую софистику о томъ, „съ какого конца разбивать яйца".

Противники католиковъ могутъ быть раздѣлены на два разряда: съ одной стороны тѣхъ, которые увѣряютъ, будто у католиковъ и теперь слишкомъ много правъ, и затѣмъ другихъ, высказывающихъ мнѣніе, что низшимъ классамъ во всякомъ случаѣ нечего домогаться. Одни изъ нихъ говорятъ намъ, что католики все равно никогда не будутъ довольны, другіе,—что они и такъ слишкомъ счастливы. Послѣдній парадоксъ достаточно опровергается какъ настоящей петиціей, такъ и предшествующей: тогда можно было бы сказать, что и негры не желали получить свободу. Это, конечно, немножко неловкое сравненіе; негровъ вы вѣдь уже выпустили на волю безъ всякой петиціи съ ихъ стороны и несмотря даже на множество противоположныхъ петицій со стороны ихъ хозяевъ. Но я не могу не замѣтить, что тогда мнѣ приходится еще болѣе пожалѣть о католическомъ крестьянствѣ, на этотъ разъ уже за то, что ему не довелось родиться чернымъ. Но вотъ, говорятъ, католики довольны или по краймѣрѣ должны были бы быть довольными; я постараюсь коснуться нѣкоторыхъ обстоятельствъ, которыя такъ чудесно способствуютъ ихъ благополучію. Имъ не раз-

рѣшается свободно отправлять свои религіозныя требы въ регулярной арміи, но солдатъ-католикъ тѣмъ не менѣе обязанъ присутствовать при протестантскомъ богослуженіи, и оттого если его часть расположена не въ Ирландіи или Испаніи, то ему вовсе не представляется случая пойти въ свою собственную церковь. Разрѣшеніе полкамъ ирландской милиціи имѣть католическихъ священниковъ было дано какъ особая милость и не ранѣе какъ послѣ многолѣтнихъ домогательствъ, несмотря на то, что актъ, прошедшій еще въ 1793 году, уже давалъ имъ это право. Но развѣ католики обезпечны настоящимъ образомъ даже въ Ирландіи? Развѣ имѣетъ тамъ право католическая церковь пріобрѣсти хоть клокъ земли для постройки храма? Нѣтъ, всѣ мѣста богослуженія ихъ воздвигнуты на арендованной или уступленной свѣтскими людьми землѣ, и договоры эти легко могутъ быть уничтожены и часто подвергаются нарушеніямъ, какъ только какое нибудь незаконное желаніе или простой капризъ лэндлорда встрѣчаетъ противодѣйствіе. Двери церкви закрываются тогда передъ прихожанами. Это случалось множество разъ; но всего болѣе яркій примѣръ этого мы находимъ въ городѣ Ньютонъ-Барри, въ Вексфордскомъ графствѣ. Не имѣя настоящаго храма, католики нанимали двѣ риги; онѣ были соединены вмѣстѣ, и такимъ образомъ получилось помѣщеніе для общественной молитвы. Но въ это время какъ разъ противъ этого зданія жилъ чиновникъ, умъ котораго былъ крайне зараженъ тѣми предразсудками, которые, какъ это видно изъ протестантскихъ, лежащихъ передъ нами на столѣ петицій, однако, нисколько не свойственны болѣе разумной части населенія. И вотъ, когда однажды католики по обыкновенію собрались въ воскресенье совершенно тихо и безъ всякаго злого умысла для служенія своему и вашему Богу, они нашли двери зданія запертыми, при чемъ имъ тутъ же было объявлено, чтобы они немедленно разошлись (это сказали имъ одинъ мѣстный чиновникъ и одинъ членъ магистратуры), иначе имъ будетъ прочтенъ актъ о возмущеніи и собраніе разогнано штыками! На это католики въ 1806 году подали жалобы правительственной власти и въ частности секретарю Замка. Отвѣтомъ имъ (отвѣтомъ, но не удовлетвореніемъ) было письмо этого послѣдняго къ полковнику съ просьбой, если возможно, избѣжать подобныхъ крутыхъ мѣръ. Незачѣмъ останавливаться слишкомъ долго на самомъ этомъ фактѣ, но изъ него совершенно ясно, что разъ католическая церковь не имѣетъ права покупать землю для постройки на ней храмовъ, законы для защиты ея интересовъ не имѣютъ никакого значенія. Католики не обезпечены отъ произвола любого „взъерошеннаго маленькаго чиновника", которому вздумается „выкидывать свои фантастическія штуки передъ Всевышнимъ", оскорбляя своего Бога и нанося ущербъ себѣ подобнымъ. Каждый школьникъ, каждый лакейчикъ (а такіе нерѣдко на нашей службѣ засѣдали въ коммиссіяхъ), у котораго на плечѣ вмѣсто узелка оказался эполетъ, можетъ производить подобные и даже худшіе фокусы противъ католиковъ въ силу той самой власти, которая дана ему государемъ съ цѣлью защищать своихъ соотечественниковъ до послѣдней капли крови и не дѣлая при этомъ никакого различія между протестантами и католиками.

Пользуются ли ирландскіе католики всѣми благами суда присяжныхъ? Ни въ коемъ случаѣ; они не будутъ ими пользоваться до тѣхъ поръ, пока имъ не будетъ дана привилегія выбираться въ шерифы и ихъ помощники. Наглядный примѣръ этому представляетъ то, что случилось во время послѣдней сессіи въ Эннискилленѣ. Одинъ іоменъ обвинялся въ убійствѣ католика по имени Макворнагъ; трое свидѣтелей, заслуживающихъ довѣрія и никѣмъ не опровергнутыхъ, показали, что они видѣли, какъ подсудимый зарядилъ ружье, прицѣлился, выстрѣлилъ и убилъ этого Макворнага. Этотъ случай былъ обстоятельно разслѣдованъ судьей; но, къ удивленію всей залы и къ величайшему неудовольствію суда, протестантскіе присяжные оправдали обвиняемаго. Рѣшеніе было такъ очевидно лицепріятно, что господинъ судья Осборнъ счелъ своимъ долгомъ все-таки вынести приговоръ этому оправданному, но не оправдавшемуся убійцѣ, и, такимъ образомъ, хоть на время постарался отнять у него право убивать католиковъ.

Соблюдаются ли, однако, хоть тѣ законы, которые изданы въ пользу католиковъ? Они сводятся на нѣтъ какъ въ мелкихъ, такъ и въ важныхъ случаяхъ. По недавнему закону, католическіе священники допущены въ тюрьмахъ; но вотъ въ Ферманаганскомъ графствѣ старшій судья назначилъ отставленнаго пастора, обойдя этимъ законъ и не обращая вниманія на самыя

настойчивыя возраженія весьма почтеннаго члена магистратуры, по имени Флетчера. Таково законодательство, таково правосудіе для счастливыхъ, свободныхъ и всѣмъ довольныхъ католиковъ!

Въ другомъ мѣстѣ уже подымался вопросъ о томъ, почему богатые католики не дѣлаютъ пожертвованій для воспитанія священниковъ? Потому что вы имъ этого не позволяете. Всѣ подобныя попытки осложнены всевозможнымъ вмѣшательствомъ, обиднымъ, произвольнымъ, дорого обходящимся вмѣшательствомъ Оранжской коммиссіи по дѣламъ благотворительности.

Что же касается до Майнутской коллегіи, то ни въ какомъ случаѣ кромѣ, какъ при ея основаніи, когда одинъ благородный лордъ (Кэмденъ), тогда стоявшій во главѣ ирландской администраціи, дѣйствительно заинтересовался ея усовершенствованіемъ, а также во время управленія одного благороднаго герцога (Бедфорда), который, какъ и его предки, всегда былъ другомъ свободы и человѣчества и не призналъ въ такой мѣрѣ себялюбивую политику исключенія католиковъ изъ числа себѣ подобныхъ, за этими исключеніями, ни разу за все время своего существованія это заведеніе не получало сколько нибудь значительной поддержки. Правда, было время, когда католическое духовенство находилось въ нѣсколько лучшемъ состояніи. Это было тогда, когда шла рѣчь объ уніи, этой уніи, которая безъ него не могла быть проведена. Тогда помощь его была необходима, чтобы добиться адресовъ отъ католическихъ графствъ. И вотъ тогда католическое духовенство было обласкано и всячески ублажаемо; ему льстили и оказывали почести, давая понять, что „для него теперь все сдѣлаетъ унія". Но прошелъ этотъ моментъ и вновь католическіе священники были покрыты презрѣніемъ и имъ осталось лишь прозябать въ прежней темнотѣ.

Особенно по отношенію къ Майнутской коллегіи было сдѣлано рѣшительно все, что нужно, чтобы привести въ полное отчаяніе; тутъ уже чувствуется особая забота о томъ, чтобы стереть малѣйшее впечатлѣніе благодарности въ умахъ католика. Самое сѣно, которое ставится на лугу, самый жиръ или сало быка либо барана, которые необходимы коллегіи, должны быть оплачены и подсчитаны чуть ли не подъ клятвеннымъ ручательствомъ. Правда, нельзя съ достаточной силой настаивать на подобной экономіи въ мелочахъ въ такое время, когда одни только насѣкомыя, расхищающія казначейство, ваши Гэнты и Чиннери, эти „золотые жуки", могутъ избѣжать пристальнаго надзора министровъ. Но когда сессія за сессіей католики видятъ, какъ ихъ жалкое пропитаніе, кусокъ за кускомъ, отнимается отъ нихъ среди оживленныхъ споровъ и при самомъ очевидномъ недоброжелательствѣ, стремящемся наложить печать на ихъ щедрость, развѣ при такихъ обстоятельствахъ не могли бы католики воскликнуть словами Прайора:

Я знаю, что Ивану я обязанъ.
Иванъ нашелъ однако нужнымъ
Раздать все это цѣлому народу.
Отсюда, право, мы съ Иваномъ квиты.

Католиковъ часто сравниваютъ съ нищими изъ „Жиль Блаза"; но кто сдѣлалъ ихъ нищими, кто обогатился грабежомъ ихъ предковъ? Развѣ не должны вы помочь нищему, когда это отецъ вашъ довелъ его до сумы? Но если вы вообще хотите помочь ему, развѣ вы не можете сдѣлать это не бросивши и вашъ грошъ прямо въ лицо? Ввидѣ контраста съ этой нищенской благотворительностью давайте однако посмотримте на протестантскія школы. Имъ вы недавно назначили 41,000 фунтовъ стерлинговъ. Вотъ какія суммы идутъ на ихъ содержаніе; а кѣмъ пополняются онѣ? Монтескье замѣтилъ по поводу англійской конституціи, что ея прототипъ можно найти у Тацита въ томъ мѣстѣ, гдѣ историкъ говоритъ о германцахъ и прибавляетъ: „эта великолѣпная система взята изъ лѣсу"; такъ же точно, говоря о протестантскихъ школахъ, можно замѣтить, что эта великолѣпная система заимствована у цыганъ. Эти школы пополняются, какъ полки янычаръ во время большого набора при Амуратѣ или цыганскіе таборы нашихъ дней,—путемъ кражи дѣтей. Они пополняются дѣтьми, отнятыми или заманенными богатыми и знатными протестантами отъ ихъ католическихъ сосѣдей; это очень знаменательно. Какъ это дѣлается, будетъ всего яснѣе на примѣрѣ. Сестра господина Карти (католическаго джентльмэна съ довольно значительнымъ состояніемъ) умираетъ, оставивъ двухъ дѣвочекъ; онѣ немедленно и назначаются въ прозелитки; ихъ отправляютъ въ школу въ Кульгрени. Ихъ дядя, узнавши объ этомъ обстоятельствѣ, случившемся въ его отсутствіе, немедленно потребовалъ возвращенія своихъ племянницъ и объ-

явилъ, что обезпечитъ ихъ; въ этомъ требованіи ему однако было отказано, и только послѣ пятилѣтней борьбы, послѣ вмѣшательства одного очень важнаго лица могъ этотъ джентльмэнъ, католикъ, добиться освобожденія своихъ ближайшихъ родственницъ отъ заботливости благотворительной школы. Вотъ какимъ путемъ получаются немногіе прозелиты, которые воспитываются вмѣстѣ съ протестантскими дѣтьми, вовсе не нуждающимися въ благотворительности. И какъ ихъ учатъ! Имъ дается въ руки катихизисъ, состоящій, я полагаю, изъ 45 страницъ, на которыхъ три вопроса, касающихся протестантской религіи. Одинъ изъ этихъ вопросовъ таковъ:—въ чемъ заключалась протестантская вѣра до Лютера? — Отвѣтъ: — въ Евангеліи. Всѣ остальныя $44^1/_2$ страницы осуждаютъ отвратительное идолопоклонство папистовъ!

Позвольте мнѣ спросить нашихъ пасторовъ и учителей, таково ли должно быть религіозное воспитаніе юношества? Это ли Евангельская религія временъ предшествующихъ Лютеру? Религія, проповѣдующая „на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе"? Ангелами или дьяволами должно сдѣлать такое воспитаніе? Лучше куда угодно послать ихъ, чѣмъ учить такимъ доктринамъ; пошлите ихъ хоть на острова Тихаго океана, гдѣ они, можетъ быть, болѣе по человѣчески научатся быть каннибалами; человѣкъ, поѣдающій убитаго, менѣе гадокъ, чѣмъ преслѣдующій живыхъ людей. Вы называете это школою? Я бы назвалъ это навозною кучею, гдѣ ехидны разводятъ птенцовъ, чтобы они, когда у нихъ прорѣжутся зубы и созрѣетъ ядъ, пошли бы, злобные и ядовитые, разить католиковъ. Я спрашиваю васъ, чья же это доктрина,—англійской церкви или англійскихъ священниковъ? Нѣтъ, наиболѣе просвѣщенные англійскіе священники, конечно, другого мнѣнія. Что говоритъ Пэлей? „Я не вижу причины, почему люди различныхъ религіозныхъ убѣжденій не могутъ сидѣть на тѣхъ же скамьяхъ, вести пренія на томъ же совѣтѣ и сражаться въ тѣхъ же рядахъ совершенно такъ же, какъ они могутъ обсуждать спорные вопросы естественной исторіи, философіи и этики". Можно, конечно, возразить на это, что Пэлей не былъ строго ортодоксаленъ. Объ его ортодоксальности мнѣ ничего неизвѣстно, но кто можетъ отрицать, что онъ былъ украшеніемъ и церкви, и человѣчества, и христіанства?

Я не буду долго останавливаться на тяжело ложащемся на крестьянъ бремени десятиннаго налога, но нельзя не замѣтить, что самый принципъ такого налога заключаетъ въ себѣ новую и лишнюю тягость; подсчетъ процентнаго отношенія даетъ возможность сборщику податей высоко переоцѣнивать доходность, а вѣдь мы знаемъ, что въ Ирландіи въ очень многихъ мѣстахъ единственные протестанты, это—сборщики податей и ихъ семьи.

Среди множества причинъ возмущенія слишкомъ многочисленныхъ, чтобы ихъ можно было перечислить, есть одна, касающаяся милиціи, которую никакъ нельзя обойти молчаніемъ; я разумѣю существованіе среди честныхъ людей Оранжскихъ постоевъ. Чиновники, конечно, не станутъ этого отрицать. Какимъ образомъ существованіе этихъ постоевъ можетъ способствовать миру и согласію? При такихъ условіяхъ люди совершенно разрознены въ обществѣ, хотя и входятъ въ одни и тѣ же ряды. Какъ можно допускать подобную общую систему постояннаго преслѣдованія; или можно вообразить себѣ, что такая система можетъ или должна сдѣлать людей довольными? Если бы это могло случиться, это противорѣчило бы человѣческой природѣ; тогда эти люди были бы дѣйствительно достойны только того, чтобы стать тѣми рабами, какими вы ихъ сдѣлали. Всѣ приведенные мною факты основаны на самыхъ достовѣрныхъ и авторитетныхъ свѣдѣніяхъ; иначе ни здѣсь, ни вообще гдѣ бы то ни было я бы не позволилъ себѣ требовать ихъ признанія. Если они даже и преувеличены, то ихъ все-таки настолько много, что съ ними необходимо считаться. Мнѣ можно, конечно, возразить, что я никогда не былъ въ Ирландіи, но на это я отвѣчу, что знать объ Ирландіи никогда не бывавши тамъ такъ же легко, какъ для нѣкоторыхъ, повидимому, оказалось возможнымъ родиться тамъ, получить тамъ воспитаніе и долго проживать, оставаясь при этомъ въ полномъ невѣдѣніи о самыхъ насущныхъ и лучшихъ интересахъ этой страны.

Есть однако лица, увѣряющія, что католики уже получили слишкомъ много снисхожденій. Посмотрите, кричатъ они, какъ много мы для нихъ сдѣлали. Мы дали имъ для образованія цѣлую коллегію, мы разрѣшаемъ имъ пищу и одежду, мы не мѣшаемъ имъ пользоваться всѣми стихіями, мы позволяемъ имъ сражаться за насъ до тѣхъ поръ, пока они могутъ от-

давать намъ свою жизнь и члены своего тѣла; и все-таки они не довольны. Какіе же это великодушные и справедливые жалобщики? Если отнять всю софистику, то къ этому, и только къ этому, сводятся всѣ ваши аргументы. Мои противники напоминаютъ мнѣ исторію объ одномъ барабанщикѣ, который получилъ приказаніе отодрать одного своего пріятеля. Его просили пороть повыше—и онъ поролъ, его просили пороть ниже—и онъ поролъ, ему было сказано пороть посерединѣ—и онъ поролъ; но и выше, и ниже, и по серединѣ—его пріятель продолжалъ кричать и жаловаться до тѣхъ поръ, пока барабанщикъ, усталый и взбѣшенный, не бросилъ плеть и не воскликнулъ: „чортъ бы тебя побралъ, никакъ тебѣ не угодить, по какому мѣсту ни пори!“ Совершенно такъ же и вы,—вы пороли католиковъ и высоко, и низко, и здѣсь, и тамъ, и, увы, они никогда не оставались этимъ довольны. Правда, время, опытъ и усталость, сказывающаяся даже въ варварскихъ поступкахъ, научили васъ пороть ихъ немножко нѣжнѣе. Но вы все-таки продолжаете класть ихъ на кобылу и будете поступать такъ до самыхъ тѣхъ поръ, пока плеть не будетъ вырвана изъ вашихъ рукъ и не обратится противъ васъ самихъ и вашего потомства.

Во время предшествовавшихъ преній кѣмъ то было замѣчено (я не помню кѣмъ и, признаюсь, не старался запомнить), что разъ мы хотимъ эмансипировать католиковъ, почему не сдѣлать того же съ евреями? Если это сказано изъ сочувствія къ евреямъ, это заслуживаетъ полнаго вниманія, но, какъ вылазка противъ католиковъ, что это, какъ не восклицаніе Шейлока по поводу замужества дочери: „я лучше бы желалъ, чтобъ мужемъ ей былъ человѣкъ изъ племени Варравы, чѣмъ кто-нибудь изъ христіанъ“.

Я думаю, что католикъ—христіанинъ, и таково мнѣніе даже того, кому естественно давать предпочтеніе—евреямъ.

У доктора Джонсона (котораго я признаю отнюдь не меньшимъ авторитетомъ, чѣмъ милѣйшаго апостола нетерпимости, доктора Дюидженана) есть замѣчаніе о томъ, что всякій, считающій въ наше время церковь въ опасности, кричитъ: „горимъ во время потопа“. Это болѣе, чѣмъ метафора, потому что остатки этихъ допотопныхъ людей сохранились между нами съ ихъ криками объ огнѣ на устахъ и мозгами, подмоченными водой. Они вносятъ смуту и горе въ жизнь человѣчества своими странными возгласами. Эти несчастныя существа невозможно убѣдить въ томъ, что этотъ огонь, которымъ они пугаютъ и насъ, и себя, не что иное, какъ ignis fatuus ихъ болѣзненнаго воображенія. Они вѣчно видятъ огонь, трепещущій у нихъ передъ глазами, особенно, когда глаза эти закрыты (каковы они ужъ очень давно у лицъ, на которыхъ я намекаю). Это непремѣнный симптомъ болѣзни этихъ бѣдныхъ инвалидовъ (любой докторъ скажетъ вамъ это, господа лорды). Какой ревень, какія травы или „какой же слабительный напитокъ можетъ изгнать эту игру воображенія!“—Немыслимо. Болѣзнь неизлѣчима. У нихъ настоящая Caput insanabile tribus Anticyris.

Вотъ они—ваши настоящіе протестанты. Какъ Бэйли, который протестовалъ вообще противъ всѣхъ сектъ, они протестуютъ противъ католическихъ петицій и петицій протестантскихъ, противъ всякихъ поправокъ, противъ всего того, что разумъ, гуманность, политика, справедливость или простой здравый смыслъ можетъ возразить на всѣ нелѣпости ихъ съумасшедшаго воображенія. Это люди, переставившіе извѣстную пословицу о горѣ, родившей мышь,—они мыши, изнывающія въ потугахъ родить гору.

Чтобы вернуться къ католикамъ, представимъ себѣ, что ирландцы дѣйствительно довольны своимъ положеніемъ; вообразимъ себѣ ихъ дѣйствительно способными къ такой чудовищности, какъ нежеланіе освобожденія—развѣ мы не должны были бы желать этого для насъ самихъ? Развѣ нечего выиграть и намъ самимъ отъ ихъ эмансипаціи? Сколько потрачено средствъ, сколько потеряно талантовъ благодаря системѣ исключительности? Вы уже знаете, чего стоитъ ирландская помощь; въ настоящее время защита Англіи поручена ирландской милиціи. Въ то самое время, когда голодающій народъ нашъ возстаетъ со всей жестокостью отчаянія, ирландцы вѣрны своему долгу. Но вы не можете полностію воспользоваться всѣми благами той силы, которую вы такъ охотно противополагаете разрушенію, до тѣхъ поръ, пока повсюду не возбуждена одинаковая энергія распространеніемъ повсюду одинаковой свободы. Ирландія совершила уже очень многое, но она сдѣлаетъ гораздо больше. Вотъ сейчасъ единственный настоящій успѣхъ за всѣ эти долгіе годы непрестанныхъ бѣдствій былъ достигнутъ ирландскимъ генераломъ; правда, онъ не

католикъ; будь онъ католикъ, онъ не достигъ бы занимаемаго имъ поста; я думаю, однако, что едва ли его религія извратила бы его способности или отняла бы у него патріотизмъ, хотя въ этомъ случаѣ онъ, конечно, побѣдилъ бы только стоя въ рядахъ арміи, которой ему самому никогда не пришлось бы командовать.

Онъ тѣмъ не менѣе, тамъ заграницей, сражается за дѣло католиковъ; здѣсь его благородный братъ отстаивалъ ихъ интересы съ краснорѣчіемъ, которое я не стану обезцѣнивать скромной данью моихъ панегириковъ; третій изъ его родственниковъ, столь же не похожій на нихъ, какъ и вообще не сравнимый съ ними, воевалъ со своими братьями католиками въ Дублинѣ путемъ циркуляровъ, эдиктовъ, прокламацій, арестовъ и вооруженныхъ разсѣяній толпы — и вообще всѣмъ гадкимъ скопищемъ жалкаго вооруженія, какого могутъ желать лишь военнонаемные стражники правительства, одѣтаго въ гнилые доспѣхи своего обветшалаго законодательства. Вы, господа лорды, безъ сомнѣнія раздадите новыя почести одновременно и спасителю Португаліи и тому, кто разогналъ делегатовъ. Дѣйствительно, странно было бы дѣлать различіе между нашей внѣшней и внутренней политикой. Если католическая Испанія, вѣрная Португалія и не менѣе католическій и вѣрный король одной изъ Сицилій (которую вы между прочимъ у него, однако, отняли) нуждается въ помощи,—немедленно идутъ въ походъ войско и флотъ, отправляются посланники и субсидіи, и это очень часто для того, чтобы выдержать довольно горячій бой, вести болѣе или менѣе неудачно переговоры и всегда неизмѣнно очень дорого платить за нашихъ союзниковъ, папистовъ. Позвольте мнѣ спросить васъ, развѣ вы не ведете, напримѣръ, войну за освобожденіе Фердинанда VII, который несомнѣнно глупецъ, а слѣдовательно, по всей вѣроятности, и ханжа? Неужели же вы больше цѣните иностраннаго государя, чѣмъ вашихъ собственныхъ соотечественниковъ, которые, конечно, не глупцы, потому что они знаютъ ваши интересы лучше, чѣмъ вы сами, которые вовсе не ханжи, потому что они платятъ вамъ добромъ за зло, но которые, конечно, находятся въ худшемъ положеніи, чѣмъ тюрьма узурпатора, потому что нравственныя оковы несравненно тяжелѣе тѣлесныхъ?

Я не буду распространяться о послѣдствіяхъ вашего отказа требованіямъ петиціонеровъ; вы ихъ знаете, вы почувствуете ихъ, вы и дѣти вашихъ дѣтей, когда Уніи больше не будетъ. Прощай, Унія, такъ называемая „Lucus a non lucendo“, Унія, потому что она ничего не соединяетъ, Унія, съ первыхъ шаговъ нанесшая ударъ независимости Ирландіи и въ концѣ концовъ могущая привести къ ея полному отложенію отъ этой страны. Если это можно назвать Уніей, то это Унія волка и его добычи; хищникъ поѣдаетъ свою жертву и такимъ образомъ они приходятъ къ единству. Такъ поглотила Великобританія парламентъ, конституцію и независимость Ирландіи, и не соглашается изрыгнуть хоть одну привилегію, хотя бы это было на благо ея собственнаго поглотившаго и ненасытнаго политическаго тѣла.

Теперь, господа лорды, раньше, чѣмъ сѣсть, я попрошу гг. министровъ Его Величества позволить мнѣ сказать нѣсколько словъ, конечно, не объ ихъ достоинствахъ, это было бы лишнимъ, но о степени уваженія, какимъ они пользуются среди населенія этого королевства. Въ этихъ стѣнахъ въ самыхъ велерѣчивыхъ выраженіяхъ уже говорилось объ этомъ, при чемъ поведеніе гг. министровъ сравнивалось съ поведеніемъ гг. лордовъ этой половины палаты.

Какова популярность, выпавшая на долю моихъ благородныхъ друзей (если только мнѣ будетъ позволено такъ называть ихъ) этого я не берусь засвидѣтельствовать; но несомнѣнно, что отрицать популярность министровъ Его Величества было бы напраснымъ трудомъ. Популярность эта немножко похожа на вѣтеръ, о которомъ никогда не знаешь, откуда онъ и куда онъ уходитъ; они чувствуютъ это, они этому радуются и гордятся этимъ. Вѣдь, право, при всей ихъ скромности, въ какую самую отдаленную часть королевства могутъ удалиться гг. министры, чтобы избѣгнуть самой торжественной встрѣчи? Если они направятся въ центральныя графства ихъ будутъ привѣтствовать промышленники, съ петлями на шеѣ, которыя недавно были относительно нихъ вотированы; они протянутъ руки, полныя петицій, но будутъ призывать благословеніе неба на головы тѣхъ, кто такъ просто и въ то же время такъ искусно отстранилъ всѣ ихъ несчастія какъ въ этомъ, такъ и въ лучшемъ мірѣ. Такіе же признаки полнаго сочувствія ожидаютъ гг. министровъ повсюду; они ожидаютъ ихъ и въ Шотландіи отъ Глазго до Джонъ о'Грота. Если же они предпримутъ путе-

шествіе отъ Портпатрика до Донагади, они сразу упадутъ въ объятія четырехъ милліоновъ католиковъ, сердца которыхъ должно навѣки привязать къ нимъ сегодняшнее голосованіе. Вернувшись въ метрополію, если имъ удастся безъ непріятныхъ ощущеній миновать Тэмпль Баръ съ его жадными нишами, имъ никакъ не избѣжать привѣтствій цеховыхъ мастеровъ и еще болѣе бурныхъ, но не менѣе искреннихъ рукоплесканій обанкротившихся купцовъ и держателей ничего не стоящихъ болѣе цѣнностей. Пусть они также посмотрятъ на армію; сколько вѣнковъ не лавровыхъ, но зато виноградныхъ заготовлено для героевъ Вальхерена? Правда, мало свидѣтелей ихъ достоинствъ въ этомъ отношеніи осталось въ живыхъ; но зато какія „тучи свидѣтелей", принадлежащихъ къ этой нарядной арміи, которую они такъ великодушно и такъ благочестиво отправили въ путь, вышли изъ ея рядовъ, чтобы присоединиться къ благородной арміи „мучениковъ".

И не бѣда, если на пути своего тріумфальнаго шествія они увидятъ столько же булыжниковъ, сколько и войско Калигуллы при подобномъ же тріумфѣ, прототипѣ ихняго; не бѣда, если они не замѣтятъ этихъ знаковъ воспоминанія, которые благодарный народъ воздвигаетъ въ честь своихъ благодѣтелей. Можетъ быть, не одинъ верстовой столбъ будетъ носить на себѣ голову сарацина ради сходства ея съ побѣдителями при Вальхеренѣ; зачѣмъ картины тому, для кого всегда готова каррикатура? Зачѣмъ жалѣть о недостаткѣ статуй тому, кто и безъ того такъ часто видѣлъ свое изображеніе? Но популярность нашихъ министровъ не ограничивается вотъ этими островами; есть другія страны, гдѣ проводимыя ими мѣры, и прежде всего ихъ отношеніе къ католикамъ, должны сдѣлать ихъ въ высшей степени популярными. Если ихъ любятъ здѣсь, то во Франціи ихъ боготворятъ. Нѣтъ мѣропріятія, которое бы было болѣе противно цѣлямъ и чувствамъ Бонапарта, какъ эмансипація католиковъ, и ничто не отвѣчаетъ болѣе его намѣреніямъ, какъ все то, что до сихъ поръ проводилось, проводится и, я боюсь, что и будетъ дальше проводиться по отношенію къ Ирландіи. Что такое Англія безъ Ирландіи и что такое Ирландія безъ католиковъ? На основахъ вашей тираніи надѣется Наполеонъ построить свою собственную тиранію. Угнетеніе католиковъ настолько мило, настолько любезно его сердцу, что безъ сомнѣнія (какъ онъ недавно далъ это понять, возстановивъ съ нами сношенія) слѣдующая почта привезетъ въ эту страну цѣлые пуды севрской посуды и голубыхъ ленточекъ (то и другое въ большомъ почетѣ въ наши дни); голубыя ленточки Почетнаго Легіона д-ру Дюигенену и его министерскимъ ученикамъ. Такова эта достойная популярность, результатъ этихъ необыкновенныхъ экспедицій, такъ дорого стоящихъ намъ, столь безполезныхъ для нашихъ союзниковъ и столь бѣдственныхъ для народа. Результатъ воображаемыхъ побѣдъ, почетныхъ, какъ намъ говорятъ, для британскаго имени, но разрушительныхъ для лучшихъ интересовъ британскаго народа. И прежде всего такова расплата за отношеніе министровъ къ католикамъ.

Я извиняюсь передъ палатой, которая, я увѣренъ, проститъ своему члену, не имѣющему привычки часто искать ея благосклонности за эту попытку остановить ея вниманіе на довольно продолжительное время. Я самымъ рѣшительнымъ образомъ подаю голосъ за предложеніе герцога.

III. Обсужденіе петиціи майора Картрайта. 1-го іюня 1813 года.

Господа лорды! Петиція, которую я намѣреваюсь представить палатѣ—такова, что, по моему мнѣнію, она требуетъ отъ васъ особаго вниманія. Хотя она и подписана всего только однимъ человѣкомъ, въ ней содержатся такія данныя, которыя (если они не будутъ опровергнуты) должны быть особенно тщательно разслѣдованы. Изложенныя петиціонеромъ неудовольствія отнюдь не воображаемы и не себялюбивы. Это не есть его личное неудовольствіе, потому что его раздѣляетъ цѣлое множество людей. Завтра же любой человѣкъ какъ въ этихъ стѣнахъ, такъ и внѣ ихъ, можетъ подвергнуться такому же оскорбленію и такому же отказу въ исполненіи своего священнаго долга: въ возстановленіи настоящей конституціи этого королевства на правѣ петицій къ парламенту о реформахъ. Петиціонеръ, господа лорды—человѣкъ, долгая жизнь котораго вся ушла на борьбу за свободу подданныхъ противъ все возраставшаго и возрастающаго до сихъ поръ пагубнаго вліянія; этому вліянію должны быть поставлены преграды; какъ бы ни смотрѣть на политическіе взгляды петиціонера, едва ли можетъ возникнуть

вопросъ о честности его намѣреній. Даже теперь подъ бременемъ лѣтъ и тѣхъ болѣзней, которыя свойственны его возрасту, но все еще несравненный по таланту и твердый духомъ—„frangas non flectes"—онъ получилъ еще нѣсколько ранъ, воюя противъ общей испорченности. Новое неудовольствіе, на которое онъ жалуется, нанесетъ ему, можетъ быть, новую рану, но отнюдь не безчестіе. Петиція подписана Джономъ Картрайтомъ: съ тѣмъ оскорбленіемъ, которое составляетъ сущность его петиціи къ вамъ, господа лорды, ему пришлось встрѣтиться при законномъ преслѣдованіи необходимыхъ реформъ представительства страны, что составляетъ лучшую услугу, которую можно оказать, какъ парламенту, такъ и народу. Петиція составлена въ твердыхъ, но почтительныхъ выраженіяхъ—языкомъ человѣка, помнящаго о своемъ собственномъ достоинствѣ, но въ то же время, я увѣренъ, не забывающаго о своемъ уваженіи къ этой палатѣ. Петиціонеръ заявляетъ всѣмъ тѣмъ, кто англичанинъ по чувству столько же, сколько и по крови и по рожденію, между прочимъ слѣдующее: 21 января 1813 года, въ Хэддерсфильдѣ, онъ и шесть другихъ лицъ, услышавшихъ о его пріѣздѣ и находившихся при немъ лишь для того, чтобы выказать ему уваженіе, были схвачены представителями гражданской и военной власти и нѣсколько часовъ подрядъ содержались подъ стражей, вслѣдствіе грубой и оскорбительной инсинуаціи относительно личности вашего петиціонера со стороны распоряжавшагося офицера. Затѣмъ онъ, петиціонеръ, долженъ былъ предстать передъ чиновникомъ магистратуры и только тогда получилъ свободу, когда разсмотрѣніе его бумагъ ясно показало, что никакихъ не только справедливыхъ, но и законныхъ основаній для преслѣдованія противъ него не имѣется. Однако, несмотря на обѣщаніе и даже приказаніе со стороны предсѣдателя магистратуры выдать вашему петиціонеру копію съ приказа объ его арестѣ, подъ разными предлогами этого до сихъ поръ не было сдѣлано. Имена и общественное положеніе всѣхъ участниковъ этого дѣла вы найдете въ петиціи. Чтобы не злоупотреблять вашимъ временемъ, я не буду касаться всѣхъ остальныхъ пунктовъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ, можетъ быть, и еще болѣе важны. Я однако самымъ искреннимъ образомъ прошу васъ, господа лорды, обратить ваше вниманіе на общее содержаніе этой петиціи: права этихъ почтенныхъ свободныхъ гражданъ были нарушены во имя парламента и народа; вотъ почему обратиться теперь прямо къ палатѣ, обратиться къ вашему чувству законности, а не къ какому нибудь низшему учрежденію значитъ выказать вамъ свое уваженіе. Какова бы ни была судьба петиціи, я лично испытываю чувство нѣкотораго удовлетворенія, хотя бы къ нему и примѣшивалось сожалѣніе; я чувствую удовлетвореніе въ томъ, что имѣю возможность открыто говорить здѣсь противъ преградъ, поставленныхъ при осуществленіи самаго законнаго и необходимаго долга гражданина: стремленія къ парламентскимъ реформамъ путемъ петицій. Я вкратцѣ сообщилъ жалобу петиціонера, имъ самимъ изложенную гораздо болѣе подробно. Я надѣюсь, что вы, господа лорды, позаботитесь о его охранѣ и слѣдующемъ ему удовлетвореніи. Не одному ему, но, въ лицѣ его, и всему народу, нанесено оскорбленіе этимъ противопоставленіемъ нелѣпой и беззаконной военной и гражданской силы праву людей обращаться съ петиціями къ своимъ собственнымъ представителямъ.

Послѣ возникшихъ по поводу этой рѣчи и петиціи Картрайта преній, Байронъ заявляетъ, что считалъ своимъ долгомъ представить эту петицію на разсмотрѣніе палаты. Благородный герцогъ настаивалъ на томъ, что это не петиція, а рѣчь; тутъ нѣтъ просьбы и поэтому нечего было принимать, сказалъ онъ. Но къ чему тутъ просьба, если понимать это слово въ прямомъ смыслѣ? Не могутъ же господа лорды допустить, чтобы человѣкъ обращался съ просьбой къ себѣ подобнымъ, какъ къ Богу? Ему остается только сказать, что хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этой петиціи и содержатся довольно рѣзкія выраженія, тѣмъ не менѣе въ ней нѣтъ ничего такого, что было бы непріемлемо для палаты; по отношенію къ господамъ лордамъ употреблены самыя почтительныя выраженія. Онъ увѣренъ поэтому, что господа лорды будутъ настаивать на принятіи этой петиціи.

Евгеній Аничковъ.



ЖУРНАЛЬНЫЯ РЕЦЕНЗІИ.

I.

Отзывъ о стихотвореніяхъ Вордсворта (2 т. 1807

(Изъ «Monthly Litterary Recreations», іюль 1807).

Лежащіе передъ нами томики написаны авторомъ „Лирическихъ Балладъ“, имѣвшихъ среди читающей публики шумный и нельзя сказать, чтобъ незаслуженный успѣхъ. Характерными особенностями музы Вордсворта являются простой и плавный, хотя порой и не гармоническій стихъ, мощный, порой неотразимый призывъ къ чувству, и сужденія, не представляющія собою ничего исключительнаго. Хотя данное произведеніе Вордсворта, пожалуй, и не можетъ сравниться съ прежними, все же многія стихотворенія полны природнаго изящества; онѣ естественны, непринужденны, совершенно чужды мишурныхъ украшеній и отвлеченныхъ гиперболъ, къ какимъ нерѣдко прибѣгаютъ современные риѳмоплеты. Послѣдній сонетъ въ первомъ томѣ, пожалуй, лучшій изъ всѣхъ; онъ не блещетъ новизной чувствъ, которыя, какъ я надѣюсь, въ настоящее критическое время раздѣляютъ всѣ британцы. Но въ немъ есть сила и выразительность, присущія искреннему поэту, высказывающему то, что онъ чувствуетъ:

Another year! another deadly blow!
Another mighty empire overthrown!
And we are left, or shall be left, alone—
The last that dares to struggle with the foe.
'Tis well!—from this day forward we shall know
That in ourselves our safety must be sought,
That by our own right-hands it must be wrought;
That we must stand unprop'd or be laid low.
O dastard! whom such foretaste doth not cheer!
We shall exult, if they who rule the land
Be men who hold its many blessings dear,
Wise, upright, valiant, not a venal band,
Who are to judge of danger which they fear,
And honour which they do not understand *).

„Пѣсни на Праздникѣ въ замкѣ Брумъ“, „Семь Сестеръ“, „Горе Маргаретъ“ заключаютъ въ себѣ всѣ красоты и немногіе изъ недостатковъ, свойственныхъ автору; слѣдующія строки изъ послѣдняго стихотворенія написаны въ стилѣ первыхъ его произведеній:

„Ah! little doth the young one dream,
When full of play and childish cares,
What power hath e'en his wildest scream,
Heard by his mother unawares:
He knows it not, he cannot guess:
Years to a mother bring distress,
But do not make her love the less“ **).

Наименѣе достойны автора стихотворенія, озаглавленныя: „Мои собственныя настроенія“. Желательно, чтобъ эти „настроенія“ являлись не такъ часто или чтобъ

---

*) Еще одинъ годъ! еще одинъ смертельный ударъ! еще одно низверженное великое государство!— И мы останемся, или вынуждены будемъ остаться одни—послѣдніе, осмѣливающіеся бороться съ врагомъ. И хорошо!—Отнынѣ мы будемъ знать, что спасенія мы должны искать въ самихъ себѣ и добывать его своими руками, что мы должны твердо стоять безъ опоры, или же быть поверженными. Трусъ тотъ, кого не веселитъ такое предвкушеніе! Мы будемъ ликовать, если тѣ, кто правятъ страной, окажутся людьми, близко принимающими къ сердцу ея благо, мудрыми, честными, мужественными, а не продажной шайкой; людьми, способными трезво судить объ опасности, угрожающей имъ, и принять предосторожности противъ опасностей неожиданныхъ.

**) Ахъ, не подозрѣваетъ ребенокъ, поглощенный игрой и своими ребячьими заботами, какую власть имѣетъ надъ матерью его дикій крикъ, неожиданно услышанный ею. Онъ не знаетъ, не догадывается, что годы приносятъ горе матери, но не могутъ уменьшить ея любви.

ихъ не ставили на ряду съ произведеніями, которыя только подчеркиваютъ ихъ уродство. М-ръ Вордсвортъ перестаетъ нравиться именно тогда, когда онъ „погружается“ умомъ въ самый банальный міръ идей, облекая ихъ при этомъ въ форму не простую, а ребяческую. Что можетъ, напримѣръ, сказать читатель или слушатель, переросшій дѣтскую, о такомъ смѣшномъ жеманствѣ, какъ „Строки, написанныя у подножія Братскаго Моста“:

„The cock is crowing,
The stream is flowing,
The small birds twitter
The lake doth glitter,
The green field sleeps in the sun;
The oldest and youngest
Are at work with the strongest;
The cattle are grazing,
Their heads never raising,
There are forty feeding like one.
Like an army defeated;
The snow has retreated,
And now doth fare ill
On the top of the bare hill“.

„Пахарь все гикаетъ, да гикаетъ“... и т. д. и т. д.—все въ томъ-же восхитительномъ размѣрѣ. Намъ это представляется ни болѣе, ни менѣе, какъ подражаніемъ той пѣсенкѣ, которой насъ убаюкивали въ колыбели:

Hey de diddle,
The cat and the fiddle:
The cow jump'd over the moon,
The little dog laugh'd to see such sport,
And the dish ran away with the spoon.

Въ цѣломъ, однако, за исключеніемъ вышеприведенныхъ и другихъ невинныхъ одъ въ томъ-же духѣ, мы полагаемъ, что эти томики обнаруживаютъ талантъ, достойный болѣе высокихъ задачъ, и сожалѣемъ, что м-ръ Вордсвортъ ограничиваетъ свою музу такими вздорными темами. Мы вѣримъ, что въ будущемъ онъ возьметъ себѣ девизомъ: „Paulo majora canamus“. Многіе, съ меньшими дарованіями, добились болѣе почетнаго мѣста на Парнассѣ только потому, что затрогивали струны, на которыхъ Уордсвортъ могъ-бы играть лучше ихъ.

Е. Ж.

II.

Отзывъ о стихотвореніяхъ В. Р. Спенсера.

(Poems by William Robert Spencer. 1811).

Изъ «Monthly Review» 1812 г.

Мы уже не разъ знакомили нашихъ читателей съ авторомъ этого отлично изданнаго томика. Это одинъ изъ тѣхъ поэтовъ, на долю которыхъ никогда не выпадало подвергнуться суровой критикѣ. „Толпа легко пишущихъ джентльмэновъ“ вѣдь издавна (какъ и всякая другая толпа) такъ счастлива, что настоящіе писатели, отнюдь не обладающіе этимъ счастьемъ—писать легко и мило, никогда не угрожаютъ ей своимъ соперничествомъ. Отсюда тотъ равнодушный взглядъ, съ какимъ настоящій авторъ смотритъ на красный кожанный переплетъ книжекъ мнимаго „литератора“; я говорю—на переплетъ, потому что въ самую книгу онъ уже никогда не заглянетъ или во всякомъ случаѣ не дальше заглавнаго листа. Томикъ г. Спенсера мы можемъ посмотрѣть однако цѣликомъ и сообразно съ этимъ огорчить его или обрадовать, смотря по той долѣ добродушія, какою онъ обладаетъ. Содержаніе этого томика составляютъ главнымъ образомъ „Vers de société“. Ихъ назначеніе—прельстить большой кругъ свѣтскихъ знакомыхъ и понравиться кое-кому и изъ обыкновенныхъ покупателей. Эти послѣдніе могутъ оказаться настолько невѣжами, чтобы въ настоящія времена всеобщаго обѣдненія потребовать отъ писателя что-нибудь болѣе значительное, чѣмъ „Строки къ молодымъ поэтамъ и поэтессамъ“, „Эпитафія надъ годами“, стихи „Къ моей грамматической племянницѣ“, „Посланіе сестры Долли изъ Каскадіи къ сестрѣ Танни изъ Снодоніи“ и проч. Но безъ сомнѣнія очень много лицъ „и въ городѣ и въ деревнѣ“, обладающихъ всякими достоинствами, остроумныхъ и почтенныхъ, къ которымъ и обращается авторъ, останутся въ высшей степени довольны и собою и поэтомъ, выставившимъ ихъ въ хорошенькомъ томикѣ, совершенно такъ же, какъ была бы довольна и „бабочка въ концѣ зимы“, если бы только ей удалось пережить суровую непогоду. Мы не увѣрены только въ томъ, будетъ ли радъ звонарь тому, что г. Спенсеръ завладѣлъ его „Рождественскимъ разсказомъ“; разсказъ этотъ до того звонарскій, что мы предложили бы звонарю немедленно всту-

питься за свои права, тѣмъ болѣе, что никто противъ этого ничего имѣть не будетъ.

Кромѣ всѣхъ этихъ и другихъ подобныхъ имъ произведеній, нѣсколько поэмъ въ этой книгѣ однако превосходны. Нѣкоторыя изъ нихъ уже появлялись въ печати, другія обнародованы теперь впервые. Съ поэмой „Леонора“, открывающей томикъ, въ свое время мы уже ознакомили нашихъ читателей, но, можетъ быть, намъ будетъ позволено привести теперь новый отрывокъ. Содержаніе поэмы, вѣроятно, знакомо нашимъ читателямъ. Мы предпочитаемъ поэтому одно изъ центральныхъ мѣстъ:

Sea, where fresh blood-gouts mat the green,
Yon wheel its reeking points advance;
There, by the moon's wan light half seen,
Grim ghosts of tombless murders dance.
„Come, spectres of the guilty dead,
With us your goblin morris ply,
Come all in festive dance to tread,
Ere on the bridal couch we lie“.

„Forward th'obedient phantoms push,
Their trackless footsteps rustle near,
In sound like autumn winds that rush
Throngh withering oak or beech-wood sere.
With lightning's force the courser flies,
Earth shakes his thund'ring hoofs beneath,
Dust, stones and sparks, in whirlwind rose,
And horse and horseman heave for breath.

Swift roll the moon-light scenes away,
Hills chasing hills successive fly;
E'en stars that pave th'eternal way,
Seem shooting to a backward sky.
„Fear'st thou, my love? the moon shines clear;
Hurrah! how swiftly speed the dead!
The dead does Leonora fear?
Oh God! oh leave, oh leave the dead!»

Этотъ примѣръ „потрясающаго“ ясно показываетъ достоинство поэмы; но мы не думаемъ, что внесенныя г. Спенсеромъ въ варіантѣ Леоноры измѣненія настолько удачны, насколько этого можно было бы ожидать отъ него, какъ отъ поэта съ большимъ вкусомъ. „Обновленная дружба“ едва-ли болѣе выразительно, чѣмъ „съежившаяся“, какъ стояло раньше; фраза: „десять тысячъ состоящихъ въ отпуску героевъ“ бросаетъ новый свѣтъ на героическій характеръ. Героямъ весьма подходитъ пользоваться отпусками, разъ и школьникамъ полагаются праздники, а адвокатамъ даже весьма долгія вакаціи: но еще вопросъ, найдутъ ли господа съ ученымъ, юридическимъ или героическимъ призваніемъ для себя лестнымъ, если имъ придадутъ какой-либо эпитетъ, происходящій изъ временной остановки въ нихъ этого благороднаго призванія. Мы бы, признаемся, съ нѣкоторой нерѣшительностью назвали бы напримѣръ какого нибудь вновь прибывшаго изъ одного изъ батальоновъ Португаліи юношу „героемъ въ отпуску“; онъ пожалуй могъ бы замѣтить намъ, что „отпускъ“, которымъ онъ пользуется, отнюдь не касается его геройства. Прежній эпитетъ: „утомленный битвами“ былъ несомнѣнно удачнѣе какъ по отношенію къ героизму, такъ и по отношенію къ поэзіи, и, если мы не ошибаемся, еще очень недавно его замѣнялъ другой эпитетъ, дающій представленіе объ „otium cum dignitate“ солдата безъ нарушенія какъ непринужденности, такъ и достоинства стиха. Почему „horse and horsemen *pant* for breath“ замѣнено выраженіемъ „*heave* for breath?“ Развѣ для новой аллитераціи, прибавленной къ первымъ двумъ дразнящимъ придыханіямъ? „Heaving“ подходитъ скорѣе къ вздохамъ и восклицаніямъ, тогда какъ „panting“ составляетъ удѣлъ успѣшныхъ любовниковъ и горячихъ лошадей; отчего бы поэтому всадникамъ и лошадямъ г-на Спенсера не продолжать по прежнему пыхтѣть (pant)?

Слѣдующая поэма и по расположенію, и по достоинству, это „Годы несчастья“; достоинства ея мы уже отмѣтили въ 45-омъ томѣ нашей новой серіи. Намъ очень грустно, что мы должны замѣтить несвоевременность теперь этихъ словъ по отношенію къ г-ну Вэджвуду: „недавній путешественникъ“; что англичанинъ, путешествующій изъ Калэ въ Испагань, можетъ ежедневно обѣдать на посудѣ Вэджвуда“,—это теперь уже невѣрно. Недавно къ его счастью или несчастью одинъ нашъ путешественникъ прошелъ, миновавъ Калэ, черезъ земли Пайнима неподалеку отъ Испагани, но нигдѣ ни во дворцѣ паши, ни въ каравансараѣ чужеземца, ни въ крестьянской избушкѣ ему не случалось ѣсть пилавъ такъ нарядно сервированный. Такова въ этомъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ перемѣна въ положеніи какъ Европы, такъ и всего материка, со времени написанія нашимъ авторомъ этихъ словъ: „недавній путешественникъ“. По свидѣтельству другого недавняго путешественника мы должны засвидѣтельствовать, что посуда вся поломана послѣ того, какъ первый „недавній“ побывалъ въ тѣхъ мѣстахъ. Оттого намъ

хотѣлось бы настоятельно попросить г-на Вэджвуда послать новые транспорты на всѣ перекрестки и горныя тропы до самаго Багдада, для удобства еще болѣе „недавнихъ путешественниковъ".

Мы не остановимся на „хорѣ изъ Еврипида", потому что вмѣстѣ со всѣми прочими ученическими произведеніями нашего автора и это могло-бы спокойно уснуть въ его портфелѣ, и перейдемъ къ „Визіонеру". На него мы съ радостью указываемъ какъ на блестящій образецъ болѣе легкой поэтической манеры:

When midnight o'er the moonless skies
Her pall of transient death has spread,
When mortals sleep, when spectres rise,
And nought is wakeful but the dead!

No bloodless shape my way pursues
No sheeted ghost my couch annoys,
Visions more sad my fancy views,
Visions of long departed joys!

The shade of youthful hope is there,
That linger'd long, and latest died;
Ambition all dissolved to air,
With phantom honours at her ride.

What empty shadows glimmer nigh!
They once were friendship, truth, and love!
Oh, die to thought, to mem'ry die,
Since lifeless to my heart ye prove!

Мы не можемъ удержаться, чтобы не привести еще и эти великолѣпные стансы:

To the Lady Anne Hamilton.

Too late I staid, forgive the crime,
Unheeded flew the hours;
How noseless falls the foot of Time,
That only treads on flow'rs!

What eye with clear account remarks
The ebbing of his glass,
When all its sands are di'mond sparks,
That dazzle as they pass?

Ah! who to sober measurement
Time's happy swiftness brings,
When birds of Paradise have lent
Their plumage for his wings?

Гораздо бóльшая часть тома занята однако стихотвореніями, едва ли могущими доставить удовольствіе большой публикѣ; нѣкоторыя изъ нихъ красивы; остальныя словно опрысканы „сластями" и „розами", „птичками" и „брилліантами" и другими подобными дешевыми поэтическими украшеніями, которыми такъ легко овладѣть безъ ущерба для мысли и для размѣра. Большое счастье для автора, что эти bijoux своего таланта онъ подноситъ лицамъ высокопоставленнымъ: „фрейлинѣ Луизы ландъ-графини Гессенъ-Дарміштадтской", лэди Блэнкъ, лэди Астерискъ и кромѣ того—and—и другіе анонимы, какъ разъ подходящіе къ тому, чтобы насладиться этими блестками, цвѣтами и модными бездѣлушками. Мы утѣшимъ читателя тремя строфами самыхъ умѣренно сверкающихъ подобныхъ одъ:

Addressed to Lady Susan Fincastle, now Countess of Dunmore.

What ails you, Fancy? you're become
Colder than Truth, than Reason duller!
Your wings are worn, your chirping's dumb
And ev'ry plume has lost its colour.

You droop like geese, whose cacklings cease
When dire St. Michael they remember,
Or like some bird who just has heard
That Fin's preparing for September?

Can you refuse your sweetest spell
When I for Susan's praise invoke you?
What, sulkier still? you pout and swell
As if that lovely name would choke you.

Мы должны предположить, что „готовящаяся къ сентябрю", это—дама, „нѣжное имя" которой, повидимому, собирается „свернуть шею" воображенію, и дѣйствительно, если стрѣлять куропатокъ составляетъ одно изъ приложеній талантовъ лэди Сюзанны,—и Воображеніе и Чувство, конечно, рискуютъ жизнью. Эти строфы облекаетъ собою дымка той ироніи, которая такъ часто удавалась г-ну Спенсеру. Всѣ пѣсни къ „высокопоставленнымъ особамъ" написаны по самому отличному образцу „пѣсенъ высокопоставленныхъ особъ", если только ихъ стансы не сфабрикованы понапрасну. Такое подражаніе простирается даже до воспѣванія неодушевленныхъ предметовъ:

When an Eden zephyr hovers
O'er a slumb'ring cherub's lyre,
Or when sight of seraph lovers
Breathe upon th'unfinger'd wire.

Если манерничаніе до сихъ поръ принимается за изысканность, г. Спенсеръ вмѣстѣ съ Амброзомъ Филлипсомъ должны быть „предпочтены за ихъ остроуміе".

Heav'n must hear—a bloom more tender
Seems to tint the wreath of May,
Lovelier beams the noon-day-splendour,
Brighter dew-drops gem the spray!

Is the breath of angels moving
O'er each flow'ret's heighten'd hue?
Are their smiles the day improving
Hove their tears enrich'd the dew?

Тутъ и „слезы ангеловъ", и „дуновеніе", и „улыбки", и „Зефиры Эдема", „вздохи возлюбленныхъ серафимовъ", и „лиры дремлющихъ херувимовъ", и все это пляшетъ и скачетъ подъ звуки арфы! Странно, что Томсонъ въ своихъ стихахъ объ Эоловой лирѣ (въ его „Замкѣ Безпечности") никогда и не мечталъ обо всемъ этомъ, предоставивъ эти прикрасы послѣднему изъ Крусканти!

Одно изъ лучшихъ произведеній этого тома—„Посланіе къ Т. Муру, эсквайру", хотя и оно испорчено разными „друзьями, вскормленными сѣрой", или „суровѣйшими зимами ада" (холодно отъ этого, должно быть, стало бѣдному Муру!) и прочими нелѣпостями этого же рода. Тутъ выражено очень красивое чувство поэтической дружбы. Вотъ послѣднія десять строкъ:

The triflers think your varied powers
Made only for life's gala bow'rs,
To smooth Reflection's mentor-frown,
Or Pillow joy on softer down.—
Fools!—you blest orb not only glows
To chase the cloud, or point the rose;
These are the pastimes of the might,
Earth's torpid bosom drinks his light;
Find there his wondrous pow'r's true measure,
Death turn'd to life, and dross to treasure!

Мы подошли теперь къ французскимъ и итальянскимъ стихамъ г-на Спенсера; первые изъ нихъ написаны ингда на новомъ французскомъ языкѣ, а иногда на старофранцузскомъ, а отсюда на такомъ говорѣ, который ни старъ, ни младъ. Мы предлагаемъ примѣры и того и другого:

Qu'est ce que c'est que le Génie?

Brillant est cet esprit privé de sentiment;
Mais ce n'est qu'un soleil trop vif et trop constant,
Tendre est ce sentiment qu'aucun esprit n'anime
Mais ce n'est qu'un jour doux, que trop de pluie abime!
Quand un brillant esprit de ses rares couleurs,

Orne du sentiment les aimables douleurs,
Un Phenomêne en nait, le plus beau de la vie!
C'est alors que les ris en se mêlant aux pleurs,
Font ces Iris de l'âme, appellé le Genie!

C'y gist un povre menestrel
Occis par maint ennuict cruel—
Ne plains pas trop sa destinée—
N'est icy que son corps mortel:
Son ame est toujours à Gillwell,
Et n'est ce pas là l'Elysée?

Намъ кажется, что итальянскіе стихи г-на Спенсера болѣе закончены, чѣмъ французскіе, а писать легко стихи на самомъ поэтическомъ изъ языковъ—задача трудная. Однако г-нъ Спенсеръ, какъ впрочемъ и каждый другой англичанинъ въ этомъ отношеніи, несомнѣнно уступаетъ г-ну Матіасу. У г-на Спенсера замѣтно еще, что свое англійское стихосложеніе онъ не оберегъ отъ нѣкотораго вліянія итальянскихъ concetti; оттого мы горячо привѣтствовали бы его попытки писать на иностранныхъ языкахъ, если бы это не повело его къ порчѣ родной рѣчи. Мы тѣмъ не менѣе далеки отъ желанія совсѣмъ запретить эти экскурсіи въ область другихъ языковъ; онѣ только, право, напоминаютъ о томъ вдохновенномъ французѣ, который украсилъ свой кусокъ земли такой надписью въ честь Шенстона и замка Лизо:

See this stone
For William Shenstone—
Who planted groves rural,
And wrote verse natural!

Эти строки почтенный хозяинъ выставилъ на-показъ для всѣхъ англійскихъ путешественниковъ, чтобы почтить сходство своего наслѣдственнаго замка съ Лизо и поразительное совпаденіе стихосложенія Шенстона съ его собственнымъ. Мы вовсе не хотимъ намекнуть на то, что французское стихотвореніе г-на Спенсера („C'y gist un povre menestrel", съ урной на верху, украшенной буквами: W. R S.) составляетъ

именно возвращеніе къ манерѣ приведеннаго мною четверостишія; но мы хотѣли сдѣлать его пугаломъ для всѣхъ англійскихъ молодыхъ людей, стремящихся на французскій Парнассъ. Немногіе изъ нихъ успѣютъ на немъ лучше, чѣмъ этотъ англо-трубадуръ на нашемъ.

Теперь мы распрощаемся съ г-номъ Спенсеромъ; мы не были слѣпы ни къ его достоинствамъ, ни къ его недостаткамъ. Какъ поэтъ, онъ долженъ занять мѣсто несравненно ниже Мура и немного выше лорда Странгфорда; а если его томикъ найдетъ себѣ даже половину покупателей и того и другого, ему не будетъ никакихъ основаній жаловаться ни на нашу оцѣнку, ни на его собственный успѣхъ.

III.

Геній въ пренебреженіи, поэма Айрланда.

(Neglected Genius, by W. H. Ireland).

Изъ «Monthly Review» 1813 г.

Этотъ томикъ, на достаточно длинномъ заглавномъ листѣ обѣщающій „изобразить безвременную и несчастную судьбу многихъ британскихъ поэтовъ", могъ бы смѣло включить въ ихъ число и самого автора, потому что, если его „подражанія ихъ различнымъ стилямъ" очень похожи на оригиналы, его повѣсть о томъ, какъ „многіе британскіе поэты" мрутъ съ голоду, можетъ вызвать скорѣе состраданіе, чѣмъ удивленіе. Книга открывается посвященіемъ нынѣшнему герцогу Девонирскому и посмертной похвалой прежнему (вѣроятно, также и тутъ мы имѣемъ дѣло съ однимъ изъ забытыхъ бардовъ, изслѣдованныхъ авторомъ). Въ этомъ произведеніи трудно сказать, „просвѣщенное ли пониманіе" живого или „интеллектъ" мертваго удачнѣе схвачены и болѣе блестяще восхвалены. Для того, чтобы похвальное слово покойному читатель не принялъ за нѣчто совсѣмъ другое, хотя ошибки тутъ не могло быть, страница окружена черной каймой, какъ надгробная рѣчь или американская газета послѣ пораженія. Вотъ примѣръ изъ поэмы. Поэтъ обращается къ герцогинѣ:

Chaste widow'd Mourner, still with tears bedew
That sacred Urn, which can imbue
Thy worldly thonghts, thus kindling mem'ry's glow:
Each retrospective virtue, fadeless beam,
Embalms thy Truth in heavenly dream,
To soothe the bosom's agonizing woe.
Yet soft—more poignantly to wake the soul,
And ev'ry pensive thought controul,
Truth shall with energy his worth proclaim;
Here I'll record his philantropic mind
Eager to bless all human kind,
Yet modest shrinking from the voice of Fame

As Patriot view him shun the courtly crew,
And dauntless ever keep in view
That bright palladium, England's dear renown.
The people's Freedom and the Monarch's good,
Purchas'd with Patriotik blood,
The surest safeguard of the state and crown.

Or now behold his glowing soul extend,
To shine the polish'd social friend;
His country's matchless Prince his worth rever'd;
Gigantic Fox, true Freedom's darling child,
By kindred excellence beguil'd,
To lasting amity the temple rear'd

As Critic chaste, his judgement could explore
The beauties of poetic lore,—
Or classic strains mellifluent infuse;
Yet glowing genius and expanded sense
Were crown'd with innate diffidence,
The sure attendant of genuine muse.

На девятой страницѣ мы находимъ дѣйствительно великолѣпное подражаніе Мильтону:

To thee, gigantic genius. next I'll sound;
The clarion string, and fill fame's vasty round;
'Tis Milton beams upon the wond'ring sight,
Rob'd in the splandour of Apollo's light;
As when from ocean bursting on the view,
His orb dispenses ev'ry brilliant hue,

Crowns with resplendent gold th'horizon wide,
And cloathes with countless gems the buoyant tide;
While through the boundless realms of æther blaze,
On spotless azure, streamy saffron rays:—
So o'er the world of genious Milton shone,
Profound in science—as the bard—alone.

Мы не должны также обойти молчаніемъ отрывокъ изъ Нахума Тэта, по-

тому что здѣсь авторъ наиболѣе приближается къ стилю своего оригинала:

Friend of great Dryden, though of humble fame;
The Laureat Tate, shall here record his name;
Whose sorrowing numbers breath'd a nation's pain,
When death from mortal to immortal reign
Translated royal Anne, our island's boast,
Victorious sov'reign, dread of Gallia's host;
Whose arms by land and sea with fame were crown'd,

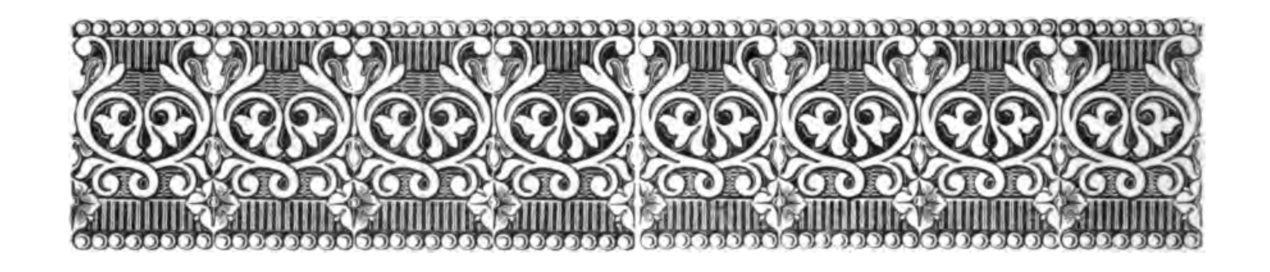
Whose statesmen grave for wisdom were renown'd,
Whose reign with science dignifies the page;
Bright noon of genious—great Augustan age.
Such was thy Queen, and such th'illustrious time
That nurs'd thy muse, and tun'd thy soul to rhyme;
Yet wast thou fated sorrow's shaft to bear,
Augmenting still this catalogue of care;
The gripe of penury thy bosom knew,
A gloomy jail obscur'd bright freedom's view;
So life's gay visions faded te thy sight,
Thy brilliant hopes enscarf'd in sorrow's night.

Гдѣ выучился г-нъ Айрландъ этимъ риѳмамъ: hold fast и ballast, stir и hunger, please и kidneys, plane и captane, expose и windows, forgot и pilot, sail on и Deucalon! (Лампьеръ спасъ бы его отъ школьной провинности, сообщивши, что въ этомъ послѣднемъ словѣ не достаетъ *i*). Можетъ быть онъ считаетъ ихъ Гудибрастическими риѳмами? Этотъ подражательный господинъ, нашъ авторъ, очень любитъ Чаттертона, и когда рѣчь заходитъ о Бристолѣ, гдѣ къ поэту относились не съ бо́льшимъ почтеніемъ, чѣмъ того заслуживаетъ г. Айрландъ, послѣдній поноситъ этотъ городъ весьма плохими стихами. Въ данномъ случаѣ г. Айрландъ, повидимому, стихъ пѣсеньки Баннистера: „Все ради любви и кое-что ради бутылки", передѣлываетъ на—„все ради Чаттертона и кое-что ради меня".

Въ пояснительныхъ примѣчаніяхъ, среди разныхъ другихъ удивительныхъ свѣдѣній, Горацій Вальполь превращенъ въ „сэра Горація". Изученіе жизни несчастнаго Чаттертона, казалось-бы, должно было спасти г. Айрландъ отъ этой грубой ошибки, дважды повторенной на одной и той-же страницѣ. И надо удивляться злорадству наборщика, который не исправилъ ошибки—вѣдь онъ-то навѣрное ее замѣтилъ. Мы должны извиниться, что не даемъ болѣе пространнаго разбора книги г. Айрланда. Надѣемся, что не услышимъ больше его жалобныхъ стиховъ; къ нимъ едва ли обратится кто нибудь, кромѣ рецензента,—развѣ тѣ бѣдные люди съ положеніемъ, которыхъ онъ изберетъ для посвященій. Хотя его посвященія способны убить живого, его посмертныя оплакиванія таковы, что, въ свою очередь, должны прибавить страха смерти у всякаго изъ его покровителей, кто не лишенъ здраваго смысла и страдаетъ какой либо хронической болѣзнью.

Е. Аничковъ.





Байронизмъ въ его историческомъ развитіи и значеніи.

I.

Давно уже „байронизмъ“ сталъ историческимъ воспоминаніемъ. Три четверти вѣка прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ въ полномъ цвѣту въ литературѣ и симпатія къ нему считалась признакомъ особой душевной и умственной чуткости.

Отошла-ли вмѣстѣ съ байронизмомъ въ прошлое и та правда жизни, которая его породила? Или эта правда осталась, и только внѣшняя форма, въ какую она нѣкогда временно облеклась — износилась? Что всѣ такъ называемые „байроническіе“ позы и пріемы, а именно—извѣстныя антитезы въ мысляхъ, любимые переливы чувствъ, особыя драматическія положенія, особый колоритъ въ пейзажахъ, даже особенности байроническаго костюма,—отошли въ область литературной археологіи, въ этомъ едва ли можно сомнѣваться. Человѣческая мысль и чувство не любятъ дважды рядиться въ одно и то же одѣяніе, хотя бы и очень красивое. Но мѣняться можетъ форма воплощенія, а смыслъ и правда чувствъ могутъ жить вѣками. Старый Іовъ за 700 лѣтъ до Рождества Христова сказалъ ту вѣчную скорбную правду о нашей жизни, которую по своему истолковывалъ античный трагикъ въ „Эдипѣ“, христіанскій отшельникъ въ своей молитвѣ и философъ пессимистъ въ своей фантастической космогоніи міровой воли. Религіозное чувство, съ какимъ грекъ смотрѣлъ на скованнаго Прометея, христіанинъ на распятіе, развѣ оно не то же самое чувство, съ какимъ мы смотримъ на всѣ жертвы искупленія, невинныя и святыя жертвы, которыхъ такъ много въ нашей жизни? Кто не признаетъ, что въ „Орестеѣ“ Эсхила затронутъ тотъ же вопросъ о нашей свободной волѣ и нравственной нашей отвѣтственности, который составляетъ скорбную тайну Гамлета?

Есть вѣчная правда нѣкоторыхъ мыслей человѣка о себѣ и о мірѣ, правда нѣкоторыхъ чувствъ, съ какими родился и умретъ человѣкъ, и эта правда въ разные вѣка и въ разныхъ одѣяніяхъ возстаетъ передъ нами. Можно ли сказать, что то пониманіе міра и человѣка, въ пользу котораго Байронъ велъ такую эффектную страстную пропаганду, — имѣетъ столь же давнее прошлое и всѣ вѣроятія жить въ будущемъ въ новыхъ формахъ воплощенія?

II.

Поэзія Байрона ослѣпила современниковъ своей необычайной оригинальностью, и эта новизна была одной изъ главныхъ причинъ неслыханно быстраго торжества поэта; по крайней мѣрѣ успѣхъ Байрона нельзя поставить всецѣло на счетъ силы и широты его таланта, такъ какъ были художники, и равной съ нимъ силы, и силы большей, какъ, напр., Гете, Шиллеръ, Шелли, которые такой сферы вліянія, какъ онъ, не имѣли. Оригинальность и полное соотвѣтствіе съ только что пережитымъ историческимъ моментомъ—вотъ что придавало поэзіи Байрона особую завлекающую прелесть, несмотря на то что многое „въ его духѣ“ было до него сказано Руссо, Шатобріаномъ, Шиллеромъ и Гете. Никто однако не сумѣлъ такъ глубоко проникнуть въ

сущность новыхъ этико-соціальныхъ проблемъ своего времени, какъ онъ. Выразительница этой новой правды жизни, поэзія Байрона и не имѣетъ аналогій въ прошломъ, такъ какъ ни разу до конца XVIII вѣка человѣчеству не пришлось столкнуться съ такой своеобразной этической и общественной задачей, которая въ эту эпоху стала предметомъ его наиболѣе тревожнаго раздумья.

III.

Въ чемъ же заключалась новизна этой этической задачи и новизна того рѣшенія, которое ей далъ Байронъ? Неужели за весь ходъ нашей цивилизаціи то, что составляетъ сущность „байроническаго" міропониманія, не встрѣчалось раньше въ какой либо иной формѣ?

Сущность этого міровоззрѣнія опредѣляется обыкновенно двумя понятіями: „міровой скорби" и „торжествующаго индивидуализма". Скорбный взглядъ на весь міропорядокъ и вѣра въ себя, какъ въ автономную личность,—вотъ тѣ два устоя, на которыхъ держится вся философія, психологія и этика байронизма.

Никто не станетъ отрицать за обѣими этими мыслями права на глубокую древность. Съ тѣхъ поръ, какъ люди себя помнятъ, они всегда были склонны къ пессимистической оцѣнкѣ процесса жизни, въ которомъ они являлись участниками и зрителями. Съ древнѣйшихъ временъ пессимизмъ, въ той или другой формѣ, входилъ какъ существенная составная часть въ религіозныя представленія человѣка о мірѣ, въ его философскія размышленія о жизни и даже въ его практическія программы поведенія. Точно также мысль о высокой цѣнности человѣческой личности, о правѣ человѣка на самоопредѣленіе, о расширеніи сферы его воздѣйствія на жизнь, объ автономности его ума и чувствъ имѣетъ свою длинную исторію. Если бы байронизмъ заключался только лишь въ „міровой скорби" или только лишь въ проповѣди индивидуализма, то особой новизны въ немъ бы не было: онъ былъ бы любопытнымъ видоизмѣненіемъ старыхъ вѣковыхъ и вѣчныхъ истинъ. Вся оригинальность и новизна байронизма не въ этихъ основныхъ его элементахъ, а въ ихъ необычайномъ сочетаніи. А это ихъ необычайное сочетаніе въ поэзіи—прямое отраженіе столь же оригинальнаго и единственнаго ихъ сочетанія въ жизни цѣлой исторической эпохи. Въ томъ видѣ, въ какомъ это сочетаніе встрѣчается приблизительно съ конца XVIII вѣка и въ какомъ оно поэтически возсоздано Байрономъ, оно раньше на страницахъ исторіи не попадалось.

IV.

Ростъ мысли объ автономной человѣческой личности, объ ея правѣ подвергать суду своего ума всѣ вопросы жизни безъ исключенія, объ ея правѣ не стѣснять свободнаго развитія своихъ чувствъ и искать имъ удовлетворенія, наконецъ, о правѣ стремиться къ установленію такихъ формъ внѣшней государственной, общественной и семейной жизни, которыя соотвѣтствовали-бы тому представленію о добрѣ и справедливости, какія человѣкъ самостоятельно выработалъ — ростъ этой мысли одинъ изъ прямыхъ показателей духовнаго развитія человѣчества. Если въ какой идейной области замѣтенъ рѣшительный прогрессъ, то именно въ этомъ все болѣе и болѣе укореняющемся въ людяхъ сознаніи, что человѣкъ имѣетъ право свободнаго суда надъ всѣми явленіями жизни, право отрицанія и утвержденія того, съ чѣмъ онъ согласенъ или противъ чего споритъ, какъ въ сферѣ духовной, такъ и въ кругѣ реальныхъ явленій. Свободная мысль, свободное чувство, свободное дѣйствіе — вотъ тотъ лозунгъ, тѣ высшія блага, за которыя человѣкъ готовъ былъ на всѣ страданія и жертвы. Освобожденіе отъ авторитетовъ, кромѣ свободно имъ признанныхъ, — вотъ къ чему онъ стремился какъ къ цѣли, достиженіе которой необходимо, чтобы не поколебаться въ сознаніи своего человѣческаго достоинства. Такое постепенное освобожденіе отъ авторитетовъ устарѣвшихъ или старѣющихъ и замѣна ихъ новыми, установленными свободной критикой и свободнымъ чувствомъ, такія попытки перестроить свою жизнь согласно съ этими свободно признанными авторитетами—заполняютъ собой всю исторію человѣческой жизни. И въ этой трудной жизни встрѣчаются особые яркіе моменты, когда съ особой силой сказывалась въ людяхъ эта потребность свободнаго самоопредѣленія, этотъ призывъ къ переустройству жизни на свободно признанныхъ новыхъ началахъ вопреки всѣмъ традиціямъ.

Изъ всѣхъ этихъ моментовъ одинъ можетъ назваться эпохой крайняго и пол-

наго, хотя кратковременнаго, торжества личности, считающей себя вполнѣ автономной. Опредѣлить съ хронологической точностью наступленіе этого момента едва ли возможно, но къ концу XVIII вѣка онъ можетъ считаться вполнѣ опредѣлившимся. Его основное идейное положеніе заключалось въ рѣшительномъ признаніи за человѣкомъ права на свободную критику всѣхъ началъ жизни и полное освобожденіе его духа и жизни отъ всѣхъ авторитетовъ, непризнанныхъ его свободнымъ согласіемъ. Дѣйствительно, со средины XVIII вѣка началась та переоцѣнка жизни, которая привела въ концѣ концовъ къ отрицанію всѣхъ ея прежнихъ устоевъ и тѣхъ идейныхъ началъ, на которыхъ эта жизнь покоилась. Традиціонное религіозное начало было круто отвергнуто и сдѣланы попытки къ созданію новой религіи; идеалистическія философскія начала были сокрушены и поле осталось либо за скептицизмомъ, либо за наскоро построенной матеріалистической метафизикой; идея монархической власти была предана суду и сдѣланы попытки государственнаго устройства на самыхъ разнообразныхъ, до того времени на практикѣ неиспробованныхъ, началахъ; основы старой семейной жизни были подвергнуты рѣзкой критикѣ и детально вырисованы картины новыхъ семейныхъ идиллій; система воспитанія была представлена въ цѣломъ кодексѣ новыхъ правилъ, идущихъ въ прямой разрѣзъ съ правилами существовавшими... Не было уголка жизни, котораго не коснулась бы реформаторская работа человѣческой мысли и гдѣ не было-бы сдѣлано попытокъ замѣны стараго новымъ. Личность считала себя вправѣ объявить войну не только всѣмъ „предразсудкамъ", подъ которыми разумѣлись старые авторитеты, но и всему строю жизни. Она, опираясь на свой свободный умъ и свое свободное чувство, вѣрила въ возможность переустроить жизнь личную, семейную, общественную и государственную, предписывая ей свои законы и не желая считаться съ какими либо сложившимися условіями. Просвѣтительная проповѣдь XVIII вѣка дала теоретическое обоснованіе этой свободы личности, этого автономнаго индивидуума, а французская революція и самовластіе Наполеона I были попыткой осуществленія такихъ автономныхъ идей и хотѣній. Въ полстолѣтіе, начиная съ проповѣди Руссо и Вольтера, кончая Ватерлоо, индивидуализмъ какъ принципъ свершилъ кругъ своего теоретическаго и практическаго развитія.

Онъ долженъ былъ кончить не торжествомъ, а соглашеніемъ, компромиссомъ съ жизнью, которая не мѣняетъ своихъ старыхъ авторитетовъ такъ легко, какъ отдѣльная личность.

Самое красивое и самое поэтичное воплощеніе нашла себѣ эта идея автономной личности въ поэзіи Байрона. Байронъ родился наканунѣ французской революціи (1788), былъ свидѣтелемъ всей наполеоновской эпопеи и умеръ въ годы, когда воскресшіе старые авторитеты и традиціи торжествовали свою побѣду надъ личностью, такъ недавно мнившей себя и свободной, и всесильной. Байрону суждено было воспѣть это самодержавіе личности и хоть въ мечтахъ отомстить за ея паденіе. Изъ всѣхъ писателей его поколѣнія онъ былъ единственный, который въ своей поэзіи такъ вызывающе проповѣдывалъ принципъ индивидуализма, не дѣлая никакихъ уступокъ, не подчиняя личности никакимъ предустановленнымъ законамъ, не соглашаясь ни на какую резиньяцію или философское смиреніе. Онъ до конца дней своихъ и на словахъ, и на дѣлѣ былъ проводникомъ этого принципа въ жизнь. Отсюда и монотонность его поэзіи и ея сила, отсюда же постоянное, неизмѣнное боевое настроеніе, какое чувствуется во всѣхъ его пѣсняхъ. Какъ личность сильная, не желающая признавать никакихъ авторитетовъ и вѣрующая въ правоту своего отрицанія, онъ былъ въ постоянной враждѣ со всѣми установившимися вѣрованіями и ученіями, и мы увидимъ, что въ вопросахъ религіозныхъ, политическихъ и нравственныхъ онъ съумѣлъ сохранить за собой вполнѣ независимую позицію и такъ гордо отстаивалъ свою оригинальность, что многимъ могъ казаться индиферентомъ. Онъ имъ, конечно, не былъ, онъ былъ натурой страстной, но культъ автономнаго „я" и торжествующій въ немъ индивидуализмъ позволяли ему иногда такое капризное обращеніе со всякими святынями, которое могло дать поводъ думать, что у него никакихъ святынь вообще не было.

Байронъ былъ воплощеніемъ автономности своей личности, ея свободы сужденія и свободы хотѣнія. Въ этомъ смыслѣ онъ больше, чѣмъ кто либо, могъ назваться сыномъ своего вѣка.

V.

И другую отличительную черту своего вѣка восприняль Байронъ всей душой и съумѣлъ выразить въ образахъ рѣдкой красоты и силы. Это была столь извѣстная „міровая скорбь", „болѣзнь вѣка", очень распространенная въ XIX столѣтіи, и опять таки явленіе вполнѣ оригинальное, въ извѣстной формѣ лишь этому вѣку свойственное и не имѣющее себѣ параллелей въ прошломъ.

Если подъ словомъ „міровая скорбь" разумѣть всякую скорбь о мірѣ, о неустройствахъ земной нашей жизни, о бренности всего человѣческаго, о неизбѣжности страданій духовныхъ и физическихъ, неразрывно связанныхъ съ процессомъ бытія, то „міровой скорби" столько же лѣтъ, сколько и человѣческому сознанію. Съ тѣхъ поръ какъ человѣкъ себя помнитъ, онъ не забылъ своихъ жалобъ на Бога, на судьбу, на міровой порядокъ: онъ всегда имѣлъ основаніе быть недовольнымъ настоящимъ и желать лучшаго; онъ всегда имѣлъ передъ глазами болѣзнь и смерть, какъ отрицаніе „веселья жизни"; всегда онъ стоялъ лицомъ къ лицу съ вѣчной тайной загробнаго существованія, которое обѣщало многое, а могло не дать ничего; наконецъ, онъ всегда имѣлъ передъ собой загадку, не менѣе тревожную, и сердцу, и уму его наиболѣе близкую—самого человѣка, въ которомъ такъ странно сочетались добро и зло, красота и безобразіе, умъ и безуміе. Если подъ „міровой скорбью" понимать порядокъ такихъ печальныхъ думъ и настроеній, то съ самыхъ древнѣйшихъ временъ до нашего времени всегда они были, и исторія религій, исторія философіи, исторія художественнаго творчества съ первыхъ лѣтъ своего зарожденія хранятъ слѣды этой печали человѣка о всѣхъ несовершенствахъ его бытія земного и космическаго. „Міровая скорбь" конца XVIII и начала XIX вѣка—въ этомъ смыслѣ простая колоритная варіація старой вѣчной темы. Но сущность той душевной болѣзни, которая была такъ распространена въ указанные годы и которая въ поэзіи Байрона воплотилась, заключается не въ общемъ ощущеніи печали и скорби, а въ особомъ оттѣнкѣ этой скорби, этого ощущенія, особомъ повышеніи его до крайнихъ степеней, въ новомъ антигуманномъ направленіи, какое приняла эта скорбная мысль въ силу особыхъ историческихъ условій. Въ той формѣ, въ какой „міровая скорбь" проявилась въ концѣ XVIII вѣка и въ началѣ XIX-го и въ какой она воплотилась въ творчествѣ Байрона, она раньше не появлялась въ человѣческомъ сознаніи и, вѣроятно, въ будущемъ не повторится. Оставаясь вѣчной и старой въ своихъ основныхъ элементахъ она была оригинальной и новой по своей основной, дотолѣ не обнаруживавшейся, тенденціи.

VI.

Оригинальность этой тенденціи и вообще направленіе, какое приняла скорбь о мірѣ въ началѣ XIX вѣка, находится въ прямой зависимости отъ той вѣры въ автономную человѣческую личность, отъ роста того торжествующаго индивидуализма, о которомъ мы говорили. Этотъ культъ свободнаго „я"—свободнаго въ мысляхъ и поступкахъ—оказалъ рѣшительное давленіе на общеміровое и вѣчное скорбное чувство человѣка. Казалось бы, что такое преклоненіе передъ свободой и силой личности должно было повысить въ людяхъ чувство жизнерадостности и веселія, а не усложнять ихъ скорби. На первыхъ порахъ такъ и случилось; но историческія условія, о которыхъ сейчасъ будетъ рѣчь, не только не позволили жизнерадостности укрѣпиться въ сердцахъ поклонниковъ свободной личности, а наоборотъ, переполнили ихъ сердца враждебной людямъ скорбью и гнѣвомъ.

Если земная жизнь въ своемъ настоящемъ и грядущемъ стала первой заботой человѣка, свободнаго отъ всѣхъ предразсудковъ, отъ всѣхъ навязанныхъ авторитетовъ, человѣка, признающаго въ жизни лишь то, съ чѣмъ согласенъ его свободный умъ и его свободное чувство, то естественно, что его отношеніе къ тѣмъ сторонамъ бытія, которыя противорѣчили его представленію о желанномъ земномъ счастіи, должно было стать болѣе требовательнымъ и нервнымъ. Глубокая вѣра въ человѣка, любовь къ нему, высокое понятіе о томъ, къ чему онъ призванъ и на что онъ способенъ, а главное—вѣра въ возможное устроеніе жизни на новыхъ началахъ, свободно избранныхъ—должны были заставить человѣка строже и безпощаднѣе отнестись къ себѣ самому и къ ближнему. Его печаль о грѣхахъ и несовершенствахъ міра должна была стать глубже. Переживаемая минута становилась ему дорога; онъ сталъ предъявлять ей болѣе широкія требованія. Прежде, когда онъ признавалъ авторитетъ вѣры, авторитетъ неизбѣжности,

авторитетъ отвлеченной теоріи или власти какой либо, надъ собой поставленной, онъ могъ, сталкиваясь со зломъ или со всякаго рода житейской невзгодой, найти утѣшеніе въ той мысли, что таковъ порядокъ вещей, передъ которымъ должно преклониться. Теперь не судьбу, не Бога, а себя самого и ближняго долженъ былъ онъ винить во всѣхъ грѣхахъ и ошибкахъ, съ которыми пришлось столкнуться. А между тѣмъ всѣ его надежды покоились только на немъ самомъ, на силѣ его свободнаго духа, которую онъ сознавалъ въ себѣ и которую предполагалъ въ ближнемъ. Что если онъ обманется, и въ себѣ, и въ другихъ и увидитъ, что при наличности нравственныхъ понятій и чувствъ человѣчество не въ силахъ подняться на ту ступень развитія и совершенства, какая ему, ея апостолу и вождю, кажется единственно разумной и доброй? Всякое разочарованіе въ людяхъ должно было быть для него—для поклонника автономной личности — вдвойнѣ тяжелымъ испытаніемъ съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ въ его глазахъ сталъ царемъ вселенной.

Въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣковъ идеалисту, вѣрующему въ несокрушимую силу ума человѣческаго и въ его всемогущую волю, пришлось пережить именно такое разочарованіе, которое было тѣмъ болѣе ужасно, что ему предшествовало безумное увлеченіе, безграничное довѣріе человѣка къ человѣку. Слишкомъ высокія требованія предъявлялъ человѣкъ самому себѣ и ближнему, чтобы они могли осуществиться и слишкомъ неограничены были надежды, чтобы жизнь могла оправдать ихъ. Когда въ концѣ XVIII вѣка была сдѣлана практическая рѣшительная попытка къ быстрому осуществленію желаемаго идеала на землѣ; когда для осуществленія своей мечты человѣкъ не остановился передъ насильственнымъ и кровавымъ дѣйствіемъ, онъ въ эпоху революціи, въ эпоху имперіи и послѣдующіе годы могъ убѣдиться, какъ измѣняютъ надежды и какъ падаютъ идеалы. Насколько прежде въ немъ была безгранична вѣра въ себя и въ ближняго, настолько теперь стало безгранично его отчаяніе. Неудачу онъ принялъ за смертный приговоръ надъ всѣмъ, во что онъ вѣрилъ. Онъ озлобился противъ людей, виновниковъ этого несчастія, сталъ презирать ихъ и ненавидѣть, отъ вѣры въ нихъ перешелъ къ враждѣ, къ холодному индиферентизму и кончилъ самымъ мрачнымъ осужденіемъ жизни. Его скорбь объ этомъ мірѣ дошла до крайнихъ предѣловъ: она превратила его въ скептика и въ мизантропа.

Быстрый подъемъ въ людяхъ вѣры въ свой гордый умъ, безграничная надежда на свою силу заставить восторжествовать въ жизни тотъ порядокъ, который считаешь и справедливымъ и разумнымъ; практическая попытка водворить этотъ порядокъ, кончившаяся такой страшной неудачей въ эпоху революціи; затѣмъ самовластіе сильной и геніальной личности, шедшее въ разрѣзъ съ основными принципами гуманности и справедливости; наконецъ, воскресеніе старыхъ отверженныхъ авторитетовъ и традицій и вновь подчиненіе имъ личности человѣческой, какъ это случилось въ двадцатыхъ годахъ XIX вѣка,—вотъ рядъ историческихъ фактовъ, вызвавшихъ въ людяхъ страшное повышеніе отрицательнаго и скорбнаго отношенія къ жизни и человѣку. Въ этомъ и заключалась сущность новой душевной болѣзни, извѣстной подъ именемъ „міровой скорби".

VII.

Самое любопытное и характерное явленіе въ развитіи этой повышенной и до крайнихъ предѣловъ доведенной скорби, это—присутствіе въ ней элемента *антигуманнаго*, *антисоціальнаго*, рѣзкой вражды къ человѣку какъ особи и какъ къ члену общества. Эта вражда сильной личности къ ближнему, ея эгоистическое, презрительное, гордое, индиферентное отношеніе къ человѣку, которое въ концѣ концовъ обратилось на себя и привело къ самопрезрѣнію и самоотрицанію—совсѣмъ новое психическое состояніе, которое до того времени не наблюдалось въ исторіи развитія пессимистическаго міропониманія. Ни въ древности, когда во взглядахъ людей на жизнь было также много скорби, ни въ иные моменты христіанской цивилизаціи мы не встрѣчаемся съ такими эпидемическими вспышками презрѣнія къ людямъ и ненависти къ нимъ, съ такимъ холоднымъ индиферентизмомъ къ ихъ судьбѣ, какія мы въ началѣ XIX вѣка замѣчаемъ въ поклонникахъ сильной личности, охваченныхъ міровой скорбью. Эта антисоціальная тенденція придаетъ міровой скорби весь ея мрачный и жестокій характеръ.

Когда видишь индивидуалиста, мнившаго переустроить жизнь на новыхъ на-

чалахъ добра и справедливости; когда видишь его въ роли проповѣдника эгоистическихъ и антигуманныхъ чувствъ — тогда только понимаешь, какъ глубока должна была быть трагедія его несчастнаго сердца, вызвавшая въ его душѣ такую перемѣну.

И онъ былъ дѣйствительно несчастенъ.

Лишенный совсѣмъ историческаго взгляда на ходъ земной жизни, поклонникъ полной свободы въ мысляхъ и чувствахъ, вѣрующій въ себя и въ людей, онъ думалъ, что люди, предоставленные своему свободному уму, самимъ себѣ, освобожденные отъ оковъ ложныхъ традицій и авторитетовъ, способны построить жизнь на новыхъ, лучшихъ началахъ. Онъ увѣщевалъ, проповѣдывалъ, обличалъ; наконецъ, онъ попытался силой достигнуть того, чего нельзя было достичь словомъ, мирнымъ или гнѣвнымъ. Сила временно оказалась на его сторонѣ, и когда онъ, опьяненный ею, пошелъ напроломъ, она не оправдала его надеждъ, а только увеличила его несчастіе. Вмѣсто царства разума, любви, свободы и братства, о которомъ мечталъ онъ, вокругъ него оказалась все та же, исполненная зла и несправедливости, жизнь, и на первыхъ порахъ послѣ катастрофы, можетъ быть, еще болѣе злая и несправедливая, чѣмъ она была до нея.

И кто былъ виновенъ въ этомъ, какъ не онъ самъ и тѣ, въ которыхъ онъ такъ слѣпо вѣрилъ? Мечтой и злымъ призракомъ показалось ему теперь все то, что до сихъ поръ онъ считалъ самымъ цѣннымъ въ жизни. Онъ проклялъ свою недавнюю святыню, человѣкъ упалъ въ его глазахъ, онъ не только разлюбилъ, онъ способенъ былъ возненавидѣть людей, и потомъ, когда поближе присмотрѣлся къ себѣ самому, онъ увидалъ, что и самъ онъ не лучше другихъ и одинаково достоинъ ненависти и презрѣнія.

Антигуманная міровая скорбь затуманила все его міросозерцаніе.

VIII.

Такова эта „болѣзнь вѣка", которая, вмѣстѣ съ подъемомъ въ людяхъ торжествующаго индивидуализма, составляетъ самую характерную черту въ психикѣ людей — свидѣтелей и участниковъ перехода отъ „стараго режима" культурной жизни къ новому ея укладу, намѣченному французской революціей и послѣдовавшими за ней событіями.

Эта туманная и сложная психика воплощена въ поэзіи Байрона. Никто изъ современныхъ ему поэтовъ не проникся такъ глубоко идеей автономной и сильной личности, никто такъ послѣдовательно не проводилъ принципа индивидуализма въ поэзіи, какъ онъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ никто не прочувствовалъ такъ искренно міровой скорби, какъ онъ, и, кромѣ него, никто не умѣлъ придать ей такого яркаго поэтическаго облика. Вся красота и сила байронизма заключена въ сочетаніи этихъ двухъ принциповъ—принципа индивидуализма и крайней пессимистической міроощѣнки. Такое сочетаніе и отдало во власть поэта всѣ сердца его поколѣнія. Пусть самъ поэтъ, по природѣ своей, какъ увидимъ, и не былъ мизантропомъ, негуманнымъ и антисоціальнымъ, но онъ переиспыталъ эти мрачныя эгоистическія чувства, и бывали минуты, когда, подводя итогъ своимъ мыслямъ и настроеніямъ, онъ, во всемъ разочарованный, не находилъ для человѣчества словъ любви, а только одни слова холоднаго презрѣнія и отчужденія.

Въ уста своихъ героевъ вложилъ Байронъ эту мрачную философію. Герои эти были угрюмые самообожатели, иногда свирѣпые и мстительные, иногда даже преступники или люди, одержимые туманной, загадочной страстью къ преступленію. Надъ жизнью, въ движеніи которой они почти не участвовали, надъ людьми, которыхъ они не любили, порой презирали и ненавидѣли, возвышалась ихъ независимая личность, гордая своимъ преимуществомъ, но осужденная погибнуть отъ своей же собственной силы, такъ какъ эта сила, обращенная внутрь, на сердце самого героя, должна была раздавить его. Величественны, но печальны эти образы; и если въ нихъ не отраженъ весь Байронъ, какъ человѣкъ и мыслитель, то съ рѣдкой правдивостью отражена одна сторона его души и его ума,—та, которая была самымъ откровеннымъ откликомъ на правду его времени. Многимъ людямъ той эпохи Байронъ былъ такъ дорогъ именно потому, что откровенно и сильно выразилъ самыя дорогія и вмѣстѣ съ тѣмъ мучительныя для нихъ мысли и чувства. Самъ поэтъ, какъ человѣкъ, былъ безспорно шире и терпимѣе своихъ героевъ; но если мы хотимъ знать, кѣмъ былъ онъ для своего вѣка, то именно на этихъ то герояхъ мы и должны сосредоточить все наше вниманіе. Ихъ жизнь — вымыселъ поэта, но

этотъ вымыселъ—правда цѣлой исторической эпохи.

IX.

Однако, кто же былъ онъ самъ, лордъ Байронъ, эта удивительная личность столь многимъ кружившая голову? Впечатлѣніе, произведенное ею на современниковъ, было столь сильно, что поэтъ еще при жизни сталъ легендарной личностью. И жизнь эта, мы знаемъ, дѣйствительно, была столь необычна, полна такихъ эффектныхъ моментовъ, что легко могла дать пищу для сказки. Многое было въ этой жизни, что предрасполагало поэта къ тому, чтобы стать самымъ яркимъ выразителемъ, и принципа автономной личности, и міровой скорби; но все-таки ошибкой было-бы считать, что Байронъ весь безъ остатка растворился въ своихъ герояхъ. Одно время, дѣйствительно, думали, что властное и мрачное міросозерцаніе, какимъ онъ надѣлилъ свои поэтическіе образы, было точнымъ воспроизведеніемъ его собственныхъ взглядовъ; полагали даже, что все, что онъ разсказалъ про своихъ героевъ, приключилось съ нимъ самимъ въ жизни. Отсюда вытекли нескончаемые и малоинтересные споры. Біографы стремились то отождествить писателя съ его героями и все ихъ безотрадное міросозерцаніе навязать ему, то пускались они защищать его противъ него же самого, обѣляя его какъ человѣка. Но Байрона-человѣка зналъ лишь одинъ, можетъ быть и широкій, кругъ людей, а Байрона-писателя зналъ весь культурный міръ; Байронъ-человѣкъ умеръ, а писатель остался жить и былъ послѣ своей смерти, можетъ быть, еще живѣе, чѣмъ при жизни. Если мы хотимъ опредѣлить идейное и культурное значеніе „байронизма“, то едва-ли есть необходимость такъ пристально заглядывать въ душу самого писателя. Любовь къ жизни у Шопенгауера и жизнерадостность Гартмана нисколько не уменьшаютъ силы ихъ пессимистическаго отрицанія бытія. Также точно и эгоизмъ и міровая скорбь въ твореніяхъ Байрона сохраняютъ полностью свою историческую и психологическую цѣнность, какъ бы порой самъ авторъ ни противорѣчилъ этой философіи и этому настроенію въ обиходѣ своей повседневной жизни. А онъ противорѣчилъ. Изъ тщательно собранныхъ о немъ воспоминаній, а также изъ его писемъ мы знаемъ, что онъ былъ въ сущности большимъ другомъ людей, и хотя не отличался столь обычной тогда слезливой и экспансивной нѣжностью въ чувствахъ, но чувствовалъ искренно и глубоко сознавалъ свою связь съ людьми. Онъ принадлежалъ къ числу идеалистовъ гуманныхъ, и счастіе ближнихъ, какъ и всего человѣчества, было ему дорого. Во всѣхъ волевыхъ проявленіяхъ его личности за всю короткую его жизнь нѣтъ и тѣни мизантропіи или индиферентизма, которыхъ такъ много въ его поэзіи. Онъ былъ хорошій товарищъ, нѣжный обожатель, гуманный защитникъ бѣдныхъ и обездоленныхъ, тактичный и корректный вождь партіи и, безспорно, борецъ за свободу народную, борецъ по безкорыстному убѣжденію, готовый на всѣ жертвы. Всѣ эти качества его души подтверждаются фактами его жизни. Подтверждается также фактами, что онъ былъ человѣкъ порой очень веселаго нрава, любящій радости жизни и ея приманки, большой остроумецъ и шутникъ и человѣкъ, въ присутствіи котораго другіе чувствовали себя очень свободно и вольно, и отнюдь не стѣсненно и подавленно. Онъ самъ былъ нерѣдко какъ бы отрицаніемъ того излюбленнаго имъ героическаго типа, который онъ вырисовывалъ съ такой настойчивостью. Угрюмое настроеніе, любовь къ одиночеству, недовѣріе и презрѣніе къ людямъ, жажда властвовать, затѣмъ отчужденіе отъ людей и вражда къ нимъ, самообожаніе и эгоизмъ—всѣ эти характерныя черты излюбленной грезы поэта—могли быть порой подмѣчены и въ его интимныхъ рѣчахъ и поступкахъ, но только порой. Они бывали вызываемы въ немъ особыми обстоятельствами и совсѣмъ не составляли сущности его личнаго темперамента и обычнаго міровоззрѣнія. Въ Байронѣ тоже жили „двѣ души“, и, конечно, не уживались мирно. Люди, близко его знавшіе, поражались иногда перемѣнами въ его настроеніи и скачками его мысли. Люди, не знавшіе его, были долгое время убѣждены, что его вымыселъ вполнѣ совпадаетъ съ правдой его жизни. Эти люди безспорно ошибались; ошибся бы, конечно, и тотъ, кто счелъ бы мрачный вымыселъ поэта за простую манеру или позу. Уже одинъ тотъ фактъ, что этотъ вымыселъ такъ ударилъ по сердцамъ его современниковъ, показываетъ, сколько въ этихъ грезахъ было правды. Байронъ былъ натура очень эксцентричная и широкая, и разныя чувства могли поперемѣнно владѣть имъ.

Взглянуть на жизнь съ веселой ея

стороны, какъ это нерѣдко дѣлалъ Байронъ, значило—забыться лишь на мгновеніе, пока эта веселость не смѣнилась грустью. Отшутиться — не значило успокоиться.

Взглянуть на жизнь съ пессимистической точки зрѣнія и философски примириться съ этимъ пессимизмомъ было невозможно тому человѣку, въ которомъ жажда счастія и наслажденія была такъ сильна и который считалъ это счастіе законнымъ требованіемъ жизни, а не призракомъ, созданнымъ человѣческой мечтой.

Созерцать жизнь и не дѣйствовать было для поэта съ его темпераментомъ равносильно смерти. Но дѣйствовать, и дѣйствовать разсчетливо и постепенно, значило—пересоздать себя, перевоспитать въ себѣ человѣка.

Поставить надъ жизнью реальной жизнь иную, сверхчувственную и вѣчную, и руководиться ею въ поступкахъ и мысляхъ— было возможно лишь при условіи вѣры, глубокаго религіознаго убѣжденія, котораго не было въ сердцѣ Байрона.

Посвятить себя исключительно жизни земной, ограничить сферу своей дѣятельности лишь ея интересами, значило вытравить въ своей душѣ то мистическое чувство, которое всегда въ ней существовало.

Пожертвовать ради ближняго своимъ счастіемъ и всей своей личной жизнью, принизить передъ нимъ свое „я"—на это, какъ поклонникъ своей сильной и гордой личности, поэтъ былъ неспособенъ.

Отвернуться отъ ближняго и замкнуться въ своемъ внутреннемъ мірѣ, не удѣляя людямъ ни своихъ помысловъ, ни своихъ чувствъ, Байронъ тоже былъ не въ силахъ: въ его груди билось очень гуманное сердце.

Помирить эти „двѣ души" трудно, можетъ быть невозможно, да и нѣтъ надобности. Для насъ Байронъ важенъ какъ голосъ опредѣленной исторической эпохи, необычайно сложный по своему психическому содержанію. Основныя черты этой психики поэтъ не только уловилъ, но полнѣе и красивѣе другихъ выразилъ. Въ этомъ—его историческая заслуга. А что культъ автономной личности и міровая скорбь не заполняли цѣликомъ его души, — такъ на то онъ былъ человѣкъ, а никогда никакая идея, какъ бы она глубока ни была, никогда никакое чувство не могутъ владѣть человѣкомъ безъ раздѣла.

Для усвоенія же и проповѣди міровой скорби и культа автономной личности Байронъ былъ безспорно подготовленъ жизнью и нѣкоторыми природными склонностями.

X

Условія личной жизни Байрона сложились очень своеобразно. Съ дѣтскихъ лѣтъ до послѣдней минуты—вся окружающая поэта обстановка семейная, школьная, журнальная, политическая, свѣтская, агитаторская и боевая — держала его въ постоянномъ нервномъ возбужденіи и напряженіи. Его воля должна была дѣлать страшныя усилія, чтобы отстоять ту позицію, которую онъ занималъ или хотѣлъ занять въ жизни. Покоя онъ никогда не зналъ. Его общественная дѣятельность началась въ палатѣ лордовъ съ протеста и закончилась борьбой въ Италіи и Греціи; его литературная дѣятельность началась съ уничтожающаго памфлета и закончилась въ „Донъ-Жуанѣ" тѣмъ же памфлетомъ. Его семейная жизнь началась съ ссоры и ссорой и осталась. Кумиръ всего культурнаго міра—онъ въ то же время былъ мишенью всѣхъ злостныхъ сплетенъ и нападокъ...

Всѣ эти факты нельзя игнорировать, когда говоришь о поэзіи Байрона и объ основномъ ея мотивѣ—о психологіи сильной личности. Она по природѣ своей была сильна, эта личность, но въ силѣ своей была закалена жизнью. Она привыкла опираться только на себя и руководиться собственной программой дѣйствія, встрѣчая отовсюду сопротивленіе. „Я" и только „я" спасало поэта во всѣ критическія минуты, и неудивительно, если свободу этого „я" онъ цѣнилъ такъ высоко и такъ поклонялся его мощи. Конечно, нужно было родиться съ такой свободной душой, но нужно было и умѣть сохранить ее. Байронъ сохранилъ ее, и это всего легче доказать на той свободѣ, съ какой онъ обращался со всѣми вопросами, которые обыкновенно людей себѣ подчиняютъ, какъ напримѣръ съ вопросами религіозными, философскими и политическими. Какъ часто даже сильные люди отдаютъ себя во власть какого нибудь рѣшенія и не охотно допускаютъ въ этихъ рѣшеніяхъ колебанія! Убѣжденность нерѣдко является результатомъ страха передъ перерѣшеніемъ, которое всегда обходится дорого. Байронъ въ данномъ случаѣ очень характерный при-

мѣръ свободнаго отношенія ко всѣмъ такимъ идейнымъ властолюбивымъ трудностямъ. Не онѣ владѣютъ имъ, но онъ ими, и потому кажется иногда, что онъ къ нимъ относится не съ должной строгостью. На самомъ дѣлѣ онъ всегда лишь оставляетъ за собой свободу сужденія.

XI.

Въ вопросахъ религіозныхъ Байронъ не имѣлъ опредѣленной доктрины. Онъ враждовалъ со всѣми авторитетными традиціонными видами религіозныхъ представленій. Какъ близкій по духу Руссо, онъ исповѣдывалъ религію сердца—свободную и неопредѣленную религію. Иногда въ своихъ стихахъ и перепискѣ онъ высказывалъ мысли близкія къ деизму, но еще чаще можно было замѣтить въ немъ склонность къ міросозерцанію пантеистическому. Впрочемъ „Великое Все", которому онъ молился, онъ созерцалъ скорѣе какъ поэтъ, чѣмъ какъ философъ. Опредѣленной стойкой религіозной концепціи міра у него не было. Представлялся ли ему Богъ какъ личность или какъ безличная субстанція, проникающая собою все сущее, поэтъ былъ только религіозно настроенъ, а не убѣжденъ. О христіанствѣ онъ не высказывался опредѣленно. Христа онъ почиталъ, но нерѣдко подчеркивалъ свое отрицательное отношеніе къ христіанскимъ взглядамъ на сверхчувственное. Все въ его религіозныхъ взглядахъ зависѣло отъ настроенія, отъ эстетической эмоціи... Въ душѣ его было много религіознаго скептицизма и тотъ критикъ, который его назвалъ „эмоціональнымъ скептикомъ", былъ близокъ къ истинѣ. Что Байронъ иногда позволялъ себѣ бравировать своимъ скептицизмомъ, — это вѣрно, но не всякая скептическая его мысль должна быть поставлена на счетъ бравады; иногда она выражала вполнѣ всю сущность его религіознаго настроенія. Все это, при извѣстномъ желаніи, можетъ быть истолковано какъ недостатокъ интереса къ религіознымъ вопросамъ. Но не будемъ ли мы болѣе справедливы, если въ этомъ усмотримъ то самое *свободное* отношеніе къ религіи, отношеніе, которое проявляли до Байрона всѣ представители просвѣтительной философіи XVIII вѣка,—и Вольтеръ, и Руссо, и энциклопедисты, и матеріалисты, вообще всѣ поклонники свободнаго ума, которые, при разныхъ оттѣнкахъ въ ихъ религіозныхъ мысляхъ, были рѣшительными противниками всякихъ догмъ, всякихъ традицій, всякихъ авторитетовъ? Неустойчивость мысли не всегда показатель ея слабости; иногда въ этой формѣ проявляется и ея самостоятельность.

Самостоятельнымъ нужно назвать и отношеніе Байрона къ вопросамъ философскимъ. Нужно замѣтить, однако, что онъ вообще чуждался отвлеченной философской мысли и не обладалъ достаточной къ ней подготовкой. Онъ былъ воспитанъ на англійскихъ сенсуалистическихъ ученіяхъ, на скептицизмѣ Юма и на французскихъ просвѣтителяхъ. Здравый смыслъ этихъ философовъ и ихъ заманчивая ясность ему нравились. Но покоренъ онъ этой ясностью не былъ. Въ немъ было безспорное тяготѣніе къ мистическому, столь замѣтное напримѣръ въ „Манфредѣ" и въ „Каинѣ". Это мистическое не облекалось ни въ какую теорію, но было живо въ поэтѣ, хотя онъ иногда и шутилъ надъ нимъ. Байронъ и въ этой области признавалъ за собой свободу мысли и чувства и ни одна изъ теорій не могла навязать ему себя. Онъ въ каждой изъ нихъ цѣнилъ больше ея полемическіе пріемы, чѣмъ положительные выводы. Пусть такое отношеніе къ философскимъ проблемамъ не соотвѣтствовало ихъ серьезному значенію въ жизни, но такъ поступали многіе свободные умы XVIII вѣка, подчиняя философію своей свободной и своевольной мысли.

Одинъ біографъ сказалъ про Байрона, что и политика была для него „лирикой"—предметомъ сердечной склонности, а не размышленія и убѣжденія. Эти слова могутъ вызвать рѣзкій протестъ, такъ какъ съ именемъ Байрона соединено представленіе о цѣлой либеральной и даже радикальной политической программѣ, которую поэтъ проводилъ въ жизнь. Байронъ открыто выступалъ въ рядахъ либеральной партіи въ Англіи, принималъ участіе въ революціонномъ движеніи Италіи, наконецъ бросилъ вызовъ всей монархической Европѣ своей агитаціей въ Греціи. Всѣ эти факты говорятъ безспорно о томъ, что съ существующимъ порядкомъ политической жизни поэтъ никакъ не могъ поладить, но имѣлъ ли онъ самъ опредѣленную политическую программу? Этой программы нѣтъ ни въ сочиненіяхъ его, ни въ письмахъ; попадаются только отдѣльныя свободолюбивыя мысли. Ни съ какой партіей онъ себя не связывалъ, сохраняя и въ данной области

полную независимость мнѣнія. Это можно объяснить отчасти тѣмъ, что въ тѣ годы всѣ политическія теоріи, какъ радикальныя, такъ и консервативныя, были въ одинаковой степени скомпрометированы, одни — французской революціей, другіе Наполеономъ и реставраціоннымъ режимомъ. Но помимо этого свободная мысль поэта сама по себѣ не уживалась ни съ какой теоріей, стремясь стать выше ея. Безспорно, что съ самыхъ юныхъ лѣтъ въ душѣ Байрона было живо одно чувство, которое никогда ему не измѣняло — чувство наполовину эгоистическое, наполовину альтруистическое, а именно—симпатія къ слабѣйшему и потребность взять его подъ свою сильную защиту. Много есть фактовъ въ его жизни, подтверждающихъ эту его склонность. Поэтъ былъ въ сущности болѣе филантропъ, чѣмъ политикъ. Онъ унаслѣдовалъ отъ своего сентиментальнаго вѣка эту любовь къ угнетеннымъ и обиженнымъ и отличался отъ обыкновенныхъ мирныхъ сентименталистовъ только тѣмъ, что вносилъ въ эту программу заступничества много гордыни, желчи и злобы. Поэтому часто могло казаться, что вся эта защита слабыхъ есть лишь удобный предлогъ, чтобы подразнить сильныхъ и выдвинуть впередъ свою личность. Нѣтъ сомнѣнія, что Байронъ былъ непримиримый врагъ всякаго деспотизма, въ чемъ бы онъ ни проявлялся; эта вражда вытекала изъ глубокаго чувства справедливости и признанія въ людяхъ человѣческаго достоинства. Всякое насиліе человѣка надъ человѣкомъ, отъ насилія надъ чувствомъ и мыслью до насилія надъ плотью, было въ его глазахъ, преступленіемъ. Но если это насиліе было связано съ развитіемъ грандіозной воли человѣческой и являлось осуществленіемъ смѣлой мысли, то такое насиліе онъ какъ будто извинялъ—судя по его словамъ, обращеннымъ къ Наполеону. Поэтъ иногда самъ признавался, что онъ „индиферентъ" въ политикѣ, и это вѣрно, если помнить, что такой индиферентизмъ не имѣлъ ничего общаго съ пассивнымъ примиреніемъ или опортунизмомъ и что онъ оставался всегда призывомъ къ возмущенію, къ борьбѣ, къ революціи, про которую Байронъ сказалъ однажды, что она одна можетъ спасти землю отъ адскаго оскверненія. Но равнодушный ко всѣмъ формамъ правленія, этотъ призывъ не открывалъ людямъ никакихъ ясныхъ видовъ на будущее, онъ оставался лишь отрицаніемъ настоящаго. И кромѣ того, какъ сказалъ одинъ критикъ, въ этомъ протестующемъ либерализмѣ идеалъ свободы былъ всегда смѣшанъ со *своеволіемъ*.

Но не на эгоизмъ только и на любовь къ власти опиралось это своеволіе. Въ немъ была большая доза сознанія своего нравственнаго превосходства надъ другими, сознанія правоты своего идеала. Байронъ—какъ его родственники, дѣятели французской революціи—полагалъ, что, временно подчинивъ себѣ волю ближняго, онъ открываетъ ему двери настоящей свободы и справедливости и что онъ ведетъ его, слѣпого, на помочахъ къ свѣту.

Во всякомъ случаѣ, какъ бы строго мы ни судили отсутствіе ясной опредѣленной программы въ политическихъ мысляхъ Байрона, мы должны признать, что она никогда не шла на компромиссы, и никогда не руководилась какими нибудь посторонними соображеніями; она впадала въ противорѣчія, но только потому, что чувствовала себя вполнѣ свободной. Самъ поэтъ—когда рѣшался высказать свою политическую программу — признавалъ за собой право свободнаго сужденія и меньше всего думалъ о какихъ либо авторитетахъ.

XII.

Поклонникъ свободной мысли и свободнаго чувства, Байронъ преклонялся и передъ силой воли человѣка, который убѣжденъ, что эта сила имѣетъ право и можетъ непосредственно реагировать на жизнь, чтобы навязать ей тотъ строй, который она считаетъ разумнымъ и справедливымъ. Байронъ не жилъ въ годы революціи и былъ англичанинъ по рожденію, а не французъ, и потому трудно сказать, подошелъ-ли бы онъ къ типу тѣхъ индивидуалистовъ, поклонниковъ автономной личности, которые не остановились ни передъ какими трудностями и насиліемъ, чтобы провести въ жизнь свою этическую, общественную и политическую программу. Время, когда жилъ Байронъ, было совсѣмъ неблагопріятно для такихъ опытовъ, но любопытно, что въ двухъ случаяхъ поэтъ обнаружилъ непреклонную волю въ достиженіи практическаго результата, не считаясь ни съ какими трудностями. Онъ взялъ въ свои руки необычайно опасное руководство революціонной партіей въ Италіи и безумно смѣлое дѣло—освобожденія Греціи. Какими бы мы

мотивами ни объясняли эти два „шага" въ жизни Байрона, въ нихъ есть нѣчто типически-революціонное, свидѣтельствующее о страшной вѣрѣ человѣка въ свою силу и свою личность, въ свое право вмѣшиваться въ теченіе событій, не считаясь ни съ какимъ рискомъ или видимой неосуществимостью. Какъ раньше въ сужденіяхъ Байрона о религіи и о политикѣ сказалось торжество его свободной мысли и чувства, такъ и въ этихъ его дѣлахъ—сказалось торжество его свободной воли, его культъ личности сильной своимъ волевымъ давленіемъ на окружающее.

Изъ этого культа вытекали и симпатіи поэта къ Наполеону. Въ этой симпатіи нѣкоторые люди хотѣли видѣть тайное желаніе поэта уколоть своихъ соотечественниковъ. Въ пику Веллингтону Байронъ будто-бы славословилъ Наполеона. Конечно, симпатіи Байрона къ императору французовъ могли быть подогрѣты его враждой къ господствующимъ теченіямъ англійской національной политики. Но поэтъ любилъ Наполеона еще съ дѣтскихъ лѣтъ. Эта любовь нѣсколько поколебалась, когда поэтъ узналъ объ отреченіи императора: онъ счелъ это отреченіе за слабость. Но потомъ онъ привѣтствовалъ императора, когда услышалъ, что Наполеонъ вернулся съ острова Эльбы. Послѣ Ватерлоо поэтъ могъ уже безпристрастно оцѣнить своего героя. Онъ сталъ узнавать въ немъ деспота, но ему все-таки было обидно и жалко разставаться со своимъ кумиромъ, въ особенности когда онъ ближе присмотрѣлся къ тѣмъ людямъ, которые Наполеона низвергли. Чрезмѣрная гордыня, неуваженіе къ достоинству ближняго, презрѣніе къ нему, неумѣнье обуздать свои страсти, обожествленіе своей воли—вотъ рядъ грѣховъ, которые поэтъ не прощалъ своему герою. Но читая ему мораль, онъ постоянно оговаривался, называлъ его падшимъ ангеломъ, но все же ангеломъ, говорилъ, что великій человѣкъ имѣетъ право на гордыню и при каждомъ случаѣ давалъ чувствовать, сколько въ немъ сердечнаго отношенія, сколько уваженія къ великому поклоннику автономной личности.

Байронъ, какъ и Наполеонъ, былъ натура властолюбивая и, любя человѣчество въ идеѣ, на массовое обнаруженіе этого человѣчества, на толпу смотрѣлъ гордо и подчасъ съ нескрываемымъ презрѣньемъ. Байронъ имѣлъ нѣсколько случаевъ приглядѣться къ толпѣ поближе. Онъ испыталъ на себѣ ея глупый гнѣвъ въ Лондонѣ во время своего бракоразводнаго процесса, онъ видѣлъ ее очень близко въ Греціи, когда она, забывъ святое дѣло, ссорилась и безчинствовала. Впечатлѣніе, произведенное ею на поэта, было очень тяжелое, но конечно, не этотъ личный опытъ заставилъ его вложить своимъ героямъ въ уста такія жесткія слова, полныя презрѣнія и гордыни, съ какими они говорятъ о людяхъ, ихъ окружающихъ. Поэтъ вспоминалъ въ данномъ случаѣ ту самую толпу, которая въ разгаръ идейнаго и соціальнаго обновленія жизни, свела святое дѣло на анархію. По адресу этой толпы были сказаны имъ всѣ его мрачныя пессимистическія тирады, смыслъ которыхъ сводился къ отчаянной мизантропіи, идущей въ прямой разрѣзъ съ общимъ гуманнымъ складомъ ума и души самого поэта...

Итакъ, послѣдователь полной свободы въ сужденіяхъ и въ чувствахъ, человѣкъ, желѣзная воля котораго не робѣла передъ трудностью осуществленія своего идеала на дѣлѣ, самой жизнью закаленный въ постоянной борьбѣ—Байронъ болѣе чѣмъ кто либо изъ современныхъ ему поэтовъ былъ подготовленъ къ тому, чтобы стать пѣвцомъ автономной личности, апостоломъ индивидуализма, этой основной черты своего вѣка.

Природа и жизнь подготовили его также и къ тому, чтобы глубоко воспріять и выстрадать болѣзнь, которая такъ измучила своей міровой скорбью все его поколѣніе.

XIII.

Байронъ отъ рожденія былъ натурой меланхолической, воспріимчивой ко всему печальному. Именно печальное въ жизни настраивало его особенно поэтически... Онъ былъ одаренъ кромѣ того еще одной природной склонностью: онъ не любилъ покоя, какого бы то ни было. Жить значило для него волноваться и преодолѣвать препятствія, а такое боевое настроеніе почти всегда сосредоточено и серьезно и даже въ минуты побѣды можетъ быть печально.

Въ своихъ отвѣтахъ на запросы времени поэтъ обыкновенно подчеркивалъ лишь то, съ чѣмъ онъ не соглашался, что возбуждало въ немъ чувство ненависти, презрѣніе или гнѣвъ, и о конечномъ рѣшеніи, примиряющемъ человѣка съ поставленнымъ вопросомъ, онъ не думалъ. Въ его поэзіи постоянно недовольной и протестующей было

нѣчто демоническое, вызывающее, и въ ней почти всегда слышался крикъ страданія. Это страданіе поэта было одно время наибольшей приманкой его поэзіи. О немъ такъ много говорилось и всегда оно казалось такимъ загадочнымъ и неопредѣленнымъ. И это было не личное страданіе поэта, обусловленное печальными фактами его частной жизни: въ его печали было нѣчто большее: печаль за другихъ, за весь міръ. Въ этомъ страданіи былъ глубокій смыслъ и это чувствовалось всѣми, хотя всякому, кто о немъ думалъ, было ясно, что судьба дала поэту все—и красоту, и славу, и талантъ, чтобы быть вполнѣ счастливымъ и довольнымъ. Но душа его была обречена на жертву печали. Такія души есть; онѣ всегда голодны. Требованія, которыя онѣ ставятъ себѣ и ближнимъ, такъ велики, такъ неумѣренны, что для нихъ, какъ для души Фауста, нѣтъ момента удовлетворенія. Онѣ—символъ вѣчнаго стремленія: для нихъ покой равносиленъ усыпленію духа. Брошенныя въ круговоротъ жизни, онѣ должны или покорить эту жизнь, заставить ее слѣдовать за своей волей или, если это невозможно—враждовать съ ней вѣчно, ощущая болѣзненно самые обыкновенные уколы и обезцѣнивая всѣ радости жизни. Стремленіе къ власти въ человѣкѣ съ такой душой естественно, но и эта власть, если бы она была въ его рукахъ, не дала бы ему мира. „Такой человѣкъ, какъ сказалъ самъ Байронъ, овладѣвъ этой властью и стремясь все впередъ, не нашелъ бы другой добычи, кромѣ самого себя: ему пришлось бы идти вспять и потонуть въ печали". Печаль и страданіе во время борьбы, та же печаль какъ вѣнецъ побѣды—вотъ участь этихъ голодныхъ душъ, которыя хотятъ предупредить ходъ событій, которыя такъ возвышенно думаютъ о человѣкѣ и объ его призваніи, что не въ силахъ примириться съ его недостатками и пороками и вообще съ неизбѣжностью. Печаль, которая не покидаетъ этихъ людей даже въ тѣ моменты, когда ихъ гордость, самолюбіе и властолюбіе, повидимому, насыщены—вытекаетъ, конечно, не изъ неудовлетвореннаго эгоизма. Въ основѣ ея лежитъ неудовлетворенная любовь къ идеѣ, къ цѣлому ряду идей, торжество которыхъ для человѣка дороже его личнаго торжества, любовь, въ которой столько же самопожертвованія, сколько и эгоизма.

Свобода сужденій, которая не позволяла Байрону стать рабомъ ни одной доктрины, казалось, могла-бы охладить его сердце, но оно продолжало попрежнему любить, желать, ненавидѣть и отчаиваться, и всякій разъ, когда оно обращалось къ его уму за поддержкой или когда оно спрашивало самого себя, во что я вѣрю?—оно не получало опредѣленнаго отвѣта и было предоставлено себѣ самому и своей бурной воспріимчивости... Будь поэтъ человѣкъ веселаго темперамента, для котораго смѣшное въ жизни заслоняло бы ея серьезную сторону—ему, конечно, жилось бы легче, но веселье, которому онъ отдавался, было примѣнительно къ серьезнымъ сторонамъ жизни тѣмъ же отрицаніемъ, а именно—юморомъ и сарказмомъ...

И вотъ съ такой меланхолической душой, болѣзненно воспринимающей всѣ впечатлѣнія, Байрону пришлось мыслить и дѣйствовать въ одну изъ самыхъ печальныхъ эпохъ культурной жизни. Позади была вся трагедія революціи, съ ея безграничными упованіями и ея безпредѣльнымъ разочарованіемъ, позади была и эпопея Наполеоновскаго самовластія—величественная, но кровавая и оскорбительная для человѣческаго достоинства. Впереди было царство старыхъ авторитетовъ, насильственно обновленныхъ, нравственная стоимость которыхъ была подорвана и въ области религіи, и въ области философіи, и въ области гражданской и политической жизни. Наконецъ кругомъ нависала та самая міровая скорбь, которая охватила наиболѣе чуткихъ и гуманныхъ людей—свидѣтелей и участниковъ этихъ героическихъ и трагическихъ моментовъ исторіи. На эту скорбь Байронъ откликнулся, и въ своемъ вымыслѣ далъ ей самое художественное воплощеніе.

XIV.

Въ этомъ оригинальномъ сочетаніи культа сильной личности и міровой скорби—сочетаніи новомъ и до той поры не встрѣчавшемся—заключена вся сущность „байронизма" и все обаяніе героевъ-проповѣдниковъ этого настроенія и міросозерцанія. Всѣ эти герои, созданные фантазіей Байрона, другъ на друга поразительно похожи, хотя психика ихъ и образъ ихъ мыслей на протяженіи лѣтъ испытываютъ нѣкоторую перемѣну. Всѣ они—въ сущности одно лицо, думающее надъ однимъ вопросомъ жизни и пытающееся рѣшить его разными способами.

Знакомясь съ этимъ лицомъ, нужно помнить, что оно отнюдь не портретъ самого

автора. Байронъ умѣлъ писать стихи и не въ „байроническомъ“ духѣ, такъ какъ самъ бывалъ часто не „байронически“ настроенъ. Но всѣ его общіе, конечные взгляды на жизнь и людей были имъ выражены именно въ этихъ мрачныхъ и гордыхъ образахъ, въ которыхъ индивидуализмъ такъ тѣсно и эффектно сочетался съ безпросвѣтной скорбью.

Это-то конечное „байроническое“ сужденіе о жизни и заполнило новую страницу въ исторіи всемірной литературы.

Новымъ было и самое сужденіе, и образы, и колоритъ, и драматическія положенія тѣхъ разсказовъ, въ которыхъ оно было высказано. Главное и основное изъ этихъ драматическихъ положеній, это—противопоставленіе сильной личности—вождя и той массы, ради которой, на пользу которой она призвана дѣйствовать и надъ которой она поставлена. Согласованіе этихъ двухъ силъ—личности и массы—труднѣйшая задача будущаго и то рѣшеніе, которое дано Байрономъ—рѣшеніе устарѣвшее, но чрезвычайно для своего времени характерное. Сильная личность, осуществляя свободу своихъ сужденій и чувствъ и стремясь непосредственно повліять на жизнь, должна была проявить надъ массой, которую она признавала ниже себя стоящей, извѣстную власть, граничащую съ деспотизмомъ; она должна была потребовать покорности и на первыхъ порахъ должна была таковую встрѣтить. Она могла затѣмъ убѣдиться въ томъ, что эта покорность пассивная, неидейная, которая въ свою очередь способна превратиться въ деспотизмъ и своеволіе, своеволіе дикое, даже кровавое, отрицающее ту самую гуманную свободу мысли и чувства, которая вдохновляла вождя, когда онъ становился во главѣ этой толпы. Что этотъ сильный вождь могъ скорбѣть о толпѣ, сердиться на нее, презирать ее, возненавидѣть ее и наконецъ забыть о ней—это вполнѣ понятно. И когда онъ болѣлъ всѣми этими чувствами (а онъ перенесъ эту тяжелую болѣзнь на зарѣ XIX вѣка) онъ былъ и выразителемъ и послѣдователемъ истинно „байроническаго“ взгляда на жизнь и человѣка. Онъ могъ тогда считать собственной исповѣдью все то, что онъ читалъ на страницахъ „Чайльдъ Гарольда“, „Гяура“, „Абидосской невѣсты“, „Корсара“, „Лары“, „Манфреда“, „Марино Фальеро“, „Сарданапала“, „Фоскари“, „Каина“, „Острова“, а также и „Донъ Жуана“.

XV.

Въ такой именно послѣдовательности произведеній развертывается передъ нами міровая скорбь въ поэзіи Байрона.

Она описываетъ въ этихъ художественныхъ созданіяхъ полный кругъ своего развитія отъ неопредѣленной мало мотивированной печали до ироніи надъ самой собою. Поэтъ, начавъ свою дѣятельность въ очень молодые годы, когда запасъ его знаній и наблюденій былъ не великъ—съ теченіемъ лѣтъ все глубже и и глубже вникалъ въ сущность болѣзни своего вѣка и, выстрадавъ всю болѣзнь—кончилъ тѣмъ, что взглянулъ глазами юмориста на всѣ тѣ явленія и вопросы, къ которымъ раньше относился съ такой возвышенною скорбію.

Краткій обзоръ основныхъ мотивовъ и драматическихъ положеній въ только что перечисленныхъ произведеніяхъ Байрона поможетъ намъ разобраться въ сложной психикѣ мірового скорбника.

Онъ впервые является передъ нами въ знаменитомъ „гарольдовомъ плащѣ“ въ 1809—1810 году, когда появились первыя двѣ пѣсни того риѳмованнаго дневника, который Байронъ велъ во время перваго своего путешествія на Востокѣ. Авторъ былъ такъ молодъ и эта молодость была проведена имъ такъ шумно и нервно, что искать въ этихъ пѣсняхъ глубоко продуманныхъ мыслей значило не признавать за молодостью права на безпечность и лирическій безпорядокъ въ чувствахъ и взглядахъ. Такой лирическій безпорядокъ отличительная черта „Чайльдъ Гарольда“: въ немъ были даже сатирическія и веселыя строфы, которыя авторъ вычеркнулъ. Да и по общему своему тону поэма была бодрая, хотя главное лицо было всегда пасмурно и меланхолически настроено. Своему Гарольду Байронъ далъ въ спутники самого себя и прерывалъ разсказъ объ его похожденіяхъ собственными размышленіями и замѣтками. Такимъ образомъ въ „Чайльдъ Гарольдѣ“ появилось два дѣйствующихъ лица—одинъ печальный и разочарованный, другой далеко не утратившій вкуса къ жизни, къ ея приманкамъ и ея героическимъ сторонамъ. Поэма по своему содержанію вышла очень богатая, несмотря на свою монотонность. Бѣднѣе другихъ былъ въ ней разработанъ тотъ мотивъ, который для насъ имѣетъ первенствующее значеніе, именно—мотивъ скорби. Психологія Га-

рольда туманна; впрочемъ, полной и ясной его характеристики поэтъ дать не могъ, какъ не можемъ мы въ извѣстные годы вѣрно понять и оцѣнить наши пока еще неясныя стремленія и мысли. Душа Гарольда, въ которой скорбное міросозерцаніе индивидуалиста пока еще не отлилось въ опредѣленную форму—должна была остаться загадочной. Если держаться строго того, что поэтъ разсказываетъ о юности своего любимца, то этотъ праздный и разгульный юноша,—человѣкъ довольно пустой и ничтожный. Свободный какъ птица, онъ не имѣлъ никакихъ обязанностей ни въ отношеніи къ ближнему, ни въ отношеніи къ себѣ самому. Онъ былъ пресыщенъ жизнью и все возненавидѣлъ; любовь женщины не могла наполнить его сердца, такъ какъ изъ всѣхъ женщинъ онъ любилъ только одну, но она не могла стать его подругой. Впрочемъ, къ ея же счастію... И вотъ Гарольдъ заболѣлъ душевно. Онъ пожелалъ разстаться со всѣми собутыльниками; онъ сталъ томиться по иной жизни. Иногда слеза навертывалась ему на глаза, но гордость ее замораживала; онъ полюбилъ одиночество, но уединеніе не давало ему радости. Наконецъ онъ рѣшился покинуть свою родину; пресыщенный наслажденіемъ, онъ почти что тосковалъ по страданію.

Но едва ли простое пресыщеніе—источникъ скорби Гарольда. Поэтъ ухватился за это чувство какъ за наиболѣе ему самому въ эти годы понятное. Но это объясненіе, кажется, и его самого не удовлетворяло. Какая-то таинственная печаль, говорилъ Байронъ, лежала на днѣ души Гарольда, печаль свидѣтельствующая вовсе не о легкомысленномъ отношеніи къ жизни, не о пустотѣ уставшаго сердца, а о какомъ-то болѣе глубокомъ страданіи. Гарольда мучила какъ будто память о какой-то непримиримой враждѣ, воспоминаніе о какой-то обманутой страсти... Его печаль лишала его возможности въ чемъ либо находить удовольствіе, она названа даже дьявольской мыслью, которая слѣдуетъ за нимъ по пятамъ. Сердце его—адъ. Проклятіе Каина окутало его блѣдное чело мракомъ, враждебнымъ всему живому. За какія преступленія эта печать Каина была на него наложена—мы не знаемъ. Гарольдъ, очевидно, натура демоническая, но безъ всякихъ ясныхъ очертаній. Болѣзнь вѣка стучалась въ сердце поэта, когда онъ писалъ этотъ таинственный портретъ, но поэтъ не могъ еще отдать себѣ въ ней отчета, онъ подыскивалъ для нея объясненіе въ самыхъ прозаическихъ мотивахъ, въ самыхъ обыденныхъ явленіяхъ всякой необузданной молодой жизни. Глубокій смыслъ этой трагедіи индивидуалиста открылся ему позднѣе.

А Гарольдъ, несмотря на туманныя очертанія своего облика, безспорно изъ семьи поклонниковъ автономной личности. Личность его ярко выдѣлена изъ среды его окружающей, онъ ничѣмъ съ этой средой не связанъ кромѣ личнаго каприза, у него нѣтъ обязанностей, ни идейныхъ, ни реальныхъ... онъ самъ по себѣ во всемъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ въ его душѣ живетъ таинственная непонятная печаль. Онъ самъ не могъ бы объяснить, кто ея виновникъ... Онъ чувствуетъ только, что жизнь не такова, какой бы онъ ее желалъ видѣть; положимъ, онъ не имѣетъ никакого нравственнаго права чего либо требовать отъ жизни и людей, но отнять у него право ощущать недовольство—нельзя. Это недовольство, эта печаль, это Каиново проклятіе—неясное предчувствіе какихъ-то „глубокихъ страданій", какой то „непримиримой вражды" и „обманутой страсти"—предчувствіе той болѣзни вѣка, которой вскорѣ должна была заболѣть душа поэта.

XVI.

Въ поэмахъ, послѣдовавшихъ за „Чайльдъ Гарольдомъ", приступы этой болѣзни начинаютъ проявляться вполнѣ опредѣленно и ясно. Отъ пассивной печали, какую испытывалъ Гарольдъ, герой переходитъ прямо къ враждебнымъ чувствамъ. Онъ начинаетъ мстить людямъ за то, что они отучили его любить ихъ, за то, что оскорбили въ немъ его свободомыслящій умъ и нѣжное сердце, за то, что они такъ низко уронили нравственное достоинство человѣка. Самъ далеко не безупречный и не безгрѣшный, герой начинаетъ подыскивать оправданіе своимъ антигуманнымъ и антисоціальнымъ чувствамъ въ проступкахъ ближняго и, конечно, находитъ такое оправданіе.

Изъ лирическихъ поэмъ Байрона—„Гяуръ" (1813), „Абидосская невѣста" (1813), „Корсаръ" (1814) и „Лара" (1814) полнѣе другихъ освѣщаютъ этотъ приростъ скорби въ душѣ индивидуалиста. Всѣ эти поэмы при разнообразіи ихъ содержанія очень сходны между собой по колориту, по основнымъ драматическимъ движеніямъ и ду-

шевному складу главныхъ дѣйствующихъ лицъ.

„Гяуръ"—разсказъ о несчастной любви рабыни, осужденной на молчаніе и позоръ и казненной за свободное движеніе своего сердца,—повѣсть объ ужасной мести ея любовника, обезумѣвшаго отъ горя и непримиреннаго ни съ людьми, ни съ Богомъ.

„Абидосская невѣста"—тотъ же разсказъ о свободной, тайной любви, въ которой заключено все счастіе обиженнаго, приниженнаго и обездоленнаго человѣка; плачъ надъ свободнымъ и гуманнымъ сердцемъ, которое разбито и ожесточено деспотизмомъ и злобой ближняго.

„Корсаръ"—картина свободной привольной жизни на морѣ, картина почти идиллическая, если бы главнымъ героемъ ея не былъ разбойникъ, благородный и опять таки гуманный человѣкъ, который вынужденъ убивать и грабить противъ собственной воли, будучи вызванъ на это насиліе врагами своей вѣры и отчизны.

„Лара"—мрачный образъ таинственнаго рыцаря, всѣмъ чуждаго и противъ всѣхъ озлобленнаго, загадочнаго преступника, заклеймленнаго печатью проклятья, презирающаго людей и совсѣмъ одинокаго, но съ благородными помыслами и съ задатками нѣжной любви.

Въ разные костюмы одѣты герои этихъ поэмъ, но они—одно лицо. Противъ торжествующей деспотической силы и противъ эгоизма, принижающаго свободу, выступаетъ этотъ новый таинственный рыцарь, опираясь лишь на силу своей личности. Отрицая всѣ устои общественной жизни, онъ смотритъ на нее какъ на арену борьбы. Онъ живетъ почти дикой жизнью, до которой его низвела мнимая цивилизація съ ея вопіющими противорѣчіями и насиліемъ. Живя на морѣ, на необитаемыхъ островахъ, укрываясь въ горныхъ ущельяхъ, онъ не смогъ, однако, настолько понизить уровень своихъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей, чтобы стать наивнымъ, непосредственнымъ человѣкомъ, а безъ этой наивности его свободный образъ жизни не скрашиваетъ его существованія, не умиротворяетъ его сердца. Онъ остается въ этой пустынѣ поклонникомъ своихъ свободныхъ сужденій и свободныхъ чувствъ, своей сильной личности, которая такъ отъ людей пострадала. Онъ не отрекается отъ своихъ притязаній и не смиряетъ своихъ порывовъ. Когда нѣтъ враговъ внѣшнихъ, онъ врагъ себѣ самому. Такимъ одинокимъ, злобнымъ и несчастнымъ сдѣлали его люди, и они должны нести за это отвѣтственность. Его сердце было создано для нѣжныхъ чувствъ и лишь потомъ уклонилось въ сторону преступленія; слишкомъ рано оно было обмануто и слишкомъ долго длился обманъ. Природа вовсе не предназначала его быть атаманомъ преступниковъ. Его сердце измѣнилось прежде, чѣмъ его поступки заставили его объявить войну людямъ и прогнѣвить небо. Такъ какъ его добродѣтель позволила себя обмануть, онъ проклялъ всѣ добродѣтели, какъ источникъ зла. Еще когда онъ былъ юнъ, его боялись, избѣгали и на него клеветали — и онъ возненавидѣлъ людей слишкомъ глубоко, чтобы почувствовать уколъ совѣсти; онъ вообразилъ, что голосъ ярости, который онъ въ себѣ слышалъ—священный зовъ, призывающій его разсчитаться со всѣми за преступленіе нѣкоторыхъ. Одинокій, дикій и странный, стоитъ онъ, равно далекій отъ людской любви и людской ненависти; его имя можетъ опечалить людей, его дѣянія могутъ поразить ихъ, но тѣ, которые его боятся, не смѣютъ презирать его.

Онъ не знаетъ надъ собой никакого закона, ни внѣшняго, ни внутренняго, такъ какъ противъ внѣшняго онъ враждуетъ, а внутренній обязателенъ для него лишь постольку, поскольку онъ совпадаетъ съ его до крайностей доведеннымъ чувствомъ индивидуализма. Онъ смѣшиваетъ понятія добра и зла и поступки своей личной воли истолковываетъ какъ велѣнія судьбы...

Герой могъ бы добровольно оборвать свою жизнь. Но чтобы убить себя, ему нужно прежде всего убить въ себѣ свою гордость, которая не позволяетъ ему быть похожимъ на остальныхъ людей, давно изобрѣтшихъ это нехитрое средство покончить всѣ земные счеты. Ненавидя жизнь и презирая ея участниковъ, онъ продолжаетъ жить безъ надежды на что либо лучшее.

Одно только сохранилъ онъ какъ остатокъ своей прежней жизни въ обществѣ, это—любовь своей подруги. Вся соціальная жизнь свелась для него къ этой жизни вдвоемъ—счастливой или несчастной—все равно. Никакія иныя узы его не связываютъ. Романтическіе полуземные женскіе образы скрашиваютъ нѣсколько его одиночество; но и они скоро исчезнутъ.

Помимо этихъ спутницъ, у героя есть еще товарищи—есть та безымянная толпа, которая покоряется ему безпрекословно, которую онъ ведетъ за собой и которая съ виду

какъ будто живетъ съ нимъ одной жизнью. Но именно въ его отношеніи къ этой толпѣ обнаруживается вся антисоціальная тенденція его жизни. Никогда личный его интересъ не связанъ съ интересомъ этой массы. Тамъ, гдѣ онъ является во главѣ ея, онъ для нея таинственный незнакомецъ, который никогда не входитъ въ ея положеніе, а пользуется ею какъ орудіемъ, какъ средствомъ для себя—для успѣшнаго достиженія своей цѣли. Общенія между ними нѣтъ никакого, а есть только съ одной стороны, сила власти и обаяніе личности, а съ другой—тупое повиновеніе. Герой одинъ, у него нѣтъ вѣрнаго сердца, которому бы онъ довѣрилъ свои помыслы; люди идутъ за нимъ потому, что онъ храбръ, и потому, что онъ доставляетъ имъ богатую добычу,—они пресмыкаются передъ нимъ, такъ какъ онъ обладаетъ способностью завладѣть ихъ стадной волей и направить ее. Онъ управляетъ ими, стараясь быть всегда первымъ; такова сила льва надъ шакаломъ. И если герой и становится иногда на сторону униженныхъ и оскорбленныхъ и защищаетъ низшую братію, то въ сущности, что ему за дѣло до счастія и свободы этой толпы? Онъ поднимаетъ униженныхъ затѣмъ только, чтобы унизить сильныхъ. Возвышается ли онъ надъ общимъ уровнемъ людей, съ которыми осужденъ дышать однимъ воздухомъ, или падаетъ ниже его, онъ, дѣлая добро или зло, хочетъ лишь отдѣлить себя отъ всѣхъ, кто раздѣляетъ съ нимъ его смертное существованіе.

Таковъ этотъ новый герой — главное лицо въ лирическихъ поэмахъ Байрона. Онъ также индивидуалистъ чистой крови, но не размышляющій, какъ Гарольдъ, а дѣйствующій. Онъ въ рѣзкой и прямой оппозиціи съ существующимъ порядкомъ общества. Онъ недоволенъ не отдѣльными какими-нибудь параграфами политическаго или гражданскаго строя, онъ во враждѣ съ самимъ обществомъ, какъ таковымъ. Люди его оскорбили, заковали его сердце въ кандалы, отняли у него все, что было ему дорого; всѣ его надежды оказались ложными,— и онъ сталъ мстить людямъ. Его любовь превратилась въ ненависть, и глубокая скорбь окутала его душу. Но онъ пока еще не отвернулся совсѣмъ отъ людей; онъ пожелалъ все-таки дать людямъ почувствовать свою силу. Онъ такъ глубоко возненавидѣлъ людей за ихъ пороки и несправедливости, что отказался отъ всякой мысли объ ихъ исправленіи. Презирая одинаково и угнетателей и угнетенныхъ, этотъ служитель автономной личности объявилъ войну обществу, войну, которая могла бы имѣть свое культурное значеніе, если бы въ сердцѣ самого героя была хоть капля вѣры во что бы то ни было. Но такой вѣры въ его сердцѣ нѣтъ.

Но пока онъ еще среди людей; наступитъ моментъ, когда онъ предпочтетъ ихъ обществу полное и безмолвное одиночество, когда міровая скорбь заглушитъ въ немъ всякое желаніе какого бы то ни было общенія. Онъ утратитъ тогда даже обычный человѣческій образъ.

Въ такомъ символическомъ, неземномъ образѣ является онъ намъ въ „Манфредѣ".

XVII.

Типъ Манфреда былъ естественнымъ завершеніемъ всѣхъ предшествующихъ ему скорбныхъ типовъ въ поэзіи Байрона. Въ этомъ смыслѣ онъ далеко не случайная поэтическая греза. Поэма „Манфредъ" — продуктъ долгой подготовительной работы, и въ ней данъ синтезъ всѣхъ самыхъ крайнихъ выводовъ индивидуализма и міровой скорби. По опредѣленію одного критика, „Манфредъ" — умирающій стонъ на себѣ самой сосредоточенной индивидуальности, которая не нашла свободы и счастія въ служеніи ближнимъ. Дѣйствительно, личность Манфреда сосредоточена только на себѣ самой и, кромѣ себя, не признаетъ никого и ничего во всемъ мірѣ.

Манфредъ даже не человѣкъ, а какой-то волшебникъ, одаренный сверхчеловѣческой силой и знаніемъ. Онъ овладѣлъ всѣми тайнами науки, всѣмъ знаніемъ міра, онъ пріобрѣлъ силу надъ всѣми духами, онъ говоритъ съ ними какъ властелинъ, онъ не боится ни ада, ни неба, онъ даже временно безсмертенъ, такъ какъ всѣ его попытки къ самоубійству остановлены какой-то сверхъестественной силой. Среди двухъ началъ жизни, добраго и злого, Манфредъ сохраняетъ свое независимое положеніе. Ни адъ, ни небо не имѣютъ надъ нимъ власти. Онъ такъ же гордъ въ своихъ рѣчахъ, обращенныхъ къ Богу, какъ и въ своихъ разговорахъ со служителями ада. Онъ великій и таинственный преступникъ въ прошломъ; въ настоящемъ это какой-то отшельникъ, не питающій къ людямъ ни злобныхъ чувствъ, ни добрыхъ. У него нѣтъ никакой связи съ міромъ и вокругъ него нѣтъ ни одной души ему близкой; съ міромъ его

соединяетъ лишь та непроглядная скорбь, которая парализуетъ всѣ его чувства, когда онъ думаетъ о жизни и людяхъ.

Сравнительно со своими ближайшими родственниками, съ Чайльдъ Гарольдомъ и героями лирическихъ поэмъ, Манфредъ—натура наиболѣе антисоціальная въ томъ смыслѣ, что для него вообще не существуетъ никакихъ соціальныхъ чувствъ, ни положительныхъ, ни отрицательныхъ. Въ немъ нѣтъ ни любви, ни состраданія, ни презрѣнія, ни ненависти къ людямъ; онъ стоитъ не рядомъ съ ними, не надъ ними, а вообще внѣ ихъ круга. Ему ничего отъ нихъ не нужно, и онъ имъ не нуженъ. Забвенія и смерти проситъ онъ. Ни борьба, ни волненіе, ни новый наплывъ чувствъ, ни покой, ни движеніе—ничто человѣческое не вернетъ его къ жизни, его, въ которомъ столько знанія, столько чувства и воли. Онъ стоитъ на рубежѣ той черты, которая отдѣляетъ людей отъ безплотныхъ духовъ, временно живущее отъ вѣчнаго; не назадъ къ людямъ желалъ бы онъ вернуться,—онъ хотѣлъ бы незримо и незамѣтно растаять въ вѣчности.

Но было время, и онъ любилъ людей и искалъ ихъ встрѣчи; онъ испыталъ земныя обольщенія и благородные порывы; онъ хотѣлъ вмѣстить въ себѣ душу другихъ людей, даже стать просвѣтителемъ человѣчества... Но теперь его жизнь—медленная агонія сердца безъ всякихъ движеній доброй или злой воли. Онъ предпочелъ отказаться отъ всякой власти надъ людьми, въ которыхъ разочаровался, чѣмъ покупать эту власть цѣной малѣйшей уступки. Онъ даже не хотѣлъ и думать о средствахъ, такъ какъ сама цѣль—эта власть и ея значеніе—для него утрачены. Къ чему власть, если нѣтъ тѣхъ, ради которыхъ она существуетъ? Да и вообще къ чему жизнь? Она имѣетъ смыслъ, взятая въ связи съ общей жизнью цѣлаго. Поставленная внѣ ея, она есть кара, и таковой она была для Манфреда. Поэтъ не могъ придумать болѣе страшнаго наказанія для своего героя, какъ это осужденіе на жизнь, которая не нужна человѣку и которую онъ, тѣмъ не менѣе, не въ силахъ прервать самовольно. Для Манфреда самый процессъ жизни сталъ проклятіемъ.

Міросозерцаніе и настроеніе Манфреда, это—самая высшая, кульминаціонная точка антисоціальнаго пессимизма въ началѣ XIX вѣка. Разочарованный и обманувшійся индивидуалистъ не пошелъ дальше этого полнаго разрыва съ окружающей его жизнью, этого ледяного индифферентизма къ людямъ, этой демонической гордыни, которая, оскорбленная всякимъ столкновеніемъ съ себѣ подобными, стремится только отстоять свое независимое положеніе среди высшихъ таинственныхъ силъ, правящихъ природой.

Идти въ этомъ направленіи дальше было невозможно. Самый типъ Манфреда былъ уже плодомъ мечты, оторванной отъ жизни, а не воплощеніемъ чувствъ и мыслей, дѣйствительно доступныхъ человѣку. Туманность замысла, неясность психологической мотивировки и фантастика указываютъ на то, что мечта поэта перешла въ данномъ случаѣ за границу возможнаго и вѣроятнаго.

Такъ и остался этотъ типъ послѣднимъ воплощеніемъ самаго крайняго индивидуализма, полной свободы сужденія, чувства и дѣйствія и глубочайшей скорби о томъ, что на всѣхъ этихъ свободахъ не удалось построить ни личнаго счастія, ни счастія общаго.

XVIII.

Въ творчествѣ Байрона поэмѣ „Манфредъ“ принадлежитъ исключительное мѣсто. Это тотъ поэтическій синтезъ культа личности и міровой скорби, въ которомъ обѣ эти тенденціи вѣка сплелись всего тѣснѣе и выразились въ ихъ крайнемъ выводѣ. Во всемъ, что послѣ Манфреда писалъ Байронъ, онѣ встрѣчаются уже въ болѣе мягкихъ очертаніяхъ. И міровая скорбь и индивидуализмъ теряютъ свой агрессивный и въ особенности свой антисоціальный характеръ, и герой—носитель этихъ тенденцій—сближается съ людьми, хотя и остается попрежнему печаленъ. Уже въ тѣ годы, когда Байронъ создавалъ „Манфреда“, замѣтно извѣстное умиротвореніе въ нѣкоторыхъ изъ его произведеній, какъ, напр., въ „Шильонскомъ узникѣ“ и въ третьей части „Чайльдъ Гарольда“.

Когда говоришь о такомъ „умиротвореніи“, то, конечно, подъ этимъ словомъ нельзя разумѣть покоя духа или отказа его отъ тѣхъ тревогъ, которыми онъ питался. Байронъ до конца дней своихъ и въ жизни, и въ творчествѣ остался борцомъ за неоправданные дѣйствительностью идеалы; въ его поэзіи всегда слышался голосъ протеста, борьбы, негодованія, и сатира стала въ концѣ концовъ излюбленной формой его творчества. Но тѣмъ не менѣе душа его съ каждымъ годомъ

умиротворялась въ томъ смыслѣ, что гордыня личности и міровая скорбь не принимали въ его душѣ той обостренной формы какъ раньше, и антисоціальныя чувства совсѣмъ затихали. Его герой оставался печаленъ; но вражда къ людямъ, презрѣніе къ нимъ, желаніе уйти отъ нихъ въ сердцѣ его мало-по-малу гасли. Эта перемѣна находитъ себѣ подтвержденіе и въ его творчествѣ, и въ его политической агитаціи въ Италіи и въ Греціи. Нужно было сойти съ высотъ индивидуализма и смягчить въ себѣ скорбь о мірѣ, чтобы броситься въ эту агитацію.

Въ вопросахъ высшаго порядка поэтъ остался при тѣхъ же неопредѣленныхъ, свободныхъ сужденіяхъ, и въ религіи, и въ области отвлеченнаго мышленія. Политическіе взгляды его стали яснѣе, въ виду прямого активнаго вмѣшательства его въ политику, хотя и въ нихъ было гораздо болѣе движеній гуманнаго сердца, чѣмъ строго продуманнаго убѣжденія. Сохранилъ поэтъ за собой и полную свободу чувствъ, которую осуществилъ въ своей столько шуму надѣлавшей личной жизни. Наконецъ, имѣлъ онъ и случай навязать свою волю самой жизни, на аренѣ политической борьбы, хотя и безъ громкаго результата. Но болѣзнь вѣка его не покидала, и только формы ея проявленія, какъ мы сказали, стали мягче. Этотъ послѣдній фарисъ развитія „байронизма" завершился въ драмахъ „Марино Фальеро" и „Сазданапалъ", въ драматическихъ поэмахъ „Каинъ" и „Небо и земля" и, наконецъ, въ идилліи „Островъ". Одновременно съ этимъ тотъ же байронизмъ въ „Донъ-Жуанѣ" принималъ совсѣмъ новую окраску, и индивидуализмъ и міровая скорбь разрѣшались въ иронію, полную новаго философскаго смысла.

Драма „Марино Фальеро" (1820—21) была попыткой еще разъ оправдать сильную личность. Казненный дожъ, посягнувшій на свободу олигархической республики, долженъ былъ явиться героемъ, борцомъ за свободу своего народа. Тотъ захватъ власти, который онъ замышлялъ, долженъ былъ быть оправданъ, какъ средство, ведущее къ благой цѣли, и, наконецъ, смерть дожа и пассивное отношеніе народа къ этой смерти должны были еще разъ указать на ту пропасть, которая лежала между толпой и личностью, ставшей во главѣ ея. Дожъ искалъ власти не только ради личныхъ выгодъ или тщеславія; онъ имѣлъ въ виду болѣе широкую цѣль—благо народа, и потому считалъ свое покушеніе законнымъ. Но не въ примѣръ всѣмъ байроническимъ героямъ его пугаетъ рѣшительный шагъ захвата, пугаетъ, однако, не той опасностью, которая можетъ грозить ему самому, а тѣмъ, что безъ пролитія крови переворотъ не обойдется. Его страшитъ междоусобная брань, которую долженъ начать онъ—охранитель общественнаго покоя государства. „О, свѣтъ! о, люди!—говоритъ онъ.—Кто вы такіе? и что значутъ всѣ ваши лучшіе помыслы, если вамъ нужно прибѣгать къ насилію, чтобы наказывать за насиліе?" Такія мысли прежнимъ героямъ Байрона въ голову не приходили и ихъ не останавливали. Насиліе, какъ кара, какъ месть или какъ средство для достиженія своей цѣли, ихъ не пугало. Концепція такого типа, какъ Фальеро—большое отступленіе отъ прежнихъ излюбленныхъ типовъ Байрона. Марино не настоящій желанный апостолъ свободы, которая требуетъ отъ человѣка забвенія личнаго интереса и вполнѣ безкорыстнаго служенія, но все-таки какъ далекъ онъ отъ индиферентнаго или озлобленнаго индивидуалиста! Сколько бы ни было эгоизма и жажды личной мести въ этомъ заговорщикѣ,—въ его сердцѣ много любви, которая страшится за судьбу человѣка и желаетъ для него лучшей доли. Цѣнность личности ближняго начинала возрастать въ глазахъ индивидуалиста, и тѣмъ самымъ крайность этого индивидуализма сглаживалась.

Такое повышеніе любви къ людямъ еще яснѣе проступаетъ наружу въ драмѣ „Сарданапалъ" (1821). Восточный изнѣженный владыка въ общихъ чертахъ обрисованъ снова какъ хорошо намъ знакомый поклонникъ сильной личности. Онъ, по существу своей натуры, безпечный сластолюбецъ и эгоистъ, но какъ незлобивы стали его чувства къ ближнему! Онъ могъ бы быть типичнымъ деспотомъ, а между тѣмъ передъ нами эпикуреецъ съ очень мирнымъ характеромъ и даже иногда съ очень гуманными взглядами. Для него существуетъ одинъ богъ—земная жизнь. Онъ любитъ красоту природы, ея блескъ и радость; онъ любитъ свое могущество, онъ упоенъ своей любовью къ Миррѣ, онъ восхищенъ своимъ весельемъ и доволенъ своимъ жизнерадостнымъ настроеніемъ. Онъ врагъ всего мрачнаго, печальнаго; онъ ненавидитъ кровопролитіе. Примѣръ его предковъ его не увлекаетъ, ихъ кровожадное величіе ему противно. Онъ мало похожъ на властителя: онъ не любитъ даже тѣхъ сословій, на которыя воинствующій владыка преимуще-

ственно опирается. Миръ—вотъ единственная побѣда, къ которой онъ стремится. „Мнѣ противно всякое страданіе,—говоритъ онъ,—страданіе нанесенное или полученное. Зачѣмъ же увеличивать врожденную тяжесть человѣческаго страданія? Не лучше ли уменьшить обоюдной нѣжной помощью эту роковую необходимость нашей жизни?" Если въ отношеніи къ своимъ подданнымъ восточный владыка былъ такъ мягокъ и снисходителенъ, то онъ—настоящій отецъ въ отношеніи къ своимъ ближайшимъ слугамъ. Въ минуту опасности онъ прежде всего думаетъ объ ихъ спасеніи.

Сластолюбецъ и искатель наслажденій — подъ угрозой смерти онъ становится истиннымъ героемъ, истинно сильной личностью. Положимъ, онъ умираетъ не за идею; но онъ требуетъ отъ жизни всего или ничего—и въ этомъ желаніи обнаруживаетъ удивительную силу воли. Онъ и стоикъ, и эпикуреецъ въ одно и то же время. Ему кажется, что онъ совершилъ свой долгъ и въ отношеніи самого себя, и въ отношеніи къ ближнему: онъ, не мѣшая никому, жилъ въ свое удовольствіе, и другимъ нѣтъ дѣла до того, какъ онъ жилъ, лишь бы онъ не мѣшалъ другимъ жить, какъ имъ хотѣлось. Этотъ типъ, какъ видимъ, въ ряду байроническихъ героевъ—явленіе весьма необычное. Сарданапалъ безспорно сохранилъ свое духовное родство съ прежними мрачными индивидуалистами, такъ какъ себя самого онъ любитъ больше всего на свѣтѣ и толпу презираетъ, хотя и не желаетъ владычествовать надъ нею и зла ей не дѣлаетъ. Но сравнительно съ прежнимъ антигуманнымъ міросозерцаніемъ разочарованнаго идеалиста этотъ веселый взглядъ безпечнаго эпикурейца заключаетъ въ себѣ, во всякомъ случаѣ, большую дозу любви и гуманности. Такъ понятое и истолкованное міровоззрѣніе деспота показываетъ, что въ сужденіяхъ Байрона о жизни и людяхъ произошелъ ясный поворотъ въ сторону болѣе мягкаго и примиреннаго суда надъ человѣкомъ.

XIX.

Эта мягкость еще яснѣе даетъ себя чувствовать въ мистеріяхъ „Каинъ" (1821) и „Небо и Земля" (1821) и въ поэмѣ „Островъ" (1823).

Первое, что поражаетъ читателя въ „Каинѣ", это—смѣлость концепціи типа „перваго убійцы" въ мірѣ. Каина Байронъ надѣлилъ нѣжной и любящей душой. Приписать такую душу человѣку, который отмѣченъ печатью проклятья,—это было дерзко. Поэтъ вопреки традиціи сталъ истолковывать преступленіе Каина тѣми же гуманными мотивами, какими онъ объяснялъ всѣ преступныя дѣянія своихъ мрачныхъ героевъ. Байронъ въ сердцѣ Каина отыскалъ тѣ психическіе мотивы, которые могли индивидуалиста довести до насилія надъ ближнимъ, и онъ сдѣлалъ Каина первымъ проповѣдникомъ міровой скорби на землѣ; но только этотъ возмутившійся индивидуалистъ мстилъ теперь не людямъ, въ которыхъ онъ обманулся, а самому Богу, который создалъ людей для грѣхопаденія. Каинъ — прежде всего выразитель безгранично-свободной мысли человѣка и безконтрольной свободы его чувства. Люциферъ—это тотъ же Каинъ; онъ воплощенная смѣлая мысль Каина, которая въ своемъ свободномъ полетѣ летитъ за предѣлы земли, силится проникнуть въ тайну мірозданія, понять и оцѣнить нравственный порядокъ міра. Люциферъ вовсе не демонъ-соблазнитель, воспользовавшійся слабостью человѣка, чтобы погубить его. Онъ не врагъ людей, онъ—врагъ Божій, врагъ того Бога, который допустилъ такую власть зла и печали надъ міромъ. Онъ не искушаетъ Каина, не смущаетъ его ума и сердца, такъ какъ всѣ мысли, на которыя онъ наводитъ Каина, еще раньше, до его встрѣчи съ Люциферомъ, смущали этого сильнаго человѣка и были причиной его душевной тревоги. Люциферъ, дѣйствительно, мысль самого Каина, но только продуманная, логическая, ясная мысль. Каинъ—мученикъ своей свободной и ненасытной мысли; выведенная изъ своего покоя и возбужденная, эта мысль не можетъ уже остановиться, она должна коснуться тѣхъ вопросовъ, которые для людей всегда были источникомъ страданія. Но самый главный источникъ печали Каина, это—его любящее сердце, та потребность счастія, и для себя, и для ближнихъ, которая никакъ не можетъ помириться съ условіями земной жизни. До встрѣчи съ Люциферомъ печаль Каина носитъ характеръ личный: его страшатъ и печалятъ пока всего больше физическія страданія и мысль о смерти. Печаль не позволяетъ ему благодарить Бога за жизнь, которая должна кончиться такъ плачевно. Послѣ встрѣчи съ Люциферомъ скорбь Каина становится глубже: его мысль проясняется, и полетъ съ духомъ въ царство

смерти открываетъ ему глаза на все несчастіе міра. Онъ забываетъ о себѣ и думаетъ теперь только о тѣхъ, къ кому должно перейти его печальное наслѣдство—жизнь, полная заботъ, лишеній и страданій. Онъ догадывается, что этотъ міръ возникъ на развалинахъ исчезнувшаго міра,что всякому творчеству предшествуетъ разрушеніе. Такое же разрушеніе видитъ онъ и въ грядущемъ. Жизнь должна вести къ смерти. Но пусть смерть будетъ конечнымъ удѣломъ всего живущаго ,— страшнѣе и печальнѣе то, что сама жизнь есть долгая и непрерывная война; что на человѣчествѣ лежитъ проклятіе, осуждающее его на болѣзни, муки и огорченія, и все затѣмъ, чтобы, отстрадавъ, это человѣчество продолжало страдать и въ царствѣ смерти. Думать такъ и знать, что ты призванъ населить эту несчастную землю—великое страданіе, которое у Каина разрѣшается въ чувство злобы противъ Творца, допустившаго такой порядокъ міра. Каинъ, какъ гуманный человѣкъ XIX вѣка, подавленъ и уничтоженъ сознаніемъ своей неизбѣжной вины передъ человѣчествомъ. Не чувствуя за собой никакой вины, съ сердцемъ очень мягкимъ и очень любящимъ, онъ сознаетъ себя преступнымъ виновникомъ грядущаго зла, отвратить которое онъ не въ силахъ. Мысль—откуда зло, когда Богъ добръ?— не даетъ Каину покоя.

Зачѣмъ должны страдать тѣ, которые не были причастны грѣху? Негодованіе противъ мірового порядка и противъ его Творца накипаетъ въ душѣ Каина. Мы понимаемъ, что малѣйшій предлогъ можетъ вызвать въ этомъ человѣкѣ какой-нибудь актъ безумнаго гнѣва. И у Каина родилась безумная мысль—дать Богу почувствовать свою силу; онъ захотѣлъ разрушить жертвенникъ Авеля и совершилъ братоубійство. Онъ, который такъ проклиналъ смерть, первый призвалъ ее на землю; онъ, который такъ любилъ своихъ ближнихъ, первый пролилъ ихъ кровь. Преступленіе совершено какъ бы въ отместку Богу. Не изъ зависти, не изъ злобы Каинъ убилъ своего брата. Онъ убилъ его какъ слугу того господина, въ которомъ онъ не хотѣлъ признать справедливости и достаточной любви къ людямъ; убилъ, какъ тотъ идеалистъ, который въ XIX вѣкѣ способенъ былъ пролить кровь родного брата, когда видѣлъ въ немъ слугу враждебнаго принципа. И какъ для индивидуалиста XIX вѣка, такъ и для Каина это невольное преступленіе стало родникомъ великихъ душевныхъ мученій.

А Каинъ, безспорно, изъ семьи поклонниковъ гордой и автономной личности. Онъ человѣкъ самыхъ свободныхъ сужденій, свободныхъ чувствъ и непреклонной воли. Онъ также самый убѣжденный исповѣдникъ міровой скорби, и только гуманныя, нѣжныя чувства, какія онъ питаетъ къ людямъ, даже къ грядущимъ поколѣніямъ, отличаютъ его отъ его прямыхъ родственниковъ—озлобленныхъ и мстительныхъ индивидуалистовъ.

Какъ въ „Каинѣ", такъ и въ мистеріи „Небо и Земля" звучитъ призывъ любви сострадательной, а не гнѣвной. Мистерія рисуетъ мрачную картину потопа, Божьяго гнѣва, и силится доказать несправедливость такой расправы. Среди лицъ, не признающихъ надъ собой Божьей власти, стоитъ Іафетъ, столь не похожій на Каина и вмѣстѣ съ тѣмъ родной его братъ по духу. Натура болѣе мягкая и нѣжная, чѣмъ Каинъ, нѣсколько сентиментальная и слезливая, онъ, однако, такой же свободный мыслитель, какъ и его мрачный предокъ. Божій судъ надъ людьми его возмущаетъ, и чувство состраданія и жалости къ людямъ не можетъ умолкнуть въ его религіозномъ и богобоязненномъ сердцѣ. Іафетъ не считаетъ Бога злымъ и несправедливымъ, какъ считалъ Каинъ, и думаетъ, что сотвореніе міра есть актъ Божьей любви; онъ говоритъ о той печали, которую долженъ испытывать Богъ, глядя на паденье человѣчества, но безропотно снести Божій судъ надъ людьми Іафетъ все-таки не можетъ. Онъ не въ силахъ отдѣлить своей судьбы отъ участи ближняго, и эти его ближніе—не только избранная Богомъ его семья и его родня,—а всѣ люди, всѣ, даже самые грѣшные. „Зачѣмъ, зачѣмъ я долженъ жить, когда всѣ гибнутъ", восклицаетъ онъ, и въ своей глубокой печали надъ гибнущимъ міромъ онъ забываетъ даже свою личную печаль—утрату любимой невѣсты,—и онъ живетъ одной мыслью, мыслью о погибающемъ человѣчествѣ и о своей жалкой безпомощности. Изъ всѣхъ героевъ Байрона— Іафетъ самый гуманный герой, болѣе другихъ проникнутый нѣжнымъ и смиреннымъ чувствомъ состраданія и жалости. Но и онъ въ сущности выразитель протеста, правда, не страстнаго и не бурнаго, а мягкаго и слезливаго, того сентиментальнаго протеста, съ котораго въ срединѣ XVIII вѣка индивидуалистъ началъ свою войну противъ мірового порядка.

Возвратомъ къ старымъ тонамъ и къ отжившему идиллически сентиментальному настроенію была и поэма „Островъ“, написанная Байрономъ за годъ до смерти. Грустное впечатлѣніе жалобы производитъ эта поэма. Старая, давно уже забытая тема о преимуществахъ первобытной дикой культуры надъ испорченной цивилизаціей, которой мы такъ гордимся, подновлена Байрономъ съ большимъ искусствомъ. Чудесныя описанія природы, драматическое движеніе разсказа, романтическая завязка, наконецъ, красивый женскій силуэтъ—вполнѣ искупаютъ традиціонное однообразіе основного мотива. Но все-таки въ идейномъ смыслѣ эта поэма не шагъ впередъ, а воспоминаніе о пройденномъ пути. Это—тихая, спокойная и грустная пѣснь уставшаго человѣка, который хочетъ забыться въ сновидѣньи. Онъ радъ, что это сновидѣніе совсѣмъ не напоминаетъ ему о томъ, что онъ вокругъ себя видитъ, что оно похоже на сказку, на старую сказку, которую онъ такъ любилъ въ своемъ дѣтствѣ и съ которой у него связано столько хорошихъ воспоминаній. Всѣ вопросы, нѣкогда столь мучившие поэта, забыты; люди, которые его сердили, далеко; кругомъ него дѣвственная природа; съ нимъ любимая подруга; онъ веселъ и счастливъ... И тѣмъ не менѣе эта запоздалая идиллія грустна, какъ всякая мечта, въ которой скрыто тайное осужденіе дѣйствительности.

Финальный аккордъ „байронизма“, какъ видимъ (а „Островъ“ надо признать лебединой пѣснью опечаленнаго индивидуалиста), вышелъ очень мягкій. Міровой скорби въ немъ уже не слышно,—осталась только прежняя сентиментальная, мягкая грусть... Нѣтъ и рѣзкой воинствующей проповѣди индивидуализма, — осталось лишь тайное желаніе мирной жизни подальше отъ людей и шумныхъ ихъ торжищъ. Презрѣнія, ненависти, вражды къ людямъ—нѣтъ. Антигуманные и антисоціальные возгласы замерли. Байронизмъ вернулся къ тѣмъ сентиментальнымъ порывамъ души, изъ которыхъ онъ нѣкогда вытекъ. Онъ какъ будто совсѣмъ исчезъ, но это не вѣрно. Если въ однѣхъ пѣсняхъ байронизмъ вернулся къ своему старому источнику—къ сентиментализму, то въ другихъ онъ выразился въ новой формѣ—отличной отъ прежней. Въ „Донъ Жуанѣ“ онъ переродился въ скорбную иронію.

XX.

„Донъ Жуана“ Байронъ задумалъ еще въ 1817 году и работалъ надъ нимъ вплоть до самой своей смерти. „Эта поэма, говорилъ Гёте, безгранично геніальное произведеніе; въ своей враждѣ къ людямъ она доходитъ до самой черствой жестокости, а въ своей любви—до глубины самой нѣжной привязанности“. Этотъ глубокомысленный отзывъ не сразу понятенъ. Въ „Донъ Жуанѣ“ нѣтъ такой угрюмой черствости и такихъ мрачныхъ красокъ, къ какимъ насъ пріучили поэмы Байрона. Нѣтъ въ этой поэмѣ, повидимому, и особенно нѣжныхъ и глубоко-сердечныхъ чувствъ, хотя и есть много нѣжныхъ сценъ. Гёте, очевидно, хотѣлъ сказать, что въ „Донъ Жуанѣ“ есть странное смѣшеніе и чередованіе діаметрально противоположныхъ взглядовъ и настроеній, цѣлая скáла минорныхъ и мажорныхъ тоновъ, неожиданные переливы которыхъ и составляютъ сущность ироніи надъ жизнью.

Въ такую иронію и стало постепенно выливаться байроновское настроеніе, дошедшее до своихъ крайностей, не допускавшихъ дальнѣйшаго развитія. Поэма удивительно разнообразна по своимъ мотивамъ, и въ нихъ сатирикъ и памфлетистъ беретъ очень часто верхъ надъ художникомъ. Носитель міровой скорби сталъ именно сатирикомъ-юмористомъ, который, уставъ отъ гнѣва и печали, сталъ смѣяться надъ тѣмъ, что раньше въ жизни любилъ или ненавидѣлъ. Сатира должна была снять съ жизни всѣ ея мишурныя украшенія; вся ея романтическая сторона должна была быть выворочена наизнанку, и жизнь, недостойная гнѣва и печали, должна была явиться въ шутовскомъ нарядѣ. Желаніе автора пародировать героическія и романтическія чувства человѣка проглядываетъ почти во всѣхъ пѣсняхъ этой поэмы. Она, высмѣивая людей, и обличаетъ, и обвиняетъ ихъ. Она груба, порой цинична и очень чувственна. Она очень жизнерадостна по темпу и игривымъ краскамъ, но это не беззаботная и не безобидная радость о жизни: это все та же печаль, въ иномъ только одѣяніи. И смѣхъ въ поэмѣ,—и онъ не беззаботный и не вольный смѣхъ, который, украшая и веселя жизнь, надъ нею тѣшится. Это смѣхъ почти всегда желчный и раздраженный...

Въ общемъ своемъ направленіи поэма гуманна; въ ней нѣтъ того агрессивнаго

тона, который придавалъ особую мрачность истинному байронизму,—но опять таки она, конечно, слово протеста, слово непримиреннаго съ людьми человѣка.

Авторъ, ее создавшій, былъ все тотъ же разочарованный и сердитый индивидуалистъ, сохраняющій за собой полную свободу взглядовъ на всѣ основные вопросы жизни, исповѣдникъ свободной религіи, свободной философіи и политики, не приписавшій себя ни къ какому лагерю, свободно смѣющійся и иронизирующій надъ всѣмъ и всѣми и въ этой ироніи любующійся своей свободой и силой.

Байронизмъ, какъ сочетаніе міровой скорби и рѣзкаго индивидуализма, сохранилъ и въ этой своей новой формѣ обаяніе силы личности и только замѣнилъ печаль болѣе мягкимъ ея обнаруженіемъ—иронiей. Вполнѣ иронія, конечно, печалью не покрывается: въ ней есть психическія движенія, не имѣющія съ печалью ничего общаго; но что въ иронію можетъ вылиться скорбь, уставшая и завершившая весь кругъ своего развитія, это вполнѣ естественно и допустимо.

XXI.

Итакъ, если обозрѣть въ его цѣломъ ростѣ и постепенное развитіе „байронизма" въ произведеніяхъ того писателя, именемъ котораго окрещено это любопытное сочетаніе силы и скорби, то видишь наглядно, какой полный кругъ развитія оно завершило, подымаясь отъ сентиментальной меланхолической грусти, не ясно мотивированной, до страшнаго гнѣва и презрѣнія къ людямъ и опять упадая до степени жалобы на утраченное счастіе и до ироніи надъ жизнью.

Всѣ эти переливы байроническаго настроенія нашли себѣ, какъ извѣстно, весьма широкое распространеніе и искренній откликъ въ литературныхъ теченіяхъ всѣхъ культурныхъ странъ и народовъ въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и даже сороковыхъ годахъ XIX вѣка. Каждая культурная страна переживала по своему этотъ „байронизмъ", окрашивая его, конечно, въ свои національныя краски. Въ свое время такъ много было вездѣ „байронистовъ", что нѣкогда оригинальная мысль и сильное чувство были сведены на степень моды и заученной позы. Такое вырожденіе основного мотива „байронизма" было столь же неизбѣжно, какъ и широкое его распространеніе. Если байронизмъ, какъ мы видѣли, былъ откликомъ человѣческой души на историческую правду своего времени, то успѣхъ его понятенъ; понятна и постепенная его убыль и его измельчаніе, когда онъ пересталъ соотвѣтствовать исторической дѣйствительности. Трагическое напряженіе мысли и чувства, породившее байронизмъ, не могло длиться долго, потому что въ самой жизни произошли перемѣны, которыя должны были понизить какъ вѣру человѣка въ всесильную автономность своей личности, такъ и утишить его разочарованіе и гнѣвъ на себя и ближнихъ. Въ самомъ началѣ XIX вѣка, когда была еще такъ свѣжа вѣра въ самодержавіе ума человѣческаго, провозглашенное просвѣтителями XVIII вѣка, когда всѣ ужасы революціи еще не стали воспоминаніемъ; когда только что самодержавная личность, почти легендарная по своей силѣ, потерпѣла заслуженное крушеніе на поляхъ Ватерлоо; когда, наконецъ, старые низвергнутые авторитеты вновь стали оживать,—тогда байронизмъ могъ быть въ полномъ своемъ цвѣту, такъ какъ онъ былъ самымъ глубокимъ воплемъ о гибели самыхъ дорогихъ надеждъ. Но прошли года; соотношеніе соціальныхъ силъ, управлявшее ходомъ жизни, измѣнилось; тотъ же вопросъ о соглашеніи идеала и дѣйствительности былъ освѣщенъ съ новыхъ точекъ зрѣнія, и естественно, что „байронизмъ" долженъ былъ утратить свою остроту и во многихъ своихъ самыхъ глубокихъ психическихъ движеніяхъ стать менѣе понятнымъ для людей иного поколѣнія. Переживаніе байроническихъ мотивовъ было однако не простымъ подражаніемъ; если жизнь измѣнилась настолько, что самое глубокое, сильное и самое скорбное въ поэзіи Байрона становилось менѣе понятно, то все-таки въ жизни оставалось очень много общихъ тенденцій и единичныхъ явленій, которыя вполнѣ оправдывали и скорбный взглядъ на людей, и недовѣріе къ нимъ, и жалобу на нихъ, и желаніе отойти отъ нихъ подальше.

Всего этого всегда въ человѣческой жизни было много, и байронизмъ всегда могъ дать готовыя внѣшнія формы для выраженія и печали, и недовольства, и гнѣва, и презрѣнія. Дѣйствительно, какъ въ тридцатыхъ, такъ и въ сороковыхъ годахъ, такъ, наконецъ, и въ наше время нравственныя и соціальныя противорѣчія жизни столь остры, разстояніе между желаемымъ и настоящимъ столь велико и, наконецъ, взаим-

39*

ное непониманіе людей столь обыденно, что любой байроническій мотивъ можетъ разсчитывать и теперь на симпатію и откликъ. Тѣмъ больше основаній для такой симпатіи было раньше, въ первыхъ десятилѣтіяхъ XIX вѣка, во Франціи и въ Россіи, гдѣ Байронъ имѣлъ наибольшее число поклонниковъ и послѣдователей, и въ Германіи и Италіи, гдѣ байронистовъ было меньше. Любопытно, кстати сказать, что всего слабѣе было вліяніе Байрона на его соотечественниковъ, которые, какъ люди въ большинствѣ случаевъ религіозные и поклонники законности и порядка въ жизни, были всего менѣе подвержены острымъ приступамъ болѣзни вѣка.

Но если признать, что въ своихъ элементарныхъ мысляхъ и чувствахъ байроническая поэзія остается живымъ словомъ,— то все-таки самое характерное въ ней— то, что составляетъ ея оригинальность и ея силу—именно трагическое сочетаніе крайняго индивидуализма съ антигуманной скорбью—теперь уже не больше какъ историческое воспоминаніе.

Это красивое сочетаніе острой міровой скорби съ культомъ автономной личности жило очень не долго и уже у первыхъ учениковъ и поклонниковъ Байрона звучало нѣсколько фальшиво, потому что переставало соотвѣтствовать исторической правдѣ. Культъ автономной личности и міровая скорбь пошли, дѣйствительно, очень быстро на убыль.

XXII.

Вѣра человѣка въ самого себя, въ силу своего разума и воли, увѣренность его въ своемъ правѣ на свободное чувство, конечно, остались какъ залогъ всякаго дальнѣйшаго прогресса. Но то, что мы теперь называемъ индивидуализмомъ, во многомъ разнится отъ того, что понимали подъ этимъ понятіемъ восторженные поклонники автономной личности въ концѣ XVIII вѣка и въ началѣ XIX-го. Тогда людямъ казалось, что нѣтъ предѣла свободѣ ума, и сердца, и воли, а, главное, люди вѣрили, что такая свобода можетъ непосредственно реагировать на жизнь, что эту жизнь можно перестроить сразу въ интересахъ общаго блага личнаго и гражданскаго, руководясь умомъ, свободнымъ отъ всякихъ авторитетовъ, повинуясь свободному врожденному чувству добра и справедливости и полагаясь на несокрушимую силу воли.

Едва-ли кто въ настоящее время рѣшится отстаивать такой культъ самодержавной личности. Правда, и индивидуализмъ въ послѣдніе годы очень возросъ въ нашихъ поэтическихъ мечтахъ и отвлеченныхъ разсужденіяхъ. Онъ въ концѣ XIX вѣка сталъ любимой грезой для многихъ, кому пришлись не по душѣ демократическія тенденціи вѣка; но этотъ культъ сильной личности въ наше время— именно греза, почему и сторонники этого культа не обнаруживаютъ никакого желанія заставить эту сильную личность реагировать на жизнь непосредственно. Почти всѣ индивидуалисты новѣйшей формаціи — „антисоціальные" люди, но не въ старомъ смыслѣ; они не — враждебные ближнимъ угрюмые человѣконенавистники въ байроническомъ стилѣ, а люди, которые стремятся лишь какъ можно меньше думать объ обязанностяхъ, связующихъ личность съ обществомъ. Они хотятъ для себя лишь свободы духа, а не свободы прямого воздѣйствія на жизнь. Прежнее пониманіе роли автономной личности не могло удержаться. Оно было возможно раньше, при относительно ничтожныхъ историческихъ свѣдѣніяхъ, какими располагали люди, при отсутствіи въ ихъ сужденіяхъ всякаго историко-философскаго обобщенія. Теперь, когда исторія стала наукой, когда на протяженіи цѣлыхъ вѣковъ мы можемъ наблюдать дѣйствіе опредѣленныхъ законовъ, роль личности въ міровомъ процессѣ рисуется намъ совсѣмъ иначе, чѣмъ она представлялась намъ раньше. Въ сцѣпленіи историческихъ причинъ и слѣдствій, при громадномъ значеніи экономическихъ факторовъ въ эволюціи всѣхъ, и внутреннихъ, и внѣшнихъ формъ жизни, при неизбѣжной духовной связи, какая существуетъ между толпой, въ широкомъ смыслѣ этого слова, и отдѣльной личностью, которая сама иногда этой связи не замѣчаетъ и мнитъ себя вполнѣ свободной,—нельзя преувеличивать значенія отдѣльнаго сильнаго ума, сильнаго чувства или воли. Какъ бы съ внѣшней стороны ни была импозантна роль сильной личности, какъ бы ни было велико ея воздѣйствіе на жизнь и людей она всегда слуга своей эпохи,—и только то въ ея рѣчахъ и поступкахъ имѣетъ непосредственное вліяніе на жизнь, что назрѣло, къ чему эта жизнь уже готова, чего она

ждетъ, чего неясно хочетъ... Если же дѣйствительно сильной личности случается опередить жизнь—своими ли мыслями, или даже дѣяніями,—то такія дѣла и мысли входятъ въ общій оборотъ и становятся настоящими факторами жизни не тогда, когда сильная личность—ихъ носительница—ихъ отстаиваетъ или за нихъ, какъ чаще всего бываетъ, гибнетъ, а тогда, когда сама жизнь достаточно ушла впередъ, чтобы этими идеями или программами дѣйствія воспользоваться. Укоренившееся историческое сознаніе значительно подорвало въ людяхъ ихъ довѣріе къ всемогуществу ихъ ума и хотѣнія. Безграничная вѣра прежнихъ индивидуалистовъ въ личное начало въ жизни нашло себѣ большую поправку въ наукѣ, и не только въ наукѣ исторической, а вообще во всемъ богатствѣ всякихъ научныхъ свѣдѣній, собранныхъ въ протекшемъ столѣтіи, которое, какъ извѣстно, было вѣкомъ торжества строгаго знанія. Быстрый и необычайно плодотворный ростъ гуманитарныхъ и естественно-историческихъ наукъ привелъ къ рѣшительной переоцѣнкѣ стоимости отдѣльной личности, хотя бы и очень сильной. Въ общемъ закономѣрномъ и постепенномъ развитіи жизни она явилась хоть и рѣдкимъ проявленіемъ міровой жизненной энергіи, но явленіемъ, объяснимымъ безъ всякаго чуда и въ свою очередь на чудо неспособнымъ. Культъ сильной личности могъ удержаться лишь въ формѣ преклоненія передъ особой даровитостью и геніальностью человѣческой натуры, но культъ личности автономной сталъ немыслимъ,—несмотря на то, что нѣкоторыми геніальными людьми въ протекшемъ столѣтіи были сдѣланы теоретическія попытки его воскрешенія.

Съ паденіемъ этого культа изсякъ и тотъ родникъ необычайной гордыни и самомнѣнія, изъ котораго настоящій „байронизмъ" черпалъ самыя эффектныя свои настроенія и наиболѣе гордыя мысли.

Вмѣстѣ съ исчезновеніемъ этого, наукой неоправданнаго, индивидуализма исчезла и та міровая скорбь, которая съ нимъ была такъ тѣсно связана.

XXIII.

Эта скорбь, какъ мы знаемъ, была въ основѣ своей скорбью о несовершенствѣ человѣка, умственномъ и нравственномъ, о „небогоподобіи" его или, вѣрнѣе, о неподобіи его тому образу, какой о человѣкѣ сложился у индивидуалиста. Отсюда и осужденіе порядка общественнаго и гражданскаго, осужденіе людей, какъ устроителей и охранителей этого порядка, людей, какъ людей вообще, и, наконецъ, всего міропорядка, допускающаго такое частичное свое обнаруженіе, какъ человѣческая психологія и этика. Ставя очень большія требованія уму и чувству человѣка, поклонникъ его силы не могъ помириться съ тѣми умственными и нравственными недочетами, какіе онъ встрѣчалъ у большинства, у такъ называемой „толпы", „массы", подъ которой онъ разумѣлъ не какой нибудь опредѣленный общественный классъ, а вообще всѣхъ, кто не оправдывалъ его высокаго представленія о сильной личности, ему подобной. Онъ не прощалъ преступленій ближнему, въ духовномъ отношеніи ниже его стоящему, хотя довольно снисходительно готовъ былъ отнестись къ своимъ собственнымъ.

Такое горделивое, презрительное, отчужденное, враждебное, наконецъ вполнѣ безучастное отношеніе сильнаго человѣка ко всѣмъ ниже его стоящимъ,—вся эта его „міровая скорбь" должна была значительно смягчиться, какъ только психологія массъ стала предметомъ серьезнаго изслѣдованія и размышленія и какъ только разстояніе, отдѣляющее сильную личность отъ толпы, стало сокращаться.

На изученіе психологіи массъ XIX вѣкъ потратилъ много труда, какъ вѣкъ по тенденціямъ своимъ демократическій, стремившійся въ своей политической и соціальной жизни дать возможно большему числу людей право на самоопредѣленіе и свободное развитіе всѣхъ своихъ силъ. Служители церкви, философы, моралисты, экономисты, историки и въ особенности художники приняли на себя защиту темнаго порочнаго и слабаго человѣка, стремясь объяснить всѣ его недостатки, умственные и нравственные, тѣми условіями, какими онъ былъ обставленъ въ жизни. Вѣрное и безпристрастное изображеніе этихъ условій, иной разъ ужасающихъ условій, въ которыхъ приходится жить громадному, если не большему, числу людей на землѣ, могло убѣдить любого „міроваго скорбника" въ томъ, что его гнѣвъ и презрѣніе мѣтили не туда, куда слѣдовало. Не человѣкъ, какъ таковой, могъ быть обвиненъ въ искаженіи образа человѣческаго, въ тупости и звѣроподобіи, а обвиненъ долженъ былъ быть укладъ той жизни, которая таковымъ его дѣлаетъ. Противъ этого уклада и была

направлена сознательная и выносливая работа этико-соціальной мысли XIX вѣка. Работа эта пока еще, конечно, только въ началѣ, но благіе результаты ея и теперь очевидны. Съ своей стороны и сама масса, возбуждавшая нѣкогда такія злобныя чувства въ душѣ индивидуалиста, выступала часто въ роли вполнѣ активной; она изъ своей среды высылала отдѣльныхъ лицъ, какъ бы ходатаевъ за свои гражданскія и личныя права, лицъ, которыя, сохраняя свою духовную и кровную связь съ ней, показывали, до какихъ степеней культурности, умственной и нравственной, способенъ возвыситься человѣкъ, выросшій иной разъ въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Масса отвоевывала себѣ для отдѣльныхъ своихъ слоевъ независимое политическое и общественное положеніе и въ этой борьбѣ показала много героизма, чувства справедливости, умѣнія страдать и терпѣнія. Она сама иногда въ своей совокупности становилась героемъ.

Интересъ, который возбуждала внѣшняя и внутренняя жизнь этой толпы, возросталъ съ каждымъ годомъ, и установленіе правильнаго и безпристрастнаго взгляда на массу, на таящіяся въ ней духовныя силы должно было замѣнить какъ огульное ея осужденіе, такъ и предшествовавшее этому осужденію—непровѣренную довѣрчивость къ ней. Конечнымъ результатомъ, къ которому привело на фактахъ основанное изученіе массы со стороны внѣшнихъ условій ея быта и со стороны ея жизни духовной, была—увѣренность въ ея затаенной моральной и интеллектуальной силѣ. Скорбь объ этой стадной толпѣ уступила теперь свое мѣсто стремленію вывести толпу изъ этого положенія, и если на кого можетъ быть перенесенъ теперь скорбный гнѣвъ, то развѣ только на культурные и цивилизованные слои общества, которые грозятъ составить новую безпринципную и порочную толпу, гораздо болѣе опасную, чѣмъ толпа некультурная. Враждуя съ культурнымъ человѣкомъ, доходя иногда до прежняго отрицанія всякой нравственной стоимости существующей цивилизаціи, современный гуманистъ сохраняетъ все-таки вѣру въ человѣка, въ этого homo sapiens, который еще не высказался вполнѣ, такъ какъ онъ еще дремлетъ, затерянный въ безгласной массѣ. При столь измѣнившейся точкѣ зрѣнія на человѣка огульное его осужденіе становилось несправедливымъ и невозможнымъ. Къ тому же и разстояніе, отдѣляющее сильную личность отъ среды, на которую она призвана дѣйствовать, постепенно сокращалось. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что съ каждымъ годомъ общій уровень нравственнаго и умственнаго развитія человѣчества повышается. Повышается онъ одновременно во всѣхъ слояхъ и классахъ общества. И всякая, самая нравственно требовательная и самая геніальная личность все менѣе и менѣе рискуетъ быть непонятой или остаться одинокой. Солидарность между ней и окружающей средой съ годами становится все болѣе прочной, а потому и во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ вѣроятность гнѣвнаго презрѣнія или полнаго отчужденія, или безнадежной скорби становится меньше. Время аристократизируетъ массу, а этотъ процессъ способствуетъ установленію въ людскихъ отношеніяхъ политики взаимнаго пониманія и согласія.

Если все, что мы сказали, соотвѣтствуетъ истинѣ, то байронизмъ въ самыхъ типичныхъ своихъ чертахъ—явленіе, отошедшее въ прошлое и отошедшее навсегда. Сочетаніе крайняго индивидуализма, безграничной вѣры въ автономность сильной личности, со скорбью, самой непримиримой, оплакивающей душевное и умственное паденіе человѣка, безъ надежды на воскресеніе,—такое сочетаніе двухъ вѣчныхъ чувствъ едва-ли прійдется вновь пережить человѣку. Его увѣренность въ своемъ всемогуществѣ понизилась до естественнаго уровня, его скорбь о несовершенствахъ жизни упала до сознанія неизбѣжности такихъ несовершенствъ, и, наконецъ, его презрѣніе къ людямъ и гнѣвъ противъ нихъ приняли видъ справедливаго суда не надъ преступникомъ, а скорѣе надъ пострадавшимъ.

XXIV.

Въ самомъ концѣ XIX вѣка о байронизмѣ пришлось, однако, вспомнить, когда ученіе Фридриха Нитше надѣлало такого же шума, какъ нѣкогда поэзія Байрона. Въ томъ, что говорилъ знаменитый нѣмецкій моралистъ о грядущихъ судьбахъ нашей цивилизаціи, было нѣчто, напоминавшее прежній индивидуализмъ съ его мрачной антигуманной скорбью.

Благодаря геніальной стилистикѣ и истинно поэтическому полету фантазіи, ученіе Нитше показалось новымъ кодексомъ личной и гражданской морали, хотя

по основной своей мысли и господствующему настроенію это ученіе было лишь видоизмѣненіемъ старыхъ, давно извѣстныхъ индивидуалистическихъ теорій и той же намъ хорошо знакомой міровой скорби.

Такъ какъ и въ наукѣ, и въ жизни дѣло крайняго индивидуализма было проиграно и сама міровая скорбь являлась пережитымъ моментомъ въ сознаніи человѣчества, то индивидуалисту новѣйшей формаціи оставался лишь одинъ выходъ: признать науку результатомъ чрезмѣрнаго болѣзненнаго преобладанія ума въ человѣкѣ надъ иными непосредственными движеніями его воли и чувства, а также заглушить свою обидчивую и гордую скорбь опьяняющимъ веселіемъ мечты о своей силѣ и о полной своей свободѣ. Въ этихъ двухъ тенденціяхъ и заключена сущность нитшеанства, если только можно говорить о „сущности“ ученія, не изложеннаго стройно, не продуманнаго до конца и полнаго противорѣчій. Въ ученіи Нитше индивидуалистъ наслаждается *красивой мечтой* о своей силѣ, объ автономности своего ума, производящаго переоцѣнку всѣхъ цѣнностей; наслаждается мечтой о своей свободѣ отъ всѣхъ авторитетовъ, и преимущественно отъ авторитета альтруистической морали. Это самолюбованіе въ мечтахъ заглушаетъ въ его сердцѣ ту міровую скорбь, которой онъ преисполненъ при взглядѣ на весь міропорядокъ и на человѣка, столь непохожаго на облюбованный имъ идеалъ. Съ другой стороны, истинный нитшеанецъ питаетъ полное презрѣніе къ тому, что называется законами исторіи или вообще законами науки соціальной, и хочетъ себя увѣрить, что для его крайняго индивидуализма не нашлось до сихъ поръ мѣста въ исторіи потому, что люди были рабами авторитетовъ, которые всѣ нужно сбросить или переоцѣнить, чтобы на землѣ наступила эра настоящаго „сверхчеловѣка“, который и есть вѣнецъ творенія и конечная цѣль всего мірового процесса. Этотъ „сверхчеловѣкъ“ — то „идеалъ“ воображаемаго совершенства, то на землѣ допустимая реальность — призванъ осуществить высшую форму сознательнаго бытія въ мірѣ: онъ—воплощеніе всѣхъ совершенствъ, воплощеніе умственной и физической силы; онъ автономенъ въ своей личной и гражданской этикѣ; у него нѣтъ иныхъ обязанностей, кромѣ обязательствъ въ отношеніи къ тому идеалу, который онъ собой осуществляетъ; онъ поборолъ всякій міровой пессимизмъ сознаніемъ своего личнаго совершенства и силы; онъ не подчиненъ никакимъ законамъ, потому что онъ самъ высшій законъ.

Такой крайній индивидуализмъ, граничащій съ чистой фантастикой,—а потому продуктъ мечты, а не критическаго отношенія къ жизни, — связанъ въ ученіи Нитше съ проповѣдью самой безпощадной, съ виду эгоистической морали. Эта антиобщественая мораль была главной мишенью, въ которую мѣтили всѣ обвинители и противники нитшеанства. Дѣйствительно, если эту мораль понять буквально, то она весьма жестока и имѣетъ нѣкоторое сходство съ той антисоціальной моралью, которую исповѣдывали самые мрачные байроническіе герои. Но самъ Нитше энергично протестуетъ противъ того, чтобы его ученіе судили судомъ „морали“, т. е. нашей общечеловѣческой нравственности. Онъ желаетъ самъ стоять „по ту сторону добра и зла“ и желаетъ, чтобы и судья его стоялъ на этой же позиціи. Изъ аморальнаго закона вселенной, по которому все слабое поглощается сильнымъ, изъ закона о борьбѣ за существованіе выводитъ онъ свою теорію сверхчеловѣка. Для этого лучшаго экземпляра все просточеловѣческое должно служить питаніемъ и пьедесталомъ. Конечную цѣль мірового процесса Нитше видитъ не въ томъ, чтобы сильная личность такъ или иначе повліяла на окружающую ее жизнь,— какъ этого хотѣли индивидуалисты прежней формаціи,—а въ томъ, чтобы окружающая жизнь была принаровлена для воспитанія и поддержки сильной личности, которая освобождена отъ всякой соціальной миссіи и сама себѣ довлѣетъ.

Такое пониманіе индивидуализма и такая его проповѣдь въ концѣ XIX вѣка имѣютъ за собой, конечно, извѣстную культурную заслугу. „Сверхчеловѣкъ“—не болѣе какъ мечта, которая не допускаетъ даже и попытки своего осуществленія и потому ничѣмъ не грозитъ общественному строю, а какъ поэтическій символъ свободы личности и ея духовной красоты и величія, онъ, этотъ „сверхчеловѣкъ“ рѣшительный и смѣлый протестъ, съ одной стороны, противъ узкой буржуазной ограниченности, съ другой — противъ демократической нивеллировки. Этимъ протестомъ ученіе Нитше и обязано своимъ успѣхомъ какъ въ тѣхъ кругахъ, которые воюютъ противъ буржуазнаго строя общества, такъ и въ тѣхъ,

которые никакъ не хотять помириться съ уравнительными тенденціями разныхъ современныхъ демократическихъ партій.

Но съ индивидуализмомъ, какъ его понимали прежде и какъ онъ и былъ воплощенъ въ поэзіи Байрона, этотъ нитшеанскій индивидуализмъ имѣетъ мало сходнаго. „Сверхчеловѣкъ" Байрона, если такимъ именемъ называть мрачныхъ поклонниковъ автономной личности, былъ все-таки натура соціальная въ томъ смыслѣ, что онъ нравственно страдалъ отъ невозможности установить между собой и людьми такое взаимное отношеніе и пониманіе, при которомъ сила шла бы на пользу общую; „сверхчеловѣкъ" новѣйшей формаціи этихъ нравственныхъ мученій не испытываетъ, и если страдаетъ, то только какъ художникъ или эстетикъ, не находящій въ жизни того идеала красивой силы и мощи, въ развитіи которыхъ онъ видитъ весь смыслъ міроваго процесса. Байроническій герой ведетъ свое начало отъ сентиментальнаго реформатора, которымъ бредилъ Руссо, отъ той „прекрасной души" (schöne Seele), которая начала съ того, что готова была „обнять милліоны", и кончила пессимизмомъ и мизантропіей. „Сверхчеловѣкъ" Нитше, если бы, онъ пожелалъ отыскать своихъ родственниковъ въ прежнихъ вѣкахъ, могъ бы, пожалуй, указать на Монтеня или на Вольтера, этихъ великихъ „гедонистовъ"— не въ дурномъ смыслѣ слова конечно, а въ смыслѣ исканія наслажденій умственныхъ и вообще духовныхъ.

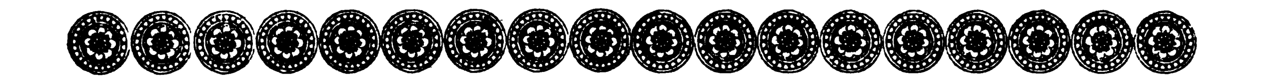
Если бы наконецъ мы пожелали среди проповѣдниковъ индивидуализма указать на тѣхъ, которые исходили изъ основныхъ байроническихъ положеній и противопоставить имъ прямыхъ предшественниковъ Нитше, то въ основу такого дѣленія мы опять должны были бы положить противопоставленіе „моральнаго альтруистическаго" принципа съ одной стороны и „эгоистическаго аморальнаго" съ другой.

Въ этомъ смыслѣ,—чтобы взять только лишь самыя крупныя имена,—Карлейль и его гуманный герой, посланный на землю для выполненія соціальной роли—безспорно сродни Байрону и его мрачнымъ отшельникамъ, точно такъ же, какъ миролюбивый и почти безстрастный герой-философъ Ренана—прямой предшественникъ воинствующаго и страстнаго до жестокости „сверхчеловѣка" Нитше, съ которымъ его роднитъ гордое пренебреженіе всякими этико-соціальными обязанностями.

Герой Байрона, какъ бы иногда онъ ни былъ антигуманно и антисоціально настроенъ—все-таки сынъ великой революціи этической, общественной и политической. Онъ не мыслитель, а художникъ, тяготящійся повседневнымъ шумомъ и прозой общественной работы и желающій воплотить въ поэтическомъ снѣ для одного или нѣсколькихъ людей то, чего другіе хотятъ для всѣхъ людей, но не во снѣ, а по мѣрѣ возможности въ дѣйствительности.

Н. Котляревскій.





Жизнь и переписка Байрона.

I.

Байронъ родился 22 января 1788 года въ Лондонѣ, на Holles-street, около Oxford-street, № 16, гдѣ теперь на новомъ домѣ объ этомъ оповѣщаетъ мраморная доска.

Его мать только что вернулась изъ Франціи одна, разоренная своимъ безпутнымъ мужемъ Джономъ Байрономъ, чтобы не встрѣчаться съ нимъ болѣе до конца дней. Грустно было, такимъ образомъ, появленіе на свѣтъ поэта. Молодая женщина осталась безъ средствъ и въ невозможности поддерживать тотъ образъ жизни, къ которому она привыкла, какъ урожденная Гордонъ офъ-Гайтъ, отпрыскъ Аннабеллы Стюартъ, дочери шотландскаго короля Якова I. Г-жа Байронъ поселилась въ Абердинѣ. Здѣсь среди шотландской природы прошло дѣтство поэта; здѣсь девяти лѣтъ онъ впервые узналъ, что такое любовь; сюда-же пришло въ 1798 году извѣстіе, что при осадѣ Кальви убитъ Вильямъ Джонъ Байронъ, сынъ Вильяма, пятаго, лорда Байрона, и что поэтому будущій поэтъ становится наслѣдникомъ Ньюстэдскаго аббатства, наслѣдникомъ титула и будущимъ наслѣдственнымъ законодателемъ соединеннаго королевства. Это событіе, однако, тотчасъ же вовсе не отразилось на жизни маленькаго Джорджа Гордона Байрона и его матери. „Худой лордъ", старый лордъ Байронъ не хотѣлъ и слышать о „мальчикѣ изъ Абердина". Да на него и нельзя было разсчитывать. Онъ былъ холоденъ даже къ роднымъ дѣтямъ. Это былъ суровый, злой старикъ. Онъ когда-то убилъ на дуэли своего родственника Чаворта и притомъ при такихъ обстоятельствахъ, что дуэль была слишкомъ похожа на убійство. Если бы не званіе члена палаты лордовъ, онъ былъ бы осужденъ по суду. Дѣло кончилось, однако, исключеніемъ изъ палаты и долгимъ мрачнымъ затворничествомъ въ Ньюстэдскомъ аббатствѣ. Мало надежды было и на его наслѣдство. Онъ могъ не оставить ничего, и „мальчику изъ Абердина", за неимѣніемъ средствъ, тогда нечего было бы и думать о занятіи долго пустовавшаго кресла въ палатѣ господъ, на которое онъ имѣлъ право по рожденію. Въ 1798 году, 19 мая, „худой лордъ", однако, умеръ и „мальчика изъ Абердина" впервые на перекличкѣ въ школѣ вызвали, какъ „dominus". Съ замираніемъ сердца отвѣтилъ этотъ красавецъ и хромоножка, гордый геній и ученикъ народной школы, аристократъ и бѣднякъ свое — „adsum".



Байронъ 7 лѣтъ. Миніатюра въ Vaughan Library въ Гаррoу.

Бурная кровь текла въ жилахъ маленькаго лорда Байрона. Его няня Май Грэ воспитывала львенка. Бурную кровь онъ унаслѣдовалъ и отъ отца, и отъ матери.

Вотъ какъ въ письмѣ къ Дж. Кульману отъ 1823 года характеризуетъ самъ Байронъ жизнь своего отца Джона Байрона, носившаго прозвище: шалый Джэкъ. Дѣло идетъ въ этомъ письмѣ о французской біографіи поэта, приложенной къ переводу его произведеній на фр. яз. Амедея Пишо:

«Но тотъ же авторъ жестоко оклеветалъ моего отца и двоюроднаго дѣда, въ особенности перваго. Отецъ не только не былъ «скотски грубъ» (*brutal*), но напротивъ, по свидѣтельству всѣхъ, кто зналъ его, имѣлъ характеръ чрезвычайно милый и веселый (*enjoué*); онъ только былъ беспеченъ (*insouciant*) и расточителенъ. Онъ слылъ хоро-

шимъ офицеромъ и выказалъ себя такимъ на службѣ въ гвардіи, въ Америкѣ. Эти факты опровергаютъ утвержденіе автора. Ужъ, конечно, не благодаря «скотской грубости» могъ молодой гвардейскій офицеръ плѣнить и увезти маркизу и жениться на двухъ богатыхъ наслѣдницахъ. Правда, онъ былъ очень хорошъ собой, что много значитъ. Первая жена (леди Конаперсъ, маркиза Кармартенъ, умерла не отъ горя, а отъ болѣзни, постигшей ее вслѣдствіе ея собственной неосторожности—будучи еще слабой и не вполнѣ оправившись послѣ рожденія моей сестры Августы, она настояла на томъ, чтобы сопровождать отца на охоту.

Его вторая жена, моя матушка. смѣю васъ увѣрить, была слишкомъ горда. чтобы терпѣть дурное обращеніе отъ кого бы то ни было. Прибавлю, что отецъ жилъ долгое время въ Парижѣ и велъ близкое знакомство со старымъ маршаломъ Бирономъ (*Biron*), командиромъ французскихъ гвардейцевъ, который, по сходству фамилій и вслѣдствіе нашего норманскаго происхожденія, предполагалъ между нами какое-то отдаленное родство. Отцу не было и сорока лѣтъ, когда онъ умеръ, и, каковы бы ни были его недостатки, во всякомъ случаѣ жестокостью и грубостью (*dureté et grossiereté*) онъ не грѣшилъ. Если ваша замѣтка дойдетъ до Англіи. я увѣренъ, что строки, относящіяся къ моему отцу, огорчатъ сестру мою (жену полковника Ли, служившаго при дворѣ покойной королевы, *не* Каролины, а Шарлотты, жены Георга III) еще больше, чѣмъ меня; а она этого не заслуживаетъ, ибо другого такого ангела нѣтъ на землѣ. Августа же всегда любила память нашего отца не меньше. чѣмъ мы любимъ другъ друга, и уже по одному этому можно думать, что она не была омрачена жестокостью. Если отецъ растратилъ свое состояніе, это никого, кромѣ насъ, не касается, ибо мы его наслѣдники; и если мы не коримъ его за это, я не знаю, кто другой вправѣ упрекать его».

Характеръ Екатерины Байронъ опредѣляется въ одномъ письмѣ ея мужа, написанномъ въ годъ смерти изъ Франціи г-жѣ Ли: „Она очень мила на разстояніи, но ни вы, ни всѣ святые апостолы не могли бы прожить съ нею болѣе двухъ мѣсяцевъ; если хоть кто-нибудь могъ выдержать такое испытаніе, такъ это я“.

По собственному признанію поэта, мать сначала очень баловала сына, а позднѣе, опять-таки по его собственнымъ словамъ и какъ это видно изъ переписки, она также заботилась о немъ, старалась, чтобы онъ ни въ чемъ не нуждался, и готова была ради него поступиться своими интересами. Но при этомъ ею руководила всегда, какъ выражается Байронъ, „неудержимая склонность къ скандаламъ“. И въ моменты гнѣва, доходившаго прямо до бѣшенства, она была способна упрекнуть сына за его хромоту и главное по всякому поводу тревожить „останки отца“. Недовольная сыномъ, она вспоминала всѣ преступленія, совершенныя Байронами, начиная „съ Эпохи Вильгельма-Завоевателя“, а себя изображала жертвой и несчастной. Понятное дѣло, что подобныя сцены не могли не отразиться на впечатлительности мальчика, и безъ того - въ силу двойной наслѣдственности—также весьма способнаго къ гнѣвнымъ вспышкамъ. Повидимому, мальчикъ, однако, сдерживался, и тутъ уже рано проявляется его огромная сила воли. Только въ концѣ 1804 года, т. е. уже шестнадцати лѣтъ, поэтъ откровенно пишетъ о своей матери. Онъ называетъ ее „несомнѣнно съумасшедшей“, говоритъ, что не хочетъ проводить съ ней каникулы, и, наконецъ, черезъ нѣкоторое время объявляетъ о необходимости полнаго разрыва. „Неужели эту женщину я долженъ называть матерью?“—восклицаетъ онъ и прибавляетъ, что мать тѣмъ лучше жены, что съ нею легко можно разстаться.

Лучше всего взаимныя отношенія матери и сына видны изъ переписки Байрона съ его сестрой Августой, дочерью Джона Байрона отъ перваго брака, жившей съ бабушкой по матери, лэди Гольдернесъ. Байронъ впервые увидѣлъ свою сестру лишь въ 1802 году, когда лэди Гольдернесъ умерла, потому что мать его была въ ссорѣ съ первой тещей своего мужа.

Но съ этого времени отношенія ихъ стали нѣжно-братскими и оставались до конца дней поэта такимии и послѣ брака Августы съ ея двоюроднымъ братомъ, маіоромъ Ли.

Письмо отъ 25 октября 1804 года ясно отражаетъ близость брата и сестры. Здѣсь Байронъ отзывается и на извѣстіе о любви своей сестры къ маіору Ли, котораго онъ называетъ просто „вашъ двоюродный братъ“. Въ этомъ же письмѣ даже ярко сказывается и надѣлавшее впослѣдствіи столько бѣдъ Байрону его высокомѣріе въ отношеніи къ людямъ. Поразителенъ и общій тонъ письма для 16-ти лѣтняго юноши. Чувствуется какъ рано началась его душевная жизнь. Тутъ же въ постскриптумѣ и первое упоминаніе о ссорахъ съ матерью.

«Дорогая моя Августа,—согласно твоему желанію, а также изъ благодарности за твое милое письмо, спѣшу возможно скорѣй отвѣтить тебѣ. Радъ слышать, что *хоть кто-нибудь* хорошо обо мнѣ отзывается; но если источникъ тотъ, о которомъ ты говоришь, боюсь, что все преувеличено. Отъ мысли, что ты несчастлива, дорогая сестра, я самъ чувствую себя несчастнымъ; еслибъ въ моей власти было облегчить твое горе, ты скоро-бы воспрянула духомъ; такъ какъ этого нѣтъ, я сочувствую тебѣ больше, чѣмъ ты могла ожидать. Но, все-таки, право-же (прости, се-

стренка). мнѣ хочется немножко посмѣяться надъ тобой, ибо, по моему скромному разумѣнію, любовь - сущій вздоръ, простой жаргонъ комплиментовъ, небылицъ и обмана. Что до меня, такъ будь у меня пятьдесятъ любовницъ, я бы за двѣ недѣли перезабылъ ихъ всѣхъ; а еслибы случайно и вспомнилъ о которой-нибудь, то посмѣялся бы надъ этимъ, какъ надъ сномъ, и благословлялъ бы свою счастливую звѣзду за то, что она вырвала меня изъ рукъ лукаваго слѣпого божка. Выкинь ты этого своего кузена изъ своей хорошенькой головки (о *сердцѣ*, я думаю, здѣсь не можетъ быть и рѣчи), или, если ужъ ты такъ далеко зашла, отчего бы тебѣ не бросить стараго Гарпагона (я подразумѣваю генерала) и не сбѣжать въ Шотландію, благо ты теперь такъ близко отъ границы. Не забудь передать поклонъ отъ меня моему опекуну, лорду Карлейлю, чей надменный ликъ я вотъ уже нѣсколько лѣтъ не имѣлъ счастья созерцать и теперь не стремлюсь добиться этой высокой чести. Твоей любимицы, лэди Гертруды, я не помню,—скажи, она хорошенькая? Должно быть, да, ибо хотя весь родъ ихъ непріятный, чопорный, надутый, но собой они нельзя сказать, чтобы были не красивы. Помню, лэди Кавдоръ была хорошенькая, милая женщина; твоя сентиментальная Гертруда не похожа на нее? Я слышалъ, что и герцогиня Рутландская была красива, но объ ея характерѣ мы говорить не будемъ, ибо я ненавижу скандалы.

Прощай, моя прелестная сестричка, прости меня за легкомысліе, пиши скорѣе; храни тебя Боже.

Твой сердечно любящій
братъ *Байронъ*.

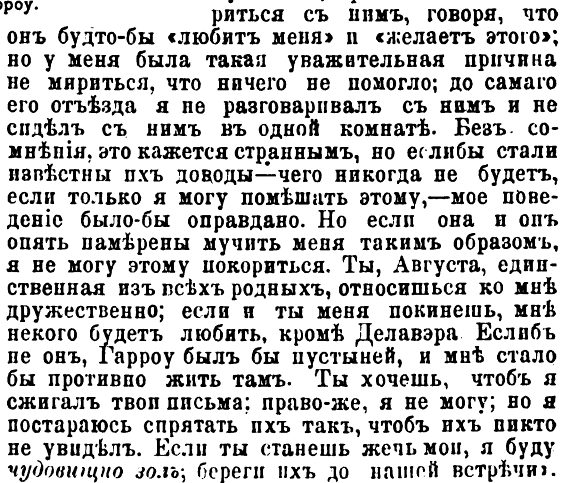
P. S. Я оставилъ матушку въ Саутуэлѣ, въ страшномъ гнѣвѣ на тебя за то, что ты не пишешь. Съ грустью долженъ сказать, что мы со старушкой живемъ не какъ ягната на лугу; но я думаю, что виноватъ во всемъ я самъ: я слишкомъ большой непосѣда, а моей аккуратной мамашѣ это не нравится; мы расходимся во взглядахъ, начинаемъ пререкаться и—къ стыду моему—немножко ссоримся, хотя послѣ бури наступаетъ затишье. Что сталось съ нашей теткой, милой старомодной Софіей? Гдѣ она? Еще въ странѣ живыхъ, или уже воспѣваетъ пѣснопѣнія съ блаженными въ мірѣ иномъ? Прощай—здѣсь мнѣ довольно хорошо и удобно. Друзей у меня немного, хоть отборные; среди нихъ на первое мѣсто ставлю лорда Делавэра; онъ очень мнѣ милъ и мой близкій другъ. Ты знакома съ этой семьей? Лэди Делавэръ часто бываетъ въ городѣ, — ты, можетъ быть, видала ее; если она похожа на сына, это самая милая женщина въ Европѣ. Знакомыхъ у меня куча, но всѣ они для меня не идутъ въ счетъ. Прощай, милая Августа.



МАТЬ БАЙРОНА.
(M-rs Byron, the Poet's Mother).
Современная миніатюра въ Vaughan Library въ Гарроу.

Наиболѣе подробно о послѣднемъ актѣ долгой семейной драмы юности поэта разсказывается въ письмѣ отъ 2-го ноября того же года.

«Теперь, Августа, я скажу тебѣ секретъ; быть можетъ, я покажусь тебѣ непочтительнымъ, но, вѣрь мнѣ, моя привязанность къ тебѣ покоится на болѣе прочномъ основаніи. Мать моя въ послѣднее время вела себя по отношенію ко мнѣ такъ эксцентрично, что я нетолько не чувствую къ ней сыновней любви, но даже съ трудомъ сдерживаю свое отвращеніе. Я не могу пожаловаться на недостатокъ щедрости съ ея стороны, напротивъ, она всегда даетъ мнѣ довольно денегъ на мои расходы и больше, чѣмъ получаетъ или мечтаетъ получать большинство мальчиковъ. Но при всемъ томъ она такъ вспыльчива и нетерпѣлива, что близость вакацій больше пугаетъ меня, чѣмъ другихъ мальчиковъ возвращеніе послѣ праздниковъ въ школу. Прежде она баловала меня; теперь наоборотъ: за каждый пустякъ она коритъ и стыдитъ меня самымъ обиднымъ манеромъ, и всѣ наши споры въ послѣднее время еще обостряются моею ссорой съ предметомъ моей искренней и глубокой ненависти, лордомъ Грэемъ де Руѳинъ (Ruthin). Она требуетъ, чтобъ я объяснилъ, за что я не люблю его, а я не хочу; еслибъ я кому нибудь сказалъ объ этомъ, то, конечно ужъ тебѣ первой, дорогая Августа. Она настаиваетъ также, чтобъ я помирился съ нимъ, и разъ обмолвилась такою странной фразой, что я ужъ было подумалъ—не влюбилась ли въ него наша вдовица. Но я надѣюсь, что нѣтъ, ибо онъ (на мой взглядъ) самый непріятный человѣкъ, какой только есть на свѣтѣ. Въ прошлыя вакаціи онъ разъ пріѣхалъ къ намъ; она грозила, бушевала, просила меня помириться съ нимъ, говоря, что



онъ будто-бы «любитъ меня» и «желаетъ этого»; но у меня была такая уважительная причина не мириться, что ничего не помогло; до самаго его отъѣзда я не разговаривалъ съ нимъ и не сидѣлъ съ нимъ въ одной комнатѣ. Безъ сомнѣнія, это кажется страннымъ, но еслибы стали извѣстны ихъ доводы—чего никогда не будетъ, если только я могу помѣшать этому,—мое поведеніе было-бы оправдано. Но если она и онъ опять намѣрены мучить меня такимъ образомъ, я не могу этому покориться. Ты, Августа, единственная изъ всѣхъ родныхъ, относишься ко мнѣ дружественно; если и ты меня покинешь, мнѣ некого будетъ любить, кромѣ Делавэра. Еслибъ не онъ, Гарроу былъ бы пустыней, и мнѣ стало бы противно жить тамъ. Ты хочешь, чтобъ я сжигалъ твои письма; право-же, я не могу; но я постараюсь спрятать ихъ такъ, чтобъ ихъ никто не увидѣлъ. Если ты станешь жечь мои, я буду *чудовищно золъ*; береги ихъ до нашей встрѣчи».

Приведенныя здѣсь письма Байронъ писалъ изъ Гарроу, одной изъ большихъ такъ называемыхъ „общественныхъ школъ" Англіи, гдѣ получаютъ образованіе дѣти богатыхъ родителей.

Въ Гарроу Байронъ поступилъ 13½ лѣтъ, послѣ очень неправильно полученнаго элементарнаго образованія. При вступленіи во владѣніе Ньюстэдскимъ аббатствомъ г-жа Байронъ покинула Шотландію и поселилась въ мѣстечкѣ Саутуэлѣ, около Ноттингама, по сосѣдству со своимъ новымъ имѣніемъ. Аббатство надо было еще вновь отдѣлать послѣ плохого хозяйничанья „худого лорда". Поэтому старый замокъ, нѣкогда монастырь, былъ отданъ въ аренду упомянутому въ письмѣ къ Августѣ лорду Грэю, и такимъ образомъ дѣтство Байрона тамъ не прошло. Только отъ времени до времени наѣзжалъ онъ туда изъ Ноттингама. Отчасти городскую жизнь должна была предпочесть г-жа Байронъ и ради здоровья сына. Это же здоровье мѣшало и его ученью. Такъ, пока они жили въ Ноттингамѣ, Байронъ лѣчился отъ хромоты у доктора Лэвендера, мучившаго мальчика какими-то приборами, долженствовавшими исправить его парализованную ногу. Въ это время съ нимъ занимался американецъ, оставшійся вѣрнымъ Англіи, д-ръ Роджерсъ. Неудовлетворительность лѣченія Лэвендера, однако, скоро обнаружилась, и опекунъ Байрона, лордъ Карлэйль, посовѣтовалъ обратиться къ д-ру Байли въ Лондонѣ. Тутъ, благодаря матери, занятія мальчика также не пошли вполнѣ правильно. Въ своихъ смѣнявшихъ гнѣвъ порывахъ къ нѣжности г-жа Байронъ слишкомъ часто брала сына изъ рукъ его новаго теперь учителя, д-ра Гленни, и оставляла его дома. Но новая система лѣченія опять не привела ни къ чему и тогда-то Байрона, наконецъ, оставили въ покоѣ и отдали въ настоящее учебное заведеніе. Извѣстно, что со своей хромотой онъ лучше всего съумѣлъ справиться самъ, такъ же точно, какъ самъ, своими средствами, онъ съумѣлъ отдѣлаться и отъ унаслѣдованной отъ матери тучности.

Въ Гарроу Байронъ попалъ въ руки директора школы Іосифа Дрэри, хорошо понявшаго, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло. Онъ не отвергъ плохо приготовленнаго, но высокоталантливаго мальчика и старался постепенно ввести его въ рутину стариннаго учебнаго заведенія съ его системой фэговъ, т. е. подчиненія младшихъ старшимъ, съ старомоднымъ обученіемъ древнимъ языкамъ и, наконецъ, съ его непривычной для молодого лорда дисциплиной. Этотъ Іосифъ Дрэри, котораго Байронъ въ письмѣ къ сестрѣ называетъ „самымъ отличнымъ изъ извѣстныхъ ему клерджимэновъ", и остался навсегда свѣтлымъ воспоминаніемъ поэта.

Въ большихъ англійскихъ школахъ, кромѣ научнаго образованія, до сихъ поръ крайне своеобразнаго, молодежь занята еще тремя вещами, которыя потомъ холитъ и лелѣетъ каждый англичанинъ и отъ которыхъ зависитъ его успѣхъ въ жизни. Это— спортъ, краснорѣчіе и дружба.

Всевозможныя игры: футтболъ, крокетъ, боксъ, бѣганье взапуски, гребля—все это въ глазахъ англичанина необходимо для настоящаго человѣка. Это поддерживаетъ его здоровье, даетъ энергію и, при важной роли, какую играетъ спортъ въ англійской жизни, способствуетъ даже положенію въ обществѣ. Дружба даетъ связи, вводитъ въ жизнь въ этой странѣ, гдѣ клубы составляютъ самый центръ всѣхъ проявленій общественности. Мужская дружба въ Англіи превознесена и освящена традиціей. Друзья даютъ человѣку репутацію, поддерживаютъ и ведутъ въ жизни. Нечего говорить, что въ классической странѣ парламентаризма, митинговъ, избирательнаго права и бьющей ключомъ политической сознательности краснорѣчіе не только рычагъ и не только важное подспорье, но нѣчто необходимое всякому, кто не хочетъ остаться въ своемъ углу, почти каждодневное орудіе борьбы. Школы отвѣчаютъ на эти запросы и въ то же время привычка заставляетъ школьную рутину идти по тому же пути, какой установился въ жизни.

Вступивъ въ Гарроу, Байронъ впервые вышелъ изъ естественно узкаго круга домашнихъ знакомыхъ и родственниковъ своей матери и увидѣлъ свѣтъ.

На первыхъ порахъ онъ не могъ ему улыбнуться. Огромная требовательность и къ себѣ, и къ окружающимъ встрѣтилась со множествомъ препятствій. Наслѣдственный законодатель, гордый до высокомѣрія, онъ все-таки былъ сравнительно бѣденъ. Даже процессъ, выигранный въ пользу его завѣдывавшимъ его дѣлами Гансономъ и увеличившій его состояніе на цѣлыхъ 30000 фунтовъ (около 300000 рубл.), не дѣлалъ его еще достаточно богатымъ. Слишкомъ богата была среда, къ которой онъ принадлежалъ. Связей не было. Кресло Байро-



МАТЬ БАЙРОНА. (M-rs Byron).

Съ портрета Стюардсона (Stewarason).

новъ давно пустовало въ палатѣ, а г-жа Байронъ почти порвала съ высшимъ свѣтомъ. Волкомъ долженъ былъ поэтому сначала смотрѣть въ аристократической школѣ нашъ поэтъ и скорѣе какъ пришлецъ пріобрѣтать друзей, чѣмъ сразу занять то положеніе, какое могло бы польстить его ненасытному самолюбію. Но главное—хромота. Хромой красавецъ страдалъ отъ этого недостатка, дѣлавшаго ему недоступнымъ множество упражненій, которыя тѣшили его товарищей и приносили популярность, почти славу. Огромнымъ напряженіемъ воли надо было при такихъ обстоятельствахъ завоевать себѣ шагъ за шагомъ расположеніе и почетъ. Но тутъ уже такъ рано начала сказываться внутренняя сила и обаятельность Байрона. Въ физическихъ упражненіяхъ онъ не только не отстаетъ отъ другихъ, но даже опережаетъ очень многихъ. Въ спискахъ игроковъ въ крокетъ, когда воспитанники Гарроу вступали въ состязаніе съ воспитанниками Итона, встрѣчается и имя Байрона, что показываетъ, какимъ хорошимъ игрокомъ его считали въ школѣ. Но болѣе всего увлекается Байронъ плаваньемъ. Въ водѣ вовсе не видно хромоты и она нисколько не мѣшаетъ. Упражненіе въ этомъ спортѣ сдѣлало его однимъ изъ лучшихъ пловцовъ міра. Въ его перепискѣ рано начинаютъ попадаться упоминанія въ родѣ того, что онъ проплылъ недавно по Темзѣ три мили, не останавливаясь. Такъ отвоевывалъ Байронъ себѣ положеніе среди товарищей.

Гораздо легче было, конечно, блеснуть поэту своими умственными совершенствами. Въ Гарроу происходили соревнованія въ краснорѣчіи. Будущій членъ палаты лордовъ естественно увлекся этимъ искусствомъ. Онъ считалъ его своимъ и принадлежащимъ ему по праву. И онъ успѣлъ и тутъ. Директоръ школы, Дрэри, считалъ его будущимъ великимъ ораторомъ. Объ этихъ успѣхахъ Байронъ писалъ своей сестрѣ Августѣ 6-го августа 1805 года. Характерно тутъ также обостреніе отношеній съ матерью.

«Ну-съ, дражайшая Августа, вотъ я и снова въ домѣ моей матери, который вмѣстѣ съ его хозяйкой *пріятенъ*, какъ всегда. Въ настоящую минуту я сижу *vis-à-vis* и *tête à tête* съ этой милой особой, которая, въ то время, какъ я пишу тебѣ, разливается въ жалобахъ на твою *ingratitude*, косвенно давая мнѣ понять, что мнѣ бы не слѣдовало переписываться съ тобой, и въ заключеніе заявляетъ, что если когда нибудь, по истеченіи срока моего несовершеннолѣтія, я приглашу тебя въ свой домъ, *она* никогда болѣе не удостоитъ осчастливить его своимъ *августѣйшимъ* присутствіемъ. Представь себѣ, смѣха ради, мою торжественную физіономію, приличествующую моменту, и *кротость агнца* въ лицѣ ея сіятельства, которое, по контрасту съ моимъ *ангелоподобнымъ visage*, являетъ собою *поразительный образчикъ фамильной живописи*, а на заднемъ планѣ портреты моего прадѣда и прабабушки, которые словно съ жалостью смотрятъ изъ рамокъ на своего *злополучнаго потомка*, по своимъ *достоинствамъ* и *дарованіямъ* заслуживающаго *менѣе суровой участи*. Въ этомъ *саду Эдема* мнѣ предстоитъ провести цѣлый мѣсяцъ; въ Кэмбриджъ я не поѣду до октября, но въ сентябрѣ отправляюсь гостить въ Гэмпширъ, гдѣ и останусь до начала занятій. А пока, Августа, твои *сочувственныя* письма должны до извѣстной степени смягчать мои горести, хотя и слишкомъ смѣшныя, для того, чтобъ очень принимать ихъ къ сердцу но, *право-же*, болѣе *непріятныя*, чѣмъ *забавныя*.

Я думаю, ты нѣсколько удивилась, не найдя въ газетахъ моего высокопочтеннаго

имени въ числѣ ораторовъ нашего второго дня рѣчей, но на бѣду какой то умникъ, бывавшій прежде въ Гарроу, вычеркнулъ *заслуги* Лонга, Фаррера и мои, хотя мы трое всегда считались первыми по краснорѣчію въ Гарроу, и, въ видѣ мистификаціи, счелъ нужнымъ напечатать панегирикъ тѣмъ ораторамъ, которые въ сущности скорѣе провалились, чѣмъ отличились, вѣроятно, думая, что это будетъ очень *остроумно*, если лучшіе останутся за флагомъ, а худшіе будутъ названы въ печати; этимъ и объясняется *грубое замалчиваніе* моихъ *высокихъ дарованій*. Быть можетъ, это было сдѣлано съ цѣлью посбавить намъ спеси, которая могла-бы слишкомъ разрастись послѣ лестныхъ замѣтокъ объ ораторскомъ искусствѣ, обнаруженномъ нами въ первый день; какъ-бы то ни было, въ отчетѣ о второмъ о насъ не упомянуто, на удивленіе всему Гарроу. Таковы *разочарованія*, постигающія насъ, *великихъ людей*, и надо привыкать переносить ихъ философски, особенно когда они вытекаютъ изъ потугъ на остроуміе. Вдобавокъ, мнѣ въ то время очень нездоровилось, и, окончивъ свою рѣчь, я до того усталъ, что принужденъ былъ выйти изъ залы. Я простудился оттого, что спалъ на сырыхъ простыняхъ; это и было причиной моего нездоровья.

Ко времени пребыванія въ Гарроу относится тотъ знаменитый эпизодъ біографій Байрона, который отразился въ цѣломъ рядѣ его стихотвореній и особенно воспѣтъ въ „Снѣ". Ярче всего характеризовалъ его самъ Байронъ въ „Чайльдъ Гарольдѣ":

О многихъ женщинахъ вздыхая,
Одну лишь только онъ любилъ.

Въ сентябрѣ 1803 года послѣ лѣтнихъ каникулъ Байронъ не вернулся въ Гарроу. Возникла переписка. Д-ръ Дрэри писалъ ему письма и не получалъ отвѣта. Онъ обратился къ Гансону, а тотъ писалъ г-жѣ Байронъ. Въ то же время Байронъ писалъ матери извинительныя письма, увѣряя, что никакъ не можетъ покинуть Ньюстэдъ. Онъ просилъ хоть одинъ день позволить ему провести еще здѣсь. Въ письмѣ г-жи Байронъ къ Гансону находится разгадка. Байронъ, какъ выражается его мать, „боленъ самой скверной изъ всѣхъ болѣзней": онъ безнадежно влюбленъ въ миссъ Чавортъ, сосѣдку по имѣнію, жившую съ родителями въ замкѣ Анслэй. „Если бы мой сынъ уже былъ на возрастѣ, а дѣвушка не была невѣстой,—это послѣдняя партія, какую бы я могла допустить",—говоритъ объ этомъ г-жа Байронъ. Почему это такъ, объясняетъ упоминаніе самого Байрона объ этой любви въ „Отрывочныхъ мысляхъ" 1821 года.

«Въ пятнадцать лѣтъ мнѣ случилось разъ въ графствѣ Дерби переѣзжать на лодкѣ (въ которой могли помѣститься только двое, и то лежа) черезъ рѣчку, протекающую подъ скалою, причемъ скала такъ низко нагнулась надъ водой, что провести лодку можетъ только перевозчикъ, (нѣчто вродѣ Харона), идущій сзади, подталкивая корму и все время нагибаясь. Моею спутницей была М. А. Ч., въ которую я давно уже былъ влюбленъ, и не признавался въ этомъ, хотя *она* и догадалась. Я отлично помню свои ощущенія, но не могу описать ихъ—и не нужно.

Мы ѣхали компаніей—нѣкій м-ръ В., двѣ миссъ В., м-рсъ Кл—къ, миссъ М. и *моя М. А. Ч. Увы!* зачѣмъ я говорю: *моя?* Нашъ бракъ примирилъ бы распрю, въ которой проливали кровь наши отцы, соединилъ бы обширныя и богатыя помѣстья. Онъ соединилъ-бы, по крайней мѣрѣ, *одно* сердце и двухъ людей, не слишкомъ неподходящихъ другъ къ другу по возрасту (она на два года старше меня); и—и—и—что же вышло? *Она* вышла замужъ за человѣка много старше себя, была несчастна въ бракѣ и развелась съ мужемъ. Я женился—и развелся: и все таки *мы не* соединились».

Можетъ быть, судя по этой замѣткѣ, именно то, что миссъ Чавортъ происходила отъ убитаго пятымъ лордомъ Байрономъ Чаворта, подогрѣвало любовь въ романтическомъ сердцѣ юноши.

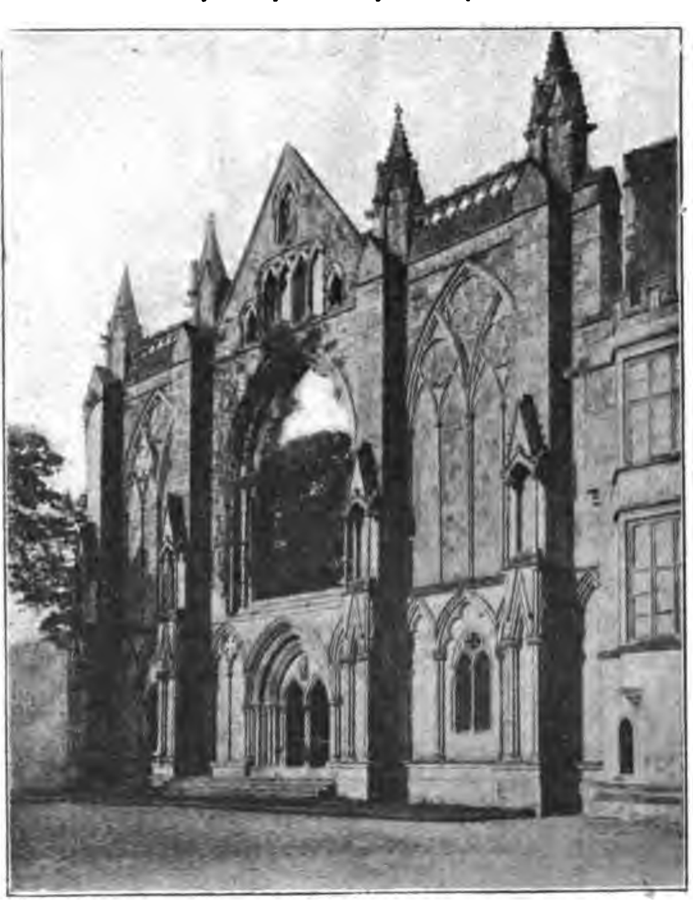
Миссъ Чавортъ скоро вышла замужъ за г-на Мэстерса и, какъ видно изъ того же письма матери поэта, уже въ то время была невѣстой. Изъ „Сна" Байрона ясно, что это былъ бракъ по любви, и объ успѣхѣ мальчика Байрона не могло быть поэтому и рѣчи. Чувство его, однако, было не по лѣтамъ. Гораздо позднѣе, въ 1808 году, когда Байронъ жилъ въ Ньюстэдѣ, кутилой и ненасытнымъ искателемъ всевозможныхъ наслажденій, онъ, встрѣтившись съ г-жей Мэстерсъ на одномъ званомъ обѣдѣ, разсказываетъ объ этомъ вотъ въ какихъ выраженіяхъ:

«Гобгоузъ и вашъ покорный слуга все еще здѣсь. Гобгоузъ охотится etc., я ничего не дѣлаю; на-дняхъ мы обѣдали у сосѣда-помѣщика и жалѣли о вашемъ отсутствіи, ибо тамошній цвѣтникъ трудно сравнить съ нашимъ послѣднимъ «праздникомъ разума». Вы знаете, что смѣхъ есть отличительная черта разумнаго животнаго; такъ, по крайней мѣрѣ, говоритъ д-ръ Смоллетъ. Я тоже это думаю, но, къ несчастью, мое настроеніе не всегда идетъ объ руку съ моими взглядами. Да мнѣ въ тотъ день было и не до смѣха: меня посадили рядомъ съ женщиной, въ которую я мальчикомъ былъ влюбленъ, какъ умѣютъ влюбляться мальчики, и больше, чѣмъ полагается мужчинѣ. Я заранѣе зналъ, что она тамъ будетъ, и рѣшилъ быть храбрымъ и бесѣдовать съ нею съ полнымъ *sang froid*; по вмѣсто того—куда дѣвалась моя храбрость и моя *nonchalance!* Я не то что не смѣялся, а прямо-таки рта не раскрывалъ, и моя дама держала себя почти такъ же нелѣпо, какъ я; благодаря этому, на насъ обращали гораздо больше вниманія, чѣмъ если бы мы выказывали другъ другу спокойное равнодушіе. Все это покажется вамъ очень нелѣпымъ; если бъ вы тамъ были, вы бы нашли это еще болѣе забавнымъ. Какіе мы глупые! Плачемъ изъ-за игрушки, а сами, какъ дѣти, не успокоимся до тѣхъ поръ, пока не сломаемъ ее, хотя не можемъ, какъ дѣти, избавиться отъ нея, бросивъ ее въ огонь»

Такимъ же тономъ говоритъ Байронъ и о новомъ еще свиданіи въ 1814 году. И характерно, что во всѣхъ шести томахъ обнародованной теперь его переписки имя г-жи Мэстерсъ упоминается только разъ, когда поэтъ проситъ кого-то сообщить зачѣмъ-то лорду и лэди Портсмутъ, что она въ Лондонѣ. О своей любви къ ней онъ, очевидно, не имѣлъ привычки говорить. Это была его святыня. Даже въ письмахъ къ невѣстѣ, когда онъ упоминаетъ о любви къ Мэри, онъ не называетъея имени. Лишь въ автобіографическомъ письмѣ къ Кульману, 1823 года, откуда былъ приведенъ разсказъ объ отцѣ поэта, разсказываетъ о ней Байронъ, опять вспоминая объ убійствѣ Чаворта, и о возможности обѣимъ семьямъ соединиться въ его и ея лицѣ.

Въ 1805 году послѣдніе экзамены въ Гарроу были сданы и предстояло поступить въ университетъ. [1]) Байронъ хотѣлъ ѣхать въ Оксфордъ; но дѣло неустроилось, и онъ оказался въ Кэмбриджѣ въ знаменитомъ колледжѣ Троицы.

Теперь нашъ поэтъ уже не мальчикъ. Тонъ его писемъ мѣняется. Онъ требуетъ отъ завѣдывавшаго его дѣлами Гансона, чтобы тотъ давалъ ему возможность самому распоряжаться своимъ состояніемъ, даже помимо матери. Рядомъ съ этимъ г-жа Байронъ проситъ выдавать 500 фунтовъ, назначенныхъ казначействомъ на воспитаніе молодого лорда, ему прямо на руки, а сама видимо начинаетъ довольствоваться малымъ. Въ колледжѣ Троицы для Байрона отдѣлываются комнаты съ такой роскошью и такъ основательно, что готовы онѣ оказываются лишь черезъ два года, когда поэтъ уже собрался бросить университетъ. Какъ онъ самъ говоритъ, онъ остался тамъ отчасти ради этихъ комнатъ. Въ письмахъ Байрона университетскаго періода впервые сказывается также тотъ тонъ насмѣшки рѣшительно надъ всѣмъ, отношенія къ жизни съ самымъ легкомысленнымъ высокомѣріемъ и нѣсколько поверхностнымъ скептицизмомъ. Онъ любитъ животныхъ; у него собаки, и въ томъ числѣ знаменитый ньюфаундлэндъ Ботсвэнъ, названный по смерти „единственнымъ другомъ“ и торжественнымъ образомъ похороненный въ Ньюстэдѣ; поэтъ держитъ лошадей, птицъ и даже ручного медвѣженка. Животныя лучше людей. Это теперь навсегда установлено. Такъ рѣшилъ молодой повѣса, уже познавшій жизнь. Въ одномъ письмѣ онъ говоритъ, что засмотрѣлся какъ-то на одну даму, потому что принялъ ее за свою знакомую по Саутуэлю, и когда ихъ глаза встрѣтились, онъ покраснѣлъ, но—не она; о, какъ безстыдны женщины, не то, что его сучка-терьеръ Фанни! Болѣе всего онъ ненавидитъ теперь Саутуэль. Неужели можно было тамъ жить? Теперь если онъ и заѣдетъ туда, чтобы видѣть мать, то на самое короткое время.



НЬЮСТЭДСКОЕ АББАТСТВО.

Западный фасадъ.

Львенокъ начинаетъ упиваться свободой

[1]) Рядъ подробностей о школѣ въ Гарроу читатель найдетъ въ настоящемъ томѣ въ «Часахъ Досуга» и примѣчаніяхъ къ нимъ.

поэтомъ-писателемъ, сразу добывающимъ себѣ и признаніе, и положеніе въ литературномъ мірѣ.

Писать онъ сталъ, по собственному признанію, очень рано:

«Мои первыя попытки въ области поэзіи относятся къ 1800 г., когда я изливалъ свою страсть къ моей кузинѣ Маргаритѣ Паркеръ (дочери и внучкѣ обоихъ адмираловъ Паркеровъ), изъ всѣхъ эфемерныхъ существъ прелестнѣйшему. Я давно забылъ стихи, но забыть ее мнѣ было бы трудно. Эти темные глаза, эти длинныя рѣсницы, этотъ чудный, чисто греческій обликъ лица и всей фигуры! Мнѣ шелъ тогда двѣнадцатый годъ—она была, пожалуй, на годъ старше. Года два спустя, она умерла отъ ушиба при паденіи, повредившаго ей спину и вызвавшаго чахотку. Ея сестра, Августа (которую иные находили еще красивѣе), умерла отъ той же болѣзни; когда Маргарита ухаживала за ней, и случилось это несчастье, бывшее причиной ея собственной смерти. Моя сестра разсказывала мнѣ, что, когда она поѣхала навѣстить больную незадолго до ея смерти и въ разговорѣ случайно назвала мое имя, Маргарита вся вспыхнула сквозь блѣдность смерти, покрывавшую ея лицо, къ большому удивленію моей сестры, которая (живя въ то время у своей бабушки, лэди Голдернессъ), по семейнымъ обстоятельствамъ, рѣдко видалась со мной, ничего не знала о нашей взаимной привязанности и не могла понять, почему мое имя такъ взволновало больную. А я и не зналъ о ея болѣзни (жилъ я тогда въ Гарроу и въ деревнѣ) до самой ея кончины.

Нѣсколько лѣтъ спустя, я попробовалъ написать элегію. Очень грустную. Я не знаю ничего, что могло бы сравниться съ *прозрачной* красотой моей кузины или съ кротостью ея характера въ недолгій періодъ нашей близости. Она казалось, была соткана изъ лучей радуги—вся покой и красота.

Моя страсть отражалась на мнѣ обычными явленіями: я не могъ ѣсть, не находилъ себѣ мѣста отъ безпокойства, и хотя я имѣлъ основаніе быть увѣреннымъ, что Маргарита любитъ меня, для меня было мукой думать о томъ, сколько времени еще пройдетъ, пока мы свидимся снова—цѣлыхъ *двѣнадцать часовъ* разлуки! Но я былъ глупъ тогда, да и теперь не сталъ умнѣе».

Призваніе къ поэзіи Байронъ почувствовалъ, однако, позднѣе.

Въ Гарроу онъ считалъ себя еще по преимуществу ораторомъ. „Въ школѣ,—пишетъ онъ въ своихъ „Отрывочныхъ мысляхъ“,—

«Я сразу выдѣлился *общимъ* своимъ развитіемъ и разносторонностью свѣдѣній, но во всемъ прочемъ былъ лѣнивъ; способенъ былъ на неожиданныя крупныя усилія (напримѣръ, выучить наизусть тридцать-сорокъ греческихъ гекзаметровъ—съ какими удареніями, это ужъ одному только Богу извѣстно), но неспособенъ былъ къ упорному, тяжелому труду. Я проявлялъ больше храбрости и ораторскихъ, чѣмъ поэтическихъ дарованій. и д-ръ Дрэри, сильно покровительствовавшій мнѣ (директоръ нашей школы), былъ увѣренъ, что изъ меня выйдетъ ораторъ; въ этомъ его убѣждало все—плавность моей рѣчи, мой голосъ, богатство интонацій, мимика и безпокойный нравъ. Помню, когда я въ первый разъ читалъ стихи, у насъ на репетиціи, онъ до того былъ пораженъ, что осыпалъ меня комплиментами—что для него было довольно необычно, ибо на похвалы онъ не былъ щедръ. Первые же мои стихи, написанные въ Гарроу (англійское упражненіе въ версификаціи), переводъ хора изъ Эсхилова *Прометея*, были приняты имъ довольно холодно: никому и въ голову не приходило, что впослѣдствіи я посвящу себя поэзіи».

Если Байронъ приводитъ здѣсь, такъ поздно, уже въ 1821 году, когда написанъ этотъ отрывокъ, мнѣніе д-ра Дрэри, не значитъ ли это, что онъ самъ раздѣлялъ его, мечтая о своей будущей дѣятельности въ палатѣ лордовъ?

Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше его тянуло къ поэзіи, и въ Гарроу, и потомъ въ Кэмбриджѣ. И Байронъ былъ окруженъ восторженными поклонниками своего таланта. Сквозь его дѣланно-легкомысленную переписку трудно прозрѣть литературно-художественные интересы того кружка свѣтскихъ повѣсъ, которые окружали Байрона; но интересы эти были. То тамъ, то сямъ проскальзываетъ въ письмахъ упоминаніе о прочтенной книгѣ, воспоминаніе изъ поэмы. Особенно съ миссъ Пиготъ сближали Байрона его поэтическія увлеченія. Эта провинціальная дѣвица была его первой литературной поклонницей, а, можетъ быть, по своему и руководительницей. Любопытно, что въ одномъ сохранившемся письмѣ ея къ матери Байрона она говоритъ: „я смотрю на это (дѣло идетъ объ „Англійскихъ бардахъ и шотландскихъ обозрѣвателяхъ“), какъ на произведеніе въ высокой степени законченное; лордъ Байронъ, конечно, взялъ пальму первенства среди всѣхъ нашихъ поэтовъ“.

Если такіе отзывы попадаются въ письмахъ, то схожіе Байронъ долженъ былъ слышать отъ своихъ близкихъ и на словахъ. Лестные отзывы читалъ о себѣ Байронъ и въ нѣкоторыхъ журналахъ.

Но вотъ, въ 1808 году этотъ страстный поэтъ-дэнди, влюбленный въ успѣхъ и въ радость, гордый и самолюбивый, какъ можетъ быть самолюбивъ лишь тотъ, кто своими усиліями достигалъ въ жизни чего хочетъ, превозмогая препятствія, но вѣря въ свое избранничество, этотъ пасынокъ, а одновременно и баловень судьбы читаетъ знаменитую рецензію на свою книгу въ „Единбургскомъ Обозрѣніи“. Это было первое настоящее испытаніе, первое злое

привѣтствіе жизни. Передъ нимъ блѣднѣли эти мучавшія съ дѣтства противорѣчія хромоты и красивыхъ чертъ лица, бѣдности и провинціальнаго воспитанія и званія члена палаты господъ. Омраченый съ дѣтства нравъ поэта сталъ истинно мрачнымъ.

Они не признали, они рѣшились увѣрять его, что „однѣ риѳмы въ концѣ строкъ вмѣстѣ съ извѣстнымъ количествомъ стопъ... еще не суть поэзія"; они осмѣлились попросить его „повѣрить, что... поэма, чтобъ ее читали въ наши дни, должна заключать въ себѣ, по крайней мѣрѣ, хоть одну мысль, отличную отъ того, что уже раньше было сказано другими поэтами!" И главное они ударили по немъ его собственнымъ оружіемъ. Мы знаемъ, что въ предисловіи высокомѣрно заявлялось, что авторъ книжки не „литераторъ", что онъ набросалъ все это мимоходомъ; конечно,—сказали они,—да, вы не поэтъ, наслаждайтесь же вашимъ величіемъ лорда, намъ отъ васъ ничего не нужно, откуда пришли, туда и уходите. Это было не въ бровь, а въ глазъ. Молодой поэтъ хотѣлъ сдѣлать видъ, будто онъ, знатный дэнди, еще ребенкомъ написалъ нѣсколько стихотвореній и ихъ нашли геніальными, а самъ работалъ надъ своими стихами, и многіе изъ нихъ четыре раза напечаталъ раньше, чѣмъ показать ихъ публикѣ. Человѣкъ, хорошо знавшій Байрона, равный ему по рожденію, уличилъ его и подсмѣялся надъ нимъ, и говорилъ при этомъ не съ заносчивостью дурного тона, а съ достоинствомъ человѣка, взявшагося за литературное дѣло, съ уваженіемъ и къ себѣ, и къ дѣлу. Рецензія была написана лордомъ Брумомъ.

Молодому поэту, почти мальчику, этому львенку, еще стоявшему на порогѣ своей клѣтки, несмотря на то, что онъ считаетъ себя уже знатокомъ жизни, несмотря на его скептицизмъ и на огромный природный умъ, молодому поэту невѣдомый литературный міръ, гдѣ онъ готовился царить и откуда теперь была получена эта оплеуха, естественно долженъ былъ именно казаться этимъ неопредѣленнымъ: „они". Издали гдѣ было разобрать отдѣльныхъ лицъ?

И львенокъ рѣшилъ бросить „имъ" вызовъ. Онъ покажетъ себя. Онъ заставитъ себя уважать. Онъ станетъ поэтомъ, первымъ поэтомъ, невзирая ни на что. Онъ вырветъ себѣ и этотъ почетъ. Такъ возникла его сатира на англійскихъ бардовъ и шотландскихъ обозрѣвателей. Вышла она сначала анонимно и имѣла успѣхъ скандала. Въ 1810 году печаталось, однако, уже ея 4-е изданіе, со второго носившее имя отвергнутаго автора „Часовъ досуга". Львенокъ ворвался въ литературный міръ. Направленныя на него стрѣлы не испугали его: „эти бумажныя пули остроумія только научили меня стоять подъ огнемъ",—пишетъ онъ о своемъ первомъ неуспѣхѣ.

Совершенно такой же внутренній смыслъ, какъ и первый выходъ на литературное поприще, имѣло и вступленіе Байрона въ палату. И тутъ проявляется одиночество и даже нѣкоторая отверженность, съ одной стороны, и, какъ бы въ отвѣтъ на это, чрезмѣрное высокомѣріе, съ другой.

Не зная никого въ палатѣ лордовъ болѣе близко, чѣмъ своего бывшаго опекуна лорда Карлэйля, Байронъ обратился къ нему съ просьбой ввести его и представить предсѣдательствующему. Но лордъ Карлэйль на это лишь послалъ Байрону уставъ палаты. Это былъ отказъ. Байронъ явился тогда одинъ, и случайно встрѣтившій его Далласъ ввелъ его, этимъ еще болѣе подчеркивая одиночество молодого лорда. Холодно прослушалъ Байронъ обычное привѣтствіе. Онъ не проронилъ ни слова. Молча занялъ онъ свое мѣсто въ рядахъ оппозиціи и тотчасъ ушелъ, показавъ этимъ, что пришелъ лишь взять то, что ему принадлежитъ по праву, независимый и враждебный, откладывая на другое время свое вмѣшательство въ государственныя дѣла. Насколько одинокъ былъ Байронъ въ высшемъ свѣтѣ, видно изъ того, что даже своихъ ближайшихъ родственниковъ онъ не зналъ. Въ одномъ изъ писемъ къ сестрѣ онъ сообщаетъ, напримѣръ, что только что былъ представленъ своей двоюродной сестрѣ, Юліи Байронъ. Оттого, когда онъ пишетъ Августѣ, онъ какъ-то особенно напираетъ на свою любовь къ одиночеству. „Я живу одинъ,—пишетъ онъ,—и по своему; это лучше подходитъ къ моимъ вкусамъ". И объ этомъ одиночествѣ онъ пишетъ часто, упорно, подчеркивая его и будто бередя больную рану. Молодой львенокъ былъ уже раненъ и рычалъ въ своемъ углу. Уязвленный въ своихъ литературныхъ стремленіяхъ, уязвленный въ своемъ самолюбіи пэра Англіи, въ первомъ случаѣ онъ отвѣтилъ сатирой, а во второмъ еще готовился къ мести и къ завоеванію.

Въ такомъ настроеніи было задумано его большое путешествіе на Востокъ.

11 іюня 1809 года уже находился поэтъ въ Фальмутѣ, корнваллійской пристани, и



ГАРРОУ.

ждалъ попутнаго вѣтра. Съ нимъ былъ Гобгоузъ. Прислуга его состояла изъ Флетчера, Муррея и Руштона, мальчика, исполнявшаго обязанности пажа. Изъ Фальмута Байронъ шлетъ матери письмо, сквозь прозаическія подробности и насмѣшливый тонъ котораго такъ ярко сквозитъ чувство полнаго одиночества и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокоуязвленнаго первою неудачею самолюбія:

Дорогая матушка,—я уѣзжаю на пароходѣ черезъ нѣсколько дней, по всей вѣроятности, раньше, чѣмъ до васъ дойдетъ это письмо. Флетчеръ такъ просилъ меня, что я согласился оставить его у себя на службѣ. Если онъ будетъ дурно вести себя заграницей, я отправлю его домой на транспортѣ. Со мной ѣдутъ: нѣмецъ лакей (онъ уже былъ въ Персіи съ м-ромъ Цибрэгэмомъ, и его очень рекомендовалъ мнѣ д-ръ Бутлеръ изъ Гарроу) Робертъ и Вильямъ *) вотъ и вся моя свита. Я вамъ буду посылать вѣсточки изо всѣхъ портовъ, куда мы будемъ заходить, но не тревожьтесь, если письма будутъ пропадать. Скоро въ Ньюстэдъ будетъ посланъ мой портретъ масляными красками **). Желалъ бы я, чтобы дѣвицы Пиготъ занялись чѣмъ нибудь болѣе полезнымъ, вмѣсто того, чтобы возить мои миніатюры въ Ноттингэмъ и снимать съ нихъ копіи. Но разъ уже онѣ это сдѣлали, вы бы попросили ихъ срисовать и портреты другихъ (авторовъ), болѣе любимыхъ, чѣмъ я. Что касается денежныхъ дѣлъ, я разоренъ—по крайней мѣрѣ, пока не будетъ проданъ Рокдэль, а если изъ этого ничего путнаго не выйдетъ, я поступлю на службу, русскую или австрійскую—можетъ быть, даже турецкую, если мнѣ придутся по душѣ тамошніе обычаи. Передо мною открытъ весь міръ; Англію-же я покидаю безъ сожалѣнія и безъ желанія снова увидѣть тамъ что бы то ни было, кромѣ васъ и вашей теперешней резиденціи.

P. S. Скажите, пожалуйста, м-ру Руштону, что его сынъ здоровъ и ведетъ себя изрядно; точно такъ же и Муррэй *); онъ, право, отлично выглядитъ, я еще не видалъ его такимъ; домой онъ вернется черезъ мѣсяцъ, или около того. Забылъ прибавить, что мнѣ немножко жаль разстаться съ Мурреемъ; онъ въ такихъ лѣтахъ, что, пожалуй, больше я его и не увижу. Роберта беру съ собой; онъ мнѣ нравится—быть можетъ, потому, что онъ, подобно мнѣ, животное, не имѣющее друзей.

Байронъ пространствовалъ на Востокѣ ровно два года. Путешествіе его началось съ Португаліи и Испаніи. Отсюда, съ заѣз-

*) Робертъ Руштонъ и Вильямъ Флетчеръ—«маленькій пажъ» и «вѣрный слуга» изъ знаменитаго «Прости» Чайльдъ-Гарольда, пѣснь I, строфа XIII.

**) Знаменитый портретъ, писанный Джорджемъ Сандерсомъ, помѣщенъ въ настоящемъ томѣ.

*) Джо Муррэй былъ отправленъ на родину изъ Гибралтара, и съ нимъ уѣхалъ заболѣвшій тоской по родинѣ Робертъ Руштонъ.



ВНѢШНІЙ ВИДЪ ШКОЛЫ ВЪ ГАРРОУ ВО ВРЕМЕНА БАЙРОНА.

(Harrow School in Byron's day).

дами на Корсику и въ Сицилію, онъ направился въ Албанію, и здѣсь въ Янинѣ былъ начатъ „Чайльдъ Гарольдъ". Дальше ему предстояло побывать въ Константинополѣ и два раза посѣтить Грецію. Во время пребыванія въ Константинополѣ Байронъ, подобно Леандру, переплылъ отъ Сестоса до Абидоса, хотя,—замѣчаетъ онъ въ одномъ изъ писемъ,—никакая Геро не ожидала его тамъ.

Переписка Байрона за это время сравнительно скудна. Онъ часто говоритъ въ письмахъ, что ему мало кто пишетъ. Онъ жалуется на молчаніе даже повѣреннаго въ дѣлахъ Гансона. Изъ друзей только уже во второй годъ онъ пишетъ Годжсону и Дрэри. Главная переписка его—съ матерью, переселившейся теперь въ Ньюстэдъ. Изъ писемъ къ матери особенно знамениты два длинныхъ письма, описывающія его похожденія,—одно изъ Гибралтара, а другое изъ Албаніи, гдѣ описано оказанное ему гостепріимство. Какъ эти письма, такъ и другія, относящіяся къ путешествію на Востокъ, читатель найдетъ въ I ч. настоящаго изданія, въ примѣчаніяхъ къ „Чайльдъ-Гарольду". Первыя 2 пѣсни поэмы въ значительной степени тоже прямой дневникъ путешествія на Востокъ.

Во второй годъ своихъ странствованій длинныхъ описаній Байронъ уже не посылалъ. Онъ обжился на Востокѣ. Его менѣе поражало то, что онъ видѣлъ вокругъ себя. Мысль стала, напротивъ, сосредоточиваться на самомъ себѣ, на своемъ положеніи разореннаго лорда, разореннаго раньше, чѣмъ онъ успѣлъ сказать хоть слово въ палатѣ. Онъ задумывается о томъ, какъ быть дальше, что дѣлать; надо продать одно имѣніе. Съ Ньюстэдомъ онъ не разстанется, а если это невозможно, то лучше остаться навсегда заграницей, какъ онъ и предполагалъ при отъѣздѣ. Таковы размышленія въ письмѣ къ матери изъ Аѳинъ, 28 февраля 1811 года.

. . . Съ какой стати ему вернуться въ Англію когда на тѣ средства, на которые онъ едва будетъ существовать на родинѣ, онъ будетъ жить съ «широкою роскошью» на Востокѣ. А гдѣ жить «ему рѣшительно все равно. «Я настолько себя чувствую гражданиномъ міра, что тотъ уголокъ, гдѣ я могу наслаждаться чудеснымъ климатомъ и всякаго рода благами и будетъ для меня родиной». И вотъ онъ думаетъ поселиться гдѣ-нибудь на берегахъ Архипелага.

Также опредѣленно высказывается Байронъ о своей литературной дѣятельности.

Рана, очевидно, все еще не зажила. Онъ писать не будетъ. Это рѣшено. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ сообщаетъ онъ объ этомъ матери:

...«Я не веду дневника и отнюдь не имѣю намѣренія марать бумагу, описывая свои путешествія. Съ авторствомъ я покончилъ, и если своимъ послѣднимъ произведеніемъ мнѣ удалось убѣдить свѣтъ, или критиковъ, что я нѣчто болѣе крупное, чѣмъ они предполагали, я удовлетворенъ, и *этой своей репутаціей* не могу рисковать. Правда, кое-что въ рукописи у меня есть, и я оставляю это для тѣхъ, кто придетъ послѣ меня; если найдутъ достойнымъ печати, оно, можетъ быть, упрочитъ память обо мнѣ, когда самъ я уже перестану помнить объ этомъ».

При такомъ отношеніи къ своимъ литературнымъ неуспѣхамъ, или вѣрнѣе къ тому, что не сразу далась ему литературная слава, понятно, что, подъѣзжая къ берегамъ Англіи, онъ чувствовалъ полную растерянность. „Я не знаю, что буду дѣлать,—писалъ онъ Годжсону—это вполнѣ зависитъ отъ обстоятельствъ". Ему извѣстно было лишь то, что надо видѣть „адвокатовъ, фермеровъ-кредиторовъ, людей, ссужающихъ деньги, покупателей и т. д.". Въ сущности путешествіе еще болѣе запутало его дѣла и на первый взглядъ не дало ничего.

А дома ждали новыя испытанія для этого впечатлительнаго молодого избранника судьбы и страдальца почти по собственной охотѣ.

Байронъ былъ уже въ Англіи и только замѣшкался въ Лондонѣ, когда совершенно неожиданно до него дошло извѣстіе, что 10 августа 1811 г. г-жи Байронъ не стало. Эту утрату онъ почувствовалъ живо. „Мать можетъ быть только одна",—пишетъ онъ въ одномъ письмѣ. Но этимъ не кончились испытанія; черезъ нѣсколько дней уже въ Ньюстэдѣ онъ узналъ о внезапной смерти своего друга Матьюза. А тутъ приходилось расхлебывать и ту путаницу въ человѣческихъ отношеніяхъ, какая явилась естественнымъ послѣдствіемъ сатиры „Англійскіе барды и шотландскіе обозрѣватели". Одинъ журналъ напечаталъ замѣтку, гдѣ не только самъ Байронъ обвинялся въ трусости какъ человѣкъ, напечатавшій пасквиль и удравшій заграницу (конечно, не дальше Парижа,—замѣчаетъ авторъ статейки), но, что хуже всего, задѣвалась честь г-жи Байронъ; дѣлался намекъ, что этотъ лордъ Байронъ, рожденный вдали отъ своего отца и долго остававшійся гдѣ-то въ глухой провинціи, можетъ быть, вовсе не Байронъ; онъ, можетъ быть, совсѣмъ не сынъ своего отца. Эта клевета глубоко потрясла поэта. Защищаться надо было уже не ради себя, а ради доброй славы только что скончавшейся матери. Байронъ рѣшилъ вчинить журналу искъ за клевету.

При такихъ обстоятельствахъ дрогнула желѣзная воля молодого львенка. Вотъ письмо, звучащее такъ горько и такъ жалобно послѣ высокомѣрныхъ словъ объ одиночествѣ, такъ упорно повторявшихся въ письмахъ Байрона.

Ньюстэдское Аббатство, 7 августа 1811.

«Милый, дорогой Дэвисъ, какое то проклятіе тяготѣетъ надо мной и близкими мнѣ людьми. Мать моя лежитъ мертвой въ этомъ домѣ; одинъ изъ лучшихъ моихъ друзей утонулъ въ канавѣ *). Что я могу сказать, что думать, что предпринять? Милый Скропъ, если у васъ найдется свободная минутка, придите ко мнѣ, мнѣ нуженъ другъ. Послѣднее письмо Матьюза помѣчено *пятницей*, а въ субботу его уже не было. Кто могъ сравниться даровитостью съ Матьюзомъ? Какими маленькими всѣ мы казались при немъ! Вы *только* справедливы ко мнѣ, говоря, что я рискнулъ бы собственнымъ моимъ жалкимъ существованіемъ, чтобы спасти его. Въ этотъ самый вечеръ я собирался писать ему, чтобы просить его навѣстить меня, какъ я прошу васъ, мой любимый другъ. Боже, прости его апатію! Какъ перенесетъ это нашъ бѣдный Гобгоузъ? Всѣ его письма полны Матьюзомъ, и только имъ однимъ. Придите ко мнѣ, Скропъ, я просто въ отчаяніи,—теперь у меня не осталось на свѣтѣ почти ни одной близкой души **),—вѣдь у меня только и было, что Вы, да Гобгоузъ и Матьюзъ; дайте же мнѣ, пока можно, насладиться близостью уцѣлѣвшихъ. Бѣдный Матьюзъ! въ своемъ письмѣ отъ пятницы онъ говоритъ о предстоящемъ состязаніи въ Кэмбриджѣ и о томъ, что онъ скоро поѣдетъ въ Лондонъ. Пишите, или приходите, но лучше приходите, или же сдѣлайте то и другое».

Истинное страданіе всегда облагораживаетъ. Такъ было и съ Байрономъ. Теперь юношескій задоръ вообще становится мягче. Въ этомъ отношеніи путешествіе принесло пользу. Байронъ уже пишетъ кое въ какихъ письмахъ, что долгое странствованіе въ чужихъ краяхъ научило его любить родину. Онъ больше не космополитъ, презирающій Англію.

Рядомъ съ этимъ болѣе сознательно относится теперь Байронъ и къ своей сатирѣ на современную ему англійскую литературу. Не надо было писать ее—это дѣлается все понятнѣе. Ребяческая и злая

*) О Чарльзѣ Скиннерсѣ Матьюзѣ см. т. I, стр. 479.

**) Въ 1811 г. Байронъ потерялъ, кромѣ матери и Матьюза, еще своего друга Уингфильда, Гансона и Эдельстона. Ср. тамъ же.



ШКОЛА ВЪ ГАРРОУ.

(The Schoolroom, in Harrow).

выходка, вовсе ненужная. Такъ смотрѣть на свое произведенiе, создавшее ему литературное положенiе, но прославившее его гораздо болѣе скандаломъ, чѣмъ талантомъ, научили его старшiе уважаемые писатели, на которыхъ онъ, очертя голову, набросился. Среди нихъ прежде всего Муръ и Вальтеръ Скоттъ. Байронъ не зналъ тогда, что и нападки на Вордсворта были лишними. Маститый поэтъ изъ „страны озеръ" такъ искренне возмущался рецензiей на „Часы досуга" и въ неуклюжихъ стихахъ мальчика ясно видѣлъ залогъ таланта. Вальтеръ Скоттъ совершенно просто говорилъ о томъ, что удивляется, почему лордъ Байронъ нашелъ возможнымъ упрекнуть его за то, что онъ беретъ гонораръ за свои произведенiя, а самъ Байронъ еще на Востокѣ научился восторгаться Вальтеръ Скоттомъ, называя его „монархомъ Парнаса и самымъ англiйскимъ изъ бардовъ". Такимъ образомъ, ничто не мѣшало знакомству съ этимъ членомъ ненавистнаго лагеря „они".

Гораздо сложнѣе обстояло дѣло относительно Мура.

Байронъ упрекалъ Мура въ излишней чувственности, а рядомъ съ этимъ намекнулъ на дуэль поэта съ критикомъ Джеффри, несостоявшуюся по настоянiю полицiи. Ходили слухи, что полицiя констатировала отсутствiе пуль въ пистолетахъ обоихъ противниковъ. Муръ разъяснилъ печатно, что это вѣрно лишь по отношенiю къ Джеффри, а что онъ относился къ дуэли вполнѣ серьезно. Этого послѣдняго разъясненiя стоявшiй вдали отъ литературныхъ круговъ Байронъ не зналъ и отозвался лишь на сплетню. Послѣдовалъ вызовъ. Муръ послалъ его Байрону, однако, лишь тогда, когда этого послѣдняго уже не было въ Англiи, и такимъ образомъ произошло замедленiе. Письмо вовсе не дошло по адресу, что обнаружилось при возвращенiи Байрона на родину, когда Муръ обратился къ нему вторично. Завязалась переписка. Было устроено свиданiе, подробно описанное Муромъ въ его книгѣ о Байронѣ, и въ результатѣ Байронъ прiобрѣлъ новаго и вѣрнаго друга, оставшагося его приверженцемъ на всю жизнь и горячо отстаивавшаго его послѣ смерти.

Это былъ урокъ. Мягкая свѣтская порядочность, искренность и дружеское доброжелательство Мура должны были еще болѣе подѣйствовать на юнаго скептика и человѣконенавистника. Львенокъ началъ было становиться ручнымъ.

Байронъ жилъ въ это время въ Ньюстэдѣ и работалъ надъ первыми пѣснями „Чайльдъ Гарольда". Онъ уже рѣшилъ, что онѣ увидятъ свѣтъ, и въ его перепискѣ

этого времени ясно видна заботливость о новомъ произведеніи. Онъ посылаетъ издателю письменно поправки, добавленія, разъясняетъ орѳографію собственныхъ именъ. Онъ опять поэтъ.

Пока поправлялись корректуры „Чайльдъ Гарольда", въ чемъ Байрону помогалъ его другъ Годжсонъ, уже готовившійся къ церковнослужительству, между нимъ и нашимъ поэтомъ возникъ споръ на религіозныя темы. Байронъ впервые сознательно и съ уваженіемъ къ предмету отозвался на вопросы, поставленные его другомъ. Писемъ по этому поводу нѣсколько, но изъ нихъ наиболѣе интересно письмо отъ 3 сентября 1811 г.

«Милѣйшій Годжсонъ —оставьте вы меня въ покоѣ съ вашимъ безсмертіемъ! Достаточно мы несчастны въ этой жизни —что за нелѣпость еще строить предположенія относительно будущей. Если людямъ суждено жить снова, зачѣмъ тогда они умираютъ, а разъ уже они умерли, зачѣмъ нарушать ихъ крѣпкій, сладкій сонъ, «не знающій пробужденія»? *Post Mortem nihil est, ipsaque Mors nihil.... quareis quo jaceas post obitum loco? Quo non nata jacent*».

Что касается религіи откровенія,—Христосъ пришелъ спасти людей, но хорошій язычникъ идетъ на небо, а плохой христіанинъ въ адъ (я разсуждаю, какъ могильщикъ). Зачѣмъ-же не всѣ люди христіане? Или зачѣмъ тогда нѣкоторымъ изъ нихъ быть христіанами? Если могутъ быть спасены люди, живущіе въ Тимбукту, Отаити, *Terra incognita* и др., никогда не слыхавшіе о Галилеѣ и ея пророкѣ, къ чему тогда христіанство, какой въ немъ прокъ? Если же безъ христіанской вѣры они спасены быть не могутъ, зачѣмъ тогда не всѣ правовѣрующіе? Немножко жестоко посылать проповѣдниковъ въ Іудею, оставляя прочій міръ —негровъ и мало ли кого еще—*темными*, какъ ихъ кожа, безъ единаго въ теченіе стольких лѣтъ проблеска свѣта, который бы указалъ имъ путь на высоту. Кто же повѣритъ, что Богъ осудитъ людей за то только, что они не знаютъ того, чему ихъ не учили? Надѣюсь, что я говорю искренно. По крайней мѣрѣ, я думалъ такъ и на одрѣ болѣзни, въ чужомъ далекомъ краю, гдѣ у меня не было ни друга, ни утѣшителя, ни надежды, чтобъ поддержать меня. Я думалъ о смерти, какъ объ избавленіи отъ страданій, безъ всякаго желанія жить еще разъ, но съ вѣрой въ то, что Богъ, карающій насъ въ этой жизни, даетъ усталому это послѣднее прибѣжище—смерть.

Ον ὁ Θεὸς ἀγαπάει ἀποθνήσκει νέος.

Я не принадлежу къ школѣ Платона и ни къ какой другой, но я предпочелъ бы скорѣе быть послѣдователемъ Манеса, Спинозы, Пиррона, Зороастра, даже просто язычникомъ, нежели членомъ одной изъ семидесяти двухъ гнусныхъ сектъ, готовыхъ разорвать въ клочки одна другую изъ любви къ Господу и ненависти другъ къ другу. Вы говорите: Галилеянинъ. Гдѣ же результаты? Сдѣлали ли васъ его заповѣди лучше, мудрѣе, добрѣе? Да я вамъ укажу десять мусульманъ, которые пристыдятъ васъ своимъ доброжелательствомъ къ людямъ, усердіемъ въ молитвѣ и выполненіемъ долга по отношенію къ ближнему. Найдите мнѣ хоть одного буддистскаго бонзу, который не былъ бы выше травящаго лисицъ викарія. Но эта тема безконечна; я не хочу больше говорить о ней; дайте мнѣ жить если можно хорошо и умереть безболѣзненно. Остальное—Господу; и ужъ, конечно, еслибы Онъ *сошелъ* на землю или *послалъ* кого-нибудь, Онъ явился бы всѣмъ народамъ и вразумительно для всѣхъ».

Это письмо относится къ сентябрю 1811 года. Поэтъ все еще въ Ньюстэдѣ. Въ октябрѣ мы находимъ его въ Лондонѣ.

Здѣсь ему предстояло войти въ политическую жизнь, на этотъ разъ уже не совсѣмъ мальчикомъ. Бурная душа его, проясненная настоящимъ горемъ и настоящими испытаніями, съ большимъ богатствомъ опыта и знанія, теперь уже не такъ страстно жаждала успѣха или мщенія. Байронъ все еще одинокъ, и онъ упоминаетъ объ этомъ даже въ своей первой рѣчи въ палатѣ, но онъ уже чувствуетъ въ себѣ нѣкоторую устойчивость. Кресло лордовъ Байроновъ онъ займетъ теперь менѣе запальчиво и болѣе дѣловито. Случай высказаться впервые представился въ февралѣ 1812 года. Дѣло шло о суровомъ биллѣ противъ участниковъ въ волненіяхъ по поводу введенія ткацкихъ станковъ, наносившихъ ударъ кустарному производству. Кустари, изъ которыхъ множество осталось безъ работы, въ отчаяніи набросились на эти ткацкія машины и разбили ихъ. Палатѣ лордовъ предстояло санкціонировать репрессіи. Байронъ, занявшій, какъ мы видѣли, мѣсто среди оппозиціи, рѣшилъ выступить. Онъ дѣлалъ это теперь съ согласія и съ поддержкой лидера либеральной оппозиціи лорда Голланда, съ которымъ сблизился.

Мы уже видѣли, что Байронъ съ молодыхъ лѣтъ считалъ себя ораторомъ. Въ его „Отрывочныхъ мысляхъ" цѣлый рядъ замѣчаній посвящено этому искусству; наслѣдственному члену законодательной палаты оно казалось принадлежащимъ ему по праву. Объ англійскомъ краснорѣчіи онъ не былъ высокаго мнѣнія. „Я весьма сомнѣваюсь въ томъ,—писалъ онъ,

«чтобы англичане *обладали въ настоящее время* краснорѣчіемъ, въ точномъ смыслѣ этого слова, и склоненъ думать, что ирландцамъ оно было присуще въ значительной степени, а французы будутъ имъ обладать и уже имѣли образчикъ въ лицѣ Мирабо. Болѣе всего приближаются къ ораторамъ въ Англіи лордъ Чатамъ и Бёркъ. Не знаю, что представлялъ собою Эрскинъ, какъ адвокатъ; но когда онъ говоритъ въ палатѣ, у меня является желаніе, чтобы онъ снова вернулся въ залу суда.

Лодердэль рѣзокъ и остеръ, и шотландецъ. О Брумѣ я ничего не скажу, ибо у меня къ нему какая-то личная антипатія.

Но ни одинъ изъ нихъ —хорошихъ, дурныхъ и безцвѣтныхъ — на моей памяти не произнесъ рѣчи, которая не была-бы черезчуръ длинна для его слушателей и была понятна имъ цѣликомъ, а не мѣстами только. Все вмѣстѣ — большое разочарованіе, очень скучное и утомительное для тѣхъ, кому приходится часто бывать здѣсь. Шеридана я слышалъ только разъ, и то недолго, но мнѣ понравился его голосъ, манера, умъ; онъ—единственный, кого мнѣ хотѣлось-бы послушать еще разъ, и подольше. Въ обществѣ я часто встрѣчался съ нимъ; онъ былъ *великолѣпенъ*!»



ГАРРОУ.
Harrow on the Hill.

Его первая рѣчь была несомнѣннымъ успѣхомъ. Молодой лордъ теперь вошелъ въ политическую жизнь страны, которой онъ былъ наслѣдственнымъ законодателемъ и которою три года тому назадъ онъ хотѣлъ такъ ребячески пренебречь. Открылись Байрону, наконецъ, и гостиныя. Онъ вошелъ теперь въ свѣтскую жизнь Лондона не только до высокомѣрія гордымъ, но и интереснымъ, блестящимъ красавцемъ, о котоомъ вздыхало уже множество сердецъ. О немъ говорили уже не только, какъ о дикомъ и до распутства преданномъ наслажденіямъ молодомъ повѣсѣ изъ Ньюстэдскаго аббатства, а какъ о многообѣщавшемъ молодомъ человѣкѣ, знаменитомъ своимъ путешествіемъ на Востокъ и теперь такъ благородно выступившемъ на защиту угнетенныхъ. Салоны виговъ готовы были считать его своей славой.

Тѣмъ не менѣе, по свидѣтельству тѣхъ же „Отрывочныхъ мыслей", Байронъ теперь отнесся старательно къ своей рѣчи и съ полнымъ уваженіемъ къ своей важной аудиторіи. Онъ говоритъ:

«Парламентъ произвелъ на меня то впечатлѣніе, что члены его—неважные *ораторы*, зато аудиторія - превосходная, ибо въ такомъ многолюдномъ собраніи можетъ не быть краснорѣчія (въ сущности, вѣдь и въ древнемъ мірѣ было всего двое стоющихъ ораторовъ, а въ наши дни, пожалуй, и того меньше), но мысли и здраваго смысла должно быть достаточно для того, чтобы понять, гдѣ правда, хотя они и не могутъ выразить этого въ достойной формѣ».

Первая рѣчь Байрона, произнесенная 27 февраля 1812 года, несомнѣнно лучшая; она дѣльна, стройна и сказана съ достоинствомъ и силой.

Судя по тому, что дошло до насъ отъ трехъ рѣчей Байрона, его едва-ли можно считать, однако, выдающимся парламентскимъ ораторомъ. Въ его манерѣ говорить было слишкомъ много искусственности. Онъ болѣе красовался, игралъ словами и парадоксами передъ своими слушателями, чѣмъ дѣйствительно старался убѣдить ихъ, подѣйствовать, добиться того или другого рѣшенія. Ораторскій разсчетъ отсутствовалъ. Интересъ оставался сосредоточеннымъ на своей собственной личности, и оттого слушать Байрона и было, по всей вѣроятности, тяжело. Эти недостатки сказались, впрочемъ, гораздо очевиднѣе впослѣдствіи.

Не прошло и двухъ недѣль, какъ эта возраставшая популярность получила уже ослѣпительно-яркое выраженіе.

1-го марта того же 1812 года вышли въ свѣтъ первыя пѣсни „Чайльдъ Гарольда". 5-го одинъ экземпляръ былъ посланъ при письмѣ лорду Галланду. Скромный тонъ письма ясно показываетъ, что Байронъ не имѣлъ и приблизительнаго представленія объ ожидавшемъ его тріумфѣ. Другой экземпляръ съ трогательной надписью былъ переданъ сестрѣ автора Августѣ, теперь уже г-жѣ Ли. Успѣхъ „Чайльдъ Гарольда" живо характеризуетъ герцогиня Девонширская. Онъ наступилъ сразу, ни кѣмъ неоспариваемый. „Предметъ всеобщаго интереса,—пишетъ герцогиня,—разговоровъ, можно даже сказать энтузіазма, уже не Испанія или Португалія, не воины и патріоты, а лордъ Байронъ!"

Байронъ могъ произнести теперь свою знаменитую фразу: „я проснулся какъ-то утромъ и почувствовалъ себя знаменитостью". Когда-то чувствовавшій себя затравленнымъ и показывавшій въ своей

клѣткѣ зубы, львенокъ сталъ теперь львомъ, свѣтскимъ львомъ столицы. Высокомѣрный дэнди по уши въ долгахъ, кутила и повѣса превратился во всеобщаго любимца, предметъ самыхъ разностороннихъ увлеченій, и кромѣ всего этого сталъ даже мужемъ совѣта и чуть не первымъ мастеромъ художественнаго слова.

III.

За три съ половиною года, отдѣляющихъ появленіе первыхъ двухъ пѣсенъ „Чайльдъ Гарольда" до вторичнаго и окончательнаго отъѣзда Байрона изъ Англіи, имъ написаны всѣ поэмы его второй романтически страстной манеры. Послѣднее изданіе „Англійскихъ бардовъ" было сожжено; со своимъ юношескимъ задоромъ поэтъ уже покончилъ. Теперь быстро слѣдуютъ другъ за другомъ: „Гяуръ", „Абидосская Невѣста", „Корсаръ", „Лара", „Еврейскія мелодіи", „Осада Коринѳа".

Байронъ теперь живетъ дѣятельной литературной жизнью. Онъ въ ней красуется. Онъ увѣренъ въ себѣ. Ему работается легко и весело.

Литературна и среда, въ которой онъ вращается. Его старые друзья Гобгоузъ и Годжсонъ—также теперь писатели. Его переписка въ 1812, 1813 и 1814 годахъ, помимо множества писемъ и записокъ къ издателю Муррею, обнаруживаетъ еще частыя и близкія сношенія съ лордомъ Голландомъ, съ Томасомъ Муромъ, съ Вальтеръ Скоттомъ, съ г-жей де Сталь, съ Шериданомъ и позднѣе съ Ли Гонтомъ. Домъ лорда Голланда, гдѣ часто бывалъ Байронъ, служилъ центромъ художественно-литературныхъ интересовъ. Переписка съ лордомъ Голландомъ оживляется особенно осенью 1812 года, когда театръ Дрюри Ленъ назначилъ конкурсъ на рѣчь при его новомъ открытіи въ началѣ сезона. Байронъ отказался участвовать въ конкурсѣ, и тогда дирекція, отклонивъ всѣ присланныя рѣчи, просила его взять на себя этотъ трудъ. Рѣчь Байрона была прочитана актеромъ Эллистономъ 10 октября. Сношенія съ Вальтеръ Скоттомъ начались съ того, что, когда Байронъ былъ представленъ принцу-регенту, онъ въ очень горячихъ выраженіяхъ расхваливалъ маститаго шотландскаго поэта. Этотъ послѣдній отвѣтилъ благодарственнымъ письмомъ, которымъ и былъ исчерпанъ эпизодъ съ „Англійскими бардами". „Я тогда былъ очень молодъ и въ большомъ гнѣвѣ",—извинялся въ отвѣтномъ письмѣ Байронъ. Увидѣться лично обоимъ поэтамъ случилось, однако, лишь позднѣе, въ 1815 году. Дружба съ Муромъ все росла, а Шеридана, которымъ особенно восторгался Байронъ и какъ ораторомъ, и какъ драматургомъ, онъ видѣлъ часто у Голланда. Тамъ же познакомился Байронъ съ г-жею де Сталь и трагикомъ Киномъ.

Такъ складывается жизнь Байрона за это время если судить по его литературной дѣятельности и идущей по ея слѣдамъ перепискѣ. Иначе обстоитъ дѣло для біографа. Большинство біографовъ, описывая жизнь Байрона за этотъ послѣдній англійскій періодъ жизни, спрашиваютъ себя: откуда могъ взять Байронъ время для такой кипучей поэтической работы?

Да, для біографа Байронъ этого времени не поэтъ, а прежде всего блестящій свѣтскій левъ. Это—Байронъ красавецъ, баловень свѣтскихъ женщинъ, прожигатель жизни. Это тотъ восхитительный Байронъ, которому жизнь открылась во всемъ, что въ ней есть наиболѣе упоительнаго и жгучестрастнаго. Любовь одна, другая, одинаково пылкія, одинаково красивыя и шумныя. Забавы, развлеченія, успѣхи и поклоненія со всѣхъ сторонъ. Байронъ блистаетъ, какъ какой-то живой божокъ, которому такъ ревностно служитъ теперь демонъ наслажденія. Все то, что становилось поперекъ дороги и когда-то мучило этого честолюбца, влюбленнаго въ прелесть жизни, измѣнилось до неузнаваемости. Теперь Байронъ почти даже хвастается своей хромотой, прежде угнетавшей его, красавца и дэнди. Теперь его сравнительная бѣдность и преслѣдованія кредиторовъ чуть не прибавляютъ свѣта его сіянію. Теперь онъ лордъ, уже не отверженный и забытый, а гордость и украшеніе англійской знати. И вотъ и въ его перепискѣ, преимущественно дѣловито-литературной, кое-гдѣ проскальзываютъ замѣчанія, позволяющія увидѣть и Байрона, свѣтскаго льва, Байрона, дэнди изъ дэнди. Въ одномъ письмѣ къ Августѣ, которую онъ все такъ же трогательно любитъ, почти до сентиментальности, Байронъ проситъ ее пойти съ нимъ вмѣстѣ въ гости, потому что никогда имъ не случалось еще быть братомъ и сестрой при всѣхъ, и при этомъ онъ прибавляетъ: „я расточаю лучшую пору моей жизни, ежедневно раскаиваясь, но ничего не измѣняя".

Байронъ-литераторъ отнюдь не хотѣлъ и, по складу своего характера, вовсе не

былъ способенъ хоть сколько-нибудь поступиться ради литературы своимъ дэндизмомъ. „Вообще,—писалъ онъ въ своихъ „Отрывочныхъ мысляхъ",—я не чувствую себя хорошо съ литераторами; не то, чтобы я не любилъ ихъ,—нѣтъ, но я никогда не знаю, что имъ сказать, послѣ того какъ я похвалилъ ихъ послѣднее произведеніе. Конечно, есть много исключеній; но въ такомъ случаѣ это были либо такіе свѣтскіе люди, какъ Скоттъ, Муръ и проч., либо галлюцинаты, стоящіе внѣ всякаго общества, какъ Шелли и др.; но ваши каждодневные литераторы и я, мы никогда не могли поладить". Оттого, когда Байронъ познакомился черезъ Мура съ Ли Гонтомъ, онъ не былъ въ состояніи вполнѣ сойтись съ нимъ. Совершенно иначе говоритъ Байронъ въ тѣхъ же „Отрывочныхъ мысляхъ" о свѣтскихъ щеголяхъ:

«Я любилъ общество дэнди. Они всегда были очень предупредительны ко мнѣ, но вообще не долюбливаютъ литераторовъ и продѣлывали жестокія мистификаціи съ M-me de Сталь, Льюисомъ, Твиссомъ и др. Самъ я въ молодости былъ склоненъ къ дэндизму и хотя рано отсталъ отъ этого, но, все-таки, въ 24 года у меня еще было достаточно остатковъ старыхъ привычекъ, чтобы примирить съ собою главарей дэндизма. Я игралъ, пилъ и добылъ университетскія степени ведя очень разсѣянную жизнь и такъ какъ я не былъ педантомъ и не предъявлялъ властолюбивыхъ требованій, то я уживался со всѣми дэнди очень мирно. Я былъ почти со всѣми хорошо знакомъ, они меня выбрали въ члены великолѣпнаго Вотьеровскаго клуба, гдѣ я кажется былъ единственный изъ литературнаго міра».

Время Байрона проходило либо въ шикарныхъ клубахъ, которые онъ весьма тщательно перечислилъ девять лѣтъ спустя въ „Отрывочныхъ мысляхъ", либо въ сутолокѣ великосвѣтскихъ развлеченій. Приглашенія на званые обѣды онъ, впрочемъ, зачастую отклонялъ, продолжая соблюдать свою суровую діэту, доходившую до прямого голоданія. Онъ никогда не обѣдалъ чаще одного раза въ три дня и цѣлыми сутками не ѣлъ вовсе, все продолжая заботиться о стройности стана и боясь унаслѣдованной отъ матери склонности къ тучности. Танцы были ему также недоступны, и онъ отомстилъ за это танцорамъ въ сатирѣ „Вальсъ".

Оттого біографія Байрона за этотъ періодъ—это по преимуществу разсказъ о его связяхъ съ г-жею Лэмъ, съ герцогиней Оксфордской и съ госпожей Уебстеръ, а затѣмъ горестная повѣсть его женитьбы, разрушившей все его свѣтское величіе и сдѣлавшей его до конца дней изгнанникомъ.

Привязанности Байрона теперь уже не тѣ романтическія увлеченія, что были у него когда-то. Это шальныя похожденія съ замужними женщинами, громкія, какъ свѣтскій гомонъ, дѣлавшія столько шума вокругъ его имени, въ глазахъ обывательской толпы создававшія ему славу разнузданности и испорченности еще большую, чѣмъ прежде его распутства въ Ньюстэдѣ, а у свѣтскихъ красавицъ еще болѣе разжигавшія увлеченіе, манившія къ нему и увеличивавшія его успѣхъ. Въ душѣ поэта эти легкомысленныя связи, въ концѣ концовъ, оставили только горькій осадокъ. Онѣ подготовили ту жажду тихой пристани, которая привела Байрона къ злополучной его женитьбѣ.


БАЙРОНЪ ВО ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСТВА, ВЪ КЭМБРИДЖѢ. (Byron at Cambridge).

Рис. Гилькрайста (Gilchrist).

Изъ трехъ названныхъ именъ самое интересное—имя эксцентричной лэди Каролины Лэмъ.

Она была извѣстна въ большомъ свѣтѣ Лондона своимъ бурнымъ нравомъ. Утромъ въ Гайдъ-Паркѣ она была способна измучить грума своей бѣшеной скачкой. Она разъ прибила мальчика-пажа за то, что тотъ плохо игралъ съ нею въ мячъ. Когда Байронъ появился въ гостиныхъ Лондона, его красивая романтическая наружность и

его громкая слава сразу опьянили ее. Это была еще не сознанная „любовь издали". Лэди Лэмъ чувствовала, что не въ силахъ пройти мимо этого человѣка и что чары ея не могутъ и его оставить холоднымъ. Она отказалась съ нимъ познакомиться. Но напрасно. Избѣгнуть встрѣчи было невозможно; оба они бывали у лэди Голландъ, да и вообще то, что суждено, должно случиться. Байронъ и лэди Лэмъ свидѣлись, и тогда поэтъ сталъ бывать у нея чуть не ежедневно, а она оказалась охваченной какой-то безумной, не знавшей удержа страстью. Ея свекровь, лэди Лэмъ, у которой также бывалъ Байронъ и которая очень цѣнила его, тщетно пыталась какъ нибудь ввести этотъ потокъ любовнаго безумія въ какіе нибудь берега, хотя бы берега свѣтскаго приличія, въ пору регентства въ Англіи довольно широкіе. Но когда удалось упросить Каролину Лэмъ удалиться на время въ Ирландію, она тотчасъ потребовала, чтобы Байронъ бѣжалъ съ нею.

Онъ отвѣтилъ отказомъ. Любилъ ли онъ ее? Вотъ письмо, написанное тотчасъ послѣ отказа.

Милая, дорогая Каролина,—если слезы, которыя вы видѣли (а вы знаете, что я не часто ихъ проливаю), если взволнованное состояніе, въ которомъ я ушелъ отъ васъ,—вся эта исторія, какъ вы должны были замѣтить, страшно энервировала меня,но ажитація моя начинается только съ момента, когда приблизился часъ разлуки съ вами, если все, что я говорилъ и дѣлалъ и теперь еще готовъ сказать и сдѣлать, не убѣдили васъ въ томъ каковы и всегда будутъ мои истинныя чувства къ вамъ, любовь моя,—я иныхъ доказательствъ не могу предложить. Богу извѣстно, какъ я желаю вамъ счастья, и, когда я покину васъ, или вѣрнѣе вы покинете меня, изъ чувства долга по отношенію къ своему мужу и матери, вы сами убѣдитесь въ истинѣ того, въ чемъ я снова обѣщаюсь и клянусь, а именно: что никто другой не займетъ того мѣста въ моихъ привязанностяхъ, которое теперь и всегда будетъ отдано вамъ, пока я не обращусь въ прахъ. До *этого момента* я и не подозрѣвалъ, на какое *безуміе* способенъ мой самый дорогой и любимый другъ; я не умѣю выразить этого, да теперь и не время для словъ, но я буду гордиться своимъ страданіемъ и находить въ немъ грустную отраду; это врядъ ли будетъ понятно даже вамъ, потому что вы не знаете меня. Мнѣ надо быть сегодня на людяхъ, какъ это ни тяжело, ибо мое появленіе въ свѣтъ нынче вечеромъ положитъ конецъ вздорнымъ толкамъ, къ которымъ могли бы подать поводъ событія сегодняшняго дня. Думаете ли вы и *теперь*, что я *холоденъ* и *суровъ* и *притворщикъ?* Могутъ-ли *другіе* считать меня такимъ, —хотя-бы ваша *мать*,—эта мать, которой мы поистинѣ жертвуемъ многимъ,—она и не подозрѣваетъ и никогда не узнаетъ, какъ много я принесъ ей въ жертву. «Обѣщать не любить васъ!» Ахъ, Каролина, теперь ужъ поздно обѣщать. *Но я съумѣю найти надлежащее объясненіе для всѣхъ уступокъ* и никогда не перестану чувствовать все, чему вы уже были свидѣтельницей, и больше, чѣмъ можетъ быть вѣдомо кому бы то ни было, кромѣ моего сердца и, можетъ быть, вашего. Благослови васъ Боже, и прости, и защити васъ. Всегда и даже больше, чѣмъ всегда, глубоко преданный Байронъ.

P. S. Что касается насмѣшекъ, которыя довели васъ до этого, дорогая моя Каролина, развѣ вы не знаете, что, еслибъ не мать ваша, не доброта вашихъ родныхъ, никто въ мірѣ, ни на землѣ, ни въ небѣ, не могли бы дать мнѣ такого счастья, какъ обладаніе вами; я это чувствую уже давно, чувствую *теперь* не меньше, чѣмъ прежде, скорѣе даже больше, чѣмъ когда-либо. Вы знаете, что я съ радостью отдалъ бы для васъ все и въ этомъ и въ загробномъ мірѣ,—зачѣмъ же такъ невѣрно толковать мои мотивы? Мнѣ все равно, кто будетъ знать объ этомъ и какъ онъ этимъ воспользуется, мнѣ важно только какъ вы отнесетесь. Я былъ и остаюсь добровольно и всецѣло вашимъ и готовъ повиноваться, чтить, любить васъ—и бѣжать съ вами, когда, куда и какъ вы сами рѣшите.

Конечно, все это письмо больше отзывается желаніемъ отдѣлаться, чѣмъ истинною любовью. Байронъ, видимо, тяготился своею связью.

Какъ бы то ни было, но уже въ мартѣ слѣдующаго года Байронъ если не любилъ, то во всякомъ случаѣ увлекался герцогиней Оксфордъ. Это видно изъ одного письма его къ Августѣ, гдѣ заключается и признаніе его, можетъ быть болѣе искреннее, чѣмъ приведенное письмо о его отношеніяхъ къ лэди Лэмъ:

«Въ воскресенье я уѣзжаю на двѣ недѣли въ Эйвудъ, близъ Престиня, въ Герфордширѣ—съ *Оксфордами*. Вижу, какъ ты *скромно* потупляешь взоръ при этомъ имени, что въ тебѣ очень почтенно и очень тебѣ къ лицу; зато тебѣ не будетъ непріятно узнать, что я, наконецъ, выпутался окончательно изъ болѣе серьезной исторіи съ другой странной особой, осаждавшей меня весь прошлый годъ,—и, могу тебя увѣрить, это стоило мнѣ немалаго труда».

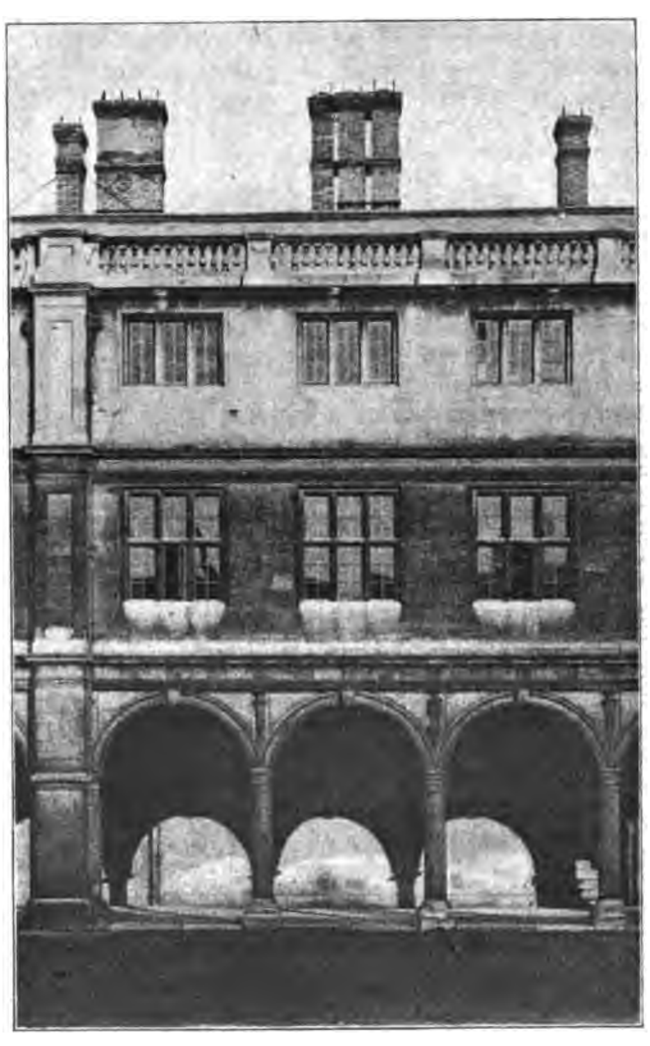
Но лэди Лэмъ никогда не забыла своей любви къ Байрону и оттого не простила и его измѣны. Впослѣдствіи она изобразила ихъ отношенія въ романѣ „Гленарвонъ". Когда Байронъ прочелъ его, онъ нашелъ, однако, что дѣйствительность была гораздо романтичнѣе и интереснѣе, чѣмъ какою она оказалась въ прикрасѣ вымысла.

Связи съ герцогиней Оксфордъ и съ г-жею Уебстеръ были обѣ проще. Обѣ онѣ были женщины на возрастѣ. Г-жа Уебстеръ черезъ десять лѣтъ разошлась съ мужемъ, пріятелемъ Байрона, и онъ старался тогда ихъ примирить.

Не весельчакомъ, легкомысленно и радостно прожигающимъ жизнь, былъ, однако, поэтъ разочарованія, скептицизма и печали. Въ одномъ изъ писемъ Муру еще въ маѣ 1812 года, т. е. тотчасъ же послѣ шумнаго успѣха его „Чайльдъ Гарольда", онъ писалъ: „Мнѣ нужны друзья теперь еще гораздо болѣе, чѣмъ когда либо. Я „берегу себя" безъ особаго успѣха. Если бы вы знали мое положеніе во всѣхъ отношеніяхъ, вы простили бы мое кажущееся и непреднамѣренное пренебреженіе". Это горькія слова, и Муръ понялъ ихъ смыслъ, потому что дружба ихъ еще усилилась. Въ ноябрѣ 1813 года Байронъ заноситъ въ свой дневникъ: „Если бы я имѣлъ хоть какія-нибудь цѣли въ этой странѣ (въ Англіи), онѣ вѣрнѣе всего были бы парламентарскими; во всякомъ случаѣ развѣ только—aut Caesar aut nihil. Но всѣ мои надежды ограничиваются желаніемъ устроить свои дѣла и потомъ поселиться гдѣ-нибудь въ Италіи или на Востокѣ (скорѣе именно здѣсь), глубоко черпая изъ ихъ языка и литературы. Пережитыя событія потрясли меня; все, что мнѣ остается, это брать жизнь, какъ забаву, и смотрѣть, какъ играютъ въ нее другіе". Весь Байронъ—въ этихъ словахъ, съ его высокомѣріемъ и огромной требовательностью, съ его грустью и разочарованностью, не то дѣланной, не то искренней. Слѣдующая замѣтка въ „Отрывочныхъ мысляхъ" говоритъ, однако, ясно за то, что грусть была настоящая, непреодолимая, гораздо болѣе глубокая, чѣмъ внѣшняя веселость его. Байронъ говоритъ о себѣ въ „Отрывочныхъ мысляхъ":

«Многіе удивлялись меланхолической грусти, которою проникнуты всѣ мои писанія. Другіе, напротивъ, удивлялись моей личной веселости. Но я вспоминаю, какъ однажды, послѣ того, какъ я провелъ очень оживленно время въ большомъ обществѣ и былъ при этомъ чрезвычайно веселъ и блестящъ, я сказалъ женѣ: вотъ, меня все зовутъ меланхоликомъ, теперь ты видишь, какъ это невѣрно». Нѣтъ, отвѣтила она мнѣ, это не такъ: въ глубинѣ души ты самый печальный изъ людей и чаще всего тогда, когда наружно ты особенно веселъ».

Это настроеніе Байрона особенно важно имѣть въ виду, чтобы понять странную, почти таинственную исторію его брака. О ней много писано. Много высказано гипотезъ, чтобы объяснить какъ то, зачѣмъ женился Байронъ на миссъ Мильбэнкъ, такъ и то, почему они разошлись черезъ три мѣсяца послѣ рожденія дочери. Это послѣднее



ПОМѢЩЕНІЕ, КОТОРОЕ БАЙРОНЪ ЗАНИМАЛЪ ВЪ КЭМБРИДЖѢ.

(Lord Byron's Room. Trinity Gollege, Combridge).

обстоятельство осталось и навсегда останется тайной. Послѣ обнародованной, хотя все еще не цѣликомъ, переписки лицъ, принимавшихъ участіе въ этомъ горестномъ событіи, надо лишь сказать, что все писанное до сихъ поръ по этому поводу приходится разъ навсегда отбросить.

До сихъ поръ біографы спрашивали себя, во-первыхъ, женился ли Байронъ по

любви или по разсчету, и во-вторыхъ, не пришлось ли лэди Байронъ оставить своего мужа изъ-за другой или даже изъ-за другихъ женщинъ. Тѣ, кто говорили, что Байронъ женился по любви, доказывали, что онъ былъ богаче миссъ Мильбэнкъ. Это невѣрно. Теперь мы знаемъ, что при расторженіи брака Байронъ оказался гораздо бѣднѣе. Отрицать, однако, чувства его къ женѣ было бы изъ-за этого странно. Были ли эти чувства любовью? Теперь мы знаемъ, что нѣтъ. Эти чувства были совершенно другого порядка. Что же касается до любовной исторіи, будто бы заставившей лэди Байронъ порвать съ мужемъ, то теперь объ этомъ не должно быть и рѣчи. Мы не имѣемъ для этого никакихъ данныхъ. Я не говорю уже о чудовищномъ предположеніи Бичеръ Стоу, т. е. о преступной близости Байрона съ Августой Ли, своей сводной сестрой. Эта женщина теперь выступаетъ передъ нами въ ореолѣ такой чистой и нѣжной семейной добродѣтели. Кромѣ того, мы знаемъ теперь, что она подружилась съ лэди Байронъ, и дружба эта продолжалась долго и неизмѣнно. Надо отбросить и связь Байрона съ миссъ Клермонтъ, о которой рѣчь еще впереди. Мы знаемъ теперь, что связь эта началась, когда супруги уже разошлись, и Байронъ скорѣе искалъ, хотя, конечно не нашелъ, утѣшеніе уже тогда, когда жизнь его оказалась разбитой. Ради этой связи онъ вовсе не посягнулъ на чистоту своего очага. Приходится также совершенно оставить въ сторонѣ обвиненія противъ родителей миссъ Мильбэнкъ, и особенно противъ ея матери, будто бы установившей за Байрономъ шпіонство, обнаружившее воочію его дурное поведеніе. Ничего подобнаго не было. Вообще никакому обвиненію не можетъ быть мѣста. Въ этомъ событіи не виноватъ никто. Въ немъ обнаруживается только внутренняя, оказавшаяся неисцѣлимой рана, глодавшая и душу и тѣло блестящаго красавца, свѣтскаго и поэтическаго льва, рана, какъ будто бы затянувшаяся, но вдругъ раскрывшаяся какъ разъ въ то время, когда, казалось, все устроилось.

Я постараюсь пересказать всѣ эти обстоятельства, какъ рисуетъ ихъ переписка Байрона.

Первый разъ мы читаемъ имя миссъ Мильбэнкъ въ письмѣ къ Далласу 25 августа 1811 года. Замѣчаніе звучитъ равнодушно. Въ маѣ 1812 г. Байронъ пишетъ Каролинѣ Лэмбъ о только что прочитанныхъ имъ стихахъ его будущей невѣсты. Онъ заинтересованъ ею:

«Дорогая моя лэди Каролина,— я прочелъ со вниманіемъ стихотворенія миссъ Мильбэнкъ. Въ нихъ есть фантазія и чувство; немного практики— и явится навыкъ писать, легкость выраженія. Хотя я терпѣть не могу бѣлыхъ стиховъ, мнѣ такъ нравятся строки, посвященныя *Дермоди*, что я желалъ-бы, чтобы онѣ были риѳмованными. Мысль, которая проводится въ *Пещерѣ Сихема*, по-моему, выше всякихъ похвалъ, и здѣсь я, по меньшей мѣрѣ, искрененъ, ибо о такихъ предметахъ мои собственныя мнѣнія расходятся. Первая строфа положительно хороша, остальныя, съ небольшими измѣненіями тоже можно было-бы сдѣлать превосходными. Послѣднія гладки и красивы. Но развѣ это все? Неужели у нея нѣтъ другихъ стиховъ? Она, безспорно, необыкновенная дѣвушка; кто-бы ожидалъ найти подъ этой спокойной внѣшностью такую силу и разнообразіе мысли? Миссъ М. нѣтъ надобности выступать, какъ писательницѣ, и вообще я не считаю похвальнымъ ни для мужчины, ни для женщины печатать свои произведенія (хотя вы не повѣрите мнѣ) и нерѣдко самъ стыжусь этого; но, не колеблясь, скажу, что она обладаетъ талантами, которые, еслибъ она сочла удобнымъ или необходимымъ культивировать ихъ, несомнѣнно, доставили бы ей извѣстность. Только что былъ здѣсь одинъ мой другъ (пятидесяти лѣтъ и писатель, но не *Роджерсъ*). Такъ какъ подъ стихами нѣтъ имени, я показалъ ихъ ему, и онъ пришелъ въ восторгъ, хвалилъ ихъ еще гораздо больше меня. Онъ находитъ стихи прекрасными; я удовольствуюсь замѣчаніемъ, что они лучше, много лучше всего написаннаго *protegé* миссъ М. Блэкетомъ. Передайте изъ этого моего отзыва миссъ М., что найдете удобнымъ. Я говорю все это очень искренно. Я не питаю желанія ближе познакомиться съ миссъ Мильбэнкъ; она слишкомъ хороша для падшаго духа и больше нравилась-бы мнѣ, если бы была менѣе совершенна».

Черезъ два съ половиною года Байронъ писалъ Муру:

Ньюстэдское Аббатство, 20 сентября 1814 г.

Here's to her who long
Hath waked the poets sigh!
The girl who gave to song
What gold could never buy.

Дорогой Муръ!

Я женюсь,—т. е. мое предложеніе принято, а остальное послѣдуетъ, какъ обыкновенно надѣются. Мою мать Гракховъ (которые *имѣютъ* родиться на свѣтъ) *вы* сочтете слишкомъ строгой для меня, хотя она образцовое единственное дитя, пользующееся «золотымъ мнѣніемъ людей всѣхъ родовъ» и полное «самыхъ благословенныхъ условій», какъ говоритъ Дездемона. Миссъ Мильбэнкъ – имя этой лэди, и я получилъ отъ ея отца приглашеніе пріѣхать въ качествѣ жениха, чего, однако, я не могу сдѣлать, прежде чѣмъ не улажу кое-какихъ дѣлъ въ Лондонѣ и не обзаведусь синимъ фракомъ.

Говорятъ, она наслѣдница, но чего, право не знаю навѣрное и не буду справляться. Но я знаю, что у нея есть таланты и превосходныя качества; и вы не станете отрицать за нею разсудительности, такъ какъ она отказала шесте-



СЕСТРА БАЙРОНА АВГУСТА ЛИ (The Hon. Augusta Leigh).

Рис. Вэджмэна (Wageman).

(Другіе портреты см. т. I, стр. 467 и т. II, стр. 80).

рымъ искателямъ и приняла мое предложеніе.

Если вы имѣете что-либо сказать противъ,—пожалуйста, говорите; мое рѣшеніе обдумано, выборъ сдѣланъ, дѣло рѣшено, и потому я могу прислушиваться къ доводамъ, такъ какъ теперь они не причинятъ вреда. Могутъ случиться обстоятельства, которыя разстроятъ дѣло, но, надѣюсь, ихъ не будетъ. Теперь же скажу вамъ (*секретъ*, замѣчу въ скобкахъ,—по крайней мѣрѣ, пока я не узнаю о ея желаніи огласить его), что я сдѣлалъ предложеніе, и оно было принято. Вамъ нечего торопиться желать мнѣ наслажденій, потому что, быть можетъ, до свадьбы пройдутъ мѣсяцы. Завтра я отправляюсь въ городъ, но разсчитываю быть здѣсь на пути туда (въ домъ невѣсты), недѣли черезъ двѣ.

Не случись этого, я поѣхалъ бы въ Италію. Когда я буду возвращаться, вы, быть можетъ, встрѣтите меня въ Ноттингэмѣ и отправитесь со мною сюда. Нѣтъ надобности говорить, что ничто не доставитъ мнѣ большаго удовольствія. Разумѣется, я долженъ вполнѣ исправиться; и, серьезно, если я могу способствовать ея счастію, то мое будетъ обезпечено. Она такъ хороша, что... что... короче, я хотѣлъ-бы быть лучшимъ.

Тогда же, въ письмѣ къ какой-то графинѣ, имя которой не названо, извѣщая о своемъ вступленіи въ бракъ, Байронъ замѣчаетъ: „Это могло бы случиться два года тому назадъ, и если бы это случилось, я бы избѣгъ цѣлаго міра горести“.

Итакъ, еще осенью 1812 г. Байронъ могъ жениться на этой дѣвушкѣ, черезъ полгода послѣ перваго знакомства съ ея стихами. Но, сдѣлавъ предложеніе, онъ получилъ отказъ; слѣдствіемъ этого была ихъ переписка; мы знаемъ ее теперь, однако, лишь начиная съ августа 1813 г. Цѣлый годъ ихъ взаимныхъ отношеній, такимъ образомъ, ускользаетъ отъ насъ.

Что же заставило Байрона сдѣлать предложеніе миссъ Мильбэнкъ и почему послѣ отказа они все-таки продолжаютъ писать другъ другу, а черезъ два года женятся? Въ 1813 году Байронъ часто и въ

дневникѣ и въ письмахъ говоритъ, что жениться онъ и не думаетъ. „Для женитьбы у меня нѣтъ ни способностей, ни охоты",— пишетъ онъ сестрѣ въ мартѣ мѣсяцѣ. Немного позднѣе онъ замѣчаетъ въ дневникѣ, что племянникъ его Джорджъ Байронъ, вѣроятно, будетъ его наслѣдникомъ Но вѣдь это понятно; такъ и долженъ былъ говорить отверженный самолюбецъ; а мы еще увидимъ, какъ тяжело отразился на немъ полученный отказъ, хотя, при послѣдовавшей послѣ того перепискѣ, онъ и имѣлъ основанія нѣсколько заподозрить искренность этого отказа. И совершенно иначе обрисовываютъ его отношеніе къ браку его замѣчанія по поводу писемъ самой миссъ Мильбэнкъ. Онъ продолжаетъ добиваться вновь ея любви, хотя и не отдаетъ себѣ ясно въ этомъ отчета. Вотъ что пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ въ ноябрѣ 1813 г.:

«Вчера получилъ прелестное письмо отъ Аннабеллы и отвѣтилъ на него. Что за странное положеніе и какая странная наша дружба! Безъ единой искорки любви съ чьей бы то ни было стороны, вызванная обстоятельствами, которыя вообще могутъ вызвать только холодность или отвращеніе. Она удивительная женщина, и очень мало избалована, что странно въ богатой наслѣдницѣ—двадцатилѣтняя дѣвушка, будущая пэресса, по праву рожденія, единственная дочь и *savante*, которая всегда дѣлала, что хотѣла. Она поэтесса, математикъ-метафизикъ и при всемъ томъ очень добра, великодушна, мила и почти безъ претензій. У всякаго другого закружилась бы голова отъ половины ея талантовъ и десятой доли ея совершенствъ.

Казалось бы, о любви не можетъ быть и рѣчи; но почему эта замѣтка въ мартѣ 1814 г. за полгода до второго предложенія: „Письмо отъ Беллы (Анабелла Мильбэнкъ), на которое я отвѣтилъ; я опять влюблюсь въ нее, если не буду держать себя въ рукахъ"?

Маленькое замѣчаніе отъ 16 января того же года, замѣчаніе, какъ-то вырвавшееся, когда онъ шутилъ надъ возможностью жениться на одной барышнѣ, мнѣ кажется также объясняетъ многое: „жена,— пишетъ Байронъ,—была бы для меня спасеньемъ".

Да, одинокій гордецъ, демоническій поэтъ глубоко страдалъ, не показывая этого. Мы уже не разъ видѣли это въ его перепискѣ. Какъ самый простой смертный, какъ любой одинокій, онъ подумывалъ объ очагѣ; его влекла мечта о томъ, что онъ сталъ бы „покорнымъ при миломъ вожакѣ". Милаго вожака искала его душа. Отдохнуть, успокоиться отъ постояннаго напряженія своихъ демоническихъ увлеченій, склонить голову на любящія, добрыя руки, послушать доброе ласковое слово—это тянуло его къ сестрѣ и вотъ, что дразнило его и обликомъ жены. Не любовницы, а жены. А при этомъ именно она, эта не любимая, а какая-то особая, умная, сердечная, образованная и интересная дѣвушка, не дававшаяся въ сѣти его чаръ, влекла его къ себѣ, и мечталось, что именно она-то и должна стать „милымъ вожакомъ". Она уже почти стала имъ, когда возникла ихъ переписка. А ее, въ свою очередь, туманилъ этотъ демонъ безумствъ, этотъ поэтъ-дэнди, своевольный, не вѣрующій и геніальный, и она съ твердостью, увы, слишкомъ характерной для ея столь же самолюбивой души, говорила себѣ: онъ будетъ мой, я поведу его.

Ошибка съ обѣихъ сторонъ, но ошибка, не имѣющая ничего общаго съ мѣщанскими разсчетами о состояніи или съ жалкими каждодневными любовными ошибками.

Не выступаетъ ли съ ослѣпительной очевидностью, что именно таково было отношеніе Байрона къ миссъ Мильбэнкъ, изъ этого письма къ ней еще въ августѣ 1813 года?

4. Беннетъ-стритъ, 25 августа 1813.

«Письмо ваше я имѣлъ честь получить и спѣшу увѣдомить о полученіи. Но прежде чѣмъ попытаться отвѣтить на него, позвольте мнѣ — если можно, письменно—напомнить о происшедшемъ прошлой осенью. Дѣло было такъ: я ужъ много лѣтъ передъ тѣмъ не видалъ женщины, съ которой могъ-бы надѣяться быть сколько-нибудь по-человѣчески счастливымъ. Затѣмъ увидалъ одну, на которую я, однако, не предъявлялъ никакихъ притязаній, или слишкомъ слабыя для того, чтобы питать хоть какую нибудь надежду на успѣхъ. Мнѣ сказали, что ваше сердце свободно, и на этомъ основаніи леди Мельбурнъ предложила мнѣ удостовѣриться, позволятъ-ли мнѣ поддерживать съ вами знакомство въ надеждѣ (я сознаю, что шансы были слабы), что оно можетъ перейти современемъ въ дружбу и впослѣдствіи въ еще болѣе нѣжное чувство. Въ своемъ усердіи—конечно, дружественномъ и простительномъ - она нѣсколько преувеличила мои намѣренія, сдѣлавъ болѣе прямое предложеніе, о чемъ я, однако, не жалѣю, или жалѣю лишь потому, что оно имѣло видъ самоувѣренности съ моей стороны. Вы согласитесь, что это правда, если я скажу вамъ, что я только недавно далъ ей понять, что, по моему, она, сама того не подозрѣвая, скомпрометировала меня въ вашихъ глазахъ, приписавъ мнѣ надежду, что такое неожиданное предложеніе можетъ быть принято. Но я объ этомъ упомянулъ случайно, въ разговорѣ, безъ малѣйшаго чувства досады на нее или обиды на васъ. Таковъ былъ исходъ моей первой попытки приблизиться къ алтарю, у котораго, при тогдашнемъ состояніи вашихъ чувствъ,



МЭРИ ЧАВОРТЪ.

(Mary Chawort).





я только оставилъ-бы новую жертву. Когда я говорю: *первой*,—это можетъ показаться несовмѣстнымъ съ нѣкоторыми обстоятельствами моей жизни, на которыя вы, какъ мнѣ сдается, намекаете въ вашемъ письмѣ. Но это—фактъ. Я былъ въ то время слишкомъ юнъ, чтобы жениться, хотя и не слишкомъ юнъ для любви; но это была *первая* моя *прямая* или косвенная попытка вступить съ женщиной въ прочный союзъ и, по всей вѣроятности, она будетъ послѣдней.

Лэди М. совершенно вѣрно говорила, что я предпочитаю васъ всѣмъ другимъ; такъ оно было тогда, такъ оно есть и теперь. Но разочарованія не было, ибо невозможно прибавить еще одну каплю къ чашѣ, и безъ того переполненной горечью. Мы сами себя не знаемъ, но не думаю, чтобы мое самолюбіе было особенно уязвлено отказомъ. Напротивъ, я какъ будто гордился даже тѣмъ, что *вы отвергли* меня, пожалуй, больше, чѣмъ гордился-бы привязанностью другой женщины, ибо отказъ напоминалъ мнѣ, что нѣкогда я считалъ себя достойнымъ привязанности почти единственной женщины, которую я дѣйствительно уважалъ.

Теперь о вашемъ письмѣ. Первая половина его удивила меня—не то, что вы способны питать привязанность, но что эта привязанность должна быть «безнадежной». Могу только пожелать вамъ прочнаго обладанія тѣмъ, къ чему стремятся ваши надежды! О той части вашего письма, которая относится ко мнѣ, я могъ бы сказать многое, но долженъ быть кратокъ. То, что вамъ говорили обо мнѣ, вѣроятно, не неправда, но, быть можетъ, преувеличено. Въ какомъ бы отношеніи вы ни почтили меня своимъ вниманіемъ, я буду радъ удовлетворить его—повѣдать правду или опровергнуть клевету.

Относительно дружбы я долженъ быть съ вами откровененъ. По отношенію къ вамъ я за свои чувства ручаться не могу. Сомнѣваюсь, чтобы я могъ не любить васъ, но думаю, что мое поведеніе послѣ нашего éclaircissement достаточно доказываетъ, что, каковы бы ни были мои чувства, вы гарантированы отъ преслѣдованія; притворяться же равнодушнымъ я не могу и боюсь, что переходъ отъ того, что я чувствую, къ тому, что вы желаете, чтобъ я чувствовалъ, для меня совсѣмъ невозможенъ.

Вы должны извинить меня и, если вамъ что нибудь не понравится въ этомъ письмѣ, вспомните, что для меня вообще трудное дѣло писать вамъ. Я о многомъ умолчалъ и сказалъ другое, чего не хотѣлъ говорить. Мой предполагаемый отъѣздъ изъ Англіи затянулся, вслѣдствіе извѣстій о чумѣ *etc. etc.*; придется направить свой путь въ болѣе доступныя страны, по всей вѣроятности, въ Россію.

Мнѣ осталось мѣсто только подписаться вашимъ признательнымъ и всегда покорнымъ слугой Байронъ».

Особенно характерны тутъ эти намеки на миссъ Чавортъ. Вѣдь это—она, эта избранница того времени, когда онъ былъ еще слишкомъ молодъ, чтобы жениться. Мы уже знаемъ: именно брака съ нею, а не чего либо другого искалъ Байронъ, и такъ понималъ онъ свои чувства и гораздо позднѣе. То же сопоставленіе онъ повторяетъ и еще разъ въ письмѣ отъ 29-го ноября того же года. Ему кажется, что только двѣ серьезныя, достойныя брака привязанности были у него въ жизни,—у него, какъ онъ называетъ себя своей новой избранницѣ, „у веселаго, но никогда не довольнаго человѣка". „Если хоть кто нибудь,—пишетъ онъ ей,—можетъ сдѣлать мнѣ добро, можетъ быть, вы могли бы, потому что, по всему, что я знаю, вы мастерица и практики и теоріи этой науки (которую я считаю даже лучшей, чѣмъ вашу математику)".



МЭРИ МЭСТЭРСЪ, урожденная ЧАВОРТЪ.
M-rs Musters (née Miss Chaworth).
Съ гравюры Кочрэна по портрету Мура (From an engraving by Cochran, after a portrait of Moore).

Ошибкой было, однако, это взаимное увлеченіе, потому что, какъ онъ писалъ уже женихомъ, все это было слишкомъ умственно, слишкомъ—разсчетъ: „Думаете

ли вы, моя любовь,—писалъ ей Байронъ,—что счастье зависитъ отъ различія или сходства характеровъ? Я сомнѣваюсь въ этомъ. Я скорѣе склоненъ возлагать надежды на интеллектъ, и гораздо болѣе, чѣмъ это обыкновенно дѣлается".

Вотъ гдѣ эта роковая ошибка, и мы сейчасъ увидимъ, что она такъ страшно, такъ трагически обнаружилась черезъ годъ послѣ свадьбы, когда молодая чета, погостивъ въ Шотландіи въ помѣстьи родителей жены, только что устроилась въ Лондонѣ на Пиккадилли-Террасъ, и уже родилась дочь, Августа-Ада, которую Байрону такъ и не суждено было увидѣть иначе, какъ въ колыбели.

Интеллектъ говорилъ за счастье, но чувство не только не подавало на него надежды, ноуже было уязвлено и отравлено. Нельзя, не надо отказывать такимъ бурнымъ самолюбцамъ, такимъ горячимъ сердцамъ, каково было сердце Байрона. Онъ не могъ забыть отказа, сдѣланнаго, можетъ быть, лишь изъ холодной предосторожности. Не могъ, хотя повидимому хотѣлъ. Отказъ этотъ дѣйствительно далъ „цѣлый міръ горести", и не только поэту, но и его женѣ.

Байронъ бережно хранилъ ея письмо съ отказомъ. Онъ любилъ его, какъ любятъ боль. Онъ писалъ миссъ Мильбэнкъ уже женихомъ:

16 октября 1814 г.

«Разбирая бумаги, я нашелъ первое изъ писемъ вашихъ ко мнѣ; перечелъ его снова. Вы согласитесь, что дѣло мое обстояло неважно и надеждъ впереди было мало; но я могу простить,—не то слово, я хочу сказать,—я могу забыть даже свойство вашихъ тогдашнихъ чувствъ, если вы не обманываете себя теперь. Къ этому-то вашему письму я всегда возвращался, оно стояло предо мною во всей моей дальнѣйшей перепискѣ; а теперь говорю ему: «прости»,—и все же ваша дружба была мнѣ дороже всякой любви, кромѣ вашей».

И то же онъ говоритъ и недѣлей позже: „Вы, я надѣюсь, не удивляетесь тому, что я не „забылъ" ошибки, влившей горечь въ мои мысли и надолго сдѣлавшей меня совершенно неряшливымъ относительно моего поведенія".

Байронъ не забылъ отказа, не забылъ и тогда, когда уже родилась дочь. Бракъ съ отказавшей ему разъ женщиной не успокоилъ его. Иногда кажется даже, что онъ сталъ тяготиться женою. Во всякомъ случаѣ передъ самымъ разрывомъ онъ собирался ѣхать заграницу и звалъ Мура, условливаясь, что либо обоимъ брать съ собою женъ, либо ни тому, ни другому, и это послѣднее лучше. Не даромъ на первой же страницѣ своего дневника весною 1814 года онъ замѣчаетъ: „Скверно, что я никогда не начиналъ сильно желать чего нибудь безъ того, чтобы достиженіе не принесло мнѣ разочарованія". Этимъ все объяснено. Внутренняя драма семейной жизни поэта теперь ясна.

Самыя обстоятельства разрыва лэди Байронъ съ мужемъ сводятся къ слѣдующему.

Въ декабрѣ 1815 года родилась Августа-Ада въ домѣ Байроновъ на Пиккадилли-Террасъ, а въ январѣ лэди Байронъ уѣхала къ родителямъ. Вскорѣ начались переговоры о разрывѣ, а въ мартѣ адвокатъ лэди Байронъ предложилъ ея мужу подписать актъ о разводѣ, сообщая при этомъ, что вначалѣ онъ не видѣлъ этому достаточныхъ основаній, но впослѣдствіи ему были сообщены такіе факты, которыхъ разглашать онъ не имѣетъ права и не сообщитъ даже самому Байрону, но которые передъ судомъ болѣе, чѣмъ достаточны, чтобы разводъ былъ признанъ. Мы знаемъ теперь, что въ этомъ дѣлѣ участвовали сестра Байрона Августа, дѣятельно переписывавшаяся съ его женой, а также оба его друга, Гобгоузъ и Годжсонъ, послѣдній уже въ качествѣ духовнаго лица. И сестра Байрона, и друзья его старались убѣдить лэди Байронъ вернуться къ мужу. Но тщетно. Что заставило ее такъ сильно настаивать на разводѣ, это до сихъ поръ осталось ея тайной. Однако, внимательно читая ея переписку этого времени, насколько она обнародована, нельзя не видѣть тутъ связи именно съ той горечью, какая осталась въ сердцѣ поэта вслѣдствіе ея перваго отказа, отказа, въ которомъ она, кстати сказать, повидимому, ничуть не раскаивалась.

Только такъ можно понять намеки лэди Байронъ.

Лэди Байронъ писала, что оставила мужа въ „болѣзненномъ состояніи раздражительности"; она уѣхала съ обоюднаго согласія и, кромѣ того, посовѣтовавшись съ психіатрами, съ ними вмѣстѣ рѣшивъ, что для него лучше всего удалить предметъ раздраженія, т. е. себя самое; а она, а не кто другой, приводитъ его въ такое состояніе. И если это болѣзнь, если онъ душевно боленъ, то она, конечно, готова простить; о прощеніи даже тогда нечего и говорить; но она убѣдилась потомъ, что дѣло тутъ





КАРОЛИНА ЛЭМЪ.
(Lady Caroline Lamb).

вовсе не въ болѣзни, а въ затаенной „мести“ къ ней, источникъ которой въ „чрезмѣрномъ самолюбіи, не смягченномъ ни религіей, ни нравственнымъ чувствомъ“. Оттого, разойдясь съ нимъ, она считаетъ, что „спасла его отъ возможности еще болѣе горькаго раскаянія“. Что же, собственно, сдѣлалъ Байронъ? Что заставило ее убѣдиться сначала въ томъ, что онъ душевно боленъ, а послѣ, что онъ ненавидитъ ее и даже хочетъ за что-то отомстить? Этого она не скажетъ. Этого никогда не узнаетъ Байронъ.

Есть только одно письмо къ Августѣ, которое какъ будто бросаетъ лучъ свѣта на эту тайну лэди Байронъ, на самый поступокъ ея мужа. Оно служитъ показателемъ и отношеній ея къ сестрѣ поэта.

Керкби Маллори, 18 января 1816 г.

«Моя дорогая сестра! Ты считаешь мое молчаніе очень страннымъ, но ты не знаешь, въ какомъ я замѣшательствѣ и какъ боюсь написать прямо противоположное тому, что хотѣлось бы... Повидимому, болѣзнь не развивается и, помоему, теперь она не сильнѣе, чѣмъ бывало много разъ въ прежніе періоды. Это печально для тѣхъ, кому онъ дорогъ, потому что шансы на выздоровленіе не улучшаются, хотя печальная развязка и отсрачивается. Помнишь ли, онъ сказалъ, что мнѣ придется кормить до 10 февраля? Я думаю, онъ намѣренъ около этого времени пріѣхать ко мнѣ *pour des raisons* и уѣхать затѣмъ за границу, какъ только выяснится что онъ достигъ той цѣли, которую имѣлъ въ виду.

Я думаю, что онъ, если сознаетъ болѣзнь, допуститъ къ себѣ Ле-Манна, въ присутствіи котораго онъ съумѣетъ владѣть собою, въ разсчетѣ, что тотъ засвидѣтельствуетъ здравость его разсудка. Фактъ съ пистолетомъ разителенъ, такія опасенія *граничатъ* съ помѣшательствомъ, и между такимъ *намѣреніемъ* и приведеніемъ его *въ исполненіе* очень маленькая разница.

Я рада поѣздкѣ моей матери въ городъ,—для испытывающаго душевное безпокойство нѣтъ ничего хуже, какъ сидѣть на мѣстѣ. Надѣюсь, что она будетъ съ тобою такъ же мила и разсудительна, какъ и со мною. Если будетъ иначе, то знай, что это вызвано скорѣе состояніемъ ея здоровья, чѣмъ недостаткомъ сердечности. Ставъ теперь подъ защиту моихъ родителей, я, разумѣется, должна дозволить имъ принимать такія мѣры, какія они сочтутъ нужными для моего благосостоянія, лишь бы только другимъ не было вреда. Отецъ настаиваетъ, чтобы я конфиденціально посовѣтовалась съ кѣмъ-нибудь изъ юристовъ, и я думаю, что мать сможетъ устроить это. Зная твое безпокойство за меня, я не скрываю отъ тебя этого намѣренія.

Ребенокъ здоровъ, но о немъ ты услышишь отъ нея. Благослови тебя Богъ!

Прилагаю два письма. Одно отправь, *если одобряешь*.

Я хотѣла сначала отправить его отсюда, чѣмъ и объясняется его начало. Пишу также нѣсколько строкъ на случай, если ты пожелаешь имѣть записку, которую могла бы *показать Байрону*.

Всегда твоя А. И. Н. Б.».

Этотъ эпизодъ съ пистолетами, на который, будто, проговорившись, намекаетъ



ГРАФИНЯ ОКСФОРДСКАЯ (Countess of Oxford).
Портретъ Гопнера (J. Hoppner, R. A.).

лэди Байронъ, нельзя не сопоставить съ разсказомъ Уебстера о его путешествіи съ Байрономъ изъ Ньюстэда въ Лондонъ. Байронъ,—разсказываетъ Уебстеръ,—вдругъ положилъ рядомъ съ собою пистолеты и при этомъ сдѣлалъ такое лицо, что Уебстеръ спросилъ его: „что это, вы хотите убить кого нибудь, что ли“? Байронъ отвѣчалъ, что у него предчувствіе, что его должны умертвить, и потому онъ всегда держитъ при себѣ пистолеты.

Объясненіе, можетъ быть, и придуман-

41*



МИССЪ МИЛЬБЭНКЪ (позднѣе жена Байрона).
Anna Jsabella Milbanke, Lady Byron.
Съ миніатюры Чарльза Гэйтера (Charles Hayter).

Каковы собственно были отношенія Байрона къ Дженъ Клермонъ, это видно изъ его письма къ обезпокоенной этой новой сплетней, сестрѣ Августѣ.

Діодати, Женева, 8 октября 1816 г.

«. . Я подвергался нѣкоторой опасности на озерѣ (близъ Meillerie), но она не стоитъ того, чтобы говорить о ней; а что касается всѣхъ этихъ «любовницъ», то, помоги мнѣ Боже! у меня была одна. Ну, не бранись; но что мнѣ было дѣлать? Глупая дѣвушка, несмотря на все, что я ни говорилъ и ни дѣлалъ, захотѣла поѣхать за мною, или скорѣе поѣхала впереди меня, потому что я нашелъ ее здѣсь, и я пустился во всѣ тяжкія, чтобы убѣдить ее вернуться обратно; но, наконецъ, она поѣхала. Ну, дорогая, скажу тебѣ самую сущую правду, что я не могъ предупредить этого; что я сдѣлалъ все, чтобы помѣшать этому, и, наконецъ, положилъ дѣлу конецъ. Я не былъ влюбленъ, да во мнѣ и не осталось никакой любви къ кому бы то ни было; но я не могъ разыгрывать неумолимаго стоика съ женщиной, которая проѣхала 800 миль, чтобы выбить изъ меня философію. Кромѣ того, въ послѣднее время меня такъ много угощали «двумя блюдами съ десертомъ» (увы!) отвращенія, что ради новизны захотѣлъ отвѣдать немножко любви (если на меня особенно напирали). А теперь ты знаешь все, что знаю я самъ объ этомъ дѣлѣ, и кончено. Пожалуйста, пиши. Я не слыхалъ ничего со времени твоего послѣдняго письма, полученнаго по крайней мѣрѣ мѣсяцъ или недѣль пять назадъ. Я выѣзжаю очень мало, только изрѣдка предпринимаю прогулки по озеру да въ Copet, гдѣ м-мъ де Сталь особенно привѣтливо и дружески меня принимаетъ; какъ я слыхалъ, она горячо заступается за меня по поводу злосчастнаго дѣла моего. Оно, какъ говорятъ, надѣлало много шуму и по ту, и по другую сторону Ламанша. Небо вѣдаетъ, почему, но, повидимому, мнѣ суждено ссорить людей между собой.

Не ненавидь меня, но вѣрь, что я всегда привязанъ къ тебѣ».

Байронъ поселился въ то время въ виллѣ Діодати, на берегу озера, около Женевы.

Нѣкогда эта вилла принадлежала итальянскому гуманисту Діодати, и его посѣтилъ здѣсь Мильтонъ. Это совпаденіе еще болѣе бередило въ сердцѣ поэта чувство отверженности и изгнанничества, а тутъ еще его соотечественники своей назойливостью не давали ни минуты забыть объ этомъ. Нашлись досужіе любопытные, слѣдившіе за тѣмъ, что дѣлается на виллѣ Байрона, въ подзорную трубу и потомъ сообщавшіе разныя небылицы въ Лондонъ. Говорили о томъ, что на виллѣ видѣли женщинъ... Эти слухи опять обезпокоили Августу Ли, и другъ Байрона, Гобгоузъ, посѣтившій его въ то время, долженъ былъ письменно успокаивать ее, что все это сплетни, что женщины бываютъ у Байрона, но что это—семейство одного живущаго по сосѣдству джентльмэна. Имя „джентльмэна"—рѣчь идетъ о Шелли, Гобгоузъ, однако, можетъ быть неспроста, не сообщаетъ взволнованной сестрѣ своего друга.

Время Байрона, какъ это естественно въ Швейцаріи, кромѣ литературной работы, опять очень напряженной, кромѣ общенія съ Шелли и жившими неподалеку г-жей де Сталь и Вильгельмомъ Шлегелемъ, проходило въ экскурсіяхъ по озеру и въ горы.



ЛЭДИ БАЙРОНЪ (Lady Byron).
Портретъ Рамзэ (James Ramsay).

Свои странствованія то на парусной лодкѣ, одинъ разъ чуть не опрокинувшейся, то верхомъ, то въ экипажѣ Байронъ описалъ въ короткомъ дневникѣ, посвященномъ сестрѣ и кончающемся этими трогательными словами. „Тебѣ, милая Августа, я теперь посылаю эти замѣтки; для тебя было написано то, что я видѣлъ и чувствовалъ. Люби меня, какъ ты любима мною". Мяг-

кость этихъ строкъ и спокойный тонъ дневника какъ нельзя болѣе соотвѣтствуютъ новому настроенію поэта. Здѣсь, на Женевскомъ озерѣ, по сосѣдству съ Шелли и въ постоянномъ общеніи съ нимъ, Байронъ несомнѣнно началъ чувствовать душевное успокоеніе. Окружавшая природа, дававшая все новыя и новыя впечатлѣнія, возбуждавшая все къ новымъ и новымъ вдохновеніямъ, сама по себѣ отвлекала вниманіе отъ скорби разбитаго сердца. А рядомъ всегда былъ этотъ „галлюцинатъ, стоящій внѣ общества", Шелли, всегда занятый, пламенно и беззавѣтно отдавшійся поэзіи, философіи и своимъ мечтамъ о лучшемъ строѣ, которому даже почти не было времени задумываться о томъ, каково его положеніе среди соотечественниковъ, а когда онъ видѣлъ противъ себя озлобленіе, принимавшій это какъ нѣчто относящееся гораздо болѣе къ его идеямъ, чѣмъ къ его личности. Никогда не былъ Байронъ въ болѣе интеллектуальной средѣ. Одно чтеніе смѣнялось другимъ. Фаустъ Гете наполнилъ воображеніе своимъ уже философскимъ демонизмомъ. Руссо напоминала и природа и весь укладъ жизни. Мрачный Шильонскій замокъ говорилъ о вѣковой борьбѣ противъ насилія и мрака, и фигура Бонивара, чуть намѣченная въ сонетѣ къ Шильону, вливала и вѣру, и силу.

Подъ такими впечатлѣніями и въ такомъ состояніи духа, напряженнаго и озлобленнаго, но углубленнаго теперь раздумьемъ и твердой увѣренностью, были написаны 3-ья пѣснь „Чайльдъ Гарольда" и „Шильонскій узникъ", былъ задуманъ „Манфредъ". Свое состояніе, когда писалась третья пѣснь „Чайльдъ Гарольда", поэтъ отмѣтилъ въ письмѣ къ своему издателю, а теперь другу, Муррею, въ январѣ 1817 г.

«Я съ радостью узналъ о томъ, что вы пріѣзжаете въ февралѣ, хотя и дрожу за «великолѣпіе», которое вы усмотрѣли въ новой пѣснѣ *Чайльдъ-Гарольда*. Я радъ, что она вамъ понравилась; это произведеніе безотчетной поэтической скорби и мое любимое. Я былъ наполовину помѣшаннымъ, когда писалъ его, всецѣло отдавшись философскимъ размышленіямъ, среди горъ, озеръ, любви неугасимой, мыслей невыразимыхъ и подъ кошмаромъ сознанія совершенныхъ ошибокъ. Не разъ я хотѣлъ разбить себѣ черепъ, но вспоминалъ, что это доставило бы удовольствіе моей тещѣ; даже *несмотря на это*, имѣй только я увѣренность, что мой призракъ будетъ являться ей.., но не буду останавливаться на этихъ семейныхъ мелочахъ».

Особенно характерно для этого періода творчества и жизни Байрона его общеніе съ природой. Теперь живописный пейзажъ не только фонъ, на которомъ развиваются образы, отражавшіе личное настроеніе. Лиризмъ Байрона здѣсь, въ Швейцаріи, получаетъ новый характеръ. Въ англійской поэзіи того времени, тамъ въ странѣ Озеръ, возникла поэзія ландшафта. Байронъ къ этому направленію до сихъ поръ относился холодно. Онъ не признавалъ его и впослѣдствіи. Ему чуждъ былъ вдумчивый пантеизмъ Вордсворта. Но теперь, подъ вліяніемъ Шелли, онъ не только на время мирится съ этимъ поэтомъ старшаго поколѣнія,—онъ самъ по своему отвѣчаетъ тѣмъ же запросамъ. Душа Байрона открылась и для зрительныхъ вдохновеній. Онъ видитъ и хочетъ видѣть природу даже не ради одной ея живописности, а ради нея самой. Подъ руководствомъ Шелли онъ сживается съ ней, упивается ея безконечнымъ и причудливымъ разнообразіемъ. Природа заговорила съ нимъ какъ живое существо, съ которымъ онъ входитъ въ новое, болѣе сознательное общеніе. Возникаетъ новая дружба поэта, дружба съ зрительной красотой, убаюкивающей и упоительной.

Пребываніе Байрона въ Швейцаріи продолжалось только одно лѣто. Съ наступленіемъ осени и его, и Шелли потянуло къ югу, за итальянскія озера, за величественный Симплонъ—въ Италію.

Байронъ направился въ Венецію. Его влекло туда давно, можетъ быть, влекла самая парадоксальность этого города. Онъ называлъ Венецію „величайшимъ островомъ своего воображенія". И здѣсь начался новый періодъ, новое настроеніе и новый характеръ творчества, на этотъ разъ опять уже вполнѣ самостоятельный, но художественно болѣе продуманный.

Какъ нѣкогда, въ болѣе ранней молодости, еще до женитьбы, такъ и теперь Байронъ начинаетъ упиваться жизнью. Съ момента поселенія въ Венеціи,онъ вперяетъ свой взоръ не въ природу, а въ человѣческую жизнь. Состояніе его духа спокойнѣе. Юморъ начинаетъ замѣнять мрачное озлобленіе еще сильнѣе. Что съ этимъ новымъ настроеніемъ Байронъ уже пріѣхалъ въ Венецію, видно изъ письма къ сестрѣ въ декабрѣ 1816 г.

Венеція, 19 декабря 1816 г.

«Дорогая Августа! писалъ тебѣ нѣсколько дней назадъ. Твое письмо отъ 1-го получено; повидимому, ты питаешь относительно меня *«надежду»*; что это за *«надежда»* дитя? Сестра



ВИЛЛА ДІОДАТИ НА ЖЕНЕВСКОМЪ ОЗЕРѢ. (Villa Diodati).

моя дорогая! Мнѣ припоминается методистскій проповѣдникъ, который, увидѣвъ насмѣшливое выраженіе на лицахъ нѣкоторыхъ изъ своихъ прихожанъ, воскликнулъ: «нѣтъ надежды для тѣхъ, кто смѣется». Такъ и съ нами: мы смѣемся слишкомъ много въ то время, когда надо сосредоточиться на мысли о надеждѣ и спасеніи и теряемъ ихъ. Мнѣ опротивѣла тоска, и я долженъ забавлять себя, какъ только могу: такъ обстоитъ дѣло,—я не хочу снова впасть въ уныніе, если могу предупредить это.

Письмо мое къ моей высоконравственной Клитемнестрѣ не требовало отвѣта, и я не хотѣлъ бы его. Я былъ достаточно жалокъ, когда писалъ его, и это продолжалось долгіе дни и мѣсяцы; теперь я не такъ жалокъ, причины объяснены въ послѣднемъ письмѣ (нѣсколько дней назадъ); и такъ какъ я никогда не претендую быть инымъ, чѣмъ каковъ я на дѣлѣ, можешь, если угодно, сказать ей, что я поправляюсь, а также и почему, если хочешь».

Тѣ обстоятельства, на которыя намекаетъ здѣсь Байронъ, какъ на причину наступившаго сравнительнаго довольства,—чисто внѣшнія, и поэтъ упоминаетъ ихъ скорѣе для „своей Клитемнестры", скорѣе самого себя убѣждая, что это такъ, чѣмъ ясно отдавая себѣ отчетъ въ своемъ состояніи. Обстоятельство это—его любовь къ итальянкѣ Маріаннѣ Сегати.

Байронъ всецѣло отдался вихрю Венеціанскаго веселья. Его захватила жизнь этого итальянскаго города, съ ея своеобразными взглядами на любовь, съ ея уличнымъ общеніемъ, съ ея восхитительнымъ языкомъ, а позднѣе и съ ея политикой. Байронъ стремился войти въ венеціанскую жизнь; ему захотѣлось отчасти стать венеціанцемъ. Онъ, какъ самъ выражается, „довольно бѣгло говорилъ по-итальянски" и быстро усвоилъ себѣ и особенности венеціанскаго діалекта. „Изъ Англіи,—писалъ онъ,—я ничего не получаю и ни о комъ ничего не знаю". Въ сущности онъ осуществляетъ здѣсь то, что намѣтилъ себѣ давно, еще до женитьбы. Онъ старается именно „черпать изъ языка и литературы", какъ Италіи, такъ и Востока. Близъ Венеціи находился армянскій монастырь, и вотъ Байронъ, знакомый уже съ итальянскимъ языкомъ и присмотрѣвшійся къ итальянской литературѣ и даже познакомившійся проѣздомъ черезъ Миланъ съ поэтомъ Монти, хочетъ черезъ армянскій языкъ проникнуть въ заколдованную тайну восточной мысли и восточныхъ чувствъ, несмотря на долгое пребываніе на Востокѣ, воспринятыя до сихъ поръ, разумѣется, поверхностно. Если по армянски Байронъ, однако, не выучился, то съ братіей армян-

скаго монастыря онъ, несомнѣнно, сошелся. Нѣсколько позднѣе онъ пишетъ Муррею съ просьбой оказать покровительство монахамъ армянскимъ, черезъ Англію пробиравшимся въ Мадрасъ. Тутъ видно, что Байронъ дѣйствительно оказывалъ содѣйствіе только что начинавшемуся панъ-армянскому движенію.

Италія уже не только природой и литературой, но живая и трепещущая открылась Байрону во плоти, въ лицѣ жены его престарѣлаго хозяина дома Сегати, Маріанны Сегати.

Эту Маріанну, о которой онъ часто пишетъ и ради которой, какъ онъ увѣряетъ, онъ больше, чѣмъ думалъ остался въ Венеціи, Байронъ описалъ въ письмѣ къ Муру:

«Разговоры о «сердцѣ» напоминаютъ мнѣ, что я впалъ въ любовь, и это является наилучшей (или наихудшей) вещью, которую я могу сдѣлать, за исключеніемъ паденія въ каналъ (безполезнаго, такъ какъ я умѣю плавать). Итакъ, я погрузился въ любовь—бездонную любовь; но чтобы вы не промахнулись великолѣпнымъ образомъ и не усмотрѣли съ завистью во мнѣ обладателя какой-нибудь изъ принцессъ или графинь, любовью которыхъ ваши англійскіе путешественники склонны надѣлять себя, позвольте сказать вамъ, что моя богиня—только жена одного «Венеціанскаго Купца»; зато она прекрасна, какъ антилопа, всего двадцати двухъ лѣтъ, обладаетъ большими черными восточными глазами, лицомъ итальянки и темными лоснящимися волосами, такими же вьющимися и такого же цвѣта, какъ у лэди Джерси. Ея голосъ голосъ лютни, а пѣснь—пѣснь серафима (хоть и не совсѣмъ святая); кромѣ того, она обладаетъ длиннымъ постскриптумомъ прелестей, добродѣтелей и совершенствъ, которыхъ хватило бы на новую главу въ «Пѣсни пѣсней» Соломона. Но главное ея достоинство въ томъ, что она съумѣла и во мнѣ открыть разныя достоинства,—нѣтъ ничего милѣе такого дара распознаванія. Нашъ маленькій контрактъ завершенъ; даны обычныя клятвы, и все выполнено согласно «подразумѣваемому ритуалу» такихъ связей».

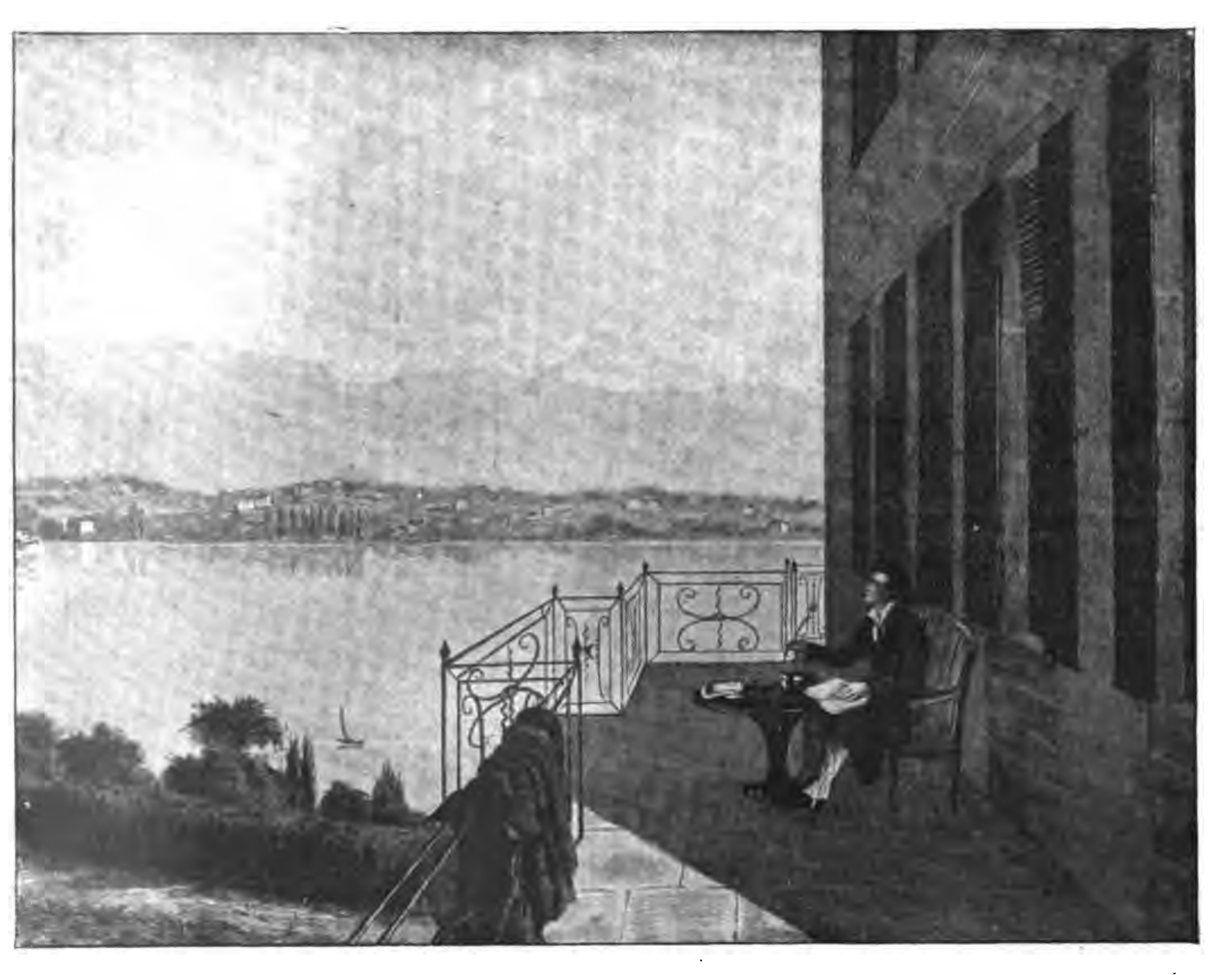
Байрону нравились бурныя страсти итальянокъ. Онъ любовался ими. Это было то, чего онъ хотѣлъ отъ женщины, какъ художникъ. Это была полная противоположность съ холодной и хладнокровной любовью англійской женщины, той, какую могла лишь дать его „Клитемнестра". Это была также не истерическая бурность г-жи Лэмъ или Дженъ Клермонъ. Съ послѣдней поэтъ уже разъ навсегда теперь разошелся.

Что венеціанскія авантюры Байрона были какимъ-то любовью-любованьемъ, видно изъ того, съ какимъ юморомъ онъ описываетъ ихъ въ письмахъ къ пріятелямъ. Онъ точно гордится своими любовницами, какъ интересными звѣрками.

Однажды, — разсказываетъ Байронъ,— двоюродная сестра Маріанны написала Байрону письмо и на его приглашеніе явилась къ нему, пока Маріанна съ мужемъ были въ гостяхъ. Но только успѣла она войти, какъ въ комнату ворвалась Маріанна, бросилась на свою двоюродную сестру, начала бить ее по щекамъ и потомъ за волосы вытащила изъ комнаты. Очевидно, она устроила заранѣе черезъ своихъ слугъ засаду для назойливой соперницы. Другой разъ она такъ расплакалась и разволновалась у Байрона, что на ея крики явился мужъ, и Байронъ ждалъ, что теперь ему или ей придется отвѣтить за ихъ любовь. Дѣло, однако, кончилось ничѣмъ, хотя сомнѣнія въ отношеніяхъ Маріанны и Байрона болѣе не могло быть. Байронъ юмористически заканчиваетъ этотъ разсказъ, говоря, что объяснить эту сцену мужу онъ предоставилъ уже самой Маріаннѣ, зная, что въ такихъ случаяхъ женское краснорѣчіе далеко превосходитъ мужское.

Рядомъ съ подобными связями, Байронъ вообще ведетъ здѣсь самую разсѣянную жизнь. Ему нравятся карнавалы своимъ шумнымъ и захватывающимъ весельемъ, весельемъ уже не только свѣтскаго дэнди, какъ бывало въ Англіи, а еще тѣмъ особымъ всенароднымъ праздничнымъ разгуломъ, который сохранился въ одной только Италіи. Знатный лордъ, всемірно знаменитый, сорившій деньгами, красавецъ и свѣтскій дэнди, блисталъ и въ венеціанскихъ гостиныхъ. Чаще всего бывалъ онъ у графини Альбрицци.

И если жизнь Венеціи именно своими развлеченіями, разгуломъ своей piazzetta, этимъ всенароднымъ салономъ подъ открытымъ небомъ, такъ увлекала Байрона, то этому были причины и въ дерзающей, боровшейся со всякой мѣщанской и свѣтской условностью новой морали. Здѣсь, въ Венеціи, онъ увидѣлъ особую мораль. Дерзаніе онъ увидѣлъ и въ нравахъ. Любовь, скованная на его родинѣ въ тиски, отравленная ханжествомъ и фарисействомъ, здѣсь какъ будто выходитъ изъ береговъ, бьетъ ключомъ; она по своему побѣдила, создала особыя условія жизни. Позднѣе самъ Байронъ будетъ любить въ этихъ условіяхъ, гдѣ бракъ совсѣмъ отторгнутъ отъ мятежной, возставшей любви, а покамѣстъ въ своей связи съ Маріанной Сегати онъ уже самъ отпраздновалъ нѣкоторое торжество побѣдоносной плоти. Мужъ ея прекрасно зналъ объ ихъ связи. Это была связь открытая. Уже проживши больше полугода въ



БАЙРОНЪ НА БАЛКОНѢ ВИЛЛЫ ДІОДАТИ въ 1816 г.

Венеціи, Байронъ въ такихъ выраженіяхъ излагалъ своеобразную итальянскую этику въ письмѣ къ Томасу Муру:

«Итальянская мораль—самая удивительная. Распущенность не только поведенія, но и понятій у женщинъ поразительная. Не то, чтобы онѣ не считали распущенность грѣховной, и даже очень грѣховной; но любовь (*чувство* любви) не только служитъ для нея извиненіемъ, но и обращаетъ ее въ *настоящую добродѣтель*, лишь бы только любовь была безкорыстной, не была капризомъ и ограничивалась однимъ лицомъ. У итальянцевъ странныя понятія о постоянствѣ: мнѣ показывали восьмидесятилѣтнихъ любовниковъ, состоявшихъ въ связи сорокъ, пятьдесятъ и шестьдесятъ лѣтъ. Не могу сказать, чтобы я когда либо видѣлъ подобную парочку законныхъ супруговъ».

И любопытна эта приписка въ письмѣ, гдѣ разсужденія наблюдателя и моралиста, старающагося формулировать моральныя правила, провѣрены живой носительницей этой морали, которой противна самая мысль о томъ, что о чувствѣ можно теоретизировать:

Маріанна, которой я сейчасъ перевелъ то, что написалъ вамъ о насъ, говоритъ: «Если бы ты настоящимъ образомъ любилъ меня, то не пускался бы въ такія умствованія, которыя годны только на то, чтобы «вычистить ими сапоги»,—«*forbirsi i scarpi* , венеціанская поговорка. приложимая къ самымъ разнообразнымъ случаямъ».

Когда Байронъ поселился въ Венеціи, онъ, однако, еще вовсе не разсчитывалъ дѣйствительно навсегда оставить родину. Онъ считалъ свое пребываніе временнымъ. Точка зрѣнія остается та же, что и въ Греціи. Пока не проданъ Ньюстэдъ, онъ еще связанъ съ Англіей. Только если тамъ не будетъ этого убѣжища, онъ предпочтетъ стать космополитомъ. Англичанъ, правда, теперь онъ вовсе уже не хочетъ видѣть. Изъ его писемъ видно, какъ тщательно онъ ихъ избѣгаетъ. Онъ не хочетъ и слышать о Флоренціи, потому что тамъ слишкомъ много соотечественниковъ. Венеція ему нравится еще и потому, что здѣсь англичане лишь „птицы-странники". Но недавняя рана еще не зажила. Несмотря на связь съ Дженъ Клермонъ, съ Маріанной и другими *), связи, которыя онъ и не хочетъ скрывать отъ жены, какъ это видно изъ приведеннаго письма къ сестрѣ, онъ еще мечтаетъ вновь сойтись со „своей Клитемнестрой". Оттого въ его письмахъ часто появляются заявленія, что онъ весною вернется въ Англію. Онъ упорно извѣщаетъ о возможности своего возвращенія всѣхъ своихъ корреспондентовъ. Онъ интересуется и дочерью Адой; разнесся слухъ, что жена его собирается на континентъ, и Байронъ пишетъ, что не хочетъ, чтобы его дочь оставляла Англію. „При теперешнемъ положеніи дѣлъ на континентѣ, я не хочу, чтобы она путешествовала",—пишетъ онъ Почему именно онъ не хочетъ, Байронъ не говоритъ, но тутъ чувствуется желаніе отстоять свои права на дочь, права заботиться о ней.

Весною 1817 года Байронъ пишетъ письмо прямо женѣ. Но его ждетъ разочарованіе. Г-жа Байронъ въ путешествіе не отправлялась, и желаніе Байрона, можетъ быть и независимо отъ его воли, оказалось исполненнымъ; но о томъ, чтобы сойтись, оказалось невозможно даже и заводить рѣчь. То, что случилось—безвозвратно, а дочь Байрона должна остаться съ матерью. Отецъ долженъ потерять на нее всѣ свои права. Возвращаться въ Англію, стало быть, было незачѣмъ.

Поэтъ былъ смущенъ. „Я не имѣю понятія, куда я поѣду и вообще что собственно я буду дѣлать",—писалъ Байронъ Муру въ концѣ марта 1817 года.

Вмѣсто возвращенія на родину оставалось лишь предпринять путешествіе по Италіи: Надо было видѣть Флоренцію, „изъ-за Венеры", хотя бы проѣздомъ; хотѣлось посѣтить Римъ и видѣть папу, сказать ему, что въ парламентѣ онъ, Байронъ, отстаивалъ права ирландскихъ католиковъ. И тутъ дѣло еще осложнилось. Вопросъ о сближеніи съ женой затруднился извѣстіемъ о рожденіи отъ Дженъ Клермонъ дочери, Аллегры. Это событіе имѣло мѣсто 12 января, но Байронъ пишетъ о немъ сестрѣ лишь въ маѣ. Только тогда узналъ онъ, что вновь сталъ отцомъ:

«Дорогая Августа! Я остановился здѣсь, возвращаясь изъ Рима въ Венецію. Изъ Рима я написалъ тебѣ довольно длинное письмо. Гобгоузъ уѣхалъ на короткое время въ Неаполь.

Во время моего пребыванія я получилъ одно-два твоихъ письма, старое и новое. Мое здоровье возстановилось и оставалось удовлетворительнымъ даже въ жару; я много ѣзжу верхомъ и карабкаюсь по горамъ,—живу на открытомъ воздухѣ все время съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ сюда.

Буду радъ имѣть вѣсти отъ тебя или о тебѣ и твоихъ и моихъ дѣтяхъ. Кстати, я—кажется, снова сдѣлался отцомъ *дѣвочки*, отъ лэди, которую ты узнаешь по сказанному о ней въ предыдущихъ письмахъ, *той* самой. которая вернулась въ Англію, чтобы стать incognito матерью, и которую я молю боговъ удержать тамъ. Я нѣсколько недоумѣваю, что дѣлать съ этимъ новымъ произведеніемъ (которому уже два или три

*) Ср. въ настоящемъ томѣ, стр. 5—7, исторію связи съ Маргаритой Коньи.

мѣсяца, хотя вѣсть о немъ я получилъ только въ Римѣ); вѣроятно, пошлю за дѣвочкой и отдамъ ее въ Венецію въ монастырь, чтобы она стала доброй католичкой и (быть можетъ) *монахиней*, этого званія нѣсколько недостаетъ въ нашей семьѣ.

Мнѣ говорятъ, что она очень красива, у нея голубые глаза и темные волосы, и хотя я никогда не былъ привязанъ и не притворялся привязаннымъ къ ея матери, все же, въ виду вѣчной войны изъ-за моей законной дочери Ады и предвидимой мною разлуки съ нею, хорошо имѣть кого-нибудь, на кого можно возложить свои надежды. Мнѣ надо будетъ любить кого нибудь въ старости, и обстоятельства, вѣроятно, сдѣлаютъ это бѣдное маленькое созданіе моимъ великимъ и, пожалуй, единственнымъ утѣшеніемъ».

Рѣшеніе не возвращаться въ Англію было принято лишь въ апрѣлѣ 1817 года. „Я не пріѣду въ Англію, а черезъ нѣсколько дней отправляюсь въ Римъ. Въ іюнѣ я вернусь въ Венецію",—пишетъ Байронъ Муррею 14 апрѣля. Теперь съ Англіей все покончено. Въ дальнѣйшей перепискѣ уже часто говорится о продажѣ Ньюстэда. Байронъ осуществитъ теперь ту программу жизни, которая мерещилась ему еще въ Греціи.

Путешествіе Байрона по Италіи, черезъ Феррару, Модену, Равенну и Римъ, привело его къ болѣе близкому знакомству съ пластическими искусствами. Въ Швейцаріи природа, здѣсь — искусство. Это видно изъ послѣдней пѣсни „Чайльдъ Гарольда". Но искусство Байронъ воспринималъ холодно, какъ сравнительно холодно говоритъ онъ объ немъ и въ „Чайльдъ Гарольдѣ". „Я ничего не понимаю въ живописи",—сознается Байронъ въ письмѣ къ Муррею. Онъ говоритъ даже, что „ненавидитъ живопись".

Эти признанія поэта въ высшей степени интересны:

«Помните, однако, что я ничего не понимаю въ живописи и ненавижу картину, если она не напоминаетъ мнѣ о чемъ нибудь видѣнномъ мною или же о томъ, что я считаю возможнымъ увидѣть; вотъ почему я гнушаюсь и плюю на всѣхъ святыхъ и на сюжеты половины тѣхъ нелѣпостей, которыя я вижу въ церквахъ и дворцахъ; никогда въ жизни я не испытывалъ такого отвращенія, какъ въ бытность мою во Фландріи къ Рубенсу и его вѣчнымъ женамъ и адскому, какъ мнѣ казалось, блеску красокъ, а въ Испаніи я былъ не очень высокаго мнѣнія о Мурильо и Веласкецѣ. Повѣрьте, изъ всѣхъ искусствъ живопись—самое искусственное и неестественное и всего больше дѣйствуетъ на глупость человѣческаго рода. Я еще не видывалъ картины или статуи, которая хоть на версту приближалась бы къ моему представленію или ожиданію; но я видывалъ много горъ, морей, рѣкъ, ландшафтовъ и двухъ трехъ женщинъ, которыя были настолько же выше его, не говоря уже о лошадяхъ, львѣ (у Вели-паши) въ Мореѣ и тигрѣ въ Эксетерской Биржѣ».

Тутъ такъ сжато и въ то же время такъ выразительно сказывается поэтъ, влюбленный въ жизнь. Онъ не хочетъ вдохновляться чужими видѣніями. Онъ отшатывается отъ нихъ, чтобы они не загородили жизни, жизни внѣшней, трепетавшей кругомъ него или трепетавшей когда-то, насколько онъ можетъ это чувствовать, во всѣхъ окружавшихъ его памятникахъ старины. Эту жизнь будетъ онъ выполнять и одухотворять воображеніемъ. Италія для Байрона оказалась не картинной галлереей; это—родина страдавшаго Тассо, родина Данте, а теперь родина всѣхъ этихъ пѣвцовъ, гондольеровъ, свѣтскихъ чичисбеевъ и очаровательныхъ красавицъ, пестрая толпа которыхъ наполняла его домъ на каналѣ Гранде и такъ поразила Шелли, когда онъ посѣтилъ своего друга въ Венеціи.



Дочь БАЙРОНА АДА.
(Ada Byron).
Съ миніатюры.
Ср. т. I, стр. 86 и 118.

Байронъ и Шелли часто видѣлись въ Италіи; лѣтомъ 1817 года они жили вмѣстѣ на „вилледжатурѣ" Байрона, около Бренты, въ окрестностяхъ Венеціи.

И теперь ихъ отношенія опредѣляются лучше. Байронъ, старшій поэтъ и тогда неизмѣримо болѣе извѣстный, чѣмъ Шелли, въ Швейцаріи скорѣе ученикъ Шелли. Теперь Шелли продолжаетъ влiять. Онъ больше знаетъ; онъ можетъ болѣе твердыми шагами подойти къ Данте. Но поэты уже разошлись въ своихъ исканіяхъ, и раздвоило ихъ именно это Байроновское упоеніе жизнью, какъ раньше ихъ сближало упоеніе природой и философски-нравственное и политическое раздумье. Байронъ идетъ по пути своихъ задатковъ юмора и сарказма, питающихся переживаніями самой жизни. Проведя еще второй годъ въ Венеціи, онъ еще болѣе входитъ въ итальянскую жизнь, и она своимъ блескомъ и своей рѣзвой пестротой подзадориваетъ его наблюдательность и дразнитъ его юморъ. „Галлюцинатъ, сто-

ящій внѣ общества", могъ быть источникомъ знанія и болѣе провѣренной углубленной мысли. Онъ былъ идеальный собесѣдникъ для Байрона. Когда Байронъ и Шелли вмѣстѣ изъѣздили верхомъ весь Лидо,—это было еще болѣе тѣсное проникновеніе двухъ геніевъ, чѣмъ дружба Гёте и Шиллера; но люди они были еще болѣе разные, чѣмъ оба великихъ нѣмецкихъ поэта. Байронъ могъ отразить то, что говорилъ „галлюцинатъ" Шелли, но у него не хватало терпѣнія и упорства, чтобы задумывать такіе проникновенные символы; его влекло къ образамъ рѣзкимъ и ярко очерченнымъ, какіе давала жизнь.

Это художественное направленіе Байрона, творца „Донъ Жуана", выразилось въ созданіи „Беппо".

Если знакомство съ Шелли и жизнь на Женевскомъ озерѣ привели тогда въ нѣкоторый порядокъ взволнованность души Байрона, то теперь, во второй годъ пребыванія въ Венеціи, среди этой свободной, ничѣмъ теперь не стѣсняемой жизни нашедшаго себѣ, наконецъ, пріютъ изгнанника, для Байрона настало то спокойствіе созерцанія жизни, о которомъ когда-то поэтъ мечталъ, но безуспѣшно. Это біографическое значеніе возникновенія „Беппо" прекрасно очертилъ проф. Кеппель. „Вплоть до этой венеціанской исторіи, повидимому основанной на дѣйствительномъ происшествіи, —пишетъ онъ,— Байронъ былъ поэтъ-моралистъ, у котораго за обнаруживаніемъ грѣха неизмѣнно слѣдовало возмездіе. Съ „Беппо" впервые поэтъ входитъ въ такой міръ, гдѣ грѣхъ смѣло и свободно можетъ проявляться безъ того, чтобы вызвать непремѣнно наказаніе,—въ міръ, котораго моральный укладъ онъ можетъ описывать шутя, какъ нѣчто само собою понятное. Онъ судитъ по развертывавшейся передъ нимъ венеціанской дѣйствительности, показавшей ему такія любящія парочки, какъ Лаура и ея графъ".

Венеція несомнѣнно подходила Байрону. Теперь, послѣ столькихъ испытаній, если онъ не жилъ такъ, какъ хотѣлъ, то во всякомъ случаѣ жилъ такъ, какъ при настоящихъ условіяхъ было всего легче и спокойнѣе жить. И жить, и работать. Потому что Байронъ работаетъ, если не такъ нервно, какъ въ Лондонѣ, то такъ же производительно. Его переписка за это время даже всего болѣе отражаетъ именно литературные интересы; они только переплетаются свободно съ разсказами о похожденіяхъ, своихъ и чужихъ, теперь разсказанныхъ вездѣ съ юморомъ, уже не озлобленнымъ, какъ прежде, а мягкимъ и веселымъ. Главные корреспонденты его, кромѣ сестры и (чисто дѣловая переписка) Гансона, это Муръ и Муррей. Тутъ проходитъ вся сутолока перехода созданій поэта съ его письменнаго стола черезъ печатный станокъ въ руки публики. Муру Байронъ пишетъ и о чужихъ созданіяхъ. Онъ живо интересуется его „Лаллой Рукъ". Онъ пересыпаетъ свои письма смѣхотворными стихами на литературныя новости. Судъ критики его теперь не волнуетъ. Онъ читаетъ отзывы, требуетъ, чтобы они были ему присланы; и когда Муррей задерживаетъ ихъ сообщеніе, потому что они неблагопріятны, Байронъ отвѣчаетъ, что давно прошло время, когда подобныя вещи волновали его. Теперь Байронъ — писатель, увѣренный въ себѣ и на вершинѣ славы. Онъ быстро посылаетъ все, что пишетъ; ненасытное самолюбіе его либо удовлетворено, либо стало зрѣлѣе и спокойнѣе.

Это новое, установившееся на нѣкоторое время отношеніе Байрона къ литературѣ, соотвѣтствующее и его общему настроенію, выразилось ярко во время нападокъ на него Соути, не переставшаго бичевать Байрона съ того самаго момента когда поэтъ покинулъ Англію. Вотъ что пишетъ Байронъ по этому поводу Муррею уже въ ноябрѣ 1818 года, посылая ему первую пѣснь „Донъ Жуана", „Мазепу" и „Оду на Венецію":

«Лордъ Лодердэль уѣхалъ отсюда двѣнадцать дней назадъ съ грузомъ поэзіи, адресованнымъ м-ру Гобгоузу,—все вещи новенькія съ иголочки и въ рукописи. Вы увидите, что̀ онѣ собою представляютъ. Я занялся господиномъ Соути, и онъ получитъ отъ меня и еще, прежде чѣмъ я раздѣлаюсь съ нимъ. Я слыхалъ, что этотъ негодяй говорилъ два года назадъ по возвращеніи изъ Швейцаріи, будто Шелли и я состоимъ въ лигѣ кровосмѣшенія, и проч., и проч. Онъ наглый лжецъ! Женщины, на которыхъ онъ намекаетъ, не сестры,—одна дочь Годвина отъ Мэри Ульстонкрафтъ, а другая дочь *нынѣшней* второй г-жи Годвинъ отъ *предыдущаго* мужа; далѣе, будь онѣ даже сестры, никакой *совмѣстной связи* не было.

Можете сказать то, что я говорю, кому угодно, и въ частности Соути, на котораго я смотрю какъ на грязнаго лжеца и ракалью, и скажу это публично и докажу это чернилами,—или его кровью, не считай я его черезчуръ поэтомъ, чтобы онъ сталъ рисковать ею. Имѣй онъ за собой сорокъ журналовъ, какъ онъ имѣетъ за собой «*Quarterly*,» я напалъ бы и тогда на этого писаку: но я не хочу дѣлать ничего исподтишка. Скажите ему отъ *меня* то, что я говорю, а также и кому угодно еще.





ДОЧЬ БАЙРОНА, ГРАФИНЯ АДА ЛОВЛЭСЪ.
Ada Byron (Countess of Lovelace).

свою поэзію. Онъ высказывался категорически въ письмѣ къ Далласу, предоставляя ему часть своихъ авторскихъ правъ:

«17-го февраля 1814 г. Сегодня вечеромъ «Курьеръ» обвиняетъ меня въ томъ, что я «получилъ и положилъ въ карманъ» крупныя суммы за свои сочиненія. Ни за одно изъ нихъ я еще не получилъ и не желаю получить ни фартинга. М-ръ Муррей предлагалъ тысячу (гиней) за «Гяура» и «Абидосскую Невѣсту»; но я сказалъ, что это черезчуръ много и что если онъ будетъ въ состояніи дать такую сумму чрезъ шесть мѣсяцевъ, я укажу тогда, какъ ею распорядиться; но ни тогда, ни позже я не воспользовался чѣмъ-нибудь для себя самого. Я отвергъ четыреста гиней за новое изданіе «Сатиры»; за прежнія же изданія и вообще за какія либо писанія я не получилъ ни су. Я не желаю причинить вамъ какую-бы то ни было непріятность; никогда также не было и не будетъ поставлено съ моей стороны требованіе какой-нибудь услуги взамѣнъ; поэтому я не вижу ничего оскорбительнаго для васъ въ переходѣ къ вамъ авторскаго права. То была только помощь достойному человѣку со стороны вовсе не столь достойнаго.

М-ръ Муррей будетъ протестовать, но ваше *имя* не будетъ упомянуто. Вы же—свободны поступить какъ вамъ угодно. Надѣюсь только, что и теперь, какъ всегда, вы не будете думать, что я злоупотребляю случайной возможностью быть вамъ полезнымъ, которую обстоятельства дали мнѣ».

Теперь изъ переписки Байрона съ Мурреемъ видно, что онъ не только бралъ гонораръ, но даже, какъ онъ самъ выражается, „торговался". Можетъ быть, къ этому принудила и запутанность дѣлъ, такъ какъ Ньюстэдъ еще не былъ проданъ и при продажѣ его надо было расплатиться еще съ долгами.

V.

Осенью 1818 года Ньюстэдское аббатство было, наконецъ, продано. Его купилъ Уайльдманъ, товарищъ Байрона по Гарроу, и до насъ дошло дружеское письмо къ нему Байрона по поводу этой продажи.

Теперь всѣ связи съ Англіей были уже порваны. Въ своей перепискѣ Байронъ, правда, и послѣ этого говоритъ о поѣздкѣ на родину. Такъ, ему хотѣлось явиться на коронацію Георга IV. Онъ пишетъ также, что рано или поздно все равно придется вернуться. Всѣ эти планы, однако, не болѣе какъ мимолетныя мысли. Онъ понималъ, какой скандалъ вышелъ бы изъ того, если-бы онъ предложилъ участвовать въ коронаціонныхъ торжествахъ. Въ Англіи уже дѣлать было нечего, а здѣсь, въ Италіи, напротивъ, онъ все болѣе входитъ въ жизнь, сживается съ нею, и хотя, какъ мы это увидимъ, онъ подчасъ и тяготится итальянскимъ обществомъ, здѣсь завязываются такія связи, которымъ уже не было суждено быть расторгнутыми. Его окончательное отношеніе къ родинѣ выразилось въ письмѣ къ Муррею въ сентябрѣ 1819 года, гдѣ Байронъ пишетъ:

«Не говорите мнѣ объ Англіи,—о ней не можетъ быть и рѣчи. Я имѣлъ тамъ домъ, земли, жену, ребенка и имя - когда то; но все это измѣнилось или исчезло. Изъ десяти послѣднихъ—и лучшихъ лѣтъ моей жизни почти шесть прошло за предѣлами Англіи. Я не чувствую любви къ своей странѣ послѣ того обращенія, которое я претерпѣлъ передъ послѣднимъ отъѣздомъ, но и не на столько ее ненавижу, чтобы радоваться ея несчастіямъ. Но собственно говоря вражда должна бы быть равная съ обѣихъ сторонъ иначе ничего не выйдетъ; революціи не дѣлаются на розовой водичкѣ. Но мой вкусъ къ революціямъ притупился вмѣстѣ съ другими моими страстями».

„Донъ Жуанъ" однако весь проникнутъ англійскими интересами и чисто англійскими счетами съ обществомъ и политикой. Реализмъ, выработавшійся среди сутолоки на Piazza di San Marko, еще уносилъ воображеніе на родину.

И поэтъ отстаиваетъ свое созданіе, шокировавшее и Муррея и Гобгоуза. Онъ не соглашается чтобы то ни было измѣнить. Оно должно выйти такъ, какъ оно возникло. Байронъ въ письмѣ къ Муррею лишь выражаетъ согласіе на выпускъ первой пѣсни анонимно, но при этомъ предпочитаетъ уже не помѣщать посвященія къ Соути, потому что выйти на него онъ не считаетъ возможнымъ иначе, какъ съ поднятымъ забраломъ. И какъ видно изъ письма къ Муррею въ маѣ 1819 года по поводу „Донъ Жуана", чуть не пошатнулись даже его отношенія къ его другу и издателю.

«Я думаю, вы съ вытянутымъ лицомъ смотрите на «Донъ Жуана», предвидя вопли и свирѣпую критику, которую онъ вызоветъ; но *все это* мое дѣло; думаете ли вы, что я не предвижу всего этого такъ же хорошо, какъ и вы? Вѣдь, человѣче, это будетъ находка для всѣхъ ихъ: никогда имъ не представлялось такого случая посвирѣпствовать; но *вы* то не будьте не въ духѣ. Я никогда не мучу васъ умышленно, какъ вамъ воображается; но вы иногда касаетесь чувствительныхъ струнъ, какъ, напримѣръ раза два въ послѣднемъ письмѣ.

Вы правы относительно *анонимной* публикаціи, но въ такомъ случаѣ опустимъ посвященіе Соути; я не хочу напасть на эту собаку такъ яростно, не выставляя своего имени, *это* годится для критика; итакъ, выпускайте поэму безъ посвятительныхъ стансовъ.

Что касается «*Мазепы*» и «*Оды*», то можете



ИЗДАТЕЛЬ И ДРУГЪ БАЙРОНА—МУРРЕЙ (Jhon Murray).

по собственному усмотрѣнію присоединить ихъ или же выдѣлить изъ двухъ «пѣсней».

Не думайте, что я хочу разсердить васъ: я питаю большое уваженіе къ вашимъ добрымъ и джентльмэнскимъ качествамъ и отвѣчаю дружбой за вашу личную дружбу ко мнѣ. И хотя я думаю, что вы нѣсколько испорчены «дурнымъ обществомъ»—остряковъ, титулованныхъ сосѣдей, авторовъ и модниковъ; живо представляю себѣ, какъ вы (фэшіонобельно) говорите: —«Я какъ разъ отправляюсь въ Карльтонъ-клубъ, вамъ не по дорогѣ ли? , и все же я говорю, что, несмотря на ваши «картины, вкусъ, Шекспира и клавикорды»*), вы заслуживаете и пользуетесь уваженіемъ всѣхъ, чье уваженіе стоитъ имѣть, и ничьимъ въ большей степени, чѣмъ (какъ бы безполезно оно ни было) преданнаго вамъ Б.».

*) Цитата изъ «Вэкфильдскаго священника».

Еще рѣзче, еще категоричнѣе высказывается въ томъ же отношеніи Байронъ и нѣсколько позднѣе. „Вы правы,—пишетъ онъ Муррею,— Джиффордъ правъ, Краббъ правъ, Гобгоузъ правъ — всѣ вы правы, а я во всѣхъ отношеніяхъ неправъ; но, пожалуйста, не отказывайте мнѣ въ этомъ удовольствіи: отрубите мнѣ и корни и вѣтки; рецензируйте меня въ „Quaterly“; разошлите повсюду мои disjecta membra poetae, какъ члены любовницы Левинса; сдѣлайте зрѣлищемъ и людей и ангеловъ, но не просите меня измѣнить что-нибудь; я не могу: я и упрямъ, и лѣнивъ—и это сущая правда“.

Однако, вотъ прошелъ всего годъ, и

Байронъ уже совершенно иначе относится къ своему крупнѣйшему и, какъ теперь многіе думаютъ, лучшему созданію.

Въ сентябрѣ 1820 года поэтъ уже пишетъ тому же Муррею:

«Я не чувствую особенной охоты продолжать «Донъ Жуана». Какъ вы думаете, что сказала мнѣ надняхъ одна очень красивая итальянка? Она читала «Донъ-Жуана» во французскомъ переводѣ и сдѣлала мнѣ нѣсколько комплиментовъ, хотя и съ достодолжными оговорками. Я сказалъ ей, что она въ значительной степени права, но что все-таки «Донъ Жуанъ» проживетъ дольше чѣмъ «Чайльдъ-Гарольдъ». «Ну нѣтъ»,—отвѣтила она,—«я-бы предпочла *три года такой славы, которая выпала на долю* «*Чайльдъ-Гарольда*», чѣмъ безсмертіе «*Донъ Жуана*». И она болѣе чѣмъ права. Женщины ненавидятъ все то, что разоблачаетъ мишуру чувства. Это ихъ лишаетъ того, чѣмъ онѣ сильны».

Настроеніе, очевидно, перемѣнилось.

То, что случилось съ Байрономъ за это время, конечно, ничего не имѣетъ общаго съ уступкой взглядамъ, ради которыхъ его друзья просили его измѣнить кое-что въ „Донъ Жуанѣ". Мы увидимъ, что далеко не угомонилась и душа этого „веселаго, но никогда не довольнаго" скитальца,—эта душа, всегда взволнованная и всегда готовая на борьбу со всѣмъ, что пошло, низко, глупо, что стоитъ на пути совершенствованія человѣчества, совершенствованія истиннаго, котораго почти не достойно современное ничтожное человѣчество. Конечно, нѣтъ. Но теперь Байронъ еще болѣе сблизился съ Италіей. Италія открылась ему не просто какъ зрѣлище пестрое и интересное, вдохновлявшее и возбуждавшее его воображеніе, оставшееся, однако, чисто англійскимъ, а Италія, какъ страна, пріютившая и принявшая его въ свое своеобразное лоно, такое непохожее на все англійское,—Италія, давшая настоящую любовь, послѣднюю и вновь захватившую цѣликомъ. Оттого то, что напишетъ Байронъ за это время, это будетъ переводъ изъ Пульчи: „Morgante Maggiore", „Видѣніе Данте", переводъ эпизода изъ „Божественной комедіи" о Франческѣ да Римини и трагедія „Марино Фальеро", эта чисто венеціанская драма, гдѣ хотѣлось передать чисто венеціанскія чувства и понятія. Годомъ позже, въ 1821 году, онъ напишетъ и „Обоихъ Фоскари", лучшія мѣста которыхъ составляетъ лиризмъ пламенной любви къ этой нѣкогда славной, а теперь угасающей владычицѣ морей Венеціи. „Марино Фальеро"—не политическая пьеса. Онъ пишетъ Муррею: „Я подозрѣваю, что ни вамъ ни всѣмъ вашимъ не понравится политика въ Марино Фальеро, потому что она опасна вамъ по нынѣшнимъ временамъ; но помните, что это не политическая пьеса и что я былъ обязанъ заставить моихъ героевъ высказывать тѣ чувства, которыя заставляли ихъ дѣйствовать".

Въ апрѣлѣ 1819 года Байронъ былъ представленъ графиней Бенцони графинѣ Гвиччіоли.

Онъ видѣлъ ее еще полгода тому назадъ, но не хотѣлъ этого знакомства. Не хотѣла его и графиня. Но какъ только они узнали другъ друга, судьба ихъ была рѣшена. Эта маленькая женщина, образованная и начитанная, кроткая, не особенно красивая, но милая, стала его послѣдней и уже прочной привязанностью. Сама она полюбила Байрона сразу и со всей беззавѣтной искренностью. Любилъ-ли ее Байронъ? Шелли говорилъ, что, еслибъ онъ остался дольше жить, можетъ быть, и графиня Гвиччіоли узнала бы о его непостоянствѣ. Но самъ Байронъ писалъ, когда она была больна: „Если что нибудь случится съ моей новой Amica, тогда конецъ страстямъ навсегда,—это моя послѣдняя любовь". Оба письма его къ графинѣ, напечатанныя теперь въ собраніи его писемъ, также свидѣтельствуютъ о полной серьезнаго отношенія привязанности Байрона. Письма эти были писаны по-итальянски. Въ ноябрѣ 1819 года Байронъ писалъ ей:

«Моя первая мысль и теперь, и всегда будетъ о тебѣ. Но въ настоящую минуту я нахожусь въ ужасномъ положеніи, не зная на что рѣшиться: съ одной стороны, я боюсь навсегда скомпрометтировать тебя моимъ возвращеніемъ въ Равенну и его послѣдствіями, а съ другой—боюсь погубить себя самого и погубить тебя и все то счастье, какое я узналъ и испыталъ,—если я не буду тебя видѣть. Прошу, умоляю тебя,—успокойся и вѣрь, что моя любовь къ тебѣ прекратится только съ моей жизнью.

Я уѣзжаю, чтобы *спасти тебя*, и покидаю страну, жить въ которой безъ тебя мнѣ невыносимо. Твои письма къ г-жѣ Ф.. а также и ко мнѣ, даютъ невѣрное толкованіе моимъ побужденіямъ; но со временемъ ты сама убѣдишься, что была неправа. Ты говоришь о скорби,—я ее чувствую, но у меня не хватаетъ словъ. Недостаточно того, что я покидаю тебя по тѣмъ побужденіямъ, которыя ты скоро сама признаешь правильными,—недостаточно того, что я уѣзжаю изъ Италіи съ растерзаннымъ сердцемъ, проведя все это время, послѣ твоего отъѣзда, въ одиночествѣ, больной тѣлесно и духовно,—мнѣ приходится еще переносить твои упреки, мною незаслуженные, не имѣя возможности на нихъ возражать. Прощай,—въ этомъ словѣ заключена смерть моего счастья».

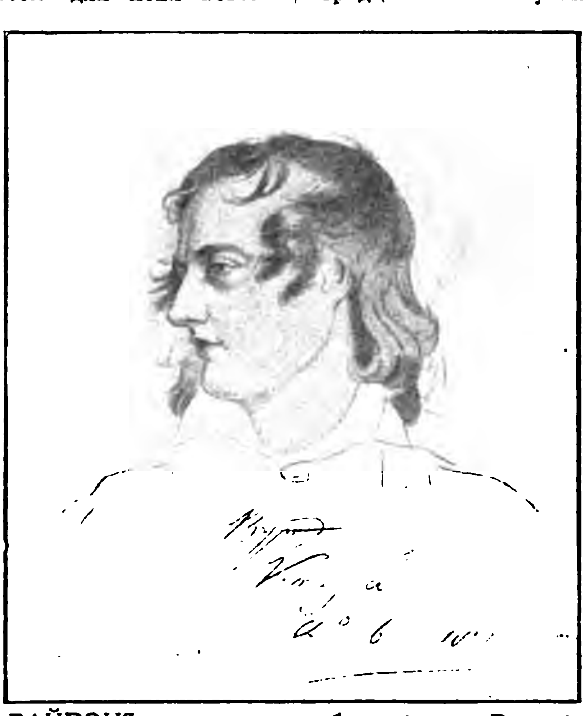
Позднѣе, когда надо было рѣшиться, соединить ли почти совсѣмъ ея жизнь со

своею, Байронъ опять пишетъ въ такихъ же выраженіяхъ:

«Ф. скажетъ тебѣ, съ обычной своей высокопарностью, что любовь побѣдила. Я не могъ найти силъ въ душѣ, чтобы покинуть страну, гдѣ ты находишься, не повидавъ тебя хотя бы еще разъ: быть можетъ, отъ *тебя* будетъ зависѣть, оставлю ли тебя когда либо. Впрочемъ, поговоримъ. Ты должна теперь рѣшить, что лучше для тебя—мое присутствіе или мое отсутствіе. Я — гражданинъ міра, — всѣ страны для меня одинаковы. Ты всегда (съ тѣхъ поръ, какъ мы познакомились) была *единственнымъ предметомъ моихъ мыслей*. Я думалъ, что для твоего спокойствія и спокойствія твоей семьи мнѣ всего лучше уѣхать, потому что быть вблизи и *не* встрѣчаться съ тобою—для меня невозможно. Но ты рѣшила, что я долженъ вернуться въ Равенну,—вернусь—и сдѣлаю — и буду тѣмъ, чѣмъ хочешь. Больше не могу тебѣ сказать».

И въ одномъ изъ писемъ къ Муррею, говоря о возможности вернуться въ Англію, Байронъ говоритъ, что останется въ Италіи именно ради своей новой любви.

«Увѣряю васъ, что то, что я здѣсь говорю и чувствую, не имѣетъ никакого отношенія къ Англіи ни въ личномъ, ни въ литературномъ смыслѣ. Всѣ мои нынѣшнія удовольствія или муки связаны, какъ опера, съ Италіей. И, въ концѣ концовъ, это пустяки, потому что все это происходитъ оттого, что моя *дама* уѣхала на три дня въ провинцію (Капофіурме); такъ какъ я не могу жить больше, чѣмъ для одного существа, въ одно и то же время (и, увѣряю васъ, это *одно существо—не самъ я*, какъ вы знаете по результатамъ, потому что *эгоисты процвѣтаютъ* въ жизни), то я чувствую себя одинокимъ и несчастнымъ».



БАЙРОНЪ во время пребыванія въ Венеціи въ 1818 г.
Рис. Гарло (Harlow).

Байронъ уже теперь не тотъ, что былъ еще очень недавно, когда его могли забавлять бурныя страсти Маргариты Коньи или той молоденькой венеціанки, что требовала отъ него развода съ женой и даже чуть не посовѣтовала отравить ее. Тридцатилѣтній поэтъ послѣ столькихъ испытаній, такой усиленной литературной работы и къ тому же и столькихъ приключеній не чувствовалъ себя болѣе молодымъ. Въ письмѣ къ старому пріятелю Уебстеру онъ говоритъ о себѣ даже въ такихъ выраженіяхъ, что они подстать гораздо болѣе пожилому человѣку.

«Мнѣ жаль, что тонъ вашего письма такой унылый; состояніе же моего собственнаго духа въ настоящій моментъ не таково, чтобы отвѣчать вамъ очень весело. Разсказы о перемѣнѣ въ моей внѣшности, которые вы слышали, быть можетъ, вѣрны; дѣйствительно, странно было бы, если бы не было никакой перемѣны. Жизнь моя—не самая регулярная и не самая спокойная. Въ тридцать лѣтъ я чувствую, что ждать больше нечего. Что касается приписываемой мнѣ «тучности», то, конечно, я значительно увеличился въ объемѣ, но не думаю, чтобы въ такой «разительной» степени, какъ вы предполагаете. Въ двадцать восемь лѣтъ я былъ такъ же тонокъ, какъ большинство мужчинъ, и думаю, что до сихъ поръ не превзошелъ приличной для моего возраста нормы. Какъ бы то ни было, мои личныя прелести ничуть не увеличились; волосы наполовину посѣдѣли, и гусиныя лапки довольно щедро оставляли свои неизгладимые слѣды. Волосы хотя и не выпали, но падаютъ; зубы же остаются изъ учтивости, но думаю, что и они послѣдуютъ, будучи слишкомъ хорошими, чтобы оставаться».

У него въ домѣ жила также его дочь Аллегра, и Байронъ упорно отстаивалъ свое право на ея воспитаніе, требуя, чтобы мать вовсе не вмѣшивалась. Онъ хочетъ, чтобы Аллегра стала „христіанкой, а потомъ замужней женщиной, если это только возможно". Мать ея не должна „вносить безпорядокъ съ ея сумасшедшимъ поведеніемъ, достойнымъ Бедлама".

Шелли замѣчалъ, что графиня Гвиччіоли имѣетъ самое хорошее вліяніе на Байрона. Онъ былъ радъ этой связи съ образованной и милой женщиной, вмѣсто

прежнихъ слишкомъ, даже и не по лѣтамъ бурнымъ связямъ. „Лордъ Байронъ,—пишетъ онъ, — во всѣхъ отношеніяхъ сталъ лучше—и геніемъ, и характеромъ, и нравственными понятіями, и здоровьемъ, и счастьемъ. Связь съ г-жею Гвиччіоли имѣетъ для него неизмѣримо важное значеніе".

Романъ съ графиней былъ сложенъ, и Байронъ ради нея даже былъ готовъ подчиняться условіямъ свѣта, относительно которыхъ онъ всегда былъ такимъ непокорнымъ и необузданнымъ. Это былъ, конечно, итальянскій свѣтъ съ законами болѣе симпатичными ему, чѣмъ какіе создала англійская чопорность и англійское ханжество; однако, какъ мы увидимъ, онъ и ими тяготился.

Сближеніе Байрона съ графиней случилось уже черезъ мѣсяцъ послѣ ихъ перваго знакомства, хотя она была передъ этимъ замужемъ всего только нѣсколько мѣсяцевъ. Какъ третья жена шестидесятилѣтняго старика, она, женщина 18-ти лѣтъ, вышла замужъ безъ малѣйшаго намека на любовь, только ради его богатства, т. е. для семьи (потому что ея полная незаинтересованность достаточно обнаружилась впослѣдствіи) а итальянскіе нравы считали женщину при подобныхъ условіяхъ даже вправѣ взять любовника.

Лѣтомъ того же 1819 года графиня заболѣла въ Равеннѣ, и туда пріѣхалъ Байронъ. Старый мужъ не мѣшалъ имъ видѣться у себя въ домѣ, и Байронъ настолько сталъ въ немъ своимъ человѣкомъ, что даже настоялъ на приглашеніи другого доктора. Они видѣлись, однако, и наединѣ, преодолѣвая опасности самаго драматическаго характера. Такъ говорилъ Байронъ въ письмѣ къ Муррею уже изъ Болоньи, куда поѣхали Гвиччіоли, какъ только поправилась графиня. „Я не могу сказать, какъ кончится нашъ романъ,—пишетъ Байронъ,—но до сихъ поръ онъ развивается въ высшей степени эротически, съ такими опасностями и приключеніями, что передъ ними все пережитое Донъ-Жуаномъ—дѣтская игра. Разное дурачье воображаетъ, что моя поэзія всегда намекаетъ на мои собственныя похожденія: у меня бывали приключенія и получше, болѣе опасныя и болѣе необыкновенныя, чѣмъ у него, и чуть не ежедневно, но я, конечно, никогда не разскажу ихъ".

Нѣсколько игривый тонъ этого замѣчанія, а также и другихъ, разсѣянныхъ въ его письмахъ того времени, повидимому, мало соотвѣтствуетъ, однако, дѣйствительности, потому что изъ Болоньи Байронъ увозитъ уже графиню на свою дачу въ Ла-Мира на Брентѣ, около Венеціи.

Правда, Байронъ какъ-будто не смотритъ вполнѣ серьезно на свою связь и послѣ этого, если только вѣрить тону, съ которымъ онъ разсказываетъ о пріѣздѣ графа Гвиччіоли въ Венецію, когда старый мужъ убѣждалъ свою жену вернуться къ нему и его поддерживалъ въ этомъ и Байронъ.

«Графъ Г. прибылъ въ Венецію и предъявилъ своей супругѣ (которая, по предписанію д-ра Альетти, прибыла двумя мѣсяцами раньше для поправленія здоровья) списокъ условій, расписаніе часовъ, правила поведенія, морали и проч., настаивая на ихъ принятіи; она же упорно отказывается согласиться на нихъ. Въ качествѣ необходимой предпосылки требуется мое удаленіе. Супруги препираются, и какіе могутъ послѣдовать результаты,—не знаю, особенно въ виду того, что они совѣтуются съ друзьями.

Сегодня вечеромъ графиня Г., замѣтивъ что я потѣю надъ *Донъ-Жуаномъ*, случайно обратила вниманіе на 137 строфу первой пѣсни и спросила, о чемъ тамъ рѣчь. Я сказалъ ей: «Сударыня, вашъ мужъ идетъ сюда». Такъ какъ я сказалъ это по-итальянски, съ нѣкоторымъ удареніемъ, она испуганно вскочила и вскрикнула: «*О, Боже мой*, онъ *идетъ сюда?*», думая, что то *ея собственный супругъ*, который былъ или долженъ былъ быть въ театрѣ. Можете представить себѣ, какъ мы смѣялись, когда разъяснилась ошибка. Васъ это позабавитъ, какъ меня самого;—это случилось не болѣе трехъ часовъ назадъ».

Но иное говоритъ приписка къ тому же письму.

«Сообщая вамъ о томъ, что исторія съ Гвиччіоли наканунѣ окончательнаго рѣшенія въ ту или иную сторону, я долженъ прибавить, что хотя я и не пытаюсь вліять на рѣшеніе графини, но отъ этого рѣшенія очень многое зависитъ для меня. Если она помирится съ мужемъ, то, можетъ быть, вы увидите меня въ Англіи скорѣе, нежели ожидаете; если же не помирится, то я уѣду съ нею во Францію или Америку, перемѣню имя и буду вести спокойный образъ жизни гдѣнибудь въ провинціи. Все это можетъ показаться страннымъ; но я поставилъ бѣдную женщину въ затруднительное положеніе; а такъ какъ и по своему происхожденію *), и по званію, и по кругу родства, и по связямъ она нисколько не ниже меня, то я обязанъ честью поддержать ее. Кромѣ того, она очень хорошенькая женщина, спросите у Мура,—и ей нѣтъ еще 21 года.

Если она преодолѣетъ препятствія, а я преодолѣю свою перемежающуюся лихорадку, то, можетъ быть, я загляну и въ Альбемарль-стритъ въ недалекомъ будущемъ, - проѣздомъ къ Боливару».

Гордый своими побѣдами и притворявшійся холоднымъ, поэтъ иначе не станетъ выражаться; но рѣшеніе твердо, и смыслъ его ясенъ, если принять въ соображе

*) Гвиччіоли урожденная графиня Гамба.



ГРАФИНЯ ТЕРЕЗА ГВИЧЧІОЛИ въ 1839 году. (Countess Guiccioli).
Рис. графъ Д'Орсэ (*From a drawing made in 1839 by Count d'Orsay*).

ніе, что графиня уѣхала съ мужемъ въ Равенну, а черезъ нѣсколько времени поселился тамъ и Байронъ, предварительно написавъ графинѣ второе изъ приведенныхъ выше итальянскихъ писемъ.

Переѣздъ Байрона въ Равенну случился уже въ 1820 году. Онъ поселился въ домѣ мужа графини Гвиччіоли и теперь, съ разрѣшенія семьи графини, былъ признанъ тѣмъ, что въ Италіи тѣхъ дней называлось чичисбей, или cavaliere serviente. Связь ихъ была узаконена.

Съ этого времени начинается новый періодъ біографіи Байрона. Онъ теперь совершенно вошелъ въ итальянскую жизнь и притомъ въ такомъ городѣ, гдѣ бываетъ мало иностранцевъ. Тутъ пришлось и подчиниться правиламъ своего новаго положенія. Cavaliere serviente—это весьма своеобразное положеніе. Надо было его принять такимъ, какимъ оно предлагалось. Состояло оно въ слѣдующемъ:

«Я очень усердно учусь складывать шаль и въ совершенствѣ усвоилъ бы это искусство, если бы не складывалъ ее всегда не съ той стороны; затѣмъ я иногда путаюсь и уношу двѣ, такъ что проходитъ нѣкоторое время, пока serventi разберутся, а servite должны дрожать отъ холода, пока каждой вернутъ ея собственность. Должность serviente высоко-моральная, нельзя смотрѣть ни на чью жену, кромѣ жены сосѣда,—если вы идете куда нибудь одни, то васъ бранятъ, и вы считаетесь вѣроломнымъ. Далѣе, *relazione* (связь) или *amicizia* (дружба), повидимому, тянется регулярно отъ пяти до пятнадцати лѣтъ, и если дама овдовѣетъ въ этотъ промежутокъ, то дѣло кончается sposalizi (*бракомъ*); кромѣ того, связь имѣетъ столько правилъ, что немногимъ лучше брака. Человѣкъ становится фактически какою-то женской собственностью, дамы не позволяютъ своимъ serventi жениться, пока для нихъ самихъ не откроется вакансія. Я знаю два подобныхъ примѣра въ одной здѣшней семьѣ».

Такое положеніе продолжалось, однако недолго, можетъ быть, потому, что Байронъ такъ-же мало годился въ чичисбеи, какъ и въ мужья.

Графиня Гвиччіоли черезъ нѣсколько мѣсяцевъ развелась съ мужемъ. Байронъ описываетъ это событіе въ письмѣ къ Муру въ іюлѣ 1820 года. Онъ упоминаетъ здѣсь также о своихъ „мемуарахъ", въ то время законченныхъ и уже отосланныхъ въ Англію. Эти знаменитые мемуары какъ бы окончательно порѣшали съ его отношеніями къ женѣ. Теперь съ прошлымъ было все порвано. Начиналась новая жизнь. Какими выраженіями описы-

валъ Байронъ свой разрывъ съ женой, мы, однако, никогда не узнаемъ, потому что Муръ впослѣдствіи сжегъ эту драгоцѣнную рукопись.

VI.

„Я теперь въ поту, въ пыли и въ ругани по случаю укладки всѣхъ моихъ вещей, мебели и пр.,—писалъ Байронъ Томасу Муру въ серединѣ сентября 1821 года,—

Все это по случаю отправки въ Пизу, куда я переѣзжаю на зиму. Причина этого переѣзда - высылка всѣхъ моихъ друзей-карбонаріевъ, а въ томъ числѣ и всей семьи г-жи Г. Она, какъ вы знаете, развелась съ мужемъ на прошлой недѣлѣ, «согласно донесенію П. П., клерка здѣшняго прихода» *), и должна слѣдовать за своимъ отцомъ и родственниками, высланными теперь въ Пизу, иначе ее запрутъ въ монастырь, такъ какъ, на основаніи папскаго декрета о разводѣ, она должна пребывать in casa paterna, а въ противномъ случаѣ, ради соблюденія приличій, поступить въ монастырь. Такъ какъ я не могъ сказать, вмѣстѣ съ Гамлетомъ: «ступай въ монастырь», то и готовлюсь теперь ѣхать вслѣдъ за ними.

Любовь—страшное дѣло: она разрушаетъ всѣ замыслы человѣка, направленные къ добру или славѣ. Недавно я хотѣлъ (такъ какъ здѣсь все, кажется, было покончено) ѣхать въ Грецію вмѣстѣ съ ея братомъ: это—очень порядочный и храбрый малый (я убѣдился въ этомъ по опыту), дико жаждущій свободы. Но слезы женщины, покинувшей своего мужа ради другого мужчины, и слабость собственнаго сердца уничтожили всѣ эти замыслы,—что едва ли извинительно.

Намъ предстояло выбирать между Швейцаріей и Тосканой; я предпочелъ Пизу, потому что она ближе къ Средиземному морю, которое я люблю за омываемые имъ берега и за свои юношескія воспоминанія 1809 года. Швейцарія—проклятая эгоистическая, свинская страна скотовъ, помѣщенныхъ въ самой романтической мѣстности міра. Я никогда не въ состояніи былъ выносить ея жителей, а еще менѣе—ихъ англійскихъ гостей; по этой причинѣ, справившись письменно о помѣщеніяхъ и узнавъ, что по всѣмъ кантонамъ вокругъ Женевы и пр. разселилась цѣлая колонія англичанъ, я сейчасъ же бросилъ мысль о переѣздѣ туда и уговрилъ семейство Гамба также отказаться отъ этой мысли».

Черезъ мѣсяцъ послѣ этого письма Байронъ и переѣхалъ въ Пизу. Онъ поселился здѣсь на берегу Арно въ palazzo Lanfranghi вмѣстѣ со своимъ многочисленнымъ штатомъ прислуги, во главѣ съ Флетчеромъ, со всѣми своими четырнадцатью лошадьми, съ собаками и птицами, превращавшими его домъ въ звѣринецъ, но безъ которыхъ онъ съ самой юности не могъ обойтись.

Жизнь какъ будто-бы установилась теперь довольно прочно. Наступило время нѣкотораго затишья. Только чисто внѣшнія обстоятельства принудили къ новымъ скитаніямъ за эти послѣдніе два года, что Байронъ оставался еще въ Италіи.

Ранней весной 1822 года Байронъ ѣхалъ какъ-то верхомъ со своими друзьями—съ молодымъ графомъ Гамба, братомъ Терезы Гвиччіоли, съ Шелли, Тралонеемъ и Гэ. Они уже возвращались домой съ прогулки, когда около воротъ города у нихъ произошло столкновеніе съ драгунскимъ сержантомъ Мази. Мази хотѣлъ перегнать компанію и задѣлъ одного изъ англичанъ, напоромъ своей лошади стараясь пробить себѣ дорогу. Завязалась ссора, и Мази обнажилъ саблю. Въ воротахъ города онъ распорядился также, чтобы всадники были остановлены. Къ тому же кто-то—кто именно, это осталось невыясненнымъ—ранилъ въ свалкѣ Мази ножомъ. Прислуга Байрона была арестована и въ томъ числѣ венеціанецъ Тита, бывшій гондольеръ, особенно привязанный къ Байрону. Большихъ усилій стоило замять дѣло и вырвать изъ рукъ правосудія слугъ. Этотъ эпизодъ былъ одной изъ причинъ, заставившихъ Байрона черезъ полгода покинуть Пизу и переѣхать въ Ливорно. Но тутъ случилось другое происшествіе. Слуги графовъ Гамба какъ-то повздорили съ слугами Байрона. Дѣло дошло до ножевой расправы. Байронъ вышелъ на балконъ и, угрожая пистолетомъ, заставилъ прекратить драку. Однако, и теперь опять возникло дѣло, въ результатѣ котораго оказалось необходимымъ покинуть Тоскану. Тогда Байрону пришлось просить разрѣшенія поселиться уже въ Генуѣ, его послѣднемъ мѣстопребываніи въ Италіи.

Эти, чисто случайныя, обстоятельства имѣли такое значеніе для Байрона, конечно, не спроста.

Онъ жилъ съ отцомъ и сыномъ, графами Гамба, принадлежавшими къ карбонаріямъ. Полиція слѣдила поэтому не только за ними, но и за нимъ самимъ. И Байронъ, несомнѣнно, былъ дѣйствительно очень близокъ къ освободительному движенію Италіи. Можетъ быть, въ его домѣ въ Пизѣ былъ даже складъ оружія. Въ его письмахъ этого времени часто встрѣчаются намеки на итальянское революціонное движеніе. Онъ привѣтствуетъ неаполитанское возстаніе, австрійцевъ называетъ то гуннами, то варварами, и, наконецъ, его „Видѣніе Данте“ уже прямо

*) Намекъ на соч. Попа: «Записки П. П. клерка здѣшняго прихода».

воспѣваетъ необходимость освобожденія и объединенія Италіи. Поэтъ-вольнодумецъ, съ его свободолюбивыми идеями, какъ англійскій пэръ, былъ до извѣстной степени, конечно, въ безопасности по отношенію къ австрійской полиціи; но она всегда была рада отъ него отдѣлаться, и оттого-то разсказанныя мелкія событія принимали характеръ политическій.

Помимо этихъ обстоятельствъ, общій укладъ жизни Байрона былъ, однако, все-таки относительно устойчивъ. Онъ въ сущности жилъ въ семьѣ. Въ свѣтъ его больше не манило и знакомствъ теперь было мало. „Веселый, но никогда не довольный“ прожигатель жизни и дэнди теперь былъ скорѣе доволенъ, но не веселъ.



ПАЛАЦЦО ГВИЧЧІОЛИ ВЪ РАВЕННѢ.

Palazzo Guiccioli, Ravenna.

зѣвшіе на него путешественники англичане, толпившіеся еще въ Венеціи на Лидо, пока онъ ѣздилъ верхомъ, подкупавшіе его прислугу чтобы попасть въ его домъ и разсказать о немъ новую сплетню, теперь хотя и раздражали его, но уже менѣе волновали своими пересудами. Въ 1823 году Байронъ писалъ изъ Генуи Джону Гэнту словами, которыя совершенно были невозможны въ устахъ молодого Байрона. „Время и правда, вѣроятно, уничтожатъ эту враждебность ко мнѣ, или во всякомъ случаѣ ея послѣдствія, но пока надо считаться. Все, что я выпустилъ за это послѣднее время въ свѣтъ, проваливалось; но я не отчаиваюсь отъ этого, потому что писать и творить—это стало привычкой моего ума, передъ которой изданіе и успѣхъ—предметы менѣе важные,—не **причины**, а **слѣдствія**, такія же, какія бываютъ и у всякой другой дѣятельности. Я достаточно имѣлъ въ своей жизни успѣха, достаточно я подвергался и нападкамъ; то и другое мнѣ уже не ново; я продолжаю творить по той же причинѣ, по какой я продолжаю ѣздить верхомъ, читать, купаться или путешествовать,—это уже вошло въ привычку“.

Теперь онъ болѣе чѣмъ когда-либо отдался литературной дѣятельности. Болѣе чѣмъ когда-либо онъ работалъ и жилъ всецѣло литературными интересами. Онъ достигъ вершины всемірной извѣстности. Если то, что онъ писалъ за эти два года, и не имѣло того немедленнаго и шумнаго успѣха, къ какому онъ привыкъ во времена своихъ первыхъ поэмъ, то теперь онъ могъ гордо заявлять: „я очень мало дорожу мнѣніемъ англичанъ, потому что мои читатели уже давно—вся Европа и Америка“. Онъ зналъ, что въ Германіи, въ Веймарѣ у него былъ пламенный поклонникъ, и имя его было Гёте. Его переводили чуть ли не на всѣ языки міра и въ Ливорно на одномъ американскомъ суднѣ его чествовали такъ, какъ никогда не чествовали на родинѣ. Естественно поэтому, что гла-

Еще двумя годами раньше Байронъ писалъ Муррею:

«Любезный Муррей! Я обдумалъ то, о чемъ мы недавно переписывались, и хочу предложить вамъ слѣдующія условія на будущее время:

1) Вы должны мнѣ писать о себѣ, о здоровьѣ и благополучіи всѣхъ друзей, но обо *мнѣ* совсѣмъ мало, или ничего.

2) Вы должны посылать мнѣ содовые по-

рошки, зубной порошокъ, зубныя щетки и всякіе тому подобные зубные и химическіе продукты, какъ и до сихъ поръ, *ad libitum*, съ возмѣщеніемъ затраченныхъ на это суммъ.

3) Вы *не* должны мнѣ посылать никакихъ современныхъ (или, какъ ихъ называютъ, *новыхъ*) изданій, появляющихся *на англійскомъ языкѣ*,— *никакихъ*, кромѣ и за исключеніемъ всѣхъ произведеній, въ прозѣ или стихахъ, написанныхъ (или съ достаточною основательностью предполагаемыхъ написанными) Вальтеромъ Скоттомъ, Краббомъ, Муромъ, Кэмпбеллемъ, Роджерсомъ, Джиффордомъ, Джоанной Бэйли, Ирвингомъ (*американцемъ*), Гоггомъ, Уильсономъ (авторомъ «Острова пальмъ»), или какого-нибудь особенно оригинальнаго поэтическаго произведенія, за которымъ признаются значительныя достоинства. Буду очень радъ получать и путешествія, только *не по Греціи, Испаніи, Малой Азіи, Албаніи и Италіи*; такъ какъ я самъ путешествовалъ по упомянутымъ странамъ, то знаю, что все то, что о нихъ говорится, ничего не прибавитъ къ тому, что я желаю о нихъ знать. Но—никакихъ другихъ англійскихъ книгъ.

4) Вы не будете мнѣ присылать *никакихъ періодическихъ изданій*,— ни Эдинбургскихъ, ни Трехмѣсячныхъ, ни Ежемѣсячныхъ и никакихъ иныхъ обозрѣній, журналовъ, газетъ, ни англійскихъ, ни иностранныхъ.

5) Вы не будете мнѣ посылать *никакихъ* отзывовъ, ни *хорошихъ*, ни *дурныхъ*, ни *безразличныхъ*,— вашихъ собственныхъ, или вашихъ друзей, касательно какихъ бы то ни было моихъ сочиненій, прошедшихъ, настоящихъ или будущихъ.

6) Всѣ дѣловые между вами и мною переговоры должны происходить черезъ моего друга и повѣреннаго, г. Дугласа Киннэрда, или г. Гобгоуза, который является моимъ *alter ego* и замѣняетъ меня какъ въ моемъ отсутствіи, такъ и въ моемъ присутствіи.

Нѣкоторыя изъ этихъ условій могутъ, съ перваго взгляда, показаться странными, но они имѣютъ основаніе. Количество всякой дряни, получаемой мною въ видѣ книгъ, неисчислимо, и вовсе не забавно и не поучительно. Изъ обозрѣній и журналовъ самые лучшіе годятся только для однодневнаго и поверхностнаго чтенія: кто вспоминаетъ о *важной* прошлогодней статьѣ въ какомъ бы то ни было журналѣ? Въ частности, если эти статьи касаются меня, то онѣ только развиваютъ эгоизмъ: если статья благопріятна, то я не могу отрицать, что похвала возбуждаетъ гордость, а если неблагопріятна, то раздражаетъ; послѣднее же можетъ заставить меня написать нѣчто вродѣ сатиры, а отъ этого не выйдетъ ничего хорошаго ни для васъ, ни для друзей вашихъ: *теперь* они могутъ подсмѣиваться, и вы—также, но коли я за всѣхъ васъ примусь, то мнѣ не трудно будетъ всѣхъ васъ перерѣзать, какъ тыквы. Я въ девятнадцать лѣтъ мѣрялся силами съ самыми сильными людьми, а теперь, въ тридцать три года, не знаю, что можетъ мнѣ помѣшать сдѣлать изъ всѣхъ реберъ вертела для вашихъ сердецъ, если таково будетъ мое желаніе. Но этого желанія у меня *нѣтъ*. А потому не давайте мнѣ возможности слышать ваши вызовы. Если появится что-нибудь настолько *важное*, что я долженъ буду обратить на это вниманіе, то я услышу объ этомъ отъ своихъ друзей. Относительно же всего прочаго я требую только, чтобы меня оставили въ невѣдѣніи.

То же самое относится и къ отзывамъ,—хорошимъ, дурнымъ или безразличнымъ, высказаннымъ въ частномъ разговорѣ или въ переплскѣ: они не *прерываютъ* теченія моихъ мыслей, но *пачкаютъ* ихъ. Я очень чувствителенъ, но только тогда, когда меня затронули; здѣсь же я недостижимъ для короткихъ рукъ литературной Англіи, за исключеніемъ лишь немногихъ щупальцевъ полипа, которыя протягиваются черезъ Ламаншъ въ видѣ извлеченій.

Всѣ эти предосторожности въ Англіи были бы излишни, такъ какъ тамъ и пасквилянтъ, и льстецъ, несмотря ни на что, могли бы все-таки до меня добраться; но въ Италіи мы о литературной Англіи знаемъ очень мало, а думаемъ еще меньше, если только до насъ не дойдетъ какое-нибудь искаженное и коротенькое извлеченіе въ какой-нибудь жалкой газеткѣ. За *два года* (не считая двухъ-трехъ статей, вырѣзанныхъ и присланныхъ *вами* по почтѣ), я не читалъ ни одной газеты, если она не была мнѣ, такъ или иначе, навязана силой, и вообще объ Англіи знаю такъ же мало, какъ вы всѣ—объ Италіи; а Богу извѣстно, что *это*— очень немного, невзирая на всѣ ваши путешествія и пр. и пр. Англійскіе путешественники знаютъ Италію, какъ вы знаете Гернсей,- а много ли *это?*

Если случится что нибудь слишкомъ важное или лично требующее моего вниманія, то г. Д. Киннэрдъ доведетъ объ этомъ до моего свѣдѣнія; но о *похвалахъ* я не желаю слышать *ничего*.

Вы скажете: къ чему все это? А я отвѣчу вамъ слѣдующее: къ тому, чтобы быть свободнымъ и независимымъ отъ всякаго дрянного и личнаго раздраженія, вызываемаго похвалами или порицаніями; чтобы дать моему таланту возможность идти своимъ естественнымъ путемъ въ то время, какъ мои личныя чувства какъ бы замрутъ, не зная и не смущаясь ничѣмъ, что обо мнѣ говорится или въ отношеніи ко мнѣ творится.

Если вы можете соблюсти эти условія, то вы избавите и себя, и другихъ отъ нѣкоторыхъ непріятностей. Не вынуждайте меня подняться, потому что если я поднимусь, такъ это будетъ уже дѣло не малое. Если же вы не можете соблюсти этихъ условій, то мы перестанемъ переписываться, не переставая быть *друзьями*».

И Байронъ работалъ за это время какъ никогда. Въ его письмахъ часто попадается замѣчаніе: „я посылаю своему издателю гораздо больше, чѣмъ онъ можетъ напечатать“. Отправляя Муррею рукопись своего „Каина“, Байронъ писалъ ему: „Вы, по крайней мѣрѣ, должны будете признать мою легкость въ работѣ и мое разнообразіе, если только вы примете въ соображеніе, что я сдѣлалъ за послѣдніе пятнадцать мѣсяцевъ, несмотря на то, что моя голова полна всякими посторонними предметами“. Байронъ разумѣетъ тутъ пятую пѣсню „Донъ-Жуана“, „Сарданапала“, „Видѣніе Послѣдняго суда“ и „Двое Фоскари“;



ГРАФИНЯ ГВИЧЧІОЛИ.

По рис. Брокендона (W. Brockendon) 1833 г. грав. Ройолъ (H. J. Ryall).

но за всѣмъ этимъ быстро слѣдовалъ „Каинъ“, это своеобразное произведеніе, написанное,—какъ выражается Байронъ,— „въ стилѣ манфредовской метафизики и полное особой титанической декламаціи“, а потомъ: „Синіе чулки“, „Небо и земля“, „Вернеръ“, „Преображенный уродъ“, шестая и седьмая пѣсни „Донъ-Жуана“, „Бронзовый вѣкъ“ и, наконецъ, остальныя восемь пѣсенъ „Донъ-Жуана“. Все это создано отъ января 1821 года до весны 1823 года.

Никогда не былъ Байронъ болѣе писателемъ, чѣмъ именно въ это время. Онъ старается вліять, создаетъ свою собственную литературную теорію. Онъ озабоченъ тѣмъ, какое мѣсто онъ займетъ въ исторіи англійской литературы. Наконецъ, въ немъ вновь подымается старый полемическій задоръ. Посвященіе „Донъ-Жуана“ Соути еще не было напечатано; но врагъ его нашелъ уже нападки на себя въ самомъ текстѣ поэмы. Это былъ отвѣтъ на статью Соути о „сатанинской школѣ поэзіи“. Соути, въ свою очередь, отвѣтилъ письмомъ въ „Курьерѣ“ въ январѣ 1822 года, гдѣ онъ обвинялъ Байрона за то, что „Донъ-Жуанъ“ вышелъ анонимно. Байронъ послалъ секундантовъ. Дуэли, однако, не состоялось. Это лишь одинъ эпизодъ въ полемикѣ Байрона. Важнѣе его выходъ въ область критики. Байронъ опять обрушился чуть ли не на всю современную англійскую литературу и въ то же время даже на самого Шекспира, котораго онъ зналъ отлично и постоянно цитировалъ, очевидно, наизусть въ своихъ письмахъ. Еще въ своихъ „Англійскихъ бардахъ“

Байронъ задѣлъ Боульза, издателя Попа. Это вспомнилъ Боульзъ, когда послѣ новаго изданія Попа Кэмпбель напалъ на него за его строгія сужденія о Попѣ, и ему пришлось отвѣчать. Такъ какъ имя Байрона оказалось также задѣтымъ, онъ вмѣшался въ этотъ споръ, вызвавшій цѣлый рядъ статей и брошюръ, и объявилъ себя пламеннымъ поклонникомъ Попа. Попъ—вотъ великій поэтъ по его мнѣнію. Это мнѣніе, теперь кажущееся еще болѣе страннымъ, чѣмъ прежде, и было косвеннымъ выпадомъ на современныхъ поэтовъ, а въ томъ числѣ и на того же ненавистнаго Соути. Не признавать Попа, классика самой классической поры англійской литературы, составляло одинъ изъ основныхъ принциповъ поэтовъ-лэкистовъ, къ которымъ принадлежалъ Соути. Байронъ со своимъ раціоналистическимъ умомъ и реалистическимъ даже среди романтическихъ увлеченій воображеніемъ никогда не могъ понять ни Вордсворта, ни Китса; а такъ какъ и Вордсвортъ и Соути были консерваторами въ политикѣ, Байрона еще большій бралъ задоръ уничтожить эту „школу Бедлама", этихъ „поэтовъ предмѣстій". (Ср. въ настоящемъ томѣ въ примѣч. къ „Донъ-Жуану" письмо Байрона въ ред. „Blackwood Magazine".

Полемика эта связана была и съ собственными неуспѣхами Байрона, къ которымъ онъ въ душѣ все-таки относился, конечно, менѣе спокойно, чѣмъ въ приведенномъ письмѣ къ Джону Гэнту.

Со времени „Марино Фальеро" Байронъ сталъ драматургомъ, и долгое время его переписка пестритъ замѣчаніями о теоріи драмы. Байронъ хочетъ создать драму, „построенную по иной системѣ, чѣмъ этого хочетъ современное безуміе".

Байронъ хотѣлъ быть классикомъ. Онъ признаетъ Попа и даже Бенъ-Джонсона и Драйдена, но Шекспира, которымъ увлекаются лэкисты, онъ склоненъ ставить очень низко, какъ драматурга. Онъ пишетъ въ другомъ мѣстѣ, что „единства составляютъ для него предметъ существенно важной заботы." Онъ „скорѣе школы Альфіери, чѣмъ англійской".

При подобныхъ воззрѣніяхъ, считая себя новаторомъ въ драмѣ, Байронъ, однако, упорно повторяетъ, что пишетъ отнюдь не для театра.

Вопросомъ о возможности постановки его драмъ Байронъ былъ особенно занятъ во времена „Марино Фальеро". До него дошелъ слухъ, что одинъ лондонскій театръ уже началъ разыгрывать его пьесу. Онъ тотчасъ пишетъ, чтобы Муррей прекратилъ это. „Ничего я не принимаю болѣе къ сердцу изъ моихъ литературныхъ дѣлъ,—пишетъ онъ Муррею,—какъ необходимость воспрепятствовать тому, чтобы моя пьеса попала на сцену". Каково же было негодованіе Байрона, когда онъ узналъ, что въ Парижѣ „Марино Фальеро" поставили, и эта пьеса провалилась. Этотъ провалъ не давалъ ему покоя. Онъ пишетъ графинѣ Гвиччіоли:

«Вотъ вся правда о томъ, о чемъ я говорилъ вамъ нѣсколько дней тому назадъ,—какимъ образомъ я былъ принесенъ въ жертву во всѣхъ отношеніяхъ, не зная, за что и почему. Трагедія, о которой идетъ рѣчь, не написана и не предназначается для сцены (и никогда на ней не будетъ); планъ ея—вовсе не романтическій; напротивъ, она написана съ соблюденіемъ правилъ, съ строжайшею вѣрностью единству времени и лишь съ немногими отступленіями отъ единства мѣста. Вамъ хорошо извѣстно, имѣлъ ли я намѣреніе поставить ее на сцену,- такъ какъ, вѣдь, она писалась рядомъ съ вами и въ минуты, конечно, гораздо болѣе трагическія для меня, какъ для человѣка, чѣмъ какъ для автора,—потому что вы находились въ ту пору въ тревогѣ и опасности. И вдругъ, я читаю въ вашей газетѣ, что составился какой-то заговоръ, образовалась какая-то партія, между тѣмъ, какъ я самъ не принималъ въ этомъ дѣлѣ ни малѣйшаго участія. Говорится, что *авторъ читаетъ трагедію!!!* Гдѣ же это? въ Равеннѣ?—и кому? можетъ быть, Флетчеру!!! (слуга)—этому славному литератору, и пр. и пр.».

При чрезмѣрномъ самолюбіи Байрона этотъ неуспѣхъ его созданія для него, конечно, все-таки остался неуспѣхомъ; а ничего подобнаго Байронъ, чтобы онъ ни говорилъ, переносить не былъ способенъ. Театръ, гдѣ не могутъ имѣть успѣха его пьесы, онъ долженъ презирать.

Настоящій успѣхъ имѣлъ изъ произведеній Байрона этого періода лишь „Каинъ", несмотря на то, что ни одно его созданіе не вызвало въ Англіи такого негодованія. За него, однако, заступился Вальтеръ Скоттъ и отсюда вновь возникло сближеніе обоихъ поэтовъ. Байронъ писаль Вальтеръ Скотту, чтобы поблагодарить за разрѣшеніе посвятить ему это новое произведеніе:

«Любезный сэръ Вальтеръ,—нечего и говорить, какъ я вамъ благодаренъ; но мнѣ приходится сознаться въ неблагодарности, потому что я вамъ такъ долго не отвѣчалъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я покинулъ Англію (и далеко не обычнымъ способомъ), я написалъ сотенъ пять дѣловыхъ писемъ и т. п. разнымъ болванамъ—безъ всякихъ затрудненій, хотя и безъ всякаго удовольствія; сто разъ собирался писать вамъ,



ГРАФИНЯ ГВИЧІОЛИ (Countess Guiccioli)

Грав. Чэлон (J. E. Chalon, R. A.)



ГРАФИНЯ ГВИЧІОЛИ. (Countess Guicioli).

Рис. Чэлонъ (A. E. Chalon, R. A).

потому что всегда о васъ помню, но до сихъ поръ просто не имѣлъ возможности сдѣлать то, что давно слѣдовало сдѣлать. Я могу это объяснить той же причиной, въ силу которой человѣкъ испытываетъ тревожное состоянiе, ухаживая за равной ему по происхожденiю красивою женщиною, въ которую онъ серьезно влюбленъ; а между тѣмъ, вѣдь мы, атакуя свѣженькую горничную, не чувствуемъ (конечно, я говорю о временахъ минувшихъ) никакихъ сентиментальныхъ угрызенiй совѣсти и вовсе не стараемся смягчать свои добродѣтельныя намѣренiя.

Я обязанъ вамъ гораздо больше, чѣмъ обычными литературными и дружескими одолженiями: вѣдь вы въ 1817 г. оказали мнѣ такую услугу, для которой требовалась не только любезность, но прямо мужество; вы вспомнили обо мнѣ въ такихъ выраженiяхъ, которыми я всегда буду гордиться и которыя въ особенности дороги были въ такое время, когда, какъ говорится въ пословицѣ: «весь свѣтъ и его жена» старались меня унизить. Я говорю о статьѣ въ «Quarterly Review» по поводу третьей пѣсни *Чайльдъ-Гарольда*. Муррей сообщилъ мнѣ, что эта статья написана вами,—да я догадался бы объ этомъ и безъ его сообщенiя, потому что на свѣтѣ нѣтъ двухъ человѣкъ, которые могли бы и захотѣли бы въ ту пору такъ написать. Будь это обыкновенная критическая статья,—какъ бы она ни была краснорѣчива и лестна для меня,—я, конечно, чувствовалъ бы себя очень польщеннымъ и, безъ сомнѣнiя, былъ бы очень благодаренъ, но не испытывалъ бы такого чувства, какое вызывается чрезвычайною сердечностью вашихъ словъ. Самая *запоздалость* этого признанiя можетъ служить доказательствомъ того, что я не забылъ оказаннаго вами одолженiя; могу васъ увѣрить, что воспоминанiе о немъ не покидало меня во все это время. Прибавлю еще по этому поводу, что, какъ мнѣ кажется, вы да Джеффри, да Ли Гэнтъ были единственными литераторами изъ множества, которыхъ я знаю (и изъ которыхъ многимъ я оказывалъ услуги), рѣшившимися именно въ то время сказать въ мою пользу, хоть анонимно, хоть бы одно слово. И изъ этихъ трехъ литераторовъ одного я никогда не видалъ, второго видѣлъ гораздо меньше, чѣмъ желалъ, а третiй не былъ мнѣ вовсе ничѣмъ обязанъ; при этомъ, на первыхъ двухъ я раньше нападалъ — на одного въ нѣсколько вызывающемъ тонѣ, а на другого довольно безпутно. Такимъ образомъ, вы «осыпали меня горячими углями» въ истинно-евангельскомъ смыслѣ,— и могу васъ увѣрить, что эти угли прожгли меня до самаго сердца.

Я радуюсь, что вы приняли мое посвященiе («Каина»). Я хотѣлъ было, вмѣсто того, посвятить вамъ *Фоскари*, но, во-первыхъ, мнѣ сказали, что *Каинъ* — наименѣе плохое изъ этихъ двухъ произведенiй, а во-вторыхъ, въ одномъ изъ примѣчанiй къ *Фоскари* я отозвался о Соути, какъ о мошенникѣ, да вспомнилъ, что онъ принадлежитъ къ числу вашихъ (хотя и не моихъ) друзей, и что невѣжливо было посвящать одному изъ друзей такую вещь, въ которой есть столь неделикатныя выраженiя о другомъ другѣ. А, впрочемъ, лавреата я не оставлю въ покоѣ, пока окончательно съ нимъ не раздѣлаюсь. Я люблю шумъ, и всегда любилъ, съ дѣтства, и долженъ сказать, что въ этой своей склонности я всегда находилъ наиболѣе легкое удовлетворенiе, какъ поэтъ и какъ человѣкъ. Вы говорите, что у васъ нѣтъ *зависти*, а я спрошу, какъ Босвеллъ у Джонсона: «Да кому же могли бы вы завидовать?»—Конечно, никому изъ нынѣ живущихъ, да и изъ умершихъ (принимая во вниманiе всѣ обстоятельства) не знаю кому? Я не люблю надоѣдать вамъ разсужденiями о шотландскихъ романахъ (какъ ихъ обыкновенно называютъ, хотя два изъ нихъ—совсѣмъ, а остальные наполовину англiйскiе), но ничто не можетъ и никогда не могло убѣдить меня, съ тѣхъ поръ, какъ я провелъ первыя десять минутъ въ вашемъ обществѣ, въ томъ, что вы не призваны именно къ этому роду произведенiй. Для меня въ этихъ романахъ такъ много шотландской старины (вѣдь я воспитывался настоящимъ шотландцемъ до десяти лѣтъ), что я никогда съ ними не разстаюсь; еще недавно, переѣзжая изъ Равенны въ Пизу, я отправилъ всю свою библiотеку впередъ за исключенiемъ только этихъ книгъ, которыя я удержалъ при себѣ, хотя уже и знаю ихъ наизусть».



ЛИ-ГЭНТЪ (Leigh Hunt).

Съ портрета Гэйдона (B. R. Haydon) въ Лондонской нац. портретн. галлереѣ.

Что „Каинъ" не пройдетъ даромъ Байрону,—это предвидѣлъ Муррей, когда прочелъ его еще въ рукописи; онъ просилъ кое-что измѣнить. Байронъ писалъ ему на это совершенно такъ же, какъ раньше онъ писалъ по поводу „Донъ Жуана":

«Любезный Муррей. Два мѣста не могутъ быть передѣланы, не заставляя Люцифера говорить на манеръ епископа Линкольнскаго,—что было бы вовсе не въ натурѣ перваго изъ этихъ лицъ. Сужденіе (о старыхъ мірахъ) взято изъ Кювье, что я и объяснилъ въ дополнительномъ примѣчаніи къ предисловію. Другое мѣсто—также въ характерѣ лица; если оно окажется *безсмыслицей*, — тѣмъ лучше: значитъ, оно никого не обидитъ, и чѣмъ глупѣе выставленъ будетъ Сатана, тѣмъ безопаснѣе для всѣхъ и каждаго. Что до «тревоги» и прочаго, то неужто вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что подобныя вещи могутъ кого-нибудь сбить съ толку? Развѣ онѣ нечестивѣе мильтоновскаго Сатаны или эсхиловскаго Прометея, или даже хотя бы саддукеевъ вашего завистливаго приходскаго попа, сфабриковавшаго «Паденіе Іерусалима»? Развѣ Адамъ, Ева, Ада и Авель не столь же благочестивы, какъ и самый катехизисъ»?

Нѣсколько возмущенъ былъ „Каиномъ" и Гобгоузъ. По крайней мѣрѣ, Байронъ замѣчаетъ о немъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „онъ разразился длиннымъ разсужденіемъ (и совсѣмъ безъ всякаго повода, потому что я не помню, чтобы спрашивалъ его мнѣнія) о сюжетѣ „Каина" (правда, онъ увѣряетъ, не съ религіозной точки зрѣнія); это разсужденіе по характеру своихъ выраженій подстать самому грубому журналу самаго низкаго издательскаго типа, какой мнѣ когда либо попадался на глаза". Если такъ относились друзья, то что могла сказать церковь? Это была буря негодованія. Появилась даже спеціальная проповѣдь одного ирландскаго священника, сказанная противъ Байрона. Давно не было столько шума вокругъ его имени. Зато друзья-поэты всѣ въ одинъ голосъ нашли „Каина" однимъ изъ лучшихъ произведеній поэта. Муръ говорилъ, что „если многіе содрогнутся отъ его кощунства, тѣмъ не менѣе всѣ должны пасть ницъ передъ его величіемъ".

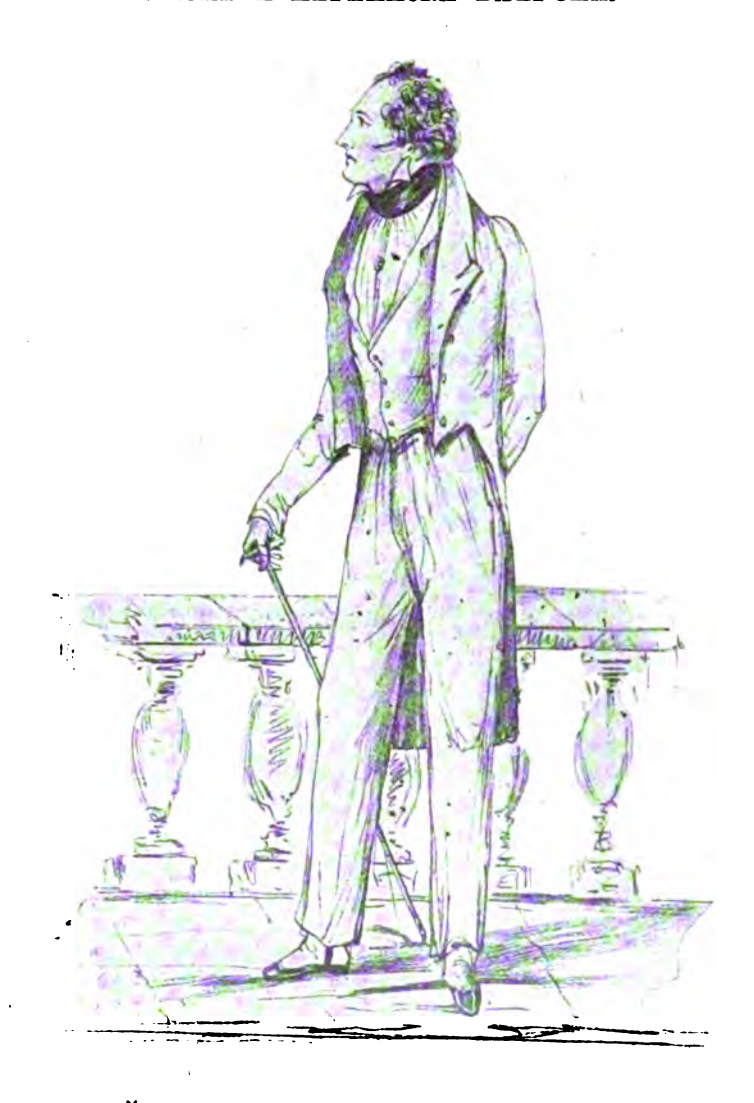
Съ похвалой отозвался о „Каинѣ" и Гёте, уже раньше напечатавшій хвалебную статью о „Манфредѣ". Именно въ отвѣтъ на это отношеніе къ нему великаго нѣмецкаго поэта Байронъ и рѣшилъ посвятить ему „Сарданапала". Муррей, впрочемъ, почему-то выпустилъ это произведеніе безъ посвященія, и Байронъ сильно негодуетъ на это въ своихъ письмахъ. Онъ поправилъ впослѣдствіи этотъ промахъ своего издателя, посвятивъ Гёте „Вернера". Это надо было сдѣлать особенно оттого, что рукописный экземпляръ „Сарданапала" съ автографомъ Байрона былъ посланъ Гёте.

Нѣкоторое сближеніе обоихъ поэтовъ имѣло мѣсто, однако, лишь нѣсколько позднѣе, когда Байронъ уже покидалъ Италію для поѣздки въ Грецію. Посредникомъ послужилъ одинъ молодой человѣкъ, нѣмецъ, бывшій въ Италіи, Стерлингъ. Гёте послалъ тогда Байрону эти нѣсколько дружескихъ поэтическихъ строкъ:

Ein freundlich Wort kommt eines nach dem andern
Von Süden her und bringt uns frohe Stunden;
Es ruft uns aus zum Edelsten zu wandern
Nie ist der Geist, doch ist der Fuss gebunden.
Wie soll ich dem, den ich so lang begleitet,
Nun etwas Traulich's in die Ferne sagen?
Ihm der sich selbst im Innersten bestreitet,
Stark angewohnt das tiefste Weh zu tragen.
Wohl sei ihm doch, wenn er sich selbst empfindet!
Er wage selbst sich hoch beglückt zu nennen,
Wen Musenkraft die Schmerzen überwindet.
Und wie ich ihn erkannt mog'er sich kennen.

На это привѣтствіе Байронъ отвѣтилъ письмомъ, написаннымъ, правда, наскоро и не длиннымъ, потому что надо было уже уходить въ море; но поэтъ, наконецъ, имѣлъ возможность высказать и этому далекому нѣмецкому поэту-другу и творцу „Фауста",—свою признательность и свое восхищеніе.

Въ Ливорно Байронъ вновь сблизился и съ Шелли; теперь ихъ соединяла одинаковая любовь къ морю. У Шелли была парусная лодка, которую онъ звалъ „Аріелемъ" и на которой и погибъ, а Байронъ завелъ себѣ яхту „Боливаръ". Сближало обоихъ поэтовъ и то, что черезъ Шелли велись переговоры у Байрона съ матерью его дочери Аллегры Дженъ Клэрмонтъ. Когда въ апрѣлѣ 1822 года маленькая Аллегра умерла, Байронъ чувствуетъ потребность подѣлиться своимъ горемъ именно съ Шелли. Напротивъ, литературной близости теперь между обоими поэтами гораздо меньше. Шелли эти стремленія къ разсудочности и классицизму, эти нападки на лэкистовъ съ наименованіемъ ихъ „школой Бедлама" были, разумѣется, совершенно чужды. Различіе Шелли и Байрона



БАЙРОНЪ въ 1823 году. Эскизъ гр. Д'Орсэ.
(Lord Byron, from a sketch taken by Count D'Orsay in May 1823).

обнаружилось особенно ярко, когда умеръ Китсъ. Шелли высоко ставилъ этого начинающаго и такъ и не высказавшагося генія; онъ негодовалъ противъ критики, своей суровостью усугубившей болѣзнь Китса, и вылилъ свою скорбь въ „Адонаисѣ". Байронъ весьма холодно относился къ Китсу (см. его отвѣтъ „Blackwood Magazine" въ примѣч. къ „Донъ Жуану") и потому писалъ своему другу по поводу „Адонаиса":

«Мнѣ очень прискорбно было услышать, что вы сообщаете о Китсѣ. Да, полно, правда ли это? Я не думалъ, чтобы критика была такъ убійственна. Хотя я рѣшительно несогласенъ съ вами въ оцѣнкѣ его произведеній, однако я такъ ненавижу всякое безполезное мученье, что лучше хотѣлъ бы, чтобы его посадили на самую высокую вершину Парнасса, чѣмъ знать, что онъ погибъ такимъ образомъ. Бѣдняга! Правда, съ такимъ необузданнымъ самолюбіемъ онъ, по всей вѣроятности, никогда не былъ бы счастливъ. Я прочелъ рецензію на *Эндиміона* въ «Quarterly Review». Она написана строго,—но, конечно, не до такой степени, какъ нѣкоторыя другія рецензіи о другихъ писателяхъ въ томъ или иномъ журналѣ.

Я припоминаю впечатлѣніе, произведенное на меня критической статьей *Эдинбургскаго Обозрѣнія* о первомъ моемъ произведеніи: это была ярость, желаніе отомстить, получить удовлетвореніе,—но не отчаяніе и не упадокъ духа. Я соглашаюсь, что эти чувства были недружелюбныя; но въ этомъ суетномъ и мятежномъ мірѣ, а въ особенности—на писательскомъ поприщѣ, человѣкъ долженъ взвѣшивать свою силу сопротивленія прежде, чѣмъ выходить на арену».

Близость съ Шелли, тѣмъ не менѣе, привела къ серьезному литературному предпріятію.

Еще въ 1820 году Байронъ подумывалъ о собственномъ періодическомъ изданіи. Онъ звалъ и Мура; но осторожный ирландецъ отклонилъ это предложеніе. Теперь, когда Байронъ чувствовалъ, насколько пошатнулась его слава, эта мысль снова начала занимать его. Письма къ Муррею за это время становятся все нервнѣе. Байронъ уже не можетъ всецѣло на него надѣяться. Его переводъ „Morgante Maggiore" Пульчи, которому онъ придавалъ огромное значеніе, такъ и не увидѣлъ свѣта. Въ другихъ произведеніяхъ Муррей все просилъ сглаживать рѣзкость тона и рѣшительность образовъ. „Видѣніе страшнаго суда", написанное тотчасъ вслѣдъ за „Каиномъ", онъ придерживалъ. А Байронъ между тѣмъ хотѣлъ вліять. Мало для этого было одного чисто-художественнаго вліянія—путемъ созданія поэтическихъ произведеній, какъ бы рѣзко окрашены они не были. Для полемическихъ цѣлей также былъ необходимъ собственный органъ. Вотъ, при подобныхъ-то обстоятельствахъ Шелли напомнилъ Байрону о своемъ другѣ Ли Гэнтѣ, уже давно черезъ Мура знакомомъ Байрону. Ли Гэнтъ въ это время былъ редакторомъ издаваемаго его братомъ Джономъ Гэнтомъ журнала „Examiner". Онъ былъ, слѣдовательно, лицо, вліятельное въ литературномъ мірѣ. Байронъ и Шелли и рѣшили поэтому, что его хорошо было бы сдѣлать редакторомъ и ихъ собственнаго журнала. „Examiner" могъ бы поддержать его. Названіе для журнала было избрано: „Liberal".

Ли Гэнтъ получилъ вскорѣ приглашеніе отъ Байрона пріѣхать въ Италію и поселиться у него. Поэтъ-журналистъ это приглашеніе принялъ и явился къ Байрону съ больной женой и шестерыми дѣтьми. Palazzo Lanfranchi огласилось дѣтскими криками, и присутствіе ихъ, какъ это замѣчаетъ Байронъ во многихъ письмахъ, мало способствовало порядку и чистотѣ дома.

Что изъ этого журнала ничего не могло выйти и что Байронъ не сможетъ ужиться не только со всѣмъ семействомъ Гэнта, но даже съ однимъ его главою,—это можно было предвидѣть заранѣе. Байронъ вообще не любилъ литераторовъ, а Ли Гэнта еще въ особенности. Когда-то, когда Ли Гэнтъ посвятилъ Байрону свою „Франческа Римини", оба поэта были въ хорошихъ отношеніяхъ. Тогда въ Лондонѣ Байронъ писалъ Гэнту дружескія письма и иногда приглашалъ его въ свою ложу въ театръ. Но это было давно. При теперешнемъ, нѣсколько озлобленномъ настроеніи по отношенію къ англійской литературѣ Байронъ не щадилъ и Гэнта. Онъ называлъ его главою „Cockney school" (школы просторѣчія). Искренности въ ихъ отношеніяхъ поэтому не могло быть. Кромѣ этого, Байронъ, какъ онъ позднѣе признается въ письмахъ къ Джону Гэнту, вовсе не могъ способствовать успѣху журнала. Лучшей изъ его вещей, напечатанныхъ въ „Либералѣ", было „Видѣніе страшнаго суда". Но оно скорѣе помѣшало, чѣмъ помогло популярности журнала. Если старикъ Гёте смѣялся до слезъ, читая эту сатиру,—вовсе не такъ отнесся къ ней чопорный англійскій читатель. Онъ болѣе возмущался, чѣмъ восхищался. А вслѣдъ за „Видѣніемъ страшнаго суда" Байронъ заставилъ еще напечатать свой переводъ изъ Пульчи, что было уже совсѣмъ неразумно съ журнальной точки зрѣнія. Ошибку сдѣлалъ и Ли Гэнтъ. Онъ отказался отъ редакторства въ „Examiner", что совсѣмъ уронило его въ глазахъ Байрона. Ужъ слишкомъ понадѣялся также Ли Гэнтъ на кошелекъ Байрона.

„Либералъ" еще не вышелъ, когда случилось, кромѣ всего этого, одно горестное событіе и совсѣмъ запутало отношенія. Главный посредникъ между Гэнтомъ и Байрономъ, Шелли, 8 іюля 1822 года утонулъ вмѣстѣ со своимъ пріятелемъ Вилльямсомъ, совершая на „Аріелѣ" опасный переѣздъ отъ Пизы до Ливорно. Эта внезапная смерть поразила всѣхъ. „Можете себѣ представить,—писалъ Байронъ Муррею,—состояніе обѣихъ семей; я никогда не видѣлъ подобной сцены и не хочу увидѣть нѣчто подобное еще разъ". И поэтъ прибавляетъ, отдавая послѣднюю дань своему другу: „Вы всѣ грубо ошибались относительно Шелли; онъ былъ, безъ сомнѣнія, лучшій и наименѣе себялюбивый человѣкъ изъ всѣхъ, кого я зналъ. Я не зналъ ни одного человѣка, который рядомъ съ нимъ не показался бы просто скотомъ".

Вотъ этого отсутствія себялюбія у самого Байрона никакъ нельзя признать. Байронъ былъ своенравенъ и капризенъ. Поступиться своими интересами или своими удобствами ради человѣка, цѣликомъ за-

висящаго отъ него, этого нельзя было ждать отъ Байрона. Ли Гэнтъ и онъ должны были разойтись. Это и случилось очень скоро. „Либералъ" пересталъ существовать.

Отношеніе Байрона къ „Либералу" теперь, когда опытъ уже сдѣланъ, видно изъ письма его къ Джону Гэнту отъ 17-го марта 1823 года:

«Сэръ,— братъ вашъ перешлетъ почтою исправленную корректуру «Синихъ чулковъ» для одного изъ слѣдующихъ номеровъ вашего журнала; но мнѣ думается, что переводъ изъ Пульчи было бы лучше помѣстить въ ближайшемъ же нумерѣ, такъ какъ «Синіе чулки» вызовутъ раздраженіе въ извѣстномъ кругу вашихъ читателей.

Я продолжаю держаться того мнѣнія, что мое участіе въ какомъ-либо дѣлѣ можетъ принести ему что угодно, только не успѣхъ. Эта мысль въ первый разъ пришла мнѣ въ голову, когда я подумалъ, что, можетъ быть, лучше было бы издавать нѣчто вродѣ литературныхъ прибавленій къ «Examiner'у»; вторичная попытка была рискована, почему и не имѣла успѣха,— кажется, двѣ присланныя мною пьесы болѣе, чѣмъ что-либо иное, ускорили эту неудачу. Не слѣдовало печатать моихъ произведеній въ такомъ количествѣ, въ особенности потому, что вамъ была извѣстна вообще моя непопулярность и общій походъ противъ моихъ сочиненій, начавшійся послѣ выхода въ свѣтъ послѣдняго тома г. Муррея. Мой талантъ (если онъ у меня есть) не укладывается въ тѣ рамки сочинительства, которыя наиболѣе пригодны для читателей періодическихъ изданій. Вѣроятно, теперь вы и сами уже убѣдились въ этомъ. Вашъ журналъ, если онъ будетъ продолжаться (а я не вижу причины, почему бы ему не продолжаться), найдетъ гораздо болѣе полезныхъ помощниковъ, чѣмъ я, въ лицѣ прочихъ настоящихъ и будущихъ своихъ сотрудниковъ. Можетъ быть, вамъ слѣдовало бы также, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, ограничить число экземпляровъ двумя тысячами и затѣмъ увеличивать его постепенно, если это окажется необходимымъ. Неудовольствіе направлено не столько противъ васъ, сколько противъ меня, и я долженъ сознаться, что мнѣ больше хотѣлось бы выступить противъ него *въ одиночку* и схватиться съ нимъ въ мѣрѣ моихъ силъ. Г. Муррей, отчасти изъ чувства обиды, ибо онъ смертенъ, какъ и его изданія, хотя онъ и книгопродавецъ, надѣлалъ больше шуму, чѣмъ вы ожидали, и я тоже; вы, навѣрное, увидите это изъ перваго же моего произведенія, которое будетъ издано отдѣльно, а также и изъ тѣхъ, которыя появятся въ «Либералѣ». Ему приходится имѣть дѣло съ духовенствомъ, правительствомъ и публикой; я не особенно забочусь о нихъ, когда я дѣйствую въ одиночку; но я вовсе не хочу портить дѣло другимъ. Я считаю это неопровержимымъ фактомъ, такъ какъ не припомню, чтобы противъ васъ и вашей семьи и друзей высказывалось когда-либо такое сильное неудовольствіе, какъ съ тѣхъ поръ, когда вашъ братъ, къ несчастью для него, вступилъ со мною въ литературныя отношенія. Впрочемъ, я не покину «Либерала», не обдумавъ этого зрѣло, хотя и убѣжденъ, что ради вашей пользы долженъ это сдѣлать. Время и правда, вѣроятно, устранятъ это враждебное ко мнѣ отношеніе—или по крайней мѣрѣ его послѣдствія,—но до тѣхъ поръ вамъ приходится быть страдательнымъ лицомъ. Каждое мое новое произведеніе сопровождалось полною неудачею. Я этимъ не огорчаюсь, потому что литературныя занятія вошли въ мою привычку, а успѣхъ и вообще изданіе сочиненій въ свѣтъ имѣютъ для меня очень второстепенное значеніе: это—не причины, а слѣдствія. Я слышалъ уже столько похвалъ и порицаній, что они перестали быть для меня новостью, и если продолжаю сочинять, то только по той же причинѣ, по какой продолжаю ѣздить верхомъ, читать, купаться или путешествовать: это—привычка».

Такими грустными мыслями закончились эти два года сравнительно спокойной жизни, жизни съ любимой женщиной, жизни дѣятельной и продуктивной, и послѣ стольких и разнообразныхъ усилий на литературномъ поприщѣ, теперь уже упорныхъ и продуманныхъ, занимавшихъ почти все время, а не такъ, какъ прежде, появлявшихся вспышками среди разсѣянной свѣтской жизни и любовныхъ приключеній.

Не такой гостепріимной, какъ казалось, представлялась теперь и Италія. То, что гнало изъ Англіи, не давало покоя и тутъ. Все отсталое, косное, все старозавѣтное, что мѣшаетъ открыться широкому простору лучшаго строя общества,—все это было противъ Байрона и здѣсь. И если не было здѣсь поводовъ обвинять его въ распутствѣ, то, какъ политическій дѣятель, какъ карбонарій, Байронъ былъ гонимъ теперь въ самомъ прямомъ и грубомъ смыслѣ слова. Эти обстоятельства заставляли невольно осмотрѣться, чтобы найти новый пріютъ для скитаній. Въ сущности Байрона изъ Италіи тянуло очень давно. Въ цѣломъ рядѣ писемъ Байронъ самымъ серьезнымъ образомъ говоритъ о своемъ желаніи эмигрировать въ Южную Америку, куда нибудь въ Венецуэллу. Мы видѣли, что онъ еще до развода графини Гвиччіоли хотѣлъ увезти ее и начать жить инкогнито, отбросивши и титулъ, и пріобрѣтенную своимъ геніемъ извѣстность. Въ августѣ 1822 года Байронъ писалъ Муру: „Я теперь, какъ и прежде, подумываю о Южной Америкѣ; но теперь я колеблюсь между ней и Греціей. Либо туда, либо сюда я уѣхалъ бы уже давнымъ-давно, если бы не моя связь съ графиней, потому что любовь по нашимъ временамъ мало совмѣстима со славой".

Рѣшеніе ѣхать въ Грецію было принято окончательно лишь въ іюнѣ 1823 года.

15-го числа этого мѣсяца Байронъ писалъ Трелони:

„Дорогой Трелони!

Вы вѣрно слышали, что я ѣду въ Грецію. Почему вы не пріѣзжаете ко мнѣ? Мнѣ нужна ваша помощь, и я ужасно хочу видѣть васъ. Пожалуйста, пріѣзжайте, потому что теперь я окончательно рѣшилъ ѣхать въ Грецію; это единственное мѣсто, гдѣ я когда-либо былъ доволенъ. Я говорю совершенно серьезно и не писалъ раньше потому, что я могъ бы заставить васъ проѣхаться даромъ; всѣ они говорятъ, что я могу принести пользу въ Греціи. Я самъ не знаю еще—какъ, и они не знаютъ; но во всякомъ случаѣ поѣдемте".

Въ Грецію тянула и жажда славы, и дѣло свободы, и обстоятельства, и юношескія воспоминанія, и самая непосѣдливость прирожденнаго скитальца. Уже 25 іюля снаряженный Байрономъ корабль, „Геркулесъ", унесъ его навсегда отъ береговъ Италіи въ это послѣднее приключеніе его жизни.

VII.

Байронъ никогда не считалъ себя только поэтомъ. Мы видѣли, что еще съ юности онъ пріучилъ себя придавать большое значеніе открывшейся ему по самому праву рожденія политической дѣятельности пэра Англіи. Рядомъ съ этимъ художественные интересы его были ограничены. Онъ не развилъ ихъ; напротивъ, слишкомъ бурно кипѣвшее въ немъ личное чувство мѣшало полному расцвѣту индивидуальности, и парадоксъ замѣнялъ строгую продуманность и самоуглубленіе. Огромное и шумѣвшее, какъ ураганъ, кругомъ него политическое значеніе его поэзіи также отрывало сознаніе отъ сосредоточенія надъ тайной ея усовершенствованія. Отсюда эта вполнѣ ясная читающимъ его въ подлинникѣ соотечественникамъ недостаточность въ отдѣлкѣ, отсюда обнаружившаяся блѣдность и мыслей, и образовъ рядомъ съ проникновенностью Шелли и Вордсворта. Когда въ концѣ пребыванія Байрона въ Италіи столько созданій его генія принимались холодно, это хотя и подзадоривало превзойти, добиться успѣха, заставить считать себя первымъ поэтомъ Англіи, но въ то же время въ глубинѣ сознанія рождало мысли и влеченія, неясныя и не вполнѣ сложившіяся, о возможности еще другой, новой дѣятельности, другого и новаго призванія и новой славы.

Это послѣднее чувство ярко выразилось въ бѣгломъ замѣчаніи, вырвавшемся въ одномъ изъ писемъ къ Муррею: „Если я проживу еще десять лѣтъ, вы еще увидите, что на мнѣ рано ставить крестъ,—я разумѣю не литературу, потому что она ничего не стоитъ, и достаточно грустно и странно сказать,—я не считаю ее своимъ призваніемъ. Но вы увидите, что я что-нибудь да сдѣлаю еще, то или другое, сообразно времени и обстоятельствамъ, что, „какъ космогонія или сотвореніе міра поразитъ философовъ всѣхъ временъ". Только я сомнѣваюсь, чтобы организмъ мой выдержалъ долго. Вѣдь время отъ времени я его чертовски поистратилъ". Это было писано давно, еще въ 1817 году, въ Венеціи; но Байронъ никогда—и это одно изъ главныхъ его преимуществъ—не забывалъ своихъ мыслей. Чувства его, разъ возникнувъ, также никогда уже больше не покидали его. Въ этихъ словахъ есть, несомнѣнно, и самое затаенное признаніе, выраженіе самой твердой, навсегда сохранившейся вѣры въ себя... а затѣмъ горестное и такое правдивое прозрѣніе. Даръ прозрѣнія—одинъ изъ первѣйшихъ признаковъ избранныхъ натуръ. Ихъ интуиція всегда стоитъ на границѣ самовнушенія и пророчества. Въ этомъ ихъ главная сила. И такимъ же пророческимъ былъ и вопросъ Байрона, когда въ послѣдній разъ онъ ѣздилъ верхомъ съ молодымъ Гамба въ окрестностяхъ Альбаро: „гдѣ то мы будемъ черезъ годъ?!" Черезъ годъ, т. е. 26 іюля 1824 года, Байрона хоронили въ Гэкнолѣ, въ Англіи.

Біографы часто спрашивали, каковы были собственно причины, побудившія Байрона принять участіе въ греческомъ возстаніи, и Эльце высказалъ мнѣніе, что причины эти были личныя. Но все общественное, что отдалось въ могучей душѣ этого льва, всегда сливалось съ его личными запросами и увлеченіями. Левъ теперь уже старѣлъ и былъ израненъ. Если онъ бросился вновь въ пучину борьбы,—онъ, конечно, дѣлалъ это не подвижникомъ, а въ стремленіи еще разъ показать свою царственную силу.

Въ кружкѣ Байрона и Шелли, какъ и среди итальянскихъ карбонаріевъ, пристально слѣдили сначала за успѣхами, а

послѣ битвы при Петтѣ и за несчастьями освободившихся грековъ. Князь Маврокордатосъ былъ знакомъ съ Шелли. Онъ училъ г-жу Шелли по-гречески, а она платила ему уроками англійскаго. Байронъ былъ, кромѣ того, друженъ и съ Андреемъ Лондосомъ. Когда въ Лондонѣ образовался фильэллиническій комитетъ, въ него вошелъ другъ Байрона, Гобгоузъ, а съ марта 1823 года къ нему принадлежалъ и Байронъ. Но всѣхъ ревностнѣе относился къ дѣлу возставшей Эллады Трелони, впослѣдствіи даже женившійся на дочери одного изъ вождей, грознаго Одиссейса. Трелони вмѣстѣ съ молодымъ Петромъ Гамба и отправился въ путь съ Байрономъ на „Геркулесѣ“.



БАЙРОНЪ и его любимый догъ Лайонъ среди возставшихъ грековъ (Lord Byron and his favourite dog Lion at Mesolonghi).

Каковы были намѣренія Байрона, когда была рѣшена его поѣздка, видно изъ письма его къ секретарю комитета сэру Джону Боурингу:

«Мы отплываемъ въ Грецію 12-го. Я получилъ отъ г. Блакіера письмо, слишкомъ длинное, почему его и не переписываю, но вполнѣ удовлетворительное. Греческое правительство ожидаетъ насъ безъ замедленія.

Согласно желанію г. Блакіера и прочихъ моихъ корреспондентовъ въ Греціи, я долженъ почтительнѣйше доложить комитету, что присылка даже «только десяти тысячъ фунтовъ» (выраженіе г. Б.) была бы въ настоящее время величайшею услугою греческому правительству. Я долженъ также усердно рекомендовать попытку заключить заемъ, для котораго будутъ предложены достаточныя гарантіи депутатами, находящимися теперь на пути въ Англію. А пока, я надѣюсь, комитету удастся сдѣлать что-нибудь существенное.

Что касается собственно меня, то я разсчитываю собрать, наличными или кредитомъ, около восьми и даже около девяти тысячъ фунтовъ стерлинговъ, которые я могу реализовать, пользуясь своими фондами въ Италіи и кредитомъ въ Англіи. Изъ этой суммы, конечно, я долженъ оставить необходимую часть на продовольствіе мое и моей свиты, остальное же употреблю на то, что покажется мнѣ наиболѣе полезнымъ для дѣла,—разумѣется, если буду имѣть извѣстныя гарантіи или увѣренность въ томъ, что эти деньги не будутъ истрачены на какія-нибудь личныя спекуляціи.

Если я останусь въ Греціи,—что будетъ зависѣть главнымъ образомъ отъ предполагаемой полезности моего тамъ пребыванія и отъ мнѣнія объ этомъ самихъ грековъ, какъ хозяевъ,—словомъ, если я буду тамъ принятъ хорошо, то я буду продолжать, по крайней мѣрѣ во время моего пребыванія тамъ, жертвовать на общественное дѣло часть своихъ доходовъ, настоящихъ и будущихъ, т. е. жертвовать тѣмъ, что мнѣ для этой цѣли удастся сберечь. Лишенія я могу—или, по крайней мѣрѣ, прежде могъ—выносить, къ воздержанію я привыкъ, а что касается утомленія, то я былъ нѣкогда сноснымъ путешественникомъ. Чѣмъ я могу оказаться теперь—не знаю, но сдѣлаю попытку.

Я ожидаю распоряженій комитета. Письма направляйте въ Геную,—ихъ будутъ пересылать ко мнѣ, гдѣ бы я ни находился, мои банкиры, гг. Бэббъ и Барри. Я былъ бы очень радъ имѣть до моего отъѣзда нѣсколько болѣе *опредѣленныя* инструкціи; но, конечно, это—дѣло комитета».

Ближайшей цѣлью было назначено еще свиданіе съ упомянутымъ въ этомъ письмѣ французскимъ членомъ комитета Блакьеромъ. Они должны были встрѣтиться въ Дуонтѣ и порѣшить, что дѣлать. Но по приходѣ туда „Геркулеса“ Блакьера тамъ не оказалось. Онъ уѣхалъ въ Англію.

Задача Байрона была въ высшей степени трудна не только по своей неопредѣленности, но и по самому положенію вещей.

Греческое возстаніе вспыхнуло далеко не дружно и не сразу. Оно съ самаго начала имѣло мѣстный характеръ, и это вредило дѣлу, выдвигая въ разныхъ частяхъ Эллады разныхъ вождей, несогласныхъ между собою, различныхъ по взглядамъ, по пріемамъ борьбы и по нравственному облику. Такъ было съ самаго начала, такъ осталось и при пріѣздѣ Байрона въ Кефалонію, гдѣ онъ остановился подъ покровительствомъ находившихся тамъ, чтобы осуществить назначенный въ 1815 году англійскій протекторатъ надъ Іонійскими



Домъ, гдѣ Байронъ жилъ въ Месолонги (Byron's House, Mesolonghi).

островами, англійскихъ войскъ. Послѣ неудачнаго похода Александра Ипсиланти уже въ мартѣ 1821 года вся Греція быстро оказалась въ рукахъ инсургентовъ и помогавшихъ имъ суліотовъ. Мусульмане были перерѣзаны повсемѣстно чуть не поголовно. Турецкое правительство не могло дѣйствовать энергично, потому что войска его были заняты осадой Янины, гдѣ засѣлъ отдѣлившійся отъ султана Али-паша. На Пелопонесѣ властвовалъ тогда свирѣпый, воинственный Колокотронесъ съ разбойничьими пріемами борьбы и управленія.

Рядомъ съ нимъ огромное значеніе пріобрѣлъ и Петръ Мавромихалесъ, бей Майны, названный Петробей. Въ Триполиссѣ весь лагерь привѣтствовалъ появленіе Дмитрія Ипсиланти; а въ западной Греціи въ Месолунги, взялъ въ свои руки управленіе Маврокордатосъ. Призрачный порядокъ установился лишь въ январѣ 1822 года, когда національное собраніе въ Пьядѣ, около Эпидавра, издало конституцію и избрало Маврокордатоса предсѣдателемъ исполнительнаго комитета изъ пяти членовъ, а Ипсиланти предсѣдателемъ сената, или легислативы. Но это правительство вовсе не могло овладѣть всей Греціей, а послѣ событій 1822 года, когда турецкія войска по смерти Али и взятіи Янины, вошли въ Грецію, оно фактически перестало существовать.

Послѣ битвы при Петтѣ, гдѣ единственное правильное войско съ греческой стороны, отрядъ фильэлленовъ былъ уничтоженъ, Маврокордатосъ могъ уже лишь укрѣпить Месолунги. Греція опять распалась. Подчинить исполнительному комитету Одиссѣйса и Колокотронеса нечего было и думать, особенно послѣ битвы въ ущельяхъ между Коринѳомъ и Аргосомъ, гдѣ были разбиты Колокотронесомъ турецкія войска.

Оставалось лишь вновь созвать національное собраніе. Оно собралось въ мартѣ 1823 года въ Астросѣ. Петробей былъ избранъ президентомъ. Правительство состояло теперь изъ Петробея, Заимеса и Лондоса. Но партія Колокотронеса и Одиссѣйса, такъ называемая военная партія, опять разрушила дѣло объединенія.

Маврокордатосъ напрасно старался поддержать Петробея своимъ вліяніемъ. Онъ утвердился лишь на Саламинѣ; Морея оказалась въ рукахъ вновь независимаго Колокотронеса. При этомъ онъ настолько терроризировалъ правительство еще и за предѣлами своихъ владѣній, что Маврокордатосъ, избранный предсѣдателемъ сената, предпочелъ не входить въ исполненіе своихъ обязанностей и удалился на островъ Гидру. Тогда-то и возникла мысль о приглашеніи иностраннаго князя—Жерома Бонапарта или Леопольда Кобургъ-Гот-



БЮСТЪ БАРТОЛИНИ.
(Lord Byron. From the Bust by Lorenco Bartolini).

скаго. Въ такомъ положенiи находились дѣла греческаго возстанія, когда прибылъ Байронъ. Борьба Колокотронеса съ сенатомъ дошла даже до междоусобной войны.

Письмо Байрона къ банкиру Барри отъ 25 октября 1823 года показываетъ и разочарованіе и взглядъ поэта на свою миссію.

«Положеніе партій въ Греціи прежнее. Я переслалъ черезъ частное лицо нѣсколько пакетовъ съ документами и корреспонденціей члену парламента г. Гобгоузу, чтобы онъ представилъ ихъ на разсмотрѣніе г. Боурннга и комитета. Если вы будете писать этому господину, то скажите ему, что я не адресую писемъ *по почтѣ* непосредственно на его имя, потому что его письма прочитываются на континентѣ любопытствующими людьми, особенно послѣ бывшаго съ нимъ во Франціи приключенія, но что письма къ г. Гобгоузу, вмѣстѣ со вложенными въ нихъ бумагами, назначаются именно для него.

Весьма необходимо, чтобы комитетъ оказалъ мнѣ поддержку своимъ авторитетомъ. Если онъ обратится къ греческому правительству съ меморандумомъ по поводу возникшей распри и изгнанія или удаленія Маврокордатоса, то это, по всей вѣроятности, можетъ успѣшнѣе содѣйствовать примиренію партій, нежели мое личное вмѣшательство; до тѣхъ же поръ, пока партіи не примирятся, можно вообще ожидать, что ихъ внутреннія дѣла будутъ въ нежелательномъ разстройствѣ. Конечно, и я хотѣлъ бы также представить меморандумъ подобнаго же содержанія и всѣми законными средствами, въ моей власти находящимися, постараться, чтобы онъ былъ принятъ къ исполненію.

Всѣ разсказы о побѣдахъ грековъ на морѣ и на сушѣ преувеличены и невѣрны. Они дѣйствительно имѣли успѣхъ въ нѣсколькихъ небольшихъ стычкахъ, но такой же успѣхъ въ другихъ стычкахъ имѣли также и турки, значительныя силы которыхъ стоятъ теперь подъ Месолунги; что же касается флота, то онъ, до самаго послѣдняго времени, вовсе и не выходилъ въ море—и, насколько это можетъ быть удостовѣрено, не сдѣлалъ еще ничего, или сдѣлалъ очень мало полезнаго для страны.

Депутаты для переговоровъ о займѣ еще не выѣхали, хотя я и писалъ греческому прави-



ЦЕРКОВЬ ВЪ ГЭКНОЛЬ-ТОРКАРДЪ, БЛИЗЬ НОТИНГЭМА, ГДѢ ПОХОРОНЕНЪ БАЙРОНЪ. (Hucknall Torkard Church).

тельству объ ускореніи ихъ отъѣзда. Я не падаю духомъ и не отчаиваюсь въ успѣхѣ дѣла, но моя обязанность объяснить комитету настоящее положеніе вещей, хотя бы только для того, чтобы показать настоятельность дальнѣйшихъ усилій.

Я предлагалъ давать авансомъ по тысячѣ долларовъ въ мѣсяцъ въ пособіе Месолунги и суліотамъ, бывшимъ подъ начальствомъ Боццариса (который потомъ былъ убитъ); но правительство отвѣчало мнѣ (черезъ живущаго здѣсь въ Кефалоніи графа Делладечима), что ему желательно предварительно со мною переговорить; это означаетъ, что имъ желательно, чтобы я тратилъ свои деньги на что-нибудь другое.

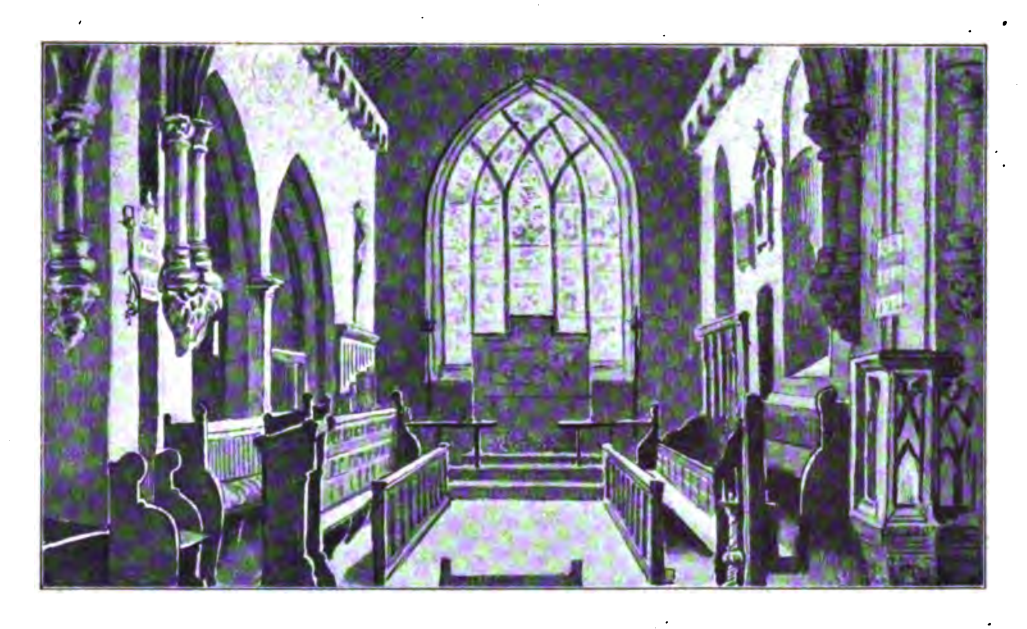
Конечно, я въ особенности позабочусь о томъ, чтобы эти деньги пошли на общественное дѣло, а иначе не дамъ ни гроша. Члены оппозиціи говорятъ, что правительство желаетъ за мною ухаживать, а правительственная партія говоритъ, что оппозиція хочетъ меня соблазнить; такимъ образомъ, мнѣ приходится играть между этими двумя сторонами трудную роль. Впрочемъ, мнѣ нечего и дѣлать съ ихъ партіями, - развѣ только стараться объ ихъ примиреніи, если это возможно.

Я не знаю, правда ли, что «честность лучшая политика»; но это единственный способъ дѣйствій, которому я могу слѣдовать и который я одобряю.

Я опасаюсь съ ихъ стороны не злоупотребленій (противъ которыхъ я теперь знаю, какъ надо бороться, или, по крайней мѣрѣ, знаю, какъ слѣдуетъ къ нимъ относиться), а слишкомъ *хорошаго* ко мнѣ отношенія, такъ какъ трудно не поддаваться личнымъ своимъ впечатлѣніямъ; если эти господа, въ своекорыстныхъ интересахъ, угадаютъ мою слабость, т. е. склонность подчиняться чужому вліянію, и выпустятъ на меня хорошенькую или умную женщину, способную къ политическимъ и инымъ интригамъ, то, чего добраго, имъ удастся меня и одурачить; впрочемъ, это, вѣроятно, не особенно трудно даже и безъ подобнаго вмѣшательства. Но если мнѣ удастся обуздать свои страсти, въ особенности—любовь (что, кажется мнѣ, всего легче, такъ какъ мое сердце осталось въ Италіи), то имъ не такъ-то легко будетъ водить меня за носъ.

Если комитетъ желаетъ сдѣлать хорошее дѣло, то долженъ усилить свои денежныя средства, къ которымъ я прибавлю все, что мнѣ удастся сберечь изъ своихъ собственныхъ средствъ; ему слѣдуетъ назначить, для наблюденія за расходованіемъ этихъ средствъ, по крайней мѣрѣ троихъ лицъ, которымъ онъ довѣрялъ бы. Я лично не желалъ бы принимать участія въ этомъ контролѣ, такъ какъ я плохой счетчикъ, но въ отношеніи наблюденія за всѣми прочими дѣлами, не относящимися къ денежнымъ разсчетамъ, я предоставляю себя въ распоряженіе комитета».

Въ сущности, просто - напросто Байронъ оказался лакомымъ кускомъ для каждой партіи и для каждаго вождя, и каждый изъ нихъ старался приманить его къ себѣ, вовсе и не собираясь поступиться своимъ значеніемъ. „Колокотронесъ,—пишетъ Финлей,—приглашалъ его на національное собраніе въ Саламинъ. Маврокордатосъ говорилъ ему, что ему незачѣмъ ѣхать куда-либо, кромѣ какъ на



ВНУТРЕННОСТЬ ЦЕРКВИ ВЪ ГЭКНОЛЬ-ТОРКАРДЪ, ПОДЪ ПОЛОМЪ КОТОРОЙ ПОХОРОНЕНЪ БАЙРОНЪ.

Гидру, потому что въ то время Маврокордатосъ находился тамъ; Константинъ Метакса, губернаторъ Месолунги, писалъ, что Греція погибла, если онъ не посѣтитъ эту крѣпость. Петробей высказывался проще. Онъ сообщалъ Байрону, что истинный способъ помочь Греціи—это дать ему, бею, въ долгъ тысячу фунтовъ". При такихъ обстоятельствахъ, на что было рѣшиться? Трелони и Стэнгопъ были увлечены особенно Одиссейсомъ, и Трелони поѣхалъ для переговоровъ съ нимъ. Байронъ сносился съ комитетомъ, велъ переговоры, велъ счета съ банкирами, но дальше его дѣятельность не шла. Между тѣмъ онъ и самъ тратилъ понапрасну деньги. Такъ, онъ содержалъ одно время зачѣмъ-то 40 суліотовъ, которыхъ скоро пришлось распустить, уплативъ имъ переѣздъ въ Месолунги, потому что этого требовали англійскія власти Кефалоніи.

Письмо къ Боурингу, написанное мѣсяцемъ позже, показываетъ однако, что Байронъ отнюдь не отчаивается и намѣренъ даже принять самое дѣятельное участіе въ дѣлахъ.

«Успѣхи грековъ были весьма значительны: Коринѳъ взятъ, Месолунги почти внѣ опасности, а въ Архипелагѣ захвачено у турокъ нѣсколько кораблей; но зато въ Мореѣ, судя по послѣднимъ извѣстіямъ, не только раздоры, но прямо междоусобица, въ какихъ размѣрахъ,—мы еще не знаемъ, но, надѣюсь, это не поведетъ къ серьезнымъ послѣдствіямъ.

Я шесть недѣль ждалъ флота, который такъ и *не прибылъ*, несмотря на то, что я, по просьбѣ греческаго правительства, авансировалъ, т. е. приготовилъ и имѣю въ своемъ распоряженіи двѣсти тысячъ піастровъ (за вычетомъ коммиссіонныхъ и банкирской провизіи) своихъ собственныхъ денегъ, назначаемыхъ на поддержаніе ихъ замысловъ. Суліоты (находящіеся теперь въ Акарнаніи) очень желаютъ, чтобы я принялъ ихъ подъ мое начальство и пошелъ вмѣстѣ съ ними водворять порядокъ въ Мореѣ, который, повидимому, не можетъ быть возстановленъ безъ военной силы; и дѣйствительно, хотя я (какъ вы могли это видѣть изъ моихъ писемъ) очень не сочувствую подобнымъ мѣропріятіямъ, однако, кажется, трудно будетъ найти средство болѣе мягкое. Впрочемъ, я ни на что не рѣшусь быстро, а буду продолжать жить здѣсь въ надеждѣ, что все уладится, къ чему и буду прилагать всевозможныя съ своей стороны старанія. Если бы я сталъ дѣйствовать быстрѣе, то они *заставили бы меня вступить въ ту или другую партію*, что мнѣ вовсе не желательно. Но мы будемъ дѣлать все, что отъ насъ зависитъ».

По мѣрѣ того какъ, выражаясь словами Байрона, „дѣла грековъ шли хорошо" и въ его перепискѣ разсказывается то объ отступленіи турокъ изъ Акарнаніи, то о взятіи Коринѳа, то, наконецъ, и о выходѣ греческаго флота, въ Архипелагѣ взявшаго нѣсколько турецкихъ судовъ,—планы Байрона принимаютъ и болѣе реальный ха-

рактеръ. „Суліоты,—пишетъ Байронъ,—которые мнѣ друзья, очень хотятъ, чтобы я былъ съ ними; того же хочетъ и Маврокордатосъ. Если только мнѣ удалось бы примирить хоть двѣ партіи (и я, кажется, камни ворочалъ, чтобы достичь этого), все-таки получилось бы хоть что нибудь; если же не удастся, мы должны отправиться въ Морею къ западнымъ грекамъ. Они самые храбрые и теперь—послѣ нѣкоторыхъ побѣдъ надъ турками—самые сильные".

Но въ сущности все дѣло только въ деньгахъ. Самъ Байронъ говоритъ, что онъ пока „лишь тотъ, кто платитъ" (The paymaster), и онъ утѣшаетъ себя, замѣчая: „хорошо, что благодаря условіямъ войны и той странѣ, въ которой она ведется, даже средства одного единичнаго человѣка могутъ принести частичную и временную пользу". Но каково это сознаніе для того, кто отправлялся сюда, на театръ войны за свободу, съ надеждами развернуться во всемъ багатствѣ своей одаренной личности; кто жаждалъ подвига и славы, можетъ быть, смутно ожидая даже, что ему будетъ предложена и корона этого возрождающагося и когда-то столь великаго народа. Когда Байронъ отправлялся въ Грецію, онъ ждалъ, конечно, не этого; ему хотѣлось подвига, а весь подвигъ оказался лишь въ томъ, что его средства могутъ оказать огромную услугу. Отдать свои средства на освобожденіе чужого народа, хотя бы „среди него онъ былъ когда то всего счастливѣе", также подвигъ, и не всякій рѣшится на него. Но какая неизмѣримая несообразность между всей фигурой поэта-борца, гордаго и независимаго теперь, наконецъ, перешедшаго отъ словъ къ дѣлу, и положеніемъ богача, дающаго средства и пользующагося этимъ, чтобы подать добрый совѣтъ.

Призракъ участія въ войнѣ, уже дѣятельнаго, пронесся въ сущности передъ Байрономъ лишь тогда, когда онъ рѣшился ѣхать въ осажденный турками Месолунги къ князю Маврокордатосу.

Но тонъ его послѣдняго письма изъ Кефалоніи въ концѣ декабря 1823 года, въ которомъ онъ извѣщаетъ Мура о своемъ переходѣ на театръ военныхъ дѣйствій, увы, уже не тотъ, съ какимъ говорилъ бы Байронъ еще только нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ:

«Черезъ 24 часа я отплываю въ Месолунги, на соединеніе съ Маврокордатосомъ. Положеніе партій (но объ этомъ долго было-бы разсказывать) *до сихъ поръ* удерживало меня здѣсь, но теперь, когда Маврокордатосъ (греческій Вашингтонъ или Косцюшко) снова принялся за дѣло, я могу дѣйствовать *съ спокойною совѣстью*. Я собираю деньги на уплату жалованья войскамъ и пр. и имѣю вліяніе на суліотовъ, *кажется*,—достаточное для того, чтобы держать ихъ въ согласіи съ нѣкоторыми изъ ихъ противниковъ: вѣдь между ними всегда распри, хотя и ничтожныя.

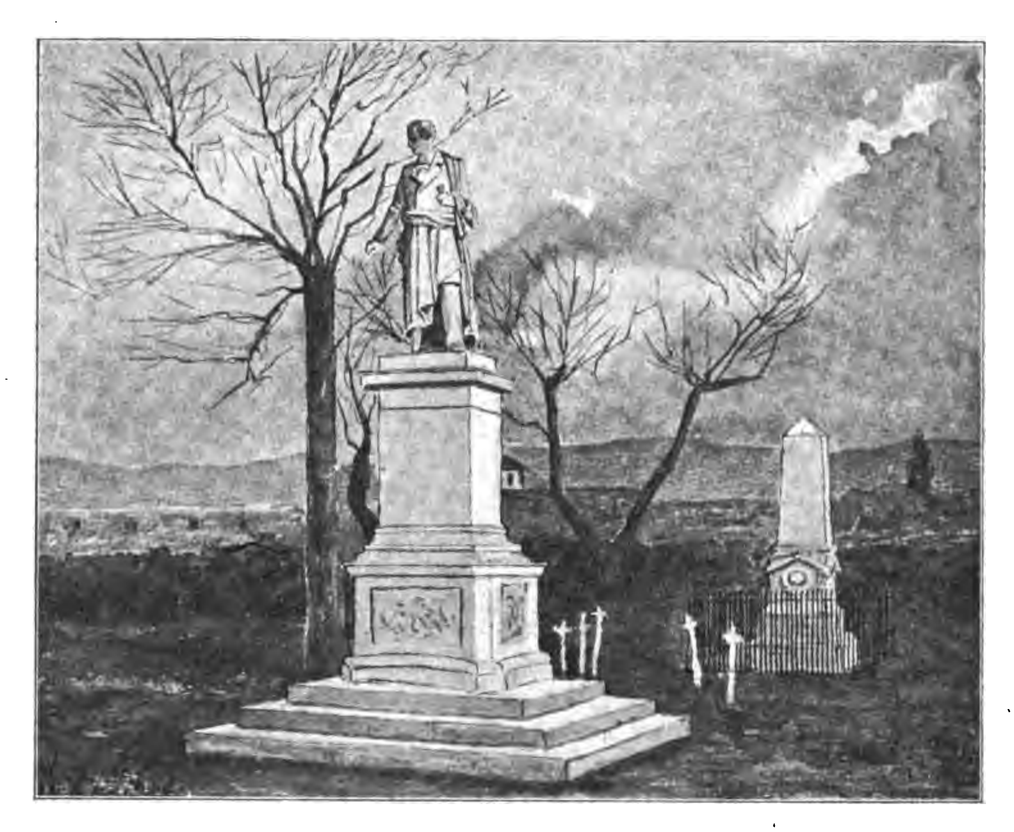
Вообразили, будто бы мы хотимъ попытаться напасть или на Патрасъ, или на нѣкоторыя укрѣпленія въ проливахъ; по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ кажется, что греки, и во всякомъ случаѣ—суліоты, породнившіеся со мною «хлѣбомъ и солью», ожидаютъ, что я пойду вмѣстѣ съ ними. Что же? хотя бы и такъ! Если лихорадка, утомленіе, голодъ или что-нибудь подобное сгубитъ во цвѣтѣ лѣтъ вашего друга—пѣвца, подобнаго Гарсиласо де-ла-Вега, Клейсту, Корнеру, Жуковскому (русскій соловей по Боурингу), или Тэрсандру, или... или кому-нибудь еще, но все равно, то молю не забыть обо мнѣ «въ часы улыбокъ и вина».

Я надѣюсь, что наше дѣло восторжествуетъ; но восторжествуетъ оно или нѣтъ, все равно, «честь надо блюсти такъ же строго, какъ молочную діету». Я уповаю, что буду соблюдать и то и другое».

И тутъ, именно при переѣздѣ въ Месолунги поэту сразу-же пришлось пережить случайности войны. Вотъ письмо его съ дороги изъ Драгоместри:

«Любезнѣйшій Мьюръ. Желаю вамъ множества удачъ въ теченіе сезона и полнаго во всемъ успѣха. Гамба и «Бомбардъ» (какъ есть полное основаніе полагать) уведены въ Патрасъ турецкимъ фрегатомъ, который, какъ мы видѣли на зарѣ 31-го, ихъ преслѣдовалъ; ночью мы шли у него за самой кормой и были увѣрены, что онъ—греческій, пока не подошли на разстояніе пистолетнаго выстрѣла, и спаслись (какъ говоритъ нашъ капитанъ) только чудомъ всѣхъ святыхъ; я вполнѣ раздѣляю мнѣніе капитана, потому что собственными силами намъ ни за что бы не удалось избѣжать опасности. Турки подавали своимъ товарищамъ свѣтовые сигналы, освѣтили междупалубное пространство и кричали всей толпой, по почему не стрѣляли? Можетъ быть, они приняли насъ за греческій брандеръ и опасались насъ поджечь. Флаговъ у нихъ не было никакихъ, ни на зарѣ, ни позже.

Съ восходомъ солнца мое судно было у берега; но вѣтеръ не давалъ ему возможности войти въ портъ, такъ какъ между нами и заливомъ стоялъ большой корабль, пользовавшійся благопріятнымъ для него вѣтромъ, а другой корабль, гнавшійся за «Бомбардомъ», находился отъ насъ миляхъ въ двѣнадцати, или около того. Вскорѣ затѣмъ они (т. е. «Бомбардъ» и фрегатъ) показались въ направленіи Патраса. Одно зантіотское судно стало давать намъ съ берега сигналы, чтобы мы уходили; мы и стали уходить по вѣтру и попали въ небольшую бухточку, называемую, кажется, Скрофъ. Тамъ я высадилъ на берегъ Луку и другого товарища (такъ какъ жизни Луки всего больше угрожала опасность), снабдивъ ихъ нѣкоторымъ количествомъ денегъ и письмомъ къ Стэнгопу. Я отославъ ихъ внутрь



ПАМЯТНИКЪ БАЙРОНУ ВЪ МЕСОЛУНГИ, ГДѢ ПОХОРОНЕНО ЕГО СЕРДЦЕ.

страны, въ Месолунги, гдѣ они будутъ въ безопасности, между тѣмъ какъ то мѣсто, гдѣ мы находились, могло подвергнуться нападенію вооруженныхъ судовъ; все же наше оружіе, кромѣ двухъ карабиновъ, одного охотничьяго ружья да нѣсколькихъ пистолетовъ, было у Гамбы.

Менѣе, чѣмъ черезъ часъ, преслѣдовавшее насъ судно стало насъ настигать; но мы снова увернулись и, повернувшись кормой (наше судно очень хорошо идетъ подъ парусами), ранѣе наступленія ночи успѣли прибыть въ Драгоместри, гдѣ теперь и находимся. Но гдѣ же греческій флотъ? Я не знаю; можетъ быть, вы знаете. Я сказалъ нашему капитану, что, по моему мнѣнію, два большіе корабля (ни одного изъ нихъ намъ еще не было видно) должны быть греческіе. Но онъ отвѣчалъ: «Они слишкомъ крупны—и почему они не показываютъ флага?» Его сомнѣнія подтверждались и въ отношеніи разныхъ другихъ судовъ, которыя мы встрѣчали или мимо которыхъ проходили; а такъ какъ намъ не удалось бы при этомъ вѣтрѣ подойти ближе, не потративъ много времени на лавировку, и такъ какъ съ нами было много имущества и мы рисковали бы жизнью людей, особенно—прислуги, не имѣя никакихъ средствъ защиты, то и пришлось предоставить капитану идти своимъ путемъ.

Вчера я послалъ въ Месолунги другого нарочнаго за конвоемъ; но мы до сихъ поръ еще не получили отвѣта. Мы находимся здѣсь (и люди съ моего судна) пятый день, не снимая съ себя платья, и спимъ на палубѣ при всякой погодѣ, но всѣ здоровы и бодры. Надо полагать, что правительство вышлетъ намъ конвой въ своихъ же интересахъ, потому что у меня на суднѣ находятся 16.000 долларовъ,—большая часть ихъ же достоянія. У меня, кромѣ личнаго моего имущества, стоящаго болѣе 5.000 долларовъ, есть собственныхъ денегъ 8.000 въ звонкой монетѣ, не считая суммъ, принадлежащихъ комитету,—такъ что турки были бы очень довольны, захвативъ такой крупный призъ.

Мнѣ жаль, что Гамба задержанъ, но все остальное мы еще въ состояніи поправить. Скажите Гэнкоку, чтобы онъ какъ можно скорѣе переслалъ мои чеки въ банкъ и чтобы Корджіаленьо приготовился обратить остальную часть моего кредита у гг. Веббъ въ наличную монету. Я пробуду здѣсь, если не случится чего-нибудь необыкновеннаго, до тѣхъ поръ, пока за мной не пришлетъ Маврокордатосъ, а затѣмъ уѣду отсюда и буду поступать, смотря по обстоятельствамъ. Передайте мое почтеніе двумъ полковникамъ и привѣтъ всѣмъ друзьямъ. Скажите «Послѣднему Анализу» (графу Делладечима), что его другъ Рэди не прибылъ вмѣстѣ съ бригомъ, хотя я думаю, что ему слѣдовало бы переговорить съ нами въ Занте или внѣ Занте, чтобы дать намъ нѣкоторыя указанія насчетъ того, чего мы можемъ ожидать.

P. S. Извините за неразборчивость моего письма—вслѣдствіе плохого пера и морозного

страницъ романтизма, лучезарныхъ и своей живописностью, и своимъ несомнѣнно искусственнымъ, но никогда, однакоже, не вполнѣ искусственнымъ блескомъ.

Смерть Байрона, могучаго пособника освобожденія Греціи, оплакала эта страна, оплакала за ней и вся Европа, а останки его были направлены въ родную Англію, такъ много давшую ему и страданія и радости, отъ которой онъ и отрекался и которой такъ несомнѣнно принадлежалъ всѣмъ своимъ гордымъ обликомъ. Его тѣло встрѣтили его другъ Гобгоузъ и сестра и похоронили его 16 іюля въ Гэкнолѣ.

Евгеній Аничковъ.





БАЙРОНЪ.

ѣхалъ верхомъ съ графомъ Гамба. Ихъ захватилъ ливень, и вечеромъ Байронъ жаловался на ревматизмъ и лихорадку. На слѣдующій день онъ, однако, могъ опять сѣсть на лошадь; но уже 11-го бывшій при немъ докторъ Перри нашелъ его настолько больнымъ, что посовѣтовалъ немедленно отправиться въ Занте, чтобы перемѣнить климатъ. Байронъ согласился, но погода не позволила выйти въ море. 15-го въ первый разъ поэтъ уже не могъ встать съ постели, а черезъ три дня впалъ въ забытье. На слѣдующій день во время сильной грозы Байрона не стало. Это случилось 19 апрѣля 1824 года. Онъ умеръ въ безсознательномъ состояніи на рукахъ вѣрнаго Флетчера, доктора и Гамба. На слѣдующій день прибылъ и Трелони, разставшійся съ поэтомъ въ Кефалоніи и все это время пробывшій у Одиссѣйса, съ которымъ уже успѣлъ породниться.

Такъ, одинокій, въ чужомъ осажденномъ городѣ, отстаивавшемъ свою свободу, подъ громъ и молнію умеръ этотъ избранный изъ избранныхъ, чарующій всей своей смѣлой, дерзающей личностью поэтъ. Поэтъ, лучшая поэма котораго—его собственная бурно начавшаяся и бурно окончившаяся, блиставшая, какъ молнія, на глазахъ всего образованнаго міра и гремѣвшая громомъ упоительная жизнь. Съ его смертью закрылась одна изъ самыхъ лучезарныхъ





My dear Murray
yours very truly
Byron



БАЙРОНЪ ВЪ КЭМБРИДЖѢ. *Эскизъ Гилькриста.*
(Lord Byron at Cambridge, from a sketch by Gilchrist).



БАЙРОНЪ ВЪ КЭМБРИДЖѢ. *Эскизъ Гилькрайста.*
(Lord Byron at Cambridge, from a sketch by Gilchrist).



БАЙРОНЪ ВЪ КЭМБРИДЖѢ. *Эскизъ Гилькрайста.*
(Lord Byron at Cambridge, from a sketch by Gilchrist).

БАЙРОНЪ ВЪ ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ АНГЛІИ.



ПОРТРЕТЪ ВЕСТА.
(Lord Byron, from a portrait by W. E. West).



МИНІАТЮРА 1815 г. ДЖЕМСА ГОЛЬМСА.
(From a miniature painted in 1815 by James Holmes).

БАЙРОНЪ ВЪ ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ АНГЛІИ.



Портретъ Вестоля.
(Lord Byron, after the painting of R. Westall.)

Портретъ Филипса 1814 г.
(Lord Byron, after the painting by Th. Phillips.)

БАЙРОНЪ ВЪ ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ АНГЛІИ.



ПОРТРЕТЪ ВЕСТОЛЯ.
(Lord Byron, after the painting of R. Westall).



ПОРТРЕТЪ ФИЛИПСА 1813 г.
(Lord Byron, after the painting by Thomas Phillips).



БАЙРОНЪ.

Съ портрета Ричарда Вестолля (Richard Westall, R. A.)



БАЙРОНЪ.
Съ портрета Ричарда Вестоля (Richard Westall, R. A.).



БАЙРОНЪ ВЪ ПОСЛѢДНІЙ ГОДЪ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ АНГЛІИ.

Рис. Гольмса.

(Lord Byron, from drawing by J. Holmes).



БАЙРОНЪ ВЪ ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ АНГЛІИ.

Рис. Гольмса.

(Lord Byron, from drawing by J. Holmes).

БАЙРОНЪ ВЪ ИТАЛЬЯНСКІЙ ПЕРІОДЪ СВОЕЙ ЖИЗНИ.



Миніатюра, принадлежавшая графинѣ Гвичіоли.

(From a miniature, belonging to la Contessa suiccioli)



ПОРТРЕТЪ ГР. Д'ОРСЭ

(Lord Byron after the painting by Count d'Orsay).



БАЙРОНЪ ВЪ ИТАЛІИ.

Рис. Гарло.

(Lord Byron, from an engraving after a drawing by G. H. Harlow).



БАЙРОНЪ ВЪ ИТАЛІИ.
Рис. Гарло.
(Lord Byron, fram an engraving after a drawing by G. H. Harlow).



БАЙРОНЪ ВЪ ИТАЛЬЯНСКІЙ ПЕРІОДЪ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПОРТРЕТЪ КАМУЧИНИ.
(Lord Byron ritrato di Camuccini).



БАЙРОНЪ.

Бюстъ Тарвальдсена (Lord Byron, from a bust by Thorwaldsen).



СТАТУЯ ТОРВАЛЬДСЕНА ВЪ КЭМБРИДЖѢ.
(Trinity College).



СТАТУЯ ТОРВАЛЬДСЕНА ВЪ КЭМБРИДЖѢ.
(Trinity College).



Примѣчанія къ III тому.

НЕБО И ЗЕМЛЯ.

Стр. 4. Отправляя свое новое произведеніе издателю своему Муррею, Байронъ писалъ (изъ Пизы, 14 ноября 1821 г.). «При семъ посылается лирическая драма (названная, по ея содержанію, *мистеріей*), которая, можетъ быть, еще придетъ къ вамъ во-время для включенія ея въ одинъ томъ съ *Сарданапаломъ* и *Каиномъ*. Если же это не удастся сдѣлать (такъ какъ мнѣ нужно еще прочесть корректуру, потому что рукопись не очень разборчива), то можете ее соединить въ одинъ томъ съ *Пульчи* и *Данте*. А можетъ быть, вы напечатаете ее отдѣльнымъ прибавленіемъ, въ томъ же форматѣ и тѣмъ же шрифтомъ, для покупателей *Каина*, такъ, чтобы они могли переплести ее вмѣстѣ съ этой книгой; а впослѣдствіи можно будетъ ихъ соединить во второмъ изданіи, предполагая, что таковое потребуется. Надѣюсь, что вы найдете ее достаточно *благочестивою*... Такъ какъ она вышла длиннѣе и болѣе въ греческомъ стилѣ, чѣмъ я первоначально предполагалъ, то я не раздѣлилъ ея на *дѣйствія*, а назвалъ то, что теперь вамъ посылаю, *первою частью*: здѣсь дѣйствіе прерывается, и пьеса можетъ быть безъ неудобства или совсѣмъ закончена, или еще продолжена, какъ я это имѣю въ виду. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы первая часть была издана раньше второй, такъ какъ если она не будетъ имѣть успѣха, то лучше остановиться на этомъ, чѣмъ продолжать безплодную попытку».

«Небо и Земля» появилась только въ 1822 г., въ журналѣ «Либералъ». Вторая часть вовсе не была написана. Дугласъ Киннэрдъ сообщилъ Байрону, что никакъ не можетъ найти издателя для этой пьесы. Муррей отказался ее печатать, испугавшись заглавія: «ему не понравилось это четырехсложное словечко—*мистерія*, и онъ рѣшилъ, неизвѣстно, почему, что это—второй *Каинъ*.

Стр. 9. Байронъ былъ прилежнымъ читателемъ Библіи. Въ одномъ изъ писемъ къ Муррею, онъ проситъ его выслать хорошій экземпляръ Библіи для повседневнаго употребленія, прибавляя: «Не забывайте, что я усердный читатель и почитатель этой книги и прочелъ ее отъ доски до доски, когда мнѣ не было еще 8 лѣтъ, т.-е. Ветхій Завѣтъ, такъ какъ Новый былъ для меня урокомъ, а Ветхій—удовольствіемъ».

Стр. 9. Аголибама, въ славянской Библіи - Оливема, дочь Ана, сына Севегонова, жена Исава (Кн. Бытія, гл. XXXVI, ст. 14, 24). Ирадъ въ славянской Библіи Гаидадъ, сынъ Еноха, внукъ Каина (тамъ же, IV, 18).

Стр. 10. *Въ числѣ «Семи» предъ Богомъ силъ..*

«Т. е. въ числѣ архангеловъ, о которыхъ говорится, что ихъ семь, и которые занимаютъ восьмое мѣсто въ небесной іерархіи».

(*Прим. Байрона*).

Ср. Книгу Товита, XII, 15: «Азъ есмь Рафаилъ, единъ отъ седми святыхъ ангеловъ, иже приносятъ молитвы святыхъ и входятъ предъ славу Святаго».

Стр. 14.

Тотъ желтый прахъ, что Каиновы дѣти
Пытаются намъ предлагать въ обмѣнъ.

Потомокъ Каина въ седьмомъ колѣнѣ, Тубалъ, (въ славянской Библіи—Ѳовелъ), былъ «млатобіецъ, ковачъ мѣди и желѣза» (Быт. IV, 22).

Стр. 22. *Какъ исполиновъ родъ великій,*
Готовый статъ добычей волнъ.

«Исполини же бяху на земли во дни оны; и потомъ, егда вхождаху сынове Божіи къ дщeремъ человѣческимъ, и раждаху себѣ; тіи бяху исполини, иже отъ вѣка, человѣцыименитіи» (Быт., VI, 4).

И небо распахнутъ свои готово своды.

«Въ день той разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесныя отверзошася» (Быт. VII, 11).

Еноховъ древній свитокъ
Задолго намъ предсказывалъ его.

«Такъ наз. «Книга Еноха», апокрифъ, сохраняемый у еѳіоповъ, которые говорятъ, что онъ написанъ еще до потопа». (*Прим. Байрона*).

Стр. 37. *Медвинъ* (Conversations of Lord Byron) сообщаетъ слѣдующій очеркъ второй части мистеріи:

«Азазіилъ и Саміазъ улетаютъ съ двумя сестрами. Земля постепенно поглощается океаномъ. Діалогъ между двумя сестрами, въ которомъ выражается нѣжная привязанность Аны къ навсегда покинутымъ ею роднымъ и торжество Аголибамы, которая надѣется на лучшую и болѣе высокую долю. Онѣ продолжаютъ свой воздушный путь, но доступъ на всѣ планеты преграждается имъ небесною стражею, и путники вынуждены, наконецъ, пріютиться на единственной земной вершинѣ, еще не покрытой водою. Здѣсь любовники должны разстаться. Падшіе ангелы призываются на судъ и осуждаются. Ихъ дальнѣйшая судьба и постигшая ихъ кара остаются неизвѣстными. Сестры карабкаются на утесъ, между тѣмъ какъ вода все прибываетъ. На водахъ появляется ковчегъ. Іафетъ пытается уговорить Ноя, во имя любви и состраданія, принять къ себѣ погибающихъ, или, по крайней мѣрѣ, хоть одну изъ нихъ,—Ану, которая

присоединяется къ его мольбамъ и пытается вскарабкаться на бортъ ковчега. Гордая и высокомѣрная Аголибама не желаетъ унижаться до мольбы ни къ людямъ, ни къ Богу, и, предупреждая неизбѣжную гибель, сама бросается въ волны. Между тѣмъ, Ной неумолимъ. Ана съ минуты на минуту можетъ погибнуть на глазахъ у спасающихся въ ковчегѣ. Іафетъ въ отчаяніи. Наконецъ, волна смываетъ Ану съ утеса, и ея безжизненное тѣло плыветъ мимо ковчега, а надъ нимъ носится морская птица,—духъ ея возлюбленнаго ангела ...

ВЕРНЕРЪ.

Стр. 43. Въ черновой, измаранной рукописи «предисловія», въ концѣ, было еще нѣсколько строкъ:

«Пьесу эту я не имѣлъ намѣренія ставить на сцену ни въ Англіи, ни въ какой-либо другой странѣ. Объ этомъ вовсе не слѣдовало бы и упоминать; но такъ какъ одно мое стихотворное произведеніе, никогда не предназначавшееся для представленія, не взирая на мои протесты, все-таки появилось на сценѣ, и не въ одной только странѣ, то я и думаю, что съ моей стороны не сочтено будетъ неумѣстнымъ, если я еще разъ повторю свой протестъ противъ этого безумія, которое ни для кого не можетъ быть полезно, а меня можетъ только оскорбить. Я не согласенъ съ тѣмъ, что всякое драматическое произведеніе вообще назначается для сцены *). За исключеніемъ Шекспира, ни одна изъ пятидесяти пьесъ нашихъ старинныхъ драматурговъ никогда не была играна на сценѣ, хотя ихъ и часто читали. Изъ пьесъ Мэссинджера сыграна была только одна, изъ пьесъ Форда ни одной, изъ Марло — тоже ни одной, изъ Бенъ-Джонсона — одна, изъ Уэбстера и Гейвуда—ни одной; даже изъ комедій Конгрива играется только одна, да и то рѣдко. Я вовсе не пытаюсь подняться на одинаковый уровень съ перечисленными писателями; я хочу только, чтобы мои произведенія не появлялись на сценѣ, которая закрыта для ихъ пьесъ. Можетъ быть, замѣчанія г. Лэмма о впечатлѣніи драматическаго представленія на интеллигентнаго зрителя **)... справедливы въ этомъ отношеніи... не исключая и самого Шекспира, и во сто разъ больше примѣнимы къ прочимъ писателямъ».

«Я началъ эту трагедію еще въ 1815 г.», писалъ Байронъ Муррею, 9 октября 1821 г., «но фарсъ лэди Байронъ заставилъ меня забыть о ней, на все время, пока длилось его представленіе (т.-е. семейная ссора и разводъ»).

---

*) Возражая Джоффри, Байронъ писалъ: «Драма—не одинъ только діалогъ, но и *дѣйствіе*; она необходимо предполагаетъ нѣчто, происходящее на глазахъ у собравшихся зрителей... Если авторъ не имѣетъ этого постоянно въ виду и не представляетъ себѣ, во время сочиненія, разношерстной и жадно внимающей толпы, то онъ, можетъ быть, и поэтъ, но ужъ никакъ не драматургъ».

**) Чарльзъ Лэммъ говоритъ: «Быть можетъ мои слова покажутся парадоксомъ, но я не могу отрѣшиться отъ мысли, что драмы Шекспира гораздо менѣе разсчитаны на сценическое представленіе, чѣмъ пьесы всѣхъ прочихъ драматурговъ».

Стр. 48. *Съ нимъ погибли*
Пять лошадей почтовыхъ, обезьяна,
Собака и лакей.

«Свиту Байрона въ Пизѣ составляли: обезьяна, большая дворняжка, бульдогъ, два кота... нѣсколько слугъ въ ливреяхъ и вѣрный Флетчеръ въ качествѣ дворецкаго и управляющаго всѣмъ этимъ звѣринцемъ». (*Медвинъ*).

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ УРОДЪ.

Стр. 115. Повѣсть «Три брата», соч. Джошуа Пиккерсгилля младшаго, издана въ 1803 г. и въ настоящее время составляетъ большую библіографическую рѣдкость: экземпляра ея нѣтъ даже въ Британскомъ Музеѣ. Повѣсть Льюиса «Лѣсной Демонъ» въ первоначальномъ своемъ видѣ никогда не была издана, а появилась только въ позднѣйшей передѣлкѣ, въ 1811 г., подъ заглавіемъ: «Часъ по-полуночи, или Рыцарь и Лѣсной Демонъ».

На чистомъ листѣ своего экземпляра «Преображеннаго Урода» г-жа Шелли написала слѣдующее:

«Этотъ сюжетъ долго былъ любимымъ сюжетомъ Байрона. Кажется, онъ объ этомъ говорилъ и въ Швейцаріи. Онъ прислалъ мнѣ часть пьесы, когда она была кончена, и я списала съ нея копію. Въ ту пору онъ приходилъ въ ужасъ отъ разговоровъ о томъ, что онъ позволяетъ себѣ плагіаты, или что онъ долго выискиваетъ свои идеи и пишетъ съ трудомъ. Онъ отдалъ Шелли Айкинсово изданіе Британскихъ поэтовъ, чтобы какой нибудь англійскій ротозѣй не увидалъ этой книги у него въ домѣ и не разболталъ-бы потомъ объ этомъ у себя на родинѣ; по этой же причинѣ онъ всегда отмѣчалъ, когда начато и когда кончено имъ то или другое произведеніе, чтобы имѣть потомъ возможность доказать, что оно написано въ короткое время. Въ этой драмѣ онъ кажется, не измѣнилъ ни одной строчки съ тѣхъ поръ, какъ она была написана. Онъ сочинялъ и исправлялъ ее въ умѣ. Я не знаю, чѣмъ онъ думалъ ее закончить; но онъ самъ говорилъ, что весь сюжетъ уже обдуманъ имъ до конца. Въ то время появился въ печати грубый намекъ на его физическій недостатокъ,—намекъ, переданный мнѣ имъ же самимъ, для того, чтобы я не узнала о немъ отъ кого-либо другого. Ни одинъ поступокъ Байрона и, можетъ быть, ни одна строчка изъ всего, имъ написаннаго, не свободны отъ вліянія этого физическаго недостатка».

Стр. 119. *Воздушной струей пронеситесь,*
Какъ призракъ на Гарцскихъ горахъ.

«Извѣстное нѣмецкое суевѣріе — гигантская тѣнь, отражающаяся въ облакахъ на Брокенѣ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 120.
Сынъ Клинія со свѣтлыми кудрями.

Въ своихъ «Отрывочныхъ замѣткахъ» (Detached Toughts) 1821 г. Байронъ, между прочимъ, говоритъ: «Говорятъ, Алкивіадъ пользовался успѣхомъ во всѣхъ своихъ битвахъ. Но въ какихъ именно? Назовите ихъ! Когда вы произносите имя Цезаря, Аннибала или Наполеона,—вы сейчасъ же вспоминаете Фарсальскія поля, Мунду, Алезію, Канны, Тразимену, Требію, Лоди, Маренго, Іену, Аустерлицъ, Фридландъ, Ваграмъ, Москву; но совсѣмъ не такъ легко пересчитать побѣды Алкивіада,—хотя и ихъ

можно было-бы указать, но не съ такой легкостью, какъ Левктру и Мантинею Эпаминонда, Мараѳонъ Мильтіада, Саламинъ Ѳемистокла и Ѳермопилы Леонида. Впрочемъ, трудно указать въ древности другое имя, которое обладало-бы такимъ обаяніемъ, какъ имя Алкивіада. Почему это? Я не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Можетъ быть кто нибудь скажетъ?»

Стр. 121.

Волосъ его завѣщанныхъ по смерти
Рукѣ родной, Сперхею..

Сперхей—рѣчное божество, супругъ Полидоры, дочери Пелея, сестры Ахилла. Пелей бросилъ въ рѣку волосы своего сына Ахилла, въ надеждѣ, что его зять Сперхей приметъ эту жертву и поможетъ Ахиллу благополучно возвратиться изъ Троянскаго похода. См. *Иліаду*, XXXIII, 140—153.

Стр. 134. *Кто величаво*
Надъ Карѳагеномъ слезы лилъ.

«Говорятъ, Сципіонъ Африканскій Младшій повторялъ стихи Гомера «Будетъ нѣкогда день» и пр. и плакалъ надъ развалинами Карѳагена. Лучше было бы, если бы онъ его не разрушалъ».

(*Прим. Байрона*).

Стр. 141. *Ахиллъ любилъ такъ точно*
Свою Пентезилею.

Пентезилея, царица амазонокъ, была убита Ахилломъ, который потомъ плакалъ надъ умирающей, сожалѣя объ ея красотѣ и храбрости.

БРОНЗОВЫЙ ВѢКЪ.

«Бронзовый Вѣкъ» былъ начатъ въ декабрѣ 1822 г. и оконченъ 10 января 1823 г. «Я послалъ г-жѣ Шелли, для переписки, стихотвореніе строкъ въ 750», писалъ Байронъ Ли-Гонту: «оно назначается для читающей доли милліона и все состоитъ изъ политики и пр. и пр., представляя общій обзоръ нашихъ дней, въ стилѣ моихъ *Англійскихъ Бардовъ*, только немного витіеватѣе и, можетъ быть, съ избыткомъ «боевыхъ эпитетовъ» и намековъ классическихъ и историческихъ. Если понадобятся примѣчанія, ихъ можно будетъ присовокупить».

Поэма вышла изъ печати 1 апрѣля 1823 г., безъ имени автора.

Стр. 150.

Нашъ Питтъ былъ все илъ очень много,— такъ
Судилъ о немъ его соперникъ, врагъ.

Фоксъ говаривалъ: «Я никогда не лѣзу въ карманъ за словомъ, но Питтъ всегда умѣетъ найти настоящее слово».

Лишь слой земли ихъ кости раздѣлилъ.

Могила Фокса въ Вестминстерскомъ аббатствѣ находится на разстояніи полутора фута отъ могилы Питта.

Пусть пепелъ Клеопатры пересѣкъ
Морской просторъ...

Клеопатра, мумія которой сохраняется въ Британскомъ Музеѣ,—не знаменитая египетская царица, а одна изъ представительницъ Ѳиванской фамиліи архонтовъ, жившая около 100 г. до Р.Х.

Пусть урна Александра, скорбный прахъ,
Стоитъ теперь на чуждыхъ берегахъ.

По словамъ Страбона, Птолемей Сотеръ привезъ тѣло Александра изъ Вавилона въ Александрію, гдѣ оно было положено въ стекляный гробъ. Многіе великіе люди древности предпринимали паломничество къ этой гробницѣ. Августъ увѣнчалъ ее золотымъ лавровымъ вѣнкомъ; Калигула снялъ съ тѣла нагрудникъ и носилъ его во время своихъ торжественныхъ выходовъ; Септимій Северъ положилъ въ саркофагъ писанія жрецовъ и свитокъ іероглифовъ. Затѣмъ этотъ саркофагъ куда-то исчезъ, и только въ 1801 г. былъ отысканъ англійскими войсками, которыя поднесли его королю Георгу III, послѣ чего онъ и былъ помѣщенъ въ Британскомъ Музеѣ. Іероглифическія надписи въ то время еще не были разобраны, и въ 1805 г. одинъ англійскій путешественникъ, Эдуардъ Кларкъ, напечаталъ книгу, въ которой доказывалъ, что именно этотъ самый саркофагъ нѣкогда содержалъ въ себѣ прахъ Александра. Байронъ зналъ Кларка и считалъ его показанія авторитетными. Только въ 1841 г. было окончательно установлено, что этотъ саркофагъ принадлежалъ египетскому царю Нектанебу II.

Стр. 151.

Гдѣ онъ—дитя, оплотъ всему, что бредъ?

Питтъ, въ одной изъ своихъ рѣчей, сказалъ, что Наполеонъ былъ «дитя и передовой борецъ якобинства».

На вѣчный споръ о пищѣ осужденъ.

Находясь на островѣ св. Елены, Наполеонъ жаловался на Гудсона Лоу, между прочимъ, за то, что тотъ стѣснялъ его въ расходахъ на столъ. Эти жалобы вызвали полемику, въ которой приняли участіе докторъ Уорденъ и военный министръ графъ Батгерстъ, опровергавшій жалобы Наполеона въ парламентѣ.

Лишить-ли книги, въ бюстѣ-ль отказать.

Нѣкоторыя изъ книгъ, посылавшихся Наполеону, не были ему доставлены. Не безъ труда ему удалось получить и бюстъ его сына, герцога Рейхштадтскаго.

И врачъ, что вѣрилъ жалобамъ его,
Лишился скоро мѣста своего.

Докторъ О'Мира поссорился съ Гудсономъ Лоу и былъ удаленъ съ острова св. Елены, а потомъ исключенъ изъ службы за то, что въ изданной имъ книгѣ увѣрялъ, будто Гудсонъ Лоу не разъ высказывалъ мнѣніе о томъ, что смерть Наполеона была бы благомъ для всей Европы. Книга эта, изданная въ 1819 и 1822 гг. подъ заглавіемъ: «Наполеонъ въ изгнаніи, или голосъ съ острова св. Елены», произвела весьма сильное впечатлѣніе. Она была подъ рукою у Байрона, когда онъ писалъ свою поэму.

И лучшій міръ обрѣлъ себѣ взамѣнъ.

Наполеонъ умеръ 5 мая 1821 г.

На гробѣ надпись жалкую отвергъ.

О'Мира передаетъ, что графъ Монтолонъ желалъ помѣстить на гробницѣ надпись: «Наполеонъ, родился тогда-то, скончался тогда-то»; но Гудсонъ Лоу, согласно полученнымъ отъ британскаго правительства инструкціямъ, потребовалъ, чтобы имя «Наполеонъ» было замѣнено словами: «Генералъ Бонапартъ».

Колонна галльской славы и побѣдъ.

Вандомская колонна, воздвигнутая въ память сраженія при Аустерлицѣ, открыта въ 1810 г. Обелискъ Помпея, или колонна Діоклетіана, находится недалеко отъ Александріи, между городомъ и Марсотидскимъ озеромъ.

Стр. 152.

Иль превратить . . . . .
Какъ кости Дюгеклена, въ талисманъ.

Бертранъ Дюгескленъ (1320—1380) умеръ во время осады одной крѣпости. Когда крѣпость сдалась, ключи ея были положены на его гробницу.

И барабаномъ Жижки загремитъ.

1*

Извѣстный вождь чешскихъ таборитовъ, Янъ Жижка изъ Троцнова (1360—1424), умирая, завѣщалъ сдѣлать изъ своей кожи барабанъ, чтобы звукомъ его разгонять враговъ.

Мадридъ, увы! предъ нимъ поникъ.

Мадридъ былъ взятъ французами сначала въ мартѣ 1808 г., а потомъ, вторично, 2 декабря того же года.

Ты, Австрія, чей вѣроломный тронъ
Былъ дважды взятъ и дважды пощаженъ.

Вѣна была взята французами, подъ начальствомъ Мюрата 14 ноября 1805 г., оставлена французскими войсками 12 января 1806 г., вновь взята Наполеономъ въ маѣ 1809 г. и возвращена Австріи по заключеніи мира, 14 октября того-же года. «Вѣроломство» Австріи заключалось въ созывѣ Вѣнскаго конгресса и въ участіи въ Вѣнскомъ трактатѣ, 1815 г.

. . . . Ты, что былъ имъ смятъ
Подъ Іеною . . .

Подъ Іеною Наполеонъ разбилъ принца Гогенлоэ, а подъ Ауэрштадтомъ генералъ Даву разбилъ, 14 октября 1806 г., прусскаго короля. Послѣ того, 27 октября, войска Наполеона вступили въ Берлинъ.

Грянулъ вновь
Роландовъ рогъ, и снова льется кровь.

Намекъ на воинственную пѣснь того времени: «Тѣнь Роланда», въ которой, между прочимъ, есть такой куплетъ:

Soldats français! Serrez vos rangs,
Entendez Roland qui vous crie!
Armez-vous contre vos tyrans,
Brisez les fers de la patrie!

Въ сраженіи подъ Люценомъ, въ ноябрѣ 1632 г., былъ убитъ шведскій король Густавъ-Адольфъ. Подъ Люценомъ же, 2 мая 1813 г., Наполеонъ разбилъ союзную русско-прусскую армію, которая затѣмъ снова потерпѣла рѣшительное пораженіе подъ Дрезденомъ, 27 іюня того же года. Въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, 18 октября, саксонскія войска передались на сторону союзниковъ, и Наполеонъ потерялъ болѣе 30.000 человѣкъ.

Стр. 153.

И былъ сраженъ измѣной лишь одной,
Глядѣвшею съ Монмартской высоты
На твой Парижъ поруганный.

Жозефъ Бонапартъ, стоявшій 30 марта 1814 г. на высотахъ Монмартра для наблюденія и руководства обороною Парижа противъ союзниковъ, уполномочилъ Мармона сдаться. Этотъ поступокъ въ то время многими считался измѣной Жозефа своему брату.

Какъ Прометей, прикованный къ скалѣ,
Взываетъ къ морю, къ воздуху, къ землѣ.

«Напоминаю читателю первый монологъ Прометея у Эсхила, когда онъ остается одинъ, до появленія хора Океанидъ». (*Прим. Байрона*).

Тогда какъ Франклинъ, молнію смиривъ,
Въ людскихъ сердцахъ навѣки будетъ живъ.

Въ 1781 г., когда Франклинъ былъ американскимъ посломъ въ Парижѣ, Тюрго примѣнилъ къ нему стихъ: «Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis», который и былъ помѣщенъ подъ его портретомъ и на выбитой въ честь его медали.

Кличъ «Вашингтонъ» свѣтло звучитъ на вѣкъ,
Пока есть эхо, дышитъ человѣкъ.

«Быть первымъ человѣкомъ *не* диктаторомъ, не Суллой, а Вашингтономъ или Аристидомъ, руководителемъ таланта и правды,—значитъ быть всего ближе къ Божеству» (*Дневникъ Байрона*, 13 ноября 1813 г.).

И самъ испанецъ алчный позабылъ,
Чтя Боливара, кто Пизарро былъ.

Симонъ Боливаръ (1783—1830) въ 1821 г. присоединилъ Новую-Гренаду къ Венецуэлѣ, подъ именемъ республики Колумбіи, и 1 сентября торжественно вступилъ въ Лиму. Восторженно встрѣченный населеніемъ онъ предостерегалъ своихъ согражданъ противъ тиранніи, указывая на примѣръ Наполеона. Байронъ одно время мечталъ «переселиться въ страну Боливара» и назвалъ свою яхту его именемъ.

Чилійскій вождь отвергъ и поборолъ
Иноплеменной власти произволъ.

Независимость Чили была провозглашена 5 апрѣля 1818 г., послѣ пораженія испанской арміи генераломъ Хосэ де-Санъ-Мартиномъ. Независимость Перу провозглашена 28 іюля 1821 г. Санъ-Мартинъ принялъ титулъ протектора и издалъ прокламацію, въ которой повелѣвалъ испанцамъ трепетать, если они злоупотребятъ его снисхожденіемъ.

Стр. 154.

Не кличъ Пелайо къ доблести отцовъ.

Пелайо, король астурійскій, въ 718 г. разбилъ арабскихъ полководцевъ Сулеймана и Манурзу.

И Сегри вмѣстѣ съ плѣнными ушли.

Баснословныя сказанія о враждебныхъ другъ другу арабскихъ племенахъ Сегри и Абенсерраговъ, раздоры которыхъ, въ концѣ 15 вѣка, залили кровью Гранаду, послужили предметомъ цѣлаго ряда народныхъ балладъ. Въ 1813 г. въ Парижѣ была представлена опера Керубини «Абенсерраги». Въ 1826 г. Шатобріанъ написалъ «Приключенія послѣдняго Абенсеррага».

Ханжа-монархъ и злой монахъ-палачъ.

Фердинандъ VII возвратился въ Мадридъ въ мартѣ 1814 г. и тотчас же принялся за возстановленіе всѣхъ злоупотребленій прежняго абсолютизма. Дворянство получило всѣ старыя свои привилегіи; инквизиція снова начала дѣйствовать, іезуиты были возвращены. Правительство оказалось въ рукахъ придворной и поповской камарильи, которая начала свой тираннческій терроръ.

Кличъ минувшихъ дней
Раздался вновь: «Испанія, дружнѣй!»

«Старинный испанскій военный кличъ: «Св. Іаковъ и тѣснѣе, Испанія!»—San Iago e serra España!» (*Прим. Байрона*).

И славное кастильское копье.

Жители Аррагоніи отличаются особенною ловкостью въ употребленіи этого оружія, и часто пользовались имъ въ прежнихъ своихъ войнахъ съ французами. (*Прим. Байрона*).

Стр. 155.

Генри, въ лѣсахъ рожденный Демосѳенъ.

Патрикъ Генри (1736—1799) былъ однимъ изъ главныхъ вождей американской революціи. Онъ былъ делегатомъ на первомъ американскомъ конгрессѣ, а впослѣдствіи губернаторомъ Виргиніи. Современники назвали его «величайшимъ изъ когда-либо жившихъ ораторовъ».

Верона! Блескъ трехъ царственныхъ свѣтилъ
Тебя тройнымъ сіяньемъ осѣнилъ.

«Я проѣзжалъ черезъ Верону. Амфитеатръ удивительный,— лучше даже греческихъ. Исторію Джульеты они считаютъ безусловно вѣрной, настаивая на ея правдивости, называютъ годъ (1303) и показываютъ могилу... Это - низкій, открытый и

частью уже развалившійся саркофагъ, съ засохшими листьями внутри, въ дикомъ и пустынномъ монастырскомъ саду, гдѣ нѣкогда было кладбище, теперь разрушенное такъ, что не осталось даже и могилъ. Мѣстоположеніе поразило меня своимъ соотвѣтствіемъ съ легендою... Готическіе монументы князей Скалиджери мнѣ понравились, «но... я бѣдный музыкантъ». (Письмо къ Муру отъ 7 ноября 1816 г). Гробницы Скалиджери находятся у церкви Санта Марія д'Антика. Гробница Джульеты, изъ краснаго веронскаго мрамора, въ саду «Сиропиталища». Старинный склепъ фамиліи Капулетти давно разрушенъ. Съ 1814 г. Верона находилась во власти австрійцевъ и «вѣроломно» измѣнила своимъ прежнимъ республиканскимъ преданіямъ.

Что можетъ значить твой «Великій Песъ».

Франческо Канъ-Гранде (по итальянски — великій песъ) делла Скала ум. въ 1329 г. Въ его домѣ жилъ одно время изгнанный изъ Флоренціи Данте.

И твой Катуллъ, чьи лавры, чей вѣнецъ
Теперь воздѣлъ, увы, иной пѣвецъ.

Ипполито Пиндемонте (1753—1828) нѣжный и мечтательный лирикъ.

. . . . . . добрый старецъ твой,
Что весь свой міръ замкнулъ въ тебѣ одной.

Клавдіанъ, въ одной изъ своихъ эпиграммъ, упоминаетъ о старикѣ-веронцѣ, который «никогда не бывалъ даже въ предмѣстьѣ города».

Поярче надпись!

24 ноября въ амфитеатрѣ было дано торжественное представленіе, въ присутствіи высокихъ особъ, а на слѣдующій день устроена великолѣпная иллюминація. Между прочимъ, обращалъ на себя общее вниманіе порталъ церкви св. Агнесы, съ ярко-горѣвшею надписью изъ колоссальныхъ буквъ: «Цезарю-Августу обрадованная Верона».

Стр. 156.

Тебя Лагарпъ, твой мудрый коноводъ,
Твой Аристотель маленькій, зоветъ.

Фредерикъ-Цезарь Лагарпъ (1754—1838) былъ назначенъ Екатериною II въ воспитатели великимъ князьямъ Александру и Константину. Байронъ, проведшій лѣто 1816 г. въ Швейцаріи, быть можетъ, встрѣчался съ Лагарпомъ, жившимъ въ Лозаннѣ.

Сзывай... старухъ на свой совѣтъ.

Извѣстна платоническая дружба Александра съ баронессой Крюднеръ, черезъ посредство которой императоръ усвоилъ теорію Франца Баадера «о священномъ» союзѣ. Баронессѣ было въ ту пору за 50 лѣтъ.

Увы! Средь нихъ Екатерины нѣтъ!

«Ловкость Екатерины выручила Петра (называемаго, изъ вѣжливости, Великимъ), когда онъ былъ окруженъ мусульманами на берегахъ рѣки Прута». (*Прим. Байрона*).

Кто всталъ межъ мной и солнцемъ миріадъ.

«Австрійскія и русскія войска стояли между греками и другими народами и ихъ независимостью, какъ Александръ между Діогеномъ и солнцемъ». (*Прим. Байрона*).

Здѣсь самъ Констанъ, кончая говорить,
Свой выводъ шпагой долженъ подтвердить.

Знаменитый писатель и политическій дѣятель Бенжаменъ Констанъ (1767 -1830) былъ «буревѣстникомъ» палаты депутатовъ и нерѣдко результатомъ его рѣчей бывали дуэли между нимъ и его политическими противниками.

Стр. 157.

На чьемъ носу виситъ весь шаръ земной.

«Naso suspendis adunco» (вѣшаешь на свой крючковатый носъ»), - говоритъ Горацій о человѣкѣ, высокомѣрно относившемся къ своимъ знакомымъ». (*Прим. Байрона*).

И Кэстлери, милѣйшій изъ вельможъ,
Кого — увы! — сразилъ карманный ножъ.

Робертъ Стьюартъ, виконтъ Кэстльри, впослѣдствіи — маркизъ Лондондерри, въ припадкѣ сумасшествія, перерѣзалъ себѣ горло перочиннымъ ножомъ въ 1822 г. Байронъ безпощадно нападалъ на него за его реакціонное противодѣйствіе народнымъ требованіямъ въ Ирландіи, Италіи и вообще гдѣ бы то ни было.

И моряки, кому не страшенъ штормъ.

Выраженіе Каннинга въ похвалу Питта.

. . . . . . скотина выдастъ свой порокъ.

Джорджъ Каннингъ (1770 1827) былъ преемникомъ лорда Лондондерри на посту министра иностранныхъ дѣлъ. Онъ не пользовался расположеніемъ короля Георга IV, который былъ обиженъ его «нейтральнымъ» отношеніемъ къ дѣлу о разводѣ съ королевой Каролиной. Въ 1821 г. Каннингъ выступилъ въ защиту эмансипаціи католиковъ и, въ частности, горячо отстаивалъ право католическихъ пэровъ засѣдать въ палатѣ лордовъ. Байронъ предостерегаетъ его, что дальнѣйшія его настоянія въ этомъ направленіи могутъ, наконецъ, разсердить короля и вызвать съ его стороны серьезное противодѣйствіе.

Вѣдь онъ же вашъ великій Триптолемъ.

Триптолемъ считался изобрѣтателемъ плуга. Деметра дала ему колесницу, запряженную драконами, и приказала повсюду сѣять пшеницу.

Стр. 158.

Не время плыть межъ новыхъ Симплегадъ.

Въ миѳологіи, Симплегады — два острова у входа въ Черное море, движущіеся утесы которыхъ давили плывшіе между ними корабли.

Сокровищамъ Альчины нѣтъ числа.

Альчина — одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ поэмѣ Аріосто «Неистовый Орландъ». Она, подобно Цирцеѣ, завлекала любовниковъ, а потомъ превращала ихъ въ деревья, камни, фонтаны, звѣрей.

Бароны-братья — маклеры вездѣ.

Въ то время было пять братьевъ Ротшильдовъ: Ансельмъ франкфуртскій, Соломонъ вѣнскій, Натанъ-Майеръ лондонскій, Карлъ неаполитанскій и Джемсъ парижскій. Въ 1821 г. Австрія заняла, при содѣйствіи этой фирмы, 370 мил. гульденовъ; въ благодарность за это, императоръ далъ всѣмъ братьямъ баронскій титулъ и назначилъ Натана-Майера генеральнымъ консуломъ въ Лондонѣ, а Джемса — генеральнымъ же консуломъ въ Парижѣ.

Стр. 159.

Шатобріанъ, творецъ житій святыхъ

«Г. Шатобріанъ, не забывшій литературы, сдѣлавшись министромъ, выслушалъ въ Веронѣ очень любезный комплиментъ отъ одного литературно образованнаго государя: «Ахъ, г. Шатобріанъ, не родственникъ ли вы тому Шатобріану, который... который *что-то такое* написалъ?» Говорятъ, авторъ *Аталы* въ эту минуту раскаялся въ своей легитимности». (*Прим. Байрона*).

И хитрый грекъ, слуга татаръ слѣпыхъ.

Графъ Капо д'Истрія, впослѣдствіи — президентъ Греціи, былъ, какъ извѣстно, на русской службѣ.

И Монморанси, врагъ особыхъ правъ.

Герцогъ Монморанси, фр. министръ иностранныхъ дѣлъ, въ концѣ 1822 г. замѣненный въ этой долж-

ности Шатобріаномъ, въ молодости былъ якобинцемъ и предлагалъ упразднить дворянство.

Дочь кесаря, державная жена.

Марія-Луиза, дочь императора австрійскаго Франца I, супруга Наполеона. Вслѣдствіе парижскаго трактата, она покинула Францію, отказалась отъ титула императрицы и получила титулъ герцогини Парижской. По смерти Наполеона она недолго вдовѣла и вскорѣ тайно обвѣнчалась съ своимъ давнишнимъ другомъ, графомъ Адамомъ Нейпергомъ. Его-то Байронъ и называетъ здѣсь Аргусомъ, хотя и не стогла ымъ, потому что у него былъ только одинъ глазъ: другой былъ имъ давно потерянъ отъ раны, полученной въ сраженіи.

Предсталъ сэръ Кертисъ съ юбкою своей.

Сэръ Вильямъ Кертисъ былъ членомъ парламента и лондонскимъ лордомъ-мэромъ. Король Георгъ IV былъ къ нему очень расположенъ; Кертисъ сопровождалъ короля въ его поѣздкѣ по Шотландіи и являлся при дворѣ въ шотландскомъ національномъ костюмѣ — юбкѣ. «Клейморъ» названіе шотландскаго національнаго меча и боевой кличъ шотландцевъ.

ОСТРОВЪ.

Стр. 183.

Утихли бури; день грядущій ясенъ.

«Еще за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ», разсказываетъ Блэй,—«мое положеніе казалось какъ нельзя болѣе благопріятнымъ. Мой корабль находился въ полномъ порядкѣ и былъ снабженъ всѣмъ необходимымъ для плаванія и продовольствія... плаваніе было уже на двѣ трети закончено, и остальная часть пути представлялась весьма заманчивой».

Съ улыбкой женщинъ солнечныхъ...

Женщины на Отаити красивы, кротки и ласковы въ обращеніи, отличаются чувствительностью и нѣжностью, внушающими уваженіе и любовь. Начальники туземцевъ такъ привязались къ нашимъ, что уговаривали ихъ остаться, и даже обѣщали отвести имъ обширныя владѣнія. При этихъ и другихъ, не менѣе привлекательныхъ, обстоятельствахъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что кучка матросовъ, людей, большею частью, безродныхъ, увлеклись заманчивою картиною и мечтою о возможности безбѣднаго и привольнаго житья на прекраснѣйшемъ въ мірѣ островѣ, гдѣ имъ не придется работать и гдѣ жизнь представлялась имъ въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ». (*Блэй*).

Стр. 188.

Отдать его на прихоть шаткой влаги.

«Передъ самымъ восходомъ солнца, Христіанъ, вмѣстѣ съ каптенармусомъ, канониромъ и матросомъ Томасомъ Борккиттомъ вошли ко мнѣ въ каюту, когда я еще спалъ, и, схвативъ меня, связали мнѣ веревкою руки за спиной, угрожая немедленно убить меня, если я только скажу слово или стану шумѣть. Несмотря на эту угрозу, я все-таки, громко закричалъ, призывая на помощь; но бунтовщики уже успѣли обезопасить себя отъ офицеровъ, не приставшихъ къ ихъ партіи: они поставили къ ихъ каютамъ часовыхъ. У моей каюты, кромѣ четверыхъ, вошедшихъ ко мнѣ, стояло трое. У Христіана былъ кортикъ, а у остальныхъ—мушкеты и штыки. Поднявъ меня съ постели, они заставили меня, въ одной рубашкѣ, выйти на палубу; руки у меня были связаны очень туго, и мнѣ было очень больно... Боцману приказали спустить шлюпку. Когда это было исполнено, мичманамъ Гэйворду и Галлету приказали войти туда. Я спросилъ о причинѣ этого распоряженія и старался напомнить людямъ объ ихъ долгѣ, но мои слова не произвели никакого дѣйствія; мнѣ только повторяли: «Молчите, сэръ, или васъ тутъ же убьютъ!» (*Блэй*).

Духъ кормщика вожатый данъ - компасъ.

«Боцманъ и матросы, которымъ пришлось сойти въ шлюпку, получили дозволеніе взять съ собой веревки, парусину, канаты и боченокъ въ 28 галлоновъ прѣсной воды... а также полтораста фунтовъ хлѣба, нѣкоторое количество рома и вина, квадрантъ и компасъ». (*Блэй*).

Вождь самозванный кубокъ осушитъ
Товарищей зоветъ . . . .

«Спустивши, такимъ образомъ, въ шлюпку всѣхъ тѣхъ, отъ кого мятежники хотѣли избавиться, Христіанъ приказалъ дать своему экипажу по чаркѣ водки». (*Блэй*).

«Героямъ водка!» Бэркъ вскричалъ однажды.

Это выраженіе принадлежитъ не Бэрку, а Джонсону. «Его уговаривали, разсказываетъ Босвелль, выпить стаканчикъ кларета. Онъ покачалъ головой и сказалъ: «Жалкое снадобье! Нѣтъ, сэръ: кларетъ - напитокъ для мальчишекъ, портвейнъ — для взрослыхъ; а кто хочетъ быть героемъ, тотъ долженъ пить водку!»

Стр. 189.

Едва замѣченъ—усланъ прочь матросъ.

«Одинъ изъ моихъ сторожей, Айзэкъ Мартинъ, какъ я замѣтилъ, былъ не прочь помогать мнѣ; въ то время, когда онъ угощалъ меня апельсинами (мои губы совсѣмъ пересохли отъ жара), мы взглядами выражали другъ другу свои желанія; но это было замѣчено, и Мартинъ былъ тотчасъ же удаленъ отъ меня». (*Блэй*).

Стр. 190.

«Такъ проклятъ я!» шепталъ его языкъ.

«Христіанъ... сказалъ: Ступайте капитанъ Блэй, ваши офицеры и матросы уже въ шлюпкѣ, и вы должны быть съ ними; при малѣйшей попыткѣ сопротивляться вы будете убиты. Затѣмъ безъ дальнѣйшихъ церемоній, схвативъ за веревку, которою были связаны мои руки, онъ, вмѣстѣ съ прочими вооруженными негодяями, спустилъ меня въ шлюпку. Тамъ мнѣ развязали руки. Съ помощью каната, шлюпка была отведена за корму. Мнѣ бросили нѣсколько кусковъ свинины и кое-какое платье. Послѣ цѣлаго ряда издѣвательствъ со стороны этихъ безчувственныхъ тварей, мы были, наконецъ, выброшены въ открытый океанъ... Въ то время, когда меня тащили съ корабля, я спросилъ Христіана, такова ли его благодарность за многія услуги, которыя я, по дружбѣ, ему оказывалъ. Онъ былъ видимо смущенъ этимъ вопросомъ—и съ волненіемъ отвѣчалъ: «Правда, правда, капитанъ Блэй, я проклятъ, я проклятъ!» (*Блэй*).

Гдѣ зрѣетъ хлѣбъ на деревѣ плодомъ.

«Знаменитый плодъ хлѣбнаго дерева, для пріобрѣтенія и пересадки котораго и была снаряжена экспедиція Блэя. (*Прим. Байрона*).

Стр. 191.

Пріятны Тубонайскіе напѣвы.

«Первые три отдѣла этой части взяты изъ подлинной пѣсни туземцевъ Тонги, прозаическій переводъ которой данъ въ «Докладѣ моряка объ островахъ Тонга». Впрочемъ, Тубонай не принадлежитъ къ группѣ этихъ именно острововъ: это

былъ одинъ изъ острововъ, послужившихъ убѣжищемъ для Христіана и прочихъ мятежниковъ. Я многое измѣнилъ и прибавилъ, хотя вообще старался, по возможности, придерживаться подлинника».
(*Прим. Байрона*).

То не боговъ ли изъ Болотру зовы?

Вм. «Болотру» надо читать: «Болоту»: такъ туземцы называли воображаемый островъ блаженныхъ, гдѣ живутъ боги и куда переселяются, послѣ смерти, души предводителей, жрецовъ и прочихъ важныхъ лицъ.

Стр. 192.

Ночь пала... Вызываетъ Муа насъ.

Муа—главный городъ острова.

Кружися, пляска! Лейся въ кубки, кава!

Кава—опьяняющій напитокъ, изготовляемый изъ корней и стеблей одной породы перечнаго дерева.

Одѣнемъ чресла тканью таппы бѣлой.

Таппа—ткань вродѣ сукна, изъ которой дѣлаются «гнату», т. е. женскія платья, обвивающія тѣло ниже груди.

Стр. 193.

Онъ—сѣвера голубоглазый сынъ.

Джорджъ Стьюартъ. «Это былъ», говоритъ Блэй, «молодой человѣкъ, сынъ почтенныхъ родителей, съ Оркнейскихъ острововъ. Я взялъ его съ собой, потому что онъ былъ морякъ въ душѣ и всегда отличался хорошимъ характеромъ». Съ прибытіемъ на Тубонай «Пандоры», Стьюартъ былъ захваченъ англичанами и затѣмъ погибъ или былъ убитъ во время крушенія этого корабля.

Сѣвъ на верблюда, челнъ пустынь качливый.

«Корабль пустыни—восточный эпитетъ верблюда или дромадера. Оба они заслужили это названіе: первый своею выносливостью, второй—своей ловкостью». (*Прим. Байрона*).

. . . . *Неронъ*
Возславленъ былъ бы, какъ одноименный
Простой воитель . . . . .

«Консулъ Неронъ, совершившій удивительный походъ, которымъ былъ обсйденъ Аннибалъ и разбитъ Аздрубалъ, подвигъ, почти не имѣющій себѣ равнаго въ военной исторіи. Первымъ увѣдомленіемъ Аннибала объ его появленіи была голова Аздрубала, перекинутая въ лагерь. Увидѣвъ ее, Аннибалъ воскликнулъ со вздохомъ, что «теперь Римъ станетъ властелиномъ міра». Именно этой побѣдѣ Нерона его тезка, въ сущности, и былъ обязанъ своимъ царствованіемъ. Но позорное поведеніе второго затмило славу перваго. Когда мы слышимъ имя «Нерона»,—кто изъ насъ вспомнитъ о консулѣ? Таково человѣчество!»
(*Прим. Байрона*).

Стр. 195.

Глядѣлъ на Трою съ Идой Лохнагаръ.

«Въ раннемъ дѣтствѣ, когда мнѣ было лѣтъ восемь, я заболѣлъ въ Эбердинѣ скарлатиной и потомъ, по совѣту врачей, былъ перевезенъ въ Шотландію, въ горы. Здѣсь мнѣ пришлось нѣсколько разъ проводить лѣто, и съ тѣхъ поръ я полюбилъ горныя страны. Я никогда не забуду того впечатлѣнія, какое я испыталъ, нѣсколько лѣтъ спустя въ Англіи, при видѣ единственной, хотя и миніатюрной, горы,—Мальвернскаго холма. Возвратившись въ Чельтенгэмъ, я каждый вечеръ, при закатѣ солнца, смотрѣлъ на этотъ холмъ съ чувствомъ, не поддающимся описанію. Это было мальчишество; но, вѣдь, мнѣ было тогда только тринадцать лѣтъ, да и случилось это во время лѣтнихъ каникулъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 196.

Надъ розой пѣсни соловьиной стонъ.

«Всѣмъ хорошо извѣстная исторія любви соловья къ розѣ не нуждается въ поясненіяхъ, такъ какъ о ней уже достаточно освѣдомлены не только восточные, но и западные читатели».
(*Прим. Байрона*).

Стр. 197.

Какъ раковины рокотъ, эхо водъ.

«Приложивъ къ уху раковину, лежащую у него на каминѣ, читатель догадается въ чемъ дѣло. Если же эти стихи все-таки покажутся неясными, то онъ найдетъ ту же самую мысль, только гораздо лучше выраженную, въ двухъ строчкахъ «Гебира». Я никогда не читалъ этой поэмы, но слышалъ, что эти строчки приводились однимъ болѣе глубокомысленнымъ читателемъ: онъ, повидимому, не раздѣляетъ мнѣнія издателя «Quraterly Review», который, въ отвѣтѣ на рецензію своего «Ювенала», назвалъ это сравненіе вздорнымъ и весьма глупымъ. Такъ-то декламируетъ г. Соути противъ г. Лэндора, автора «Гебира», по поводу нѣсколькихъ латинскихъ стихотвореній, которыя могутъ соперничать въ неприличіи съ Марціаломъ или Катулломъ!» (*Прим. Байрона*).

Стр. 197.

. . . . . *О, табакъ, табакъ!*

«Гоббезъ, родитель философіи Локка и иныхъ философовъ, былъ старый курильщикъ, истреблявшій несмѣтное количество трубокъ».
(*Прим. Байрона*).

Разгульный праздникъ, дикій и нестройный,
Пловцовъ, встрѣчающихъ экваторъ знойный.

«Эта грубая, но веселая церемонія, обычно соблюдаемая при переходѣ экватора, такъ часто и такъ хорошо описывалась, что не нуждается въ объясненіяхъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 199.

Не храбрыхъ лишь, но храбрости могила.

«Спартанскій царь Архидамъ, сынъ Агезилая, увидѣвъ ново-изобрѣтенную машину для метанія камней и дротиковъ, воскликнулъ, что это—«могила храбрости». То же самое разсказываютъ и о нѣкоторыхъ рыцаряхъ эпохи изобрѣтенія огнестрѣльнаго оружія; но первоначальный анекдотъ сообщенъ Плутархомъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 201.

Надъ ними свой шатеръ
Не небосводъ,—пространный гротъ простеръ.

«Описаніе этого грота, который не выдуманъ, находится въ девятой главѣ «Доклада моряка объ островахъ Тонга». Я позволилъ себѣ только поэтическую вольность и перенесъ его на Тубонай, послѣдній изъ острововъ, на которомъ остался слѣдъ Христіана и его товарищей».
(*Прим. Байрона*).

Стр. 204.

То былъ чертогъ великій, гдѣ природа
Ваяла сѣнь готическаго свода.

«Это описаніе можетъ показаться слишкомъ мелочнымъ въ сравненіи съ тѣмъ общимъ очеркомъ, изъ котораго оно заимствовано. Но, вѣдь, мало найдется путешественниковъ, которые не видали бы чего-либо подобнаго,—разумѣется, *на сушѣ*. Не говоря уже объ Эллорѣ, Мунго Паркъ, въ дневникѣ послѣдняго своего путешествія, упоминаетъ объ одномъ утесѣ, до такой степени похожемъ на готическій храмъ что только при внимательномъ

осмотрѣ можно убѣдиться въ томъ, что это произведеніе природы». (*Прим. Байрона*).

Но кто пришелъ и кто придетъ на свѣтъ,
Приходитъ обновить ея завѣтъ.

«Читатель вспомнитъ эпиграмму изъ греческой Антологіи, извѣстную также и въ переводѣ почти на всѣ новѣйшіе языки»:

Кто бы ты ни былъ, почти своего властелина:
Былъ онъ такимъ, или есть, или будетъ навѣрно. (*Прим. Байрона*).

Стр. 206.

Мертвецъ объятья страсти размыкаетъ.

«Существуетъ преданіе о томъ, что когда тѣло Элоизы было опущено въ гробницу Абеляра, похороненнаго за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ,—онъ открылъ ей свои объятія». (*Прим. Байрона*).

Стр. 207.

Мѣдную срываетъ съ камзола пуговицу...

«Въ разсказѣ Тибо о Фридрихѣ II Прусскомъ передается, между прочимъ, любопытная исторія одного молодого француза, который, такъ же, какъ и его любовница, повидимому, принадлежалъ къ высшему обществу. Онъ былъ взятъ въ рекруты въ Швейдницѣ и бѣжалъ, но былъ захваченъ послѣ отчаяннаго сопротивленія, причемъ убилъ офицера выстрѣломъ изъ мушкета, заряженнаго пуговицей отъ мундира. По нѣкоторымъ обстоятельствамъ, члены военнаго суда были очень заинтересованы подсудимымъ и хотѣли узнать, кто онъ былъ. Онъ сказалъ, что откроетъ это одному только королю, которому и просилъ позволенія написать. Въ этомъ ему было отказано, къ великому неудовольствію Фридриха, который пришелъ въ негодованіе изъ за неудовлетвореннаго любопытства или по иной причинѣ». (*Прим. Байрона*).

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Стр. 209. Посвященіе—ср. введеніе къ «Видѣнію суда», наст. изд. т. II. стр. 240 и сл. «Такъ какъ поэма должна выйти безъ имени автора,—писалъ Байронъ Муррею,—то «Посвященіе» надо *выбросить*. Я не хочу нападать на эту собаку въ темнотѣ. Подобныя вещи годятся для подобныхъ ему негодяевъ и ренегатовъ». «Посвященіе появилось въ печати только въ изданіи сочиненій Байрона 1833 г., съ замѣткою издателя, что оно стало извѣстно вскорѣ послѣ смерти автора, по одной статьѣ въ «Вестминстерскомъ Обозрѣніи», приписываемой Гобгоузу, и что уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ оно, такъ сказать, «гуляло по улицамъ», почему и нѣтъ основанія его не печатать. Но это объясненіе не успокоило Соути, который писалъ Аллэну Коннингэму, въ іюнѣ 1833 г, что «новое изданіе сочиненій Байрона есть одно изъ самыхъ худшихъ знаменій нынѣшняго худого времени».

Запѣлъ и Кольриджъ съ ними...

Кольриджъ, въ своей «Критикѣ на *Бертрама*», напечатанной въ «Курьерѣ» 1816 г. и затѣмъ перепечатанной въ его «Литературной Біографіи» (1817), подробно разбираетъ старинную испанскую драму «Пораженный безбожникъ» и даетъ характеристику Донъ-Жуана, въ которой не трудно было увидѣть намеки на Байрона: «Знатность, богатство, умъ, талантъ, пріобрѣтенныя познанія, физическая красота, крѣпкое здоровье... всѣ эти преимущества, еще болѣе усиливаемыя качествами благороднаго происхожденія и національнаго характера, повидимому, соединялись въ Донъ-Жуанѣ, но послужили ему только средствомъ для того, чтобы довести до крайнихъ практическихъ предѣловъ теорію безбожной природы, какъ единственной, будто бы, причины не только всѣхъ вещей, событій и явленій, но даже всѣхъ нашихъ мыслей, чувствъ, побужденій и поступковъ. Повиновеніе природѣ явилось для него единственною добродѣтелью», и т. д. Возможно, что Байронъ узналъ себя въ этомъ портретѣ и въ то же время у него явилась мысль о возможности созданія новаго Донъ-Жуана по своему образу и подобію.

Блеснувъ мгновенье рыбкою летучей.

«Слышали ли вы, что *Донъ-Жуанъ* явился съ посвященіемъ мнѣ, гдѣ я соединенъ въ одно съ лордомъ Кэстльри, и надъ нами издѣваются, какъ надъ «парой Робертовъ»? Посвященіе, однако, выброшено,—вѣроятно, изъ страха преслѣдованія со стороны *одного* Роберта»,—писалъ Соути одному изъ своихъ друзей, 13 авг. 1819 г.

Вордсвортъ огромный томъ, страницъ въ пятьсотъ,
Недавно издалъ, съ новою системой.

Намекъ на подробное перечисленіе «способностей, необходимыхъ для поэтическаго творчества, съ указаніемъ различія между воображеніемъ и фантазіей,—въ предисловіи къ собранію стихотвореній Вордсворта, изд. 1815 г. Въ предисловіи этомъ, впрочемъ, сказано, что авторъ не имѣетъ намѣренія устанавливать какую-либо систему».

Вы въ Кексвикѣ составили кружокъ.

Слѣдуетъ читать: «въ *Кесвикѣ*». «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ джентльмэнъ, главный сотрудникъ и руководитель извѣстнаго журнала, отличающагося своимъ враждебнымъ отношеніемъ къ г. Соути, провелъ день или два въ Кесвикѣ—и случайно освѣдомился, что г. Вордсвортъ, г. Соути и я жили по сосѣдству. Хотя предположеніе о томъ, будто мы считали себя принадлежащими къ какой то особенной школѣ, и будто г. Соути и Вордсвортъ образовали какую то поэтическую секту... однако, въ первыхъ же статьяхъ, написанныхъ этимъ джентльмэномъ по возвращеніи его изъ Кесвика, мы были охарактеризованы, какъ «школа плачущихъ и ноющихъ ипохондриковъ, живущихъ на озерахъ». (*Кольриджъ*).

Пускай мѣста вамъ теплыя даны.

Въ подлинникѣ: «Вы получаете жалованье, - конечно, за то, что вами написано? А Вордсвортъ служитъ въ акцизномъ вѣдомствѣ».

«Вордсвортъ получилъ мѣсто, кажется, въ таможнѣ, а впрочемъ, можетъ быть, и въ акцизѣ, кромѣ другого мѣста—за столомъ лорда Лондсдэля, гдѣ этотъ поэтическій шарлатанъ и политическій паразитъ смѣло и весело лижетъ тарелки; раскаявшійся якобинецъ уже давно превратился въ клоунствующаго сикофанта самыхъ худшихъ аристократическихъ предразсудковъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 210.

Будь онъ, какъ прежде, бѣденъ и убогъ.

«Говорятъ, что двѣ старшія дочери Мильтона отняли у него книги, помимо того, что онѣ мучили его своею хозяйственною скупостью и пр. Это оскорбленіе должно было быть ему особенно тяжко—и какъ отцу, и какъ ученому. Гэли сравниваетъ его съ Лиромъ». (*Прим. Байрона*).

И предъ скопцомъ духовнымъ, чуждымъ чести,
Не сталъ бы расточать позорной лести!

Варіантъ:

Не сталъ бы онъ наемнымъ лавреатомъ,
Продажною душонкой, Искарьотомъ!

«Я сомнѣваюсь, хорошо ли риѳмуютъ «лавреатомъ» и «Искарьотомъ», но долженъ сказать то же, что сказалъ Бенъ-Джонсонъ Сильвестеру, когда тотъ предлагалъ ему отвѣтить риѳмами на стихи:

Я, Сильвестеръ Джонъ,
Съ твоей сестрою сопряженъ.

Джонсонъ отвѣчалъ:

Я, Бенъ-Джонсонъ,
Лежу съ твоей женой.

«Но, вѣдь, это не риѳма», сказалъ Сильвестеръ. «Не риѳма, за то правда», отвѣчалъ Бенъ-Джонсонъ». (*Прим. Байрона*).

О Кэстельри см. выше, «Бронзовый Вѣкъ».

Ты, какъ Евтропій, расточаешь лесть.

«О характерѣ Евтропія, евнуха и министра при дворѣ Аркадія, см. у Гиббона». (*Прим Байрона*)

Въ тебѣ и храбрость зло и преступленье.

«Мистеръ Джонъ Муррей,—какъ книгопродавецъ Адмиралтейства и издатель разныхъ правительственныхъ трудовъ, вы можете, если пять строфъ, касающихся Кэстельри, непріятны для вашего слуха или для изданій флота, выпустить ихъ при печатаніи поэмы. Эти строфы о «Кастлериги» (какъ зовутъ его итальянцы) 11, 12, 13, 14 и 15». (*Записка къ Муррею*).

Не такъ ли, Юліанъ Отступникъ новый?

Въ подлинникѣ: «Не такъ ли, мой тори, ультра-Юліанъ?».

«Я имѣю въ виду не героя поэмы нашего друга Лэндора, измѣнника графа Юліана, а героя исторіи Гиббона, въ просторѣчіи называемаго «Отступникомъ». (*Прим. Байрона*).

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.

Стр. 211. На обложкѣ рукописи 1-й пѣсни находится слѣдующій куплетъ (переводъ *Н. О. Морозова*).

Дай, Небо, чтобъ настолько-жъ прахъ я былъ,
Насколько кровь, мозгъ, кости, чувства, страсти;
Прошедшее уже не въ нашей власти,
А будущее (но я много пилъ
Сегодня, и отъ этой злой напасти
Какъ будто я стою внизъ головой)
А будущее не по нашей части,
Такъ дайте мозель съ содовой водой!

Первая пѣснь начата въ Венеціи, 6 сентября, а кончена 1 ноября 1818 г.

Погибъ по волѣ демона и рока.

Въ подлинникѣ: «Поэтому я беру нашего стараго друга Донъ-Жуана: мы всѣ видали его въ пантомимѣ, какъ его послали къ чорту нѣсколько преждевременно». Пантомима, о которой говоритъ Байронъ, была впервые представлена Гаррикомъ на сценѣ Друри-Лэнскаго театра, подъ заглавіемъ: «Донъ-Жуанъ, или наказанный распутникъ, трагико-пантомимическое представленіе въ двухъ дѣйствіяхъ», съ музыкой Глюка». Затѣмъ, въ ноябрѣ 1809 г., она была представлена въ Ковентъ-Гарденѣ, причемъ исполнителемъ шутовской роли слуги Скарамуша былъ знаменитый въ свое время Іосифъ Гримальди, котораго Байронъ очень цѣнилъ.

Принцъ Фердинандъ, Гаукъ, Кеппель, Го, Вернонъ,
Бургойнъ, Гранби, Вольфъ, Кумберлэндъ...

Фердинандъ—герцогъ Брауншвейгскій, побѣдитель при Минденѣ, изгнавшій въ 1762 г. французовъ изъ Гессена. Адмиралъ лордъ *Гаукъ* (Hawke) въ 1759 г. разбилъ французскій флотъ, собравшійся въ Брестѣ для похода на Англію. Адмиралъ виконтъ *Кеппель* въ 1779 г. былъ преданъ военному суду за то, что далъ французскому флоту возможность уйти отъ сраженія (и пораженія), но былъ оправданъ. Лордъ Го (Howe), также адмиралъ, разбилъ французскій флотъ при Юшэнтѣ въ 1791 г. Адмиралъ *Вернонъ* отличался въ морской службѣ, особенно при взятіи Порто-Белло. *Бургойнъ* англійскій генералъ и драматическій писатель, отличившійся при оборонѣ Португаліи отъ испанцевъ въ 1762 г., а также въ Сѣверо-Американской войнѣ. *Грэнби*—сынъ герцога Рутлэнда, былъ въ 1759 г. командующимъ англійскою арміею въ Германіи. Генералъ *Вольфъ* командовалъ экспедиціею въ Квебекъ и былъ убитъ въ сраженіи съ французами въ 1759 г. Герцогъ *Кумберлэндскій*, второй сынъ короля Георга II, отличился въ сраженіяхъ при Деттингенѣ и Фонтенуа, а также при Кулоденѣ, гдѣ онъ разбилъ Шевалье, въ 1746 г. Онъ пользовался репутаціей жестокаго человѣка, почему Байронъ и называетъ его «мясникомъ».

Ужъ Дюмурье и Бонапарта нѣтъ.

Въ рукописи Байрона находится слѣдующее примѣчаніе къ этой строфѣ:

«Въ восьмой и послѣдней лекціи г. Газлитта о правилахъ критики, читанной въ Сэррейскомъ институтѣ, меня обвиняютъ въ томъ, что я «превозносилъ Бонапарта до небесъ въ пору его успѣховъ, а затѣмъ раздражительно излилъ свою досаду на бывшаго своего кумира». Первыми строками, когда-либо мною написанными о Бонапартѣ, была «Ода къ Наполеону»—послѣ его отреченія въ 1814 г. Все, что я писалъ о немъ, было написано уже послѣ его паденія; никогда я не превозносилъ его въ пору его успѣховъ. Я разсматривалъ его характеръ въ различные періоды, въ проявленіяхъ его силы и слабости; его приверженцы обвиняютъ меня въ несправедливости, а враги называли меня его сторонникомъ во многихъ изданіяхъ, англійскихъ и иностранныхъ.

Въ отношеніи правильности моего изображенія я имѣю на своей сторонѣ высокій авторитетъ. Годъ съ небольшимъ тому назадъ, я имѣлъ удовольствіе встрѣтить въ Венеціи моего друга, почтеннаго Дугласа Киннэрда. Онъ разсказывалъ мнѣ, что, проѣзжая чрезъ Германію, онъ имѣлъ честь быть представленнымъ одному изъ ближайшихъ родственниковъ Наполеона, Евгенію Богарнэ, съ которымъ, затѣмъ, нѣсколько разъ бесѣдовалъ. Во время одной изъ этихъ бесѣдъ онъ прочелъ и перевелъ стихи о Бонапартѣ изъ 3-й пѣсни *Чайльдъ-Гарольда*. Онъ сообщилъ мнѣ, что названная высокая особа, признаваемая таковою европейскими легитимистами, выслушавъ эти стихи, уполномочила его заявить, что «изображеніе совершенно вѣрно». Я говорю объ этомъ печатно вовсе не изъ ребяческаго тщеславія, но потому, что г. Газлиттъ обвиняетъ меня въ непослѣдовательности и указываетъ на мою неточность. Можетъ быть онъ согласится, что въ этомъ послѣднемъ отношеніи одинъ изъ ближайшихъ родственниковъ императора имѣетъ право высказать рѣшительное сужденіе. Я же сообщаю г. Газлитту, что я никогда не льстилъ Наполеону на престолѣ и никогда не злословилъ его послѣ

его паденія. Я писалъ о томъ, что, по моему мнѣнію, представлялось въ его характерѣ невѣроятнымъ сочетаніемъ противоположностей.

Далѣе, г. Газлиттъ обвиняетъ меня въ томъ, что я въ *Чайльдъ-Гарольдѣ* изображаю самого себя и пр. Я уже давно опровергалъ это; но если бы это даже была и правда, то, вѣдь, Локкъ говоритъ намъ, что все его знаніе о человѣческомъ разумѣ основывается на изученіи собственнаго ума. Противъ мнѣнія г. Газлитта о моей поэзіи я не возражаю; но я требую, чтобы этотъ джентльменъ не оскорблялъ меня, приписывая мнѣ величайшую низость, т.-е. будто я публично восхвалялъ человѣка, котораго затѣмъ старался унизить въ пору его несчастія: первыя строки о Бонапартѣ были написаны мною именно въ пору его несчастія, въ 1814 г., послѣднія, хотя и не совсѣмъ для него благопріятныя, но болѣе безпристрастныя,— въ 1818 г. Что же, сталъ ли онъ счастливѣе послѣ 1814 г.?»

Шарль-Франсуа *Дюмурье* (1739—1823) разбилъ австрійцевъ при Жемаппѣ и пр. Въ 1794 г. издалъ свои «Записки».

Дантонъ, Маратъ, Барнавъ, Клотцъ, Мирабо,
Жуберъ, Марсо, Гошъ, Ланнъ, Десэ, Моро.

Дантонъ игралъ очень важную роль въ первые годы революціи. Послѣ паденія короля, онъ былъ министромъ юстиціи. Принятыя имъ жестокія мѣры привели къ кровавымъ сентябрьскимъ событіямъ 1792 г. Въ 1794 г. онъ былъ казненъ вмѣстѣ съ Камилломъ Демуленомъ и другими. Жанъ-Поль *Маратъ*, знаменитый революціонный дѣятель, убитый Шарлотою Кордэ 13 іюля 1793 г. Антуанъ Пьеръ-Жозефъ *Барнавъ* былъ президентомъ Учредительнаго Собранія 1790 г; казненъ 30 ноября 1793 г. Жанъ-Батистъ, баронъ де-*Клотцъ*, болѣе извѣстный подъ именемъ Анахарсиса Клотца, былъ казненъ Робеспьеромъ въ 1794 г. Оноре-Габріэль Рикетти, графъ де-*Мирабо*, р. 1749 г., ум. 1791 г. Бартелеми *Жуберъ*, полководецъ, успѣшно сражавшійся въ Италіи и Тиролѣ, впослѣдствіи выступилъ противъ Суворова и былъ убитъ при Нови, 15 августа 1799 г. Генералъ *Марсо* отличился въ Вандеѣ и былъ убитъ подъ Альтенкирхеномъ въ 1796 г. Генералъ *Гошъ* также принималъ участіе въ умиротвореніи Вандеи и умеръ въ 1797 г., 29-ти лѣтъ. Жанъ *Ланнъ*, герцогъ Монтебелло, участникъ наполеоновскихъ походовъ, убитъ подъ Эслингомъ, въ 1809 г. Луи-Шарль *Десэ-де-Вуагу*, побѣдитель при пирамидахъ, убитъ при Маренго, 14 іюня 1800 г. Жанъ-Викторъ *Моро* убитъ въ сраженіи подъ Дрезденомъ, въ 1813 г.

Великъ Агамемнонъ...

Ср. Горація, Оды, IV, 9:

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла ихъ отъ насъ.
Пословица гласитъ: «несчастенъ тотъ,
Кто не былъ въ ней»...

Стр. 212, строфы X—XIV.

Возражая на критику «Блэквудова Журнала», (См. дальше переводъ этой статьи). Байронъ довольно неловко оправдывается отъ обвиненія въ томъ, будто въ *Донъ-Жуанѣ* находится «тщательно обработанная сатира на характеръ и нравы его жены». «Въ поэмѣ, относительно которой еще не удостовѣрено, что она написана мною, выведена непріятная во всѣхъ отношеніяхъ и вовсе не заслуживающая уваженія женщина педантъ и казуистъ; высказывается предположеніе, что это— портретъ моей жены. Но въ чемъ же тутъ сходство? Если оно есть, то только для тѣхъ, кто его выдумалъ; а я не вижу никакого». Намеки, заключающіеся въ строфахъ XII, XIII, XIV и далѣе въ строфахъ XXVII—XXIX, представляются, тѣмъ не менѣе, достаточно ясными.

Фейнэглъ предъ ней бы прикусилъ языкъ.

Грегоръ фонъ-Фейнэглъ, изобрѣтатель особой мнемонической системы, читалъ лекціи о ней въ 1811 г. въ Королевскомъ Институтѣ въ Лондонѣ. Когда у Роджерса спрашивали, ходитъ ли онъ на эти лекціи, онъ отвѣчалъ: «Нѣтъ: мнѣ хотѣлось бы научиться искусству забывать».

Ей алгебра особенно далась.

«У лэди Байронъ были хорошія мысли, но она никогда не умѣла ихъ выражать; она писала также и стихи, но они выходили удачными только случайно. Письма ея всегда были загадочны, а часто и совсѣмъ непонятны. Она вообще руководствовалась тѣмъ, что она называла твердыми правилами и математически установленными принципами»... (*Письма Байрона*).

Какъ Ромильи, ученый человѣкъ.

Сэръ Сэмьюэль Ромильи потерялъ жену 29 октября—и окончилъ жизнь самоубійствомъ 2 ноября 1818 г. «Придетъ, придетъ день разсчота, хоть я, можетъ быть, не доживу до него. По крайней мѣрѣ, мнѣ пришлось увидѣть, какъ сломился Ромильи, бывшій однимъ изъ моихъ убійцъ. Когда этотъ плутъ или съумасшедшій дѣлалъ все, что могъ, для того, чтобы искоренить весь мой родъ,—дерево, вѣтви и цвѣты, когда, взявъ отъ меня задатокъ, онъ отказался отъ своего слова, когда онъ вносилъ опустошеніе въ мою семью,—думалъ ли онъ, что не дальше, чѣмъ черезъ три года, тяжелое, но обыкновенное домашнее горе приведетъ къ тому, что его трупъ будетъ похороненъ на перекресткѣ, или же его имя будетъ запятнано приговоромъ безумія? Думалъ ли этотъ человѣкъ, не имѣвшій, по своему старческому слабоумію, мужества пережить свою няньку (ибо чѣмъ же инымъ могла быть для него жена въ эту пору жизни?),—думалъ ли онъ о томъ, каковы должны были быть мои чувства въ то время, когда я былъ вынужденъ принести въ жертву его приказному крючкотворству свою жену, ребенка, сестру, доброе имя, славу и родину, и притомъ въ такую минуту, когда мое здоровье находилось въ опасности, денежныя дѣла были разстроены, а умъ потрясенъ цѣлымъ рядомъ непріятностей, хотя я и былъ еще молодъ и могъ бы еще исправить зло, причиненное моимъ образомъ жизни, и возстановить расшатанное состояніе! Но этотъ негодяй теперь уже въ могилѣ...» (*Письмо къ Муррею*, 7 іюня 1819 г.).

Равнялось ей лишь масло Макассара.

«Description des *vertus incomparables* de l'huile de Macassar» См. объявленія. (*Прим. Байрона*).

Стр. 213.

Тогда сшибить и вѣеръ можетъ съ ногъ.

Ср. «Генрихъ IV» Шекспира, ч. I, д. 2, сц. 3: «Если бы онъ мнѣ теперь попался, я бы пришибъ его вѣеромъ его жены» (Шекспиръ, подъ ред. Венгерова II, 141).

Она врачамъ вдругъ заявила мнѣнье,
Что мужъ ея сошелъ съ ума.

«Однажды», говоритъ Медвинъ, «Байронъ былъ захваченъ врасплохъ врачомъ и адвокатомъ, которые одновременно и чуть не насильно ворвались къ нему въ кабинетъ». «Только впослѣдствіи», разсказывалъ поэтъ, «мнѣ выяснилась истинная цѣль ихъ посѣщенія. Ихъ вопросы показались мнѣ странными, дерзкими, а иногда и неудобными, чтобы не сказать—нахальными; но что подумалъ бы я, если

бы догадался, что эти люди были присланы за тѣмъ, чтобы собрать доказательства моего сумасшествія?» Лэди Байронъ, въ своихъ замѣчаніяхъ на біографію Байрона, написанную Муромъ, говоритъ, что докторъ Бэлли, къ которому она обращалась за совѣтомъ по поводу предполагаемаго сумасшествія мужа, «не имѣя доступа къ лорду Байрону, не могъ высказать по этому предмету какого-либо положительнаго заключенія». Впрочемъ, другой врачъ, нѣкій Ле-Маннъ, повидимому, нашелъ доступъ къ поэту и сообщалъ его женѣ свѣдѣнія объ его состояніи

Люблю людей и Бога,
Я не могла съ нимъ поступить не строго.

«Поступать такъ, какъ я поступаю, я считаю своимъ долгомъ передъ Богомъ». (*Письмо лэди Байронъ* къ миссисъ Ли, 14 февраля 1816 г.).

Къ этой строфѣ Гобгоузъ сдѣлалъ замѣтку: «Это ужъ слишкомъ подчеркнуто». Байронъ отвѣчалъ: «Если кто захочетъ увидѣть здѣсь намекъ, то въ этомъ не моя вина».

И на показъ достала писемъ ворохъ.

«Это, кажется, сомнительно», замѣтилъ Гобгоузъ.—«Что можетъ быть «сомнительнаго» въ поэмѣ?»—отвѣчалъ Байронъ.—«Во всякомъ случаѣ, поэтически это вѣрно. Зачѣмъ всякую мелочь непремѣнно ставить на счетъ этой нелѣпой женщинѣ? Я не дѣлаю намековъ на живыхъ лицъ». Медвинъ говоритъ, что въ письменномъ столѣ поэта рылась миссисъ Клермонтъ, описанная Байрономъ въ «Очеркѣ» (см. т. I, стр. 465).

Стр. 214. *Глядѣлъ на свой разрушенный очагъ*
И на свои разбитые пенаты.

«Я могъ бы простить кинжалъ и ядъ, и что угодно, но не это заранѣе обдуманное разореніе, жертвою котораго меня сдѣлали, когда я остался одинъ съ своимъ поруганнымъ сердцемъ и разбросанными вокругъ меня разбитыми пенатами... Неужели вы думаете, что я объ этомъ забылъ?» *Письмо Байрона* къ Муру, 19 сентября 1818 г.).

Ср. «Марино Фальеро», д. III, сц. 2:

Одно осталось мнѣ—
Покой въ семейной жизни; но и онъ
Отравленъ злобой ихъ. Мои пенаты
Разбиты на домашнемъ очагѣ,
Гдѣ царствуетъ теперь одно презрѣнье
И дерзкая насмѣшка.

(Т. II, стр. 204).

Стр. 215. *О ней извѣстный Лонгинъ говоритъ.*

См. Лонгина, отд. 10: «Желаемый эффектъ заключается въ томъ, чтобы въ ней видна была не одна только страсть, но собраніе многихъ страстей». Намекъ на извѣстную оду Сафо: «Тотъ мнѣ кажется равнымъ богамъ». (*Прим. Байрона*).

Въ концѣ изданья вставилъ...

«Фактъ! Есть, или было, такое изданіе, въ которомъ всѣ непристойныя эпиграммы Марціала помѣщены были въ концѣ книги». (*Прим. Байрона*).

Это - изданіе ad usum Delphini, вышедшее въ Амстердамѣ въ 1701 г.

Его грѣхамъ завидуешь невольно.

«См. его «Исповѣдь». Судя по тому, какъ св. Августинъ изображаетъ себя въ юности, можно сказать, что онъ былъ, что называется, повѣса. Онъ бѣгалъ отъ школы, какъ отъ чумы; ничего такъ не любилъ, какъ игру и зрѣлища; таскалъ у своего отца все, что было можно, и выдумывалъ тысячи увертокъ, чтобы избѣжать розогъ, когда родители признавали нужнымъ его наказать». (*Прим. Байрона*).

Стр. 218. *Въ эту ночь она съ мольбой*
Не обращалась къ Дѣвѣ Пресвятой.

Quel giorno più non vi leggemmo avante.
(Dante, Inferno, V, 138).

Стр. 219. *Любовь! Богиня ты въ такой глуши...*

«Гертруда Уайомингъ» Кэмпбелля, — кажется, начало второй пѣсни: я цитирую на память». (*Прим. Байрона*).

Стр. 220. *Боскана онъ читалъ иль Гарсиласо.*

Хуанъ Босканъ и его другъ Гарсиласо де-ла-Вега, писатели первой половины XVI вѣка, авторы сонетовъ и канцонъ въ итальянскомъ стилѣ.

Стр. 224. *Сударыня, вашъ мужъ идетъ сюда!*

«Вчера графиня Гвиччіоли застала меня за писаньемъ *Донъ-Жуана* и, указавъ случайно на послѣднюю строчку 136-й строфы, спросила, что значатъ эти слова. «Вашъ мужъ идетъ сюда», отвѣчалъ я по-итальянски, съ нѣкоторою выразительностью. «Боже мой,—онъ идетъ сюда!» вскрикнула она, испугавшись и думая, что я говорю объ *ея* мужѣ. Можете себѣ представить, какъ мы смѣялись, когда я разъяснилъ ея ошибку...» (*Письмо къ Муррею*, 8 ноября 1819 г.).

Стр. 226. *Кто изъ моихъ друзей*
Играетъ роль кортехо?

«Кортехо»—по-испански то же, что у итальянцевъ cavalier servente».

(*Прим. Байрона*).

Самъ графъ О'Рельи, храбрый генералъ,
Что взялъ Алжиръ...

«Донна Юлія здѣсь ошибается: графъ О'Рельи не взялъ Алжира, а, наоборотъ, Алжиръ чуть не взялъ его, такъ какъ ему пришлось отступить, съ своей арміей и флотомъ, отъ этого города съ большими потерями, въ 1775 году». (*Прим. Байрона*).

Стр. 229.
Вдругъ наступилъ на пару башмаковъ.

Комментаторы указываютъ, что эта сцена, по всей вѣроятности, навѣяна воспоминаніемъ о старинной шотландской балладѣ, переведенной Пушкинымъ: «Воротился ночью мельникъ». Пушкинъ могъ познакомиться съ этой балладой изъ примѣчаній къ *Донъ-Жуану*.

Стр. 230.
Однако жъ лучше всѣхъ отчетъ Гернея.

Извѣстный въ свое время стенографъ, составлявшій отчеты о наиболѣе выдающихся судебныхъ дѣлахъ.

Вслѣдъ за этой строфой Байронъ хотѣлъ вставить еще семь строфъ, посвященныхъ лорду Бруму и изображающихъ его въ очень нелестномъ освѣщеніи. Эти строфы были вызваны, по всей вѣроятности, гнѣвомъ поэта на ту роль, какую игралъ Брумъ въ дѣлѣ его развода. Онѣ впервые явились въ печати только въ 1903 г., въ изданіи Кольриджа. Приводимъ ихъ въ переводѣ *П. О. Морозова*, сдѣланномъ для настоящаго изданія.

I.

Любителямъ большое наслажденье
Доставилъ судъ; жаль, Брума только нѣтъ
Въ Испаніи: его извѣстно рвенье
Во всемъ, что можетъ быть причиной бѣдъ,
Во всякихъ сплетняхъ, пересудахъ, чтеньѣ
Чужихъ бумагъ... Найти стараясь слѣдъ
Къ почету, онъ, въ угоду личнымъ видамъ,
Готовъ на все—и, право, semper idem!

II.

Горячъ въ рѣчахъ—и холоденъ въ бою;
Защитникъ негодяевъ—но за плату;
Хоть, впрочемъ, даромъ руку дастъ свою
Любому пасквилянту или фату;
Онъ съ трусомъ—храбръ, но съ храбрымъ на краю
Сейчасъ готовъ свою поставить хату;
Доносчикъ на народъ и сильнымъ врагъ,
Хоть служитъ имъ какъ истинный варягъ.

III.

Рожденьемъ—тори, вигъ—судьбы велѣньемъ
И демократъ—два-три мгновенья въ годъ,
Коль выгодно подобнымъ превращеньемъ
Хотя-бъ на шагъ продвинуться впередъ.
Онъ и ораторъ—Божьимъ попущеньемъ
И слухъ толпы безжалостно деретъ.
Его всегда червякъ тщеславья гложетъ,
Но власть на часъ онъ удержать не можетъ.

IV.

Въ парламентѣ Дамоклъ онъ сущій: мечъ
Виситъ надъ нимъ при каждомъ лишнемъ словѣ,
И знаютъ всѣ,—любая можетъ рѣчь
Сразить его, и кара наготовѣ;
Избитый щитъ прикрыть не можетъ плечъ,
Зане ему удары ужъ не вновѣ...
Прямой Терситъ, онъ мнитъ, что уваженье
Внушаетъ тамъ, гдѣ вызвалъ лишь презрѣнье.

V.

Въ рѣчахъ онъ благороденъ, но не смѣлъ,
И въ чувствахъ онъ высокъ, но не мятеженъ.
«Продать свою рубашку» онъ хотѣлъ,
Чтобъ голосовъ купить,—но безнадеженъ
Былъ торгъ: знать, слишкомъ сильно онъ потѣлъ
И въ разныхъ сдѣлкахъ слишкомъ былъ прилеженъ,
И грязью пропитался весь насквозь,
До сердца самаго,—хоть вовсе брось!

VI.

Все власти жаждетъ онъ неутолимо,
Но одного пугается глотка;
Стремяся къ ней, всегда проходитъ мимо:
Не схватитъ руль дрожащая рука!
То сзади онъ, то вдругъ неудержимо
Толкается впередъ изъ уголка;
То—патріотъ, то—льстивый шутъ придворный,
Бездарный и безсильный, хоть задорный.

VII.

Прямымъ примѣромъ можетъ намъ являться
Его сумбурный и нестройный нравъ.
Такимъ ли въ юности мечталъ казаться?
Бѣдняжка! Лучше, зрѣнье потерявъ,
Слѣпцомъ несчастнымъ межъ людей скитаться!
Хоть жаль его,—все жъ, кажется, я правъ:
Я, какъ поэтъ, предостеречь обязанъ,—
Подводный камень долженъ быть указанъ.

Къ этимъ строфамъ Байронъ написалъ слѣдующее примѣчаніе:

«Не пользуясь довѣріемъ демократовъ, нелюбимый вигами и ненавидимый торіями, въ глазахъ народа—слишкомъ чиновникъ, а въ глазахъ парламента—слишкомъ демагогъ, онъ выступалъ кандидатомъ и въ графствахъ, и въ городахъ, былъ отвергнутъ половиною англійскихъ избирателей и , наконецъ, избранъ представителемъ какого-то «гнилого мѣстечка», благодаря попустительству его владѣльца, который желалъ отъ него отдѣлаться, чтобы быть независимымъ. Онъ являлся ораторомъ по всѣмъ вопросамъ, изгоемъ всѣхъ партій; его поддержка была одинаково страшна для всѣхъ его враговъ (ибо друзей у него никогда не бывало), и его голосъ пріобрѣталъ значеніе только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ молчалъ. Неудачникъ, съ дурнымъ характеромъ, онъ обладаетъ замѣтными, хотя и не особенно выдающимися дарованіями; онъ всю жизнь бросался то въ одну сторону, то въ другую и всегда отличался только легкостью рѣчи, встрѣчая, впрочемъ, въ этомъ отношеніи много соперниковъ въ судѣ и въ парламентѣ, и краснорѣчіемъ, въ которомъ многіе его превосходятъ. Желая ранить и не боясь нанести ударъ, пока не получитъ его обратно, онъ, однако, еще ни разу не выказалъ особеннаго рвенія или свойственной ирландцамъ быстроты въ отвѣтѣ на вызовы или въ желаніи отомстить за тѣ неблагопріятные отзывы, которые онъ навлекаетъ на себя своею склонностью къ злорѣчію. Въ дѣлахъ съ Мэккинономъ и Мэннерсомъ онъ укрылся за тѣ парламентскія привилегіи, за которыя считали недостойнымъ укрываться Фоксъ, Питтъ, Каннингъ, Кэстльри, Тирней, Эдемъ, Шельборнъ, Грэттенъ, Корри, Коррэнъ и Клэръ Палата общинъ сдѣлалась убѣжищемъ для его клеветы, подобно тому, какъ римскіе храмы были нѣкогда убѣжищами для убійцъ.

„Его литературная слава (за исключеніемъ одного сочиненія, написаннаго еще въ началѣ его карьеры) основывается на нѣсколькихъ безыменныхъ статьяхъ, приписанныхъ ему однимъ знаменитымъ періодическимъ изданіемъ; но даже и эти статьи далеко уступаютъ другимъ, помѣщеннымъ въ томъ же самомъ журналѣ. Онъ брался за все и ни въ чемъ не имѣлъ успѣха; можетъ быть, онъ окончитъ свою карьеру адвокатомъ безъ практики, какъ былъ уже ораторомъ безъ слушателей.

Изображенный выше характеръ описанъ *не* безпристрастно лицомъ, имѣвшимъ случай узнать нѣкоторыя, наиболѣе низменныя, его стороны, и вслѣдствіе этого смотритъ на него съ брезгливымъ отвращеніемъ и съ такою долею страха, какой онъ заслуживаетъ. Въ немъ страшенъ не прыжокъ тигра, а медленное вползаніе стоножки, не дикая сила хищнаго звѣря, а ядъ пресмыкающагося, не мужество храбреца, а мстительность негодяя.

Если эта проза или помѣщенные выше стихи вызовутъ судебное преслѣдованіе, то я подпишу подъ ними свое имя, чтобы этотъ человѣкъ могъ привлечь къ суду меня, а не моего издателя. Я питаю слабую надежду на то, что это клеймо, которымъ я его запятналъ, побудитъ его, хотя бы и противъ его желанія, къ болѣе мужественному отвѣту».

По поводу этой прозы и стиховъ Байронъ писалъ Муррею:

«Посылаю вамъ строфы, назначаемыя для I-й пѣсни, но я не хочу, чтобы онѣ были напечатаны въ настоящемъ изданіи, такъ какъ не желаю, находясь на такомъ разстояніи, печатать *подобныя* вещи о человѣкѣ, который можетъ оставить ихъ безъ отвѣта, ссылаясь на то, что противникъ слишкомъ далеко.

Впрочемъ, въ отношеніи этого негодяя Брума мнѣ давно извѣстно все: я знаю и то, что онъ говорилъ обо мнѣ по поводу моего отъѣзда изъ Англіи, и его письмо къ г-жѣ Сталь, и многое другое. За все это, при первой же нашей встрѣчѣ—въ Англіи или вообще на землѣ—онъ долженъ будетъ дать мнѣ отвѣтъ, и одного изъ насъ принесутъ домой.

«Но такъ какъ я не желаю дѣлать тайнъ, то и запрещаю только обнародованіе этихъ строфъ *въ печати*, по указанной выше справедливой причинѣ. Но я вовсе не желаю, чтобы онъ *не зналъ* объ ихъ существованіи или объ ихъ содержаніи, а также и о моихъ намѣреніяхъ по отношенію къ нему: онъ не проявилъ никакой сдержанности—и потому самъ ея не заслуживаетъ. Вы можете показать эти стихи и *ему*, и всѣмъ тѣмъ, кого это можетъ интересовать, съ объясненіемъ, что единственная причина, въ силу которой я не потребовалъ отъ этого человѣка удовлетворенія, заключается въ томъ, что я не имѣлъ къ этому случая съ тѣхъ поръ, какъ узналъ тѣ факты, которые мои друзья такъ заботливо отъ меня скрывали; эти факты я узналъ только въ медленной постепенности и понемногу. Я его не искалъ и ради него не уклонялся отъ своего пути; но я его *найду*, и тогда это дѣло будетъ покончено. Онъ выказалъ мало мужества, но, въ концѣ концовъ, *долженъ* будетъ драться, чтобы избѣжать самаго позорнаго оскорбленія.

Я посылаю вамъ эти строфы, написанныя (кромѣ послѣдней) уже года два тому назадъ, только потому, что я недавно переписалъ большую часть рукописей, лежавшихъ у меня въ столѣ».

Стр. 231. *Elle vous suit partout.*

У Байрона была печать съ этимъ девизомъ.

Вордсворта, Соути, Кольриджа оставь.

Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, Байронъ нападаетъ на Кольриджа потому, что, какъ ему казалось, этотъ поэтъ, которому онъ одно время покровительствовалъ, сталъ потомъ распространять о немъ скандальные слухи. Но Байронъ ничѣмъ не доказываетъ этого обвиненія Кольриджа въ неблагодарности,—и, по увѣренію комментаторовъ, оно ничѣмъ и не подтверждается.

Стр. 234. *Стихи въ ковычкахъ—Соути.*

Первые три стиха этой строфы взяты изъ послѣдней строфы «Эпилога къ пѣснямъ лавреата» Соути.

ПѢСНЬ ВТОРАЯ.

Пѣснь вторая начата въ Венеціи, 13 декабря 1818 г., окончена 20 января 1819 г.

Стр. 235. *Гдѣ изъ-подъ дымокъ схожихъ съ фацціоли...*

«Fazzioli — буквально: маленькіе носовые платки; бѣлыя вуали, чаще всего встрѣчающіяся въ Венеціи». (*Прим. Байрона*).

Стр. 233. *Понесся Донъ-Жуанъ на корабль.*

«Относительно упрековъ по поводу кораблекрушенія я, кажется, уже говорилъ вамъ и г. Гобгоузу нѣсколько лѣтъ тому назадъ, что тутъ нѣтъ ни одного обстоятельства, которое не было бы взято изъ *дѣйствительности*: конечно, не изъ исторіи какого-нибудь *одного* кораблекрушенія, а изъ дѣйствительныхъ обстоятельствъ различныхъ кораблекрушеній». (*Письмо къ Муррею*, 23 августа 1821 г.).

Стр. 245. *Такую одержать пришлось побѣду*
Леандру, мнѣ и мистеръ Экенгеду.

Ср. т. I. стр. 188: «Стихотвореніе, написанное послѣ того, какъ авторъ переплылъ изъ Сестоса въ Абидосъ».

Стр. 248. *Мой дѣдъ,*
Оставивъ намъ свои «Повѣствованья»...

«Повѣствованіе достопочтеннаго лорда Байрона, бывшаго командиромъ въ послѣднемъ кругосвѣтномъ путешествіи, заключающее въ себѣ разсказъ о великихъ бѣдствіяхъ, испытанныхъ имъ и его спутниками у береговъ Патагоніи, съ 1740 года до возвращенія въ Англію въ 1746 г. Имъ самимъ написанное». Лондонъ, 1768.

Стр. 252. *Покинувъ свѣтъ, гдѣ былъ я моднымъ львомъ.*

«Въ 1813 г. въ лондонскомъ модномъ свѣтѣ, къ которому я въ то время принадлежалъ, какъ атомъ, какъ мелкая дробь, какъ единица въ милліонѣ... я былъ львомъ 1812 года». *Дневникъ*, 19 января 1819.

Стр. 256. *Такія жъ есть, что, нарѣзвившись вдоволь,*
Романы пишутъ...

Лэди Каролина Лэмбъ въ 1816 г. издала романъ «Гленарвонъ», въ которомъ помѣстила, между прочимъ, и прощальное письмо къ ней Байрона «Мнѣ думается, писалъ Байронъ Муру, 17 ноября 1816 г., что если бы писательница написала только правду, всю правду, и ничего, кромѣ правды, то романъ вышелъ бы не только «романичнѣе», но и занимательнѣе. Что касается сходства, то портретъ не могъ быть хорошъ: для этого я недостаточно долго позировалъ».

ПѢСНЬ ТРЕТЬЯ.

Пѣснь третья окончена 30 ноября 1819 г. и переписана въ 1820 г.

Стр. 258. . . . . *съ дороги сбившись разъ,*
Не мало натворитъ потомъ проказъ.

«Можно найти женщинъ, которыя никогда не имѣли любовныхъ приключеній, но рѣдко можно найти такихъ, которыя имѣли бы только одно приключеніе». (Размышленія герцога Ларошфуко). Байронъ поставилъ эти слова эпиграфомъ къ своей «Одѣ къ дамѣ, возлюбленный которой былъ убитъ пулей, раздробившей въ то же время портретъ на его сердцѣ» (см. т. II, стр. 278).

Стр. 259. *Но имъ самимъ супружескій союзъ*
Пошелъ не въ прокъ...

«Первая жена Мильтона убѣжала отъ него въ первый же мѣсяцъ супружества. Что сдѣлалъ бы Мильтонъ, если бы она не убѣжала?» (*Прим. Байрона*).

Стр. 266. *Что никогда нѣжнѣе кожи этой*
Не видывали цѣнные браслеты.

«Костюмъ этотъ—мавританскій, а браслеты и обручи носятся именно такъ, какъ здѣсь описано. Читатель увидитъ потомъ, что такъ какъ мать Гайдэ была родомъ изъ Феца, то ея дочь и одѣвалась по модѣ этой страны». (*Прим. Байрона*).

Такіе жъ замѣчалися у ней
Браслеты на ногахъ.

«Золотой обручъ выше щиколотки служитъ знакомъ высокаго происхожденія женщинъ, принадлежащихъ къ семейству деевъ; онъ носится также и ихъ родственницами». (*Прим. Байрона*).

Стр. 266. . . . . *будь ей дана свобода,*
Она все тѣло дѣвы молодой
Прикрыла бы...

«Въ этомъ нѣтъ преувеличенія: я припоминаю четырехъ женщинъ, обладавшихъ такими роскошными волосами; изъ нихъ три были англичанки, а четвертая—левантинка. Ихъ волосы отличались такою длиною и обиліемъ, что въ распущенномъ видѣ прикрывали почти все тѣло, дѣлая одежду почти совсѣмъ лишнею. Изъ этихъ четырехъ женщинъ только у одной волосы были темнаго цвѣта, самые же свѣтлые, кажется, были у левантинки». (*Прим. Байрона*).

Шекспиръ сказалъ: безсмысленно бѣлить
Лилею, иль червонецъ золотить.

«Король Джонъ», д. IV, сц. 2:

Расписывать цвѣтъ лиліи прелестной,
И золото скрывать подъ позолотой,
И ароматомъ окроплять фіалку—
. . . .
Пустая роскошь, трудъ, достойный смѣха.

(Шекспиръ, подъ ред. С. Венгерова, т. II, стр. 40).

Стр. 269.
Но Коксъ его сказаньемъ воскресилъ.

Вильямъ Коксъ (1747—1828) архидіаконъ Уильтскій: въ числѣ его объемистыхъ трудовъ есть изданіе мемуаровъ герцога Марльбро (1817).

Стр. 270. *Что Пантистократію написалъ.*

Соути, вмѣстѣ съ своимъ другомъ Кольриджемъ и нѣсколькими другими друзьями, въ ту пору, когда они были еще восторженными юношами, задумывалъ планъ переселенія въ Америку, съ цѣлью основать тамъ коммунистическую общину. Устройство этой общины они называли «пантистократіей», т. е. правленіемъ всеобщаго равенства; но сочиненія съ этимъ заглавіемъ написано не было.

Въ эпоху свадьбъ ихъ съ батскими швеями.

Кольриджъ женился на Сарѣ Фрикеръ, а Соути—на ея младшей сестрѣ Эдиѳи,—оба въ 1795 г. Отецъ этихъ дѣвицъ, Стивенъ Фрикеръ, былъ сперва содержателемъ постоялаго двора, а потомъ торговалъ посудой въ Бристолѣ и въ 1780 г. переселился въ Батъ, гдѣ былъ хозяиномъ пристани для выгрузки угля. Подъ конецъ жизни онъ обанкротился и оставилъ семью въ крайней бѣдности, такъ что дочери принуждены были зарабатывать себѣ пропитаніе швейной работой въ домахъ.

Что вѣрили въ пророчицу Сутткотъ.

Джоанна Соуткотъ (1750—1814) - сектантская «богородица» въ Лондонѣ.

Послѣ строфы XCVII въ рукописи слѣдовала еще одна строфа: *)

На опытѣ доказано, что скука—
Нашъ лучшій другъ. Вино или любовь
Пріятны намъ, но результатъ ихъ—мука,
Похмельный, свинскій сонъ—и скука вновь.
Въ любви за счастьемъ слѣдуетъ разлука,
А пьянство хоть и зажигаетъ кровь,
Но возліянья все жъ ведутъ къ напасти,
Какъ и порывы слишкомъ пылкой страсти.

Стр. 271. *Цвѣтами склепъ злодѣя осыпалъ.*

«Объ этомъ смотри у Светонія». (*Прим. Байрона*).

*) Переводъ *П. О. Морозова.*

ПѢСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

(Написана въ ноябрѣ 1819 г.).

Стр. 277. *Доказывала крови благородство*
Краса ихъ рукъ.

Замѣчаніе Али-паши Янинскаго, который во многомъ послужилъ оригиналомъ для изображенія Ламбро. Когда Байронъ, въ 1809 г., посѣтилъ Али-пашу, тотъ сказалъ ему, что сразу догадался о томъ, что посѣтитель «большой человѣкъ»,—по маленькимъ ушамъ и рукамъ.

(Письмо Б. къ матери, 12 ноября 1809).

Стр. 278.
Отъ страшныхъ мукъ въ ней порвалася
жила.

«Несовсѣмъ необычный результатъ бурнаго движенія страстей. Дожъ Франческо Фоскари, низложенный въ 1457 г., услышавъ, что колокола св. Марка звонятъ въ честь ново-избраннаго его преемника, умеръ отъ внезапнаго кровотеченія, причиненнаго разрывомъ жилы въ его груди, восьмидесяти лѣтъ, когда «кто думать могъ, что въ этомъ старикѣ такъ много крови?» («Макбетъ», д. V, сц. 1). Мнѣ еще не было 16-ти лѣтъ, какъ я сдѣлался однажды свидѣтелемъ подобнаго же прискорбнаго послѣдствія сильнаго волненія, жертвою котораго была одна молодая особа. Впрочемъ, въ тотъ разъ она не умерла; но такой же случай повторился съ нею черезъ нѣсколько лѣтъ—и былъ причиною ея смерти». (*Примѣч. Байрона*).

Стр. 280. *Такъ утверждаетъ Бріантъ.*

(Надо читать: *Брайантъ*). Джекобъ Брайантъ (1715—1801) напечаталъ въ 1796 г. «Разсужденіе о Троянской войнѣ». «Я ежедневно, въ теченіе мѣсяца слишкомъ, посѣщалъ равнину Трои въ 1810 году», замѣчаетъ Байронъ въ своемъ дневникѣ 1821 г.,—«и если мое удовольствіе было отравлено, такъ только тѣмъ, что злодѣй Брайантъ отрицаетъ ея подлинность».

Стр. 281.
Хоть дешево онъ продалъ свой товаръ.

«Это фактъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, нѣкто ангажировалъ труппу для какого-то иностраннаго театра, посадилъ артистовъ на судно въ одномъ изъ итальянскихъ портовъ и, прибывъ въ Алжиръ, всѣхъ ихъ продалъ. По странному совпаденію, я слышалъ одну изъ возвратившихся изъ плѣна артистокъ въ Венеціи, въ оперѣ Россини «Итальянцы въ Алжирѣ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 282.
А мало ль папа ихъ пускаетъ въ ходъ.

«Замѣчательно, что папа и султанъ являются главными покровителями этого вида промышленности,—по той причинѣ, что женщинамъ запрещено пѣть въ храмѣ св. Петра, и въ то же время онѣ не считаются достаточно надежными стражами гарема». (*Прим. Байрона*).

И вѣрно вамъ извѣстенъ Рококанти.

Надо читать: *Раукоканти*, по-русски: «хриплый пѣвецъ» (Хрипуновъ).

Стр. 283. *Теперь же не гонюся за борьбой.*

«Мало-по малу люди убѣдятся въ томъ, что цѣль *Донъ-Жуана*—сатира на пороки современнаго общества, а вовсе не восхваленіе порока. Можетъ быть, въ немъ есть доля сладострастія, но съ этимъ я ничего не могу подѣлать. Аріосто хуже; Смоллетъ въ десять разъ хуже; да и Фильдингъ не лучше». (*Письмо къ Муррею*, 25 декабря 1822 г.).

Стр. 284.

Въ честь бойни подъ Равенной
Воздвигнута колонна-мавзолей.

«Колонна въ воспоминаніе сраженія подъ Равенной находится милляхъ въ двухъ отъ города, на противоположномъ берегу рѣки, по дорогѣ въ Форли. Гастонъ де-Фуа, герцогъ Немурскій, одержавшій побѣду въ этомъ сраженіи, былъ здѣсь убитъ. Съ обѣихъ сторонъ здѣсь пало двадцать тысячъ человѣкъ. Современное состояніе колонны описано въ текстѣ». (*Пр. Байрона*).

Колонна эта воздвигнута въ 1557 г. президентомъ Романьи, Пьетро Чези, въ память о побѣдѣ, одержанной соединенными войсками Людовика XII и герцога Феррарскаго надъ войсками папы Юлія II и короля испанскаго, 11 апрѣля 1512 г.

ПѢСНЬ ПЯТАЯ.

Пѣснь пятая начата въ Равеннѣ 16 октября и окончена 20 ноября 1820 г. Она была издана вмѣстѣ съ третьею и четвертою, 8 августа 1821 г.

Стр. 286.

Люблю я имя Мэри.

Байронъ, въ ранней юности, былъ, можно сказать, окруженъ дѣвушками, носившими это имя. Первою изъ нихъ была его дальняя родственница, Мэри Доффъ, впослѣдствіи миссисъ Кокборнъ, жившая въ Эбердинѣ. Ея «темные волосы и очи газели» много лѣтъ сохранялись въ памяти поэта. Затѣмъ «шотландская» или «златокудрая» Мэри Робертсонъ, жившая въ 1796-98 гг. на фермѣ Баллатрикъ, гдѣ Байронъ проводилъ каникулы. Она скончалась въ Эбердинѣ, въ 1867 г., 85-ти лѣтъ. Третья Мэри неопредѣленною фигурою мелькаетъ въ юношескихъ стихотвореніяхъ Байрона. Наконецъ, послѣднею была —Мэри-Анна Чавортъ, замужество которой, въ 1805 г., «снова выбросило поэта одинокимъ въ широкое, широкое житейское море».

Стр. 290.

Начальникъ войска города Равенны.

«Убійство, о которомъ здѣсь говорится, произошло 8 декабря 1820 г. на улицѣ, всего въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ того дома, гдѣ жилъ тогда авторъ. Обстоятельства, его сопровождавшія, вѣрно описаны въ текстѣ». (*Прим. Байрона*).

«Распечатываю письмо, чтобы разсказать вамъ объ одномъ происшествіи, которое лучше меня можетъ пояснить вамъ состояніе этой страны. Сейчасъ у меня въ домѣ лежитъ убитый начальникъ здѣшнихъ войскъ. Его застрѣлили въ началѣ девятаго часа вечера, шагахъ въ двухстахъ отъ моего подъѣзда. Я надѣвалъ свой сѣрый сюртукъ, чтобы идти къ графинѣ Г., когда услышалъ выстрѣлъ. Выйдя въ переднюю, я увидѣлъ всѣхъ своихъ слугъ на балконѣ; они говорили, что убитъ какой-то человѣкъ. Я сейчасъ же сбѣжалъ внизъ, приказавъ Тито, наиболѣе храброму изъ нихъ, слѣдовать за мною. Остальные хотѣли-было помѣшать намъ идти, такъ какъ здѣсь, повидимому, въ обычаѣ разбѣгаться отъ «мертваго тѣла»... Мы нашли его лежащимъ на спинѣ и почти уже мертвымъ; у него было пять ранъ: одна—въ сердце, двѣ—въ животъ, одна—въ пальцы руки и еще одна—въ руку. Нѣсколько солдатъ, скрестивъ ружья, хотѣли меня остановить. Но мы все-таки прошли, и я увидѣлъ его адъютанта, Діего, который плакалъ надъ нимъ, какъ ребенокъ, врача, не сказавшаго ни слова по своей спеціальности, священника, въ страхѣ бормотавшаго молитву,—а комендантъ все время лежалъ на спинѣ, на жесткой, холодной мостовой, безъ всякой помощи, посреди происходившей вокругъ него толкотни. Такъ какъ никто не могъ, или не хотѣлъ, ничего дѣлать, а только или плакали, или молились, и никто не двинулъ пальцемъ, чтобы его поднять, опасаясь, какъ бы чего не вышло, то я вышелъ изъ терпѣнія, приказалъ своему слугѣ и парѣ людей изъ толпы поднять тѣло, послалъ двухъ солдатъ въ кордегарію, а Діего—къ кардиналу, съ извѣстіемъ о случившемся, и велѣлъ сейчасъ же отнести умирающаго въ мою квартиру. Но было уже поздно,—онъ уже скончался... Я снялъ съ него часть одежды, попросилъ врача осмотрѣть его и осмотрѣлъ самъ. Онъ былъ застрѣленъ рѣзаными пулями или кусками свинца; всѣ эти куски можно было прощупать, подъ самой кожей... Онъ только произнесъ раза два или три: «О Боже мой!» и «Іисусе!» Повидимому, онъ не особенно сильно страдалъ. Бѣдняжка! Онъ былъ храбрый офицеръ, но народъ очень не любилъ его». (*Письмо къ Муру*, 9 декабря 1820 г.).

Стр. 291. *Въ роскошно позолоченный каикъ.*

«Такъ называются легкіе и изящные ялики, стоящіе у набережныхъ Константинополя». (*Прим. Байрона*).

Вареоломея вспомните!

Съ св. мученика Вареоломея содрали кожу.

Стр. 292. *Къ нему приготовлялся, ромъ глотая.*

«Въ Турціи у мусульманъ считается самымъ обычнымъ дѣломъ выпивать передъ ѣдой нѣсколько рюмокъ крѣпкаго напитка. Я видѣлъ, какъ они выпивали передъ обѣдомъ не менѣе шести рюмокъ раки (водки), увѣряя, что это улучшаетъ аппетитъ; я попробовалъ продѣлать то же самое, но со мной случилось то же, что съ тѣмъ шотландцемъ, который, услышавъ, что морскія чайки удивительно возбуждаютъ аппетитъ, съѣлъ ихъ шесть штукъ и потомъ жаловался, что онъ «былъ не голоднѣе, чѣмъ въ началѣ». (*Прим. Байрона*).

Фонтана раздавалося журчанье.

«Обычная принадлежность жилья. Я вспоминаю, какъ былъ принятъ Али пашою въ большой комнатѣ съ мраморнымъ поломъ, посреди которой находился мраморный же бассейнъ съ бившимъ изъ него фонтаномъ и пр.». (*Прим. Байрона*).

Стр. 293. *Великъ былъ Вавилонъ...*

«Вавилонъ былъ расширинъ Немвродомъ, увеличенъ и украшенъ Навуходоносоромъ и перестроенъ Семирамидою». (*Прим. Байрона*).

Скакунъ имѣлъ *курьера* тамъ значенье.

Эта строфа написана во время процесса королевы Каролины, обвиненной въ связи съ своимъ курьеромъ Бергами.

Сэръ Ричъ нашелъ, гдѣ былъ построенъ онъ.

Клавдій-Джемсъ Ричъ издалъ въ 1815 и 1818 гг. двѣ «Записи о развалинахъ Вавилона».

Стр. 296 .... *Время не могло*
Умалить блескъ Нинопы де-Ланкло.

О Нинонъ де Ланкло (1620—1705) создалась легенда, будто въ нее влюблялись, когда ей было 80 лѣтъ. По словамъ Вольтера, однимъ изъ ея поклонниковъ былъ бывшій польскій король Янъ-Казиміръ. (*Кольриджъ*).

Стр. 297.

Коль ищете вы счастья,—удивленье
Гоните прочь.
Nil admirari prope res est una, Numici,

Solaque quae possit facere et servare beatum
(Hor. Epist. I, VI, 1, 2).

Упоминаемый здѣсь *Муррей*—не извѣстный издатель Байрона, а одинъ изъ друзей Попа, къ которому послѣднимъ написано посланіе на тему Nil admirari. Томасъ *Кричъ*—переводчикъ Горація (1684).

Стр. 298. *Такой руки породистой и нѣжной.*

«Рука служитъ, можетъ быть, наиболѣе яснымъ отличительнымъ признакомъ происхожденія. Это—почти единственное свидѣтельство аристократической природы». (*Прим. Байрона*).

Когда онъ принялъ образъ херувима,
Чтобъ Еву обольстить.

Въ старинныхъ картинахъ грѣхопаденія соблазнителемъ Евы изображается херувимъ, а змѣя только обвиваетъ стволъ дерева. (*Кольриджъ*).

Стр. 300. *Федры месть*
Иль лэди Бури.

Опечатка: слѣдуетъ читать—лэди *Буби*. Это—одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ романѣ Фильдинга: «Приключенія Джозефа Андрьюса».

«Приключенія Тезеева сына Ипполита, а также Беллерофона, хорошо извѣстны. Оба они были обвинены въ насиліи женщинами, которыхъ безумныя страсти были оставлены ими безъ удовлетворенія, и оба сдѣлались жертвами роковой довѣрчивости мужей къ правдивости своихъ женъ. Весьма вѣроятно, что обѣ эти исторіи основаны на повѣствованіи Священнаго Писанія объ Іосифѣ и женѣ Пентефрія». (*Прим. Байрона*).

Стр. 301.

Все жъ не луну хотѣлось ей схватить,
Какъ Готспуру безсмертнаго Шекспира,—
Хотѣлось ей «убить, убить, убить»...

Ср. «Генрихъ IV», ч. I, д. I, сц. 3 (Шекспиръ, подъ ред. С. Венгерова т. II, стр. 138):

Не трудно бъ подскочить,—клянусь въ томъ небомъ,—
Чтобъ свѣтлый образъ чести съ блѣдноликой
Сорвать луны...

и «Король Лиръ», д. IV, сц. 6 (тамъ же, т. III, стр. 423):

Къ зятьямъ своимъ прокрадусь—и тогда
Бей! бей! бей! бей! бей! бей! бей.

Стр. 302. *За исключеньемъ развѣ Солимана.*

«Здѣсь нелишнимъ кажется замѣтить, что Бэконъ, въ своей статьѣ объ «Имперіи», говоритъ, что Солиманъ былъ послѣднимъ представителемъ своего рода. Мнѣ неизвѣстно, изъ какого источника почерпнулъ онъ это свѣдѣніе. Вотъ его подлинныя слова: «Смерть Мустафы имѣла роковыя послѣдствія для потомства Солимана, такъ какъ и до сего времени у турокъ существуетъ сомнѣніе въ подлинности этого потомства, ибо говорятъ, что Селимъ II не былъ на самомъ дѣлѣ его сыномъ». Но Бэконъ, въ отношеніи историческихъ своихъ свѣдѣній, нерѣдко не вполнѣ точенъ. Я могъ бы привести цѣлую дюжину доказательствъ изъ однѣхъ только Апоѳегмъ». (*Прим. Байрона*).

Выписки изъ «Апоѳегмъ» Бэкона, съ указаніями его ошибокъ, дѣйствительно были сдѣланы Байрономъ, и онъ хотѣлъ даже ихъ включить въ примѣчанія къ *Донъ-Жуану*; но потомъ оставилъ это намѣреніе.

Стр. 303.

Строфа CLVIII, сочиненная Байрономъ «въ постели, 27 февраля 1821», не попала въ первое изданіе поэмы. Замѣтивъ этотъ пропускъ, Байронъ написалъ Муррею, 31 августа: «На какомъ основаніи вы пропустили одну изъ заключительныхъ строфъ V пѣсни, присланныхъ мною дополнительно? Я долженъ сказать вамъ, разъ навсегда, что я никому не позволю подобныхъ вольностей съ моими сочиненіями, допускаемыхъ только потому, что я нахожусь въ отсутствіи. Я требую, чтобы всѣ пропуски были возстановлены, въ особенности же строфа о турецкихъ бракахъ».

Стр. 304. Въ первыхъ строкахъ предисловія Байронъ ссылается на сочиненіе маркиза Габріэля де-Кастельно: «Essai sur L'histoire ancienne et moderne de la Nouvelle Russie». Маркизъ былъ французскимъ резидентомъ въ Одессѣ и тамъ познакомился съ герцогомъ Ришелье, принимавшимъ участіе въ осадѣ Измаила.

Миссисъ *Малапропъ*—одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи Шеридана «Соперники». Она любитъ вставлять въ свою рѣчь разныя иностранныя слова, причемъ, не понимая ихъ значенія, самымъ смѣшнымъ образомъ ихъ перевираетъ. Отсюда—и ея фамилія (Mal à propos—некстати).

Сэмьюэль Феррэндъ *Ваддингтонъ* одинъ изъ выдающихся представителей англійскаго радикализма въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка.

Джемсъ *Ватсонъ*—радикальный агитаторъ, привлеченный въ 1816 г. къ суду по обвиненію въ заговорѣ съ цѣлью вызвать въ Лондонѣ вооруженное возстаніе и захватить Тоуэръ и англійскій банкъ. Онъ былъ, однако, оправданъ.

«Законъ долженъ былъ считать его однимъ изъ двухъ,—или преступникомъ, или сумасшедшимъ».

«Я говорю о законѣ *государственномъ*. Законы общечеловѣческіе болѣе снисходительны; но такъ какъ у нашихъ законниковъ всегда *законъ* на языкѣ, такъ пусть же они его и соблюдаютъ» (*Байронъ*).

Если только его смерть не послужитъ урокомъ для оставшихся въ живыхъ европейскихъ Сеяновъ.

«Изъ этого числа слѣдуетъ исключить Каннинга. Каннингъ—геній почти всеобъемлющій,—и ораторъ, и остроумный человѣкъ, и поэтъ, и политикъ; а, вѣдь, ни одинъ талантливый человѣкъ не можетъ долго идти по слѣдамъ его покойнаго предшественника, лорда Кэстльри. Если для человѣка вообще возможно стать спасителемъ родины, то Каннингъ, конечно, можетъ стать имъ; только захочетъ ли? Я, съ своей стороны, на это надѣюсь». (*Байронъ*).

Стр. 305. *Страданіе во имя совѣсти привлекаетъ больше прозелитовъ деизму, чѣмъ примѣръ иновѣрныхъ прелатовъ—сторонниковъ христіанству.*

«Лордъ Сэндвичъ говорилъ, что онъ не понимаетъ, какая разница между правовѣріемъ и иновѣріемъ. Епископъ Уорбертонъ отвѣчалъ ему: «Правовѣріе, милордъ, это—*моя* вѣра, а иновѣріе, это—вѣра *другого человѣка*». Одинъ изъ современныхъ прелатовъ, кажется, изобрѣлъ еще *третій* видъ вѣры, впрочемъ, не особенно возвышающій въ глазахъ избранныхъ такъ называемую Бентамомъ англиканскую церковность».

(*Байронъ*).

ПѢСНЬ ШЕСТАЯ.

Шестая пѣснь написана въ 1822 г., а издана въ первый разъ Джономъ Гонтомъ, вмѣстѣ съ VII и VIII пѣснями, въ 1823 г. На

заглавномъ листѣ этого изданія поставленъ былъ эпиграфъ:

«Или ты думаешь: потому что ты добродѣтеленъ, такъ не бывать на свѣтѣ ни пирогамъ, ни вину?—Да, клянусь святой Анной; и имбиремъ попрежнему будутъ обжигать ротъ». *Шекспиръ*, Двѣнадцатая Ночь, д. II, сц. 3. (См. «Библ. вел. пис.», Шекспиръ, т. II, стр. 524).

«Минуты есть прилива и отлива
Въ дѣлахъ людей»—такъ говоритъ Шекспиръ.

«Юлій Цезарь», д. IV, сц. 3 («Библ. вел. пис.», Шекспиръ, т. III, стр. 200).

Я отдалъ ей всѣ грезы первой страсти.

Мэри Чэвортъ.

Прославленный герой любезно другу
На время уступилъ свою супругу.

Катонъ отдалъ жену свою Марцію своему пріятелю Гортензію, а послѣ его смерти взялъ ее опять къ себѣ. Цезарь упрекалъ его за это, говоря, что онъ отдалъ жену богатому человѣку, чтобы затѣмъ выгодно опять жениться на вдовѣ.

Стр. 309.

Де-Тоттъ и Кантемиръ вамъ указать
На это могутъ.

Баронъ *де-Тоттъ*, въ своей книгѣ «О состояніи Турецкой имперіи» (1786), говоритъ, что эта особа носитъ наименованіе «кьяйя кадунъ», т. е. госпожа или правительница женъ. Молдавскій господарь Димитрій *Кантемиръ*, отецъ извѣстнаго русскаго сатирика Антіоха Кантемира, написалъ «Исторію возвышенія и упадка Оттоманской имперіи», переведенную на англійскій яз. въ 1734 г.

Стр. 314.

Въ такомъ лѣсу съ дороги
Разъ сбился Дантъ.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
(*Inferno, I, 1, 2*).

Стр. 314.

Счастливымъ совпаденьемъ обстоятельствъ.

Одинъ изъ защитниковъ королевы Каролины въ ея скандальномъ процессѣ въ палатѣ лордовъ объяснялъ наиболѣе компрометирующіе ее эпизоды ея отношеній къ Бергами «страннымъ стеченіемъ обстоятельствъ».

Стр. 316 *Потомки*
За предковъ не должны нести отвѣтъ.

Байрону, вѣроятно, было извѣстно о «намекѣ на незаконность» въ его собственной родословной. Джонъ Байронъ изъ Клейтона, дѣдъ Ричарда, второго лорда Байрона, былъ внѣбрачнымъ сыномъ Елизаветы, дочери Вильяма Костердена изъ Блэксли, въ Ланкаширѣ, которая была вдовою Джорджа Гальга изъ Гальга и на которой потомъ женился старшій Джонъ Байронъ изъ Клейтона, «маленькій сэръ Джонъ съ большой бородой». Имѣнія въ Ньюстэдѣ и Ланкаширѣ достались ему не по наслѣдству, а по даренію. (*Кольриджъ*).

ПѢСНЬ СЕДЬМАЯ.

«Седьмая и восьмая пѣсни заключаютъ въ себѣ много подробностей (подобно описанію бури во второй пѣснѣ) осады и взятія Измаила, съ сильно саркастическимъ изображеніемъ этихъ всемірныхъ мясниковъ,—нашего наемнаго солдатства... Въ нынѣшнее время, при начавшемся спорѣ философіи съ деспотизмомъ, необходимо обнажить мечъ противъ подобныхъ вещей и подобныхъ людей. Я знаю, что борьба страшно неравна; но ее нужно начать, и она должна окончиться ко благу для человѣчества, хотя бы отдѣльныя личности и подвергались риску».

(*Письмо къ Муру*, 8 августа 1822 г.).

Стр. 320.

Всѣ Томсоны, въ честь славнаго поэта,
Носили имя Джемми.

Извѣстный поэтъ XVIII в. Джемсъ Томсонъ.

Стр. 321.

Одинъ изъ нихъ былъ тотъ полковникъ бравый,
Что въ Галифаксѣ увѣнчался славой.

Куплетъ изъ фарса Кольмана:

Прельстилъ дѣвицу вечеркомъ
Нашъ храбрый Смитъ полковникъ;
Она повѣсилась тайкомъ,
Когда сбѣжалъ любовникъ.

Шекспиръ вполнѣ съ моимъ согласенъ мнѣньемъ.

Ср. «Гамлетъ», д. IV, сц. 4 («Библ вел. пис.», Шекспиръ, т. III, стр. 124):

Гляжу съ стыдомъ, какъ двадцать тысячъ войска
Идутъ на смерть, и за видѣнье славы
Въ гробахъ, какъ въ лагерѣ, уснутъ. За что?
За клокъ земли, гдѣ даже нѣтъ и мѣста
Сражаться всѣмъ, гдѣ для однихъ убитыхъ
Нельзя довольно накопать могилъ.

ПѢСНЬ ВОСЬМАЯ.

Стр. 329.

Вездѣ звучатъ: «Аллахъ!» и «Алла-гу!»

«Алла-гу»—боевой кличъ мусульманъ. Они протягиваютъ послѣдній слогъ, и это производитъ дикое и оригинальное впечатлѣніе.

(*Байронъ*).

Стр. 330. *Гросъ, что въ битвѣ палъ,*
Въ побѣдномъ бюллетенѣ Гровомъ сталъ.

«Фактъ. См. газетныя извѣстія о Ватерлоо. Я припоминаю, что я тогда же сказалъ одному пріятелю: «Вотъ, какова слава! Убили человѣка,—его звали Гросъ, а они печатаютъ: *Гровъ*!» Я учился въ колледжѣ вмѣстѣ съ покойнымъ Гросомъ. Это былъ очень милый и порядочный человѣкъ, очень любимый въ обществѣ за свое остроуміе, веселость и застольныя пѣсни».

(*Прим. Байрона*).

Что Африка дала ему рожденье.

Генералъ Чарльзъ Валланси въ 1782 г. напечаталъ «Опытъ изслѣдованія о кельтскомъ языкѣ», гдѣ пытался доказать, что этотъ языкъ находится въ ближайшемъ родствѣ съ пуническимъ. Сэръ Лауренсъ Парсонсъ въ 1795 г. издалъ брошюру «Въ защиту древней исторіи Ирландіи», гдѣ также утверждалъ, что карѳагенскій и ирландскій языки «первоначально были одинаковы, такъ что или ирландцы происходятъ отъ карѳагенянъ, или наоборотъ, карѳагеняне отъ ирландцевъ». *Кольриджъ*).

Стр. 331. *Что такъ мостилась мостовая ада.*

«Португальская пословица говоритъ, что адъ вымощенъ добрыми намѣреніями».

(*Прим. Байрона*).

Гдѣ Бэкона излюбленное чадо
Окрестность превращало въ нѣдра ада.

«Говорятъ, что порохъ изобрѣтенъ монахомъ Бэкономъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 333.

Такъ были слабы эти укрѣпленья,

Что ихъ войска снесли безъ затрудненья.
«Они были вышиною всего два фута».
(*Прим. Байрона*).

Стр. 331. Пропущенная Козловымъ LI строфа (переводъ *П. О. Морозова*).

Начнетъ сперва роптать, потомъ — браниться,
Потомъ—швырять каменьями въ господъ
И, наконецъ, съ оружьемъ устремится,
Когда его отчаянье возьметъ,—
И грозной бурей свалка разразится.
Не знаю, такъ ли будетъ и впередъ,
Но только революціей одною
Земля одержитъ верхъ надъ Сатаною.

Стр. 334.

«Богъ создалъ свѣтъ, а смертный—города»,
Такъ Куперъ говоритъ.

Вильямъ *Коуперъ* (Cowper, 1731—1800), авторъ дидактической поэмы «Работа» (1785).

Изъ всѣхъ людей, прославленныхъ молвою,
Счастливѣйшимъ считаю Буна я.

Даніэль *Бунъ* (1735—1820) завоеватель Кентукки. Въ 1769 г. онъ основалъ колонію на р. Кентукки и построилъ здѣсь укрѣпленіе, названное имъ «Бунсборо». Отсюда онъ много разъ успѣшно выступалъ противъ индѣйцевъ и, въ концѣ концовъ, присоединилъ къ американскому союзу, въ 1791 г., цѣлую область Кентукки. Доживъ до глубокой старости, онъ не переставалъ быть страстнымъ охотникомъ и оставилъ любопытныя записки, изд. въ 1793 г.

ПѢСНЬ ДЕВЯТАЯ.

Стр. 342.

Однакожъ ты безчестно поступилъ
Съ Киннэрдомъ, не оставшись слову вѣренъ.

Въ началѣ января 1818 г. лордъ Киннэрдъ увѣдомилъ начальника штаба оккупаціонной арміи, что лицо, имени котораго онъ называть не желаетъ, открыло ему о существованіи заговора съ цѣлью убить герцога Веллингтона. Двѣ недѣли спустя, когда герцогъ возвращался къ себѣ домой, какой-то человѣкъ выстрѣлилъ въ въ него изъ пистолета; тогда герцогъ обратился къ принцу-регенту, прося подѣйствовать на Киннэрда и убѣдить его назвать лицо, сообщившее ему о заговорѣ. Нѣкій г. Чэдъ былъ командированъ въ Брюссель для свиданія съ Киннэрдомъ. Послѣдній рѣшительно отказался назвать «неизвѣстнаго», но затѣмъ поѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ въ Парижъ, гдѣ черезъ нѣсколько дней этотъ «неизвѣстный» былъ арестованъ и оказался нѣкимъ Николемъ или Маринэ, бывшимъ сборщикомъ податей при Людовикѣ XVIII, бѣжавшимъ затѣмъ съ казенными деньгами въ Бельгію. Киннэрдъ, считая арестъ Маринэ нарушеніемъ даннаго французскимъ правительствомъ обязательства, подалъ объ этомъ записку въ палату пэровъ. Тогда Веллингтонъ, въ свою очередь, сталъ обвинять Киннэрда въ «распространеніи опасныхъ мнѣній» и въ дружбѣ съ подозрительными людьми и революціонерами. (*Кольриджъ*).

Безспорно, ты головорѣзъ лихой
Тѣмъ прозвищемъ обязанъ ты Шекспиру.

Ср. «Макбетъ», д. III, сц. 4 («Библ. вел. пис.», Шекспиръ, т. III, стр. 480):

Ты лучшій изо всѣхъ головорѣзовъ.

Стр. 343.

Ты радъ, когда тебя зовутъ притомъ
Спасителемъ народовъ неспасенныхъ
И другомъ странъ, досель порабощенныхъ...

«См. парламентскія рѣчи послѣ сраженія при Ватерлоо». (*Прим. Байрона*).

Хоть разорилъ свою отчизну Питтъ,
Но онъ вполнѣ былъ безкорыстный бриттъ.

Питтъ отказался отъ предложенныхъ ему лондонскими купцами 100 тыс. фунтовъ на уплату его личныхъ долговъ и отъ 30 тыс., пожалованныхъ ему изъ личныхъ средствъ короля. (*Кольриджъ*).

Стр. 344.

Я вовсе не намѣренъ льстить народу.

«Очень трудно сказать, какая форма правленія *хуже другихъ*: вѣдь всѣ онѣ такъ плохи. Что касается демократіи, то она, конечно, хуже всѣхъ, ибо—что такое, на самомъ дѣлѣ, демократія? Аристократія черни». (*Замѣтки Байрона*).

Стр. 345.

Съ шакалами, что близъ руинъ Эфеса
Стадами мнѣ встрѣчались...

«Въ Греціи я никогда не видывалъ и не слыхалъ этихъ животныхъ, но среди развалинъ Эфеса я слышалъ ихъ сотни». (*Прим Байрона*).

. . . шахъ Надиръ, что міръ забрызгалъ кровью.

Надиръ-шахъ, или Тамасъ-Кули-ханъ, совершилъ нашествіе на Индію въ 1739—1740 гг. и былъ убитъ въ 1747 г.

Стр. 347. *. . . . не Кэстельри найдетъ*
Загадки ключъ.

«Это было написано задолго до самоубійства упомянутаго лица». (*Прим. Байрона*).

Стр. 348. *Стоящимъ на горѣ среди сіянья*
Меркурія Шекспиръ изобразилъ.

Ср. «Гамлетъ», д. III, сц. 4 («Библ. вел. пис.», Шекспиръ, т. III. стр. 117).

Стр. 350.

А также многихъ тысячъ крѣпостныхъ.

«Въ Россіи состояніе всегда оцѣнивается по количеству рабовъ». (*Прим. Байрона*).

ПѢСНЬ ДЕСЯТАЯ.

(Окончена 6 Октября 1822 года).

Стр. 352.

Чтобъ такъ, какъ Джеффри, уязвить меня.

Джеффри писалъ въ «Эдинбургскомъ Обозрѣніи» (февр. 1822) по поводу нападокъ Байрона на Соутти, что эти нападки «черезчуръ грубы и невоздержны. По нашему мнѣнію, онѣ служатъ дурнымъ примѣромъ для литературы и не дѣлаютъ чести ни характеру, ни вкусу благороднаго автора».

«Я прочелъ послѣднюю статью Джеффри», писалъ Байронъ Муру, 8 іюня 1822 г. «Кажется, вся суть этой статьи въ томъ, что онъ желаетъ вызвать меня на возраженія. Но я не хочу, потому что я ему обязанъ за его прежнюю любезность. Я догадываюсь, что онъ не въ силахъ былъ устоять отъ искушенія напасть на меня, и, зная человѣческую природу, не могу порицать его за это».

Наполовину я шотландецъ самъ.

«Я не люблю надоѣдать вамъ по поводу шотландскихъ романовъ (какъ ихъ принято называть, хотя два изъ нихъ—совсѣмъ, а остальные наполовину англійскіе); но ничто и никогда не могло и не можетъ убѣдить меня, съ тѣхъ поръ, какъ я впервые провелъ съ вами десять минутъ, что вы не самый подлинный шотландецъ. Для меня въ этихъ романахъ такъ много шотландскихъ воспоминаній (вѣдь я до десяти

лѣтъ воспитывался какъ настоящій шотландецъ), что я никогда съ ними не разстаюсь» (*Письмо къ В. Скотту* 12 янв. 1822 г.).

Стр. 353. *Смерть царь царей и вмѣстѣ— Гракхъ вселенной.*

«Тиберій Гракхъ, въ бытность свою народнымъ трибуномъ, требовалъ, отъ имени народа, утвержденія аграрнаго закона, въ силу котораго всѣ владѣвшіе землею въ количествѣ большемъ противъ опредѣленнаго числа акровъ, должны были уступить излишекъ въ пользу бѣднѣйшихъ классовъ населенія». (*Прим. Байрона*).

Стр. 354.

Хотѣлъ бы лицемѣрье я хвалить,
Какъ добродѣтель—пасторы.

Въ подлинникѣ сказано: «въ сорокъ пасторскихъ силъ» и сдѣлано примѣчаніе: «Метафора, заимствованная отъ сорока лошадиныхъ силъ» паровой машины. Извѣстный шутникъ, достопочтенный Сидней Смитъ, сидя однажды за обѣдомъ у своего брата пастора, замѣтилъ, что его глухой сосѣдъ разговариваетъ въ «двѣнадцать пасторскихъ силъ».

Стр. 355. *Царица, съ Ифигеніей сходна,*
Въ ней посѣтила нѣкогда Тавриду.

«Императрица посѣтила Крымъ, въ сопровожденіи императора Іосифа, въ... не помню, которомъ году». (*Прим. Байрона*).

Стр. 356.

Тамъ герцогомъ, благодаря интригамъ,
Бездушный Биронъ былъ провозглашенъ.

«При императрицѣ Аннѣ, ея любовникъ Биронъ принялъ имя и гербъ французскихъ Бироновъ», фамилія которыхъ еще и теперь существуетъ. Нѣкоторыя изъ дочерей Курляндіи еще и теперь носятъ это имя; я помню, что видѣлъ одну изъ нихъ въ Англіи, въ благословенный годъ союзовъ (1814). Герцогиня Сомерсетъ представила меня ей въ качествѣ однофамильца». (*Прим. Байрона*).

Стр. 357.

Одиннадцати тысячъ дѣвъ невинныхъ
Тамъ кости спятъ на кладбищахъ старинныхъ.

«Св. Урсула и, вмѣстѣ съ нею, 11.000 дѣвъ существовали еще въ 1816 году и, вѣроятно, будутъ еще долго существовать». (*Прим. Байрона*).

ПѢСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ.

Стр. 360. *... Съ нѣкоторыхъ поръ*
Я чувствую чахотки приближенье.

«Я былъ очень нездоровъ,—цѣлыхъ четыре дня пролежалъ въ постели въ сквернѣйшемъ номерѣ сквернѣйшей гостиницы въ Леричи, съ сильными припадками ревматизма, болѣзни печени, несваренія желудка и чортъ знаетъ, чего еще». (*Письмо къ Муррею*, 9 октября 1822 г.). Въ томъ же письмѣ Байронъ сообщаетъ, что онъ окончилъ, но не успѣлъ переписать, X-ю пѣснь и началъ XI-ю.

Стр. 362. Строфа XXVII, пропущенная Козловымъ *).

Джентльмэны тѣ, вися на фонаряхъ,
Могли бы намъ доставить освѣщенье
Не хуже, чѣмъ пожары въ деревняхъ;
Но старый способъ лучше, безъ сомнѣнья,
Для близорукихъ... Въ книгахъ и статьяхъ
Мелькаетъ также пламя просвѣщенья,
Нерѣдко напугаетъ и смутитъ.
Но чаще - раньше времени сгоритъ.

*) Переводъ *П. О. Морозова.*

Стр. 362.

Домовъ игорныхъ и дворца Сентъ-Джемса.

«Игорные дома называются обыкновенно «адами». Я не знаю, какъ велико теперь ихъ число, но въ молодости зналъ довольно точно. Были «ады» золотые и серебряные. Однажды одинъ пріятель чуть не вызвалъ меня на дуэль за то, что я на его вопросъ о томъ, какъ я думаю, куда попадетъ его душа послѣ смерти, отвѣчалъ: «въ серебряный адъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 364. *Модистки, отпускавшія наряды*
Инымъ дѣвицамъ въ долгъ...

Байронъ замѣчаетъ, что эти «иныя дѣвицы» назывались модницами»: «теперь это названіе, по всей вѣроятности, составляетъ загадку. По крайней мѣрѣ, такимъ оно показалось мнѣ, когда я вернулся въ Лондонъ съ Востока, въ 1811—1812 гг. Оно означаетъ красивую, высокую, изящную молодую дѣвушку, хорошо подготовленную своими друзьями и получающую отъ модистки гардеробъ въ долгъ, съ тѣмъ, что за него заплатитъ *будущій мужъ*. Это было мнѣ разъяснено одной молодой и красивой миссъ, когда я сталъ при ней хвалить туалетъ одной дѣвицы; она увѣряла, что такія сдѣлки въ Лондонѣ составляютъ обычное явленіе; а такъ какъ сама она была очень богата, красива и одѣвалась просто, хоть и дорого, то, признаюсь, я ей и повѣрилъ. Если понадобится, я могу сослаться на источникъ и указать имена модистки и ея кліентокъ. Но надо думать, что этотъ обычай теперь уже вышелъ изъ употребленія». (*Прим. Байрона*).

Всѣхъ «восемьдесятъ главныхъ риѳмачей».

Въ своемъ шуточномъ «посвященіи» Гете трагедіи «Марино Фальеро», Байронъ говоритъ, между прочимъ, о «1987 поэтахъ», имена которыхъ можно найти въ «Біографическомъ словарѣ живущихъ писателей». См. наст. изд. т II, Прим., стр. XXXII

Стр. 369.

Съ нимъ лампа Аладина подъ рукой.

«Говорятъ, знаніе—сила. Я и самъ такъ думалъ; но теперь я знаю, что подъ «знаніемъ» слѣдуетъ разумѣть деньги... Каждая гинея есть философскій камень, или, по крайней мѣрѣ, пробный камень для философовъ. Вы мнѣ повѣрите, когда я провозглашу свое набожное убѣжденіе, что *капиталъ есть добродѣтель*». (*Письмо къ Киннерду*, 6 февраля 1822 г.).

«*Какъ небо есть любовь*», *и пр.*

Стихи эти взяты изъ «Пѣсни послѣдняго менестреля» В. Скотта.

Стр. 370.

А Джеффри мнѣ благой совѣтъ даетъ:
Уйдя отъ зла, писать какъ Вальтеръ Скоттъ.

Джеффри писалъ: «Мы вовсе не думаемъ, что лордъ Байронъ въ этихъ произведеніяхъ имѣлъ какія-либо дурныя намѣренія, и готовы признать, что у него не было никакого желанія возставать противъ нравственности или разстраивать счастье своихъ читателей... Но наша обязанность—замѣтить, что многое, имъ написанное, кажется намъ написаннымъ именно съ подобною цѣлью... Какъ далека отъ этого система, или характеръ сочиненій великаго автора Уэверлея!» («Эдинб. Обозр.» 1822, февраль).

А ложью дышитъ каждая страница.

«См. сочиненіе Вильяма *Митфорда*: «Graecia Verax». Его величайшее удовольствіе заключается въ томъ, чтобы прославлять тиранновъ,

опровергать Плутарха, необычно передавать греческія имена и писать оригинальнымъ слогомъ; но что всего страннѣе, такъ это то, что его книга является положительно лучшею изъ современныхъ исторій Греціи, а самъ онъ, можетъ быть, лучшимъ изъ современныхъ историковъ вообще. Указавъ его недостатки, слѣдуетъ, по справедливости, указать и его достоинства: ученость, трудолюбіе, усердіе въ разысканіяхъ, злобу и пристрастіе. Два послѣднія качества я считаю достоинствами въ писателѣ, потому что они заставляютъ его писать серьезно». (*Прим. Байрона*).

О Мальтусѣ скажу, что онъ въ дѣлахъ
Далеко не такой, какъ на словахъ.

Байронъ, вѣроятно, намекаетъ на апокрифическій анекдотъ объ одиннадцати дочеряхъ Мальтуса. На самомъ дѣлѣ у него было трое дѣтей. (*Кольриджъ*).

Всегда
Везетъ вдовцамъ лѣтъ сорока и болѣ.

«Этотъ стихъ смутитъ комментаторовъ болѣе, нежели современниковъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 376.

Такъ русскіе изъ бани лѣзутъ въ снѣгъ.

«Русскіе, какъ всѣмъ извѣстно, изъ горячей бани бѣгутъ купаться въ Невѣ; забавная практическая антитеза, которая, повидимому, не дѣлаетъ имъ вреда». (*Прим. Байрона*).

ПѢСНЬ ДВѢНАДЦАТАЯ.

Стр. 377.

Онъ съ ногъ до головы былъ джентльмэнъ.

«Оставляя себя въ сторонѣ, позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ о принцѣ-регентѣ. Онъ приказалъ представить меня ему на балѣ и послѣ нѣсколькихъ фразъ, особенно любезныхъ съ его стороны, относительно моихъ литературныхъ опытовъ, сталъ говорить со мною о васъ и вашихъ безсмертныхъ произведеніяхъ. Онъ ставитъ васъ выше всѣхъ поэтовъ, прежнихъ и современныхъ... Онъ говорилъ попеременно то о Гомерѣ, то о васъ, и, повидимому, хорошо знаетъ обоихъ... Все это было высказано въ такихъ выраженіяхъ, которыя только пострадали бы отъ моей неумѣлой передачи, въ такомъ тонѣ и съ такимъ тактомъ, по которымъ я составилъ себѣ очень высокое мнѣніе объ его способностяхъ и совершенствахъ. Конечно, онъ выше, въ этомъ отношеніи, всѣхъ современныхъ джентльмэновъ». (*Письмо къ В. Скотту*, 6 іюля 1812 г.).

. . . что Александръ возвесть хотѣлъ,
Чтобъ обезсмертить славу громкихъ дѣлъ.

«Одинъ скульпторъ предлагалъ вырубить изъ горы Аѳона статую Александра, съ городомъ въ одной рукѣ и, кажется, съ рѣкою въ карманѣ и еще разными другими подобными украшеніями. Но Александръ умеръ, а Аѳонъ, надѣюсь, останется въ неприкосновенности и станетъ смотрѣть на живущій вокругъ него свободный народъ». (*Прим. Байрона*).

ПѢСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ.

(Пѣснь тринадцатая переписана между 12 и 19 февраля 1823 г.).

Стр. 383. Въ строфахъ LV—LXXII описывается родовой замокъ Байрона—Ньюстэдское аббатство. Это аббатство, или пріоратъ, было основано королемъ Генрихомъ II въ видѣ искупительной жертвы за убійство архіепископа Ѳомы Бекета. Земли, примыкавшія къ долинѣ рѣки Лина и составлявшія часть Шервудскаго лѣса, были пожалованы во владѣніе «черныхъ братьевъ ордена св. Августина», и на берегу рѣки, къ югу отъ лѣса, построено было, на «новомъ мѣстѣ» (new stead), аббатство, посвященное августинцами Пресвятой Дѣвѣ. Въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ этотъ монастырь, сохраняя основныя черты норманской архитектуры, перестраивался и расширялся въ разныхъ стиляхъ, почему Байронъ и называетъ его «готическимъ» Для постройки мельницъ, а также и ради осушенія болотистой долины, монахи устроили на рѣкѣ плотину и выкопали цѣлый рядъ большихъ прудовъ или «озеръ», черезъ которые и протекаетъ рѣка Линнъ бурливымъ каскадомъ. Послѣ упраздненія монастырей, въ 1539 г., Генрихъ VIII подарилъ это аббатство сэру Джону Байрону, «блюстителю» Шервуда, обратившему его въ рыцарскій замокъ. Поросшій травою, квадратный дворъ окруженъ двухъ-этажными монастырскими зданіями. Посерединѣ двора находился старинный фонтанъ, украшенный причудливыми фигурами; такія же фигуры (а не изображенія святыхъ) находились и въ рядѣ нишъ, идущихъ вдоль верхняго этажа. Въ расположеніи комнатъ осталось много монастырскаго. Такъ, здѣсь сохранилась и пріемная монаховъ, и трапеза, и пріемная пріора, и т. д., а также готическая капелла. Всѣ эти просторныя залы, длинныя галлереи и обширныя комнаты не только при Байронѣ, но еще задолго до его времени находились уже въ состояніи, близкомъ къ разрушенію. Байронъ продалъ аббатство своему старому школьному товарищу, полковнику Томасу Уайльдмэну, въ ноябрѣ 1817 г. Вдова этого новаго владѣльца въ 1861 г. продала аббатство Вильяму Фредерику Веббу, извѣстному путешественнику и другу Давида Ливингстона. По смерти Вебба, аббатство перешло къ его дочери Джеральдинѣ, вышедшей за генерала Черисайда, бывшаго въ 1899 г. губернаторомъ Квинсленда. (*Кольриджъ*).

Стр. 384.

Тотъ грустный стонъ я помню и донынѣ.

«Это не выдумка: нѣтъ надобности указывать, гдѣ именно, и въ какомъ графствѣ, но я его слышалъ—и одинъ, и вмѣстѣ съ людьми, которые уже никогда болѣе его не услышатъ. Конечно, его можно объяснить какими-нибудь естественными или случайными причинами; но это былъ странный, совсѣмъ особенный звукъ, подобнаго которому я нигдѣ не слыхалъ,—а я слышалъ много звуковъ и на землѣ, и подъ землею, въ развалинахъ и пещерахъ, и т. п.». (*Прим. Байрона*).

Стр. 386.

Изъ высшихъ сферъ лишь избранныя лица...

Крайне трудно, если не совсѣмъ невозможно, объяснить всѣ имена гостей «Норманскаго аббатства». Нѣкоторыя изъ этихъ именъ, повидимому, просто вымышлены; другія, несомнѣнно, являются болѣе или менѣе прозрачными для современниковъ псевдонимами разныхъ тогдашнихъ знаменитостей; но въ наше время лишь очень немногія изъ этихъ «тѣней» поддаются матеріализаціи. (*Кольриджъ*).

Тутъ Паррольсъ былъ..

Паррольсъ (или Пароль)—одно изъ лицъ комедіи Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается». Подъ этимъ прозвищемъ, навѣрное, скрывается *Брумъ* (см. выше, пропущенныя строфы въ I пѣснѣ).

Былъ герцогъ Дэшъ...

Вѣроятно, Вильямъ Спенсеръ, шестой герцогъ Девонширскій, школьный товарищъ Байрона, бывшій въ Ньюстэдѣ.

Стр. 387. Маркизъ де Рюзъ—графъ де-Монронъ, товарищъ Талейрана, дипломатъ и свѣтскій остроумецъ. Будучи на службѣ у Наполеона, онъ навлекъ на себя его неудовольствіе и, опасаясь непріятныхъ послѣдствій, удалился въ 1812 г. въ Англію, гдѣ и провелъ около двухъ лѣтъ. Въ лондонскихъ клубахъ онъ былъ извѣстенъ подъ кличкой «стараго француза».

(*Кольриджъ*).

Стр. 388.

Со свистомъ вѣроломнымъ Одиссея,
Сгубившаго Долона.

Долонъ — троянскій соглядатай, котораго Одиссей и Діомедъ захватили ночью въ греческомъ лагерѣ и, обѣщавъ пощадить, подробно разспросили, а потомъ зарѣзали. См. «Иліаду», X, 341—464.

Стр. 389.

Послѣднее, по моему, порокъ,
Являющій, какъ человѣкъ жестокъ.

«Айзакъ Вальтонъ, чувствительный дикарь, на котораго теперь такъ любятъ ссылаться въ подтвержденіе своей любви къ невинному спорту и старымъ пѣснямъ, учитъ, какъ ловить лягушекъ и, ради опыта, ломать имъ ноги, и даетъ разныя наставленія по части уженья рыбы—самаго жестокаго, холоднаго и глупаго изъ всѣхъ видовъ такъ называемаго спорта. Пусть говорятъ, сколько угодно, о красотахъ природы,—удильщикъ думаетъ только о рыбномъ блюдѣ; ему некогда отвести глаза отъ воды, и «клевъ» для него лучше всякаго ландшафта. Кромѣ того, извѣстно, что многія рыбы «клюютъ» лучше въ дождливую погоду. Охота на кита, на акулу, на тунца имѣетъ въ себѣ нѣчто благородное, потому что сопряжена съ опасностью; ловля рыбы прямо сѣтями и гуманнѣе, и полезнѣе. Но уженье!... Удильщикъ не можетъ быть хорошимъ человѣкомъ.

Одинъ изъ моихъ друзей, прочитавъ написанное, приписалъ: «Одинъ изъ лучшихъ людей, которыхъ я когда-либо зналъ,—гуманный, деликатный, великодушный, превосходный во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ, — былъ удильщикомъ; правда, онъ удилъ на искусственныхъ мушекъ и былъ бы неспособенъ къ тѣмъ крайностямъ, о которыхъ говоритъ Вальтонъ».

«*Audi alteram partem*. Я привожу здѣсь это замѣчаніе въ видѣ противовѣса своему собственному мнѣнію». (*Прим. Байрона*).

ПѢСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

(Пѣснь четырнадцатая начата 23 февраля, окончена 4 марта 1823 года).

Стр. 395. *... и другихъ,*
Зайдя въ любой кафе, найдете вмигъ.

«Кажется, въ письмахъ Свифта или Гораса Вальполя разсказывается, что одинъ всеобщій Пиладъ отвѣчалъ джентльмэну, сожалѣвшему объ утратѣ друга: «А я, когда теряю друга, иду въ кафе Сентъ-Джемсъ и выбираю себѣ новаго». Я припоминаю анекдотъ въ томъ же родѣ. Сэръ Вильямъ Друммондъ былъ завзятый игрокъ. Однажды, придя въ клубъ, гдѣ онъ былъ членомъ, онъ обратилъ на себя вниманіе своимъ грустнымъ видомъ. «Что съ вами, сэръ Вильямъ?» воскликнулъ блаженной памяти Гэръ.—«Ахъ», отвѣчалъ сэръ Вильямъ, — «я потерялъ бѣдную лэди Д.»—«А въ какой игрѣ?» былъ утѣшительный вопросъ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 396.

Въ томъ мудрый Оксенштирна, я увѣренъ,
Васъ убѣдитъ.

«Знаменитый канцлеръ Аксель Оксенштирна говорилъ своему сыну, который удивлялся, что въ политикѣ иногда малыя причины производятъ сильное дѣйствіе: «Видишь, сынъ мой, какъ мало мудрости нужно для того, чтобы управлять царствами». (*Прим. Байрона*).

Стр. 397.

Цвѣтокъ «любовь отъ праздности» Шекспиру
Обязанъ появленіемъ на свѣтъ.

Ср. «Сонъ въ Иванову ночь», д. II, сц. I «Библ. вел. пис.», Шекспиръ, т. I, стр. 510):

. . . . стрѣла
На западный цвѣтокъ, кружась, упала.
Онъ прежде былъ такъ бѣлъ, какъ молоко,
Но, раненый любовію, отъ раны
Онъ сдѣлался пурпурнымъ. Всѣ дѣвицы
Любовью въ праздности его зовутъ.

Стр. 400.

Таинственныхъ пустынь, пещеръ нѣмыхъ.

Стихъ изъ «Отелло» (д. I, сц. 3).

ПѢСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ.

(окончена 25 Марта 1823 года).

Стр. 403.

Божественный Учитель, чьи скрижали
Надъ міромъ словно свѣточи горятъ.

Въ подлинникѣ: И ты, еще болѣе божественный, чья судьба быть непонятымъ людьми, которые дѣлаютъ твое чистое ученіе оправданіемъ всяческаго зла». Къ этимъ словамъ Байронъ сдѣлалъ примѣчаніе: «Въ наше время, для того, чтобы избѣжать недоразумѣній, необходимо пояснить, что подъ словами: «еще болѣе божественный» я разумѣю—Христа. Если когда-либо Богъ былъ человѣкомъ, или человѣкъ—Богомъ, то Онъ былъ и тѣмъ, и другимъ. Я никогда не былъ противникомъ Его ученія, возмущаясь лишь тѣмъ употребленіемъ, или злоупотребленіемъ, какое изъ него дѣлали. Каннингъ однажды сослался на христіанство въ оправданіе рабства негровъ, и Вильберфорсу пришлось сказать въ отвѣтъ лишь немногое. Развѣ Христосъ былъ распятъ затѣмъ, чтобы черныхъ людей били плетью? Если такъ, то лучше бы Ему родиться мулатомъ, чтобы дать людямъ того и другого цвѣта одинаковую надежду на свободу или, по крайней мѣрѣ, на спасеніе души».

Когда бъ во время оно злой зоилъ
Знакомства съ музой мнѣ не запретилъ.

Брумъ, въ критической статьѣ о «Часахъ Досуга» («Эдинб. Обозр.» 1808), совѣтовалъ Байрону оставить поэзію и обратить свои таланты на что-нибудь лучшее.

Стр. 404.

Извѣстный Раппъ, супружества не чтущій,
Колонію сектантовъ основалъ.

Это была колонія «гармонистовъ», эмигрантовъ изъ Виртемберга, которые въ 1803 – 1805 гг. поселились, подъ предводительствомъ Георга Раппа, въ одномъ городѣ въ 120 миляхъ къ сѣверу отъ Филадельфіи.

«Эта необыкновенная и цвѣтущая нѣмецкая колонія въ Америкѣ вовсе не исключаетъ брака изъ жизни, какъ это дѣлаютъ «шэкеры», но налагаетъ на брачный союзъ такія ограниченія, благодаря которымъ въ теченіе извѣстнаго числа

лѣтъ можетъ родиться лишь заранѣе опредѣленное число дѣтей, и всѣ эти дѣти рождаются почти въ одномъ и томъ же мѣсяцѣ, точно у овецъ на фермѣ. Эти «гармонисты» (называемые такъ по имени ихъ колоніи) изображаются въ различныхъ сочиненіяхъ объ Америкѣ народомъ замѣчательно цвѣтущимъ, благочестивымъ и тихимъ».

(*Прим. Байрона*).

Стр. 407.

За что Лукулла похвалить могу.

«Блюда «à la Лукуллъ». Этотъ герой, покоритель Востока, гораздо больше заслуживаетъ признательности за пересадку вишенъ (онѣ впервые имъ привезены въ Европу) и за изобрѣтеніе нѣсколькихъ хорошихъ кушаній; я не рѣшусь сказать, чѣмъ онъ оказалъ больше услугъ человѣчеству,—своими завоеваніями или своимъ поварскимъ искусствомъ. Вишневое дерево смѣло можетъ помѣряться съ кровавымъ лавромъ; впрочемъ, онъ старался пріобрѣсти славу и на томъ, и на другомъ поприщѣ». (*Прим. Байрона*).

Стр. 410. *Какъ Гекла клокочу...*

«Гекла—знаменитый горячій источникъ въ Исландіи». (*Прим. Байрона*).

Лишить покоя

Ричарда могутъ духи.

Ср. «Ричардъ III», д. V. сц. 3 («Библ. вел. пис.», Шекспиръ, т. I, стр. 415).

Святымъ клянусь я Павломъ—въ эту ночь
Душа моя отъ сновъ смутилась больше,
Чѣмъ отъ отряда въ десять тысячъ войска.

Міръ тѣней
Не разъ смущалъ меня въ тиши ночей.

«Гоббезъ, сомнѣваясь въ существованіи собственной души, однако, готовъ былъ признать существованіе духовъ, лишь бы они не тревожили его своими посѣщеніями».

(*Прим. Байрона*).

Наслѣдье жъ ихъ—лишь павшихъ царствъ
гробницы.

ПѢСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ.

(Начата 29 марта 1823 г. и окончена 6 мая того же года.

Стр. 411.

И quia impossibile лишь славить.

Выраженіе: «quia impossibile» принадлежитъ не св. Августину, а Тертулліану, въ его трактатѣ: «О плоти Христовой»: «Crucificus et Dei filius: non pudet, quia pudendum est; est mortuus Dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile est».

Стр. 412.

Такъ намъ никто не скажетъ, изъ чего
Приготовлялся тирскій пурпуръ..

«Составъ древняго тирскаго пурпура все еще служитъ предметомъ спора: одни говорятъ, что онъ приготовлялся изъ особой породы моллюсковъ, другіе—изъ кошенили, третьи—изъ кермеса; неизвѣстенъ въ точности даже его цвѣтъ, по однимъ—пурпуровый, по другимъ—ярко-красный. Я не скажу объ этомъ ничего».

(*Прим. Байрона*).

Стр. 413.

Тихо шелъ монахъ,
Пугая взоры странностью походки.

«Это мѣсто, писалъ Байронъ Муру 13 августа 1814 г., стоитъ того, чтобы на него посмотрѣть, какъ на интересную развалину, и я могу васъ увѣрить, что тамъ было и кое-что забавное, даже въ мое время; но это время уже прошло. И привидѣнія, и готическая архитектура, и озера, и пустынный видъ,—все это до извѣстной степени оживляетъ мѣстность». По поводу этого письма Муръ замѣчаетъ, что Байронъ, въ послѣднее свое пребываніе въ Ньюстэдѣ, серьезно вообразилъ, будто онъ видѣлъ привидѣніе «Чернаго монаха», которое, какъ говоритъ легенда, бродитъ по аббатству со времени уничтоженія монастырей. Это-то привидѣніе и описано въ *Донъ-Жуанѣ*. Говорятъ, что ньюстэдскій призракъ являлся и кузинѣ Байрона, миссъ Фанни Паркинсъ, которая потомъ нарисовала его по памяти.

Стр. 416.

«Аттической пчелы» узналъ онъ жало.

«Кажется, Діогенъ наступилъ на *коверъ*, промолвивъ: «Вотъ, я попираю гордость Платона!» —«Съ еще большею гордостью, былъ отвѣтъ. Но такъ какъ по коврамъ обыкновенно ходятъ, то, можетъ быть, память измѣняетъ мнѣ; можетъ быть, это было какое-нибудь платье, или скатерть, или какой-нибудь иной, дорого стоящій и необычайный для циника предметъ домашней утвари». (*Прим. Байрона*).

Міръ итальянскихъ пѣсенъ
Для меломановъ-бриттовъ вѣрно тѣсенъ.

«Я помню, какъ супруга мэра въ одномъ провинціальномъ городѣ, наскучивъ этимъ иностраннымъ пѣніемъ, немного невѣжливо прервала рукоплесканія аудиторіи, состоявшей изъ людей понимающихъ, т. е. понимающихъ музыку, ибо что касается словъ, то они были на какихъ-то таинственныхъ языкахъ (это случилось еще за нѣсколько лѣтъ до мира, раньше, чѣмъ всѣ пустились въ путешествія, въ ту пору, когда я былъ еще въ колледжѣ) и притомъ жестоко перевирались исполнителями; такъ вотъ, эта супруга мэра прервала рукоплесканія восклицаніемъ: «Да бросьте вы своихъ итальянцевъ! Что касается меня, то я люблю простыя баллады!» Россини, кажется, идетъ къ тому, чтобы внушить большинству публики такое же мнѣніе. Кто повѣритъ, что его прочили въ преемники Моцарту? Впрочемъ, я говорю это неувѣренно, какъ вѣрный и преданный поклонникъ итальянской музыки вообще, и въ томъ числѣ—музыки Россини. Но мы можемъ все-таки замѣтить, какъ замѣтилъ въ *Векфильдскомъ Священникѣ* одинъ знатокъ живописи: «Эта картина могла бы быть написана лучше, если бы живописецъ немножко больше потрудился». (*Прим. Байрона*).

Стр. 417.

Потребуются жалкія затраты,
Такъ зодчіе всегда намъ говорятъ.

Байронъ, вѣроятно, видѣлъ планъ задуманной полковникомъ Уайльдмэномъ перестройки Ньюстэда, смѣта которой доходила до сотни тысячъ фунтовъ. (*Кольриджъ*).

Всѣхъ удивитъ готическое зданье
Гиней британскихъ гордое созданье.

Въ подлинникѣ: «Готическая смѣлость, выраженная въ англійской монетѣ». Къ этому стиху Байрономъ сдѣлано примѣчаніе. «Ausu Romano, aere Veneto»—такова надпись (и въ данномъ случаѣ очень хорошая) на стѣнахъ, отдѣляющихъ Адріатическое море отъ Венеціи. Стѣны эти были республиканскимъ созданіемъ венеціанцевъ, а надпись, кажется, императорская и сдѣлана Наполеономъ *Первымъ*. Пора бы продолжить этотъ счетъ: понемногу явится и *Второй*, Spes altera Mundi,—если только будетъ живъ; только бы онъ

не потерялъ этого титула, какъ потерялъ отецъ. Но, во всякомъ случаѣ, онъ будетъ лучше нынѣшнихъ Imbéciles. Передъ нимъ—славное поприще, если онъ съумѣетъ имъ воспользоваться».

Стр. 419.

Есть разница такъ пѣсня учитъ насъ –
Межъ гордой королевой и холопкой.

Вотъ эта пѣсня (въ переводѣ *П. О. Морозова*).

Есть различье и въ столицѣ между
нищей и царицей,
Я скажу вамъ отчего:
Такъ не чванится царица, такъ не
можетъ и напиться
Въ часъ веселья своего!

Стр. 421. *Порою воли,*
А не искусства въ этомъ виденъ слѣдъ.

Въ подлинникѣ: «Они ошибаются; это—не больше, какъ то, что зовется подвижностью, дѣло темперамента, а не искусства». Къ слову «подвижность» Байронъ сдѣлалъ примѣчаніе: «Этимъ словомъ выражается качество, принадлежащее, большею частью, другому климату, хотя иногда наблюдаемое и въ нашемъ. Его можно опредѣлить какъ крайнюю воспріимчивость къ непосредственнымъ впечатлѣніямъ, въ то же время не теряя изъ виду и прошедшаго; несмотря на то, что иногда оно полезно для того, кто имъ обладаетъ, оно является все-таки, по большей части, тягостнымъ и неудобнымъ». Муръ замѣчаетъ, что самъ Байронъ вполнѣ сознавалъ, что это качество въ высокой степени ему присуще, и нерѣдко тяготился своей склонностью поддаваться каждому мимолетному впечатлѣнію, но въ то же время старался оправдать восторженность натуры отъ упрековъ въ непостоянствѣ и неискренности.

ПѢСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ.

Со времени выхода въ свѣтъ послѣдней, XVI-й, пѣсни *Донъ-Жуана*, въ печати не разъ появлялись отрывки изъ XVII-й пѣсни. Нѣкоторыя изъ этихъ «продолженій» выдавались ихъ сочинителями за подлинныя; другія были явными пародіями. Миѳъ о продолженіи *Донъ-Жуана*, какъ теперь оказывается, не лишенъ былъ основанія. Байронъ, еще до своего отъѣзда изъ Италіи, началъ, 8 мая 1823 г. семнадцатую пѣснь и, отправляясь въ Грецію, захватилъ съ собой написанныя строфы. Ихъ нашелъ потомъ Трилони въ комнатѣ поэта въ Мисолонги. Рукопись, вмѣстѣ съ другими бумагами, была передана Джону Гобгоузу и теперь принадлежитъ дочери послѣдняго, лэди Дорчестеръ.

Впервые эти строфы напеч. въ изд. Кольриджа и Протеро (1903 г.).

Стр. 424 Зоветъ ихъ въ Римѣ *мулами* народъ.

«Итальянцы, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Италіи, называютъ внѣбрачныхъ дѣтей и найденышей *мулами*; почему,— я не могу объяснить, если только они не хотятъ этимъ сказать, что плодами законнаго супружества являются ослы». (*Прим. Байрона*).

СТАТЬИ БАЙРОНА,

вызванныя нападками на «Донъ-Жуана».

I.

Нѣсколько замѣчаній по поводу одной статьи въ «Блэквудовомъ Обозрѣніи» № XXIX, Августъ, 1819 г.

„Что это значитъ? Ты гнѣвна, Геката?"

Макбетъ.

ДЖ. Д. ИЗРАЭЛИ, ЭСКВ.

Любезному и талантливому автору «*Авторскихъ злоключеній и распрь*» сію добавочную прю и злоключеніе посвящаетъ одинъ изъ потерпѣвшихъ.

Равенна, Марта 15-го 1820.

«Земная жизнь писателя, сказалъ, если не ошибаюсь, Попъ, должна *быть войной*». Мой личный опытъ, поскольку онъ у меня имѣется, не позволяетъ мнѣ ничего возразить противъ этого предложенія, и, подобно всѣмъ, однажды впавшимъ въ это воинствующее состояніе, я вынужденъ, хотя и противъ воли, пребывать въ немъ. Въ одномъ періодическомъ изданіи появилась статья, озаглавленная: «Замѣтки о *Донъ-Жуанѣ*», авторъ которой столь преисполненъ этимъ воинственнымъ духомъ, что я, съ своей стороны, принужденъ сдѣлать нѣсколько замѣчаній.

«Прежде всего, мнѣ непонятно, по какому праву авторъ приписываетъ мнѣ это анонимное произведеніе. Онъ скажетъ, что это явствуетъ изъ самой книги, т. е. что въ ней есть мѣста, написанныя какъ будто отъ моего имени, или въ моей манерѣ писать. Но развѣ этого не могъ умышленно сдѣлать другой? Онъ скажетъ: въ такомъ случаѣ почему не отречься отъ этой книги? На это я могъ-бы отвѣтить, что отъ всѣхъ сочиненій, приписанныхъ мнѣ за послѣднія пять лѣтъ—разныхъ *Паломничествъ въ Іерусалимъ*, *Смертей на Бульныхъ Лошадяхъ*, *Одъ къ Странѣ Галловъ*, *Прощаній съ Англіей*, *Пѣсней въ честь г-жи Ла Валеттъ*, *Одъ къ Св. Еленѣ*, *Вампировъ* и мало ли еще какихъ, которыхъ я, видитъ Богъ, не сочинилъ и изъ которыхъ не прочелъ ни единнаго слога, кромѣ ихъ заглавій въ объявленіяхъ—я не считалъ нужнымъ даже и отрекаться; я сдѣлалъ исключеніе только для одного, гдѣ подробно описывалось мое пребываніе на островѣ Митилены» я тамъ никогда не жилъ—и гдѣ лица, полагавшія, что мое имя можетъ имъ пригодиться, зашли въ своей забавѣ слишкомъ далеко.

«Ужъ если я не давалъ себѣ труда отречься отъ этихъ сочиненій, изданныхъ подъ моимъ именемъ, но не моихъ, чего ради я сталъ бы особенно отрекаться отъ анонимнаго произведенія,—это могли бы счесть за избытокъ усердія. Что касается *Донъ-Жуана*, я не отрекаюсь отъ него и не признаю его своимъ, пусть каждый думаетъ, какъ хочетъ; но тѣ, кто теперь или впослѣдствіи—если поэма эта будетъ продолжаться—почувствуютъ себя настолько обиженными, что потребуютъ болѣе яснаго отвѣта, частнымъ образомъ и лично, получатъ его.

«Я никогда не уклонялся отъ отвѣтственности за написанное мною и не разъ терпѣлъ отъ злыхъ языковъ за то, что забывалъ отречься отъ произведеній, неосновательно приписываемыхъ моему перу.

«Однако большая часть «*Замѣтокъ о Донъ-Жуанѣ*» мало относится къ самому произведенію, которое авторъ чрезвычайно расхваливаетъ. За вычетомъ нѣсколькихъ цитатъ и немногихъ вводныхъ замѣчаній, вся остальная часть статьи представляетъ ни больше, ни меньше, какъ личныя нападки на предполагаемаго автора. И это уже не въ первый разъ въ этомъ изданіи; помню, не такъ давно я читалъ подобныя же замѣтки о *Беппо* (какъ говорятъ, написанномъ знаменитымъ сѣвернымъ проповѣдникомъ) съ тѣмъ выводомъ, что «Чайльдъ Гарольдъ, Байронъ и графъ въ «Беппо»—одно и то же лицо; такимъ образомъ, выходило что во мнѣ, говоря словами м-ссъ Малапропъ *), *какъ въ Церберѣ, сидятъ три человѣка заразъ*». Статья эта была подписана *Presbyter Anglicanus*, что, по моему, въ переводѣ должно означать--шотландскій пресвитеріанецъ. Я долженъ замѣтить здѣсь, что вообще смѣшно и досадно быть вынужденнымъ постоянно повторять одно и то же; мнѣ же какъ автору, особенно досадно, что меня постоянно путаютъ съ моимъ протагонистомъ. Это несправедливо и отзывается личностями. Я никогда не слыхалъ, чтобы моего друга Мура считали огнепоклонникомъ изъ-за того, что у него выведенъ гебръ, чтобы Скотта отождествляли съ Фредерикомъ Дью или Бальфуромъ де Бурлей. Соути никто никогда не считалъ мудрецомъ **), даромъ, что онъ ввелъ столько кудесниковъ въ своей «*Thalaba* , а мнѣ не такъ то легко было выпутаться даже изъ Манфреда, который, какъ м-ръ Соути лукаво замѣчаетъ въ одной изъ своихъ статей въ «*Quarterly*», «поставилъ дьявола на вершинѣ Юнгфрау и вздулъ его . Скажу только м-ру Соути, который въ своей поэтической жизни, повидимому, не имѣлъ такого успѣха въ борьбѣ съ великимъ врагомъ, что въ этомъ Манфредъ только слѣдовалъ священному завѣту: «Борись съ дьяволомъ, и онъ убѣжитъ отъ тебя». Мы еще поговоримъ объ этомъ господинѣ—не о дьяволѣ, а объ его смиренномъ слугѣ, м-рѣ Соути,—но теперь я долженъ вернуться къ статьѣ въ «Эдинбургскомъ Обозрѣніи».

«Въ этой статьѣ, наряду съ нѣсколькими другими изумительными замѣчаніями, находимъ слѣдующія слова: «Короче говоря, этотъ жалкій человѣкъ, исчерпавъ *всѣ виды* чувственнаго удовлетворенія, осушивши чашу грѣха вплоть до его горчайшаго осадка, повидимому, рѣшилъ показать намъ, что теперь онъ уже не человѣкъ, остающійся человѣкомъ даже и въ своихъ слабостяхъ, а холодный, равнодушный врагъ, съ отвратительнымъ злорадствомъ осмѣивающій все дурное и хорошее, изъ чего слагается человѣческая жизнь». Въ другомъ мѣстѣ говорится о вертепѣ, который служитъ убѣжищемъ «его эгоистическому и оскверненному изгнанію». «Поистинѣ, обидныя слова».—Что касается первой сентенціи, я ограничусь замѣчаніемъ, что она, повидимому, сочинена по адресу Сарданапала, Тиверія, регента герцога Орлеанскаго, или же Людовика XV и я списывалъ ее такъ-же спокойно, какъ выдержку изъ Светонія или чьихъ нибудь мемуаровъ изъ эпохи регентства, полагая что она въ достаточной степени опровергается уже тѣми выраженіями, въ которыхъ она составлена, и къ частному лицу совершенно непримѣнима. Но на словахъ «вертепъ»—«эгоистическое и оскверненное изгнаніе» я вынужденъ остановиться. Насколько резиденція правительства, которое пережило превратности тринадцати вѣковъ и, быть можетъ, существовало бы и понынѣ, еслибъ не вѣроломство Буонапарте и не беззаконія его подражателей,—насколько городъ, который былъ складомъ товаровъ для всей Европы въ то время, когда Лондонъ и Эдинбургъ были еще пріютами варваровъ—можетъ быть названъ «вертепомъ», объ этомъ я предоставляю судить тѣмъ, кто видѣлъ Венецію или знаетъ ее «по наслышкѣ». Насколько мое изгнаніе было осквернено мною, о томъ не мнѣ судить, ибо слово это имѣетъ много значеній и въ извѣстномъ смыслѣ можетъ набросить тѣнь на поступки большинства людей, но что оно было «эгоистическимъ»—это я отрицаю. Если помогать по мѣрѣ средствъ и силъ и освѣдомленности объ ихъ бѣдствіяхъ многимъ людямъ, впавшимъ въ нищету вслѣдствіе упадка ихъ родного города, лишившаго ихъ средствъ къ существованію, никогда не отказывать въ просьбѣ, повидимому вытекающей изъ дѣйствительной нужды, тратить на это и здѣсь, и вообще суммы, гораздо большія, чѣмъ то позволяетъ мое состояніе, если дѣлать все это значитъ быть эгоистомъ, я эгоистъ. Я вовсе не ставлю себѣ въ заслугу, что я дѣлалъ все это, но право же, обидно приводить такія вещи въ защиту свою отъ такихъ обвиненій, какія предъявляются ко мнѣ, словно арестантъ на судѣ, вызывающій свидѣтелей, которые могутъ показать въ его пользу, или же солдатъ, напоминающій о своихъ заслугахъ, чтобы получить отпускную. Если лицу, обвиняющему меня въ эгоизмѣ, угодно получить болѣе подробныя свѣдѣнія по этому предмету, онъ можетъ узнать—не то, что ему желательно, но то, что навѣрное пристыдитъ его и заставитъ прикусить языкъ, обратившись къ нашему генеральному консулу, который постоянно тамъ живетъ и можетъ подтвердить или опровергнуть справедливость моихъ словъ.

«Я не претендую и никогда не претендовалъ на святость или безукоризненное поведеніе; но никогда я не тратилъ и не буду тратить того, что имѣю, главнымъ образомъ на себя, ни теперь, ни въ будущемъ, ни въ Англіи, ни внѣ ея. И стоитъ мнѣ сказать слово,—еслибъ только я счелъ пристойнымъ или нужнымъ сказать такое слово,—чтобы въ той же Англіи явились добровольные свидѣтели —и свидѣтели, и доказательства—тому, что есть люди, получавшіе отъ меня не только временное облегченіе скудной подачки, но такія средства, которыя сразу упрочили ихъ счастье и создали для нихъ независимое положеніе, именно благодаря отсутствію во мнѣ того эгоизма, въ которомъ меня такъ грубо и несправедливо укоряютъ.

«Будь я эгоистомъ, будь я алчнымъ, будь я даже просто *осторожнымъ* человѣкомъ въ томъ смыслѣ, какъ это слово понимается въ общежитіи, я не былъ-бы тамъ, гдѣ я теперь; я не сдѣлалъ бы того, что было первымъ шагомъ на пути къ полному разрыву между мною и моими близкими... Ну, да насчетъ этого истина когда-нибудь всплыветъ наружу; а пока, какъ говоритъ Дюрандартъ въ пещерѣ Монтезиноса: «Терпѣніе, и тасуйте карты!»

«Я до боли чувствую всю хвастливость такихъ завѣреній, я чувствую, какъ унизительно быть вынужденнымъ дѣлать ихъ, но я чувствую и *правду* ихъ, и чувствовалъ бы то же самое на смертномъ одрѣ, если бы рокъ судилъ мнѣ умереть здѣсь. Я чувствую и то, что говорю все только о себѣ; но, увы! Кто же заставляетъ меня такъ распространяться

*) Комическое лицо изъ «Соперниковъ» Шеридана, говоритъ все не кстати (mal a propos) и перевирая.

**) Игра словъ: *conjurer* магъ, волшебникъ, чародѣй; *he is no conjurer*—онъ пороху не выдумаетъ.

въ защиту свою, если не они, тѣ, кто, злобно упорствуя въ сліяніи вымысла съ правдой и поэзіи съ жизнью, видятъ въ вымышленныхъ характерахъ живыхъ людей и дѣлаютъ меня лично отвѣтственнымъ чуть ли не за каждый поэтическій образъ, созданный моей фантазіей и особеннымъ складомъ моего ума.

«Авторъ продолжаетъ:—«Тѣ кому извѣстны— *а кому онѣ не извѣстны? главныя* черты изъ частной жизни лорда Б.» etc. Кому нибудь, быть можетъ, и извѣстны эти главныя черты, но автору «Замѣтокъ о Донъ-Жуанѣ» онѣ, очевидно, неизвѣстны, иначе онъ заговорилъ бы совсѣмъ другимъ языкомъ. То, на что онъ, какъ мнѣ думается, намекаетъ, какъ на «главную черту», въ дѣйствительности было отнюдь не главной, а лишь естественнымъ, почти неизбѣжнымъ слѣдствіемъ событій и обстоятельствъ, задолго предшествовавшихъ тому періоду, когда это случилось. Это было послѣдней каплей, переполнившей чашу, а моя и безъ того была уже полна. - Но возвращаюсь къ обвиненію. Человѣкъ этотъ обвиняетъ лорда Б. въ томъ, что онъ «написалъ пространную сатиру на характеръ и нравъ своей жены». Изъ какой части *Донъ-Жуана* критикъ вывелъ такое заключеніе, это лучше всего извѣстно ему самому. Насколько я припоминаю женскіе характеры въ этомъ произведеніи, тамъ только одинъ обрисованъ въ забавныхъ тонахъ, или можетъ быть принятъ за сатиру на кого-бы то ни было. Здѣсь опять-таки на мнѣ взыскиваются мои политическіе грѣхи, предполагая, что поэма моя. Изображаю ли я корсара, мизантропа, развратника, язычника, или вождя инсургентовъ—въ немъ видятъ изображеніе самого автора; появляется поэма, о которой отнюдь не доказано, что она писана мною; въ ней выведенъ непріятный, казуистическій, отнюдь не почтенный типъ педанта въ юбкѣ—его принимаютъ за портретъ моей жены. Да въ чемъ же сходство? Я его не вижу. Его создали тѣ, кто о немъ говоритъ. Въ моихъ произведеніяхъ я рѣдко вывожу характеры подъ вымышленными именами; за тѣми, кого я выводилъ, я оставлялъ ихъ *собственныя* имена,—нерѣдко сами по себѣ являющіяся болѣе ѣдкой сатирой, чѣмъ всѣ, какія можно было бы сочинить на нихъ. Реальными фактами я, дѣйствительно, пользовался широко—для поэзіи они то же, что ландшафты для художника; но мои *фигуры* не портреты. Возможно даже, что я воспользовался и нѣкоторыми событіями, разыгравшимися у меня на глазахъ, или въ моей семьѣ, какъ нарисовалъ бы видъ изъ своего окна, если бы онъ гармонировалъ съ моей картиной; но я никогда не вывелъ бы портрета живого члена моей семьи иначе, какъ въ свѣтѣ выгодномъ не только для общаго эффекта, но и для него самого,—что въ вышеуказанномъ случаѣ было бы чрезвычайно трудно.

«Мой ученый собратъ говоритъ далѣе: «Напрасно пытался-бы лордъ Б. оправдать свое собственное поведеніе въ этомъ дѣлѣ; и теперь, когда онъ такъ *открыто* и *дерзко* призываетъ разслѣдованіе и укоры, мы не видимъ основаній, почему бы ему и не сказать этого прямо устами его соотечественниковъ . Насколько «открытый» вызовъ, брошенный анонимной поэмой, и «дерзость» вымышленнаго характера, въ которомъ критику угодно видѣть лэди Б., могли навлечь на меня столь тягостное обвиненіе изъ такихъ прелестныхъ устъ», этого я не знаю и знать не хочу. Но съ тѣмъ, что я никоимъ образомъ не могу «оправдать своего собственнаго поведенія въ этомъ дѣлѣ»—съ этимъ я согласенъ, ибо ни одинъ человѣкъ не можетъ *«оправдать себя»*, пока онъ не знаетъ въ чемъ его обвиняютъ; противная же сторона никогда не предъявляла мнѣ какихъ-либо специфическихъ осязательныхъ обвиненій,—Богу извѣстно, какъ искренно я добивался ихъ! ни лично, ни черезъ посредниковъ, если только не считать таковыми жестокихъ сплетенъ въ обществѣ и загадочнаго молчанія юридическихъ совѣтчиковъ лэди. Неужто критику мало всего, что уже было сказано и сдѣлано? Развѣ общій голосъ его соотечественниковъ не произнесъ уже давно надъ сказаннымъ субъектомъ приговора безъ суда и осужденія безъ обвиненій? Развѣ я не былъ изгнанъ при посредствѣ остракизма, съ той разницей, что на раковинахъ для проскрипціи не было именъ? Если критику неизвѣстно, какъ думало и какъ вело себя общество въ данномъ случаѣ, то мнѣ это хорошо извѣстно; общество скоро забудетъ и то и другое, но я буду долго помнить.

«У человѣка, изгнаннаго партіей, есть утѣшеніе—считать себя мученикомъ; его поддерживаютъ надежда и величіе его дѣла—истинное, или воображаемое; бѣжавшій отъ долговъ утѣшаетъ себя мыслью, что время и благоразуміе дадутъ ему возможность поправить свои обстоятельства; у осужденнаго закономъ есть предѣльный срокъ изгнанію или по крайней мѣрѣ мечта о сокращеніи срока, есть увѣренность или хотя бы вѣра, что законъ несправедливъ вообще, или же былъ несправедливо примѣненъ къ нему лично; тотъ, кто выброшенъ за бортъ общественнымъ мнѣніемъ, помимо его политическихъ враговъ, незаконнаго суда, или стѣсненныхъ обстоятельствъ, будь онъ виноватъ или невиненъ,—онъ обреченъ нести всю горечь изгнанія, безъ надежды, безъ гордости, безъ облегченія. Именно такъ было со мной. На чемъ основывалось мнѣніе общества, я не знаю, но приговоръ былъ общій и рѣшающій. Обо мнѣ и моей семьѣ было извѣстно немногое, кромѣ того, что я пишу такъ называемыя поэтическія произведенія, что я дворянинъ, женатъ, недавно сталъ отцомъ и что у меня идетъ разладъ съ моей женой и ея родней; изъ-за чего,—никто не зналъ, ибо жалующіяся на меня лица отказывались объяснить въ чемъ ихъ обиды. Высшій свѣтъ раздѣлился на партіи; на моей сторонѣ оказалось незначительное меньшинство; люди благоразумные, конечно, перешли на сторону сильнаго—въ данномъ случаѣ. дамы, что было учтиво и вполнѣ естественно. Печать проявила большую энергію и непристойность, и публика вошла въ такой фазисъ, что изъ несчастнаго выпуска двухъ тетрадей стиховъ, скорѣй хвалебныхъ для насъ обоихъ, сдѣлала какое-то преступленіе, чуть не предательство. Злые языки и личная вражда приписывали мнѣ всевозможные чудовищные пороки; имя мое, слывшее рыцарскимъ и благороднымъ съ тѣхъ поръ, какъ предки мои помогали Вильгельму Нормандскому завоевывать королевство, было запятнано. Я чувствовалъ, что если правда все, о чемъ шепчутся, бормочутъ и болтаютъ,—я не достоинъ Англіи, если ложь—Англія недостойна меня. И я уѣхалъ; но этого оказалось недостаточно. И въ другихъ странахъ, въ Швейцаріи, въ тѣни Альпъ, у синей глуби озеръ, меня преслѣдовала та же вражда, на меня вѣяло той же отравой; я перевалилъ черезъ горы—все то же; тогда я поѣхалъ дальше къ берегамъ Адріатики, какъ загнанный олень, который бѣжитъ къ водѣ.

«Если судить по разсказамъ немногихъ друзей, оставшихся со мной, негодованіе общества

противъ меня въ тотъ періодъ, о которомъ я говорю, не имѣло себѣ прецедента; даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ политическіе мотивы обостряли злословіе и удваивали вражду, мы не видимъ ничего подобнаго. Мнѣ напримѣръ, совѣтовали не ходить въ театры и на службу въ парламентъ, чтобы меня не освистали или не оскорбили по пути. Даже въ день моего отъѣзда мой лучшій другъ, какъ онъ потомъ мнѣ разсказывалъ, боялся, какъ бы народъ не собрался у кареты и не учинилъ надо мною насилія. Однако, эти совѣты не мѣшали мнѣ смотрѣть Кина въ его лучшихъ роляхъ и вотировать согласно моимъ убѣжденіямъ; что же касается третьяго и послѣдняго опасенія моихъ друзей, я не могъ раздѣлить его, ибо узналъ о немъ лишь много времени спустя послѣ того, какъ я переплылъ каналъ. Да и помимо этого, я отъ природы не таковъ, чтобы слишкомъ принимать къ сердцу людскую злобу, хоть иногда меня и задѣваетъ, когда отъ меня отворачиваются. Отъ всякаго личнаго оскорбленія я могу защитить себя или поквитаться съ обидчикомъ; да и при нападеніи толпы я, по всей вѣроятности, съумѣлъ бы защитить себя съ помощью другихъ, какъ это и бывало въ подобныхъ случаяхъ.

«Видя себя предметомъ злыхъ толковъ и пересудовъ въ обществѣ, я рѣшилъ покинуть родину. Я не воображалъ, какъ Жанъ-Жакъ Руссо, что все человѣчество въ заговорѣ противъ меня, хотя имѣлъ, быть можетъ, не меньше его основаній для такой химеры. Но я замѣтилъ, что эта общая вражда въ значительной степени относится къ моей личности, что я самъ по себѣ ненавистенъ англичанамъ, быть можетъ, по собственной винѣ, но фактъ неоспоримъ. Врядъ ли публика такъ ополчилась бы на болѣе популярнаго человѣка, не имѣя въ рукахъ хотя бы одного сколько-нибудь опредѣленно формулированнаго или доказаннаго обвиненія. Я не могу себѣ представить, чтобы такая простая и обыкновенная вещь, какъ разрывъ между мужемъ и женой, сама по себѣ могла вызвать такое броженіе. Не стану повторять обычныхъ жалобъ на то, что ко мнѣ «отнеслись съ предубѣжденіемъ», «осудили, не выслушавъ , на «недобросовѣстность», «пристрастіе и т. д.—обычной пѣсни тѣхъ, кто былъ судимъ, или ждетъ суда. Но все же я былъ нѣсколько удивленъ, увидавъ, что меня осудили, не представивъ мнѣ даже обвинительнаго акта, что, за отсутствіемъ опредѣленнаго обвиненія или обвиненій, на меня валили всѣ возможныя и невозможныя преступленія и принимали ихъ на вѣру. Подобныя вещи бываютъ только съ людьми, которыхъ очень не любятъ, и помочь этому горю я не могу, ибо уже истощилъ всѣ рессурсы, съ помощью которыхъ я могъ нравиться въ обществѣ. Въ свѣтѣ у меня не было сторонниковъ; впрочемъ я потомъ узналъ, что были, но не я ихъ вербовалъ и тогда я даже не зналъ объ ихъ существованіи; въ литературныхъ кружкахъ ни одного; въ политикѣ я вотировалъ вмѣстѣ съ вигами, и голосъ мой имѣлъ только то значеніе, какое можетъ имѣть голосъ вига въ дни, когда власть принадлежитъ тори; съ лидерами обѣихъ палатъ я былъ лично знакомъ постольку, поскольку это позволялъ тотъ кругъ, къ которому я принадлежу, но не вправѣ былъ разсчитывать и не ждалъ дружескаго отношенія ни отъ кого изъ нихъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ молодыхъ людей моего возраста и положенія и еще нѣсколькихъ, постарше годами, которымъ мнѣ въ послѣднее время посчастливилось оказать услугу въ трудныхъ обстоятельствахъ. Фактически это было равносильно полному одиночеству, и помню, нѣсколько времени спустя, г-жа Сталь говорила мнѣ въ Швейцаріи: «Вамъ не слѣдовало объявлять войну свѣту; - это не годится: съ нимъ не подъ силу бороться одному человѣку; я сама пыталась вести такую борьбу въ дни моей юности, но этого не слѣдуетъ дѣлать». Я признаю справедливость замѣчанія, но войну объявлялъ не я; это свѣтъ сдѣлалъ мнѣ честь объявить мнѣ войну, и ужъ конечно, если мира съ нимъ можно добиться только раболѣпствомъ и лестью, мнѣ не видать его расположенія, ибо на это я не гожусь.— Я подумалъ, словами Кэмпбелля:

«Тогда возьми въ удѣлъ себѣ изгнанье,
И если въ свѣтѣ не былъ ты любимъ,
Нести его отсутствіе не трудно» *).

«Помню, однако, что, будучи сильно обиженъ поведеніемъ Ромильи (получивъ съ меня задатокъ на веденіе дѣла, онъ началъ давать совѣты противной сторонѣ, а когда ему напомнили о задаткѣ, сослался на забывчивость, говоря: «у моего конторщика столько ихъ!»), я замѣтилъ, что тѣмъ, кто теперь такъ усердно приставляетъ сѣкиру къ корню моего дерева, быть можетъ, суждено увидѣть свое подрубленнымъ и на себѣ отчасти испытать то горе, которое они причинили.—*Его* дерево упало и раздавило его.

«Я слыхалъ и вѣрю, что есть люди, отъ природы нечувствительные къ оскорбленіямъ, но полагаю, что лучшій способъ избѣжать мести—это уйти отъ искушенія. Надѣюсь, что мнѣ никогда не представится случая отомстить, ибо я не увѣренъ, что удержался-бы отъ искушенія, такъ какъ отъ матери я унаслѣдовалъ нѣкоторую долю «*perfervidum ingenium Scotorum*». Я не искалъ и не стану искать обидчика, и, быть можетъ, онъ никогда не попадется мнѣ на пути. Говоря это, я имѣю въ виду не другую сторону, которая можетъ быть права или неправа, но тѣхъ многихъ, которые, подъ предлогомъ ея защиты, изливали собственную злобу. Въ ея чувствахъ я, навѣрное, давно уже отомщенъ, ибо, каковы бы ни были причины, руководившія ею (она никогда не приводила ихъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ), она, по всей вѣроятности, не предвидѣла до чего, по ея милости, будетъ доведенъ отецъ ея дѣтей, избранный ею супругъ.

«Это по адресу моихъ «соотечественниковъ» вообще; теперь поговоримъ о нѣкоторыхъ въ отдѣльности.

«Въ началѣ 1817-го года въ «Quarterly Rewiew» появилась статья, писанная, если не ошибаюсь, Вальтеръ Скоттомъ, дѣлающая большую честь ему и не безчестье мнѣ, хотя и въ поэтическомъ, и въ личномъ отношеніи болѣе чѣмъ благопріятная какъ для произведенія, такъ и для автора, о которомъ въ ней говорилось. Она была написана въ то время, когда себялюбивый человѣкъ не захотѣлъ бы, а робкій не рѣшился бы сказать добраго слова ни о томъ, ни о другомъ, написана человѣкомъ, по отношенію къ которому общественное мнѣніе временно возвело меня въ рангъ соперника—высокое и незаслуженное отличіе,—что, однако, не помѣшало мнѣ питать къ нему дружескія чувства и ему платить мнѣ тѣмъ же. Сказанная статья относится

*) Then wed thee to an exiled lot,
And if the world hath loved thee not,
Its absence may be borne.

къ третьей пѣснѣ *Чайльдъ-Гарольда* и послѣ многихъ замѣчаній, которыя мнѣ не годится ни повторять, ни забывать, въ заключеніе выражаетъ надежду, что я, можетъ быть, еще вернусь въ Англію. Не знаю, какъ это было принято въ Англіи, но въ Римѣ десять-двадцать тысячъ проживающихъ тамъ почтенныхъ англичанъ-туристовъ жестоко обидѣлись. Въ Римъ я пріѣхалъ лишь нѣкоторое время спустя, такъ что самъ не могъ этого видѣть, но мнѣ потомъ говорили, что больше всего негодовала англійская колонія, заключавшая въ себѣ въ томъ году—помимо изряднаго количества закваски съ Вельбек-стритъ и Девонширъ-плэсъ, раскиданной по свѣту въ путешествіяхъ—нѣсколько дѣйствительно знатныхъ и хорошо воспитанныхъ семействъ, тѣмъ не менѣе, однако, раздѣлявшихъ общее настроеніе. «*Зачѣмъ* ему возвращаться въ Англію?»—говорили всѣ въ одинъ голосъ. И я говорю: *зачѣмъ?* Мнѣ не разъ случалось задавать себѣ этотъ вопросъ, и я до сихъ поръ не нашелъ для него удовлетворительнаго отвѣта. Въ то время мнѣ и въ голову не приходила мысль о возвращеніи, да и теперь, если я иногда и думаю объ этомъ, то лишь о дѣловой поѣздкѣ, а не съ цѣлью развлеченія. Среди разбитыхъ въ куски узъ еще остались цѣльныя звенья, хотя самая цѣпь и порвана. Есть обязанности, родственныя связи, которыя могутъ потребовать моего присутствія,—вѣдь я отецъ. У меня еще осталось нѣсколько друзей,—а можетъ-быть и врагъ,—съ которыми я хотѣлъ бы встрѣтиться. Все это и разныя мелочи касательно имущества и дѣлъ, всегда накопляющіяся за время отсутствія, могутъ призвать, и по всей вѣроятности, призовутъ меня въ Англію. И я вернусь туда такимъ же, какъ уѣхалъ, съ неизмѣннымъ уваженіемъ къ Англіи, но съ измѣнившимися чувствами по отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ, ибо теперь я болѣе или менѣе освѣдомленъ объ ихъ поведеніи послѣ моего отъѣзда; къ сожалѣнію, подлинные факты и все то, что они говорили и дѣлали, стало мнѣ извѣстно лишь много времени спустя. Мои друзья, какъ водится съ друзьями, миролюбія ради скрыли отъ меня многое, что они могли-бы, и кое-что такое, что они обязаны были мнѣ сообщить. Ну да, что отложено, то еще не потеряно; но не моя въ томъ вина, что оно было отложено.

«Говорю о томъ, что произошло въ Римѣ, только для того, чтобъ показать, что изображенныя мною чувства испытывали не одни только англичане въ Англіи; это часть моего отвѣта на брошенный мнѣ упрекъ въ такъ называемомъ «себялюбивомъ» и «добровольномъ» изгнаніи. «Добровольнымъ» оно, конечно, было, ибо кто захочетъ жить среди людей, относящихся къ нему крайне враждебно? Насколько оно было «себялюбивымъ», это я уже объяснилъ.

«Я дошелъ до мѣста, гдѣ меня обвиняютъ въ томъ, что я «вымещалъ свой сплинъ на людяхъ возвышеннаго образа мыслей и добродѣтельныхъ», съ которыми немногіе могутъ сравниться «въ добродѣтеляхъ». Это, по моему скромному сужденію, означаетъ славный тріумвиратъ, извѣстный подъ именемъ «Озерныхъ поэтовъ», когда берутъ всю школу въ совокупности и Соути, Вордсворта и Кольриджа, когда ихъ берутъ порознь. Мнѣ хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ о добродѣтеляхъ общественныхъ и личныхъ одного изъ этихъ господъ, по причинамъ, которыя скоро выяснятся.

Покинувъ Англію въ апрѣлѣ 1816 г., больной духомъ и тѣломъ и попавшій въ скверную исторію, я поселился въ Колиньи, на берегу Женевскаго озера. Единственнымъ моимъ спутникомъ былъ молодой врачъ *), еще не успѣвшій сдѣлать карьеру; онъ такъ мало зналъ и видѣлъ свѣтъ, что питалъ естественное и похвальное желаніе больше вращаться въ обществѣ, чѣмъ то было удобно для меня при моихъ теперешнихъ привычкахъ и опытѣ прошлаго. Поэтому я познакомилъ его съ тѣми женевцами, къ которымъ у меня были рекомендательныя письма, и, видя, что теперь онъ можетъ обойтись безъ меня, самъ совершенно пересталъ бывать въ обществѣ, за исключеніемъ одной англійской семьи, жившей на разстояніи четверти мили отъ Діодати, да еще случайныхъ встрѣчъ въ Коппе, съ г-жой де-Сталь. Англійское семейство, о которомъ я говорю, состояло изъ двухъ лэди, джентльмана и его сына, годовалаго мальчика **).

«Одинъ изъ упомянутыхъ уже «*людей возвышеннаго образа мыслей и высокой добродѣтели*», какъ выражается «*Edinburgh Magazine*», въ это время или невдолгѣ послѣ того путешествовалъ по Швейцаріи. Вернувшись въ Англію, онъ распустилъ слухъ,—насколько мнѣ извѣстно, выдуманный имъ самимъ,—будто вышеупомянутый джентльмэнъ и я состоимъ въ близкихъ сношеніяхъ съ двумя сестрами, «образовавъ кровосмѣсительный союзъ» (привожу слова, какъ они были переданы мнѣ), и позволялъ себѣ естественные комментаріи по поводу такой связи. А комментаріи эти публично, и весьма охотно, повторялъ *другой* членъ того-же поэтическаго братства, о которомъ скажу только, что еслибъ даже сплетни были правдой, *ему* не слѣдовало повторять ихъ; по крайней мѣрѣ то, что относилось ко мнѣ, иначе, какъ съ глубокимъ прискорбіемъ. Сама по себѣ, сплетня не требуетъ большихъ опроверженій: вышеупомянутыя лэди *не* были сестрами и ни въ какомъ родствѣ не состояли, если не считать второго брака ихъ родителей, вдовца со вдовой; обѣ онѣ были отъ первыхъ браковъ; въ 1816 г. обѣимъ не было и по девятнадцати лѣтъ. «Близкія сношенія» врядъ ли могли-бы возбудить негодованіе великаго поборника пантизократіи (м-ръ Соути не припомнитъ этого проекта?), но никакой близости не было.

«Насколько этотъ человѣкъ, въ качествѣ автора «*Wat Tyler*», обвиненный лордомъ-канцлеромъ въ составленіи злонамѣреннаго и кощунственнаго пасквиля и обличаемый въ палатѣ общинъ честнымъ и талантливымъ депутатомъ отъ Норвича, назвавшимъ его «мстительнымъ ренегатомъ»,—насколько такой человѣкъ вправѣ судить другихъ, объ этомъ пусть судятъ другіе. Онъ сказалъ, что за эти слова «онъ клеймитъ Уильяма Смита именемъ клеветника» и что «это клеймо переживетъ его эпитафію». Не знаю, долго ли будетъ жить эпитафія Уильяма Смита и въ какихъ выраженіяхъ она будетъ составлена, но слова Уильяма Смита—лучшая эпитафія для Роберта Соути. Онъ написалъ «*Wat Tyler*» и принялъ званіе поэта-лауреата; въ «*Жизни Генри Киркъ Уайта*» онъ называетъ рецензентство «неблагороднымъ ремесломъ»—и самъ сдѣлался рецензентомъ; онъ былъ однимъ изъ авторовъ системы, именуемой «пантизократіей», требовавшей, чтобы все, включая и женщинъ, было общимъ (*вопросъ*: всѣ женщины или только «простыя»!)—и выступаетъ въ роли моралиста; онъ возмущался битвой подъ Бленгеймомъ и восхвалялъ сраженіе при Ватерлоо; онъ любилъ Мэри Уольстонкрафтъ—и пытался опозорить имя ея дочери (одной изъ моло-

*) Д-ръ Джонъ Полидори.

**) Шелли, м-ссъ Шелли, ихъ сынъ и Дженъ Клермонтъ.

дыхъ женщинъ, о которыхъ шла рѣчь выше); онъ писалъ вещи, за которыя его называли измѣнникомъ и служитъ теперь королю; онъ былъ мишенью яростныхъ нападокъ *Анти-Якобинца*—а теперь онъ опора «*Quarterly Rewiew*»; онъ лижетъ руку, которая его ударила, и ѣстъ хлѣбъ своихъ враговъ, внутренно корчась отъ презрѣнья къ самому себѣ; подъ анонимнымъ самохвальствомъ и тщетными стараніями добиться уваженія другихъ, навсегда утративъ самоуваженіе, онъ пытается скрыть разъѣдающее сознаніе собственнаго паденія. Напрасно! Чему «завидовать» въ такомъ человѣкѣ? Кто когда-либо завидовалъ завистнику? Чему я могъ «завидовать»—его имени, происхожденію, добродѣтелямъ, славѣ? Я принадлежу къ аристократіи, ненавистной ему; по матери я потомокъ королей, которые царили раньше тѣхъ, кого онъ нанялся воспѣвать. Слѣдовательно, его происхожденію я не могъ завидовать. Какъ поэту, мнѣ за послѣднія восемь лѣтъ нечего было бояться соперничества; а будущее—«въ грядущее вѣдь вѣрятъ всѣ поэты» - оно открыто для всѣхъ. Напомню только м-ру Соути словами одного критика, который, будь онъ теперь въ живыхъ, стеръ бы съ лица земли Соути, какъ литератора, ибо онъ былъ заклятымъ врагомъ всѣхъ шарлатановъ и обманщиковъ, отъ Макферсона и ниже, - что «о томъ же мечтали нѣкогда Сеттль и Оджильби», и, съ своей стороны, могу его увѣрить, что потомство будетъ помнить его и его секту; я буду гордиться тѣмъ, что я «забытъ». Что онъ недоволенъ своимъ успѣхомъ, какъ поэтъ, этому легко можно повѣрить, - вѣдь журналы играли имъ въ кегли: «*Edinburgh Rewiew*» валилъ его, а *Quarterly*» подымалъ на ноги; правительство нашло, что онъ полезенъ въ періодической печати и настойчиво рекомендуетъ его книги, такъ что его теперь иной разъ и покупаютъ (я хочу сказать: его книги, не только автора), и его можно встрѣтить на полкѣ, если не на столѣ, у большинства джентльмэновъ, служащихъ въ разныхъ казенныхъ учрежденіяхъ. Добродѣтелей его, какъ частнаго человѣка, я не знаю, о его принципахъ слыхалъ достаточно. Самъ я всѣми силами старался быть добрымъ и полезнымъ другимъ и въ этомъ смыслѣ не боюсь сравненій; что же касается заблужденій страстей, *всегда-ли* м-ръ Соути былъ такъ спокоенъ и безупреченъ? Развѣ онъ *никогда* не желалъ жены ближняго? Никогда не клеветалъ на дочь жены своего ближняго—той самой женщины, обладанія которою онъ добивался? Но довольно объ апостолѣ пантизократіи.

О «благородномъ, добродѣтельномъ» Вордсвортѣ достаточно привести одинъ анекдотъ, чтобы судить объ его искренности. Въ разговорѣ съ м-ромъ NN онъ закончилъ свою рѣчь словами: «Въ сущности, я не далъ бы и пяти шиллинговъ за все, что когда-либо было написано Соути». Быть можетъ, этотъ разсчетъ скорѣе доказываетъ, что онъ дрожитъ надъ пятью шиллингами, чѣмъ то, что онъ низко цѣнитъ д-ра Соути; но, принимая во вниманіе, что, когда онъ бывалъ въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, а у Соути оказывался шиллингъ, Вордсворту, по слухамъ, обыкновенно доставалась половина; такая оцѣнка звучитъ какъ-то непріятно. Этотъ анекдотъ разсказанъ мнѣ людьми, которые, еслибъ я назвалъ ихъ по имени, съумѣли бы доказать, что его происхожденіе столь-же поэтично, какъ и правдиво. За это я ручаюсь равно какъ и за то, что вышеупомянутую ложь распространялъ м-ръ Соути.

«О Кольриджѣ я ничего не скажу—*почему*, пусть онъ самъ догадается.

«Я сказалъ объ этихъ людяхъ больше чѣмъ намѣревался, будучи до извѣстной степени задѣтъ замѣчаніями, вынудившими меня начать этотъ разговоръ. Ничего я не вижу въ этихъ господахъ, какъ поэтахъ и личностяхъ, ни въ талантахъ ихъ, ни тѣмъ менѣе въ ихъ характерахъ,—что могло бы помѣшать порядочному человѣку выразить имъ свое глубокое презрѣніе, въ прозѣ или стихахъ, какъ случится. М-ръ Соути можетъ возразить мнѣ въ «*Quarterly*», а м-ръ Вордсвортъ въ постскриптумахъ къ своимъ «*Лирическимъ Балладамъ*», гдѣ онъ, приводя примѣры возвышеннаго, цитируетъ самого себя и Мильтона. «И нѣжный воркованья звукъ голубкѣ грезы навѣваетъ» *); иными словами, горлицѣ пріятно слушать самое себя—тоже и м-ру Вордсворту, когда онъ выступаетъ публично. «Какое божество хранитъ» этихъ господъ, чтобы мы были обязаны чтить ихъ? Аполлонъ-ли? Не изъ тѣхъ-ли они, кто называлъ «пьяной пѣсней» *Оду* Драйдена? кто открывалъ что *Элегія* Грэя полна ошибокъ, (см. *Жизнь* Кольриджа, т. I. *Примѣчаніе*, благодарность Вордстворту за то, что онъ указалъ ему на это.; и въ худшей прозѣ, какую когда-либо позволялось писать и печатать, доказывали, что Попъ не былъ поэтомъ, а Уильямъ Вордсвортъ—поэтъ.

«Достойны ли они уваженія въ другихъ отношеніяхъ; уважаютъ-ли ихъ? На чемъ основаны ихъ притязанія?—На открытомъ признаніи въ своемъ отступничествѣ, на протекціи правительства? Найдите мнѣ человѣка, который питалъ бы уваженіе къ этимъ отцеубійцамъ собственныхъ принциповъ. Въ сущности, они и сами отлично знаютъ, что наградой за отступничество имъ былъ ужъ никакъ не почетъ. Время не убило уваженія къ стойкости политическихъ убѣжденій и, само измѣнчивое, воздаетъ честь тѣмъ, кто не мѣняется. Посмотрите на Мура; Соути долго придется ждать такой торжественной встрѣчи въ Лондонѣ, какую Муру устроили въ Дублинѣ, даже если правительство возметъ устройство на себя и не пожалѣетъ денегъ для агентовъ. Горячіе сердцемъ ирландцы принесли эту славную дань не только поэту, но и человѣку, стойкому въ испытаніяхъ патріоту, не богатому, но неподкупному товарищу-гражданину. М-ръ Соути можетъ самохвальствовать на людяхъ, но въ душѣ онъ искренно презираетъ себя. И его ярость, когда онъ съ пѣной у рта накидывается на всѣхъ, кто остался въ вѣроломно покинутой имъ фалангѣ, не что иное, какъ, выражаясь словами Уильяма Смита, «злоба ренегата», брань проститутки, стоящей на углу и накидывающейся на своемъ грязномъ жаргонѣ на всѣхъ проходящихъ, кромѣ тѣхъ, кто можетъ дать ей «заработать».

«Отсюда и его литературно политическія изліянія разъ въ три мѣсяца, имъ же самимъ окрещенныя «неблагороднымъ ремесломъ»; отсюда и его ненависть къ Ли Гёнту, несмотря на то, что Гёнтъ сдѣлалъ для его поэтической репутаціи (какова она есть) больше, чѣмъ могли сдѣлать всѣ «озерные», вотъ ужъ четверть вѣка упражняющіеся въ обмѣнѣ взаимныхъ похвалъ.

«Теперь мнѣ хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ о теперешнемъ состояніи англійской поэзіи. Что мы переживаемъ вѣкъ упадка англійской поэзіи, въ этомъ усомнятся не многіе изъ тѣхъ, кто серьезно задумывался надъ этимъ вопросомъ. Что въ числѣ теперешнихъ поэтовъ есть геніальные люди, это не измѣняетъ факта, ибо не даромъ говорится: «послѣ того, кто формируетъ вкусъ своей страны,

*) «*Over her own sweet voice the stock dove broods*».

величайшій геній тотъ, кто его портитъ». Никто не отказываетъ въ геніальности Марино, который въ теченіе почти столѣтія портилъ вкусъ не только Италіи, но и всей Европы. Одной изъ важнѣйшихъ причинъ этого плачевнаго состоянія англійской поэзіи является нелѣпое и систематическое приниженіе Попа, въ чемъ за послѣдніе годы наблюдается какая-то эпидемическая конкурренція. Люди самыхъ противоположныхъ мнѣній сходятся въ этомъ вопросѣ. Начало положили Уортонъ и Черчилль, вѣроятно, по внушенію героевъ *Дунціады*, внутренно убѣжденные, что имъ не составить себѣ сколько-нибудь приличной репутаціи, пока они не сведутъ къ должнымъ, какъ имъ казалось, размѣрамъ совершеннѣйшаго и гармоничнѣйшаго изъ поэтовъ, которому они, не находя къ чему придраться, ставили въ укоръ его *умъ*. Но и *они* не посмѣли поставить его ниже Драйдена. И Гольдсмитъ и Роджерсъ, и Кэмпбелль, его даровитѣйшіе ученики, и Гэйли, поэтъ слабый, но все же оставившій послѣ себя одну поэму, которой не хотѣлось бы дать умереть (*Triumphs of Temper*), поддерживали репутацію этого чистаго, прекраснаго стиля; Краббъ, первый изъ живущихъ нынѣ поэтовъ, почти сравнялся съ учителемъ. Затѣмъ явился Дарвинъ, низвергнутый одной поэмой въ *Антиякобинцѣ* *), и *крусканцы*, отъ Мерри до Джернингэма, уничтоженные (если *Ничто* можетъ быть уничтожено) Джиффордомъ, послѣднимъ изъ настоящихъ сатириковъ.

«Въ то-же время Соути подарилъ насъ *Wat Tyler*'омъ и *Іоанной д'Аркъ* во славу Драмы и Эпоса. Впрочемъ, виноватъ, *Ватъ Тэйлеръ* тогда былъ еще въ рукописи, вмѣстѣ съ *Петеромъ Биллемъ* **). Великая революціонная трагедія предстала предъ публикой и предъ судомъ позднѣе. Вордсвортъ кропалъ свои лирическія баллады и высиживалъ предисловіе, за которымъ долженъ въ свое время былъ слѣдовать постскриптумъ; то и другое въ прозѣ, которая должна была доставлять особенное удовольствіе любителямъ предисловій Попа и Драйдена, пожалуй не менѣе прославившихся красотою своей прозы, чѣмъ прелестью стиха. Вордсвортъ—полная противоположность мольеровскому герою, который «всю свою жизнь говорилъ прозой, самъ того не зная»; онъ думаетъ, что онъ всю жизнь писалъ стихами и прозой, а между тѣмъ и стихи его, и прозу по совѣсти нельзя назвать ни прозой, ни стихами. М-ръ Кольриджъ, будущій *vates*, поэтъ и провидецъ изъ «*Morning Post*» (честь, которой добивался м-ръ Фицджеральдъ изъ *Почтоваго ящика*), впослѣдствіи предсказавшій паденіе Буонапарте, чему онъ самъ немало способствовалъ, давъ ему прозвище *корсиканца*, м-ръ Кольриджъ въ то время занимался проповѣдью осужденія Питта и опустошенія Англіи, въ двухъ томикахъ стиховъ, лучшихъ изъ всѣхъ, какіе онъ когда-либо написалъ, а именно: адской эклогѣ «*Огонь, Голодъ* и *Рѣзня*» и *Одѣ къ уходящему году*.

«Эта троица - Соути, Вордсвортъ и Кольриджъ, питала весьма понятную антипатію къ Попу; и я уважаю въ ней это, какъ единственное самобытное чувство, или принципъ, который она ухитрилась сохранить. Но въ этомъ съ ней сошлись и тѣ, кто ни въ чемъ другомъ съ ней не сходился: и сотрудники «*Эдинбургскаго Обозрѣнія*», и вся разношерстная масса здравствующихъ англійскихъ поэтовъ, за исключеніемъ Краббе, Роджерса, Джиффорда и Кэмпбелля, которые и въ теоріи, и на практикѣ доказали свою вѣрность, и даже я, постыдно уклонившійся на практикѣ отъ указаннаго имъ пути, хотя я всей душой люблю и чту поэта Попа и, надѣюсь, такъ будетъ до конца моей жизни. Пусть лучше все написанное мною пойдетъ на подбивку того самаго чемодана, раскрывъ который я уже разъ, это было въ 1811 г. на Мальтѣ, прочиталъ одиннадцатую книгу одной современной эпической поэмы, (я раскрылъ его въ отсутствіе слуги, чтобы перемѣнить бѣлье послѣ пароксизма лихорадки, и на бумагѣ, которой онъ подбитъ, прочелъ имя мастера—Эйръ, Кокспуръ-стритъ, и тутъ же рядомъ вышеупомянутую эпическую поэму), чѣмъ я пожертвую поэзіей Попа, по моему твердому убѣжденію, имѣющей такое же значеніе, какъ христіанство, въ англійской поэзіи.

«Но эдинбургскіе обозрѣватели и Озерные, и Гёнтъ съ его школой, и всѣ прочіе со своими школами, и Муръ безъ школы, и пожилые джентльмэны, которые переводятъ и подражаютъ, и юныя лэди, которыя слушаютъ и повторяютъ, баронеты, рисующіе ничего не говорящіе заглавные листки къ сочиненіямъ плохихъ поэтовъ, и благородные господа, приглашающіе ихъ на обѣдъ въ свои помѣстья, небольшая группа умныхъ людей и огромная толпа невѣждъ,—всѣ въ послѣднее время объединились въ умаленіи великаго поэта, за которое краснѣли-бы ихъ отцы точно такъ же, какъ будутъ краснѣть ихъ дѣти. Что-же мы получили взамѣнъ? «*Озерную*» школу, начавшую съ эпической поэмы, написанной въ «шесть недѣль» (Іоанна д'Аркъ, по увѣренію самого автора), и закончившую балладой *Питеръ Белль*, которую авторъ сочинялъ въ теченіе двадцати лѣтъ, какъ онъ предупредительно докладываетъ тѣмъ немногимъ, кого это можетъ интересовать. Что намъ дано взамѣнъ? Груда пошлыхъ и неинтересныхъ романовъ, подражаніе Скотту и мнѣ, сумѣвшимъ наилучшимъ образомъ использовать нашъ скверный матерьялъ и ошибочную систему. Что намъ дано взамѣнъ? *Мадокъ*—ни то, ни сё, не эпосъ и не что-либо другое; *Талаба-Кегама*, *Гебиръ* и тому подобная тарабарщина, написанная во всѣхъ размѣрахъ и невѣдомо на какомъ языкѣ. Гёнтъ, достаточно даровитый, чтобы сдѣлать *Исторію Римини* такимъ же совершенствомъ, какъ сказки Драйдена, счелъ нужнымъ пожертвовать своимъ талантомъ и вкусомъ какимъ-то непонятнымъ внушеніямъ Вордсворта, которыхъ, я увѣренъ, онъ самъ не сумѣлъ-бы растолковать. Муръ—но къ чему продолжать?—Всѣ они, за исключеніемъ Крабба, Роджерса и Кэмпбелля, которые, такъ сказать, уже дошли до мѣста, съ Божьей помощью, переживутъ свою славу,—для этого имъ не нужно особенной долговѣчности. Само собой, нужно еще сдѣлать исключеніе для тѣхъ, кому нечего терять, такъ какъ они и не стяжали славы, кромѣ какъ въ провинціи

*) *The Loves of the Triangles*: Любовь треугольниковъ.

**) Гольдсмитъ предвосхитилъ опредѣленіе «озерной» поэзіи, поскольку такая вещь можетъ быть формулирована: «джентльмэны, предлагаемая пьеса не изъ *обыкновенныхъ* вашихъ *эпическихъ поэмъ*, выходящихъ изъ печати, какъ бумажные змѣи лѣтомъ; въ ней вы не найдете вашихъ Турнусовъ и Дидонъ; это *историческое описаніе природы*. Я прошу васъ только попытаться настроить ваши души въ унисонъ съ моей и *слушать съ тѣмъ же энтузіазмомъ, съ какимъ я писалъ*». Развѣ это не подходящее введеніе къ «*Экскурсіи*». Оно вполнѣ годилось бы для этой цѣли, не будь оно, къ несчастью, написано на хорошемъ англійскомъ языкѣ.

и въ собственной семьѣ,—и еще для Мура, этого ирландскаго Бернса, который уже не можетъ утратить своей славы.

«Большинство перечисленныхъ мною поэтовъ съумѣли, однако, найти себѣ послѣдователей. Въ одной статьѣ въ «*Connoisseur*» говорится: «По наблюденіямъ французовъ, въ Англіи достаточно кота, старухи и священника для того, чтобы составить религіозную секту». И для образованія поэтической достаточно такого-же количества животныхъ, лишь нѣсколько иного рода. Если взять сэръ Джорджа Вьюмонта вмѣсто священника и м-ра Вордсворта вмѣсто старухи, мы будемъ имѣть почти полностью требуемое; боюсь только, что Соути неважно исполнить роль кота, онъ слишкомъ наглядно доказалъ свою принадлежность къ породѣ, съ которой это благородное животное особенно враждуетъ.

«Тѣмъ не менѣе я не захожу такъ далеко, какъ Вордсвортъ въ своемъ послѣсловіи, утверждающій, будто *ни одинъ* великій поэтъ не добивался славы при жизни; въ переводѣ это означаетъ, что Уильяма Вордсворта современники читаютъ не такъ усердно, какъ бы ему хотѣлось. Утвержденіе это столь-же ложно, какъ и нелѣпо. Извѣстность Гомера обусловливается его популярностью при жизни: онъ читалъ свои стихи,—еслибъ они сразу не производили сильнаго впечатлѣнія на окружающихъ, кто сталъ-бы учить наизусть «*Иліаду*» и передавать ее по преданію? Энній Теренцій, Плавтъ, Лукрецій, Горацій, Виргилій, Софоклъ, Эврипидъ, Сафо, Анакреонъ, Теокритъ, - всѣ великіе поэты древности приводили въ восторгъ своихъ современниковъ. Самое существованіе поэта до изобрѣтенія печатнаго станка зависѣло отъ степени его популярности—и развѣ она вредила его будущей славѣ? Едва-ли. Исторія гласитъ, что лучшіе дошли до насъ. Причина ясна: чѣмъ популярнѣй былъ поэтъ, тѣмъ больше находилось охотниковъ списывать его рукописи; а что у его современниковъ былъ испорченъ вкусъ, это новѣйшіе авторы врядъ-ли рѣшатся утверждать, ибо лучшіе изъ нихъ только съумѣли приблизиться къ древнимъ. Данте, Петрарка, Аріостъ и Тассо,—всѣ они были любимцами своихъ современниковъ. Поэма Данте получила широкую извѣстность задолго до его смерти, а послѣ его смерти государства спорили между собой изъ-за его останковъ и уголка земли, на которой была написана «*Божественная Комедія*». Петрарка былъ вѣнчанъ лаврами въ Капитоліи. Аріостъ былъ отпущенъ безъ выкупа разбойникомъ, читавшимъ его «*Неистоваго Роланда*». Я не совѣтовалъ-бы м-ру Вордсворту попробовать продѣлать тотъ-же опытъ съ его «*Контрабандистами*». Тассъ, несмотря на критику и нападки крускантинцовъ, еслибъ не умеръ, тоже былъ-бы вѣнчанъ въ Капитоліи.

«Не трудно доказать, что у единственнаго изъ современныхъ народовъ Европы, владѣющаго поэтической рѣчью, популярность не заставила себя долго ждать. Да и у насъ Шекспиръ, Спенсеръ, Джонсонъ, Уоллеръ, Драйденъ, Конгривъ, Попъ, Юнгъ, Шенстонъ, Томсонъ, Гольдсмитъ, Грэй пользовались такой же популярностью при жизни, какъ и послѣ смерти. *Элегія* Грэя понравилась сразу и навсегда. Его *Оды* и теперь, какъ тогда, нравятся меньше *Элегіи*. Мильтону не давала прославиться его страсть къ политикѣ. Но *Эпиграмма* Драйдена *) и успѣхъ его книги въ продажѣ, принимая во вниманіе, что въ то время читали гораздо меньше теперешняго, показываютъ, что современники умѣли чтить его. Я даже осмѣливаюсь утверждать, что «*Потерянный рай*» въ первые четыре года послѣ своего выхода въ свѣтъ расходился въ большемъ количествѣ экземпляровъ, чѣмъ «*Прогулка*» за такое же время, съ той разницей, что между моментами появленія этихъ книгъ прошло около полутораста лѣтъ, а за это время прибавилось много тысячъ читателей. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ м-ръ Вордсвортъ приводитъ въ примѣръ Мильтона, какъ поэта, который при жизни не добился славы, съ цѣлью доказать, что наши внуки будутъ читать его (Вордсворта), я ему совѣтую сначала опросить нашихъ бабушекъ. Но пусть онъ не огорчается: быть можетъ, онъ еще доживетъ до заката славы своихъ соперниковъ, которые будутъ забыты, какъ забыты Дарвинъ и Сьюардъ, и Гуль, и Голь, и Гойль; но паденіе ихъ не будетъ его возвышеніемъ; онъ бездарный писатель по существу и всѣ недостатки другихъ не могутъ выдвинуть его достоинствъ. У него можетъ быть секта, но никогда не будетъ публики; и его *аудиторія* всегда будетъ «*немногочисленной*», не будучи «*избранной*», если не подразумѣвать подъ этимъ кандидатуру въ Бедламъ.

«Меня могутъ спросить, почему-же будучи такого дурнаго мнѣнія о настоящемъ положеніи поэзіи въ Англіи, и уже съ давнихъ поръ, какъ это хорошо извѣстно моимъ друзьямъ, самъ владѣя перомъ и зная, что публика прислушивается, или по крайней мѣрѣ прислушивалась къ моему голосу,—почему я самъ въ своихъ сочиненіяхъ не держался иного плана и не пытался исправить вкусъ современниковъ вмѣсто того, чтобы потворствовать ему. На это я отвѣчу, что легче замѣтить ошибку, чѣмъ итти вѣрнымъ путемъ, и что я никогда не разсчитывалъ «занять (какъ *Питеръ Белль*, см. *предисловіе*) прочное положеніе въ литературѣ своей страны». Это знаютъ всѣ, кто мнѣ близокъ, и знаютъ также, какъ я былъ удивленъ временнымъ успѣхомъ моихъ произведеній, въ виду того, что я не льстилъ ни лицамъ, ни партіямъ и высказывалъ мнѣнія, нераздѣляемыя большинствомъ читателей. Еслибъ я могъ предвидѣть, съ какимъ вниманіемъ отнесется ко мнѣ публика, ужъ конечно я бы усерднѣе старался заслужить его. Но я жилъ въ дальнихъ краяхъ, за границей, или-же дома среди волненій, не благопріятствующихъ работѣ и размышленію; такъ что почти все написанное мною мнѣ диктовала страсть - та или другая, но всегда страсть; ибо во мнѣ (если только не будетъ *ирландизмомъ* выразиться такимъ образомъ) даже мое равнодушіе является своего рода страстью, результатомъ опыта, а не природной философіей. Писательство входитъ въ привычку, какъ кокетство у женщинъ: есть женщины, у которыхъ въ жизни не было ни единой интриги, но не много такихъ, у которыхъ была только одна; точно такъ же есть милліоны людей, не написавшихъ ни одной книги, но не много такихъ, которые удовольствовались одной. Такъ и я, написавъ одну книгу, продолжалъ писать, безъ сомнѣнія, ободренный успѣхомъ даннаго момента, но вовсе не предвидя, что этотъ успѣхъ будетъ прочнымъ, и даже, смѣю васъ увѣрить, врядъ ли этого желая. Но, помимо сочинительства, я въ это время дѣлалъ я кое что другое, отнюдь не способствовавшее ни усовершенствованію моихъ произведеній, ни моему благополучію.

«Итакъ, я публично высказалъ о поэзіи нашихъ дней свое давнишнее мнѣніе, которое высказывалъ всѣмъ, кто интересовался имъ, и еще кой-кому, кто, быть можетъ, предпочелъ-бы не

*) Подпись подъ портретомъ Мильтона: «*Три поэта, рожденные въ три отдѣльные вѣка*» и пр.

слыхать его; такъ, напримѣръ, я недавно говорилъ Муру, что «мы всѣ неправы, кромѣ Роджерса, Крабба и Кэмпбелля». Я не старъ годами, но много пережилъ и не чувствую въ себѣ достаточно бодрости духа для того, чтобы попытаться создать произведеніе, которое показало-бы, что̀ я считаю истинной поэзіей; приходится удовольствоваться изобличеніемъ недостатковъ существующей. Но я вѣрю, что въ Англіи явятся болѣе молодые умы, которые, избѣжавъ заразы, изгнавшей всякую поэзію изъ нашей литературы, вернутъ ее нашей родинѣ такой, какой она была и еще можетъ быть.

«А пока, лучшій» способъ искупить свой грѣхъ это покаяніе и новыя, частыя изданія Попа и Драйдена.

«Въ поэмѣ «*О человѣкѣ*» (*Essay on Man*) вы найдете такую-же утѣшительную метафизику и въ десять разъ больше поэзіи, чѣмъ въ «*Прогулкѣ*». Если вы ищете страсти, гдѣ-же вы найдете больше пылкой страсти, чѣмъ въ посланіи Абеляра къ Элоизѣ или въ «*Паламонѣ и Арситѣ*»? Вамъ нуженъ вымыселъ, воображеніе, возвышенность, характеры—ищите ихъ въ «*Кражѣ со взломомъ*», въ *Басняхъ* Драйдена, въ «*Одѣ на день св. Цециліи*», въ «*Авессаломѣ и Ахитофелѣ*». У этихъ двухъ поэтовъ вы найдете *все*, ради чего пришлось бы поглотить неизмѣримое количество стиховъ и Богъ вѣсть сколько современныхъ *писакъ*, не найдя у нихъ хотя бы заглавія одинаковаго качества съ тѣми, и, вдобавокъ, умъ, который у нынѣшнихъ писателей отсутствуетъ. Я не забылъ ни *Томаса Броуна младшаго*, ни *Семейства Фудокъ*, ни Уистлькрафта, но это не умъ; это—*юморъ*. Не говорю уже о гармоніи стиха Попа и Драйдена въ сравненіи съ нынѣшними, но сейчасъ нѣтъ ни одного поэта (кромѣ Роджерса, Джиффорда, Кэмпбелля и Крабба), который былъ-бы способенъ написать героическую поэму. Дѣло въ томъ, что красота и прелесть его стиховъ отвлекали вниманіе публики отъ ихъ другихъ достоинствъ, точно такъ же, какъ обыкновенный наблюдатель, любуясь красотой мундира, не думаетъ о качествѣ войскъ. Именно свойственная Попу гармонія стиха вооружила противъ него пошлость и жеманство, - оттого, что у него безукоризненный стихъ, увѣряли, что у него только стихъ и хорошъ; оттого, что высказываемыя имъ истины такъ ясны, говорили, что у него нѣтъ выдумки; оттого, что онъ всегда понятенъ, принято думать, что онъ не талантливъ. Намъ съ насмѣшкой говорятъ, что онъ «поэтъ разсудка», какъ будто съ разсудкомъ нельзя быть поэтомъ. Перелистывая страницу за страницей, я берусь найти у Попа больше строкъ, свидѣтельствующихъ о богатствѣ его *фантазіи*, чѣмъ у любыхъ двухъ изъ нынѣ здравствующихъ поэтовъ. Возьмемъ наудачу примѣръ изъ области, не особенно благопріятствующей развитію воображенія—Сатиры, возьмемъ описаніе характера Спора со всей чудесной игрой фантазіи, которой оно изукрашено, и попробуемъ сопоставить съ нимъ такое же количество стиховъ изъ двухъ современныхъ поэтовъ, равной силы и разнообразія—гдѣ вы ихъ найдете?

«Приведу лишь одинъ примѣръ изъ многихъ въ отвѣтъ на несправедливое отношеніе къ памяти того, кто внесъ гармонію въ нашу поэтическую рѣчь. Разные клерки и другіе геніи-самородки находили болѣе легкимъ кривляться, подражая новымъ образцамъ, чѣмъ добиваться симметричности того, чѣмъ восхищались ихъ отцы; къ тому-же имъ обѣщали, что новая школа возродитъ языкъ временъ королевы Елизаветы, настоящій англійскій языкъ, ибо-де въ царствованіе королевы Анны всѣ писали отвратительно.

«Прежде бѣлыми стихами, кромѣ Мильтона, не писалъ никто, способный подбирать риемы—развѣ что въ драмѣ; теперь всѣ пишутъ бѣлые стихи или такіе риемованные, которые хуже бѣлыхъ. Я знаю, что Джонсонъ, послѣ нѣкотораго колебанія, заявилъ, что онъ «не можетъ заставить себя пожелать, чтобы Мильтонъ писалъ риемованными стихами». Я очень цѣню этого истинно великаго человѣка, котораго нынче тоже въ модѣ порицать, и отношусь къ его мнѣніямъ съ тѣмъ почтеніемъ, какое современемъ и всѣ снова будутъ ему оказывать; но, при всей моей скромности, я не увѣренъ, что «*Потерянный Рай*» не выигралъ-бы въ благородствѣ формы, будь онъ написанъ ну, можетъ быть, не александрійскимъ стихомъ,—хотя и онъ, при умѣломъ употребленіи, годился бы для этой темы, но стансами Спенсера или Тасса, или же терцинами Данте, которыя такой могучій талантъ, какъ Мильтонъ, легко съумѣлъ бы привить къ нашему языку. «*Времена года*» Томсона тоже были-бы красивѣе въ риемованныхъ стихахъ, хотя все таки хуже его «*Замка Лѣни*»; да и «*Іоанна д'Аркъ*» м-ра Соути не проиграла-бы отъ риемъ, хотя, можетъ быть, ему пришлось бы писать ее шесть мѣсяцевъ вмѣсто шести недѣль. Совѣтую также всѣмъ любителямъ лирики сопоставить *Оды* нынѣшняго поэта-лаурета съ Драйденовской «*Одой на день Цециліи*»; но только пусть онъ *сначала* прочтетъ стихи м-ра Соути.

«Витающимъ въ облакахъ геніямъ и вдохновеннымъ юнымъ нотаріусамъ или учителямъ чистописанія нашихъ дней многое изъ сказаннаго мною покажется парадоксомъ, но двадцать лѣтъ тому назадъ это было труизмомъ, а еще черезъ десять будетъ снова признанной истиной. А я пока приведу въ заключеніе двѣ цитаты въ утѣху тѣмъ изъ старыхъ друзей-классиковъ, въ комъ сидитъ еще достаточно кэмбриджской закваски для того, чтобы считать за честь для себя, что Джонъ Драйденъ когда-то учился въ одномъ съ ними колледжѣ, и помнить, что первыя въ ихъ жизни поэтическія наслажденія были имъ доставлены Твикенгэмскимъ «соловушкой». Первая цитата взята изъ примѣчаній къ поэмѣ: «*Друзья*» *).

«Лишь въ теченіе послѣднихъ двадцати-тридцати лѣтъ были сдѣланы замѣчательныя открытія въ области критики, научившія нашихъ современныхъ версификаторовъ умалять достоинство этого сильнаго, мелодическаго и нравственнаго поэта. Послѣдствія такого недостаточно уважительнаго отношенія къ писателю, котораго здравый смыслъ нашихъ предковъ вознесъ на подобающую ему высоту, были *многообразны* и *въ достаточной степени унизительны*.

«Вторая цитата взята изъ книги юноши, который учится писать стихи и начинаетъ съ того, что учитъ этому искусству другихъ. Послушайте-ка его **).

*) *Друзья*; поэма. Въ четырехъ книгахъ. Фрэнсиса Годжсона (1818).

**) Въ рукописномъ примѣчаніи къ этому мѣсту статьи, помѣченномъ 12 Ноября 1821 г., Байронъ пишетъ слѣдующее: «Около года спустя послѣ того, какъ это было написано, м-ръ Китсъ умеръ въ Римѣ отъ разрыва кровеноснаго сосуда, послѣдовавшаго при чтеніи имъ статьи объ его *Эндиміонѣ* въ «*Quarterly Review*». Я читалъ эту статью и до того, и послѣ и, хотя она горька, я не думаю, чтобы чело-

«Но вы были мертвы для вещей, которыхъ вы не знали; были прикованы къ заплеснѣвшимъ законамъ, управлялись испорченнымъ рулемъ и неправильнымъ компасомъ; и вы учили школу *) *болвановъ прилаживать, подбирать, обтесывать* и *приноравливать* до тѣхъ поръ, пока стихи ихъ не оказывались *годными*. Задача была легка: подъ маской поэзіи укрывалась тысяча ремесленниковъ. Злополучная, нечестивая раса, кощунственно поносившая въ глаза великаго лирика, сама того не зная,—она несла жалкое, *обветшалое* знамя съ самыми пошлыми девизами и съ начертаннымъ на немъ во всю ширь именемъ *нѣкоего* Буало».

«Нѣсколько ранѣе онъ такъ характеризуетъ манеру Попа:

Ересь, вскормленная щеголеватостью и варварствомъ, заставила великаго Аполлона покраснѣть за эту его страну **).

«Я полагалъ бы, что щеголеватость—результатъ *утонченности*, но *n'importe*.

«Сказаннаго достаточно, чтобы показать, какъ судятъ новѣйшіе пѣвцы англійской лиры о томъ, въ чьихъ рукахъ она звучала всего полнѣе и звонче, и какія великія усовершенствованія они внесли своими собственными «варіаціями».

«Написавшій это - головастикъ изъ Озеръ, юный послѣдователь шести или семи новыхъ школъ, гдѣ онъ научился писать такіе стихи и выражать такія чувства. Онъ говоритъ: «Попу не трудно подражать», мысленно, какъ мнѣ кажется, добавляя: «да и сравняться съ нимъ тоже». Совѣтую ему попробовать, прежде чѣмъ утверждать такъ положительно, и затѣмъ сравнить то, что онъ напишетъ и что уже было имъ написано раньше, съ первыми и самыми скромными произведеніями Попа, созданными имъ, когда онъ былъ еще моложе Китса, въ моментъ сочиненія этимъ послѣднимъ его новаго «Опыта о критицизмѣ», озаглавленнаго «*Сонъ и Поэзія*» (зловѣщее названіе), откуда взяты вышеприведенныя правила. Попъ писалъ свои стихи девятнадцати лѣтъ, а издалъ ихъ двадцати двухъ.

«Таковы тріумфы новыхъ школъ и таковы ихъ профессора. Учениками Попа были: Джонсонъ, Гольдсмитъ, Роджерсъ, Кэмпбелль; Краббе—Джиффордъ, Матьясъ, Гэйли и авторъ *Рая Кокетокъ*», къ которымъ можно присоединить еще Ричардса, Гебера, Рангема, Блода, Годгсона, Меривале и другихъ, которые и добились той славы, какой заслуживали, ибо «призъ на бѣгахъ не всегда беретъ тотъ, кто бѣгаетъ быстро, и битву не всегда выигрываетъ сильный, и въ славѣ бываетъ удача и неудача, какъ во всемъ остальномъ. Теперь возьмемъ *всѣ* новыя школы, я говорю: *всѣ*, какъ «Легіонъ», потому что ихъ много, назовите мнѣ хоть одного писателя, котораго бы могъ не стыдиться его учитель, если не считать Созби, который подражалъ всѣмъ и порою превосходилъ своихъ учителей. Скоттъ особенно плѣнялъ прекрасный полъ и среди него находилъ себѣ много подражательницъ: и миссъ Гольфордъ, и миссъ Митфордъ, и миссъ Фрэнсисъ, но, при всемъ уваженіи къ нимъ, надо признать, что никто изъ его учениковъ и учениць не сдѣлалъ особой чести учителю, кромѣ Гогга, пока не появились «*Трайерменская свадьба*» и «*Гарольдъ Безупречный*», по мнѣнію иныхъ, обнаружившія талантъ, равный таланту Скотта, если не превосходившій его. И что же? Три-четыре года спустя оказалось, что это произведенія самого учителя. Развѣ у Соути, Кольриджа или третьяго ихъ товарища были послѣдователи, добившіеся извѣстности? Уильсонъ не писалъ ничего путнаго, пока не нашелъ самого себя въ «*Городѣ чумы*». Былъ ли у Мура или какого-нибудь другого извѣстнаго писателя хоть одинъ сносный подражатель,—вѣрнѣе ученикъ? Теперь обратите вниманіе на то, что всѣ почти перечисленные мною послѣдователи Попа создали прекрасныя и классическія произведенія; славѣ его повредило въ концѣ концовъ не количество подражателей, но отчаянная трудность подражанія и *удобство не* подражать. Это именно и еще та причина, которая побудила аѳинянина подать голосъ за изгнаніе Аристида, «потому что ему надоѣло слышать, какъ его всѣ зовутъ *справедливымъ*», вызвали временное изгнаніе Попа изъ литературнаго міра. Но этому изгнанію настанетъ конецъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше не для него, а для тѣхъ, кто изгналъ его, и для ихъ дѣтей, которые будутъ «краснѣть за своихъ отцовъ, поступавшихъ съ нимъ, какъ враги».

«Возвращаюсь къ автору статьи, вызвавшей всѣ эти возраженія; я искренно убѣжденъ, что это Джонъ Уильсонъ, человѣкъ большихъ дарованій, хорошо извѣстный публикѣ, какъ авторъ *Города Чумы*, *Острова Пальмъ* и другихъ произведеній. Позволяю себѣ назвать его изъ той-же особаго рода любезности, которая побудила его указать на меня, какъ на автора *Донъ-Жуана*. Что касается «поэтовъ Озера», быть можетъ, онъ припомнитъ, что я только высказываю мнѣніе о нихъ, которое составилъ себѣ уже давно и выразилъ въ письмѣ къ м-ру Джемсу Гоггу, при чемъ письмо это сказанный Джемсъ Гоггъ, нѣсколько вопреки правиламъ литературной этики, въ 1814 году показалъ м-ру Джону Уильсону, о чемъ самъ же и сообщилъ мнѣ въ своемъ отвѣтномъ письмѣ, извиняясь тѣмъ, что «чортъ побери, я *не могъ* не показать»... И въ данный моментъ я не чувствую въ себѣ ни тѣни «зависти или «раздраженія», которыя могли-бы повліять на мое хорошее, или дур-

---

вѣку слѣдовало позволить ей убить себя. Но юноша не думаетъ о томъ, что неизбѣжно ждетъ его въ жизни, разъ онъ добивается извѣстности. Мое негодованіе на Китса за низкую оцѣнку Попа мѣшало мнѣ отдать должное его собственному таланту, который, при всей фантастической франтоватости его стиля, безспорно, многое обѣщалъ. Его отрывокъ изъ «*Гиперіона*» какъ будто внушенъ титанами и такъ же великолѣпенъ, какъ Эсхиловскій. Смерть его—большая потеря для нашей литературы, тѣмъ болѣе, что онъ самъ передъ смертью, говорятъ, убѣдился, что онъ пошелъ не по вѣрному пути, и преобразовывалъ свой стиль по наиболѣе классическимъ образцамъ нашего языка.

*) Это, по крайней мѣрѣ, была «классическая» школа.

**) Въ противовѣсъ этимъ строкамъ и всему направленію новой школы приведу наудачу нѣсколько выдержекъ изъ самыхъ раннихъ произведеній Попа:

«Envy her own snakes shall feel, и т. д.

(Слѣдуютъ цитаты).

Я могъ бы привести тысячу подобныхъ отрывковъ, все написанныхъ Попомъ *до двадцати двухъ* лѣтъ; а между тѣмъ насъ увѣряютъ, что онъ не поэтъ и увѣряютъ въ такихъ *строкахъ*, которыя я очень прошу читателя сравнить съ этими *юношескими* произведеніями «не поэта». Повторять-ли вопросъ Джонсона: «*Если Попъ не поэтъ, гдѣ-же искать поэта?*» Даже въ *описательной* поэзіи, *низшемъ* родѣ искусства, какъ вы убѣдитесь при добросовѣстномъ изслѣдованіи, ему нѣтъ равнаго между живыми писателями.

ное мнѣніе о Соути, Вордсвортѣ, или Кольриджѣ, какъ поэтахъ, хотя съ тѣхъ поръ я и узналъ два три факта, которые усилили мое презрѣніе къ нимъ, какъ и къ людямъ. Въ отвѣтъ на брань м-ра Уильсона я предложу ему только одинъ вопросъ: развѣ самъ онъ никогда не сочинялъ пародіи или пародій на Псалмы Давида (какого рода—о томъ свидѣтель умалчиваетъ) и не пѣлъ, не декламировалъ ихъ на веселыхъ сборищахъ эдинбургской молодежи? Это не значитъ, чтобъ я считалъ за преступленіе такого рода сочинительство—по моему, здѣсь все зависитъ отъ намѣренія. Если авторъ задумалъ выставить въ смѣшномъ видѣ святыя слова,—это грѣхъ; если онъ просто хотѣлъ написать смѣхотворную шутку на мірской сюжетъ, или облечь въ забавную форму нравственную истину,—грѣха въ томъ нѣтъ. Въ противномъ случаѣ и *Вѣра невѣрующихъ* и многія политическія пародіи на разныя мѣста Св. Писанія и литургіи, въ особенности, знаменитая пародія на Молитву Господню и Франклинова великолѣпная парабола въ защиту терпимости, которую такъ часто принимаютъ за подлинную выдержку изъ книги Бытія,—все это было бы непростительнымъ грѣхомъ. Я только хотѣлъ-бы знать, писалъ-ли м-ръ Уильсонъ такія пародіи и, *если писалъ*, почему его такъ возмущаютъ подобныя же мѣста въ *Донъ Жуанѣ*? Ужъ будто ни одной нечестивой пародіи не появлялось въ первыхъ номерахъ *Blackwood's Magazine'a?*

Заканчивая этотъ пространный отвѣтъ на краткую замѣтку, я каюсь, что сказалъ такъ много въ защиту себя лично и такъ мало о поэзіи нашихъ дней. Послѣ этого трудно ожидать отъ меня, чтобы я сталъ защищать *Донъ-Жуана* или какое нибудь другое *«жизненное»* поэтическое произведеніе. Не стану и пытаться. И, хотя я не нахожу, чтобы м-ръ Уильсонъ въ данномъ случаѣ отнесся ко мнѣ съ терпимостью и уваженіемъ, надѣюсь, что тонъ, которымъ я говорилъ о немъ лично, покажетъ ему, что я никакой злобы противъ него не питаю, точно такъ же, какъ и онъ *въ глубинѣ души* ничего противъ меня не имѣетъ,- я въ томъ увѣренъ. Но долгъ редактора, все равно, что сборщика податей, выше всего и не терпитъ возраженій. Я кончилъ». **З. Журавская.**

II.

Редактору „British Review“ *).

«*Милѣйшій Робертсъ*,—какъ убѣжденный сторонникъ англиканской церкви, не говоря уже о государствѣ, я иногда почитывалъ ваше *Обозрѣніе* и весьма восхищался имъ, хоть и не состоялъ его подписчикомъ, такъ какъ оно немножко дорого. Но я не припомню, чтобы какой-либо изъ отдѣловъ особенно удивлялъ меня своимъ содержаніемъ до тѣхъ поръ, пока не появилось одиннадцатой статьи въ № 27 вашего журнала. Въ этой статьѣ вы мужественно опровергаете возведенное на васъ клеветническое обвиненіе въ подкупѣ и продажности, которое, еслибъ ему повѣрила публика, могло бы не только повредить вашей репутаціи, какъ духовнаго лица и редактора, но, что еще хуже, повредить подпискѣ на вашъ журналъ, а онъ и безъ того, какъ я съ прискорбіемъ узналъ, расходится не настолько хорошо, какъ можно было бы ожидать, при чистотѣ (по вашему справедливому замѣчанію) его» и т. д. и т. д. и его стараніяхъ соблюдать благопристойность. Само по себѣ обвиненіе очень серьезное и высказано хотя и въ стихахъ, но съ такими удручающими подробностями, что ему вѣришь, пожалуй, не меньше, чѣмъ обыкновенно вѣрятъ тридцати девяти статьямъ, которыя подписываютъ при производствѣ въ первый чинъ. Это обвиненіе въ высшей степени возмутельное для сердца мужчины, ибо оно высказывается нерѣдко; для ума государственнаго дѣятеля—ибо порой оно бываетъ справедливо; и для души редактора—въ силу его нравственной невозможности. Итакъ, васъ обвиняютъ въ послѣдней строчкѣ одной октавы и въ цѣлыхъ восьми строкахъ слѣдующей октавы (209-й и 210-й) первой пѣсни «вредной» поэмы, именуемой *Донъ-Жуаномъ*, въ томъ, что вы взяли и, что еще глупѣе, признались въ томъ, что взяли нѣкоторую сумму за восхваленіе невѣдомаго автора, судя по этому разсказу, извѣстнаго вамъ, если не кому другому. Такого рода обвиненіе, притомъ же высказанное въ такой серьезной формѣ, можно опровергнуть только однимъ способомъ, и я твердо убѣжденъ, что, взяли вы или не взяли эти деньги (я лично убѣжденъ, что вы ихъ не брали), не худо бы ему точнѣе обозначить: сколько; вы совершенно правы, отговариваясь полнымъ невѣдѣніемъ. Если и впредь будутъ предъявляться столь гнусныя обвиненія, притомъ освященныя торжественностью обстановки и гарантированныя правдивостью стиха (какъ выразился-бы членъ совѣта Филипсъ), что же станется съ читателемъ, донынѣ безпредѣльно вѣрившимъ не менѣе правдивой прозѣ нашихъ критическихъ журналовъ? Что станется съ журналами? А если погибнутъ журналы, что станется съ редакторами? Это дѣло общее и вы хорошо сдѣлали, что начали трубить тревогу. Я самъ, въ своей скромной сферѣ, буду однимъ изъ вашихъ подголосковъ. Выражаясь словами трагика Листона, «я люблю шумъ», а вы, повидимому, имѣли полное основаніе поднять бурю».

«Возможно только возможно, хотя само собой невѣроятно,—что авторъ пошутилъ, но это только увеличиваетъ его преступленіе. «Шутка», говоритъ пословица, «костей не ломитъ»; но она можетъ сломить книготорговца, а бываетъ и такъ, что изъ за шутки ломаютъ ребра. Эта шутка въ лучшемъ случаѣ скверная шутка для автора и могла бы кончиться еще болѣе скверно для васъ, если бы вы въ своемъ пространномъ опроверженіи не удостовѣрили передъ всѣми, кому это вѣдать надлежитъ, вашей негодующей невинности и непорочной чистоты *British Review*. Я вѣрю вашему слову, любезный Робертсъ, но не могу не пожелать, чтобы, въ виду жизненной важности этого случая, оно не облеклось въ болѣе существенную форму показанія подъ присягой, данною въ присутствіи лорда-мэра, Аткинса, который охотно принимаетъ всякаго рода показанія и, безъ сомнѣнія, постарался бы какъ-нибудь выдвинуть это, какъ свидѣтельство о замыслахъ реформаторовъ поджечь Лондонъ, въ то время какъ самъ онъ замышляетъ оказать ту же услугу рѣкѣ Темзѣ.

Я увѣренъ, дружище, что вы не примете въ дурную сторону этихъ моихъ замѣчаній, высказанныхъ по дружбѣ, столь же чистой, какъ и ваше редакторское безкорыстіе. Я всегда восхи-

*) Въ первой, появившейся анонимно пѣснѣ «Донъ-Жуана» Байронъ очень оскорбительно отнесся къ редактору «British Review», обвиняя его въ подкупности (стр. 232, строфы CCIX—CCX). Издатель Робертсъ написалъ сердитое возраженіе, сущность котораго видна изъ нижеслѣдующаго юмористическаго отвѣта Байрона, напеч. подъ псевдонимомъ Клэтербэка.

щался вами и, не зная иной формы, въ которой восхищеніе и дружба могли бы выразиться болѣе пріятно и полезно, чѣмъ въ формѣ добраго совѣта, продолжаю свои упражненія, пересыпая ихъ время отъ времени наставительными намеками на то, какъ, по моему, вамъ слѣдуетъ вести себя, если къ вамъ еще когда-нибудь пристанутъ съ предложеніемъ денегъ или обвинять васъ въ томъ, что вы взяли ихъ. Кстати, вы ничего почти не говорите о поэмѣ, кромѣ того, что она «гнусная». Это жаль—вамъ бы слѣдовало хорошенько раскритиковать ее, ибо, правду сказать, не дѣлая этого, вы до извѣстной степени какъ бы подтверждаете тѣ выводы, которые недоброжелательнымъ людямъ можетъ заблагорасудиться сдѣлать изъ анонимнаго завѣренія, такъ сильно разгнѣвавшаго васъ.

Вы говорите, что ни одинъ книготорговецъ не хотѣлъ издавать этой книги, хотя многіе опозорили себя продажей ея. Видите ли, милый другъ, хотя всѣмъ намъ извѣстно, что эти люди изъ-за денегъ способны на все, мнѣ думается, безчестье въ данномъ случаѣ скорѣе на сторонѣ покупателей, а таковые имѣются, ибо книга не можетъ особенно ходко идти (какъ вы это видите по *Британскому Обозрѣнію*), если ея не покупаютъ. Затѣмъ вы прибавляете: «Что можетъ сказать о ней критикъ?» Вотъ ужъ этого я не знаю; пока онъ во всякомъ случаѣ говоритъ мало, и то не особенно кстати. И далѣе: «*многія* мѣста заслуживаютъ похвалы, поскольку рѣчь идетъ объ ихъ *поэтическомъ достоинствѣ*; съ точки же зрѣнія нравственности, всѣ достойны осужденія». Милый, добрый мой Робертсъ, мнѣ душевно жаль васъ и вашей репутаціи; сердце мое обливается кровью; я васъ спрашиваю: развѣ такія слова не подходятъ подъ описаніе «соумышленническаго восхваленія? —см. фарсъ Шеридана *Критикъ* (кстати сказать, болѣе забавный, чѣмъ вашъ собственный водевиль подъ тѣмъ-же заглавіемъ), дѣйствіе 1-е, конецъ 2-го явленія.

Поэма эта, какъ кажется, продается за сочиненіе лорда Байрона, но вы «считаете себя вправѣ предполагать, что она написана не лордомъ Байрономъ». На какомъ же основаніи вы когда-либо предполагали обратное? Я одобряю ваше негодованіе, сочувствую ему, сержусь не меньше васъ, но, быть можетъ, это негодованіе заводитъ васъ слишкомъ далеко, когда вы утверждаете, что «никакое преступленіе, ни даже выпускъ въ свѣтъ циничныхъ и богохульныхъ поэмъ, плодовъ сознательнаго распутства и выработаннаго нечестія, не представляется ему такимъ гнуснымъ, какъ поступокъ редактора, который беретъ взятку съ автора за то, чтобы хвалить его». Чортъ побери! Подумайте же немножко. Это ужъ слишкомъ критическое отношеніе. Съ точки зрѣнія и языческаго, и христіанскаго милосердія, несомнѣнно, менѣе преступно хвалить ближняго за деньги, чѣмъ обижать его даромъ. Что же касается сравнительной невинности богохульства и цинизма въ сопоставленіи съ «принятіемъ дара» редакторомъ, я только скажу, что въ устахъ редактора это звучитъ очень хорошо, но, какъ христіанину и церковнослужителю, я бы не совѣтовалъ вамъ вставлять такія сентенціи въ свои проповѣди.

Вы говорите: «жалкій человѣкъ (ибо онъ, поистинѣ, жалокъ, имѣя душу, отъ которой онъ не можетъ освободиться)». Здѣсь я опять таки долженъ просить васъ объяснить мнѣ значеніе скобокъ. Мы слыхали о людяхъ «съ мелкой душой», или «бездушныхъ», но я никогда еще не слыхалъ о несчастіи «имѣть душу и не мочь отъ нея освободиться». Возможно, что вы и не страдаете особенно отъ этого несчастья, ибо, повидимому, съумѣли избавиться отъ частицы собственной души, когда сочиняли этотъ хорошенькій образчикъ краснорѣчія.

Но будемъ продолжать. Вы взываете къ лорду Байрону, все время предполагая въ немъ *не* автора, и требуете, чтобы онъ «со всею подобающей джентльмену поспѣшностью» опровергъ и т. д. Я слышалъ, что лордъ Байронъ въ чужихъ краяхъ, за нѣсколько тысячъ миль отсюда, такъ что ему трудненько будетъ поспѣшить исполнить ваше желаніе. Тѣмъ временемъ сами вы подали примѣръ больше торопливости, чѣмъ благородства; но «поспѣшишь—людей насмѣшишь».

Разсмотримъ теперь, любезный Робертсъ, самое обвиненіе; мнѣ кажется, что оно не совсѣмъ ясно формулировано:

Журналу «British», бабушки моей
Я взятку далъ.

Помню, вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ поэмы, насчетъ этого былъ разговоръ за чаемъ у поэта, м-ра С., который, помню, очень удивлялся, почему вы такъ и не дали критическаго отзыва ни объ его эпической поэмѣ *Саулъ*, ни хотя бы объ одной изъ его шести трагедій, которыя не удалось поставить на сценѣ—въ одномъ случаѣ, изъ-за дурного вкуса зрителей партера, а въ остальныхъ по причинѣ жестокаго къ нимъ отвращенія главныхъ исполнителей. Жена и дочери хозяина сидѣли въ уголкѣ, правя корректуру стихотвореній м-ра С., написанныхъ въ Италіи, или объ Италіи, какъ онъ выражается, и мужская часть *conversazione* имѣла возможность обмѣняться нѣсколькими замѣчаніями о вышеупомянутой поэмѣ и выдержкѣ изъ нея. Мнѣнія раздѣлились. Нѣкоторые полагали, что намекъ относится къ *Британскому Критику*; другіе находили, что слова «журналъ моей бабушки» надо понимать въ томъ смыслѣ, что «моя бабушка» не читала этотъ журналъ, а сама писала его, намекая тѣмъ, что вы, дорогой Робертсъ, старая баба, ибо, какъ говорятъ нерѣдко: «Джиффордовъ Журналъ», или «Обозрѣніе Джеффри», вмѣсто *Edinburgh Review* и *Quarterly Review*,—такъ и «Журналъ моей бабушки» и Робертсово «Обозрѣніе» можно понимать, какъ синонимы. Но хотя бы вашъ костюмъ *) и преклонный возрастъ, вашъ стиль вообще и различныя выдержки изъ вашихъ писаній и придавали нѣкоторое правдоподобіе этой инсинуаціи, я все-таки берусь снять съ васъ всякія такого рода подозрѣнія и утверждаю, не призывая въ свидѣтели м-ссъ Робертсъ, что если васъ выберутъ когда-нибудь папой, вы съ честью выдержите всѣ предварительныя церемоніи не хуже другихъ первосвященниковъ, избиравшихся послѣ разрѣшенія отъ бремени Іоанны. Это очень недобросовѣстно—судить о полѣ по сочиненіямъ, въ особенности по тому, что печатается въ *British Review*. Человѣку свойственно ошибаться неоспоримый фактъ, что многія изъ лучшихъ статей въ вашемъ журналѣ, приписываемыя какой-нибудь почтенной старушкѣ, были въ дѣйствительности написаны вами; однако же и до сего дня есть люди, которые не замѣчаютъ разницы. Но вернемся къ болѣе неотложному.

Я согласенъ съ вами, что лордъ Байронъ не

*) Въ подлинникѣ игра словъ: *gown*—женское платье и gown—ряса, мантія.

могъ быть авторомъ этой поэмы. Невозможно было бы ему прибѣгать къ такимъ шутливымъ вымысламъ, и не только потому, что онъ британскій поэтъ и британскій пэръ, но еще и по другой причинѣ, о которой вы забыли упомянуть. Прежде всего у его сіятельства нѣтъ бабушки. Авторъ же прямо говоритъ, и въ этомъ мы можемъ ему повѣрить, что *British*—журналъ его бабушки. Если это, какъ я, надѣюсь, ясно доказалъ, не было просто образнымъ намекомъ на вашъ предполагаемый духовный полъ и возрастъ, дорогой мой другъ, слѣдовательно, вы ли это, или нѣтъ, почтенная лэди существуетъ. И мнѣ тѣмъ легче этому повѣрить, что у меня у самого есть шестидесятилѣтняя старуха-тетка, которая всегда читала васъ, пока съ горя не заснула надъ передовой статьей послѣдняго номера «Обозрѣнія», при чемъ ея очки, вѣрой и правдой служившіе ей пятнадцать лѣтъ, упали и разбились о каменную рѣшетку, и она теперь не можетъ подобрать другихъ по глазамъ, такъ что я принужденъ былъ читать ей вслухъ. Такимъ-то манерамъ я и ознакомился съ предметомъ моего настоящаго письма и рѣшилъ войти съ вами въ гласную переписку.

Лорду Байрону, повидимому, сужденъ одинъ удѣлъ съ древнимъ Геркулесомъ, которому приписывали всѣ невѣдомо кѣмъ совершенныя чудеса. Такъ и лорда Байрона считали авторомъ *Вампира*, *Паломничества въ Іерусалимъ*, *Къ Мертвому Морю*, *Смерти не буланой лошади*, одъ ко *Лавалеттѣ*, къ *Св. Еленѣ*, къ *Странѣ Галловъ* и къ *сосущему младенцу*. А теперь оказывается, что онъ ничего этого и не думалъ писать. Кстати, вы говорите, что онъ знаетъ, въ какомъ духѣ и т. д. вы критикуете... Увѣрены-ли вы, что онъ все это знаетъ? Что онъ читалъ васъ, подобно моей бѣдной тетѣ? Мнѣ разсказывали, что онъ большой чудакъ, и на вашемъ мѣстѣ я не рѣшился бы съ увѣренностью утверждать, что онъ прочелъ и что онъ написалъ. Стиль его я находилъ серьезнымъ и жестокимъ. Что касается присылки вамъ денегъ, я впервые слышу, что онъ *такъ* расплачивается со своими рецензентами; судя по нѣкоторымъ изъ болѣе раннихъ его произведеній, я бы скорѣе думалъ, что онъ платитъ имъ *ихъ-же* монетой. Притомъ-же, хотя онъ, кажется, и не особенно любитъ швырять деньгами, я бы полагалъ, что счетъ его рецензента все-таки будетъ покороче счета его портного.

Хотите, я дамъ вамъ, по моему, благоразумный совѣтъ? Я не собираюсь что-либо внушать вамъ, Боже избави! Но если бы, паче чаянія, завязалась такого рода переписка между вами и неизвѣстнымъ авторомъ, кто бы онъ ни былъ, отошлите ему назадъ его деньги; смѣю васъ увѣрить, что онъ будетъ радъ получить ихъ обратно; это не можетъ быть большая сумма, принимая во вниманіе цѣнность статьи и распространенность журнала, а вы слишкомъ скромны, чтобъ оцѣнить свою похвалу выше ея дѣйствительной стоимости. Не сердитесь — да я увѣренъ, вы и не разсердитесь на такую оцѣнку вашихъ способностей къ восхваленію; зато, съ другой стороны, будьте увѣрены, дружище, что ваше порицаніе цѣнится на вѣсъ золота, при чемъ на вѣсы нужно класть не порицаніе—что-жъ, это перышко!—а *васъ* самихъ. А потому не скупитесь; если онъ *этого* добивался, будьте щедры и вѣрьте, что вы оказываете ему дружескую услугу.

Я, впрочемъ, говорю это только такъ, на всякій случай, ибо, какъ уже было сказано, я не могу повѣрить, чтобы вы взяли деньги за прославленіе кого бы то ни было, и еще менѣе вѣроятнымъ представляется мнѣ, чтобы кто нибудь въ такой мѣрѣ интересовался вашими похвалами, чтобы подкупить васъ. Вы—добрая душа, мой милый Робертсъ, и неглупый малый; не то я заподозрилъ-бы, что вы попались въ сѣти, разставленныя вамъ невѣдомымъ проказникомъ, который, конечно, былъ бы очень счастливъ, еслибъ вы избавили его отъ труда сдѣлать васъ смѣшнымъ. Дѣло въ томъ, что торжественная серьезность вашей одиннадцатой статьи выставляетъ васъ еще чуточку болѣе нелѣпымъ человѣкомъ, чѣмъ вы до сихъ поръ казались, и въ то же время не приноситъ пользы, ибо если кто способенъ вѣрить октавамъ, онъ и впредь будетъ вѣрить, и вамъ будетъ такъ же трудно доказать свою невинность, какъ ученому Партриджу доказать, что онъ не умеръ, къ полному удовольствію читателей альманаховъ.

Какія у автора могли быть побудительныя причины «утверждать» (какъ вы великолѣпно переводите его издѣвательство надъ вами), «со всей обстоятельностью, приличествующей maложенію фактовъ, обманно то, что представляетъ собой лишенный всякаго основанія вымыселъ» (пожалуйста, милѣйшій Робертсъ, не старайтесь вы такъ говорить въ стилѣ «Царя Камбиза»), этого я не знаю и сказать не могу; можетъ быть, онъ хотѣлъ посмѣяться надъ вами; но это еще не резонъ, чтобы вы благосклонно согласились насмѣшить и цѣлый свѣтъ. Я понимаю вашъ гнѣвъ,—говорю вамъ, я и самъ сердитъ, но вамъ не слѣдовало проявлять его такъ неистово. Ваше торжественное: «*если* кто-либо представляющій собою редактора... *etc. etc.* получилъ отъ лорда Б. или кого-либо другого...» напоминаетъ мнѣ обычное вступленіе Чарли Инкльдона, когда публика приходитъ въ кабачекъ послушать его пѣніе и пытается уйти, не заплативъ по счету: —«Если кто нибудь, если кто изъ васъ, если хоть одинъ человѣкъ...» и т. д. и т. д.—ваше краснорѣчіе столь-же велерѣчиво. Но откуда вы взяли, что кто-либо захочетъ «представлять» васъ? Кто читалъ ваши сочиненія, тому и въ голову не придетъ такая штука, да и многимъ, слышавшимъ вашу бесѣду, то же. Но я заразился отъ васъ многословіемъ. Все дѣло въ томъ, милѣйшій Робертсъ, что кому-то вздумалось одурачить васъ, и чего онъ не успѣлъ сдѣлать, то вы сами додѣлали за него.

О самой поэмѣ и авторѣ, котораго я не могъ разыскать (а вы?), мнѣ сказать нечего; я имѣлъ дѣло только съ вами. Я убѣжденъ, что вы, подумавъ, почувствуете искреннюю признательность ко мнѣ за это письмо, хотя я не съумѣлъ, какъ должно, выразить въ немъ чувства искренняго доброжелательства, восхищенія и глубокаго уваженія, съ которыми я, дорогой мой Робертсъ остаюсь искренно вамъ преданный

Уортли Клэтербэкъ.

4 Сент. 1919.

Малый Подлингтонъ.

P. S. Письмо мое слишкомъ длинно, чтобы перечесть его, а почта отходитъ. Не помню, спросилъ-ли я васъ о значеніи послѣднихъ вашихъ словъ: «подлогъ ни на чемъ неоснованнаго вымысла». Вѣдь всякій подлогъ есть вымыселъ, и всякій вымыселъ—родъ подлога, не находите-ли вы, что это тавтологія? Гораздо сильнѣе было-бы

закончить просто словомъ «подлогъ»; правда, это звучало бы очень уже грозно, какъ обвинительный актъ, не говоря уже о томъ, что это отняло-бы у васъ нѣсколько словъ и придало-бы особое значеніе остальнымъ. Но это уже придирки къ словамъ. Прощайте—еще разъ вашъ У. К.

P. P. S. Правда-ли, что Святые возмѣщаютъ убытки по изданію журнала? Какъ это мило съ ихъ стороны быть такими щедрыми!.. Извините, пожалуйста, что я отнялъ у васъ столько времени, отвлекая васъ отъ стойки и отъ вашихъ кліентовъ. которыхъ, я слышалъ, столько же, сколько и читателей вашего журнала. Еще разъ вашъ У. К.»

З. Журавская.

ЧАСЫ ДОСУГА.

На разставаніе съ Ньюстэдскимъ аббатствомъ (1803).

Стр. 439.

Отъ бароновъ, водившихъ вассаловъ на бой
Изъ Европы въ поля Палестины.

Въ числѣ предковъ Байрона не было крестоносцевъ. Муръ предполагаетъ, что эта легенда обязана своимъ происхожденіемъ остаткамъ старинныхъ фресокъ въ Ньюстэдѣ, изображающихъ, повидимому, христіанскихъ и сарацинскихъ воиновъ; но фрески эти, по всей вѣроятности, были написаны задолго до перехода аббатства во владѣніе Байроновъ.

У стѣны Аскалонской спитъ Джонъ Гористонъ.

Замокъ Гористонъ, въ Дербиширѣ,—старинное родовое помѣстье Байроновъ.

Вмѣстѣ съ Рупертомъ четверо братьевъ въ бою
Смѣло отдали жизнь при Марстонѣ.

Сраженіе у Марстонскихъ болотъ, гдѣ были разбиты приверженцы Карла I. Рупертъ родственникъ Карла I, впослѣдствіи, при Карлѣ II, командовавшій флотомъ.

И за вѣрность законной коронѣ.

Сэръ Николасъ Байронъ, правнукъ сэра Джона Байрона-Малаго, отличился въ междоусобной войнѣ. Онъ былъ губернаторомъ Карлейля, а впослѣдствіи—губернаторомъ Честера. Его племянникъ и законный наслѣдникъ, сэръ Джонъ Байронъ изъ Клейтона, кавалеръ ордена Бани (1599—1652), былъ возведенъ въ званіе пэра, съ титуломъ барона Байрона Рочдэльскаго, послѣ сраженія при Ньюбери, 26 октября 1643 г. Онъ занималъ послѣдовательно должности помощника коменданта Тоуэра, губернатора Честера, а послѣ изгнанія королевской фамиліи изъ Англіи—губернатора въ герцогствѣ Іоркскомъ. Онъ умеръ бездѣтнымъ, и наслѣдникомъ его сталъ младшій братъ, Ричардъ, второй лордъ Байронъ, отъ котораго и происходилъ нашъ поэтъ. Пятеро младшихъ братьевъ, какъ сказано въ надписи на памятникѣ Ричарда въ капеллѣ Гокналлъ Торкардъ, «вѣрно служили королю Карлу I во время междоусобной войны, много пострадали за свою вѣрность и лишились всего своего имущества».

Стр. 440.

Къ Э.—(ноябрь 1802).

Это былъ, по словамъ Мура, ровесникъ Байрона, сынъ одного изъ ньюстэдскихъ фермеровъ.

На смерть кузины автора (1802).

«Авторъ проситъ читателя отнестись къ этому стихотворенію снисходительнѣе, чѣмъ ко всѣмъ прочимъ пьесамъ, вошедшимъ въ этотъ сборникъ, оно написано раньше всѣхъ остальныхъ, когда автору было всего 14 лѣтъ, и было его первымъ опытомъ; поэтому онъ и рѣшился представить это произведеніе снисходительному вниманію своихъ друзей, не дѣлая въ немъ никакихъ поправокъ или дополненій». (*Прим. 1-го изд.*).

«Мой первый поэтическій опытъ относится къ 1800 году Это было изліяніе страсти къ моей кузинѣ Маргаритѣ Паркэръ (дочери и внучкѣ двухъ адмираловъ Паркеровъ), бывшей однимъ изъ прелестнѣйшихъ мимолетныхъ существъ. Я давно забылъ эти стихи, но мнѣ трудно будетъ забыть ее—ея темные глаза, длинныя рѣсницы, совсѣмъ греческій складъ лица и всей ея фигуры. Мнѣ было тогда лѣтъ двѣнадцать; она была немного старше меня—пожалуй, на годъ. Годъ или два спустя она умерла—вслѣдствіе паденія и ушиба спины, вызвавшаго сухотку. Я ничего не зналъ объ ея болѣзни, будучи въ Гарроу и въ деревнѣ до самой ея смерти. Нѣсколько лѣтъ спустя, я написалъ на ея смерть элегію, довольно глупую». (*Дневникъ Байрона*, 1821 г.).

Къ Д.—(февраль 1803).

Джорджъ Джонъ, 5-й графъ Делаваръ. «Мнѣ здѣсь очень хорошо и удобно», писалъ Байронъ изъ Гарроу, 25 октября 1804 г. Друзей у меня не много, но всѣ на подборъ. Въ числѣ главныхъ назову лорда Делавара: онъ очень милъ и очень друженъ со мной». Въ другомъ письмѣ, 2 ноября того же года, онъ писалъ: «Лордъ Делаваръ гораздо меня моложе, но онъ—добродушнѣйшій, милѣйшій, славный малый. Ко всему этому онъ обладаетъ еще однимъ качествомъ (важнымъ въ глазахъ женщинъ): онъ замѣчательно красивъ собой. Делаваръ со мною находится въ нѣкоторомъ родствѣ, такъ какъ одинъ изъ моихъ предковъ, во времена Карла I, женился на одной дѣвицѣ изъ ихъ фамиліи».

Этимъ предкомъ былъ первый лордъ Байронъ, женатый на дочери третьяго лорда Делавара, Цециліи, вдовѣ Фрэнсиса Байндлоза. Младшій его братъ, Робертъ, также былъ женатъ на (Люси) Делаваръ.

Стр. 443. **Стансы** (1804).

Книга, названная въ англійскомъ изданіи «переводомъ съ французскаго сочиненія Ж. Ж. Руссо», напечатана была въ Лондонѣ въ 1784 г. и представляетъ не больше, какъ литературный подлогъ.

На перемѣну директора.

Д-ръ Дрэри (называемый здѣсь «Пробусомъ») въ мартѣ 1805 г. оставилъ Гарроускую школу; его преемникомъ сдѣлался д-ръ Ботлеръ («Помпозъ»). Байронъ, въ одной изъ своихъ записныхъ книжекъ, говоритъ, что Дрэри былъ «лучшимъ и добрѣйшимъ» изъ всѣхъ его друзей, и что онъ чтилъ его, какъ отца. Съ Ботлеромъ поэтъ примирился передъ отъѣздомъ, въ 1809 г., въ Грецію. «Я относился къ нему несправедливо, и потомъ объ этомъ жалѣлъ», записалъ онъ въ своемъ «Дневникѣ».

Эпитафія другу.

Написана въ Гарроу, въ 1803 г., и исправлена впослѣдствіи.

Отрывокъ (1803).

Въ своемъ завѣщаніи, написанномъ въ 1811 г., Байронъ говоритъ, что на его могилѣ «не должно

быть никакихъ надписей, кромѣ его имени и возраста». Въ іюнѣ 1819 г. онъ писалъ Муррею: «Нѣкоторыя надгробія на кладбищѣ Чертозы, въ Феррарѣ, понравились мнѣ больше пышныхъ монументовъ Болоньи. Вотъ, напримѣръ: «*Martini Luigi implora pace*». Можно ли себѣ представить что-либо болѣе трогательное? Я надѣюсь, что тѣ, кто переживетъ меня, увидятъ на моей могилѣ только эти два слова, не больше».

Каролинѣ.

Эти два стихотворенія къ Каролинѣ, какъ и два предыдущія къ ней же, написаны въ 1805 г.

Стр. 447.

При видѣ издали деревни и школы въ Гарроу (1806).

«Мои школьные друзья были друзьями *страстными* (потому что и самъ я всегда былъ такимъ); но не знаю, кто изъ нихъ сохранилъ до сихъ поръ такое же ко мнѣ отношеніе. Правда, нѣкоторые изъ нихъ уже похищены смертью». *Дневникъ* 1821 г. Въ своемъ «Дневникѣ» поэтъ вспоминаетъ и о спортивныхъ играхъ на лугу, и о могильномъ холмѣ, который его товарищи прозвали «могилой Байрона», потому что онъ просиживалъ на этомъ холмѣ цѣлые часы, и о своихъ упражненіяхъ въ декламаціи, для которыхъ онъ всегда выбиралъ самые сильные трагическіе монологи, какъ, напр., рѣчь Занги надъ трупомъ Алонзо, или обращеніе Лира къ бурѣ, мечтая «затмить славу Мосоппа», одного изъ современниковъ Гаррика, образцоваго исполнителя роли Занги въ трагедіи Юнга «Месть».

Стр. 448.

Мысли, внушенныя экзаменомъ въ колледжѣ (1806).

«Здѣсь нѣтъ никакой мысли, направленной противъ лица, описаннаго подъ именемъ Магнуса. Онъ представленъ лишь исполняющимъ неизбѣжную обязанность своего званія. Притомъ, нападеніе на него могло бы нанести ударъ только мнѣ же самому, такъ какъ этотъ джентльмэнъ въ настоящее время столько же отличается своимъ краснорѣчіемъ и достоинствомъ, съ какимъ онъ исполняетъ свои обязанности, сколько въ болѣе молодые годы отличался остроуміемъ и веселостью». (*Прим. Байрона*).

Это былъ д-ръ Вильямъ Лофтъ Мансель, назначенный Питтомъ, въ 1798 г., магистромъ Тринити-колледжа и впослѣдствіи бывшій епископомъ въ Бристолѣ.

Стр. 448.

Бентлея, Брунка, Порсона отчетъ.

Порсонъ—«въ настоящее время профессоръ греческаго языка въ Тринити-колледжѣ, въ Кэмбриджѣ, ученый, умъ и творенія котораго оправдываютъ оказываемое ему вниманіе». (*Прим. Байрона*).

«Я видалъ Порсона въ Кэмбриджѣ, въ залѣ нашего колледжа, а также и въ частныхъ домахъ, хотя рѣдко; но ни разу не встрѣчалъ его иначе, какъ пьянымъ», писалъ впослѣдствіи Байронъ Муррею (20 февраля 1818 г.).

Будь это Питтъ иль Петти въ данный часъ.

«Съ тѣхъ поръ, какъ написаны эти строки, лордъ Генри Петти потерялъ свое мѣсто, а потомъ (я чуть было не написалъ: вслѣдствіе этого!) лишился и чести быть представителемъ университета. Фактъ, столь очевидный, не требуетъ комментарія». (*Прим. Байрона*).

Стр. 449.

Къ Мери, при полученіи ея портрета.

«Все, что я могу припомнить объ этой Мери», говоритъ Муръ, «заключается въ томъ, что она принадлежала къ низшему, а можетъ быть и двусмысленному классу общества, и что у нея были длинные свѣтло-русые волосы. Локонъ этихъ волосъ, а также и ея портретъ поэтъ показывалъ своимъ друзьямъ».

На смерть мистера Фокса.

Четверостишіе, приведенное въ началѣ, было напечатано въ «Morning Post» 26 сентября 1806 г., а стихотвореніе Байрона написано въ Соутвеллѣ, въ октябрѣ того же года.

Дамѣ, которая подарила автору локонъ своихъ волосъ.

Относится къ той же «Мери».

«Нѣкоторые цѣломудренные читатели обвиняли автора этого стихотворенія за то, что онъ упомянулъ здѣсь имя одной особы (Джуліи Ликрофтъ), отъ которой онъ находился въ то время за нѣсколько сотъ миль; и вотъ, бѣдная Джульетта, которая уже такъ давно почиваетъ въ «могилѣ общей Капулетти», превратилась, благодаря маленькому измѣненію въ имени, въ англійскую барышню, которая прогуливается *въ декабрѣ* мѣсяцѣ въ саду, въ деревнѣ, гдѣ авторъ никогда не бывалъ зимой. Вотъ какова нравственная чистота нѣкоторыхъ проницательныхъ критиковъ! Мы посовѣтовали бы этимъ *либеральнымъ* цѣнителямъ вкуса и судьямъ приличія почитать немножко Шекспира».

«Узнавъ о томъ, что это стихотвореніе вызвало строгія и неделикатныя порицанія, я прошу позволенія отвѣтить на нихъ цитатою изъ прекрасной книги Карра: «Иностранецъ во Франціи»:—«Въ то время, какъ мы разсматривали большую картину, на которой, среди прочихъ фигуръ, былъ изображенъ во весь ростъ ничѣмъ не прикрытый воинъ, одна дама, благочестиваго вида и, кажется, уже достигшая безнадежнаго возраста, внимательно осмотрѣвъ всѣ подробности въ лорнетъ, замѣтила своей компаньонкѣ, что эта картина очень неприлична. Г-жа С. шепнула мнѣ на ухо, что «неприличіе» заключалось именно въ этомъ замѣчаніи». *Прим. Байрона.*

Стр. 451.

Прекрасному квакеру (1803).

Въ 1-мъ изданіи было примѣчаніе: «котораго авторъ увидѣлъ въ Гарроугэтѣ».

Къ Лесбіи (1806).

Первоначально было озаглавлено: «Къ Юліи» Относится къ Джуліи Ликрофтъ, см. выше.

Стр. 452.

Къ женщинѣ.

«Послѣдній стихъ—почти буквальный переводъ испанской пословицы». (*Прим. Байрона*).

Случайный прологъ.

«Я игралъ Пенроддока въ «Колесѣ Фортуны» и Тристрама Фиккля въ «Вертопрахѣ», три раза сряду, въ частныхъ театрикахъ въ Соутвеллѣ, въ 1806 году,—и съ большимъ успѣхомъ. Случайный прологъ для нашего любительскаго спектакля былъ также сочиненъ мною». (*Дневникъ*). Этотъ прологъ былъ имъ сочиненъ въ дорогѣ. Садясь въ экипажъ въ Честерфильдѣ, онъ сказалъ своему спутнику: «Ну, Пиготъ, теперь я

примусь за прологъ къ нашему спектаклю», и прежде, чѣмъ они успѣли доѣхать до Мэнсфильда, стихи были уже готовы. (*Замѣтка мисс Пиготъ*).

Къ Элизѣ.

Написано 9 октября 1806 г. и относится къ миссъ Елизаветѣ Пиготъ.

Слеза.

Написано 26 октября 1806 г.

Стр. 455.

Отвѣтъ на нѣкоторыя стихотворенія Дж. М. Б. Пигота.

27 октября 1806.

Гранта.

28 октября 1806.—Греческій эпиграфъ значитъ: «Сражайся серебряными копьями (т. е. подкупомъ)—и ты во всемъ побѣдишь». Упоминаемый въ 5-мъ куплетѣ «лордъ Г.»—по всей вѣроятности, лордъ Генри Петти, одержавшій въ 1806 г. побѣду надъ Пальмерстономъ на выборахъ члена палаты общинъ отъ Кэмбриджскаго университета.

Стр. 456.

То вздоромъ Силя умъ свой мучитъ...

«Сочиненіе Силя о греческомъ стихосложеніи написано съ большимъ талантомъ и остроуміемъ, но не отличается тою точностью, какой слѣдовало бы ожидать въ столь трудномъ предметѣ». (*Прим. Байрона*).

Въ латыни жъ варварской силенъ.

«Школьная латынь принадлежитъ къ *собачьей породѣ* и не весьма вразумительна». (*Прим. Байрона*).

Ему квадратъ гипотенузы
Важнѣй ученаго письма.

«Открытіе Пиѳагора, что въ прямоугольномъ треугольникѣ квадратъ гипотенузы равенъ суммѣ квадратовъ катетовъ». (*Прим. Байрона*).

Въ одеждахъ бѣлыхъ, поспѣшая,
Чрезъ лугъ бѣжитъ людей семья.

«Въ праздничные дни студенты ходятъ въ церковь въ стихаряхъ». (*Прим. Байрона*).

Вздыхающему Стрефону.

Относится къ Джону Пиготу.

Стр. 457.

Сердоликъ.

«Сердоликъ былъ подаренъ ему его другомъ Эдльстономъ, который былъ тогда въ Кэмбриджѣ пѣвчимъ, а потомъ—приказчикомъ въ одномъ изъ лондонскихъ торговыхъ домовъ. Ихъ знакомство началось съ того, что Байронъ спасъ утопавшаго Эдльстона. Эдльстонъ умеръ отъ чахотки въ маѣ 1811 г.». (*Прим. Гарнесса*).

Стр. 458. **Къ М...**

Помѣта въ рукописи: «Пятница, 7 ноября 1806».

Строки, обращенныя къ молодой лэди.

Описанное здѣсь происшествіе случилось въ Соутвеллѣ, а лэди, къ которой обращается авторъ, была миссъ Гоусонъ, дочь мѣстнаго пастора, вышедшая потомъ за пастора Джэксона. Она умерла въ Рождество 1821 г. и похоронена въ церкви Гокналлъ Торкарда. (*Кольриджъ*).

Стр. 460.

Первый поцѣлуй любви.

Помѣтка въ рукописи: «Декабря 23, 1806».

Отроческія воспоминанія.

Стр. 461.

Подвергнутъ былъ еще ударамъ лозъ
Въ моихъ стихахъ невѣдомый Помпозъ;
Нашъ выскочка мнѣ страха не внушалъ,
Но палку самъ пустъ чувствуетъ капралъ.

«Помпозъ» - д-ръ Ботлеръ; см. выше, стр. XXXVI: «На перемѣну директора». Впослѣдствіи, подготовляя новое изданіе «Часовъ досуга», Байронъ хотѣлъ замѣнить эти стихи слѣдующими:

Я грубый образъ нѣкогда чертилъ
И сходство въ немъ напрасно видѣть мнилъ;
Съ теченьемъ лѣтъ ошибку я свою
Теперь, конечно, ясно сознаю.

Послѣ удаленія д-ра Дрэри на вакантное мѣсто явилось трое кандидатовъ: Маркъ Дрэри, Ивэнсъ и Ботлеръ. Школа раздѣлилась на партіи; Уайльдмэнъ стоялъ во главѣ сторонниковъ Дрэри, а Байронъ держался въ сторонѣ. Тогда одинъ изъ товарищей, желая привлечь его въ свою партію, сказалъ Уайльдмэну: «Я знаю, Байронъ къ намъ не пристанетъ, потому что не захочетъ быть вторымъ; но если ты уступишь ему лидерство, то онъ, навѣрное, будетъ нашъ». Уайльдмэнъ такъ и сдѣлалъ, и Байронъ сталъ во главѣ «дрэристовъ». Вотъ почему онъ и говоритъ, обращаясь къ своему кружку:

Я, лидеръ твой, тобой гордиться могъ.

Къ стиху: «О Пробусъ, гордость Иды!» Байрономъ сдѣлано было примѣчаніе: «Д-ръ Дрэри». Этотъ способнѣйшій и прекраснѣйшій человѣкъ оставилъ свою должность въ мартѣ 1805 г., пробывъ въ Гарроу 35 лѣтъ, изъ которыхъ послѣднія 20—директоромъ. Эту обязанность онъ исполнялъ съ честью для себя и съ пользою для обширнаго учебнаго заведенія, во главѣ котораго онъ стоялъ. Похвалы здѣсь излишни, такъ какъ безполезно было бы перечислять тѣ его качества, которыя ни въ комъ не возбуждали сомнѣнія. Освободившееся съ его уходомъ мѣсто сдѣлалось предметомъ сильной борьбы между тремя соискателями. Объ этомъ я могу только сказать:

Si mea cum vestris valuissent vota, Pelasgi,
Non foret ambiguus tanti certaminis haeres.

Ему вполнѣ я отдалъ дань свою.

Здѣсь заключается намекъ на одно лицо, описанное въ прежнемъ частномъ изданіи, предназначенномъ для немногихъ друзей. Это описаніе, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими стихотвореніями, исключено изъ настоящаго тома. Привлекать вниманіе публики къ ничтожеству—значило бы навлечь на себя справедливый упрекъ; а другая причина, хотя и не одинаковаго значенія, видна изъ слѣдующихъ стиховъ Попа:

Способенъ ли понять сатиру Споръ?
На муху кто подниметъ ли топоръ?»
(*Прим. Байрона*).

Стр. 462.

Быть можетъ, эта надпись для иныхъ—
Единственный надгробный камень ихъ.

Медвинъ разсказываетъ, что во время возмущенія учениковъ въ Гарроу Байронъ спасъ школьную залу отъ поджога, указавъ ученикамъ на написанныя на стѣнахъ имена ихъ отцовъ и дѣдовъ.

Ничѣмъ нельзя ихъ было удержать.

Описывая впослѣдствіи обычное препровожденіе времени въ Гарроу, Байронъ говоритъ: «постоянная игра въ крикетъ, катанье на лодкахъ, шумъ, бѣготня и всевозможныя продѣлки ... Однажды онъ сорвалъ занавѣси съ оконъ въ залѣ и на вопросъ Ботлера о причинѣ этой дерзости отвѣчалъ: «Онѣ затемняютъ комнату».

Стр. 463.

Алонзо! Лучшій изъ моихъ друзей!.

Лордъ Клэръ.

О, Давусъ, вѣстникъ радости живой!

Джонъ-Сесиль Таттерсалль, впослѣдствіи пасторъ церкви Христа въ Оксфордѣ, ум. 1812.

О, Ликусъ! Ты свѣтлый и краше дня!

Джонъ Фитцъ-Гиббонъ. второй графъ Клэръ (1792—1851), бывшій впослѣдствіи губернаторомъ въ Бомбеѣ». «Я всегда любилъ его больше всѣхъ вещей мужского рода на землѣ»,—говоритъ Байронъ. «Когда я слышу слово: «Клэръ»,—у меня еще и теперь бьется сердце; я всегда буду писать это слово съ чувствами 1803—4—5 годовъ». Въ бумагахъ поэта сохранилось одно письмо Клэра, съ упреками, написанное въ школѣ; на свободномъ листкѣ этого письма Байронъ приписалъ: «Это и еще другое письмо писано въ Гарроу моимъ *тогдашнимъ* и, надѣюсь, *всегдашнимъ* любимымъ другомъ, лордомъ Клэромъ, когда мы оба были еще школьниками; оно написано вслѣдствіе какого-то дѣтскаго недоразумѣнія—перваго и послѣдняго между нами. Недоразумѣніе длилось не долго, и я храню это письмо только затѣмъ, чтобы показать его Клэру и вмѣстѣ съ нимъ посмѣяться, вспоминая нашу первую и послѣднюю ссору». Съ Клэромъ Байронъ потомъ случайно встрѣтился въ Италіи, въ 1821 г.

А Эвріалъ ужели мной забытъ?

Джоржъ-Джонъ, пятый графъ Делаваръ, см. выше.

Стр. 464.

Вотъ и Клеонъ стоитъ передо мной.

Эдуардъ-Ноэль Лонгъ, утонувшій вмѣстѣ съ своимъ полкомъ въ 1809 г. при кораблекрушеніи на пути въ Лиссабонъ.

Вотъ первой рѣчи памятный успѣхъ.

Въ Гарроу ученики, между прочимъ. должны были произносить публичныя рѣчи. «Я всегда отличался болѣе качествами оратора, нежели поэта», говоритъ Байронъ въ своемъ «Дневникѣ», «и мой великодушный правитель, д-ръ Дрэри, былъ убѣжденъ, что я сдѣлаюсь ораторомъ, такъ какъ у меня была и легкость рѣчи, и пріятный голосъ, и ораторскій жаръ, и способность къ декламаціи. Я помню, что моя первая рѣчь вызвала со стороны удивленнаго д-ра Дрэри необычныя (онъ былъ на это скупъ) и неожиданныя похвалы передъ всей аудиторіей».

Отвѣтъ на прекрасную поэму (1806).

Джемсъ Монтгомери (1671—1854), авторъ многихъ поэмъ и гимновъ.

Стр. 465.

Пусть неизвѣстно, гдѣ рожденъ
Герой-боецъ ..

«Здѣсь говорится не объ опредѣленномъ какомъ-либо героѣ: подвиги Баярда, Немура, Эдуарда Чернаго Принца, а въ болѣе новое время—слава Мальборо, Фридриха Великаго, Карла Шведскаго и др. извѣстны каждому читателю историческихъ сочиненій; но весьма немногіе изъ поклонниковъ этихъ героевъ точно знаютъ мѣсто ихъ рожденія». (*Байронъ*).

Стр. 466.

Строки, адресованныя Дж. Т Бичеру (1806).

Пасторъ Джонъ-Томасъ Бичеръ познакомился съ Байрономъ въ Соутвеллѣ. Поэтъ прислалъ ему экземпляръ перваго изданія своихъ стихотвореній и, выслушавъ его замѣчанія относительно неумѣстности нѣкоторыхъ изъ нихъ, сжегъ все изданіе, кромѣ двухъ-трехъ экземпляровъ. Бичеръ просматривалъ также, ранѣе печатанія, сборникъ «Стиховъ на разные случаи», изданный Байрономъ въ 1807 г. Вся жизнь этого почтеннаго человѣка была посвящена заботамъ о бѣдныхъ и дѣламъ благотворительности.

Стр. 468.

Отвѣтъ на нѣсколько изящныхъ стиховъ.

Помѣтка въ рукописи: «26 ноября 1806 г.».

Стр. 469.

Элегія на Ньюстэдское аббатство.

«Такъ какъ одно стихотвореніе на эту тему уже напечатано, то авторъ первоначально не имѣлъ намѣренія печатать слѣдующее. Оно включено въ сборникъ по настоянію нѣкоторыхъ друзей . (*Прим. Байрона*).

Стр. 470.

Въ которой палъ Фалкландъ богоподобный.

«Лордъ Байронъ и его братъ сэръ Вильямъ занимали высокія мѣста въ королевской арміи. Первый былъ главнокомандующимъ въ Ирландіи, помощникомъ коменданта Тоуэра и опекуномъ Джемса, герцога Іоркскаго, впослѣдствіи злополучнаго Іакова II; другой принималъ участіе во многихъ событіяхъ своего времени. Люціусъ Кэри, лордъ-виконтъ Фалкландъ, одинъ изъ лучшихъ людей своего вѣка, былъ убитъ въ сраженіи при Ньюбери, въ рядахъ кавалерійскаго лорда Байрона полка». (*Прим. Байрона*).

Гроза привѣтствуетъ предсмертный стонъ.

«Это—историческій фактъ. Въ моментъ смерти (или при погребеніи) Кромвеля разразилась сильная гроза, вызвавшая продолжительные споры между его сторонниками и противниками; обѣ стороны объяснили ее указаніемъ свыше, но было ли это указаніе одобреніемъ или осужденіемъ,—оставимъ рѣшать этотъ вопросъ тогдашнимъ казуистамъ. Я воспользовался этимъ происшествіемъ сообразно духу своего стихотворенія». (*Байронъ*).

Стр. 472.

Даметъ.

Муръ, повидимому, думалъ, что въ этихъ стихахъ Байронъ изобразилъ самого себя. Но, хотя поэтъ и любилъ рисовать себя въ мрачныхъ краскахъ, однако, онъ едва ли назвалъ бы себя «лицемѣромъ». Вѣрнѣе предположить, что «Даметъ» написанъ на одного изъ товарищей или знакомыхъ Байрона. (*Кольриджъ*).

Посвящается Мэріонъ.

Написано 10 января 1807 г. и относится къ миссъ Герріэтъ Мальтби, которая, при встрѣчѣ съ Байрономъ, по совѣту бывшей съ нею дамы, держала себя «холодно, молчаливо и сдержанно», между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ всегда была очень веселой, живой и кокетливой. (*Примѣчаніе миссъ Пиготъ*).

Оскаръ Альвскій.

«Сюжетъ этой баллады заимствованъ изъ исторіи Іеронимо и Лоренцо въ первой части Шиллерова «Духовидца» *). Въ ней есть также нѣкоторое сходство съ одной сценой III дѣйствія «Макбета». (*Байронъ*).

Стр. 478.

Лакинъ-и-Гэръ.

«Лакинъ-и-Гэръ», или, какъ произносятъ на мѣстѣ, Локъ-на-Гаръ,—гора, горделиво возвышающаяся въ сѣверной Шотландіи, близъ Инверколда. Одинъ изъ нашихъ современныхъ путешественниковъ говоритъ, что это, кажется, самая высокая гора во всей Великобританіи. Такъ это или нѣтъ, но несомнѣнно, что она самая величественная и живописная среди нашихъ «Каледонскихъ Альповъ». Видъ ея мрачный, но на вершинѣ лежатъ вѣчные снѣга. Близъ Локъ-на-Гара я провелъ нѣсколько лѣтъ своей ранней молодости, и слѣдующее стихотвореніе внушено воспоминаніемъ объ этомъ времени». (*Байронъ*).

Стр. 480.

Смерть Кальмара и Орлы.

«Необходимо замѣтить, что эта исторія, хотя и съ значительно измѣненной развязкой, заимствована изъ разсказа «Энеиды» пѣснь IX о *Низъ и Эвріалъ*, также переведеннаго авторомъ». (*Байронъ*).

«Я опасаюсь, что послѣднее изданіе Лэнга совершенно устранило всякія предположенія о томъ, что Макферсоновскій *Оссіанъ* есть переводъ цѣлаго ряда вполнѣ законченныхъ поэмъ; но хотя подлогъ и обнаруженъ, однако, за этимъ произведеніемъ остается все-таки неоспоримая заслуга, невзирая даже на его недостатки, особенно на замѣчаемую въ нѣкоторыхъ частяхъ напыщенность и изысканную витіеватость. Поклонники оригинала простятъ мнѣ это слабое подражаніе, внушенное пристрастіемъ къ ихъ любимому писателю». (*Байронъ*).

Стр. 483.

Къ леди.

Относится къ миссисъ Чавортъ Мэстеръ. «Мы встрѣчались украдкой», писалъ Байронъ въ 1821 г. «Мѣстомъ нашихъ свиданій была калитка, соединявшая паркъ моей матери съ паркомъ Чаворта. Весь пылъ страсти былъ на моей сторонѣ. Я былъ серьезенъ, а она легкомыслена. Она смотрѣла на меня, какъ на своего младшаго брата, и относилась ко мнѣ шутливо, какъ къ мальчику; впрочемъ, подарила мнѣ свой портретъ, что вызвало съ моей стороны стихи. Если бы я на ней женился, можетъ быть, и вся моя жизнь сложилась бы совсѣмъ не такъ». Ср. выше біографію Байрона.

Стр. 484.

Когда я какъ горецъ.

«Морвенъ высокая гора въ Эбердиширѣ. «Снѣжная высь»—выраженіе, часто встрѣчающееся у Оссіана»: (*Байронъ*).

*) См. Шиллеръ подъ ред. Венгерова т. III, стр. 357—364.

Стр. 481.

И тучи внизу подо мною неслись.

«Это не покажется страннымъ тому, кто привыкъ къ горамъ. Взойдя на вершину Бэнъ-э-Виса, Бэнъ-и-Бурда и т. п., нерѣдко можно увидѣть надъ долиною тучи, изъ которыхъ льется дождь, а иногда сверкаетъ и молнія, между тѣмъ какъ зритель смотритъ на грозу сверху, въ совершенной отъ нея безопасности». (*Байронъ*).

Вспоминаю Кольбинъ, великана межъ горъ.

(Слѣдуетъ читать: «Кольблинъ»). «Кольблинъ—гора на окраинѣ шотландскаго плоскогорья, недалеко отъ развалинъ Ди-Кэстля». (*Байронъ*).

Герцогу Дорсету (1805).

«Пересматривая свои бумаги съ цѣлью выбрать нѣсколько стихотвореній для пополненія настоящаго второго изданія, я нашелъ эти стихи, совсѣмъ мною забытые. Они написаны лѣтомъ 1805 г., незадолго до моего отъѣзда изъ Гарроу и относятся къ одному школьному товарищу высокаго происхожденія, который часто бывалъ моимъ спутникомъ въ прогулкахъ по окрестностямъ. Но онъ никогда не видалъ этихъ стиховъ и, вѣроятно, никогда ихъ не увидитъ. Такъ какъ, перечитавъ ихъ я нашелъ, что они не хуже прочихъ, помѣщаемыхъ въ этомъ сборникѣ, то и печатаю ихъ теперь въ первый разъ, съ нѣкоторыми поправками». (*Байронъ*).

Хотя обычай грубый въ нашей школѣ
Тебя моей всецѣло ввѣрилъ волѣ.

«Во всякомъ общественномъ учебномъ заведеніи младшіе ученики должны всецѣло подчиняться старшимъ, пока сами не перейдутъ въ высшій классъ. Отъ этого искуса не избавляетъ никакое высокое общественное положеніе; но, пройдя этотъ періодъ, младшіе становятся старшими и, въ свою очередь, начинаютъ командовать». (*Байронъ*).

Хотя бы воспитатели, любя
Покой и лѣнь...

«Я не дѣлаю здѣсь никакихъ намековъ, хотя бы и самыхъ отдаленныхъ. Я говорю лишь вообще, что воспитатели нерѣдко обнаруживаютъ подобную слабость». (*Байронъ*).

Стр. 485. . . . *Подвинулъ онъ впередъ*
Родную драму, твой прославивъ родъ.

Томасъ Сэквиллъ, лордъ Бокгорстъ (р. 1527), авторъ трагедіи «Горбодукъ», получившій въ 1604 г. титулъ графа Дорсета.

Всѣхъ принцевъ гордость, всѣхъ поэтовъ слава.

«Чарльзъ Сэквиллъ, графъ Дорсетъ (1637—1706), считавшійся самымъ совершеннымъ джентльмэномъ своего времени, одинаково отличался какъ при развратномъ дворѣ Карла II, такъ и въ мрачное царствованіе Вильгельма III. Онъ весьма храбро сражался въ морскомъ бою съ голландцами въ 1665 г, а наканунѣ этого дня сочинилъ свою знаменитую пѣсню «Ко всѣмъ красавицамъ страны». Его личность прекрасно описана Драйденомъ, Попомъ, Прайоромъ и Конгривомъ». (*Прим. Байрона*).

Графу Клэру (1807).

Стр. 486.

Бѣдняжка Литтль, любви пѣвецъ,
Изруганъ критикой въ конецъ.

«Эти стихи написаны вскорѣ послѣ появленія въ одномъ сѣверномъ журналѣ строгой кри-

тики на новыя сочиненія британскаго Анакреона». (*Байронъ*).

(Байронъ имѣетъ въ виду статью «Эдинбургскаго Обозрѣнія» о «Посланіяхъ, одахъ и другихъ стихотвореніяхъ» Томаса Литтля).

Я имъ не смертный врагъ.

«Одинъ поэтъ (horresco referens) вызвалъ своего критика (Джеффри) на смертный бой. Если это войдетъ въ обычай, то нашимъ періодическимъ хулителямъ придется купаться въ рѣкѣ Стиксѣ: какимъ же инымъ способомъ могли бы они обезопасить себя отъ многочисленной толпы ожесточенныхъ писателей?» (*Байронъ*).

Какимъ тебя я зналъ всегда,
Каковъ и нынѣ ты.

«Изъ всѣхъ моихъ знакомыхъ Клэръ всего менѣе измѣнился въ тѣхъ прекрасныхъ качествахъ, которыя такъ сильно привязали меня къ нему въ ученическіе годы. Я считалъ почти невозможнымъ существованіе въ обществѣ (или, какъ говорится, въ свѣтѣ) человѣка, въ которомъ было бы такъ мало порочныхъ задатковъ. Я говорю не только по личному опыту, но на основаніи всего, слышаннаго мною о немъ отъ другихъ во время моего отсутствія на дальнее разстояніе». (*Байронъ*).

Стр. 287.

Строки, написанныя подъ вязомъ на кладбищѣ въ Гарроу.

Написано 2 сентября 1807 г. Послѣ смерти своей дочери Аллегры, въ апрѣлѣ 1822 г., Байронъ отослалъ ея останки въ Англію, чтобы похоронить ихъ въ Гарроу, гдѣ, какъ онъ писалъ тогда Муру, онъ и самъ когда-то желалъ быть похороненнымъ. «Тамъ есть одно мѣсто на кладбищѣ, около тропинки, на вершинѣ холма, обращеннаго къ Виндзору; подъ большимъ деревомъ находится могила (Пича или Пичей), гдѣ я просиживалъ, бывало, по цѣлымъ часамъ, когда былъ еще мальчикомъ. Это было мое любимое мѣсто. Но такъ какъ я желаю поставить доску въ ея память, то лучше похоронить тѣло въ церкви». Въ церкви Аллегра и похоронена, но никакой памятной доски тамъ нѣтъ.

Стр. 488.

Отрывокъ.—Воспоминаніе.

Первое стихотвореніе написано въ 1805, а второе—въ 1806 г., въ печати же явилось только въ 1832 г.

Къ лэди, подарившей автору бархатную ленту. Написано въ 1806 году. Кучкѣ невеликодушныхъ критиковъ.

Написано 1 декабря 1806 г., а напечатано впервые въ I томѣ изд. Кольриджа-Протеро (1898). Это стихотвореніе вызвано рѣзкими нападками на Байрона со стороны нѣкоторыхъ Соутвелльскихъ дамъ, о которыхъ онъ писалъ Пиготу, 13 января 1807 г.: «Злополучные стихи къ моей бѣдной Мери обратили на себя нѣкоторое вниманіе *пожилыхъ лэди*. Я не включилъ его въ этотъ сборникъ, такъ какъ меня и безъ того уже ославили распутнѣйшимъ изъ грѣшниковъ,—«молодымъ мавромъ».

Стр. 490.

Монологъ поэта въ деревнѣ.

Написано въ декабрѣ 1806 г., а напечатано впервые въ изд. Кольриджа-Протеро (1898).

Стр. 491.

Кричать, что Вильмотъ нравственнѣй
былъ много.

Джонъ Вильмотъ, графъ Рочестеръ (1617—1680). Сборникъ его стихотвореній былъ изданъ въ годъ его смерти.

Такъ Грэй и Мэсонъ жертвой Лойда были.
Такъ отъ руки Мельбурна Драйденъ палъ.

Робертъ *Ллойдъ* (1733–1761) пародировалъ оды Грэя и Мэсона. Лука *Мельбурнъ* (ум. 1720) издалъ въ 1698 г. «Замѣчанія на Драйденова Виргилія», съ жестокими нападками на Драйдена.

Стр. 492.

L'Amitié est l'Amour sans ailes.

Написано 29 декабря 1806 г., а напечатано впервые въ 1832 г. «Ликусъ»—лордъ Клэръ, см. выше.

Молитва природы.

Написано 29 декабря 1806 г., а напечатано въ 1830 г.

Pignus Amoris (1806).

Напечатано впервые въ изд. Кольриджа-Протеро, 1898.

Стансы къ Джесси.

Это стихотвореніе было напечатано при жизни Байрона нѣсколько разъ; но Байронъ никогда не признавалъ его своимъ и не включалъ въ собранія своихъ произведеній. Подлинность его, однако, не подлежитъ сомнѣнію.

Прощанье (1807).

Стр. 495. *Твоя, о Мери, красота.*
Мэри Чавортъ.

Къ —

Написано въ январѣ 1807 г.
Стр. 490.

Глаза миссъ А. Г.

Написано 14 января 1807 г. и относится къ миссъ Аннѣ Гоусонъ.

Къ тщеславной лэди.

Написано 15 января 1807 г. Относится къ той же особѣ.

Къ Аннѣ.

16 января 1807 г.—Къ ней же.

Стр. 496.

Все о себѣ.

Напечатано впервые въ изданіи Кольриджа-Протеро, 1898 г. Въ рукописи есть приписка «Это написано между часомъ и двумя *по-полу-*

Этими стихами начиналось первое изданіе сатиры. Байронъ первоначально хотѣлъ предпослать имъ, по примѣру старинныхъ поэтовъ, слѣдующее

ОБОЗРѢНІЕ.

«Поэтъ созерцаетъ времена минувшія и ихъ поэзію; дѣлаетъ внезапный переходъ къ временамъ настоящимъ; воспламеняется противъ книгодѣлателей; поноситъ Вальтера Скотта за жадность и торговлю балладами, съ особливыми замѣчаніями о мистерѣ Соути сожалѣетъ, что мистеръ Соути возложилъ на публику три поэмы, эпическія и иныя; возстаетъ противъ Вильяма Вордсворта, но хвалитъ мистера Кольдриджа и его элегію на смерть молодого осла; склоненъ порицать мистера Льюиса и весьма осуждаетъ Томаса Литтля (покойнаго) и лорда Стрэнгфорда: совѣтуетъ мистеру Хэли обратить свое вниманіе на прозу и увѣщеваетъ моравскихъ братьевъ прославить мистера Грэма; сочувствуетъ достопочтенному Вильяму Боульсу и оплакиваетъ печальную судьбину Джемса Монтгомери; переходитъ къ нападеніямъ на «Эдинбургскихъ обозрѣвателей», называетъ ихъ жестокими именами, гарпіями и тому подобными; поноситъ Джеффрея и пророчествуетъ. Эпизодъ Джеффрея и Мура, ихъ опасное положеніе и избавленіе; дурныя предзнаменованія въ утро сраженія; Твидъ, Толбутъ, Фритъ-офъ-Фортъ и Престолъ Артура разнообразно потрясены; богиня нисходитъ съ неба ради спасенія Джеффрея; внѣдреніе пуль въ его темя и затылокъ. «Эдинбургское Обозрѣніе» вообще. Лордъ Эбердинъ, Гербертъ, Скоттъ, Галламъ, Пиллэнсъ, Лэмъ, Смитъ, Брумъ и проч. Лордъ Голландъ восхваляется за свои обѣды и переводы. Драма: Скеффингтонъ, Гуккъ, Рейнольдсъ, Кенни, Черри и проч. Шериданъ, Кольманъ и Кумберлэндъ приглашаются къ писанію. Возвращеніе къ поэзіи; писаки всѣхъ сортовъ; лорды иногда риемуютъ; но гораздо лучше, когда не дѣлаютъ этого. Гафизъ, Роза-Матильда и X. Y. Z Роджерсъ, Кэмпбелль; Джиффордъ и прочіе настоящіе поэты. Переводчики греческой антологіи; Краббъ, стиль Дарвина; Кембриджъ; Ситоновская премія; Смитъ; Годжсонъ; Оксфордъ; Ричардсъ. Поэтъ говоритъ отъ себя.— Заключеніе.

Стр. 514.

Тутъ, что ни день, книжонка выползаетъ
Съ поэмой Литтля . . .

«Томасъ Литтль» - псевдонимъ Мура, подъ которымъ онъ издавалъ свои первыя произведенія.

Негодный Стоттъ, иль Соути, бардъ надменный.

«Стоттъ, более извѣстный подъ именемъ «Гафиза». Этотъ господинъ въ настоящее время самый глубокій знатокъ витійства. Я припоминаю, что, когда царствующая фамилія должна была покинуть Португалію, мистеръ Стоттъ написалъ на этотъ случай особую оду, начинавшуюся такъ (Стоттъ говоритъ отъ имени Гиберніи):

Отрасль царская Браганцы!
Эринъ вамъ приноситъ станцы, и пр.

Онъ написалъ также сонетъ къ крысамъ, вполнѣ достойный своего предмета, и весьма громоносную оду, начинающуюся стихами:

Раздайся, пѣснь! Греми, какъ волны,
Что бьютъ въ Лапландски берега!

Господи, помилуй! «Пѣснь послѣдняго менестреля»—ничто въ сравненіи съ этими стихами».
(*Байронъ*).

Средь бури злой. Послѣдній Менестрель...

См. «Пѣснь послѣдняго менестреля». Никогда еще не бывало плана болѣе несуразнаго и нелѣпаго, чѣмъ въ этомъ произведеніи. Появленіе (олицетворенныхъ) Грома и Молніи въ видѣ пролога къ трагедіи Бэйза, къ сожалѣнію отнимаетъ заслугу оригинальности у разговора между господами духами Потопа и Горы въ первой пѣсни. Затѣмъ появляются любезный Вильямъ Делоррэнъ, «сильный разбойникъ», то есть счастливое сочетаніе браконьера, конокрада и рыцаря большой дороги... Біографія Гильпина Горнера и чудесный пѣшій пажъ, идущій вдвое скорѣе лошади своего господина безъ помощи семимильныхъ сапогъ, - просто образцовые примѣры усовершенствованія литературнаго вкуса. Въ видѣ отдѣльныхъ эпизодовъ мы имѣемъ здѣсь невидимый, но вовсе не легкій ударъ по уху пажа и вступленіе короля, вмѣстѣ съ боевымъ конемъ, въ замокъ подъ видомъ воза сѣна, что, конечно, вполнѣ естественно. Герой послѣдней баллады, Марміонъ, — ни дать, ни взять то же самое, чѣмъ могъ бы быть Вильямъ Делоррэнъ, если бы умѣлъ читать и писать. Поэма эта сфабрикована по заказу гг. Констэбля, Муррея и Миллера, почтенныхъ книгопродавцевъ, за извѣстную сумму денегъ; и дѣйствительно, по достоинству вдохновенія, это произведеніе весьма цѣнно. Если мистеръ Стоттъ желаетъ писать по найму, то пусть дѣлаетъ, что можетъ для своихъ хозяевъ, но только не унижаетъ своего несомнѣнно крупнаго дарованія повтореніемъ подражаній стариннымъ балладамъ».
(*Байронъ*).

Марміону жъ доброй ночи пожелаемъ.

«Доброй ночи Марміону!» — патетическое и вмѣстѣ съ тѣмъ пророческое восклицаніе Генри Блоунта послѣ смерти честнаго Марміона».
(*Байронъ*).

Стр. 515.

Давало намъ столѣтій протяженье
Всего одно великое творенье.

«Такъ какъ *Одиссея* тѣсно связана съ *Иліадой*, то ихъ можно считать за одну великую поэму. Говоря о Мильтонѣ и Тассо, мы имѣемъ въ виду *Потерянный Рай* и *Освобожденный Іерусалимъ*, какъ образцовыя ихъ произведенія, такъ какъ ни *Завоеваніе Іерусалима* — итальянскаго поэта, ни *Возвращенный Рай*—англійскаго барда не сравнялись извѣстностью съ первыми ихъ поэмами. Вопросъ: какая изъ поэмъ г. Соути переживетъ его?»
(*Байронъ*).

Вотъ Талаба, свирѣпое дитя
Аравіи пустынной.

«*Талаба*, вторая поэма г. Соути, написана съ открытымъ пренебреженіемъ ко всѣмъ литературнымъ прецедентамъ и ко всякой поэзіи. Г. Соути желалъ произвести нѣчто совершенно новое — и вполнѣ въ этомъ успѣлъ. Его *Іоанна д'Аркъ* была въ своемъ родѣ достаточно удивительна, но *Талаба* — одна изъ тѣхъ поэмъ, которыя, говоря словами Порсона, «будутъ читаться тогда, когда Гомеръ и Виргилій будутъ уже забыты, — *но не раньше*».
(*Байронъ*).

Соперникъ Тумба, побѣждай враговъ.

«Герой фарса Фильдинга: «Трагедія трагедій, или жизнь и смерть Тома Тумба Великаго», предст. въ 1730 г. въ Гэймаркетѣ». (*Байронъ*).

Мэдока образъ высится гигантскій.

«Поэма г. Соути *Мэдокъ* дѣлится на двѣ части: I. Мэдокъ въ Уэльсѣ, II. Мэдокъ въ Азтланѣ. Слово «кацикъ» встрѣчается въ переводахъ испанскихъ писателей, цитируемыхъ г. Соути въ примѣчаніяхъ, а не въ текстѣ самой поэмы».
(*Байронъ*).

Когда же, Соути, будетъ передышка?

«Просимъ извиненія у г. Соути; *Мэдокъ* «пренебрегаетъ униженнымъ титуломъ эпической поэмы». См. его предисловіе. Почему эпическая поэма «унижена»? И кѣмъ она унижена? Конечно, послѣднія баллады гг. Коттля, лавреата Пая, Огильви, Голя и любезной миссисъ Коули не способствовали возвышенію эпической поэзіи; но такъ какъ поэма г. Соути «пренебрегаетъ» этимъ наименованіемъ, то позволительно спросить, замѣнилъ ли онъ его чѣмъ-нибудь лучшимъ? Или ему придется только соперничать съ сэромъ Ричардомъ Блэкморомъ какъ въ количествѣ, такъ и въ качествѣ стиховъ?» (*Байронъ*).

И будешь, не жалѣя,
Ты чорту отдавать матронъ Берклея.

«См. балладу Соути «Старуха изъ Берклея», въ которой старуху уноситъ Вельзевулъ на «быстро скачущемъ конѣ». (*Байронъ*).

Эта баллада переведена В. А. Жуковскимъ (1814).

И помогай обоимъ вамъ Создатель.

«Этотъ стихъ—очевидный плагіатъ изъ обращенія «Анти-якобинца» къ мистеру Соути: «Помогай тебѣ Богъ, дурачокъ!» (*Байронъ*).

Въ экземплярѣ 4-го изданія сатиры Байронъ отчеркнулъ стихи, относящіеся къ Вордсворту и Кольриджу, и написалъ сбоку: «Несправедливо».

Стр. 516.

Кто вмѣсто нѣжной музы взялъ Пиксію.

Пиксіи—девонширскія вѣдьмы.

А ты, о Льюисъ, о поэтъ гробовъ!

Мэтью-Грегори *Льюисъ* (1775—1818), извѣстный подъ прозвищемъ «Монаха», по своему первому роману «Амброзіо, или Монахъ» (1795), былъ сынъ богатаго ямайскаго плантатора. Очень молодымъ человѣкомъ онъ пріѣхалъ въ Германію, жилъ въ Веймарѣ, гдѣ познакомился съ Гете, и прилежно изучалъ нѣмецкую литературу, особенно — романы и драмы. Переселившись затѣмъ въ Англію, онъ написалъ драму «Привидѣніе въ замкѣ» и въ началѣ XIX в. издалъ два сборника разсказовъ и баллад, своихъ и чужихъ, подъ общимъ заглавіемъ: «Страшные разсказы» и «Чудесные разсказы». Льюисъ былъ любимцемъ лондонскаго общества въ то время, когда Байронъ выступилъ на литературное поприще; но Байронъ не былъ лично съ нимъ знакомъ до 1813 г. Впослѣдствіи, въ 1816 г., Льюисъ гостилъ у Байрона въ Женевѣ, на виллѣ Діодати, и переводилъ ему à livre ouvert отрывки изъ «Фауста». Послѣ его смерти Байронъ писалъ о немъ: «Это былъ добрый и порядочный человѣкъ, только скучный,—можно даже сказать: безнадежно скучный. Впрочемъ, я его любилъ».

Стрэнгфордъ, поэтъ съ златистыми кудрями!

«Читатель, желающій объясненія этихъ строкъ, благоволитъ обратиться къ «Камоэнсу» Стрэнгфорда, стр. 127, или къ послѣдней страницѣ статьи «Эдинбургскаго Обозрѣнія» о стрэнгфордовскомъ «Камоэнсѣ». (*Байронъ*).

Перси-Клинтонъ Сидней Смитъ, виконтъ *Стрэнгфордъ*, издалъ въ 1803 г. «Переводы съ португальскаго изъ Луиса Камоэнса». Примѣчаніе, о которомъ говоритъ Байронъ, относится къ стихотворенію: «Твои голубые глаза». Здѣсь говорится: «Каштановые волосы и голубые глаза всегда были милы сынамъ поэзіи... Стернъ даже считаетъ ихъ признаками наиболѣе любезныхъ сердцу качествъ... Переводчикъ не желаетъ опровергать это мнѣніе, хотя оно и неосновательно. Онъ сознаетъ, какой опасности подвергается онъ вслѣдствіе этого замѣчанія, но бѣжитъ искать защиты въ храмѣ златокудрой Венеры». Слѣдуетъ прибавить, что у Байрона именно были каштановые волосы и сѣро-голубые глаза.

Улучшатся-ль Камоэнса стихи
Отъ этой пустозвонной чепухи?

«Слѣдуетъ также замѣтить, что вещи, выдаваемыя публикѣ за стихи Камоэнса, такъ же трудно отыскать въ португальскомъ оригиналѣ, какъ и въ пѣсняхъ Соломона». (*Байронъ*).

Иль похвалу чистилищу строчитъ.

Въ подлинникѣ: «Или осуждаетъ покойниковъ своею чистилищною похвалою»—съ примѣчаніемъ: «См. написанныя имъ различныя біографіи живописцевъ и пр.».

«Побѣдой терпѣливости» своей
Мое терпѣнье побѣдилъ Гейлей.

«Въ числѣ стихотворныхъ произведеній Гейлея особенно извѣстны «Тріумфъ Воздержанія» и «Тріумфъ Музыки». Онъ написалъ также нѣсколько комедій въ стихахъ, посланій и пр. и пр. Но такъ какъ онъ гораздо лучше сочиняетъ примѣчанія и біографіи, то мы позволяемъ себѣ обратить его вниманіе на совѣтъ Попа, обращенный къ Уичерли, «какъ превращать стихи въ прозу: это очень легко сдѣлать, отнимая отъ каждаго куплета послѣдній слогъ». (*Байронъ*).

Моравскихъ братьевъ набожный синклитъ...

Эти 8 стиховъ въ первоначальной рукописи были замѣнены другими, которые Байронъ выбросилъ по просьбѣ Далласа, бывшаго въ хорошихъ отношеніяхъ съ Праттомъ:

Въ стихахъ топорныхъ слишкомъ тароватъ,
Является теперь предъ нами Праттъ.
Печальна участь всѣхъ его созданій:
Онъ пишетъ, но не продаетъ писаній,
И за свои усердные труды
Отъ Музы никакой не видитъ мзды,
Хоть ежедневно въ длинномъ объявленьи
Зоветъ купить его произведенья.

Къ стихамъ этимъ написано было и примѣчаніе: «Мистеръ Праттъ, нѣкогда батскій книгопродавецъ, а нынѣ лондонскій сочинитель, написалъ на своемъ вѣку не меньше любого изъ писательствующихъ современниковъ. Его *Симпатія* написана въ стихахъ; но самыя объемистыя его произведенія написаны въ прозѣ».

То—Грэмъ, пѣвецъ субботнихъ развлеченій.

«Мистеръ Грэмъ издалъ два тома пѣсенъ, подъ заглавіями: «Субботнія прогулки» и «Библейскія картины». (*Байронъ*).

Стр. 517.

Вѣдь ты изъ принцъ, о Боульсъ?

Вильямъ-Лисль *Боульсъ* (1768—1850), издатель сочиненій Попа и авторъ цѣлаго ряда поэмъ и лирическихъ стихотвореній.

«Проснись, о пѣснь»—первый стихъ въ поэмѣ Боульса «Духъ открытій». Это небольшая, но очень остроумная и изящная эпопея. Здѣсь, между прочими прекрасными стихами, находимъ, напримѣръ, слѣдующіе:

Поцѣлуй
Нарушилъ ихъ пугливое молчанье,
И вздрогнули они . . .

т. е. лѣса на островѣ Мадерѣ вздрогнули отъ поцѣлуя: вѣроятно, они были очень изумлены столь необыкновеннымъ феноменомъ». (*Байронъ*).

Съ Фанни совѣщайся
И съ Курлемъ также.

«Курль»—одинъ изъ героевъ *Дунсіады*, книго-

продавецъ. «Лордъ Фанни» – поэтическій псевдонимъ лорда Горвея, автора «Стиховъ къ подражателю Горація». (*Байронъ*).

Пиши изъ злобы, такъ же, какъ Маллетъ.

«Лордъ Болингброкъ нанялъ Маллета обругать Попа послѣ его смерти, за то, что поэтъ оставилъ у себя нѣсколько экземпляровъ сочиненія Болингброка «Король-патріотъ», которое этотъ талантливый, но злобный писатель приказалъ уничтожить». (*Байронъ*).

Когда несетъ вздоръ Деннисъ и Ральфъ покойный.

«Деннисъ — критикъ, а Ральфъ — риемачъ въ *Дунсіадѣ* Попа:

«Молчи, о волкъ: Ральфъ воетъ на луну!»
Позналъ бы ты за подвигъ свой награду,
Попавши вмѣстѣ съ ними въ Дунсіаду.

«См. послѣднее изданіе сочиненій Попа, за которое Боульсъ получилъ триста фунтовъ. Такимъ образомъ, г. Боульсъ на опытѣ убѣдился, насколько легче извлекать пользу изъ чужой извѣстности, чѣмъ добиваться собственной». (*Байронъ*).

«Все, сказанное здѣсь о Боульсѣ, слишкомъ грубо», замѣтилъ Байронъ въ 1816 г. Впослѣдствіи, однако, онъ опять вернулся къ первоначальному мнѣнію. «Хотя я и сожалѣю о томъ, что напечаталъ *Англійскихъ бардовъ и шотландскихъ обозрѣвателей*,—(писалъ онъ 7 февраля 1821 г.,—но всего менѣе жалѣю о томъ, что сказано мною тамъ о Боульсѣ по поводу Попа. Въ то время, когда я писалъ это сочиненіе, въ 1807 и 1808 гг., г. Гобгоузъ пожелалъ, чтобы я высказалъ наше общее мнѣніе о Попѣ и объ изданіи его сочиненій г. Боульсомъ. Такъ какъ я уже почти окончилъ свою сатиру и она мнѣ уже надоѣла, то я и попросилъ г. Гобгоуза, не сдѣлаетъ ли онъ это *самъ*. Онъ это и сдѣлалъ. Написанные имъ 14 стиховъ объ изданіи Попа Боульсомъ находятся въ первомъ изданіи *Англійскихъ бардовъ;* они такъ же строги, какъ и мои, помѣщенные во второмъ изданіи, а въ поэтическомъ отношеніи гораздо лучше моихъ. Но такъ какъ я, перепечатывая свое сочиненіе, поставилъ подъ нимъ свое имя, то я и исключилъ стихи г. Гобгоуза, отчего это сочиненіе выиграло гораздо меньше, чѣмъ г. Боульсъ. Я говорю это съ сожалѣніемъ: перечитывая свои стихи, я каюсь въ томъ, что они такъ далеко отошли отъ того, что слѣдовало сказать объ его изданіи сочиненій Попа».

То Коттль, Бристоля гордость.

«Мистеръ Коттль,—Амосъ, Джозефъ, не знаю, который изъ нихъ, а можетъ быть—и оба, нѣкогда продавали книги, которыхъ они не писали, а потомъ стали писать книги, которыхъ не продаютъ. Они напечатали пару эпическихъ поэмъ,—«Альфредъ» (бѣдный Альфредъ! И отъ Пая тоже ему досталось!) и «Паденіе Камбріи». (*Байронъ*).

«Это совершенно справедливо. Я видѣлъ нѣсколько писемъ этого молодца Дж. Коттля къ одной злополучной поэтессѣ: онъ такъ грубо и зло обрушился на ея произведенія (о которыхъ эта бѣдная женщина и сама была вовсе непреувеличеннаго мнѣнія), что я вовсе не жалѣю о томъ, что напалъ на него, даже если бы эти нападки были и несправедливы, чего, конечно, нельзя сказать, потому что онъ и въ самомъ дѣлѣ—оселъ»

(*Позднѣйшее примѣчаніе Байрона*).

Стр. 518.

Такъ Морисъ намъ пытается томящій
Громадный грузъ риемованныхъ томовъ
Втащить наверхъ смѣющихся холмовъ
Твоихъ, о Ричмондъ!

«Мистеръ Морисъ сфабриковалъ часть увѣсистаго «кварто», гдѣ говорится о красотахъ Ричмондскаго холма и о другихъ подобныхъ вещахъ; онъ также очарованъ видами Торнгемъ-Грина, Гаммерсмита, Брентфорда стараго и новаго и прилежащихъ къ нимъ мѣстъ». (*Байронъ*).

Томасъ *Морисъ* (1754—1824), авторъ поэмы «Ричмондскій Холмъ» и др., написалъ также «Исторію древняго и новаго Индостана», жестоко раскритикованную «Эдинбургскимъ Обозрѣніемъ». Впослѣдствіи (1819) онъ издалъ интересныя «Записки».

О, бѣдный Шеффильдъ! Пусть оплачетъ онъ
Поэта своего столь ранній сонъ.

Въ подлинникѣ: «Пусть классическій Шеффильдъ оплачетъ его утраченныя творенія; да не возмутитъ ихъ ранняго сна ничья грубая рука!» Къ этимъ стихамъ Байрономъ сдѣлано примѣчаніе: «Бѣдный Монтгомери, хотя и заслужившій похвалу отъ всѣхъ англійскихъ журналовъ, былъ жестоко обруганъ «Эдинбургскимъ Обозрѣніемъ». Несмотря на это, шеффильдскій бардъ все-таки человѣкъ съ замѣчательнымъ талантомъ. Его «Странствователь по Швейцаріи» стоитъ цѣлой тысячи «Лирическихъ балладъ», или по крайности полусотни «опошленныхъ» эпическихъ поэмъ».

Джемсъ *Монтгомери* (1771—1854) издавалъ въ Шеффильдѣ газету «Ирисъ», которая навлекла на него гоненіе властей. Его юношескія поэмы были осмѣяны Джеффреемъ въ «Эд. Обозрѣніи» 1807 г., янв. Стихи Байрона въ его защиту вызваны, вѣроятно, слѣдующимъ мѣстомъ изъ этой статьи: «Въ то время, когда каждый день приноситъ намъ новыя произведенія Скотта, Кэмпбелля, Вордсворта и Соути, естественно чувствовать отвращеніе къ той неразборчивости, которая смѣшиваетъ съ ними подобные снотворные стихи».

Кто позабылъ изъ васъ тотъ день ужасный . . .

«Это нехорошо, потому что заключаетъ въ себѣ личность».

(*Позднѣйшее примѣчаніе Байрона*).

Когда стволъ пистолета . . .
Въ рукахъ у Литтля мрачно заблисталъ.

«Въ 1806 г. гг. Джеффри и Муръ сошлись для поединка въ Чакъ-фермѣ. Поединокъ былъ предупрежденъ вмѣшательствомъ властей, а по разслѣдованію оказалось, что въ пистолетахъ не было пуль. Это происшествіе послужило поводомъ къ цѣлому ряду газетныхъ шутокъ. Мнѣ сообщаютъ, что г. Муръ въ то же время напечаталъ въ газетахъ опроверженіе этого извѣстія, поскольку оно касалось его самого; я упоминаю объ этомъ обстоятельствѣ изъ чувства справедливости. Такъ какъ я раньше объ этомъ ничего не слыхалъ, то и не могъ знать всѣхъ подробностей, и познакомился съ ними только впослѣдствіи». (*Байронъ*).

Твидъ раздѣлилъ струи своей лазури.

«Твидъ здѣсь изображенъ соотвѣтственно своему характеру: для англійской стороны рѣки было бы очень непохвально выказывать малѣйшіе признаки опасенія». (*Байронъ*).

Толбутъ угрюмый тяжко покачнулся.

«Это обнаруженіе сочувствія со стороны Толбута—главной тюрьмы въ Эдинбургѣ, дѣйствительно затронутой этимъ обстоятельствомъ, заслуживаетъ поясненія. Можно было опасаться, что видъ многихъ казней, въ этой тюрьмѣ совершенныхъ, сдѣлалъ ее нечувствительною. И вотъ, о ней говорится, что такъ какъ она принадлежитъ къ нѣжному полу, то и обнаруживаетъ нѣкоторую деликатность чувствъ, хотя въ нихъ, какъ и въ боль-

шинствѣ женскихъ импульсовъ, есть своя доля эгоизма». (*Байронъ*).

Стр. 519.

Самъ Эбердинъ-аѳинянинъ предъ нами.

Лордъ Эбердинъ много путешествовалъ и состоитъ членомъ Аѳинскаго общества. Ему принадлежитъ критическая статья о «Топографіи Трои» Джелла. (*Байронъ*).

Джорджъ Гордонъ, графъ Эбердинъ (1784 - 1860) издалъ въ 1822 г. «Изслѣдованіе о принципахъ красоты въ греческой архитектурѣ». Его дѣдъ купилъ имѣніе Гэйтъ, проданное лэди Байронъ на уплату долговъ своего мужа. Можетъ быть, Байронъ вспомнилъ и объ этомъ обстоятельствѣ. (*Кольриджъ*).

Вотъ Гербертъ тяжкимъ Тора молоткомъ
Готовъ взмахнуть . .

«Гербертъ—переводчикъ произведеній исландской и т. п. поэзіи. Главное изъ нихъ «Пѣснь на открытіе молота Тора»; этотъ забавный переводъ сдѣланъ на простонародномъ языкѣ». (*Байронъ*).

Вильямъ *Гербертъ* (1778—1847), сынъ графа Карнарвона, издалъ въ 1795 г., будучи еще въ школѣ, «Musae Etonenses» и былъ однимъ изъ самыхъ раннихъ сотрудниковъ Эдинбургскаго Обозрѣнія». Въ эпоху сочиненія сатиры Байрона Гербертъ былъ членомъ палаты общинъ, а потомъ вступилъ въ духовное званіе. (*Кольриджъ*).

Нарядный Сидней, словно рабъ покорный,
Мечтаетъ пищу дать твоимъ строкамъ,
И съ нимъ любитель Греціи Галламъ.

«Достопочтенный Сидней Смитъ, предполагаемый авторъ «Писемъ Питера Плимлея» и разныхъ критическихъ статей . (*Байронъ*).

Сидней *Смитъ*, каноникъ церкви св. Павла (1771—1845) былъ однимъ изъ основателей «Эдинбургскаго Обозрѣнія». Въ 1807 г. онъ издалъ «Письма о католикахъ отъ Питера Плимлея къ его брату Аврааму». (*Кольриджъ*).

«Мистеръ Галламъ написалъ рецензію на «Вкусъ» Пэйна Найта и чрезвычайно строго отнесся къ находящимся въ этой книгѣ греческимъ стихамъ. Онъ, однако, не догадался, что эти стихи принадлежатъ Пиндару, а печать лишила его возможности уничтожить эту критику, которая и остается несокрушимымъ памятникомъ остроумія г. Галлама».

«Сказанный Галламъ обидѣлся на клевету, такъ какъ онъ, будто бы, никогда не обѣдалъ у лорда Голланда. Если это правда, то я жалѣю не о томъ, что я это сказалъ, а о г. Галламѣ, потому что мнѣ говорили, что обѣды лорда Голланда предпочтительнѣе его произведеній. Если г. Галламъ не писалъ рецензій объ этихъ произведеніяхъ, то я этому очень радъ, потому что произведенія эти скучно читать и еще скучнѣе—писать о нихъ. Если онъ мнѣ сообщитъ, кто писалъ эти рецензіи, то я помѣщу въ текстѣ настоящее имя,—конечно, если только это имя будетъ двухсложное и правильно войдетъ въ стихъ; а до тѣхъ поръ, въ ожиданіи лучшаго, пусть остается Галламъ». (*Байронъ*).

Генри *Галламъ*—авторъ сочиненія: «Европа въ средніе вѣка» (1808), о которомъ Байронъ отзывался какъ объ образцовомъ. Статья, о которой говоритъ Байронъ, написана была не Галламомъ, а Алленомъ, домашнимъ врачемъ лорда Голланда. Байронъ былъ введенъ въ ошибку сходствомъ именъ. (*Кольриджъ*).

И сплетни про друзей Пиллансъ разскажетъ.

«Пиллэнсъ—туторъ въ Итонскомъ колледжѣ». (*Байронъ*).

Лэмъ, Таліи прекрасной жалкій жрецъ.

Почтенный Дж. Лэмъ написалъ рецензію о «Бирсфордской нищетѣ», а также одинъ фарсъ, игранный съ большимъ успѣхомъ въ Стэнморѣ и провалившійся съ большимъ трескомъ въ Ковентъ-Гарденѣ. Онъ назывался: «Свисни за это!». (*Байронъ*).

Смотри, чтобъ Брумъ, невѣжливый и бурный,
Не помѣшалъ продажѣ быстрой ихъ.

«Мистеръ Врумъ, въ № XXV «Эдинбургскаго Обозрѣнія», въ статьѣ по поводу книги Донъ-Педро Севаллосъ, выказалъ больше «политики», чѣмъ «политичности»; многія изъ достойныхъ гражданокъ Эдинбурга были такъ возмущены позорными принципами, которые онъ проводитъ въ этой статьѣ, что отказались отъ подписки на журналъ». За этимъ примѣчаніемъ въ первомъ изданіи слѣдовало: «Имя этого господина на югѣ произносится «Врумъ», но подлинное сѣверное и музыкальное его произношеніе есть—«Бру-гамъ», въ два слога». Но во второмъ изданіи Байронъ замѣнилъ эту замѣтку другою: «Мистеръ Врумъ, повидимому, вовсе не пиктъ, какъ я сначала предполагалъ, а только пограничный житель, и его имя вездѣ произносится «Брумъ»; такъ тому и быть».

Богиня, кончивъ, сына обняла,
И скрыла вновь ее сырая мгла.

«Я долженъ извиниться передъ достойными божествами за то, что ввелъ въ ихъ кругъ новую богиню въ короткихъ юбкахъ; но—увы!—что же мнѣ было дѣлать? Я не могъ вывести Каледонскаго генія, такъ какъ всѣмъ хорошо извѣстно, что во всей Шотландіи геніевъ не полагается; а какъ же было спасти Джеффрея безъ сверхъестественнаго вмѣшательства? Національныя вѣдьмы слишкомъ непоэтичны, а домовые отказывались за него хлопотать. Поневолѣ пришлось вызвать богиню, и Джеффри долженъ быть очень благодаренъ, видя, что это—единственный случай, когда онъ вступилъ—или предполагается вступившимъ—въ сношенія съ чѣмъ-то небеснымъ». (*Байронъ*).

Стр. 519—520.

Милордъ Голландъ! Отдавши данъ клевретамъ,
Ужель забыть о немъ самомъ при этомъ
И Генрихъ Петти, что за спиной
Его торчитъ . .

Это мѣсто о Голландѣ впослѣдствіи (1816) отчеркнуто Байрономъ съ припискою: «Довольно плохо и притомъ основано на ошибкѣ». Генри *Петти* (1780—1863) въ 1809 г. сдѣлался, по смерти старшаго брата, маркизомъ Лэнсдоуномъ. Онъ былъ постояннымъ посѣтителемъ политическихъ собраній у своего родственника, лорда Голланда, домъ котораго считался однимъ изъ центральныхъ пунктовъ вигской партіи; такимъ образомъ, названіе «ловчаго» дано Петти, вѣроятно, для обозначенія его дѣятельности въ качествѣ вербовщика въ эту партію—и въ сотрудники «Эдинбургскаго Обозрѣнія».

«Милордъ намъ далъ прекрасный переводъ!»

«Лордъ Голландъ перевелъ нѣсколько отрывковъ изъ Лопе де-Вега, включенныхъ имъ въ біографію этого писателя. Какъ эта біографія, такъ и переводы расхвалены *безкорыстными* гостями автора». (*Байронъ*).

. . . ошибки поправляя
И ароматъ души своей вливая.

«Супруга лорда съ увѣренностью подозрѣвается

въ томъ, что она разсыпаетъ на страницахъ «Эдинбургскаго Обозрѣнія» перлы своего остроумія. Такъ это или нѣтъ, но намъ извѣстно изъ хорошаго источника, что рукописи посылаются къ ней — безъ сомнѣнія, для поправокъ». (*Байронъ*).

. и принцъ, сидящій въ бочкѣ.

«Въ мелодрамѣ «Текели» этотъ принцъ-герой садится на сценѣ въ бочку. Вотъ новое убѣжище для огорченныхъ героевъ! Въ рукописи еще добавлено: «а графъ Эверардъ, въ крѣпости, прячется въ нарочно для этого построенную оранжерею. Жаль, что Теодоръ Гугъ, человѣкъ дѣйствительно талантливый, тратитъ свое дарованіе на сочиненіе такихъ произведеній, какъ «Крѣпость», «Сумасшедшій Музыкантъ» и т. п.».

И глупости Дибдиновой цвѣточки.

Томасъ-Джонъ-Дибдинъ — извѣстный въ свое время комическій актеръ и драматургъ. Одинъ изъ его фарсовъ-пантомимъ, «Матушка-гусыня», былъ представленъ на Ковентъ-Гарденской сценѣ въ 1807 г. и, какъ говорятъ, сдѣлалъ больше 20 тыс. фунтовъ сбора.

Хотя «Рошіомановъ» пала власть.

Опечатка. Надо читать: «*Росціомановъ*». Такъ прозвали поклонниковъ «юнаго Росція», мальчика-актера Вильяма *Бетти*, который дебютировалъ въ Лондонѣ 13-ти лѣтъ, а потомъ игралъ въ провинціи.

. . шлетъ Рейнольдсъ ругательствъ дикій хоръ.

«Это - любимыя выраженія г. Рейнольдса, постоянно повторяющіяся въ его комедіяхъ, живыхъ и покойныхъ». (*Байронъ*).

Коль Кенни—«Міръ» . . .

Джемсъ *Кенни* (1780 - 1849) плодовитый драматическій писатель. Его пьеса «Міръ», представленная въ 1808 г., имѣла большой успѣхъ.

Коль «Каратачъ» Бомоновъ похищаютъ...

«Г. Томасъ Шериданъ, новый директоръ Друри-Лэнскаго театра, обобралъ трагедію Бьюмонта—«Бондука» и поставилъ ее на сцену подъ названіемъ «Caractacus». Можно ли назвать этотъ поступокъ достойнымъ автора?» (*Байронъ*).

Томасъ Шериданъ болѣе извѣстенъ, какъ сынъ знаменитаго Ричарда Бринсли Шеридана, автора «Школы Злословія».

Проснитесь же, Джонъ Кольманъ благородный
И Кумберландъ!

Джорджъ *Кольманъ* младшій (1762—1836), плодовитый драматургъ, пользовавшійся большою популярностью. Ричардъ *Кумберлэндъ* (1732—1811), авторъ многочисленныхъ стихотвореній, романовъ, драмъ и переводчикъ древнихъ классиковъ.

Отдай ты тѣмъ «Пизарра» переводъ,
Кому Господь таланта не даетъ.

Шериданъ перевелъ драму Коцебу «Пизарро», о которой Соути писалъ: «Упасть ниже Пизарро»— невозможно. Пьеса Коцебу могла бы считаться самою худшею въ своемъ родѣ, если бы Шериданъ своимъ переводомъ не доказалъ, что ее можно сдѣлать еще хуже».

Доколь не надоѣстъ насъ пичкать вздоромъ
То Скеффингтона, Гуза, то Шерри?

Послѣдній стихъ напечатанъ ошибочно. Слѣдуетъ читать:

Скеффингтона, иль фарсами Черри.

Андрью *Черри* (1762—1812), извѣстный въ свое время ирландскій актеръ и авторъ комедій. О *Скеффингтонѣ* Байронъ замѣтилъ: «Мистеръ (нынѣ сэръ) Ломлей Скеффингтонъ—знаменитый авторъ «Спящей Красавицы» и нѣсколькихъ комедій, изъ которыхъ особенно извѣстна «Дѣвы и холостяки» (Maids and Bachelors, — Baccalaurei, baculo magis quam lauro digni)».

Гузъ съ Скеффингтономъ славу раздѣляютъ.

Опечатка. Слѣдуетъ читать: *гусь*. Говорится о пантомимѣ Дибдина «Матушка-Гусыня».

И самъ Гринвутъ своимъ воображеньемъ
Ему порой никакъ не угодитъ.

«Г. Гринвудъ — декораторъ Друри-Лэнскаго театра; г. Скеффингтонъ многимъ ему обязанъ». (*Байронъ*).

Я не могу всецѣло нашу знать
За восхищенье Нальди обвинять,
За щедрыя ихъ итальянцамъ дани
Иль панталонамъ славнымъ Каталани.

«Имена *Нальди* (а не Нольди, какъ ошибочно напечатано въ текстѣ) и Каталани не нуждаются въ поясненіяхъ; лицо первой и жалованье второй заставятъ насъ долго помнить объ этихъ интересныхъ странницахъ. Кромѣ того, мы еще и до сихъ поръ не можемъ придти въ себя послѣ перваго спектакля, въ которомъ г-жа Каталани появилась на сцену въ мужскихъ панталонахъ». (*Байронъ*).

Стр. 521.

Пусть нравы намъ Авзонія смягчаетъ...

По словамъ *Мура*, этотъ отдѣлъ сатиры былъ написанъ Байрономъ ночью, по возвращеніи изъ оперы, и утромъ отосланъ къ издателю. Изъ письма поэта къ Далласу видно, что спектакль, вызвавшій со стороны Байрона этотъ взрывъ негодованія, происходилъ въ Королевскомъ театрѣ 21 февраля 1809 г. Дана была опера «I Villegiatori Rezzani», съ участіемъ Нальди и Каталани, а затѣмъ—музыкальный дивертисментъ Эджвилля: «Донъ-Кихотъ, или свадьба Гамаша». Въ балетѣ участвовали: Дегэ, бывшій въ теченіе многихъ лѣтъ балетмейстеромъ Королевскаго театра, миссъ Гэйтонъ и г-жа Анджіолини. Прэль не принимала участія въ этомъ спектаклѣ, но славилась вообще какъ балерина.

Хвала отцу распутниковъ Гевилю
И капищу безумія — Арджилю.

«Въ предупрежденіе ошибки, вродѣ смѣшенія названія улицы съ фамиліей лица, я долженъ замѣтить, что здѣсь говорится объ учрежденіи Argyle Rooms, а вовсе не о герцогѣ Арджилѣ. Одинъ джентльмэнъ, съ которымъ я былъ немножко знакомъ, проигралъ въ этомъ учрежденіи нѣсколько тысячъ фунтовъ въ трикгракъ. Въ оправданіе директора надо сказать, что имъ выражено было по этому поводу нѣкоторое неодобреніе; но какая надобность дозволять игру въ помѣщеніи, назначенномъ для собраній лицъ обоего пола? Неужели для женъ и дочерей тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ счастіе или несчастіе быть мужьями и отцами, пріятно слышать, какъ въ одной комнатѣ щелкаютъ билліардные шары, а въ другой стучатъ кости?» (*Байронъ*).

Вотъ впереди—Петроній современный.

«Петроній — «судья изящества» при Неронѣ и «славный малый въ свое время», какъ говорится о Ганнибалѣ въ «Старомъ Холостякѣ» Конгрива». (*Байронъ*).

Онъ дѣдушкины тряпки одѣваетъ.

Опечатка. Слѣдуетъ читать: *кадѣваетъ*.

Стр. 522.

Какъ Клодіусъ ты въ свѣтѣ проживешь
И какъ Фалкландъ въ міръ лучшій отойдешь.

«*Клодіусъ* - mutato nomine de te fabula narratur. Покойнаго лорда *Фалкланда* я хорошо зналъ. Въ воскресенье вечеромъ я видѣлъ его за столомъ, у

него же въ домѣ, радушнымъ и гостепріимнымъ хозяиномъ, а въ среду, въ три часа утра, передо мною уже лежали останки его мужества, сильныхъ чувствъ и горячихъ страстей. Это былъ храбрый и дѣятельный офицеръ; его ошибки были ошибками моряка—и потому британцы, конечно, ихъ простятъ Его поведеніе на полѣ битвы было достойно лучшей участи, а его поведеніе на ложѣ смерти обнаружило всю твердость характера этого человѣка, безъ всякихъ фарсовъ раскаянія; я говорю «фарсовъ раскаянія», потому что раскаяніе на смертномъ одрѣ есть фарсъ, настолько же безполезный для души, какъ врачъ для тѣла: и къ тому, и къ другому полезно обращаться только своевременно. Въ нѣкоторыхъ газетныхъ сообщеніяхъ говорилось объ агоніи умирающаго, объ его «слабомъ голосѣ» и пр. Когда я указалъ на это г. Гэвисайду, онъ воскликнулъ: «Ахъ, Боже мой! Какая нелѣпость говорить подобныя вещи о человѣкѣ, который умеръ какъ левъ!» Онъ сдѣлалъ больше: онъ умеръ какъ храбрый человѣкъ, ибо если бы онъ палъ подобною смертью на палубѣ фрегата, на который онъ только что былъ назначенъ, то послѣднія минуты его жизни считались бы примѣромъ героизма». (*Байронъ*).

Чарльзъ Джонъ Кэри, виконтъ Фалкландъ, умеръ отъ раны, полученной имъ въ поединкѣ съ Поуэллемъ, 28 февраля 1809 г.

Да чѣмъ же ты ихъ лучше, съумасшедшій.

«Достаточно съумасшедшій въ то время и не сдѣлавшійся съ тѣхъ поръ болѣе благоразумнымъ». (*Позднѣйшее прим. Байрона*).

Онъ Гафиза до Боульса-простофили.

«Что почувствовалъ бы персидскій Анакреонъ Гафизъ, если бы онъ могъ встать изъ своей великолѣпной гробницы въ Ширазѣ (гдѣ онъ покоится вмѣстѣ съ Фирдуси и Саади, восточными Гомеромъ и Катулломъ) и увидѣлъ бы, что его имя взято напрокатъ какимъ-то Стоттомъ изъ Дромора, однимъ изъ самыхъ безстыжихъ литературныхъ браконьеровъ ежедневной печати?» (*Байронъ*).

Пусть Мильсъ Андрюсъ съ куплетами хлопочетъ.

Майльсъ Эндрьюсъ былъ владѣльцемъ большого порохового завода въ Дартфордѣ и членомъ парламента. Ближайшими его друзьями были актеры и драматурги, и самъ онъ сочинялъ пьески съ куплетами. (*Кольриджъ*).

Гдѣ Роскоммонъ, Шеффильдъ?...

Графъ *Роскоммонъ* (1634 1685) авторъ мелкихъ стихотвореній и одинъ изъ основателей англійской литературной академіи; Джонъ Шеффильдъ, впослѣдствіи—герцогъ Бокингэмъ (1649—1721), написалъ «Опытъ о поэзіи» и нѣсколько другихъ произведеній.

Карлейлево разслабленное пѣнье.

Фридерикъ Гоуардъ, графъ Карлейль (1748—1825), вице-король Ирландіи и пр., издалъ въ 1801 г. «Трагедіи и Комедіи». Онъ былъ двоюроднымъ братомъ и опекуномъ Байрона, который первоначально, вмѣсто находящихся въ текстѣ неблагопріятныхъ для Карлейля стиховъ, написалъ:

Кого же муза можетъ награждать?
Фебъ къ одному лишь до сихъ поръ склонился:
Въ Карлейлѣ новый Роскоммонъ явился.

Но прежде, чѣмъ Байронъ успѣлъ послать свою сатиру издателю, Карлейль отвѣтилъ отказомъ на его просьбу—ввести его въ палату лордовъ; въ отместку за это разсерженный поэтъ замѣнилъ три похвальные стиха двадцатью насмѣшливыми. Карлейль страдалъ нервными припадками, и Байрону сообщили, что нѣкоторые читатели увидѣли въ словахъ «разслабленное пѣнье» намекъ на эту болѣзнь. «Слава Богу», воскликнулъ поэтъ, «что я объ этомъ не зналъ; если бы зналъ, я не написалъ бы этого и не могъ бы написать. Конечно, я никогда не позволю себѣ смѣяться надъ физическими недостатками или болѣзнями».

Пэръ, памфлетистъ, фатишка и поэтъ!

«Графъ Карлейль недавно издалъ брошюрку, цѣною въ 18 пенни, о современномъ состояніи театра, гдѣ предлагаетъ свой планъ устройства новой сцены. Будемъ надѣяться что лордъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлаетъ что-нибудь для театра, кромѣ своихъ трагедій». (*Байронъ*).

Телячья кожа больше къ вамъ идетъ.

«Сорви ты шкуру льва, одѣнься лучше кожею теленка!» (Шекспиръ. «Король Джонъ»). Сочиненія лорда Карлейля, великолѣпно переплетенныя, составляютъ главное украшеніе его библіотеки; все прочее, конечно, сущій вздоръ,—за то хорошъ сафьянъ и коленкоръ!» (*Байронъ*).

Пусть будетъ плащъ Мельвиля вашъ покровъ.

«Плащъ Мельвиля» - пародія на стихотвореніе «Плащъ Илія», написанное Сэеромъ на смерть Вильяма Питта (1807). Смерть Фокса также вызвала нѣсколько «монодій».

Стр. 53. *Бранить я Розу также не хочу.*

«Эта миловидная маленькая Джессика, дочь извѣстнаго жида Кинга, повидимому, является послѣдовательницею школы Della Crusca; она издала два тома весьма почтенныхъ нелѣпостей въ стихахъ, кромѣ разныхъ романовъ въ стилѣ перваго изданія «Монаха». (*Байронъ*).

«Впослѣдствіи она вышла замужъ за «Утреннюю Почту» и хорошо сдѣлала; а теперь она умерла—и сдѣлала еще лучше». (*Позд. прим.*).

Метафорой пугаетъ Мерри скучный.

Предыдущіе стихи относятся къ такъ наз. школѣ Della Crusca, осмѣянной Джиффордомъ въ его *Бавіадѣ* и *Мевіадѣ*. Робертъ *Мерри*, вмѣстѣ съ г-жами Піоццы, Берти Грэтхидъ и Вильямомъ Парсонсомъ, а также съ нѣсколькими друзьями изъ итальянцевъ, основали во Флоренціи литературное общество подъ названіемъ Oziosi («Досужіе») и издали тамъ въ 1784 и 1785 гг. два сборника стихотвореній, въ которыхъ наговорили другъ другу всякихъ комплиментовъ. Мерри, избранный въ члены извѣстной флорентинской академіи Della Crusca, возвратившись въ Лондонъ, напечаталъ въ газетѣ «World» сонетъ «Любовь», подписавъ его «Della Crusca». Ему отвѣчала, также сонетомъ, Анна Коули, подъ псевдонимомъ «Анна-Матильда». Послѣ этого завязалась цѣлая стихотворная переписка, въ которой приняли участіе: Пердита Робинсонъ, подъ псевдонимомъ «Лаура-Марія», Шарлотта Дакръ, подъ псевдонимомъ «Роза-Матильда» и Робертъ Стоттъ, подъ псевдонимомъ «Гафизъ».

.. Съ подписью О. Р. Q. неразлучный.

«Это—подписи разныхъ знаменитостей, появляющихся въ газетахъ въ отдѣлѣ стихотвореній». (*Байронъ*).

Коль подмастерье броситъ молодой
И мастерскую, и прилавокъ свой.

«Это намекъ на бѣднягу Блэкетта, которому тогда покровительствовала лэди Байронъ; но я въ то время этого не зналъ, иначе, вѣроятно, не написалъ бы этого». (*Позднѣйшее примѣчаніе Байрона*).

Джозофъ Блэкеттъ (1786—1810), о которомъ Соути высказалъ очень лестное мнѣніе, былъ сынъ земледѣльца и по профессіи - починщикъ обуви. Онъ былъ «открытъ» Праттомъ (который впослѣдствіи издалъ и собраніе его сочиненій) и принятъ подъ покровительство семьи Мильбанкъ. МиссъМильбанкъ, впослѣдствіи лэди Байронъ, писала въ 1809 г.: «Въ Сигэмѣ живетъ въ настоящее время поэтъ, по имени Дж. Блэкеттъ, нѣчто вродѣ Борнса, все состояніе котораго заключается въ его талантѣ. Я вчера въ первый разъ его увидѣла; его манеры и рѣчь мнѣ очень понравились. Онъ очень застѣнчивъ, держитъ себя скромно, а въ рѣчахъ его слышится грусть и нѣкоторый сатирическій оттѣнокъ. Въ его стихотвореніяхъ сказывается, несомнѣнно, большой талантъ и сильный умъ...» Блэкеттъ умеръ въ сентябрѣ 1810 г., 23-хъ лѣтъ. Байронъ написалъ ему своеобразную эпитафію, см. стр. 552.

Самъ Кэпель Лофтъ въ восторгѣ отъ него.

«Кэпель Лофтъ, меценатъ башмачниковъ и генеральный составитель предисловій къ сочиненіямъ обиженныхъ судьбою стихотворцевъ, нѣчто вродѣ дарового акушера для тѣхъ, кто желаетъ разрѣшиться рифмами, но не знаетъ, какъ это сдѣлать». (*Байронъ*).

Кэпель Лофтъ, юристъ, поэтъ, критикъ и садоводъ, былъ покровителемъ поэта-самоучки Роберта Блумфильда, который былъ уроженцемъ Гонингтона, находящагося невдалекѣ отъ помѣстья Лофта, въ Суффолькѣ. Робертъ Блумфильдъ былъ воспитанъ двумя старшими своими братьями—портнымъ Натаніэломъ и сапожникомъ Джорджемъ. Въ мастерской послѣдняго онъ сочинилъ и свою поэму «Фермерскій мальчикъ», напечатанную при помощи Лофта. Ср. «На тему изъ Горація», стр. 538.

Чѣмъ Блумфильду уступитъ братъ Натанъ?

«См. оду, элегію, или какъ кому угодно назвать ее, Натаніэля Блумфильда на огражденіе Гонингтонскаго луга». (*Байронъ*).

А ты Роджерсъ!...

«Можетъ быть, было бы излишнимъ напоминать читателю объ авторахъ «Утѣхъ Памяти» и «Утѣхъ Надежды», — прекраснѣйшихъ дидактическихъ поэмъ на нашемъ языкѣ, за исключеніемъ лишь «Опыта о Человѣкѣ» Попа; но въ послѣднее время появилось такъ много стихоплетовъ, что даже имена Кэмпбелля и Роджерса кажутся уже странными. Къ этимъ строкамъ Байронъ въ 1816 г. приписалъ:

У прелестной Жакелины
Носикъ былъ совсѣмъ орлиный,
О прекрасной миссъ Гертрудѣ
Всѣ кричали какъ о чудѣ,
А великій Марміонъ
Къ полководцамъ былъ причтенъ,
И Кегамы гордый видъ
Турка мужествомъ дивитъ.

«Я опять перечиталъ «Память» и «Надежду», и рѣшительно предпочитаю первую. Она написана удивительно изящно: во всей книгѣ нѣтъ ни одной вульгарной строчки. Роджерсъ не оправдалъ надеждъ, вызванныхъ его первыми стихотвореніями, но за нимъ все-таки остается большая заслуга».

Стр. 521. *Въ свидѣтели Джиффорда вызываю,*
Съ нимъ Макнейля и Сотби приглашаю.

«Джиффордъ — авторъ *Бивіады* и *Мевіады*, лучшихъ сатиръ нашего времени, и переводчикъ Ювенала. Сотби — переводчикъ «Оберона» Виланда и «Георгикъ» Виргилія и авторъ эпической поэмы «Саулъ». Макнейль—авторъ популярныхъ шотландскихъ поэмъ, разошедшихся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ». (*Байронъ*).

Зачѣмъ Джиффордъ не пишетъ ничего?

«Г. Джиффордъ обѣщалъ публично, что *Бавіада* и *Мевіада* не будутъ его послѣдними оригинальными произведеніями; надо ему объ этомъ напомнить». (*Байронъ*).

О бѣдный Уайтъ!...

«Генри Керкъ Уайтъ умеръ въ Кэмбриджѣ, въ октябрѣ 1806 г, вслѣдствіе переутомленія отъ усиленныхъ занятій, которыя должны были усовершенствовать его умъ и талантъ, не поддавшіеся пагубному вліянію бѣдствій и нищеты. Его стихотворенія изобилуютъ красотами, вызывающими у читателя живѣйшее сожалѣніе о преждевременной утратѣ этого талантливаго писателя». (*Байронъ*).

Керкъ Уайтъ (1785—1806) издалъ въ 1803 г. поэму «Клифтонъ Гровъ». Въ 1808 г. были изданы два тома его посмертныхъ произведеній и писемъ, съ біографіею, написанною Соути.

Мой Краббъ любезный, музы сельской жрецъ.

«Я считаю Крабба и Кольриджа первыми поэтами нашего времени, по силѣ ихъ дарованія». (*Байронъ*).

Пусть Ши теперь вниманьемъ овладѣетъ.

«Г. Ши, авторъ «Римъ объ искусствѣ» и «Элементовъ искусства». (*Байронъ*).

... О Райтъ! Ты могъ смотрѣть
На тѣ брега, ты ихъ умѣлъ воспѣть!

«Г. Райтъ, покойный генеральный консулъ на островахъ Архипелага, написалъ очень хорошую поэму, недавно изданную подъ заглавіемъ «Horae Ionicae» и посвященную описанію греческихъ острововъ и прилежащаго къ нимъ материка Греціи». (*Байронъ*. Ср. наст. изд. т. I, стр. 499).

А вы, друзья, диковинныхъ камней
Сокрытый блескъ предъ свѣтомъ нашихъ дней
Раскрывшіе!...

«Переводчики Антологіи издали съ того времени отдѣльныя стихотворенія, обнаруживающія такой талантъ, который ожидаетъ только благопріятнаго случая для того, чтобы достигнуть выдающейся силы». (*Байронъ*).

Переводчиками греческой Антологіи были: Робертъ Блэндъ, Денманъ, Годжсонъ и, въ особенности, Германъ Меривэль.

Стр. 525. *Пусть не напомнятъ пошлыя творенья*
Намъ Дарвина, сонливаго пѣвца.

Эразмъ Дарвинъ (1731—1802), дѣдъ знаменитаго натуралиста, авторъ поэмъ: «Ботаническій Садъ» и «Храмъ природы».

Но вслѣдъ затѣмъ усталый рѣжетъ глазъ.

«Невниманіе публики къ «Ботаническому Саду» является доказательствомъ возрождающагося вкуса Единственное достоинство этого произведенія въ описаніяхъ». (*Байронъ*).

Вордсвортовой поэзіи бездарной.

Такое мнѣніе Байрона не было зрѣлымъ сужденіемъ, и самъ онъ не рѣшился высказать его въ статьѣ о стихотвореніяхъ Вордсворта, помѣщенной въ «Crosby Magazine» 1807 г. Рѣзкое выраженіе вызвано было отчасти пренебреженіемъ новыхъ поэтовъ къ Попу и Драйдену, отчасти желаніемъ уязвить «лэкистовъ» въ лицѣ одного изъ ихъ «братства». (*Кольриджъ*).

А Лэму съ Лойдомъ кажется нѣжнѣй
Мелодіи небесной.

«Гг. Лэмъ и Лойдъ—самые негодные прихвостни Соути и Ко.». (*Байронъ*).

О Вальтеръ Скоттъ! Пусть твой оставитъ геній
Кровавую поэзію сраженій.

«Я все-таки надѣюсь, что въ ближайшей поэмѣ г. В. Скотта герой или героиня будутъ менѣе увлечены «Грамари» и будутъ болѣе сообразоваться съ грамматикой. нежели героиня «Пѣсни послѣдняго менестреля» и ея разбойника Вильяма Делоррэнъ». (*Байронъ*).

Карлейль, Матильда, Стоттъ, вся банда злая.

«Могутъ спросить, отчего я такъ порицаю графа Карлейля, моего опекуна и родственника, которому я нѣсколько лѣтъ назадъ посвятилъ собраніе своихъ дѣтскихъ стихотвореній? Опекунство его было только номинальнымъ; по крайней мѣрѣ насколько это мнѣ извѣстно; отъ родства съ нимъ я не могу избавиться, и очень объ этомъ сожалѣю; а такъ какъ самъ лордъ, повидимому, совсѣмъ забылъ объ этомъ родствѣ при одномъ случаѣ весьма для меня важномъ, то и я не считаю нужнымъ отягощать свою память этимъ воспоминаніемъ. Я не думаю, что личными раздорами можно оправдывать несправедливое осужденіе своего брата-писателя; но я не вижу причины, почему эти раздоры должны препятствовать осужденію, когда писатель, благородный, или неблагородный въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, вводитъ въ заблужденіе «почтеннѣйшую» (какъ говорится въ предисловіяхъ) публику цѣлыми кучами правовѣрнѣйшаго и несомнѣннѣйшаго вздора. Кромѣ того, въ порицаніи лорда я выступаю не одиноко: его сочиненія были уже по справедливости оцѣнены нашими литературными патриціями. Если я ранѣе своего совершеннолѣтія говорилъ что-нибудь лестное для бумажныхъ издѣлій лорда, то это было говорено только въ офиціальномъ посвященіи и притомъ — больше по совѣту другихъ, чѣмъ по моему собственному желанію, и я пользуюсь первымъ представившимся мнѣ случаемъ для того, чтобы искренно въ этомъ покаяться. Я слышалъ, будто нѣкоторыя лица считаютъ меня обязаннымъ лорду Карлейлю; если это правда, то я очень желалъ бы знать, въ чемъ именно я ему обязанъ, чтобы затѣмъ публично въ этомъ сознаться. Теперешнее же мое скромное мнѣніе объ его печатныхъ вещахъ я готовъ подтвердить, въ случаѣ надобности, цитатами изъ элегій, эвлогій, одъ. эпизодовъ и разныхъ шутливыхъ и изысканныхъ трагедій, подписанныхъ его именемъ.

«Вся кровь всѣхъ Говардовъ—увы, не въ силахъ
Съ рабовъ, глупцовъ иль трусовъ смыть клеймо».

Такъ сказалъ Попъ. «Аминь!» (*Байронъ*).

«Слишкомъ грубо, каковы бы ни были причины». (*Поздн. прим.*)

Стр. 526. *Какъ фениксъ на кострѣ, вдругъ слава вспыхнетъ.*

«Чортъ побери этого феникса! И откуда онъ тутъ взялся?» (*Поздн. прим.*)

Хотя теперь печатными станками
Владѣетъ Горъ съ позорными стихами
И жалкій Гойль.

Чарльзъ-Джемсъ Горъ (1781—1865) близкій другъ руководителей евангелической партіи, получилъ въ Кэмбриджѣ, въ 1807 г., Ситоновскую премію за свою поэму «Кораблекрушеніе св. Павла». Чарльзъ Гойль также удостоился Ситоновской преміи за поэму «Исходъ». Гойль, который «помогъ картежникамъ»,—Эдмундъ (1672-1769), былъ изобрѣтателемъ виста.

Вотъ тратитъ Кларкъ свой безполезный трудъ.

«Этотъ господинъ, недавно обнаружившій самые яростные признаки завзятаго графоманства, сочинилъ поэму подъ названіемъ «Искусство быть пріятнымъ», въ которой мало пріятнаго и еще меньше поэзіи. Онъ дѣйствуетъ также въ качествѣ ежемѣсячнаго стипендіата и собирателя клеветъ «Сатириста». Если бы этотъ злополучный молодой человѣкъ промѣнялъ журналы на математику и постарался бы получить приличную ученую степень въ университетѣ, то это, конечно, было бы для него выгоднѣе, чѣмъ нынѣшнее его жалованье.

«*Примѣчаніе.* Одинъ злополучный молодой человѣкъ изъ Эммануэль-колледжа въ Кэмбриджѣ, по имени Гьюсонъ Кларкъ, недавно обнаружилъ самые яростные признаки завзятаго графоманства. Болѣзнь эта началась у него нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и «Ньюкэстльскій Вѣстникъ» изобиловалъ его ранними литературными опытами, къ великому назиданію мѣщанокъ Ньюкэстля, Морпета и даже мѣстностей, прилегающихъ къ Бервику и Твиду. Означенные опыты, въ свою очередь, изобиловали насмѣшливыми выходками противъ родины автора, города Ньюкэстля, г. Матіаса и Анакреона Мура. Чѣмъ эти господа обидѣли г. Гьюсона Кларка,- остается неизвѣстнымъ; но городъ, на рынкахъ котораго онъ покупалъ себѣ провизію и въ ежемѣсячномъ журналѣ котораго онъ печаталъ свою прозу, конечно, заслуживалъ лучшаго отношенія. Г-ну Гьюсону Кларку слѣдовало бы помнить пословицу о томъ, что «только негодная птица мараетъ свое гнѣздо». Теперь онъ пишетъ въ «Сатиристѣ». Мы совѣтуемъ молодому человѣку бросить журналы и заняться математикой, и думаемъ, что пріобрѣтеніе ученой степени въ Кэмбриджѣ будетъ ему и полезнѣе. и. въ концѣ концовъ, выгоднѣе нежели его нынѣшнія недолговѣчныя упражненія». (*Байронъ*).

«Сатиристъ» былъ ежемѣсячный журналъ, съ картинками въ краскахъ, выходившій въ 1808—1814 гг. На страницахъ этого журнала печатались пародіи на стихи Байрона и насмѣшливыя рецензіи на «Часы Досуга» и проч.. Этимъ и объясняется злой отзывъ Байрона о Кларкѣ,—отзывъ, который самъ поэтъ въ 1816 г. призналъ «вполнѣ правильнымъ и вполнѣ заслуженнымъ».

Вандальской расы мрачное жилье.

«Императоръ Пробъ переселилъ въ Кэмбриджширъ значительное количество вандаловъ», говоритъ Гиббонъ въ Исторіи паденія Римской имперіи. Въ справедливости этого факта нѣтъ основаній сомнѣваться: названное племя еще и теперь тамъ процвѣтаетъ». (*Байронъ*).

Годгсона стихъ тебѣ поможетъ мало.

«Имя этого писателя не нуждается въ похвалахъ: человѣкъ, обнаружившій несомнѣнный талантъ въ переводахъ, конечно, можетъ явиться столь же талантливымъ и въ оригинальныхъ своихъ произведеніяхъ, блестящій образецъ которыхъ мы надѣемся вскорѣ имѣть». (*Байронъ*).

Вотъ тамъ Ричардсъ огонь свой почерпалъ
И про дѣла намъ предковъ разсказалъ.

«Первобытные британцы»—превосходная поэма Джорджа Ричардса». (*Байронъ*).

Въ томъ креслѣ Портландъ, гдѣ сидѣлъ нашъ Питтъ!

«Одинъ изъ моихъ друзей на вопросъ: отчего

его милость герцогъ Портландъ похожъ на старую бабу?—отвѣчалъ: «кажется, оттого, что онъ невыносимъ». Его милость уже отправился теперь къ своимъ бабушкамъ, гдѣ будетъ спать такъ же крѣпко, какъ всегда; впрочемъ, его сонъ былъ лучше бодрствованія его товарищей по министерству 1811». (*Байронъ*).

Вильямъ-Генри Кэвендишъ, герцогъ Портландскій, бывшій въ 1807 г. первымъ министромъ, умеръ въ 1809 г.

Кельпэ напротивъ цѣпь откроетъ горъ

«Кельпэ—старинное названіе Гибралтара». (*Байронъ*).

За славою пусть гонится Эльджинъ.

«Лордъ Эльджинъ хочетъ увѣрить насъ, что всѣ фигуры, съ носами и безносыя, въ его лавочкѣ суть творенія Фидія! Credat Iudaeus!» (*Байронъ*).

Стр. 527.

Топографомъ пусть будетъ старый Джель.

Сэръ Вильямъ *Джель* издалъ «Топографію Трои» (1804), «Географію и древности Итаки» (1807) и «Путеводитель по Греціи» (1808). О двухъ послѣднихъ книгахъ Байронъ написалъ рецензію въ «Ежемѣсячномъ Обозрѣніи» 1808 г., въ примѣчаніи же къ приведенному стиху говоритъ: «Топографія Трои и Итаки» г. Джелля не можетъ не заслужить одобренія всякаго читателя, одареннаго классическимъ вкусомъ, которому сообщаемыя авторомъ свѣдѣнія вполнѣ отвѣчаютъ». Впослѣдствіи, однако, Байронъ, лично ознакомившись съ описанными у Джелля мѣстностями, измѣнилъ свое мнѣніе объ его трудахъ и призналъ его обозрѣніе «поспѣшнымъ и поверхностнымъ».

Безжалостный, но справедливый судъ.

«Я искренно желалъ бы, чтобы бо́льшая часть этой сатиры вовсе не была написана,—не только по несправедливости многихъ критическихъ и личныхъ отзывовъ, но и по тому тону и характеру, которыхъ я не могу одобрить. *Байронъ*. 14 іюля 1816 г. Діодати, Женева».

Послѣсловіе ко второму изданію.

Въ то время, когда настоящее изданіе находилось уже въ печати, мнѣ сообщили, что мои добросовѣстные и возлюбленные братцы, Эдинбургскіе обозрѣватели, приготовляютъ жесточайшую критику на мою бѣдную, скромную и безобидную музу, которую они уже такъ дьявольски обидѣли своимъ безбожнымъ сквернословіемъ.

Tantaene animis coelestibus irae?

Я думаю, что мнѣ можно сказать о Джеффри словами сэра Андрью Эгчика: «Если-бъ я зналъ, что онъ такой бойкій и мастеръ драться, такъ чортъ бы его взялъ прежде, чѣмъ я его вызвалъ»[1]). Какъ жаль, что я буду уже за Босфоромъ прежде, чѣмъ ближайшій номеръ «Обозрѣнія» перейдетъ черезъ Твидъ! Но я еще надѣюсь закурить имъ свою трубку въ Персіи[2]).

Мои сѣверные друзья обвинили меня—и справедливо—въ личныхъ нападкахъ на ихъ великаго литературнаго людоѣда Джеффри; но что же мнѣ было дѣлать съ нимъ и съ его грязной сворой, которая кормится ложью и сплетнями и утоляетъ свою жажду злоязычіемъ? Я приводилъ факты, и безъ того всѣмъ хорошо извѣстные, а о характерѣ Джеффри свободно высказалъ свое мнѣніе, на которое онъ до сихъ поръ не обижался: развѣ мусорщика можно запачкать грязью, которую въ него бросаютъ? Пусть говорятъ, что я покидаю Англію потому, что оскорбилъ «лицъ, пользующихся въ городѣ уваженіемъ за свои умственныя качества»; я еще вернусь, и думаю, что ихъ мщеніе не остынетъ до моего возвращенія. Тѣ, кто меня знаетъ, могутъ засвидѣтельствовать, что причины моего отъѣзда изъ Англіи не имѣютъ ничего общаго съ опасеніями—литературными или личными; а тѣ, кто меня не знаетъ, когда-нибудь въ этомъ убѣдятся. Со времени изданія настоящаго сочиненія мое имя не было тайной; я большею частью находился въ Лондонѣ, готовый отвѣчать за свою дерзость, и ежедневно ожидалъ различныхъ вызововъ; но—увы!—«вѣкъ рыцарства умчался», или, выражаясь по-просту, въ наше время у людей не хватаетъ духу.

Есть одинъ молодой человѣкъ, именуемый Гьюсономъ Кларкомъ (подразумѣвай: «эсквайръ»), призрѣваемый въ Эммануэль-колледжѣ и, какъ кажется, уроженецъ Бервика на Твидѣ. Я вывелъ его на этихъ страницахъ въ гораздо лучшей компаніи, нежели та, въ которой онъ обыкновенно вращается; не взирая на это, онъ оказался очень злой собачонкой, и безъ всякой явной для меня причины, если не считать личной его ссоры съ медвѣдемъ, котораго я взялъ съ собой въ Кэмбриджъ въ товарищи и успѣхамъ котораго помѣшала зависть его ровесниковъ изъ Тринити-колледжа. Въ теченіе цѣлаго года и нѣсколькихъ мѣсяцевъ сей юноша не переставалъ нападать на меня и, что гораздо хуже,—на упомянутую выше безобидную невинность, въ журналѣ «Сатиристъ». Я ровно ничѣмъ его на это не вызвалъ; я даже не слыхалъ его имени раньше, чѣмъ оно появилось въ «Сатиристѣ». Стало быть, у него нѣтъ причины жаловаться на меня, и я имѣю право сказать, что онъ скорѣе долженъ бы былъ быть доволенъ мною. Я помянулъ теперь всѣхъ тѣхъ, кто сдѣлалъ мнѣ честь упоминаніемъ обо мнѣ и о моихъ близкихъ, т. е. о моемъ медвѣдѣ и о моей книгѣ,—за исключеніемъ только редактора «Сатириста», который, повидимому, джентльмэнъ, а впрочемъ,—Богъ его знаетъ! Мнѣ хотѣлось бы, чтобы онъ удѣлилъ частичку своего джентльмэнства подчиненнымъ ему писакамъ. Я слышалъ, что г. Джернингэмъ намѣренъ вступиться за своего мецената, лорда Карлейля. Я надѣюсь, однако, что этого не случится: онъ былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ людей, которые въ теченіе моего весьма краткаго съ ними знакомства, въ дни моего отрочества, относились ко мнѣ ласково; поэтому что бы онъ ни сдѣлалъ и что бы ни сказалъ, я все перенесу молча. Болѣе я ничего не имѣю прибавить, кромѣ общаго засвидѣтельствованія моей признательности читателямъ, издателямъ и книгопродавцамъ. Говоря словами Вальтера Скотта, я желаю

«Всѣмъ добрымъ людямъ доброй ночи:
Пусть сладкій сонъ смежитъ имъ очи».

---

[1]) «Двѣнадцатая Ночь», д. III, сц. 5 («Библ. вел. пис.», Шекспиръ, II, 540).

[2]) Статья эта не появилась въ печати, и Байронъ, въ стихотвореніи «На тему изъ Горація», насмѣшливо отозвался о молчаніи Джеффри, видя въ немъ доказательство, что критикъ уступилъ поле сраженія.

НА ТЕМУ ИЗЪ ГОРАЦІЯ.

Это сатирическое подражаніе «Посланію къ Пизонамъ» Горація, дающее особаго рода обзоръ современной англійской, можно даже сказать, спеціально лондонской — литературы, помѣчено въ рукописи: «Аѳины, Капуцинскій монастырь, 12 марта 1811». Цѣня это произведеніе чрезвычайно высоко, Байронъ, однако, не рѣшился его напечатать сейчасъ же вслѣдъ за появленіемъ *Чайльдъ-Гарольда*, чувствуя, какъ онъ самъ сознавался, что появленіе, въ пору крупнаго литературнаго успѣха, сатиры, вызванной литературною неудачею, «обрушило бы на голову автора цѣлую гору раскаленнаго угля». Но и девять лѣтъ спустя, въ пору полнаго расцвѣта своего таланта, поэтъ не измѣнилъ своего первоначальнаго мнѣнія объ этомъ раннемъ своемъ произведеніи, какъ о выдающемся и по формѣ, и по содержанію, и, рѣшивъ, наконецъ, его напечатать, съ исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ именъ и отдѣльныхъ мѣстъ, писалъ Муррею изъ Раввены, 23 сентября 1820 г.: «Что касается стиховъ, то они очень хороши; вообще, оглядываясь на то, что написано мною въ ту пору, я удивляюсь, какъ мало я впослѣдствіи усовершенствовался. Тогда я писалъ лучше, чѣмъ теперь; это оттого, что теперь я поддался страшно скверному вкусу нашего времени». Но изданіе сатиры снова было отложено, въ виду высказаннаго Гобгоузомъ мнѣнія, что въ ней надо сдѣлать много помарокъ, а также и по другимъ причинамъ. Вслѣдствіе этого она такъ и осталась не напечатанной при жизни автора.

«Писатели, говоритъ Кольриджъ, часто плохіе судьи собственныхъ сочиненій; но изъ всѣхъ извѣстныхъ литературныхъ заблужденій этого рода ошибки Байрона едва ли не самыя поразительныя. Вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ *Корсара*, онъ все еще считалъ своимъ лучшимъ произведеніемъ *Англійскихъ Бардовъ;* написавъ уже всѣ величайшія свои созданія, онъ продолжалъ увѣрять, что переводъ изъ Пульчи (Morgante Maggiore) — лучше всего, что имъ сдѣлано во всю жизнь, и въ теченіе всей своей литературной дѣятельности упорно стоялъ за высокія достоинства сатиры» *На тему изъ Горація*».

Стр. 258.

Когда бы Лауренсъ, даръ свой унижая...

Сэръ *Томасъ Лауренсъ* (1769 - 1830)—извѣстный англійскій живописецъ и президентъ Королевской Академіи.

. . . безсовѣстный Дюбостъ

«Въ одной англійской газетѣ, которая проникаетъ всюду, гдѣ есть англичане, я прочелъ отчетъ объ этой грязной мазнѣ маляра, изобразившаго м-ра Г. въ видѣ «скотины», и о процессѣ, который затѣмъ послѣдовалъ. Исторія эта, вѣроятно, такъ хорошо извѣстна, что не требуетъ комментаріевъ». (*Байронъ*).

Дюбостъ — французскій живописецъ, который, въ отместку за какую-то обиду, изобразилъ англичанина Гопа и его жену на картинѣ съ подписью: «красота и скотина». Братъ г-жи Гопъ испортилъ эту картину и, будучи привлеченъ къ суду, заплатилъ по приговору сумму 5 фунтовъ стерлинговъ.

Повѣрь мнѣ Мосхосъ...

Мосхосъ—греческій буколическій поэтъ, сиракузянинъ. Его стихотворенія отличались вычурностью. Эго имя здѣсь употреблено, впрочемъ, только какъ псевдонимъ, что видно будетъ изъ дальнѣйшаго изложенія; подъ этимъ псевдонимомъ Байронъ скрываетъ имя своего друга *Гобгоуза*, сопутствовавшаго ему въ путешествіяхъ по Греціи и другимъ странамъ.

Спѣшитъ воспѣть лепечущій ручей,
Долину Гранты, замокъ королей.

Гранта—другое названіе рѣки Кэмъ, на берегу которой расположенъ Кэмбриджскій университетъ.

Иль даже Темзы царственный потокъ.

«Гдѣ много словъ, ума жъ — ни на вершокъ», — какъ говоритъ Попъ». (*Байронъ*)

Бѣжитъ въ Гребъ-стритъ поэтъ нашъ превосходный.

Гребъ-Стритъ (Grub-street) — улица въ Лондонѣ, гдѣ продаются разныя произведенія лубочной литературы.

Стр. 529.

Такъ шьетъ портной бездарный, неумѣлый.

«Лишь простые смертные довольствуются однимъ портнымъ для всего своего костюма; болѣе взыскательные джентльмэны находятъ невозможнымъ довѣрять шитье нижняго платья тому же, кто шьетъ имъ сюртуки и пальто. Я говорю о томъ, какъ было дѣло въ началѣ 1809 г.; какая реформа появилась съ тѣхъ поръ, я не знаю, да и не желаю знать». (*Байронъ*).

Примѣръ намъ - Питтъ: онъ далъ намъ два-три слова,
Которыя для словарей—обнова.

«Мистеръ Питтъ любезно обогатилъ нашъ парламентскій языкъ, какъ это можно видѣть изъ многихъ статей, особенно въ «Edinburgh Review». (*Байронъ*).

Здѣсь намекается на нѣкоторые вошедшіе въ то время въ употребленіе финансовые термины, заимствованные изъ французскаго языка.

. . . Письменность одна
Едва хранитъ былыя времена.

«Старыя баллады и пьесы и розсказни старыхъ бебъ въ настоящее время такъ же цѣнятся, какъ старое вино или новыя рѣчи. Правда, у насъ теперь тысячелѣтіе готическаго шрифта. Возблагодаримъ же нашихъ Геберовъ, Веберовъ и Скоттовъ». (*Байронъ*).

Геберъ (R. Heber, 1773—1833) и *Веберъ* (Weber, 1783 - 1818) — извѣстные англійскіе библіофилы, собравшіе и издавшіе много произведеній старинной англійской литературы.

Попъ Драйденъ, славный Дублинскій деканъ.

Дублинскій деканъ — знаменитый сатирикъ *Свифтъ*, который былъ настоятелемъ собора св. Патрика въ Дублинѣ.

«См., напр., *Макъ Флекно* Драйдена, *Дунсіаду* Попа и всѣ язвительныя баллады Свифта. Каковы бы ни были остальныя ихъ произведенія, названныя пьесы первоисточникомъ своимъ имѣютъ личныя чувства и даютъ главный отпоръ недостойнымъ противникамъ, и если достоинства этихъ сатиръ зависятъ отъ поэтическаго таланта автора, то ѣдкость ихъ происходитъ отъ его личнаго характера». (*Байронъ*).

Въ дни Драйдена безумный Альманзоръ.

«Альманзоръ или завоеваніе Гранады испанцами», напыщенная трагедія Драйдена

Стр. 530.

. . . . смѣшные каламбуры.

«Каламбуры очень одобряются толпою и отвергаются критикой; но они имѣютъ на своей сторонѣ Аристотеля, который допускаетъ ихъ въ

ораторскихъ рѣчахъ и удостоиваетъ серьезнаго изслѣдованія». (*Байронъ*).

. . *чтобъ также Тонли злой*
Лишь во-время возвысилъ голосъ свой.

Тонли (Townly) — одно изъ дѣйствующихъ лицъ одной старой англійской комедіи.

И вѣрный Галъ передъ отцомъ вѣнчаннымъ.

«Галь» или «Гарри» — уменьшительное имя, подъ которымъ фигурируетъ у Шекспира Генрихъ IV въ молодости.

«Кричащимъ въ ухо» вызовъ боевой.

«Ему я крикну въ ухо: Мортимеръ!» (*Шекспиръ*, Генрихъ IV, ч. I, д. I, сц. 3).

Является «Лиръ» или «Лгунъ-лакей»,
Простой Джонъ-Буль, иль «Перегринъ почтенный».

«Лгунъ-лакей» - комедія Гаррика (1741); «Перегринъ» - одно изъ лицъ въ комедіи Джорджа Кольмана «Джонъ Буль» (1803).

Вэльсъ или Вильтъ родная ихъ страна.

Вэльсъ (*Уэльсъ, Валлисъ*)—одна изъ англійскихъ провинцій на восточномъ берегу Англіи. *Вильтсъ* или *Уильтширъ* одно изъ графствъ южной Англіи.

Положимъ, что герой вашъ—Дракенсэръ.

«Дрокенсэръ»—дѣйствующее лицо въ комедіи герцога Бокингэма «Репетиція» (1671), имя котораго сдѣлалось нарицательнымъ.

Хоть мудрено тягаться съ корифеемъ...

Difficile est proprie communia dicere; tuque
Rectius Iliacum carmen deducis in actus,
Quam si proferres ignota indictaque primus
(Horatius, de arte poetica 128 130).

«Г-да Дасье, де-Севинье, Буало и другіе оставили намъ свой споръ о значеніи этихъ словъ, который былъ длиннѣе самого стихотворенія Горація. Онъ напечатанъ въ концѣ одиннадцатаго тома писемъ г-жи де-Севинье (Парижъ 1806). Полагая, что всякій, кто способенъ комментировать, можетъ имѣть свое собственное мнѣніе о такихъ вопросахъ, не менѣе, чѣмъ тѣ, которые не берутъ смѣлости, я внесъ бы свою лепту съ такою же неловкостью, какъ и другіе, если бы мое уваженіе къ остроумію августовскаго вѣка Людовика XIV не заставило меня привести цитаты изъ этихъ знаменитыхъ авторитетовъ. См.: 1) Буало: «Il est difficile de traiter des sujets qui sont à la portée de tout le monde d'une manière, qui vous les rende propres, ce qui s'appelle s'approprier un sujet par le tour qu'on y donne». 2) Дасье: «Il est difficile de traiter convenablement ces caractères que tout le monde peut inventer». 3) Batteux: «Mais il est bien difficile de donner des traits propres et individuels aux êtres purement possibles». Мнѣніе и переводъ г-жи де-Севинье, занимающіе около 40 страницъ, я опускаю, въ особенности потому, что г-нъ Грувелль (издатель) замѣчаетъ: «la chose est bien remarquable, aucune des ces diverses interpretations ne paraît pas être la veritable». Но, къ счастью, кажется, лѣтъ черезъ 50 появился «le lumineux Dumarsais» и постарался снова поставить Горація на ноги, «dissiper tous les nuages et concilier tous les dissentiments». Не сомнѣваюсь, что черезъ слѣдующія 50 лѣтъ появится кто-нибудь еще болѣе «lumineux» и опровергнетъ своимъ высокимъ трудомъ Дюмарсэ и всѣ его доводы, какъ если бы онъ былъ ничѣмъ не лучше Птоломея или Тихо, а комментаріи его имѣли бы не болѣе значенія, чѣмъ астрономическія вычисленія о нынѣшней кометѣ. Я очень радъ, что «la longueur de la dissertation» г-на Д. препятствуетъ г-ну Г. высказаться подробнѣе объ этомъ предметѣ. Поэтъ получше Буало и по крайней мѣрѣ столь же образованный, какъ г-жа де-Севинье, сказалъ, что «немного знать—опаснѣйшая вещь»; а изъ сравненія комментаріевъ легко видѣть, какой опасности подвергаются собственники».

(*Байронъ*).

Ты, юный бардъ, кому судьба грозитъ,
Быть можетъ, тѣмъ, чего боимся всѣ мы.

«Около двухъ лѣтъ тому назадъ м-ръ Кумберлэндъ (въ журналѣ, съ тѣхъ поръ прекратившемъ свое существованіе) объявилъ, что одинъ молодой человѣкъ, по имени Тоунсэндъ, началъ эпическую поэму подъ заглавіемъ Армагеддонъ». Планъ поэмы и отрывки изъ нея обѣщали многое; но я надѣюсь, что не обижу ни м-ра Тоунсэнда, ни его друзей, если обращу ихъ вниманіе на тѣ строки изъ Горація, которыя подали мнѣ поводъ написать эти стихи. Если м-ръ Тоунсэндъ будетъ имѣть успѣхъ въ своемъ предпріятіи (какъ слѣдуетъ надѣяться), то какъ много міръ будетъ обязанъ м-ру Кумберлэнду за то, что онъ вывелъ этого автора въ свѣтъ! Но пока этотъ знаменательный день не пришелъ, можно сомнѣваться, не принесетъ ли такое преждевременное опубликованіе плана (хотя мысли его и возвышенны) скорѣе ущерба надеждамъ м-ра Тоунсэнда, потому ли, что будутъ ожидать слишкомъ многаго, или потому, что отъ разъясненій уменьшится любопытство. М-ръ Кумберлэндъ (талантовъ котораго я не стану унижать скромною данью моей похвалы) и м-ръ Тоунсэндъ не должны подозрѣвать, что я руководствуюсь дурными мотивами, высказывая дурное предположеніе. Я желаю автору всего того успѣха, какого онъ самъ себѣ желаетъ, и буду очень счастливъ, если увижу, что эпическая поэзія поднялась надъ тою глубиною, въ которую ее погрузили Соути, Коттль, Коули (г-жа или Авраамъ), Огильви, Вильки, Пэй и прочая «пыль настоящихъ и прошедшихъ дней». Если онъ даже не Мильтонъ, то пусть онъ будетъ лучше Блэкмора; если онъ не Гомеръ, то пусть будетъ Антимахомъ. Я призналъ бы, что я, какъ молодой еще человѣкъ, слишкомъ смѣло беру на себя роль совѣтчика, если бы тотъ, къ кому я обращаю свои совѣты, не былъ еще моложе. М-ру Тоунсэнду предстоитъ встрѣтиться съ величайшими трудностями; но въ преодолѣніи ихъ онъ найдетъ себѣ хорошее занятіе, а въ побѣдѣ надъ ними — удовлетвореніе. Я слишкомъ хорошо знаю «писакъ насмѣшки, критиковъ обиды» и боюсь, что время научитъ м-ра Тоунсэнда знать ихъ еще лучше. Тѣ, кто имѣетъ успѣхъ, и тѣ, которые его не имѣютъ, одинаково несутъ это бремя, и трудно рѣшить, кому больше достается. Я надѣюсь, что судьба м-ра Тоунсэнда не возбудитъ зависти; скоро онъ будетъ знать людей достаточно хорошо, чтобы не видѣть злорадства въ этомъ выраженіи». (*Байронъ*).

Стр. 531.

Подъ бременемъ чертовской Энеиды.

«Гарвей, «пустившій въ обращенье кровеобращенье», въ избыткѣ восторга отбросилъ отъ себя книгу Виргилія, сказавъ, что это «чертовская книга». Личность вродѣ той, которую я описываю, вѣроятно, тоже отшвырнула бы отъ себя эту книгу, но скорѣй пожелала бы ей провалиться къ чорту, — и не изъ отвращенія къ самому поэту, а изъ весьма понятнаго страха передъ гекзаметрами. Въ самомъ дѣлѣ, общепринятая школьная страда «долгихъ и короткихъ сло-

говъ» вполнѣ способна возбудить на всю жизнь антипатію къ поэзіи; можетъ быть, въ этомъ и преимущество нашей школы». (*Байронъ*).

. . *А Тэвелль нашъ, бѣдняга...*

· Infandum, regina, jubes renovare dolorem». Надѣюсь, что м-ръ Тэвелль (котораго я нисколько не хочу обидѣть) пойметъ меня; а пойметъ ли это мѣсто кто-нибудь другой,—мнѣ не важно. Всѣ перечисленныя событія «quaeque ipse miserrima vidi et quorum pars magna fui», могутъ быть удостовѣрены всегда и во всякое время». (*Байронъ*).

Тэвелль былъ туторомъ въ Тринити-колледжѣ во время пребыванія тамъ Байрона.

То вдругъ медвѣдь живетъ въ гостяхъ у нихъ.

Одно время Байронъ держалъ у себя въ комнатѣ ручного медвѣдя.

Въ глазахъ гулякъ притона или клуба.

(Точнѣе: «Въ глазахъ гулякъ изъ «ада» или клуба).

«Адъ» или притонъ—такъ называется игорный домъ, гдѣ вы немного рискуете и гдѣ васъ много надуваютъ. Клубъ—это веселое чистилище, гдѣ вы многое теряете и гдѣ, какъ предполагается, васъ вовсе не надуваютъ». (*Байронъ*).

Шлетъ въ Гарро, ибо самъ учился тамъ.

Гарро (Harrow-on-the Hill)—городъ, гдѣ Байронъ учился въ средней школѣ. (*Переводчикъ*).

Стр. 532.

Вотъ выжечь Губертъ сумрачный грозитъ
Глаза малюткѣ бѣдному Артуру.

См. драму Шекспира «Король Джонъ».

Тутъ мы спасти съумѣли жизнь Ирены.

«Ирена должна была сказать два стиха съ петлею висѣлицы на шеѣ; но публика закричала «убійцы»,—и актриса должна была удалиться за кулисы» (Босвелль о Джонсонѣ). (*Байронъ*).

«Ирена», пьеса Джонсона, была поставлена въ Лондонѣ въ 1749 году. Мысль о повѣшеніи актрисы передъ публикою принадлежала Гаррику.

И самъ Льюисъ съ толпою привидѣній.

Мэтью-Грегори *Льюисъ* (1775-1818)—поэтъ и романистъ. См. «Англійскіе Барды».

Согласны даже, чтобъ ихъ героини,
Эффекта ради, были цвѣтомъ сини.

«Въ постскриптумѣ къ «Привидѣнію въ замкѣ» м-ръ Льюисъ сообщаетъ намъ, что хотя негры были неизвѣстны въ Англіи въ ту эпоху, когда происходитъ дѣйствіе въ его пьесѣ, но онъ допустилъ этотъ анахронизмъ ради сценическаго эффекта. Если бы онъ могъ достигнуть эффекта, «сдѣлавъ свою героиню синею» (я цитирую его собственныя слова), то онъ «окрасилъ бы ее въ синій цвѣтъ!» (*Байронъ*).

Еще сильнѣй, чѣмъ Деннисъ, отвращенье
Я къ оперѣ имѣю.

Деннисъ—англійскій критикъ (1657-1734), написавшій трактатъ объ итальянскихъ операхъ, въ которомъ онъ доказываетъ, что оперы эти—безнравственнѣе самыхъ вольныхъ пьесъ.

Конечно, твой эдиктъ, Наполеонъ.

Рѣчь идетъ о «Континентальной системѣ» Наполеона I.

Вотъ въ переулкѣ Фопа между франтовъ.

Переулокъ Фопа—одна изъ улицъ, ведущихъ къ оперному театру, гдѣ имѣли обыкновеніе собираться фешенебельные молодые люди.

Зачѣмъ же онъ страдаетъ такъ безплодно?
Затѣмъ, что это дорого и модно.

Въ 1808 году, спѣша въ оперу, я наступилъ на ногу одному очень хорошо одѣтому человѣку и обернулся, чтобы извиниться. Каково же было мое удивленіе, когда я узналъ въ немъ швейцара того самаго дома, въ которомъ я въ то время жилъ, въ Альбемарльской улицѣ! Этотъ джентльмэнъ всякое утро бѣгалъ на посылкахъ въ сорокъ мѣстъ за полкроны, а вечеромъ тратилъ полгинеи, не говоря о расходахъ на костюмъ и на складную шляпу». (*Байронъ*).

До той поры, когда монахи были
Актерами.

«Первыя театральныя представленія, «мистеріи», обыкновенно разыгрывались на Рождествѣ монахами (такъ какъ это были единственные грамотные люди), а позднѣе—вообще духовными лицами и студентами университетовъ. Дѣйствующими лицами мистерій были: Адамъ, Pater Coelestis, Вѣра, Порокъ и иногда два-три ангела. См. «Исторію англійской поэзіи» Уортона». (*Байронъ*).

. . . *Странно, какъ избѣгла запрещенья*
Со стороны Бенволіо она.

Бенволіо лордъ Гросвеноръ, который хлопоталъ о запрещеніи воскресныхъ газетъ; онъ держалъ скаковыхъ лошадей и былъ большимъ любителемъ скачекъ.

«*Бенволіо* самъ не держитъ пари; но каждый, кто держитъ скаковыхъ лошадей, является покровителемъ всѣхъ бѣдствій, сопровождающихъ тотализаторъ. Если онъ самъ избѣгаетъ пари, то это едва ли не фарисейство. Можетъ ли это служить извиненіемъ? Не думаю. Я никогда не слыхалъ, чтобы сводню хвалили за цѣломудріе потому, что она сама не совершала прелюбодѣянія». (*Байронъ*).

Кто любитъ смѣхъ, о Футѣ пожалѣетъ.

Самуэль Футъ (*Foote*)—англійскій актеръ и драматическій писатель (1720—1777), авторъ многихъ пьесъ, полныхъ ѣдкими карикатурами на современниковъ.

Идетъ на смерть Хронохотонтологъ.

«Хрононхотонтологъ»—пьеса *Генри Кэри* 1734—«самая трагическая изъ трагедій, когда либо трагически разыгранныхъ трагиками», поставленная въ Лондонѣ въ 1734 году. Въ послѣдней ея сценѣ Бомбардиніонъ убиваетъ короля Хрононхотонтолога.

Стр. 533.

Пусть, жизнь твою лелѣя, Ефросина
Благоволитъ и часъ послѣдній твой.

Ефросина—одна изъ трехъ Грацій или Харитъ.

Найдутъ о мимахъ манускриптъ веселый.

«У Платона подъ подушкой въ день его смерти нашли томъ «Мимовъ» Софрона. См. Бартелеми де-Пау (Pauw) или Діогена Лаэрція, если угодно. Де Пау называетъ эту книгу шутовскою. Кумберлэндъ, въ своемъ «Наблюдателѣ», говоритъ о ней, какъ о нравственной книгѣ, подобной изреченіямъ Публія Сира». (*Байронъ*).

Увы! ее вигъ Вальполь поразилъ.

Въ 1737 году сэръ Робертъ Вальполь, усмотрѣвъ въ одномъ изъ фарсовъ намеки на свою личность, внесъ билль о томъ, чтобы драматическія произведенія подвергались цензурѣ лорда камергера.

Но Честерфильдъ, чье бойкое перо
Громило смѣхъ . .

Лордъ Честерфильдъ протестовалъ противъ билля Вальполя, отстаивая свободу печати, но рѣзко отозвался о грубомъ смѣхѣ простого народа.

Пусть «Селлену» рога вновь «Арчеръ» ставитъ,
А «Эстифонья» съ «Копперомъ» лукавитъ.

Арчеръ и *Селленъ*—дѣйствующія лица въ одной комедіи Фаркуара (1707). «Капитанъ Копперъ»—лицо въ одной комедіи Флетчера (1624).

Безъ Виллиса не могъ бы быть спасенъ.

Фрэнсисъ Виллисъ—англійскій врачъ, лѣчившій короля Георга III, когда тотъ впалъ въ сумасшествіе.

Полноте, онъ воромъ
Не сдѣлалъ никого.

Рѣчь идетъ, повидимому, объ одной современной пьесѣ, въ которой дѣйствующее лицо, воръ и разбойникъ, ускользаетъ отъ наказанія.

Бранятъ театръ, какъ Колльеръ имъ внушилъ.

Джереми *Колльеръ* епископъ и богословъ, обвинявшій англійскую сцену въ безнравственности и кощунствѣ и печатно споривщій по этому вопросу съ писателемъ Конгривомъ (1697 8).

И пусть нашъ Друри снова расцвѣтетъ.

Рѣчь идетъ объ извѣстномъ Друри-Лэнскомъ театрѣ въ Лондонѣ.

Какъ нѣкогда Сервета сжегъ Кальвинъ.

Серветъ ученый врачъ, противникъ церковнаго ученія о Св. Троицѣ, сожженный въ 1553 году въ Женевѣ по настоянію Кальвина.

Насъ Бэкстеръ «тычетъ», Симеонъ же бьетъ.

«М-ръ *Симеонъ* сущій буянъ вѣры и каратель «добрыхъ дѣлъ». Его усердно поддерживаетъ Джонъ Стикльсъ, работникъ въ томъ же виноградникѣ. Болѣе о нихъ я ничего не скажу, слѣдуя словамъ Джонни, сказаннымъ въ многолюдномъ собраніи: «противъ нихъ одно оружіе смѣхъ». «Тычки» м-ра *Бэкстера* «лѣнивымъ христіанамъ» это подлинное заглавіе книги, когда-то имѣвшей успѣхъ; да похоже на то, что она и снова будетъ его имѣть». (*Байронъ*).

Чарльзъ Симеонъ руководитель евангелическаго движенія въ Кэмбриджѣ *Бэкстеръ*-названъ Байрономъ по ошибкѣ: рѣчь «о тычкахъ лѣнивымъ христіанамъ» принадлежитъ *Бюніану* проповѣднику въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ.

. . Его и Филипса ошибки.

Филипсъ англійскій поэтъ XVIII вѣка, авторъ слащавыхъ пасторалей, надъ которыми извѣстный поэтъ *Попъ* смѣялся въ своихъ сатирахъ.

Стр. 534.

Возилъ ли ихъ, какъ Ѳесписа, фургонъ.

Ѳесписъ, по преданію, основатель греческой трагедіи; онъ, будто бы, путешествовалъ въ повозкѣ со странствующими актерами

Въ согласьи съ нимъ у озера живите.

Намекъ на такъ называемую «озерную школу» (lake-school) англійскихъ поэтовъ, главарями которой были Вордсвортъ, Соути и Кольриджъ. Она называлась такъ потому, что поэты эти жили по берегамъ озеръ Кумберлэндскаго и Вестморлэндскаго графствъ.

И не ходите къ Блэку цѣлый годъ.

«Столь же знаменитый цирюльникъ, какъ самъ Лицинъ, а платятъ ему еще дороже; можетъ быть, и онъ когда нибудь попадетъ въ сенаторы, такъ какъ онъ лучше, чѣмъ бо́льшая часть тѣхъ головъ, которыя онъ стрижетъ, такъ какъ онъ независимъ». (*Байронъ*).

Лицинъ былъ цирюльникъ Цезаря, возведенный послѣднимъ въ званіе сенатора за невѣсть къ Помпею». *Блэкъ* былъ извѣстный парикмахеръ въ Лондонѣ во времена Байрона.

Мальчишки васъ начнутъ травить сейчасъ.

Намекъ на происшествіе съ *Вордсвортомъ*. Когда онъ со своею сестрою Доротеей пришелъ къ издателю «Курьера» Стюарту, то швейцаръ не хотѣлъ ихъ пустить дальше передней, такъ какъ они были странно и плохо одѣты.

Какъ дѣлалъ Бэйсъ, чтобъ просвѣтить свой умъ.

Бэйсъ дѣйствующее лицо въ комедіи «Репетиція», въ которомъ Джонсонъ видѣлъ каррикатуру на Драйдена. «Когда мнѣ приходится писать обыкновенныя вещи», говоритъ Бэйсъ, «вродѣ, напримѣръ, сонетовъ къ Армидѣ или тому подобнаго, я ѣмъ только вареный чернословъ; но когда у меня задумано что-нибудь серьезное, я всегда принимаю слабительное и пускаю кровь; ибо если вы желаете пріобрѣсти быстроту въ мысляхъ и высокій полетъ воображенія, то слѣдуетъ позаботиться объ этомъ заблаговременно. Слѣдовательно, вамъ надо принять слабительное».

Стр. 535.

Недаромъ же Локкъ одобрялъ отцовъ,
Стихи всегда держащихъ подъ запретомъ.

«У меня нѣтъ подъ руками оригинала, но въ итальянскомъ переводѣ мы читаемъ слѣдующее: «E una cosa a mio credere molto stravagante, che un padro desideri, o permetta, che son figliuolo coltivi e pevfezioni questo talento». А немного далѣе: «Si trovano di rado nel Parnaso le miniere d'oro e d'argento». См. «Educazione dei fanciulli del Signor Locke». (*Байронъ*).

Бѣдный онъ Ира илъ ирландской копи.

«Iro pauperior; Иръ—это имя того нищаго, который дрался съ Одиссеемъ изъ-за фунта жареной козлятины, при чемъ потерялъ не только жаркое, но и дюжину зубовъ. См. Одиссею, п. 18. Ирландскіе золотые рудники въ Викловѣ даютъ ровно столько руды, чтобы показать доходъ или позолотить фальшивую гинею». (*Байронъ*).

Въ Ирландію, а также и за Твидъ.

Твидъ (Tweed) рѣка, составляющая границу между Англіей и Шотландіей.

Стр. 536.

Бьетъ мимо цѣли, чортъ ее дери!

«Съ тѣхъ поръ, какъ м-ръ Попъ обругалъ Гомера, которому онъ былъ весьма обязанъ (Гомеръ,—чтобъ чортъ побралъ его,—сказалъ» и т. д.), можно считать позволительнымъ послать въ стихахъ что нибудь или кого нибудь къ чорту, въ видѣ поэтической вольности. Въ виду такого знаменитаго прецедента я и пользуюсь здѣсь подходящимъ случаемъ». (*Байронъ*).

Такъ палъ и Гавардъ за свои затѣи.

«Относительно исторіи съ трагедіею *Гаварда* см. *Дэвисъ*, «Жизнь Гаррика». Кажется, это былъ «Регулъ» или «Карлъ Первый». Когда узнали, что это его пьеса, то театръ опустѣлъ, а книгопродавецъ отказался пріобрѣсти пьесу». (*Байронъ*).

Хоть мы не любимъ, чтобъ дремалъ Мильтонъ,
Но, утомясь, привѣтствуемъ и сонъ.

Вольная передача стиховъ Горація:

Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus;
Verum operi longo fas est obrepere somnum.

Не только Эрскинъ за носъ водитъ судъ.

Томасъ Эрскинъ (1750—1823)—превосходный ораторъ и знаменитый адвокатъ, отлично умѣв-

шій вліять на судъ, какъ ему было желательно.

Какимъ пылаютъ, въ ревности священной,
И кроткіе эклектики...

«Господамъ эклектикамъ или христіанскимъ обозрѣвателямъ я весьма благодаренъ за теплое милосердіе, которое побудило ихъ въ 1809 году высказать надежду, что стихи, опубликованные мною въ то время, поведутъ къ извѣстнымъ послѣдствіямъ. Хотя этого и естественно было ожидать, но, безъ сомнѣнія, духовныя уста высказали это мнѣніе нѣсколько опрометчиво. Я отсылаю ихъ къ ихъ собственнымъ страницамъ, гдѣ они поздравляютъ себя съ перспективою дуэли между м-ромъ Джеффри и мною, изъ чего могло бы произойти нѣчто доброе, въ томъ смыслѣ, что кто-нибудь изъ насъ сложилъ бы свою голову. Проживъ два съ половиною года послѣ появленія этихъ «элегій», которыя весьма любезно были приготовлены для «Обозрѣнія», я не имѣю особеннаго намѣренія доставить имъ «столь пріятное смущеніе», развѣ «по принужденію, Галь», но, какъ Давидъ говоритъ въ «Соперникахъ» Шеридана, если дойдетъ до кроваваго и огнестрѣльнаго оружія, то—«мы не обратимся въ бѣгство, господинъ Луцій». Я не знаю, что я сдѣлалъ этимъ эклектическимъ господамъ: мои сочиненія ихъ законное достояніе, и они могутъ изрубить ихъ въ куски, какъ амалекитянина Агага; но почему они такъ спѣшатъ убить самого автора,—это мнѣ совершенно непонятно. «Не всегда скачка достается быстрому, а битва—сильному», и теперь, когда эти христіане «ударили меня по одной щекѣ», я готовъ подставить имъ другую; а для того, чтобы отблагодарить ихъ за добрыя пожеланія, я предоставляю имъ случай повторить эти пожеланія. Если бы другіе люди выразили подобныя чувства, то я улыбнулся бы и поручилъ бы ихъ «ангелу воспоминаній»; но отъ фарисействующихъ христіанъ можно было бы ожидать нѣкотораго приличія. Могу увѣрить эту братію, что, будучи грѣшникомъ и мытаремъ, я не сталъ бы обращаться подобнымъ образомъ «съ собакою моего врага». Чтобы показать имъ превосходство моей братской любви, я скажу, что если преподобный м-ръ Симеонъ или Рамсденъ будутъ вовлечены въ такой конфликтъ, какого они хотѣли бы для меня, то я желаю, чтобы они были только «ранены въ крыло» и чтобы при этомъ присутствовалъ докторъ Гэвисайдъ для извлеченія пули». (*Байронъ*).

Сражаться противъ «жалкихъ мужиковъ». *Макбетъ*, д. V, сц 7.

Родитъ какъ-нибудь Эдина.

Т. е. Эдинбургъ—родина Джеффри.

Стр. 537.

У Джексона уроки надо брать.

Джексонъ извѣстный атлетъ, чэмпіонъ Англіи во времена Байрона.

Послушай, Соути! Дамъ тебѣ совѣтъ.

«Мистеръ Соути недавно привязалъ къ своему хвосту новую коробочку въ видѣ «Проклятіе Кегамы», несмотря на провалъ своего «Мэдока» и проч., и произвелъ въ этомъ случаѣ удивительный эффектъ. Одинъ мой пріятель литераторъ, гуляя въ одинъ прекрасный вечеръ около одиннадцатаго моста на Паддингтонскомъ каналѣ, былъ встревоженъ крикомъ «гибнущаго» человѣка; онъ побѣжалъ, собралъ толпу ирландскихъ косарей (которые въ это время ѣли простоквашу у ближайшаго плетня), добылъ трое грабель, багоръ и неводъ, и, наконецъ (horesco referens) вытащилъ своего собственнаго издателя. Бѣдняга погибъ, а съ нимъ и большой томъ in quarto, съ которымъ онъ бросился въ воду и который оказался—послѣднимъ сочиненіемъ м-ра Соути. Быстрота, съ которою потонулъ этотъ томъ, была неслыханно велика; нѣкоторые утверждаютъ, впрочемъ, что въ настоящее время онъ хранится въ помѣщеніи пирожной лавки ольдермэна Берча въ Корнгиллѣ. Какъ бы то ни было, слѣдователь возбудилъ дѣло противъ неизвѣстнаго тома in quarto»; и такъ какъ обстоятельства сильно говорятъ противъ «Проклятія Кэгамы» (признаки котораго съ точностью сообщены выше), то дѣло о немъ будетъ разсматриваться въ ближайшее засѣданіе палаты «Товарищества книгопродавцевъ» въ Гребъ-Стритѣ. Артуръ, Альфредъ, Давидэйсъ, Ричардъ Львиное Сердце, Эксодъ, Эксодія, Эпигоніада, Кальварія, Паденіе Кэмбріи, Осада Акры, Донъ-Родриго и Великій Мальчикъ-съ пальчикъ вотъ имена двѣнадцати присяжныхъ засѣдателей. Судьями будутъ Пэй, Боульсъ и герольдъ отъ St. Sepulchre. Адвокаты съ обѣихъ сторонъ будутъ тѣ же, что и въ знаменитомъ процессѣ сэра Ф. Бердетта въ шотландской судебной палатѣ. Публика напряженно ожидаетъ результата, и всѣ издатели, находящіеся въ живыхъ, будутъ вызваны въ качествѣ свидѣтелей. Но м-ръ Соути все-таки напечаталъ свое «Проклятіе Кэгамы»- заманчивое заглавіе для пародистовъ. Эта вещь значительно ниже Скотта и Кэмпбелля и немного выше Соути; поэтому-то глупенькій Баллантайнъ и назвалъ ихъ въ «Ежегодномъ Эдинбургскомъ Указателѣ» (издателемъ котораго кстати является Соути)—«великимъ поэтическимъ тріумвиратомъ нашихъ дней». Если хорошенько поразмыслить, то не велика честь быть кривыми вожатыми слѣпого, хотя они могутъ отчасти приписать себѣ успѣхъ «сорока тысячъ проданныхъ экземпляровъ Скотта, которые сильно мѣшаютъ залежавшемуся товару бѣднаго Соути. Бѣдняжка Соути, кажется, является Лепидомъ этого поэтическаго тріумвирата. Я удивляюсь только, что нахожу его въ такой хорошей компаніи.

«Такія вещи могутъ быть всегда,
Но, чортъ возьми, какъ онъ попалъ сюда?»

Подобное тріо хорошо опредѣлено въ шестомъ предложеніи Эвклида. «Такъ какъ въ треугольникахъ DBC и ACB DB равно AC, а сторона BC общая; такъ какъ, далѣе, стороны DB и BC соотвѣтственно равны AC и CB, а уголъ DBC равенъ углу ACB, то основаніе DC равно основанію AB, и треугольникъ DBC (м-ръ Соути) равенъ треугольнику ACB, т. е. меньшее равно большему, что абсурдно», и т. д. Издатель «Эдинбургскаго Указателя» найдетъ заключеніе теоремы неподалеку отъ своей конюшни: ему стоитъ только переправиться черезъ рѣку и дойти до первой рогатки по ту сторону «pontis asinorum» (это латинское выраженіе надѣлало много хлопотъ Эдинбургскому университету. Баллантайнъ думалъ, что это значитъ «мостъ Бервика», но Соути претендовалъ, что это наполовину по-англійски; Скоттъ клялся, что это «мостъ Стирлинга», черезъ который онъ перевелъ двухъ королей Джемсовъ и дюжину Дугласовъ. Наконецъ Джеффри рѣшилъ споръ, сказавъ, что это ни болѣе, ни менѣе, какъ контора лавочки Арчи Констэбля»). (*Байронъ*).

Упомянутые здѣсь «свидѣтели» (Артуръ,

Альфредъ и т. д.) заглавія пьесъ разныхъ современныхъ поэтовъ (Соути, Коттля, Коули, Берджесса, Фильдинга и др.).

А впрочемъ, «Мэдокъ» съ «Дѣвой» могутъ просто.

Играя роль зловреднаго нароста...

«Pucelle» Вольтера не совсѣмъ такъ непорочна, какъ «Жанна д'Аркъ» м-ра Соути, и я боюсь, что правда и поэзія (которыя рѣдко сходятся) скорѣе на сторонѣ французскаго писателя, чѣмъ нашего патріотическаго менестреля, первый опытъ котораго былъ посвященъ прославленію фанатической французской потаскушки, хотя ее скорѣе слѣдовало бы назвать сукою, чѣмъ вѣдьмою». (*Байронъ*).

Въ подлинникѣ здѣсь игра словъ witch (вѣдьма) и bitch (сука). «Мэдокъ» и «Орлеанская Дѣва»—Соути.

Уплытъ спокойно въ Квито на бревнѣ.

«Подобно «Ричарду» сэра Бланда Берджесса, 10-й томъ котораго я читалъ на Мальтѣ на бревнѣ. Если въ этомъ усомнятся, я покупаю дорожную сумку, чтобы доказать это на мѣстѣ».

(*Байронъ*).

И Амфіонъ...

Безъ помощи искусной Рэна, вмигъ
Святому Павлу церковь бы воздвигъ.

Амфіонъ греческій герой, сынъ Зевса и Антіопы, имѣвшій даръ игры на лирѣ. Вмѣстѣ съ своимъ братомъ Цетомъ онъ построилъ городъ Ѳивы, причемъ камни городской стѣны сложились сами собою, очарованные звуками лиры Амфіона. *Рэнъ* (*Wren*) знаменитый англійскій архитекторъ, строитель собора Св. Павла въ Лондонѣ.

Крѣпка была Иѳома, билась смѣло.

Иѳома Мессенская крѣпость, многіе годы осаждавшаяся спартанцами.

Стр. 538.

Самъ Аполлонъ бумаги помѣщаетъ
У Полліона на текущій счетъ.

Намекъ на поэта Роджерса, который имѣлъ банкирскую контору въ Лондонѣ.

Чу! Вотъ поютъ сапожники, что взяты
Добрѣйшимъ Кэпель Лофтомъ въ лауреаты.

Здѣсь рѣчь идетъ о *Робертѣ* и *Натаніэлѣ Блемфильдахъ*, изъ которыхъ особенно первый (младшій) прославился, какъ народный поэтъ. Робертъ Блемфильдъ, по ремеслу сапожникъ, былъ воспитанъ своими старшими братьями - Натаніэлемъ (портнымъ) и Джорджемъ (сапожникомъ). Имъ покровительствовалъ сэръ Кэпель Лоффтъ въ Лондонѣ.

«Я прошу извиненія у Натаніэля: онъ не сапожникъ, а портной; но онъ просилъ Кэпель Лоффта скрыть его ремесло въ предисловіи къ двумъ парамъ панталонъ, то бишь поэмъ, которыя онъ хотѣлъ примѣрить на вкусъ публики. Рѣшето патрона, однако, пропустило эту просьбу и такимъ образомъ избавило отъ обращенія къ его мѣстнымъ заказчикамъ. «Жалоба Мурфильда» Мэрри ничто въ сравненіи съ этимъ. Писатели изъ della Crusca были люди воспитанные и не имѣли ремесла; но эти два аркадійца (Arcades ambo оба деревенскіе неучи) посылаютъ намъ свою самородную чепуху безъ малѣйшей примѣси; они оставляютъ всѣ башмаки и штаны въ своемъ приходѣ безъ починки, но зато ляпаютъ элегіи о захватахъ и гимны пороху; сидя на верстакѣ, они описываютъ поля сраженій, хотя не видѣли другой крови, кромѣ той, которая выступаетъ изъ пальца; а «Разсужденіе о войнѣ» есть произведеніе одной девятой части «поэта».

«Такихъ поэтовъ девять сдѣлалъ Тэтъ».

Читалъ ли Натаніэль этотъ стихъ Попа? И если онъ его читалъ, то почему не взялъ себѣ эпиграфомъ?» (*Байронъ*).

О Кэпель Лоффтѣ Байрономъ сдѣлано слѣдующее примѣчаніе:

«Этотъ добродѣтельный джентльмэнъ испортилъ нѣсколько отличныхъ сапожниковъ и повиненъ въ поэтическомъ крушеніи многихъ бѣдныхъ ремесленниковъ. Натаніэль Блемфильдъ и его братъ Бобби соблазнили къ пѣнію весь Сомерсетширъ, и даже болѣзнь не ограничилась этимъ округомъ. Праттъ (который прежде былъ умнѣе) также заразился маніей патронатства и увлекъ въ поэзію одного бѣднаго малаго, по имени Блэкета, который умеръ во время операціи, оставивъ малолѣтнюю дочь и два тома «Посмертныхъ стихотвореній» въ крайней бѣдности. Дѣвочка, если ея не коснется влеченіе къ поэзіи и она не выраститъ въ башмачницу-Сафо, можетъ быть, проживетъ счастливо; но «трагедіи» больны рахитомъ настолько же, какъ отрасль какого-нибудь графа или Ситонскаго призового поэта. Покровители этого бѣдняка, безъ сомнѣнія, отвѣтственны за его смерть и могли бы быть привлечены къ суду. Но преступленіе ихъ еще не ограничивается этимъ: съ утонченнымъ варварствомъ они постарались сдѣлать автора смѣшнымъ послѣ его смерти, напечатавъ то, что, можетъ быть, онъ, поразмысливъ здраво, не напечаталъ бы. Эти господа, выкопавшіе «Посмертныя стихотворенія», безъ сомнѣнія, подходятъ подъ статью противъ «похитителей труповъ». Не все ли равно для бѣднаго простака, въ какой больницѣ его зарѣзали? Но не хуже ли еще выкапывать его промахи, чѣмъ его кости? Развѣ выставлять на показъ его душу in octavo не хуже, чѣмъ выложить его тѣло на полъ? «Мы знаемъ, что мы такое въ настоящее время, но не знаемъ, чѣмъ мы могли бы быть», и надо надѣяться, что и не узнаемъ ничего подобнаго тому, что сдѣлалось съ бѣднымъ Джо Блэкетомъ. Человѣкъ провелъ жизнь съ нѣкоторымъ успѣхомъ, а по ту сторону Стикса онъ превращается въ паяца и дѣлается посмѣшищемъ чистилища! Показная часть опубликованія книги – забота о дочери; но неужели эти друзья и соблазнители «sutoris ultra crepidam» не могли сдѣлать добраго дѣла безъ припутыванія Пратта въ біографію. А посвященіе,—на какіе мелкіе кусочки оно раздробляется! «Герцогинѣ Имя-рекъ, почтенному Такому-то, г-ну и г-жѣ Нѣкто и т. д. посвящены эти томы и проч.» Да, вѣдь, это называется дѣлить «сладкое молоко посвященія» по маленькимъ чашечкамъ! И всего то какая-нибудь кружка, а ее дѣлятъ на дюжину частей. Подумай, Праттъ, не глупость ли ты сдѣлалъ? Не думаешь ли ты, что шесть видныхъ фамилій мирно подѣлятъ это между собою? Дѣло идетъ о ребенкѣ, книгѣ и посвященіи; дѣвочку надо поручить милосердію, книгу отдать лавочнику, а посвященіе послать къ чорту».

Живетъ себѣ межъ насъ одинъ друидъ.

Друидъ имя, которое Байронъ прилагалъ къ посредственнымъ писателямъ, пишущимъ изъ-за денегъ. Послѣдующія строки относятся къ какому-то лицу, имя котораго не выяснено; возможно, что здѣсь имѣется въ виду опять-таки Соути.

Пускай богатый деньгами поэтъ...

«Пусть м-ръ Джиффордъ дозволитъ мнѣ сдѣлать къ его замѣткамъ добавленіе о послѣднемъ изъ этихъ господъ, находящемся въ живыхъ, объ этомъ «ultimus Romanorum», о послѣднемъ изъ «della Crusca», о «глубокомысленномъ Эдвинѣ!» Онъ стоитъ передо мною, клянусь Богородицей, какъ живое воспоминаніе дней благословенной «Бавіады». Я думалъ, что Фицъ Джеральдъ будетъ послѣднимъ изъ поэтовъ этого рода, но онъ оказывается только предпослѣднимъ». (*Байронъ*).

Въ подлинникѣ далѣе слѣдуетъ стихотвореніе Г. Вогана, о которомъ Джиффордъ (много разъ названный въ примѣч. къ III т.) упоминаетъ въ своей сатирѣ «Бавіада», называя его «глубокомысленнымъ» и «Эдвиномъ».

Стр. 539. *Отродье мозга вашего храня.*

«Отродье мозга»: Минерва была первымъ такимъ отродьемъ, вышедшимъ изъ головы Юпитера, а за нею появилось много различныхъ столь же непостижимыхъ рожденій, напр., «Мэдокъ» Соути, etc., etc.» (*Байронъ*).

Когда ихъ грызть захочетъ критикъ грозный.

«Корка хлѣба для критиковъ», какъ говоритъ Бэисъ въ *Репетиціи*. (*Байронъ*).

И тѣхъ изъ клубной залы гонитъ вскачь
Своимъ протяжнымъ воемъ Фритцъ рифмачъ.

«Лакеи—единственные счастливцы, которые могли «бѣжать» изъ залы; остальные, напр., несчастные подписчики «Literary Fund», принуждены были изъ вѣжливости высидѣть все чтенье, не имѣя надежды воскликнуть: «sic me servavit Apollo!» (sic, т. е. заглушая Фица плохимъ виномъ или еще худшими стихами)». (*Байронъ*).

Здѣсь рѣчь идетъ о Фицъ-Джеральдѣ, современномъ Байрону поэтѣ, писавшемъ преимущественно на патріотическія темы (см. прим. къ «Бардамъ»). Онъ имѣлъ обыкновеніе созывать своихъ знакомыхъ для чтенія имъ вслухъ своихъ произведеній.

Какъ Вэджелля окончилась карьера.

Юстэсъ *Бэджелль* (Budgell), другъ извѣстнаго поэта Аддисона, утопился изъ-за денежныхъ затрудненій (1737); это былъ не вполнѣ здоровый въ психическомъ отношеніи человѣкъ.

Рѣшивъ погибнуть, какъ погибъ Катонъ».

«На столѣ Вэджелля нашли записку со словами: «что сдѣлалъ Катонъ и что одобрено Аддисономъ, то не можетъ быть дурно». Но Аддисонъ вовсе не «одобрялъ» этого, да если бы и одобрилъ, то дѣло отъ того не измѣнилось бы. Бэджелль предложилъ своей дочери раздѣлить съ нимъ это водяное путешествіе; но миссъ Бэджелль, благодаря какой-то случайности, избѣжала этого послѣдняго знака отеческаго вниманія. Такъ погибъ сикофантъ «Аттика» и врагъ Попа!» (*Байронъ*).

Поэтъ, быть можетъ, пьянымъ въ воскресенье

Былъ найденъ...

«Если выраженіе «былъ найденъ пьянымъ» будетъ сочтено не совсѣмъ приличнымъ, то я попрошу обратиться къ оригиналу (т. е. къ Горацію), гдѣ на соотвѣтственномъ мѣстѣ находится еще болѣе грубое выраженіе. Если читатель переведетъ мнѣ въ приличныхъ стихахъ слова «minxerit in patrios cineres», то я вставлю ихъ на мѣсто настоящаго выраженія. (*Байронъ*).

ПРОКЛЯТІЕ МИНЕРВЫ.

Это сатирическое произведеніе, написанное въ Аѳинахъ и помѣченное 17 марта 1811 г., Байронъ рѣшилъ оставить не напечатаннымъ,—какъ предполагаетъ Муръ, изъ уваженія къ желаніямъ лорда Эльджина или близкихъ друзей. Изданіе, сдѣланое Дэвисономъ въ 1812 г., не было выпущено поэтому въ продажу. Но, помимо воли автора, «Проклятіе» оказалось въ 1815 г. напечатаннымъ въ Филадельфіи. Въ письмѣ къ Муррею отъ 6 марта 1816 г. поэтъ отрекается отъ этого изданія, какъ «напечатаннаго воровскимъ образомъ и по негодному списку». Вслѣдъ затѣмъ, однако, это американское изданіе было воспроизведено однимъ изъ лондонскихъ журналовъ, а затѣмъ и отдѣльной брошюрой. Каковы бы ни были намѣренія поэта въ 1812 г., четыре года спустя онъ долженъ былъ признать, что это произведеніе ничего не прибавитъ къ его славѣ, тѣмъ болѣе, что главная цѣль сатиры - выставить въ смѣшномъ видѣ лорда Эльджина и прочихъ англійскихъ археологовъ—уже была достигнута губительными строфами во II-й пѣснѣ *Чайльдъ-Гарольда*, снабженными притомъ обстоятельнымъ примѣчаніемъ (см. наст. изд. т. I, стр. 52-54, 481 483).

Байронъ былъ предубѣжденъ противъ Эльджина еще раньше, чѣмъ отправился въ свое путешествіе. Насмѣшки надъ Эльджиномъ и Абердиномъ за ихъ археологическій дилеттантизмъ мы встрѣчаемъ уже въ *Англійскихъ Бардахъ* (см. выше, стр. 525—526); но поэтъ далъ полную волю негодованію, когда, въ декабрѣ 1809 и въ началѣ 1810 г., собственными глазами увидѣлъ тѣ опустошенія, какія произведены были въ Аѳинахъ «грабителями-антикваріями». Его поразило это отсутствіе уваженія къ «несчастнымъ останкамъ» греческой древности. Южная сторона полуразрушеннаго Парѳенона была лишена своихъ метопъ, гораздо менѣе, чѣмъ прочія, пострадавшихъ отъ времени; съ трехъ сторонъ сняты были фризы, а съ восточной стороны были унесены хотя и поврежденныя отчасти, но все еще прекрасныя группы фигуръ. Слѣды этого разрушенія были еще свѣжи, когда ихъ увидѣлъ Байронъ; султанскій фирманъ, исходатайствованный для лорда Эльджина и его агентовъ капелланомъ англійскаго посольства Гентомъ и разрѣшавшій имъ увезти изъ Аѳинъ «нѣсколько кусковъ камня», еще оставался въ силѣ, и бывшій на службѣ у Эльджина итальянскій художникъ, донъ Тита Луизьери, «какъ борзая ищейка» откапывалъ новые остатки древности, въ то же время жалуясь путешественникамъ на жестокость судьбы, которая вынуждаетъ его грабить храмы противъ его воли. Съ настроеніемъ грековъ археологи не особенно считались. Секретарь Эльджина, Гамильтонъ, увѣрялъ, что дѣйствія иностранцевъ не вызывали со стороны туземнаго населенія никакого неудовольствія; напротивъ, греки были даже рады тому, что къ нимъ наѣхали богатые господа, которые оставятъ у нихъ много денегъ. Съ другой стороны, путешественникъ Кларкъ, съ которымъ Байронъ былъ въ перепискѣ, говоритъ о привязанности турокъ къ Парѳенону, который чтился ими, какъ старая мечеть, и приводитъ патетическій разсказъ о выраженіи скорби одного старика, при видѣ производимаго археологами разрушенія этой святыни. Другіе путешественники также возмущаются «безпощаднымъ опу-

стошеніемъ» древнихъ развалинъ новѣйшими изыскателями. Даже археологъ Михаэлисъ называющій «Проклятіе Минервы дерзкимъ пасквилемъ, внушеннымъ слѣпою страстью, такъ какъ, по его словамъ, всякому непредубѣжденному человѣку должно быть понятно, что Эльджинъ дѣйствовалъ въ интересахъ сохраненія драгоцѣнныхъ остатковъ древности, допускаетъ, что удаленіе метопъ и статуй съ Эрохтейона «причинило значительный ущербъ архитектурѣ остальныхъ зданій». Этимъ если не оправдывается, то въ достаточной степени объясняется негодованіе байроновской сатиры. Исторія, конечно, оправдала Эльджина, который вполнѣ безкорыстно, и даже съ весьма значительными личными затратами (до 35 тыс. фунтовъ стерлинговъ), спасъ отъ окончательной гибели обломки фидіевскаго творчества, которые, безъ его вмѣшательства, несомнѣнно должны были погибнуть если не отъ неразумія или злой воли людей, то отъ вліянія разрушительныхъ стихій. Теперь эти цѣнные обломки надолго сохранены въ Британскомъ Музеѣ и стали достояніемъ науки.

Стр. 540. Первые 58 стиховъ, до стиха: «*На этотъ видъ исполненный отрады*», были перенесены Байрономъ, въ 1814 г., въ начало *Корсара*.

Эгинскихъ горъ скаламъ и Гидръ дальней.

Гидра (Идра) островъ на восточномъ берегу Пелопоннеса, между Навплійскимъ и Эгинскимъ заливами.

Когда Сократъ отравленный угасъ.

«Сократъ выпилъ сокъ цикуты незадолго до заката солнца, несмотря на настойчивыя просьбы друзей подождать до наступленія ночи». (*Байронъ*).

Но вотъ съ Гимета царственной вершины
Пролился свѣтъ на мирныя долины.

«Сумерки въ Греціи гораздо короче, нежели у насъ; дни зимой дольше, но лѣтомъ короче». (*Байронъ*).

У вратъ мечети кипарисъ печальный
Стоялъ, кіоскъ закрывъ пирамидальный.

«Кіоскъ—турецкій лѣтній домъ; пальма находится въ нынѣшней оградѣ Аѳинъ, недалеко отъ храма Тезея; стѣна проходитъ между нею и этимъ храмомъ. Кефиссъ очень бѣденъ водою, а въ рѣкѣ Илисса воды и совсѣмъ нѣтъ». (*Байронъ*).

Стр. 541.

Все, что Кекропсъ когда-то созидалъ,
Все, что Периклъ съ любовью украшалъ.

«Это говорится о городѣ вообще, а не объ Акрополѣ въ частности. Храмъ Юпитера Олимпійскаго, нѣкоторыми отождествляемый съ Пантеономъ, былъ законченъ при Адріанѣ; отъ него сохранилось еще 16 колоннъ, замѣчательныхъ по своей красотѣ». (*Байронъ*).

Чѣмъ не могла Паллада отплатить,
Взялась Венера за нее отмстить.

«Имя лорда, а также и имя его супруги, съ которою онъ теперь уже развелся, старательно вырѣзаны на стѣнѣ Парѳенона, неподалеку отъ испорченнаго барельефа, разбитаго рабочими, которые тщетно пытались его снять. На одномъ изъ камней Эрехтейона глубоко вырѣзаны слова:

Quod non fecerunt Gothi,
Hoc fecerunt Scoti». (*Байронъ*).

Можетъ быть, эти слова вырѣзаны самимъ же Байрономъ.

Стр. 542.

Сѣдой вашъ Вестъ, Европы шутъ...

«Мистеръ Вестъ, увидѣвъ «коллекцію Эльджина», провозгласилъ себя «новичкомъ» въ искусствѣ». (*Байронъ*).

Пусть созовется въ лавочку камней.

«Бѣдняга Крибъ былъ горько разочарованъ, когда мраморы въ первый разъ выставлены были въ домѣ Эльджина. Онъ все спрашивалъ: «не лавка ли это монументщика?» Онъ былъ правъ: это дѣйствительно лавочка». (*Байронъ*).

Взгляни: среди балтійскихъ водъ пылаетъ
Огонь войны.

Говорится о бомбардировкѣ Копенгагена адмираломъ лордомъ Гамбьеромъ въ сентябрѣ 1807 г.

. . о томъ Баросса знаетъ.

Въ 1811 г. союзники испанцевъ, англичане, въ войнѣ съ французами, атаковали и взяли позицію на холмѣ Бароссѣ, но потомъ вынуждены были отступить.

ВАЛЬСЪ.

Байронъ провелъ осень 1812 г. на водахъ въ Чельтенгэмѣ. Тамъ онъ написалъ адресъ на открытіе Друри-Лэнскаго театра и сатиру на вальсъ, только что начинавшій тогда входить въ моду въ широкихъ кругахъ англійскаго общества. Слѣдующей весной это произведеніе было издано безъ имени автора, но публика отнеслась къ нему холодно, и поэтъ говорилъ Муррею: «Опровергайте слухъ, будто я—авторъ какой то злокозненной сатиры на вальсъ». Муръ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ, что Байронъ «ненавидѣлъ вальсъ», и вспоминаетъ о размолвкѣ «хромого мальчика» съ Мери Чавортъ изъ-за того, что «она танцовала съ какимъ-то незнакомымъ ей человѣкомъ». Конечно, эта антипатія къ вальсу отчасти объясняется личнымъ физическимъ недостаткомъ поэта, который лишенъ былъ возможности принимать участіе въ танцахъ; но не слѣдуетъ также забывать, что первое впечатлѣніе новаго танца, по отзывамъ многихъ современниковъ, было далеко не благопріятно; нѣкоторые изъ англійскихъ писателей, какъ, напр., Кольриджъ, Робинсонъ и др., находили вальсъ прямо-таки непристойнымъ. Но мода, занесенная въ Англію изъ Германіи, мало-по-малу взяла свое, и около 1812 г. даже самое «фэшіонэбельное» общество стало увлекаться вальсомъ, какъ четверть вѣка спустя полькой. «Ни одно событіе», - говоритъ одинъ писатель,—«не произвело въ англійскомъ обществѣ такой сенсаціи, какъ введеніе нѣмецкаго вальса. Старые и молодые начали учиться новому танцу, и всѣ по утрамъ стали вальсировать по комнатамъ со стуломъ въ рукахъ, изучая па и кадансъ вальса. Противники вальса забили тревогу, стали громко вопіять противъ него; матери запрещали дочерямъ вальсировать, и всякій балъ вызывалъ сцены споровъ и брани... Но ко времени выхода сатиры Байрона новый танецъ успѣлъ уже одержать полную побѣду. Когда увидѣли императора Александра, въ его узкомъ мундирѣ, усѣянномъ орденами, вальсирующимъ въ Альмакъ-гоузѣ, и лорда Пальмерстона — дѣлающимъ безконечное количество туровъ съ графиней Ливенъ,— тогда предразсудки островитянъ разсѣялись, и вальсъ получилъ общее признаніе».

Стр. 544.

. . . столько же голосовъ, какъ генералъ Т.*

Тарльтонъ, неудачный соперникъ Каннинга и Гаскойна на выборахъ въ Ливерпулѣ.

Стр. 545.

О Терпсихора, муза быстрыхъ ногъ!
«Сверкните строемъ вашихъ ногъ» (Грей),
Славу Вельсли взявъ за идеалъ...

«Славу лорда *Вельсли* или его племянника,— какъ угодно читателю: одинъ изъ нихъ завоевалъ красивую женщину, которой онъ былъ достоинъ, а другой долгое время сражался на Пиренейскомъ полуостровѣ, но ничего не завоевалъ, кромѣ титула great Lord, что отдаетъ богохульствомъ, такъ какъ выраженіе это приложимо только къ высшему Существу, воспѣваніе которому гимна Te-Deum ради рѣзни является грубѣйшею хулою. Слѣдуетъ думать, что генералъ въ одинъ прекрасный день вернется на свою Сабинскую ферму, чтобы тамъ покорить упрямую землю *почти такъ же скоро*, какъ онъ покорилъ Испанію». Лордъ Питерборо завоевалъ материки въ одно лѣто; мы дѣлаемъ больше: и завоевываемъ, и теряемъ ихъ въ еще болѣе короткій срокъ. Если Цинцинатовскіе успѣхи нашего «великаго лорда» въ земледѣліи будутъ не быстрѣе, чѣмъ сказано въ только что приведенной цитатѣ изъ Попа, то ему придется, по фермерской пословицѣ, «пахать на собакахъ». Кстати, одинъ изъ титуловъ этой знаменитой особы пришелъ въ забвеніе, но его стоитъ вспомнить: «Salvador del mundo!» Credite, posteri! Если это имя дано обитателями полуострова *человѣку*, который не спасъ ихъ, то спрашивается, достойны ли они спасенія, хотя бы въ этомъ мірѣ? Вѣдь, если слѣдовать самымъ мягкимъ видоизмѣненіямъ христіанскаго вѣроученія, то въ иномъ мірѣ имъ придется сильно отвѣчать за это. «Спаситель міра», — каково? Можно было бы пожелать, чтобы онъ или кто-нибудь другой могъ спасти хоть одинъ уголокъ міра,— свою страну. Но это глупое злоупотребленіе именемъ, свидѣтельствующее о томъ, насколько суевѣріе близко къ нечестію, хорошо въ томъ смыслѣ, что оно показываетъ, какъ мало страшнаго въ этихъ католикахъ (они же и инквизиторы), если они могли дать такое названіе протестанту. Я думаю, что въ слѣдующемъ году его назовутъ «богородицей»; въ такомъ случаѣ самъ лордъ Джорджъ Гордонъ не найдетъ ничего возразить противъ такихъ незаконныхъ дѣтей нашей вавилонской жены». (*Байронъ*).

Рѣчь идетъ о лордѣ *Уильямъ Поль-Вэльсли*, племянникѣ Веллингтона, женившемся въ 1812 г. на дочери сэра Тельни-Лонга. Между нимъ и лордомъ Кильвортомъ произошла дуэль близъ города Гонсло (Hounslow), на которую намекаетъ Байронъ.

Стр. 546.

Но вотъ въ союзъ проклятый ты вступила.

«Рейнскій Союзъ» (1803 1813), по которому значительная часть германскихъ государствъ признала протекторомъ Наполеона I.

Гиперборейскій вихрь его примчалъ
Изъ Гамбурга.

Со времени занятія Гамбурга французскими войсками (1810) почта приходила въ Англію черезъ Ангальтъ, Готенбургъ (Швеція) и Гельголандъ, сдѣлавшійся, послѣ захвата его въ 1817 году англичанами, важнымъ торговымъ городомъ.

Намъ присылались вѣсти и Москвой.

Байронъ намекаетъ на донесеніе лорда Кэткарта въ 1812 году о томъ, что русскій полковникъ *Чернышевъ* въ пять дней прошелъ съ войскомъ 700 верстъ, переправившись при этомъ черезъ нѣсколько рѣкъ (см. ниже).

Москвой,
Которая еще не погорала.

«Патріотическіе поджоги вашихъ милыхъ союзниковъ заслуживаютъ величайшей похвалы и обильнѣйшей подписки въ ихъ пользу. Сообщая разнообразныя подробности, нашъ краснорѣчивый посланникъ забылъ сообщить (будучи занятъ подвигомъ полковника Ч., который переплывалъ замерзшія рѣки и галопировалъ по непроходимымъ дорогамъ), что цѣлая провинція погибла отъ голода самымъ жалкимъ образомъ. Дѣло вотъ въ чемъ: когда генералъ Растопчинъ устроилъ свое всесожженіе, то потребовалось столько сала и ворвани, что 143.000 человѣкъ умерли съ голоду! Тогда лондонскіе ламповщики пожертвовали каждый по пинтѣ масла, а свѣчники единогласно вотировали множество лучшихъ свѣчей (по четыре на фунтъ) для спасенія уцѣлѣвшихъ скиѳовъ; благодаря такому усердію и тому обстоятельству, что количество провизіи важнѣе ея качества, нужда скоро прекратится. Говорятъ, что въ благодарность за это незатронутая войною Украйна пожертвовала нашимъ пострадавшимъ коммерсантамъ 60.000 быковъ для угощенія (на одинъ день)». (*Байронъ*).

Трудъ Мейнера четыре толстыхъ тома
О женщинахъ.

Переводъ четырехтомной «Исторіи женскаго пола» Христофа *Мейнера* появился въ Лондонѣ въ 1808 г.

Чтобъ разыграть лапландской вѣдьмы роль.

Есть повѣрье, что лапландскіе колдуны вызываютъ бурю, завязавъ узломъ веревку и выставивъ ее на вѣтеръ.

Творенья Брунка—тоже вещь большая.

Рихардъ *Брункъ* (1729 - 1803) - издатель греческой Антологіи и трагиковъ.

. . . и Гейне къ нимъ примкнулъ.

Христіанъ-Готтлобъ *Гейне* (1729 1812), ученый филологъ, издатель Виргилія, Пиндара и пр.

Стр. 547.

Ромайки знойной скучное круженье.

Современный греческій танецъ съ платкомъ.

Иль танцы группъ египетскихъ альмей.

«Альмеи танцовщицы, которыя даютъ за деньги то, что вальсъ даетъ даромъ». (*Байронъ*).

Стр. 548.

. . . мужчинъ женоподобныхъ
Козлиныя бородку.

«Въ настоящее время уже нельзя жалѣть, какъ жалѣла г-жа Боссьеръ о «Sieur de la Croix», что «нѣтъ болѣе усовъ»; но насколько усы являются доказательствомъ воинскихъ или иныхъ доблестей, это еще подвержено сомнѣнію. Многое можно привести и въ пользу усовъ, и противъ нихъ. Въ древности философы имѣли усы, а воины не имѣли ихъ. Самъ Сципіонъ брился; Ганнибалъ находилъ, что его единственный глазъ достаточно красивъ безъ бороды; но императоръ Адріанъ носилъ бороду (у него были бородавки на подбородкѣ, которыхъ ни императрица Сабина, ни даже придворные не могли выносить). Тюренъ имѣлъ усы, а Мальбругъ не имѣлъ ихъ; Бонапарте не носитъ, а регентъ носитъ. Величие ума и величина усовъ могутъ и совпадать, и не со

впадать между собою; во всякомъ случаѣ отдѣльные примѣры роста усовъ сильнѣе говорятъ въ пользу ихъ, чѣмъ проклятіе Ансельма въ царствованіе Генриха I говорило противъ длинныхъ волосъ. Въ прежнее время рыжій цвѣтъ былъ наиболѣе излюбленнымъ. См. объ этомъ Lodowick Barrey, Ram Alley, 1661, дѣйствіе I, сцена I:

Таффета. Побьемся объ закладъ, какого цвѣта борода покажется сейчасъ въ окно!

Адріана. Брюнетъ, я думаю.

Таффета. А я думаю, нѣтъ; рыжій цвѣтъ самый модный.

Ничто не ново подъ луною; но рыжій цвѣтъ, бывшій тогда *фаворитомъ* въ глазахъ общества, въ настоящее время замѣненъ *цвѣтомъ фаворита*». (*Байронъ*).

Послѣднія строки намекаютъ на лорда Ярмута, который былъ извѣстенъ своими большими рыжими усами.

Въ удачный мигъ вальсъ сдѣлалъ свой дебютъ.

«Это—анахронизмъ: выше сказано, что вальсъ и сраженіе при Аустерлицѣ явились одновременно. Поэтъ подразумѣваетъ (если онъ вообще подразумѣваетъ что нибудь), что вальсъ не получилъ большого распространенія, пока регентъ не достигъ верха своей популярности.

Вальсъ, комета, усы и новое правительство,—большая иллюминація на небѣ и на землѣ,—все это пришлось въ одно и то же время; изъ всѣхъ этихъ явленій только комета исчезла, а прочія продолжаютъ еще удивлять насъ». (*Байронъ*).

И новыя монеты на замѣну
Исчезнувшихъ иль потерявшихъ цѣну.

«Между прочимъ, новая монета въ 9 пенсовъ, недавно появившаяся; по самому вѣрному исчисленію она стоитъ столько же, сколько бумажный фунтъ стерлинговъ». (*Байронъ*).

Хоть Дженки самъ не вѣритъ въ свой успѣхъ.

Робертъ *Дженкинсонъ*, графъ Ливерпульскій, былъ министромъ военнымъ и колоній въ 1809—1812 гг. и въ особенности поддерживалъ экспедицію Веллингтона на Пиренейскомъ полуостровѣ.

«О если бы *право* могло такъ господствовать надъ *силою*!» Кто не вспомнитъ «деликатнаго розыска» въ «Виндзорскихъ кумушкахъ» Шекспира (дѣйствіе VI, сцена 3).

Фордъ: «Поближе, пожалуйста; я тутъ коечто подозрѣваю, и если я ошибаюсь, то можете смѣяться и издѣваться надо мною, сколько угодно: я тогда заслуживаю этого. Что вы тутъ несете»?

Мистрисъ Фордъ. Что тебѣ за дѣло до того, что они тамъ тащатъ? Недостаетъ еще, чтобы ты сталъ рыться въ грязномъ бѣльѣ». (*Байронъ*).

Другъ . . . . что сказалъ бы ты на это?

«Благосклонный или сердитый читатель» можетъ заполнить этотъ пробѣлъ, какъ ему угодно: для этого годится любое двусложное слово (напр., слово «регентъ»). Неудобно было ставить какіе нибудь инициалы, прибавляя букву къ алфавитному списку счастливыхъ игроковъ, выходящему каждый мѣсяцъ; извѣстныя согласныя считаются за излюбленныя, большею частью противъ желанія знающихъ эти буквы». (*Байронъ*).

Комментаторы полагаютъ, что на мѣстѣ пробѣла слѣдуетъ поставить имя *Мойрэ.* Въ одномъ изъ своихъ писемъ Байронъ разсказываетъ, что однажды въ засѣданіи парламента лордъ Мойрэ, сидѣвшій впереди поэта, безпрестанно обращался къ нему во время рѣчи Грея, спрашивая: «что вы скажете на это?»

Отъ мѣста, гдѣ въ былые годы
Велѣлъ бы сердцу быть законъ природы.

«Nous avons changé' tout cela», говоритъ у Мольера «докторъ поневолѣ». Все ушло куда-то,—а куда это знаетъ только Асмодей. Впрочемъ, не особенно важно, гдѣ и какъ расположено у женщинъ сердце: онѣ пользуются отъ природы привилегіею распредѣлять свои сердца самымъ нелѣпымъ образомъ. Но бываютъ также и мужчины съ такими скверными сердцами, которыя напоминаютъ разсказы изъ естественной исторіи; напр., мы находимъ крѣпкій камень, который разбить можно только съ трудомъ; а когда его разобьютъ, то внутри оказывается живая жаба и, какъ говорятъ, очень ядовитая». (*Байронъ*).

Стр. 549.

«Танецъ этимъ, вѣроятно,
Не кончится?» - Такъ, честный мой Мирза.

«Въ Турціи это приличный вопросъ,—только у насъ онъ является неумѣстнымъ и излишнимъ. Буквально такой вопросъ былъ заданъ собесѣднику однимъ персомъ, когда онъ смотрѣлъ на вольсъ на балу въ Перѣ. (См. Morier, A journey through Persia, 1812, p. 365)». (*Байронъ*).

Духъ Квинсбери! Всѣ знаютъ, какъ и я,
Какой въ дѣлахъ разврата ты судья.

Вильямъ Дугласъ, герцогъ *Квинсбери*, - богатый англійскій аристократъ конца XVIII столѣтія, широко извѣстный своею роскошью и распутствомъ.

ШУТКИ, ЭПИГРАММЫ И СТИХОТВОРЕНІЯ НА СЛУЧАЙ.

Стр. 550.

Эпиграмма на одну старую даму—написана въ 1758 г., напечата впервые въ 1830 г.

Эпитафія Джону Адамсу—въ рукописи помѣчена: «сентябрь 1801». Напечатана въ 1830 г.

Строфы м-ру Годсону—извѣстному другу Байрона—въ рукописи помѣчены: «Фальмутъ Родсъ, 30 іюня 1809». Напечатаны въ 1830 г.

Стр. 551.

Дайвсу - написано въ 1809 г., напечатано въ 1833 г. «Дайвсомъ» (лат. dives богачъ) здѣсь названъ Вильямъ *Бекфордъ*, авторъ восточной сказки «Ватекъ», о которомъ см. наст. изд. т. I, стр. 471.

Прощальная просьба къ Дж. К. Г. въ рукописи помѣчено: «Константинополь, 7 іюня 1810». Напечатано въ 1887 г.

Стр. 552.

Моя эпитафія въ рукописи помѣчена: «октябрь 1810». Напечатана въ 1830 г.

Взамѣнъ эпитафіи—«Аѳины, 1810 г.». Напечатано въ 1832.

Эпитафія Джозефу Блэкету — «Мальта, 16 мая 1811». Напечатана въ 1832 г. О Блэкетѣ см. выше, прим. къ «Англ. бардамъ».

На новый оперный фарсъ—14 сентября 1811. Напечатано 1830.

Р. С. Далласу — напеч. въ 1825 г. Вызвано чьимъ-то замѣчаніемъ, что Далласъ въ иныхъ случаяхъ имѣетъ видъ мудреца.

Стр. 553.

Ода авторамъ билля напеч. въ «Morning Chronicle» 2 марта 1811 г., съ примѣчаніемъ къ послѣднему стиху первой строфы: «Лордъ Э., въ четвергъ вечеромъ, сказалъ, что волненія въ Ноттингэмѣ произошли вслѣдствіе *ошибки*».

Къ м-ссъ Дж. Бэмъ (1812) Напеч. въ 1898 г. Это же стихотвореніе, въ переводѣ *П. О. Морозова*, напеч. въ наст. изд. т. I. стр. 556.

La Revanche—1812. Напеч. въ 1904 г.

Томасу Муру – напеч. въ 1830 г. Джемсъ-Генри *Ли Гонтъ* (1781—1859) былъ арестованъ въ февралѣ 1813 г. и просидѣлъ два года въ тюрьмѣ за дерзкую статью о принцѣ-регентѣ, помѣщенную въ газетѣ «Examiner».

Стр. 554.

По поводу поэмъ лорда Тюрло написано 2 іюня 1813 г. Поэма лорда Тюрло «Гермильда въ Палестинѣ» вышла въ 1812 г., а стихотвореніе въ честь Роджерса напечатано въ апрѣльской книжкѣ журнала «Gentlemen's Magazine» 1813 г.

Къ лорду Тюрло напеч. въ 1830 г.

Поѣздка дьявола въ рукописи помѣчено: «9 декабря 1813».

«Я написалъ недавно дикую безсвязную, неоконченную рапсодію подъ заглавіемъ: «Поѣздка дьявола», идею которой я заимствовалъ изъ «Прогулки дьявола», Порсона», отмѣтилъ Байронъ въ своемъ дневникѣ подъ 17 18 декабря 1813 г.

Въ Карльтонъ-Гоузъ карета стоитъ у меня,
Въ Саймуръ-Плэсъ я тельжку имѣю.

Лордъ Ярмутъ, старшій сынъ прежней любовницы регента, маркизы Гертфордъ, жилъ на Симуръ-плэсъ. Стр. 555.

По сосѣдству съ епископомъ нѣкимъ маститымъ.

Намекъ на разбиравшееся тогда въ королевскомъ судѣ дѣло по иску правительства съ нѣкоего Карвера и епископа Винчестерскаго. Карверъ арендовалъ у епископа земли при входѣ въ Портсмутскую гавань и устроилъ тамъ загражденія, мѣшавшія правильному движенію прилива и отлива. Такимъ образомъ, эти устройства угрожали самому существованію одного изъ важнѣйшихъ англійскихъ портовъ, и дѣло пріобрѣтало общегосударственную важность.

Гдѣ подъ Лейпцигомъ было сраженье.

16 октября 1813 года.

Онъ разрушенный мостъ тамъ узрѣлъ,
Кстати взорванный нѣкимъ капраломъ.

Наполеонъ приказалъ инженерамъ заложить мины подъ большимъ мостомъ между Лейпцигомъ и Линденау, чтобы въ самую послѣднюю минуту взорвать его и тѣмъ затруднить движеніе непріятельскихъ войскъ, давъ своимъ возможность переправить обозъ на ту сторону рѣки. Генералъ передалъ это порученіе полковнику, а полковникъ, вмѣсто того, чтобы исполнить его лично, послалъ капрала съ четырьмя саперами, которые и поторопились взорвать мостъ при первомъ же выстрѣлѣ, когда французская артиллерія и обозъ еще не успѣли переправиться Это вызвало смятеніе, такъ какъ войска думали,что мостъ взорванъ непріятелемъ. Князь Понятовскій «на горячемъ конѣ» бросился въ рѣку, чтобы переплыть на другой берегъ, но былъ подхваченъ теченіемъ и утонулъ.

Стр. 556.

Мимо Томми Тирвитта, ходячей потѣхи,
Онъ проѣхалъ.

Сэръ Томасъ Тиррвитъ былъ личнымъ секретаремъ принца Уэльскаго. Въ 1813 г. онъ былъ посланъ въ Петербургъ, для врученія императору Александру ордена Подвязки, и по этому случаю получилъ орденъ св. Анны I степени.

Видитъ «Ветуса» письма...

«Ветусъ» псевдонимъ Эдуарда Стерлинга, напечатавшаго въ «Таймсѣ» 1812 и 1813 гг. рядъ писемъ, изданныхъ потомъ отдѣльною книгою, въ которыхъ доказывалъ, что Англія должна «завоевать все, что только можетъ, и удержать въ своей власти все завоеванное».

Тамъ былъ лордъ Ливерпуль, этотъ умникъ наглядный,
Вестморлэндъ, столь извѣстный за олуха всѣмъ,
И Норфолькскій жокей, парень, ростомъ нарядный,
И на Билли-дружка столь похожій Чэтэмъ.

Робертъ Бэнксъ Дженкинсонъ, графъ Ливерпульскій сдѣлался въ 1812 г. первымъ министромъ. Джонъ Фэнъ, графъ Вестморлэндскій лордомъ хранителемъ печати. Чарлзъ Говардъ, герцогъ Норфолькскій, извѣстный въ обществѣ подъ кличкой «жокея», протестантъ и либералъ, былъ одно время друженъ съ принцемъ Уэльскимъ Джонъ Питтъ, графъ Чэтэмъ, по словамъ одного современника, «унаслѣдовалъ лицо и фигуру своего знаменитаго отца Вилльяма («Билли»), но не его умъ».

Какъ одинъ предсѣдатель суда вдругъ ругнулся.

Эдуардъ Ло, баронъ Элленборо, лордъ верховный судья Королевской Скамьи, любилъ употреблять сильныя выраженія.

Стр. 557.

Видѣлъ онъ Джорджа Роза...

Джорджъ Розъ былъ въ то время казначеемъ флота.

Раненъ Богъ знаетъ кѣмъ, ранилъ чортъ знаетъ кто

Эрнестъ Августъ (1771—1851), герцогъ Кумберлэндскій и король Ганноверскій, пятый сынъ Георга III, былъ сдѣланъ фельдмаршаломъ 27 ноября 1813 г. «Раны, которыхъ, по собственному, данному подъ присягой, показанію герцога, у него было 17, были имъ получены въ борьбѣ съ лакеемъ Селлисомъ, который хотѣлъ его убить, и вскорѣ затѣмъ былъ найденъ съ перерѣзаннымъ горломъ. Судъ призналъ Селлиса самоубійцею, но процессомъ этимъ былъ вызванъ въ обществѣ большой скандалъ, такъ какъ, по общему мнѣнію, Селлисъ былъ убитъ герцогомъ.

Глядь Коринна де Сталь вдругъ предстала.

Въ газетахъ отъ 10 декабря 1813 г. сообщалось, что третьяго дня въ Карлтонъ-гоузѣ былъ большой выходъ, во время котораго ея величеству и принцу-регенту имѣли счастіе представляться.. баронъ и баронесса де-Сталь».

Комментаріи къ ней настрочитъ Макинтошъ.

Сэръ Джемсъ Макинтошъ въ критической статьѣ о книгѣ г-жи Сталь «О Германіи» (въ «Эдинб. Обозрѣніи», окт. 1813) дѣлаетъ обзоръ системы Канта и англійской философіи.

Если жъ тамъ Норджабаръ посѣтилъ бы онъ лично.

Опечатка. Слѣдуетъ читать: «Нурджабаръ». Это—названіе одной мелодрамы, представленной на Друри-Ленской сценѣ 25 ноября 1813 года и приписанной нѣкоторыми лицами Байрону, на что поэтъ очень сердился.

Стр. 558.

Виндзорская піитика—напечатана въ 1819 г., а варіантъ появился только въ 1904 г, въ изд. Кольриджа-Протеро.

«Это написано слишкомъ *свирѣпо*», писалъ Байронъ Муру; «но, сказать правду, мои сатирическіе стихи вообще не забавны».

Ich dien (1814)—напеч. въ изд. 1904 г.

Сочувственное посланіе—29 мая 1814 г.—было напечатано въ журналѣ «Чэмпіонъ» 31 іюля того же года, безъ позволенія Байрона, который былъ этимъ очень недоволенъ. Миссисъ Анна *Ми* писала, по заказу принца-регента, всѣхъ свѣтскихъ красавицъ.

Стр. 559.

Отрывокъ изъ письма къ Томасу Муру (іюнь 1814) напеч. Муромъ въ 1830 г.

Этотъ felo de se Мамси сильно хлебнувшій.

Felo de se старинный юридическій терминъ для обозначенія самоубійства. «Мамси» — вино «мальвазія».

Какъ былъ пышенъ у насъ этихъ русскихъ пріемъ.

«Газеты перескажутъ вамъ все, что говорится объ императорахъ, и пр. Они и обѣдали, и ужинали, и показывались на всѣхъ улицахъ и во всѣхъ салонахъ». (*Письмо къ Муру* отъ 14 іюня 1814 г.). Императоръ Александръ I и прусскій король пробыли въ Англіи съ 6 по 27 іюня 1814 г. Огромныя толпы народа день и ночь стояли у Пультни — отеля въ улицѣ Пиккадилли, гдѣ остановился русскій императоръ. Въ свитѣ обоихъ государей были Нессельроде, Меттернихъ, Блюхеръ и атаманъ Платовъ, котораго Байронъ называетъ «гетманомъ».

Стр. 560.

На бѣгство Наполеона (27 марта 1815) напеч. въ 1830 г.

Надпись на оборотѣ разводнаго акта—напеч. въ 1831 г.

Георгу Ансону Байрону напеч. въ журналѣ «Nicnac», 25 марта 1823 г.

Пѣсня для людditовъ напеч въ 1830 г.

Кличка «люддиты» возникла въ 1811 г. и примѣнялась первоначально къ рабочимъ ломавшимъ станки, а затѣмъ—вообще къ недовольнымъ. Она обязана своимъ происхожденіемъ одному полоумному парню, Нэду Людду, который, ворвавшись въ чулочное заведеніе, изломалъ двѣ вязальныхъ машины. Пѣсню эту Байронъ импровизировалъ въ письмѣ къ Муру отъ 24 декабря 1816 г. «Я написалъ ее»,—поясняетъ онъ,—«главнымъ образомъ для того, чтобы привести въ смущеніе вашего сосѣда (Годгжона?), эту воплощенную духовность и лойяльность, веселость и невинность, молоко и воду».

Стр. 561.

Къ Томасу Муру—въ вышеупомянутомъ письмѣ 24 декабря.

Къ м-ру Муррею—24 марта 1817 г.

«Маргарита Анжуйская» соч. Маргариты Гольфордъ, и «Ильдеримъ, сирійская сказка», соч. Галли Найта, изданы были Мурреемъ въ 1816 года.

Вирши въ томъ же письмѣ

«Кристабель» поэма Кольриджа. «Миссіонеръ въ Андахъ», поэма Боульса. «Ватерло и другія стихотворенія»—Уэддерберна Уэбстера. «Бѣлая лань изъ Рильстона», поэма Вордсворта.

Quem Deus vult perdere напеч. въ 1900 г.

Къ Томасу Муру—іюль 1817 г.

Письмо отъ м-ра Муррея—21 августа 1817 г.

«Кстати»,—писалъ Муррей Байрону 5 авг. 1817 г.,—«Полидори прислалъ мнѣ свою трагедію! Сдѣлайте мнѣ одолженіе, пришлите мнѣ, съ слѣдующей же почтой, *деликатный* отвѣтъ объ отказѣ ее издать, а я обязуюсь точно переписать его». Байронъ, съ своей стороны, замѣчаетъ: «Никогда ни одно человѣческое произведеніе не было мнѣ такъ противно, какъ вѣчная безсмыслица, пустота: неудачныя остроты и тщеславіе этого молодого человѣка; впрочемъ, у него есть нѣкоторый талантъ, онъ—человѣкъ порядочный и способный къ исправленію». Исполняя желаніе Муррея написать вѣжливо-уклончивый отвѣтъ, Байронъ препроводилъ ему это стихотворное посланіе.

Стр. 562.

Убытки чистые одни
Мой «Манюэль» мнѣ причиняетъ
И Созби горестный «Орестъ».

«Манюэль»—трагедія Матюрэна,—нелѣпое произведеніе умнаго человѣка» (*Байронъ*). Созби издалъ въ 1814 г. пять трагедій, въ числѣ которыхъ были «Орестъ» и «Айвенъ» (Иванъ).

Посланіе къ м-ру Муррею—Венеція, 8 января 1818 г.

Въ началѣ поэтъ говоритъ о 4 пѣснѣ *Чайльдъ-Гарольда*; затѣмъ упоминается Генри Галли Найтъ, товарищъ Байрона по Кембриджу, жалкій стихокропатель, и сказки «Фрозина» и «Аласторъ», о которыхъ Байронъ писалъ Муррею 4 сент. 1817 г.: «Я получилъ въ исправности, хотя и поздно, магнезію и зубной порошокъ, «Фрозину» и «Аластора». Порошками я стану чистить себѣ зубы, а сказками - обтирать сапоги».

«Сетби приключенья»—поэма Созби. «Прощаніе съ Италіей», въ которой онъ передаетъ разныя подробности о своемъ путешествіи. *Спенсъ* авторъ книги «Наблюденія, анекдоты и характеристики книги и людей». «Письма юной королевы» біографія Маріи Стюартъ Джорджа *Чалмерса*. Томасъ *Гордонъ* путешествовалъ по Албаніи, Персіи и Турціи и впослѣдствіи издалъ «Исторію греческой революціи». Въ 1813—1815 гг. онъ служилъ въ русской арміи. *Вельмотъ*, вѣроятно, сэръ Робертъ Вильмотъ, двоюродный братъ Байрона, впослѣдствіи (1824) участвовавшій въ уничтоженіи «Записокъ» поэта.

Стр. 563.

На рожденіе Гопнера—20 февраля 1818 г.

Ричардъ Бельгрэвъ Гоппнеръ былъ англійскимъ консуломъ въ Венеціи. Это четверостишіе Байрона было переведено на 11 различныхъ языковъ: греческій, латинскій, итальянскій, венеціанскій діалектъ, нѣмецкій, французскій, испанскій, иллирійскій, еврейскій, армянскій и самарянскій, и напечатано въ видѣ маленькой книжечки въ Падуѣ. «Риццо» венеціанское уменьшительное отъ Ричарда. Ср. слѣдующее стихотвореніе.

Зачарованная эпиграмма - февраль 1818 г.

Стр. 564.

Къ м-ру Муррею Венеція, 11 апрѣля 1818 г.

Вильямъ Стрэгенъ и Барнаби Линтотъ извѣстные лондонскіе издатели XVIII вѣка.

Баллада 11 апрѣля 1818 г.

Въ стихѣ: Сталъ Энтонъ цирковый пѣвецъ» надо читать: «Эптонъ». Вильямъ Эптонъ издалъ книжку стихотвореній «На разные случаи», между которыми были и куплеты, пѣтые въ театрахъ и циркѣ.

Другая простая баллада - написана тогда же и относится къ тому же лицу Гэлли Найту, о которомъ см. выше.

Стр. 565.

Эпиграмма. 12 августа 1819 г. Напеч. въ 1830 г.

Эпилогъ написанъ на поляхъ поэмы Вордсворта «Питеръ Балль», изд. 1819 г.

На день моей свадьбы - 2 января 1820 г.

Эпитафія В. Питту - 2 января 1820 г.

Эпиграмма 2 января 1820 г.

Коббетъ, желая искупить свою вину передъ Томомъ Пэномъ, котораго онъ назвалъ въ молодости «негоднымъ деистомъ», вырылъ его кости изъ могилы въ Нью-Рочеллѣ и перевезъ ихъ въ Ливерпуль.

Стр. 566.

Эпитафія — 2 января 1820 г.

Эпиграмма - напеч. въ 1830 г.

Мой мальчикъ Гоббинька—написано 23 марта 1820 г., съ подписью: «Infidus Scurra», а напечатано только въ 1887 г. Джонъ Кэмъ *Гобгоузъ* (1786 - 1869) въ декабрѣ 1819 г. былъ посаженъ въ Ньюгэтскую тюрьму за одну политическую брошюру, и оставался въ заключеніи до самой смерти короля, 20 февраля 1820 г., когда снова былъ выбранъ въ члены палаты общинъ отъ Вестминстера. Ср. слѣдующее стихотвореніе.

Стихи м-ру Гобгоузу 9 апрѣля 1820 г. Напеч. 1824.

Томъ вздора - 28 сентября 1820 г. Напеч. въ 1900 г.

«Вамъ отлично поможетъ *Гименъ* — каламбуръ, заключающій въ себѣ намекъ на писательницу Фелицію *Гименсъ*.

Стансы - напеч. въ 1830 г.

Эти стихи были присланы Муру въ письмѣ отъ 5 ноября 1820 г. въ качествѣ «самоэпитафіи», т. е. на случай, если бы Байрону пришлось пасть въ борьбѣ за итальянскую революцію, и Муръ не нашелъ бы нужнымъ почтить его память стихами.

Стр. 567.

Пенелопъ.

Въ томъ же письмѣ 5 ноября 1820 г.

Благотворительный балъ.

Написано 10 декабря 1820 г.. по прочтеніи газетной замѣтки о томъ, что лэди Байронъ явилась патронессою ежегоднаго благотворительнаго бала, устраиваемаго въ залѣ городской ратуши въ Гинкли. Муръ, напечатавшій въ 1830 г. только первые два куплета этого стихотворенія, говоритъ, что оно «проникнуто горькимъ негодованіемъ».

Эпиграмма на мѣдниковъ.

Вызвана газетной замѣткой 6 января 1821 г. и прислана Муррею въ письмѣ отъ 19 января «не для печати». Напечатана въ 1830 г.

На тридцать третій годъ.

Завтра мое рожденіе, т. е. въ полночь, въ 12 часовъ. Значитъ, черезъ 12 минутъ мнѣ исполнится 33 года!!! И вотъ, я ложусь спать съ тяжестью на сердцѣ: такъ много прожито и такъ мало сдѣлано!...

«Уже три минуты перваго - «Часы на башнѣ били полночь» и мнѣ уже тридать три года..

Eheu, fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni . . .

Но я жалѣю объ этомъ не потому, что я мало сдѣлалъ, а потому, что я *могъ* сдѣлать больше». (*Дневникъ,* 21 янв. 1821).

Марціалъ напеч. въ 1833 г.

Боульсъ и Кэмпбелль.

Написано 22 февраля 1821 г. по поводу возраженій Боульса на критическое введеніе Кэмпбелля къ изданному имъ сборнику образцовъ англійской поэзіи.

Элегія.

25 мая 1821 г. Лэди Ноэль - лэди Байронъ.

Джонъ Китсъ.

Написано 30 іюля 1821 г. по поводу статьи Крокера объ «Эндиміонѣ» Китса.

Стр. 568.

Съ французскаго—2 августа 1821 г.

Къ м-ру Муррею 23 августа 1821 г.

Въ первомъ стихѣ говорится о мемуарахъ Орэса *Уальполя* о послѣднихъ годахъ царствованія Георга II и графа *Уольдгрэва*, воспитателя Георга III. Въ письмѣ, при которомъ посланы были Муррею эти стихи, Байронъ писалъ: «Я не могу принять вашего любезнаго предложенія. (Муррей предлагалъ ему 2000 фунтовъ за три пѣсни *Донъ-Жуана*, за *Сарданапала* и за *Двухъ Фоскари*). По этимъ дѣламъ вѣдайтесь съ м-ромъ Дугласомъ Киннердомъ. Это мой повѣренный и честный человѣкъ. Ему вы можете представить всѣ свои меркантильные разсчеты, которые вамъ, можетъ быть, неудобно представлять мнѣ лично, какъ, напр., «тяжелый сезонъ», «лѣнивая публика», «нейдетъ», «лордъ слишкомъ много пишетъ», «не принимаетъ никакихъ резоновъ», «не гонится за популярностью», «надо уступать книгопродавцамъ», «мало выгоды», «чистый убытокъ», «воровскія перепечатки», «иностранныя изданія», строгія критики» и пр., съ разными другими резонами и цвѣтами краснорѣчія, на которые я предоставляю отвѣчать Дугласу, ибо онъ - ораторъ».

Наполеонова табакерка (1821).

Наполеонъ завѣщалъ лэди Голландъ табакерку, подаренную ему папой за то, что онъ пощадилъ Римъ. Лордъ Карлейль написалъ цѣлыхъ восемь куплетовъ, умоляя лэди отклонить этотъ роковой даръ, такъ какъ онъ боялся, что изъ этой табакерки, всякій разъ, какъ ее станутъ открывать, будутъ вылетать ужасъ и убійство».

Новый викарій города Бр. напеч. въ 1831 г.

Джорджъ-Фридерикъ Нотъ, законоучитель принцесы Уэльской Шарлотты, которая, въ отвѣтъ на упреки королевы, что она слишкомъ довѣряетъ этому человѣку «низкаго происхожденія», грозила сдѣлать въ его пользу духовное завѣщаніе и въ самомъ дѣлѣ подарила ему свою библіотеку, брилліанты и пр. Большой знатокъ архитектуры и живописи, Нотъ долго жилъ въ Италіи. Живя въ Пизѣ, онъ читалъ частныя лекціи о литературѣ въ нижнемъ этажѣ того самаго дома, гдѣ жилъ тогда Шелли, и жестоко нападалъ на «сатанинскую школу», называя *Каина* богохульнымъ произведеніемъ.

Стр. 569.

Люсьетта напечатана въ первый разъ, съ автографа, въ изд. 1904 г.

Эпиграммы—написаны въ августѣ 1822 г.

Побѣда—8 - 9 марта 1823 г. Напеч. въ 1833 г.

Этотъ отрывокъ найденъ въ бумагахъ Байрона послѣ его отъѣзда изъ Генуи въ Грецію.

Экспромтъ апр. 1823. Напеч. въ 1820 г.

Желая убѣдить своихъ друзей лорда и лэди Блессингтонъ продлить пребываніе въ Генуѣ, Байронъ совѣтовалъ имъ нанять небольшую

виллу «Paradiso», по сосѣдству съ его виллою, и осматривалъ ее вмѣстѣ съ ними.

Изъ дневника 19 іюня 1823 г. Напеч. въ 1901 г.

Пѣснь къ суліотамъ напеч. въ 1904 г., съ автографа. «Бауа!» воинственный кличъ суліотовъ.

Любовь и смерть напеч. въ 1887 г.

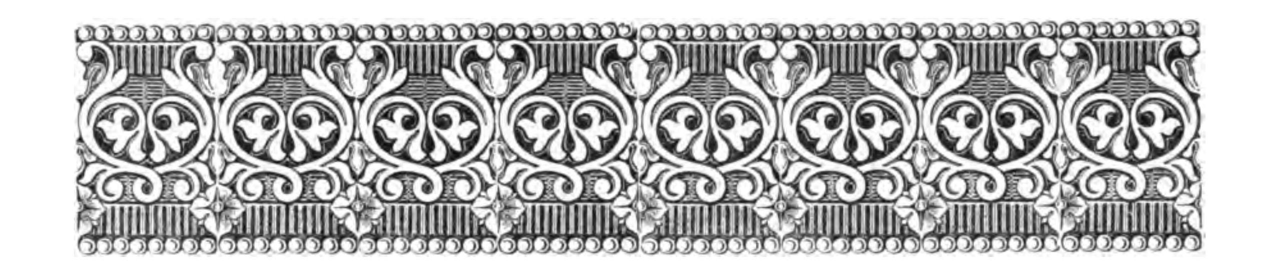
Послѣднія слова о Греціи напеч. въ 1887 г.

Послѣднее стихотвореніе.

Напечатано въ «Morning Chronicle» 20 окт. 1824 г. по списку, сообщенному братомъ графини Гвиччіоли гр. Гамбой, который о происхожденіи этого стихотворенія разсказываетъ слѣдующее:

«Сегодня (22 янв.) лордъ Байронъ вышелъ изъ своей спальни въ комнату, гдѣ находились полковникъ Стэнгопъ и другіе наши друзья, и, улыбаясь, сказалъ: «Вотъ, вы какъ-то жаловались на то, что я теперь уже не пишу стиховъ Сегодня день моего рожденія, и я только что кончилъ стихи, которые, кажется, лучше того, что я обыкновенно пишу». Вслѣдъ за тѣмъ онъ прочелъ это стихотвореніе».





Рисунки III тома.

I.

Рисунки въ текстѣ.

Небо и земля.

Преображенный уродъ.

Островъ.

Донъ-Жуанъ.

Часы Досуга.

Англійскіе барды и Шотландскіе обозрѣватели.

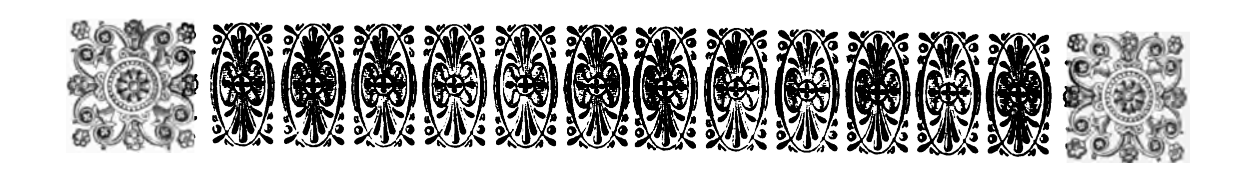
Жизнь и переписка Байрона.

II.

Автотипіи на отдѣльныхъ листахъ.

III.

Фототипіи и хромолитографіи.

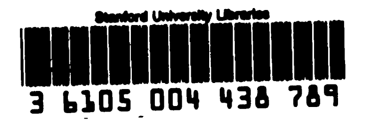


Оглавленіе III тома.

* поставлена предъ стихотвореніями, впервые переведенными на рус. яз. въ настоящемъ изданіи.

ОГЛАВЛЕНІЕ III ТОМА.




Stanford University Libraries
3 6105 004 438 789

